



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>









В. Фомичкин

СОЧИНЕНІЯ
В. Г. БѢЛИНСКАГО
Belinskii, V. G.
ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ и собраніемъ писемъ автора, гравюрой съ картины Наумова
и статей А. М. Снебичевскаго.

Третье изданіе Ф. Павленкова.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ
1834—1840.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.
1906.

891,78

B431p

ed.3

v.1

741244

YIAJAL! QROTHATZ

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВАГО ТОМА.

Жизнь и литературная деятельность В. Г. Вѣлинскаго. Статья А. М. Слабичевскаго. 1

I. КРИТИЧЕСКІЯ СТАТІИ.

Литературныя мечтанія (Элегія въ прозѣ)	45
О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя («Ара- бески» и «Миргородъ»)	185
О стихотвореніяхъ Варатынскаго	185
Стихотворенія Владиміра Бенедиктова	193
Стихотворенія Кольцова	207
Опытъ системы нравственной философіи	213
Ничто о ничемъ, или отчетъ издателю «Телеско- па» за послѣднее полугодіе (1835) русской литературы	229
О критикѣ и литературныхъ мѣтніяхъ «Москов- скаго Наблюдателя»	275
«Гамлетъ, принцъ Датскій». Драматическое пред- ставленіе В. Шекспира. Пер. Н. Полевого	335
Изъ неоконченной статьи о Фонвизинѣ и Заго- скинѣ (Вступительный отрывокъ)	343
Два романа И. И. Лажечникова («Ледяной домъ» и «Васурманъ»)	361
Очерки Бородинскаго сраженія. Ѳ. Глинки	377
Менцель, критикъ Гёте	409
«Горе отъ ума». Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Соч. А. С. Грибоедова	445
Полное собраніе сочиненій А. Марлинскаго	515
Двѣ дѣтскія книжки. «Подарокъ на новый годъ», Гюфмана и «Дѣтскія сказки дѣдушки Иринея»	551

II. ВИБЛІОГРАФІЯ.

Ночь на Рождество Христово. К. Баранова	595
Повѣсти Безумнаго (Отрывокъ)	597
Регентство Бирона. Повѣсть Масальскаго	598
Изгнанникъ. Историч. романъ Богемуса	600
Поселыщикъ. Сибирская повѣсть Н. Ш.	602
Въ тихомъ омутѣ черти водятся. Ѳ. Кони	607
Исторія о храбрѣмъ рыцарѣ Францискѣ Венціа- нѣ и о прекрасной королевнѣ Ренцивентѣ	609
Краткое изложеніе главныхъ доводовъ и свидѣ- тельствъ, неоспоримо утверждающихъ истину и божественное происхожденіе христіанскаго откровенія. Портьюса	611
Конекъ Горбунѣкъ. П. Ершова	—
Были и небылицы казака Луганскаго	612
Аббадонна. Н. Полевого. Мечты и жизнь. Н. Полевого	613
Записки о походахъ 1812 и 1813 г.	618
Сочиненія въ прозѣ и стихахъ Константина Батюшкова	619
Отрывокъ изъ рецензій на «Досуги Инвалида»	622
Учебная книга всеобщей исторіи (для юноше- ства). И. Кайданова	—
Отрывокъ изъ небольшой рецензій на «Стихотво- ренія М. Меркла»	626
Наталя. Сочиненіе г-жи ***	627

Художникъ. Т. м. ф. а	629
Жертва. Литературный эскизъ Монбюрнъ	631
Сынъ жены моей. Поль-де-Кока	638
Записки г-жи Дюкре о императрицѣ Іозефинѣ и ея современникахъ и пр.	640
Рейнскія пилигримы. Бюльвера	641
Сестра Анна. Поль-де-Кока	644
Начертаніе русской исторіи для училищъ. Пого- дина	645
Библиотека романовъ и историческихъ записокъ, издаваемая Ф. Ротганомъ	647
О жизни и произведеніяхъ сира Вальтера Скот- та. А. Каннингама	649
Отрывокъ изъ короткой рецензій на «Три серд- ца» А. Долинскаго	653
Отрывокъ изъ небольшой рецензій на два воде- вила Ѳ. Кони: «Иванъ Савельичъ» и «Покой- ный мужъ и вдова его»	—
О характерѣ народныхъ пѣсенъ у славянъ за- падныхъ. Ю. Венелина	654
Всеобщее путешествіе вокругъ свѣта. Дюмона- Дюрвиля	657
Стихотворенія А. Пушкина	658
Провинціальныя бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова	660
Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого	665
Дѣтская книжка на 1835 годъ. В. Бурнашева	670
Предки Калимероса. Александръ Филипповичъ Македонскій. Вельмана	—
Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ксенофонта Полевого	673
Стихотворенія Владиміра Венедиктова. Второе изданіе	680
Ночь. Сочиненіе С. Темнаго	681
Святочныя вечера или рассказы моей тетушки	682
Литературная хроника	685
Библиотека дѣтскихъ повѣстей и рассказовъ В. Бурьянова. Совѣты для дѣтей. В. Бурьянова. Зимніе вечера. В. Бурьянова. Прогулка съ дѣтьми. В. Бурьянова	691
Изъ библиографич. замѣтки о 1 № «Современни- ка» за 1838 г.	701
Елена, поэма Вернета	702
Стихотворенія В. Венедиктова. Вторая книга	706
Уголино. Драматич. представленіе Н. Полевого	709
Краткая исторія Франціи до французской ре- волюціи. Мишле	717
Турлуру, романъ Поль-де-Кока. Сѣдина въ бо- роду, а бѣсъ въ ребро, или каковъ женихъ. Романъ Поль-де-Кока	723
Отрывокъ изъ библиограф. замѣтки о 10 № «Современника» за 1838 г.	727
Сказки русскія. И. Ваненко. Русскія народныя сказки. Б. Бронницкая	729
Сочиненія Николая Греча	733

Кальянъ. Арфа. Стихотворенія А. Полежаева . . .	стр. 739
Отрывки изъ библиографич. замѣтки о ЛМ 11 и 12 «Современника» за 1838 г.	741
Сердце человѣческое есть или храмъ Божій, или жилище сатаны	743
Искусство брать взятки. Сказка В. Серебrenникова. Три бездѣлки. Соч. В. Серебrenникова . . .	746
Сто русскихъ литераторовъ. Томъ первый . . .	748
Записки Александрова (Дуровой)	750
Враво, или венеціанскій бандитъ. Я. Ф. Купера	752
Русскіе журналы	754
Новѣйшій дѣтскій Робинзонъ	763
Стихотворенія Владислава Горчакова	764
Рѣчи, произнесенныя въ торжественномъ собраніи Императорскаго Московскаго университета 10-го іюня 1839 г.	767
Повѣсть о приключеніи англійскаго милорда Георга, о Бранденбургской маркиграфинѣ и т. д. . .	772
Гадательная книжка. Чудесный гадатель . . .	776
Вородинская годовщина. В. Жуковскаго. Письмо изъ Вородина отъ безрукаго къ безногому нявалиду	778
Собраніе рецептовъ парижскихъ городскихъ больницъ. Ф. С. Ратъе	784
Le moine, histoire Kioviennne. Traduction en vers du poëme de I. Koslow. Чернецъ	785

III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Метеорологическія наблюденія надъ современной русской литературой	789
Вѣстникъ парижскихъ модъ	790
Журнальная замѣтка	792
Нѣсколько словъ о «Современникѣ»	795
Отъ Вѣлинскаго	800
Вторая книжка «Современника»	803

Иванъ Яковлевичъ Кронебергъ (некрологъ) . . .	стр. 808
Журнальная замѣтка	811

IV. ТЕАТРЪ.

Объ игрѣ Каратыгина	817
Венефисъ Живокини	825
Недовольные. Оригинальная комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, соч. М. Н. Загоскина. Дивертисманъ, вновь сочиненный (?) и поставленный г-жею Голленъ. Спектакль 2 декабря . . .	827
«Гамлетъ» драма Шекспира, и Мочаловъ въ роли Гамлета	833
Каратыгинъ на московской сценѣ въ роли Гамлета	900
Сосниціи на московской сценѣ въ роли городничаго	901
Московскій театръ	902
Объ артистѣ	908
Петровскій театръ	910
Александринскій театръ. (Отрывки изъ писемъ москвичка). Велизарій. Драма въ стихахъ и въ пяти отдѣленіяхъ, перев. съ нѣмецкаго (Ободовскимъ). Спектакль 31-го октября . . .	923
Заколдованный домъ. Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, съ танцами, соч. Ауфенберга, переведенная съ нѣмецкаго П. Г. Ободовскимъ.—Чего на свѣтѣ не бываетъ, или что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ. Водевиль въ одномъ дѣйствіи, сюжетъ заимствованъ изъ старинной комедіи, и проч.—(Спектакль 14 декабря)	935

V. ПРИЛОЖЕНІЯ.

Русская быль. (Стихотвореніе)	939
Пятидесятилѣтній дядюшка, или страшная болѣзнь. (Драма въ пяти дѣйствіяхъ)	941

Жизнь и литературная дѣятельность В. Г. Бѣлинскаго.

I.

Какъ ни велико было вліяніе на умы своихъ современниковъ критиковъ, предшествовавшихъ Бѣлинскому, и Карамзина, и Н. А. Полевого, и Веневитинова, и В. Киреевскаго, и Надеждина,—но они не въ силахъ были создать такую литературную критику, которая овладѣла бы всею литературою, подвергла бы ее глубокому и всестороннему анализу и содѣйствовала бы къ развитію въ обществѣ изящнаго вкуса и правильной, разумной оцѣнки художественныхъ произведеній. Первымъ такимъ критикомъ былъ именно Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій, котораго не даромъ считают русскимъ Лессингомъ: могучее перо его окончательно поставило русскую критику на ноги, сдѣлало ее законодательницею литературы, воспитательницею общества не только въ эстетическомъ, но и въ житейско-нравственномъ отношеніи; мало этого: превратило ее изъ критики изящныхъ произведеній въ критику жизни.

Дѣдъ Бѣлинскаго, отецъ Никифоръ, былъ священникомъ въ селѣ Бѣлыни, Пензенской губерніи. Отъ этого села произошла и фамилія *Бѣлинскій*, передѣланная впоследствии въ *Бѣлинскій*. Одинъ изъ сыновей о. Никифора, Григорій, послѣ семинарскаго курса поступилъ въ петербургскую медицинскую академію, въ казенные студенты, и, кончивъ курсъ съ званіемъ лѣкаря, былъ опредѣленъ въ 1809 году на службу въ Балтійскій флотъ. Во время пребыванія въ Кронштадтѣ онъ женился на дочери флотскаго офицера. Флотскій экипажъ, въ которомъ онъ находился на службѣ, стоялъ въ Свеаборгѣ, и здѣсь въ 1810 году, по однимъ свидѣтельствамъ въ февралѣ, а по свидѣтельству самого Бѣлинскаго 30-го мая, родился у Григорія Бѣлинскаго первый сынъ Виссаріонъ. Въ 1816 году отецъ Бѣлинскаго перешелъ на службу въ родной край; онъ назначенъ былъ въ городъ Чембаръ уѣзднымъ врачомъ. Здѣсь и прошло дѣтство Бѣлинскаго.

Неприглядно было это дѣтство. Самъ Бѣлинскій въ одномъ изъ писемъ къ друзьямъ характеризуетъ его вотъ какими мрачными красками: «Мать была охотница рыскать по кумушкамъ... я, грудной ребенокъ, оставался съ нянькою, нанятою дѣвкою: чтобъ я не беспокоилъ ее своимъ крикомъ, она меня душила и била... Впрочемъ я не былъ груднымъ; родился я больнымъ при смерти, груди не бралъ и

не зналъ ея... сосалъ я рожекъ, и то, если молоко было прокислое и гнилое—свѣжаго не могъ брать. Потомъ: отецъ меня терпѣть не могъ, ругалъ, унижалъ, придирался, билъ нещадно и площадно—вѣчная ему память. Я въ семействѣ былъ чужой»...

То же свидѣтельствуеъ и близкій родственникъ и другъ дѣтства Бѣлинскаго—Д. П. Ивановъ. По его словамъ, отношенія между родителями Бѣлинскаго съ самой женитьбы были далеко не мирныя. Различіе характеровъ и понятій, хозяйственные нужды, на которыя у отца не доставало денегъ, подавали поводъ къ раздорамъ, которые вовсе не были назидательны для дѣтей; мать не умѣла сдерживать своей раздражительности; отецъ или молчалъ на ея брань, или отвѣчалъ шутками, которыхъ она не могла ни понять, ни вынести, или раздражался самъ, и тогда начинались настоящіе бури, отъ которыхъ домашніе буквально бѣжали изъ дому. «У жизни есть свои сынки и пасынки, и Вис. Гр. принадлежалъ къ числу самыхъ нелюбимыхъ своею лихою мачихою, — рассказываетъ очевидецъ, изображая домашній бытъ этого семейства: не радостно она встрѣтила его въ родной семьѣ, и дѣтство его, эта веселая, беззаботная пора, было исполнено тревогъ и огорченій столько же, сколько и позднѣйшіе возрасты, и надобно было нѣтъ ему много воли, много любви, чтобы выйти побѣдителемъ изъ этой страшной борьбы съ роковыми случайностями».

Тѣмъ не менѣе, по свидѣтельству того же Иванова и вопреки свидѣтельству самого Бѣлинскаго, послѣдній вовсе не былъ въ семействѣ совсѣмъ чужимъ, и, несмотря на дикія вспышки, которыя приходилось переносить ребенку, отецъ любилъ его, такъ какъ «съ самой ранней поры даровитаго ребенка не могъ не отличить и остроумія рѣчей, и страсти къ чтенію, и пытливой любознательности, съ которою мальчикъ прислушивался къ рассказамъ отца о прошедшемъ, къ его сужденіямъ о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе». Нѣкая же свидѣтельница дѣтства Бѣлинскаго, г-жа Щ., рассказываетъ, что отецъ Бѣлинскаго «былъ чловѣкъ съ насмѣшливымъ умомъ, беззаботнымъ, честнымъ и прямымъ характеромъ, часто жертвовавшій общественными и семейными выгодами своему юмористическому направленію, отчасти либер-

ральному, отчасти семинарскому. Онъ вынесъ изъ школы идеи, заброшенные первою французскою революціею, и здравый взглядъ на литературу. Отдавая должную дань почтенію европейскимъ талантамъ первой величины, начиная съ Шиллера и пр., онъ довольно мѣтко и цинически-добродушно смѣялся надъ гордившимся своими зачерствѣлыми предразсудками провинціальнымъ обществомъ Чембары... Идеи отца имѣли большое вліяніе на религиозное и нравственное развитіе Виссаріона»...

Ученые свои Бѣлинскій началъ въ частной школѣ нѣкоей дочери мѣстнаго чиновника Ципровской. Выучившись у нея чтенію и письму, Бѣлинскій продолжалъ нѣсколько учиться и дома, гдѣ отецъ училъ его по-латыни. А затѣмъ онъ поступилъ во вновь открытое въ Чембарѣ уѣздное училище. Извѣстный писатель Лажечниковъ, бывшій тогда директоромъ училищъ Пензенской губерніи, въ 1823 году ревизовалъ чембарское училище, и мальчикъ Бѣлинскій настолько тогда уже выдавался, что привлекъ особенное его вниманіе.

«Во время дѣлаемаго мною экзамена, — рассказываетъ онъ, — выступилъ передо мною, между прочими учениками, мальчикъ лѣтъ 12, котораго наружность съ перваго взгляда привлекла мое вниманіе. Любъ его былъ прекрасно развитъ, въ глазахъ свѣтлѣлся разумъ не по лѣтамъ; худенькій и маленькій, онъ между тѣмъ на лицо казался старѣе, чѣмъ показывалъ его ростъ. Смотрѣлъ онъ очень серьезно... На всѣ дѣлаемые ему вопросы онъ отвѣчалъ такъ скоро, легко, съ такою увѣренностью, будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на свою добычу (отчего я тутъ же прозвалъ его ястребкомъ), и отвѣчалъ большею частью своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже въ казенномъ руководствѣ. Доказательство, что онъ читалъ и книги, не показанныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросался съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною цѣпью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчикъ вышелъ изъ труднаго испытанія съ торжествомъ. Это меня пріятно наумило, также и то, что штатный смотритель (Авр. Грековъ) не конфузился, что его ученикъ говорить не слово въ слово по учебной книжкѣ (какъ я привыкъ видѣть и съ чѣмъ боролся не мало въ другихъ училищахъ). Напротивъ, лицо добраго и умнаго смотрителя сіяло радостью, какъ будто онъ видѣлъ въ этомъ торжествѣ собственное свое. Я спросилъ его, кто этотъ мальчикъ. «Виссаріонъ Бѣлинскій, сынъ дѣшшняго уѣзднаго штабъ-лѣкаря», сказалъ онъ мнѣ. Я поцѣловалъ Бѣлинскаго въ лобъ, съ душевной теплотой привѣтствовалъ его, тутъ же потребовалъ изъ продажной бібліотеки какую-то книжонку, на заглавномъ листѣ которой надписалъ «Виссаріону Бѣлинскому» за прекрасные успѣхи въ ученіи (или что-то подобное) отъ такого-то, тогда-то. Мальчикъ принялъ отъ меня книгу безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную дань, безъ низкихъ поклоновъ, которымъ учатъ *Бѣлинковъ съ малолѣтства*».

Въ августѣ 1825 г. Бѣлинскій перешелъ изъ чембарскаго училища въ пензенскую гимназію (въ то время гимназія имѣла лишь четыре класса). У родителей Бѣлинскаго не было въ Пензѣ такихъ знакомыхъ, у которыхъ можно было бы помѣстить сына; но были земляки чембарцы, два семинариста старшихъ курсовъ; заботливости ихъ и были поручены Бѣлинскій со своимъ товарищемъ, вышеупомянутымъ Ивановымъ. Они заняли комнату во флигелѣ того же дома, гдѣ жили семинаристы, и пользовались столомъ отъ хозяина. По свидѣтельству учителя естествознанія, М. М. Попова, «въ гимназіи, по возрасту и возмужалости, Бѣлинскій во всѣхъ классахъ былъ старше многихъ сотоварищей. Наружность его мало измѣнилась вполнѣдствіи; онъ и тогда былъ неуклюжъ, угловатъ въ движеніяхъ. Неправильныя черты лица его между хорошенькими личиками другихъ дѣтей казались суровыми и старыми. На вакаціи онъ ѣздилъ въ Чембаръ; но не помню, чтобы отецъ его пріѣзжалъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принималъ въ немъ участіе. Онъ видимо былъ безъ женскаго призора, носилъ платье кое-какое, иногда съ непочиненными прорѣхами. Другой на его мѣстѣ смотрѣлъ бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были смѣлые, какъ бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ пошелъ и въ могилу».

Поступивъ въ гимназію съ хорошей предварительной подготовкой въ чембарскомъ училищѣ, Бѣлинскій перешелъ изъ перваго класса во второй; за ученіе во второмъ получилъ награду, и учился дѣйствительно хорошо по тѣмъ предметамъ, за которые ему дали награду. У него была большая память: онъ помнилъ много стиховъ, которые были для него всегда готовыми примѣрами на риторическія «фигуры»; онъ хорошо понималъ формулы логики и т. п.; у товарищей онъ слылъ «философомъ». По исторіи и географіи онъ былъ лучшимъ ученикомъ; учитель географіи, Знаменскій, съ любопытствомъ выслушивалъ тѣ особенныя дополненія, какія давалъ Бѣлинскій въ своихъ отвѣтахъ къ учебнику, и по окончаніи отвѣта всегда, бывало, говаривалъ: «откуда вы это вычитали?» И когда Бѣлинскій называлъ источникъ, учитель снова разсыпался въ похвалахъ.

Но самымъ любимымъ у Бѣлинскаго учителемъ былъ вышеупомянутый М. М. Поповъ, знакомый съ Бѣлинскимъ не только по гимназіи, но и внѣ ея, такъ какъ Бѣлинскій ходилъ къ нему въ домъ, будучи друженъ съ его племянникомъ. «Онъ бралъ у меня книги и журналы, — рассказываетъ Поповъ, — пересказывалъ мнѣ прочитанное, судилъ и ридилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ... По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неравный мнѣ; но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ... Домашнія бесѣды наши продолжались и послѣ того, какъ Бѣлинскій поступилъ въ высшіе классы гим-

назиі. Дома мы толковали о словесности; въ гимназіи онъ съ другими учениками слушалъ у меня естественную исторію. Но въ казанскомъ университетѣ я шелъ по филологическому факультету и русская словесность всегда была моею исключительной страстью. Можете представить себѣ, что иногда происходило въ классѣ естественной исторіи, гдѣ передъ страстнымъ, еще молодымъ въ то время, учителемъ сидѣлъ такой же страстный къ словесности ученикъ. Разумѣется, начиналъ я съ зоологіи, ботаники и орнитогнозіи, и старался держаться этого берега, но съ середины, а случалось и съ начала лекціи, отъ меня ли, отъ БѢлинскаго ли, Богъ знаетъ, только естественныя науки превращались у насъ въ теорію или исторію литературы. Отъ Бюффона-натуралиста я переходилъ къ Бюффону-писателю, отъ гумбольдтовой географіи растений — къ его «Картинамъ природы», отъ нихъ — къ поэзіи разныхъ странъ, потомъ... къ цѣлому міру въ сочиненіяхъ Шиллера и Жуковского... А гербаризація? Бывало, когда отправлюсь съ учениками за городъ, во всю дорогу, пока не дойдемъ до засѣки, что назади городскаго гулянья, или до рощей, что за рѣкой Пензой, БѢлинскій пристаётъ ко мнѣ съ вопросами о Гёте, Вальтеръ Скоттъ, Байронъ, Пушкинъ, о романтизмѣ и обо всемъ, что волновало въ то доброе время наши молодыя сердца».

Такимъ образомъ, уже отрокомъ, БѢлинскій весь погрузился какъ въ изученіе русской поэзіи, такъ и въ стихотворныя подражанія любимымъ поэтамъ. «Еще мальчикомъ и ученикомъ уѣзднаго училища, — говоритъ онъ въ одной своей рецензіи въ «Молвѣ» 1835 г., — я, въ огромныя кипы тетрадей, неутомимо, днемъ и ночью, и безъ всякаго разбору, списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Станевича, Богдановича, Максима Невзорова, Крылова и другихъ...; плакалъ, читая «Бѣдную Лизу» и «Марьину рошу», и вмѣнялъ себѣ въ священнѣйшую обязанность бродить по полямъ при темномъ свѣтѣ луны, съ понурымъ лицомъ à la Эзрастъ Чертополоховъ. Воспоминанія дѣтства такъ обильны, къ тому же природа мнѣ дала самое чувствительное сердце и сдѣлала меня поэтомъ, ибо, еще будучи ученикомъ уѣзднаго училища, я писалъ баллады и думалъ, что онъ не хуже балладъ Жуковского, не хуже «Рансы» Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума»...

Увлечшись такимъ образомъ литературою, БѢлинскій началъ рѣдко посѣщать классы и совсѣмъ забросилъ гимназическое ученіе, тѣмъ болѣе, что въ общемъ преподаваніе въ пензенской гимназіи было въ то время весьма неудовлетворительно. Онъ задумалъ поступить въ московскій университетъ, выйдя изъ гимназіи до окончанія курса, и подготовиться дома къ пріемному экзамену; къ тому же, лѣта его вполнѣ подходили къ университетскому курсу: ему было уже 18-ть лѣтъ. И вотъ къ Рождеству 1828 года онъ уѣхалъ въ Чебоксары и уже не возвращался въ гимназію; въ началѣ слѣдующаго года его вычеркнули изъ списковъ.

II.

Не легко было БѢлинскому собраться въ университетъ, такъ какъ отецъ, по ограниченности средствъ, не могъ содержать его въ Москвѣ; не легко было ему и поступить въ университетъ, соблюдая массу формальностей въ родѣ представленія всѣхъ требуемыхъ для этого документовъ. Но и по принятіи въ число студентовъ не легче стало БѢлинскому. Онъ подалъ 25-го сентября просьбу о принятіи его на казенное содержаніе; рѣшеніе же на эту просьбу послѣдовало не раньше Рождества, и до тѣхъ поръ ему приходилось жить на свой счетъ, страшно бѣдствуя, не добдая, не допивая и не имѣя форменнаго платья, вслѣдствіе чего инспекторъ Чумаковъ грозилъ выключить его изъ университета.

По принятіи на казенный счетъ положеніе БѢлинскаго поправилось, и первое время онъ былъ очень доволенъ бытомъ казенныхъ студентовъ. Но это довольство продолжалось недолго. Въ іюнѣ 1830 г. мѣсто прежняго инспектора, Перевощикова, занялъ новый — проф. П. С. Щепкинъ; начались новыя, очень стѣснительныя порядки, и мало-помалу БѢлинскій отъ всей души возненавидѣлъ «казенный коштъ».

Казенные студенты въ московскомъ университетѣ жили по нѣскольку человѣкъ въ комнатѣ, называемой нумеромъ. БѢлинскій былъ помѣщенъ въ одиннадцатомъ нумерѣ, и, безъ сомнѣнія, подъ его влияніемъ этотъ одиннадцатый нумеръ прослылъ въ университетѣ самымъ литературнымъ. Споръ о классицизмѣ и романтизмѣ еще не прекращался тогда между литераторами, — рассказываетъ одинъ изъ товарищей БѢлинскаго, Прозоровъ, — несмотря на глубокомысленное и многостороннее рѣшеніе этого вопроса Надеждинымъ въ его докторскомъ разсужденіи о происхожденіи и судьбахъ поэзіи романтической... И между студентами были свои классики и романтики, сильно ратовавшіе между собою на словахъ. Нѣкоторые изъ старшихъ студентовъ, слушавшіе теорію краснорѣчія и поэзіи Мералякова и напитанные его переводами изъ греческихъ и римскихъ поэтовъ, были въ восторгѣ отъ его перевода Тассова «Іерусалима» и очень неблагоприятно отзывались о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина, только-что появившемся въ печати, съ торжествомъ указывая на глумливыя о немъ отзывы въ «Вѣстникѣ Европы». Первогодичные студенты, воспитанные въ школѣ Жуковского и Пушкина и не заставшіе уже въ живыхъ Мералякова, мало сочувствовали его переводамъ и вмѣнятъ того знали наизусть прекрасныя пѣсни его и безпрестанно декламировали цѣлыя сцены изъ комедій Грибоѣдова, которая тогда еще не была напечатана. Пушкинъ приводилъ насъ въ неописанный восторгъ. Между младшими студентами самымъ ревностнымъ поборникомъ романтизма былъ БѢлинскій, который отличался необыкновенной горячностью въ спорахъ, и, казалось, готовъ былъ вызвать на битву всѣхъ, кто противорѣчилъ его убѣжденіямъ. Увле-

ральному, отчасти семинарскому. Онъ вынесъ изъ школы идеи, заброшенные первоею французскою революціею, и здравый взглядъ на литературу. Отдавая должную дань почтенію европейскимъ талантамъ первой величины, начиная съ Шиллера и пр., онъ довольно мѣтко и цинически-добродушно смѣялся надъ гордившимся своими зачерствѣлыми предразсудками провинціальнымъ обществомъ Чебарова... Идеи отца имѣли большое вліяніе на религиозное и нравственное развитіе Виссаріона»...

Ученые свои Бѣлинскій началъ въ частной школѣ нѣкоей дочери мѣстнаго чиновника Ципровской. Выучившись у нея чтенію и письму, Бѣлинскій продолжалъ нѣсколько учиться и дома, гдѣ отецъ училъ его по-латыни. А затѣмъ онъ поступилъ во вновь открытое въ Чебарѣ уѣздное училище. Извѣстный писатель Лажечниковъ, бывшій тогда директоромъ училищъ Пензенской губерніи, въ 1823 году ревизовалъ чебарское училище, и мальчикъ Бѣлинскій настолько тогда уже выдавался, что привлекъ особенное его вниманіе.

«Во время дѣлаемаго мною экзамена,—рассказываетъ онъ,—выступилъ передо мною, между прочими учениками, мальчикъ лѣтъ 12, котораго наружность съ перваго взгляда привлекла мое вниманіе. Лобъ его былъ прекрасно развитъ, въ глазахъ свѣтлѣлся разумъ не по лѣтамъ; худенькій и маленький, онъ между тѣмъ на лицо казался старѣе, чѣмъ показывалъ его ростъ. Смотрѣлъ онъ очень серьезно... На всѣ дѣлаемые ему вопросы онъ отвѣчалъ такъ скоро, легко, съ такою увѣренностью, будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на свою добычу (отчего я тутъ же прозвалъ его ястребкомъ), и отвѣчалъ большею частью своими словами, прибавляя ни то, чего не было даже въ казенномъ руководствѣ. Доказательство, что онъ читалъ и книги, не показанныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросаясь съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною цѣпью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчикъ вышелъ изъ труднаго испытанія съ торжествомъ. Это меня пріятно изумило, также и то, что штатный смотритель (Авр. Грековъ) не конфузился, что его ученикъ говорить не слово въ слово по учебной книжкѣ (какъ я привыкъ видѣть и съ чѣмъ боролся не мало въ другихъ училищахъ). Напротивъ, лицо добраго и умнаго смотрителя сіяло радостью, какъ будто онъ видѣлъ въ этомъ торжествѣ собственное свое. Я спросилъ его, кто этотъ мальчикъ. «Виссаріонъ Бѣлинскій, сынъ адѣйшнаго уѣзднаго штабъ-лѣкаря», сказалъ онъ мнѣ. Я поцѣловалъ Бѣлинскаго въ лобъ, съ душевной теплотой привѣтствовалъ его, тутъ же потребовалъ изъ продажной бібліотеки какую-то книжонку, на заглавномъ листѣ которой надписалъ «Виссаріону Бѣлинскому» за прекрасные успѣхи въ ученіи (или что-то подобное) отъ такого-то, тогда-то. Мальчикъ принялъ отъ меня книгу безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную дань, безъ низкихъ поклоновъ, которымъ учатъ *Бѣлинскій* съ малолѣтства».

Въ августѣ 1825 г. Бѣлинскій перешелъ изъ чебарскаго училища въ пензенскую гимназію (въ то время гимназія имѣла лишь четыре класса). У родителей Бѣлинскаго не было въ Пензѣ такихъ знакомыхъ, у которыхъ можно было бы помѣстить сына; но были земляки чебарцы, два семинариста старшихъ курсовъ; заботливости ихъ и были поручены Бѣлинскій со своимъ товарищемъ, вышеупомянутымъ Ивановымъ. Они заняли комнату во флигелѣ того же дома, гдѣ жили семинаристы, и пользовались столомъ отъ хозяйна. По свидѣтельству учителя естествознанія, М. М. Попова, «въ гимназіи, по возрасту и возмужалости, Бѣлинскій во всѣхъ классахъ былъ старше многихъ сотоварищей. Наружность его мало измѣнилась впослѣдствіи; онъ и тогда былъ неуклюжъ, угловатъ въ движеніяхъ. Неправильныя черты лица его между хорошенькими личиками другихъ дѣтей казались суровыми и старыми. На экзаціи онъ ѣздилъ въ Чебаръ; но не помню, чтобы отецъ его пріѣзжалъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принималъ въ немъ участіе. Онъ видимо былъ безъ женскаго призора, носилъ платье кое-какое, иногда съ непочиненными прорѣхами. Другой на его мѣстѣ смотрѣлъ бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были смѣлые, какъ бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ пошелъ и въ могилу».

Поступивъ въ гимназію съ хорошей предварительной подготовкой въ чебарскомъ училищѣ, Бѣлинскій перешелъ изъ перваго класса во второй; за ученіе во второмъ получилъ награду, и учился дѣйствительно хорошо по тѣмъ предметамъ, за которые ему дали награду. У него была большая память: онъ помнилъ много стиховъ, которые были для него всегда готовыми примѣрами на риторическія «фигуры»; онъ хорошо понималъ формулы логики и т. п.; у товарищей онъ слылъ «философомъ». По исторіи и географіи онъ былъ лучшимъ ученикомъ; учитель географіи, Знаменскій, съ любопытствомъ выслушивалъ тѣ особенныя дополненія, какія давалъ Бѣлинскій въ своихъ отвѣтахъ къ учебнику, и по окончаніи отвѣта всегда, бывало, говаривалъ: «откуда вы это вычитали?» И когда Бѣлинскій называлъ источникъ, учитель снова разсыпался въ похвалахъ.

Но самымъ любимымъ у Бѣлинскаго учителемъ былъ вышеупомянутый М. М. Поповъ, знакомый съ Бѣлинскимъ не только по гимназіи, но и въ ея, такъ какъ Бѣлинскій ходилъ къ нему въ домъ, будучи друженъ съ его племянникомъ. «Онъ бралъ у меня книги и журналы,—рассказываетъ Поповъ,—пересказывалъ мнѣ прочитанное, судилъ и ридилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ... По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неравный мнѣ; но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ... Домашнія бесѣды наши продолжались и послѣ того, какъ Бѣлинскій поступилъ въ высшіе классы гим-

назін. Дома мы толковали о словесности; въ гимназiи онъ съ другими учениками слушалъ у меня естественную исторiю. Но въ казанскомъ университетѣ я шелъ по филологическому факультету и русская словесность всегда была моею исключительной страстью. Можете представить себѣ, что иногда происходило въ классѣ естественной исторiи, гдѣ передъ страстнымъ, еще молодымъ въ то время, учителемъ сидѣлъ такой же страстный къ словесности ученикъ. Разумѣется, начиналъ я съ зоологiи, ботаники и орнитогнозiи, и старался держаться этого берега, но съ середины, а случалось и съ начала лекціи, отъ меня ли, отъ БѢлинскаго ли, Богъ знаетъ, только естественныя науки превращались у насъ въ теорiю или исторiю литературы. Отъ Бюффона-натуралиста я переходилъ къ Бюффон-писателю, отъ гумбольдтовой географіи растений — къ его «Картинамъ природы», отъ нихъ — къ поэзіи разныхъ странъ, потомъ... къ цѣлому міру въ сочиненіяхъ Шиллера и Жуковского... А гербаризація? Бывало, когда отправлюсь съ учениками за городъ, во всю дорогу, пока не дойдемъ до застѣки, что назади городского гулянья, или до рощей, что за рѣкой Пензой, БѢлинскій пристаетъ ко мнѣ съ вопросами о Гёте, Вальтерѣ Скоттѣ, Байронѣ, Пушкинѣ, о романтизмѣ и обо всемъ, что волновало въ то доброе время наши молодые сердца».

Такимъ образомъ, уже отрокомъ, БѢлинскій весь погрузился какъ въ изученіе русской поэзіи, такъ и въ стихотворныя подражанія любимымъ поэтамъ. «Еще мальчикомъ и ученикомъ уѣзднаго училища, — говоритъ онъ въ одной своей рецензіи въ «Молвъ» 1835 г., — я, въ огромныя книги тетрадей, неутомимо, дено и ношно, и безъ всякаго разбору, списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Станевича, Богдановича, Максима Невзорова, Крылова и другихъ...; плакалъ, читая «Бѣдную Лизу» и «Марьину рошу», и вѣялъ себѣ въ священнѣйшую обязанность бродить по полямъ при темномъ свѣтѣ луны, съ повурымъ лицомъ à la Эрастъ Чертополоховъ. Воспоминанія дѣтства такъ обильны, къ тому же природа мнѣ дала самое чувствительное сердце и сдѣлала меня поэтомъ, ибо, еще будучи ученикомъ уѣзднаго училища, я писалъ баллады и думалъ, что онѣ не хуже балладъ Жуковского, не хуже «Райсы» Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума»...

Увлечшись такимъ образомъ литературою, БѢлинскій началъ рѣдко посѣщать классы и совсѣмъ забросилъ гимназическое ученіе, тѣмъ болѣе, что въ общемъ преподаваніи въ пензенской гимназiи было въ то время весьма неудовлетворительно. Онъ задумалъ поступить въ московскій университетъ, выйдя изъ гимназiи до окончанія курса, и подготовиться дома къ приемному экзамену; къ тому же, лѣта его вполне подходили къ университетскому курсу: ему было уже 18-ть лѣтъ. И вотъ къ Рождеству 1828 года онъ уѣхалъ въ Чебаръ и уже не возвращался въ гимназію; въ началѣ слѣдующаго года его вычеркнули изъ списковъ.

II.

Не легко было БѢлинскому собраться въ университетъ, такъ какъ отецъ, по ограниченности средствъ, не могъ содержать его въ Москвѣ; не легко было ему и поступить въ университетъ, соблюдая массу формальностей въ родѣ представленія всѣхъ требуемыхъ для этого документовъ. Но и по принятии въ число студентовъ не легче стало БѢлинскому. Онъ подалъ 25-го сентября просьбу о принятии его на казенное содержаніе; рѣшеніе же на эту просьбу послѣдовало не раньше Рождества, и до тѣхъ поръ ему приходилось жить на свой счетъ, страшно бѣдствуя, не доѣдая, не допивая и не имѣя форменнаго платья, вслѣдствіе чего инспекторъ Чумаковъ грозилъ выключить его изъ университета.

По принятии на казенный счетъ положеніе БѢлинскаго поправилось, и первое время онъ былъ очень доволенъ бытомъ казенныхъ студентовъ. Но это довольство продолжалось недолго. Въ іюнѣ 1830 г. мѣсто прежняго инспектора, Перевощикова, занялъ новый — проф. П. С. Щепкинъ; начались новыя, очень стѣснительныя порядки, и мало-помалу БѢлинскій отъ всей души возненавидѣлъ «казенный коштъ».

Казенные студенты въ московскомъ университетѣ жили по нѣскольку человѣкъ въ комнатѣ, называемой нумеромъ. БѢлинскій былъ помѣщенъ въ одиннадцатомъ нумерѣ, и, безъ сомнѣнія, подъ его влияніемъ этотъ одиннадцатый нумеръ прослылъ въ университетѣ самымъ литературнымъ. «Споръ о классицизмѣ и романтизмѣ еще не прекращался тогда между литераторами, — рассказываетъ одинъ изъ товарищей БѢлинскаго, Прозоровъ, — несмотря на глубокомысленное и многостороннее рѣшеніе этого вопроса Надеждинымъ въ его докторскомъ разсужденіи о происхожденіи и судьбахъ поэзіи романтической... И между студентами были свои классики и романтики, сильно ратовавшіе между собою на словахъ. Нѣкоторые изъ старшихъ студентовъ, слушавшіе теорію краснорѣчія и поэзіи Мералякова и напитанные его переводами изъ греческихъ и римскихъ поэтовъ, были въ восторгѣ отъ его перевода Тассова «Іерусалима» и очень неблагоприятно отзывались о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина, только-что появившемся въ печати, съ торжествомъ указывая на глумливыя о немъ отзывы въ «Вѣстникѣ Европы». Первогодичные студенты, воспитанные въ школѣ Жуковского и Пушкина и не заставшіе уже въ живыхъ Мералякова, мало сочувствовали его переводамъ и взаимно того знали наизусть прекрасныя пѣсни его и безпрестанно декламировали цѣлыя сцены изъ комедіи Грибоѣдова, которая тогда еще не была напечатана. Пушкинъ приводилъ насъ въ неописанный восторгъ. Между младшими студентами самымъ ревностнымъ поборникомъ романтизма былъ БѢлинскій, который отличался необыкновенной горячностью въ спорахъ, и, казалось, готовъ былъ вызвать на битву всѣхъ, кто противорѣчилъ его убѣжденіямъ. Увле-

каясь пылкостью, онъ ѣдко и безпощадно преслѣдовалъ все пошлое и фальшивое, былъ жестокимъ гонителемъ всего, что отзывалось риторикой и литературнымъ старовѣрствомъ. Доставалось отъ него иногда не только Ломоносову, но и Державину за риторическіе стихи и пустозвонныя фразы».

Мало-по-малу въ одиннадцатомъ номерѣ случайныя сходы и толки студентовъ приняли болѣе постоянный характеръ—образовалось нѣчто въ родѣ общества. Участники «литературныхъ вечеровъ», какъ называлось это общество, разсуждали о прочитанномъ въ журналахъ, о лекціяхъ профессоровъ, и читали собственныя сочиненія и переводы. Главными учредителями «вечеровъ» были М. Б. Чистяковъ, извѣстный впоследствии педагогъ, и Бѣлинскій. Первый переводилъ тогда съ нѣмецкаго «Теорію изящныхъ искусствъ» Бахмана, которую посвятилъ студентамъ университета, и былъ секретаремъ «вечеровъ»; президента въ обществѣ не было; секретарь долженъ былъ читать въ собраніяхъ приготовленныя сочиненія; имена авторовъ не назывались—для свободы критики.

Профессорское преподаваніе мало удовлетворяло Бѣлинскаго и его товарищей. Московскій университетъ былъ тогда еще наканунѣ того возрожденія, какое послѣдовало въ концѣ тридцатыхъ годовъ. Онъ доживалъ свой архаическій періодъ, и XVIII столѣтіе имѣло еще нѣсколько представителей въ наличномъ составѣ профессоровъ, и ихъ патріархальныя нравы нерѣдко сопровождались патріархальнымъ взглядомъ и на самую науку.

Главный предметъ, на которомъ должны были сосредоточиться интересы Бѣлинскаго, была, конечно, русская словесность. Ее излагалъ Побѣдоносцевъ, представлявшій собою живое преданіе литературныхъ вкусовъ и понятій прошлаго столѣтія. «Вслѣдствіе особенной настроенности, — разсказываетъ Прозоровъ, — Бѣлинскій никакъ не могъ равнодушно слушать бургівскія лекціи перваго курса». На лекціяхъ реторики произошелъ съ нимъ слѣдующій случай. «Преподаватель реторики Побѣдоносцевъ, въ самомъ азартѣ объясненія «хрій», вдругъ остановился и, обратившись къ Бѣлинскому, сказалъ: «что ты, Бѣлинскій, сидишь такъ спокойно, какъ будто на шилѣ, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мнѣ послѣднія слова, на чемъ я остановился?» — «Вы остановились на словахъ, что я сижу на шилѣ», — отвѣчалъ спокойно и не задумавшись Бѣлинскій. При такомъ наивномъ отвѣтѣ студенты разразились смѣхомъ. Преподаватель съ гордымъ презрѣніемъ отвернулся отъ неразумнаго, по его разумѣнію, студента и продолжалъ свою лекцію, о хріяхъ, инверсахъ и автоніахъ»...

Послѣ этого столкновенія съ Побѣдоносцевымъ, Бѣлинскій совсѣмъ бросилъ его лекціи и вмѣсто этого началъ ходить на лекціи Надеждина. Такъ дѣлали и многіе изъ его товарищей, и Прозоровъ съ большимъ увлеченіемъ говорить, въ своихъ воспоминаніяхъ, о чтеніяхъ Надеждина, которыя на мѣсто сухой и ограниченной схоластики открывали слушателямъ новый для нихъ міръ искусства,

освѣщая его философскимъ пониманіемъ. Вліяніе Надеждина на Бѣлинскаго началось, повидимому, еще раньше вступленія Надеждина въ университетъ,—статьями «Недоумки» въ «Вѣстникѣ Европы» и «Телескопѣ»,—продолжалось университетскими лекціями и завершилось въ ихъ личномъ знакомствѣ по выходѣ Бѣлинскаго изъ университета. Надеждину Бѣлинскій былъ обязанъ первымъ знакомствомъ съ германскою философіею, которая впоследствии играла важную роль въ его жизни и литературной дѣятельности.

Когда перепадалъ лишній грошъ въ тощихъ студенческихъ карманахъ, товарищи по одиннадцатому номеру посѣщали театръ, который они очень любили, восторгаясь такими гениальными актерами, какъ Мочаловъ, Щепкинъ, Сандунова. И вотъ, подъ вліяніемъ шиллеровыхъ «Разбойниковъ» и «Коварства и любви» и шекспировой «Отелло», которые тогда часто давались на сценѣ, Бѣлинскій задумалъ самъ написать трагедію и очень скоро привелъ въ исполненіе свое намѣреніе: къ 1831 году трагедія была уже готова. Бѣлинскій былъ исполненъ юношескаго восторга отъ перваго творенія своего пера и возлагалъ на него самыя розовыя надежды какъ относительно снисканія литературной славы, такъ и улучшенія матеріальнаго положенія. Не замедилъ онъ представить свою пьесу на судъ своихъ товарищей. По разсказу Прозорова, чтеніе пьесы заняло нѣсколько вечеровъ, и она читалась не секретаремъ, а самимъ авторомъ. «Наружность его, — разсказываетъ Прозоровъ, — сколько могу припомнить, была очень истощена. Вмѣсто свѣжаго, живого румянца юности, на лицѣ его былъ разлитъ какой-то красноватый колоритъ; прическа волосъ на головѣ торчала хохломъ; движенія рѣзкія, походка скорая, но зато горячо и полно одушевленія было чтеніе автора, увлекшее слушателей страстнымъ изложеніемъ предмета и либеральными, по тогдашнему, идеями. Но, при изыскахъ изложенія, смѣлости мыслей и глубинѣ чувствъ, читаемая драма была слишкомъ растянута и содержала въ себѣ больше лиризма, чѣмъ дѣйствио. Очевидно, что драматическое поприще не было истиннымъ призваніемъ Бѣлинскаго». Бѣлинскій очень огорчился, когда по окончаніи пьесы ему сдѣлали замѣчанія объ ея недостаткахъ: «по измѣнившимся чертамъ лица его и засверкавшимъ глазамъ можно было ожидать, что вотъ онъ выпитися коршуномъ въ дерзкаго, осмѣливавшагося унижить его авторитетъ передъ товарищами, однако онъ сдержалъ свой порывъ, и только по чертамъ лица можно было прочесть чувство презрѣнія, какъ будто говорившее: *odi profanum vulgus et arceo*».

Послѣ прочтенія трагедіи товарищамъ Бѣлинскій носилъ ее къ какому-то изъ московскихъ журналистовъ, кажется, къ Погодину, но не встрѣтилъ вниманія къ своей пьесѣ; спесъ ее къ Лажечникову, который по содержанію трагедіи увидѣлъ, что она невозможна, и предостерегалъ о томъ Бѣлинскаго. Между тѣмъ студенты занялись въ это самое время устройствомъ домашняго театра въ самомъ универ-

сителѣ. Въ этомъ дѣлѣ принималъ горячее участіе тогдашній инспекторъ студентовъ, профессоръ математики Щепкинъ; костюмы доставались изъ Петровскаго театра, а актеръ Щепкинъ объяснялъ студентамъ сценическіе приемы. Искусная игра студентовъ и замѣчательная игра извѣстнаго тогда въ Москвѣ Радивилова на особой придуманной имъ балабайкѣ привлекали въ студенческій театръ много московской публики.

Захотѣлось и Бѣлинскому, чтобы его пьеса была играна на студенческой сценѣ. Съ этой цѣлью онъ представилъ ее въ цензуру, не подозревая, сколько неприятностей принесетъ ему первое его дѣтище. Въ цѣломъ въ трагедіи не было ничего зловерднаго; но въ ней заключалось нѣсколько пламенныхъ тирадъ противъ крѣпостнаго права, что считалось въ то время совсѣмъ непозволительнымъ. Нужно замѣтить при этомъ, что цензурное вѣдомство находилось въ то время подъ вѣдѣніемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и цензорами были профессора университетовъ.

«Прихожу, — рассказываетъ Бѣлинскій, въ одномъ изъ писемъ домой, — черезъ недѣлю въ цензурный комитетъ и узнаю, что мое сочиненіе цензуровалъ Н. А. Цѣтаевъ (заслуженный профессоръ, статскій совѣтникъ и кавалеръ). Прошу секретаря, чтобы онъ выдалъ мнѣ мою тетрадь; секретарь, вмѣсто отвѣта, подбѣжалъ къ ректору, сидѣвшему на другомъ концѣ стола и вскричалъ: «Иванъ Алексѣевичъ! Вотъ онъ, вотъ г. Бѣлинскій!» Не буду много распространяться, скажу только, что, несмотря на то, что мой цензоръ, въ присутствіи всѣхъ членовъ комитета, расхвалилъ мое сочиненіе и мои таланты какъ нельзя лучше, оно признано было безнравственнымъ, безчестящимъ университетъ, и о немъ составили журналъ!.. Но послѣ это дѣло уничтожено, и ректоръ сказалъ мнѣ, что обо мнѣ ежемѣсячно будутъ ему подаваться особенныя донесенія».

Уже раньше студенческая репутація Бѣлинскаго была поколеблена вышеописаннымъ столкновеніемъ съ Побѣдоносцевымъ, манкированіемъ лекцій и нѣкоторыми другими неприятностями съ начальствомъ. Трагедія переполнила чашу, и въ сентябрѣ 1832 г. Бѣлинскій былъ исключенъ изъ университета за «неспособность».

III.

По выходѣ изъ университета, Бѣлинскій очутился буквально на улицѣ, безъ пристанища, гроша денегъ въ карманѣ и можно даже сказать безъ одежды, такъ какъ ему не оставили даже казеннаго платя, которое обыкновенно предоставляли выходящимъ студентамъ. Онъ поселился на первый разъ со своими земляками и родственниками Ивановыми, и началъ искать уроковъ и литературной работы. Еще будучи въ университетѣ, онъ участвовалъ въ какомъ-то «Листкѣ» кн. Д. Л. Львова, гдѣ были помѣщены стихотворенія его «Русская быль» и небольшая библиографическая статья по поводу одной брошюры о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина. Но это было сотрудничество, по всей вѣроятности, без-

возмездное и ничего ему не давало. Купилъ онъ французскій романъ въ 4-хъ частяхъ, «Монфермельскую молочницу», Поль-де-Кока и принялся его переводить. «Къ Рождеству, — писалъ онъ домой, — съ великими трудами, просиживая иногда напролетъ цѣлыя ночи, а во время дня не слѣзая съ мѣста, перевелъ его, въ надеждѣ приобрести рублей 300. Но фортуна и тутъ престоко подпутила надо мной: въ газетахъ было объявлено о другомъ переводѣ сего самаго сочиненія, и потому я едва-едва могъ получить 100 р. асс.». Потомъ у него былъ планъ отправиться «на кондицію» въ Вологду или въ Орловскую губернію. Перевелъ онъ и другой романъ Поль-де-Кока «Магдалину», за который получилъ 200 руб.

Только къ 1834 году положеніе Бѣлинскаго сдѣлалось хоть сколько-нибудь сносно. Онъ познакомился къ этому времени съ Надеждинымъ и началъ переводить съ французскаго для «Телескопа» и «Молвы»; сверхъ того у него было уроковъ на 64 руб. въ мѣсяцъ. Онъ имѣлъ теперь возможность нанимать отдѣльную комнату, за которую со столомъ и чаемъ платилъ 40 руб. въ мѣсяцъ. Но что это была за комната, объ этомъ свидѣлствуетъ Лажечниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Бѣлинскій, — говоритъ онъ, — квартировалъ въ *бельэтажѣ* (слово это было подчеркнуто въ его адресѣ), въ какомъ-то переулкѣ между Трубой и Петровкой. Красивъ же былъ его бельэтажъ. Внизу жили и работали кузнецы. Пробирався къ нему надо было по грязной лѣстницѣ; рядомъ съ его камеркой была прачешная, изъ которой безпрестанно неслись къ нему испаренія мокраго бѣлья и вонючаго мыла. Каково было дышать этимъ воздухомъ, особенно ему, съ слабой грудью! Каково было слышать за дверями упорительную бесѣду прачекъ и подъ собой стукотню отъ молотовъ русскихъ циклоповъ, если не подземныхъ, то подпольныхъ! Не говорю о бѣднѣйшей обстановкѣ его комнаты, не запертой (хотя я не засталъ хозяина дома), потому что въ ней нечего было украсть. Прислуги никакой; онъ ѣлъ вѣроятно то, что ѣли его сосѣди. Сердце мое облилось кровью... Я спѣшилъ бѣжать отъ смраду испареній, обхватившихъ меня... скорѣе на чистый воздухъ, чтобы хоть нѣсколько облегчить грудь отъ всего, что я видѣлъ, что я прочувствовалъ въ этомъ убогомъ жилищѣ литератора»...

Всего ужаснѣе было то, что въ такой убогой обстановкѣ, въ такой смрадной атмосферѣ жилъ человекъ, который, будучи еще въ университетѣ, чувствовалъ уже и одышку, и боль въ груди, и страдалъ такимъ кашлемъ, что нѣсколько разъ поступалъ въ больницу. Однимъ словомъ, уже тогда въ немъ таились зародыши того злого недуга, который столь преждевременно свелъ его въ могилу. И можно вообразить себѣ, какую благоприятную почву для своего развитія имѣли эти зародыши въ вышеописанной обстановкѣ. Желая вытащить Бѣлинскаго изъ этой трупобы, Лажечниковъ устроилъ ему мѣсто домашняго секретаря къ одному богатому А. М. П.—кому, который имѣлъ страсть печататься и въ

каясь пылкостью, онъ ѣдко и безпощадно преслѣдовалъ все пошлое и фальшивое, былъ жестокимъ гонителемъ всего, что отзывалось риторикою и литературнымъ старовѣрствомъ. Доставалось отъ него иногда не только Ломоносову, но и Державину за риторические стихи и пустозвонныя фразы.

Мало-по-малу въ одиннадцатомъ номерѣ случайныя сходы и толки студентовъ приняли болѣе постоянный характеръ—образовалось нѣчто въ родѣ общества. Участники «литературныхъ вечеровъ», какъ называлось это общество, разсуждали о прочитанномъ въ журналахъ, о лекціяхъ профессоровъ, и читали собственныя сочиненія и переводы. Главными учредителями «вечеровъ» были М. Б. Чистяковъ, извѣстный впоследствии педагогъ, и Бѣлинскій. Первый переводилъ тогда съ нѣмецкаго «Теорію изящныхъ искусствъ» Бахмана, которую посвятилъ студентамъ университета, и былъ секретаремъ «вечеровъ»; президента въ обществѣ не было; секретарь долженъ былъ читать въ собраніяхъ приготовленныя сочиненія; имена авторовъ не назывались—для свободы критики.

Профессорское преподаваніе мало удовлетворяло Бѣлинскаго и его товарищей. Московскій университетъ былъ тогда еще наканунѣ того возрожденія, какое послѣдовало въ концѣ тридцатыхъ годовъ. Онъ доживалъ свой архаическій періодъ, и XVIII столѣтіе имѣло еще нѣсколько представителей въ наличномъ составѣ профессоровъ, и ихъ патріархальные нравы нерѣдко сопровождались патріархальнымъ взглядомъ и на самую науку.

Главный предметъ, на которомъ должны были сосредоточиться интересы Бѣлинскаго, была, конечно, русская словесность. Ее излагалъ Побѣдоносцевъ, представлявшій собою живое преданіе литературныхъ вкусовъ и понятій прошлаго столѣтія. «Вслѣдствіе особенной настроенности, — разсказываетъ Прозоровъ, — Бѣлинскій никакъ не могъ равнодушно слушать бургевскія лекціи перваго курса». На лекціяхъ риторики произошелъ съ нимъ слѣдующій случай. «Преподаватель риторики Побѣдоносцевъ, въ самомъ азартѣ объясненія «хрій», вдругъ остановился и, обратившись къ Бѣлинскому, сказалъ: «что ты, Бѣлинскій, сидишь такъ спокойно, какъ будто на шилѣ, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мнѣ послѣднія слова, на чемъ я остановился?» — «Вы остановились на словахъ, что я сижу на шилѣ», — отвѣчалъ спокойно и не задумавшись Бѣлинскій. При такомъ наивномъ отвѣтѣ студенты разразились смѣхомъ. Преподаватель съ гордымъ презрѣніемъ отвернулся отъ неразумнаго, по его разумѣнію, студента и продолжалъ свою лекцію, о хріяхъ, инверсахъ и автоніахъ»...

Послѣ этого столкновенія съ Побѣдоносцевымъ, Бѣлинскій совсѣмъ бросилъ его лекціи и вмѣсто этого началъ ходить на лекціи Надеждина. Такъ дѣлали и многіе изъ его товарищей, и Прозоровъ съ большимъ увлеченіемъ говорить, въ своихъ воспоминаніяхъ, о чтеніяхъ Надеждина, которыя на мѣсто сухой и ограниченной схоластики открывали слушателямъ новый для нихъ міръ искусства,

освѣщая его философскимъ пониманіемъ. Вліяніе Надеждина на Бѣлинскаго началось, повидимому, еще раньше вступленія Надеждина въ университетъ,—статьями «Недоумки» въ «Вѣстникѣ Европы» и «Телескопѣ»,—продолжалось университетскими лекціями и завершилось въ ихъ личномъ знакомствѣ по выходѣ Бѣлинскаго изъ университета. Надеждину Бѣлинскій былъ обязанъ первымъ знакомствомъ съ германскою философіею, которая впоследствии играла важную роль въ его жизни и литературной дѣятельности.

Когда перепадалъ лишній грошъ въ тощихъ студенческихъ карманахъ, товарищи по одиннадцатому номеру посѣщали театръ, который они очень любили, восторгаясь такими гениальными актерами, какъ Мочаловъ, Щепкинъ, Сандунова. И вотъ, подъ вліяніемъ шиллеровыхъ «Разбойниковъ» и «Коварства и любви» и шекспировой «Отелло», которые тогда часто давались на сценѣ, Бѣлинскій задумалъ самъ написать трагедію и очень скоро привелъ въ исполненіе свое намѣреніе: къ 1831 году трагедія была уже готова. Бѣлинскій былъ исполненъ юношескаго восторга отъ перваго творенія своего пера и возлагалъ на него самыя розовыя надежды какъ относительно снисканія литературной славы, такъ и улучшенія матеріальнаго положенія. Не замедлил онъ представить свою пьесу на судъ своихъ товарищей. По разсказу Прозорова, чтеніе пьесы заняло нѣсколько вечеровъ, и она читалась не секретаремъ, а самимъ авторомъ. «Наружность его, — разсказываетъ Прозоровъ, — сколько могу припомнить, была очень истощена. Вмѣсто свѣжаго, живого румянца юности, на лицѣ его былъ разлитъ какой-то красноватый колоритъ; прическа волосъ на головѣ торчала хохломъ; движенія рѣзкія, походка скорая, но зато горячо и полно одушевленія было чтеніе автора, увлекшее слушателей страстнымъ изложеніемъ предмета и либеральными, по тогдашнему, идеями. Но, при изысканствѣ изложенія, смѣлости мыслей и глубинѣ чувствъ, читаемая драма была слишкомъ растянута и содержала въ себѣ больше лиризма, чѣмъ дѣйствія. Очевидно, что драматическое поприще не было истиннымъ призваніемъ Бѣлинскаго». Бѣлинскій очень огорчился, когда по окончаніи пьесы ему сдѣлали замѣчанія объ ея недостаткахъ: «по измѣнившимся чертамъ лица его и засверкавшимъ глазамъ можно было ожидать, что вотъ онъ вѣщитъ коршуномъ въ дерзкаго, осмѣливавшагося унижить его авторитетъ передъ товарищами, однако онъ сдержалъ свой порывъ, и только по чертамъ лица можно было прочесть чувство презрѣнія, какъ будто говорившее: *odi profanum vulgus et arceo*».

Послѣ прочтенія трагедіи товарищамъ Бѣлинскій носилъ ее къ какому-то изъ московскихъ журналистовъ, кажется, къ Погодину, но не встрѣтилъ вниманія къ своей пьесѣ; спестъ ее къ Лажечникову, который по содержанію трагедіи увидѣлъ, что она невозможна, и предостерегалъ о томъ Бѣлинскаго. Между тѣмъ студенты занялись въ это самое время устроившемъ домашняго театра въ самомъ универ-

сителѣ. Въ этомъ дѣлѣ принималъ горячее участіе тогдашній инспекторъ студентовъ, профессоръ математики Щепкинъ; костюмы доставались изъ Петровскаго театра, а актеръ Щепкинъ объяснялъ студентамъ сценическіе приемы. Искусная игра студентовъ и замѣчательная игра извѣстнаго тогда въ Москвѣ Радивилова на особой придуманной имъ балабайкѣ привлекали въ студенческій театръ много московской публики.

Захотѣлось и Бѣлинскому, чтобы его пьеса была играна на студенческой сценѣ. Съ этой цѣлью онъ представилъ ее въ цензуру, не подозревая, сколько неприятностей принесетъ ему первое его дѣтище. Въ цѣломъ въ трагедіи не было ничего зловерднаго; но въ ней заключалось нѣсколько пламенныхъ тирадъ противъ крѣпостнаго права, что считалось въ то время совсѣмъ неспозволительнымъ. Нужно замѣтить при этомъ, что цензурное вѣдомство находилось въ то время подъ вѣдѣніемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и цензорами были профессора университетовъ.

«Прихожу, — рассказываетъ Бѣлинскій, въ одномъ изъ писемъ домой, — черезъ недѣлю въ цензурный комитетъ и узнаю, что мое сочиненіе цензуровалъ Н. А. Цѣтаевъ (заслуженный профессоръ, статскій совѣтникъ и кавалеръ). Прошу секретаря, чтобы онъ выдалъ мнѣ мою тетрадь; секретарь, вмѣсто отвѣта, подбѣжалъ къ ректору, сидѣвшему на другомъ концѣ стола и вскричалъ: «Иванъ Алексѣевичъ! Вотъ онъ, вотъ г. Бѣлинскій!» Не буду много распространяться, скажу только, что, несмотря на то, что мой цензоръ, въ присутствіи всѣхъ членовъ комитета, расхвалилъ мое сочиненіе и мои таланты какъ нельзя лучше, оно признано было безнравственнымъ, безчестящимъ университетъ, и о немъ составили журналъ!.. Но послѣ это дѣло уничтожено, и ректоръ сказалъ мнѣ, что обо мнѣ ежемѣсячно будутъ ему подаваться особенныя донесенія».

Уже раньше студенческая репутація Бѣлинскаго была поколеблена вышеописаннымъ столкновеніемъ съ Побѣдоносцевымъ, манкированіемъ лекцій и нѣкоторыми другими неприятностями съ начальствомъ. Трагедія переполнила чашу, и въ сентябрѣ 1832 г. Бѣлинскій былъ исключенъ изъ университета за «неспособность».

III.

По выходѣ изъ университета, Бѣлинскій очутился буквально на улицѣ, безъ приставища, гроша денегъ въ карманѣ и можно даже сказать безъ одежды, такъ какъ ему не оставили даже казеннаго платья, которое обыкновенно предоставляли выходящимъ студентамъ. Онъ поселился на первый разъ со своими земляками и родственниками Ивановыми, и началъ искать уроковъ и литературной работы. Еще будучи въ университетѣ, онъ участвовалъ въ какомъ-то «Листкѣ» кн. Д. М. Львова, гдѣ были помѣщены стихотворенія его «Русская быль» и небольшая библиографическая статейка по поводу одной брошюры о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина. Но это было сотрудничество, по всей вѣроятности, без-

возмездное и ничего ему не давало. Купилъ онъ французскій романъ въ 4-хъ частяхъ, «Монфермельскую молочницу», Поль-де-Кока и принялся его переводить. «Къ Рождеству, — писалъ онъ домой, — съ великими трудами, просиживая иногда напролетъ цѣлыя ночи, а во время дня не слѣзая съ мѣста, перевелъ его, въ надеждѣ приобрести рублей 300. Но фортуна и тутъ презрительно подшутила надо мной: въ газетахъ было объявлено о другомъ переводѣ сего самаго сочиненія, и потому я едва-едва могъ получить 100 р. асс.» Потомъ у него былъ планъ отправиться «на кондичію» въ Вологду или въ Орловскую губернію. Перевелъ онъ и другой романъ Поль-де-Кока «Магдалину», за который получилъ 200 руб.

Только къ 1834 году положеніе Бѣлинскаго сдѣлалось хоть сколько-нибудь сносно. Онъ познакомился къ этому времени съ Надеждинымъ и началъ переводить съ французскаго для «Телескопа» и «Молвы»; сверхъ того у него было уроковъ на 64 руб. въ мѣсяцъ. Онъ имѣлъ теперь возможность нанимать отдѣльную комнату, за которую со столомъ и чаемъ платилъ 40 руб. въ мѣсяцъ. Но что это была за комната, объ этомъ свидѣлствуетъ Лажечниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Бѣлинскій, — говоритъ онъ, — квартировалъ въ *бельэтажѣ* (слово это было подчеркнуто въ его адресѣ), въ какомъ-то переулкѣ между Трубой и Петровкой. Красивъ же былъ его бельэтажъ. Внизу жили и работали кузнецы. Пробиравшись къ нему надо было по грязной лѣстницѣ; рядомъ съ его каморкой была прачешная, изъ которой безпрестанно неслись къ нему испаренія мокраго бѣлья и вонючаго мыла. Каково было дышать этимъ воздухомъ, особенно ему, съ слабой грудью! Каково было слышать за дверями упорительную бесѣду прачекъ и подъ собой стукотню отъ молотовъ русскихъ циклоповъ, если не подземныхъ, то подпольныхъ! Не говорю о бѣднѣйшей обстановкѣ его комнаты, не запертой (хотя я не засталъ хозяина дома), потому что въ ней нечего было украсть. Прислуги никакой; онъ ѣлъ вѣроятно то, что ѣли его сосѣди. Сердце мое облилось кровью... Я спѣшилъ бѣжать отъ смраду испареній, обхватившихъ меня... скорѣе на чистый воздухъ, чтобы хоть нѣсколько облегчить грудь отъ всего, что я видѣлъ, что я почувствовалъ въ этомъ убогомъ жилищѣ литератора»...

Всего ужаснѣе было то, что въ такой убогой обстановкѣ, въ такой смрадной атмосферѣ жилъ человѣкъ, который, будучи еще въ университетѣ, чувствовалъ уже и одышку, и боль въ груди, и страдалъ такимъ кашлемъ, что нѣсколько разъ поступалъ въ больницу. Однимъ словомъ, уже тогда въ немъ таились зародыши того злого недуга, который столь преждевременно свелъ его въ могилу. И можно вообразить себѣ, какую благоприятную почву для своего развитія имѣли эти зародыши въ вышеописанной обстановкѣ. Желая вытащить Бѣлинскаго изъ этой трущобы, Лажечниковъ устроилъ ему мѣсто домашняго секретаря къ одному богатому А. М. П. — кому, который имѣлъ страсть печататься и въ

литературѣ являлся подъ псевдонимомъ Дормедонта Прутикова. Занятія секретаря должны были состоять въ исправленіи грамматическихъ и другихъ погрѣшностей въ сочиненіяхъ этого бездарнаго писателя. Прутиковъ не разъ обращался съ подобными просьбами къ Лажечникову, но когда тотъ уклонился отъ этого, онъ уже просто просилъ найти ему въ помощники «надежнаго» студента. Лажечниковъ рекомендовалъ ему Бѣлинскаго.

«Вскорѣ, — рассказываетъ Лажечниковъ, — онъ водворенъ въ аристократическомъ домѣ, пользуется не только чистымъ, но даже ароматическимъ воздухомъ, имѣетъ прислугу, которая летаетъ по его мановенію, имѣетъ хорошій столъ, отличныя вина, слушаетъ музыку разныхъ европейскихъ знаменитостей (одна дочь его — архи-музыкантша), располагаетъ огромной бібліотекой, будто собственной, однимъ словомъ, катается, какъ сыръ въ маслѣ. Но вскорѣ заходятъ тучи надъ этою блаженною жизнью. Оказывается, что за нее надо подчасъ жертвовать своими убѣжденіями, собственной рукой писать имъ приговоры, дѣйствовать противъ совѣсти. И вотъ, въ одно прекрасное утро, Бѣлинскій исчезаетъ изъ дома, начиненнаго всѣми житейскими благами, исчезаетъ съ своимъ добромъ, завязаннымъ въ носовой платокъ, и съ сокровищемъ, которое онъ носитъ въ груди своей. Его превосходительству оставлена записка съ извиненіемъ нижеподписавшагося покорнаго слуги, что онъ не сроденъ къ должности домашняго секретаря»...

Надо при этомъ замѣтить, что скверная матеріальная обстановка мало въ это время смущала Бѣлинскаго. Онъ совсѣмъ не замѣчалъ ея, такъ какъ весь былъ углубленъ въ духовную жизнь, и всѣ силы души его были устремлены къ умственному и нравственному развитію и самоусовершенствованію. Чтобы объяснить, какой характеръ представляла духовная жизнь Бѣлинскаго въ это время, намъ придется вернуться нѣсколько назадъ.

Въ одно время съ Бѣлинскимъ проходилъ курсъ московскаго университета сынъ богатаго воронежскаго помѣщика, Николай Владиміровичъ Станкевичъ. Это былъ юноша гениальныхъ способностей. Довольно сказать, что даже литературные противники отзывались о немъ не иначе, какъ съ восторгомъ. Такъ, Погодинъ въ «Москвитинѣ» по поводу его преждевременной смерти въ 1841 году выражается такъ: «Станкевичъ, надежда науки, надежда отечества, преданіе философій, и въ два года, пріуроченный, пріобрѣлъ такіе познанія, что знаменитые берлинскіе профессора поклонялись его свѣтлой и ясной головѣ, его блистательнымъ способностямъ. Злая чашотка свела его въ могилу». Можно представить себѣ, какъ благоговѣли передъ нимъ друзья и приверженцы его. Онъ казался поистинѣ существомъ не отъ міра сего, воздушнымъ, безтѣлеснымъ гениемъ, исполненнымъ граціознаго, тонкаго изящества и нѣжнаго чувства. «Мало того, что кругомъ Станкевича, — говоритъ біографъ его Анненковъ, — жизнь шла трезво и бодро, но она, благодаря ему, носила рѣдкій оттѣнокъ скромности.

Несмотря на его природную веселость, было что-то умѣренное и деликатное въ его шуткѣ, подобно тому, какъ мысль его отличалась истиннымъ цѣломудріемъ, несмотря на страсти и увлеченія молодости. Все это, конечно, держало разнородныя личности, изъ которыхъ состоялъ кругъ его, въ одномъ общемъ настроеніи и на одной нравственной высотѣ».

«Болѣзненный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель, — читаемъ мы въ воспоминаніяхъ одного современника, — Станкевичъ естественно долженъ былъ больше любить созерцаніе и отвлеченное мышленіе, чѣмъ вопросы жизненные и чисто практическіе; его артистическій идеализмъ ему шелъ; это былъ «побѣдный вѣнокъ, выступавшій на блѣдномъ, предсмертномъ челѣ юноши».

Въ бытность Станкевича въ университетѣ вокругъ него составилъ кружокъ курсовыхъ товарищей Станкевича, къ которому вскорѣ стали примыкать новыя лица, не принадлежавшія университету. Такъ, товарищемъ Станкевича былъ извѣстный поэтъ Красовъ, идеалистъ и мечтатель; С. Стровъ, поэтъ И. П. Ключниковъ, стихотворенія котораго являлись потомъ подъ буквой — в —; А. П. Ефремовъ; Константинъ Аксаковъ, шедшій въ университетъ годомъ позже Станкевича. Рѣдкими наѣздами являлся въ Москву знаменитый народный поэтъ Кольцовъ, землякъ Станкевича (послѣдній покровительствовалъ Кольцову, содѣйствовалъ его извѣстности и впоследствии издалъ его сочиненія). Съ 1831 года къ этому кружку примкнулъ и Бѣлинскій.

Всѣ члены кружка были восторженные идеалисты и романтики съ оттѣнкомъ сентиментальнаго прекрасошудія. Всѣ они стремились жить жизнью исключительно духовною, причемъ заботились о взаимномъ развитіи не только умственномъ, но и нравственномъ. Такъ, между прочимъ у нихъ было положено не имѣть тайнъ одному отъ другого и раскрывать другъ другу всю душу для взаимокритики.

И вотъ подъ кроткимъ и гуманнымъ вліяніемъ кружокъ развивался, принимая въ себя всѣ умственные элементы, окружавшіе юношей. Друзья читали «Телеграфъ» Полевого, «Московский Вѣстникъ» Погодина, «Телескопъ» Надеждина, увлекались сочиненіями кн. Одоевскаго, по цѣлымъ часамъ заслушивались краснорѣчивыхъ импровизаций Надеждина и, подъ вліяніемъ ихъ, все болѣе и болѣе проникались идеей важности и необходимости эстетическаго образованія. Изъ аудиторіи Надеждина они спускались внизъ въ аудиторію Павлова, и обимъ этимъ профессорамъ были обязаны той страстью къ философій, которая впоследствии въ нихъ развилась. Уже въ университетѣ мысль ихъ начала работать въ духѣ шеллинговой философій. Но московскіе профессора познакомили своихъ учениковъ лишь съ общими основаніями шеллинговой философій. Болѣе же основательное и самостоятельное знакомство съ Шеллингомъ началось въ кружкѣ Станкевича уже послѣ университета, съ 1835 года.

Станкевичъ жилъ у проф. Павлова. По вечерамъ

друзья собирались въ скромной комнатѣ Станкевича, и здѣсь велись оживленные юношескія бесѣды о чувствѣ изящнаго, о любви, о дружбѣ и пр. Здѣсь Красовъ разсказывалъ о своихъ встрѣчахъ съ неземными существами. Здѣсь Станкевичъ читалъ своимъ товарищамъ, не знавшимъ еще нѣмецкаго языка, какъ напр. БѢлинскому, своихъ любимыхъ нѣмецкихъ поэтовъ—Шиллера, Гёте, Гофмана. Изъ русскихъ же писателей друзья зачитывались Пушкинымъ, Жуковскимъ, а въ послѣдствіи Лермонтовымъ и Гоголемъ. Въ этотъ періодъ развитія въ кружкѣ Станкевича Шиллеръ преобладалъ еще надъ Гёте, но болѣе всего друзья увлекались Гофманомъ. Мечтатель-фантазеръ, который не могъ говорить объ искусствѣ равнодушно, и едва касался какого-либо предмета искусства, то не иначе изображалъ его, по выраженію біографа Станкевича, какъ въ огненномъ, нестерпимомъ блескѣ, въ сверхъестественныхъ фантастическихъ размѣрахъ; исполнивъ же задачу, самъ падалъ ницъ передъ собственнымъ представленіемъ—такой писатель былъ какъ нельзя болѣе подѣлъ юнымъ мечтателямъ и поклонникамъ искусства.

Безъ сомнѣнія, Гофману, въ особенности его повѣсти «*Seltsame Leiden eines Theater-Directors*», были обязаны друзья тѣмъ юношескимъ энтузіазмомъ, съ какимъ они смотрѣли на театр. Театръ былъ для нихъ не однимъ только развлеченіемъ, но храмомъ искусства, къ которому они питали религіозное поклоненіе и въ который входили съ благоговѣніемъ.

«Театръ становится для меня атмосферой,—говоритъ Станкевичъ въ одномъ изъ писемъ Невѣрову,—прекрасное моей жизни не отъ міра сего. Налить свои чувства некому—тамъ, въ храмѣ искусства, какъ-то вольнѣе душѣ, множество народа не стѣсняетъ ея, ибо надъ этимъ множествомъ паритъ какая-то мысль, она закрываетъ меня отъ ничтожныхъ, не внемлющихъ голосу общественной любви въ искусствѣ... Наше искусство невысоко; но театръ и музыка располагаютъ душу мечтать о немъ, о его совершенствѣ, о прелести изящнаго, дѣлать планы эфемерные, скоротечныя... Но еще рельефнѣе и пламеннѣе выражены эти самыя мысли въ первой статьѣ БѢлинскаго «Литературныя мечтанія».

«Театръ! Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, т.-е. всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго. Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театръ болѣе всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? И въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточиваются ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ?» и т. д.

IV.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ и подѣ какими вліяніями была написана первая критическая статья БѢлинскаго «Литературныя мечтанія. Элегія

въ прозѣ», напечатанная въ 1834 году въ сентябрьскихъ нумерахъ «Молвы», издававшейся Надеждинымъ при «Телескопѣ». Статья эта сразу обратила на себя общее вниманіе всей читающей публики и произвела впечатлѣніе событія. Въ статьѣ этой впервые критика являлась во всеоружіи, съ одной стороны, философской системы, подѣ которую подводилась вся исторія нашей литературы въ связи съ жизнью общества, начиная съ Петра I, а съ другой стороны—одушевленія, доходящаго порою до пламеннаго пафоса... Въ статьѣ этой отразилось все, чѣмъ жилъ кружокъ, къ которому принадлежалъ БѢлинскій. Такъ, прежде всего мы видимъ въ ней сильное вліяніе статей Надеждина. Самое заглавіе статьи «Литературныя мечтанія» напоминаетъ заглавіе статьи Надеждина «Литературныя опасенія». Главною мыслью въ статьѣ БѢлинскаго, какъ и во всѣхъ статьяхъ Надеждина, является то положеніе, что у насъ нѣтъ литературы. Для доказательства этой мысли БѢлинскій прежде всего излагаетъ основанія шеллинговой философіи и затѣмъ, на основаніи идей этой философіи объ искусствѣ, говоритъ:

«Каждый народъ, вслѣдствіе непреложнаго закона Провидѣнія, долженъ выражать своею жизнью одну какую-нибудь сторону жизни цѣлаго человѣчества; въ противномъ случаѣ, этотъ народъ не живетъ, а только прозябаетъ, и его существованіе ни къ чему не служитъ. Да, только идя по разнымъ дорогамъ, человѣчество можетъ достигнуть своей единой цѣли; только живя самобытною жизнью, можетъ каждый народъ принести долю въ общую сокровищницу. Въ чемъ же состоитъ самобытность каждаго народа? Въ особенномъ, ему принадлежащемъ образѣ мыслей и взглядѣ на предметы, въ религіи, языкѣ и болѣе всего въ обычаяхъ».

Исходя изъ этихъ идей, БѢлинскій подробно обобъзрѣваетъ весь ходъ нашей литературы, начиная съ Кантемира, и сообразно тому, насколько тотъ или другой писатель представляется самобытнымъ и народнымъ, приходитъ къ тому выводу, что вся наша литература сосредоточивается въ четырехъ именахъ:

«Въ самомъ дѣлѣ, Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибоедовъ—вотъ всѣ ея представители,—говоритъ БѢлинскій,—другихъ покуда нѣтъ и не ищите ихъ. Но могутъ ли составить цѣлую литературу четыре человека, явившіеся не въ одно время? И притомъ, развѣ они были не случайными явленіями? Гдѣ же, спрашиваю васъ, литература? У насъ было много талантовъ и талантиковъ, но мало, слишкомъ мало, художниковъ по призванію, т.-е. такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать одно и то же, которые уничтожаются виѣ искусства, которымъ не нужно протекцій, не нужно меценатовъ, или, лучше сказать, которые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ не убиваютъ ни деньги, ни отличія, ни несправедливости, которые до послѣдняго вздоха остаются вѣрными своему святому призванію. У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эва-

ха романовъ и повѣстей, теперь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на романы всюду проходить; теперь терзаемъ драму. И все это безъ причины, все это изъ подражательности; когда же наступитъ у насъ истинная эпоха искусства? Она наступитъ, будьте въ томъ увѣрены! Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которомъ бы выразилась физиономія могучаго русскаго народа; надобно, чтобы у насъ было просвѣщеніе, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почвѣ»...

Такимъ образомъ эстетическіе взгляды Бѣлинскаго въ этотъ первый періодъ его дѣятельности могутъ быть сформулированы двумя положеніями: 1) поэтическое творчество заключается въ стремленіи поэта воплощать идеи въ образы искусства, и оно до тѣхъ только поръ можетъ быть названо поэтическимъ творчествомъ, пока оно свободно и произвольно, и 2) идеи, воспроизводимыя поэтомъ, суть тѣ, представителемъ которыхъ является народъ, которому принадлежитъ поэтъ, и время, въ которое поэтъ живетъ. Этими двумя положеніями, вполне въ духѣ философіи Шеллинга, обуславливались многія симпатіи и антипатіи Бѣлинскаго. На основаніи ихъ онъ возставалъ между прочимъ на стремленіе поэтовъ искусственно поддѣлываться подъ народную поэзію. По мнѣнію Бѣлинскаго, Пушкинъ былъ болѣе народенъ, когда писалъ *естественно* и *непроизвольно* по внушенію вдохновенія, чѣмъ когда *поддѣлывался* подъ народные сказки. На тѣхъ же основаніяхъ напалъ Бѣлинскій и на Бедендикова, въ каждомъ стихѣ котораго видѣлъ надуманную вычурность вмѣсто истиннаго, непосредственнаго творчества, и на Шевырева за то, что «большая часть оригинальныхъ произведеній Шевырева, за исключеніемъ весьма немногихъ, обнаруживающихъ неподдѣльное чувство, при всѣхъ ихъ достоинствахъ, часто обнаруживаютъ болѣе усилія ума, чѣмъ изліянія горячаго вдохновенія».

Но Бѣлинскій не держался подобныхъ критическихъ положеній съ педантическою строгостію. Въ то время въ литературѣ были такіа явленія, которыя производили на общество и молодежь сильное вліяніе, но при этомъ не были ни непосредственны, ни народны. Таковы были произведенія кн. Одоевскаго и Полевого. Для Бѣлинскаго достаточно было, что они были для своего времени прогрессивны, заставляя людей надъ многимъ задумываться, чтобы онъ относился къ нимъ сочувственно.

Вліяніе кн. Одоевскаго и Полевого на Бѣлинскаго, не менѣе чѣмъ и вліяніе Надеждина, весьма сильно отражается на первыхъ статьяхъ Бѣлинскаго. Не иначе, какъ подъ этимъ вліяніемъ образовался у Бѣлинскаго романтическій идеалъ поэта въ видѣ мученика идеи, безкорыстно, самоотверженно преданнаго ея служенію и находящагося въ вѣчномъ разладѣ съ пошлою толпою, непонимающею гевія.

Этому же вліянію былъ обязанъ Бѣлинскій своею ненавистью къ людямъ большого свѣта за

то, какъ онъ патетически выражался, что они «потеряли образъ и подобіе Божіе, за то, что отреклись отъ Бога живого и поклонились идолу суеты, за то, что умъ, чувства, совѣсть, честь замѣнили условными приличіями!» Понятна становится и та желчь, которую изливалъ Бѣлинскій при всякомъ удобномъ случаѣ на погоню въ литературѣ за свѣтскостію, какъ это мы видимъ, напримеръ, въ нападкахъ на Шевырева, въ статьѣ «О критикѣ *Наблюдателя*», или въ рецензіяхъ о «Современникѣ», журналѣ, считавшемся тогда средоточіемъ свѣтской литературы и приближеннымъ великосвѣтскихъ писателей.

Самая живая, свѣтлая сторона дѣятельности Бѣлинскаго въ этотъ періодъ и заключается именно во всѣхъ этихъ нападкахъ на свѣтскую пустоту, «на молодчиковъ и дэнди, — какъ выражается Бѣлинскій, — не имѣющихъ никакихъ познаній, кромѣ навыка легко болтать всякій вздоръ по-французски, становящихся смѣшными и жалкими анахронизмами», затѣмъ въ злыхъ и мѣткихъ сарказмахъ, которыми осыпалъ Бѣлинскій всякое легкомысленное отношеніе къ дѣлу мысли, постыдный, шарлатанскій торгъ непереваренными слововзверженіями, низкое, нагло-безсовѣстное отношеніе къ литературѣ такихъ безчестныхъ литературныхъ торгашей, каковы были въ то время Гречъ, Булгаринъ, Сенковский; съ другой стороны — въ возвеличеніи молодого поколѣнія за то, что оно, «разочаровавшись въ гевіальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того, чтобы выдавать въ свѣтъ недозрѣлыя творенія, съ жадностію предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ». Эта сторона дѣятельности Бѣлинскаго и производила именно то потрясающее впечатлѣніе на общество, которое заставило съ первыхъ же статей Бѣлинскаго обратить на него всеобщее вниманіе. Этою пламенною проповѣдью просвѣщенія и заставилъ Бѣлинскій молодежь изъ балныхъ залъ бѣжать въ библіотеки и аудиторіи, отъ картъ и кутежей бросаться за чтеніе Шекспира, Байрона, Шиллера и Гёте, Пушкина и Гоголя. Можно въ самомъ дѣлѣ вообразить, какое потрясающее впечатлѣніе на юныя сердца должна была производить хотя бы нижеслѣдующая тирада, встрѣчаемая въ первой статьѣ Бѣлинскаго.

«И такъ, вотъ тебѣ двѣ дороги, два неизбежные пути: отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами свое своекорыстное я, дыши для счастья другихъ, жертвуй всѣмъ для блага родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего я, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства! Что? Ты не рѣшаешься? Этотъ подвигъ тебя страшитъ, кажется тебѣ не по силамъ? Ну, такъ вотъ тебѣ другой путь, — онъ шире, спокойнѣе, легче: люби самого себя больше всего на свѣтѣ; плачь, дѣлай добро лишь изъ выгоды; не бойся

зла, когда оно принесетъ тебѣ пользу. Помни это правило: съ нимъ тебѣ вездѣ будетъ тепло! Если ты рожденъ сильнымъ земли, гни твой хребетъ, ползи змѣей между тиграми, бросайся тигромъ между овнами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми вѣнцами, рамена согни подъ грузомъ незаслуженныхъ почестей и титуловъ. Весела и блестяща будетъ жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холодъ и голодъ, что такое угнетеніе и оскорбленіе; все будетъ трепетать тебя, вездѣ покорность и услужливость, отовсюду лесть и хваленіе, и поэтъ напишетъ тебѣ посланіе и оду, гдѣ сравнитъ тебя съ полубогами, и журналистъ прокричитъ во всеуслышаніе, что ты покровитель слабыхъ и сирыхъ, столпъ и опора отечества, правая рука государя! Какая тебѣ нужда, что въ душѣ твоей каждую минуту будетъ слишкомъ жарко, а въ сердцѣ слишкомъ холодно, что вопли угнетенныхъ тобою будутъ преслѣдовать тебя и на свѣтскомъ пиру, и на мягкомъ ложѣ сна, что тѣни погубленныхъ тобою окружаютъ твой болѣзненный одръ, составить около него адскую пляску и съ яростнымъ хохотомъ будутъ веселиться твоими послѣдними предсмертными страданіями, что передъ твоими глазами откроется ужасная картина нравственнаго уничтоженія за гробомъ мукъ вѣчныхъ! Э, любезный мой, ты правъ: жизнь — сонъ, и не увидишь, какъ пройдетъ!.. Зато весело поживешь, сладко поѣшь, мягко поспишь, повластвуешь надъ своими ближними, а вѣдь это чего-нибудь да стоитъ!...

Наконецъ, уже въ началѣ своей дѣятельности Бѣлинскій успѣлъ развить и выставить впередъ тѣ мысли о значеніи реальной поэзіи, которыя мимоходомъ были брошены въ диссертациі Надеждина, и вмѣстѣ съ тѣмъ впервые успѣлъ онъ оцѣнить, какъ гениальнаго и народнаго писателя, Гоголя, значенія котораго въ то время еще не понимали, считая его ничѣмъ болѣе, какъ веселымъ и комическимъ балагуромъ. Такъ, въ статьѣ «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя» Бѣлинскій проводитъ ту мысль, что, кромѣ идеальной поэзіи, можетъ быть еще иная—*реальная, поэзія жизни, поэзія дѣятельности*, которая не пересоздаетъ жизнь, но воспроизводитъ, возсоздаетъ ее и, какъ выпуклое стекло, отражаетъ въ себѣ подъ одною точкою зрѣнія разнообразныя ея явленія, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя нужны для составленія полной, оживленной и единой картины. И замѣчательно при этомъ гениальное чутье Бѣлинскаго, что, будучи еще рыцаремъ романтикомъ, онъ уже предвѣщалъ, что близко время, когда реальная поэзія восторжествуетъ надъ идеальною.

«И такъ, — говоритъ онъ въ вышеозначенной статьѣ, — поэзію можно раздѣлить на идеальную и реальную. Трудно было бы рѣшить, которой изъ нихъ должно отнать преимущество. Можетъ быть, каждая изъ нихъ равна другой, когда удовлетворяетъ условіямъ творчества, т. е. когда идеальная гармонируетъ съ чувствомъ, а реальная съ истинной представляемой ею жизни. Но кажется, что по-

слѣдняя, родившаяся въслѣдствіе духа нашего положительнаго времени, болѣе удовлетворяетъ ея господствующей потребности. Впрочемъ здѣсь много значить и индивидуальность вкуса. Но какъ бы то ни было, въ наше время та или другая равно возможны, равно доступны и понятны всѣмъ; но со всѣмъ этимъ *последняя есть по преимуществу поэзія нашего времени, болѣе понятная и доступная для всѣхъ и каждаго, болѣе согласная съ духомъ и потребностью нашего времени*. Теперь «Мессинская невѣста» и «Жанна д'Аркъ» Шиллера найдутъ сочувствіе и отзывъ; но *задушевыми созданіями времени всегда останутся тѣ, въ коихъ жизнь и дѣятельность отражаются вѣрно и истинно*».

Что касается до Гоголя, то вся статья Бѣлинскаго, о которой мы говоримъ, служить доказательствомъ, что Гоголь оттого и оригиналенъ, и народенъ, что онъ — поэтъ по преимуществу, произвольно выливающий свои произведенія изъ глубины своего духа. Все вышеизложенное достаточно опредѣленно и ясно показываетъ, какой характеръ имѣла дѣятельность Бѣлинскаго въ первый свой періодъ, который мы можемъ назвать періодомъ шеллингизма и романтизма. Мы видимъ, что Бѣлинскій въ этотъ періодъ не имѣлъ еще рѣзкаго и опредѣленнаго направленія и носилъ въ себѣ зародыши всевозможныхъ направленій, которые впоследствии развились въ нашей литературѣ. Онъ могъ сдѣлаться и славянофиломъ со своей теоріей самобытности и народности творчества; могъ сдѣлаться западникомъ при исключительномъ увлеченіи нѣмецкимъ философскимъ движеніемъ; могъ сдѣлаться приверженцемъ чистаго искусства со своей теоріей произвольнаго творчества, но не чуждъ былъ склониться и на сторону полезнаго искусства, требуя, чтобы поэтъ радовался радостью отечества и скорбѣлъ скорбію его; могъ остаться съ гофмановскими и шиллеровскими идеалами, но могъ сдѣлаться приверженцемъ новаго реального искусства, значеніе и важность котораго онъ уже сознавалъ.

Подобное совпаденіе столь разнородныхъ элементовъ было не однимъ только броженіемъ юношескихъ силъ, не установившихся и не нашедшихъ еще русла, по которому бы направиться въ одну опредѣленную сторону. Въ такомъ хаотическомъ состояніи находилась вся русская литература въ то время. Весь періодъ шеллингистовъ, къ которому примыкаетъ Бѣлинскій началомъ своей дѣятельности, представляетъ въ себѣ такое же броженіе различныхъ элементовъ, которымъ впоследствии суждено было выдѣлаться изъ общаго хаоса и играть различную роль въ дальнѣйшемъ развитіи нашей мысли. То же хаотическое совпаденіе различныхъ элементовъ вы можете встрѣтить и у прочихъ шеллингистовъ тридцатыхъ годовъ; его же мы встрѣчаемъ и у Бѣлинскаго, только гораздо рельефнѣе и многостороннѣе, что зависѣло отъ большей таланта, глубины и многосторонности богатой натуры Бѣлинскаго.

У.

Послѣ «Литературныхъ мечтаній» БѢлинскій началъ писать очень много для «Телескопа» и «Молвы», но денежные обстоятельства его продолжали быть очень плохи и тѣмъ болѣе стѣснительны, что съ нимъ жили еще его братъ и племянникъ. Друзья, по возможности, выручали его. Но, повидимому, не всегда одни обстоятельства были виноваты. БѢлинскій никогда не отличался практичностью, и даже когда представлялась нѣкоторая возможность, не могъ никакъ справиться съ своими дѣлами.

Въ маѣ 1835 г. Надеждинъ оставилъ службу въ университетѣ, собрался за границу и на время отсутствія передалъ изданіе «Телескопа» и «Молвы» БѢлинскому и его друзьямъ... Надеждинъ, безъ сомнѣнія, сразу оцѣнилъ въ БѢлинскомъ крупный талантъ, принявъ въ немъ участіе, но въ то же время смотрѣлъ на него свысока и особеннаго дружелюбія къ нему не питалъ. Слишкомъ мало было общаго между пламеннымъ юношей, исполненнымъ энтузіазма и увлеченія, и холоднымъ, расчетливымъ ученымъ, который и въ молодости былъ себѣ на умѣ. Тѣмъ не менѣе, Надеждинъ настолько высоко успѣлъ уже оцѣнить литературныя способности БѢлинскаго, что могъ отдать во время своего отсутствія изъ Россіи свои два изданія въ полное распоряженіе молодому двадцатипятилѣтнему сотруднику, выступившему на литературное поприще лишь нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ.

Новая редація ревностно принялась за дѣло, и вліяніе ея не замедлило обнаружиться въ журналѣ. БѢлинскій тотчасъ превратилъ «Телескопъ» изъ эклектическаго, поверхностнаго и какого-то беззаботно-умнаго журнала въ критическій журналъ съ опредѣленнымъ эстетическимъ взглядомъ, и этимъ своимъ превращеніемъ журналъ болѣе обязанъ главнымъ образомъ статьямъ БѢлинскаго: О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя, о стихотвореніяхъ Баратынскаго, Бенедиктова, о стихотвореніяхъ Кольцова, которыя только-что изданы были тогда Станкевичемъ; наконецъ, рядомъ мелкихъ статей въ «Молвѣ».

«Телескопъ» и «Молва» оставались въ рукахъ БѢлинскаго около полугода: отъ мая или іюня до декабря имъ издано шесть книжекъ. Журналъ, запоздавшій и до БѢлинскаго, не былъ имъ доведенъ до полного числа книжекъ; «Молва» также запоздала, — и причина такого замедленія заключалась не въ одной только малой опытности БѢлинскаго въ журнальномъ хозяйствѣ, но и въ томъ, что ему не оставлено было достаточно средствъ на издержки по журналу. По крайней мѣрѣ Надеждинъ, по возвращеніи изъ-за границы, остался, повидимому, доволенъ тѣмъ, что было сдѣлано въ «Телескопѣ» безъ него, и въ слѣдующемъ году издалъ недоданные нумера, выпуская двойныя книжки «Телескопа» и «Молвы».

Съ самыхъ первыхъ статей своихъ рядомъ съ многочисленными приверженцами и почитателями

БѢлинскій страстно своего полемическаго тона, съ которою онъ не щадилъ ничего, въ чемъ видѣлъ рутину, пошлость или малѣйшее отступленіе отъ своихъ нравственныхъ умственныхъ и эстетическихъ идеаловъ, — приобрѣлъ себѣ немало ожесточенныхъ и непримиримыхъ враговъ.

Ужъ не говоря о томъ озлобленіи, которое возымѣла противъ него компанія Греча, Булгарина и Сенковского; не говоря о томъ, что на БѢлинскаго смотрѣли косо и университетскіе писатели, какъ Погодинъ и Шевыревъ, особенно послѣдній, риторичность, ходульность и пошлость котораго изобличалъ БѢлинскій; не говоря, наконецъ, о той враждѣ, которую навлекла БѢлинскому его критическая строгость со стороны всякихъ задѣтыхъ авторскихъ самолюбіи, — БѢлинскаго встрѣтилъ не совсѣмъ дружелюбно и кружокъ Пушкина. Недружелюбіе это имѣло нѣсколько причинъ. Во-первыхъ, пушкинскій кружокъ имѣлъ претензію представлять собою что-то въ родѣ высшаго ареопага для критической оцѣнки вновь выступающихъ на литературное поприще талантовъ, и раздачи имъ лавровъ и патентовъ на званіе литературныхъ знаменитостей. Самое изданіе «Современника» было принято Пушкинымъ съ спеціальною цѣлью «возвратить критику снова въ руки малаго избраннаго кружка писателей, уже обременнаго уваженіемъ и довѣренностью публики». И вдругъ выступилъ какой-то, съ ихъ точки зрѣнія «недоучившійся семинаристъ», который возымѣлъ дерзость взять въ свои руки критическій жезлъ и началъ съ неслыханною смѣлостью потрясать и даже совсѣмъ отрицать чтимые въ пушкинскомъ кружкѣ авторитеты.

Во-вторыхъ, пушкинскій кружокъ имѣлъ претензію представлять собою литературу великосвѣтскую; всѣ члены его принадлежали болѣе или менѣе къ высшему обществу и стремились проводить въ печати изысканно-чопорный тонъ знатныхъ салоновъ. Въ то же время члены кружка съ высокоумнымъ презрѣніемъ смотрѣли на всѣхъ литераторовъ, не принадлежавшихъ къ ихъ замкнутому кружку, какъ на «литературную чернь». БѢлинскій же, какъ мы видѣли, при всякомъ удобномъ случаѣ громилъ погоню за свѣтскостью въ литературѣ, причемъ не оставилъ онъ безъ своихъ ѣдкихъ и мѣткихъ сарказмовъ не только критику «Наблюдателя» въ лицѣ Шевырева, но и «Современникъ» Пушкина.

Наконецъ, въ-третьихъ, важно было и то обстоятельство, что БѢлинскій началъ свое поприще въ «Телескопѣ» Надеждина и первая статья его была даже принята за статью Надеждина; Надеждинъ же, отрицательно относившійся и къ Пушкину, и ко всѣмъ его друзьямъ, вызвалъ въ нихъ за это непримиримую ненависть. Естественно, что ненависть эта перешла и на БѢлинскаго, въ которомъ видѣли ученика и послѣдователя Надеждина. Къ тому же БѢлинскій, при всемъ своемъ сочувственномъ отношеніи къ Пушкину, далеко не безусловно поклонялся каждой его буквѣ, какъ требовали того

друзья Пушкина; онъ дерзалъ кое-что порицать и отрицать въ его дѣятельности, напр., какъ мы видѣли, его подѣлки подъ народную поэзію, — и этого было довольно, чтобы возбудить негодованіе со стороны слѣпыхъ поклонниковъ Пушкина.

Впрочемъ нужно замѣтить, что самъ Пушкинъ далеко не раздѣлялъ недоброжелательства къ Бѣлинскому своихъ друзей. Литературные взгляды его были всегда шире, смѣлѣе и оригинальнѣе, чѣмъ взгляды кружка, и отношеніе къ литературѣ было живѣе. Онъ замѣтилъ Бѣлинскаго, понялъ его значеніе, предугадалъ его будущую роль въ литературѣ. Свое вниманіе къ Бѣлинскому онъ обнаружилъ тѣмъ, что послалъ ему черезъ М. С. Щепкина первыя книжки «Современника», но просилъ держать это въ секретѣ, чтобы не узнали объ этомъ его друзья, литературныя знаменитости. По прекращеніи же «Телескопа» Пушкинъ, кажется, имѣлъ даже мысль пригласить Бѣлинскаго сотрудничать въ «Современникѣ».

Полемическая страстность Бѣлинскаго, обнаружившая въ немъ натуру не кабинетнаго мыслителя, а напротивъ того, бойца, не понутру была и нѣкоторымъ членамъ кружка Станкевича, не исключая и этого послѣдняго. Люди, не говоря уже о ихъ натурѣ, по самымъ обстоятельствамъ своей жизни расположенные къ примирительному взгляду на жизнь и людей, требовали отъ мыслящаго чловека, чтобы онъ, во что бы то ни стало, былъ исполненъ кроткаго, спокойнаго, гармоническаго настроенія, созерцалъ жизнь, анализировалъ ее, въ то же время отнюдь не допуская вражды и ненависти къ различнымъ ея проявленіямъ. Вражда и ненависть считались чѣмъ-то весьма негармоничнымъ, невязаннымъ, одностороннимъ и потому вычеркивались изъ жизни. Поэтому каждая слишкомъ рѣзкая полемическая выходка Бѣлинскаго встрѣчала неодобреніе въ кружкѣ. Его даже прозвали друзья неистовымъ Виссаріономъ, Orlando или Bessarione furioso. Особенно возставалъ и даже серьезно расходился съ нимъ въ этомъ отношеніи кроткій, небесный Станкевичъ. Но укротить неистоваго Виссаріона было трудно, и онъ остался до самой смерти своей такимъ же смѣлымъ и отважнымъ борцомъ, какимъ выступилъ на свое литературное поприще.

VI.

Съ прекращеніемъ «Телескопа» въ 1836 г. и отъѣздомъ Станкевича за границу въ 1837-мъ, начинается новый періодъ въ жизни Бѣлинскаго, самый печальный и мрачный во всѣхъ отношеніяхъ, и въ матеріальномъ, и въ умственномъ, что отразилось весьма неблагоприятно и на литературной дѣятельности Бѣлинскаго въ этотъ періодъ.

Закрытіе «Телескопа» оставило Бѣлинскаго въ концѣ 1836 года буквально безъ всякихъ средствъ къ жизни — когда у него на рукахъ были еще братъ и племянникъ. Иной трудъ, кромѣ литературнаго, былъ для него почти невысмыслимъ. Въ серединѣ 1837 года онъ поздалъ грамматику русскаго языка, но

грамматика эта, по своему слишкомъ ужъ философскому изложенію, оказалась неудобною для преподаванія, и потому не продавалась. Въ то же время съ нимъ случилась болѣзнь, очень его испугавшая и заставившая его съ іюня до сентября 1837 года прожить на Кавказѣ, на водахъ и въ Пятигорскѣ. Въ этомъ безвыходномъ положеніи Бѣлинскій могъ существовать только помощью друзей: П. Боткина, К. Аксакова, Ефремова, что заставляло его съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе запутываться въ долгахъ. Но, какъ и прежде, въ первые годы по выходѣ изъ университета, такъ и теперь, онъ мало заботился о своемъ матеріальномъ положеніи, — теперь, пожалуй, и меньше, чѣмъ прежде, такъ какъ онъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе погружался въ сферы отвлеченнаго мышленія. Этому крайнему отрѣшенію отъ дѣйствительности, отъ реальной жизни со всѣми ея нуждами и тревогами, Бѣлинскій наиболѣе былъ обязанъ своему знакомству съ семействомъ Бакуниныхъ, и въ особенности одному изъ членовъ семьи, М. Бакунину.

Семейство Бакуниныхъ было однимъ изъ рѣдкихъ въ то время помѣщичьихъ семействъ, по своей образованности стоявшихъ впереди вѣка, и въ которыхъ умственные интересы преобладали надъ всѣми прочими. Вотъ какъ изображаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ это семейство Лажечниковъ.

«Въ одномъ изъ уѣздовъ Тверской губерніи есть уголокъ (Пушкинъ нѣкоторое время жилъ близъ этихъ мѣстъ, у помѣщика Вульфа), на которомъ природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсивъ его всѣми лучшими дарами своими, какіе могла только собрать въ странѣ семидесятичныхъ снѣговъ. Кажется, на этой живописной мѣстности рѣка течетъ игривѣе, цвѣты и деревья растутъ роскошнѣе, и болѣе тепла, чѣмъ въ другихъ сосѣднихъ мѣстностяхъ. Да и семейство, жившее въ этомъ уголкѣ, какъ-то особенно награждено душевными дарами. Зато, какъ было тепло въ немъ сердцу, какъ умъ и талантъ въ немъ разыгрывались, какъ было въ немъ привольно всему доброду и благородному! Художникъ, музыкантъ, писатель, учитель, студентъ или просто добрый и честный чловекъ были въ немъ облакавы равны, несмотря на состояніе и рожденіе. Казалось мнѣ, бѣдности и отдавали въ немъ первое мѣсто. Посѣтителі его, всегда многочисленные, считали себя въ немъ не гостями, а принадлежащими семейству. Душою дома былъ глава его, патриархъ округа. Какъ хорошъ былъ этотъ величавый, слишкомъ семидесятилѣтній, старикъ, съ непокидающею его улыбкой, съ бѣлыми, падающими на плечи, волосами, съ голубыми глазами, ничего не видящими, какъ у Гомера, но съ душою, глубоко зрящею, среди молодыхъ людей, въ кругу которыхъ онъ особенно любилъ находиться и которыхъ не тревожилъ своимъ присутствіемъ. Ни одна свободная рѣчь не останавливалась отъ его прихода. Въ немъ забывали лѣта, свыкнувшись только съ его добротой и умомъ... Онъ любилъ все прекрасное, природу, особенно ивны, литературу.

музыку, и лепетъ младенца въ колыбели, и пожатіе нѣжной руки женщины, и краснорѣчивую тишину могилы. Что любилъ онъ, то любила его жена, умная и пріятная женщина, любили дѣти, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнѣе. Откуда, съ какихъ концовъ Россіи, ни стекались къ нему посѣтители! Сюда, вмѣстѣ съ Станкевичемъ, Боткинымъ и многими другими даровитыми молодыми людьми (имена ихъ смѣшались въ моей памяти), не могъ не попасть и Бѣлинскій...

Бѣлинскій провелъ въ 1836 году нѣсколько мѣсяцевъ, лѣтомъ и осенью, въ деревнѣ Бакуниныхъ, и друзья его, особенно Станкевичъ, возлагали большія надежды на смягченіе и уравниженіе духа неистоваго Виссаріона подъ вліяніемъ этого семейства. «Бѣлинскій отдыхаетъ у Бакуниныхъ», — писалъ Станкевичъ одному своему другу въ концѣ сентября 1836 года, — я увѣренъ, что эта побѣдка будетъ имѣть на него благотворное вліяніе. Полный благородныхъ чувствъ, съ здравымъ, свободнымъ умомъ, добросовѣстный, онъ нуждается въ одномъ только: на опытѣ, не по однимъ понятіямъ, увидѣть *жизнь* въ ея благороднѣйшемъ смыслѣ; узнать нравственное счастье, возможность гармоніи, которая для него казалась недоступною до сихъ поръ, но которой онъ теперь вѣрить. Какъ смягчаетъ душу эта чистая сфера кроткой, христіанской семейной жизни!.. Семейство Бакуниныхъ — идеалъ семейства. Можешь себѣ представить, какъ она должна дѣйствовать на душу, которая не чужда искры Божіей! Намъ надобно ѣздить туда исправляться...»

Болѣе всего въ этомъ семействѣ сошелся Бѣлинскій съ старшимъ сыномъ Бакуниныхъ, Михаиломъ. М. Бакунинъ былъ отставной артиллерійскій офицеръ съ большими діалектическими способностями, съ упорнымъ, настойчивымъ даромъ мышленія. Онъ познакомился съ Станкевичемъ въ 1835 году. Послѣдній сразу оцѣнилъ его врожденный даръ къ философскимъ занятіямъ, усадилъ его за нѣмецкихъ философовъ — Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, и черезъ годъ или два, ко времени отъѣзда Станкевича за границу, Бакунинъ занялъ первое мѣсто въ кружкѣ и, за отсутствіемъ Станкевича, сдѣлался руководителемъ Бѣлинскаго по философіи.

И вотъ, подъ вліяніемъ, съ одной стороны, Бакунина, съ другой — В. Боткина, яраго поклонника чистаго искусства, члены кружка мало-по-малу увлеклись философіею и искусствомъ до крайней исключительности. Все остальное въ мірѣ и въ жизни перестало для нихъ существовать. Въ философіи и въ искусствѣ они начали искать разрѣшенія не только великихъ тайнъ бытія, но и такихъ житейскихъ мелочей, которыя очень легко разрѣшаются простымъ здравымъ смысломъ. Съ утра до вечера и ночи напролетъ они только и дѣлали, что толковали о феноменологіи и логикѣ Гегеля. Нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетике, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей.

Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной истинѣ, о ея *по себѣ бытіи*». Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до выпаденія листовъ въ нѣсколько дней.

Надо прибавить ко всему этому, что всѣ эти пренія происходили на самомъ тарабарскомъ языкѣ. Друзья не переводили на русское, а перекладывали цѣликомъ, да еще, для большей легкости, оставляли всѣ латинскія слова, давая имъ русскія окончанія и семь надеждъ.

Но молодые философы испортили себѣ не одинъ языкъ, но и пониманіе: отношеніе къ жизни, дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное. Это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которыми такъ гениально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все непосредственное, всякое пустое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался солдатъ подъ-хмелькомъ или баба, вступающая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, наворачивавшаяся на вѣкахъ, относилась къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ». То же въ искусствѣ. Знаніе Гёте, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднѣе ея) было столь же обязательно, какъ имѣть платье. Философія музыки была на первомъ планѣ. Разумѣется, о Россіи и не говорили; къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его дѣтскимъ и бѣднымъ, зато производили философскія слѣдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько за его превосходныя кантаты, сколько за то, что онъ бралъ философскія темы для нихъ: «Всемогущество Божіе», «Атласъ». Друзья наши заразили своими философствованіями и всѣхъ дамъ въ бакунинской усадьбѣ. По словамъ Лажечникова, слово «абсолютъ» слышалось даже изъ женскихъ устъ.

До какого полнаго отрицанія самой дѣйствительности дошли члены кружка, и въ какой религіозный культъ возвели они свои философскія занятія, объ этомъ мы можемъ судить по слѣдующимъ выдержкамъ изъ письма Бѣлинскаго одному пріятелю, писаннаго изъ Пятигорска 7 августа 1837 года.

«Утони, исчезни въ наукѣ и искусствѣ, возлюби науку и искусство, возлюби ихъ, какъ цѣль и потребность твоей жизни, а не какъ средство къ образованію и успѣхамъ въ свѣтѣ — и ты будешь блаженъ, а кто достигъ блаженства, тотъ носитъ въ

себя Бога... Богъ есть истина,—слѣдовательно, кто сдѣлался сосудомъ истины, тотъ есть и сосудъ Божій; кто *знаетъ*, тотъ уже и *любитъ*; потому что, не любя, невозможно познавать, а познавая, невозможно не любить; Богъ есть вмѣстѣ и истина, и любовь, и разумъ, и чувство, такъ какъ солнце есть вмѣстѣ и свѣтъ, и теплота...

«Вѣдь мысли—все призракъ, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты самъ? Мысль, одѣтая тѣломъ; тѣло твое сгніетъ, но твое я останется; слѣдовательно, тѣло твое есть призракъ, мечта, но я твое существенно и вѣчно. Философія—вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идеѣ чистой, отрѣшенной; исторія и естествознаніе суть науки идеѣ въ явленіи. Теперь спрашиваю тебя: что важнѣе—идея или явленіе, душа или тѣло? Идея ли есть результатъ явленія, или явленіе есть результатъ идеи? Безъ сомнѣнія, явленіе есть результатъ идеи. Если такъ, то можешь ли ты понять результатъ, не зная его причины? Можетъ ли для тебя быть понятна исторія человечества, если ты не знаешь, что такое человекъ, что такое человечество? Вотъ почему философія есть начало и источникъ всякаго знанія, вотъ почему безъ философіи всякая наука мертва, непонятна и нелѣпа... Только въ философіи ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей; только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей и подаритъ тебя такимъ счастьемъ, какого толпа и не подозреваетъ, и какого внѣшняя жизнь не можетъ ни дать тебѣ, ни отвѣтъ у тебя. Ты будешь не въ мірѣ, но весь міръ будетъ въ тебѣ. Въ самомъ себѣ, въ сокровенномъ святилищѣ своего духа найдешь ты высшее счастье, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогій и тѣсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастья. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты ничего у него не просишь».

Такъ какъ огромное большинство общества не обнаруживало склонности къ исключительному погруженію въ философскія глубины до пренебреженія всего прочаго, то друзья наши отвѣчали на такое легкомысліе всѣхъ смертныхъ глубокимъ презрѣніемъ къ нимъ. Походивъ на нихъ было позорно. Заслужить въ «обществѣ» титулъ «солиднаго», «почтеннаго человека», по мнѣнію кружка, и особенно Бѣлинскаго, значило совсѣмъ уронить себя. Термины «добрый малый», «bon vivant», «bon camarade» считались настоящими бранными словами, синонимомъ безнадежной и жалкой пустоты и ничтожества. «Я на этотъ счетъ очень чувствителенъ»,—говорилъ Бѣлинскій въ письмѣ къ одному другу въ 1837 году,—«для меня дышать однимъ воздухомъ съ пошлякомъ и бездушникомъ—все равно, что лежать съ связанными руками и ногами».

VII.

Изъ этого полнаго отрицанія дѣйствительности, признанія призрачными всѣхъ частныхъ явленій жизни и всего видимаго міра друзья наши кину-

лись въ противоположную крайность: именно, апофеозъ *дѣйствительности*, признаніе, что все дѣйствительное со всѣми своими недостатками, несовершенствами и гнусностями—разумно.

«Новый міръ намъ открылся,—пишетъ Бѣлинскій къ Станкевичу въ сентябрѣ 1839 г.,—сила есть право и право есть сила: нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ эти слова—это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей; я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности—и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ, и значеніе моего отечества представало мнѣ въ новомъ видѣ. Слово «дѣйствительность» сдѣлалось для меня равносильно слову «Богъ»... *Дѣйствительность!*» твержу я, вставая и ложась спать, днемъ и ночью,—дѣйствительность окружаетъ меня, я чувствую ее вездѣ и во всемъ, даже въ себѣ, въ той *новой* перемѣнѣ, которая становится замѣтнѣе со дня на день. Давно ли я спорилъ... что не хочу и не обязанъ терять времени и принуждать себя съ людьми чуждаго мнѣ міра? И что же? Я теперь каждый день сталкиваюсь съ людьми практическими, и мнѣ уже не душно въ ихъ кругу, они уже интересны для меня объективно, и я не въ тягость имъ...

Это примиреніе съ дѣйствительностью приписывали прежде философіи Гегеля, которою увлекались члены кружка послѣ Шеллинга и Фихте. Но это не совсѣмъ вѣрно. Философія Гегеля, какъ извѣстно, заключается въ томъ, что все существующее она признаетъ развитіемъ абсолютной идеи или духа, причемъ полагаетъ три неизбежные фазиса этого развитія. Въ первомъ фазисѣ абсолютная идея пребываетъ сама въ себѣ, находясь въ безсознательномъ состояніи непосредственнаго бытія. Чтобы дойти до самосознанія, идея распадается на таящіяся въ ней противорѣчія, и такой моментъ разложенія идеи представляетъ второй періодъ ея развитія. Далѣе же затѣмъ слѣдуетъ третій періодъ, когда противорѣчія воссоединяются, согласуются, и идея является въ новомъ блескѣ, сознанный разумомъ въ единствѣ своего многообразія. Первый періодъ Гегель называлъ *тезомъ*, второй *антитезомъ*, третій *синтезомъ*. Сообразно гегелевской философской системѣ, внѣшній, матеріальный міръ частныхъ и случайныхъ явленій никакъ не можетъ быть признанъ разумнымъ, такъ какъ онъ представляетъ собою второй періодъ развитія идеи, антитезъ, распадѣніе абсолютной идеи на свои противорѣчія ради самосознанія. Объяснимъ это слѣдующимъ простымъ примѣромъ: абсолютная идея, отождествляемая философіею Гегеля съ божествомъ, представляется исполненною безпредѣльнаго добра. Но для того, чтобы это *добро*, благо самоопредѣлилось, необходимо, чтобы явился антитезъ добра; и такой антитезъ представляется въ жизни въ видѣ *зла*. Мы можемъ утверждать, что зло въ жизни неизбежно, необходимо, какъ антитезъ, самоопредѣленіе добра; но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы

оно было дѣйствительно, а тѣмъ болѣе разумно, такъ какъ зло существуетъ не само по себѣ, а лишь какъ антитеза добра, принадлежитъ къ призрачнымъ явленіямъ матеріальнаго міра. Когда же явится синтезъ, то въ немъ не окажется уже зла, а лишь самоопредѣлившее добро, которое одно только и можетъ быть дѣйствительнымъ и разумнымъ.

Друзья же наши поняли знаменитый афоризмъ Гегеля, что *дѣйствительно—то разумно и что разумно—то дѣйствительно*, въ томъ фаталистическомъ смыслѣ, что все, что ни дѣлается на свѣтѣ, какъ бы оно ни казалось дурнымъ и возмутительнымъ по своему безобразію, ведетъ ко благу, все это разумно, потому что представляется не чѣмъ инымъ, какъ развитіемъ разумной идеи. Изъ этого положенія они вывели то прямое заключеніе, что человѣкъ, одаренный разумомъ, развитымъ высшимъ философскимъ мышленіемъ, не имѣетъ ни малѣйшаго права ни возмущаться тѣмъ, что онъ видитъ вокругъ себя дурного, ни тѣмъ болѣе стремиться измѣнить это дурное къ лучшему. Какъ истинный философъ, онъ долженъ смотрѣть на все окружающее съ высоты птичьяго полета съ невозмутимымъ спокойствіемъ и, не изъясняя при этомъ ни злости, ни гнѣва, ни мести, стремиться лишь постигнуть совершающееся въ его философской разумности. Такое олимпійски-спокойное и безстрастное созерцаніе міра на философскомъ языкѣ называлось *объективнымъ* отношеніемъ къ жизни въ противоположность съ отношеніемъ *субъективнымъ*, въ которомъ человѣкъ вноситъ въ свои сужденія о явленіяхъ жизни личные чувства и интересы.

Сообразно такому ученію, члены кружка измѣнили радикально свои прежніе взгляды и на искусство: они изгнали изъ него всю область субъективной, личной поэзіи, и стали требовать, чтобы искусство, въ свою очередь, относилось къ жизни съ полною объективностью.

Такое примирительное отношеніе къ живой дѣйствительности,—прямое слѣдствіе замкнутой жизни въ тѣсномъ кружкѣ, при полномъ отсутствіи такихъ захватывающихъ интересовъ общественной жизни, которые заставляли бы сильно биться молодя сердца,—печально отразилось на всей литературной дѣятельности Бѣлинскаго въ мрачный періодъ его жизни въ концѣ 30-хъ годовъ. Надо замѣтить при этомъ, что друзья наши снова приобрѣли въ свое распоряженіе журналъ. Въ это время выходило въ Москвѣ ежемѣсячное изданіе «Московский Наблюдатель», издателемъ котораго былъ Степановъ, а редакторами Андросовъ и Шевыревъ. Въ 1838 году Шевыревъ оставилъ журналъ, а на мѣсто его редакцію принялъ въ полное свое распоряженіе Бѣлинскій со своими друзьями. Вотъ въ этомъ-то самомъ «Московскомъ Наблюдателѣ» и разразился Бѣлинскій рядомъ статей, отъ которыхъ впослѣдствіи открещивался, стыдился ихъ и обижался, когда кто-либо напоминалъ ему о нихъ.

Подъ влияніемъ схоластическихъ доктринъ, къ

которымъ пришли друзья, Бѣлинскій радикально измѣнилъ свои эстетическіе взгляды. Прежде, выходя изъ теоріи произвольности творчества, онъ относился сочувственно къ каждому лирическому стихотворенію, проникнутому естественнымъ и произвольнымъ чувствомъ. Теперь же, на основаніи идеала объективно-спокойнаго созерцанія жизни, истинно-художественнымъ произведеніемъ онъ сталъ считать только такое, въ которомъ, при полной объективности, онъ видѣлъ такое тѣсное, безразличное соединеніе идеи съ формой, чтобы идея совершенно поглощалась формой. Всякое же преобладаніе идеи или чувства надъ формой, по его мнѣнію, видѣлось произведеніе изъ предѣловъ истинно-художественнаго творчества.

Отправляясь отъ такой узкой доктрины, Бѣлинскій началъ отрицать все, что не подходило къ ней, съ слѣпотой, поразительной для человѣка съ такимъ тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, какимъ онъ былъ одаренъ. Такъ, мало того, что Гёте за его олимпійскую безстрастность онъ поставилъ выше Шиллера, но онъ сталъ совершенно отрицать Шиллера. «Шиллеръ,—говоритъ онъ,—въ которомъ философскій элементъ безпрестанно боролся съ художественнымъ элементомъ и часто побѣждалъ его, Шиллеръ, едва ли не въ большей части своихъ произведеній, принадлежитъ къ числу этихъ полуправовъ (недоносковъ, витающихъ между художественностью и краснорѣчіемъ). Гёте и нашъ Пушкинъ—вотъ чисто-поэтическія натуры: «одному довольно сорванного цвѣтка, а другому завядшаго цвѣтка, нечаянно найденнаго имъ въ книгѣ, чтобы ринуть душу читателя въ міръ безконечнаго». Сравнивая при этомъ произведеніе Шиллера «Идеалы» съ «Нереидой» Пушкина, Бѣлинскій ставитъ послѣднее на незамѣримую высоту выше «Идеаловъ», именно на томъ основаніи, что «первое выражаетъ ясную и определенную идею, которую вы можете формулировать, тогда какъ въ «Нереидѣ» Пушкина есть идея, но она такъ конкретно слита съ формой, что вамъ, чтобы выговорить ее, надо оторвать ее отъ формы, а форма такъ прекрасна, что у васъ не поднимается рука на такую операцію». Изъ этого Бѣлинскій дѣлаетъ слѣдующее заключеніе: «спросите всѣхъ, что лучше—«Идеалы» или «Нереида»:—большинство станетъ за «Идеалы», но чьи глаза одарены ясновидѣніемъ вѣчной красоты, тѣ даже не станутъ и сравнивать этихъ двухъ произведеній... Прежде Бѣлинскій нападалъ на Пушкина по слѣдамъ Полевого за то, что тотъ отрѣшился отъ литературныхъ круговъ въ сферы большаго свѣта, и предрекалъ, что это должно гибельно отозваться на его талантѣ. Теперь же, напротивъ того, онъ смѣялся надъ мнѣніемъ, что среда можетъ испортить поэта, считая такое мнѣніе дѣтскимъ прекраснудушіемъ. Теперь для него не было среды, не было жизни съ различными ея влияніями, хорошими и дурными, а существовала только отвлеченная сфера творчества, чуждая всякихъ отношеній къ жизни, существовала сама для себя, завися отъ одного возвышенія поэта надъ всѣмъ міромъ и безстрастнаго созерцанія люд-

ской жизни, кишащей гдѣ-то тамъ внизу... Извѣстные произведенія Пушкина «Подите прочь! какое дѣло...» и «Пока не требуетъ поэта» сдѣлались любимыми произведеніями для Бѣлинскаго, который онъ теперь то и дѣло приводилъ въ своихъ статьяхъ ради нагляднаго представленія своихъ идеаловъ поэта и творчества.

Къ числу явленій творчества, которые Бѣлинскій отрицалъ вслѣдствіе ихъ субъективности, относились и всѣ сатирическіе произведенія. Бѣлинскій признавалъ, что поэтъ имѣетъ право воспроизводить въ своихъ произведеніяхъ сферу пошлости, отрицательный міръ призраковъ и случайностей, но и въ такомъ случаѣ онъ требовалъ, чтобы поэтъ относился къ своимъ образамъ совершенно объективно, чтобы «поэтическимъ ясновидѣніемъ своимъ онъ проводилъ ихъ идею и, проведя ихъ черезъ свою творческую фантазію, просвѣтлялъ эту идею ихъ естественною грубостью и грязностью». Идеаломъ такого объективнаго изображенія отрицательныхъ явленій жизни Бѣлинскій считалъ Гоголя. Такъ, въ своей статьѣ «Горь отъ ума» онъ представлялъ параллельный разборъ «Ревизора» Гоголя и «Горь отъ ума» Грибоѣдова. «Ревизоръ» представляется, въ разборѣ Бѣлинскаго, идеаломъ художественной комедіи по своей объективности, развитію дѣйствій, выдержанности характеровъ. Между тѣмъ «Горь отъ ума» Бѣлинскій совершенно исключаетъ изъ области художественныхъ произведеній на томъ основаніи, что въ комедіи этой почти нѣтъ никакого дѣйствія; характеры, вмѣсто того, чтобы выражаться въ поступкахъ, сами себя обличаютъ въ сатирическихъ монологахъ; субъективный, сатирический элементъ преобладаетъ въ комедіи надо всѣмъ, и въ каждомъ стихѣ вы чувствуете присутствіе самого Грибоѣдова.

Уже въ первый періодъ своей дѣятельности Бѣлинскій, равно и всѣ его друзья, воспитанные на нѣмецкой метафизикѣ, отрицательно относились къ французамъ за ихъ скептицизмъ, матеріализмъ, безвѣріе и пр., но съ точки зрѣнія философіи Шеллинга, полагая, что каждая народность что-нибудь собою представляетъ, Бѣлинскій готовъ былъ признать долю пользы и за нелюбимыми французами, какъ законодателями моды, правилъ обхожденія, вѣжливости и хорошаго тона. Теперь же Бѣлинскій началъ смотрѣть на весь французскій народъ, какъ на скопище развратныхъ изверговъ, не имѣющихъ ничего святого, и каждый разъ, когда рѣчь заходила о французахъ, разражался ожесточенною бранью. «У французовъ»,—говорилъ онъ,—во всемъ желчный, слѣпой расизмъ, который хорошъ на своемъ мѣстѣ,—т.е. когда дѣло идетъ объ уразумѣніи обыкновенныхъ житейскихъ вещей, но который становится буйствомъ передъ Господомъ, когда заходить въ высшія сферы знанія. Народъ безъ религіозныхъ убѣжденій, безъ вѣры въ таинство жизни—все святое оскверняется отъ его прикосновенія, жизнь мретъ отъ его взгляда. Такъ оскверняется для вкуса прекрасный плодъ, по которому проползла гадина...

VIII.

Подобное крайнее направленіе не замедлило отразиться и на характерѣ «Наблюдателя», который друзья наши взяли въ свои руки. Онъ сталъ наполняться исключительно почти произведеніями нѣмецкихъ поэтовъ, причемъ Гете и Гофманъ стояли на первомъ планѣ. Ни одной книжки не обходилось безъ какихъ-либо философскихъ и эстетическихъ разсужденій. Такимъ образомъ журналъ имѣлъ вовсе не такой энциклопедическій характеръ, какой мы привыкли себѣ представлять съ именемъ этого рода изданій у насъ, въ Россіи. Это былъ журналъ спеціальны, философско-критическій исключительно. Рядомъ съ критическими статьями, построенными на основаніи философіи Гегеля, тамъ встрѣчались статьи, посвященныя изложенію гегелевской философіи, наконецъ, выдержки изъ самого Гегеля. Таковы были, напримѣръ, «Гимназическія рѣчи Гегеля», «О философской критикѣ художественнаго произведенія» Ретшера. Читатели журнала, повидимому, не совсѣмъ были довольны крайнею сухостью многихъ статей журнала, въ особенности статей Ретшера. По крайней мѣрѣ объ этомъ мы имѣемъ свидѣтельство самого Бѣлинскаго: «Многіе читатели жаловались,—говоритъ онъ въ одной изъ своихъ статей,—на помѣщеніе нами статьи Ретшера: «О философской критикѣ художественнаго произведенія», находя ее темною, недоступною для пониманія». И при этомъ Бѣлинскій обращается къ публикѣ съ наставительнымъ тономъ: «прежде всего мы скажемъ, что не всѣ статьи помѣщаются въ журналахъ только для удовольствія читателей; необходимы иногда и статьи ученаго содержанія, а такія статьи требуютъ труда и размышленія»...

Но какъ ни низко стояло наше общество въ своемъ развитіи, оно все-таки имѣло настолько живое чутъе, что отвернулось отъ проповѣдниковъ высокомернаго равнодушія къ общественнымъ нуждамъ и бѣдствіямъ ради отвлеченнаго углубленія въ высшія философскія сферы, и «Московскій Наблюдатель» подъ новой редакціей пошелъ еще хуже, чѣмъ прежде; подписчиковъ сдѣлалось еще меньше, а въ 1839 году, едва дойдя до пятой книжки, онъ долженъ былъ прекратить свое существованіе.

Печально отразилось на Бѣлинскомъ все это увлеченіе. Матеріальное положеніе его, по прекращеніи «Московского Наблюдателя», сдѣлалось снова отчаянно. «При такихъ неблагоприятныхъ обстоятельствахъ»,—говоритъ И. Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—Бѣлинскій задолжалъ въ лавочку. Въ долгъ ему не хотѣли ничего отпустить. Обѣдъ его, при которомъ я не разъ присутствовалъ, былъ и безъ того непривлекателенъ: онъ состоялъ изъ дурно-свареннаго супа, который Бѣлинскій густо посыпалъ перцемъ, и куска говядины изъ этого супа...

Нравственное же состояніе Бѣлинскаго было еще хуже. Вмѣсто ожидаемаго примиренія, онъ обрѣлъ окончательный разладъ и съ самимъ собою, и съ окружающимъ его міромъ. Последнее время ~~идеализма~~

въ Москвѣ онъ постоянно былъ въ раздраженномъ и взволнованномъ состояніи духа.

— Нѣтъ, — сказалъ онъ однажды Панаеву: — мнѣ, во что бы то ни стало, надобно вонъ изъ Москвы... Мнѣ эта жизнь надѣла, и Москва опротивѣла мнѣ...

Въ то же время со всѣхъ сторонъ онъ слышалъ возраженія и порицанія высказываемымъ имъ въ своихъ статьяхъ взглядамъ. Дѣло дошло въ послѣдствіи даже до личнаго оскорбленія, до того, что когда Бѣлинскому былъ представленъ какой-то артиллерійскій офицеръ, послѣдній не захотѣлъ подать Бѣлинскому своей руки.

Спасительнымъ выходомъ изъ этого отчаяннаго положенія послужило для Бѣлинскаго приглашеніе А. А. Краевского принять участіе въ качествѣ критика въ его петербургскихъ изданіяхъ, «Отечественныхъ Запискахъ» и «Литературныхъ прибавленій къ Иллюстратору». Приглашеніе послѣдовало 20 іюня 1839 г., 5-го же іюля Бѣлинскій писалъ редактору «Отечественныхъ Записокъ» письмо съ изъясненіемъ готовности принять на себя завѣдываніе критическимъ отдѣломъ журнала, и, будучи еще въ Москвѣ, началъ уже посылать свои статьи въ редакцію «Отечественныхъ Записокъ». Въ октябрѣ же 1839 г. онъ оставилъ Москву.

Въ Петербургъ пріѣхалъ Бѣлинскій все тѣмъ же фанатикомъ философскаго примиренія съ дѣйствительностью, проповѣдникомъ чистаго искусства и французо-ненавистникомъ, и въ продолженіе цѣлаго года все еще продолжалъ носиться съ идеями московскаго кружка. Такъ, первымъ дѣломъ онъ напечаталъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» двѣ статьи, написанныя имъ еще въ Москвѣ, — по поводу «Бородинской годовщины» Ѳ. Глинка и «Менцель, критикъ Гёте», — статьи, возбуждшія наибольшее негодованіе во всѣхъ благомыслящихъ людяхъ, и которыхъ въ послѣдствіи Бѣлинскій наиболѣе стыдился. Вотъ что рассказываетъ И. Панаевъ о томъ, какъ относился Бѣлинскій въ это время къ своимъ убѣжденіямъ и возраженіямъ противъ нихъ:

«Черезъ нѣсколько дней послѣ моего возвращенія изъ Москвы, Бѣлинскій принесъ мнѣ прочесть свою рецензію на книгу Ѳ. Глинка «Бородинская годовщина», которую онъ отослалъ для напечатанія въ «Отечественныя Записки».

«— Послушайте-ка, — сказалъ онъ мнѣ: — кажется, мнѣ еще до сихъ поръ не удавалось ничего написать такъ горячо и такъ рѣшительно высказать наши убѣжденія. Я читалъ эту статейку Мишелю (Бакунину), и онъ пришелъ отъ нея въ восторгъ, — ну, а мнѣніе его чего-нибудь да стоитъ! Да что много говорить, я самъ чувствую, что статья *вытанцовалась*...

«И Бѣлинскій началъ читать мнѣ ее съ такимъ волненіемъ и жаромъ, съ какимъ онъ никогда ничего не читалъ ни прежде, ни послѣ.

«Лихорадочное увлеченіе, съ которымъ читалъ Бѣлинскій, изыскъ этой статьи, исполненной страшной торжественности и напряженнаго паѳоса, про-

извелъ во мнѣ нервное раздраженіе. Бѣлинскій самъ былъ явно раздраженъ нервическимъ...

«— Удивительно! превосходно! — повторялъ я время чтенія и по окончаніи чтенія: — но я замѣчу одно...

«— Я знаю, знаю, что — не договаривайте, — перебилъ меня съ жаромъ Бѣлинскій: — меня назвуть лстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыкаюсь передъ властями... Пусть ихъ! Я не бою открыто и прямо высказывать мои убѣжденія, чѣмъ обо мнѣ ни думали...

Онъ началъ ходить по комнатѣ въ волненіи.

«— Да! это мои убѣжденія! — продолжалъ онъ разгораясь болѣе и болѣе. — Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мнѣ дорожить мнѣніемъ людей развитыхъ и друзей моихъ... Они не заподозрятъ меня въ лести и подлости. Противъ убѣжденій никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... они знаютъ это... Подкупить меня нельзя. Клянусь вамъ, Панаевъ, — вы вѣдь меня еще не знаете...

«Онъ подошелъ ко мнѣ и остановился передо мною. Блѣдное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила къ головѣ, глаза его горѣли.

«— Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ! Мнѣ легче умереть съ голода — я и безъ того рискую эдакъ умереть каждый день (и онъ улынулся при этомъ съ горькой ироніей), чѣмъ попищать свое человѣческое достоинство, унижить себя передъ кѣмъ бы то ни было, или продать себя...

«Разговоръ этотъ со всѣми подробностями живъ въ моей памяти. Бѣлинскій какъ будто только перешелъ передо мною...

«Онъ бросился на стулъ, запыхавшись... отдохнувъ немного, продолжалъ съ ожесточеніемъ...

«— Эта статья рѣзка, я знаю, но у меня въ головѣ рядъ статей, еще болѣе рѣзкихъ... Уже какъ же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который беретъ судить объ искусствѣ, ничего не смысли въ немъ...

Но Петербургъ со своимъ шумомъ и гамомъ жизни чисто реальной, преисполненной насущныхъ интересовъ, не замедлилъ дать сильный толчокъ всѣмъ заоблачнымъ фантазіямъ молодого мыслителя и совершенно поколебать ихъ. Не малое вліяніе оказало при этомъ удаленіе изъ замкнутого кружка встрѣча съ массою людей, думавшихъ совсѣмъ иначе, перемѣна занятій... Не даромъ въ послѣдствіи своей статьѣ «Москва и Петербургъ» Бѣлинскій говорилъ между прочимъ:

«Петербургъ имѣетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее свойство; сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, слетаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденные праздною жизнью и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности, и вы остаетесь, можетъ быть, съ тяжелою грустью, но въ этой грусти такъ много святаго, человѣческаго... Что мечты! Самыя обольстительныя изъ нихъ не стоятъ въ глаза дѣльнаго (въ разумномъ значеніи этого слова) членства самой горькой истины, потому что счаст-

глушца есть ложь, тогда какъ страданіе дѣльнаго человѣка есть истина, и притомъ плодотворная въ будущемъ...»

Но было бы ошибочно думать, чтобы московскій увлеченія Бѣлинскаго спали съ него дѣйствительно съ легкостью и быстротою осеннихъ листьевъ. Напротивъ того, годы тянулось переходное состояніе въ умственномъ мірѣ Бѣлинскаго, причѣмъ онъ переживалъ тотъ же періодъ сомнѣній, рефлексій и болѣзненно-мучительнаго раздвоенія, какой переживали и всѣ его современники. Вотъ что свидѣтельствуетъ объ этомъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ.

«Вскорѣ послѣ моего знакомства съ нимъ (1843 г.) его снова начали тревожить тѣ вопросы, которые, не получивъ разрѣшенія, или получивъ разрѣшеніе одностороннее, не даютъ покоя человѣку, особенно въ молодости: философскіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другъ къ другу и къ божеству, о происхожденіи міра, о безсмертіи души и т. п. Не будучи знакомъ ни съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ (онъ даже по-французски читалъ съ большимъ трудомъ) и не находя въ русскихъ книгахъ ничего, чтобы могло удовлетворить его пытливости, Бѣлинскій поневолѣ долженъ былъ прибѣгать къ разговорамъ съ друзьями, къ продолжительнымъ толкамъ, сужденіямъ и разспросамъ; и онъ отдался имъ со всѣмъ лихорадочнымъ жаромъ своей, жаждавшей правды, души... И такъ, когда я познакомился съ Бѣлинскимъ, его мучили сомнѣнія. Эту фразу я часто слышалъ и самъ употреблялъ не однажды; но въ дѣйствительности и вопліи она примѣнялась къ одному Бѣлинскому. Сомнѣнія его именно мучили, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его; онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и нощно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себѣ. Бывало, какъ только я приду къ нему, онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда воспаленіе въ легкихъ и чуть не увесло его въ могилу), тотчасъ встанетъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно капляя, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную накаунѣ бесѣду. Искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала, но, поговоривъ часа два, три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое, мнѣ хотѣлось отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить было нелегко. «Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога, — сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ, — а вы хотите ѣсть».

IX.

Это переходное состояніе отражается и въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго эпохи сотрудничества его въ «Отечественныхъ Запискахъ». Перебирая статьи

этой эпохи, вы видите, какъ постепенно Бѣлинскій, отрѣшавшись отъ идеализма, все болѣе и болѣе становится на реальную почву и изъ поклонника чистаго искусства превращается въ проповѣдника искусства для жизни.

Такъ, въ 1840 году была напечатана имъ извѣстная уже намъ критическая статья, посвященная разбору «Горя отъ ума» Грибоедова рядомъ съ «Ревизоромъ» Гоголя. Въ статьѣ этой, какъ мы видѣли, преобладаютъ еще идеи московскаго періода: комедія Гоголя превозносится за объективность, а «Горе отъ ума» выключается изъ ряда художественныхъ произведеній за преобладаніе въ ней сатиры.

Но и въ этой статьѣ вы видите уже кое-какія вѣянія новаго духа. Бѣлинскій не считаетъ уже все дѣйствительное разумнымъ и не проповѣдуетъ примиреніе съ мрачными сторонами жизни въ сферѣ отвлеченнаго мышленія. Напротивъ того, дѣйствительнымъ онъ признаетъ только разумное въ жизни, все же остальное относитъ къ категоріи призрачнаго. «Дѣйствительность, — говоритъ онъ, — есть во всемъ, въ чемъ только есть движеніе, жизнь, любовь; все мертвое, холодное, неразумное, эгоистическое есть «призрачность». Сообразно этимъ двумъ категоріямъ, онъ дѣлитъ и поэзію на положительную поэзію разумной дѣйствительности и отрицательную — неразумной призрачности.

Но особенно замѣчательна эта статья тѣмъ, что въ ней Бѣлинскій впервые рѣшился признать романтизмъ явленіемъ, вполне отжившимъ и не имѣющимъ никакого значенія въ современной жизни. По его мнѣнію, согласно съ философіею Гегеля, древній классицизмъ и средневѣковый романтизмъ суть двѣ противоположности, тезъ и антитезъ. Въ классицизмѣ Бѣлинскій видитъ преобладаніе формы надъ идеей, чувственной красоты надъ духомъ; въ романтизмѣ — наоборотъ: преобладаніе духа надъ формой. Современное искусство, по мнѣнію Бѣлинскаго, должно примирить эти крайности и быть ихъ синтезомъ.

Правда, это было лишь повтореніемъ мыслей, высказанныхъ уже въ 1830 году въ диссертациі Надеждина. Но десять лѣтъ тому назадъ мысли эти были еще преждевременны. Къ тому же Надеждинъ не могъ имѣть такого вліянія на общество, какъ Бѣлинскій, по своей уклончивости, непрямотѣ, вліянію передъ классицизмомъ. Наконецъ, нужно принять во вниманіе и то обстоятельство, что написанная на латинскомъ языкѣ диссертациія Надеждина была доступна лишь немногимъ. Статя же Бѣлинскаго произвела громовое впечатлѣніе выстрѣла, возбѣстившаго конецъ романтизма и наступленіе эпохи 40-хъ годовъ. Послѣ статьи Бѣлинскаго крики противъ романтизма начинаютъ раздаваться въ литературѣ чаще, рѣшительнѣе, громче, и въ концѣ 40-хъ годовъ романтизмъ сдѣлался браннымъ словомъ для всего отсталаго и отжившаго.

Но не въ одномъ только отвлеченно-философскомъ синтезѣ классицизма и романтизма полагалъ Бѣлинскій сущность современной поэзіи. Главнѣйш

нервомъ не только поэзіи, но и всей жизни своего вѣка онъ сталъ теперь считать стремленіе къ дѣйствительности.

Въ продолженіе 1841 и 1842 годовъ успѣлъ Бѣлинскій отрѣшиться мало-по-малу и отъ своего французства и началъ ставить французскую литературу на одномъ ряду съ нѣмецкою, какъ ея антитезъ, имѣющій свое значеніе.

«Для нѣмца, — говоритъ онъ, — наука и искусство — сами себѣ цѣль и высшая жизнь, абсолютное бытіе; для француза наука и искусство — средства для общественнаго развитія, для отрѣшенія личности человѣческой отъ тяготящихъ и унижающихъ ее оковъ преданія, моментальнаго опредѣленія и временныхъ (а не вѣчныхъ) общественныхъ отношеній. Вотъ причина, почему литература французская имѣетъ такое огромное вліяніе на всѣ образованные народы; вотъ почему ея легучія произведенія пользуются такою всеобщностью, такою извѣстностью; вотъ почему они такъ и недолговѣчны, такъ эфемерны...»

Въ Англіи видитъ Бѣлинскій примиреніе этихъ двухъ крайностей. Въ то же время въ рецензії на романъ Жоржъ Зандъ «Бернаръ-Мопра» онъ впервые является поклонникомъ этой писательницы, которая въ послѣдующій періодъ его жизни сдѣлалась для него столь же любимымъ поэтомъ, каковы были Гёте и Гофманъ въ лѣта его юности.

«Это не де-Бальзакъ, — восклицаетъ въ восторгѣ Бѣлинскій, — съ своими герцогами, герцогинями, графами, графинями и маркизами, которые столько же похожи на истинныхъ, сколько самъ де-Бальзакъ похожъ на великаго писателя или гениальнаго человѣка. У Жоржъ Зандъ нѣтъ ни любви, ни ненависти къ привилегированнымъ сословіямъ, нѣтъ ни благоговѣнія, ни презрѣнія къ низшимъ слоямъ общества; для нея не существуютъ ни аристократы, ни плебей; для нея существуетъ только человѣкъ, и она находитъ человѣка во всѣхъ сословіяхъ, во всѣхъ слояхъ общества, любитъ его, сострадаетъ ему, гордится имъ и плачетъ о немъ. Но женщина и ея отношенія къ обществу, столь мало оправдываемыя разумомъ, столь много основывающіяся на преданіи, предразсудкахъ, эгоизмѣ мужчинъ — эта женщина наиболѣе вдохновляетъ поэтическую фантазію Жоржъ Зандъ и возвышаетъ до пафоса благородную энергію ея негодованія къ легитимированной насиліемъ невѣжества лжи, ея живую симпатію къ угнетенной предразсудками истинѣ. Жоржъ Зандъ есть адвокатъ женщины, какъ Шиллеръ былъ адвокатъ человѣчества. Мудрено ли послѣ этого, что г-жа Дюдеванъ ославлена слѣпою чернью, дикою, невѣжественною толпой, какъ писательница безнравственная! Кто открываетъ людямъ новыя истины, тому люди не дадутъ спокойно кончить вѣка; зато, когда сведутъ въ раннюю могилу, то непременно воздвигнутъ великолѣпный памятникъ, и какъ на святотатца будутъ смотрѣть на того, кто бы дерзнулъ сказать хоть одно слово противъ предмета ихъ прежней остервенѣлой ненависти... Вѣдь и Шиллеръ при жизни своей слылъ писателемъ безнравственнымъ и развратнымъ...»

Какая рѣзкая разница и въ идеалѣ, и въ симпатіяхъ, и въ тонѣ между Бѣлинскимъ 1839 года 1841! Тотъ ли это Бѣлинскій, который смотрѣлъ на произведенія Шиллера, какъ на уродливые убоги, смѣсь краснорѣчія и поэзіи, въ женскомъ просѣ видѣлъ однѣ бредни сенъ-симонистовъ, Жоржъ Зандъ самъ считалъ, подобно невѣжественной толпѣ, писательницею безнравственною?

Послѣ этого Бѣлинскій неоднократно возвращалъ къ женскому вопросу, и каждый разъ рѣчи его зачиту угнетенной женщины были преисполнены искренней, задушевной теплоты и глубокаго сознанія ненормальности положенія женщины въ обществѣ.

Х.

Въ 1843 году Бѣлинскій окончательно рѣшается съ послѣдними слѣдами московскихъ увлеченій. Годъ этотъ во многихъ отношеніяхъ замѣчтеленъ въ ходѣ развитія нашей мысли. Онъ можетъ считаться рубежомъ въ переходномъ процессѣ это развитія: до него мы видимъ еще преобладаніе мистифики и мистицизма; послѣ него мысль начинаетъ съ большею и большею силою и смѣлостію стремиться на почву реализма. До него передовые люди находились подъ сильнымъ вліяніемъ германской философіи; послѣ него начинается преобладаніе общественнаго движенія, господствовавшая въ то время во Франціи.

Къ этому времени въ литературѣ нашей совсѣмъ уже исчезаетъ прежняя борьба классиковъ съ романтиками. Возникаютъ двѣ новыя литературныя партіи, которыя борются между собою уже не за или другую эстетическую теорію или школу поэзіи, а за направленіе русской образованности, за судьбы нашего отечества во всемъ содержаніи е жизни. Таковы славянофилы и западники. Славянофилы сосредоточились въ Москвѣ вокругъ Жукова Погодина «Москвитянина» и имѣли во главѣ Хомякова, бр. Кирѣевскихъ и Аксаковыхъ. Западники утвердились въ Петербургѣ, сгруппировались въ «Отечественныхъ Запискахъ» вокругъ Бѣлинскаго. Прежній московскій кружокъ совсѣмъ въ это время распался. Станкевичъ умеръ, Е. Аксаковъ примкнулъ къ славянофиламъ; кто занялъ службу или разными практическими дѣлами, кто уѣхалъ за границу навсегда.

Во главѣ же новаго западническаго кружка, рядомъ съ Бѣлинскимъ, стояли теперь Герценъ, писавшій подъ псевдонимомъ Искандеръ, оказавшій сильное вліяніе на Бѣлинскаго въ его переходѣ отъ московскихъ увлеченій къ новому реальному строю мыслей, В. Боткинъ, Грановскій, только что занявшій кафедру исторіи въ московскомъ университетѣ и какъ разъ въ 1843 году читавшій въ Москвѣ блестящія лекціи, надѣлавшія много шума и произведшія большое впечатлѣніе на московскую публику. Позже къ тому же западническому кружку примкнули Тургеневъ, Некрасовъ, Панаевъ, Григорьевъ, Гончаровъ, Кавелинъ, Вл. Милютинъ и ц. Все это были дѣятели, обладавшіе блестящими та-

лантами, впоследствии получившіе общее наименование «людей сороковых годов». Можно положительно сказать, что въ продолженіе всѣхъ 40-хъ годовъ каждая вновь появляющаяся на литературномъ поприщѣ сила обязательно примыкала къ кружку Бѣлинскаго.

Понятно становится послѣ этого, что, начиная съ 1841 г., мѣнія «Отечественныхъ Записокъ» съ каждымъ годомъ дѣлались все болѣе и болѣе господствующими въ литературѣ того времени. Эстетическія понятія, историческая оцѣнка литературы, отзывы о современныхъ писателяхъ стали повторяться и другими и, наконецъ, приобретаютъ рѣшительное преобладаніе. Прежніе враги (Гречъ, Булгаринъ, Сенковскій, Полевой), влиянія которыхъ опасался Бѣлинскій такъ еще недавно, пали сами собою, не столько отъ полемики, веденной противъ нихъ, сколько отъ самаго достоинства взглядовъ Бѣлинскаго и того высокаго уровня, на который онъ поставилъ критику, и при которомъ само собой обнаруживалось ничтожество этихъ враговъ. Теперь вся сила полемическаго жара Бѣлинскаго устремилась противъ партіи славянофиловъ, которые едва только основали свой новый журналъ «Москвитининъ» (въ 1842 г.), какъ тотчасъ же начали свои нападки на направленіе «Отечественныхъ Записокъ», причемъ за первымъ озлобленнымъ нападеніемъ слѣдовали другія, отчасти косвенныя, отчасти прямо мѣтившія на Бѣлинскаго, какъ, напр., стихотвореніе «Безыменному критику», знаменитое въ свое время стихами:

Нѣтъ! Твой подвигъ не похваленъ!
Онъ Россіи не привѣтъ!
Карамзинъ тобой ужаленъ,
Томоносовъ—не поэтъ...

Бѣлинскій, всегда находившій жизнь и наслажденіе въ полемикѣ (исключая, конечно, второго метафизическаго періода своей дѣятельности),—не оставался въ долгу. Онъ нѣсколько разъ обращался къ «Москвитинину» въ статьяхъ или специальныхъ замѣткахъ; друзья его, напр., Герценъ, съ своей стороны приняли участіе въ полемикѣ.

Не ограничиваясь полемическими статьями, специально посвященными борьбѣ съ славянофилами, Бѣлинскій ни въ одной своей статьѣ, о чемъ бы онъ ни трактовалъ, не опускалъ случая осыпать своихъ враговъ злыми и жестооченными сарказмами, видя въ нихъ мистиковъ и романтиковъ, которые, увлеченные патріотическимъ пристрастіемъ ко всему русскому, отрицали все хорошее на Западѣ и преклонялись предъ всѣмъ русскимъ, не разбирая, хорошо оно или дурно, возводили все русское, народное въ идеалъ, доходя до слѣпотаго обожанія устарѣлыхъ обычаевъ, нравовъ, костюмовъ и пр. Онъ нападалъ на нихъ за отрицаніе петровской реформы, за порицаніе натуральной школы и вообще всякаго произведенія и искусства, въ которомъ имъ не нравилось критическое отношеніе къ русской жизни.

Оставаясь попрежнему гегеліанцемъ, Бѣлинскій началъ употреблять гегелевскую диалектику уже не

въ видѣ одного усматриванія въ жизни различныхъ противорѣчій и искусственнаго сведенія ихъ въ примиряющіе синтезы, а съ цѣлью проповѣди вѣчнаго прогресса. «Ничто,—говоритъ онъ въ обзорѣ ній литературы за 1842 г.,—не является вдругъ, ничто не является готовымъ; но все, имѣющее идеи своимъ исходнымъ пунктомъ, развивается по моментамъ, движется диалектически, изъ низшей ступени переходя на высшую. Этотъ непреложный законъ мы видимъ и въ природѣ, и въ человѣкѣ, и въ человечествѣ. Природа явилась не вдругъ, готовая, но имѣла свои дни или свои моменты творенія. Царство ископаемое предшествовало въ ней царству прозябаемому, прозябаемое—животному. Каждая былинка проходитъ черезъ нѣсколько фазисовъ развитія, и стебель, листъ, цвѣтъ, зерно суть не что иное, какъ непреложные послѣдовательные моменты въ жизни растенія. Человѣкъ проходитъ черезъ физическіе моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которыми соотвѣтствуютъ нравственные моменты, выражающіеся въ глубинѣ, объемъ и характеръ его сознанія. Тотъ же законъ существуетъ и для обществъ, и для человечества...»

Этотъ законъ прогресса примѣняетъ Бѣлинскій и къ искусству. Если развивается все сущее, то и искусство, въ свою очередь, подлежитъ развитію. «Въ эпоху младенчества и юношества народовъ,—говоритъ Бѣлинскій,—искусство всегда болѣе или менѣе—выраженіе религіозныхъ идей, а въ эпоху возмужалости—философскихъ понятій». Кромѣ того Бѣлинскій признаетъ влияніе на развитіе и характеръ искусства природы, мѣстности, страны, климата, наконецъ, политическихъ обстоятельствъ. Всѣ эти соображенія приводятъ Бѣлинскаго къ слѣдующему выводу:

«Духъ нашего времени таковъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничится «птичьимъ пѣніемъ», создастъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ историческою и философскою дѣйствительностью современности, если она воображаетъ, что земля не достойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія не должны смущать ея таинственныхъ сновидѣній и поэтическихъ созерцаній! Произведенія такой творческой силы, какъ бы ни громадны были она, не войдутъ въ жизнь, не возбудятъ восторга и сочувствія ни въ современникахъ, ни въ потомствѣ... Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насилловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни. Что вошло, глубоко запало въ душу, то само собой проявится во вѣкъ».

Сообразно съ этими новыми воззрѣніями Бѣлинскаго на искусство измѣнилась и оцѣнка его какъ

ических произведений. Онъ сталъ смотрѣть на нихъ не съ одной лишь эстетической точки зрѣнія, началъ искать въ нихъ не одного соответствія идеѣ и формѣ, а обращать вниманіе и на то, насколько произведеніе выражаетъ духъ современности и удовлетворяетъ интересамъ общества. Такъ напримѣръ, взглядъ его на Пушкина совершенно измѣнился сравнительно съ тѣмъ, какой онъ высказывалъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ». Въ рядѣ статей, посвященныхъ разбору стихотвореній Пушкина, онъ ставитъ на видъ историческое значеніе Пушкина, какъ поэта, отдастъ ему въ этомъ отношеніи полную справедливость, но въ то же время смотритъ, какъ на большой недостатокъ Пушкина, на его стремленіе къ чистому искусству и отрѣшеніе отъ современности, и вслѣдствіе этого отрицаетъ значеніе Пушкина для 40-хъ годовъ.

«Какъ бы то ни было, — говоритъ Бѣлинскій, — по своему воззрѣнію, Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возникаетъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные болѣзненные вопросы настоящаго... Личность Пушкина высока и благородна; но его взглядъ на свое художественное служеніе, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго образованія, тѣмъ не менѣе, были причиной постепеннаго охлажденія восторга, который возбудили первыя его произведенія. Правда, самый неумѣренный восторгъ возбудили его самыя слабыя въ художественномъ отношеніи пьесы; но въ нихъ видна была сильная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ личность. И чѣмъ совершеннѣе становился Пушкинъ, какъ художникъ, тѣмъ болѣе скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ, роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созданій. Публика, съ одной стороны, не была въ состояніи оцѣнить художественнаго совершенства его послѣднихъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она въ правѣ была искать въ поэзіи Пушкина болѣе нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ея вина)»...

По поводу новыхъ взглядовъ Бѣлинскаго на искусство Тургеневъ рассказываетъ слѣдующій анекдотъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ: «Помню я, съ какой комической яростью онъ однажды при мнѣ напалъ на—отсутствующаго, разумѣется—Пушкина, за его два стиха въ «Поэтъ и Чернь»

Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пищу въ немъ себѣ варишь!

«—И, конечно, — твердитъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ: — конечно, дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства,

я для другого бѣдняка въ немъ пищу варю — и я же, чѣмъ любоваться красотой истукана, — бѣ, онъ распрофидасовъ Аполлонъ, — мое право, и обязанность накормить своихъ — и себя, на зло вѣкимъ негодующимъ баричамъ и виршенлетамъ».

На основаніи этихъ новыхъ своихъ взглядовъ искусство Бѣлинскій въ продолженіе вѣхъ послѣднихъ пяти лѣтъ своей жизни былъ горячимъ и рьянымъ защитникомъ только что возникшей въ то время реальной беллетристики, или, какъ тогда называли, *натуральной школы*. Ведя свое начало отъ Гоголя эта школа далеко опередила своего основателя. С заимствовала отъ него одну внѣшнюю форму. И жду тѣмъ духъ, господствовавшій въ ней, идеи, жавшія въ ея произведеніяхъ, не имѣли ничего общаго съ мистическими тенденціями Гоголя. Но сему внутреннему содержанію, натуральная школа была отголоскомъ того общественнаго движенія, которое въ то время господствовало во Франціи. Запирала отъ произвола господина, женщины отъ семаго рабства, оскоты апатіи и рутинны, грубаго и вѣжества, отсутствія честности, гуманности и гражданскаго чувства — вотъ мотивы натуральной школы.

Вслѣдствіе этого натуральная школа по своему существу была тенденціозна. Писатели, принадлежавшіе къ ней, изображали жизнь съ цѣлью ея анализа, выраженія своихъ общественныхъ симпатій антипатій. Въ концѣ сороковыхъ годовъ школа окончательно утвердилась въ нашей литературѣ. Въ это время въ ней подвизались уже Искандеръ Тургеневъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Достоевскій, Некрасовъ, И. Панаевъ и др.

Бѣлинскій глубоко понималъ значеніе и сущность этой новой школы. Съ энтузіазмомъ встрѣчалъ онъ каждый начинающій талантъ, идущій по этому правленію, и не упускалъ случая распространити по поводу значенія въ его время натуральной школы, и значенія не одного только художественнаго преимущественно общественнаго, гражданска

XI.

Былъ ли хоть сколько-нибудь обезпеченъ въ матеріальномъ отношеніи этотъ человекъ, стоявшій теперь во главѣ русской литературы? Увы! онъ и прежнему путался въ долгахъ и едва-едва сводилъ концы съ концами. Къ тому же онъ былъ тепе уже не одинокимъ бобылемъ, а семейникомъ: 1843 году, въ бытность въ Москвѣ, онъ сблизился съ одною институтскою классною дамою, на которой женился въ ноябрѣ того же года. Онъ имѣлъ отъ нея двухъ дѣтей: сына, умершаго младенцемъ, дочь, оставшуюся въ живыхъ и послѣ смерти отца Журнальная работа въ «Отечественныхъ Запискахъ» очень скудно оплачиваемая, въ то же время истощала и умственные, и физическія силы Бѣлинскаго. Скверно было то, что, завѣдуя критически отдѣломъ, онъ не могъ ограничиваться одними большими критическими статьями, а долженъ былъ ежесѣчно писать массу мелкихъ рецензій о каждой вновь выходящей дребедени въ родѣ оракуловъ, сѣниковъ, поваренныхъ книжекъ и т. п.

«Журнальная срочная работа высасывает изъ меня жизненные силы, какъ вампиръ кровь,—пишетъ онъ одному изъ своихъ друзей въ началѣ 1846 года.—Обыкновенно, я недѣли двѣ въ мѣсяцъ работаю съ страшнымъ лихорадочнымъ напряженіемъ, дотога, что пальцы деревенѣютъ и отказываются держать перо; другія двѣ недѣли я, словно съ похмелья послѣ двухнедѣльной оргіи, праздную такъ и считаю за трудъ прочесть даже романъ. Способности мои тупѣютъ, особенно память, страшно заваленная грязью и соромъ россійской словесности. Здоровье видимо разрушается»...

И дѣйствительно, здоровье съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе измѣняло Бѣлинскому. Осенью 1845 года онъ выдержалъ сильную болѣзнь, которая грозила опасностью самой жизни. Все это заставило его въ началѣ 1846 года оставить «Отечественныя Записки», попытаться встать на ноги и самостоятельно устроить такъ свои дѣла, чтобы работать свободно, когда есть охота, а не по принужденію. Съ этою цѣлью Бѣлинскій задумалъ издать большіхъ размѣровъ альманахъ подъ заглавіемъ «Левіафанъ». Подобные альманахи были тогда въ ходу. Передъ тѣмъ въ такомъ же родѣ былъ задуманъ и изданъ, въ началѣ 1846 г., Некрасовымъ «Петербургскій Сборникъ», въ которомъ участвовалъ и Бѣлинскій съ своею статьею «Мысли и замѣтки о русской литературѣ». Въ Москвѣ въ 1846 и слѣдующемъ году явились два «Московскіе Сборника». Друзья Бѣлинскаго не замедлили со всѣхъ сторонъ снабдить его и серьезными статьями, и беллетристикою для его сборника. Все это были труды первостепеннаго достоинства и предлагались издателю безвозмездно.

Но изданіе альманаха не состоялось. Крайнее разстройство здоровья принудило Бѣлинскаго ѣхать весною 1846 года въ Крымъ съ М. С. Щепкинымъ, причемъ поѣздка эта только и могла состояться при помощи друзей, которые собрали для этой цѣли въ складчину 500 рублей. Это была уже прямая помощь. Бѣлинскій не усумнился принять ее, зная привязанность къ нему друзей. Это окончательно обезпечивало его поѣздку.

Между тѣмъ въ отсутствіе Бѣлинскаго состоялось приобрѣтеніе въ аренду Некрасовымъ и Панаевымъ пушкинскаго «Современника», издававшагося послѣ его смерти Плетневымъ. Вернувшись изъ поѣздки, Бѣлинскій былъ очень обрадованъ неожиданнымъ для него извѣстіемъ о предстоявшемъ возникновеніи «Современника».

«Всѣ эти приготовленія,—разсказываетъ Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—толкнули о новомъ изданіи, мысль, что онъ, освободясь отъ непріятной ему зависимости, будетъ теперь свободно дѣйствовать съ людьми, къ которымъ онъ питалъ полную симпатію, которые глубоко уважали и любили его; наконецъ, довольно забавная полемика, возникшая тогда между нами и «Отечественными Записками»,—все это поддерживало его нервы, оживляло и занимало его. Бѣлинскій принялся съ жаромъ за статью о русской литературѣ для «Современника» и

отдалъ въ распоряженіе журнала весь тотъ богатый матеріалъ, который онъ собралъ для предполагавшагося «альманаха».

Но не долго продолжался этотъ подъемъ духа Бѣлинскаго. Здоровье его, несмотря на путешествіе въ Крымъ, ни мало не поправилось. Докторъ его уже въ началѣ 1847 года говорилъ, что ему необходимо отправиться на воды въ Силезію, но средствъ для этого не было. Новый журналъ только что вставалъ еще на ноги и не могъ еще вполне обезпечить Бѣлинскаго. А чтобы существовать, ему приходилось забирать въ редакціи впередъ. «Нынѣшній годъ,—пишетъ онъ Боткину 22-го апрѣля 1847 г.,—въ денежномъ отношеніи для меня ужасенъ, хуже прошлаго: я забралъ *еще* деньги по 1 января 1848 г., безъ меня жена, а потомъ я по приѣздѣ осенью будемъ забирать сумму 1848 года. У меня на лѣкарство выходитъ рублей 30 и 40 серебромъ въ мѣсяцъ, если не больше, да рублей 50 серебромъ стоитъ докторъ. Домъ мой—лазаретъ»...

Къ тому же жестоко поразила Бѣлинскаго смерть младенца сына. «Это меня уходило страшно,—пишетъ онъ Тургеневу 12 апрѣля,—я не живу, а умираю медленною смертію»...

И опять-таки друзья Бѣлинскаго не оставили его безъ своей поддержки и снова собрали сумму, необходимую ему на поѣздку за границу. Хотя и глубоко тронутый, но все-таки скрѣпя сердце, принялъ Бѣлинскій эту помощь. «Скажу тебѣ откровенно,—пишетъ онъ Боткину,—эта жизнь на подаяніяхъ становится мнѣ невыносимою»...

Мая 5-го Бѣлинскій началъ свое заграничное путешествіе, отъѣхавъ на пароходѣ съ Штетиня, а въ ноябрѣ того же года вернулся домой. Въ это время онъ побывалъ и въ Берлинѣ, и въ Дрезденѣ, и въ Швейцаріи, и въ Зальцбургѣ, и въ Парижѣ. Очень усердно лѣчился онъ все это время, и въ первое время по возвращеніи изъ-за границы дѣйствительно казался бодрѣе и свѣжѣе и возбудилъ-было въ друзьяхъ надежду, что здоровье его поправится. Онъ поселился на новой квартирѣ, на Лиговкѣ, въ домѣ Галченкова, недалеко отъ нынѣшней станціи московской желѣзной дороги.

«Квартира эта,—говоритъ Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—довольно просторная и удобная, на обширномъ дворѣ этого дома, во второмъ этажѣ деревяннаго флигеля, передъ которымъ росло нѣсколько деревьевъ, производила какое-то грустное впечатлѣніе. Деревья у самыхъ оконъ придавали мрачность комнатамъ, заслоняя свѣтъ.

«Наступила глухая осень, съ безразсвѣтными петербургскими днями, съ мокрымъ свѣгомъ, съ сыростью, проникающею до костей. Виѣсть съ этимъ у Бѣлинскаго возобновилось снова удушье, еще въ болѣе сильной степени сравнительно съ прежнимъ. Кашель начиналъ опять страшно мучить его днемъ и ночью, отчего кровь безпрестанно приливала у него къ головѣ. Но по вечерамъ чаще и чаще обнаруживалось лихорадочное состояніе, жаръ... Силы его гасли замѣтно съ каждымъ днемъ».

Онъ однако все еще работалъ. Для первой кнж-

ки «Современника» приготовилъ онъ статью «Взглядъ на русскую литературу 1847 года» и нѣсколько біографическихъ статей. Во второй книгѣ помѣщено только нѣсколько короткихъ рецензій. Для третьей книги онъ далъ вторую статью о литературѣ 1847 г., гдѣ между прочимъ остановился на новыхъ повѣствователяхъ, которые были въ то же время его любимцами, Искандеръ, Гончаровъ, Тургеневъ, Далъ, Григоровичъ, Дружининъ. Въ четвертой книгѣ помѣстилъ онъ двѣ небольшія рецензій. Этимъ и кончилась его литературная дѣятельность.

«Зима 1847—1848 г. тянулась для Бѣлинскаго мучительно,—разсказываетъ Панаевъ, часто его видѣвшій.—Съ физическими силами падали и силы его духа. Онъ выходилъ изъ дому рѣдко. Дома, когда у него собирались пріятель, онъ мало одушевлялся и часто повторялъ, что ему уже не долго остается жить. Говорятъ, что больные чахоткой обыкновенно не сознаютъ опасности своего положенія. У Бѣлинскаго не было этой иллюзіи: онъ не рассчитывалъ на жизнь и не утѣшалъ себя никакими надеждами...

«Болѣзненные страданія развились страшно въ послѣднее время отъ петербургскаго климата, отъ разныхъ огорченій, непріятностей и отъ тяжелыхъ и смутныхъ предчувствій чего-то недобраго. Стали носиться какіе-то неблагоприятныя для него слухи, все какъ-то душнѣе и мрачнѣе становилось кругомъ его; статьи его разсматривались все строже и строже. Онъ получилъ два весьма непріятныя письма, написанныя впрочемъ съ большою деликатностью, отъ одного изъ своихъ прежнихъ наставниковъ, бывшаго учителя пензенской гимназіи, Попова, котораго онъ очень любилъ и уважалъ. Ему надобно было, по поводу ихъ, ѣхать объясняться, но онъ уже въ это время не выходилъ изъ дому...

«Нѣкоторые господа, мнѣніемъ которыхъ Бѣлинскій дорожилъ нѣкогда, начинали поговаривать, что онъ исписался, что онъ повторяетъ зады, что его статьи длинны, вялы и скучны... Это доходило и до него, и глубоко огорчало его...

«Къ веснѣ болѣзнь начала дѣйствовать быстро и разрушительно. Щеки его провалились, глаза потухли, изрѣдка только горя лихорадочнымъ огнемъ, грудь впала, онъ еле передвигалъ ноги и начиналъ дышать страшно. Даже присутствіе друзей уже было ему въ тягость.

«Я разъ зашелъ къ нему утромъ (въ маѣ),—разсказываетъ далѣе Панаевъ,—на дворъ подъ деревья вынесли диванъ — и Бѣлинскаго вывели по-

дышать чистымъ воздухомъ. Я засталъ его уже дворѣ. Онъ сидѣлъ на диванѣ, спустя голову и жело дыша. Увидѣвъ меня, онъ грустно покачалъ головою и протянулъ мнѣ руку. Черезъ мину онъ приподнялъ голову, взглянулъ на меня сказалъ:

«—Плохо мнѣ, плохо, Панаевъ!

«Я началъ было нѣсколько словъ въ утѣшеніе, но онъ перебилъ меня:

«—Полноте говорить вздоръ.

«И снова молча и тяжело дыша опустилъ голову. Я не могу высказать, какъ мнѣ было тяжело въ эту минуту... Я начиналъ заговаривать съ нимъ о разныхъ вещахъ, но все какъ-то неловко, да и Бѣлинскаго кажется уже ничего не интересовало... «И конечно!» думалъ я. Бѣлинскій умеръ черезъ нѣсколько дней послѣ этого...

Присутствовавшіе при его смерти разсказывали, что Бѣлинскій, за нѣсколько минутъ до кончины лежавшій уже въ постели безъ сознанія, вдругъ быстро поднялся, съ сверкавшими глазами, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, проговорилъ невнятные, прерывающимися словами, но съ энергіею какія-то слова, обращенныя къ русскому народу, говорившій о любви къ нему... Его поддержали, уложили въ постель, и черезъ нѣсколько минутъ онъ умеръ. Это было 26 мая 1848 года, въ 6-мъ часу утра.

Немногіе петербургскіе друзья проводили тѣло его до Волкова кладбища, и могила его, украшенная впослѣдствіи мраморнымъ памятникомъ, была первою на Волковомъ кладбищѣ литературною могилою, вокругъ которой стали съ тѣхъ поръ хоронить лучшихъ русскихъ литераторовъ, вслѣдствіе чего и мостки, ведущіе къ могилѣ Бѣлинскаго, получили названіе *литераторскихъ*.

Семейство Бѣлинскаго осталось, конечно, безъ всякихъ средствъ. Похоронили Бѣлинскаго на деньги, собранныя близкими друзьями. Участвовавшіе въ складчинѣ согласились вносить и впредь ежегодно извѣстную сумму, пока не будетъ обезпечено семейство покойнаго... Вдова Бѣлинскаго переѣхала на житіе въ Москву и, нѣсколько времени спустя, получила въ томъ институтѣ, гдѣ была прежде классной дамой, мѣсто кастелянши... Когда, двѣнадцать лѣтъ спустя, основанъ былъ литературный фондъ, однимъ изъ первыхъ его дѣлъ было назначеніе пенсіи семейству Бѣлинскаго, и это была самая значительная пенсія, какія фондъ назначалъ.

А. Снабичевскій.

2-6

(ЭЛЕГІЯ ВЪ ПРОЗѢ).

*) Статья эта первая изъ известныхъ, за исключеніемъ довольно плохого стихотворенія въ «Листкѣ» 27 мая 1831 года.—Начало этой статьи, которой Бѣлинскій серьезно выступилъ на литературное поприще, появилось въ «Молвѣ» 21 сентября 1834 года.

соперникъ Шекспира! на колѣна предъ Кукольникомъ» *). Теперь Баратынскихъ, Подолнскихъ, Языковыхъ, Туманскихъ, Ознобишнихъ смѣнили Тимофѣевы, Ершовы; на поприщѣ ихъ замолкнувшей славы величаются Брамбеусы, Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословицѣ «на безлюдьи и Ома дворянинъ». Первые или потчуютъ насъ изрѣдка старыми погудками на старый же ладъ, или хвалятъ скромное молчаніе; послѣдніе размѣниваются комплиментами, называютъ другъ друга гениями и кричатъ во всеуслышаніе, чтобы поскорѣ раскупали ихъ книги. Мы всегда были слишкомъ неумѣренны въ раздачѣ лавровыхъ вѣнковъ гения, въ похвалахъ корифеямъ нашей поэзіи: это нашъ давнишній порокъ; по крайней мѣрѣ прежде причиной этого было невинное обольщеніе, происходившее изъ благороднаго источника — любви къ родному; нынѣ же рѣшительно все основано на корыстныхъ расчетахъ; сверхъ того прежде еще было чѣмъ похвастаться, нынѣ же... Отнюдь не думая обижать прекрасный талантъ Кукольника, мы все-таки, не запинаясь, можемъ сказать утвердительно, что между Пушкинымъ и имъ, Кукольникомъ, пространство неизмѣримое, что ему, Кукольнику, до Пушкина

Какъ до звѣзды небесной далеко!

Да, Крыловъ и Зиловъ, «Юрій Милославскій» Загоскина и «Черная женщина» Греча, «Послѣдній Новикъ» Лажечникова и «Стрѣльцы» Мосальскаго и «Мазепа» Булгарина, повѣсти Одоевскаго, Марлинскаго, Гоголя — и повѣсти, съ позволенія сказать, Брамбеуса!!! Что все это означаетъ! Какія причины такой пустоты въ нашей литературѣ? Или въ самомъ дѣлѣ — у насъ нѣтъ литературы?..

Pas de grâce!
(«Hugo. Marion de Lorme».)

Да — у насъ нѣтъ литературы!

«Вотъ прекрасно! вотъ новость!» слышу я тысячу голосовъ въ отвѣтъ на мою дерзкую выходку. «А наши журналы, неусыпно подвижающіеся за насъ на ловитвѣ европейскаго просвѣщенія, а наши альманахи, наполненные гениальными отрывками изъ недоконченныхъ поэмъ, драмъ, фантазій, а наши библіотеки, биткомъ набитыя многими тысячами книгъ русскаго сочиненія, а наши Гомеры, Шекспиры, Гёте, Вальтеръ Скотты, Байроны, Шиллеры, Бальзаки, Корнели, Мольеры, Аристофаны? Развѣ мы не имѣемъ Ломоносова, Хераскова, Державина, Богдановича, Петрова, Дмитріева, Карамзина, Крылова, Батюшкова,

Жуковскаго, Пушкина, Баратынскаго и и пр.? А! что вы на это скажете?»

А вотъ что, милостивые государи: хотя не имѣю чести быть барономъ, но у меня есть своя фантазія, вслѣдствіе которой я упорно держусь той роковой мысли, что, несмотря на то, что нашъ Сумароковъ далеко оставилъ за собою въ трагедіяхъ господина Корнелия господина Расина, а въ притчахъ господи Лафонтена; что нашъ Херасковъ, въ произведеніи на лирѣ громкой славы Россовъ, сражался съ Гомеромъ и Виргиліемъ, и почитомъ Владимира и Іоанна по добру и злу, рову пробрался во храмъ безсмертія *); что нашъ Пушкинъ въ самое короткое время успѣлъ встать на ряду съ Байрономъ и слагаться представителемъ челоѣчества; несмотря на то, что нашъ неистощимый Ѳаддъ Венедиктовичъ Булгаринъ, истинный бичъ гонитель злыхъ пороковъ, уже десять лѣтъ доказываетъ въ своихъ сочиненіяхъ, что и годится плутовать и мошенничать челоѣком *comme il faut*, что пьянство и воровство сугрѣхи непростительныя, и который свои право-описательными и нравственно-сатирическими (не правильнѣе ли полицейскими) манерами и народно-юмористическими статьями на цѣлыя столѣтія двинулъ впередъ наше гостепріимное отечество по части нравственнаго исправленія; несмотря на то, что нашъ юнѣшій поэтъ, нашъ могущественный Кукольникъ съ перваго прыжка догналъ всеобщаго исполнителя Гёте и только со втораго отсталъ немного отъ Крюковскаго; несмотря на то, что нашъ достопочтенный Николай Ивановичъ Гречъ (вкупѣ и въ любви съ Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ) разанатомировалъ, разня по суставамъ нашъ языкъ и представилъ е законы въ своей тройственной грамматикѣ этой истинной скинии завѣта, куда кромѣ е Николая Ивановича Греча, и друга его, Ѳаддея Венедиктовича, еще доселѣ не ступала нога ни одного профана; тотъ Николай Ивановичъ Гречъ, который во всю жизнь свою не дѣлалъ грамматическихъ ошибокъ и только въ своемъ дивномъ поэтическомъ сочиненіи — «Черная Женщина» — еще въ первый разъ, по уликѣ чувствительнаго князя Шалякова, поссорился съ грамматикой, видно уже лекхисъ слишкомъ разыгравшейся фантазіи; несмотря на то, что нашъ Калашниковъ заткнулъ за поясъ Купера въ роскошныхъ описаніяхъ безбрежныхъ пустынь русской Америки — Сибири, и въ изображеніи ея дикой красоты; несмотря на то, что нашъ гениальный баронъ Брамбеусъ своей толстой фантастической книгой на смерть пришибъ Шамполіона и Кювье, двухъ величайшихъ шарлатановъ и надувателей, которыхъ невѣ

*) «Библіотека для Чтенія» и «Инвалиды Прибавленія къ Литературѣ».

*) То-есть во «Всеобщую Исторію» Кайданова.

жественная Европа имѣла глупость почитать доселѣ великими учеными, а въ ѣдомъ остроуміи смять подъ ноги Вольтера, перваго въ мірѣ остроумца и балагура; несмотря, говорю я, на убѣдительное и краснорѣчивое опроверженіе нелѣпой мысли, будто у насъ нѣтъ литературы,—опроверженіе, такъ умно и сильно провозглашенное въ «Библіотекѣ для Чтенія» глубокомысленнымъ азіатскимъ критикомъ Тюнджи-Оглу;—несмотря на все на это, повторяю: у насъ нѣтъ литературы!.. Уфъ! усталъ! Дайте перевести духъ—совсѣмъ задохнулся!.. Право, отъ такого длиннаго періода поперхнется въ горлѣ даже у барона Брамбеуса, который и самъ мастакъ на великіе періоды...

Что такое литература?

Одни говорятъ, что подъ литературой какого-либо народа должно разумѣть весь кругъ его умственной дѣятельности, проявившейся въ письменности. Вслѣдствіе этого нашу примѣръ литературу составлять: «Исторія» Карамзина и «Исторія» Эмина и С. Н. Глинки, «Историческія розысканія» Шлецера, Эверса, Каченовскаго и статья Сенковскаго объ Исландскихъ сагахъ, «Физики» Велланскаго и Павлова и «Разрушеніе коперниковой системы» съ брошюрой о клопахъ и тараканахъ; «Борись Годуновъ» Пушкина и нѣкоторыя сцены изъ историческихъ драмъ со штыми и анисовкой, оды Державина и «Александронда» Свѣчина и пр. Если такъ, то у насъ есть литература, и литература, богатая громкими именами и не менѣе того громкими сочиненіями.

Другіе подъ словомъ литература понимаютъ собраніе извѣстнаго числа изящныхъ произведеній, т.-е., какъ говорятъ французы, *chef-d'oeuvres de littérature*. И въ этомъ смыслѣ у насъ есть литература, ибо мы можемъ похвалиться большимъ или меньшимъ числомъ сочиненій Ломоносова, Державина, Хемницера, Крылова, Грибоѣдова, Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина, Озерова, Загоскина, Лажечникова, Марлинскаго, кн. Одоевскаго, и еще нѣкоторыхъ другихъ. Но есть ли хотя одинъ языкъ на свѣтѣ, на которомъ бы не было сколькихъ-нибудь образцовыхъ художественныхъ произведеній, хотя народныхъ пѣсень? Удивительно ли, что въ Россіи, которая обширностью своей превосходитъ всю Европу, а народонаселеніемъ—каждое европейское государство, отдѣльно взятое, удивительно ли, что въ этой новой Римской Имперіи явилось людей съ талантами болѣе, нежели, напримѣръ, въ какой-нибудь Сербіи, Швеціи, Даніи и другихъ крохотныхъ земляхъ? Все это въ порядкѣ вещей, и изъ всего этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы у насъ была литература.

Но есть еще третье мнѣніе, непохожее ни на одно изъ обоихъ предыдущихъ,—мнѣніе, вслѣдствіе котораго литературой называется собраніе такого рода художественно-словес-

ныхъ произведеній, которыя суть плодъ свободнаго вдохновенія и дружныхъ (хотя и неусловленныхъ) усилій людей, созданныхъ для искусства, дышащихъ для одного его и уничтожающихся въ его, вполне выражающихъ и воспроизводящихъ въ своихъ изящныхъ созданіяхъ духъ того народа, среди котораго они рождены и воспитаны, жизнью котораго они живутъ и духомъ котораго дышатъ, выражающихъ въ своихъ творческихъ произведеніяхъ его внутреннюю жизнь до сокровеннѣйшихъ глубинъ и біеній. Въ исторіи такой литературы нѣтъ и не можетъ быть скачковъ; напротивъ, въ ней все послѣдовательно, все естественно, нѣтъ никакихъ насильственныхъ или принужденныхъ переломовъ, происшедшихъ отъ какого-нибудь чуждаго вліянія. Такая литература не можетъ въ одно и то же время быть и французской, и нѣмецкой, и англійской, и итальянской. Эта мысль не новая: она давно была высказана тысячу разъ. Казалось бы, не для чего и повторять ее. Но, увы! какъ много есть пошлыхъ истинъ, которыя у насъ должно твердить и повторять каждый день во всеуслышаніе! У насъ, у которыхъ такъ зыбки, такъ шатки литературныя мнѣнія, такъ темны и загадочны литературные вопросы; у насъ, у которыхъ одинъ недоволенъ второй частью «Фауста», а другой въ восторгѣ отъ «Черной Женщины», одинъ бранитъ кровавые ужасы Лукреціи Борджіа, а тысячи услаждаютъ себя романами Булгарина и Орлова; у насъ, у которыхъ публика есть настоящее изображеніе людей послѣ вавилонскаго столпотворенія, гдѣ

Одинъ кричитъ арбуза,
А тотъ соленыхъ огурцовъ;

наконецъ, у насъ, у которыхъ такъ дешево продаются и покупаются лавровые вѣнки генія, у которыхъ всякая смышленость, вспомоществуемая дерзостью и безстыдствомъ, приобряетъ себѣ громкую извѣстность, нагло ругаясь надъ всѣмъ святымъ и великимъ челоуѣчества подъ какой-нибудь баронской маской; у насъ, у которыхъ купчая крѣпость на цѣлую литературу и всѣхъ ея геніевъ доставляетъ тысячи подписчиковъ на иной торговый журналъ; у насъ, у которыхъ нелѣпныя бредни, воскрешающія собою позабытую ученость Тредьяковскихъ и Эминныхъ, громкогласно объявляются всемірными статьями, должны производящими рѣшительный переворотъ въ русской исторіи?.. Нѣтъ: пиши, говори, кричи всякій, у кого есть хоть сколько-нибудь безкорыстной любви къ отечеству, къ добру и истинѣ: не говорю познаній, ибо многіе печальные опыты доказали намъ, что въ дѣлѣ истины познанія и глубокая ученость совсѣмъ не одно и то же съ безпристрастіемъ и справедливостью...

И такъ, оправдываетъ ли наша словесность послѣднее опредѣленіе литературы, приведенное мною? Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, бросимъ бѣглый взглядъ на ходъ нашей литературы отъ Ломоносова, перваго ея генія, до Кукольника, послѣдняго ея генія.

La vérité! la vérité! rien plus que la vérité!

— «Какъ, что такое? Неужели обзорѣніе?» спрашиваютъ меня испуганные читатели.

Да, милостивые государи, оно хоть и не совсѣмъ обзорѣніе, а похоже на то. Итакъ—silence!—Но что я вижу? Вы морщитесь, пожимаете плечами, вы хоромъ кричите мнѣ: «Нѣтъ, братъ, стара шутка—не надуешь... мы еще не забыли и прежнихъ обзорѣній, отъ которыхъ намъ жутко приходилось! Мы, пожалуй, напередъ прочтемъ тебѣ наизусть все то, о чемъ ты намъ будешь проповѣдывать. Все это мы и сами знаемъ не хуже тебя. Вѣдь нынѣ не то, что прежде; тогда хорошо было вашей братьи, непризваннымъ обзорѣвателямъ, морочить насъ, бѣдныхъ читателей, а теперь всякій обзавелся своимъ умишкомъ, и въ состояніи толковать вкось и вкривъ о томъ и о семъ»...

Что мнѣ отвѣчать вамъ на это неизбежное привѣтствіе? Право, ума не приложу... Однакожъ.. прочтите хоть такъ, отъ скуки—вѣдь нынѣ, знаете, нечего читать, такъ оно и кстати... Можетъ быть (вѣдь чѣмъ чортъ не шутить!), можетъ быть вы найдете въ моемъ краткомъ (слышите ли, краткомъ!) обзорѣ, если не слишкомъ хитрыя вещи, то и не слишкомъ нелѣпыя, если не слишкомъ новыя, то и не слишкомъ истертыя... Притомъ же вѣдь чего-нибудь да стоятъ правда, безпристрастіе, благонамѣренность... Что, не вѣрите? Отворачиваетесь отъ меня, качаете головой, машете руками, затыкаете уши?... Ну, Богъ съ вами: божиться не стану, хотите—читайте, хотите—нѣтъ; вѣдь и то сказать, вольному воля!.. А впрочемъ, что же я расторгнулся съ вами? Нѣтъ—прошу не прогнѣваться: рады или не рады, а прочесть должны; зачѣмъ же грамотѣ учились? И такъ, благословясь, къ дѣлу!

Вы, почтенные читатели, можетъ быть, ожидаете, что я, по похвальному обычаю нашихъ многоученыхъ досужныхъ аристарховъ, начну мое обзорѣніе съ начала всѣхъ началъ—съ яницъ Леды—дабы показать вамъ, какое вліяніе имѣли на русскую литературу созданіе міра, грѣхопаденіе перваго человѣка, потомъ Греція, Римъ, великое переселеніе народовъ, Атилла, рыцарство, крестовые походы, изобрѣтеніе компаса, пороха, книгопечатанія, открытіе Америки, реформація, тридцатилѣтняя война и пр., и пр.? Вы, можетъ статься, уже и не на шутку струхнули, ожидая, что я, безъ

всякой вѣжливости, схвачу васъ за воротъ на пароходѣ Джонъ-Буль, и на какъ на волшебномъ коврѣ-самолетѣ, попрямо въ Индію, въ эту дивную родину ловѣчества, въ эту чудную страну Гималаю, слоновъ, тигровъ, львовъ, удавовъ, обезы, золота, каменьевъ и холеры; вы, можетъ бѣ думаете, что я изложу вамъ содержаніе «маіяны» и «Махабгараты», разберу и дражаемыя красоты «Саконталы», обнаружу редъ вами все богатство этой многосложной и роскошной мифологіи жрецовъ Магадевы Шивы и распространюсь кстати о поразительномъ сходствѣ санскритскаго языка съ славянскимъ? Нѣтъ, милостивые государи, обманывайте себя столь лестной надеждою, она не сбудется, и, кажется, на вашу же досаду; ибо—признаюсь вамъ откровенно—сочиненныя письма Ведъ для меня сущая рабарская грамота, а поэмъ и драмъ индусскихъ я не видывалъ даже и въ переводахъ. Не ожидайте также, чтобы съ береговъ священнаго Гангеса я повелъ васъ на цвѣтущіе берега Тигра и Евфрата, гдѣ младенцевъ-идоловъ разбилъ идоловъ и поклонился огню; не ждите, чтобы дерзкой рукой сталъ я сдѣлать дѣвственный покровъ съ тайнствъ древнихъ маговъ или жрецовъ Озириса и Иды на берегахъ многоводнаго Нила; не майте, чтобы я завелъ васъ мимоходомъ въ пустыни аравійскія, чтобы на песчаномъ оазисѣ, у журчащаго источника, подъ сѣнію прокопченной пальмы, объяснять вамъ седины славныхъ Моаллакатъ. Правда, дорога въ страну мнѣ извѣстна не меньше всѣхъ нашихъ обзорѣвателей; но боюсь пускаться въ такую даль: жалко васъ—не устанете или собьетесь съ пути. Не болѣе слышите отъ меня о Греціи и ея изящной и богатой литературѣ; равнымъ образомъ про роковыя молчаніемъ и вѣчный Римъ. Нѣтъ, не бойтесь! Не хочу,—подражая нашимъ прошедшимъ, настоящимъ, а можетъ статься, будущимъ обзорѣвателямъ, которые всегда начинаютъ на одинъ ладъ, съ яницъ Леды, оканчиваютъ ровно ничѣмъ, которые, насчитавъ своимъ долговременнымъ и скромнымъ молчаніемъ, принатуживъ свои умственные способности, однимъ разомъ высыпаютъ изъ своихъ головъ весь неистощимый запасъ своихъ огромныхъ и разнообразныхъ свѣдѣній и умѣщаютъ его на нѣсколькихъ страничкахъ пріятельскаго журнала или альманаха,—хочу ворошить костями Гомеровъ и Виргиліевъ, Демосоеновъ и Цицероновъ; и безъ ме довольно достается имъ, бѣднякамъ. Не только не стану наводить справокъ, съ какихъ родовъ начали писать или пѣть первобытные поэты, съ гимновъ или молитвъ; но даже не сыграю вамъ никакой прелюдіи о литературѣ среднихъ и новыхъ вѣковъ, а начну прі-

сь русской. Это мало: не буду толковать даже и о блаженной памяти классицизмъ и романтизмъ: вѣчная имъ память!

Ну, рѣшите сами, любезные читатели! не чужакъ ли я, да и только? Какъ, принять на себя важную должность обозрѣвателя и не воспользоваться такимъ прекраснымъ случаемъ выказать свою глубокую ученость, взять на прокатъ изъ русскихъ журналовъ, высказать множество свѣтлыхъ, рѣзкихъ, хотя уже и давно всѣмъ извѣстныхъ и, какъ горькая рѣдка, надѣвшихъ истинъ, сдобрить всю эту микстуру, весь этотъ винегретъ намеками на то и на се, разукрасить его каламбурами и пестрымъ калейдоскопическимъ слономъ, хотя бы наперекоръ здравому смыслу!.. Что, милостивые государи, вы удивляетесь. То-то же, вѣдь говорилъ, вамъ: прочтите авось не будете каяться... Подумайте хорошенько, а между тѣмъ еще разъ повторю вамъ, что, къ крайнему вашему огорченію, ничего этого не будетъ, — почему, о томъ читайте ниже и дивитесь.

Во-первыхъ: потому, что не хочу мучить васъ зѣвотой, отъ которой и самъ довольно страдаю.

Во-вторыхъ: потому, что не хочу шарлатанить, то-есть говорить свысока о томъ, чего не знаю, а если я знаю, то очень сбивчиво и неопредѣленно.

Въ-третьихъ: потому, что все это прекрасно на своемъ мѣстѣ, но къ русской литературѣ, предмету моего обозрѣнія, ни мало не относится; надѣюсь открыть ларчикъ гораздо проще.

Въ-четвертыхъ: потому, что твердо помню премудрое правило бывшаго нашего критика, блаженной памяти Никодима Аристарховича Надоумка, что глупо, для переѣзда черезъ лужу на челнокъ, раскладывать передъ собою морскую карту. Воля ваша, а я готовъ побожиться, что покойникъ говорилъ правду. Было время, когда всѣ затыкали уши отъ его невѣжливыхъ выходокъ противъ тогдашнихъ геніевъ, а теперь всѣ жалѣютъ, что уже некому припугнуть хорошенько нынѣшнихъ: изволь тутъ угодить на весь свѣтъ! Впрочемъ, я это сказалъ такъ, а прогос — сиѣшу къ началу.

Французы называютъ литературу выраженіемъ общества; это опредѣленіе не ново: оно давно намъ знакомо. Но справедливо ли оно? Это другой вопросъ. Если подъ словомъ «общество» должно разумѣть избранный кругъ образованнѣйшихъ людей, или, короче сказать, большой свѣтъ, beau monde, тогда это опредѣленіе будетъ имѣть свое значеніе, свой смыслъ, и смыслъ глубокий, но только у однихъ французовъ. Каждый народъ, сообразно съ своимъ характеромъ, происходящимъ отъ мѣстности, отъ единства или разнообразія элементовъ, изъ которыхъ образовалась его жизнь, и историческихъ обстоятельствъ, при которыхъ

она развилась, играетъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода свою особенную, назначенную ему Провидѣніемъ роль и вноситъ въ общую сокровищницу его успѣховъ на поприщѣ самосовершенствованія свою долю, свой вкладъ; другими словами: каждый народъ выражаетъ собою одну какую-нибудь сторону жизни человѣчества. Такимъ образомъ нѣмцы завладѣли безпредѣльной областью умозрѣнія и анализа, англичане отличаются практической дѣятельностью, итальянцы — художественнымъ направлениемъ. Нѣмецъ все подводитъ подъ общій взглядъ, все выводитъ изъ одного начала; англичанинъ переплываетъ моря, прокладываетъ дороги, проводитъ каналы, торгуетъ со всѣмъ свѣтомъ, заводитъ колоніи и во всемъ опирается на опытъ, на расчетъ; жизнь итальянца прежнихъ временъ была любовь и творчество, творчество и любовь. Направление французовъ есть жизнь, жизнь практическая, кипучая, беспокойная, вѣчно движущаяся. Нѣмецъ творить мысль, открываетъ новую истину; французъ ею пользуется, проживаетъ, издерживаетъ ее, такъ сказать. Нѣмцы обогащаютъ человѣчество идеями, англичане — изобрѣтеніями, служащими къ удобствамъ жизни; французы даютъ намъ законы моды, предписываютъ правила обхожденія, вѣжливости, хорошаго тона. Словомъ, жизнь француза есть жизнь общественная, паркетная; паркетъ есть его поприще, на которомъ онъ блистаетъ блескомъ своего ума, познаній, талантовъ, остроумія, образованности. Для французовъ балъ, собраніе — то же, что для грековъ была площадь или игры Олимпійскія: это битва, турниръ, гдѣ вмѣсто оружія сражаются умомъ, острою, образованностью, просвѣщеніемъ, гдѣ честолюбіе отражается честолюбіемъ, гдѣ много ломается копій, много выигрывается и проигрывается побѣдъ. Вотъ отчего ни одинъ народъ не можетъ сравняться съ французами въ этой обходительности, въ этой изящной ловкости и любезности, для выражения которыхъ словами опять-таки способенъ только одинъ французскій языкъ; вотъ отчего всѣ усилія европейскихъ народовъ сравняться въ этомъ отношеніи съ французами всегда оставались тщетными, вотъ отчего всѣ другія общества всегда были, суть и будутъ смѣшными карикатурами, жалкими пародіями, злыми эниграммами на французское общество, вотъ почему, говорю я, это опредѣленіе словесности, вслѣдствіе котораго она должна быть выраженіемъ общества, такъ глубоко и вѣрно у французовъ. Ихъ литература всегда была вѣрнымъ отраженіемъ, зеркаломъ общества, всегда шла съ нимъ рука объ руку, забывая о массѣ народа, ибо ихъ общество есть высочайшее проявленіе ихъ народнаго духа, ихъ народнои жизни. Для писателей французскихъ общество есть школа, въ которой они учатся языку,

заимствуютъ образъ мыслей и которое они изображаютъ въ своихъ твореніяхъ. Совсѣмъ не такъ у другихъ народовъ. Въ Германіи напимѣръ не тотъ ученъ, кто богатъ или вхожъ въ лучшіе дома и блистательнѣйшія общества; напротивъ, геній Германіи любитъ чердаки бѣдняковъ, скромные углы студентовъ, убогія жилища пасторовъ. Тамъ все пишеть или читаетъ, тамъ публика считается милліонами, а писатели тысячами; словомъ, тамъ литература есть выраженіе не общества, но народа. Такимъ же образомъ, хотя и не вслѣдствіе такихъ же причинъ, литературы и другихъ народовъ не суть выраженіе общества, но выраженіе духа народнаго; ибо нѣтъ ни одного народа, жизнь котораго преимущественно проявлялась бы въ обществѣ, и можно сказать утвердительно, что Франція составляетъ въ семъ случаѣ единственное исключеніе. И такъ, литература не премѣнно должна быть выраженіемъ — символомъ внутренней жизни народа. Впрочемъ это совсѣмъ не есть ея опредѣленіе, но одно изъ необходимѣйшихъ ея принадлежностей и условій. Прежде, нежели я буду говорить о Россіи въ этомъ отношеніи, считаю необходимымъ изложить здѣсь мои понятія объ искусствѣ вообще. Я хочу, чтобы читатели видѣли, съ какой точки зрѣнія смотрю я на предметъ, о которомъ вызвался судить, и вслѣдствіе какихъ причинъ я понимаю то или другое такъ, а не этакъ.

Весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ есть не что иное, какъ дыханіе единой, вѣчной идеи (мысли единого вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать въ свои свѣтлые мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадные солнца, жилы — пути млечные, а кровь — чистый эфиръ. Для этой идеи нѣтъ покоя: она живетъ безпрестанно, то-есть безпрестанно творить, чтобы разрушать, и разрушаетъ, чтобы творить. Она воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудящую комету; она живетъ и дышетъ — и въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, и въ свирѣпомъ ураганѣ пустынь, и въ шелестѣ листьевъ, и въ журчаньи ручья, и въ рыканіи льва, и въ слезѣ младенца, и въ улыбкѣ красоты, и въ волѣ чловѣка, и въ стройныхъ созданіяхъ генія... Кружится колесо времени съ быстротой непостижимой, въ безбрежныхъ равнинахъ неба потухаютъ свѣтила, какъ истощившіеся вулканы, и зажигаются новыя; на землѣ проходятъ роды и поколѣнія и замѣняются новыми, смерть истребляетъ жизни, жизнь уничтожаетъ смерть; силы природы борются, враждуютъ и умиротворяются силами посредствующими, и гармо-

нія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броженіи, въ этой борьбѣ началъ и веществъ. Такъ — идея живетъ: мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидитъ, все держитъ въ равновѣсіи; за наводненіемъ и за лавой ниспосылаетъ плодородіе, за опустошительной грозой — чистоту и свѣжесть воздуха, въ пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледяного Сѣвера поселила оленя. Вотъ ея мудрость, вотъ ея жизнь физическая: гдѣ же ея любовь? Богъ создалъ чловѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ эту идею своимъ умомъ и знаніемъ, да приобщается къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной жгущей любви! И такъ, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, чловѣкъ, своимъ высокимъ назначеніемъ, но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенія, что она въ тебѣ живетъ, а жизнь есть дѣйствование, а дѣйствование есть борьба; не забывай, что твое безконечное, высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженіи твоего я въ чувствѣ любви. И такъ вотъ тебѣ двѣ дороги, два неизбѣжные пути: отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастья другихъ, жертвуй всемъ для блага ближняго, родины, для пользы чловѣчества, любви истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего я, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства!.. Что? Ты не рѣшаешься? Этотъ подвигъ тебя страшитъ, кажется тебѣ не по силамъ?... Ну, такъ вотъ тебѣ другой путь, онъ шире, спокойнѣе, легче: любви самого себя больше всего на свѣтѣ; плачь, дѣлай добро лишь изъ выгоды, не бойся зла, когда оно приноситъ тебѣ пользу. Помни это правило: съ нимъ тебѣ вездѣ будетъ тепло! Если ты рожденъ сильнымъ земли, гни твой хребетъ, ползи змѣей между тиграми, бросайся тигромъ между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми вѣнцами, рамена согни подъ грузомъ незаслуженныхъ почестей и титулъ. Весела и блестяща будетъ жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холодъ и голодъ, что такое угнетеніе или оскорбленіе; все будетъ трепетать тебя, вездѣ покорность и услужливость, отовсюду лестъ и хваленія, и поэтъ напишетъ тебѣ посланіе и оду, гдѣ сравнитъ тебя съ полубогами, и журналистъ прокричитъ во всеуслышаніе, что ты покровитель слабымъ и сирымъ, столпъ и опора отечества, правая рука государя! Какая тебѣ нужда, что въ душѣ

твоей каждую минуту будет разыгрываться ужасная, кровавая драма, что ты будешь въ безпрестанномъ раздорѣ съ самимъ собою, что въ душѣ твоей будетъ слишкомъ жарко, а въ сердцѣ—слишкомъ холодно, что вопли угнетенныхъ тобою будутъ преслѣдовать тебя и на свѣтломъ пиру, и на мягкомъ ложѣ сна, что тѣни погубленныхъ тобою окружатъ твой болѣзненный одръ, составятъ около него адскую пляску и съ яростнымъ хохотомъ будутъ веселиться твоими послѣдними, предсмертными страданіями, что передъ твоими взорами откроется ужасная картина нравственного уничтоженія за гробомъ, мукъ вѣчныхъ!.. Э, любезный мой, ты правъ: жизнь—сонъ, и не увидишь, какъ пройдетъ. Зато весело поживешь, сладко поѣшь, мягко поспишь, повластвуешь надъ своими ближними, а вѣдь это чего-нибудь да стоитъ!—Если же при твоёмъ рожденіи природа возложила на твое чело печать гения, дала тебѣ вѣщія уста пророка и сладкій голосъ поэта, если міродержавныя судьбы обрекли тебя быть двигателемъ человечества, апостоломъ истины и знанія, вотъ опять передъ тобою два неизбѣжные пути. Сочувствуй природѣ, люби и изучай ее, твори безкорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближнихъ для впечатлѣній благого и истиннаго, изобличай порокъ и невѣжество, терпи гоненія злыхъ, ѣшь хлѣбъ, смоченный слезами, и не своди задумчиваго взора съ прекраснаго, родного тебѣ неба. Трудно? тяжело?.. Ну, такъ торгуй твоимъ божественнымъ даромъ, положи цѣну на каждое вѣщее слово, которое ниспосылаетъ тебѣ Богъ въ святыхъ минуты вдохновенія: покупщики найдутся, будутъ платить тебѣ щедро, а ты лишь умѣй кадить кадиломъ лести, умѣй склонять во прахъ твое вѣнчанное чело, забудь о славѣ, о безсмертіи, о потомствѣ, довольствуйся тѣмъ, если услужливая рука торговца-журналиста провозгласитъ о тебѣ, что ты великій поэтъ, гений, Байронъ, Гётѣ!..

Вотъ нравственная жизнь вѣчной идеи. Проявленіе ея—борьба между добромъ и зломъ, любовью и эгоизмомъ, какъ въ жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной. Безъ борьбы нѣтъ заслуги, безъ заслуги нѣтъ награды, а безъ дѣйствованія нѣтъ жизни! Что представляютъ собою индивидуумы, то же представляетъ человечество: оно борется ежеминутно и ежеминутно улучшается. Потоки варваровъ, нахлынувшихъ изъ Азіи въ Европу, вмѣсто того чтобы подавить жизнь, воскресли ее, обновили дряхлѣющій міръ; изъ гнилого трупца Римской Имперіи возникли мощные народы, сдѣлавшіея сосудомъ благодати... Что означаютъ походы Александровъ, безпокойная дѣятельность Цезарей, Карловъ? Движеніе вѣчной идеи, которой жизнь состоитъ въ непрерывной дѣятельности...

Какое же назначеніе и какая цѣль искусства?.. Изображать, воспроизводить въ словѣ, звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства! Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы. Поэтому поэтъ болѣе, нежели кто-либо другой, долженъ изучать природу физическую и духовную, любить ее и сочувствовать ей; болѣе, нежели кто-либо другой, долженъ быть чистъ и дѣвственъ душой, ибо въ ея святилище можно входить только съ ногами обнаженными, съ руками омовенными, съ умомъ мужа и сердцемъ младенца, ибо только сіи наслѣдуютъ царствію небесное, ибо только въ гармоніи ума и чувства заключается высочайшее совершенство человѣка!.. Чѣмъ выше гений поэта, тѣмъ глубже и обширнѣе обнимаетъ онъ природу и тѣмъ съ болѣе большимъ успѣхомъ представляетъ намъ ее въ ея высшей связи и жизни. Если Байронъ взвѣсилъ ужасъ и страданье, если онъ постигъ и выразилъ только муки сердца, адъ души, это значитъ, что онъ постигъ только одну сторону бытія вселенной, что онъ вырвалъ и показалъ намъ только одну его страницу. Шиллеръ передалъ намъ тайны неба, показалъ одно прекрасное жизни такъ, какъ онъ понималъ ее самъ, пропѣлъ намъ только свои заветныя думы и мечтанія, злое жизни у него или невѣрно, или искажено преувеличеніемъ; Шиллеръ въ этомъ отношеніи равенъ Байрону. Но Шекспиръ, божественный, великій, недостижимый Шекспиръ постигъ и адъ, и землю, и небо: царь природы, онъ взялъ равную дань и съ добра, и со зла, и подсмотрѣлъ въ своемъ вдохновенномъ ясно-видѣніи бѣненіе пульса вселенной! Каждая его драма есть міръ въ миниатюрѣ; у него нѣтъ, какъ у Шиллера, любимыхъ идей, любимыхъ героевъ. Посмотрите, какъ безчеловѣчно смѣется онъ надъ этимъ бѣднымъ Гамлетомъ, съ замысломъ гиганта и волей ребенка, который на каждомъ шагѣ падаетъ подъ тяжестью подвига, предпринятаго не по силамъ!.. Спросите у Шекспира, спросите у этого царя чародѣевъ: для чего онъ сдѣлалъ изъ Лира слабого, полоумнаго старичишку, а не идеальнаго отца, какъ Дюсисъ или Гидичъ; для чего онъ представилъ въ Макбетѣ человѣка, сдѣлавшагося злодѣемъ по слабости характера, а не по влеченію ко злу, а въ леди Макбетъ—злодѣйку по чувству; для чего онъ сдѣлалъ изъ Корделіи нѣжную, любящую дочь, съ мягкимъ женскимъ сердцемъ, а на ея сестеръ наслалъ фуріи зависти, честолюбія и неблагодарности? Онъ сказалъ бы вамъ въ отвѣтъ, что такъ бываетъ въ мірѣ, что иначе быть не можетъ!—Да! это безпристрастіе, эта холодность поэта, который какъ будто говоритъ вамъ: такъ было, а впрочемъ мнѣ какое дѣло! есть высочайшій зенитъ художественнаго со-

вершенства, есть истинное творчество, есть удѣлъ немногихъ избранныхъ, о которыхъ говорить:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ:
Ручья разумѣть лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье,
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ вы не можете назвать то или другое явленіе прекраснымъ, а это безобразнымъ, безъ отношеній?... Развѣ не одинъ и тотъ же духъ Божій создалъ кроткаго агнца и кровожаднаго тигра, статную лошадь и безобразнаго кита, красавицу-черкешенку и урода-негра? Развѣ онъ больше любить голубя, чѣмъ ястреба, соловья, чѣмъ лягушку, газель, чѣмъ удава? Для чего же поэтъ долженъ изображать вамъ одно прекрасное, одно умиляющее душу и сердце? Если Ганъ Исландецъ можетъ существовать въ природѣ, то я, право, не понимаю, чѣмъ онъ хуже какого-нибудь Карла Моора или даже маркиза Позы? Я люблю Карла Моора, какъ человѣка, обожаю Поzu, какъ героя, и ненавижу Гана Исландца, какъ чудовище; но какъ созданія фантазіи, какъ частныя явленія общей жизни, они для меня всѣ равно прекрасны. Если поэтъ изображаетъ, подобно какому-нибудь Сю, одно ужасное, одно злое природы, это доказываетъ, что кругозоръ его ума тѣсенъ, что его творческій геній ограниченъ, а ничуть не обнаруживаетъ въ немъ дурного, безнравственнаго человѣка. Вотъ, когда онъ своими сочиненіями старается заставить васъ смотрѣть на жизнь съ его точки зрѣнія, въ такомъ случаѣ онъ уже и не поэтъ, а мыслитель, и мыслитель дурной, злонамѣренный, достойный проклятій, ибо поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя. Доколѣ поэтъ слѣдуетъ безотчетно мгновенной вспышкѣ своего воображенія, доколѣ онъ нравственъ, доколѣ онъ и поэтъ; но какъ скоро онъ предположилъ себѣ цѣль, задалъ тему, онъ уже философъ, мыслитель, моралистъ, онъ теряетъ надо мной свою чародѣйскую власть, разрушаетъ очарованіе и заставляетъ меня сожалѣть о себѣ, если, при истинномъ талантѣ, имѣетъ похвальную цѣль, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредныхъ мыслей. Вамъ нравится ода «Богъ» Державина? Но этотъ же Державинъ написалъ «Мельника». Вы осуждаете Пушкина за многія вольности въ «Русланъ и Людмилъ»? Но этотъ же Пушкинъ создалъ вамъ «Бориса Годунова». Отчего же такія противорѣчія въ ихъ художественномъ направленіи? Оттого, что они хорошо помнятъ правило:

Теперь гонись за жизнью дивной,
И каждый мигъ въ ней воскрешай,
На каждый звукъ ея призывный
Отзывной пѣснью отвѣчай!

Да, искусство есть выраженіе великой идеи вселенной въ ея безконечно-разнообразныхъ явленіяхъ! Прекрасно было гдѣ-то сказано, что повѣсть есть краткій эпизодъ изъ безконечной поэмы судебъ человѣческихъ! Подъ это опредѣленіе повѣсти подходятъ всѣ роды художественныхъ созданій. Все искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы поставить читателя на такую точку зрѣнія, съ которой бы ему видна была вся природа въ сокращеніи, въ миниатюрѣ, какъ земной шаръ на ландкартѣ, чтобы дать ему почувствовать вѣяніе, дыханіе этой жизни, которая одушевляетъ вселенную, сообщить его душѣ этотъ огонь, который согрѣваетъ ее. Наслажденіе же изящнымъ должно состоять въ минутномъ забвеніи нашего я, въ живомъ сочувствіи съ общей жизнью природы; и поэтъ всегда достигнетъ этой прекрасной цѣли, если его произведеніе есть плодъ возвышеннаго ума и горячаго чувства, если оно свободно и безотчетно вылилось изъ его души...

Ахъ! если рождены мы все перенять,
Хоть у китаецъ бы намъ нѣсколько занять
Премудраго у нихъ незнанья иноземцевъ!
Воскреснемъ ли когда отъ чужевластья моль,
Чтобъ умный, добрый нашъ народъ
Хотя по языку насъ не считалъ за нѣмцевъ!
Горе отъ ума.

И такъ, теперь должно рѣшить слѣдующій вопросъ, что такое наша литература: выраженіе общества или выраженіе духа народа? Рѣшеніе этого вопроса будетъ исторіей нашей литературы и вмѣстѣ исторіей постепеннаго хода нашего общества со временъ Петра Великаго. Вѣрный моему слову, я не буду говорить, съ чего начались литературы всѣхъ народовъ и какъ онѣ развивались, ибо это должно быть общимъ мѣстомъ для всякаго читающаго человѣка.

Каждый народъ, вслѣдствіе непреложнаго закона Провидѣнія, долженъ выражать своей жизнью одну какую-нибудь сторону жизни цѣлаго человечества; въ противномъ случаѣ, этотъ народъ не живетъ, а только прозябаетъ, и его существованіе ни къ чему не служитъ. Односторонность вредна для всякаго человѣка въ частности, вредна для всего человечества. Когда весь міръ сдѣлался Римомъ, когда всѣ народы начали мыслить и чувствовать по-римски, тогда прервался ходъ человѣческаго ума, ибо для него уже не стало болѣе цѣли, ибо ему казалось, что онъ уже дошелъ до геркулесовскихъ столбовъ своего поприща. Утомленный властелинъ міра опочилъ на своихъ лаврахъ; жизнь его кончилась, ибо кончилась его дѣятельность, стремленіе къ которой проявлялось у него только въ однѣхъ безпутныхъ оргіяхъ. Онъ сдѣлалъ ужасную ошибку, думая, что внѣ Рима, на-

слѣдовавшаго, по праву завоеванія, сокровища греческаго образованія, нѣтъ міра, нѣтъ свѣта, нѣтъ просвѣщенія! Бѣдственное заблужденіе! Оно было одной изъ важнѣйшихъ причинъ нравственной смерти сего великаго колосса. Для обновленія человѣчества надобно было, чтобы этотъ хаосъ смерти и тлѣнія огласился благодатнымъ словомъ Сына человѣческаго: *«Прійдите ко мнѣ вси труждающіеся и обремененніи, и азъ упокою вы!»* Надобно было, чтобы толпы варваровъ разрушили это колоссальное могущество, размежевали его своимъ мечомъ на множество могуществъ, приняли Слово и пошли каждый своимъ особеннымъ путемъ къ единой цѣли.

Да, только идя по разнымъ дорогамъ, человѣчество можетъ достигнуть своей единой цѣли; только живя самобытною жизнью, можетъ каждый народъ принести свою долю въ общую сокровищницу. Въ чемъ же состоитъ эта самобытность каждаго народа? Въ особенномъ, одному ему принадлежащемъ образѣ мыслей и взглядѣ на предметы; въ религіи, языкѣ, и болѣе всего въ обычаяхъ. Всѣ эти обстоятельства чрезвычайно важны, тѣсно соединены между собою и условливаютъ другъ друга, и всѣ проистекаютъ изъ одного общаго источника — причины всѣхъ причинъ — климата и мѣстности. Между этими отличіями каждаго народа обычаи играютъ едва ли не самую важную роль, составляютъ едва ли не самую характеристическую ихъ черту. Невозможно представить себѣ народа безъ религіозныхъ понятій, облеченныхъ въ формы богослуженія; невозможно представить себѣ народа, не имѣющаго одного, общаго для всѣхъ сословій языка; но еще не менѣе возможно представить себѣ народъ, не имѣющій особенныхъ, одному ему свойственныхъ обычаевъ. Эти обычаи состоятъ въ образѣ одежды, прототипъ которой находится въ климатѣ страны, въ формахъ домашней и общественной жизни, причина которыхъ скрывается въ вѣрованіяхъ, повѣрьяхъ и понятіяхъ народа, въ формахъ обращенія между недѣлимыми государства, отгѣнки которыхъ проистекаютъ отъ гражданскихъ постановленій и различія сословій. Всѣ эти обычаи укрѣпляются давностью, освящаются временемъ и переходятъ изъ рода въ родъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію, какъ наслѣдіе потомковъ отъ предковъ. Они составляютъ фیزیономію народа, и безъ нихъ народъ есть образъ безъ лица, мечта небывалая и несбыточная. Чѣмъ младенченіе народъ, тѣмъ рѣзче и цвѣтнѣе его обычаи, тѣмъ большую полагаетъ онъ въ нихъ важность; время и просвѣщеніе подводятъ ихъ подъ общій уровень; но они могутъ измѣниться не иначе, какъ тихо, незамѣтно, и притомъ одинъ по одному. Надобно, чтобы самъ народъ добровольно отказывался отъ нѣ-

которыхъ изъ нихъ и принималъ новые; но и тутъ своя борьба, свои битвы на смерть, свои старовѣры и раскольники, классики и романтики. Народъ крѣпко дорожитъ обычаями, какъ своимъ священнѣйшимъ достояніемъ, и посягательство на внезапную и рѣшительную ихъ реформу безъ своего согласія почитаетъ посягательствомъ на свое бытіе. Посмотрите на Китай: тамъ масса народа исповѣдуетъ нѣсколько различныхъ вѣръ; высшее сословіе, мандарины, не знаютъ никакой, и только изъ приличія исполняютъ религіозные обряды; но какое у нихъ единство и общность обычаевъ, какая самостоятельность, особенность и характерность! какъ упорно они ихъ держатся! Да, обычаи — дѣло святое, неприкосновенное и неподлежащее никакой власти, кромѣ силы обстоятельствъ и успѣховъ въ просвѣщеніи! Человѣкъ самый развратный, закоренѣлый въ порокахъ, смѣющийся надъ всѣмъ святымъ, покоряется обычаямъ, даже внутренне смѣясь надъ ними. Разрушите ихъ внезапно, не замѣнивъ тотчасъ же новыми, и вы разрушите всѣ опоры, разорвете всѣ связи общества, словомъ, уничтожите народъ. Почему это такъ? По тому же самому, почему рыбъ привольно въ водѣ, птицъ на воздухѣ, звѣрю на землѣ, гадинъ подъ землей. Народъ, насильственно введенный въ чужую ему сферу, похожъ на связаннаго человѣка, котораго бичомъ понуждаютъ къ бѣгу. Всякій народъ можетъ перенимать у другого, но онъ необходимо налагаетъ печать собственнаго генія на эти займы, которые у него принимаютъ характеръ подражаній. Въ этомъ-то стремленіи къ самостоятельности и оригинальности, проявляющемся въ любви къ роднымъ обычаямъ, заключается причина взаимной ненависти у народовъ младенчествующихъ. Вслѣдствіе этой-то причины русскій называлъ бывало нѣмца нехристью, а турокъ еще и теперь, почитается поганымъ всякаго франка и не хочетъ ѣсть съ нимъ изъ одного блюда: религія въ этомъ случаѣ играетъ не исключительно главную роль.

На востокъ Европы, на рубежѣ двухъ частей міра, Провидѣніе поселило народъ, рѣзко отличающійся отъ своихъ западныхъ сосѣдей. Его колыбелью былъ свѣтлый Югъ; мечъ азіатца-русса далъ ему имя; издыхающая Византія завѣщала ему благодатное Слово спасенія; оковы татарина связали крѣпкими узами его разъединенныя части, рука хановъ спаяла ихъ его же кровью; Іоаннъ III научилъ его бояться, любить и слушаться своего царя, заставилъ его смотрѣть на царя, какъ на Провидѣніе, какъ на верховную судьбу, карающую и милующую по единой своей волѣ и признающую надъ собою единую Божію волю. И этотъ народъ сталъ хладенъ и спокоенъ, какъ снѣга его родины, когда мирно жилъ въ своей хижинѣ; быстръ и грозенъ,

какъ небесный громъ его краткаго, но палящаго лѣта, когда рука царя показывала ему врага; удалъ и разгуленъ, какъ въюги и непогоды его зимы, когда пировалъ на своей волѣ; неповоротливъ и лѣнивъ, какъ медвѣдь его непроходимыхъ дебрей, когда у него было много хлѣба и браги; смысленъ, смѣтливъ и лукавъ, какъ кошка, его домашній пенатъ, когда нужда учила его ѣсть калачи. Крѣпко стоялъ онъ за церковь Божию, за вѣру праотцевъ, непоколебимо былъ вѣренъ батюшкѣ-царю православному, его любимая поговорка была: «мы всѣ Божиі да царевы»; Богъ и царь, воля Божія и воля царева слились въ его понятіи во-едино. Свято хранилъ онъ простые и грубые нравы прадѣдовъ и отъ чистаго сердца почиталъ иноземные обычаи дьявольскимъ навожденіемъ. Но этимъ и ограничивалась вся поэзія его жизни, ибо умъ его былъ погруженъ въ тихую дремоту и никогда не выступалъ изъ своихъ завитыхъ рубежей; ибо онъ не преклонялъ колѣнъ передъ женщиной, и его гордая и дикая сила требовала отъ нея рабской покорности, а не сладкой взаимности; ибо быть его былъ однообразенъ, ибо только буйныя игры и удалая охота отцвѣтляли этотъ бытъ; ибо только одна война возбуждала всю мощь его холодной, желѣзной души, ибо только на кровавомъ раздольѣ битвъ она бушевала и веселилась на всей своей волѣ. Это была жизнь самобытная и характерная, но односторонняя и изолированная. Въ то время, когда дѣятельная, кипучая жизнь старѣйшихъ представителей человѣческаго рода двигалась впередъ съ пестротой неимоверной, они ни однимъ колесомъ не зацѣплялись за пружины ея хода. И такъ, этому народу надобно было приобщиться къ общей жизни человѣчества, составить часть великаго семейства человѣческаго рода. И вотъ у этого народа явился царь мудрый и великій, кроткій безъ слабости, грозный безъ тиранства; онъ первый замѣтилъ, что нѣмецкіе люди не басурманы, что у нихъ есть много такого, что пригодилось бы и его подданнымъ, есть много такого, что имъ совершенно ни къ чему не годится. И вотъ онъ началъ ласкать людей нѣмецкихъ и прикармливать ихъ своимъ хлѣбомъ-солью; указалъ своимъ людямъ перенимать у нихъ ихъ хитрости художества. Онъ построилъ ботикъ и хотѣлъ пуститься въ море, доселѣ для сего народа страшное и невѣдомое; онъ приказалъ заморскимъ комедіантамъ тѣшить свое царское величество, крѣпко на крѣпко заказавъ между тѣмъ православному русскому человѣку, подъ опасеніемъ лишенія носа, нюхать табакъ, траву поганую и проклятую. Можно сказать, что въ его время Русь впервые почувствовала у себя заморскій духъ, котораго дотошъ было видно не видать, слышать не слы-

хатъ. И вотъ умеръ этотъ добрый царь, а на престолъ вззошелъ юный сынъ его, который, подобно богатырямъ владиміровыхъ временъ, еще въ дѣтствѣ бросалъ за облака стопудовыя палицы, гнулъ ихъ руками, ломалъ ихъ о колѣнки. Это была олицетворенная мощь олицетворенный идеалъ русскаго народа въ дѣятельныя мгновенія его жизни; это былъ одинъ изъ тѣхъ исполиновъ, которые поднимали на рамена свои шаръ земной. Для ея желѣзной воли, не знавшей препонъ, было только одна цѣль—благо народа. Задумалъ онъ думу крѣпкую, а задумать для него значило—исполнить. Увидѣлъ чудеса и дива за морскія, и захотѣлъ пересадить ихъ на родную почву, не думая о томъ, что эта почва была слишкомъ еще жестка для иноземныхъ растений, что не по нимъ была и зима русская; увидѣлъ онъ вѣковые плоды просвѣщенія, и захотѣлъ въ одну минуту присвоить ихъ своему народу.

Подумано—сказано, сказано—сдѣлано: русский не любитъ ждать. Ну, русскій человѣкъ: снаряжайся «по царскому наказу, боярскому приказу, по нѣмецкому маниру»... Проще, дѣстопочтенныя окладистыя бороды! Прости и ты, простая и благородная стрижка волосъ въ кружалю, ты, которая такъ хорошо шла къ этимъ почтеннымъ бородамъ! Тебя замѣнили огромныя парики, осыпанные мукой! Простите, догополые охабни нашихъ бояръ, выложенныя обшитыя серебромъ и золотомъ! Васъ замѣнили кафтаны и камзолы со штанами и ботфортами! Прости и ты, прекрасный поэтически сарафанъ нашихъ боярынь и боярышень; ты, кисейная рубашка съ сшитыми рукавамъ и ты, высокій, униженный жемчугомъ повойникъ,—простой чародѣйскій нарядъ, который такъ хорошо шелъ къ высокимъ грудямъ яркому румянцу нашихъ бѣлоликихъ и голубокихъ красавицъ! Тебя замѣнили робы с фижмами, роброндами и длинными-предлинными хвостами! Бѣдила и румяна, потѣснились немножко, дайте мѣсто чернымъ мушкамъ! Простите и вы, заунывные русскія пѣсни, ты, благородная и граціозная пляска: не воювать ужъ нашимъ красавицамъ-голубкамъ не заливаясь соловьемъ, не плавать по полямъ павами! Нѣтъ! Пошли аріи и романсы съ въ водомъ верхнихъ нотокъ:

...Богъ мой!

Приди въ чертогъ ко мнѣ златой!

пошла живописная ломка въ менуэтахъ, слѣдственное круженіе въ вальсахъ...

И все завертѣлось, все закружилось, въ помчалось стремглавъ. Казалось, что Русь въ тридцать лѣтъ хотѣла вознаградить себя за цѣлыя столѣтія неподвижности. Будто по новенію волшебнаго жезла, маленькій ботикъ царя Алексѣя превратился въ грозный флотъ

императора Петра, непокорныя дружины стрѣльцовъ—въ стройные полки. На стѣнахъ Азова была брошена перчатка Портѣ: горе тебѣ, луна двурогая! На поляхъ Лѣсного и на берегахъ Ворсклы былъ жестоко отомщенъ позоръ нарвской битвы: спасибо Меншикову, спасибо Данилычу! Каналы и дороги начали прорѣзывать дѣвственную почву земли русской; зашевелилась торговля; застучали молоты, захлопали станы; зашевелилась промышленность.

Да, много было сдѣлано великаго, полезнаго и славнаго! Петръ былъ совершенно правъ; ему некогда было ждать. Онъ зналъ, что ему не два вѣка жить, и потому спѣшилъ жить, а жить для него значило творить. Но народъ смотрѣлъ иначе. Долго онъ спалъ, и вдругъ могучая рука прервала его богатырский сонъ: съ трудомъ раскрылъ онъ свои отяжелѣвшія вѣжды и съ удивленіемъ увидѣлъ, что къ нему ворвались чужеземные обычаи, какъ незваные гости, не снявши сапогъ, не помолиась святымъ иконамъ, не поклонившись хозяину; что они вѣпились ему въ бороду, которая была для него дороже головы, и вырвали ее; сорвали съ него величественную одежду и надѣли шутовскую, исказили и испестрили его дѣвственный языкъ, и нагло наругались надъ святыми обычаями его праотцевъ, надъ его задушевными вѣрованіями и привычками; увидѣлъ и ужаснулся... Неловко, непривычно и неподручно было русскому, чужовѣку ходить, заложа руки въ карманы: онъ спотыкался, подходя къ ручкамъ дамъ, падалъ, стараясь хорошенько распархнуться. Занявъ формы европеизма, онъ сдѣлался только пародіей европейца. Просвѣщеніе, подобно завѣтному слову искупленія, должно приниматься съ благоразумной постепенностью, но сердечному убѣжденію, безъ оскорбленія святыхъ праотческихъ нравовъ; таковъ законъ Провидѣнія!... Повѣрьте, что русскій народъ никогда не былъ заклятымъ врагомъ просвѣщенія, онъ всегда готовъ былъ учиться; только ему нужно было начать свое ученіе съ азбуки, а не съ философіи, — съ училища, а не съ академіи. Борода не мѣшаетъ читать звѣзды: это извѣстно въ Курскѣ!

Какое же слѣдствіе вышло изъ всего этого? Масса народа упорно осталась тѣмъ, что и была; но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука генія. Что жъ это за общество? Я не хочу вамъ много говорить объ немъ; прочтите «Недоросля», «Горе отъ ума», «Евгенія Онегина», «Дворянскіе Выборы» и новый романъ Лажечникова, когда онъ выйдетъ; прочтите, и вы узнаете его сами лучше меня...

Такъ по крайней мѣрѣ давайте же намъ ваше обозрѣніе русской литературы, которое вы сулите въ каждомъ номерѣ «Молвы», и

котораго мы еще по сію пору не видали! Судя по такимъ огромнымъ приступамъ, мы страхъ боимся, чтобы оно не было длиннѣе и скучнѣе «Фантастическаго Путешествія» барона Брамбеуса.

Я и самъ не знаю, любезные читатели, какъ оно будетъ длинно. Можетъ быть изъ него выйдетъ и преуморительный уродецъ: избушка на курьихъ ножкахъ, царь съ ноготокъ, борода съ локотокъ, а голова съ пивной котель. Что дѣлать: не я первый, не я послѣдній; у насъ это такъ въ модѣ. Впрочемъ, если мои приступы не отбили у васъ охоты увидѣть заключеніе, если вы имѣете столько терпѣнія читать, сколько я писать, то увидите начало, а можетъ быть и конецъ моего обозрѣнія.

Впередъ, впередъ, моя исторія!
Пушкинъ.

И такъ, народъ или, лучше сказать, масса народа и общество пошли у насъ врозь. Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни и при своихъ заунывныхъ пѣсняхъ, въ которыхъ изливалась его душа въ горѣ и въ радости; второе же видимо пѣмѣнялось, если не улучшалось, забыло все русское, забыло даже *русскій языкъ*, забыло поэтическія преданія и вымыслы своей родины, эти прекрасныя пѣсни, полныя глубокой грусти, сладкой тоски и разгулья молодцаго, и создало себѣ литературу, которая была вѣрнымъ его зеркаломъ. Надобно замѣтить, что какъ масса народа, такъ и общество подраздѣлились, особливо послѣднее, на множество видовъ, на множество степеней. Первая показала нѣкоторые признаки жизни и движеній въ сословіяхъ, находившихся въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ обществомъ, въ сословіяхъ людей городскихъ, ремесленниковъ, мелкихъ торговцевъ и промышленниковъ. Нужда и соперничество иноземцевъ, поселившихся въ Россіи, сдѣлали ихъ дѣятельными и оборотливыми, когда дѣло шло о выгодѣ; заставили ихъ покинуть старинную лѣнь и запечную недвижимость, и пробудили стремленіе къ улучшеніямъ и нововведеніямъ, до толѣ для нихъ столь ненавистнымъ; ихъ фанатическая ненависть къ нѣмецкимъ людямъ ослабѣвала со дня на день и, наконецъ, теперь совсѣмъ исчезла; они кое-какъ понаучились даже грамотѣ и крѣпче прежняго уцѣпились обѣими руками за мудрое правило, завѣщанное имъ отъ праотцевъ: «ученье свѣтъ, а неученье тьма». Это общаетъ много хорошаго въ будущемъ, тѣмъ болѣе, что эти сословія ни на волосъ не утратили своей народной фizioноміи. Что касается до нижняго слоя общества, т. е. *средняго состоянія*, оно раздѣлилось въ свою очередь на множество

родовъ и видовъ, между которыми по своему большинству занимаютъ самое видное мѣсто такъ называемые разночинцы. Это сословіе наиболѣе обмануло надежды Петра Великаго: грамотъ оно всегда училось на желѣзные гроши, свою русскую смышленость и смѣтливость обратило на предосудительное ремесло толковать указы; выучившись кланяться и подходить къ ручкѣ дамъ, не разучилось своими благородными руками исполнять неблагородныя экзекуціи. Высшее же сословіе общества изъ всѣхъ силъ ударилося въ подражаніе или, лучше сказать, передразниванье иностранцевъ...

Но не о томъ дѣло. Говорятъ, что музы любятъ тишину и боятся грома оружія: мысль совершенно ложная! Однако какъ бы то ни было, а царствованіе Петра оглашалось однѣми проповѣдями, которыя остались только въ памяти ученыхъ, а не народа; ибо это пестрое мозаическое краснорѣчіе или, скорѣе, разнорѣчіе было не что иное, какъ дурной прививокъ отъ гнилого дерева католическаго схоластицизма западнаго духовенства, а не живой убѣдительный голосъ святыхъ истинъ религіи. Оно у насъ еще не было рассмотрѣно и опѣнено настоящимъ образомъ. Если вѣрять возгласамъ нашихъ литературныхъ учителей, то въ духовномъ краснорѣчьи мы едва ли не превосходимъ всѣхъ европейскихъ народовъ. Не берусь рѣшать этого вопроса, ибо говорю о немъ мимоходомъ, а пророс, какъ о дѣлѣ, не прямо относящемся къ предмету моего обзора, да и сверхъ того я мало знакомъ съ памятниками нашего духовнаго краснорѣчія, которое конечно не безъ удачныхъ опытовъ.

Не стану также распространяться о Кантемирѣ, скажу только, что я очень сомнѣваюсь въ его поэтическомъ призваніи. Мнѣ кажется, что его прославленные сатиры были скорѣе плодомъ ума и холодной наблюдательности, чѣмъ живого и горячаго чувства. И диво ли, что онъ началъ съ сатиръ — плода осенняго, а не съ одъ — плода весенняго? Онъ былъ иностранецъ, слѣдовательно не могъ сочувствовать народу и раздѣлять его надеждъ и опасеній; ему было сполнаго смѣяться. Что онъ былъ не поэтъ, этому доказательствомъ служить то, что онъ забытъ. Старинный слогъ! — пустое! Шекспира сами англичане читаютъ съ комментаріями.

Тредьяковскій не имѣлъ ни ума, ни чувства, ни таланта. Этотъ человѣкъ былъ рожденъ для плуга или для топора; но судьба, какъ бы въ насмѣшку, нарядила его во фракъ: удивительно ли, что онъ былъ такъ смѣшонъ и уродливъ.

Да, первыя попытки были слишкомъ слабы и неудачны. Но вдругъ, по прекрасному выраженію одного нашего соотечественника, на берегахъ Ледовитаго моря, подобно сѣверному

сіянію, блеснулъ Ломоносовъ. Ослѣпительно и прекрасно было это явленіе! Оно доказало собой, что человѣкъ есть человѣкъ во всякомъ состояніи и во всякомъ климатѣ, что геній умѣетъ торжествовать надъ всѣми препятствіями, какія ни противопоставляетъ ему враждебная судьба, что наконецъ русскій способенъ ко всему великому и прекрасному не менѣе всякаго европейца; но вмѣстѣ съ тѣмъ, говорю, это утѣшительное явленіе подтвердило, къ нашему несчастью, и ту неопровержимую истину, что ученикъ никогда не превзойдетъ учителя, если видитъ въ немъ образецъ, а не соперника, что геній народа всегда робокъ и связанъ, когда дѣйствуетъ не своеобразно, не самостоятельно, что произведенія въ такомъ случаѣ всегда будутъ походить на поддѣльные цвѣты: ярки, красивы, роскошны, но не душисты, не ароматны, безжизненны. Съ Ломоносова начинается наша литература; онъ былъ ея отцомъ и пестуномъ; онъ былъ ея Петромъ Великимъ. Нужно ли говорить, что это былъ человѣкъ великій и ознаменованный печатью генія? Все это истина несомнѣнная. Нужно ли доказывать, что онъ далъ направленіе, хотя и временное, нашему языку и нашей литературѣ? Это еще несомнѣннѣе. Но какое направленіе? Это другой вопросъ. Я не скажу ничего новаго объ этомъ предметѣ, и только можетъ быть повторю болѣе или менѣе извѣстныя мысли.

Но прежде всего почитаю нужнымъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. У насъ, какъ я уже и говорилъ, еще и по сію пору царствуетъ въ литературѣ какое-то жалкое, дѣтское благоговѣніе къ авторамъ: мы и въ литературѣ высоко чтимъ табель о рангахъ и боимся говорить вслухъ правду о высокіхъ персонахъ. Говоря о знаменитомъ писателѣ, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о немъ рѣзкую правду — у насъ святотатство. И добро бы еще это было вслѣдствіе убѣжденія! Нѣтъ, это просто изъ нелѣпаго и вреднаго приличія, или изъ боязни прослыть выскочкой, романтикомъ. Посмотрите, какъ поступаютъ въ этомъ случаѣ иностранцы; у нихъ каждому писателю воздается по дѣламъ его; они не довольствуются сказать, что въ драмахъ г. NN есть много прекрасныхъ мѣстъ, хоть есть стихи негладкіе и нѣкоторыя погрѣшности, что оды г. NN превосходны, но алегіи слабы. Нѣтъ, у нихъ разсматривается весь кругъ дѣятельности того или другого писателя, опредѣляется степень его вліянія на современниковъ и потомство, разбирается духъ его твореній вообще, а не частныя красоты или недостатки, берутся въ соображеніе обстоятельства его жизни, дабы узнать, могъ ли онъ сдѣлать больше того, что сдѣлалъ, и объяснить, почему онъ дѣлалъ такъ, а не этакъ,

и уже по соображеніи всего этого рѣшаютъ, какое мѣсто онъ долженъ занимать въ литературѣ и какой славой долженъ пользоваться. Читателямъ «Телескопа» должны быть знакомы многія подобныя критическія біографіи знаменитыхъ писателей. Гдѣ же онъ у насъ? Увы!.. Сколько разъ, напримѣръ, слышали мы, что «Вечернее» и «Утреннее Размышленіе о Величествѣ Божіемъ» Ломоносова прекрасны, что строфы его одъ звучны и величественны, что періоды его прозы полны, круглы и живописны; но опредѣлена ли мѣра его заслугъ, показаны ли вмѣстѣ съ свѣтлыми его сторонами и темныя пятна? Нѣтъ, какъ можно! грѣшно, дерзко, неблагодарно!.. Гдѣ же критика, имѣющая предметомъ образованіе вкуса, гдѣ истина, долженствующая быть дороже всѣхъ на свѣтѣ авторитетовъ?..

Много свѣдѣній, опытности, труда и времени нужно для достойной оцѣнки такого человека, каковъ былъ Ломоносовъ. Недостатокъ времени и мѣста, а можетъ быть и силъ, не позволяють входить мнѣ въ слишкомъ подробныя изслѣдованія: ограничусь однимъ общимъ взглядомъ. Ломоносовъ — это Петръ нашей литературы: вотъ; кажется мнѣ, самый вѣрный взглядъ на него. Въ самомъ дѣлѣ, не замѣчаете ли вы поразительнаго сходства въ образѣ дѣйствованія этихъ великихъ людей, равно какъ и въ слѣдствіяхъ этого образа дѣйствованія? На берегахъ Сѣвернаго океана, въ царствѣ зны и смерти, родился у бѣднаго рыбака сынъ. Ребенка мучить какой-то невѣдомый демонъ, не даетъ ему покоя ни днемъ, ни ночью, шепчетъ ему на ухо какія-то дивныя рѣчи, отъ которыхъ сильнѣе трепещетъ его сердце, жарче кипитъ его кровь; на что ни взглянетъ этотъ ребенокъ, ему хочется знать: откуда это, почему и какъ; безконечные вопросы давать и тяготать его юную душу — и нѣтъ отвѣтовъ! Онъ выучивается кое-какъ грамотѣ, тайныя внушенія его докучнаго демона раздаются въ его душѣ, какъ обольстительные звуки Вадимова колокольчика, и манятъ его въ туманную даль... И вотъ онъ оставляетъ отца своего и бѣжитъ въ Москву бѣлокаменную. Бѣги, бѣги, юноша! Тамъ узнаешь ты все, тамъ утолишь въ источникѣ знанія свою мучительную жажду! Но, увы! надежда обманула тебя: жажда твоя еще сильнѣе — ты только пуще раздражилъ ее. Дальше, дальше, смѣлый юноша! Туда, въ ученую Германію, тамъ сады райскіе, а въ тѣхъ садахъ древо жизни, древо познанія, древо добра и зла... Сладки плоды его — спѣши вкусить ихъ... И онъ бѣжитъ, онъ вступаетъ въ очаровательные сады, и видитъ искусительное древо, и жадно пожираетъ плоды его. Сколько чудесъ, сколько очарованій! Какъ жаждетъ онъ, что не можетъ разомъ всего захватить съ собой и перенести въ

драгое отечество, въ святую родину! Одна-кожъ!.. нельзя ли какъ попытаться?.. Вѣдь онъ русскій, стало быть ему все подъ силу, все возможно; вѣдь его ожидаетъ Шуваловъ: стало быть ему нечего страшиться предразсудковъ, враговъ и завистниковъ!.. И вотъ Русь оглашается одами, смотреть на трагедіи, восхищается эпопеей, смѣется надъ побасенками, слушаетъ Цицерона и Демосфена и важно разсуждаетъ объ электричествѣ и громовыхъ отводахъ: чего же медлить? Не правда ли, что и самъ Петръ воскликнулъ бы съ удовольствіемъ: это по нашему! Но и съ Ломоносовымъ сбылось то же, что и съ Петромъ. Прельщенный блескомъ иноземнаго просвѣщенія, онъ закрылъ глаза для родного. Правда, онъ выучилъ въ дѣтствѣ наизусть варварскія вирши Симеона Полоцкаго, но оставилъ безъ вниманія народныя пѣсни и сказки. Онъ какъ будто и не слышалъ объ нихъ. Замѣчаете ли вы въ его сочиненіяхъ хотя слабыя слѣды вліянія лѣтописей и вообще народныхъ преданій земли русской? Нѣтъ, ничего этого не бывало. Говорятъ, что онъ глубоко постигъ свойства языка русскаго! Не спорю — его грамматика дивное, великое дѣло. Но для чего же онъ паялил и корчилъ русскій языкъ на образецъ латинскаго и нѣмцкаго? Почему каждый періодъ его рѣчей набитъ безъ всякой надобности такимъ множествомъ вставочныхъ предложеній и заостренъ на концѣ глаголомъ? Развѣ этого требовалъ геній языка русскаго, разгаданный этимъ великимъ человекомъ? Создать языкъ невозможно, ибо его творитъ народъ; филологи только открываютъ его законы и приводятъ ихъ въ систему, а писатели только творятъ на немъ сообразно съ этими законами. И въ этомъ послѣднемъ случаѣ нельзя довольно надивиться генію Ломоносова: у него есть строфы и цѣлыя стихотворенія, которыя по чистотѣ и правильности языка весьма приближаются къ нынѣшнему времени. Слѣдовательно его погубила слѣпая подражательность, слѣдовательно она одна виною, что его никто не читаетъ, что онъ не признанъ и забытъ народомъ, и что о немъ помнятъ одни записные литераторы.

Нѣкоторые говорятъ, что онъ былъ великій ученый и великій ораторъ, но совсѣмъ не поэтъ: напротивъ, онъ былъ больше поэтъ, чѣмъ ораторъ; скажу больше: онъ былъ великій поэтъ и плохой ораторъ. Ибо что такое его похвальные слова? Наборъ громкихъ словъ и общихъ мѣстъ, частью взятыхъ напрокатъ изъ древнихъ витій, частью принадлежащихъ ему, плоды заказной работы, гдѣ одна только шумиха и возгласы, а отнюдь не выраженіе горячаго, живого и неподдѣльнаго чувства, которое одно бываетъ источникомъ истиннаго краснорѣчія. Нѣкоторыя мѣста,

прекрасныя по слогу, ничего не доказывають: дѣло въ томъ, каково цѣло. И удивительно ли, что такъ случилось: мы и теперь мало нуждаемся въ краснорѣчіи, а тѣмъ меньше тогда нуждались въ немъ; следовательно оно рождалось безъ всякой нужды, изъ одной подражательности, и потому не могло быть удачнымъ. Но стихотворенія Ломоносова носятъ на себѣ отпечатокъ гения. Правда, у него и въ нихъ умъ преобладаетъ надъ чувствомъ, но это происходило не отъ чего иного, какъ отъ того, что жажда къ знанію поглощала все существо его, была его господствующею страстью. Онъ всегда держалъ свою энергическую фантазію въ крѣпкой уздѣ холоднаго ума и не давалъ ей слишкомъ разгориваться. Вольтеръ сказалъ, помнится, о Корнельѣ, что онъ въ сочиненіи своихъ трагедій похожъ на великаго Конде, который хладнокровно обдумывалъ планы сраженій и горячо сражался: вотъ Ломоносовъ! Отъ этого-то его стихотворенія и имѣють характеръ ораторскій, отъ этого-то сквозитъ призывъ ихъ радужныхъ пѣтій въ видѣнь сухой остои силлогизма. Это происходило отъ системы, а отнюдь не отъ недостатка поэтическаго гения. Система и рабская подражательность заставили его написать прозаическое «Письмо о пользѣ стекла», двѣ холодныя и надутыя трагедіи, и, наконецъ, эту неуклюжую «Петриаду», которая была самымъ жалкимъ заблужденіемъ его мощнаго гения. Онъ былъ рожденъ лирикомъ, и звуки его лиры тамъ, гдѣ онъ не стѣснялъ себя системой, были стройны, высоки и величественны...

Что сказать о его соперникѣ, Сумароковѣ? Онъ писалъ во всѣхъ родахъ, въ стихахъ и прозѣ, и думалъ быть русскимъ Вольтеромъ. Но при рабской подражательности Ломоносова онъ не имѣлъ ни искры его таланта. Вся его художническая дѣятельность была не что иное, какъ жалкая и смѣшная натяжка. Онъ не только не былъ поэтъ, но даже не имѣлъ никакой идеи, никакого понятія объ искусствѣ, и всего лучше опровергъ собой странную мысль Бюффона, что будто геній есть терпѣніе въ высочайшей степени. А между тѣмъ этотъ жалкій писака пользовался такой народностью! Наши словесники не знаютъ, какъ и благодарить его за то, что онъ былъ отцомъ російскаго театра. Почему же они отказываютъ въ благодарности Тредьяковскому за то, что онъ былъ отцомъ російской эпопеи? Право, одно отъ другого не далеко ушло. Мы не должны слишкомъ нападать на Сумарокова за то, что онъ былъ хвастунъ: онъ обманывался въ себѣ такъ же, какъ обманывались въ немъ его современники; на безрыбьи и ракъ рыка, следовательно это извинительно, тѣмъ болѣе, что онъ былъ не художникъ. Вотъ другое дѣло

иныхъ... Конечно, смѣшно и жалко видѣть, какъ нѣмь мальчишья заставляють въ своихъ драмахъ пророчествовать великихъ поэтовъ о своемъ прѣшествіи въ міръ...

Была пора: Екатерининъ вѣкъ.
Въ немъ оживла всей древней Руси слава:
Тѣ дни, когда громилъ Царь-градъ Олегъ,
И вилъ Дунай подъ лодкой Святослава.
Рымникъ, Чесма, Кагульскій бой:
Орлы во градѣ Лезиндѣ;
Возобновленная Таврида.
День Измаила роковой.
И въ Прагѣ, кровью залитой,
Москвы отшпеченная обила!
Жуковский.

Воцарилась Екатерина Вторая, и для русскаго народа наступила эра новой, лучшей жизни. Ея царствованіе—это эпопея, эпопея гигантская и дерзкая по замыслу, величественная и смѣлая по сознанію, обширная и полная по плану, блестящая и великолѣпная по изложенію, эпопея достойная Гомера или Тасса! Ея царствованіе — это драма, драма многосложная и запутанная по завязкѣ, живая и быстрая по ходу дѣйствія, пестрая и яркая по разнообразію характеровъ, греческая трагедія по царственному величію и исполненной силѣ героевъ, созданіе Шекспира по оригинальности и самоцѣлности персонажей, по разнообразности картинъ и ихъ калейдоскопической подвижности, наконецъ драма, зрѣлище которой исторгнетъ у насъ невольно крики восторга и радости! Съ удивленіемъ и даже съ какой-то недовѣрчивостью смотримъ мы на это время, которое такъ близко къ намъ, что еще живы нѣкоторые изъ его представителей; которое такъ далеко отъ насъ, что мы не можемъ видѣть его ясно, безъ помощи телескопа исторіи; которое такъ чудно и дивно въ лѣтописяхъ міра, что мы готовы почестъ его какимъ-то баснословнымъ вѣкомъ. Тогда въ первый еще разъ послѣ царя Алексѣя проявился духъ русскій во всей своей богатырской силѣ, во всемъ своемъ удаломъ разгулѣ и, какъ говорится, пошелъ писать. Тогда-то народъ русскій, наконецъ освоившійся кое-какъ съ тѣсными и несвойственными ему формами новой жизни, потерпѣвшійся къ нимъ и почти помирившійся съ ними, какъ бы покорясь приговору судьбы неизбежной и непреоборимой — волѣ Петра, въ первый разъ вздохнулъ свободно, улыбнулся весело, взглянулъ гордо — ибо его уже не гнали къ великой цѣли, а вели съ его спросу и согласія, ибо умоляли грозное «слово и дѣло»; и вмѣсто него раздается съ трона голосъ, говорившій: «лучше прошу десять виновныхъ, нежели накажу одного невиннаго; мы думаемъ и за славу себѣ вмѣняемъ сказать, что мы живемъ для нашего народа; сохрани, Боже, чтобы какой-нибудь народъ былъ

счастливые російскаго»; ибо съ Уставомъ о Рангахъ и Дворянской Грамотой соединилась неприкосновенность правъ благородства; ибо, наконецъ, слухъ Руси летѣлся безпрестанными громами побѣдъ и завоеваній. Тогда-то проснулся русскій умъ, и вотъ заводятся школы, издаются всѣ необходимыя для первоначальнаго обученія книги, переводится все хорошее со всѣхъ европейскихъ языковъ; разыгрался русскій мечъ, и вотъ потрясаются монархін въ своемъ основаніи, сокрушаются царства и сливаются съ Русью!..

Знаете ли вы, въ чемъ состоялъ отличный характеръ вѣка Екатерины II, этой великой эпохи, этого свѣтлаго момента жизни русскаго народа? Мнѣ кажется, въ народности. Да, — въ народности, ибо тогда Русь, стараясь попрежнему поддѣлываться подъ чужой ладъ, какъ будто на зло самой себѣ оставалась Русью. Вспомните этихъ важныхъ радушныхъ бояръ, дома которыхъ походили на всемірныя гостиницы, куда приходилъ званый и незваный и, не кланяясь хлѣбосольному хозяину, садился за столы дубовые, за скатерти бранныя, за яства сахарныя, за питья медовыя, — этихъ величавыхъ и гордыхъ вельможъ, которые любили жить на распаху, жилища которыхъ походили на царскія палаты русскихъ сказокъ, которые имѣли свой штатъ царедворцевъ, поклонниковъ и ласкателей, которые сожигали фейерверки изъ облигацій правительства; которые умѣли попировать и повеселиться по старинному, дѣдовскому обычаю, отъ всей русской души, но и умѣли постоять за свою Матушку и мечомъ, и перомъ: не скажете ли вы, что это была жизнь самостоятельная, общество оригинальное? Вспомните этого Суворова, который не зналъ войны, но котораго война знала; Потемкина, который грызъ ногти на пирахъ и, между шутокъ, рѣшалъ въ умѣ судьбы народовъ; этого Безбородко, который, говорятъ, съ похмеля читалъ Матушкѣ на бѣлыхъ листахъ дипломатическія бумаги своего сочиненія; этого Державина, который въ самыхъ отчаянныхъ своихъ подражаніяхъ Горацию, противъ воли, оставался Державнымъ, и столько же походилъ на Августа поэта, сколько походить могучая русская зима на роскошное лѣто Італіи; не скажете ли вы, что каждого изъ нихъ природа отлила въ особенную форму и, отливши, разбила вдребезги эту форму?.. А можно ли быть оригинальнымъ и самостоятельнымъ, не будучи народнымъ?.. Отчего же это было такъ? Оттого, повторяю, что уму русскому былъ данъ просторъ, оттого, что геній русскій началъ ходить съ развязанными руками, оттого, что великая жена умѣла сродниться съ духомъ своего народа, что она высоко уважала народное достоинство, дорожила всѣмъ

русскимъ дотога, что сама писала разныя сочиненія на русскомъ языкѣ, дирижировала журналомъ, и за презрѣніе къ родному языку казнила подданныхъ ужасной казнью—«Телемахидою»!.. Да, чудно, дивно было это время, но еще чуднѣе и дивнѣе было это общество! Какая смѣсь, пестрота, разнообразіе! Сколько элементовъ разнородныхъ, но связанныхъ, одушевленныхъ единымъ духомъ! Безбожіе и изуверство, грубость и утонченность, матеріализмъ и набожность, страсть къ новизнѣ и упорный фанатизмъ къ старинѣ, пиры и побѣды, роскошь и довольство, забавы и геркулесовскіе подвиги, великіе умы, великіе характеры всѣхъ цвѣтовъ и образовъ и между ними Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, удивляющее французскій дворъ своей свѣтской образованностью, и дворянство, выходившее съ холопами на разбой!..

И это общество отразилось въ литературѣ; два поэта, впрочемъ весьма неравные геніемъ, преимущественно были выраженіемъ этого: громозвучныя пѣсни Державина были символомъ могущества, славы и счастья Руси; ѣдкія и остроумныя каррикатуры Фонвизина были органомъ понятій и образа мыслей образованнѣйшаго класса людей тогдашняго времени.

Державинъ — какое имя!.. Да, онъ былъ правъ: только Навинъ могло быть ему подриему! Какъ идетъ къ нему этотъ полу-русскій и полу-татарскій нарядъ, въ которомъ изображаютъ его на портретахъ; дайте ему въ руки лилейный скипетръ Оберона, придайте къ этой собольей шубѣ и бобровой шапкѣ длинную сѣдую бороду: и вотъ вамъ русскій чародѣй, отъ дыханія котораго таютъ снѣга и ледяные покровы рѣкъ и расцвѣтаютъ розы, чуднымъ словамъ котораго повинуются пошлая природа и принимаетъ всѣ виды и образы, какихъ ни пожелаетъ онъ! Дивное явленіе! Бѣдный дворянинъ, почти безграмотный, дитя по своимъ понятіямъ; неразгаданная загадка для самого себя; откуда получилъ онъ этотъ вѣщій, пророческій глаголь, потрясающій сердца и восторгающій души, этотъ глубокій и обширный взглядъ, обхватывающій природу во всей ея безконечности, какъ обхватываетъ молодой орелъ мощными когтями трепещущую добычу? Или и въ самомъ дѣлѣ онъ повстрѣчалъ на перепутьи какого-нибудь «шестикрылаго херувима»? Или и въ самомъ дѣлѣ «огненное чувство» ставить въ инныя минуты смертнаго, безъ всякихъ со стороны его усилій, наравнѣ съ природой, и, послушная, она открываетъ ему свои таинственныя нѣдра, даетъ ему подсмотреть біеніе своего сердца и почерпать въ лонѣ источника жизни эту живую воду, которая влагаетъ дыханіе жизни и въ металлъ, и въ мраморъ? Или и въ самомъ дѣлѣ огнен-

ное чувство даетъ смертному всезрящія очи и уничтожаетъ его въ природѣ, а природу уничтожаетъ въ немъ, и, ея всемогущій властелинъ, онъ повелѣваетъ ея самовольно и вмѣстѣ съ нею раскидывается по своей волѣ, подобно Протею, на тысячи прекрасныхъ явленій, воплощается въ тысячи волшебныхъ образовъ, и тѣ образы называетъ потомъ своими созданіями? Державинъ — это полное выраженіе, живая лѣтопись, торжественный гимнъ, пламенный диониромбъ вѣка Екатерины, съ его лирическимъ одушевленіемъ, съ его гордостью настоящимъ и надеждами на будущее, его просвѣщеніемъ и невѣжествомъ, его эпикуреизмомъ и жаждой великихъ дѣлъ, его пиршественной праздностью и неистощимой практической дѣятельностью! Не ищите въ звукахъ его пѣсенъ, то смѣлыхъ и торжественныхъ, какъ громъ побѣды, то веселыхъ и шутливыхъ, какъ застольный говоръ нашихъ прадѣдовъ, то нѣжныхъ и сладостныхъ, какъ голосъ русскихъ дѣвъ,—не ищите въ нихъ тонкаго анализа челоука со всѣми изгибами его души и сердца, какъ у Шекспира, или сладкой тоски по небу и возвышенныхъ мечтаній о святомъ и великомъ жизни, какъ у Шиллера, или бѣшенныхъ воплей души пресыщенной и все еще несытой, какъ у Байрона: нѣтъ, намъ тогда некогда было анатомировать природу челоука, некогда было углубляться въ тайны неба и жизни, ибо мы тогда были оглушены громомъ побѣды, ослѣплены блескомъ славы, заняты новыми постановленіями и преобразованіями; ибо тогда намъ еще некогда было пресытиться жизнью, мы еще только начинали жить и потому любили жизнь; итакъ, не ищите ничего этого у Державина! Поищите лучше у него поэтической вѣсти о томъ, какъ велика была несравненная, «богоподобная Фелица киргизъ-кайсацкія орды», какъ этотъ «ангелъ во плоти» разливалъ и сѣялъ повсюду жизнь и счастье и, подобно Богу, творилъ все изъ ничего; какъ были мудры ея слуги вѣрные, ея совѣтники усердные; какъ герой полуночи, «чудо-богатырь», бросалъ за облака башни, какъ бѣжала тьма отъ его чела и пыль отъ его молодецкаго посвисту, какъ подъ его ногами трещали горы и кипѣли бездны, какъ передъ нимъ падали города и рушились царства, какъ онъ, при громахъ и молніяхъ, при ужасной борьбѣ разъяренныхъ стихій, сокрушилъ твердыни Измаила или перешелъ чрезъ пропасти Сентъ-Готара; какъ жили и были вельможи рускіе съ своимъ неистощимымъ хлѣбомъ-солью, съ своимъ русскимъ сибаритствомъ и русскимъ умомъ; какъ рускія дѣвы своими пламенными взорами и соболивыми бровями разятъ души львовъ и сердца орловъ, какъ блестятъ ихъ бѣлыя чела золотыми лентами, какъ дышатъ ихъ нѣжныя груди подъ

драгими жемчугами, какъ сквозь ихъ голубя жилки переливается розовая кровь, а на ланитахъ любовь врѣзала огневныя ямки!

Невозможно исчислить неисчислимыхъ красотъ созданій Державина. Онъ разнообразенъ, какъ русская природа, но всѣ отличаются однимъ общимъ колоритомъ: во всѣхъ нихъ воображеніе преобладаетъ надъ чувствомъ, и все представляется въ преувеличенныхъ, гиперболическихъ размѣрахъ. Онъ не взволнуетъ вашей груди сильными чувствами, не выдавитъ слезы изъ вашихъ глазъ, но, какъ орелъ добычу, схватываетъ васъ внезапно и неожиданно и, на крылахъ своихъ могучихъ строфъ, мчитъ прямо къ солнцу, и, не давая вамъ опомниться, носитъ по безпредѣльнымъ равнинамъ неба; земля исчезаетъ у васъ изъ виду, сердце сжимается отъ какого-то пріятнаго изумленія, смѣшаннаго со страхомъ, и вы видите себя какъ бы ринутыми порывомъ урагана въ неизмѣримый океанъ; волна то увлекаетъ васъ въ бездны, то выбрасываетъ къ небу, и душѣ вашей отрадно и привольно въ этой безбрежности. Какъ громка и величественна его пѣснь Богу! Какъ глубоко подсмотрѣлъ онъ вышнее благолѣпіе природы, и какъ вѣрно воспроизвелъ его въ своемъ дивномъ созданіи! И однакожъ онъ прославилъ въ немъ одну мудрость и могущество Божіе и только наметнулъ о любви Божіей,—о той любви, которая возвала къ челоукамъ: «пріидите ко мнѣ вси труждающіеся и обремененніи, и азъ упокою вы!»—о той любви, которая съ позорнаго креста мученія зывала къ отцу: «Отче, отпусти имъ: не вѣдаютъ бо, что творятъ!» Но не осуждайте его за это: тогда было не то время, что нынѣ, тогда былъ восемнадцатый вѣкъ. Притомъ же не забудьте, что умъ Державина былъ умъ русскій, положительный, чуждый мистицизма и таинственности, что его стихіей и торжествомъ была природа внѣшняя, а господствующимъ чувствомъ патріотизмъ, что въ этомъ случаѣ онъ былъ только вѣренъ своему безсознательному направленію, и слѣдовательно былъ истиненъ. Какъ страшна его ода на смерть Мещерскаго: кровь стынетъ въ жилахъ, волосы, по выраженію Шекспира, встаютъ на головѣ встревоженной ратью, когда въ ухахъ вашихъ раздается вѣщій бой «глагола времень»; когда въ глазахъ мерещится ужасный остовъ смерти съ косою въ рукахъ! Какой энергической и дикой красотой дышетъ его «Водопадъ» — эта пѣснь угрюмаго сѣвера, пропѣтая сребровласымъ скальдомъ въ глубинѣ священнаго лѣса, среди мрачной ночи, у пылающаго дуба, зажженнаго молніей, при оглушающемъ ревѣ водопада! Ея посланія и сатиры представляютъ совсѣ другой міръ, не менѣе прекрасный и очаровательный.

вательный. Въ нихъ видна практическая философія ума русскаго; поэтому главное, отличительное ихъ свойство есть народность,— народность, состоящая не въ подборѣ мужицкихъ словъ или насильственной поддѣлкѣ подъ ладъ пѣсенъ и сказокъ, но въ сгибѣ ума русскаго, въ русскомъ образѣ взгляда на вещи. Въ этомъ отношеніи Державинъ народенъ въ высочайшей степени. Какъ смѣшны тѣ, которые величаютъ его русскимъ Пиндаромъ, Горациемъ, Анакреономъ; ибо самая эта тройственность показываетъ, что онъ былъ ни то, ни другое, ни третье, но все это вмѣстѣ взятое, и слѣдовательно выше всего этого, отдѣльно взятаго! Не такъ же ли нелѣпо было бы называть Пиндара или Анакреона греческимъ или Горация латинскимъ Державинымъ, ибо если онъ самъ не былъ ни для кого образцомъ, то и для себя не имѣлъ никакого образцомъ? Вообще надобно замѣтить, что его невѣжество было причиной его народности, которой впрочемъ онъ не зналъ цѣны; оно спасло его отъ подражательности, и онъ былъ оригиналенъ и народенъ, самъ не зная того. Обладая онъ всеобъемлющей ученостью Ломоносова—и тогда прости поэтъ! Ибо, чего добраго!? онъ пустился бы, пожалуй, въ трагедіи и, всего вѣрнѣе, въ эпопею: его неудачные опыты въ драмѣ доказываютъ справедливость такого предположенія. Но судьба спасла его—и мы имѣемъ въ Державинѣ великаго, гениальнаго русскаго поэта, который былъ вѣрнымъ отголоскомъ вѣка Екатерины II.

Фонвизинъ былъ человѣкъ съ необыкновеннымъ умомъ и дарованіемъ: но былъ ли онъ рожденъ комикомъ—на это трудно отвѣчать утвердительно. Въ самомъ дѣлѣ, видите ли вы въ его драматическихъ созданіяхъ присутствіе идеи вѣчной жизни? Вѣдь смѣшной анекдотъ, переложенный на разговоры, гдѣ участвуетъ извѣстное число скотовъ,—еще не комедія. Предметъ комедіи не есть исправленіе нравовъ или осмѣяніе какихъ-нибудь пороковъ общества; нѣтъ, комедія должна живописать несообразность жизни съ цѣлью, должна быть плодомъ горькаго негодованія, возбуждаемаго униженіемъ человѣческаго достоинства, должна быть сарказмомъ, а не эпиграммой, судорожнымъ хохотомъ, а не веселой усмѣшкой, должна быть писана желчью, а не разведенной солью,—словомъ, должна обнимать жизнь въ ея высшемъ значеніи, то-есть въ ея вѣчной борьбѣ между добромъ и зломъ, любовью и эгоизмомъ. Такъ ли у Фонвизина? Его дураки очень смѣшны и отвратительны, но они—не созданіе фантасмагоріи, не списки съ натуры, а что такое, какъ выученныя пр

потому, что авторъ хотѣлъ учить и исправлять. Этотъ человѣкъ былъ очень смѣшливъ отъ природы: онъ чуть не задохнулся отъ смѣху, слыша въ театрѣ звуки польскаго языка; онъ былъ во Франціи и Германіи, и нашелъ въ нихъ одно смѣшное: вотъ вамъ и комизмъ его. Да, его комедіи суть не больше, какъ плодъ добродушной веселости, надъ всѣмъ издѣвавшейся, плодъ остроумія, но не созданія фантазій и горячаго чувства. Онъ явился въ пору, и потому имѣлъ необыкновенный успѣхъ; были выраженіемъ господствующаго образа мыслей образованныхъ людей, и потому нравились. Впрочемъ, не будучи художественными созданіями въ полномъ смыслѣ этого слова, онъ все-таки несравненно выше всего, что написано у насъ по сію пору въ этомъ родѣ, кромѣ «Горя отъ ума», о которомъ рѣчь впереди. Одно уже это доказываетъ дарованіе этого писателя. Прочія его сочиненія имѣютъ цѣну еще можетъ быть большую, но и въ нихъ онъ является умнымъ наблюдателемъ и остроумнымъ писателемъ, а не художникомъ. Насмѣшка и шутливость составляютъ ихъ отличительный характеръ. Кромѣ неподдѣльнаго дарованія, они замѣчательны еще и по слогу, который очень близко подходитъ къ карамзинскому; особенно же драгоценны они тѣмъ, что заключаютъ въ себѣ многія рѣзкія черты духа того любопытнаго времени.

Какъ забыть о Богдановичѣ? Какой славой пользовался онъ при жизни, какъ восхищались имъ современники, и какъ еще восхищаются имъ и теперь нѣкоторые читатели? Какая причина этого успѣха? Представьте себѣ, что вы оглушены громомъ, трескотней пышныхъ словъ и фразъ, что всѣ окружающіе васъ говорятъ монологами о самыхъ обыкновенныхъ предметахъ, и вы вдругъ встрѣчаете человѣка съ простой и умной рѣчью: не правда ли, что вы бы очень восхитились этимъ человѣкомъ? Подражатели Ломоносова, Державина и Хераскова оглушили всѣхъ громкимъ одолѣніемъ; уже начали думать, что русскій языкъ неспособенъ къ такъ называемой легкой поэзіи, которая такъ цвѣла у французовъ, и вотъ въ это-то время является человѣкъ со сказкой, написанной языкомъ простымъ, естественнымъ и шутливымъ, слогомъ, по тогдашнему времени, удивительно легкимъ и плавнымъ: всѣ были изумлены и обрадованы. Вотъ причина необыкновеннаго успѣха «Душеньки», которая впрочемъ не безъ достоинствъ, не безъ таланта. Скромный Хемницеръ былъ не понятъ современниками: имъ по справедливости гордился теперь потомство и ставитъ его наравнѣ съ Дмитріевымъ. Хемницеръ былъ человѣкъ добрый, умный, блаженный и, по своему времени, отличнейшій юмористъ, но рѣшительно не поэтъ.

Его дюжинныя: «Россіада» и «Владиміръ» долго составляли предметъ удивленія для современниковъ и потомкомъ, которые величали его русскимъ Гомеромъ и Виргиліемъ, и проводили въ храмъ безсмертія подъ щитомъ его длинныхъ и скучныхъ поэмъ; предъ нимъ благоговѣлъ самъ Державинъ; но, увы! ни что не спасло его отъ всепоглощающихъ волнъ Леты! Петровъ недостатокъ истиннаго чувства замѣнялъ напыщенностью и совершенно доканалъ себя своимъ варварскимъ языкомъ. Княжнинъ былъ трудолюбивый писатель и, въ отношеніи къ языку и формѣ, не безъ таланта, который особенно замѣтенъ въ комедіяхъ. Хотя онъ цѣликомъ бралъ изъ французскихъ писателей, но ему и то уже дѣлаетъ большую честь, что онъ умѣлъ изъ этихъ похищеній составлять нѣчто цѣлое, и далеко превзошелъ своего родича Сумарокова. Костровъ и Бобровъ были въ свое время хорошіе версификаторы.

Вотъ всѣ гении Екатерины Великой; всѣ они пользовались громкой славой, и всѣ, за исключеніемъ Державина, Фонвизина и Хемницера, забыты. Но всѣ они замѣчательны, какъ первые дѣйствователи на поприщѣ русской словесности; судя по времени и средствамъ, ихъ успѣхи были важны и преимущественно происходили отъ вниманія и одобренія монархини, которая всюду искала талантовъ и всюду умѣла находить ихъ. Но между ними только одинъ Державинъ былъ такимъ поэтомъ, имя котораго мы съ гордостью можемъ поставить подлѣ великихъ именъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, ибо онъ одинъ былъ свободнымъ и торжественнымъ выраженіемъ своего великаго народа и своего дивнаго времени.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Первые дѣйствователи на поприщѣ литературы никогда не забываются; ибо, талантливые и бездарные, они въ обоихъ случаяхъ лица историческія. Не въ одной исторіи французской литературы имена Ронсаровъ, Гарнье и Гарди всегда предшествуютъ именамъ Корнелей и Расиновъ. Счастливые люди! какъ дешево достается имъ безсмертіе! Въ предшествовавшей статьѣ моей я впалъ въ непростительную ошибку, ибо, говоря о поэтахъ и писателяхъ вѣка Екатерины II, забылъ о нѣкоторыхъ изъ нихъ. Поэтому теперь почитаю непремѣннымъ долгомъ исправить мою ошибку и упомянуть о Поповскомъ, порядочномъ стихотворцѣ и прозаикѣ своего времени; Майковъ, который своими созданіями, относившимися во времена оны во всѣхъ пѣтикахъ къ какому-то роду комическихъ поэмъ, не мало способствовалъ къ распространенію въ Россіи дурного вкуса и заставилъ знаме-

нитаго нашего драматурга, кн. Шаховскаго, написать довольно невысокое стихотвореніе подъ названіемъ: «Расхищенные шубы»; Аблесимовъ, который какъ будто ненарочно, или по ошибкѣ, между многими плохими драмами написалъ прекрасный народный водевилъ: «Мельникъ»,—произведеніе, столь любимое нашими добрыми дѣдами и еще и теперь не потерявшее своего достоинства; Рубанъ, которому, по милости и добротѣ нашихъ литературныхъ судей былыхъ временъ, безсмертіе досталось за самую дешевую пѣну; Нелединскій, въ пѣсняхъ котораго сквозь рюманы сентиментальности проглядывало иногда чувство и блески таланта; Ефимьевъ и Плавильщиковъ, нѣкогда почитавшихся хорошими драматургами, но теперь, увы! совершенно забытыхъ, несмотря на то, что и самъ почтенный Николай Ивановичъ Гречъ не отказывалъ имъ въ нѣкоторыхъ, будто бы, достоинствахъ. Кромѣ того царствованіе Екатерины II было ознаменовано такимъ дивнымъ и рѣдкимъ у насъ явленіемъ, котораго, кажется, еще долго не дожидаться намъ грѣшнымъ. Кому не извѣстно, хотя по наслышкѣ, имя Новикова? Какъ жаль, что мы такъ мало имѣемъ свѣдѣній объ этомъ необыкновенномъ и, смѣю сказать, великомъ человѣкѣ! У насъ всегда такъ: кричатъ безъ умолку о какомъ-нибудь Сумароковѣ, бездарномъ писателѣ, и забываютъ о благодѣтельныхъ подвигахъ человѣка, котораго вся жизнь, вся дѣятельность была направлена къ общей пользѣ!..

Вѣкъ Александра Благословеннаго, какъ и вѣкъ Екатерины Великой, принадлежитъ къ свѣтлымъ мгновеніямъ жизни русскаго народа и, въ нѣкоторомъ отношеніи, былъ его продолженіемъ. Это была жизнь безпечная и веселая, гордая настоящимъ, полная надеждъ на будущее. Мудрыя узаконенія и нововведенія Екатерины укоренились и, такъ сказать, окрѣпли; новыя благодѣтельныя учрежденія царя юнаго и кроткаго упрочивали благосостояніе Руси и быстро двигали ее впередъ на поприщѣ преуспѣянія. Въ самомъ дѣлѣ, сколько было сдѣлано для просвѣщенія! Сколько основано университетовъ, лицеевъ, гимназій, уѣздныхъ и приходскихъ училищъ! И образованіе начало разливаться по всѣмъ классамъ народа, ибо оно сдѣлалось болѣе или менѣе доступнымъ для всѣхъ классовъ народа. Покровительство просвѣщеннаго и образованнаго монарха, достойнаго внука Екатерины, отыскивало повсюду людей съ талантами и давало имъ дорогу и средства дѣйствовать на избранномъ ими поприщѣ. Въ это время еще впервые появилась мысль о необходимости имѣть свою литературу. Въ царствованіе Екатерины литература существовала только при дворѣ; ею занимались потому, что государыня занималась ею. Плохо

пришлось бы Державину, если бы ей не понравились его «Посланіе къ Фелицѣ» и «Вельможа»; плохо бы пришлось Фонвизину, если бы она не смѣлась до слезъ надъ его «Бригадиромъ» и «Недорослемъ», мало бы оказывалось уваженія къ пѣвцу «Бога» и «Водопада», если бы онъ не былъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ и разныхъ орденныхъ кавалеромъ. При Александрѣ всѣ начали заниматься литературой, и титулъ сталъ отдѣляться отъ таланта. Явилось явленіе новое и доселѣ неслышанное: писатели сдѣлались двигателями, руководителями и образователями общества; явились попытки создать языкъ и литературу. Но, увѣ! не было прочности и основательности въ этихъ попыткахъ; ибо попытка всегда предполагаетъ расчетъ, а расчетъ предполагаетъ волю, а воля часто идетъ наперекоръ обстоятельствамъ и разногласитъ съ законами здраваго смысла. Много было талантовъ и ни одного гения, и всѣ литературныя явленія рождались не вслѣдствіе необходимости, непроизвольно и бессознательно, не вытекали изъ событій и духа народнаго. Не спрашивали: что и какъ намъ должно было дѣлать? Говорили: дѣлайте такъ, какъ дѣлаютъ иностранцы, и вы будете хорошо дѣлать. Удивительно ли послѣ того, что, несмотря на всѣ усилія создать языкъ и литературу, у насъ не только тогда не было ни того, ни другого, но даже нѣтъ и теперь! Удивительно ли, что при самомъ началѣ литературнаго движенія у насъ было такъ много литературныхъ школъ и не было ни одной истинной и основательной; что всѣ онѣ рождались, какъ грибы послѣ дождя, и исчезали, подобно мыльнымъ пузырямъ, и что мы, еще не имѣя никакой литературы, въ полномъ смыслѣ сего слова, уже успѣли быть и классиками, и романтиками, и греками, и римлянами, и французами, и италианцами, и нѣмцами, и англичанами?..

Два писателя встрѣтили въѣзъ Александра и справедливо почитались лучшимъ украшеніемъ его начала: Карамзинъ и Дмитріевъ. Карамзинъ—вотъ актеръ нашей литературы, который еще при первомъ своемъ дебютѣ, при первомъ своемъ появленіи на сцену, былъ встрѣченъ и громкими рукоплесканіями, и громкимъ свистомъ! Вотъ нѣмъ, за которое было дано столько кровавыхъ битвъ, произошло столько отчаянныхъ схватокъ, переломлено столько копій! И давно ли еще умоляли эти бранные вопли, этотъ звукъ оружія, давно ли враждующія партіи вложили мечи въ ножны и теперь сѣются объяснить себѣ, изъ чего онѣ воевали? Кто изъ читающихъ эти строки не былъ свидѣтелемъ этихъ литературныхъ побоищъ, не слышалъ этого оглушающаго рева похвалъ преувеличенныхъ и бессмысленныхъ, этихъ порицаній, частью справедли-

выхъ, частью нелѣпныхъ? И теперь, на могилѣ незабвеннаго мужа, развѣ уже рѣшена побѣда, развѣ восторжествовала та или другая сторона? Увы! еще нѣтъ! Съ одной стороны насъ, «какъ вѣрныхъ сыновъ отчизны», призываютъ «молиться на могилѣ Карамзина» и «шептать его святое имя»; а съ другой—слушаютъ это воззваніе съ недовѣрчивой и насмѣшливой улыбкой. Любопытное зрѣлище! Борьба двухъ поколѣній, не понимающихъ одно другого! И въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли думать, что побѣда останется на сторонѣ Иванчиныхъ-Писаревыхъ, Сомовыхъ и т. п.? Еще нелѣпѣе воображать, что ее упрочитъ за собой Арцыбышевъ съ братіей.

Карамзинъ... *mais je reviens toujours à mes moutons...* Знаете ли, что наиболѣе вредило, вредить и. какъ кажется, еще долго будетъ вредить распространенію на Руси основательныхъ понятій о литературѣ и усовершенствованій вкуса? Литературное идолопоклонство! Дѣти, мы еще все молимся и поклоняемся многочисленнымъ богамъ нашего многочисленнаго Олимпа, и ни мало не заботимся о томъ, чтобы справляться почаше съ метриками, дабы узнать, точно ли небеснаго происхожденія предметы нашего обожанія. Что дѣлать! Слѣпой фанатизмъ всегда бываетъ удѣломъ младенчествуобществъ. Помните ли вы, чего стоили Мерзлякову его критическіе отзывы о Херасковѣ? Помните ли, какъ пришли Каченовскому его замѣчанія на «Исторію Государства Россійскаго»,—эти замѣчанія старца, въ которыхъ было высказано почти все, что говорили потомъ объ исторіи Карамзина юноши? Да, много, слишкомъ много нужно у насъ безкорыстной любви къ истинѣ и силы характера, чтобы посягнуть даже на какой-нибудь авторитетикъ, не только что авторитетъ: развѣ пріятно вамъ будетъ, когда васъ во всеуслышаніе ославятъ ненавистникомъ отечества, завистникомъ таланта, бездушнымъ зоиломъ, «желтякомъ»? И кто же? Люди, почти безграмотные, невѣжды, ожесточенные противъ успѣховъ ума, упрямо держачіеся за свою раковинную скорлупку, когда все вокругъ нихъ идетъ, бѣжитъ, летитъ! И не правы ли они въ этомъ случаѣ? Чего остается ожидать для себя наприм. Иванчину-Писареву, Восейкову или кн. Шаликову, когда они слышатъ, что Карамзинъ не художникъ, не гений, и другія подобныя безбожныя мнѣнія?—они, которые питались крохами, падавшими съ транеы этого человека, и на нихъ основывали зданіе своего безсмертія? Является Арцыбышевъ съ критическими статейками, въ которыхъ доказываетъ, что Карамзинъ часто и притомъ безъ всякой нужды отступалъ отъ лѣтописей, служившихъ ему источниками, часто по своей волѣ или прихоти искажалъ ихъ смыслъ; и что же?—Вы ду-

Его дюжинныя: «Россіада» и «Владиміръ» долго составляли предметъ удивленія для современниковъ и потомковъ, которые величали его русскимъ Гомеромъ и Виргиліемъ, и проводили въ храмъ безсмертія подъ щитомъ его длинныхъ и скучныхъ поэмъ; предъ нимъ благоговѣлъ самъ Державинъ; но, увы! ни что не спасло его отъ всепоглощающихъ волей Леты! Петровъ недостатокъ истиннаго чувства замѣнялъ напыщенностью и совершенно доканалъ себя своимъ варварскимъ языкомъ. Княжнинъ былъ трудолюбивый писатель и, въ отношеніи къ языку и формѣ, не безъ таланта, который особенно замѣтенъ въ комедіяхъ. Хотя онъ цѣликомъ бралъ изъ французскихъ писателей, но ему и то уже дѣлаетъ большую честь, что онъ умѣлъ изъ этихъ похищеній составлять нѣчто цѣлое, и далеко превзошелъ своего родича Сумарокова. Костровъ и Бобровъ были въ свое время хорошіе версификаторы.

Вотъ всѣ гении Екатерины Великой; всѣ они пользовались громкой славой, и всѣ, за исключеніемъ Державина, Фонвизина и Хемницера, забыты. Но всѣ они замѣчательны, какъ первые дѣйствователи на поприщѣ русской словесности; судя по времени и средствамъ, ихъ успѣхи были важны и преимущественно происходили отъ вниманія и одобренія монархини, которая всюду искала талантовъ и всюду умѣла находить ихъ. Но между ними только одинъ Державинъ былъ такимъ поэтомъ, имя котораго мы съ гордостью можемъ поставить подлѣ великихъ именъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, ибо онъ одинъ былъ свободнымъ и торжественнымъ выраженіемъ своего великаго народа и своего дивнаго времени.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Первые дѣйствователи на поприщѣ литературы никогда не забываются; ибо, талантливые и бездарные, они въ обоихъ случаяхъ лица историческія. Не въ одной исторіи французской литературы имена Ронсаровъ, Гарнье и Гарди всегда предшествуютъ именамъ Корнелей и Расиновъ. Счастливые люди! какъ дешево достается имъ безсмертіе! Въ предшествовавшей статьѣ моей я впалъ въ непростительную ошибку, ибо, говоря о поэтахъ и писателяхъ вѣка Екатерины II, забылъ о нѣкоторыхъ изъ нихъ. Поэтому теперь считаю неперемѣннымъ долгомъ исправить мою ошибку и упомянуть о Поповскомъ, порядочномъ стихотворцѣ и прозаикѣ своего времени; Майковъ, который своими созданіями, относившимися во времена оны во всѣхъ пятикахъ къ какому-то роду комическихъ поэмъ, не мало способствовалъ къ распространенію въ Россіи дурного вкуса и заставилъ знаме-

нитаго нашего драматурга, кн. Шаховскаго, написать довольно невысокое стихотвореніе подъ названіемъ: «Расхищенные шубы»; Аблесимовъ, который какъ будто ненарочно, или по ошибкѣ, между многими плохими драмами написалъ прекрасный народный водевиль: «Мельникъ»,—произведеніе, столь любимое нашими добрыми дѣдами и еще и теперь не потерявшее своего достоинства; Рубанъ, которому, по милости и добротѣ нашихъ литературныхъ судей былыхъ временъ, безсмертіе досталось за самую дешевую цѣну; Нелединскій, въ пѣсняхъ котораго сквозь рюманы сантиментальности проглядывало иногда чувство и блески таланта; Ефимьевъ и Плавильщиковъ, нѣкогда почитавшихся хорошими драматургами, но теперь, увы! совершенно забытыхъ, несмотря на то, что и самъ почтенный Николай Ивановичъ Гречъ не отказывалъ имъ въ нѣкоторыхъ, будто бы, достоинствахъ. Кромѣ того царствованіе Екатерины II было ознаменовано такимъ дивнымъ и рѣдкимъ у насъ явленіемъ, котораго, кажется, еще долго не дожидаться намъ грѣшнымъ. Кому не извѣстно, хотя по наслышкѣ, имя Новикова? Какъ жаль, что мы такъ мало имѣемъ свѣдѣній объ этомъ необыкновенномъ и, смѣю сказать, великомъ человѣкѣ! У насъ всегда такъ: кричать безъ умолку о какомъ-нибудь Сумароковѣ, бездарномъ писателѣ, и забывать о благодѣтельныхъ подвигахъ человека, котораго вся жизнь, вся дѣятельность была направлена къ общей пользѣ!..

Вѣкъ Александра Благословеннаго, какъ и вѣкъ Екатерины Великой, принадлежитъ къ свѣтлымъ мгновеніямъ жизни русскаго народа и, въ нѣкоторомъ отношеніи, былъ его продолженіемъ. Это была жизнь безпечная и веселая, гордая настоящимъ, полная надеждъ на будущее. Мудрыя узаконенія и нововведенія Екатерины укоренились и, такъ сказать, окрѣпли; новыя благодѣтельныя учрежденія царя юнаго и кроткаго упрочивали благосостояніе Руси и быстро двигали ее впередъ на поприщѣ преуспѣянія. Въ самомъ дѣлѣ, сколько было сдѣлано для просвѣщенія! Сколько основано университетовъ, лицеевъ, гимназій, уѣздныхъ и приходскихъ училищъ! И образованіе начало разливаться по всѣмъ классамъ народа, ибо оно сдѣлалось болѣе или менѣе доступнымъ для всѣхъ классовъ народа. Покровительство просвѣщеннаго и образованнаго монарха, достойнаго внука Екатерины, отыскивало повсюду людей съ талантами и давало имъ дорогу и средства дѣйствовать на избранномъ ими поприщѣ. Въ это время еще впервые появилась мысль о необходимости имѣть свою литературу. Въ царствованіе Екатерины литература существовала только при дворѣ; ею занимались потому, что государыня занималась ею. Плохо

пришлось бы Державину, если бы ей не понравились его «Посланіе къ Фелицѣ» и «Вельможа»; плохо бы пришлось Фонвизину, если бы она не смѣялась до слезъ надъ его «Бригадиромъ» и «Недорослемъ», мало бы оказывалось уваженія къ пѣвцу «Бога» и «Водопада», если бы онъ не былъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ и разныхъ орденныхъ кавалеромъ. При Александрѣ всѣ начали заниматься литературой, и титулъ сталъ отдѣляться отъ таланта. Явилось явленіе новое и доселѣ неслышанное: писатели сдѣлались двигателями, руководителями и образователями общества; явились попытки создать языкъ и литературу. Но, увы! не было прочности и основательности въ этихъ попыткахъ; ибо попытка всегда предполагаетъ расчетъ, а расчетъ предполагаетъ волю, а воля часто идетъ наперекоръ обстоятельствамъ и разногласитъ съ законами здраваго смысла. Много было талантовъ и ни одного генія, и всѣ литературныя явленія рождались не вслѣдствіе необходимости, произвольно и безсознательно, не вытекали изъ событій и духа народнаго. Не спрашивали: что и какъ намъ должно было дѣлать? Говорили: дѣлайте такъ, какъ дѣлаютъ иностранцы, и вы будете хорошо дѣлать. Удивительно ли послѣ того, что, несмотря на всѣ усилія создать языкъ и литературу, у насъ не только тогда не было ни того, ни другого, но даже нѣтъ и теперь! Удивительно ли, что при самомъ началѣ литературнаго движенія у насъ было такъ много литературныхъ школъ и не было ни одной истинной и основательной; что всѣ онѣ рождались, какъ грибы послѣ дождя, и исчезали, подобно мыльнымъ пузырямъ, и что мы, еще не имѣя никакой литературы, въ полномъ смыслѣ сего слова, уже успѣли быть и классиками, и романтиками, и греками, и римлянами, и французами, и италянцами, и нѣмцами, и англичанами?..

Два писателя встрѣтили вѣкъ Александра и справедливо почитались лучшимъ украшеніемъ его начала: Карамзинъ и Дмитріевъ. Карамзинъ—вотъ актеръ нашей литературы, который еще при первомъ своемъ дебютѣ, при первомъ своемъ появленіи на сцену, былъ встрѣченъ и громкими рукоплесканіями, и громкимъ свистомъ! Вотъ имя, за которое было дано столько кровавыхъ битвъ, произошло столько отчаянныхъ схватокъ, переломлено столько копій! И давно ли еще умолкли эти бранные вопли, этотъ звукъ оружія, давно ли враждующія партіи вложили мечи въ ножны и теперь сятся объяснить себѣ, изъ чего онѣ воевали? Кто изъ читающихъ эти строки не былъ свидѣтелемъ этихъ литературныхъ побоищъ, не слышалъ этого оглушающаго рева похвалъ преувеличенныхъ и безсмысленныхъ, этихъ порицаній, частью справедли-

выхъ, частью нелѣпныхъ? И теперь, на могилѣ незабвеннаго мужа, развѣ уже рѣшена побѣда, развѣ восторжествовала та или другая сторона? Увы! еще нѣтъ! Съ одной стороны насъ, «какъ вѣрныхъ сыновъ отчизны», призываютъ «молиться на могилѣ Карамзина» и «шептать его святое имя»; а съ другой—слушаютъ это воззваніе съ недовѣрчивой и насмѣшливой улыбкой. Любопытное зрѣлище! Борьба двухъ поколѣній, не понимающихъ одно другого! И въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли думать, что побѣда останется на сторонѣ Иванчиныхъ-Писаревыхъ, Сомовыхъ и т. п.? Еще нелѣпѣе воображать, что ее упрочитъ за собой Арцыбышевъ съ братіей.

Карамзинъ... *mais je reviens toujours à mes moutons...* Знаете ли, что наиболѣе вредило, вредить и. какъ кажется, еще долго будетъ вредить распространенію на Руси основательныхъ понятій о литературѣ и усовершенствованій вкуса? Литературное идолопоклонство! Дѣти, мы еще все молимся и поклоняемся многочисленнымъ богамъ нашего многочисленнаго Олимпа, и ни мало не заботимся о томъ, чтобы справляться почаше съ метриками, дабы узнать, точно ли небеснаго происхожденія предметы нашего обожанія. Что дѣлать! Слѣпой фанатизмъ всегда бываетъ удѣломъ младенчествуобществъ. Помните ли вы, чего стоили Мерзлякову его критическіе отзывы о Херасковѣ? Помните ли, какъ пришли Каченовскому его замѣчанія на «Исторію Государства Россійскаго»,—эти замѣчанія старца, въ которыхъ было высказано почти все, что говорили потомъ объ исторіи Карамзина юноши? Да, много, слишкомъ много нужно у насъ безкорыстной любви къ истинѣ и силы характера, чтобы посягнуть даже на какой-нибудь авторитетикъ, не только что авторитетъ: развѣ пріятно вамъ будетъ, когда васъ во всеуслышаніе ославятъ ненавистникомъ отечества, завистникомъ таланта, бездушнымъ зоиломъ, «желтякомъ»? И кто же? Люди, почти безграмотные, невѣжды, ожесточенные противъ успѣховъ ума, упрямо держашіеся за свою раковинную скорлупку, когда все вокругъ нихъ идетъ, бѣжитъ, летитъ! И не правы ли они въ этомъ случаѣ? Чего остается ожидать для себя наприм. Иванчину-Писареву, Воейкову или кн. Шаликову, когда они слышатъ, что Карамзинъ не художникъ, не гений, и другія подобныя безбожныя мнѣнія?—они, которые питались крохами, падавшими съ трапезы этого человѣка, и на нихъ основывали зданіе своего безсмертія? Является Арцыбышевъ съ критическими статейками, въ которыхъ доказываетъ, что Карамзинъ часто и притомъ безъ всякой нужды отступалъ отъ лѣтописей, служившихъ ему источниками, часто по своей волѣ или прихоти искажалъ ихъ смыслъ; и что же?—Вы ду-

маете, поклонники Карамзина тотчасъ принались за сличку и изобличили Арцыбышева въ клеветѣ? Ничего не бывало. Странные люди! Къ чему вамъ толковать о зависти и зоилахъ, о каменщикахъ и скульпторахъ, къ чему вамъ бросаться на пустыя, ничтожныя фразы въ сносахъ, сражаться съ тѣнью и шумѣть изъ ничего? Пусть Арцыбышевъ и завидуетъ славѣ Карамзина: повѣрьте, ему не убить этимъ Карамзина, если онъ пользуется заслуженной славой; пусть онъ съ важностью доказываетъ, что слогъ Карамзина «неподобозвученъ»—Богъ съ нимъ, это только смѣшно, а ничуть не досадно. Не лучше ли вамъ взять въ руки лѣтописи и доказать, что или Арцыбышевъ клеветаетъ, или промахи историка незначительны и ничтожны; а не то совсѣмъ ничего не говорить? Но, бѣдныя, вамъ не подѣ силу этотъ трудъ; вы и въ глаза не видывали лѣтописей, вы плохо знаете исторію:

Такъ изъ чего же вы бѣснуетесь столько?

Однакоже, что ни говори, а такихъ людей, къ несчастію, много,

И вотъ общественное мнѣніе!

И вотъ на чемъ вертится свѣтъ!

Карамзинъ отмѣтилъ своимъ именемъ эпоху въ нашей словесности; его вліяніе на современниковъ было такъ велико и сильно, что цѣлый періодъ нашей литературы отъ девяностыхъ до двадцатыхъ годовъ по справедливости называется періодомъ Карамзинскимъ. Одно уже это достаточно доказываетъ, что Карамзинъ, по своему образованію, цѣлой головой превышалъ своихъ современниковъ. За нимъ еще и по сію пору, хотя нетвердо и неопредѣленно, кромѣ имени историка, остаются имена писателя, поэта, художника, стихотворца. Разсмотримъ его права на эти титулы. Для Карамзина еще не наступило потомство. Кто изъ насъ не утѣшался въ дѣтствѣ его повѣстями, не мечталъ и не плакалъ съ его сочиненіями? А вѣдь воспоминанія дѣтства такъ сладостны, такъ обольстительны: можно ли тутъ быть безпристрастнымъ? Однакожъ попытаемся.

Представьте себѣ общество разнохарактерное, разнородное, можно сказать, разноплеменное: одна часть его читала, говорила, мыслила и молилась Богу на французскомъ языкѣ, другая знала наизусть Державина и ставила его наравнѣ не только съ Ломоносовымъ, но и съ Петровымъ, Сумароковымъ и Херасковымъ; первая очень плохо знала русскій языкъ, вторая была приучена къ напыщенному схоластическому языку автора «Россиады» и «Кадма и Гармоніи»; общій же характеръ обѣихъ состоялъ изъ полудикости и полуобразованности, — словомъ, общество съ охотой къ чтенію, но безъ всякихъ свѣтлыхъ

идей объ литературѣ. И вотъ является юноша, душа котораго была отверста для всего благого и прекраснаго, но который, при счастливыхъ дарованіяхъ и большомъ умѣ, былъ обдѣленъ просвѣщеніемъ и ученой образованностью, какъ увидимъ ниже. Не ставши наравнѣ съ своимъ вѣкомъ, онъ былъ насравненно выше своего общества. Этотъ юноша смотрѣлъ на жизнь, какъ на подвигъ, и, полный силъ юности, алкалъ славы авторства, алкалъ чести быть споспѣшествователемъ успѣховъ отечества на пути къ просвѣщенію, и вся его жизнь была этимъ святымъ и прекраснымъ подвижничествомъ. Не правда ли, что Карамзинъ былъ человѣкъ необыкновенный, что онъ достоинъ высокаго уваженія, если не благоговѣнія? Но не забывайте, что не должно смѣшивать человѣка съ писателемъ и художникомъ. Будь сказано впрочемъ безъ всякаго примѣненія къ Карамзину, этакъ, чего добраго, и Ролленъ попадетъ во святые. Намѣреніе и исполненіе—двѣ вещи различныя. Теперь посмотримъ, какъ выполнялъ Карамзинъ свою высокую миссію.

Онъ видѣлъ, какъ мало было у насъ сдѣлано, какъ дурно понимали его собратія по ремеслу, что должно было дѣлать; видѣлъ, что высшее сословіе имѣло причину презирать родной языкъ, ибо языкъ письменный былъ въ раздорѣ съ языкомъ разговорнымъ. Тогда былъ вѣкъ фразеологіи, гнались за словами, и мысли подбирали къ словамъ только для смысла. Карамзинъ былъ одаренъ отъ природы вѣрнымъ музыкальнымъ ухомъ для языка и способностью объясняться плавно и краснѣ, слѣдовательно ему не трудно было преобразовать языкъ. Говорятъ, что онъ сдѣлалъ нашъ языкъ сколкомъ съ французскаго, какъ Ломоносовъ сдѣлалъ его сколкомъ съ латинскаго: это справедливо только отчасти. Вѣроятно Карамзинъ старался писать, какъ говорится. Погрѣшность его въ этомъ случаѣ та, что онъ презрѣлъ идиомами русскаго языка, не прислушивался къ языку простолюдиновъ и не изучалъ вообще родныхъ источниковъ. Но онъ исправилъ эту ошибку въ своей исторіи. Карамзинъ предположилъ себѣ цѣлю — приучить, приохотить русскую публику къ чтенію. Спрашиваю васъ: можетъ ли призваніе художника согласиться съ какой-нибудь заранѣе предполагаемой цѣлю, какъ бы ни была прекрасна эта цѣль? Этого мало: можетъ ли художникъ унижаться, нагнуться, такъ сказать, къ публикѣ, которая была бы ему по колѣна, и потому не могла его понимать! Положимъ, что и можетъ; тогда другой вопросъ: можетъ ли онъ въ такомъ случаѣ остаться художникомъ въ своихъ созданіяхъ? Безъ всякаго сомнѣнія—нѣтъ. Кто объясняется съ ребенкомъ, тотъ самъ дѣлается на это время ребенкомъ. Ка-

рамзинъ писалъ для дѣтей и писалъ по-дѣтски: удивительно ли, что эти дѣти, сдѣлавшись взрослыми, забыли его и, въ свою очередь, передали его сочиненія своимъ дѣтямъ? Это въ порядкѣ вещей; дитя съ довѣрчивостью и съ горячей вѣрой слушало рассказы своей старой няни, водившей его на помочахъ, о мертвецахъ и привидѣніяхъ, а выросши, смѣется надъ ея разсказами. Вамъ порученъ ребенокъ: помните же, что этотъ ребенокъ будетъ отрокомъ, потомъ юношей, а тамъ и мужемъ, и потому слѣдите за развитіемъ его дарованій и, сообразно съ нимъ, перемѣняйте методу вашего ученія, будьте всегда выше его, иначе вамъ худо будетъ: этотъ ребенокъ станетъ въ глаза смѣяться надъ вами. Уча его, еще больше учитесь сами, а не то онъ перегонитъ васъ: дѣти растутъ быстро. Теперь скажите, по совѣсти, *sine ira et studio*, какъ говорятъ наши записные ученые: кто виноватъ, что какъ прежде плакали надъ «Бѣдной Лизой», такъ нынѣ смѣются надъ нею? Воля ваша, гг. поклонники Карамзина, а я скорѣе соглашусь читать повѣсти Брамбеуса, чѣмъ «Бѣдную Лизу» или «Наталью Боярскую Дочь!» Другія времена, другіе нравы! Повѣсти Карамзина пріучили публику къ чтенію, многіе выучились по нимъ читать; будемъ же благодарны ихъ автору, но оставимъ ихъ въ покоѣ; даже вырвемъ ихъ изъ рукъ нашихъ дѣтей, ибо они надѣлаютъ имъ много вреда: растлятъ ихъ чувство — приторной чувствительностью.

Кромѣ того сочиненія Карамзина теряютъ въ наше время много достоинства еще оттого, что онъ рѣдко былъ въ нихъ искрененъ и естественъ. Вѣкъ фразеологій для насъ проходитъ; по нашимъ понятіямъ, фраза должна прибираться для выраженія мысли или чувства; прежде мысль и чувство приискивались для звонкой фразы. Знаю, что мы еще и теперь не безгрѣшны въ этомъ отношеніи; по крайней мѣрѣ и теперь, если легко выставить мишуру за золото, ходули ума и потуги чувства—за игру ума и пламень чувства, то не надолго, и чѣмъ живѣе обольщеніе, тѣмъ бываетъ мстительнѣе разочарованіе, чѣмъ больше благоговѣнія къ ложному божеству, тѣмъ жесточайшее поношеніе наказываетъ самозванца. Вообще нынѣ какъ-то стали откровеннѣе; всякій истинно образованный человѣкъ скорѣе сознается, что онъ не понимаетъ той или другой красоты автора, но не станетъ обнаруживать насильственного восхищенія. Поэтому нынѣ едва ли найдется такой добренькій простачекъ, который бы повѣрилъ, что обильные потоки слезъ Карамзина изливались отъ души и сердца, а не были любимымъ кокетствомъ его таланта, привычными ходульками его авторства. Подобная лож-

ность и натянутость чувства тѣмъ жалостнѣе, когда авторъ—человѣкъ съ дарованіемъ. Никто не подумаетъ осуждать за подобный недостатокъ на примѣръ чувствительнаго кн. Шаликова, потому что никто не подумаетъ читать его чувствительныхъ твореній. И такъ, здѣсь авторитетъ не только не оправданіе, но еще двойная вина. Въ самомъ дѣлѣ, не странно ли видѣть взрослого человѣка, хотя бы этотъ человѣкъ былъ самъ Карамзинъ,—не странно ли видѣть взрослого человѣка, который проливаетъ обильные источники слезъ и при взглядѣ на кривой глазъ «Великаго Мужа Грамматики», и при видѣ не-обозримыхъ песковъ, окружающихъ Кале, и надъ травками и надъ муравками, и надъ букашками и таракашками?.. Вѣдь и то сказать:

Не все намъ рѣки слезныя
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ!

Эта слезливость или, лучше сказать, плаксивость нерѣдко портитъ лучшія страницы его исторіи. Скажутъ: тогда былъ такой вѣкъ. Неправда: характеръ восемнадцатаго столѣтія отнюдь не состоитъ изъ одной плаксивости; притомъ же здравый смыслъ старше всѣхъ столѣтій, а онъ запрещаетъ плакать, когда хочется смѣяться, и смѣяться, какъ хочется плакать. Это просто было дѣтство смѣшное и жалкое, манія странная и неизъяснимая.

Теперь другой вопросъ: столько ли онъ сдѣлалъ, сколько могъ, или меньше? Отвѣчаю утвердительно: *меньше*. Онъ отправился путешествовать: какой прекрасный случай предостоялъ ему развернуть передъ глазами своихъ соотечественниковъ великую и обольстительную картину вѣковыхъ плодовъ просвѣщенія, успѣховъ цивилизаціи и общественнаго образованія благородныхъ представителей человѣческаго рода!.. Ему такъ легко было это сдѣлать! Его перо было такъ краснорѣчиво! Его кредитъ у современниковъ былъ такъ великъ! И чтѣ же онъ сдѣлалъ вмѣсто всего этого? Чѣмъ наполнены его «Письма Русскаго Путешественника»? Мы узнаемъ изъ нихъ по большей части, гдѣ онъ обѣдалъ, гдѣ ужиналъ, какое кушанье подавали ему, и сколько взялъ съ него трактирщикъ; узнаемъ, какъ Б*** волочился за г-жей N, и какъ бѣлка оцарапала ему носъ; какъ восходило солнце надъ какой-нибудь швейцарской деревушкой, изъ которой шла пастушка съ букетомъ розъ на груди и гнала передъ собою корову... Стоило ли для этого ѣздить такъ далеко?.. Сравните въ этомъ отношеніи «Письма Русскаго Путешественника» съ «Письмами къ Вельможѣ» Фонвизина,—письмами, написанными прежде: какая разница! Карамзинъ видѣлся со многими знаменитыми людьми Германіи, и что же онъ

узналъ изъ разговоровъ съ ними? То, что всѣ они люди добрые, наслаждающіеся спокойствіемъ совѣсти и ясностью духа. И какъ скромны, какъ обыкновенны его разговоры съ ними! Во Франціи онъ былъ счастливѣе въ этомъ случаѣ, по извѣстной причинѣ: вспомните свиданіе русскаго Скіа съ французскимъ Платономъ. Отчего же это произошло? Оттого, что онъ не приготовился надлежащимъ образомъ къ путешествію, что онъ не былъ ученъ основательно. Но, несмотря на это, ничтожность его «Писемъ Русскаго Путешественника» происходитъ больше отъ его личнаго характера, чѣмъ отъ недостатка въ свѣдѣніяхъ. Онъ не совсѣмъ хорошо зналъ нужды Россіи въ умственномъ отношеніи. О стихахъ его нечего много говорить: это тѣ же фразы, только съ приемами. Въ нихъ Карамзинъ, какъ и вездѣ, является преобразователемъ языка, а отнюдь не поэтомъ.

Вотъ недостатки сочиненій Карамзина, вотъ причина, что онъ былъ такъ скоро забытъ, что онъ едва не пережилъ своей славы. Справедливость требуетъ замѣтить, что его сочиненія тамъ, гдѣ онъ не увлекается сентиментальностью и говоритъ отъ души, дышатъ какой-то сердечной теплотой: это особенно замѣтно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ говоритъ о Россіи. Да, онъ любилъ добро, любилъ отечество, служилъ ему, сколько могъ; имя его бессмертно, но сочиненія его, исключая «Исторіи», умерли и не воскреснуть имъ, несмотря на всѣ возгласы людей, подобныхъ Иванчину-Писареву и Оресту Сомову.

«Исторія Государства Россійскаго» есть важнѣйшій подвигъ Карамзина; онъ отразился на ней весь, со всѣми своими недостатками и достоинствами. Не берусь судить объ этомъ произведеніи ученымъ образомъ, ибо, признаюсь откровенно, этотъ трудъ былъ бы далеко не подъ силу мнѣ. Мое мнѣніе (весьма не новое) будетъ мнѣніемъ любителя, а не знатока. Сообразивъ все, что было сдѣлано для систематической исторіи до Карамзина, нельзя не признать его трудъ подвигомъ исполинскимъ. Главный его недостатокъ состоитъ въ его взглядѣ на вещи и событія, часто дѣтскомъ и всегда по крайней мѣрѣ не мужскомъ; въ ораторской шумихѣ и неумѣстномъ желаніи быть наставительнымъ, поучать тамъ, гдѣ сами факты говорятъ за себя; въ пристрастіи къ героямъ повѣствованія, дѣлающимъ честь сердцу автора, но не его уму. Главное достоинство его состоитъ въ занимательности разсказа и искусномъ изложеніи событій, нерѣдко въ художественной обрисовкѣ характеровъ, а болѣе всего въ слогѣ, въ которомъ Карамзинъ рѣшительно торжествуетъ здѣсь. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи у насъ и по сію пору не написано

еще ничего подобнаго. Въ «Исторіи Г. Р. слогъ Карамзина есть слогъ русскій по преимуществу; ему можно поставить параллель только въ стихахъ «Бориса Годунова» Пушкина. Это совсѣмъ не то, что слогъ его мелкихъ сочиненій; ибо здѣсь авторъ черпаетъ изъ родныхъ источниковъ, упитанъ духомъ историческихъ памятниковъ; здѣсь его слогъ за исключеніемъ первыхъ четырехъ томовъ гдѣ по большей части одна риторическая шумиха, но гдѣ все-таки языкъ удивительно обработанъ, имѣетъ характеръ важности, личавости и энергіи, и часто переходитъ въ истинное краснорѣчіе. Словомъ, по выраженію одного нашего критика, въ «Исторіи Р.» языку нашему воздвигнутъ такой памятникъ, о который время изломаетъ свою косу. Повторяю: имя Карамзина бессмертно, сочиненія его, исключая «Исторію», умерли и никогда не воскреснуть!

Почти въ одно время съ Карамзинымъ выступилъ на литературное поприще и Дмитріевъ (И. И.). Онъ былъ въ нѣкоторомъ отношеніи преобразователь стихотворнаго языка, и его сочиненія, до Жуковского и Бтюшкова, справедливо почитались образцами. Впрочемъ его поэтическое дарованіе не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію. Главный элементъ его таланта есть остроуміе: поэма «Чужой Толкъ» есть лучшее его произведеніе. Басни его прекрасны; имъ недостаетъ только народности, чтобы быть совершенными. Въ сказкахъ же Дмитріевъ имѣлъ себѣ соперника. Кромѣ того его талантъ возвышался иногда до лиризма, что доказывается прекраснымъ его произведеніемъ «Ермакъ», и особенно переводомъ подражаніемъ или передѣлкой (назовите, какъ угодно) пьесы Гёте, которая извѣстна подъ именемъ «Размышленія по случаю грома»...

Крыловъ возвелъ у насъ басню до *plus ultra* совершенства. Нужно ли доказывать, что это гениальный поэтъ русскій, что онъ неизмѣримо возвышается надъ всѣми своими соперниками? Кажется, въ этомъ никто не сомнѣвается. Замѣчу только, впрочемъ не я первый, что басня оттого имѣла на Русіи такой чрезвычайный успѣхъ, что родилась не случайно, а вслѣдствіе нашего народнаго духа, который страхъ какъ любилъ побасенки и примѣненія. Вотъ самое убѣдительнѣйшее доказательство того, что литературу непременно должна быть народной, если хочешь быть прочной и вѣчной! Вспомнитъ сколько было у иностранцевъ неудачныхъ попытокъ перевести Крылова. Слѣдовательно тѣ жестоко ошибаются, которые думаютъ, что только рабскимъ подражаніемъ иностранцамъ можно обратить на себя ихъ вниманіе.

Озерова у насъ почитаютъ и преобразователемъ, и творцомъ русскаго театра. Ра:

умѣется онъ ни то, ни другое, ибо русскій театръ есть мечта разгоряченнаго воображенія нашихъ добрыхъ патріотовъ. Справедливо, что Озеровъ у насъ былъ первымъ драматическимъ писателемъ съ истиннымъ, хотя и не огромнымъ талантомъ; онъ не создалъ театра, а ввелъ къ намъ французскій театръ, т.-е. первый заговорилъ языкомъ французской Мельпомены. Впрочемъ онъ не былъ драматикомъ въ полномъ смыслѣ этого слова: онъ не зналъ человѣка. Приведите на представленіе Шекспировой или Шиллеровой драмы зрителя безъ всякихъ познаній, безъ всякаго образованія, но съ природнымъ умомъ и способностью принимать впечатлѣнія изящнаго: онъ, не зная исторіи, хорошо пойметъ, въ чемъ дѣло; не понявши историческихъ лицъ, прекрасно пойметъ человѣческія лица; но когда онъ будетъ смотрѣть на трагедію Озерова, то рѣшительно ничего не уразумѣетъ. Можетъ быть это общій недостатокъ такъ называемой классической трагедіи. Но Озеровъ имѣетъ и другіе недостатки, которые происходили отъ его личнаго характера. Одаренный душой нѣжной, но не глубокой, раздражительной, но не энергической, онъ былъ неспособенъ къ живописи сильныхъ страстей. Вотъ отчего его женщины интереснѣ мужчинъ; вотъ отчего его злодѣи ни больше, ни меньше, какъ олицетворенія общихъ родовыхъ пороковъ; вотъ отчего онъ изъ Фингала сдѣлалъ аркадскаго пастушка и заставилъ его объясняться съ Моиною мадригалами, скорѣе приличными какому-нибудь Эрасту Чертополохову, чѣмъ грозному поклоннику Одина. Лучшая его пьеса безъ сомнѣнія есть «Эдипъ», а худшая «Дмитрій Донской», эта надутая ораторская рѣчь, переложенная въ разговоры. Теперь никто не станетъ отрицать поэтическаго таланта Озерова, но вмѣстѣ съ тѣмъ и едва ли кто станетъ читать его, а тѣмъ болѣе восхищаться имъ.

Появленіе Жуковскаго изумило Россію, и не безъ причины. Онъ былъ Колумбомъ нашего отечества: указалъ ему на нѣмецкую и англійскую литературу, которыхъ существованія оно даже и не подозрѣвало. Кромѣ того онъ совершенно преобразовалъ стихотворный языкъ, а въ прозѣ шагнулъ далѣе Карамзина *): вотъ главные его заслуги. Собственныхъ его сочиненій не много; труды его—или переводы, или передѣлки, или подражанія иностраннымъ. Языкъ смѣлый, энергическій, хотя и не всегда согласный съ чувствомъ; односторонняя мечтательность, бывшая, какъ говорятъ, слѣдствіемъ обстоятельства его жизни, — вотъ характеристика сочиненій Жуковскаго. Ошибаются тѣ, которые почитаютъ его подражателемъ нѣмцевъ

и англичанъ: онъ не сталъ бы иначе писать и тогда, когда бъ былъ незнакомъ съ ними, если бъ только захотѣлъ быть вѣрнымъ самому себѣ. Онъ не былъ сыномъ XIX вѣка, но былъ, такъ сказать, прозелитомъ; присовокупите къ этому еще то, что его творенія могутъ быть въ самомъ дѣлѣ происходили изъ обстоятельствъ его жизни, и вы поймете, отчего въ нихъ нѣтъ идей міровыхъ, идей человечества, отчего у него часто подъ самыми роскошными формами скрываются какъ будто карамзинскія идеи (напр. «Мой другъ, хранитель, ангелъ мой!» и т. п.), отчего въ самыхъ лучшихъ его созданіяхъ (какъ напр., въ «Пѣвцѣ въ станѣ русскихъ воиновъ») встрѣчаются мѣста совершенно риторическія. Онъ былъ заключенъ въ себѣ, и вотъ причина его односторонности, которая въ немъ есть оригинальность въ высочайшей степени. По множеству своихъ переводовъ, Жуковскій относится къ нашей литературѣ, какъ Фоссъ или Авг. Шлегель къ нѣмецкой литературѣ. Знатки утверждаютъ, что онъ не переводилъ, а усваивалъ русской словесности созданія Шиллеровъ, Байроновъ и проч.; въ этомъ, кажется, нѣтъ причины сомнѣваться. Словомъ, Жуковскій есть поэтъ съ необыкновеннымъ энергическимъ талантомъ,—поэтъ, оказавшій русской литературѣ неоцѣненные услуги,—поэтъ, который никогда не забудется, котораго никогда не перестанутъ читать; но вмѣстѣ съ тѣмъ и не такой поэтъ, котораго бы можно было назвать поэтомъ собственно русскимъ, имя котораго можно бы было провозгласить на европейскомъ турнирѣ, гдѣ соперничаютъ народными славами.

Многое изъ сказаннаго о Жуковскомъ можно сказать и о Батюшковѣ. Этотъ послѣдній рѣшительно стоялъ на рубежѣ двухъ вѣковъ; поочередно плѣнялся и гнушался прошедшимъ, не призналъ и не былъ признанъ наступившимъ. Это былъ человѣкъ не геніальный, но съ большимъ талантомъ. Какъ жаль, что онъ не зналъ нѣмецкой литературы: ему немногаго недоставало для совершеннаго литературнаго образованія. Прочтите его статью «О морали, основанной на религіи», и вы поймете эту тоску души и ея порывы къ безконечному послѣ упоенія сладострастіемъ, которыми дышатъ его гармоническія созданія. Онъ писалъ «О жизни и впечатлѣніяхъ поэта», гдѣ между дѣтскими мыслями проискриваются мысли какъ будто нашего времени; и тогда же писалъ о какой-то «Легкой Поэзіи», какъ будто бы была поэзія тяжелая. Не правда ли, что онъ не принадлежалъ вполне ни тому, ни другому вѣку?.. Батюшковъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ былъ преобразователемъ стихотворнаго языка, т.-е. писалъ чистымъ, гармоническимъ языкомъ; проза его тоже лучше прозы мелкихъ

*) Я разумѣю здѣсь мелкія сочиненія Карамзина.

сочиненій Карамзина. По таланту Батюшковъ принадлежитъ къ нашимъ второкласснымъ писателямъ и, по моему мнѣнію, ниже Жуковскаго; о равенствѣ же его съ Пушкинымъ смѣшно и думать. Триумвиату, составленному нашими словесниками изъ Жуковскаго, Батюшкова и Пушкина, могли вѣрить только въ двадцатыхъ годахъ.

Мнѣ остается только упомянуть еще о Мерзляковѣ, и я кончу весь карамзинскій періодъ нашей словесности, окончу перечень всѣхъ его знаменитостей, всей его аристократіи: останутся плебеи, о которыхъ нечего и говорить много, развѣ только для доказательства зыбкости нашихъ прославленныхъ авторитетовъ. Мерзляковъ былъ человѣкъ съ необыкновеннымъ поэтическимъ дарованіемъ и представляетъ собою одну изъ умиленныхъ жертвъ духа времени. Онъ преподавалъ теорію изящнаго, и между тѣмъ эта теорія осталась для него неразгаданной загадкой во все продолженіе его жизни; онъ считался у насъ оракуломъ критики, и не зналъ, на чемъ основывается критика; наконецъ, онъ во всю жизнь свою заблуждался насчетъ своего таланта, ибо, написавши нѣсколько безсмертныхъ пѣсенъ, въ то же время написалъ множество одъ, въ которыхъ кое-гдѣ блистаютъ искры могучаго таланта, котораго не могла убить схоластика, и въ которыхъ все остальное голая риторика. Несмотря на то, повторяю, это былъ талантъ мощный, энергическій: какое глубокое чувство, какая неизмѣримая тоска въ его пѣсняхъ! какъ живо сочувствовалъ онъ въ нихъ русскому народу и какъ вѣрно выразилъ въ ихъ поэтическихъ звукахъ лирическую сторону его жизни! Это не пѣсенки Дельвига, это не поддѣлка подъ народный тактъ — нѣтъ: это живое, естественное изліаніе чувства, гдѣ все безыскусственно и естественно! Не правда ли, по прочтеніи или по выслушаніи любой изъ его пѣсенъ, вы невольно готовы воскликнуть:

Ахъ! та пѣснь была завѣтная:
Рвала бѣлу грудь тоской,
А все слушать бы хотѣлося,
Не разстался бы вѣкъ съ ней!

И этотъ человѣкъ, который былъ знакомъ съ нѣмецкимъ языкомъ и литературой, этотъ человѣкъ, съ душой поэтической, съ чувствомъ глубокимъ, — писалъ торжественныя оды, перевелъ Тасса, говорилъ съ кафедры, что «только чудотворный геній нѣмецъ любить выставять на сцены висѣлицы», находилъ геній въ Сумароковѣ и былъ увлеченъ, очарованъ поддѣльной и нарумяненной поэзіей французовъ, въ то время какъ читалъ Гёте и Шиллера!.. Онъ рожденъ былъ практикомъ поэзіи, а судьба сдѣлала его теоре-

тикомъ; пламенное чувство влекло его къ пѣснямъ, а система заставляла писать оды и переводить Тасса!..

Теперь вотъ прочіе замѣчательные по таланту или по авторитету литераторы карамзинскаго періода.

Капнистъ принадлежитъ къ тремъ царствованіямъ. Нѣкогда онъ слылъ за поэта съ необыкновеннымъ дарованіемъ. Плетневъ даже утверждалъ гдѣ-то и когда-то, что у Капниста есть что-то такое, чего будто бы недостаетъ Ламартину! *Le bon vieux temps!* Теперь Капнистъ совершенно забытъ, вѣроятно потому, что плакалъ въ своихъ стихахъ по правиламъ «порядочной хрип», а болѣе всего потому, что едва замѣтные блески таланта еще не могутъ спасти писателя отъ всепоглощающихъ волнъ Леты. Онъ надѣлалъ много шума своей «Ябедой»; но эта прославленная «Ябеда» ни больше, ни меньше, какъ фарсъ, написанный языкомъ варварскимъ даже и по своему времени.

Гнѣдичъ и Милоновъ были истинные поэты; если ихъ теперь мало почитаютъ, то это потому, что они слишкомъ рано родились.

Восейковъ (Александръ Ѳеодоровичъ, какъ значится въ литературномъ адресъ-календарѣ Греча, извѣстномъ подъ именемъ «Исторіи Русской Литературы») игралъ нѣкогда въ нашей словесности роль *знаменитаго*. Онъ перевелъ Делиля (котораго почиталъ не только поэтомъ, но и большимъ поэтомъ); онъ самъ собирался написать дидактическую поэмѣ (въ то время всѣ вѣрили безусловно возможности дидактической поэзіи); онъ переводилъ (какъ умѣлъ) древнихъ; потомъ занялся изданіемъ разныхъ журналовъ, въ которыхъ съ неутомимой ревностью выводилъ на свѣжую воду знаменитыхъ друзей, Греча и Бухгарина (нечего сказать — высокая миссія!); теперь, на старости лѣтъ, поочередно или, лучше сказать, понумерно бранить барона Брамбеуса и преклоняетъ передъ нимъ колѣна, а пуще всего восхваляетъ Александра Филипповича Смирдина за то, что онъ дорого платитъ авторамъ; перепечатываетъ въ своемъ журналѣ старые стихи и статьи изъ «Молвы» за 1831 годъ. Что же дѣлать! «Отъ великаго до смѣшнаго только шагъ», сказалъ Наполеонъ!..

Князь Вяземскій, русскій Карлъ Нодье, писалъ стихами и прозой про все и обо всемъ. Его критическія статьи (т.-е. предисловія къ разнымъ изданіямъ) были необыкновеннымъ явленіемъ въ свое время. Между его безчисленными стихотвореніями многія отличаются блескомъ остроумія неподдѣльнаго и оригинальнаго, иныя даже чувствомъ; многія и натянуты, какъ напр. «Какъ бы не такъ!» и пр. Но, вообще сказать, князь Вяземскій при-

надлежитъ къ числу замѣчательныхъ нашихъ поэтовъ и литераторовъ.

Было время!...

Народная поговорка.

Въ прошедшей статьѣ я обозрѣлъ карамзинскій періодъ нашей словесности,—періодъ, продолжавшійся цѣлую четверть столѣтія. Цѣлый періодъ словесности, цѣлая четверть вѣка ознаменованы вліяніемъ одного таланта, одного человѣка, а вѣдь четверть вѣка много, слишкомъ много значить для такой литературы, которая не дожидая еще пяти лѣтъ до своего второго столѣтія *). И что же произвелъ великаго и прочнаго этотъ періодъ? Гдѣ теперь гении, которыми онъ бывало такъ красовался и величался? Изъ всѣхъ нихъ одинъ только великъ и безсмертенъ безъ всякихъ отношеній, и этотъ одинъ не заплатилъ дани Карамзину, который бралъ свою обычную дань даже и съ такихъ людей, которые были выше его и по таланту, и по образованію: говорю о Крыловѣ. Повторяю: что сдѣлано въ этотъ періодъ для безсмертія? Одинъ познакомилъ насъ нѣскольکو, и притомъ одностороннимъ образомъ, съ нѣмецкой и англійской литературой, — другой съ французскимъ театромъ, третій—съ французской критикой XVII столѣтія, четвертый... Но гдѣ же литература? Не ищите ея: напрасенъ будетъ вашъ трудъ; пересаженные цвѣты недолговѣчны: это истина неоспоримая. Я сказалъ, что въ началѣ этого періода впервые родилась у насъ мысль о литературѣ; вслѣдствіе того появились у насъ и журналы. Но что такое были эти журналы? Невинное препровожденіе времени, дѣло отъ бездѣлья, а иногда и средство нажить денежку. Ни одинъ изъ нихъ не слѣдилъ за ходомъ просвѣщенія, ни одинъ не передавалъ своимъ соотечественникамъ успѣховъ человѣчества на пути самосовершенствованія. Помню, что въ какомъ-то чувствительномъ журналѣ, кажется въ 1813 году, было напечатано, что въ Англіи явился новый поэтъ,

*) Литература наша, безъ всякаго сомнѣнія, началась въ 1739 году, когда Ломоносовъ прислалъ изъ-за границы свою первую оду на взятіе Хотина. Нужно ли повторять, что не съ Кантемира и не съ Тредьяковского, а тѣмъ болѣе не съ Симеона Полоцкого, началась наша литература? Нужно ли доказывать, что «Слово о Полку Игоревомъ», «Сказаніе о Донскомъ Побойщѣ», краснорѣчивое «Посланіе Вассіана ко Іоанну III» и другіе историческіе памятники, народныя пѣсни и схоластическое духовное краснорѣчіе питаютъ точно такое же отношеніе къ нашей словесности, какъ и памятники допотопной литературы, если бы она были открыты, къ санскритской, греческой или латинской литературѣ? Такія истины надобно доказывать только Гречу и Пласину, съ которыми я не намѣренъ вступать въ ученія состязанія.

Биронъ, который пишетъ въ какомъ-то романическомъ родѣ и особенно прославился своей поэмой «Шильдъ Гарольдъ»: вотъ вамъ и все тутъ. Конечно, тогда не только въ Россіи, но отчасти и въ Европѣ смотрѣли на литературу не сквозь чистое стекло разума, а сквозь тусклый пузырь французскаго классицизма; но движеніе тамъ уже было начато, и сами французы, умиротворенные реставраціей, много поумнѣли противъ прежняго и даже совершенно переродились. Между тѣмъ наши литературные наблюдатели дремали, и только тогда проснулись, когда непріятель ворвался въ ихъ дома и началъ въ нихъ своевольно хозяйничать; только тогда завопили они гласомъ великимъ: караулъ! рѣжутъ! разбой! романтизмъ!

За карамзинскимъ періодомъ нашей словесности послѣдовалъ періодъ пушкинскій, продолжавшійся почти ровно десять лѣтъ. Говорю пушкинскій, ибо кто не согласится, что Пушкинъ былъ главой этого десятилѣтія, что все тогда шло отъ него и къ нему? Впрочемъ я не то здѣсь думаю, чтобы Пушкинъ былъ для своего времени совершенно то же, что Карамзинъ для своего. Одно уже то, что его дѣятельность была безсознательной дѣятельностью художника, а не практической и преднамѣренной дѣятельностью писателя, полагаетъ большую разницу между нимъ и Карамзинымъ. Пушкинъ властвовалъ единственно силой своего таланта и тѣмъ, что онъ былъ сыномъ своего вѣка; владычество же Карамзина въ послѣднее время основывалось на слѣпомъ уваженіи къ его авторитету. Пушкинъ не говорилъ, что поэзія есть то или то, а наука есть это или это; нѣтъ, онъ своими созданіями далъ мѣрило для первой и до нѣкоторой степени показалъ современное значеніе другой. Въ то время, то-есть въ двадцатыхъ годахъ (1817—1824), у насъ глухо отдавалось эхо умственного переворота, совершавшагося въ Европѣ; тогда, хотя еще робко и неопредѣленно, начали поговаривать, что будто бы пьяный дикарь Шекспиръ неизмѣримо выше накрахмаленнаго Расина, что Шлегель будто бы знаетъ объ искусствѣ побольше Лагарпа, что нѣмецкая литература не только не ниже французской, но даже несравненно выше; что почтенные Буало, Баттѣ, Лагарпъ и Мармонтель безбожно оклеветали искусство, ибо сами мало смыслили въ немъ толку. Конечно теперь въ этомъ никто не сомнѣвается, и доказывать подобныя истины значило бы навлечь на себя всеобщее посмѣяніе; но тогда, право, было не до смѣху: ибо тогда даже въ Европѣ за подобныя безбожныя мысли угрожалъ инквизиторское аутодафе; на что же рѣшались въ Россіи люди, которые дерзали утверждать, что Сумароковъ не поэтъ, что Херасковъ тяжеловатъ, и пр.? Изъ этого ясно,

что чрезмѣрное вліяніе Пушкина происходило оттого, что, въ отношеніи къ Россіи, онъ былъ сыномъ своего времени въ полномъ смыслѣ этого слова, что онъ шелъ наравнѣ съ своимъ отечествомъ, былъ представителемъ развитія его умственной жизни: слѣдовательно его владычество было законное. Карамзинъ, напротивъ, какъ мы видѣли выше, въ девятнадцатомъ вѣкѣ былъ сыномъ восемнадцатаго, и даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ, не воплѣ его выразилъ, ибо, по своимъ идеямъ, не возвысился даже и до него, слѣдовательно его вліяніе было законно только развѣ до появленія Жуковского и Батюшкова, начиная съ которыхъ его могущественное вліяніе только задерживало успѣхи нашей словесности. Появленіе Пушкина было зрѣлищемъ умиленнымъ: поэтъ-юноша, благословенный помазаннымъ старцемъ Державинымъ, стоявшимъ на краю гроба и готовившимся склонить въ него свою лавровѣнчанную главу; поэтъ-мужъ, подающій ему руку чрезъ неизмѣримую пропасть цѣлаго столѣтія, раздѣляшаго, въ нравственномъ смыслѣ, два поколѣнія; наконецъ, ставшій подлѣ него и вмѣстѣ съ нимъ образующій двойственное лучезарное созвѣздіе на пустынномъ небосклонѣ нашей литературы!..

Классицизмъ и романтизмъ—вотъ два слова, которыми огласился пушкинскій періодъ нашей словесности; вотъ два слова, на которыхъ были написаны книги, разсужденія, журнальныя статьи и даже стихотворенія, съ которыми мы засыпали и просыпались, за которыхъ дрались на смерть, о которыхъ спорили до слезъ, и въ классахъ, и въ гостиныхъ, и на площадяхъ, и на улицахъ! Теперь эти два слова сдѣлались какъ-то пошлыми и смѣшными; какъ-то странно и дико встрѣтить ихъ въ печатной книгѣ или услышать въ разговорѣ. А давно ли кончилось это «тогда» и началось это «теперь»? Какъ же послѣ этого не скажешь, что все летитъ впередъ на крыльяхъ вѣтра? Только развѣ въ какомъ-нибудь «Дагестанѣ» можно еще съ важностью разсуждать объ этихъ почившихъ страдальцахъ—классицизмѣ и романтизмѣ, и выдавать намъ за новость, что Расинъ немножко приторенъ, что энциклопедисты немножко ввали, что Шекспиръ, Гете и Шиллеръ велики, а Шлегель говоритъ правду, и пр. И это нисколько не удивительно: вѣдь Дагестанъ въ Азій!..

Въ Европѣ классицизмъ былъ литературнымъ католицизмомъ. Въ его папы были выбраны, безъ его вѣдома и согласія, покойники Аристотель, какимъ-то непризнаннымъ конклавомъ; инквизиціей этого католицизма была французская критика; великими инквизиторами: Буало, Баттё и Лагарпъ съ братьями; предметами обожанія: Корнель, Расинъ,

Вольтеръ и другіе. Волсей или неволей, инквизиторы завербовали въ свой календарь и древнихъ, а въ числѣ ихъ и вѣчнаго старца Гомера (вмѣстѣ съ Виргиліемъ), Тасса, Аріоста, Мильтона, которые (за исключеніемъ можетъ быть вставочнаго) не виноваты въ классицизмѣ ни душой, ни тѣломъ, ибо были естественны въ своихъ твореніяхъ. Такъ дѣла шли до XVIII столѣтія. Наконецъ, все перевернулось: бѣлое стало чернымъ, а черное—бѣлымъ. Лицемерный, развратный, приторный восемнадцатый вѣкъ испустилъ свое послѣднее дыханіе, и съ девятнадцатымъ столѣтіемъ умъ и вкусъ возродились для новой, лучшей жизни. Подобно страшному метеору, въ началѣ его возникъ сынъ судьбы, облученный всей ея ужасающей мощью, или, лучше сказать, сама судьба явилась въ образѣ Наполеона,—того Наполеона, который сдѣлался «власителемъ нашихъ думъ», говоря о которомъ и самая посредственность возвышалась до поэзіи. Вѣкъ принялъ гигантскіе размѣры и облекся въ исполненное величіе; Франція устыдилась самой себя и съ ругательнымъ смѣхомъ начала указывать пальцемъ на жалкія развалины минувшаго времени, которыя, какъ бы не замѣчая великихъ переворотовъ, совершившихся передъ ихъ глазами, даже при роковомъ переходѣ черезъ Березину, взмоштившись на сукъ дерева, окостенѣлой рукой завивали свои булки и посыпали ихъ завитой пудрой, тогда какъ вокругъ нихъ бушевала зимняя вьюга мстительнаго сѣвера, и люди падали тысячами, оцѣпенѣнные страхомъ и холодомъ. И такъ, французы, слишкомъ пораженные этими великими событіями, сдѣлались по степени и посолондѣ, перестали прыгать на одной ногѣ; это было первымъ шагомъ къ ихъ обращенію къ истинѣ. Потомъ они узнали, что у ихъ сосѣдей, у неповоротливыхъ нѣмцевъ, которыхъ они всегда выставляли за образецъ эстетическаго безвкусія, есть литература, — литература, достойная глубокаго и основательнаго изученія, и вмѣстѣ съ тѣмъ узнали, что ихъ препрославленные поэты и философы совсѣмъ не поставили геркулесовскихъ столбовъ генію человѣческому. Всѣмъ извѣстно, какъ все это дѣлалось, и потому не хочу распространяться о томъ, что Шатобрианъ былъ крестнымъ отцомъ, а Сталь повивальной бабкой юнаго романтизма во Франціи. Скажу только, что этотъ романтизмъ былъ не иное что, какъ возвращеніе къ естественности, а слѣдственно самобытности и народности въ искусствѣ, предпочтеніе, оказанное идеѣ надъ формой, и сверженіе чуждыхъ и тѣсныхъ формъ древности, которыя къ произведеніямъ новѣйшаго искусства шли точно такъ же, какъ плетъ къ напудренному парикку, шитому камзолу и выбритой бородѣ греческій

хитонъ или римская тога; отсюда слѣдуетъ, что этотъ такъ называемый романтизмъ былъ очень старая новостъ, а отнюдь не чадъ XIX вѣка; былъ, такъ сказать, народностью новаго христіанскаго міра Европы. Германія была искони вѣковъ романтическою страной по преимуществу, какъ по феодальнымъ формамъ своего управленія, такъ и по идеальному направленію своей умственной дѣятельности. Реформація убила въ ней католицизмъ, а вмѣстѣ съ нимъ и классицизмъ. Эта же самая реформація, хотя нѣсколько въ другомъ видѣ, развязала руки и Англіи: Шекспиръ былъ романтикъ. Очевидно, что романтизмъ былъ новостію только для одной Франціи и еще для тѣхъ государствъ, гдѣ совсѣмъ не было литературъ, т.-е. Швеціи, Даніи и т. п. И Франція бросилась на эту старую новинку со всей своей живостью и увлекла за собою безлитературныя государства. Юная словесность есть не иное что, какъ реакція старой; и какъ во Франціи общественная жизнь и литература идутъ обрѣзъ, то и ни мало не удивительно, что нынѣшняя ихъ литература отличается излишествомъ: реакція никогда не бываетъ умѣренна. Теперь во Франціи изъ одной моды всякій хочетъ быть глубокимъ и энергичнымъ, подобно какому-нибудь Феррагусу, такъ какъ прежде всякій изъ моды же хотѣлъ быть вѣтреннымъ, безпечнымъ, легковѣрнымъ и ничтожнымъ.

И однакожь—странное дѣло! — никогда не проявлялось въ Европѣ такого дружнаго и сильнаго стремленія сбросить съ себя оковы классицизма, схоластицизма, педантизма или глупицизма (это все одно и то же). Байронъ, другой «властитель нашихъ думъ», и Вальтеръ Скоттъ раздавили своими твореніями школу Попа и Блера и возвратили Англіи романтизмъ. Во Франціи явился Викторъ Гюго съ толпой другихъ мощныхъ талантовъ, въ Польшѣ—Мицкевичъ, въ Италіи—Манцони, въ Даніи—Эленшлегеръ, въ Швеціи—Тегнеръ. Неужели только Россіи суждено было остаться безъ своего литературнаго Лютера?

Въ Европѣ классицизмъ былъ не что иное, какъ литературный католицизмъ: чтѣ же такое былъ онъ въ Россіи? Не трудно отвѣчать на этотъ вопросъ: въ Россіи классицизмъ былъ ни больше, ни меньше, какъ слабый отголосокъ европейскаго эха, для объясненія котораго совсѣмъ не нужно ѣздить въ Индію на пароходѣ «Джонъ-Буль». Пушкинъ не натягивался, былъ всегда истиненъ и искрененъ въ своихъ чувствахъ, творилъ для своихъ идей свои формы; вотъ его романтизмъ. Въ этомъ отношеніи и Державинъ былъ почти такой же романтикъ, какъ и Пушкинъ; причина этому, повторю, скрывается въ его невѣжествѣ. Будь этотъ человѣкъ ученъ — и у насъ было бы два Хераскова, кото-

рыхъ было бы трудно отличить другъ отъ друга.

И такъ, третье десятилѣтіе XIX вѣка было ознаменовано вліяніемъ Пушкина. Чтѣ могу сказать я новаго объ этомъ человѣкѣ? Признаться, еще въ первый разъ поставилъ я себя въ затруднительное положеніе, взявшись судить о русской литературѣ; еще въ первый разъ я жалѣю о томъ, что природа не дала мнѣ поэтическаго таланта, ибо въ природѣ есть такіе предметы, о которыхъ грѣшно говорить смиренной прозой!

Какъ медленно и нерѣшительно шелъ или, лучше сказать, хромялъ карамзинскій періодъ, такъ быстро и скоро шелъ періодъ пушкинскій. Можно сказать утвердительно, что только въ прошлое десятилѣтіе проявилась въ нашей литературѣ жизнь, и какая жизнь!—тревожная, кипучая, дѣятельная! Жизнь есть дѣйствованіе, дѣйствованіе есть борьба, а тогда боролись и дрались не на животъ, а на смерть. У насъ нападаютъ иногда на полемику, въ особенности журнальную. Это очень естественно. Люди, хладнокровные къ умственной жизни, могутъ ли понять, какъ можно предпочитать истину приличіямъ и изъ любви къ ней навлекать на себя ненависть и гоненіе? О! имъ никогда не постичь, чтѣ за блаженство, чтѣ за сладострастіе души сказать какому-нибудь гению въ отставку безъ мундира, что онъ смѣшонъ и жалокъ своими дѣтскими претензіями на великость, растолковать ему, что онъ не себѣ, а крикуну-журналисту обязанъ своею литературною значительностью; сказать какому-нибудь ветерану, что онъ пользуется своимъ авторитетомъ на кредитъ, по старымъ воспоминаніямъ или по старой привычкѣ; доказать какому-нибудь литературному учителю, что онъ близорукъ, что онъ отсталъ отъ вѣка и что ему надо переучиваться съ азбуки; сказать какому-нибудь выходцу Богъ вѣсть откуда, какому-нибудь пройдохѣ и Видоку, какому-нибудь литературному торгашу, что онъ оскорбляетъ собою и эту словесность, которой занимается, и этихъ добрыхъ людей, кредитомъ которыхъ пользуется, что онъ наругался и надъ святостью истины, и надъ святостью знанія, заклеить его имя позоромъ отверженія, сорвать съ него маску, хотя бы она была и баронская, и показать его свѣту во всей его наготѣ!.. Говорю вамъ, во всемъ этомъ есть блаженство неизъяснимое, сладострастіе безграничное! Конечно, въ литературныхъ ошибкахъ иногда нарушаются законы приличія и общежительности, но умный и образованный читатель пропуститъ безъ вниманія пошлые намеки о желтыкахъ, объ утиныхъ носахъ, семинаристахъ, гарѣ, полу-гарѣ, купцахъ и аршинникахъ; онъ всегда сумѣетъ отличить истину отъ лжи, человѣка — отъ слабости, талантъ — отъ заблужденія; читатели же невѣжды не сдѣлаются

отъ того ни глупѣе, ни умнѣе. Будь все тихо и чинно, будь вездѣ комплименты и вѣжливости,—тогда какой просторъ для безсовѣстности, шарлатанства, невѣжества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!...

И такъ, періодъ пушкинскій былъ ознаменованъ движеніемъ жизни въ высочайшей степени. Въ это десятилѣтіе мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось къ намъ черезъ Балтійское море. Мы обо всемъ пересудили, обо всемъ переспорили, все усвоили себѣ, ничего не взростивши, не взлелѣявши, не создавши сами. За насъ трудились другіе, а мы только брали готовое и пользовались имъ: въ этомъ-то и заключается тайна неимоверной быстроты нашихъ успѣховъ и причина ихъ неимоверной непрочности. Этимъ же, кажется мнѣ, можно объяснить и то, что отъ этого десятилѣтія, столь живого и дѣятельнаго, столь обильнаго талантами и геніями, уцѣлѣлъ едва одинъ Пушкинъ, и, осиротѣлый, теперь съ грустью видить, какъ имена, вмѣстѣ съ нимъ взшедшія на горизонтъ нашей словесности, исчезаютъ одно за другимъ въ пучинѣ забвенія, какъ исчезаетъ въ воздухѣ недосказанное слово... Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же теперь эти юныя надежды, которыми мы такъ гордились? Гдѣ эти имена, о которыхъ бывало только и слышно? Почему они всѣ такъ внезапно смолкнули? Воля ваша, а мнѣ сдается, что тутъ что-нибудь да есть! Или въ самомъ дѣлѣ время есть самый строгій, самый правдивый Аристархъ?.. Увы!.. Развѣ талантъ Озерова или Батюшкова былъ ниже таланта напимѣръ Баратынскаго и Подолинскаго? Явись Капнистъ, В. и А. Измайловы, В. Пушкинъ, явись эти люди вмѣстѣ съ Пушкинымъ во цвѣтъ юности, и они, право, не были бы смѣшны и при тѣхъ скудныхъ дарованіяхъ, которыми наградила ихъ природа. Отчего же такъ? Оттого, что подобные таланты могутъ быть и не быть, смотря по обстоятельствамъ?

Подобно Карамзину, Пушкинъ былъ встрѣченъ громкими рукоплесканіями и свистомъ, которые только недавно перестали его преслѣдовать. Ни одинъ поэтъ на Руси не пользовался такой народностью, такой славой при жизни, и ни одинъ не былъ такъ жестоко оскорбляемъ. И гѣмъ же!—людьми, которые сперва пресмыкались передъ нимъ во прахѣ, а потомъ кричали *châte complète!*—людьми, которые велегласно объявляли о себѣ, что у нихъ въ мизинцахъ больше ума, чѣмъ въ головахъ всѣхъ нашихъ литераторовъ! Дивные мизинчики, любопытно бы взглянуть на нихъ. Но не о томъ дѣло. Вспомните состояніе нашей литературы до двадцатыхъ годовъ. Жуковскій уже совершилъ тогда большую часть своего поприща; Батюшковъ умолялъ на-

всегда; Державинимъ восхищались вмѣстѣ съ Сумароковымъ и Херасковымъ по лекціямъ Мерзлякова. Не было жизни, не было ничего новаго; все тащилось по старой колесѣ; какъ вдругъ появились «Русланъ и Людмила», — созданіе, рѣшительно не имѣвшее себѣ образца ни по гармоніи стиха, ни по формѣ, ни по содержанію. Люди безъ претензій на ученость, люди, вѣрившіе своему чувству, а не піитикамъ, или сколько-нибудь знакомые съ современной Европой, были очарованы этимъ явленіемъ. Литературные судьи, державшіе въ рукахъ жезлъ критики, съ важностью развернули «Лицей» (въ переводѣ Мартынова «Лицей») Лагарпа и «Словарь Древнія и Новыя Поэзіи» Остолопова и, увидя, что новое произведеніе не подходило ни подъ одну изъ извѣстныхъ категорій, и что на греческомъ и латинскомъ языкѣ не было ему образца, торжественно объявили, что оно было незаконное чадъ поэзіи, непростительное заблужденіе таланта. Не всѣ конечно тому повѣрили. Вотъ и пошла потѣха. Классицизмъ и романтизмъ вѣѣпились другъ другу въ волосы. Но оставимъ ихъ въ покоѣ и поговоримъ о Пушкинѣ.

Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. Одаренный высокимъ поэтическимъ чувствомъ и удивительной способностью принимать и отражать всевозможныя ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; онъ заплатилъ дань всѣмъ великимъ современнымъ событіямъ, явленіямъ и мыслямъ, всему, что только могла чувствовать тогда Россія, переставшая вѣрить въ несомнѣнность «вѣковыхъ правилъ, самой мудростью извлеченныхъ изъ писаній великихъ геніевъ», и съ удивленіемъ узнавая о другихъ правилахъ, о другихъ мірахъ мыслей и понятій, и новыхъ, неизвѣстныхъ ей дотошъ, взглядахъ на давно извѣстныя ей дѣла и событія. Несправедливо говорить, будто онъ подражалъ Шенъе, Байрону и другимъ: Байронъ владѣлъ имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію. Да, Пушкинъ былъ выраженіемъ современнаго ему міра, представителемъ современнаго ему человечества, — но міра русскаго, но человечества русскаго. Что дѣлать! Мы всѣ геніи-самоучки; мы все знаемъ, ничему не учившись, все приобрѣли, не проливши ни капли крови, а веселясь и играя, — словомъ:

Мы всѣ учились понемногу
Чему-нибудь и какъ-нибудь.

Пушкинъ отъ шумныхъ оргій разгульной юности переходилъ къ суровому труду,

Чтобъ въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ
наравнѣ;

отъ труда—опять къ младымъ пирамъ, сладкому бездѣлю и легкокрылому похмелью. Ему недоставало только нѣмецко-художественнаго воспитанія. Баловень природы, онъ, шая и играя, похищалъ у ней плѣнительные образы и формы, и, снисходительная къ своему любимцу, она роскошно одѣляла его тѣми цвѣтами и звуками, за которые другіе жертвуютъ ей наслажденіями юности, которые покупаютъ у ней цѣной отреченія отъ жизни... Какъ чародѣй, онъ въ одно и то же время исторгалъ у насъ и смѣхъ, и слезы, игралъ по волѣ нашими чувствами... Онъ плѣлъ, и какъ изумлена была Русь звуками его пѣсенъ: и не диво, она еще никогда не слыхала подобныхъ; какъ жадно прислушивалась она къ нимъ: и не диво, въ нихъ трепетали всѣ нервы ея жизни! Я помню это время, счастливое время, когда въ глуши провинціи, въ глуши уѣзднаго городка, въ лѣтніе дни, изъ растворенныхъ оконъ, носились по воздуху эти звуки, «подобные шуму волнъ» или «журчанію ручья»...

Невозможно обозрѣть всѣхъ его созданій и опредѣлить характеръ каждаго: это значило бы перечестъ и описать всѣ деревья и цвѣты Армидина сада. У Пушкина мало, очень мало мелкихъ стихотвореній; у него по большей части все поэмы: его поэтическія тризны надъ урнами великихъ, то-есть его «Андрей Шенье», его могучая бесѣда съ моремъ, его вѣщая дума о Наполеонѣ—поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэтического вѣнка безъ сомнѣнія суть «Евгеній Онѣгинъ» и «Борисъ Годуновъ». Я никогда не кончилъ бы, если бы началъ говорить объ этихъ произведеніяхъ.

Пушкинъ царствовалъ десять лѣтъ: «Борисъ Годуновъ» былъ послѣднимъ великимъ его подвигомъ; въ третьей части полного собранія его стихотвореній замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ умеръ или можетъ быть только обмеръ на время. Можетъ быть его уже нѣтъ, а можетъ быть онъ и воскреснетъ; это вопросъ, это гамлетовское «быть или не быть» скрывается во мглѣ будущаго. По крайней мѣрѣ, судя по его сказкамъ, по его поэмѣ «Анджело» и по другимъ произведеніямъ, обрѣтающимся въ «Новосельѣ» и «Библіотекѣ для Чтенія», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Гдѣ теперь эти звуки, въ которыхъ слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска; гдѣ эти вспышки пламеннаго и глубокаго чувства, потрясавшаго сердца, сжимавшаго и волновавшаго груди, эти вспышки остроумія тонкаго и язвительнаго, этой ироніи, вмѣстѣ злой и тоскливой, которая поражали умъ своей игрой; гдѣ теперь эти картины жизни и природы, передъ которыми была блѣдна жизнь и природа?... Увы! вмѣсто ихъ мы читаемъ теперь стихи съ

правильнѣй, цезурой, съ богатыми и полубогатыми рифмами, съ поэтическими вольностями, о которыхъ такъ, пространно, такъ удовлетворительно и такъ глубокомысленно разсуждали архимандритъ Аполдоусъ и Остолоповъ!... Странная вещь, непонятная вещь! Неужели Пушкина, котораго не могли убить ни изступленные похвалы энтузіастовъ, ни хвалебные гимны торгашей, ни сильныя, нерѣдко справедливыя нападки и порицанія его антагонистовъ, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Новоселье» Смирдина? И однакожь не будемъ слишкомъ поспѣшны и опрометчивы въ нашихъ заключеніяхъ; предоставимъ времени рѣшить этотъ запутанный вопросъ. О Пушкинѣ судить не легко. Вы вѣрно читали его «Элегію» въ октябрьской книжкѣ «Библіотеки для Чтенія»? Вы вѣрно были потрясены глубокимъ чувствомъ, которымъ дышитъ это созданіе? Упомянутая «Элегія», кромѣ утѣшительныхъ надеждъ, подаваемыхъ ею о Пушкинѣ, еще замѣчательна и въ томъ отношеніи, что заключаетъ въ себѣ самую вѣрную характеристику Пушкина, какъ художника:

Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

Да, я свято вѣрю, что онъ вполнѣ раздѣлялъ безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки, или своей плѣнительной Татьяны, этого лучшаго и любимѣйшаго идеала его фантазіи; что онъ, вмѣстѣ съ своимъ мрачнымъ Гиреемъ, томился этой тоской души, пресыщенной наслажденіями и все еще не вѣдавшей наслажденія; что онъ горѣлъ неистовымъ огнемъ ревности, вмѣстѣ съ Заремой и Алеко, и упивался дикой любовью Земфиры; что онъ скорбѣлъ и радовался за свои идеалы, что журчаніе его стиховъ согласовалось съ его рыданіями и смѣхомъ... Пусть скажутъ, что это пристрастіе, идолопоклонство, дѣтство, глупость, но я лучше хочу вѣрить тому, что Пушкинъ мистифицируетъ «Библіотеку для Чтенія», чѣмъ тому, что его талантъ погасъ. Я вѣрю, думаю, и мнѣ отраднѣе вѣрить и думать, что Пушкинъ подаритъ насъ новыми созданіями, которыя будутъ выше прежнихъ...

Вмѣстѣ съ Пушкинымъ появилось множество талантовъ, теперь большей частью забытыхъ или готовящихся быть забытыми, но нѣкогда имѣвшихъ алтари и поклонниковъ. Теперь изъ нихъ

Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече,
Какъ Сади нѣкогда сказать.

Баратынскаго ставили на одну доску съ Пушкинымъ; ихъ имена всегда были неразлучны, даже однажды два сочиненія этихъ поэтовъ явились въ одной книжкѣ, подъ однимъ переплетомъ. Говоря о Пушкинѣ, я забылъ замѣтить, что только нынѣ его начи-

нають цѣнить по достоинству, но уже реакція кончилась, партія похолодѣла. И такъ, теперь даже и въ кругу никто не поставитъ имени Баратынскаго подлѣ имени Пушкина. Это значило бы жестоко издѣваться надъ первымъ, не зная цѣны второму. Поэтическое дарованіе Баратынскаго не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію. Правда, онъ написалъ плохую поэмѣ «Пиры», плохую поэмѣ «Эдда» (Бѣдную Лизу въ стихахъ), плохую поэмѣ «На ложницѣ», но вмѣстѣ написалъ и нѣсколько прекрасныхъ элегій, дышащихъ неподдѣльнымъ чувствомъ, изъ которыхъ «На смерть Гёте» можетъ назваться образцовой, — нѣсколько посланій, отличающихся остроуміемъ. Прежде его возвышали не по заслугамъ; теперь, кажется, унижаютъ неосновательно. Замѣчу еще, что Баратынскій обнаруживалъ во времена оны претензіи на критическій талантъ; теперь, я думаю, онъ и самъ разувѣрился въ немъ.

Козловъ принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ талантамъ пушкинскаго періода. По формѣ своихъ сочиненій онъ всегда былъ подражателемъ Пушкина, по господствующему же чувству ихъ, кажется, находился подъ влияніемъ Жуковскаго. Всѣмъ извѣстно, что несчастіе пробудило поэтическій талантъ Козлова: поэтому какое-то грустное чувство, покорность волѣ Провидѣнія и упованіе на мздовоздааніе за гробомъ составляютъ отличительный характеръ его созданій. Его «Чернецъ», надъ которымъ было пролито столько слезъ прекрасными читательницами и который былъ сколкомъ съ Байронова «Джяура», особенно отличается этимъ одностороннимъ характеромъ; послѣдовавшія за нимъ поэмы были постепенно слабѣе. Мелкія сочиненія Козлова отличаются неподдѣльнымъ чувствомъ, роскошной живописностью картинъ, звучнымъ и гармоническимъ языкомъ. Какъ жаль, что онъ писалъ баллады! Баллада безъ народности есть родъ ложный и не можетъ возбуждать участія. Притомъ же онъ силился создать какую-то славянскую балладу. Славяне жили давно и мало извѣстны намъ; такъ для чего же выводить на сцену онѣмеченныхъ Всемиль и Остановъ? Козловъ много повредилъ своей художнической знаменитости еще и тѣмъ, что иногда писалъ какъ будто отъ скуки: это въ особенности можно сказать о его нынѣшнихъ произведеніяхъ.

Языковъ и Давыдовъ (Д. В.) имѣютъ много общаго. Оба они — замѣчательныя явленія въ нашей литературѣ. Одинъ — поэтъ-студентъ, безпечный и кипящій избыткомъ юнаго чувства, воспѣваетъ потѣхи юности, пирующей на праздникъ жизни, пурпуровыя уста, черныя очи, лилейныя перси и дивныя брови красавицъ, огненные ночи и незабвенныя края,

Гдѣ пролетѣла шумно, шумно,
Лихая молодость его.

Другой поэтъ-воинъ, со всей военной откровенностью, со всѣмъ жаромъ неохлажденнаго годами и трудами чувства, въ удачныхъ стихахъ рассказываетъ намъ о проказахъ молодости, объ ухарскихъ забавахъ, о лихихъ наѣздахъ, о гусарскихъ пирушкахъ, о своей любви къ какой-то гордой красавицѣ. Какъ тотъ, такъ и другой нерѣдко срывають съ своихъ лиръ звуки сильные, громкіе и торжественные; нерѣдко трогаютъ выраженіемъ чувства живого и пламеннаго. Ихъ односторонность въ нихъ есть оригинальность, безъ которой нѣтъ истиннаго таланта.

Подолинскій подаль о себѣ самыя лестныя надежды, и къ несчастью не выполнилъ ихъ. Онъ владѣлъ поэтическимъ языкомъ и не былъ лишенъ поэтическаго чувства. Мнѣ кажется, что причина его неуспѣха заключается въ томъ, что онъ не созналъ своего назначенія и шелъ не по своей дорогѣ.

Ө. Н. Глинка... но что я скажу объ немъ? Вы знаете, какъ благоуханны цвѣты его поэзіи, какъ нравственно и свято его художественное направленіе: это хоть кого такъ обезоружитъ. Но, воплоти сознавая его поэтическое дарованіе, нельзя въ то же время не сознаться, что оно ужъ чересчуръ одностороннее: нравственность нравственностью, а вѣдь одно и то же прискутить. Ө. Н. Глинка писалъ много, и потому между многими прекрасными пьесками у него чрезвычайно много пьесъ рѣшительно посредственныхъ. Причиной этого, кажется, то, что онъ смотритъ на творчество, какъ на занятіе, какъ на невинное препровожденіе времени, а не какъ на призваніе свыше, и вообще какъ-то низменно смотритъ на многіе предметы. Лучшими своими стихами онъ обязанъ религіознымъ вдохновеніемъ. Его поэма «Карелія» заключается въ себѣ много красотъ, можетъ быть еще больше недостатковъ.

Дельвингъ... Но Дельвингу Языковъ написалъ прелестную поэтическую панихиду, но Дельвига Пушкинъ почитаетъ человекомъ съ необыкновеннымъ дарованіемъ: куда же мнѣ спорить съ такими авторитетами? Дельвига почитали нѣкогда огречившимся нѣмцемъ: правда ли это? *De mortuis aut bene, aut nihil*, и потому я не хочу обнаруживать моего собственнаго мнѣнія объ этомъ поэтѣ. Вотъ, что нѣкогда было напечатано въ «Московскомъ Вѣстникѣ» о его стихотвореніяхъ: «нихъ можно прочитать съ легкимъ удовольствіемъ, но не болѣе». Такихъ поэтовъ много было въ прошлое столѣтіе.

Берегъ! Берегъ!..

Истертое выраженіе.

Пушкинскій періодъ отличается необыкновеннымъ множествомъ стихотворцевъ-поэтовъ;

это рѣшительно періодъ стихотворства, превратившагося въ совершенную манію. Не говоря уже о стихотворцахъ бездарныхъ, авторахъ «киргизскихъ», «московскихъ» и другихъ «плѣнниковъ», авторахъ «Вѣльскихъ» и другихъ «Евгеніевъ», подъ разными именами, сколько людей, если не съ талантомъ, то съ удивительной способностью, если не къ поэзии, то къ стихотворству! Стихами и отрывками изъ поэмъ было наводнено многочисленное поколѣніе журналовъ и альманаховъ; опытами въ стихахъ, собраніями стиховъ и поэмами были наводнены книжныя лавки. И во всемъ былъ виноватъ одинъ Пушкинъ: вотъ едва ли не единственный, хотя и неумышленный грѣхъ его въ отношеніи къ русской литературѣ! И такъ, о бездарныхъ писакахъ много говорить нечего, бранить ихъ тоже нечего: мстительная Лета давно уже наказала ихъ. Поговорю лучше о людяхъ, отличившихся нѣкоторой степенью таланта или по крайней мѣрѣ способности. Отчего они такъ скоро утратили свою знаменитость? Или они выписались? Ничуть не бывало! Многие изъ нихъ и теперь пишутъ еще или по крайней мѣрѣ и теперь еще могутъ писать такъ же хорошо, какъ и прежде; но, увы! уже не могутъ возбуждать своими сочиненіями бывалаго энтузіазма въ читателяхъ. Отчего же? Оттого, повторяю, что они могли быть и не быть, что пылкость юности принимали за тревогу вдохновенія, способность принимать впечатлѣнія изящнаго—за способность поражать другихъ впечатлѣніями изящнаго, способность «описывать всякую данную матерію съ нѣкоторымъ подражательнымъ вымысломъ» *) гармоническими стихами—за способность воспроизводить въ словѣ явленія всеобщей жизни природы. Они заняли у Пушкина этотъ стихъ гармоническій и звучный, отчасти и эту поэтическую прелесть выраженія, которая составляетъ только высшую сторону его созданій; но не заняли у него чувства глубокаго и страдательнаго, которымъ они дышатъ, и которое одно есть источникъ жизни художественныхъ произведеній. Поэтому-то они какъ будто скользятъ по явленіямъ природы и жизни, какъ скользятъ по предметамъ блѣдный лучъ зимняго солнца, а не проникаютъ въ нихъ всей жизнью своей; поэтому-то они какъ будто только описываютъ предметы или разсуждаютъ о нихъ, а не чувствуютъ ихъ. И потому-то вы прочтете ихъ стихи, иногда и съ удовольствіемъ, если не съ наслажденіемъ; но они никогда не оставляютъ въ душѣ вашей рѣзкаго впечатлѣнія, никогда не заронятся въ вашу память. Присовокупите къ этому еще односторонность ихъ направленія и однообразіе ихъ завытныхъ мечтаній и думъ,

и вотъ вамъ причина, отчего нисколько не шевелятъ вашего сердца эти стихи, нѣкогда столь плѣнявшіе васъ. Нынѣ не то время, что прежде: нынѣ только стихами, означенными печатью высокаго таланта, если не генія, можно заставить читать себя. Нынѣ требуютъ стиховъ выстраданныхъ, — стиховъ, въ которыхъ слышались бы вопли души, исторгаемые неземными муками, — словомъ, нынѣ

Плачь неестественный досаденъ,
Смѣшно жемаемое вытье...

Одинъ изъ молодыхъ замѣчательнѣйшихъ литераторовъ нашихъ, Шевыревъ, съ раннихъ лѣтъ своей жизни предавшійся наукѣ и искусству, съ раннихъ лѣтъ выступившій на благородное поприще дѣйствованія въ пользу общую, слишкомъ хорошо понимая и почувствовать этотъ недостатокъ, столь общій почти всѣмъ его сверстникамъ и товарищамъ по ремеслу. Одаренный поэтическимъ талантомъ, что особенно доказываютъ его переводы изъ Шиллера, изъ которыхъ многіе самъ Жуковский не постыдился бы назвать своими; обогащенный познаніями, коротко знакомый со всеобщей исторіей литературы, что доказывается многими его критическими трудами и особенно отлично исполняемой имъ должностью профессора при московскомъ университетѣ,—онъ, какъ видно изъ его оригинальныхъ произведеній, рѣшился произвести реакцію всеобщему направленію литературы тогдашняго времени. Въ основаніи cadaго его стихотворенія лежитъ мысль глубокая и поэтическая, видны претензіи на шиллеровскую обширность взгляда и глубину чувства, и, надо сказать правду, его стихъ всегда отличался энергической краткостью, крѣпостью и выразительностью. Но цѣль вредить поэзии; притомъ же, назначивъ себѣ такую высокую цѣль, надо обладать и великими средствами, чтобы ее достойно выполнить. Поэтому большая часть оригинальныхъ произведеній Шевырева, за исключеніемъ весьма немногихъ, обнаруживающихъ неподдѣльное чувство, при всѣхъ ихъ достоинствахъ, часто обнаруживаютъ болѣе усилія ума, чѣмъ изліянія горячаго вдохновенія. Одинъ только Веневитиновъ могъ согласить мысль съ чувствомъ, идею съ формой, ибо изъ всѣхъ молодыхъ поэтовъ пушкинскаго періода онъ одинъ обнималъ природу не холоднымъ умомъ, а пламеннымъ сочувствіемъ, и силой любви могъ проникать въ ея святилище, могъ

Въ ея таинственную грудь,
Какъ въ сердце друга, заглянуть,

и потомъ передавать въ своихъ созданіяхъ высокія тайны, подсмотрѣнныя имъ на этомъ недоступномъ алтарѣ. Веневитиновъ есть един-

*) См. «Поэтическія Правила» Аполлоса.

ственный у насъ поэтъ, который даже современниками былъ понятъ и оцененъ по достоинству. Это была прекрасная утренняя заря, предрекавшая прекрасный день: въ этомъ согласились всѣ партіи. Долгъ справедливости заставляетъ меня упомянуть еще о Полежаевѣ,—талантъ, правда, одностороннемъ, но тѣмъ не менѣе и замѣчательномъ. Кому не извѣстно, что этотъ человекъ есть жалкая жертва заблужденій своей юности, несчастная жертва духа того времени, когда талантливая молодежь на почтовыхъ мчалась по дорогѣ жизни, стремилась упиваться жизнью, а не изучать ее, смотрѣла на жизнь, какъ на буйную оргію, а не какъ на тяжкій подвигъ? Не читайте его переводовъ (исключая ламартиновой пьесы «l'Homme à Lord Byron»), которые какъ-то нейдутъ въ душу; не читайте его шутивыхъ стихотвореній, которыя отзываются слишкомъ трактирнымъ разгуломъ; не читайте его заказныхъ стиховъ, но прочтите тѣ изъ его произведеній, которыя имѣютъ большее или меньшее отношеніе къ его жизни; прочтите «Думу на берегу моря», его «Вечернюю Зарю», его «Провидѣніе»—и вы узнаете въ Полежаевѣ талантъ, увидите чувство!..

Теперь мнѣ остается сказать объ одномъ поэтѣ, не похожемъ ни на одного изъ всѣхъ упомянутыхъ мною,—поэтѣ оригинальномъ и самобытномъ, не признавшемъ надъ собою вліянія Пушкина, и едва ли не равномъ ему: говорю о Грибоедовѣ. Этотъ человекъ слишкомъ много надеждъ унесъ съ собою въ гробъ. Онъ былъ назначенъ быть творцомъ русской комедіи, творцомъ русскаго театра.

Театра!.. Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, то-есть всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? И въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточиваются ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ? Не есть ли онъ исключительно самовластный властелинъ нашихъ чувствъ, готовый во всякое время и при всякихъ обстоятельствахъ возбуждать и волновать ихъ, какъ воздымается ураганъ песчаныхъ метели изъ безбрежныхъ степей Аравіи?.. Какое изъ всѣхъ искусствъ владѣть такими могущественными средствами поражать душу впечатлѣніями и играть ею самовластно... Лиризмъ, эпопея, драма — отдаете ли вы чему-нибудь изъ нихъ рѣшительное предпочтеніе, или все это любите одинаково? Трудный выборъ, не правда ли? Вѣдь въ мощныхъ строфахъ богатыря Державина и въ разнообразныхъ напѣвахъ протѣя Пушкина

предображается та же самая природа, что и въ поэмахъ Байрона или романахъ Вальтера Скотта, а въ этихъ послѣднихъ—та же самая, что и въ драмахъ Шекспира и Шиллера? И однакоже я люблю драму предпочтительно, и, кажется, это общій вкусъ. Лиризмъ выражаетъ природу неопредѣленно и, такъ сказать, музыкально; его предметъ — вся природа во всей ея безконечности; предметъ же драмы есть исключительно человекъ и его жизнь, въ которой проявляется высшая, духовная сторона всеобщей жизни вселенной. Между искусствами драма есть то же, что исторія между науками. Человекъ всегда былъ и будетъ самымъ любопытнѣйшимъ явленіемъ для человека, а драма представляетъ этого человека въ его вѣчной борьбѣ съ своимъ я и съ своимъ назначеніемъ, въ его вѣчной дѣятельности, источникъ которой есть стремленіе къ какому-то темному идеалу блаженства, рѣдко имъ постигаемаго и еще рѣже достигаемаго. Сама эпопея отъ драмы занимаетъ свое достоинство: романъ безъ драматизма вялъ и скученъ. Въ нѣкоторомъ смыслѣ эпопея есть только особенная форма драмы. И такъ, положимъ, что драма есть, если не лучший, то ближайшій къ намъ родъ поэзіи. Что же такое театръ, гдѣ эта могущественная драма облекается съ головы до ногъ въ новое могущество, гдѣ она вступаетъ въ союзъ со всѣми искусствами, призываетъ ихъ на свою помощь и беретъ у нихъ всѣ средства, всѣ оружія, изъ которыхъ каждое, отдѣльно взятое, слишкомъ сильно для того, чтобы вырвать васъ изъ тѣснаго міра суеты и ринуть въ безбрежный міръ высокаго и прекраснаго? Что же такое, спрашиваю васъ, этотъ театръ?.. О, это истинный храмъ искусства, при входѣ въ который вы мгновенно отдѣляетесь отъ земли, освобождаетесь отъ житейскихъ отношеній! Эти звуки настраиваемыхъ въ оркестрѣ инструментовъ томятъ вашу душу ожиданіемъ чего-то чудеснаго, сжимаютъ ваше сердце предчувствіемъ какого-то неизъяснимо-сладостнаго блаженства, этотъ народъ, наполняющій огромный амфитеатръ, раздѣляетъ ваше нетерпѣливое ожиданіе, вы сливаетесь съ нимъ въ одномъ чувствѣ; этотъ роскошный и великолѣпный занавѣсъ, это море огней намекаютъ вамъ о чудесахъ и дивахъ, разсѣянныхъ по прекрасному Божію творенію и сосредоточенныхъ на тѣсномъ пространствѣ сцены! И вотъ грянулъ оркестръ — и душа ваша предощущаетъ въ его звукахъ тѣ впечатлѣнія, которыя готовятся поразить ее; и вотъ поднялся занавѣсъ — и передъ взорами вашими разливается безконечный міръ страстей и судебъ человеческихъ! Вотъ умоляющіе вопли кроткой и любящей Дездемоны мѣшаются съ бѣшенными

воплями ревниваго Отелло; вотъ, среди глубокой полночи, появляется леди Макбетъ, съ обнаженной грудью, съ растрепанными волосами, и тщетно старается стереть съ своей руки кровавыя пятна, которыя мерещатся ей въ мукахъ мстительной совѣсти; вотъ выходитъ бѣдный Гамлетъ съ его завѣтнымъ вопросомъ: «быть или не быть»; вотъ проходить передъ нами и божественный мечтатель Поэа, и два райскіе цвѣтка—Максъ и Текла, съ ихъ небесной любовью,—словомъ, весь роскошный и безграничный міръ, созданный плодотворной фантазіей Шекспировъ, Шиллеровъ, Гёте, Вернеровъ... Вы здѣсь живете не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своимъ блаженствомъ, трепещете не за свою опасность, здѣсь вамъ холодное я исчезаетъ въ пламенномъ эфирѣ любви. Если васъ мучитъ тягостная мысль о трудномъ подвигѣ вашей жизни и слабости вашихъ силъ, вы здѣсь забудете ее; если душа ваша алкала когда-нибудь любви и упоенія, если въ вашемъ воображеніи мелькалъ когда-нибудь, подобно легкому видѣнію ночи, какой-то плѣнительный образъ, давно вами забытый, какъ мечта несбыточная,—здѣсь эта жажда вспыхнетъ въ васъ съ новой, неукротимой силой, здѣсь этотъ образъ снова явится вамъ, и вы увидите его очи, устремленныя на васъ съ тоской и любовью, упьетесь его обаятельнымъ дыханіемъ, содрогнетесь отъ огненнаго прикосновенія его руки... Но возможно ли описать всѣ очарованія театра, всю его магическую силу надъ душой человѣческой?.. О, какъ было бы хорошо, если бы у насъ былъ свой, народный, русскій театр!... Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокимъ и смѣшнымъ, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть бѣшеніе пульса ея могучей жизни... О, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете!..

Но, увы! все это поэзія, а не проза,—мечты, а не сущность! Тамъ, то-есть въ томъ большомъ домѣ, который называютъ русскимъ театромъ, тамъ, говорю я, вы увидите пародіи на Шекспира или Шиллера,—пародіи смѣшныя и безобразныя; тамъ выдаютъ вамъ за трагедію корчи воображенія; тамъ васъ потчуютъ жизнью, вывороченной на изнанку; словомъ тамъ

...Мельпомены бурной
Протяжно раздаются вой,
Тамъ машетъ мантией мншурной
Она предъ хладною толпой!

Говорю вамъ, не ходите туда; это очень скучная забава!.. Но не будемъ слишкомъ строги къ театру: не его вина, что онъ такъ

плохъ. Гдѣ у насъ драматическая литература, гдѣ драматическіе таланты? Гдѣ наши трагики, наши комики? Ихъ много, очень много; ихъ имена всѣмъ извѣстны, и потому не хочу перебирать ихъ, ибо мои похвалы ничего не прибавятъ къ той громкой славѣ, которой они по справедливости пользуются. И такъ обращаюсь къ Грибоѣдову.

Грибоѣдова комедія или драма (я не совсѣмъ хорошо понимаю различіе между этими двумя словами; значенія же слова трагедія совсѣмъ не понимаю) давно ходила въ рукописи. О Грибоѣдовѣ, какъ и о всѣхъ примѣчательныхъ людяхъ, было много толковъ и споровъ; ему завидовали нѣкоторые наши гении, въ то же время удивлявшіеся «Ябедѣ Капниста; ему не хотѣли отдавать справедливости тѣ люди, которые удивлялись АВ, СD, ЕF, и пр. Но публика разсудила иначе: еще до печати и представленія рукописная комедія Грибоѣдова разлилась по Россіи бурнымъ потокомъ.

Комедія, по моему мнѣнію, есть такая же драма, какъ и то, что обыкновенно называется трагедіей; ея предметъ есть представленіе жизни въ противорѣчій съ идеей жизни; ея элементъ есть не то невинное остроуміе, которое добродушно издѣвается надъ всѣмъ изъ одного желанія позубоскалить; нѣтъ, ея элементъ есть этотъ желчный юморъ, это грозное негодованіе, которое не улыбается шутливо, а хохочетъ яростно, которое преслѣдуетъ ничтожество и эгоизмъ не эпиграммами, а сарказмами.

Комедія Грибоѣдова есть истинная *divina comedia*! Это совсѣмъ не смѣшной анекдотецъ, переложенный на разговоры,—не такая комедія, гдѣ дѣйствующія лица нарицаются Добряковыми, Плутуватыными, Обираловыми и пр.; ея персонажи давно были вамъ извѣстны въ натурѣ, вы видѣли, знали ихъ еще до прочтенія «Горя отъ ума», и однакожь вы удивляетесь имъ, какъ явленіямъ совершенно новымъ для васъ: вотъ высочайшая истина поэтическаго вымысла! Лица, созданныя Грибоѣдовымъ, не выдуманы, а сняты съ природы во весь ростъ, почерпнуты со дна дѣйствительной жизни; у нихъ не написано на лбахъ ихъ добродѣтелей и пороковъ, но они заклеены печатью своего ничтожества, заклеены мстительной рукой палача-художника. Каждый стихъ Грибоѣдова есть сарказмъ, вырвавшійся изъ души художника въ пылу негодованія; его слогъ есть *rag excellence* разговорный. Недавно одинъ изъ нашихъ примѣчательнѣйшихъ писателей, слишкомъ хорошо знающій общество, замѣтилъ, что только одинъ Грибоѣдовъ умѣлъ переложить на стихи разговоръ нашего общества; безъ всякаго сомнѣнія, это не стоило ему ни малѣйшаго труда, но тѣмъ не менѣе

это все-таки великая заслуга съ его стороны, ибо разговорный языкъ нашихъ комиковъ... Но я уже общался не говорить о нашихъ комикахъ... Конечно, это произведение не безъ недостатковъ въ отношеніи къ своей цѣлости, но оно было первымъ опытомъ таланта Грибоѣдова, первой русской комедіей; да и сверхъ того, каковы бы ни были эти недостатки, они не помѣшаютъ ему быть образцовымъ, гениальнымъ произведеніемъ и не въ русской литературѣ, которая въ Грибоѣдовѣ лишилась Шекспира комедіи...

Довольно о поэтахъ-стихотворцахъ, поговоримъ о поэтахъ-прозаикахъ. Знаете ли, чье имя стоитъ между ними первымъ въ пушкинскомъ періодѣ словесности? Имя Булгарина, милостивые государи. Это и не удивительно. Булгаринъ былъ начинщикомъ, а начинщики, какъ я уже имѣлъ честь докладывать вамъ, всегда безсмертны, и потому беру смѣлость увѣрить васъ, что имя Булгарина такъ же безсмертно въ области русскаго романа, какъ имя московскаго жителя Матвѣя Комарова *). Имя петербургскаго Вальтеръ Скотта, Ѳаддея Венедиктовича Булгарина, вмѣстѣ съ именемъ московскаго Вальтеръ Скотта, Александра Анфимовича Орлова, всегда будетъ составлять лучезарное созвѣздіе на горизонтѣ нашей литературы. Остроумный Косичкинъ уже оцѣнилъ какъ слѣдуетъ обоихъ этихъ знаменитыхъ писателей, показавъ намъ сравнительно ихъ достоинства, и потому, не желая повторять Косичкина, я выскажу о Булгаринѣ мнѣніе, теперь для всѣхъ общее, но еще нигдѣ не высказанное печатно. Неужели и въ самомъ дѣлѣ Булгаринъ совершенно равенъ Орлову? Говорю утвердительно, что нѣтъ; ибо, какъ писатель вообще, онъ несравненно выше его, но, какъ художникъ собственно, онъ немного пониже его. Хотите ли знать, въ чемъ состоитъ главная разница между сими свѣтлами нашей словесности? Одинъ изъ нихъ много видѣлъ, много слышалъ, много читалъ, былъ и бываетъ вездѣ; другой, бѣдный, не только не былъ въ Испаніи, но даже и не выѣзжалъ за русскую границу; при знаніи латинскаго языка (знаніи, впрочемъ не доказанномъ никакимъ изданіемъ Горациа, ни съ своими, ни съ чужими примѣчаніями), не совсѣмъ твердо владѣетъ и своимъ отечественнымъ, да и не мудрено: онъ не имѣлъ случая «прислушиваться къ языку хорошей компаніи». И такъ, все дѣло въ томъ, что сочиненія одного выглажены и вылощены, какъ полъ гостиной, а сочиненія другого отзываются толкучимъ рынкомъ. Впрочемъ,—

удивительное дѣло!—несмотря на то, что оба они писали для разныхъ классовъ читателей, они нашли въ одномъ и томъ же классѣ свою публику. И надо думать, что эта публика будетъ благосклоннѣе къ Александру Анфимовичу, ибо онъ больше поэтъ, тогда какъ Ѳаддей Венедиктовичъ болѣе философъ, а поэзія доступнѣе философіи для всѣхъ классовъ.

Почти вмѣстѣ съ Пушкинымъ вышелъ на литературное поприще и Марлинскій. Это одинъ изъ самыхъ примѣчательнѣйшихъ нашихъ литераторовъ. Онъ теперь безусловно пользуется самымъ огромнымъ авторитетомъ: теперь передъ нимъ все на колѣнахъ; если еще не всѣ въ одинъ голосъ называютъ его русскимъ Бальзакомъ, то потому только, что боятся унижить его этимъ, и ожидаютъ, чтобы французы назвали Бальзака французскимъ Марлинскимъ. Въ ожиданіи, пока совершится это чудо, мы похладнокровнѣе рассмотримъ его права на такой громадный авторитетъ. Конечно, страшно выходить на бой съ общественнымъ мнѣніемъ и возставать явно противъ его идоловъ; но я рѣшаюсь на это не столько по смѣлости, сколько по безкорыстной любви къ истинѣ. Впрочемъ меня ободряетъ въ этомъ случаѣ и то, что это страшное общественное мнѣніе начинаетъ мало-по-малу приходить въ память отъ оглушительнаго удара, произведеннаго на него полнымъ изданіемъ «Русскихъ Повѣстей и Разсказовъ» Марлинскаго; начинаютъ ходить темные толки о какихъ-то натяжкахъ, о скучномъ однообразіи, и тому подобномъ. И такъ, я рѣшаюсь быть органомъ новаго общественного мнѣнія. Знаю, что это новое мнѣніе найдетъ еще слишкомъ много противниковъ, но, какъ бы то ни было, а истина дороже всѣхъ на свѣтѣ авторитетовъ.

На безлюдьи истинныхъ талантовъ въ нашей литературѣ талантъ Марлинскаго конечно явленіе очень примѣчательное. Онъ одаренъ остроуміемъ неподдѣльнымъ, владѣетъ способностью разсказа, нерѣдко живого и увлекательнаго, умѣетъ иногда снимать съ природы картинки-заглядѣнье. Но вмѣстѣ съ этимъ нельзя не сознаться, что его талантъ чрезвычайно одностороненъ, что его претензіи на пламень чувства весьма подозрительны, что въ его созданіяхъ нѣтъ никакой философіи, никакого драматизма; что вслѣдствіе этого всѣ герои его повѣстей сбиты на одну колодку и отличаются другъ отъ друга только именами; что онъ повторяетъ себя въ каждомъ новомъ произведеніи; что у него болѣе фразъ, чѣмъ мыслей, болѣе риторическихъ возгласовъ, чѣмъ выражений чувства. У насъ мало писателей, которые бы писали столько, какъ Марлинскій, но это обиліе происходитъ не отъ огромности дарованія, не отъ избытка творческой дѣятельности, а отъ навыка, отъ

*) Авторъ «Полиціона», «Англійскаго Милорда» и другихъ подобныхъ знаменитыхъ произведеній.

привычки писать. Если вы имѣете хотя нѣсколько дарованія, если образовали себя чтеніемъ, если запаслись извѣстнымъ числомъ идей и сообщили имъ нѣкоторый отпечатокъ своего характера, своей личности, то берите перо и смѣло пишите съ утра до ночи. Вы дойдете наконецъ до искусства во всякую пору, во всякомъ расположеніи духа писать о чемъ вамъ угодно; если у васъ придумано нѣсколько пышныхъ монологовъ, то вамъ не трудно будетъ придѣлать къ нимъ романъ, драму, повѣсть; только позаботьтесь о формѣ и слогѣ: они должны быть оригинальные.

Вещи всего лучше познаются сравненіемъ. Если два писателя пишутъ въ одномъ родѣ и имѣютъ между собой какое-нибудь сходство, то ихъ не иначе можно оцѣнить въ отношеніи другъ къ другу, какъ выставивъ параллельныя мѣста: это самый лучший пробный камень. Посмотрите на Бальзака: какъ много написалъ этотъ человѣкъ и, несмотря на то, есть ли въ его повѣстяхъ хотя одинъ характеръ, хотя одно лицо, которое бы сколько-нибудь походило на другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всѣми оттѣнками ихъ индивидуальности! Не преслѣдовалъ ли васъ этотъ грозный и холодный обликъ Феррагуса, не мерещился ли онъ вамъ и во снѣ, и на яву, не бродилъ ли за вами неотступной тѣнью? О, вы узнали бы его между тысячами; и между тѣмъ въ повѣсти Бальзака онъ стоитъ въ тѣни, обрисованъ слегка, мимоходомъ и заставленъ лицами, на которыхъ сосредоточивается главный интересъ поэмы. Отчего же это лицо возбуждаетъ въ читателѣ столько участія и такъ глубоко врѣзывается въ его воображеніе? Оттого, что Бальзакъ не выдумалъ, а создалъ его, оттого, что онъ мерещился ему прежде, нежели была написана первая строка повѣсти, что онъ мучилъ художника до тѣхъ поръ, пока онъ не извелъ его изъ міра души своей въ явленіе, для всѣхъ доступное. Вотъ мы видимъ теперь на сценѣ и «Другого изъ Тринадцати»: Феррагусъ и Монриво видимо одного покроя, люди съ душой глубокой, какъ морское дно, съ силой воли непреодолимой, какъ воля судьбы; и однакожь, спрашиваю васъ, похожи ли они хотя сколько-нибудь другъ на друга, есть ли между ними что-нибудь общее? Сколько женскихъ портретовъ вышло изъ-подъ плодотворной кисти Бальзака, и между тѣмъ повторилъ ли онъ себя хотя въ одномъ изъ нихъ?.. Таковы ли въ этомъ отношеніи созданія Марлинскаго? Его Амаллатъ-Бекъ, его полковникъ В***, его герой «Страшнаго Гаданья», его капитанъ Правинъ, всѣ они родные братцы, которыхъ различить трудно самому ихъ родителю. Только развѣ первый изъ нихъ немного отличается отъ прочихъ своимъ азиат-

скимъ колоритомъ. Гдѣ же творчество? При томъ, сколько натяжекъ! Можно сказать, что натяжка у Марлинскаго такой конекъ, съ котораго онъ рѣдко слѣзаетъ. Ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ его повѣстей не скажетъ ни слова просто, но вѣчно съ ужимкой, вѣчно съ эпиграммой или съ каламбуромъ, или съ подобіемъ,—словомъ, у Марлинскаго каждая копейка ребромъ, каждое слово завиткомъ. Надо сказать правду: природа съ избыткомъ наградила его этимъ остроуміемъ, веселымъ и добродушнымъ, которое колетъ, но не язвитъ, щекочетъ, но не кусаетъ; но и здѣсь онъ часто пересаливаетъ. У него есть цѣлыя огромныя повѣсти, какъ напр. «Наѣзды», которыя суть не иное что, какъ огромныя натяжки. У него есть талантъ, но талантъ не огромный, — талантъ, обезсиленный вѣчнымъ принужденіемъ, избившіяся и растрясшіяся о пни и колоды выисканнаго остроумія.

Мнѣ кажется, что романъ не его дѣло, ибо у него нѣтъ никакого знанія человѣческаго сердца, никакого драматическаго такта. Для чего напримѣръ заставилъ онъ князя, для котораго всѣ радости земли и неба заключались въ устрицахъ, для котораго вкусный столъ всегда былъ дороже жены и ея чести, для чего заставилъ онъ его проговорить патетическій монологъ осквернителю его брачнаго ложа,—монологъ, который сдѣлалъ бы честь и самому Правину? Это просто натяжка, закулисная подставка; автору хотѣлось быть нравственнымъ на манеръ Булгарина. Вообще онъ не мастеръ скрывать закулисныя машины, на которыхъ вертится зданіе его повѣстей; онъ у него всегда на виду. Впрочемъ въ его повѣстяхъ встрѣчаются иногда мѣста истинно прекрасныя, очерки истинно мастерскіе; таково напримѣръ описаніе русскаго простонароднаго Мефистофеля и вообще всѣ сцены деревенскаго быта въ «Страшномъ Гаданіи»; таковы многія картины, снятыя съ природы, исключая впрочемъ кавказскихъ очерковъ, которые натянуты до тошноты, до *plus ultra*. По мнѣ, лучшія его повѣсти суть «Испытаніе» и «Лейтенантъ Бѣлосоръ»; въ нихъ можно отъ души полюбоваться его талантомъ, ибо онъ въ нихъ въ своей тарелкѣ. Онъ смѣется надъ своимъ стихотворствомъ, но мнѣ переводъ его пѣсенъ горцевъ въ «Амаллатъ-Бекъ» кажется лучше всей повѣсти; въ нихъ такъ много чувства, такъ много оригинальности, что и Пушкинъ не постыдился бы назвать ихъ своими. Равнымъ образомъ и въ его «Андрѣ Переяславскомъ», особенно во второй главѣ, встрѣчаются мѣста истинно поэтическія, хотя цѣлое произведеніе слишкомъ отзывается дѣтствомъ. Всего страннѣе въ Марлинскомъ, что онъ съ удивительной скром-

ностью недавно сознался въ такомъ грѣхѣ, въ которомъ онъ не виновать ни душой, ни тѣломъ,—въ томъ, что будто онъ своими повѣстями отворилъ двери для народности въ русскую литературу: вотъ что, такъ ужъ неправда! Эти повѣсти принадлежать къ числу самыхъ неудачныхъ его попытокъ, въ нихъ онъ народенъ не больше Карамзина, ибо его Русь жестоко отзывается его завѣтной, его любимой Ливоніей. Время и мѣсто не позволяютъ мнѣ подкрѣпить выписками изъ сочиненій Марлинскаго мое мнѣніе о его талантѣ; впрочемъ это очень легко сдѣлать.

О слоgъ его не говорю. Нынѣ слово «слоgъ» начало терять прежнее свое обширное значеніе, ибо его перестаютъ уже отдѣлять отъ мысли. Словомъ, Марлинскій — писатель не безъ таланта, и былъ бы гораздо выше, если бъ былъ естественнѣе и менѣе натягивался.

Пушкинскій періодъ былъ самымъ цвѣтущимъ временемъ нашей словесности. Его бы надобно было обозрѣть исторически и въ хронологическомъ порядкѣ; я не сдѣлалъ этого, потому что не то имѣлъ цѣлю. Можно сказать утвердительно, что тогда мы имѣли если не литературу, то по крайней мѣрѣ призракъ литературы; ибо тогда было въ ней движеніе, жизнь и даже какая-то постепенность въ развитіи. Сколько новыхъ явленій, сколько талантовъ, сколько попытокъ на то и другое? Мы было уже и въ самомъ дѣлѣ отъ души стали вѣрить, что имѣемъ литературу, имѣемъ своихъ Байроновъ, Шиллеровъ, Гёте, Вальтеръ Скоттовъ, Томасовъ Муровъ; мы были веселы и горды, какъ дѣти праздничными обновами. И кто же былъ нашимъ разочарователемъ, нашимъ Мефистофелемъ? Кто явился сильной, грозной реакціей и гораздо поохладилъ наши восторги? Помните ли вы Никодима Аристарховича Надоумку; помните ли, какъ, выступивъ на сцену на своихъ скудельныхъ ножкахъ, онъ разсѣялъ наши сладкія мечты своимъ добродушно-лукавымъ: «хе! хе! хе!»? Помните ли, какъ мы всѣ уцѣпились за наши авторитеты и авторитетики, и руками и ногами отстаивали ихъ отъ нападений грознаго аристарха? Не знаю, какъ вы, а я очень хорошо помню, какъ всѣ сердились на него; помню, какъ я самъ сердился на него. И что же? Ужъ сбылась большая часть его зловѣщихъ предсказаній, и теперь уже никто не сердится на покойника!.. Да! Никодимъ Аристарховичъ былъ замѣчательное лицо въ нашей литературѣ; сколько надѣлалъ онъ тревоги, сколько произвелъ кровопролитныхъ войнъ, какъ храбро сражался, какъ жестоко поражалъ своихъ противниковъ и этимъ слоgомъ, иногда оригинальнымъ до тривіальности, но всегда рѣзкимъ и мѣткимъ, и этимъ твердымъ силло-

гизмомъ, и этой насмѣшкой, простодушной и убійственной вмѣстѣ...

И гдѣ же твой, о витязь, прахъ?
Какою взять могилей?

Что скажу я о журналахъ тогдашняго времени? Неужели умолчу о нихъ? Они въ то время получили такую важность въ глазахъ публики, возбуждали въ себѣ такое живое участіе, играли такую важную роль!.. Скажу, что почти всѣ они, волей и неволей, умышленно и неумышленно, способствовали къ распространенію у насъ новыхъ понятій и взглядовъ; мы по нимъ учились и по нимъ выучились. Всѣ они сдѣлали все, что могъ каждый по своимъ силамъ. Кто же больше? На это не могу отвѣчать утвердительно; ибо, по особеннымъ обстоятельствамъ, впрочемъ важнымъ только для одного меня, не могу говорить всего, что думаю. Я твердо помню благоразумное правило Монтаня, и многія истины крѣпко держу въ кулакахъ. Главное, я слишкомъ еще неопытенъ въ хамелеонистикѣ и имѣю глупость дорожить своими мнѣніями, не какъ литератора и писателя (тѣмъ болѣе, что я покуда ни то, ни другое), а какъ мнѣніями честнаго и добросовѣстнаго человѣка, и мнѣ какъ-то совѣстно написать панегирикъ одному журналу, не отдавая справедливости другому... Что дѣлать, я еще по моимъ понятіямъ принадлежу къ Аркадіи!.. И такъ, ни слова о журналахъ! Теперь смотрю я на мой огромный столъ, на которомъ лежатъ эти покойники кучами и кипами, лежатъ на немъ какъ во гробѣ, примиренные другъ съ другомъ моею лѣнностью и безпорядкомъ моей комнаты, въ смѣси, другъ на другѣ,—гляжу на нихъ съ грустной улыбкой и говорю:

И все то благо, все добро!

Еще одно послѣднее сказанье,
И лѣтопись окончена моя!

Пушк ин ѣ.

Тридцатый, холерный годъ былъ для нашей литературы истиннымъ чернымъ годомъ, истинно роковой эпохой, съ которой начался совершенно новый періодъ ея существованія, въ самомъ началѣ своемъ рѣзко отличившійся отъ предыдущаго. Но не было никакого перехода между этими двумя періодами; вмѣсто его былъ какой-то насильственный перерывъ. Подобные противоестественные скачки, по моему мнѣнію, всего лучше доказываютъ, что у насъ нѣтъ литературы, а слѣдовательно нѣтъ и исторіи литературы; ибо ни одно явленіе въ ней не было слѣдствіемъ другого явленія, ни одно событіе не вытекало изъ другого событія. Исторія нашей словесности есть ни больше, ни меньше, какъ исторія не-

удачныхъ попытокъ, посредствомъ слѣпого подражанія иностраннымъ литературамъ, создать свою литературу. Но литературу не создаютъ; она создается такъ, какъ создаются, безъ воли и вѣдома народа, языкъ и обычай. И такъ, тридцатымъ годомъ кончился или, лучше сказать, внезапно оборвался періодъ пушкинскій, такъ какъ кончился и самъ Пушкинъ, а вмѣстѣ съ нимъ и его вліяніе; съ тѣхъ поръ почти ни одного бывалаго звука не сорвалось съ его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художественной дѣятельности допѣвали свои старыя пѣсенки, свои обычные мечты, но уже никто не слушалъ ихъ. Старинка пріѣхала и набила оскомину, а новаго отъ нихъ нечего было услышать, ибо они остались на той же самой чертѣ, на которой стали при первомъ своемъ появленіи, и не хотѣли сдвинуться съ ней. Журналы всѣ умерли, какъ будто бы отъ какого-нибудь апоплексическаго удара или дѣйствительно отъ холеры-морбуса. Причина этой внезапной смерти или этому мору заключалась въ томъ же, въ чемъ заключается причина того, что у насъ нѣтъ литературы. Они почти всѣ родились безъ всякой нужды, а такъ, отъ бездѣлья или отъ желанія пошумѣть, и потому не имѣли ни характера, ни самостоятельности, ни силы, ни вліянія на общество, и не оплаканные сошли въ безвременную могилу. Только для двухъ изъ нихъ можно сдѣлать исключеніе; только два изъ нихъ представляютъ любопытный, поучительный и богатый результатъ для наблюдателя. Одинъ — старецъ, водившій, бывало, на помочахъ наше юное общество, издавна пользовавшійся огромнымъ авторитетомъ и деспотически управлявшій литературными мнѣніями; другой — юноша съ пламенной душой, съ благороднымъ рвеніемъ къ общей пользѣ, со всѣми средствами достигъ своей прекрасной цѣли, и между тѣмъ не достигшій ея. «Вѣстникъ Европы» пережилъ нѣсколько поколѣній, воспиталъ нѣсколько поколѣній, изъ которыхъ послѣднее, взлелѣванное имъ, возстало съ ожесточеніемъ на него же; но онъ всегда оставался однимъ и тѣмъ же, не измѣнялся и бился до послѣднихъ силъ: это была борьба благородная и достойная всякаго уваженія, — борьба не изъ личныхъ мелочныхъ выгодъ, но изъ мнѣній и вѣрованій, душевныхъ и кровныхъ. Его убило время, а не противники; а потому его смерть была естественная, а не насильственная *). «Московскій Вѣстникъ»

*) Любопытная вещь: Каченовскій, который возстановилъ противъ себя пушкинское поколѣніе и сдѣлался предметомъ самыхъ жесточайшихъ его преслѣдованій и нападокъ, какъ литературный дѣятель и судья, въ слѣдующемъ поколѣніи напелъ себѣ ревностныхъ послѣдователей и защитниковъ, какъ ученый, какъ изслѣдова-

тель отечественной исторіи. Впрочемъ это ничуть не удивительно: одинъ человѣкъ не можетъ вмѣстѣ въ себѣ всего: всеобъемлемость ума и многосторонность таланта дается немногимъ набраннымъ. Поэтому у Гоголя читайте его прекрасныя сказки, а у Каченовскаго — его, или написанныя подъ его вліяніемъ и руководствомъ, статьи о русской исторіи, и помните латинскую поговорку: *visit suique*, а болѣе всего мудрое правило нашего великаго баснописца:

Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ.

Я не ученый, и въ исторіи смыслу весьма не много; сужу не какъ знатокъ, но какъ любитель: но вѣдь не изъ любителей ли состоитъ и публика? Поэтому всякое добросовѣстное мнѣніе любителя должно заслуживать нѣкоторое вниманіе, тѣмъ болѣе, если оно есть отголосокъ общаго, т.-е. господствующаго, мнѣнія. Теперь у насъ двѣ историческія школы: Шлецера и Каченовскаго. Одна опирается на давности, привычки, уваженіе къ авторитету ея основателя; другая, сколько я понимаю, — на здравомъ смыслѣ и глубиной учености. Будучи совершенно невиненъ въ послѣдней, я имѣю нѣкоторыя притязанія на первый, вслѣдствіе чего мнѣ кажется очень естественнымъ, что настоящее поколѣніе, чуждое воспоминаній старины и предубѣжденій авторитетовъ, горячо приняло историческія мнѣнія Каченовскаго. Впрочемъ ученая литература не мое дѣло; я сказалъ это такъ, мимоходомъ, а прогос.

«Вѣстникъ Европы» отстаивалъ святую старину и до послѣдняго вздоха бился съ ненавистной новизной; въ то время, когда юное поколѣніе новыхъ журналовъ сражалось въ свою очередь не на животь, а на смерть со скучной, опостылѣвшей стариной, и съ благороднымъ самоотверженіемъ силилось водружить хоругвь вѣка, — журналъ, о которомъ я говорю, составилъ себѣ новую эстетику, вслѣдствіе которой то твореніе было высоко и изящно, которое печаталась во множествѣ экземпляровъ и хорошо раскупалось, — новую политику, вслѣдствіе которой писатель нынѣ былъ выше Байрона, а завтра претерпѣвалъ *chute complète*. Вслѣдствіе сей-то благоразумной политики нѣкоторые изъ нашихъ Вальтеръ Скоттовъ писали повѣсти о Никандрахъ Свистушкиныхъ, авторахъ поэмъ: «Жиды и Воры» и пр., и пр. Словомъ, этотъ журналъ былъ единственнымъ и безпримѣрнымъ явленіемъ въ нашей литературѣ.

И такъ, насталъ новый періодъ словесности. Кто же явился главой этого новаго, этого четвертаго періода нашей недорослой словесности? Кто, подобно Ломоносову, Карамзину и Пушкину, овладѣлъ общественнымъ вниманіемъ и мнѣніемъ, самодержавно правилъ послѣднимъ, положилъ печать своего генія на произведенія своего времени, сообщилъ ему жизнь и далъ направленіе современнымъ талантамъ? Кто, говорю я, явился солнцемъ этой новой мировой системы? Увы! никто, хотя и многіе претендовали на это высокое титло. Еще въ первый разъ литература явилась безъ верховной главы, и изъ огромной монархіи распалась на множество мелкихъ, независимыхъ одно отъ другого государствъ, завистливыхъ и враждебныхъ одно другому. Головъ было много, но они такъ же скоро падали, какъ скоро возвышались; словомъ, этотъ періодъ есть періодъ нашей литературной исторіи въ темную годину междоусобицы и самозванцевъ.

Какъ противоположенъ былъ пушкинскій періодъ карамзинскому, такъ настоящій періодъ противоположенъ пушкинскому. Дѣятельность и жизнь кончились; громы оружія затихли, и утомленные бойцы вложили мечи въ ножны на лаврахъ, каждый приписывая себѣ побѣду и ни одинъ не выигравъ ея въ полномъ смыслѣ этого слова. Правда, въ началѣ, особенно первыхъ двухъ лѣтъ, еще бились отчаянно, но это была уже не новая война, а окончаніе старой: это была тридцатилѣтняя война послѣ смерти Густава-Адольфа и гибели Валленштейна. Теперь кончилась и эта кровопролитная война, но безъ вестфальскаго мира, безъ удовлетворительныхъ результатовъ для литературы. Періодъ пушкинскій отличался какой-то бѣшеной маніей къ стихотворству; періодъ новый, еще въ са-

момъ своемъ началѣ, оказалъ рѣшительную наклонность къ прозѣ. Но, увы! это былъ не шагъ впередъ, не обновленіе, а оскуднѣніе, истощеніе творческой дѣятельности. Въ самомъ дѣлѣ, дошло до того, что теперь уже утвердительно говорятъ, будто въ наше время самые превосходные стихи не могутъ имѣть никакого успѣха. Нелѣпое мнѣніе! Очевидно, что оно, какъ и всѣ, принадлежитъ не намъ, а есть вольное подражаніе мнѣніямъ нашихъ европейскихъ сосѣдей. У нихъ часто повторяли, что въ нашъ вѣкъ эпопея не можетъ существовать, а теперь, кажется, сбиваются на то, что въ наше время и драма кончилась. Подобныя мнѣнія весьма странны и неосновательны. Поэзія у всѣхъ народовъ и во всѣ времена была одно и то же въ своемъ существѣ: перемѣнялись только формы, сообразно съ духомъ, направленіемъ и успѣхомъ, какъ всего человѣчества вообще, такъ и ~~ка~~ждаго народа въ частности. Раздѣленіе поэзіи на роды не есть произвольное: причина и необходимость его скрываются въ самой сущности искусства. Родовъ поэзіи только три и больше быть не можетъ. Всякое произведеніе, въ какомъ бы то ни было родѣ, хорошо во всѣ вѣка и въ каждую минуту, когда оно, по своему духу и формѣ, носитъ на себѣ печать своего времени и удовлетворяетъ всѣ его требованія. Гдѣ-то было сказано, что «Фаустъ» Гёте есть «Иліада» нашего времени: вотъ мнѣніе, съ которымъ нельзя не согласиться! И въ самомъ дѣлѣ, развѣ Вальтеръ Скоттъ также не есть нашъ Гомеръ, въ смыслѣ эпика, если не выразителя полнаго духа времени? Такъ и у насъ теперь: явился новый Пушкинъ, но не Пушкинъ 1835, а Пушкинъ 1829 года, и Россія снова начала бы твердить стихи; но кто, кромѣ несчастныхъ читателей *ex officio*, даже подумасть и взглянуть на издѣлія новыхъ нашихъ стиходѣевъ—Ершовыхъ, Струговичковыхъ, Марковыхъ, Снегиревыхъ, и пр.?

Романтизмъ — вотъ первое слово, огласившее пушкинскій періодъ; народность — вотъ альфа и омега новаго періода. Какъ тогда всякій бумагомаратель изъ кожи лѣзъ, чтобы прослыть романтикомъ, такъ теперь всякій литературный путь претендуетъ на титло народнаго писателя. Народность — чудное словечко! Что передъ нимъ вашъ романтизмъ! Въ самомъ дѣлѣ, это стремленіе къ народности—весьма замѣчательное явленіе. Не говоря уже о нашихъ романистахъ и вообще новыхъ писателяхъ, взгляните, что дѣлаютъ заслуженные корифеи нашей словесности. Жуковский, этотъ поэтъ, геній котораго всегда былъ прикованъ къ туманному Альбіону и фантастической Германіи, вдругъ забылъ своихъ паладиновъ, съ ногъ до головы закованныхъ въ сталь, своихъ прекрасныхъ и вѣрныхъ принцессъ, своихъ колдуновъ и свои

очарованные замки, и пустился писать русскія сказки... Нужно ли доказывать, что эти русскія сказки такъ же не въ ладу съ русскимъ духомъ, котораго въ нихъ слыхомъ не слышать и видомъ не видать, какъ не въ ладу съ русскими сказками греческій или нѣмецкій гекзаметръ?.. Но не будемъ слишкомъ строги къ этому заблужденію могущественнаго таланта, увлекшагося духомъ времени. Жуковский вполне совершилъ свое поприще и свой подвигъ,—мы больше не въ правѣ ничего ожидать отъ него. Вотъ другое дѣло Пушкинъ: странно видѣть, какъ этотъ необыкновенный человѣкъ, которому ничего не стоило быть народнымъ, когда онъ не старался быть народнымъ, теперь такъ мало народенъ, когда рѣшительно хочетъ быть народнымъ; странно видѣть, что онъ теперь выдаетъ намъ за нѣчто важное то, что прежде бросалъ мимоходомъ, какъ избытокъ или роскошь. Мнѣ кажется, что это стремленіе къ народности произошло оттого, что всѣ живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотѣли создать народную, какъ прежде силились создать подражательную. И такъ, опять цѣль, опять усилія, опять старая погудка на новый ладъ? Но развѣ Крыловъ потому народенъ въ высочайшей степени, что старался быть народнымъ? Нѣтъ, онъ объ этомъ нимало не думалъ: онъ былъ народенъ потому, что не могъ не быть народнымъ; былъ народенъ безсознательно, и едва ли зналъ цѣну этой народности, которую усвоилъ созданіямъ своимъ безъ всякаго труда и усилія. По крайней мѣрѣ его современники мало умѣли цѣнить въ немъ это достоинство: они часто упрекали его за «низкую природу» и ставили на одну съ нимъ доску прочихъ баснописцевъ, которые были несравненно ниже его. Слѣдовательно, наши литераторы, съ такой ревностью заботящіеся о народности, хлопочутъ по-пустому. И въ самомъ дѣлѣ, какое понятіе имѣютъ у насъ вообще о народности? Всѣ, рѣшительно всѣ, смѣшиваютъ ее съ простонародностью и отчасти съ тривіальностью. Но это заблужденіе имѣетъ свою причину, свое основаніе, и на него отнюдь не должно нападать съ ожесточеніемъ. Скажу болѣе: въ отношеніи къ русской литературѣ нельзя иначе понимать народности. Что такое народность въ литературѣ? — отпечатокъ народной фizioноміи, типъ народнаго духа и народной жизни. Но имѣемъ ли мы свою народную фizioномію?—вотъ вопросъ, трудный для рѣшенія. Наша національная фizioномія всего больше сохранилась въ низшихъ слояхъ народа; поэтому наши писатели, разумѣется, владѣющіе талантомъ, бывають народны, когда изображаютъ въ романѣ или драмѣ нравы, обычаи, понятія и чувствованія черни. Но развѣ одна чернь составляетъ народъ? Ничуть не

бывало. Какъ голова есть важнѣйшая часть человѣческаго тѣла, такъ среднее и высшее сословіе составляютъ народъ по преимуществу. Знаю, что человѣкъ во всякомъ состояніи есть человѣкъ, что простолюдинъ имѣетъ такія же страсти, умъ и чувство, какъ и вельможа, и поэтому такъ же, какъ и онъ, достоинъ поэтическаго анализа; но высшая жизнь народа преимущественно выражается въ его высшихъ слояхъ или, вѣрнѣе всего, въ цѣлой идеѣ народа. Поэтому, избравъ предметомъ своихъ вдохновеній одну часть его, вы непременно впадете въ односторонность. Равнымъ образомъ вы не избѣжите этой крайности и отмежевавъ для своей творческой дѣятельности нашу исторію до Петра Великаго. Высшіе же слои народа у насъ еще не получили опредѣленнаго образа и характера; ихъ жизнь мало представляетъ для поэзіи. Не правда ли, что прекрасная повѣсть Безгласнаго «Княжна Мими» немножко мелка и вяла? Помните ли вы ея эпиграфъ?—«Краски мои блѣдны, сказалъ живописецъ; что жъ дѣлать? въ нашемъ городѣ нѣтъ лучшихъ!» — Вотъ вамъ самое лучшее оправданіе со стороны поэта, и вмѣстѣ самое лучшее доказательство, что въ этой повѣсти онъ народенъ въ высочайшей степени. Такъ неужели наша народность въ литературѣ есть мечта? Почти такъ, хотя и не совсѣмъ. Какой главный элементъ нашихъ произведеній, отличающихся народностью? Очерки изъ древне-русской жизни (до Петра Великаго) или простонародной жизни, и отсюда неизбѣжныя поддѣлки подъ тонъ лѣтописей и народныхъ пѣсенъ, или подъ ладъ языка нашихъ простолюдиновъ. Но въѣвъ въ этихъ лѣтописяхъ, въ этой жизни давно прошедшей вѣтъ дыханіе общей человѣческой жизни, являющейся подъ одной изъ тысячи ея формъ; умѣйте же уловить его вашимъ умомъ и чувствомъ и воспроизвести вашей фантазіей въ своемъ художественномъ созданіи. Въ этомъ вся сила и важность. Но вамъ надо быть гениемъ, чтобы въ вашихъ твореніяхъ трепетала идея русской жизни: это путь самый скользкій. Мы такъ отдѣлены или, лучше сказать, оторваны эрою Петра Великаго отъ быта нашихъ праотцевъ, что вашему произведенію непременно должно предшествовать глубокое изученіе этого быта. И такъ, соразмѣряйте ваши силы съ цѣлью и не слишкомъ самонадѣянно пишите: «Русскіе въ такомъ-то» или «въ такомъ-то году». Притомъ еще надо замѣтить и то, что русская жизнь до Петра Великаго была слишкомъ спокойна и односторонна или, лучше сказать, она проявлялась своимъ оригинальнымъ образомъ: вамъ легко будетъ оклеветать ее, придерживаясь Вальтеръ Скотта. Писатель, который на любви оснуетъ планъ своего романа и цѣлью усилій героя поставить

руку и сердце вѣрной красавицы, покажетъ ясно, что онъ не понимаетъ Руси. Я знаю, что наши бояре лазили чрезъ тыны къ своимъ прелестницамъ, но это было оскорбленіе и искаженіе величавой, чинной и степенной русской жизни, а не проявленіе ея; такихъ рыцарей ночи наказывали ревнивыя плетми и кольями, а не раздѣлывались съ ними на благородномъ поединкѣ; такія красавицы почитались безпутными бабами, а не жертвами страсти, достойными состраданія и участія. Наши дѣды занимались любовью съ законнаго дозволенія или мимоходомъ изъ шалости, и не сердце клали къ ногамъ своихъ очаровательницъ, а показывали имъ заранѣе шелковую плетку и неуклонно слѣдовали мудрому правилу: «люби жену какъ душу, а триси ее какъ грушу», или «бей ее какъ пубу». Вообще сказать, мы еще и теперь любимъ не совсѣмъ по-рыцарски, а исключенія ничего не доказываютъ.

Что же касается до живого и сходнаго съ натурой изображенія сценъ простонародной жизни, то не слишкомъ обольщайтесь ими. Мнѣ очень нравится въ «Рославлевѣ» сцена на постояломъ дворѣ, но это потому, что въ ней удачно обрисованъ характеръ одного изъ классовъ нашего народа, — характеръ, проявляющійся въ рѣшительную минуту отечества; пословицы, поговорки и ломаный языкъ, сами по себѣ, не имѣютъ ничего занимательнаго. Изъ всего сказаннаго мною выходитъ, что наша народность покуда состоитъ въ вѣрности изображенія картинъ русской жизни, но не въ особенномъ духѣ и направленіи русской дѣятельности, которые бы проявлялись равно во всѣхъ твореніяхъ, независимо отъ предмета и содержанія ихъ. Всѣмъ извѣстно, что французскіе классики офранцуживали въ своихъ трагедіяхъ греческихъ и римскихъ героевъ: вотъ истинная народность, всегда вѣрная самой себѣ, и въ искаженіи творчества! Она состоитъ въ образѣ мыслей и чувствованій, свойственныхъ тому или другому народу. Я свято вѣрю въ гениальность Гёте, хотя, по незнанію нѣмецкаго языка, чрезвычайно мало знакомъ съ нимъ, но, признаюсь, плохо вѣрю эллинизму его «Ифигеніи»: чѣмъ выше гевій, тѣмъ болѣе онъ — сынъ своего вѣка и гражданинъ своего міра, и подобныя попытки съ его стороны выразить совершенно чуждую ему народность всегда предполагаютъ поддѣлку, болѣе или менѣе неудачную. И такъ, есть ли у насъ народность литературы въ этомъ смыслѣ? Нѣтъ, да покуда, при всѣхъ благородныхъ желаніяхъ просвѣщенныхъ патріотовъ, и быть не можетъ. Наше общество еще слишкомъ юно, еще не установилось, еще не освободилось отъ европейской опеки; его фizioномія еще не выяснилась и не выформировалась: «Кавказскаго

Плѣнника», «Бахчисарайскій Фонтанъ», «Цыганъ» могъ написать всякій европейскій поэтъ, но «Евгенія Онѣгина» и «Бориса Годунова» могъ написать только поэтъ русскій. Безсознательная народность доступна только для людей свободныхъ отъ чуждыхъ, иноземныхъ вліяній, и вотъ почему народенъ Державинъ. И такъ, наша народность состоитъ въ вѣрности изображенія картинъ русской жизни. Посмотримъ, какъ успѣли въ этомъ поэты новаго періода нашей словесности.

Начало этого народнаго направленія въ литературѣ было сдѣлано еще въ пушкинскомъ періодѣ; только тогда оно не такъ рѣзко высказалось. Зачинщикомъ былъ Булгаринъ. Но такъ какъ онъ не художникъ, въ чемъ теперь никто уже не сомнѣвается, кромѣ друзей его, то онъ принесъ своими романами пользу не литературѣ, а обществу, то-есть каждымъ изъ нихъ доказалъ какую-нибудь практическую житейскую истину, а именно:

I. «Иваномъ Выжигинымъ»: вредъ, причиняемый Россіи заморскими выходцами и пройдохами, предлагающими имъ свои продажныя услуги въ качествѣ гувернеровъ, управителей, а иногда и писателей.

II. «Дмитріемъ Самозванцемъ»: кто мастеръ изображать мелкихъ плутовъ и мошенниковъ, тотъ не берись за изображеніе крупныхъ злодѣевъ.

III. «Петромъ Выжигинымъ»: «спустя лѣто, въ лѣсъ по малину не ходять»; другими словами: «куй желѣзо, пока горячо».

Повторяю: Ѳаддей Венедиктовичъ не поэтъ, а философъ практическій, философъ жизни дѣйствительной. Поэтическая сторона его созданій проявляется только въ живомъ и вѣрномъ изображеніи мошенничества и плутней. Долгъ справедливости требуетъ замѣтить, что онъ необыкновеннымъ успѣхомъ своихъ романовъ, то-есть ихъ необыкновенно удачнымъ сбытомъ, способствовалъ много къ оживленію нашей литературной дѣятельности и произвелъ безконечное поколѣніе романовъ. Ему же обязана русскій публика и появленіемъ на литературномъ поприщѣ Александра Анфиновича Орлова.

Народному направленію много способствовалъ Погодинъ. Въ 1826 году появилась его маленькая повѣсть «Нищій», а въ 1829 году — «Черная Немочь». Обѣ онѣ замѣчательны по вѣрному изображенію русскихъ простонародныхъ нравовъ, по теплотѣ чувства, по мастерскому разсказу, а послѣдняя и по прекрасной поэтической идѣ, лежащей въ основаніи. Если бъ Погодинъ прогрессивно возвышался въ своихъ повѣстяхъ, то русская литература имѣла бы въ немъ такого писателя, которымъ по справедливости могла бы гордиться. Впрочемъ не одному ему принадлежить честь начала народности въ повѣстяхъ: ее

раздѣляли съ нимъ, въ большей или меньшей мѣрѣ, и другіе замѣчательные таланты.

«Юрій Милославскій» былъ первымъ хорошимъ русскимъ романомъ. Не имѣя художественной полноты и цѣлости, онъ отличается необыкновеннымъ искусствомъ въ изображеніи быта нашихъ предковъ, когда этотъ бытъ сходенъ съ нынѣшнимъ, и проникнутъ необыкновенной теплотой чувства. Присовокупите къ этому увлекательность разсказа, новостъ избраннаго поприща, на которомъ онъ не имѣлъ себѣ ни образца, ни предшественника, и вы поймете причину его необычайнаго успѣха. «Рославлевъ» отличается тѣми же красотою и тѣми же недостатками: отсутствіемъ полноты и цѣлости и живыми картинами простонароднаго быта.

«Киргизъ-Кайсакъ» Ушакова былъ явленіемъ удивительнымъ и неожиданнымъ: онъ отличался глубокимъ чувствомъ и другими достоинствами истинно-художественнаго произведенія, и между тѣмъ принадлежитъ автору «Кота Бурмосѣка» и длинныхъ и скучныхъ статей о театрѣ, о польской литературѣ, о томъ и о семъ, отличающихся беззубымъ остроуміемъ и забавными претензіями на критическій талантъ и ученость. Что же дѣлать? «Киргизъ-Кайсакъ» въ этомъ отношеніи есть не единственное явленіе въ нашей литературѣ; развѣ Аблесимовъ не написалъ, можно сказать, ненарочно «Мельника», а Воейковъ—«Дома сумашедшихъ»?

Послѣдній періодъ былъ ознаменованъ появленіемъ двухъ новыхъ замѣчательныхъ талантовъ: Вельтмана и Лажечникова.

Вельтманъ пишетъ въ стихахъ и прозѣ, и въ обоихъ случаяхъ обнаруживаетъ въ себѣ истинный талантъ. Его поэмы: «Бѣглець» и «Муромскіе Лѣса» были анахронизмомъ и потому не имѣли успѣха. Впрочемъ послѣдняя изъ нихъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, отличается яркими красотою; кто не знаетъ на память пѣсни разбойника: «Что отуманилась зоренька ясная?». «Странникъ», за исключеніемъ излишнихъ претензій, отличается остроуміемъ, которое составляетъ преобладающій элементъ таланта Вельтмана. Впрочемъ онъ возвышается у него и до высокаго: «Искендеръ» есть одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ алмазовъ нашей литературы. Самое лучшее произведеніе Вельтмана есть «Кошей Безсмертный»: изъ него видно, что онъ глубоко изучилъ старинную Русь въ лѣтописяхъ и сказкахъ и, какъ поэтъ, понялъ ее своимъ чувствомъ. Это рядъ очаровательныхъ картинъ, на которыя нельзя довольно налюбоваться. Вообще о Вельтманѣ должно сказать, что онъ уже чересчуръ много и долго играетъ своимъ талантомъ, въ которомъ никто, кромѣ «Библіотеки для Чтенія», не сомнѣвается. Пора бы ему наиграться, пора подарить публику такимъ произведеніемъ,

какого она въ правѣ ожидать отъ него: у Вельтмана такъ много таланта, такъ много остроумія и чувства, такъ много оригинальности и самобытности!

Лажечниковъ не изъ новыхъ писателей: онъ давно уже былъ извѣстенъ своими «Походными записками офицера». Это произведеніе доставило ему литературную извѣстность: но какъ оно было написано подъ карамзинскимъ влияніемъ, то, несмотря на нѣкоторыя свои достоинства, теперь забыто, да и самъ авторъ называетъ его грѣхомъ своей юности*). Но какъ бы то ни было, а Лажечниковъ пользовался по немъ славой литератора, и потому всѣ ожидали его «Новика». Лажечниковъ не только не обманулъ этихъ надеждъ, но даже превзошелъ общее ожиданіе, и по справедливости признанъ первымъ русскимъ романистомъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Новикъ» есть произведеніе необыкновенное, ознаменованное печатью высокаго таланта. Лажечниковъ обладаетъ всѣми средствами романиста: талантомъ, образованностью, пламеннымъ чувствомъ и опытомъ лѣтъ и жизни. Главный недостатокъ его «Новика» состоитъ въ томъ, что онъ былъ первымъ, въ своемъ родѣ, произведеніемъ автора: отсюда двойственность интереса, мѣстами излишняя говорливость и слишкомъ замѣтная зависимость отъ вліянія иностранныхъ образцовъ. Зато, какое смѣлое и обильное воображеніе, какая вѣрная живопись лицъ и характеровъ, какое разнообразіе картинъ, какая жизнь и движеніе въ разсказѣ! Эпоха, избранная авторомъ, есть самый романическій и драматическій эпизодъ нашей исторіи и представляетъ самую богатую жатву для поэта. Но, отдавая полную справедливость поэтическому таланту Лажечникова, должно замѣтить, что онъ не вполне умѣлъ воспользоваться избранной имъ эпохой, что произошло, кажется, отъ его не совсѣмъ вѣрнаго на нее взгляда. Это особенно доказывается главнымъ лицомъ его романа, которое, по моему мнѣнію, есть самое худшее лицо во всемъ романѣ. Скажите, что въ немъ русскаго или по крайней мѣрѣ индивидуальнаго? Это просто образъ безъ лица, и скорѣе челоуѣкъ нашего времени, чѣмъ XVII вѣка. Вообще въ «Новикѣ» много героевъ и нѣтъ ни одного главнаго. Видите и занимательнѣе прочихъ Паткуль: онъ нарисованъ во всю ростъ и нарисованъ кистью мастерской. Но самое интересное, самое любимѣйшее челоуѣка его фантазіи есть, кажется, швейцарка Роза;

*) При этомъ прошу у почтеннаго автора «Новика» извиненія въ неумышленной винѣ противъ него. Я очень хорошо зналъ, что прекрасная пѣсня «Сладко пѣлъ душа соловушка» принадлежитъ ему, ибо имѣлъ честь узнать это отъ самого него; вся вина моя въ томъ, что я не совсѣмъ обстоятельно выразился.

это одно изъ такихъ созданий, которымъ позавидовалъ бы и самъ Бальзакъ. Не имѣя ни времени, ни мѣста, я не войду въ полный разборъ «Новика», хотя и много могъ бы сказать о немъ! Заключая: онъ обнаруживаетъ въ авторѣ высокій талантъ, удерживаетъ за нимъ почетное мѣсто перваго русскаго романиста; его недостатки происходятъ частью оттого, что, какъ мнѣ кажется, авторъ смотрѣлъ не совсѣмъ съ прямой точки на эпоху Петра Великаго, а главное оттого, что «Новикъ» былъ первымъ его произведеніемъ. Судя по отрывкамъ изъ его новаго романа, можно надѣяться, что онъ будетъ гораздо выше перваго и вполне оправдаетъ ту довѣренность, которую оказываетъ публика къ его таланту.

Теперь мнѣ остается сказать еще объ одномъ весьма примѣчательномъ лицѣ нашей литературы: это авторъ, подписывающійся *Безлоснымъ* з. з. й. Говорятъ, что это... Но какое намъ дѣло до имени автора, тѣмъ болѣе, когда онъ самъ не хочетъ выставлять его на показъ? Такъ какъ онъ недавно самъ объявилъ о себѣ, что онъ ни А, ни В, ни С, то назову его хотя О. Этотъ О. пишетъ уже давно, но въ послѣднее время его художественная дѣятельность обнаружилась въ болѣе силь. Этотъ писатель еще не оцѣненъ у насъ по достоинству и требуетъ особеннаго разсмотрѣнія, которымъ заняться теперь не позволяютъ мнѣ ни мѣсто, ни время. Во всѣхъ его созданіяхъ виденъ талантъ могущественный и энергическій, чувство глубокое и страдательное, оригинальность совершенная, знаніе человѣческаго сердца, знаніе общества, высокое образованіе и наблюдательный умъ. Я сказалъ: знаніе общества, прибавлю еще—въ особенности высшаго, и, сдается мнѣ, въ этомъ случаѣ онъ предатель... О, это странный и мстительный художникъ! Какъ глубоко и вѣрно измѣрилъ онъ неизмѣримую пустоту и ничтожество того класса людей, который преслѣдуетъ съ такимъ ожесточеніемъ и такимъ неослабнымъ постоянствомъ! Онъ ругаетъ ихъ ничтожествомъ; онъ клеймитъ ихъ печатью позора; онъ бичуетъ ихъ, какъ Немезида; онъ казнитъ ихъ за то, что они потеряли образъ и подобіе Божіе,—за то, что промѣняли святаго сокровища души своей на позлащенную грязь,—за то, что отреклись отъ Бога живого и поклонились идолу суеты,—за то, что умъ, чувства, совѣсть, честь замѣнили условными приличіями. Онъ... но что вамъ много говорить о немъ? Если вы поймете мое энтузіастическое къ нему удивленіе, то лучше поймете и оцѣните художника; въ противномъ же случаѣ, не хочу терять словъ понапрасну... Вѣдь вы вѣрно читали его «Балъ», его «Бригадира», его «Насмѣшку Мертваго», его «Какъ опасно дѣвушкамъ ходить по Невскому проспекту»?...

Гоголь, такъ мило прикинувшійся пасичникомъ, принадлежитъ къ числу необыкновенныхъ талантовъ. Кому не извѣстны его «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки»? Сколько въ нихъ остроумія, веселости, поэзіи и народности! Дай Богъ, чтобы онъ вполне оправдалъ поданныя имъ о себѣ надежды...

Говорить ли мнѣ о прочихъ нашихъ романистахъ и сказочникахъ: Масальскомъ, Калашниковѣ, Гречѣ, и другихъ? Всѣ они считаются у насъ почти гениями! и куда тягаться съ ними г. О., о которомъ я только-что говорить выше! Благоговѣю, дивлюсь и умоляю, ибо чувствую, что не въ силахъ достойно восхвалить ихъ.

И такъ, я насчиталъ четыре періода нашей словесности: ломоносовскій, карамзинскій, пушкинскій и прозаическо-народный; остается упомянуть еще о пятомъ, который начался съ появленія на свѣтъ первой части «Новоселья» и который можно и должно назвать смирдинскимъ. Да, милостивые государи, я совсѣмъ не шучу, и повторяю, что этотъ періодъ словесности непременно должно назвать смирдинскимъ: ибо А. Ф. Смирдинъ является главой и распорядителемъ этого періода. Все отъ него и все къ нему: онъ одобряетъ и одобряетъ юные и дряхлые таланты очаровательнымъ звономъ ходячей монеты; онъ даетъ направленіе и указываетъ путь этимъ гениямъ и полу-гениямъ, не даетъ имъ лѣниться,—словомъ, производитъ въ нашей литературѣ жизнь и дѣятельность. Вы помните, какъ почтеннѣйшій А. Ф. Смирдинъ, движимый чувствомъ общаго блага, со всей откровенностью благороднаго сердца, объявилъ, что наши журналисты потому не имѣли успѣха, что надѣялись на свои познанія, таланты и дѣятельность, а не на живой капиталъ, который есть душа литературы; вы помните, какъ онъ кликнулъ кличъ по нашимъ гениямъ, крикнулъ да денежкой брякнулъ, и объявилъ таксу за всѣ роды литературнаго производства; и какъ вербовались наши производители толпами въ его компанію; вы помните, какъ великодушно и усердно взялъ онъ на откупъ всю нашу словесность и всю литературную дѣятельность ея представителей?! Вспомоществуемый гениями Греча, Сенковского, Булгарина, барона Брамбеуса и прочихъ членовъ знаменитой компаніи, онъ сосредоточилъ всю нашу литературу въ своемъ массивномъ журналѣ. И что же вышло изъ этого великаго патріотическо-торговаго предпріятія? Есть люди, которые утверждаютъ, что будто Смирдинъ убилъ нашу литературу, соблазнивъ барышнями ея талантливыхъ представителей. Нужно ли доказывать, что это люди злонамѣренные и враждебные всякому безкорыстному предпріятію, имѣющему цѣлью оживленіе какой бы то ни было вѣтви народной промышленности...

ности? Я не принадлежу къ такимъ людямъ и отъ души радуюсь напримѣръ «Энциклопедическому Лексикону», хотя я знаю, что въ составленіи его участвуютъ Грець, Булгаринъ и друг., хотя и читалъ послужной списокъ Ломоносова, выдаваемый за біографію этого великаго мужа. Я имѣю удивительную способность видѣть во всемъ одну хорошую сторону, не замѣчая дурныхъ, и на что бы ни смотрѣлъ, всегда повторяю мой любимый стихъ:

И все то благо, все добро!

ибо я убѣжденъ сердечно и душевно, вѣрю свято и непоколебимо вопреки профессору Сенковскому, что родъ человѣческій, по волѣ блящей надъ нимъ любви Божіей, идетъ къ своему совершенству, и что не остановитъ его на этомъ пути ни фанатизмъ, ни невѣжество, ни злобѣ, ни барону Брамбеусу; ибо такіе остановители добра суть истинные его двигатели. Уничтожьте зло, вы уничтожите и добро, ибо безъ борьбы нѣтъ заслуги. И такъ, я смотрю на «Библіотеку для Чтенія» совсѣмъ съ другой точки зрѣнія: она ни на волосъ не возвысила нашей литературы, но и не уронила ея ни на волосъ. Творить все изъ ничего можетъ одинъ только Богъ, а не «Библіотека для Чтенія»; оживлять можно умирающаго, а не несущаго. Нельзя создать деньгами таланта, и нельзя убить его ими. Гдѣ бы ни написали, въ какомъ бы журналѣ ни помѣщали своихъ издѣлій, и сколько бы ни получали за нихъ Грець, Булгаринъ, Масальскій, Калашниковъ, Воейковъ, они всегда и вездѣ останутся тѣми же; но г. О. не измѣнитъ себя ни въ «Новосельѣ», ни въ «Библіотекѣ для Чтенія». И такъ, по моему мнѣнію, «Библіотека для Чтенія» показала практически, а posteriori, и слѣдовательно несомнѣнно, что у насъ нѣтъ литературы: ибо, имѣя всѣ средства, она ни въ чемъ не успѣла. Эта не ея вина, ибо

Какъ можно, чтобы мерзлый паръ
Среди зимы рождать пожаръ?

Горе тому художнику, который пишетъ изъ-за денегъ, а не изъ безотчетной потребности писать! Но когда онъ вывелъ изъ міра души своей этотъ безплотный идеалъ, который томилъ и мучилъ его, когда вдоволь налюбовался и наслаждался своимъ твореніемъ, то почему не продать ему его?

Не продается вдохновеніе,
Но можно рукопись продать.

Другое дѣло картина: продавши ее, художникъ расстаётся съ своимъ созданіемъ, лишается любимаго чада своей фантазіи; но словесное произведеніе, благодаря остроумному изобрѣтенію Гуттенберга, всегда при немъ:

почему же дарами природы не вознаградить несправедливости фортуны? Развѣ не деньгами англійскіе и французскіе журналы достигли той высокой степени совершенства, на которой мы теперь видимъ ихъ? И такъ, «Библіотека для Чтенія» виновата не въ томъ, что дорого платитъ русскіимъ авторамъ, а въ томъ, что надѣялась, разумѣется для благосостоянія собственнаго своего кармана, надѣлать талантовъ посредствомъ денегъ. Одна изъ главныхъ обязанностей русскаго журнала есть знакомить русскую публику съ европейскимъ просвѣщеніемъ. Какъ же знакомить съ нимъ насъ «Библіотека для Чтенія»? Она укорачиваетъ, обрубаётъ, вытягиваетъ и пердѣлываетъ на свой манеръ переводимыя ею изъ иностранныхъ журналовъ статьи, и еще хвалится тѣмъ, что сообщаетъ имъ особеннаго рода, ей собственно принадлежащую, занимательность. Ей и на умъ не приходитъ, что публика хочетъ знать, какъ думаютъ о томъ или другомъ въ Европѣ, а отнюдь не то, какъ думаетъ о томъ или другомъ «Библіотека для Чтенія». И потому переводныя статьи въ «Библіотекѣ для Чтенія» не имѣютъ никакой цѣны. Какія напримѣръ повѣсти переводитъ она? Издѣлія г-жъ Мидфордъ и другихъ, пишущихъ въ родѣ покойника Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена съ братією. Теперь, какова ея критика? Вамъ вѣрно извѣстны ея отзывы о сочиненіяхъ Булгарина, Греца, Калашникова и Хомякова, Вельтмана, Телякова и др. При разборѣ «Черной Женины», критикъ «Библіотеки» изложилъ всю систему анатоміи, физиологіи, электричества и магнетизма, о которыхъ и помину нѣтъ въ упомянутомъ романѣ: признаюсь — чудесная критика!

Какіе же геніи смирдинскаго періода словесности? Это баронъ Брамбеусъ, Грець, Кукольникъ, Воейковъ, Калашниковъ, Масальскій, Ершовъ и мн. др. Что сказать о нихъ? Удивляюсь, благоговѣю—и безмолствую! Замѣчу о первомъ только то, что послѣ извѣстной статьи въ «Телескопѣ»: «Здравый смыслъ и баронъ Брамбеусъ», почтенный баронъ Брамбеусъ сначала приумолкъ, а потомъ пустился въ нравственность на манеръ Булгарина, и изъ подражателя «Юной Словесности» учинился подражателемъ автора «Выжигиныхъ». Баронъ Брамбеусъ есть мизантропъ, сирѣчь человѣконенавистникъ, смѣсь Руссо съ Польде-Кокомъ и Булгаринымъ; онъ смѣется и издѣвается надъ всѣмъ, и гонитъ особенно просвѣщеніе. Человѣконенавистники бываютъ двухъ родовъ: одни ненавидятъ человѣчество, потому что слишкомъ любятъ его; другіе потому, что, чувствуя свое ничтожество, какъ бы въ отмщеніе за себя изливаютъ свою желчь на все, что сколько-нибудь выше ихъ... Безъ всякаго сомнѣнія, баронъ Брамбеусъ принад-

лежить къ первому роду чловѣконенавистниковъ.

Послѣдній, то-есть 1834 годъ, былъ ознаменованъ только появленіемъ двухъ романовъ Вельтмана и «Димитріемъ Самозванцемъ» Хомякова: все остальное не стоитъ и упоминанія. Хомяковъ принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ талантовъ пушкинскаго періода. Впрочемъ его драма есть замѣчательный шагъ впередъ для автора, а не для русской литературы. Отличаясь многими лирическими красотами высокаго достоинства, она очень мало имѣетъ драматизма.

И такъ, вотъ я разсказать вамъ всю исторію нашей литературы, перечелъ всѣ ея знаменитости—отъ Ломоносова, перваго ея генія, до Кукольника, послѣдняго ея генія. Я началъ мою статью съ того, что у насъ нѣтъ литературы; не знаю, убѣдило ли васъ въ этой истинѣ мое обозрѣніе; только знаю, что если нѣтъ, то въ томъ виновато мое неумѣнье, а отнюдь не то, чтобы доказываемое мною положеніе было ложно. Въ самомъ дѣлѣ, Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибоедовъ — вотъ всѣ ея представители; другихъ покуда нѣтъ и не ищите ихъ. Но могутъ ли составить цѣлую литературу четыре чловѣка, являвшіеся не въ одно время? И притомъ, развѣ они были не случайными явленіями? Посмотрите на исторію ипостранныхъ литературъ. Во Франціи вскорѣ послѣ Корнеля явились Расинъ, Мольеръ, Лафонтенъ и многіе другіе; потомъ, въ эпоху Вольтера сколько было знаменитостей литературныхъ! Теперь: Гюго, Ламартинъ, Делавинъ, Барбье, Бальзакъ, Дюма, Жаненъ, Евгеній Сю, Жакобъ Библиофилъ, и столько другихъ. Въ Германіи: Лессингъ, Клопштокъ, Гердеръ, Шиллеръ, Гёте были современниками. Въ Англіи: въ послѣднее время Байронъ, Вальтеръ Скоттъ, Томасъ Муръ, Кольриджъ, Соути, Вордсвортъ, и столько другихъ явились почти въ одно время. Такъ ли у насъ? Увы!.. «Библіотека для Чтенія» доказала великую и плачевную истину. Кромѣ двухъ или трехъ статей г. О., что мы прочли въ ней заслуживающаго хотя какое-нибудь вниманіе? Ровно ничего. И такъ, соединенные труды всѣхъ нашихъ литераторовъ не произвели ничего выше золотой посредственности! Гдѣ же, спрашиваю васъ, литература? У насъ было много талантовъ и талантиковъ, но мало, слишкомъ мало, художниковъ по призванію, то-есть такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать одно и то же, которые уничтожаются въ искусства, которымъ не нужно протекцій, не нужно меценатовъ или, лучше сказать, которые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ не убиваютъ ни деньги, ни отлічія, ни несправедливости, которые до послѣдняго вздоха

остаются вѣрными своему святому призванію. У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плакивости, была эпоха стихотворства, эпоха романовъ и повѣстей, теперь наступила эпоха драмы: но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на романы видимо проходить; теперь терзаемъ драму. И все это безъ причины, все это изъ подражательности: когда же наступитъ у насъ истинная эпоха искусства?

Она наступитъ, будьте въ томъ увѣрены! Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которомъ бы выразилась фizioномія могучаго русскаго народа; надобно, чтобы у насъ было просвѣщеніе, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почвѣ. У насъ нѣтъ литературы: я повторю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ этой истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ. Присмотритесь хорошенько къ ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я правъ. Посмотрите, какъ новое поколѣніе, разочаровавшись въ геніальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того чтобы выдавать въ свѣтъ недозрѣлыя творенія, съ жадностью предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ. Вѣкъ ребячества проходитъ видимо. И дай Богъ, чтобы онъ прошелъ скорѣе! Но еще болѣе, дай Богъ, чтобы поскорѣе всѣ разувѣрились въ нашемъ литературномъ богатствѣ. Благородная нищета лучше мечтательнаго богатства! Придетъ время — просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная фizioномія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученіе! ученіе! ученіе! Скажите, Бога ради, можетъ ли въ наше время обратить на себя вниманіе какой-нибудь недоучившійся мальчикъ, хотя бы онъ былъ надѣленъ отъ природы и умомъ, и чувствомъ, и талантомъ? Этотъ вѣчный старецъ Гомеръ, если онъ точно существовалъ на свѣтѣ, конечно не учился ни въ академіи, ни въ портикѣ; но это потому, что тогда ихъ и не было; это потому, что тогда учились изъ великой книги природы и жизни; а Гомеръ, если вѣрить преданіямъ, ревностно изучалъ природу и жизнь, обошелъ почти весь извѣстный тогда свѣтъ и сосредоточилъ въ лицѣ своемъ всю современную мудрость. Гёте, вотъ Гомеръ, вотъ прототипъ поэта нынѣшняго времени!

И такъ, намъ нужна не литература, которая безъ всякихъ съ нашей стороны усилій явится въ свое время, а просвѣщеніе! И это просвѣщеніе не закоснитъ, благодаря неуслыннымъ попеченіямъ мудраго правительства. Русскій народъ мысленъ и понятливъ, усерденъ

и горячъ ко всему благому и прекрасному, когда рука царя-отца указываетъ ему на цѣль, когда его державный голосъ призываетъ его къ ней! И намъ ли не достигнуть этой цѣли, когда правительство являетъ собой такой единственный, такой безпримѣрный образецъ попечительности о распространеніи просвѣщенія, когда оно издерживаетъ такія громадныя суммы на содержаніе учебныхъ заведеній, ободряетъ блестящими наградами труды учащихся и учащихся, открывая образованному уму и таланту путь къ достиженію всѣхъ отличій и выгодъ? Проходитъ ли хотя одинъ годъ безъ того, чтобы со стороны неусыпнаго правительства не было совершенно новыхъ подвиговъ во благо просвѣщенія или новыхъ благодѣяній. новыхъ щедротъ въ пользу ученаго сословія? Одно учрежденіе сословія домашнихъ наставниковъ и учителей должно повлечь за собой неисчислимыя блага для Россіи, ибо избавляетъ ее отъ вредныхъ слѣдствій иноземнаго воспитанія. Да! у насъ скоро будетъ свое русское, народное просвѣщеніе; мы скоро докажемъ, что не имѣемъ нужды въ чуждой умственной опеки. Намъ легко это сдѣлать, когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудномъ поприщѣ народоправленія, являются посреди любознательнаго юношества въ центральномъ храмѣ русскаго просвѣщенія возвѣщать ему священную волю монарха, указывать путь къ просвѣщенію въ духѣ «православія, самодержавія и народности»...

Наше общество также близко къ своему окончательному образованію. Благородное дворянство наконецъ вполне увѣрилось въ необходимости давать своимъ дѣтямъ образованіе прочное, основательное, въ духѣ вѣры, вѣрности и національности. Наши молодчики, наши денди, не имѣющіе никакихъ познаній, кромѣ навыка легко болтать всякій вздоръ по-французски, становятся смѣшными и жалкими анахронизмами. Съ другой стороны, не видите ли вы, какъ въ свою очередь быстро образуется купеческое сословіе и сближается въ этомъ отношеніи съ высшимъ? О, повѣрьте, не напрасно держались они такъ крѣпко за свои почтенныя, окладистыя бороды, за свои долгополые кафтаны и за обычай праотцевъ! Въ нихъ наиболѣе сохранилась русская физиономія, и, принявши просвѣщеніе, они не утратятъ ея, сдѣлаются типомъ народности. Равно взгляните, какое дѣятельное участіе начинаютъ принимать въ святомъ дѣлѣ отечественнаго просвѣщенія и наше духовенство... Да, въ настоящемъ времени зрѣютъ сѣмена

для будущаго! И они взойдутъ и расцвѣтутъ, расцвѣтутъ пышно и великолѣпно, по гласу чадолюбивыхъ монарховъ! И тогда будемъ мы имѣть свою литературу, явимся не подражателями, а соперниками европейцевъ...

И вотъ я не только у берега, а уже на самомъ берегу и, стоя на немъ, съ гордостью и удовольствіемъ озираю пройденное мною пространство. Нечего сказать, не близкій путь! Зато ужъ какъ и усталъ, какъ утомился! Дѣло непривычное, а дорога трудная. Но, любезный читатель, прежде, нежели я совсѣмъ раскланяюсь съ вами, хочу сказать вамъ еще словечка два. Кто беретъ судить о другихъ, тотъ подвергаетъ и самого себя еще строжайшему суду. Къ тому же авторское самолюбіе щекотливѣе и мстительнѣе всѣхъ другихъ родовъ самолюбія. Начавъ писать эту статью, я имѣлъ въ предметѣ позубоскалить надъ современной нашей литературой, и самъ не знаю, какъ зашелъ въ такую даль. Началъ за здравіе, а свелъ за упокой. Это нерѣдко случается въ дѣлахъ жизни. И такъ, признаюсь откровенно, не ищите въ моей «Элегіи и прозѣ» строгаго логическаго порядка. Элегисты никогда не отличались большой правильностью мышленія. Я имѣлъ цѣлью высказать нѣсколько истинъ, частью уже сказанныхъ, частью мною самимъ замѣченныхъ; но не имѣлъ времени хорошенько обдумать и обработать свою статью; у меня есть любовь къ истинѣ и желаніе общаго блага, но можетъ быть нѣтъ основательныхъ познаній. Что жъ дѣлать? Эти два качества рѣдко сходятся въ одномъ лицѣ. Впрочемъ я не говорилъ ни слова о томъ, что было выше моего понятія, и поэтому не коснулся до нашей ученой литературы. Думаю и вѣрю, что для споспѣшествованія успѣхамъ наукъ и словесности всякій можетъ смѣло и откровенно высказать свои мнѣнія, тѣмъ болѣе, если онѣ, справедливыя или ложныя, суть слѣдствіе его убѣжденія, а не какихъ-нибудь корыстныхъ видовъ. И такъ, если найдете, что я ошибался, то выскажите печатно ваше мнѣніе и уличите меня въ ложномъ взглядѣ на вещи; я прошу этого, какъ доказательства вашей любви къ истинѣ и уваженія лично ко мнѣ, какъ къ человѣку; но не сердитесь на меня, если думаете не такъ. Затѣмъ, любезный читатель, поздравляю васъ съ новымъ годомъ и съ новымъ счастьемъ... Простите!

Чембаръ.

1834, декабря 12 дня.

О РУССКОЙ ПОВѢСТИ И ПОВѢСТЯХЪ ГОГОЛЯ.

(АРАБЕСКИ И МИРГОРОДЪ.)

Русская литература, несмотря на свою незначительность, несмотря даже на сомнительность своего существования, которое теперь многими признается за мечту, — русская литература испытала множество чуждых и собственных влияній, отличилась множествомъ направлений. Такъ какъ это имѣетъ прямое отношеніе къ предмету моей статьи, то укажу, въ краткихъ очеркахъ, на главнѣйшія изъ этихъ влияній и направлений. Литература наша началась въкомъ схоластицизма, потому что направленіе ея великаго основателя было не столько художественное, сколько ученое, которое отразилось и на его поэзіи вслѣдствіе его ложныхъ понятій объ искусствѣ. Сильный авторитетъ его бездарныхъ послѣдователей, изъ которыхъ главнѣйшими были Сумароковъ и Херасковъ, поддержалъ и продолжилъ его направленіе. Не имѣя ни искры генія Ломоносова, эти люди пользовались не меньшимъ, и еще чуть ли не большимъ, чѣмъ онъ, авторитетомъ и сообщили юной литературѣ характеръ тяжело-недантичскій. Самъ Державинъ заплатилъ къ несчастью слишкомъ большую дань этому направленію, чрезъ что много повредилъ и своей самобытности, и своему успѣху въ потомствѣ. Вслѣдствіе этого направленія литература раздѣлилась на «оду» и «эпическую, инако героническую пѣнму». Последняя въ особенности почиталась торжественнѣйшимъ проявленіемъ поэтическаго генія, вънцомъ творческой дѣятельности, альфой и омегой всякой литературы, конечной пѣлюю художественной дѣятельности каждаго народа и всего человечества *). «Петріяда» произвела достойныхъ себѣ чадъ — «Россіяду» и «Владимира»; а эти въ свою очередь нѣсколькихъ длинныхъ Петровъ и наконецъ пресловутую «Александриду»... Потомъ только и слышно было, какъ наши лирики, «ушпываясь одопѣвиемъ», по выраженію одного изъ нихъ, въ своихъ громогласныхъ одахъ запуски заставляли «плясать рѣки и скакать холмы»... Это было главное характеристическое направленіе; еще тогда же и послѣ были и другія, хотя и не столь сильныя: Крыловъ родилъ тѣмъ баснописцевъ, Озеровъ —

трагиковъ, Жуковский — балладистовъ, Батюшковъ — элегистовъ. Словомъ, каждый замѣчательный талантъ заставлялъ плясать подъ свою дудку толпы бездарныхъ писателей. Еще въѣкъ тяжелаго схоластицизма не кончился, еще онъ былъ, какъ говорится, во всемъ своемъ разгарѣ, какъ Карамзинъ основалъ новую школу, далъ литературѣ новое направленіе, которое вначалѣ ограничило схоластицизмъ, а впоследствии совершенно убило его. Вотъ главная и величайшая заслуга этого направленія, которое было нужно и полезно, какъ реакція, и вредно, какъ направленіе ложное, которое, сдѣлавши свое дѣло, требовало въ свою очередь сильной реакціи. По причинѣ огромнаго и деспотическаго вліянія Карамзина и многосторонней его литературной дѣятельности, новое направленіе долго тяготѣло и надъ искусствомъ, и надъ наукой, и надъ ходомъ идей и общественнаго образованія. Характеръ этого направленія состоялъ въ сентиментальности, которая была односѣстороннимъ отраженіемъ характера европейской литературы XVIII вѣка. Въ то время, когда это сентиментальное направленіе было во всемъ цвѣту своемъ, Жуковский ввелъ литературный мистицизмъ, который состоялъ въ мечтательности, соединенной съ ложнымъ фантастическимъ, но который въ самомъ-то дѣлѣ былъ не что иное, какъ нѣсколько возвышенный, улучшенный и подновленный сентиментализмъ, и хотя породилъ тѣмъ бездарныхъ подражателей, но былъ великимъ шагомъ впередъ *). Съ половины второго десятилѣтія XIX вѣка совершенно кончилась эта однообразность въ направленіи творческой дѣятельности: литература разбѣжалась по разнымъ дорогамъ. Хотя огромное вліяніе Пушкина (который, скажемъ мимоходомъ, составляетъ на пустынномъ небосклонѣ нашей литературы, вмѣстѣ съ Державиннымъ и Грибоѣдовымъ, пока единственное поэтическое созвѣздіе, блестящее для вѣковъ) и этому періоду нашей словесности сообщило какой-то общій характеръ; но, во-первыхъ, самъ Пушкинъ былъ слишкомъ разнообразенъ въ тонахъ и формахъ своихъ произведеній, потомъ вліяніе старыхъ авторите-

*) Это смѣшное и жалкое направленіе дото-го было сильно и такъ долго продолжалось, что многіе литераторы въ 1813 году совѣтовали Иванчину-Писареву, написавшему довольно фразистую «Надпись на полѣ Бородинскомъ», написать — что бы вы думали? — эпическую поэму!..

*) Говоря о Жуковскомъ, я имѣю въ виду направленіе, произведенное имъ на литературу, а не оцѣнку его литературныхъ заслугъ, — разумею его баллады и малое число оригинальныхъ пьесъ, а не переводы вообще, которыми наша литература по справедливости гордится.

товъ еще не потеряло своей силы и наконецъ знакомство съ европейскими литературами показало новые роды и новый характеръ искусства. Въѣстъ съ поэмой пушкинской появились романъ, повѣсть, драма, усилилась элегія и не были забыты баллада, ода, басня, даже эклога и идиллія.

Теперь совсѣмъ не то: теперь вся наша литература превратилась въ романъ и повѣсть. Ода, эпическая поэма, баллада, басня, даже такъ называемая или, лучше сказать, такъ называвшаяся поэтическая поэма, поэма пушкинская, бывало наводившая и потоплявшая нашу литературу,—все это теперь не больше, какъ воспоминаніе о какомъ-то веселомъ, но давно минувшемъ времени. Романъ все убилъ, все поглотилъ, а повѣсть, пришедшая въѣстъ съ нимъ, изгладилла даже и слѣды всего этого, и самъ романъ съ почтеніемъ посторонился и далъ ей дорогу впереди себя. Какія книги больше всего читаются и раскупаются? Романы и повѣсти. Какія книги доставляютъ литераторамъ дома и деревни? Романы и повѣсти. Какія книги пишутъ всѣ наши литераторы, призванные и не призванные, начиная отъ самой высокой литературной аристократіи до неугомонныхъ рыцарей Толкуна и Смоленскаго рынка? Романы и повѣсти. Чудное дѣло! Но это еще не все. Въ какихъ книгахъ излагается и жизнь человѣческая, и правила нравственности, и философскія системы, и, словомъ, всѣ науки? Въ романахъ и повѣстяхъ.

Вслѣдствіе какихъ же причинъ произошло это явленіе? Кто, какой гений, какой могущественный талантъ произвелъ это новое направленіе?.. На этотъ разъ нѣтъ виноватаго: причина въ духѣ времени, во всеобщемъ и, можно сказать, всемірномъ направленіи.

Правда, и здѣсь было вліяніе иностранныхъ литературъ, что очень естественно, ибо народъ, начинающій принимать участіе въ жизни образованной части общества, не можетъ быть чуждымъ никакого общаго умственного движенія. По крайней мѣрѣ это уже не было слѣдствіемъ успѣха или сильнаго авторитета одного какого-нибудь лица, но было слѣдствіемъ общей потребности. Правда, мы еще не забыли, хотя по имени, прадѣдушку нашихъ романовъ—«Ивана Выжигина»: но онъ былъ ихъ прадѣдушкой только по времени своего появленія, а не по внутреннему достоинству. Не успѣхъ его заставилъ всѣхъ писать романы, но онъ доказалъ общую потребность. Надобно же было кому-нибудь начать. Притомъ же вопросъ состоялъ не въ томъ—будетъ ли имѣть успѣхъ на Руси романъ. Этотъ вопросъ уже былъ рѣшенъ, ибо тогда переводные романы Вальтеръ Скотта уже начали разливаться по Россіи широкимъ потокомъ. Вопросъ состоялъ въ томъ, можетъ ли имѣть на Руси успѣхъ русскій романъ,

написанный по-русски и почерпнутый изъ русской жизни. Булгарину случилось прежде другихъ рѣшить этотъ вопросъ: вотъ и все.

Романъ и теперь еще въ силѣ и можетъ быть надолго или навсегда будетъ удерживать почетное мѣсто, полученное или, лучше сказать, завоеванное имъ между родами искусства; но повѣсть во всѣхъ литературахъ теперь есть исключительный предметъ вниманія и дѣятельности всего, что пишетъ и читаетъ, нашъ дневной насущный хлѣбъ, наша настольная книга, которую мы читаемъ, смыкая глаза ночью, читаемъ, открывая ихъ по утру. Есть еще третій родъ поэзіи, который долженъ бы въ наше время раздѣлять владычество съ романомъ и повѣстью: это драма, хотя ея успѣхи и заслонены успѣхомъ романа и повѣсти. Вслѣдствіе этого всеобщаго направленія и въ нашей литературѣ господствующими родами поэзіи сдѣлались романъ и повѣсть, и сдѣлались, повторяю, не столько вслѣдствіе слѣпонаго подражанія или преобладанія какого-нибудь сильнаго дарованія, или, наконецъ, обольщенія слишкомъ необыкновеннымъ успѣхомъ какого-нибудь творенія, сколько вслѣдствіе общей потребности и господствующаго духа времени.

Въ чемъ же заключается причина этой общей потребности, этого господствующаго духа времени, которые всѣ виды литературы подвели подъ форму романовъ и повѣстей?

Поэзія двумя, такъ сказать, способами объемлетъ и воспроизводитъ явленія жизни. Эти способы противоположны одинъ другому, хотя ведутъ къ одной цѣли. Поэтъ или пересоздаетъ жизнь по собственному идеалу, зависящему отъ образа его воззрѣнія на вещи, отъ его отношенія къ міру, къ вѣку и народу, въ которомъ онъ живетъ, или воспроизводитъ ее во всей ея наготѣ и истинѣ, оставаясь вѣренъ всѣмъ подробностямъ, краскамъ и отбѣнкамъ ея дѣйствительности. Поэтомъ поэзію можно раздѣлить на два, такъ сказать, отдѣла—на идеальную и реальную. Объяснимся.

Поэзія всякаго народа, въ началѣ своемъ, бываетъ согласна съ жизнью, но въ раздорѣ съ дѣйствительностью, ибо у всякаго младенческаго народа, какъ и у младенчествующаго человѣка, жизнь всегда враждуетъ съ дѣйствительностью. Истина жизни недоступна ни для того, ни для другого; ея высокая простота и естественность непонятна для его ума, неудовлетворительна для его чувства. То, что для народа возмужалаго, какъ и для человѣка возмужалаго, кажется торжествомъ бытія и высочайшей поэзіей, для него было бы горькимъ, безотраднымъ разочарованіемъ, послѣ котораго уже не зачѣмъ и не для чего жить. Разоблаченная и обнаженная для своихъ ложныхъ красокъ, жизнь представилась бы ему сухой, скучной, вялой и бѣдной про-

зой, какъ будто бы истина и дѣйствительность несомнѣнны съ поэзіею; какъ будто бы солнце менѣе великолѣпно и лучезарно, когда оно только простой и темный шаръ, а не торжественная колесница Феба; какъ будто бы лазурный куполъ неба менѣе прекрасенъ, когда онъ уже не звѣздный Олимпъ, жилище боговъ безсмертныхъ, а ограниченное нашимъ зрѣніемъ безпредѣльное пространство, вмѣщающее въ себя міриады міровъ; какъ будто бы, наконецъ, земля, жилище человѣка, менѣе дивна, когда она лежитъ не на раменахъ Атланта, а держится и движется въ воздушномъ океанѣ, не поддерживаемая ничьей рукой, повинующаяся одному простому закону тяготѣнія!.. Такимъ-то образомъ первобытное человечество, въ лицѣ грека, во всей полнотѣ киничныхъ силъ, во всемъ разгарѣ свѣжаго, живого чувства и юнаго, цвѣтущаго воображенія, объясняло явленія физическаго міра явленіемъ высшихъ, таинственныхъ силъ. Такимъ же образомъ объясняло оно и явленія нравственнаго міра, подчинивъ ихъ вліянію какой-то грозной и неотразимой силы, которую оно назвало Судьбою. Для грека не было законовъ природы, не было свободной воли человѣческой. И вотъ почему все входящее въ кругъ обыкновенной жизни, все объясняющееся простой причиною, почиталъ онъ недостойнымъ поэзіи, униженіемъ искусства, словомъ, низкой природой — выраженіе такъ глупо понятое, такъ нехѣло принятое французами XVIII столѣтія. Для него не существовало человѣка съ свободной волей, его страстями, чувствами и мыслями, страданіями и радостями, желаніями и лишеніями, ибо онъ еще не созналъ своей индивидуальности, ибо его я исчезало въ я его народа, идея котораго трепещетъ и дышитъ въ его поэтическихъ созданіяхъ. Его лирическія пѣсни не носятъ на себѣ отпечатка воззрѣнія на міръ, слѣдовъ стремленія допытаться его тайны, въ нихъ нѣтъ унылой думы, грустной мечтательности: это просто или торжественный гимнъ благодарности, или пламенный дионисійскій гимнъ радости, выраженіе безсознательной *гары*, ибо онъ смотрѣлъ на природу взоромъ любовника, а не мыслителя, любить ее, а не изслѣдовать, и вполне былъ доволенъ и очарованъ ею. При взглядѣ на нее, не вопросы, а восторгъ тѣснился въ его душу, и онъ изливалъ этотъ восторгъ или въ благодарственный гимнъ, или бѣшеное дионисійское, или торжественное одѣ. Это его лиризмъ; теперь посмотримъ на его эпосъ и драму. Что ему жизнь и судьба какого-нибудь частнаго человѣка — этотъ романъ, такъ простой и такъ обыкновенный? Давайте ему царя, полубога, героя! Что ему картина частной жизни, съ ея заботами и хлопотами, съ ея выскоками и смѣшинами, съ ея горемъ и радостью, любовью и ненавистью — эта повѣсть, такъ ме-

лочно-подробная, такъ суетно-ничтожная. Разверните передъ нимъ картину борьбы народа съ народомъ, представьте ему зрѣлище боевъ и кровопролитій, въ которыхъ принимаютъ участіе сами небожители и которые оканчиваются по изволу и замыслу судьбы самовластной? Романъ и повѣсть для него пошлы — дайте ему поэмѣ, поэмѣ огромную, величественную, полную чудесъ, поэмѣ, въ которой бы отражалась и видѣлась вся жизнь его, со всѣми отблесками, какъ отражается и видѣется въ чистомъ, спокойномъ зеркалѣ безбрежнаго океана лазурное небо съ своими облаками, — дайте ему «Иліаду»... Но проходить вѣкъ чудесъ, волей и неволей народъ сближается съ дѣйствительной жизнью и въѣсто поэмы требуетъ драмы. Но онъ и тутъ не измѣняетъ себѣ: онъ только отдалился отъ прошедшаго, но онъ не забылъ его, не охладѣлъ къ нему, не развылся съ нимъ. Онъ уже начинаетъ приглядываться къ жизни, но, недовольный ею, не ее хочетъ перенести въ поэзію, но поэзію хочетъ перенести въ нее. Оставляя настоящее, онъ въ прошедшемъ ищетъ элементовъ для своей драмы; и потому его драма не наша, не шекспировская драма, представительница жизни дѣйствительной, борьбы страстей съ волей человѣка — нѣтъ, это родъ таинственнаго, религіознаго обряда, мрачная мистерія, жрица и пророчица Судьбы, — словомъ, это трагедія, трагедія высокая и благородная, въ царственномъ, героическомъ величіи, трагедія подъ маской и на котурнѣ. Ея герои должны быть царь, полубогъ, герой, съ вѣяномъ, вѣнкомъ или шлемомъ на головѣ, скипетромъ, мечомъ или шитомъ въ рукѣ, въ длинной, волнующейся мантии; ея содержаніемъ долженъ быть жребій цѣлаго поколѣнія царей, полубоговъ или героевъ, тѣсно связанный съ судьбой какого-нибудь народа или какого-нибудь великаго событія, ибо участь простолюдина и подробности частной жизни оскорбили бы ея царственное величіе, назвали бы ея религіозный характеръ, ибо народъ хотѣлъ видѣть на сценѣ себя, свою жизнь, а не человѣка, не его жизнь. Для своей драмы, точно такъ же, какъ и для своей поэмы, выбираетъ онъ изъ жизни одно высокое, благородное и выбрасываетъ все обыкновенное, повседневное, домашнее, ибо его жизнь на площади, на полѣ брани, во храмѣ, въ судилищѣ, и тамъ его поэзія, а не въ домашнемъ кругу; персонажи его трагедій должны говорить языкомъ высокимъ, облагороженнымъ, поэтическимъ, ибо они цари, полубоги, герои; его хоръ долженъ выражаться языкомъ таинственнымъ, мрачнымъ и вмѣстѣ торжественнымъ, ибо онъ есть органъ, истолкователь воли ужаснаго Рока.

Такое бываетъ характеръ поэзіи первобытныхъ народовъ, такова была поэзія грековъ.

Но младенчество не вѣчно для человѣка, не вѣчно для народа, не вѣчно для человѣчества; за нимъ слѣдуетъ юность. потомъ возмужалость, а тамъ и старость. Поэзія также имѣетъ свои возрасты, которые всегда параллельны возрастамъ народа. Вѣкъ поэзіи идеальной оканчивается младенческимъ и юношескимъ возрастомъ народа, и тогда искусство должно или переимѣнить свой характеръ, или умереть. Съ искусствомъ человѣчества нашего, новѣйшаго, случилось, какъ увидимъ ниже, первое; съ искусствомъ человѣчества древняго случилось послѣднее, ибо народу, котораго поэзія вначалѣ была идеальная, вслѣдствіе его идеальной жизни, невозможно перейти къ поэзіи реальной. Упрямо, на зло природѣ, держится онъ прошедшаго и въ духѣ, и въ формахъ, и опытный мужъ, невозвратно утратившій вѣру въ чудесное, освоившійся съ опытомъ жизни, силится придать своимъ поэтическимъ созданіямъ колоритъ идеальный. Но такъ какъ у него поэзія не въ ладу съ жизнью, чего никогда не должно быть, то удивительно ли, что онъ становится на ходули за малостью роста, румянится за неизмѣнимъ природнаго цвѣта юности, надувается за недостаткомъ голоса; что его чудесное переходитъ въ холодную аллегорію, героизмъ въ донкихотство? Такова была поэзія греческая, когда, кончивъ свой кругъ, блѣдной тѣнью промелькнула въ Александрію. Но чаще всего это случается съ народами, у которыхъ поэзія развилась не изъ жизни, а явилась вслѣдствіе подражательности: она всегда бываетъ пародіей на свой образецъ; ея величіе, благородство и идеальность похожи на паяца, въ мишурной порфирѣ и бумажной коронѣ, важно расхаживающаго надъ входомъ въ балаганъ. Такова была литература латинская и французская классическая (преимущественно драматическая). Мнимое благородство и возвышенность французской классической трагедіи были не что иное, какъ мѣщанство во дворянствѣ, лакей во фракѣ барина, ворона въ павлиньихъ перьяхъ, обезьянское передразниваніе грековъ, ибо оно не согласовалось съ жизнью. Но всего разительнѣе видно это въ поэмахъ. «Иліада» была создана народомъ, и въ ней отражалась жизнь эллиновъ, она была для нихъ священной книгой, источникомъ религіи и нравственности, — и эта «Иліада» безсмертна. Но скажите, Бога ради, что такое эти «Энеиды», эти «Освобожденные Іерусалимы», «Потерянные Рая» «Мессіады»? Не суть ли это заблужденія талантовъ, болѣе или менѣе могущественныхъ, попытки ума, болѣе или менѣе успѣвшія привести въ заблужденіе своихъ почитателей? Кто ихъ читаетъ, кто ими восхищается теперь? Не похожи ли они на старыхъ служивыхъ, которыми отдають почтеніе не за заслуги, не за

подвиги, а за старость лѣтъ? Не принадлежать ли они къ числу тѣхъ предразсудковъ, созданныхъ воображеніемъ, которые народъ уважаетъ, когда имъ вѣрить, и которые онъ шадитъ, когда уже имъ не вѣрить, шадитъ или за ихъ древность, или по привычкѣ, или по лѣности и неизмѣннѣ свободного времени, чтобы разомъ разсмотрѣть ихъ окончательно и расшибить въ прахъ?.. Но это вопросъ посторонній: обращаюсь къ дѣлу.

Младенчество древняго міра кончилось; вѣра въ боговъ и чудесное умерла; духъ героизма исчезъ; насталъ вѣкъ жизни дѣйствительной, и тщетно поэзія становилась на подмостки: въ ней уже не было этого высокаго простодушія, этого простого, благороднаго, спокойнаго и гигантскаго величія, причина которыхъ заключалась прежде въ гармоніи искусства съ жизнью, въ поэтической истинѣ. Міръ преобразился крестомъ, а обновленное и одухотворенное человѣчество пошло другой дорогой. Родилась идея человѣка, существа индивидуальнаго, отдѣльнаго отъ народа любознательнаго безъ отношенія, въ самомъ себѣ. Унылая пѣснь трубадура, въ которой изливалось горе любви, жалоба тоскующей поселянки или заключенной принцессы, пѣснь торжества и побѣды, повѣсть любви, мщенія, подвига чести, — все это получило отзывъ... Поэма превратилась въ романъ. Правда, этотъ романъ былъ рыцарскій, мечтательный, смѣсь бывалаго съ небывалымъ, возможнаго съ невозможнымъ, но уже и не поэма, и въ немъ зрѣли сѣмена настоящаго романа. Наконецъ, въ XVI вѣкѣ, совершилась окончательная реформа въ искусствѣ: Сервантесъ убилъ своимъ несравненнымъ «Донъ-Кихотомъ» ложно идеальное направленіе поэзіи, а Шекспиръ навсегда помирилъ и сочеталъ ее съ дѣйствительной жизнью. Своимъ безграничнымъ и мірообъемлющимъ взоромъ проникъ онъ въ недоступное святилище природы человѣческой и истинны жизни. подсмотрѣлъ и уловилъ таинственныя біенія ихъ сокровеннаго пульса. Безсознательный поэтъ-мыслитель, онъ воспроизводилъ, въ своихъ гигантскихъ созданіяхъ, нравственную природу, сообразно съ ея вѣчными, неизблѣмыми законами, сообразно съ ея первоначальнымъ планомъ, какъ будто бы онъ самъ участвовалъ въ составленіи этихъ законовъ, въ начертаніи этого плана. Новый Протей, онъ умѣлъ вдыхать душу живую въ мертвую дѣйствительность; глубокой анализъ, онъ умѣлъ въ самыхъ повидному ничтожныхъ обстоятельствахъ жизни и дѣйствійхъ воли человѣка находить ключъ къ разрѣшенію высочайшихъ психологическихъ явленій его нравственной природы. Онъ никогда не прибѣгаетъ ни къ какимъ пружинамъ или подставкамъ въ ходѣ своихъ драмъ; ихъ содержаніе развивается у него свободно, естественно, изъ самой своей

сущности, по непреложнымъ законамъ необходимости. Истина, высочайшая истина—вотъ отличительный характеръ его созданій. У него нѣтъ идеаловъ, въ общепринятомъ смыслѣ этого слова; его люди—настоящіе люди, какъ они есть, какъ должны быть. Каждая его драма есть символъ, отдѣльная часть міра, сосредоточенная фокусомъ фантазіи въ тѣсныхъ рамкахъ художественнаго произведенія и представленная какъ бы въ миниатюрѣ. У него нѣтъ симпатій, нѣтъ привычекъ, склонностей, нѣтъ любимыхъ мыслителей, любимыхъ типовъ: онъ безстрастенъ, какъ

Думный дьякъ, въ приказахъ посѣдлый,
который

Спокойно зрѣть на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно.

Онъ былъ яркой зарей и торжественнымъ разсвѣтомъ эры новаго истиннаго искусства. и онъ нашелъ себѣ отзывъ въ поэтахъ новѣйшаго времени, которые возвратили искусству его достоинство, униженное, поруганное французскими классиками. Еще въ концѣ XVIII вѣка, въ лицѣ Гёте и Шиллера—двухъ великихъ гениевъ, начавшихъ свое поприще изученіемъ Шекспира,—они пошли по его слѣдамъ. Въ началѣ XIX вѣка явился новый великій гений, проникнутый его духомъ, который докончилъ соединеніе искусства съ жизнью, взявъ въ посредники исторію. Вальтеръ Скоттъ въ этомъ отношеніи былъ вторымъ Шекспиромъ, былъ главой великой школы, которая теперь становится всеобщей и всемірной. И кто знаетъ? можетъ быть нѣкогда исторія сдѣлается художественнымъ произведеніемъ и смѣнитъ романъ такъ, какъ романъ смѣнилъ эпопею... Развѣ уже и теперь не всѣ убѣждены, что Божіе твореніе выше всякаго человѣческаго, что оно есть самая дивная поэма, какую только можно вообразить, и что высочайшая поэзія состоитъ не въ томъ, чтобы украшать его, но въ томъ, чтобы воспроизводить его въ совершенной истинѣ и вѣрности?..

И такъ, вотъ другая сторона поэзіи, вотъ поэзія реальная, поэзія жизни, поэзія дѣйствительности, наконецъ, истинная и настоящая поэзія нашего времени. Ея отличительный характеръ состоитъ въ вѣрности дѣйствительности; она не пересоздаетъ жизнь, но воспроизводитъ, возсоздаетъ ее и, какъ выпуклое стекло, отражаетъ въ себѣ, подъ одной точкой зрѣнія, разнообразныя ея явленія, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя нужны для составленія полной, оживленной и единой картины. Объемомъ и границами содержимаго этой картины должны опредѣляться великость и гениальность поэтическаго созданія. Чтобы докончить характеристику того, что я называю «реальной поэзіей», прибавлю, что вѣч-

ный герой, неизмѣнный предметъ ея вдохновеній, есть человѣкъ, существо самостоятельное, свободно дѣйствующее, индивидуальное, символъ міра, конечное его проявленіе, любопытная загадка для самого себя, окончательный вопросъ собственнаго ума, послѣдняя загадка своего любознательнаго стремленія... Разгадкой этой загадки, отвѣтомъ на этотъ вопросъ, рѣшеніемъ этой задачи—должно быть полное сознаніе, которое есть тайна, цѣль и причина его бытія!..

Удивительно ли послѣ этого, что въ наше время преимущественно развилось это реальное направленіе поэзіи, это тѣсное сочетаніе искусства съ жизнью? Удивительно ли, что отличительный характеръ новѣйшихъ произведеній вообще состоитъ въ безошибочной откровенности, что въ нихъ жизнь является какъ бы на позоръ, во всей наготѣ, во всемъ ея ужасающемъ безобразіи и во всей ея торжественной красотѣ; что въ нихъ какъ будто вскрываютъ ее анатомическимъ ножомъ? Мы требуемъ не идеала жизни, но самой жизни, какъ она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотимъ ее украшать, но думаемъ, что въ поэтическомъ представленіи она равно прекрасна въ томъ и другомъ случаѣ, и потому именно, что истинна, и что гдѣ истина, тамъ и поэзія.

И такъ, въ наше время невозможна идеальная поэзія? Нѣтъ, именно въ наше-то время и возможна она, и нашему времени представлено развитіе ее, только не въ томъ смыслѣ, какъ у древнихъ. У нихъ поэзія была идеальной, вслѣдствіе ихъ идеальной жизни; у насъ она существуетъ вслѣдствіе духа нашего времени. Говоря о поэзіи реальной, я упоминалъ только объ эпопее и драмѣ и ничего не сказалъ о лиризмѣ. Чѣмъ отличается лиризмъ нашего времени отъ лиризма древнихъ? У нихъ, какъ я уже сказалъ, это было безотчетное изліяніе восторга, происходившаго отъ полноты и избытка внутренней жизни, пробуждавшагося при сознаніи своего бытія и воззрѣнія на внѣшній міръ, и выражавшагося въ молитвѣ и пѣснѣ. Для насъ внѣшняя природа, безъ отношеній къ идеѣ всеобщей жизни, не имѣетъ никакого смысла, никакого значенія, мы не столько наслаждаемся ею, сколько стремимся постигнуть ее; для насъ наша жизнь, сознаніе нашего бытія есть болѣе задача, которую мы ищемъ рѣшить, нежели даръ, которымъ бы мы слѣдовали пользоваться. Мы приглядѣлись къ ней, мы свыклись съ нимъ; для насъ жизнь уже не веселое пиршество, не празднественное ликование, но поприще труда, борьбы, лишеній и страданій. Отсюда пронстаетъ эта тоска, эта грусть, эта задумчивость и выѣстъ съ нами эта мыслительность, которыми проникнутъ нашъ лиризмъ. Лирический поэтъ нашего вре-

мѣни болѣе груститъ и жалуется, нежели восхищается и радуется, болѣе спрашиваетъ и изслѣдуетъ, нежели безотчетно восклицаетъ. Его пѣснь—жалоба, его ода—вопросъ. Если его пѣснь обращена на внѣшнюю природу, онъ не удивляется ей: не хвалитъ ея, а ищетъ въ ней попытаться тайны своего бытія, своего назначенія, своихъ страданій. Для всего этого ему кажутся тѣсны рамы древней оды, и онъ переноситъ свой лиризмъ въ эпопею и въ драму. Въ такомъ случаѣ у него естественность, гармонія съ законами дѣйствительности—дѣло постороннее; въ такомъ случаѣ онъ какъ бы заранее условливается, договаривается съ читателемъ, чтобы тотъ вѣрилъ ему на слово и искалъ въ его созданіи не жизни, а мысли. Мы—вотъ предметъ его вдохновенія. Какъ въ оперѣ для музыки пишутся слова и придумывается сюжетъ, такъ онъ создаетъ, по волѣ своей фантазіи, форму для своей мысли. Въ этомъ случаѣ его поприще безгранично; ему открытъ весь дѣйствительный и воображаемый міръ, все роскошное царство вымысла, и прошедшее и настоящее, и исторія и басня и преданіе, и народное суевѣріе и вѣрованіе, земля и небо и адъ! Безъ всякаго сомнѣнія и тутъ есть своя логика, своя поэтическая истина, свои законы возможности и необходимости, которымъ онъ остается вѣренъ, но только дѣло въ томъ, что онъ же самъ и творитъ себѣ эти условія. Эта новѣйшая идеальная поэзія ведетъ свое начало отъ древней, ибо у нея заняла благородство, величіе и поэтичный, возвышенный языкъ, столь противоположный обыкновенному, разговорному, и уклончивость отъ всего мелочного и житейскаго. Чтобы не говорить много, скажу, что къ созданіямъ такого рода принадлежатъ, наприкладъ: «Фаустъ» Гёте, «Манфредъ» Байрона, «Дядя» Мицкевича, «Лалла-Рукъ» Томаса Мура, фантастическія видѣнія Жанъ-Поля, подражанія Гёте и Шиллера древнимъ («Ифигенія», «Мессинская Невѣста») и пр. Теперь думаю, что я довольно удовлетворительно объяснилъ различіе между тѣмъ, что я называю «идеальной» и «реальной» поэзіей.

Впрочемъ есть точки соприкосновенія, въ которыхъ сходятся и сливаются эти два элемента поэзіи. Сюда должно отнести, во-первыхъ, поэмы Байрона, Пушкина, Мицкевича,—эти поэмы, въ которыхъ жизнь человѣческая представляется, сколько возможно, въ истинѣ, но только въ самыя торжественнѣйшія свои проявленія, въ самыя лирическія свои минуты; потомъ,—всѣ эти юныя, незрѣлыя, но кипящія избыткомъ силы, произведенія, которыхъ предметъ есть жизнь дѣйствительная, но въ которыхъ эта жизнь какъ бы пересоздается и преобразуется или вслѣдствіе какой-нибудь любимой, душевной мысли, или одно-

сторонняго, хотя и могучаго, таланта, или, наконецъ, отъ избытка пылкости, не дающей автору глубже и основательнѣе вникнуть въ жизнь и постичь ее такъ, какъ она есть, во всей ея истинѣ. Таковы «Разбойники» Шиллера—этотъ пламенный, дикій дионрамбъ, подобно лавѣ исторгнувшійся изъ глубины юной, энергической души,—гдѣ событіе, характеры и положенія какъ будто придуманы для выраженія идей и чувствъ, такъ сильно волновавшихъ автора, что для нихъ были бы слишкомъ тѣсны формы лиризма. Нѣкоторые находятъ въ первыхъ драматическихъ произведеніяхъ Шиллера много фразъ; наприкладъ, говорятъ они, изъ всего огромнаго монолога К. Моора, когда онъ объявляетъ разбойникамъ о своемъ отцѣ, человѣкъ въ подобномъ положеніи могъ бы сказать развѣ какихъ-нибудь два-три слова. По моему, такъ онъ не сказалъ бы ни слова, а развѣ только показалъ бы безмолвно рукой на своего отца, и однакожъ у Шиллера Мооръ говоритъ много, и однакожъ въ его словахъ нѣтъ и тѣни фразеологій. Дѣло въ томъ, что здѣсь говоритъ не персонажъ, а авторъ; что въ цѣломъ этомъ созданіи нѣтъ истины жизни, но есть истина чувства; нѣтъ дѣйствительности, нѣтъ драмы, но есть бездна поэзіи; ложны положенія, неестественны ситуаціи, но вѣрно чувство, но глубока мысль; словомъ, дѣло въ томъ, что на «Разбойниковъ» Шиллера должно смотрѣть не какъ на драму, представительницу жизни, но какъ на лирическую поэму въ формѣ драмы, поэму огненную, кипучую. На монологъ Карла Моора должно смотрѣть не какъ на естественное, обыкновенное выраженіе чувствъ персонажа, находящагося въ извѣстномъ положеніи, но какъ на оду, которой смыслъ или предметъ есть выраженіе негодованія противъ изверговъ-дѣтей, попирающихъ святость сыновняго долга. Вслѣдствіе такого взгляда, мнѣ кажется, должны исчезнуть всѣ фразы въ этомъ произведеніи Шиллера и уступить мѣсто истинной поэзіи.

Вообще можно сказать, что почти всѣ драмы Шиллера, больше или меньше, таковы (исключая «Марію Стюартъ» и «Вильгельма Телля»), ибо Шиллеръ былъ не столько великій драматургъ въ частности, сколько великій поэтъ вообще. Драма должна быть въ высочайшей степени спокойнымъ и безпристрастнымъ зеркаломъ дѣйствительности, и личность автора должна исчезать въ ней, ибо она есть по преимуществу поэзія реальная. Но Шиллеръ даже въ своемъ «Валленштейнѣ» выказывается, и только въ «Вильгельмѣ Теллѣ» является истиннымъ драматикомъ. Но не обвиняйте его въ недостаткѣ генія или въ односторонности; есть умы, есть характеры, столь оригинальные и чудные, столь несохожіе на остальную часть людей, что кажутся

чуждыми этому міру, и зато міръ имъ кажется чуждъ, и, недовольные имъ, они творятъ себѣ свой собственный міръ и живутъ только въ немъ: Шиллеръ былъ изъ числа такихъ людей. Покоряясь духу времени, онъ хотѣлъ быть реальнымъ въ своихъ созданіяхъ, но идеальность оставалась преобладающимъ характеромъ его поэзій влѣдствіе влеченія его гения.

И такъ, поэзію можно раздѣлить на идеальную и реальную. Трудно было бы рѣшить, которой изъ нихъ должно отдать преимущество. Можетъ быть каждая изъ нихъ равна другой, когда удовлетворяетъ условіямъ творчества, т.-е. когда идеальная гармонируется съ чувствомъ, а реальная съ истиной представляемой ею жизни. Но кажется, что послѣдняя, родившаяся влѣдствіе духа нашего положительнаго времени, болѣе удовлетворяетъ его господствующей потребности. Впрочемъ здѣсь много значить и индивидуальность вкуса. Но какъ бы то ни было, въ наше время та и другая равно возможны, равно доступны и понятны всѣмъ; но со всѣмъ этимъ послѣдняя есть по преимуществу поэзія нашего времени, болѣе понятная и доступная для всѣхъ и каждого, болѣе согласная съ духомъ и потребностью нашего времени. Теперь «Мессинская Певица» и «Жанна д'Аркъ» Шиллера найдутъ сочувствіе и отзывъ: но задушевными, любимыми созданіями времени всегда останутся тѣ, въ которыхъ жизнь и дѣйствительность отражаются вѣрно и истинно.

Не знаю, почему въ наше время драма не оказываетъ такихъ большихъ успѣховъ, какъ романъ и повѣсть. Ужъ не потому ли, что она непременно требуетъ Гёте, Шиллеровъ, если не Шекспировъ, на произведеніи которыхъ природа особенно скупа, или потому, что драматическіе таланты вообще особенно рѣдки? Не умѣю рѣшить этого вопроса. Можетъ быть романъ удобнѣе для поэтическаго представленія жизни. И въ самомъ дѣлѣ, его объемъ, его рамы до безконечности неопредѣленны; онъ менѣе гордъ, менѣе прихотливъ, нежели драма, ибо, плѣняя не столько частями и отрывками, сколько цѣлымъ, допускаетъ въ себя и такія подробности, такія мелочи, которыя при всей своей кажущейся ничтожности, если на нихъ смотрѣть отдѣльно, имѣютъ глубокой смыслъ и бездну поэзій въ связи съ цѣлымъ, въ общности сочиненія, тогда какъ тѣсныя рамки драмы, прямо или косвенно, больше или меньше, но всегда покоряющейся сценическимъ условіямъ, требуютъ особенной быстроты и живости въ ходѣ дѣйствія и не могутъ допускать въ себя большихъ подробностей, ибо драма, преимущественно передъ всѣми родами поэзій, представляетъ жизнь человѣческую въ ея высшемъ и торжественнѣйшемъ проявленіи. И такъ, форма и усло-

вія романа удобнѣе для поэтическаго представленія человѣка, разсматриваемаго въ отношеніи къ общественной жизни, и вотъ, мнѣ кажется, тайна его необыкновеннаго успѣха, его безусловнаго владычества.

Но повѣсть?—ея значеніе, тайна ея владычества, теперь деспотическаго, своенравнаго, не терпящаго соперничества? Чтѣ такое и для чего эта повѣсть, безъ которой книжка журнала есть то же, чтѣ были бы человѣкъ въ обществѣ безъ сапога и галстука,—эта повѣсть, которую теперь всѣ пишутъ и всѣ читаютъ, которая воцарилась и въ будуарѣ свѣтской женщины, и на письменномъ столѣ записнаго ученаго, наконецъ—эта повѣсть, которая какъ будто вытѣснила самый романъ?.. Когда-то и гдѣ-то было прекрасно сказано, что «повѣсть есть эпизодъ изъ безпредѣльной поэмы судебъ человѣческихъ». Это очень вѣрно; да, повѣсть — распадавшійся на части, на тысячи частей, романъ; — глава, вырванная изъ романа. Мы — люди дѣловые, мы безпрестанно суетимся, хлопочемъ, мы дорожимъ временемъ, намъ некогда читать большихъ и длинныхъ книгъ,—словомъ, намъ нужна повѣсть. Жизнь наша современная слишкомъ разнообразна, многосложна, дробна: мы хотимъ, чтобы она отражалась въ поэзіи, какъ въ граненомъ, угловатомъ хрусталѣ, миллионы разъ повторенная во всѣхъ возможныхъ образахъ, и требуемъ повѣсти. Есть событія, есть случаи, которыхъ, такъ сказать, не хватило бы на драму, не стало бы на романъ, но которые глубоки, которые въ одномъ мгновеніи сосредоточиваютъ столько жизни, сколько не изжить ее и въ вѣка; повѣсть ловитъ ихъ и заключаетъ въ свои тѣсныя рамки. Ея форма можетъ вмѣстить въ себѣ все, чтѣ хотите, — и легкій очеркъ нравовъ, и колкую, саркастическую насмѣшку надъ человѣкомъ и обществомъ, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей. Краткая и быстрая, легкая и глубокая вмѣстѣ, она передается съ предмета на предметъ, дробитъ жизнь по мелочи и вырываетъ листки изъ великой книги этой жизни. Соедините эти листки подъ одинъ переплетъ, и какая обширная книга, какой огромный романъ, какая многосложная поэма составила бы изъ нихъ! Чтѣ въ сравненіи съ нею наша безконечная «Тысяча и одна ночь» или обильная эпизодами «Магабгарата» и «Рамайяна»? Какъ бы хорошо шло къ этой книгѣ заглавіе: «Человѣкъ и Жизнь»!..

Въ русской литературѣ повѣсть еще гостя, но гостя, которая, подобно ежу, вытѣсняетъ давнишнихъ и настоящихъ хозяевъ изъ ихъ законнаго жилища. Я уже говорилъ въ началѣ моей статьи, и теперь повторяю, что романъ и повѣсть суть единственные роды, которые появились въ нашей литературѣ не столь-

ко по духу подражательности, сколько вслѣдствіе потребности. Думаю, что предыдущее разсужденіе содержитъ въ себѣ довольно удовлетворительное объясненіе причины ея появленія и успѣховъ. Теперь бросимъ взглядъ на ея ходъ въ нашей литературѣ.

Повѣсть наша началась недавно, очень недавно, а именно съ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. До того же времени она была чужеземнымъ растеніемъ, перевезеннымъ изъ за моря по прихоти и модѣ и насильственно пересаженнымъ на родную почву. Можетъ быть поэтому она и не принялась. Карамзинъ первый, впрочемъ съ помощью Макарова, призвалъ эту гостью, набѣлennую, парумяненную, какъ русская купчиха, плаксивую и слезливую, какъ избалованное дитя-недотрога, высокопарную и надутую, какъ классическая трагедія, скучно-поучительную и притворно-нравственную, какъ лицемѣрная богомолка, воспитанницу мадамъ Жанлисъ, крестницу добренькаго Флоріана. Къ такому роду повѣстей принадлежатъ всѣ повѣсти, писавшіяся до двадцатыхъ годовъ, да ихъ къ счастью и немного было написано: «Марына Роща» Жуковского, нѣсколько повѣстей покойнаго В. Измайлова и... право не помню, какія еще.

Въ двадцатыхъ годахъ обнаружилились первыя попытки создать истинную повѣсть. Это было время всеобщей литературной реформы, явившейся вслѣдствіе начинавшагося знакомства съ нѣмецкой, англійской и новой французской литературами и съ здоровыми понятіями о законахъ творчества. Если повѣсть не оказала тогда настоящихъ успѣховъ, по крайней мѣрѣ обратила на себя всеобщее вниманіе по своей новостности и небывалости. Что бы не говорить много, скажу, что Марлинскій былъ первымъ нашимъ повѣствователемъ, былъ творцомъ или, лучше сказать, зачинщикомъ русской повѣсти.

Я уже имѣлъ случай высказать мое мнѣніе объ этомъ писателѣ, и такъ какъ потомъ, по собственному размышленію и по соображенію съ общимъ мнѣніемъ, не только не имѣлъ причинъ отказаться отъ него, но еще болѣе утвердился въ немъ, то теперь повторю уже сказанное мною прежде. Марлинскій владѣетъ неотъемлемымъ и замѣтнымъ талантомъ, талантомъ разсказа, живого, остроумнаго, занимательнаго; но онъ не измѣрилъ своихъ силъ, не созналъ своего направленія, и потому, доказавши, что имѣетъ талантъ, не сдѣлалъ почти ничего. Въ художественной дѣятельности есть своя добросовѣстность, и многіе авторы пришли бы въ большое замѣшательство, если бы попросили ихъ разсказать исторію своихъ сочиненій, то есть: побужденія, вслѣдствіе которыхъ они написаны, обстоятельства, сопровождавшія ихъ появленіе на свѣтъ, а болѣе всего душевное, психическое состояніе автора въ то время,

когда онъ писалъ. Вдохновеніе есть страдательное, можно сказать, болѣзненное состояніе души, и его симптомы теперь хорошо всѣмъ извѣстны. Человѣкъ въ горячкѣ, безъ труда, безъ успій и безъ вреда себѣ, поднимаетъ ужасныя тягости: это называется у медиковъ энергіей или напряженнымъ состояніемъ жизненной дѣятельности. Человѣкъ здоровый можетъ возбудить въ себѣ насильственно до нѣкоторой степени эту энергію, да быда въ томъ, что она должна дорого обойтись ему. Вдохновеніе въ этомъ смыслѣ есть энергія души, возбужденная не волей человѣка, но какимъ-то независимымъ отъ него вліяніемъ, и поэтому оно непринужденно и свободно. Есть еще другого рода вдохновеніе, — вдохновеніе, усиленное волей, желаніемъ, цѣлью, расчетомъ, какъ будто пріемомъ опія. Плоды этого вдохновенія иногда блестящи на видъ, но ихъ блескъ есть блескъ фольги, а не золота, блескъ, тускнѣющій отъ времени. Правда, въ комъ нѣтъ таланта, тому нельзя придать даже и въ напряженный восторгъ, ибо напрягать можно что-нибудь существующее, положительное, хотя и слабое; напрягать или натягивать чувство, фантазію, — словомъ, талантъ можетъ только тотъ, кто хотя въ нѣкоторой степени владѣетъ всѣмъ этимъ, и Марлинскій точно владѣетъ всѣмъ этимъ въ нѣкоторой степени, и усиленіемъ возбуждаетъ все это до высшей степени. Между множествомъ натяжекъ въ его сочиненіяхъ есть красоты истинныя, неподдѣльныя; но кому пріятно заниматься химическимъ анализомъ, вмѣсто того, чтобы наслаждаться поэтическимъ синтезомъ, и, сверхъ того, кто можетъ довѣрчиво любоваться и истинной красотой, если и найдеть такую, когда замѣтитъ множество поддѣльныхъ?.. Но это частности; что же касается до общности, цѣлости произведеній Марлинскаго, то объ нихъ еще менѣе можно сказать въ его пользу. Это не реальная поэзія—ибо въ нихъ нѣтъ истинны жизни, нѣтъ дѣйствительности,—такой, какъ она есть, ибо въ нихъ все придумано, все разсчитано по разсчетамъ вѣроятностей, какъ это бываетъ при дѣланіи или сочиненіи машинъ; ибо въ нихъ видны нитки, которыми сметано ихъ дѣйствіе, видны блоки и веревки, которыми приводится въ движеніе ходъ этого дѣйствія: словомъ—это внутренность театра, въ которомъ искусственное освѣщеніе борется съ дневнымъ свѣтомъ и побѣждается имъ. Это не идеальная поэзія—ибо въ нихъ нѣтъ глубокости мысли, пламени чувства, нѣтъ лиризма, а если и есть всего этого понемногу, то напряженное и преувеличенное насильственнымъ усиленіемъ, что доказывается даже самой чересчуръ цвѣтистой фразеологіей, которая никогда не бываетъ слѣдствіемъ глубокаго, страдательнаго и энергическаго чувства.

Марлинскій началъ свое поприще съ повѣстей русскихъ, народныхъ, т.-е. такихъ, содержаніе которыхъ берется изъ міра русской жизни. Какъ опытъ, какъ попытка, онѣ были прекрасны и въ свое время заслужили справедливое вниманіе; но, какъ произведенія не созданныя, а сдѣланныя, онѣ теперь утратили свою цѣну. Въ нихъ не было истины дѣйствительности, слѣдовательно не было и истины русской жизни. Народность ихъ состояла въ русскихъ именахъ, въ избѣжаніи явнаго нарушенія вѣрности событій и обычаевъ и въ поддѣлкѣ подъ ладъ русской рѣчи, въ поговоркахъ и пословицахъ, но не болѣе. Русскіе персонажи повѣстей Марлинскаго говорятъ и дѣйствуютъ какъ нѣмецкіе рыцари: ихъ языкъ риторическій, въ родѣ монологовъ классической трагедіи; и посмотрите съ этой стороны на «Бориса Годунова» Пушкина — то ли это?.. Но, несмотря на все это, повѣсти Марлинскаго, не прибавивши ничего къ суммѣ русской поэзіи, доставили много пользы русской литературѣ, были для нея большимъ шагомъ впередъ. Тогда въ нашей литературѣ было еще полное владычество XVIII вѣка, русскаго XVIII вѣка; тогда еще всѣ повѣсти и романы оканчивались счастливо; тогда нашу публику могли занять похождения какого-нибудь выходца изъ собачьей конуры, тысяча первой пародіи на Жилблаза, негодая, который съ молодости подличалъ, обманывалъ, вдавался самъ въ обманъ, обольщалъ женщинъ и самъ былъ ихъ игрушкой, а потомъ изъ негодая дѣлался вдругъ порядочнымъ человекомъ, влюблялся по расчету, женился счастливо и богато и, съ миллиономъ въ карманѣ, принимался проповѣдывать пошлую мораль о блаженствѣ подъ соломенной кровлей, у свѣтлаго источника, подъ тѣнью развѣсистой березы. Въ повѣстяхъ Марлинскаго была новѣйшая европейская мапера и характеръ; вездѣ былъ виденъ умъ, образованность, встречались отдѣльныя прекрасныя мысли, поразившія и своею новостью, и своею истиной: прибавьте къ этому его слогъ, оригинальный и блестящій въ самыхъ натяжкахъ, въ самой фразеологіи — и вы не будете болѣе удивляться его чрезвычайному успѣху.

Почти въ то самое время, какъ русская публика переходила съ изумленіемъ отъ новости къ новости, часто принимала новость за достоинство, равно удивлялась и Пушкину, и Марлинскому, и Булгарину, въ то самое время начали появляться разныя литературныя опыты кн. Одоевскаго. Эти опыты состояли большей частью изъ аллегорій и всѣ отличались какимъ-то необщимъ выраженіемъ своего характера. Основной элементъ ихъ составлялъ дидактизмъ, а характеръ — юморъ. Этотъ дидактизмъ проявлялся не въ сентенціяхъ, но былъ всегда какой-то *aggrè-re-pen-*

сее, идеей невидимой и вмѣстѣ съ тѣмъ осязаемой; этотъ юморъ состоялъ не въ веселомъ расположеніи, понуждающемъ человека добродушно и невинно подшучивать надъ всѣмъ, что ни попадется на глаза, но въ глубокомъ чувствѣ негодованія на человеческое ничтожество во всѣхъ его видахъ, въ затаенномъ и сосредоточенномъ чувствѣ ненависти, источникомъ которой была любовь. Поэтому аллегоріи князя Одоевскаго были исполнены жизни и поэзіи, несмотря на то, что самое слово «аллегорія» такъ противоположно слову «поэзія». Первою его повѣстью, помнится, былъ «Элладій»: жалю, что у меня теперь нѣтъ подѣ рукой этой повѣсти, а по прошлымъ впечатлѣніямъ судить боюсь! Не знаю, произвела ли она тогда какое-нибудь вліяніе на нашу публику, не знаю даже, была ли она замѣчена ею, но знаю, что въ свое время эта повѣсть была дивнымъ явленіемъ въ литературномъ смыслѣ; несмотря на всѣ недостатки, сопровождающіе всякое первое произведеніе, несмотря на растянутость по мѣстамъ, происшедшую отъ юности таланта, неумѣвшаго сосредоточивать и сжимать свои порывы, въ ней были мысль и чувство, были характеръ и фізіономія; въ ней въ первый разъ блеснули идеи нравственности XIX вѣка, новаго гостя на Руси: въ первый разъ была сдѣлана нападка на XVIII вѣкъ, слишкомъ загостившійся на святой Руси и получившій въ ней свой собственный, еще безобразнѣйшій характеръ. Впослѣдствіи князь Одоевскій, вслѣдствіе возмужалости и зрѣлости своего таланта, далъ другое направленіе своей художественной дѣятельности. Художникъ — эта дивная загадка — сдѣлался предметомъ его наблюденій и изученій, плоды которыхъ онъ представлялъ не въ теоретическихъ разсужденіяхъ, но въ живыхъ созданіяхъ фантазіи, ибо художникъ для него былъ столько же загадкой чувства, сколько и ума. Вышшія мгновенія жизни художника, разительнѣйшія проявленія его существованія, дивная и горестная судьба, были имъ схвачены съ удивительною вѣрностью и выражены въ глубокихъ поэтическихъ символахъ. Потомъ онъ оставилъ аллегорію и замѣнилъ ихъ чисто-поэтическими фантазіями, проникнутыми необыкновенной теплотой чувства, глубиной мысли и какой-то горькой и ѣдкой проницей. Поэтому не ищите въ его созданіяхъ поэтическаго представленія дѣйствительной жизни, не ищите въ его повѣстяхъ повѣсти, ибо повѣсть была для него не цѣлью, но, такъ сказать, средствомъ, не существенной формой, а удобной рамой. И не удивительно: въ наше время и самъ Ювеналъ писалъ бы не сатиры, а повѣсти, ибо если есть идеи времени, то есть и формы времени. Но объ этомъ я говорилъ выше; дѣло въ томъ, что князь Одоевскій — поэтъ міра идеальнаго,

а не дѣйствительнаго. Но вотъ что странно: есть нѣсколько фактовъ, которые не позволяютъ такъ рѣшительно ограничить поприще его художественной дѣятельности. Есть въ нашей литературѣ какой-то Безгласный и какой-то дѣдушка Ириней,—люди совѣтъ не идеальные,—люди, слишкомъ глубоко проникнувшіе въ жизнь дѣйствительную и вѣрно воспроизводящіе ее въ своихъ поэтическихъ очеркахъ: вы вѣрно не забыли курьезной исторіи о томъ, какъ у почтеннаго городничаго города Ржева завелась въ головѣ жаба, и какъ уѣздный дѣкаръ хотѣлъ ее вырѣзать, и не менѣе курьезной исторіи подъ названіемъ «Княжна Мими» — этихъ двухъ вѣрныхъ картинъ нашего разнокалибернаго общества? Знаете ли что? мнѣ кажется, будто эти люди пишутъ подъ вліяніемъ князя Одоевскаго, даже чуть ли не подъ его диктовку: такъ много у нихъ общаго съ нимъ и въ манерѣ, и въ колоритѣ, и во многомъ... Впрочемъ это одно предположеніе, котораго прошу не принимать за утвержденіе; можетъ быть я и ошибаюсь, подобно многимъ...

Слѣдуя хронологическому порядку, я долженъ теперь говорить о повѣстяхъ Погодина. Ни одна изъ нихъ не была исторической, но всѣ были народными или, лучше сказать, простонародными. Я говорю это не въ осужденіе ихъ автору и не въ шутку, а потому, что въ самомъ дѣлѣ міръ его поэзіи есть міръ простонародный, міръ купцовъ, мѣщанъ, мелкопомѣстнаго дворянства и мужиковъ, которыхъ онъ, надо сказать правду, изображаетъ очень удачно, очень вѣрно. Ему такъ хорошо извѣстны ихъ образъ мыслей и чувства, ихъ домашняя и общественная жизнь, ихъ обычаи, нравы и отношенія, и онъ изображаетъ ихъ съ особенной любовью и съ особеннымъ успѣхомъ. Его «Нипцій», такъ естественно, вѣрно и простоудушно рассказывающій о своей любви и своихъ страданіяхъ, можетъ служить типомъ благородно чувствующаго простоудина. Въ «Черной Немочи» бытъ нашего средняго сословія, съ его полу-дикимъ, полу-человѣческимъ образованіемъ, со всѣми его отгѣнками и родимыми пятнами, изображенъ кистью мастерской. Этотъ купецъ, который такъ крѣпко держитъ въ ежовыхъ рукавицахъ и жену, и сына, который, при милліонахъ, живетъ, какъ мужикъ, который чванится своимъ богатствомъ, какъ глупый баринъ своимъ дворянствомъ, который, по прочтеніи реестра приданаго, говоритъ, что «Божьяго-то благословенія маловато», который, наконецъ, убиваетъ родного сына изъ родительской любви и боится, какъ дьявольскаго навожденія, всякой человѣческой мысли, всякаго человѣческаго чувства, чтобы не погрѣшить противъ «чистѣйшей нравственности», которой держались столько столѣтій его отцы и праотцы; эта купчиха, глупая и толстая, которая такъ боится кулака и плети

своего дрожайшаго сожителя, что не смѣетъ, безъ его спросу, выйти со двора, не смѣетъ сказать передъ нимъ лишняго слова и даже затаиваетъ въ его присутствіи свою материнскую любовь къ сыну; эта попадья, то бранящая батрака и распоряжающаяся на погребѣ, то, мучимая женскимъ любопытствомъ, подслушивающая сквозь замочную щель разговоръ своего мужа съ купчихой, то продающая пальцемъ дырочку на кулѣкъ, принесенномъ ей купчихой, чтобы узнать, что въ немъ обрѣтается; эта сваха Савишна, эта всемірная кумушка, сплетница и сводница, безъ которой русскій человѣкъ, бывало, не умѣлъ ни родиться, ни жениться, ни умереть, которая торгуется счастьемъ и судьбой людей точно такъ же, какъ лентами, запонками и шерстяными чулками, которая такъ мило увеселяетъ площадными эквивоками честное компанство бородатыхъ милліонщиковъ; эта невѣста, «дѣвочка низенькая, но толстая-претолстая, съ одутловатыми щечками, набѣленная, нарумяненная, разсеребренная, раззолоченная, и всякими драгоценными камнями изукрашенная»; наконецъ, это сватовство, эти споры о приданомъ, вся эта жизнь подлая, гадкая, грязная, дикая, нечеловѣческая изображена въ ужасающей вѣрности; прибавьте сюда этого попа, который выраженіе самыхъ священнѣйшихъ, самыхъ человѣческихъ чувствъ своихъ располагаетъ по правиламъ Бургіевой риторики и самую краснорѣчивую рѣчь свою прерываетъ выходкой противъ плута-лавочника, отпустившаго дурного масла на лампадку, который рукой сморкается и рукой утирается; потомъ этого юношу, аристократа по природѣ, плебея по судьбѣ, агнца между волками — и вотъ вамъ полная картина одной изъ главныхъ сторонъ русской жизни, съ ея положительнымъ и ея исключеніями. Самый языкъ этой повѣсти, равно какъ и «Нишаго», отличается отсутствіемъ тривіальности, обезображивающей прочія повѣсти этого писателя. И такъ, «Черная Немочь» есть повѣсть совершенно народная и поэтически правоописательная — но здѣсь и конецъ ея достоинству. Главная цѣль автора была представить геніальнаго, отмѣченнаго перстомъ Провидѣнія, юношу въ борьбѣ съ подлой животной жизнью, на которую осудила его судьба: эта цѣль не выполнѣла имъ достигнута. Замѣтно, что автора волновало какое-то чувство, что у него была какая-то любимая задушевная мысль, но и вмѣстѣ съ тѣмъ, что у него не достало силы таланта воспроизвести ее; съ этой стороны читатель остается неудовлетвореннымъ. Причина очевидна: талантъ Погодина есть талантъ правоописателя низшихъ слоевъ нашей общественности, и потому онъ занимателенъ, когда онъ вѣренъ своему направленію, и тотчасъ падаетъ, когда берется не за свое дѣло. «Невѣста на Яр-

маркѣ» есть какъ будто вторая часть «Черной Немочи», какъ будто вторая галлерей картинъ въ Теньеровомъ родѣ,—картинъ, безпрерывно восходящихъ черезъ всѣ степени низшей общественной жизни и тотчасъ прерывающихся, когда дѣло доходить до жизни цивилизованной или возвышенной. Словомъ. «Пинціи», «Черная Немочь» и «Невѣста на Ярмаркѣ» суть три произведенія Погодина, которыя, по моему мнѣнію, заслуживаютъ вниманія; о прочихъ умалчиваю.

Одно изъ главнѣйшихъ, изъ самыхъ видныхъ мѣстъ между нашими повѣствователями (которыхъ впрочемъ очень немного) занимаетъ Полевой. Отличительный характеръ его произведеній составляетъ удивительная многосторонность, такъ что трудно подвести ихъ подъ общій взглядъ, ибо каждая его повѣсть представляетъ совершенно отдѣльный міръ. Что есть общаго или сходнаго между «Симеономъ Кирдяпою» и «Живописцемъ», между «Разказами Русскаго Солдата» и «Эммою», между «Мѣшкомъ съ Золотомъ» и «Блаженствомъ Безумія»? Правда, этихъ повѣстей немного, и онѣ не всѣ одинаковаго достоинства, но можно сказать утвердительно, что каждая изъ нихъ ознаменована печатью истиннаго таланта, а нѣкоторыя останутся навсегда украшеніемъ русской литературы. Въ «Симеонѣ Кирдяпѣ», этой живой картинѣ прошедшаго, начертанной могучей кистью, поэзія русской древней жизни еще въ первый разъ была постигнута во всей ея истинѣ, и въ этомъ созданіи историкъ-философъ слился съ поэтомъ. Прочія повѣсти всѣ отличаются теплотой чувства, прекрасной мыслью и вѣрностью дѣйствительности. Въ самомъ дѣлѣ, взгляните въ нихъ пристальнѣе, и вы увидите такія черты, схваченныя съ жизни, которыя вы часто можете встрѣтить еще въ жизни, но рѣдко въ сочиненіяхъ, увидите эту выдержанность и оригинальность характеровъ, эту вѣрность положеній, которыя основываются не на расчетахъ возможностей, но единственно на способности автора понимать всевозможныя положенія человѣческія, — положенія, въ которыхъ онъ самъ можетъ быть никогда не былъ и не могъ быть. Профаны, люди, не посвященные въ таинства искусства, часто говорятъ: «Да, это очень вѣрно, да и не могло быть иначе—авторъ такъ много страдалъ, слѣдовательно писалъ по опыту, а не съ чужого голоса». Мнѣніе недѣльное! Если есть поэты, которые вѣрно и глубоко воспроизводили міръ собственныхъ, извѣданныхъ ими страстей и чувствъ, собственныхъ страданій и радости,—изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы поэтъ только тогда могъ пламенно и увлекательно писать о любви, когда былъ самъ влюбленъ,—о счастіи, когда самъ находился въ благопріятныхъ обстоятельствахъ, и пр. Напротивъ, это означаетъ

скорѣе односторонность и ограниченность таланта, нежели его истинность. Отличительная черта, то, что составляетъ, что дѣлаетъ истиннаго поэта, состоитъ въ его страдательной и живой способности, всегда и безъ всякихъ отношеній къ своему образу мыслей, понимать всякое человѣческое положеніе. И вотъ почему поэтъ такъ часто противорѣчитъ самому себѣ въ своихъ созданіяхъ, воспѣвая нынче прелести разгульной, эпикурейской жизни, завтра поетъ о живомъ трудѣ, о подвигѣ жизни, объ отреченіи благъ земныхъ. Балзакъ носитъ на фракѣ золотыя пуговицы, трость съ золотымъ набалдашникомъ (послѣдняя степень прихотливой роскоши), живетъ какъ принцъ какой-нибудь, и между тѣмъ его картины бѣдности и нищеты леденятъ душу своей ужасающей вѣрностью. Гюго никогда не былъ осужденъ на смертную казнь, но какая ужасная, раздирающая истина въ его «Послѣднемъ днѣ осужденнаго»! Конечно невозможно, чтобы обстоятельства жизни самого поэта не имѣли большаго или меньшаго вліянія на его произведенія; но это вліяніе имѣетъ свое ограниченіе и бываетъ по большей части какъ бы исключеніемъ изъ общаго правила. Эта способность понимать явленія жизни очень не чужда Полевому. Сколько истины въ его «Живописцѣ» и «Эммѣ»! Дѣтство художника, его безсознательное стремленіе къ искусству, его любовь къ пустой дѣвчонкѣ, его недовольство собственными произведеніями, его безмолвное страданіе при сужденіяхъ глупой, безсмысленной толпы о лучшемъ, задушевномъ его произведеніи, его отчаяніе, когда онъ увидѣлъ въ своемъ идеалѣ не больше какъ ребенка, который игралъ съ нимъ въ любовь; потомъ этотъ старикъ-отецъ всю жизнь недовольный сумасбродствомъ любимого сына, проклинавшій можетъ быть отъ чистаго сердца и его страсть къ живописи, и самую живопись, и, наконецъ, передъ смертью съ удивленіемъ смотрящій на его послѣднюю картину и рыдающій, не понимая ея; теперь, эта мечтательная мѣщанка, существо святое и чистое, но не имѣющее въ нашей русской жизни никакого смысла, никакого значенія, эта бѣдная дѣвушка, передъ которой подличаетъ богатая и знатная графиня, и которая всею своею жизнью возвращаетъ жизнь сумасшедшему и потомъ требуетъ въ свою очередь всей его жизни, чтобы не умереть самой, и вмѣсто всего этого видитъ съ его стороны одно холодное уваженіе, а со стороны графини — худо скрытое чувство неблагодарности,—тонъ покровительства, который для души благородной хуже самаго жестокаго гоненія,—все это не придумано, не разотчено, а вылилось прямо изъ души. «Блаженство Безумія» отличается, мѣстами, теплотой чувства, но и вмѣстѣ съ тѣмъ излишнимъ владычествомъ мысли, какъ

будто авторъ задалъ себѣ психологическую задачу и хотѣлъ рѣшить ее въ поэтической формѣ. Отъ этого въ ней, какъ будто, чего-то не достаетъ; впрочемъ много отдѣльных прекрасныхъ мѣстъ.

Теперь въ «Святочныхъ Разсказахъ» и «Разсказахъ Русскаго Солдата», сколько того, что называется «народностью», изъ чего такъ хлопочутъ наши авторы. что имъ менѣ всего удастся, и что всего легче для истиннаго таланта! Это міръ совершенно отдѣльный, міръ, полный страстей, горя и радостей, все человѣческихъ же, но только выражающихся въ другихъ формахъ, по своему. Тутъ нѣтъ ни одной поборки, ни одного плоскаго слова, ни одной вульгарной картины, и между тѣмъ такъ много поэзіи. и, мнѣ кажется, именно потому, что авторъ старался быть вѣрнымъ больше истинѣ, чѣмъ народности, искалъ больше человеческого, нежели русскаго, и вслѣдствіе этого народное и русское само пришло къ нему.

Прежде, нежели перейду къ повѣстямъ Гоголя, главному предмету моей статьи, я долженъ остановиться еще на одномъ авторѣ повѣстей, недавно успѣвшемъ обратить на себя общее вниманіе—Павловѣ, сколько потому, что его повѣсти суть явленіе пріятное, сколько и потому, что о нихъ почти нигдѣ ничего не сказано. О рецензіи «Библіотеки для Чтенія» умалчиваю; сказала ли о нихъ что-нибудь «Пчела», не знаю; «Молва» ограничилась почти простымъ библіографическимъ объявленіемъ, а изъ отзыва «Наблюдателя» видно только то, что повѣсти Павлова написаны какимъ-то небывалымъ у насъ хорошимъ языкомъ, и что авторъ «открылъ новые ящики въ многосложномъ бюро человѣческаго сердца»,—выраженіе, сбивающееся на гиперболу въ восточномъ вкусѣ.

Трудно судить о повѣстяхъ Павлова, трудно рѣшить, что онѣ такое: дума умная и чувствующаго человѣка, плодъ мгновенной вспышки воображенія, произведеніе одной счастливой минуты, одной благоприятной эпохи въ жизни автора, порожденіе обстоятельствъ, результатъ одной мысли, глубоко запавшей въ душу. — или созданія художника. произведенія безусловныя, безотносительныя, свободное изліяніе души, удѣлъ которой есть творчество?... Меня поймутъ, если я скажу, что эти повѣсти еще первый опытъ Павлова на новомъ для него поприщѣ; а какъ часто въ нашей литературѣ второй романъ, вторыя повѣсти уничтожали славу перваго романа, первыхъ повѣстей!.. Поприще Павлова еще только начато, но начато такъ хорошо, что не хочется вѣрить, чтобы оно кончилось дурно... Но предоставимъ времени рѣшить этотъ вопросъ, а теперь постараемся откровенно и безпристрастно высказать наше мнѣніе по тѣмъ немногимъ даннымъ, которыя уже имѣются.

Всѣ три повѣсти Павлова ознаменованы однимъ общимъ характеромъ, и только ихъ содержаніе придаетъ имъ чрезвычайное наружное несходство. Потому ли, что онѣ еще первый опытъ, носящій на себѣ всѣ недостатки перваго опыта, или по чему другому, но только мнѣ кажется, что онѣ не проникнуты слишкомъ глубокой истиной жизни; въ нихъ есть эта вѣрность, которая заставляетъ говорить: «это точно списано съ натуры», но эта вѣрность видна не въ ихъ цѣломъ, а въ частяхъ и подробностяхъ. и есть слѣдствіе наблюдательности, пріобрѣтенной прилежнымъ и внимательнымъ изученіемъ описываемаго имъ міра. Въ «Ятаганѣ» есть черты, съ удивительной вѣрностью схваченныя: этотъ полковникъ, добрый, честный, но ограниченный по своему уму и чувству, который, принявъ намѣреніе жениться на княжнѣ, какъ бы нечаянно раздумывается о трудностяхъ военной службы, о счастіи брачной жизни, о томъ, какъ хорошъ домъ и садъ князя, и какъ бы пріятно было прогуливаться по этому саду подъ руку съ молодой женой и пр.; эта княжна, которая, сяди со своимъ милымъ солдатомъ, на докладъ лакея о пріѣздѣ полковника, отвѣчаетъ протяжнымъ «что?», которая такъ хорошо умѣетъ вести себя съ полковникомъ, не подавая ему никакой надежды и въ то же время не лишая его надежды,—всѣ эти тонкія черты, эти рѣзкіе оттѣнки доказываютъ, что авторъ смотрѣлъ на жизнь проницательнымъ взоромъ, что онъ внимательно изучалъ ее, что много видѣлъ, много замѣтилъ, много уловилъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ эти же самые пассажи доказываютъ, что они плодъ больше наблюдательности, ума и высокой образованности, чѣмъ таланта, что они скорѣе списаны съ дѣйствительности, чѣмъ созданы фантазіей. Ибо, гдѣ же эта истина, эта вѣрность цѣлаго, столь замѣтная, столь поразительная въ подробностяхъ? Гдѣ же эти характеры, индивидуальныя и типическія, которые бы доказывали не одно знаніе общества, но и сердца человѣческаго?... Ихъ нѣтъ или, справедливѣе, они только что очерчены, но не оттушеваны и потому лишены почти всякой личности. Я вполне сострадаю несчастью корнета, но такъ, какъ бы я сострадалъ всякому человѣку въ подобномъ положеніи, даже и такому, котораго бы я никогда не видалъ, никогда не знавалъ, но о которомъ слыхалъ, что онъ человѣкъ добрый и благородно мыслящій. Скажите, имѣетъ ли этотъ корнетъ какой-нибудь характеръ, какуки-нибудь фізіономію? Скажите мнѣ, какой у него образъ мыслей, какія у него страсти, желанія, чувства, стремленія, словомъ,—все, что составляетъ человѣка, что даетъ его видѣть во весь ростъ? Всѣ его дѣйствія и слова самыя общія; по нимъ можно узнать касту,

но не человека, не индивидуума. Такъ же безхарактерна клякша, ибо въ ней видна больше свѣтская дѣвушка съ тонкимъ, инстинктуальнымъ чувствомъ приличія, нежели существо любящее, любящее по своему, — существо, которое бы можно было узнать изъ тысячи. Вообще «Ятаганъ» есть анекдотъ, мастерски рассказанный и въ художественномъ отношеніи замѣчательный больше частностями, нежели цѣлостью; кажется, какъ будто авторъ услышалъ отъ кого-нибудь анекдотическую исторію, сдѣлалъ изъ нея повѣсть и, не зная лично ея дѣйствующихъ, не могъ вѣрно написать ихъ портретовъ. Но частности, но отдѣльныя мысли, отдѣльныя картины и описанія превосходны, исполнены поэзіи; а многія черты, какъ я уже замѣтилъ, схвачены съ удивительной и поразительной вѣрностью, а мѣстами вспыхиваетъ и чувство, особливо тамъ, гдѣ авторъ увлекается поэзіей самыхъ фактовъ. Вообще «Ятаганъ» — повѣсть съ большими достоинствами, большими красотами въ частяхъ; но его цѣлое обнаруживаетъ болѣе талантъ рассказа, нежели творчества. Если онъ многимъ нравится, особенно предъ прочими двумя повѣстями, то причина этого заключается въ поэзіи самаго содержанія, которое произвело бы всегда сильный эффектъ и въ простомъ изустномъ рассказѣ.

«Именины» больше отличаются художественнымъ достоинствомъ, чѣмъ «Ятаганъ». Въ этой повѣсти есть яркіе проблески глубокаго чувства, рѣзкія черты характеровъ (особенно въ главномъ персонажѣ), есть много истины въ ситуацияхъ. Этотъ музыкантъ-плебей, который говоритъ: «Понимаете ли вы удовольствие отвѣчать грубо на вѣжливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимаютъ передъ вами шляпу, и развалиться въ креслахъ передъ чопорнымъ баричемъ, передъ чиннымъ богачемъ?» или: «Я уже умѣлъ довольно смѣло предстать предъ многочисленное собраніе гостиной. Когда я говорю: «довольно смѣло», это значитъ, что я уже ступалъ всей ногой, и ноги мои уже не путались, хотя еще не было въ нихъ этой красной свободы, съ которой я теперь кладу ихъ одну на одну, подгибаю и стучу... Я могъ уже при многихъ перейти съ одного конца комнаты на другой, отвѣчать вслухъ; но все мнѣ было покойнѣе держаться около какого-нибудь угла; но все, желая пощеголять знаніемъ свѣтской вѣжливости, я къ каждому слову прибавлялъ еще: «съ»; потомъ отчаяніе музыканта, который «лежалъ и взглядывалъ на Распятіе, стараясь вспомнить, что опознать» — во всемъ этомъ есть поэзія, есть истинное творчество.

«Аукціонъ» есть живописный очеркъ, набросанный рукой небрежной, но твердой и опытной. Здѣсь авторъ особенно свободнѣе, вольнѣе и какъ будто больше, нежели гдѣ-нибудь, въ своей сферѣ Юго «Именины» есть

произведеніе прекрасное, но какъ будто случайное, какъ будто порывъ чувства; его «Ятаганъ» есть родъ очерковъ высшаго общества, въ которомъ авторъ хотѣлъ или думалъ найти поэзію; его «Аукціонъ» есть живой мимолетный эпизодъ изъ жизни этого общества, и онъ въ немъ нашелъ поэзію, ибо взглянуть на него съ точки зрѣнія болѣе истинной. Здѣсь какъ-то болѣе къ лицу и этотъ рассказъ свѣтскій, щегольской и немного манерный при всей его наружной простотѣ; здѣсь болѣе кстати и этотъ періодъ обдѣланный, красивый и изящный, но въ то же время немного и изысканный въ самой его небрежности. Вообще замѣчу здѣсь кстати, что слогъ не составляетъ такой важности, какую вообще ему приписываютъ: форма всегда прекрасна, когда согласна съ идеей. За примѣрами ходить не далеко: возьму два выраженія изъ послѣдняго сочиненія Павлова, помѣщеннаго въ «Наблюдателѣ» (№ 2): «Она — драгоценный камень въ роскошной оправѣ фантастическаго наряда»; или: «звѣзды — брилліанты неба». Что въ нихъ хорошаго? первое есть натянутая пародія на выраженіе Шекспира объ Альбіонѣ, — выраженіе, о которомъ по крайней мѣрѣ я узналъ не раньше, какъ съ первой лекціи Шевырева; второе просто не имѣетъ никакого смысла, а если и имѣетъ, то самый истертыи. Что касается до правильности языка, до его плавности, чистоты, ясности и стройности, то эти качества, при болышей зависимости отъ идеи, зависятъ и отъ навыка, упражненія, старанія, и ихъ точно можно причесть въ заслугу автору. Въ этомъ отношеніи Павловъ принадлежитъ къ немногому числу нашихъ отличныхъ прозаиковъ. Заключаю: талантъ Павлова подаетъ лестныя надежды, но его развитіе и степень силы теперь еще вопросъ, который рѣшатъ будущія его произведенія. И такъ, Марлинскій, Одоевскій, Погодинъ, Полевой, Павловъ, Гоголь — здѣсь полный кругъ исторіи русской повѣсти. Да, полный, можетъ быть черезчуръ полный; но я говорилъ здѣсь о всѣхъ повѣстяхъ, въ какомъ бы то ни было отношеніи примѣчательныхъ, а эта примѣчательность состоитъ не въ одной художественности, но и во времени появленія, и во вліяніи, хорошемъ или дурномъ, на литературу, и въ болышей или меньшей степени таланта, и, наконецъ, въ самомъ характерѣ и направленіи. Понимая, что мною авторы должны быть упомянуты въ исторіи русской повѣсти по всѣмъ этимъ отношеніямъ, и суть истинные ея представители. О другихъ, которыхъ много, очень много, умалчиваю, ибо, при всѣхъ достоинствахъ, они не касаются предмета моей статьи, и потому переходу къ Гоголю. Имъ заключу исторію русской повѣсти, имъ заключу и мою статью, которая, противъ моей воли и ожиданія, сдѣлалась очень длинна.

Приступая къ разбору сочиненій Гоголя, я не безъ намѣренія распространился о поэзіи вообще, о повѣстяхъ, какъ о родѣ, и о повѣсти русской: если я только умѣлъ развить мою мысль, то читатели увидятъ, что всѣ эти предметы находятся въ существенной связи между собою. Мнѣ кажется, что для надлежащей оцѣнки всякаго замѣчательнаго автора нужно опредѣлить характеръ его твореній и мѣсто, которое онъ долженъ занимать въ литературѣ. Первый можно объяснить не иначе, какъ теоріей искусства (разумѣется, сообразно съ понятіями судящаго), второе—сравненіемъ автора съ другими, писавшими или пишущими въ одномъ съ нимъ родѣ. Вы видѣли, что у насъ еще нѣтъ повѣсти, въ собственномъ смыслѣ этого слова. Марлинскій замѣчательнѣе, какъ первый, намекнувшій намъ о томъ, что такое повѣсть; для кн. Одоевскаго повѣсть есть только форма; два-три удачныхъ опыта Погодина еще не составляютъ авторитета, сколько потому, что ихъ достоинство одностороннее, столько и потому, что они были для своего автора дѣломъ постороннимъ, отдыхомъ отъ ученыхъ занятій.

И такъ, остаются только Павловъ и Полевой; но Павловъ еще только началъ свое поприще, а какъ бы ни прекрасно было начало, по немъ нельзя произнести рѣшительнаго сужденія о писателѣ; слѣдовательно первенство поэта-повѣствователя остается за Полевымъ. Но въ его повѣстяхъ или, справедливѣе, въ большей части его повѣстей есть одинъ важный недостатокъ, о которомъ я съ намѣреніемъ умолчалъ въ своемъ мѣстѣ. Этотъ недостатокъ состоитъ въ томъ, что въ нихъ, какъ и въ его романахъ, при многихъ очевидныхъ признакахъ истиннаго творчества, истинной художественности, замѣтно и большое участіе ума, этого ума пытливаго, свѣтлаго и многосторонняго, который въ художественной дѣятельности ищетъ отдохновенія, и для котораго и самая фантазія есть какъ бы средство изучать природу и жизнь человѣка. Это по большей части синтетическія повѣрки аналитическихъ наблюденій надъ жизнью. Посмотримъ, нѣтъ ли между нашими такого поэта-повѣствователя, для котораго поэзія составляла бы цѣль жизни, а наука была бы ея отдохновеніемъ, для котораго повѣсть была бы родомъ, а не формой, родомъ столько же необходимымъ и безотносительнымъ, какъ повѣсть для Бальзака, пѣсня для Беранже, драма для Шекспира, который былъ бы только поэтъ, а не другое что-нибудь, поэтъ по призванію, поэтъ по невозможности не быть поэтомъ. Мнѣ кажется, что подъ этими условіями изъ современныхъ писателей *) никого не можно на-

*) Я не включаю въ это число Пушкина, который уже свершилъ кругъ своей художественной дѣятельности.

звать поэтомъ, съ большей увѣренностью и не мало не задумываясь, какъ Гоголя.

Я уже сказалъ, что задача критики и истинная оцѣнка произведеній поэта непремѣнно должны имѣть двѣ цѣли: опредѣлить характеръ разбираемыхъ сочиненій и указать мѣсто, на которое они даютъ право своему автору въ кругу представителей литературы. Отличительный характеръ повѣстей Гоголя составляютъ — простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевленіе, всегда побуждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія. Причина всѣхъ этихъ качествъ заключается въ одномъ источникѣ: Гоголь—поэтъ, поэтъ жизни дѣйствительной.

Знаете ли, какой вообще недостатокъ находится въ нашей критикѣ? Она не совсѣмъ хорошо приноровлена къ нашимъ потребностямъ. Критикъ и публика—это два лица бесѣдующія; надобно, чтобы они заранѣе условились, согласились въ значеніи предмета, избраннаго для ихъ бесѣды. Иначе имъ трудно будетъ понять другъ друга. Вы разбираете сочиненіе, съ важною говорите о законахъ творчества, прилагаете ихъ къ разбираемому сочиненію и, какъ дважды два—четыре, доказываете, что оно превосходно. И что жъ? публика восхищена вашей критикой и вполне соглашается съ вами, видя, что въ самомъ дѣлѣ пункты эстетическихъ законовъ подведены правильно и что въ сочиненіи все обстоитъ благополучно. Но вотъ что худо: часто случается, что она забываетъ о превознесенномъ сочиненіи еще прежде, чѣмъ забудетъ о вашей критикѣ. Отчего же такъ? Оттого, что разбираемое вами сочиненіе была хитрая галантерейная работа, а не изящное созданіе, что оно можетъ быть имѣло эстетическую форму, но было лишено духа жизни эстетической. У насъ еще такъ зыбки понятія объ изящномъ и вкусъ еще въ такомъ младенчествѣ, что наша критика по необходимости должна отступать въ своихъ приемахъ отъ европейской. Хотя нѣкоторые досужіе наши эстетики и говорятъ, что будто бы законы изящнаго опредѣлены у насъ съ математической точностью, но я думаю иначе, ибо, съ одной стороны, собственные издѣлія этихъ эстетиковъ, слишкомъ отличающіяся топорной работой, рѣзко противорѣчатъ законамъ изящнаго, опредѣленнымъ съ математической точностью, а съ другой стороны законы изящнаго никогда не могутъ отличаться математическою точностью, потому что они основываются на чувствахъ, и у кого нѣтъ пріемлемости изящнаго, для того всегда кажутся незаконными. И притомъ, изъ чего должны выводиться законы изящнаго, какъ не изъ изящныхъ созданій? А много ли у насъ ихъ, этихъ изящныхъ созданій? Нѣтъ, пусть каждый толкуетъ по своему объ усло-

віяхъ творчества и подкрѣпляетъ ихъ фактами, это самый лучший способъ развивать теорію изящнаго. Цѣль русскаго критика должна состоять не столько въ томъ, чтобы расширить кругъ понятій челоѣчества объ изящномъ, сколько въ томъ, чтобы распространять въ своемъ отечествѣ уже извѣстные, осѣдлыя понятія объ этомъ предметѣ. Не бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего новаго. Это новое не такъ легко и часто, какъ обыкновенно думаютъ: оно едва примѣтными атомами налипаетъ на глыбы стараго. Самое старое будетъ у насъ ново, если вы челоѣкъ съ мнѣніемъ и глубоко убѣждены въ томъ, что говорите; ваша индивидуальность и вашъ способъ выраженія и самому вашему старому должны придать характеръ новостіи.

И такъ, по моему мнѣнію, первый и главный вопросъ, предстоящій для разрѣшенія критики, есть—точно ли это произведеніе изящно, точно ли этотъ авторъ поэтъ? Изъ рѣшенія этого вопроса сами собою вытекаютъ отвѣты о характерѣ и важности сочиненія.

Способность творчества есть великій даръ природы: актъ творчества, въ душѣ творящей, есть великое таинство: минута творчества есть минута великаго священнодѣйствія; творчество безцѣльно съ цѣлью, безсознательно съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью: вотъ основные его законы. Они будутъ очень ясны, когда выведутся изъ акта творчества.

Художникъ чувствуетъ потребность творить. Эта потребность приходитъ къ нему вдругъ, неожиданно, безъ спросу и совершенно независимо отъ его воли, ибо онъ не можетъ назначить ни дня, ни часа, ни минуты для своей творческой дѣятельности: вотъ свобода творчества, вотъ его независимость отъ лица творящаго! Потребность творить приводитъ за собою идею, которая залегаетъ въ душу художника, овладѣваетъ ею, тяготеетъ ея. Эта идея можетъ быть одною изъ общихъ челоѣческихъ идей, давно уже извѣстныхъ; но художникъ беретъ ее не по выбору, но невольно, беретъ ее не какъ предметъ ума созерцающаго, но воспринимаетъ ее въ себя своимъ чувствомъ, обладаемый трепетнымъ предчувствіемъ ея глубокаго, таинственнаго смысла. Это дѣйствіе прекрасно выражается непереводимымъ французскимъ словомъ «conscience». Художникъ чувствуетъ въ себѣ присутствіе воспринятой (conçue) имъ идеи. Но такъ сказать, не видитъ ея ясно и томится желаніемъ сдѣлать ее осязаемой для себя и другихъ: вотъ первый актъ творчества. Положимъ, что эта идея есть идея ревности, и будемъ слѣдить за ея развитіемъ въ душѣ поэта. Заботливо и томятельно носить онъ ее въ сокровенномъ святилищѣ своего чувства, какъ носить мать младенца въ своей утробѣ; постепенно эта идея

проясняется передъ его глазами, облекается въ живые образы, переходитъ въ идеалы, и ему, какъ бы въ туманѣ, видится пламенный африканецъ Отелло, съ его челоѣмъ смуглымъ и изрытымъ морщинами, слышатся его дикіе вопли любви, ненависти, отчаянія и мщенія, видятся плѣнительныя черты кроткой, любящей Дездемоны, слышатся ея тщетныя молебны и стоны среди глухой полуночи. Эти образы, эти идеалы въ свою очередь вынашиваются, зрѣютъ, выясняются постепенно; наконецъ, поэтъ уже видитъ ихъ, говоритъ съ ними, знаетъ ихъ рѣчь, движенія, манеры, походку, черты лица, видитъ ихъ во весь ростъ, со всѣхъ сторонъ, видитъ обоими глазами и такъ ясно, какъ бы на яву, на самомъ дѣлѣ, видитъ ихъ прежде, нежели его перо дало имъ формы, точно такъ же, какъ Рафаэль видѣлъ передъ собою нерукотворенный образъ Мадонны прежде, нежели его кисть приковала этотъ образъ къ полотну, точно такъ же, какъ Моцартъ, Бетховенъ, Гайднъ слышали вызванные ими изъ души дивныя звуки прежде, нежели ихъ перо приковало эти звуки къ бумагѣ. Вотъ второй актъ творчества. Потому поэтъ даетъ своему созданію видимыя, доступныя для всѣхъ формы; это третій и послѣдній актъ творчества. Онъ не такъ важенъ, ибо есть слѣдствіе двухъ первыхъ.

И такъ, главный, отличительный признакъ творчества состоитъ въ таинственномъ ясно-видѣніи, въ поэтическомъ сомнамбулизмѣ. Еще созданіе художника есть тайна для всѣхъ, еще онъ не бралъ въ руки пера, а уже видитъ ихъ ясно, уже можетъ счесть складки ихъ платья, морщины ихъ чела, изображеннаго страстями и горемъ, а уже знаетъ ихъ лучше, чѣмъ вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также онъ знаетъ и то, что они будутъ говорить и дѣлать, видитъ всю нить событий, которая обовьетъ ихъ и свяжетъ между собою. Гдѣ же онъ видѣлъ эти лица, гдѣ слышалъ объ этихъ событіяхъ и что такое его творчество? Слѣдствіе долговременнаго и многосторонняго опыта, тонкой наблюдательности, глубокаго умѣнья схватывать сходства и обозначать ихъ рѣзкими чертами? Что же его идеалы? Неужели это различныя черты, разсыяныя въ природѣ и собранныя въ одно для образованія извѣстныхъ типовъ, составленныхъ по мѣркѣ, заранѣе взятой, какъ думали и говорили добрые и почтенные эстетики былыхъ временъ?.. О, ничего этого, ровно ничего!.. Онъ нигдѣ не видѣлъ созданныхъ имъ лицъ, онъ не копировалъ дѣйствительности, или нѣтъ: онъ видѣлъ все это въ вѣщемъ, пророческомъ снѣ, въ свѣтлыя минуты поэтическаго откровенія, въ эти минуты, знакомыя одному таланту, видѣлъ ихъ всезрящими очами своего чувства. И вотъ почему созданные

имъ характеры такъ вѣрны, ровны, выдержаны; вотъ почему завязка, развязка, узлы и ходъ его романа или драмы такъ естественны, правдоподобны, свободны; вотъ почему, прочтя его созданіе, вы какъ будто были въ какомъ-то мірѣ, прекрасномъ и гармоническомъ, какъ міръ Божій; вотъ почему вы такъ хорошо осваиваетесь съ нимъ, такъ глубоко понимаете его и такъ крѣпко удерживаете его въ своей памяти. Тутъ нѣтъ противорѣчій, нѣтъ поддѣлокъ и изысканности; ибо тутъ не было разсчета вѣроятностей, не было соображеній, не было старанія свести концы съ концами, ибо это произведеніе было не сдѣлано, не сочинено, а создано въ душѣ художника какъ бы наитіемъ какой-то высшей, таинственной силы, въ немъ самомъ и внѣ его находившейся; ибо въ этомъ отношеніи онъ самъ былъ какъ бы почвой, воспринявшей въ себя плодородное зерно, заброшенное рукой невѣдомой, прозябшее и разросшееся въ вѣтвистое, широколиственное дерево... Какого бы рода ни было такое произведеніе—идеальное, реальное—оно всегда истинно, истинно поэтически. «Буря» Шекспира есть произведеніе нелѣпое, есть странная прихоть своего творца; въ немъ дѣйствуютъ и люди, и духи безплотные, въ немъ дѣйствуетъ Калибанъ, созданіе чудовищное, плодъ любви демона съ колдуньей; но и это сочиненіе истинно, истинно поэтически; ибо, читая его, вы всему вѣрите, все находите естественнымъ; ибо, прочтя его, никогда не забудете его, и передъ вашими взорами всегда будутъ носиться чудные образы Проспера, Миранды, Аріэля, образы воздушные, сотканные изъ ночныхъ тумановъ, облитые пурпуромъ зари, осеребренные лучемъ мѣсяца. Какого бы рода ни было такое созданіе, оно всегда совершенно и чуждо недостатковъ. Но отчего же и въ произведеніяхъ самыхъ гениальныхъ поэтовъ находятъ, при великихъ красотахъ, и великіе недостатки? Оттого, что такіа созданія или не выношены въ душѣ, не рождены, а выкинуты, какъ недоноски, прежде времени, или оттого, что авторы, вслѣдствіе своихъ ложныхъ понятій объ искусствѣ, или вслѣдствіе цѣлей и разсчетовъ какихъ-нибудь, хитрили и мудрили, или писали иногда въ холодныя, прозаическія минуты, ибо поэтическіе идеи и идеалы—эти небесныя тайны—должны и высказываться въ свѣтлыя минуты откровенія, которыя называются минутами вдохновенія, художественнаго восторга. Словомъ, недостатки всегда тамъ, гдѣ оканчивается творчество и начинается работа.

Теперь, кажется, легко объяснить, что такое безцѣльность съ цѣлью, бессознательность съ сознаниемъ. Когда поэтъ творитъ, то хочетъ выразить въ поэтическомъ символѣ какую-нибудь идею, слѣдовательно имѣетъ цѣль

и дѣйствуетъ съ сознаниемъ. Но ни выборъ идеи, ни ея развитіе не зависятъ отъ его воли, управляемой умомъ, слѣдовательно его дѣйствіе безцѣльно и бессознательно.

Теперь, что такое свобода творчества отъ лица творящаго при зависимости отъ него?—Поэтъ былъ рабъ своего предмета, ибо не властенъ ни въ его выборѣ, ни въ его развитіи, ибо не можетъ творить ни по приказу, ни по заказу, ни по собственной волѣ, если не чувствуетъ вдохновенія, которое рѣшительно не зависитъ отъ него: слѣдовательно творчество свободно и независимо отъ лица творящаго, которое здѣсь является столько же страдательнымъ, сколько и дѣйствующимъ. Но отчего же въ созданіи художника отражаются и вѣкъ, и народъ, и собственная его индивидуальность? Отчего въ немъ отражаются и жизнь, и мнѣніе, и степень образованности художника? Слѣдовательно творчество зависитъ отъ него, слѣдовательно онъ столько же и господинъ его, сколько и рабъ его? Да, оно зависитъ отъ него, какъ зависитъ душа отъ организма, какъ зависитъ характеръ отъ темперамента. Это всего лучше можно объяснить сномъ. Сонъ есть нѣчто свободное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и зависящее отъ васъ. Меланхолику снятся сны страшные, фантастическіе; флегматикъ и во снѣ спитъ или ѣстъ; актеръ слышитъ рукоплесканія, военный видитъ битвы, подъячій—взятки и т. д. Такъ и художникъ выражается въ своихъ созданіяхъ. Герои Байрона—это типы гордости, съ нечеловѣческими страстями, желаніями и страданіями; созданія Гофмана—фантастическіе сны и т. д.

Очень не трудно ко всему этому приложить сочиненія Гоголя, какъ факты къ теоріи. Я подъ этимъ не разумѣю, чтобы этотъ поэтъ былъ равенъ Шекспиру, Байрону, Шиллеру и пр. Но здѣсь вопросъ не о степени, не о великости таланта, а о талантѣ: для генія и таланта одни законы, несмотря на все ихъ неравенство. Скажите, какое впечатлѣніе прежде всего производите на васъ каждая повѣсть Гоголя? Не заставляетъ ли она васъ говорить: «Какъ все это просто, обыкновенно, естественно и вѣрно, и вмѣстѣ, какъ оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, почему вамъ самимъ не припла въ голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этихъ же самыхъ лицъ, такъ обыкновенныхъ, такъ знакомыхъ вамъ, такъ часто видѣнныхъ вами, и окружить ихъ этими самыми обстоятельствами, такъ повседневными, такъ общими, такъ наскучившими вамъ въ жизни дѣйствительной и такъ занимательными, очаровательными въ поэтическомъ представленіи? Вотъ первый признакъ истинно-художественнаго произведенія. Потомъ не знакомитесь ли вы съ каждымъ персонажемъ его повѣсти такъ коротко, какъ будто вы его

давно знали, долго жили съ нимъ вмѣстѣ? Не дополняете ли вы, своимъ воображеніемъ, его портрета, и безъ того уже нарисованнаго авторомъ во весь ростъ? Не въ состояніи ли прибавить къ нему новыя черты, какъ будто забытыя авторомъ, не въ состояніи ли вы рассказать объ этомъ лицѣ нѣсколько анекдотовъ, какъ будто бы опущенныхъ авторомъ? Не вѣрите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное авторомъ есть сущая правда, безъ всякой примѣси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти созданія ознаменованы печатью истиннаго таланта, что они созданы по непреложнымъ законамъ творчества. Эта простота вымысла, эта нагота дѣйствія, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемыхъ авторомъ происшествій—суть вѣрные, необманчивые признаки творчества; это поэзія реальная, поэзія жизни дѣйствительной, жизни, коротко знакомой намъ. Я ни мало не удивлюсь, подобно нѣкоторымъ, что Гоголь мастеръ дѣлать все изъ ничего, что онъ умѣетъ заинтересовать читателя пустыми, ничтожными подробностями, ибо не вижу тутъ ровно никакого умѣнья: умѣнье предполагаетъ расчетъ и работу, а гдѣ расчетъ и работа, тамъ нѣтъ творчества, тамъ все ложно и невѣрно при самой тщательной и вѣрной копировкѣ съ дѣйствительности. И чѣмъ обыкновеннѣе, чѣмъ пошлѣе, такъ сказать, содержаніе повѣсти, слишкомъ интересовавшаго вниманіе читателя, тѣмъ большій талантъ со стороны автора обнаруживаетъ она. Когда посредственный талантъ берется рисовать сильныя страсти, глубокіе характеры, онъ можетъ стать на дыбы, натянуться, наговорить громкихъ монологовъ, наказать прекрасныхъ вещей, обмануть читателя блестящей отдѣлкой, красивыми формами, самымъ содержаніемъ, мастерскимъ рассказомъ, цвѣтистой фразеологіей—плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возмись онъ за изображеніе повседневныхъ картинъ жизни, жизни обыкновенной, прозаической—о, повѣрьте, для него это будетъ истиннымъ камнемъ преткновенія, и его вялое, холодное и бездушное сочиненіе уморитъ васъ зѣвотой. Въ самомъ дѣлѣ, заставить насъ принять живѣйшее участіе въ ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, насмѣшить насъ до слезъ глупостями, ничтожностью и юродствомъ этихъ живыхъ пасквилей на человечество—это удивительно; но заставить насъ потомъ пожалѣть объ этихъ идиотахъ, пожалѣть отъ всей души, заставить насъ разстаться съ ними съ какимъ-то глубоко-грустнымъ чувствомъ, заставить насъ воскликнуть вмѣстѣ съ собою: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» вотъ, вотъ оно, то божественное искусство, которое называется творчествомъ; вотъ онъ,

художническій талантъ, для котораго гдѣ жизнь, тамъ и поэзія! И возьмите почти всѣ повѣсти Гоголя: какой отличительный характеръ ихъ? что такое почти каждая изъ его повѣстей? Смѣшная комедія, которая начинается глупостями и оканчивается слезами, и которая наконецъ называется жизнью. И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно! И такова жизнь наша: сначала смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи, сколько истины!...

Въ каждомъ человѣкѣ должно различать двѣ стороны: общую, человѣческую, и частную, индивидуальную; всякій человѣкъ прежде всего человѣкъ, и потомъ уже Иванъ, Сидоръ и т. д. Точно такъ же и въ художественныхъ созданіяхъ должно различать два характера: характеръ творчества, общій всѣмъ изысканнымъ произведеніямъ, и характеръ колорита, сообщенный индивидуальностью автора. Я уже коснулся, въ общихъ чертахъ, перваго характера въ повѣстяхъ Гоголя; теперь разсмотримъ его подробнѣе; потомъ буду говорить объ индивидуальномъ характерѣ его созданій и наконецъ заключу мою статью бѣглымъ взглядомъ на тѣ изъ его повѣстей, о которыхъ можно будетъ сказать что-нибудь въ частности.

Я уже сказалъ, что отличительныя черты характера произведеній Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность—все это черты общія; потомъ комическое одушевленіе, всегда побѣждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія—черта индивидуальная.

Простота вымысла въ поэзіи реальной есть одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ признаковъ истинной поэзіи, истиннаго и притомъ зрѣлаго таланта. Возьмите любую драму Шекспира, возьмите напримѣръ его «Тимона Аѳинскаго»: эта пьеса такъ проста, такъ немногосложна, такъ скудна путаницей происшествій, что, право, невозможно и рассказать ея содержанія. Люди обманули человѣка, который любилъ людей, наругались надъ его святыми чувствованіями, лишили его вѣры въ человѣческое достоинство, и этотъ человѣкъ возненавидѣлъ людей и проклялъ ихъ; вотъ вамъ и все тутъ, больше ничего нѣтъ. И что жъ? Составили ли вы себѣ, по моимъ словамъ, какое-нибудь понятіе объ этомъ великомъ созданіи великаго гения? О, вѣрно, никакого! ибо эта идея слишкомъ обыкновенна, слишкомъ извѣстна всѣмъ, каждому, слишкомъ истерта и истреплена въ тысячахъ сочиненій хорошихъ и дурныхъ, начиная отъ Софоклова Филоктета, обманутаго Уллисомъ и проклинающаго человечество, до Тихона Михеевича, обманутаго вѣроломной женой и плутомъ-родственникомъ *).

*) «Піюша», повѣсть Ушакова, въ «Б. д. Ч.».

ражена эта идея, но содержаніе пьесы и ея подробности? Последнія такъ мелочны, такъ пусты и притомъ такъ всякому извѣстны, что я наскутилъ бы вамъ смертельно, если бы вздумалъ ихъ пересказывать. И однакожъ у Шекспира эти подробности такъ занимательны, что вы не оторветесь отъ нихъ, и однакожъ у него мелочность и пустота этихъ подробностей приготавливаютъ ужасную катастрофу, отъ которой волосы встаютъ дыбомъ, — сцену въ лѣсу, гдѣ Тимонъ въ бѣшеныхъ проклятіяхъ, въ горькихъ, извѣстныхъ сарказмахъ, съ сосредоточенной спокойной яростью, разсчитывается съ человѣчествомъ. И потомъ, какъ выразить вамъ то чувство, которое возбуждаетъ въ душѣ извѣстіе о смерти добровольнаго отверженца отъ людей. И вся эта ужасная, хотя и безкровная, трагедія, ужасная даже въ своей простотѣ, въ своемъ спокойствіи, приготавливается глупой комедіей, отвратительной картиной, какъ люди обжираютъ человѣка, помогаютъ ему разориться и потомъ забываютъ о немъ, эти люди, которые

Любви стыдятся, мысли гонять,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонять
И просять денегъ да цѣпей!

И вотъ вамъ жизнь или, лучше сказать, прототипъ жизни, созданный величайшимъ изъ поэтовъ! Тутъ нѣтъ аффектовъ, нѣтъ сценъ, нѣтъ драматическихъ вычуръ, все просто и обыкновенно, какъ день мужика, который въ будень ѣстъ и пашетъ, спитъ, и пашетъ, а въ праздники ѣстъ, пьетъ и напивается пьянъ. Но въ томъ-то и состоитъ задача реальной поэзіи, чтобы извлекать поэзію жизни изъ прозы жизни и потрясать души вѣрнымъ изображеніемъ этой жизни. И какъ сильна и глубока поэзія Гоголя въ своей наружной простотѣ и мелкости! Возьмите его «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ»: что въ нихъ? Двѣ пародіи на человѣчество, въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ пьютъ и ѣдятъ, ѣдятъ и пьютъ, а потомъ, какъ водится изъ стари, умираютъ. Но отчего же это очарованіе? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тѣмъ принимаете такое участіе въ персонажахъ повѣсти, смѣтаетесь надъ ними, но безъ злости, и потомъ рыдаете съ Филемономъ о его Бавкидѣ, сострадаете его глубокой, неземной горести, и сердитесь на него-дядя-наслѣдника, промотавшаго достояніе двухъ простаковъ. И потомъ вы такъ живо представляете себѣ актеровъ этой глупой комедіи, такъ ясно видите всю ихъ жизнь, вы, который можетъ быть никогда не бывалъ въ Малороссіи, никогда не видалъ такихъ картинъ и не слыхалъ о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и слѣдовательно очень вѣрно; оттого, что авторъ на-

шелъ поэзію, и въ этой пошлой и нелѣпой жизни нашелъ человѣческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героевъ: это чувство — привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о которомъ Пушкинъ, сказалъ:

Привычка небомъ намъ дана,
Замѣна счастья она?

Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдаетъ надъ гробомъ своей жены, съ которой сорокъ лѣтъ грызся, какъ кошка съ собакой? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартирѣ, въ которой вы жили много лѣтъ, къ которой вы привыкли, какъ душа къ тѣлу, и съ которой у васъ соединяются воспоминанія о простой однообразной жизни, о живомъ трудѣ и сладкомъ досугѣ и можетъ быть о нѣсколькихъ спенахъ любви и наслажденія, и которую вы мѣняете на великолѣпныя палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собакѣ, которая десять лѣтъ сидѣла на цѣпи и десять лѣтъ вертѣла хвостомъ, когда вы мимо ея проходили?.. О, привычка великая психологическая задача, великое таинство души человѣческой. Холодному сыну земли, сыну заботъ и помысловъ житейскихъ замѣняетъ она чувства человѣческія, которыхъ лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный даръ Провидѣнія, единственный источникъ его радостей и (дивное дѣло!) радостей человѣческихъ! Но что она для человѣка въ полномъ смыслѣ этого слова? Не насмѣшка ли судьбы? И онъ платитъ ей свою дань, и онъ прилѣпляется къ пустымъ вещамъ и пустымъ людямъ, и горько страдаетъ, лишаясь ихъ! И что же еще? Гоголь сравниваетъ ваше глубокое человѣческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть, съ чувствомъ привычки жалкаго получеловѣка, и говоритъ, что его чувство привычки сильнѣе, глубже и продолжительнѣе вашей страсти, и вы стоите передъ нимъ потупивъ глаза и не зная, что отвѣчать, какъ ученикъ, не знающій урока, передъ своимъ учителемъ! Такъ вотъ гдѣ часто скрываются пружины лучшихъ нашихъ дѣйствій, прекраснѣйшихъ нашихъ чувствъ! О, бѣдное человѣчество! жалкая жизнь! И однакожъ вамъ все-таки жаль Афанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны! вы плачете о нихъ, — о нихъ, которые только пили и ѣли и потомъ умерли! О, Гоголь истинный чародѣй, и вы не можете представить, какъ я сердитъ на него за то, что онъ и меня чуть не заставилъ плакать о нихъ, которые только пили и ѣли и потомъ умерли!

Совершенная истина жизни въ повѣстяхъ Гоголя тѣсно соединяется съ простотой мышления. Онъ не льститъ жизни, но и не клеветаетъ на нее: онъ радъ выставить наружу

все, что въ ней есть прекраснаго, человѣческаго, и въ то же время не скрываетъ ни мало и ея безобразія. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ вѣренъ жизни до послѣдней степени. Она у него настоящій портретъ, въ которомъ все схвачено съ удивительнымъ сходствомъ, начиная отъ экспрессіи оригинала до веснушекъ лица его; начиная отъ гардероба Ивана Никифоровича до русскихъ мужиковъ, идущихъ по Невскому проспекту, въ сапогахъ, запачканныхъ известью; отъ колоссальной фізіономіи богатыря Бульбы, который не боялся ничего въ свѣтѣ, съ людкой въ зубахъ и саблей въ рукахъ, до стоическаго философа Хомя, который не боялся ничего въ свѣтѣ, даже чертей и вѣдьмъ, когда у него людка въ зубахъ и рюмка въ рукахъ.

«Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни. Это его любимое кушанье. Какъ только отобѣдаетъ и выйдетъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсъ, сейчасъ приказываетъ Гапкѣ принести двѣ дыни. И уже самъ разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начинаетъ кушать. Потомъ велитъ принести Гапкѣ чернилицу, и самъ, собственною рукою, сдѣлаетъ надпись надъ бумажкой съ сѣменами: «сія дыня сѣдена такого-то числа». Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то: «участвовалъ такой-то...» Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любитъ купаться, и когда сядетъ по горло въ воду, велитъ поставить такъ же въ воду столъ и самоваръ, и очень любитъ пить чай въ такой прохлаждѣ».

Скажите, Бога ради, можно ли язвительный, злобный и вмѣстѣ съ тѣмъ добродушный и любезный наружаться надъ бѣднымъ человѣчествомъ?.. И все оттого, что слишкомъ вѣрно! А вотъ посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды:

«Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу ты, но всегда вы: вы, Аонасіи Ивановичъ, вы, Пульхерія Ивановна. — Это вы продавали стулъ, Аонасіи Ивановичъ? — Ничего, не сердитесь, Пульхерія Ивановна: это я... После этого Аонасіи Ивановичъ возвращался въ покоп и говорилъ, приближившись къ Пульхеріи Ивановнѣ: «А что, Пульхерія Ивановна, можетъ быть, пора закусить чего-нибудь?» — «Чего же бы теперь закусить, Аонасіи Ивановичъ? развѣ коржиковъ съ саломъ, или пирожковъ съ макомъ, или можетъ быть рижиковъ соленыхъ?» — «Пожалуй хоть и рижиковъ или пирожковъ», — отвѣчала Аонасіи Ивановичъ, и на столѣ вдругъ являлась скатерть съ пирожками и рижиками. За часъ до обѣда Аонасіи Ивановичъ закусывалъ снова, выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заѣдалъ грибами, разными сушеными рыбками и прочимъ. Обѣдать садился въ двѣнадцать часовъ. За обѣдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ обѣду. «Мнѣ кажется, будто эта каша, говаривалъ обыкновенно Аонасіи Ивановичъ: немного пригорѣла, вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?» — «Нѣтъ, Аонасіи Ивановичъ, вы положите побольше масла, тогда она не будетъ пригорѣлой, или вотъ возьмите этого соуса съ грибами и подлейте къ ней». — «Пожалуй, говоритъ Аонасіи Ивановичъ и подставлялъ свою

тарелку: — попробуемъ, какъ оно будетъ...» — «Вотъ попробуйте, Аонасіи Ивановичъ, какой хорошій арбузъ». — «Да вы не вѣрите, Пульхерія Ивановна, что онъ красивый, говоритъ Аонасіи Ивановичъ, принимая порядочный помѣхъ: — бываетъ, что и красивый, да не хорошій».

Замѣчаете ли вы здѣсь всю тонкость Аонасіи Ивановича, который хочетъ разными околичностями отвести глаза своей сожительницы отъ своего ужаснаго аппетита, котораго онъ какъ будто самъ стыдится? Но посмотримъ на его дальнѣйшіе подвиги.

«Послѣ этого Аонасіи Ивановичъ сѣдалъ еще нѣсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріей Ивановной. Пришедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ дѣламъ, а онъ садился подъ навѣсомъ... Немного погодя онъ посылалъ за Пульхеріей Ивановной и говорилъ: «Чего бы такого поѣсть мнѣ, Пульхерія Ивановна?» — «Чего же бы такого? говорила Пульхерія Ивановна: — развѣ и пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ съ ягодами, которыхъ приказала нарочно для васъ оставить?» — «И то добре», отвѣчалъ Аонасіи Ивановичъ... «Или, можетъ быть, вы сѣли бы кисельку?» — «И то хорошо», отвѣчалъ Аонасіи Ивановичъ. После чего все это немедленно было приприслано и, какъ водится, сѣдало. Передъ ужиномъ Аонасіи Ивановичъ еще кое-что закушивалъ. Въ половинѣ десятаго садился ужинать... Ночью иногда Аонасіи Ивановичъ, ходя по спальнѣ, стоналъ. Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: «Чего вы стоите, Аонасіи Ивановичъ?» — «Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна, такъ, какъ будто чомлого животъ болитъ», говорилъ Аонасіи Ивановичъ. «Можетъ быть, вы бы чего-нибудь сѣли, Аонасіи Ивановичъ?» — «Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна? Впрочемъ чего бы такого сѣсть?» — «Кислаго молочка или жиденькаго узвару съ сушеными грушами». — «Пожалуй, развѣ только попробоватъ», говорилъ Аонасіи Ивановичъ. Сопная дѣвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Аонасіи Ивановичъ сѣдалъ тарелочку. После чего онъ обыкновенно говорилъ: «теперь такъ, какъ будто сдѣлалось легче».

Какъ вы думаете объ этомъ? По моему, такъ въ этомъ очеркѣ весь человѣкъ, вся жизнь его, съ ея прошедшимъ, настоящимъ и будущимъ! А супружеская любовь двухъ старцевъ, а насмѣшечки Аонасіи Ивановича надъ своей сожительницей касательно внезапнаго пожара въ ихъ домѣ или, что еще ужаснѣе, касательно его намѣренія идти на войну; страхъ доброй Пульхеріи Ивановны, ея возраженія, ея легкая досада, и наконецъ чувство самодовольствія, испытываемое Аонасіемъ Ивановичемъ при мысли, что ему удалось подшутить надъ своей дражайшей половиной! О, эти картины, эти черты — суть такіе драгоценныя перлы поэзіи, въ сравненіи съ которыми всѣ прекрасныя фразы нашихъ доморощенныхъ Бальзаковъ настоящій горюхъ!.. И все это не придумано, не списано съ рассказовъ или съ дѣйствительности, но угадано чувствомъ въ минуту поэтическаго откровенія! Если бы я вздумалъ выписывать

всѣ мѣста, доказывающія, что Гоголь уловилъ идею описываемой жизни и вѣрно воспроизвелъ ее, то мнѣ пришлось бы списать почти всѣ его повѣсти, отъ слова до слова.

Повѣсти Гоголя народны въ высочайшей степени; но я не хочу слишкомъ распространяться объ ихъ народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условіе истинно-художественнаго произведенія, если подъ народностью должно разумѣть вѣрность изображенія нравовъ, обычаевъ и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ формахъ, слѣдовательно, если изображеніе жизни вѣрно, то и народно. Народность, чтобы отразиться въ поэтическомъ произведеніи, не требуетъ такого глубокаго изученія со стороны художника, какъ обыкновенно думаютъ. Поэтому стоитъ только мимоходомъ взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена имъ. Какъ малороссу, Гоголю съ дѣтства знакома жизнь малороссійская, но народность его поэзіи не ограничивается одной Малороссіей. Въ его «Запискахъ Сумасшедшаго», въ его «Невскомъ проспектѣ» нѣтъ ни одного хохла, все русскіе и вдобавокъ еще нѣмцы; а какъ изображены имъ эти русскіе и эти нѣмцы! Какъ Шиллеръ и Гофманъ? Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что, право, пора бы намъ перестать хлопотать о народности, такъ же какъ пора бы перестать писать, не имѣя таланта, ибо эта народность очень похожа на Тѣнь въ баснѣ Крылова; Гоголь о ней ни мало не думаетъ, и она сама напрашивается къ нему, тогда какъ многіе изъ всѣхъ силъ гоняются за нею и ловятъ — одну тривиальность.

Почти то же самое можно сказать и объ оригинальности: какъ и народность, она есть необходимое условіе истиннаго таланта. Два человѣка могутъ сойтись въ заказной работѣ, но никогда въ творчествѣ, ибо если одно вдохновеніе не посѣщаетъ двухъ разъ одного человѣка, то еще менѣе одинаковое вдохновеніе можетъ посѣтить двухъ человѣкъ. Вотъ почему міръ творчества такъ неистощимъ и безграниченъ. Поэтъ никогда не скажетъ: «О чемъ мнѣ писать? ужъ все переписано!» или:

О богъ, для чего я поздно такъ родился?

Одинъ изъ самыхъ отличительныхъ признаковъ творческой оригинальности или, лучше сказать, самаго творчества состоитъ въ томъ типизмѣ, если можно такъ выразиться, который есть гербовая печать автора. У истиннаго таланта каждое лицо — типъ, и каждый типъ для читателя есть знакомый незнакомецъ. Не говорите: вотъ человѣкъ съ огромной душой, съ пылкими страстями, съ обширнымъ умомъ, но ограниченнымъ разсудкомъ,

который до такого бѣшенства любитъ свою жену, что готовъ удавить ее руками при малѣйшемъ подозрѣніи въ невѣрности — скажите проще и короче: вотъ Отелло! Не говорите: вотъ человѣкъ, который глубоко понимаетъ назначеніе человѣка и цѣль жизни, который стремится дѣлать добро, но, лишенный энергіи души, не можетъ сдѣлать ни одного добраго дѣла и страдаетъ отъ сознанія своего безсилія, — скажите: вотъ Гамлетъ! Не говорите: вотъ чиновникъ, который подлѣ по убѣжденію, зловреденъ благонамѣренно, преступленъ добросовѣстно — скажите: вотъ Фамусовъ! Не говорите: вотъ человѣкъ, который подличаетъ изъ выгодъ, подличаетъ безкорыстно, по одному влеченію души, — скажите: вотъ Молчалинъ! Не говорите: вотъ человѣкъ, который во всю жизнь не вѣдалъ ни одной человѣческой мысли, ни одного человѣческаго чувства, который во всю жизнь не зналъ, что у человѣка есть страданія и горести, кромѣ холода, бессонницы, клоповъ, блохъ, голода и жажды, есть восторги и радости, кромѣ спокойнаго сна, сытнаго стола, цвѣточнаго чая; что въ жизни человѣка бываютъ случаи поважнѣе съѣденной дыни, что у него есть занятія и обязанности, кромѣ ежедневнаго осмотра своихъ сундуковъ, амбаровъ и хлѣбовъ, есть честолюбіе выше увѣренности, что онъ первая персона въ какомъ-нибудь захолустѣ; о, не тратьте такъ много фразъ, такъ много словъ — скажите просто: вотъ Иванъ Ивановичъ Перерепенко, или: вотъ Иванъ Никифоровичъ Довгочунъ! И повѣрьте, васъ скорѣе поймутъ всѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Онѣгинъ, Ленскій, Татьяна, Зарѣцкій, Репетиловъ, Хлестова, Тугоуховскій, Платонъ Михайловичъ Горичъ, княжна Мими, Пульхерія Ивановна, Анастасій Ивановичъ, Шиллеръ, Пискаревъ, Пироговъ: развѣ всѣ эти собственные имена теперь уже не нарицательныя? И, Боже мой, какъ много смысла заключаетъ въ себѣ каждое изъ нихъ! Это повѣсть, романъ, исторія, поэма, драма, многотомная книга, короче: цѣлый міръ въ одномъ, только въ одномъ словѣ! Что передъ каждымъ изъ этихъ словъ ваши заветныя «qu'il mourut, Moi, Ахъ, я Эдипъ»? И какой мастеръ Гоголь выдумывать такіе слова! не хочу говорить о тѣхъ, о которыхъ и такъ уже много говорилъ, скажу только объ одномъ такомъ его словечкѣ, это — Пироговъ!.. Святители! да это цѣлая каста, цѣлый народъ, цѣлая нація! О, единственный, несравненный Пироговъ, типъ изъ типовъ, первообразъ изъ первообразовъ! Ты многообъемлюще, чѣмъ Шейлокъ, многозначительнѣе, чѣмъ Фаустъ! ты — представитель просвѣщенія и образованности всѣхъ людей, которые любятъ потолковать о литературѣ, хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ.

Да, господа, дивное слово это — Пироговъ! Это символъ, мистическій миѣ, это наконецъ кафтанъ, который такъ чудно скроенъ, что придется по плечамъ тысячи человѣкъ! О, Гоголь большой мастеръ выдумывать такіа слова, отпущать такіа *bons mots*! А отчего онъ такой мастеръ на нихъ? Оттого, что оригиналенъ. А отчего оригиналенъ? Оттого, что поэтъ.

Но есть еще другая оригинальность, протекающая изъ индивидуальности автора, слѣдствіе цѣла очковъ, сквозь которыя смотритъ онъ на міръ. Такая оригинальность у Гоголя состоитъ, какъ я уже сказалъ выше, въ комическомъ одушевленіи, всегда побѣждаемомъ чувствомъ глубокой грусти. Въ этомъ отношеніи русская поговорка: «началь за здравіе, а свель за упокой» можетъ быть девизомъ его повѣстей. Въ самомъ дѣлѣ, какое чувство остается у насъ, когда пересмотрите вы всѣ эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ея наготѣ, во всемъ ея чудовищномъ безобразіи, когда досыта нахохочетесь, нарушаетесь надъ ней? Я уже говорилъ о «Старосѣтскихъ Помѣщикахъ» — объ этой слезной комедіи во всемъ смыслѣ этого слова. Возьмите «Записки Сумасшедшаго», этотъ уродливый гротескъ, эту странную, прихотливую гресу художника, эту добродушную насмѣшку надъ жизнью и человѣкомъ, жалкой жизнью, жалкимъ человѣкомъ, эту карикатуру, въ которой такая бездна поэзіи, такая бездна философіи, эту психическую исторію болѣзни, изложенную въ поэтической формѣ, удивительную по своей истинѣ и глубокости, достойную кисти Шекспира; вы еще смѣетесь надъ простакомъ, но уже вашъ смѣхъ растворенъ горечью: это смѣхъ надъ сумасшедшимъ, котораго бредъ и смѣшить, и возбуждаетъ состраданіе. Я уже говорилъ также и о «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» въ этомъ отношеніи; прибавлю еще, что съ этой стороны эта повѣсть всего удивительнѣе. Въ «Старосѣтскихъ помѣщикахъ» вы видите людей пустыхъ, ничтожныхъ и жалкихъ, но по крайней мѣрѣ добрыхъ и радушныхъ; ихъ взаимная любовь основана на одной привычкѣ; но вѣдь и привычка все же человѣческое чувство, но вѣдь всякая любовь, всякая привязанность, на чемъ бы она ни основывалась, достойна участія, слѣдовательно еще понятно, почему вы жалѣете объ этихъ старикахъ. Но Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ — существа совершенно пустыя, ничтожныя и притомъ нравственно гадкія и отвратительныя, ибо въ нихъ нѣтъ ничего человѣческаго; зачѣмъ же, спрашиваю я васъ, зачѣмъ вы такъ горько улыбаетесь, такъ грустно вздыхаете, когда доходите до трагикомической развязки? Вотъ она, эта тайна поэзіи! вотъ онѣ, эти чары искусства! Вы

видите жизнь, а кто видѣлъ жизнь, тотъ не можетъ не вздыхать!..

Комизмъ или юморъ Гоголя имѣетъ свой особенный характеръ: это юморъ чисто русскій, юморъ спокойный, простодушный, въ которомъ авторъ какъ бы прикидывается простакомъ. Гоголь съ важностью говоритъ о бекешѣ Ивана Ивановича, и иной простакъ не шутя подумаетъ, что авторъ и въ самомъ дѣлѣ въ отчаяніи оттого, что у него нѣтъ такой прекрасной бекешѣ. Да, Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишкомъ глупымъ, чтобы не понять его ироніи, но эта иронія чрезвычайно какъ идетъ къ нему. Впрочемъ это только манера, а истинный-то юморъ Гоголя все-таки состоитъ въ вѣрномъ взглядѣ на жизнь и, прибавлю еще, ни мало не зависитъ отъ карикатурности представляемой имъ жизни. Онъ всегда одинаковъ, никогда не измѣняетъ себѣ, даже и въ такомъ случаѣ, когда увлекается поэзіей описываемаго имъ предмета. Безпристрастіе его идолъ. Доказательствомъ этого можетъ служить «Тарасъ Бульба», эта дивная эпопея, написанная кистью смѣлой и широкой, этотъ рѣзкій очеркъ героической жизни младенчества народа, эта огромная картина въ тѣсныхъ рамкахъ, достойная Гомера. Бульба — герой, Бульба — человѣкъ съ желѣзнымъ характеромъ, желѣзной волей; описывая подвиги его кровавой мести, авторъ возвышается до лиризма и въ то же время дѣлается драматикомъ въ высочайшей степени, и все это не мѣшаетъ ему по временамъ смѣшить васъ своимъ героемъ. Вы содрагаетесь Бульбы, хладнокровно лишающаго мать дѣтей, убивающаго собственной рукой родного сына, ужасаетесь его кровавыхъ тризнь надъ гробомъ дѣтей, и вы же смѣетесь надъ нимъ, дерущимся на кулачки съ своимъ сыномъ, льющимъ горькую съ своими дѣтьми, радующимся, что въ этомъ ремеслѣ они не уступаютъ батюшкѣ, и изъясняющимъ свое удовольствіе, что ихъ «добре пороли въ бурсѣ». И причина этого комизма, этой карикатурности изображеній заключается не въ способности или направленіи автора находить во всемъ смѣшныя стороны, но въ вѣрности жизни. Если Гоголь часто и съ умысломъ подшучиваетъ надъ своими героями, то безъ злобы, безъ ненависти; онъ понимаетъ ихъ ничтожность, но не сердится на нее; онъ даже какъ будто любитъ ее, какъ любитъ взрослый человѣкъ на игры дѣтей, которыя для него смѣшны своей наивностью, но которыхъ онъ не имѣетъ желанія раздѣлить. Но тѣмъ не менѣе это все-таки юморъ, ибо не падитъ ничтожества, не скрываетъ и не скрашиваетъ его безобразія, ибо, плѣняя изображеніемъ этого ничтожества, возбуждаетъ къ нему отвращеніе. Этотъ юморъ

спокойный и, можетъ быть, тѣмъ скорѣе достигающій своей цѣли. И вотъ, замѣчу мимоходомъ, вотъ настоящая нравственность такого рода сочиненій. Здѣсь авторъ не позволяетъ себѣ никакихъ сентенцій, никакихъ правоученій; онъ только рисуетъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и ему дѣла нѣтъ до того, какъ вы онѣ, и онъ рисуетъ ихъ безъ всякой цѣли, изъ одного удовольствія рисовать. Послѣ «Горя отъ ума» я не знаю ничего на русскомъ языкѣ, что бы отличалось такой чистѣйшей нравственностью и что бы могло имѣть сильнѣйшее и благотѣльнѣйшее вліяніе на нравы, какъ повѣсти Гоголя. О, передъ такой нравственностью я всегда готовъ падать на колѣна! Въ самомъ дѣлѣ, кто пойметъ Ивана Ивановича Перерепенко, тотъ вѣрно разсердится, если его назовутъ Иваномъ Ивановичемъ Перерепенкомъ.

Нравственность въ сочиненіи должна состоять въ совершенномъ отсутствіи притязаній со стороны автора на нравственную или безнравственную цѣль. Факты говорятъ громче словъ; вѣрное изображеніе нравственнаго безобразія могущественнѣе всѣхъ выходокъ противъ него. Однакожъ не забудьте, что такіа изображенія только тогда вѣрны, когда безцѣльны, когда созданы, а создавать можетъ одно вдохновеніе, а вдохновеніе можетъ быть доступно одному таланту, слѣдовательно только одинъ талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ!

И такъ, юморъ Гоголя есть юморъ спокойный, спокойный въ самомъ своемъ негодованіи, добродушный въ самомъ своемъ лукавствѣ. Но въ творчествѣ есть еще другой юморъ—грозный и открытый; онъ кусаетъ до крови, впивается въ тѣло до костей, рубитъ со всего плеча, хлещетъ направо и налево своимъ бичомъ, свитымъ изъ шипящихъ змѣй, юморъ желчный, ядовитый, беспощадный. Хотите ли видѣть его? Я покажу вамъ его—смотрите: вотъ балъ, куда собралась толпа мишурныхъ знаменитостей, ничтожнаго величія, чтобы убить время, своего всегдашняго врага, убійцу, толпа блѣдная, чудовищная, утратившая образъ и подобіе Божіе, позоръ людей и безсловесныхъ; вотъ балъ:

«Между толпами бродятъ разныя лица, подъ веселый напѣвъ контрданса свиваются и развиваются тысячи интригъ и сѣтей; толпы подвострастныхъ аэролитовъ вертятся вокругъ однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертвѣ; здѣсь послышалось незначащее слово, привязанное къ глубокому плану; здѣсь улыбка презрѣнія скатилась съ великолѣпнаго лица и оледенила какой-то умоляющій взоръ; здѣсь тихо ползутъ темныя грѣхи и торжественная подлость гордо носитъ на себѣ печать отверженія...»

Но вдругъ балъ приходитъ въ смущеніе, кричатъ:

«Вода! вода!» Въ другомъ концѣ бала играетъ

еще музыка, тамъ еще танцуютъ, тамъ еще говорятъ о будущемъ, тамъ еще думаютъ о вчера сдѣланной подлости,—о той, которую надо сдѣлать завтра, тамъ еще есть люди, которые ни о чемъ не думаютъ... Но вскорѣ достигла страшная вѣсть, музыка прервалась, все смѣшалось... Отчего же поблѣднѣли всѣ эти лица? Какъ, мм. гг., такъ есть на свѣтѣ нѣчто кромѣ вашихъ ежедневныхъ интригъ, происковъ, разчетовъ? Не правда! пустое! все пройдетъ! опять наступитъ завтрашній день! опять можно будетъ продолжать начатое! свергнуть своего противника, обмануть своего друга, доползти до новаго мѣста!.. Но вы не слушаете, трепещете, холодный потъ обдаетъ васъ. вамъ страшно! И подлинно—вода все растетъ; вы открываете окошко, зовете о помощи, вамъ отвѣчаетъ свистъ бурн, и блѣсоватыя волны, какъ разъяренные тигры, кидаются въ свѣтлыя окна!—Да! въ самомъ дѣлѣ ужасно! еще минута—и взмокнуть эти роскошныя, дымчатые одежды вашихъ женщинъ! еще минута—и честолубивыя украшенія на груди вашей лишь прибавятъ къ вашей тяжести и повлекутъ на холодное дно.—Страшно! страшно! Гдѣ же всемогущія средства науки, смѣющейся надъ усиліями природы? Мм. гг., наука замерла подъ вашимъ дыханіемъ.—Гдѣ же сила молитвы, двигающей горы. Мм. гг., вы потеряли значеніе этого слова.—Что же остается вамъ? Смерть! смерть! смерть ужасная! медленная! Но ободритесь, что такое смерть?—вы люди мудрые, благоразумные, какъ змѣи! неужели то, о чемъ посреди глубокихъ разсужденій вашихъ вы никогда и не помышляли, можетъ быть дѣломъ столь важнымъ? Призовите на помощь свою прозорливость, испытайте надъ смертью ваши обыкновенныя средства: испытайте, нельзя ли подкупить ее, оклеветать, не испугается ли она вашего холоднаго, грознаго взгляда...»

Я не буду рѣшать, которому изъ этихъ двухъ видовъ юмора должно отдать преимущество. Вопросъ о подобномъ превосходствѣ былъ бы такъ же нелѣпъ, какъ вопросъ о превосходствѣ оды надъ элегіей, романа—надъ драмой, ибо изящное всегда равно самому себѣ, въ какихъ бы видахъ ни проявлялось. Есть вещи, столь гадкія, что стоитъ только показать ихъ въ собственномъ ихъ видѣ, или назвать ихъ собственнымъ ихъ именемъ, чтобы возбудить къ нимъ отвращеніе, но есть вещи, которыя, при всемъ своемъ существенномъ безобразіи, обманываютъ блескомъ наружности. Есть ничтожество грубое, низкое, нагое, неприкрытое, грязное, вонючее, въ лохмотьяхъ; есть еще ничтожество гордое, самодовольное, пышное, великолѣпное, приводящее въ сомнѣніе объ истинномъ благѣ самую чистую, самую пылкую душу,—ничтожество, ѣздящее въ каретѣ, покрытое золотомъ, умно говорящее, вѣжливо кланяющееся, такъ что вы уничтожены передъ нимъ, что вы готовы подумать, что оно-то есть истинное величіе, что оно-то знаетъ цѣль жизни и что вы-то обманываетесь, вы-то гоняетесь за призраками. Для того и другого рода ничтожества нуженъ свой особенный бичъ, бичъ крѣпкій, ибо то и другое ничтожество покрыто тройной броней. Для того и другого

рода ничтожества нужна своя Немезида, ибо надобно же, чтобы люди иногда просыпались отъ своего бессмысленнаго усыпленія и вспоминали о своемъ человѣческомъ достоинствѣ; ибо надобно же, чтобы громъ иногда раздавался надъ ихъ головами и напоминалъ имъ объ ихъ Творцѣ; ибо надобно же, чтобы за пиршественнымъ столомъ, посреди остатковъ безумной роскоши, среди утѣхъ бѣснующейся масляницы, унылый и торжественный звукъ колокола возмущалъ внезапно ихъ безумное упоеніе и напоминалъ о храмѣ Божіемъ, куда всякій долженъ предстать съ раскаяніемъ въ сердцахъ, съ гимномъ на устахъ!..

Гоголь сдѣлался извѣстнымъ своими «Вечерами на Хуторѣ». Это были поэтические очерки Малороссіи, очерки, полные жизни и очарованія. Все, чтѣ можетъ имѣть природа прекраснаго, сельская жизнь простолюдиновъ—обольстительнаго, все, чтѣ народъ можетъ имѣть оригинальнаго, типическаго, все это радужными цвѣтами блеститъ въ этихъ первыхъ поэтическихъ грезахъ Гоголя. Это была поэзія юная, свѣжая, благоуханная, роскошная, упонительная, какъ поцѣлуй любви... Читайте вы его «Майскую Ночь», читайте ее въ зимній вечеръ у пылающаго камелька, и вы забудете о зимѣ съ ея морозами и метелями; вамъ будетъ чудиться эта свѣтлая, прозрачная ночь благословеннаго юга, полная чудесъ и тайнъ; вамъ будетъ чудиться эта юная, блѣдная красавица, жертва ненависти злой мачихи, это оставленное жилище съ однимъ раствореннымъ окномъ, это пустынное озеро, на тихихъ водахъ котораго играютъ лучи мѣсяца, на зеленыхъ берегахъ котораго пляшутъ вереницы безплотныхъ красавицъ... Это впечатлѣніе очень похоже на то, которое производитъ на воображеніе «Сонъ въ Лѣтнюю ночь» Шекспира. «Ночь передъ Рождествомъ Христовымъ» есть цѣлая, полная картина домашней жизни народа, его маленькихъ радостей, его маленькихъ горестей, словомъ, тутъ вся поэзія его жизни. «Странная мѣсть» составляетъ теперь pendant къ «Тарасу Бульбѣ», и обѣ эти огромныя картины показываютъ, до чего можетъ возвышаться талантъ Гоголя. Но я никогда бы не кончилъ, если бы сталъ разбирать «Вечера на хуторѣ». «Арабески» и «Миргородъ» носятъ на себѣ всѣ признаки зрѣющаго таланта. Въ нихъ меньше этого упоенія, этого лирическаго разгула, но больше глубины и вѣрности въ изображеніи жизни. Сверхъ того онъ здѣсь расширилъ свою сцену дѣйствія, и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссіи, пошелъ искать поэзіи въ правахъ средняго сословія въ Россіи. И, Боже мой, какую глубокую и могучую поэзію нащелъ онъ тутъ! Мы, москаль, и не подозре-

и ея!.. «Невскій проспектъ» есть созданіе

столь же глубокое, сколько и очаровательное; это двѣ полярныя стороны одной и той же жизни, это высокое и смѣшное о-бокъ другъ другу. На одной сторонѣ этой картины бѣдный художникъ, безпечный и простодушный, какъ дитя, замѣчаетъ на Невскомъ проспектѣ женщину-ангела, одно изъ тѣхъ дивныхъ созданій, которыя могло производить только его художническое воображеніе; онъ слѣдитъ за нею, онъ дрожитъ, онъ не смѣетъ дохнуть, ибо онъ еще не знаетъ ея, но уже обожаетъ ее, а всякое обожаніе робко и трепетно; онъ замѣчаетъ ея благосклонную улыбку—и «кареты казались ему недвижны, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка и аллебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами и нарисованными ножницами, блестѣла, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ». Задыхаясь отъ упоенія и трепетнаго предчувствія блаженства, онъ входитъ за нею въ третій этажъ большого дома, и что же представляется ему?.. Она, все такъ же прекрасная, очаровательная, она смотритъ на него глупо, нагло, какъ бы говоря ему: «Ну, что же ты?..» Онъ бросается вонъ. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивнаго, драгоцѣннаго перла нашей поэзіи, второго и единственнаго, послѣ сна Татьяны Пушкина: здѣсь Гоголь поэтъ въ высочайшей степени. Кто читаетъ эту повѣсть въ первый разъ, для того въ этомъ дивномъ снѣ дѣйствительность и поэзія, реальное и фантастическое такъ тѣсно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сонъ. Представьте себѣ бѣднаго, оборваннаго, запачканнаго художника, потеряннаго въ толпѣ звѣздъ, крестовъ и всякаго рода совѣтниковъ: онъ толкается между ними, уничтожающими его своимъ блескомъ, онъ стремится къ ней, и они безпрестанно разлучаютъ его съ нею, они, эти кресты и звѣзды, которые смотрятъ на нее безъ всякаго упоенія, безъ всякаго трепета, какъ на свои золотыя табакерки... И какое пробужденіе послѣ этого сна! и какъ можно жить послѣ такого пробужденія? И онъ точно не живетъ въ дѣйствительности, онъ весь въ грезахъ... Наконецъ, въ его душѣ блеснулъ обманчивый, но радужный лучъ надежды: онъ рѣшается на самоотверженіе, онъ хочетъ принести ей въ жертву, какъ Молоху, даже честь свою... «А я только—что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра, я была совсѣмъ пьяна»—это говоритъ ему она, все такъ же прекрасная, очаровательная... Послѣ этого можно ли было жить даже въ грезахъ?.. И нѣтъ художника: онъ сошелъ въ темную могилу, никѣмъ не оплаканный, и міръ не знаетъ, какая высокая и ужасная драма была разыграна въ этой грѣшной страдальческой душѣ...

На другой сторонѣ этой картины вы ви-

дите Пирогова и Шиллера;—того Пирогова, о котором я уже говорилъ, — того Шиллера, который хотѣлъ себѣ отрѣзать носъ, чтобы избавиться отъ излишнихъ расходовъ на табакъ; того Шиллера, который говоритъ съ гордостью, что онъ — швабскій нѣмецъ, а не русская свинья, и что у него есть король въ Германіи;—того Шиллера, который «еще съ двадцатилѣтняго возраста, съ того времени, которое русскій живетъ на фуфу, измѣрилъ всю свою жизнь и положилъ себѣ въ теченіе 10 лѣтъ составить капиталъ изъ 50-ти тысячъ, и у котораго это было уже такъ вѣрно и неотразимо, какъ судьба, потому что скорѣе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели нѣмецъ рѣшится перемѣнить свое слово; наконецъ,—того Шиллера, «который положилъ цѣловать жену свою въ сутки не болѣе двухъ разъ, и чтобы какъ-нибудь не поцѣловать лишній разъ, никогда не клалъ перцу болѣе одной ложечки въ свой супъ». Чего вамъ еще? Тутъ весь человѣкъ, вся исторія его жизни!..

А Пироговъ?.. О, объ немъ объ одномъ можно написать цѣлую книгу... Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, съ которою онъ составляетъ такую отличную пару, его ссору и отношенія съ Шиллеромъ; помните, какіе ужасные побои претерпѣлъ онъ отъ флегматическаго Отелло; помните, какимъ негодованіемъ, какой жадной мести закипѣло сердце поручика, и помните, какъ скоро прошла его досада отъ сѣдненныхъ кондитерскихъ пирожковъ и проченія «Пчелы»?.. Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискаревъ и Пироговъ — какой контрастъ! Оба они начали въ одинъ день, въ одинъ часъ преслѣдованія своихъ красавицъ, и какъ различны для обоихъ ихъ были слѣдствія этихъ преслѣдованій! О, какой смыслъ скрытъ въ этомъ контрастѣ! И какое дѣйствіе производитъ этотъ контрастъ. Пискаревъ и Пироговъ... одинъ въ могилѣ, другой доволенъ и счастливъ, даже послѣ неудачнаго волокитства и ужасныхъ побоевъ!.. Да, господа, скучно на этомъ свѣтѣ!

«Портретъ» есть неудачная попытка Гоголя въ фантастическомъ родѣ. Здѣсь его талантъ падаетъ, но онъ и въ самомъ паденіи остается талантомъ. Первой части этой повѣсти невозможно читать безъ увлеченія; даже, въ самомъ дѣлѣ, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое въ этомъ таинственномъ портретѣ, есть какая-то непобѣдимая прелесть, которая заставляетъ васъ насильно смотрѣть на него, хотя вамъ это и страшно. Прибавьте къ этому множество юмористическихъ картинъ и очерковъ во вкусѣ Гоголя; вспомните квартальнаго надзирателя, разсуждающаго о живописи, потомъ эту мать, которая привела къ Черткову свою дочь, чтобы

снять съ нея портретъ, и которая бранить балы и восхищается природою,—и вы не откажете въ достоинствѣ и этой повѣсти. Но вторая ея часть рѣшительно ничего не стоитъ; въ ней совсѣмъ не видно Гоголя. Это явная придѣлка, въ которой работалъ умъ, а фантазія не принимала никакого участія.

Вообще надо сказать, фантастическое какъ-то не совсѣмъ дается Гоголю, и мы вполнѣ согласны съ мнѣніемъ Шевырева, который говоритъ, что «ужасное не можетъ быть подробно: призракъ тогда страшенъ, когда въ немъ есть какая-то неопредѣленность; если же вы въ призракѣ умѣете разглядѣть слизистую пирамиду, съ какими-то челюстями вмѣсто ногъ и языкомъ вверху, тутъ ужъ не будетъ ничего страшнаго, и ужасное переходитъ просто въ уродливое». Но зато картины малороссійскихъ нравовъ, описаніе бурсы (впрочемъ немного напоминающее бурсу Нарѣжнаго), портретъ бурсаковъ, и особенно этого философа Хомя, философа не по одному классу семинаринъ, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь... О, несравненный *Dominus* Хома! какъ ты великъ въ своемъ стонстическомъ равнодушіи ко всему земному, кромѣ горѣлки! Ты натерпѣлся горя и страха, ты чуть не попался въ когти къ чертямъ, но ты все забываешь за широкой и глубокой ендовой, на днѣ которой схоронены твоя храбрость и твоя философія; ты, на вопросъ о видѣнныхъ тобою страстяхъ, машешь рукою и говоришь: «Много на свѣтѣ всякой дряни водится!» у тебя половина головы посядѣла въ одну ночь, а ты оттопыриваешь трепача, да такъ, что добрые люди, смотря на тебя, плюютъ и восклицаютъ: «Вотъ это такъ долго танцуетъ человѣкъ!» Пусть судитъ всякій, какъ хочетъ, а по мнѣ такъ философъ Хома стоитъ философа Сковороды! Потомъ помните ли вы невольное путешествіе философа Хомя, помните ли попойку въ шинкѣ, этого Дороша, который, нагрузившись пѣнникомъ, вдругъ захотѣлъ узнать, непременно узнать, чему учать въ бурсѣ (шуточное дѣло!), этого резонера, который божился, что «все должно оставить такъ какъ есть, что Богъ знаетъ, какъ нужно», и наконецъ этого казака съ сѣдыми усами, который рыдалъ о томъ, что остался круглой сиротой... А эти поучительныя бесѣды на кухнѣ, гдѣ обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка? А сужденія этихъ умныхъ головъ о чудесахъ въ природѣ? а портретъ пана сотника?.. и кто перечтетъ?.. Нѣтъ, несмотря на неудачу въ фантастическомъ, эта повѣсть есть дивное созданіе. Но и фантастическое въ ней слабо только въ описаніи привидѣній, а чтеніе Хомя въ церкви, возстаніе красавицы, явленія Вія безподобны.

Я еще мало говорилъ о «Тарасѣ Бульбѣ», я не буду слишкомъ распространяться о немъ, ибо въ такомъ случаѣ у меня вышла бы еще статья не менѣе самой повѣсти... «Тарасъ Бульба» есть отрывокъ, эпизодъ изъ великой эпопеи жизни цѣлаго народа. Если въ наше время возможна гомерическая эпопея, то вотъ вамъ ея высочайшій образецъ, идеалъ и прототипъ!.. Если говорить, что въ «Иліадѣ» отражается вся жизнь греческая въ ея героическій періодъ, то развѣ однѣ пѣники и риторички прошлаго вѣка запретятъ сказать то же самое о «Тарасѣ Бульбѣ» въ отношеніи къ Малороссіи XVI вѣка?.. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ здѣсь не все казачество съ его странной цивилизаціей, его удалой, разгульной жизнью, его безпечностью и лѣнью, неутомимостью и дѣятельностью, его буйными оргіями и кровавыми набѣгами?.. Скажите мнѣ, чего нѣтъ въ картинѣ, чего недостаетъ къ ея полнотѣ? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здѣсь огромный пульсъ всей этой жизни? Этотъ богатырь Бульба со своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцевъ, дружно отдирающая на площади трепака; этотъ казакъ, лежащій въ лужѣ, для показанія своего презрѣнія къ дорогому платью, которое на немъ надѣто, и какъ бы вызывающій на драку всякаго дерзкаго, кто бы осмѣлился дотронуться до него хоть пальцемъ; этотъ кошевой, поневолѣ говорящій краснорѣчивую, витиеватую рѣчь о необходимости войны съ бусурманами, потому что «многіе запорожцы позадолжались въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры неиметъ»; эта мать, которая является какъ бы мимоходомъ, чтобы заживо оплакать дѣтей своихъ, какъ всегда являлась въ тотъ вѣкъ женщина и мать въ казацкой жизни... А жиды и ляхи, а любовь Андрія и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его возвращеніе къ отцу и «слышу»*) Бульбы и наконецъ героическая гибель стараго фанатика, который не чувствовалъ своихъ ужасныхъ мукъ, потому что чувствовалъ

*) Впрочемъ я не ставлю въ слишкомъ большую заслугу Гоголю этого «слышу» и не думаю, подобно нѣкоторымъ, что если бы Гоголь и не изобрѣлъ ничего другого, кромѣ этого славнаго «слышу», то однимъ имъ могъ бы заставить молчать злопамѣренность критики; ибо, вопервыхъ, злопамѣренность критики нельзя обезоружить изящными созданіями, чему примѣромъ можетъ служить этотъ же самый Гоголь, нѣкоторыми благопамѣренными критиками пожалованный въ Поль-де-Кони; потомъ, это славное «слышу» не имѣло бы никакого смысла безъ отношенія къ цѣлой повѣсти и безъ связи съ нею, и наконецъ, теперь уже прошло то время, когда въ примѣръ высокаго представляли: *Qu'il mourût, Moi, Ахъ я Эдипъ, я Россѣ* и т. п.; зачѣмъ же обогащать педантовъ новымъ примѣромъ такого въ выраженіи?

одну жажду мести къ враждебному народу?.. И это не эпопея?.. Да что же такое эпопея?.. И какая кисть широкая, размашистая, рѣзкая, быстрая! какія краски яркія и ослѣпительныя... И какая поэзія энергическая, могучая, какъ эта Запорожская Сѣчь, «то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы, откуда разливается воля и казачество на всю Украйну!..»

Что еще сказать вамъ? можетъ быть вы мало удовлетворены и тѣмъ, что я уже сказалъ: что дѣлать! Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять другихъ чувствовать и понимать его! Если одни изъ читателей, прочтя мою статью, скажутъ: «это правда», или по крайней мѣрѣ: «во всемъ этомъ есть и правда»; если другіе, прочтя ее, захотятъ прочесть и разобранныя въ ней сочиненія — мой долгъ выполненъ, цѣль достигнута.

Но какой же общій результатъ выведу я изъ всего сказаннаго мною? Что такое Гоголь въ нашей литературѣ? Гдѣ его мѣсто въ ней? Чего должно ожидать намъ отъ него, — отъ него, еще только начавшаго свое поприще, и какъ начавшаго! Не мое дѣло раздавать вѣнки безсмертія поэтамъ, осуждать на жизнь или смерть литературныя произведенія; если я сказалъ, что Гоголь — поэтъ, я уже все сказалъ, я уже лишилъ себя права дѣлать ему судейскіе приговоры. Теперь у насъ слово «поэтъ» потеряло свое значеніе: его смѣшали съ словомъ «писатель». У насъ много писателей, нѣкоторые даже съ дарованіемъ, но нѣтъ поэтовъ. «Поэтъ» высокое и святое слово, въ немъ заключается не умирающая слава! Но дарованіе имѣетъ свои степени; Козловъ, Жуковский, Пушкинъ, Шиллеръ — эти люди поэты; но равны ли они? Развѣ не спорятъ еще и теперь, кто выше: Шиллеръ или Гёте? Развѣ общій голосъ не называлъ Шекспира царемъ поэтовъ, единственнымъ и несравненнымъ? И вотъ задача критики: опредѣлить степень, занимаемую художникомъ въ кругу своихъ собратій. Но Гоголь еще только началъ свое поприще; слѣдовательно наше дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ въ настоящее время онъ является главой литературы, главой поэтовъ, онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ. Предоставимъ времени рѣшить, чѣмъ и какъ кончится поприще Гоголя, а теперь будемъ желать, чтобы этотъ прекрасный талантъ долго сіялъ на небосклонѣ нашей литературы, чтобы его дѣятельность равнялась его силѣ.

Въ «Арабескахъ» помѣщены два отрывка изъ романа. Объ этихъ отрывкахъ нельзя су-

дить какъ объ отдѣльномъ и цѣломъ созданіи; но о нихъ можно сказать, что они вполне могутъ служить залогомъ тѣхъ надеждъ, о которыхъ я говорилъ. Поэты бываютъ двухъ родовъ: одни только доступны поэзіи, и она у нихъ бываетъ болѣе способностью, чѣмъ даромъ или талантомъ, и много зависитъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ жизни; у другихъ даръ поэзіи есть нѣчто положительное, нѣчто составляющее нераздѣльную часть ихъ бытія. Первые, иногда одинъ разъ въ цѣлую жизнь, выскажутъ какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и, какъ будто обезсиленные тяжестью совершеннаго ими подвига, ослабѣваютъ и падаютъ въ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ; и вотъ отчего у нихъ первый опытъ по большей части бываетъ прекрасенъ, а послѣдующіе постепенно подрываютъ ихъ славу. Другіе съ каждымъ новымъ произведеніемъ возвышаются и крѣпнутъ; Гоголь принадлежитъ къ числу этихъ послѣднихъ поэтовъ: этого довольно!

Я забылъ еще объ одномъ достоинствѣ его произведеній: это лиризмъ, которымъ проникнуты его описанія такихъ предметовъ, которыми онъ увлекается. Описываетъ ли онъ бѣдную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощеніе святого чувства любви — сколько тоски, грусти и любви въ его описаніи! Описываетъ ли онъ юную кра-

соту — сколько упоенія, восторга въ его описаніи! Описываетъ ли онъ красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссіи — это сынъ, ласкающійся къ обожаемой матери! Помните ли вы его описаніе безбрежныхъ степей днѣпровскихъ? Какая широкая, размашистая кисть! какой разгулъ чувства! Какая роскошь и простота въ этомъ описаніи! Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши у Гоголя!..

Въ одномъ журналѣ было изъявлено странное желаніе, чтобы Гоголь попробовалъ своихъ силъ въ изображеніи высшихъ слоевъ общества: вотъ мысль, которая въ наше время отзывается ужаснымъ анахронизмомъ! Какъ! неужели поэтъ можетъ сказать себѣ: дай, опишу то или другое, попробую себя въ томъ или другомъ родѣ!.. И дритомъ, развѣ предметъ дѣлаетъ что-нибудь для достоинства сочиненія? Развѣ это не аксіома: гдѣ жизнь, тамъ и поэзія? Но мои «развѣ» никогда бы не кончились, если бы я захотѣлъ высказать ихъ всѣ, безъ остатка. Нѣтъ, пусть Гоголь описываетъ то, что велитъ ему описывать его вдохновеніе, и пусть страшится описывать то, что велитъ ему описывать или его воля, или гг. критики. Свобода художника состоитъ въ гармоніи его собственной воли съ какой-то внѣшней, независимой отъ него волей, или, лучше сказать, его воля — вдохновеніе *)...

О СТИХОТВОРЕНІЯХЪ БАРАТЫНСКАГО.

Часто думаю я о томъ, какое рѣзкое отличие находится между поэзіей первобытныхъ народовъ и поэзіей новыхъ народовъ, которыхъ религія, цивилизація, просвѣщеніе и литература образовались подъ разными чуждыми вліяніями. Представьте себѣ народъ, у котораго еще нѣтъ ни идеи творчества, ни слова для выраженія этой идеи, а есть уже само творчество: кто открылъ ему эту тайну, кто навелъ его на эту мысль? Одна природа, и больше никто. Самое просвѣщеніе въ этомъ случаѣ дѣло совершенно постороннее, ибо оно только сообщаетъ поэзіи другой характеръ. И это очень естественно: чѣмъ безсознательнѣе творчество, тѣмъ оно глубже и истиннѣе. Поэтъ, который творитъ, не сознавая своего дѣйствія, не понимая, что онъ дѣлаетъ — онъ болѣе поэтъ, нежели тотъ, который, чувствуя вдохновеніе, говоритъ: «хочу писать».

Кто слагалъ наши народныя пѣсни? — Люди, которые даже и не подозревали, что

есть поэзія, есть вдохновеніе, есть поэты, есть литература. Какъ слагали они свои пѣс-

*) Я очень радъ, что заглавіе и содержаніе моей статьи избавляютъ меня отъ непріятной обязанности разбирать ученые статьи Гоголя, помѣщенные въ «Арабескахъ». Я не понимаю, какъ можно такъ необдуманно компрометировать свое литературное имя. Неужели перевести или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать нѣкоторые мѣста изъ исторіи Миллера, переищать ихъ съ своими фразами, значить написать ученую статью?.. Неужели дѣтскія мечтанія объ архитектурѣ — ученость?.. Неужели сравненіе Шлецера, Миллера и Гердера, ни въ какомъ случаѣ не идущихъ въ сравненіе, тоже ученость?.. Если подобныя этюды учености, то избави насъ Богъ отъ такой учености! Мы и безъ того богаты ею. Отдавая полную справедливость прекрасному таланту Гоголя, какъ поэта, мы, движимые чувствомъ той же самой справедливости, того же самаго безпристрастія, желаемъ, чтобы кто-нибудь разобралъ подробнѣе его ученые статьи.

ни? — Экспромптомъ, за пиршественной чашей, среди ликующаго круга или, всего чаще, въ минуты тоски и унынія, когда душа просилась вонъ и хотѣла излиться или въ слезахъ, или въ звукахъ. Какъ смотрѣли эти гениальные люди на свои произведенія? — Какъ на дѣло пустое, и можетъ быть, когда проходили обстоятельства, породившія ихъ пѣсню, когда стихали чувства и уступали полное владычество разсудку, они удивлялись, какъ пришла имъ въ голову странная мысль заниматься такимъ вздоромъ, и стыдились своей пѣсни, какъ стыдится протрезвившійся человѣкъ дурного или смѣшного поступка, сдѣланнаго имъ въ пьяномъ видѣ. Я часто мечталъ объ одномъ созданіи, идеалѣ котораго смутно носился въ душѣ моей, и который мнѣ очень хотѣлось увидѣть когда-нибудь осуществленнымъ: мнѣ хотѣлось прочесть романъ или драму, въ которой бы содержаніе было взято изъ русской жизни до Петра Великаго, и въ которой была бы представлена борьба гения съ своими порывами, для него непонятными. Въ самомъ дѣлѣ, неужели въ этомъ народѣ, признававшемъ себя нѣскольکو столѣтій и занимавшемъ такое обширное пространство, не было своихъ Шекспировъ, Шиллеровъ?.. И такъ, представьте себѣ народъ, у котораго было поэтическое чувство, но котораго условія жизни были совершенно противоположны поэзии жизни; котораго религія покровительствовала искусству, требовала отъ него служенія, но который въ религіи довольствовался одними формами, а искусство сдѣлалъ ремесломъ, определеннымъ и положительнымъ, такъ что гений и посредственность были въ немъ подведены подъ уровень; — народъ, который любилъ временемъ и спѣть пѣсню, и поплясать въ присядку, но который въ то же время и пѣніе, и пляску почиталъ бѣсовской потѣхой, грѣхомъ тяжкимъ; — народъ, который довольствовался скудной житейской философией, лѣниво наслѣдованной имъ отъ праотцевъ и заключенной въ формы пословицъ и поговорокъ; — народъ, который святое чувство любви почиталъ дьявольскимъ наводженіемъ, отчитывался отъ него молитвами, отпрыскивался нашептанной водой; — народъ, который женщину — эту поэзію жизни, которой одной бываетъ жизнь красна, — женщину сдѣлалъ своей рабыней, родомъ домашняго животнаго, немного выше коровы или лошади; — наконецъ, народъ, который былъ чуждъ всякаго движенія впередъ, всякаго стремленія къ совершенствованію, былъ похожъ на обледѣвшую массу воды, по которой тѣсно скользятъ блѣдные лучи зимняго солнца. Теперь среди этого народа представьте себѣ юношу-гения: какой контрастъ, какія подробности, сколько красокъ, какая

драма, высокая и ужасная въ своей простотѣ и карикатурности!.. Этотъ юноша есть единственная опора, единственная надежда престарѣлой матери. Какой-нибудь добрый монахъ учитъ его грамотѣ, чтобъ онъ могъ современемъ сдѣлаться писцомъ въ приказѣ, дьякомъ или земскимъ ярыжкой — это все одно и то же, ибо одинаково прибыльно, а русскій народъ смотрѣлъ всегда на судопроизводство какъ на средство жить; наши мужички и теперь еще не шутя говорить: «онъ на то и алистраторъ, чтобы взятки брать». И такъ, юношѣ готовится блестящая будущность: надо, чтобъ онъ умѣлъ воспользоваться ею. Но вотъ бѣда: юноша боленъ страннымъ недугомъ; ему снятся на яву дивные сны, слышатся чудные звуки, ему хочется и самъ онъ не знаетъ чего; онъ забываетъ свое дѣло, и, какъ одержанный бѣсомъ, то плачетъ, то хохочетъ, самъ не зная отчего. Мать плачетъ о немъ, какъ о потерянномъ, возбалмошномъ, помѣшанномъ; добрые люди, говоря о немъ, пожимаютъ плечами и набожно проносятъ: «Господи, спаси насъ отъ лукаваго!» Все это очень обыкновенно, но вотъ что не совсѣмъ обыкновенно: онъ самъ увѣренъ, что онъ одержимъ злымъ духомъ, постигнуть чернымъ недугомъ, что его мысли грѣшны, желанія и помыслы нечисты. Онъ молить Бога, чтобы онъ избавилъ его отъ злого бѣса, который его мучитъ и преслѣдуетъ, чтобы онъ направилъ его на путь истинный; онъ плачетъ и раскаивается, и все остается такимъ же чуднымъ и непохожимъ на добрыхъ людей. Не правда ли, что это прекрасный предметъ для драмы; не правда ли, что такая драма, плодъ гения, въ тысячу бы разъ лучше и яснѣе всѣхъ бурсовъ и теорій эстетики объяснила дивную и великую тайну, которая здѣсь, на землѣ, называется поэтомъ, художникомъ?..

Исторія первобытной греческой поэзіи достойна глубочайшаго изученія. Сравните съ ней исторію первобытной индійской, арабской поэзіи — и сколько драгоценныхъ фактовъ получите вы для теорій изящнаго! Въ самомъ дѣлѣ, поэтъ, который сочиняетъ, не зная, что такое поэзія, что такое поэтъ, не зная, чтобы когда-нибудь и кто-нибудь, подобно ему, сочинялъ, который сочиняетъ по непреодолимому побужденію, котораго не умѣтъ ни понять, ни назвать, не есть ли онъ поэтъ по преимуществу? И такіе поэты бывають только у народовъ младенчествующихъ, и ихъ имена или исчезаютъ для потомства, или передаются ему въ мифическихъ образахъ Гомеровъ, Оссіановъ. Созданія такихъ поэтовъ суть типическія, оригинальныя и вѣчныя. Они творять роды и формы искусства, ибо, по странной ошибкѣ человѣческаго ума, служатъ образцами для

послѣдующихъ творцовъ. Они вполне принадлежатъ своему вѣку и народу, ибо творятъ свободно отъ всякаго посторонняго вліянія. Какое дѣло, если у индійцевъ была драма прежде, чѣмъ Эсхилъ явился въ Грецію... Эсхилъ все-таки творецъ греческой трагедіи, этого рода, такъ отличнаго отъ новѣйшей драмы. Типъ эпическихъ рапсодъ, типъ эсхилловской драмы есть типъ истинный, естественный, законный, если можно такъ сказать, ибо онъ найденъ въ природѣ, а не выдуманъ. Можно ли усомниться въ призваніи первобытныхъ поэтовъ?..

Не такъ бываетъ у народовъ, у которыхъ поэзія является тогда, какъ имъ уже известна идея поэзіи по опыту первобытныхъ народовъ. Не самобытны, не оригинальны, не законны роды и формы ихъ созданій. Если они и носятъ на себѣ признаки таланта, то похожи на зданіе, котораго планъ начертанъ однимъ художникомъ, а выполненъ другимъ, принадлежащимъ другому вѣку и другому народу; похожи на пламенное произведеніе юноши-поэта, написанное на тему, потомъ переправленное и переделанное варваромъ-педагогомъ. Такова «Энеида» и всѣ поэмы, существующія на свѣтѣ потому только, что существовала прежде нихъ «Иліада», а не почему иному. У этихъ народовъ обыкновенно тотъ и поэтъ, кто началъ писать прежде другихъ, кто вышелъ на арену и громко закричалъ: «смотрите, я—поэтъ!»

И вотъ причина деспотическаго владычества Ронсаровъ, Кантемировъ, Третьяковскихъ, Сумароковыхъ. Но это владычество непродолжительно; оно оканчивается тотчасъ, какъ народъ начнетъ понимать истинное значеніе поэзіи. Тогда новое горе: тогда является множество другого рода незаконныхъ поэтовъ. Это люди, больше или меньше доступные поэзіи, т.-е. способные понимать ее, часто владѣющіе талантомъ формы, вмѣсто таланта творчества, т.-е. умѣющіе дать изящную форму всякой мысли, даже пустой. Они обыкновенно угождаютъ, льстятъ своему времени, и поэтому пользуются успѣхомъ только въ свое время, тотчасъ забываемые, какъ наступитъ другое время и приведетъ съ собою другія идеи, другія потребности. Хотите ли знать имена такихъ поэтовъ? Это Дезюльеръ, Флоріаны, Делили, Богдановичи, Капнисты, Гнѣдичи и проч., и проч.

Въ дѣлѣ литературы у всякаго народа бываютъ свои эпохи очарованія и разочарованія. Сначала господствуетъ безотчетное удивленіе; все кажется прекраснымъ, великимъ, безсмертнымъ, авторитеты царствуютъ какъ олимпійскіе боги, и едва соблаговолѣютъ преклонять свой слухъ къ гимнамъ хваленій. И какой многолюдный Олимпъ!

Если бы онъ сошелъ на землю, то не достало бы ни мѣстъ, ни матеріаловъ для построенія ему приличныхъ храмовъ. Это эпоха веселая, какъ и всѣ эпохи очарованія, но глупая и нелѣпая, какъ всѣ эпохи торжества посредственности, самозванства, безвкусія, униженія искусства, истины, здраваго смысла. Потомъ наступаетъ эпоха разочарованія и приводитъ за собою духъ реакціи, критики, анализа. Знаменитости подвергаются строгому изслѣдованію; самозванство развѣнчивается; истинной заслугѣ отдается должная почеть; Олимпъ пустѣетъ, но его пустота почтенна, ибо если и немногія, зато яркія звѣзды сияютъ на его вершинѣ. Есть люди, которые упорно остаются вѣрными своимъ прежнимъ богамъ и, видя разбитыя капища, сокрушенныхъ идоловъ, съ воплемъ и слезами восклицаютъ: «выдѣбай, боже!» Какая причина этого страннаго упорства? Посредственность и мелочное самолюбіе. Эти люди остервеняются не за идоловъ своихъ, а за самихъ себя, ибо въ ниспроверженіи своихъ идоловъ видятъ ниспроверженіе своихъ понятій объ изящномъ, упадокъ своего кредита во вкусъ, чувствъ, умъ, познанійхъ. Жалкая и между тѣмъ вредная братія! Чтобы любить истину, должно жертвовать ей своими душевными мыслями, привычками, предубѣжденіями, а легко ли это? Изъ одного и того же источника часто выходятъ различные результаты. Одинъ такъ любитъ искусство, что посвящаетъ всю жизнь свою на служеніе ему въ качествѣ дѣйствителя. не думая о томъ, что у него нѣтъ таланта, и что онъ своей дѣятельностью оскорбляетъ святость и великость этого искусства, которому хочетъ служить; это любовь вечистая: къ ней примѣшано много эгоизма, мелочнаго самолюбія. Другой такъ любитъ искусство, что, начавши писать по увлеченію и пріобрѣтающіе успѣхи, но видя, что его произведенія, которымъ рукоплещетъ толпа, далеко не соответствуютъ тому идеалу поэзіи, который онъ создалъ себѣ, останавливается въ началѣ поприща, успѣшно начатаго, съ стѣсненнымъ сердцемъ рветъ и попираетъ ногами свои вялые лавры и рѣшается никогда не оскорблять святости и великости искусства, которое обожаетъ. Вотъ это любовь къ искусству, любовь высокая, благородная! И можетъ ли такой человѣкъ хладнокровно видѣть, какъ жалкая посредственность или низкая злонамѣренность профанируетъ святость и великость боготворимаго имъ искусства, профанируетъ своимъ удивленіемъ къ блестящему ничтожеству, или своими кривыми толками объ изящномъ, или уродливыми созданіями-батардами искусства, выдаваемыми имъ за созданія творчества?.. Можетъ ли онъ не подать голоса, остаться нѣмымъ, страшась

преслѣдованій раздраженной посредственно-сти, или боясь имени «ругателя»?

Въ нашей литературѣ теперь именно наступила эта эпоха анализа. Мы наконецъ хотимъ владѣть сокровищемъ не многимъ, но истиннымъ. А что то за сокровище, которое безпрестанно боишься потерять? Что тотъ за авторитетъ, который каждую минуту готовъ пасть? Что та за истина, которая боится изслѣдованія, темнѣетъ отъ взоровъ ума? Нѣтъ, пусть будетъ воздаваемо каждому должное, пусть заслуга пользуется уваженіемъ, а бездарность обличится и всякій займетъ свое мѣсто!

Неужели наши мелкіе расчеты, наше жалкое самолюбіе, наши ничтожныя отношенія дороже и важнѣе истины, общественнаго вкуса, общественной любви къ искусству, общественныхъ понятій объ изящномъ? Неужели мы всегда будемъ ѣздить верхомъ на палочкахъ? Неужели наша литература всегда будетъ представляться въ формѣ Ивана Ивановича Перерепенко, который, съѣвши дыню, завертывалъ въ бумажку зерна и своей рукой надписывалъ: «Сѣѣдена тогда-то?...» Надо направлять общественный вкусъ и понятія объ изящномъ, распространять общественную склонность къ изящному. Мы уже теперь не ослѣпляемся знаменитостью рода, незаслуженными отличіями: зачѣмъ еще будемъ мы ослѣпляться знаменитостью литературныхъ именъ, незаслуженными авторитетами? Имя—ничего; важно дѣло.

Приступая къ опѣнкѣ стихотвореній Баратынскаго, я не безъ намѣренія сдѣлалъ такое обширное вступленіе. У насъ еще такъ много людей, которые, зная, что «говорить правду—потерять дружбу», что хвалить гораздо выгоднѣе, чѣмъ хулить, почитаютъ говорящихъ правду людьми безпокойными и злонамѣренными, такъ же точно, какъ у насъ еще много людей, которые почитаютъ злонамѣренностью и безнравственностью возставать громко противъ взяточничества, ибо у насъ еще и теперь многіе думаютъ, что никто не имѣетъ права мѣшать другому наживаться, а, по ихъ мнѣнію, всякое средство къ наживѣ позволительно. Неужели и въ литературѣ должно находиться такое же подъячество мнѣній?..

Я не буду слишкомъ распространяться въ разборѣ стихотвореній Баратынскаго; вопросъ не обширный и притомъ очень ясный.

Баратынскій—поэтъ ли? Если поэтъ—какое вліяніе имѣли на нашу литературу его сочиненія? какой новый элементъ внесли они въ нее? какой ихъ отличительный характеръ? наконецъ, какое мѣсто занимаютъ они въ нашей литературѣ?

Нѣсколько разъ перечитывалъ я стихотворенія Баратынскаго и вполне убѣдился,

что поэзія только изрѣдка и слабыми искорками блеститъ въ нихъ. Основной и главный элементъ ихъ составляетъ умъ, изрѣдка задумчиво разсуждающій о высокихъ человѣческихъ предметахъ, почти всегда слегка скользящій по нимъ, но всего чаще разсыпавшійся каламбурами и блещущій остротами. Слѣдующее стихотвореніе, взятое на выдержку, всего лучше характеризуетъ свѣтскую паркетную музу Баратынскаго.

Нѣтъ, обманула васъ молва,
Попрежнему дышу я вами
И надо мной свои права
Вы не утратили съ годами.
Другимъ курилъ я оныіамъ,
Но васъ носилъ въ святинѣ сердца,
Молился новымъ образамъ,
Но съ безпокойствомъ старовѣрца.

Скажите, Бога ради, неужели это чувство, фантазія, а не игра ума?

И перечтите всѣ стихотворенія Баратынскаго: что вы увидите въ каждомъ изъ лучшихъ? Два—три поэтическіе стиха, вылившіеся изъ сердца; потомъ риторикѣ, потомъ нѣсколько прозаическихъ стиховъ; но вездѣ умъ, вездѣ литературную ловкость, умѣнье, навѣкъ, щегольскую отдѣлку и больше ничего. Читая эти два тома, вы видите, что они написаны человѣкомъ, для котораго жизнь была не сномъ, который мыслилъ, чувствовалъ, котораго занимали и интересовали предметы человѣческаго уваженія, но не одно изъ нихъ не западетъ вамъ въ душу, не взволнуетъ ее могучей мыслью, могучимъ чувствомъ, не истомитъ ее сладкой тоской и не наполнитъ тревожнымъ упоеніемъ, отъ котораго занимается духъ и по тѣлу пробѣгаетъ электрическій холодъ. Я не хочу сравнивать въ этомъ отношеніи Баратынскаго съ Пушкинымъ; такое сравненіе было бы недобросовѣстно. Возьмемъ параллель пониже, возьмемъ Козлова и противопоставимъ его Баратынскому—то ли это? Козловъ—поэтъ не гениальный, поэтъ обыкновенный, но вотъ что значитъ быть истиннымъ поэтомъ въ какой бы то ни было степени! Можете ли вы читать безъ упоенія его дивную, роскошную, таинственную, благоухающую и блестящую «Венеціанскую ночь» и многія другія мелкія стихотворенія; не пробуждаютъ ли всей вашей души многія мѣста изъ его «Чернеца» и не вызываютъ ли они всѣхъ вашихъ душевныхъ думъ, не откланяетесь ли вы на нихъ своимъ чувствомъ? Есть и у Баратынскаго нѣсколько замѣчательныхъ стихотвореній, какъ-то: «Элегія на смерть Гёте», «О счастлиніи съ младенчества тоскуя», «Дало двѣ доли Провидѣнье», «Когда печалью вдохновенны», «Бѣжить невѣрное здоровье», «Не искушай меня безъ нужды», «Притворной нѣжности не требуй отъ меня», «Черепъ», «По-

слѣдняя смерть»; но одни изъ нихъ хороши по мысли, но холодны, а всѣ вообще оставляютъ въ душѣ такое же слабое впечатлѣніе, какъ дуновение устъ на стеклѣ зеркала: оно легко и скоропреходяще. Въ наше время, холодное, прозаическое время, надо въ поэзіи огня да огня: иначе насъ трудно разогрѣть.

Въ числѣ необходимыхъ условій, составляющихъ истиннаго поэта, должна непременно быть современность. Поэтъ больше, нежели кто-нибудь, долженъ быть сыномъ своего времени. Скажите, Бога ради, можетъ ли поэтъ нашего времени написать два длинныхъ, вялыхъ, прозаическихъ посланія, каковы къ Богдановичу и Гнѣдичу, въ которыхъ самый механизмъ стиховъ скрипитъ какъ тяжелыя ворота на веряхъ, и въ которыхъ вѣтъ не только ни искры чувства, но даже и порядочной мысли? Можетъ ли поэтъ нашего времени написать, а если уже имѣлъ несчастіе написать, то помѣстить въ полномъ собраніи своихъ сочиненій, напримѣръ, вотъ такое стихотвореніе:

Не знаю, милая, не знаю!
Краса плѣнительна твоя:
Не знаю, я предпочитаю
Всѣмъ тѣмъ, которыхъ знаю я?

Чѣмъ это сентиментальное стихотвореніе лучше «Триолета Лилетъ», написаннаго Карамзинымъ?

Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться ль мнѣ, идти ли прочь,
Межъ нами долго шли совѣты... и т. д.

И это поэзія?... И это хотятъ насъ заставить читать, — насъ, которые знаютъ наизусть стихи Пушкина?... И говорятъ еще иные, что XVIII вѣкъ кончился!..

Она придетъ! Къ ея устамъ
Прижмусь устами я моими;
Приютъ укромный будетъ намъ
Подъ сими вязами густыми!

Волненьемъ страстнымъ я томимъ;
Но близъ любезной укротимъ
Желаній пылкихъ нетерпѣнье:
Мы ими счастью вредимъ,
И сокращаемъ наслажденье.

Не правда ли, что два послѣдніе стиха похожи на заключеніе хриіа?

Но зачѣмъ же вы выбираете такія стихотворенія? можетъ быть спросить меня иной недовѣрчивый читатель. Зачѣмъ же помѣщены они? отвѣчаю я. Въ наше время поэты должны быть осторожны и не представлять изъ себя Далайламу...

О поэмахъ Баратынскаго я ничего не хочу говорить: ихъ давно никто не читаетъ. Нападать на нихъ было бы грѣшно, защищать — странно. Однако замѣчу мимоходомъ, что въ «Пирахъ» блестятъ мѣстами искры остроумія и даже изрѣдка чувства, какъ напримѣръ въ этихъ стихахъ:

Кричали вы: смѣлѣе пей!
Развеселись, товарищъ милой!
Вадохнувь, разсѣяннo-послушный,
Я пилъ съ улыбкой равнодушной;
Свѣтлѣла мрачная мечта,
Толпой скрывалися печали,
И задрожавшія уста
«Богъ съ ней» невнятно лепетали.
И гдѣ измѣнища любовь?
Ахъ, въ ней и грусть — очарованье!
Я испытать желать бы вновь
Ея знакомое страданье!
И гдѣ жъ вы, рѣзвые друзья,
Вы, кѣмъ жила душа моя?
Разлучены судьбою строгой:
И каждый съ ропотомъ вздохнулъ
И брату руку протянулъ
И вдаль побрѣлъ своей дорогой;
И каждый въ горести нѣмой,
Быть можетъ, праздною мечтой
Теперь бывое пролетаетъ,
Или за трапезой чужой
Свои пиры воспоминаетъ.

Предоставляю читателю вывести результатъ изъ всего, что я сказалъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ ВЛАДИМІРА БЕНЕДИКТОВА.

(Спб. 1835.)

Обманчивѣй и сновъ надежды,
Что слава? Шепотъ ли чтеца?
Гоненье ль низкаго певца?
Иль восхищеніе глупца?

Пушкинъ.

Что такое критика? Оцѣнка художественнаго произведенія. При какихъ условіяхъ возможна эта оцѣнка или, лучше сказать, на какихъ законахъ должна она основываться? На законахъ изящнаго, отвѣчаютъ записные

ученые. Но гдѣ кодексъ этихъ законовъ? Кѣмъ онъ изданъ, кѣмъ утвержденъ и кѣмъ принятъ? Укажите мнѣ на этотъ сводъ законовъ изящнаго, на это уложеніе искусства, котораго начала были бы вѣчны и неизмѣнны, какъ начала творчества въ душѣ человѣческой; котораго параграфы подходили бы подъ всѣ возможные случаи и представляли бы собою стройную систему законодательства, обнимающаго собою весь безконечный и разно-

преслѣдованій раздраженной посредственно-сти, или боясь имени «ругателя»?

Въ нашей литературѣ теперь именно наступила эта эпоха анализа. Мы наконецъ хотимъ владѣть сокровищемъ не многимъ, но истиннымъ. А что то за сокровище, которое безпрестанно боишься потерять? Что тотъ за авторитетъ, который каждую минуту готовъ пасть? Что та за истина, которая боится изслѣдованія, темнѣетъ отъ взоровъ ума? Нѣтъ, пусть будетъ воздаваемо каждому должное, пусть заслуга пользуется уваженіемъ, а бездарность обличится и всякій займетъ свое мѣсто!

Неужели наши мелкіе расчеты, наше жалкое самолюбіе, наши ничтожныя отношенія дороже и важнѣе истины, общественнаго вкуса, общественной любви къ искусству, общественныхъ понятій объ изящномъ? Неужели мы всегда будемъ ѣздить верхомъ на палочкахъ? Неужели наша литература всегда будетъ представляться въ формѣ Ивана Ивановича Перерепенко, который, съѣвши дыню, завертывалъ въ бумажку зерна и своей рукой надписывалъ: «Съѣдена тогда-то?...» Надо направлять общественный вкусъ и понятія объ изящномъ, распространять общественную склонность къ изящному. Мы уже теперь не ослѣпляемся знаменитостью рода, незаслуженными отличіями: зачѣмъ еще будемъ мы ослѣпляться знаменитостью литературныхъ именъ, незаслуженными авторитетами? Имя—ничего; важно дѣло.

Приступая къ опѣнкѣ стихотвореній Баратынскаго, я не безъ намѣренія сдѣлалъ такое обширное вступленіе. У насъ еще такъ много людей, которые, зная, что «говорить правду—потерять дружбу», что хвалить гораздо выгоднѣе, чѣмъ хулить, почитаютъ говорящихъ правду людьми безпокойными и злонамѣренными, такъ же точно, какъ у насъ еще много людей, которые почитаютъ злонамѣренностью и безнравственностью возставать громко противъ взяточничества, ибо у насъ еще и теперь многіе думаютъ, что никто не имѣетъ права мѣшать другому наживаться, а, по ихъ мнѣнію, всякое средство къ наживѣ позволительно. Неужели и въ литературѣ должно находиться такое же подъячество мнѣній?..

Я не буду слишкомъ распространяться въ разборѣ стихотвореній Баратынскаго; вопросъ не обширный и притомъ очень ясный.

Баратынский—поэтъ ли? Если поэтъ—какое вліяніе имѣли на нашу литературу его сочиненія? какой новый элементъ внесли они въ нее? какой ихъ отличительный характеръ? наконецъ, какое мѣсто занимаютъ они въ нашей литературѣ?

Нѣсколько разъ перечитывалъ я стихотворенія Баратынскаго и вполнѣ убѣдился,

что поэзія только изрѣдка и слабыми искорками блеститъ въ нихъ. Основной и главный элементъ ихъ составляетъ умъ, изрѣдка задумчиво разсуждающій о высокихъ человѣческихъ предметахъ, почти всегда слегка скользящій по нимъ, но всего чаще разсыпавшійся каламбурами и блестящій островами. Слѣдующее стихотвореніе, взятое на выдержку, всего лучше характеризуетъ свѣтскую паркетную музу Баратынскаго.

Нѣтъ, обманула васъ молва,
Попрежнему дышу я вами
И надо мной свои права
Вы не утратили съ годами.
Другимъ курилъ я оныиамъ,
Но васъ поспилъ въ святѣиѣ сердца,
Молился новымъ образами,
Но съ безпокойствомъ старовѣрца.

Скажите, Бога ради, неужели это чувство, фантазія, а не игра ума?

И перечтите всѣ стихотворенія Баратынскаго: что вы увидите въ каждомъ изъ лучшихъ? Два—три поэтическихъ стиха, вылившіеся изъ сердца; потомъ риторика, потомъ нѣсколько прозаическихъ стиховъ; но вездѣ умъ, вездѣ литературную ловкость, умѣнье, навыкъ, щегольскую отдѣлку и больше ничего. Читая эти два тома, вы видите, что они написаны человѣкомъ, для котораго жизнь была не сномъ, который мыслить, чувствовать, котораго занимали и интересовали предметы человѣческаго уваженія, но не одно изъ нихъ не западетъ вамъ въ душу, не взволнуетъ ее могучей мыслью, могучимъ чувствомъ, не истомитъ ее сладкой тоской и не наполнитъ тревожнымъ упоеніемъ, отъ котораго занимается духъ и по тѣлу пробѣгаетъ электрическій холодъ. Я не хочу сравнивать въ этомъ отношеніи Баратынскаго съ Пушкинымъ; такое сравненіе было бы недобросовѣстно. Возьмемъ параллель пониже, возьмемъ Козлова и противопоставимъ его Баратынскому—то ли это? Козловъ—поэтъ не гениальный, поэтъ обыкновенный, но вотъ что значитъ быть истиннымъ поэтомъ въ какой бы то ни было степени! Можете ли вы читать безъ упоенія его дивную, роскошную, таинственную, благоухающую и блестящую «Венеціанскую ночь» и многія другія мелкія стихотворенія; не пробуждаютъ ли всей вашей души многія мѣста изъ его «Чернеца» и не вызываютъ ли они всѣхъ вашихъ душевныхъ думъ, не откликаетесь ли вы на нихъ своимъ чувствомъ? Есть и у Баратынскаго нѣсколько замѣчательныхъ стихотвореній, какъ-то: «Элегія на смерть Гёте», «О счастіи съ младенчества тоскуя», «Дало двѣ доли Провидѣнье», «Когда печалью вдохновенны», «Бѣжитъ невѣрное здоровье», «Не искушай меня безъ нужды», «Притворной нѣжности не требуй отъ меня», «Черепъ», «По-

слѣдняя смерть»; но одни изъ нихъ хороши по мысли, но холодны, а всѣ вообще оставляютъ въ душѣ такое же слабое впечатлѣніе, какъ дуновение устъ на стеклѣ зеркала: оно легко и скоропреходяще. Въ наше время, холодное, прозаическое время, надо въ поэзіи огня да огая: иначе насъ трудно разогрѣть.

Въ числѣ необходимыхъ условій, составляющихъ истиннаго поэта, должна непременно быть современность. Поэтъ больше, нежели кто-нибудь, долженъ быть сыномъ своего времени. Скажите, Бога ради, можетъ ли поэтъ нашего времени написать два длинныхъ, вялыхъ, прозаическихъ посланія, каковы къ Богдановичу и Гнѣдичу, въ которыхъ самый механизмъ стиховъ скрипитъ какъ тяжелыя ворота на веревкахъ, и въ которыхъ вѣтъ не только ни искры чувства, но даже и порядочной мысли? Можетъ ли поэтъ нашего времени написать, а если уже нѣтъ несчастье написать, то помѣстить въ полномъ собраніи своихъ сочиненій, напримѣръ, вотъ такое стихотвореніе:

Не знаю, милая, не знаю!
Краса плѣнительна твоя:
Не знаю, я предпочитаю
Всѣмъ тѣмъ, которыхъ знаю я?

Чѣмъ это сантиментальное стихотвореніе лучше «Тріолета Лилетъ», написаннаго Карамзинымъ?

Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться ль мнѣ, идти ли прочь,
Межъ нами долго шли совѣты... и т. д.

И это поэзія?... И это хотятъ насъ заставить читать, — насъ, которые знаютъ наизусть стихи Пушкина?... И говорятъ еще иные, что XVIII вѣкъ кончился!..

Она придетъ! Къ ея устамъ
Прижмусь устами я моими;
Приютъ укромный будетъ намъ
Подъ сими вязами густыми!

Волненьемъ страстнымъ я томимъ;
Но близъ любезной укротимъ
Желаній пылкихъ нетерпѣнье:
Мы ими счастью вредимъ,
И сокращаемъ наслажденье.

Не правда ли, что два послѣдніе стиха похожи на заключеніе хриі?

Но зачѣмъ же вы выбираете такіа стихотворенія? можетъ быть спросить меня иной недовѣрчивый читатель. Зачѣмъ же помѣщены они? отвѣчаю я. Въ наше время поэты должны быть осторожны и не представлять изъ себя Далайламу...

О поэмахъ Баратынскаго я ничего не хочу говорить: ихъ давно никто не читаетъ. Нападать на нихъ было бы грѣшно, защищать — странно. Однако замѣчу мимоходомъ, что въ «Пирахъ» блестятъ мѣстами искры остроумія и даже изрѣдка чувства, какъ напримѣръ въ этихъ стихахъ:

Кричали вы: смѣлѣе пей!
Развеселись, товарищъ мой!
Вадохнувь, разсѣяннo-послушный,
Я пилъ съ улыбкой равнодушной;
Свѣтлѣла мрачная мечта,
Толпой скрывались печали,
И задрожавшія уста
«Богъ съ ней» невнятно лепетали.
И гдѣ измѣнница любовь?
Ахъ, въ ней и грусть — очарованье!
Я испытать желалъ бы вновь
Ея знакомое страданье!
И гдѣ жъ вы, рѣзвые друзья,
Вы, кѣмъ жила душа моя?
Разлучены судьбою строгой:
И каждый съ ропотомъ вздохнулъ
И брату руку протянулъ
И вдалѣ побрѣлъ своей дорогой;
И каждый въ горести нѣмой,
Быть можетъ, праздною мечтой
Теперь бывое пролетаетъ,
Или за трапезой чужой
Свои пиры воспоминаетъ.

Предоставляю читателю вывести результатъ изъ всего, что я сказалъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ ВЛАДИМІРА БЕНЕДИКТОВА.

(Спб. 1835.)

Обманчивѣй и снова надежды,
Что слава? Шепотъ ли чтеца?
Гоненье ль низкаго невѣжды?
Иль восхищеніе глупца?

Пушкинъ.

Что такое критика? Оцѣнка художественнаго произведенія. При какихъ условіяхъ возможна эта оцѣнка или, лучше сказать, на какихъ законахъ должна она основываться? На законахъ изящнаго, отвѣчаютъ записные

ученые. Но гдѣ кодексъ этихъ законовъ? Кѣмъ онъ изданъ, кѣмъ утвержденъ и кѣмъ принятъ? Укажите мнѣ на этотъ сводъ законовъ изящнаго, на это уложеніе искусства, котораго начала были бы вѣчны и неизмѣнны, какъ начала творчества въ душѣ человѣческой; котораго параграфы подходили бы подъ всѣ возможные случаи и представляли бы собою стройную систему законодательства, обнимающую собою весь безконечный и разно-

образный міръ художественной дѣятельности во всѣхъ ея видахъ и измѣненіяхъ! Давно ли «украшенное подражаніе природѣ» было краеугольнымъ камнемъ эстетическаго уложенія? Давно ли эта формула равнялась въ своей глубокости, истинѣ и непреложности первому пункту магометанскаго ученія: «Нѣтъ Бога кромѣ Бога — а Магометъ пророкъ Его»? Давно ли три знаменитыя единства почитались фундаментомъ, безъ котораго поэма или драма была бы храминой, построенной на пескѣ? Давно ли Корнель, Расинъ, Мольеръ, Буало, Лафонтенъ, Вольтеръ, — давно ли эта вереница талантовъ почиталась лучезарнымъ созвѣздіемъ поэтической славы, блистающимъ немерцающимъ свѣтомъ для вѣковъ? Давно ли Буало, Батте и Лагарпъ почитались верховными жрецами критики, непогрѣшительными законодателями изящнаго, вѣщими оракулами, изрекавшими непреложные приговоры? А что теперь?.. «Украшенное подражаніе природѣ» и знаменитое «тріединство» причислены къ числу вѣковыхъ заблужденій чело-вѣчества, неудачныхъ попытокъ ума; ученые и свѣтскіе боги французскаго Парнаса были помрачены и навсегда заслонены *пыльнымъ дикаремъ* *) Шекспиромъ, а оракулы-критики поступили въ архивъ рѣшенныхъ и забытыхъ дѣлъ. И давно ли все это совершилось?.. Давно ли бились на смерть покойники — *классицизмъ и романтизмъ*?.. Гдѣ же, спрашиваю я, гдѣ же эта мѣрка, этотъ аршинъ, которымъ можно мѣрить изящныя произведенія, гдѣ этотъ масштабъ, которымъ можно безошибочно измѣрять градусы ихъ эстетическаго достоинства? Ихъ нѣтъ — и вотъ какъ непрочно литературные кодексы! Какъ, съ постепеннымъ ходомъ жизни народа, измѣняется его законодательство, чрезъ отиженіе старыхъ законовъ и введеніе новыхъ, сообразно съ современными требованіями общества, такъ измѣняются и законы изящнаго съ полученіемъ новыхъ фактовъ, на которыхъ они основываются. И развѣ мы получили всѣ факты; развѣ мы изучили всѣ литературы, подъ этими безчисленными національными, вѣковыми и историческими фізіономіями; развѣ мы изслѣдовали жизнь каждого художника порою? Развѣ въ этомъ отношеніи для будущаго уже ничего не остается?.. Нѣтъ, еще долго дожидаться полнаго и удовлетворительнаго кодекса искусствъ,

какъ долго дожидаться этого совершеннаго гражданскаго законоположенія, которое должно осуществить мечты о золотомъ вѣкѣ Астрей. Стало быть, нѣтъ законовъ изящнаго, по которымъ можно и должно судить произведенія искусствъ? Есть, потому что если теперь не исполнѣ постигнуть весь міръ изящнаго, то уже извѣстны многіе изъ его законовъ, извѣстны самыя его основанія: но будущему времени предоставлено открыть существующія отношенія между этими законами и основаніями и привести ихъ въ полную и гармоническую систему. Критику должны быть извѣстны *современныя* понятія о творчествѣ; иначе онъ не можетъ и не имѣетъ права ни о чемъ судить.

Но этого еще мало. Часто случается, что критикъ, изложивши свой взглядъ на условія творчества, сообразно съ современными понятіями объ этомъ предметѣ, прилагаетъ его ложно, и, вѣрно описавши характеръ греческаго ваянія, показываетъ вамъ разбитый глиняный горшокъ, въ которомъ варили щи, и божится и клянется, что это греческая ваза. Отчего это? Оттого, что эстетика не алгебра, что она, кромѣ ума и образованности, требуетъ этой пріемлемости изящнаго, которая составляетъ своего рода талантъ и дается не всѣмъ. Прислушайтесь внимательнѣе къ нашимъ литературнымъ толкамъ и сужденіямъ — и вы согласитесь со мной. Развѣ у насъ нѣтъ людей съ умомъ, образованіемъ, знакомыхъ съ иностранными литературами, и которые, несмотря на все это, отъ души убѣждены, что Жуковскій выше Пушкина; которые иногда восхищаются восьмикопеечными стихотвореніями и талантами А., В., С., и т. д.? Отчего это? Оттого, что эти люди часто руководствуются въ своихъ сужденіяхъ однимъ умомъ, безъ всякаго участія со стороны чувства; оттого, что принимаютъ за поэзію свои любимыя мысли, или видятъ удобный случай приложить и оправдать свои собственныя мысли объ изящномъ, а эти мысли часто бываютъ парадоксами и предразсудками. Въ предметахъ чело-вѣческаго чувства умъ безъ чувства всегда ведетъ за собою предразсудки и строитъ парадоксы. Умъ очень самолюбивъ и упрямо до-вѣрчивъ къ себѣ; онъ создалъ систему и лучше рѣшится уничтожить здравый смыслъ, нежели отказаться отъ нея; онъ все гнетъ подъ свою систему, и что не подходитъ подъ нее, то ломается. Въ этомъ случаѣ онъ похожъ на Мольеровыхъ лѣкарей, которые говорили, что они лучше рѣшались уморить больного, чѣмъ отступить хоть на іоту отъ предписаній древнихъ. Въ дѣлѣ изящнаго сужденіе тогда только можетъ быть правильно, когда умъ и чувство находятся въ совершенной гармоніи. И вотъ отчего такая разногласица въ сужденіяхъ о литературныхъ сочиненіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ,

*) Въ «Сѣверной Пчелѣ» обвиняютъ меня, между многими литературными преступленіями, въ томъ, что я называю Шекспира *пыльнымъ дикаремъ*. Стыжусь оправдываться въ этомъ передъ публикой, и только движимый состраданіемъ къ жалкому невѣдѣнію «Сѣверной Пчелы», объявляю ей за новостъ (для нея), что это выраженіе принадлежитъ Вольтеру, обкрадывавшему Шекспира, а мною оно употребляется въ шутку. Бѣдная «Пчела», какъ еще много пустыхъ вещей, недоступныхъ для ея мушавой любознательности!

одному нравятся «Цыгане» Пушкина и не нравится сказка «о Бовѣ Королевичѣ», а другой въ восхищеніи отъ «Бовы Королевича» и не видитъ ни малѣйшаго достоинства въ «Цыганахъ» Пушкина. Кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ? Говоря собственно, они оба совершенно правы: сужденіе того и другого основано на чувствѣ, и никакая эстетика, никакая критика не можетъ быть посредницей въ этомъ дѣлѣ. Да! тонкое поэтическое чувство, глубокая приемлемость впечатлѣній изящнаго — вотъ что должно составлять первое условіе способности къ критицизму, вотъ посредствомъ чего съ перваго взгляда можно отличать поддѣльное вдохновеніе отъ истиннаго, риторическія вычуры отъ выраженія чувства, галантерейную работу формъ отъ дыханія эстетической жизни, и только вотъ при чемъ сильный умъ, обширная ученость, высокая образованность имѣютъ свой смыслъ и свою важность. Въ противномъ случаѣ, изучите всѣ языки земного шара, отъ китайскаго до самоидскаго, изучите всѣ литературы, отъ санскритской до чухонской, — вы все будете мѣтить не впадать, говорить не кстати, пропускать мимо глазъ слоновъ и приходить въ восторгъ отъ букашекъ. Развѣ тяжелая «Россиада» не подходила подъ эстетическіе законы добраго стараго времени; развѣ скучный и водяной «Дмитрій Самозванецъ» Булгарина не отличается общей манерой и замашками историческаго романа? Развѣ въ свое время трудно было доказать художественное достоинство того и другого произведенія эстетическими правилами двухъ эпохъ времени, т.-е. семидесятыхъ годовъ прошлаго и двадцатыхъ текущаго столѣтія? О, нѣтъ ничего легче! Но вотъ что очень было трудно: спасти ихъ отъ чахоточной смерти. Вотъ отчего такъ часто бывають неудачны попытки иныхъ высокоученыхъ, но лишенныхъ эстетическаго чувства, критиковъ уронить истинный талантъ, не подходящій подъ ихъ школьную мѣрку, и возвысить мишурнаго фразера.

У насъ еще и теперь тайна искусства есть истинная тайна въ буквальный смыслъ этого слова для многихъ людей, посвящающихъ себя этому искусству или по влеченію, или ex-officio, или отъ нечего дѣлать. Цвѣтистая фраза, новая манера — и вотъ уже готовъ поэтический вѣнокъ изъ «калуфера и мяты», нынче зеленѣющій, а завтра желтѣющій. Цвѣтистая фраза принимается за мысль, за чувство, новая манера и стихотворныя гримасы — за оригинальность и самобытность. Помните ли вы остроумный апологъ, рассказанный въ одномъ нашемъ журналѣ, какъ «человѣкъ съ умомъ на три страницы» хотѣлъ отъ скуки бросить лавровый вѣнокъ поэта первому прошедшему мимо его окна, и какъ онъ бросилъ его чрезъ форточку бездарному стихотворцу, который на

этотъ разъ проходилъ мимо окошка «человѣка съ умомъ на три страницы»?.. Вотъ вамъ объясненіе, почему въ нашей литературѣ бездна самыхъ огромныхъ авторитетовъ. И хорошо еще, если человѣкъ-то, раздающій поэтическіе вѣнки, точно съ умомъ хоть на три страницы: тутъ нѣтъ еще большаго зла, потому что онъ можетъ, одумавшись или разсудившись на свое неблагодарное созданіе, уничтожить его такъ же легко, какъ онъ его и создалъ, чему у насъ и бывали примѣры. Это даже можетъ быть и забавно, если сдѣлано умно и ловко. Но вотъ эти добрые и «безнавѣтные» критики, которые въ сердечной простотѣ своей, не шутя, принимаютъ русскій горохъ за эллинскіе цвѣты, сѣверный чертополохъ и крапиву за райскіе кринны, они-то истинно и вредны. Души добрыя и честныя, приобретающія когда-то и какъ-то какое-нибудь влияніе на общественное мнѣніе, — они добродушно обманываютъ самихъ себя и невинно вводятъ и другихъ въ обманъ.

«Но что жъ въ этомъ худого?» можетъ быть спросать иные. О, очень много худого, милостивые государи! Если превознесенный поэтъ есть человѣкъ съ душой и сердцемъ, то неужели не грустно думать, что онъ долженъ идти не по своей дорогѣ, сдѣлаться записнымъ фразеромъ и послѣ мгновеннаго успѣха, эфемерной славы видѣть себя заживо похороненнымъ, видѣть себя жертвой литературнаго безславія? Если это человѣкъ пустой, ничтожный, то неужели не досадно видѣть глупое чванство литературнаго павлина, видѣть незаслуженный успѣхъ и, такъ какъ нѣтъ глупца, который не нашелъ бы глупѣе себя, видѣть нелѣпое удивленіе добрыхъ людей, которые могутъ быть не лишены нѣкотораго вкуса, но которые не смѣютъ имѣть своего сужденія? А святость искусства, унижаемаго бездарностью?.. Милостивые государи! если вамъ понятно чувство любви къ истинѣ, чувство уваженія къ какому-нибудь задухновенному предмету, то будете ли вы осуждать порывъ человѣка, который, иногда къ своему вреду, вызываетъ на себя и мнѣніе самолюбій, и общественное мнѣніе, имѣя полное право не вмѣшиваться, какъ говорится на святой Руси, не въ свое дѣло? Долженъ ли этотъ человѣкъ оскорбляться или пугаться того, что люди посредственные, холодные къ дѣлу истинны, лишенные огни Прометеева, провозгласятъ его крикуномъ или ругателемъ? Вамъ понятно ли это чувство? Вамъ понятна ли эта запальчивость, для васъ справедлива ли она въ самой своей несправедливости? А понимаете ли вы блаженство возбѣсить жалкую посредственность, расшевелить мелочное самолюбіе, возбудить къ себѣ ненависть ненавистнаго, злобу злого?.. «Но какая же изъ всего этого польза»? А общественный вкусъ къ изящному, а здравый по-

нiя о бѣ искусствѣ? «Но увѣрены ли вы, что ваше дѣло направлять общественный вкусъ къ изящному и распространять здравыя понятiя о бѣ искусствѣ; увѣрены ли вы, что ваши понятiя здравы, вкусъ вѣренъ»? Такъ, я знаю, что тотъ былъ бы смѣшонъ и жалокъ, кто бы сталъ увѣрять въ своемъ превосходствѣ другихъ; но, во-первыхъ, вещи познаются по сравненiю, и дѣла другихъ заставляютъ иногда человѣка приниматься самому за эти дѣла; во-вторыхъ, если каждый изъ насъ будетъ говорить: «да мое ли это дѣло, да гдѣ мнѣ, да куда мнѣ, да что я за выскочка!» то никто ничего не будетъ дѣлать. Гадокъ наглый самохвалъ, но не менѣе гадокъ и человѣкъ безъ всякаго сознанiя какой-нибудь силы, какого-нибудь достоинства. Я терпѣть не могу ни Скалозубовъ, ни Молчалиныхъ.

Я слишкомъ хорошо знаю нашъ литературный мiръ, наши литературныя отношенiя, и потому почти каждая новая книга возбуждаетъ во мнѣ такiя думы и ведетъ къ такимъ размышленiямъ, какiя она не во всѣхъ возбуждаетъ, и вотъ почему у меня вступленiе или мысли *à propos* почти всегда составляютъ главную и самую большую часть моихъ рецензiй. Къ числу такихъ книгъ принадлежатъ стихотворенiя Бенедиктова; они возбудили въ моей душѣ множество элегiй, до которыхъ я большой охотникъ; но обстоятельства, сопровождавшiя ея появленiе, и безотчетные крики, встрѣтившiе ее, только одни заставили меня взяться за перо. Правда, стихотворенiя Бенедиктова не принадлежатъ къ числу этихъ дюжинныхъ и бездарныхъ произведенiй, которыми теперь особенно наводняется наша литература; напротивъ, въ этой печальной пустотѣ они обращаютъ на себя невольное вниманiе и, съ перваго взгляда, легко могутъ показаться чѣмъ-то совершенно выходящимъ изъ круга обыкновенныхъ явленiй. Но это-то самое и заставляетъ рецензента, отложивъ въ сторону пошлыя оговорки и околичности, прямо и рѣзко высказать о нихъ свое мнѣнiе. Это будетъ не критика, а отзывъ, простое мнѣнiе или, какъ говорятъ, рецензiя, потому что тутъ критикѣ нечего дѣлать. Дѣло коротко, просто и ясно, а вопросъ болѣе о разныхъ обстоятельствахъ, касающихся дѣла, нежели о самомъ дѣлѣ.

Я сказалъ, что стихотворенiя Бенедиктова обращаютъ на себя невольное вниманiе; прибавлю, что это происходитъ не столько отъ ихъ независимаго достоинства, сколько отъ различныхъ отношенiй. Въ самомъ дѣлѣ, много ли надо таланта, чтобы обратить на себя вниманiе *стихами* въ наше прозаическое время? Кромѣ того стихотворенiя Бенедиктова обнаруживаютъ въ немъ человѣка со вкусомъ, — человѣка, который умѣетъ всему придать колоритъ поэзiи; иногда обнаруживаютъ превос-

ходнаго версификатора, удачнаго описателя; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ видна эта дѣтскость силы, эта безпрестанная невыдержанность мысли, стиха, самаго языка, которыя обнаруживаютъ отсутствiе чувства, фантазiи, а слѣдовательно и поэзiи. Сказавши, надо доказать, и я не вижу для этого никакого другого средства, кромѣ анализа и сравненiя.

Кажется, въ наше время никто не долженъ сомнѣваться въ томъ, что въ истинно-художественномъ произведенiи не можетъ быть погрѣшностей и недостатковъ, какъ думаютъ школяры и люди посредственные. Чтѣ создано фантазiей, а не холоднымъ умомъ, то всегда истинно, вѣрно и прекрасно; погрѣшности же тамъ, гдѣ фантазiя уступаетъ свое мѣсто уму, и умъ работаетъ безъ участiя чувства, по источникамъ изобрѣтенiя. Въ романѣ, въ драмѣ, словомъ, — во всякомъ большомъ сочиненiи недостатки едва ли избѣжны, потому что поэту надо имѣть слишкомъ гигантскую фантазiю, чтобы не допустить никакого влiянiя со стороны ума, разсчета, труда. Но лирическое сочиненiе есть плодъ мгновенной вспышки фантазiи, мгновенное излiянiе чувства, слѣдовательно въ немъ всякое неестественное или вычурное выраженiе, всякiй прозаическiй стихъ обличаетъ недостатокъ фантазiи. Я никакъ не умѣю понять, что за поэтъ тотъ, у кого не достанетъ фантазiи на 20 или на 40 стиховъ, кто со стихами вдохновенными мѣшаетъ стихи дѣланые. Какъ въ романѣ или драмѣ невыдержанность характеровъ, неестественность положенiй, неправдоподобность событiй обличаютъ работу, а не творчество, такъ въ лиризмѣ неправильный языкъ, яркая фигура, цвѣтистая фраза, неточность выраженiя, изысканность слога обличаютъ ту же самую работу. Простота языка не можетъ служить исключительнымъ и необманчивымъ признакомъ поэзiи; но изысканность выраженiя всегда можетъ служить вѣрнымъ признакомъ отсутствiя поэзiи. Стихъ, переложенный въ прозу и обращающiйся отъ этой операцiи въ тяжежку, такъ же какъ и темныя, затѣйливыя мысли, разложенныя на чистыя понятiя и теряющiя отъ этого всякiй смыслъ, обличаетъ одну риторическую шумиху, наборъ общихъ мѣстъ. Я представлю вамъ теперь нѣсколько фразъ изъ большей части стихотворенiй Бенедиктова, обращенныхъ мною въ прозаическiя выраженiя, со всей добросовѣстностью, безъ малѣйшаго искаженiя, и сдѣлаю вамъ нѣсколько вопросовъ, поставивъ судьбою въ этомъ дѣлѣ вашъ собственный здравый смыслъ.

«Юноша сорвалъ розу и украсилъ этою *мламенною жатвою* чело дѣвы. — Вы были ли, прекрасные дни, когда *свѣркали* одни *веселiя*; небесныя звѣзды очами судей *взирали* на землю съ лазурнаго свода (?), *милая дикость равняла* людей (?!)! — Любовь не *измѣдилась* въ *учелнѣхъ сердецъ*, но, повсюду раскрытая и *сверкала* *осмы*

отъ очи (?), надѣвала на міръ всеобщій вѣнецъ. — Дѣва, у которой уста кокетствуютъ улыбкою, изобличается гибкій станъ, и все, что дано пріохотямъ, то украшено рѣзцемъ любви (?!!). — Ребеночекъ (на пожарѣ) простираетъ свои рученки въ жаламъ неистовыхъ огненныхъ змѣй (т.-е. къ огню). — Передъ завистливую толпою я вво-силъ твой станъ, на огненной ладони, *отъ вихрь круженія* (т.-е. вальсировалъ съ тобою). — Струи времени возрастали *моль забвенія на развалинахъ любви* (!!!). Въ твоёмъ гибкомъ, зѣрномъ станѣ я утоплялъ горящую ладонь. — За жизненнымъ концомъ (?) есть лучший міръ, тамъ я *обручусь съ тобою колымомъ отчужденія*. — Любовь преломлялась, блестя цвѣтными огнями сердечнаго неба. — Чудная дѣва *магнитными* прелестями влекла къ себѣ *железные сердца*. — Къ кому привинуть головою, гдѣ *растопитъ свинецъ несчастія*? — Фантазія вдвухаетъ разсудку свой сладкій дымъ. — Море опоясалось мечемъ молній. — Солнце вонзило въ дождевыя капли пламя своего луча. — Въ черныхъ глазахъ Адели могила безстрастія и колыбель блаженства. — Искра души прихотливо подлетѣла къ парѣ черненькихъ глазъ и умильно посмотрѣла въ окна своей хранины. — Матильда, сидя на жеребцѣ (!), гордится красивымъ и плотнымъ *устомъ*, а жеребецъ подъ дѣвою топчется, храпится и пляшетъ. — Грудь станетъ свинцовымъ гробомъ, и въ немъ ляжетъ прахъ моей любви. — Конь понесетъ меня вдаль на *молніяхъ отчаяннаго бѣга*. — Любовь есть капля меду на остромъ жалѣ красоты. — Ея тихая мысль, зрѣя въ свѣтломъ разумѣ, разгоралась искрою, а потомъ, оперенная словомъ, вылетѣла изъ ея устъ плѣнительнымъ голубемъ. — На первомъ жизни пирѣ возникалъ постыжъ грѣха. — Да не падетъ на *пламя красоты морозный паръ безстрастнаго дышанія*. — Могучею рукою вознестъ сталь правды въ шипучее (?) сердце порока. — Его рука перевела лукавою змѣею станъ молодой дѣвы, вполала на грудь и на груди уснула».

Что это такое? неужели поэзія, неужели вдохновеніе, юное, кипучее, тревожное, пламенное, полное глубины мысли?.. И сколько фразъ на какихъ-нибудь ста шести страницахъ, или пятидесяти трехъ листахъ?.. Въ четырехъ частяхъ мелкихъ стихотвореній Пушкина, хорошихъ и дурныхъ, и въ трехъ частяхъ поэмъ заключается около двухъ тысячъ страницъ: найдите же мнѣ хоть пять такихъ (выраженій *), и я позволю печатно назвать себя клеветникомъ, ругателемъ, человекомъ, ничего не смыслящимъ въ дѣлѣ искусства! Но я дурно и, можетъ быть, недобросовѣстно поступилъ, указавъ на Пушкина: прошу извиненія у великаго поэта и у публики. Возьмите Жуковского, возьмите даже Козлова, Языкова, Туманскаго, Баратынскаго, найдите у всѣхъ нихъ хоть половинное число такихъ вычуръ — и я сознаюсь побѣжденнымъ. Вы скажете: «это не доказательство, это обнаруживаетъ только не выработанный талантъ, не укрѣпившееся перо, словомъ, литературную неопытность». Хорошо. Но вы, милостивые государи, какъ понимаете искусство? Неужели ему можно

*) Воюсь только четвертой части, которой еще не видалъ и за которую поэтому не отвѣчаю.

выучиться, пользуясь безпристрастными и благоразумными замѣчаніями опытныхъ писателей? Талантъ можетъ зрѣть не отъ навыка, не отъ выучки, но отъ опыта жизни; а лѣта и опытъ жизни могутъ возвысить взглядъ поэта на жизнь и природу, могутъ сосредоточить его энергію и пламень чувства, но не усилить ихъ, могутъ придать глубины его мысли, но не сдѣлать ея живѣе и тревожнѣе. А когда, какъ не въ первой молодости художника, чувство его бываетъ живѣе и пламеннѣе, фантазія игривѣе и радужнѣе? А гдѣ, какъ не въ первыхъ произведеніяхъ поэта, кипитъ и горитъ, и колышется бурной волной его свѣжее чувство? Слѣдовательно, какія же, какъ не первыя его произведенія, болѣе вѣрны, истинны, не натянуты, живы, вдохновенны, чужды вычуръ и гримасъ риторическихъ?.. Помните ли вы юнаго поэта Веневитинова? Посмотрите, какая у него точность и простота въ выраженіи, какъ у него всякое слово на своемъ мѣстѣ, каждая рифма свободна и каждый стихъ рождается другой безъ принужденія? Развѣ онъ обдумывалъ или обдѣлывалъ свои поэтическія думы? То ли мы видимъ у Бенедиктова? Посмотрите, какъ неудачны его нововведенія, его изобрѣтенія, какъ неточны его слова! Человѣкъ у него витаетъ въ рощахъ; волны грудей у него превращаются въ грудныя волны; камень лопаесть (вм. *лопается*); преклоняется къ заплечью красавицы, сидящей въ креслахъ; степь безпредметна; стоитъ безглаголенъ; сердце пляшетъ; солнце сентябревое; валы лижутъ пяты утеса; пирная роскошь и веселіе; прелестная сердцегубка и проч.

Такія фразы и ошибки противъ языка и здраваго смысла никогда не могутъ быть ошибками вдохновенія: это ошибки ума, и только въ одной персидской поэзіи могутъ онѣ составлять красоту.

Гдѣ-то было сказано, что въ стихотвореніяхъ Бенедиктова владычествуетъ мысль: мы этого не видимъ. Бенедиктовъ вослѣдуетъ все, что вослѣдуютъ молодые люди, — красавицъ, горе и радости жизни; гдѣ же онъ хочетъ выразить мысль, то или бываетъ слишкомъ теменъ, или становится холоднымъ риторомъ. Вотъ примѣръ:

Отовсюду обнятый равниною моря,
Утесъ гордо высится, — мраченъ суровъ,
Незыблемъ стоитъ онъ, въ могуществѣ спора
Съ приборами волнъ и съ напоромъ вѣтровъ.
Валы только лижутъ могучаю пяту;
Отъ времени только бравды вдоль чела;
Мохъ сѣрый ползетъ на широкіе скаты, —
Сѣдая вершина престолъ для орла.
Какъ въ плащѣ, исполнѣвъ весь во мглу за-

вернулся,
Поникъ, будто въ думахъ, косматой главою;
Безстрашно надъ моремъ вѣсьмъ станомъ нанулся
И грозно повиснулъ надъ бездной морской!
Вы ждете — падетъ онъ, — не ждете паденія!..

Наклонно (?) онъ всталъ, чтобы сверху заирать
На слабыя волны съ усмѣшкой презрѣнья
И смертнаго взоры отвагой пугать!.. и т. д.

Скажите, что тутъ хорошаго? Во-первыхъ, тутъ не выдержана метафора: сперва утѣсь является покрытымъ только мхомъ, а потомъ уже косматымъ, т.-е. покрытымъ кустарникомъ и даже деревьями; во-вторыхъ, это не поэтическое возсозданіе природы, а наборъ громкихъ фразъ; это не солнце, которое освѣщаетъ и вмѣстѣ согрѣваетъ, а воздушный метеоръ, забавляющій человѣка своимъ ложнымъ блескомъ, но не согрѣвающий его. Очень понятно, что авторъ хотѣлъ выразить здѣсь идею величія въ могуществѣ; но здѣсь идея не сливается съ формой; ея не чувствуешь, но только догадываешься о ней. Мицкевичъ, одинъ изъ величайшихъ мировыхъ поэтовъ, хорошо понималъ это великолѣпіе и гиперболизмъ описаній и потому въ своихъ «Крымскихъ Сонетахъ» очень благоразумно прикидывался правовѣрнымъ мусульманиномъ; и въ самомъ дѣлѣ, это гиперболическое выраженіе удивленія къ Четырдаку кажется очень естественнымъ въ устахъ поклонника Магомета, сына Востока. Вообще громкія, великолѣпныя фразы еще не поэзія. При всемъ моемъ энтузіастическомъ удивленіи къ Пушкину, мнѣ ничто не помѣшаетъ видѣть фразы, если онѣ есть, даже и въ такихъ его стихотвореніяхъ, въ которыхъ есть и истинная поэзія, и я въ первой половинѣ его «Андрея Шенье» до того мѣста, гдѣ поэтъ представляетъ Шенье говорящимъ, вижу фразы и декламацию... Вотъ наприимѣръ, найдите мнѣ стихотвореніе, въ которомъ бы твердость и упругость языка, великолѣпіе и картинность выраженій, были доведены до большаго совершенства, какъ въ стихотвореніи:

Выдалъ ли очи львицы гладной,
Когда идетъ она на брань,
Или съ весельемъ ногою хладной
Вонзаетъ въ трепетную лань?
Ты зрѣлъ гіену съ лютымъ зѣвомъ,
Когда грызетъ она затворъ!
Какъ раскаленъ упорнымъ гнѣвомъ
Ея окровавленный взоръ!
Тебѣ случалось въ мракѣ ночи,
Во весь опоръ пустить коня,
Внезапно волчьи встрѣтить очи,
Какъ два недвижные огня!.. и т. д.

И между тѣмъ, спрашиваю васъ, неужели это поэзія, а не стихотворная игрушка; неужели эти выраженія вылились въ вдохновенную минуту изъ души взволнованной, потрясенной, а не прибраны и не придуманы, въ напряженномъ и неестественномъ состояніи духа; неужели это безсознательное изліаніе чувства, а не наборъ фразъ, написанныхъ на тему, заданную умомъ?.. И взгляните пристальнѣе въ этотъ фальшивый блескъ поэзіи: что вы найдете въ немъ? Одно умѣнье, на-

выкъ, литературную опытность и вкусъ. Посмотрите, какъ искусно стихотворецъ умѣлъ придать ложный колоритъ поэзіи самымъ прозаическимъ выраженіямъ съ семнадцатаго стиха до двадцатаго пятаго. Было время, когда подобныя натяжки принимались за поэзію; но теперь—извините!

Обращаюсь къ мысли. Я рѣшительно нигдѣ не нахожу ея у Бенедиктова. Что такое мысль въ поэзіи? Для удовлетворительнаго отвѣта на этотъ вопросъ должно рѣшить сперва, что такое чувство. Чувство, какъ самое этимологическое значеніе этого слова показываетъ, есть принадлежность нашего организма, нашей плоти, нашей крови. Чувство и чувственность разнятся между собой тѣмъ, что послѣдняя есть тѣлесное ощущеніе, произведенное въ организмъ какимъ-нибудь матеріальнымъ предметомъ; а первое есть тоже тѣлесное ощущеніе, но только произведенное мыслью. И вотъ отчего человѣкъ, занимающійся какими-нибудь вычисленіями или сухими мыслями, подноситъ руку ко лбу, и вотъ почему человѣкъ потрясенный, взволнованный чувствомъ, подноситъ руку къ груди или сердцу, ибо въ этой груди у него замираетъ дыханіе, ибо эта грудь у него сжимается или расширяется, и въ ней дѣлается или тепло, или холодно, ибо это сердце у него и мѣбеть, и трепещетъ, и порывисто бьется; и вотъ почему онъ отступаетъ и дрожитъ и поднимаетъ руки, ибо по всему его организму, отъ головы до ногъ, проходитъ огненный холодъ и волосы становятся дыбомъ. И такъ, очень понятно, что сочиненіе можетъ быть съ мыслью, но безъ чувства! и въ такомъ случаѣ есть ли въ немъ поэзія! И наоборотъ, очень понятно, что сочиненіе, въ которомъ есть чувство, не можетъ быть безъ мысли. И естественно, что чѣмъ глубже чувство, тѣмъ глубже и мысль, и наоборотъ. «Вселенная безконечна», говорю я вамъ; эта мысль велика и высока, но въ этихъ словахъ еще не заключается художественнаго произведенія и не будетъ его, если бы я распространилъ эту мысль хоть на десяти страницахъ. Но «Die Grösse der Welt», это стихотвореніе Шиллера, въ которомъ облечена въ поэтическую форму эта же самая мысль, и которое такъ прекрасно, полно и вѣрно передано на русскій языкъ Шевыревымъ, дышитъ глубокой поэзіей, и въ немъ мысль уничтожается въ чувствѣ, а чувство уничтожается въ мысли; изъ этого взаимнаго уничтоженія рождается высокая художественность. А отчего? Оттого, что эта мысль, родившись въ головѣ поэта, дала, такъ сказать, толчокъ его организму, взволновала и зажгла его кровь и зажевелилась въ груди. Таковъ «Демонъ» Пушкина, это стихотвореніе, въ которомъ такъ неизмѣримо глубоко выражена идея сомнѣнія, рано или поздно бы-

вающаго удѣломъ всякаго чувствующаго и мыслящаго существа; такова же его дивная «Сцена изъ Фауста», выражающая почти ту же идею; таковъ его «Бахчисарайскій Фонтанъ», гдѣ, въ лицѣ Гирея, выражена мысль, что чѣмъ шире и глубже душа человѣка, тѣмъ менѣе способенъ онъ удовлетворить себя чувственными наслажденіями; таковы его «Цыгане», гдѣ выражена идея, что, пока человекъ не убьетъ своего эгоизма, своихъ личныхъ страстей, до тѣхъ поръ онъ не найдетъ для себя на землѣ истинной свободы ни посреди цивилизаціи, ни въ таборахъ кочующихъ дѣтей вольности. Я не говорю о другихъ его произведеніяхъ, я не говорю о его «Онѣгинѣ», я говорю о созданіи великомъ и безсмертномъ, гдѣ что стихъ, то мысль, потому что въ немъ что стихъ, то чувство.

Вотъ вамъ мысль въ поэзіи! Это не разсужденіе, не описаніе, не силлогизмъ—это восторгъ, радость, грусть, тоска, отчаяніе, вопль! Но мое любимое правило: вещи познаются всего лучше чрезъ сравненіе; и такъ, возьмите стихотвореніе Жуковскаго «Русская Слава» и стихотвореніе Пушкина «Клеветникамъ Россіи» — сравните ихъ, и тогда вы вполне поймете, что такое мысль въ поэзіи и что такое въ ней чувство, и что одно безъ другого быть не можетъ, если только данное сочиненіе художественно. Теперь укажите мнѣ хоть на одно стихотвореніе Бенедиктова, которое бы заключало въ себѣ мысль въ изложенномъ значеніи, въ которомъ бы эта мысль томила душу, тѣснила грудь, въ которомъ былъ бы хотя одинъ сильный, энергическій стихъ, невольно западающій въ память и никогда не оставляющій ея! «Полярная Звѣзда» по красотѣ стиховъ—чудо: этому стихотворенію можно противопоставить только «Ганимеда» Теплякова; но оно сбивается на описаніе, и я не вижу въ немъ никакой мысли, а это, не забудьте, единственное, по стихамъ, стихотвореніе Бенедиктова. Кстати объ описаніяхъ: описаніе—вотъ основной элементъ стихотвореній Бенедиктова; вотъ гдѣ старается онъ особенно выказать свой талантъ и, въ отношеніи къ внѣшней отдѣлкѣ, къ прелести стиха ему это часто удается. Но это все прекрасныя формы, которымъ недостаетъ души. Въ старину (которая впрочемъ очень недавно кончилась) всѣ питали теплую вѣру въ описательную поэзію, а старовѣры, всегда вѣрные старопечатнымъ книгамъ и стародавнимъ преданіямъ, и теперь еще признаютъ существованіе описательной поэзіи. Объ этомъ спорить нечего—вопросъ давно рѣшенный! Описательной поэзіи нѣтъ и быть не можетъ, какъ отдѣльнаго вида, въ которомъ бы проявлялось изыщное; но описательная поэзія можетъ быть вездѣ въ частяхъ и подробностяхъ. Описаніе красоты природы создается,

а не списывается; поэтъ изъ души своей производитъ картину природы или возсоздаетъ видѣнную имъ; въ томъ и другомъ случаѣ эта красота выводится изъ души поэта, потому что картины природы не могутъ имѣть красоты абсолютной; эта красота скрывается въ душѣ, творящей или созерцающей ихъ. Поэтъ одушевляетъ картину своимъ чувствомъ, своей мыслью; надобно, чтобы онъ или любовался ею, или ужасался ея, если онъ хочетъ прельстить или ужаснуть васъ ею. Картины Кавказа и таврическихъ ночей у Пушкина плѣнительны, потому что онъ одушевилъ ихъ своимъ чувствомъ, потому что онъ рисовалъ ихъ съ тѣмъ упованіемъ, съ которымъ юноша описываетъ красоту своей любезной. Можетъ быть, увидя Кавказъ и слича дѣйствительность съ поэтическимъ представленіемъ, вы не найдете никакого сходства: это очень естественно—все зависитъ отъ расположенія нашего духа, потому что жизнь и красота природы таятся въ сокровищницѣ души нашей; природа отражается въ ней, какъ въ зеркалѣ: тускло зеркало—тусклы и картины природы; свѣтло зеркало—свѣтлы и картины природы. Я, право, не вижу почти никакого достоинства въ описательныхъ картинахъ Бенедиктова, потому что вижу въ нихъ одно усиліе воображенія, а не внутреннюю полноту жизни, все оживляющей собою. Въ стихотвореніяхъ Бенедиктова все не досказано, все не полно, все поверхностно, и это не потому, чтобы его талантъ еще не созрѣлъ, но потому, что онъ, очень хорошо понимая и чувствуя поэзію воспріимыхъ имъ предметовъ, не имѣетъ этой силы фантазіи, посредствомъ которой всякое чувство высказывается полно и вѣрно. У него нельзя отнять таланта стихотворческаго; но онъ не поэтъ. Читая его стихотворенія, очень ясно видишь, какъ они дѣланы. Если Бенедиктовъ будетъ продолжать свои занятія по стихотворной части, то онъ со временемъ выплещется, овладѣетъ поэзіей выраженія, работаетъ свой стихъ; не будетъ дѣлать этихъ дѣтскихъ промаховъ, на которые я указалъ выше; словомъ, будетъ писать такъ же хорошо, какъ Трилунный, Шевыревъ, М. Дмитриевъ, но едва ли когда-нибудь будетъ онъ поэтомъ. Первые стихи поэта похожи на первую любовь: они живы, пламенны, естественны, чужды изысканности, вычурности, натяжекъ; но таковы ли первые стихи Бенедиктова? Дай Богъ, чтобы мое предсказаніе оказалось ложнымъ и нелѣпымъ, чтобы мои основанія, которыми я руководствовался въ моемъ сужденіи, были опровергнуты фактомъ: мнѣ было бы очень пріятно обмануться такимъ образомъ! Но до тѣхъ поръ, пока это не случится, я останусь твердъ въ своемъ мнѣніи, которое не есть слѣдствіе личности или какихъ-нибудь разсчетовъ, но слѣдствіе любви

къ истинѣ. Въ заключеніе скажу, что какъ ни естественно обмануться стихами Бенедиктова, но изданная имъ книжка въ наше прозаическое время многими можетъ быть принята за поэзію. Словомъ, если Бенедиктовъ не оставитъ своихъ стихотворныхъ занятій, онъ скоро пріобрѣтетъ себѣ большой авторитетъ; его стихи будутъ приниматься съ радостью во всѣхъ журналахъ, во многихъ будутъ расхваливаться по крайней мѣрѣ года два; а что будетъ послѣ?... То же, что стало теперь съ стихотворцами, которыхъ такъ много было въ прошломъ десятилѣтіи, и изъ которыхъ многіе обладали талантомъ выше Бенедиктова... Увы! что дѣлать? Рѣка времени все уноситъ, все истребляетъ, и немного, очень немного всплываетъ на ея сокрушительныхъ волнахъ!...

Многія изъ стихотвореній Бенедиктова очень милы, какъ весьма справедливо замѣчено въ одномъ журналѣ. Ихъ съ удовольствіемъ можно прочесть отъ нечего дѣлать; они не дадутъ душѣ поэтическаго наслажденія, но и не оскорбятъ, не возмутятъ его безвкусіемъ или нечѣстностью; нѣкоторыя даже будутъ пріятны для читателя, какъ апельсинъ въ лѣтній день или чашка кофе послѣ обѣда. Зато есть (хотя и очень немного) и такія, которыхъ бы рѣшительно не слѣдовало печатать. Таково «Наѣздница»; мы не выписываемъ его, потому что наша цѣль доказать истину, а не по-

вредить автору. У кого есть въ душѣ хоть искра эстетическаго вкуса, а въ головѣ—хоть капля здраваго смысла, тотъ вѣрно согласится съ нами. Мы не требуемъ отъ поэта нравственности; но мы въ правѣ требовать отъ него граціи въ самыхъ его шалостяхъ; и подъ этимъ условіемъ мы ни одного стихотворенія Языкова не почитаемъ безнравственнымъ, и подъ этимъ же условіемъ мы почитаемъ упомянутое стихотвореніе Бенедиктова очень неблагопрістойнымъ, и сверхъ того видимъ въ немъ рѣшительное отсутствіе всякаго вкуса. То же можно сказать и о многихъ мѣстахъ нѣкоторыхъ другихъ его стихотвореній. Мы очень рады, что этотъ фактъ можетъ служить подтвержденіемъ истины, всѣми признанной, что только одинъ истинный талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ. Въ поэтическихъ шалостяхъ грація—великое дѣло, потому что безъ нея эти шалости могутъ показаться отвратительными, а эта грація есть удѣлъ одного вдохновенія. Мы сказали, что нѣкоторыя стихотворенія Бенедиктова очень милы, какъ поэтическія игрушки; такими почитаемъ мы: «Къ Полярной Звѣздѣ», «Озеро», «Прощаніе съ саблемъ», «Ореллана», «Незабвенная», «Къ Н-му»; но особенно намъ понравилось «Два Видѣнія»—стихотвореніе, которое можетъ служить лучшимъ доказательствомъ нашего мнѣнія вообще о стихотвореніяхъ Бенедиктова.

—*

СТИХОТВОРЕНІЯ КОЛЬЦОВА.

(Москва. 1835).

Даръ творчества дается не многимъ избраннымъ любимцамъ природы, и дается имъ не въ равной степени. У однихъ степень его силы зависитъ рѣшительно отъ одной природы; у другихъ она зависитъ сколько отъ природы, столько и отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Есть художники, произведеніямъ которыхъ обстоятельства ихъ жизни могутъ сообщить тотъ или другой характеръ, но на творческій талантъ которыхъ они не имѣютъ никакого вліянія: это художники-геніи. Отличительный признакъ ихъ геніальности состоитъ въ томъ, что они властвуютъ обстоятельствами и всегда сидятъ глубже и дальше черты, очерченной имъ судьбой, и подъ общими внѣшними формами, свойственными ихъ вѣку и ихъ народу, проявляютъ идеи, общія всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ народамъ. Шекспиръ и при дворѣ Людовика XIV остался бы Шекспиромъ; его генія не задушилъ бы зарази-

тельный воздухъ двора этого блистательнаго, но отнюдь не великаго, короля Франціи; его геніальнаго взгляда на жизнь—этой природной философіи—не убило бы мишурное величіе золотого вѣка французской словесности; его могущественныхъ порывовъ не оковали бы схоластическія понятія объ изящномъ. Но Расинъ и при дворѣ Елизаветы былъ бы придворнымъ поэтомъ, перелагалъ бы дворскія сплетни въ трагедіи и писалъ бы по той мѣркѣ, которую давали бы ему люди, общественное мнѣніе, приличіе или вкусъ королевы и лордовъ. Творенія геніевъ вѣчны, какъ природа, потому что основаны на законахъ творчества, которые вѣчны и неизмѣнны, какъ законы природы, и которыхъ кодексъ скрытъ въ глубинѣ творческой души, а не на преходящихъ и условныхъ понятіяхъ объ искусствѣ того или другого народа, той или другой эпохи; потому что въ нихъ проявляется

великая идея человѣка и человѣчества, всегда понятная, всегда доступная нашему человѣческому чувству, а не идеи двора или общества въ то или другое время, у того или другого народа. Геній есть торжественнѣйшее и могущественнѣйшее проявленіе сознающей себя природы, и потому есть явленіе рѣдкое; немногіе вѣка озарялись этими роскошными солнцами, у немногихъ сіяло на небосклонѣ по нѣскольку этихъ солнцевъ... Но ежели вся цѣль созданія есть не что иное, какъ восходящая лѣстница сознанія безсмертнаго и вѣчнаго духа, живущаго въ природѣ, то и служители искусства представляютъ собою ту же самую лѣстницу, которая восходитъ или нисходитъ, смотря по тому, съ начала или съ конца будете вы обозрѣвать ее. Безконечная и всегда неразрывная цѣль! Есть художники, которыхъ вы не рѣшитесь почитать высокими именемъ геніевъ, но которыхъ вы поколебаетесь отнести къ талантамъ; которые какъ бы начинаютъ собой нисходящую ступень лѣстницы и какъ бы принадлежать къ этому дивному поколѣнію духовъ, которыми пламенное воображеніе младенствующихъ народовъ населило и лѣса, и горы, и воды, и воздухъ, и которыхъ назвало силъфами и пери, и поставило ихъ на чертѣ между высшими небесными духами и человѣкомъ. Наконецъ есть еще эти художники, ознаменованные большей или меньшей степенью таланта творческаго, эти люди, на которыхъ небо взираетъ, какъ на любимыхъ, хотя и занимающихъ свое мѣсто послѣ духовъ безплотныхъ, чадъ своихъ. Хвала и поклоненіе наше генію, хвала и удивленіе высокому таланту! Но не откажемъ же хотя во вниманіи и этому меньшему и юнѣйшему сыну неба! Не равно лучезарны лучи, сіяющіе на ихъ главахъ, но всѣ они—дѣти одного и того же неба, всѣ они—служители одного и того же алтаря. Пусть одинъ будетъ ближе, другой дальше къ алтарю—воздадимъ каждому почтеніе наше по мѣсту, занимаемому имъ, но уважимъ всякаго, кому дано свыше высокое право служенія алтарю...

Я хочу сказать, что художникъ по призванію есть всегда предметъ, достойный вниманія нашего, на какой бы ступени художественнаго совершенства ни стоялъ онъ, какъ бы ни было невелико его творческое дарованіе. Если онъ точно художникъ, если точно природа помазала его при рожденіи на служеніе искусства, если онъ только не дерзкій самозванецъ, непосвященно и самовольно присвоившій себѣ право служенія божеству, — то, говоря я, не пройдемъ мимо его съ холоднымъ невниманіемъ, но остановимся передъ нимъ и посмотримъ на него испытующимъ взоромъ: можетъ быть на его челѣхъ подглядимъ мы печать высокой думы, которая не для всѣхъ замѣтна; можетъ быть въ его очахъ

мы уловимъ этотъ лучъ вдохновенія, который всегда бываетъ гостемъ небеснымъ; можетъ быть его уста выскажутъ намъ какую-нибудь святую тайну, взволнуютъ нашу грудь какимъ-нибудь сладкимъ, хотя и тихимъ чувствомъ...

Такимъ поэтомъ почитаемъ мы Кольцова; съ такой точки зрѣнія смотримъ мы на талантъ его; онъ владѣетъ талантомъ не большимъ, но истиннымъ, даромъ творчества не глубокимъ и не сильнымъ, а неподдѣльнымъ и ненатянутымъ, а это, согласитесь, не совсѣмъ обыкновенно, не весьма часто случается. Пospѣшимъ же встрѣтить новаго поэта съ живымъ сочувствіемъ, съ привѣтомъ и лаской.

Я сказалъ, что геній-художникъ независимъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, что эти обстоятельства даютъ тотъ или другой характеръ его созданіямъ, но не возвышаютъ и не ослабляютъ силы его фантазіи. Не таковы обыкновенные таланты: ихъ нельзя разсматривать внѣ обстоятельствъ ихъ жизни, потому что этими обстоятельствами объясняется иногда и ихъ чрезвычайный успѣхъ, и ихъ паденіе; этими обстоятельствами опредѣляется, что они могли бы сдѣлать и почему они сдѣлали столько, а не столько, такъ, а не этакъ, и слѣдовательно опредѣляется важность и степень ихъ таланта. Чтобы написать въ наше время нѣсколько строфъ, не уступающихъ въ звучности и великолѣпіи нѣкоторымъ строфамъ Ломоносова, нужно одно умѣніе и навѣкъ, а въ то время, въ которое жилъ Ломоносовъ, для этого нуженъ былъ талантъ. И развѣ самъ Шекспиръ не становится выше въ нашихъ глазахъ отъ того самаго, что онъ жилъ въ XVI, а не въ XIX вѣкѣ? Представьте себѣ Державина, поэта вѣка Екатерины II, поэтомъ вѣка Петра Великаго: развѣ ваше удивленіе къ нему не удвоится? И развѣ самъ Ломоносовъ не геній уже по одному тому, что онъ былъ холмогорскимъ рыбакомъ? Развѣ Слѣпушкинъ и другіе, совершенно не будучи поэтами, не обратили на себя общаго вниманія потому только, что они принадлежали къ низшему классу общества и самими себѣ были обязаны тѣмъ образованіемъ, которое какъ они сами, такъ и публика приняла за даръ творчества?.. Кольцовъ тоже принадлежитъ къ числу этихъ поэтовъ-самоучекъ, съ той только разницей, что онъ владѣетъ истиннымъ талантомъ.

Кольцовъ — воронежскій мѣщанинъ, ремесломъ прасолъ. Окончивъ свое образованіе приходскимъ училищемъ, т.-е. выучивъ букварь и четыре правила арифметики, онъ началъ помогать честному и пожилому отцу своему въ небольшихъ торговыхъ оборотахъ и трудиться на пользу семейства. Чтеніе Пушкина и Дельвига въ первый разъ открыло ему тотъ міръ, о которомъ томила душа его,

оно вызвало звуки, въ ней заключенные. Между тѣмъ домашнія дѣла его шли своимъ чередомъ: проза жизни смѣняла поэтическіе сны; онъ не могъ вполнѣ предаться ни чтенію, ни фантазіи. Одно удовлетворенное чувство долга награждало его и давало ему силу переносить труды, чуждые его призванію. Можетъ быть и еще другое чувство охраняло поэзію этой души, которая всего чаще высказывала свое горе въ степяхъ у огней,

Подъ пѣснь родную чумака (стр. 20).

Какъ тутъ было созрѣть таланту? Какъ могъ выработаться свободный, энергическій стихъ? И кочевая жизнь, и сельскія картины, и любовь, и сомнѣнія попеременно занимали, тревожили его; но всѣ разнообразныя ощущенія, которыя поддерживаютъ жизнь таланта, уже созрѣвшаго, уже воспитавшаго свои силы, лежали бременемъ на этой неопытной душѣ: она не могла похоронить ихъ въ себѣ и не находила формы, чтобы дать имъ внѣшнее бытіе.

Эти немногія данныя объясняютъ и достоинства, и недостатки, и характеръ стихотвореній Кольцова. Немного напечатано ихъ изъ большой тетради, присланной имъ, не всѣ и изъ напечатанныхъ равнаго достоинства; но всѣ они любопытны, какъ факты его жизни. Природа дала Кольцову безсознательную потребность творить, а нѣкоторыя вычитанныя изъ книгъ понятія о творчествѣ заставили его *сдѣлать* многія стихотворенія. Изъ помѣщенныхъ въ изданіи найдется два-три слабыхъ, но ни одного такого, въ которомъ не было бы хотя нечаяннаго проблеска чувства, хотя одного или двухъ стиховъ, вырвавшихся изъ души. Большая часть положительно и безусловно прекрасны. Почти всѣ они имѣютъ близкое отношеніе къ жизни и впечатлѣніямъ автора, и потому дышатъ простотой и наивностью выраженія, искренностью чувства, не всегда глубокаго, но всегда вѣрнаго, не всегда пламеннаго, но всегда теплаго и живого. Но при всемъ этомъ они разнообразны, какъ впечатлѣнія, которыхъ плодомъ они были. Въ «Великой Тайнѣ» читатель найдетъ удивительную глубину мысли, соединенную съ удивительной простотой и благородствомъ выраженія, какое-то младенчество и простодушіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и возвышенность, и ясность взгляда. Это дума Шиллера, переданная русскимъ простолюдиномъ, съ русской отчетливостью, ясностью и съ простодушіемъ младенческаго ума. Въ «Пѣснѣ Старика», «Удальцѣ», «Совѣтѣ Старца» дышитъ этотъ разгулъ юнаго чувства, которое просится наружу, выражается хорошо и раздольно, и которое составляетъ основу русскаго характера, когда онъ, какъ говорится, расходится. Въ «Пирушкѣ русскихъ поселянъ», «Размышле-

ніи Поселянина» и «Пѣснѣ Пахаря» выражается поэзія жизни нашихъ простолюдиновъ. Вотъ такую народность мы высоко цѣнимъ: у Кольцова она благородна, не оскорбляетъ чувства ни цинизмомъ, ни грубостью, и въ то же время она у него неподдѣльна, не натянута и истинна. Простота выраженія и картинъ, прелесть того и другого у него неподражаемы. По крайней мѣрѣ до сихъ поръ мы не имѣли никакого понятія объ этомъ родѣ народной поэзіи, и только Кольцовъ познакомилъ насъ съ нимъ. Но что составляетъ цвѣтъ и вѣнецъ его поэзіи,—это тѣ стихотворенія, въ которыхъ онъ изливаетъ свое тихое и безотрадное горе любви; они слѣдующія: «Люди добрые, скажите»; «Ты не пой, соловей»; «Первая любовь»; «Не шуми ты, рожь»; «Къ N.»; четвертое особенно прелестно.

Не знаю, будутъ ли имѣть успѣхъ стихотворенія Кольцова, обратитъ ли на нихъ публики то вниманіе, котораго они заслуживаютъ, будутъ ли умѣть наши журналы отдать имъ должную справедливость—все это покажетъ время. Но мы не можемъ не признаться, что Кольцовъ является съ своими прекрасными стихотвореніями не во-время или, лучше сказать, въ дурное время.

Хорошо еще для него, если бы онъ явился среди всеобщаго затишья нашихъ неугомонныхъ лирѣ, а то вотъ бѣда, что онъ является среди дикаго и несладкаго рева, которымъ терзаютъ уши публики гг. непризванные поэты, прензобильно и пренсправно наполняющіе или, лучше сказать, наводняющіе нѣкоторые журналы; является въ то время, когда хриплое карканье ворона и грязныя картины будто бы народной жизни съ торжествомъ выдаются за поэзію... Грустная мысль! неужели и въ этомъ дѣлѣ гудокъ, волынка и балалайка должны заглушить звуки арфы? Неужели и въ самомъ дѣлѣ стихотворное паясничество и кривлянье должны заслонять собой истинную поэзію?.. Чего добраго! поэзія Кольцова такъ проста, такъ неизысканна и, что всего хуже, такъ истинна! Въ ней нѣтъ ни дикихъ, напыщенныхъ фразъ объ утесахъ и другихъ страшныхъ вещахъ; въ ней нѣтъ ни моху забвенія на развалинахъ любви, ни плотныхъ уѣстовъ; въ ней не гнѣздится любовь въ ущельяхъ сердецъ; въ ней нѣтъ ни другихъ подобныхъ диковинокъ. Толпа слѣпа: ей нуженъ блескъ и трескъ, ей нужна яркость красокъ, и ярко-красный цвѣтъ у ней самый любимый... Но нѣтъ, этого быть не можетъ! Вѣдь есть же и у самой толпы какое-то чутье, которому она слѣдуетъ наперекоръ самой себѣ и которое у ней всегда вѣрно! Вѣдь есть же люди, которые, предпочитая Пушкину и того и другого поэта, тверже всѣхъ поэтовъ знаютъ наизусть Пушкина и чаще всѣхъ читаютъ его?.. Кажется, теперь бы

и должно быть этому времени, въ которое все опѣивается вѣрно и безошибочно?—Увидимъ!

Не знаемъ, разовьется ли талантъ Кольцова или падетъ подъ игомъ жизни?—Этотъ вопросъ рѣшить будущее; намъ остается только желать, чтобы этотъ талантъ, котораго дебютъ такъ прекрасенъ, такъ полонъ надеждъ, развился вполнѣ. Это много зависитъ и отъ самого поэта; да не падетъ же его духъ подъ бременемъ жизни, или убитый ею,

или обольщенный ея ничтожностью; да будетъ для него всегдашнимъ правиломъ эта высокая мысль борьбы съ жизнью и побѣды надъ ней, которую онъ такъ прекрасно выразилъ въ стихотвореніи: «Къ Другу».

Мы отъ души убѣждены, что до тѣхъ поръ, пока Кольцовъ будетъ сохранять высказанныя въ немъ чувства и будетъ основывать на нихъ неизмѣнное правило жизни, его талантъ не угаснетъ!..

ОПЫТЪ СИСТЕМЫ ПРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФІИ.

(Алексѣя Дроздова. Спб. 1835.)

У насъ вообще не только совсѣмъ не распространено знаніе философіи, но и самое стремленіе къ нему едва начинается пробуждаться, и то отрывочно, не дружно, какими-то порывами, безъ постоянства. Но тѣмъ не менѣе оно уже пробуждается, несмотря на отчаянные вопли профановъ науки, истощающихъ всѣ усилія своей «свѣтской» діалектики противъ «логическихъ построеній». Особенно это стремленіе замѣтно въ нашемъ духовенствѣ, которое съ любовью и замѣтнымъ успѣхомъ занимается этой великой наукой. Брошюрка, заглавіе которой выписано въ началѣ этой статьи, написанная духовнымъ и изданная духовнымъ, служить тому доказательствомъ.

Разумѣется, объ ней нигдѣ ничего не было сказано, да и намъ самимъ она попалась случайно. Мы прочли ее съ удовольствіемъ, которымъ и спѣшимъ подѣлиться съ нашими читателями. Вѣрный взглядъ на многіе предметы, прекрасное, проникнутое чувствомъ изложеніе идей, добросовѣстность въ сужденіи, простота и ясность составляютъ достоинство этого сочиненія; а отсутствіе строгой системы, происшедшее отъ невѣрности общему началу, и вслѣдствіе того частыя противорѣчія—вотъ ея недостатки. Въ томъ или другомъ случаѣ какъ важность предмета, такъ и уваженіе къ добросовѣстному и безкорыстному труду побуждаютъ насъ поговорить о немъ подробнѣе.

Почтенный авторъ начинаетъ, какъ и должно, съ опредѣленія идеи «нравственной философіи», которую онъ иначе называетъ «дѣятельною»; различіе ея отъ «умозрительной» онъ полагаетъ въ томъ, что предметъ послѣдней есть *истина*, а первой — *добро*. Между той и другой онъ находитъ «координацію»,

которая, не дѣлая ихъ отдѣльными знаніями, предполагаетъ возможность ихъ обрабатыванія независимо одна отъ другой.

Вслѣдъ затѣмъ авторъ говоритъ, что «нравственная философія не можетъ выводить началъ своихъ изъ опытовъ историческихъ или изъ какихъ-нибудь правдоподобныхъ правилъ, но требуетъ точныхъ и основательныхъ свѣдѣній о томъ, что само въ себѣ истинно, хорошо и справедливо». Уже одного этого достаточно, чтобы видѣть въ этой книжкѣ нѣчто достойное вниманія, а въ авторѣ—человѣка, понимающаго свой предметъ. Есть два способа изслѣдованія истины — а priori и а posteriori, т.-е. изъ чистаго разума и изъ опыта. Много было споровъ о преимуществѣ того и другого способа, и даже теперь нѣтъ никакой возможности примирить эти двѣ враждующія стороны. Одни говорятъ, что познаніе, для того чтобы быть вѣрнымъ, должно выходить изъ самаго разума, какъ источника нашего сознанія, слѣдовательно должно быть субъективно, потому что все сущее имѣетъ значеніе только въ нашемъ сознаніи и не существуетъ само для себя; другіе думаютъ, что познаніе тогда только вѣрно, когда выведено изъ фактовъ, явленій, основано на опытѣ. Для первыхъ существуетъ одно сознаніе, и реальность заключается только въ разумѣ, а все остальное бездушно, мертво и бессмысленно само по себѣ, безъ отношенія къ сознанію; словомъ, у нихъ разумъ есть царь, законодатель, сила творческая, которая даетъ жизнь и значеніе несуществующему и мертвому. Для вторыхъ реальное заключается въ вещахъ, фактахъ, въ явленіяхъ природы, а разумъ есть не что иное, какъ поденщикъ, рабъ мертвой дѣйствительности, принимающій отъ нея законы и измѣняющійся по ея

прихоти, слѣдовательно мечта, призракъ. Вся вселенная, все сущее есть не что иное, какъ единство въ многообразіи, безконечная цѣпь модификацій одной и той же идеи; умъ, теряясь въ этомъ многообразіи, стремится привести его въ своемъ сознаніи къ единству, и исторія философіи есть не что иное, какъ исторія этого стремленія. Лѣца Леды, вода, воздухъ, огонь, принимавшіеся за начала и источникъ всего сущаго, доказываютъ, что и младенческій умъ проявлялся въ томъ же стремленіи, въ какомъ онъ проявляется и теперь. Непрочность первоначальныхъ философскихъ системъ, выведенныхъ изъ чистаго разума, заключается совсѣмъ не въ томъ, что онѣ были основаны не на опытѣ, а напротивъ, въ ихъ зависимости изъ опыта, потому что младенческій умъ беретъ всегда за основной законъ своего умозрѣнія не идею, въ немъ самомъ лежащую, а какое-нибудь явленіе природы, и слѣдовательно выводитъ идеи изъ фактовъ, а не факты изъ идей. Факты и явленія не существуютъ сами по себѣ: они всѣ заключаются въ насъ. Вотъ напримѣръ, красный четверугольный столъ: красный цвѣтъ есть произведеніе моего зрительнаго нерва, приведеннаго въ сотрясеніе отъ созерцанія стола; четверугольная форма есть типъ формы, произведенный моимъ духомъ, заключенный во мнѣ самомъ и придаваемый мною столу; самое же значеніе стола есть понятіе, опять-таки во мнѣ же заключающееся и мною же созданное, потому что изобрѣтенію стола предшествовала необходимость стола, слѣдовательно столъ былъ результатомъ понятія, созданнаго самимъ человѣкомъ, а не полученнаго имъ отъ какого-нибудь внѣшняго предмета. Внѣшніе предметы только даютъ толчокъ нашему я и возбуждаютъ въ немъ понятія, которыя оно придаетъ имъ. Мы этимъ отнюдь не хотимъ отвергнуть необходимости изученія фактовъ; напротивъ, допускаемъ вполне необходимость этого изученія; только съ тѣмъ вмѣстѣ хотимъ сказать, что это изученіе должно быть чисто умозрительное и что факты должно объяснять мыслью, а не мысли выводить изъ фактовъ. Иначе матерія будетъ началомъ духа, а духъ—работою матеріи. Такъ и было въ восемнадцатомъ вѣкѣ, этомъ вѣкѣ опыта и эмпиризма. И къ чему привело это его? Къ скептицизму, материализму, безвѣрію, разврату и совершенному невѣдѣнію истины при обширныхъ познаніяхъ. Что знали энциклопедисты? Какіе были плоды ихъ учености? Гдѣ ихъ теорія? Онѣ всѣ разлетѣлись, полопались какъ мыльные пузыри. Возьмемъ одну теорію изъясннаго, теорію, выведенную изъ фактовъ и утвержденную авторитетами Буало, Баттѣ, Лагарпа, Мармонтеля, Вольтера: гдѣ она, эта теорія, или, лучше сказать, что она такое теперь? Не больше какъ памятникъ

бесилия и ничтожества человѣческаго ума, который дѣйствуетъ не по вѣчнымъ законамъ своей дѣятельности, а покоряется оптическому обману фактовъ. Къ чему повела эта теорія? Къ современной гибели и уничтоженію искусства, низведеннаго ею на степень простого ремесла. А отчего? Оттого, что эти люди хотѣли создать идеалъ искусства по безсмертнымъ образцамъ, завѣщаннымъ древностью, а не вывести изъ своего духа. Скажутъ, они знали только одну греческую и римскую словесность, а потому и судили только по произведеніямъ этихъ литературъ; но не знали Шекспира, не были знакомы съ литературой среднихъ вѣковъ, литературами восточныхъ народовъ, жили прежде Шиллера, Гёте, Байрона. Ну, такъ что жъ? Имъ и не нужно было знать всего этого, потому что у нихъ было нѣчто надежнѣе произведеній Шиллера, Гёте и Байрона, у нихъ былъ разумъ, въ нихъ былъ сознающій себя духъ человѣческій, а въ этомъ разумѣ, въ этомъ духѣ заключался идеалъ искусства, заключалось темное и трепетное предчувствіе истинныхъ произведеній творчества. Если произведенія древности не подходили подъ этотъ идеалъ, это значило, что или они не такъ понимали эти произведенія, или что эти произведенія ложны и не художественны. Чтобы представить это яснѣе, возьмемъ какой-нибудь примѣръ. Я убѣжденъ, что поэзія есть бессознательное выраженіе творящаго духа, и что слѣдовательно поэтъ въ минуту творчества есть существо болѣе страдательное, нежели дѣйствующее, а его произведеніе есть уловленное видѣніе, представшее ему въ свѣтлую минуту откровенія свыше, слѣдовательно оно не можетъ быть выдумкою его ума, сознательнымъ произведеніемъ его воли. Взявши это основаніе за абсолютное, я не признаю поэзіи ни въ чемъ, что создано не по этому закону, ни въ чемъ, что имѣло цѣль или было результатомъ подражанія.

«Но, скажутъ мнѣ, такіа-то и такіа-то произведенія не подходятъ подъ этотъ законъ».—Слѣдовательно они ложны, отвѣчаю я.—«Но вѣрно ли ваше начало?»—Опровергните его!—Теперь пойдемъ далѣе. Я убѣжденъ, что эпическая поэма, чтобы быть истинно художественнымъ произведеніемъ, должна отражать въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, жизнь цѣлаго народа; потомъ, чтобы быть такою, она должна быть произведена по закону творчества, о которомъ я уже говорилъ, т.-е. должна быть бессознательнымъ выраженіемъ творящаго духа, независимымъ отъ сознательной воли человѣка, слѣдовательно въ высочайшей степени оригинальнымъ, въ высочайшей степени чуждымъ всякаго подражанія. Такова «Иліада»,—произведеніе ли она цѣлаго народа, или какого-нибудь слѣпца-Гомера,—которая есть символъ

идеи героической Греціи; таковъ «Фаустъ» Гёте, созданіе одного человѣка, который самъ былъ полнѣйшимъ выраженіемъ Германіи и который въ самомъ созданіи представилъ символъ духа своего отечества, въ формѣ оригинальной и свойственной его вѣку. Но не таковы «Энеида», «Освобожденный Іерусалимъ», «Потерянный Рай», «Мессіада», потому что онѣ созданы не безотчетно, не самобытно, а вслѣдствіе «Иліады», слѣдовательно живутъ не своей, а чужой жизнью. Поэтому въ нихъ нѣтъ и не можетъ быть ни полной картины жизни народа, которому онѣ принадлежать, ни вѣрнаго отраженія духа времени, въ которое онѣ произошли. Конечно въ нихъ есть великія частныя красоты, но тѣмъ не менѣе это произведенія ложныя и ошибочныя. — Однако они признаны всѣми вѣками. — Такъ: но пусть докажутъ, что мои основанія ложны; въ такомъ случаѣ я сознаюсь, что вѣка говорили дѣло. Только тогда для меня ужъ не будетъ поэзіи: поэзія превратится въ ремесло, въ забаву, въ невинное препровожденіе времени, въ родъ карточной игры или танцевъ. Приведемъ еще примѣръ. Недавно какъ-то въ одномъ журналѣ отстаивали отъ жестокихъ нападокъ здраваго смысла плохонькую пріятельскую книженку, для чего не нашли лучшаго способа, какъ отвергнуть возможность поэзіи у необразованныхъ и невѣжественныхъ народовъ, какъ будто поэзія есть плодъ науки и цивилизація, а не свободный плодъ человѣческаго духа. Для этого рыцарь пріятельской книжки уцѣпился руками и ногами за русскую пѣсню:

Какъ у нашего двора
Пріукатана гора —

и доказалъ ею, какъ дважды два — четыре, что въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ нѣтъ поэзіи, потому-де, что онѣ сложены безграмотными мужиками, а не «свѣтскими» людьми, не кандидатами, магистрами и докторами, не позаботясь даже догадаться, что приведенная имъ въ примѣръ пѣсня не есть совсѣмъ пѣсня, а голосъ пѣсни, родъ припѣва, гдѣ часто собираются слова, не имѣющія никакого смысла, только для голоса, какъ на примѣръ: «ай люли, ай люли!» и т. п. Вотъ что значитъ основываться на фактахъ безъ мысли! И оттого-то, читая эту статью, не знаешь, чтѣ читаешь: статью ли о поэзіи, или о новомъ способѣ уваживать поля для посѣва картофеля... Смѣшно и жалко!..

Но я началъ о восемнадцатомъ вѣкѣ и о французахъ, и самъ не замѣтилъ, какъ перешелъ къ девятнадцатому вѣку и къ намъ, русскимъ; это оттого, что восемнадцатый вѣкъ еще и теперь здравствуетъ во многихъ нашихъ книгахъ и журналахъ, особливо «свѣтскихъ», а французы по сю пору водятъ насъ какъ дѣ-

тей на помочахъ своего эмпиризма, выдавая его за эклектизмъ. Человѣчество только отъ нѣмцевъ узнало, что такое искусство и что такое философія, тогда какъ французы вмѣсто искусства показали намъ что-то въ родѣ башмачнаго ремесла, а вмѣсто философіи — что-то въ родѣ игры въ бирюльки. Умозрѣніе всегда основывается на законахъ необходимости, а эмпиризмъ — на условныхъ явленіяхъ мертвой дѣйствительности. Поэтому первое есть зданіе, построенное на камнѣ; второе — зданіе, построенное на пескѣ, которое тотчасъ валится, если вѣтеръ сдуетъ хоть одну изъ песчинокъ, составляющихъ его зыбкое основаніе. Математика есть наука по преимуществу положительная и точная, и между тѣмъ нисколько не эмпирическая, а выведенная изъ законовъ чистаго разума, что одно и то же; что дважды два — четыре, эта истина узнана не изъ опыта, а изъ духа перенесена въ опытъ. Чтѣ такое всѣ гипотезы, на которыхъ основана астрономія, какъ не умозрѣніе, а между тѣмъ развѣ астрономія наука не положительная? Два величайшія открытія въ области нашего вѣдѣнія — Америка и планетная система — сдѣланы а priori. Надъ Колумбомъ и Галилеемъ смѣялись, какъ надъ сумасшедшими, потому что опытъ явно опровергалъ ихъ; но они вѣрили своему разуму, и разумъ былъ оправданъ ими.

Но еще страннѣе намъ кажется мысль о какомъ-то современномъ соединеніи умозрительнаго и эмпирическаго способа изслѣдованія истины: помилуйте, это сущая нелѣпость, которой уничтожается цѣлый кругъ знанія, возможность всякой науки, потому что этимъ отрицается дѣйствительность не только умозрѣнія, но и самаго опыта; если умозрѣніе нуждается въ помощи опыта, значитъ оно недостаточно; если опытъ нуждается въ помощи умозрѣнія, значитъ и онъ недостаточенъ. Признавая недостаточность опыта, мы уничтожаемъ реальность фактовъ, независимую отъ нашего сознанія, и утверждаемъ тѣмъ, что посредствомъ опыта рѣшительно ничего невозможно узнать; признавая недостаточность умозрѣнія, превращаемъ нашъ разумъ въ фантомъ и утверждаемъ, что и посредствомъ разума ничего невозможно узнать. Слѣдовательно, къ чему же поведетъ это соединеніе? Только два однородные предмета могутъ составить одно цѣлое. Другое дѣло — повѣрка умозрѣнія опытомъ, приложеніе умозрѣнія къ фактамъ: это дѣло возможное. Если умозрѣніе вѣрно, то опытъ непременно долженъ подтверждать его въ приложеніи, потому что, какъ мы уже сказали, и самое опытное знаніе есть необходимо умозрительное, вслѣдствіе того, что фактъ имѣетъ жизнь и значеніе не самъ по себѣ, а только по тому понятію, которое онъ пробуждаетъ въ нашемъ сознаніи и которое мы къ нему прилагаемъ.

Слѣдовательно, если факты поняты вѣрно, они непременно должны подтверждать умозрѣніе, потому что умозрѣніе не противорѣчитъ умозрѣнію.

И такъ, сочиненіе Дроздова принадлежитъ къ области умозрѣнія, что и даетъ ему необходимо важность и силу въ глазахъ людей мыслящихъ. Но, отдавая ему должную справедливость, мы тѣмъ болѣе должны быть безпристрастны и къ его недостаткамъ. А главный его недостатокъ, какъ мы уже и замѣтили, состоитъ въ противорѣчии автора съ самимъ собою, вслѣдствіе его невѣрности умозрѣнію, которое онъ самъ признаетъ единственнымъ законнымъ способомъ изслѣдованія истины.

Въ § 13 своей книги Дроздовъ говоритъ:

«Если высочайшій законъ нравственности долженъ имѣть истинное достоинство и нравственную цѣну, то онъ долженъ происходить: а) изъ идеи высочайшаго добра; б) обнимать всю область нравственной жизни, слѣдовательно имѣть характеръ безусловной всеобщности; в) долженъ имѣть прямое и преимущественное направленіе къ нашему чувству, потому что только это чувство записать отъ воли во всѣхъ отношеніяхъ жизни. Но когда станемъ требовать отъ высочайшаго нравственного закона того, чтобы онъ всегда научалъ, какъ долженъ поступать нравственно-добрый человѣкъ въ каждомъ особенномъ, непредвидѣнномъ случаѣ — или будемъ требовать отъ него совершенно невозможнаго, или мораль должна превратиться въ такъ называемую «казуистику».

Все это очень вѣрно и дѣлаетъ большую честь мышленію автора; но вслѣдъ затѣмъ встрѣчается и противорѣчіе, ложная мысль, которую очень непріятно встрѣтить послѣ такихъ прекрасныхъ и истинныхъ мыслей:

«Въ такомъ случаѣ, чтобы не разстроить связи и единства дѣятельной философіи, лучше всего предоставить различіе добра и зла самому произволу человѣка».

Нѣтъ, мы думаемъ, что всѣ частные вопросы должны необходимо вытекать изъ основной идеи нравственности и рѣшаться ею: въ противномъ случаѣ, человѣкъ, предоставленный своему произволу, самъ дѣлается казуистомъ. Эта ошибка повела автора къ другой, важнѣйшей: заставила его, противъ воли, сдѣлать изъ нравственной философіи настоящую казуистику.

Вторая часть его сочиненія заключаетъ въ себѣ «частную нравственную философію», то есть именно приложение нравственной философіи къ частнымъ случаямъ, которые, какъ и должно, нисколько не вяжутся ни съ цѣльмъ сочиненіемъ, ни другъ съ другомъ.

Подобныхъ противорѣчій можно бы было найти и болѣе. Но не эта цѣль наша; мы хотѣли обратить на сочиненіе Дроздова вниманіе публики, на которое оно имѣетъ законныя права, и потому, безпристрастно высказавши

наше мнѣніе о его недостаткахъ, спѣшимъ выставить на видъ то, что показалось намъ въ немъ особенно достойнымъ вниманія.

«Доброе есть религиозная идея, такъ же какъ истинное и прекрасное. Человѣческій духъ поставляетъ Бога первоначальнымъ источникомъ столько же всего добраго, сколько всего истиннаго и прекраснаго, слѣдовательно вѣчная идея добраго имѣетъ тѣсную, превѣчную связь съ Богомъ, существомъ всесвятѣйшимъ. Ибо все доброе принимаетъ характеръ истиннаго добра не иначе, какъ отъ своего участія въ превѣчномъ добрѣ и превѣчной истинѣ. Поэтому-то все нравственно-доброе и запечатлѣно печатію величія и святости, возбуждающихъ въ человѣкѣ безконечное благоговѣніе. Ибо оно есть отраженіе высочайшаго добра — Бога.»

Доброе имѣетъ также тѣснѣйшее сродство съ истиннымъ и прекраснымъ. Ибо и оно, такъ же какъ истинное и прекрасное, не подлежитъ никакой перемѣнѣ; вѣчно равное самому себѣ, оно никогда не теряетъ высокаго значенія своего для человѣческаго духа.

Нравственно-доброе становится изыщнымъ, когда обнаруживается въ насъ какъ любовь къ Богу и человѣчеству. Поэтому каждый добрый поступокъ человѣка есть вмѣстѣ истинный и прекрасный поступокъ» (§ 10).

Вотъ истинныя понятія о нравственно-добромъ, и къ сожалѣнію такъ рѣдко встрѣчаемыя въ нашихъ мыслителяхъ! Конечно ученый, безкорыстно орошающій потомъ чела своего ниву знанія, поставившій въ трудѣ цѣль и счастье своей жизни и находящій въ самомъ этомъ трудѣ свою высшую, свою конечную награду, есть жрецъ, служитель Бога; художникъ въ ту минуту, когда воспроизводитъ въ словѣ, краскѣ или звукѣ дивныя явленія, таинственно сопричастующія его душѣ, есть также жрецъ, служитель Бога. Недаромъ въ древности у всѣхъ народовъ жрецы были вмѣстѣ и хранителями знаній, и служителями искусства: это доказываютъ не одни браминны и маги, египетскіе и греческіе жрецы, это доказываютъ и левиты еврейскіе, которые въ то же время были и книжниками, т.-е. хранителями и представителями народной мудрости. Въ средніе вѣка свѣтъ просвѣщенія пламенѣлъ только въ уединеніи монастырскихъ келій, и только одни монахи, служители и мученики вѣры были хранителями этого священнаго огня, не дали ему погаснуть до тѣхъ поръ, пока онъ не перешелъ и къ свѣтскимъ сословіямъ. Да придетъ же то время, когда люди убѣдятся, что науки и искусства суть также служеніе верховному добру, которое вмѣстѣ есть верховная истина и красота! Гердеръ есть типъ и предвозвѣстникъ этого времени, когда книга, перо, лира, кисть, рѣзецъ будутъ кадиломъ божеству, орудіями священно-служенія истинѣ, добру и красотѣ, совершаемаго тремя элементами нашего духа: разумомъ, волей и чувствомъ.

«Понятіе и два рода совѣсти. Совѣсть есть первоначальное чувство добра и зла, основанное

на существѣ духовной природы человѣка. Она развивается въ человѣкѣ вмѣстѣ съ развитіемъ ума и обнаруживается, какъ совѣсть добрая, во всемъ чистомъ и справедливомъ образѣ дѣятельности и характера человѣка; но она становится совѣстью злой, угрызавшей при всякомъ незаконномъ чувствованіи или поступкѣ существа свободнаго и разумнаго.

Примѣч. Совѣсть, разсматриваемая въ двухъ вышеупомянутыхъ отношеніяхъ, раздѣляется на предыдущую и послѣдующую. Первая предшествуетъ поступку и состоитъ въ сознаніи нравственнаго закона и обязанностей, возлагаемыхъ имъ на свободу воли нашей; послѣдняя слѣдуетъ за поступкомъ, и оправдываетъ или осуждаетъ человѣка, производя въ немъ сознаніе свободнаго исполненія или преступленія закона»...

Здѣсь мы опять невольно принуждены остановиться и спросить автора: изъ какихъ началъ и вслѣдствіе какой необходимости вывелъ онъ это подраздѣленіе? Оно кажется намъ совершенно произвольнымъ, а слѣдовательно и неправильнымъ; то, что авторъ называетъ «сознаніемъ нравственнаго закона и обязанностей, возлагаемыхъ имъ на свободу воли нашей», есть дѣло разума, а отнюдь не совѣсти; слѣдовательно его «предыдущая совѣсть» принадлежитъ къ казуистикѣ, а не къ нравственной философіи.

«Должно смотреть на совѣсть, какъ на существующую принадлежность нашей природы. Совѣсть принадлежитъ къ существеннымъ свойствамъ духовной природы человѣка, и никакъ не можетъ быть слѣдствіемъ воспитанія или какихъ-нибудь общественныхъ господствующихъ привычекъ. Если бы то или другое было справедливо, то могли бы когда-нибудь обойтись безъ этого внутреннего судіи. Но опытъ увѣряетъ, что хотя можно усыпить совѣсть, но никакъ нельзя совершенно искоренить ее въ человѣческомъ духѣ. Изъ одного міра она сопровождаетъ насъ въ другой».

Есть люди, которые отрицаютъ существованіе совѣсти и почитаютъ ее за предразсудокъ, основываясь на безконечной разности понятій о добрѣ и злѣ у разныхъ народовъ. «У насъ, говорятъ они, уваженіе къ родителямъ и къ старости есть одна изъ священнѣйшихъ обязанностей, нарушеніе которой влечетъ за собой угрызевіе совѣсти: но у многихъ дикихъ народовъ дѣти вѣшаютъ на деревья своихъ престарѣлыхъ родителей и исполняютъ это варварское дѣло какъ предписаніе закона или религіи, неисполненіе котораго влечетъ за собой угрызевіе совѣсти; у насъ человѣколюбіе оказывается даже личнымъ врагомъ: дикіе мучатъ и ѣдятъ своихъ плѣнниковъ; у насъ мщеніе есть порокъ: у варваровъ оно добродѣтель; слѣдовательно что же такое совѣсть, если она въ одномъ мѣстѣ награждаетъ за то, за что наказываетъ въ другомъ, и наоборотъ?» Здѣсь явная ошибка, происходящая оттого, что слѣдствіе принято за причину, т.-е. совѣсть за разумъ. Опредѣлимъ, что такое совѣсть. Человѣкъ созданъ

для сознанія, и потому можетъ быть счастливъ только вслѣдствіе сознанія; слѣдовательно сознаніе есть нормальное, естественное, а потому и блаженное состояніе, которое проявляется въ равновѣсіи человѣка самому себѣ, въ мирѣ и гармоніи съ самимъ собой; безсознательность же есть состояніе неестественное, болѣзненное, разрушающее равенство человѣка съ самимъ собой, миръ и гармонію его духа, слѣдовательно разрушающее его счастье. И такъ, совѣсть добрая есть состояніе сознанія, злая — состояніе безсознанія. Первая условливаетъ наше счастье, даже и въ случаѣ потерь, лишеній, страданій, горестей, потому что, лишаясь счастья внѣшняго, мы не лишимся счастья внутренняго, происходящаго отъ сознанія и состоящаго въ спокойствіи и гармоніи духа: вторая же, и при внѣшнемъ счастьи, состоящемъ въ исполненіи нашихъ эгоистическихъ желаній, лишаетъ насъ внутренняго счастья, которое одно истинно и удовлетворительно, потому что приводитъ нашъ духъ въ неравенство, въ дисгармонію съ самимъ собой, вслѣдствіе безсознанія. Выньте рыбу изъ воды — она издохнетъ, потому что вода есть стихія, которой она дышитъ; лишите человѣка сознанія — онъ будетъ несчастливъ, потому что сознаніе есть стихія его духовной жизни. И потому, когда человѣкъ дѣлаетъ то, чего, по его сознанію, ему не должно дѣлать, онъ разрушаетъ свою внутреннюю гармонію, потому что поступаетъ противъ сознанія. Если человѣкъ наслаждается полнымъ счастьемъ, и внѣшнимъ, и внутреннимъ, и если, не имѣя твердости лишиться внѣшнихъ выгодъ, условливающихъ его счастье, онъ для сохраненія ихъ поступитъ недобросовѣстно, то непременно лишается не только своего внутренняго счастья, но и внѣшняго, потому что не внѣшнимъ счастьемъ условливается внутреннее, а внутреннимъ внѣшнее. Напротивъ, хотя человѣкъ, который оставилъ своего отца, мать, братьевъ и сестеръ, жену, и дѣтей, составившихъ счастье его жизни, оставилъ свое достоинство, обезпечивающее жизнь, и оставилъ бы для того, чтобы не поступить противъ своего убѣжденія и подлостью не купить обладанія условіями своего счастья, словомъ, — для того, чтобы не нарушить заповѣди Спасителя: «иже любить отца или мать паче Мене, нѣсть Мене достоинъ; и иже любить сына или дочь паче Мене, нѣсть Мене достоинъ; и иже не приметъ креста своего, и въ слѣдъ Мене не грядетъ, нѣсть Мене достоинъ»; хотя, говорю, такой человѣкъ и былъ бы мученикомъ, страдальцемъ, но все не лишился бы своего внутренняго блаженства, т.-е. все бы остался равенъ самому себѣ, въ мирѣ и гармоніи съ самимъ собой, и еще въ большей гармоніи, нежели былъ прежде, потому что въ самомъ страданіи на-

шелъ бы новое высокое блаженство, состоящее въ сознаниі исполненнаго долга, поддержаннаго человѣческаго достоинства, хотя страданіе тѣмъ не менѣе осталось бы страданіемъ. И такъ, вотъ что совѣсть: сознание гармоніи или дисгармоніи своего духа. Очевидно, что она есть только слѣдствіе сознанія хорошаго или дурнаго поступка, а не самое сознание, и потому не можетъ направлять нашей дѣятельности, которая должна управляться непосредственно самымъ разумомъ или сознаниемъ: другими словами, мы не совѣстью понимаемъ, что хорошо или дурно, а сознаниемъ. Если дикарь душитъ своего престарѣлаго отца, то онъ дѣлаетъ это не по внушенію своей совѣсти, а по неправильнымъ понятіямъ своего разума; и потому-то онъ бываетъ правъ передъ своей совѣстью: очень естественно, что она не только не наказываетъ его за подобный поступокъ, но еще награждаетъ, потому что совѣсть никогда не бываетъ во враждѣ съ убѣжденіемъ, будетъ ли оно истинно или ложно. И такъ, у всѣхъ народовъ могутъ быть различныя понятія о добрѣ и злѣ, смотря по степени ихъ сознанія, но совѣсть вездѣ одна и та же, и отрицать ея существованіе различіемъ правилъ нравственности у разныхъ народовъ значитъ еще несомнѣннѣе утверждать ея существованіе.

«Какія нужны побужденія для нравственно-добраго поступка? Для того, чтобы поступокъ былъ совершенно добрымъ, требуется, чтобы побудительными причинами для дѣятельности нравственно-разумнаго существа были: 1) познаніе добра и 2) любовь къ добру и первообразу всего добраго.»

Ибо не только внѣшнее дѣйствіе должно быть добрымъ, но и самое чувствованіе или, что одно и то же, самое намѣреніе, которое составляетъ душу поступка. Поэтому совершенно добрый поступокъ есть принадлежность только человѣка съ образованнымъ умомъ и сердцемъ. Впрочемъ, само собою разумѣется, что доброе намѣреніе не можетъ оправдать худого поступка, ибо добрая цѣль не можетъ облагородить низкаго средства (§ 30).

Понятіе поступковъ нравственно-безразличныхъ. Нѣтъ въ нравственномъ смыслѣ поступковъ безразличныхъ, т.-е. нѣтъ никакого свободнаго поступка, который бы не былъ ни добръ, ни худъ. Ибо въ области нравственной всѣ возможныя отношенія жизни нашей должны быть опредѣлены чистотой чувствованія. Здѣсь все зависитъ отъ того, съ какимъ намѣреніемъ мы поступаемъ; но намѣреніе никогда не можетъ быть безразличнымъ, потому что оно всегда должно быть направлено къ высочайшему добру; слѣдовательно невозможно никакое дѣйствіе, въ нравственномъ отношеніи безразличное.

Только тѣ поступки могутъ считаться безразличными, которые не имѣютъ никакого отношенія къ свободѣ, но они поэтому не относятся къ нравственному бытію человѣчества» (§ 31).

Все это прекрасно и вѣрно, потому что выведено изъ законовъ необходимости, а не изъ опыта. Особенно замѣчательны двѣ мысли. «Совершенно добрый поступокъ есть принад-

лежность только человѣка съ образованнымъ умомъ и сердцемъ», говоритъ авторъ, и говоритъ глубокую истину. Есть люди съ зародышемъ въ душѣ всего великаго и прекраснаго, но не развитіе этого зародыша сознаніемъ, и потому они способны только къ мгновеннымъ порывамъ къ добру и дѣлаютъ поступки, которые противорѣчатъ всей остальной ихъ жизни. Добрые поступки у нихъ безсознательны, и потому не имѣютъ никакого достоинства, никакой цѣны, потому что они не суть слѣдствіе ихъ воли, а слѣдствіе ихъ организма. Зародышъ всего прекраснаго можетъ скрываться въ нашемъ организмѣ, и пока онъ не разовьется сознаніемъ, всѣ хорошіе поступки будутъ плодомъ его животности, будутъ безсознательны. Только тотъ чувствуетъ человѣчески, а не животное, кто понимаетъ свое чувство и сознаетъ его. У такого человѣка прекрасный организмъ есть средство, а не причина его совершенства, потому что причина совершенства должна заключаться въ сознаніи и волѣ. И потому-то справедливо, что истинно-добръ только тотъ, кто разуменъ; слѣдовательно только тѣ поступки, которые происходятъ подъ вліяніемъ сознающаго разума, могутъ назваться добрыми, а не тѣ, которые происходятъ изъ животнаго инстинкта; иначе вѣрная собака и послушная лошадь были бы существами самыми добродѣтельными. И потому, по нашему мнѣнію, нѣтъ ничего жалче и ничтожнѣе тѣхъ людей, въ похвалу которыхъ нельзя сказать ничего, кромѣ того, что они — «добрые люди». Вѣрно всякому случалось называть кого-нибудь вслухъ пустымъ малымъ и слышать въ защищеніе его тысячу голосовъ, которые кричали: «да онъ добрый человѣкъ!». Конечно такой «добрый человѣкъ» — точно добрый человѣкъ, но только въ смыслѣ французскаго выраженія «bon homme», и очень хорошо напоминаетъ собою вѣрную собаку и послушную лошадь.

«Нѣтъ никакого свободнаго поступка, который бы не былъ ни добръ, ни худъ, потому что поступокъ есть результатъ намѣренія, а намѣреніе никогда не можетъ быть безразлично», говоритъ авторъ, и опять говорить глубокую истину. Если поступокъ вышелъ изъ сознательнаго желанія сдѣлать добро, онъ добръ, хотя бы и не достигъ своей цѣли и не произвелъ никакихъ благихъ слѣдствій; если же въ намѣреніе примѣшивался расчетъ эгоизма — поступокъ дуренъ, безнравственъ, хотя бы и произвелъ благія слѣдствія. Добро тогда только добро, когда оно само по себѣ цѣль. Бѣлое не можетъ быть чернымъ, а черное — бѣлымъ; кто не уменъ, тотъ глупъ, кто не благороденъ, тотъ подлый; съ истинной не можетъ и не должно быть торга, договоровъ, условій и уступокъ. Когда богачъ, спра-

шивавшій Христа о средствахъ къ спасенію, не согласился раздать бѣднымъ своего богатства и идти вслѣдъ за Спасителемъ, онъ былъ лишенъ царствія Божія, хотя отъ юности строго выполнялъ всѣ правила закона. Кто сознаетъ необходимость усовершенствованія и ежеминутно не улучшается столько, сколько можетъ, тотъ подлѣ, хотя бы онъ былъ выше тысячи людей, хотя бы цѣлыя тысячи признавали въ немъ идеалъ благородства, — подлѣ передъ самимъ собой, виноватъ и преступенъ передъ высшимъ судомъ нравственности, передъ судомъ своей совѣсти. Кто говоритъ: «я знаю то и то, съ меня довольно этого», или: «я возвысился до такой степени, что я лучше многихъ, съ меня этого довольно», тотъ богохульствуетъ, потому что идеалъ человѣческаго совершенства есть Христосъ, а всякій обязанъ стремиться къ возвышенію себя до идеала. Достигнетъ ли онъ его, или нѣтъ, это не его дѣло; по крайней мѣрѣ онъ долженъ работать надъ собой каждую минуту, чтобы съ лихвой возратить Господу полученный отъ него талантъ. Кто же отрицаетъ въ себѣ способность къ усовершенствованію по слабости ума и недостатку чувства, тотъ отрицаетъ, что онъ созданъ по образу и по подобию Божію, тотъ отказывается отъ человѣческаго достоинства и не имѣетъ права называть людей своими ближними и братьями.

«Молитва. Молиться — значить жить въ присутствіи Божества, потому что молитва есть бесѣда нашего духа съ Богомъ. Она бываетъ или внутренняя, когда заключается въ тихомъ созерцаніи Божества, созерцаніи, глубину котораго не въ состояніи выразить никакія слова, или внѣшняя, когда изливается въ словѣ, когда языкъ невольно движется отъ избытка сердечныхъ чувствованій.»

Въ обоихъ случаяхъ молитва питаетъ умъ и сердце человѣка, просвѣщаетъ разумъ и укрѣпляетъ волю; потому что, кромѣ того, что духъ нашъ не можетъ не дѣлаться совершеннѣе, возвышаясь къ идеалу всѣхъ совершенствъ, — во всѣ времена и всѣми народами признаваема была необходимостью молитвы и пренебреженіе ея почиталось признакомъ совершеннаго упадка духа и чрезвычайной его привязанности къ земному».

Здѣсь мы опять невольно останавливаемся, но уже для того, чтобы вполне согласиться съ почтеннымъ авторомъ и отдать должную справедливость его мысленію. Онъ сказалъ о молитвѣ очень немного, но какъ въ этомъ немногѣ заключается опредѣленіе молитвы, выведенное изъ разума и основанное на законѣ необходимости, то это немногое заключаетъ въ себѣ безконечный рядъ послѣдовательныхъ идей, которыя можно изъ него вывести, словомъ, заключаетъ въ себѣ цѣлую теорію молитвы, какъ малое зерно заключаетъ въ себѣ огромное дерево.

Теперь мы думаемъ, что довольно познакомили нашихъ читателей съ брошюркой Дроз-

дова; но хотимъ сдѣлать изъ нея еще одно извлеченіе и поговорить по поводу этого извлеченія, содержаніе котораго касается одного изъ важнѣйшихъ вопросовъ нравственной философіи. Въ его «частной или прикладной» нравственной философіи есть глава подъ титуломъ: «нравственная жизнь, разсматриваемая въ гармоніи съ нами самими».

«Основаніе этой гармоніи. Согласіе нравственнаго бытія съ нашей собственной личностью происходитъ изъ благочестивой увѣренности въ томъ, что мы не принадлежимъ исключительно намъ самимъ, но составляемъ собственность Божества и человѣчества. Въ этомъ случаѣ нравственное чувство разливаетъ свой свѣтъ, свою жизнь на тѣло и духъ человѣка, имѣя непосредственнымъ предметомъ тотъ долгъ, которымъ мы обязываемся сохранять себя и облагораживать.»

Человѣкъ долженъ стремиться къ своему совершенству и поставять свое блаженство только въ томъ, что сообразно съ его долгомъ: вотъ основной законъ нравственности. Причина этого закона заключается въ немъ же самомъ, т.-е. въ томъ, что человѣкъ есть человѣкъ, органъ сознанія природы, сосудъ духа Божія, и еще въ томъ, что человѣкъ есть членъ великаго семейства, которое называется «человѣчествомъ». И такъ, этотъ законъ совершенно условливаетъ и опредѣляетъ значеніе человѣка и его обязанности. Человѣкъ носить въ душѣ своей всѣ зародыши, всѣ элементы той степени сознанія, до которой ему назначено достигнуть; но развитіе этого сознанія невозможно для него самого, отдѣльно взятаго, потому что оно требуетъ толчковъ и побужденій извнѣ, а эти толчки и внѣшнія побужденія происходятъ изъ симпатій, связывающей людей между собой, и взаимныхъ отношеній, существующихъ между ними. Симпатія человѣка къ людямъ происходитъ отъ его родственности съ ними, отъ тождественности его стремленія и цѣли съ ихъ стремленіемъ и цѣлью, такъ что въ нихъ онъ любитъ себя, а ихъ любить въ себѣ; другими словами, его сознаніе любитъ ихъ сознаніе, т.-е. онъ любитъ сознаніе самого себя въ другомъ субъектѣ, потому что любовь есть сознаніе, сознающее само себя и въ актѣ сознанія самого себя ощущающее блаженство. Иначе чѣмъ бы объяснили мы, что человѣкъ естественно любитъ только тѣхъ людей, которые стоятъ съ нимъ на болѣе или менѣе равной степени сознанія, и что онъ не только совершенно равнодушенъ и холоденъ къ людямъ, которые стоятъ на несравненно низшей степени развитія или вовсе не обнаруживаютъ никакого стремленія къ развитію, но даже чувствуетъ къ нимъ отвращеніе, родъ ненависти, такъ что ему несносенъ ихъ видъ, тяжела ихъ бесѣда, словомъ, мучительно всякое соприкосновеніе съ ними? Взаимныя отношенія людей условливаются разностью сте-

Слѣдовательно, если факты поняты вѣрно, они непременно должны подтверждать умозрѣніе, потому что умозрѣніе не противорѣчитъ умозрѣнію.

И такъ, сочиненіе Дроздова принадлежитъ къ области умозрѣнія, что и даетъ ему необходимо важность и силу въ глазахъ людей мыслящихъ. Но, отдавая ему должную справедливость, мы тѣмъ болѣе должны быть безпристрастны и къ его недостаткамъ. А главный его недостатокъ, какъ мы уже и замѣтили, состоитъ въ противорѣчій автора съ самимъ собою, вслѣдствіе его невѣрности умозрѣнію, которое онъ самъ признаетъ единственнымъ законнымъ способомъ изслѣдованія истины.

Въ § 13 своей книги Дроздовъ говоритъ:

«Если высочайшій законъ нравственности долженъ имѣть истинное достоинство и нравственную цѣну, то онъ долженъ происходить: а) изъ идеи высочайшаго добра; б) обнимать всю область нравственной жизни, слѣдовательно имѣть характеръ безусловной всеобщности; в) долженъ имѣть прямое и преимущественное направленіе къ нашему чувству, потому что только это чувство зависитъ отъ воли во всѣхъ отношеніяхъ жизни. Но когда станемъ требовать отъ высочайшаго нравственного закона того, чтобы онъ всегда научалъ, какъ долженъ поступать нравственно-добрый человѣкъ въ каждомъ особенномъ, непредвидѣнномъ случаѣ — или будемъ требовать отъ него совершенно невозможнаго, или мораль должна превратиться въ такъ называемую «казуистику».

Все это очень вѣрно и дѣлаетъ большую честь мышленію автора; но вслѣдъ затѣмъ встрѣчается и противорѣчіе, ложная мысль, которую очень непріятно встрѣтитъ послѣ такихъ прекрасныхъ и истинныхъ мыслей:

«Въ такомъ случаѣ, чтобы не разстроить связи и единства дѣятельной философіи, лучше всего предоставить различіе добра и зла самому произволу человѣка».

Нѣтъ, мы думаемъ, что всѣ частные вопросы должны необходимо вытекать изъ основной идеи нравственности и рѣшаться ею: въ противномъ случаѣ, человѣкъ, предоставленный своему произволу, самъ дѣлается казуистомъ. Эта ошибка повела автора къ другой, важнѣйшей: заставила его, противъ воли, сдѣлать изъ нравственной философіи настоящую казуистику.

Вторая часть его сочиненія заключаетъ въ себѣ «частную нравственную философію», то есть именно приложение нравственной философіи къ частнымъ случаямъ, которые, какъ и должно, нисколько не вяжутся ни съ цѣлымъ сочиненіемъ, ни другъ съ другомъ.

Подобныхъ противорѣчій можно бы было найти и болѣе. Но не эта цѣль наша; мы хотѣли обратить на сочиненіе Дроздова вниманіе публики, на которое оно имѣетъ законныя права, и потому, безпристрастно высказавши

наше мнѣніе о его недостаткахъ, спѣшимъ выставить на видъ то, что показалось намъ въ немъ особенно достойнымъ вниманія.

«Доброе есть религиозная идея, такъ же какъ истинное и прекрасное. Человѣческій духъ поставляетъ Бога первоначальнымъ источникомъ столько же всего добраго, сколько всего истиннаго и прекраснаго, слѣдовательно вѣчная идея добраго имѣетъ тѣсную, превѣчную связь съ Богомъ, существомъ всесвятѣйшимъ. Ибо все доброе принимаетъ характеръ истиннаго добра не иначе, какъ отъ своего участія въ превѣчномъ добрѣ и превѣчной истинѣ. Поэтому-то все нравственно-доброе и запечатлѣно печатію величія и святости, возбуждающихъ въ человѣкѣ безконечное благоговѣніе. Ибо оно есть отраженіе высочайшаго добра — Бога».

Доброе имѣетъ также тѣснѣйшее сродство съ истиннымъ и прекраснымъ. Ибо и оно, такъ же какъ истинное и прекрасное, не подлежитъ никакой перемѣнѣ; вѣчно равное самому себѣ, оно никогда не теряетъ высокаго значенія своего для человѣческаго духа.

Нравственно-доброе становится изыщнымъ, когда обнаруживается въ насъ какъ любовь къ Богу и человечеству. Поэтому каждый добрый поступокъ человѣка есть вмѣстѣ истинный и прекрасный поступокъ» (§ 10).

Вотъ истинныя понятія о нравственно-добромъ, и къ сожалѣнію такъ рѣдко встрѣчаемыя въ нашихъ мыслителяхъ! Конечно ученый, безкорыстно орошающій потомъ чела своего ниву знанія, поставившій въ трудѣ цѣль и счастье своей жизни и находящій въ самомъ этомъ трудѣ свою высшую, свою конечную награду, есть жрецъ, служитель Бога; художникъ въ ту минуту, когда воспроизводитъ въ словѣ, краскѣ или звукѣ дивныя явленія, таинственно соприсутствующія его душѣ, есть также жрецъ, служитель Бога. Недаромъ въ древности у всѣхъ народовъ жрецы были вмѣстѣ и хранителями знаній, и служителями искусства: это доказываютъ не одни браминны и маги, египетскіе и греческіе жрецы, это доказываютъ и левиты еврейскіе, которые въ то же время были и книжниками, т.-е. хранителями и представителями народной мудрости. Въ средніе вѣка свѣтъ просвѣщенія пламенѣлъ только въ уединеніи монастырскихъ келій, и только одни монахи, служители и мученики вѣры были хранителями этого священнаго огня, не дали ему погаснуть до тѣхъ поръ, пока онъ не перешелъ и къ свѣтскимъ сословіямъ. Да придетъ же то время, когда люди убѣдятся, что науки и искусства суть также служеніе верховному добру, которое вмѣстѣ есть верховная истина и красота! Гердеръ есть типъ и предвозвѣстникъ этого времени, когда книга, перо, лира, кисть, рѣзецъ будутъ кадиломъ божеству, орудіями священно-служенія истинѣ, добру и красотѣ, совершаемаго тремя элементами нашего духа: разумомъ, волей и чувствомъ.

«Понятіе и два рода совѣсти. Совѣсть есть первоначальное чувство добра и зла, основанное

на существѣ духовной природы человѣка. Она развивается въ человѣкѣ вмѣстѣ съ развитіемъ ума и обнаруживается, какъ совѣсть добрая, во всемъ чистомъ и справедливымъ образѣ дѣятельности и характера человѣка; но она становится совѣстью злой, угрызавшей при всякомъ незаконномъ чувствованіи или поступкѣ существа свободнаго и разумнаго.

Примѣч. Совѣсть, рассматриваемая въ двухъ вышеупомянутыхъ отношеніяхъ, раздѣляется на предыдущую и послѣдующую. Первая предшествуетъ поступку и состоитъ въ сознаніи нравственнаго закона и обязанностей, возлагаемыхъ имъ на свободу воли нашей; послѣдняя слѣдуетъ за поступкомъ, и оправдываетъ или осуждаетъ человѣка, производя въ немъ сознаніе свободнаго исполненія или преступленія закона»...

Здѣсь мы опять невольно принуждены остановиться и спросить автора: изъ какихъ началъ и вслѣдствіе какой необходимости вывести онъ это подраздѣленіе? Оно кажется намъ совершенно произвольнымъ, а слѣдовательно и неправильнымъ; то, что авторъ называетъ «сознаніемъ нравственнаго закона и обязанностей, возлагаемыхъ имъ на свободу воли нашей», есть дѣло разума, а отнюдь не совѣсти; слѣдовательно его «предыдущая совѣсть» принадлежитъ къ казуистикѣ, а не къ нравственной философій.

«Должно смотрѣть на совѣсть, какъ на существующую принадлежность нашей природы. Совѣсть принадлежитъ къ существеннымъ свойствамъ духовной природы человѣка, и никакъ не можетъ быть слѣдствіемъ воспитанія или какихъ-нибудь общественныхъ господствующихъ привычекъ. Если бы то или другое было справедливо, то могли бы когда-нибудь обойтись безъ этого внутреннего судьи. Но опытъ увѣряетъ, что хотя можно усыпить совѣсть, но никакъ нельзя совершенно искоренить ее въ человѣческомъ духѣ. Изъ одного міра она сопровождаетъ насъ въ другой».

Есть люди, которые отрицаютъ существованіе совѣсти и почитаютъ ее за предразсудокъ, основываясь на безконечной разности понятій о добрѣ и злѣ у разныхъ народовъ. «У насъ, говорятъ они, уваженіе къ родителямъ и къ старости есть одна изъ священнѣйшихъ обязанностей, нарушеніе которой влечетъ за собой угрызевіе совѣсти: но у многихъ дикихъ народовъ дѣти вѣшаютъ на деревья своихъ престарѣлыхъ родителей и исполняютъ это варварское дѣло какъ предписаніе закона или религіи, неисполненіе котораго влечетъ за собой угрызевіе совѣсти; у насъ человеколюбіе оказывается даже личнымъ врагомъ: дикіе мучатъ и ѣдятъ своихъ плѣнниковъ; у насъ мщеніе есть порокъ: у варваровъ оно добродѣтель; слѣдовательно что же такое совѣсть, если она въ одномъ мѣстѣ награждаетъ за то, за что наказываетъ въ другомъ, и наоборотъ?» Здѣсь явная ошибка, происходящая оттого, что слѣдствіе принято за причину, т.-е. совѣсть за разумъ. Опредѣлимъ, что такое совѣсть. Человѣкъ созданъ

для сознанія, и потому можетъ быть счастливъ только вслѣдствіе сознанія; слѣдовательно сознаніе есть нормальное, естественное, а потому и блаженное состояніе, которое проявляется въ равновѣсіи человѣка самому себѣ, въ мирѣ и гармоніи съ самимъ собой; безсознательность же есть состояніе неестественное, болѣзненное, разрушающее равенство человѣка съ самимъ собой, миръ и гармонію его духа, слѣдовательно разрушающее его счастье. И такъ, совѣсть добрая есть состояніе сознанія, злая — состояніе безсознанія. Первая условливаетъ наше счастье, даже и въ случаѣ потерь, лишеній, страданій, горестей, потому что, лишаясь счастья вѣшняго, мы не лишимся счастья внутренняго, происходящаго отъ сознанія и состоящаго въ спокойствіи и гармоніи духа: вторая же, и при вѣншнемъ счастьи, состоящемъ въ исполненіи нашихъ эгоистическихъ желаній, лишаетъ насъ внутренняго счастья, которое одно истинно и удовлетворительно, потому что приводитъ нашъ духъ въ неравенство, въ дисгармонію съ самимъ собой, вслѣдствіе безсознанія. Выньте рыбу изъ воды — она издохнетъ, потому что вода есть стихія, которой она дышитъ; лишите человѣка сознанія — онъ будетъ несчастливъ, потому что сознаніе есть стихія его духовной жизни. И потому, когда человѣкъ дѣлаетъ то, чего, по его сознанію, ему не должно дѣлать, онъ разрушаетъ свою внутреннюю гармонію, потому что поступаетъ противъ сознанія. Если человѣкъ наслаждается полнымъ счастьемъ, и вѣншнимъ, и внутреннимъ, и если, не имѣя твердости лишиться вѣншнихъ выгодъ, условливающихъ его счастье, онъ для сохраненія ихъ поступитъ недобросовѣстно, то непремѣнно лишается не только своего внутренняго счастья, но и вѣншнаго, потому что не вѣншнимъ счастьемъ условливается внутреннее, а внутреннимъ вѣншнее. Напротивъ, хотя человѣкъ, который оставилъ своего отца, мать, братьевъ и сестеръ, жену, и дѣтей, составлявшихъ счастье его жизни, оставилъ свое достоинство, обезпечивающее жизнь, и оставилъ бы для того, чтобы не поступить противъ своего убѣжденія и подлостью не купить обладанія условіями своего счастья, словомъ, — для того, чтобы не нарушить заповѣди Спасителя: «иже любить отца или матеръ паче Мене, нѣсть Мене достоинъ; и иже любить сына или дщерь паче Мене, нѣсть Мене достоинъ; и иже не приметъ креста своего, и въ слѣдъ Мене не грядетъ, нѣсть Мене достоинъ»; хотя, говорю, такой человѣкъ и былъ бы мученикомъ, страдальцемъ, но все не лишился бы своего внутренняго блаженства, т.-е. все бы остался равенъ самому себѣ, въ мирѣ и гармоніи съ самимъ собой, и еще въ большей гармоніи, нежели былъ прежде, потому что въ самомъ страданіи на

шелъ бы новое высокое блаженство, состоящее въ сознаниі исполненнаго долга, поддержаннаго человѣческаго достоинства, хотя страданіе тѣмъ не менѣе осталось бы страданіемъ. И такъ, вотъ что совѣсть: сознание гармоніи или дисгармоніи своего духа. Очевидно, что она есть только слѣдствіе сознанія хорошаго или дурного поступка, а не самое сознаніе, и потому не можетъ направлять нашей дѣятельности, которая должна управляться непосредственно самимъ разумомъ или сознаніемъ: другими словами, мы не совѣстью понимаемъ, что хорошо или дурно, а сознаніемъ. Если дикарь душилъ своего престарѣлаго отца, то онъ дѣлаетъ это не по внушенію своей совѣсти, а по неправильнымъ понятіямъ своего разума; и потому-то онъ бываетъ правъ передъ своей совѣстью: очень естественно, что она не только не наказываетъ его за подобный поступокъ, но еще награждаетъ, потому что совѣсть никогда не бываетъ во враждѣ съ убѣжденіемъ, будетъ ли оно истинно или ложно. И такъ, у всѣхъ народовъ могутъ быть различныя понятія о добрѣ и злѣ, смотря по степени ихъ сознанія, но совѣсть вездѣ одна и та же, и отрицать ея существованіе различіемъ правилъ нравственности у разныхъ народовъ значить еще несомнѣннѣе утверждать ея существованіе.

«Какія нужны побужденія для нравственно-добраго поступка?» Для того, чтобы поступокъ былъ совершенно добрымъ, требуется, чтобы побудительными причинами для дѣятельности нравственно-разумнаго существа были: 1) познаніе добра и 2) любовь къ добру и первообразу всего добраго.

Ибо не только внѣшнее дѣйствіе должно быть добрымъ, но и самое чувствованіе или, что одно и то же, самое намѣреніе, которое составляетъ душу поступка. Поэтому совершенно добрый поступокъ есть принадлежность только человѣка съ образованнымъ умомъ и сердцемъ. Впрочемъ, само собою разумѣется, что доброе намѣреніе не можетъ оправдать худого поступка, ибо добрая цѣль не можетъ облагородить низкаго средства (§ 30).

Понятіе поступковъ нравственно-безразличныхъ. Нѣтъ въ нравственномъ смыслѣ поступковъ безразличныхъ, т.-е. нѣтъ никакого свободнаго поступка, который бы не былъ ни добръ, ни худъ. Ибо въ области нравственной всѣ возможныя отношенія жизни нашей должны быть опредѣлены чистотой чувствованія. Здѣсь все зависитъ отъ того, съ какимъ намѣреніемъ мы поступаемъ; но намѣреніе никогда не можетъ быть безразличнымъ, потому что оно всегда должно быть направлено къ высочайшему добру; слѣдовательно невозможно никакое дѣйствіе, въ нравственномъ отношеніи безразличное.

Только тѣ поступки могутъ считаться безразличными, которые не имѣютъ никакого отношенія къ свободѣ, но они поэтому не относятся къ нравственному бытію человѣчества» (§ 31).

Все это прекрасно и вѣрно, потому что выведено изъ законовъ необходимости, а не изъ опыта. Особенно замѣчательны двѣ мысли. «Совершенно добрый поступокъ есть принад-

лежность только человѣка съ образованнымъ умомъ и сердцемъ», говоритъ авторъ, и говорить глубокую истину. Есть люди съ зародышемъ въ душѣ всего великаго и прекраснаго, но не развившіе этого зародыша сознаніемъ, и потому они способны только къ мгновеннымъ порывамъ къ добру и дѣлаютъ поступки, которые противорѣчатъ всей остальной ихъ жизни. Добрые поступки у нихъ безсознательны, и потому не имѣютъ никакого достоинства, никакой цѣны, потому что они не суть слѣдствіе ихъ воли, а слѣдствіе ихъ организма. Зародышъ всего прекраснаго можетъ скрываться въ нашемъ организмѣ, и пока онъ не разовьется сознаніемъ, всѣ хорошіе поступки будутъ плодомъ его животности, будутъ безсознательны. Только тотъ чувствуетъ человѣчески, а не животное, кто понимаетъ свое чувство и сознаетъ его. У такого человѣка прекрасный организмъ есть средство, а не причина его совершенства, потому что причина совершенства должна заключаться въ сознаніи и волѣ. И потому-то справедливо, что истинно-добръ только тотъ, кто разуменъ; слѣдовательно только тѣ поступки, которые происходятъ подъ вліяніемъ сознающаго разума, могутъ назваться добрыми, а не тѣ, которые происходятъ изъ животнаго инстинкта; иначе вѣрная собака и послушная лошадь были бы существами самыми добродѣтельными. И потому, по нашему мнѣнію, нѣтъ ничего жалче и ничтожнѣе тѣхъ людей, въ похвалу которыхъ нельзя сказать ничего, кромѣ того, что они — «добрые люди». Вѣрно всякому случалось называть кого-нибудь вслухъ пустымъ малымъ и слышать въ защищеніе его тысячу голосовъ, которые кричали: «да онъ добрый человѣкъ!». Конечно такой «добрый человѣкъ» — точно добрый человѣкъ, но только въ смыслѣ французскаго выраженія «bon homme», и очень хорошо напоминаетъ собою вѣрную собаку и послушную лошадь.

«Нѣтъ никакого свободнаго поступка, который бы не былъ ни добръ, ни худъ, потому что поступокъ есть результатъ намѣренія, а намѣреніе никогда не можетъ быть безразлично», говоритъ авторъ, и опять говорить глубокую истину. Если поступокъ вышелъ изъ сознательнаго желанія сдѣлать добро, онъ добръ, хотя бы и не достигъ своей цѣли и не произвелъ никакихъ благихъ слѣдствій; если же въ намѣреніе примѣшивался расчетъ эгоизма — поступокъ дуренъ, безнравственъ, хотя бы и произвелъ благія слѣдствія. Добро тогда только добро, когда оно само по себѣ цѣль. Бѣлое не можетъ быть чернымъ, а черное — бѣлымъ; кто не уменъ, тотъ глупъ, кто не благороденъ, тотъ подлѣ; съ истиной не можетъ и не должно быть торга, договоровъ, условій и уступокъ. Когда богачъ, спра-

шивавшій Христа о средствахъ къ спасенію, не согласился раздать бѣднымъ своего богатства и идти вслѣдъ за Спасителемъ, онъ былъ лишенъ царствія Божія, хотя отъ юности строго выполнялъ всѣ правила закона. Кто еознааетъ необходимость усовершенствованія и ежеминутно не улучшается столько, сколько можетъ, тотъ подлѣ, хотя бы онъ былъ выше тысячи людей, хотя бы цѣлыя тысячи признавали въ немъ идеалъ благородства, — подлѣ передъ самимъ собой, виноватъ и преступенъ передъ высшимъ судомъ нравственности, передъ судомъ своей совѣсти. Кто говоритъ: «я знаю то и то, съ меня довольно этого», или: «я возвысился до такой степени, что я лучше многихъ, съ меня этого довольно», тотъ богохульствуетъ, потому что идеалъ человѣческаго совершенства есть Христосъ, а всякій обязанъ стремиться къ возвышенію себя до идеала. Достигнетъ ли онъ его, или нѣтъ, это не его дѣло; по крайней мѣрѣ онъ долженъ работать надъ собой каждую минуту, чтобы съ лихвой возратить Господу полученный отъ него талантъ. Кто же отрицаетъ въ себѣ способность къ усовершенствованію по слабости ума и недостатку чувства, тотъ отрицаетъ, что онъ созданъ по образу и по подобию Божію, тотъ отказывается отъ человѣческаго достоинства и не имѣетъ права называть людей своими ближними и братьями.

«Молитва.» Молиться — значить жить въ присутствіи Божества, потому что молитва есть бесѣда нашего духа съ Богомъ. Она бываетъ или внутренняя, когда заключается въ тихомъ созерцаніи Божества, созерцаніи, глубину котораго не въ состояніи выразить никакія слова, или внѣшняя, когда изливается въ словѣ, когда языкъ невольно движется отъ избытка сердечныхъ чувствованій.

Въ обоихъ случаяхъ молитва питаетъ умъ и сердце человѣка, просвѣщаетъ разсудокъ и укрѣпляетъ волю; потому что, кромѣ того, что духъ нашъ не можетъ не дѣлаться совершеннѣе, возвышаясь къ идеалу всѣхъ совершенствъ, — во всѣ времена и всѣми народами признаваема была необходимость молитвы и пренебреженіе ея почиталось признакомъ совершеннаго упадка духа и чрезвычайной его привязанности къ земному.

Здѣсь мы опять невольно останавливаемся, но уже для того, чтобы вполне согласиться съ почтеннымъ авторомъ и отдать должную справедливость его мышленію. Онъ сказалъ о молитвѣ очень немного, но какъ въ этомъ немногѣ заключается опредѣленіе молитвы, выведенное изъ разума и основанное на законѣ необходимости, то это немногое заключается въ себѣ безконечный рядъ послѣдовательныхъ идей, которыя можно изъ него вывести, словомъ, заключаетъ въ себѣ цѣлую теорію молитвы, какъ малое зерно заключаетъ въ себѣ огромное дерево.

Теперь мы думаемъ, что довольно познакомили нашихъ читателей съ брошюрой Дроз-

дова; но хотимъ сдѣлать изъ нея еще одно извлеченіе и поговорить по поводу этого извлеченія, содержаніе котораго касается одного изъ важнѣйшихъ вопросовъ нравственной философіи. Въ его «частной или прикладной» нравственной философіи есть глава подъ титуломъ: «нравственная жизнь, разсматриваемая въ гармоніи съ нами самими».

«Основаніе этой гармоніи.» Согласіе нравственнаго бытія съ нашей собственной личностью происходитъ изъ благочестивой увѣренности въ томъ, что мы не принадлежимъ исключительно намъ самимъ, но составляемъ собственность Божества и человѣчества. Въ этомъ случаѣ нравственное чувство разливаетъ свой свѣтъ, свою жизнь на тѣло и духъ человѣка, имѣя непосредственнымъ предметомъ тотъ долгъ, которымъ мы обязываемся сохранять себя и облагораживать».

Человѣкъ долженъ стремиться къ своему совершенству и поставлать свое блаженство только въ томъ, что сообразно съ его долгомъ: вотъ основной законъ нравственности. Причина этого закона заключается въ немъ же самомъ, т.-е. въ томъ, что человѣкъ есть человѣкъ, органъ сознанія природы, сосудъ духа Божія, и еще въ томъ, что человѣкъ есть членъ великаго семейства, которое называется «человѣчествомъ». И такъ, этотъ законъ совершенно условливаетъ и опредѣляетъ значеніе человѣка и его обязанности. Человѣкъ носитъ въ душѣ своей всѣ зародыши, всѣ элементы той степени сознанія, до которой ему назначено достигнуть; но развитіе этого сознанія невозможно для него самого, отдѣльно взятаго, потому что оно требуетъ толчковъ и побужденій извнѣ, а эти толчки и внѣшнія побужденія происходятъ изъ симпатій, связывающей людей между собой, и взаимныхъ отношеній, существующихъ между ними. Симпатія человѣка къ людямъ происходитъ отъ его родственности съ ними, отъ тождественности его стремленія и цѣли съ ихъ стремленіемъ и цѣлью, такъ что въ нихъ онъ любить себя, а ихъ любить въ себѣ; другими словами, его сознаніе любить ихъ сознаніе, т.-е. онъ любитъ сознаніе самого себя въ другомъ субъектѣ, потому что любовь есть сознаніе, сознающее само себя и въ актѣ сознанія самого себя ощущающее блаженство. Иначе чѣмъ бы объяснили мы, что человѣкъ естественно любить только тѣхъ людей, которые стоятъ съ нимъ на болѣе или менѣе равной степени сознанія, и что онъ не только совершенно равнодушенъ и холоденъ къ людямъ, которые стоятъ на несравненно низшей степени развитія или вовсе не обнаруживаютъ никакого стремленія къ развитію, но даже чувствуетъ къ нимъ отвращеніе, родъ ненависти, такъ что ему несносенъ ихъ видъ, тяжела ихъ бесѣда, словомъ, мучительно всякое соприкосновеніе съ ними? Взаимныя отношенія людей условливаются разностью сте-

иной и разносторонностью сознанія, посредствомъ которыхъ люди взаимно дѣйствуютъ другъ на друга. Каждый человѣкъ развиваетъ собою одну сторону сознанія и развиваетъ ее до извѣстной степени; а возможно-конечное и возможно-всеобщее сознаніе должно произойти не иначе, какъ вслѣдствіе этихъ разностороннихъ и разнообразныхъ сознаній. И поэтому одному человѣку невозможно достигнуть полного и совершеннаго развитія своего сознанія, которое возможно только для цѣлаго человѣчества и которое будетъ результатомъ соединенныхъ трудовъ, вѣковой жизни и историческаго развитія человѣческаго духа. Слѣдовательно всякій индивидъ есть членъ, есть часть этого великаго цѣлаго, есть сотрудникъ и содѣйствователь его къ достиженію его цѣли, потому что, развивая свое собственное сознаніе, онъ необходимо отдаетъ, завыщаетъ его въ общую сокровищницу человѣческаго духа. Каждый человѣкъ долженъ любить человѣчество, какъ идею полного развитія сознанія, которое составляетъ и его собственную цѣль, слѣдовательно каждый человѣкъ долженъ любить въ человѣчествѣ свое собственное сознаніе въ будущемъ, а любя это сознаніе, долженъ содѣйствовать ему. И вотъ его долгъ, его обязанности и его любовь къ человѣчеству. Эта сладкая вѣра и это святое убѣжденіе въ безконечномъ совершенствованіи человѣческаго рода должны обязывать насъ къ нашему личному индивидуальному совершенствованію, должны давать намъ силу и твердость въ стремленіи къ нему. Иначе, что же была бы наша земная жизнь? Какой бы смыслъ имѣла наша жажда улучшенія и обновленія? Не было ли бы все это калейдоскопической игрой безсмысленныхъ тѣней, пустымъ оборотомъ колеса около оси, утвержденной на воздухѣ.

Нѣтъ! не напрасно лучезарное солнце такъ величественно обтекаетъ голубое, далекое небо и проливаетъ на насъ и свѣтъ, и теплоту, и жизнь, и радость; не напрасно мерцаютъ для насъ звѣзды таинственнымъ блескомъ и томятъ душу нашу тоской, какъ воспоминаніе о милой родинѣ, съ которой мы давно разлучены и къ которой рвется душа наша; не напрасно всѣ міры связаны между собой электрической цѣпью любви и сочувствія, и все живущее, все дышащее составляетъ звено въ этой безконечной цѣпи; не напрасно человѣкъ и рождается, и умираетъ, и веселится, и скорбитъ, и горячо любитъ милое и горько рыдаетъ, лишаясь его, и не переживаетъ своихъ слюнностей, и, стоя на прагѣ вѣчности, вспоминаетъ о нихъ еще живъ, и рыдаетъ о нихъ еще горше и сладки ему слезы его; не напрасно человѣкъ стремится къ

какому-то блаженству и ищетъ его всю жизнь, ищетъ его и въ шумныхъ наслажденіяхъ юности, и въ безумномъ упоеніи пирровъ, и въ ужасахъ кровавыхъ битвъ, и въ тревогахъ опасностей, и въ обольщеніи славы, и въ очарованіи власти, и въ нѣтѣ бездѣйствія, и въ сладости труда, и въ свѣтѣ знаній, и въ наслажденіи искусствами, и въ любви другого сердца, и... нерѣдко въ тиши монастырской кельи, въ борьбѣ съ своими желаніями, въ печальномъ наслажденіи за-живо рыть себѣ могилу своими собственными руками... И горе ему, если онъ искалъ этого блаженства путемъ ложнымъ, если думалъ обрѣсти его въ исполненіи своихъ безсознательныхъ, эгоистическихъ желаній, и благо ему, если онъ искалъ его тамъ, гдѣ оно есть, искалъ его въ сознаніи и путемъ сознанія!.. Нѣтъ, еще разъ! вѣчность не мечта, не мечта и жизнь, которая служить къ ней ступенью! Много въ ней дурного, но еще больше прекраснаго: есть въ ней слабости, пороки и злодѣянія; но есть и слезы раскаянія, жгучія и вмѣстѣ отрадныя, слезы раскаянія, въ глухую полночь, предъ крестомъ Распятая за насъ; есть паденіе, но есть и возстаніе; есть стремленіе, но есть и достиженіе; есть минуты горькія, убійственныя, минуты сомнѣнія и отчаянія, минуты разрушительной гармоніи съ самимъ собой, отращенія отъ жизни, но есть и упоительныя минуты вѣры, когда въ груди бываетъ такъ тепло, на душѣ такъ свѣтло, жизнь становится такъ прекрасна, такъ полна, такъ тождественна съ блаженствомъ; есть страданія глубокія, невыносимыя, есть бѣдствія, переполняющія мѣру терпѣнія и превращающія для насъ землю въ адъ, гдѣ слышенъ скрежетъ зубовъ, откуда вѣетъ холодной могильной сыростью, гдѣ нѣтъ ни исхода, ни конца; но изъ этого міра разрушенія и смерти слышится душѣ отрадный голосъ: «приндите ко Мнѣ вси труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы, возьмите иго Мое на себе и научитесь отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обратите покой душамъ вашимъ; иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть». Тогда душа снова наполняется блаженствомъ неизъяснимымъ; и смрадное кладбище гниющей жизни превращается для нея въ тихую долину успокоенія, гдѣ могилы покрыты травой и цвѣтами, осѣнены печальными кипарисами, гдѣ журчаніе свѣтлаго ручья сливается съ унылымъ ропотомъ вѣтерка, а вдали, за горой, видѣется край вечерняго неба, осіяннаго, облиатаго багряными лучами заходящаго солнца—и ей мнится, что въ этой торжественной тишинѣ она созерцаетъ тайну вѣчности, что она видитъ новую землю, новое небо!

НИЧТО О НИЧЕМЪ,

или отчетъ издателю «Телескопа» за послѣднее полугодіе (1835)

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

I.

Вы обязали меня сдѣлать легкій и короткій обзоръ хода нашей литературы во время вашего пребыванія за границей и привели меня тѣмъ въ крайнее затрудненіе. Развѣ вамъ не извѣстно, что «ничто не ново подъ луной»? Какихъ же хотите вы новостей отъ русской литературы, и въ такой короткій періодъ ея существованія? «Тѣмъ лучше для васъ, тѣмъ меньше вамъ труда», скажете вы. Нѣтъ, вы не правы: отъ этого мнѣ не только не легче, но предстоитъ истинно геркулесовскій подвигъ: я долженъ написать статью, а изъ чего я вамъ напишу ее, о чемъ буду повѣствовать вамъ въ ней? О ничемъ?.. Итакъ, надо сдѣлать что-нибудь изъ ничего?—Помните ли вы, какъ одинъ изъ знаменитѣйшихъ нашихъ писателей, изъ первостатейныхъ гениевъ, уgomонилъ на смерть свою литературную славу тѣмъ, что вздумалъ писать о ничемъ и весь вылился въ ничто?.. Конечно я не пользуюсь литературной славой и, слѣдовательно, не подвергаюсь опасности посадить ее на мель рокового ничто; но у меня другой страхъ, и очень основательный. Если я не пользуюсь ни тѣнью той лучезарной славы, которой сіялъ нѣкогда помянутый великій писатель, то вмѣстѣ не имѣю и искры его гения, который нашелся, хотя и къ конечной гибели своей репутаціи, высказаться въ ничемъ на нѣсколькихъ страницахъ. Притомъ же, хотя я въ отсутствіе ваше, волей или неволей, игралъ роль сторожа на нашемъ Парнасѣ, окликавъ всѣхъ проходящихъ и отдавая имъ своей аллебардой честь по ихъ званію и достоинству, хотя неумоимо и неусыпно стоялъ на своемъ посту,—однакожь многое ускользнуло отъ моей бдительности. Бывало, нахлынетъ цѣлая толпа—и тутъ некогда было разспрашивать каждаго порознь; стукнешь аллебардой по всѣмъ и пропустишь. А теперь неужели мнѣ надо дѣлать поголовную перекличку, бѣгать по всѣмъ закоулкамъ и собирать народъ православный? Нѣтъ, отрекаюсь отъ этого труда: и такъ было много хлопотъ и можетъ быть много шуму изъ пустяковъ! Да и притомъ возможное ли это дѣло? Много ли изъ тѣхъ, которые промчались мимо моей сторожки, остались теперь въ живыхъ?.. Итакъ, я скажу вамъ только развѣ о тѣхъ лицахъ,

которые особенно вѣзались въ моей памяти, буду повѣствовать только о тѣхъ событіяхъ и случаяхъ, которые особенно поражали мое вниманіе. Мой обзоръ будетъ отрывчатъ, безпорядоченъ и несвязенъ, какъ всякій рассказъ наскоро о предметѣ многосложномъ, разнообразномъ и ничтожномъ.

Итакъ, я обозрѣваю, становлюсь обозрѣвателемъ!—Обозрѣвать, обозрѣватель—вы помните, какъ громко звенѣли нѣкогда эти два слова въ нашей литературѣ? Кто не обозрѣвалъ тогда? Гдѣ не было обозрѣній? Какой журналъ, какой альманахъ не имѣлъ своего штатнаго обозрѣвателя? И это была должность нетрудная, легкая, казенная; за нее брался всякій, не запасаясь дорогимъ лорнетомъ учености, даже иногда вовсе безъ очковъ грамматики и здраваго смысла!

Отчего же теперь такъ мало пишется обозрѣній? Куда дѣвались всѣ эти обозрѣватели? Я прошу у васъ позволенія заняться предварительно разрѣшеніемъ этого любопытнаго вопроса, хотя по крайней мѣрѣ для того, чтобы наполнить мою статью объясненіемъ причинъ, почему она не можетъ быть нѣчто.

Обозрѣвія всякаго рода бывають результатомъ или сознанія силы, или сомнѣнія въ ней. Кто часто пересчитываетъ свои деньги, повѣряетъ счеты и подводитъ итоги, тотъ или богатѣетъ день ото дня, или бѣднѣетъ; само собою разумѣется, что въ первомъ случаѣ онъ хочетъ удостовѣриться въ улучшеніи своего состоянія и опредѣлить степень этого улучшенія, а во второмъ случаѣ хочетъ измѣрить глубину своего паденія, хочетъ заглянуть въ бездну, отверстую передъ нимъ какъ бы съ намѣреніемъ приучить себя заранѣе къ ея ужасному виду, или какъ будто находя жестокое наслажденіе въ сознаніи своего бѣдственнаго положенія, веселясь собственнымъ своимъ отчаяніемъ. У насъ была уже литература, былъ Ломоносовъ, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Державинъ, Фонвизинъ, Хемницеръ, Богдановичъ, Капнистъ; потомъ Карамзинъ, Дмитріевъ, Крыловъ, Озеровъ, Мерзляковъ и наконецъ Батюшковъ и Жуковский; всѣ эти люди пользовались почти равнымъ участкомъ славы, всѣми ими восхищались почти въ равной степени, по крайней мѣрѣ всѣ они слыли равно за художниковъ и за

геніевъ (или, по тогдашнему, за образцовыхъ писателей). Критиковать тогда значило хвалить, восхищаться, дѣлать возгласы и, много, если указывать на нѣкоторые неудачные стихи въ цѣломъ сочиненіи или на нѣкоторыя слабыя мѣста, съ совѣтомъ поэту, какъ ихъ починить. Понятія о творчествѣ тогда были готовыя, взятые на прокатъ у французовъ; критики не было, потому что критика болѣе или менѣе есть сестра сомнѣнію, а тогда царствовало полное убѣжденіе въ богатствѣ нашей литературы, какъ по количеству, такъ и по качеству; литературныхъ обзорѣній тогда тоже не было и не могло быть, потому что въ обзорѣніе всегда входитъ критика, а вмѣсто ихъ иногда случались по временамъ, и то рѣдко, реэстры писателей и ихъ писаній, перемѣшанные съ извѣстнымъ числомъ хвастливыхъ восклицаній. Мерзляковъ вздумалъ было напасть на авторитетъ Хераскова и, взявши ложныя основанія, высказалъ много умнаго и дѣльнаго; но какъ его критцизмъ былъ явнымъ анахронизмомъ, то и не принесъ никакихъ плодовъ. Но вдругъ все перемѣнилось: явился Пушкинъ, и вмѣстѣ съ нимъ такъ называемый романтизмъ. Въ чемъ состоялъ этотъ романтизмъ? Въ отношеніи къ Пушкину этотъ романтизмъ состоялъ въ томъ, что изъ всѣхъ нашихъ поэтовъ Пушкина одного было можно назвать поэтомъ-художникомъ и не ошибиться; что онъ вмѣсто того, чтобы писать громкія и торжественныя событія, обыкновенно или теряющія свою прелесть для потомства, или представляющіяся ему въ другомъ свѣтѣ, сталъ говорить намъ о чувствахъ общихъ, человѣческихъ, всѣмъ болѣе или менѣе доступныхъ, всѣми болѣе или менѣе испытанныхъ; что онъ напалъ на истинный путь и, будучи рожденъ поэтомъ, свободно слѣдовалъ своему вдохновенію. Да! воля ваша, а я крѣпко убѣжденъ, что народъ или общество — самый лучший, самый непогрѣшительный критикъ. Я однажды высказалъ или, лучше сказать, повторилъ чужую мысль, что Державина спасло его невѣжество: отрекаюсь торжественно отъ этой мысли, какъ совершенно ложной. Державинъ не былъ ученъ, но находился подъ вліяніемъ современной ему учености, раздѣлялъ вѣрованія и мнѣнія своего времени объ условіяхъ творчества и, на зло своему генію, всю жизнь свою шелъ по ложному пути. Поэтому тѣ изъ его созданій, которыя противорѣчили современной ему эстетикѣ, отличаются истинной поэзіей. Возьмите напримѣръ «Водопадъ»: похоже ли это на оду, диамантъ, кантату? Это просто элегія, которая, по своей формѣ и своему духу, только тѣмъ отличается отъ элегій даже самыхъ крошечныхъ нашихъ поэтиковъ, что запечатлѣна геніемъ Державина. И зато какъ прекрасна и глубока эта элегія! — Но возьмите его тор-

жественныя оды: что это такое? Посмотрите, какъ онъ въ нихъ никогда не могъ поддерживать до конца своего напряженного восторга, какъ онъ въ концѣ каждой изъ нихъ падалъ и, начавши высоко и громко, оканчивалъ ровно ничѣмъ! И кто станетъ теперь читать эти торжественныя оды?.. Измаилъ, Прага, Рымникъ, Кагулъ — всѣ эти имена напоминаютъ о дѣйствіяхъ великихъ; но то ли они, эти великія дѣйствія, для насъ, чѣмъ были для современниковъ? Мы, юноши нынѣшняго вѣка, мы, бывши младенцами, слышали отъ матерей нашихъ не объ Измаилѣ, не о Кагулѣ, не о Рымникѣ, а о двѣнадцатомъ годѣ, о бородинской битвѣ, о соженіи Москвы, о взятіи Парижа. Эти событія и ближе къ намъ по времени, и поважнѣе прежнихъ въ своей сущности; да и они слабѣютъ уже въ нашемъ воображеніи, заглушаемыя громами араратскими, забалканскими, варшавскими. Но поэзія всѣхъ этихъ великихъ происшествій сама по себѣ такъ необъятна, что ее трудно уловить, увѣковѣчить въ звукахъ. Сверхъ того мы уже увѣрились теперь, что фактъ или событіе сами по себѣ ничего не значатъ: важна идея, выражаемая ими. Итакъ, что же значатъ всѣ эти торжественныя оды, какой интересъ могутъ имѣть для потомства всѣ эти громогласныя описанія? Скажутъ: это питаетъ народную гордость, даетъ наслажденіе святому чувству любви къ отечеству; русскіе брали непреодолимые твердыни и всему свѣту доказали свою храбрость; это подвиги, которые поэзія должна передавать потомству. Очень хорошо, но вѣдь храбрость есть неотъемлемое свойство русскихъ; но вѣдь они доказывали ее всегда и вездѣ, какъ только былъ случай; но вѣдь ничтожная же горсть русскихъ удержала за Россіей Грузію и уничтожила всѣ попытки персидской арміи; но вѣдь ничтожная же горсть русскихъ отбила Арменію и зашита ее противъ Персіи и Турціи?.. Эти подвиги у насъ такъ часты, такъ обыкновенны; они составляютъ ежедневную жизнь народа русскаго... Да, Державинъ шелъ путемъ слишкомъ тѣснымъ: онъ льстилъ современности, нападалъ на интересы частные, современные, и рѣдко прибѣгалъ къ интересамъ общимъ, никогда не старѣющимся, никогда не измѣняющимся — къ интересамъ души и сердца человѣческаго! И въ этомъ виновата ученость вѣка, которой онъ былъ не причастенъ, но подъ вліяніемъ которой онъ всегда находился. Не зная по-латыни, онъ подражалъ Горацию, потому что тогда всѣ подражали Горацию; не постигнувъ духа и возвышенной простоты псалмовъ Давида, онъ перелагалъ ихъ съ прозы на громкіе, напыщенные стихи, потому что всѣ наши поэты, начиная съ Ломоносова, дѣлали это, не говоря уже о французяхъ. Гораций воздвигнулъ себѣ «памятникъ». Державинъ —

тоже; но что у первого было вѣроятно вдохновеніемъ, то у второго было подражаніемъ. Обратимся назадъ. Итакъ, романтизмъ въ отношеніи къ Пушкину состоялъ въ томъ, что онъ искалъ поэзіи не въ современныхъ и преходящихъ интересахъ, а въ вѣчномъ, неизмѣняемомъ интересѣ души человѣческой. Въ отношеніи къ другимъ поэтамъ, вышедшимъ вслѣдъ за Пушкинымъ, романтизмъ состоялъ въ томъ, что ода была рѣшительно замѣнена элегіей, высокопарность—уныlostью, жесткій, ухабистый и неуклюжій стихъ—гармоническимъ, плавнымъ, гладкимъ. Въ отношеніи къ цѣлой литературѣ романтизмъ состоялъ въ томъ, что было отвергнуто, какъ нелѣпость, драматическое тріединство, хотя не было написано ни одной хорошей драмы. Итакъ, вотъ весь нашъ романтизмъ! Тогда явилось множество поэтовъ (стихотворцевъ и прозаиковъ), стали писать въ такихъ родахъ, о которыхъ въ русской землѣ дотолѣ было видомъ не видать, слыхомъ не слыхать. Тогда наши критики пустились въ обзорѣнія: они увидѣли, что у насъ есть писатели и въ классическомъ и романтическомъ родѣ, и захотѣли повѣрить свое родное богатство, подвести его итоги. Это была эпоха очарованія, упоенія, гордости: новость была принята за достоинство, и эти поэты, которыхъ мы теперь забыли и имена, и творенія, казались чѣмъ-то необыкновеннымъ и великимъ. И это было очень естественно: новость направленія и духа сочиненій всегда бываетъ камнемъ преткновенія для критики.

Итакъ, очень ясно, что раннее очарованіе, непрочныя надежды родили гордость и самоувѣренность въ нашихъ критикахъ; а гордость и самоувѣренность породили множество обзорѣній. Только одинъ Пушкинъ былъ предметомъ, достойнымъ и обзорѣній, и критикъ, и споровъ, а между тѣмъ все шло заурядъ въ обзорѣнія. И разумѣется, эти обзорѣнія были важны, горды и веселы, какъ молодые надежды, какъ неопытная юность, гордящаяся силами, еще не удостовѣряясь въ нихъ. Новость за новостью, поэма за поэмой, романъ за романомъ, повѣсть за повѣстью, альманахъ за альманахомъ, журналъ за журналомъ, а элегіи и отрывки безъ числа, безъ мѣры, и все это возбуждало участіе, восторгъ, удивленіе, потому что все это было ново. Слѣдовательно, обзорѣвателю было что обзорѣвать, было о чемъ потолковать. Одна голая и сухая перечень годовыхъ явленій литературнаго міра могла составить статейку; а разведенная фразами, разжиженная чувствованіями, сдобренная теоріями и идеями, эта перечень превращалась въ большую статью. И эту статью читали наперерывъ и съ гордостью повторяли находившіеся въ ней итоги и возгласы. Между тѣмъ начиналась уже и критика. Такъ какъ

романтизмъ привелъ за собой эмансипацію, то естественнымъ образомъ начало закрадываться сомнѣніе насчетъ достоинства писателей прежней школы. Нападая на классицизмъ, стали нападать и на классиковъ, не подозрѣвая, что, съ немногими исключеніями, выигрышъ состоялъ только въ Пушкинѣ, а что все остальное была та же старина, только на новый ладъ. Но пока управлялись со стариками, и новички успѣли состариться и наскучить. Разумѣется, это совершилось не вдругъ, а постепенно. Тогда обзорѣнія начали терять свой кредитъ, и вмѣсто нихъ начала усиливаться основательная критика.

Итакъ, теперь—что теперь обзорѣвать? Новаго ужъ нѣтъ ничего, все старо. У меня страстная охота писать, и я, во что бы то ни стало, хочу написать романъ—но что же? Я во всемъ предупреждён! Хочу писать романъ историческій—старо; перерываю всѣ эпохи русской исторіи—старо; хочу писать романъ нравоописательный и нравственно-сатирический—но и это старо и пошло; хочу писать романъ географическій, статистическій, топографическій—опять старо; вздумалъ было однажды нравственно-фантастическій—но и тутъ какой-то злодѣй предупредилъ меня; хочу писать подземный, представить людей маленькихъ, съ мизинецъ, и потомъ большихъ, съ коломенскую версту,—куда! этимъ еще восемнадцатый вѣкъ воспользовался, а я ничего не хочу имѣть общаго съ восемнадцатымъ вѣкомъ; но вотъ вдругъ блеснула свѣтлая мысль: хочу вывести людей допотопныхъ и потомъ людей, ходящихъ, мыслящихъ и говорящихъ вверхъ ногами—и тутъ предупредила меня игривая фантазія барона Брамбеуса. Ну, повѣрите ли, почтенный издатель «Телескопа», куда я ни бросался, какъ ни ломалъ свою бѣдную голову, а кончилъ тѣмъ, что пришелъ въ отчаяніе, и рѣшился не писать ничего по части поэзіи. Но наши писатели не такъ робки и можетъ быть не такъ горды и самолюбивы въ этомъ отношеніи, какъ я: они, знай свое—тормозятъ старину и слушать не хотятъ ни публики, ни рецензентовъ. Честь и слава ихъ храбрости, но каково публикѣ-то отъ этой храбрости? Но публикѣ по дѣломъ: кто ее заставляетъ пробавляться истертой стариной?—А каково рецензентамъ-то?—Но и имъ по дѣломъ: кто ихъ заставляетъ писать рецензіи и гордиться изъ пустяковъ?—А каково обзорѣвателямъ-то—что имъ остается обзорѣвать?—А кто ихъ заставляетъ обзорѣвать, когда нечего обзорѣвать?—Они и не обзорѣваютъ!... И слава Богу!...

И послѣ этого вы, милостивый государь, требуете отъ меня—чего же?—обзорѣнія!... Но, видно, дѣлать нечего—и я, въ угожденіе вамъ, посвящаюсь въ обзорѣватели!...

Увы! миновалось то золотое, прекрасное время, когда наши краснорѣчивыя обозрѣватели, въ сердечной простотѣ, съ теплой вѣрой, съ полнымъ убѣжденіемъ, что они дѣлаютъ дѣло, а не порютъ вздоръ, начинали свои обозрѣнія взглядами на состояніе земного шара, когда на немъ не было людей, или съ лицъ Леды, или съ потопа, или по крайней мѣрѣ съ Греціи и Рима, чтобы прошедшимъ объяснить настоящее. Обозрѣвателю нашихъ дней не для чего залетать такъ далеко: онъ долженъ начать съ предмета, самаго близкаго къ сердцу всѣхъ и каждаго, самаго необходимаго въ жизни — съ кармана... Да! въ карманѣ долженъ видѣть онъ таинственный рычагъ юной литературной дѣятельности, которая промышленности и оптомъ, и по мелочи; въ немъ долженъ искать онъ рѣшенія на всѣ мудренныя загадки современной русской литературы. Увы! миновалъ золотой вѣкъ нашей литературы, наступилъ желѣзный, а

Въ сей вѣкъ желѣзный,
Безъ денегъ, слава—ничего!

Что дѣлать! покоримся судьбѣ—видно, такъ должно быть, а чему быть, тому не миновать! Теперь всѣ пустились въ литературу, всѣ сдѣлались поэтами, романистами и повѣствователями. Классическій періодъ нашей литературы былъ не умнѣе, но какъ-то благороднѣе нынѣшняго; тогда пускались въ литературу изъ славы, изъ извѣстности и только люди, по крайней мѣрѣ знавшіе грамматику, знакомые съ литературнымъ тактомъ своего времени, не чуждые здраваго смысла; теперь же романтизмъ освободилъ насъ и отъ грамматики, и отъ приличія, и отъ здраваго смысла. Тогда литература была удѣломъ какого-то привилегированнаго класса; теперь же нишуть и сапожники, и пирожники, и подьячье, и лакеи, и сидѣльцы овощныхъ и мучныхъ лавокъ, словомъ, — всѣ, кто только умѣетъ чертить на бумагѣ каракульки. Откуда набралась эта сволочь? Отчего она такъ расхрабрилась? Гдѣ рычагъ этой внезапной и живой литературной дѣятельности? И уже сказать, что его надо искать въ карманѣ... Знаете ли что, почтеннѣйшій Николай Ивановичъ! я душевно люблю православный русскій народъ и почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой въ его массѣ; но моя любовь сознательная, а не слѣпая. Можетъ быть вслѣдствіе очень понятнаго чувства я не вижу пороковъ русскаго народа, но это нисколько не мѣшаетъ мнѣ видѣть его странности, и я не почитаю за грѣхъ пошутить подъ веселый чашъ, добродушно и незлобиво, надъ его странностями, какъ всякій порядочный человѣкъ не почитаетъ для себя за униженіе посмѣяться иногда надъ

собственными своими недостатками. Знаете ли вы, въ чемъ состоитъ главная странность вообще русскаго человѣка? Въ какомъ-то своеобразномъ взглядѣ на вещи и упорной оригинальности. Его упрекаютъ въ подражательности и безхарактерности; я самъ, грѣшный, вслѣдъ за другими взводилъ эту небывшую (въ чемъ и каюсь); но этотъ упрекъ неоснователенъ: русскому человѣку вредить совсѣмъ не подражательность, а, напротивъ, излишняя оригинальность. Пробѣгите въ умѣ вашемъ всю его исторію — и доказательство явится передъ глазами. Вотъ они... Но стойте: чтобы яснѣе выразить мою мысль, я долженъ прибавить, что русскій человѣкъ съ чрезвычайной оригинальностью и самобытностью соединяетъ удивительную недовѣрчивость къ самому себѣ и вслѣдствіе этого страхъ какъ любить перенимать чужое, но, перенимая, кладетъ типъ своего генія на свои заимствованія. Такъ, еще въ давніе вѣка прослышали русскій человѣкъ, что за моремъ хороша вѣра, и пошелъ за нею за море. Въ этомъ случаѣ онъ по счастью не ошибся; но какъ поступилъ онъ съ истинной, божественной вѣрой? Перенесъ ея священные имена на свои языческіе предрасудки: Св. Власію поручилъ должность бога Волоса, Перуновы громы и молніи отдалъ Ильѣ-пророку, и т. д. Итакъ, вы видите, перемѣнились слова и названія, а идеи остались все тѣ же! Потомъ явился на Руси царь умный и великій, который захотѣлъ русскаго человѣка умыть, причесать, обрить, отучить отъ лѣни и невѣжества: взвылъ русскій человѣкъ гласомъ велиемъ и замахаъ руками и ногами; но у царя была воля желѣзная, рука крѣпкая, и потому русскій человѣкъ, волей или неволей, а засѣлъ за азбуку, началъ учиться и шить, и кроить, и строить, и рубить. И въ самомъ дѣлѣ, русскій человѣкъ сталъ походить съ виду какъ будто на человека: и умыть, и причесать, и одѣть по формѣ, и знаетъ грамоту, и кланяется съ припаркиваніемъ, и даже подходитъ къ ручкѣ дамы. Все это хорошо, да вотъ что худо: кланяясь съ припаркиваніемъ, онъ, говорятъ, расшибалъ носъ до крови, а подходя къ ручкамъ прелестныхъ дамъ, наступалъ на ихъ ножки, цѣпляясь за свою шпату, не умѣя справляться съ трехуголкой; выучивъ наизусть правила, начертанныя на зеркалѣ рукой великаго царя, онъ не забылъ, не научился спрягать глаголъ *брать* подъ всѣми видами, во всѣ времена, по всѣмъ лицамъ безъ изыятія, по всѣмъ числамъ безъ исключенія; надѣвши мундиръ, онъ смотрѣлъ на него не какъ на форму идеи, а какъ на форму парада, и не хотѣлъ слушать, когда мудрое правительство толковало ему, что правосудіе не средство къ жизни, что присут-

ственное мѣсто не лавка, гдѣ отпускають и права, и совѣсть оптомъ и по мелочи, что судья не воръ и разбойникъ, а защитникъ отъ воровъ и разбойниковъ. Потомъ былъ на Руси другой царь умный и добрый; видя, что добро не можетъ пустить далеко корня тамъ, гдѣ нѣтъ науки, онъ подтвердилъ русскому человѣку учиться, а за ученые общалъ ему большой чинъ и знатное мѣсто, думая, что приманка выгоды всего сильнѣе; но что жъ вышло?.. Правда, русскій человѣкъ смысленъ и понятливъ; коли захочетъ, такъ и самого нѣмца заткнетъ за поясъ.. И точно, русскій принялся учиться, но только, получивъ чинъ и мѣсто, бросалъ тотчасъ книги и принимался за карты—оно и лучше!.. Итакъ, не ясно ли послѣ этого, что русскій человѣкъ самобытенъ и оригиналенъ, что онъ никогда не подражалъ, а только бралъ изъ-за границы формы, оставляя тамъ идеи, и одѣвалъ въ эти формы свои собственные идеи, завѣщанныя ему предками. Конечно къ этимъ доморощеннымъ идеямъ, не совѣмъ шель заморскій нарядъ, но къ чему нельзя привыкнуть, къ чему нельзя приглядѣться?..

Обратимся къ литературѣ. Съ ней русскій человѣкъ поступилъ точно такъ же, какъ и со всѣмъ тѣмъ, о чемъ я уже говорилъ. Какъ все прочее, она у него—цвѣтокъ пересаженный и, надо сказать, какъ все хорошее, не имъ самимъ, а правительствомъ. Литература наша началась при Елисаветѣ, а получила нѣкоторую осязательность при Екатеринѣ II. Намъ извѣстно, что въ царствованіе этой великой жены наша литература находилась, подобно почти всѣмъ европейскимъ литературамъ, подъ вліяніемъ французской. Французская литература была тогда полнымъ выраженіемъ XVIII вѣка, а что такое XVIII вѣкъ—объ этомъ всякій знаетъ. Мы скажемъ только, что XVIII вѣкъ былъ малый веселый и разгульный, любилъ мягко поспать, сладко поѣсть, пьяно попить и ни о чемъ не тужить. Веселиться—была его цѣль, и всѣ средства почитать онъ позволенными къ достиженію этой цѣли. Всѣмъ извѣстна мудрая русская пословица: «богатый на деньги, а голъ на выдумки». Поэты и вообще литераторы были тогда люди бѣдные и не важные, но это не помѣшало имъ веселиться: наравнѣ съ людьми богатыми и веселыми, они надѣли на себя лиризмъ людей богатыхъ и важныхъ, и за ихъ столами, въ восторгѣ радости, заигрывали пѣсни дивныя, живыя. Кого жъ они воспѣвали? Героевъ тогда не было; греческая литература была плохо понимаема, но хорошо была понята литература латинская—и стали воспѣвать меценатовъ! Да какъ было и не воспѣвать ихъ? Люди были они богатые, поэтовъ кормили сладко, хотя иногда и употребляли ихъ вмѣсто плевальницъ, но что жъ за бѣда—

вѣдь утереться не трудно. Этого было довольно для русскаго человѣка: онъ такъ хорошо на этотъ разъ сошелся съ французомъ, что взялъ идею и форму, и, слѣдовательно, еще въ первый разъ явился совершеннымъ подражателемъ. Тогда-то пошли наши оды съ любимымъ словечкомъ: «о ты», и пр. Но въ мірѣ все оканчивается. кончился и XVIII вѣкъ, кончился вездѣ, а у насъ еще здравствовалъ, и только въ одной литературѣ сталъ измѣняться. Въ этомъ отношеніи мы должны съ благодарностью произносить имя Жуковского, познакомившаго насъ съ германской литературой и передавшаго намъ нѣсколько благоуханныхъ цвѣтовъ ея. Были дарованія, но нѣмцы изъ нихъ шли не своей дорогой, сбиваемыя XVIII вѣкомъ, и остались только въ литературныхъ обозрѣніяхъ, а не въ памяти народа; другія, по своей незначительности, успѣли добиться только эфемерной славы. Идея искусства и потребность искусства проявились только въ началѣ третьяго десятилѣтія настоящаго вѣка; но кромѣ Пушкина и Грибоедова не было поэтовъ; зато, какъ я уже и говорилъ выше, было много обозрѣній.

Какое жъ слѣдствіе изъ всего этого? А вотъ какое: сначала наша литература родилась вслѣдствіе мысли правительства и симпатіи характера русскаго народа къ господствовавшему тогда характеру французовъ; потомъ она сдѣлалась подражательницей вдругъ нѣсколькихъ литературъ; теперь... теперь... Но позвольте мнѣ постѣ вывести полный и удовлетворительный результатъ. Я такъ уже усталъ, а впереди предстоитъ большой трудъ: трудно обозрѣть цвѣтущую долину, но еще труднѣе безплодную аравійскую степь.

II.

Начинаю мое обозрѣніе съ журналовъ, потому что, какъ ни мало у насъ теперь журналовъ, но все больше, чѣмъ книгъ. Разумѣется, на тѣ и другія я смотрю какъ обозрѣватель, которому нужны матеріалы для обозрѣнія и для котораго важно только то, о чемъ онъ что-нибудь можетъ сказать; каковы бы ни были наши журналы, о нихъ все-таки можно сказать много и за, и противъ; но книгъ, стоящихъ вниманія въ какомъ бы то ни было отношеніи, вышло безъ васъ не болѣе двухъ или трехъ. Здѣсь я опять долженъ употребить оговорку: такъ какъ моему разсмотрѣнію подлежатъ книги только по части художественной и притомъ оригинальныя, то и не удивительно, что я нахожу такъ мало книгъ, вышедшихъ въ послѣднее полугодіе прошлаго года. Итакъ, обращаюсь къ журналамъ и приступаю къ дѣлу.

Но съ какихъ журналовъ должно мнѣ начать? Съ московскихъ или петербургскихъ?

И потомъ, съ какого именно?—Начинаю, по старшинству и важности, съ «Библиотеки для Чтенія», а за нею брошу взглядъ на прочіе петербургскіе журналы. У меня есть причина, и причина очень достаточная для этого предпочтенія въ пользу «Библиотеки для Чтенія»: журналъ, владѣющій болѣе противъ своихъ собратій числомъ подписчиковъ и въ продолженіе не одного уже года поддерживаемый постояннымъ вниманіемъ публики, такой журналъ, говорю я, можетъ быть не лучший, но, безъ сомнѣнія, долженъ быть важнѣйшій; потому что все, что пользуется авторитетомъ, заслуженнымъ или незаслуженнымъ, все, что имѣетъ на публику большое вліяніе, хорошее или вредное, все то важно и достойно вниманія и прилежнаго изслѣдованія, а «Библиотека для Чтенія» во всѣхъ этихъ отношеніяхъ есть первый и важнѣйшій въ Россіи журналъ, а слѣдовательно обзорѣватель съ него долженъ начинать свой разборъ. О прочихъ петербургскихъ журналахъ я буду говорить тотчасъ послѣ «Библиотеки» и прежде московскихъ изданій, не для соблюденія порядка, а тоже вслѣдствіе основательной и важной причины: всѣ петербургскіе журналы, какъ я покажу это ниже, имѣютъ въ своемъ направленіи, духѣ и правилахъ много общаго съ «Библиотекой», хотя въ то же время они суть не болѣе, какъ жалкія пародіи на этотъ соблазнительный для нихъ образецъ: тѣ же цѣли, тѣ же замашки, тѣ же усилія, хотя и не та ловкость, не то умѣнье, не та сила, не то исполненіе! — Да, не даромъ петербургская книжная производительность не въ ладу съ московской: каждая изъ нихъ, несмотря на видимое разногласіе съ самой собой, имѣетъ общій характеръ, одно направленіе, одно основаніе, и, вслѣдствіе совершенной противоположности другъ съ другомъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ, обѣ онѣ должны находиться одна къ другой въ естественной неприязни, какъ теперь прямодушный турокъ къ хитрому персіянину, какъ нѣкогда тяжелый англичанинъ къ легкому французу. И я постараюсь показать, сколько возможно, отличительныя черты, отличающія ихъ одну отъ другой и поставляющія ихъ въ непріязненное отношеніе одну къ другой.

«Библиотека для Чтенія» начинаетъ уже третій годъ своего существованія, и, что очень важно, она нисколько не измѣняется ни въ объемѣ, ни въ достоинствѣ своихъ книжекъ, ни въ духѣ и характерѣ своего направленія; она всегда вѣрна себѣ, всегда согласна съ собою, словомъ, идетъ шагомъ ровнымъ, поступью твердой, всегда по одной дорогѣ, всегда къ одной цѣли; не обнаруживаетъ ни усталости, ни страха, ни непостоянства. Все это чрезвычайно важно для

журнала, все это составляетъ необходимое условіе существованія журнала и его постоянного кредита у публики: въ то же время это показываетъ, что «Библиотекой» дирижируетъ одинъ человекъ, умный, ловкій, смѣтливый, дѣятельный,—качества, составляющія необходимое условіе журналиста; ученость здѣсь не мѣшаетъ, но не составляетъ необходимаго условія журналиста, для котораго въ этомъ отношеніи гораздо необходимѣе универсальность образованія, хотя бы и поверхностнаго, многосторонность познаній, хотя бы и верхоглядныхъ, энциклопедизмъ, хотя бы и мелкій. О «Библиотецѣ» писали и пишутъ, на нее нападали и нападаютъ сперва враги, а наконецъ и друзья, поклявшіеся ей въ вѣрности до гроба, пожертвовавшіе ей собственными выгодами, разумѣется, въ чаяніи болѣешихъ отъ союза съ сильнымъ и богатымъ собратомъ; а «Библиотека» все-таки здравствуетъ, смѣется (большей частью молча) надъ нападками своихъ противниковъ! Въ чемъ же заключается причина ея неимовѣрнаго успѣха, ея неслыханнаго кредита у публики? Если бы я сталъ утверждать, что «Библиотека» — журналъ плохой, ничтожный, это значило бы смѣяться надъ здравымъ смысломъ читателей и надъ самимъ собой; факты говорятъ лучше доказательствъ, и первенство и важность «Библиотеки» такъ ясны и неоспоримы, что противъ нихъ нечего сказать. Гораздо лучше показать причины ея могущества, ея авторитета. На «Библиотеку», на Брамбеуса и на Тю-тюджи-оглу (что все почти тождественно) было много нападковъ, часто безсильныхъ, иногда сильныхъ, было много атакъ, часто невѣрныхъ, иногда впопадъ, но всегда бесполезныхъ. Не знаю, правъ я или нѣтъ, но мнѣ кажется, что я нашелъ причину этого успѣха, столь противорѣчащаго здравому смыслу, и такъ прочнаго, этой силы, такъ носящей въ самой себѣ зародышъ смерти, и такъ постоянной, такъ не слабѣющей. Не выдаю моего открытія за новостъ, потому что оно можетъ принадлежать многимъ; не выдаю моего открытія и за орудіе, долженствующее быть смертельнымъ для разсматриваемаго мной журнала, потому что—истина не слишкомъ сильное орудіе тамъ, гдѣ еще нѣтъ литературнаго общественнаго мнѣнія. «Библиотека» есть журналъ провинціальный: вотъ причина ея силы. Разсмотримъ это. Но я долженъ взять нѣсколько повыше, долженъ упомянуть о ея началѣ, ея зарожденіи на свѣтъ. Всякому извѣстно, что этотъ журналъ основанъ книгопродавцемъ, который пріобрѣлъ у публики большую довѣренность, и пріобрѣлъ по справедливости, по заслугѣ; всякому извѣстно, что этотъ книгопродавецъ ведетъ торговлю большую и слѣдовательно въ состояніи

дѣлать большіе обороты и пускаться въ важныя предпріятія; это обстоятельство ручалось за исправный выходъ книжекъ, за ихъ типографическое достоинство, за хорошую и честно выполняемую плату сотрудникамъ журнала. Правда, это обстоятельство, съ одной стороны благопріятствуя зарождавшемуся предпріятію, съ другой—могло и повредить ему, потому что публика знала, что владѣлецъ журнала не могъ быть ни его издателемъ, ни ни его редакторомъ, ни даже его сотрудникомъ, что потому онъ долженъ былъ поручать изданіе своего журнала разнымъ лицамъ, одному послѣ другого, неизбежнымъ слѣдствіемъ чего должно было быть разногласіе въ мнѣніяхъ, противорѣчіе въ духѣ и направленіи изданія; притомъ публикѣ были извѣстны въ числѣ редакторовъ имена Греча и Булгарина, издателей очень посредственныхъ журналовъ и авторовъ очень плохихъ романовъ, и она лишь впоследствии могла увидѣть, что Гречъ и Булгаринъ были и остались только вкладчиками своихъ статейъ и корректорами «Библіотеки», что Тю-тунджи-оглу не имѣлъ ничего общаго съ ними въ своей ловкости, умѣ, остроуміи, что самый языкъ и правописаніе всѣхъ статей, особенно послѣднее, принадлежали ему же, а не имъ; но нашей публикѣ до этого не было нужды; ей обѣщаны были толстыя книги и участіе почти всѣхъ знаменитостей—этого для нея было достаточно. Итакъ, одно уже то обстоятельство, что новый журналъ былъ собственностью богатаго и честнаго книгопродавца, было одной изъ сильнѣйшихъ причинъ его успѣха. Потомъ—это участіе почти всѣхъ знаменитостей нашего письменнаго міра, эти имена, выставленныя въ программѣ и на оберткахъ «Библіотеки», какъ залогъ того, что вся литературная дѣятельность должна сосредоточиться въ одномъ изданіи, чего никогда не бывало, о чемъ самая мысль всегда казалась несбыточной, — какая приманка для нашей довѣрчивой публики!.. Правда, нѣкоторые изъ авторовъ, имена которыхъ двѣнадцать разъ въ годъ повторялись на оберткахъ журнала, не подарили его ни одной статьей; правда, нѣкоторые изъ знаменитостей сошли съ обертки, къ немалому вреду репутаціи журнала; правда, и половина оставшихся именъ, при второмъ годѣ, совсѣмъ исчезла съ обертки; правда, большая часть этихъ знаменитостей была совсѣмъ не знаменита, и между этими знаменитостями многія были сдѣланы на скорую руку, ради предстоящей потребности, многія незначительности были произведены въ знаменитости, произведены самимъ этимъ журналомъ, ради предстоящей нужды; но нашей публикѣ не было до того нужды: она попрежнему встрѣчала постоянно нѣкоторые имена или въ са-

момъ дѣлѣ любимыя ею, или къ которымъ она приглядѣлась, что для нея все равно, и, до-вѣрчивая, невзыскательная, питала теплую вѣру ко всему, что выдавали ей за талантъ и гений сами же эти таланты и гении. Дѣло было сдѣлано, а русскій человѣкъ вообще сговорчивъ и въ литературныхъ дѣлахъ за неустойкой не гонится, если вы исполнили хоть часть условій—такъ мало избалованъ онъ полными устоями. Присоедините къ этому его уваженіе къ авторитетамъ, къ громкимъ именамъ, его довѣрчивость ко всему, что другими или самимъ собой провозглашается за дарованіе. Итакъ, вотъ вторая и очень важная причина успѣха «Библіотеки» при самомъ ея началѣ. Теперь слѣдуетъ третья, не менѣе важная: кто не помнитъ хвастливаго и, можно сказать, безстыдно-самохвальнаго объявленія объ изданіи «Библіотеки»? кто не помнитъ возгласовъ «Сѣверной Пчелы», которая прожужжала всѣмъ уши, что, кто не подпишется на «Библіотеку», тотъ не патріотъ, тотъ не любить отечества, не желаетъ ему добра, что тотъ ренегатъ, измѣнникъ?—И что же?—Это хвастливое объявленіе, эти вопли, эти возгласы во всякомъ другомъ обществѣ были бы почтены по крайней мѣрѣ за неприличные, возбудили бы подозрѣніе, недоовѣрчивость и убили бы предпріятіе въ самомъ его зародышѣ; но у насъ это-то чуть ли и не есть вѣрнѣйшее средство успѣха. Я часто замѣчалъ за самимъ собой, что когда мнѣ случалось ходить для покупокъ въ городъ, и когда слухъ мой оглушался, и мое человеческое достоинство оскорблялось невѣжливой и грубой политикой нашей національной коммерціи, громко и неистово превозносящей свои товары и нагло и почти насильно затаскивающей покупателя въ свою лавку, то я замѣчалъ, что чуть ли не всегда попадалъ я въ самую горластую, въ самую наглую лавку: что дѣлать—человѣкъ русскій! — Проклинаешь это азіатское самохвальство, эту предательскую вѣжливость, сбившуюся на униженіе, эту безстыдную наглость, и къ ней-то именно и попадешь, какъ рыбка на удочку,—на Руси такъ изстари ведется!.. Итакъ, вотъ три причины, сдѣлавшія «Библіотеку» сильной, когда еще «Библіотеки» не было и на свѣтѣ!

Теперь посмотримъ, какими средствами умѣла она поддержать себя во мнѣніи публики или, лучше сказать, какими средствами умѣла сдѣлать себя необходимой для публики и, всѣми осуждаемая, всѣми ненавидимая, сдѣлать всѣхъ своими подписчиками? Я сказалъ, что тайна постояннаго успѣха «Библіотеки» заключается въ томъ, что этотъ журналъ есть по преимуществу журналъ провинціальныи, и въ этомъ отношеніи невозможно не удивляться той ловкости, тому умѣнью, тому искусству, съ какими онъ при-

поравливается и поддѣлывается къ провинціи. Я не говорю уже о постоянномъ, всегда правильномъ выходѣ книжекъ, одномъ изъ главнѣйшихъ достоинствъ журнала; останавлиюсь на числѣ книжекъ и продолжительности срока ихъ выхода. Я думалъ прежде, что это должно обратиться во вредъ журналу; теперь вижу въ этомъ тонкій и вѣрный расчетъ. Представьте себѣ семейство степного помѣщика, — семейство, читающее все, что ему попадетъ, съ обложки до обложки; еще не успѣло оно дочитать до послѣдней обложки, еще не успѣло перечесть, гдѣ принимается подписка, и оглавленіе статей, составляющихъ содержаніе нумера, а ужъ къ нему летитъ другая книжка и такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая, говорящая вдругъ однимъ и нѣсколькими языками. И въ самомъ дѣлѣ, какое разнообразіе! — Дочка читаетъ стихи Ершова, Гоніева, Струговникова и повѣсти Загоскина, Ушакова, Панаева, Калашникова и Масальскаго; сынокъ, какъ членъ новаго поколѣнія, читаетъ стихи Тимофеева и повѣсти барона Брамбеуса; батюшка читаетъ статьи о двухпольной и трехпольной системахъ, о разныхъ способахъ удобренія земли, а матушка о новомъ способѣ дѣлать чаютку и красить нитки; а тамъ еще остается для желающихъ критика, литературная лѣтопись, изъ которыхъ можно черпать горстями и пригоршнями готовыя (и часто умныя и острыя, хотя рѣдко справедливыя и добросовѣстные) сужденія о современной литературѣ; остается пестрая, разнообразная смѣсь; остаются статьи ученыхъ и новости иностранныхъ литературъ. Не правда ли, что такой журналъ — кладъ для провинцій?

Но постойте, это еще не все: разнообразіе не мѣшаетъ и столичному журналу и не можетъ служить исключительнымъ признакомъ провинціальнаго. Бросимъ взглядъ на каждое отдѣленіе «Библіотеки», особенно и по порядку. Стихотворенія занимаютъ въ ней особое и большое отдѣленіе: подъ многими изъ нихъ стоятъ громкія имена, каковы: Пушкина, Жуковскаго, подъ большей частью стоятъ имена знаменитостей, выдуманныхъ и сочиненныхъ наскоро самой «Библіотекой»; но нѣтъ нужды: тутъ все идетъ за знаменитость; до достоинства стиховъ тоже мало нужды: имена, подъ ними подписанныя, ручаются за ихъ достоинство, а въ провинціяхъ этого ручательства слишкомъ достаточно. То же самое, въ отношеніи именъ, должно сказать и о русскихъ повѣстяхъ; иностранныя подписаны именами, которыя для провинцій непременно должны казаться громкими, хотя бы и не были громки на самомъ дѣлѣ: подписаны именами журналовъ громкихъ и извѣстныхъ во всемъ мірѣ. То же должно сказать и о прочихъ отдѣленіяхъ «Библіотеки». Теперь скажите, не

большая ли это выгода для провинцій? — Вамъ извѣстно, какъ много и въ столицахъ людей, которыхъ вы привели бы въ крайнее замѣшательство, прочтя имъ стихотвореніе, скрывши имя его автора и требуя отъ нихъ мнѣнія, не высказывая своего; какъ много и въ столицахъ людей, которые не смѣютъ ни восхищаться статьей, ни сердиться на нее, не взглянувъ на ея подпись. Очень естественно, что такихъ людей въ провинціяхъ еще больше, что люди съ самостоятельнымъ мнѣніемъ попадаютъ туда случайно и составляютъ тамъ самое рѣдкое исключеніе. Между тѣмъ и провинціалы, какъ и столичные жители, хотятъ не только читать, но и судить о прочитанномъ, хотятъ отличиться вкусомъ, блистать образованностью, удивлять своими сужденіями, и они дѣлаютъ это, дѣлаютъ очень легко, безъ всякаго опасенія компрометировать свой вкусъ, свою разборчивость, потому что имена, подписанныя подъ стихотвореніями и статьями «Библіотеки», избавляютъ ихъ отъ всякаго опасенія посадить на мель свой критицизмъ и обнаружитъ свое безвкусіе, свою необразованность и невѣжество въ дѣлѣ изящнаго. А это не шутка! — Въ самомъ дѣлѣ, кто не признаетъ проблесковъ гениа въ самыхъ сказкахъ Пушкина, потому только, что подъ ними стоитъ это магическое имя «Пушкинъ»? То же и въ отношеніи къ Жуковскому. А чѣмъ ниже Пушкина и Жуковскаго Тимофеевъ и Ершовъ? Или хвалятъ «Библіотеку», лучший русскій журналъ, и принимаютъ въ себя ихъ произведенія. — Можетъ ли быть посредственна или нехороша повѣсть Загоскина? Вѣдь Загоскинъ — авторъ «Милославскаго» и «Рославлева», а въ провинціи никому не можетъ придти въ голову, что эти романы, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, теперь уже не то, чѣмъ были, или по крайней мѣрѣ, чѣмъ казались нѣкогда. Можетъ ли быть не превосходна повѣсть Ушакова, автора «Киргизъ-Кайсакъ», «Кота Бурносѣка», бывшаго сотрудника «Московского Телеграфа», сочинителя длинныхъ, скучныхъ и ругательныхъ статей о театрѣ? Провинціи и подозрѣвать не можетъ, чтобы знаменитый Ушаковъ теперь былъ уволенъ изъ знаменитыхъ въ чистую. — Кто усомнится въ достоинствѣ повѣстей Панаева, Калашникова, Масальскаго? — Да, въ этомъ смыслѣ «Библіотека» — журналъ провинціальный!

III.

Теперь я буду слѣдить за «Библіотекой» шагъ за шагомъ; я обнаружу всю ея политику, изясню подробнѣе причины ея могущества. Я не буду пускаться о «Библіотекѣ» въ излишнія разсужденія, буду представлять одни факты, а тамъ пусть понимаютъ ихъ, какъ угодно. До сихъ поръ я сдѣлалъ только предисловіе, опредѣливъ точку зрѣнія, съ кото-

рой гляжу на «Библиотеку»; теперь покажу, что я вижу въ ней. Прошу васъ не забыть, что основная мысль моя о «Библиотецѣ» состоитъ въ томъ, что этотъ журналъ провинціальный; что онъ издается для провинціи и силенъ одной провинціей. Итакъ, приступаю къ подробнѣйшему объясненію признаковъ ея привилегированнаго провинціализма. Я не почитаю за нужное слишкомъ распространяться о стихотворномъ отдѣлѣ «Библиотеки». Пора стиховъ миновала въ нашей литературѣ: наступила пора смиренной прозы. Хорошихъ стиховъ теперь не достанешь ни за какія деньги, и потому «Библиотека» не виновата, что помѣщаетъ дурные стихи; но она виновата въ томъ, что выдаетъ ихъ за хорошіе. Это съ ея стороны расчетъ, — расчетъ, въ который входитъ преимущественно провинція. Итакъ, о стихахъ нечего много говорить; но можно побольше поговорить о прозаическомъ отдѣленіи русской словесности.

Разумѣется, это отдѣленіе состоитъ преимущественно изъ повѣстей и можетъ называться по преимуществу провинціальнымъ. Пресматриваю «Библиотеку», и чьи имена встрѣчаю въ отдѣлѣ повѣстей русской фабрики? — Во-первыхъ, Загоскина, Ушакова; въ «Библиотецѣ» это знаменитости первой величины, авторитеты, лучезарнымъ свѣтомъ которыхъ она озаряется съ особеннымъ удовольствіемъ, съ особенной хвастливостью; потомъ повѣсти Степанова, Маркова и многихъ другихъ, именъ которыхъ я не могу упомянуть по причинѣ ихъ множества: эти знаменитости недавнія, авторитеты юные. Чтобы яснѣе развить мою мысль, я долженъ рассмотреть попристальнѣе нѣкоторыя изъ этихъ повѣстей. Въ такомъ случаѣ мнѣ надо бѣ было начать съ Загоскина какъ первой знаменитости «Библиотеки», въ которой онъ помѣстилъ двѣ повѣсти: «Вечера на Хопѣ» и «Три Жениха», провинціальныя очерки; но первой я совсѣмъ не читалъ, а о второй упоминалъ слегка при отзывѣ о «Недовольныхъ» и, мнѣ кажется, довольно удачно уловилъ ея характеристику, что, разумѣется, очень не трудно было сдѣлать. Итакъ, не желая повторять одно и то же, замѣчу только, что Загоскинъ очень удачно назвалъ свою повѣсть «провинціальными очерками»: этимъ названіемъ онъ написалъ на нее самую лучшую критику а priori, а помѣщеніемъ ея въ «Библиотецѣ» сдѣлалъ на нее самую лучшую критику а posteriori!.. Обращаюсь къ Ушакову.

Вамъ, почтеннѣйшій Николай Ивановичъ, извѣстенъ гибкій и универсальный талантъ Ушакова; вы, вѣрно, еще не забыли, что онъ писалъ нѣкогда предлинныя, преисполненныя славянскаго остроумія и прескучныя статьи о театрѣ; вы помните также, что онъ, Ушаковъ, писалъ презлія, хотя ужъ и черезчуръ

холодныя, сатирическія аллегоріи, и въ этомъ родѣ явился основателемъ и главой важной, хотя и безлюдной школы: я разумѣю «Кота Бурмосѣвска»; потомъ знаете, что онъ написалъ очень порядочный романъ «Киргизъ-Кайсакъ». Да, все это, должно быть, вамъ давно извѣстно, но вотъ чего вы навѣрное не знаете: Ушаковъ не удовольствовался приобритенной славой въ этихъ трехъ родахъ, пошелъ далѣе, какъ и слѣдуетъ всякому сильному дарованію. Сперва онъ сдѣлалъ попытку воскресить на Руси духъ покойнаго Августа Лафонтена, и написалъ повѣсть «Марихенъ», но этотъ опытъ не удался: «Марихенъ» не только не разбудила Августа Лафонтена, но и сама заснула съ нимъ сномъ непробуднымъ. Эта неудача не лишила однако бодрости Ушакова; какъ просвѣщенный и опытный литераторъ, онъ понялъ, что нельзя идти противъ духа времени, и бросился въ другую сторону, въ которой вполнѣ сознавалъ свое направленіе и свое назначеніе: онъ рѣшился сдѣлаться народнымъ. Разсказавши намъ довольно увлекательно о страданіяхъ юной аристократки, разсказавъ о страданіяхъ Киргизъ-Кайсакъ, плебея по рожденію, но аристократа по мысли и чувству, онъ теперь бросился совершенно въ противоположную сторону и принялся за плебеевъ, плебеевъ по рожденію, плебеевъ по уму, чувству и образованности. Уже не балы, а вечеринки рисуетъ теперь намъ его чудотворная кисть, и само собой разумѣется, что отъ этихъ вечеринокъ слухъ нашъ поражается не звуками кадрили и мазурокъ, зрѣніе — не блестящими люстрами и канделябрами, обоняніе не благовонными парфюмами, а побранками и плоскими шутками, чадомъ салныхъ свѣчей и запахомъ водки, ерофенча, разнаго сорта наливокъ, а иногда и простой сивухи, сельдей, икры паюсной и зернистой, луку зеленого и рѣпчатого, жареной печенки, и пр., и пр.; вмѣсто князей, кавалеристовъ, дамъ, теперь онъ выводитъ и скромныхъ отставныхъ пѣхотинцевъ, и кулцовъ третьей гильдіи, и мѣщанъ всѣхъ разрядовъ, словомъ, — все, что носитъ бороду, одѣвается въ зипунъ или длиннополый сюртукъ съ высокимъ лифомъ, въ тѣлогрѣйку или даже въ поняву, а голову повязываетъ бумажнымъ или парчевымъ платкомъ. Короче сказать: почтеннѣйшій Ушаковъ сдѣлалъ теперь прозаическимъ Измайловымъ. Переходъ удивительный, метаморфоза чудесная, но вмѣстѣ съ тѣмъ и очень понятная: Ушаковъ покорился духу времени и увлекся народностью.

Народность въ литературѣ!.. Позвольте мнѣ, почтенный издатель «Телескопа», сдѣлать здѣсь небольшое отступленіе отъ матеріи и оставить на минутку-другую Ушакова. Я хочу сказать или, скорѣе, повторить уже сказанное мною когда-то о народности; этотъ предметъ зани-

маеъ теперь всѣхъ, вы сами пишете объ немъ, и потому я считаю теперь кстати подать свой голосъ. Что такое народность въ литературѣ? Отраженіе индивидуальности, характерности народа, выраженіе духа внутренней и внѣшней его жизни, со всѣми ея типическими оттѣнками, красками и родными пятнами — не такъ ли? — Если такъ, то, мнѣ кажется, нѣтъ нужды представлять такой народности въ обязанность истинному таланту, истинному поэту; она сама собой непременно должна проявляться въ творческомъ созданіи. Вы признаете большее или меньшее вліяніе индивидуальности поэта на его произведенія, какъ бы они разнообразны ни были! Вы не станете отрицать, что чѣмъ дарованіе поэта сильнѣе, тѣмъ оно оригинальнѣе! Итакъ, если личность поэта должна отражаться въ его твореніяхъ, то можетъ ли не отражаться въ нихъ его народность? Развѣ всякій поэтъ, прежде чѣмъ онъ человѣкъ, не есть русскій, французъ или нѣмецъ? Возьмемъ поэта русскаго: онъ родился въ странѣ, гдѣ небо сѣро, снѣга глубоки, морозы трескучи, вьюги страшны, лѣто знойно, земля обильна и плодородна; развѣ все это не должно положить на него особеннаго характеристическаго клейма? Онъ въ младенчествѣ слышалъ сказки о могучихъ богатыряхъ, о храбрыхъ витязяхъ, о прекрасныхъ царевнахъ и княжнахъ, о злыхъ колдунахъ, о страшныхъ домовыхъ; онъ съ малолѣтства пріучилъ свой слухъ къ жалобному, протяжному пѣнію родныхъ пѣсенъ; онъ читалъ исторію своей родины, которая не похожа на исторію никакой другой страны въ мірѣ; онъ провелъ лѣта своей юности среди общества, которое не похоже ни на какое другое общество; онъ принадлежитъ къ народу, который еще не живетъ полной жизнью, но у котораго настоящее уже интересно, какъ шагъ, какъ переходъ къ прекрасному будущему, у котораго это будущее еще въ зародышѣ, еще въ зернѣ, но уже такъ богато надеждами!.. Потомъ, если онъ поэтъ, поэтъ истинный, то не долженъ ли сочувствовать своему отечеству, раздѣлять его надежды, болѣть его болѣзнями, радоваться его радостями?.. Кто не согласится съ этимъ, кто будетъ противорѣчить этому? — Итакъ, спрашиваю: можетъ ли русскій поэтъ не быть русскимъ поэтомъ, русскимъ не по одному рожденію, а по духу, по складу ума, по формѣ чувства, какъ бы ни глубоко былъ онъ проникнутъ европеизмомъ? Да, почтеннѣйшій издатель, если поэтъ владѣетъ истиннымъ талантомъ, онъ не можетъ не быть народнымъ, лишь бы только творилъ изъ души, а не мудрилъ умомъ, не бралъ работою!.. Возьмите Крылова: оставая покуда въ сторонѣ вопросъ о баснѣ, какъ художественномъ произведеніи, и смотря на него самого даже не какъ на поэта, а какъ

на красная, не видите ли вы въ немъ чистѣйшей народности, безъ всякой примѣси тривіальности; не доказывается ли его народность и живымъ сочувствіемъ къ нему народа русскаго, и его непереводимостью ни на какой языкъ въ мірѣ? — Теперь возьмемъ другую сторону, совершенно противоположную этой, возьмемъ «Онѣгина», лучшее произведеніе Пушкина: развѣ эта Татьяна, Ольга, этотъ Ленскій, эти старики Ларины, эти провинціальныя фигуры, Буяновы, Пѣтушковы, Зарѣцкіе, самый Онѣгинъ — развѣ они, будучи лицами типическими, человѣческими и слѣдовательно всемірными, не принадлежатъ исключительно къ русскому міру, не взяты изъ русской жизни; развѣ, перемѣнивъ ихъ имена на Адольфовъ, Генриеттъ, Эрнестовъ, Амалій, вы не уничтожите ихъ смысла, ихъ значенія? — Но, скажутъ можетъ быть иные, это доказываетъ только, что поэтъ, зная хорошо свое общество, вѣрно описалъ его, а не то, чтобы онъ былъ народенъ, потому что онъ такъ же бы вѣрно могъ описать и нѣмецкое общество; слѣдовательно народность состоитъ во взглядѣ на вещи и формахъ проявленія чувствъ и мыслей! — Такъ, милостивые государи, вы почти правы, но вотъ въ чемъ дѣло: могъ ли бы поэтъ вѣрно описать свое общество, если бъ онъ не симпатизировалъ ему, если бъ не былъ участникомъ его жизни, повѣреннымъ его тайнъ? Если же онъ такъ вѣрно могъ изобразить какой-нибудь эпизодъ изъ европейской жизни, это значить только, что мы, русскіе, также причастны и европейской жизни, какъ своей собственной. Что жъ касается до народности собственно поэта, то вамъ стоитъ только попристальнѣе взглянуть въ «Онѣгина», чтобы въ мысляхъ и чувствахъ самого автора увидѣть всѣ элементы народности, чтобы признать, что только русскій поэтъ, и притомъ въ извѣстный моментъ русской жизни, могъ такъ мыслить и чувствовать и такъ выражать свои мысли и чувства! Наконецъ возьмемъ еще третью сторону, совершенно не похожую на обѣ первыя, возьмемъ сочиненія Гоголя. Въ нихъ поэтизируется по большей части жизнь собственно народа, жизнь массы, и автору очень естественно было бы впасть въ простонародность, но онъ остался только народнымъ, и въ томъ же самомъ смыслѣ, въ которомъ народенъ Пушкинъ. Отчего жъ это? Оттого, что Гоголь поэтъ, что онъ владѣетъ высокимъ и могучимъ талантомъ; оттого, что въ его описаніи какой-нибудь глупой ссоры двухъ идіотовъ, или пошлой жизни двухъ простаковъ я вижу взглядъ на жизнь, взглядъ грустно-шутливый; я воображаю, сколько въ мірѣ людей, которыхъ жизнь проходитъ въ мелочахъ эгоизма, въ ѣдѣ, питьѣ и спаньѣ и которые думаютъ, что они живутъ и дѣлаютъ должное; воображаю и мнѣ становится гру-

ство... Самые такъ называемыя сальности и плоскости, которыя у всякаго другого были бы неминуемо отвратительны, въ повѣстяхъ Гоголя отличаются какой-то граціей, смягчаются какой-то наивною; встрѣчая самыя рѣзкія изъ нихъ, вы прощаете ихъ автору, какъ прощаете гримасу прекрасной и любимой женщины! Что же слѣдуетъ изъ всего этого? А то, что у кого есть талантъ, кто поэтъ истинный, тотъ не можетъ не быть народнымъ!

Но у кого нѣтъ таланта, и кто захочетъ быть народнымъ, тотъ всегда будетъ просто-народнымъ и тривиальнымъ; тотъ можетъ быть вѣрно сплестъ всю отвратительность низшихъ слоевъ народа, кабака, площади, избы, словомъ,—черни, но никогда не уловить жизни народа, не постигнетъ его поэзіи. Самымъ лучшимъ и самымъ живымъ доказательствомъ этой истины можетъ служить Ушаковъ. Онъ народенъ въ пошло понимаемомъ смыслѣ этого слова, но избавь насъ Богъ отъ такой народности — она и такъ уже надоѣла намъ! Оставляя въ покоѣ народность твореній Ушакова, я покажу здѣсь только ихъ провинціальность и слѣдовательно ихъ важность для «Библиотеки для Чтенія». Очень жалѣю, что у меня нѣтъ теперь подъ рукой той книжки «Библиотеки», гдѣ помѣщена повѣсть Ушакова «Сельцо Дятлово». То-то славная, то-то чудная повѣсть! Вотъ ужъ истинно народная и совершенно провинціальная! Въ ней описывается прежалостная исторія, а провинція такъ любитъ жалостныя исторіи; развязка ея счастливая, а провинція еще больше любить счастливыя развязки. Если я только не совсѣмъ забылъ, то дѣло, изволите видѣть, вотъ въ чемъ: одинъ помѣщикъ взялъ къ себѣ на воспитаніе двухъ сиротокъ, мальчика и дѣвочку; едва дѣвочка успѣла сдѣлаться дѣвужкой, какъ злодѣй лишилъ ее невинности. Она отъ него, кажется, скрылась и пропала изъ глазъ его лѣтъ на десять. Что же? Онъ, кажется, опять пошелъ служить и, мучимый совѣстью, искалъ свою жертву, чтобы какъ-нибудь загладить свое преступленіе. Наконецъ, будучи уже майоромъ, узналъ ее въ толстой богатой вдовѣ-купчихѣ, женился на ней, началъ пить вмѣстѣ ерофеичъ, браниться съ ней по военному, а она съ нимъ по-купечески; иногда доходило и до драки: онъ, какъ водится, справлялся съ своей дражайшей половиной кулаками и пинками, а она, какъ водится, отдѣлывалась отъ атакъ своего сожителя когтями и ухватами; проспавшись, они мирились, и такимъ образомъ въ мирѣ и любви прожили до глубокой старости. Братъ ея былъ отданъ въ полкъ, и старый майоръ писалъ къ нему поучительныя посланія, исполненныя нравственности овощныхъ лавочекъ, отличавшіяся канцелярско-мѣщанскимъ слогомъ. Все это у Ушакова

ужастъ какъ мило и занимательно и поучительно для всѣхъ вообще читателей, для провинціальныхъ въ особенности. Потомъ, въ седьмой книжкѣ «Библиотеки», уже за прошлый годъ, безъ васъ, помѣщена другая повѣсть Ушакова: «Піюша»; эта повѣсть названа почтеннымъ авторомъ карриатурой, и названа такъ не безосновательно. Ею-то займусь я здѣсь въ особенности, потому что она для васъ должна быть новостью.

Быль-жилъ въ Москвѣ Тихонъ Михеевичъ, сынъ небольшого чиновника, который оставилъ своему сыну душъ съ полсотни, плодъ взяточничества. Хотя почтенный Ушаковъ и не скрываетъ отъ своихъ читателей, что батюшка героя его повѣсти былъ воръ, однако замѣчаетъ, что онъ «пользовался расположеніемъ и одобреніемъ своихъ покровителей, дружбой своихъ товарищей и уваженіемъ всѣхъ знавшихъ его». Послѣ чего почтеннѣйшій Ушаковъ съ удивительной наивною прибавляетъ: «этотъ капиталецъ стоитъ нѣсколько ревизскихъ душъ!» Нечего сказать — хорошъ капиталецъ, хороша логика!.. Тихонъ Михеевичъ до сорока пяти лѣтъ волочился за дѣвужками, но шутницы всегда измѣняли ему, и онъ послѣ каждой измѣны со вздохомъ восклицалъ: «ахъ, измѣнницы!» Когда жъ ему минуло сорокъ пять лѣтъ, онъ не шутя задумалъ жениться на кубической или, какъ замѣчаетъ остроумный авторъ, эллипсоидической дурищѣ, Липашѣ. Несмотря на то, что Тихонъ Михеевичъ не зналъ «французскаго языка и теорій изящнаго, онъ зналъ хорошо дѣла, любилъ чтеніе, въ особенности былъ страстенъ къ стихамъ, говорилъ хорошо, судилъ здраво и мастерски писалъ дѣловыя бумаги». Мы должны прибавить еще, что онъ не только былъ мастеръ на дѣловыя бумаги и любилъ стихи, но и самъ былъ въ душѣ глубокой поэтъ, чему доказательствомъ можетъ служить слѣдующее четверостишіе его работы, сдѣланное имъ для своей глупой и уродливой невѣсты.

Кривошевна прелестна!
Лѣзя ль тебя мнѣ не любить?
Безъ тебя въ груди мнѣ тѣсно;
Не могу тебя забыть.

Несмотря на то, что Тихонъ Михеевичъ былъ чрезвычайно смѣшонъ и уродливой наружности, длиненъ до нелзя ростомъ, «онъ былъ человекъ умный, добрый и честный». Не правда ли, что такой герой для провинціальной повѣсти лучше всякаго Ахилла и Дяюра? Не правда ли также, что для столицы онъ рѣшительно не годится? — О! «Библиотека» знаетъ, какія нужны для провинціи повѣсти, а Ушаковъ знаетъ, какія нужны для «Библиотеки» повѣсти.

Тихонъ Михеевичъ женился, и вышла прекрасная пара: жена была мала ростомъ и

толстая, зато мужъ былъ длиненъ и худощавъ; оба были глупы, какъ нельзя больше, и мужъ съ большимъ резонансомъ могъ бы пропѣть этотъ куплетъ изъ одной старинной пѣсни:

Оекла, ты каррикатура,
Гуръ—петесамый чурбакъ;
Ты невинна, что ты дура,
Я невиненъ, что дуракъ!

Женясь, наши дурачки такъ развѣжились, что жена мужа стала называть Тиней, а мужъ жену—Пиюшей, и вотъ отчего повѣсть получила названіе «Піюши»; это же слово произведено отъ Олимпиады, а не отъ пьяницы (Піюша уже впоследствии сдѣлалась пьяницей, когда, къ немалому удовольствію своего сожителя, пристратилась къ пиву). Какъ любилъ Тихонъ Михеевичъ свою дражайшую половину, Боже мой, какъ онъ любилъ ее! Она была его утѣхой, радостью, игрушкой; она бросалась со всего размаха на его тонкія ноги, прыгала ему на шею, скакала по комнатамъ, такъ что дребезжали окна. Но земное счастье не прочно; рано или поздно, а долженъ же быть ему конецъ, и онъ насталъ, этотъ роковой конецъ, счастію вѣчнаго мужа. И что лишило блаженства добраго Тихона Михеевича: болѣзнь или смерть жены, чума или холера? О, нѣтъ, все не то! вѣкъ будете думать, а все не придумаете; только чудотворная фантазія Ушакова могла изобрѣсть такую ужасную и непредвидѣнную катастрофу супружескаго счастья. Слушайте и дивитесь,—какъ изобрѣтательна, какъ смѣла бываетъ провинціальная фантазія.

Однажды, когда Тихонъ Михеевичъ сидѣлъ въ туфляхъ, во фланелевой фуфайкѣ и любовался, какъ прыгала его ненаглядная Піюша, а она, говоритъ авторъ, «прыгала такъ увѣсисто, что каждымъ ея прыжкомъ можно было вколотить сваю на вершокъ, ему вдругъ пришла въ голову охота записать:

— «Піюша! Піюшечка моя! Піюсеночекъ. «Ну, что?» — Дай мнѣ табачку понюхать, моя милочка! — «Вишь какой! лѣнь самому встать!» — Изъ твоихъ пальчишекъ мнѣ пріятнѣе, мой котеночекъ! — «Хорошо, хорошо!» и Піюша сунула ему табакъ въ носъ. — Какъ пріятно! какъ вкусно! — говорилъ Тиха, протягивая губы къ толстымъ пальцамъ Піюши. — Любишь ли ты меня? — «Люблю». — А вотъ сейчасъ узнаю: . . . ! А . . . а . . . а . . . а . . . ! чихъ . . . правда! правда! — «Ну, такъ не люблю!» — Не любишь? . . . Нѣтъ, не правда. Не чихается! — «Понюхай еще!» и Піюша забила ему такую щепотъ, что Тиха, еще не донюхавши, расчихался. — «Ха, ха, ха! Вотъ видишь?» — По . . . постою . . . а . . . чихъ! . . . а . . . пос . . . той! . . . Вотъ . . . а . . . чихъ . . . Вотъ тебя! — «Я убѣгу!» — А я поймаю!

И Тихонъ Михеевичъ, раскинувъ руки и ноги въ сажень, началъ передвигаться направо и налево, ловя Піюшу, которая такъ прыгала, что стѣны дрожали.

— Поймалъ, поймалъ?.. Постою же, подъ арестъ тебя, подъ караулъ!

(Онъ усадилъ ее въ небольшія кресла, или табуретъ, стоявшій въ углу). Сиди тутъ! Смирно!.. Пока я не позволю. Смирно!

И, скорчившись, онъ началъ пачаться до самой двери, приговаривая: «сидѣть! сидѣть!» — Тутъ онъ, все скорчившись, приподнялъ обѣ ладони противъ лица и началъ мандить пальцами, крича: «цыцъ, цыцъ, сюда, сюда!» На этотъ крикъ Піюша вскочила и побѣжала. — Ахъ! — «Что случилось?»

Случилась бѣда, и какая бѣда! Вотъ здѣсь-то надо видѣть всю широту, всю размашистость кисти Ушакова, и удивляться ей! Дѣло вотъ въ чемъ: вамъ уже извѣстно, что Тиха посадилъ свою Піюшу въ табуретъ, который былъ съ ручками, какъ кресла, и такъ какъ содержащее было ограничеиіе содержимаго, то, когда Піюша побѣжала къ мужу, содержащее какъ будто обхватило содержимое и приросло къ нему. Какая картина! Дорого бы я далъ, чтобъ увидѣть ее въ натурѣ! О, Ушаковъ обладаетъ изобрѣтательнымъ гениемъ! Не всякому бы пришла въ голову такая чудная идея! — Піюша разсердилась и назвала своего мужа «толстолапымъ медвѣдемъ». Въ дверяхъ раздался хохотъ, излетавшій изъ горла молодого человѣка съ усами, отратительно нахальнаго вида. Это былъ Виссаріонъ Кривошеинъ, двоюродный братъ Піюши. Чудное лицо этотъ Виссаріонъ Кривошеинъ, или попросту Висяша! Онъ злодѣй—что передъ нимъ Францъ Мооръ? въ ученики не годится. Да, фантазія Шиллера должна замерзнуть передъ фантазіей Ушакова! Вы не можете представить, какъ я радъ, что русскій поэтъ побѣдилъ нѣмецкаго. А вѣдь знаете ли что? одна и та же причина произвела Франца Моора и Висяшу Кривошеина—ненависть къ пороку! Висяша былъ благодѣтельствованъ отцомъ Піюши, который его, сироту, выучилъ «французскому языку и другимъ наукамъ и отдалъ въ университетъ». Висяша не учился, пилъ и буянилъ въ трактирахъ, за что и былъ исключенъ изъ университета, но нисколько не унылъ отъ этого, а только назвалъ съ презрѣніемъ своихъ наставниковъ «отсталыми». Потомъ онъ поступилъ въ военную службу, кое-какъ дослужился до офицерскаго чина, послѣ чего былъ выгнанъ и изъ военной службы за свое нахальство и дерзость. Потомъ обаялъ своими дерзкими сужденіями одного помѣщика, который, возмѣвъ высокое понятіе о его достоинствахъ, поручилъ ему воспитаніе своихъ дѣтей; но такъ какъ Висяша сдѣлалъ ихъ негодяями, то и былъ выгнанъ изъ дому. Эта исторія повторилась съ нимъ и въ другомъ домѣ. Не правда ли, что Висяша мерзкій, негодный человѣкъ? Впрочемъ неудивительно, что онъ былъ такимъ: «Висяша судилъ и ридилъ о Фихте и о Гегелѣ, и былъ такъ убѣжденъ въ тождествѣ міровъ идеальнаго и реальнаго, что смѣло называлъ презрѣнными невѣждами тѣхъ, которые не понимали знаме-

нидаго тождества. Въ особенности плѣнился Висяша Шеллиновымъ. «И». Теперь дѣло, кажется, очень ясно: можетъ ли быть не буяномъ, не пьяницей и не нахаломъ человѣкъ, который читаетъ Фихте, Гегеля и Шеллинга, разсуждаетъ объ идентитетѣ и о Я?

Почтеннѣйшіе, за что такая ненависть къ философіи? Или хорошъ виноградъ, да зеленъ—набѣшь оскмину? Перестаньте подрыывать у дуба корни. поднимите ваши глазки вверхъ, если только вы можете поднимать ихъ вверхъ, и узнайте, что на этомъ-то дубѣ растутъ ваши желуди...

Обратимся къ Висяшѣ. Ему нечего было ѣсть, онъ вспомнилъ, что его кузина вышла за достаточнаго человѣка, и отравился къ ней. Онъ былъ принятъ Тишей радушно, Піюшей тоже, и, въ благодарность, началъ толковать Тишѣ, что онъ живетъ для того только, чтобъ жить, и пр., а Піюшу сталъ вразумлять, что ея мужъ—дуракъ. Потомъ сманилъ Піюшу и увезъ это сокровище отъ его обожателя. Тиша съ горя умеръ, и пр., и проч. Что жъ за идею хотѣлъ выразить Ушаковъ своимъ Висяшемъ? А вотъ какую:

«Мой Висяша существо не выдуманное и не занимавшее пзъ карикатуры Гюп-де-Карп. Нѣтъ, онъ существуетъ и духомъ, и плотью, но существуетъ не въ одномъ лицѣ, а въ тысячѣ, въ сотняхъ тысячъ лицъ. Геніемъ царитъ онъ надъ просвѣщенной Европой и сплится доказать, что онъ не болѣе и не менѣе, какъ духъ времени, представитель успѣховъ разума новѣйшаго и лучшаго поколѣнія».

Но что жъ тутъ худого? Если такъ, то, право, Висяша славный малый, и мы не понимаемъ ненависти къ нему почтеннаго Ушакова. Но, постойте, я сейчасъ найду ключъ къ разрѣшенію этого недоразумѣнія.

«Висяша теперь всѣмъ недоволенъ, даже и тѣмъ, что солнце свѣтитъ. Такъ, почтенный читатель, когда вы въ театрѣ, сидя въ креслахъ, съ удовольствіемъ смотрите на пьесу и на игру актеровъ и слышите, что позади васъ кто-то ропщетъ, презрительно насмѣхается и говорить въ полголоса, по-русски: «что за мерзость!» по-французски: «quelle horreur!» вы, не оглядываясь, знайте, что за вами сидитъ Висяша. Когда вы читаете хорошую книгу и, наслаждаясь ею въ душѣ, говорите спасибо автору, и вдругъ вамъ привносятъ журналъ, въ которомъ та же книга оцѣнена ниже поношенныхъ лаптей, поворите, что эта оцѣнка сдѣлана Висяшею».

А, такъ вотъ что! Вотъ въ чемъ вся бѣда-то! Понимаемъ!.. Ушаковъ теперь ужъ не критикъ, не рецензентъ; это ремесло не далось ему, и онъ оставилъ его; онъ теперь писатель, онъ ужъ не судья, а подсудимый! Конечно чего бояться хорошему автору? Какъ бы ни была злонамеренна критика, но она никогда не уронитъ хорошаго сочиненія, особенно художественнаго. Вѣдь и на Байрона напали съ ожесточеніемъ, вѣдь и Гёте пре-

слѣдовали запальчиво, а все-таки Байронъ остался Байрономъ, а Гёте—Гёте. За что жъ это ожесточеніе противъ рецензентовъ? Не есть ли это сознаніе своей посредственности, ропотъ авторитета, чувствующаго свое паденіе?.. Къ тому же давно ли почтенный Ушаковъ былъ такимъ грознымъ, такимъ неумолимымъ гонителемъ бѣднаго нашего театра? Давно ли онъ былъ такимъ неумолимымъ рыцаремъ противъ классиковъ и осыпалъ ихъ, бѣдныхъ, съ ногъ до головы картечью своихъ тяжело-словенскихъ остротъ, за немиліемъ чисто русскихъ?.. Что жъ это такое? Или сознаніе несправедливости своихъ прежнихъ мнѣній?.. Нѣтъ! не то означаетъ это отступничество отъ самого себя, это возвращеніе къ классицизму, это покровительство посредственности; тутъ есть двѣ другія причины; первая: Ушаковъ увидѣлъ, что онъ въ издѣшней запальчивости колотилъ своихъ; вторая: онъ хотѣлъ написать повѣсть для «Библіотеки» и слѣдовательно для провинціи, и тутъ, и тамъ онъ вѣроятно успѣлъ. Итакъ, поздравляемъ!..

Есть еще въ «Библіотекѣ» курьезная повѣсть «Бѣда, если бѣ не медвѣдь»; съ этой я познакомлю васъ какъ можно короче. Пропорщикъ Рамирскій влюбился въ княгиню Злотопольскую, прекрасную и молодую вдову. Будучи семнадцати лѣтъ, прелестная Марія вышла за семидесятилѣтняго скареда. Мужъ ея скоро заболѣлъ, а она передъ его смертію уѣхала въ Италію. Въ ея отсутствіе вкралась въ довѣренность издыхающаго скелета капитанша Дарья Климовна Борщъ, и въ слѣдствіе ея плутней князь сдѣлалъ такое завѣщаніе, что если княгиня выйдетъ замужъ по выбору капитанши, то наслѣдуетъ миліонъ двѣсти тысячъ; въ противномъ же случаѣ, должна удовольствоваться только стами тысячами, а остальные пойдутъ къ законнымъ наслѣдникамъ. Капитанша имѣла очень важную причину способствовать такому распоряженію со стороны стараго сластолюбца: у ней былъ племянникъ въ родѣ Митрофанушки, и за него-то прочла она княгиню. Эта, разумѣется, отказалась, взяла свои сто тысячъ, и очень скоро ихъ промотала. Между тѣмъ ея любезный Рамирскій возвратился изъ польской кампаніи уже поручикомъ, увѣшанный орденами, и началъ наступательно требовать руки княгини. Княгиня рѣшилась застрѣлиться, а передъ смертію задать пиръ на славу. Надобно сказать, что у капитанши былъ задушевный другъ, майоръ Фролъ Силычъ Торопенко, который питалъ удивительную симпатію къ скотамъ и любилъ ихъ выкармливать; такъ выкормилъ онъ медвѣженка и, тайкомъ отъ капитанши, держалъ его въ домѣ. Капитанша, напившись шампанскаго до несостоянія держаться на своихъ капитан-

скихъ ногахъ и намазавъ себѣ щеки мастикой своего изобрѣтенія, растворенной въ меду, легла въ комнату, смежной съ комнатою маіора. Вдругъ раздался крикъ: «Спасите! спасите! Умираю!»—Въ комнату ввалила толпа, а съ нею и Рамирскій—и что жъ представилось изумленнымъ глазамъ зрителей.

«Одна изъ любопытнѣйшихъ сценъ частной жизни. Медвѣдь, привлеченный медовымъ запахомъ мастики, позволилъ облизать Дарью Климовну и прехладнокровно облизывать ея тучныя ланиты.»

Какова сцена?.. И для кого она?.. Ужъ конечно не для столицы, а для провинціи!—Но посмотримъ, чѣмъ кончилось дѣло.

Рамирскій бросился въ комнату княгини, которой онъ отдалъ на сохраненіе свои пистолеты. Вбѣгаетъ, что жъ? Княгиня лежитъ на полу, распростертая передъ образомъ, а подлѣ нея, на полу, пистолетъ со взведеннымъ куркомъ. Ужасъ, да и только! Женщины, которая, первая изъ своего пола, хочетъ попробовать застрѣлиться!—Очевидно, что и этотъ эффектъ совершенно въ провинціальномъ духѣ, потому что и провинціальное воображеніе тоже находитъ неизъяснимую, таинственную прелесть въ ужасномъ (ужасномъ въ его вкусѣ).

А потомъ что? Разумѣется, Рамирскій заставилъ капитаншу дать слово, что она не будетъ противорѣчить княгинѣ въ выборѣ жениха, и застрѣлил медвѣдя. Ужасъ, какъ мило и затѣйливо. Въ этой же повѣсти авторъ, описывая петергофскій праздникъ перваго іюля и замѣчая, что въ этотъ день въ Петергофѣ заняты даже щели, говорить:

«Я хотѣлъ однажды описать, что дѣлается въ этихъ щеляхъ, но мнѣ сказали, что все это уже описано Поль-де-Кокомъ».

Жаль, право жаль! А это бы очень пригодилося для «Библіотеки» и слѣдовательно для провинцій.

Читали ль вы еще остроумную повѣсть Тимофеева «Утрехтскія происшествія»? Очень занимательная повѣсть: въ провинціяхъ, я думаю, всѣ безъ ума отъ ней. Въ ней описанъ бунтъ женщинъ противъ мужчинъ, которыхъ онѣ, при помощи какой-то волшебницы, спровадили подъ землю. Но что жъ вышло? Женщины скоро восчувствовали необходимость мужчинъ и поняли ихъ значеніе; перессорились между собой изъ лоскутковъ, раздѣлились на двѣ партіи; дѣло дошло до генеральнаго сраженія, обѣ враждующія стороны явились на мѣсто битвы съ оружіемъ въ рукахъ, но бросили это оружіе и вцѣпились другъ другу въ волосы и принялись въ потасовку. Здѣсь авторъ весьма основательно удивляется силѣ природы. Дѣло кончилось тѣмъ, что мужчины были возвращены. Какая злая и умная насмѣшка надъ сен-симонистами и надъ госпожей Дюдеванъ!..

Приведу еще примѣръ, который, какъ самый сильный, я съ умысломъ берегъ къ концу, чтобъ оправдать пословицу: «конецъ вѣнчаетъ дѣло». Есть въ «Библіотекѣ» повѣсть Шидловскаго: «Уѣздная Казначейша». Въ этой повѣсти между прочимъ повѣствуется, какъ толпа гулявшихъ вечеромъ по городу дамъ и кавалеровъ шла мимо казначеева огорода, плетень котораго во многихъ мѣстахъ обвалился, шла въ то время, когда въ огородѣ, въ густой и высокой крапивѣ, казначейша объяснялась въ любви какому-то мелкому уѣздному чиновнику, и какъ любопытная исправница, смекнувъ дѣломъ, поползла на четверенькахъ, чтобъ поближе рассмотреть неясно представлявшійся вечеромъ предметъ, и какъ собесѣдникъ казначейши вцѣпилъ исправницѣ въ лобъ полѣно...

Но я чувствую, что зашелъ далеко, что слишкомъ глубоко разрылъ эту кучу перепрѣлага и фосфорическаго навоза, что моимъ читателямъ можетъ сдѣлаться дурно; но я не виноватъ въ этомъ, я не выдумываю, а только представляю экстракты изъ тѣхъ изящныхъ произведеній, которыми лучшій русскій журналъ потчуетъ нашу публику...

IV.

Перехожу къ отдѣленію «Иностранной Литературы» въ «Библіотекѣ». Это почти то же, что отдѣленіе «Русской Литературы». Всѣ иностранныя повѣсти, подобно русскимъ, отъ первой строки до послѣдней провинкуты провинціализмомъ. Все, что составляетъ послѣдніе ряды французской литературы, все, что составляетъ балластъ французскихъ, иногда и англійскихъ журналовъ, что чуждо всякой изящности, что отзывается пустотой посредственностью, мелочностью и что отзывается провинціальнымъ остроуміемъ, провинціальной забавностью, все это переводится въ «Библіотекѣ». Тщетно стали бы вы искать въ этихъ повѣстяхъ анализа души и сердца человѣческаго, идей вѣка, взгляда на жизнь, глубокаго чувства, роскошной фантазіи; тщетно стали бы вы искать между этими повѣстями такой, которая бы заставила васъ или воскликнуть въ порывѣ восторга: «прекрасна жизнь!» или воскликнуть въ тоскѣ: «скучно жить на свѣтѣ!» Скорѣй вы воскликните, прочтя нѣсколько переводныхъ повѣстей «Библіотеки»: «скучно читать повѣсти въ «Библіотекѣ», очень скучно!..» Такъ какъ я обѣщавался ничего не говорить безъ доказательствъ, все подкрѣплять фактами, то приведу примѣра два, какъ ни скучно и ни тяжело для меня это. Въ одной, напримѣръ, повѣсти описывается, какъ одинъ чудакъ купилъ себѣ домъ, которымъ не могъ нарадоваться. Въ самомъ дѣлѣ, домъ былъ настоящее чудо, да вотъ бѣда, что онъ стоялъ на какомъ-то

перекрестномъ пунктѣ, котораго нельзя было миновать, куда бы вы ни ѣхали изъ тѣхъ мѣстъ, куда вамъ надо ѣздить, и вслѣдствіе этого къ чудаку стали заѣзжать въ гости и его, и женина родня и оставались у него по недѣлѣ и больше, чѣмъ, разумѣется, и разоряли его и надѣдали ему безмѣрно, такъ что онъ принужденъ былъ бросить свой домъ. Чудная, прелюбопытная и препоучительная повѣсть! Въ другой описывается, какъ одинъ французъ, начитавшись въ «путешествіяхъ» о прекрасныхъ чугуновыхъ дорогахъ, о прекрасныхъ паровыхъ дилижансахъ, объ отличныхъ трактирахъ въ Англіи, рѣшился посмотреть все это собственными глазами, и что жь?.. Въмѣсто прекрасныхъ чугуновыхъ дорогъ, онъ нашелъ мерзкую, тряскую, изрытую рытвинами дорогу; вмѣсто превосходныхъ паровыхъ дилижансовъ, онъ принужденъ былъ ѣхать въ одной повозкѣ, въ которой избилъ себя голову и намялъ бока, на тощихъ клячахъ, которыя, ступивши два шага впередъ, отступали шагъ назадъ; вмѣсто отличныхъ трактировъ, онъ провелъ часовъ шесть въ вонючей крестьянской лачугѣ, гдѣ чуть было не умеръ съ голоду. Вотъ и все тутъ. Какое же слѣдствіе долженъ вывести провинціальный читатель изъ этой повѣсти? А то, что чугуновые дороги Англіи существуютъ только въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», и что «славны бубны за горами!»—Вообще надо замѣтить, что эта поговорка принята «Библиотекой» за тезисъ, который она и развиваетъ самымъ ловкимъ образомъ. Провинція этому сочувствуетъ, это ободряетъ, и неудивительно: человекъ безграмотный съ особеннымъ удовольствіемъ слушаетъ брань на грамотность, потому что эта грамотность есть его позоръ и безславіе. Лстыть толпѣ всего выгодноѣ, это игра на вѣрняка. Кажется, «Библиотека» очень хорошо поняла эту истину. И зато, мнѣ извѣстно изъ самыхъ достовѣрныхъ источниковъ, что «Библиотека» проникла даже въ такія мѣста, куда едва проникали доселѣ азбуки и календари. Итакъ, честь и слава ея ловкости, ея дѣятельности!..

За отдѣломъ русской и иностранной словесности слѣдуетъ въ «Библиотецѣ» ученый отдѣлъ, подъ рубрикой «Науки и Художества». Этотъ отдѣлъ самый лучший; въ немъ встрѣчаются иногда статьи, истинно заслуживающія вниманія, истинно прекрасныя и любопытныя. Разумѣется, лучшія изъ этихъ статей по большей части переводныя; но случаются иногда хорошія изъ оригинальныхъ. Такъ напр., мы прочли нѣсколько занимательныхъ и мастерски написанныхъ отрывковъ изъ «Записокъ Дениса Васильевича Давыдова»; прочли статью, кажется, подъ названіемъ «Воспоминанія Сиріи»,—статью инте-

ресную, живую, проникнутую чувствомъ. Говорятъ, что сочинитель ея есть не кто иной, какъ редакторъ «Библиотеки»: мнѣ до этого нѣтъ дѣла; чья бы ни была статья, она прекрасна, этого для меня довольно. Итакъ, отдѣлъ «Наукъ и Художествъ» есть лучшій въ «Библиотецѣ», но онъ имѣетъ одинъ недостатокъ, и очень важный: къ этому отдѣлу нельзя имѣть полного довѣрія, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ переводнымъ статьямъ. Въ самомъ дѣлѣ, если читателямъ этого журнала извѣстно, что онъ не только поправляетъ и передѣлываетъ Бальзака, но даже укорачиваетъ выпусками оригинальныя статьи, какъ то было сдѣлано имъ съ статьей Шевырева «Сикстъ V», то кто жь имъ поручится, что, читая статью иностраннаго ученаго, они получаютъ понятіе о взглядѣ на извѣстный предметъ этого ученаго, а не какого-нибудь неизвѣстнаго (или, пожалуй, и извѣстнаго) рыцаря, который изъ-за знаменитаго имени представляетъ имъ свою незначительную личность?.. Это предположеніе тѣмъ основательнѣе, что всѣ статьи «Библиотеки», ученые и не ученые (исключая немногихъ оригинальныхъ), отличаются какимъ-то общимъ характеромъ и во взглядѣ, и изложеніи, а этотъ общій характеръ отличается какимъ-то провинціальнымъ брамбеизмомъ. Такая манера намъ кажется очень недобросовѣстной. Возьму для примѣра повѣсть Бальзака «Дѣдъ Горіо».—Для кого переводится въ журналахъ иностранныя повѣсти? Для людей, или не знающихъ иностранныхъ языковъ, или знающихъ, но не имѣющихъ средствъ пользоваться иностранными книгами. Теперь, для чего эти люди читаютъ иностранныя повѣсти? Я думаю, не для одной забавы, даже и не для одного эстетическаго наслажденія, но и для образованія себя, чтобы имѣть понятіе, что пишетъ тотъ или другой иностранный писатель и какъ пишетъ. Какое же понятіе получаетъ онъ о Бальзакѣ, прочтя его повѣсть въ «Библиотецѣ»?—Но «Библиотецѣ» до этого нѣтъ дѣла: она себя на умѣ, она смѣло придѣлываетъ къ «Старику Горіо» пошло-счастливое окончаніе, дѣлая Растиньяка милліонеромъ; она знаетъ, что провинція любитъ счастливыя окончанія въ романахъ и повѣстяхъ. Напротивъ, если она встрѣчаетъ въ иностранной статьѣ какую-нибудь плоскость во вкусѣ провинціи, то не выпуститъ ея; нѣтъ! она скорѣй свою прибавитъ. Такъ, въ шестой книжкѣ этого журнала, въ отдѣлѣ «Иностранной Словесности», есть статья очень забавная и занимательная—«Амброзіанскія Ночи». Въ ней двое пріятелей, Скотоводъ и Нортъ, разговариваютъ о безсмертіи души, а потомъ переходятъ къ переселенію душъ, и Скотоводъ сказалъ, что прежде, чѣмъ сдѣлался скотоводомъ, онъ былъ львомъ, и очень мило на-

чать рассказывать исторію своей львиной жизни.

«Нортъ. Скажи, пожалуйста, правда ли, что левъ предпочитаетъ человѣчье мясо всякому другому и, отбѣдавъ его однажды, обыкновенно дѣлается антропофагомъ?»

Скотоводъ. Онъ можетъ дѣлаться и можетъ не дѣлаться антропофагомъ, потому что я не знаю, что такое антропофагъ. Что касается до предпочтенія, оказываемаго имъ человѣческому мясу, то это много зависитъ отъ его качества и доброты. Я, напримѣръ, никогда не могъ безъ принужденія слѣсть старой бабы, какъ бы она жирна ни была, не говоря уже о старикахъ. А la longue, предпочиталъ я серну даже самой молоденькой и мягкой дѣвушкѣ. Дѣвчатица хороша въ двѣ, въ три педѣли разъ, а всякій день надоесть до смерти».

Спрашивается: для кого, какъ не для провинціи, переведена или, что вѣроятнѣе, придѣлана послѣдняя фраза?..

Но я началъ говорить объ ученомъ отдѣлѣ «Библиотеки»; возвращаюсь къ нему, чтобы сказать слова два объ одной изъ его статей: «Способности и мнѣнія новѣйшихъ путешественниковъ по Востоку». Эта статья оригинальная, мы даже знаемъ, кому она принадлежитъ, хотя подъ ней и не стоитъ никакого имени. Странно заглавіе этой статьи, но еще страннѣе ея содержаніе, и если бы я не попалъ на счастливую идею основанія, дѣли, усилій и успѣховъ «Библиотеки», выражаемыхъ однимъ словомъ «провинція», — то былъ бы принужденъ возложить на свои уста перстъ молчанія и сознаться, что умъ мой сталъ коротокъ или, другими словами, слѣлъ на пятки. Но, Аллахъ керимъ! теперь я догадался, такъ ни чему не дивлюсь и все понимаю. Знаете ли вы, Николай Ивановичъ, какая главная, основная мысль этой статьи?.. А вотъ какая: всѣ путешественники по Востоку врутъ и порютъ дичь, не понимая въ особенности Турціи, и именно не догадываясь, что Турція въ тысячу разъ цивилизованнѣе и образованнѣе Европы, что она пользуется не искусственной, фальшивой цивилизаціей, а истинной, основанной на нравственномъ достоинствѣ всѣхъ индивидуумовъ, составляющихъ эту имперію... Мысль по истинѣ смѣлая и совершенно новая!.. Знаете ли, что было сдѣлано со мной эта статья? Меня уже одинъ разъ и такъ обвиняли въ ренегатствѣ, какъ вамъ извѣстно, и обвиняли напрасно; но когда я прочелъ эту статью, то—дивитесь—чуть было въ самомъ дѣлѣ не сдѣлался ренегатомъ въ полномъ смыслѣ этого слова, и чуть было не укатилъ въ благословенную Турцію... Правда, мнѣ хорошо, очень хорошо и въ своемъ отечествѣ; правда, живя въ немъ, я каждый вечеръ засыпаю спокойно, въ полной увѣренности, что встану поутру живъ, что если могу умереть ночью, то по волѣ Божьей, а не по прихоти или злобѣ

людской; правда, я всегда смѣло хожу по улицамъ, не боясь, что меня кто-нибудь хватитъ кинжаломъ въ бокъ, да и былъ таковъ, или что начальникъ города велитъ посадить меня на колъ для своего удовольствія, или отдуть по пятамъ для наставленія на путь истинный; правда, я всегда увѣренъ, что если буду вести себя какъ слѣдуетъ благородному человѣку и не буду мѣшаться не въ свои дѣла, то никогда не узнаю даже, что такое заключеніе, тюрьма. Да! все это я знаю и во всемъ этомъ сердечно увѣренъ; но страна, гдѣ люди всѣ справедливы въ высшемъ значеніи этого слова, гдѣ они не дѣлаютъ зла не потому, чтобы боялись наказанія, а потому, что ненавидятъ зло... спрашиваю васъ, у кого же не родится сильнаго, непреодолимаго желанія взглянуть на эту страну хоть однимъ глазкомъ?.. А у меня, каюсь въ грѣхѣ, родилось даже преступное желаніе водвориться тамъ навѣки... Сказать правду, мнѣ приходило на мысль во-первыхъ сажаніе на колъ, потомъ палочное щекотаніе по пятамъ, далѣе прибиваніе гвоздемъ за ухо къ дереву, съ размалевкою лица медомъ, для накормленія насѣкомыхъ,—наконецъ, погруженіе женщинъ въ мѣшкахъ на дно морей и океановъ... Но что жъ, подумалъ я, можетъ быть мы, европейцы, принимаемъ въ этомъ случаѣ слова и вещи, забывая, что восточные жители, обладающіе пламеннымъ воображеніемъ, любятъ выражаться иносказательно, что сажать на колъ у нихъ означаетъ можетъ быть возносить человѣка наверхъ почестей и славы; бить по пяткамъ—посвящать въ кавалеры какого-нибудь ордена; что прибиваніе гвоздемъ за ухо значить симпатическій способъ лѣченія отъ какой-нибудь болѣзни, напр. отъ водянки или полнокрвія; что бросить женщину на дно моря, завязанную въ мѣшкѣ, значитъ завязать женщину въ мѣшокъ любви и бросить на дно сердца, или что-нибудь подобное... По счастью я вѣрю и вѣрилъ всегда, что какъ всякій народъ въ частности, такъ и человѣчество вообще могутъ быть одолжены своимъ нравственнымъ совершенствомъ только благодѣтельному вліянію христіанской вѣры, единой истинной вѣры на землѣ, а не чувственному и грубому магометанству. Эта увѣренность удержала меня, и только ей обязаны вы, что не лишились своего дѣятельнаго сотрудника, а отечество—вѣрнаго сына; безъ нея я носилъ бы теперь чалму, и можетъ быть имѣлъ бы случай на опытѣ перевести на прозаическій языкъ поэтическія выраженія жителей Востока. Впрочемъ надо вамъ сказать, что соблазнить такъ силенъ, что я долго еще колебался; оставилъ же совершенно свое намѣреніе не прежде, какъ попалъ на счастливую мысль, что «Библиотека»—журналъ провинціальныи, и что она часто съ умысломъ

отпускает провинціальныя *bons-mots*, къ числу которыхъ принадлежитъ и статья «Способности и мнѣнія путешественниковъ по Востоку».

За отдѣломъ «Наукъ и Художествъ» слѣдуетъ отдѣлъ «Промышленности и Сельскаго Хозяйства»; о немъ я умалчиваю, какъ о предметѣ для меня не интересномъ и совершенно мнѣ незнакомомъ. Слѣдующіе за нимъ отдѣлы, «Критика» и «Литературная Лѣтопись», вызываютъ меня—и я спѣшу къ нимъ.

«Критика» есть самый жалкій, самый плохой отдѣлъ, а «Литературная Лѣтопись» — одинъ изъ немногихъ отдѣловъ, которыми «Библиотека» по справедливости можетъ гордиться. Странное противорѣчіе!.. Какъ хотите, однакожь такъ въ самомъ дѣлѣ, и это опять не совсѣмъ удивительно: есть люди, у которыхъ ума хватаетъ на статью въ нѣсколько страницъ, но есть также люди, у которыхъ ума хватаетъ только на нѣсколько строкъ. Причина этому заключается въ раздѣлѣ труда, на который природа обращаетъ вниманія гораздо больше, чѣмъ политическая экономія. Притомъ же иному талантъ, иному два...

И не хочу нападать на явное отсутствіе добросовѣстности и благонамѣренности въ критическомъ отдѣлѣ «Библиотеки», не хочу указывать на безпрестанныя противорѣчія, на какое-то хвастовство умѣнемъ смѣяться надъ всѣмъ, надъ приличіемъ и истиной: обо всемъ этомъ много говорили другіе и мнѣ почти ничего не оставили сказать. Скажу только, что недобросовѣстность критики «Библиотеки» заключается въ какой-то непонятной и высшей причинѣ, кромѣ обыкновенныхъ и пошлыхъ журнальныхъ отношеній. Тю-тюджи-Оглу не навидитъ всякій родъ истинной славы, гонитъ съ ожесточеніемъ все, что ознаменовано талантомъ, и оказываетъ всевозможное покровительство посредственности и бездарности: Булгаринъ и Гречъ у него—писатели превосходные, таланты первостепенные, а Гоголь есть русскій Поль-де-Кокъ и конечно нейдетъ ни въ какое сравненіе съ этими геніями. Но это все уже старо и довольно пошло и скучно для повторенія: приведу примѣръ поновѣе и посвѣжее. Выходитъ новый романъ Лажечникова, произведеніе конечно не геніальное, не великое, не безсмертное, но ознаменованное печатью истиннаго дарованія, но дышащее живой, неподдѣльной теплотой, кипящее благороднымъ жаромъ, словомъ,—плодъ искренней, задушевной и образованной мысли, и въ то же почти время выходитъ какое-то бездарное произведеніе, подъ именемъ «Записокъ Горянова». Что же? Критикъ «Библиотеки» берется разсматривать въ одной статьѣ оба эти произведенія, отпускаетъ нѣсколько плоскихъ остротъ на счетъ перваго

и превозноситъ до небесъ послѣднее!.. Конечно это шутка, и для забавника очень удачная, потому что умные тотчасъ догадуются, что онъ «изволить потѣшаться», и не придутъ въ сомнѣніе на счетъ его ума и вкуса, а глупые подивятся его уму и вкусу и повѣрятъ ему на-слово: въ томъ и другомъ случаѣ расчетъ вѣрный и шутка хоть куда!—Все такъ, но можетъ ли и долженъ ли человѣкъ, для котораго истина что-нибудь значить, который имѣетъ уваженіе къ своему человѣческому достоинству, можетъ ли и долженъ ли онъ такъ шутить?.. Нѣтъ, воля ваша, а тутъ что-нибудь да не то! Этотъ таинственный Тю-тюджи-Оглу—кто онъ?.. Ужъ не турокъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ? Ужъ не для того ли онъ усвоилъ себѣ европейскую образованность и знаніе нашего языка и нашихъ обычаевъ, чтобы отомстить намъ за униженіе своего отечества, сбивая съ прямого пути образованія наши провинціи, смѣясь такъ злодѣйски и надъ правдой, и надъ нами самими?.. Чего добраго—съ нами крестная сила!.. Но не одной недобросовѣстностью удивляетъ отдѣлъ «Критики» въ «Библиотекѣ»: онъ сверхъ того носитъ на себѣ отпечатокъ какой-то непосредственности, какой-то скудости, негибкости и нерастяжимости ума, котораго не становится даже на нѣсколько страницъ. Но нашъ критикъ умѣетъ этому помочь: на двѣ строки своего сочиненія онъ выписываетъ двѣ, три, четыре страницы изъ разбираемой книги и этимъ часто избавляетъ себя отъ большихъ затрудненій. Да и въ самомъ дѣлѣ, что бы онъ сталъ писать, онъ, для котораго не существуетъ никакихъ теорій, никакихъ системъ, никакихъ законовъ и условій изящнаго? Намъ скажутъ, что всего этого не существуетъ и для знаменитаго Жюль-Жанена, который, несмотря на то, говоритъ обо всемъ, даже о томъ, о чемъ не имѣетъ никакого понятія; намъ скажутъ, что остаются еще личныя впечатлѣнія, и что критикъ можетъ ихъ излагать. Все это такъ, да въдѣ личныя впечатлѣнія, получаемыя образованнымъ человѣкомъ отъ какого-нибудь произведенія, непремѣнно должны быть согласны съ той или съ другой теоріей, системой или по крайней мѣрѣ съ тѣмъ или другимъ закономъ изящнаго, потому что, даже оставляя въ сторонѣ теоріи и системы, теперь извѣстны многіе законы, выведенные изъ самой сущности творчества; притомъ можно ли говорить хорошо о прекрасныхъ впечатлѣніяхъ отъ такой книги, которая нагнала на васъ скуку?.. Нѣтъ, очень понятно, отчего критики Тю-тюджи-Оглу такъ тощи, сухи и скудны даже источниками изобрѣтенія, даже общими мѣстами. Онъ написалъ только двѣ критики, которыя могутъ служить образцомъ журнальной политики и ловкости. Первая—

на «Черную Женщину» Греча, гдѣ критикъ очень ловко и знаменательно изложилъ теорію анатоміи, физиологіи, электричества и магнетизма человѣческаго тѣла и, не сказавъ ничего о романѣ, сказалъ только, что онъ говоритъ о всякой книгѣ, которую хочетъ пустить въ ходъ, — что онъ ни на одномъ языкѣ земного шара не читалъ такого прекраснаго произведенія. И что жъ было слѣдствіемъ этой критики? Разумѣется, провинція, думая найти въ романѣ Греча всѣ чудеса, которыхъ она не понимаетъ и о которыхъ такъ хорошо говорилъ критикъ, раскупила «Черную Женщину». Оно и прекрасно: критикъ и себя показалъ, и пріятеля одолжилъ! — Вторая — на романъ Булгарина «Мазепу», гдѣ критикъ какъ будто нападаетъ на автора за духъ новѣйшаго литературнаго неистовства, а между тѣмъ изложеніемъ содержанія и выписками изъ романа показываетъ, что разбираемое имъ сочиненіе написано въ совершенно неистовомъ духѣ, такъ соблазнительномъ для провинціи. Слѣдствіе критики было опять то же самое! — Позвольте, виновать, я еще забылъ третью — на «Роксолану» Кукольника; эта критика не только умно и основательно написана, но даже и добросовѣстна. Странно только, что критикъ, уничтожая въ прахъ эту драму, осыпаетъ ея автора съ головы до ногъ комплиментами, которые напоминаютъ стихъ изъ «Горя отъ ума»:

Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ.

Слѣдствія этой критики были совсѣмъ другія, нежели двухъ прежнихъ: Кукольникъ нашелся принужденнымъ защищать и хвалить самъ себя въ «Сѣверной Пчелѣ».

Итакъ за цѣлые два года въ «Библіотекѣ» была только одна критика, и умная, и безпристрастная вмѣстѣ, критика на «Роксолану», да двѣ критики недобросовѣстныя, но очень ловкія: на «Черную Женщину» и «Мазепу». Всѣ прочія, исключая недобросовѣстности, чрезвычайно неловки, неудачны, холодны, водяны и состоятъ большею частью изъ выписокъ изъ разбираемыхъ сочиненій. Конечно это самый легкій способъ писать въ самое короткое время самыя большія критики, и, сказать правду, критикъ «Библіотеки» въ высочайшей степени владѣетъ этимъ искусствомъ!

Теперь слѣдуетъ «Литературная Лѣтопись». Какъ плохо въ «Библіотекѣ» отдѣлъ критики, такъ хороша ея «Литературная Лѣтопись». Въ этомъ отдѣлѣ рецензентъ хотя также угождаетъ провинціи, но имѣетъ въ виду и столицу. О добросовѣстности и безпристрастности «Литературной Лѣтописи» много говорить нечего; находить въ ней что-нибудь удивительное и чрезвычайное было бы странно; по ей нельзя отказать въ одномъ, очень важномъ, достоинствѣ: въ ловкости, умѣньи, зна-

ніи литературной манеры, въ шутовствѣ и часто остроуміи. Въ «Сынѣ Отечества» утверждаютъ, что передъ авторомъ «Литературной Лѣтописи» ни гроша не стоитъ ни Менцель, уступающій ему въ обширности и глубокости свѣдѣній, ни Жюль-Жаненъ, который славится остроуміемъ и не имѣетъ сотой доли насмѣшливости критика «Библіотеки для Чтенія». Я не шучу: эти слова, право, напечатаны въ «Сынѣ Отечества». Но я этому не дивлюсь, не дивитесь и вы: я знаю, кто написалъ эти строки. Въ мірѣ физическомъ есть существа столь маленькія, что для нихъ все горы да утесы; вы помните басню Крылова, въ которой крыса извѣщаетъ свою куму, что врагъ ихъ, кошка, попала въ когти льву; но кума не повѣрила, говоря, что сильнѣе кошки звѣря нѣтъ?.. Итакъ, дѣло не о томъ. Что касается до учености, ею нынче трудновато обморочить: всѣ знаютъ, откуда она почерпается и какими средствами составляется. Напишите намъ книгу съ систематическимъ изложеніемъ предмета съ новой точки зрѣнія, и тогда мы извѣсимъ вашу ученость и поклонимся ей; а на три страницы у кого не станеть учености и ума? Что же касается до удивительнаго остроумія критика «Библіотеки», то мы все-таки не видимъ, почему Жюль-Жаненъ долженъ сократиться въ нуль передъ его остроуміемъ. Тайна остроумія рецензента «Библіотеки», значительности и занимательности «Литературной Лѣтописи» заключается больше въ современности способа выраженій и знаніи литературнаго такта, нежели въ истинномъ остроуміи. Чтобы дѣло было яснѣе, укажу на «Сѣверную Пчелу», этотъ неистощимый рудникъ тупоумныхъ рецензій. Выходитъ трагедія Лобанова, и «Пчела» начинаетъ жужжать: «Злополучный Борисъ. Развѣ мало тебѣ, что при жизни терпѣлъ ты отъ козней бояръ, отъ преслѣдованій враждебной тебѣ судьбы, отъ злыхъ навітовъ и отъ Гришки? Тебѣ и за громомъ нѣтъ спокойствія! Начиная съ Нарѣжнаго и кончая М. Г. Лобановымъ, всякій поднимаетъ тебя изъ могилы, бѣдный старецъ; выводитъ на позорище, заставляетъ говорить такія вещи, которыхъ тебѣ никогда и въ голову не приходило. Бѣдный Борисъ!» — Бѣдная «Пчела!» скажемъ мы отъ себя... Выходитъ казарменный романъ, и она пускается въ предлинное и прескучное поученіе о томъ, что книги должны издаваться опрятно, потому что ихъ читаютъ дамы. Въ рецензіяхъ «Библіотеки» нельзя найти такихъ пошлостей, такихъ беззубыхъ остротъ, такой тупоумной шутовщины, такихъ истертыхъ, истасканныхъ общихъ мѣстъ. «Библіотека» смѣется не всегда остроумно, но всегда умно или по крайней мѣрѣ — никогда глупо. Жаль только, что ея рецензентъ иногда покупаетъ свое остроуміе

незаконными средствами. Мы, право, не понимаемъ, что хорошаго или забавнаго въ томъ, что онъ смѣшиваетъ глупаго автора или пошлаго издателя чужихъ сочиненій съ содержателемъ типографіи, въ которой напечатана дурная книга. Такъ, напримѣръ, онъ укорялъ Степанова, нашего почтеннаго типографика, шестой годъ служащаго своими неутомимыми ставками «Телескопу» и «Молвь», будто онъ, Степановъ, вмѣстѣ съ Гурьяновымъ подаль лакеямъ дурной примѣръ присвоенія чужой собственности и пропѣлъ пѣниссимо неблагопріобрѣтенныя пьесы изданнаго послѣднимъ сборника... Стыжусь вчужѣ, напоминая о такомъ жалкомъ поступкѣ рецензента; какъ онъ, при всемъ своемъ умѣ и всей своей смѣлвости, не понялъ, что клевета не есть остроуміе, и что въ этомъ отношеніи его рецензія пропѣта препіаниссимо?.. Не понимаемъ также, что за странная замашка у рецензента «Библіотеки», выписывая отрывокъ изъ разбираемой имъ книги, вставлять въ выписку пошлости своего изобрѣтенія и приписывать ихъ автору разбираемаго имъ сочиненія, какъ онъ сдѣлалъ это напримѣръ съ Кони, при разборѣ его водевилы «Иванъ Савельичъ». — Повторяемъ опять, неужели клевета есть остроуміе? Если остроуміе, то ужъ, безъ сомнѣнія, провинціальное, а не столичное!

«Смѣсь» составляетъ послѣдній отдѣлъ «Библіотеки», одинъ изъ лучшихъ, изъ самыхъ занимательныхъ и самыхъ полныхъ. Тутъ вы найдете все: и брань на французскую литературу, и остроты надъ французскими водевилями, — остроты, цѣликомъ взятые изъ французскихъ же журналовъ, и ученые извѣстія, и пр., и пр. Я думаю, что такой отдѣлъ необходимъ для всякаго журнала, какъ десертъ для стола. Конечно, чтобы хорошо составлять подобную смѣсь, нужно быть только «великимъ человѣкомъ на малыхъ дѣлахъ»; но журналъ — странная вещь, и если для него нужны люди, способные на что-нибудь прекрасное и даже великое, то не менѣе ихъ нужны и великіе люди на малыхъ дѣлахъ. Редакторъ «Библіотеки» хорошо понялъ это, и новый Протей преображается по своей волѣ и въ повѣствователя, и въ ученаго, и въ критика, и въ рецензента, и въ составителя «Смѣси»; жаль только, что во всемъ этомъ онъ сохраняетъ одинъ тонъ, одну манеру, одинъ духъ, употребляетъ одніе замашки...

Довольно — я у берега! Пора оставить «Библіотеку для Чтенія», оставить во всѣхъ отношеніяхъ, въ полномъ смыслѣ этого слова. Но какое же слѣдствіе выведу я изъ всего сказаннаго мною объ этомъ журналѣ? Слѣдствіе у меня должно сойтись съ приступомъ: «Библіотека» есть журналъ провинціальныи, и въ этомъ заключается тайна ея могущества,

ея силы, ея кредита у публики. Выкинь она стихотворный отдѣлъ, выкинь повѣсти Заголкина, Ушакова, Тимофеева, Брамбеуса, Булгарина, Масальскаго, Маркова, Степанова и другихъ, замѣни ихъ повѣстями Марлинскаго, Одоевскаго, Павлова, Полевого, Гоголя; переводи повѣсти лучшихъ писателей современной Европы; перемѣни свой принципскій тонъ; введи критику строгую, безпристрастную, основательную — и трехъ четвертей подписчиковъ у ней какъ не бывало!.. Впрочемъ нельзя не дивиться вѣрному разсчету, съ которымъ она основана, неизмѣяемости и постоянству ея направленія, вѣрности самой себѣ, аккуратности въ изданіи и, надо сказать правду, хорошему языку, особливо въ переводныхъ статьяхъ, въ чемъ ей должны уступить всѣ наши журналы; наконецъ, ея дѣятельности, проворству, а болѣе всего — ея безсмѣнному и настоящему редактору.

Теперь мнѣ должно говорить о «Сынѣ Отечества», но я ничего не могу о немъ сказать, потому что не только не читалъ, даже не видалъ его, какъ ни старался объ этомъ. «Сынъ Отечества» у насъ въ Москвѣ считается какимъ-то призракомъ-невидимкой, о существованіи котораго всѣ знаютъ, но котораго никто не видитъ. «Сынъ Отечества» самъ замѣтилъ, самъ созналъ эту странность и сомнительность своего существованія, и вздумалъ нынѣшній годъ возродиться, т.-е. перемѣнить цвѣтъ своей обложки и блеснуть критикой — да, критикой!.. Этой диковинки я кое-какъ добился. И что жъ? Въ самомъ дѣлѣ, возрожденный журналъ размахнулся со всего плеча критической статейкой, въ которой началъ похвалиться — чѣмъ бы вы думали? — безпристрастіемъ!.. Какова же эта критика, спросите вы? Отвѣчаю вамъ: ее написалъ ВВВ., авторъ очень плохихъ повѣстей, жалкій перелагатель Бальзака на русско-мѣщанскіе нравы, рецензентъ «Сѣверной Пчелы» и, наконецъ, отставной сотрудникъ «Библіотеки», какъ увѣряетъ въ этомъ публику сама «Библіотека»... Итакъ, довольно о критикѣ возрожденнаго «Сына Отечества»: есть вещи, которыя стоятъ только назвать по имени, чтобы дать о нихъ настоящее понятіе!.. Перехожу къ «Пчелѣ».

Вамъ извѣстно, что «Пчела» жужжитъ уже давно, что она любитъ и ужалить, въ чемъ ей, разумѣется, никогда не удастся, потому что жало ея тупо. Вамъ извѣстно также, что этотъ журналъ есть двойчатка: одну половину его составляютъ политическія извѣстія, а другую — разныя разности. Бѣда большая припла бы этимъ разнымъ разностямъ, если бы отъ нихъ отнять политическія извѣстія. Вы, почтенный Николай Ивановичъ, не читаете «Пчелы» (ея и многіе давно ужъ не читаютъ), но вы нѣкогда ее читали: она все та же, надъ ней тяготѣетъ все тотъ же уровень золотой

посредственности, непрежнему она судить и рядить обо всемъ, бранить и хвалить одну и ту же книгу, отъ чего, разумѣется, для книги ни лучше, ни хуже; словомъ, «Пчела» — журналъ ежедневный, нуждается въ оригиналѣ, и готова помѣстить брань на все, кромѣ самой себя. Я не буду слишкомъ распространяться о «Пчелѣ», я укажу только на одну ея характеристическую черту. Авторъ критическаго размаха возрожденнаго «Сына Отечества» ужасно расхваливаетъ «Пчелу» и находитъ въ ней одинъ только порокъ. «Пчела», говоритъ онъ, вообще отличается безпристрастіемъ (?!), и ее можно только укорить въ излишней добротѣ: она печатаетъ слишкомъ много похвалъ! Впрочемъ, хотите ли имѣть талисманъ, чтобъ узнавать, какая статья принята по доброй волѣ и какая статья подсухута ей насильными просьбами? Это очень просто: подъ статьями послѣдняго рода всегда пишется роковое слово: «сообщено». Что это такое? Насмѣшка надъ публикой, ругательство надъ здравымъ смысломъ? Какъ? Стало быть, журналистъ имѣетъ право расхвалить дурную книгу и разбранить хорошую, если поставитъ подъ своей статьей словечко «сообщено»?.. Стало быть, онъ имѣетъ право принять въ свой журналъ чужое и притомъ нелѣпое мнѣніе о той или другой книгѣ, не читавши этой книги, или думая о ней иначе, и правъ, когда поставитъ подъ глупой рецензіей «сообщено»?.. Послѣ этого можно ли даже упоминать о «Пчелѣ»?..

А знаете ли вы о войнѣ, которую «Пчела» ведетъ противъ «Библіотеки»? Вотъ потѣхато! Ну, такъ и рвется, что есть мочи! Бѣдная! мнѣ жаль ее! Какимъ тупымъ оружіемъ сражается она съ мощнымъ врагомъ, который не удостоиваетъ ее даже взгляда; какъ неловко, неуклюже нападаетъ на него она, которая недавно, очень недавно, такъ низко кланялась ему, такъ усердно прославляла его!

Враги! — давно ли другъ отъ друга
Ихъ жажда злата отвела?..

Въ одномъ изъ номеровъ «возрожденнаго» старца помѣщена критическая статейка пѣвшаго Павла Крутенева, автора очень плоской книжонки, на барона Брамбеуса: прочтите ее, когда вамъ будетъ слишкомъ грустно. Можетъ быть вы заплачете, только не отъ горя, а отъ смѣха...

Теперь бы мнѣ слѣдовало говорить еще объ одномъ литературномъ петербургскомъ журналѣ, да я его и въ глаза не видалъ. Вы догадываетесь, что я говорю о «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Инвалиду», которыя справедливо бы было назвать «Инвалидными Потвореніями Литературы». Скорѣе можно открыть въ Москвѣ допотопную мамонтову кость, чѣмъ найти этотъ журналъ. И между тѣмъ «Московскія Вѣдомости» и «Пчела» увѣ-

домляли о его изданіи на нынѣшній годъ; стало быть онъ существуетъ. Говорятъ, что почтенный издатель этого журнала-невидимки очень сильно ругаетъ противъ «Библіотеки для Чтенія» и нашего журнала: можетъ быть! да почему жъ бы и не такъ? Почтенный старецъ самъ пишетъ, самъ и читаетъ, слѣдовательно, никому зла не дѣлаетъ, слѣдовательно его бранныя выходки суть не что иное, какъ невинная забава на старости лѣтъ. Итакъ, въ часть добрый! — пусть продолжаетъ тѣшиться!

И вотъ всѣ литературные петербургскіе журналы! Несмотря на разность ихъ направленія и неравенство въ силахъ, всѣ они стремятся къ одной цѣли — къ мирному и единомудушному преуспѣянію въ наградѣ за труды и хлопоты, и потому всѣ они очень не любятъ беспокойныхъ крикуновъ, мѣшающихъ ихъ мирнымъ и полюбовнымъ сдѣлкамъ между собой и съ публикой. Они стараются жить въ ладу другъ съ другомъ, и если у нихъ бываютъ между собой размолвки, то всегда не изъ пустяковъ какихъ-нибудь, не изъ вздорныхъ мнѣній объ изищномъ, о безпристрастіи, добросовѣстности и другихъ подобныхъ бездѣлкахъ, но всегда изъ чего-нибудь важнаго, существеннаго и необходимаго въ жизни. Одни изъ нихъ (такъ какъ ихъ немного, то и не считаю за нужное называть по именамъ) плывутъ на всѣхъ парусахъ, дѣлаютъ обороты большіе, оптовые; другіе, не столь сильные, изворачиваются и такъ, и сякъ, и иногда въ мутной водѣ вынимаютъ ловы довольно счастливые. Если жъ мелкіе извороты имъ не удаются, если кредитъ ихъ у публики падаетъ, то они прибѣгаютъ къ возрожденію или къ перерожденію, смотря по обстоятельствамъ. Если у нихъ нѣтъ чего другаго, зато они могутъ похвалиться постоянствомъ, дѣятельностью, устойчивой въ условіяхъ, разумѣется, внѣшнихъ, касающихся до выхода номеровъ, качества бумаги, цвѣта обложки и тому подобнаго. Однимъ словомъ, одни оптомъ, другіе по мелочи — но, какъ бы ни было, всѣ болѣе или менѣе успѣваютъ въ своихъ намѣреніяхъ.

Совсѣмъ другое зрѣлище представляютъ московскіе журналы настоящаго времени. Въ нихъ можно замѣтить и мысль, и какіе-то порывы благородные и чуждые внѣшнихъ разсчетовъ, большое усердіе къ своему дѣлу и вмѣстѣ съ тѣмъ всегда неудачу, неуспѣхъ, какую-то медленность и вслѣдствіе этого неустойку во внѣшнихъ условіяхъ программы; словомъ, московскіе журналы — люди добрые и честные, но какіе-то злополучные, какъ будто бы подъ несчастной звѣздой рожденные и съ самаго начала своего существованія осужденные на бѣдствія. Всмотритесь въ нихъ пристальнѣе: что это такое? Идутъ, ка-

жется, къ цѣли опредѣленной, видимой, а все не доходятъ до нея, а все сбиваются съ пути, ворочаются назадъ, начинаютъ свое путешествіе снова, а все ни шагу впередъ!.. Всегда постоянны въ цѣли, они никогда не постоянны въ средствахъ, противорѣчатъ сами себѣ, не вѣрны своей идеѣ, хотя и никогда не измѣняютъ ей. А злые-то петербургскіе собратія тому и рады: видя неудачи, смѣются; слыша себѣ громкіе и справедливые укоры, выставляютъ въ отвѣтъ числа своихъ подписчиковъ. Странное дѣло! То ли были московскіе журналы назадъ тому не больше какъ два года? Что тогда были передъ ними петербургскіе журналы? Притча во языцѣхъ, предметъ посмѣянія!—А теперь, кажется, произошелъ размѣнъ въ роляхъ!.. Грустно, и однакожь справедливо!..

Но къ чему я пою такую жалобную прелюдію? Не будетъ ли эта прелюдія длиннѣе самой пѣсни, эта присказка длиннѣе самой сказки? Гдѣ они, эти московскіе журналы, о которыхъ я собираюсь говорить? Много ли ихъ?.. Передо мною носится, какъ бы на крылахъ бури, множество призраковъ, но все это тѣни бойцовъ умершихъ... А живые... о, грустно!

О какихъ московскихъ журналахъ буду я говорить?.. Много ли ихъ? Мнѣ бы слѣдовало начать съ «Телескопа» и «Молвы», подражая петербургскимъ журналамъ. Тамъ на этотъ счетъ не слишкомъ застѣнчивы и скромны. «Библіотека для Чтенія» давно ужъ объявила, что такой журналъ, какъ она, «былъ настоящей потребностью публики». Если бы писавшій эти строки прибавилъ «провинціальной», то мы ни мало не подивились бы его откровенности, которой онъ самъ дивится. «Пчела» безъ зазрѣнія совѣсти объявила, что она между газетами то же, что «Библіотека» между журналами, что ее рецензіи прекрасны и всѣ статьи превосходны. Соблазнительный примѣръ откровенности! Но, говорить пословица, «что городъ, то норовъ, что село, то обычай»: въ Петербургѣ изстари заведено, между журналами и литераторами, хвалить себя самихъ, если другіе не хвалятъ; въ Москвѣ же, напротивъ, это всегда почиталось неприличнымъ и смѣшнымъ. И потому я, слѣдуя московскому обычаю, умалчиваю о «Телескопѣ» и «Молвѣ». Вы сами, почтеннѣйшій издатель, вслѣдствіе вашего отсутствія, имѣете полное право быть судьей этихъ журналовъ, какъ они издавались безъ васъ. Я поручусь только за добросовѣстность и усердіе свое; объ исполненіи судите сами. Поспѣшу къ «Московскому Наблюдателю».

Петербургскіе журналы увѣряютъ, что «Наблюдатель» основанъ съ цѣлью уронить «Библіотеку», и видятъ въ этомъ большую злонамеренность. Мы этому не вѣримъ, во-пер-

выхъ, потому, что уронить «Библіотеку» трудно: книга большая, толстая, жирная, какъ увѣряла насъ сама «Библіотека», а какъ жиръ и сало тождественны, то и салная, прибавимъ мы отъ себя; во-вторыхъ, мы скорѣе можемъ предположить, что «Наблюдатель» основанъ съ цѣлью сдѣлать реакцію дурному и вредному вліянію «Библіотеки» на нашу публику, и въ этомъ мы не только не видимъ ничего худого или предосудительнаго, но видимъ много хорошаго и благороднаго. По объявленію «Наблюдателя» было замѣтно, что это будетъ журналъ дѣятельный, настойчивый, упорный, журналъ съ мнѣніемъ, направленіемъ, характеромъ. Имена участниковъ въ изданіи утверждали насъ въ этой вѣрѣ. Мы ждали «Наблюдателя» съ нетерпѣніемъ, какъ торжества Москвы надъ Петербургомъ, какъ побѣды честной литературной дѣятельности надъ литературной промышленностью. Въ самомъ дѣлѣ, журналъ новый, юный, съ свѣжими, неистощенными силами, съ прекрасными именами, съ хорошей репутаціей еще до своего рожденія—чего мы не были въ правѣ надѣяться отъ него?.. Правда, искушенные холоднымъ опытомъ, обманутые не разъ въ самыхъ лучшихъ своихъ надеждахъ, утратившіе вѣру въ авторитеты, мы иногда задумывались грустно, улыбались недовѣрчиво, но неужели же «Библіотека», литературная промышленность и посредственность должны торжествовать, неужели же голосъ правды уже безсилень, уже заглушенъ кликами: «къ намъ, къ намъ, у насъ лучше?» восклицали мы и ласково, съ улыбкою посматривали на объявленіе о новомъ журналѣ. Наконецъ онъ появился: вышла книжка — Петербургъ привсталъ; вышла другая — Петербургъ пріосанился и улыбнулся; вышла третья, четвертая — Петербургъ захохоталъ, смотря на пронесшуюся мимо него бурю; Москва пріуныла — и наши надежды разлетѣлись въ прахъ!.. Да, господа, прекрасно очарованіе, мила вѣра въ достоинство всего, что хочется видѣть хорошимъ, но и холодный скептицизмъ имѣетъ свою добрую сторону: если съ нимъ слишкомъ мучаетъ васъ зѣвота, зато съ нимъ не попадешь въ дурачки, а быть въ дурачкахъ всего хуже!..

Прежде нежели мы объяснимъ, почему «Наблюдатель», обладая всѣми средствами, необходимыми для журнала, нисколько не оправдалъ надеждъ, которыя подавалъ о себѣ, мы должны сказать, что онъ въ самомъ дѣлѣ былъ предпріятіемъ честнымъ, добросовѣстнымъ, благонамѣреннымъ, что редакция его употребляла и употребляетъ всѣ средства сдѣлать его лучшимъ, что она не щадила для этого ни издержекъ, ни труда. Роскошное, великолѣпное изданіе, полнота книжекъ, мелкій шрифтъ статей доказываютъ это. Со стороны

своей благонамѣренности «Наблюдатель» не измѣнитъ своей программѣ; но благонамѣренность и талантъ или умѣнье, къ несчастью, не одно и то же!..

Журналъ долженъ имѣть прежде всего физиономію, характеръ; альманачная безличность для него всегда хуже. Физиономія и характеръ журнала состоятъ въ его направленіи, его мнѣніи, его господствующемъ ученіи, котораго онъ долженъ быть органомъ. У насъ въ Россіи могутъ быть только два рода журналовъ—ученые и литературные; говоря: могутъ быть, я хочу сказать—могутъ приносить пользу. Журналы собственно ученые у насъ не могутъ имѣть слишкомъ обширнаго круга дѣйствія: наше общество еще слишкомъ молодо для нихъ. Собственно литературные журналы составляютъ настоящую потребность нашей публики; журналы учено-литературные, искусно дирижируемые, могутъ приносить большую пользу. Теперь, какія мнѣнія, какое ученіе должны господствовать въ нашихъ журналахъ, быть главнымъ ихъ элементомъ? Отвѣчаемъ, не задумываясь: литературныя, до искусства, до изящнаго относящіяся. Да, это главное! Вы хотите издавать журналъ съ тѣмъ, чтобы дѣлать пользу своему отечеству, такъ узнайте жъ прежде всего его главныя, настоящія, текущія потребности. У насъ еще мало читателей; въ нашемъ отечествѣ, составляющемъ особенную, шестую часть свѣта, состоящемъ изъ шести милліоновъ жителей, журналъ, имѣющій пять тысячъ подписчиковъ, есть рѣдкость неслыханная, диво дивное. Итакъ, старайтесь умножить читателей: это первая и священнѣйшая ваша обязанность. Не пренебрегайте для этого никакими средствами, кромѣ предосудительныхъ, наклоняйтесь до своихъ читателей, если они слишкомъ малы ростомъ, пережевывайте имъ пищу, если они слишкомъ слабы, узнайте ихъ привычки, ихъ слабости и, соображаясь съ ними, дѣйствуйте на нихъ. Въ этомъ отношеніи нельзя не отдать справедливости «Библіотекѣ»: она надѣлала много читателей; жаль только, что безъ нужды слишкомъ низко наклоняется, такъ низко, что въ рядахъ своихъ читателей не видитъ никого ужъ ниже себя; крайности во всемъ дурны; умѣйте наклонить и заставьте думать, что вы наклоняетесь, хоть вы стоите и прямо. Потомъ вторая ваша обязанность, развивая и распространяя вкусъ къ чтенію, развивать вмѣстѣ и чувство изящнаго. Это чувство есть условіе человѣческаго достоинства: только при немъ возможенъ умъ, только съ нимъ ученый возвышается до міровыхъ идей, понимаетъ природу и явленія въ ихъ общности; только съ нимъ гражданинъ можетъ нести въ жертву отечеству и свои личныя надежды, и свои частныя выгоды; только съ нимъ человѣкъ

можетъ сдѣлать изъ жизни подвигъ и не сгибаться подъ его тяжестью. Безъ него, безъ этого чувства, нѣтъ генія, нѣтъ таланта, нѣтъ ума—остается одинъ пошлый «здравый смыслъ», необходимый для домашняго обихода жизни, для мелкихъ расчетовъ эгоизма. Кто откликается на одну плясовую музыку, откликается не сердцемъ, а ногами; чью грудь не томить, чью душу не волнуетъ музыка; кто видитъ въ картинѣ только галантерейную вещь, годную для украшенія комнаты, и дивится въ ней одной отдѣлкѣ; кто не любилъ стиховъ смолodu, кто видитъ въ драмѣ только театральную пьесу, а въ романѣ сказку, годную для занятія отъ скуки—тотъ не человѣкъ, хотя бы онъ умѣлъ болтать о Россіи, о «Робертѣ-Дьяволѣ», чугуновыхъ дорогахъ и паровыхъ машинахъ. Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности. Пусть процвѣтаетъ въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ гражданское благоденствіе, пусть цивилизація дошла до послѣдней степени, пусть тюрьмы тамъ пусты, трибуналы праздны: но если тамъ, какъ увѣряютъ насъ, нѣтъ искусства, нѣтъ любви къ изящному, я презираю это благоденствіе, я не уважаю этой цивилизаціи, я не вѣрю этой нравственности, потому что это благоденствіе искусственно, эта цивилизація безплодна, эта нравственность подозрительна. Гдѣ нѣтъ владычества искусства, тамъ люди не добродѣтельны, а только благоразумны, не нравственны, а только осторожны; они не борются со зломъ, а избѣгаютъ его, избѣгаютъ его не по ненависти ко злу, а изъ расчета. Цивилизація тогда только имѣетъ цѣну, когда помогаетъ просвѣщенію, а, слѣдовательно, и добру—единственной цѣли бытія человѣка, жизни народовъ, существованія человѣчества. Погодите, и у насъ будутъ чугуныя дороги и, пожалуй, воздушныя почты, и у насъ фабрики и мануфактуры дойдутъ до совершенства, народное богатство усилится; но будетъ ли у насъ религіозное чувство, будетъ ли нравственность—вотъ вопросъ. Будемъ плотниками, будемъ слесарями, будемъ фабрикантами, но будемъ ли людьми—вотъ вопросъ!

Чувство изящнаго развивается въ человѣкѣ самымъ изящнымъ, слѣдовательно, журналъ долженъ представлять своимъ читателямъ образцы изящнаго; и потомъ, чувство изящнаго развивается и образуется анализомъ и теоріей изящнаго, слѣдовательно, журналъ долженъ представлять критику. Тамъ, гдѣ есть уже охота къ искусству, но гдѣ еще зыбки и шатки понятія о немъ, тамъ журналъ есть руководитель общества. Критика должна составлять душу, жизнь журнала, должна быть постояннымъ его отдѣломъ, динной, не прерывающейся и не оканчивающейся статьей. И это тѣмъ важнѣе, что она для всѣхъ при-

манчива, всѣми читается жадно, всѣми почитается украшеніемъ и душой журнала. Первая ошибка «Наблюдателя» состоитъ въ томъ, что онъ не созналъ важности критики, что онъ какъ бы изрѣдка и неохотно принимается за нее. Онъ исключилъ изъ себя библиографію, эту низшую, практическую критику, столь необходимую, столь важную, столь полезную и для публики, и для журнала. Для публики здѣсь та польза, что, питая довѣренность къ журналу, она избавляется и отъ чтенія и отъ покупки дурныхъ книгъ, и въ то же время, руководимая журналомъ, обращаетъ вниманіе на хорошія; потомъ, развѣ по поводу плохого сочиненія нельзя высказать какой-нибудь дѣльной мысли, развѣ къ разбору вадорной книги нельзя привязать какого-нибудь важнаго сужденія? Для журнала библиографія есть столько же душа и жизнь, сколько и критика. «Библіотека» очень хорошо поняла эту истину, и зато браните ее, какъ угодно, а у ней всегда будетъ много читателей. Теперь сдѣлаю нѣсколько общихъ замѣчаній о «Наблюдателѣ», а потомъ перейду къ его критикѣ.

«Наблюдатель» есть журналъ энциклопедическій; и вотъ еще одинъ изъ главныхъ его недостатковъ, одна изъ причинъ, мѣшающихъ его успѣху. Мы не говоримъ уже о томъ, что его энциклопедизмъ бесполезенъ, вреденъ, что онъ теперь, къ нашему несчастью, овладѣлъ нами и кружитъ наши головы; мы не говоримъ, что энциклопедизмъ есть не универсальность, а скорѣе односторонняя поверхность; мы спрашиваемъ только, сообразенъ ли планъ и границы «Наблюдателя» съ энциклопедизмомъ? «Библіотека» имѣетъ полное право быть энциклопедическимъ журналомъ: въ книгѣ изъ двадцати слишкомъ листовъ можно поговорить о многомъ. Но и «Библіотека» раздѣлена на извѣстное число отдѣловъ, и въ каждой книгѣ ея вы видите одно и то же расположеніе, одни и тѣ же отдѣлы и въ одинаковомъ числѣ; и потому, если вы не занимаетесь, напримѣръ, сельскимъ хозяйствомъ, то можете его отдѣлъ оставить неразрѣзаннымъ— для васъ и такъ много останется чего почитать. Въ «Наблюдателѣ», напротивъ, такой энциклопедизмъ невозможенъ. Положимъ статью Давыдова «О свекловичносахарномъ производствѣ» есть статья превосходная, европейская, да она имѣетъ интересъ частный, она тяжела для такого журнала, какъ «Наблюдатель», ея мѣсто въ «Земледѣльческомъ Журналѣ» или, что всего лучше въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», у которыхъ, говорятъ, около десяти тысячъ подписчиковъ. Притомъ мы не видимъ полного энциклопедизма въ «Наблюдателѣ»: его поприще ограничивается очень немногими и опредѣленными предметами: литературой, исторіей, сельскимъ хозяйствомъ и

политической экономіей. Напротивъ, намъ кажется, что его энциклопедизмъ состоитъ въ какомъ-то отсутствіи общности, порядка, характера. Это альманахъ, это тетради, гдѣ спиваются и дурныя, и посредственныя, и хорошія, и отличныя статьи. Только періодическій выходъ его книжекъ дѣлаетъ его журналомъ. Конечно въ немъ бываютъ статьи превосходныя, но эти статьи не составляютъ регулярнаго войска, это настоящая милиція, которая идетъ неровнымъ шагомъ, нападаетъ недружно, невольно, нестройно и, сильная своимъ многочисленіемъ, своей храбростью, вездѣ проигрываетъ сраженія, вездѣ отступаетъ. Поэтому я не буду пересчитывать статей «Наблюдателя» и отдавать о каждой изъ нихъ отчеты. «Наблюдатель» особенно щеголяетъ стихотвореніями, но въ этомъ онъ не далеко ушелъ отъ «Библіотеки». Кромѣ того, что въ немъ было не болѣе двухъ или трехъ порядочныхъ стихотвореній, въ немъ есть множество такихъ, которыя рѣшительно не дѣлаютъ чести его вкусу, какъ напримѣръ «Своя Семья», уродливая и грязная карикатура на поэзію. Собственно изъ изящныхъ произведеній замѣчательны: «Иванъ Барабашъ» Срезневскаго, «Маскарадъ» Павлова и «Себастьянъ Бахъ» Безгласнаго, а изъ теоретическихъ: «Взглядъ на направленіе исторіи» Ястребцова. О переводныхъ умалчиваю: между ними есть и очень хорошія, и очень посредственныя. Обращаюсь къ критикѣ.

Критика въ «Наблюдателѣ» такъ странна, такъ удивительна, что стоитъ особеннаго, подробнаго разсмотрѣнія, для котораго я теперь не имѣю времени, да и у васъ не достанетъ мѣста. Надобно сказать, что эта критика характерная, вѣрная самой себѣ, добросовѣстная и убѣжденная, если можно такъ выразиться; но вмѣстѣ съ тѣмъ не достигающая своей цѣли, не приносящая пользы, не понимаемая публикой. Причина этому заключается въ томъ, что она не современна, что она отзывается классицизмомъ, не имѣетъ никакого основнаго начала, никакого центра, изъ котораго бы выходила, что она, наконецъ, похожа на аббата Баттѣ во фракѣ XIX вѣка. Знаю, что я сказалъ слишкомъ много, что подобныя вещи или вовсе не говорятъ, или говорятъ съ доказательствами: я представлю ихъ въ особенной статьѣ «О критикѣ «Московского Наблюдателя»». Пусть, какъ хотятъ, судятъ о моемъ поступкѣ, но я твердо убѣжденъ, что можно уважать чужія мнѣнія и быть съ ними несогласнымъ, что уваженіе уваженіемъ, приличіе приличіемъ, а правда правдой, что комплименты и мадригалы хороши въ гостиной, на паркетѣ, а не въ журналѣ, гдѣ всего важнѣе честное, независимое, чуждое личностей, но и твердое, стойкое мнѣніе.

Этимъ пока оканчиваю мои замѣчанія о литературныхъ журналахъ. Что жъ касается до книгъ, относящихся къ изящной словесности, то въ Петербургѣ, въ ваше отсутствіе, не вышло ни одной достойной вниманія; въ Москвѣ вышелъ «Ледяной Домъ», новый романъ И. И. Лажечникова. Этотъ романъ былъ истиннымъ подаркомъ русской публикѣ, прекрасной, лучезарной звѣздой на пустынномъ небосклонѣ нашей литературы. Но я не буду говорить о немъ: онъ стоитъ подробнаго разсмотрѣнія; и такъ какъ *mon tard, que jamais*, то въ «Телескопѣ», безъ сомнѣнія, будетъ помѣщенъ полный отчетъ объ этомъ примѣчательномъ произведеніи. Не мало надѣлало шуму появленіе «Стихотвореній Бенедиктова»: одни увидѣли въ нихъ зарю новой поэтической жизни въ нашей литературѣ, другіе не признаютъ въ нихъ даже таланта версификаціи; середины между этими двумя крайностями нѣтъ; публика такъ же раздѣлена, какъ и журналы, въ отношеніи къ Бенедик-

тову. Вамъ извѣстно объ немъ мое мнѣніе: можетъ быть оно несправедливо, но оно было плодомъ убѣжденія, чуждаго всякой личности. Какъ бы то ни было, но я рѣшился не говорить болѣе объ этомъ предметѣ: пусть рѣшить этотъ вопросъ время, лучший рѣшитель такихъ вопросовъ. Къ числу пріятныхъ явленій нашей бѣдной литературы принадлежатъ «Стихотворенія Кольцова», которыя вамъ также извѣстны. Но Кольцову не такъ посчастливилось, какъ Бенедиктову.

И вотъ я кончилъ... А слѣдствіе?... Къ чему его выводить, когда оно и такъ ясно? Факты иногда говорятъ краснорѣчивѣе разсужденій. Литература есть народное самосознаніе, и тамъ, гдѣ нѣтъ этого самосознанія, тамъ литература есть или скороспѣлый плодъ, или средство къ жизни, ремесло извѣстнаго класса людей. Если и въ такой литературѣ есть прекрасныя и изящныя созданія, то они суть исключительныя, а не положительныя явленія, а для исключеній нѣтъ правила...

О КРИТИКѢ И ЛИТЕРАТУРНЫХЪ МНѢНІЯХЪ

«МОСКОВСКАГО НАБЛЮДАТЕЛЯ».

Что такое критика? Простая оцѣнка художественнаго произведенія, приложеніе теоріи къ практикѣ или усиліе создать теорію изъ данныхъ фактовъ. Иногда то и другое, чаще все вмѣстѣ. Потомъ, чѣмъ критика должна быть? Частнымъ выраженіемъ мнѣнія того или другого лица, принимающаго на себя обязанность судьи изящнаго, или выраженіемъ господствующаго мнѣнія эпохи въ лицѣ ея представителей, которое есть результатъ прежде бывшихъ мнѣній, прежде бывшихъ опытовъ и наблюденій? Безъ сомнѣнія, она имѣетъ право быть тѣмъ и другимъ, но въ первомъ случаѣ она должна быть шагомъ впередъ, открытіемъ новаго, расширеніемъ предѣловъ знанія или даже совершеннымъ его измѣненіемъ, должна быть дѣломъ гениа; во второмъ случаѣ она меньше рискуетъ, но зато можетъ быть увѣреннѣе въ самой себѣ, можетъ быть всегда истинной въ отношеніи къ своему времени. Итакъ, критика перваго рода есть исключеніе изъ общаго правила, явленіе великое и рѣдкое; критика второго рода есть усиліе уяснить и распространить господствующія понятія своего времени объ изящномъ. Въ наше время, когда основные законы творчества уже найдены, это есть единственная цѣль критики. Уяснить эти законы теорети-

чески, подтверждать ихъ истину практически, вотъ ея назначеніе. Теорія есть систематическое и гармоническое единство законовъ изящнаго; но она имѣетъ ту невыгоду, что заключается въ извѣстномъ моментѣ времени, а критика безпрестанно движется, идетъ впередъ, собираетъ для науки новыя матеріалы, новыя данныя. Это есть движущаяся эстетика, которая вѣрна однимъ началамъ, но которая ведетъ насъ къ нимъ разными путями и съ разныхъ сторонъ, и въ этомъ-то заключается ея прогрессъ. Вотъ почему критика такъ важна, такъ всеобща; вотъ почему она завладѣла общимъ вниманіемъ и приобрѣла такой авторитетъ, такое могущество. Дарованіе критика есть дарованіе рѣдкое и потому высоко цѣнимое; если мало людей, надѣленныхъ отъ природы большимъ или меньшимъ участкомъ эстетическаго чувства, способныхъ принимать впечатлѣнія изящнаго, то какъ же должно быть мало людей, обладающихъ въ высшей степени этимъ эстетическимъ чувствомъ и этой пріемлемостью впечатлѣній изящнаго! Ошибаются тѣ люди, которые почитаютъ ремесло критика легкимъ и болѣе или менѣе всякому доступнымъ: талантъ критика рѣдокъ, путь его скользокъ и опасенъ. И въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны сколько

условіи сходятся въ этомъ талантѣ: и глубокое чувство, и пламенная любовь къ искусству, и строгое, многостороннее изученіе, и объективность ума, которая есть источникъ безпристрастія, способность не поддаваться увлеченію; съ другой стороны, какова высокая принимаемая имъ на себя обязанность! На ошибки подсудимаго смотреть какъ на что-то обыкновенное; ошибка судьи наказывается двойнымъ посмѣяніемъ.

Предметъ критики есть приложеніе теоріи къ практикѣ. Всякое критическое разсмотрѣніе, имѣющее своимъ предметомъ не прямо изысканіе, а что-нибудь имѣющее къ нему отношеніе, есть не критика, а полемика, какъ бы оно ни было скромно, вѣжливо, тихо и безжизненно. Статья о мнѣніяхъ какого-нибудь журнала объ изысканіи есть критика; статья о самомъ журналѣ есть полемика или простое сужденіе. Статья о сочиненіяхъ истиннаго поэта, въ которой доказывается, почему онъ есть истинный поэтъ, или статья о сочиненіяхъ поэта-самозванца, въ которой доказывается, почему онъ есть поэтъ-самозванецъ, такая статья есть критика; статья о произведеніи челоѣка, котораго никто не думалъ почитать поэтомъ и котораго сочиненія не идутъ подъ повѣрку теоріи, есть полемика. Подъ словомъ «полемика» я разумѣю здѣсь не брань, не споры, а все, что называется рецензіей и простымъ выраженіемъ мнѣнія о какомъ-нибудь литературномъ предметѣ. Цѣль критики высокая — повѣрка фактовъ умозрѣніемъ; и, наоборотъ, цѣль полемики низшая — защита здраваго смысла. Критика опирается на умозрѣніе, полемика — на здравомъ смыслѣ. Я почелъ необходимымъ сдѣлать это раздѣленіе: у насъ всякая статья, въ которой судится о какомъ-нибудь литературномъ предметѣ, называется критикой.

Всякое дѣло должно быть сообразно съ обстоятельствами, въ ладу съ отношеніями. Такъ и критика. Мы сказали, что она такое; теперь мы должны сказать, чѣмъ она должна у насъ быть въ Россіи. Въ Германіи, странѣ критики, критика идеальна, умозрительна, во Франціи критика положительная, историческая. Какова же должна быть критика въ Россіи?.. Но можетъ ли быть у насъ даже какая-нибудь критика, когда у насъ нѣтъ литературы? Шевыревъ однажды коснулся этого вопроса и рѣшилъ, что у насъ критика должна, какъ у нѣмцевъ, предшествовать литературѣ. Мнѣніе можетъ быть не вѣрное, но остроумное; не хочу разсматривать его; скажу только, что, по моему мнѣнію, нашей литературѣ должна предшествовать нѣкоторая образованность вкуса или, другими словами, у насъ сперва должны явиться читатели, *dilettanti*, а потомъ уже и литература. Нѣмцы сдѣлались критиками вслѣдствіе своего харак-

тера. своего умозрительнаго направленія, слѣдовательно, у нихъ критика родилась сама; у насъ она есть усиліе или подражаніе, такъ же какъ и литература. Я не знаю политической экономіи, и потому не могу рѣшить: продуктъ ли родитъ потребителя, или потребитель родитъ продуктъ; по крайней мѣрѣ у насъ сперва должны явиться требователи на литературу, а потомъ уже и литература. А то — смѣшное дѣло! — хотятъ, чтобы у насъ были поэты, когда еще ихъ некому читать. Цвѣтущее состояніе нашей книжной торговли не только не опровергаетъ этого положенія, но еще подтверждаетъ его: тамъ, гдѣ съ равной жадностью читается и хорошее, и дурное, гдѣ равный успѣхъ имѣютъ и «пѣсенники» Гурьянова, и стихотворенія Пушкина, тамъ видна охота къ чтенію, но не потребность литературы. Когда наша читающая публика сдѣлается многочисленна, взыскательна и разборчива, тогда явится и литература.

Изъ этого ясно видно назначеніе критики въ Россіи. У насъ принесетъ пользу критика высшая, трансцендентальная: она необходима; но она у насъ должна являться многорѣчивой, говорливой, повторяющей саму себя, толковитой. Ея цѣлью долженъ быть не столько успѣхъ науки, сколько успѣхъ образованности. Наша критика должна быть гувернеромъ общества и на простомъ языкѣ говорить высокія истины. Въ своихъ началахъ она должна быть нѣмецкой, въ своемъ способѣ изложенія — французской. Нѣмецкая теорія и французскій способъ изложенія — вотъ единственный способъ сдѣлать ее и глубокой, и общедоступной. Нѣмцы обладаютъ умозрѣніемъ, но не мастера посвящать профановъ въ свои таинства, ихъ можетъ понять ихъ же каста — ученые; французы зыбки и мелки въ умозрѣніи, но мастера мирить знаніе съ жизнью, обобщить идеи. Подражать же исключительно нѣмцамъ пока бесполезно, французамъ — вредно, потому что, съ одной стороны, идея всегда должна быть зерномъ ученія, но не должна пугать своей глубиной, должна быть доступна; съ другой стороны, практическія начала безъ основной идеи — пустой орѣхъ, котораго не стоитъ труда грызть. Во всякомъ случаѣ, не надо забывать, что русскій умъ любитъ просторъ, ясность, опредѣленность, чистое умозрѣніе его не отуманитъ, но отвратитъ отъ себя; фактизмъ можетъ сдѣлать его мелкимъ, поверхностнымъ.

У насъ любятъ критику — объ этомъ нѣтъ спора. Книжка журнала всегда разогнута на критикѣ, первая разрѣзанная статья въ журналѣ есть критика; какъ бы ни былъ дуренъ журналъ, въ какомъ бы ни былъ упадкѣ, но если въ немъ случится хоть одна замѣчательная критическая статья, она будетъ прочтена, заключающая ее книжка вынется изъ-подъ спуда и увидитъ свѣтъ Божій; критикѣ больше

всего бываетъ обязанъ журналъ своей силой. Безъ критики журналъ есть образъ безъ лица, анатомическій препаратъ, а не живое существо. Почему же такъ? Тутъ скрывается много причинъ—и оскорбленное самолюбіе, и личные отношенія, но болѣе всего жажда образованности. Теперь очень ясно, чѣмъ должна быть въ Россіи критика, какая ея цѣль и какимъ путемъ должна она идти къ своей цѣли. Равнымъ образомъ теперь ясно видно, какъ важна у насъ критика, какъ благотѣльно влияние хорошей критики и какъ вредно—дурной.

Окончивъ эти предварительныя объясненія, которыя я почиталъ необходимыми, приступаю къ своему дѣлу.

Я не безъ намѣренія сказалъ о различіи критики отъ полемики, не безъ намѣренія далъ моей статьѣ заглавіе не просто «о критикѣ «Московского Наблюдателя», но «о критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ «Московского Наблюдателя»: если бы я сталъ говорить только о его критикѣ, то мнѣ бы не о чемъ говорить, потому что собственно критическихъ статей въ «Наблюдателѣ» было не болѣе двухъ или трехъ, остальные всѣ полемическія въ томъ смыслѣ, какой я даю полемикѣ.

Я буду разсматривать всѣ статьи по порядку, буду слѣдить всѣ мнѣнія шагъ за шагомъ.

Шевыревъ есть исключительный и привилегированный критикъ «Московского Наблюдателя»; его статьи составляютъ лучшее украшеніе и даютъ нѣкоторую жизнь и движеніе этому журналу, который такъ бѣденъ жизнью и движеніемъ. Поэтому на его статьи я долженъ обратить особенное вниманіе. Шевыревъ—литераторъ дѣятельный, добросовѣстный, оригинальный во мнѣніяхъ и слогѣ, литераторъ съ дарованіемъ и авторитетомъ: тѣмъ большаго вниманія заслуживаютъ его критическія мнѣнія, а всякое вниманіе, будетъ ли оно поддержкой или реакціей, есть признакъ уваженія. Опровергать можно только то, что имѣетъ вліяніе на публику, а имѣть это вліяніе можетъ только талантъ. Вотъ что заставило меня взяться за перо, вотъ съ какимъ чувствомъ и вслѣдствіе какой причины приступаю я къ разбору мнѣній Шевырева.

Шевыревъ дебютировалъ въ «Наблюдателѣ» статьями «Словесность и Торговля». Это была статья не критическая, а полемическая. Шевыревъ изъясняетъ въ ней сожалѣніе, что наша литература превратилась въ промышленность, что она «подружилась съ книгопродавцемъ, продала ему себя за деньги и поклялась въ вѣчной вѣрности». Это выраженіе есть остроумная и чрезвычайно вѣрная характеристика современной нашей литературы. Вообще вся статья отличается какимъ-то грустнымъ чувствомъ негодованія и колкимъ остроуміемъ въ выраженіи. Въ ней много

справедливаго, глубоко истиннаго и поразительно вѣрнаго; но выводъ ея рѣшительно ложенъ. Авторъ доказалъ совсѣмъ не то, что хотѣлъ доказать, какъ увидимъ ниже. Послѣдуемъ за нимъ въ его статьѣ:

«... Нашъ писатель то, что можно сказать однимъ словомъ, выражаетъ предложеніемъ, а предложеніе, достаточное для мысли, вытягивается въ длинный-предлинный періодъ, періодъ—въ убогую стравицу, страницу—въ огромный листъ печатный... Его слогъ, какъ проволока, можетъ до безконечности вытягиваться. — Но въ чемъ тайна всего этого? — Въ томъ, что цѣна печатнаго листа есть 200 или 300 рублей; что каждый эпитетъ въ статьѣ его цѣнится можетъ быть въ гривну, каждое предложеніе есть рубль; каждый періодъ, смотря по длинѣ, есть синяя или красная ассигнація!...»

Все это очень остроумно и вѣрно; но сдѣлаемъ еще нѣсколько выписокъ.

«И такъ, болтливость нашего слога, безконечныя плеоназмы, необдѣланные періоды, ряды синонимовъ, существительныхъ, прилагательныхъ и глаголовъ на выборъ, всѣ эти свойства скорописи, одолевшающей нашу литературу, имѣютъ начало свое въ томъ, что нынѣ слова—деньги, и слогъ чѣмъ грузнѣе, тѣмъ выгоднѣе. Отъ такого слога растутъ статьи, толстѣютъ листки книги, вздувается самая книга, какъ калачъ у пекаря, наблюдающаго выгоды припеки.

На журналы я смотрю, какъ на капиталистовъ. «Библиотека для Чтенія» имѣетъ для меня пять тысячъ душъ подписчиковъ. «Сѣверная Пчела» можетъ быть—вдвое. Замѣчательно, что эти журналы еще въ томъ сходятся съ богачами, что любятъ хвастаться всенародно своимъ богатствомъ. И эти души подписчиковъ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ твои оброчныя: за ними никогда нѣтъ недоимки; они платятъ впередъ и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнаціи. Вотъ ѣдетъ литераторъ въ новыхъ сапаяхъ: ты думаешь это—сани. Нѣтъ, это статья «Библиотеки для Чтенія», получившая видъ саней, покрытыхъ медвѣжьей полостью, съ богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этотъ коверъ, этотъ лакъ чистый и опрятный—все это листы этой дорого заплаченной статьи, принявшіе разные виды саннаго издѣлія. Литераторъ хочетъ дать обѣдъ и жалуется, что у него нѣтъ денегъ. Ему говорятъ: «Да напиши повѣсть и пошли въ «Библиотеку», вотъ и обѣдъ».

Визови на страшный судъ того писателя, котораго первый романъ, внушенный вдохновеніемъ честнымъ и приготовленный долгимъ трудомъ, завоевалъ вниманіе публики! Спроси соплѣсть его о второмъ, о третьемъ, о четвертомъ его романѣ! Вслѣдствіе чего они явились? Не насильно ли выпросилъ онъ ихъ у непокорнаго вдохновенія, у невнимательной исторіи? Не торопился ли онъ всѣмъ напряженіемъ силъ своихъ противъ условій Музы, чтобы только воспользоваться свѣжестью перваго успѣха? Его насильственное второе, болѣе насильственное третье и четвертое вдохновеніе не было ли плодомъ того безотчетнаго, но сладкаго чувства, что романъ теперь самая вѣрная спекуляція?»

Повторяю, въ этихъ выпискахъ заключается самое вѣрное изображеніе современной литературы. Но что же этимъ хотѣлъ сказать почтенный критикъ? Не противорѣчить ли онъ самому себѣ? Теперь наши литераторы въ чести, живутъ своимъ ремесломъ, а не посто-

ронными и чуждыми ихъ призванію трудами: это прекрасно, это должно радовать. Теперь талантъ есть богатое наслѣдство, онъ уже не ропщетъ на несправедливость судьбы, онъ уже не завидуетъ праву знатнаго происхожденія, доставляющаго всѣ выгоды, всѣ блага жизни: это утѣшительно, это отрадно!.. Но полно, правда ли, что «наша литература даетъ обѣды, живетъ въ чертогахъ, ходитъ по коврамъ, ѣздитъ въ каретахъ, въ лаковыхъ саниахъ, кутается въ медвѣжью шубу, въ бекешъ съ бобровымъ воротникомъ, возвышаетъ голосъ на аукціонахъ Опекунскаго Совѣта, покупаетъ имѣнія?...» Нѣтъ ли въ этихъ словахъ преувеличенія, гипербола? Не слишкомъ ли далеко увлекся авторъ въ своемъ благородномъ негодованіи? Или не смѣшиваетъ ли онъ вещей, ложно принимая одну за другую? Правда, намъ извѣстны два или три романиста, которые обезпечили на всю жизнь свое состояніе своими первыми романами, но это было еще до основанія «Библиотеки»: за что жъ взводить на нее небывалыя вины, когда у ней бывалыхъ много? «Иванъ Выжигинъ» явился въ то время, когда еще наша литература не была торговлей, когда она была во всемъ цвѣтѣ своемъ. Вслѣдъ за «Иваномъ Выжигинымъ» появились: «Юрій Милославскій», «Дмитрій Самозванецъ», «Рославлевъ», «Послѣдній Новикъ», а «Библиотека» явилась уже послѣ всѣхъ нихъ. Повѣстями и журнальными статьями, даже при усиленной дѣятельности, можно только жить кое-какъ, но объ обезпеченіи своего состоянія нельзя и думать. Спрашиваю Шевырева: изъ участвующихъ въ «Библиотекѣ» помѣстилъ ли хоть кто-нибудь болѣе двухъ или трехъ статей въ годъ?.. А на три статьи, какъ бы онѣ дороги ни были, право, не наживешь чертоговъ, не заведешь кареты, много-много развѣ купишь сани, да безъ лошадей на нихъ далеко не уѣдешь... Гдѣ жъ логика, гдѣ справедливость? Странное дѣло, какъ сильно овладѣла Шевыревымъ ложная мысль, что въ нашъ вѣкъ поэты и литераторы превратились въ какихъ-то Великихъ Моголовъ!.. Но объ этомъ будетъ ниже, когда дойдетъ до его статьи о «Чаттертонѣ». Нѣтъ, критикъ, будемъ радоваться отъ искренняго сердца и тому, что теперь талантъ и трудолюбіе даютъ (хотя и не всѣмъ) честный кусокъ хлѣба... И въ этомъ отношеніи «Библиотека для Чтенія» заслуживаетъ благодарность, а не упрекъ. Но вы видите въ этомъ вредъ для успѣховъ литературы, вы говорите, что наши вторые романы бываютъ какъ-то хуже первыхъ, третьи — хуже вторыхъ, что наши повѣсти водяны, періоды длинны, обременены безъ нужды эпитетами, глаголами, дополненіями: все это правда, во всемъ этомъ я согласенъ съ вами, да вы ошибаетесь въ причинѣ этого явленія.

Вспомните, что каждый стихъ Пушкина обходился книгопродавцамъ въ красненькую, если не больше, а вѣдь стихи Пушкина отъ этого нисколько не были хуже; вспомните, что за «Пиковую даму» и «Княжну Мими» «Библиотека» заплатила деньгами, ассигнаціями, а вы сами хвалите эти повѣсти. Вотъ вамъ самый простой и самый убѣдительный фактъ. Онъ доказываетъ, что истинный талантъ не убиваетъ деньги, что

Не продается вдохновеніе,
Но можно рукопись продать!

Конечно вѣрная пожива отъ литературныхъ трудовъ умножаетъ число непризванныхъ литераторовъ, наводняетъ литературу потономъ дурныхъ сочиненій; но это зло необходимое. Литература, какъ и общество, имѣетъ своихъ плебеевъ, свою чернь, а чернь вездѣ бываетъ и невѣжественна, и нагла, и безстыдна. Обращаюсь опять къ Пушкину; ему платили дорого, очень дорого, но посмотрите на его литературное поприще: его «Кавказскій пѣльникъ» былъ хорошъ, но «Бахчисарайскій фонтанъ» лучше, но «Цыгане» еще лучше, а тамъ еще остаются «Евгеній Онѣгинъ», «Борисъ Годуновъ», «Полтава»: что жъ вы говорите намъ о вторыхъ и третьихъ романахъ?.. Эти вторые и третьи романы были хуже первыхъ оттого, что успѣхъ первыхъ-то былъ основанъ не на талантѣ, не на истинномъ достоинствѣ, а на разныхъ постороннихъ обстоятельствахъ: одинъ гладко и грамотно писалъ, другой блеснулъ новостью рода, третій какъ-то нечаянно обмолвился: вотъ вамъ и вся тайна, вся загадка; она не мудрена и надъ ней не для чего ломать головы. Вы очень вѣрно изображали состояніе современной литературы, но вы не вѣрно объяснили причины этого состоянія, у насъ нѣтъ литераторовъ, а деньгами нельзя надѣлать литераторовъ: вотъ что вы доказали, хотя и думали доказать совсѣмъ другое. Вы сами были вкладчикомъ «Библиотеки», вы сами украсили ее статьей, такъ неужели ваша статья должна быть хуже оттого, что вы получили за нее деньги?.. Повѣрьте, что если бы теперь нельзя было ни копѣйки добиться литературными трудами, наша литература отъ этого не была бы ни на волосъ лучше.

Въ этой же статьѣ Шевыревъ взводитъ странное обвиненіе на нашихъ писателей, говоря, что «наши пишущіе спекуляторы (въ подражаніе Европѣ) дарятъ насъ по большей части въ родѣ разочарованномъ или ужасномъ». Полно, правда ли это? Мнѣ такъ кажется, наши романы съ этой стороны не заслуживаютъ ни малѣйшаго упрека.

По поводу этой мысли Шевыревъ объясняетъ причину разочарованнаго и отчаяннаго характера европейскихъ романовъ, говоря, что она заключается въ вѣковой опыт-

ности и разочарованіи человечества. Это такъ, но тутъ есть и другія причины: вліяніе Байрона, стремленіе къ истинѣ, покорность модѣ, желаніе вѣрнаго успѣха и въ славѣ, и въ деньгахъ, и пр. Вѣдь не всякій романъ, не всякая повѣсть есть поэзія, есть творчество: а если романъ или повѣсть есть не работа, а плодъ вдохновенія, то изображенная въ нихъ жизнь непременно должна быть или ужасна, или крайне смѣшна...

Отъ этой полемической статьи перехожу къ двумъ собственно критическимъ статьямъ Шевырева. Первая изъ этихъ статей есть разборъ «Князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйскаго», драмы Кукольника, вторая — «Трехъ повѣстей» Павлова. Въ этихъ статьяхъ Шевыревъ является критикомъ, дѣлаетъ насъ участникомъ своихъ критическихъ вѣрованій и даетъ намъ средство оцѣнить свой критическій талантъ. Эти двѣ статьи, еще при самомъ своемъ появленіи, удивили насъ до крайности, показались намъ неразрѣшимыми загадками; теперь мы имъ еще больше удивляемся, еще больше ихъ не понимаемъ. Критика на драму Кукольника, и критика болшая, въ двухъ книжкахъ журнала!.. Мнѣ кажется, что такая критика себѣ дороже... Но что намъ до этого: всякій воленъ тратить свое добро на что хочетъ; посмотримъ лучше, какъ исполнилъ свое дѣло Шевыревъ.

Онъ начинаетъ краткимъ изложеніемъ хода событій эпохи, изъ которой почерпнуто содержаніе драмы Кукольника, и мимоходомъ изъясняетъ сожалѣніе, что Карамзинъ не могъ окончить этой картины.

«Какъ часто, дочитывая послѣднюю страницу XII тома, которая такъ чудно рисуетъ русскій хаосъ междоусобицъ, при послѣднихъ словахъ «Орѣшекъ не сдавался», вмѣстѣ съ картиной эпохи я воображалъ картину самого историка. Представьте себѣ его въ двадцатипятилѣтнихъ креслахъ (?), свидѣляхъ его труда неутомимаго; одинъ (??), чуждый помощи (???), сильной рукой приподымаетъ онъ тяжелую завѣсу минувшаго, сшитую изъ ветхихъ хартій, и устремляетъ на великую эпоху Россіи глубокомысленныя очи, а другой рукой пишетъ съ нея живую картину, возвращая минувшее настоящему... и внезапно холодная коса смертная касается неутомимой руки писателя на самомъ широкомъ его разбѣгѣ... перо выпало изъ перстовъ, вслѣдъ за тѣмъ свинцовая завѣса закрыла отъ насъ «Исторію Россіи», — свинцовая, потому что послѣ могучей руки Карамзина никто до сихъ поръ не осмѣлился достойно (?) поднять ее, хотя и были нѣкоторые успѣхи... Славныя кресла Карамзина до сихъ поръ еще праздны, къ стыду нашей литературы!»

Не правда ли, что эти строки очень странны? Мы не хотимъ упрекать Шевырева въ излишнемъ пристрастіи къ Карамзину; послѣ того какъ насъ призывали молиться на могилѣ незабвеннаго мужа и шептать его святое имя, насъ трудно удивить чѣмъ-нибудь въ этомъ отношеніи. Конечно Шевыревъ,

какъ по своимъ лѣтамъ, такъ и по своему образованію, не долженъ былъ бы принадлежать къ литературнымъ старовѣрамъ; но это другой вопросъ, который самъ собою рѣшится подробнымъ разсмотрѣніемъ всѣхъ критическихъ и литературныхъ мнѣній Шевырева... Покуда насъ удивляетъ только неловкость комплимента, сдѣланнаго Шевыревымъ памяти Карамзина. Хвалить вообще не такъ легко, какъ думаютъ, тутъ надо большое умѣнье, чтобъ иные насмѣшники не сказали

Не поздоровится отъ такихъ похвалъ!

Во-первыхъ, что за двадцатипятилѣтніи кресла? Развѣ они принадлежатъ къ преданіямъ нашей литературы, развѣ о нихъ всѣ знаютъ? Развѣ это точно фактъ, что Карамзинъ двадцать пять лѣтъ сидѣлъ въ однихъ креслахъ? Если же это просто риторическая фигура, то довольно забавная... — «Одинъ» — да развѣ исторію пишутъ вдвоемъ? «Чуждый помощи» — это неправда: Карамзину помогали труды многихъ изыскателей. «Сильной рукой приподымаетъ онъ тяжелую завѣсу минувшаго, сшитую изъ ветхихъ хартій, и устремляетъ на великую эпоху Россіи глубокомысленныя очи, а другой рукой пишетъ съ нея живую картину»... Помилуйте: да зачѣмъ же онъ подымалъ эту завѣсу? Что онъ за нем видѣлъ? Вѣдь эта завѣса была сшита изъ лѣтописей, такъ, стало быть, онъ на ней, а не за ней долженъ былъ видѣть минувшее. И притомъ, что за странная фантазія представить Карамзина въ такомъ неловкомъ и принужденномъ положеніи: одной рукой держится за тяжелый занавѣсъ, а друдой пишетъ! Пускай эти руки были могучія, а все трудно... Воля ваша, а здѣсь не выдержана метафора, и потому страждетъ здравый смыслъ. Да впрочемъ излишне пылкое воображеніе всегда было врагомъ здраваго смысла... Что же такое значить «осмѣлиться достойно поднять руку» для написанія исторіи — этого мы рѣшительно не понимаемъ.

Но этотъ неловкій комплиментъ составляетъ въ статьѣ Шевырева родъ небольшого, хотя и эмфатическаго отступленія; обращаюсь къ главному предмету.

Кончивъ изложеніе или очеркъ событій эпохи, избранной драматикомъ, Шевыревъ дѣлаетъ слѣдующее заключеніе, выражающее его основное понятіе о творчествѣ:

«Кажется, исторія сама чертитъ путь драматіку, сама даетъ главные событія и характеры, сама располагаетъ дѣйствія».

Что это такое? Не обманываютъ ли меня глаза?.. Какъ? такъ сама исторія даетъ художнику планъ драматическаго созданія, а ему, художнику, остается только «не искажать ея, быть вѣрнымъ ей, отгадывать кой-что утаенное временемъ и лѣтописью»?..

Полно, не ошибся ли я? Перечитываю—такъ, точно такъ!.. Какъ? такъ, стало быть, я пишу историческую драму, онъ пишетъ, вы пишете, они пишутъ—и всѣ мы, какъ ни много насъ, напишемъ поневолю одно и то же? Гдѣ же свобода художника? Что же его вдохновеніе, его творчество?.. Признаюсь, чудный рецептъ писать драмы! Удивляюсь, какъ послѣ этой статьи Шевырева не явилось нѣсколько дюжины историческихъ драмъ!.. Только избѣгая длинныхъ выписокъ, не выписываю этого даннаго рецепта слишкомъ въ двѣ страницы мелкой печати, гдѣ критикъ по пальцамъ высчитываетъ, что и что долженъ выставить въ своей драмѣ поэтъ, который бы избралъ для своей драмы эту эпоху. Жаль, что Шевыревъ не показалъ намъ того закона творчества, на которомъ онъ основалъ право исторіи и свое собственное чертить путь фантазіи художника; жаль, что этотъ интересный законъ эстетики остается доселѣ тайной!.. Впрочемъ, какъ увидимъ ниже, всѣ пункты эстетическаго уложенія, на которомъ опираются мнѣнія Шевырева, доселѣ остаются для публики тайной. Мы, съ своей стороны, всегда думали, что поэтъ не можетъ и не долженъ быть рабомъ исторіи; такъ же какъ онъ не можетъ и не долженъ быть рабомъ дѣйствительной жизни, потому что въ томъ и другомъ случаѣ онъ былъ бы списчикомъ, копистомъ, а не творцомъ. Поздравляемъ поэта, если герой его романа или драмы совершенно сходенъ съ героемъ исторіи, котораго онъ выводитъ въ своемъ созданіи; но это можетъ быть только въ такомъ случаѣ, когда поэтъ угадаетъ историческое лицо; когда его фантазія свободно сойдется съ дѣйствительностью. Разумѣется, что это будетъ случай, а не расчетъ, удача, а не намѣреніе. Поэтъ читаетъ хроники, исторію, повѣряетъ, соображаетъ, сдружается съ избранной эпохой, съ избранными лицами; изученіе для него необходимо, но не это изученіе составляетъ актъ творчества: поэтъ ищетъ историческое лицо, зоветъ его къ себѣ и не видитъ его, пока оно само не придетъ къ нему, незванное и неожиданное, въ свѣтлую минуту поэтическаго откровенія, можетъ быть, тогда, какъ онъ уже бросалъ и хроники, и исторіи... То же и съ планомъ, ходомъ и всей композиціей созданія. Ему нужны только нѣкоторыя мгновенія изъ жизни героя, ему нужны только нѣкоторыя черты эпохи; онъ въ правѣ дѣлать пропуски, неважные анахронизмы, въ правѣ нарушать фактическую вѣрность исторіи, потому что ему нужна идеальная вѣрность. Возьмите трехъ, четырехъ превосходныхъ историковъ той или другой эпохи, того или другаго историческаго лица: эта эпоха, это лицо у каждого изъ нихъ при всемъ сходствѣ будетъ отличаться особенными противорѣча-

щими отбѣнками. Значить, и въ исторіи есть свое творчество, значить, и историкъ создаетъ себѣ идеалъ. Хроники однѣ, а идеалы, составленные по нимъ, различны. Иногда же художникъ (особенно, когда его талантъ субъективенъ) имѣетъ полное право нарушить исторію въ исторической драмѣ, взявъ исторію только рамою для своей идеи. Филиппъ и Донъ-Карлосъ Шиллера нисколько не похожи на Филиппа и Донъ-Карлоса исторіи: но, невѣрные исторической истинѣ, они въ высочайшей степени вѣрны вѣчной истинѣ человеческой души, человеческого сердца, вѣрны истинѣ поэтической, потому что не выдуманы, не придуманы, а родились сами!.. А какъ?—этого не сказалъ бы вамъ и самъ поэтъ, если бы вы его спросили, и отослалъ бы можетъ быть васъ съ вашимъ вопросомъ къ Шлегелю, къ Сольгеру, къ Шеллингу...

Второй части этой критики не буду разбирать подробно. Въ ней критикъ доказываетъ не то, чтобы поэтъ погрѣшилъ противъ творчества, а то, что онъ не пошелъ по пути, начерченному самой исторіей. Потомъ исчисляетъ его промахи противъ здраваго смысла, а именно, что у него героемъ драмы является Лянуновъ, а Скопинъ—Шуйскій играетъ самую жалкую и ничтожную роль, что отравленіе Скопина на пиру есть тупоумное злодѣйство, и пр. Разумѣется, все это не касается законовъ изящнаго, потому что драма совсѣмъ не изящна; разумѣется, легко выставить всѣ ея ошибки, потому что когда умъ творить безъ участія чувства и фантазіи, то всегда дѣлаетъ нелѣпости и промахи противъ здраваго смысла. Перехожу ко второй критической статьѣ Шевырева.

Эта статья еще удивительнѣе. Въ ней Шевыревъ разсуждаетъ о разныхъ предметахъ и между прочимъ о какой-то «свѣтской» повѣсти, и называетъ повѣсти Павлова «свѣтскими». Что это такое—«свѣтская» повѣсть? Не понимаемъ; въ нашей эстетикѣ не упоминается о «свѣтскихъ» повѣстяхъ. Да развѣ есть повѣсти мужицкія, мѣщанскія, подъяческія? А почему жъ бы имъ и не быть, если есть повѣсти «свѣтскія»?.. Ну, пусть ихъ будутъ—посмотримъ, что дальше. Сначала критикъ говоритъ, что у насъ рѣдко появляются хорошія повѣсти: это мы знаемъ. Потомъ, что повѣсть есть вывѣска современной литературы: и объ этомъ мы тоже слышали. Причину этого критикъ находитъ въ томъ, что «у всякаго есть своя жизнь, свой анекдотъ, свой разсказъ, однимъ словомъ, у всякаго своя повѣсть». Но вѣдь, скажемъ мы, и прежде было то же, отчего же прежде повѣстей не писали? Потомъ критикъ говоритъ, что «съ тѣхъ поръ, какъ стало такъ легко быть авторомъ», появилось много дурныхъ повѣстей и романовъ: истина неоспоримая!

«Повѣсть тѣмъ болѣе доступна для всѣхъ и каждому, что ея форма есть та же проза, которою всѣ говорятъ»; признаемся — мы съ этимъ не совсѣмъ согласны. Потомъ критикъ говоритъ, что «жизнь есть какое-то складное бюро, со множествомъ ящиковъ, между которыми есть одинъ глубокий тайный ящикъ съ пружиною», что въ этомъ ящикѣ лежитъ женское сердце, что авторъ «Трехъ Повѣстей» слегка коснулся этого ящика, и что есть надежда, что когда-нибудь онъ и совсѣмъ откроетъ его. Послѣ этой прекрасной и поэтической аллегоріи въ восточномъ вкусѣ критикъ говоритъ намъ, что авторъ вынулъ изъ ящика записку, смыслъ которой состоитъ въ томъ, что человѣкъ вездѣ достоинъ вниманія, что сильныя страсти и рѣзкіе характеры встрѣчаются и въ убогихъ хижинахъ крестьянъ. «Въ этихъ словахъ, говоритъ критикъ, заключается теорія автора и тайна современной повѣсти». Для кого же эта тайна есть тайна, объ этомъ критикъ умалчиваетъ. Потомъ критикъ говоритъ, что есть люди, которые «ищутъ повѣстей за тридцать земель, на горахъ Кавказа, въ степяхъ Африки, въ жизни великихъ людей, въ своей фантазіи (?)». Нѣтъ, продолжаетъ онъ, найдите повѣсть здѣсь, около себя». Мы не понимаемъ, почему поэтъ долженъ ограничить себя только окружающею его жизнью, почему онъ не можетъ искать ее на Кавказѣ, въ Африкѣ и въ жизни великихъ людей и болѣе всего въ своей фантазіи. Намъ, напротивъ, кажется, что онъ именно только въ своей фантазіи долженъ искать повѣсти: жизнь у всѣхъ подъ руками, всѣ ее видятъ, многіе даже наблюдаютъ и понимаютъ, но воспроизводить могутъ только тѣ, у которыхъ есть фантазія. Потомъ говоритъ, что въ «свѣтской» повѣсти Павлова «Ятаганъ» все просто, неизысканно, безъ внезапностей, что въ ней характеровъ немного, но что эти характеры глубоки, что повѣствователь долженъ быть психологомъ: со всѣмъ этимъ нельзя не согласиться.

Теперь слѣдуетъ у него упрекъ автору за женщину, противъ которой онъ, будто бы, погрѣшилъ въ своей повѣсти «Аукціонъ». Онъ называетъ ее «неизгладимымъ проступкомъ» предъ лицомъ женскаго пола и непозволительнымъ злоупотребленіемъ таланта писателя». Признаемся откровенно: мы и такъ уже нашли много непонятнаго и удивительнаго во мнѣніяхъ Шевырева, но это мнѣніе даже пугаетъ насъ: мы боимся, что оно непонятно намъ вслѣдствіе своей глубины и ограниченности нашей мыслительной способности. Онъ даже нападаетъ въ этомъ отношеніи на «Ятаганъ», въ которомъ княжна кокетничаетъ съ соперникомъ своего избранника не изъ какой другой цѣли, какъ изъ любви къ этому невинному занятію... «Эта княжна, говоритъ онъ,

лукаво помнитъ о какихъ-то ядовитыхъ бездѣлкахъ общества, о каретѣ, въ которой нельзя ѣздить ей солдату»... Пусть думаетъ критикъ, какъ угодно ему, но мы понимаемъ это иначе: намъ кажется, что здѣсь-то именно авторъ «Трехъ Повѣстей» показалъ самымъ блистательнымъ образомъ свое знаніе и свѣта, и человѣческаго сердца, въ этой чертѣ мы признаемъ высокую художественность. Мы желаемъ не меньше всякаго, чтобы люди были хороши, но хотимъ, чтобы ихъ показывали такими, каковы они есть, истина и разочарованіе терзаютъ насъ не меньше всякаго, но мы ищемъ ея, этой истины, но мы находимъ въ ея терзаніяхъ радость, наслажденіе своего рода, и насъ удивляетъ и смѣшитъ аркадская вѣра въ совершенство міра этого...

«Нѣтъ, не такова женщина у насъ въ Россіи! Она едва ли не лучше мужчины, она его образованнѣе; потому ли, что образованіе женское не такъ сложно, какъ мужское; потому ли, что ей больше досуга предаваться свободнымъ занятіямъ ума, чѣмъ мужчинѣ, рапо увлекаемому службой»...

Часъ отъ часу не легче?.. Женщина едва ли не образованнѣе мужчины, потому что «женское образованіе не такъ сложно, какъ мужское»?.. Но вѣдь образованіе нашихъ крестьянокъ еще малосложнѣе, такъ слѣдуетъ ли изъ этого, чтобы наши крестьянки въ полосатыхъ поневахъ были идеаломъ женщины? И неужели высочайшее совершенство образованія состоитъ въ несложности образованія?.. Женщина у насъ едва ли не образованнѣе мужчины, потому что «ей болѣе досуга предаваться свободнымъ занятіямъ ума, чѣмъ мужчинѣ»... Но бѣлорумынѣ, чернозубымъ и тучнымъ сожительницамъ нашихъ брадатыхъ торговцевъ еще болѣе времени предаваться свободнымъ занятіямъ ума!.. И онѣ точно предаются «свободнымъ» занятіямъ!.. Воля ваша, а здѣсь нѣтъ логики!— Но послушаемъ еще критика.

«Если когда мужчина въ Россіи будетъ достоинъ своего назначенія, это будетъ даръ женщины, плодъ ея заботливости о немъ. Посмотрите, какъ она посвятила у насъ себя воспитанію дѣтей, какъ она отказывается отъ веселій свѣта, какъ она сама себя создаетъ свободный гиней, какъ любитъ дѣтскую и живетъ въ ней своими мыслями и чувствами!»

Честъ и хвала Шевыреву! Онъ нашелъ, наконецъ, эту утопію, эту землю обѣтованную, гдѣ женщина презираетъ мелочами суетности и самолюбія, гдѣ она велика исполненіемъ своихъ священнѣйшихъ обязанностей въ скромномъ уголкѣ семейной жизни, отмежеванномъ ей природой, гдѣ она жена и мать, а не свѣтская женщина, не femme savante, не поэтъ!.. Поздравляемъ его съ находкой!.. Мы бы сказали объ этомъ болѣе, но такъ какъ это не относится ни къ критикѣ, ни къ

литературѣ, то заключаемъ наше замѣчаніе стихомъ Грибоѣдова:

Блаженъ, кто вѣруетъ: тепло ему на свѣтѣ!

Слѣдующая за этимъ мысль поражаетъ своей вѣрностью и глубиной, и намъ очень пріятно ее выписывать, хотя она тоже не относится ни къ критикѣ, ни къ литературѣ.

«Изобразите мнѣ, повѣствователь, ту женщину, о которой вы сами говорите, что она оторвется отъ великолѣпной жизни, отъ родныхъ, и пойдетъ за вами въ Сибирь, на край свѣта, гдѣ только можете умереть за васъ... Изобразите мнѣ женщину еще выше этой, потому что къ высокимъ пожертвованіямъ мы часто бываемъ способны, но не бываемъ способны къ жертвованіямъ ежедневнымъ, обыкновеннымъ, не сопряженнымъ ни съ какимъ говоромъ славы, чуждымъ всякаго подозрѣнія въ тщеславіи, въ призракахъ на публичное мнѣніе; изобразите мнѣ во время пышнаго бала, который и пылаетъ, и гремитъ, и блещетъ, и ждетъ женщины... изобразите мнѣ ее во время такого бала въ своей дѣтской, у колыбели, съ младенцемъ у ея груди въ ту очаровательную полночь, когда все о ней думаетъ, все полно ею...»

Да, это истинная женщина, и мы увѣрены, что всѣ наши повѣствователи будутъ изображать ее, когда она сдѣлается не фениксомъ, не исключительнымъ, подобно гению, но обыкновеннымъ явленіемъ. До того же блаженного времени совѣтъ Шевырева останется безплоднымъ.

Потомъ критикъ хвалитъ слогъ автора «Трехъ Повѣстей»; его слогъ въ самомъ дѣлѣ—цвѣтокъ, благоухающій и прекрасный; мы вполне согласны въ этомъ съ критикомъ, но намъ кажется страннымъ, что онъ называетъ его періодъ округленнымъ, его фразу—обточенной: по нашему мнѣнію, эта похвала хуже брани. «Новый повѣствователь, говоритъ онъ еще, романистъ въ классическихъ формахъ. Его фраза—фраза Шатобриана по щегольству и отдѣлкѣ, но украшенная простотой». Если это такъ, то, по нашему мнѣнію, это опять-таки не похвала, а порицаніе: мы уважаемъ благородство въ литературѣ, но не терпимъ паркетности, высоко цѣнимъ изящество, но ненавидимъ щегольство.

Вообще критикъ въ своей статьѣ довольно ясно высказалъ и прямо, и околичностями, и общими мѣстами, что повѣсти Павлова прекрасны; но что такое онъ въ нашей литературѣ, какой ихъ особенный характеръ—объ этомъ онъ умолчалъ, и потому мы имѣемъ право и эту его статью отнести къ роду статей полемическихъ.

Теперь слѣдуетъ статья о «Миргородѣ» Гоголя. Почтенный критикъ со всей добросовѣстностью отдаетъ справедливость таланту Гоголя; но намъ кажется, что онъ невѣрно его поаялъ. Онъ находитъ въ немъ только стихію смѣшного, стихію комизма. Мы думаемъ

иначе. Смѣшное выражается многоразлично, многохарактерно, такъ сказать. Въ этомъ отношеніи оно похоже на остроуміе: есть остроуміе пустое, ничтожное, мелочное, умѣющее найти сходство между Расиномъ и деревомъ, производя то и другое отъ «корня»,—остроуміе, играющее словами, опирающееся на «какъ бы не такъ» и тому подобному,—остроуміе, глотающее иголки ума, которыми можете и само подавиться, какъ мы уже и видѣли примѣры этому въ нашей литературѣ; потомъ есть остроуміе, происходящее отъ умѣнья видѣть вещи въ настоящемъ видѣ, схватывать ихъ характеристическія черты, выказывать ихъ смѣшныя стороны. Остроуміе первого рода есть удѣлъ великихъ людей на малыхъ дѣла; остроуміе второго рода или дается природой, или пріобрѣтается горькими опытами жизни, или вслѣдствіе грустнаго взгляда на жизнь: оно смѣшитъ, но въ этомъ смѣхѣ много горечи и горести. Остроуміе первого рода есть балабуръ, шарада, тріолетъ, мадригалъ, буриме; остроуміе второго рода есть сарказмъ, желчь, ядъ,—другими словами: оно есть отрицательный силлогизмъ, который не доказываетъ и не опровергаетъ вещи, но уничтожаетъ ее тѣмъ, что слишкомъ вѣрно характеризуетъ ее, слишкомъ рѣзко выказываетъ ея безобразіе или удачнымъ сравненіемъ, или удачнымъ опредѣленіемъ, или просто вѣрнымъ представленіемъ ея такъ, какъ она есть. Смѣшное или комическое такъ же точно раздѣляется: оно или водевиль, или «Горе отъ Ума». Мы думаемъ, что смѣшное и остроумное первого рода принадлежитъ барону Брамбеусу, повѣсти котораго не лишены литературнаго достоинства, хотя и лишены всякой художественности, какъ и повѣсти всѣхъ рассказчиковъ-балагуровъ; а смѣшное Гоголя относится ко второй категоріи комизма. Мы опираемся въ этомъ случаѣ на то, что его повѣсти смѣшны, когда вы ихъ читаете, и печальны, когда вы ихъ прочтете. Онъ представляетъ вещи не карикатурно, а истинно: въ его «Вечерахъ на хуторѣ», въ повѣстяхъ: «Невскій Проспектъ», «Портретъ», «Тарасъ Бульба» смѣшное перемѣшано съ серьезнымъ, грустнымъ, прекраснымъ и высокимъ. Комизмъ отнюдь не есть господствующая и перевѣшивающая стихія его таланта. Его талантъ состоитъ въ удивительной вѣрности изображенія жизни въ ея неуловимо-разнообразныхъ проявленіяхъ. Этому-то и не хотѣлъ понять Шевыревъ: онъ видитъ въ созданіяхъ Гоголя одинъ комизмъ, одно смѣшное, и высказалъ нѣсколько мыслей вообще о смѣшномъ. Эти мысли кажутся намъ очень невѣрными, и мы сейчасъ же проверимъ ихъ. Мы прежде сдѣлаемъ замѣчаніе объ одномъ чрезвычайно странномъ его мнѣніи. Хваля цѣлое и подробности «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ», онъ говоритъ:

«Мнѣ не правится тутъ одна только мысль, убійственная мысль о привычкѣ, которая какъ будто разрушаетъ нравственное впечатлѣніе цѣлой картины. Я бы вымаралъ эти строки».

Мы никакъ не можемъ понять этого страха, этой робости передъ истиной! Критикъ не доказываетъ ни однимъ словомъ ложности этой мысли, напротивъ, какъ будто признаетъ ея справедливость, и въ то же время негодуешь на нее!.. Странно!.. Что касается до насъ, мы уже пережили этотъ аркадскій періодъ человѣческаго возраста, когда глаза страшатся свѣта истины, а потѣшаются ложными цвѣтами мыльных пузырей!..

«Смѣшное есть безмыслица безвредная... Человѣкъ шелъ по улицѣ и упалъ... Вы смѣетесь его неловкости, потому что неловкость есть въ своемъ родѣ безмыслица; но если вы замѣтили, что онъ вывихнулъ ногу и стоитъ... тутъ вамъ не до смѣху... Чувство состраданія изгоняетъ чувство смѣха... Такъ точно въ страстяхъ и порокахъ: они смѣшны до тѣхъ поръ, пока безвредны... Ревнивецъ смѣшонъ въ Арнольдѣ Мольера и ужасенъ въ Отелло... Сумасшедшій смѣшонъ до тѣхъ поръ, пока не опасенъ себѣ и другимъ... Безвредная безмыслица — вотъ стихія комическаго, вотъ истинно смѣшное».

Шевыревъ довольно пространно и отчетливо развиваетъ намъ свою теорію комизма: въ ней много справедливыхъ и дѣльных замѣтокъ, но основаніе рѣшительно ложно. Что такое «безвредная безмыслица»? — ничего больше какъ безмыслица! Давно уже рѣшено, что основаніе смѣшного есть несообразность, противорѣчіе идеи съ формой или формы съ идеей. Это доказываетъ примѣръ, приведенный самимъ Шевыревымъ. Человѣкъ шелъ и упалъ — это смѣшно безъ сомнѣнія. Но отчего? оттого, что идущій человѣкъ долженъ идти, а не лежать: слѣдовательно, въ случайности его паденія заключается противорѣчіе и съ его цѣлью, и съ положеніемъ человѣка идущаго. Вы встрѣчаете на улицѣ мужика, который идя ѣстъ калачъ — вамъ не смѣшно, потому что это походная трапеза не противорѣчитъ идее мужика; но если бы вы встрѣтили на улицѣ съ калачемъ въ рукахъ человѣка свѣтскаго, человѣка *comme il faut*, вы расхохотались бы, потому что принятое и утвержденное условіями нашей общественности понятіе о свѣтскомъ человѣкѣ противорѣчитъ идее походной трапезы среди улицы.

О замѣчаніи Шевырева касательно фантастической повѣсти Гоголя «Вій» я имѣлъ случай говорить. Это замѣчаніе очень справедливо и основательно.

Статья о «Миргородѣ» есть лучшая изъ статей Шевырева, помѣщенныхъ въ «Наблюдателя», и болѣе другихъ можетъ назваться критикой: въ ней онъ по крайней мѣрѣ разсуждаетъ о смѣшномъ и фантастическомъ предметахъ, прямо относящихся къ искусству;

но мнѣніе его вообще о характерѣ повѣстей Гоголя и о смѣшномъ кажется намъ невѣрнымъ.

Теперь слѣдуетъ пятая статья Шевырева «О критикѣ вообще и у насъ въ Россіи». Въ началѣ этой статьи Шевыревъ какъ бы мимоходомъ дѣлаетъ замѣчаніе насчетъ чьего-то мнѣнія, что «у насъ нѣтъ еще словесности, а есть уже критика», и потомъ задаетъ себѣ вопросъ: «можетъ ли существовать критика тамъ, гдѣ нѣтъ еще словесности?» На этотъ вопросъ онъ отвѣчаетъ утвердительно, ссылаясь на нѣмецкую литературу, въ которой «Лессингъ, Винкельманъ и Гердеръ предшествовали Шиллеру и Гёте и Жанъ-Полю». Вслѣдствіе этого онъ думаетъ, что и у насъ можетъ быть то же самое. Я еще въ началѣ этой статьи сказалъ мое мнѣніе насчетъ этой мысли. Потомъ онъ переходитъ къ важности критики у насъ въ Россіи и говоритъ, что «словесность наша до тѣхъ поръ не достигнетъ высокихъ созданій національнаго вкуса, а будетъ ограничиваться отрывками и мелкими произведеніями, пока не водворится у насъ критика національная, воспитанная своею наукой и основанная на глубокомъ изученіи исторіи словесности». Мы съ этимъ не согласны: мы думаемъ, что у насъ тогда будетъ литература, когда явится вдругъ нѣсколько талантовъ. Пушкинъ, Грибоедовъ и Гоголь явились, не дожидаясь критики. Слѣдующая за этимъ мысль кажется намъ еще удивительнѣе. Шевыревъ сначала говоритъ, что наука и преданіе враждебны другъ другу, первая — какъ нововводительница, безпрестанно движущаяся впередъ, вторая — какъ цѣль, мѣшающая ходу человечества: мысль можетъ быть не новая, но глубоко вѣрная! Потомъ онъ говоритъ, что есть еще борьба искусства съ наукой и преданіемъ, и что въ этой борьбѣ заключается жизнь искусства.

«Словесность производящая силится нарушить всѣ законы и уничтожить совершенно науку и преданіе. Наука хочетъ умертвить всякую живую силу въ своемъ строгомъ законѣ и подчинить ее урокамъ опыта и правиламъ, ею поставленнымъ. Если бы въ этой борьбѣ которая-нибудь изъ силъ восторжествовала, что весьма возможно, то равновѣсіе и гармонія литературнаго міра были бы совершенно нарушены. При исключительномъ торжествѣ науки уничтожилась бы вся новая жизнь въ мірѣ творящаго слова и на мѣсто ея воцарилось бы мертвое и холодное подражаніе. Восторжествовавъ сила производящая: безначаліе, хаосъ, уничтоженіе всѣхъ законовъ красоты могло бы быть слѣдствіемъ такого торжества въ литературномъ мірѣ. И откуда бы могло послѣдовать возрожденіе жизни словеснаго міра и восстановленіе ослепленнаго начала, если бы кромѣ этихъ двухъ враждующихъ силъ не присутствовала третья, которая занимаетъ средину между той и другою силой и является примирителемъ, равно наблюдающимъ права каждой изъ ихъ? — Вотъ мѣсто, которое, по моему мнѣнію, должна занимать критика въ

литературѣ... Однимъ словомъ, согласить законъ и жизнь, не нарушать первого и не попустить убійства второй—вотъ дѣло истинной критики! Торжествуетъ исключительно наука—освободить искусство; буйствуетъ искусство—возстановить на него науку—вотъ ея назначеніе.

Вотъ понятіе Шевырева о критикѣ. Но мы съ нимъ не согласны, оно намъ кажется ложнымъ, потому что выведено изъ ложнаго начала. Между искусствомъ и наукой точно есть борьба, да только эта борьба есть не жизнь, а смерть искусства. Вдохновенію не нужна наука, оно ученіе науки, оно никогда не ошибается. Основной законъ творчества, что оно сообразно съ цѣлью безъ цѣли, безсознательно съ сознаниемъ, опровергаетъ всѣ теоріи и системы, кромѣ той, которая основана на немъ, выведенная изъ законовъ человѣческаго духа и вѣковыхъ опытовъ надъ произведеніями искусства. Слѣдовательно не наука создала искусство, а искусство создало особенную науку—теорію изящнаго; слѣдовательно искусство только тогда истинно и изящно, когда вѣрно себѣ, а не наукѣ, а если наукѣ, то имъ же самимъ созданной. Правда, наука всегда силилась покорить искусство, но какое было слѣдствіе этого? Смерть искусства, какъ то доказываетъ классическая французская литература. Но когда искусству было свободно отъ науки, оно было полно жизни, истины, красоты эстетической: достаточно указать на одного Шекспира, чтобы сдѣлать это положеніе неопровержимымъ. Я, право, не знаю, какое вліяніе теорія, система, пѣтика, наука (назовите это какъ угодно) имѣла на Байрона, Вальтера Скотта, Купера, Гёте, Шиллера?.. Шевыревъ указываетъ на новѣйшую французскую литературу, какъ на плачевный примѣръ буйства искусства, освободившагося отъ науки; но, во-первыхъ, я никакъ не могу понять, въ чемъ состоитъ это буйство; во-вторыхъ, точно ли новѣйшія произведенія французской литературы суть плоды искусства, творчества; не покорены ли были они болѣе или менѣе духу моды, подражанія, расчета особеннаго рода системы, что для искусства не менѣе губительно науки? Критика не есть посредникъ и примиритель между искусствомъ и наукой: она есть приложеніе теоріи къ практикѣ, есть та же наука, созданная искусствомъ, а не создающая искусство. Ея вліяніе простирается не на искусство, а на вкусъ публики; она не для генія, творца, который всегда вѣренъ ей, не думая и не стараясь быть ей вѣрнымъ, а для направленія общественнаго вкуса, который можетъ измѣнять ей, сбиваемой съ толку ложно-изящнымъ или ложными системами.

Остальная и большая часть этой статьи состоитъ изъ обличеній критика «Библиотеки для Чтенія». Эти обличенія во всевозможныхъ

неправдахъ, противорѣчіяхъ самому себѣ, наивномъ шарлатанствѣ, явной и откровенной недобросовѣстности, умышленныхъ нечестностяхъ дышать благороднымъ негодованіемъ, неподдѣльнымъ жаромъ, остротой въ выраженіи, рѣзкостью и силой слога. Все это прекрасно, но знаете ли что? Мнѣ наконецъ и только сейчасъ, сію минуту пришла въ голову чудная мысль, что не должно и не изъ чего нападать на барона Брамбеуса и Тю-гюнджи-Оглу: кто-то изъ нихъ недавно объявилъ, что «Москва не шутитъ, а ругается», и я вывелъ изъ этого объявленія очень дѣльное слѣдствіе, что какъ почтенный баронъ, такъ и татарскій критикъ «не ругаются, а шутятъ» или, лучше сказать, «изволятъ потѣшаться». Теперь это уже ни для кого не тайна, и тѣхъ, для которыхъ оба вышеперечисленные мужи еще опасны своимъ вреднымъ вліяніемъ, тѣхъ уже нѣтъ средствъ спасти. Пойдите, виноваты! Эврика! Эврика! Есть средство, есть, я нашелъ его, честь и слава мнѣ! Для этого надобно, чтобы нашелся въ Москвѣ человѣкъ со всѣми средствами для изданія журнала, съ вещественнымъ и невещественнымъ капиталомъ, т. е. деньгами, вкусомъ, познаніями, талантомъ публициста, свѣтлостью мысли и огнемъ слова, дѣятельный, весь преданный журналу, потому что журналъ такъ же, какъ искусство и наука, требуетъ всего человѣка безъ раздѣла, безъ измѣнъ себѣ; надобно, чтобы этотъ человѣкъ умѣлъ возбудить общее участіе къ своему журналу, завоевать въ свою пользу общественное мнѣніе, надѣлать себѣ тысячи читателей... Тогда «Библиотека для Чтенія» — поминай, какъ звали, а куда... дѣлать нечего...

Нечего и говорить, какъ основательнѣе и справедливѣе упрекъ Шевырева критику «Библиотеки для Чтенія», что онъ судитъ о литературныхъ произведеніяхъ по личнымъ впечатлѣніямъ и отвергаетъ возможность положительныхъ законовъ искусства; но намъ странно кажется то, что основанія изящнаго, которыми руководствуется самъ Шевыревъ, остаются для насъ доселѣ тайной. Мы разсмотрѣли уже пять статей его и только въ одной нашли нѣсколько бѣглыхъ замѣтокъ о комическомъ или смѣшномъ и фантастическомъ. Мы нисколько не сомнѣваемся въ добросовѣстности Шевырева, мы увѣрены въ его вкусѣ, намъ бы хотѣлось знать и его литературное ученіе въ приложеніи къ разбираемымъ имъ книгамъ...

Послѣ статьи Шевырева «О критикѣ вообще и у насъ въ Россіи» слѣдуетъ разборъ одного изъ безчисленныхъ сочиненій или, лучше сказать, одной изъ безчисленныхъ статей Аретина современной французской критики, знаменитаго Жюль-Жанена: «Romans, Contes et Nouvelles littéraires; Histoire de la Poésie chez

tous les peuples». Я не читалъ и даже не видалъ этой книги; можетъ быть и не буду читать, не предвидя отъ нея особенной пользы, какъ отъ компиляціи, въ чемъ самъ авторъ очень наивно признается. Онъ написалъ ее для дѣтей, и потому ли, или почему другому взялся знакомить своихъ читателей даже съ восточными литературами, которыхъ не знаетъ, рѣшаясь на это именно потому, что и «другіе объ этомъ не больше его знаютъ». Причина очень достаточная, оправданіе очень резонное, по крайней мѣрѣ для Жанена! Что же касается до насъ, то мы думаемъ, что здѣсь Жаненъ, какъ говорится, превзошелъ самого себя въ этомъ миломъ невѣжествѣ, которымъ онъ гордится, какъ достоинствомъ, какъ заслугой: честь и слава ему! И такъ, я не буду повѣрять мнѣніи Шевырева касательно Жаненовой книги: они очень справедливы; не буду защищать ея отъ ожесточенныхъ нападокъ нашего критика: они очень дѣльны, хотя немного и утрированы, потому что Жанена оправдываетъ нѣсколько его откровенность, и потому что отъ автора не должно требовать больше того, что онъ самъ обѣщаетъ. Если можно его обвинять, и обвинять сильно, какъ обвиняетъ Шевыревъ, такъ это за то, что онъ взялся не за свое дѣло, но и на это онъ можетъ отвѣчать: почему жъ никто не сдѣлалъ ничего въ этомъ родѣ лучше меня? а я выполнилъ, какъ умѣлъ, то, что обѣщалъ. Коротче сказать, касательно мнѣнія о самой книгѣ мы почти согласны съ Шевыревымъ и прикладываемъ руку къ его приговору, даже и не читавши этого опальнаго произведенія литературнаго повѣсы Жанена. Но мы рѣшительно несогласны съ Шевыревымъ насчетъ его мнѣнія о самомъ Жаненѣ; его взглядъ на этого писателя былъ бы очень справедливъ, если бы не отзывался какимъ-то безотчетнымъ и безусловнымъ предубѣжденіемъ противъ всей современной французской литературы, — предубѣжденіемъ, которое очень понятно въ татарскомъ критикѣ «Библіотеки для Чтенія», отводящемъ глаза православному русскому народу отъ своихъ проказъ, но которое совсѣмъ не понятно въ Шевыревѣ, не имѣющемъ никакой нужды придерживаться такого образа мыслей. Дѣло вотъ въ чемъ: Шевыревъ говоритъ, что весь Жаненъ заключается въ газетномъ фельетонѣ, что вся сила, все могущество его таланта заключается въ слогѣ, имъ самимъ созданномъ и никому другому недоступномъ, не исключая даже Брамбеуса и Тю-тунджи-Оглу, которые, силясь подражать ему, только карикатурно передразниваютъ его. Да, это очень справедливо: журнальная проза составляетъ главную стихію Жаненова таланта, — главную, но не исключительную, какъ мы думаемъ. Жаненъ не ученый, не критикъ, а просто литераторъ,

въ высочайшей степени обладающій талантомъ говорить на бумагѣ, — литераторъ, каждая статья котораго есть бесѣда (conversation) умнаго, образованнаго и остраго человѣка, разговоръ бѣглый, живой, перелетный, какъ бабочка, трескучій, какъ догорающій огонекъ камина, дробящій предметъ, какъ граненый хрусталь; присовокупите къ этому неподражаемую легкость и болтливость языка, легкомысленность въ сужденіи, неистощимую, огненную дѣятельность, всегдашнюю готовность говорить о чемъ угодно, даже и о томъ, чего не знаетъ, но въ томъ и другомъ случаѣ говорить умно, остро, увлекательно, граціозно, мило, хотя часто и неосновательно, вздорно, безстыдно: и вотъ вамъ причина народности Жанена. Что Беранже въ поэзіи, то Жаненъ въ журнальной литературѣ. Мы этимъ не думаемъ равнять великаго и истиннаго поэта современной Франціи съ журнальнымъ болтуномъ: мы только хотимъ сказать, что тотъ и другой суть выраженіе своего народа и потому его исключительные любимцы. Но Жаненъ, какъ французъ по преимуществу, имѣетъ и другія качества, свойственныя одному ему и больше никому: онъ мило безстыденъ, просто душно наглъ, гордо невѣжественъ, простительно безсовѣстенъ, кокетливо продаженъ и непостояненъ во мнѣніяхъ. Эта умышленная и сознательная невѣрность самому себѣ, эта измѣнчивость во мнѣніяхъ была бы возмутительно отвратительна въ англичанинѣ, особливо въ нѣмцѣ; но въ Жаненѣ, какъ во французѣ, она простительна, мила даже, какъ кокетство въ прекрасной женщинѣ. Онъ лжетъ, хочетъ васъ обмануть, вы это замѣчаете — и только смѣетесь, а не оскорбляетесь, не возмущаетесь. Жаненъ имѣетъ на это исключительную привилегію, и этой-то привилегіи не хотѣлъ замѣтить Шевыревъ. Онъ съ ожесточеніемъ нападаетъ на легкомысліе, съ какимъ Жаненъ за все хватается, на недобросовѣстность, съ какой все выполняется, и на какое-то хвастовство съ недобросовѣстностью и невѣжествомъ; но онъ не хотѣлъ уяснить себѣ идеи, выражаемой словомъ «Жаненъ», не хотѣлъ увидѣть, что Жаненъ есть родъ журнальнаго паяца, который тѣшитъ публику и между тѣмъ безнаказанно даетъ щелчки тому и другому, пускаетъ въ оборотъ и дѣльную мысль, и умышленный софизмъ, и все это часто изъ одного невиннаго желанія попаясничать, потѣшиться. Но пусть будетъ такъ: мы не хотимъ спорить насчетъ этого съ Шевыревымъ, но насъ крайне изумило его мнѣніе, что Жаненъ будто бы «плохой романистъ»... Плохой романистъ!.. Помилуйте: вѣдь это слишкомъ много значить, вѣдь это что-то чрезвычайно смѣшное, чрезвычайно жалкое, вѣдь плохой романистъ, какъ и плохой поэтъ, есть посмѣшище, притча во

языцѣхъ, рыцарь печальнаго образа въ полномъ смыслѣ этого слова. Неужели такимъ считается во Франціи авторъ «Варнава»?.. У всякаго свой вкусъ, и мы не хотимъ переувѣрять Шевырева насчетъ истиннаго достоинства романовъ Жанена, но мы осмѣливаемся имѣть и свой вкусъ и почитать романы Жанена хорошими, а не плохими; равнымъ образомъ смѣемъ увѣрить нашихъ читателей, что и во Франціи, какъ и во всей Европѣ, не всѣ думаютъ о романахъ Жанена согласно съ Шевыревымъ. Что касается до насъ лично, мы имѣемъ вообще о французской литературѣ, а слѣдовательно и о романахъ Жанена, понятіе современное, всѣми признанное, для всѣхъ общее и ни для кого не новое. Мы думаемъ, что французской литературѣ не достаетъ чистаго, свободнаго творчества, вслѣдствіе зависимости отъ политики, общественной и вообще національнаго характера французовъ, что ей вредятъ скорописность, духъ не столько вѣка, сколько дня, обаяніе суетности и тщеславія, жажда успѣха во что бы то ни стало. Все это можно приложить и къ романамъ и повѣстямъ Жанена, и вслѣдствіе всего этого можно найти въ нихъ важные недостатки; но невозможно не признать въ нихъ слѣдовъ яркаго и сильнаго таланта. Жаненъ—романистъ и повѣствователь, точь-въ-точь какъ всѣ модные французскіе романисты и повѣствователи, и мы только безусловнымъ предубѣжденіемъ Шевырева противъ всей французской литературы можемъ объяснить его немилость къ Жанену и слишкомъ смѣлый эпитетъ, придаваемый имъ ему, какъ романисту. Поэтому мы почли за долгъ заступиться за Жанена, какъ за романиста, сколько изъ любви къ истинѣ, столько и потому, что для нашей публики слишкомъ достаточно возгласовъ «Библиотеки для Чтенія» противъ французской словесности: зачѣмъ же отбивать у этого журнала насущный хлѣбъ и помогать ему въ цѣли, которой онъ и безъ всякой чужой помощи вѣроятно успѣшно достигаетъ?.. Прибавимъ къ этому еще, что окончаніе статьи Шевырева привело насъ въ ужасъ: въ самомъ дѣлѣ, кто не почтетъ слѣдующихъ словъ какъ бы взятыми на выдержку изъ «Библиотеки для Чтенія»:

«Вотъ какъ составляются нынѣ книги во Франціи! Вотъ чѣмъ угощаютъ французское юношество! Вотъ какъ извѣстный литераторъ наряжается добровольно въ доску чужихъ трудовъ и самъ передъ своей публикой добровольно сознается въ этомъ!.. Что за нравственность въ той литературѣ, гдѣ безчинная хищность имѣетъ еще смѣлость быть мило откровенной!..»

Мы слишкомъ далеки отъ того, чтобы подозрѣвать Шевырева въ симпатіи съ барономъ Брамбеусомъ насчетъ французской литературы, но мы не можемъ понять, какъ

можно по одному примѣру и по одному литератору дѣлать такое невыгодное заключеніе о цѣлой литературѣ и произносить ей такой грозный приговоръ!.. И что худого, что авторъ, издавая компиляцію, самъ предувѣдомляетъ читателя, что это компиляція?.. Что касается до чужихъ доскутьевъ, то въ нихъ и у насъ любятъ рядиться, только не любятъ въ этомъ сознаваться: а это развѣ лучше?.. Право, слишкомъ уже приторны эти безотчетные, ни на чемъ не основанные возгласы о безнравственности литературы цѣлаго народа, литературы, которая имѣетъ Шатобриановъ и Ламартиновъ, и мы очень бы желали, чтобъ наши правоучители растолковали намъ, въ чемъ именно состоитъ эта безнравственность, или поукротили бы свое негодованіе!.. Эти возгласы, какія бы причины ни производили ихъ, тѣмъ досаднѣе, что простодушная неосновательность во мнѣніяхъ часто можетъ имѣть одни слѣдствія съ хитрой неблагонамѣренностью, и что вслѣдствіе того иной добросовѣстный литераторъ можетъ попасть въ одну категорію съ витязями «Библиотеки для Чтенія»...

Теперь мнѣ слѣдуетъ рассмотреть седьмую статью Шевырева, которая можетъ назваться и критической, и полемической, и филологической, и художественной: разумѣю переводъ седьмой пѣсни «Освобожденнаго Іерусалима». Да, я смотрю на этотъ переводъ не иначе, какъ на журнальную статью, въ которой есть немного критики, очень много полемики, а больше всего шуму и грому. Дѣло въ томъ, что этотъ переводъ снабженъ чѣмъ-то въ родѣ предисловія, въ которомъ Шевыревъ не шути грозитъ произвести ужасную реформу въ нашемъ стихосложеніи, изгнать наши бойкіе ямбы, наши звучные металлическіе хореи, наши гармоническіе дактили, амфибрахьи, анапесты и замѣнить ихъ—чѣмъ бы вы думали?—тоническимъ риномъ нашихъ народныхъ пѣсенъ, этимъ риномъ, столь роднымъ нашему языку, столь естественнымъ и музыкальнымъ?.. Нѣтъ!—итальянской октавой!.. Статейка начинается жалобой на какого-то журналиста, который не хотѣлъ помѣстить въ одномъ номерѣ своего журнала перевода седьмой пѣсни «Освобожденнаго Іерусалима», а помѣстилъ его въ видѣ отрывковъ въ нѣсколькихъ номерахъ, чѣмъ повредилъ его добродушно впечатлѣнію на публику. «Переводчикъ, говоритъ Шевыревъ, тогда отсутствовалъ, а отсутствовавшіе всегда виноваты, по извѣстной пословицѣ». Сначала этотъ упрекъ, какъ ни казался основательнымъ, удивилъ меня немного своей горечью, но когда я прочелъ октавы, то вполнѣ раздѣлилъ благодарное негодованіе Шевырева на злого журналиста и хотѣлъ сгоряча написать на него

презлую статью. Въ самомъ дѣлѣ, «перекрыть въ отрывки экономическимъ расчетомъ журнала» такой опытъ, которымъ затѣвалась такая важная реформа и который весь состоялъ изъ такихъ звучныхъ, гармоническихъ октавъ, какъ слѣдующія:

Кружить шаги широкими кругами,
Стѣснять доспѣхъ, мечомъ махая праздно;
Межъ тѣмъ Танкредъ, хотя и утомленъ путями,
Идетъ и напираетъ безотвязно.
И всякій шагъ, соперника стопами
Уступленный, приемлетъ неотказно,
И все къ нему тѣснится сгоряча,
Въ глаза сверкая молніей меча.

.....
Потомъ кружить отселъ и оттолъ,
И вновь кружить оттолъ и отселъ,
И всякій разъ, вскипая болъ и болъ,
Разить врага тяжелъ и тяжелъ.
Все, что есть силъ въ горящей гнѣвомъ волѣ,
Въ искусствѣ опытномъ и ветхомъ тѣлѣ,
Все ко вреду черкеса съединяетъ,
И счастье, и небо заклинаятъ.

О! только бы узнать мнѣ имя этого варвара журналиста, а то не уйти ему отъ меня!.. Но пока послѣдуемъ за Шевыревымъ въ его объясненіяхъ затѣваемой имъ реформы.

Онъ говорить, что тогда его опытъ явился въ неблагоприятное время, потому что «слухъ нашъ лелѣлся какой-то нѣгой однообразныхъ звуковъ, мысль спокойно дремала подъ эту мелодію и языкъ превращалъ слова въ одни звуки» (?), а въ октавахъ его «нарушались всѣ условныя правила нашей просодіи, объявлялся совершенный разводъ мужскимъ и женскимъ рѣмамъ, хорей впутывался въ ямбъ, двѣ гласныя принимались за одинъ слогъ».

Понятно теперь для васъ, въ чемъ состоитъ реформа Шевырева?... Думаю, что очень понятно. Но нужна ли она и возможна ли она?.. Какъ ни неприятно и ни скучно заниматься разбирательствомъ такихъ вопросовъ, но я обрекъ себя на это и долженъ выполнить начатое, во что бы то ни стало.

Для чего намъ октавы? Для того же, для чего намъ были нужны эпическія поэмы, оды, а теперь романы; для того же, для чего намъ нужны были героическіе гекзаметры, да еще съ спондеями,—и элегическіе пентаметры. У всѣхъ народовъ были эпическія поэмы—стало быть, и намъ нужно было имѣть ихъ, да еще не одну, а дюжину; во всѣхъ европейскихъ литературахъ лиризмъ проявлялся въ формѣ надутыхъ одъ—стало быть, и нашимъ лирикамъ надо было надуться; у грековъ и римлянъ поэмы писаны были гекзаметрами, а элегіи—гекзаметрами и пентаметрами попеременно—стало быть, и намъ надо было гекзаметровъ и пентаметровъ, во что бы то ни стало, а такъ какъ ихъ не было въ языкѣ, то, ради пред-

стоящей потребности, сработали кое-какъ свои, замѣнивъ спондеи хореемъ; теперь у итальянцевъ есть октавы—какъ же не быть имъ у насъ?.. Вы скажете, что ихъ октавы родились отъ духа и просодіи ихъ языка, что онѣ родились сами, а не изобрѣтены, что русскій языкъ не итальянскій, что два слога за одинъ принимать можно только въ пѣніи, а не въ чтеніи, для котораго преимущественно пишутся стихи, и Богъ знаетъ, чего вы еще не скажете!... Я самъ думалъ доселѣ, что размѣръ не есть дѣло условное, что наши ямбы и хорей—не чистые ямбы и хорей, что они близки къ тонизму нашего народнаго рѣма и потому такъ подружались съ нашей поэзіей; а дактили, амфибрахи и анапесты совершенно согласны съ духомъ нашего языка, потому что въ народныхъ пѣсняхъ встрѣчаются цѣлые стихи дактилическіе, амфибрахические и анапестические. Равнымъ образомъ я всегда думалъ, что гекзаметръ есть метръ искусственный, и потому тяжелый, утомительный для чтенія и никогда не могущій привиться къ нашему стихосложению. Какъ же хотѣтъ заставить насъ писать октавами, которыя должно читать какъ прозу, въ которыхъ нѣтъ сочетанія, гдѣ объявляется совершенный разводъ мужскимъ и женскимъ рѣмамъ?.. Впрочемъ я еще думалъ и то, что размѣръ не составляетъ сущности искусства, въ которомъ главное дѣло творчество, изищество, красота; что поэтъ имѣетъ право писать и ямбами, и хореемъ, и дактилями, и амфибрахиями, и анапестами, и гекзаметрами, и пентаметрами, и даже октавами, лишь бы только онъ хорошо писалъ. Но Шевыревъ рѣшительно разуверилъ меня во всѣхъ моихъ теплыхъ вѣрованіяхъ насчетъ русскаго стихосложения неопровержимыми доказательствами. Съ моей стороны осталось было одно только возраженіе противъ него: я думалъ, что когда нововведеніе въ духъ языка, то должно имѣть успѣхъ, а Шевыревъ не нашелъ ни одного послѣдователя; но это возраженіе уничтожается само собою: мы узнаемъ, что

«давно мы не слышимъ бывалыхъ стиховъ. Если и слышимъ, то изрѣдка. Читаемъ все прозу и прозу. Можетъ быть это безмолвіе, господствующее въ мірѣ нашей поэзіи, эта чудная тишина, эта пустыня пророчить какой-нибудь переворотъ въ нашемъ стихотворномъ языкѣ, въ формахъ нашей просодіи. Благодаря этой тишинѣ, слухъ отвыкнетъ отъ прежней монотоніи, нервы его окрѣпнутъ, выльчатся отъ расслабленія—и онъ будетъ способенъ выносить звуки и сильнѣе, и тверже. Теперь едва ли не совершается у насъ время перехода, ознаменованное бездѣйствіемъ почти всѣхъ нашихъ поэтовъ, которые, въ послѣднее время, вода слегка привычными пальцами по струнамъ, дремали, дремали, и теперь заснули на своихъ лирахъ, и спать до новаго пробужденія!».

И такъ, спокойной ночи, пріятнаго сна гг. поэта́мъ!.. Пока они проснутся отъ скрипа октавъ г. нововводителя, мы рѣшимъ и безъ нихъ, почему эти октавы не произвели никакихъ слѣдствій: потому что явились немного рано, во время перехода, а не по его окончаніи. Нашъ слухъ только окрѣпаетъ, но еще не окрѣпъ; новыя октавы немного дерутъ его. Но погодите, скоро онъ прислушается къ этому, особливо, когда молодое поколѣніе, внявъ голосу г. реформатора, придетъ къ нему на помощь. Подвигъ великій; интересъ всеобщій, вопросъ міровой! Дѣло идетъ о судьбѣ искусства въ Россіи, которое непременно погибнетъ безъ октавъ: такъ молодому ли поколѣнію оставаться празднымъ, когда его дѣятельности предстоитъ такое обширное поле!..

Не хотите ли знать, какъ пришла Шевыреву эта прекрасная мысль? Послушаемъ его самого:

«Съ послѣдними звуками нашей монотонной музыки въ ухахъ я ухалъ въ Италію... Долго я не слыхалъ русскихъ стиховъ, которые памятливы были только своимъ однозвучіемъ (?!!)... Велушивался въ сильную гармонию Данта и Тасса... Обратился къ нашимъ первымъ мастерамъ—нашелъ въ нихъ силу... устыдился изыженности, слабости и скудости нашего современнаго языка русскаго... Всѣ свои чувства и мысли объ этомъ я выразилъ тогда въ моемъ посланіи къ А. С. Пушкину, какъ представителю нашей поэзіи. Я предчувствовалъ необходимость переворота въ нашемъ стихотворномъ языкѣ; мнѣ думалось, что сильныя, огромныя произведенія музыки не могутъ у насъ явиться въ такихъ тѣсныхъ, скудныхъ формахъ языка; что намъ нуженъ большой просторъ для новыхъ подвиговъ. Безъ этого переворота ни создать свое великое, ни переводить творенія чужія мнѣ казалось и кажется до сихъ поръ невозможнымъ (???). Но я догадывался также, что для такого переворота надо всѣмъ замолчать на нѣсколько времени, надо отучить слухъ публики отъ дурной привычки... Такъ теперь и дѣлается. Поэты молчатъ. Первая половина моего предчувствія сбылась: авось сбудется и другая».

Пока сбудется вторая половина предчувствія Шевырева, подивимся, какъ много новыхъ истинъ заключается въ немногихъ его строкахъ, выписанныхъ нами! Мы думали, что, напримѣръ, стихи Пушкина памятны всякому образованному русскому своимъ высокимъ художественнымъ достоинствомъ, а не однимъ своимъ однозвучіемъ: теперь ясно, что мы ошибались! Потому мы думали, что «сильныя, огромныя произведенія музыки» могутъ являться такъ же хорошо и въ «тѣсныхъ и скудныхъ формахъ языка», какъ въ широкихъ и богатыхъ, основываясь на примѣрѣ Шекспира и Байрона, которые заковывали свои исполнскія созданія въ бѣдныя и однообразныя метры англійскаго стихосложненія, и которые, право, не ниже хоть на-

примѣръ господина Виргилія, отъа немного тошей мыслями «Энеиды», хотя писанной богатымъ, роскошнымъ гекзаметромъ: и это наше мнѣніе оказалось ложнымъ. Наконецъ—намъ надо всѣмъ замолчать на нѣсколько времени (вотъ въ этомъ-то мы вполне согласны съ Шевыревымъ!), надо отучить слухъ публики отъ дурной привычки... Такъ теперь и дѣлается... Поэты молчатъ». А! такъ вотъ почему они молчатъ?... Они ожидали реформы, а не по неизмѣннѣ голоса?... Воже мой, какъ много новаго можно иногда сказать въ немногихъ словахъ!..

«Я самъ знаю недостатки моей копіи. Стихи мои слишкомъ рѣзки, часто жестки и даже грубы».

Мы съ этимъ совѣмъ несогласны; но не хотимъ опровергать скромнаго переводчика, потому что приведенныя нами въ примѣръ двѣ октавы его могутъ служить самымъ убѣдительнымъ опроверженіемъ этихъ словъ... Но довольно объ октавахъ!..

Теперь слѣдуетъ разборъ Шевырева стихотвореній Бенедиктова... Этотъ разборъ замѣчательнъ: онъ доставилъ новому стихотворцу большую извѣстность по крайней мѣрѣ въ Москвѣ. И неудивительно: этотъ разборъ есть истинный дифирамбъ, истинное изліяніе восторженнаго чувства: это доказываетъ и непомѣрное обиліе точекъ послѣ каждаго періода, и необыкновенная цвѣтистость языка... Тѣмъ строжайшему разбору долженъ бы подвергнуться этотъ разборъ; но, съ одной стороны, у кого достанетъ духа холодной прозой разсудка опровергать пламенную поэзію чувства, плодомъ котораго былъ этотъ вдохновенный разборъ? съ другой же стороны, я твердо рѣшился ничего больше не говорить о стихотвореніяхъ Бенедиктова, тѣмъ болѣе, что моя рѣшительность сдѣлалась еще тверже, когда я прочелъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» новое стихотвореніе этого поэта «Кудри», гдѣ онъ говоритъ, какъ пріятно «наматывать на палецъ кудри и припекать ихъ подѣлуями»: что можно сказать противъ такой поэзіи?

Но, оставляя въ сторонѣ вопросъ о стихотвореніяхъ Бенедиктова, взглянемъ на статью Шевырева, взглянемъ хладнокровно и даже холодно: мы не остудимъ этимъ ея теплоты. Сначала критикъ радуется звукамъ новой лиры, внезапно раздавшейся среди всеобщаго затишья нашихъ лиръ. И такъ, еще старые поэты спятъ (да продлитъ Господь ихъ сонъ!), они еще не проснулись, а ужъ явился новый поэтъ, съ чѣмъ же? съ октавой?... О, нѣтъ! съ прежними монотонными ямбами, хореемъ, амфибрахиями—но зато «съ глубокой мыслью на челѣ, съ чувствомъ нравственнаго цѣломудрія и даже съ нѣкоторымъ опытомъ

жизни». Такъ, стало быть, и безъ октавъ можно еще быть глубокимъ въ мысляхъ и слѣдовательно глубокимъ въ чувствахъ?.. Потомъ критикъ спрашиваетъ себя, что ему дѣлать отъ такой внезапной радости: «поздравить ли русскую публику съ великимъ поэтомъ, или сохранить строгую неподвижность, какъ будто недоступную никакому насилію впечатлѣнія, сказать только: «хорошо, но посмотримъ!» и тѣмъ взять на себя «душегубство неразвившагося таланта?..» Критикъ не долго думалъ и, разумеется, рѣшился на первое, а мы пока остановимся на «душегубствѣ».

Есть странное мнѣніе, что строгій и рѣзкій приговоръ можетъ убить неразвившееся дарованіе. Правда ли это? Положимъ, если и можетъ—тогда что жъ за бѣда такая?.. Къ чему эти поэты, которыхъ заставляетъ замолчать первая выходка критики, какъ раскрячавшаго ребенка лоза няньки?—Истиннаго и сильного таланта не убьетъ суровость критики, такъ какъ незначительнаго не подыметъ ея привѣтъ. Поэтомъ можетъ называться только тотъ, кто не можетъ не писать, кто не въ силахъ удерживать вѣчно пламенныхъ порывовъ своей фантазіи. Вспомните, какъ встрѣченъ былъ Байронъ; вспомните, какъ встрѣченъ былъ нашъ Пушкинъ: что жъ—испугался ли тотъ и другой? Первый отвѣчалъ желчной сатирой и «Чайльд-Гарольдомъ»; второй тоже продолжалъ идти впередъ и, какъ будто тѣшась надъ своими аристархами, припечаталъ ихъ поученія ко второму изданію «Руслана и Людмилы». Въ истинномъ поэтѣ предполагается глубокая вѣра въ свое призваніе; притомъ же, если критика несправедлива, она встрѣчаетъ сильную оппозицію въ публикѣ.

Въ западной Европѣ еще можетъ имѣть смыслъ это мнѣніе, у насъ же рѣшительно никакого; тамъ, если освищено первое произведеніе неразвившагося таланта, этотъ талантъ можетъ умереть съ голоду, прежде нежели напишетъ второе произведеніе, которое должно поднять его во мнѣніи публики; у насъ, слава Богу, никто съ голоду не умираетъ, и вопросъ о жизни и смерти не рѣшается изданіемъ книжки стихотвореній.

Нѣтъ, не нужно намъ поэтовъ, которыхъ талантъ можетъ убить первая строгая или несправедливая критика; у насъ и такъ ихъ много; если критика заставитъ хоть одного изъ нихъ благоразумно замолчать, то сдѣлаетъ очень доброе дѣло...

«Послѣ могучаго первоначальнаго періода созданія языка, расцвѣтъ въ нашей поэзіи періодъ формъ самыхъ изящныхъ, самыхъ утонченныхъ... Это былъ періодъ картинъ, роскошныхъ описаній, гармоніи чудесной, живой, хотя однообразной, вѣги, иногда глубины чувства, раство-

ренной тоской о прошломъ... Однимъ словомъ, это была эпоха изящнаго матеріализма въ нашей поэзіи... Слухъ нашъ дрожалъ отъ какой-то роскоши раздражительныхъ звуковъ... упивался, или скользилъ по нимъ, иногда не вслушиваясь въ нихъ... Воображеніе наслаждалось картинками, но болѣе чувственными... Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное, и особенно чувство грусти неземной вѣяло тѣмъ-то духовнымъ въ поэзіи... Но матеріализмъ торжествовалъ... Формы убивали духъ...»

Вотъ приступъ Шевырева къ похвальному слову Бенедиктову. Послѣ этого приступа онъ говоритъ:

«Есть другая сторона въ поэзіи, другой міръ—міръ мысли, міръ идеи поэтической, которая скрыта глубоко. Въ нѣкоторыхъ современныхъ поэтахъ проявлялось стремленіе къ мысли, но было частью слѣдствіемъ не столько поэтического, сколько философическаго направленія, привитаго къ намъ изъ Германіи... Для формъ мы уже сдѣлали много, для мысли—еще мало, почти ничего. Періодъ формъ, періодъ матеріальный, изысканскій, однимъ словомъ, періодъ стиховъ и пластицизма уже кончился въ нашей литературѣ сладкозвучной сказкой; пора наступить другому періоду, духовному, періоду мысли».

Нужно ли говорить, кто у Шевырева является главой этого ожидаемаго періода мысли въ исторіи нашей литературы?... Довольно, остановимся на этомъ.

И такъ, первый русскій поэтъ, созданія котораго проникнуты мыслью, есть Бенедиктовъ!.. Поздравляемъ Шевырева съ открытіемъ, а публику—съ приобрѣтеніемъ!.. У насъ шутить не любятъ: какъ примутся хвалить, такъ какъ разъ въ боги запишутъ и храмъ соорудятъ. Но пусть такъ—похвала отъ убѣжденія не бѣда; но вѣдь убѣжденіе-то должно же быть согласно съ здравымъ смысломъ? Но, отдавая должное Бенедиктову, Шевыревъ долженъ же быть, по своему жъ убѣжденію, не обижать заслуженныхъ корифеевъ нашей литературы?.. Такъ Бенедиктовъ выше Пушкина, Жуковскаго, Грибоѣдова, не говоря уже о Козловѣ, Подоллинскомъ, Веневитиновѣ, Ѳ. Глинкѣ и другихъ?.. Когда у насъ былъ этотъ «періодъ картинъ, роскошныхъ описаній», эта «эпоха изящнаго матеріализма»?.. Кто ея представители?..—Языковъ и Хомяковъ, изъ которыхъ первый есть неоспоримо поэтъ, поэтъ истинный, но поэтъ именно картинъ, роскошныхъ описаній, поэтъ изящнаго матеріализма; второй же блистательный поэтъ выраженія, и только выраженія, поддѣлывающійся подъ мысль, но сильный однимъ только выраженіемъ!.. Если такъ, то мы совершенно согласны съ Шевыревымъ; но вѣдь Языковъ и Хомяковъ не суть представители всей нашей поэзіи, но вѣдь они стоятъ и не въ первомъ ряду нашихъ поэтовъ, которыхъ впрочемъ такъ немного, но вѣдь остаются еще Пушкинъ, Жуковский, Грибоѣдовъ, впереди которыхъ нѣтъ

никого, и за которыми стоятъ еще и другія дарованія, кромѣ Языкова и Хомякова. Пушкинъ можетъ принадлежать къ періоду «изящнаго матеріализма» только «Русланомъ и Людмилою». Развѣ въ черкешенкѣ его «Кавказскаго Пѣвника» нѣтъ идеи, нѣтъ мысли? Развѣ его Зарема, Марія, Гирей, его Алеко, Земфира, словомъ, вся поэма «Цыгане», не суть произведенія мысли глубокой, могучей, поэтической? А Марія, Мазепа, Кочубей «Полтавы» — въ нихъ тоже нѣтъ мысли? А «Годуновъ» — неужели въ немъ меньше мысли, чѣмъ въ стихотворныхъ побрякушкахъ Бенедиктова? А «Онѣгинъ», этотъ живой, движущійся міръ лицъ, мыслей, чувствъ?.. Теперь о Жуковскомъ. Конечно многія его пьесы, какъ-то: «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ», «Пѣвецъ на Кремлѣ», «Пѣснь Барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей», большая часть посланій, нѣкоторые переводы, какъ наприм. «Пиршество Александра» изъ Драйдена, большая часть балладъ — конечно все это не поэзія въ собственномъ смыслѣ, все это не больше, какъ прекрасные стихи, которые все-таки въ миллионъ разъ лучше стиховъ Бенедиктова; но за Жуковскимъ остаются еще его элегіи, романсы, пѣсни, переводныя и оригинальныя, его «Ахиллъ» и «Эолова Арфа», его переводъ «Іоанны д'Аркъ»: развѣ во всѣмъ этомъ нѣтъ мысли, нѣтъ идеи, развѣ все это относится къ періоду «изящнаго матеріализма, періоду формъ, поглощавшихъ идеи»?.. Странно!.. «Горе отъ Ума» тоже прекрасно одними формами и лишено мысли, идеи!.. Не понимаемъ!.. И такъ, даже самъ Пушкинъ ниже Бенедиктова?.. Поздравляемъ!.. Вотъ вамъ заслуга, вотъ вамъ слава ваша, поэты!

Вотъ ваши строгіе цѣнители и судьи!

Да, впрочемъ, что жъ тутъ непріятнаго для поэтовъ? Они могутъ отвѣчать намъ стихомъ изъ той же комедіи:

А судьи — кто?

Повторяю — убѣжденіе прекрасно, но оно должно быть основано по крайней мѣрѣ хоть на здоровомъ смыслѣ, если не на чувствѣ, не на умѣ, иначе это убѣжденіе будетъ хуже неспособности имѣть какое-либо убѣжденіе. Въ этомъ случаѣ мы говоримъ смѣло и твердо: мы опираемся на публику, на всѣхъ образованныхъ людей, на здравый смыслъ, на умъ, на чувство.

Другое дѣло — достоинство стихотвореній Бенедиктова: оно еще можетъ быть до нѣкоторой степени и для нѣкоторыхъ людей спорнымъ вопросомъ; но такія гиперболическія похвалы — воля ваша — онѣ похожи на оду какого-нибудь Гафиза или Саади персидскому шаху...

Но этимъ не все кончилось: вотъ еще мысль Шевырева, которая удивляетъ своей странностью, по крайней мѣрѣ насъ:

«Я съ полнымъ убѣжденіемъ вѣрю въ то, что только два способа могутъ содѣйствовать къ искупленію падшей поэзіи: во-первыхъ, мысль, во-вторыхъ, глубокое своенародное изученіе древнихъ и новыхъ произведеній народовъ».

Нѣтъ, эти два способа сами по себѣ ничего не значатъ; они могутъ имѣть смыслъ только при третьемъ способѣ: при появленіи на поприщѣ литературы истинныхъ и великихъ поэтовъ, которыхъ нельзя сдѣлать никакими способами.

Послѣ этого Шевыревъ говоритъ, что первая отличительная черта стихотвореній Бенедиктова есть мысль, и въ доказательство выписываетъ плохенькое стихотвореніе «Цвѣтокъ» и знаменитый «Утѣсъ». Второй отличительной чертой стихотвореній Бенедиктова онъ полагаетъ «могучее и нравственное чувство добра, слитое съ чувствомъ цѣломудрія»^{*)}. Потомъ слѣдуютъ комплименты и выписки пьесъ.

Теперь дохожу до статьи Шевырева о драмѣ Альфреда де-Виньи «Чаттертонъ». Критикъ разсматриваетъ ее съ двухъ сторонъ: сперва въ отношеніи ея къ идеѣ, потомъ въ отношеніи ея художественнаго исполненія. Мы особенно займемся первой частью его статьи, которая и полнѣе, и подробнѣе, и гораздо важнѣе въ томъ смыслѣ, что въ ней съ горячимъ убѣжденіемъ выдается за непреложную истину ужасный парадоксъ. Во второй части статьи сказано очень мало и сказано то, что можно сказать объ этой драмѣ, даже и не читавши ея, но зная характеръ и господствующую идею въ твореніяхъ де-Виньи и соображаясь съ сужденіями французскихъ критиковъ. Шевыревъ отдаетъ справедливость автору за его умѣренность въ ужасахъ, на которые такъ неумѣренна вообще вся современная французская литература, за простоту и естественность въ ходѣ его пьесы, чуждой всѣхъ натяжекъ, подставокъ и театральныхъ эффектовъ искусственной музыки Виктора Гюго. Шевыревъ говоритъ, что отличительный характеръ нынѣшней французской литературы состоитъ въ ея зависимости отъ всѣхъ европейскихъ литературъ, такъ какъ прежде отличительный характеръ всѣхъ европейскихъ литературъ состоялъ въ зависимости отъ французской; но въ то же время Шевыревъ признается, что французы, беря чужое, любятъ

^{*)} Это чувство цѣломудрія особенно выразилось въ его пьесѣ «Наѣздница», которой мы не выписываемъ, хотя бы это было теперь и кстати, потому что имѣемъ свои понятія о чувствѣ цѣломудрія и боимся оскорбить въ нашихъ читателяхъ это чувство.

переувеличивать его по своему, или, какъ онъ говорить, преувеличивать (*exagérer*), и что поэтому отличительный характеръ ихъ произведеній состоитъ въ преувеличеніи (*exagération*). По его мнѣнію, поэзія Виктора Гюго есть «вогнутое зеркало, гдѣ исказилась поэзія Шекспира, Гёте и Байрона, гдѣ романтизмъ (?) британо-германскій взбилъ хохоль до потолка, вытянулъ лицо и всталъ на дыбы и совершенно обезобразилъ свое естественное, выразительное лицо», и что поэтому она есть «клевета не только на романтизмъ (?), но и на природу человѣческую». Это совершенная правда, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ драмамъ Гюго, которыя суть истинная клевета на природу человѣческую и на творчество; но въ подражаніи ли, въ зависимости ли Шекспира, Гёте и Байрона заключается причина этого?.. Намъ кажется, что эта причина гораздо ближе, что она въ господствѣ идеи, которая не связана съ формой, какъ душа съ тѣломъ, но для которой форма прибирается по прихоти автора, у котораго идея всегда одна, всегда готовая, всегда отрѣшенная отъ всякаго образнаго представленія, никогда не проходящая чрезъ чувство, слѣдовательно чисто философская задача ума, рѣшаемая логически, и у котораго форма составляется послѣ идеи, вырабатывается отдѣльно отъ нея, составляетъ для нея не живое и органическое тѣло, съ уничтоженіемъ котораго уничтожается и идея, а одежду, которую можно надѣть и опять снять, и перекроить, и перешить, и въ которой главное дѣло въ томъ, чтобы она была впору, сидѣла плотно и безъ морщинъ. Въ Гюго нельзя отрицать поэтическаго элемента, но онъ совсѣмъ не драматикъ, онъ идетъ по пути ложному, выбранному вслѣдствіе системы, а не безотчетнаго стремленія. И это очень понятно: онъ явился въ эпоху умственнаго переворота, въ годину реформы въ понятіяхъ объ изящномъ, и потому часто творилъ не для творчества, а для оправданія своихъ понятій объ искусствѣ; словомъ, Гюго есть жертва этого нелѣпаго романтизма, подъ которымъ разумѣли эмансипацію отъ ложныхъ законовъ, забывъ, что онъ долженъ былъ состоять въ согласіи съ вѣчными законами творящаго духа. Странное дѣло, объ этомъ романтизмъ толковали и спорили и въ Германіи, и въ Англіи, но онъ тамъ не сдѣлалъ никакого вреда, вѣроятно потому, что его тамъ понимали настоящимъ образомъ. Обратимся къ Альфреду де-Виньи. У него есть тоже идея, и идея постоянная, но эта идея у него въ сердцѣ, а не въ головѣ, и потому не вредитъ его творчеству. Какъ всякій поэтъ съ истиннымъ дарованіемъ, онъ простъ, неизысканъ, естественъ, добросовѣстенъ, и потому болѣе поэтъ, нежели Гюго.

Что же касается вообще до всей французской литературы, то намъ кажется, что, несмотря на всю свою народность, она не народна, что всѣ ея корифеи какъ будто не въ своей тарелкѣ, и потому, при всей блистательности своихъ талантовъ, не могутъ создать ничего вѣчнаго, безсмертнаго.

Французъ весь въ своей жизни, у него поэзія не можетъ отдѣляться отъ жизни, и потому его родъ не драма, не комедія, не романъ, а водевилъ, пѣсня, куплетъ и развѣ еще повѣсть. Беранже есть царь французской поэзіи, самое торжественное и свободное ея проявленіе; въ его пѣснѣ и шутка, и острота, и любовь, и вино, и политика, и между всѣмъ этимъ какъ бы внезапно и неожиданно сверкаетъ какая-нибудь человѣческая мысль, промелькнетъ глубокое или восторженное чувство, и все это проникнуто веселостью отъ души, какимъ-то забвеніемъ самого себя въ одной минутѣ, какой-то застойной заботливостью, пиршественною безпечною. У него политика — поэзія, а поэзія — политика; у него жизнь — поэзія, а поэзія — жизнь. И вотъ поэзія француза: другой для него не существуетъ. Онъ мастеръ еще разсказывать, какъ справедливо замѣтилъ Шевыревъ; но его не станеть на долгій разсказъ, его разсказъ — мимолетный эпизодъ, черта изъ жизни, и не романъ, а повѣсть — его законный родъ. И посмотрите, какъ эта повѣсть удалась ему, какъ она владычествуетъ надъ его досугомъ, его мыслью. Но это опять-таки повѣсть французская, синтетическая картина вѣшной жизни, а не аналитическая исторія души, сосредоточенной въ самой себѣ, какъ у нѣмцевъ, и притомъ не въ фантастическихъ попыткахъ, не въ психическихъ опытахъ, которые всегда неудачны, а въ представленіи вѣшной, общественной жизни. Герой нѣмца сидитъ на бѣдномъ чердакѣ и, мученикъ мысли, то вынытываетъ изъ своей головы теорію звука, тайну его вліянія на душу, то, мученикъ своего разстроеннаго воображенія, представляетъ себя жертвою какого-то враждебнаго духа, то создаетъ себѣ идеалъ женщины и, воспламененный имъ, возвышается до геніальной дѣятельности въ искусствѣ, и потомъ, нашедши осуществленіе этого идеала не въ ангелѣ, не въ пери, а въ смертной женщинѣ, сдѣлавшись ея обладателемъ, начинаетъ ненавидѣть ее, своихъ дѣтей, самого себя и оканчиваетъ все это сумасшествіемъ: вспомните «Кремонскую скрипку», «Песочнаго человѣка», «Живописца» Гофмана. У француза герой представляется иногда на чердакѣ или въ какомъ-нибудь мѣщанскомъ пансіонѣ матушки Вокеръ, но съ этого чердака душа его стремится не на небо, но въ преисподнюю, не въ міръ волшебства и фантазій, жаждетъ

не внутренней жизни, не любви сосредоточенной, затворнической, въѣ жизни, не тѣснаго міра вдвоемъ, томится не мыслью, не идеей, а рвется на балъ, на паркетъ, гдѣ море огня, гдѣ блескъ и радость, громъ музыки и танцы, гдѣ герцогини и маркизы, жаждетъ эффектовъ, хочетъ блистать, удивлять, желаетъ любви, но открытой, но могущей доставить ему торжество, возбудить въ немъ зависть... Да—пусть будетъ все такъ, какъ должно быть—тогда все будетъ хорошо и прекрасно. Не хлопчите о воплощеніи идей; если вы поэтъ—въ вашихъ созданіяхъ будетъ идея, даже безъ вашего вѣдома; не старайтесь быть народными; слѣдуйте свободно своему вдохновенію—и будете народны, сами не зная какъ; не заботьтесь о нравственности, но творите, а не дѣлайте—и будете нравственны, даже на зло самимъ себѣ, даже усиливаясь быть безнравственными!..

Альфредомъ де-Виньи овладѣла мысль о бѣдственномъ положеніи поэта въ обществѣ, о его враждебномъ отношеніи къ обществу, которому онъ служить, и которое въ награду за то допускаетъ его умереть съ голоду. Эту идею онъ выразилъ въ своемъ превосходномъ сочиненіи «Стелло». Мы еще не успѣли изгадить грустныхъ впечатлѣній, произведенныхъ на насъ судьбою Чаттертона, какъ его творецъ даритъ насъ опять тѣмъ же Чаттертономъ, но только въ новой формѣ, уже въ драмѣ, а не въ повѣсти. Въ мысли Альфреда де-Виньи много истины. Но не такой показала она Шевыреву, и онъ напалъ на нее стремительно, опровергаетъ ее съ какимъ-то ожесточеніемъ, какъ явную нелѣпость, какъ клевету на общество. Разсмотримъ этотъ вопросъ.

Не имѣя подъ рукой драмы де-Виньи, мы принуждены воспользоваться нѣсколькими строками перевода Шевырева изъ предисловія автора.

«Развѣ вы не слышите звуковъ уединенныхъ пистолетовъ? Ихъ удары краснорѣчивѣе, чѣмъ мой слабый голосъ. Не слышите ли вы, какъ эти отчаянные юноши просятъ насущнаго хлѣба, и никто не платитъ имъ за работу? Какъ! Ужели націи до такой степени лишены избытка? Ужели отъ дворцовъ и милліоновъ, нами расточаемыхъ, не остается у насъ ни чердака, ни хлѣба для тѣхъ, которые безпрестанно покушаются насильно идеализировать ихъ націи? когда перестанемъ мы отвѣчать имъ: «desperar and die» (отчаявайся и умирай)? Дѣло законодателя излѣчить эту рану, самую живую, самую глубокую рану на тѣлѣ нашего общества, и проч.»

Первая половина мысли Альфреда де-Виньи очень вѣрна, вторая очень ложна. Поэтъ природой поставленъ во враждебныя отношенія съ обществомъ; общество предполагаетъ нѣчто положительное, матеріальное, а царство поэта не отъ міра сего. Теперь, возможно ли

примирить поэта съ жизнью, не поссоривъ его съ поэзіей? поэтъ погибаетъ часто жертвой общества, и общество въ этомъ нисколько не виновато... Объяснимся.

Является поэтъ съ истиннымъ талантомъ. Кто судья его таланта? — Общество. Теперь, можетъ ли оно судить всегда безошибочно и безпристрастно? Но общество имѣетъ своихъ представителей; слѣдовательно, на нихъ лежитъ отвѣтственность за гибель поэта! Хорошо; но развѣ эти представители также не могутъ ошибаться насчетъ его достоинства, особливо, когда онъ не приобрѣлъ еще никакого авторитета? Какъ назначать они ему пенсію, если онъ еще не показалъ своего таланта во всей его силѣ? А когда онъ покажетъ его, ему уже не нужно пенсіи: его творенія расходятся. Неужели общество должно кормить всякаго, кто только назоветъ себя поэтомъ? Въ такомъ случаѣ, оно само умерло бы съ голоду. И всегда ли общество является гонителемъ и врагомъ поэта? Оно изгнало Тасса, но не за поэзію, а за любовь, на которую не почитало его въ правѣ; оно изгнало Данта, но не за поэзію, а за участіе въ политическихъ дѣлахъ; оно низко оцѣнило Мильтона, зато какъ дѣлало Расина и Мольера! Если Мильтонъ точно великій поэтъ, то общество потому не оцѣнило его, что по своему образованію было не въ силахъ этого сдѣлать. Чѣмъ же оно виновато въ отношеніи къ поэту? — Ничѣмъ. И между тѣмъ поэтъ все-таки умираетъ, умираетъ и будетъ умирать съ голоду среди его, среди этого общества, столь благосклоннаго къ нему, столь дѣлющаго его. Въ чемъ же причина этого противорѣчія?..

Альфредъ де-Виньи показываетъ Чаттертона, питающагося почти подавляемъ, выпивающаго стаканку съ ядомъ;—Жильбера, при смерти проклинающаго своего отца и мать за то, что они выучили его грамотѣ и тѣмъ оторвали отъ плуга и обратили къ перу; Шенье — на гильотинѣ; ссылается на пистолетные выстрѣлы, на вопль: «хлѣба! хлѣба!»

Шевыревъ говоритъ, что все это преувеличено даже въ отношеніи къ прежнимъ временамъ и совершенно ложно въ отношеніи къ настоящему времени; что нынѣ поэтъ — богачъ, весь въ золотѣ, окруженный мраморомъ и бронзой, не только всѣми удобствами цивилизаціи, но и всѣми ея прихотями, и, въ доказательство своего мнѣнія, съ торжествомъ указываетъ на Вальтеръ Скотта, Гёте, Байрона, даже на самого де-Виньи, который, по его мнѣнію, клеветаетъ на общество, заступаетъ за бѣднаго собрата въ кабинетѣ, украшенномъ всей роскошью парижской промышленности, лежа на бархатной подушкѣ, и когда кончилъ свою повѣсть о бѣдствіяхъ

Чаттертона, весьма сытно и вкусно поужиналъ въ полномъ удовольствіи отъ своего труда.

Вальтеръ Скоттъ, Гёте и Байронъ!.. Да, это примѣры блистательные, но къ несчастію не доказательные. Вальтеръ Скоттъ точно было разбогатѣлъ, и разбогатѣлъ своими литературными трудами; но зато надолго ли? Онъ умеръ почти банкротомъ. Богатство Гёте зависѣло не столько отъ его литературной дѣятельности, сколько отъ особеннаго стеченія обстоятельствъ; не всякому, какъ Гёте, удастся выхлопотать у всѣхъ нѣмецкихъ правительствъ привилегію противъ контрафакцій и такимъ образомъ сдѣлаться монополистомъ своихъ произведеній; а безъ этой мѣры нѣмецкій литераторъ не разбогатѣетъ. Что касается до Байрона—о немъ и говорить нечего: Байронъ былъ лордъ Британіи!.. Шевыревъ продолжаетъ:

«Развѣ вы не помните процесса Виктора Гюго съ его книгопродавцемъ, — процесса, который кончился не къ славіи перваго поэта Франціи?.. Де-Ламартину вѣроятно съ большимъ барышемъ окупились всѣ издержки его путешествія на Востокъ?.. Давно ли Дюма, нищимъ пришедшій въ Парижъ, давалъ балы для своихъ друзей и парижскихъ красавицъ?.. Какой изъ современныхъ поэтовъ Франціи не ведетъ обширныхъ счетовъ съ Евгеніемъ Рандюлемъ? Какой изъ нихъ не ѣздитъ въ каретахъ, не живетъ въ комнатахъ бронзовыхъ, зеркальных и бархатныхъ?..»

Все это прекрасно, но все это, къ несчастію, мечты, а не дѣйствительности! Всѣ литературныя знаменитости современной Франціи живутъ въ довольствѣ, но не въ богатствѣ, живутъ какъ порядочные bourgeois и занимаютъ квартиры удобныя и просторныя, хорошо и со вкусомъ меблированныя, но простыя и обыкновенныя, а не дворцы; нѣкоторые можетъ быть имѣютъ и свои кареты, но большая часть катается въ наемныхъ; золото же, мраморъ и бархатъ они видятъ и часто, но только не у себя дома. Это можно сказать смѣло. Чтобы жить такъ роскошно, какъ описываетъ Шевыревъ, надо получать полмилліона ежегоднаго дохода; а кто изъ нихъ ежегодно получить и пятую долю этой суммы? Нѣтъ, что ни говорите, а огромный домъ въ Сень-Жерменскомъ предмѣстѣи и родовое имѣніе, дающее въ годъ сто или двѣсти тысячъ ливровъ, вѣрнѣе и надежнѣе всякаго таланта, всякаго генія, какъ бы тотъ или другой великъ ни былъ. Тамъ только получай и пользуйся, ни о чемъ не думая и не унижая своего человѣческаго достоинства житейскими хлопотами желудка ради; здѣсь непрерывный трудъ и работа, часто уклоненіе отъ своего назначенія, иногда потеря души, для удовлетворенія бѣдной человѣческой природы, требованій прихотей и общежитія. Чтобы увидѣть во

всей ясности всю неосновательность мнѣнія Шевырева, стоитъ только указать на поѣздку Дюма въ Швейцарію, которую онъ приводитъ, какъ доказательство несмѣтнаго богатства, стяжанаго талантомъ: намъ изъ достовѣрныхъ источниковъ извѣстно, что мѣсто въ дилижансѣ отъ Парижа до Базеля стоитъ шестьдесятъ франковъ, и что потомъ шести сотъ франковъ слишкомъ достаточно, чтобы объѣздить всю Швейцарію; а Дюма ходилъ пѣшкомъ, что еще дешевле. Гдѣ жъ логика?..

Правда, въ нашъ вѣкъ поэтъ не есть наслѣнокъ общества, напротивъ, онъ его любимое, балованное дитя; толпа уже не косится на него съ презрѣніемъ или лаемъ, но съ почтеніемъ разступается предъ нимъ и даетъ дорогу, даже не понимая, что онъ такое. Даже и у насъ, на святой Руси, сильный, богатый баринъ почитаетъ за честь знакомство съ извѣстнымъ поэтомъ, читаетъ его стихи, прислушивается къ говору сужденій, чтобы умѣть сказать при случаѣ слова два о его стихахъ, словомъ, смотритъ на поэта, не только какъ не на безполезную, но даже какъ на очень полезную мебель для украшенія своей гостиной на нѣсколько часовъ. И у насъ, говорю я, богатый и знатный баричъ, привилегированный гражданинъ модныхъ залъ, бьется изо всѣхъ силъ, низко кланяется журналисту, чтобы тотъ помѣстилъ въ своихъ листкахъ его стишки и далъ ему право назваться поэтомъ. По крайней мѣрѣ подобныя явленія теперь не рѣдки. Но вотъ въ чемъ бѣда-то: общество иногда озолотитъ какого-нибудь Бальзака и допустить умереть съ голоду какого-нибудь Шиллера, надѣнетъ вѣнокъ на голову какого-нибудь Бальера и равнодушно пройдетъ мимо какого-нибудь Байрона. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что оно уважаетъ идею поэта; но всегда ли оно безошибочно въ выборѣ своихъ кумировъ?.. Истинное чувство не для всѣхъ доступно, глубокая мысль не для всѣхъ понятна; яркость красокъ, мастерская обработка формъ скорѣе бросаются въ глаза толпѣ, составляющей общество, и сильнѣе раздражаютъ ея зрительный нервъ; потому что въ этой толпѣ больше найдется людей со вкусомъ—этимъ плодомъ образованности и навыка, нежели съ чувствомъ—этимъ даромъ природы. Это можно приложить не къ одному искусству. Если вы съ жаромъ и убѣжденіемъ излагаете ваше душевное мнѣніе, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣсть этимъ извѣстность, обратитъ на себя общее вниманіе, а не изъ чистой, безкорыстной любви къ истинѣ—то не хлопчите лучше: васъ никогда не замѣтятъ; вы всегда останетесь въ заднихъ рядахъ, васъ опѣняютъ только немногіе, только избранные, а эти немногіе, эти избранные не составляютъ общества, которое даритъ

славой и авторитетомъ. Да! не хлопчите, или перемѣните свой образъ дѣйствования: замѣните основательную мысль звонкой фразой, теплое чувство — громкой декламацией, благородную простоту выраженія — цвѣтистой вычурностью, паркетной манерностью, изъ горячаго проповѣдника мысли сдѣлайтесь ловкимъ литераторомъ, который обо всемъ умѣетъ найтись сказать и прилично, и умно, и краснo: тогда толпа ваша — властвуйте надъ ней. Эта мысль очень вѣрна: самъ Шевыревъ утверждаетъ ее, сказавши, что общество развращаетъ поэта, что, взаимѣнъ своихъ милостей, своихъ даровъ, оно отнимаетъ у него независимость въ образѣ дѣйствования, заставляя его поддѣлываться подъ свой характеръ, дѣлаетъ его своимъ лстецомъ. Да! нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что поэтъ и общество стоятъ во враждебныхъ отношеніяхъ другъ къ другу, что они — естественные враги между собой. Съ одной стороны общество его душитъ прежде, чѣмъ узнаетъ о его достоинствѣ; съ другой стороны оно развращаетъ его своей благосклонностью. Конечно у насъ есть и защита противъ него; въ первомъ случаѣ, какое-нибудь счастливое обстоятельство, дающее ему средство придти, увидѣть и побѣдить; во второмъ случаѣ — гений или по крайней мѣрѣ слишкомъ большой талантъ, слишкомъ вѣрный инстинктъ творчества. Да! гения не убиваетъ обаяніе выгоды; оно убиваетъ Бальзаковъ, Жаненовъ, Дюма, но не Байроновъ, не Гёте, не Вальтеръ Скоттовъ. Эти гении могутъ быть даже людьми низкими, душами продажными — и все-таки золото бесцельно надъ ихъ вдохновеніемъ. Чѣмъ платилъ Гёте своимъ высокимъ ласкателямъ? Двустипіями на балы, глухими гакзаметрами, а не «Вертеромъ», не «Вильгельмомъ Мейстеромъ», не «Фаустомъ». На чемъ сбили Вальтеръ Скотта экономическіе расчеты и выкладки! На исторіи, а не на романѣ...

Странно и непонятно, какъ Шевыревъ не хотѣлъ видѣть, что въ наше время истинный талантъ и гений можетъ точно умереть съ голоду, обезсиленный отчаянной борьбой съ внѣшней жизнью, непризнанный, поруганный! Неужели онъ не читалъ или забылъ прекрасную статью «Литературное сотрудничество», помѣщенную въ четвертой книжкѣ того журнала, въ которомъ онъ принимаетъ такое дѣятельное участіе! Если бы выписка не припала въ три или четыре страницы, мы представили бы изъ этой статьи такой сильный и ужасный фактъ, передъ которымъ должна пасть всякая теорія, всякое мнѣніе объ этомъ предметѣ *). Авторъ этой статьи — французъ; онъ писалъ по собственному опыту, писалъ

съ неподдѣльнымъ жаромъ и убѣжденіемъ. Онъ представлялъ юношу, котораго природа назначила быть поэтомъ, а отецъ велѣлъ ему быть медикомъ. Юноша сначала принуждаетъ себя, но природа беретъ свое, и онъ рѣшительно бросаетъ ненавистную науку. «Ты хочешь быть независимымъ ни отъ кого въ своихъ занятіяхъ, пишешь къ нему отецъ, будь же независимъ ни отъ кого и въ своемъ содержаніи». Молодой человекъ въ отчаяніи: внѣшняя жизнь опутываетъ его своими сѣтями, нищета и голодъ раздѣляютъ его высокій чердакъ, садятся съ нимъ за его шаткій столъ, ложатся съ нимъ на его жесткомъ ложѣ. У него нѣтъ денегъ, но есть талантъ, а слѣдовательно и надежда: его голова горитъ, грудь тѣснится, и онъ торопится излить на бумагу тяготящее ихъ бремя, онъ работаетъ день и ночь. Драма готова; она можетъ быть отличается всѣми недостатками перваго опыта, всею уродливостью, происходящей отъ несосредоточенности силъ, но она пламенна, жива, гениальна. Онъ несетъ ее къ директору театра, но директоръ поручаетъ ее на разсмотрѣніе чиновнику театральнаго правленія, который, по недосугамъ, отдаетъ ее своей женѣ. Наконецъ пьеса одобряется; но она, какъ произведеніе молодого человека, должна быть поправлена театральнымъ поправщикомъ, а этотъ поправщикъ имѣетъ похвальное обыкновеніе оставлять развѣ третью часть труда автора, а двѣ приклеиваетъ свои. Молодой человекъ въ негодованіи беретъ назадъ свою драму и уходитъ домой. Еще прежде этого написалъ онъ прекрасный романъ: принесъ его къ книгопродавцу, который, какъ человекъ благовоспитанный, принялъ его очень ласково и предложилъ ему триста франковъ, замѣтя однако, что въ условіи будетъ сказано: «двѣ тысячи», чтобъ не оскорбить самолюбіе автора. Какъ отъ книгопродавца, такъ и отъ директора театра молодой человекъ уходитъ со своей рукописью домой, а дома его ждетъ хозяинъ съ требованіемъ платы за квартиру, трактирщикъ со счетомъ, лавочникъ съ другимъ; за ними рисуется изображеніе голодной смерти и смотритъ на него, какъ на вѣрную добычу, а изъ-за этого скелета выглядываетъ, какъ примиритель и посредникъ, неясная мысль о самоубійствѣ... Юноша гордъ, какъ всѣ люди съ сознаніемъ таланта, благороденъ, какъ всѣ пылкія души, міръ для него отвратителенъ, люди гадки, жизнь гнусна; и вотъ раздается «уединенный выстрѣлъ пистолета», и вотъ умираетъ поэтъ среди общества, котораго онъ назначенъ былъ составлять славу, среди избытка роскоши и успѣховъ цивилизаціи, среди шумнаго говора славы и изобилія, мелѣющихъ такое множество его собратій по ремеслу, которые мо-

*) „М. Н.“ 1835, кн. 4, стр. 714—722.

жетъ быть всѣ ниже его своимъ талантомъ. И это еще во Франціи, что же въ Англіи, гдѣ кусокъ насущнаго хлѣба такъ дорогъ, гдѣ борьба съ вѣншией жизнью такъ ужасна, требуетъ такихъ великихъ силъ, гдѣ люди такъ холодны, такіе эгоисты, такъ погружены въ себя и въ свои расчеты?.. Вѣдь не у всѣхъ же поитовъ отцы богаты или достаточны, не у всѣхъ поэтовъ отцы не почитаютъ поэзіи пустымъ дѣломъ и не насилуютъ воли своихъ дѣтей, да иные поэты и не имѣютъ вовсе отцовъ, а бѣдный вездѣ виноватъ... О! много, много должно раздаваться «уединенныхъ выстрѣловъ пистолета»!.. Альфредъ де-Виньи конечно правъ!..

Эта исторія очень естественна и сбыточна, эта катастрофа очень возможна и неувидительна... Но Огюстъ Люше, авторъ статьи, на которую я ссылаюсь, представляетъ эту катастрофу иначе, описываетъ самоубійство другого рода, болѣе ужасное и позорное, чѣмъ то, возможность котораго представилъ я отъ себя. У него молодой человѣкъ принимается за сотрудничество, входитъ во всѣ литературныя сдѣлки и подряды, дѣлаетъ свой талантъ средствомъ, искусствомъ—ремесломъ, лишается перваго, теряетъ способность понимать второе, и съ гордостью повторяетъ: «Моихъ актовъ играно до ста, а такого-то только семьдесятъ восемь, несмотря на то, что онъ прежде меня сталъ заниматься этимъ дѣломъ!..» Такое нравственное самоубійство не гибельнѣ ли физическаго?.. О! Альфредъ де-Виньи очень правъ!

Назвавъ идею Альфреда де-Виньи ложною, Шевыревъ говоритъ, что ея неосновательность повредила и художественному исполненію драмы: скажите, Бога ради, можетъ ли это быть?.. Ложность основной идеи можетъ повести къ ложнымъ выводамъ въ какомъ-нибудь логическомъ изслѣдованіи, что напр. и сдѣлалось съ Шевыревымъ въ его статьѣ о драмѣ де-Виньи; но въ художественномъ произведеніи идея всегда истинна, если вышла изъ души. Да и какое дѣло поэту, вѣрна или нѣтъ его идея? Развѣ онъ философъ, изслѣдователь! Шекспиръ въ своемъ «Отелло» выразилъ идею ревности, показалъ намъ ревность, не рѣшая, хорошее или дурное это чувство. Возьмите любую застольную пѣсню Беранже, въ которой онъ, подъ вдохновеніемъ веселости, въ прекрасныхъ, гармоническихъ стихахъ, не шутя, увѣряетъ васъ, что, кромѣ вина и любви, все на свѣтѣ вздоръ, которымъ глупо заниматься: мысль, само собой разумѣется, ложная, но пѣсня отъ того ни сколько не хуже. Поэтъ весь зависитъ отъ минуты, которая навѣваетъ на него вдохновеніе; Шиллеръ былъ душа пламенно-вѣрующая, а посмотрите, какое безотрадное, ужасное от-

чаяніе проглядываетъ въ каждомъ стихѣ его дивнаго «Resignation»... Если бы идея Альфреда де-Виньи была и ложная, его драма отъ этого не могла быть хуже, потому что его идея ложная для васъ, для меня и для кого угодно, но не для него, который убѣжденъ въ ней и умомъ, и чувствомъ, и потому мнѣ кажется очень неумѣстнымъ насмѣшливое предположеніе Шевырева, что «его сіятельство графъ Альфредъ де-Виньи, въ ту семнадцатую ночь, когда убилъ своего героя полу-голодной смертью, весьма сытно и вкусно поужиналъ, въ полномъ удовольствіи отъ своего труда». Да! эта шутка мнѣ кажется тѣмъ болѣе неумѣстной, что де-Виньи—поэтъ съ истиннымъ талантомъ, поэтъ добросовѣстный, и что самъ Шевыревъ отдаетъ похвалу его драмѣ: а можетъ ли быть хорошо художественное произведеніе, когда оно не выстрадано, не вычувствовано, а хладнокровно придумано головой, отъ нечего дѣлать? Гдѣ жъ логика?..

Теперь остается поговорить еще о двухъ статьяхъ Шевырева: въ одной заключается его отчетъ публикѣ о спектакляхъ Каратыгинныхъ въ ихъ послѣдній прїѣздъ въ Москву прошлаго года; другая содержитъ въ себѣ то, чего я тщетно ищу доселѣ,—объясненіе направленія, вѣрованія, литературнаго ученія, задушевной идеи «Московского Наблюдателя»; эта драгоценная для меня находка содержится въ первомъ номерѣ этого журнала за нынѣшній годъ, и ее я разсмотрю послѣ всѣхъ, ею заключу мою статью и изъ ней выведу результаты моихъ изслѣдованій касательно критики и литературныхъ мнѣній «Московского Наблюдателя».

Шевыревъ отдаетъ отчетъ въ впечатлѣніяхъ, произведенныхъ на него прїѣздомъ четы Каратыгинныхъ: этотъ отчетъ, разумѣется, очень благоприятенъ для петербургскихъ артистовъ. И немудрено: это артисты высшаго тона, и «Наблюдателю» невозможно не симпатизировать съ ними и не превознести ихъ до седьмого неба. Въ самомъ дѣлѣ, какая грація въ манерахъ, какая живопись въ позахъ, какая торжественная декламация! Все это такъ вѣрно напоминаетъ золотыя времена классицизма, немного напыщеннаго, немного на ходулькахъ, но зато благороднаго, бонтонаго, аристократическаго, съ гладкимъ и выглаженнымъ стихомъ, съ пѣвучей дикціей, съ менуэтной выступкой! Правду сказать, въ нихъ только и превосходно, что эта вѣншия сторона искусства, которая конечно важна въ артистѣ, но отнюдь не составляетъ его сущности, успѣхъ въ которой достигается изученіемъ, навыкомъ, рутинной, вкусомъ... Пойдите—«вкусъ!»—остановимся на «вкусѣ»: давно я добирался до этого слова и до смерти радъ, что наконецъ добрался до него. Часто

случается намъ читать и слышать выраженія: этотъ поэтъ отличается «вкусомъ», у этого человѣка есть «вкусъ». Такія выраженія меня выводятъ изъ терпѣнія, я ненавижу слово «вкусъ», когда оно прилагается не къ столу, не къ галантерейнымъ вещамъ, не къ покрою платья, не къ водевилямъ и балетамъ, а къ произведеніямъ искусства. Это слово есть собственность, принадлежность XVIII вѣка, когда слово «искусство» было равносильно слову «savoir faire», когда «творить» значило «отдѣлывать, выглаживать». Нашъ вѣкъ замѣнилъ слово «вкусъ» словомъ «чувство». Объяснимъ это примѣромъ. Вотъ картина, произведеніе великаго художника! Стоитъ передъ нею человѣкъ со вкусомъ: посмотрите, какъ умно и вѣрно судить онъ о ея перспективѣ, о ея отдѣлкѣ въ цѣломъ и частяхъ, о расположеніи группъ, о соотношеніи частей съ цѣлымъ, о колоритѣ; посмотрите, какъ быстро замѣтилъ онъ, что рука у этой фигуры не на своемъ мѣстѣ и длиннѣе, чѣмъ должна быть, что вотъ здѣсь слишкомъ густа тѣнь, а здѣсь не достаеетъ свѣта. Его судъ вѣренъ, но холоденъ, какъ судъ о паштетѣ или бургонскомъ. И что дало ему возможность судить такъ о картинѣ? Снѣтская образованность, привычка видѣть много хорошихъ картинъ и слышать сужденія о нихъ знатоковъ, навыкъ, рутина, словомъ—вкусъ! Теперь на эту же картину смотреть человѣкъ съ чувствомъ, хоть и не знатокъ: онъ безмолвно, благоговѣнно смотритъ на нее, теряясь, утопая въ своемъ восторженномъ созерцаніи, и не можетъ отдать себѣ отчета, что его плѣняетъ въ ней; но зато какъ восторгъ его полонъ, чистъ, святъ, божественъ! Человѣкъ со вкусомъ станетъ восхищаться каждой бездѣлкой, бросающейся въ глаза тонкостью своей отдѣлки и удовлетворяющей всѣмъ требованіямъ внѣшней стороны искусства, но пройдетъ безъ вниманія мимо произведенія гениальнаго, если оно не причесано и не прихорашено по условнымъ правиламъ приличія. Человѣкъ съ чувствомъ не ошибается въ достоинствѣ художественнаго произведенія: онъ холоденъ къ такому, отъ котораго всѣ въ восторгѣ, онъ обвиняетъ себя въ невѣжествѣ, почитаетъ себя неправымъ и, на зло самому себѣ, не можетъ найти въ немъ той красоты, которая такъ бросается всѣмъ въ глаза; но зато онъ въ восхищеніи отъ такого произведенія, къ которому всѣ равнодушны, и здѣсь опять можетъ обвинить себя въ невѣжествѣ, въ «безвкусицѣ», но, на зло самому себѣ, не можетъ перемѣнить своего мнѣнія. Я здѣсь представляю человѣка съ чувствомъ безъ образованія, безъ данныхъ для сужденія, безъ способности критицизма. И между художниками есть свои «люди со вкусомъ», одолжен-

ные своимъ талантомъ, своими успѣхами одному вкусу, словомъ, созданные вкусомъ—этимъ плодомъ образованности, просвѣщенія ума, но не чувствомъ—этимъ даромъ одной природы, который образованностью, просвѣщеніемъ и умомъ возвышается, но не дается ими. Да простятъ нашей смѣлости: къ такимъ художникамъ причисляемъ мы Каратыгина и Каратыгину. Они удачно усвоили себѣ внѣшнюю сторону искусства, они вѣрнымъ глазомъ измѣрили сцену, хорошо разочли эффекты; они въ высочайшей степени овладѣли искусствомъ блѣднѣть, краснѣть, падать въ обморокъ, возвышать и понижать голосъ, дѣйствовать жестами, играть слѣпыхъ, больныхъ—но не больше. А развѣ это не таланты! Развѣ такіе люди не рѣдки! скажутъ намъ. А развѣ вкусъ тоже не талантъ? Развѣ люди со вкусомъ также не рѣдки? отвѣчаемъ мы.

Мнѣніе Шевырева о Каратыгинныхъ давно уже всѣмъ извѣстно: еще три года назадъ тому бился онъ за нихъ, съ поднятымъ забраломъ, какъ прилично благородному рыцарю, съ соперникомъ безъ герба и девиза, съ забраломъ опущеннымъ, но съ рукой тяжелой, съ ударами мѣткими. Шевыревъ сошелъ съ турнира прежде своего соперника, но не побѣжденный имъ, а только раздосадованный его упрямымъ инкогнито. Кто изъ нихъ правъ, кто ошибается, не беремся рѣшить, но признаемся, что невольно симпатизируемъ съ таинственнымъ рыцаремъ, а потому ли, что таинственность всегда возбуждаетъ къ себѣ участіе, или потому, что наѣздники безъ щита и герба, не вписанные въ герольдію, къ намъ какъ-то ближе. Какъ бы то ни было, только во второй пріѣздъ Шевыревъ не сталъ сражаться, хотя неизвѣстный его соперникъ и опять вызывалъ его на бой. На этотъ разъ онъ безъ боя превознесъ своихъ любимыхъ артистовъ до седьмого неба и выразилъ свое къ нимъ удивленіе множествомъ точекъ послѣ cadaго періода и каждой фразы, какъ онъ всегда дѣлаетъ, когда хочетъ выразить къ чему-нибудь свое удивленіе.

Въ этой статьѣ брошено кстати нѣсколько мыслей о «Ермакѣ», драмѣ Хомякова. Шевыревъ сперва говоритъ, что эта драма есть подражаніе «Разбойникамъ» Шиллера, потомъ, что это не драма, но что въ ней виденъ зародышъ драмы, наконецъ, что «изъ ея лиризма выдвигаются (?) три могучія чувства, на которыхъ задуманъ колоссальный (??) и фантастическій (???) образъ «Ермака». Все это такъ справедливо, глубокомысленно и вѣрно, что противъ этого невозможно ничего возразить. Да, именно здѣсь поневолѣ умолкаетъ всякая неблагонамѣренность критики и прекращаетъ нехотя навѣты... По крайней мѣрѣ критика была бы слишкомъ зла, слишкомъ неблагона-

мѣренна, если бы вздумала пользоваться такими для себя находками. И такъ — довольно; покажемъ, что мы умѣемъ и помолчать тамъ, гдѣ бы много могли поговорить.

Изъ критическихъ статей «Московского Наблюдателя», не принадлежащихъ Шевыреву, дѣкоторыя очень примѣчательны; назовемъ ихъ: «Музыкальная Лѣтопись» Мельгунова, въ которой онъ отдаетъ отчетъ за всѣ примѣчательныя явленія нашего музыкальнаго міра въ началѣ прошлаго года, есть одна изъ такихъ статей, въ какихъ именно нуждаются наши журналы и какими они такъ бѣдны; она написана ловко, умно, живо, съ знаніемъ дѣла. «Брамбеусъ и Юная Словесность», статья Н. П.-на, содержитъ въ себѣ обвиненія Брамбеуса въ похищеніи идей и вымысловъ изъ французской литературы, которую онъ такъ не жалуется. Тамъ, гдѣ авторъ статьи говоритъ вообще о продѣлкахъ почтеннаго барона, тамъ онъ и остеръ, и увлекателенъ, но гдѣ онъ сравниваетъ статьи Брамбеуса съ ихъ оригиналами, тамъ становится скученъ и утомителенъ. Вообще эта статья не произвела большого впечатлѣнія на публику. Причина этому заключается вѣроятно въ томъ, что публика давно уже знала о похвальной привычкѣ барона ловко и безъ спросу пользоваться чужой собственностью, давно уже понимала, что онъ не пишетъ, а изводитъ «потѣпаться»: слѣдовательно усилія критика казались ей напрасными и были ею приняты холодно. Но особенно примѣчательны двѣ статьи, подписанныя буквой «—о—»: одна — разборъ извѣстной оперы «Аскольдова Могила», другая — новой комедіи Загоскина «Недовольные». Поговоримъ объ этихъ статьяхъ.

Въ первой статьѣ «Аскольдова Могила» разбирается не какъ музыкальное произведение, а какъ драма. Авторъ статьи въ нѣсколькихъ строкахъ передаетъ мнѣніе публики, отголосокъ большинства голосовъ о новой музыкѣ Верстовскаго; отъ себя же онъ говоритъ о другихъ, имѣющихъ отношеніе къ пьесѣ предметахъ. Вообще у него нѣтъ вѣрныхъ и глубокихъ идей объ оперѣ, выведенныхъ логически изъ идей искусства вообще. Сначала онъ утверждаетъ, что опера непременно должна имѣть смыслъ независимо отъ музыки, вопреки мнѣнію тѣхъ, которые позволяютъ ей обходиться безъ смысла, ссылаясь на примѣръ итальянцевъ. Это вопросъ — и вопросъ важный; но авторъ статьи ничѣмъ не рѣшаетъ его, а если и рѣшаетъ, то очень неудовлетворительно, однимъ намекомъ. Если мы не ошибаемся, намъ кажется, что, по его мнѣнію, опера должна быть фантастическимъ созданиемъ. Если онъ имѣлъ точно эту мысль, то она достойна вниманія и гораздо большаго

и удовлетворительнѣйшаго развитія: на нее можно бы написать огромную статью, если не книгу. Если опера должна быть фантастическимъ созданиемъ, то безъ сомнѣнія она должна имѣть смыслъ, такъ же, какъ его имѣютъ самыя повидимому бессмысленныя повѣсти Гофмана. Мы думаемъ только, что для этого гармоническаго единства двухъ искусствъ — поэзіи и музыки — нужна въ художникѣ и двойственность генія; но возможна ли она, какъ явленіе положительное, а не исключеніе, и, въ послѣднемъ случаѣ, состоитъ ли она въ равновѣсіи генія въ обоихъ этихъ искусствахъ?.. Потомъ авторъ говоритъ, что содержаніе оперы должно браться изъ народныхъ преданій, чтобъ имѣть силу очарованія, что «Аскольдова Могила» грѣшитъ противъ того правила, что времена Святослава далеки отъ насъ, какъ времена Навуходоносора, и такъ же непонятны намъ. Все это высказано весьма увлекательно и искусно. Затѣмъ слѣдуетъ изложеніе содержанія оперы. И все! *).

Статья о «Недовольныхъ» написана съ той же ловкостью, съ тѣмъ же искусствомъ, съ той же увлекательностью, какъ и объ «Аскольдовой Могилѣ». Но и въ ней искусство также въ сторонѣ: много дѣльнаго высказано à propos, но самое дѣло, то-есть искусство, не тронутъ.

Изъ прочихъ статей примѣчательна: «Историческіе и Филологическіе Труды Русскихъ Ориенталистовъ» Григорьева. Это, какъ показывается самый титулъ статьи, есть сборникъ

*) Замѣчательна въ этой статьѣ выходка автора противъ русскаго кулака. Здѣсь я обращаюсь къ вамъ, почтенный издатель «Телескопа», и вамъ подаю аппеляцію на васъ самихъ. Вы недавно сдѣлали возраженіе противъ этой выходки, которое мнѣ кажется не совсѣмъ справедливымъ. Во-первыхъ, вы несправедливо обвиняете «Московского Наблюдателя» въ ожесточеніи противъ Загоскина: онъ совершенно одного мнѣнія съ вами насчетъ этого писателя. Въ «Молвѣ» когда-то сказано было, что авторъ «Юрія Милославскаго» есть слава и гордость Россіи; «Наблюдатель» не говоритъ этого и, вѣрно, никогда не скажетъ, но онъ признаетъ «Юрія Милославскаго» первымъ русскимъ историческимъ романомъ (разумѣется, не по старшинству происхожденія, а по достоинству; въ первомъ смыслѣ «Выжигинъ» его старѣе), а первое во всемъ есть и неоспоримо слава и гордость народа. Потомъ — о русскомъ кулакѣ: я противъ него. Конечно прежде надо условиться въ значеніи этого слова, а потомъ уже спорить. Вы смотрите на кулака, какъ на орудіе силы, совершенно тождественное съ шпагою, штыкомъ или пулей. Оно такъ, но все-таки между этими орудіями силы есть существенная разность: кулакъ, равно какъ и дубина, есть орудіе дикаго, орудіе не-вѣжды, орудіе человѣка грубаго въ своей жизни, грубаго въ своихъ понятіяхъ; кулакъ требуетъ одной животной силы, одного животнаго остервенѣнія и больше ничего. Шпага, штыкъ и пуля

мѣренна, если бы вздумала пользоваться такими для себя находками. И такъ — довольно; покажемъ, что мы умѣемъ и помолчать тамъ, гдѣ бы много могли поговорить.

Изъ критическихъ статей «Московского Наблюдателя», не принадлежащихъ Шевыреву, нѣкоторыя очень примѣчательны; назовемъ ихъ: «Музыкальная Лѣтопись» Мельгунова, въ которой онъ отдаетъ отчетъ за всѣ примѣчательныя явленія нашего музыкальнаго міра въ началѣ прошлаго года, есть одна изъ такихъ статей, въ какихъ именно нуждаются наши журналы и какими они такъ бѣдны; она написана ловко, умно, живо, съ знаніемъ дѣла. «Брамбеусъ и Юная Словесность», статья Н. П.-ш-на, содержитъ въ себѣ обвиненія Брамбеуса въ похищеніи идей и вымысловъ изъ французской литературы, которую онъ такъ не жалуется. Тамъ, гдѣ авторъ статьи говоритъ вообще о продѣлкахъ почтеннаго барона, тамъ онъ и остеръ, и увлекателенъ, но гдѣ онъ сравниваетъ статьи Брамбеуса съ ихъ оригиналами, тамъ становится скученъ и утомителенъ. Вообще эта статья не произвела большого впечатлѣнія на публику. Причина этому заключается вѣроятно въ томъ, что публика давно уже знала о похвальной привычкѣ барона ловко и безъ спросу пользоваться чужой собственностью, давно уже понимала, что онъ не пишетъ, а изволяетъ «потѣпаться»: слѣдовательно усилія критика казались ей напрасными и были ею приняты холодно. Но особенно примѣчательны двѣ статьи, подписанныя буквой «—о—»: одна — разборъ извѣстной оперы «Аскольдова Могила», другая — новой комедіи Загоскина «Недовольные». Поговоримъ объ этихъ статьяхъ.

Въ первой статьѣ «Аскольдова Могила» разбирается не какъ музыкальное произведение, а какъ драма. Авторъ статьи въ нѣсколькихъ строкахъ передаетъ мнѣніе публики, отголосокъ большинства голосовъ о новой музыкѣ Верстовскаго; отъ себя же онъ говоритъ о другихъ, имѣющихъ отношеніе къ пьесѣ предметахъ. Вообще у него нѣтъ вѣрныхъ и глубокихъ идей объ оперѣ, выведенныхъ логически изъ идей искусства вообще. Сначала онъ утверждаетъ, что опера непременно должна имѣть смыслъ независимо отъ музыки, вопреки мнѣнію тѣхъ, которые позволяютъ ей обходиться безъ смысла, ссылаясь на при мѣръ итальянцевъ. Это вопросъ — и вопросъ важный; но авторъ статьи ничѣмъ не рѣшаетъ его, а если и рѣшаетъ, то очень неудовлетворительно, однимъ намекомъ. Если мы не ошибаемся, намъ кажется, что, по его мнѣнію, опера должна быть фантастическимъ созданіемъ. Если онъ имѣлъ точно эту мысль, то она достойна вниманія и гораздо большаго

и удовлетворительнѣйшаго развитія: на нее можно бы написать огромную статью, если не книгу. Если опера должна быть фантастическимъ созданіемъ, то безъ сомнѣнія она должна имѣть смыслъ, такъ же, какъ его имѣютъ самыя повидимому безсмысленныя повѣсти Гофмана. Мы думаемъ только, что для этого гармоническаго единства двухъ искусствъ — поэзіи и музыки — нужна въ художникѣ и двойственность генія; но возможна ли она, какъ явленіе положительное, а не исключеніе, и, въ послѣднемъ случаѣ, состоитъ ли она въ равновѣсіи генія въ обоихъ этихъ искусствахъ?.. Потомъ авторъ говоритъ, что содержаніе оперы должно браться изъ народныхъ преданій, чтобы имѣть силу очарованія, что «Аскольдова Могила» грѣшитъ противъ того правила, что времена Святослава далеки отъ насъ, какъ времена Навуходоносора, и такъ же непонятны намъ. Все это высказано весьма увлекательно и искусно. Затѣмъ слѣдуетъ изложеніе содержанія оперы. И все! *).

Статья о «Недовольныхъ» написана съ той же ловкостью, съ тѣмъ же искусствомъ, съ той же увлекательностью, какъ и объ «Аскольдовой Могилѣ». Но и въ ней искусство также въ сторонѣ: много дѣльнаго высказано à propos, но самое дѣло, то-есть искусство, не тронутъ.

Изъ прочихъ статей примѣчательна: «Историческіе и Филологическіе Труды Русскихъ Ориенталистовъ» Григорьева. Это, какъ показывается самый титулъ статьи, есть сборникъ

*) Замѣчательна въ этой статьѣ выходка автора противъ русскаго кулака. Здѣсь я обращаюсь къ вамъ, почтенный издатель «Телескопа», и замѣню подаю аппеляцію на васъ самихъ. Вы недавно сдѣлали возраженіе противъ этой выходки, которое мнѣ кажется не совсѣмъ справедливымъ. Во-первыхъ, вы несправедливо обвиняете «Московского Наблюдателя» въ ожесточеніи противъ Загоскина: онъ совершенно одного мнѣнія съ вами насчетъ этого писателя. Въ «Молвѣ» когда-то сказано было, что авторъ «Юрія Милославскаго» есть слава и гордость Россіи; «Наблюдатель» не говоритъ этого и, вѣрно, никогда не скажетъ, но онъ признаетъ «Юрія Милославскаго» первымъ русскимъ историческимъ романомъ (разумѣется, не по старшинству происхожденія, а по достоинству; въ первомъ смыслѣ «Выжигинъ» его старѣе), а первое во всемъ есть и неоспоримо слава и гордость народа. Потому — о русскомъ кулакѣ: я противъ него. Конечно прежде надо условиться въ значеніи этого слова, а потомъ уже спорить. Вы смотрите на кулака, какъ на орудіе силы, совершенно тождественное съ шпагою, штыкомъ или пулей. Оно такъ, но все-таки между этими орудіями силы есть существенная разность: кулакъ, равно какъ и дубина, есть орудіе дыкаго, орудіе невѣжды, орудіе человѣка грубаго въ своей жизни, грубаго въ своихъ понятіяхъ; кулакъ требуетъ одной животной силы, одного животнаго остревѣнія и больше ничего. Шпага, штыкъ и пуля

утѣшительныхъ извѣстій объ успѣхахъ въ Россіи ориентализма. Потомъ «Народныя Стѣванки или Свѣтскія пѣсни Словаковъ въ Венгріи» І. Бодянского, котораго Руссовъ недавно причислялъ къ миеамъ, въ родѣ Гомера. Эта статья написана съ талантомъ, знаніемъ и любовью, заключаетъ въ себѣ много дѣльных и чрезвычайно любопытныхъ фактовъ касательно своего предмета. Намъ не понравились въ ней только двѣ вещи: употребленіе извѣстныхъ учено-юридическихъ словечекъ и одно выраженіе, вмѣстѣ и скромное, и хвастливое. Вотъ оно:

«Мы еще такъ молоды въ этомъ случаѣ, такъ недовѣрчивы къ себѣ, хотъ можетъ быть и стѣмъ-ли бы кой-что сказать наперекоръ другимъ, что лучше позаимствуемся отъ индуду (?), представимъ чужое, но, по насъ, дѣльнѣе чего не успѣли сами добыть, нежели, слѣдуя примѣру нѣкоторыхъ, пускаться пылъ въ глаза православнымъ».

Воля ваша, господа, а по нашему такая скромность хуже хвастовства. Къ чему эти оговорки? Если знаете—говорите смѣло, не знаете—молчите. А то вы такъ-то невольно напоминаете русскаго человѣка съ бородкой, который, почесывая у себя въ затылкѣ, съ лукаво-простодушнымъ видомъ говорить: «гдѣ-ста намъ? мы дураки; вотъ ваша милость—другое дѣло»...

Статья «Взглядъ на Системы Философіи XIX вѣка во Франціи» еще не кончена. До сихъ поръ она можетъ обратить на себя вниманіе двумя, тремя идеями, совершенно современными, показывающими, что авторъ ея понимаетъ истины, еще для многихъ у насъ недоступныя. Проникнутый или еще проникаемый духомъ новой философіи, онъ вѣрно судитъ (тамъ гдѣ судитъ, а въ этой статьѣ сужденій немного) о попыткахъ фран-

суть орудія человѣка образованнаго; они предполагаютъ искусство, ученіе, методу, слѣдовательно, зависимость отъ идеѣ. Звѣрь сражается когтемъ и зубомъ, естественными его орудіями; кулакъ есть тоже естественное орудіе звѣря-человѣка; человѣкъ общественный сражается орудіемъ, которое создаетъ себѣ самъ, но котораго не имѣетъ отъ природы. Если жъ бывають безславные удары стилетомъ изъ-за угла, если были безчестные удары негодной шпажки во семнадцатомъ вѣкѣ—это ничего не доказываетъ: бывають безчестные удары и кулакомъ изъ-за угла, въ темную ночь, въ глухомъ переулкѣ. А притомъ, и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ—говоря словами автора критики,—зачѣмъ лѣстять этому классу народа, который, несмотря на великаго преобразователя Россіи, до сихъ поръ еще гордо поглаживаетъ за угломъ свою бороду, за угломъ радъ похвастать своими кулаками? Кулаки не помогли подъ Нарвой, и не кулаки, а обученное войско смыло подъ Полтавой пятно стыда кровью своего прежняго побѣдителя! Не кулакамъ обязаны мы, что знаемъ теперь, звонокъ ли чугуны на Аустерлицкомъ мосту, когда казачій конь бьетъ о него подковой, и красива ли Сѣпа, когда отражаются въ ней русскіе штаны».

Соч. Бодянского. Томъ I.

кузовъ примириться съ религіей. Онъ говорить, что Франціи не достаетъ знанія, совѣтуетъ ей болѣе ознакомиться съ Германіей, указываетъ на послѣдователей Гегеля, развившихъ его религіозныя идеи. «Понять или умереть»—вотъ законъ нашего вѣка, говорить онъ. Надобно однакожъ замѣтить, что до сихъ поръ въ этой статьѣ больше ссылокъ, нежели мыслей, что авторъ какъ-то не смѣлъ въ своихъ приговорахъ, что, не одобряя эклектизма, онъ все-таки слишкомъ снисходителенъ къ нему, что наконецъ языкъ его чрезвычайно тяжелъ. Но, несмотря на все это, нѣсколько немудреныхъ, но вѣрныхъ идей заставляютъ насъ возложить на автора благія надежды: явная потребность и совершенный недостатокъ философическаго знанія въ Россіи должны поощрять его къ трудамъ болѣе серьезнымъ. Правда, занятіе философіей, болѣе нежели какой-нибудь другой наукой, требуетъ того, что называютъ «самозабвеніемъ», но зато она больше, нежели какая-нибудь другая наука, даетъ на это средствъ: сладко забыться въ чистой идеѣ, посвятить себя на служеніе ей и воспитать другихъ для этого служенія. Немногіе одобряютъ эту жизнь для «отвлеченностей», но авторъ знаетъ, что такое «конкретное». Настоящее понятіе о «конкретномъ» смирить порывы житейской суетности и убѣсть умишриванія пошлаго «здраваго смысла», для котораго конкретное—навозъ и картофель. Но повторяемъ: отъ человѣка, который выходитъ у насъ съ какимъ-нибудь намекомъ на свои философскія познанія, мы въ правѣ требовать большаго, требовать труда для насъ, если еще не наступилъ часъ автору труда для себя. Поэтому мы считаемъ эту статью эпизодомъ занятій автора, плодомъ досуга, которому онъ самъ, вѣрно, не придаетъ большого значенія. Что жъ касается до «Наблюдателя»—очевидно, эта статья въ немъ случайная и не должна имѣть мѣста въ сужденіи о немъ самомъ.

Вотъ все, что показалось намъ примѣчательнымъ въ какомъ бы то ни было отношеніи, по части чисто литературной критики «Московского Наблюдателя» въ прошломъ году. Можетъ быть мы что-нибудь и пропустили, это ужъ не наша вина. Есть вещи, о которыхъ даже грѣшно говорить вслухъ, и потому мы умалчиваемъ напримѣръ о статьѣ «Не выдержки, а почти выдержки изъ Большихъ Записокъ о прошлыхъ временахъ» какаго-то Авенира Народнаго; только позволяемъ себѣ замѣтить, что эта статья вѣроятно взята «Наблюдателемъ» изъ «Покоющагося Трудолюбца» или «Парнасскаго Щепетильника», а можетъ быть и изъ другого какаго-нибудь допотопнаго журнала: въ наше

мѣренна, если бы вздумала пользоваться такими для себя находками. И такъ — довольно; покажемъ, что мы умѣемъ и помолчать тамъ, гдѣ бы много могли поговорить.

Изъ критическихъ статей «Московского Наблюдателя», не принадлежащихъ Шевыреву, нѣкоторыя очень примѣчательны; назовемъ ихъ: «Музыкальная Лѣтопись» Мельгунова, въ которой онъ отдаетъ отчетъ за всѣ примѣчательныя явленія нашего музыкальнаго міра въ началѣ прошлаго года, есть одна изъ такихъ статей, въ какихъ именно нуждаются наши журналы и какими они такъ бѣдны; она написана ловко, умно, живо, съ знаніемъ дѣла. «Брамбеусъ и Юная Словесность», статья Н. П.-ш-на, содержитъ въ себѣ обвиненія Брамбеуса въ похищеніи идей и вымысловъ изъ французской литературы, которую онъ такъ не жалуется. Тамъ, гдѣ авторъ статьи говоритъ вообще о продѣлкахъ почтеннаго барона, тамъ онъ и остеръ, и увлекателенъ, но гдѣ онъ сравниваетъ статьи Брамбеуса съ ихъ оригиналами, тамъ становится скученъ и утомителенъ. Вообще эта статья не произвела большого впечатлѣнія на публику. Причина этому заключается вѣроятно въ томъ, что публика давно уже знала о похвальной привычкѣ барона ловко и безъ спросу пользоваться чужой собственностью, давно уже понимала, что онъ не пишетъ, а изволяетъ «потѣшаться»: слѣдовательно усилія критика казались ей напрасными и были ею приняты холодно. Но особенно примѣчательны двѣ статьи, подписанныя буквой «—о—»: одна — разборъ извѣстной оперы «Аскольдова Могила», другая — новой комедіи Загоскина «Недовольные». Поговоримъ объ этихъ статьяхъ.

Въ первой статьѣ «Аскольдова Могила» разбирается не какъ музыкальное произведение, а какъ драма. Авторъ статьи въ нѣсколькихъ строкахъ передаетъ мнѣніе публики, отголосокъ большинства голосовъ о новой музыкѣ Верстовскаго; отъ себя же онъ говоритъ о другихъ, имѣющихъ отношеніе къ пьесѣ предметахъ. Вообще у него нѣтъ вѣрныхъ и глубокихъ идей объ оперѣ, выведенныхъ логически изъ идей искусства вообще. Сначала онъ утверждаетъ, что опера непременно должна имѣть смыслъ независимо отъ музыки, вопреки мнѣнію тѣхъ, которые позволяютъ ей обходиться безъ смысла, ссылаясь на примѣръ итальянцевъ. Это вопросъ — и вопросъ важный; но авторъ статьи ничѣмъ не рѣшаетъ его, а если и рѣшаетъ, то очень неудовлетворительно, однимъ намекомъ. Если мы не ошибаемся, намъ кажется, что, по его мнѣнію, опера должна быть фантастическимъ созданіемъ. Если онъ имѣлъ точно эту мысль, то она достойна вниманія и гораздо большаго

и удовлетворительнѣйшаго развитія: на нее можно бы написать огромную статью, если не книгу. Если опера должна быть фантастическимъ созданіемъ, то безъ сомнѣнія она должна имѣть смыслъ, такъ же, какъ его имѣютъ самыя повидимому безсмысленныя повѣсти Гофмана. Мы думаемъ только, что для этого гармоническаго единства двухъ искусствъ — поэзіи и музыки — нужна въ художникѣ и двойственность генія; но возможна ли она, какъ явленіе положительное, а не исключеніе, и, въ послѣднемъ случаѣ, состоитъ ли она въ равновѣсіи генія въ обоихъ этихъ искусствахъ?.. Потомъ авторъ говоритъ, что содержаніе оперы должно браться изъ народныхъ преданій, чтобы имѣть силу очарованія, что «Аскольдова Могила» грѣшитъ противъ того правила, что времена Святослава далеки отъ насъ, какъ времена Навуходоносора, и такъ же непонятны намъ. Все это высказано весьма увлекательно и искусно. Затѣмъ слѣдуетъ изложеніе содержанія оперы. И все! *).

Статья о «Недовольныхъ» написана съ той же ловкостью, съ тѣмъ же искусствомъ, съ той же увлекательностью, какъ и объ «Аскольдовой Могилѣ». Но и въ ней искусство также въ сторонѣ: много дѣльнаго сказано à propos, но самое дѣло, то-есть искусство, не тронуту.

Изъ прочихъ статей примѣчательна: «Историческіе и Филологическіе Труды Русскихъ Оріенталистовъ» Григорьева. Это, какъ показывается самый титулъ статьи, есть сборникъ

*) Замѣчательна въ этой статьѣ выходка автора противъ русскаго кулака. Здѣсь я обращаюсь къ вамъ, почтенный издатель «Телескопа», и вамъ подаю аппеляцію на васъ самихъ. Вы недавно сдѣлали возраженіе противъ этой выходки, которое мнѣ кажется не совсѣмъ справедливымъ. Во-первыхъ, вы несправедливо обвиняете «Московского Наблюдателя» въ ожесточеніи противъ Загоскина: онъ совершенно одного мнѣнія съ вами насчетъ этого писателя. Въ «Молвѣ» когда-то сказано было, что авторъ «Юрія Милославскаго» есть слава и гордость Россіи; «Наблюдатель» не говоритъ этого и, вѣрно, никогда не скажетъ, но онъ признаетъ «Юрія Милославскаго» первымъ русскимъ историческимъ романомъ (разумеется, не по старшинству происхожденія, а по достоинству; въ первомъ смыслѣ «Выжигинъ» его старѣе), а первое во всемъ есть и неоспоримо слава и гордость народа. Потомъ — о русскомъ кулакѣ: я противъ него. Конечно прежде надо условиться въ значеніи этого слова, а потомъ уже спорить. Вы смотрите на кулакъ, какъ на орудіе силы, совершенно тождественное съ шпагою, штыкомъ или пулей. Оно такъ, но все-таки между этими орудіями силы есть существенная разность: кулакъ, равно какъ и дубина, есть орудіе дикаго, орудіе не-вѣжды, орудіе человѣка грубаго въ своей жизни, грубаго въ своихъ понятіяхъ; кулакъ требуетъ одной животной силы, одного животнаго остервенѣнія и больше ничего. Шпага, штыкъ и пуля

утѣшительныхъ извѣстій объ успѣхахъ въ Россіи ориентализма. Потомъ «Народныя Спѣванки или Свѣтскія пѣсни Словаковъ въ Венгріи» І. Бодянского, котораго Руссовъ недавно причислялъ къ миеамъ, въ родѣ Гомера. Эта статья написана съ талантомъ, знаніемъ и любовью, заключаетъ въ себѣ много дѣльных и чрезвычайно любопытныхъ фактовъ касательно своего предмета. Намъ не понравились въ ней только двѣ вещи: употребленіе извѣстныхъ учено-юридическихъ словечекъ и одно выраженіе, вмѣстѣ и скромное, и хвастливое. Вотъ оно:

«Мы еще такъ молоды въ этомъ случаѣ, такъ недовѣрчивы къ себѣ, хотъ можетъ быть и съумѣли бы кой-что сказать наперекоръ другимъ, что лучше позаимствуемся отъ индуду (?), представимъ чужое, но, по насъ, дѣльнѣе чего не успѣли сами добыть, нежели, слѣдуя примѣру нѣкоторыхъ, пускать пылъ въ глаза православнымъ».

Воля ваша, господа, а по нашему такая скромность хуже хвастовства. Къ чему эти оговорки? Если знаете—говорите смѣло, не знаете—молчите. А то вы такъ-то невольно напоминаете русскаго человѣка съ бородкой, который, почесывая у себя въ затылкѣ, съ лукаво-простодушнымъ видомъ говорить: «гдѣ-ста намъ? мы дураки; вотъ ваша милость—другое дѣло»...

Статья «Взглядъ на Системы Философій XIX вѣка во Франціи» еще не кончена. До сихъ поръ она можетъ обратить на себя вниманіе двумя, тремя идеями, совершенно современными, показывающими, что авторъ ея понимаетъ истины, еще для многихъ у насъ недоступныя. Проникнутый или еще проникаемый духомъ новой философіи, онъ вѣрно судитъ (тамъ гдѣ судитъ, а въ этой статьѣ сужденій немного) о попыткахъ фран-

сути орудія человѣка образованнаго; они предполагаютъ искусство, ученіе, методу, слѣдовательно, зависимость отъ идеи. Звѣрь сражается когтемъ и зубомъ, естественными его орудіями; кулакъ есть тоже естественное орудіе звѣря-человѣка; человѣкъ общественный сражается орудіемъ, которое создаетъ себѣ самъ, но котораго не имѣетъ отъ природы. Если жъ бывають безславные удары стилетомъ изъ-за угла, если были безчестные удары негодной шпажонки восемнадцатаго вѣка—это ничего не доказываетъ: бывають безчестные удары и кулакомъ изъ-за угла, въ темную ночь, въ глухомъ переулкѣ. А притомъ, и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ—говоря словами автора критики,—зачѣмъ лѣстять этому классу народа, который, несмотря на великаго преобразователя Россіи, до сихъ поръ еще гордо поглаживаетъ за угломъ свою бороду, за угломъ радъ похвастать своими кулаками? Кулаки не помогли подъ Нарвой, и не кулаки, а обученное войско смыло подъ Полтавой пятно стыда кровью своего прежняго побѣдителя! Не кулакамъ обязаны мы, что знаемъ теперь, звонокъ ли чугунъ на Аустерлицкомъ мосту, когда казачій конь бьетъ о него подковой, и красива ли Сена, когда отражаются въ ней русскіе штаны».

Соч. Бодянского. Томъ I.

цузовъ примириться съ религіей. Онъ говорить, что Франціи не достаетъ знанія, совѣтуетъ ей болѣе ознакомиться съ Германіей, указываетъ на послѣдователей Гегеля, развившихъ его религіозныя идеи. «Понять или умереть»—вотъ законъ нашего вѣка, говорить онъ. Надобно однакожъ замѣтить, что до сихъ поръ въ этой статьѣ больше ссылокъ, нежели мыслей, что авторъ какъ-то не смѣлъ въ своихъ приговорахъ, что, не одобряя эклектизма, онъ все-таки слишкомъ снисходителенъ къ нему, что наконецъ языкъ его чрезвычайно тяжелъ. Но, несмотря на все это, нѣсколько немудреныхъ, но вѣрныхъ идей заставляютъ насъ возложить на автора благія надежды: явная потребность и совершенный недостатокъ философическаго знанія въ Россіи должны поощрять его къ трудамъ болѣе серьезнымъ. Правда, занятіе философіей, болѣе нежели какой-нибудь другой наукой, требуетъ того, что называютъ «самозабвеніемъ», но зато она больше, нежели какая-нибудь другая наука, даетъ на это средствъ: сладко забыться въ чистой идеѣ, посвятить себя на служеніе ей и воспитать другихъ для этого служенія. Немногіе одобряютъ эту жизнь для «отвлеченностей», но авторъ знаетъ, что такое «конкретное». Настоящее понятіе о «конкретномъ» смиритъ порывы житейской суетности и убьетъ умствованія пошлаго «здраваго смысла», для котораго конкретное—навозъ и картофель. Но повторяемъ: отъ человѣка, который выходитъ у насъ съ какимъ-нибудь намекомъ на свои философскія познанія, мы въ правѣ требовать болѣе, требовать труда для насъ, если еще не наступилъ часъ автору труда для себя. Поэтому мы считаемъ эту статью эпизодомъ занятій автора, плодомъ досуга, которому онъ самъ, вѣрно, не придаетъ большого значенія. Что жъ касается до «Наблюдателя»—очевидно, эта статья въ немъ случайная и не должна имѣть мѣста въ сужденіи о немъ самомъ.

Вотъ все, что показалось намъ примѣчательнымъ въ какомъ бы то ни было отношеніи, по части чисто литературной критики «Московского Наблюдателя» въ прошломъ году. Можетъ быть мы что-нибудь и пропустили, это ужъ не наша вина. Есть вещи, о которыхъ даже грѣшно говорить вслухъ, и потому мы умалчиваемъ напримѣръ о статьѣ «Не выдержки, а почти выдержки изъ Большихъ Записокъ о прошлыхъ временахъ» какого-то Авенира Народнаго; только позволяемъ себѣ замѣтить, что эта статья вѣроятно взята «Наблюдателемъ» изъ «Покоющагося Трудолюбца» или «Парнасскаго Щепетильника», а можетъ быть и изъ другого какого-нибудь допотопнаго журнала: въ наше

время трудно найти человека, который могъ бы написать такую статью, и еще труднѣе—журналъ, который бы ее принялъ въ себя. И такъ, оставляемъ пропущенное или недосмотрѣнное и обращаемся къ послѣдней статьѣ Шевырева, которая должна объяснить намъ идею «Наблюдателя» и цѣль его литературныхъ усилій.

Эта статья называется «Перечень Наблюдателя» и украшаетъ собой первый номеръ этого журнала за нынѣшній годъ. Шевыревъ начинаетъ ее признаніемъ, что читатели журнала настойчиво требуютъ библиографіи, и оправдывается въ причинѣ невниманія къ ихъ требованію. Для этого онъ очень остроумно дѣлитъ этихъ читателей на три класса. Къ первому у него относятся тѣ, которые «съ невиннымъ чистосердечіемъ ввѣряютъ себя совѣти журналиста» и требуютъ его мнѣнія о книгѣ для рѣшенія простого вопроса, купить ее или нѣтъ? Ко второму—люди лѣнныя, которые книгъ не читаютъ, а судить о нихъ хотятъ. Къ третьему—«люди движенія, люди безпокойные, которымъ не сидится на мѣстѣ», которые «не любятъ, чтобы на улицахъ было всегда смирно, чтобы долго не случалось пожаровъ».

Читателей первого разряда «Наблюдатель» не хотѣлъ удовлетворить потому, что онъ совершенно чуждъ всякихъ карманныхъ отношеній, и что оставаться въ накладѣ при покупкѣ книги есть достойное наказаніе для невѣжества. Мнѣніе очень благородное! Но мы имѣемъ на этотъ счетъ свое, которое, если не такъ благородно, зато заключаетъ въ себѣ побольше здраваго смысла. Мы думаемъ, что литературный спекулянтъ, наказывающій невѣжество контрибуціей за дурныя книги, ничѣмъ не честнѣе молодцовъ, которые наказываютъ разбѣянность звѣзды, лишая ихъ кошелька или часовъ; долженъ ли же журналистъ своимъ молчаніемъ способствовать успѣхамъ литературныхъ спекулянтовъ?.. Нѣтъ. По нашему простому плебейскому мнѣнію, журналистъ долженъ поставить себѣ за священнѣйшую обязанность—неусыпно преслѣдовать надувателей невѣжества, препятствовать успѣхамъ мелкой литературной промышленности, столь губительной для распространенія вкуса и охоты къ чтенію. Онъ не долженъ забывать, что книги, особенно догматическія, пишутся для невѣждъ; что дурная книга сообщаетъ превратныя понятія и дѣлаетъ невѣжду еще невѣжественнѣе. Представьте себѣ степного провинціала, который сроду ничего не читывалъ, кромѣ календаря и писемъ отъ своей родни и знакомыхъ, но который долженъ покупать книги для своихъ дѣтей, которыя хотѣть все читать; кто будетъ его руководите-

лемъ въ выборѣ книгъ: газетныя объявленія или собственное соображеніе? А вѣдь эти дѣти принадлежатъ къ молодымъ поколѣніямъ, которыя должны вѣкогда явиться честными и способными дѣателями на служеніи отечеству; а вѣдь направленіе ихъ дѣятельности зависитъ отъ книгъ, по которымъ они учатся или которыя они читаютъ! Неужели же и эти поколѣнія, юныя и жаждущія образованія, должны наказываться за невѣжество своихъ отцовъ?.. Нѣтъ, милостивые государи, люди просвѣщенные и образованные не столько нуждаются въ нашихъ совѣтахъ, сколько невѣжды; допускать спекулянтовъ издѣваться надъ невѣжествомъ—значитъ способствовать его усилію, значитъ отвращать его отъ свѣта знанія, отъ блеска образованности. Мы глубоко убѣждены, что библиографія есть одинъ изъ важнѣйшихъ, необходимыхъ и полезнѣйшихъ отдѣловъ благонамѣреннаго журнала, и что смѣяться надъ добродушной довѣрчивостью читателей къ своему журналу—значитъ не имѣть къ себѣ уваженія. Если другіе журналы дѣйствуютъ недобросовѣстно, неблагонамѣренно, это не даетъ вамъ права самимъ ничего не дѣлать; это, напротивъ, должно васъ обязать къ усиленной дѣятельности. Читателей второго разряда «Наблюдатель» не хотѣлъ удовлетворять потому, что его «сотрудники не намѣрены никому навязывать своихъ мнѣній». Вотъ прекрасно! да кто жъ васъ просилъ навязывать публикѣ свой журналъ, въ которомъ такъ много вашихъ же мнѣній?.. Читателей третьяго разряда «Наблюдатель» не хотѣлъ удовлетворять потому, что «его критика никогда не угождала ихъ безпокойной страсти къ зрѣлищамъ всякаго рода». Помилуйте—какъ никогда! А статьи противъ «Библиотеки для Чтенія», противъ барона Брамбеуса? Если на нихъ не сбѣгались какъ на пожаръ, такъ это потому, что ихъ огонь горѣлъ слишкомъ тускло, давалъ больше дыму, чѣмъ полымя, а не потому, чтобы онѣ были писаны умѣренно и скромно. Воля ваша, а эта тактика «Библиотеки», которая каждый мѣсяцъ бранитъ полемику, упрекаетъ за нее другіе журналы и въ то же время сама ругается очень неблагопристойно... Нѣтъ, этихъ причинъ намъ недостаточно—мы нашли другую: библиографія дѣло очень хлопотное, съ нею каждый день наживаешь по врагу, который готовъ вредить вамъ и клеветой, и всѣми средствами: благоразумное же молчаніе избавляетъ отъ этихъ непріятностей; и вотъ причина, почему «Наблюдатель» не хотѣлъ отдавать публикѣ отчета въ новыхъ книгахъ. Оно и лучше!.. Но всего забавнѣе послѣ этихъ объясненій слѣдующія строки:

«Несмотря на это, должно говорить подробно

почти обо всѣхъ произведеніяхъ литературы нашей, потому что этого требуютъ. Всякая книга есть для публики вопросъ, на который ожидаютъ отвѣта въ журналѣ. Публика не любитъ оставаться въ недоумѣніи: она не любитъ умолчаній или недомолвокъ. Дѣло журнала—угождать иногда ея слабостямъ».

Вотъ въ этомъ мы согласны съ авторомъ статьи; но чему же должно вѣрить въ его словахъ: первому или послѣднему? не умѣемъ отвѣчать на этотъ мудреный вопросъ. Видно, у всякаго своя логика, видно, дважды-два иногда бываетъ три, а иногда и четыре!.. Вслѣдствіе этой прекрасной логики Шевыревъ обѣщается давать публикѣ отчетъ въ нѣкоторыхъ книгахъ и начинается съ «Князя Скопина-Шуйскаго» — романа, написаннаго дамой.

Отчетъ въ этомъ произведеніи начинается сожалѣніемъ Шевырева о томъ, что наши дамы принимаютъ мало участія въ литературныхъ трудахъ, что наша словесность есть общество слишкомъ исключительно мужское, отчего «обхожденіе и разговоръ въ сословіи литераторовъ отзывается до нестерпимаго (?) трубкой и пуншемъ». Въ самомъ дѣлѣ, это очень жаль, но, къ счастью, бѣду еще можно поправить: Шевыревъ нашелъ для этого вѣрное средство. «Появленіе многихъ дамъ въ сословіи писателей, говоритъ онъ, могло бы имѣть, какъ я думаю, полезное вліяніе на общежитіе и нравы нашей литературы». Можетъ быть это справедливо, только мы не понимаемъ, что такое «общежитіе и нравы литературы»? Притомъ, развѣ литература го-стиная, развѣ она не цвѣтъ цѣлой цивилизаціи народа, не результатъ историческаго развитія всей его жизни?.. Развѣ въ литературѣ требуется что-нибудь другое, кромѣ изящества, учености, достоинства, и развѣ эти качества зависятъ не отъ таланта и генія, а отъ любезности писателей?.. Развѣ тамъ, гдѣ женщины-писательницы толпами являются въ литературѣ, нѣтъ пошлыхъ и дикихъ поэтовъ, нѣтъ невѣжливыхъ и криводушныхъ журналистовъ?.. Но я вижу, что моимъ «развѣ» конца не будетъ... А! вотъ въ чемъ дѣло! Изъ нашей литературы хотятъ устроить балъную залу и уже зазываютъ въ нее дамъ; изъ нашихъ литераторовъ хотятъ сдѣлать свѣтскихъ людей въ модныхъ фракахъ и въ бѣлыхъ перчаткахъ, энергію хотятъ замѣнить вѣжливостью, чувство—приличіемъ, мысль—модной фразой, изящество—шеголеватостью, критику—комплиментами, короче—къ намъ снова зовутъ восемнадцатый вѣкъ, этотъ золотой вѣкъ свѣтской (profane) литературы, этотъ вѣкъ Лагарновъ и Баттѣ, когда въ трагедію допускались не люди, а выше, чѣмъ люди, когда въ нее могъ попасть только полубогъ, или герой, или по крайней мѣрѣ гер-

цогъ и баронъ, что конечно не меньше; когда лицо трагедіи должно было говорить не иначе, какъ принявши важную осанку, выступивъ ногой, вытянувъ руку, и непременно высокимъ паркетнымъ слогомъ. А! такъ вотъ почему намъ съ нѣкотораго времени такъ часто толкуютъ о какихъ-то «свѣтскихъ» повѣстахъ и «свѣтскихъ» романахъ!.. Такъ вотъ гдѣ скрывалась задуманная идея, которую съ такимъ жаромъ развиваетъ «Наблюдатель». Признаюсь, есть изъ чего и хлопотать! Но посмотримъ, что дальше.

Дальше слѣдуетъ вторичное воззваніе къ дамамъ, вторичное приглашеніе дамъ взяться за перо и приняться за «свѣтскій романъ». Итакъ—place aux dames!..

«Я думалъ бы скорѣе, что романъ «свѣтскій» будетъ областью женщины. Современное общество—это ея царство, ея жизнь; здѣсь утопченный взглядъ ея и вѣрное чувство могли бы уловить такія краски и оттѣнки на картинѣ общества, которые навсегда останутся недоступны для паслѣдственныхъ пріемовъ писателя-мужчины. У женщинъ есть этотъ особенный органъ «свѣтскаго» осязанія, передъ которымъ тупы чувства мужскія. Такимъ романомъ, я думаю, женщина могла бы имѣть благотворное вліяніе и на наше общество».

Убѣдились ли вы этими неопровержимыми доводами?—Я убѣдился, и теперь отъ души взываю: «place aux dames!» Но я иду еще дальше, я не могу остановиться на одной литературѣ, потому что въ такомъ случаѣ вліяніе женщинъ на наше общество все-таки будетъ слишкомъ одностороннее и слабо. Если наше общество должно быть обязано своимъ образованіемъ не ученымъ и литераторамъ, не таланту, не генію, не наукѣ, не тяжкому труду избранниковъ, а женщинамъ,—то было бы слишкомъ несправедливо такъ ограничивать поприще ихъ дѣятельности: для такой высокой цѣли нужна первая эмансипація женщины. Полумѣры никуда не годятся, съ золотой серединой не далеко уйдешь. И такъ, я составилъ свой собственный проектъ касательно улучшенія нашего общества: онъ прекрасенъ, но первоначальная идея его все-таки принадлежитъ не мнѣ, а Шевыреву, слѣдовательно,—ему честь и слава, а мнѣ хоть спасибо. Вотъ въ чемъ состоитъ мой проектъ. Наши дамы начнутъ писать «свѣтскіе» романы, но онѣ не должны и не могутъ остановиться на этомъ: таково свойство человѣческаго генія, онъ идетъ все впередъ. И такъ, дамы примутся современемъ и за историческій романъ; но чтобы писать историческіе романы, надо знать исторію, а исторія—наука; и такъ, вотъ шагъ въ область науки! Но наука одна,—науки суть не что иное, какъ искусственныя ея подраздѣленія: науки смежны, соприкосновенны другъ къ другу; исторію нельзя знать безъ археологіи,

хронологіи, географіи, географія непонятна безъ математики, математическая географія такъ близка къ астрономіи, физическая къ естествознанію. И такъ, почему бы дамамъ нашимъ не пуститься и въ науку, тѣмъ болѣе, что этотъ переходъ естествененъ, что отъ «свѣтскаго» романа до философіи нѣтъ скачка?.. Особенно имъ слѣдовало бы заняться математикой: какія благотворныя слѣдствія повлекло бы это за собою! Математики всѣ люди угрюмые, нелюбезные и часто очень грубые! Что, если бы дамы стали съ каедръ преподавать всѣ знанія человѣческія! О, съ какой бы жадностью слушали ихъ студенты; какъ бы смягчились университетскіе нравы, какіе успѣхи оказало бы просвѣщеніе въ Россіи! И такъ, гг. профессора всѣхъ четырехъ факультетовъ, не исключая и медицинскаго, будьте догадливы и вѣжливы — *place aux dames!*.. Но науки соприкасаются съ жизнью, и практика въ преподаваніи иногда замѣняетъ теорію — такова наука правъ: почему жъ бы дамамъ не заняться судопроизводствомъ не въ однихъ тѣсныхъ предѣлахъ аудиторіи, но и въ судилищахъ? почему бы имъ не быть сенаторами, председателями, совѣтниками?.. Какое бы благотворное влияние оказалось тогда надъ нашимъ обществомъ! Кончилось бы взяточничество, по крайней мѣрѣ деньгами, ябеда превратилась бы въ сплетни, съ просителями обращались бы вѣжливо, съ подсудимыми — кротко... А почему жъ бы дамамъ не заняться и военной службой, которая больше всѣхъ нуждается въ умягченіи нравовъ и урокахъ общежитія?.. Здѣсь ужъ я и не въ силахъ вычислить всѣхъ благотворныхъ вліяній на общество: какое войско не одержитъ побѣды, когда имъ будетъ командовать прекрасная дама въ образѣ Беллоны? какая война не будетъ человѣколюбива, кротка, когда будетъ вестись дамами? какіе солдаты не сдѣлаются вѣжливыми, деликатными и ловкими, повинаясь такимъ милымъ начальникамъ?.. Конечно можетъ быть отъ этого пострадаетъ дисциплина, поразстроится порядокъ, потому что начальство иногда будетъ манкировать своей должностью, занятое балами, нарядами, а иногда и скованное такими обстоятельствами, въ которыхъ виновата одна природа, и именно природа дамская, но вѣдь и мужчины подвергаются болѣзнямъ, и на природу нѣтъ апелляцій...

Я, право, не шучу. Литературные сенсимонисты намъ говорятъ, что женщина имѣетъ право писать, потому что она — человѣкъ, что она обладаетъ тѣми же способностями, какъ и мужчина; политическіе сенсимонисты опираются на томъ же, доказывая, что женщина должна и имѣетъ право заниматься

общественными должностями. Такъ какъ я согласенъ съ первыми, то ужъ естественно не могу не согласиться со вторыми. Въ противномъ случаѣ, я показалъ бы, что во мнѣ нѣтъ логической послѣдовательности, здраваго смысла, а я имѣю большія претензіи на здравый смыслъ. Въ самомъ дѣлѣ, если эмансипація, то ужъ полная, а то не изъ чего хлопотать. И такъ, гг. поэты, литераторы, профессора, судьи, генералы! будьте догадливы, будьте вѣжливы: *place aux dames!*..

Послѣ этой глубокой и прекрасной мысли Шевыревъ очень занимательно изслѣдываетъ важный вопросъ о томъ: можетъ ли дама успѣть въ историческомъ романѣ, кромѣ «свѣтскаго»? — по его теоріи выходитъ, что не можетъ; но опытъ разувѣрилъ его въ этомъ. Въ извѣстномъ романѣ г-жи Коттентъ «Матильда или Крестовые походы», въ этомъ романѣ, который уже мѣсяца два читаетъ мой камердинеръ и не можетъ нахвалиться, критикъ не видитъ большого историческаго достоинства, потому что въ немъ «чувство и воображеніе господствуютъ надъ исторіей»; онъ не могъ иначе оцѣнить этого гениальнаго произведенія и по другой еще причинѣ; но послушаемъ его самого.

«У меня же была еще въ свѣжей памяти эта чудная «Елена» миссъ Эджвортъ, это созданіе нѣжное, идеаль британской женщины. Я помню, какъ, читая этотъ романъ, я, казалось, жилъ въ лучшемъ обществѣ, гдѣ и мысли, и чувства становились благороднѣе, гдѣ узнавалъ я силу каждаго слова въ общежитіи и научался его извѣшивать. Прочитавъ «Елену», я какъ-то почувствовалъ себя лучше, во мнѣ прибыло какой-то нравственной силы для того, чтобы дѣйствовать въ обществѣ (какомъ? ужъ, вѣрно, въ свѣтскомъ). Вотъ слѣдствіе «свѣтскаго» романа, написаннаго перомъ «гениальной» женщины. (Въ самомъ дѣлѣ, удивительное слѣдствіе!). Такимъ романомъ воспитывается общество (какое? — свѣтское?), и литература (какая? — свѣтская?) сильно подвигаетъ его нравственный успѣхъ».

Шевыревъ говоритъ все это не шутя; и я поговорю насчетъ этого безъ шутокъ. Я не возстаю противъ того, что онъ еще не забылъ «Матильды» г-жи Коттентъ, давно уже перешедшей изъ гостиной въ переднюю и дѣвичью: есть что-то умиленное въ защитѣ слабого, что-то рыцарское въ покровительствѣ тому, что всѣми признано за нелѣпость; но миссъ Эджвортъ не требуетъ особенной защиты: ея романы извѣстны всей Европѣ и превозносятся до небесъ барономъ Брамбеусомъ. Я не отрицаю, что представители дѣвичьей и передней могутъ становиться благороднѣе и возвышеннѣе въ своихъ чувствахъ и мысляхъ не только отъ «Матильды» или «Елены», но и отъ Курганова «Письмовника» и романовъ Александра Анеимовича Орлова; но я, собственно я, а не кто-нибудь другой, могу возвышаться душой только отъ

художественныхъ, а не «свѣтскихъ» романовъ. Художественный и «свѣтскій» не суть слова однозначія, такъ же, какъ дворянинъ и благородный человѣкъ. Художественность доступна для людей всѣхъ сословій, всѣхъ состояній, если у нихъ есть умъ и чувство; «свѣтскость» есть принадлежность касты. Художественность есть творчество, а творчество изображаетъ человѣка съ его страстями, его порывами къ добру и злу, его радостями и страданіями; «свѣтскость» же уничтожаетъ страсти, порывы, радости и горести, она подводитъ все это подъ уровень посредственности, равнодушія, ничтожности и скуки. Я этимъ совсѣмъ не думаю доказывать, чтобы между людьми высшаго общества не было людей съ душой и сердцемъ, людей съ талантомъ и доблестью: подобная мысль въ наше время была бы жалкимъ и смѣшнымъ анахронизмомъ. Я говорю не о «свѣтскихъ» людяхъ въ частности, а о «свѣтскомъ» обществѣ вообще, гдѣ умолкаетъ умъ, боясь оскорбить своимъ превосходствомъ глупость, гдѣ притаивается чувство, боясь оскорбить приличіе, гдѣ самый гений спѣшитъ принять на себя видъ посредственности и ничтожества, чтобы не показаться смѣшнымъ и страннымъ. «Свѣтскость» еще сходится съ образованностью, которая стоитъ въ знаніи всего понемножку, но никогда она не сойдется съ наукой и творчествомъ: то и другое необходимо должно искупиться и обмѣлѣть, жертвуя своимъ временемъ на выполнение ея ничтожныхъ условий, дыша несвоей атмосферой. Аристократія таланта не есть аристократія общества: Шекспиръ не на паркетѣ приобрѣлъ свой мірообъемлющій взглядъ на человѣческую природу. Шиллеръ не на паркетѣ нашелъ небо и рай своихъ божественныхъ видѣній, которыя онъ передалъ намъ подъ человѣческими именами Амалий, Луизъ, Текль, Карловъ, Фердинандовъ, Позъ, Максавъ, Телей. Романъ долженъ быть изображеніемъ человѣческой жизни, а не паркетныхъ сплетней, и только идея человѣческой жизни, а отнюдь не идея паркетныхъ сплетней, можетъ возвысить и облагородить человѣческую душу. Романъ миссъ Эджвортъ «Елена» есть не что иное, какъ пошлая рама для выраженія пошлой мысли, что «дѣвушка не должна лгать и въ шутку», есть пятитомный и убійственно-скучный сборъ ничтожныхъ правоученій гостини. Говорятъ, что главное достоинство этого романа состоитъ въ вѣрномъ изображеніи всѣхъ тонкостей, всѣхъ оттѣнковъ высшаго англійскаго общества, недоступныхъ для непосвященныхъ въ таинства гостини. Если это такъ, то тѣмъ хуже для романа. Я человѣкъ не свѣтскій, слѣдовательно, не могу по-

нять свѣтской стороны романа, но я всегда могу понять его человѣческую и его художественную сторону. Въ какихъ бы формахъ ни проявлялась человѣческая жизнь, она понятна всегда и для всѣхъ, потому что переходящая форма, но вѣчна идея эстетическаго творенія. Прометей Эсхила, прикованный къ горѣ, терзаемый коршуномъ и съ горделивымъ презрѣніемъ отвѣчающій на упреки Зевеса, есть форма чисто греческая; но идея непоколебимой человѣческой воли и энергіи души, гордой и въ страданіи, которая выражается въ этой формѣ, понятна и теперь: въ Прометей я вижу человѣка, въ коршунѣ — страданіе, въ отвѣтахъ Зевесу — мощь духа, силу воли, твердость характера. Какое мнѣ дѣло, что у индійцевъ въ дѣла человѣческія вмѣшиваются Боги и духи; это мнѣ нисколько не мѣшаетъ понимать «Сагунталу»: я остаюсь въ сторонѣ все индійское, и вижу одно человѣческое, а это человѣческое равно и одинаково и у индійцевъ, и у русскихъ, и у нѣмцевъ. Почему жъ я не понимаю «свѣтскаго» въ романѣ миссъ Эджвортъ? — Потому что въ немъ нѣтъ ничего человѣческаго, слѣдовательно, ничего и художественнаго. Читая этотъ романъ, я невольно твержу стихи поэта:

И даже глупости смѣшной
Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой!

А я могу повѣрить этому поэту: онъ знаетъ свѣтъ не по слуху. Еще хорошо бы, если бы миссъ Эджвортъ представила мнѣ свѣтъ такъ, какъ онъ есть, въ сходствѣ съ этимъ изображеніемъ, которое сдѣлано человѣкомъ, тоже знающимъ свѣтъ не по слуху:

«Между толпами бродятъ разныя лица, подъ веселый напѣвъ контрданса свиваются и развиваются тысячи интригъ и сѣтей, толпы подобострастныхъ азролитовъ вертятся вокругъ одной кометы; предатель униженно кланяется своей жертвѣ; адъ послышалось незначущее слово, привязанное къ глубокому долготѣнному плану; улыбка презрѣнія скатилась съ великолѣпнаго лица и оледенила какой-то умоляющій взоръ; адъ тихо поаусть темные грѣхи, и торжественная подлость гордо поситъ на себѣ печать отверженія».

Вотъ поэтическая сторона большого свѣта, которую я очень люблю въ художественномъ представленіи; миссъ Эджвортъ уловила только одну ничтожность и скуку большого свѣта, и потому просимъ не взыскать, ея романъ намъ кажется и пошлымъ, и безталаннымъ, и ничтожнымъ, ничѣмъ не выше дряхлыхъ романовъ госпожъ Коттенъ и Жанлисъ. Мы не вѣримъ, чтобы были такія души, которыя бы могли возвышаться отъ «Елены» миссъ Эджвортъ или отъ романовъ дѣвицы Маріи Извъковой.

Переходя къ «Востолѣ», Шевыревъ уди-

вляется, какъ могутъ быть такіе люди, которые сомнѣваются: Пушкина ли это поэма, или нѣтъ. А что жъ тутъ удивительнаго, если смѣемъ спросить? На поэмѣ стоитъ имя Пушкина: для меня этого довольно, чтобъ имѣть право приписать ему эту поэму. Вы говорите, что Пушкинъ не въ состояніи написать такого дурнаго произведенія, — а почему же такъ? Вѣдь онъ написалъ же «Анжело» и нѣсколько другихъ плохихъ сказокъ? Да и какихъ чудесъ на свѣтѣ не бываетъ? Погодите, можетъ быть Пушкинъ подарить насъ еще и октавами изъ Тасса! Шевыревъ негодуешь на «Библіотеку» за то, что она «завлекательно объявила, что Пушкинъ воскресъ въ этой поэмѣ (какъ будто бы кто-нибудь сомнѣвался въ жизни его таланта)», — а кто жъ, смѣемъ спросить, не сомнѣвался въ этомъ?.. Развѣ только одинъ «Московскій Наблюдатель», и то потому, что Пушкинъ принадлежалъ къ числу его сотрудниковъ? Равнымъ образомъ мы не видимъ ничего предосудительнаго и въ томъ, что «Библіотека» стала укорять Пушкина въ томъ, что онъ издалъ такое произведеніе: если позволительно упрекать книгопродавцевъ за изданіе дурныхъ книжонокъ, то почему же поэтъ долженъ быть свободенъ отъ этого упрека?..

«Издать дурную поэму — въ волѣ всякаго, кто имѣетъ лишнія деньги. Отчего же отнимать это право и у Пушкина? Читатель, понимающій толкъ въ поэмахъ, развернувъ книгу, угадаетъ, что поэма не Пушкина, и не купитъ ея. Тотъ же, который не отгадаетъ, пусть купитъ: невѣжеству только и наказанія, что остаться въ накладе».

Хороша мораль — нечего сказать! Можетъ быть въ свѣтѣ надуть кого бы то ни было, хотя бы и невѣжество, почитается нравственнымъ? Мы этого не знаемъ; мы — люди простые, не свѣтскіе, и обманъ почитаемъ во всякомъ случаѣ дѣломъ предосудительнымъ. Притомъ же вспомните о провинціалахъ, между которыми есть и невѣжды, но которые не имѣютъ возможности развернуть книги, не выписавши ея сперва и не заплативши за нее впередъ деньги; для нихъ достаточно имени великаго и перваго поэта русскаго, чтобъ не имѣть никакого подозрѣнія въ обманѣ.

Потомъ Шевыревъ говоритъ о «Пѣсняхъ» Тимофеева и высказываетъ обиняками, что онъ не имѣютъ никакого достоинства и не стоятъ вниманія. Это очень справедливо, но насъ удивляютъ слѣдующія строки:

«Мы готовы думать, что эти пѣсни принадлежатъ не тому же автору, котораго имя встрѣчали мы подъ нѣкоторыми пріятными статьями въ прозѣ»...

Что, что такое? Это — «свѣтскій» комплиментъ! Тимофеевъ такой же прозаикъ, какъ

и поэтъ, но онъ недавно помѣстилъ въ «Наблюдателѣ» статейку своей работы «Любовь Поэта». А! понимаемъ!..

Отъ Тимофеева Шевыревъ переходитъ къ книгѣ Сильвіо Пеллико «О Должностяхъ Человѣка», переведенной въ Одессѣ Хрустальвымъ. Читателямъ «Телескопа» извѣстно наше мнѣніе объ этой книгѣ. Сильвіо Пеллико много страдалъ, и страдалъ съ этимъ рѣдкимъ терпѣніемъ, которое свойственно только или слишкомъ сильнымъ, или слишкомъ слабымъ душамъ. Не беремся рѣшить, къ которой изъ этихъ двухъ категорій относится Сильвіо Пеллико, однако думаемъ, что душа сильная могла бы вынести изъ своего заключенія что-нибудь посильнѣе и поглубже дѣтскихъ разсужденій о томъ, что дважды-два — четыре. Конечно эти старыя истины онъ предлагаетъ своимъ добродушнымъ читателямъ и почитателямъ съ искреннимъ убѣжденіемъ, отъ чистаго сердца, но отъ этого его книга ничуть не лучше. Шевыревъ говоритъ, что Сильвіо Пеллико имѣлъ право говорить общія мѣста и преподавать сухіе, произвольно-догматическіе уроки послѣ столькихъ страданій и послѣ своей книги «Prigioni»; не споримъ, у всякаго свой взглядъ на вещи, а по нашему, общія мѣста — всегда общія мѣста, кѣмъ бы они ни были сказаны, честнымъ человѣкомъ или негодяемъ. Загѣмъ Шевыревъ приводитъ нѣсколько страницъ изъ книги Пеллико: эти выписки всего лучше могутъ оправдать наше мнѣніе объ этой книгѣ.

Статья заключается разборомъ «Записокъ Титулярнаго Совѣтника Чухина» Булгарина. Въ этомъ разборѣ Шевыревъ очень мило и храбро нападаетъ на Булгарина за его невѣжливость къ дамамъ. Какъ счастливы наши дамы! Сколько у нихъ ревностныхъ защитниковъ и почитателей! За нихъ сражаются, имъ служатъ и въ журналахъ, и въ вѣдомостяхъ!.. Дѣло вотъ въ чемъ: Булгаринъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ своего предисловія, «что жевщины нѣжнѣе, сострадательнѣе, великодушнѣе мужчинъ», а четырьмя страницами выше такимъ образомъ объясняетъ, почему литературный умъ не можетъ ужиться съ обществомъ: «А дамы... о дамахъ я ничего не смѣю говорить. Place aux dames! — Вѣдь умныхъ любятъ только умные люди, слѣдовательно, литературному уму и тѣсно, и душно въ свѣтскихъ обществахъ». Что бы, кажется, дурнаго въ этой мысли? По нашему сужденію, эта мысль есть аксіома и безъ сомнѣнія лучше всего романа Булгарина. Но не такъ смотритъ на это дѣло Шевыревъ; послушайте, что онъ говоритъ:

«Каковъ комплиментъ и свѣтскому обществу, и въ особенности дамамъ, которыя составляютъ лучшую часть его! Послѣ этого вѣрѣте автору,

когда онъ превозноситъ женщинъ... Мы не знаемъ, когда изъ-подъ его пера капаетъ правда, но здѣсь видимъ что-то въ родѣ чернильнаго пятна или неучтивости».

Послѣ этого, разумѣется, роману Булгарина достается порядкомъ. Намъ самимъ этотъ романъ кажется очень плохимъ и плоскимъ произведеніемъ, только по другой причинѣ: вслѣдствіе отсутствія таланта въ авторѣ, а не вслѣдствіе его неуваженія къ прекрасному полу. Мы тоже очень уважаемъ прекрасный полъ, но защищать его не намѣрены, потому что и въ одномъ князѣ Шаликовѣ онъ имѣетъ очень сильнаго защитника; что же говорить о другихъ...

Слава Богу! наконецъ - то я добрался до идеи «Наблюдателя!» Онъ хлопочетъ не о распространеніи современныхъ понятій объ изящномъ: теорія изящнаго не входитъ въ него, искусство у него въ сторонѣ; онъ старается о распространеніи свѣтскости въ литературѣ, о введеніи литературнаго приличія, литературнаго общежитія; онъ хочетъ во что бы то ни стало одѣть нашу литературу въ модный фракъ и бѣлые перчатки, ввести ее въ гостиную и подчинить зависимости отъ дамъ; цѣль истинно похвальная: кто не поревнуетъ ей! По крайней мѣрѣ теперь мы знаемъ, о чемъ хлопочетъ «Наблюдатель», какая его идея; по крайней мѣрѣ мы теперь знаемъ, что онъ имѣетъ значеніе и смыслъ: а я только этого и добивался, и только чрезъ первый нумеръ его на нынѣшній годъ добился этого. Упреди я моей статьей послѣднюю статью Шевырева — и идея «Наблюдателя» осталась бы для всѣхъ тайной. Приятно думать, что теперь наши журналы издаются если не съ мыслью, то со смысломъ определеннымъ и яснымъ. Хорошо ли, дурно ли (не смѣю и не имѣю права судить объ этомъ) — «Телескопъ» и «Молва» хлопочутъ объ искусствѣ и литературѣ въ чисто литературномъ смыслѣ, безъ постороннихъ цѣлей. «Московский Наблюдатель» проповѣдуетъ свѣтскость и элегантность въ литературѣ, смотритъ на искусство и литературу съ свѣтской точки зрѣнія. «Библіотека для Чтенія» развиваетъ ту мысль, что умозрительныя знанія и все, проникнутое идеей, не только бесполезно, но и вредно, что нѣмецкая философія — бредъ, что только положительныя, фактическія знанія еще годятся на что-нибудь, что ничему не должно учиться, что для того, чтобы все знать, довольно выписывать «Библіотеку для Чтенія» и «Энциклопедическій Словарь». «Сѣверная Пчела» и «Сынъ Отечества» одни чужды всякой мысли и даже всякаго смысла; но и у нихъ есть цѣль, определенная и постоянная, это — подписчики...

Мнѣ бы слѣдовало еще поговорить о пере-

водныхъ критическихъ статьяхъ «Московского Наблюдателя», но это совсѣмъ бесполезно, потому что онѣ нисколько не гармонируютъ съ цѣлью этого журнала. Тамъ, въ западной Европѣ, свѣтскость не новость, рыцарство, даже и литературное, давно уже сдѣлалось пошлостью. Но у насъ — другое дѣло; мы еще недавно надѣли бѣлые перчатки, и потому ходимъ поднявши руки вверхъ, чтобы всѣ ихъ видѣли; мы еще недавно перемѣнили охабень на фракъ, и потому безпрестанно охорашиваемся и оглядываемъ себя со всѣхъ сторонъ; мы еще недавно перестали бить нашихъ женъ и пляску въ присядку перемѣнили на танцы, и потому кричимъ громко: «place aux dames!», какъ бы похваляясь своей вѣжливостью, и танцуемъ французскую кадрили съ такой важностью, какъ будто городъ беремъ... Это явленіе понятное и необходимое, но, кажется, уже и у насъ пора бы ему сдѣлаться анахронизмомъ... Говори безъ шутокъ, оно и есть анахронизмъ, смѣшной и жалкій...

Въ заключеніе почитаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ о странномъ и опасномъ положеніи человѣка, который у насъ судитъ о чемъ бы то ни было, и судитъ не въ пользу судимаго. «Скажи правду — потеряй дружбу» — мудрая пословица. У насъ особенно всѣ авторитеты щекотливы и притязательны, точъ-въ-точъ мелкіе уѣздные чиновники. У насъ еще важность авторитета опредѣляется не заслугой, а выслугой, не достоинствомъ, а лѣтами. Кто началъ свое литературное поприще съ двадцатыхъ годовъ и началъ его надутыми стишками, продолжалъ журнальными статьями — тотъ уже авторитетъ, тотъ уже смотритъ на человѣка, осмѣливагося сказать ему правду, какъ на буяна, приставшаго къ нему на улицѣ... Но всего горестнѣе, что у насъ еще не могутъ понять того, что можно уважать человѣка, любить его, даже быть съ нимъ въ знакомствѣ, въ родствѣ — и преслѣдовать постоянно его образъ мыслей ученый или литературный; всего досаднѣе, что у насъ не умѣютъ еще отдѣлять человѣка отъ его мысли, не могутъ повѣрить, чтобы можно было терять свое время, убивать здоровье и навивать себѣ враговъ изъ привязанности къ какому-нибудь задушевному мнѣнію, изъ любви къ какой-нибудь отвлеченной, а не житейской мысли. Но какая нужда до этого? Развѣ должно прибѣгать къ божбѣ для увѣренія въ чистотѣ и безкорыстии своихъ дѣйствій? Развѣ за благородный порывъ должно требовать награды отъ общественнаго мнѣнія? Развѣ мысль не есть высокая и прекрасная награда тому, кто служитъ ей?... О, нѣтъ! пусть толкуютъ ваши дѣйствія кому какъ угодно; пусть не хотятъ понять ихъ источ-

ника и цѣли, но если мысль и убѣжденіе доступны вамъ—идите впередъ, и да не совратятъ васъ съ пути ни расчеты эгоизма, ни отношенія личныя и житейскія, ни боязнь непріязни людской, ни обольщенія ихъ ковар-

ной дружбы, стремящейся взаимно своихъ ничтожныхъ даровъ лишить васъ лучшаго вашего сокровища—независимости мнѣнія и чистой любви къ истинѣ!..

ГАМЛЕТЪ, ПРИНЦЪ ДАТСКІЙ.

Драматическое представленіе. Соч. Вилліама Шекспира. Пер. съ англійск. Н. Полевого. Москва. 1837.

Всякій предметъ человѣческаго знанія имѣетъ свою теорію, которая есть сознаніе законовъ, по которымъ онъ существуетъ. Сознать можно только существующее, только то, что есть, и потому для созданія теоріи какого-нибудь предмета должно, чтобы этотъ предметъ, какъ данное, или уже существовалъ, какъ явленіе, или находился въ созерцаніи того, кто создаетъ его теорію. Нѣкоторые утверждаютъ, что будто въ Германіи теорія искусства предупредила само искусство, что оно было тамъ результатомъ теоріи, и что наконецъ такова же должна быть участь искусства и у насъ въ Россіи. Мысль, очевидно, ложная; не входя въ дальнія разсужденія, ее можно опровергнуть самими фактами. Въ Германіи эстетика, будучи многимъ одолжена поэту Шиллеру, одолжена еще болѣе философамъ Шеллингу и Гегелю, изъ которыхъ первый еще живъ, тогда какъ не осталось въ живыхъ ни одного изъ великихъ ея поэтовъ, ни представителя ихъ, Гёте. И не могло быть иначе, потому что если сознаніе предмета не дается самимъ этимъ предметомъ, то пробуждается имъ. Теперь, что бы могло возбудить въ нѣмцахъ стремленіе къ сознанію изящнаго, если у нихъ еще не было образцовъ изящнаго? — Искусство древнихъ! Но интересъ, который должно было возбудить въ нихъ древнее искусство, долженъ былъ предшествовать интересъ, возбужденный къ своему родному искусству. Понимать древнее искусство можно только объективно, а объективности непременно должна предшествовать субъективность, иначе эта объективность будетъ уродливая, бесплодная. Примѣръ французовъ лучше всего доказываетъ эту истину: не имѣя своей литературы, они имѣли понятіе о греческой, хотя и не понимали ея; захотѣли свою создать по ея образцу—и вышла нелѣпость. Вся ошибка въ томъ, что они поняли греческую литературу субъективно, т.-е. поняли ее какъ французы, и поняли ее какъ бы свою, французскую литературу, а не

объективно, т.-е. не такъ, какъ бы должны были французы понять чужую литературу, въ духѣ и жизни того народа, которому она принадлежала.

Мы могли бы привести и еще много доказательствъ и примѣровъ, что теорія всего того, чего нѣтъ, что не существуетъ, не имѣетъ цѣны, достоинства — даже мыльнаго пузыря. Если же предметъ теоріи находится, какъ данное, только въ созерцаніи автора теоріи, то какъ бы ни вѣрно было его созерцаніе, его теорія будетъ понятна только для одного его. Въ обоихъ случаяхъ отсутствіе предмета теоріи уничтожаетъ возможность всякой теоріи. Если у иностранцевъ есть превосходные переводы — нашей публикѣ отъ этого не легче, и тайна переводовъ на русскій языкъ для нея должна остаться тайной до тѣхъ поръ, пока какой-нибудь талантливыи переводчикъ самымъ дѣломъ не покажетъ, какъ должно переводить съ того или другого языка, того или другого поэта. Жуковскій давно уже показалъ, какъ должно переводить Шиллера (особенно переводомъ «Орлеанской Дѣвы») и Байрона (переводомъ «Шильонскаго Узника»). Теперь это вопросъ рѣшенный; дорога проложена, и продолжаться предоставлена возможность даже дальнѣйшихъ успѣховъ. Но въ литературѣ нашей возникъ новый вопросъ, и уже давно: вопросъ — какъ должно переводить Шекспира? Вронченко первый началъ переводить Шекспира съ подлинника; онъ перевелъ «Гамлета» вполне, безъ всякихъ перемѣнъ, но вопросъ остался нерѣшеннымъ; Якимовъ перевелъ «Лира» и «Венеціанскаго Купца» — и вопросъ еще больше запутался; между этими двумя переводами быть данъ на счетъ переводъ (прозой) «Венеціанскаго Купца»; Шейлока игралъ Щепкинъ и игралъ превосходно, а вопросъ все-таки ни на шагъ не подвинулся рѣшеніемъ. Теперешній переводчикъ «Гамлета» написалъ статью о томъ, какъ должно переводить Шекспира, — но вопросъ

попрежнему оставался вопросом. Явился «Гамлетъ» на московской сценѣ, и вопросъ рѣшенъ.

Прежде, нежели будемъ говорить о переводѣ, мы должны сказать, что нисколько не почитаемъ этого перевода совершеннымъ переводомъ или чудомъ, фениксомъ переводовъ. Нѣтъ! Во-первыхъ, въ немъ много недостатковъ, и недостатковъ важныхъ; во-вторыхъ, мы очень понимаемъ, какъ можетъ быть лучший и лучший переводъ «Гамлета». Переводъ Полевого—прекрасный, поэтический переводъ; а это уже большая похвала для него и большое право съ его стороны на благодарность публики. Но есть еще не только поэтические, но и художественные переводы, и переводъ Полевого не принадлежитъ къ числу такихъ. Повторяемъ: его переводъ поэтический, но не художественный; съ большими достоинствами, но и съ большими недостатками. Но даже и не въ этомъ заслуга Полевого: его переводъ имѣлъ полный успѣхъ, далъ Мочалову возможность выказать всю силу своего гигантскаго дарованія, утвердилъ «Гамлета» на русской сценѣ. Вотъ въ чемъ его заслуга, и мы заранее отказываемся отъ всякаго спора съ тѣми людьми, которые не захотѣли бы видѣть въ этомъ великой заслуги и литературѣ, и сценѣ, и дѣлу собственнаго образованія. Не будь переводъ Полевого даже поэтическимъ, но имѣй такой же успѣхъ—мы и тогда смотрѣли бы на него, какъ на дѣло великой важности. Можетъ быть намъ возразятъ, что безъ поэтическаго достоинства переводъ и не могъ бы имѣть никакого успѣха, — съ этимъ мы согласны.

Утвердить въ Россіи славу имени Шекспира, утвердить и распространить ее не въ одномъ литературномъ кругу, но во всемъ читающемъ и посѣщающемъ театръ обществѣ, опровергнуть ложную мысль, что Шекспиръ не существуетъ для новѣйшей сцены, и доказать, напротивъ, что онъ - то преимущественно и существуетъ для нея—согласитесь, что это заслуга, и заслуга великая!

Правило для перевода художественныхъ произведеній одно: передать духъ переводимаго произведенія, чего нельзя сдѣлать иначе, какъ передавши его на русскій языкъ такъ, какъ бы написалъ его по-русски самъ авторъ, если бы онъ былъ русскимъ. Чтобы такъ передавать художественныя произведенія, надо родиться художникомъ.

Въ художественномъ переводѣ не позволяется ни выпусковъ, ни прибавокъ, ни измѣненій. Если въ произведеніи есть недостатки—и ихъ должно передать вѣрно. Цѣль такихъ переводовъ есть — замѣнить по возможности подлинникъ для тѣхъ, которымъ онъ недоступенъ по незнанію языка, и дать имъ

средство и возможность наслаждаться имъ и судить о немъ.

Съ такой цѣлью перевелъ Вронченко «Гамлета» и «Макбета» Шекспира. Но ни въ томъ, ни въ другомъ переводѣ онъ не достигнулъ своей цѣли. Не говоря о другихъ причинахъ, главной причиной этого неуспѣха было то, что Шекспиръ еще недоступенъ для большинства нашей публики въ настоящемъ своемъ видѣ; что въ немъ понятно и извинительно для любителя искусства, посвятившаго себя его изученію, то непонятно и не извинительно въ глазахъ большинства.

Такъ какъ переводы дѣлаются не для нѣсколькихъ человѣкъ, а для всей читающей публики, и такъ какъ сцена должна дѣйствовать не на одинъ партеръ и первые ряды ложъ, а на весь амфитеатръ, то переводчикъ долженъ строго сообразоваться со вкусомъ, образованностью, характеромъ и требованіями публики. Вслѣдствіе этого, перевода Шекспира для чтенія публики, онъ не только имѣетъ право, но еще и долженъ выкидывать все, что непонятно безъ комментарій, что принадлежитъ собственно вѣку писателя, словомъ, для легкаго уразумѣнія чего нужно особенное изученіе. Переводя же драму Шекспира для сцены, онъ тѣмъ болѣе обязывается къ такимъ выпускамъ, прибавкамъ и перемѣнамъ, чѣмъ разнообразіе публики, для которой онъ трудится. И ученому непріятно слышать на сценѣ такія слова и фразы, для которыхъ нужны комментаріи; что жъ должно сказать въ этомъ отношеніи о простыхъ любителяхъ театра, изъ которыхъ многіе въ первый разъ въ жизни слышатъ имя Шекспира? Сверхъ того, не все то говорится въ обществѣ, что читается въ тиши кабинета; не все то можетъ читать дѣвушка и вообще женщина, что позволительно читать мужчинамъ; это правило должно быть закономъ для пьесъ, даваемыхъ на театрѣ.

Безъ такихъ переводовъ невозможны художественные, полные переводы драмъ Шекспира, потому что они скорѣе вредятъ цѣли, нежели способствуютъ ей. Если бы искаженіе Шекспира было единственнымъ средствомъ для ознакомленія его съ нашей публикой,—и въ такомъ случаѣ не для чего бъ было перемониться; искажайте смѣло, лишь бы успѣхъ оправдалъ ваше намѣреніе: когда двѣ, три и даже одна пьеса Шекспира, хотя бы и искаженная вами, упрочила въ публикѣ авторитетъ Шекспира и возможность лучшихъ, полнѣйшихъ и вѣрнѣйшихъ переводовъ той же самой пьесы, вы сдѣлали великое дѣло, и ваше искаженіе или передѣлка въ тысячу разъ достойнѣе уваженія, нежели самый вѣрный и добросовѣстный переводъ, если онъ, несмотря на всѣ свои достоинства, болѣе по-

вредилъ славу Шекспира, нежели распро-
странилъ ее.

Иногда въ литературѣ являются особеннаго
рода дѣтели: имѣютъ безконечное вліяніе на
свое время и не производятъ ничего, что бы
пережило даже ихъ самихъ. Обыкновенно та-
кіе люди отличаются дѣятельностью много-
сторонней и разнообразной; ни въ чемъ не
обнаруживаютъ рѣшительнаго генія, или даже
и сильнаго таланта, и ко всему показываютъ
большую способность; не принадлежатъ ни
къ какому предмету знанія или дѣятельности
исключительно, и берутся за все и во всехъ
успѣваютъ. Обыкновенно чѣмъ блестяще
бываютъ ихъ успѣхи, тѣмъ они кратковре-
меннѣе.

Но обратимся къ переводамъ Шекспира.
Мы сказали, что ихъ должно быть два рода:
одинъ, имѣющій цѣлью по возможности замѣ-
неніе подлинника и въ художественномъ, и
въ историческомъ, и въ литературномъ отно-
шеніяхъ; другой, имѣющій цѣлью ознакомле-
ніе публики съ великимъ драматургомъ. Пе-
реводъ «Гамлета» Полевого принадлежитъ къ
этому второму разряду переводовъ.

Въ 1828 году вышелъ переводъ «Гамлета»
Вронченки, — челоѣка, страстно любящаго
Шекспира и обладающаго талантомъ поэзіи.
Этихъ двухъ качествъ должно бы быть до-
статочно для удачнаго перевода, но переводъ
не имѣлъ никакого успѣха. Впрочемъ трудъ
Вронченки достоинъ высокаго уваженія: онъ
многимъ далъ возможность познакомиться съ
Шекспиромъ; говоря о неудачѣ, мы разумѣемъ
публику. Этому были три причины: первая—
переводъ былъ полный, безъ всякихъ измѣ-
неній; вторая — переводъ былъ вѣрный въ
буквальномъ значеніи, почти подстрочный,
почему и не передавъ духъ этого великаго
созданія; третья—не говоря о томъ, что бу-
квальная точность связывала слогъ перевод-
чика,—его понятіе о языкѣ и слогѣ довершили
неудачу перевода. Спѣшимъ объяснить.
Если бы мы видѣли въ Вронченкѣ челоѣка,
взявшагося не за свое дѣло, мы не стали бы
и говорить о его переводѣ, какъ о вещи не-
стоящей вниманія и уже старой. Но многія,
прекрасно переданныя мѣста и вообще все
безъ исключенія лирическаго мѣста, въ кото-
рыхъ Вронченко вполне уловилъ могучую
поэзію Шекспира, доказываютъ намъ, что
переводить Шекспира—его дѣло; но что только
ложное понятіе о близости перевода и о рус-
скомъ слогѣ лишили его успѣха на поприщѣ,
которое онъ избралъ съ такой любовью. Мы
не говоримъ о томъ, что онъ не такъ понялъ
«Гамлета», какъ должно, что видно изъ его
предисловія, гдѣ онъ доказываетъ, что Шекс-
пиръ имѣлъ какую-то моральную цѣль: поэты
часто ошибочно выговариваютъ то, что глу-

боко и вѣрно понимаютъ безсознательно. И
такъ, это въ сторону.

Близость къ подлиннику состоитъ въ пе-
реданіи не буквы, а духа созданія. Каждый
языкъ имѣетъ свои, одному ему принадлежа-
щіе средства, особенности и свойства, до та-
кой степени, что для того, чтобы передать
вѣрно иной образъ или фразу, въ переводѣ
иногда ихъ должно совершенно измѣнить.
Соотвѣтствующій образъ, такъ же какъ и со-
отвѣтствующая фраза состоятъ не всегда въ
видимой соотвѣтственности словъ: надо, что-
бы внутренняя жизнь переводнаго выраженія
соотвѣтствовала внутренней жизни оригиналь-
наго. Кажется, что бы могло быть ближе
прозаическаго перевода, въ которомъ пере-
водчикъ нисколько не связанъ, а между тѣмъ
прозаическій переводъ есть самый отдален-
ный, самый невѣрный и неточный, при всей
своей близости, вѣрности и точности. Возь-
мите переводъ Гизо и сравните его хоть съ
переводомъ Вронченки, и вы увидите, что
между ними такая разница, какъ будто бы
это были переводы двухъ различныхъ сочи-
неній. Во французскомъ прозаическомъ пе-
реводѣ совершенно утраченъ этотъ букетъ,
который составляетъ жизнь всякаго изящнаго
произведенія, и безъ котораго оно похоже
на выдохшееся вино; по его вкусу и цвѣту
можно узнать только то, къ какому сорту
принадлежало оно нѣкогда *).

Въ нашей литературѣ возникъ уже давно
вопросъ о словахъ: сей, оный, ибо, таковой,
и тому подобныхъ, которые одними счита-
ются необходимостью русской рѣчи, а дру-
гими — ея уродствомъ и искаженіемъ. Оста-
вляя въ сторонѣ рѣшеніе этого вопроса, какъ
не идущее къ дѣлу, мы замѣтимъ только, что
въ драматическихъ произведеніяхъ эти слова
всеми единодушно признаны негодными къ
употребленію, потому что они не употребля-
ются въ разговорной рѣчи, а драматическій
слогъ есть по преимуществу разговорный.
Вронченко пользовался ими съ излишней
расточительностью. Потомъ признано всеми
за непреложную истину, что драматическій
языкъ, какъ языкъ разговорный, долженъ
быть въ высшей степени естествененъ, т.-е.
отрывистъ, чуждъ вводныхъ предложеній,
чиствъ, простъ коротокъ, ясенъ, понятенъ безъ
напряженія. Не менѣе того согласны все и
въ томъ, что стихотворный языкъ точно такъ
же, какъ и прозаическій, долженъ быть пра-
вильнъ грамматически, вѣренъ своему духу,
свободенъ, развязенъ, чуждъ вычурныхъ
книжныхъ оборотовъ.

* Впрочемъ тутъ есть еще и другая причина:
французскій языкъ, этотъ бѣдный, жалкій языкъ,
имѣетъ необыкновенную способность опошли-
вать все, что не водевиль или не громкія фразы.

Каково читать, не только слышать со сцены, такіе стихи, какъ вотъ слѣдующіе?—

Такъ робкими творить всегда насъ совѣсть;
Такъ яркій въ насъ рѣшимости румянецъ
Подъ тѣнью тускнѣетъ размышленья,
И замысловъ отважные порывы,
Отъ сей препоны уклоняя бѣгъ свой,
Имень дѣяній не стяжаютъ.

Въ переводѣ Полевого эта мысль выражена такъ:

Ужасное созданье робкой думы!
И яркій цвѣтъ мочучаго рѣшенья
Влѣдѣть передъ мракомъ размышленья,
И смѣлость быстрого порыва гибнуть,
И мысль не переходить въ дѣло.

То ли это? А въ чемъ же разница? — Въ томъ, что у одного языкъ книжный, а у другого живой, разговорный.

Уснуть?—Но сновидѣнья?—Вотъ препона;
Какія будутъ въ смертномъ снѣ мечты,
Когда мятеную мы свергнемъ брѣньность.
О томъ помыслить должно!

Что за слово препона? Кто употребляетъ его въ разговорѣ? Зачѣмъ, скажите ради Бога, должно помыслить, а не подумать? Развѣ потому, что въ трагедіи требуется высокій, а не средній и не низкій слогъ? — Но во-первыхъ Шекспиръ писалъ драмы, а не трагедіи, а во-вторыхъ онъ не читалъ русскихъ риторикъ и не вѣрилъ раздѣленію слога на высокій, средній и низкій. Для него существовалъ одинъ слогъ—слогъ души человѣческой на всѣхъ ступеняхъ ея развитія и во всѣхъ моментахъ ея жизни. Шекспиръ не гнушался никакими словами: для чистаго — все чисто; резонёрство, чопорность и щепетильность нужны только для Тартюфовъ.

Здѣсь тонкостей нѣтъ вовсе, королева.
Что онъ помѣшанъ—правда; такая правда,
Что жаль его, и жаль, что это правда;
Престранная фигура? Ну, да Богъ съ ней!
Здѣсь тонкостей не нужно. Онъ помѣшанъ,
Сказали мы, теперь въ чемъ дѣло? Должно
Найти сего причину дѣйства; дѣйства
Иль, правильнѣй сказать, сего бездѣйства
Души и тѣла, ибо на сіе
Бездѣйственное дѣйство есть причина, и т. д.

Конечно Полоній хотѣлъ говорить ученымъ слогомъ и потому могъ употребить «ибо», но «сіи дѣйства и бездѣйства» — это ужъ верхъ учености въ языкѣ. Сравните тотъ же монологъ въ переводѣ Полевого — опять то же, да не то; какъ-то больше жизни, свободы, непринужденности, словомъ — разговорности.

Этихъ выписокъ довольно для показанія недостатковъ переводовъ Вронченки и поясненія причины его неуспѣха; скоро покажемъ мы его достоинства, — но прежде перейдемъ къ переводу Полевого.

Языкъ правильный, въ высшей степени разговорный, сообразный съ каждымъ дѣйствующимъ лицомъ; сверхъ того языкъ жи-

вой, согрѣтый, проникнутый огнемъ поэзіи: вотъ главное достоинство этого перевода. Въ отношеніи къ простотѣ, естественности, разговорности и поэтической безыскусственности этотъ переводъ есть совершенная противоположность переводу Вронченки. Перечтите сцену съ матерью: сколько огня, силы, энергіи, сжатости, и какая отрывистость, простота! Не тотъ ли это языкъ, который вы ежедневно слышите около себя и которымъ вы ежедневно сами говорите?—А между тѣмъ это языкъ высокой поэзіи, поэтическое выраженіе одного изъ самыхъ поэтическихъ моментовъ духа глубокаго человѣка! Да, актеру можно вполне одушевиться отъ такой роли и такъ переданной; онъ будетъ чувствовать, что говорить не фразы, а слова страсти, и не запнется ни на одномъ словѣ, которое бы могло охолодить его своей изысканностью или неловкостью. При другомъ переводѣ ни драма, ни Мочаловъ не могли бы имѣть такого успѣха. Мы понимаемъ, почему почтенный переводчикъ почти всѣ знаки препинанія замѣнилъ однимъ тире: въ разговорной и безыскусственной рѣчи нѣтъ риторической округленности, при которой одной возможна правильная и точная пунктуация.

Страшно,

За человѣка страшно мнѣ!

Такъ оканчивается дивный монологъ. «А вотъ они, вотъ два портрета», и это окончаніе принадлежитъ самому переводчику; но его и самъ Шекспиръ принялъ бы, забывшись, за свое: такъ оно идетъ тутъ, такъ оно въ духѣ его. Да, оно вполне выражаетъ это состояніе души человѣка, вникающаго въ себя, вышедшаго изъ органическаго полнаго самоощущенія жизни, разбирающаго, анализирующаго всякое свое чувство, всякое свое ощущеніе, всякую свою мысль! И это очень понятно; переводчикъ вошелъ въ духъ Шекспира, освоился, свылся душой съ жизнью лицъ его драмы, и у него сорвалось Шекспировское выраженіе. — Да, мы глубоко понимаемъ, какъ это возможно; это совсѣмъ не то, что, переведши прекрасно драму Шекспира, вообразить себя драматикомъ и начать писать свои драмы безъ призванія, безъ генія художческаго...

Въ переводѣ Полевого вездѣ видна свобода, видно, что онъ старался передать духъ, а не букву. Поэтому иногда, отдаляясь отъ подлинника, онъ этимъ самымъ вѣрно выражаетъ его; въ этомъ и заключается тайна переводовъ.

Но мы слишкомъ далеки отъ того, чтобы почитать переводъ Полевого совершеннымъ: нѣтъ, въ немъ много недостатковъ и очень важныхъ. Вообще Полевой болѣе передалъ «Гамлета» для сцены, нежели перевелъ его:

передать значить замѣнить подлинникъ, сколько это возможно. Онъ торопился, переводилъ его наскоро, между множествомъ другихъ дѣлъ, а Шекспиръ требуетъ глубочайшаго изученія, всей любви, всего вниманія, совершеннаго погруженія въ себя. Отъ этого въ переводѣ Полевого ослаблено много этихъ оттѣнковъ, этихъ чертъ, которыя не важны только для поверхностнаго взгляда, но составляютъ всю сущность поэтическаго созданія. Укажемъ для доказательства на нѣкоторыя мѣста, принимая переводъ Вронченки за самый вѣрный въ буквальномъ смыслѣ; въ томъ превосходномъ монологѣ, которымъ заключается второй актъ и въ которомъ, по уходѣ актеровъ, Гамлетъ упрекаетъ себя за недостатокъ силы для мщенія, у Вронченки онъ говоритъ:

Сего я стою: мягкосердый голубь,
Я не имѣю жолчи, и обиды
Мнѣ не горька.

Въ этихъ словахъ весь Гамлетъ. У Полевого это совсѣмъ выпущено.

Равнымъ образомъ у него ослаблена сцена сумасшествия Офеліи.

Его опустили въ сырую могилу,
Въ сырую, сырую могилу!

Какъ идетъ этотъ припѣвъ къ оборотамъ колеса въ самоприпѣвѣ!

Такъ говоритъ у Вронченки безумная Офелія, и эти слова глубоко выражаютъ энергическую дикость ея сумасшествия. У Полевого это выпущено.

полоній. Какъ это длинно.
гамлетъ. Какъ твоя борода: не худо и то, и другое отправить къ брадобрею (къ цирюльнику, говоря среднимъ или низкимъ слогомъ). Продолжай, другъ мой! Онъ засыпаетъ, если не слышитъ шутокъ или непристойностей

Послѣднее выраженіе Гамлета характеризуетъ Полонія; въ переводѣ Полевого выпущено.

Супругъ столь нѣжный! Онъ небеснымъ
вѣтрамъ
Претилъ дуть сильно на лицо супруги!
Земля и небо! должно ли припомнить?
И обладанье, мнилось, умножало
Въ ней обладанья жажду!

Такъ говоритъ Гамлетъ о любви своего покойнаго отца къ своей женѣ, а его матери; въ переводѣ Полевого это прекрасное мѣсто ослаблено.

О если бъ
Я властенъ былъ открыть тебѣ всѣ тайны
Моей темницы! Лучшее бы слово
Сей повѣсти тебѣ взорвало сердце,
Оледенило кровь, и оба глаза,
Какъ звѣзды, исторгнуло изъ мѣстъ ихъ,
И, распрямивъ твои густыя кудри,
Поставило бъ отдѣльно каждый волосъ,
Какъ гнѣвнаго щетину дикобраза!

Это говоритъ Гамлету тѣнь отца въ переводѣ Вронченки, и какомъ переводѣ! уже не только поэтическомъ, но и художественномъ. Полевой перевелъ это мѣсто совсѣмъ не такъ. Вообще тамъ, гдѣ драматизмъ переходитъ въ лиризмъ и требуетъ художественныхъ формъ, съ Вронченкомъ невозможно бороться.

Полевой сдѣлалъ много выпусковъ: онъ исключилъ непристойности, каламбуры, непонятныя намеки, укоротилъ по возможности роли тѣхъ актеровъ, отъ которыхъ нельзя было ожидать хорошаго выполненія; словомъ, онъ въ переводѣ сообразовался и съ публикой, и съ артистами, и со сценой. Это хорошо, но мы не понимаемъ причины выпуска нѣсколькихъ прекрасныхъ мѣстъ. Превосходнѣйшая сцена пятаго акта на могилѣ Офеліи не только ослаблена—искажена, а послѣдній многозначительный монологъ Гамлета совсѣмъ выпущенъ; видно, что почтенный переводчикъ спѣшилъ окончаніемъ.

Что касается до пѣсенъ Офеліи и вообще всѣхъ лирическихъ мѣстъ, то, повторяемъ, Вронченко передалъ ихъ не только поэтически, но и художественно.

Заключаемъ: переводъ «Гамлета» есть одна изъ самыхъ блестящихъ заслугъ Полевого русской литературѣ. Дѣло сдѣлано — дорога арены открыта, борцы не замедлятъ. Что нужно, что онъ въ нихъ найдетъ можетъ быть опасныхъ соперниковъ, кипящихъ свѣжей силой юности, не гостей, но уже хозяевъ на свѣтломъ пиру современности! Мы увѣрены, что онъ первый и отъ всего сердца пожелаетъ имъ побѣды!

ИЗЪ НЕОКОНЧЕННОЙ СТАТЬИ О ФОНВИЗИНѢ И ЗАГОСКИНѢ.

(Вступительный отрывокъ).

Полное собраніе сочиненій Д. И. Фонвизина. Изданіе второе. Москва. 1838.
Юрій Милославскій, или русскіе въ 1612 году. Изданіе пятое. 1838.

Многимъ, не безъ основанія, покажется страннымъ соединеніе въ одной критической статьѣ произведеній двухъ писателей различ-

ныхъ эпохъ, съ различнымъ направленіемъ талантовъ и литературной дѣятельности. Мы имѣемъ на это причины, изложеніе которыхъ

и должно составить содержаніе этой первой статьи. Двѣ вторыя будутъ содержать разборъ сочиненій *).

Начинаемъ ее повтореніемъ много уже разъ повторенной нами мысли, что всякій успѣхъ всегда необходимо основывается на заслугѣ и достоинствѣ, хотя неуспѣхъ не только не всегда есть доказательство отсутствія достоинства и силы, но еще иногда и служить явнымъ доказательствомъ того и другого. Въ свое время и «Иванъ Выжиганъ» имѣлъ необыкновенный успѣхъ, и строгіе критики, вмѣсто того чтобы хладнокровно изслѣдовать причину такого явленія, поспѣшили сдѣлать опрометчивое заключеніе, что всякое литературное произведеніе, раскупленное въ короткое время и въ большомъ числѣ экземпляровъ, непремѣнно дурно, потому что понравилось толпѣ. Толпа!—но вѣдь толпа раскупала и Байрона, и Вальтеръ Скотта, и Шиллера, и Гёте; толпа же въ Англіи ежегодно празднуетъ день рожденія своего великаго Шекспира. Въ сужденіяхъ надо избѣгать крайностей... Всякая крайность истинна, но только какъ одна сторона, отвлеченная отъ предмета; полная истина въ той мысли, которая объемлетъ всѣ стороны предмета и, самообладая собою, не даетъ себѣ увлечься ни одной исключительно, но видитъ ихъ всѣ въ ихъ конкретномъ единствѣ. И потому, видя передъ собой успѣхъ Байрона, Вальтеръ Скотта, Шиллера и Гёте, не забудемъ Мильтона, при жизни своей отвергнутого толпой, а слишкомъ чрезъ столѣтіе превознесеннаго ею; вспомнимъ мническаго старца Омира, безпріютнаго странника при жизни и кумира тысячелѣтій. Теперь намъ слѣдовало бы перечестъ всѣ эти славы и знаменитости, при жизни ихъ превознесенныя, и по смерти забытыя, но реестръ... былъ бы длиненъ до утомительности. Вмѣсто этого безконечнаго исчисленія мы лучше скажемъ, что не только не должно отзываться съ презрѣніемъ объ этихъ недолговѣчныхъ и даже эфемерныхъ славахъ и знаменитостяхъ, но еще должно съ любопытствомъ и вниманіемъ изучать ихъ. Если вы въ какой-нибудь деревнѣ найдете бородатого Одиссея, который вертитъ обшчимъ мнѣніемъ и властвуетъ надъ всѣми не начальнической властью, а только своимъ непосредственнымъ вліяніемъ, авторитетомъ своего имени—это явный знакъ, что этотъ бородатый Улиссъ есть выраженіе, представитель этой маленькой толпы, которую вы можете узнать и опредѣлить по немъ, въ силу пословицы: «каковъ поэтъ, таковъ и приходъ». Эта истина тѣмъ разительнѣе въ выс-

шихъ сферахъ и въ обширнѣйшихъ кругахъ жизни, что въ нихъ пріобрѣтеніе авторитета несравненно труднѣе. Что бы вы ни говорили, а человѣкъ, умственные труды котораго читаются цѣлымъ обществомъ, цѣлымъ народомъ, есть явленіе важное, вполне достойное изученія. Какъ бы ни кратковременна была его сила, но если она была—значить, что онъ удовлетворилъ современной, хотя бы то было и мгновенной, потребности своего времени, или по крайней мѣрѣ хоть одной сторонѣ этой потребности. Слѣдовательно, по немъ вы можете опредѣлить моментальное состояніе общества, или хотя одну его сторону. Теперь никто не станетъ восхищаться не только трагедіями Сумарокова, но даже и Озерова, а между тѣмъ оба эти писателя навсегда останутся въ исторіи русской литературы. Сумароковъ своими трагедіями далъ возможность для учрежденія въ Россіи театра на прочномъ основаніи, т.-е. на охотѣ публики къ театру. Скажутъ: «что за заслуга быть первымъ только по счету? это сдѣлалъ бы всякій». Очень хорошо, но кромѣ Сумарокова этого никто не сдѣлалъ, хотя были трагики и кромѣ него. Херасковъ въ свое время пользовался огромнымъ авторитетомъ и написалъ множество трагедій и слезныхъ драмъ, но имъ, равно какъ и трагедіямъ Ломоносова, всегда предпочитались трагедіи Сумарокова. И тотъ же Херасковъ торжествовалъ надъ всѣми своими соперниками, какъ эпикъ. Водевиль Аблесимова «Мельникъ» и комедіи Фонвизина убили, въ свою очередь, всѣ комическія знаменитости, включая сюда и Сумарокова. Вспомнимъ также высокое уваженіе современниковъ къ «Ябедѣ» Капниста, теперь совершенно забытой комедіи. Наконецъ явился Озеровъ,—и слава Сумарокова, какъ трагика, была уничтожена, потому что поддерживалась только отсталыми. Значить, общество живо симпатизировало всѣмъ этимъ людямъ, а если такъ, значить—эти люди угадали потребности своего времени и удовлетворили имъ, чего они не могли бы сдѣлать, если бы сами они не были выраженіемъ духа своего времени, представителями своихъ современниковъ. А это значить—занимать въ обществѣ высокое мѣсто. Что успѣхъ этихъ людей нисколько не ручается за ихъ художническое призваніе—объ этомъ нечего и говорить: ранняя смерть отрицаетъ поэтическій талантъ; но что это не были люди ничтожные, бездарные, принимая слово «дарованіе» не въ одномъ художническомъ значеніи—это также ясно. И вотъ точка зрѣнія, съ которой всѣ эти люди имѣютъ важное значеніе, достойное всякаго вниманія. И въ ихъ время было много плодovitыхъ бездарностей, но эти бездарности никогда не пользовались ни славой, ни извѣстностью. Не нужно говорить, что и въ эфемер-

*) Эти двѣ вторыя если и были написаны, то не были напечатаны.

ной славѣ есть свои градаціи—это разумѣется само собою; главное дѣло въ томъ, что нѣтъ явленія безъ причины, нѣтъ успѣха не по праву, и что всякое явленіе и всякій успѣхъ, выходящій изъ предѣловъ повседневной обыкновенности, заслуживаютъ вниманія. Было въ Россіи время—мы помнимъ его, хотя, кажется, и отдѣлены отъ него какъ будто цѣлымъ вѣкомъ,—было время, когда всѣмъ наскучило читать въ романахъ только иноземныя похождения и захотѣлось посмотреть на свои родныя! И вотъ является романъ, герои котораго называются русскими фамиліями, по имени и отчеству, мѣсто дѣйствія въ Россіи, обычаи, условія общественнаго быта какъ будто русскіе. Конечно все это было русскимъ только по именамъ лицъ и мѣстъ и по увѣреніямъ автора; но на первыхъ порахъ показалось для всѣхъ русскимъ на самомъ дѣлѣ и было принято за русское. Тутъ еще была и другая причина: романъ былъ правоописательный и сатирический, и главная нападка въ немъ была устремлена на лихоимство. Этому были обязаны своимъ успѣхомъ многія сочиненія Сумарокова, Нахимова и «Ябеда» Капниста. Сверхъ того романъ хотя былъ произведеніемъ иноплеменика, но отличался правильнымъ, чистымъ и плавнымъ русскимъ языкомъ,—достоинство, которымъ могли хвалиться немногіе и изъ русскихъ писателей, даже пользовавшихся большою извѣстностью. Вотъ вамъ и причина успѣха романа. Если онъ и теперь имѣетъ еще свою публику, и то не даромъ, а за дѣло. Какъ неправы люди, которые нѣкогда истощали свое остроуміе надъ романами А. А. Орлова: у него была своя публика, которая находила въ его произведеніяхъ то, чего искала и требовала для себя, и въ извѣстной литературной сферѣ онъ одинъ между множествомъ пользовался истинной славой, заслуженнымъ авторитетомъ.

Всякій народъ есть нѣчто цѣлое, особенное, частное и индивидуальное; у всякаго народа своя жизнь, свой духъ, свой характеръ, свой взглядъ на вещи, своя манера понимать и дѣйствовать. Въ нашей литературѣ теперь борются два начала—французское и нѣмецкое. Борьба эта началась уже давно, и въ ней-то выразилось рѣзкое различіе направленія нашей литературы. Разумѣется, что намъ такъ же не къ лицу идти быть нѣмцами, какъ и французами, потому что у насъ есть своя національная жизнь—глубокая, могучая, оригинальная, но назначеніе Россіи есть—принять въ себя всѣ элементы не только европейской, но міровой жизни, на что достаточно указываетъ ея историческое развитіе, географическое положеніе и самая многосложность племени, вошедшихъ въ ея составъ и теперь перекаляющихся въ горнилѣ великорусской жизни, которой Москва есть средоточіе и сердце,

и приобщающихся къ ея сущности. Разумѣется, принятіе элементовъ всемірной жизни не должно и не можетъ быть механическимъ или эклектическимъ, какъ философія Кузена, сплитая изъ разныхъ лоскутовъ, а живое, органическое, конкретное:—эти элементы, принимаясь русскимъ духомъ, не остаются въ немъ чѣмъ-то постороннимъ и чуждымъ, но перерабатываются въ немъ, преобщаются въ его сущность и получаютъ новый, самобытный характеръ. Такъ въ живомъ организмѣ разнообразная пища процессомъ пищеваренія обращается въ единую кровь, которая животворитъ единый организмъ. Чѣмъ многосложнѣе элементы, тѣмъ богачѣ жизнь. Неуловимо безконечны стороны бытія, и чѣмъ болѣе сторонъ выражаетъ собою жизнь народа—тѣмъ могучѣе, глубже и выше народъ. Мы, русскіе,—наслѣдники цѣлаго міра, не только европейской жизни, и наслѣдники по праву. Мы не должны и не можемъ быть ни англичанами, ни французами, ни нѣмцами, потому что мы должны быть русскими; но мы возьмемъ, какъ свое, все, что составляетъ исключительную сторону жизни каждаго европейскаго народа, и возьмемъ ее—не какъ исключительную сторону, а какъ элементъ для пополненія нашей жизни, исключительная сторона которой должна быть многосторонностью, не отвлеченная, а живая, конкретная, имѣющая свою собственную народную фizioномію и народный характеръ. Мы возьмемъ у англичанъ ихъ промышленность, ихъ универсальную практическую дѣятельность, но не сдѣлаемся только промышленниками и дѣловыми людьми; мы возьмемъ у нѣмцевъ науку, но не сдѣлаемся только учеными; мы уже давно беремъ у французовъ моды, формы свѣтской жизни, шампанское, усовершенствованія по части высокаго и благороднаго повареннаго искусства; давно уже учимся у нихъ любезности, ловкости свѣтскаго обращенія; но пора уже перестать намъ брать у нихъ то, чего у нихъ нѣтъ: знаніе, науку. Ничего нѣтъ вреднѣе и нелѣпѣе, какъ не знать, гдѣ чѣмъ можно пользоваться.

Вліяніе нѣмцевъ благотѣльно на насъ во многихъ отношеніяхъ—и со стороны науки и искусства, и со стороны духовно-нравственной. Не имѣя ничего общаго съ нѣмцами въ частномъ выраженіи своего духа, мы много имѣемъ съ ними общаго въ основѣ, сущности, субстанціи нашего духа. Съ французами мы находимся въ обратномъ отношеніи: хорошо и охотно сходясь съ ними въ формахъ общественной (свѣтской) жизни, мы враждебно противоположны съ ними по сущности (субстанціи) нашего національнаго духа.

Мы начали съ того, что у каждаго народа, вслѣдствіе его національной индивидуальности, свой взглядъ на вещи, своя манера понимать и дѣйствовать. Это всего разительнѣе видно

въ абсолютныхъ сферахъ жизни, къ которымъ принадлежитъ искусство. Понятія объ искусствѣ, равно какъ и самая идея его — взяты нами у французовъ, и только съ появленіемъ Жуковского литература и искусство наше начали освобождаться отъ вліянія французскаго, извѣстнаго подъ именемъ классицизма (мнимаго). Реакція французскому направленію была произведена нѣмецкимъ направленіемъ. Во второмъ десятилѣтіи текущаго вѣка эта реакція совершила полный свой кругъ; классицизмъ французскій былъ убитъ совершенно. Но съ третьяго десятилѣтія, теперь оканчивающагося, французы снова вторглись въ нашу литературу, но уже во имя романтизма, который состоитъ въ изображеніи дикихъ страстей и вообще животности всякаго рода, до какой только можетъ ниспасть духъ человѣческій, оторванный отъ религіозныхъ убѣжденій и преданный на свой собственный произволъ. Владычество было недолговременно, но результаты этого владычества остались: теперь уже мало уважають произведенія юной французской школы, но на искусство снова смотрятъ во французскія очки. Между тѣмъ, съ другой стороны, нѣмецкій элементъ слишкомъ глубоко вошелъ въ наши литературныя вѣрованія и борется съ французскимъ. Бросимъ взглядъ на тотъ и другой.

Для насъ въ особенности существуютъ двѣ критики — нѣмецкая и французская, столько же различныя между собой и враждебныя другъ другу, какъ и націи, которымъ принадлежатъ. Разница между ними ясна и очевидна съ перваго, даже самаго поверхностнаго взгляда, и происходитъ отъ различія духа того и другого народа. Различіе это заключается въ томъ, что духовному созерцанію нѣмцевъ открыта внутренняя, таинственная сторона предметовъ знанія, доступенъ тотъ невидимый, сокровенный духъ, который ихъ оживляетъ и даетъ имъ значеніе и смыслъ. Для нѣмца всякое явленіе жизни есть таинственный іероглифъ, священный символъ или наконецъ органическое, живое созданіе, и для нѣмца понять явленіе бытія значитъ — проникнуть въ источникъ его жизни, прослѣдить біеніе его пульса, трепетаніе внутренней, сокровенной жизни, найти его соотношеніе къ общему источнику жизни и въ частномъ увидѣть проявленіе общаго. Французъ, напротивъ, смотритъ только на внѣшнюю сторону предмета, которая одна и доступна ему. Форма, взятая сама по себѣ, а не какъ выраженіе идеи; явленіе, взятое само по себѣ, безъ отношенія къ общему, частность не въ ряду безчисленнаго множества частныхъ, выражающихъ единое общее, а въ кучѣ частныхъ, безъ порядка набросанныхъ, — вотъ взглядъ француза на явленія міра. И потому, пока еще дѣло идетъ о предметахъ, позна-

ваемыхъ разсудкомъ, подлежащихъ опыту, наглядкѣ, соображенію, — французы имѣютъ свое значеніе въ наукѣ и дѣлаются отличными математиками, медиками, обогащаютъ науку наблюденіями, опытами, фактами. Но какъ скоро дѣло дойдетъ до сокровеннѣйшаго и глубочайшаго значенія предметовъ, до ихъ соотношенія другъ къ другу, какъ цѣпи, лѣстницы явленій, вытекающихъ изъ одного общаго источника жизни и представляющихъ собой единство въ безконечномъ разнообразіи, — французы или впадаютъ въ произвольность понятій и риторику, или начинаютъ возставать противъ общаго и единаго, какъ противъ мечты, а таинственное стремленіе къ уразумѣнію жизни изъ одного и общаго начала, стремленіе, заключенное въ глубинѣ нашего духа и выражающееся, какъ трепетное предощущеніе таинства жизни, называютъ пустой мечтательностью. Для нѣмца безконечный міръ Божій есть проявленіе въ живыхъ образахъ и формахъ духа Божія, все произведшаго и во всемъ являющагося, книга съ семью печатями; а знаніе — храмъ, куда входитъ онъ съ омовенными ногами, съ очищеннымъ сердцемъ, съ трепетомъ благоговѣнія и любви къ источнику всего. И потому-то и въ наукѣ, и въ искусствѣ, и въ жизни у нѣмцевъ все запечатлѣно характеромъ религіозности, и для нихъ жизнь есть святое и великое таинство, которое понимается откровеніемъ и разумѣніе котораго дается, какъ благодать Божія. Для француза все въ мірѣ ясно и опредѣленно, какъ дважды два — четыре; явленія жизни для него не имѣютъ общаго источника, одного великаго начала — они выросли въ его головѣ, какъ грибы послѣ дождя, и наука у него не храмъ, а магазинъ, гдѣ разложены товары не по внутреннему ихъ соотношенію, а по внѣшнимъ, случайнымъ признакамъ: стоитъ прочесть ярлычки, наклеенные на нихъ, — и ихъ употребленіе, значеніе и цѣна извѣстны ему. Это народъ внѣшности: онъ живетъ для внѣшности, для показу, и для него не столько важно быть великимъ, сколько казаться великимъ, — быть счастливымъ, сколько казаться такимъ. Посмотрите, какъ слабы, ничтожны во Франціи узы семейственности, родства; въ ихъ домахъ внутренніе покои пристраиваются къ салону и домашняя жизнь есть только приготовленіе къ выходу въ салонъ, какъ закусочныя хлопоты и суетливость есть приготовленіе къ выходу на сцену. Французъ живетъ не для себя — для другихъ, для него не важно, что онъ такое, а важно, что о немъ говорятъ; онъ весь во внѣшности, и для нея жертвуетъ всѣмъ — и человѣческимъ достоинствомъ, и личнымъ своимъ счастьемъ. Самая высшая точка духовнаго развитія этой націи, цвѣтъ ея жизни — есть понятіе о чести.

Честь въ самомъ дѣлѣ есть понятіе высокое, и въ самомъ дѣлѣ для француза честь не пустой звукъ, но глубокое убѣжденіе, за которое онъ долженъ жертвовать всѣмъ. Но тутъ есть два обстоятельства, которые значительно сбавляютъ цѣну съ этого чувства. Во-первыхъ — понятіе о чести не есть религіозное, слѣдовательно, оно условно; во-вторыхъ, — все ли оканчивается для человѣка понятіемъ о чести, и неужели понятіе о чести есть вѣнецъ знанія, разгадка всей жизни?..

Есть книга, въ которой все сказано, все рѣшено, послѣ которой ни въ чемъ нѣтъ сомнѣнія, книга безсмертная, святая, книга вѣчной истины, вѣчной жизни — Евангеліе. Весь прогрессъ человѣчества, всѣ успѣхи въ наукахъ, въ философіи заключаются только въ большемъ проникновеніи въ таинственную глубину этой божественной книги, въ сознаніи ея живыхъ, вѣчно непреходящихъ глаголовъ. Въ этой книгѣ ничего не сказано о чести. Честь есть краеугольный камень человѣческой мудрости. Основаніе Евангелія — откровеніе истины чрезъ посредство любви и благодати.

Но евангеліскія истины не глубоко вошли въ жизнь французовъ: они взвѣсили ихъ своимъ разсудкомъ и рѣшили, что должна быть мудрость выше евангеліской, истина — выше любви. Любовь постигается только любовью; чтобы познать истину, надо носить ее въ душѣ, какъ предощущеніе, какъ чувство: вѣра есть свидѣтельство духа и основа знанія; безконечное доступно только чувству безконечнаго, которое лежитъ въ душѣ человѣка, какъ предчувствіе. У французовъ — у нихъ во всемъ конечный, слѣпой разсудокъ, который хорошъ на своемъ мѣстѣ, т.-е. когда дѣло идетъ о разумнѣи обыкновенныхъ житейскихъ вещей, но который становится буйствомъ предъ Господомъ, когда заходитъ въ высшія сферы знанія. Народъ безъ религіозныхъ убѣжденій, безъ вѣры въ таинство жизни — все святое оскверняется отъ его прикосновенія, жизнь мретъ отъ его взгляда. Такъ оскверняется для вкуса прекрасный плодъ, по которому поползла гадина.

Изъ этого-то различія между національнымъ духомъ нѣмцевъ и французовъ происходитъ и различіе искусства и взгляда на искусство того и другого народа. Французскій классицизмъ вытекъ прямо изъ ихъ конечнаго разсудка, какъ признака нищеты духа. Теперешнее романтическое бѣснованіе такъ называемой юной французской литературы имѣетъ своимъ началомъ тотъ же источникъ. Но ихъ критика — что это такое? То же, что и всегда была, — біографія писателя, разсматриваемая съ внѣшней стороны. Для французовъ произведеніе писателя не есть выраженіе его духа, плодъ его внутренней жизни; нѣтъ, это есть

произведеніе внѣшнихъ обстоятельствъ его жизни. Французы во всемъ вѣрны своимъ началамъ.

Не такова нѣмецкая критика. Будучи даже эмпирической, она обнаруживаетъ стремленіе законами духа объяснить и явленіе духа.

Многіе читатели жаловались на помѣщеніе нами статьи Рѣтшера «О философской критикѣ художественнаго произведенія», находя ее темной, недоступной для пониманія. Пользуемся здѣсь случаемъ опровергнуть несправедливость такого заключенія: это относится къ предмету нашего разсужденія гораздо ближе, нежели какъ кажется съ перваго взгляда. Прежде всего мы скажемъ, что не всѣ статьи помѣщаются въ журналахъ только для удовольствія читателей; необходимы иногда и статьи ученаго содержанія, а такіа статьи требуютъ труда и размышленія.

Рѣтшеръ дѣлитъ критику на философскую и психологическую. Постараемся, сколько можно проще, изложить его начала. Всякое художественное произведеніе есть конкретная идея, конкретно выраженная въ изящной формѣ, и представляетъ особенный, въ самомъ себѣ замкнутый міръ. Когда мы вполнѣ насладились изящнымъ произведеніемъ, вполнѣ насытили и удовлетворили свое непосредственное чувство, у насъ рождается желаніе еще глубже проникнуть въ его сущность, объяснить себѣ причину нашего восторга. Тогда непосредственное чувство, производимое впечатлѣніемъ, уступаетъ свое мѣсто посредству мысли, — и мы беремъ въ посредство между собою и художественнымъ произведеніемъ мысль, чтобы вполнѣ съ нимъ слиться, чтобы наше понятіе вполнѣ съ нимъ соувѣтствовало, другими словами, чтобы понятіе было тождественно съ понимаемымъ. Но прежде, нежели объяснимъ, какъ дѣлается этотъ процессъ, мы должны сказать о недостаточности одного непосредственного пониманія произведеній искусствъ и о необходимости прибѣгать къ посредству мысли.

Всякое явленіе есть мысль въ формѣ. Формы неуловимы и безчисленны по своей безконечной разнообразности; одна и та же идея является въ безконечномъ множествѣ разнообразіи формъ; всѣ же идеи суть не иное что, какъ одна движущаяся, развивающаяся идея бытія, которая проходитъ чрезъ всѣ ступени, всѣ моменты своего развитія. Это движеніе въ развитіи представляетъ собою непрерывную цѣпь, каждое звено которой есть отдѣльная мысль, прямо и непосредственно вытекающая изъ предшествовавшей идеи или предшествовавшего звена, и по закону необходимости выводная изъ себя другую послѣдующую идею, которая есть ея же продолженіе или другое послѣдующее звено. Въ этомъ движеніи, въ этомъ развитіи единой

вѣчной идеи состоитъ жизнь міра, потому что безъ движенія нѣтъ жизни, а движеніе должно имѣть цѣлью развитіе, потому что движеніе безъ разумной цѣли есть пустое, хаотическое броженіе, а не жизнь. И такъ, если всѣ идеи суть не иное что, какъ логически, по законамъ разумной необходимости, единая, сама изъ себя развивающаяся идея, то слѣдовательно задача философіи есть открытіе, сознаніе этого движенія идеи, и если это сознаніе возможно, то возможно и сознаніе всего сущаго, какъ проявленіе одной движущейся идеи, которая есть сущность, духъ и жизнь своихъ формъ. Если это сознаніе невозможно, то невозможна всякая попытка живого знанія, потому что разнообразіе явленій, какъ формъ, неуловима, и кромѣ того безъ знанія идеи формы самая форма мертва для знанія и недоступна ему. Здѣсь ясно видно заблужденіе эмпириковъ, которые опытнымъ наблюденіями частныхъ явленій хотятъ возвыситься до сознанія общаго, абсолютнаго, а между тѣмъ по необходимости запутываются въ ихъ безконечномъ разнообразіи, не имѣя въ рукахъ аріадниной нити. Явленіе (фактъ), оставаясь непонятымъ въ своей сущности, которая есть его идея, ничего не откроетъ, ничего не рѣшитъ, а идея частнаго явленія, отдѣльно взятая, не можетъ быть понятна. Слѣдовательно эмпирики хлопотутъ по пустому. Эмпиризмъ принесъ великую пользу философіи: онъ собралъ для нея матеріалы, не какъ данныя для вывода, а какъ данныя для отрѣшенія отъ непосредственности впечатлѣній, какъ данныя для опроверженія конечныхъ системъ, выдаваемыхъ за абсолютныя, наконецъ, какъ данныя для побужденія къ дальнѣйшему углубленію въ сущность вещей. Слѣдовательно эмпиризмъ служилъ все умозрѣнію же, а самъ для себя не только ничего не сдѣлалъ, но всегда былъ собственнымъ своимъ разрушителемъ, подавая на самого себя оружіе противорѣчащимъ разнообразіемъ фактовъ.

Или міръ есть нѣчто отрывочное, само себѣ противорѣчащее, или единое цѣлое, но только въ безконечномъ разнообразіи являющееся. Въ первомъ случаѣ онъ недоступенъ знанію и не есть проявленіе вѣчнаго разума, который себѣ не противорѣчитъ; во второмъ случаѣ онъ долженъ быть разумнымъ явленіемъ, которое въ сознаніи отождествляется съ разумомъ. Здѣсь является новый родъ враговъ знанія—люди, которые, имѣя чувство безконечнаго и душу живу, не могутъ примирить знанія съ чувствомъ, видя въ разумѣ и чувствѣ два враждебныя другъ другу начала. Это заблужденіе свойственно иногда самымъ глубокимъ и сильнымъ умамъ.

Чувство есть непосредственное созерцаніе истины, чувственное пониманіе истины. Безъ

чувства нѣтъ разума; у кого нѣтъ чувства, у того только конечный разсудокъ, а не разумъ, и для того невозможно высшее пониманіе жизни. Но человѣкъ не животное, и потому не можетъ и не долженъ оставаться при одномъ умственномъ, инстинктивномъ пониманіи: онъ долженъ понимать сознательно, т.-е. свои непосредственныя ощущенія переводить на понятіе и выговаривать ихъ. Тогда не будетъ противорѣчія между умомъ и чувствомъ, но чувство будетъ безсознательнымъ разумомъ, а разумъ—сознательнымъ чувствомъ. Такъ точно любовь есть пониманіе, а пониманіе есть любовь, потому что любовь есть присутствіе въ сокровенной сущности любимаго предмета, а присутствіе одного субъекта въ другомъ есть не что иное, какъ пониманіе этого другого субъекта. Понимать предметъ только чувствомъ—еще не значить быть въ немъ, потому что одно непосредственное чувство часто бываетъ обманчиво и вслѣдствіе нашей субъективности придаетъ предмету наше понятіе, а не видитъ въ немъ его понятія, т.-е. того значенія, которое онъ имѣетъ въ самомъ дѣлѣ. Основаніе христіанской религіи есть любовь къ ближнему до самопожертвованія. Съ другой стороны, пониманіе однимъ разумомъ, безъ участія чувства, есть пониманіе мертвое, безжизненное и ложное, и нисколько не разумное, а только разсудочное. И если въ религіи довѣріе къ одному непосредственному чувству доводитъ до фанатизма, то довѣріе одному только разсудку доводитъ до невѣрія, которое есть отреченіе отъ своего человѣческаго достоинства, есть нравственная смерть. И такъ, чувство есть безсознательный разумъ, а разумъ есть сознательное чувство; и то, и другое отнюдь не враждебныя другъ другу элементы, но должны быть единымъ, цѣлымъ, органическимъ, конкретнымъ. Человѣкъ не есть только духъ и не есть только тѣло, но его тѣло есть явленіе духа. Но между тѣмъ борьба чувства и мысли въ человѣкѣ тѣмъ не менѣе не подвержена сомнѣнію: только это отнюдь не опровергаетъ сказаннаго нами. Борьба эта необходима, она есть процессъ развитія, безъ котораго нѣтъ жизни. Въ комъ кончилась эта борьба, въ глазахъ кого предметы уже не двоятся, наука не противорѣчитъ вѣрѣ,—тотъ достигъ живого, конкретнаго знанія, и въ томъ чувствѣ есть сознательный разумъ, и разумъ есть сознательное чувство. Только это не всѣмъ дается, и не всѣмъ дается поровну, но оному талантъ, оному два; и еще это не дается даромъ, а достигается борьбой, усиленіемъ: просите и дастся вамъ, толщите—и отверзется.

Процессъ этого отождествленія совершается

черезъ мысль, которая является посредницей между нами и предметомъ нашего изслѣдованія, чтобы, отрѣшивши насъ отъ непосредственнаго чувства и тѣмъ избавивши насъ отъ субъективнаго заключенія, снова возвратить насъ къ чувству, но уже проведенному черезъ мысль. Это необходимо во всѣхъ сферахъ знанія,—въ пониманіи произведеній искусства также. Эта-то мысль и составляетъ содержаніе первой статьи Рётшера. Онъ говоритъ, что нельзя понять художественнаго произведенія, не понявши его въ его цѣломъ (тоталитетѣ) и не увидѣвши въ немъ частнаго, конечнаго проявленія общей, безконечной идеи. Идея есть содержаніе художественнаго произведенія и есть общее; форма есть частное проявленіе этой идеи. Не постигнувши идеи, нельзя понять и формы и наслаждаться ею, а постичь идею можно только чрезъ отвлеченіе идеи отъ формы, т.-е. чрезъ уничтоженіе живого, органическаго, конкретнаго созданія, черезъ раззятіе его, какъ трупa. Форма, поглощая въ себѣ идею, дѣлаетъ изъ общаго частное (индивидуальное) явленіе и лишаетъ возможности оцѣнить самое себя, потому что живетъ одно общее, а частное живетъ постольку, поскольку оно есть выраженіе общаго. Чтобы понять это общее, надо оторвать идею отъ формы и найти абсолютное значеніе этой идеи въ ряду всѣхъ идей, найти мѣсто этой идеи въ діалектическомъ движеніи общей идеи, какъ звено въ цѣпи. Надо содержаніемъ оправдать форму. Здѣсь первая задача: конкретна ли идея, взятая за основаніе художественнаго произведенія, т.-е. истинна ли она, вполне ли соотвѣтствуетъ себѣ и вполне ли выражаетъ себя, потому что только конкретная идея можетъ воплотиться въ конкретный поэтический образъ. Поэзія есть мышленіе въ образахъ, и потому, какъ скоро идея, выраженная образомъ, не конкретна, ложна, не полна, то и образъ по необходимости не художественъ. Итакъ, оторвать идею отъ формы художественнаго созданія, развить ее изъ самой себя и оправдать ее самой собой, какъ ступень, какъ звено, какъ моментъ діалектическаго движенія общей единой идеи,—вотъ первая задача философской критики. Но этимъ еще не все оканчивается: кромѣ мышленія, нужна еще для критика сила фантазіи, которой бы онъ могъ провести по образамъ разбираемаго имъ художественнаго созданія оторванную отъ него идею, снова потерять ее въ формѣ и видѣть самому и показать ее другимъ въ ея органическомъ единствѣ съ формой, въ этихъ свѣтлыхъ, игривыхъ перебивахъ жизни, которая сквозитъ въ формѣ, какъ лучъ солнца въ граненомъ хрусталѣ. Со всей поэтической прелестью выраженія

и со всей энергіей могучей мысли Рётшерь выражаетъ свою мысль сравненіемъ, которое подаетъ ему мнѣ о Палладѣ, которая изъ тѣла Діонисія Загрея, растерзаннаго титанами, спасла еще его трепетавшее сердце и передала его Зевсу, чтобы отецъ безсмертныхъ и смертныхъ возжегъ изъ него новую жизнь. Рётшерь критикъ-мыслитель, который отторгаетъ идею отъ художественнаго произведенія и тѣмъ разрушаетъ его, сравниваетъ съ Палладой, которая вырываетъ изъ груди Діонисія Загрея его бьющееся сердце, а критика-творца, какимъ онъ становится во второмъ актѣ критическаго процесса, сравниваетъ съ Зевсомъ, который изъ растерзаннаго сердца Діонисія возжигаетъ новую жизнь. «Не довольно еще, говорить онъ, сохраненіи общей жизни конкретной идеи,—это дѣло мудрости; но еще кромѣ мудрости необходима творческая дѣятельность, которая бы возстановила благолѣпное устройство божественнаго тѣла и чрезъ то возвратила бы сохраненные въ огнѣ мышленія образы въ новомъ, просвѣтленномъ видѣ».

Повторимъ въ короткихъ словахъ все сказанное нами.

Художественное произведеніе есть органическое выраженіе конкретной мысли въ конкретной формѣ. Конкретная идея есть полная, всѣ свои стороны обнимающая, вполне себѣ равная и вполне себя выражающая, истинная и абсолютная идея,—и только конкретная идея можетъ воплотиться въ конкретную, художественную форму. Мысль въ художественномъ произведеніи должна быть конкретно слита съ формой, т.-е. составлять съ ней одно, теряться, исчезать въ ней, проникать ее всю. Поэтому ошибаются тѣ, которые думаютъ, что ничего нѣтъ легче, какъ сказать, какая идея лежитъ въ основаніи художественнаго созданія. Это дѣло трудное, доступное только глубокому эстетическому чувству, сроднившемуся съ мыслительностью; но это всего легче въ неконкретныхъ мнимо-художественныхъ произведеніяхъ, гдѣ не форма предшествовала при созданіи идеи и заслоняла собой идею отъ самого творца, но къ извѣстной идеѣ придумана форма. Далѣе, первый процессъ философской критики долженъ состоять въ отвлеченіи найденной въ твореніи идеи отъ ея формы и оправданіи конкретности этой идеи чрезъ развитіе ея изъ самой себя. Когда идея выдержитъ философское испытаніе, тогда форма оправдывается содержаніемъ, потому что какъ невозможно, чтобы неконкретная идея могла воплотиться въ художественную форму, такъ невозможно, чтобы въ основаніи нехудожественнаго произведенія могла лежать конкретная идея.

Второй процессъ философской критики состоитъ въ органическомъ сочлененіи разорванного произведенія, — въ сочлененіи, въ которомъ бы всѣ части его, будучи живо соединены, представляли бы собою единое цѣлое (тоталитетъ), какъ выраженіе единой, цѣлой и конкретной идеи, и каждая изъ нихъ, имѣя собственное значеніе, собственную жизнь и красоту, необходимо служила бы для значенія, жизни и красоты цѣлаго, какъ части человѣческаго тѣла представляютъ собою единое, живое, органическое тѣло, не теряя и частнаго своего значенія, жизни и красоты. Цѣлостность (тоталитетъ) художественнаго произведенія зависитъ отъ идеи, лежащей въ его основаніи и такъ проникающей его, что даже и его части, повидимому чуждыя этой главной основной идеѣ, всѣ служатъ къ ея же выраженію. Такъ на примѣръ, въ «Отелло» Шекспира только главное лицо выражаетъ идею ревности, а всѣ прочія заняты совершенно другими интересами и страстями; но, несмотря на то, основная идея драмы есть идея ревности, и всѣ лица драмы, каждое имѣя свое особое значеніе, служатъ къ выраженію основной идеи. И такъ, второй актъ процесса философской критики состоитъ въ томъ, чтобы показать идею художественнаго созданія въ ея конкретномъ проявленіи, прослѣдить ее въ образахъ и найти цѣлое и единое въ частностяхъ.

Вотъ въ чемъ состоитъ сущность и значеніе философской критики. Это критика абсолютная, и ея задача — найти въ частномъ и конечномъ проявленіи общаго, абсолютнаго. Ея суду могутъ подлежать только произведенія вполне художественныя, т. е. такія, въ которыхъ все необходимо, все конкретно, и всѣ части органически выражаютъ единое цѣлое, т. е. конкретную идею. Разумѣется, что такой критикъ долженъ стоять на ряду съ вѣкомъ, быть обладателемъ современнаго ему знанія и кромѣ того имѣть качества, необходимо условливающія собственно критика. Нужно ли говорить, что намъ еще долго ждать такой критики и такого критика?.. Въ самой Германіи такая критика еще только началась, какъ результатъ послѣдней философіи вѣка. Но тѣмъ не менѣе полезно знать ее и имѣть ея идеалъ...

Психологическая критика ограничена въ своихъ условіяхъ и доступна для усилій, посвящающихъ себя критикѣ. Ея цѣль — уясненіе характеровъ, отдѣльных лицъ художественнаго произведенія. Это поприще блестящее, поле, дающее богатую жатву, — и радушно, съ любовью привѣтствуетъ Рётшерь психологическую критику, отдавая ей полное превосходство передъ критикой непосредственнаго чувства, состоящей въ отрывоч-

номъ восторгѣ мѣстами и частностями и въ отрывочномъ порицаніи мѣстъ и частей художественнаго произведенія; но онъ же говоритъ, что этой критики недостаточно для уразумѣнія цѣлаго художественнаго произведенія. Психологическая критика, говоритъ онъ, можетъ посвятить насъ въ тайны души Гамлета, Офеліи, Порции, но не объяснить намъ, почему именно эти, а не другіе характеры необходимы въ «Гамлетѣ» и «Венеціанскомъ Купцѣ»; она можетъ разблачить процессъ безумія Лира во всей его цѣлости, но не можетъ рѣшить, какъ можетъ быть художнически оправдано изображеніе этого состоянія духа (безумія), и какое мѣсто занимаетъ онъ въ тоталитетѣ. Тоталитетъ невозможно уловить непосвященному въ тайныства отвлеченной абсолютной идеи. Всякое явленіе есть выраженіе идеи, но идея доступна только перешедшему чрезъ область абстракціи (отвлеченія). Абстракція не есть сама себѣ цѣль, но безъ нея невозможно конкретное пониманіе. Знаніе мертвитъ жизнь, отдѣляя идеи отъ прекрасныхъ живыхъ явленій; но оно мертвитъ ее съ тѣмъ, чтобы послѣ увидѣть ее воскресшей въ новомъ, лучшемъ, просвѣтленномъ видѣ. Здѣсь опять напоминаемъ нашимъ читателямъ мнѣ о Палладѣ, которая исторгаетъ изъ груди Діонисія трепещущее его сердце и подаетъ его Зевсу, чтобы отецъ боговъ и человѣковъ возжегъ изъ него новое пламя прекрасной, юной жизни. Испытующій разумъ, философія — Минерва, вырывающая сердце жизни; фантазія — Юпитеръ, возжигающій въ немъ новую жизнь. Выше мы уже говорили, что идея доступна знанію только въ отрѣшенной чистотѣ своей, оторванная отъ явленій; исканіе абсолютной идеи въ явленіяхъ и чрезъ явленія есть эмпиризмъ. Конечно всякое изученіе съ мыслью не есть уже сухое, мертвое, эмпирическое. Напротивъ, оно принадлежитъ уже къ области живого рационализма, и если имъ вооружается человѣкъ съ душой глубокой и сильной, хотя и не философъ, то приноситъ богатые плоды въ живомъ пониманіи вѣчной истины; но не должно однакожь забывать, что все должно имѣть свою цѣну, и что кто хочетъ чистой и холодной воды, тотъ долженъ черпать ее въ самомъ источникѣ. Полное и совершенное пониманіе произведеній искусства возможно только чрезъ философскую критику. Тоталитетъ художественнаго созданія заключается въ общей идеѣ, а общая идея отрывается только вполне овладѣвшему царствомъ абсолютной идеи, которое завоевалъ онъ такимъ трудомъ и борьбой съ мертвымъ скелетомъ абстракціи...

Далѣе, Рётшерь даетъ критикѣ названіе

отрицающей или разрушающей, которая является такой въ отношеніи къ произведеніямъ художественной дѣятельности, состоящей на первой и низшей ступени.

Потомъ онъ указываетъ особенную дѣятельность для критики, въ отношеніи къ произведеніямъ, не имѣющимъ полного художественнаго достоинства, или, говоря его скатымъ, энергическимъ языкомъ, «къ произведеніямъ, которыя находятся въ существенной связи съ идеей и ея абсолютными требованіями, и въ которыхъ содержаніе и форма имѣютъ какое-либо субстанціальное достоинство, но которыя вмѣстѣ съ тѣмъ заключаютъ въ себѣ стороны отрицательныя, т.-е. принадлежащія или къ какому-нибудь опредѣленному времени, или къ ограниченной сферѣ какого-нибудь субъекта». Вмѣсто всякихъ поясненій этой и безъ того очень ясной мысли, мы прибавимъ отъ себя только, что желали бы видѣть такую критику на лучшія произведенія Шиллера, этого страннаго полу-художника и полу-философа. Прочія его произведенія, то - есть - не лучшія, должны скорѣе подлежать суду критики отрицающей и разрушающей, нежели этой, которая, говоря словами Рётшера, «должна открывать положительное въ отрицательномъ, очищать зерно отъ скорлупы».

«Самое блестящее поприще, открывается для той критики, которая отыскиваетъ положительное въ отрицательномъ, когда она, видя въ художественномъ произведеніи моментъ историческаго развитія, раскрываетъ съ этой стороны его общее и субстанціальное значеніе. Критика, понимая отдѣльное произведеніе или какого-нибудь художника, въ ихъ историческомъ значеніи, беретъ въ-первыхъ свой объектъ въ его абсолютномъ смыслѣ, какъ моментъ мірового развитія, и во-вторыхъ въ той же мѣрѣ указываетъ его отрицательныя стороны, которыя и открываются именно въ историческомъ развитіи». Здѣсь опять мы повторимъ, что суду такой критики подлежатъ произведенія Шиллера. Мы постараемся, сколько будетъ въ силахъ, развить эту мысль въ третьей статьѣ, которая будетъ посвящена исключительно разсмотрѣнію «Юрія Милославскаго», который принадлежитъ къ одному роду съ художественными произведеніями Шиллера и относится къ нимъ, какъ развитіе Россіи относится къ міровому развитію цѣлаго человѣчества. «Юрій Милославскій» не лишенъ большого поэтическаго, если не художественнаго, значенія, но въ историческомъ отношеніи этотъ романъ имѣетъ еще большее значеніе.

«Даже и тѣ произведенія, которыя не соотвѣтствуютъ понятію искусства, имѣютъ здѣсь

положительное значеніе, если только въ нихъ открывается необходимый моментъ развитія». Здѣсь Рётшеръ разумѣетъ моментъ въ развитіи самаго искусства и указываетъ на извѣстныя древне-эллинскаго или гіератическаго стили, какъ на переходъ отъ символическаго Востока къ греческому искусству. Равнымъ образомъ онъ указываетъ и на произведенія Галлеровъ, Уцовъ и Крамеровъ, по его мнѣнію, имѣющихъ положительное достоинство, которое состояло въ освобожденіи искусства отъ чисто-моральнаго направленія. Если бы, говорить онъ, эти произведенія явились позднѣе, то не имѣли бы никакого значенія и никакой цѣны; но, явившись въ свое время, они выразили необходимый моментъ въ развитіи искусства. Но, по нашему мнѣнію, которое, какъ намъ кажется, нисколько не противорѣчитъ мысли Рётшера, есть еще и такія произведенія, которыя могутъ быть важны, какъ моменты въ развитіи не искусства вообще, но искусства у какого-нибудь народа, и сверхъ того какъ моменты историческаго развитія и развитія общественности у народа. Съ этой точки зрѣнія «Недоросль», «Бригадиръ» Фонвизина и «Ябеда» Капниста получаютъ важное значеніе, равно какъ и такого рода явленія, каковы Кантемиръ, Сумароковъ, Херасковъ, Богдановичъ и прочіе. Во второй статьѣ мы разсмотримъ съ этой точки зрѣнія комедіи Фонвизина.

Съ этой же точки зрѣнія и французская историческая критика получаетъ свое относительное достоинство. Главное существенное отличіе нѣмецкой критики отъ французской состоитъ въ томъ, что первая, какова бы она ни была, даже будучи эмпирической, если не всегда смотритъ на свой предметъ со стороны его духа и внутренняго, сокровеннаго значенія, то хотя обнаруживаетъ претензію на такой взглядъ. Не такова критика французовъ: для нея не существуютъ законы изящнаго и не о художественности произведенія хлопочетъ она. Она беретъ произведенія, какъ бы заранѣе условившись почитать его истиннымъ произведеніемъ искусства, и начинаетъ отыскивать на немъ клеймо вѣка, не какъ историческаго момента въ абсолютномъ развитіи человѣчества, или даже и одного какого-нибудь народа, а какъ момента гражданскаго и политическаго. Для этого она обращается къ жизни поэта, его личному характеру, его вѣншимъ обстоятельствамъ, воспитанію, женитбѣ, всѣмъ подробностямъ его семейнаго, гражданскаго быта, вліянію на него современности въ политическомъ, ученомъ и литературномъ отношеніи, и изъ всего этого силится вывести причину и необходимость того, почему онъ

писалъ такъ, а не иначе. Разумѣется, это не критика на изящное произведеніе, а комментарий на него, который можетъ имѣть большую или меньшую цѣну, но только какъ комментарий. Кому не интересно знать подробности частной жизни великаго художника, какъ и всякаго великаго человѣка? — Но здѣсь удовлетвореніемъ этого любопытства вполнѣ ограничивается и достиженіе цѣли: подробности жизни поэта нисколько не поясняютъ его твореній. Законы творчества вѣчны, какъ законы разума, и Гомеръ написалъ свою «Иліаду» по тѣмъ же законамъ, по которымъ Шекспиръ писалъ свои драмы, а Гёте — своего «Фауста»; при разборѣ произведеній этихъ исполиновъ искусства, отдѣленныхъ одинъ отъ другого тысячелѣтіями и вѣками, критикъ будетъ поступать одинаковымъ образомъ. Что мы знаемъ о жизни Шекспира? Почти ничего, а между тѣмъ его творенія отъ этого не меньше ясны, не меньше говорятъ сами за себя. На что намъ знать, въ какихъ отношеніяхъ Эсхилъ или Софоклъ были къ своему правительству, къ своимъ гражданамъ, и что при нихъ дѣлалось въ Греціи? Чтобы понимать ихъ трагедіи, намъ нужно знать значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человѣчества; нужно знать, что греки выразили собой одинъ изъ прекраснѣйшихъ моментовъ живого, конкретного сознанія истины въ искусствѣ. До политическихъ событій и мелочей намъ нѣтъ дѣла. Въ приложеніи къ художественнымъ произведеніямъ французская критика не заслуживаетъ и названія критики: это просто пу-

стая болтовня, въ которой все произвольно и въ которой все можно понять *), кромѣ значенія разбираемаго въ ней произведенія. Но когда такой критикой разсматриваются не художественныя, но, несмотря на то, имѣющія свое историческое значеніе произведенія, тогда французская критика имѣетъ свою цѣну, свое достоинство и заслуживаетъ всякаго уваженія. Въ самомъ дѣлѣ, какъ вы будете критиковать сочиненія напримѣръ Вольтера, изъ которыхъ ни одно не художественно, ни одно не перешло въ потомство, но всѣ имѣли огромное вліяніе на своихъ современниковъ? — Разумѣется, съ французской точки зрѣнія. Конечно, если Вольтеръ былъ явленіемъ мировымъ, то и на него можно взглянуть съ философской точки зрѣнія, хотя и совсѣмъ не какъ на художника; но при подробномъ разсматриваніи непременно впадете въ колею исторической критики. И эта критика всегда должна имѣть свое участіе при разсматриваніи такихъ произведеній, которыя, предназначаясь своими творцами для сферы искусства, имѣютъ только историческое значеніе. Разумѣется, что и здѣсь французская критика, какъ что-то положительное и особенное, не можетъ имѣть мѣста, но только, какъ односторонній взглядъ, можетъ входить въ настоящую критику, которая, какой бы ни носила характеръ, обнаруживаетъ постоянное стремленіе изъ общаго объяснить частное и фактами подтверждать дѣйствительность своихъ началъ, а не изъ фактовъ выводить свои начала и доказательства.

Два романа И. И. Лажечникова:

Ледяной домъ. Москва, 1833—1837. Четыре части. Васурманъ. Москва. 1838. Четыре части.

Вотъ уже третій романъ изданъ Лажечниковымъ, — и слава его растетъ все болѣе и болѣе. Общій голосъ утвердилъ за нимъ почетное титуло перваго русскаго романиста, и добросовѣстная критика, чуждая личныхъ отношеній и литературнаго пристрастія, всегда утвердитъ приговоръ публики, если только она — добросовѣстная критика. Разумѣется, это первенство по сущности своей есть относительное, хотя по хронологіи исторіи нашей литературы и безусловное. Мы хотимъ этимъ сказать, что, говоря о Лажечниковѣ, какъ о первомъ русскомъ романистѣ, мы отнюдь не имѣемъ въ виду писателей повѣстей,

но только однихъ романистовъ, и отнюдь не видимъ въ немъ идеала романистовъ, но только лучшаго русскаго романиста. Мы не будемъ сравнивать его съ Вальтеръ Скоттомъ и Куперомъ, потому что можно, и не тигаясь съ этими двумя вѣковыми исполнителями-художниками, быть примѣчательнымъ романистомъ вообще и первымъ, то-есть лучшимъ, во всякой литературѣ, кромѣ англійской. Мы не будемъ также говорить съ лукавой ироніей,

*) И то очень рѣдко: гдѣ произвольность, тамъ все непонятно. Для доказательства ссылаемся на статью Низара о Ламартина, помѣщенную въ «Сынѣ Отечества».

что романы Лажечникова лучше романовъ Евгенія Сю, Виктора Гюго, Бальзака и прочихъ, потому что если бы его романы были не только хуже, но даже не были бы лучше романовъ этихъ корифеевъ безпутной французской литературы, то мы не почли бы ихъ слишкомъ завиднымъ приобретениемъ для русской литературы и не стали бы о нихъ много хлопотать. Еще менѣе намѣрены мы, выписавши изъ романовъ Лажечникова нѣсколько изысканныхъ выражений или вычурныхъ фразъ, которыхъ они въ самомъ дѣлѣ очень не чужды, изречь ему грозный приговоръ, или—что еще хуже—побранивши его за недостатки, похвалить за достоинства, какъ учитель бранить и хвалить своего ученика за ученическую задачу, пополамъ съ грѣхомъ оконченную. Отъ послѣдней продѣлки съ нашей стороны Лажечникова защищаетъ его огромная извѣстность и громкій авторитетъ у публики, а еще болѣе одно повидимому маленькое, но въ самомъ-то дѣлѣ очень важное обстоятельство, а именно: мы сами не пишемъ романовъ, и Лажечниковъ не перебиваетъ у насъ дороги. Вотъ если бы мы вздумали написать или (все равно!) дописать какой-нибудь романъ, что-нибудь въ родѣ Евгенія Сю, примиреннаго съ Августомъ Лафонтеномъ, и въ этомъ романѣ вывели бы героемъ какого-нибудь недонеченаго поэта, который «хочетъ заняться чѣмъ-нибудь высокимъ» и жалуется, что «свѣтская чернь его не понимаетъ», бранить гражданское устройство, которое мѣшаетъ безъ актовъ и записей жениться, однимъ словомъ, презирать бѣдную землю, на которой если забудешь дней пятокъ поѣсть, то непременно умрешь, и смотреть заживо на небо, гдѣ нѣтъ ни формъ, ни обрядовъ... О, тогда плохо бы пришлось отъ насъ Лажечникову: мы умѣли бы его отдѣлать въ коротенькой библиографической статейкѣ... Но чего нѣтъ, о томъ нечего и говорить, и такъ какъ намъ ничто не мѣшаетъ наслаждаться прекраснымъ поэтическимъ талантомъ Лажечникова и цѣнить его, то и приступимъ къ дѣлу, — назовемъ хорошее хорошимъ, а дурное — дурнымъ; за первое отъ души поблагодаримъ автора, а за второе отъ души извинимъ его ради первого.

Въ самомъ дѣлѣ, при оцѣнкѣ романовъ Лажечникова главный и первый трудъ долженъ состоять въ отдѣленіи достоинствъ отъ недостатковъ. Намъ скажутъ: да въ этомъ-то и состоитъ задача всякой критики. Не будемъ возражать на подобное возраженіе: у насъ понятія о критикѣ совсѣмъ другія, но мы пока побережемъ ихъ про себя, потому что излишняя отчетливость повела бы насъ слишкомъ далеко и отбила бы отъ предмета. И потому пока мы условимся, что дѣло кри-

тики есть отдѣленіе красотъ отъ недостатковъ въ произведеніи искусства, а мѣрка при этомъ химическомъ процессѣ — личное ощущеніе критики. Дюпенъ издалъ карту народнаго просвѣщенія Франціи, отгнѣивъ колоритомъ отношенія образованности въ различныхъ департаментахъ, т.-е. самые образованные департаменты означивъ свѣтлой краской, а невѣжественные—темной. Вотъ такую карту желаемъ мы составить изъ нашей критической статьи для романовъ Лажечникова. Пусть всякій повѣряетъ наше мнѣніе собственнымъ своимъ мнѣніемъ.

Еще не успѣли мы забыть удовольствія, которымъ насладились при чтеніи «Ледяного Дома», вышедшаго въ 1835 году, какъ взяли, кажется, за третье, если не за четвертое чтеніе этого романа, по случаю второго его изданія въ концѣ прошлаго года,—и прочли его еще съ большимъ удовольствіемъ, нежели въ первый разъ: лица, которыя начали уже отъ времени представляться нашимъ глазамъ подъ какими-то туманными дымками, снова ожили передъ нами, и мы радужно и весело встрѣтились со старыми знакомцами и нашли ихъ такъ же интересными, милыми и любезными, какъ и въ пору перваго знакомства; прекрасныя ощущенія, которыя отъ времени уже начинали терять свою предметность и повторялись въ душѣ нашей, какъ напѣвы какой-то забытой, но прекрасной пѣсни, вновь воскресли въ ней, живыя, свѣжія, могучія, и снова взволновали ее своими очаровательными потрясеніями... И однакожь—странное дѣло!—при послѣднемъ чтеніи романъ доставилъ намъ несравненно большее наслажденіе, чѣмъ при первомъ; но при первомъ чтеніи мы ставили его гораздо выше, давали ему гораздо большее значеніе, болшую цѣну, нежели какія даемъ ему теперь... Помню, какъ мучилъ меня этотъ «Ледяной Домъ», какъ какая-то неразгаданная загадка, какъ собирался я тогда написать о немъ огромную статью, а въ ней тепло, живо и увлекательно раскрыть всѣ его красоты, и какъ — не могъ написать ни строки... Тяжесть подвиговъ подавляла силы... По крайней мѣрѣ такъ казалось мнѣ тогда. Помню, что больше всего меня затрудняла и мучила двойственность романа: то представлялся онъ мнѣ выше всего, что можно себѣ представить въ этомъ родѣ, то я не видѣлъ въ немъ почти ничего... Первое ощущеніе оправдывалось моимъ сознаніемъ, которому я не вѣрилъ, какъ дьявольскому наводненію, и упрекалъ себя въ немъ, какъ въ грѣхѣ... Странно, а понятно: только тогда можно вполнѣ наслаждаться литературнымъ произведеніемъ, когда поставишь его на свое мѣсто и не будешь требовать отъ него ни больше, ни меньше

того, что оно может дать; такъ точно можно ужиться со всякимъ человѣкомъ, если только поймешь его на его мѣстѣ и будешь требовать отъ него ни больше, ни меньше того, что можно и должно отъ него требовать. Какая истинная и въ то же время простая мысль, а между тѣмъ какъ трудно и какъ не скоро понимается она!..

Не будемъ излагать содержанія «Ледяного Дома»: оно и безъ того всякому образованному читателю знакомо и перезнакомо; но поговоримъ о лицахъ, образующихъ своими соотношеніями его драму. Герой—Волыньскій. Какъ историческое лицо, онъ и теперь еще загадка. Одни видятъ въ немъ героя, мученика за правду; другіе отрицаютъ въ немъ не только патріота, но и порядочнаго человѣка. Но мы оставимъ историческаго Волыньскаго—намъ до него нѣтъ дѣла: мы пишемъ не объ исторіи, а о романѣ. Тутъ представляется другой вопросъ: имѣетъ ли право поэтъ исказить историческое лицо? Да и нѣтъ, отвѣчаемъ мы. Да будетъ проклятъ, кто бы занесъ святотатственную руку на искаженіе Петра Великаго и умышленно осмѣлился бы сдѣлать уродливаго карлу изъ великана человѣчества; но анахронизмы, искаженіе событій вслѣдствіе требованій ткани и механизма романа—но только безъ искаженія идеи лица,—могутъ казаться непозволительными или преступными только вникающему разсудку, а не живому эстетическому чувству. Что же касается до сомнительныхъ или неважныхъ историческихъ лицъ, то и говорить нечего: въ произведеніи искусства должно искать соблюденія художественной, а не исторической истины. Что за важность, что Шиллеръ изъ Карлоса, непокорнаго сына и дурнаго человѣка, сдѣлалъ идеалъ возвышеннаго, благороднаго человѣка? Худо не это, а то, что его драма есть произведеніе риторики, а ея лица—риторическія аллегоріи, а не живыя созданія. Что намъ за нужда, что Гёте изъ восьмидесятилѣтняго старика Эгмонта, отца многочисленнаго семейства, сдѣлалъ молодого, кипящаго избыткомъ жизни юношу? Онъ хотѣлъ изобразить не Эгмонта, а кипящаго избыткомъ душевныхъ силъ юношу въ положеніи Эгмонта. Исторія услужила ему только «поэтическимъ положеніемъ», а главное дѣло въ томъ, что его драма—великое произведеніе великаго художника. Кто хочетъ знать исторію, тотъ учись ей не по романамъ и драмамъ. Поэтому для насъ смѣшны нападки нѣкоторыхъ аристарховъ на Лажечникова, что онъ снялъ десятки два или три лѣтъ съ плечъ Волыньскаго (добро бы еще исказилъ историческій характеръ!). Что же такое Волыньскій Лажечникова?—Это человѣкъ глубокій, могучій духомъ, пламенный патріотъ,

душа чистая, благородная, но легкій, вѣтренный; тонкій политикъ—и мальчикъ, не умѣющій совладать съ самимъ собою; государственныи мужъ—и волокита, гуляка праздный. Соединеніе такихъ противоположностей въ одномъ человѣкѣ очень возможно,—и задача творчества именно въ томъ и состоитъ, чтобы эти противоположности не бросались въ глаза читателю, но составляли бы одно цѣлое, слитое. Характеръ Волыньскаго у Лажечникова очерченъ мѣстами очень удачно, но мѣстами онъ двоится. Это произошло, сколько мы понимаемъ, совсѣмъ не оттого, чтобы у автора не достало таланта, но отъ нравственной точки зрѣнія, съ которой онъ смотритъ на человѣка. То, что въ Волыньскомъ было игрищемъ жизни, широкимъ размахомъ души, съ бѣшеннымъ восторгомъ и безграничнымъ упоеніемъ отзывавшейся на зовъ обольстительницы жизни,—на то авторъ смотрѣлъ глазами ментора, какъ на слабости, на заблужденія, и какъ будто бы самъ колебался во мнѣніи о героѣ своего романа. Отъ этого любовь Волыньскаго къ Маріорицѣ далеко не возбуждаетъ въ читателѣ того участія, какое бы она должна была возбуждать. Вы смотрите на нее, какъ на школьническую шалость взрослого человѣка. Мы очень понимаемъ, что любовь къ Маріорицѣ Волыньскаго, женатаго на прекрасной, страстно любящей его и прежде нѣжно любимой имъ женщинѣ, должна была тревожить его, какъ преступленіе, и, доставляя ему минуты высочайшаго, упоительнаго блаженства, давать ему лютыя минуты вниканія въ себя; скажемъ больше—Волыньскій былъ бы существо чисто безнравственное, неспособное возбудить участія къ себѣ, если бы онъ не чувствовалъ своей вины передъ женою и не страдалъ отъ ея сознанія. Гдѣ любовь, тамъ нѣтъ эгоизма, а гдѣ нѣтъ эгоизма, тамъ всегда есть сознаніе своей вины, хотя бы и невольной, передъ другими; любящее сердце страдаетъ за всѣхъ, а тѣмъ больше за тѣхъ, кого оно само заставило страдать; безнравственность только тамъ, гдѣ нѣтъ любви. Итакъ, мы нападаемъ на автора не за то, что его герой чувствуетъ свою вину передъ женою, но за то, что онъ сознаетъ свою вину какъ бы не самъ, не своей волей, а по приказу автора. Всякое лицо, созданное поэтомъ, должно быть для него предметомъ (объектомъ), совершенно ему внѣшнимъ, и задача автора состоитъ въ томъ, чтобы представить этотъ предметъ (объектъ) какъ можно вѣрнѣе, соотвѣтственно ему, т.-е. самому предмету (объекту), что и называется объективнымъ изображеніемъ, т.-е. такимъ, въ которое авторъ не вноситъ ничего своего—ни понятій, ни чувствъ. Но пока довольно о Волыньскомъ. Мы еще обратимся къ нему.

Второе — самое лучшее — лицо въ романѣ есть Маріорица. Дитя пламеннаго юга, дочь цыганки, питомца гарема, дивный цвѣтокъ Востока, расцвѣтшій для нѣги, упоенія чувствъ и перенесенный на холодный сѣверъ—эта Маріорица, по идеѣ, чудное созданіе. Нѣсколькихъ типическихъ чертъ, еще два-три взмаха художническаго рѣзца—и это былъ бы одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ перловъ въ сокровищницѣ нашей литературы. Но не дивная красота, не роскошь и нѣга движеній, не молнія черныхъ глазъ, зовущихъ къ наслажденію и восторгамъ, составляютъ ароматическое благоуханіе этого пышнаго цвѣта восточныхъ странъ; но... да нѣтъ! — мы лучше словами самого автора опишемъ вамъ плѣнительную Маріорицу. «Отъ христіанской вѣры, въ которой она родилась, остались у ней тайныя понятія и золотой крестъ на груди. Какимъ образомъ этотъ крестъ попалъ къ ней, она не помнила; только не забыла, что женщина, которая вынесла ее изъ пожара, когда горѣлъ отцовскій домъ, строго наказывала ей никогда не покидать святаго знаменія Христа и, какъ она говорила, благословенія отцовскаго. Эта самая женщина продала ее хотинскому пашѣ. Француженка (учительница Маріорицы въ гаремѣ наши), узнавъ, что Маріорица родилась христіанкой, старалась бесѣдами на языкѣ, непонятномъ для черныхъ стражей, ознакомить ученицу свою съ главными догматами своей вѣры. Отъ этого ученія и гаремнаго воспитанія ея сочетались въ душѣ Маріорицы, пламенной, мечтательной, и фатализмъ магометанскій, и мистицизмъ православія, такъ что въ небѣ, созданномъ ею, обитали и чистѣйшіе духи, и оболстительныя дѣвы пророка, а на землѣ всѣ дѣйствія человека подчинялись предопредѣленію».

Читателямъ знакома эта обворожительная Маріорица, знакома имъ и ея чудная судьба. Дочь цыганки и молдаванскаго князя, она воспитывалась сперва въ цыганскомъ таборѣ, потомъ подкинута была своей матерью къ своему отцу, а наконецъ была продана ею хотинскому пашѣ, который берегъ ее въ подарокъ султану, ничего не щадилъ для ея воспитанія, любовался ею, сдерживая желанія дряхлой старческой души, сносилъ ея прихоти, свойственныя женщинѣ и избалованному ребенку вмѣстѣ. По взятіи Хотина Мухомъ она попала въ плѣнницу знаменитому вождю, а имъ была подарена государынѣ Аннѣ Ивановнѣ, которая любовалась ею, какъ игрушкой, и любила ее, какъ дочь. Фатализмъ былъ источникомъ любви Маріорицы къ Волинскому — прекрасная поэтическая мысль, которая могла родиться только въ прекрасной, поэтической душѣ... Года за два до ея плѣна, когда русскіе вели съ турками переговоры

въ Немировѣ, старый паша говорить въ шутку Маріорицѣ, что онъ уступитъ ее русскому послу Волинскому, о которомъ слава прошла тогда до Хотина. Надобно было, чтобы этотъ самый Волинскій, ловкій, статный, красивый, съ черными кудрями, разсыпавшимися по плечамъ, съ пронзающими взорами, первый изъ мужчинъ встрѣтилъ ее по пріѣздѣ ея въ Петербургъ. «При имени Волинскаго княжна затрепетала. Фатализмъ, которымъ она съ малолѣтства была напитана, сказалъ ей, что это самый тотъ, неизбѣжимый ею, суженый ей рокомъ, что она введена съ пелища отцовскаго дома въ Хотинъ и оттуда въ страну, о которой и не мыслила никогда, потому единственно, что еще при рожденіи назначено ей любить русскаго, именно Волинскаго». Такъ говоритъ авторъ, и мы очень жалѣемъ, что вслѣдъ за этими простыми, но много заключающими въ себѣ словами, онъ, увлекшись духомъ прошлаго вѣка, прибавляетъ о какомъ-то рецетѣ любви, прописанномъ маленькимъ докторомъ въ блондиновомъ паричкѣ и съ двумя крылышками за плечами.

Къ Волинскому на святкахъ подъ видомъ друзей забрались переряженные враги; между ними былъ измѣнникъ, который шепнулъ ему о продѣлкѣ. Лихой, разгульный Волинскій шепнулъ слугамъ отослать ихъ кучеровъ, отпочивавъ дорогихъ гостей дорогими винами, посадилъ на свои сани и велѣлъ слугамъ отвезти ихъ на Волково-поле и тамъ бросить, а самъ, наряденный кучеромъ, повезъ оттуда брата Бирона и, пристыженного, униженного, ссадилъ его у дворца, давши ему этимъ добрый урокъ шутить осторожно. Потомъ Волинскій два раза проѣхалъ мимо дворца, гдѣ жила его Маріорица. Вдругъ слышитъ голоса—это дѣвушки; одна спрашиваетъ его: «Какъ тебя зовутъ, дружокъ»? Волинскій задрожалъ отъ звуковъ этого голоса и, связши шапку, отвѣчалъ: «Артемійъ, сударыня!»—«Артемій! смѣясь, закричали дѣвушки, какое дурное имя!»—«Не правда! оно мнѣ нравится!»—подхватила княжна. А Волинскій? лихой ямщикъ, онъ вздохнулъ, надѣлъ шапку на бекрень и, тронувъ шагомъ лошадей, затянулъ пріятнымъ голосомъ—

Вдоль по улицѣ метелица мететь,
За метельцей и милый другъ идетъ.

Это природа чисто русская, это русскій баринъ, русскій вельможа старыхъ временъ!.. Вообще вся эта глава (VII)—одно изъ лучшихъ мѣстъ романа и не испортила бы никакого и ничьего романа.

Итакъ, Маріорица уже успѣла перенять русскіе святочные обычаи, они поправились ея пылкому, суевѣрному воображенію... Про-

ѣзкій ямщикъ назвался Артеміемъ—новая причина любить Артемія Петровича Волынского, новое доказательство, что она рождена для него, обречена ему рокомъ!.. Фатализмъ чудеситъ!..

Какъ же любила она его?

Вотъ что писала она къ нему въ одномъ изъ писемъ своихъ: «Я вся твоя! Имѣй сто женъ, сто любовницъ—я твоя, ближе, чѣмъ кора при деревѣ, растение при землѣ. Дѣлай изъ меня, что хочешь, какъ изъ вещи, которая тебя утѣшаетъ и которую, измѣяши, можешь покинуть, какъ изъ плода, который ты воленъ высосать и бросить!.. Я создана на это: мнѣ это опредѣлено при рожденіи моемъ».

Она любила его, какъ восточная женщина, любила его, какъ существо высшее, и, какъ о недостижимомъ блаженствѣ, мечтала быть его рабою, служить его прихотямъ, безропотно повиноваться его волѣ... А онъ?—онъ не любилъ, онъ только увлеченъ ею на время. Это чувство было для него не вся жизнь съ ея радостями и страданіями, не вся судьба, а мгновенная вспышка, прихоть сердца, играніе жизни... Авторъ называетъ его любовь чувственной.

Здѣсь мы рады признать къ случаю, чтобы сказать, что мы рѣшительно не вѣримъ ни идеальной, ни чувственной любви. Та и другая существуютъ, но обѣ онѣ ложны, какъ двѣ противоположныя крайности, двѣ противоположныя отвлеченности. Такъ называемая идеальная любовь есть палочка, на которой ѣздятъ верхомъ школьники, воображая, что они скачутъ на богатырскомъ конѣ; это своего рода донъ-кихотство. Такъ называемая чувственная любовь есть удѣлъ животныхъ съ человѣческимъ образомъ. Но всякое чувство, что бы оно ни было—любовь или увлеченіе, мгновенная прихоть сердца,—но если только оно волнуетъ душу сладкимъ восторгомъ и растворяетъ ее трепетнымъ ощущеніемъ таинства жизни, если оно возбуждено созерцаніемъ идеи абсолютной красоты въ живомъ образѣ,—это чувство уже любовь, а не чувственность. Всякая любовь есть одухотворенная чувственность; любовь одна, но степени ея безконечно-разнообразны, и съ каждой степенью измѣняется ея характеръ, а степени ея состоятъ въ постепенномъ большемъ и большемъ проникновеніи чувственности духовнымъ просвѣтлѣніемъ. Есть люди, которые отъ всей души убѣждены, что красота возбуждаетъ чувственность: бѣдные не понимаютъ, что красота есть явленіе духа, и что гдѣ красота рождаетъ любовь, тамъ уже нѣтъ чувственности. Для животныхъ красота не существуетъ—это составляетъ одно изъ преимуществъ человѣка надъ животными. Только красота не состав-

ляетъ условія любви, но безъ красоты любовь невозможна.

Характеръ Маріорицы обрисованъ удачнѣе всѣхъ прочихъ. Это рѣшительно лучшее лицо во всемъ романѣ. Она нигдѣ не измѣняетъ себя. Она сходитъ со сцены, какъ вошла на нее: какъ звѣзда любви, которая ярче и прекраснѣе всѣхъ небесныхъ свѣтилъ—и вечеромъ, когда является, и утромъ, когда скрывается. Последнее ея свиданіе съ Волынскимъ было апофеозомъ всей ея жизни, и мы рѣшительно отрицаемъ всякое человѣческое, не только эстетическое, чувство въ томъ, кто бы, увлеченный сухимъ, какъ ариметика, морализмомъ, увидѣлъ въ последнемъ мгновеніи ея жизни паденіе, а не просвѣтлѣніе, не торжественное просвѣтлѣніе, не торжественное свершеніе подвига жизни... Словомъ, Маріорица есть самый красивый, самый душистый цвѣтокъ въ поэтическомъ вѣнкѣ нашего даровитаго романиста.

Послѣ этихъ двухъ лицъ съ особенной любовью и стараніемъ обрисовано лицо цыганки Маріуиллы, матери Маріорицы. По нашему мнѣнію, это лицо такъ же дурно, какъ хороша Маріорица. Авторъ хотѣлъ олицетворить идею матери; но вѣдь олицетворить значить—отвлеченную идею воплотить въ образъ, а этого-то и не сдѣлалъ авторъ; его цыганка-мать осталась отвлеченной идеей. Все, что ни говорить она, ни чувствуетъ, все это нисколько не сообразно ни съ ея званіемъ, ни съ ея положеніемъ, а главное—ничему этому какъ-то не вѣрится. Изуродованіе лица крѣпкой водкой, чѣмъ авторъ хотѣлъ показать образецъ самоотверженія и высокой любви матери, возбуждаетъ не участіе, а отвращеніе. Вообще эта цыганка есть лицо совершенно лишнее, которое не помогаетъ ходу романа, а только и путаетъ, и затрудняетъ его. Безъ нея романъ былъ бы короче, сжатѣе и лучше. Ея слуга и товарищъ, цыганъ Василій, несравненно лучше, но тоже совершенно лишнее лицо въ романѣ. То же думаемъ мы и о лѣкаркѣ, ея дочери и о всей IV главѣ второй части. Конечно все это характеризуетъ Петербургъ тогдашняго времени; но подобныя характеристики должны выходить изъ хода романа, изъ сущности дѣла, и авторъ не имѣетъ права прибѣгать для нихъ къ натяжкамъ.

Теперь о другихъ лицахъ. Превосходно обрисованъ Остерманъ, сынъ бѣднаго нѣмецкаго пастора, въ молодости своей студентъ N^{***} университета, повѣса и волокита, а потомъ сподвижникъ великаго преобразователя Россіи, вице-канцлеръ, дипломатъ, интригантъ. Онъ играетъ въ романѣ роль менѣе, чѣмъ второстепенную, но гдѣ ни является, вездѣ является живымъ лицомъ, и это лицо—одно изъ лучшихъ созданій нашего поэта.

Биронъ въ романѣ вездѣ вѣренъ самому себѣ и тоже принадлежитъ къ удачнымъ изображеніямъ автора; но это лицо только слегка очерчено карандашомъ, и по прочтеніи романа для читателя остается загадкой и историческій, и романическій Биронъ. Что онъ такое, этотъ человекъ, изъ курляндскаго конюха преобразовавшійся въ курляндскаго герцога? Не будемъ обвинять его, тѣмъ болѣе, что и его благородный соперникъ, патріотъ Волинскій, остается еще загадкой (мы говоримъ это въ историческомъ значеніи). Клеветы Бирона очерчены очень удовлетворительно: жаль только, что всѣмъ имъ авторъ придалъ и рыжіе волосы, и рты до ушей. Злодѣйство и пороки безобразны, но только не въ такомъ смыслѣ. Одинъ художникъ нарисовалъ дьявола красавцемъ, но самъ сошелъ съ ума, взглядывшій въ ужасное безобразіе этой красоты.

Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ мы встречаемъ двухъ шутовъ—Кульковскаго и Тредьяковскаго. Оба они были бы прекрасно изображены, если бы авторъ не сердился на нихъ и не высказывалъ къ нимъ своего отвращенія и презрѣнія. Повторяемъ: поэтъ—не судья, а свидѣтель, и свидѣтель безпристрастный. Онъ говоритъ: такъ было, а хорошо или худо—не мое дѣло! Для него всѣ люди и хороши, и интересны, онъ всѣмъ любитъ, всѣхъ любить, и любить ихъ такими, каковы они есть. Такъ натуралистъ не брезгаетъ никакой гадюкой, равно дорожитъ чучелой отвратительной лягушки, какъ и чучелой миловиднаго голубя. Какъ хорошъ у Лажечникова этотъ Тредьяковский—его образъ выраженія, манеры—словомъ, все превосходно, но насмѣшки автора надъ педантомъ разрушаютъ все очарованіе. Моральная точка зрѣнія на жизнь и поэтический взглядъ на нее—это вода и огонь, взаимно себя уничтожающіе. Безспорно, Тредьяковский былъ душонка низенькая: образцовая бездарность, соединенная съ чудовищными претензіями на гениальность, необходимо предполагаютъ въ человекѣ или глупца, или подлеца. Но загляните въ «Ревизора» Гоголя: дивный художникъ не сердится ни на кого изъ своихъ оригиналовъ, сквозь грубыя черты ихъ невѣжества и лихоимства онъ умѣлъ выказать и какую-то доброту, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ. Загляните въ его дивную «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», посмотрите, съ какой любовью описалъ онъ этихъ чудакъ, съ какимъ сожалѣніемъ разстался онъ съ ними, а между тѣмъ и нисколько не прикрасилъ, но показалъ ихъ совершенно «въ натурѣ».

Подачкинъ и матушка его «барская барыня» изображены превосходно.

Эйхлеръ и Зуда рисуются на первомъ планѣ

романа. По идеѣ, оба превосходны, но исполненіемъ нельзя удовлетвориться. Сонный, долговязый и тѣмъ-то особенно странный Эйхлеръ еще мерещится въ глазахъ вашихъ и послѣ прочтенія романа; но съ тѣхъ поръ, какъ срываетъ съ себя маску притворства,—онъ теряетъ всякую личность. Зуда съ трудомъ помнится даже и при чтеніи романа.

Изъ соучастниковъ Волинскаго особенно хорошъ Щурковъ: никогда не забудете вы этого милаго, благороднаго чудака, въ его фуфайкѣ изъ синеполосатаго тика и въ красномъ шелковомъ колпакѣ, окруженнаго четырьмя польскими собаками, мѣшающего въ печкѣ кочергой уголья и бесѣдующаго съ своимъ слугой, дядькой и наставникомъ вмѣстѣ.

Заклучимъ наше сужденіе о романѣ общимъ взглядомъ на него. Онъ раздѣленъ на главы, которыя можно раздѣлить на три разряда: главы, написанныя превосходно, главы, въ которыхъ золото перебѣшено съ большимъ количествомъ руды, и главы, состоящія изъ одной руды, развѣ съ нѣсколькими блестками золота. Къ послѣднимъ принадлежатъ безъ исключенія всѣ тѣ, въ которыхъ выходитъ на сцену цыганка Мариулла: натянутасть положеній и фразистость выраженія составляютъ ихъ отличительное свойство. Главы второго разряда ознаменованы участіемъ Зуды, любовью Волинскаго и нѣкоторыми растянутастьями. Главы первого разряда суть тѣ, въ которыхъ является Волинскій, какъ противники Бирона, потомъ всѣ, гдѣ является и сама императрица. Таковы слѣдующія главы: «Смотръ», «Ледяная статуя», «Переряженные», «Западня», «Сцена на Невѣ», «Съ передняго и съ задняго крыльца», «Соперники», «Во Дворцѣ», «Ледяной Домъ», «Родины козы», «Любовь повѣренная», «Ударъ». Не менѣе прекрасны, хотя и въ другомъ значеніи, и слѣдующія: «Фатализмъ», «Педантъ», «Обезьяна герцогова», «Куда вѣтеръ подуетъ», «Свадьба шута» и «Ночное свиданіе». Но «Ледяная статуя», «Соперники», «Родины козы» и «Ночное свиданіе»—выше всякихъ похвалъ. Читая главы, которыя такъ рѣзко отличаются отъ исчисленныхъ нами, и видя, съ какой нерѣшимостью, какъ бы ошупью, идетъ этотъ талантъ,—невольно изумляешься, видя его возставшимъ въ какомъ-то львиномъ могуществѣ... Читателямъ извѣстно, какую важную роль играетъ въ романѣ ледяная статуя, они живо помнятъ это энергичное лицо малороссіянина, такъ рѣзко и могуче очерченное двумя, тремя штрихами, какъ будто невзначай брошенными: помнятъ они и сцену обливаній, въ которой авторъ умѣлъ изобразить ужасное событіе, не сдѣлавъ его отвратительнымъ. А «Соперники»? Вспомните этого хитраго политика Остермана въ гостяхъ

у Бирона, эту бесѣду лисицы съ волкомъ, гдѣ лиса такъ искусно умѣетъ не дослышать, жалуясь на глухоту, и недоговорить, жалуясь на подагру въ ногѣ.

«Родины Козы» не меньше этой — превосходная глава. Мысль, положеніе, слогъ — здѣсь все это согласно: высоко, глубоко и просто! О главѣ «Ночное свиданіе» мы не будемъ распространяться, и скажемъ только, что историческая часть романа развита и оправдана въ ней совершенно. Волинскій тутъ является опять двусмысленнымъ лицомъ, какъ и во всей исторіи своей любви; но Маріорица возстаетъ тутъ со всѣмъ величіемъ любящей женщины, для которой любовь есть цѣль и подвигъ жизни. Конечно ея любовь не есть идеалъ любви, она любила по своему; ей не было нужды до мнѣній, вѣрованій ея милаго; взаимный обмѣнъ мыслей и убѣжденій не былъ нуженъ для ея чувства, какъ масло для лампы; повторяемъ — она любила по своему, но любила истинно и глубоко, потому что все принесла въ жертву своему чувству, и кромѣ его ничего не понимала и не видѣла въ жизни. И послѣ событія въ ледяномъ домѣ Маріорица умерла: больше ей не за чѣмъ было жить, потому что она взяла у жизни все, что только могла ей дать жизнь...

И вотъ моя дюпеновская карта кончена. Романъ Лажечникова не представляетъ собою цѣлаго зданія, части котораго заранѣе вышли бы въ головѣ художника изъ единой и общей идеи: въ немъ много пристроекъ, сдѣланныхъ послѣ. Но теплое поэтическое чувство, которымъ проникнуто все сочиненіе, множество отдѣльныхъ превосходныхъ картинъ, прекрасныхъ частностей, основная мысль — все это дѣлаетъ «Ледяной Домъ» однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій въ русской литературѣ и вмѣстѣ съ «Послѣднимъ Новикомъ» украшаетъ чело своего автора прекраснымъ поэтическимъ вѣнкомъ.

Теперь о «Басурманѣ».

Въ этомъ романѣ авторъ вышелъ на совершенно новое для себя поприще, вступилъ въ состязаніе съ Загоскинымъ, какъ авторомъ «Юрія Милославскаго», и Полевымъ, какъ авторомъ «Клятвы при гробѣ Господнемъ». Исторія Россіи перерѣзана Петромъ Великимъ на двѣ части, столь не похожія одна на другую, что онѣ представляютъ собою какъ бы два различныхъ міра. Для двухъ первыхъ своихъ романовъ Лажечниковъ взялъ содержаніе изъ эпохи, начатой Петромъ; въ третьемъ онъ рѣшился перенестись своимъ воображеніемъ дальше и глубже въ эпоху, гдѣ вся надежда на одну фантазію, гдѣ собственное свидѣтельство или рассказы отца, дѣда — невозможно. Признаемся, это было для насъ не совсѣмъ добрымъ предвѣстіемъ. Изобразить

въ романѣ Россію при Іоаннѣ III совсѣмъ не то, что изобразить ея въ исторіи; долгъ романиста — заглянуть въ частную, домашнюю жизнь народа, показать, какъ въ эту эпоху онъ и думалъ, и чувствовать, и пилъ, и ѣлъ, и спалъ. А какіе у насъ для этого факты?.. Гдѣ литература, гдѣ мемуары того времени?.. Остаются лѣтописи — но съ ними далеко не увидѣшь, потому что онѣ — факты для исторіи, а не для романа. Но для художника достаточно одного намека, чтобы живо представить себѣ полную картину жизни народа въ извѣстную эпоху. Такъ... но это «такъ» относится только къ тому, кто оправдалъ дѣломъ свою мысль... Посмотримъ, какъ оправдалъ ее Лажечниковъ въ новомъ своемъ романѣ.

Русская исторія есть неистощимый источникъ для романиста и драматика; многіе думаютъ напротивъ, но это потому, что они не понимаютъ русской жизни и мѣряютъ ее нѣмецкимъ аршиномъ. Какъ писатели XVIII вѣка изъ русскихъ Малапекъ дѣлали Меланій, а русскихъ пастуховъ заставляли состязаться въ игрѣ на свирѣляхъ въ подражаніе эклогамъ Виргилія, — такъ и теперь многіе наши романисты съ русской жизнью дѣлаютъ то же, что Вальтеръ Скоттъ дѣлалъ съ шотландской. Вездѣ есть герой, который и храбръ, и красавецъ, и благороденъ, непремѣнно влюбленъ, и послѣ — или, побѣдивши всѣ препятствія, женится на своей возлюбленной, или «смертью оканчиваетъ жизнь свою». А вѣдь никому не придетъ въ голову представить лихого молодца, который сперва пламенно любилъ свою зазнобушку (что впрочемъ не мѣшало ему и колотить ее временемъ), а потомъ, обливаясь кровавыми слезами, бросилъ ее, чтобы жениться на богатой и пригожей, т.-е. румяной и дородной, но нисколько не любимой имъ дѣвушкѣ, и черезъ то достигнуть цѣли своихъ пламеннѣйшихъ желаній, а между тѣмъ сослужить службу царю-батюшкѣ и обнаружить могучую душу. Какъ можно это? — нисколько не поэтически, хотя и совершенно въ духѣ русской жизни, въ которой любовь издревле была контрабандой и никогда не почиталась условіемъ брака. Оттого-то у насъ и нѣтъ еще ни одного истинно-русскаго романа, и оттого-то герои почти всѣхъ нашихъ романовъ лишены всякой силы характера, всякаго индивидуальнаго колорита. Русская жизнь до Петра Великаго имѣла свои формы — поймите ихъ, и тогда увидите, что она заключаетъ въ себѣ для романа и драмы такіе же богатые матеріалы, какъ и европейская. Да что говорить о романистахъ, когда и историки наши ищутъ въ русской исторіи приложеній къ идеямъ Гизо о европейской цивилизаціи, и первый періодъ мѣряютъ нормандскимъ футомъ, вмѣсто русскаго аршина!.. Боже мой,

а какія эпохи, какія лица! Да ихъ стало бы нѣсколькимъ Шекспирамъ и Вальтеръ Скоттамъ. Вотъ періодъ до Ярославъ—это періодъ сказочный и полусказочный. Вельтманъ первый наемнулъ, какъ должна пользоваться имъ фантазія поэта. Вотъ періодъ удѣловъ,—періодъ, въ который великанъ-младенецъ, путемъ раздробленія, разбрасывался въ длину и ширину и захватывалъ себя побольше мѣста на Божьемъ свѣтѣ, чтобы было ему гдѣ развернуться и поразгуляться, когда придетъ его время...

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота, океанъ-море!
Широко раздолье по всей землѣ,
Глубоки омуты дѣтпровскіе!

Вотъ періодъ татарщины—этой виѣшней силы, которая должна была сдвинуть Русь, спаять ее ея же кровью, пробудивъ въ ней чувства единовѣрія и единокровности... А характеры?.. Вотъ могучій Іоаннъ III, первый царь русскій, замыслившій идею единовластія и самодержавія, установившій придворный этикетъ, сокрушившій представителей издыхавшаго удѣльничества и поставившій власть царскую наравнѣ съ волей Божіей... Вотъ Іоаннъ IV, этотъ Петръ I, не во-время явившійся и грозно доканчивавшій идею своего великаго дѣла... Вотъ добрый Ѳеодоръ I, отшельникъ и постникъ на престолѣ... Вотъ хитрый, ловкій Годуновъ, жертва неудачной попытки попасть въ великіе... Вотъ удалецъ Димитрій... Вотъ Шуйскій, низкій на престолѣ, гордый въ паденіи... И чѣмъ дальше, тѣмъ жизнь кипитъ больше и больше, характеры толпятся—и наконецъ, много ли было у Петра дней, изъ которыхъ cadaго не хватило бы на романъ или драму?..

Лажечниковъ, кажется, самъ чувствовалъ невыгоду своего положенія въ избранной для своего романа эпохѣ, и потому герой его романа—нѣмецъ. Не будемъ пересказывать содержанія, тѣмъ болѣе, что оно, мы увѣрены, всякому извѣстно. Дѣйствіе романа не только двоятся—троится даже. Оно начинается съ темницы внука Іоанна, несчастнаго Димитрія, который къ роману нисколько не относится. Впрочемъ это только глава. Потомъ дѣйствіе происходитъ въ Богеміи, оттуда идетъ въ Италію, чтобы снова возвратиться въ Богемію. Для сущности романа оно тянется слишкомъ долго и медленно и вообще роману, кромѣ обширности, ничего не придаетъ. Герой романа—лицо совершенно бездѣльное, безхарактерное. Авторъ говоритъ намъ, что Антонъ Эренштейнъ любилъ науку, былъ прекрасенъ, храбръ, уменъ, великодушенъ, но сами мы ничего этого не видимъ и вѣримъ автору на слово. Онъ влюбляется въ Анастасію, дочь боярина Образца, а она влюбляется въ него,

и любовь эта возбуждаетъ въ читателѣ слишкомъ слабое участіе. Если хотите—она описана очень, даже слишкомъ подробно, но въ этомъ описаніи нѣтъ этихъ рѣзкихъ типическихъ чертъ, которыя, повидимому ничего не показывая, все даютъ видѣть, и еще такъ, что, посмотрѣвши на нихъ разъ, никогда не забудешь. Конечно тутъ есть черты, очень вѣрно схваченныя. Напримѣръ: влюбленная Анастасія думаетъ, что басурманъ сглазилъ, околдовалъ ее, и рѣшается идти къ нему просить его, чтобы онъ сжалился надъ нею—отворожилъ ее отъ себя. Черта прекрасная—безспорно; но вѣдь эта черта народная, общая, а въ поэзіи требуется, чтобы общія народныя черты проявлялись въ частныхъ лицахъ, индивидухахъ, а не были привязаны или, лучше сказать, навязаны какимъ-то именамъ безъ лицъ. Вообще надо признаться, что всѣ почти лица въ новомъ романѣ Лажечникова какъ-то безцвѣтны, такъ что самыя лучшія изъ нихъ—силуэты, а не портреты. Знаменитый Аристотель Фіоравенте, архитекторъ, размыслъ, литейщикъ и каменщикъ Іоанна III, говоритъ какъ художникъ; но ему какъ-то не вѣрится, въ его словахъ видишь самого автора, а не лицо романа. Сынъ его, Андрюша, что-то такое, чего невозможно ни вообразить себѣ при чтеніи, ни вспомнить послѣ чтенія романа. Коли хотите, каждое изъ этихъ лицъ не противорѣчитъ самому себѣ, т.-е. говоритъ одно и то же, въ словахъ не путается, да только все и ограничивается у нихъ одними словами. Изъ лицъ—лучшіе бояринъ Образецъ и сынъ его, Хабаръ, особенно первый, съ его патріархальностью, чистой жизнью и ненавистью къ нѣмцамъ. Очень удачно обрисованъ еще бояринъ Русалка.

Самая лучшая сторона въ романѣ—историческая, а самое лучшее лицо—Іоаннъ III. Душа отдыхаетъ и оживаетъ, когда выходитъ на сцену этотъ могучій человекъ, съ его гениальной мыслью, его желѣзнымъ характеромъ, непреклонной волей, электрическимъ взоромъ, отъ котораго слабонервные женщины падали въ обморокъ... Въ немъ мы снова увидѣли сильный талантъ Лажечникова. Онъ глубоко, вѣрно понялъ идею Іоанна и вѣрно очертилъ его характеръ.

Кромѣ того, описанія пріема пословъ, казней, политическихъ операцій Іоанна, разныхъ русскихъ обычаевъ того времени составляютъ одну изъ блестящихъ сторонъ новаго романа. Поэтическихъ мѣстъ много; интересъ вездѣ поддержанъ. Не понимаемъ, для чего авторъ опять повелъ своихъ читателей въ Богемію: романъ кончился въ Москвѣ...

Заключая нашъ разборъ увѣреніемъ, что новый романъ Лажечникова есть болѣе, нежели пріятный подарокъ для публики, обра-

тимся къ предмету, чуждому повви и самому прозаическому. Мы хотимъ сказать слова два о новомъ, небываломъ и до чрезвычайности странномъ правописаніи автора «Басурмана». Положимъ, что окончаніе прилагательныхъ «ова» и «ева», вмѣсто «аго» и «аго», и «его», имѣетъ свое основаніе, и даже, когда къ этому привыкнуть, можетъ быть принято всѣми; что же касается до «можетбыть», «можетстаться», «какскоро» и тому подобныхъ — то мы не знаемъ, что и сказать объ этомъ. Будь это принято всѣми, тогда сбудется сказка о старухѣ, которая, замѣтивъ, что ея госпожа, колдунья, молодѣетъ отъ какого-то элексира, такъ несоразмѣрно хватила его, что сдѣлалась семилѣтнимъ ребенкомъ...

Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ «Колдуна на

Сухаревой башнѣ»: въ этомъ романѣ авторъ снова будетъ въ своей сферѣ и напомнитъ намъ имъ «Новика» и «Ледяной Домъ». Кстати о напоминаніи: пользуемся случаемъ напомнить отъ лица публики даровитому автору, что за нимъ есть должокъ — и очень большой: на 74 стр. IV части «Ледяного Дома» онъ обѣщавъ разсказать исторію Линара и мужа Анны Леопольдовны, а на 75-й — про чудесную смерть С***вой и про сердце ея, выставленное въ церкви на золотомъ блюдѣ подъ стекляннмъ колпакомъ, и пр.

Не легко отказаться отъ такихъ обѣщаній, и кому же будетъ писать, если писатели съ такимъ талантомъ, какъ авторъ «Новика» и «Ледяного Дома», будутъ оставать-ся только при обѣщаніяхъ!

ОЧЕРКИ БОРОДИНСКАГО СРАЖЕНІЯ.

Соч. О. Глинки. Москва. 1839.

Народъ не есть отвлеченное понятіе: народъ есть живая особность, духовная организація, которой разнообразныя жизненныя отправленія служатъ къ единой цѣли. Народъ есть личность, какъ отдѣльный человѣкъ. Какимъ образомъ люди стали народами, частныя индивидуальности слились въ общія массы и, такъ сказать, исчезли въ нихъ?.. Вотъ одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ не подлежитъ ни историческимъ разысканіямъ, ни изслѣдованіямъ разсудка, опирающимся на опытъ. Спросите человѣка, какъ онъ явился на свѣтъ: можетъ ли онъ вамъ отвѣтить на этотъ вопросъ? Онъ существовалъ еще во чревѣ своей матери, но не зная о своемъ существованіи; онъ существовалъ еще безсмысленнымъ и безсловеснымъ ребенкомъ, но не зная о своемъ существованіи; онъ даже не помнилъ своего младенчества, когда уже языкъ его лепеталъ несвязныя рѣчи, а юная душа принимала уже разнообразныя впечатлѣнія бытія; онъ едва-едва помнитъ себя даже выходящимъ изъ младенчества, уже развивающимся своими духовными способностями; его сознательное существованіе начинается съ черты, разграничивающей отрочество и юношество. Вотъ почему каждый человѣкъ всегда начинаетъ свою исторію словами: «съ тѣхъ поръ, какъ я началъ себя помнить», и вотъ почему самая эпоха его сознанія еще такъ неопредѣленна, представляя собой какой-то утренній полусумракъ,

и только въ періодъ юношества дѣлается яснымъ и свѣтлымъ утромъ. Такъ точно и народъ не въ состояніи отвѣчать самому себѣ на вопросъ: откуда онъ произошелъ, какъ онъ явился? Намъ скажутъ, что людей свели взаимныя нужды, заставившія ихъ взаимными уступками для обоюдной выгоды ограничить свою свободу и принять общественную форму. Прекрасно, но вѣдь и дитя не бѣжитъ отъ своихъ родителей, отъ своего семейства, безсознательно чувствуя свою нужду въ нихъ, хотъ и отвращаясь лозы и власти ихъ, а между тѣмъ оно все-таки не помнитъ, какъ это сдѣлалось, что оно стало членомъ своего семейства, а чрезъ него и членомъ своего государства. Другіе намъ скажутъ, — и это будетъ еще справедливѣе, — что исходнымъ пунктомъ соединенія людей въ общество было безсознательное влеченіе человѣка къ человѣку, врожденное ему отъ природы, а взаимная нужда другъ въ другъ только укрѣпила и довершила его соединеніе. Прекрасно, но вѣдь и младенецъ, прежде нежели онъ почувствовалъ нужду въ своей матери или нянькѣ, влекся къ нимъ безсознательнымъ чувствомъ, а между тѣмъ, ставши полнымъ человѣкомъ, онъ все-таки не помнитъ, какъ это сдѣлалось, и даже не помнитъ черты, раздѣляющей конецъ его безсознательности съ началомъ его сознательности. Очевидно, что народъ родится безсознательно, но, проходитъ всѣ возрасты человѣка, т. е.

сперва бывает зародышемъ или возможностью, изъ которой, какъ растеніе изъ сѣмени, организуется младенецъ, лелѣемый матерью-природою, изъ младенца дѣлается отрокомъ, и наконецъ доживаетъ до того момента своего существованія, съ котораго начинается говорить: «съ тѣхъ поръ, какъ я началъ себя помнить». Вотъ почему начало или, лучше сказать, зачатіе всѣхъ народовъ рѣшительно ускользаетъ отъ взоровъ исторіи, и всѣ усилія разсудочныхъ мыслителей схватить его остаются тщетными; вотъ почему въ исторіи каждаго народа есть періодъ баснословный, и полубаснословный, или доисторическій, или полуйсторическій, который такъ незамѣтно сливается съ историческимъ, что невозможно уловить черты, раздѣляющей ихъ.

Много было теорій о происхожденіи политическихъ обществъ, особенно много ихъ было у французовъ, въ ихъ «философскомъ» XVIII вѣкѣ. Эти теоріи принесли великую пользу, доказавъ бесполезность и нелѣпость стремленія объяснить опытомъ неподлежащее опыту, сдѣлать яснымъ разсудку недоступное для разсудка. Такимъ же точно образомъ силились объяснить происхожденіе языка. Сознавъ, что слово основано на непреложныхъ законахъ разума, заключили изъ этого, что явленіе слова было результатомъ сознанія его законовъ, т.-е., что оно было сочинено, придумано, изобрѣтено, какъ напр. паровыя машины сочинены, придуманы и изобрѣтены вслѣдствіе сознанія силы паровъ. Нелѣпая мысль была распространена дотого, что стали хлопотать о сочиненіи или учрежденіи универсальнаго языка, въ которомъ были бы всѣ свойства, составляющія особенность каждаго языка отдѣльно, и который поэтому замѣнилъ бы всѣ языки и былъ бы общимъ ученымъ языкомъ. Разумѣется, это предпріятіе кончилось тѣмъ же, чѣмъ кончилось строеніе вавилонскаго столба: не осталось даже и обломковъ гордаго зданія, имѣвшаго цѣлью соединить небо съ землей. Кроме того силились найти первобытный чело-вѣческій языкъ и пустили въ ходъ сказку о Псамметихѣ, прибѣгнувшемъ къ странному способу для разрѣшенія этого неразрѣшимаго вопроса и допытывавшагося черезъ него, что первобытный языкъ былъ фригійскій. Потомъ основали образованіе языка изъ междометій и почитали себя въ состояніи ясно, опредѣлительно показать весь историческій ходъ развитія языка, какъ собранія условныхъ знаковъ для выраженія понятій. Остановите ваше вниманіе на эпитетѣ «условный», и вы поймете причину этого заблужденія! Всякое условіе бываетъ сознательно и есть заранѣе предполагаемое намѣреніе, предполагаемая цѣль и наконецъ договоръ. Чело-

вѣкъ почувствовалъ необходимость сообщить свои мысли подобнымъ себѣ: вотъ и давай условливаться лошадь называть лошадейю, собаку—собакой, и такъ далѣе. Прекрасно, но развѣ въ цѣломъ обществѣ людей только одному предоставлено было право предлагать условія, а всѣмъ прочимъ только принимать ихъ, да клянясь, приговаривая: «такъ-съ, батюшка, такъ—слушаемъ-съ; это лошадь, а это собака»? И какъ одинъ чело-вѣкъ могъ согласить многихъ? а если многіе вздумали соглашать многихъ, то какъ же они успѣли согласиться? Кроме того, какъ бы это ни вышло, черезъ одного или многихъ, но если эти «условія» не имѣли причины въ самихъ себѣ, т.-е. не основывались на непреложной внутренней необходимости, то онѣ были случайны, а слѣдовательно и бессмысленны; но мы знаемъ, что каждый языкъ, отдѣльно взятый, основанъ на непреложныхъ законахъ, и что всѣ языки, несмотря на ихъ различіе, основаны на однихъ и тѣхъ же началахъ, почему чело-вѣкъ одного народа и можетъ учиться языку другого народа. Нѣтъ, языкъ былъ данъ чело-вѣку, какъ откровеніе, а не найденъ имъ, какъ изобрѣтеніе. Если чело-вѣкъ явился въ мірѣ существомъ разумнымъ, то необходимо и словеснымъ, потому что слово есть разумъ въ явленіи. Чело-вѣкъ владѣлъ словомъ еще прежде, нежели узналъ, что онъ владѣетъ словомъ; точно такъ же дитя говоритъ правильно, грамматически, еще и не зная грамматики, слѣдовательно еще не зная, что оно говоритъ правильно грамматически. Слово чело-вѣческое есть одно изъ тѣхъ явленій дѣйствительности, которыя въ самихъ себѣ скрываютъ причину своего явленія, которыя органически возникаютъ и развиваются изъ себя и внѣ себя не имѣютъ причины и которыхъ рожденіе есть поэтому тайна. Дѣйствительность, какъ явившійся, отлѣсившійся разумъ, всегда предшествуетъ сознанію, потому что прежде, нежели сознать, надо имѣть предметъ для сознанія. Вотъ почему естествознаніе, или ученіе о природѣ, явилось гораздо послѣ самой природы, грамматика—послѣ языка, исторія—послѣ пережитой народами жизни. Все, что ни есть—есть или являющійся разумъ (разумъ въ явленіи), или сознающій разумъ (разумъ въ сознаніи). Дѣло сознающаго разума—сознать дѣйствительность, а не творить ее, и потому разумъ пишетъ грамматику, а не сочиняетъ языка, пишетъ трактатъ объ организаціи общества, а не создаетъ общества. Какъ невозможно сочинить языка, такъ невозможно и устроить гражданскаго общества, которое устроится само собой, безъ сознанія и вѣдома людей, изъ которыхъ оно создается. Всякое явленіе дѣйствительности, изъ самого

себя возникшее, рождается и развивается органически; всякое изобрѣтеніе дѣлается механически. Первое есть вдохновенный порывъ духа осуществиться въ дѣйствительности; второе есть расчетъ разсудка, основанный на соображеніи вѣроятностей. Матеріалисты XVIII вѣка хотѣли объяснить происхожденіе міра механическимъ сдѣланиемъ атомовъ, механическимъ процессомъ взаимодѣйствія тяжести и выходящихъ изъ нея математическихъ законовъ стремленій; но это объясненіе только затемнило сущность дѣла, потому что, отличаясь внѣшней ясностью, отличалось внутреннимъ мракомъ. И какъ же тутъ быть свѣту, а не мраку, когда они въ мірозданіи видѣли только какіе-то блоки, веревки, гвозди и клей, а не горячую кровь и полные электричества нервы,—мертвый скелетъ, а не живой организмъ, какъ выраженіе движущагося въ немъ духа жизни? Автоматъ дѣлается механически, и потому онъ трупъ безъ жизни; организмъ человѣка развивается динамически, и потому въ немъ вѣетъ, движется духъ жизни. Въ зародышѣ, изъ котораго рождается человѣкъ, заключенъ духъ жизни, самодѣлательно, изъ самого себя развивающійся въ опредѣленные формы, во чревѣ матери, какъ развивается динамически, т.-е. собственной самодѣлательностью, зерно, положенное въ землю, и становится деревомъ. То и другое требуютъ для своего развитія внѣшняго вещества—питанія; но это внѣшнее перерабатываютъ и претворяютъ въ свою собственность, въ свои соки, кровь и плоть, и это внѣшнее опять развиваютъ изъ себя: такъ точно происходитъ и народъ. Его духовная организація параллельна тѣлесной организація младенца и дерева, примѣры которыхъ мы нарочно привели. Сущность жизни въ зернѣ жизни, а это зерно—божественная идея, изъ сферы возможности переходящая въ сферу дѣйствительности, изъ небытія осуществляющаяся въ бытіе, по глаголу священнаго писанія: Богъ создалъ міръ сей изъ ничего...

Начиная отъ временъ, о которыхъ мы знаемъ только изъ исторіи, до нашего времени не было и нѣтъ ни одного народа, составившагося и образовавшагося по взаимному и сознательному условію извѣстнаго числа людей, изъявившихъ желаніе войти въ его составъ, или по мысли одного какого-нибудь хотя бы гениальнаго человѣка. Намъ можетъ быть указать на Сѣверо-Американскіе штаты—на этотъ народъ безъ имени и названія, на этого сына безъ отца, потомка безъ предковъ, на это политическое общество, какъ будто искусственно явившееся, механически соединенное изъ разнородныхъ началъ? Мы отвѣтимъ, что все это только ка-

жется такимъ для поверхностнаго взгляда, но совсѣмъ не таково на самомъ дѣлѣ. Во-первыхъ Сѣверо-Американскіе штаты явились по условію только государствомъ, а не народомъ; между же государствомъ и народомъ большая разница: народъ можетъ не быть государствомъ, но государство не можетъ не быть народомъ; народъ можетъ сдѣлаться государствомъ, но государство не можетъ сдѣлаться народомъ, потому что оно было народомъ прежде еще, чѣмъ сдѣлалось государствомъ. Большая и главная часть народонаселенія Сѣверо-Американскихъ штатовъ—природные англичане: господствующій языкъ—англійскій; направленіе въ религіи, политикѣ и гражданскомъ устройствѣ явно отзывается британизмомъ. Слѣдовательно Сѣверо-Американскіе штаты не безъ родни, не безъ предковъ, не безъ отца и матери. Сначала они были англійскими колоніями, слѣдовательно имѣли уже готовыми всѣ матеріалы для государственной жизни: образованный языкъ съ богатой литературой, религіей, въ высшей степени развитую гражданственность и т. п. Такъ какъ изъ колонистовъ, въ теченіе времени, образовалось изъ англичанъ какъ бы особое племя, вслѣдствіе вліянія климата и страны на духъ,—племя, отличавшееся отъ жителей Великобританіи, какъ отличаются романы гениальнаго Купера отъ романовъ гениальнаго Скотта, хотя и писанныхъ на одномъ языкѣ,—то нѣкоторымъ образомъ и образовался какъ бы особый народъ, которому уже не мудрено было стать государствомъ. Да и самый процессъ перехода народа въ государство совершился не механически, не условно, а зарождался, зрѣлъ и обнаружился исторически, такъ что причины его далеко скрываются во времени, и исторію Сѣверо-Американскихъ штатовъ должно начинать съ эпохи религіозно-политической реформы въ самой Англіи.

Исходный пунктъ жизни каждаго народа скрывается въ географическихъ, этнографическихъ, геологическихъ и климатическихъ условіяхъ. Когда человѣкъ выходитъ изъ своего естественнаго состоянія, онъ начинаетъ борьбу съ природой, покоряетъ ее себѣ и даже измѣняетъ могуществомъ своей разумности; но до тѣхъ поръ онъ—ея рабъ. Мощно дѣйствуютъ на него ея впечатлѣнія, и его темпераментъ имѣетъ кровное сродство съ материкомъ, на которомъ онъ родился, съ небомъ, подъ которымъ онъ родился, а его характеръ есть результатъ его темперамента. Законъ родства крови и плоти есть законъ самого духа!.. Сначала всякое человеческое общество существуетъ какъ племя; потомъ—какъ народъ; немного племенъ из-

веденная въ жизни Россіи Петромъ Великимъ, совершалась въ борьбѣ и потрясеніяхъ всего государственнаго организма, но потому-то она такъ крѣпко и утвердилась и перешла въ законъ, и чѣмъ болѣе пролетитъ столѣтій отъ этого событія, тѣмъ болѣеую законность и священность будетъ приобрѣтать дѣло Петра. Мы хотимъ этимъ сказать, что сила вѣкового преданія и священная таинственность всего, теряющагося въ довременности, имѣютъ глубокое значеніе и только одні освѣщаютъ явленія, какъ свидѣтельство, что эти явленія—непосредственное откровеніе, а не человѣческія выдумки. Человѣческіе уставы могутъ быть полезны, а не священны; только непосредственно Богомъ явленное священно. Нѣтъ власти, которая бы не была отъ Бога, но всякая власть отъ Бога—говоритъ св. писаніе, и эти слова заключаютъ въ себѣ глубокую мысль и непреложную истину.

Азія есть колыбель человѣческаго рода—его отечество; въ ней начало всѣхъ вѣрованій, всѣхъ человѣческихъ обществъ; въ ней начало всего довременнаго, всего непосредственно явившагося. И св. писаніе, и исторія, и даже сама современность указываютъ намъ на Азію, какъ на страну патріархальности. Китай—это едва ли не первобытнѣйшая политическая форма общества,—и по сѣ пору есть государство по преимуществу патріархальное. Всѣ мусульманскія государства носятъ въ своемъ основномъ построеніи печать древней патріархальности. Аравія и теперь еще представляетъ собою первобытный типъ племенъ, управляемыхъ патріархами. Св. писаніе говоритъ намъ о первыхъ патріархахъ, какъ о царяхъ людей, жившихъ въ законѣ естественномъ. Что такое былъ Іаковъ, переселившійся въ Египетъ, какъ не отецъ семейства, дотога размножившагося, что маститый старецъ сдѣлался и отцомъ, и прапрадѣдомъ вмѣстѣ, такъ что для своихъ праправнуковъ, по закону колѣннаго отдаленія, казался столько же правителемъ, царемъ, сколько родственникомъ и родоначальникомъ? Отсюда ясно, что мистическая и священная идея отца-родоначальника была живымъ источникомъ истекшей изъ нея идеи царя. Только безсловесныя животныя живутъ безъ властей; но человѣкъ даже въ своемъ естественномъ состояніи, даже еще не развратившись, не сдѣлавшись злымъ, признавалъ власть и жилъ въ разумныхъ формахъ повиновенія и подчиненности, задолго до того, какъ созналъ ихъ значеніе или ихъ нужду; чувство, вмѣстѣ съ нимъ родившееся, сказало ему, что отецъ выше сына, и что сынъ долженъ повиноваться, слѣдовательно признавать власть отца. Вотъ почему во всѣхъ племенахъ родоначальничество есть первый моментъ общественнаго вознаниа, а право первородства—самое священное право. Законы челоѣчества

ведѣ одни и тѣ же, потому что они законы разума, а разумъ одинъ, какъ одинъ Богъ: американскіе дикари, по законамъ вѣжливости, всякаго старшаго себя называютъ «своимъ отцомъ», а равнаго себѣ по лѣтамъ—«своимъ братомъ». Нельзя вывести изъ опыта, какимъ образомъ изъ отеческой власти явилась царская власть, отецъ сталъ царемъ; но въ умозрѣніи это очень понятно. Исторія не можетъ показать картины развитія идеи отца въ идею царя, исторія не помнитъ этого, потому что это явленіе довременное. Но тѣмъ яснѣе, что кто внушилъ челоѣку чувство мистическаго, религіознаго уваженія къ виновнику дней своихъ, освятилъ санъ и званіе отца, тотъ освятилъ санъ и званіе царя, превознесъ его главу превыше всѣхъ смертныхъ и земную участь его поставилъ внѣ зависимости отъ случайной воли людской, сдѣлавъ личность его священной и неприкосновенной. Челоѣчество не помнитъ, когда преклонило оно колѣни передъ царской властью, потому что эта власть была не его установленіемъ, но установленіемъ Божиимъ, не въ извѣстное и опредѣленное время совершившимся, но отъ вѣка въ божественной мысли пребывавшимъ. Поэтому царь есть намѣстникъ Божій, а царская власть, замыкающая въ себѣ всѣ частныя воли, есть преобразование единодержавія вѣчнаго и довременнаго разума.

Достоинство монарха есть священство, и въ таинствѣ помазанія совершается непосредственная передача власти царю отъ Бога, и «Сердце Царево въ рудѣ Божіей», и какъ говоритъ Шекспировъ Ричардъ II:

Елей съ помазаннаго короля
Не могутъ смыть всѣ воды океана!
Дыханіе земныхъ людей не можетъ
Съ избраннаго намѣстника Творца
Снять санъ его!

Вотъ почему, отдавая подданному приказаніе идти, монархъ не оглядывается назадъ, чтобы удостовѣриться, исполняется ли его приказаніе; вотъ почему его слово—законъ, маніе руки его—повелѣніе, взглядъ очей—гроза или милость. Онъ творитъ, какъ «власть имѣющій» (Ев. отъ Матѣ. гл. VII, ст. 29), и власть его не отъ него, но свыше. Вотъ почему, когда слѣпое своеволие воздвигаетъ бури мятежа, онъ съ безтрепетнымъ грознымъ челоѣмъ является одинъ и безоружный и въ комнатѣ Шакловитаго, и на площади, усыпанной мятежными толпами, которыхъ и самый страхъ оружія и смерти былъ безсильнъ привести къ повиновенію,—является и, вмѣсто увѣщаній и просьбъ, однимъ словомъ властительныхъ устъ, однимъ мановеніемъ державной руки повергаетъ передъ собою во прахъ сонмище губителей, оцѣпенѣвшихъ отъ одного его появленія: ибо онъ творитъ, «какъ власть имѣющій»... Превосходно у Шекспира то мѣсто въ

«Ричардъ II», гдѣ отложившійся отъ короля герцогъ йоркскій, увидѣвъ Ричарда, осажденнаго и почти побѣжденнаго безъ надежды на возстаніе, увидѣвъ его восходящимъ на стѣну замка, въ горломъ сознаніи его царственнаго величія, возмущается духомъ въ сознаніи виновной совѣсти и восклицаетъ:

Смотрите! о смотрите! самъ король Ричардъ,
Какъ негодующее солище всходитъ,
Багровое на огненномъ востока прагѣ,
Замѣтивъ, что завистливыя облака
Стремятся потемнить его сіянье
И запятнать собою лучезарный путь
Къ странѣ заката. Но онъ смотритъ какъ король;
Смотрите, очи какъ орла сверкаютъ:
И въ нихъ могучее величество горитъ!
О, Боже! ихъ ли горе потемнить!

Какая безконечная глубина мысли заключена въ этомъ невольномъ изліяніи, въ этой исповѣди виновнаго вассала, такъ молниеносно и въ такихъ немногихъ словахъ выраженной величайшимъ гениемъ, котораго всезрящему оку доступна была сущность мировой жизни, ея основные законы! И сколько глубины и истины въ этомъ обращеніи короля къ васалу:

Мы удивляемся: стоять такъ долго
И ожидать, чтобъ въ страхѣ преклонились
Твои колѣни, потому что мы себя
Твоимъ законнымъ королемъ считаемъ!
И если такъ: какъ смѣютъ твои члены
Забуть предъ нами подданнаго долгъ?
Когда же не король я,—покажи
Насъ развѣчавшую десницу Бога!
Мы знаемъ, что рука изъ крови и костей
Не можетъ захватить священный скипетръ,
Не святотатствуя и не воруя.
И думаешь ли ты, что всѣ британцы,
Какъ ты, отъ насъ сердцами отвратились,
Что мы и безъ друзей, и безъ защиты?...
То знай: Господь мой, всемогущій Богъ,
За облаками держитъ ополченье явы
Въ защиту намъ; она убьетъ дѣтей,
Невышедшихъ еще на свѣтъ отъ тѣхъ,
Кто на главу мою вассала руку
Дерзнетъ завести и задумаетъ грозить
Сіянью драгоценнаго вѣнца!
Скажи же Болинброкъ (кажется онъ тамъ),
Что каждый шагъ его на нашей почвѣ—
Опасная измѣна. Онъ пришелъ
Сломать печать на пурпурномъ завѣтѣ
Кровавыхъ войнъ. Но прежде, чѣмъ корона,
Къ которой онъ стремится, на его чело
Возляжетъ мирно, десять тысячъ разъ
Кровавое чело сыновъ заставитъ
Лить слезы матерей, обезобразитъ
Лякъ Англіи цвѣтущей, превратитъ
Цвѣтъ міра дѣвственный и блѣдный
Въ багровое негодованье, ороситъ
Луга Британіи ея же кровью!

Президентъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ есть особа почтенная, но не священная: какъ представитель общества по условію самого общества, онъ есть высшій чиновникъ его, на которомъ лежитъ большая противъ другихъ отвѣтственность и который за то пользуется большимъ противъ другихъ жалованьемъ и почетомъ, а не царь, который выше суда че-

ловѣческаго и съ которымъ подданные связаны кровными, неразрывными узами духа и нравственного закона. Личность президента есть призракъ, дѣйствительно одно званіе его, и потому тотъ или другой—все равно. Вслѣдствіе этого идея этого государства есть условный символъ, безъ сущности и личности; тогда какъ въ монархіяхъ образъ государя есть личность государства, и подданный, служа монарху, служитъ своему государству. Имя монарха для подданныхъ есть слово мистическое, таинственное, священное: оно заставляетъ магической силой заключенной въ немъ идеи признавать цѣлый народъ какъ единого человѣка и безконечное множество индивидуальных особенностей сливаетъ во единое тѣло, въ единую живую душу, имѣющую въ своемъ актѣ сознанія единое я. Отсюда ясно видно, какое великое значеніе имѣетъ для вѣнценосцевъ древность рода и происхожденія, теряющаяся въ непроницаемости мистическаго мрака времени и вѣчности. Царь долженъ родиться царемъ, и право рожденія есть его первѣйшее и священнѣйшее право. Изъ миллионѣвъ людей онъ одинъ избранъ Богомъ, и миллионы не могутъ ревновать его избранію, и добровольно преклоняютъ передъ нимъ колѣни, какъ передъ существомъ высшаго рода, и охотно повинуются ему, отказывая въ такомъ повиновеніи равнымъ себѣ, ибо власть ихъ считаютъ случайной. Это-то, видно, и было причиной паденія всѣхъ самозванцевъ и похитителей, хотя многіе изъ нихъ и были люди великаго ума, способностей и силы характера. Какъ снято съ самозванца царское имя, которымъ онъ осяннлся какъ правомъ,—и будь онъ гений, окажи народу великія заслуги, но ужъ нѣтъ на немъ багряницы, и обнаженный трупъ его лежитъ добычей небесныхъ птицъ... Другимъ образомъ, но тотъ же конецъ бываетъ и для похитителей. Благодаря своему гениальному инстинкту, свойственному всѣмъ истинно великимъ людямъ, Наполеонъ глубоко чувствовалъ эту истину. Раздаватель коронъ и скипетровъ, могущественнѣйшій монархъ въ мірѣ, по свободному признанію цѣлаго народа, великій гений, самъ создавшій себѣ и тронъ, и все колоссальное счастье, кажется, имѣвшій полное право гордиться своимъ и царскимъ происхожденіемъ, онъ, несмотря на все это, безпокоился и о своей судьбѣ, и о судьбѣ своего рода; онъ понималъ, что для твердости и дѣйствительности его власти недостаточно и его гениальности, и его подвиговъ, и помазанія католическимъ священникомъ,—и искалъ, какъ своего спасенія, вступить въ бракъ съ женою царскаго рода. И вотъ онъ разводится съ женой, которую страстно любилъ, которую короновалъ какъ императрицу, и вступаетъ въ новый брачный союзъ съ принцессой древняго царскаго рода, съ дочерью цесарей.

Свѣтскіе мудрецы, люди, которые легко разсуждаютъ о тяжелыхъ предметахъ, которымъ достаточно четверти часа, чтобы съ сигарой во рту пересудить всѣхъ и все, перестроить міръ на свой ладъ, такіе люди глубокомысленно объявляютъ, что Наполеонъ этимъ союзомъ унизилъ величіе своего генія и, увлекшись тщеславіемъ, сдѣлалъ безразсудный поступокъ, роковую ошибку, которая и погубила его. Нѣтъ! это была мысль гениальная, свойственная только великому человѣку, глубоко понимавшему законы разумной дѣйствительности, глубоко постигавшему таинственную и сокровенную для обыкновеннаго зрѣнія сущность вещей. Мысль Наполеона стоитъ всѣхъ его побѣдъ и подвиговъ: онъ въ ней такъ же великъ, какъ и въ нихъ. Не мелкое тщеславіе, не суетное желаніе украситься займствованнымъ блескомъ и пурпуромъ чуждой ему багрянницы рѣшило его на этотъ союзъ, но глубокое сознаніе, что этотъ бракъ набросить на него въ глазахъ царей и народовъ, современниковъ и потомства тотъ религіозно-таинственный свѣтъ, который составляетъ необходимое условіе дѣйствительности царственнаго достоинства. Онъ понималъ, что если у него будетъ сынъ, то хотя бы этотъ сынъ, наслѣдовавъ его престолъ, не наслѣдовалъ и слабаго отблеска его генія, словомъ, былъ бы самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ, и тогда бы онъ тверже своего великаго отца сидѣлъ на оставленномъ ему тронѣ, онъ — сынъ великаго отца и вѣнценосной матери. Чтò онъ слышалъ въ восторженныхъ кликахъ своей старой гвардіи?—любовь къ ея великому полководцу, ея маленькому капрану... Но могъ явиться и другой полководецъ, озарить новымъ блескомъ имъ же прославленныхъ орловъ и присвоить себѣ клики воинственныхъ привѣтствій. Чтò онъ слышалъ въ восторженныхъ кликахъ народа? — благодарность за оказанный ему услуги, громкій апплодисментъ за успѣхъ, за которымъ могли раздаваться—какъ оно и случилось — оскорбительные свистки сбившемуся съ роли актеру. Не забудьте изреченія Наполеона: «я продолжитель не королевства Гуго Капета, но имперіи Карла Великаго». Видите ли: онъ призываетъ себѣ на помощь не одинъ союзъ брака съ вѣнценосной женой, но и союзъ исторіи, союзъ вѣковъ, союзъ преданія, — и на Марсовыхъ поляхъ силится напомнить священное и мистическое прошедшее и связать съ нимъ настоящее... О, господа глубокомысленные политики! Наполеонъ понималъ кое-что не хуже и не меньше вашего, и самые его ошибки и промахи разумнѣе и поучительнѣе вашихъ прекрасныхъ умствованій.

Все сказанное нами клонится къ тому, чтобы показать, что общество или народъ не есть отвлеченное понятіе, но живая личность, единое тѣло и единая душа; что она рождается

не случайно, не по человѣческому условію и произволу, но по волѣ Божіей; что оно не есть только необходимая форма развитія човѣчества и не имѣетъ причины въ нуждѣ и пользѣ людей, но есть само себѣ цѣль, въ самой себѣ носящая свою причину; что оно развивается не механически, но динамически, т.-е. собственной самодѣятельностью жизненной силы, составляющей его сущность, не чрезъ налипаніе и сращеніе извнѣ, но внутренне (имманентно) изъ самого себя, органически, какъ дерево изъ зерна...

Доселѣ мы смотрѣли на общество, какъ на нѣчто единое и цѣлое: теперь взглянемъ на него какъ на единство противоположностей, которыхъ борьба и взаимныя отношенія составляютъ его жизнь. Общество состоитъ изъ людей, изъ которыхъ каждый человѣкъ принадлежитъ и себѣ, и обществу, есть индивидуальная и самоцѣльная особность и членъ общества, часть цѣлаго, принадлежащая не себѣ, а обществу. Прежде всего всякій человѣкъ есть особность, есть личность, индивидуальность, которая есть исходный пунктъ всѣхъ его дѣйствій и необходимое условіе его дѣйствительности. Какъ особность, онъ стремится къ своему личному удовлетворенію; но лишь только сдѣлаетъ онъ шагъ къ этому удовлетворенію, какъ встрѣчаетъ себѣ препятствіе внѣ себя, гдѣ онъ видитъ множество существъ подобныхъ ему, такъ же, какъ и онъ, стремящихся къ личному удовлетворенію. Чтò полезно ему, то полезно и другому; а какъ иногда для многихъ полезно одно, то каждый, стараясь воспользоваться имъ одинъ, старается лишить его всѣхъ другихъ,—борьба личностей и индивидуальных особностей. Далѣе: что полезно одному, то вредно другому, и этотъ другой старается не допустить перваго,—опять борьба личностей. Это зрѣлище представляетъ въ себѣ все твореніе, которое есть безконечное многообразие особностей; это зрѣлище представляютъ собою безсмысленныя животныя; но въ людяхъ, какъ существахъ разумныхъ, это же самое зрѣлище, имѣющее своимъ основаніемъ сознаніе своей единичности каждымъ лицомъ, есть только исходный пунктъ жизни, которая есть борьба, но результаты которой представляютъ новое зрѣлище. Человѣкъ, какъ особность, естественно видитъ въ другихъ людяхъ, какъ особностяхъ же, нѣчто враждебное себѣ; но въ то же время онъ доходитъ своимъ разумомъ до сознанія, что каждая изъ этихъ враждебныхъ ему особностей имѣетъ такое же право на личное удовлетвореніе, какъ и онъ, и что слѣдовательно, если онъ требуетъ отъ нихъ уступокъ и нуждается въ ихъ помощи, то и онъ въ правѣ требовать отъ него уступокъ и помощи. Вотъ законъ любви, которая есть чувственный, такъ сказать, разумъ или бессозна-

тельная разумность! Изъ закона любви вытекаетъ законъ нравственный, который сознается изъ столкновенія внутренняго (субъективнаго) міра человѣка съ внѣшнимъ (объективнымъ) міромъ. Всякій человѣкъ есть самъ себѣ цѣль, и жизнь дана ему какъ удовлетвореніе, какъ счастье, какъ блаженство, къ которымъ слѣдовательно онъ имѣетъ полное право стремиться, сообразно съ своими личными потребностями, наклонностями и средствами. Внутри себя носитъ онъ таинственный и безконечный міръ, полный желаній, порывовъ, стремленій, страданій и радостей, и только чрезъ удовлетвореніе этого своего міра можетъ онъ достигнуть счастья. Это міръ внутренній, міръ субъективный человѣка, сфера, въ которой онъ самъ себѣ цѣль и кромѣ себя и личнаго своего удовлетворенія имѣетъ право никого и ничего не знать. Субъективная сторона человѣка истинна и слѣдовательно дѣйствительна; но всякая односторонняя истина, доведенная до крайности, впадаетъ въ нелѣпость. Субъективность, оставаясь субъективностью, въ сферѣ знанія превратится въ ограниченность и произвольность понятій, въ сферѣ чувства—въ сухой и безнравственный эгоизмъ, въ сферѣ дѣйствія—въ преступленіе и злодѣйство. Субъектъ есть личность; но что же такое эта личность, кого выражаетъ и опредѣляетъ она? Субъективная личность есть выраженіе и опредѣленіе духа, а духъ безконеченъ: слѣдовательно субъективная личность не должна быть ограниченностью; духъ истиненъ, слѣдовательно субъективная личность не должна быть эгоистической. А между тѣмъ ограниченность есть условіе всякой субъективности. Въ чемъ же примиреніе этого противорѣчія, гдѣ выходъ изъ него? въ столкновеніи субъективной личности человѣка съ объективнымъ (внѣ его находящемся) міромъ. Человѣкъ есть частное и случайное по своей личности, но общее и необходимое по духу, выраженіемъ котораго служитъ его личность. Отсюда выходитъ двойственность его положенія и его стремленій; его борьба между своимъ *я* и тѣмъ, что находится внѣ его *я*, составляетъ его *не я*. Въ отношеніи къ его индивидуальной собственности, міръ *не я*, міръ объективный, есть враждебный ему міръ; но въ отношеніи къ его духу, какъ къ проблеску безконечнаго и общаго, міръ его *не я*, міръ объективный, есть родной ему міръ. Чтобы быть дѣйствительнымъ человѣкомъ, а не призракомъ, онъ долженъ быть частнымъ выраженіемъ общаго или конечнымъ проявленіемъ безконечнаго. Вслѣдствіе этого онъ долженъ отрѣшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее ложью и призракомъ, долженъ смириться передъ міровымъ, общимъ, признавъ только его истинной и дѣйствительностью. Но какъ это міровое или общее находится не въ

немъ, а въ объективномъ мірѣ, онъ долженъ сродниться, слиться съ нимъ, чтобы послѣ, усвоивъ объективный міръ въ свою субъективную собственность, стать снова субъективной личностью, но уже дѣйствительной, уже выражающей собой не случайную частность, а общее мировое, словомъ, стать духомъ во плоти. Въ сферѣ жизни, въ сферѣ дѣйствія столкновеніе субъективной личности съ объективнымъ міромъ совершается дѣйственно же, не какъ житейская опытность, но какъ разумный опытъ жизни. Почва, на которой вырастаютъ благотворные плоды разума опыта, есть нравственное чувство. Субъектъ, сознавая свою слабость, свою самоцѣльность и слѣдуя инстинктивному стремленію къ личному удовлетворенію, чувствуетъ себя на каждомъ своемъ шагѣ и въ каждомъ своемъ дѣйствіи какъ бы связаннымъ какими-то внѣшними отношеніями; онъ говоритъ себѣ: «я самъ себѣ цѣль и хочу жить для жизни, жить для себя»; но внѣшній міръ говоритъ ему: «ты не для себя созданъ, ты мнѣ принадлежишь, каждую твою радость, каждое твое наслажденіе ты можешь получить только съ моего позволенія». Съ ужасомъ и ненавистью внимаетъ юный человѣкъ этому страшному голосу какого-то призрака, котораго онъ не видитъ, но котораго могучія объятія охватили его со всѣхъ сторонъ и не позволяютъ ему ни одного свободного движенія. Въ этомъ невидимомъ сторукомъ исполнѣ онъ видитъ существо совершенно внѣшнее и враждебное себѣ; но разумный опытъ жизни, цѣной страшной борьбы, противорѣчій, страданій, перемѣшанныхъ съ торжествомъ побѣды, примиреніемъ и радостями, увѣряетъ его наконецъ, что этотъ колоссальный и враждебный ему призракъ есть его же родное, его же внутреннее, словомъ, законы его собственнаго разума, его же субъективнаго духа, но только осуществившіяся во внѣ его, какъ явленія въ самомъ дѣлѣ; онъ видитъ, что онъ есть единичная личность, которая сама себѣ цѣль, но онъ же видитъ, что у него есть отецъ, мать, братья, сестры, родственники, друзья, знакомые, наконецъ общество, отечество, правительство, и что со всѣми этими предметами (объектами) его субъективная личность связана не условными узами, но узами крови и плоти, а слѣдовательно и духа. Онъ понимаетъ, что если бы они сами захотѣли отрѣшиться отъ него, сблать его свободнымъ отъ нихъ, онъ потерялъ бы всякое значеніе въ собственныхъ глазахъ, очутился бы въ собственныхъ глазахъ призракомъ безъ почвы, на которую уперлась бы его нога, безъ воздуха, которымъ освѣжилась бы грудь его, безъ имени, которымъ бы онъ обозначилъ себя въ нѣмой бесѣдѣ съ самимъ собой. Въ духовномъ развитіи человѣка моментъ отрицанія необходимъ, потому что кто никогда не

ссорился бы съ истиной, у того и миръ съ ней очень проченъ; но это отрицаніе должно быть именно только моментомъ, а не цѣлой жизнью: ссора не можетъ быть цѣлью самой себѣ, но имѣть цѣлью примиреніе. Всякій духовный процессъ совершается съ болью и страданіемъ, и столкновение субъективной личности человека съ объективнымъ міромъ сперва необходимо является, какъ борьба и страданіе. Но дорогое и покупается дорогой цѣной, и благо тому, кто цѣной страданія пріобрѣтаетъ истину, которая одна даетъ блаженство, его же ржа не тлѣть, и тать не похищаетъ. Но горе тѣмъ, которые ссорятся съ обществомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высшая дѣйствительность, а дѣйствительность или требуетъ полнаго мира съ собой, полнаго признанія себя со стороны человека, или сокрушаетъ его подъ свинцовой тяжестью своей исполненной длани. Кто отторгся отъ нея безъ примиренія, тотъ дѣлается призракомъ, кажущимся ничто, и погибаетъ. Алеко Пушкина поссорился съ обществомъ и думалъ навсегда избавиться отъ него, приставъ къ бродячей толпѣ дѣтей природы и вольности; но общество и тамъ нашло его и страшно отомстило ему за себя чрезъ него же самого. Такъ какъ, несмотря на всѣ его мудрствованія, оно жило въ немъ безсознательно и кровно, то онъ и вздумалъ, вопреки своимъ понятіямъ, наложить на полудикихъ дѣтей природы тѣ же самыя стѣснительныя условія общественности, противъ которыхъ самъ возставалъ, и два трупа лежали передъ нимъ, какъ необходимые результаты его ложнаго положенія въ отношеніи къ самому себѣ, и навсегда унесли съ собой въ могилу всякую надежду его на счастье и миръ души въ этой жизни...

Но борьба есть условіе жизни: жизнь умираетъ, когда оканчивается борьба. Субъективный человекъ въ вѣчной борьбѣ съ объективнымъ міромъ и слѣдовательно съ обществомъ,—но въ борьбѣ не въ смыслѣ возстанія, а въ смыслѣ своего безпрестаннаго стремленія то въ ту, то въ другую сторону. Объяснимъ это примѣромъ: Петръ Великій былъ человекъ, слѣдовательно у него былъ свой субъективный міръ, въ которомъ онъ принадлежалъ только себѣ, а не государству: онъ былъ супругъ, отецъ, братъ, словомъ—семьянинъ; онъ вкушалъ въ нѣдрахъ своего семейства тѣ же радости, которыя вкушалъ и послѣдній изъ его подданныхъ. Онъ имѣлъ друзей, какъ напримѣръ Меншикова, котораго горячо любилъ. Это его субъективный міръ. Но онъ же не имѣлъ почти минуты времени, чтобы забыться въ милыхъ, обаятельныхъ радостяхъ семейственности и дружбы.

То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ.

Вотъ его объективный міръ. Но и этотъ объективный міръ не былъ чуждымъ и внѣшнимъ ему, не былъ однимъ суровымъ долгомъ, но былъ его задушевымъ, кровнымъ, и, дѣйствуя на его поприщѣ, онъ вкушалъ блаженство, которому нѣтъ предѣловъ и для выраженія котораго нѣтъ словъ. Но если это было такое блаженство, котораго ему не могъ дать субъективный міръ, зато и субъективный міръ давалъ ему такое блаженство, котораго не могъ ему дать объективный міръ. Сверхъ этого субъективныя радости даются легче, нежели объективныя: эти дома, онъ всегда съ нами, а для достиженія тѣхъ нужны борьба, усиліе, трудъ въ потѣ чела; нужно иногда на роковую ставку судьбы поставить все. При томъ же дѣйствованіе въ объективномъ мірѣ не можетъ всегда быть только наслажденіемъ, но часто должно быть однимъ долгомъ, и минуты блаженства, доставляемыя имъ, рѣдки и бываютъ большей частью результатомъ успѣха.

Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ,
И полонъ славы взоръ его,
И царскій пиръ его прекрасенъ.
При кликахъ войска своего,
Въ шатрѣ своемъ онъ угощаетъ,
Своихъ вождей, вождей чужихъ,
И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Да, это — торжество, незнакомое простымъ смертнымъ: это торжество, извѣстное только богамъ, царямъ, героямъ и народамъ! Но сколько огорченій, досадъ, сомнѣній, мукъ душевныхъ, тревогъ и заботъ предшествовало этому дивному торжеству!.. Чтобы лучше показать двойственность человека въ субъективномъ и объективномъ мірѣ, напомнимъ Петра въ другія двѣ минуты. Вспыхиваетъ стрѣлецкій бунтъ, и душа заговора — родная сестра царя-исполина; братъ о ней плачетъ, а царь ее судитъ и караетъ... Надежда великаго царя, боявшася и трепетавшаго только одной смерти — смерти своей идеи реформы, — тотъ, кто могъ и продолжить, и укрѣпить или прекратить и изгнать ее, его родной, его единственный сынъ, возстаетъ на отца и царя, возстаетъ именно, какъ на преобразователя... Всѣ суда готовы: на одной сторонѣ естественная любовь родителя, на другой — судьба народа... Народъ побѣдилъ — страшная, величественная и торжественная минута!.. Солнце должно было остановиться въ своемъ вѣчно-современномъ теченіи, природа притаять дыханіе, пульсъ міровой жизни прерваться, въ ожиданіи страшнаго рѣшенія, чтобы потомъ забыться новой, удвоенной жизнью, потечь новымъ, ускореннымъ теченіемъ отъ чувства торжества... Великій подвигъ великаго человека! — восклицаете вы въ гордомъ сознаніи торжества достоинства человѣческой природы.

Миръ объективный побѣдилъ миръ субъективный, общее побѣдило частное! Отчего же такъ велика эта побѣда?—оттого, что власть естественнаго влеченія сердца безгранична надъ волею человѣка, и когда торжествуетъ надъ нимъ законъ нравственный, человѣкъ является героемъ, полубогомъ, представителемъ человечества, осуществившимъ своей личностью все могущество цѣлаго человечества; оттого, что права субъективного человѣка безконечно сильны надъ душою и побѣждаются только самоотверженіемъ въ пользу общаго... Итакъ, у одного человѣка двѣ жизни, изъ которыхъ каждая поочередно овладѣваетъ имъ, которыя борются между собою, и въ этой борьбѣ его жизнь...

Общество слагается изъ множества людей, и у каждаго изъ нихъ свой горизонтъ понятій, своя сфера жизни, свой кругъ дѣйствія, наконецъ, свой субъективный и свой объективный миръ. Одинъ больше частное явленіе, т.-е. больше принадлежитъ себѣ; другой больше общее явленіе, т.-е. больше сливается съ интересами объективными, выходящими изъ сферы его частной жизни; но каждый раздѣленъ между собою и обществомъ, и каждый соединенъ съ обществомъ, т.-е. находитъ себя въ обществѣ. Иной по ограниченности своей натуры даже не понимаетъ слова «отечество», но если онъ вписанъ въ сословіе, въ цехъ—у него уже есть свой объективный миръ. Вотъ откуда истекаетъ живое единство общественной организаціи, которой безчисленные и разнообразныя нервы, проходя взадъ и впередъ и перепутываясь въ тѣлѣ, сходятся въ одномъ пунктѣ и образуютъ собой органъ сознанія—единого личнаго я. Каждый изъ членовъ общества имѣетъ свою исторію жизни, а общество имѣетъ свою, и еще гораздо послѣдовательнѣйшую, гораздо полнѣйшую, разумнѣйшую и понятнѣйшую. Какъ единый человѣкъ, оно переходитъ моменты развитія: началъ бытіе свое безсознательно и одновременно, вдругъ пробуждается для сознанія, но для сознанія еще естественнаго, непосредственнаго*); наконецъ наступаетъ для него эпоха выхода изъ естественной непосредственности, оно отрицаетъ родство крови и плоти во имя родства духа, чтобы потомъ чрезъ духъ снова признать родство крови и плоти, но уже просвѣтленное духомъ—свѣтомъ божественной мысли. Какъ у единого человѣка, у него бываютъ болѣзни,

и фазы болѣзней, и переходъ въ здоровое состояніе. Словомъ, это живая, единичная личность, огромное тѣло, съ безчисленнымъ множествомъ головъ, но съ единой душой, единымъ индивидуальнымъ я. И никогда его единство не бываетъ такъ поразительно, какъ въ тѣхъ грустно или радостно торжественныхъ его положеніяхъ, когда или рѣшается вопросъ о его жизни и смерти, или общая радость заставляетъ сильно биться его исполинское сердце. Все въ немъ усыплено въ какомъ-то дремотномъ спокойствіи, все такъ обыкновенно и ежедневно: судья ходитъ въ судъ, чтобы брать жалованье, и жить имъ, воинъ исполняетъ свои обязанности, какъ долгъ службы, составляющій условія его обезпеченія, купецъ думаетъ о барышахъ, словомъ—все занято собою: кто родится, кто умираетъ, кто женится, кто разводится, и всякій—Иванъ да Петръ, Сидоръ да Лука. Но вотъ буря иноплемennаго нашествія пронесется по усыпленному народу и разражается громомъ и молніей надъ его безпечной головой—и нѣтъ больше людей: является народъ, нѣтъ больше личныхъ и частныхъ интересовъ: все думаетъ объ отечествѣ, пестрые толпы слились въ одну общую массу, во главѣ которой является царь, И тѣ, которые удивляли васъ своей мелкостью и пошлостью, оскорбляли бездушіемъ, тѣ часто поражаютъ васъ и львиной храбростью, и благородствомъ поступковъ, и великодушной готовностью принести себя на жертву за общее дѣло, даже не думая, чтобы ихъ жертва имѣла какую-нибудь цѣну. Для того-то и насылается буря, чтобы очищала воздухъ, и орошенная земля чреватѣла плодородіемъ и давала плодъ сторицей... Такое зрѣлище представляла собою Русь на мамаевскомъ побоищѣ; такое зрѣлище представляла она въ годину междоусобицы, когда умирающее сознаніе ея я было пробуждено и оживлено голосомъ келаря Палицына, святителя Гермогена, мясника Минина и дѣятельнымъ участіемъ князя Пожарскаго... Отчего видна такая забота на лицахъ всѣхъ и каждаго? отчего по одному направленію движутся отъ мѣста до мѣста густыя массы народа? отчего, говоря словами поэта:

Въ погребальный слившись ходъ,
Вся имперія идетъ?..

Умеръ Благословенный... Отчего въ первопрестольномъ градѣ, отъ заставы до стѣнъ священнаго Кремля, тянутся по обѣимъ сторонамъ густыя толпы безчисленнаго народа, едва удерживаемыя въ порядкѣ двойнымъ рядомъ солдатъ, лѣпятся на помостахъ, покрываютъ заборы и кровлю домовъ? Кто созвалъ ихъ сюда? Никто,—даже тѣ, которые имѣютъ право сзывать народъ, скорѣе озабочены тѣмъ, чтобы число ихъ не было во вредъ ему самому. Отчего лица всѣхъ свѣтлы и ра-

*) Здѣсь слово «непосредственный» употреблено въ значеніи отсутствія посредства мысли въ сознаніи. Младенецъ или простолюдинъ можетъ быть добръ, не имѣя ни малѣйшаго понятія ни о добрѣ, ни о злѣ,—доброта непосредственная; другой можетъ обнаруживать своими дѣйствіями и инстинктивно вѣрными заключеніями удивительную истинность, никогда не думавши о томъ, что такое истина,—непосредственное познаніе истины.

достны, чужды всякой житейской заботы, всякой мысли о себѣ? отчего глаза всѣхъ съ томленіемъ и трепетомъ ожиданія обращены въ одну сторону? отчего вдругъ при царственномъ гулѣ колоколовъ и громѣ пушекъ воздухъ потрясся отъ стонущаго «ура», какъ бы выходящаго изъ единой груди и единыхъ устъ?.. Новый царь вступаетъ въ древнюю Москву для вѣнчанія на царство...

Много славныхъ и блестящихъ мгновеній пережила молодая Россія—молодая и юная, несмотря на свою девятивѣковую жизнь; много перетерплено было ею славныхъ побѣдъ, много перепраздновано славныхъ торжествъ; но всѣ они помрачаются 1812 годомъ. И въ самый знаменитый 1812 годъ за нее спорили и жизнь, и смерть; но тогда спасеніе казалось чудомъ, которому тогда только повѣрили, когда оно уже совершилось; но въ 1812 г. споръ жизни съ смертью казался еще страшнѣе, а въ спасеніи никто не отчаивался, никто не сомнѣвался даже. Бѣда была торжествомъ: что же самое торжество?.. Великое вліяніе имѣли на Россію нашествіе Наполеона и послѣдняя борьба ея съ нимъ: уже не разъ опытомъ блестящихъ побѣдъ и славныхъ торжествъ сознавала она свои исполнскія силы, но что всѣ эти опыты передъ эпохой XII и XIV годовъ?.. Народная фантазія въ союзѣ съ преданіемъ создала могущаго богатыря, въ миѣическомъ образѣ котораго видится образъ самого народа и выѣстъ символъ его судьбы—Илью Муромца, который, лишенный ногъ, тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ, а на тридцать-первый погулять пошелъ. И дѣйствительно: добрый молодецъ расходился и разгулялся... Съ самой эпохи татарскаго ига Россія была оторвана отъ европейскаго міра и развивалась сама въ себѣ изолированно, формировалась изнутри и извнѣ и крѣпла въ силахъ своей исполнской корпорации; но въ отношеніи къ общему развитію человечества она сидѣла сиднемъ, погруженная въ дрему непробудную. И вдругъ исполнилъ, ростомъ и силой вровень съ ней, поставилъ ее на ноги, разбудилъ отъ вѣковой дремоты—и она встала и пошла. Съ самаго того мгновенія, какъ царственный младенецъ началъ гѣшиться въ селѣ Преображенскомъ съ своей потѣшной ротой и потомъ могучей дланью крѣпко ухватился за бразды правленія, Россія не имѣла минуты свободной, чтобы вздремнуть, чтобы забыться покоемъ отъ ратныхъ и гражданскихъ подвиговъ, отъ торжествъ побѣды и славы, отъ триумфовъ завоеваній и пріобрѣтеній. Но что вся эта бодрственная, недреманная, полная трудовъ и дѣятельности жизнь передъ той, для которой снова какъ бы пробудилась она страшнымъ кликомъ: «непріятель идетъ на Москву»? что всѣ прежнія ея возстанія отъ сна передъ

тѣмъ, которое совершилось при заревѣ пылающей Москвы—этой очистительной жертвы за спасеніе цѣлаго народа, этого феникса, вновь возродившагося изъ своего священнаго пепла?.. И послѣ того какой блистательный рядъ торжествъ!.. Дѣло шло уже не о новой пріобрѣтенной провинціи, не о клочкѣ земли, отбитой у враговъ и моря для построения города, ни даже о завоеваніи царства и царствъ: дѣло шло сперва о собственномъ спасеніи, а потомъ о спасеніи всей Европы, слѣдовательно—всего міра. Россія тѣсно примыкается къ исторіи Европы, знакомится съ ея бытомъ и домашней жизнью,—и царь русскій,

Вождь вождей, царей диктаторъ,
Нашъ великій Императоръ
Міра свѣтлая звѣзда—

является посредникомъ между царями и народами, Готфредомъ крестоваго похода новыхъ вѣковъ, изрекаетъ пощадку и милость гордой столицѣ народа, почитающаго себя первымъ народомъ въ мірѣ, и въ свѣтломъ торжествѣ и триумфѣ проходитъ по столицамъ спасенной имъ Европы!.. Явленіе безпримѣрное въ исторіи человечества и могшее совершиться только въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣковъ—въ это время чудесъ и гигантовъ!..

У всякаго человѣка есть своя исторія, а въ исторіи свои критическіе моменты: и о человѣкѣ можно безошибочно судить, только смотря по тому, какъ онъ дѣйствовалъ и какимъ онъ являлся въ эти моменты, когда на всѣхъ судьбы лежала его и жизнь, и честь, и счастье. И чѣмъ выше человѣкъ, тѣмъ исторія его грандіознѣе, критическіе моменты ужаснѣе, а выходъ изъ нихъ торжественнѣе и поразительнѣе. Такъ и у всякаго народа—своя исторія, а въ исторіи свои критическіе моменты, по которымъ можно судить о силѣ и величіи его духа, и разумѣется, чѣмъ выше народъ, тѣмъ грандіознѣе царственное достоинство его исторіи, тѣмъ поразительнѣе трагическое величіе его критическихъ моментовъ и выхода изъ нихъ съ честью и славой побѣды. Духъ народа, какъ и духъ частнаго человѣка, выказывается вполнѣ только въ критическія минуты, по которымъ однимъ можно безошибочно судить не только о его силѣ, но и молодости и свѣжести его силъ. Бородинская битва, самымъ Наполеономъ названная битвой гигантовъ, была самымъ торжественнымъ, самымъ трагическимъ актомъ великой драмы XII-го года. Взглянемъ на нее со словъ автора книги, подавшей поводъ къ этой статьѣ, и участника и очевидца въ великомъ дѣлѣ.

«Солдаты наши желали, просили боя. Подходя къ Смоленску, они кричали: «мы видимъ бороды нашихъ отцовъ, пора драться!» Узнавъ о счастливымъ соединеніи всѣхъ корпусовъ, они объ-

жонились по своему: вытягивая руку и разгибая ладонь съ раздѣленными пальцами—«прежде мы были такъ!» (т.-е. корпуса въ арміи, какъ пальцы на рукѣ, были раздѣлены) «теперь мы, — говорили они, сжимая пальцы и свертывая ладонь въ кулакъ: — вотъ такъ! такъ пора же (замахиваясь дюжимъ кулакомъ), такъ пора же дать французъ разъ: вотъ этакъ!»—Это сравненіе разныхъ эпохъ нашей арміи съ распростертой рукой и свернутымъ кулакомъ было очень по-русски, по крайней мѣрѣ очень по-солдатски и весьма у мѣста.

«Мудрая поздержанность Барклая де-Толли не могла быть оцѣнена въ то время. Его война отступательная была собственно — война завлекательная. Но общій голосъ арміи требовалъ иного. Этотъ голосъ мужественный, громкій встрѣтился съ другимъ, еще болѣе громкимъ, болѣе возвышеннымъ—съ голосомъ Россіи. Народъ видѣлъ наши войска, стройныя, могучія, видѣлъ вооруженіе огромное, государя твердаго, готоваго всѣмъ жертвовать за цѣлость, за честь своей имперіи, видѣлъ все это—и тайно чувствовалъ, что (хотя было все) не доставало еще кого-то — не доставало полководца русскаго. Зато переѣздъ Кутузова изъ С.-Петербурга къ арміи походилъ на какое-то торжественное шествіе. Преданія того времени передаютъ намъ великую поэтическую повѣсть о безпредѣльномъ сочувствіи, пробужденномъ въ народѣ высочайшимъ назначеніемъ Михаила Ларіоновича въ званіе главноначальствующаго въ арміи. Жители городовъ, оставляя всѣ дѣла расчета и торга, выходили на большую дорогу, гдѣ мчалась безостановочно почтовая карета, которой всѣ малѣйшія примѣты заранѣе извѣстны были всякому. Почетнѣйшіе граждане выносили хлѣбъ-соль, духовенство напуществовало предводителю арміи молитвами; окольные монастыри высылали къ нему на дорогу иконовъ съ иконами и благословеніями отъ святыхъ угодниковъ, а народъ, не находя другого средства къ выраженію своихъ простыхъ душевныхъ порывовъ, прибѣгалъ къ старому, радужному обычаю—отпрягалъ лошадей и везъ карету на себѣ. Жители деревень, оставляя сельскія работы (ибо это была пора косы и серпа), сторожили также подъ дорогой, чтобы взглянуть, поклониться и въ избыткѣ усердія поцѣловать горячій слѣдъ, оставленный колесомъ путешественника. Самовидцы рассказывали мнѣ, что матери бѣжали съ грудными младенцами, становились на колѣни и, между тѣмъ какъ старцы кланялись сѣдми головами, онѣ съ безотчетнымъ воплемъ подымали младенцевъ своихъ вверхъ, какъ будто поручая ихъ защитѣ верховнаго воеводы! Съ такой огромной въ него вѣрой, окруженный славой прежнихъ походовъ, прибылъ Кутузовъ къ арміи (стр. 5, 6 и 7).

... «Наканунѣ дня бородинскаго главнокомандующій велѣлъ пронести ее (икону Смоленской Божіей Матери) по всей линіи. Это живо напоминало приготовленіе къ битвѣ Куликовской. Духовенство шло въ ризахъ, кадила дымились, свѣчи теплились, воздухъ оглашался пѣніемъ, и святая икона шествовала. Сама собой, по влеченію сердца, стотысячная армія падала на колѣни и припадала челомъ къ землѣ, которую готова была уплатить до сытости своей кровью. Вездѣ творилось крестное знаменіе, по мѣстамъ слышались рыданія. Главнокомандующій, окруженный штабомъ, встрѣтилъ икону и поклонился ей до земли. Когда началось молебствіе, нѣсколько головъ поднялось кверху и послышалось: «орелъ парить!» Главнокомандующій взглянулъ вверхъ, увидѣлъ плавающего въ воздухѣ орла и тотчасъ

обнажилъ свою сѣдую голову. Близкіе къ нему закричали «ура», и этотъ крикъ повторился всѣмъ войскомъ» (стр. 89).

Да, это было великое зрѣлище, это была картина міровой жизни, непосредственно явившая, волей Божьей, откровеніе вѣчнаго духа жизни, воочію совершившаяся!.. Тутъ являлась личность народа, поглощавшая въ себѣ всѣ частныя личности; всѣ умы были полны одной мыслью, сердца — однимъ чувствомъ и бились въ тактъ, какъ бы то было сердце одного человѣка... Немного подобныхъ минутъ хранить исторія на своихъ завитыхъ страницахъ, но поэтому-то и велики, и священны такія минуты: ихъ не можетъ произвести и устроить воля человѣческая, но онѣ являются сами, какъ разумная необходимость... Скажите, какая была нужда цѣлому народу до одного человѣка—того семидесятилѣтняго вождя съ сѣдой головой и прострѣленнымъ глазомъ? Развѣ онъ былъ тому отецъ, другому братъ, третьему родня дальняя! развѣ онъ могъ того сдѣлать счастливымъ, другому дать денегъ, третьяго исцѣлить отъ неизлѣчимой болѣзни? Нѣтъ! эти люди были ему чужды, какъ и онъ былъ чуждъ имъ; они были для него—все незнакомыя лица, хотя это лицо и было извѣстно имъ развѣ только по портретамъ. Но почему же его лицо распалось на такое множество портретовъ? почему эти портреты всѣмъ извѣстны? Потому что этотъ человѣкъ есть не частное явленіе, а одинъ изъ выразителей сущности народной жизни, одинъ изъ представителей нравственнаго могущества своего народа, не Михаилъ и не Ларіоновичъ, а просто Кутузовъ—имя символическое, изъ собственнаго сдѣлавшееся нарицательнымъ; потому что онъ не случайное выраженіе частной идеи, а необходимо-разумное выраженіе общенародной и человѣчественно-міровой идеи, высшее явленіе высшей дѣйствительности, сынъ не случая, но судьбы... Глубоко замѣчаніе автора «Очерковъ Бородинскаго сраженія», что нуженъ былъ русскій полководецъ съ русскимъ именемъ: подвигъ Барклая-де-Толли великъ, участь его трагически-печальна и способна возбудить негодованіе въ великомъ поэтѣ *); но мыслитель, благословляя память Барклая-де-Толли и благоговѣя передъ его священнымъ подвигомъ, не можетъ обвинять и его современниковъ, видя въ этомъ явленіи разумную и непреложную необходимость... Отчего же

*) «Полководецъ»—одно изъ величайшихъ созданій гениальнаго Пушкина, оканчивающееся слѣдующими стихами:

О, родъ людской, достойный слезъ и смѣха,
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный пѣкъ,
Но чей высокій ликъ, въ грядущемъ поколѣннѣ,
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

изъ всѣхъ русскихъ генераловъ только на Кутузовѣ остановилось вниманіе и довѣренность царя, безсознательно и какъ бы инстинктивно подтвержденныя упованіемъ и вѣрою народа? Здѣсь мы понимаемъ глубокій смыслъ изреченія св. писанія «гласъ Божій — гласъ народа», — изреченія, которое только и понимается въ торжественныя минуты народной жизни, когда исчезаютъ люди и является только народъ.

«Рокоть барабановъ, рѣзкіе звуки трубъ, музыка, пѣсни и крики несвязные (привѣтный кличъ войска Наполеону) слышались у французовъ. Священное молчаніе царствовало въ нашей линіи. Я слышалъ, какъ квартиргеры громко съзвали къ порціи: «Водку привезли: кто хочетъ, ребята! ступай къ чаркѣ!» Никто не шелъ. По мѣстамъ вырвался глубокій вздохъ и слышались слова: «Спасибо за честь! не къ тому изготовились; не такой завтра день!» И съ этимъ многие старики, освѣщенные догорающими огнями, творили крестное знаменіе и приговаривали: «Мать Пресвятая Богородица! помоги постоять намъ за землю!»

Если бы въ книгѣ Глинки не было ни одного изъ тѣхъ достоинствъ, о которыхъ будемъ еще говорить ниже, то за одинъ этотъ фактъ, передаваемый ею во всеобщую извѣстность, она достойна названія народной книги. Никогда явленія духа не бываютъ такъ мистически поразительны, никогда они не производятъ въ душѣ такого живого, яснаго и трепетно-священнаго созерцанія своей таинственной сущности, какъ открываясь чрезъ эти массы самаго низшаго народа, лишеннаго всякаго умственнаго развитія, заглубленнаго отъ низшихъ нуждъ и тяжелыхъ работъ жизни. Солдаты наши требовали сраженія; мысль, что Москва будетъ отдана непріятелю, заставляла ихъ громко роптать, — ихъ, которые, по своему національному духу и Богомъ данному имъ инстинкту истины и здраваго разсудка, всегда отличаются безпредѣльной довѣренностью къ высшей власти и молчаливымъ выполненіемъ ея велѣній. Бородинская битва была дана для нихъ. Скажите, что такое Москва этому грубому солдату, — ему, который никогда не видалъ ея, а только смутно носилъ въ ограниченномъ кругѣ своихъ понятій какую-то безсвязную мысль о ея сорока сорокахъ церквей, ея Кремль и бѣлокаменныхъ палатахъ?.. Почему же мысль о занятіи ея врагомъ тяжелѣе для него всѣхъ смертей?.. Не довольно ли было бы ему ограничиться простымъ и безмолвнымъ выполненіемъ своей обязанности: стать, гдѣ велѣтъ стать, и умереть, гдѣ велѣтъ умереть, не желая и не требуя сраженія, когда «командиры» не хотятъ его, и не называясь, можетъ быть, на вѣрную и неизбѣжную смерть?.. Вотъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что все живетъ въ духѣ и служить духу и сильно однимъ духомъ: и мудрецъ, глубоко проникшій въ сокровенныя

причины вещей, и свѣтскій человѣкъ, имѣющій обо всемъ легкія понятія, и грубый поселанинъ, котораго ограниченный кругозоръ понятій не простирается далѣе низкихъ нуждъ матеріальной жизни. Вотъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что всякій человѣкъ, на какой бы ступени нравственнаго развитія ни стоялъ онъ, не есть какая-то особность, сама по себѣ существующая, но есть живая часть живого цѣлаго, которая страдаетъ, когда страдаетъ цѣлое; которая тотчасъ сознаетъ свое кровное родство съ той общностью, которая есть альфа и омега его бытія, какъ скоро настанетъ для нея торжественная минута... Вотъ наконецъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что человѣческое общество, народъ или государство есть не искусственная машина, механически движущаяся, но живое тѣло, кровь и плоть, одушевляемая духомъ. Мы попросили бы кстаті мудрыхъ вѣка сего доказать намъ, что въ мірѣ есть какая-то матеріальная сила, какой-то человѣческій произволъ, который разсчитанной хитростью побуждаетъ силу духовную, образованность и гений... Мы попросили бы ихъ кстаті объяснить намъ, какъ слѣпая воля человѣческая производитъ явленія, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, непосредственно является самъ Богъ; какъ она собственной силой творитъ возможное только Богу, и насиліемъ производитъ въ грубыхъ массахъ любовь, вдохновеніе, самопожертвованіе, единство цѣлей и стремленій, словомъ — то, что можетъ производить только духъ...

Обратимся собственно къ книгѣ О. Н. Глинки. Она не есть сочиненіе ученое ни въ военномъ, ни въ историческомъ смыслѣ, и не обогатитъ ни военнаго писателя, ни историка новыми фактами. Она даже не имѣетъ достоинства разсказа, въ порядкѣ и картинно-изложеннаго. Сперва авторъ начинаетъ повѣствовать о бородинскомъ дѣлѣ по днямъ (потому что на Бородинскомъ полѣ дрались 23, 24 и 25 августа), потомъ отдѣльно описываетъ собственно бородинское сраженіе, бывшее 26 августа, и, описавъ его коротко въ цѣломъ, начинаетъ описывать его же по часамъ, почему необходимо повторять одно и то же и нѣсколько сбиваетъ строгаго, холоднаго читателя. Но его книга, не будучи ни военной, ни исторической, можетъ назваться поэтической. Если она не впечатлѣетъ въ умъ вашею полной, художественно оконченной, замкнутой картины бородинской битвы, зато она покажетъ вамъ всю поэзію, всю мистическую, таинственную сторону его, дастъ самое вѣрное понятіе о его всемірно-историческомъ значеніи; наведетъ васъ на глубокую, возвышенную думу о человѣчествѣ, о царяхъ и народахъ, вѣкахъ и событіяхъ; вознесетъ

васть въ ту превыспреннюю сферу, гдѣ вашей головы не кружатъ ядовитыя и смрадные испаренія мелкаго эгоизма, жалкихъ заботъ о своей личности и низкихъ нуждъ жизни; возведетъ васъ на ту высокую гору, съ которой исчезаетъ все мелкое и ежедневное, все частное и случайное, но видятся только народы и царства, цари и герои — помазанники и избранники Божіи, своей судьбой осуществляющіе довременныя судьбы міра, отъ вѣка починавшія въ лонѣ божественной идеи... Изъ книги Ѳ. Н. Глинки вы не узнаете бородинской битвы въ стратегическомъ отношеніи, но вы узнаете, что съ тѣхъ поръ какъ люди начали между собой войну, еще не было такой битвы не на жизнь, а на смерть, гдѣ частныя сшибки производились массами, которыя въ прежнія и еще недавнія времена почитались страшными арміями, гдѣ на тѣсномъ пространствѣ гремѣло непрерывно 1.700 орудій, дрались отчаянно 300.000 человекъ; гдѣ умирающіе дорѣзывали оружіемъ, добивали кулакомъ, догрызали зубами умирающихъ подлѣ нихъ враговъ, гдѣ допались орудія и взрывались зарядные ящики, воздухъ былъ — дымъ и огонь, рукопашный бой и натискъ непріятельской кавалеріи считались отдыхомъ за прекращеніемъ адскаго дѣйствія непріятельской артиллеріи; гдѣ безъ отдыха дрались пятнадцать часовъ, и гдѣ наконецъ осталось 29,999 труповъ; вы узнаете, что это была битва гомерическая, гдѣ каждый дѣйствовалъ какъ бы отъ себя, дрался за свое личное дѣло, за свою личную обиду, гдѣ отдѣльно подвизались и огнедышавшій Ней, и левъ русской арміи — Баграціонъ, и гарцующій Мюратъ, и русскій Баярдъ — Милорадовичъ, и Коновницыны, и Тучковы, и гдѣ Барклай-де-Толли, сей

...устарѣлый вождь какъ ратникъ молодой, Свинда веселый свистъ слышавшій впервые, Бросался онъ въ огонь, ища желанной смерти; — Вотще!..

гдѣ спокойно, орлинымъ взоромъ слѣдилъ за судьбою битвы тотъ престарѣлый вождь, на священной сѣдинѣ котораго лежало спасеніе Россіи; гдѣ не разъ погружался въ думу и недоумѣніе сызъ судьбы, «могучій баловень побѣдъ», и въ первый разъ оказалъ несвойственную ему нерѣшительность и опустилъ нѣсколько драгоцѣнныхъ мгновеній... Въ книгѣ Ѳ. Н. Глинки вы найдете живой кистью начертанные портреты героевъ битвы, и мастерски набросанныя отдѣльныя ея картины и очерки.

По приведеннымъ выше образчикамъ читатели могутъ безошибочно судить о благородной простотѣ и поэтической живости слога, равно какъ и о важности книги Ѳ. Н. Глинки для русской публики. Это книга народная, въ полномъ значеніи этого слова, потому что при

великой важности содержанія она всѣмъ равно доступна. Теперь, когда русскіе уже не стыдятся, но гордятся быть русскими; теперь, когда знакомство съ родной славой и роднымъ духомъ сдѣлалось общей потребностью и общей страстью, стыдно русскому не имѣть книги Ѳ. Н. Глинки, единственной книги на русскомъ языкѣ, въ которой одинъ изъ величайшихъ фактовъ отечественной славы разсказанъ такъ живо, увлекательно и такъ общедоступно! Но книга Ѳ. Н. Глинки, при большихъ достоинствахъ, не чужда и нѣкоторыхъ недостатковъ, которые долгомъ почитаемъ замѣтить, въ надеждѣ, что почтенный авторъ, при второмъ изданіи своего прекраснаго сочиненія, — изданіи, которое вѣроятно скоро потребуетъ, не оставитъ воспользоваться нашими замѣчаніями, если найдетъ ихъ справедливыми. Въ цѣломъ его сочиненіи мы желали бы видѣть больше единства и послѣдовательности въ изложеніи событія, и меньше дробности и разнообразія въ манерахъ и приемахъ разсказывать. Равнымъ образомъ намъ очень непріятно, что благородная простота слова автора «Очерковъ Бородинскаго Сраженія» иногда пятнается то изысканными и натянутыми сравненіями, какъ напримѣръ «сшибающихся рядовъ съ разбивающимся стекломъ», потомъ «съ рабочей храниной химика», сравненіями, которыя, нисколько не поясняя сущности дѣла, только затемняютъ его; то изысканными и натянутыми выраженіями, какъ напр. приурочить, вмѣсто отнести или присоединить, и другихъ тому подобныхъ; въ одномъ мѣстѣ мы даже встрѣтили слово «объективный», совершенно неумѣстно употребленное, и потому неимѣющее никакого значенія. Но что всего непріятнѣе и досаднѣе въ «Очеркахъ», это мѣста, выдающія ложный, разсудочный и виѣшній мистицизмъ, который видитъ таинство не въ сущности идеи, а въ случайныхъ столкновеніяхъ обстоятельствъ, случайномъ числѣ какомъ-нибудь. Напримѣръ, прекрасно сравнивая Кутайсова съ паладиномъ среднихъ вѣковъ, авторъ подтверждаетъ это сравненіе тѣмъ, что сраженіе при Креси происходило 26-го же августа, въ которое палъ Кутайсовъ. Потомъ замѣчаетъ, что въ бородинскомъ боищѣ участвовало съ обѣихъ сторонъ шесть Михайловъ, какъ будто Михаилъ было имя привилегированное, и число шесть сколько-нибудь относилось къ сущности дѣла или посылало его.

Мы сказали, что книга Ѳ. Н. Глинки есть единственная народная книга о бородинскомъ сраженіи, разумѣя подъ этимъ ея чисто литературный характеръ и нисколько не думая давать ей преимущество передъ учеными сочиненіями объ эпохѣ XII года генераловъ Михайловскаго - Данилевскаго, Бутурлина и другихъ военныхъ писателей.

Но, можетъ быть, многіе изъ читателей упрекнутъ насъ въ томъ, что въ критикѣ «Очерковъ Бородинскаго Сраженія» большее мѣсто заняли выводы и разсужденія о народахъ, нежели взглядъ на самую битву бородинскую, подавшую къ нимъ поводъ... Всякое явленіе можетъ быть разсматриваемо съ двухъ сторонъ—со стороны идеи, выражаемой имъ, и со стороны самаго выраженія идеи. Но какъ основаніе и сущность всякаго явленія заключаются въ идеи, выражаемой имъ, то самое выраженіе (фактъ) не можетъ быть понятно, когда разсматривается само по себѣ, внѣ скрывающейся въ немъ мысли. Критика есть сознаніе общихъ законовъ частнаго явленія, разсматриваемаго ею: слѣдовательно идеи, какъ первообразы вѣчныхъ и переходящихъ законовъ разума, должны быть ея главнымъ и исключительнымъ предметомъ, а само явленіе (фактъ) должно служить ей только средствомъ для приложенія общихъ законовъ къ частному явленію. Подробности о бородинской битвѣ читатели найдутъ въ самихъ «Очеркахъ», слѣдовательно пересказывать ихъ отъ лица критика—лишній трудъ, когда дѣло идетъ о книгѣ литературной и общепонятной, а пересказывать ихъ отъ лица автора—значило бы наполнить статью выписками и, по примѣру нѣкоторыхъ критиковъ, легкимъ образомъ блистать чужимъ умомъ и на чужой счетъ. Поэтому намъ хотѣлось дать читателямъ нашу точку зрѣнія на бородинскую битву, не какъ на случайное явленіе безъ начала и конца, безъ причины и слѣдствія, но какъ на необходимое проявленіе народной жизни, какъ на непосредственное осуществленіе и откровеніе воли Божіей, и тѣмъ указать на мистическую и таинственную сущность этого великаго событія, — а этого нельзя было иначе сдѣлать, какъ отправившись отъ первоначальной идеи, всепроизводящей и всеизжидущей изъ собственной творящей силы. Мы думаемъ и убѣждены, что уже проходитъ въ нашей литературѣ время безотчетныхъ возгласовъ съ «ахами» и восклицательными знаками и точками для выраженія глубокихъ идей безъ всякаго смысла; что проходитъ уже время великихъ истинъ, съ диктаторской важностью изрекаемыхъ, и ни на чемъ не основывающихся, ничѣмъ не подтверждающихся, кромѣ личнаго мнѣнія и произвольныхъ понятій мнимаго мыслителя. Публика начинаетъ требовать не мнѣній, а мысли. Мнѣніе есть произвольное понятіе, основанное на поговоркѣ: «мнѣ такъ кажет-

ся»; какое же дѣло публикѣ до того, что и какъ кажется тому или другому господину?.. Притомъ одинъ и тотъ же предметъ одному кажется такъ, другому иначе, а большей части обыкновенно вверхъ ногами. Вопросъ не въ томъ, какъ кажется, а въ томъ — какъ есть въ самомъ дѣлѣ, и этотъ вопросъ можетъ рѣшаться не мнѣніемъ, а мыслью. Мнѣніе опирается на случайномъ убѣжденіи случайной личности, до которой никому нѣтъ дѣла, и которая сама по себѣ — очень неважная вещь; мысль опирается на самой себѣ, на собственномъ внутреннемъ развитіи изъ самой себя, по законамъ логики. Давно уже прошло то блаженное время, когда разобрать критически художественное произведеніе значило разобрать нѣкоторыя фразы, или удачно составленные, или погрѣшающія противъ языка; теперь безвозвратно проходить и то блаженное время, когда непризванный критикъ, какъ бы издѣваясь надъ публикой, объявилъ, что личныя ощущенія—высшій критеріумъ изящнаго, и сказавъ, что то или другое сочиненіе «принадлежитъ къ лучшимъ явленіямъ литературнаго года», что оно «ему очень понравилось», что онъ «многое прочелъ въ немъ съ особеннымъ наслажденіемъ»,—сказавъ это въ десяти строкахъ, дѣлалъ десять или двадцать страницъ выписокъ и смѣло, крупными литерами, ставилъ въ заглавіи этихъ выписокъ громкое слово «критика». Да, безвозвратно проходить уже пора, такъ сказать, мороченья публики подобными шутками. Достоинство и важность мысли начинаютъ признаваться всѣми. Что касается лично до насъ, мы такъ глубоко убѣждены, что истина не въ людскихъ «мнѣніяхъ», не въ личныхъ убѣжденіяхъ, а только въ мысли, что если бы въ опроверженіе этого указали на наши собственные статьи, мы скорѣе бы согласились въ томъ, что или тѣ, которымъ онѣ кажутся недоказательными, не доросли ни до потребности, ни до пониманія «мысли», или что, въ самомъ дѣлѣ, въ нашихъ статьяхъ заключаются причины ихъ недоказательности,—тѣмъ согласиться въ томъ, чтобы могущество и очевидность истины заключались не въ «мысли». Во всякомъ случаѣ, «Отечественныя Записки» старались и будутъ стараться удовлетворить по возможности общей потребности идеи, предоставляя другимъ угощать публику «своими мнѣніями», если только публикѣ въ самомъ дѣлѣ большая нужда знать, каковы мнѣнія у «сего» или «этого» господина, такъ называемаго критика.

Менцель, критикъ Гёте.

Главный недостатокъ критики Менцеля, какъ мнѣ кажется, состоитъ въ подчиненіи поэзіи и вообще словесности политикѣ или даже понятіямъ и духу политической партіи. Менцель — депутатъ оппозиціонной стороны. Этимъ объясняются его строгіе приговоры Іонну Мюллеру, Гегелю, Гёте и др.; отъ этого же происходятъ оппозиціонный духъ его книги, и пр.

В. К., переводчикъ книги
Менцеля.

Менцель есть собственное имя одного человѣка, сдѣлавшееся нарицательнымъ, каковы на примѣръ имена Ира, Фарсиса, Креза, Зоиля и т. п. Это обстоятельство придаетъ большую и важную значительность Менцелю, какъ представителю цѣлаго разряда людей, которые были и до него, есть еще и теперь, и, къ сожалѣнію, будутъ всегда. Такъ на примѣръ, какое-нибудь пошлое, ничтожное, пустое лицо дѣлается многозначительнымъ и реальнымъ въ художественномъ произведеніи, какъ выражающее собой цѣлую сторону дѣйствительной жизни, представляющее своей индивидуальностью цѣлый разрядъ, цѣлую толпу индивидуумовъ одной и той же идеи. Это подало намъ поводъ поговорить о Менцелѣ, какъ о представителѣ критиковъ извѣстнаго рода, не обращая вниманія на частности и подробности, относящіяся къ его лицу или исключительно къ нѣмецкой литературѣ. Года съ полтора назадъ тому сочиненіе Менцеля о нѣмецкой литературѣ явилось въ прекрасномъ русскомъ переводѣ, съ выпускомъ всего, собственно неотносящагося къ литературѣ. Такъ какъ, говоря о Менцелѣ, мы хотимъ говорить о критикѣ, имѣя въ виду собственно русскую публику, — то и возьмемъ этотъ переводъ за фактъ, за данное для сужденія, чтобы каждый изъ нашихъ читателей самъ могъ быть судьей въ этомъ дѣлѣ. Во всякомъ случаѣ, предлагаемая статья отнюдь не есть разборъ книги Менцеля, но скорѣе разсужденіе или трактатъ объ отношеніяхъ критики вообще къ искусству, по поводу извѣстнаго рода критическаго направленія, котораго представитель — Менцель.

Слава — вещь обольстительная, и къ ней одинъ путь. Но многіе смѣшиваютъ славу съ извѣстностью, и съ этой точки зрѣнія пути къ ней умножаются до безконечности. По настоящему, слава есть видное понятіе извѣстности, а извѣстность относится къ славі, какъ родъ къ виду. Гомеръ извѣстенъ чело-

вѣчеству своимъ творческимъ гениемъ, Зоиль — ограниченностью и низостью своего духа въ дѣлѣ творчества, Крезъ — богатствомъ, Иръ — бѣдностью, Парисъ — красотой, Фарисъ — безобразіемъ. Можно сдѣлаться извѣстнымъ всему свѣту — умомъ и глупостью, благородствомъ и подлостью, храбростью и трусостью. Чтобы обезсмертить себя въ потомствѣ, великій художникъ, на диво міру, создалъ въ Эфесѣ великолѣпный храмъ «златолунной» Артемиды; чтобы обезсмертить себя въ потомствѣ, Геростратъ сжегъ его. И оба достигли свой цѣли; имена обоихъ безсмертны, но съ той только разницей, что одно извѣстно и славно, а другое только извѣстно. Слава есть патентъ на величіе, выдаваемый цѣлымъ челоуѣчествомъ одному челоуѣку, великимъ подвигомъ доказавшему свое величіе; извѣстность есть внесеніе имени въ полицейскій реестръ, въ которомъ записываются вседневныя событія, выходящія изъ порядка обыкновенности и ежедневности. Слава всегда есть награда и счастье; извѣстность часто бываетъ наказаніемъ и бѣдствіемъ.

Къ числу извѣстныхъ людей, претендующихъ на славу, принадлежитъ нѣмецъ Менцель. Имя его извѣстно въ Германіи, Англіи, Франціи, Россіи, и еще недавно почитался онъ главой партіи, одинъ изъ представителей Германіи, имѣлъ послѣдователей, хвалителей, даже враговъ, безъ которыхъ слава — не слава и извѣстность — не извѣстность. Конечно теперь этотъ славный господинъ Менцель не больше, какъ жаркій представитель устарѣвшихъ мнѣній, который на ихъ развалинахъ, съ ожесточенной дерзостью, отстаиваетъ свое эфемерное и мишурное величіе, символъ эстетическаго безвкусія, челоуѣкъ, имя котораго — литературное порицаніе, какъ имя какого-нибудь Зоила, но тѣмъ не менѣе у него все-таки была своя апогея славы. Какимъ же образомъ приобрѣлъ онъ эту славу? Видите ли: онъ издавалъ журналъ, а журналъ есть вѣрное средство прославиться для челоуѣка дерзкаго, безстыднаго и ловкаго. Представься только ему случай захватить въ свои руки журналъ, — и слава его сдѣлана. Путь и средствъ много, и они разнообразны до безконечности; но главное тутъ — хорошо начертанный планъ и неукоснительная вѣрность ему во всѣхъ дѣйствіяхъ до малѣйшихъ подробностей. Основой же непремѣнно должна быть посредственность, которая всѣмъ по плечу, всѣмъ нравится, всѣмъ ластится и слѣдовательно овладѣваетъ массами и тол-

пами, возбуждая негодованіе только въ нѣкоторыхъ — не званыхъ, а избранныхъ. Но какъ этихъ «избранныхъ» можетъ удовлетворить только сила, основывающаяся на талантѣ, гениі, умѣ, знаніи, и какъ число этихъ «избранныхъ» такъ ограничено, что не можетъ принести обильную жатву подписки,—то о нихъ нечего и думать; толпа любитъ посредственность, и посредственность должна угождать толпѣ. Для этого ловкій журналистъ долженъ исключительно выбирать только посредственность. Этого народа много, да онъ и сговорчивъ. Мнѣнія журнала, который имъ хорошо платитъ и еще лучше ихъ хвалитъ,—всегда будутъ ихъ кровными и душевными мнѣніями—до первой ссоры, которая всегда бываетъ при первой кости. Смотрите же, не жалѣйте похвалъ: надо, чтобы въ вашемъ журналѣ все участвовали гениі да великіе таланты—иначе вашего журнала не будутъ ни уважать, ни покупать. Въ выборѣ не затрудняйтесь: чѣмъ безалащнѣе, тѣмъ лучше для васъ—лишь бы не былъ чуждъ нѣкотораго внѣшняго смысла, лоска, блеска, которые толпа всегда принимаетъ за гениальность, потому что ей они по плечу, и она ихъ понимаетъ,—а что для нея понятно, то и велико. Вотъ идетъ къ вамъ «поэтъ», который можетъ вдохновляться на подрядъ и къ каждому номеру журнала, съ точностью и аккуратностью, поставить какое вамъ угодно число элегій, одъ и даже мистерій; хватайтесь за него обѣими руками: это для васъ кладъ, и скорѣе кричите, что этотъ «юный гениі», произведеніями котораго «постоянно» украшается вашъ журналъ, счастливо избралъ себѣ дорогу близехонько, о-бокъ дороги напрямѣръ какого-нибудь Гёте и совершенно можетъ замѣнить для вашихъ читателей великаго германскаго поэта, котораго ваши читатели бранятъ за «непонятливость». Ежели въ твореніяхъ вашего Гёте часто будетъ недоставать даже и внѣшняго смысла—не бѣда: поправляйте сами, обглаживайте и сглаживайте; это ремесло нетрудное. Является молодой талантѣкъ или иное дарованье съ драмой или другимъ чѣмъ и обращаетъ на себя нѣкоторое вниманіе публики: захвалите его въ пухъ, не жалѣйте чернилъ и гиперболю, кричите: «я упалъ на колѣни передъ NN, воскликнулъ: великій Гёте! великій NN!» Если этотъ NN вздумаетъ послѣ вздернуть носъ, забывши, что онъ сталъ великимъ черезъ васъ, и это не бѣда: напишите притчу, апологъ объ отогрѣтой за пазухой змѣѣ, о «человѣкѣ съ умомъ на двѣ страницы», который для потѣхи кинулъ въ форточку окна славу первому прохожему... Будьте увѣрены, что г. NN снова будетъ въ вашихъ ежовыхъ рукавицахъ и самъ придетъ съ поклономъ: тогда скажите, что вы

пошутили, или что вы говорили совсѣмъ не о немъ, а о другомъ. Толпа, разумеется, найдетъ васъ не пошлымъ, а только забавнымъ; а кто ее забавляетъ, тому она не скуится платить. Что касается до повѣстей, не забывайте одного: заказывайте «забавныя»,—такія, которыя не всѣми читаются явно, о которыхъ не при всѣхъ говорится вслухъ, да велите доставлять себѣ ихъ рукописи съ большими полями и пробѣлами между строкъ, чтобы вамъ было гдѣ подбавлять своего «юмора» и своихъ «забавныхъ» картинъ; благословясь, черкайте, крестите, вписывайте свое, а главное—не робѣйте ни отъ какой плоскости, ни отъ какой неприличности, помня, что у Поль-де-Кока несравненно больше читателей, чѣмъ у Вальтеръ Скотта. Кстати, чтобы авторитетъ Вальтеръ Скотта не помѣшалъ успѣху вашихъ «забавныхъ» повѣстей, объявите, что историческіе романы великаго британца дурны и пошлы, потому что они—незаконный плодъ отъ соединенія исторіи съ вымысломъ, или выразитесь какъ-нибудь этакъ, позатѣйливѣе и «позабавивѣе». Если кто-нибудь изъ вашихъ абонированныхъ нувелистовъ будетъ такъ смѣлъ и дерзокъ, что осмѣлился издать всѣ свои повѣсти, помѣщавшіяся въ вашемъ журналѣ въ ихъ первобытномъ видѣ, безъ вашихъ поправокъ и передѣлокъ, и черезъ то лишитъ ихъ многого «забавнаго», разругайте ихъ безпощадно, а для тѣхъ, которые помнятъ, что читали ихъ въ вашемъ журналѣ, скажите, что въ немъ онѣ были «отлично хороши», хотя написаны и дурно, и что это отъ того, что у васъ есть волшебная машина, въ которую вы положите дурную повѣсть, а, повернувъ ключикомъ, вынимаете оттуда хорошую, т.-е. «забавную». Толпа расхохочется, ибо найдетъ это объясненіе «забавнымъ», а слѣдовательно и вполне удовлетворительнымъ для себя. Въ вашемъ журналѣ непременно должна быть критика, потому что критику любятъ и требуютъ отъ журнала. Истинная критика требуетъ мысли, а толпа любитъ «забавляться», а не мыслить, и потому вмѣсто «истинной» критики создайте «забавную» критику. Для этого объявите, что изящное есть понятіе совершенно условное и относительное, а отнюдь не абсолютное (ужасное слово для толпы!), что оно зависитъ отъ условія климата, страны, народа, cadaго человѣка, его пищеваренія, здоровья и подобныхъ «непредвидѣнныхъ» обстоятельствъ. Скажите, что въ искусствѣ хорошо то, что вамъ нравится, и худо то, что вамъ не доставляетъ удовольствія. Вамъ замѣтатъ: какое же вы имѣете право называть превосходнымъ произведеніемъ то, что, по условію личности cadaго, многимъ покажется совсѣмъ не превосходнымъ, а для иныхъ и со-

вершенно дурнымъ? Отвѣчайте: я правъ и они правы, у всякаго де барона своя фантазія. Такая критика очень легка и нравится толпѣ, которая вообще любитъ все, что въ ровень съ ней и не оскорбляетъ ея маленькаго самолюбія своей «непонятливостью». Побольше фразъ отъ себя, и еще больше выписокъ изъ будто бы критикуемаго вами сочиненія, и у васъ въ одинъ вечеръ готово десять «забавныхъ» критикъ, которые поправятся тысячамъ и оскорбятъ десятки, тогда какъ иногда мало десяти вечеровъ, чтобы написать «истинную» критику, которая удовлетворитъ десятки и оскорбитъ тысячи. Тонъ «забавной» критики непременно долженъ быть рѣзкій, наглый, нахальный: иначе толпа не будетъ вамъ вѣрить. Когда разбираете книгу автора чужого прихода или челоѣка, котораго вы не любите, боитесь, или другое что, дѣлайте изъ его книги выписки такихъ мѣстъ, какихъ въ его книгѣ нѣтъ, приписывайте ему такія мнѣнія, которыхъ онъ и не думалъ имѣть, словомъ, клеветайте, но только смѣйте и рѣшительнѣе: толпа того и слушаетъ, тому и вѣритъ, у кого горло широко и замашки наглѣе. Не забываете при этомъ чаще говорить о своей добросовѣстности, благонамѣренности, объ уваженіи къ собственной личности, недопускающемъ васъ до неприличныхъ браней и полемики, о своихъ талантахъ и другихъ похвальныхъ качествахъ вашего ума и сердца; о своихъ соперникахъ кричите, что они и глуны, и безталантны, и недобросовѣстны, а главное, что они завидуютъ вамъ, какъ всѣ посредственные люди завидуютъ генію. Возьмите девизомъ своимъ «смѣлость города беретъ»—и будьте увѣрены, что всѣ карманы сдадутся вашей «смѣлости».

Есть еще другой способъ къ приобритенію журнальной славы, котораго частью можно держаться и при первомъ, но который иногда и одинъ доводитъ до цѣли: это нападать на утвержденныя понятія, на утвержденныя авторитеты и славы. Толпу иногда можно запугать, чтобы заставить удивляться себѣ. Скажите толпѣ дикую рѣзкость и, не дожидаясь ея отвѣта и не давая ей придти въ себя отъ первой рѣзкой нелѣпости, говорите другую, третью, и говорите съ увѣренностью въ непреложности своихъ мыслей, смотрите на толпу прямо, во всѣ глаза, не мигая и не моргая. Напримѣръ слава Пушкину въ своей апогеѣ и все передъ нимъ на колѣняхъ: начните «ругать» его въ буквальномъ значеніи этого слова, и говорите, что его произведенія мелки и ничтожны, хотя и не лишены блескъ таланта, вѣшной отдѣлки и т. п. Вы думаете, что трудно сдѣлать? Ничего не бывало, только больше смѣлости. Разверните напримѣръ хоть «Полтаву»: выпишите сло-

ва измѣнника Мазепы о Петрѣ Великомъ и воскликните: «каковъ портретъ Петра!», какъ будто такимъ изобразилъ самъ поэтъ отъ своего лица; слова Мазепы же о Карлѣ XII тоже выдайте за портретъ, начерченный самимъ поэтомъ, и рѣшите, что всѣ характеры въ поэмѣ лишены всякаго величія. Толпа не будетъ справляться и повѣритъ вамъ на слово. Выкупите себѣ какой-нибудь странный, полу-славянской дикій языкъ, который бросался бы въ глаза своей калейдоскопической пестротой и казался бы вполне оригинальнымъ и глубоко-таинственнымъ: она, пожалуй, сдѣлаетъ видъ, что и понимаетъ его, стыдась сознаться въ своемъ невѣжествѣ. Вотъ вы уже и поколебали авторитетъ Пушкина; идите дальше и утверждайте, что Байронъ и Гёте—не истинные художники, ибо де они на алтарь чистыхъ дѣвъ (т.-е. музъ, которыхъ Тредьяковскій называлъ мусами) немовенными руками возлагали возгребія нечистыя и уметы поганые, которые доставали они изъ возкрай лужи и т. п. Но вотъ проходитъ время, а съ нимъ и ложь: образъ Пушкина является въ новомъ и еще лучезарнѣйшемъ свѣтѣ; Байрона и Гёте уже никто не ругаетъ,—а вамъ что? вы свое сдѣлали, карманъ вашъ обезпеченъ, а притомъ вы исподтишка искусно можете запѣть новую; старая забыта, и вы уже на кредитъ пользуетесь славой «отлично-умнаго челоѣка».

А вотъ чудесное средство противъ враговъ; оно въ большемъ употребленіи въ Парижѣ, этомъ городѣ партій и подкоповъ всякаго рода. Мы говоримъ о публичныхъ лекціяхъ. Это одно изъ надежныхъ средствъ уронить репутацію даже журнала, не только писателя. О чемъ больше всего и вездѣ читаются публичныя лекціи?—Разумѣется, о словесности и языкѣ, потому что ни объ одномъ предметѣ нельзя такъ много говорить общихъ мѣстъ и учить другихъ, не учась ничему и ничего не зная. Извѣстно, что парижане—большіе охотники до всего публичнаго и любятъ позвѣвать на всякое зрѣлище; вотъ они отъ нечего дѣлать и идутъ посмотреть фокусовъ-покусовъ какого-нибудь говоруна, на кредитъ пользующагося извѣстностью «отлично-умнаго челоѣка». Зала публичнаго чтенія не университетская аудитория: въ ней собираются не слушать, а слышать, чтобы потомъ не подуматъ, а поболтать въ обществѣ. Поэтому ловкій «лекторъ» избѣгаетъ всего, въ чемъ есть мысль, и хлопочетъ только о словахъ. Вотъ онъ беретъ книгу непріязненнаго ему писателя, выбираетъ изъ нея нѣсколько фразъ, которыхъ не понимаетъ, потому что эти фразы состоятъ не изъ общихъ мѣстъ, составляющихъ насущный хлѣбъ цѣлой его жизни, и выражаютъ со-

бою мысль, требующую для своего пониманія ума и чувства. Сверхъ того въ фразахъ могутъ встрѣтиться слова, которыхъ не слышалъ лекторъ, учившійся какъ-нибудь и чему-нибудь на желзныя гроши,—и вотъ онъ читаетъ эти фразы, какъ образецъ галиматии и искаженія языка. Толпа вездѣ весела, въ Парижѣ особенно,—и вотъ она смѣется и рукоплещетъ своему лектору. Но горе книгѣ, если въ вырванныхъ изъ нея фразахъ заключается не только мысль, но еще и новая мысль, выраженная новымъ словомъ или новымъ терминомъ!.. Какое ей дѣло до того, что въ языкѣ и образѣ выраженія осмѣянной болтуномъ книги можетъ быть уже занимается заря новой эпохи литературы, новыхъ понятій объ искусствѣ, новаго взгляда на жизнь и науку? Какое дѣло до того, что тотъ, чью литературную репутацію силится запятнать лекторъ, приносилъ людямъ плодъ горячаго восторга, безкорыстной любви къ истинѣ,—то, что переживалъ и перемыслилъ онъ, чѣмъ живетъ его душа, чѣмъ бьется его сердце?.. Болтунъ прочелъ двѣ-три фразы изъ его статьи, прочелъ, разумѣется, съ искаженіемъ смысла, съ фарсами и гримасами, и въ заключеніе прибавилъ: «право, боюсь вамъ, это галиматія!» и толпа рада вѣрить ему: она было заснула отъ одной необходимости слушать, и ее вдругъ будятъ такимъ милымъ и забавнымъ фарсомъ: какъ же ей не смѣяться!.. Да ей надо смѣяться уже изъ одной благодарности, что ее выводятъ изъ тяжелаго и страннаго положенія дѣлать серьезную мину... Въ Парижѣ всѣ говорятъ *bons-mots*, даже записные глупцы; черезъ *bons-mots* тамъ приобретаютъ славу, черезъ *bons-mots* и теряютъ ее. Нерѣдко честь и доброе имя зависятъ тамъ отъ *bons-mots* какого-нибудь записного бонмотиста... Таковъ уже городъ Парижъ!..

Менцель перепробовалъ всѣ эти способы добывать журналомъ и «лекціями» славу себя и дѣлать вредъ своимъ врагамъ. Онъ сочинялъ выписки изъ разбираемыхъ книгъ, приписывалъ своимъ противникамъ мнѣнія, которыхъ они и не думали имѣть, раздавалъ вѣнцы славы и безсмертія людямъ бездарнымъ, гаерствовалъ и клеветалъ на гения, таланты и всякаго рода заслугу, и всякаго рода силу, и всякаго рода достоинство. Но главная причина его позорной извѣстности—дерзкіе и наглые нападки на Гёте. Онъ прицѣпился свое маленькое имячко къ великому имени поэта, какъ въ баснѣ Крылова паукъ прицѣпился къ хвосту орла,—и мощный орелъ вознесъ его на вершину опоясаннаго облаками Кавказа... Но съ нимъ кончилось, какъ съ паукомъ: пахнулъ вѣтеръ—и бѣдный паукъ опять очутился на низменной

долинѣ, а орелъ взмахнулъ широкими крыльями, съ горныхъ громадъ гордо и отважно ринулся въ знакомыя ему безбрежныя пространства эира... Менцель теперь явился въ Россіи въ прекрасномъ переводѣ, за который русская литература должна быть весьма благодарна переводчику. Въ самомъ дѣлѣ, пора намъ взглянуть прямо въ лицо этому пресловутому мужу, котораго имя еще обаятельно дѣйствуетъ у насъ на нѣкоторыхъ, и къ которому еще недавно кто-то простеръ братскія объятія за то, что онъ нападаетъ на Гегеля, Гёте и Мюллера... *Les beaux esprits se rencontrent!*.. Всѣ другіе русскіе журналы холодно и грубо приняли незваного гостя, хотя и сами себѣ не могли отдать отчета въ своей враждебности къ нему. Пора перестать основываться на безотчетномъ чувствѣ, пора мыслить сознательно.

Разумѣется, что въ Менцелѣ нельзя отрицать и нѣкоторой заслуги, которая состояла въ преслѣдованіи пошлой нѣмецкой сентиментальности и другихъ дурныхъ сторонъ нѣмецкой литературы, которыя онъ преслѣдовалъ рѣзко и дерзко. Но побить нѣсколько дрянныхъ романовъ и хотя множество глупыхъ книжонокъ—еще не великое дѣло,—и если бы подобно хорошіе рецензенты плохихъ книгъ могли претендовать на гениальность, то Европа не обобралась бы гениями, какъ грибами послѣ дождя. Чтобы хорошо писать о дурныхъ книгахъ, нужна начитанность, нѣкоторая литературная образованность, нѣсколько вкуса и изощренной навѣкомъ способности владѣть языкомъ; но чтобы хорошо писать о книгахъ умныхъ и сочиненіяхъ ученыхъ, нужно имѣть глубокую натуру, развитую ученіемъ и мыслью, и даръ слова отъ природы. Но натура Менцеля очень мелка, умъ ограниченъ, а учился онъ на мѣдныхъ деньги, почерпнувъ свои свѣдѣнія изъ журналовъ,—а между тѣмъ пустился судить и ридить о предметахъ, выходящихъ изъ ограниченного круга доступныхъ ему идей,—именно объ искусствѣ и наукѣ, о Гёте и Гегелѣ. Въ маленькихъ дѣлахъ онъ былъ великъ, а на великія его не стало. Нашлись люди, которые указали ему его мѣсто; онъ разсердился на нихъ и сталъ вымещать на Гёте и Гегелѣ. Къ оскорбленному и раздраженному самолюбію присоединились нѣкоторые одностороннія убѣжденія, которымъ ограниченные люди всегда предаются фанатически, не столько по любви къ истинѣ, сколько по любви и высокому уваженію къ самому себѣ.—Это явленіе общее—и вотъ съ какой точки зрѣнія имя Менцеля есть имя нарицательное, понятіе родовое. Взглянемъ на эти одностороннія убѣжденія ограниченнаго человѣка.

Есть особый родъ сердобольныхъ людей,

которые болѣе занимаются другими, нежели самими собою, а потому всегда несчастны, всегда обременены хлопотами и заботами. Имъ кажется, что и въ мірѣ все идетъ худо, и что отечество ихъ вотъ сейчасъ готово погибнуть жертвою превратнаго хода дѣлъ, а вслѣдствіе такого взгляда на вещи имъ кажется, что они призваны и міръ исправить, и отечество спасти, — для чего тому и другому нужно только повѣрить ихъ мудрости и неуклонно выполнить ихъ совѣты. Для этихъ маленькихъ великихъ людей государство не есть живой организмъ, котораго части находятся въ зависимомъ другъ отъ друга взаимодействіи, котораго развитіе и жизнь условливаются непреложными законами, въ его же сущности заключенными; для нихъ государство не есть живая, индивидуальная личность, сама по себѣ и сама для себя сущая, имѣющая свою свободную волю, которая выше воли частныхъ лицъ; для нихъ государство не имѣетъ ни почвы, ни климата, ни географіи, ни исторіи, ни прошедшаго, ни настоящаго; для нихъ оно не есть живое осуществленіе довременной божественной идеи, ставшей по возможности явленіемъ и стремящейся развиться изъ самой себя во всей своей безконечности; для нихъ не существуетъ міродержавнаго Промысла, который управляетъ судьбами царствъ и народовъ и, въ разумно-свободной необходимости, указываетъ на путь, его же не преидеши... Нѣтъ! для этихъ маленькихъ великихъ людей государство есть искусственная машина, которую по произволу можетъ вертѣть всякій маленький великій человекъ. Они осуждаютъ Петровъ и Наполеоновъ, съ важностью указывая на ихъ ошибки и не шутя давая знать, что на мѣстѣ этихъ впрочемъ дѣйствительно великихъ людей они бы не сдѣлали такихъ промаховъ. Они говорятъ: Петръ сдѣлалъ тогда-то вотъ то-то, между тѣмъ какъ ему слѣдовало бы въ то время сдѣлать вотъ это; они говорятъ, что Наполеонъ палъ потому, что не стоялъ за права человѣчества, а думалъ только о своей личной власти. Жалкіе слѣпы! Петръ сдѣлалъ именно то, для чего послалъ его, что поручилъ ему Богъ, — ему, своему посланнику и помазаннику свыше; онъ угадалъ волю духа времени, и не свою, а волю пославшаго его выполнилъ онъ, — потому-то онъ и великій человекъ. Только маленькіе великіе люди таращатся выполнить свою случайную волю: воля великихъ людей всегда совпадаетъ съ волей Божіей, которой и сильны они, которой и удаются имъ дѣла ихъ. Наполеонъ палъ потому же, почему и всталъ: та же могучая десница низвергла, которая и вознесла его. Онъ совершилъ свою миссію — и палъ не отъ слабости, а отъ тяжести своей силы, которая уже не находила болѣе для себя

дѣла. Смѣшны и жалки эти великіе маленькіе люди!.. Вообразите себѣ сумасшедшаго, котораго разстроенному воображенію представляется, что вотъ облака упадутъ на землю и подавятъ ее, вотъ огнедышащее солнце спалитъ своими лучами все живущее на ней, вотъ зима истребитъ его своимъ губительнымъ холодомъ... Напрасно солнце утромъ восходитъ въ такомъ торжественномъ величій и пробуждаетъ къ ликованію все твореніе, отъ былинки до человѣка; въ полдень такъ роскошно осіяваетъ нетлѣннымъ золотомъ лучей своихъ и золотой куполъ неба, и свою любимую дочь, многодарную землю; а вечеромъ въ новой торжественности, какъ побѣдитель, утомленный побѣдой, сходитъ съ своей вѣчно-неизмѣнной дороги и блѣдными лучами даетъ послѣдніе замирающіе поцѣлуи своей любимицѣ и скрывается за розовымъ занавѣсомъ мерцающей зари, высылая на смѣну и блѣдноликую луну, и мірады лучезарныхъ звѣздъ... Да! напрасно, съ того незапамятнаго довременнаго мгновенія, какъ творящее «да будетъ!» позвало небытіе къ бытію, до нашего времени, напрасно солнце ни раза не взошло вечеромъ и не скрылось утромъ, ни раза не вышло съ запада и не закатилось на востокъ; напрасно за успокоительной смертью зимы слѣдуетъ всегда воскрешающая весна, за весной — знойное лѣто, за лѣтомъ — богатая дарами плодовъ осень, которой послѣдніе, запоздалые желтые колосы и листья наконецъ покрываются серебристымъ и алмазнымъ инеемъ зимы... Напрасно океанъ, скованный берегами, не можетъ вырваться изъ своего бездоннаго ложа, и его громадные волны, грозящія землѣ и небу, съ воемъ и ревомъ, въ безсильной ярости, разбиваются о несокрушаемую твердыню гранитныхъ скалъ... Напрасно рѣки, какъ обычную дань, несутъ къ морю волны свои и не текутъ вспять... Напрасно все!.. Не слышна ему музыка сферъ и міровъ; глухъ онъ къ гармоническому хору, который образуетъ своимъ стройнымъ чиномъ, своими неизмѣняемыми законами, своимъ несмущаемымъ теченіемъ къ предустановленной отъ вѣка цѣли, твореніе предвѣчнаго Художника!.. Нѣтъ, ему слышатся только диссонансы, мерещится одинъ раздоръ: тучи грозятъ отнять свѣтъ, громъ — разбить землю, молнія — испепелить все живущее на ней, — и, бѣдный сумасбродъ, онъ хватается за топоръ, обтесываетъ свои колышки и тычинки и хлопочетъ подпереть ими съ трескомъ разрушающееся зданіе вселенной...

Такое же зрѣлище представляютъ собой и эти маленькіе великіе люди, о которыхъ мы говоримъ. Добровольные мученики, — имъ нѣтъ покоя, для нихъ нѣтъ радости, нѣтъ счастья: тамъ гаснетъ свѣтъ просвѣщенія, тутъ гибнутъ добродѣтель и нравственность, здѣсь по-

давляется цѣлый народъ,—и съ воплемъ ука-
зываютъ они на виновниковъ такого ужас-
наго зла; какъ будто бы люди, или человѣкъ,
въ состояніи остановить ходъ міра, измѣнить
участъ народа; какъ будто бы нѣтъ Прови-
дѣнія, и судьбы земнородныхъ предоставлены
слѣпому случаю или слѣпой волѣ одного че-
ловѣка. Сумасброды! внимательно загляды-
вайте въ священную книгу судебъ человѣче-
ства, въ вѣчную «книгу царствъ»—въ исто-
рію, по которой поверхностно скользятъ ваши
взоры, отуманенные предубѣжденіями и за-
ранѣ заготовленными произвольными поня-
тіями вашей ограниченной личности. Уми-
раетъ прекрасная Греція, отчизна Гомеровъ
и Платоновъ, опустѣли ея дивные храмы,
сброшены съ пьедесталовъ ея мраморныя ста-
туи; храмы сокрушились, и ихъ развалины
заросли травой, а статуи взяла желѣзная рука
варвара-побѣдителя;—но развѣ умерла для
насъ она, эта прекрасная Греція? Развѣ раз-
валины ея храмовъ и обломки ихъ колоннъ
не свидѣтельствуютъ намъ о гармоніи ихъ
размѣровъ, о первобытной красотѣ роскош-
ныхъ ихъ формъ? Развѣ эти чудныя статуи,
пережившія тысячелѣтія, не предстали Вин-
кельману во всемъ очарованіи вѣчной юно-
сти, и не открыли ему сокровенныхъ тайни-
ковъ исчезнувшей жизни свѣтлыхъ чадъ Элла-
ды, и не повидали ему дивныхъ тайнъ твор-
чества? Развѣ для насъ «Иліада» — мертвая
буква, нѣмой памятникъ навѣки умершаго и
навсегда потерявшаго свой смыслъ и свое
значеніе прошедшаго, а не источникъ живого
блаженства, величайшаго разумнаго насла-
жденія и изящнѣйшее созданіе общемірового
искусства? Развѣ жизнь грековъ не вошла въ
нашу, какъ элементъ? развѣ не получили мы
ее, какъ законное наслѣдіе?.. Кто же гово-
рить, что Греція умерла навсегда, падши отъ
натиска варварства и невѣжества?—Пережи-
тые человѣчествомъ моменты не исчезаютъ въ
вѣчности, какъ звукъ, теряющійся въ пусты-
нѣ; но навсегда дѣлаются его законнымъ вла-
дѣніемъ въ сознаніи, которое одно дѣйстви-
тельно, одно есть истинная жизнь духа, а не
призракъ. Не только для возмужалаго чело-
вѣка, — и для старца, если только его ста-
рость ясна, какъ вечеръ прекраснаго весен-
няго дня, воспоминаніе о свѣтломъ утрѣ сво-
его младенчества, о знойномъ полуднѣ своей
юности составляетъ одно изъ отраднѣйшихъ
наслажденій его старости, но человѣчество
выше челоѣка, моменты его жизни есть выс-
шая, разумнѣйшая дѣйствительность, чѣмъ
моменты жизни челоѣка, — такъ оно ли за-
будетъ греческую жизнь, этотъ роскошный
цвѣтъ своего младенчества, или средніе вѣка,
этотъ роскошный цвѣтъ своей юности, изъ
которыхъ образовался роскошный плодъ его
мужества?.. Омаръ сжегъ Александрійскую

библіотеку: проклатіе Омару—онъ навѣки по-
губилъ просвѣщеніе древняго міра! Погодите,
милостивые государи, проклинать Омара! про-
свѣщеніе—чудная вещь,—будь оно океаномъ,
и высуши этотъ океанъ какой-нибудь Омаръ,—
все останется подъ землей невидимый и со-
кровенный родникъ живой воды, который не
замедлитъ пробиться наружу свѣтлымъ клю-
чемъ и превратится въ океанъ. Просвѣще-
ніе безсмертно, ибо оно не имѣетъ внѣ себя
никакой цѣли, обыкновенно называемой «поль-
зой», но есть само себѣ цѣль, и въ самомъ
себѣ заключаетъ свою причину, какъ вну-
тренняя жизнь сознающаго себя духа. Удовле-
твореніе духа, стремящагося къ сознанію,
есть внутренняя причина и цѣль просвѣще-
нія; а его виѣшняя польза для челоѣчества
есть уже его необходимый результатъ. Не-
ужели солнце есть не самостоятельная пла-
нета, символъ Божьей славы, а фонарь для
освѣщенія нашей маленькой земли, хотя оно
и свѣтитъ намъ, и грѣетъ?.. Омаръ сжегъ
Александрійскую библіотеку, но не сжегъ Го-
мера и Платона, Эсхила и Демосоена, кото-
рыхъ мы знаемъ. Но вотъ варвары разру-
шили Западную Римскую имперію — погибла
цивилизация, исчезла мудрая гражданствен-
ность? Нѣтъ, не погибла она: въ вѣчномъ го-
родѣ, столицѣ политическаго міра, снова
явился вѣчный городъ, столица духовнаго
міра. Потомъ нашелся затерянный варвар-
ствомъ и вѣками кодексъ Юстиніана — и жизнь
древняго міра сдѣлалась нашимъ законнымъ
наслѣдіемъ, вошла въ нашу жизнь, какъ эле-
ментъ. Но вотъ самый разительный примѣръ:
народъ нашего времени, особенно богатый ма-
ленькими великими людьми, забывъ, что у
него есть исторія, есть прошедшее, что онъ
народъ новый и христіанскій, вздумалъ сдѣ-
латься римляниномъ. Явилось множество ма-
ленькихъ великихъ людей и съ школьными
тетрадками въ рукахъ стало около машинки,
названной ими la sainte guillotine, и начало
всѣхъ передѣлывать въ римлянъ. Поэтамъ при-
казали они во имя свободы воспѣвать рес-
публиканскія добродѣтели, думая, что искус-
ство должно служить обществу; мыслителямъ
повелѣли, тоже во имя свободы, доказывать
равенство правъ, а кто бы изъ поэтовъ или
мыслителей, слѣдую свободѣ вдохновенія или
мысли, осмѣлился воспѣвать и доказывать
противное, — тѣмъ во имя свободы рубили го-
ловы. Искусство и знаніе погибли — нѣтъ
больше развитія идеи, остановленъ навсегда
ходъ уму... Но погодите отчаиваться: та же
воля, которая пустила возстать злу, та не-
видимая, но могучая воля и истребила зло, —
и чудовище пало жертвой самого себя, какъ
скорпионъ, умертвивши себя собственнымъ жа-
ломъ; затѣя школьниковъ не удалась, тетрадки
осмѣяны, кровавая комедія освистана — и

кѣмъ же?—сыномъ революціи, однимъ человекомъ, сотворившимъ волю пославшаго его... Кто могъ предвидѣть, кто могъ предсказать это? Вѣдь ужъ все погибало... Но маленькіе великіе люди не понимаютъ этого и отъ всей души убѣждены, что если міръ еще какъ-нибудь держится, то не иначе, какъ ихъ мудростью и усердіемъ къ общему благу.

Къ числу такихъ-то маленькихъ великихъ людей принадлежитъ и Менцель. Ему не нравится порядокъ дѣлъ въ Германіи, и онъ придумалъ на досугѣ свой планъ для ея благосостоянія; но какъ она не осуществляетъ этого благотѣльнаго плана, не будучи въ состояніи отрѣшиться отъ своего историческаго развитія, ни отъ своей національной индивидуальности, да еще, какъ кажется, не будучи въ состояніи постичь всей премудрости Менцеля, и не вѣрить ей, а на самого его смотреть, какъ на журнальнаго крикуна и политическаго полишинеля, то онъ и возстаетъ на нее со всѣмъ ожесточеніемъ фанатика и представляетъ собою отвратительное и возмутительное зрѣлище сына, бьющаго по щекамъ родную мать свою. Другими словами: ему досадно, зачѣмъ Германія есть то, что она есть, а не то, чѣмъ бы ему хотѣлось ее видѣть—требованіе столь же справедливое, какъ и то, зачѣмъ у васъ волосы русые, а не черные, когда мнѣ именно хочется, чтобы у васъ были черные волосы!.. И поэтому ему все не нравится въ Германіи, и ея книжность, и ея ученость, и ея патриархальные обычаи и нравы. Но болѣе всего онъ возстаетъ на нее въ лицѣ ея гениальныхъ представителей, которыми она гордится, и которые доставили ей умственное владычество надъ всей просвѣщенной частью земного шара. Философія Гегеля признала монархизмъ высшей разумной формой государства, и монархія съ утвержденными основаніями, изъ исторической жизни народа развившимися, была для великаго мыслителя идеаломъ государства. Менцель думаетъ объ этомъ совершенно иначе, и потому онъ объявилъ, что Гегель сумасбродъ, дикій фанатикъ, и его философія—бѣснованіе полоумнаго человѣка. Еще большому ожесточенію съ его стороны подвергся Гёте. Великій поэтъ жилъ при веймарскомъ дворѣ, пользовался благосклонностью многихъ вѣнценосныхъ особъ и даже гордился дружбою къ себѣ многихъ изъ нихъ. Вотъ первое преступленіе германскаго поэта Гёте противъ добродѣтельнаго римлянина Менцеля, который по одному этому предмету разродился двумя глупостями. Во-первыхъ, жить при дворѣ или не жить при немъ—это рѣшительно все равно, потому что въ обоихъ случаяхъ можно быть равно великимъ и равно добродѣтельнымъ человѣкомъ. Во-вторыхъ, не только несправедливо, но и справедливо нападая

на человѣка, отнюдь не должно смѣшивать его съ художникомъ, равно какъ, разсматривая художника, отнюдь не слѣдуетъ касаться человѣка. У искусства есть свои законы, на основаніи которыхъ и должно разсматривать его произведенія. Мысль, выраженная поэтомъ въ созданіи, можетъ противорѣчить личному убѣжденію критика, не переставая быть истинною и общею, если только созданіе дѣйствительно художественно: ибо человѣкъ, какъ ограниченная частность, можетъ заблуждаться и питать ложныя убѣжденія, но поэтъ, какъ органъ общаго и міроваго, какъ непосредственное проявленіе духа, не можетъ ошибиться и говорить ложь. Конечно, платя дань своей человѣческой натурѣ, и онъ можетъ впадать въ заблужденія, но это тогда, когда онъ измѣняетъ своей творческой натурѣ, становится невѣрнымъ самому себѣ и перестаетъ быть поэтомъ, допуская своей личности вмѣшиваться въ свободный процессъ творчества и впадая въ резонерство, символизмъ и аллегорію. Слѣдовательно, чтобы узнать, вѣрна ли мысль, выраженная поэтомъ въ его произведеніи, должно сперва узнать, дѣйствительно ли художественно его созданіе. Но этотъ вопросъ рѣшается непосредственнымъ впечатлѣніемъ созданія на непосредственное чувство критика (разумѣется, если его чувство доступно изыщному, глубоко и всеобъемлюще), повѣреннымъ потомъ діалектикою мысло на непреложныхъ основаніяхъ искусства, а отнюдь не полицейскими справками о трезвости поведенія и аккуратности поэта въ платежѣ долговъ, или освѣдомленіями о томъ, какъ отзывалась о немъ бабушка, довольна ли была имъ тѣтушка, и хорошо ли онъ жилъ съ женою, а еще менѣе произвольными убѣжденіями случайной личности критика. Основная идея критики Менцеля есть та, что искусство должно служить обществу. Если хотите, оно и служитъ обществу, выражая его же собственное сознаніе и питая духъ составляющихъ его индивидуумовъ возвышенными впечатлѣніями и благородными помыслами благого и истиннаго; но оно служитъ обществу не какъ что-нибудь для него существующее, а какъ нѣчто существующее по себѣ и для себя, въ самомъ себѣ имѣющее свою цѣль и свою причину. Когда же мы будемъ требовать отъ искусства споспѣшествованія общественнымъ цѣлямъ, а на поэта смотрѣть, какъ на подрядчика, которому можно заказывать въ одно время—воспѣвать святость брака, въ другое—частіе жертвовать своей жизнью за отечество, въ третье—обязанность честно платить долги, то вмѣсто изыщныхъ созданій наводимъ литературу риторическими диссертаціями объ отвлеченныхъ и разсудочныхъ предметахъ, сухими аллегоріями, подъ которыми будетъ скрывать-

ся не живая истина, а мертвое резонерство, или наконецъ угарными исчадіями мелкихъ страстей и бѣснованія партій. То и другое было во французской литературѣ. Сперва ея произведенія были декламаторскимъ резонерствомъ, которое въ звучныхъ и гладкихъ стихахъ то расплывалось пошлыми сентенціями, какъ въ сочиненіяхъ Корнеля, Расина, Буало, Мольера, Фенелона (автора «Телемака»), то рассыпалось мелкимъ бѣсомъ въ пошлыхъ остротахъ и наглою кошунствѣ надъ всѣмъ святымъ и заветнымъ для человѣчества, какъ въ сочиненіяхъ Вольтера; теперь ея произведенія—буйное безуміе, которое, обоготворивъ неистовство животныхъ страстей, выдаетъ, подобно Гюго, Дюма, Эжену Сю, мясничество за трагедію и романъ, а клеветы на человѣческую натуру—за изображеніе настоящаго вѣка и современнаго общества. Въ самомъ дѣлѣ, что представляетъ нынѣшняя французская литература? Отраженіе мелкихъ сектъ, ничтожныхъ системъ, эфемерныхъ партій, дневныхъ вопросовъ. Д'Юдеванъ или извѣстный, но отнюдь не славный Жоржъ Зандъ пишеть цѣлый рядъ романовъ, одинъ другого нелѣпѣе и возмутительнѣе, чтобы приложить къ практикѣ идеи сен-симонизма объ обществѣ. Какія же это идеи? О, безподобныя!—именно: индустріальное направленіе должно взять верхъ надъ идеальнымъ и духовнымъ; должно распространиться равенство не въ смыслѣ христіанскаго братства, которое и безъ того существуетъ въ мірѣ со времени первыхъ двѣнадцати учениковъ Спасителя, а въ смыслѣ какого-то масонскаго или квакерскаго сектантства; должно уничтожить всякое различіе между полами, разрѣшивъ женщину на вся-тяжкая и допустивъ ее наравнѣ съ мужчиной къ отправленію гражданскихъ должностей, а главное—предоставить ей завидное право мѣнять мужей по состоянію своего здоровья... Необходимый результатъ этихъ глубокихъ и превосходныхъ идей есть уничтоженіе священныхъ узъ брака, родства, семейственности, словомъ, совершенное превращеніе государства сперва въ животную и безчинную оргію, а потомъ—въ призракъ, построенный изъ словъ на воздухѣ. Альфредъ де-Виньи, другой маленькій великій человѣчекъ, ударился въ другую крайность: онъ изъ всѣхъ силъ хлопочетъ о возстановленіи французской монархіи въ томъ видѣ, въ какомъ она была до кардинала Ришельё—Франціи феодально-монархической... Для этого онъ поправляетъ исторію, выдумывая никогда не существовавшіе факты, клеветаетъ на Наполеона, заставляя какого-то глупаго пажа подслушивать его небывалый разговоръ съ папою Піемъ VII, а чтобы унижить кардинала Ришельё, ненавидимаго имъ какъ врага вырвавшейся феодальной аристократіи, проти-

воставляетъ ему въ своемъ романѣ пустого и ничтожнаго Сен-Марса, дѣлая его героемъ и великимъ человѣкомъ. А между тѣмъ «идеальный» Ламартино хлопочетъ въ водяныхъ медитаціяхъ, приторно-чувствительныхъ элегіяхъ и надутыхъ-риторическихъ поемахъ воскресить католицизмъ среднихъ вѣковъ, котораго онъ не понимаетъ. Вышелъ во Франціи новый уголовный законъ, а завтра является сотня дюжинныхъ романовъ, въ которыхъ примѣромъ рѣшается справедливость или несправедливость закона; вышло новое постановленіе хоть о налогахъ, рекрутствѣ, акціяхъ—опять завтра же длинная вереница романовъ, которая нынче читается съ жадностью, а завтра забывается. Не такова истинная поэзія: ея содержаніе не вопросы дня, а вопросы вѣковъ, не интересы страны, а интересы міра, не участь партій, а судьбы человѣчества. Не таковъ художникъ: въ дивныхъ образахъ осуществляетъ онъ божественную идею для ней самой, а не для какой-либо внѣшней и чуждой ей цѣли. Толпа Менцелей не смутитъ его дикими воплями и укорами въ безполезности его существованія—онъ гордо отвѣтитъ ей:

Подите прочь: какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ каменѣйте смѣло;
Не оживитъ васъ лиры гласъ!
Душѣ противны вы, какъ гробы,
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Вичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у васъ метлу берутъ?
Не для жит'яiskaго волненья,
Не для корысти, не для бытъя,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ!

Вдохновеніе художника такъ свободно, что самъ онъ не можетъ повелѣвать имъ, но повинуется ему, ибо оно въ немъ, но не отъ него. Онъ не можетъ выбирать темъ для своихъ созданій, ибо безъ его вѣдома возникаютъ въ душѣ его таинственныя явленія, которыя показываетъ онъ потомъ на диво міру. Онъ творитъ—не когда хочетъ, но когда можетъ; онъ ждетъ минуты вдохновенія, но не приводитъ ея по волѣ своей, и потому-то

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, вѣкъ ничтожнѣй онъ.
Но лишь божественный глаголь
До слуха чуткаго коснется,
Душа поэта встрепенется,
Какъ пробудившійся орелъ.

Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
 Людской чуждается молвы;
 Къ ногамъ народнаго кумира
 Не клонитъ гордой головы;
 Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
 И звуковъ, и смѣтенъ полъ,
 На берега пустынныхъ волнъ,
 Въ широкую дуброву...

Менцель поставляетъ Гёте въ великую вину и тяжкое преступленіе, что онъ молчалъ во время французской революціи и ни однимъ стихомъ не выразилъ своего мнѣнія объ этомъ событіи, потрясемъ весь міръ. Въ самомъ дѣлѣ великое преступленіе! Такъ точно въ одномъ русскомъ журналѣ кто-то ставилъ Пушкину въ вину, что онъ, воротаясь изъ-за Кавказа, гдѣ былъ свидѣтелемъ славы русскаго оружія, напечаталъ VII-ю главу «Онѣгина», а не собраніе «торжественныхъ одъ»: подлинно—les beaux esprits se rencontrent!.. И такая легкая, удобопонятная пѣнтика: во время революціи поэтъ непременно долженъ или хвалить, или хулить ее въ своихъ стихахъ, а во время войны — прославлять подвиги соотечественниковъ!.. И какъ для Менцелей понятно, что Пушкинъ, возвратясь съ Кавказа, привезъ съ собой «Кавказскаго Пѣлѣника», и какъ непонятно для нихъ, что Грибоѣдовъ съ того же Кавказа привезъ «Горе отъ Ума» — злую сатиру на современное московское (а не кавказское) общество... Бѣдные люди!..

«Каждое слово Гёте принималось какъ изреченіе оракула; но онъ никогда не начиналъ рѣчи, чтобы напомнить германцамъ о народной ихъ чести, либо чтобы одушевить ихъ на какой-нибудь благородный помыслъ или подвигъ. Равнодушно пропускалъ онъ мимо себя событія всемірной исторіи, или только сердился, что военныя тревоги подчасъ нарушали сладкія минуты поэтическихъ его наслажденій. До французской революціи дремала Германія. Это грозное событіе пробудило наше отечество ужаснымъ образомъ: какія чувствованія должно было оно породить въ сердцѣ перваго нашего поэта? Новая эра возбудила восторгъ въ Шиллерѣ, Горресѣ, сгорая стыдомъ отъ измѣны отчизнѣ и отъ глубокаго ея униженія, напоминалъ соотечественникамъ про прежнюю честь и прошлое величіе Германіи. Что же сдѣлалъ Гёте? Написалъ нѣсколько легкомысленныхъ комедій. Потомъ явился Наполеонъ. Что долженъ былъ думать о немъ, сказать про него первый германскій поэтъ? Онъ долженъ былъ, какъ Аристъ и Кёрнеръ, проклинать губителя своей отчизны и сдѣлаться главою союза добродѣтели, или ежели по привычкѣ нѣмецъ онъ былъ больше космополитъ, чѣмъ патріотъ, то по крайней мѣрѣ, какъ Байронъ, долженъ бы уразумѣть глубоко-трагическое значеніе великаго героя и его дивной судьбы». (Ч. II, стр. 408—409).

Сколько лжей и пошлостей въ немногихъ словахъ этой ограниченной нѣмецкой головы! У каждаго народа необходимо двѣ стороны: дѣйствительная, сущная, и, какъ конечное ея отраженіе, пошлая и смѣшная; поэтому и нѣмецъ можно раздѣлить на германцевъ, каковы: Лессингъ, Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Гегель,

Шиллеръ и Гёте, и на нѣмцевъ, каковы: Коцебу, Клаурентъ, Августъ Лафонтенъ, Фандер-Фельде, Баумейстеръ, Кругъ, Бахманъ и пр. Къ этимъ-то достопочтеннымъ и достополезнымъ нѣмцамъ-филистерамъ, отъ которыхъ понахиваетъ кнастеромъ и пивомъ, принадлежитъ и нашъ сердитый господинъ Менцель. Спросите его, съ чего онъ взялъ, что Гёте равнодушно пропускалъ событія всемірной исторіи? Неужели кака-нибудь кумушка-старушка, которая съ своими сосѣдками день и ночь колотила языкомъ по зубамъ, толкуя о реляціяхъ наполеоновскихъ походовъ и побѣдъ, или какой-нибудь фельетонистъ, по копѣйкѣ со строки надсаживавшій себѣ грудь громкими фразами о томъ же предметѣ, неужели они больше интересовались и глубже понимали эти великія событія, нежели великій поэтъ, который, по словамъ самого Менцеля, былъ полнѣйшимъ отраженіемъ, вѣрнѣйшимъ зеркаломъ своего великаго вѣка? Кто сказалъ ему, что Гёте не останавливался въ безмолвномъ созерцаніи, полномъ любви, мысли и благоговѣнія, передъ таинственными судьбами, въ такомъ величіи совершившимися въ его глазахъ, онъ, въ которомъ все жило, и который во всемъ жилъ, который все въ себѣ ощущалъ и на все откликался струнами своего духа, этой звучной арфы вселенной, этого гармоническаго органа міровой жизни?..

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
 Ручья разумѣлъ лепетанье,
 И гоноръ древесныхъ листовъ понималъ,
 И чувствовалъ травъ прозябанье;
 Была ему звѣздная книга ясна,
 И съ нимъ говорила морская волна!

Неужели изъ того, что Гёте не воспѣвалъ великихъ современныхъ событій, слѣдуетъ, чтобы они не касались его, что онъ не чувствовалъ ихъ? Развѣ Гомеръ въ своей «Илиадѣ» воспѣлъ современное ему событіе, а не за два столѣтія до него совершившееся? Развѣ Шекспиръ въ своихъ драмахъ представилъ тоже современный ему міръ? Помилуйте, господа Менцели, только какой-нибудь школьникъ съ тетрадкой въ рукѣ, какой-нибудь Сенъ-Жюстъ могъ расписать по мѣсяцеслову вдохновеніе поэта, заставивъ его въ апрѣлѣ воспѣвать дружбу, въ маѣ — любовь, въ іюнѣ — бракъ, въ іюлѣ — добродѣтель!.. Мы этимъ отнюдь не хотимъ сказать, чтобы поэту нельзя было отзываться пѣсней на современные событія; нѣтъ, это значило бы впасть въ противоположную крайность, а каждая крайность есть нелѣпость, плодъ ограниченности ума и мелкости духа. Вдохновеніе не справляется съ календаремъ. Оно часто молчитъ, когда всѣ ожидаютъ его. Но мы однако думаемъ, что поэтъ всего менѣе способенъ отзываться на современность, которая для него есть начало безъ середины и конца, явленіе безъ подлосты

и цѣлости, закрытое туманомъ страстей, предубѣждений и пристрастій партій, и потому его вдохновеніе больше любить жить въ вѣкахъ минувшихъ и пробуждать исполинскія тѣни Ахилловъ и Гекторовъ, Ричардовъ и Генриховъ, или изъ нѣдръ собственнаго духа воспроизводить свои гигантскіе образы, каковы — Гамлетъ, Макбетъ, Отелло. Менцель говоритъ, что новая эра, начатая французской революціей, пробудила восторгъ въ Шиллерѣ: зачѣмъ же онъ такъ безсовѣстно умалчалъ, что если Шиллеръ съ восторгомъ привѣтствовалъ начало французской революціи, то съ отвращеніемъ смотрѣлъ на ея продолженіе и конецъ и съ негодованіемъ отвергнулъ дипломъ на гражданина французской республики, который предлагалъ ему Конвентъ за его трагедію «Фіеско» — очень плохенькое твореніе въ художественномъ отношеніи?.. Или разсказать фактъ въ половину иногда необходимо, чтобы поддержать ложь?.. И какъ понятно, что Гёте не могъ поступить подобно Шиллеру, ибо Гёте былъ гений несравненно высшій, гений чисто-художнический, а потому неспособный увлекаться никакими односторонностями, но обнимавшій все въ оконченной цѣлости, на все смотрѣвшій не снизу вверхъ, а сверху внизъ. Вся цѣль стремленій самого Шиллера была — достигнуть мірообъемлющей объективности Гёте; только при концѣ своего поприща онъ болѣе или менѣе достигъ этого, и оттого послѣднія его произведенія и выше, и глубже, чѣмъ произведенія его юности, полной пожирающаго пламени, а вмѣстѣ съ нимъ и дыма, и чада, и угара... Чтò могло дѣлать честь Шиллеру, то унизило бы Гёте. Съ чего взялъ господинъ Менцель, что Гёте долженъ былъ, подобно господамъ Арндту и Кёрнеру, проклинать Наполеона, какъ губителя своей отчизны?.. Это еще чтò за новость?.. Когда Менцель заставляетъ Гёте подражать Шиллеру — въ этомъ еще есть немножко смысла, потому что Шиллеръ все-таки былъ великій духъ, если не такой же художникъ; но заставлять орла дѣлать то, что дѣлали комары?.. Для выполненія временныхъ требованій и цѣлей какой-нибудь ограниченной эпохи есть маленькіе великіе люди, есть Арндты и Кёрнеры, а у истинно великихъ людей, исполнителей челоуѣчества — другое время и другія цѣли — міръ и вѣчность... Съ чего взялъ Менцель, что Гёте долженъ былъ сдѣлаться главой Тугендбунда, состоявшаго изъ школьниковъ и духовно-малолѣтнихъ дѣтей, и смѣшного для людей взрослыхъ и возмущавшихъ духомъ...

Все это показываетъ только, что Менцель не понимаетъ ни значенія, ни сущности искусства, а взявшись говорить о томъ, чего не смыслишь, невольно будешь говорить вздоръ; если же къ этому присоединится духъ партіи и оскорбленное самолюбіе, то вмѣсто истины

будешь изрыгать ругательства и проклятія... Изъ всего этого видно одно: Менцель золь на Гёте за то, что тотъ не хотѣлъ быть ни крикуномъ, ни начальникомъ какой-либо политической партіи, что онъ не требовалъ невозможнаго сплоченія раздробленной Германіи въ одно политическое тѣло. У гениа всегда есть инстинктъ истины и дѣйствительности; чтò есть, то для него разумно, необходимо и дѣйствительно, а чтò разумно, необходимо и дѣйствительно, то только и есть. Поэтому Гёте не требовалъ и не желалъ невозможнаго, но любилъ наслаждаться необходимо-сущимъ. Для него необходимость раздробленности Германіи была такимъ же убѣжденіемъ и такой же вѣрой, какъ у Пушкина было убѣжденіе и вѣра, что не русское море изсякнетъ, а «славянскіе ручьи сольются въ русское море». Только какой-нибудь Мицкевичъ можетъ заключиться въ ограниченное чувство политической ненависти и оставить поэтическія созданія для риемованныхъ памфлетовъ; но это-то и достаточно намекаетъ на «міровое величіе» его поэтического гениа: Менцель вѣрно на колѣняхъ передъ нимъ, а это самая злая и ругательная критика для поэта. Наконецъ Менцель положительно и окончательно обнаруживаетъ свой взглядъ на Гёте, переводя противъ него слѣдующія слова Платона о Гомерѣ:

«Мнѣ должно наконецъ высказать мою мысль, хотя по какой-то изъясности къ Гомеру и застѣнчивости передъ нимъ, которая питана съ самой молодости, мнѣ трудно рѣшиться говорить объ этомъ поэтѣ: ибо онъ кажется глава и предводитель всѣхъ хорошихъ трагическихъ стихотворцевъ. Но какъ не должно челоуѣка ставить выше истины, то и принужденъ высказать, что думаю. Итакъ, любезный Главконъ, если ты встрѣтишь людей, превозносящихъ Гомера, которые говорятъ, что этотъ поэтъ былъ наставникомъ цѣлой Греціи, и что онъ стоитъ тщательнаго изученія, потому что отъ него можно научиться хорошо управлять дѣлами челоуѣческаго рода и хорошо обращаться съ ближними, что по этой причинѣ должно располагать и вести свою жизнь сообразно съ его предписаніями: то на такихъ людей, конечно, нельзя сердиться; имъ безъ сомнѣнія должно оказывать любовь и дружбу. Они сколько могутъ стараются всемірно быть людьми честными; нельзя также не согласиться съ ними, что Гомеръ есть гений въ высшей степени поэтический и глава трагическихъ поэтовъ. При этомъ надлежитъ однако замѣтить, что въ государствѣ не должно допускать никакихъ твореній поэзіи, кромѣ пѣснопѣй въ похвалу боговъ и въ славу доблестныхъ подвиговъ. Коль скоро ты допустишь туда пѣнную и сладостную лиру какого бы ни было рода, лирическаго и эпическаго, то произвольныя волненія, веселія или печали стануť тамъ царствовать вмѣсто закона и ума!» (Ч. II, стр. 442—443).

Итакъ — долой Гомера, долой Шекспира, долой искусство: они вредятъ обществу! Давно бы такъ! Въ такомъ случаѣ не для чего было нападать на Гёте и писать цѣлую вздорную книгу; сказать бы прямо, коротко и ясно,

долой искусство! Тогда всякій понялъ бы, что бѣдному Гёте нечего дѣлать на бѣломъ свѣтѣ. Менцель въ простотѣ ума и сердца думаетъ, что онъ сошелся съ Платономъ, не видя въ словахъ величайшаго философа-поэта древности противорѣчія съ самимъ собой и не понимая причины этого противорѣчія. Платонъ первый открылъ своимъ гениемъ причины красоты въ самой красотѣ, назвавъ все сущее воплощеніемъ божественныхъ идей, отъ вѣка въ себѣ пребывшихъ и въ себѣ заключающихъ свою причину, — и тотъ же Платонъ уничтожаетъ міръ искусства, который есть міръ красоты!.. Отчего это противорѣчіе?— Оттого, что въ древнемъ мірѣ общество уничтожало въ себѣ людей, и частнаго человѣка признавало не какъ существующаго самого по себѣ и для себя, а какъ только своего члена, свою часть и своего слугу. Тогда гражданинъ былъ выше человѣка; а какъ поэзія есть удовлетвореніе внутренней потребности духа, сознающаго и себя, и міръ, — то Платонъ при всемъ своемъ гениі и не могъ примирить этого противорѣчія, которое было примирено христіанствомъ и дальнѣйшимъ развитіемъ человѣчества въ исторіи. Всякая философія въ своемъ началѣ есть противорѣчіе, и только, свершивъ свой полный кругъ, дѣлается примиреніемъ, какъ философія нашего времени, философія Гегеля. Хотя Платонъ понималъ существующее больше какъ поэтъ, нежели какъ философъ, т.-е. не диалектикой мысли, а полнотой внутреннего созерцанія, но онъ уже мыслить, а не творить, и потому разрушающая сила разсудка необходимо вошла въ его мірообъемлющія воззрѣнія, какъ начало разрушенія полной и гармонической жизни грековъ. Это разрушеніе въ Сократѣ проявилось уже рѣзко, какъ философія разсудка, противоположная поэтическому взгляду народа-художника, за что великій мудрецъ и погибъ жертвой оскорбленнаго имъ національнаго духа, еще не могшаго сознать въ Сократѣ начало новой для себя жизни. И посмотрите, съ какимъ уваженіемъ, съ какой любовью и какой благородной скромностью вооружается противъ Гомера этотъ великій духъ! Смотрите, какъ боится онъ обаятельной силы нѣжной и сладостной лиры: о, онъ знаетъ, что не устоялъ бы противъ ея чародѣйственнаго обольщенія, онъ въ самомъ себѣ чувствовалъ своего предателя, ежеминутно готоваго измѣнить ему! Такъ противорѣчатъ себѣ умы гениальные: только посредственность и ограниченность способны фанатически предаться какой-нибудь односторонности и упрямо закрывать глаза на весь остальной Божій міръ, противорѣчащій исключительности ихъ тѣснаго убѣжденія...

Нашъ Менцель не Платонъ: что не подходитъ подъ его маленькую идею — онъ подги-

баеетъ подъ нее; а не гнется — онъ ломаетъ. Искусство не далось ему, не подошло подъ тѣсныя рамки его идеальнаго построенія — долой искусство — оно грѣхъ, преступленіе, безнравственность!.. Вотъ такъ-то: что долго думать! А другой какой-нибудь чудакъ готовъ уничтожить общество, разрушить промышленность, торговлю, словомъ, всю практическую сторону жизни, чтобы обратить людей къ исключительному служенію искусству и подѣлать изъ нихъ художниковъ и аматоровъ. Дайте имъ только возможность и силу приложить къ жизни свою теорію.—Одинъ завопитъ: «общество! все погибай, что не служитъ къ пользѣ общества!» а другой зарычитъ: «искусство! все погибай, что не живетъ въ искусствѣ!..» Но истинно-мудрый кротко и безъ крика говоритъ: «да живетъ общество и да процвѣтаетъ искусство: то и другое есть явленіе одного и того же разума, единого и вѣчнаго, и то и другое въ самомъ себѣ заключаетъ свою необходимость, свою причину и свою цѣль!»

Да! общество не должно жертвовать искусству своими существенными выгодами, или уклоняться для него отъ своей цѣли. Искусство не должно служить обществу иначе, какъ служа самому себѣ. Пусть каждое идетъ своей дорогой, не мѣшая другъ другу.

Дѣло Питтовъ, Фоксовъ, О'Конелей, Талейрановъ, Кауницевъ и Меттерниховъ — участвовать въ судьбѣ народовъ и испытывать свое вліяніе въ политической сферѣ человѣчества. Дѣло художниковъ — созерцать «полное славы твореніе» и быть его органами, а не вмѣшиваться въ дѣла политическія и правительственныя. Иначе придется воскликнуть:

Вѣда, коль пироги начнетъ печь сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ!

Все велико на своемъ мѣстѣ и въ своей сферѣ, и всякій имѣетъ значеніе, силу и дѣятельность только въ своей сферѣ, а заходя въ чуждую, дѣлается призракомъ, иногда только смѣшнымъ, иногда отвратительнымъ, а иногда смѣшнымъ и отвратительнымъ вмѣстѣ, подобно Менцелю. Можетъ быть Менцель былъ бы хорошимъ чиновникомъ при посольствѣ, или даже депутатомъ города или сословія, потому что можетъ быть онъ въ этомъ и знаетъ что-нибудь и способенъ на что-нибудь, но онъ не можетъ быть даже и посредственнымъ критикомъ, потому что ровно ничего не смыслитъ въ искусствѣ, не имѣетъ никакого органа для принятія впечатлѣній изящнаго. Онъ судить объ искусствѣ, какъ слѣпой о цвѣтахъ, глухой о музыкѣ. Воду нельзя мѣрить саженьями, а дорогу ведрами: нельзя по политикѣ судить объ искусствѣ, ни по искусству о политикѣ, но каждое должно судиться на основаніи своихъ собственныхъ законовъ.

Есть еще и другая фальшивая мѣра для

искусства—тоже принятая Менцелемъ, который въ отношеніи къ ней имѣлъ, имѣетъ и всегда будетъ имѣть еще болѣе подражателей. Мы говоримъ о нравственной точкѣ зрѣнія на искусство.

Это вопросъ глубокий и важный. Сколько позволяютъ предѣлы статьи, напомнимъ на его безконечное значеніе.

Нравственность принадлежитъ къ сферѣ человѣческихъ дѣйствій, и въ отношеніи къ волѣ человека есть то же самое, что истина въ мышленіи, что красота въ искусствѣ. Основаніе нравственности лежитъ въ глубинѣ духа—источника всего существа. Все, что выходитъ изъ одного начала, изъ одного общаго источника—все то родственно, единокровно и нераздѣльно въ своей сущности, хотя и различается средствомъ, путемъ и формой своего проявленія. Слѣдовательно отдѣлить вопросъ о нравственности отъ вопроса объ искусствѣ такъ же невозможно, какъ и разложить огонь на свѣтъ, теплоту и силу горѣнія. Но по этому-то самому и должно раздѣлить эти два вопроса. Когда вамъ сказали, что въ каминѣ разведенъ огонь—вы вѣрно не спросите, обожжетъ ли этотъ огонь ваши руки, если вы положите ихъ на него,—и будутъ ли вамъ видны предметы, освѣщенные имъ. Такой вопросъ приличенъ только или ребенку, едва начинающему говорить, или человѣку сумасшедшему. Когда вамъ говорятъ, что женщина родила дитя—вы вѣрно не спросите, есть ли у этого дитяти тѣло, или есть ли у него душа; когда онъ живъ, у него есть и душа, и тѣло, ибо онъ самъ есть не что иное, какъ явившійся или воплотившійся духъ. Но вы можете сдѣлать вопросъ объ огнѣ—разведенъ ли онъ въ каминѣ, чтобы могъ и грѣть, и освѣщать, или еще только разводится; а о младенцѣ—живъ ли онъ, или родился мертвымъ, или умеръ родившись. Итакъ, видите ли: вы раздѣляете два вопроса именно потому, что они не раздѣлимы, что отвѣтъ на одинъ есть уже необходимо и отвѣтъ на другой, хотя бы вы другого и не дѣлали. Такъ и въ искусствѣ: что художественно, то уже и нравственно; что нехудожественно, то можетъ быть не безнравственно, но не можетъ быть нравственно. Вслѣдствіе этого вопросъ о нравственности поэтического произведенія долженъ быть вопросомъ вторымъ и вытекать изъ отвѣта на вопросъ—дѣйствительно ли оно художественно. Произведеніе искусства, художественность котораго не выдержитъ высшей пробы вкуса и критики, можетъ быть положительно-безнравственно, какъ оскорбляющее нравственность, и можетъ быть отрицательно-безнравственно, какъ только не оскорбляющее нравственности; но всякое истинно или дѣйствительно-художественное произведеніе не можетъ не быть положительно-нравственнымъ.

Доказать, что произведеніе искусства положительно-безнравственно—значитъ доказать, что оно положительно-нехудожественно, а для этого сперва должно рассмотреть его въ его собственной сферѣ, т.-е. въ сферѣ искусства, и доказать изъ него же самого, что оно нехудожественно, или по крайней мѣрѣ, прежде вопроса о нравственности, принять это за утвержденное и очевидное. Единосущное не противорѣчитъ единосущному, и истина не раздѣляется на самое же себя, чтобы уничтожить самое же себя.

Намъ возразятъ, что наше воззрѣніе противорѣчитъ опыту, ибо есть множество произведеній искусства, которыя цѣлыми вѣками и народами признаны за художественныя, но которыя тѣмъ не менѣе безнравственны, и наоборотъ, есть множество произведеній слабыхъ съ художественной стороны, но въ высшей степени нравственныхъ.

Для отвѣта на подобное возраженіе, имѣющее всю силу внѣшней очевидности, должно условиться въ значеніи словъ «художественное» и «нравственное». Но какъ рѣшеніе подобнаго важнаго и глубокаго вопроса повело бы насъ слишкомъ далеко, то и ограничимся только тѣмъ, что слегка поговоримъ о значеніи «нравственнаго», оставляя безъ разрѣшенія «художественное», какъ будто опредѣленное и всѣмъ извѣстное.

Не все то принадлежитъ къ сферѣ «нравственнаго», что называютъ «нравственнымъ» (Sittlichkeit), смѣшивая съ нимъ понятіе «моральнаго» (Moralität). Нравственность относится къ моральности, какъ разумный опытъ жизни къ житейской опытности, какъ высокое къ обыкновенному, трагическое къ повседневному, какъ разумъ къ разсудку, мудрость къ хитрости, искусство къ ремеслу. Жизнь человѣческая раздѣляется на будни, которыхъ въ ней много, и праздники, которыхъ въ ней мало. Въ жизни человѣка бываютъ торжественныя минуты, въ которыя все—побѣда, или все—паденіе, и нѣтъ середины. Это минуты борьбы его индивидуальной личности, требующей личнаго счастья или личнаго спасенія, съ долгомъ, говорящимъ ему, что онъ въ правѣ стремиться къ счастью или спасенію, но не на счетъ несчастья или гибели ближняго, имѣющаго равное съ нимъ право и на счастье, если оно ему представляется, и на спасеніе, если ему грозитъ бѣда. Воля человека свободна: онъ въ правѣ выбрать тотъ или другой путь, но онъ долженъ выбрать тотъ, на который указываетъ ему разумъ. Если онъ послушается голоса своей личности, требующей всего себѣ, и останется спокоенъ въ духѣ своемъ—онъ будетъ правъ въ отношеніи къ самому себѣ, хотя и виновать въ отношеніи къ разуму, котораго законы онъ не въ состояніи постигать: тогда

не будетъ осуществленія нравственнаго закона, за нарушеніе котораго кара внутри человѣка, но тогда можетъ быть осуществиться только моральный законъ, за нарушеніе котораго наказаніе внѣ человѣка, какъ возмездіе гражданскаго закона, или какъ личное мщеніе со стороны оскорбленнаго. Объяснимъ это примѣромъ, который сдѣлалъ бы нашу мысль осязаемой очевидностью. Молодой человѣкъ увлекся мимолетнымъ и скоропреходящимъ чувствомъ любви къ дѣвушкѣ, которая могла только доставить ему нѣсколько минутъ блаженнаго упоенія, но не удовлетворить вполнѣ всѣхъ потребностей его духа, но не быть половиной души его, жизнью сердца.—словомъ, которая могла быть только его любовницей, но не женой. Теперь положимъ, что эта дѣвушка, не имѣя такой глубокой натуры, какъ онъ, и будучи ниже его и своими понятіями, чувствованіями, потребностями и образованіемъ, тѣмъ не менѣе была бы существомъ достойнымъ всякаго уваженія, могла бы составить счастье цѣлой жизни равнаго себѣ по натурѣ и образованію человѣка, быть вѣрной любящей женой и матерью, уважаемой въ обществѣ женщинъ. Дѣвушка эта, не видя и не понимая своего духовнаго неравенства съ этимъ молодымъ человѣкомъ, однакожь любить его страстно, предана ему до самоотверженія, до безумія и уже мать его дитяти. Она не подозреваетъ и возможности конца своему счастью, ея любовь все сильнѣе и сильнѣе, а онъ уже просыпается отъ сладкаго упоенія страсти, а онъ уже съ ужасомъ не находитъ въ себѣ прежней любви, онъ уже не въ силахъ отвѣчать на ея горячія лобзанія, на ея ласки, прежде столь обаятельныя, столь могучія для него... Она вся—любовь, упоеніе, нѣга; онъ весь—тяжелая дума, тревожное безпокойство. Наконецъ ему нѣтъ больше силъ притворяться, тяжело ее видѣть, страшно о ней вспомнить. А между тѣмъ, какъ бы на зло самому себѣ, какъ бы для усугубленія своихъ страданій, онъ понимаетъ всѣ ея достоинства: цѣнитъ всю ея любовь и преданность къ нему, даже видитъ въ ней больше, нежели что она есть въ самомъ дѣлѣ. Онъ проклинаетъ и презираетъ себя, не видитъ въ мірѣ никого гнуснѣе и преступнѣе себя; онъ называетъ себя обманщикомъ, воромъ, подло укравшимъ любовь и честь женщины; о прошлыхъ своихъ увѣреніяхъ и клятвахъ любви онъ вспоминаетъ какъ объ умышленномъ, обдуманномъ вѣроломствѣ, забывъ, что въ то время восторговъ и упоеній онъ говорилъ и клялся искренно, горячо вѣрилъ дѣйствительности своего чувства. Отчего же этотъ внутренній раздоръ, отчего это внутреннее раздвоеніе съ самимъ собой, этотъ жгучій огонь въ груди, эта пытка

души?.. Вѣдь эта дѣвушка только тихо плачетъ, безмолвно изнываетъ въ безотрадной тоскѣ отвергнутаго и оскорбленнаго чувства? Вѣдь она не грозитъ ему законами, не преслѣдуетъ его упреками, не беспокоитъ его требованіями, и потому страшная тайна остается между ними, и ему нечего страшиться ни мщенія гражданскаго закона, ни даже суда общественнаго мнѣнія?—Но отъ всѣхъ этихъ утѣшеній его страданія только глубже и мучительнѣе: безропотное страданіе жертвы возбуждаетъ въ немъ только большее уваженіе къ ней и большее презрѣніе къ себѣ; а безопасность внѣшняго наказанія только больше увеличиваетъ въ его глазахъ собственное преступленіе. Отчего же это?—Оттого, что сердце этого молодого человѣка есть почва, въ которую законъ нравственнаго духа такъ глубоко пустилъ свои корни, что онъ можетъ ихъ вырвать только съ кровью и тѣломъ, а слѣдовательно и съ потерей собственной жизни. Онъ оскорбилъ не ходячія нравственныя сентенціи: онъ оскорбилъ достоинство собственнаго духа, нарушилъ незримо, но ощутительно пребывающіе въ его сущности законы его же собственнаго разума. Что же ему останется дѣлать? Жениться на ней—скажете вы? Но для такихъ людей чувствовать подлѣ себя бѣненіе сердца, трепещущаго любовью, чувствовать сжатіе чьихъ-то горячихъ объятій и оставаться холоднымъ, мертвымъ... ужасно!.. Для трупъ объятія живого существа то же, что для живого существа объятія трупа... Когда мы не связаны съ существомъ, на любовь котораго не можемъ отвѣчать, мы уважаемъ его, сострадаемъ ему, плачемъ и молимся о немъ; но когда мы связаны съ нимъ неразрывными узами брака, и его страстная любовь вызываетъ нашу, которой въ насъ нѣтъ, мы отвѣчаемъ ему на нее ненавистью... Что же тутъ дѣлать?.. Иногда подобныя трагическія столкновенія разрѣшаются просто, во вкусѣ мыщанской драмы: красавица пострадаетъ, а потомъ допуститъ утѣшить себя другому, который заставитъ ее забыть горе для радости; но что, ежели въ то время, какъ онъ борется съ собой и носитъ въ душѣ своей адъ, въ самомъ разгарѣ этой безвыходной борьбы до слуха его дойдетъ страшная вѣсть, что она умерла, благословляя его, и его имя было ея послѣднимъ словомъ?.. Неужели послѣ этого для него возможно счастье на землѣ? А если и возможно, неужели на немъ не будетъ какого-то мрачнаго оттѣнка? Неужели въ часы упоенія любви изъ-за того юнаго, прекраснаго и полнаго жизни существа, которое такъ роскошно ослѣпило лицо его волнами длинныхъ локоновъ, ему не будетъ иногда являться какой-то блѣдный, страдальческій призракъ съ любовью въ очахъ, съ благо-

словеніемъ на устахъ?.. Изъ той же возможности могла родиться и другая дѣйствительность: онъ могъ, идя по улицѣ, увидѣть толпу народа около какого-то трупa женщины, сейчасъ вытащенного изъ рѣки... Страшно!.. Человѣческая природа содрогается передъ такимъ бѣдствіемъ... Что же значитъ это бѣдствіе? Вѣдь онъ могъ не признать трупa, могъ пройти мимо, не боясь мщенія закона?.. Нѣтъ, есть другой законъ, еще ужаснѣе закона гражданскаго, законъ внутренній, въ немъ самомъ пребывающій законъ нравственности,—и этотъ-то законъ караетъ его. Бывали примѣры, что преступники, убійцы являлись въ судъ и признавались въ преступленіяхъ, давно совершенныхъ, давно забытыхъ, въ которыхъ ихъ и тогда никто не подозрѣвалъ, и какъ облегченія своихъ страданій просили казни. Видите ли, какой страшный законъ этотъ нравственный законъ, и какъ страшно его наказаніе: самая казнь въ сравненіи съ нимъ есть облегченіе, милость!.. Но, повторяемъ, онъ не для всѣхъ существуетъ, потому что онъ въ духѣ человѣка, а не внѣ его, и въ духѣ только глубокомъ и могучемъ... Обратимся къ нашей исторіи. Она могла бы кончиться и не такъ эффектно, но не менѣе ужасно. Молодой человѣкъ могъ бы рѣшиться пожертвовать собой для искупленія своей вины,—страшная рѣшимость! Но что если бы онъ услышалъ такой отвѣтъ на свое великодушное предложеніе: «я хочу любви, а не жертвы: я лучше умру, нежели быть въ тягость тому, кого люблю!..» Вотъ тутъ уже совершенно нѣтъ выхода изъ двухъ крайностей: и себя погубить, и ее погубить... А между тѣмъ эта погибель совсѣмъ не внѣшняя, не случайная, но есть осуществленіе возможности, которую онъ самъ же родилъ своимъ поступкомъ. Мы выше сказали, что дѣло точно такъ же могло кончиться очень хорошо для обѣихъ сторонъ, какъ кончилось худо: изъ этого видно, что сущность дѣла не въ совершеніи, а въ возможности совершенія. Проступокъ оскорблялъ нравственный законъ, слѣдовательно необходимо обуславливалъ возможность наказанія, хотя оно могло бы и миновать. Итакъ, въ «возможности» лежитъ внутренняя, дѣйствительная сторона событія, потому что только внутреннее дѣйствительно, и только дѣйствительное велико. Отсюда важность и трагическое величіе осуществленія нравственнаго закона. Кончилась эта исторія хорошо—и молодой человѣкъ счастливъ, и никто бы не осудилъ его; кончилось оно дурно—и всѣ голоса противъ него...

Но есть люди, которыхъ совѣсть сговорчивѣе, которые боятся суда уголовнаго, но не боятся суда духовнаго.

Главное и существенное различіе нрав-

ственности отъ моральности состоитъ въ томъ, что первая есть законъ разума, въ таинственной глубинѣ духа пребывающій, а послѣдняя всегда бываетъ разсудочнымъ понятіемъ о нравственности же, но только людей неглубокихъ, внѣшнихъ, неносящихъ въ нѣдрахъ своего духа закона нравственности, а между тѣмъ чувствующихъ его необходимость. Поэтому, нравственность есть понятіе обще-мировое, непреходящее, безусловное (абсолютное), а моральность часто бываетъ понятіемъ условнымъ, измѣняющимся. Было время, когда воинъ, пролившій за отечество лучшую часть своей крови, покрытый ранами и честными знаками отличій, обнаружилъ бы себя въ глазахъ общества безчестнымъ человѣкомъ, если бы отказался отъ дуэли съ какимъ-нибудь мальчишкой-негодяемъ, и особенно, если бы по христіанскому чувству простилъ ему оскорбленіе. И такъ думали во имя нравственности, которую по счастью очень удачно замѣнили французскимъ словомъ *moralité*!.. Моральность относится къ низшей или практической сторонѣ жизни, равно какъ и вытекающее изъ нея понятіе о чести; но тѣмъ не менѣе и она есть истина, когда не противорѣчитъ нравственности,—и кто нравственъ, тотъ необходимо и мораленъ, и честенъ, но не наоборотъ, ибо иногда самые моральные и честные и благородные въ силу общественнаго мнѣнія люди бываютъ самыми безнравственными людьми.

Тѣ, которые смотрятъ на искусство съ нравственной точки зрѣнія, обыкновенно смѣшиваютъ нравственность съ моральностью, а какъ моральные понятія зависятъ отъ ограниченной личности случайнаго произвола каждаго, то каждый и судитъ по своему о произведеніяхъ искусства, требуя отъ нихъ то того, то другого, но никогда не требуя именно того, чего должно отъ нихъ требовать. Исключительность и односторонность господствуютъ въ этомъ взглядѣ. Чего не понимаетъ господинъ моралистъ или господинъ резонеръ, то и объявляетъ безнравственнымъ. Эти моралисты-резонеры хотятъ видѣть въ искусствѣ не зеркало дѣйствительности, а какой-то идеальный, никогда не существовавшій міръ, чуждый всякой возможности, всякаго зла, всякихъ страстей, всякой борьбы, но полный усыпительнаго блаженства и резонерскаго правоученія; требуютъ не живыхъ людей и характеровъ, а ходячихъ аллегорій съ ярлычками на лбу, на которыхъ было бы написано: умѣренность, аккуратность, скромность и т. п. Вслѣдствіе такого прекраснаго взгляда на сущность жизни, романъ, поэма, драма непремѣнно должны кончиться счастливо для «добродѣтельныхъ», дабы всѣ видѣли, что добродѣтель «награждается», и несчастно для порочныхъ, дабы

всѣ видѣли, что «порокъ наказывается»... Близоруки и косые, они не понимаютъ, что добродѣтель всегда награждается и зло всегда наказывается, но только внутренно, а внѣшнимъ образомъ торжество чаще остается за зломъ, нежели за добромъ. Они не понимаютъ, что добро есть лучшая награда за добро, и зло—жесточайшее наказаніе за зло. Въ душѣ человѣка и его небо, и его адъ. Прочтите, напр., высоко-художественное созданіе Вальтеръ Скотта «Ламермурскую Невѣсту» — эту великую трагедію, достойную гения Шекспира, эту высоко-поразительную картину, въ формѣ романа, осуществившую трагическую борьбу, разрывившуюся въ торжество нравственного закона. Мать губитъ собственную дочь для удовлетворенія своей суежности грѣховныхъ побужденій холодной и искаженной души; обманомъ и хитростью разрываетъ она святой духовный союзъ юнаго дѣвственнаго существа съ избраннымъ ея сердца, съ родной ей душой. Бѣдную, кроткую дѣвушку увѣрили, что милый избѣнилъ ей, что жданный и желанный не придетъ уже къ ней, и указали безотвѣтной жертвѣ на чуждаго ей человѣка, какъ на жениха, а молчаніе ея умышленно приняли за согласіе. И вотъ коварство и злоба восторжествовали: брачный контрактъ уже подписанъ безотвѣтной жертвой, священникъ уже тутъ, а милый сердца далеко, далеко за синимъ моремъ, на чужой землѣ, подъ чуждымъ небомъ... Резонеры готовы вопіять противъ поэта, говоря, что онъ сдѣлалъ зло сильнымъ и торжествующимъ, а добро немощнымъ и погибающимъ... Но вотъ раздастся на дворѣ замка топотъ коня — и въ залу входитъ человѣкъ, закрытый плащомъ и шляпой... Вотъ онъ открываетъ лицо — и мать въ бѣшенствѣ бросается къ нему съ вопросомъ: какъ онъ осмѣлился нанести ихъ дому это новое оскорбленіе?.. Видите ли: зло покарало зло — нравственный законъ осуществился; коварство, такъ глубоко обдуманное, такъ легко и непредвидѣнно разрушилось... Братъ Люсіа вызываетъ его на дуэль, женихъ тоже; онъ не отказывается, но спокойно проситъ у матери позволенія объясниться съ дочерью... «Ваша ли рука это, Люсіа? безъ принужденія ли вы подписали этотъ контрактъ?» — Люсіа блѣднѣетъ и умиравшимъ голосомъ отвѣчаетъ: «Безъ принужденія»... Отчего же она поблѣднѣла? Оттого, что и на ней совершилось осуществленіе нравственного закона, и она наказана за вину собственной вины, ибо въ миломъ сердца своего увидѣла своего грознаго судью. Она не имѣла права подписывать контракта и нести чуждому ей чуждую холодную душу, мертвое сердце, блѣдное лицо и потухшія очи, ибо и церковь, освящающая своимъ благословеніемъ союзъ

сердцевъ, изрекаетъ его только на условіи свободного выбора сердца; повиновеніе воли родительской не есть причина для нарушенія воли Божьей: Богъ выше родителей!.. «Такъ возвратите же мнѣ половину моего кольца, Люсіа»... Она тѣшится сдѣлать дрожащей рукой вынуть шнурокъ, на которомъ хранилось на груди кольцо; мать помогаетъ ей, и Равенсвудъ бросаетъ обѣ половинки переломленного кольца въ каминъ и тихо выходитъ... Долго ѣхалъ онъ шагомъ, но лишь исчезъ изъ глазъ смотрѣвшихъ на него враговъ, какъ молніей помчался на своемъ конѣ. Леди Астонъ снова восторжествовала; вотъ конченъ и обрядъ; вотъ тянется отъ церкви къ замку блестящій поѣздъ, и три вѣдмы, три нищии толкуютъ между собой о событіи, а одна пророчитъ близкія похороны. Вотъ начался и балъ; онъ уже во всемъ разгарѣ; но вдругъ въ спальнѣ новобрачныхъ раздался вопль... выламываютъ дверь: новобрачный лежитъ на постели съ перерезаннымъ горломъ, а сумасшедшую новобрачную едва нашли въ каминѣ, и черезъ два дня новый поѣздъ отъ замка къ церкви, и отъ церкви къ замку... Поздравляемъ васъ, гордая и благородная леди Астонъ! вы побѣдили, вы торжествуете, вы поставили на своемъ; вы даже пережили и мужа, и всѣхъ дѣтей, и того, кто одинъ могъ сдѣлать счастливой дочь вашу; вы остались однѣ въ цѣломъ свѣтѣ, какъ надгробный памятникъ нѣсколькихъ вырытыхъ вами могилъ; говорятъ, что вы держали себя все такой же гордой, такой же непреклонной, какъ и прежде, что никто не слышалъ отъ васъ ни стона, ни жалобы, ни раскаянія; но къ этому прибавляютъ, что на вашемъ благородномъ и гордомъ лицѣ читали что-то другое, нежели что хотѣли вы показать, и что ваше присутствіе оледеняло улыбку на лицѣ младенца, умерщвляло всякую радость, всякое чувство человѣческое, и оцѣпеняло души людей, какъ появленіе мертвеца или страшнаго призрака... И вотъ въ чемъ торжество нравственности, а не въ счастливой развязкѣ!.. Поэту нужно было показать, а не доказать, — въ искусствѣ что показано, то уже и доказано. Поэту не нужно было излагать своего мнѣнія, которое читатель и безъ того чувствуетъ въ себѣ по впечатлѣнію, которое произвелъ на него рассказъ поэта. Моральные сентенціи и правоученія со стороны поэта только ослабили бы силу впечатлѣнія, которое одно тутъ и нужно, и дѣйствительно. Да! въ дѣйствительности зло часто торжествуетъ надъ добромъ, но вѣчная любовь никогда не оставляетъ чадъ своихъ: когда страданіе переполняетъ чашу ихъ терпѣнія, является успокоительный ангелъ смерти и братскимъ поцѣлуемъ освобождаетъ «добрыхъ» отъ бурной жизни и

кроткой рукой смежаетъ ихъ очи, и мы читаемъ на просіявшемъ лицѣ страдальцевъ тихую улыбку, какъ будто уста ихъ, договаривая свою теплую молитву прошенія врагамъ, привѣтствуютъ уже тотъ новый міръ блаженства, предположеніе котораго они всегда носили въ себѣ... И надъ ихъ могилой совершается торжество примиренія: человечество благословляетъ ихъ память, и повѣстью о ихъ страданіяхъ не возмущается противъ жизни, а мирится съ ней въ умиленномъ сердцѣ и укрѣпляется въ силѣ великодушно бороться съ бурями бѣдствій. А злые? Страшно ихъ торжество, и только бессмысленные могутъ завидовать ему... Но резонеры говорятъ свое—ихъ ничѣмъ не увѣришь, потому что они чужды духа, и духъ чуждъ ихъ; они понимаютъ одно внѣшнее и безсильны заглянуть въ таинственную лабораторію чувствъ и ощущеній; они готовы любить добро, но за вѣрную мзду въ здѣшней жизни и мзду земными благами. Они громче всѣхъ кричатъ о Богѣ,—но потребуй отъ нихъ Богъ жертвы, пошли на нихъ тяжелое испытаніе—они перейдутъ на сторону Ваала и поклонятся до земли тельцу золотому...

Все, что есть, то необходимо, разумно и дѣйствительно. Посмотрите на природу, прикиньте съ любовью къ ея материнской груди, прислушайтесь къ біенію ея сердца—и увидите въ ея безконечномъ разнообразіи удивительное единство, въ ея безконечномъ противорѣчій удивительную гармонію. Кто можетъ найти хоть одну погрѣшность, хоть одинъ недостатокъ въ твореніи предвѣчнаго Художника? Кто можетъ сказать, что вотъ эта былинка не нужна, это животное лишнее? Если же міръ природы, столь разнообразный, столь повидимому противорѣчивый, такъ разумно-дѣйствителенъ, то неужели высшій его—міръ исторіи есть не такое же разумно-дѣйствительное развитіе божественной идеи, а какая-то безсвязная сказка, полная случайныхъ и противорѣчащихъ столкновеній между обстоятельствами?.. И однакожь есть люди, которые твердо убѣждены, что все идетъ въ мірѣ не такъ, какъ должно. Мы выше этого указывали на этихъ людей, представителей которыхъ можетъ служить Менцель. Отчего они заблуждаются? Оттого, что свою ограниченную личность противопоставляютъ личности Божіей; оттого, что безконечное царство духа мѣряютъ маленькимъ масштабомъ своихъ моральныхъ положеній, которыя они ошибочно принимаютъ за нравственныя. Посмотрите, какъ они судятъ историческія лица: забывая въ нихъ историческихъ дѣятелей, представителей человечества, они вливаются, подобно пивкамъ, въ ихъ частную жизнь и ею сдѣланы опровергнуть ихъ историческое величіе. Какое имъ дѣло до лич-

наго характера какого-нибудь Талейрана? Можетъ быть этого человѣка и во многомъ осудить его духовникъ—единственный призванный и признанный судья его совѣсти; но они-то, эти моральные-то люди, развѣ они сами свободны отъ этого суда? Не лучше ли имъ было бы судить Талейрана какъ государственнаго человѣка, по мѣрѣ его вліянія на судьбу Франціи, оставивъ частнаго человѣка, не имѣющаго права на мѣсто въ исторіи? Удивительно ли послѣ этого, что исторія у нихъ является то сумасшедшимъ, то смиреннымъ домомъ, то темницей, наполненной преступниками, а не пантеономъ славы и безсмертія, полнымъ ликовъ представителей человечества, исполнителей судебъ Божіихъ. Хороша исторія!... Такіе кривые взгляды, иногда выдаваемые за высшіе, происходятъ отъ разсудочнаго пониманія дѣйствительности, необходимо соединеннаго съ отвлеченностью и односторонностью. Разсудокъ умѣетъ только отлекать идею отъ явленія и видѣть одну какую-нибудь сторону предмета; только разумъ постигаетъ идею нераздѣльно съ явленіемъ и явленіе нераздѣльно съ идеей и схватываетъ предметъ его со всѣхъ сторонъ, повидимому одна другой противорѣчащихъ и другъ съ другомъ несовмѣстныхъ,—схватываетъ его во всей его полнотѣ и цѣльности. И потому разумъ не создаетъ дѣйствительности, а сознаетъ ее, предварительно взявъ за аксіому, что все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Онъ не говоритъ, что такой-то народъ хорошъ, а всѣ другіе, непохожіе на него, дурны, что такая-то эпоха въ исторіи народа или человѣка хороша, а такая-то дурна, но для него всѣ народы и всѣ эпохи равно велики и важны, какъ выраженія абсолютной идеи, діалектически въ нихъ развивающейся. Для него возникновеніе и паденіе царствъ и народовъ не случайно, а внутренне необходимо, и самая эпоха римскаго разврата есть не предметъ осужденія, а предметъ изслѣдованія. Онъ не скажетъ съ какимъ-нибудь Вольтеромъ, что крестовые походы были плодомъ невѣжества и предпріятіемъ нелѣпымъ и смѣшнымъ, но увидитъ въ нихъ разумно-необходимое, великое и поэтическое событіе, совершившееся въ свою пору и свое время и выразившее моментъ юности человечества, какъ всякой юности, исполненной благородныхъ порывовъ, безкорыстныхъ стремленій и идеальной мечтательности. Такъ же точно смотритъ разумъ и на всѣ явленія дѣйствительности, видя въ нихъ необходимыя явленія духа. Блаженство и радость, страданіе и отчаяніе, вѣра и сомнѣніе, дѣятельность и бездѣйствіе, побѣда и паденіе, борьба, раздоръ и примиреніе, торжество страстей и торжество духа, самыя преступленія, какъ бы они ни были ужасны—

все это для него явленія одной и той же дѣйствительности, выражающія необходимые моменты духа, или уклоненія его отъ нормальности вслѣдствіе внутреннихъ и вѣшнихъ причинъ. Но разумъ не остается только въ этомъ объективномъ безпристрастїи: признавая всѣ явленія духа равно необходимыми, онъ видитъ въ нихъ бесполезную лѣстницу, не лежащую горизонтально, а стоящую перпендикулярно, отъ земли къ небу, и въ которой ступени прогрессивно возвышаются одна надъ другой.

Искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности; слѣдовательно его задача не поправлять и не прикрашивать жизнь, а показывать ее такъ, какъ она есть на самомъ дѣлѣ. Только при этомъ условїи поэзія и нравственность тождественны. Произведенія неистовой французской литературы не потому безнравственны, что представляютъ отвратительныя картины прелюбодѣянїя, кровосмѣшенїя, отцеубійства и сыноубійства, но потому, что они съ особенной любовью останавливаются на этихъ картинахъ и, отвлекая отъ полноты и цѣлости жизни только эти ея стороны, дѣйствительно ей принадлежащія, исключительно выбираютъ ихъ. Но такъ какъ въ этомъ выборѣ, уже ложномъ по своей односторонности, литературные санюлоты руководствуются не требованїями искусства, которое само для себя существуетъ, а для подтвержденїя своихъ личныхъ убѣжденїй, то ихъ изображенія и не имѣютъ никакого достоинства вѣроятности и истины, тѣмъ болѣе, что они съ умысломъ клеветаютъ на человѣческое сердце. И въ Шекспирѣ есть тѣ же стороны жизни, за которыя неистовая литература такъ исключительно хватается, но въ немъ онѣ не оскорбляютъ ни эстетическаго, ни нравственнаго чувства, потому что вмѣстѣ съ ними у него являются и противоположныя имъ, а главное потому, что онъ не думаетъ ничего развивать и доказывать, а изображаетъ жизнь, какъ она есть.

Искусство издавна навлекло на себя нападки и ненависть моралистовъ, этихъ вампировъ, которые мертвятъ жизнь холодомъ своего прикосновенїя и сїлятся заковать ея безконечность въ тѣсныя рамки и клѣтки своихъ разсудочныхъ, а не разумныхъ опредѣленїй. Но изъ всѣхъ поэтовъ, Гёте наиболѣе возбуждалъ ихъ ожесточенїе. Геній и безнравственность—его неотъемлемыя качества въ ихъ глазахъ. Въ Менцелѣ эта моральная точка зрѣнїя на искусство нашла полнѣйшаго своего выразителя и представителя. Причина очевидна: Гёте былъ духъ, во всемъ жившій и все въ себѣ ощущавшій своими поэтическими ясновидѣнїемъ, слѣдовательно—неспособный предаться никакой односторонности, ни пристать ни къ какому исклю-

чительному ученїю, системѣ, партїи. Онъ многостороненъ, какъ природа, которой такъ страстно сочувствовалъ, которую такъ горячо любилъ и которую такъ глубоко понималъ онъ. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какъ природа противорѣчива, а слѣдовательно и безнравственна по воззрѣнїю резонеровъ: у полюсовъ она дышетъ холодомъ и смертью зимы, а подъ экваторомъ сожигаетъ изнурительной теплотой; на сѣверѣ она скупа на свои дары и заставляетъ человѣка все брать трудомъ, кровавымъ потомъ и вѣчной борьбой съ собою, а на югѣ щедро дарами, но богата и смертоносными заразами, ядовитыми гадами и свирѣпыми звѣрями; въ срединѣ Африки она разметнулась безбрежной степью—цѣлымъ океаномъ песка, гибельнаго для путешественниковъ, а въ Голландїи явилась топкимъ болотомъ... Слѣдовательно въ одномъ мѣстѣ она говоритъ одно, а въ другомъ утверждаетъ совсѣмъ противное; какая право безнравственная! Таковъ и Гёте—ея вѣрное зеркало. Во дни своей кипучей юности, обвѣянный духомъ художественной древности и обаянный роскошью природы и жизни поэтической Италїи, онъ писалъ «Римскія элегіи», этотъ дивный апофеозъ древней жизни и древняго искусства, и въ то же время воскресилъ въ своемъ «Геццѣ» жизнь рыцарской Германїи, свелъ съ ума всю Европу повѣстью о «Страданїяхъ Вертера» и создалъ въ «Вильгельмѣ Мейстерѣ» апофеозъ человѣка, который ничего полезнаго не дѣлаетъ на бѣломъ свѣтѣ и живетъ только для того, чтобы наслаждаться жизнью и искусствомъ, любить, страдать и мыслить. Потомъ, въ лѣта болѣе зрѣлыя, онъ въ «Прометѣѣ» воспроизвелъ художнически моментъ возстанїя сознающаго духа противъ непосредственности на вѣру признанныхъ положенїй и авторитетовъ, а въ «Фаустѣ» — жизнь субъективнаго духа, стремящагося къ примиренїю съ разумною дѣйствительностью путемъ сомнѣнїя, страданїй, борьбы, отрицанїй, паденїя и возстанїя, но подлѣ него помѣстилъ Маргариту, идеалъ женственной любви и преданности, покорную и безропотную жертву страданїя, смерть которой была для нея спасенїемъ и искупленїемъ ея вины, въ христїанскомъ значенїи этого слова... Уловить Гёте въ какое-нибудь коротенькое опредѣленіе трудно, а не для Менцеля, Менцель и осердился на него, и назвалъ его чѣмъ-то въ родѣ безнравственной безличности.

Нашлось много людей, которые въ простотѣ ума и сердца воскликнули:

Ай, моська! Знать она спльна,
Коль лаеъ на слона!

и промѣняли слона на моську...

Чтобы унижить Гёте, Менцель противопоставляетъ ему Шиллера, не какъ художника,

а какъ человѣка «отличнѣйшаго поведенія». Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ!..

Чтобы сдѣлать Гёте образцомъ безнравственности, Менцель призналъ въ Шиллерѣ образецъ нравственности. И Шиллеръ въ самомъ дѣлѣ былъ духъ столь же великій, сколько и нравственный: величіе и нравственность нераздѣльны, какъ теплота и свѣтъ въ огнѣ. Кто грѣшилъ противъ нравственности, стремясь къ нравственности, тотъ нравственнѣе того, который родился и умеръ нравственнымъ; точно такъ же, кто заблуждался въ истинѣ, стремясь къ истинѣ, больше любить истину, нежели тотъ, который родился и умеръ правымъ противъ нея. Какъ благородны порывы пламенной, неистощимой любви къ человечеству, первая произведенія Шиллера, каковы: «Разбойники» и «Коварство и Любовь», нравственны, но въ отношеніи къ безусловной истинѣ и высшей нравственности они рѣшительно безнравственны. Въ нихъ онъ хотѣлъ осуществить вѣчныя истины,—и осуществилъ свои личныя и ограниченныя убѣжденія, отъ которыхъ потомъ самъ отказался. Такъ какъ онъ въ нихъ задалъ себѣ задачу и назначилъ цѣль внѣ искусства, то изъ нихъ и вышли поэтическіе недостатки и уроды, явленія совершенно ничтожныя въ области искусства, хотя и великія въ сферѣ феноменологии духа. Истинно художественное произведеніе возвышаетъ и расширяетъ духъ человѣка до созерцанія безконечнаго, примиряетъ его съ дѣйствительностью, а не возстановляетъ противъ нея,—и укрѣпляетъ его на великодушную борьбу съ невзгодами и бурями жизни. Искусство достигаетъ этого тогда только, когда въ частныхъ явленіяхъ показываетъ общее и разумно-необходимое, и когда представляетъ ихъ въ объективной полнотѣ, цѣлости и оконченности, замкнутыми въ самихъ себѣ. Если въ трагедіи гибель и смерть ея героевъ явились какъ внутренняя необходимость изъ ихъ характеровъ и дѣйствій, какъ разрѣшеніе ими же произведенной дисгармоніи въ гармонической сферѣ духа, для осуществленія нравственнаго закона,—мы примираемся съ нею и умиленной душой предаемся тихой и глубокой думѣ о поразительномъ урокѣ: но когда гибель и смерть героевъ трагедіи являются вслѣдствіе страсти поэта къ ужаснымъ и поражающимъ эффектамъ, какъ у какого-нибудь Гюго, или по другой, внѣшней, случайной, а слѣдовательно и бессмысленной причинѣ,—это возбуждаетъ въ насъ отвращеніе и омерзѣніе, какъ зрѣлище казни или пытки. Такъ точно и страданія субъективнаго духа могутъ быть предметомъ искусства, а слѣдовательно и не оскорблять нравственности, если они изображены объективно, просвѣтлѣны мыслью, свидѣтельствующею о разумной необходимости

ихъ явленія. Но когда они суть вопли самого поэта, то и не могутъ быть художественны, ибо кто вопить отъ страданія, тотъ не выше своего страданія,—слѣдовательно и не можетъ видѣть его разумной необходимостью, но видитъ въ немъ случайность, а всякая случайность оскорбляетъ духъ и приводитъ его въ раздоръ съ самимъ собою, слѣдовательно и не можетъ быть предметомъ искусства. Гёте въ своемъ «Вертерѣ», по собственному признанію, выразилъ моментальное состояніе своего духа, тяжело страдавшаго; «Вертеромъ», по собственному же его признанію, онъ и вышелъ изъ своего мучительнаго состоянія. И вотъ истинная причина, почему чтеніе «Вертера» производитъ на души тоже тяжелое, дисгармоническое впечатлѣніе, не улаждая, а только терзая ее; вотъ почему «Вертеръ» и представляется чѣмъ-то неполнымъ, какъ бы неоконченнымъ. Это не художественное произведеніе, а рѣзущій, скрипучій диссонансъ духа. Поэтому, если онъ не есть безнравственное произведеніе, то и нисколько не есть нравственное произведеніе; Гёте измѣнилъ въ немъ самому себѣ, явился невѣрнымъ своей художнической натурѣ. Но кто же поставитъ ему въ вину то, что онъ на минуту не понялъ самого себя и изъ художника явился человѣкомъ?.. И неужели одинъ неудачный опытъ можетъ затмить такую богатую и обширную художническую дѣятельность!..

Никакой человѣкъ въ мірѣ не родится готовымъ, т.-е. вполне сформировавшимся; но вся жизнь его есть не что иное, какъ непрерывно-движущееся развитіе, безпрестанное формированіе. Истина не дается ему вдругъ: чтобы достичь ея, онъ будетъ сомнѣваться, впадать въ ложь и противорѣчіе, страдать и падать. «Дорого да мило, дешево да гнило!» говоритъ мудрая русская пословица. Чѣмъ глубже натура человѣка, тѣмъ глубже и его паденіе, и его заблужденіе, его противорѣчія и отрицанія, тѣмъ рѣзче его переходы отъ одного убѣжденія къ другому. Но есть люди, какъ бы родящіеся съ готовыми понятіями, люди, которые въ старости думаютъ и понимаютъ точно такъ же, какъ думали и понимали въ дѣтствѣ. Это натуры бѣдныя и жалкія, равнодушныя къ истинѣ и чуждыя всякаго духовнаго движенія, умы мелкіе и ограниченные. Вотъ отъ этихъ-то духовно-малолѣтнихъ вы всегда и слышите забавно-самолюбимое возраженіе: «какъ, не вы ли тогда-то думали совершенно иначе, а теперь говорите совсѣмъ другое?—стало быть, вы ошибаетесь». Къ такимъ-то натурамъ принадежитъ и Менцель: онъ родился совершенно готовымъ, и въ одномъ мѣстѣ своей книги съ препотѣшной гордостью ставитъ себѣ въ великую заслугу, что никогда не из-

мѣнялъ своихъ убѣжденій. Для поэта другой ходъ въ движеніи истины, чѣмъ для людей обыкновенныхъ: безъ борьбы и противорѣчій, руководимый полнотою своей ясновидящей натуры, переходитъ онъ съ лѣтами отъ низшихъ явленій жизни къ высшимъ, отъ «Руслана и Людмилы» доходить до «Бориса Годунова» или «Каменнаго Гостя». Менцель этого не понимаетъ, — и посмотрите, какъ растолковано это дивно-поэтическое признание великаго художника:

Die Feinde, sie bedrohen dich,
Das mehrt von Tag zu Tage sich,
Wie dir doch gar nicht graut!
Das seh ich alles unbewegt,
Sie zerren an der Schlangenhaut,
Die jüngst ich abgelegt;
Und ist die nächste reif genug,
Abstreif ich die sogleich
Und wandle neu belebt und jung
Im frischen Götterreich *).

Менцель это объясняетъ тѣмъ, что для Гёте не было ничего святого и заветнаго, что онъ всѣмъ забавлялся... Угадалъ!.. Менцель впрочемъ не до конца прогнѣвался на Гёте: онъ не отрицаетъ у него огромнаго таланта — вѣдшей поэтической формы безъ всякаго содержанія... О, почтенный нѣмецкій филистеръ! какъ пристала бы къ нему мандаринская шапка съ тремя желтенькими шариками, при его собственныхъ ушахъ... Чтобъ

быть критикомъ, надо родиться критикомъ, надо получить отъ природы обширное и глубокое созерцаніе или внутреннее ясновидѣніе всего, что составляетъ содержаніе искусства; надо получить инстинктъ и тактъ для пониманія изящнаго. Мы не можемъ понимать и знать ничего такого, что не лежитъ, какъ возможность, въ сокровенныхъ тайникахъ нашего духа. Наука развиваетъ только данное намъ природой, и внѣ себя мы только узнаемъ находящееся въ насъ. Нѣсколько друзей пошло въ картинную галлерей, и всѣ остановились передъ «Мадонною» Рафаэля, какъ вдругъ одинъ вскричалъ съ восхищеніемъ: «славная рама! я думаю, рублей пятьсотъ стоитъ!» Растолкуйте же ему, что какъ бы ни хороша была эта рама, хотя бы она стоила миллионъ, хотя бы была сдѣлана изъ цѣльнаго алмаза — и тогда была бы грошовой вещь въ сравненіи съ картиной, которая въ нее вставлена... Растолкуйте Менцелю, или Менцелямъ, что какъ въ природѣ, такъ и въ искусствѣ нѣтъ прекрасныхъ формъ безъ прекраснаго содержанія, т. - е. мысли, которая есть духъ жизни, ставшій въ нихъ видимой, очевидной дѣйствительностью, и что ей-то и одолжены эти прекрасныя формы и своей обаятельной красотой, и своей вѣчно-юной жизнью, и своимъ неотразимымъ и сладостнымъ могуществомъ надъ душой людей!..

ГОРЕ ОТЪ УМА.

Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Соч. А. С. Грибоѣдова. 2-е изд. Спб. 1839.

Какъ посравнить, да посмотрѣть
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій:
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!
„Горько отъ Ума“.

Было время, когда теорія искусства представлялась съ математической точностью, такъ что для постиженія искусства не нужно было имѣть отъ природы чувства изящнаго, а слѣдовательно и развивать его наукой и ученіемъ. Стоило присѣсть на часокъ, да прочесть любую пѣтику — и потомъ разсуждать объ искусствѣ вдоль и поперекъ. Въ этихъ пѣтикахъ основой была — идея искусства,

какъ подражанія природѣ, съ приличными впрочемъ украшеніями, въ родѣ мушекъ, бѣлилъ и румянъ или въ родѣ подстриженныхъ аллей регулярнаго сада. Объяснивъ такъ премудро и такъ глубоко значеніе искусства, приступали къ раздѣленію его на роды. Поэзія раздѣлялась на лирическую, эпическую, драматическую, дидактическую, описательную, эпистолярную, пастушескую, сатирическую, эпиграмматическую и проч., и проч., — всего не перечесть. На чемъ основывалось это раздѣленіе? — На вѣдшихъ признакахъ, на условной формѣ, существовавшей отвлеченно отъ идеи, изъ которой необходимо должна выходить всякая форма. Что такое напримѣръ драматическая поэзія? Вы думаете, что это вопросъ важный, для рѣшенія котораго требуется время, размышленіе, изученіе, наука, о которомъ можно написать разсужденіе, пѣтую книгу? — Ничего не бывало! не успѣете перечесть по пальцамъ десяти, какъ вамъ

*) Тебѣ грозятъ твои враги, и съ каждымъ днемъ число ихъ увеличивается. Какъ ты не боишься! Я смотрю на все это хладнокровно; они терзаютъ ту кожу, которую я давно сбросилъ съ себя; коль скоро замѣнившая ее достаточно созрѣетъ — я и эту сброшу немедленно; обновленный, помолодѣвъ опять, явлюсь въ вѣчно-цвѣтущемъ царствѣ боговъ.

уже и готовъ самый точный и самый удовлетворительный отвѣтъ. По мнѣнію однихъ—не слишкомъ бойкихъ—драматическая поэзія есть театральное зрѣлище съ нѣкоторымъ подражаніемъ природѣ, къ наставленію и увеселенію служащее; другіе—позамысловатѣе и въ пѣтическихъ хитростяхъ наиболѣе искушенные—говорятъ, что драматическая поэзія есть выраженіе настоящаго времени, какъ эпическая—прошедшаго, а лирическая—будущаго. Коротко и ясно! Но, милостивые государи, мужи ученостью и древностью лѣтъ знаменитые! положимъ, что эпическая поэзія воспѣваетъ хриплымъ голосомъ дѣла минувшія, а драма представляетъ бывшее настоящимъ; но лирическая то поэзія какъ успѣла у васъ забѣжать впередъ самой себя и выражать то, чего и не было, и нѣтъ, а только еще будетъ? Напротивъ, *virī doctissimi atque sapientissimi* лирическая-то поэзія и есть по преимуществу выраженіе настоящаго момента въ духѣ поэта, настоящаго, мимолетнаго ощущенія. Подновленные мнимымъ романтизмомъ, какъ бѣлилами и румянами устарѣлыя гетеры, нѣкоторые истые классики замѣтили эту натяжку и «изъ глубины сознанаго духа» новой нелѣпостью украсили старую: лирическая поэзія, говорятъ они, выражаетъ настоящее время, эпическая—прошедшее, а драматическая—будущее, ибо де (о, неисчерпаемая глубина сознанаго духа) она представляетъ людей не такими, каковы они суть, но какими должны быть!!!... Эту новую нелѣпость вытаскилъ изъ глубины своего сознанаго духа одинъ нѣмецъ-псевдофилософъ—Бахманъ, котораго безтолковая эстетика къ сожалѣнію прекрасно переведена была лѣтъ десять назадъ тому на русскій языкъ. Но объ обновленныхъ классикахъ послѣ; обратимся къ почюющимъ въ мірѣ. Раздѣливъ поэзію на роды, они приступили къ подраздѣленію родовъ на виды. Что такое трагедія?—Опредѣленій они не любили дѣлать, потому что опредѣленіе должно основываться на разумномъ началѣ и заключать въ себѣ, какъ зерно, растительную силу изъ самого себя, возможность внутренняго (имманентнаго) развитія изъ самого же себя,—и потому прибѣгали къ описаніямъ, которыя гораздо легче. Итакъ, опишемъ съ ихъ голоса всѣ виды драматической поэзіи. Если драматическое произведеніе писано шестистопными рифмованными ямбами съ пѣтическими вольностями (необходимое условіе!), если его дѣйствующія лица—цари и ихъ наперсники, парицы и ихъ наперсницы, механизмъ дѣйствія движется черезъ «вѣстниковъ», которые краснорѣчиво и съ приличной выступкой, на сценѣ, гдѣ ничего не дѣлается, рассказываютъ, что дѣлается за кулисами, а пятый актъ кончится рѣзней,—то знайте, что это «трагедія»; если

же оно писано прозой и содержитъ въ себѣ трогательное и назидательное происшествіе изъ частной жизни и кончится свадьбой любовниковъ и наказаніемъ разлучниковъ, знайте, что это «драма» или «слезная комедія», или «мѣщанская трагедія»—что все одно и то же; если же драматическое произведеніе имѣетъ въ предметѣ осмѣяніе пороковъ и исправленіе нравовъ и написано шестистопными тяжелыми ямбами съ пѣтическими вольностями, возбуждающими смѣхъ, а въ пятомъ актѣ кончится позоромъ негодяевъ и чудачковъ и торжествомъ резонеровъ,—знайте, это «комедія» съ ея отгадками и любовниками, съ ея субретками и резонерами; если же оно съ лѣниемъ и музыкой—то «опера».

Согласитесь, что все это очень просто, и развѣ только рѣшительные глупцы не въ состояніи были постичь всѣхъ этихъ премудростей за одинъ присѣстъ. Такъ Мольеровъ «Мѣшанинъ въ дворянствѣ» въ одну минуту узнать, что стихи есть стихи, а проза есть проза, и что онъ, съ тѣхъ поръ, какъ началъ говорить, все говорилъ прозой. Французъ—мастера и толковать, и понимать: простота соображенія соединяется у нихъ съ необыкновенной ясностью изложенія. Недоразумѣній по части искусства въ оное блаженное время не было, а если бы они и возникли, стоило только раскрыть кодексъ изящнаго—«*L'art poétique*» Буало и пѣтику Баттѣ. «Лицей» или «Лицей» Лагарпа, котораго наши остряки прошлаго вѣка безсознательно, но очень впопадъ, называли въ шутку «Лакеемъ», былъ уже приложеніемъ теоріи сихъ великихъ мужей къ практикѣ; образцы искусства были утверждены и признаны въ произведеніяхъ Корнели, Расина и Мольера съ набавкой къ нимъ Вольтера, Кребилльона и Дюсиса—Шекспирова парикмахера и камердинера. Все было рѣшено и опредѣлено: наука не могла идти далѣе. Славное время, чудное время! И давно ли оно свирѣствовало у насъ на святой Руси? Давно ли Сумароковъ слылъ «россійскимъ господиномъ Расиномъ»? давно ли Мерзляковъ—человѣкъ даровитый и умный, душа поѣтическая—съ важностью, нисколько не думая шутить или мистифицировать публику, разбиралъ неподражаемыя красоты творца дубоватаго «Синава» и свирѣлаго «Дмитрія Самозванца»!..

Дѣды, помню васъ и я!..

И вдругъ нахлынулъ потокъ новыхъ мнѣній. Легкая молодость, всегда жадная къ новости, ниспровергла прежнихъ идоловъ искусства, разрушила ихъ капища и надругалась надъ жертвоприношеніемъ. Тщетно почтенные филистры классицизма, застигнутые въ своихъ вольтеровскихъ креслахъ внезапной бурей, кричали ниспровергнутымъ болванамъ:

«выдѣбай, боже!» Деревянные божки потонули въ Дяфнрѣ нововведенія: мишурная позолота потянула ихъ ко дну и погубила безвозвратно. Куда Сумароковъ! не хотимъ знать и Озерова. Что Озеровъ! смѣемся мы надъ Корнелемъ и Расиномъ! — Кого же вамъ надо, господа? — Шекспира, Байрона, Шиллера, Гёте, Виктора Гюго — мы романтики!..

А! романтизмъ!.. Просимъ покорно — вотъ сюда, поближе: намъ надо разсмотрѣть васъ хорошенько. Вы смѣялись надъ стариками: посмотримъ, не смѣшны ли вы сами, молодой человѣкъ съ растрепанными чувствами и измятой наружностью...

Ахъ, господа, это пресмѣшная исторія — я вамъ расскажу ее. Но сперва мнѣ надо поговорить серьезно.

Всемирную исторію искусства, т.-е. искусства не какого-нибудь народа, а цѣлаго человѣчества, раздѣляютъ на два великіе періода, обозначая ихъ именами классическаго и романтическаго. Собственно классическое искусство существовало только у грековъ, — этого народа, который своей жизнью отпиривалъ праздникъ древняго міра. Всѣ народы Азіи и Африки выразили собой какую-нибудь одну сторону духа: — въ лицѣ грековъ всѣ эти односторонности явились въ живомъ и слитномъ единствѣ. Всѣ народы сѣяли на нивѣ развитія слезами и кровью: греки пожали только роскошные плоды, развивъ ихъ изъ своего многосторонняго, универсальнаго, абсолютнаго духа. Истина открылась человечеству впервые въ искусствѣ, которое есть истина въ созерцаніи, т.-е. не въ отвлеченной мысли, а въ образѣ, и въ образѣ не какъ условномъ символѣ (что было на Востокѣ), а какъ въ воплотившейся идеѣ, какъ полномъ, органическомъ и непосредственномъ ея явленіи въ красотѣ формъ, съ которыми она такъ нераздѣльно слита, какъ душа съ тѣломъ. Поэтому самая религія грековъ вышла изъ творящей фантазіи, и мысль о божествѣ явилась въ очаровательныхъ созданіяхъ искусства. Греческое творчество было освобожденіемъ человѣка изъ-подъ ига природы, прекраснымъ примиреніемъ духа и природы, — дотолѣ враждовавшихъ между собой. И потому греческое искусство облагородило, просвѣтило и одухотворило всѣ естественныя склонности, стремленія человѣка, которыя дотолѣ являлись въ отвратительномъ безобразіи своей животности. Вотъ почему духъ нашъ не только не оскорбляется, но возвышается и облагораживается эпизодомъ изъ «Иліады», гдѣ лилейно-раменная Гера, державная супруга громовержца Зевеса, обольщаетъ чарами любви и наслажденія своего грознаго супруга, чтобы въ ея объятіяхъ отецъ боговъ и человѣковъ не отвратилъ гибели отъ ненавистныхъ ей Данаевъ и не насмѣялся ея на любезныхъ ей Ахейцевъ... Вотъ

почему такую благородную, такую величественно-граціозную картину представляетъ собой Афродита — «милыхъ хитростей мать грозная» *), которая собственной рукой взводитъ прекрасную Елену на ложе бѣжавшаго отъ копья Менелаева боговиднаго царя Александра — Париса Пріаида... Всѣ формы природы были равно прекрасны для художнической души эллина; но какъ благороднѣйшій сосудъ духа — человѣкъ, то на его прекрасномъ станѣ и роскошномъ изяществѣ его формъ и остановился съ упоеніемъ и гордостью творческій взоръ эллина, и благородство, величіе и красота человѣческаго стана и формъ явились въ безсмертныхъ образахъ Аполлона бельведерскаго и Венеры медичейской. Посмотрите: сколько красокъ, сколько пластики въ описаніяхъ наружности и разнообразныхъ положеній человѣческаго стана въ пѣсняхъ пѣвца «Иліады», съ какимъ наслажденіемъ останавливается онъ на этихъ пластическихъ картинахъ, съ какой любовью, съ какой неистощимой роскошью творчества отдѣлываетъ ихъ своимъ волшебнымъ рѣзцомъ... Статуи грековъ изображались нагими: то, что для другихъ показалось бы безстыднымъ оскорбленіемъ человѣческаго достоинства, въ древнемъ мірѣ было цѣломудренной поэзіей и сознаніемъ человѣческаго достоинства, — и вотъ почему ваяніе достигло у грековъ такого высшаго развитія, принесло такіе роскошные плоды. Въ самомъ дѣлѣ, не говоря уже о важнѣйшихъ произведеніяхъ древняго рѣзца, камен, барельефъ, медаль, посуда въ формѣ человѣческой и львиной головы, каждая бездѣлка въ этомъ родѣ есть художественное произведеніе, и въ тысячу разъ выше лучшей статуи даже Кановы. У грековъ родилось ваяніе — съ ними и умерло оно, потому что только у нихъ совершенство человѣческой фигуры могло имѣть такое міровое значеніе. Вотъ почему характеръ самой поэзіи грековъ есть пластичность образовъ, такъ что хочется ощущать рукою этотъ волнистый, мраморный гекзаметръ, который, излетѣвъ изъ устъ, становится передъ глазами вашими отдѣльною статуею или движущейся картиною. Причина этого явленія — уравниваніе идеи съ формою, изъ которыхъ каждая потеряла свою особность и которыя слились въ неразрывномъ тождествѣ уже, а не единствѣ только. Далѣе, какое было содержаніе греческаго искусства? Для грековъ, какъ лишенныхъ христіанскаго откровенія, была темная, мрачная сторона жизни, которую они нарекли судьбою (fatum), и которая, какъ неотразимая, враждебная сила, тяготѣла надъ самими богами. Но благородный, свободный грекъ не преклонился, не палъ передъ этимъ страшнымъ призракомъ, а въ великодушную

*) Стихъ Мерзлякова.

и гордой борьбѣ съ судьбою нашелъ свой выходъ и трагическимъ величіемъ этой борьбы просвѣтилъ мрачную сторону своей жизни; судьба могла лишить его счастья и жизни, но не унижить его духа, могла сразить его, но не побѣдить. Эта идея мелькаетъ еще и въ «Иліадѣ», а въ трагедіяхъ является уже во всемъ блескѣ своего царственного величія. Древній міръ былъ міръ внѣшній, объективный, въ которомъ все значило общество, и ничего не значилъ человѣкъ. Вотъ почему дѣйствующими лицами въ греческой трагедіи могли быть только боги, полубоги, цари и герои — представители общества, народа, а не частныя лица. Дивный, очаровательно-прекрасный, роскошно-упоительный міръ! Великій моментъ человѣчества, моментъ примиренія, брачнаго союза духа съ природою въ искусствѣ, но превосходству художественномъ, слѣдовательно въ искусствѣ по преимуществу, которому равнаго уже не будетъ, но котораго безсмертныя творенія, вопреки безсмысленному мнѣнію ограниченныхъ головъ, невѣжды и самоучекъ, всегда будутъ для насъ полны значенія обаятельной силы, потому что для человѣчества не теряется ни одинъ моментъ его развитія, а тѣмъ болѣе не можетъ забыться такая высокая ступень духа, на которой были греки!.. Исчезаютъ только конечныя формы, а формы искусства вѣчны и непреходящи, ибо въ ихъ конечности является безконечное...

Но кончился онъ, этотъ прекрасный міръ просвѣтлѣнной чувственности, одухотворенныхъ формъ и героической борьбы человѣка съ неотразимою силою рока; кончился этотъ періодъ роскошнаго цвѣтенія искусства — умеръ народъ-художникъ! Уже и варварь-римлянинъ исчерпалъ всю свою жизнь — задача его была рѣшена: онъ простеръ надъ міромъ свою желѣзную длань, сливъ его въ механическомъ единствѣ своихъ гражданственныхъ формъ; онъ уже издалъ и кодексъ своихъ правъ, развитыхъ имъ изъ своей жизни и своею жизнью. Окруженный дивными произведеніями искусства, вывезенными изъ ограбленной имъ Греціи, онъ зѣвалъ отъ пресыщенія и скуки, и кормилъ рабами чудовищныхъ рыбъ... Древній міръ одряхлѣлъ; содержаніе его жизни было истощено... изнеможенное человѣчество алкало и жаждало обновленія или смерти. А между тѣмъ въ забытомъ уголку міра давно уже раздавался божественный голосъ, кротко и любовно взывавшій: «Придите ко Мнѣ всѣ труждающіе и обремененные — и Я успокою васъ. Возьмите иго Мое на себя и научитесь отъ Меня; ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ; и найдете покой душамъ вашимъ. Ибо иго Мое благо и бремя мое легко». И пришелъ часъ — народы познали гласъ пастьора, положившаго душу свою за овцы, и

міръ осѣнился знаменемъ креста. Новые, кипящіе избыткомъ юной жизни народы обновили древній міръ, и насталъ новый періодъ человѣчества, періодъ религіозный, періодъ романтический. Справедливо называютъ его періодомъ юношества человѣчества: это безпрестанное стремленіе куда-то, въ какую-то неопредѣленную даль, эта непрерывная жажда дѣятельности — что все это, какъ не кипѣніе молодой крови, какъ не тревога юнаго духа, мучимаго избыткомъ силъ своихъ? Изъ этого безпокойнаго стремленія къ движенію, хотя бы даже безъ всякой цѣли, но только къ движенію, вышло бродячее рыцарство въ желѣзныхъ доспѣхахъ, вѣчно на конѣ, вѣчно въ битвахъ, если не съ врагами, такъ съ самими собою въ кровавыхъ распряхъ и на потѣшныхъ турнирахъ. Но прямымъ и непосредственнымъ источникомъ всей этой романтической жизни было христіанство. Нѣкоторые поверхностные мыслители говорили и писали, что будто христіанство отрицаетъ государство, общественность, науку и искусство, потому что въ Евангеліи ни о чемъ этомъ не говорится. Что христіанство не отрицаетъ государства, какъ необходимой формы существованія человѣчества — это ясно изъ словъ Спасителя: «Воздадите кесарева кесареви, Божія Богови», и изъ многихъ мѣстъ Евангелія, гдѣ говорится о земныхъ властяхъ. Но и это еще не главное, еще не причина, а только слѣдствіе: все дѣло въ сущности основной идеи, такъ какъ основная идея Евангелія — идея божественной любви, осуществившаяся страданіемъ и кровью за чадъ своихъ, такъ какъ эта идея есть идея всеобъемлющая, все въ себѣ заключающая, все собою условливающая и въ самой себѣ носящая, какъ зерно растительную силу, всѣ свои будущіе моменты и проявленія, — то благодатно оплодотворенная ею почва человѣческаго развитія и произрастала, и произрастаетъ, и никогда не перестанетъ произрастать всѣ цвѣты и всѣ плоды небесные. Потому-то христіанская религія и дала обновленному міру такое богатое содержаніе жизни, котораго не изжить ему въ вѣчность; потому-то все, что ни есть теперь, чѣмъ ни гордится, чѣмъ ни наслаждается современное человѣчество, — все это вышло изъ плодотворнаго сѣмени вѣчныхъ, непреходящихъ глаголовъ божественной книги Новаго Завета. Только въ ней и можно, и должно искать сокровенной причины торжества христіанской Европы надъ всѣмъ остальнымъ, нехристіанскимъ міромъ, слабымъ и ничтожнымъ въ своей громадной величинѣ передъ этою малѣйшею частью свѣта. Не изъ христіанства ли вышло все гражданское устройство среднихъ вѣковъ? Римляне завідали имъ гражданское право, вышедшее изъ чисто-отвлеченной мысли, и юридическія формы; но уваженіе къ личности человѣка,

котораго самъ Богъ нарекъ сыномъ своимъ, уваженіе къ внутреннему человѣку вышло изъ Евангелія, изъ идеи равенства людей передъ судомъ Божиимъ, изъ идеи равенства права на отеческую любовь и милость Божию. Въ Евангелии ничего не говорится объ искусствѣ, но божественный Спаситель называлъ себя сыномъ царственнаго пѣвца и пророка Давида, и христіанству обязано своими блистательнѣйшими вдохновеніями искусство средних вѣковъ; ему обязаны своимъ возникновеніемъ и высокимъ развитіемъ и готическая архитектура — этотъ образъ безконечнаго стремленія въ царство духа, и живопись съ музыкою — эти по преимуществу (особливо послѣдняя) романтическія искусства. Христіанству же обязано своимъ возвышеннымъ, благороднымъ характеромъ и юношеское безпокойство одухотвореннаго имъ челоуѣчества: рыцари были защитники вдовъ и сиротъ, поборники религіи, воины Христовы. Оно же возвратило женщинѣ права ея; изъ него же вышло рыцарское благоговѣніе къ достоинству женщины, и отношенія обоихъ половъ получили такой возвышенно-идеальный характеръ, ибо родшая Бога была Матерь и Дѣва — сочетаніе материнской любви съ дѣвственной чистотой, а бракъ былъ названъ Спасителемъ «тайной великой»...

Итакъ, смиреніе передъ Богомъ, какъ отрицаніе своей конечной личности въ пользу вѣчной истины, смиреніе, простирающееся до энтузіастической готовности идти, какъ на свѣтлое торжество, на смерть за свое убѣжденіе и, несмотря ни на какую мѣру страданія, признавать благой и правой волю Божию, сознавая свою грѣховность (*résignation*); при необходимомъ неравенствѣ на лѣстницѣ общественной іерархіи, совершенное равенство передъ крестомъ Распятaго, въ смыслѣ христіанскаго братства, — а отсюда любовь и уваженіе къ челоуѣческой личности, великодушное мужество, жертвующее всѣми своими силами и самою жизнью за угнетенныхъ и гонимыхъ; идеальное обожаніе женщины, какъ представительницы на землѣ любви и красоты, какъ свѣтлаго генія гармоніи, мира и утѣшенія; тревожное стремленіе въ сумрачную даль безконечнаго, ко всему таинственному и мистическому: — вотъ романтическіе элементы, изъ которыхъ слагалась богатая жизнь средних вѣковъ. Эта эпоха была пробужденіемъ, возстаніемъ духа. Чтобы сознавать себя, ему надобно было отрѣшиться отъ природы, которая есть его же собственная сторона, но которая единствомъ съ нимъ (въ смыслѣ древнихъ), такъ сказать, затемняла его, поглощая собой его невидимую жизнь и, прелестью формъ, отводя брѣнныя очи отъ его таинственной сущности. Духу надо было явиться только духомъ, отвлеченно отъ слитнаго яв-

ленія. И онъ возсталъ въ своемъ страшномъ величіи, онъ отвергся природы, какъ врага своего, какъ діавола. Отсюда вышли: обѣты цѣломудрія, отрѣшеніе отъ благъ земныхъ, отшельничество; обаятельныя радости древняго міра уступили мѣсто посту, молитвѣ, покаянію, бичеванію, — религія стала католицизмомъ. Отсюда и романтическій характеръ искусства. Живопись сдѣлалась орудіемъ религіи, ея служительницею; возникла музыка — искусство романтическое по самой своей сущности, какъ выраженіе внутренней жизни субъективнаго духа, и ея гармонія гремѣла гимномъ Богу. Поэзія воспѣвала подвиги и любовь храбрыхъ рыцарей и прекрасныхъ дамъ, и ея формы улетучивались въ туманной мистикѣ содержанія. Не спрашивали: какъ выполнено художественное произведеніе, но спрашивали: что выражаетъ оно; содержаніе отдѣлилось отъ формы и стало выше ея. Это не значитъ, чтобы произведенія романтическаго искусства были аллегоріями или символами: въ истинныхъ художникахъ общая страсть времени къ аллегоріямъ и символамъ побѣждалась болѣе или менѣе полнотою ихъ художественной натуры, и идея становилась ощутительною только черезъ форму; но какъ въ древнемъ мірѣ красота формы, обязанная своимъ явленіемъ скрытой въ ней идеѣ, довольствовалась собой духъ и не производила въ немъ страстнаго порыва проникнуть въ ея сущность, такъ какъ въ романтическомъ мірѣ идея, поглощая собой вниманіе и удовлетворяя духъ, дѣлала форму вопросомъ второстепеннымъ. Искусство уже утратило свою самостоятельность, потому что религія — сознаніе истины въ непосредственномъ откровеніи, какъ высшее, всеобщее средство знанія, — подчинила себѣ искусство, которое поэтому перестало уже быть высшей всеобщей формой всеобщей истины. И вотъ въ этомъ-то смыслѣ греческое искусство только одно и есть истинное искусство, искусство какъ искусство и слѣдовательно высшее и совершеннѣйшее искусство, — и въ этомъ-то заключается для насъ и его достоинство, и его недостатокъ: содержаніе его для насъ неудовлетворительно, а возвыситься до его формы мы не можемъ, не отдавъ формѣ предпочтенія передъ идеей.

Итакъ классическое искусство есть полное и гармоническое уравновѣшеніе идеи съ формой, а романтическое — перевѣсъ идеи надъ формой. Подъ первымъ разумѣется искусство грековъ и — не по достоинству, а по общему характеру пластицизма — поэзія римлянъ; подъ вторымъ — искусство средних вѣковъ, включая сюда и нѣкоторыхъ новѣйшихъ поэтовъ, какъ наприм. Шиллера.

Изъ этого ясно видно, что называть классиками поэтическихъ уроковъ, каковы были: Корнель, Расинъ, Буало, Мольеръ, Кребиль-

йонъ, Вольтеръ, Дюсисъ, Аддисонъ, Попе, Альфиери и подобные имъ, или называть романтиками Шекспира, Сервантеса, Байрона, Вольтеръ Скотта, Купера, Гёте, Пушкина могутъ только люди, воздвоенные французскими идеями объ искусствѣ и незнающіе первыхъ началъ, азовъ науки изящнаго. Наше новѣйшее искусство, начатое Шекспиромъ и Сервантесомъ, не есть ни классическое, потому что «мы не греки и не римляне», и не романтическое, потому что мы не рыцари и не трубадуры среднихъ вѣковъ. Какъ же его назвать? Новѣйшимъ. Въ чемъ его характеръ? Въ примиреніи классическаго и романтическаго въ тождествѣ, а слѣдственно и въ различіи отъ того и другого, какъ двухъ крайностей. Происходя исторически, непосредственно отъ второго, наслѣдовавъ всю глубину и обширность его безконечнаго содержанія и обогатя его дальнѣйшимъ развитіемъ христіанской жизни и приобрѣтеніемъ новаго знанія, оно примирило богатство своего романтическаго содержанія съ пластицизмомъ классической формы.

Теперь обратимся къ смѣшной исторіи.

Очевидно, что классицизмъ, какъ его понимали французы и какъ онъ перешелъ отъ нихъ къ намъ, былъ псевдо-классицизмъ, столько же походившій на греческій, сколько маркизы XVIII вѣка походили на боговъ, царей и героев древней Греціи. Неспособные по своему національному духу проникнуть въ сущность свѣтлаго міра древнихъ грековъ, — они взяли нѣчто отъ виѣшнихъ формъ, и думали, что, введя въ свою quasi-трагедію царей, наперсниковъ и вѣстниковъ, сдѣлаютъ ее греческою. Христіанскій міръ есть міръ внутренній, духовный, субъективный, въ которомъ личность человѣка благородна и священна потому уже, что онъ человѣкъ: вслѣдствіе этого въ шекспировской драмѣ шутъ короля Лира имѣетъ такое же право на свое мѣсто, какъ и самъ Лиръ на свое; а въ древней трагедіи, какъ мы уже замѣтили выше, могли имѣть мѣсто только представители политическаго общества, народа. Смотрѣтъ на виѣшность мимо ея значенія — значитъ впасть въ случайность. Возвышенную простоту грековъ, ихъ поэтическій языкъ, выходившій изъ пластическаго лиризма ихъ жизни, французы думали замѣнить натынутой декламаціей и риторической шумихой. Они сами себя называли классиками, и имъ всѣ повѣрили! Такъ какъ основаніемъ этого псевдо-классицизма была виѣшность и формальность, то понятно, отчего французская теорія изящнаго была такъ проста и опредѣленна: ничего нѣтъ легче, какъ судить о вещахъ по виѣшнимъ признакамъ.

Но такъ называемые романтики ушли не дальше ихъ, и только впади въ другую крайность: отвергнувъ псевдо-классическую форму и чопорность, они полагали романтизмъ

въ безформенности и дикомъ неистовствѣ. Дикость и мрачность они провозгласили отличительнымъ характеромъ поэзіи Шекспира, смѣшавъ съ ними его глубину и безконечность и не понявъ, что формы шекспировыхъ драмъ совсѣмъ не случайности, но обуславливаются идеей, которая въ нихъ воплотилась. Есть еще и теперь люди, которые Бетховена называютъ дикимъ, добродушно не понимая, что дикость есть униженіе, а не достоинство гениа, и что энергія и глубокость совсѣмъ не то, что дикость. Они не поняли, что въ лирическихъ произведеніяхъ Гёте классицизмъ формъ подходитъ къ древнему, и что ихъ художественное достоинство недоступно съ перваго взгляда со стороны идеи, но прежде всего поражаетъ роскошнымъ изяществомъ своихъ формъ. Если классики походили на напудренныхъ маркизовъ прошлаго вѣка, то романтики походили на нагихъ австралийцевъ, одурѣвшихъ отъ человѣческой крови, или отправляющихъ свои отвратительныя торжества. Отвергнуть устарѣлыя и случайныя формы искусства еще не значитъ постигнуть сущность искусства. Послѣднее можно сдѣлать, только оставивъ въ сторонѣ виѣшности и углубившись въ начало искусства. Но это романтическое неистовство было нужно, какъ отрицаніе ложнаго классицизма: сдѣлавъ свое дѣло, оно въ свою очередь стало такъ же смѣшно, какъ и классическая чопорность. Въ сущности же всѣ крайности равны и ни одна не лучше другой. Мы смѣемся надъ классическими раздѣленіями поэзіи на роды и драматической на виды, но понимаемъ ли мы это дѣло сами лучше ихъ? Мы говоримъ «драма, трагедія, комедія», а не думаемъ, въ чемъ состоитъ значеніе этихъ словъ, и чѣмъ они другъ отъ друга отличаются. Кровавый конецъ для насъ еще и теперь признакъ трагедіи, веселость и смѣхъ — признакъ комедіи; а то и другое вымѣстѣ и съ благополучнымъ окончаніемъ — драма. Все тѣ же виѣшніе и случайные признаки, не выходящіе изъ идеи; мы все тѣ же классики, только классики романтическіе.

Кстати позвольте объяснить вамъ поподробнѣе, что такое романтическій классицизмъ: это прямо относится къ предмету нашей статьи и представляетъ собою очень интересный предметъ, по крайней мѣрѣ очень забавный.

Романтическій классикъ есть представитель эклектическаго примиренія классицизма съ романтизмомъ, въ которомъ кое-что удерживается изъ классицизма и кое-что берется изъ романтизма. Разумѣется, все дѣло тутъ вертится на отвлеченныхъ, виѣшнихъ формахъ. При разсматриваніи поэтическаго произведенія первая задача классика — опредѣлить его родъ, и если его форма такъ странна,

дика и такая небывалая, что классикъ недоумѣваетъ о его родѣ, то объявляетъ это сочиненіе вздорнымъ и нелѣпнымъ, хотя и не лишеннымъ блескомъ таланта. Такъ антипоэтическій Вольтеръ отзывался о Шекспирѣ. Особенно въ этомъ отношеніи для классиковъ хуже чумы тѣ авторы, которые не составляютъ на своихъ сочиненіяхъ словъ: поэма, трагедія, драма, комедія, водевиль, ода, эклога, элегія и пр. Для нихъ это просто убійство! Здѣсь классики очень сходны съ натуралистами: нашедши новый предметъ изъ животнаго, растительнаго или минеральнаго царства, натуралистъ прежде всего хлопочетъ о родѣ и видѣ, и если не узнаетъ сразу ни того, ни другого, то старается подвести свою находку подъ какой-нибудь извѣстный родъ въ качествѣ новооткрытаго вида. Но вотъ гдѣ и ужасная разниа между классиками и натуралистами: если рода не находится для новооткрытаго предмета, а самъ онъ не помѣщается въ цѣли системы, какъ родъ, то натуралистъ все-таки не исключаетъ его изъ цѣли созданій Божіихъ, но, тщательно описавъ его признаки, надѣется, что впослѣдствіи найдется для него мѣсто; классикъ же, не думая долго, объявляетъ изыщное произведеніе вздоромъ за то только, что оно не подходитъ подъ извѣстные ему роды произведеній искусства. Но лучше ли поступаютъ въ этомъ отношеніи господа романтики? Давно ли одинъ журналистъ, съ гордостью и до сихъ поръ называющій себя романтикомъ и всегда преслѣдовавшій классицизмъ, какъ уголовное преступленіе, отступился отъ «Каменнаго Гостя» Пушкина и нашелъ лишь хорошіе стихи въ этомъ великомъ созданіи потому только, что пришелъ въ недоумѣніе—что это такое: не то драматическій разсказъ, не то испанское имбродію, не то Богъ знаетъ что! Не форма ли тутъ играетъ прежнюю свою роль, не классицизмъ ли это, хотя подновленный и подкрашенный романтизмомъ? А какъ вамъ кажется вотъ эта продѣлка: догадавшись о нелѣпости раздѣленія поэзіи на роды, основанное на трехъ формахъ времени и дѣлающее лирическую поэзію выраженіемъ будущаго времени, нѣмецкій хитрецъ драматическую поэзію заставилъ выражать будущее время, ибо де драма представляетъ людей не такими, каковы они суть, а такими, каковы должны быть, слѣдовательно какими будутъ. «О тонкая штука! Экъ куда метнулъ! какого тумана напустилъ! разбери кто хочетъ!»... И всѣ толки, всѣ положенія нашихъ романтиковъ похожи на это, какъ двѣ капли воды: это тѣ же классическія нелѣпости, но только перехитренные и перемудренные; словомъ, это романтический классицизмъ, старая погудка на новый ладъ. Онъ также смотритъ на предметъ извнѣ, а не из-

внутри, и потому хоть ему и кажется, что онъ прытко бѣжитъ, а въ самомъ-то дѣлѣ онъ все на одномъ мѣстѣ вертится вокругъ самого себя. Пора приняться за дѣло по-серьезнѣе, пора взять за основаніе своихъ теорій не произвольныя, субъективныя понятія, а мысль, развивающуюся изъ самой себя. Мы не принадлежимъ ни къ классикамъ, ни къ романтикамъ и равно смѣемся надъ тѣмъ и другимъ названіемъ, не находя смысла ни въ томъ, ни въ другомъ. Мы не ручаемся за вѣрность нашихъ основаній, но ручаемся, что въ нашихъ выводахъ будемъ логически вѣрны своимъ основаніямъ, и что если читатели не согласятся съ нами, по крайней мѣрѣ поймутъ то, что мы хотимъ сказать. Задача, которую мы предлагаемъ себѣ въ этой статьѣ—вывести раздѣленіе драматической поэзіи на трагедію и комедію не по внѣшнимъ признакамъ, а изъ ихъ сущности, и на этихъ основаніяхъ сдѣлать критическую оцѣнку знаменитому произведенію Грибоѣдова.

Поэзія есть истина въ формѣ созерцанія; ея созданія—воплотившіяся идеи, видимыя, созерцаемыя идеи. слѣдовательно поэзія есть та же философія, то же мышленіе, потому что имѣетъ то же содержаніе—абсолютную истину; но только не въ формѣ діалектическаго развитія идеи изъ самой себя, а въ формѣ непосредственнаго явленія идеи въ образѣ. Поэтъ мыслитъ образами; онъ не доказываетъ истины, а показываетъ ее. Но поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя—она сама себѣ цѣль; слѣдовательно поэтический образъ не есть что-нибудь внѣшнее для поэта или второстепенное, не есть средство, но есть цѣль: въ противномъ случаѣ онъ не былъ бы образомъ, а былъ бы символомъ. Поэту представляются образы, а не идея, которой онъ изъ-за образовъ не видитъ, и которая, когда сочиненіе готово, доступнѣе мыслителю, нежели самому творцу. Поэтому поэтъ никогда не предполагаетъ себѣ развитіе ту или другую идею, никогда не задаетъ себѣ задачи: безъ вѣдома и безъ воли его возникаютъ въ фантазіи его образы, и, очарованный ихъ прелестью, онъ стремится изъ области идеаловъ и возможности перенести ихъ въ дѣйствительность, т.-е. видимое одному ему сдѣлать видимымъ для всѣхъ. Высочайшая дѣйствительность есть истина; а какъ содержаніе поэзіи—истина, то и произведенія поэзіи суть высочайшая дѣйствительность. Поэтъ не украшаетъ дѣйствительности, не изображаетъ людей, какими они должны быть, но каковы они суть. Есть люди,—это все они же, все романтическіе же классы,—которые отъ всей души убѣждены, что поэзія есть мечта, а не дѣйствительность, и что въ нашъ вѣкъ, какъ положительный и индустріальный, чѣ-

взя невозможна. Образцовое невѣжество! нелѣпость первой величины! Что такое мечта? Призракъ, форма безъ содержанія, порожденіе разстроеннаго воображенія, пражной головы, голобродствующаго сердца! И такая мечтательность нашла своихъ поэтовъ въ Ламартинахъ и свои поэтическія произведенія въ идеально-чувствительныхъ романахъ, въ родѣ «Аббадоны» *); но развѣ Ламартинъ—поэтъ, а не мечта,—и развѣ «Аббадоны»—поэтическое произведеніе, а не мечта?.. И что за жалкая, и что за устарѣлая мысль о положительности и индустриальности нашего вѣка, будто бы враждебныхъ искусству? Развѣ не въ нашемъ вѣкѣ явились Байронъ, Вальтеръ Скоттъ, Куперъ, Томасъ Муръ, Уордсвортъ, Пушкинъ, Гоголь, Мицкевичъ, Гейне, Беранже, Эленшлегеръ, Тегнеръ и другіе? Развѣ не въ нашемъ вѣкѣ дѣйствовали Шиллеръ и Гёте? Развѣ не нашъ вѣкъ оцѣнилъ и понялъ созданія классическаго искусства и Шекспира? Неужели это еще не факты? Индустриальность есть только одна сторона многосторонняго XIX вѣка, и она не помѣшала ни дойти поэзіи до своего высочайшаго развитія въ лицѣ поименованныхъ нами поэтовъ, ни музыкѣ въ лицѣ ея Шекспира—Бетховена, ни философіи въ лицѣ Фихте, Шеллинга и Гегеля. Правда, нашъ вѣкъ—врагъ мечты и мечтательности, но потому-то онъ и великій вѣкъ! Мечтательность въ XIX вѣкѣ такъ же смѣшна, пошла и приторна, какъ и сентиментальность. Дѣйствительность—вотъ пароль и лозунгъ нашего вѣка, дѣйствительность во всемъ—и въ вѣрованіяхъ, и въ наукѣ, и въ искусствѣ, и въ жизни. Могучій и мужественный вѣкъ, онъ не терпитъ ничего ложнаго, поддѣльнаго, слабаго, расплывающагося, но любитъ одно мощное, крѣпкое, существенное. Онъ смѣло и безтрепетно выслушалъ безотрадныхъ пѣсни Байрона и вмѣстѣ съ ихъ мрачнымъ пѣвцомъ лучше рѣшился отречься отъ всякой радости и всякой надежды, нежели удовольствоваться нищенскими радостями и надеждами прошлаго вѣка. Онъ выдержалъ разсудочный критицизмъ Канта, разсудочное положеніе Фихте; онъ перестрадалъ съ Шиллеромъ всѣ болѣзни внутренняго, субъективнаго духа, порывающагося къ дѣйствительности путемъ отрицанія. И зато въ Шеллингѣ онъ увидѣлъ зарю безконечной дѣйствительности, которая въ ученіи Гегеля осіяла міръ роскошнымъ и великолѣпнымъ днемъ, и которая еще прежде обоехъ великихъ мыслителей, непонятная, явилась непосредственно въ созданіяхъ Гёте... Только въ нашъ вѣкъ искусство получило полное свое значеніе, какъ примиреніе христиан-

скаго содержанія съ пластицизмомъ классической формы, какъ новый моментъ уравновѣшенія идеи съ формой. Нашъ вѣкъ есть вѣкъ примиренія, и онъ такъ же чуждъ романтическаго искусства, какъ и классическаго. Средніе вѣка были моментомъ нецѣльнымъ, неслитнымъ, но отвлеченнымъ; мы видимъ въ немъ только романтическіе элементы, которыми человечество запаслось на будущую жизнь, и которые теперь явились въ своей слитной дѣйствительности и проникли нашу частную, домашнюю и даже практическую сторону жизни, такъ что одна сторона не отрицаетъ другой, но обѣ являются въ неразрывномъ единствѣ, взаимно проникнувъ одна другую. Этого-то слитнаго единства и не было въ дѣйствительности среднихъ вѣковъ, которыхъ романтическіе элементы обозначались въ какой-то отвлеченной особенности. И вотъ почему рыцарь иногда при одномъ подозрѣніи въ невѣрности жены или безжалостно умерщвлялъ ее собственной рукой, или сожигалъ живую,—ее, которая нѣкогда была царицей думъ и мечтаній души его, передъ которой робко преклонялъ онъ колѣни, едва осмѣливаясь возвести взоры на свое божество, и которой безкорыстно посвящалъ онъ и свое кипящее мужество, и силу желѣзной руки, и безпокойную, бродячую волю свою... Да и вообще, находя жену, онъ терялъ идеальное, безплотное, ангелоподобное существо. Въ новѣйшемъ періодѣ человечества напротивъ: Юлія Шекспира обладаетъ всѣми романтическими элементами; любовь была религіей и мистикой ея собственнаго сердца, встрѣча съ родной ей душой была великимъ и торжественнымъ актомъ ея души, вдругъ сознавшей себя и возросшей до дѣйствительности, а между тѣмъ это существо не облачное, не туманное, все земное,—да, земное, но насквозь проникнутое небеснымъ. Романтическое искусство переносило землю на небо, его стремленіе было вѣчно туда, по ту сторону дѣйствительности и жизни: наше новѣйшее искусство переноситъ небо на землю и земное просвѣтляетъ небеснымъ. Въ наше время только слабыя и болѣзненные души видятъ въ дѣйствительности юдоль страданія и бѣдствій и въ туманную сторону идеаловъ переносятъ своей фантазіей, на жизнь и радость въ мечтѣ; души нормальныя и крѣпкія находятъ свое блаженство въ живомъ сознаніи живой дѣйствительности, и для нихъ прекрасенъ Божій міръ, и само страданіе есть только форма блаженства, а блаженство—жизнь въ безконечномъ. Мечтательность была высшей дѣйствительностью только въ періодѣ юношества человѣческаго рода; тогда и формы поэзіи улетучивались въ еиміамъ молитвы, во вздохъ блаженствующей любви или тоскующей разлуки. Поэзія же мужественнаго

*) Извѣстный нѣмецкій романъ какого-то господина идеальштюкмахера.

возраста человечества, наша новѣйшая поэзія осязаемо-изящную форму просвѣтляетъ эи-ромъ мысли, и на-яву дѣйствительности, а не во снѣ мечтаній, отворяетъ таинственные врата священнаго храма духа. Короче: какъ романтическая поэзія была поэзіей мечты и безотчетнымъ порывомъ въ область идеаловъ, такъ новѣйшая поэзія есть поэзія дѣйствительности, поэзія жизни.

Раздѣленіе поэзіи на три рода—лирическую, эпическую и драматическую, выходитъ изъ ея значенія, какъ сознанія истины и слѣдовательно изъ взаимныхъ отношеній со-знающаго духа—субъекта, къ предмету со-знанія—объекту. Лирическая поэзія выра-жаетъ субъективную сторону чело-вѣка, открываетъ нашему взору внутренняго чело-вѣка, и потому вся она—ощущеніе, чувство, музыка. Эпическая поэзія есть объективное изображеніе совершившагося во времени со-бытія, картина, которую показываетъ вамъ художникъ, выбирая для васъ лучшія точки зрѣнія, указывая на всѣ ея стороны. Драматическая поэзія есть примиреніе этихъ двухъ сторонъ, субъективной или лириче-ской и объективной или эпической. Передъ вами не совершившееся, но совершающееся событіе, не поэтъ вамъ сообщаетъ его, но каждое дѣйствующее лицо выходитъ къ вамъ само, говоритъ вамъ за самого себя. Въ одно и то же время видите вы его съ двухъ то-чекъ зрѣнія; оно увлекается общимъ водо-воротомъ драмы и дѣйствуетъ волею и не-волею соотносясь съ своими отношеніями къ прочимъ лицамъ и идеѣ цѣлаго созданія—вотъ его объективная сторона; оно раскры-ваетъ передъ вами свой внутренній міръ, обнажаетъ всѣ изгибы сердца своего, вы подслушиваете его нѣмую бесѣду съ самимъ собою—вотъ его субъективная сторона. По-этому-то въ драмѣ всегда видите вы два элемента: эпическую объективность дѣйствія въ цѣломъ и лирическія выходы и изліянія въ монологахъ, дотога лирическія, что они непремѣнно должны быть писаны стихами, и, переданныя въ переводѣ прозою, теряютъ свой поэтический бузетъ и переходятъ въ на-дутую прозу, чему доказательствомъ могутъ служить лучшія мѣста шекспировыхъ драмъ, переведенныхъ прозою *). Въ лирической поэзіи поэтъ является намъ субъектомъ, и

потому-то въ ней такъ часто и такую важ-ную роль играетъ его личность, его я, а ощу-щенія и чувства, о которыхъ онъ говоритъ, какъ о своихъ собственныхъ, будто бы од-ному ему принадлежащихъ, мы приписы-ваемъ себѣ, узнаемъ въ нихъ моменты соб-ственного духа. Эпическій поэтъ, скрываясь за событіями, которыя заставляютъ насъ соз-ерцать, только подражывается; какъ лицо, безъ котораго мы не знали бы о совершив-шемся событіи, онъ даже и не всегда бы-ваетъ незримо-присутствующимъ лицомъ: онъ можетъ позволять себѣ обращенія и къ са-мому себѣ, говорить о себѣ, или по край-ней мѣрѣ подавать свой голосъ объ изобра-жаемыхъ имъ событіяхъ. Въ драмѣ, напро-тивъ, личность поэта исчезаетъ совсѣмъ и какъ бы даже не предполагается существую-щей, потому что въ драмѣ и событіе гово-ритъ само за себя, современно представляясь совершающимся, и каждое изъ дѣйствую-щихъ лицъ говоритъ само за себя, современно развиваясь и съ внутренней, и съ вѣйшней стороны своей.

Драматическую поэзію обыкновенно раз-дѣляютъ на два вида: трагедію и комедію. Разовьемъ необходимость этого раздѣленія изъ сущности идеи поэзіи, а не изъ вѣй-шихъ формъ и признаковъ. Для этого мы должны раздѣлить на двѣ стороны самую поэзію, какая бы она ни была, лирическая, эпическая или драматическая: на поэзію по-ложенія или дѣйствительности и поэзію отри-цанія или призрачности.

Предметъ поэзіи есть дѣйствительность или истина въ явленіи. Тѣ, которые думаютъ, что ея предметъ—мечты и вымыслы никогда и нигдѣ небывалаго, кромѣ воображенія поэта, сбиваются словами «идеаль» и «иде-ализированіе дѣйствительности». Конечно со-зданія поэта не суть списки или копіи съ дѣйствительности, но они сами суть дѣй-ствительность, какъ возможность, получив-шая свое осуществленіе, и получившая это осуществленіе по непреложнымъ законамъ самой строгой необходимости: идея, рождаю-щаяся въ душѣ поэта, есть тайна, какъ младенецъ, зачинающійся во чревѣ матери: кто можетъ угадать заранѣе индивидуальную форму той или другого! и та, и другая не есть ли возможность, стремящаяся получить свое осуществленіе, не есть ли совершенно никогда и нигдѣ небывалое, но долженствующее быть сущимъ? Идеаль не есть собраніе разсѣянныхъ по природѣ чертъ одной идеи и сосредоточенныхъ на одномъ лицѣ, потому что собраніе не можетъ не быть механи-ческимъ,—а это противорѣчитъ динамиче-скому процессу творчества. Еще менѣе идеаль можетъ быть воображеніемъ того, чего и нѣтъ, и быть не можетъ, т.-е. мечтою или

*) Мы убѣждены въ томъ, что для совершен-нѣйшаго перевода шекспировыхъ драмъ сти-хами надобно и переводчику быть Шекспиромъ; иначе переводъ его будетъ хоть сколько-ни-будь невѣренъ—невѣренъ или идеѣ, или формѣ, и всегда будетъ болѣе или менѣе субъективенъ. Шекспиръ для чтенія можетъ и долженъ быть переведимъ прозою. Если кому удастся пере-вести какъ должно шекспирову драму стихами, это будетъ подвигъ, котораго однако достаточно для цѣлой жизни.

украшенной природою и усовершенствованными людьми—людьми не какъ они суть, а какими будто бы они должны быть. Идеаль есть общая (абсолютная) идея, отрицающая свою общность, чтобы стать частнымъ явленіемъ, а ставши имъ, снова возвратиться къ своей общности. Объяснимъ это примѣромъ. Какая идея шекспирова «Отелло»? Идея ревности, какъ слѣдствія обманутой любви и оскорбленной вѣры въ любовь и достоинство женщины. Эта идея не была сознательно взята поэтомъ въ основаніе его творенія, но безъ вѣдома его, какъ незримо-падшее въ душу зерно, развилась въ образы Отелло и Дездемоны, т.-е. солеклась своей безусловной и отвлеченной общности, чтобы стать частными явленіями, личностями Отелло и Дездемоны. Но какъ лица Отелло и Дездемоны не суть лица какого-нибудь извѣстнаго Отелло и какой-нибудь извѣстной Дездемоны, а лица типическія, благодаря общей идеѣ, воплотившейся въ нихъ, то слѣдуетъ второе отрицаніе идеи или возвращенія общей идеи къ самой себѣ. слѣдовательно идеализировать дѣйствительность значить совсѣмъ не украшать, но являть ее, какъ божественную идею, въ собственныхъ нѣдрахъ своихъ носящую творческую силу своего осуществленія изъ небытія въ живое явленіе. Другими словами: «идеализировать дѣйствительность» значить въ частномъ и конечномъ явленіи выражать общее и безконечное, не списывая съ дѣйствительности какія-нибудь случайныя явленія, но создавая типическіе образы, обязанные своимъ типизмомъ общей идеѣ, въ нихъ выражающейся. Портретъ, чей бы онъ ни былъ, не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ, ибо онъ есть выраженіе частной, а не общей идеи, которая одна способна явиться типически; но лицо, въ которомъ бы, напримѣръ, всякій узналъ скупого, есть идеаль, какъ типическое выраженіе общей родовой идеи скупости, которая заключаетъ въ себѣ возможность всѣхъ своихъ случайныхъ явленій; поэтому какъ скоро она стала образомъ, то въ этомъ образѣ всякій видитъ портретъ не какого-нибудь скупца, но портретъ всякаго какого-нибудь скупца, хотя бы этотъ какой-нибудь и имѣлъ совершенно другія черты лица.

Подъ словомъ «дѣйствительность» разумѣется все, что есть—мѣръ видимый и мѣръ духовный, мѣръ фактовъ и мѣръ идей. Разумъ въ сознаніи и разумъ въ явленіи, словомъ, открывающійся самому себѣ духъ есть дѣйствительность; тогда какъ все частное, все случайное, все неразумное есть призрачность, какъ противоположность дѣйствительности, какъ ея отрицаніе, какъ кажущееся, но не сущее. Человѣкъ пьетъ, ѣстъ, одѣвается—это мѣръ призраковъ, потому что въ

этомъ нисколько не участвуетъ духъ его; человекъ чувствуетъ, мыслить, сознаетъ себя органомъ, сосудомъ духа, конечною частностью общаго и безконечнаго—это мѣръ дѣйствительности. Человѣкъ служитъ царю и отечеству вслѣдствіе возвышеннаго понятія о своихъ обязанностяхъ къ нимъ, вслѣдствіе желанія быть орудіемъ истины и блага, вслѣдствіе сознанія себя, какъ части общества, своего кровнаго и духовнаго родства съ нимъ—это мѣръ дѣйствительности. «Овому талантъ, овому два»,—и потому, какъ бы ни была ограничена сфера дѣятельности человека, какъ бы ни незначительно было мѣсто, занимаемое имъ не только въ человечествѣ, но и въ обществѣ, но если онъ кромѣ своей конечной личности, кромѣ своей ограниченной индивидуальности видитъ въ жизни нѣчто общее и въ сознаніи этого общаго по степени своего развитія находитъ источникъ своего счастья,—онъ живетъ въ дѣйствительности и есть дѣйствительный человекъ, а не призракъ, истинный, сущій, а не кажущійся только человекомъ. Если человеку недоступны объективные интересы, каковы жизнь и развитіе общества, ему могутъ быть доступны интересы своего сословія, своего городка, своей деревни, такъ что онъ находитъ какое-то, часто странное и непонятное для самого себя, наслажденіе для ихъ выгодъ лишаться собственныхъ личныхъ выгодъ—и тогда онъ живетъ въ дѣйствительности. Если же онъ не возвышается и до такихъ интересовъ,—пусть будетъ онъ супругомъ, отцомъ, семьяниномъ, любовникомъ, но только не въ животномъ, а въ человѣческомъ значеніи, источникъ котораго есть любовь, какъ бы ни была она ограничена, лишь бы только была отрицаніемъ его личности,—онъ опять живетъ въ дѣйствительности. На какой бы степени ни проявился духъ, онъ—дѣйствительность, потому что онъ любовь или безсознательная разумность,—а потомъ разумъ или любовь, сознавшая себя.

Мы шли отъ высшихъ ступеней къ низшимъ; пойдемъ обратно и увидимъ, что въ сознаніи истины высшая дѣйствительность есть религія, искусство и наука; въ жизни—историческое лицо, гений, проявившій свою дѣятельность въ которой-нибудь изъ этихъ абсолютныхъ сферъ, въ которыхъ все—призракъ. Практическая дѣятельность историческаго лица, имѣвшаго вліяніе на судьбу народа и человечества, не исключается изъ этихъ сферъ, потому что сознаніе идеи его дѣятельности возможно только въ этихъ сферахъ.

Не все то, что есть, только есть. Всякій предметъ физическаго и умственнаго міра есть или вещь по себѣ, или вещь и по себѣ (an sich) и для себя (für sich). Дѣйствительно есть только то, что есть и по себѣ, и для

себя, только то, что знаетъ, что оно есть и по себѣ, и для себя, и что оно есть для себя въ обществѣ. Кусокъ дерева есть, но онъ есть не для себя, а только по себѣ: онъ существуетъ только какъ объектъ, а не какъ объектъ-субъектъ, и человекъ знаетъ о немъ, что онъ есть, а не онъ самъ знаетъ о себѣ. Это же явленіе представляетъ собою и человекъ, когда его сознание или его субъективно-объективное существованіе заключено только въ смыслъ или конечномъ разсудкѣ, на-глухо заперто въ соображеніи своихъ личныхъ выгодъ, въ эгоистической дѣятельности, а не въ разумѣ, какъ въ сознаніи себя только черезъ общее, какъ въ частномъ и преходящемъ выраженіи общаго и вѣчнаго: онъ призракъ, ничто, хотя и кажется чѣмъ-то. Вы уже въ порѣ мужества, въ вашей душѣ есть любовь и вамъ доступно общее человеческое: обратите ваши взоры на свое прошлое, что вы тамъ увидите? Конечно, ваша память не представитъ вамъ ни платья, которое вы износили, ни кушаній, которыми вы лакомились, ни минутъ, когда удовлетворено было ваше тщеславіе или другія мелкія страстишки и пошлыя чувствованія; но вы вспомните тѣ минуты, когда васъ поражалъ видъ восходящаго солнца, вечерняя заря, буря и ведро, и всѣ явленія роскошно-великолѣпной природы, этого храма Бога живого; вы вспомните минуты, когда вы тепло молились, плакали слезами раскаянія, любви, чистой радости, когда васъ поражала новая мысль—словомъ, всѣ моменты, всѣ феномены вашего духа, не исключая отсюда и уклоненій отъ истины, если они были моментами отрицанія, необходимыми для познанія истины. Конечно, вы можете быть вспомните и платье, которое особенно восхищало вашу младенческую душу, и самоваръ, который собиралъ вокругъ себя вашего отца, мать, сестеръ и братьевъ, и садъ, въ которомъ вы играли, и калитку, изъ которой во дни юности выходили украдкой на сладкое свиданіе; но не платье, не самоваръ, не калитка—не всѣ эти пустыя частности исторгнуть грустно-сладостную слезу воспоминанія изъ вашихъ глазъ, а тотъ «букетъ жизни, тотъ аромат блаженства, который освятилъ ихъ для васъ...» Чистая радость и блаженство своимъ бытіемъ, хотя бы характеръ ихъ былъ и дѣтскій, суть дѣйствительность потому, что если они выходятъ и не изъ разумнаго сознанія, то изъ разумнаго ощущенія себя въ лонѣ вѣчнаго духа. Дѣйствительность есть во всемъ, въ чемъ только есть движеніе, жизнь, любовь; все мертвое, холодное, неразумное, эгоистическое есть призрачность.

Но призрачность получаетъ характеръ необходимости, если мы, оставивъ человека съ его субъективной стороны, взглянемъ на него

объективно, какъ на члена общества. Все служить духу, и истина идетъ всѣми путями, часто не разбирая ихъ. Иной удовлетворяетъ только низкимъ нуждамъ своей жизни, насыщаетъ свою страсть къ любостыжанію и между тѣмъ дѣлаетъ пользу обществу, нисколько не думая о его пользѣ, споспѣшествуетъ его развитію и благосостоянію, оживляя торговлю, кругообращеніе капиталовъ—одинъ изъ столбовъ, поддерживающихъ зданіе общества, эту необходимую форму для развитія человечества. Но дѣло въ томъ, что одинъ служить истинѣ для удовлетворенія потребности собственнаго духа, личнаго стремленія къ счастью; другой служить ему невольно и безсознательно, думая служить себѣ. Такъ, бродящій по полю волъ, споспѣшествуя плодородію земли, дѣлаетъ большую пользу: но кто же ему поклонится за это, скажетъ спасибо, почувствуетъ къ нему уваженіе? А между тѣмъ безъ такихъ воловъ общество было бы невозможно, и представить его безъ нихъ—значило бы представить домъ, построенный изъ камня на воздухѣ.

Дѣйствительность есть положительное жизни; призрачность—ея отрицаніе. Но, будучи случайностью, призрачность дѣлается необходимостью, какъ уклоненіе отъ нормальности вслѣдствіе свободы человеческого духа. Такъ здоровье необходимо обуславливаетъ болѣзнь, свѣтъ—темноту. Цѣлое заключаетъ въ себѣ всѣ свои возможности, и осуществленіе этихъ возможностей, какъ имѣющее свои причины, слѣдовательно свою разумность и необходимость—есть дѣйствительность. Если мы возьмемъ человека, какъ явленіе разумности—идея человека будетъ неполна: чтобъ быть полною, она должна заключать въ себѣ всѣ возможности, слѣдовательно и уклоненіе отъ нормальности, т.-е. паденіе. И потому пустой, глупый человекъ, сухой эгоистъ есть призракъ; но идея глупца, эгоиста, поддѣца есть дѣйствительность, какъ необходимая сторона духа, въ смыслѣ его уклоненія отъ нормальности.

Отсюда являются двѣ стороны жизни—дѣйствительная или разумная дѣйствительность, какъ положеніе жизни, и призрачная дѣйствительность, какъ отрицаніе жизни. Отсюда же выходитъ и наше раздѣленіе поэзии, какъ воспроизведеніе дѣйствительности, на двѣ стороны—положительную и отрицательную. Чтобъ придать нашему созерцанію осязательную очевидность, бросимъ бѣглый взглядъ на два произведенія поэта, выражающія каждое одну изъ этихъ сторонъ жизни.

Вы возвышаетесь духомъ и предаетесь глубокой и важной думѣ, читая «Тарасъ Бульбу»; вы смѣетесь и хохочете, читая курьезную «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ».

Отчего эта противоположность впечатлѣнія отъ двухъ произведеній одного и того же художника?—Отъ сущности дѣйствительности, возсозданной въ томъ и другомъ, оттого, что первое изображаетъ положеніе жизни, а другое—ея отрицаніе. Что такое Тарасъ Бульба? Герой, представитель жизни цѣлаго народа, цѣлаго политическаго общества въ извѣстную эпоху жизни. Что вы видите въ этой поэмѣ? что особенно поражаетъ васъ въ ней? Общество, составленное изъ пришельцевъ разныхъ странъ, изъ удалыхъ головъ, бѣжавшихъ кто отъ нищеты, кто отъ родительскаго проклятія, кто отъ меча закона, и между тѣмъ общество, имѣющее одинъ общій характеръ, твердо сплоченное и связанное какимъ-то крѣпкимъ цементомъ. Въ чемъ эта связь?—въ православіи?—но оно такъ безребовательно, такъ ограничено и бѣдно въ своей сущности, что мало походитъ на религію.—«Они приходили сюда, какъ будто возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшій является только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: «Здравствуй! Что, во Христа вѣруешь?» — Вѣрую! — отвѣчалъ приходившій. «И въ Троицу святую вѣруешь?»—Вѣрую! — «И въ церковь ходишь?»—Хожу. — «А ну, перекрестись!»—Пришедшій крестился. «Ну, хорошо», отвѣчалъ кошевой: «ступай же самъ въ какой знаешь курень». —Этимъ оканчивается вся церемонія». —Нѣтъ, тутъ была другая, сильнѣйшая связь: это удалство, которому жизнь—копейка, голова—наживное дѣло; это жажда дикихъ натуръ людей, кипящихъ избыткомъ исполинскихъ силъ,—жажда наполнить свою жизнь, тяготимую бездѣйствіемъ и праздною; что же лучше могло наполнить ее, удовлетворить дикій духъ челоѣка могучаго, но безъ идей, безъ образованности, почти полудикаря, какъ не кровавая сѣча, какъ не отчаянное удалство во время войны и не бѣшеная гульба во время мира? Оттого-то и въ этой гульбѣ нѣтъ ничего оскорбляющаго чувство, но такъ много поэтическаго; оттого-то эта гульба была, какъ превосходно выразился поэтъ, широкимъ разметомъ души. Итакъ, вотъ гдѣ основа и источникъ казацкой жизни и Запорожской Сѣчи, «того гнѣзда, откуда вылетали тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы», и вотъ гдѣ основная идея поэмы Гоголя. Тарасъ Бульба является у него представителемъ этой жизни, идеи этого народа, апотеозомъ этого широкаго размета души. Дурной мужъ, какъ всѣ люди полудикой гражданственности, онъ любитъ своихъ сыновей, потому что изъ нихъ должны выйти важные рыцари, и онъ не любилъ бы и презиралъ бы дочерей своихъ, если бы имѣлъ ихъ, потому что онъ никакъ не могъ понять, что хорошаго въ челоѣкѣ, если онъ не годится въ рыцари. Онъ

былъ христіанинъ и православный по преданію, въ самомъ отвлеченномъ смыслѣ; рѣдко видѣлъ церковь Божию и въ правилахъ жизни своей руководствовался обычаемъ и собственными страстями, а не религіей—и между тѣмъ зарѣзалъ бы родного сына за малѣйшее слово противъ религіи и фанатически ненавидѣлъ басурмановъ. Онъ любилъ свою родную Украину и ничего не зналъ выше и прекраснѣе удалого казачества, потому что чувствовалъ то и другое въ каждой каплѣ крови своей, и духъ того и другого нашелъ въ немъ свой настоящій сосудъ, рѣзкими, рельефными чертами выпечатлѣлся на его полудикой физиономіи и во всей его полудикой личности. Народную вражду онъ смѣшалъ съ личной ненавистью, и когда къ этому присоединился дикій фанатизмъ отвлеченной религіозности, то мысль о поганомъ католичествѣ, какъ называлъ онъ поляковъ, представлялась ему въ формѣ дымящейся крови, предсмертныхъ стонѣвъ и зарева пылающихъ городовъ, сель, монастырей и костеловъ... Это лицо совершенно трагическое; его комизмъ только въ противоположности формъ его индивидуальности съ нашими—комизмъ чисто внѣшній. Вы смѣетесь, когда онъ дерется на кулачки съ роднымъ сыномъ и пресерьезно совѣтуетъ ему тузить всякаго, какъ онъ тузилъ своего батьку; но вы уже и не улыбаетесь, когда видите, что онъ попался въ плѣнъ, потянувшись за грошевой люлькой; но вы содрогаетесь, только еще видя, что онъ въ яростной битвѣ приближается къ оторопѣвшему сыну—сердце ваше предчувствуетъ трагическую катастрофу; но у васъ замираетъ духъ отъ ужаса, когда въ вашемъ слухѣ раздастся этотъ комическій вопросъ: «что, сынку?»; но вы болѣзненно раздѣляете это мимолетное умиленіе желѣзнаго характера въ словахъ Бульбы: «Чѣмъ бы не казакъ былъ?—и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою—пропалъ, пропалъ безъ славы!»... А эта страшная жажда мести у Бульбы противъ красавицы польки, по мнѣнію его, чарами погубившей его сына, и потому—это море крови и пожаровъ, объявившее враждебный край, и среди его грозная фигура стараго фанатика, совершавшаго страшную тризну въ память сына, наконецъ, это омертвѣніе могучей души, оглушенной двукратнымъ потрясеніемъ, потерей обоихъ сыновей: «Неподвижный сидѣлъ онъ на берегу моря, шевеля губами и произнося: «Остатъ мой, Остатъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстидалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усь его серебрился, и слезы капали одна за другой»... А это безконечно-знаменательное: «слышу, сынку!», и эта вторая страшная тризна мщенія за второго сына, кончившаяся смертью мсти-

теля, и какой смертью!—привязанный желѣзной цѣпью къ стоячему бревну съ пригвожденной рукой, кричалъ онъ своимъ «хлопцамъ», что имъ надо дѣлать, чтобы спастись отъ непріятеля, и изъяслялъ свой восторгъ отъ ихъ удалства и проворства... Видите ли: у этого человѣка была идея, которой онъ жилъ и для которой онъ жилъ; видите ли: онъ не пережилъ ея, онъ умеръ вмѣстѣ съ ней... Для нея убилъ онъ собственной рукой милого сына, для нея онъ умеръ и самъ... Въ его душѣ жила одна идея, и всѣ другія ему были недоступны, враждебны и ненавистны. А жизнь въ объективной идеѣ, до претворенія ея въ субъективную стихію жизни—есть жизнь въ разумной дѣйствительности, въ положеніи, а не въ отрицаніи жизни. Грубость и ограниченность Бульбы принадлежать не его личности, но его народу и времени. Сущность жизни всякаго народа есть великая дѣйствительность; въ Тарасѣ Бульбѣ эта сущность нашла свое полнѣйшее выраженіе.

Совсѣмъ другой міръ представляетъ намъ ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Это міръ случайностей, неразумности; это отрицаніе жизни, пошлость, грязная дѣйствительность. Но какимъ же образомъ могла она сдѣлаться содержаніемъ художественнаго произведенія. и не унижилъ ли художникъ своего таланта, сдѣлавъ изъ него такое употребленіе? Резонеры, которымъ доступна одна внѣшность, а не мысль, отвѣтятъ вамъ утвердительно на этотъ вопросъ. Мы думаемъ напротивъ. Какъ мы уже сказали, частное явленіе отрицанія жизни возбуждаетъ одно отвращеніе и есть призракъ; но какъ идея, какъ необходимая сторона жизни, прозрачность получаетъ характеръ дѣйствительности и, слѣдовательно, можетъ и должна быть предметомъ искусства. Тутъ задача въ томъ, чтобы въ основаніи художественнаго произведенія лежала общая идея, и чтобы изображенія поэта были не списками съ частных явленій (эти-списки суть призраки), но идеалами, для того перешедшіе въ дѣйствительность явленія, чтобы каждый изъ нихъ былъ выраженіемъ идеи, представителемъ цѣлаго ряда, безконечнаго множества явленій одной идеи и, будучи въ этомъ значеніи общимъ, былъ бы въ то же время единымъ—живой, замкнутой въ самой себѣ особностью. Всякая частность есть случайность, и если ея значеніе низко и пошло—она оскорбляетъ человѣческое, эстетическое чувство; но общее, хотя бы и отрицательной стороны жизни, уже дѣлается предметомъ знанія и теряетъ свою случайность. Вотъ если бы поэтъ въ изображеніяхъ такого рода явленій вздумалъ оправдывать свои субъективныя убѣжденія и грязь жизни выдавать субъективно за поэзію жизни,—тогда бы его изображенія были отвра-

тительны; но тогда бы онъ уже и пересталъ быть поэтомъ. Они существуютъ для него объективно, всѣ они внѣ его, но онъ самъ въ нихъ, потому что поэтическимъ ясновидѣніемъ своимъ онъ проводитъ ихъ идею и, проводя ихъ чрезъ свою творческую фантазію, просвѣтляетъ этой идеей ихъ естественную грубость и грязность.

Объективность, какъ необходимое условіе творчества, отрицаетъ всякую моральную цѣль, всякое судопроизводство со стороны поэта. Изображая отрицательныя явленія жизни, поэтъ нисколько не думаетъ писать сатиры, потому что сатира не принадлежитъ къ области искусства и никогда не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ. Рисуя нравственныхъ уродовъ, поэтъ дѣлаетъ это совсѣмъ не скрѣпя сердце, какъ думаютъ многіе: нельзя сердиться и творить въ одно и то же время; досада портитъ желчь и отравляетъ наслажденіе, а минута творчества есть минута высочайшаго наслажденія. Поэтъ не можетъ ненавидѣть свои изображенія, каковы бы они ни были; напротивъ, скорѣе онъ ихъ любитъ, потому что они представляются ему уже просвѣтленными идеею.

Были два пріятеля—сосѣда, соединенные другъ съ другомъ неразрывными узами взаимной пошлости привычки и праздности. Мы не будемъ ихъ описывать послѣ изображенія, сдѣланнаго поэтомъ. Если, читатели, вы помните и знаете Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича—были они искренними друзьями и вдругъ сдѣлались страшными врагами, и прожили все свое имѣніе, стараясь добѣхать другъ друга судомъ. А отчего? Стоить привести по нѣскольку чертъ характера каждаго—и вы поймете причину этого страшнаго явленія. Иванъ Ивановичъ былъ человѣкъ весьма солидный, самаго тонкаго обращенія, терпѣть не могъ грубыхъ или непристойныхъ словъ, и когда потчивалъ какого-нибудь знакомаго табакомъ, то говорилъ: «смѣю ли просить, государь мой, объ одолженіи?», а если незнакомаго то: «смѣю ли просить, государь мой, не имѣя чести знать чина, имени и отчества, объ одолженіи?» Онъ любилъ лежать на солнцѣ подъ навѣсомъ въ одной рубашкѣ только послѣ обѣда, а вечеромъ надѣвалъ бешкетъ, выходя со двора; но самая рѣзкая черта его характера была та, что, съѣвши дыню, онъ завертывалъ въ бумажку сѣмена и надписывалъ: «Сія дыня сѣждена такого-то числа»; а если при этомъ былъ гость, то: «участвовалъ такой-то». Присовокупите къ этому портрету страшную скупость и высокую цѣну, придаваемую земнымъ благамъ,—и Иванъ Ивановичъ весь передъ вами. Иванъ Никифоровичъ отличался отъ своего толстотой и любилъ ~~всѣмъ своимъ имуществомъ~~ непристойныя сѣ

ствію достойнаго Ивана Ивановича; любилъ въ жаркіе дни выставлять на солнце спину, садиться по горло въ воду, куда ставилъ столъ и самоваръ и пилъ чай; любилъ въ комнатахъ лежать въ натурѣ, и когда потчивалъ кого изъ своей табакерки табакомъ, то просто говорилъ: «одолжайтесь». Теперь вы видите всю эту жизнь, понятную только въ произведеніи художника, но случайную, бессмысленную и глупо-животную въ дѣйствительности. Оба героя призраки (въ томъ смыслѣ, который мы выше придали этому слову), и все, что они ни дѣлаютъ, есть призракъ, пустота, бессмыслица. Въ ихъ характерахъ уже лежитъ, какъ необходимость, ихъ ссора. Ивану Ивановичу захотѣлось имѣть у себя ружье Ивана Никифоровича; зачѣмъ—не спрашивайте; онъ самъ этого не знаетъ. Мы думаемъ, что это было безсознательнымъ желаніемъ чѣмъ-нибудь наполнить свою праздную пустоту, потому что пустота вслѣдствіе праздности тяжка и мучительна для всякаго человѣка, какъ бы ни былъ онъ пошлъ. Иванъ Никифоровичъ по такой же причинѣ не хотѣлъ уступить ему своего ружья, хотя тотъ и обѣщалъ ему за него приличное вознагражденіе—бурую свинью и мѣшокъ гороха. Завязался крупный разговоръ, въ которомъ Иванъ Никифоровичъ, грубый въ своихъ выходкахъ, назвалъ Ивана Ивановича, этого до крайности деликатнаго и щекотливаго со стороны своей чести и аттенціи человѣка, назвалъ его—о, ужасъ!—гусакomъ...

Великая, безконечно-великая черта художественнаго гения этотъ гусакъ! Если бы поэтъ причиною ссоры сдѣлалъ дѣйствительно оскорбительныя ругательства, пощечину, драку—это испортило бы все дѣло. Нѣтъ, поэтъ понималъ, что въ мірѣ призраковъ, которому онъ давалъ объективную дѣйствительность, и забавы, и занятія, и удовольствія, и горести, и страданія, и самое оскорбленіе—все призрачно, бессмысленно, пусто и пошло. Не думайте, чтобы эти два чудака были отъ природы созданы такими: нѣтъ, природа справедлива къ людямъ—она каждому даетъ въ мѣру чего и сколько ему нужно. Конечно эти чудаки и отъ природы были не бойкіе люди, но и имъ нашлась бы своя ступенька на безконечной лѣстницѣ человѣческой и гражданской дѣятельности: они могли бѣ быть хорошими мужьями, отцами, хозяевами и имѣть, сообразно съ занимаемымъ ими мѣстечкомъ въ цѣпи явленій духа, свою благообразность формы; но воспитаніе, животная лѣнь, праздность, невѣжество—вотъ что сдѣлало ихъ такими. Ихъ хотѣли примирить и почти было успѣли въ этомъ; уже Иванъ Никифоровичъ полѣзъ въ карманъ, чтобы достать рожокъ и сказать «одолжайтесь», но вдругъ лукавый дернулъ его замѣтить, что не стоитъ сердиться изъ

пустого слова «гусакъ». Видите ли: если бы онъ гусака замѣнилъ птицей, или выразился какъ-нибудь иначе, они снова были бы друзьями; но роковое слово было сказано, и снова прагматическіе карбованцы полетѣли изъ желѣзныхъ сундуковъ въ карманы подъячихъ, и имѣніе, виѣшнее и внутреннее благосостояніе, вся жизнь была истощена въ тяжбѣ. Десять лѣтъ прошло, головы ихъ убѣлились сѣдиной, а поэтъ восклицаетъ: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» Да! грустно думать, что человѣкъ, этотъ благороднѣйшій сосудъ духа, можетъ жить и умереть призракомъ и въ призракахъ, даже и не подозрѣвая возможности дѣйствительной жизни! И сколько на свѣтѣ такихъ людей, сколько на свѣтѣ Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей!..

Начиная говорить о «Тарасѣ Бульбѣ», о «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ», мы не думали писать критики на эти два великія произведенія поэзіи: это не относилось къ нашему предмету и далеко превзошло бы наши силы. Мы только взглянули на нихъ мимоходомъ и только съ одной стороны—съ той, которая непосредственно относится къ предмету нашей статьи. Мы показали, что элементы трагическаго находятся въ дѣйствительности, въ положеніи жизни такъ сказать; а элементы комическаго—въ призрачности, имѣющей только объективную дѣйствительность, въ отрицаніи жизни. Трагедія можетъ быть и въ повѣсти, и въ романѣ, и въ поэмѣ, и въ нихъ же можетъ быть комедія. Что же такое, какъ не трагедія «Тарасъ Бульба», «Цыгане» Пушкина; и что же такое «Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ», «Графъ Нулинь» Пушкина, какъ не комедія?.. Тутъ разница въ формѣ, а не въ идеѣ. Но перейдемъ къ трагедіи и комедіи и взглянемъ на нихъ поближе.

Трагическое заключается въ столкновеніи естественнаго влеченія сердца съ идеєю долга, въ протекающей изъ той борьбы и, наконецъ, побѣдѣ или паденіи. Изъ этого видно, что кровавый конецъ тутъ ровно ничего не значитъ: Иванъ Ивановичъ могъ бы зарѣзать Ивана Никифоровича, а потомъ и себя, но комедія все бы осталась комедією. Объяснимъ это примѣромъ. Андрей, сынъ Бульбы, полюбилъ дѣвушку изъ враждебнаго племени, которой онъ не могъ отдаться, не измѣнивъ отечеству: вотъ столкновеніе (коллизія), вотъ спибка между влеченіемъ сердца и нравственнымъ долгомъ. Борьбы не было: пылкая натура, кипящая юными силами, отдалась безъ размышленія влеченію сердца. Будете ли вы осуждать ее, имѣете ли вы право на это? Нѣтъ, рѣшительно нѣтъ. Поймите безконечно глубокую идею суда Спасителя надъ блудницею и не поднимайте камня. А между тѣмъ

Андрій все-таки виноватъ предъ нравственнымъ закономъ. Но если бы въ жизни не было такихъ столкновений, то не было бы и жизни, потому что жизнь только въ противорѣчіяхъ и примиреніи, въ борьбѣ воли съ долгомъ и влеченіемъ сердца, и въ побѣдѣ или паденіи. Чтобы подать людямъ великій и поразительный примѣръ процесса осуществленія развивающейся идеи и урокъ нравственности, судьба избираетъ благороднѣйшіе сосуды духа и дѣлаетъ ихъ уже не преступниками, но очистительными жертвами, которыми искупается истина. Отецъ потому и свершилъ страшное убійство невинной жены и палъ подъ тяжестью своего проступка, что онъ былъ могучъ и глубоко: только въ такихъ душахъ кроется возможность трагической коллизіи, только изъ такой любви могла выйти такая ревность и такая жажда мести. Онъ думалъ отомстить своей женѣ столько же за себя, сколько и за поруганное ею мнимымъ преступленіемъ человѣческое достоинство.

Человѣкъ живетъ въ двухъ сферахъ: въ субъективной, со стороны которой онъ принадлежитъ только себѣ и больше никому, и въ объективной, которая связываетъ его съ семействомъ, съ обществомъ, съ человѣчествомъ. Эти двѣ сферы противоположны: въ одной онъ господинъ самого себя, никому не отдающій отчета въ своихъ стремленіяхъ и склонностяхъ; въ другой онъ весь въ зависимости отъ внѣшнихъ отношеній. Но такъ какъ этотъ объективный міръ суть законы его же собственного разума, только внѣ его осуществившіеся, какъ явленія; такъ какъ этотъ объективный міръ требуетъ отъ него того же самого, чего и онъ требуетъ для себя отъ объективнаго міра,—то онъ и связанъ съ ними неразрывными узами крови и духа. Вслѣдствіе этихъ-то кровно-духовныхъ узъ нравственность выходитъ изъ гармоніи субъективнаго человѣка съ объективнымъ міромъ, и если та и другая сторона позволяетъ ему предаться влеченію сердца, нѣтъ столкновенья, ни борьбы, ни побѣды, ни паденья, но есть одно свѣтлое торжество счастья. Когда же они расходятся, и одна влечетъ его въ сторону, а другая въ другую,—является столкновенье, и чѣмъ бы человѣкъ ни вышелъ изъ этой битвы—побѣжденнымъ или побѣдителемъ—для него нѣтъ уже полного счастья: онъ застигнутъ судьбой. Если онъ увлекся влеченіемъ сердца и оскорбилъ нравственный законъ, изъ этого оскорбленія вытекаетъ, какъ необходимый результатъ, его наказаніе, потому что отношенія его къ объективному міру тѣмъ глубже и священнѣе, чѣмъ онъ больше человѣкъ. Въ собственной душѣ его корни нравственнаго закона, и онъ самъ свой судья и свое наказаніе; если бы

борьба и не разрѣшилась кровавой катастрофой, его блаженство уже отравлено, уже неполно, потому что сознаніе его незаконности не только въ людяхъ, показывающихъ на него пальцами, но въ собственномъ его духѣ. Еще прежде, нежели Бульба убилъ Андрія, Андрій былъ уже наказанъ: онъ поблѣднѣлъ и задрожалъ, увидѣвъ отца своего. Одно уже то, что онъ нашелъ себя въ страшной необходимости занести убійственную руку на соотечественниковъ, наконецъ, на отца, было наказаніемъ, которое стоило смерти, и которое смерть сдѣлала для него выходомъ, спасеніемъ, а не карой. И самое блаженство его—не отравлилось ли оно какой-то мрачной, тяжелой мыслью? Мы сказали, что Андрій увидѣлъ себя въ страшной необходимости лить кровь своихъ соотечественниковъ, своихъ единовѣрцевъ: да, въ необходимости, которая, какъ слѣдствіе изъ причины, логически проистекла изъ его проступка. Макбетъ, томимый жаждой властолюбія достигнуть престола убійствомъ своего законнаго короля, своего родственника и благодѣтеля, мужа кроткаго и благороднаго, думалъ можетъ быть снять съ себя вину царевубійца, мудро управляя народомъ и даровавъ ему внѣшнюю безопасность и внутреннее благоденствіе; но ошибся въ своихъ расчетахъ: не внѣшній случай былъ его карой, но самъ онъ наказалъ себя; во всѣхъ онъ видѣлъ своихъ враговъ, даже въ собственной тѣни, и скоро самъ созналъ это, увидѣвъ логическую необходимость новыхъ злодѣйствъ и сказавъ:

Кто зло посѣялъ—зломъ и поливай!

Кровавая катастрофа въ трагедіи не бываетъ случайной и внѣшней; зная характеръ Бульбы, вы уже впередъ знаете, какъ онъ поступитъ съ сыномъ, если встрѣтится съ нимъ: сыноубійство для васъ уже заранѣе очевидная необходимость. Но сущность трагическаго не въ кровавой развязкѣ, которая можетъ произвести только чувство подавляющаго ужаса, смѣшаннаго съ отвращеніемъ, а въ идеѣ необходимости кровавой развязки, какъ актѣ нравственнаго закона, отомщащаго за свое нарушеніе, и вотъ почему, когда занавѣсъ скрываетъ отъ васъ сцену, покрытую трупами, вы уходите изъ театра съ какимъ-то успокоивающимъ чувствомъ, съ тихой и глубокой думой о таинствѣ жизни. По тому же самому вы примиряетесь и съ благородными жертвами, человѣчески понимая, какъ трудно было имъ пройти безвредно между Сциллой сердечнаго влеченья и Харибдой нравственнаго закона, удовлетворить вмѣстѣ и субъективнымъ требованіямъ, и объективнымъ обязанностямъ.

Само собой разумѣется, что когда герой трагедіи выходитъ изъ борьбы побѣдителемъ,

то развязка может обойтись безъ крови, но что драма отъ этого не теряетъ своего трагическаго величія. Что можетъ быть выше, какъ зрѣлище человѣка, который стрекса отъ того, что составляло условіе, сферу, воздухъ, жизнь его жизни, свѣтъ его очей, для котораго навсегда потеряна надежда на полноту блаженства и для котораго остается одинъ выходъ—сосредоточивъ въ себѣ бремя несчастья, нести его въ благородномъ молчаніи, тихой грусти и сознаніи великодушнѣйшей побѣды?.. Равно величественное зрѣлище представляетъ собой человѣкъ, падшій жертвой своей побѣды: таковъ былъ бы Гамлетъ, который для того, чтобы исполнить долгъ мщенія за отца, отказался отъ блаженства любви, если бы въ его дѣйствіяхъ было видно больше рѣшительности и полноты натуры.

Трагедія выражаетъ не одно положеніе, но и отрицаніе жизни, только отрицаніе трагическаго характера. Мы разумѣемъ тѣ страшныя уклоненія отъ нормальности, къ которымъ способны только сильныя и глубокія души. Макбетъ Шекспира—злѣйшій, но злѣйшій съ душой глубокой и могучей, отчего онъ вмѣсто отвращенія возбуждаетъ участіе: вы видите въ немъ человѣка, въ которомъ заключалась такая же возможность побѣды, какъ и паденія, и который при другомъ направленіи могъ бы быть другимъ человѣкомъ. Но есть злѣйшіе какъ будто по своей натурѣ, есть демоны человѣческой природы, по выраженію Рётшера; такова леди Макбетъ, которая поддала кинжалъ своему мужу, подкрѣпила и вдохновила его сатанинскимъ величіемъ своего отверженія отъ всего человѣческаго и женственнаго, своимъ демонскимъ торжествомъ надъ законами человѣческой и женственной натуры, адскимъ хладнокровіемъ своей рѣшимости на мрачное злѣйство. Но для слабаго сосуда женской организаціи былъ слишкомъ не въ мѣру такой сатанинскій духъ и сокрушилъ его своей тяжестью, разрывивъ безумство сердца помѣшательствомъ разсудка, тогда какъ самъ Макбетъ встрѣтилъ смерть подобно великому человѣку и этимъ помирилъ съ собой душу зрителя, для котораго въ его паденіи совершилось торжество нравственнаго духа. Вообще демоны человѣческой натуры возбуждаютъ въ нашей душѣ больше трагическаго ужаса, нежели человѣческаго участія: только ихъ гибель миритъ васъ съ ними. Въ нихъ есть своя безконечность, свое величіе, потому что всякая безконечная сила духа, хотя бы проявляющая себя въ одномъ злѣ, носитъ на себѣ характеръ величія, но величія чисто объективнаго, которое невольно хочешь созерцать, какъ невольно смотришь на удава или гремучаго змѣя, но котораго себѣ не пожелаешь. Итакъ, предметомъ трагедіи мо-

жетъ быть и отрицательная сторона жизни, появляющаяся въ силѣ и ужасѣ, а не въ мелкости и смѣхѣ,—въ огромныхъ размѣрахъ, а не въ ограниченности,—въ страсти, а не въ страстишкахъ,—въ преступленіи, а не проступкѣ,—въ злѣйствѣ, а не въ плутняхъ.

Обратимся къ комедіи, составляющей главный предметъ нашей статьи. Ея значеніе и сущность теперь ясны: она изображаетъ отрицательную сторону жизни, призрачную дѣятельность. Какъ величіе и грандіозность составляютъ характеръ трагедіи, такъ смѣшное составляетъ характеръ комедіи. Грандіозность трагедіи вытекаетъ изъ нравственнаго закона, осуществляющагося въ ней судьбой ея героевъ—людей возвышенныхъ и глубокихъ, или отверженцевъ человѣческой природы, падшихъ ангеловъ; смѣшное комедіи вытекаетъ изъ безнравственнаго противорѣчія явленій съ законами высшей разумной дѣйствительности. Какъ основа трагедіи на трагической борьбѣ, возбуждающей, смотря по ея характеру, ужасъ, состраданіе, или заставляющей гордиться достоинствомъ человѣческой природы и открывающей торжество нравственнаго закона, такъ и основа комедіи—на комической борьбѣ, возбуждающей смѣхъ, однакожъ въ этомъ смѣхѣ слышится не одна веселость, но и мнѣніе за униженное человѣческое достоинство, и такимъ образомъ, другимъ путемъ, нежели въ трагедіи, но опять-таки открывается торжество нравственнаго закона.

Всякое противорѣчіе есть источникъ смѣшного и комическаго. Противорѣчіе явленій съ законами разумной дѣйствительности обнаруживается въ призрачности, конечности и ограниченности—какъ въ Иванѣ Ивановичѣ и Иванѣ Никифоровичѣ; противорѣчіе явленія съ собственной его сущностью, или идеи съ формой, представляется то какъ противорѣчіе поступковъ человѣка съ его убѣжденіями—Чацкій; то какъ представленіе себѣ не тѣмъ, что есть—титularный совѣтникъ Поприщинъ (у Гоголя, въ «Запискахъ Сумасшедшаго»), воображавшій себя Фердинандомъ VIII, королемъ испанскимъ; то какъ достолубезность или смѣшная форма вслѣдствіе воспитанія, привычекъ, субъективной ограниченности, односторонности понятій, странной наружности, манеръ, при достоинствѣ содержанія,—эта сторона комическаго есть и въ самомъ Тарасѣ Бульбѣ. Вообще не должно забывать, что элементы трагическаго и комическаго поэзіи смѣшиваются такъ же, какъ и въ жизни; почему въ драмахъ Шекспира мы находимъ смѣшныя шуты, и въ комедіяхъ Мольера мы находимъ трагическія моменты. Трагическое и комическое тѣсно связаны, и въ комедіи мы находимъ моменты трагическаго, а въ трагедіи моменты комическаго.

я сильные. Различіе трагедіи и комедіи не въ этомъ, а въ ихъ сущности. Противорѣчіе явленія съ собственной его сущностью, или идеи съ формой можетъ быть и въ трагедіи, но тамъ оно есть уже источникомъ не смѣшного и комическаго, а ужаснаго и грандіознаго, если выражается въ героѣ, долженствующемъ осуществить нравственный законъ. Алеко Пушкина — человѣкъ съ душой глубокой и сильной, по крайней мѣрѣ съ огнедышащими страстями и ужасной волей для совершенія ужаснаго, но что онъ представляетъ собой, какъ не противорѣчіе идеи съ формой? Онъ враждуетъ съ человѣческимъ обществомъ за его предразсудки, противные правамъ природы, за его стѣснительныя условія, и между тѣмъ самъ вноситъ эти предразсудки къ бѣднымъ дѣтямъ природы, эти стѣснительныя условія къ полудикимъ дѣтямъ вольности; однакожъ изъ этого противорѣчія выходитъ не смѣхъ, а убійство и ужасъ трагическій — торжество нравственнаго закона. Чацкій Грибоѣдова представляетъ собой тоже противорѣчіе идеи съ формой; онъ хочетъ исправить общество отъ его глупостей, — чѣмъ же? своими собственными глупостями, разсуждая съ глупцами и невѣждами о «высокомъ и прекрасномъ», читая проповѣди и диспутации на балахъ, и всякаго ругая, какъ вырвавшійся изъ сумасшедшаго дома. И его противорѣчіе смѣшно, потому что оно — буря въ стаканѣ воды, тогда какъ противорѣчіе Алеко — страшная буря въ океанѣ. Герои трагедіи — герои человѣчества, его могущественнѣйшія проявленія; герои комедіи — люди обыкновенные, хотя бы даже и умные и благородные. Миръ трагедіи — миръ безконечнаго въ страстяхъ и волѣхъ человѣка; миръ комедіи — миръ ограниченности, конечности. Если въ комедіи между дѣйствующими лицами есть герой человѣчества, онъ играетъ въ ней обыкновенную роль, такъ что въ ней никто не видитъ, а развѣ только подозреваетъ въ возможности героя человѣчества. Но какъ скоро онъ является такимъ героемъ и осуществляетъ своей судьбой торжество нравственнаго закона, то хотя бы всѣ остальные лица были дураки и смѣшили васъ до слезъ своимъ противорѣчіемъ съ разумной дѣйствительностью — драматическое произведение уже не комедія, а трагедія.

Но есть еще нѣчто среднее между трагедіей и комедіей. Можетъ быть такое произведение, которое, не представляя собой трагической коллизіи, какъ осуществленіе нравственнаго закона, тѣмъ не менѣе выражаетъ собой положительную сторону бытія, явленіе разумной дѣйствительности, жизнь духа. Мы выше сказали, что на какой бы ступени ни явился духъ — его явленіе есть уже дѣйстви-

тельность этого слова. Какъ двѣ полярности одной и той же силы, какъ двѣ противоположныя крайности одной и той же идеи — идеи дѣйствительности, мы представили «Тараса Бульбу» и «Ссору Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»; теперь мы должны для уясненія нашей мысли указать на третье произведеніе того же поэта — «Старосвѣтскіе Помѣщики». Вы смѣтаетесь, читая изображеніе незатѣливой жизни двухъ милыхъ оригиналовъ, — жизни, которая протекаетъ въ ежеминутномъ «покушиваніи» разныхъ разностей; вы смѣтаетесь надъ этой простодушной любовью, скрѣпленной могуществомъ привычки и потомъ превратившейся въ привычку, но вашъ смѣхъ весело-добродушенъ, и въ немъ нѣтъ ничего досаднаго, оскорбительнаго; но васъ поражаетъ родственной горестью смерть доброй Пульхеріи Ивановны, и вы послѣ болѣзненно сочувствуете безотрадной горести стараго младенца, аплексически замерзшаго душевно и тѣлесно отъ утраты своей няньки, летѣвшей его безтребовательную жизнь и сдѣлавшейся ему необходимой, какъ воздухъ для дыханія, какъ свѣтъ для очей, и вамъ, наконецъ, тяжело становится при видѣ ниспроверженія домашнихъ пенатовъ хлѣбосольной четы, которое произвелъ глупый племянникъ, прицѣпившійся на ярмаркахъ къ оптовымъ цѣнамъ, а покупавшій только кремешки и огнивки. Отчего же такъ привызываютъ васъ къ себѣ эти люди, добродушные, но ограниченные, даже и не подозревающие, что можетъ существовать сфера жизни, высшая той, въ которой они живутъ, и которая вся состоитъ въ спаньѣ или въ потчиваньѣ и кушаньѣ? Оттого, что это были люди, по своей натурѣ неспособные ни къ какому злу, дотога добрые, что всякаго готовы были угостить на смерть, — люди, которые дотога жили одинъ въ другомъ, что смерть одного была смертью для другого, смертью въ тысячу разъ ужаснѣйшей, нежели прекращеніе бытія; слѣдовательно основой ихъ отношеній была любовь, изъ которой вышла привычка, укрѣплявшая любовь. Эта любовь еще на слишкомъ низкой ступени своего проявленія, но вышедшая изъ общаго, родового, во вѣки не изыскающаго источника любви. Это уже явленіе духа, хотя еще слабое и ограниченное, ступень духа, хотя еще и низшая, но уже явленіе не призрака, а духа; уже положеніе, а не отрицаніе жизни, — словомъ, своего рода разумная дѣйствительность. Мы жалѣемъ, что не можемъ указать ни на одно произведеніе такого рода въ драматической формѣ: оно было бы именно такимъ, которое не есть ни трагедія, ни комедія, но то среднее между ними, о которомъ мы говоримъ. Такого рода произведенія назывались въ старину

то развязка может обойтись безъ крови, но что драма отъ этого не теряетъ своего трагическаго величія. Что можетъ быть выше, какъ зрѣлище человѣка, который отрекся отъ того, что составляло условіе, сферу, воздухъ, жизнь его жизни, свѣтъ его очей, для котораго навсегда потеряна надежда на полноту блаженства и для котораго остается одинъ выходъ—сосредоточивъ въ себѣ бремя несчастья, нести его въ благородномъ молчаніи, тихой грусти и сознаніи великодушной побѣды?.. Равно величественное зрѣлище представляетъ собой человѣкъ, падшій жертвой своей побѣды: таковъ былъ бы Гамлетъ, который для того, чтобъ исполнить долгъ мщенія за отца, отказался отъ блаженства любви, если бы въ его дѣйствіяхъ было видно больше рѣшимости и полноты натуры.

Трагедія выражаетъ не одно положеніе, но и отрицаніе жизни, только отрицаніе трагическаго характера. Мы разумѣемъ тѣ страшныя уклоненія отъ нормальности, къ которымъ способны только сильныя и глубокія души. Макбетъ Шекспира—злѣйшій, но злѣйшій съ душой глубокой и могучей, отчего онъ вмѣсто отвращенія возбуждаетъ участіе: вы видите въ немъ человѣка, въ которомъ заключалась такая же возможность побѣды, какъ и паденія, и который при другомъ направленіи могъ бы быть другимъ человѣкомъ. Но есть злѣйшіе какъ будто по своей натурѣ, есть демоны человѣческой природы, по выраженію Рётшера; такова леди Макбетъ, которая поддала кинжалъ своему мужу, подкрѣпила и вдохновила его сатанинскимъ величіемъ своего отверженія отъ всего человѣческаго и женственнаго, своимъ демонскимъ торжествомъ надъ законами человѣческой и женственной натуры, адскимъ хладнокровіемъ своей рѣшимости на мрачное злѣйство. Но для слабаго сосуда женской организаціи былъ слишкомъ не въ мѣру такой сатанинскій духъ и сокрушилъ его своей тяжестью, разрѣшивъ безумство сердца помѣшательствомъ разсудка, тогда какъ самъ Макбетъ встрѣтилъ смерть подобно великому человѣку и этимъ помирилъ съ собой душу зрителя, для котораго въ его паденіи совершилось торжество нравственнаго духа. Вообще демоны человѣческой натуры возбуждаютъ въ нашей душѣ больше трагическаго ужаса, нежели человѣческаго участія: только ихъ гибель миритъ васъ съ ними. Въ нихъ есть своя безконечность, свое величіе, потому что всякая безконечная сила духа, хотя бы проявляющая себя въ одномъ злѣ, носитъ на себѣ характеръ величія, но величія чисто объективнаго, которое невольно хочешь созерцать, какъ невольно смотришь на удава или гремучаго змѣя, но котораго себѣ не пожелаешь. Итакъ, предметомъ трагедіи мо-

жетъ быть и отрицательная сторона жизни, появляющаяся въ силѣ и ужасѣ, а не въ мелкости и смѣхѣ,—въ огромныхъ размѣрахъ, а не въ ограниченности,—въ страсти, а не въ страстишкахъ,—въ преступленіи, а не проступкѣ,—въ злѣйствѣ, а не въ плутняхъ.

Обратимся къ комедіи, составляющей главный предметъ нашей статьи. Ея значеніе и сущность теперь ясны: она изображаетъ отрицательную сторону жизни, призрачную дѣятельность. Какъ величіе и грандіозность составляютъ характеръ трагедіи, такъ смѣшное составляетъ характеръ комедіи. Грандіозность трагедіи вытекаетъ изъ нравственнаго закона, осуществляющагося въ ней судьбой ея героевъ—людей возвышенныхъ и глубокихъ, или отверженцевъ человѣческой природы, падшихъ ангеловъ; смѣшное комедіи вытекаетъ изъ безнравственнаго противорѣчія явленій съ законами высшей разумной дѣйствительности. Какъ основа трагедіи на трагической борьбѣ, возбуждающей, смотря по ея характеру, ужасъ, состраданіе, или заставляющей гордиться достоинствомъ человѣческой природы и открывающей торжество нравственнаго закона, такъ и основа комедіи—на комической борьбѣ, возбуждающей смѣхъ, однакожъ въ этомъ смѣхѣ слышится не одна веселость, но и мщеніе за униженное человѣческое достоинство, и такимъ образомъ, другимъ путемъ, нежели въ трагедіи, но опять-таки открывается торжество нравственнаго закона.

Всякое противорѣчіе есть источникъ смѣшного и комическаго. Противорѣчіе явленій съ законами разумной дѣйствительности обнаруживается въ призрачности, конечности и ограниченности—какъ въ Иванѣ Ивановичѣ и Иванѣ Никифоровичѣ; противорѣчіе явленія съ собственной его сущностью, или идеи съ формой, представляется то какъ противорѣчіе поступковъ человѣка съ его убѣжденіями—Чацкій; то какъ представленіе себѣ не тѣмъ, что есть—титularный совѣтникъ Поприщинъ (у Гоголя, въ «Запискахъ Сумасшедшаго»), воображавшій себя Фердинандомъ VIII, королемъ испанскимъ; то какъ достолюбезность или смѣшная форма вслѣдствіе воспитанія, привычекъ, субъективной ограниченности, односторонности понятій, странной наружности, манеръ, при достоинствѣ содержанія,—эта сторона комическаго есть и въ самомъ Тарасѣ Бульбѣ. Вообще не должно забывать, что элементы трагическаго и комическаго въ поэзіи смѣшиваются такъ же, какъ и въ жизни; почему въ драмахъ Шекспира вмѣстѣ съ героями являются шуты, чудаки и люди ограниченные. Такъ точно и въ комедіи могутъ быть лица благородныя, характеры глубоки

и сильные. Различіе трагедіи и комедіи не въ этомъ, а въ ихъ сущности. Противорѣчіе явленія съ собственной его сущностью, или идеи съ формой можетъ быть и въ трагедіи, но тамъ оно есть уже источникомъ не смѣшного и комическаго, а ужаснаго и грандіознаго, если выражается въ героѣ, долженствующемъ осуществить нравственный законъ. Алеко Пушкина — человѣкъ съ душой глубокой и сильной, по крайней мѣрѣ съ огнедышащими страстями и ужасной волей для совершенія ужаснаго, но что онъ представляетъ собой, какъ не противорѣчіе идеи съ формой? Онъ враждуетъ съ человѣческимъ обществомъ за его предразсудки, противные правамъ природы, за его стѣснительныя условія, и между тѣмъ самъ вноситъ эти предразсудки къ бѣднымъ дѣтямъ природы, эти стѣснительныя условія къ полудикимъ дѣтямъ вольности; однакожь изъ этого противорѣчія выходитъ не смѣхъ, а убійство и ужасъ трагическій — торжество нравственнаго закона. Чацкій Грибоедова представляетъ собой тоже противорѣчіе идеи съ формой; онъ хочетъ исправить общество отъ его глупостей, — чѣмъ же? своими собственными глупостями, рассуждая съ глупцами и невѣждами о «высокомъ и прекрасномъ», читая проповѣди и диспутаци на балахъ, и всякаго ругая, какъ вырвавшійся изъ сумасшедшаго дома. И его противорѣчіе смѣшно, потому что оно — буря въ стаканѣ воды, тогда какъ противорѣчіе Алеко — страшная буря въ океанѣ. Герои трагедіи — герои человѣчества, его могущественнѣйшія проявленія; герои комедіи — люди обыкновенные, хотя бы даже и умные и благородные. Міръ трагедіи — міръ безконечнаго въ страстяхъ и волѣхъ человѣка; міръ комедіи — міръ ограниченности, конечности. Если въ комедіи между дѣйствующими лицами есть герой человѣчества, онъ играетъ въ ней обыкновенную роль, такъ что въ ней никто не видитъ, а развѣ только подозреваетъ въ возможности героя человѣчества. Но какъ скоро онъ является такимъ героемъ и осуществляетъ своей судьбой торжество нравственнаго закона, то хотя бы всѣ остальные лица были дураки и смѣшили васъ до слезъ своимъ противорѣчіемъ съ разумной дѣйствительностью — драматическое произведеніе уже не комедія, а трагедія.

Но есть еще нѣчто среднее между трагедіей и комедіей. Можетъ быть такое произведеніе, которое, не представляя собой трагической коллизіи, какъ осуществленіе нравственнаго закона, тѣмъ не менѣе выражаетъ собой положительную сторону бытія, явленіе разумной дѣйствительности, жизнь духа. Мы выше сказали, что на какой бы степеніи ни явился духъ — его явленіе есть уже дѣйствительность въ разумномъ и положительномъ

смыслѣ этого слова. Какъ двѣ полярности одной и той же силы, какъ двѣ противоположныя крайности одной и той же идеи — идеи дѣйствительности, мы представили «Тараса Бульбу» и «Ссору Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»; теперь мы должны для уясненія нашей мысли указать на третье произведеніе того же поэта — «Старосвѣтскіе Помѣщики». Вы смѣетесь, читая изображеніе незатѣйливой жизни двухъ милыхъ оригиналовъ, — жизни, которая протекаетъ въ ежеминутномъ «покушиваніи» разныхъ разностей; вы смѣетесь надъ этой простодушной любовью, скрѣпленной могуществомъ привычки и потомъ превратившейся въ привычку, но вашъ смѣхъ весело-добродушенъ, и въ немъ нѣтъ ничего досаднаго, оскорбительнаго; но васъ поражаетъ родственной горестью смерть доброй Пульхеріи Ивановны, и вы послѣ болѣзненно сочувствуете безотрадной горести стараго младенца, апоплексически замерзшаго душевно и тѣсно отъ утраты своей няньки, желавшей его безтребовательную жизнь и сдѣлавшейся ему необходимой, какъ воздухъ для дыханія, какъ свѣтъ для очей, и вамъ, наконецъ, тяжело становится при видѣ ниспроверженія домашнихъ пенатовъ хлѣбосольной четы, которое произвелъ глупый племянникъ, прицѣпившійся на ярмаркахъ къ оптовымъ цѣнамъ, а покупавшій только кремешки и огнишки. Отчего же такъ привязываютъ васъ къ себѣ эти люди, добродушные, но ограниченные, даже и не подозревающие, что можетъ существовать сфера жизни, высшая той, въ которой они живутъ, и которая вся состоитъ въ спаньѣ или въ потчиваньѣ и кушаньѣ? Оттого, что это были люди, по своей натурѣ неспособные ни къ какому злу, дотога добрые, что всякаго готовы были угостить на смерть, — люди, которые дотога жили одинъ въ другомъ, что смерть одного была смертью для другого, смертью въ тысячу разъ ужаснѣйшей, нежели прекращеніе бытія; слѣдовательно основой ихъ отношеній была любовь, изъ которой вышла привычка, укрѣплавшая любовь. Эта любовь еще на слишкомъ низкой ступени своего проявленія, но вышедшая изъ общаго, родового, во вѣки не исчезающаго источника любви. Это уже явленіе духа, хотя еще слабое и ограниченное, ступень духа, хотя еще и низшая, но уже явленіе не призрака, а духа; уже положеніе, а не отрицаніе жизни, — словомъ, своего рода разумная дѣйствительность. Мы жалѣемъ, что не можемъ указать ни на одно произведеніе такого рода въ драматической формѣ: оно было бы именно такимъ, которое не есть ни трагедія, ни комедія, но то среднее между ними, о которомъ мы говоримъ. Такого рода произведенія назывались въ старинѣ

«слезными комедіями» и «мѣщанскими трагедіями», а потомъ «драмами». Они обыкновенно заключали въ себѣ трогательное и даже «бѣдственное» происшествіе, «благополучно окончившееся». Плодовитая досужность Коцебу въ особенности снабжала XVIII вѣкъ этими «драмами», которыя были бы именно тѣмъ, о чемъ мы говоримъ, если бы были художественны. И въ самомъ дѣлѣ такія среднія между трагедіей и комедіей «драмы» по своей сущности удобнѣе въ такъ называемой «благополучной развязкѣ», хотя эта «счастливая развязка» и отнюдь не составляетъ ни ихъ сущности, ни ихъ необходимаго условія. Мы выше сказали, что кровавая развязка не есть непремѣнное условіе даже самой трагедіи; но трагедія необходимо требуетъ жертвъ—кто бы они ни были, добрые или злые, и черезъ что бы то ни было, черезъ смерть или утрату надежды на счастье жизни, ибо только въ борьбѣ можетъ вполнѣ и торжественно осуществиться торжество нравственнаго закона, которое есть высочайшее торжество духа и величайшее явленіе мировой жизни, почему и трагедія есть высшая сторона, цвѣтъ и торжество драматической поэзіи. Изъ этого ясно видно, что «драма» можетъ изображать явленія разумной дѣйствительности на всѣхъ ея ступеняхъ, а не только на первыхъ, какъ въ приведенныхъ нами въ примѣръ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ». Отъ комедіи она существенно разнится тѣмъ, что представляя не отрицательную, а положительную сторону жизни; а отъ трагедіи она существенно разнится тѣмъ, что, даже и выражая торжество нравственнаго закона, дѣлаетъ это не черезъ трагическое столкновеніе, въ самомъ себѣ неизбѣжно заключающее условіе жертвъ, а слѣдовательно лишена трагическаго величія и не достигаетъ до высшихъ мировыхъ сферъ духа. Мы думаемъ, что, вслѣдствіе такого умозрительнаго построенія, можно причислить къ «драмамъ» на примѣръ шекспирову «Венеціанскаго Купца» и пушкинскаго «Анжело», и въ «Кавказскомъ Пльнникѣ» видѣтъ въ эпическомъ родѣ соотвѣтственное ей явленіе.

Итакъ, мы нашли три вида драматической поэзіи—трагедію, драму и комедію, выводя ихъ не по внѣшнимъ признакамъ, а изъ идеи самой поэзіи. Для большей определенности въ этихъ техническихъ словахъ мы должны сказать еще нѣсколько словъ о сбивчивомъ употребленіи слова «драма». Словомъ «драма» выражаютъ и общее родовое понятіе произведеній цѣлаго отдѣла поэзіи, такъ что всякая пьеса въ драматической формѣ—трагедія ли то, комедія или даже водеvilъ, есть уже драма; потомъ подъ словомъ же «драма» разумѣютъ высшій родъ драматической

поэзіи—трагедію. Поэтому пьесы Шекспира называются то драмами, то трагедіями, но въ обоихъ случаяхъ означая этими словами высшій драматическій родъ, то, что нѣмцы называютъ Trauerspiel. Другіе хотятъ ихъ называть только «драмами», оставляя названіе «трагедіи» за греческими произведеніями этого рода, и желая словомъ «драма» отличить христіанскую трагедію,—герой которой есть субъективная личность внутренняго и самоцѣльнаго человѣка—отъ языческой трагедіи, герой которой народъ, въ лицѣ царей и героевъ, какъ представителей народа, какъ объективныхъ личностей, и потомъ, какъ трагедіи въ маскѣ и на контурнѣ, и съ хоромъ—органомъ таинственнаго и незримоприсутствующаго героя—колоссальнаго призрака судьбы. Нѣкоторые хотятъ присвоить названіе «трагедіи» особому роду произведеній новѣйшаго искусства, ведущаго свое начало отъ «мистерій» среднихъ вѣковъ,—драмамъ лирическимъ, каковы суть: «Фаустъ» Гёте, герой которой есть цѣлое человѣчество въ лицѣ одного человѣка, и «Орлеанская Дѣва» Шиллера, герой которой есть цѣлый народъ, таинственно спасаемый высшими силами въ лицѣ чудной дѣвы, которой имя и явленіе необъяснимо утверждено исторіей. Намъ кажется, что каждое изъ этихъ мнѣній имѣетъ свое основаніе, и наша цѣль была не указать на справедливѣйшее, но дать знать о существованіи всѣхъ. Кто пойметъ идею этихъ мнѣній, для того не будетъ казаться сбивчивымъ различное употребленіе слова «драма».

Трагедія или комедія, какъ и всякое художественное произведеніе, должна представлять собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, т.-е. должна имѣть единство дѣйствія, выходящее не изъ внѣшней формы, но изъ идеи, лежащей въ ея основаніи. Она не допускаетъ въ себя ни чуждыхъ своей идеѣ элементовъ, ни внѣшнихъ толчковъ, которые бы помогали ходу дѣйствія, но развивается имманентно, т.-е. изнутри самой себя, какъ дерево развивается изъ зерна. Поэтому всякая пьеса въ драматической формѣ, вполнѣ выражающая и вполнѣ исчерпывающая свою идею, цѣлая и оконченная въ художественномъ значеніи, т.-е. представляющая собой отдѣльный и замкнутый въ самомъ себѣ міръ, есть или трагедія, или комедія, смотря по сущности ея содержанія, но нисколько не смотря на ея объемъ и величину, хотя бы она простиралась не далѣе пяти страницъ. Такъ напр., пьесы Пушкина: «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Борисъ Годуновъ» и «Каменный Гость»—суть трагедіи во всемъ смыслѣ этого слова, какъ выражающія въ драматической формѣ идею торжества нравственнаго закона и представляющія, каждая въ отдѣльности, совершенно особый и замкнутый въ самомъ себѣ міръ.

Теперь посмотримъ, какимъ образомъ комедія можетъ представлять собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, для чего бросимъ бѣглый взглядъ на высоко-художественное произведеніе въ этомъ родѣ, на комедію Гоголя «Ревизоръ».

Въ основаніи «Ревизора» лежитъ та же идея, что и въ «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»: въ томъ и другомъ произведеніи поэтъ выразилъ идею отрицанія жизни, идею призрачности, получившую подъ его художническимъ рѣзцомъ свою объективную дѣйствительность. Разница между ними не въ основной идее, а въ моментахъ жизни, схваченныхъ поэтомъ, въ индивидуальностяхъ и положеніяхъ дѣйствующихъ лицъ. Во второмъ произведеніи мы видимъ пустоту, лишенную всякой дѣятельности; въ «Ревизорѣ» — пустоту, наполненную дѣятельностью мелкихъ страстей и мелкаго эгоизма. Чтобы произведеніе его были художественны, т.-е. представляли собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, онъ взялъ изъ жизни своихъ героев такой моментъ, въ которомъ сосредоточивалась вся дѣлостность ихъ жизни, ея значенія, сущность, идея, начало и конецъ: въ первомъ — ссору двухъ пріятелей, во второмъ — ожиданіе и пріемъ ревизора. Все чуждое этой ссорѣ и этому ожиданію и пріему ревизора не могло войти въ повѣсть и комедію, и та, и другая начаты съ начала и кончены въ концѣ; намъ не нужно знать подробности дѣтства обоихъ друзей-враговъ, ни того, что было съ ними послѣ, какъ ихъ видѣлъ поэтъ: мы знаемъ это изъ повѣсти, потому что знаемъ этихъ героевъ съ головы до ногъ, знаемъ всю сущность ихъ жизни, вполне исчерпанную поэтомъ въ описаніи ихъ ссоры. Такъ точно, на что намъ знать подробности жизни городничаго до начала комедіи? Ясно и безъ того, что онъ въ дѣтствѣ былъ учень на мѣдныхъ деньги, игралъ въ бабки, бѣгалъ по улицамъ, и какъ сталъ входить въ разумъ, то получилъ отъ отца уроки въ житейской мудрости, т.-е. въ искусствѣ нагрѣвать руки и хоронить концы въ воду. Лишенный въ юности всякаго религіознаго, нравственнаго и общественнаго образованія, онъ получилъ въ наслѣдство отъ отца и отъ окружающаго его міра слѣдующее правило вѣры и жизни: въ жизни надо быть счастливымъ, а для этого нужны деньги и чины, а для пріобрѣтенія ихъ — взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье передъ властями, знатностью и богатствомъ, лманье и скотская грубость передъ низшими себя. Простая философія! Но замѣьте, что въ немъ это не развратъ, а его нравственное развитіе, его высшее понятіе о своихъ объективныхъ обязанностяхъ: онъ мужъ, слѣдовательно обязанъ прилично содержать жену; онъ отецъ, слѣдовательно долженъ дать хоро-

шее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партію и тѣмъ, устроивъ ее благосостояніе, выполнить священный долгъ отца. Онъ знаетъ, что средства его для достиженія этой цѣли грѣшны передъ Богомъ; но онъ знаетъ это отвлеченно, головой, а не сердцемъ, и онъ оправдываетъ себя простымъ правиломъ всѣхъ пошлыхъ людей: «не я первый, не я послѣдній, всѣ такъ дѣлають». Это практическое правило жизни такъ глубоко вкоренено въ немъ, что обратилось въ правило нравственности; онъ почелъ бы себя выскочкой, самолюбивымъ гордецомъ, если бы, хотя позавѣсившись, повелъ себя честно въ продолженіе недѣли. Да оно и страшно быть «выскочкой»: всѣ пальцы устываютъ на васъ, всѣ голоса подымутся противъ васъ; нужна большая сила души и глубокіе корни нравственности, чтобы бороться съ общественнымъ мнѣніемъ. И не Сквозники-Дмухановскіе увлекаются могучимъ водоворотомъ этой магической фразы «всѣ такъ дѣлають» и, какъ Молоху, приносятъ ей въ жертву и таланты, и силы души, и виѣшнее благосостояніе. Нашъ городничій былъ не изъ бойкихъ отъ природы, и потому «всѣ такъ дѣлають» было слишкомъ достаточнымъ аргументомъ для успокоенія его мо-золистой совѣсти; къ этому аргументу присоединился другой, еще сильнѣйшій для грубой и низкой души: «жена, дѣти; казеннаго жалованья не станеть на чай и сахаръ». Вотъ вамъ и весь Сквозникъ-Дмухановскій до начала комедіи. Что касается до формъ, въ какихъ онъ выражался и проявлялся до того, онъ все тѣ же, все его же, какъ и во время комедіи. Такъ же нетрудно понять, что съ нимъ было и по окончаніи комедіи, какъ онъ дожилъ свой вѣкъ. Художественная обрисовка характера въ томъ и состоитъ, что если онъ данъ вамъ поэтомъ въ извѣстный моментъ своей жизни, вы уже сами можете рассказать всю его жизнь и до, и послѣ этого момента. Конецъ «Ревизора» сдѣланъ поэтомъ опять не произвольно, но вслѣдствіе самой разумной необходимости: онъ хотѣлъ показать намъ Сквозника-Дмухановскаго всего, какъ онъ есть, и мы видѣли его всего, какъ онъ есть. Но тутъ скрывается еще другая, не менѣ важная и глубокая причина, выходящая изъ сущности пьесы. Въ комедіи, какъ выраженіи случайностей, все должно выходить изъ идеи случайностей и призраковъ и только чрезъ это получать свою необходимость; почтенный нашъ городничій жилъ и вращался въ мірѣ призраковъ, но какъ у него необходимо были свои понятія о дѣйствительности, хотя и отвлеченныя, и сверхъ того самый основательный страхъ дѣйствительности, извѣстный подъ именемъ уголовного суда, то и должно было выйти комическое столкновеніе, какъ спибка естественнаго влеченія сердца къ воровству

«слезными комедіями» и «мѣщанскими трагедіями», а потомъ «драмами». Они обыкновенно заключали въ себѣ трогательное и даже «бѣдственное» происшествіе, «благополучно окончившееся». Плодовитая досужестъ Коцебу въ особенности снабжала XVIII вѣкъ этими «драмами», которыя были бы именно тѣмъ, о чемъ мы говоримъ, если бы были художественны. И въ самомъ дѣлѣ такія среднія между трагедіей и комедіей «драмы» по своей сущности удобнѣе въ такъ называемой «благополучной развязкѣ», хотя эта «счастливая развязка» и отнюдь не составляетъ ни ихъ сущности, ни ихъ необходимаго условія. Мы выше сказали, что кровавая развязка не есть непремѣнное условіе даже самой трагедіи; но трагедія необходимо требуетъ жертвъ—кто бы они ни были, добрые или злые, и черезъ что бы то ни было, черезъ смерть или утрату надежды на счастье жизни, ибо только въ борьбѣ можетъ исполнѣ и торжественно осуществиться торжество нравственнаго закона, которое есть высочайшее торжество духа и величайшее явленіе міровой жизни, почему и трагедія есть высшая сторона, цвѣтъ и торжество драматической поэзіи. Изъ этого ясно видно, что «драма» можетъ изображать явленія разумной дѣйствительности на всѣхъ ея ступеняхъ, а не только на первыхъ, какъ въ приведенныхъ нами въ примѣръ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ». Отъ комедіи она существенно разнится тѣмъ, что представляеть не отрицательную, а положительную сторону жизни; а отъ трагедіи она существенно разнится тѣмъ, что, даже и выражая торжество нравственнаго закона, дѣлаеть это не черезъ трагическое столкновение, въ самомъ себѣ неизбѣжно заключающее условіе жертвъ, а слѣдовательно лишена трагическаго величія и не достигаетъ до высшихъ міровыхъ сферъ духа. Мы думаемъ, что, вслѣдствіе такого умозрительнаго построения, можно причислить къ «драмамъ» напримѣръ шекспирова «Венеціанскаго Купца» и пушкинскаго «Анжело», и въ «Кавказскомъ Пѣвникѣ» видѣтъ въ эпическомъ родѣ соотвѣтственное ей явленіе.

Итакъ, мы нашли три вида драматической поэзіи—трагедію, драму и комедію, выводя ихъ не по внѣшнимъ признакамъ, а изъ идеи самой поэзіи. Для большей опредѣленности въ этихъ техническихъ словахъ мы должны сказать еще нѣсколько словъ о сбивчивомъ употребленіи слова «драма». Словомъ «драма» выражаютъ и общее родовое понятіе произведеній цѣлаго отдѣла поэзіи, такъ что всякая пьеса въ драматической формѣ—трагедія ли то, комедія или даже водеvilъ, есть уже драма; потомъ подъ словомъ же «драма» разумѣютъ высшій родъ драматической

поэзіи—трагедію. Поэтому пьесы Шекспира называются то драмами, то трагедіями, но въ обоихъ случаяхъ означая этими словами высшій драматическій родъ, то, что нѣмцы называютъ Trauerspiel. Другіе хотятъ ихъ называть только «драмами», оставляя названіе «трагедіи» за греческими произведеніями этого рода, и желая словомъ «драма» отличить христіанскую трагедію,—герой которой есть субъективная личность внутренняго и самоцѣльнаго человѣка—отъ языческой трагедіи, герой которой народъ, въ лицѣ царей и героевъ, какъ представителей народа, какъ объективныхъ личностей, и потомъ, какъ трагедіи въ маскѣ и на контурнѣ, и съ хоромъ—органомъ таинственнаго и незримоприсутствующаго героя—колоссальнаго призрака судьбы. Нѣкоторые хотятъ присвоить названіе «трагедіи» особенному роду произведеній новѣйшаго искусства, ведущаго свое начало отъ «мистерій» среднихъ вѣковъ,—драмамъ лирическимъ, каковы суть: «Фаустъ» Гёте, герой которой есть цѣлое человѣчество въ лицѣ одного человѣка, и «Орлеанская Дѣва» Шиллера, герой которой есть цѣлый народъ, таинственно спасаемый высшими силами въ лицѣ чудной дѣвы, которой имя и явленіе необъяснимо утверждено исторіей. Намъ кажется, что каждое изъ этихъ мнѣній имѣетъ свое основаніе, и наша цѣль была не указать на справедливѣйшее, но дать знать о существованіи всѣхъ. Кто пойметъ идею этихъ мнѣній, для того не будетъ казаться сбивчивымъ различное употребленіе слова «драма».

Трагедія или комедія, какъ и всякое художественное произведеніе, должна представлять собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, т.-е. должна имѣть единство дѣйствія, выходящее не изъ внѣшней формы, но изъ идеи, лежащей въ ея основаніи. Она не допускаетъ въ себя ни чуждыхъ своей идеѣ элементовъ, ни внѣшнихъ толчковъ, которые бы помогали ходу дѣйствія, но развивается имманентно, т.-е. изнутри самой себя, какъ дерево развивается изъ зерна. Поэтому всякая пьеса въ драматической формѣ, исполнѣ выражающая и исполнѣ исчерпывающая свою идею, цѣлая и оконченная въ художественномъ значеніи, т.-е. представляющая собой отдѣльный и замкнутый въ самомъ себѣ міръ, есть или трагедія, или комедія, смотря по сущности ея содержанія, но нисколько не смотря на ея объемъ и величину, хотя бы она простиралась не далѣе пяти страницъ. Такъ напр., пьесы Пушкина: «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Борисъ Годуновъ» и «Каменный Гость»—суть трагедіи во всемъ смыслѣ этого слова, какъ выражающія въ драматической формѣ идею торжества нравственнаго закона и представляющія, каждая въ отдѣльности, совершенно особый и замкнутый въ самомъ себѣ міръ.

Теперь посмотримъ, какимъ образомъ комедія можетъ представлять собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, для чего бросимъ бѣглый взглядъ на высоко-художественное произведение въ этомъ родѣ, на комедію Гоголя «Ревизоръ».

Въ основаніи «Ревизора» лежитъ та же идея, что и въ «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»: въ томъ и другомъ произведеніи поэтъ выразилъ идею отрицанія жизни, идею призрачности, получившую подѣ его художническимъ рѣзцомъ свою объективную дѣйствительность. Разница между ними не въ основной идеѣ, а въ моментахъ жизни, схваченныхъ поэтомъ, въ индивидуальностяхъ и положеніяхъ дѣйствующихъ лицъ. Во второмъ произведеніи мы видимъ пустоту, лишенную всякой дѣятельности; въ «Ревизорѣ» — пустоту, наполненную дѣятельностью мелкихъ страстей и мелкаго эгоизма. Чтобы произведеніе его были художественны, т.-е. представляли собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, онъ взялъ изъ жизни своихъ героевъ такой моментъ, въ которомъ сосредоточивалась вся дѣйствительность ихъ жизни, ея значенія, сущность, идея, начало и конецъ: въ первомъ — ссору двухъ пріятелей, во второмъ — ожиданіе и пріемъ ревизора. Все чуждое этой ссорѣ и этому ожиданію и пріему ревизора не могло войти въ повѣсть и комедію, и та, и другая начаты съ начала и кончены въ концѣ; намъ не нужно знать подробности дѣтства обоихъ друзей-враговъ, ни того, что было съ ними послѣ, какъ ихъ видѣлъ поэтъ: мы знаемъ это изъ повѣсти, потому что знаемъ этихъ героевъ съ головы до ногъ, знаемъ всю сущность ихъ жизни, вплоть исчерпанную поэтомъ въ описаніи ихъ ссоры. Такъ точно, на что намъ знать подробности жизни городничаго до начала комедіи? Ясно и безъ того, что онъ въ дѣтствѣ былъ ученъ на мѣдныхъ деньги, игралъ въ бабки, бѣгалъ по улицамъ, и какъ сталъ входить въ разумъ, то получилъ отъ отца уроки въ житейской мудрости, т.-е. въ искусствѣ нагрѣвать руки и хоронить концы въ воду. Лишенный въ юности всякаго религіознаго, нравственнаго и общественнаго образованія, онъ получилъ въ наслѣдство отъ отца и отъ окружающаго его міра слѣдующее правило вѣры и жизни: въ жизни надо быть счастливымъ, а для этого нужны деньги и чины, а для пріобрѣтенія ихъ — взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье передъ властями, знатностью и богатствомъ, лманье и скотская грубость передъ низшими себя. Простая философія! Но замѣтьте, что въ немъ это не развратъ, а его нравственное развитіе, его высшее понятіе о своихъ объективныхъ обязанностяхъ: онъ мужъ, слѣдовательно обязанъ прилично содержать жену; онъ отецъ, слѣдовательно долженъ дать хоро-

шее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партію и тѣмъ, устроить ее благосостояніе, выполнить священный долгъ отца. Онъ знаетъ, что средства его для достиженія этой цѣли грѣшны передъ Богомъ; но онъ знаетъ это отвлеченно, головой, а не сердцемъ, и онъ оправдываетъ себя простымъ правиломъ всѣхъ пошлыхъ людей: «не я первый, не я послѣдній, всѣ такъ дѣлають». Это практическое правило жизни такъ глубоко вкоренено въ немъ, что обратилось въ правило нравственности; онъ почелъ бы себя выскочкой, самолюбивымъ гордецомъ, если бы, хотя позабывшись, повелъ себя честно въ продолженіе недѣли. Да оно и страшно быть «выскочкой»: всѣ пальцы устанутъ на васъ, всѣ голоса подымутся противъ васъ; нужна большая сила души и глубокіе корни нравственности, чтобы бороться съ общественнымъ мнѣніемъ. И не Сквозники-Дмухановскіе увлекаются могучимъ водоворотомъ этой магической фразы «всѣ такъ дѣлають» и, какъ Молоху, приносятъ ей въ жертву и таланты, и силы души, и виѣшнее благосостояніе. Нашъ городничій былъ не изъ бойкихъ отъ природы, и потому «всѣ такъ дѣлають» было слишкомъ достаточнымъ аргументомъ для успокоенія его мошенической совѣсти; къ этому аргументу присоединился другой, еще сильнѣйшій для грубой и низкой души: «жена, дѣти; казеннаго жалованья не станеть на чай и сахаръ». Вотъ вамъ и весь Сквозникъ-Дмухановскій до начала комедіи. Что касается до формъ, въ какихъ онъ выражался и проявлялся до того, онъ все тѣ же, все его же, какъ и во время комедіи. Такъ же нетрудно понять, что съ нимъ было и по окончаніи комедіи, какъ онъ дожилъ свой вѣкъ. Художественная обрисовка характера въ томъ и состоитъ, что если онъ данъ вамъ поэтомъ въ извѣстный моментъ своей жизни, вы уже сами можете рассказать всю его жизнь и до, и послѣ этого момента. Конецъ «Ревизора» сдѣланъ поэтомъ опять не произвольно, но вслѣдствіе самой разумной необходимости: онъ хотѣлъ показать намъ Сквозника-Дмухановскаго всего, какъ онъ есть, и мы видѣли его всего, какъ онъ есть. Но тутъ скрывается еще другая, не менѣ важная и глубокая причина, выходящая изъ сущности пьесы. Въ комедіи, какъ выраженіи случайностей, все должно выходить изъ идеи случайностей и призраковъ и только чрезъ это получать свою необходимость; почтенный нашъ городничій жилъ и вращался въ мірѣ призраковъ, но какъ у него необходимо были свои понятія о дѣйствительности, хотя и отвлеченныя, и сверхъ того самый основательный страхъ дѣйствительности, извѣстный подѣ именемъ уголовного суда, то и должно было выйти комическое столкновеніе, какъ сшибка естественнаго влеченія сердца къ воровству

«слезными комедіями» и «мѣщанскими трагедіями», а потомъ «драмами». Они обыкновенно заключали въ себѣ трогательное и даже «бѣдственное» происшествіе, «благополучно окончившееся». Плодовитая досужность Коцебу въ особенности снабжала XVIII вѣкъ этими «драмами», которыя были бы именно тѣмъ, о чемъ мы говоримъ, если бы были художественны. И въ самомъ дѣлѣ такія среднія между трагедіей и комедіей «драмы» по своей сущности удобнѣе въ такъ называемой «благополучной развязкѣ», хотя эта «счастливая развязка» и отнюдь не составляетъ ни ихъ сущности, ни ихъ необходимаго условія. Мы выше сказали, что кровавая развязка не есть непремѣнное условіе даже самой трагедіи; но трагедія необходимо требуетъ жертвъ—кто бы они ни были, добрые или злые, и черезъ что бы то ни было, черезъ смерть или утрату надежды на счастье жизни, ибо только въ борьбѣ можетъ вполнѣ и торжественно осуществиться торжество нравственнаго закона, которое есть высочайшее торжество духа и величайшее явленіе мировой жизни, почему и трагедія есть высшая сторона, цвѣтъ и торжество драматической поэзіи. Изъ этого ясно видно, что «драма» можетъ изображать явленія разумной дѣйствительности на всѣхъ ея ступеняхъ, а не только на первыхъ, какъ въ приведенныхъ нами въ примѣръ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ». Отъ комедіи она существенно разнится тѣмъ, что представляетъ не отрицательную, а положительную сторону жизни; а отъ трагедіи она существенно разнится тѣмъ, что, даже и выражая торжество нравственнаго закона, дѣлаетъ это не черезъ трагическое столкновеніе, въ самомъ себѣ неизбѣжно заключающее условіе жертвъ, а слѣдовательно лишена трагическаго величія и не достигаетъ до высшихъ мировыхъ сферъ духа. Мы думаемъ, что, вслѣдствіе такого умозрительнаго построения, можно причислить къ «драмамъ» на примѣръ шекспирову «Венеціанскаго Купца» и пушкинскаго «Анжело», и въ «Кавказскомъ Пльнникѣ» видѣтъ въ эпическомъ родѣ соотвѣтственное ей явленіе.

Итакъ, мы нашли три вида драматической поэзіи—трагедію, драму и комедію, выводя ихъ не по внѣшнимъ признакамъ, а изъ идеи самой поэзіи. Для большей опредѣленности въ этихъ техническихъ словахъ мы должны сказать еще нѣсколько словъ о сбивчивомъ употребленіи слова «драма». Словомъ «драма» выражаютъ и общее родовое понятіе произведеній цѣлаго отдѣла поэзіи, такъ что всякая пьеса въ драматической формѣ—трагедія ли то, комедія или даже водевилъ, есть уже драма; потомъ подъ словомъ же «драма» разумѣютъ высшій родъ драматической

поэзіи—трагедію. Поэтому пьесы Шекспира называются то драмами, то трагедіями, но въ обоихъ случаяхъ означая этими словами высшій драматическій родъ, то, что нѣмцы называютъ Trauerspiel. Другіе хотятъ ихъ называть только «драмами», оставляя названіе «трагедіи» за греческими произведеніями этого рода, и желая словомъ «драма» отличить христіанскую трагедію,—герой которой есть субъективная личность внутренняго и самоцѣльнаго человѣка—отъ языческой трагедіи, герой которой народъ, въ лицѣ царей и героевъ, какъ представителей народа, какъ объективныхъ личностей, и потомъ, какъ трагедія въ маскѣ и на контурнѣ, и съ хоромъ—органомъ таинственнаго и незримоприсутствующаго героя—колоссальнаго призрака судьбы. Нѣкоторые хотятъ присвоить названіе «трагедіи» особенному роду произведеній новѣйшаго искусства, ведущаго свое начало отъ «мистерій» среднихъ вѣковъ,—драмамъ лирическимъ, каковы суть: «Фаустъ» Гёте, герой которой есть цѣлое человечество въ лицѣ одного человѣка, и «Орлеанская Дѣва» Шиллера, герой которой есть цѣлый народъ, таинственно спасаемый высшими силами въ лицѣ чудной дѣвы, которой имя и явленіе необъяснимо утверждено исторіей. Намъ кажется, что каждое изъ этихъ мнѣній имѣетъ свое основаніе, и наша цѣль была не указать на справедливейшее, но дать знать о существованіи всѣхъ. Кто пойметъ идею этихъ мнѣній, для того не будетъ казаться сбивчивымъ различное употребленіе слова «драма».

Трагедія или комедія, какъ и всякое художественное произведеніе, должна представлять собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, т.-е. должна имѣть единство дѣйствія, выходящее не изъ внѣшней формы, но изъ идеи, лежащей въ ея основаніи. Она не допускаетъ въ себя ни чуждыхъ своей идеѣ элементовъ, ни внѣшнихъ толчковъ, которые бы помешали ходу дѣйствія, но развивается имманентно, т.-е. изнутри самой себя, какъ дерево рождается изъ зерна. Поэтому всякая драматическая форма, вполнѣ выраженная, вполнѣ исчерпывающая свою идею, оконченная въ художественномъ значеніи, представляющая собой отдѣльный міръ въ самомъ себѣ, есть или трагедія, или комедія, смотря по сущности ея идеи, и несколько не смотря на ея объѣмъ, хотя бы она простиралась на нѣсколько страницъ. Такъ напр., пьесы «Скупой Школа» и «Сальери», «Скупой Женихъ» и «Борисъ Годуновъ» и т. д. являются трагедіями во всемъ смыслѣ, выражающія въ драматической формѣ торжества нравственнаго закона, и каждая въ отдѣлы особый и замкнутый въ самѣ

и плутнямъ съ страхомъ наказанія за воровство и плутни, страхомъ, который увеличивался еще и нѣкоторымъ безпокойствомъ совѣсти. У страха глаза велики, говоритъ мудрая русская пословица: удивительно ли, что глупый мальчишка, промотавшійся въ дорогѣ, трактирный денди, былъ принятъ городничимъ за ревизора? Глубокая идея! Не грозная дѣйствительность, а призракъ, фантомъ или, лучше сказать, тѣнь отъ страха виновной совѣсти должны были наказать человѣка призракомъ. Городничій Гоголя не карикатура, не комическій фарсъ, не преувеличенная дѣйствительность и въ то же время нисколько не дуракъ, но по своему очень и очень умный человѣкъ, который въ своей сферѣ очень дѣйствителенъ, умѣетъ ловко взяться за дѣло — своровать и концы въ воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опаснаго ему человѣка. Его приступы къ Хлестакову во второмъ актѣ — образецъ подъяческой дипломатіи. Итакъ, конецъ комедіи долженъ совершиться тамъ, гдѣ городничій узнаетъ, что онъ былъ наказанъ призракомъ, и что ему еще предстоитъ наказание со стороны дѣйствительности, или по крайней мѣрѣ новые хлопоты и убытки, чтобы увернуться отъ наказанія со стороны дѣйствительности. И потому приходъ жандарма съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прекрасно оканчивается пьесу и сообщаетъ ей всю полноту и всю самостоятельность особаго, замкнутаго въ самомъ себѣ міра. Въ художественномъ произведеніи нѣтъ ничего произвольнаго и случайнаго, но все необходимо и логически вытекаетъ изъ его идеи. Каждое лицо въ немъ, способствуя развитію главной идеи, въ то же время есть и само по себѣ цѣль, живетъ своей особой жизнью. Далѣе мы изъ «Ревизора» разовьемъ подробно эту идею, а пока замѣтимъ мимоходомъ, что, вслѣдствіе этого взгляда на искусство, Мольеръ — такой же художникъ, какъ Гомеровъ Тирсисъ — красавецъ, и такъ же похожъ на Шекспира, какъ титулярный совѣтникъ Поприщинъ на Фердинанда VIII, короля испанскаго. Конечно французы правы, что ставятъ Мольера выше Корнеля и Расина; онъ дѣйствительно былъ человѣкъ съ большимъ талантомъ, съ неистощимой живостью и острою французскаго ума; онъ истощилъ все богатство разговорнаго французскаго языка, воспользовался всею его граціозной игривостью для выраженія смѣшныхъ противорѣчій; онъ подмѣтилъ и вѣрно схватилъ многія черты своего времени. Но онъ великъ въ частностяхъ, а не въ цѣломъ; но его дѣйствующія лица не дѣйствительныя существа, а карикатуры, такъ же, какъ его произведенія — сатиры, а не комедіи, такъ же, какъ самъ онъ поэтъ мѣстами, а не художникъ, который потому художникъ, что творитъ цѣлое, стройное зданіе, выросшее изъ одной

идеи. Напримѣръ, въ его «Скупомъ» Гарпагонъ конечно хорошъ, какъ мастерски-написанная карикатура, но всѣ другія лица — резонеры, ходячія сентенціи о томъ, что скупость есть порокъ; ни одно изъ нихъ не живетъ своей жизнью и для самого себя, но всѣ придуманы, чтобы лучше отѣнить собой героя quasi-комедіи. То же и въ «Тартюфѣ»: всѣ лица присочинены для главнаго, и самъ Тартюфъ такъ нехитеръ, что могъ обмануть только одного человѣка, и то потому, что этотъ одинъ — пошлый дуракъ. Завязка и развязка мнимыхъ комедій Мольера никогда не выходятъ изъ основной идеи и взаимныхъ отношеній дѣйствующихъ лицъ, но всегда придумывается, какъ рама для картины, не создается, какъ необходимая форма. Это оттого, что у него никогда не было идеи, и поэзія для него никогда не была сама себѣ цѣль, но средство исправлять общество осмѣяніемъ пороковъ. Какой это художникъ!

Многіе находятъ странной натяжкой и фарсомъ ошибку городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, тѣмъ болѣе, что городничій человѣкъ по своему очень умный, т.-е. плутъ перваго разряда... Странное мнѣніе, или, лучше сказать, странная слѣпота, недопускающая видѣть очевидность! Причина этого заключается въ томъ, что у cadaго человѣка есть два зрѣнія — физическое, которому доступна только внѣшняя очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность, какъ необходимость, вытекающую изъ сущности идеи. Вотъ, когда у человѣка есть только физическое зрѣніе, а онъ смотритъ имъ на внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничаго ему кажется натяжкой и фарсомъ. Представьте себѣ вориху-чиновника такого, какимъ вы знаете почтеннаго Сквозника-Дмухановскаго: ему видѣлись во снѣ дѣвъ какія-то необыкновенныя крысы, какихъ онъ никогда не видывалъ, — черныя, неестественной величины — пришли, понюхали и пошли прочь. Важность этого сна для послѣдующихъ событій была уже кѣмъ-то очень вѣрно замѣчена. Въ самомъ дѣлѣ, обратите на него все ваше вниманіе: имъ открывается цѣль призраковъ, составляющихъ дѣйствительность комедіи. Для человѣка съ такимъ образованіемъ, какъ нашъ городничій, сны — мистическая сторона жизни, и чѣмъ они несвязнѣе и бессмысленнѣе, тѣмъ для него имѣютъ болѣе и таинственнѣе значеніе. Если бы послѣ этого сна ничего важнаго не случилось, онъ могъ бы и забыть его; но какъ нарочно на другой день онъ получаетъ отъ пріятеля увѣдомленіе, что «отправился инкогнито изъ Петербурга чиновникъ съ секретнымъ предписаніемъ обревизовать въ губерніи все, относящееся по части гражданскаго управленія». Сонъ въ руку! Суевѣріе еще болѣе

запугиваетъ и безъ того запуганную совѣсть; совѣсть усиливаетъ суевѣріе. Обратите особенное вниманіе на слова «инкогнито» и «съ секретнымъ предписаніемъ». Петербургъ есть таинственная страна для нашего городничаго, міръ фантастическій, котораго формъ онъ не можетъ и не умѣетъ себѣ представить. Нововведенія въ юридической сферѣ, грозящія уголовнымъ судомъ и ссылкой за взяточничество и казнокрадство, еще болѣе усугубляютъ для него фантастическую сторону Петербурга. Онъ уже допытывается у своего воображенія, какъ прійдетъ ревизоръ, чѣмъ онъ прикинется и какія пули онъ будетъ отливать, чтобы развѣдать правду. Слѣдуютъ толки у честной компаніи объ этомъ предметѣ. Судья-собачникъ, который беретъ взятки борзыми щенками и потому не боится суда, который на своемъ вѣку прочелъ пять или шесть книгъ, и потому нѣсколько вольнодумецъ, находитъ причину присылки ревизора достойною своего глубокомыслия и начитанности, говоря, что «Россія хочетъ вести войну, и потому министерія нарочно отправляетъ чиновника, чтобы узнать, нѣтъ ли гдѣ измѣны». Городничій понялъ нелѣпость этого предположенія и отвѣчаетъ: «Гдѣ нашему уѣздному городишкѣ? Если бъ онъ былъ пограничнымъ, еще бы какъ-нибудь возможно предположить, а то стоитъ чортъ знаетъ гдѣ—въ глуши... Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доѣдешь». За симъ онъ даетъ совѣтъ своимъ сослуживцамъ быть поосторожнѣе и быть готовыми къ пріѣзду ревизора; вооружается противъ мысли о грѣшкахъ, т.-е. взяткахъ, говоря, что «нѣтъ человека, который бы не имѣлъ за собой какихъ-нибудь грѣховъ», что «это уже такъ самимъ Богомъ устроено», и что «вольтерянцы напрасно противъ этого говорятъ»; слѣдуетъ маленькая перебранка съ судьей о значеніи взятковъ; продолженіе совѣтовъ; ропотъ противъ проклятаго инкогнито. «Вдругъ заглянетъ; а! вы здѣсь, голубчики! А кто, скажете, здѣсь судья? — Тяпкинь-Ляпкинь. А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній?—Земляника.—А подать сюда Землянику! Вотъ что худо!»... Въ самомъ дѣлѣ, худо! Входитъ наивный почтмейстеръ, который любитъ распечатывать чужія письма, въ надеждѣ найти въ нихъ разные такіе пассажи... назидательные даже... лучше, нежели въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Городничій даетъ ему плутовскіе совѣты «немножко распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узнать—не содержится ли въ немъ какаго-нибудь донесенія, или просто переписки». Какая глубина въ изображеніи! Вы думаете, что фраза «или просто переписки» безмыслица, или фарсъ со стороны поэта: нѣтъ, это неумѣніе городничаго выражаться, какъ скоро онъ хоть немного выходитъ изъ

родныхъ сферъ своей жизни. И таковъ языкъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ въ комедіи! Наивный почтмейстеръ, не понимая въ чемъ дѣло, говоритъ, что онъ и такъ это дѣлаетъ. «Я радъ, что вы это дѣлаете», отвѣчаетъ плутъ-городничій простяку почтмейстеру: «это въ жизни хорошо», и видя, что съ нимъ обиняками немного возьмешь, напрямки проситъ его—всякое извѣстіе доставлять къ нему, а жалобу или донесеніе просто задерживать. Судья потчуетъ его собаченкой, но онъ отвѣчаетъ, что ему теперь не до собакъ и зайцевъ: «У меня въ ушахъ только и слышно, что инкогнито проклятое; такъ и ожидаешь, что вдругъ откроются двери и войдетъ...»

И въ самомъ дѣлѣ, двери открываются съ шумомъ, и вбѣгаютъ Петры Ивановичи Бобчинскій и Добчинскій. Это городскіе шуты, уѣздные сплетники; ихъ всѣ знаютъ, какъ дураковъ, и обходятся съ ними или съ видомъ презрѣнія, или съ видомъ покровительства. Они безсознательно это чувствуютъ и потому изъ всей мочи передъ всѣми подличаютъ, и чтобы только ихъ терпѣли, какъ собакъ и кошекъ въ комнатахъ, всѣмъ подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уѣздныхъ городковъ. Вообще съ ними обращаются безъ чиновъ, какъ съ собаками и кошками: надоѣдаютъ—выгоняютъ. Ихъ дни проходятъ въ шатаньи и собираньи новостей и сплетней. Обогащаясь подобной находкой, они вдругъ вырастаютъ сознаниемъ своей важности и уже бѣгутъ къ знакомымъ смѣло, въ увѣренности хорошаго приѣма.

«Чрезвычайное происшествіе!» кричитъ Бобчинскій. «Неожиданное извѣстіе!» восклицаетъ Добчинскій, вбѣгая въ комнату городничаго, гдѣ всѣ настроены на одинъ ладъ, а особенно самъ городничій весь сосредоточенъ на идее фике. «Что такое?» — Приходимъ въ гостиницу — восклицаетъ Добчинскій. Приходимъ въ гостиницу—перебиваетъ его Бобчинскій. Начинается рассказъ самый обстоятельный, самый подробный, отъ начала до конца: зачѣмъ пошли въ гостиницу, гдѣ, какъ, когда, при какихъ обстоятельствахъ, словомъ, по всѣмъ правиламъ топииковъ или общихъ мѣстъ старинныхъ риторикъ. Чудаки перебиваютъ другъ друга: каждому хочется насладиться своей важностью, быть центромъ общаго вниманія, а вмѣстѣ и занять себя, наполнить свою пустоту пустымъ содержаніемъ. Забавнѣе всего то, что имъ самимъ хочется какъ можно скорѣе добраться до эффектнаго конца, а между тѣмъ и хочется продолжить свое торжество и рассказать все сначала и подробнѣе. Бобчинскій овладѣваетъ рассказомъ, говоря, что у Добчинскаго «и зубъ со свистомъ, и слога такого нѣту», и Добчинскому осталось только помогать жестами рассказу счастливаго

Бобчинскаго, изрѣдка обѣгать его нѣкоторыми фразами, которыя тотъ снова перехватываетъ и продолжаетъ свой разсказъ. Наконецъ, дошли до «молодого человѣка недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ». Представьте себѣ, какое впечатлѣніе долженъ былъ произвести этотъ «молодой человѣкъ недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ» на воображеніе городничаго, уже безъ того настроенное ожиданіемъ проклятаго «инкогнито!» И вотъ наконецъ Бобчинскій передаетъ донесеніе трактирщика Власа: «Молодой человѣкъ, чиновникъ, ѣдущій изъ Петербурга — Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, а ѣдетъ въ Саратовскую губернію, и что чрезвычайно странно себя аттестуетъ: больше полуторы недѣли живеть, дальше не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и денегъ хотъ бы копѣйку заплатилъ». Слѣдуетъ остроумная смѣтка проникательнаго Бобчинскаго: «съ какой стати сидѣть ему здѣсь, когда ему дорога лежитъ Богъ знаетъ куда—въ Саратовскую губернію? Это вѣрно не кто другой, какъ самый тотъ чиновникъ». Не естественъ ли послѣ этого ужасъ городничаго?

Городничій. Что вы говорите? не можетъ быть! Да нѣтъ, это вамъ такъ показалось. Это кто-нибудь другой.

Бобчинскій. Помилуйте, какъ не онъ! И денегъ не платитъ, и не ѣдетъ — кому же быть, какъ не ему? И съ какой стати жилъ бы онъ здѣсь, когда ему прописана подорожная въ Саратовъ.

Понимаете ли вы хотя въ возможности эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? на какихъ законахъ разума основаны они? Вотъ онъ — вотъ источникъ комическаго и смѣшнаго! Видите ли вы, какая драма, какое столкновение противоположныхъ интересовъ, протекающихъ изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ взаимныхъ отношеній, выразилось въ этихъ двухъ монологахъ! Городничій уже вѣрить страшному извѣстію, и какъ утопающій хватается за соломинку, такъ онъ пустымъ вопросомъ хотеть какъ бы отдалить на время сознаніе горькой истины, чтобы дать себѣ время опомниться; Бобчинскій, напротивъ, всѣми силами старается поддержать и въ другихъ, и въ самомъ себѣ увѣренность въ справедливости извѣстія, которое вдругъ придадо ему такую важность. Да, въ этой комедіи нѣтъ ни одного слова, строгой и непреложной необходимости котораго нельзя бы было доказать изъ самой сущности идеи и дѣйствительности характеровъ. Но вотъ Бобчинскій, по тѣмъ же причинамъ, какъ и его достойный другъ, и съ такой же основательностью и очевидностью подаетъ голосъ о несомнѣнности факта:

«Онъ, онъ!.. ей-Богу, онъ!.. Я ставлю Богъ знаетъ что... Такой наблюдательный: все обсмотрѣлъ и по угламъ вездѣ, и даже заглянулъ въ тарелки

наши полюбопытствовать, что ѣдимъ. Такой осмотрительный, что Боже сохрани...»

Послѣ такого довода нѣтъ больше сомнѣнія! Такой наблюдательный, что даже въ тарелки заглядывалъ! Боже мой, да если бы въ эту минуту бѣдному городничему сказали о наблюдательности его кучера, онъ принялъ бы его за ревизора, отличительнымъ признакомъ котораго въ его испуганномъ воображеніи непременно должна быть наблюдательность...

Видите ли, съ какимъ искусствомъ поэтъ умѣлъ завязать эту драматическую интригу въ душѣ человѣка, съ какой поразительной очевидностью умѣлъ онъ представить необходимость ошибки городничаго? Если и теперь не видите—перечтите комедію или, что еще лучше—посмотрите ее на сценѣ; если и тутъ не увидите—такъ это уже вина вашего зрѣнія, а мы не беремъ на себя трудной обязанности научить слѣпое безошибочно судить о цвѣтахъ. Если нужны еще доказательства, не изъ сущности идеи произведенія почерпнутыя, а внѣшнія, практическія, разсудочныя, и резонерскія, безъ которыхъ многіе люди ничего не понимаютъ, замѣтимъ имъ, что подобные случаи часто бываютъ въ жизни: сосредоточьтесь на идеѣ, отъ которой зависитъ ваша участь,—вы начнете говорить о ней съ первымъ встрѣчнымъ на улицѣ, принявъ его за своего пріятеля, къ которому вы шли говорить о ней. По крайней мѣрѣ это очень возможно.

Пропускаемъ остальную половину перваго акта—отчаяніе городничаго при мысли, что ревизоръ въ полторы недѣли могъ узнать о невинно-высѣченной имъ унтеръ-офицерской женѣ, о покражѣ у арестантовъ провизіи, о нечистотѣ на улицахъ; его радость при мысли, что ревизоръ—молодой человѣкъ; его распоряженія: сцену съ квартальными; просьбу Добчинскаго взять его съ собой или хотъ позвонить «обѣжать за дрожками пѣтушкомъ, пѣтушкомъ», чтобы только посмотрѣть въ щелочку: «такъ, знаете, изъ дверей только увидѣть, какъ тамъ онъ... больше сущность и поступки его, а я ничего»; замѣчаніе городничаго квартальному, что онъ «не по чину беретъ»; сцену съ частнымъ приставомъ, донесшимъ о квартальномъ Держимордѣ, который поѣхалъ, по случаю драки, для порядка, и воротился пьянъ; дальнѣйшія распоряженія городничаго; его животные переходы отъ раскаянія къ ругательствамъ на купцовъ, недогадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и видѣли, что старая уже не годится; его обѣщаніе поставить такую свѣчу, какой никто еще не ставилъ, и угрозу «на каждого бестію-купца наложить по три пуда воска», когда бѣда минетъ; сцену Анны Андреевны, спрашивающей мужа за дверью о томъ,

съ усами ли ревизоръ и съ какими усами; брань ея на дочь, которая своей кокетливостью при туалетѣ лишила ее возможности поскорѣе разузнать о ревизорѣ; эту пикировку съ дочерью, въ которой поблеклая кокетка уѣзднаго города представляется какъ бы видащей въ молодой дочери свою соперницу: скажемъ коротко, что во всемъ этомъ, какъ и въ предшествовавшемъ, поэтъ остался вѣренъ своей идѣ, не измѣнилъ ей ни словомъ, ни чертой; что все это больше нежели портретъ или зеркало дѣйствительности, но болѣе походить на дѣйствительность, нежели дѣйствительность походить сама на себя, ибо все это — художественная дѣйствительность, замыкающая въ себѣ всѣ частныя явленія подобной дѣйствительности...

Передъ вами Осипъ — герой лакейской природы, представитель цѣлаго рода безчисленныхъ явленій, изъ которыхъ онъ ни на одно не похожъ, какъ двѣ капли воды, но изъ которыхъ каждое похоже на него, какъ двѣ капли воды. Въ своемъ большомъ монологѣ, гдѣ между прочимъ читаетъ онъ нравоученіе самому себѣ для своего барина, онъ высказываетъ всего себя, свои отношенія къ барину и наконецъ самого барина. Вы видите деревенскаго слугу, который, проживъ въ Петербургѣ, постигъ достоинство столичной жизни и галантерейнаго обращенія, но, по словицѣ «сколько волка ни корми, онъ все въ лѣсъ глядитъ», предпочитаетъ мирную деревенскую жизнь тревоженіямъ столицы, въ которой худо безъ денегъ, иной разъ славно наѣвшись, а въ другой чуть не лопнешь съ голода. Въ истинно-художественномъ произведеніи всегда видно, какъ взаимныя отношенія персонажей дѣйствуютъ на самый ихъ характеръ, и потому вамъ тотчасъ станетъ ясно, что Осипъ — грубіанъ столько же по натурѣ, сколько и по презрѣнію къ своему барину, котораго глупость онъ понимаетъ по своему. Этотъ баринъ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими. Онъ — франтъ и щеголь, потому что дуракъ и столичный житель; глупцы скорѣе всего перенимаютъ вѣншія стороны высшей ихъ жизни. Отецъ содержитъ его прилично, но онъ мотаетъ батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславію, а потомъ спускаетъ платне на рынкѣ до новой присылки денегъ. «Онъ дѣйствуетъ и говоритъ безъ всякаго соображенія: не въ состояніи остановить постоянного вниманія на какой-нибудь мысли; рѣчь его отрывиста, и слова вылетаютъ совершенно неожиданно». Онъ слышалъ, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется литературой, и въ его пустой головѣ въ безпорядкѣ улеглись имена сочиненій и названія журналовъ и сочинителей: Брам-

беусъ и Смирдинъ, «Библиотека для Чтенія» и «Сумбека», «Юрій Милославскій» и «Фенелла». Онъ — денди не по одному модному платью, но и по манерамъ, денди трактирный, одна изъ тѣхъ фигуръ, которыя красуются на выѣскахъ московскихъ трактировъ, цирюленъ и портныхъ. Въ Пензѣ его обыгралъ начистую пѣхотный капитанъ: онъ за это досадуетъ на случай и несчастье, но не на капитана, къ которому онъ благоговѣетъ, какъ диллетантъ къ художнику, потому что, «что ни говори, а удивительно, бестія, штосы срѣзываетъ: всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣлъ и все ободралъ — славно играетъ!» Великое достоинство въ его глазахъ!

Посмотрите, какъ робко и какими косвенными вопросами хочетъ онъ узнать отъ Осипа, есть ли у нихъ табакъ: о, онъ боится его нравоученій и его грубости! Посмотрите, какъ онъ подличаетъ передъ трактирнымъ прислужникомъ, справляясь о его здоровьи и о числѣ пріѣзжающихъ въ ихъ трактиръ, и какъ ласково проситъ его поторопиться принести обѣдать! Какая сцена, какія положенія, какой языкъ! Гдѣ подсмотрѣлъ, гдѣ подслушалъ поэтъ эти сцены и этотъ языкъ? И почему только одинъ онъ такъ подсмотрѣлъ и такъ подслушалъ? Можетъ быть потому, что онъ подсматривалъ и подслушивалъ какъ и всѣ, то-есть, не подсматривая и не подслушивая, да въ фантазіи-то его это отразилось не такъ, какъ у всѣхъ. А вѣдь и эти всѣ — тоже поэты и художники, и какъ блины пекутъ и трагедіи, и драмы, и оперы, и комедіи, и водевили...

Входитъ Осипъ и говоритъ барину, что «тамъ чего-то пріѣхалъ городничій, освѣдомляется и спрашиваетъ о васъ», — новое комическое столкновение! У Хлестакова воображеніе настроено на мысли о жалобѣ трактирщика, о тюрьмѣ... Онъ испугался тюрьмы, но утѣшился мыслью, что если поведутъ его туда благороднымъ образомъ, то ничего; но мысль о двухъ купеческихъ дочеряхъ и офицерахъ, которыхъ онъ видѣлъ на улицѣ, снова приводитъ его въ отчаяніе... Можете представить, въ какой настроенности его воображенія входитъ къ нему городничій... Въ высшей степени комическое положеніе!.. Но мы пропускаемъ эту превосходную сцену — она говоритъ сама за себя, а для кого она нѣма, тѣмъ немного помогутъ наши толкованія. Скажемъ только, что въ этой сценѣ городничій является во всемъ своемъ блескѣ: съ одной стороны, какъ чуждый фантастическому для него понятію петербургскаго чиновника и весь сосредоточенный на мысли о «проклятомъ инкогнито», онъ всѣ глупости Хлестакова принимаетъ за тонкія шуточки, а съ другой — прелево и прехитро выкидываетъ свои тонкія шуточки и улаживаетъ дѣло.

Бобчинскаго, изрѣдка обѣгать его нѣкоторыми фразами, которыя тотъ снова перехватываетъ и продолжаетъ свой разсказъ. Наконецъ, дошли до «молодого человѣка недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ». Представьте себѣ, какое впечатлѣніе долженъ былъ произвести этотъ «молодой человѣкъ недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ» на воображеніе городничаго, уже безъ того настроенное ожиданіемъ проклятаго «инкогнито!» И вотъ наконецъ Бобчинскій передаетъ донесеніе трактирщика Власа: «Молодой человѣкъ, чиновникъ, ѣдущій изъ Петербурга — Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, а ѣдетъ въ Саратовскую губернію, и что чрезвычайно странно себя аттестуетъ: больше полуторы недѣли живетъ, дальше не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и денегъ хоть бы копѣйку заплатилъ». Слѣдуетъ остроумная смѣлка проницательнаго Бобчинскаго: «съ какой стати сидѣть ему здѣсь, когда ему дорога лежитъ Богъ знаетъ куда—въ Саратовскую губернію? Это вѣрно не кто другой, какъ самый тотъ чиновникъ». Не естественъ ли послѣ этого ужасъ городничаго?

Городничій. Что вы говорите? не можетъ быть! Да нѣтъ, это вамъ такъ показалось. Это кто-нибудь другой.

Бобчинскій. Помилуйте, какъ не онъ! И денегъ не платитъ, и не ѣдетъ — кому же быть, какъ не ему? И съ какой стати жилъ бы онъ здѣсь, когда ему прописана подорожная въ Саратовъ.

Понимаете ли вы хотя въ возможности эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? на какихъ законахъ разума основаны они? Вотъ онъ — вотъ источникъ комическаго и смѣшнаго! Видите ли вы, какая драма, какое столкновеніе противоположныхъ интересовъ, протекающихъ изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ взаимныхъ отношеній, выразилось въ этихъ двухъ монологахъ! Городничій уже вѣрить страшному извѣстію, и какъ утопающій хватается за соломинку, такъ онъ пустымъ вопросомъ хочетъ какъ бы отдалить на время сознаніе горькой истины, чтобы дать себѣ время опомниться; Бобчинскій, напротивъ, всѣми силами старается поддержать и въ другихъ, и въ самомъ себѣ увѣренность въ справедливости извѣстія, которое вдругъ придало ему такую важность. Да, въ этой комедіи нѣтъ ни одного слова, строгой и непреложной необходимости котораго нельзя было доказать изъ самой сущности идеи и дѣйствительности характеровъ. Но вотъ Бобчинскій, по тѣмъ же причинамъ, какъ и его достойный другъ, и съ такой же основательностью и очевидностью подаетъ голосъ о несомнѣнности факта:

«Онъ, онъ!.. ей-Богу, онъ!.. Я ставлю Богъ знаетъ что... Такой наблюдательный: все обсмотрѣлъ и по угламъ вездѣ, и даже заглянулъ въ тарелки

наши полюбопытствовать, что ѣдимъ. Такой осмотнительный, что Боже сохрани!..»

Послѣ такого довода нѣтъ больше сомнѣній! Такой наблюдательный, что даже въ тарелки заглядывалъ! Боже мой, да если бы въ эту минуту бѣдному городничему сказали о наблюдательности его кучера, онъ принялъ бы его за ревизора, отличительнымъ признакомъ котораго въ его испуганномъ воображеніи непременно должна быть наблюдательность...

Видите ли, съ какимъ искусствомъ поэтъ умѣлъ завязать эту драматическую интригу въ душѣ человѣка, съ какой поразительной очевидностью умѣлъ онъ представить необходимость ошибки городничаго? Если и теперь не видите—перечтите комедію или, что еще лучше—посмотрите ее на сценѣ; если и тутъ не увидите—такъ это уже вина вашего зрѣнія, а мы не беремъ на себя трудной обязанности научить слѣпого безошибочно судить о цвѣтахъ. Если нужны еще доказательства, не изъ сущности идеи произведенія почерпнутыя, а внѣшнія, практическія, разсудочныя, и резонерскія, безъ которыхъ многіе люди ничего не понимаютъ, замѣтимъ имъ, что подобныя случаи часто бываютъ въ жизни: сосредоточьтесь на идеѣ, отъ которой зависитъ ваша участь,—вы начнете говорить о ней съ первымъ встрѣчнымъ на улицѣ, принявъ его за своего пріятеля, къ которому вы шли говорить о ней. По крайней мѣрѣ это очень возможно.

Пропускаемъ остальную половину перваго акта—отчаяніе городничаго при мысли, что ревизоръ въ полторы недѣли могъ узнать о невинно-высѣченной имъ унтеръ-офицерской женѣ, о покражѣ у арестантовъ провизіи, о нечистотѣ на улицахъ; его радость при мысли, что ревизоръ—молодой человѣкъ; его распоряженія; сцену съ квартальными; просьбу Добчинскаго взять его съ собой или хотя позволить «бѣжать за дрожками пѣтушкомъ, пѣтушкомъ», чтобы только посмотрѣть въ щелочку: «такъ, знаете, изъ дверей только увидѣть, какъ тамъ онъ... больше сущность и поступки его, а я ничего»; замѣчаніе городничаго квартальному, что онъ «не по чину беретъ»; сцену съ частнымъ приставомъ, дошедшимъ о квартальномъ Держимордѣ, который поѣхалъ, по случаю драки, для порядка, и воротился пьянъ; дальнѣйшія распоряженія городничаго; его животные переходы отъ раскаянія къ ругательствамъ на купцовъ, недогадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и видѣли, что старая уже не годится; его обѣщаніе поставить такую свѣчу, какой никто еще не ставилъ, и угрозу «на каждого бестію-купца наложить по три пуда воска», когда бѣда минетъ; сцену Анны Андреевны, спрашивающей мужа за дверью о томъ,

съ усами ли ревизоръ и съ какими усами; брань ея на дочь, которая своей кокетливостью при туалетѣ лишила ее возможности поскорѣе разузнать о ревизорѣ; эту пикировку съ дочерью, въ которой поблеклая кокетка уѣзднаго города представляется какъ бы видящей въ молодой дочери свою соперницу: скажемъ коротко, что во всемъ этомъ, какъ и въ предшествовавшемъ, поэтъ остался вѣренъ своей идеѣ, не измѣнилъ ей ни словомъ, ни чертой; что все это больше нежели портретъ или зеркало дѣйствительности, но болѣе походить на дѣйствительность, нежели дѣйствительность походить сама на себя, ибо все это — художественная дѣйствительность, замыкающая въ себѣ всѣ частныя явленія подобной дѣйствительности...

Передъ вами Осипъ — герой лакейской природы, представитель цѣлаго рода безчисленныхъ явленій, изъ которыхъ онъ ни на одно не похожъ, какъ двѣ капли воды, но изъ которыхъ каждое похоже на него, какъ двѣ капли воды. Въ своемъ большомъ монологѣ, гдѣ между прочимъ читаетъ онъ нравоученіе самому себѣ для своего барина, онъ высказываетъ всего себя, свои отношенія къ барину и наконецъ самого барина. Вы видите деревенскаго слугу, который, проживъ въ Петербургѣ, постигъ достоинство столичной жизни и галантерейнаго обращенія, но, по словицѣ «сколько волка ни корми, онъ все въ лѣсъ глядитъ», предпочитаетъ мирную деревенскую жизнь тревоженіямъ столицы, въ которой худо безъ денегъ, иной разъ славно наѣшья, а въ другой чуть не лопнешь съ голода. Въ истинно-художественномъ произведеніи всегда видно, какъ взаимныя отношенія персонажей дѣйствуютъ на самый ихъ характеръ, и потому вамъ тотчасъ станетъ ясно, что Осипъ — грубиянъ столько же по натурѣ, сколько и по презрѣнію къ своему барину, котораго глупость онъ понимаетъ по своему. Этотъ баринъ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими. Онъ — франтъ и шеголь, потому что дуракъ и столичный житель; глупцы скорѣе всего перенимаютъ внѣшнія стороны высшей ихъ жизни. Отецъ содержитъ его прилично, но онъ мотаетъ батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславію, а потомъ спускаетъ платье на рынокъ до новой присылки денегъ. «Онъ дѣйствуетъ и говоритъ безъ всякаго соображенія: не въ состояніи остановить постоянного вниманія на какой-нибудь мысли; рѣчь его отрывиста, и слова вылетаютъ совершенно неожиданно». Онъ слышалъ, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется литературой, и въ его пустой головѣ въ безпорядкѣ улеглись имена сочиненій и названія журналовъ и сочинителей: Брам-

беусъ и Смирдинъ, «Библіотека для Чтенія» и «Сумбека», «Юрій Милославскій» и «Фелла». Онъ — денди не по одному модному платью, но и по манерамъ, денди трактирный, одна изъ тѣхъ фигуръ, которыя красуются на вывѣскахъ московскихъ трактировъ, цирюленъ и портныхъ. Въ Пензѣ его обыгралъ начистую пѣхотный капитанъ: онъ за это досадуетъ на случай и несчастье, но не на капитана, къ которому онъ благоговѣетъ, какъ дилетантъ къ художнику, потому что, «что ни говори, а удивительно, бестія, штосы срѣзываетъ: всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣлъ и все обобралъ — славно играетъ!» Великое достоинство въ его глазахъ!

Посмотрите, какъ робко и какими косвенными вопросами хочетъ онъ узнать отъ Осипа, есть ли у нихъ табакъ: о, онъ боится его нравоученій и его грубости! Посмотрите, какъ онъ подличаетъ передъ трактирнымъ прислужникомъ, справляясь о его здоровьи и о числѣ пріѣзжающихъ въ ихъ трактиръ, и какъ ласково проситъ его поторопиться принести обѣдать! Какая сцена, какія положенія, какой языкъ! Гдѣ подсмотрѣлъ, гдѣ подслушалъ поэтъ эти сцены и этотъ языкъ? И почему только одинъ онъ такъ подсмотрѣлъ и такъ подслушалъ? Можетъ быть потому, что онъ подсматривалъ и подслушивалъ какъ и всѣ, то-есть, не подсматривая и не подслушивая, да въ фантазіи-то его это отразилось не такъ, какъ у всѣхъ. А вѣдь и эти всѣ — тоже поэты и художники, и какъ блины пекутъ и трагедіи, и драмы, и оперы, и комедіи, и водевили...

Входитъ Осипъ и говоритъ барину, что «тамъ чего-то пріѣхалъ городничій, освѣдомляется и спрашиваетъ о васъ», — новое комическое столкновение! У Хлестакова воображеніе настроено на мысли о жалобѣ трактирщика, о тюрьмѣ... Онъ испугался тюрьмы, но утѣшился мыслью, что если поведутъ его туда благороднымъ образомъ, то ничего; но мысль о двухъ купеческихъ дочеряхъ и офицерахъ, которыхъ онъ видѣлъ на улицѣ, снова приводитъ его въ отчаяніе... Можете представить, въ какой настроенности его воображенія входитъ къ нему городничій... Въ высшей степени комическое положеніе!.. Но мы пропускаемъ эту превосходную сцену — она говоритъ сама за себя, а для кого она нѣма, тѣмъ немного помогутъ наши толкованія. Скажемъ только, что въ этой сценѣ городничій является во всемъ своемъ блескѣ: съ одной стороны, какъ чуждый фантастическому для него понятію петербургскаго чиновника и весь сосредоточенный на мысли о «проклятомъ инкогнито», онъ всѣ глупости Хлестакова принимаетъ за тонкія шуточки, а съ другой — преловко и прехитро выкидываетъ свои тонкія шуточки и улаживаетъ дѣло.

Третье дѣйствіе, а Анна Андреевна все еще у окна съ своей дочерью,—въ высшей степени комическая черта! Тутъ не одно праздное любопытство пустой женщины: ревизоръ молодъ, а она — кокетка, если не больше... Дочь говоритъ, что кто-то идетъ—мать сердится: «Гдѣ идетъ? у тебя вѣчно какія-нибудь фантазіи; ну, да, идетъ». Потомъ вопросъ, кто идетъ: дочь говоритъ, что это Добчинскій — мать опять не соглашается и опять упрекаетъ дочь ни въ чемъ: «Какой Добчинскій? тебѣ всегда вдругъ вообразится этакое! совсѣмъ не Добчинскій. Эй, вы, ступайте сюда! скорѣе!» Наконецъ обѣ разглядываютъ; дочь говоритъ: «А что? а что, маменька? Видите, что Добчинскій!» Мать отвѣчаетъ: «Ну, да, Добчинскій, теперь я вижу—изъ чего же ты споришь!» Можно ли лучше поддержать достоинство матери, какъ не быть всегда дочь виноватой предъ собой? Какая сложность элементовъ выражена въ этой сценѣ: уѣздная барыня, устарѣлая кокетка, смѣшная мать! Сколько оттѣнковъ въ каждомъ ея словѣ, какъ значительно, необходимо каждое ея слово! Вотъ чтó значитъ проникать въ таинственную глубину организациі предмета, и во вѣщность выводить то, что кроется въ самыхъ недоступныхъ для зрѣнія тканяхъ и нервахъ внутренней организациі! Поэтъ заставляетъ насквозь видѣть эти характеры и внутри находить причины всего вѣшняго, являющагося. Сцена Анны Андреевны съ Добчинскимъ: та и другой являются тутъ во всей своей прозрачности. Она спрашиваетъ его, тотъ ли это ревизоръ, о которомъ увѣдомили ея мужа. «Настоящій: я это первый открылъ вмѣстѣ съ Петромъ Ивановичемъ». Потомъ онъ пересказываетъ свиданіе городничаго съ Хлестаковымъ такъ, какъ оно отразилось въ его понятіи и какъ должно было отразиться въ понятіи городничаго, и заключаетъ, что онъ тоже «перетрухнулъ немножко». «Да вамъ-то чего бояться—вѣдь вы не служите?» спрашиваетъ она его. «Да такъ, знаете, когда вельможа говоритъ, то чувствуешь страхъ», отвѣчалъ простакъ. На вопросъ городничихи о наружности ревизора, онъ его описываетъ такъ, какъ онъ отразился въ его узкой головѣ. «Молодой, молодой человѣкъ: лѣтъ двадцати-трехъ; а говоритъ совершенно какъ старикъ. Извольте, говорить, я поѣду и туда, и туда... (размахиваетъ руками) такъ это все славно». Видите ли въ этихъ бессмысленныхъ словахъ немножко-идиотское неумѣніе отдать себѣ отчетъ въ собственномъ впечатлѣніи и выразить его словомъ? Далѣе: «Я, говорить, и написать, и почитать люблю, но мѣшаетъ, что въ комнатѣ, говорить, немножко темно». Видите ли изъ этого, что чѣмъ Хлестаковъ былъ *пошлѣе*, безсвязнѣе въ своихъ фразахъ, трак-

тирнѣе въ своихъ манерахъ, тѣмъ большее придавалъ онъ себѣ значеніе не только въ глазахъ Добчинскаго, но и самого городничаго? Есть люди, которые почитаютъ въ книгахъ глубокимъ и мудрымъ все, чего они не понимаютъ; приведите къ нимъ какого-нибудь глупца или ловкаго мистификатора, какъ автора этой умной книжки: чѣмъ нелѣпѣе онъ будетъ выражаться, тѣмъ больше они будутъ ему удивляться. Для городничаго ревизоръ былъ слишкомъ премудрой книгой, потому уже только, что онъ ревизоръ—съ этой точки зрѣнія его трудно было сдвинуть, и потому все, что Хлестаковъ ни вралъ послѣ къ ясной своей невыгодѣ, только еще болѣе поддерживало городничаго въ его заблужденіи, вмѣсто того чтобы вывести изъ него и открыть ему глаза.

Сцена матери и дочери, совѣтующихся о туалетѣ, чтобы ихъ не осмѣяла какая-нибудь «столичная штучка», и споръ о палевомъ платьѣ, которое, по мнѣнію матери, къ лицу ей, такъ какъ у ней самые темные глаза, потому что «она и гадаетъ всегда на треновую даму», и возраженіе дочери, «что къ ней не идетъ цвѣтное платье, потому что она больше червоная дама» — эта сцена и этотъ споръ окончательно и рѣзкими чертами обрисовываетъ сущность, характеры и взаимныя отношенія матери и дочери, такъ что послѣдующее уже нисколько не удивляетъ въ нихъ васъ, какъ не удивляетъ сумма четырехъ, вышедшая изъ умноженія двухъ на два. Вотъ въ этомъ-то состоитъ типизмъ изображенія: поэтъ беретъ самыя рѣзкія, самыя характеристическія черты живописуемыхъ имъ лицъ, выпускаетъ всѣ случайныя, которыя не способствуютъ къ оттѣненію ихъ индивидуальности. Но онъ выбираетъ не по сортировкѣ, не по соображенію и сличенію болѣе годныхъ съ менѣе годными, онъ даже и не думаетъ, не заботится объ этомъ, но все это выходитъ у него само собою, потому что изображаемые имъ на бумагѣ лица прежде всего изображались у него въ фантазіи, и изображались во всей полнотѣ своей и цѣлости, со всѣми родовыми примѣтами, отъ цвѣта волосъ до родимаго пятнышка на лицѣ, отъ звука голоса до покроя платья. Положить ихъ на бумагу — для него уже актъ второстепенный, почти механическій трудъ. И посмотрите, какъ легко у него все выходитъ: въ этой коротенькой, какъ бы слегка и небрежно наброшенной сценѣ вы видите прошедшее, настоящее и будущее, всю исторію двухъ женщинъ, а между тѣмъ она вся состоитъ изъ спора о платьѣ, и вся какъ бы мимоходомъ и нечаянно вырвалась изъ-подъ пера поэта!

Сценка явленія Хлестакова въ домѣ городничаго въ сопровожденіи свиты изъ городского чиновничества и самого Сквозника-Дму-

хановскаго, представленіе Анны Андреевны и Марьи Антоновны, любезничанье и вранье Хлестакова—каждое слово, каждая черта во всемъ этомъ, общность и характеръ всего этого—торжество искусства, чудная картина, написанная великимъ мастеромъ, никогда нежданное, никѣмъ не подозрѣвавшееся изображеніе всѣми видѣннаго, всѣмъ знакомаго, и, несмотря на то, всѣхъ удивившаго и поразившаго своей новостью и небывалостью!.. Здѣсь характеръ Хлестакова—этого второго лица комедіи—развертывается вполне, раскрывается до послѣдней видимости своей микроскопической мелкости и гигантской пошлости. Къ сожалѣнію это лицо понятно меньше прочихъ лицъ, и еще не нашло для себя достойнаго артиста на театрахъ обѣихъ столицъ. Многимъ характеръ Хлестакова кажется рѣзко, утрированъ, если можно такъ выразиться, его болтовня, напоминающая не любо, не слушай—врать не мѣшай,—изысканно-неправдоподобна. Но это потому, что всякій хочетъ видѣть, и слѣдовательно видитъ въ Хлестаковѣ свое понятіе о немъ, а не то, которое существенно заключается въ немъ. Хлестаковъ является къ городничему въ домъ послѣ внезапной перемены его судьбы: не забудьте, что онъ готовился идти въ тюрьму, а между тѣмъ нашелъ деньги, почетъ, угощеніе, что онъ, послѣ невольнаго и мучительнаго голода, наѣлся досыта, отчего и безъ вина можно прійти въ какое-то полуныяное разслабленіе, а онъ еще и подпилъ. Какъ и отчего произошла эта внезапная перемена въ его положеніи, отчего передъ нимъ стоятъ всѣ навитыжки—ему до этого нѣтъ дѣла; чтобы понять это, надо думать, а онъ не умѣетъ думать, онъ влечется, куда и какъ толкаютъ его обстоятельства. Въ его полуныяной головѣ, при обремененномъ желудкѣ, все перевернулось, все перевернулось—и Смирдинъ съ Брамбеусомъ, и «Библіотека» съ «Сумбекою», и Маврушка съ посланниками. Слова вылетаютъ у него вдохновенно; оканчивая послѣднее слово фразы, онъ не помнитъ ея перваго слова. Когда онъ говорилъ о своей значительности, о связяхъ съ посланниками,—онъ не зналъ, что онъ вретъ, и нисколько не думалъ обманывать: сказавъ первую фразу, онъ продолжалъ, какъ бы противъ воли, какъ камень, толкнутый съ горы, катится уже не посредствомъ силы, а собственной тяжестью. «Меня даже хотѣли сдѣлать вице-канцлеромъ (зѣваетъ во всю глотку). О чемъ, бишь, я говорилъ?» Если бы ему сказали, что онъ говорилъ о томъ, какъ отецъ сѣкалъ его розгами, онъ навѣрное уцѣнился бы за эту мысль и началъ бы не говорить, а какъ будто продолжать, что это очень больно, что онъ всегда кричалъ, но что «при нынѣшнемъ образованіи этимъ ничего не возьмешь».

Многіе почитаютъ Хлестакова героемъ комедіи, главнымъ его лицомъ. Это несправедливо. Хлестаковъ является въ комедіи не самъ собою, а совершенно случайно, мимоходомъ, и притомъ не самимъ собою, а ревизоромъ. Но кто его сдѣлалъ ревизоромъ? страхъ городничаго, слѣдовательно онъ—созданіе испуганнаго воображенія городничаго, призракъ, тѣнь его совѣсти. Поэтому онъ является во второмъ дѣйствіи и исчезаетъ въ четвертомъ,—и никому нѣтъ нужды знать, куда онъ поѣхалъ и что съ нимъ стало: интересъ зрителя сосредоточенъ на тѣхъ, которыхъ страхъ создалъ этотъ фантомъ, и комедія была бы не кончена, если бы окончилась четвертымъ актомъ. Герой комедіи—городничій, какъ представитель этого міра призраковъ.

Въ «Ревизорѣ» нѣтъ сценъ лучшихъ, потому что нѣтъ худшихъ, но всѣ превосходны, какъ необходимыя части, художественно-образующія собою единое цѣлое, округленное внутреннимъ содержаніемъ, а не вѣшной формой, и потому представляющее собою особенный и замкнутый въ самомъ себѣ міръ. Скрѣпя сердце, пропускаемъ VII, VIII, IX и X явленія третьяго акта и остановимся только на оцѣнѣннѣи городничаго, какъ бы кто ударилъ его обухомъ по головѣ: «такъ совсѣмъ ошеломило! страхъ такой напалъ: еще такого важнаго человѣка никогда не видалъ (задумывается); съ министрами играетъ и во дворецъ ѣздитъ... такъ вотъ, право, чѣмъ больше думаешь... чортъ его знаетъ, не знаешь, что и дѣлается въ головѣ, какъ будто стоишь на какой-нибудь колокольнѣ или тебя хотятъ повѣсить!..» Это говорить уѣздный чиновникъ, служака, начавшій службу по старинному, что называлось «тянуть лямку»; а вотъ голосъ чиновницы новаго времени, которая всегда образованнѣе своего мужа: «А я никакой совершенно не ощутила робости, я просто видѣла въ немъ образованнаго, свѣтскаго, высшаго тона человѣка, а о чинахъ его мнѣ и нужды нѣтъ». Безподобна и эта выходка философствующаго городничаго: «Чудно все завелось теперь на свѣтѣ: народъ все тоненькій, поджаристый такой. Никакъ не узнаешь, что онъ важная особа». Это голосъ стараго чиновника, врасплохъ застигнутаго новымъ временемъ: онъ уже и прежде слышалъ, а теперь собственными глазами удостоверился, что нынче де уже по головѣ, а не по брюху дѣлаются важными особами.

Въ первыхъ сценахъ четвертаго акта Хлестаковъ бесѣдуетъ съ самимъ собою и является все тѣмъ же, все самимъ же собою, и не измѣняетъ себѣ ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ. Послѣ дивныхъ сценъ съ чиновниками города, у которыхъ онъ набралъ денегъ, онъ еще въ первый разъ догадывается, что его принимаютъ не за то, что онъ есть,

а за великаго государственнаго человѣка. Причина этого явленія и могущія выйти изъ него слѣдствія не въ силахъ остановить на себѣ его вниманія. Это одна изъ тѣхъ головъ, которыя не въ состояніи переварить самаго простаго понятія и глотаютъ не жевавши. Онъ очень радъ, что его приняли за важную особу: «Я это люблю. Мнѣ нравится, если меня почитаютъ за важнаго человѣка. Въ моей физиономіи точно есть что-то такое внушающее... и не докончилъ, сколько потому, что эта фраза слышанная, а не своя, столько и потому, что вдругъ перепрыгнулъ къ другому предмету... «Это съ ихъ стороны тоже благородная черта, что они готовы дать взаймы денегъ». Видите ли: его приняли за важную особу — оттого, что «у него въ физиономіи есть что-то внушающее»; это должная дань его личнымъ достоинствамъ, а не другая, болѣе важная для чиновниковъ причина: что ему надавали денегъ, это не взятки, а заемъ, и онъ на ту минуту, какъ говорить, вполне убѣжденъ, что возвратитъ имъ свой долгъ. Но Осипъ умѣе своего барина: онъ все понимаетъ и ласково тоже, какъ будто мимоходомъ, совѣтуетъ ему уѣхать, говоря: «Погуляли здѣсь два денька, ну — и довольно; что съ ними связываться! плюньте на нихъ! неровенъ часъ: какой-нибудь другой найдетъ», и обольщаетъ его тройкой лихихъ лошадей съ колокольчикомъ. Эта приманка, равно какъ и мимоходомъ сказанное предостереженіе, что «батюшка будетъ гнѣваться за то, что такъ замѣшались», и рѣшила Хлестакова слѣдовать благоразумному совѣту. Слѣдуетъ, сцена съ купцами, въ которой вы видите, какъ на ладони, это купечество уѣзднаго городка, которое выучилось кое-какъ зашибать деньги, а еще не обрилось и не умылось, чтобы отъ его бородки не пахло капустой; которое плохо знаетъ грамоту и живетъ на «авось», т. е. гдѣ выторговалъ, а гдѣ надулъ, и съ которыми по всему этому городничій обходился безъ чиновъ: «схватить за бороду, говорить, ахъ ты, татаринъ»; которое, наконецъ, любитъ коли давать, такъ давать — возьми и подносики, и головку сахара, и кулечекъ съ винами, и не триста, — что триста! — пятьсотъ, только дѣло сдѣлай. Языкъ неподражаемо вѣренъ. Хлестаковъ опять не измѣняетъ себѣ — беретъ взаймы, о взяткахъ слышать не хочетъ, и если гдѣ приходится въ маленькое недоумѣіе, тамъ толкаетъ его Осипъ и заставляетъ не быть безъ дѣйствія. Но вотъ входитъ Марья Антоновна: она въ комнатѣ чужого молодого человѣка ищетъ маменьки... Ея приходъ толкаетъ Хлестакова, т. е. заставляетъ дѣлать то, чего онъ не думалъ дѣлать. Онъ — франтъ, она — «барышня»: слѣдовательно ему должно волочиться за нею. Чтѣ изъ этого выйдетъ — такая мысль не можетъ прійти

въ его пустую и легкую голову, которая дѣйствуетъ подѣ влияніемъ вѣшняго обстоятельства, подѣ впечатлѣніемъ настоящей минуты. «Барышня» глупа, пуста и пошла, но она уже прочла нѣсколько романовъ, и у ней есть альбомъ, въ который Хлестаковъ долженъ написать какіе-нибудь этакіе новенькіе «стишки». О, это ему ничего не стоитъ — онъ много знаетъ наизусть стиховъ, напр.: «О ты, что въ горести напрасно», и пр. И вотъ онъ на колѣняхъ передъ нею. Уйди она — онъ черезъ минуту забылъ бы объ этой сценѣ, какъ совсѣмъ небывалой; но входитъ мать и толкаетъ его «просить руки» Марьи Антоновны. Онъ уѣзжаетъ въ полной увѣренности, что онъ — женихъ и что все сдѣлалось какъ должно; но извозчикъ крикнулъ, колокольчикъ залился — и Хлестаковъ готовъ спросить себя: «На чемъ, бишь, я остановился?»

Первыя сцены пятаго акта представляютъ вамъ городничаго въ полнотѣ его грубаго блаженства животной натуры. Здѣсь поэтъ является глубокимъ анатомикомъ души человѣческой, проникаетъ въ самые недоступные тайники ея и выводитъ наружу все крившееся въ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ пятомъ актѣ городничій является въ своемъ апофеозѣ, полнымъ опредѣленіемъ своей сущности, вполне опредѣлившейся возможностью: все темное, грязное, низкое и грубое, что крылось въ его природѣ, развивалось воспитаніемъ и обстоятельствами, все это всплыло со дна наверхъ, изнутри явилось наружу, и явилось такъ добродушно, такъ комически, что вы невольно смѣетесь тамъ, гдѣ бы должны были ужасаться. «Что, говорить онъ женѣ, тебѣ и во свѣ не видѣлось: просто изъ какой-нибудь городничихи, и вдругъ... фу ты, канальство! Съ какимъ дьяволомъ породнилась!» — «Какія мы съ тобою теперь птицы сдѣлались! А, Анна Андреевна! высококаго полета, чортъ побери!» Изъ труса онъ дѣлается нахаломъ, мѣщаниномъ, который вдругъ попалъ въ знатные люди: страхъ Сибири прошелъ — онъ уже не общается Богу пудовой свѣчи, и грозитъ еще жить и обирать купцовъ; велитъ кричать о своемъ счастьи всему городу, «валять въ колокола: коли торжество, такъ торжество, чортъ возьми!» его дочь выходитъ замужъ за такого человѣка, «что и на свѣтѣ еще не было, что можетъ и прогнать всѣхъ въ городъ, и въ тюрьму посадить, и все, что хочеть». Боже мой! къ лицу ли ему генеральство! А онъ въ неистовомъ восторгѣ, въ бѣшеной комической страсти отъ мысли, что будетъ генераломъ... «Видѣ почему хочется быть генераломъ? потому что случится, поѣдешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскачутъ вездѣ впередъ: лошадей! и тамъ, на станціяхъ, никому не дадутъ, все дожидается: всѣ эти титулярные, капитаны, городничіе, а ты себѣ и въ усь не дуешь: обѣдаешь гдѣ-ни-

будь у губернатора, а тамъ: стой, городничій! Ха, ха, ха! Вотъ что, канальство, заманчиво!»

Такъ проявляются грубыя страсти животной натуры! Это страсть — и страсть бѣшеная: у нашего городничаго сверкають глаза, въ голосѣ тонъ изступленія, движенія порывисты. Если не вѣрите — посмотрите на Щепкина въ этой роли. Въ комедіи есть свои страсти, источникъ которыхъ смѣшонъ, но результаты могутъ быть ужасны. По понятію нашего городничаго быть генераломъ — значитъ видѣть предъ собою униженіе и подлость отъ низшихъ, гнѣсти всѣхъ не-генераловъ своимъ чванствомъ и надменностью; отнять лошадей у человѣка нечиновнаго или меньшаго чиновъ, по своей подорожной имѣющаго равное на нихъ право; говорить «братецъ» и «ты» тому, кто говоритъ ему «ваше превосходительство» и «вы», и проч. Сдѣлайся нашъ городничій генераломъ — и когда онъ живетъ въ уѣздномъ городѣ, горе маленькому человѣку, если онъ, считая себя «неимѣющимъ чести быть знакомымъ съ генераломъ», не поклонится ему, или на балу не уступитъ мѣста, хотя бы этотъ маленький человѣкъ готовился быть великимъ человѣкомъ!.. тогда изъ комедіи могла бы выйти трагедія для маленькаго человѣка...

Приходъ купцовъ усиливаетъ волненіе грубыхъ страстей городничаго; изъ животной радости онъ переходитъ въ животную злобу. Сначала хочетъ говорить тихо, съ сосредоточенной яростью и злобной ироніей; но животная натура не даетъ ему выдержать этой роли: власть надъ собой принадлежитъ только образованнымъ людямъ: онъ постепенно приходитъ въ болѣшую и болѣшую ярость и раздражается ругательствами. Онъ пересчитываетъ Абдулину свои благодѣянія, т.-е. напоминаетъ случаи, гдѣ они вмѣстѣ казну обкрадывали... Купцы являются тѣми же купцами: они низко кланяются, низко подличаютъ. Великодушный городничій смягается, но на условіи, чтобы «засушенные бороды, аршинники, самоварники, протоканали и архибестіи» не думали «отбойриться отъ него какимъ-нибудь балычкомъ или головой сахара», ибо-де «онъ выдаетъ дочку свою не за какого-нибудь дворянина»...

Начинаютъ собираться гости. Городничій снова въ своемъ пѣтушьемъ величіи. Передъ нимъ всѣ подличаютъ, какъ передъ знатной особой; поздравляютъ вслухъ съ «необыкновеннымъ благополучіемъ» и ругаютъ вполголоса. Городничиха, какъ и съ самаго начала пятаго акта, играетъ роль случайной дамы, которая однако нисколько не удивлена своимъ счастьемъ, какъ по праву принадлежащимъ ей достоинствамъ и какъ давно привычнымъ ей. Она показываетъ, что равнодушна къ нему. Но устарѣлая кокетка беретъ верхъ надъ знатной дамой: она почти оспариваетъ жениха у своей дочери. Входитъ простодушный почт-

мейстеръ и пренаивно открываетъ всѣмъ глаза насчетъ мнимаго ревизора, доказавъ очевидно, что онъ и «не уполномоченный, и не особа». Сцена чтенія письма Хлестакова — въ высшей степени комическая. Но что же нашъ городничій? — Вы думаете, ему стыдно, мучительно-стыдно видѣть себя такъ жестоко одураченнымъ собственной ошибкой, такъ тяжело наказаннымъ за свои грѣхи? Какъ бы не такъ! Бездарность, посредственность или даже обыкновенный талантъ тотчасъ бы воспользовались случаемъ заставить городничаго раскаться и исправиться; но талантъ необыкновенный глубже понимаетъ натуру вещей и творитъ не по своему произволу, а по закону разумной необходимости. Городничій пришелъ въ бѣшенство, что допустилъ обмануть себя мальчишкѣ, вертопраху, у котораго молоко на губахъ не обсохло, онъ, который «тридцать лѣтъ жилъ на службѣ, котораго «ни одинъ купецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ; пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣлывалъ на уду; трехъ губернаторовъ обманулъ!» — Вы думаете, ему совѣстно, мучительно-совѣстно смотрѣть на тѣхъ людей, передъ которыми онъ сейчасъ только такъ ломался, которые унижались и подличали передъ его мнимой знатностью? Ничего не бывало! Когда дражайшая его половина обнаруживаетъ всю свою глупость наивнымъ вопросомъ: «Какъ же?.. вѣдь это не можетъ быть... онъ совсѣмъ вѣдь обручился съ нашей Машенькой?» онъ — не только не старается замѣть позорнаго для нихъ обоихъ объясненія, но еще съ досадою на ея недогадливость очень ясно толкуетъ ей, въ чемъ дѣло: «А развѣ ты не видишь, что у него все это фу—фу? Пустѣйшій человѣкъ, чортъ бы побралъ его! Вотъ подлинно, если Богъ захочетъ наказать, такъ отнимаетъ разумъ. Ну, что въ немъ было такого, чтобы можно было принять за важнаго человѣка, иль вельможу? Пусть бы онъ имѣлъ что-нибудь внушающее уваженіе, а то чортъ знаетъ что?.. дрянъ, со-сулька! Тоньше сѣрной спички!» Затѣмъ обманутые чудаки бросаются съ ругательствомъ на Петровъ Ивановичей, какъ первыхъ вѣстовщиковъ о пріѣздѣ ревизора. Брань сыплется на нихъ градомъ; они сваливаютъ вину другъ на друга, какъ вдругъ явленіе жандарма съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прерываетъ эту комическую сцену и, какъ громъ, разразившійся у ихъ ногъ, заставляетъ ихъ окаменѣть отъ ужаса и такимъ образомъ превосходно замыкаетъ собою цѣлость пьесы.

Все, сказанное нами о «Ревизорѣ», отнюдь не есть разборъ этого превосходнаго произведенія искусства. Подробный разборъ хода всей пьесы, характеровъ ея дѣйствующихъ лицъ, ихъ взаимныя отношенія и ихъ взаи-

нодѣйствія другъ на друга завели бы насъ далеко и отвлекли бы отъ главнаго предмета «Горе отъ ума», а наша статья и безъ того вышла слишкомъ велика. Скрѣпя сердце и обуздывая руку, мы не показали подробно развитія дѣйствія, а наскоро пробѣжали его, не останавливаясь на отдѣльных лицахъ, но, такъ сказать, зацѣплялись за нихъ. Наша цѣль была — намекнуть на то, чѣмъ должна быть комедія, художественно-созданная. Для этого мы старались намекнуть на идею «Ревизора», а вслѣдствіе ея не только на естественность, но и на необходимость ошибки городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, — ошибки, составляющей завязку, интригу и развязку комедіи, а чрезъ все это указать по возможности на цѣлость (Totalität) пьесы, какъ особаго, въ самомъ себѣ замкнутаго міра.

Не намъ судить, до какой степени выполнили мы все это; по крайней мѣрѣ теперь читатели могутъ ясно видѣть наши требованія отъ искусства и нашъ критеріумъ для сужденія о комедіи.

Русская комедія начиналась задолго еще до Фонвизина, но началась только съ Фонвизина. Его «Недоросль» и «Бригадиръ» надѣлали страшнаго шума при своемъ появленіи и навсегда останутся въ исторіи русской литературы, если не искусства, какъ одно изъ примѣчательнѣйшихъ явленій. Въ самомъ дѣлѣ, эти двѣ комедіи суть произведенія ума сильнаго, остраго, челоѣка даровитаго; но онѣ мастерскія сатиры на современное общество, а, слѣдовательно, не художественныя произведенія, слѣдовательно, и не комедіи. Ни одна изъ нихъ не представляетъ собой цѣлаго, замкнутаго собой міра, возникшаго изъ творческаго зачатія, но представляетъ пресмѣшную карикатуру на глупость и невѣжество; въ нихъ нѣтъ основной идеи, въ философическомъ значеніи этого слова, но есть намѣреніе, цѣль, и цѣль, вѣдь, а не внутри ихъ заключенная. Поэтому каждая изъ нихъ раздѣлена на двѣ части: на смѣшную и серьезную, потому что дѣйствующія лица раздѣлены на два разряда: на дураковъ и умныхъ. Дураки очень милы и потѣшны, а умники — скучные резонеры. Завязка, интрига и развязка — общее мѣсто; старая объективная форма, какъ въ комедіяхъ Мольера. Правда, въ изображеніи дураковъ видна нѣкоторая объективность и что-то похожее на поэтическую обрисовку, потому что каждый изъ дураковъ глупъ по своему; но это слабо, и индивидуальныя особенности глупцовъ больше внѣшнія, чѣмъ внутреннія, изъ идеи вытекающія; а главное, изъ карикатурныхъ образовъ этихъ дураковъ всегда болѣе или менѣе выглядываетъ смѣющаяся фигура самого автора. Однимъ словомъ, «Недоросль» и «Бригадиръ» — превосходныя, хотя и не безъ большихъ недостатковъ, произведенія литера-

туры, но отнюдь не произведенія искусства. Послѣ комедій Фонвизина много надѣлала шума «Ибеда» Капниста; но это произведеніе даже и въ литературномъ смыслѣ не заслуживаетъ никакого вниманія. Успѣхъ его былъ основанъ не на его литературномъ или какомъ-либо достоинствѣ, но на цѣли, которая состояла въ нападкѣ на лихонство. Завязка, интрига и развязка пошлыя, стихи дубовые, языкъ варварски книжный.

Съ 1832 года начала ходить по рукамъ публики рукописная комедія Грибоѣдова «Горе отъ ума». Она надѣлала ужаснаго шума, всѣхъ удивила, возбудила негодованіе и ненависть во всѣхъ, занимавшихся литературой ех offiціо, и во всемъ старомъ поколѣніи; только немногіе, изъ молодого поколѣнія и неприннадлежавшіе къ записнымъ литераторамъ и ни къ какой литературной партіи, были восхищены ею. Десять лѣтъ ходила она по рукамъ, распавшись на тысячи списковъ; публика выучила ее наизусть, враги ея уже потеряли голосъ и значеніе, уничтоженные потокомъ новыхъ мнѣній, и она явилась въ печати тогда уже, когда у ней не осталось ни одного врага, когда не восхищаться ею, не превозносить ее до небесъ, не признавать геніальнымъ произведеніемъ считалось образцовымъ безвкусиемъ. И вдругъ въ одномъ петербургскомъ журналѣ въ 1835 году какой-то (говорили и печатали тогда, будто московскій) критикъ объявилъ, что «Горе отъ ума» — такое слабое произведеніе, что хуже даже «Недовольныхъ»... Разумѣется, публика приняла это за одну изъ тѣхъ милыхъ шуточекъ, до которыхъ такъ страстны иные журналы. Но вотъ недавно, по случаю выхода въ свѣтъ второго изданія «Горя отъ ума», въ другомъ петербургскомъ журналѣ (современномъ заднимъ числомъ) объявлено, что «Горе отъ ума» должно стоять подлѣ комедіи Фонвизина, и что тѣ, которые, подобно издателю комедіи Грибоѣдова (Ксенофонту Полевому), видятъ въ ея авторѣ «челоѣка съ большимъ дарованіемъ», только прячутся за его имя. Такова судьба комедіи Грибоѣдова. Но все это доказываетъ только, что «Горе отъ ума» есть явленіе необыкновенное, произведеніе таланта сильнаго, могучаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ, что для него уже настало время оцѣнки критической, основанной не на знакомствѣ съ ея авторомъ и даже не на знаніи обстоятельствъ его жизни, а на законахъ изящнаго, всегда единыхъ и неизмѣняемыхъ.

«Горе отъ ума» принято было съ враждой и ожесточеніемъ и литераторами, и публикой. Иначе не могло и быть: литературныя знаменитости тогдашняго времени состояли изъ людей прошлаго вѣка или образованныхъ по понятіямъ прошлаго вѣка. Не забудьте, что въ то время самъ Меразиковъ, челоѣкъ съ большимъ талантомъ и поэтической душой,

разбиралъ съ комедры неподражаемыя красоты трагедій Сумарокова и подсмѣивался надъ Шекспиромъ, Шиллеромъ и Гёте, какъ надъ представителями эстетическаго безвкусія, а въ Обществѣ любителей Россійской словесности читалъ свои трактаты о трагедіи, производя ее отъ козла. Великими писателями считались тогда люди, которые теперь неизвѣстны даже по именамъ. Пушкинъ еще только удивлялъ однихъ и бѣсилъ другихъ. Словомъ, это было послѣднее время французскаго классицизма въ нашей литературѣ. Представьте же себѣ, что комедія Грибоѣдова, во-первыхъ, была написана не шестиногими ямбами съ пѣвическими вольностями, а вольными стихами, какъ до того писались одні басни; во-вторыхъ, она была написана не книжнымъ языкомъ, которымъ никто не говорилъ, котораго не зналъ ни одинъ народъ въ мірѣ, а русскіе особенно слыкомъ не слыхали, видомъ не видали, но живымъ, легкимъ разговорнымъ русскимъ языкомъ; въ третьихъ, каждое слово комедіи Грибоѣдова дышало комической жизнью, поражало быстротой ума, оригинальностью оборотовъ, поэзіей образовъ, такъ что почти каждый стихъ въ ней обратился въ пословицу или поговорку и годится для прирѣченія то къ тому, то къ другому обстоятельству жизни, — а по мнѣнію русскихъ классиковъ, именно тѣмъ и отличавшихся отъ французскихъ, языкъ комедіи, если она хочетъ прослыть образцовой, непременно долженъ былъ щеголять тяжеловатостью, неповоротливостью, тупостью, изысканностью остроты, прозаизмомъ выраженій и тяжелой скукой впечатлѣній; въ четвертыхъ, комедія Грибоѣдова отвергла искусственную любовь, резонеровъ, разлучниковъ и весь пошлый истертый механизмъ старинной драмы; а главное и самое непростительное въ ней было — талантъ, талантъ яркій, живой, свѣжій, сильный, могучій... Да, литераторамъ не могла понравиться комедія Грибоѣдова; они должны были ожесточиться противъ нея!.. За что же общество такъ сильно осердилось на нее? За то, что она была самой злой сатирой на это общество. Она заклеила остатки XVIII вѣка, духъ котораго бродилъ еще, какъ заколдованная тѣнь, ожидая себѣ осиноваго кола, которымъ и было «Горе отъ ума». Новое поколѣніе вскорѣ не замедлило объявить себя за блестящее произведение Грибоѣдова, потому что, вмѣстѣ съ нимъ, оно смѣялось надъ старымъ поколѣніемъ, видя въ «Горѣ отъ ума» злую сатиру на него и не подозревая въ немъ еще злѣйшей, хотя и безумышленной сатиры на самого себя въ лицѣ полоумнаго Чацкаго...

За что же теперь такъ жестоко, такъ бездоказательно, такъ произвольно и, надо сказать, такъ дерзко и неуважительно начинаютъ нападать на такое прекрасное, дѣлающее

истинную честь отечественной литературѣ произведение?.. Тутъ двѣ причины. Во-первыхъ, кто нападаетъ? Люди ли, которые мѣряютъ изящныя произведенія своей неизящной стряпней и, на смѣхъ всему міру, таращатся видѣть въ Грибоѣдовѣ соперника себѣ, они, которые, какъ ни высоко загибаютъ голову, чтобы достать до его лица, но обиваютъ себѣ кулаки только о его колѣни, выше которыхъ, даже и на цыпочкахъ, не могутъ достать?.. Во-вторыхъ, въ дерзости этихъ людей, кромѣ оскорбленнаго, микроскопическаго самолюбія, выражается еще и требованіе времени опредѣлить достоинство «Горя отъ ума» не на основаніи личныхъ мнѣній, но на основаніи законовъ изящнаго, и не при посредствѣ личнаго пристрастія, а при посредствѣ разумной мысли, холодной и мертвой для всякихъ личныхъ отношеній, но пламенной и живой для ищущихъ истины.

Теперь у насъ въ литературѣ господствуютъ и борятся два рода критики — французская и нѣмецкая. Первая смотритъ на произведение съ исторической точки зрѣнія, т.-е. объясняетъ его и производитъ ему оцѣнку вслѣдствіе разбора его отношеній къ современному обществу и къ частной жизни самого автора. Извѣстно, что французы увлекаются дневными интересами (*les intérêts du jour*), и каждое литературное и поэтическое произведение у нихъ есть рѣшеніе дневного интереса (*la question du jour*), т.-е. того, о чемъ говорятъ нынче. Нѣмецкая критика смотритъ на художественное произведение, какъ на нѣчто безусловное, въ самомъ себѣ носящее свою причину, свое оправданіе и свою оцѣнку, по мѣрѣ того, какъ оно выражаетъ собой общіе законы духа, явленія разума, и мѣряетъ его масштабомъ разумной мысли. Извѣстно, что нѣмцы мало занимаются эфемерными интересами текущаго дня, но сосредоточиваютъ все свое вниманіе на интересахъ общихъ, міровыхъ, непреходящихъ. Всякому свое! Но и французская критика имѣетъ свое значеніе при разсматриваніи такихъ произведеній литературы, которыя, имѣя большое вліяніе на общество, не принадлежатъ къ искусству, каковы напримѣръ повѣсти Карамзина, комедіи Фонвизина и т. п. Однакоже рѣшеніе вопроса: художественно или не художественно то или другое произведение литературы — подлежитъ совсѣмъ не французской, а нѣмецкой критикѣ, потому что рѣшеніе такого вопроса относится совсѣмъ не къ исторіи, а къ наукѣ изящнаго, имѣющей своимъ основаніемъ законы изящнаго, выводимые изъ разумной мысли. Мы уже мимоходомъ взглянули на «Горе отъ ума» съ исторической точки зрѣнія: взглянемъ теперь на него со стороны искусства, чтобы опредѣлить — художественное ли оно произведение. Всякое художественное произведение хо-

ждается изъ единой общей идеи, которой оно обязано и художественностью своей формы, и своимъ внутреннимъ и вѣшнимъ единствомъ, черезъ которое оно есть особый замкнутый въ самомъ себѣ міръ. Какая основная идея «Горя отъ ума»?— Это можно узнать только изъ самой комедіи, почему и взглянемъ на ея содержаніе.

Дочь барина-чиновника, въ минуту боре-нія утренняго свѣта съ темнотой ночи, въ своей спальнѣ занимается музыкой съ молодымъ человѣкомъ, чиновникомъ своего отца. Горничная передъ спальней стоитъ на часахъ и, чтобы кто не узналъ о ихъ несвоевременномъ занятіи музыкой и не перетолковалъ въ дурную сторону такой безкорыстной любви къ искусству, напоминаетъ имъ, что уже свѣтаетъ, и, чтобы вывести ихъ изъ меломаническаго самозабвенія, переводитъ часовую стрѣлку. Вдругъ входитъ самъ баринъ и отецъ, Фамусовъ, и начинаетъ волочиться за горничной своей дочери, которая въ то время доигрывала послѣдній дуэтъ. Фамусовъ уходитъ; являются Софья и Молчалинъ; Лиза упрекаетъ ихъ за долгое пребываніе въ гармоніи, рассказываетъ о приходѣ барина и о томъ, какъ она струсилась. Входитъ опять Фамусовъ и застаётъ ихъ всѣхъ вмѣстѣ. Слѣдуютъ допросы, упреки и нападки на Кузнецкій мостъ. Софья рассказываетъ свой сонъ, желая намекнуть имъ на свою любовь къ какому-то робкому и бѣдно-му молодому человѣку; отецъ прерываетъ ее:

Ахъ, матушка, не довершай удара!
Кто бѣденъ, тотъ тебѣ не пара!

Въ заключеніе совѣтуетъ ей соснуть и идти съ Молчалинымъ подписывать бумаги. Софья наединѣ съ Лизой. Изъ ихъ разговора мы узнаемъ, что она безъ памяти отъ «скромнаго» Молчалина и не очень дорожить своимъ добрымъ именемъ и общественнымъ мнѣніемъ. Лиза возстаетъ противъ ея любви, которая добрымъ не кончится, и напоминаетъ ей о Чацкомъ, который нѣжно любилъ ее съ дѣтства и котораго и она любила; но Софья отвѣщается о Чацкомъ съ враждебностью, находя въ немъ только злословіе и больше ничего. Вообще служанка обращается съ своей барышней за-просто, потому что, какъ помощница въ ея низкой связи, держитъ въ рукахъ своихъ ея участь. Вообще всѣ эти сцены написаны мастерски и служатъ превосходной интродукціей въ комедію; характеры и ихъ взаимныя отношенія обрисованы рѣзко и искусно. Вдругъ лакей докладываетъ о приѣздѣ Чацкаго, который тотчасъ и является.

Чацкій воспитывался въ домѣ Фамусова и любилъ его дочь съ дѣтства. Три года путешествовалъ онъ и не видалъ ея, теперь спѣ-

шить увидѣться. Чацкій—человѣкъ свѣтскій и человѣкъ «глубокій»: отсюда должны выходить приличіе и поэзія его свиданія съ Софьей. Какъ свѣтскій человѣкъ, онъ не долженъ разсыпаться въ нѣжныхъ и страстныхъ монологахъ; скорѣе долженъ онъ начать шутить и говорить о незначущихъ предметахъ, обо всемъ, кромѣ любви своей; но, какъ у глубокаго человѣка, въ его шуткахъ должно, какъ бы противъ его воли, проискриваться его чувство, и, какъ *aggrège pensè*, оно же должно незримо присутствовать въ его болтовнѣ о разныхъ пустякахъ. Но что же? Во-первыхъ, онъ заѣзжаетъ въ домъ ея отца и требуетъ свиданія съ ней, прямо съ дороги, не заѣхавъ домой, чтобы обрѣтись и переодѣться,—и заѣзжаетъ когда же?—въ шесть часовъ утра!—Воля ваша—не по-свѣтски, не умно и не эстетически!... Первое, что онъ начинаетъ говорить съ ней,—это о томъ, что она холодно принимаетъ его, тогда какъ онъ скакать, сломя голову, терпѣлъ отъ бури, растерялся, падалъ нѣсколько разъ!.. Софья холодно надъ нимъ издѣвается,—и онъ начинаетъ разспрашивать у ней о знакомыхъ и дѣлать противъ нихъ сатирическія выходки. Истиннаго и глубокаго чувства любви не видно ни въ одномъ его словѣ. Входитъ Фамусовъ. Софья пользуется случаемъ ускользнуть. Чацкій разсѣянно отвѣчаетъ на пошлости Фамусова и безпрестанно заводитъ съ нимъ рѣчь о Софьѣ; наконецъ, спохватывается, что ему пора домой, и уходитъ. Фамусовъ силится объяснить сонъ дочери и на кого изъ двухъ она мѣтитъ—на Молчалина или на Чацкаго; одинъ—нищій, другой—франтъ, мотъ и сорванецъ, и заключаетъ свою думу, а вмѣстѣ съ ней и первый актъ комедіи, комическимъ восклицаніемъ:

Что за комиссія, Создатель,
Быть взрослой дочери отцомъ!

Фамусовъ приказываетъ Петрушкѣ читать календарь и отмѣчать, куда и когда баринъ отозванъ обѣдать. Превосходный монологъ! Тутъ Фамусовъ весь высказывается. Приходитъ Чацкій, и его безпрестанныя обращенія къ Софьѣ Павловнѣ заставляютъ Фамусова спросить его—не хочетъ ли онъ на ней жениться,—и замѣтить, что для того ему надо хорошенько управлять имѣніемъ, а главное послужить. «Служить бы радъ, прислуживаться тошно!» отвѣчаетъ ему Чацкій. Фамусовъ говоритъ, что «всѣ вы гордецы», что «спросили бы, какъ дѣлали отцы, учились бы, на старшихъ глядя». Чацкій радъ вызову и разливается потокомъ энергическихъ выходокъ противъ стараго времени, въ которыхъ Фамусовъ не понимаетъ ни

полслова. Эта сцена была бы въ высшей степени комической, если бы изображена была объективно, какъ столкновение двухъ чудачковъ; но какъ этого нѣтъ, какъ авторъ не думалъ нисколько, что его Чацкій полумный, то она смѣшна, но не въ пользу автора. Слуга докладываетъ о Скалозубѣ, и Фамусовъ проситъ Чацкаго, ради чужого человека, не заноситься завиральными идеями, и спѣшитъ навстрѣчу къ Скалозубу. Чацкій изъ его поспѣшности подозрѣваетъ, ужъ не прочитъ ли онъ этого гостя въ женихи своей дочери. Слѣдуетъ превосходная сцена Фамусова съ Скалозубомъ, гдѣ эти два ничтожные характера развиваются творчески.

А, батюшка, признайтесь, что едва
Гдѣ сыщется еще столица, какъ Москва!

воскликаетъ, въ лирическомъ одушевленіи пошлости, Фамусовъ.

«Дистанція огромнаго размѣра!» отвѣчаетъ ему лаконическій Скалозубъ. До сихъ поръ сцена шла превосходно, развита была творчески; но вотъ Фамусовъ распространяется о Москвѣ монологомъ въ 54 стиха, гдѣ, мѣстами очень оригинально, высказывая самого себя, мѣстами дѣлаетъ за Чацкаго выходки противъ общества, какія могли бы прійти въ голову только Чацкому. Чацкій радѣхонекъ, выѣхивается въ разговоръ и начинаетъ читать проповѣди и ругать Фамусова. Сцена удивительно-смѣшная, но только не въ похвалу комедіи... Ни съ того, ни съ сего Фамусовъ говоритъ Скалозубу, что будетъ ждать его въ кабинетѣ, и оставляетъ ихъ. Скалозубъ, сказавъ Чацкому монологъ, въ которомъ онъ чудесно высказывается, тоже уходитъ. Тутъ слѣдуетъ паденіе Молчалина съ лошади, обморокъ Софьи и подозрѣнія Чацкаго. Кажется, чего бы еще подозрѣвать? Софья ведетъ себя такъ неосторожно въ отношеніи къ Молчалину и такъ нагло-враждебна въ отношеніи къ Чацкому, что, кажется, совсѣмъ бы нечего подозрѣвать. Дѣло очень ясно: при бѣдѣ одного она падаетъ въ обморокъ, а другого, забывая всякое приличіе, ругаетъ. Чацкій уходитъ. Софья приглашаетъ Скалозуба на вечеръ, гдѣ будутъ всѣ домашніе друзья и танцы подъ фортепіано, и тотъ уходитъ. Софья изъясняетъ свой страхъ за Молчалина. Лиза упрекаетъ ее въ неосторожности, и Молчалинъ беретъ ея сторону противъ Софьи. Оставшись наединѣ съ Лизою, Молчалинъ волочится за ней, говоря, что онъ любитъ барышню «по должности». Молчалинъ уходитъ, а Софья опять является, говоря Лизѣ, что она не выйдетъ къ столу, и приказывая ей послать къ себѣ Молчалина.

Вотъ и конецъ второго акта. Что въ немъ существеннаго, относящагося къ дѣлу? Обмо-

рокъ Софьи и вслѣдствіе его ревность Чацкаго; все остальное существуетъ само по себѣ, безъ всякаго отношенія къ цѣлому комедіи. Всѣ говорятъ, и никто ничего не дѣлаетъ. Конечно въ монологахъ дѣйствующихъ лицъ высказываются ихъ характеры, но это высказываніе въ художественномъ произведеніи должно происходить изъ его идеи и совершаться въ дѣйствіи. И въ «Ревизорѣ» каждое дѣйствующее лицо высказываетъ себя каждымъ своимъ словомъ, но совсѣмъ не съ цѣлью высказываться, а принимая необходимое участіе въ ходѣ пьесы. Каждое слово, сказанное каждымъ лицомъ, тамъ относится или къ ожиданію ревизора, или къ его присутствію въ городѣ. Лицо ревизора есть источникъ, изъ котораго все выходитъ и въ который все возвращается. И потому-то тамъ каждое слово на своемъ мѣстѣ, каждое слово необходимо и не можетъ быть ни измѣнено, ни замѣнено другимъ. Оттого-то и комедія Гоголя представляетъ собой цѣлое художественное произведеніе, особый и замкнутый въ самомъ себѣ міръ, и можетъ подлежать только разсмотрѣнію нѣмецкой умозрительной критики, а отнюдь не французской исторической. Лица поэта нѣтъ въ этомъ созданіи, и потому, чтобы понять «Ревизора», намъ совсѣмъ не нужно знать ни образа мыслей, ни обстоятельствъ жизни его творца.

Чацкій рѣшается попытаться отъ Софьи, кого она любитъ, Молчалина или Скалозуба. Странное рѣшеніе—къ чему оно! Другое бы еще дѣло: попытаться, любить ли она его. Что ему за радость узнать отъ нея, что она любитъ не Молчалина, а Скалозуба, или что она любитъ не Скалозуба, а Молчалина! Не все же ли это равно для него? Да и стоитъ ли какого-нибудь вниманія, какихъ-нибудь хлопотъ дѣвушка, которая могла полюбить Скалозуба или Молчалина? Гдѣ же у Чацкаго уваженіе къ святому чувству любви, уваженіе къ самому себѣ? Какое же послѣ этого можетъ имѣть значеніе его восклицаніе въ концѣ четвертаго акта:

... Пойду искать по свѣту,
Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ.

Какое же это чувство, какая любовь, какая ревность? буря въ стаканѣ воды!.. И на чемъ основана его любовь къ Софѣ? Любовь есть взаимное гармоническое разумѣніе двухъ родственныхъ душъ въ сферахъ общей жизни, въ сферахъ истиннаго, благого, прекраснаго. На чемъ же могли они сойтись и понять другъ друга? Но мы и не видимъ этого требованія или этой духовной потребности, составляющей сущность глубокаго человека, ни въ одномъ словѣ Чацкаго. Всѣ слова, выражающія его чувство къ Софѣ, такъ

обыкновенны, чтобы не сказать пошлы! И что онъ нашелъ въ Софѣ? Мѣркой достоинства женщины можетъ быть мужчина, котораго она любитъ, а Софья любитъ ограниченнаго человѣка безъ души, безъ сердца, безъ всякихъ человѣческихъ потребностей, мерзавца, низкопоклонника, ползающую тварь, однимъ словомъ—Молчалина. Онъ ссылается на воспоминаніе дѣтства, на дѣтскія игры; но кто же въ дѣтствѣ не влюблялся и не называлъ своей невѣстой дѣвочки, съ которой вмѣстѣ учился и рѣзвился, и неужели дѣтская привязанность къ дѣвочкѣ должна непременно быть чувствомъ возмужалаго человѣка? буря въ стаканѣ воды—больше ничего!.. И вотъ онъ приступаетъ къ объясненію. Вы думаете, что онъ сдѣлаетъ это какъ свѣтскій и какъ глубокій человѣкъ, какъ-нибудь намеками, со всевозможнымъ уваженіемъ и къ своему чувству, и къ личности той, которую, какова бы она ни была, онъ любитъ? Ничего не бывало! Онъ прямо спрашиваетъ ее:

Дознаться мнѣ нельзя ли—
Хоть и не истина, нужды нѣтъ—
Кого вы любите?

И этотъ человѣкъ волнуется любовью и ревностью! И это разговоръ, который долженъ рѣшить участь его жизни! Наконецъ, онъ прямо заводитъ рѣчь о Молчалинѣ!!!.. Да намекнуть дѣвушкѣ, не любить ли она Молчалина, все равно, что намекнуть ей, не любить ли она лакея или кучера своего отца... Софья расхваливаетъ Молчалина, а Чацкій убѣждается изъ этого, что она его и не любитъ, и не уважаетъ... Догадливы!.. Гдѣ же ясновидѣніе внутреннего чувства?.. Лиза подходитъ къ бырышнѣ своей и шепчетъ ей на ухо, что ее ждетъ Молчалинъ, и та хочетъ уйти. Чацкій проситъ у ней позволенія побыть минуту въ ея комнатѣ, но она пожимаетъ плечами, уходитъ къ себѣ и запирается, оставляя его съ носомъ. Чацкій, оставшись одинъ, опять ни съ того, ни съ сего увѣряется, что Софья любитъ Молчалина, и вымещаетъ свою досаду остротами. Потомъ онъ заводитъ разговоръ съ Молчалинымъ, и тутъ слѣдуетъ превосходнѣйшая сцена, гдѣ Молчалинъ вполне высказывается. Но вотъ собираются гости, и слѣдуетъ рядъ картинъ тогдашняго и можетъ быть отчасти и нынѣшняго московскаго общества,—картинъ, написанныхъ мастерской кистью. Наталья Дмитриевна съ своимъ мужемъ Платономъ Михайловичемъ Горичемъ, этимъ «высокимъ идеаломъ московскихъ всѣхъ мужей», ихъ взаимныя отношенія; князь Тугоуховскій и княгиня съ шестью дочерьми; графини Хрюмины, бабушка и внучка; Загорѣцкій, Хлестова—все это типы, созданные рукой истиннаго художника; а ихъ рѣчи, слова, обращеніе, манеры, образъ мыслей, проби-

вающийся изъ-подъ нихъ—геніальная живопись, поражающая вѣрностью, истинной и творческой объективностью, но все это какъ-то не связано съ цѣлымъ комедіи, выставляется само собой, особно и отдѣльно. Молчалинъ услуживаетъ, составляетъ партію въ вистъ, подличаетъ. Чацкій язвительно колетъ имъ Софью, у которой вдругъ блеснула мысль отомстить ему, ославивъ его сумасшедшимъ. Вѣсть эта съ быстротой молніи переходитъ отъ одного къ другому и тотчасъ превращается въ доказанную очевидность, потому что всѣ принимаютъ ее на вѣру съ свѣтской основательностью и свѣтскимъ доброжелательствомъ къ ближнему. У графини-бабушки происходятъ пресмѣшныя сцены, по поводу шума о сумасшествіи Чацкаго, съ Натальей Дмитриевной, Загорѣцкимъ и княземъ Тугоуховскимъ, а у Фамусова—съ Хлестовой. Входитъ Чацкій, и всѣ отшатываются отъ него, какъ отъ сумасшедшаго; Фамусовъ совѣтуетъ ему ѣхать домой, говоря, что онъ нездоровъ, и Чацкій отвѣчаетъ ему:

Да, мочи нѣтъ! Милльонъ терзаній—
Груди отъ дружескихъ тисковъ,

Ногами отъ шарканья, ушамъ отъ восклицаній;
А пуще головѣ отъ всякихъ пустяковъ!
(Подходитъ къ Софѣ).

Душа здѣсь у меня какимъ-то горемъ сжата,
И въ многолюдствѣ я потерявъ, самъ не свой.
Нѣтъ, недоволенъ я Москвой.

Скажите, послѣ этой, положимъ, что поэтической, но уже совершенно неумѣстной выходки Чацкаго, не въ правѣ ли было все общество окончательно и положительно удостовѣриться въ его сумасшествіи? Кто, кромѣ помѣшаннаго, предается такому откровенному и задушевному изліянію своихъ чувствъ на бахѣ, среди людей, чуждыхъ ему? Да если бы это были и не Фамусовы, не Загорѣцкіе, не Хлестовы, а люди отлично-умные и глубокіе, и тѣ приняли бы его за помѣшаннаго! Но Чацкій этимъ не довольствуется—онъ идетъ далѣе. Софья лукаво дѣлаетъ ему вопросъ, на что онъ такъ сердитъ? и Чацкій начинаетъ свирѣпствовать противъ общества, во всемъ значеніи этого слова. Безъ дальнихъ околичностей начинаетъ онъ рассказывать, что вонъ въ той комнатѣ встрѣтилъ онъ французика изъ Бордо, который «надсаживая грудь, собралъ вокругъ себя родъ вѣча» и рассказывалъ, какъ онъ снаряжался въ путь въ Россію, къ варварамъ, со страхомъ и слезами, и встрѣтилъ ласки и привѣтъ, не слышитъ русскаго слова, не видитъ русскаго лица, а все французскія, какъ будто онъ и не выѣзжалъ изъ своего отечества, Франціи. Вслѣдствіе этого Чацкій начинаетъ неистово свирѣпствовать противъ рабскаго подражанія русскимъ иноземцамъ, совѣтуетъ учиться у китайцевъ «премудрому незнанью инозем-

цевъ», нападаетъ на сюртуки и фраки, замѣнявшіе величавую одежду нашихъ предковъ, на «смѣшныя, бритые, сѣдые подбородки», замѣнявшіе окладистыя бороды, которыя упали по манію Петра, чтобы уступить мѣсто просвѣщенію и образованности,—словомъ, несетъ такую дичь, что всѣ уходятъ, а онъ остается одинъ, не замѣчая того,—чѣмъ и оканчивается третій актъ.

Вообще, если бы выкинуть Чацкаго, этотъ актъ самъ по себѣ, какъ дивно-созданная картина общества и характеровъ, былъ бы превосходнымъ созданіемъ искусства.

Картина разлѣзда съ бала въ четвертомъ актѣ есть также, сама по себѣ, какъ нѣчто отдѣльное, дивное произведеніе искусства. Одинъ Репетиловъ чего стоитъ! Это лицо типическое, созданное великимъ творцомъ!.. Чацкому не найдутъ его кучера; онъ задержанъ въ сѣняхъ и поневолѣ подслушиваетъ толки о своемъ сумасшествіи. Это его изумляетъ: онъ далекъ отъ мысли, что онъ сумасшедшій. Вдругъ онъ слышитъ голосъ Софьи, которая, надъ лѣстницей, во второмъ этажѣ, со свѣчей въ рукахъ, вполголоса зоветъ Молчалина. Лакей приходитъ и докладываетъ о каретѣ, но Чацкій прогоняетъ его и прячется за колонну. Лиза стучится въ дверь къ Молчалину и вызываетъ его; Молчалинъ выходитъ и по своему любезничаетъ съ Лизой, не подозрѣвая, что Софья все видитъ и слышитъ. Онъ говоритъ открыто, что любить Софью «по должности».

Софья является, подлецъ падаетъ ей въ ноги и валяется у ней въ ногахъ. Софья приказываетъ ему встать, и чтобы заря не застала его въ домѣ; иначе она все расскажетъ отцу. Она заключаетъ изъясненіемъ радости, что сама все узнала, и что не было тутъ свидѣтелей, подобно тому какъ былъ Чацкій во время ея давишняго обморока. «Онъ здѣсь, притворщица!» кричитъ Чацкій, бросаясь къ ней изъ-за колонны.

Скажите, Бога ради, какой бы порядочный, по крайней мѣрѣ не сумасшедшій человекъ, на мѣстѣ Чацкаго, не удалился тихонько, узнавъ горькую истину?.. Но ему надо было произвести трагическій эффектъ, а вышла преуморительная комическая сцена, гдѣ самое смѣшное лицо—Чацкій... Нѣтъ, не то: ему надо было еще прочесть нѣсколько проповѣдей... Безъ этого комедія по крайней мѣрѣ кончилась бы на мѣстѣ, а тутъ она еще тянется, Богъ знаетъ для чего. Окончаніе извѣстно, и мы не будемъ о немъ говорить.

Итакъ въ комедіи нѣтъ цѣлаго, потому что нѣтъ идеи. Намъ скажутъ, что идея, напротивъ, есть, и что она—противорѣчіе умнаго и глубокаго человека съ обществомъ, среди котораго онъ живетъ. Позвольте: что

это за новый Анахарсисъ, побывавшій въ Аѳинахъ и возвратившійся къ скиѣамъ?.. Неужели представители русскаго общества все—Фамусовы, Молчалины, Софьи, Загорѣдкіе, Хлестовы, Тугоуховскіе и имъ подобные? Если такъ, они правы, изгнавши изъ своей среды Чацкаго, съ которымъ у нихъ нѣтъ ничего общаго, равно какъ и у него съ ними. Общество всегда правѣе и выше частнаго человека, и частная индивидуальность только до той степени и дѣйствительность, а не призракъ, до какой она выражаетъ собой общество. Нѣтъ, эти люди не были представителями русскаго общества, а только представителями одной стороны его, слѣдственно, были другіе круги общества, болѣе близкіе и родственные Чацкому. Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же онъ лѣзъ къ нимъ и не искалъ круга болѣе по себѣ? Слѣдовательно, противорѣчіе Чацкаго случайное, а не дѣйствительное; не противорѣчіе съ обществомъ, а противорѣчіе съ кружкомъ общества. Гдѣ же тутъ идея? Основной идеей художественнаго произведенія можетъ быть только такъ называемая на философскомъ языкѣ «конкретная» идея, т.-е. такая идея, которая сама въ себѣ заключаетъ и свое развитіе, и свою причину, и свое оправданіе, и которая только одна можетъ стать разумнымъ явленіемъ, параллельнымъ своему диалектическому развитію. Очевидно, что идея Грибоѣдова была сбивчива и не ясна самому ему, а потому и осуществилась какимъ-то недоноскомъ. И потомъ: что за глубокий человекъ Чацкій? Это просто крикунъ, фразѣръ, идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующій все святое, о которомъ говорить. Неужели войти въ общество и начать всѣхъ ругать въ глаза дураками и скотами значить быть глубокимъ человекомъ? Что бы вы сказали о человекѣ, который, войдя въ кабакъ, сталъ бы съ одушевленіемъ и жаромъ доказывать пьянымъ мужикамъ, что есть наслажденіе выше вина—есть слава, любовь, наука, поэзія, «Шиллеръ и Жанъ-Поль Рихтеръ?.. Это новый Донъ-Кихоть, мальчикъ на палочкѣ верхомъ, который воображаетъ, что сидитъ на лошади... Глубоко вѣрно оцѣнилъ эту комедію кто-то, сказавши, что это горе,—только не отъ ума, а отъ умничанья. Искусство можетъ избрать своимъ предметомъ и такого человека, какъ Чацкій, но тогда изображеніе должно было бы быть объективнымъ, а Чацкій—лицомъ комическимъ; но мы ясно видимъ, что поэтъ не шутя хотѣлъ изобразить въ Чацкомъ идеалъ глубокаго человека въ противорѣчій съ обществомъ, и вышло Богъ знаетъ что.

Когда въ произведеніи искусства нѣтъ основной идеи—то и характеры дѣйствующихъ лицъ не могутъ быть вѣрны, по край-

ней мѣръ всё. Что такое Софья? Свѣтская дѣвушка, унизившаяся до связи почти съ лакеемъ. Это можно объяснить воспитаніемъ — дуракомъ отцомъ, какой-нибудь мадамой, допустившей себя переманить за лишнихъ 500 рублей. Но въ этой Софѣ есть какая-то энергія характера: она отдала себя мужчѣ, не обольстась ни богатствомъ, ни знатностью его, — словомъ, не по расчету, а напротивъ, ужъ слишкомъ по неразсчету; она не дорожитъ ни чѣмъ мнѣніемъ, и когда узнала, что такое Молчалинъ, съ презрѣніемъ отвергаетъ его, велитъ завтра же оставить домъ, грозя, въ противномъ случаѣ, все открыть отцу. Но какъ она прежде не видала, что такое Молчалинъ? — Тутъ противорѣчіе, котораго нельзя объяснить изъ ея лица, а всѣ другія объясненія не могутъ, какъ внѣшнія и произвольныя, имѣть мѣста при разсматриваніи созданнаго поэтомъ характера. И потому Софья не дѣйствительное лицо, а призракъ.

Кромѣ Чацкаго, ни на что непохожаго, всѣ прочія лица живы и дѣйствительны; но и они частенько измѣняютъ себѣ, говоря противъ себя эпиграммы на общество.

Фамусовъ — лицо типическое, художественно созданное. Онъ весь высказывается въ каждомъ своемъ словѣ. Это гоголевскій городничій этого круга общества. Его философія та же. Знатность вслѣдствіе чиновъ и денегъ — вотъ его идеалъ жизни. Чтобы не накопилось у него много дѣлъ, у него обычай: «подписано, такъ съ плечъ долой». Онъ очень уважаетъ родство —

Я передъ родней, гдѣ встрѣтится, ползкомъ,
Сыщу ее на днѣ морскомъ.
При мнѣ служащіе чужіе рѣдки:
Все больше сестрины, свояченицы дѣтки.
Одинъ Молчалинъ мнѣ не свой,
И то вѣтъ, что дѣловой.
Какъ будешь представлять къ крестичку или
мѣстечку,
Ну, какъ не порадовать родному человѣчку?

Но нигдѣ не высказывается онъ такъ рѣзко и такъ полно, какъ въ концѣ комедіи: онъ узнаетъ, что дочь его въ связи съ молодымъ человѣкомъ, что ея, слѣдовательно и его, доброе имя опозорено, не говоря уже о тяжелой, жгучей душу мысли быть отцомъ такой дочери — и что жъ? ничего этого и въ голову не приходитъ ему, потому что ни въ чемъ этомъ онъ не видитъ существеннаго: онъ весь жилъ и живетъ внѣ себя; его Богъ, его совѣсть, его религія — мнѣніе свѣта, и онъ воскликаетъ въ отчаяніи:

Моя судьба еще ли не плачевна:
Ахъ, Боже мой! что станетъ говорить
Княгиня Марья Алексѣвна.

Но этотъ Фамусовъ, столь вѣрный самому себѣ въ каждомъ словѣ, измѣняетъ иногда себѣ цѣлыми рѣчами.

Беремъ же побродягъ и въ домъ, и по билетамъ,
Чтобъ нашихъ дочерей всему учить — всему:
И танцамъ, и пѣнью, и изъясностямъ, и вадомъ,
Какъ будто въ жены ихъ готовимъ скоморохамъ.

Это говорить не Фамусовъ, а Чацкій устами Фамусова, и это не монологъ, а эпиграмма на общество.

Кто хочетъ къ намъ пожаловать — изволь,
Дверь отперта для званныхъ и незванныхъ,
Особенно изъ иностранныхъ:
Хоть честный человѣкъ, хоть нѣтъ,
Для насъ равнехонько, про всѣхъ готовъ обѣдъ.

А наши старички, какъ ихъ возьметъ задоръ,
Засудятъ о дѣлахъ, что слово — приговоръ!
Вѣдь столбовые всѣ, въ усъ никому не дуютъ,
И о правительствѣ иной разъ такъ толкуютъ,
Что если бъ кто подслушалъ ихъ — бѣда!
Не то, чтобъ новизны вводили — никогда!
Спаси ихъ Боже! нѣтъ! а придерутся
Къ тому, къ сему, а чаще ни къ чему,
Поспорятъ, пошумятъ, и... разойдутся.

А дочка?
Французскіе романы вамъ поютъ
И верхнія выводятъ нотки;
Къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ,
А потому что патріотки!

Нужно ли доказывать, что Фамусовъ слишкомъ глупъ для такихъ язвительныхъ эпиграммъ и такъ добродушно преданъ пошлой сторонѣ своего общества, что считаетъ за грѣхъ отъ другого услышать противъ него выходку; что наконецъ все это Фамусовъ говоритъ не отъ себя, а по приказу автора?.. Мало этого, самъ Скалозубъ остритъ, да еще какъ! — точъ въ точъ, какъ Чацкій. Не вѣрите, такъ прочтите:

Позвольте, расскажу вамъ вѣсть: . .
Княгиня Ласова кака-то здѣсь есть
Назадница-вдова, но нѣтъ примѣровъ,
Чтобъ ѣздило съ ней много кавалеровъ —
На дняхъ расшиблась въ пухъ;
Жокей не поддержалъ — считалъ онъ
видно мухъ.
И безъ того она, какъ слышно, неуклюжа;
Теперь ребра не достаетъ,
Такъ для поддержки ищетъ мужа.

Каковъ Скалозубъ! чѣмъ хуже Чацкаго? Впрочемъ Лиза не безъ основанія такъ остроумно, такой эпиграммой, замѣтила о немъ:

Шутить и онъ гораздъ — вѣдь нынче кто не
шутить.

Но нигдѣ субъективность автора не проявилась такъ рѣзко, такъ странно и такъ во вредъ комедіи, какъ въ очеркѣ характера Молчалина, который онъ заставляетъ дѣлать самого же Молчалина:

Мнѣ завѣщать отецъ,
Во-первыхъ, угождать всѣмъ людямъ безъ изъятія:
Хозяину, гдѣ доведется жить,
Слугѣ его, который чиститъ платья,
Швейцару, дворнику — для изъяснанія зна,
Собакамъ дворника, чтобъ ласкова была!

А Лиза отвѣчаетъ ему на эту оригинальную выходку эпиграммой, которая сдѣлала бы честь остроумію самого Чацкаго:

Сказать, сударь, у васъ огромная опека!

Скажите, Бога ради, станетъ ли какой-нибудь подлецъ называть себя при другихъ подлецомъ? — Вѣдь Молчалинъ глупъ, когда дѣло идетъ о чести, благородствѣ, наукѣ, поэзії и подобныхъ высокихъ предметахъ; но онъ уменъ, какъ дьяволъ, когда дѣло идетъ о его личныхъ выгодахъ. Онъ живетъ въ домѣ знатнаго барина, допущенъ въ его свѣтскій кругъ и совсѣмъ не болтливъ, но очень молчаливъ: такъ кстати ли ему подавать оружіе на себя горничной, такъ простодушно хвастаясь своей подлостью?..

Но если вычеркнуть мѣста изъ монологовъ, гдѣ дѣйствующія лица проговариваются изъ угожденія автору, противъ себя—это будутъ, за исключеніемъ Софьи, лица типическія, характеры художественно-созданные, хотя и не составляющіе комедіи своими взаимными отношеніями; — не говоримъ уже о Репетиловѣ, этомъ вѣчномъ прототипѣ, котораго собственное имя сдѣлалось нарицательнымъ, и который обличаетъ въ авторѣ исполнскую силу таланта. Вообще «Горе отъ ума» не комедія, въ смыслѣ и значеніи художественнаго созданія, цѣлаго, единого, особнаго и замкнутаго въ себѣ міра, въ которомъ все выходитъ изъ одного источника—основной идеи, и все туда же возвращается, въ которомъ поэтому каждое слово необходимо, неизмѣнимо и незамѣнимо, въ которомъ все превосходно и ничего нѣтъ слабого, лишняго, ненужнаго, — словомъ, въ которомъ нѣтъ достоинствъ и недостатковъ, но одни достоинства. Художественное произведение есть само себѣ цѣль и внѣ себя не имѣетъ цѣли, а авторъ «Горя отъ ума» ясно имѣлъ вѣшнюю цѣль—осмѣять современное общество въ злой сатирѣ, и комедію избралъ для этого средствомъ. Оттого-то и ея дѣйствующія лица такъ явно и такъ часто проговариваются противъ себя, говоря языкомъ автора, а не своимъ собственнымъ; оттого-то и любовь Чацкаго такъ пошла, ибо она нужна не для себя, а для завязки комедіи, какъ нѣчто вѣшнее для нея; оттого-то и самъ Чацкій—какой-то образъ безъ лица, призракъ, фантомъ, что-то небывалое и неестественное. Но какъ не художественно-созданное лицо комедіи, а выраженіе мыслей и чувствъ своего автора, хотя и не кстати, странно и дико вмѣшавшееся въ комедію, самъ Чацкій представляется уже съ другой точки зрѣнія. У него много смѣшныхъ и ложныхъ понятій, но всѣ они выходятъ изъ благороднаго начала, изъ бьющаго горячимъ ключемъ источника жизни. Его остроуміе вытекаетъ изъ благороднаго и энергическаго негодованія противъ того, что

онъ, справедливо или ошибочно, почитаетъ дурнымъ и унижающимъ человѣческое достоинство,—и потому его остроуміе такъ колко, сильно и выражается не въ каламбурахъ, а въ сарказмахъ. И вотъ почему всѣ бранятъ Чацкаго, понимая ложность его какъ поэтическаго созданія, какъ лица комедіи — и всѣ наизусть знаютъ его монологи, его рѣчи, обратившіяся въ пословицы, поговорки, примѣненія, эпиграфы, въ афоризмы житейской мудрости. Есть люди, которыхъ разстроенныя или отъ природы слабыя головы не въ силахъ переварить этого противорѣчія, — и которые поэтому или до небесъ превозносятъ комедію Грибоѣдова, или считаютъ ее годной только для защиты какихъ-то рождѣ, подверженныхъ оплеухамъ.

Выведемъ окончательный результатъ изъ всего сказаннаго нами о «Горѣ отъ ума», какъ оцѣнку этого произведенія. «Горе отъ ума» не есть комедія, по отсутствію или, лучше сказать, по ложности своей основной идеи, не есть художественное созданіе, по отсутствію самоцѣльности, а слѣдовательно и объективности, составляющей необходимое условіе творчества. «Горе отъ ума» — сатира, а не комедія: сатира же не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ. И въ этомъ отношеніи «Горе отъ ума» находится въ неизмѣримомъ, безконечномъ разстояніи ниже «Ревизора», какъ вполне художественнаго созданія, вполне удовлетворяющаго высшимъ требованіямъ искусства и основнымъ философскимъ законамъ творчества. Но «Горе отъ ума» есть въ высшей степени поэтическое созданіе, рядъ отдѣльныхъ картинъ и самобытныхъ характеровъ, безъ отношенія къ цѣлому, художественно нарисованныхъ кистью широкой, мастерской, рукой твердой, которая если и дрожала, то не отъ слабости, а отъ кипучаго, благороднаго негодованія, съ которымъ молодая душа еще не въ силахъ была совладать. Въ этомъ отношеніи «Горе отъ ума», въ его цѣломъ, есть какое-то уродливое зданіе, ничтожное по своему назначенію, какъ напр. сарай, но зданіе, построенное изъ драгоценнаго паросскаго мрамора, съ золотыми украшеніями, дивной рѣзьбой, изящными колоннами. И въ этомъ отношеніи «Горе отъ ума» стоитъ на такомъ же неизмѣримомъ и безконечномъ пространствѣ выше комедій Фонвизина, какъ и ниже «Ревизора».

Грибоѣдовъ принадлежитъ къ самымъ могучимъ проявленіямъ русскаго духа. Въ «Горѣ отъ ума» онъ является еще пылкимъ юношей, но общающимъ сильное и глубокое мужество,—младенцемъ, но младенцемъ, задушающимъ еще въ колыбели огромныхъ змѣй,—младенцемъ, изъ котораго долженъ явиться дивный Иракль. Разумный опытъ жизни и благотворная сила лѣтъ уравнивали бы

волнованія кипучей натуры: погасъ бы ея огонь и исчезло бы его пламя, а осталась бы теплота и свѣтъ, взоръ проявился бы и возвысился до спокойнаго и объективнаго созерцанія жизни, въ которой все необходимо и все разумно, — и тогда поэтъ явился бы художникомъ и завѣщалъ бы потомству не лирическіе порывы своей субъективности, а стройныя созданія, объективныя воспроизведенія явленій жизни... Почему Грибоѣдовъ не написалъ ничего послѣ «Горя отъ ума», хотя публика уже и въ правѣ была ожидать отъ него созданій зрѣлыхъ и художественныхъ? — это такой вопросъ, рѣшенія котораго стало бы на огромную статью, и который все бы не рѣшился. Можетъ быть служба, которой онъ былъ преданъ не какъ-нибудь, не мимоходомъ, а дѣйствительно, вступила въ соперничество съ поэтическимъ призваніемъ; а можетъ быть и то, что въ душѣ Грибоѣдова уже зрѣли гигантскіе зародыши новыхъ созданій, которыя осуществить не допустила его ранняя смерть. Кто въ немъ одержалъ бы побѣду — дипломатъ или художникъ — это могла рѣшить только жизнь Грибоѣдова, но не могутъ рѣшить никакія умозрѣнія, и потому предоставляемъ рѣшеніе этого вопроса мастерамъ и охотни-

камъ выдавать пустыя гаданія фантазіи за дѣйствительные выводы ума; сами повторимъ только, что «Горе отъ ума» есть произведеніе таланта могучаго, драгоцѣнный перлъ русской литературы, хотя и не представляющее комедію въ художественномъ значеніи этого слова, — произведеніе, слабое въ цѣломъ, но великое своими частностями.

Теперь намъ слѣдовало бы сказать что-нибудь о предисловіи, приложенномъ къ изданію «Горя отъ ума», написанномъ его издателемъ и занимающемъ ровно сто страницъ. Въ немъ содержится біографія Грибоѣдова и критическая оцѣнка «Горя отъ ума». Чтò сказать объ этомъ предисловіи? — Оно написано умнымъ литераторомъ, и написано живо, прекраснымъ языкомъ. Что же касается до взгляда на искусство, а вслѣдствіе этого и на произведеніе Грибоѣдова, — это сужденіе въ духѣ французской критики и «Московского Телеграфа». Авторъ предисловія правъ съ своей точки зрѣнія, и мы спорить съ нимъ не будемъ, а только повторимъ стихи Грибоѣдова, взятые нами эпиграфомъ къ нашей статьѣ, и заключимъ ее ими:

Какъ посмотрѣть да посравнить
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій:
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ.

Полное собраніе сочиненій А. Марлинскаго.

Санктпетербургъ. 1838 — 1839. Двѣнадцать частей.

Давно уже критика сдѣлалась потребностью нашей публики. Ни одинъ журналъ или газета не можетъ существовать безъ отдѣла критики и бібліографіи; эти страницы разрѣзываются и пробѣгаются нетерпѣливыми читателями даже прежде повѣстей, безъ которыхъ никакое періодическое изданіе не можетъ держаться и при самой критикѣ. Чтò означаетъ это явленіе? Отвѣчаемъ утвердительно: оно есть живое свидѣтельство, что въ нашей литературѣ настаетъ эпоха сознанія. «Но, — скажутъ намъ, — предметъ сознанія есть явленіе, и потому всякое явленіе предшествуетъ сознанію, а всякое сознаніе есть, такъ сказать, слѣдствіе явленія; что же мы будемъ сознать? Неужели наша литература такъ богата, что мы уже доходимъ до необходимости перечитать, пережѣтить и перецѣнить ея сокровища? Неужели мы столько насладились ея избытками, что для насъ наступаетъ уже время другого наслажденія? — сознанія перваго наслажденія? И когда же успѣла совершить свой кругъ эта юная литература,

которая еще только въ недавно прошедшемъ 1839 году переступила за столѣтіе своей жизни?» Чтòбы отвѣчать на такое возраженіе, должно предварительно условиться въ значеніи слова «литература». Прежде всего подъ «литературой» разумѣется письменность народа, весь кругъ его умственной дѣятельности отъ народной пѣсни, перваго младенческаго лепета поэзіи, до художественныхъ созданій — этихъ зрѣлыхъ плодовъ творчества, достигшаго полнаго своего развитія; отъ глубокаго ученаго сочиненія до легкой газетной статьи или брошюрки объ устройствѣ овиновъ или объ истребленіи таракановъ. Потомъ подъ «литературой» разумѣютъ собственно поэтическія произведенія, наконецъ, — все легкое, служащее къ забавѣ и развлеченію и доступное даже профанамъ въ наукѣ и искусствѣ. Но во всякомъ случаѣ и во всѣхъ этихъ значеніяхъ литература есть сознаніе народа, цвѣтъ и плодъ его духовной жизни. Теперь спрашивается: подходитъ ли русская литература подъ всѣ эти опредѣленія, и подъ которое-нибудь

изъ нихъ исключительно?—Отвѣчаемъ—да, за исключеніемъ впрочемъ стороны собственно-ученой. Россія еще не успѣла обнаружить самостоятельной дѣятельности на поприщѣ науки, но обнаруживаетъ только живое стремленіе къ знанію и живую понятливость ученика. Однакожь и здѣсь найдется нѣсколько блестящихъ исключеній, особенно въ литературѣ математики, естествознанія, путешествій, гордающейся не однимъ блестящимъ русскимъ именемъ. Итакъ, понятно, что наша ученая дѣятельность могла положительно проявляться только въ знаніяхъ точныхъ, а не въ умозрительныхъ: первыя во всякое время имѣютъ свою безотносительную истину; вторыя же Россія застала въ эпоху усиленнаго и быстрого движенія, когда они въ одно десятилѣтіе пережили столѣтія. Укажемъ только на теорію искусства: до двадцатыхъ годовъ въ нашей литературѣ царствовалъ французскій классицизмъ, а съ этого времени одни заговорили о трактатѣ Канта «о высокомъ и прекрасномъ», другіе—о братьяхъ Шлегеляхъ, объ Астѣ, а нѣкоторые и о Шеллингѣ; но, говоря о нихъ, они не понимали другъ друга, ни даже самихъ себя; ихъ—неприготовленныхъ—застигъ сильный переворотъ въ идеяхъ, развившихся въ Германіи исторически, а къ намъ перешедшихъ въ какомъ-то пестромъ безпорядкѣ. И потому эти господа не знали, на чемъ остановиться, на что опереться, что принять за основное и непреходящее, ибо что вчера считалось утвержденнымъ и новымъ, то завтра объявлялось у нихъ опровергнутымъ и устарѣвшимъ. И до сихъ поръ еще относительно теоріи искусства царствуетъ въ нашей литературѣ какой-то хаосъ; одни требуютъ критики, основанной на разумныхъ и, такъ сказать, апріорныхъ началахъ искусства, въ ихъ современномъ состояніи; другіе, сознавъ свое безсиліе достигнуть въ этомъ стремленіи какихъ-нибудь положительныхъ результатовъ, снова обратились къ произвольной французской эстетикѣ, и, съ грѣхомъ пополамъ, пребываютъ старой рухлядью, которую нѣкогда сами рвали и истребляли во имя новаго, плохо ими понятаго. *Les beaux esprits se repenitent*,—и потому эти послѣдніе подали руку тѣмъ самымъ, которыхъ нѣкогда уличали для обнаруженія истины,—тѣмъ самымъ, которые требуютъ исключительнаго господства своихъ бѣдненькихъ мнѣній, совершенно чуждыхъ искусству, но вдвойнѣ для нихъ пріятныхъ и выгодныхъ—какъ потому, что эти «мнѣнія» по плечу ихъ ограниченности и удерживаютъ за ними вліяніе надъ толпой, такъ и потому, что эти «мнѣнія» доставляютъ имъ насчетъ толпы существенную пользу. И вотъ примирившіеся, соединившіеся и понявшіе другъ друга новые друзья, застигнутые врасплохъ потокомъ новыхъ идей, хотятъ непонятное для

ихъ ограниченности выставить за непонятное для всѣхъ, выдавая его за искаженіе языка, которому они будто бы оказали великія, хотя и никому неизвѣстныя услуги. Какъ же тутъ явиться какому-нибудь ученому сочиненію по части теоріи искусства?—Надо, чтобы сперва установилось броженіе идей и очистился эстетическій вкусъ публики; а для этого надо, чтобы пошлыя и торговья мнѣнія объ искусствѣ замѣнились «мыслями» объ искусствѣ, чтобы литературные промышленники, объясняющіе законы искусства своей благонамѣренностью и усердіемъ къ пользѣ «почтеннѣйшей» публики, уступили мѣсто тѣмъ, которые говорятъ объ искусствѣ потому, что любить и понимать его; чтобы устарѣвшія идеи заклеились печатью общаго отверженія, а отсталые враги всего, въ чемъ есть жизнь, движеніе, сила и достоинство, потеряли всякое вліяніе даже надъ чернью общества, на которую одну опирается теперь ихъ шаткій авторитетъ. Это можетъ сдѣлать только критика при посредствѣ журнала, основаннаго съ чисто-литературной и ученой, а не торговой цѣлью, и поддерживаемаго участіемъ людей благородномыслящихъ и даровитыхъ, а не литературныхъ спекулянтовъ, во всю жизнь подвизавшихся на заднемъ дворѣ литературы и на кредитъ пользующихся извѣстностью «отлично умныхъ людей» и «отличнѣйшихъ сочинителей». Тогда можно будетъ подумать и о наукообразномъ сознаніи законовъ искусства.

То же зрѣлище представляеть и наша историческая литература. Карамзинъ былъ полнымъ выраженіемъ установившихся и вполне опредѣлившихся идей своего времени, и потому его «Исторія Государства Россійскаго» есть твореніе зрѣлое, монументъ прочный и великій, хотя и начатый скромно, безъ криковъ, безъ униженія своихъ предшественниковъ, даже безъ шуткейстерскаго объявленія о подпискѣ. Такъ какъ твореніе Карамзина было плодомъ глубокаго изученія историческихъ источниковъ, основательнаго и отличнаго по тому времени образованія,—твореніе таланта великаго, труда добросовѣстнаго и безкорыстнаго, совершавшагося въ священной тишинѣ кабинета, далекаго отъ всѣхъ литературныхъ рынковъ, на которыхъ издаются пышныя программы и забираются съ довѣрчивой публики деньги на ненаписанныя сочиненія во многихъ томахъ, то «Исторія Государства Россійскаго» съ каждымъ томомъ являлась созданіемъ болѣе зрѣлымъ, болѣе глубокимъ, болѣе великимъ, и если остается неоконченной, то единственно по причинѣ смерти своего благороднаго творца, а не потому, чтобы у него не стало силъ на исполнскій подвигъ, или чтобы имъ впередъ взяты были деньги съ подписчиковъ, привлеченныхъ программой. Но послѣ Карам-

зна, что явилось сколько-нибудь примѣчательнаго въ нашей исторической литературѣ? Развѣ какая-нибудь пышная программа о подпискѣ на какую-нибудь небывалую исторію въ восемнадцати томахъ?.. Или, вмѣсто этихъ восемнадцати, семь томовъ «высшихъ взглядовъ», изложенныхъ дурнымъ языкомъ и высокопарными фразами безъ всякаго содержанія—однимъ словомъ, бездарная и часто безграмотная перефразировка великаго труда Карамзина, нещадно разруганнаго, при этой вѣрной оказіи, въ выноскахъ, занимающихъ половину каждой страницы?.. Конечно были другія попытки, болѣе благородныя и болѣе удачныя, но въ меньшемъ размѣрѣ, и нисколько не приближающіяся ни своимъ назначеніемъ, ни своимъ достоинствомъ къ безсмертному творенію Карамзина. А между тѣмъ великій трудъ Карамзина, какъ и всякій великій трудъ, отнюдь не отрицаетъ ни необходимости, ни возможности другого великаго труда въ этомъ родѣ, который такъ же бы удовлетворилъ своему времени, какъ его трудъ своему. Но этотъ новый трудъ будетъ возможенъ тогда только, когда новыя историческія идеи перестанутъ быть мнѣніями и взглядами, хотя бы и «высшими», сдѣлаются научно-образнымъ сознаніемъ исторіи какъ науки—словомъ—философіей исторіи...

Не такова была судьба нашей поэзіи, потому что и вездѣ не такова судьба поэзіи. Наука есть плодъ умственного развитія народа, плодъ его цивилизаціи, результатъ сознательныхъ усилій со стороны людей, которые ей посвящаютъ себя; тогда какъ поэзія есть прямое, непосредственное сознаніе народа. У народа нѣтъ еще письма, нѣтъ даже слова для выраженія идеи искусства, но есть уже искусство—народная поэзія. И даже тогда, какъ народъ уже вышелъ изъ состоянія безсознательности, и поэзія его изъ непосредственной или народной сдѣлалась художественной или общей, міровой въ самой своей національности,—я тогда ея ходъ независимъ отъ хода науки. Такъ поэзія англичанъ, народа положительнаго и эмпирическаго по своему національному духу, совершенно чуждаго философіи (какъ безусловнаго знанія),—поэзія англичанъ не видитъ равной себѣ ни у одного изъ новѣйшихъ народовъ, даже у самыхъ нѣмцевъ, и по праву можетъ стать на ряду, какъ равная съ равной, съ поэзіей древнихъ грековъ. Въ Греціи Платонъ явился тогда, какъ уже Гомеръ давно сдѣлался мнѣстическимъ лицомъ, и когда самая драматическая поэзія совершила уже полный свой кругъ; Шекспиръ явился въ Англіи, не дожидаясь Шеллинговъ и Гегелей. Самая германская поэзія, идущая объ руку съ философіей, выигрывая оттого въ содержаніи, часто теряетъ въ формѣ, превращаясь въ какое-то поэтическое развитіе

философскихъ идей и впадая въ символистику и аллегорику. Вслѣдствіе этой-то общей зависимости творчества отъ науки и наша поэзія успѣла совершить такой великій и блестящій кругъ развитія, пока наука едва успѣла сдѣлать только нѣсколько неровныхъ порывовъ къ движенію...

Да, мы уже имѣемъ поэзію, которою смѣло можемъ соперничествовать съ поэзіей всѣхъ народовъ Европы. «Но возможно ли», возражать намъ, «чтобы въ какія-нибудь сто лѣтъ наша поэзія могла стать на такую неизмѣримую высоту?»—Прежде, нежели отвѣтимъ на этотъ вопросъ, попросимъ тѣхъ, кому угодно будетъ его сдѣлать, отвѣтить намъ на нашъ вопросъ: какимъ образомъ въ продолженіе едва ли не полтора-ста лѣтъ наше отечество изъ государства, едва извѣстнаго въ Европѣ, тѣснимаго и раздираемаго и крымцами, и поляками, и шведами, сдѣлалось могущественнѣйшей монархіей въ мірѣ, приняло въ свою исполнскую корпорацію и отторгнутую отъ нея родную ей Малороссію, и враждебный Крымъ, и родственную Бѣлороссію, и прибалтійскія шведскія области, и отодвинуло свое владычество за древній Араратъ? Какимъ образомъ въ столь короткое время, не имѣя печатнаго букваря, приобрѣло оно себѣ литературу, успѣло перемѣнить даже азіатскіе нравы на европейскіе, такъ что о временахъ Митрофанушекъ и Скотининныхъ вспоминаетъ теперь, какъ о чемъ-то бывшемъ тысячу лѣтъ тому назадъ?... Мы думаемъ, что причина этого дивнаго явленія заключается въ глубинѣ и могуществѣ духа народа, въ сокровенномъ источникѣ его внутренней жизни, который горячимъ ключемъ бьетъ во вѣдѣность. Для духа нѣтъ условій времени, когда настаетъ минута его пробужденія. Это доказываетъ и богатая германская литература (мы разумѣемъ особенно—изящную), которая началась почти вмѣстѣ съ нашей и еще такъ недавно утратила своего полнаго и великаго представителя—Гёте. Французская же литература, въ XVII столѣтіи отпраздновавшая свой первый золотой вѣкъ, представителями котораго были Корнель, Расинъ и Мольеръ,—въ XVIII—свой второй вѣкъ, представителемъ котораго былъ Вольтеръ съ энциклопедическимъ причетомъ, а въ XIX—свой третій вѣкъ, романтическій—теперь отъ нечего дѣлать поетъ вѣчную память всѣмъ тремъ своимъ золотымъ вѣкамъ, какъ-то невзначай разсмотрѣвъ, что всѣ они были не настоящаго, а сусальнаго золота... Слѣдовательно вопросъ не во времени нашей поэзіи, а въ ея дѣйствительности. Здѣсь мы не войдемъ ни въ подробности, ни въ объясненія, ни въ доказательства, которыя отвлекли бы насъ только отъ предмета статьи, и прямо выговоримъ наше убѣжденіе, предоставляя себѣ въ будущемъ оправдать

его дѣйствительность критикой. Наша народная или непосредственная поэзія не уступитъ въ богатствѣ ни одному народу въ мірѣ и только ждетъ трудолюбивыхъ дѣателей, которые собрали бы ея сокровища, таящіеся въ памяти народа. Не говоря уже о пѣсняхъ,—одинъ сборникъ народныхъ рапсодій, извѣстныхъ подъ именемъ «Древнихъ стихотвореній, собранныхъ Киршею Даниловымъ», есть живое свидѣтельство обильной творческой производительности, которою одарена наша народная фантазія. Между тѣмъ наша художественная поэзія въ созданіяхъ Пушкина стала на ряду съ поэзіей всѣхъ вѣковъ и народовъ. Историческое ея развитіе блеститъ великими именами мощнаго Державина, народнаго Крылова, романтическаго Жуковскаго, пластическаго Батюшкова, юморическаго Грибоѣдова, безсмертнаго переводчика «Илиады» Гомера—Гнѣдича. Такъ какъ литература не есть явленіе случайное, но вышедшее изъ необходимыхъ внутреннихъ причинъ, то она и должна развиваться исторически, какъ нѣчто живое и органическое, непонятное въ своихъ частностяхъ, но понятное только въ хронологической полнотѣ и цѣлости своихъ процессовъ: съ этой точки зрѣнія не только важны въ исторіи нашей поэзіи имена такихъ болѣе или менѣе блестящихъ и сильныхъ талантовъ, каковы—Ломоносовъ, Фонвизинъ, Хемницеръ, Капнистъ, Карамзинъ (какъ стихотворецъ и романистъ), Мерзляковъ, Озеровъ, Дмитріевъ, кн. Вяземскій, Глинка (Ф. Н.), Хомяковъ, Баратынскій, Языковъ, Давыдовъ (Денисъ), Дельвигъ, Полежаевъ, Козловъ, Вронченко, Кольцовъ, Нарѣжный, Загоскинъ, Даль (казакъ Луганскій), Основьяненко, Александровъ (Дурова), Вельтманъ, Лажечниковъ, Павловъ (Н. Ф.), кн. Одоевскій и другіе, но даже и ошибавшихся въ своемъ призваніи тружениковъ, каковы: Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Княжнинъ, Богдановичъ и пр.—Объяснимся.

Разсматривая литературу какого бы то ни было народа, невозможно отдѣлить ея развитіе отъ развитія общества. Это особенно должно относиться къ русской литературѣ, если вспомнить, что она явилась у насъ вслѣдствіе нашего сближенія съ Европою, какъ нововведеніе. Поэтому мало было того, чтобы явился поэтъ: сперва нужно, чтобы было для кого явиться ему, чтобы были люди, которые уже слышали и кое-какъ понимали, что за человѣкъ—поэтъ. И вотъ является какой-нибудь «профессоръ элоквенціи, а наипаче хитростей пѣтическихъ», Василій Кирилловичъ Тредьяковскій, и пишетъ пѣимы и разныя стихословныя штуки: его понимаютъ, онъ нравится, и многіе уже имѣютъ идею «пѣимы». Потомъ является Александръ Петровичъ Сумароковъ, російскій Расинъ, Лафонтенъ,

Мольеръ и Вольтеръ:—и общество узнаетъ, что такое ода, элегія, эклога, трагедія, комедія, слезная драма, что такое театръ, и все это начинаетъ влючать въ число своихъ забавъ.

Херасковъ—нашъ Гомеръ, воспѣвшій древни брани,
Россія торжество, паденіе Казани,—

растолковываетъ, что такое «героическая поэма». Общество благоговѣетъ передъ Ломоносовымъ, но больше читаетъ Сумарокова и Хераскова: они понятнѣе для него, болѣе по плечу ему. Является Державинъ, и всѣ признаютъ его первымъ и величайшимъ русскимъ поэтомъ, не переставая впрочемъ восхищаться и Сумароковымъ, и Херасковымъ, и Петровымъ. Но у общества есть уже насчетъ Державина какая-то задушевная мысль, есть къ нему какое-то особенное чувство, которое часто находится въ прямой противоположности съ сознаніемъ: Херасковъ написалъ двѣ преобладающія «героическія пѣимы» (родъ, считавшійся вѣнцомъ поэзіи), слѣдственно Херасковъ выше Державина, пишущаго небольшія пьесы; но со всѣмъ тѣмъ отъ имени Державина вѣяло какимъ-то особеннымъ и таинственнымъ значеніемъ. Въ драматической поэзіи Княжнинъ довершаетъ дѣло Сумарокова и приготовляетъ обществу Озерова. Первые два холодно удивляли общество,—Озеровъ трогалъ и заставлялъ его плакать сладкими слезами эстетическаго восторга и умиленія,—и потому въ немъ думали видѣть великаго генія, а въ его сантиментально-риторическихъ трагедіяхъ—торжество поэзіи. Явился Жуковский: одни видѣли въ его поэзіи новый міръ—и жизнь души и сердца, и таинство поэзіи; другіе—талантливаго стихотворца, увлекающагося подражаніемъ уродливымъ образцамъ эстетическаго безвкусія нѣмцевъ и англичанъ. Батюшковъ болѣе Жуковскаго по плечу, потому что называлъ себя классикомъ и подражалъ великимъ и малымъ писателямъ французской литературы. Но молодое поколѣніе не видало, но чувствовало въ немъ, какъ и въ Жуковскомъ, уже нѣчто другое: именно намекъ на истинную поэзію. Время невидимо работало. Старики уже начинали надобѣдать. Мерзляковъ нанесъ первый ударъ Хераскову, и хотя онъ же восхищался Сумароковымъ, но этого пѣимы уже давно не читали, а развѣ только подсмѣивались надъ нимъ. Тѣмъ не менѣе такіе люди, какъ Сумароковъ, Херасковъ и Петровъ, достойны уважительнаго вниманія и даже изученія, какъ лица историческія. Если они не имѣли ни искры положительнаго таланта поэзіи, они имѣли несомнѣнное дарованіе версификаторовъ,—достойство, теперь ничтожное, но тогда очень важное. Образованіемъ своимъ они были несравненно выше своихъ современниковъ ч

показали имъ новыя умственныя области. Нѣтъ успѣха, который былъ бы незаслуженнымъ; нѣтъ авторитета, который бы не основывался на силѣ; а эти люди пользовались удивленіемъ, восторгомъ и поклоненіемъ отъ своихъ современниковъ и, хотя недолго, даже и потомства. Ихъ читали и перечитывали, ихъ называли образцами для подражанія, законодателями вкуса, жрецами изящнаго. Но главная и дѣйствительная заслуга ихъ состоитъ въ томъ, что они отрицательно доказали положительную истину: черезъ нихъ понятъ былъ Державинъ такъ же, какъ потомъ черезъ Державина были они поняты, хотя онъ оказалъ имъ этимъ и совсѣмъ другого рода услугу, чѣмъ они ему. Они приготовили Державину читателей, публику, которая безсознательно, но скоро поняла, что онъ выше ихъ, а потомъ, сравнивая его съ ними, постепенно доходила до сознанія, что чѣмъ болѣе онъ истинный поэтъ, тѣмъ болѣе они — лжепоэты.

Да, люди, подобные Сумарокову, Хераскову, Петрову, Княжнину, Богдановичу, необходимы въ историческомъ развитіи литературы, какъ писатели, отрицательно дѣйствующие на сознаніе общества въ сферѣ положительной истины. Много было въ ихъ время поэтовъ, написавшихъ цѣлые томы, какъ напр., Станевичъ, Николаевъ, Сушковъ и подобные имъ; но ихъ имена забыты, какъ случайности, тогда какъ имена Сумарокова, Хераскова, Петрова, Княжнина, Богдановича навсегда останутся въ исторіи русской литературы и будутъ достойны уваженія и изученія. Каждый изъ нихъ — лицо типическое, выражающее общую идею, подъ которую подходитъ цѣлый рядъ родовыхъ явленій.

Къ числу такихъ-то примѣчательныхъ и важныхъ въ литературномъ развитіи отрицательныхъ дѣятелей принадлежитъ и Марлинскій. Его разница съ ними и его превосходство надъ ними, конечно, много состоитъ и въ степени дарованія, по которому его невозможно и сравнить съ ними, но много заключается и въ чисто-внѣшнихъ причинахъ. Тѣ были русскіе классики, отличавшіеся отъ своихъ образцовъ — французскихъ классиковъ, школьной тяжеловатостью въ выраженіи, искусственнымъ, а потому неправильнымъ и дурнымъ языкомъ. — Марлинскій явился на поприще литературы тѣмъ самымъ, что называлось тогда романтикомъ. Какъ Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ и Княжнинъ хлопотали изъ всѣхъ силъ, чтобы отдалиться отъ дѣйствительности и естественности въ изобрѣтеніи и слогѣ, такъ Марлинскій всѣми силами старался приблизиться къ тому и другому. Тѣ избрали для своихъ снотворныхъ пѣснопѣній только героевъ историческихъ и мифологическихъ, этотъ — людей;

тѣ почитали для себя за униженіе говорить живымъ языкомъ и поставляли себѣ за честь выражаться языкомъ школьнымъ, этотъ силится подслушать живую общественную рѣчь и во имя ея раздвинуть предѣлы литературнаго языка. Поэтому очень понятно, что тѣхъ теперь никто не станетъ читать, кромѣ серьезно изучающихъ отечественную литературу, а Марлинскій еще долго будетъ имѣть читателей и почитателей.

Появленіе Марлинскаго на поприщѣ литературы было ознаменовано блестящимъ успѣхомъ. Въ немъ думали видѣть Пушкина прозы. Его повѣсть сдѣлалась самой надежной приманкой для подписчиковъ на журналы и для покупателей альманаховъ, и только одинъ журналъ, какъ бы осужденный злосчастной судьбой на паденіе, не могъ воскреснуть отъ помѣщеннаго въ немъ «Фрегата Надежды»... Но когда появились въ «Телеграфѣ» его «Искуситель» и «Аммалатъ-Бекъ», — слава его дошла до своего *plus ultra*. Общій голосъ рѣшилъ, что онъ великій поэтъ, гений перваго разряда, и что нѣтъ ему соперниковъ въ русской литературѣ. Журналисты громкими фразами подкрѣпляли мнѣніе толпы; но никому изъ нихъ не приходило въ голову поговорить о Марлинскомъ въ отдѣльной статьѣ, хотя они въ длинныхъ статьяхъ рассуждали вкось и вкривъ о многихъ писателяхъ и не столь по ихъ мнѣнію великихъ и важныхъ. Такая огромная слава на кредитъ, такой громадный авторитетъ на честное слово не могли стоять твердо и незыбимо. Часть публики явно отложила отъ предмета общаго удивленія. Въ нѣкоторыхъ журналахъ стали промелькивать фразы, то робкія, то рѣзкія, то косвенныя, то прямыя, въ которыхъ выражалось то сомнѣніе въ гениальности Марлинскаго, то положительное отрицаніе въ немъ всякаго таланта. Наконецъ, дѣло дошло до того, что тѣ же самые, которые первые провозгласили его гениемъ первой величины, начали въ неизбѣжныхъ случаяхъ отзывать о немъ уже не столько громко, даже нерѣшительно и какъ можно короче, какъ будто мимоходомъ. Но и тѣ, которые поневолѣ должны видѣть въ Марлинскомъ высшую творческую силу вслѣдствіе обширности и глубокости своего эстетическаго чутія, за отсутствіемъ чувства, — даже и они начинаютъ упрекать его въ излишней игривости и пѣнистой пипучести языка, которая породила неудачныхъ подражателей, искажающихъ русскій языкъ. Впрочемъ эти послѣдніе, несмотря на то, не перестаютъ повторять въ похвалу отставнаго генія свои и чужія громкія фразы, тѣмъ болѣе, что онъ уже не можетъ мѣшать имъ въ сбытѣ ихъ товара, но еще можетъ служить имъ орудіемъ для униженія истинныхъ талантовъ, «забавно пишущихъ и вѣрно списы-

вающихъ съ натуры». Между тѣмъ подражатели Марлинскаго доходятъ до послѣдней крайности, изображая дикимъ и надутымъ языкомъ разныя сильныя ощущенія, и тѣмъ самымъ уясняютъ вопросъ совсѣмъ не въ пользу своего образца.

Но это излишество похвалъ, это множество подражателей, самое излишество порицаній—все несомнѣнно доказываетъ, что Марлинскій—явленіе примѣчательное въ литературѣ, выходящее изъ колеи пошлой обыкновенности. Изъ этого противорѣчія естественно вытекаетъ необходимость—опредѣлить значеніе и цѣнность его, какъ писателя, указать въ литературѣ его истинное мѣсто. Постараемся же рѣшить этотъ вопросъ, основываясь не на произволѣ личнаго «мнѣнія», которое чаще всего бываетъ личнымъ «предубѣжденіемъ», но опираясь на здравый смыслъ и эстетическое чувство нашихъ читателей и такимъ образомъ на себя, а имъ представляя право суда.

Марлинскій принадлежитъ къ числу тѣхъ литераторовъ, которые явились на литературное поприще какъ враги классицизма и поборники романтизма. Вслѣдствіе этого онъ дѣйствовалъ не только какъ романистъ или нуевелистъ, но и какъ критикъ. Въ XI части его «сочиненій» помѣщены его годовые отчеты за литературу 1823, 1824 и частью 1825 годовъ, очеркъ исторіи древней и новой литературы до 1825 года и разборъ романа Полевого «Клятва при Гробѣ Господнемъ». Не знаемъ почему, но только эти статьи въ полномъ собраніи сочиненій Марлинскаго названы полемическими, тогда какъ въ нихъ нѣтъ и тѣни полемики: въ нихъ авторъ ни на кого не нападаетъ и ни съ кѣмъ не споритъ, а положительно высказываетъ свои понятія о литературѣ вообще и произведеніяхъ отечественной словесности. Равнымъ образомъ не понимаемъ, почему въ это полное собраніе не внесены истинно-полемическія статьи Марлинскаго, разсѣяныя по книжкамъ «Сына Отечества» двадцатыхъ годовъ, и крайне интересныя, какъ факты интереснѣйшаго времени нашей литературы, — времени, въ которое началась война покойника классицизма съ теперешнимъ покойникомъ романтизмомъ. Эти полемическія статьи Марлинскаго были его журнальными схватками съ тогдашними литературными старовѣрами, отличающагося вѣрностью взгляда на предметы, остроуміемъ и живостью. Вообще Марлинскому, какъ критику, литература наша многимъ обязана. Это было важной заслугой съ его стороны, заслугой, которая теперь забыта самими его поклонниками и которую намъ тѣмъ пріятнѣе выставить на видъ. Въ своихъ годовыхъ и полугодовыхъ обзорѣхъ литературы, имѣвшихъ въ двадцатыхъ годахъ такой успѣхъ, Марлинскій не отличается глу-

бокимъ взглядомъ на искусство, не представляетъ о немъ ни одной глубокой идеи, но почти вездѣ обнаруживаетъ эстетическое чувство и вѣрный вкусъ человѣка умнаго и образованнаго. Всѣ они отличаются языкомъ по тому времени совершенно новымъ, чуждымъ, большей частью, изысканности и вычурности, полнымъ жизни, движенія, выразительности, оборотами новыми и смѣлыми, игривыми, живописными, образными. Конечно въ этихъ «обзорѣхъ» часто встрѣчаются похвалы такимъ сочиненіямъ и такимъ «сочинителямъ», имена которыхъ теперь сдѣлались допотопными, ископаемыми рѣдкостями; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ встрѣчаются и чистыя отставки заржавѣвшимъ и заплесневѣвшимъ знаменитостямъ того времени и истинныя оцѣнки старыхъ и новыхъ талантовъ, особенно Державина, Жуковскаго и Пушкина. Надо знать и помнить критику того времени, чтобы оцѣнить подобныя характеристики, въ которыхъ Марлинскій изобразилъ этихъ мощныхъ представителей нашей поэзіи. Вспомните пріѣзствія, которыми онъ, на примѣръ, встрѣтилъ появленіе «Московского Телеграфа» и которыми, въ немногихъ словахъ, такъ рѣзко и вѣрно охарактеризовалъ и начало, и средину, и конецъ этого изданія: «Въ Москвѣ явился двухнедѣльный журналъ «Телеграфъ», изд. Полевымъ. Онъ заключаетъ въ себѣ все, извѣщаетъ и судитъ обо всемъ, начиная отъ безконечно-малыхъ въ математикѣ до пѣтушійхъ гребешковъ въ соусѣ, или до бантиковъ на новомодныхъ башмачкахъ. Неровный слогъ, самоувѣренность въ сужденіяхъ, рѣзкій тонъ въ приговорахъ, вездѣ охота учить и частое пристрастіе—вотъ знаки этого Телеграфа, а «смѣлымъ Богъ владѣетъ»—его девизъ» (стр. 203).

Въ критической статьѣ о «Клятвѣ при Гробѣ Господнемъ», Марлинскій является уже совсѣмъ въ другихъ отношеніяхъ къ ея автору. Эта статья была написана въ 1833 году, а въ восемь лѣтъ много воды утекло: удивительно ли, что два автора, критиковавшие сочиненія одинъ другого, поняли другъ друга къ обоюдной пользѣ по пословицѣ: «рука руку моетъ—обѣ чисты»?... Во всякомъ случаѣ эта статья весьма примѣчательна. Критикъ начинается съ яиць Леды, уцѣпляется за неизбѣжный въ то время классицизмъ и романтизмъ, садится на пароходъ Джонъ-Буль и везетъ своихъ читателей въ Индію, оттуда (сухимъ путемъ) въ Персію, заѣзжаетъ мимоходомъ въ Аравію и Египетъ, оттуда ѣдетъ (моремъ) въ Грецію, которую онъ понимаетъ довольно поверхностно—съ телеграфской точки зрѣнія; изъ Греціи отправляется въ Римъ, и изъ Рима—прямо въ средніе вѣка. Тутъ идутъ толки о баронахъ и вассалахъ, о крестовыхъ походахъ, о мене-

стреляхъ, наконецъ о Шекспирѣ, о Вальтерѣ Скоттѣ, Куперѣ, Байронѣ, Викторѣ Гюго, который, по мнѣнію критика, знаетъ человѣческую природу не хуже Шекспира (!!) и гораздо лучше Эсхила и Софокла (!!); далѣе толкуются о XVIII и XIX вѣкахъ и о Наполеонѣ, а изъ всего этого выходитъ, что мы—романтики, и что Полевой—великій романтикъ и еще большій романистъ (!!!). Ложная идея ложнаго романтизма дотого овладѣла нашимъ романтическимъ критикомъ, что у него и Державинъ—романтикъ, и Карамзинъ и Вельтманъ, словомъ, все талантливое, даровитое, все романтики. Романтизмъ въ глазахъ Марлинскаго есть альфа и омега истины, краеугольный камень міра, ключъ ко всякой мудрости, рѣшеніе всего и на землѣ и подъ землею, причина всѣхъ причинъ, начало всѣхъ началъ, разгадка всевозможныхъ загадокъ, отъ бородавки на носу старушки до тайной думы гения. Вслѣдствіе всего этого въ статьѣ довольно софизмовъ и произвольныхъ, ни на чемъ неоснованныхъ мнѣній. Въ слогѣ мѣстами колетъ глаза читателю вычурность. Особенно замѣтно желаніе шутить, которое проявляется иногда тамъ, гдѣ кромѣ журналовъ, издающихся только для шутки, никто еще не шутилъ. Вотъ образчикъ такой натянутой и нисколько не остроумной шутливости: «И вотъ мы въ Греціи, въ странѣ боговъ, подобныхъ людямъ, въ странѣ богоподобныхъ мужей! Я увѣренъ, что этотъ salto mortale не удивитъ васъ: развѣ не учились вы прыгать въ манежѣ? Что касается до меня, вы сами видите, что я вольтижирую на конькѣ своемъ не хуже Франкони сына» (т. XI, стр. 264). И эта неумѣстная и невеселая шутка замѣшалась въ страницу, блестящую дѣльными мыслями и прекраснымъ языкомъ... Или, на примѣръ, какъ вамъ покажется вотъ еще эта милая шуточка: «Исторія была всегда, совершалась всегда. Но она ходила сперва неслышно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, какъ тать (и справедливо, и остроумно!). Она буянила и прежде» и пр. (стр. 254). Но вмѣстѣ съ этими мыслями незрѣлыми, поверхностными и ложными, при этой неострой шутливости, при этихъ вычурныхъ фразахъ, при этомъ явномъ пристрастіи къ пріятельскому издѣлію,—сколько въ этой статьѣ свѣтлыхъ мыслей, вѣрныхъ замѣтокъ, сколько страницъ и мѣстъ, говорящихъ, сіяющихъ, блещущихъ живымъ, увлекательнымъ краснорѣчіемъ, рѣзкими, многозначительными, хотя и краткими очерками, брилліантовымъ языкомъ! сколько истиннаго остроумія, неподдѣльной игривости ума! Такъ напр., сколько правды высказалъ Марлинскій о «Самозванцѣ» и «Петрѣ Выжигинѣ» Булгарина! Въ первомъ, говоритъ онъ, авторъ изобразилъ «Не Русь, а газетную Россію» и «натянуть тамъ, гдѣ дѣло идетъ на чувства,

на сильныя вспышки страстей», что въ немъ «характеръ Годунова очерченъ, характеръ Самозванца не выдержанъ, а государственные люди черезчуръ просты и трусливы»; что авторъ «слишкомъ романтизировалъ похождения своего героя и прибѣгъ къ чудесному, очень уже изношенному, заставилъ колдунью пророчить Годунову самымъ пошлымъ образомъ надъ змѣями и жабами, которыхъ (между нами будь сказано) не найти въ мартѣ мѣсяцѣ ни за какія деньги»; что въ «Петрѣ Выжигинѣ» историческая часть вовсе чахотна; что «увѣрять, что Наполеонъ пошелъ въ Россію, обманутый Коленкуромъ, будто его примутъ съ отверстыми объятіями, можно было въ 1812 году, не позже; да и тогда этимъ слухамъ вѣрили только въ гостиномъ дворѣ»; что «Наполеонъ занимаетъ въ «Выжигинѣ» больше мѣста, чѣмъ самъ герой повѣсти» и пр. (стр. 317 и 318). При вѣрности взгляда, какая удивительная память у критика: онъ не только прочелъ романы Булгарина—даже упомянулъ, о чемъ и какъ въ нихъ разсказывается... Затѣмъ слѣдуютъ очень остроумныя оцѣнки романовъ Загоскина и Лажечникова, которые однакожъ, по признанію къ автору «Клятвы», онъ ставитъ ниже этого разумѣется неконченнаго произведенія. Сколько критическаго такта и вотъ въ этихъ немногихъ словахъ: «Я не поставлю Державина на одну доску съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, потому что первый изумилъ всѣхъ подобно кометѣ, но исчезъ въ пучинѣ воздуха безъ слѣда; а два послѣдніе были двигателями нашей словесности и затѣврили своимъ духомъ цѣлыя табуны подражателей» (стр. 310)! Посмотрите, сколько вѣрности во взглядѣ и игривости въ выраженіи въ этомъ краткомъ очеркѣ французскаго классицизма: «Зажмурьте глаза, и вы не узнаете, кто говоритъ: Оросманъ или Альзира, китайская сирота, или каммеръ-юнкеръ Людовика XIV. Малютку природу, которая имѣла несправимое несчастье не быть дворянкой—по приговору академіи выпроводили за заставу, какъ потаскушку. А здравый смыслъ, точно бѣдный проситель, съ трепетомъ держался за ручку дверей, между тѣмъ какъ швейцаръ классикъ павлинился передъ нимъ своей ливреей и переважно говорилъ ему: приди завтра! И какъ долго не пришло это завтра, а все оттого, что французы нашли Божій свѣтъ слишкомъ площаднымъ для себя, а живой разговоръ слишкомъ простонароднымъ, и вздумали украшать природу, облагородить, установить языкъ! И стали нелѣпы оттого, что черезчуръ умничали» (стр. 263). Это было сказано и доказано назадъ тому семь лѣтъ, а между тѣмъ люди, живущіе заднимъ умомъ, по уставу того времени, когда даже и они слыли за умниковъ, и теперь приходятъ въ ужасъ отъ выраженія, что Корнель, Расинъ,

Буало, Вольтеръ, Кребийльонъ, Дюсисъ и пр.— поэтическіе уроды!.. Хотя бы Марлинскаго-то перечитывали эти почтенные филистеры въ плисовых сапогахъ и вязаныхъ колпакахъ!.. Чтобы помочь слабости ихъ памяти и другихъ способностей, выпишемъ для нихъ и еще нѣсколько строкъ изъ этой статьи Марлинскаго: «Ломая алтари, Франція не тронула точеныхъ ходулей классицизма; она отеклась отъ вѣры и осталась вѣрна преданіямъ Баттё, стихамъ Делиля, такъ что, когда русскій казакъ съѣлъ на даровое мѣсто въ Одеонѣ, въ 1814 году, онъ зѣвалъ отъ тѣхъ же длинныхъ, длинныхъ монологовъ, отъ которыхъ зѣвать извоили Людовикъ XIV, съ той только разницей, что революціонеръ Тальма осмѣлился не пѣть, а говорить стихи, проглатывать цезуры и ходить по человѣчески, а не гусинымъ шагомъ» (стр. 296). Сколько вѣрности во взглядѣ и игривости въ выраженіи вотъ и въ этой характеристикѣ одной части русскаго народа. «Матеріальная Европа хлынула на Россію, когда Петръ Великій сломалъ стѣну, ихъ дѣлившую; но вѣку Петра некогда было заниматься словесностью: его поэзія проявлялась въ подвигахъ, не въ словахъ. Долгое бездѣйствіе пало на Русь съ кончиной его кипучей дѣятельности, а въ часъ досуга русскій баринъ любилъ чужестранныя сказки; онъ искони отличался необыкновенной уступчивостью своихъ нравовъ, необыкновенной пріемлемостью чужихъ. Онъ пилъ кумысъ съ ханами Золотой орды; онъ носилъ контушъ при самозванцѣ. За бороду, правда, онъ спорилъ долго, будто бы она приросла у него къ сердцу; но разъ въ мундирѣ, онъ грудью полѣзъ въ вѣмцы» (стр. 299—300). Отъ страницы 323 до 335 авторъ съ неподражаемою оригинальностью, слѣдовательно и вѣрно, говоритъ о національныхъ элементахъ русскаго романа, о родныхъ стихіяхъ жизни русскаго народа, у котораго, по его словамъ: «каждое слово завиткомъ и послѣдняя копѣйка ребромъ». При оцѣнкѣ самаго романа, занимающей едва ли десятую часть статьи, критикъ, по всему видно, болѣе руководился личными отношеніями къ автору-пріятелю, чѣмъ истиной, и потому въ этой длинной и скучной повѣсти видитъ мировое, или, говоря его понятіями, романтическое произведеніе. Еще не приступая къ оцѣнкѣ романа Полевого, онъ оцѣнилъ его недоконченную «Исторію Русскаго Народа». Какъ рѣдкій образецъ пріятельской критики, выпишемъ эту диковинную оцѣнку: «Полевой издалъ 3 тома своей «Исторіи Русскаго Народа». То уже не былъ златопернатый рассказъ Карамзина, но повѣствованіе пернатое свѣтлыми идеями (ужъ подлинно—свѣтлыми: отъ блеска ихъ часто и смысла не видишь!..). Не изъ толпы и не съ приходской колокольни (а вѣрно съ телеграфской каланчи?..) смотрѣлъ

онъ на торжественный ходъ вѣковъ, но съ выси горъ (а!...). Взоръ его проникалъ въ сердце народовъ, обнималъ все ристалище челоуѣчества» и проч. Но еще не этимъ оканчивается пріятельская критика— послушайте далѣе: «Полевой отвѣчалъ новыми услугами за новыя насмѣшки. Ему вспало на умъ: до-сказать русскую исторію—повѣстью... Вслѣдствіе этого онъ написалъ сперва повѣсть «Симеонъ Кирдяпа», и теперь—«Клятву при Гробѣ Господнемъ, русскую быль XV вѣка...» Эврика! Эврика! Вотъ открытіе-то! новое, важное открытіе! Вѣдь недоконченная «Исторія Русскаго Народа» Полевого докончена: «Симеонъ Кирдяпа» и «Клятва при Гробѣ Господнемъ» суть не что иное, какъ ея послѣдніе томы,—тѣ самые, которые были обѣщаны публикѣ нашимъ историкомъ, въ числѣ восемнадцати, но которые впрочемъ продавались отдѣльно!.. Господа подписчики на восемнадцать томовъ «Исторіи Русскаго Народа», получившіе ея только семь томовъ, купите «Клятву при Гробѣ Господнемъ», выдерите изъ «Телеграфа» «Симеона Кирдяпу», да и переплетите ихъ подъ одинъ переплетъ съ семью томами исторіи— вотъ вы и съ концомъ... Не покуситесь: «Клятва» стоитъ не дорого—гораздо дешевле «Исторіи Русскаго Народа», за которую вы или отцы ваши заплатили впередъ деньги!..

Но наша оцѣнка Марлинскаго, какъ критика, кончена. Выведемъ итогъ изъ всего сказаннаго нами,—а мы, какъ читатели сами могутъ видѣть, говорили не мнѣніями, а фактами и, выставя на видъ ошибки и пристрастіе, не скрывали отъ нихъ, а прямо выставили на видъ блестящія истинныя стороны разбираемаго нами автора. Оставляя въ сторонѣ ложность или поверхность многихъ мыслей, заключающихся въ неизбежныхъ условіяхъ времени,—мы не будемъ обвинять за нихъ Марлинскаго, тѣмъ болѣе, что ни самъ онъ и никто другой не думалъ выдавать ихъ за непреложныя; пройдемъ молчаніемъ неудачныя и неумѣстныя претензіи на остроуміе и оригинальность выраженія; но скажемъ, что многія свѣтлыя мысли, часто обнаруживающееся вѣрное чувство изящнаго, и все это, высказанное живо, пламенно, увлекательно, оригинально и остроумно,—составляютъ неотъемлемую и важную заслугу Марлинскаго русской литературѣ и литературному образованію русскаго общества. Не забудемъ также, что онъ былъ первый, сказавшій въ нашей литературѣ много новаго, такъ что все, писавшееся потомъ въ «Телеграфѣ», было повтореніемъ уже сказаннаго имъ въ его литературныхъ обзорѣняхъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служить его примѣчательная и, — несмотря на отсутствіе внутренней связи и послѣдовательности, на неумѣстность толковъ о

всякой всячинѣ, нейдущей къ дѣлу, несмотря на множество софизмовъ и явное пристрастіе, — прекрасная статья о «Клятвѣ при Гробѣ Господнемъ»; «Телеграфъ» во все время своего существованія ни на одну ноту не сказалъ больше сказаннаго Марлинскимъ и только развѣ отсталъ отъ него, обратившись къ устарѣвшимъ мнѣніямъ, которыя прежде самъ преслѣдовалъ. Да, Марлинскій немного дѣйствовалъ какъ критикъ, но много сдѣлалъ, — его заслуги въ этомъ отношеніи незабвенны и гораздо существеннѣе, чѣмъ достоинство его препрославленныхъ повѣстей, хотя о первыхъ никто не говоритъ, а отъ послѣднихъ всѣ безъ ума. — Перейдемъ же къ этимъ повѣстямъ...

Художественны ли повѣсти Марлинскаго, т.-е. принадлежатъ ли онѣ къ произведеніямъ искусства, или только къ произведеніямъ литературы? Надобно напередъ сказать, что мы полагаемъ большую разность не только между художественнымъ и литературнымъ произведеніемъ, но и художественнымъ и поэтическимъ: литературное произведеніе можетъ быть и поэтическимъ, а поэтическое — и художественнымъ; но есть произведенія литературы, которыхъ нельзя назвать ни поэтическими, ни художественными. Вѣдь и «Танька, разбойница растокинская, или Царскіе Терема» и «Черная Женщина», и разныя «поѣздки» и «прогулки», и — «Похожденіе англійскаго Милорда» и «Похожденіе Совѣстскаго большаго носа» — все это безъ всякаго сомнѣнія принадлежитъ къ литературѣ, но не имѣетъ никакого отношенія къ искусству. Мы не будемъ ни опредѣлять значенія слова «художественность», ни подробно разсматривать его, а въ короткихъ словахъ опишемъ признаки «художественности».

Художественное произведеніе рѣдко поражаетъ душу читателя сильнымъ впечатлѣніемъ съ перваго раза; чаще оно требуетъ, чтобы въ него постепенно вглядывались и вдумывались; оно открывается не вдругъ, такъ что чѣмъ больше его перечитываешь, тѣмъ дальше углубляешься въ его организацію; уловяешь новыя, незамѣченныя прежде черты, открываешь новыя красоты и тѣмъ больше ими наслаждаешься. Прогрессу этого разумѣнія и наслажденія нѣтъ предѣловъ, нѣтъ границъ: онъ безконеченъ... Поэтому истинно-художественное недоступно массѣ и толпѣ, какъ все, что ей не по плечу: оно доступно только немногимъ, но избраннымъ, — и когда время сдѣлаетъ свое дѣло, утвердительно рѣшивъ вопросъ о великости художника, толпа съ голоса этихъ избранныхъ кричитъ о его гениальности, но понимаетъ его такъ же плохо, какъ и при его появленіи... Кто теперь не убѣжденъ въ громадности гения Шекспира, и много ли людей предпочтутъ его драму какому-нибудь *водевилу*, или пустой ничтожной мело-

драмѣ, спитой изъ чувствительныхъ эффектовъ?.. Когда Пушкинъ явился въ свѣтъ съ «Русланомъ и Людмилой», «Кавказскимъ Пльникомъ», первой главой «Онѣгина», съ «Андреемъ Шенъе», «Наполеономъ», посланіемъ къ «Овидію», къ «Лицинію» и другими дѣйствительно поэтическими, но не художественными произведеніями, — масса публики увидѣла въ немъ гения первой величины, а когда онъ представилъ ей «Полтаву», «Бориса Годунова» и «Онѣгина», какъ цѣлое художественное созданіе, а уже не сказку о томъ и семъ, — масса публики рѣшила, что Пушкинъ палъ... И между первыми его произведеніями, дѣйствительно поэтическими, доставившими ему такой огромный успѣхъ, многіе ли и теперь еще замѣтили и оцѣнили его истинно художественныя подражанія древнимъ и Корану?.. Все, что нехудожественно, но по намѣренію автора должно относиться къ искусству, съ перваго раза производитъ самое рѣзкое и сильное впечатлѣніе, бросающъ въ глаза и раздражая зрительный нервъ густотой и яркостью красокъ. Такія мнимохудожественныя произведенія скорѣе всего захватываютъ вниманіе массъ, увлекая ихъ своей доступностью, которая возможна даже для ограниченности и невѣжества. Все рѣзкое, блестящее, особенно если оно къ тому же и ново, хотя бы было и странно, и дико-оригинально, имѣетъ при своемъ началѣ великій успѣхъ въ толпѣ и часто увлекаетъ даже и людей съ эстетическимъ чувствомъ, но чувствомъ, невозвысившимся чрезъ развитіе, чрезъ изученіе до эстетическаго вкуса. Однакожь, рано или поздно, истина всегда беретъ свое: ей помогаетъ время, этотъ великій и непогрѣшительный критикъ. Если у человѣка есть хоть нѣсколько эстетическаго чувства — произведеніе, восхищавшее его, при каждомъ повторительномъ чтеніи все болѣе и болѣе теряетъ цѣну въ глазахъ его и, наконецъ, наскучаетъ ему и дѣлается противно. Сама толпа приглядывается къ нему — и лишь только явится ей другая новостъ въ этомъ родѣ, она сперва по привычкѣ и по преданію будетъ еще зѣвая превозносить его, а потомъ и совсѣмъ забудетъ, кинувшись на новинку. Итакъ, художественное произведеніе открывается не вдругъ, а постепенно: чѣмъ болѣе его читаютъ, тѣмъ понятнѣе оно становится, и тѣмъ больше наслажденія доставляетъ, выигрывая такимъ образомъ съ теченіемъ времени, обновляясь и юнѣя отъ полноты лѣтъ, — между тѣмъ какъ мнимо-художественныя произведенія, часто ослѣпляя своей новостью и приобретаая отъ этого всеобщій громкій успѣхъ, все болѣе и болѣе блѣднѣютъ и тускнутъ отъ каждаго новаго чтенія и, наконецъ, гибнутъ отъ старости, которую обыкновенно называютъ устарѣlostью. Вѣчность выносить на своихъ волнахъ только

одно обще-мировое и обще-человѣческое, никогда не преходящее, но вѣчно юное, и топить въ бездонной пропасти своей все частное и ограниченное условіями обстоятельствъ и требованіями мѣстности и современности...

Истинно-художественное произведеніе всегда поражаетъ читателя своей истиной, естественностью, вѣрностью, дѣйствительностью до того, что, читая его, вы бессознательно, но глубоко убѣждены, что все, рассказываемое или представляемое въ немъ, происходило именно такъ и совершилось иначе никакъ не могло. Когда вы его окончите — изображенные въ немъ лица стоятъ передъ вами какъ живыя, во весь ростъ, со всѣми малѣйшими своими особенностями — съ лицомъ, съ голосомъ, съ поступью, съ своимъ образомъ мышленія; они навсегда и неизгладимо впечатлѣваются въ вашей памяти, такъ что вы никогда уже не забудете ихъ. Цѣлое пшесы обхватываетъ все существо ваше, проникаетъ его насквозь, а частности ея памятны и живы для васъ только по отношенію къ цѣлому. И чѣмъ больше читаете вы такое художественное созданіе, тѣмъ глубже, ближе и неразрывнѣе совершается въ васъ внутреннее и душевное освоеніе и сдруженіе съ нимъ. Простота есть необходимое условіе художественнаго произведенія, по своей сущности отрицающее всякое внѣшнее украшеніе, всякую изысканность. Простота есть красота истины, — и художественныя произведенія сильны ею, тогда какъ мнимо-художественныя часто гибнутъ отъ нея и потому по необходимости прибѣгаютъ къ изысканности, запутанности и необыкновенности. Оттого-то, когда пылкій юноша прочтетъ художественное произведеніе, — онъ готовъ спросить себя: «почему онъ не написалъ его? Вѣдь оно такъ просто и обыкновенно: кажется, только стоило бы присѣсть да написать», — но мнимо-художественныя произведенія почти всегда съ перваго раза возбуждаютъ удивленіе: они кажутся такъ поразительно новы, такъ неподражаемо оригинальны, такъ высоко мудрены, — и юная, неопытная душа не смѣетъ и думать рѣшиться на подвигъ соперничества и съ суевѣрнымъ благоговѣніемъ смиряется въ сознаніи своего безсилія проивзвести что-нибудь подобное... Вотъ почему устарѣвшіе юноши или духовно-малолѣтніе люди, вслѣдствіе бѣдности, мелкости и ограниченности своей натуры, къ тому же еще неразвитой ученіемъ и образованіемъ, видятъ, наприимѣръ, въ Гоголѣ «забавнаго писателя, вѣрно списывающаго съ натуры», и какъ будто ставятъ ему это въ униженіе. Добрые люди, — они не понимаютъ, что вѣрно списывать съ дѣйствительности невозможно, но можно вѣрно воспроизводить дѣйствительность силой творческаго духа, а то, что они называютъ на своемъ простонародномъ нарѣчій — «вѣрно списывать съ натуры», значитъ

вѣрно творить, и есть не недостатокъ, не порокъ, а высшее достоинство и необходимое условіе творческой силы въ поэтѣ. Въ искусствѣ все невѣрное дѣйствительности есть ложь и обличаетъ не талантъ, а бездарность. Искусство есть выраженіе истины, и только одна дѣйствительность есть высочайшая истина, а все внѣ ея, т.-е. всякая выдуманная какимъ-нибудь «сочинителемъ» дѣйствительность есть ложь и клевета на истину... Въ истинно-художественномъ произведеніи всѣ образы новы, оригинальны, ни одинъ не повторяетъ другого, но каждый живетъ своей особой жизнью. Какъ бы ни были многочисленны и разнообразны творенія художника, — онъ ни въ одномъ изъ нихъ и ни одной чертой не повторитъ себя.

Разсмотрите повѣсти Марлинскаго на основаніи изложенныхъ нами мыслей о художественности въ искусствѣ: что выйдетъ?...

Основные стихіи повѣстей Марлинскаго, приписываемыя имъ общимъ голосомъ, суть — народность, остроуміе и живопись трагическихъ страстей и положеній. Посмотримъ, справедливо ли это, и если справедливо, то до какой степени. Начнемъ съ «Испытанія» — первой повѣсти въ первомъ томѣ, и перелистнемъ ее. Повѣсть начинается описаніемъ гусарской пирушки на именинахъ эскадронаго начальника Гремина. Разговоръ началъ «томиться», и смѣхъ, «эта клеопатрина жемчужина, растаявъ въ бокалахъ». Изъ гостей, майоръ Стрѣлинскій завтра ѣдетъ въ Петербургъ, — хозяинъ вызываетъ его на тайное объясненіе и дѣлаетъ ему порученіе, по смыслу котораго названа и повѣсть.

— Послушай, Валеріанъ! — сказалъ ему Греминъ: ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму съ золотыми колосьями на головѣ, которая свела съ ума всю молодежь на балѣ у французскаго посланника три года тому назадъ, когда мы оба служили въ гвардіи.

— Я скорѣ забуду, съ которой стороны садиться на лошади! — вспыхнувъ, отвѣчалъ Стрѣлинскій; — она... но дайте: ты былъ влюбленъ въ нее?

— Былъ и есть... мы отвѣчали взаимностью, меня ввели въ домъ ея мужа...

— Такъ она замужемъ?

— По несчастію, да. *Расчетливостъ родныхъ приковала ее къ живому трупу, къ ветхому надгробію челоѣческаго и графскаго достоинства.* Надо было покориться судьбѣ, и *питаться искрами влзидовъ и дымомъ надежды.* Но между тѣмъ какъ мы вадыхали, семидесятилѣтній супругъ кашлялъ — и, наконецъ, врачи посовѣтовали ему ѣхать за границу... Старикъ взялъ ее съ собой... При разлукѣ мы были неутѣшны и помѣнялись, какъ водится, кольцами и обѣтами неизмѣнной вѣрности. Съ первой станціи она писала ко мнѣ дважды; съ третьяго ночлега еще одно письмо; съ границы поручила одному встрѣчному знакомцу мнѣ кланяться; а съ тѣхъ поръ ни отъ ней, ни объ ней никакого извѣстія, словно въ воду канула!

— Ужели жъ ты не писалъ къ ней? безъ глупостей на письмѣ и на дѣлѣ что разводъ безъ музыки; бумага ~~и~~

— Да я-то не терплю бумаги. При томъ, куда бы мнѣ адресовать свои брандскугельныя посланія? *Витеръ плохой проводникъ для нѣжности, а животный магнетизмъ не открылъ мнѣ мѣста ея процѣлканія.* Потомъ инныя заботы по службѣ и своимъ дѣламъ не давали мнѣ досуга заняться сердцемъ. Признаюсь тебѣ, я ужъ сталъ было забывать мою прекрасную Алину. *Время заливаетъ даже ядовитыя раны ненависти:* мудрено ли жъ ему выдѣлать фосфорное пламя любви? Но вчерашняя почта освѣжила вдругъ мою страсть и надежды. *Репетиторъ,* въ числѣ столичныхъ новостей, пишетъ мнѣ, что Алина возвратилась изъ-за границы въ Петербургъ — *мила, какъ сердце, и умна, какъ сѣтъ,* — что она *сверкаетъ зѣмдой на модномъ горизонтѣ,* что уже дамы, несмотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манеръ ридикюля, а мужчины выучились пришепетывать, страхъ какъ приятно...

— Тамъ хуже для тебя, любезный Николай! Память прежней привязанности никогда не бывала въ числѣ карманныхъ добродѣтелей у бабонницъ большого свѣта.

— Въ этомъ-то все и дѣло, любезнѣйшій! Отлучка полкового командира привязала меня къ службѣ; между тѣмъ какъ я сажу здѣсь сиднемъ, она, можетъ, измѣняетъ мнѣ. Сомнѣніе для меня тяжелѣе самой неблагопріятной извѣстности. Послушай, Валеріанъ! я тебя знаю давно, и люблю тебя такъ же давно, какъ знаю. Коротко и просто: *испытай вѣрность Алины.*

А, вотъ въ чемъ дѣло, и вотъ что значить — «испытаніе»! Разумѣется, Стрѣлинскій отговаривается, и, наконецъ, соглашается и ѣдетъ. Разумѣется, что Стрѣлинскій знакомится съ Алиной Александровной Звѣздичъ, сначала волочитъ за ней по порученью друга, потомъ влюбляется въ нее по уши, самой высокой платонической страстью, равно какъ и она въ него. Разумѣется, Греминъ приходитъ въ бѣшенство, узнавъ о ихъ близкой свадьбѣ, пріѣзжаетъ, объясняется съ нимъ; они говорятъ другъ другу оскорбительныя острооты и условливаются о мѣстѣ рокового поединка. Разумѣется, что Греминъ, пріѣхавъ на объясненіе къ Стрѣлинскому, увидѣлъ его «прелестную» и «невинную» сестру, которой онъ посылалъ съ братомъ поклонъ въ своемъ дружескомъ съ нимъ разговорѣ, невыписанномъ нами до конца длинноты его ради. Разумѣется, Греминъ влюбился въ нее, а она влюбилась въ него, смекнула о дуэли и, какъ ангелъ-примиритель, во время явилась на мѣсто поединка, — и повѣсть заключилась двумя свадьбами. Въ произведеніяхъ такого рода по началу можно знать и середину, и конецъ, потому что въ такихъ произведеніяхъ все — общія мѣста и истергивы пружины. И такъ оставимъ въ сторонѣ подробный разборъ повѣсти и вмѣсто его сдѣлаемъ читателю нѣсколько вопросовъ.

Выписанное нами изъ повѣсти мѣсто есть введеніе въ повѣсть: авторъ васъ знакомить съ ея дѣйствующими лицами, и ихъ разговоромъ завязываетъ интригу повѣсти. Спрашиваемъ: если Стрѣлинскій былъ задушевымъ другомъ Гремину, такъ что тотъ почиталъ

себя въ правѣ сдѣлать ему такое порученіе, то зачѣмъ же онъ въ самую минуту порученія сталъ рассказывать ему о своей любви? Неужели его другъ не зналъ о ней прежде? Да для того, отвѣчаемъ мы же сами, — чтобы читатели узнали въ чемъ дѣло; только въ художественныхъ созданіяхъ лица знакомятъ себя читателю дѣйствіемъ, а не рассказами о себѣ въ родѣ слѣдующихъ: «характеръ у меня такой-то, отъ рода имѣю столько-то лѣтъ, влюбленъ въ такую-то, и вотъ какъ это случилось». Спрашиваемъ: каково бы ни было чувство мужчины, если только въ немъ чело-вѣческая душа и чело-вѣческое сердце, — во всякомъ случаѣ не должно ли въ его чувствѣ непременно быть хотя сколько-нибудь этого дѣвственнаго цѣломудрія, вслѣдствіе уваженія и къ себѣ, и къ достоинству женщины, — этого дѣвственнаго цѣломудрія, которое открываетъ свою задушевную тайну нехотя, робко, говорить о ней не прямо, а какъ бы намеками, не многословно, а отрывисто, не громко, а тихо, какъ бы боясь, чтобы его не подслушали самыя стѣны? Такъ ли объяснялся объ этомъ щекотливомъ предметѣ Греминъ?.. Боже мой, сколько въ его словахъ претензій на остроуміе, которое отъ этого самаго такъ натянута! И это ли языкъ чувства, весь склеенный изъ азбучныхъ афоризмовъ, ходлихъ сентенцій и остроотъ, вычитанныхъ изъ плохихъ романовъ! Какая въ разговорѣ Гремينا безсердечность, холодность! Какое отсутствіе всякой естественности! И что похожего на истину въ самомъ порученіи! Оно гораздо приличнѣе школьникамъ, недавно вышедшимъ изъ пансіона, чѣмъ удалымъ и храбрымъ гусарамъ. Когда вы прочитываете этотъ разговоръ, — западетъ ли вамъ въ душу хотя одно слово изъ него? остается ли въ вашей памяти хотя одна черта этихъ двухъ безличныхъ лицъ и безхарактерныхъ характеровъ?

А подробности, а краски повѣсти?.. У насъ нѣтъ ни мѣста, ни времени, ни охоты выписывать, напримѣръ, остроумное описаніе Сѣнной площади наканунѣ Рождества, гдѣ «опи-паннные гуси, забывъ капитолійскую гордость, славно выглядываютъ изъ воевъ, ожидая покупателя, чтобы у него погрѣться на вертелѣ; цѣлыя племена свиней всѣхъ поколѣвій, на всѣхъ четырехъ ногахъ, съ загнутыми хвостиками, впервые послушныя дисциплинѣ, стройными рядами ждуть ключницъ и дворецкихъ, чтобы у нихъ на запяткахъ совершить смиренный визитъ на поварню, и, кажется, съ гордостью любуютъ своей бѣлизной, говорить вамъ: «я разительный примѣръ усовершенствованности природы: бывъ до смерти упрямъ и неопытностью, становлюсь эмблемой вкуса и чистоты, заслуживаю лавры на свои окорока, сохраняю платья вашимъ модникамъ и зубы вашимъ красавицамъ» и прочее, и прочее.

Все въ такомъ же родѣ — и о простосердечномъ баранѣ — «этой четвероногой идилліи», и объ эгоистахъ телятахъ и т. д.; перечтите сами и потомъ сами себѣ отдайте отчетъ, до какой степени все это замысловато, игриво, мило и смѣшно. Перечитывать и отдавать себѣ отчетъ въ перечитанномъ очень полезно: это избавляетъ отъ многихъ убѣжденій, составленныхъ по первому впечатлѣнію, рѣдко истинныхъ и поддерживаемыхъ привычкой, памятью, авторитетомъ, общимъ говоромъ. И потому советуемъ вамъ и просимъ васъ повнимательнѣе заглянуть въ «Испытаніе» отъ 24 до 46 страницъ, чтобы спросить самихъ себя, до какой степени описанный въ нихъ разговоръ въ маскарадѣ свѣтской женщины съ свѣтскимъ мужчиною отличается «свѣтскостью», и не выхваченъ ли онъ изъ того кружка общества, котораго свѣтскость есть болѣе или менѣе неудачное подражаніе «свѣтскости»?..

Конечно любезность близко граничитъ съ свѣтскостью, но ужъ вѣроятно любезность легкая и вдохновенная, какъ импровизація, простая, естественная, какъ салонный разговоръ, а не книжная, не взятая цѣликомъ напрокатъ изъ общихъ мѣстъ плохого романа. Есть разница между пѣхотнымъ прапорщикомъ-мечтателемъ, который слыветъ въ извѣстномъ кружкѣ общества за образованнаго и начитаннаго кавалера и говоритъ барышнямъ любезности, взятые напрокатъ изъ повѣстей Марлинскаго, и между блестящимъ гусаромъ, принадлежащимъ къ высшему кругу общества... А какъ вамъ покажутся подобныя фразы: «разговоръ склонился на летучія новости, которыми всегда испещрена столичная атмосфера»; «амуръ былъ настройщикомъ этого лада»; «между тѣмъ очи обонхъ вели столь сильный перекрестный огонь, что онъ не только имъ, но и постороннимъ могъ казаться потѣшнымъ» (дѣйствительно потѣшенъ); «возвратить улытку разговора на...».

Не знаю, какъ для васъ, — у всякаго свой вкусъ, — но для меня нѣтъ ничего въ мірѣ несноснѣе, какъ читать въ повѣсти или драмѣ, вмѣсто разговора — рѣчи, изъ которыхъ спивались поэтическими уродами классическія трагедіи. Поэтъ берется изображать мнѣ людей не на трибунѣ, не на каедрѣ, а въ домашнемъ быту ихъ частной жизни, передаетъ мнѣ разговоры, подслушанные имъ у нихъ въ комнатѣ, разговоры, часто оживляемые страстью, которая можетъ измѣнять и самый разговорный языкъ, но которая ни на минуту не должна лишать его разговорности и дѣлать тирадами изъ книгъ, — и я, вмѣсто этого, читаю рѣчи, составленные по правиламъ старинныхъ риторикъ. Согласитесь, что это просто невыносимо, и перечтите въ «Испытаніи» стран. 73—74 и 121—124: въ первомъ мѣстѣ, молоденькая пансіонерка по книжному раз-

суждаетъ о Генрихѣ IV, «отцѣ и другѣ своихъ подданныхъ», и о Петрѣ Великомъ, «скромномъ въ счастья и непоколебимомъ въ бѣдѣ» — только видно, что она еще не успѣла забыть «Всеобщей Исторіи» Кайданова! а во второмъ просто является героиней Расиновской трагедіи. Послушайте: «Но знайте, князь Греминъ, если рѣчь правды и природы недоступна душамъ, воспитаннымъ кровавыми предразсудками, — то вы не иначе достигнете до моего брата, какъ сквозь это сердце: не пожалѣвъ славы, я не пожалѣю жизни!» Скажите, Бога ради, кто, когда и гдѣ говорить такимъ языкомъ? неужели эта натура, дѣйствительность?..

Итакъ, ни характеровъ, ни лицъ, ни образовъ, ни истинны положеній, ни правдоподобія въ интригѣ, — а между тѣмъ все-таки просвѣчиваетъ какой-то талантъ разсказа, иногда большое умѣнье блеснуть эффектомъ, и сказка въ первый разъ читается до конца, хотя и съ пропусками растянутыхъ мѣстъ и неидущихъ къ дѣлу вставокъ. Что жъ? — и то хорошо:

Для сказки и того довольно,
Коль слушаютъ ее безъ скуки, добровольно!

Перейдемъ отъ «Испытанія» къ «Фрегатѣ Надеждѣ» — повѣсти, пользующейся особенно знаменитостью и славой и написанной гораздо съ большими претензіями на глубину и силу изображенныхъ въ ней страстей. Княгиня Вѣра*** пишетъ письма къ своей родственницѣ въ Москвѣ, письма совершенно пансіонскія, безпрестанно блестящія фразами въ родѣ слѣдующихъ: «Я такъ пышно сучала, такъ разсѣяннo грустила, такъ неистово радовалась, что ты бы сочла меня за отаиянку на парижскомъ балѣ», «вздутъ сравненіе до гиперболы»; «вплетать въ гирлянду разсказа кой-какіе вопросы» и пр. Дѣло, какъ извѣстно всему читающему русскому міру, въ томъ, что Вѣра*** увидѣла на фрегатѣ «Надежда» очень интереснаго капитана, котораго «одно слово, одинъ взглядъ двигали громаду корабля — эту гениальную мысль, одѣтую въ дубъ и желѣзо, окрыленную полотномъ», и извѣщаетъ о томъ свою пріятельницу, называя ее милочкою, душечкою и другими пансіонскими нѣжностями. Эта княгиня Вѣра*** не имѣетъ и признака того, что называется въ искусствѣ характеромъ. Она родная сестра всѣмъ женскимъ портретамъ, вышедшимъ изъ подъ-однообразнаго пера Марлинскаго. Впрочемъ эта безхарактерность есть общій характеръ всей многочисленной семьи лицъ, выдуманныхъ Марлинскимъ, и мужчинъ, и женщинъ: самъ ихъ сочинитель не могъ бы различить ихъ одно отъ другого даже по именамъ, а угадывать бы развѣ только по платью. Едва-едва можете вы догадаться, что хотѣлъ онъ изобразить въ томъ или другомъ лицѣ, а когда до-

гадаетесь по его описаніямъ (а не изображеніямъ), то удивляетесь неглубокости его взгляда на человѣческую природу, который никогда не проникалъ въ ея глубь, но всегда скользилъ на поверхности, зацѣпляясь только за ея неровности и рѣзкости. Во всѣхъ герояхъ и героиняхъ этого плодovitаго нувеллиста—только резонерство и чувственность, но ни малѣйшей тѣни чувства. Женщины его совершенно чужды того, что должно составлять идею, сущность, ореолъ, кроткое сіяніе ихъ пола; того, въ чемъ заключается и нѣжность, и мягкость ихъ чувства, при самой его глубокости и энергій, при самой даже страстности—и прелесть, и грація ихъ плѣнительныхъ движеній, соединенныя съ благородствомъ и достоинствомъ, которые, даже и беззащитныхъ окружаютъ ихъ хранительнымъ эиромъ благоговѣнія, непонятной робостью и смущеніемъ, смиряющимъ самую дерзость и наглость—словомъ, того, почему женщина есть представительница на землѣ любви и красоты, и безъ чего она—не женщина: въ нихъ нѣтъ такъ называемой нѣмцами женственности (Weiblichkeit). Всѣ мужчины его—какія-то отвлеченныя и безличныя олицетворенія бѣшеныхъ страстей фосфорической натуры, чуждой всякой глубокости, неспособной возвыситься ни до какого чувства... Итакъ, княгиня Вѣра*** ни больше, ни меньше, какъ пансіонерка, рано начитавшаяся романовъ и потому фразерка въ поступкахъ и словахъ своихъ. Перечтите ея письма къ родственницѣ и найдите въ нихъ хотя слабый проблескъ чувства, хотя одну черту женскаго ума и характера. Нѣтъ, вмѣсто всего этого вы увидите сатирическія выходки, натянутыя остроты противъ свѣта, фразы, какъ будто выбранныя изъ ученическихъ упражненій пансіонерки, и ни признака живого трепета юнаго и женственнаго сердца, радостно и весело откликающагося на всякое новое для него явленіе въ прекрасномъ Божьемъ мірѣ. Канониръ упалъ за бортъ въ морѣ... но не бойтесь: его спасетъ храбрый капитанъ, вдохновенный любовью къ княгинѣ Вѣрѣ***, и онъ въ самомъ дѣлѣ бросился и чуть не утонулъ и самъ. Княгиня, какъ и слѣдуетъ героинѣ повѣсти, падаетъ въ обморокъ, и когда открываетъ глаза, передъ ней—онъ... Какая дѣтски-добродушная и притомъ устарѣвшая манера завязывать интригу романа и повѣсти! Но вотъ Правинъ на вечерѣ у княгини. Какъ морякъ, онъ не привыкъ къ свѣту, робокъ и застѣнчивъ: вошедъ въ залу, онъ смутился отъ уставленных на него наглыхъ лорнетовъ; но когда—пишетъ онъ къ своему другу—«хозяйка, привставъ съ дивана, такъ одобительно меня привѣтствовала, что душа моя распрямилась вдругъ... я гордо подіялъ голову, я окинулъ всѣхъ свѣтлымъ окомъ: что значила для меня невзгода (?) всѣхъ пу-

стоцвѣтовъ и пустозвоновъ гостиной, когда я былъ уже облаканъ той, чья единственно ласка дорога мнѣ!» Онъ садится подлѣ княгини, окруженной гостями, и начинаетъ съ ней по книжному резонерствовать о постоянствѣ моряковъ и любви къ отечеству,—и всѣ приходятъ отъ него въ восторгъ, какъ будто салонъ допускаетъ и дѣльные сужденія взрослыхъ людей, не только заученныя наизусть умствованія школьниковъ... Этимъ умнымъ ребенкомъ такъ восхитились, что кто-то назвалъ его морскимъ львомъ, а левъ на свѣтскомъ нарѣчій великое титло; но вдругъ одинъ дипломатъ, думая, что «левъ» не знаетъ по-французски, тогда какъ тотъ только изъ патриотизма говоритъ по-русски, сказалъ почти вслухъ: «Et cette fois il n'est pas si bête qu'il en a l'air»... Тогда нашъ романическій герой «бросилъ пожирающій взглядъ на наглеца, наклонился къ нему и вполголоса произнесъ (а не сказалъ—потому что всѣмъ извѣстно: говорятъ только въ низкомъ слогѣ, а въ высокомъ произносятъ): «Si bon vous semble, mr., nous fairons notre assault d'esprit demain à 10 heures passées. Libre à vous de choisir telle langue qu'il vous plaira—celles de fer et de plomb y comprises. Vous me saurez gré, j'espère, de m'entendre vous dire en cinq langues européennes, que vous êtes un lâche». Итакъ, сперва резонерство, потомъ ссора и, наконецъ—драка; не доставало только за волоса... Прекрасное общество, истинный салонъ... Разумѣется, дипломатъ оказался на дуэли трусомъ, а Правинъ, порисовавшись и попѣтушившись передъ нимъ, оставилъ ему жизнь изъ одного презрѣнія... И вотъ мы уже прочли 73 страницы повѣсти, а повѣсти все еще нѣтъ: это пока только введеніе, растянутое до нельзя неидущими къ дѣлу вставками и разсужденіями. Но главное уже сдѣлано, хотя и слишкомъ поздно: авторъ свелъ своихъ героевъ и поставилъ ихъ на короткую ногу другъ съ другомъ. Правинъ любить, да еще какъ любить! «Океанъ взлелѣялъ и сохранилъ его дѣвственное сердце, какъ многоцѣнную перлу—и его-то за милый взглядъ бросилъ онъ, подобно Клеопатрѣ, въ укусъ страсти!» Вслѣдствіе этого, встрѣтившись съ княгиней въ Эрмитажѣ, онъ имѣлъ съ ней разговоръ столько же длинный, сколько и страстный, «произнесъ» ей нѣсколько витѣватыхъ «рѣчей», изъ которыхъ въ одной сравниваетъ ее съ Грановитой палатой и говоритъ, что онъ будетъ всѣмъ, чѣмъ ни велитъ она ему быть—и поетомъ, и музыкантомъ, и живописцемъ, и героемъ, а въ послѣднемъ случаѣ «сожжетъ ея сердце лучами своей славы» (стр. 122). Затѣмъ они поцѣловались и разстались. И все это длинное дѣйствіе, занимающее восемь страницъ (118—126), было разыграно въ Эрмитажѣ.. Слѣдствіемъ этой правдоподобной

и превосходной сцены было предлинное разсужденіе автора о любви, обнаруживающее его личный взгляд на это чувство. Онъ называетъ платонизмъ (до пошлости изношенное слово!) «милымъ каплуномъ» и «Калліостро», и совѣтуетъ дамамъ и юношамъ не слишкомъ довѣрять ему, чтобъ «не проснуться отъ угарасъ измятымъ чепчикомъ и можетъ быть съ лишнимъ раскаяніемъ» (стр. 129—136). Далѣе на нѣсколькихъ страницахъ слѣдуютъ объясненія автора — почему то и другое въ его повѣсти случилось такъ, какъ случилось. Подобныя объясненія всегда бываютъ утомительны и скучны: они—вѣрное ручательство, что повѣсть не создана, а спита на живую нитку. Въ творествѣ дѣйствіе само за себя говорить и не нуждается въ объясненіяхъ поэта. Въ такой повѣсти или драмѣ говорятъ и дѣйствующія лица, но только не съ читателемъ, а другъ съ другомъ и каждое для самого себя и за самого себя; но тогда-то читатель и понимаетъ ихъ. Прочтите «рѣчь», которую «произнесъ» Правинъ своей Вѣрѣ на цѣлыхъ двухъ страницахъ (148—150), и спросите себя: говорится ли такъ въ дѣйствительности, и для себя, или для читателя продекламировалъ ее герой повѣсти? И есть ли въ этой «рѣчи» хотя одно задушевное выраженіе — отголосокъ взволнованнаго чувства, которое говорило бы чувству? Вотъ нѣсколько строкъ для образчика изъ этой «рѣчи»: «У меня доброе сердце, и можетъ ли быть злобно сердце, полное любовью, любовью къ тебѣ!.. Зато у меня буйная кровь... у меня кровь — жидкій пламень: она бичуетъ змѣями мое воображеніе, она палитъ молніями умъ!.. Я ли виноватъ въ этомъ? Я ли создалъ себя? За каждую каплю твоихъ слезъ я бы готовъ отдать послѣднія песчинки моего бытія, послѣднюю перлу моего счастья! Да, нѣтъ мнѣ отнынѣ счастья! На одной вѣткѣ распустились сердца наши — вмѣстѣ должны бѣ они цвѣсть; но судьба разрываетъ, рознитъ насъ! Пускай же океанъ протечетъ между нами—онъ не зальетъ моей любви, лишь бы ты, ты, сокровище души моей, была невредима отъ этого пожара». Скажите ради самого Бога: неужели эти красивыя щегольскія фразы, эта блестящая риторическая мишура есть отголосокъ чувства, изліяніе страсти, а не выраженіе затаеннаго желанія рисоваться, кокетничать своимъ чувствомъ или своей страстью? И добро бы всѣ эти фразы были въ письмѣ, а то въ разговорѣ, въ монологѣ!..

Правинъ оставилъ передъ бурей свой фрегатъ, чтобы провести ночь въ объятіяхъ любви и наслажденія, а буря страшно разразилась громомъ и молніями и заставила его проговорить такую рѣчь:

«Ты моя! Вѣра моя! Что жъ мнѣ нужды до всего остальнаго—пускай гибнутъ люди, пускай

весь свѣтъ разлетится въ дребезги! Я подыму тебя надъ обломками, и послѣдній вздохъ мой разрѣшится поцѣлуемъ... О, какъ пылки, какъ жгучи твои уста въ эту минуту, очаровательница!.. Знаешь ли, промолвилъ онъ тише, *сверкая и вращая очами, какъ опытный* (какая возмущающая душу и оскорбляющая чувство картина!)—ты должна любить меня, поклоняться мнѣ болѣе, чѣмъ когда-нибудь... знаешь ли, что я богаче теперь Родшильда, самовластнаго англійскаго короля, что я облеченъ въ гибельную силу, какъ судьба?—Да, я могу сорить головами людей по своей прихоти и за каждый твой поцѣлуй платить сотнею жизней — не жидкую враговъ — о, нѣтъ! это можетъ всякій разбойникъ. Это слишкомъ обыкновенно... нѣтъ, говорю тебѣ, я бросаю на вѣтеръ жизнь моихъ товарищей, моихъ друзей и братьевъ, а за нихъ во всякое другое время готовъ бы я источить кровь по каплѣ и изрѣзать сердце въ лоскутки» (стр. 189).

И это поэзія, а не риторика?.. И это вдохновеніе таланта?.. Если хотите, тутъ дѣйствительно есть и поэзія, и талантъ, и вдохновеніе: иначе бы это и не могло такъ нравиться большинству публики; но какая поэзія, какой талантъ, какое вдохновеніе? — вотъ вопросъ! Это поэзія, но поэзія не мысли, а блестящихъ словъ, не чувства, но лихорадочной страсти; это талантъ, но талантъ чисто внѣшній, не изъ мысли создающій образы, а изъ матерій выдѣлывающій красивыя вещи; это вдохновеніе, но не то внутреннее вдохновеніе, которое, неожиданное, безъ воли человѣка, охватываетъ его разумъ внезапнымъ откровеніемъ истины, вдохновеніе тихое и кроткое, широкое и глубокое, какъ море въ ясный и безвѣтренный день,—но вдохновеніе насильственное, мятежное, бурливое, раздражительное, возбужденное волей человѣка, какъ бы отъ приѣма опиума. А между этими вдохновеніями большая разница—такая же, какъ между мелодіей тихаго чувства и ревущими диссонансами страсти, между гармоніей свѣтлаго восторга и нестройнымъ крикомъ буйной вакханаліи, мутнымъ и нечистымъ упоеніемъ сладострастной оргіи... Переполненное чувство безмолвствуетъ и даетъ себя чувствовать немногими, но многозначущими словами, которыя подсказываются вдохновеніемъ. Самая буря страстей выражается не «рѣчами», а открытой рѣчью, похожей на рокотъ грома,—и ревущій потокъ ея отрывистыхъ рѣчей вытекаетъ изъ вдохновенія. Поэтъ можетъ изображать и страсть, потому что она есть явленіе дѣйствительности, но, изображая страсть, поэтъ не долженъ быть въ страсти; страсть должна быть предметомъ его поэтическаго созерцанія въ минуту творчества, но не имъ самимъ. Истинное вдохновеніе всегда спокойно-созерцательно, оно вполне обладаетъ своимъ предметомъ, но не даетъ ему овладѣть собой, хотя и видитъ, и чувствуетъ его. Изображаемое поэтомъ, оно, развѣ овладѣвъ имъ, увлекаетъ его за собою,

гадаетесь по его описаніямъ (а не изображеніямъ), то удивляетесь неглубокости его взгляда на человѣческую природу, который никогда не проникалъ въ ея глубь, но всегда скользилъ на поверхности, зацѣпляясь только за ея неровности и рѣзкости. Во всѣхъ герояхъ и героиняхъ этого плодovitаго нувеллиста — только резонерство и чувственность, но ни малѣйшей тѣни чувства. Женщины его совершенно чужды того, что должно составлять идею, сущность, ореолъ, кроткое сіяніе ихъ пола; того, въ чемъ заключается и нѣжность, и мягкость ихъ чувства, при самой его глубокости и энергіи, при самой даже страстности — и прелесть, и грація ихъ плѣнительныхъ движеній, соединенныя съ благородствомъ и достоинствомъ, которыя, даже и беззащитныхъ окружаютъ ихъ хранительнымъ эиромъ благоговѣнія, непонятной робостью и смущеніемъ, смиряющимъ самую дерзость и наглость — словомъ, того, почему женщина есть представительница на землѣ любви и красоты, и безъ чего она — не женщина: въ нихъ нѣтъ такъ называемой нѣмцами женственности (Weiblichkeit). Всѣ мужчины его — какія-то отвлеченныя и безличныя олицетворенія бѣшеныхъ страстей фосфорической натуры, чуждой всякой глубокости, неспособной возвыситься ни до какого чувства... Итакъ, княгиня Вѣра*** ни больше, ни меньше, какъ пансіонерка, рано начитавшаяся романовъ и потому фразерка въ поступкахъ и словахъ своихъ. Перечтите ея письма къ родственницѣ и найдите въ нихъ хотя слабый проблескъ чувства, хотя одну черту женскаго ума и характера. Нѣтъ, вмѣсто всего этого вы увидите сатирическія выходки, натянутыя остроты противъ свѣта, фразы, какъ будто выбранныя изъ ученическихъ упражненій пансіонерки, и ни признака живого трепета юнаго и женственнаго сердца, радостно и весело откликающагося на всякое новое для него явленіе въ прекрасномъ Божьемъ мірѣ. Каноинръ упалъ за бортъ въ морѣ... но не бойтесь: его спасетъ храбрый капитанъ, вдохновенный любовью къ княгинѣ Вѣрѣ***, и онъ въ самомъ дѣлѣ бросился и чуть не утонулъ и самъ. Княгиня, какъ и слѣдуетъ героинѣ повѣсти, падаетъ въ обморокъ, и когда открываетъ глаза, передъ ней — онъ... Какая дѣтски-добродушная и притомъ устарѣвшая манера завязывать интригу романа и повѣсти! Но вотъ Правинъ на вечерѣ у княгини. Какъ морякъ, онъ не привыкъ къ свѣту, робокъ и застѣнчивъ: вошедъ въ залу, онъ смутился отъ уставленныхъ на него наглыхъ лорнетовъ; но когда — пишетъ онъ къ своему другу — «хозяйка, привставъ съ дивана, такъ одобительно меня привѣтствовала, что душа моя распрямилась вдругъ... я гордо поднималъ голову, я окинулъ всѣхъ свѣтлымъ окомъ: что значила для меня невзгода (?) всѣхъ пу-

стоцвѣтовъ и пустозвоновъ гостиной, когда я былъ уже обласканъ той, чья единственно ласка дорога мнѣ!» Онъ садится подлѣ княгини, окруженной гостями, и начинаетъ съ ней по книжному резонерствовать о постоянствѣ моряковъ и любви къ отечеству, — и всѣ приходятъ отъ него въ восторгъ, какъ будто салонъ допускаетъ и дѣльныя сужденія взрослыхъ людей, не только заученныя наизусть умствованія школьниковъ... Этимъ умнымъ ребенкомъ такъ восхитились, что кто-то назвалъ его морскимъ львомъ, а левъ на свѣтскомъ нарѣчій великое титуло; но вдругъ одинъ дипломатъ, думая, что «левъ» не знаетъ по-французски, тогда какъ тотъ только изъ патриотизма говорить по-русски, сказалъ почти вслухъ: «Et cette fois il n'est pas si bête qu'il en a l'air»... Тогда нашъ романическій герой «бросилъ пожирающій взглядъ на наглеца, наклонился къ нему и вполголоса произнесъ (а не сказалъ — потому что всѣмъ извѣстно: говорятъ только въ низкомъ слогѣ, а въ высокомъ произносятъ): «Si bon vous semble, mr., nous ferons notre assaut d'esprit demain à 10 heures passées. Libre à vous de choisir telle langue qu'il vous plaira — celles de fer et de plomb y comprises. Vous me saurez gré, j'espère, de m'entendre vous dire en cinq langues européennes, que vous êtes un lâche». И такъ, сперва резонерство, потомъ ссора и, наконецъ — драка; не доставало только за волосы... Прекрасное общество, истинный салонъ... Разумѣется, дипломатъ оказался на дуэли трусомъ, а Правинъ, порисовавшись и пофлirtsившись передъ нимъ, оставилъ ему жизнь изъ одного презрѣнія... И вотъ мы уже прочли 73 страницы повѣсти, а повѣсти все еще нѣтъ: это пока только введеніе, растянутое до нельзя неидущими къ дѣлу вставками и разсужденіями. Но главное уже сдѣлано, хотя и слишкомъ поздно: авторъ свелъ своихъ героевъ и поставилъ ихъ на короткую ногу другъ съ другомъ. Правинъ любить, да еще какъ любить! «Океанъ взлелѣялъ и сохранилъ его дѣвственное сердце, какъ многоцѣнную перлу — и его-то за милый взглядъ бросилъ онъ, подобно Клеопатрѣ, въ укусъ страсти!» Вслѣдствіе этого, встрѣтившись съ княгинею въ Эрмитажѣ, онъ имѣлъ съ ней разговоръ столько же длинный, сколько и страстный, «произнесъ» ей нѣсколько витѣватыхъ «рѣчей», изъ которыхъ въ одной сравниваетъ ее съ Грановитой палатой и говоритъ, что онъ будетъ всѣмъ, чѣмъ ни велитъ она ему быть — и поэтомъ, и музыкантомъ, и живописцемъ, и героемъ, а въ послѣднемъ случаѣ «сожжетъ ея сердце лучами своей славы» (стр. 122). Затѣмъ они поцѣловались и разстались. И все это длинное дѣйствіе, занимающее восемь страницъ (118 — 126), было разыграно въ Эрмитажѣ!.. Слѣдствіемъ этой правдоподобной

и превосходной сцены было предлинное разсужденіе автора о любви, обнаруживающее его личный взгляд на это чувство. Онъ называетъ платонизмъ (до пошлости изношенное слово!) «милымъ каплуномъ» и «Калліостро», и совѣтуетъ дамамъ и юношамъ не слишкомъ довѣрять ему, чтобъ «не проснуться отъ угара съ измятымъ чепчикомъ и можетъ быть съ лишнимъ раскаяніемъ» (стр. 129—136). Далѣе на нѣсколькихъ страницахъ слѣдуютъ объясненія автора — почему то и другое въ его повѣсти случилось такъ, какъ случилось. Подобныя объясненія всегда бываютъ утомительны и скучны: они—вѣрное ручательство, что повѣсть не создана, а сшита на живую нитку. Въ творествѣ дѣйствіе само за себя говоритъ и не нуждается въ объясненіяхъ поэта. Въ такой повѣсти или драмѣ говорятъ и дѣйствующія лица, но только не съ читателемъ, а другъ съ другомъ и каждое для самого себя и за самого себя; но тогда-то читатель и понимаетъ ихъ. Прочтите «рѣчь», которую «произнесъ» Правинъ своей Вѣрѣ на цѣлыхъ двухъ страницахъ (148—150), и спросите себя: говорится ли такъ въ дѣйствительности, и для себя, или для читателя продекламировалъ ее герой повѣсти? И есть ли въ этой «рѣчи» хотя одно задушевное выраженіе — отголосокъ взволнованнаго чувства, которое говорило бы чувству? Вотъ нѣсколько строкъ для образчика изъ этой «рѣчи»: «У меня доброе сердце, и можетъ ли быть злобно сердце, полное любовью, любовью къ тебѣ!.. Зато у меня буйная кровь... у меня кровь — жидкій пламень: она бичуетъ змѣями мое воображеніе, она палитъ молніями умъ!.. Я ли виноватъ въ этомъ? Я ли создалъ себя? За каждую каплю твоихъ слезъ я бы готовъ отдать послѣднія песчинки моего бытія, послѣднюю перлу моего счастья! Да, нѣтъ мнѣ отнынѣ счастья! На одной вѣткѣ распустились сердца наши — вмѣстѣ должны бѣ они цвѣсть; но судьба разрываетъ, ронзитъ насъ! Пускай же океанъ протечетъ между нами—онъ не зальетъ моей любви, лишь бы ты, ты, сокровище души моей, была невредима отъ этого пожара». Скажите ради самого Бога: неужели эти красивыя щегольскія фразы, эта блестящая риторическая мишура есть отголосокъ чувства, изліяніе страсти, а не выраженіе затаеннаго желанія рисоваться, кокетничать своимъ чувствомъ или своей страстью? И добро бы всѣ эти фразы были въ письмѣ, а то въ разговорѣ, въ монологѣ!..

Правинъ оставилъ передъ бурей свой фрегатъ, чтобы провести ночь въ объятіяхъ любви и наслажденія, а буря страшно разразилась громомъ и молніями и заставила его проговорить такую рѣчь:

«Ты моя! Вѣра моя! Что жъ мнѣ нужды до всего остального—пускай гибнутъ люди, пускай

весь свѣтъ разлетится въ дребезги! Я подыму тебя надъ обломками, и послѣдній вздохъ мой разрѣшится поцѣлуемъ... О, какъ пылки, какъ жгучи твои уста въ эту минуту, очаровательница!.. Знаешь ли, промолвиль онъ тише, *сверкая и ереща очами, какъ ослѣпѣлый* (какая возмущающая душу и оскорбляющая чувство картина!)—ты должна любить меня, поклоняться мнѣ болѣе, чѣмъ когда-нибудь... знаешь ли, что я богаче теперь Родшильда, самовластѣе англійскаго короля, что я обложенъ въ гибельную силу, какъ судьба?—Да, я могу сорить головами людей по своей прихоти и за каждый твой поцѣлуй платить сотнею жизней — не жизнью враговъ — о, нѣтъ! это можетъ всякій разбойникъ. Это слишкомъ обыкновенно... нѣтъ, говорю тебѣ, я бросаю на вѣтеръ жизнь моихъ товарищей, моихъ друзей и братьевъ, а за нихъ во всякое другое время готовъ бы я *источить кровь по каплѣ и изрѣзать сердце съ лоскутки*» (стр. 189).

И это поэзія, а не риторика?.. И это вдохновеніе таланта?.. Если хотите, тутъ дѣйствительно есть и поэзія, и талантъ, и вдохновеніе: иначе бы это и не могло такъ нравиться большинству публики; но какая поэзія, какой талантъ, какое вдохновеніе? — вотъ вопросъ! Это поэзія, но поэзія не мысли, а блестящихъ словъ, не чувства, но лихорадочной страсти; это талантъ, но талантъ чисто вышній, не изъ мысли создающій образы, а изъ матеріи выдѣлывающій красивыя вещи; это вдохновеніе, но не то внутреннее вдохновеніе, которое, неожиданное, безъ воли человѣка, озаряетъ его разумъ внезапнымъ откровеніемъ истины, вдохновеніе тихое и кроткое, широкое и глубокое, какъ море въ ясный и безвѣтренный день,—но вдохновеніе насильственное, мятежное, бурливое, раздражительное, возбужденное волей человѣка, какъ бы отъ приѣма опиума. А между этими вдохновеніями большая разница—такая же, какъ между мелодіей тихаго чувства и ревущими диссонансами страсти, между гармоніей свѣтлаго восторга и нестройнымъ крикомъ буйной вакханаліи, мутнымъ и нечистымъ упоеніемъ сладострастной оргіи... Переполенное чувство безмолвствуетъ и даетъ себя чувствовать немногими, но многозначущими словами, которыя подсказываются вдохновеніемъ. Самая буря страстей выражается не «рѣчами», а открытой рѣчью, похожей на рокотъ грома,—и ревущій потокъ ея отрывистыхъ рѣчей вытекаетъ изъ вдохновенія. Поэтъ можетъ изображать и страсть, потому что она есть явленіе дѣйствительности, но, изображая страсть, поэтъ не долженъ быть въ страсти; страсть должна быть предметомъ его поэтическаго созерцанія въ минуту творчества, но не имъ самимъ. Истинное вдохновеніе всегда спокойно-созерпательно, оно вполне обладаетъ своимъ предметомъ, но не даетъ ему овладѣть собой, хотя и видитъ, и чувствуетъ его. Изображаемое поэтомъ, оно, разъ овладѣвъ имъ, увлекаетъ его за собой,

изъ свободныхъ творческихъ образовъ становится изложеніемъ его личныхъ чувствъ и мнѣній, до которыхъ никому нѣтъ дѣла. И въ такомъ случаѣ, чѣмъ живѣе и ближе къ натурѣ изображеніе страсти, тѣмъ больше возбуждаетъ оно отвращеніе, вмѣсто того чтобы восхищать и трогать — и нечисты, грѣшны его впечатлѣнія на душу читателя, если только онъ поддается имъ... Сначала чтеніе такихъ блестящихъ и увлекательныхъ произведеній приводитъ душу въ раздражительное состояніе, многими принимаемое за восторженное; но послѣ на душѣ остается какая-то усталость, какъ бы послѣ безпокойнаго сна или тяжелой работы. Чтобы простѣе во второй разъ, неостанетъ силъ... Подобныя произведенія не удовлетворяютъ разума, потому что въ нихъ все произвольно, все условно: — вы видите, что это такъ, но видите, что могло бы быть совсѣмъ иначе, и недоумѣваете, почему это представлено такъ, а не иначе. И вотъ откуда происходитъ въ подобныхъ произведеніяхъ такое множество отступленій, вставокъ, разглагольствованій и ораторскихъ рѣчей: авторъ говорить за свою повѣсть, а не повѣсть говорить сама за себя. Тутъ автору полная воля, совершенный просторъ, и потому удивительно ли, если у него мужъ княгини Бѣры ***, до 191 страницы только ѣвшій и пившій, какъ безсловесное животное, на 191 страницѣ вдругъ дѣлается и гордъ, и благороденъ, и уменъ, и на полтора страницахъ говорить экспромптомъ «рѣчь», сочиненіе которой сдѣлало бы честь самому Правину?.. Вообще, если вы зажмурите глаза, слушая «рѣчи» дѣйствующихъ лицъ во всѣхъ повѣстяхъ Марлинскаго, то право никакъ не разгадаете, кто говоритъ — морской офицеръ, дикій черкесъ, ливонскій рыцарь, русскій князь временъ междоусобія, русскій бояринъ XV или XVI вѣка, мужчина или женщина, старики или юноша, Аммалатъ-Бекъ или будочникъ-ораторъ... А между тѣмъ, повторяемъ, не только вдохновляться, но и раздражаться не всякій можетъ. Есть разница между рыбьей натурой иного чловѣка, который живетъ, какъ дремлетъ, и кипучей, живой, хотя и неглубокой натурой чловѣка, котораго жизнь похожа на водоворотъ, не перемѣняющій мѣста, но всегда бурливый и безпокойный. И внѣшній талантъ имѣетъ свое достоинство, потому что не всякій можетъ имѣть и его. Пишутъ многіе и много, но успѣхомъ, даже и въ толпѣ, пользуются очень немногіе, — и эти пользующіеся всегда цѣлой головой выше тѣхъ, которые имъ удивляются...

Изъ повѣстей Марлинскаго, изображающихъ сильныя страсти, лучшая, безъ всякаго сомнѣнія — «Страшное Гаданіе». Ея идея принадлежит не ему: она была уже истерта

многими, но кажется на Руси узнали о ней изъ «Ночи на Рождество» Цшюкке. Цѣлаго въ «Страшномъ Гаданіи», какъ и во всѣхъ повѣстяхъ Марлинскаго, нѣтъ, но есть мѣста истинно-поэтическія, какъ бы не въ примѣръ всѣму остальному, написанному тѣмъ же авторомъ, — блестящія признаками неподдѣльнаго дарованія. Поѣздка героя повѣсти, сцена въ крестьянской избѣ, многія подробности гаданія, все это прекрасно и увлекательно. Даже обращеніе къ лунѣ, начинающееся словами: «Тихая сторона мечтаній» (стр. 226), отзывается чувствомъ. Только характеръ дьявола ужъ слишкомъ носить на себѣ признаки тогдашней моды изображать чертей: теперь онъ не вездѣ страшнѣе и мѣстами смѣшонъ. Но цѣлое повѣсти... Позвольте, начнемъ съ начала.

«... Я былъ тогда влюбленъ, влюбленъ до безумія! О, какъ обманывались тѣ, которые, глядя на мою насмѣшливую улыбку, на мои разсѣянные взоры, на мою небрежность рѣчей въ кругу красавицъ, считали меня равнодушнымъ и хладнокровнымъ. Не видѣли они, что *глубокія чувства* рѣдко проявляются именно потому, что они глубоки, но если бъ они могли заглянуть въ мою душу и, увидя, понять ее — они бы ужаснулись! Все, о чемъ такъ любятъ болтать поэты, чѣмъ такъ легкомысленно играютъ женщины, въ чемъ такъ стараются притворяться любовники, во мнѣ кипѣло какъ расплавленная мѣдь, надъ которой и самые пары, не находя истока, зажигались пламенемъ. Но мнѣ всегда были смѣшны до жалости притворные вздыхатели съ своими пряничными сердцами, мнѣ были жалки до презрѣнія записные волокиты съ своими зимнимъ восторгомъ, своими заученными изъясненіями; и *попасть въ число ихъ для меня казалось всею страстью*».

Нѣтъ, не таковъ былъ я: въ любви моей было много страннаго, чудеснаго, даже дикаго; я могу быть понять или непонятенъ, но смѣшонъ никогда. *Пылкая, могучая страсть катится какъ лава: она увлекаетъ и жжетъ все встѣчное; разрушаясь сама, разрушаетъ въ пепелъ препоны, и хоть на мигъ, но превращаетъ въ кипучій котелъ даже холодное море*.

Весь этотъ отрывокъ — пародія на одно мѣсто въ «Джяурѣ» Байрона. Но Байроновъ джяуръ — сынъ пламеннаго Востока, азіатецъ душой и тѣломъ, а потому и тигръ, слѣдственно животное благородное и поэтическое, хоть тѣмъ не менѣе все-таки животное... Онъ говоритъ о своей кипучей крови и знойныхъ страстяхъ совсѣмъ не для того, чтобы рисоваться ими, но на смертномъ одрѣ, исповѣдуясь передъ монахомъ, и для того, чтобы неистовствомъ звѣрскихъ страстей своихъ хотя нѣсколько оправдать свои кровавые грѣхи. Этотъ джяуръ былъ христіанинъ и потому не могъ, хотя на краю могилы, не смотрѣть на свои страсти, какъ на несчастье. Вообще сила страстей отнюдь не то же самое, что глубокость души; эта сила скорѣе бываетъ признакомъ мелкости натуры при кипучей крови. Потому всякая страсть, хотя

дикая, не говорить о себѣ, не острить надъ пряничными сердцами и не боится попасть въ ихъ число... Какъ въ дѣйствительности, такъ и въ искусствѣ все говоритъ само за себя, т.-е. дѣломъ, а не словами и не увѣреніями. Что не равно своему идеалу, но силится дотянуться до него, то необходимо натягивается. Вотъ отчего во многихъ повѣстяхъ такъ много бываетъ натяжекъ. Но обратимся къ повѣсти. Хотя герой ея и божится, что его страсть глубока, какъ море, но мы видимъ въ ней одну чувственность и больше ничего. Вотъ почему ему видѣлся образъ танцующей Полины, и вотъ почему мучила его мысль, что она слушаетъ ласкательства какого-нибудь счастливецъ, который вертится съ ней, и можетъ быть отвѣчаетъ на нихъ (стр. 203): только истинное, высокое чувство чуждо ревности и полно взаимнаго довѣрія. Оно не жжетъ, но грѣетъ; оно не пылаетъ пожаромъ, но теплится кроткимъ свѣтомъ. Въ немъ все одухотворено, и самое желаніе чисто и дѣйственно. Въ немъ нѣтъ громкихъ фразъ, нѣтъ пышнаго многословія; взглядъ, брошенный украдкой, недоговоренное слово, кроткая улыбка замѣняютъ въ немъ «рѣчи», и если оно заговорить — его рѣчь будетъ полна глубокой, энергической, но въ то же время и свѣтлой, тихой, благоуханной поэзіи, гдѣ все — теплота и свѣтъ, но безъ огня, дыма и чада.. Повторяемъ, и страсть имѣетъ свою поэзію и можетъ быть предметомъ поэтического изображенія, но только поэтъ долженъ изображать ее какъ предметъ, внѣ его и самъ по себѣ существующій, а не пѣть ей гимны, не выдавать ее, съ божьей и клятвами, за высшій цвѣтъ человѣческаго чувства и не дѣлать изъ нея апотеоза.—Посмотрите, что это такое:

«Не умѣю описать, что со мной стало, когда, обвивая тонкій станъ ея рукой, трепетной отъ наслажденія, я пожималъ другой ея прелестную ручку: казалось, кожа перчатокъ приняла жизнь, передавая біеніе каждой фибры... казалось, *весь составъ Полины прыщетъ искрами!* Когда помчались мы въ бѣшеномъ вальсѣ, ея летающіе душистые локоны касались иногда губъ моихъ; я вдыхалъ ароматный *пламень ея дыханія; мои блуждающіе взгляды проникали сквозь дымку*—я видѣлъ, какъ бурно вздымались и опадали *блоснижные полушары (!?)*; волнуемые моими вздохами, видѣлъ, какъ пылали щеки ея моимъ жаромъ, видѣлъ—нѣтъ, я ничего не видѣлъ... полъ исчезалъ подъ ногами; казалось, я лечу по воздуху съ сладостнымъ замираніемъ сердца», (стр. 235).

Чтобы окончательно выразить нашу мысль, сдѣлаемъ въ pendant къ этой выпискѣ другую:

«Испытали ли жажду крови? Дай Богъ, чтобы никогда не касалась она сердецъ вашихъ; но, по несчастію, я зналъ ее по многимъ и самъ извѣдалъ на себѣ. Природа наказала меня неистовыми страстями, которыхъ не могли обуздать ни воспитаніе, ни навѣкъ; огненная кровь

текла въ жилахъ моихъ! Долго, неимоверно долго могъ я хранить хладную умѣренность въ рѣчахъ и поступкахъ при обидѣ, но зато она исчезала мгновенно, и бѣшенство овлаждало мной. Особенно видъ пролитой крови, вмѣсто того чтобы угасить ярость, былъ масломъ на огнѣ, и я съ какой-то тигровой жадностью готовъ былъ источить ее изъ врага капля по каплѣ, подобно тигру. вкисившему ненавистнаго напѣтка» (стр. 246).

Истинный романтизмъ, какъ понимали его у насъ назадъ тому лѣтъ пятнадцать! Читаете и невольно переноситесь въ лѣса, гдѣ живутъ тигры, медвѣди и волки, съ ихъ неистовыми страстями, съ ненасытимой жадной крови. Геній Виктора Гюго—этого свирѣпаго архиромантика—уже пускался было на изображеніе медвѣжьихъ чувствъ и мыслей, сдѣлавъ благаго медвѣдя героемъ перваго своего романа; его подражатели, не столь смѣлые, ограничились изображеніемъ звѣрей подъ человѣческими именами, съ человѣческими обликами, оставивъ имъ только ихъ животныя страсти, чтобы выдавать ихъ за глубокаго ощущенія, глубокихъ, «сатаническихъ» душъ..

Гораздо болѣе былъ въ своей колеѣ талантъ Марлинскаго въ «Лейтенантъ Бѣлорѣ»—этомъ живомъ, легкомъ и шутиливомъ разсказѣ безъ особенныхъ претензій. Это настоящій родъ таланта Марлинскаго, и, несмотря на то, что въ повѣсти нѣтъ ни лицъ, ни характеровъ, хоть сколько-нибудь художественно очерченныхъ, а, слѣдовательно, нѣтъ и признаковъ голландской народности, — ибо купецъ, кстати и не кстати говорящій при каждомъ словѣ «два аршина съ четвертью», еще не голландецъ, такъ же какъ купчиха, которой вся жизнь сосредоточена на кухнѣ, еще не голландка (перемѣните ихъ имена, и они будутъ принадлежать къ какой угодно націи); несмотря на то, что любовь героевъ повѣсти уже чрезчуръ сладковата и слишкомъ походитъ на канареечную, а представитель французской націи, Монтанъ Люссакъ, ужъ чрезчуръ и подлъ, и глупъ, и пошлъ; несмотря на ужасную растянutosть и множество ненужныхъ вставокъ и разглагольствованій. —веселенькій разсказецъ читается до конца и не безъ удовольствія. Въ немъ много премиленькихъ подробностей; особенно забавны матросскіе разговоры, и вообще въ тонѣ разсказа много добродушія и непритворной шутиливости. Къ числу такихъ же удачныхъ разсказовъ въ этомъ родѣ должно отнести «Военный Антикварій» и «Мореходъ Никитинъ».

Собственно русскія повѣсти Марлинскаго, содержаніе которыхъ онъ бралъ изъ русской старины, не выдержатъ никакой критики, даже самой снисходительной. Таковы сущіе: «Наѣзды», «Романъ и Ольга», «Измѣнникъ»

и пр. Въ нихъ рѣчь повидимому русская и имена русскія, даже много русскихъ обычаевъ, повѣрій и ссылокъ на исторію; но ни русскаго лица, ни русской души. Это — Расиновскія трагедіи въ формѣ разсказовъ. Снимите съ дѣйствующихъ лицъ ихъ охабни и фаты, выбросьте изъ рѣчей немного число русскихъ поговорокъ и пословицъ, и предъ вами очутятся тѣ безличныя образы, которымъ къ лицу всякое платье и всякое имя, и которые столько же русскіе, сколько и греки, и нѣмцы, и англичане, и татары. То же должно сказать и о рыцарско-ливонскихъ разсказахъ Марлинскаго: его нѣмецкіе рыцари и дамы ничѣмъ не отличаются отъ новгородскихъ молодцовъ и молодицъ, которые ничѣмъ не отличаются отъ его нѣмецкихъ рыцарей и дамъ. Перечтите «Замокъ Эйзенъ», «Замокъ Нейгаузенъ», «Латника», «Замокъ Вендентъ», «Ревельскій Турниръ», и вы увидите въ нихъ поразительную бѣдность изображенія, удивительное однообразіе въ манерѣ разсказывать, и чрезвычайное сходство въ дѣйствующихъ лицахъ, особенно въ ихъ «рѣчахъ», изъ которыхъ сшиты эти разсказы. Лучшій изъ нихъ «Ревельскій Турниръ»: въ немъ мало сильныхъ страстей, много добродушія и веселости, а потому онъ и читается съ удовольствіемъ, какъ занимательная сказка.

Читатели можетъ быть ждуть отъ насъ подробнаго разбора кавказскихъ повѣстей Марлинскаго, особенно «Аммаллатъ-Бека» и «Муллы-Нура»; увѣ, мы не въ состояніи выполнить ихъ ожиданія! По праву добросовѣстнаго критика, мы хотѣли прочесть эти повѣсти, принимались нѣсколько разъ, но — всякой силѣ есть предѣлы, и мы послѣ многократныхъ пріемовъ и невѣроятныхъ усилій принуждены были сознаться въ своемъ безсиліи для совершенія подобнаго подвига. Конечно въ нихъ, — особенно въ «Аммаллатъ-Бекѣ» — есть удачныя страницы, хотя и въ слишкомъ ограниченномъ числѣ, есть превосходные стихи — переводъ черкесскихъ пѣсенъ; но цѣлое такъ натянуто, такъ перетянато и въ изображеніи, и въ изложеніи, что впечатлѣніе, производимое на душу читателя, очень походитъ на давленіе кошмара. Что касается до Муллы-Нура, этого татарскаго Карла Мора, то вотъ онъ вамъ весь — извольте любоваться, сколько душѣ угодно:

«Что на свѣтѣ тайнаго кромѣ нашего сердца. Разсвѣтаетъ ночь, крившая злодѣйство; дремучій лѣсъ находитъ голосъ на обвиненіе; разстугается хлѣбъ моря и выдаетъ утопленное хищникамъ добро. Могилы, самыя могилы не скрываютъ во мракѣ своемъ преступленій, и съ червями зарождаются въ ней мстители. Я видѣлъ: русскіе узнавали по внутренностямъ тѣлъ прошлое, какъ идолопоклонники предки наши угадывали по нимъ будущее. А когда можно заставить говорить мертвецовъ, кто заставитъ молчать живыхъ? Тайное скоро становится явнымъ,

и базарная молва нерѣдко трубить о томъ, что было попоротомъ сказано между двоими. — Нѣтъ, моя жизнь не тайна, мои похождения можетъ разсказать тебѣ послѣдній мальчикъ въ Кубѣ. — Онъ убилъ своего дядю и бѣжалъ въ горы! Вотъ вся повѣсть обо мнѣ, и она не ложь, но полна ли она? но справедливо ли осудить меня по этимъ словамъ всякій, кто ихъ услышитъ? На это могу отвѣчать только я. Пусть отрубятъ мнѣ голову, что жъ найдетъ въ этой головѣ судья для объясненія моего преступленія? Пусть вырѣжутъ сердце, какъ отгадаютъ въ немъ пружины, которыя двинули на убійство?.. А въ этомъ вся важность для меня! Только это зову я на судъ совѣсти, все остальное дѣло случая, все остальное пусть какъ хотятъ судить въ людскомъ диванѣ. Тяжело мнѣ думать объ этомъ, еще тяжелѣе разсказывать, и между тѣмъ оно меня душитъ!.. мучительно вырывать зубчатую стрѣлу изъ раны, но и оставлять въ ней перстерицу...»

Кто это говоритъ: ливонскій рыцарь, итальянскій разбойникъ, или французскій литераторъ романтической школы?.. Нѣтъ, это «рѣчь» кавказскаго татарина... Умный татарин! ужъ и видно, что наукамъ учился, особенно риторикѣ...

Въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ Марлинскій довелъ до крайности основныя элементы своего таланта, т. е. изображеніе неистовыхъ страстей и неистовыхъ положеній, изображеніе высшаго общества, на которое онъ смотрѣлъ изъ-за Кавказа, русскую народность, остроуміе и изысканность языка. Приведемъ образчики нѣкоторыхъ изъ этихъ элементовъ, доведенныхъ до *nes plus ultra*.

Если хотите имѣть понятіе о высшемъ обществѣ на балѣ у австрійскаго посланника — прочтите отрывокъ «Местъ»; тутъ вы увидите, какъ «свѣтскій» капитанъ Змбевъ отпускаетъ лагерныя любезности Надеждѣ Петровнѣ Зоричъ, поминутно называя ее «сударыня», и какъ Надежда Петровна Зоричъ отвѣчаетъ этому храброму капитану любезностями полковой маркитанки, начитавшейся «свѣтскихъ» романовъ русскаго издѣлія. Въ статьѣ «Новый Русскій Языкъ» вы увидите, какъ говорятъ русскіе купцы; впрочемъ не трудитесь перечитывать этой «юмористической» статейки; довольно для васъ и этого образчика: «Такъ-съ, виновать-съ, дѣло дорожное-съ! Я вѣдь впрочемъ не для ради чего иного прочаго, а такъ изъ компанства, хотѣлъ только, утрудивъ, побезпокою васъ, просить соблаговоленія, чтобы нашему чайнику возымѣть соединяемое купносообщеніе съ этимъ самоваромъ-съ. По просту такъ сказать-съ, малую толику водицы-съ!» (т. XII, стр. 76). Такимъ языкомъ просить на станціи купецъ у офицера воды изъ самовара для чайника: какая наблюдательность, какъ все это вѣрно подслушано и вѣрно передано, безъ преувеличенія, безъ всякой натяжки!... Для образчика остроумія перечтите статьи: «Исторія серебрянаго рубля» и «Исторія зна-

ковъ прещинанія»: увѣряемъ васъ, что самый отчаянный поставщикъ газетнаго мусора по-завидовалъ бы въ своихъ правоописательныхъ и нравственно-сатирическихъ статей-кахъ ихъ остроумію и затѣйливости... Для вышисокъ дикихъ фразъ и натянутого высокаго и страстнаго слога у насъ не достаетъ ни силъ, ни терпѣнія... Потрудитесь сами, а мы и безъ того устали.

Такой конецъ авторскаго поприща очень естественъ: онъ — необходимое слѣдствіе его начала. Только истинные таланты зрѣютъ и мужаютъ съ лѣтами, только въ ихъ произведеніяхъ исчезаетъ съ годами дымный юношескій пламень и уступаетъ мѣсто ровной теплотѣ, и не ослѣпительному, но лучезарному свѣту — и конецъ ихъ поприща ознаменовывается твореніями глубокими, какъ море, и величественными, какъ звѣздное небо въ тихую и ясную ночь. Внѣшній талантъ скоро высказывается весь, истощаетъ бѣдный запасъ своего внутренняго содержанія и скоро доходитъ до необходимости перебиваться собственными крохами, собственной ветошью, обновляя ихъ бѣлилами и румянами изысканной фразеологій дикаго языка. Почти всегда подвергается онъ горькой участи пережить свою славу, умереть послѣ ея кончины и видѣть въ числѣ своихъ поклонниковъ только людей, которые являются послѣдними участниками въ пирѣ, доканчивая въ заднихъ алппартаментахъ остатки барскаго обѣда... Но, несмотря на все сказанное, такіе внѣшніе таланты необходимы, полезны, а слѣдовательно и достойны всякаго уваженія. Только незаслуженная слава и преувеличенныя похвалы вооружаютъ противъ нихъ, потому что свидѣтельствуя объ испорченности вкуса публики. Но отдавать имъ должное пріятно по чувству человѣческому и полезно для истины. Для массы общества все внѣшнее доступнѣе внутренняго, — и она бросается на внѣшнее, а черезъ это въ ней обращаются идеи и проводится въ нее образованность. Но главная заслуга внѣшнихъ талантовъ состоитъ въ томъ, что они отрицательнымъ образомъ воспитываютъ и очищаютъ эстетическій вкусъ публики; пресытаясь ихъ произведеніями, многіе обращаются къ истиннымъ произведеніямъ искусства и научаются цѣнить ихъ. Кто не восхищался романами Радклифъ, Дюкре-де-Мениля, Августа Лафонтена, Жанлисъ и Коттентъ и даже не предпочиталъ ихъ сначала романамъ Вальтеръ Скотта и Купера? И эти многіе! потому только и поняли впоследствии достоинства британскаго и американскаго романистовъ, что сперва восхищались романами

этихъ господъ и госпожъ, а черезъ Вальтеръ Скотта и Купера поняли ихъ истинную цѣну. Что же касается до тѣхъ, которые не пошли далѣе Радклифъ и Дюкре-де-Мениля съ братіей — пусть себѣ читаютъ во здравіе! Что бы ни читать, все лучше, чѣмъ играть въ карты или сидѣть на сѣнѣ. Слуга донашиваетъ платье своего господина: оно и старо, и потерто, но все служитъ ему защитой и отъ наготы, и отъ холода...

Мы уже говорили о критическихъ статьяхъ Марлинскаго и указали на нихъ, какъ на важную заслугу русской литературѣ со стороны ихъ автора; съ такой же похвалой должны мы упомянуть и о его собственно-литературныхъ статьяхъ, каковы: «Отрывки изъ разсказовъ о Сибири», «Шахъ Гуссейнъ», «Письмо къ доктору Эрдману», «Сибирскіе нравы Исыхъ» и пр. Во всѣхъ этихъ статьяхъ виденъ необыкновенно умный, блестяще-образованный человѣкъ и талантливый писатель, и почти всѣ отличаются въ противоположность повѣстямъ языкомъ простымъ, живымъ и прекраснымъ безъ изысканности. Марлинскій пробовалъ свой талантъ почти во всѣхъ родахъ литературныхъ упражненій и потому писалъ и стихи, но впрочемъ скоро самъ призналъ въ себѣ отсутствіе положительнаго таланта для этого поприща. Мелкія его стихотворенія рѣдко отличаются даже плавностью стиховъ, а переводы изъ Гёте такъ мало даютъ понятія о достоинствѣ своихъ оригиналовъ, какъ дебелый переводъ Кострова «Иліады», или тяжелый переводъ Мерзлякова Тассова «Освобожденнаго Іерусалима», или разжиженный сахарнымъ сиропомъ переводъ Раича того же творенія и поэмы Аріосто. Марлинскій, слѣдуя тогдашнему направленію, написалъ стихами поэму «Андрей Переяславскій», — произведеніе, не стоящее критики и отвергнутое самимъ авторомъ, но мѣстами блещущее искорками поэтическаго чувства.

Мы уже говорили о поэтическомъ достоинствѣ черкесскихъ пѣсенъ, переведенныхъ въ «Аммалать-Бекѣ».

И вотъ мы кончили нашъ разборъ произведеній Марлинскаго; вывести результатъ изъ всего сказаннаго нами о немъ, какъ о писателѣ, предоставляемъ нашимъ читателямъ. Мы говорили откровенно и прямо, *sine ira et studio*; но пояснять больше не будемъ, «чтобъ гусей не раздражить», — а гуси, какъ слышно, уже и безъ того на насъ сердятся за то, что мы видимъ Божій свѣтъ не въ одномъ болотѣ съ муравчатымъ бережкомъ, на которомъ они такъ шумно пасутся всю жизнь свою и добываютъ себѣ обычную пищу.

ДВѢ ДѢТСКІЯ КНИЖКИ.

Подарокъ на Новый годъ. Двѣ сказки Гофмана, для большихъ и маленькихъ дѣтей.
Спб. 1840. Дѣтскія сказки дѣдушки Иринея. Спб. 1840. Двѣ части.

Самые повидимому простыя и обыкновенныя предметы часто бываютъ въ своей сущности самыми важными и великими. Всѣ говорятъ, напримѣръ, о важномъ вліяніи воспитанія на судьбу человѣка, на его отношенія къ государству, къ семейству, къ ближнимъ и къ самому себѣ, но многіе ли понимаютъ то, что говорятъ? Слово еще не есть дѣло; всякая истина, какъ бы ни была она несомнѣнна, но если не осуществляется въ дѣлахъ и поступкахъ произносящихъ ее—есть только слово, пустой звукъ,—та же ложь. Посмотрите внимательнѣе на отношенія родителей къ дѣтямъ, дѣтей къ родителямъ, словомъ, посмотрите внимательнѣе на воспитаніе, и у васъ сердце обольется кровью. Ребенокъ ѣстъ что ни попало и сколько хочетъ,—что нужды! говорятъ нѣжные родители, вѣдь онъ еще дитя! Ребенокъ мучить собаку или колотитъ дворового мальчишку,—что нужды! восклицаютъ заботливые родители, вѣдь онъ еще дитя! Дѣти ссорятся, кричатъ между собой, а если ихъ крикъ, брань и слезы не мѣшаютъ папенькѣ и маменькѣ соснуть послѣ обѣда или поговорить съ гостями,—что нужды! вѣдь они дѣти, пусть себѣ ссорятся и кричатъ! Вырастутъ велики, не будутъ ссориться и кричать! Перебранившись, а иногда и передравшись другъ съ другомъ, дѣти прибѣгаютъ къ отцу и матери съ жалобой другъ на друга,—и, помилуйте, стоитъ ли разбирать дѣтскія ссоры! Если вы строги, дайте всѣмъ по щелчку или пересѣките всѣхъ розгами, чтобъ никому не было завидно; если вы добры къ дѣтямъ или воспитываете ихъ на благородную ногу,—дайте имъ игрушки или сластей, да, перецѣловавъ ихъ, вышлите отъ себя, чтобы они опять пошли браниться и драться. Ребенокъ не учится, не хочетъ и слышать, чтобы взять въ руки книгу,—что за нужда, вѣдь онъ еще дитя!—подростетъ, будетъ поумнѣе, такъ станетъ и учиться! Ребенокъ хватается за всякую книгу, какая ему ни попадется, хотя бы то была анатомія съ картинками или Аретинъ съ гравюрами;—что за нужда, вѣдь онъ еще дитя! благо, что охота къ книгамъ есть—пусть лучше навикаетъ читать, чѣмъ рѣзвиться! Учитель говоритъ отцу, что грамматика, которую онъ купилъ для сына, не годится, что она или ужъ устарѣла, или безтолкова, безсмысленна, что ея не понимаетъ самъ авторъ, не знающій ни духа, ни харак-

тера языка; это еще что за новости! восклицаетъ опытный и благоразумный родитель, вѣдь онъ дитя—для него всякая книга годится, а за эту я заплатилъ деньгами, стало быть, хороша!.. А между тѣмъ заговорите съ «дражайшими родителями» о дѣтяхъ и воспитаніи: сколько общихъ фразъ, сколько ходячихъ истинъ наговорить или нарезонѣрствовать они вамъ! «Ахъ, дѣти! да! какъ тяжело имѣть дѣтей! сколько заботъ! надо вырастить! да и воспитать! Мы ничего не шадимъ для воспитанія своихъ дѣтей! Изъ послѣднихъ силъ бьемся! Я отдалъ своихъ въ училище, покупаю книги—тѣмъ расходовъ! А мы для своихъ пріискали «мадамъ» (или «мамзель» — провинціальныя названія гувернантки), чтобъ они и по-французски знали, и на фортепьянахъ играли!» Въ добрый часъ, дражайшіе родители!..

Но это еще только одна сторона воспитанія, или того, что такъ ложно называютъ воспитаніемъ. Это еще только воспитаніе, какъ обыкновенно говорится, на волю Божию, а въ самомъ-то дѣлѣ, на волю случая—воспитаніе природное, воспитаніе не въ переносномъ, а въ этимологическомъ значеніи этого слова, т.-е. вскармливаніе,—воспитаніе простонародное, мѣщанское. Есть еще воспитаніе попечительное, деликатное, строгое, благородное. Въ немъ на все обращено вниманіе, ни одна сторона не забыта. При этомъ воспитаніи дитя ѣстъ и во время и въ мѣру, передъ обѣдомъ непременно ходитъ гулять съ гувернеромъ или гувернанткой, умѣренно рѣзвится, занимается гимнастическими упражненіями на красивыхъ вѣшалкахъ, столбахъ, перекладинахъ, по часамъ учится, въ опредѣленную пору встаетъ и ложится. Физическое воспитаніе въ гармоніи съ нравственнымъ: развитію здоровья и крѣпости тѣла соответствуетъ развитіе умственныхъ способностей и приобрѣтеніе познаній. А форма—о, это само изящество! При опрятности царствуетъ простота и неизысканность, соединенныя съ благородствомъ, достоинствомъ, хорошимъ вкусомъ и хорошимъ тономъ. И это отражается во всемъ: и въ одеждѣ, и въ манерахъ. Одно то чего стоитъ, что дитя умѣетъ уже скрывать свои чувства, не хвататься жадно за то, чего жадно желаетъ, не обнаруживать удивленія и радости къ тому, что возбуждаетъ въ немъ удивленіе и радость,—словомъ, приличію и

тону жертвовать всѣми своими чувствами, даже самыми святыми, самыми человѣческими!.. Короче: даже китайскіе мандарины, эти высокіе идеалы и образцы природы искаженной и умершей отъ искусственности, даже китайскіе мандарины ничто передъ этими милыми, благовоспитанными дѣтьми... И если жизнь человѣческая есть театральная сцена или салонъ, и если «казаться» есть цѣль человѣческой жизни, то въ этомъ образѣ воспитанія мы нашли норму воспитанія. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть прекраснѣе и очаровательнѣе, напримѣръ, свѣтской дѣвушки?—Она скорѣе согласится тысячу разъ умереть, нежели одинъ разъ въ жизни въ глазахъ свѣта показаться смѣшной, т.-е. прійти въ восторгъ отъ созданія искусства, отъ созерцанія явленій природы, или отъ разсказа о высококомъ подвигѣ и всего, отъ чего плачутъ и чѣмъ восхищаются люди дурного тона. Она столько же развязна и свободна, сколько и граціозна; ничему не удивляясь, она ничего не испугается и ни отъ чего не прійдетъ въ смущеніе. Въ ней всегда такое спокойствіе, такая ровнота духа, все такъ соразмѣрно и прилично... А сколько въ ней талантовъ, которыхъ она не выставляетъ на видъ, какъ какая-нибудь провинціалка, но за которые она часто слышитъ себѣ «*charmant*»! Ко всему этому какая у ней чистая душа, какое нравственное сердце: она уже не вѣста,—а кромѣ Бульи и Беркена еще ничего не читала, и произнесите при ней имя Шекспира, она съ милой наивностью спроситъ васъ: *mais qu'est ce que c'est?*—а когда вы начнете говорить о Шекспирѣ, она съ такой милой разсѣянностью, съ такимъ достоинствомъ и такъ неожиданно для васъ повернетъ разговоръ на погоду или на послѣдній балъ. Виктора Гюго и Поль-де-Кока она будетъ читать уже послѣ замужества, а пока довольно съ нея Бульи и Беркена. Оно и хорошо: Шиллеръ, Гёте, Байронъ, Гофманъ, Шекспиръ, Валтеръ Скоттъ, Пушкинъ—опасны для юнаго дѣвственнаго сердца: чего добраго, они взволнуютъ его какими-то странными желаніями, неясными мечтаніями, произведутъ въ дѣвушкѣ экстазъ, экзальтацію, дадутъ ей какую-то внутреннюю поэтическую жизнь,—и вотъ долго ли до грѣха!—дѣвушка встрѣчается на землѣ какую-то родную душу, безъ копееки за душой—

И жизнь могучая даетъ

И пышный цвѣтъ, и сладкій плодъ—

какъ сказалъ Пушкинъ... Мечтать и любить—предаться человѣческой страсти—да что же скажетъ свѣтъ?.. Нѣтъ, не такова благовоспитанная дѣвушка высшаго тона: она можетъ выдвинуться изъ толпы, но красотой, если Богъ наградила ея, нарядамъ, если ея *rara* богаче другихъ, но ни душой, ни сердцемъ и ни другими мѣщанскими странностями. Она

выйдетъ замужъ;—даже если и другіе не хлопочутъ объ этомъ, сама все устроитъ, но это замужество будетъ блестящее, способное возбуждать зависть, а не толки. Вотъ что дѣлаетъ истинное воспитаніе изъ дѣвушекъ! А юноши?—О, объ нихъ я боюсь и говорить: всѣ они и умные, и глупые, и ученые, и невѣжды—всѣ они съ такимъ философскимъ равнодушіемъ смотрятъ на жизнь, въ которой для нихъ нѣтъ ничего ни таинственнаго, ни удивительнаго, ни непостижимаго; всѣ они съ такою «львиною» наглостью наводятъ на васъ свой лорнетъ... прекрасные молодые люди!.. А какъ свободно, съ какой небрежностью говорятъ они по-французски—словно на родномъ языкѣ, и какъ мило не умѣютъ сказать двухъ русскихъ фразъ, написать русской строки безъ орфографическихъ ошибокъ—педантизма въ нихъ нѣтъ ни тѣни!..

Мы представили двѣ крайности одной и той же стороны; но есть еще середина, которая, какъ всѣ почти середины, часто бываетъ хуже крайностей. Мы говоримъ о воспитаніи того класса общества, которое на низшіе смотритъ съ благороднымъ презрѣніемъ и чувствомъ собственного достоинства, а на высшіе съ благоговѣніемъ. Оно изъ всѣхъ силъ хлопочетъ быть ихъ вѣрной кошей; но на зло себѣ остается какимъ-то среднимъ пропорциональнымъ членомъ, съ собственной характеристикой, которая состоитъ въ отсутствіи всякаго характера, всякой оригинальности, и которую всего вѣрнѣе можно выразить *мѣщанствомъ во дворянствѣ*. Непринужденность и милая наглость переходятъ у него въ жеманство и кривлянье; хороній тонъ—въ обезьянничество. Смѣшно и жалко смотрѣть,

Какъ негодяй официантъ

Ломаетъ барина въ передней!

Но это въ сторону: дѣло въ томъ, что въ этомъ кругу общества воспитаніе состоитъ въ томъ, чтобы убить въ дѣтяхъ всякую жизнь и живость, сдѣлать изъ нихъ попугаевъ и милыхъ куколъ, о которыхъ бы всѣ говорили: ахъ, какъ хорошо они воспитываются!..

Воспитаніе! Оно вездѣ, куда ни посмотрите, и его нѣтъ нигдѣ, куда ни посмотрите. Конечно вы его можете увидѣть даже во всѣхъ слояхъ общества, отъ самаго высшаго до самаго низкаго, но какъ рѣдкость, какъ исключеніе изъ общаго правила. Отчего же это? Да оттого, что на свѣтѣ бездна родителей, множество *paras et mamans*, но мало отцовъ и матерей. «Вотъ прекрасно!»—восклицаете вы, «какая же разница между родителями и отцомъ и матерью?»—Какъ какая?—взгляните лѣтомъ на мухъ: какая бездна родителей, но гдѣ же отцы и матери? Грибоѣдовъ давно уже сказалъ—

Чтобъ имѣть дѣтей,

Кому ума не доставало!

Право рожденія—священное право на священное имя отца и матери—противъ этого никто и не спорить; но не этимъ еще все оканчивается: тутъ человѣкъ еще не выше животнаго; есть высшее право—родительской любви. «Да какой же отецъ или какая мать не любить своихъ дѣтей?»—говорите вы. Такъ, но позвольте васъ спросить, что вы называете любовью? какъ вы понимаете любовь?—Вѣдь и овца любить своего ягненка: она кормитъ его своимъ молокомъ и облизываетъ языкомъ; но какъ скоро онъ мѣняетъ ее молоко на злакъ полей—ихъ родственныя отношенія оканчиваются. Вѣдь и Простакова любила своего Митрофанушку: она нечаянно была по щекамъ старую Еремѣвну и за то, что дитя много кушало, и за то, что дитя мало кушало; она любила его такъ, что если бы онъ вздумалъ ее бить по щекамъ, она стала бы горько плакать, что милое, ненаглядное дѣтище больно обколотить объ нее свои ручки. Итакъ, развѣ чувство овцы, которая кормитъ своимъ молокомъ ягненка, чувство Простаковой, которая, бывши овцой и коровой, готова еще сдѣлаться и лошадкой, чтобы возить въ колясочкѣ свое двадцатилѣтнее дитя,—развѣ все это не любовь?—Да, любовь, но какая? Любовь чувственная, животная, которая въ овцѣ, какъ въ животномъ, отличающемся и животной фигурой, имѣетъ свою истинную, разумную, прекрасную и восхищающую сторону, но которая въ Простаковой, какъ въ животномъ, отличающемся человѣческой фигурой, вмѣсто овечьей,—безсмысленна, безобразна и отвратительна. Дале: вѣдь и Павелъ Аванасьевичъ Фамусовъ любилъ свою дочь, Софью Павловну: посмотрите, какъ онъ хлопочетъ, чтобы по выгодѣ сбыть ее съ рукъ, подороже продать... Продать?—какое ужасное слово!.. Отецъ продаетъ свою дочь, торгуетъ ею конечно не по мелочи, но одинъ разъ навсегда и не больше, какъ для одного человѣка, который будетъ называться ей мужем!.. Но вѣдь это онъ дѣлаетъ не для себя, а для ея же счастья?—скажутъ многіе. Прекрасно! Но послѣ этого и разбойникъ, который для приданого дочери зарѣжетъ передъ ея свадьбой нѣсколькихъ человѣкъ, будетъ правъ, потому что сдѣлаетъ это изъ любви къ дочери? Послѣ этого и иная матушка, которая, не желая видѣть въ нищетѣ свою нѣжно-любимую дочь, научить или принудить ее сдѣлать выгодный промыселъ изъ своей красоты,—тоже будетъ права, потому что поступить такъ изъ любви къ дочери?.. И развѣ этого не бываетъ въ самомъ дѣлѣ? Развѣ старый подъячій, закоренѣвшій въ лихоимствѣ и казнокрадствѣ, не поставилъ первымъ и священнымъ долгомъ своего родительскаго званія передать свое подлое ремесло нѣжно-любимому сынку?—Мы опять со-

глашаемся, что источникъ всего этого любовь, но какая—вотъ вопросъ! Откуда она происходитъ, куда она стремится, къ кому обращается? Зачѣмъ звѣрь рветъ и губитъ подобныхъ себѣ, а въ голодѣ пожираетъ собственныхъ дѣтей?—Затѣмъ, что онъ любитъ себя, а любовь къ себѣ есть условіе всякой индивидуальности, которая въ свою очередь есть условіе всякаго бытія, основа и законъ жизни. Зачѣмъ собака грызется съ другой изъ-за брошенной кости?—Опять затѣмъ, что любить себя. И насъ не оскорбляетъ это въ животныхъ; по крайней мѣрѣ мы не винимъ ихъ за это и не считаемъ злодѣями и преступниками, потому что они живутъ и дѣйствуютъ подъ невольнымъ, рабскимъ вліяніемъ животнаго инстинкта и, кромѣ сохраненія и возрожденія своей индивидуальности, не имѣютъ никакихъ обязанностей. И человѣкъ, подобно животному, замкнуть въ своей индивидуальности и безсознательно слѣдуетъ данному ему природой инстинкту самосохраненія и стремленію къ улучшенію своего положенія; но неужели этимъ все и должно въ немъ оканчиваться?—Нѣтъ, разница человѣка съ животными именно въ томъ и состоитъ, что онъ только начинается тамъ, гдѣ животныя уже оканчиваются. Кромѣ обязанностей къ себѣ, онъ имѣетъ еще обязанности къ ближнимъ; кромѣ инстинкта, который есть у животныхъ, онъ имѣетъ еще чувство, разумъ и разумъ, которыхъ нѣтъ у животныхъ; будучи существомъ и растительнымъ, и животнымъ, будучи плотскимъ организмомъ, онъ есть еще и духъ—искра и обликъ Духа Божія. Слѣдовательно, и его любовь должна быть высшей ступенью той любви, которую мы видимъ во всей природѣ,—отъ сродства стихій, отъ ихъ безмолвнаго организованія въ минералъ, заключенный въ нѣдрахъ земли, отъ прозябанія дольной лозы, возникающей изъ зерна,—до животнаго, которое добровольно лишается жизни, съ яростью защищая своихъ дѣтей. Человѣкъ есть міръ въ маломъ видѣ: въ его организмѣ всѣ стихіи природы, первосущныя ея силы, вся минеральная природа—металлы и земли; въ жизни его организма всѣ процессы природы—и минеральное сращеніе извнѣ, и прозябаемая растительность, и животное развитіе изнутри. Онъ является на свѣтъ животнымъ, которое кричитъ, спитъ, ѣстъ и инстинктивно хватается за грудь, и инстинктивно сердится, когда его отъ нея отнимаютъ. Но уже съ того мгновенія, какъ языкъ его отъ безразличныхъ междометій начинаетъ постепенно переходить къ членораздѣльнымъ звукамъ и лепетать первыя слова,—въ немъ уже оканчивается животное и начинается человѣкъ, вся жизнь котораго до поры полного мужества есть не что иное, какъ непрерывное формированіе, дѣ-

ланіе, становленіе (das Werden) полнымъ чело-
вѣкомъ, для полного наслажденія и облада-
нія силами своего духа, какъ средствами къ
разумному счастью. Еще младенецъ, припавъ
къ источнику любви—къ груди своей матери,
онъ останавливается на ней не безсмысленный
взглядъ молодого животного, но горящій свѣ-
томъ разума, хотя и безсознательнаго; онъ
улыбается своей матери,—и въ его улыбкѣ
свѣтится лучъ божественной мысли. Во всѣхъ
проявленіяхъ его любви просвѣчиваетъ не
простое, инстинктивное, но уже не чуждое
смысла и разумности чувство: еще ноги его
слабы, онъ не можетъ сдѣлать ими шага для
вступленія въ жизнь, но уже любовь его вы-
ше любви животной. Такъ неужели послѣ
этого любовь родителей,—существо въполнѣ
развившихся, должна оставаться при своей
естественности и животности, неспособныхъ
отдѣлаться отъ самихъ себя и перейти за
окодованную черту замкнутой въ себѣ инди-
видуальности? Нѣтъ, всякая челоѣческая лю-
бовь должна быть чувствомъ, просвѣтленнымъ
разумной мыслью, чувствомъ одухотвореннымъ.
Но что же такое любовь? Это жизнь, это духъ,
свѣтъ луча: безъ нея все—смерть при самой
жизни, все—матерія при самомъ органиче-
скомъ развитіи, все—мракъ при самомъ зрѣ-
ніи. Любовь есть высшая и единая дѣйстви-
тельность, вѣтъ которой все—призраки, обман-
ывающіе зрѣніе, формы безъ содержанія,
пустота въ кажущихся границахъ. Какъ огонь
есть вмѣстѣ и свѣтъ, и теплота, такъ и лю-
бовь есть осуществившійся, явленный разумъ,
осуществившаяся, явленная истина. Ею все
держится, и весь міръ—ея явленіе. Въ при-
родѣ она разлита какъ электричество; въ духѣ
является разумной мыслью, въ самой себѣ—
носящей силу своего проявленія въ благомъ
дѣйствіи. И потому челоѣкъ, полный ею,
сильнѣе Самсона: съ мучениками первыхъ вре-
менъ христіанской церкви безтрепетно шель
къ дикимъ звѣрямъ и, объятый пожирающимъ
пламенемъ, пѣлъ гимны Богу живому и без-
смертному, онъ изъ рыбака становился лов-
цомъ челоѣковъ. Любовь столь сильна, что
творитъ непостижимое, торжествуетъ надъ
вѣчно неизмѣнными условіями пространства и
времени, надъ безсиліемъ плоти, младенцу
даетъ львиную силу. Самъ Богъ есть любовь
и источникъ любви, изъ котораго все исхо-
дитъ и въ который все возвращается. «Воз-
любленные! станемъ любить другъ друга; ибо
любовь отъ Бога, и всякій, кто любитъ, ро-
жденъ отъ Бога и знаетъ Бога. Кто не лю-
битъ, тотъ не позналъ Бога; потому что *Богъ
есть любовь*—Богъ есть любовь, и пребываю-
щій въ любви, пребываетъ въ Богѣ, и Богъ
въ немъ», говоритъ св. апостолъ Іоаннъ (перв.
пос. гл. IV, стр. 7, 8 и 16). И потому вся-
кая власть и всякая сила только въ любви.

И потому слово, проникнутое любовью,
горитъ огнемъ неотразимаго убѣжденія и
согрѣваетъ теплотой умиленія сердце, услы-
шавшее его, и даетъ ему миръ и счастье;
но слово, лишенное любви, и святія исти-
ны дѣлаютъ холоднымъ и мертвымъ нраво-
ученіемъ и потому безсильно надъ умомъ и
сердцемъ.

Истина выше челоѣка, какъ личности:
чтобъ быть достойнымъ имени челоѣка, онъ
долженъ сдѣлаться сосудомъ истины. Но
истина не дается челоѣку вдругъ, какъ его
законное обладаніе: онъ долженъ достигать
ея трудомъ, борьбой, лишениями и страда-
ніемъ,—и вся жизнь его должна быть стрем-
леніемъ къ истинѣ. Личность челоѣческая
есть частность и ограниченность: только исти-
на можетъ сдѣлать ее общимъ и безконеч-
нымъ. Поэтому первое и основное условіе
достиженія истины есть для челоѣка отлу-
ченіе отъ самого себя въ пользу истины.
Отсюда происходятъ добровольныя лишенія,
борьба съ желаніями и страстями, неумоли-
мая строгость къ своему самолюбію, готов-
ность къ самообвиненію предъ истиной, са-
моотверженіе и самопожертвованіе; кто не
зналъ и не испыталъ въ своей жизни ничего
этого,—тотъ не жилъ въ истинѣ, не жилъ
въ любви.

Теперь взглянемъ съ этой точки на любовь
родительскую.

Отецъ и мать любятъ свое дитя, потому
что оно ихъ рожденіе. Родство крови есть
первая и въ то же время священная основа
любви, ея исходный пунктъ, отъ котораго дви-
жется ея развитіе. Возставать противъ этого
могутъ только или отвлеченные умы, рассу-
дочные люди, неспособные проникнуть ни въ
какую живую, явленную истину, или сердца
холодныхъ, сухія, мертвыя, если не порочныя
и не развратныя. Но, повторяемъ, естествен-
ная любовь, основывающаяся на одномъ род-
ствѣ крови, еще далеко не составляетъ того,
чѣмъ должна быть челоѣческая любовь. Изъ
родства крови и плоти должно развиться род-
ство духа, которое одно прочно, крѣпко, одно
истинно и дѣйствительно, одно достойно вы-
сокой и благородной челоѣческой природы.
Посмотрите: сколько на свѣтѣ дурныхъ дѣ-
тей, которыя теряютъ къ родителямъ всякую
любовь, но оказываютъ къ нимъ только вѣн-
нее, формальное уваженіе, какъ скоро изба-
вляются лѣтами и обезпеченіемъ своего со-
стоянія отъ ихъ власти и вліянія, и къ тому
же не ждуть себѣ никакого наслѣдства послѣ
ихъ смерти. Сколько бываетъ въ свѣтѣ ужас-
ныхъ примѣровъ дѣтей, не оказывающихъ
родителямъ даже и вѣшняго уваженія, тре-
буемаго общественными приличіями, — даже
дѣтей, оскорбляющихъ своихъ родителей, если
тѣ не рѣшаются прибѣгнуть къ гражданскому

закону... Страшное, возмущающее душу зрѣлище! Бѣдные родители, несчастныя дѣти! Да, несчастныя,—и, жалѣя о первыхъ, не спѣшите проклинать послѣднихъ, но подумайте о томъ—природа ли создаетъ изверговъ, или воспитаніе и жизнь дѣлаютъ ихъ такими? Мы не отвергаемъ, чтобы природа не производила людей, наклонныхъ къ пороку, но мы вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпко убѣждены, что такія явленія возможны какъ исключенія изъ общаго правила, и что нѣтъ столь дурного человѣка, котораго бы хорошее воспитаніе не сдѣлало лучшимъ. Горе дурнымъ дѣтямъ! почему бы они ни сдѣлались такими — отъ дурного ли воспитанія, по винѣ родителей, или отъ случайныхъ обстоятельствъ,—но они несчастны, потому что не знаютъ счастья сыновней любви и не могутъ имѣть надежды вкусить счастье любви родительской. Но тѣмъ не менѣе должно вникать въ причины ихъ нравственнаго искаженія, если не для оправданія ихъ, то для оправданія истины, которая выше всего, даже родителей, и для поучительнаго примѣра въ предотвращеніе такихъ возмущающихъ душу явленій. Мы сказали, что отецъ любить свое дитя, потому что оно его рожденіе; но онъ долженъ любить его еще какъ будущаго человѣка, котораго Богъ нарекъ сыномъ своимъ и за спасеніе котораго онъ принялъ на крестѣ страданіе и смерть. При самомъ рожденіи отецъ долженъ посвятить свое дитя служенію Богу въ духѣ и истинѣ,—и посвященіе это должно состоять не въ отторженіи его отъ живой дѣйствительности, но въ томъ, чтобы вся жизнь и каждое дѣйствіе его въ жизни было выраженіемъ живой, пламенной любви къ истинѣ, въ которой является Богъ. Только такая любовь къ дѣтямъ истинна и достойна называться любовью; всякая же другая есть эгоизмъ, холодное самолюбіе. Вся жизнь отца и матери, всякій поступокъ ихъ долженъ быть примѣромъ для дѣтей, и основой взаимныхъ отношеній родителей къ дѣтямъ должна быть любовь къ истинѣ, но не къ себѣ. Есть отцы, которые любятъ дѣтей для самихъ себя,—и въ этой любви есть своя истинная и разумная сторона; есть отцы, которые любятъ своихъ дѣтей для нихъ самихъ,—и эта любовь выше, истиннѣе, разумнѣе; но при этихъ двухъ родахъ любви есть еще высшая, истиннѣйшая и разумнѣйшая любовь къ дѣтямъ — любовь въ истинѣ, въ Богѣ. Любить ли отецъ своего сына, если заставляетъ его смотрѣть съ уваженіемъ на свои дурныя и безнравственные поступки, какъ на благородные и разумные? Не все ли это равно, что требовать отъ дитяти, чтобы оно вопреки своему зрѣнію бѣлое называло чернымъ, а черное бѣлымъ? Тутъ нѣтъ любви, тутъ есть только самолюбіе, которое свою личность ставитъ выше истины. А между тѣмъ у ребенка всегда будетъ столько

смысла, чтобы, видя, какъ его маменька колотитъ по щекамъ дѣвочку, или какъ его папенька напивается пьянъ и дерется съ маменькой, понимать, что это дурно. Конечно, приучая къ такимъ сценамъ съ малолѣтства и толкуя, что это хорошо, можно наконецъ увѣрить ребенка, что въ этомъ-то и состоитъ истинная жизнь; но это значитъ развратить, погубить его; гдѣ же тутъ любовь? — тутъ только самолюбіе, которое въ своихъ дѣтяхъ хочетъ видѣть собственное безобразіе, чтобы не имѣть въ нихъ себѣ строгихъ, хотя и безмолвныхъ судей. Вопреки законамъ природы и духа, вопреки условіямъ развивающейся личности, отецъ хочетъ, чтобы его дѣти смотрѣли и видѣли не своими, а его глазами; преслѣдуетъ и убиваетъ въ нихъ всякую самостоятельность ума, всякую самостоятельность воли, какъ нарушеніе сыновняго уваженія, какъ возстаніе противъ родительской власти,—и бѣдныя дѣти не смѣютъ при немъ рта разинуть, въ нихъ убита энергія, воля, характеръ, жизнь, они дѣлаются почтительными статуями, заражаются рабскими пороками—хитростью, лукавствомъ, скрытностью, лгутъ, обманываютъ, вывертываются... Китайцы, поставляющіе красоту женскихъ ногъ въ миниатюрности, зашиваютъ у дѣвочекъ ноги въ сырую воловью шкуру, и снимаютъ ее, когда уже дѣвочки становятся дѣвушками: ножки въ самомъ дѣлѣ крошечныя, только кривыя, изогнутыя, уродливыя, и женщина можетъ ходить только въ комнатѣ, и то опираясь о стѣны и на мебель. Таковы результаты остановленной въ свободномъ развитіи природы! Таковы же бывають и результаты остановленнаго въ естественномъ и самобытномъ развитіи духа! Но что сказать о тѣхъ родителяхъ, которые имѣютъ несчастное убѣжденіе, что для пользы и счастья своихъ дѣтей они обязаны управлять тѣми ихъ склонностями, которыя рѣшаютъ счастье или несчастье цѣлой жизни человѣка? И какъ часто случается, что прекрасная дѣвушка съ глубокой душой, любящимъ сердцемъ, по какому-нибудь случаю получившая на свою пагубу хорошее воспитаніе, созданная украсить, озолотить, осяцливить жизнь избраннаго ею, который бы понималъ ее, выдается силой родительской власти за какое-нибудь глупое животное съ человѣческимъ обликомъ и гибнетъ безмолвной жертвой тайнаго, никѣмъ непонятаго страданія!.. Бѣдная, ей даже не на кого и жаловаться: ее погубили изъ любви же къ ней, изъ искренняго желанія ей добра и счастья... Горе человѣку, когда его участь въ рукахъ злодѣевъ, и такое же горе ему, когда его участь въ рукахъ добрыхъ, но пошлыхъ и глухихъ людей!.. Бѣдныя женщины чаще всего испытываютъ на себѣ несомнѣнность этой горькой истины... Молодой человѣкъ, принужденный избрать чуждую сво-

ему призванію дорогу жизни, рано или поздно, хоть съ утратой силъ души, хоть съ обрѣзанными крыльями, но еще вылетаетъ на желанную свободу, а женщины?.. Но что сказать о тѣхъ родителяхъ, которые торгуютъ счастьемъ своихъ дѣтей, спекулируютъ или на богатство, на знатность, да еще дѣйствуютъ при этомъ во имя нравственности, любви и своихъ священныхъ родительскихъ обязанностей къ дѣтямъ!.. Но оставимъ этотъ ужасный предметъ, отъ котораго возмущается и содрогается человѣческая природа будто при видѣ удава или гремучей змѣи...

Разумная любовь должна быть основой взаимныхъ отношеній между родителями и дѣтьми. Любовь предполагаетъ взаимную довѣренность — и отецъ долженъ быть столько же отцомъ, сколько и другомъ своего сына. Первое попеченіе должно быть о томъ, чтобы сынъ не скрывалъ отъ него ни малѣйшаго движенія своей души, чтобы къ нему первому шелъ онъ и съ вѣстью о своей радости или горѣ, и съ признаніемъ въ проступкѣ, въ дурной мысли, въ нечистомъ желаніи, и съ требованіемъ совѣта, участія, сочувствія, утѣшенія. Какъ грубо ошибаются многіе, даже изъ лучшихъ отцовъ, которые почитаютъ необходимымъ раздѣлять себя съ дѣтьми строгостью, суровостью, недоступной важностью. Они думаютъ этимъ возбудить къ себѣ въ дѣтяхъ уваженіе, и въ самомъ дѣлѣ возбуждаютъ его, но уваженіе холодное, боязливое, трепетное, и тѣмъ отвращаютъ ихъ отъ себя и невольно приучаютъ къ скрытности и лживости. Родители должны быть уважаемы дѣтьми, но уваженіе дѣтей должно происходить изъ любви, быть ея результатомъ, какъ свободная дань ихъ превосходству, безъ требованія получаемая. Ничто такъ ужасно не дѣйствуетъ на юную душу, какъ холодность и важность, съ которыми принимается горячее изліяніе ея чувства; ничто не обливаешь ее такимъ умерщвляющимъ холодомъ, какъ благоразумные совѣты и наставленія тамъ, гдѣ ожидаетъ она сочувствія. Обманутая такимъ образомъ въ своемъ стремленіи разъ и другой, она затворяется въ самой себѣ, сознаетъ свое одиночество, свою отдѣльность и особность отъ всего, что такъ любовно и родственно еще недавно окружало ее, и въ ней развивается эгоизмъ, она приучается думать, что жизнь есть борьба эгоистическихъ личностей, азартная игра, въ которой торжествуетъ хитрый и безжалостный и гибнетъ неловкій или совѣстливый. Открытая душа младенца или юноши — свѣтлый ручей, отражающій въ себѣ чистое и ясное небо; запертая въ самой себѣ, она — мрачная бездна, въ которой гнѣздятся ветопыри и жабы... Если же не это, можетъ случиться другое: индивидуальность человѣческая по своей природѣ не терпитъ отчужденія и

одиночества, жаждетъ сочувствія и довѣренности подобныхъ себѣ, и дѣти сдружаются между собой, составляютъ родъ общества, имѣющаго свои тайны, общими и соединенными силами скрываемаго, что никогда до добра не доводитъ. Это бываетъ еще опаснѣе, когда друзья избираются между чужими, и тѣмъ болѣе когда избранный другъ старше избравшаго: онъ беретъ надъ нимъ верхъ, приобретаетъ у него авторитетъ и передаетъ ему всѣ свои наклонности и привычки, — что же, если онъ дурны и порочны?.. Нѣтъ! первое условіе разумной родительской любви — владѣть полной довѣренностью дѣтей, и счастливы дѣти, когда для нихъ открыта родительская грудь и объятія, которыя всегда готовы принять ихъ правыхъ и виноватыхъ, и въ которыя они всегда могутъ броситься безъ страха и сомнѣнія!

Юная душа, не испытывавшая еще отчужденія и сомнѣнія, вся открыта наружу, она не умѣетъ любить въ мѣру, но предается предмету своей любви беззавѣтно и безусловно, видитъ въ немъ идеалъ всевозможнаго совершенства, высшій образецъ для своихъ дѣйствій, вѣритъ ему со всѣмъ жаромъ фанатика. И что же, если такая любовь устремлена къ родителямъ, соединяясь съ естественной, кровной любовью къ нимъ! О, для такихъ дѣтей высочайшее счастье какъ можно чаще быть въ присутствіи родителей, наслаждаться ихъ разговорами, сопровождать ихъ въ прогулкѣ, имѣть свидѣтелями своихъ игръ и рѣзвостей, обращаться къ нимъ въ недоразумѣніяхъ, избирать ихъ въ посредники между собой въ своихъ маленькихъ ссорахъ и неудовольствіяхъ! Нужно ли доказывать, что при такомъ воспитаніи родители одной лаской могутъ дѣлать изъ своихъ дѣтей все что имъ угодно; что имъ ничего не стоитъ приучить ихъ съ малолѣтства къ выполненію долга — къ постоянному, систематическому труду въ опредѣленные часы каждаго дня (важная сторона въ воспитаніи: отъ опущенія ея много губится въ человѣкѣ!)? Нужно ли говорить, что такимъ родителямъ очень возможно будетъ обратить трудъ въ привычку, въ наслажденіе для своихъ дѣтей, а свободное отъ труда время — въ высшее счастье и блаженство? Еще менѣе нужно доказывать, что при такомъ воспитаніи совершенно бесполезны всякаго рода унижательныя для человѣческаго достоинства наказанія, подавляющія въ дѣтяхъ благородную свободу духа, уваженіе къ самимъ себѣ и растлѣвающія ихъ сердца подлыми чувствами униженія, страха, скрытности и лукавства. Суровый взглядъ, холодно-вѣжлиное обращеніе, косвенный упрекъ, деликатный намекъ, и уже много-много если отказъ въ прогулкѣ съ собой, въ участіи слушать повѣсть или сказку, которую будетъ читать или рассказы-

вать отецъ или мать, наконецъ, арестъ въ комнатѣ, — вотъ наказанія, которыя, будучи употреблены соразмѣрно съ виной, производятъ и сознание, и раскаяніе, и слезы, и исповѣданіе. Нѣжная душа доступна всякому впечатлѣнію, даже самому легкому; у ней есть тонкій инстинктъ, по которому она сама догадывается о неловкости своего положенія, если подала къ нему поводъ; душа грубая, привыкшая къ сильнымъ наказаніямъ, ожесточается, черствѣетъ, мозолится, дѣлается безстыдно-безсовѣстной — и ей ужъ скоро ни по чемъ всякое наказаніе. Нужно ли говорить, что такое воспитаніе легко и возможно, но требуетъ всего человѣка, всего его вниманія, всей его любви? Отцы, которыхъ вся жизнь сосредоточена въ дѣтяхъ, отдана имъ безъ раздѣла — рѣдкія явленія; но для нихъ-то и говоримъ мы, къ нимъ и обращаемъ рѣчь нашу, — и дай Богъ, чтобы она принята была ими съ такой же любовью и искренностью, съ какими мы обращаемся къ нимъ!.. Всѣ же не такіе могутъ не вѣрить и даже смѣяться надъ нами, если имъ это заблагоразсудится... Въ добрый часъ!..

Воспитаніе — великое дѣло: имъ рѣшается участь человѣка. Молодые поколѣнія суть гости настоящаго времени и хозяева будущаго, которое есть ихъ настоящее, получаемое ими какъ наслѣдство отъ старѣйшихъ поколѣній. Какъ зародышъ будущаго, которое должно сдѣлаться настоящимъ, каждое изъ нихъ есть новая идея, готовая смѣнить старую идею. Это и есть условіе хода и процесса человѣчества. «Не вливаютъ вина молодого въ мѣхи старые», сказалъ намъ Божественный Спаситель, и онъ же изрекъ о дѣтяхъ, приведенныхъ къ Нему для благословенія: «Таковыя есть царство небесное». Но новое, чтобъ быть дѣйствительнымъ, должно исторически развиваться изъ стараго, — и въ этомъ законѣ заключается важность воспитанія, и имъ же обуславливается важность тѣхъ людей, которые берутъ на себя священную обязанность быть воспитателями дѣтей.

Правительство, неуспѣшно пекущееся о нашемъ благѣ, ничего не шадитъ для утвержденія на прочныхъ основаніяхъ общественнаго образованія. Несмотря на безчисленное множество уже существующихъ учебныхъ заведеній, оно не перестаетъ учреждать новыя на лучшихъ основаніяхъ, а старыя преобразовывать соотвѣтственно потребностямъ времени; употребляетъ на нихъ огромныя суммы, замѣщаетъ вакантія мѣста молодыми людьми, болѣе старыхъ — способными удовлетворить современнымъ требованіямъ, — и кто вникалъ со вниманіемъ въ эту отрасль администраціи, тотъ не могъ не дивиться быстрымъ переѣздамъ въ ней къ лучшему, богатыми прекрасными результатами. Но общественное обра-

зованіе, преимущественно имѣющее въ виду развитіе умственныхъ способностей и обогащеніе ихъ познаніями, совсѣмъ не то, что воспитаніе домашнее: то и другое равно необходимо, и ни одно другого замѣнить не можетъ. Вотъ что говорить объ этомъ великій германскій мыслитель Гегель въ своей торжественной рѣчи на актѣ Нюрнбергской гимназіи, обязанной его кратковременному управленію теперешнимъ своимъ процвѣтаніемъ: «Въ связи съ этимъ находится еще другой важный предметъ, который ставитъ школу еще въ большую необходимость опираться на домашнія отношенія учениковъ — это дисциплина. Я здѣсь отличаю воспитаніе нравовъ отъ ихъ образованія. Цѣлью учебнаго заведенія можетъ быть не воспитаніе, не дисциплина нравовъ въ собственномъ смыслѣ, а образованіе ихъ, и притомъ не со всѣми средствами, къ нему ведущими. Учебное заведеніе должно предполагать добрую нравственность въ своихъ ученикахъ. Мы должны требовать, чтобы ученики, вступающіе къ намъ въ школу, уже получили предварительное воспитаніе. По духу нравовъ нашего времени непосредственное воспитаніе не есть, такъ какъ у спартанцевъ, публичное, государственное; обязанность и забота воспитанія лежитъ на родителяхъ. Другое дѣло — сиротскіе дома или семинаріи и вообще всѣ заведенія, которыя обнимаютъ цѣлое существованіе юноши».

Такъ! на родителяхъ, на однихъ родителяхъ лежитъ священнѣйшая обязанность сдѣлать своихъ дѣтей человѣками; обязанность же учебныхъ заведеній — сдѣлать ихъ учеными гражданами, членами государства на всѣхъ его ступеняхъ. Но кто не сдѣлался прежде всего человѣкомъ, тотъ плохой гражданинъ, плохой слуга государю. Изъ этого видно, какъ важенъ, великъ и священенъ санъ воспитателя: въ его рукахъ участь цѣлой жизни человѣка! Первыя впечатлѣнія могущественно дѣйствуютъ на юную душу: все дальнѣйшее ея развитіе совершается подъ ихъ могущественнымъ вліяніемъ. Всякій человѣкъ, еще не родившись на свѣтъ, въ самомъ себѣ носитъ уже возможность той формы, того опредѣленія, какое ему нужно. Эта возможность заключается въ его организмѣ, отъ котораго зависитъ и его темпераментъ, и его характеръ, и его умственныя средства, и его склонность и способность къ тому или другому роду дѣятельности, къ той или другой роли въ общественной драмѣ, — словомъ, вся его индивидуальная личность. По своей природѣ никто ни выше, ни ниже самого себя: Наполеономъ или Шекспиромъ должно родиться, но нельзя сдѣлаться; хорошій офицеръ часто бываетъ плохимъ генераломъ, а хорошій водевиистъ — дурнымъ трагикомъ. Это уже судьба, передъ которой безсильна и человѣческая воля, и

самыя счастливыя обстоятельства. Назначеніе чело­вѣка — развить лежащее въ его натурѣ зерно духовныхъ средствъ, стать вровень съ самимъ собой, но не въ его волѣ и не въ его силахъ пріобрѣсти трудомъ и усиліемъ сверхъ даннаго ему природой, сдѣлаться выше самого себя, равно какъ и быть не тѣмъ, чѣмъ ему назначено быть, какъ напримѣръ художникомъ, когда онъ родился быть мыслителемъ, и т. д. И вотъ здѣсь воспитаніе получаетъ свое истинное и великое значеніе. Животное, родившись отъ льва и львицы, дѣлается львомъ, безъ всякихъ стараній и усилій съ своей стороны, безъ всякаго вліянія счастливаго стеченія обстоятельствъ; но чело­вѣкъ, родившись не только львомъ или тигромъ, даже чело­вѣкомъ, въ полномъ значеніи этого слова, можетъ сдѣлаться и волкомъ, и осломъ, и чѣмъ угодно. Часто одаренный великими средствами на великое, онъ обнаруживаетъ только дикую силу, которая служить ему не къ чему иному, какъ къ разрушенію всего окружающаго его и даже самого себя. И если бываютъ такіа богатая и могучія натуры, которыя собственной глуби­нностью и силой спасаются отъ гибели или искаженія вслѣдствіе ложнаго, неестественнаго развитія и дурнаго воспитанія, — то все-таки нельзя же сомнѣваться въ томъ, что тѣ же самыя натуры, при нормальномъ развитіи и разумномъ воспитаніи, прямѣе дошли бы до своей цѣли, съ силами свѣжими и неистощенными въ тяжелой и бесплодной борьбѣ съ случайными противорѣчіями. Разумное воспитаніе и злое по натурѣ дѣлаетъ или менѣе злымъ, или даже и добрымъ, развиваетъ до извѣстной степени самыя тупыя способности и по возможности очеловѣчиваетъ самую ограниченную и мелкую натуру; такъ дикое лѣсное растеніе, когда его пересажать въ садъ и подвергнуть уходу садовника, дѣлается и пышнѣе цвѣтомъ, и вкуснѣе плодомъ. Не всѣ рождаются героями, художниками, учеными; гений есть явленіе вѣковое, рѣдкое; сильныя таланты тоже похожи на исключенія изъ общаго правила, — и въ этомъ случаѣ чело­вѣчество есть армія, въ которой можетъ быть до милліона рядовыхъ солдатъ, но только одинъ фельдмаршалъ, и въ каждомъ полку только одинъ полковникъ, и на сто рядовыхъ одинъ офицеръ. Въ такой же пропорціи находится къ большинству или толпѣ и число людей съ глубокой и безконечной натурой, которыхъ назначеніе — не проявиться въ какомъ-нибудь родѣ дѣятельности, составляющемъ призваніе гения и таланта, но все понимать, всему сочувствовать и все облагораживать и счаст­ливать своимъ непосредственнымъ вліяніемъ. Природа не скупа, но экономна въ своихъ дарахъ, — и, какъ явленіе вѣчнаго разума, она строго соблюдаетъ свой іерархическій порядокъ, свою табель о рангахъ. Но вся-

кое назначеніе природы имѣетъ параллельное себѣ назначеніе въ чело­вѣчествѣ и въ гра­жданскомъ обществѣ, — почему всякій чело­вѣкъ съ какими бы то ни было способностями находитъ свое мѣсто въ томъ и другомъ. Не мѣста людей, но люди мѣста унижаютъ. Самое приличное мѣсто чело­вѣку то, къ которому онъ призванъ; а свидѣтельство при­званія — его способности, степень ихъ, на­клонность и стремленіе. Кто призванъ на великое въ чело­вѣчествѣ — совершай его: ему честь и слава, ему вѣнецъ гения; кому же назначена тихая и неизвѣстная доля — умѣй найти въ ней свое счастье, умѣй съ пользою дѣйствовать и на маломъ поприщѣ, умѣй быть достойнымъ, почтеннымъ и въ скром­ной дѣятельности. Всякое желаніе невозмож­наго — есть ложное желаніе; всякое стремле­ніе быть выше себя, выше своихъ средствъ — есть не благородный порывъ сознающей себя силы, а претензія жалкой непосредственно­сти и бѣднаго самолюбія украситься внѣш­нимъ блескомъ. Цѣль нашихъ стремленій есть удовлетвореніе, и всякій удовлетворяется ни больше, ни меньше, какъ тѣмъ, что ему нужно; а кто нашелъ свое удовлетвореніе на ограниченномъ поприщѣ, тотъ счастливѣе того, кто, обладая большими духовными сред­ствами, не можетъ найти своего удовлетво­ренія. Честный и по своему умный сапож­никъ, который въ совершенствѣ обладаетъ своимъ ремесломъ и получаетъ отъ него все, что нужно ему для жизни, выше плохого ге­нерала, хотя бы онъ былъ самъ Меласъ, выше педанта ученаго, выше дурного стихо­творца. Главная задача чело­вѣка во всякой сферѣ дѣятельности, на всякой ступени въ лѣстницѣ общественной іерархіи быть чело­вѣкомъ. Но умѣренная на произведеніе вели­кихъ явленій духовнаго міра природа щедра до безконечности на произведеніе людей и съ душой, и съ способностями, и съ даро­ваніемъ — словомъ, со всѣмъ, что нужно чело­вѣку, чтобъ быть достойнымъ высокаго званія чело­вѣка. Люди бездарные, ни къ чему не способные, тупоумные суть такое же ис­ключеніе изъ общаго правила, какъ уроды, и ихъ такъ же мало, какъ и уродовъ. Множе­ство же ихъ происходитъ отъ двухъ причинъ, въ которыхъ природа нисколько не виновата: отъ дурнаго воспитанія и вообще ложнаго развитія, и еще оттого, что рѣдко случается видѣть чело­вѣка на своей дорогѣ и на своемъ мѣстѣ. Сознаніе своего назначенія — трудное дѣло, и часто, если не натолкнуть чело­вѣка на чуждую ему дорогу жизни, онъ самъ пой­детъ по ней, руководимый или безсознатель­ностью, или претензіями. Но если бы возмож­но было равное для всѣхъ нормальное вос­питаніе, — число обиженныхъ природой такъ ограничилось бы, что дѣйствительно обижая-

ные ею прямо поступали бы въ кунсткамеру въ банки со спиртомъ. И потому воспитаніе по отношенію къ большинству приобретаетъ еще большую важность: оно все—и жизнь и смерть, спасеніе и гибель.

Но воспитаніе, чтобы быть жизнью, а не смертью, спасеніемъ, а не гибелью, должно отказаться отъ всякихъ претензій своевольной и искусственной самодѣятельности. Оно должно быть помощникомъ природѣ—не больше. Обыкновенно думаютъ, что душа младенца есть бѣлая доска, на которой можно писать что угодно, забывая, что каждый человѣкъ есть индивидуальная личность, которая можетъ дѣлаться и хуже, и лучше только по своему, индивидуально. Воспитаніе можетъ сдѣлать человѣка только худшимъ, исказить его натуру; лучшимъ оно его не дѣлаетъ, а только помогаетъ дѣлаться. Если душа младенца и въ самомъ дѣлѣ есть бѣлая доска, то качество и смыслъ буквъ, которыя пишетъ на ней жизнь, зависятъ не только отъ пишущаго и орудія писанія, но и отъ качества самой этой доски. Человѣкъ ничего не можетъ узнать, чего бы не было въ немъ, ибо вся дѣйствительность, доступная его разумѣнію, есть не что иное, какъ осуществившіеся законы его же собственного разума. И потому-то есть такъ называемыя врожденныя идеи, которыя суть непосредственное созерцаніе истины, заключающееся въ таинствѣ человѣческаго организма. Ребенка нельзя увѣрить, что дважды два—пять, а не четыре. А между тѣмъ есть истины и повыше этой, которыхъ сѣмя въ душѣ человѣка, еще и не думавшаго о нихъ!..

Нѣтъ, не бѣлая доска душа младенца, а дерево въ зернѣ, человѣкъ въ возможности! Какъ ни старо сравненіе воспитателя съ садовникомъ, но оно глубоко-вѣрно, и мы не затрудняемся воспользоваться имъ. Да, младенецъ есть молодой, блѣдно-зеленый ростокъ, едва выглянувшій изъ своего зерна, а воспитатель есть садовникъ, который ходитъ за этимъ нѣжнымъ, возникающимъ растеніемъ. Посредствомъ прививки и дикую лѣсную яблоню можно заставить вмѣсто кислыхъ и маленькихъ яблокъ давать яблоки садовые, вкусныя и большія; но тщетны были бы всѣ усилія искусства заставить дубъ приносить яблоки, а яблоню—желуди. А въ этомъ-то именно и заключается по большей части ошибка воспитанія: забываютъ о природѣ, дающей ребенку наклонности и способности и опредѣляющей его значеніе въ жизни, и думаютъ, что было бы только дерево, а то можно заставить его приносить что угодно, хоть арбузы вмѣсто орѣховъ.

Для садовника есть правила, которыми онъ необходимо руководствуется при хожденіи за деревьями. Онъ соображается не толь-

ко съ индивидуальной природою каждаго растенія, но и со временами года, съ погодой, съ качествомъ почвы. Каждое растеніе имѣетъ для него свои эпохи возрастанія, сообразно съ которыми онъ и располагаетъ свои съ нимъ дѣйствія: онъ не сдѣлаетъ прививки ни къ стеблю, еще несформировавшемуся въ стволъ, ни къ старому дереву, уже готовому засохнуть. Человѣкъ имѣетъ свои эпохи возрастанія, не сообразуясь съ которыми можно затупить въ немъ всякое развитіе.

Орудіемъ и посредникомъ воспитанія должна быть любовь, а цѣлью—человѣчность (die Humanität). Мы разумѣемъ здѣсь первоначальное воспитаніе, которое важнѣе всего. Всякое частное и исключительное направленіе, имѣющее опредѣленную цѣль въ какой-нибудь сторонѣ общественной, можетъ имѣть мѣсто только въ дальнѣйшемъ, окончательномъ воспитаніи. Первоначальное же воспитаніе должно видѣть въ дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но человѣка, который могъ бы впослѣдствіи быть тѣмъ или другимъ, не переставая быть человѣкомъ. Подъ человѣчностью мы разумѣемъ живое соединеніе въ одномъ лицѣ тѣхъ общихъ элементовъ духа, которые равно необходимы для всякаго человѣка, какой бы онъ ни былъ націи, какого бы онъ ни былъ званія, состоянія, въ какомъ бы возрастѣ жизни и при какихъ бы обстоятельствахъ ни находился,—тѣхъ общихъ элементовъ, которые должны составлять его внутреннюю жизнь, его драгоценнѣйшее сокровище, и безъ которыхъ онъ не человѣкъ. Подъ этими общими элементами духа мы разумѣемъ—доступность всякому человѣческому чувству, всякой человѣческой мысли, смотря по глубокости натуры и степени образованія каждаго. Человѣкъ есть разумно-сознательная сущность и органъ всего сущаго,—и отсюда получаетъ свое глубокое высокое значеніе извѣстное выраженіе: «*Homosum, nihil mihi alienum humani putos*», т.-е. «Я человѣкъ—и ничего человѣческаго не считаю чуждымъ мнѣ». Чѣмъ глубже натура и развитіе человѣка, тѣмъ болѣе онъ человѣкъ и тѣмъ доступнѣе ему все человѣческое. Онъ пойметъ и радостный крикъ дитяти при видѣ пролетѣвшей птички, и бурное волненіе страстей въ вулканической груди юноши, и спокойное самообладаніе мужа, и созерцательное упоеніе старца, и жгучее отчаяніе, и дикую радость, и безмолвное страданіе, и затаенную грусть, и восторги счастливой любви, и тоску разлуки, и слезы отринутаго чувства, и нѣмую мольбу взоровъ, и высоту самоотверженія, и сладость молитвы, и все, что въ жизни, и въ чемъ есть жизнь. Опытъ и опытность не суть необходимое условіе такой всеобъемлющей доступности: чтобы понять и младенца, и юношу, и мужа, и старца, и

женщину, ему не нужно быть вмѣстѣ и тѣмъ, и другимъ, и третьимъ, ему не нужно даже быть въ томъ положеніи, которое интересуетъ его въ каждомъ изъ нихъ, лишь бы представилось ему явленіе, а ужъ его чувство безсознательно откликнется на него и пойметъ его. На все будетъ у него и привѣтъ, и отвѣтъ, и участіе, и утѣшеніе, чистая радость о счастьѣ ближняго и состраданіе въ его горѣ, и улыбка на полный блаженства взоръ, и слеза на горькія слезы! Ему понятна и возможность не только слабостей и заблужденій, но и самыхъ пороковъ, самыхъ преступленій: презирая слабости и заблужденія, онъ будетъ жалѣть о слабыхъ и заблуждающихся; проклиная пороки и преступленія, онъ будетъ сострадать порочнымъ и преступнымъ. Его грудь равно открыта и для задушевной тайны друга, и для робкаго признанія юнаго, страждущаго существа, и для души, томимой обременительной полнотою блаженства, и для растерзанной страданіемъ сердца, и для рыдающаго раскаянія, и для самой ужасной повѣсти страстей и заблужденій. Онъ уважаетъ чувство и друга и недруга; для него святы и горе, и радость знакомаго и незнакомаго человѣка. Съ нимъ такъ тепло и отраднo, и своему, и чужому, онъ во всѣхъ внушаетъ такую довѣрчивость, такую откровенность; въ его душѣ столько теплоты и елейности, въ его словахъ такая кротость и задумчивость, въ его манерахъ столько мягкости и деликатности. Какъ отраднo бываетъ встрѣтить въ старикѣ, который былъ лишенъ всякаго образованія, провелъ всю жизнь свою въ практической дѣятельности, совершенно чуждой всего идеальнаго, мечтательнаго и поэтическаго,—какъ отраднo встрѣтить теплое чувство, неподдавленное бременемъ годовъ и желѣзными заботами жизни, любовь и снисхожденіе къ юности. къ ея вѣтреннымъ забавамъ, ея шумной радости, ея мечтамъ, и грустнымъ, и и свѣтлымъ, и пламеннымъ, и гордымъ! какъ отраднo увидѣть на его устахъ кроткую улыбку удовольствія, чистую слезу умиленія отъ пѣсни, отъ стихотворенія, отъ повѣсти!... О, станьте на колѣни передъ такимъ старикомъ, почтите за честь и счастье его ласковый привѣтъ, его дружеское пожатіе руки: въ немъ есть человѣчность! Онъ въ миллионъ разъ лучше этихъ сомнѣвающихся и разочарованныхъ юношей, которые увяли не расцвѣвши,—этихъ почтенныхъ лысинъ и сѣдинъ, которыя рутинной хотятъ замѣнить умъ и дарованіе, холоднымъ резонёрствомъ—теплое чувство, вѣрнымъ и заимствованнымъ блескомъ отличій—внутреннюю пустоту и ничтожность, а важными и строгими разсужденіями о нравственности—сухость и мертвенность своихъ деревянныхъ сердецъ!..

Чтобы не повторять одного и того же, мы перейдемъ теперь къ дѣтскимъ книгамъ—главному предмету нашей статьи, и ихъ характеристикой довершимъ нашу характеристику воспитанія вообще.

На дѣтскія книги обыкновенно обращаютъ еще менѣе вниманія, чѣмъ на самое воспитаніе. Ихъ просто презираютъ, и если покупаютъ, то развѣ для картинокъ. Есть даже люди, которые почитаютъ чтеніе для дѣтей больше вреднымъ, чѣмъ полезнымъ. Это—грубое заблужденіе, варварскій предрассудокъ. Книга есть жизнь нашего времени. Въ ней всѣ нуждаются и старые, и молодые, и дѣловые, и ничего недѣлающіе; дѣти—также. Все дѣло въ выборѣ книгъ для нихъ, и мы первые согласны, что читать дурно выбранныя книги для нихъ и хуже, и вреднѣе, чѣмъ ничего не читать: первое зло положительное, второе—только отрицательное. Такъ, напримѣръ, въ дѣтяхъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ должно развивать чувство изящнаго, какъ одинъ изъ первѣйшихъ элементовъ человѣчности; но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы имъ можно было давать въ руки романы, стихотворенія и проч. Нѣтъ ничего столь вреднаго и опаснаго, какъ неестественное и несвоевременное развитіе духа. Дитя должно быть дитятей, но не юношей, не взрослымъ человекомъ. Первые впечатлѣнія сильны—и плодомъ неразборчиваго чтенія будетъ преждевременная мечтательность, пустая и ложная идеальность, отвращеніе отъ бодрой и здоровой дѣятельности, склонность къ такимъ чувствамъ и положеніямъ въ жизни, которыя несвойственны дѣтскому возрасту. Юноши, переходящіе въ старость мимо позмужалости,—отвратительны, какъ старички, которые хотятъ казаться юношами. Все хорошо и прекрасно въ гармоніи, въ соотвѣтственности съ самимъ собой. Всему своя чреда. Неестественно и преждевременно развившіяся дѣти—нравственные уроды. Всякая преждевременная зрѣлость похожа на растлѣніе въ дѣтствѣ. Искусство въ той мѣрѣ дѣйствительно для каждаго, сколько каждый находитъ въ немъ истолкованіе того, что живетъ въ немъ самомъ, какъ чувство,—что знакомо ему, какъ потребность его души. Когда же онъ этого не находитъ въ искусствѣ, то видитъ въ немъ фразы, увлекается ими, и изъ простого, добраго человѣка становится высокопарнымъ болтуномъ, пустымъ и докучнымъ фразеромъ. Что же сказать о дѣтяхъ, которыя по своему возрасту не могутъ найти въ поэзіи отраженія внутренняго міра души своей? Разумѣется, они или увлекаются отвратительнымъ въ ихъ лѣта фразерствомъ и резонерствомъ, или перетолковываютъ по своему недоступныя для нихъ чувства и превращаютъ ихъ для себя въ неестественныя и ложныя ощущенія и по-

бужденія. Но въ пользу дѣтей должно исключить изъ числа недоступныхъ имъ искусствъ—музыку. Это искусство, невыговаривающее опредѣленно никакой мысли, есть какъ отрѣшившаяся отъ міра гармонія міра, чувство безконечнаго, воплотившееся въ звуки, возбуждающее въ душѣ могучіе порывы и стремленіе къ безконечному, возносящее ее въ ту превысшенную, надзвѣздную сферу высокихъ помысловъ и блаженнаго удовлетворенія, которая есть свѣтлая отчизна живущихъ долу, и изъ которой слышатся имъ довременные глаголы жизни... Вліяніе музыки на дѣтей благодатно, и чѣмъ ранѣе начнутъ они испытывать его на себѣ, тѣмъ лучше для нихъ. Они не переведутъ на свой дѣтскій языкъ ея невыговариваемыхъ глаголовъ, но запечатлѣютъ ихъ въ сердцахъ,—не перетолкуютъ ихъ по-своему, не будутъ о ней резонерствовать; но она наполнитъ гармоніей міра ихъ юныя души, разовьетъ въ нихъ предощущеніе таинства жизни, совлеченной отъ случайностей, и дастъ имъ легкія крылья, чтобы отъ низменнаго дола возноситься горѣ—въ свѣтлую отчизну душъ... Не можемъ удержаться, чтобы не выписать здѣсь мѣста изъ статьи одного малочитавагося журнала,—статья, проникнутой мыслью и благороднымъ одушевленіемъ: «Жалко сказать, въ какомъ положеніи находится у насъ музыкальное образованіе. У насъ учатъ музыкѣ не потому, что музыка есть великое искусство, которое возвышаетъ, облагораживаетъ душу, развиваетъ въ ней безконечный внутренній міръ, а потому, что стыдно же дѣвушкамъ не играть на фортепьяно, не спѣть романса—«это въ жизни хорошо»; какъ не блеснуть въ обществѣ своей игрой, своей музыкальностью!»*)—и у насъ музыка обратилась въ

какую-то роскошь воспитанія: папенька тратится и платитъ деньги музыкальному учителю, считая это ужъ необходимымъ зломъ для своего кармана. По большей части дѣвушки наши занимаются музыкой только до замужества, а такъ какъ на музыку смотрятъ, какъ на средство сдѣлать выгодную партію, или даже просто—поскорѣе выйти замужъ,—цѣль достигнута, и музыка оставлена, фортепьяно держится въ домѣ, какъ необходимая мебель. Да впрочемъ извѣстно и то, что благородной дѣвицѣ не прилично наслаждаться какой-то превысшенной любовью и находить свое счастье въ природѣ, въ искусствѣ, въ мысли; совсѣмъ нѣтъ; природа, поэзія и умныя сужденія должны быть украшеніями, забавами жизни, а вовсе не сущностью ея.—Пусть бы оставляли музыку для занятій и попеченій материнскихъ (хотя мы думаемъ напротивъ, что въ долгъ и попеченія матери музыка должна входить первая: она первая должна быть благодатной росой для растительной жизни дитяти, солнечнымъ свѣтомъ для пробуждающейся юной души, она развивается и укрѣпляетъ цвѣтокъ духовной жизни для плода... впечатлѣнія музыки на душу младенца и плоды ихъ неисчислимы); но дамы наши мало думаютъ объ этомъ, и музыка оставляется для другихъ, важнѣйшихъ предметовъ—нарядовъ, выѣздовъ, собраний, свѣтской литературы; но тихой, задумчивой музыкѣ неловко въ такомъ блистательномъ шумномъ обществѣ—она улетаетъ...» («М. Н.» 1838, стр. 332).

Но что же можно читать дѣтямъ! Изъ сочиненій, писанныхъ для всѣхъ возрастовъ, давайте имъ «Басни» Крылова, въ которыхъ даже практическія, житейскія мысли облечены въ такіе плѣнительные поэтическіе образы, и все такъ рѣзко запечатлѣно печатью русскаго ума и русскаго духа; давайте имъ «Юрія Милославскаго» Загоскина, въ которомъ столько душевной теплоты, столько патріотическаго чувства, который такъ простъ, такъ наивенъ, такъ чуждъ возмущающихъ душу картинъ, такъ доступенъ дѣтскому воображенію и чувству; давайте «Овсяный Кисель», эту наивную, дышащую младенческой поэзіей пьесу Гебеля, такъ превосходно переведенную Жуковскимъ; давайте имъ нѣкоторыя изъ народныхъ сказокъ Пушкина, какъ напримѣръ, «О Рыбакѣ и Рыбкѣ», которая при высокой поэзіи отличается, по причинѣ своей безконечной народности, доступностью для всѣхъ возрастовъ и сословій и заключаетъ въ себѣ нравственную идею. Не давая дѣтямъ въ руки самой книги, можно читать имъ отрывки изъ нѣкоторыхъ поэмъ Пушкина, какъ напримѣръ, въ «Кавказскомъ Пльнникѣ» изображеніе черкесскихъ нравовъ, въ «Русланѣ и Людмилѣ» эпизоды битвъ, о

*) Въ самомъ дѣлѣ, кому не хочется блеснуть своей музыкальностью?—И вотъ и въ музыку такъ же ввели моду, какъ и въ костюмы, и въ свѣтскіе обычаи. Пожалуйста намъ Черни, Герца, Тальберга, Шопена; какъ можно даже говорить о старикахъ—Моцартѣ и Бетховенѣ... Соната Бетховена—fi done!—какъ это старо!... Въ самомъ дѣлѣ, вы стары, простодушные художники!.. Посмотрите на природу, какъ она состарѣлась—вѣдь ужъ сколько тысячъ лѣтъ живетъ она!.. Шекспиру слишкомъ 200 лѣтъ, а Гомеръ даже сдѣлался мнѣомъ... Да, правда—всѣ вы стары, всѣ вы не годитесь теперь, вами вовсе нельзя блеснуть въ обществѣ: вы требуете много труда, размышленія, уединенія; а что жъ вы даете за это?—Какую-нибудь внутреннюю гармонію, одушевленіе, растворяете душу блаженствомъ и жаждой безконечнаго,—намъ совсѣмъ не этого нужно... Но я право не знаю, что нужно такимъ артистамъ, и, говоря это, я вовсе не имѣлъ намѣренія говорить о старыхъ германскихъ мастерахъ и высказалъ это такъ, къ слову, потому что мнѣ всегда очень забавно слышать такіе приговоры въ сферѣ искусства; но Богъ съ ними, съ этими любителями!..

полѣ, покрытомъ мертвыми костями, о богатырской головѣ; въ «Полтавѣ» описаніе битвы, появленіе Петра Великаго; наконецъ, нѣкоторыя изъ мелкихъ стихотвореній Пушкина, каковы: «Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ», «Женихъ», «Пиръ Петра Великаго», «Зимній Вечеръ», «Утопленникъ», «Бѣсы»; нѣкоторыя изъ пѣсенъ западныхъ славянъ, а для болѣе взрослыхъ—«Клеветникамъ Россіи» и «Бородинскую Годовщину». Не заботьтесь о томъ, что дѣти мало тутъ поймутъ, но именно и старайтесь, чтобы они какъ можно менѣе понимали, но больше чувствовали. Пусть ухо ихъ пріучается къ гармоніи русскаго слова, сердца преисполняются чувствомъ изящнаго; пусть и поэзія дѣйствуетъ на нихъ, какъ и музыка—прямо черезъ сердце, мимо головы, для которой еще настанетъ свое время, свой чередъ. Очень полезно и даже необходимо знакомить дѣтей съ русскими народными пѣснями, читать имъ съ немногими пропусками стихотворныя сказки Кириши Данилова. Народность обыкновенно выпускается у насъ изъ плана воспитанія; часто не только юноши, но и дѣти знаютъ наизусть отрывки изъ трагедій Корнеля и Расина и умѣютъ пересказать десятокъ анекдотовъ о Генрихѣ IV, о Людовикѣ XIV, а между тѣмъ не имѣютъ и понятія о сокровищахъ своей народной поэзіи, о русской литературѣ, и развѣ отъ дядекъ и мамокъ узнаютъ, что былъ на Руси великій царь Петръ I. Давайте дѣтямъ больше и больше созерпанія общаго, человѣческаго, мірового; но преимущественно старайтесь знакомить ихъ съ этимъ чрезъ родныя и національныя явленія: пусть они сперва узнаютъ не только о Петрѣ Великомъ, но и о Іаннѣ III, чѣмъ о Генрихахъ, Карлахъ и Наполеонахъ. Общее является только въ частномъ: кто не принадлежитъ своему отечеству, тотъ не принадлежитъ и человѣчеству.

Книги, которыя пишутся собственно для дѣтей, должны входить въ планъ воспитанія, какъ одна изъ важнѣйшихъ его сторонъ. Наша литература особенно бѣдна книгами для воспитанія, въ обширномъ значеніи этого слова, т.-е. какъ учебными, такъ и литературными дѣтскими книгами. Но эта бѣдность нашей литературы покуда еще не можетъ быть для нея важнымъ упрекомъ. Посмотрите на богатую литературу французовъ, англичанъ и даже самихъ нѣмцевъ: у всѣхъ у нихъ дѣтскихъ книгъ много, но читать дѣтямъ нечего, или по крайней мѣрѣ очень мало. У французовъ, напримѣръ, писали для дѣтей Беркенъ, Бульи, Жанлисъ и прочіе, написали бездну, но дѣти отъ этого нисколько не богаче книгами для своего чтенія. И это очень естественно: должно *родиться*, а не *сдѣлаться*, дѣтскимъ писателемъ. Это своего рода призваніе. Тутъ требуется не только та-

лантъ, но и своего рода геній... Да, много, много нужно условій для образованія дѣтскаго писателя: нужны душа благородная, любящая, кроткая, спокойная, младенчески-простодушная, умъ возвышенный, образованный, взглядъ на предметы просвѣтленный, и не только живое воображеніе, но и живая, поэтическая фантазія, способная представить все въ одушевленныхъ, радужныхъ образахъ. Разумѣется, что любовь къ дѣтямъ, глубокое знаніе потребностей, особенностей и отгнѣнковъ дѣтскаго возраста есть одно изъ важнѣйшихъ условій.

Цѣлью дѣтскихъ книжекъ должно быть не столько занятіе дѣтей какимъ-нибудь дѣломъ, не столько предохраненіе ихъ отъ дурныхъ привычекъ и дурного направленія, сколько развитіе данныхъ имъ отъ природы элементовъ человѣческаго духа, — развитіе чувства любви и чувства безконечнаго. Прямое и непосредственное дѣйствіе такихъ книжекъ должно быть обращено на чувство дѣтей, а не на ихъ разсудокъ. Чувство предшествуетъ знанію; кто не почувствовалъ истины, тотъ и не понялъ, и не узналъ ея. Въ дѣтскомъ возрастѣ чувство и разсудокъ въ рѣшительной противоположности, въ рѣшительной враждѣ, и одно убиваетъ другое: преимущественное развитіе чувства даетъ имъ полноту, гармонію и поэзію жизни; преимущественное развитіе разсудка губитъ въ нихъ сердца пышный цвѣтъ чувства и выращаетъ въ нихъ пырей и бѣлену резонерства. Дѣтскій умъ, предаваясь отвлеченности, въ живыхъ явленіяхъ природы и жизни видитъ однѣ мертвыя формы, лишеныя духа и сущности, и логическія опредѣленія для него—скорлупа гнилого орѣха, о которую только портятся зубы. Конечно одновременность вредна и въ воспитаніи, и дѣтскій разсудокъ требуетъ развитія, какъ и чувство; но развитіе разсудка въ дѣтяхъ предоставляется другой стороной воспитанія—ученію, школѣ. Садясь за грамматику, ребенокъ уже вступаетъ въ міръ отвлеченностей и логическихъ построеній и опредѣленій. Всему свое мѣсто, и ни одна сторона духа не должна мѣшать другой: пусть въ классѣ развивается разсудокъ ребенка и пріучается постепенно къ строгости логической дисциплины; пусть ребенокъ разсуждаетъ съ учебникомъ въ рукахъ, готовится къ классу; но лишь затворится за нимъ дверь класса, пусть онъ входитъ въ поэтическій міръ дѣйствительныхъ, образныхъ явленій жизни, въ «полное славы творенье»! Книга пусть будетъ у него книгой, а жизнь жизнью, и одно да не мѣшаетъ другому! Увы, прійдетъ время—и скроется отъ него этотъ поэтическій образъ жизни съ розовыми ланитами, съ сіяющими отъ веселья взорами, съ обольстительной улыбкой счастья на устахъ; подозрительный и

недовѣрчивый разсудокъ разложить его на мускулы, кровь, нервы и кости, и вмѣсто прежняго плѣнительнаго образа покажетъ ему отвратительный скелетъ. Въ душѣ раздадутся тревожные вопросы—и какъ, и отчего, и почему, и зачѣмъ? Живыя явленія дѣйствительности превратятся въ отвлеченныя понятія... Поздравимъ его, если онъ съ честью выдержитъ эту внутреннюю борьбу, если изъ порожденныхъ разрывающей силой разсудка противорѣчій снова войдетъ въ новое и высшее прежняго разумно-сознательное созерцаніе полноты жизни. Пожалѣемъ о немъ, если ему суждено будетъ навѣкъ остаться въ односторонней ограниченности разсудочнаго созерцанія жизни... Но пока онъ еще дитя, дадимъ ему вполнѣ насладиться первобытнымъ раемъ непосредственной полноты бытія, этой полной жизнью чистой младенческой радости, источникъ которой есть простодушное и цѣломудренное единство съ природой и дѣйствительностью.

Итакъ, если вы хотите писать для дѣтей, не забывайте, что они не могутъ мыслить, но могутъ только разсуждать, или, лучше сказать, резонерствовать, а это очень худо! Если несносенъ взрослый человѣкъ, который все великое въ жизни мѣряетъ маленькимъ аршиномъ своего разсудка, и о религіи, искусствѣ и знаніи разсуждаетъ, какъ о посѣвѣ хлѣба, паровыхъ машинахъ или выгодной партіи, то еще отвратительнѣе ребенокъ-резонеръ, который «разсуждаетъ», потому что еще не можетъ «мыслить». Резонерство изсушаетъ въ дѣтяхъ источники жизни, любви, благодати; оно дѣлаетъ ихъ молоденькими старичками, становитъ на ходули. Дѣтскія книжки часто развиваютъ въ нихъ эту несчастную способность резонерства, вмѣсто того, чтобы противодѣйствовать ея возникновенію и развитію. Чѣмъ обыкновенно отличаются напримѣръ повѣсти для дѣтей?—Дурно склеенными разсказами, пересыпанными моральными сентенціями. Цѣль такихъ повѣстей—обманывать дѣтей, искажая въ ихъ глазахъ дѣйствительность. Тутъ обыкновенно хлопочутъ изъ всѣхъ силъ, чтобы убить въ дѣтяхъ всякую живость, рѣзвость и шаловливость, которая составляетъ необходимое условіе юного возраста, вмѣсто того, чтобы стараться дать имъ хорошее направленіе и сообщить характеръ доброты, открытости и граціозности. Потому стараются приучить дѣтей обдумывать и взвѣшивать всякій свой поступокъ,—словомъ, сдѣлать ихъ благоразумными резонерами, которые годятся только для классической комедіи или трагедіи, а не думаютъ о томъ, что все дѣло во внутреннемъ источникѣ духа, что если онъ полонъ любовью и благодатью, то и внѣшность будетъ хороша, и что наконецъ нѣтъ ничего отвратительнѣе,

какъ мальчишка-резонеръ, свысока разсуждающій о морали, заложивъ руки въ карманъ. А потомъ, что еще?—Потомъ стараются увѣрять дѣтей, что всякій проступокъ наказывается, и всякое хорошее дѣйствіе награждается. Истина святая—не споримъ; но объяснять дѣтямъ наказаніе и награжденіе въ буквальномъ, внѣшнемъ, а слѣдовательно и случайномъ смыслѣ, значить обманывать ихъ. А по смыслу и разумнѣю (конечно крайнему) большей части дѣтскихъ книжекъ награда за добро состоитъ въ долготѣи, богатствѣ, выгодной женитьбѣ... Прочтите хоть, напримѣръ, повѣсти Коцебу, написанныя имъ для собственныхъ его дѣтей. Но дѣти только неопытны и простодушны, а отнюдь не глупы—и отъ всей души смѣются надъ своими мудрыми наставниками. И это еще спасеніе для дѣтей, если они не позволяютъ такъ грубо обманывать себя; но горе имъ, если они повѣрятъ: ихъ разувѣритъ горькій опытъ и наброситъ въ ихъ глазахъ темный покровъ на прекрасный Божій міръ. Каждый изъ нихъ собственнымъ опытомъ узнаетъ, что безстыдный лѣнтяй часто получаетъ похвалу насчетъ прилежнаго; что наглый затѣйникъ шалости непризнательностью отдѣлывается отъ наказанія, а чистосердечно признавшійся въ шалости нещадно наказывается; что честность и справедливость часто не только не даютъ богатства, но повергаютъ еще въ нищету. Да, къ несчастью каждый изъ нихъ узнаетъ все это; но не каждый изъ нихъ узнаетъ, что наказаніе за худое дѣло производится самимъ этимъ дѣломъ и состоитъ въ отсутствіи изъ души благодатной любви, мира, и гармоніи—единственныхъ источниковъ истиннаго счастья; что награда за доброе дѣло опять—таки происходитъ отъ самого этого дѣла, которое даетъ человѣку сознаніе своего достоинства, сообщаетъ его душѣ спокойствіе, гармонію, чистую радость и черезъ то дѣлаетъ ее храмомъ Божиимъ, потому что Богъ тамъ, гдѣ безмятежная, чистая радость, гдѣ любовь. А обо всемъ этомъ должны бы дѣтямъ говорить дѣтскія книжки! Онѣ должны внушать имъ, что счастье не во внѣшнихъ и призрачныхъ случайностяхъ, а въ глубинѣ души,—что не блестящій, не богатый, не знатный человѣкъ любимъ Богомъ, но «сокровенный сердца» человѣкъ въ нетлѣнномъ украшеніи кроткаго и спокойнаго духа, что драгоцѣнно предъ Богомъ, какъ говоритъ св. апостолъ Петръ. Онѣ должны показать имъ, что міръ и жизнь прекрасны такъ, какъ они суть, но что независимость отъ ихъ случайностей состоитъ не въ коврѣ-самолетѣ, не въ волшебномъ прутикѣ, мановеніе котораго воздвигаетъ дворцы, вызываетъ легионы хранительныхъ духовъ съ пламенными мечами, готовыхъ нака-

затѣ злыхъ преслѣдователей и обидчиковъ, но въ свободѣ духа, который силой божественной, христіанской любви торжествуетъ надъ невзгодами жизни и бодро переноситъ ихъ, почерпая силу въ этой любви. Онѣ должны знакомить ихъ съ таинствомъ страданія, показывая его, какъ другую сторону одной и той же любви, какъ блаженство своего рода и не какъ непріятную случайность, но какъ необходимое состояніе духа, не извѣдавъ котораго человѣкъ не извѣдаетъ и истинной любви, а слѣдовательно и истиннаго блаженства. Онѣ должны показать имъ, что въ добровольномъ и свободномъ страданіи, вытекающемъ изъ отреченія отъ своей личности и своего эгоизма, заключается твердая опора противъ несправедливости судьбы и высшая награда за нее. И все это дѣтскія книжки должны передавать своимъ маленькимъ читателямъ не въ истертихъ сентенціяхъ, не въ холодныхъ правоученіяхъ, не въ сухихъ разсказахъ, а въ повѣствованіяхъ и картинахъ, полныхъ жизни и движенія, проникнутыхъ одушевленіемъ, согрѣтыхъ теплотой чувства, написанныхъ языкомъ легкимъ, свободнымъ, игривымъ, цвѣтушимъ въ самой простотѣ своей, и тогда онѣ могутъ служить однимъ изъ самыхъ прочныхъ основаній и самыхъ дѣйствительныхъ средствъ для воспитанія. Пишите, пишите для дѣтей, но только такъ, чтобы вашу книгу съ удовольствіемъ прочелъ и взрослый и, прочтя, перенесся бы легкой мечтой въ свѣтлые годы своего младенчества. Главное дѣло — какъ можно меньше сентенцій, правоученій и резонерства: ихъ не любятъ и взрослые, а дѣти просто ненавидятъ, какъ и все, наводящее скуку, все сухое и мертвое. Они хотятъ видѣть въ васъ друга, который забывался бы съ ними до того, что самъ становился бы младенцемъ, а не угрюмаго наставника; требуютъ отъ васъ наслажденія, а не скуки, разсказовъ, а не поученій. Дитя веселое, доброе, живое, рѣзвое, жадное до впечатлѣній, страстное къ разсказамъ, не столько чувствительное, сколько чувствующее — такое дитя есть дитя Божіе: въ немъ играетъ юная, благодатная жизнь, и надъ нимъ почіетъ благословеніе Божіе. Пусть дитя шалитъ и проказитъ, лишь бы его шалости и проказы не были вредны и не носили на себѣ отпечатка физическаго и нравственнаго цинизма; пусть оно будетъ безразсудно, опрометчиво — лишь бы оно не было глупо и тупо; мертвенность же и безжизненность хуже всего. Но ребенокъ разсуждающій, ребенокъ благоразумный, ребенокъ резонеръ, ребенокъ, который всегда остороженъ, никогда не сдѣлаетъ шалости, ко всѣмъ ласковъ, вѣжливы, предупредителенъ, — и все это по расчету... горе вамъ, если вы сдѣлали его такимъ!.. Вы убили въ немъ чувство и раз-

вили разсудокъ: вы заглушили въ немъ благодатное сѣмя безсознательной любви и возростали—резонерство... Бѣдныя дѣти, сохрани васъ Богъ отъ оспы, кори и сочиненій Беркена, Жанлисъ и Бульи.

Основу, сущность, элементъ высшей жизни въ человѣкѣ составляетъ его внутреннее чувство безконечнаго, которое, какъ чувство, лежитъ въ его организаціи. Чувство безконечнаго есть искра Божія, зерно любви и благодати, живой проводникъ между человѣкомъ и Богомъ. Степени этого чувства различны въ ладахъ, по глаголу Спасителя: «И далъ одному пять талантовъ, другому два, третьему одинъ, каждому по его силѣ»; но мѣрой глубины этого чувства измѣряется достоинство человѣка и близость его къ источнику жизни — къ Богу. Все человѣческое знаніе должно быть выговариваніемъ, переведеніемъ въ понятія, опредѣленіемъ, короче — сознаніемъ таинственныхъ проявленій этого чувства, безъ котораго поэтому всѣ наши понятія и опредѣленія суть слова безъ смысла, форма безъ содержанія, сухая, безплодная и мертвая отвлеченность. Безъ чувства безконечнаго въ человѣкѣ не можетъ быть и внутренняго, духовнаго созерцанія истины, потому что непосредственное созерцаніе истины, какъ на фундаментѣ, основывается на чувствѣ безконечнаго. Это чувство есть даръ природы, результатъ счастливой организаціи, и потому оно свойственно и дѣтямъ, въ которыхъ лежитъ какъ зародышъ, — и развитія этого-то зародыша требуемъ мы отъ воспитанія и дѣтской литературы.

Мы сказали, что живая поэтическая фантазія есть необходимое условіе, въ числѣ другихъ необходимыхъ условій, для образованія писателя для дѣтей: чрезъ нее и посредствомъ ея долженъ онъ дѣйствовать на дѣтей. Въ дѣтствѣ фантазія есть преобладающая способность и сила души, главный ея дѣятель и первый посредникъ между духомъ ребенка и внѣ его находящимся міромъ дѣйствительности. Дитя не требуетъ діалектическихъ выводовъ и доказательствъ, логической послѣдовательности: ему нужны образы, краски и звуки. Дитя не любитъ отвлеченныхъ идей: ему нужны исторійки, повѣсти, сказки, разсказы, — и посмотрите, какъ сильно у дѣтей стремленіе ко всему фантастическому, какъ жадно слушаютъ они разсказы о мертвецахъ, привидѣніяхъ, волшебствахъ. Что это доказываетъ?—Потребность безконечнаго, предощеніе таинства жизни, начало чувства поэзіи, которыя находятъ для себя удовлетвореніе пока еще только въ одномъ чрезвычайномъ, отличающемся неопредѣленностью иден и яркостью красокъ. Чтобы говорить образами, надо быть если не поэтомъ, то по крайней мѣрѣ разсказчикомъ и обладать фантазіей.

живой, рѣзвой и радужной. Чтобы говорить образами съ дѣтьми, надо знать дѣтей, надо самому быть взрослымъ ребенкомъ, не въ полномъ значеніи этого слова, но родиться съ характеромъ младенчески-простодушнымъ. Есть люди, которые любятъ дѣтское общество и умѣютъ занять его и разсказомъ, и разговоромъ, и даже игрой, принявъ въ ней участіе, дѣти съ своей стороны встрѣчаютъ этихъ людей съ шумной радостью, слушаютъ ихъ со вниманіемъ и смотрятъ на нихъ съ откровенной довѣрчивостью, какъ на своихъ друзей. Про всякаго изъ такихъ у насъ на Руси говорятъ: «это дѣтскій праздникъ». Вотъ такихъ-то «дѣтскихъ праздниковъ» нужно и для дѣтской литературы. Да, — много, очень много условий! Такіе писатели, подобно поэтамъ, рождаются, а не дѣлаются...

Но резонерамъ крайне не нравятся подобныя требованія. Въ самомъ дѣлѣ, кому пріятно выслушивать свой смертный приговоръ, свое исключеніе изъ списка живущихъ? Вѣроятно по этой же причинѣ плохіе стихотворцы терпѣть не могутъ разсужденій о высшихъ требованіяхъ искусства: въ нихъ они видятъ свое уничтоженіе. Отнимите у резонера право пересыпать изъ пустого въ порожнее моральными сентенціями, — что же ему остается дѣлать на бѣломъ свѣтѣ? Въдѣ жизни, любви, одушевленія, таланта не поднимешь съ улицы, не купишь и за деньги, если природа отказала въ нихъ. А резонерствовать какъ легко: стоитъ только запастись бумагой, перомъ и чернилами, да присѣсть — а оно ужъ польется само! Какой поклонникъ Бахуса не въ состояніи ораторствовать о пагубномъ вліяніи крѣпкихъ напитковъ на тѣло и душу и о пользѣ трезвости и воздержанности? Какой развратникъ не наговоритъ короба три громкихъ фразъ о нравственности? Какой бездушный и холодный человѣкъ не въ состояніи вкось и вкривь разсуждать о любви, благочестіи, благотворительности, самопожертвованіи и о прочихъ священныхъ чувствахъ, которыхъ у него нѣтъ въ душѣ? Жизнь, теплота, увлекательность и поэзія суть свидѣтельства того, что человѣкъ говоритъ отъ души, отъ убѣжденія, любви и вѣры, и онѣ-то электрически сообщаются другой душѣ. Мертвенность, холодность и скука показываютъ, что человѣкъ говоритъ о томъ, что у него въ головѣ, а не въ сердцѣ, что не составляетъ лучшей части его жизни и чуждо его убѣжденію. Но, повторяемъ, — для нѣкоторыхъ людей разсуждать легче, чѣмъ чувствовать, и прѣсная вода резонерства, которой у нихъ вдоволь, для нихъ лучше и вкуснѣе шипучаго нектара поэзіи, котораго — бѣдняки! — они и не пробовали никогда. И вотъ одинъ хочетъ увѣрить дѣтей, что вставать рано очень полезно, ибо-де одинъ маль-

чикъ, имѣвшій привычку вставать съ солнцемъ, нашелъ на полѣ кошелекъ съ деньгами; а другой хочетъ увѣрить дѣтей, что надо вставать поздно, ибо-де одна дѣвочка, вставши рано, пошла гулять въ садъ, простудилась, да и умерла. Одинъ говоритъ дѣтямъ — будьте поспѣшны, другой — не торопитесь, третій — будьте откровенны, ничего не скрывайте, четвертый — не все говорите, что знаете. Кому вѣрить, кому слѣдовать?.. Забавнѣе же всего, что всѣ эти глубокія мысли подтверждаются случайными примѣрами, ровно ничего не доказывающими. Нѣтъ, моральныя сентенціи не только отвратительны и безплодны сами по себѣ, но и портятъ даже прекрасныя и полныя жизни сочиненія для дѣтей, если вкрадываются въ нихъ. Вы разсказываете дѣтямъ сказку или повѣсть: спрячьте за нее, чтобъ васъ было не видно, пусть все въ ней говоритъ само за себя, непосредственнымъ впечатлѣніемъ. У васъ есть нравственная мысль — прекрасно; не выговаривайте же ея дѣтямъ, но дайте ее почувствовать, не дѣлайте изъ нея вывода въ концѣ вашего разсказа, но дайте имъ самимъ вывести: если разсказъ имъ понравился, или они читаютъ его съ жадностью и наслажденіемъ — вы сдѣлали свое дѣло. Здѣсь мы повторимъ мысль, уже высказанную въ нашемъ журналѣ и возбуждавшую негодованіе и ужасъ резнеровъ: «Не нужно никакихъ нагихъ мыслей, и какъ язвы берегитесь нравственныхъ сентенцій. Пусть основная мысль вашего разсказа дѣятельно движется, не давайте ей для ней же самой пробиваться наружу и выводить дѣтскую душу изъ полноты жизни, изъ борьбы и столкновенія частныхъ на отвлеченную высоту, гдѣ воздухъ рѣдокъ и удушливъ для слабой груди еще несозрѣвшаго человѣка; пусть мысль кроется во внутренней недоступной лабораторіи и тамъ перерабатываетъ свое содержаніе въ жизненные соки, которые несмысленно и незамѣтно разольются по вашему разсказу». Не говорите дѣтямъ о томъ, чего они еще не въ состояніи понять своимъ умомъ; дайте имъ простое катехизическое понятіе о Богѣ, по ученію православной церкви, но не пускайтесь съ ними въ діалектическія тонкости философскихъ опредѣленій, а старайтесь больше заставить дѣтей полюбить Бога, который является имъ и въ ясной лазури неба, и въ ослѣпительномъ блескѣ солнца, и въ торжественномъ великолѣпіи встающаго дня, и въ задумчивомъ величіи наступающей ночи, и въ ревѣ бури, и въ раскатахъ грома, и въ цвѣтахъ радуги, и въ зелени лѣсовъ, и въ журчаніи ручья, и въ шумѣ моря, и во всемъ, что есть въ природѣ живого. такъ безмолвно и вмѣстѣ такъ краснорѣчиво говорящаго душѣ юной и свѣжей, — и наконецъ во всякомъ благородномъ порывѣ, во

всякомъ движеніи ихъ младенческаго сердца. Не разсуждайте съ дѣтьми о томъ только, какое наказаніе налагаетъ Богъ за такой-то грѣхъ; но учите ихъ смотрѣть на Бога, какъ на отца, безконечно любящаго своихъ дѣтей, которыхъ Онъ создалъ для блаженства и которыхъ блаженство Онъ искупилъ мученіемъ и смертію на крестѣ. Внушайте дѣтямъ страхъ Божій, какъ начало премудрости, но дѣлайте такъ, чтобы этотъ страхъ вытекалъ изъ любви же, и чтобы не рабскій ужасъ наказанія, а сыновняя боязнь оскорбить отца благого и любящаго, а не грознаго и мстящаго, производила этотъ страхъ, и чтобы не лишеніе земныхъ благъ, а отвращеніе отъ виновныхъ лица отчаго почитали они наказаніемъ. Обращайте ваше вниманіе не столько на истребленіе недостатковъ и пороковъ въ дѣтяхъ, сколько на наполненіе ихъ животворящей любовью: будетъ любовь—не будетъ пороковъ. Истребленіе дурного безъ наполненія хорошимъ—безплодно; это производитъ пустоту, а пустота безпрестанно наполняется пустотой же: выгоните одну, явится другая. Любви, безконечной любви!—все остальное ничтожно! «Богъ есть любовь и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ». Равнымъ образомъ не искажайте дѣйствительности ни клеветами на нее, ни украшеніями отъ себя, но показывайте ее такой, какова она есть въ самомъ дѣлѣ, во всемъ ея очарованіи и во всей ея неумолимой суровости, чтобы сердце дѣтей, научаясь ее любить, привыкло бы въ борьбѣ съ ея случайностями находить опору въ самомъ себѣ. Въ одной истинѣ и жизнь, и благо: истина не требуетъ помощи у лжи. И потому конецъ вашей повѣсти можетъ быть и несчастный, въ которомъ добродѣтель страждетъ, а порокъ торжествуетъ; но вы вполнѣ достигнете вашей нравственной цѣли, если юныя сердца вашихъ маленькихъ читателей станутъ за страждущихъ и не позавидуютъ торжествующимъ, если, на вопросъ—на чѣмъ бы хотѣли они быть мѣстѣ?—они не колеблясь отвѣтятъ, что на мѣстѣ страждущихъ, но добрыхъ. Не упускайте изъ вида ни одной стороны воспитанія: говорите дѣтямъ и объ опрятности, о внѣшней чистотѣ, о благородствѣ и достоинствѣ манеръ и обращенія съ людьми; но выводите необходимость всего этого изъ общаго и изъ высшего источника,—не изъ условныхъ требованій общественнаго званія или сословія, но изъ высоты чело-вѣческаго званія, не изъ условныхъ понятій о приличіи, но изъ вѣчныхъ понятій о достоинствѣ чело-вѣческому. Внушайте имъ, что внѣшняя чистота и изящество должны быть выраженіемъ внутренней чистоты и красоты, что наше тѣло должно быть достойнымъ сосудомъ духа Божія... Уваженіе къ имени че-

ловѣческому, безконечная любовь къ чело-вѣку за то только, что онъ чело-вѣкъ, безъ всякихъ отношеній къ своей личности и къ его національности, вѣрѣ или званію, даже личному его достоинству или недостоинству,—словомъ, безконечная любовь и безконечное уваженіе къ чело-вѣчеству даже въ лицѣ послѣднѣйшаго изъ его членовъ (die Menschlichkeit) должны быть стихіей, воздухомъ, жизнью чело-вѣка, а высокое выраженіе поэта—

При мысли великой, что я чело-вѣкъ,
Всегда возвышаюсь душою—

девиномъ всей его жизни...

Но повѣсти и рассказы не суть еще единственная и исключительная форма бесѣдъ съ дѣтьми. Вы можете еще и обогащать ихъ познаніями, расширять кругъ ихъ созерцанія дѣйствительности, знакомя ихъ съ безконечнымъ разнообразіемъ явленій прекраснаго Божьяго міра. Но и здѣсь одна цѣль—знакомство не съ фактами, а съ тѣмъ, такъ сказать, букетомъ жизни и духа, который скрывается въ нихъ и составляетъ ихъ сущность и значеніе. Да, вамъ предстоитъ обширное и богатое поле: не говорю уже объ источникѣ собственной вашей фантазіи,—религія, исторія, географія, естествознаніе—умѣйте только пожинать! Для дѣтей предметы тѣ же, что и для взрослыхъ; только ихъ должно излагать сообразно съ дѣтскимъ понятіемъ, а въ этомъ-то и заключается одна изъ важнѣйшихъ сторонъ этого дѣла. Какіе богатые матеріалы представляетъ одна исторія! Показать душѣ юной, чистой и свѣжей примѣры высокихъ дѣйствій представителей чело-вѣчества, дѣйствительность добра и призрачность зла—не значить ли возвысить ее?.. Провести дѣтей по всѣмъ тремъ царствамъ природы, пройти съ ними по всему земному шару, съ его многочисленнымъ населеніемъ и обширными пустынями, съ его сушею и океанами, показать имъ Божій міръ въ картинѣ чело-вѣческихъ племенъ и обществъ съ ихъ нравами и обычаями, съ ихъ понятіями и вѣрованіями—не значить ли это показать имъ Творца въ Его твореніи, заставить ихъ возлюбить Его и возблаженствовать этой любовью?.. Но для этого надо одушевить для нихъ весь міръ и всю природу, заставить говорить языкомъ любви и жизни и нѣмой камень, и полевою былинку, и журчащій ручей, и тихо вѣющій вѣтеръ, и порхающую по цвѣтамъ бабочку... Надо дать дѣтямъ почувствовать, что все это безконечное разнообразіе имѣетъ единую душу, живетъ одною жизнью, и что жизнь природы является не только подъ тропиками, но и у полюсовъ, не только на землѣ, но и въ нѣдрахъ ея... Вотъ, на примѣръ, это писано для взрослыхъ, но мы увѣрены, что музыка этого языка будетъ доступна и для дѣтей: «Тамъ снѣжная,

мертвая пустыня полюсов... Безотрадна тамъ жизнь. Но эти пустыни имѣютъ свои музыкальныя выюги, гуляющія съ серебристой пылью по звонкимъ, чистымъ, необозримымъ льдамъ. Тамъ массивная лава металловъ борется съ могучимъ пламенемъ внутри земли... Она можетъ пугать, но и самый испугъ этотъ великъ для души. Лава реветъ, клокочетъ съ шумомъ неподражаемой глубокой октавы, и съ изумительнымъ грохотомъ и великолѣпнымъ извергается изъ безднъ своего тайнаго жилища. Вотъ глубь океана. Чувствуете ли, что океанъ можно только любить? что душѣ хотѣлось бы его измѣрить, постигнуть и заглянуть въ пропасть морей? душѣ весело, уповательно, что эта глубь воды не лежитъ въ мертвой тишинѣ, что въ ней родина цѣлой полотины существъ одушевленныхъ, быстрыхъ, могучихъ; имъ легко путь сквозь плотно слянную массу волнъ; эти волны текутъ, то уходя на безвѣстное дно, то съ плескомъ, слышимымъ нами, лобзая гранитъ береговъ и снова уносясь въ неизмѣримый свой путь шумно и торжественно... Вотъ могущественный, вѣчно свободный вѣтеръ: наблюдайте этотъ вѣтеръ, возметающій прахъ земли! онъ изумляетъ своими музыкальными вихрями, бурей и быстротой самую скорую мысль; волнуется вершины лѣсовъ, поднимаетъ горы средь океана, несетъ на своемъ хребтѣ дикія облака, улетаетъ изъ-подъ громовъ съ воемъ и свистомъ и—исчезаетъ».

Самымъ лучшимъ писателемъ для дѣтей, высшимъ идеаломъ писателя для нихъ можетъ быть только поэтъ. И такимъ явился одинъ изъ величайшихъ германскихъ поэтовъ—Гофманъ въ своихъ двухъ сказкахъ: «Неизвѣстное дитя» и «Щелкунъ орѣховъ и Царекъ мышей», хотя и написанныхъ не для дѣтей собственно и годныхъ для людей всѣхъ возрастовъ. Нисколько не удивительно, что странный, причудливый и фантастическій гений Гофмана ниспустился до сферы дѣтской жизни: въ немъ самомъ такъ много дѣтскаго, младенческаго, простодушнаго, и никто не былъ столько, какъ онъ, способенъ говорить съ дѣтьми языкомъ поэтическимъ и доступнымъ для нихъ. Сверхъ того Гофманъ есть по преимуществу воспитатель людей, поэтъ юношества—почему жъ ему не быть и поетомъ дѣтства? Да, съ тѣхъ поръ, какъ дѣти начинаютъ переставать быть дѣтьми и становятся юношами, Гофманъ долженъ быть ихъ поэтомъ по преимуществу. Гофманъ — поэтъ фантастическій, живописецъ невидимаго внутренняго міра, ясновидецъ таинственныхъ силъ природы и духа. Фантастическое есть предчувствіе таинства жизни, противоположный полюсъ пошлой разсудочной ясности и опредѣленности, которая въ жизни видитъ математику, индустриальность или сытный обѣдъ съ трюфелями

и шампанскимъ. Фантастическое есть одинъ изъ необходимѣйшихъ элементовъ богатой натуры, для которой счастье только во внутренней жизни; слѣдовательно его развитіе необходимо для юной души,—и вотъ почему называемъ мы Гофмана воспитателемъ юношества. Но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ бываетъ и губителемъ его, односторонне увлекая его въ сферу призраковъ и мечтаній и отрывая отъ живой и полной дѣйствительности. Чтобы дать юной душѣ равновѣсіе, Гофману не должно противопоставлять пошлую повседневность и ея дюжинныхъ представителей; но молодымъ людямъ должно читать всѣ безъ исключенія романы Вальтеръ Скотта и Купера, которые, по свѣтлому и вѣрному взгляду на жизнь, по гениальной глубокости, а вмѣстѣ съ тѣмъ споконствію и елейности духа, заслуживаютъ названіе представителей разумной дѣйствительности, поэтически воспроизведенной въ великихъ художественныхъ созданіяхъ, и непременно должны быть воспитателями юношества, хотя равно существуютъ и для возмужалости, и для старости.

Мы не будемъ ничего говорить о художественномъ достоинствѣ двухъ дѣтскихъ сказокъ Гофмана, ибо этотъ вопросъ нисколько не относится къ предмету нашей статьи; но взглянемъ на нихъ только какъ на высокіе образцы повѣстей для дѣтскаго чтенія.

Жилъ былъ когда-то Тадеусъ Брокель съ женой и двумя дѣтьми въ маленькой деревушкѣ, доставшейся ему отъ отца. Повседневной одеждой онъ не отличался отъ своихъ крестьянъ (ровнымъ счетомъ четыре души), но по праздникамъ надѣвалъ красивый зеленый кафтанъ и красный жилетъ, обложенный золотыми галунами—что, говорить Гофманъ, очень къ нему шло. Домишко его крестьяне называли изъ вѣжливости замкомъ. Но послушаемъ немного самого Гофмана, чтобы не опозорить его поэтическаго языка.

«Всякій конечно знаетъ, что замокъ есть большое зданіе, со многими окнами и дверьми, часто даже съ башнями и блестящими флюгерами. Но ничего похожаго не было видно на холмѣ, гдѣ стояли березы. Тамъ былъ только одинъ низенькій домикъ со многими окошками, такими маленькими, что ихъ нельзя было рассмотреть иначе, какъ подойдя близко къ нимъ. Но если мы остановимся передъ высокими стѣнами большого замка, то холодный вѣтеръ, вырывающійся оттуда, охватываетъ насъ; мрачные взоры чудныхъ фигуръ, прислоненныхъ къ стѣнамъ, какъ бы для охраненія входа, поражаютъ насъ; мы теряемъ охоту войти туда и предпочитаемъ воротиться. Совершенно противное тому чувствуешь при входѣ въ маленький домикъ Тадеуса Брокеля. Еще въ роцѣ стройныя березы простирали свои зеленныя вѣтви, какъ будто желая обнять васъ, и привѣтствовали своихъ веселымъ шелестомъ, предъ домомъ же вамъ казалось, что пріятные голоса приглашали васъ изъ свѣтлыхъ, какъ зеркало, окошекъ; а изъ темной, густой зелени винограда, который покрывалъ стѣны до

самой крышѣ, слышно было: «Войди, войди, милый усталый путешественникъ: все здѣсь хорошо и гостепріимно!» То же самое подтверждали своимъ веселымъ щебетаньемъ ласточки, то влетая въ свои гнѣзда, то вылетая изъ нихъ, — а старый и важный апстъ, смотря на вась съ серьезнымъ и умнымъ видомъ съ вершины трубы, кажется, говорилъ: «Давно я живу здѣсь лѣтомъ, но лучшаго мѣста не находилъ нигдѣ, и если бы я могъ преодолѣть врожденную страсть свою къ путешествіямъ, и если бы зимой не было здѣсь такъ холодно, а дрова такъ дороги, то я не тронулся бы съ этого мѣста!» Такъ хорошо и такъ пріятно было жилище Брокеля, хотя оно и не было замкомъ.

Какая чудесная, роскошная картина! какъ все въ ней просто, наивно, и вмѣстѣ безконечно! Каждое слово такъ многозначительно, такъ полно жизни: изъ широкихъ воротъ большого замка такъ и вѣетъ на васъ холодомъ и мракомъ, а маленькій домикъ съ его берегами и виноградникомъ такъ и манитъ васъ къ себѣ! Этотъ языкъ для дѣтей еще доступнѣе, чѣмъ для взрослыхъ; дайте имъ прочесть, и клики ихъ радости покажутъ вамъ, что они поняли все, что нужно понять...

Однажды утромъ въ домѣ г. Брокеля была большая суматоха: г-жа Брокель пекла пироги, г. Брокель чистилъ свое праздничное платье, а дѣти надѣвали свои лучшія платья. Однако дѣтямъ было какъ-то неловко въ своихъ нарядныхъ платьяхъ, они смотрѣли въ окно съ какимъ-то тоскливымъ стремленіемъ. Но когда Султанъ, большая дворовая собака, съ крикомъ и лаемъ начала прыгать передъ окномъ, бѣгать по дорогѣ и назадъ, какъ бы желая сказать Феликсу: «Зачѣмъ не идешь ты въ лѣсъ? Что ты тамъ дѣлаешь въ душной комнатѣ?»—то Феликсъ не выдержалъ и началъ проситься въ лѣсъ. Но г-жа Брокель рѣшительно запретила это дѣтямъ, говоря, что они измаруютъ и издерутъ себѣ платье, а дядюшка, которого они съ часа на часъ ждали, назоветъ ихъ... крестьянскими ребятишками. Феликса это взорвало, и онъ сказалъ матерѣ: «Если нашъ любезный дядюшка называетъ крестьянскихъ дѣтей гадкими, то онъ вѣрно не видалъ ни Петра Фольрада, ни Анны-Лизы Генштель, ни другихъ дѣтей нашей деревни; я не знаю, могутъ ли быть дѣти лучше ихъ». «Конечно, — вскричала Кристлиба, какъ бы проснувшись, — а Маргарита, дочь деревенскаго судьи, развѣ не хороша, хоть у нея и нѣтъ такихъ чудесныхъ красныхъ бантовъ, какъ у меня?» — Наконецъ «дядюшка» пріѣхалъ въ великолѣпной раззолоченной каретѣ. Онъ былъ высокій и сухой человѣкъ, жена его толстая и низенькая женщина, и съ ними двое дѣтей. Феликсъ и Кристлиба подошли къ дядюшкѣ и тетускѣ съ заученнымъ привѣтствіемъ, но передъ дѣтьми остановились въ недоумѣніи. Мальчикъ былъ чудесно одѣтъ, на боку у него висѣла сабля, но лицо сго-

конфузятся, послѣдняя даже сказала Феликсу на ухо: «не скрипи такъ зубами, негодный мальчишка!» Тогда Феликсъ вынулъ изъ рта конфетку, положилъ въ бумагу и отдалъ дядѣ назадъ, говоря, что онъ ему не нужны, если онъ не можетъ ихъ ѣсть. Сестра его сдѣлала то же. Брокелли извиняются бѣдностью въ невѣжествѣ дѣтей. Сіятельные съ улыбкой самодовольствія говорятъ объ «отличнѣйшемъ» воспитаніи своихъ дѣтей, — и графъ начинаетъ предлагать имъ разные вопросы, на которые они отвѣчаютъ скоро и бойко. Онъ спрашиваетъ ихъ о многихъ городахъ, рѣкахъ и горахъ, которые находились за нѣсколько тысячъ миль, объ иностранныхъ растеніяхъ, о сраженіяхъ и пр. Адельгунда говорила даже о звѣздахъ и утверждала, что на небѣ находятся различныя странныя животныя и другія фигуры. Феликсу стало страшно отъ всѣхъ разсужденій, и онъ почелъ ихъ чепухой. Чтобы утѣшить бѣдныхъ родителей, графъ обѣщалъ прислать ученаго человѣка, который даромъ будетъ учить ихъ дѣтей. «Любите ли вы игрушки, топ шег?» спросилъ Германъ у Феликса, ловко кланяясь: «я привезъ вамъ самыхъ лучшихъ». Феликсу было отчего-то грустно, и держа машинально ящикъ съ игрушками, онъ бормоталъ, что его зовутъ Феликсомъ, а не топ шег, и что ему говорятъ ты, а не вы. Кристлиба также скорѣе готова была плакать, чѣмъ смѣяться, принимая отъ Адельгунды ящикъ съ конфетами. У дверей прыгалъ и лаялъ Султанъ; Германъ его такъ испугался, что началъ кричать и плакать, и Феликсъ сказалъ ему: «Зачѣмъ такъ кричишь и плачешь? это просто собака, а ты видалъ самыхъ страшныхъ звѣрей! Да если бы онъ и бросился на тебя, у тебя есть сабля». — Наконецъ гости уѣхали. Брокель тотчасъ скинулъ свое праздничное платье и вскричалъ: «ну, слава Богу, уѣхали!» Дѣти тоже переодѣлись и стали веселы; Феликсъ закричалъ: «въ лѣсъ! въ лѣсъ!» Мать спросила ихъ, развѣ они не хотятъ сперва посмотреть игрушки, и Кристлиба сдавалась было на голосъ женскаго любопытства, но Феликсъ не хотѣлъ и слышать, говоря: «Что могъ привезти намъ хорошаго этотъ глухой мальчикъ съ своей сестрой въ лентахъ? Что же касается до наукъ, онъ объ нихъ хорошо болтаетъ; онъ толкуетъ о львахъ и медвѣдяхъ, знаетъ, какъ ловить словенъ, а самъ боится моего Султана! У него виситъ съ боку сабля, а онъ плачетъ, кричитъ и причетъ подъ столъ? Славный же изъ него будетъ егеря!» Однако Феликсъ сдался на желаніе сестры пересмотрѣть игрушки. Едва упросила его Кристлиба, чтобы онъ не выглядывалъ за окно конфетъ, но онъ бросилъ нѣсколько изъ нихъ Султану, который понюхавши отошелъ съ отвращеніемъ. «Видишь ли, Кристлиба, — вскричалъ Феликсъ, торже-

ствуя: — даже Султанъ не хочетъ ѣсть эту дрянность!» Болѣе всего понравился ему охотникъ, который прицѣливался ружьемъ, когда его дергали за маленькій шнурокъ, спрятанный подъ платьемъ, и стрѣлялъ въ цѣль, придѣланную въ нѣсколькихъ вершкахъ отъ него; потомъ ружье и охотничій ножъ, сдѣланные изъ дерева и высеребренные, и гусарскій киверъ съ шашкой. Забравъ игрушки, дѣти попили гулять въ лѣсъ. Вдругъ Кристлиба замѣтила Феликсу, что его арфистъ играетъ вовсе не хорошо, и что птицы, выглядывая изъ-за кустовъ, кажется, смѣются надъ дряннымъ музыкантомъ, который хочетъ подражать ихъ пѣнію. Феликсъ отвѣчалъ, что это правда, и что ему стыдно передъ рябчикомъ, который такъ плутовски на него смотреть. Чтобы заставить его пѣть лучше, онъ такъ дернулъ пружину, что вся игрушка разломалась, и Феликсъ забросилъ музыканта, говоря: «этотъ дуракъ скверно играетъ и дѣлаетъ такія гримасы, какъ мой двоюродный братъ Германъ». Потомъ онъ хотѣлъ заставить своего егеря стрѣлять не въ одно и то же мѣсто, а куда онъ назначитъ ему. — и егеря постигла та же участь, что и арфиста. «Ага! — вскричалъ Феликсъ, — въ комнатѣ ты хорошо попадаешь въ цѣль, а въ лѣсу, настоящемъ мѣстѣ для егеря, это тебѣ не удастся. Ты вѣрно тоже боишься собакъ, и если бъ на тебя напала какая-нибудь, то ты убѣжалъ бы съ своимъ ружьемъ, какъ маленькій двоюродный братъ съ своей саблей! Ахъ ты дрянной егеря, негодный егеря!»... Видите ли, для Феликса все мертвое, бездушное и пошлое похоже на двоюроднаго брата: юная душа безъ разсужденій, однимъ непосредственнымъ чувствомъ поняла фальшивую позолоту, блестящую мишуру ложнаго образованія, прикрывавшаго собой чинность и отсутствіе жизни. Какъ мальчикъ, онъ ничего такъ не можетъ простить, какъ трусости. Вотъ дѣти побѣжали, но — о, ужасъ! Кристлиба увидѣла, что платье ея прекрасной куклы было изорвано хворостомъ, а хорошенькаго воскового личика какъ не бывало. Она заплакала, но Феликсъ сказалъ ей въ утѣшеніе: «Теперь ты видишь, какія дрянныя вещи привезли намъ эти дѣти. Какая глупая кукла! она не можетъ даже съ нами бѣгать, не изорвавши и не изломавши всего! Подай-ка ее сюда!» — и кукла полетѣла въ прудъ. Туда же слѣдомъ отправилось и ружье, потому что изъ него нельзя стрѣлять, и охотничій ножъ, за то, что онъ не колетъ и не рѣжетъ. У Феликса своя философія, внушенная ему природой: все поддѣльное, фальшивое, искусственное не нравилось ему; живая природа, лѣсъ и поле, съ своими птичками, букашками и бабочками, громче говорили его сердцу, и онъ лучше понималъ ихъ. Но Кристлиба — дѣвочка, и ей жалъ было своей прекрасной

куклы, хотя и ея сердцу природа говорила такъ же громко. Гофманъ удивительно вѣрно схватилъ въ дѣтяхъ мужской и женскій характеръ: Феликсъ не задумывается долго надъ рѣшеніемъ; разрушительный геній, онъ ломаетъ, что ему не нравится; но Кристилиба положила бы въ сторону или спрятала свою куклу, если бѣ она ей надоѣла, даже подарила бы другой дѣвочкѣ, но ломать не стала бы.

Когда дѣти возвратились домой печальныя, и Феликсъ откровенно разсказалъ матери о своемъ распоряженіи съ игрушками, — мать начала его бранить, но отецъ, съ примѣтнымъ удовольствіемъ слушавшій разсказъ Феликса, сказалъ: «Пусть дѣти дѣлаютъ, что хотятъ; я такъ очень радъ, что они избавились отъ этихъ игрушекъ, которые только затрудняли ихъ». Ни г-жа Брокель, ни дѣти не поняли, что г. Брокель хотѣлъ этимъ сказать. Мы такъ думаемъ, что Брокель и самъ хорошо не зналъ, что онъ хотѣлъ этимъ сказать, но что его добрая, любящая натура очень хорошо дѣйствовала за его неразвитой умъ. Пока сѣятельные родственники были съ нимъ, онъ и конфузился, и робѣлъ; но лишь они уѣхали, ему стало и легко, и хорошо, словно онъ избавился отъ давленія кошмара.

На другой день дѣти ранехонько отправились въ лѣсъ, чтобы въ послѣдній разъ поиграться, ибо имъ надо было много читать и писать, чтобы не стыдно было учителя, котораго скоро ожидали. Вдругъ имъ отчего-то стало скучно, и они приписали это тому, что у нихъ нѣтъ ужъ прекрасныхъ игрушекъ, а свое неумѣніе обращаться съ ними — незнацію наукъ. Кристилиба начала плакать, а за ней Феликсъ, восклицая:

«Бѣдныя мы дѣти, мы не знаемъ наукъ!»

«Но вдругъ они остановились и спросили другъ друга съ удивленіемъ: «Видишь ли, Кристилиба?» — Слышишь ли Феликсъ?»

Въ самомъ темномъ мѣстѣ густого кустарника, который находился передъ ними, сиялъ чудный свѣтъ и, подобно кроткому лучу мѣсяца, скользилъ по трепещущимъ листьямъ; а въ тихомъ шелестѣ деревьевъ слышался дивный аккордъ, подобный тому, какъ вѣтеръ пробѣгаетъ по струнамъ арфы и будить спящія въ ней звуки. Дѣти почувствовали что-то странное: печаль ихъ исчезла, но на глазахъ появились слезы отъ сладостнаго чувства, котораго они еще не испытывали. Чѣмъ ярче становился свѣтъ въ кустѣ, тѣмъ громче раздавались дивные звуки, и тѣмъ сильнѣе билось у дѣтей сердце. Они глядѣли внимательно на свѣтъ и увидѣли прелестнѣйшее въ мірѣ дитя, которое имъ пріятно улыбалось и дѣлало знаки. «О, прійди къ намъ, милое дитя!» вскричали вмѣстѣ Феликсъ и Кристилиба, вставая и протягивая къ нему свои ручонки съ невыразимымъ чувствомъ. «Я иду, иду!» отвѣчалъ пріятный голосъ изъ куста. — и, какъ бы несомое утреннимъ вѣтеркомъ, неизвѣстное дитя спустилось къ Феликсу и его сестрѣ.

За симъ слѣдуетъ цѣлая глава о томъ, какъ неизвѣстное дитя играло съ Феликсомъ и

Кристилибой, какъ оно упрекало ихъ въ сожалѣніи о дрянныхъ игрушкахъ и указало имъ на чудныя сокровища, разсыпанныя вокругъ нихъ; какъ тогда Феликсъ и Кристилиба увидѣли, что изъ густой травы какъ бы выглядывали блестящими глазами разные чудные цвѣты, а между ними искрились цвѣтные камни и блестящія раковины. золотые жуки прыгали и тихо распѣвали пѣсенки; какъ послѣ того неизвѣстное дитя стало строить Феликсу и Кристилибѣ дворецъ изъ цвѣтныхъ камней съ колоннами, крышей и золотымъ куполомъ; какъ потомъ крыша дворца обратилась въ крылья золотыхъ насѣкомыхъ, колонны — въ серебристый ручей, на берегу котораго росли красивые цвѣты, то съ любопытствомъ смотря въ воды, то покачивая своими маленькими головками, слушаая невинное журчаніе ручья; какъ потомъ неизвѣстное дитя надѣлало изъ цвѣтовъ живыхъ куколъ, и куклы рѣзвились около Кристилибы, ласково говоря ей: «полюби насъ, добрая Кристилиба!» и егеря загремѣли ружьями, затрубили въ рога и, крича: «Галло, галло, на охоту! на охоту!» помчались за зайцами, которые повыскакали изъ-за кустовъ и побѣжали; какъ неизвѣстное дитя понесло Феликса и Кристилибу по воздуху, и чудеса, которыя они видѣли въ этомъ воздушномъ путешествіи. Въ этой главѣ каждое слово, каждая черта — чудная поэзія, блестящая самыми дивными цвѣтами, самыми роскошными красками; это вмѣстѣ и поэзія, и музыка, — и какая глубокая мысль скрывается въ нихъ!.. Пропускаемъ главу, гдѣ г. и г-жа Брокель разсуждаютъ о неестественности видѣній дѣтей, и первый выказываетъ свою прекрасную натуру въ ея грубой корѣ, а вторая — свою добродушную ограниченность. Пропускаемъ также и дальнѣйшія свиданія Феликса и Кристилибы съ неизвѣстнымъ дитятемъ и его фантастическій разсказъ о зломъ министрѣ при дворѣ царицы фей: сокращать ихъ невозможно — не подымается рука, а выписывать вполне намъ тоже не хочется, чтобы не испортить впечатлѣнія для тѣхъ, которые послѣ нашей прозаической статьи станутъ читать эту поэтическую повѣсть.

Но вотъ наконецъ пріѣхалъ и давно ожидаемый учитель, магистръ Тинте, маленькаго роста, съ четверугольной головой, безобразнымъ лицомъ, толстымъ брюхомъ на тоненькихъ пауковыхъ ножкахъ — воплощенный педантизмъ и резонѣрство. Встрѣча его съ дѣтьми, ихъ къ нему отвращеніе, его съ ними обращеніе, все это у Гофмана — живая, одушевленная картина, полная мысли. Вотъ они сѣли учиться, — и имъ все слышится голосъ неизвѣстнаго дитяти, которое зоветъ ихъ въ лѣсъ, а магистръ бьетъ по столу и кричитъ: «шт, шт, брр, брр... тише! что это такое?» а

Феликсъ не выдержалъ и закричалъ: «Убийтесь вы съ вашими глупостями, г. магистръ; я хочу идти въ лѣсъ. Ступайте съ этимъ къ моему двоюродному брату: онъ любить эти вещи!» Дѣти побѣжали, магистръ за ними; но Султанъ, добрая собака, съ перваго раза получившій къ педанту и резонеру неодолимое отвращеніе, схватилъ его за воротникъ. Педантъ поднялъ крикъ, но г. Брокель освободилъ его и упросилъ ходить съ дѣтьми въ лѣсъ. Педанту лѣсъ не понравился, потому что въ немъ не было дорожекъ, и птицы своимъ пискомъ не давали ему слова порядочнаго сказать. «Ага, г. магистръ,—сказалъ Феликсъ.—я вижу, ты ничего не понимаешь въ ихъ пѣснѣ и не слышишь даже, какъ утренній вѣтеръ разговариваетъ съ кустами, а старый ручей рассказываетъ прекрасныя сказки!» Криклива замѣтила, что вѣрно г. магистръ не любитъ и цвѣтовъ, и магистра отъ этихъ словъ покорило; онъ отвѣчалъ, что любить цвѣты только въ горшкахъ, въ комнатѣ... Пропускаемъ множество самыхъ поэтическихъ подробностей, дышавшихъ глубокой мыслью цѣлаго разсказа, и скажемъ, что г. Брокель наконецъ рѣшился его выгнать; но магистръ обратился мухой и началъ летать—насилу успѣли задѣть его хлопкомъ и прогнать. Дѣти повеселились, пошли въ лѣсъ, но дитяти тамъ не было. Поломанныя ими куклы оживаютъ, осыпаютъ ихъ упреками и грозятъ магистромъ. Слѣдуетъ чудесное описаніе бури, обморокъ дѣтей, потомъ прекрасное вѣдро. Отецъ самъ пошелъ съ ними въ лѣсъ и разсказалъ имъ, что и онъ въ дѣтствѣ зналъ неизвѣстное дитя. Вскорѣ послѣ того г. Брокель умеръ, дѣти остались сиротами, и въ ту минуту, когда имъ было особенно тяжело и они горько плакали, имъ явилось неизвѣстное дитя и утѣшило ихъ и сказало имъ, что, пока они будутъ его помнить, имъ нечего бояться злого духа Песнера, мухи-магистра. Дружески принявъ ихъ къ себѣ родственникъ, и «все сдѣлалось такъ, какъ предсказало имъ неизвѣстное дитя. Что бы Феликсъ и Криклива ни предпринимали, удавалось вполнѣ; они и мать ихъ сдѣлались веселы и счастливы и долго въ отраднѣхъ мечтахъ играли съ неизвѣстнымъ дитятемъ, которое показывало имъ чудеса своей родины».

Основная мысль этой чудесной, поэтической повѣсти, этой свѣтлой и роскошной фантазии есть та, что первый воспитатель дѣтей—природа и ея благодатныя впечатлѣнія. И первобытное человѣчество воспитывалось природой; и души нашей такъ отраднѣ читать всѣ преданія о юномъ человѣчествѣ, ее такъ сладостно убаюкиваютъ и священные сказанія о пастушеской жизни патріарховъ, и колыбельная пѣсня старца Гомера о царяхъ,

пастыряхъ и простодушныхъ герояхъ сѣдой древности... Увы! заботы и суеты жизни, искусственная городская жизнь заслоняютъ отъ насъ природу, и мы видимъ на небѣ фонари, а на землѣ полезныя и вредныя травы, прибыльные для торговли лѣса,—а многіе ли изъ насъ знаютъ, что природа жива, что вѣтеръ разговариваетъ съ кустами, и старый ручей рассказываетъ прекрасныя сказки?! Неужели же и чистыя младенческія души должны быть глухи къ живому голосу прекрасной природы и не знать «неизвѣстнаго дитяти», которое есть—ихъ же собственный откликъ на зовъ природы, свѣтлая радость и чистое блаженство ихъ же собственныхъ, младенческихъ сердецъ?..

Если въ «Неизвѣстномъ Дитяти» развита мысль о гармоніи младенческой души съ природой, какъ объ основѣ воспитанія и условіи будущаго счастія дѣтей, то «Щелкунъ и Царекъ мышей» есть апофеозъ фантастическаго, какъ необходимаго элемента въ духѣ чело-вѣка, и цѣль этой сказки—развитіе въ дѣ-тахъ элемента фантастическаго. Когда мы приближаемся къ общему, родовому началу жизни, разлитой въ природѣ, насъ объемлетъ какой-то пріятный страхъ, мы чувствуемъ какое-то сладостное замираніе сердца. Кто не испытывалъ этого при входѣ въ большой темный лѣсъ или на берегу моря? Шумъ листьевъ и колебаніе волнъ говорятъ намъ какимъ-то живымъ языкомъ, котораго значеніе мы уже забыли и тщетно стараемся вспомнить; лѣсъ и море кажутся намъ живыми индивидуальными существами. И вотъ откуда произошли у грековъ живыя поэтическія олицетворенія явленій природы, ихъ дриады и наяды, и ихъ черновласый царь Посидаонъ съ трезубцемъ въ рукѣ—

Сей, обнимающій землю, земли колебатель
могучій!

Жизнь есть таинство, ибо причина ея явленія въ ней самой; переходы общей жизни въ частныя индивидуальныя явленія и потомъ возвращеніе ихъ въ общую жизнь—тоже великое таинство, а впечатлѣнія всякаго таинства—страхъ и ужасъ мистическій. Вотъ почему многи младенчествующихъ народовъ дышатъ такой фантастической мрачностью, и всѣ отвлеченныя понятія являются у нихъ въ странныхъ образахъ. Искусство освобождаетъ духъ отъ рабскаго ужаса, просвѣтляя его предметы свѣтомъ мысли и эстетической жизни. Образованный чело-вѣкъ не боится суевѣрныхъ видѣній кладбища, но это нѣмое кладбище тѣмъ не менѣе вѣетъ на него таинственной жизнью, отъ которой сладостно волнуется его духъ неопредѣленнымъ чувствомъ пріятнаго страха. Бываетъ состояніе души, когда и обыкновенныя вещи оживотворяются и воскресаютъ—

ся фантастической жизнью: какъ будто выражаемая этими вещами понятія, отрѣшаясь отъ своей отвлеченности, принимаютъ на себя живые образы, начинаютъ мыслить и чувствовать. Духъ нашъ во всемъ предчувствуетъ жизнь и даетъ ей опредѣленные индивидуальныя образы. Такъ и въ «Щелкунъ и Царькъ мышей» оживаютъ куклы и ведутъ войну съ мышами, и самъ Щелкунъ дѣлается рыцаремъ мыши и носитъ ее цвѣтъ. Щелкунъ проводитъ ее въ рукавъ шубы—и тамъ открывается передъ ней леденцовое поле съ конфетными городами, которые населены конфетными людьми—и въ этихъ городахъ гремитъ музыка, ликуетъ радость, кипитъ жизнь. Мы не будемъ пересказывать содержанія этого чуднаго созданія чуднаго гения—оно непересказуемо, и намъ пришлось бы переписать его все, отъ слова до слова, а подобный разборъ сдѣлалъ бы нашу статью вдвое больше. Скажемъ только, что художественная жизнь образовъ, очевидное присутствіе мысли при совершенномъ отсутствіи всякихъ символовъ, аллегорій и прямо высказанныхъ мыслей или сентенцій, богатство элементовъ—тутъ и сатира, и повѣсть, и драма, удивительная обрисовка характеровъ—противорѣчіе поэзіи съ пошлой повседневностью, нераздѣльная слитность дѣйствительности съ фантастическимъ вымысломъ,—все это представляетъ богатый и роскошный пиръ для дѣтской фантазіи. Заманчивость, увлекательность и очарованіе рассказа невыразимы. Благодарность переводчику, издавшему отдѣльно эти двѣ превосходныя сказки Гофмана—единственныя во всемірной человѣческой литературѣ! Желаемъ, чтобы родители обратили на нихъ все свое вниманіе, чтобы не было ни одного грамотнаго дитяти, который не могъ бы ихъ пересказать почти слово въ слово!

Въ Россіи писать для дѣтей первый началъ Карамзинъ, какъ и много прекраснаго началъ онъ писать первый. Къ «Московскимъ Вѣдомостямъ» прилагались листки его «Дѣтскаго Чтенія», въ которомъ замѣчательна «Переписка отца съ сыномъ о деревенской жизни». Много читателей въпослѣдствіи доставилъ Карамзинъ и себѣ, и другимъ, подготовивъ этимъ «Дѣтскимъ Чтеніемъ». Послѣ онъ

издалъ «Дѣтское Утѣшеніе», которое и теперь еще не изгладилось у насъ изъ памяти, хотя мы читали его въ дѣтскомъ возрастѣ; а это большая похвала для дѣтской книжки; память хранить въ себѣ только то, что поразило душу сильнымъ впечатлѣніемъ.

Но въ настоящее время русскія дѣти имѣютъ для себя въ Дѣдушкѣ Иринеѣ такого писателя, которому позавидовали бы дѣти всѣхъ націй. Узнавъ его, съ нимъ не разстанутся и взрослые. Мы находимъ въ немъ одинъ недостатокъ, и очень важный: старикъ или очень старъ и ужъ не въ состояніи держать перо въ рукѣ, или дѣнится на старости лѣтъ, оттого мало пишетъ. А какой чудесный старикъ! какая юная, благодатная душа у него, какой теплотой и жизнью вѣетъ отъ его рассказовъ, и какое необыкновенное искусство у него заманить воображеніе, раздражить любопытство, возбудить вниманіе иногда самымъ повидимому простымъ рассказомъ! Совѣтуемъ, любезныя дѣти, получше познакомиться съ Дѣдушкой Иринеемъ. Не бойтесь его старости: онъ не принадлежитъ къ тѣмъ брызгливымъ старикамъ, которые своимъ ворчаніемъ и наставленіями отнимаютъ у насъ каждую минуту веселости, отнимаютъ всякую радость. О, нѣтъ, это самый милый старикъ, какого только вы можете представить себѣ: онъ такъ добръ, такъ ласковъ, такъ любитъ дѣтей; онъ не смутитъ вашего шумнаго веселья, не помѣшаетъ вамъ играть, но съ такой снисходительностью и любовью приметъ участіе въ вашей веселости, вашихъ играхъ, научитъ васъ играть въ новыя, неизвѣстныя вамъ и прекрасныя игры. Если вы пойдете съ нимъ гулять—васъ ожидаетъ величайшее удовольствіе: вы можете бѣгать, прыгать, шумѣть, а онъ между тѣмъ будетъ рассказывать вамъ, какъ называется каждая травка, каждая бабочка, какъ онѣ рождаются, растутъ и, умирая, снова воскресаютъ для новой жизни. Вы заслушаетесь его рассказовъ, вы сами не захотите шумѣть и бѣгать, чтобы не проронить ни одного слова.

Лучшія пьесы въ «Дѣтскихъ сказкахъ Дѣдушки Иринея»—«Червякъ» и «Городокъ въ табакеркѣ».

II. БИБЛИОГРАФІЯ.

Ночь на Рождество Христово. Русская повесть девятнадцатаго столѣтія (!). Соч. актера Императорскихъ Московскихъ театровъ К. Баранова. Москва. 1834.

Еще новый романъ, и вдобавокъ романъ девятнадцатаго столѣтія! Еще новый романистъ, новый рыцарь, выѣзжающій на литературное поприще съ бѣлымъ щитомъ. *Soyez bien veu, beau chevalier!* Ну, какъ не скажешь съ остроумнымъ Марлинскимъ, что «по сочинителей у насъ не кличь кликать: стоитъ крикнуть да денежкой брякнуть, такъ налетитъ ихъ полторы тѣи съ потемками!» Какое же это романъ, что приобрѣла въ немъ наша литература? спросятъ насъ читатели, еще не успѣвшіе насладиться этимъ новымъ произведеніемъ. Не трудно отвѣчать на вопросъ: двухъ словъ было бы слишкомъ достаточно для этого. Но мы хотимъ сказать кое-что побольше, сколько потому, что появленіе этого романа, прочитаннаго нами по обязанности, пробудило въ насъ съ новой силой давно уснувшія мысли и чувствованія, столько и потому, что мы часто слышимъ жалобы читателей на бѣдность библиографическаго отдѣла въ «Молвѣ».

Сколько говорили уже, что въ литературномъ отношеніи нашъ вѣкъ есть вѣкъ романа, ибо-де всѣ пишутъ романы и всѣ читаютъ романы. Это однако по зрѣломъ размышленіи оказывается справедливымъ только отчасти. Правда, нынѣ гораздо больше пишется романовъ, чѣмъ прежде, но это отнюдь не мѣшаетъ процвѣтать драмѣ и даже лирѣ. Посмотрите напримѣръ на французскую литературу: Гюго—романъ, драма и лира; Дюма—романъ и драма; Делавинъ—драма и лира, Альфредъ де-Виньи—романъ и лира; Ламартинъ и Барье—лира и пр., и пр., Отчего же у насъ, за исключеніемъ нашего Шекспира-Байрона-Кукольника, все романъ да романъ?

Что такое подражаніе? Гений создаетъ оригинально, самобытно, т.-е. воспроизводитъ явленія жизни въ образахъ новыхъ, никому недоступныхъ и никѣмъ не подозрѣваемыхъ; талантъ читаетъ его произведенія, уполяется, проникается ими, живетъ въ нихъ; эти образы преслѣдуютъ его, не даютъ ему покоя, и вотъ онъ берется за перо, вотъ его твореніе болѣе или менѣе дѣлается отголоскомъ творенія гения, носить на себѣ явные слѣды его вліянія, хотя и не лишено собственныхъ красокъ. Но въ этомъ случаѣ талантъ не хотѣлъ и не думалъ подражать, онъ только заплатилъ невольную дань удивленія и восторга гению, онъ только былъ увлеченъ тяготѣніемъ его силы, какъ увлекается спутникъ тяготѣніемъ

планетъ. Сколько твореній, прекрасныхъ и плохихъ, произвели на свѣтъ «Разбойники» Шиллера, между тѣмъ какъ самъ великій ихъ творецъ признавалъ надъ собой могущество другого болѣе великаго творца! Сколько поэмъ родили поэмы Байрона! Подражатели такого рода по большей части бываютъ виѣсть и творцами, и въ свою очередь увлекаютъ за собой таланты, которые ниже ихъ. Но есть еще особеннаго рода подражатели. Эти берутъ за образецъ какое-нибудь сочиненіе, хорошее или дурное, напримѣръ, хоть какой-нибудь забытый романъ въ родѣ «Бѣднаго Егора» и, не сводя съ него глазъ, слѣдя за нимъ шагъ за шагомъ, сѣются слѣпить что-нибудь подобное. Прямые литературные горе-богатыри, безталантные и не понимающіе значенія великаго слова искусство! Ихъ побужденіемъ иногда бываетъ несчастная манія къ авторству, дѣтское честолюбіе—въ такомъ случаѣ они только смѣшны и жалки; но чаще всего корысть—въ такомъ случаѣ они достойны презрѣнія, ибо унижаютъ искусство, унижаютъ достоинство человѣка. Не имѣя ни чувства, ни ума, ни познаній, ни образованности, ни воображенія, ни таланта, они доказываютъ въ своемъ романѣ, что должно любить ближняго, уповать на Бога и быть благочестивымъ, что воровство, пьянство, лихоимство, невѣжество не похвальны—это для нравственности; выводятъ, сколько возможно, въ смѣшномъ и преувеличенномъ видѣ сутягу-подьячаго, вора-управителя, пьяницу-квартирнаго, дурака-помѣщика—это для сатиры; намарываютъ грязной мазилкой своей дубовой фантазіи нѣсколько лубочныхъ картинокъ мѣщанскаго, купеческаго, дворянскаго быта—это для правоописанія; ввернуть въ свое твореніе нѣсколько мужицкихъ словъ, лакейскихъ поговорокъ, мѣщанскихъ остротъ—это для народности... и вотъ вамъ нравственно-сатирической и народный романъ девятнадцатаго вѣка!.. Чего же вамъ больше? Вы говорите, что эти лица «образы безъ лицъ»? Не правда: ихъ характеры написаны у нихъ на лбу: Зарѣзины, Вороватины, Ножовы, Обдуваловы, Живодеровы, Скупаловы, Пьянюгины, Правдолюбины, Кривдины, Влюблинскіе, Добродѣевы, Свѣтинскіе, Бурлиловы—не правда ли, что все очень ясно?

Не говорите о Вальтерѣ Скоттѣ, Куперѣ и проч., не толкуйте о классицизмѣ и романтизмѣ, о восемнадцатомъ и девятнадцатомъ вѣкахъ, скажите, что «Иванъ Выжигинъ» раскупился, и вы будете знать, почему у насъ такъ много пишутъ романовъ.

Не смѣемъ утверждать, чтобы авторъ «Ночи на

Рождество Христово» принадлежалъ къ числу по-дражателей послѣдняго рода: намъ пріятнѣ думать, что это человѣкъ, обманывающійся насчетъ своего призванія. Это тѣмъ естественнѣе, что найдется еще много читателей, которые поддержать его въ подобномъ заблужденіи. Въ такомъ случаѣ намъ кажется страннымъ, какъ можно не понимать того, что творчество есть удѣлъ немногихъ избранныхъ, а не всякаго, кто только умѣетъ читать и писать; что тотъ еще не поэтъ, кто сумѣетъ слѣпить кое-какую сказку съ аллегорическими лицами, представляющими пороки и добродѣтели; какъ можно не знать, что во времена оны много безталанныхъ людей подлаживали подъ тонъ Державина и пѣли оды, въ которыхъ было пропасть трескотни и шума, по ни капли поэзіи; что въ наше время едва ли найдется такой человѣкъ, который, совершенно не бывши поэтомъ, не могъ бы написать стишковъ, по гладкости и гармоніи языка не уступающихъ стихамъ Пушкина; не понимаемъ, какъ можно такъ смѣло и безбоязненно отдавать свое имя на позоръ, тѣмъ болѣе, если это имя есть имя честнаго артиста, честнаго чиновника или честнаго гражданина; не понимаемъ, какъ можно... Но мы предоставляемъ самимъ читателямъ докончить наши нескромные вопросы...

Повѣсти Безумнаго. Москва, 1834 г. (Отрывокъ).

Какъ пріятно послѣ зимняго холода появленіе весенняго солнца, роскошно изливающего свою плодородную и жизнедающую силу, животворящаго огнемъ своихъ лучей все прекрасное Божіе созданіе! Не есть ли оно символъ вѣнчующей любви Предвѣчнаго? Какая кипучая жизнь заступаетъ мѣсто всеобщей смерти, когда цѣлое твореніе проникается пламенемъ любви, и мірады новыхъ существъ вызываются изъ праха!.. Не сходенъ ли съ этимъ солнцемъ и геній? Не есть ли онъ символъ творящей силы Всемоущаго? Не производитъ ли онъ также сонмы новыхъ созданій, сонмы новыхъ творителей?.. Но увѣ! какъ солнце вмѣстѣ съ муравой и цвѣтами полей, вмѣстѣ съ алатовидными мотыльками вызываетъ и тѣмъ эфемеровъ, тѣмъ насѣкомыхъ и червей гадкихъ и отвратительныхъ, такъ и геній, виновникъ созданій красоты и разума, бываетъ вмѣстѣ неумышленнымъ виновникомъ чадъ безобразія и нелѣпости. Не «Иліада» ли произвела «Энеиду», «Освобожденный Іерусалимъ» и другія поэмы, и вмѣстѣ съ тѣмъ не она ли была виной явленія «Александрюды»? Почти такимъ же образомъ «Юная Словесность» произвела общими силами всѣхъ своихъ представителей, барона Брамбеуса, а одинъ изъ ея представителей, слишкомъ талантливый, если не рѣшительно гениальный, Александръ Дюма, произвелъ «Повѣсти Безумнаго»! Охъ, эта безпутная «Юная Словесность»! много творить она зла! Подѣломъ такъ бранить ее «Библіотека для Чтенія»!..

Наша литература, или по крайней мѣрѣ то, что называютъ нашей литературой, представляетъ самое плачевное зрѣлище.

Сколько молодыхъ людей, которые могли бы быть

честными и добросовѣстными дѣйствителями для блага отечества на разныхъ ступеняхъ общественной жизни, предаются этой жалкой манѣ авторства, которая дѣластъ ихъ предметомъ всеобщаго посмѣянія!.. Вмѣсто того, чтобы обогащать свой умъ познаніями и тѣмъ готовиться къ занятію какого-нибудь, сообразнаго съ ихъ талантами и склонностью, мѣста въ обществѣ, устремлять свою дѣятельность, благородные порывы своего сердца, избытокъ своихъ юныхъ силъ на святой подвигъ жизни и въ исполненіи своего долга находить свою высочайшую награду, они стремясь бросаются на эту презрѣнную арену, на этотъ литературный базаръ, гдѣ толчется и суетится жалкая посредственность, мелочное честолюбіе, и тѣшится дѣтскими побрякушками. Для пустого призрака мгновенной извѣстности они безразсудно расточаютъ свои юношескія силы, истощаютъ свою дѣятельность, становятся неспособными ни къ чему дѣльному и полезному; что же изъ всего этого выходитъ? Завѣса спадастъ съ глазъ, похмелье проходитъ, остается головная боль, сердце пусто, самолюбіе глубоко уязвлено и горько страждетъ... А потомъ? Потомъ, какъ водится, жалобы, проклятiе на жизнь, на судьбу, элегіи о развалинахъ разрушеннаго счастья, объ обманутыхъ надеждахъ, объ исчезнувшихъ призракахъ и пр. Знаете ли что? Эти плачевныя элегіи, надъ которыми у насъ столько смѣются, иногда заключаютъ въ себѣ глубокой смыслъ: сердце обливадается кровью, когда подумаешь объ нихъ съ этой стороны! Да—горе тому отцу, который не высѣчетъ больно своего недоучившагося сына за его первые стихи, а всего хуже—за его первую повѣсть!..

Я хотѣлъ говорить о «Повѣстяхъ Безумнаго», а занесъ Богъ вѣсть о чемъ. Поэтому считаю нужнымъ сдѣлать замѣчаніе для людей, любящихъ примѣненія, что все сказанное мною они должны почитать чистой поэтической фантазіей, не имѣющей никакого отношенія къ упомянутымъ повѣстямъ.

Странное дѣло, какъ можно обманываться насчетъ своего призванія, не сознать своей бездарности въ наше время, когда законы и условія творчества болѣе или менѣе извѣстны каждому, хотя по наслышкѣ, когда всѣ хорошо понимаютъ, что какъ ни громка фраза, но если она не вырвалась мгновенно изъ души вслѣдствіе глубокаго чувства, то она пошла и отвратительна, что всякій образъ безличенъ, когда авторъ не жилъ въ немъ своею жизнью въ то время, какъ творилъ его?..

Регентство Бирона. Повѣсть. Соч. Масальскаго. Спб. 1834. 2 ч.

Знаете ли, какая въ нашей литературѣ самая трудная и самая легкая вещь? Это писать рецензіи на художественныя произведенія нашихъ дюжиновыхъ литературныхъ производителей. Трудная, потому что о каждомъ новомъ издѣліи такого рода надо говорить *idem per idem*, или по-русски: «про одни дрожжи твердить трюжди»; легкая потому, что можно бить ихъ гуртами съ одного маху, съ одного плеча. Наставьте въ заглавіи вашей библіографической ста-

тейки дюжину романовъ или драмъ и, благословясь, катайте всѣхъ безъ разбору.

Многіе порицаютъ съ негодованіемъ рѣзкость въ литературныхъ сужденіяхъ и почитаютъ ее уголовнымъ преступленіемъ противъ законовъ общежитія и вѣжливости. «Развѣ, говорятъ они, вы образумите этимъ какого-нибудь пустоголоваго риемача или дюжипнаго романиста? Какая же польза отъ вашихъ бранчивыхъ выходокъ?» Но, милостивые государи, развѣ это не польза, если какой-нибудь степенной помѣщикъ, прочтя мою рецензію, не купитъ глупой книги, въ ней освященной, а назначенныя на нее деньги употребитъ на покупку какого-нибудь дѣльнаго сочиненія? Притомъ, если оцѣниваемая книга есть первое произведеніе юноши, оболыщенного ложнымъ призракомъ славы или угорѣвшаго отъ пріятельскихъ похвалъ и высокаго мнѣнія о своихъ дарованіяхъ, то развѣ не можетъ случиться, что откровенный отзывъ откроетъ ему глаза и обратитъ его дѣятельность къ ученію или занятію какимъ-нибудь полезнымъ дѣломъ? На сильныя болѣзни пужны и сильныя лѣкарства. Щадить посредственность, бездарность, невѣжество или барышничество въ литературѣ значить способствовать къ ихъ усиленію.

Вы скажете: но какое зло дѣлаютъ эти невинныя чада бездѣлья или безталанности? О, большое! увѣрю васъ. Во-первыхъ, они выманиваютъ деньги у добродушныхъ покупателей и тѣмъ препятствуютъ расходу хорошихъ книгъ, которыя могли бы способствовать или къ распространенію въ обществѣ полезныхъ свѣдѣній, или къ развитію чувства изящнаго; потомъ они портятъ вкусъ у людей, жадныхъ до чтенія, но лишенныхъ образованности; наконецъ каждое изъ этихъ сочиненій рождаетъ нѣсколько другихъ; слѣдовательно они причиняютъ зло положительное и зло большое, ибо препятствуютъ распространенію просвѣщенія. На западѣ Европы такого рода книжныя издѣлія не могутъ причинять большого вреда: тамъ всякій классъ людей, не исключая ни земледѣльцевъ, ни поденщиковъ, можетъ найти для себя отличныя произведенія, слѣдовательно не имѣетъ нужды покупать безъ разбора всякую дрянь. Но у насъ другое дѣло; и потому просимъ покорно не прогнѣваться.

Другіе говорятъ еще: «для чего вы только бранитесь, а не доказываете?» Но, милостивые государи, развѣ можно съ слѣпыми разсуждать о цвѣтахъ, съ глухими о музыкѣ? Развѣ можно говорить Сиговымъ, Кузмичевымъ и подобнымъ имъ о законахъ творчества, объ условіяхъ искусства. Разбирать съ доказательствами можно книгу, въ которой при недостаткахъ есть и достоинства.

Вотъ скажу вамъ напримѣръ о Масальскомъ: онъ совсѣмъ не принадлежитъ къ числу пошлыхъ бумагомарателей и безграмотныхъ писакъ; онъ—человѣкъ умный, образованный, знаетъ, какъ слышно, много языковъ и даже до того ученъ, что уличаетъ въ матеріализмъ, развратъ и безбожія нѣмецкихъ философовъ XIX вѣка, хотя и плохо разумѣетъ ихъ. Но все это не мѣшаетъ ему быть бездарнымъ писателемъ; ибо умъ, образованность, знанія и даже спо-

собность сильно чувствовать совсѣмъ не одно и то же съ способностью творить. Прочтите любой его романъ: вы не найдете въ немъ ни одной грамматической погрѣшности, ни одного неуклюжаго выраженія, ни одной бессмыслицы—все гладко, умно и прилично. Но зато не найдете и ни одной оригинальной мысли, ни одного сильнаго чувства, ни одной занимательной картины: все такъ обыкновенно, старо, вяло, приторно. Сколько разъ твердили ему это въ журналахъ, и однакожъ онъ продолжаетъ пописывать и кажется еще долго не переставать. Что жъ тутъ прикажете дѣлать? Говорить комплименты, вѣжливости, повторять общія мѣста?—предоставляемъ подвизаться другимъ на этомъ похвальномъ поприщѣ.

«Регентство Бирона!» Понимаете ли вы, что это за эпоха въ нашей исторіи и что можетъ изъ нея сдѣлать истинный талантъ? Что жъ сдѣлалъ изъ нея Масальскій? Написалъ скучную, вялую сказку, въ которой не видно ни Бирона, ни тогдашней Россіи, ни тогдашнихъ людей; ибо его Биронъ, его люди—образы безъ лицъ; перемѣните ихъ имена и перенесите ихъ въ какую вамъ угодно эпоху—все будетъ хорошо и ладно.

Изгнанникъ. Историческій романъ. Соч. Богемуса. Перев. съ нѣмецкаго В....ъ. Соч. 1834. Три части.

Неизвѣстный переводчикъ этого романа жалуется въ своемъ предисловіи, что «въ послѣдніе годы почти исключительно удостоивались (?) перевода на русскій языкъ французскіе романы, нѣмецкія же сочиненія этого рода какъ бы вовсе не существовали», несмотря на то, что «въ Германіи столько есть и ежегодно вновь (?) является отличныхъ беллетристовъ (?), которыхъ гениальныя сочиненія неизвѣстны въ русской словесности», и объявляетъ, что вслѣдствіе этого онъ предпринялъ благое намѣреніе «ознакомить благосклонныхъ *) читателей съ нѣкоторыми, заслужившими славу, современными писателями Германіи и на тщательные переводы по одному изъ лучшихъ ихъ сочиненій посвятить часы своего досуга». Это объявленіе или обѣщаніе, несмотря на дѣтскій способъ выраженія, должно обрадовать всѣхъ истинныхъ любителей изящнаго, особенно незнакомыхъ съ нѣмецкимъ языкомъ, и рецензентъ съ своей стороны отъ всей души благодаритъ неизвѣстнаго переводчика за прекрасное предпріятіе и желаетъ ему полнаго успѣха. Въ самомъ дѣлѣ у насъ вообще слишкомъ мало дорожатъ славой переводчика. А мнѣ кажется, что теперь-то именно и должна бы въ нашей литературѣ быть эпоха переводовъ или, лучше сказать, теперь вся наша литературная дѣятельность должна обратиться исключительно на одни переводы какъ ученыхъ, такъ и художественныхъ произведеній. Теперь курсъ на «россійскія» издѣлія чрезвычайна понизился; публика требуетъ дѣльнаго и изящ-

*) Почему же именно благосклонныхъ, а не просвѣщенныхъ и образованныхъ читателей, или по крайней мѣрѣ не русскую публику?

наго и, не находя на отечественномъ языкѣ ни того, ни другого *), поневоѣ читаетъ одно иностранное. Новыя погудки на старый ладъ надѣли всѣмъ пуще горькой рѣдки; авторитеты обанкротились и потеряли свой кредитъ; очарованіе имѣть исчезло; словомъ, наше общество требуетъ уже не мыльных пузырей, а дѣльнаго чтенія. Оригинальное уже не удовлетворяетъ его, ибо оно видимо обгоняетъ въ образованіи тѣхъ корифеевъ, которыми бывало покланялось. Поэтому надобно пользоваться подобнымъ направленіемъ общества и удовлетворять по возможности его требованіямъ. Для этого одно средство: знакомство съ европейскими образцами въ искусствѣ, европейской ученостію и образованностью. У насъ только богатые люди и притомъ живущіе въ столицахъ могутъ пользоваться неисчерпаемыми сокровищами европейскаго гения; но сколько есть людей, даже въ самыхъ столицахъ, а тѣмъ болѣе въ провинціяхъ, которые жаждутъ живой воды просвѣщенія, но по недостатку въ средствахъ или по незнацію языковъ не въ состояніи утолить своей благородной жажды! Итакъ, намъ надо больше переводовъ какъ собственно ученыхъ, такъ и художественныхъ произведеній. О пользѣ говорить нечего: она такъ очевидна, что никто не можетъ въ ней сомнѣваться; главная же польза послѣднихъ, кромѣ наслажденія истинно изящнымъ, состоитъ наиболѣе въ томъ, что они служатъ къ развитію эстетическаго чувства, образованію вкуса и распространенію истинныхъ понятій объ изящномъ. Кто прочтетъ и пойметъ хотя одинъ романъ Вальтера Скотта и Купера, тотъ будетъ въ состояніи вполне оцѣнить какого-нибудь «Димитрія Самозванца» или какую-нибудь «Черную Женщину», ибо достоинство вещей всего вѣрнѣе познается и опредѣляется сравненіемъ. Да—сравненіе есть самая лучшая система и критика изящнаго. Сверхъ того переводы необходимы и для образованія нашего еще неустановившагося языка; только посредствомъ ихъ можно образовать изъ него такой органъ, на которомъ бы можно было разыгрывать всѣ неисчислимыя и разнообразныя варіаціи человѣческой мысли.

Итакъ—честь и слава переводчику «Изгнанника» за его прекрасное намѣреніе! Но намѣреніе и исполненіе, къ несчастью, не одно и то же; и поэтому я хочу шепнуть ему на ушко нѣчто такое, о чемъ онъ кажется не думалъ, а именно: мало того, чтобы только переводить, надо знать: что и какъ переводить. Въ предисловіи своемъ онъ сказалъ, что рѣшился переводить сочиненія отличныхъ германскихъ беллетристовъ, а между тѣмъ перевелъ намъ не только не отличное, но рѣшительное посредственное произведеніе. Ибо, что такое «Изгнанникъ» Богемуса? Ни больше, ни мень-

ше, какъ довольно обыкновенный сколокъ съ романаго Вальтера Скотта, а отнюдь не оригинальное и самобытное созданіе. Богемусъ по крайней мѣрѣ въ своемъ «Изгнанникѣ» шель по пути давно уже истертому и избитому: онъ хотѣлъ въ обветшалую раму любви двухъ лицъ вставить картину Богеміи во время Тридцатилѣтней войны и очень неудачно это выполнилъ. Вы не найдете въ его сочиненіи ни духа того времени, ни вѣрной картины тогдашняго быта, ни героевъ этой великой эпохи исторіи человѣчества. Правда, въ немъ появляется мелькомъ, на минуту, и то только въ концѣ третьей части, Валленштейнъ, но для романа не было бы ни малѣйшей потери, если бы онъ совсѣмъ не появлялся; правда, въ немъ вы видите графа Турна, но вы ничего не потеряли бы, если бы совсѣмъ его не видѣли; о Густавѣ-Адольфѣ и другихъ персонажахъ великой драмы Тридцатилѣтней войны нѣтъ и помину; да и дѣйствіе романа начинается почти съ того времени, какъ герцогъ Фридрихъ-Вильгельмъ согласился на унижительныя просьбы Фердинанда II принять начальство надъ войскомъ. Только плутни и козни іезуитовъ изображены довольно занимательно. Характеровъ, положеній оригинальныхъ нѣтъ, почти все одни общія мѣста; словомъ, этотъ романъ даже и у насъ не былъ бы изъ первыхъ. Итакъ, переводчикъ сдѣлалъ очень неудачный выборъ пьесы для своего дебюта; вотъ первая и главная его ошибка. Чтобы заохотить публику къ произведеніямъ такой литературы, которая мало извѣстна, надобно выбирать творенія превосходныя и характеризующія духъ націи. Историческій романъ не нѣмецкое дѣло. Романъ философическій и фантастическій—вотъ ихъ торжество. Нѣмецъ не представляетъ вамъ, какъ англичанинъ, человѣка въ отношеніи къ жизни народа, или какъ французъ—въ отношеніи къ жизни общества; онъ анализируетъ его въ высочайшія мгновенія его бытія, изображаетъ его жизнь въ отношеніи къ высшей міровой жизни и остается вѣренъ этому направленію даже и въ историческомъ романѣ. Таковъ онъ и въ другихъ родахъ поэзіи. Маркизъ Поза—не испанецъ, Максъ, Текла и Фаустъ—не нѣмцы, а люди.

Посельщикъ. *Сибирская повесть. Соч. Н. Щ. автора «Помѣдка въ Якутскѣ». Спб. 1834.*

Съ вѣкотораго времени въ нашей литературѣ появился особенный родъ романовъ, которые пишутся съ какой-нибудь предположенной полезной цѣлью; эти романы называются правоописательными, сатирическими, административными, историческими, политико-экономическими, учеными и пр.; но мнѣ кажется, что ихъ всего лучше назвать заказными, ибо, подобно платью и сапогамъ, они работаютъ на всякую мѣрку, заранѣе снятую. Разумѣется, въ издѣліяхъ этого рода басня или содержаніе ничего не значить, ибо служить только рамой, въ которую вставляются диссертациі на разные ученые предметы. Эта басня или содержаніе

*) За весьма немногими исключеніями и то въ пользу ученой литературы, разумѣю полезныя и благородныя труды Устрялова, Сидонскаго и вѣкоторыхъ другихъ, несмотря на всеобщее коммерческое направленіе, безкорыстно подвизающихся на пользу и славу отечества.

во всѣхъ романахъ бываетъ одна и та же, независимо отъ народа и эпохи, къ которымъ она относится: какой-нибудь чувствительный и великодушный шутъ, герой добродѣтели въ родѣ Эраста Чертополохова, ищетъ руки и сердца какой-нибудь Дульцинеи; имъ мѣшаются, ихъ разлучаютъ какіе-нибудь злодѣи, какіе-нибудь «изверги естества», въ лицѣ корыстолюбиваго опекуна или жестокосердыхъ родителей; но наши герои не унываютъ и послѣ многихъ разлукъ, неудачъ и опасностей соединяются навѣки и начинаютъ жить да поживать, да добра наживать. Бѣдный читатель зѣваетъ, морщится, клянеть сквозь слезы и глупаго любовника, и приторную героиню, и негодяевъ-разлучниковъ, которые, вопреки здравому смыслу и на зло вольному мученику, мѣшаютъ веселымъ ширкомъ да и за свадьбу. Но не жалѣйте слишкомъ этого читателя, онъ не въ потерѣ: вѣнецъ есть награда добровольнаго мученичества. За свою скуку, за свою зѣвоту онъ избавляется отъ ужасной необходимости читать и изучать систематическія учебныя и учебныя книги и, лежа у себя на постели, въ домашнемъ дезабилье, узнаетъ напримѣръ въ которыхъ подробности стрѣльческаго бунта при Петрѣ Великомъ, узнаетъ, что и въ Камчаткѣ бываетъ свое лѣто, узнаетъ, что Пекинъ главный городъ Китая, что Алжиръ въ Африкѣ, и тому подобныя истины. Нашъ вѣкъ—чудный вѣкъ: никогда удобства жизни и средства къ выполнению самыхъ дорогихъ желаній самыми дешевыми средствами не были такъ легки и доступны для всѣхъ и каждаго. Скоро бѣдные перестанутъ завидовать богатымъ: вы абонируетесь у Семена, Эльцнера, Глазунова—и вотъ вамъ за какіе-нибудь полтора, двѣсти рублей въ годъ всѣ сокровища европейскаго и «россійскаго» генія; вы жертвуете въ продолженіе шести лѣтъ, въ разные сроки, сто восемьдесятъ рублей—и, не топчя пороговъ университетскихъ аудиторій, не добываясь ученыхъ степеней, не ломая головы надъ нѣмецкими и французскими грамматиками и словарями, знаете все, что знаетъ какой-нибудь многоученный профессоръ нѣмецкаго университета, и между прочими диковинками знаете званіе, производство въ чины и лѣта жизни Ломоносова; издается ученая книга: она вамъ необходима, но по своему объему дорога, не по вашему карману; не печальтесь: она выходитъ тетрадями (par livraisons), и эти тетради продаются по гривеннику, много по друг гривенному; откажите себѣ въ удовольствіи проѣхать нѣсколько разъ на ванькѣ—и книга ваша. Слава нашему вѣку! Но этимъ еще не все кончилось: промышленность пошла далѣе. Вы можете быть не знаете языковъ и потому не можете читать иностранныхъ произведеній; вы можете быть человѣкъ дѣловой—вамъ некогда читать и русскихъ книгъ; вы можете быть немножко лѣнны или имѣете антипатію къ скучнымъ нынѣшнимъ путешествіямъ и ко всему, что отзывается тяжелой ученостью, а между тѣмъ не хотите отстать отъ вѣка и прослыть невѣждою: не отчаявайтесь—къ вашимъ услугамъ романы, о

которыхъ я говорилъ выше этого. Легкое средство! прекрасное средство! Что вамъ угодно знать? Исторію, географію, статистику, политическую экономію, философію, физику, химію? Вы все это будете знать—увѣряю васъ; только не лѣнитесь читать романовъ и повѣстей Булгарина, Греча, Масальскаго, Калашникова, барона Брамбеуса и многихъ другихъ. Одному только не вычитесь вы изъ нихъ—математикѣ. Охъ, эта проклятая математика! сердитъ я на нее: какъ ни бьюсь, а не лѣзетъ въ голову! Гг. русскіе романисты! напишите, Бога ради, математическій романчикъ; уроки математики нынѣ очень вздорожали: вашъ романъ скоро разойдется!..

Но шутки въ сторону; скажу серьезно два слова объ этомъ странномъ явленіи. Кто виновникъ этого ложнаго рода романовъ, этого святотатственнаго искаженія искусства? Вальтеръ Скоттъ: подѣломъ такъ нападаетъ на него почтеннѣйшій баронъ Брамбеусъ. Да, въ этихъ чудовищныхъ романахъ виноватъ одинъ Вальтеръ Скоттъ; но не будемъ слишкомъ строги къ великому генію, къ славіи и гордости нашего вѣка; ибо онъ виноватъ въ этомъ преступленіи такъ же точно, какъ напримѣръ у насъ Пушкинъ виноватъ въ «Киргизскихъ» и другихъ «пѣвникахъ», какъ Крыловъ виноватъ въ басняхъ Маздорфа и Зилова; какъ комедія «Горе отъ ума» виновата въ комедіи: «Смѣшны мнѣ люди» и пр. Развѣ человѣкъ, вѣнецъ Божія созданія, хуже оттого, что обезьяна имѣетъ съ нимъ какое-то отвратительное сходство и безпрестанно передразниваетъ его? Развѣ искусство менѣе божественный даръ оттого, что глупость и бездарность смѣшиваетъ его съ ремесломъ? Развѣ художникъ менѣе сынъ неба оттого, что цеховые мастера выдаютъ себя за художниковъ?

Вальтеръ Скоттъ создалъ, изобрѣлъ, открылъ, или, лучше сказать, угадалъ эпопею нашего времени—историческій романъ. По его слѣдамъ пустились многіе люди, озаменованные печатью высокаго таланта и даже гевія; но, несмотря на то, онъ остался единственнымъ въ этомъ родѣ гевіемъ. Есть люди, которые отъ души убѣждены, что историческій романъ есть родъ ложный, оскорбляющій достоинство и искусства, и исторіи. Одно изъ важнѣйшихъ доказательствъ ихъ состоятъ въ томъ, что романисты часто искажаютъ историческую истину; но понимаютъ ли эти люди, что такое историческая истина? Понимаютъ ли они, что въ высшемъ-то значеніи этого слова она состоитъ не въ вѣрномъ изложеніи фактовъ, а въ вѣрномъ изображеніи развитія человѣческаго духа въ той или другой эпохѣ? Но кто уловилъ этотъ духъ? Развѣ изъ однихъ и тѣхъ же фактовъ не выводятъ различныхъ результатовъ? Одинъ историкъ говоритъ то, другой другое, и между тѣмъ они оба подтверждаютъ свои противоположныя мнѣнія одними и тѣми же фактами. И кто рѣшитъ, который изъ нихъ правъ? Причина этому очевидна: здѣсь искусство совпадаетъ съ наукой; историкъ дѣлается художникомъ, и художникъ историкомъ. Какая цѣль историка?

Уловить духъ изображаемаго имъ народа или изображаемаго имъ человечества въ какую-нибудь эпоху его жизни такимъ образомъ, чтобы въ его изображеніи видно было біеніе этой жизни, чтобы сквозь его рассказъ трепетала та живая идея, которую выразилъ собой народъ или человечество въ ту или другую эпоху своего бытія. Въ этомъ смыслѣ Вальтеръ Скоттъ въ своемъ «Иванго» и «Карлъ Безразсудномъ» есть историкъ въ полномъ и высшемъ значеніи этого слова, ибо онъ въ этихъ созданіяхъ своего громаднаго генія начерталъ намъ живой идеалъ среднихъ вѣковъ. Прочтя эти два романа, вы не будете знать исторіи среднихъ вѣковъ, но будете знать сокровенную жизнь этой эпохи человечества; прочтя ихъ, вы будете въ исторіи и въ фактахъ искать повѣрки этого поэтического синтеза, и эти факты не будутъ для васъ мертвы. И это очень естественно: между идеалами и дѣйствительностью совсѣмъ нѣтъ такого неизмѣримаго пространства, какое обыкновенно предполагаютъ; ибо что такое вся вселенная, какъ не воплощенный идеалъ, созданный Всемогущимъ Художникомъ? Развѣ вы можете постигнуть ея жизнь однимъ умомъ? Умъ анализируетъ жизнь вселенной, ибо не можетъ охватить ея вдругъ: искусству предоставлено синтетическое представленіе ея жизни, ибо цѣль искусства есть преобразовать явленія жизни. Развѣ есть предѣлъ художественнаго творчества, развѣ не можетъ явиться такой художникъ, который въ одномъ созданіи выразитъ цѣлую и полную идею міровой жизни, а не одни ея частныя явленія? Говорятъ еще, что не должно мѣшать вымысловъ съ истиной. Но вѣдь—гдѣ жизнь, тамъ и поэзія—это аксіома! а гдѣ же, какъ не въ человечествѣ наиболѣе проявляется всеобщая жизнь вселенной, и слѣдовательно что же, какъ не человечество, наиболѣе должно служить предметомъ поэтического вдохновенія, и потому что же, какъ не исторія, должна доставлять, если можно такъ выразиться, матеріалы для художественныхъ созданій?

Теперь очень понятно, въ чемъ состоитъ главное заблужденіе цеховыхъ художниковъ, и въ чемъ заключается главный недостатокъ ихъ заказныхъ издѣлій. Они хотятъ знакомить насъ съ историческими подробностями какой-нибудь эпохи и неуклюже вставляютъ или, лучше сказать, втискиваютъ ихъ въ пошлую и обветшалую раму любви двухъ лицъ. Жалкіе слѣпцы, они видятъ въ исторіи человечества событія и подробности, нравы и обычаи, а не трепетаніе вѣчной идеи жизни человечества, и думаютъ, что они все сдѣлали, если вывели на сцену какое-нибудь историческое лицо, вложили ему въ уста нѣсколько фразъ, сказанныхъ имъ при жизни, если сумѣли избѣжать анахронизмовъ и довольно вѣрно съ подлиннымъ намалевать нѣсколько картинъ тогдашняго быта и въ примѣчаніяхъ или выноскахъ подтвердить ссылками на разныхъ авторовъ достовѣрность своихъ изображеній. И потому у нихъ вымыселъ съ истиной сливается точно такъ же, какъ масло съ водой, и потому ихъ произведеніе есть анатомическій препаратъ, а не

живое созданіе. Бѣдняжки, они не знаютъ того, что и сама исторія при всей вѣрности представляемыхъ ею фактовъ, повѣренныхъ и очищенныхъ критикой, жестоко грѣшитъ противъ исторической истины, если не выражаетъ идеи жизни народа; они не знаютъ, что Вальтеръ Скоттъ потому такъ увлекателенъ, истиненъ и вѣренъ въ отношеніи къ исторической истинѣ, что выражаетъ духъ избранной имъ эпохи и не гонится за подробностями, и что поэтому ему никакого труда не стоило соблюдать мелочную вѣрность въ подробностяхъ.

Искусство есть представленіе явленій міровой жизни; эта жизнь проявляется не въ одномъ человечествѣ, но и въ природѣ; поэтому и явленія природы могутъ быть предметомъ романа. Но среди ея картинъ долженъ непремѣнно занимать какое-нибудь мѣсто человѣкъ. Высочайшій образецъ въ этомъ случаѣ Куперъ: его безбрежныя, безмолвныя и величественныя степи, лѣса, озера и рѣки Америки исполнены дыханія жизни; его дикіе въ соприкосновеніи съ бѣлыми дивно гармонируютъ съ этой дѣвственной жизнью американской природы. Вотъ другой поэтъ, который, подобно Вальтеръ Скотту, породилъ своими гениальными созданіями тысячи уродливыхъ чадъ бездарной подражательности. Сколько подобныхъ нелѣпостей въ одной нашей литературѣ! Но и здѣсь также ошибка: наши Куперы изображаютъ намъ не таинственную жизнь природы, вѣющую въ безмолвныхъ, современныхъ міру лѣсахъ и степяхъ Сибири, но мѣстности Сибири. Подъ обольстительнымъ покровомъ поэзіи они хотятъ преподавать намъ скучные уроки минералогіи, зоогнозіи и ботаники, географіи и топографіи.

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ
Несетъ фіалъ, сладкими упитанъ по краямъ.
Счастливецъ обольщенъ — пьетъ горькое цѣ-
ленье:
Обманъ ему далъ жизнь, обманъ — ему спасе-
ненье!

Но увы! это горькое цѣленіе хуже ревеня или рвотнаго порошка!..

О романѣ, заглавіе котораго выписано предъ началомъ этой статейки, нельзя ничего сказать особеннаго, и потому я нарочно распространился о томъ родѣ литературныхъ явленій, къ которому онъ относится. Авторъ «Посельщика» говоритъ въ своемъ предисловіи: «Повѣсть эта написана въ 1830 году, во время пребыванія моего въ Сибири, какъ опытъ — выйдетъ ли что-нибудь достойное чтенія изъ нетронутого тогда еще вашими литераторами сибирскаго быта». Н. Щ. этими немногими строками, обнаруживающими его понятія о творчествѣ, оцѣнилъ свое твореніе какъ нельзя лучше и избавилъ рецензента отъ скучнаго труда разбирать его. Хотя Н. Щ. и даетъ намъ знать, что «Сибиряки говорятъ о Калашниковѣ, что онъ забылъ языкъ своей родины, гражданскій бытъ и ошибается противъ географіи и естественной исторіи», но оправдываетъ его тѣмъ, что «изъ рукъ человѣческихъ ничего совершеннаго не вышло». Я же съ

своей стороны скажу о Н. Щ., что онъ не ошибается, по крайней мѣрѣ противъ географіи и естественной исторіи, ибо о нихъ въ его романѣ нѣтъ и помину, да и вообще Сибирь въ немъ очень мало видна, ибо большая половина романческаго дѣйствія происходитъ въ Европейской Россіи, гдѣ герой романа рассказываетъ исторію своей жизни. О Сибири же собственно мы узнаемъ только то, что тамъ бываетъ очень холодно; что тамъ уходятъ съ заводовъ каторжные и рѣжутъ глухихъ мужиковъ, которые почитаютъ ихъ умѣющими заговаривать ружья; что Сибирь очень богата естественными произведениями и т. п. Къ концу книги приложено объясненіе четырехъ словъ и трехъ сибирскихъ фразъ, чего же вамъ больше? Книжечка ей-Богу хороша — покупайте-съ!

Въ тихомъ озерѣ черти водятся. *Старая русская пословица въ лиризмѣ и въ одномъ дѣйствіи. Федора Кони. Москва. 1834.*

Имя Кони давно уже играетъ нѣкоторую роль въ нашей литературѣ, въ которой, по крайнему безлюдью, почти всѣ имена играютъ по крайней мѣрѣ нѣкоторую роль. Впрочемъ, нельзя не отдать ему справедливости за его трудолюбіе на избранномъ имъ поприщѣ, на которомъ онъ, надо сказать правду, подвизается не безъ успѣха. Во всякомъ его произведеніи или, справедливѣе, во всякой его передѣлкѣ, замѣтна способность, литературная образованность и драматическая замашка, замѣтно остроуміе, особенно въ водевильныхъ куплетахъ, словомъ, замѣтны до нѣкоторой степени многія качества, необходимыя для сочиненія миленькихъ и маленькихъ эфемеровъ, которые называются водевилями, которые рождаются мгновенно и умираютъ разомъ, которые нынѣ приводятъ въ восторгъ непостоянную толпу, а завтра забываются ею.

Не думайте, чтобы я хотѣлъ нападать на водевиль вообще; нѣтъ — сохрани меня Боже! Я слишкомъ далекъ отъ того, чтобы думать и вѣрить, что

Водевилъ есть вещь, а прочее все гиль;

но вѣстѣ съ тѣмъ отнюдь не думаю, чтобы водевилъ былъ сущій вздоръ, дѣло отъ бездѣлья, незакононое чадъ поэзіи! О, нѣтъ! И онъ можетъ быть художественнымъ произведеніемъ, когда вѣрно изображаетъ характеръ домашней жизни того или другого народа со всѣми ея мелочами и странностями. Водевилъ есть родъ, созданный французами, понятный для французовъ и прекрасный у французовъ; эта ихъ собственность, ихъ добро, ихъ достоинство, и онъ имѣетъ у нихъ глубокий смыслъ. Предоставляя высшей драмѣ живописать игру страстей, анализировать человѣка въ высочайшихъ мгновеніяхъ его бытія, въ сильнѣйшихъ изверженіяхъ внутренней полноты его жизни, въ замѣчательнѣйшихъ отношеніяхъ и соприкосновеніяхъ его индивидуальности съ обществомъ, или бичевать, подобно фуріи, падшаго, искаженного, утратившаго образъ и подобіе Божіе человѣка въ его жалкой борьбѣ съ чувствомъ

своего назначенія и обольщеніями эгоизма; предоставляя ей ругаться надъ обществомъ, которое столько времени твердитъ ходячія истины о добрѣ и злѣ, и которое столько времени поступаетъ наперекоръ этимъ истинамъ, — водевилъ пародируетъ жизнь низшую, жизнь, такъ сказать, домашнюю, семейную и человѣка, и общества, подбираетъ крохи, падающія со стола высшей драмы. Онъ относится къ этой послѣдней точно такъ же, какъ эпиграмма относится къ сатирѣ; онъ не хохочетъ яростно надъ жизнью, но строитъ ей рожи, не бичуетъ ее, а гримасничаетъ надъ ней; наконецъ это ни больше, ни меньше, какъ экспромтъ на какой-нибудь житейскій случай. У насъ нѣтъ водевиля, какъ нѣтъ еще и кое-чего другого многого. Наши водевили суть передѣлки или переломки французскихъ водевилей, другими словами, водевили на водевили, а не на жизнь; наше остроуміе выписное, выдохшееся на почтовой дорогѣ при пересылкѣ... Жаль! ибо, кажется мнѣ, наша русская жизнь можетъ доставить истинному таланту неистощимый рудникъ матеріаловъ для народнаго водевиля, и, говорю, для одного только водевиля, больше ни для чего... Но чего нѣтъ, о томъ нечего и говорить!.. А потому, какъ вамъ угодно, а труды Кони достойны нѣкотораго вниманія и даже уваженія. Повторяю: онъ имѣетъ способности для передѣлокъ съ французскаго этого рода литературныхъ эфемеровъ. Въ его «Въ тихомъ озерѣ черти водятся» есть нѣчто такое, что можетъ васъ заставить если не прочесть, то выслушать эту пьесу на театрѣ безъ скуки, даже не безъ удовольствія; въ ней есть нѣсколько забавныхъ положеній, нѣсколько миленькихъ куплетцевъ, исполненныхъ веселости... Итакъ, объ этомъ новомъ произведеніи Кони нечего много говорить: оно, какъ дѣй капли воды, похоже на бывшія, сущія и будущія издѣлія какъ его собственнаго пера, такъ и прочихъ нашихъ водевилистовъ-передѣльвателей. Самая новая, самая диковинная вещица въ этой книжечкѣ есть предисловіе передѣльвателей, и объ немъ я хочу сказать слова два.

Кони говоритъ: «Комедія (??) должна быть зеркаломъ, но никогда вывѣской порочнаго. Этой истинѣ научили меня и горькая участь Аристофана, и неудачи первыхъ представленій мольеровыхъ комедій». Не понимаю, что можетъ имѣть общаго Кони съ Аристофаномъ и Мольеромъ? Одинъ жилъ такъ давно; а другого ставятъ чуть-чуть не наравнѣ съ Шекспиромъ!

Въ заключеніе Кони говоритъ: «Знаю, пьеса моя имѣетъ много недостатковъ и погрѣшностей; исправлять ихъ не могу и не хочу: пускай она явится передъ читателями въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ явилась въ первый разъ на подмосткахъ (?) театра, гдѣ приобрѣла тотъ лестный успѣхъ, который я приписываю болѣе снисхожденію публики къ неуспѣшнымъ (?) трудамъ моимъ для сцены, чѣмъ успѣхамъ слабаго моего таланта». Не понимаю, какъ можно намекать съ такой наивностью о своихъ неуспѣшныхъ трудахъ на поприщѣ, столь легкомъ и столь благодарномъ?

«М. г., говоритъ испанскій нищій, протягивая руку къ проходящему, одолжите мнѣ на мѣсяцъ пятьсотъ пиастровъ». Проходящій подаетъ копѣйку, нищій беретъ ее и говоритъ съ гордостью: «Будьте увѣрены, м. г., что я ровно черезъ мѣсяцъ возвращу вамъ ваши пятьсотъ пиастровъ».

О, бѣдная наша литература! о, бѣдные наши авторитеты и авторитетики!!

Исторія о храбромъ рыцарѣ Францискѣ Венціанѣ и о прекрасной королевицѣ Ренцивенѣ. Печатано съ изданія 1829 года безъ исправленія. Москва, 1834.

Во пр. Какія книги болѣе всего читаются, расходятся и печатаются на Русь?

Отв. Сочиненія Матвѣя Комарова, «Жители Москвы», и творенія Ѳ. В. Булгарина и А. А. Орлова.

Въ одномъ изъ послѣднихъ №№ «Сѣверной Пчелы» Ѳ. В. Булгаринъ учинилъ отчаянную вылазку противъ московскихъ журналовъ, какъ бывшихъ, такъ и сущихъ. Онъ говоритъ, что въ Москвѣ не было и нѣтъ хорошихъ журналовъ. Мы избавляемъ читателей отъ выписки его подлинныхъ словъ, а представимъ только гезимѣ его доказательствъ, которыя очень удобно привести въ форму двухъ слѣдующихъ силлогизмовъ.

силлогизмъ I.

Предложеніе. Мои сочиненія хороши.

Посылка I. Что хорошо, то читается, расходится и раскупается.

Посылка II. Мои сочиненія читаются, расходятся и раскупаются; ergo.

Conclusio. Мои сочиненія хороши.

силлогизмъ II.

Предложеніе. Московскіе журналы никуда не годятся.

Посылка I. Журналы, почему бы то ни было не отдающіе справедливой похвалы хорошимъ сочиненіямъ, не могутъ быть хороши.

Посылка II. Московскіе журналы немилосердно издѣвались (дерзкіе!) надъ моими твореніями, которыя вслѣдствіе перваго силлогизма превосходны; ergo.

Conclusio. Московскіе журналы—дрянь.

Что Ѳ. В. Булгаринъ большой логикъ, объ этомъ нѣтъ спора; но судить логически и судить истинно—двѣ вещи разныя; поэтому, ни мало не думая состязаться съ почтеннымъ авторомъ «Выжигинныхъ» на поприщѣ мышленія, я все-таки попытаюсь опровергнуть его силлогизмы силлогизмомъ моей собственной фабрики. Цѣль моего возраженія не та, чтобы убѣдить Ѳаддея Венедиктовича въ ложности его мнѣнія; нѣтъ, моя цѣль гораздо выше: польза науки (логики) и польза публики. Людямъ мыслящимъ не должно скрывать новыхъ, свѣтлыхъ и высокихъ истинъ, ибо это замедлило бы ходъ человѣчества на пути къ совершенству. Итакъ, приступаю.

Предложеніе. Сочиненія А. А. Орлова безподобны.

Посылка I. Все, что читается и раскупается, превосходно.

Посылка II. Сочиненія А. А. Орлова читаются и раскупаются; ergo.

Conclusio. Сочиненія А. А. Орлова безподобны.

Не правда ли, что это аксіома? Почему же Ѳ. В. Булгаринъ медлитъ признать достоинство литературныхъ издѣлій своего знаменитаго и достойнаго соперника? Неужели изъ зависти? Сохрани Богъ! Мы знаемъ, что Сальери завидовалъ Моцарту; но здѣсь талантъ завидовалъ генію, а Ѳ. В. Булгаринъ генію, и А. А. Орловъ генію, такъ зависти быть не должно; тѣмъ болѣе, что геній и зависть—несовмѣстныя свойства. Какъ бы то ни было, но или Ѳаддей Венедиктовичъ долженъ признать высокое достоинство скромнаго Александра Анфимовича, или долженъ признать ложность своего перваго силлогизма, что «все то, что читается и раскупается, превосходно», равно какъ и втораго силлогизма, который есть слѣдствіе перваго, что въ «Москвѣ не было и нѣтъ хорошихъ журналовъ».

Не правда ли, что это аксіома?

Присовокуплю къ моему силлогизму, разумѣется для пользы нашей литературы и всего человѣчества, еще нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній. Повторяю: высокихъ и новыхъ истинъ (каковы: должно уповать на Бога, любить добродѣтель, избѣгать порока и пр.) не должно держать въ кулакѣ; если же онѣ были многократно повторены или въ дѣтскихъ прописяхъ, или въ сочиненіяхъ Ѳ. В. Булгарина, то для блага человѣчества ихъ должно повторять какъ можно чаще.

Какая разница между талантомъ и геніемъ? Первый робокъ, второй смѣлъ, но эта смѣлость происходитъ отъ благороднаго сознанія въ своихъ силахъ. Пушкина читала и читаетъ съ восхищеніемъ вся Россія; однако онъ не только ни разу не объявлялъ о себѣ, что онъ—хорошій поэтъ, но даже еще сохранился печатно, что многія изъ нападокъ его антогонистовъ были справедливы: явно, что Пушкинъ—талантъ, а не геній. Ѳ. В. Булгаринъ неоднократно говорилъ о себѣ, что онъ—знаменитый романистъ: явно, что Ѳ. В. Булгаринъ—не талантъ, а геній.

Только разъ онъ обмолвился, сказавъ, что черезъ тысячу лѣтъ его имя не будетъ извѣстно, хотя сочиненія и будутъ продаваться на толкучихъ рынкахъ; но это ничего не значитъ: скромность, какъ и хвастливость, есть удѣлъ генія. Бюффонъ говорилъ: «геніевъ три: Ньютонъ, Лейбницъ и я!» и Бюффонъ точно былъ геній; Ѳ. В. Булгаринъ тысячу разъ увѣрялъ, что его романы превосходны, ибо потерпѣли не по одному тисненію, и кто же не повѣритъ ему въ этомъ? Собственное признаніе паче всякаго свидѣтельства.

А «Францискъ Венціанъ»? Я и забылъ объ немъ, увлекшись Булгаринымъ. Но что я скажу вамъ о немъ? О произведеніяхъ такихъ авторовъ, каковы Матвѣй Комаровъ, «Житель Москвы», Ѳ. В. Булгаринъ и А. А. Орловъ, надо говорить tout ou rien; но

для перваго у меня недостаетъ силъ, въ чемъ, какъ талантъ, а не гений, я сознаю откровенно; и потому умолкаю въ чувствѣ глубочайшаго удивленія и почтенія къ поименованнымъ мной авторамъ, съ каковымъ имѣю честь пребыть и прочее.

Краткое изложеніе главныхъ доводовъ и свѣдѣтельствъ, неоспоримо утверждающихъ истину и божественное происхожденіе христіанскаго откровенія. *Соч. епископа лондонскаго Портьюса. Спб. 1834.*

Появленіе этой книги принадлежитъ къ числу тѣхъ предпріятій, которыя при всей ихъ благонамѣренности не приносятъ существенной пользы; ибо въ дѣлахъ добра мало одного усердія, нужно еще умѣнье. Цѣль этого сочиненія была, какъ видно изъ самаго ея заглавія, доказать истину и божественное происхожденіе христіанскаго откровенія. Въ свое время подобное предпріятіе могло приносить свою пользу, ибо была несчастная пора, когда какое-нибудь *bon mot*, какой-нибудь пошлый каламбуръ убивалъ и религію, и истину, и плоды безкорыстнаго служенія знанію, и заслуженную репутацію человѣка. Это время уже кануло въ вѣчность: авторитетъ Вольтера и энциклопедистовъ упалъ даже въ провинціяхъ; его признаютъ только развѣ какія-нибудь жалкія развалины

Временъ очаковскихъ и покоренія Крыма.

Сверхъ того подобныя книги только тогда могутъ быть полезны, когда содержащіяся въ нихъ истины изложены съ одушевленіемъ, съ теплотой чувства, съ увлекательнымъ краснорѣчіемъ и подкрѣплены глубокой ученостію; ибо христіанское ученіе основано на любви и разумѣ и потому говорить сколько уму, столько и сердцу.

Нонекъ Горбунокъ. *Русская сказка. Соч. П. Ершова. Въ III частяхъ. Спб. 1834.*

Было время, когда наши поэты, даровитые и бездарные, лѣзли изъ кожи вонъ, чтобы попасть въ классики, и изъ силъ выбивались украшать природу искусствомъ; тогда никто не смѣлъ быть естественнымъ, всякій становился на ходули и облакался въ мишурную тогу, боясь низкой природы; употребить какое-нибудь простонародное слово или выраженіе, а тѣмъ болѣе заимствовать сюжетъ сочиненія изъ народной жизни, не исказивъ его пошлымъ благоуханіемъ, значило потерять навѣки славу хорошаго писателя. Теперь другое время: теперь всѣ хотятъ быть народными; ищутъ съ жадностію всего грязнаго, сальнаго и дегтярнаго; доходятъ до того, что презираютъ здравымъ смысломъ, и все это во имя народности. Не ходя далеко, укажу на попытки казака Луганскаго и на поименованную выше книгу. Итакъ, нынѣ совсѣмъ не то, что прежде; но крайности сходятся; при томъ же давно уже было сказано, что

Ни что не ново подлѣ луною,
Что было—есть и будетъ вѣкъ.

И потому, несмотря на такую очевидную разность въ направленіяхъ, поэты настоящаго времени споткнулись на одномъ ухабѣ съ поэтами былаго времени. Какъ тѣ искали народность, украшая ее, такъ эти искажаютъ ее, стараясь приблизиться къ ея естественной простотѣ. Что въ русскихъ сказкахъ въ тысячу-тысячу разъ больше поэзіи, нежели въ «Бѣдной Лизѣ», не только въ «Боярской Дочери» и «Марѣ Посадницѣ», объ этомъ въ наше время нечего много говорить: это аксіома. Какъ же хотите вы воспроизводить ихъ? Не то же ли это, что подобно Дюсису, передѣлывать въ пошлыя трагедіи гениальныя драмы Шекспира? Не то же ли, что поправлять народныя русскія пѣсни, вставляя въ нихъ паркетныя вѣжливости и имена Лизъ, Нинъ и проч., какъ то дѣлывалось нашей доброй стариной! Эти сказки созданы народомъ: и такъ ваше дѣло списать ихъ, какъ можно вѣрнѣе, подлѣ диктовку народа, а не подновлять и не передѣлывать. Вы никогда не сочините своей народной сказки, ибо для этого вамъ надо бы было, такъ сказать, омузничаться, забыть, что вы баринъ, что вы учились и грамматикѣ, и логикѣ, и исторіи, и философіи, забыть всѣхъ поэтовъ, отечественныхъ и иностранныхъ, читанныхъ вами, словомъ, переродиться совершенно; иначе вашему созданію по необходимости будетъ недоставать этой неподдѣльной наивности ума, непростѣннаго наукой, этого лукаваго простодушія, которыми отличаются народныя русскія сказки. Какъ бы внимательно ни прислушивались вы къ аху русскихъ сказокъ, какъ бы тщательно ни поддѣлывались подлѣ ихъ тонъ и ладъ, и какъ бы звучны ни были ваши стихи,—поддѣлка всегда останется поддѣлкой, изъ-за зипуна всегда будетъ виднѣться вашъ фракъ. Въ вашей сказкѣ будутъ русскія слова, но не будетъ русскаго духа, и потому, несмотря на мастерскую отдѣлку и звучность стиха, она нагонитъ одну скуку и зѣвоту. Вотъ почему сказки Пушкина, несмотря на всю прелесть стиха, не имѣли ни малѣйшаго успѣха. О сказкѣ Ершова—нечего и говорить. Она написана очень недурными стихами, но по изложеннымъ причинамъ не имѣетъ не только никакого художественнаго достоинства, но даже и достоинства забавнаго фарса. Говорятъ, что Ершовъ—молодой человѣкъ съ талантомъ; не думаю, ибо истинный талантъ начинается не съ пошлостей и поддѣлокъ, а съ созданій, часто нелѣпыхъ и чудовищныхъ, но всегда пламенныхъ и въ особенности свободныхъ отъ всякой стѣснительной системы или заранѣе предполагаемой цѣли.

Были и небылицы названа Луганскаго. *Русскія сказки. Книжка вторая. Спб. 1835.*

На нашемъ крохотномъ литературномъ небосклонѣ всякое пятнышко кажется или блестящимъ созвздіемъ, или огромной кометой. Лишь только появится на немъ какая-нибудь тучка, которую по ея отдаленности нельзя хорошенько опредѣлить, какъ наши любители литературной астрономіи тотчасъ вооружаются огромными критическими теле-

скопами и съ важностью разсуждаютъ, что бы это такое было: неподвижная звѣзда, новая планета или блудящая комета. Они смотрятъ, толкуютъ, намѣряютъ, спорятъ, удивляются, а тучка между тѣмъ разсѣивается, и нхъ пенаглядная планета или комета ниспадаетъ мелкимъ дождичкомъ и — исчезаетъ въ землѣ. Много можно бы привести подобныхъ примѣровъ, тѣмъ болѣе, что почти вся исторія нашей литературы состоитъ изъ такихъ забавныхъ анекдотовъ. Вотъ на примѣръ, сколько шуму произвело появленіе казака Луганскаго! Думали, что это и ни въсть что такое, между тѣмъ какъ это ровно ничего; думали, что это необыкновенный художникъ, которому суждено создать народную литературу, между тѣмъ какъ это просто балагуръ, иногда довольно забавный, иногда слишкомъ скучный, нерѣдко уморительно-веселый и часто приторно-натянутый. Вся его гениальность состоитъ въ томъ, что онъ умѣетъ кстаги употреблять выраженія, взятые изъ русскихъ сказокъ; но творчества у него нѣтъ и не бывало; ибо уже одна его замашка передѣлывать на свой ладъ народныя сказки достаточно доказываетъ, что искусство не его дѣло. Во второй части его «Былей и Небылицъ» содержатся три сказки, одна другой хуже. Первая всѣхъ серьезнѣе: въ ней между прочими вещами говорится о Сатурнѣ, о богѣ любви, о счастливомъ островѣ, наполненномъ нимфами (что-то похожее на островъ Калипсо); все это пересыпано сказочными руссизмами — не правда ли, что очень забавно? Вторая сказка — передѣлка, стало, о ней нечего говорить. Третья, «О жидѣ вороватомъ и цыганѣ бородатомъ», состоитъ изъ ходячихъ армейскихъ анекдотовъ о жидяхъ; грязно, сально, старо, пошло, но, несмотря на то, такъ забавно, что невозможно читать безъ смѣха... Казакъ Луганскій забавный балагуръ!..

Аббадонна. Сочиненіе Николая Полевого. Москва. 1834. 4 части.

Мечты и жизнь. Были и повести, сочиненныя Николаемъ Полевымъ. Москва. 1834. 4 части.

Скучно и тошно читать ех-офиціо разные вздоры и нецѣпости, изобрѣтаемые плодотворной бездарностью и безстыдной меркантильностью; неприятно и досадно повторять тысячу разъ одно и то же, или разыгрывать разныя варіанціи на одну и ту же тему; жалко и унижительно высказывать съ грубой откровенностью рѣзкія истины рыцарямъ печальнаго образа и дразнить пискливое самолюбіе литературныхъ гусей! Зато какъ пріятно и отрадно, взявши въ руки какое-нибудь многотомное произведеніе «россійскаго» пера, осудивъ себя а priori на скуку и зѣвоту, а перо свое на безпощадную правду, обмануться въ ожиданіи и, вмѣсто пошлости, прочесть что-нибудь сносное и порядочное! Но принятая за чтеніе книги такого автора, имя котораго обѣщаетъ твореніе, хотя и не гениальное, но означенное большей или меньшей степенью таланта, и не обмануться въ своей надеждѣ, и быть въ состояніи отдать должную справедливость подобному произведенію —

о, это верхъ блаженства для человѣка, свободнаго въ своемъ образѣ мыслей отъ всякаго вліянія партій и чуждаго всякаго литературнаго сватонства и кумовства. Въ дѣлѣ литературы, какъ и въ дѣлахъ жизни, есть своя честность, своя добросовѣстность, но вмѣстѣ съ тѣмъ есть и свои неизбѣжныя отношенія, которыя ставятъ иногда человѣка въ необходимость быть пристрастнымъ, нерѣдко для поддержанія своей репутаціи. Міръ журнальный есть міръ политическій въ миниатюрѣ; въ немъ есть своя оппозиція, свои союзы, свои войны и примиренія. Кто не помнитъ прекрасной и остроумной статьи: «Обозрѣніе журнальных кабинетовъ», помѣщенной въ «Московскомъ Вѣстникѣ» за 1830 годъ? Поэтому для посвященныхъ въ таинства журнальнаго міра кажутся весьма понятны и извинительны такія явленія, которыя по справедливости возбуждаютъ все негодованіе непосвященныхъ. Какъ бы то ни было, но, чуждый такого рода отношеній, я чувствую всю цѣну моей независимости, и спѣшу воспользоваться ею, чтобы высказать откровенно, по совѣсти и разумію, мое мнѣніе о романѣ Полевого. Я не намѣренъ писать на его критики и принимать на себя важной роли судьи неумолимаго; нѣтъ, я хочу бросить только бѣглый взглядъ, просто и безъ затѣй, изложить въ видѣ замѣтки мое сужденіе не какъ критика, но какъ простого любителя, представить читателямъ результатъ впечатлѣній, которыми поразило меня это новое явленіе въ нашей литературѣ.

«Аббадонна» есть второй романъ Полевого; первымъ его опытомъ въ этомъ родѣ была «Клятва при Гробѣ Господнемъ». Какъ то, такъ и другое произведеніе не имѣютъ себѣ образца и не похожи ни на какое сочиненіе того же рода въ нашей литературѣ; но участь этихъ обоихъ произведеній чрезвычайно различна: принятыя съ равной благосклонностью публикой, они были приняты различнымъ образомъ нашими записными аристархами. Первое было превознесено нѣкоторыми изъ нихъ до седьмого неба, такъ что поставлено чуть ли не выше всего, что есть лучшаго въ этомъ родѣ въ европейскихъ литературахъ; второе же, по мнѣнію тѣхъ же самыхъ людей, поставлено едва ли не наравнѣ съ издѣліями Александра Орлова. Не пускаясь въ изслѣдованіе любопытныхъ причинъ столь противоположнаго мнѣнія о двухъ произведеніяхъ одного и того же автора, я замѣчу мимоходомъ, что ни то, ни другое изъ этихъ мнѣній не справедливо. «Клятва при Гробѣ Господнемъ», какъ мнѣ кажется, ниже тѣхъ преувеличенныхъ похвалъ, которыми столь бездоказательно осыпали ее наши неумные литературные судьи; она едва ли заслуживаетъ имя художественнаго произведенія въ полномъ смыслѣ этого слова. Это есть просто попытка умнаго человѣка создать русскій романъ или, лучше сказать, желаніе показать, какъ должно писать романы, содержаніе которыхъ берется изъ русской жизни. И въ этомъ случаѣ этотъ романъ есть явленіе замѣчательное; одно уже то, что любовь играетъ въ немъ не главную, а побочную роль, достаточно доказываетъ, что Полево

вѣрше всѣхъ нашихъ романистовъ понялъ поэзію русской жизни. Въ его произведеніи есть нѣсколько мѣстъ высокаго достоинства, есть много новаго, интереснаго, какъ вообще въ завязкѣ и ходѣ всего романа, такъ и во многихъ ситуаціяхъ и характерахъ дѣйствующихъ лицъ; но въ цѣломъ онъ вялъ и скученъ. Видно много ума, но мало фантазіи; видно усиліе, но не видно вдохновенія.

«Аббадонна» несравненно выше «Клятвы при Гробѣ Господнемъ»; можетъ быть это происходитъ оттого, что здѣсь Полевой былъ, такъ сказать, болѣе въ своей тарелкѣ, ибо вообще его талантъ, несмотря на всю его многосторонность, особенно торжествуетъ въ изображеніи такихъ предметовъ, которые имѣютъ близкое отношеніе къ нему самому по опыту жизни. Представить художника въ борьбѣ съ мелочами жизни и ничтожностью людей—вотъ тема, на которую Полевой пишетъ съ особенной любовью и съ особеннымъ успѣхомъ: доказательствомъ тому его повѣсть «Живописецъ» и разсматриваемый мною романъ. Эти два произведенія я почитаю лучшими произведеніями Полевого: въ нихъ онъ самъ является художникомъ. Впрочемъ его талантъ также весьма замѣчателенъ въ юмористическихъ картинахъ современной русской жизни и въ превосходномъ изображеніи поэтической стороны нашихъ простолюдиновъ; причина очевидна: то и другое ему слишкомъ хорошо знакомо, а онъ, повторяю, не иначе можетъ быть хорошъ, какъ въ сферѣ, хорошо ему знакомой. Это есть общая участь таланта и составляетъ, по моему мнѣнію, его главное отличіе отъ генія. Геній можетъ изображать вѣрно и сильно такія чувствованія и положенія, какія, по обстоятельствамъ его жизни, не могли быть имъ извѣданы; талантъ всегда находится подъ могущественнымъ вліяніемъ или обстоятельствъ своей жизни, или индивидуальности своего характера, и торжествуетъ въ изображеніи предметовъ, наиболѣе поражающихъ его чувство или умъ; геній творитъ образы новые, никѣмъ даже и не подозрѣваемые, не только что не видѣнные; талантъ только воплощаетъ въ новыя формы вѣчные типы генія; оригинальность и красоты въ созданіи генія суть результатъ одной его творческой силы; красоты же въ произведеніи таланта суть слѣдствіе большей или меньшей подчиненности вліянію генія, а особность есть слѣдствіе болѣе индивидуальности человѣка, нежели художника. Степенью этой-то подчиняемости вліянію генія опредѣляется сила таланта.

Основная мысль «Аббадонны» не новость, хотя талантъ автора умѣлъ придать ей прелесть новости. Характеры персонажей, за исключеніемъ двухъ, всѣ оригинальны и суть созданія автора. Два же, а именно: Элеонора и Генріетта, суть пересозданные типы Шиллера, которымъ впрочемъ Полевой умѣлъ придать столько оригинальности, что они не кажутся сволками своихъ образцовъ, а только напоминаютъ ихъ. Подобная подражательность, если только можно назвать ее подражательностью, замѣтна даже и въ нѣкоторыхъ положеніяхъ: кромѣ схода въ характерахъ, Элеонора и Генріетта на-

поминаютъ собой леди Мильфордъ и Луизу Шиллера и во взаимныхъ отношеніяхъ между собой, какъ соперницы. Такъ напримѣръ, прекрасная сцена свиданія Элеоноры съ Генріеттой напоминаетъ сцену свиданія леди Мильфордъ съ Луизой. «И онъ передавалъ ей душу свою—я видѣла это: у него привыкла она такъ смотрѣть, такъ говорить». Эти слова изступленной любовью и ревностью Элеоноры показываютъ, что автору «Аббадонны», какъ будто въ смутномъ снѣ, представлялась помянутая сцена изъ «Коварства и Любви», хотя его собственная отъ этого ни мало не теряетъ въ художественномъ достоинствѣ и имѣетъ свой характеръ и свою оригинальность.

Говоря, что двое изъ главныхъ персонажей «Аббадонны» напоминаютъ типы Шиллера, я отнюдь не имѣю цѣлью унижать черезъ то достоинство этого романа, а еще менѣе упрекать Полевого въ подражательности. Смѣшно и думать, чтобы въ наше время хотя сколько-нибудь образованный человѣкъ поставилъ въ заглавіи своего сочиненія: подражаніе такому-то, и сталъ бы объяснять въ предисловіи, что принадлежитъ въ его сочиненіи собственно ему и что взято имъ на прокатъ изъ того или другого писателя; еще смѣшнѣе думать, чтобы въ наше время человѣкъ съ истиннымъ талантомъ, садясь за перо, съ намѣреніемъ создать что-нибудь, разложилъ передъ собой твореніе генія и сталъ бы съ него копировать. Нѣтъ, въ созданіи истиннаго таланта нашего времени вы никогда не замѣтите этой пошлой подражательности, которая почиталась нѣкогда необходимой принадлежностью чудовищныхъ и безобразныхъ произведеній такъ называемыхъ классиковъ. Этого мало: вы не всегда укажете на одно какое-нибудь извѣстное произведеніе, которое было бы для него исключительнымъ образцомъ; но вы всегда или по крайней мѣрѣ часто откроете въ немъ слѣды вліянія одного или даже и нѣсколькихъ гениальныхъ твореній. Эта зависимость есть невольная дань таланта генію,—дань, которую онъ часто платитъ ему безсознательно и безъ своего вѣдома. Такъ напримѣръ, историческій романъ XIX вѣка не есть изобрѣтеніе Вальтеръ Скотта, ибо всѣ роды и виды поэзіи безусловны, и ихъ прототипы скрываются въ непреложныхъ законахъ творчества, но я думаю, что Вальтеръ Скоттъ потому уже геній и стоитъ гораздо выше всѣхъ послѣдовавшихъ романистовъ, что онъ первый угадалъ этотъ родъ романа. Колумбы открываютъ неизвѣстныя части міра, а Пизарры и Кортесы только довершаютъ ихъ открытія.

Вотъ главные персонажи «Аббадонны», на которыхъ сосредоточивается интересъ романа: Вильгельмъ, молодой художникъ, созданіе, вполне принадлежащее Полевому, невольно привлекающее къ себѣ вниманіе читателя, борется между влеченіемъ своего генія и обольщеніями жизни, между голосомъ своего художническаго призванія и сомнѣніемъ въ своемъ художническомъ призваніи; Элеонора, чудное, дивное, высокое, прелестное созданіе, женщина, рожденная съ душой пламенной и энергической, съ страстями знойными и вулканическими, но увлечен-

ная обстоятельствами въ бездну рааврата, превосходная актриса, изступленная жрица и поклонница изысканаго и вмѣстѣ съ тѣмъ презрѣнная любовница сильнаго временщика, бездушнаго старичишки, испытываетъ надъ собой высокое таинство любви, очищается въ священномъ пламени отъ ржавчины порока и возстаетъ отъ своего паденія въ мощномъ, исполинскомъ величіи; потомъ Генріетта, первая любовь Вильгельма, одно изъ этихъ милыхъ, кроткихъ созданий, нѣмочекъ-кухарочекъ, которыхъ я люблю до смерти и которыхъ еще никогда не видывалъ, которыя общаются избранному ими юношѣ и супружескую вѣрность до гроба, и вкусно сваренный супъ изъ картофеля, и тихое упоеніе романтической любви, и самый классическій порядокъ въ домѣ и на погребѣ, которыя сначала изображаются съ серафимскими крыльями, а потомъ съ связкой ключей, которыя наконецъ начинаютъ свое поприще идеалами, а оканчиваютъ кухней и прачешной, — Генріетта испытываетъ муки отверженной любви и возбуждаетъ въ душѣ читателя живѣйшее состраданіе къ своему положенію. Второстепенныя лица также интересны. Рассказъ вообще живой и занимательный; положенія по большей части новыя и оригинальныя; обрисовка характеровъ мастерская, обликаящая руку твердую и рѣзкую; множество картинъ и описаній истинно художественныхъ, баковы: представленіе «Арминія», сцена въ бесѣдкѣ вольный переводъ изъ Соуты индійской легенды «Аллоа», столкновеніе Вильгельма съ дворомъ князя и съ могущественнымъ барономъ Калькопфомъ, поѣздка Вильгельма на родину, и уже упомянутая мной прекрасная сцена свиданія Элеоноры съ Генріеттой, изображеніе директора театра, литераторовъ, поэтовъ, журналистовъ, ученыхъ, пользующихъ поочередно передъ сильными, закусисными тайны, т.-е. театр въ время репетицій и до поднятія занавѣса; наконецъ прекрасный слогъ — вотъ достоинства новаго произведенія Полевого. Въ немъ цѣлостъ выдержана, по крайней мѣрѣ пока, ибо этотъ романъ еще не составляетъ цѣлаго; его продолженіе и окончаніе будутъ въ другомъ романѣ. За одно только можно упрекнуть автора: это за излишнюю говорливость, которая иногда переходитъ въ совершенную болтливость; между многими прекрасными мыслями, у него, особенно въ первой части, встрѣчаются мѣста, состоящіе изъ сентенцій, рѣшительно пошлыхъ. Конечно подобныя пошлыя сентенціи могли бы составить блескъ и украшеніе романовъ иныхъ авторовъ, пользующихся на святой Руси большимъ авторитетомъ, но какъ-то неприятно и досадно встрѣчать ихъ въ романѣ Полевого. Желаямъ и съ нетерпѣніемъ ожидаемъ, чтобы второй романъ, служащій окончаніемъ «Аббадоннѣ», вышелъ какъ можно скорѣе, и благодаримъ Полевого, что онъ, литераторъ Москвы, подарилъ нашу публику хорошимъ произведеніемъ, тогда какъ петербургскіе литераторы потчуютъ ее записневѣлыми крохами съ убогой трапезы Поль де-Кока, Жаняисъ и Дюкре-Дюменна съ братіей.

Что касается до повѣстей Полевого, о нихъ во-

обще можно сказать то же, что и объ «Аббадоннѣ»: это созданія не вѣковыя, не гениальныя, но ознаменованныя печатью сильнаго таланта. Въ четырехъ частяхъ его «Мечты и Жизнь» заключается пять повѣстей: «Блаженство Безумія», «Эмма», «Живописецъ», «Мѣшокъ съ Золотомъ» и «Рассказы Русскаго Солдата». Первая слишкомъ какъ-то напоминаетъ Гофмана, но отличается мастерскимъ рассказомъ; вообще большинство голосовъ остается на сторонѣ «Эммы», но мнѣ больше всего нравится «Живописецъ»; самая слабая повѣсть есть «Мѣшокъ съ Золотомъ», но «Рассказы Русскаго Солдата» — это прелесть! Въ этой пьесѣ такъ много чувства, такъ много оригинальности и вѣрности въ изображеніи чувствъ и понятій простолюдиновъ, что съ ней не можетъ идти ни въ какое сравненіе ни одна повѣсть, взятая изъ престопадной жизни. Истина вымысла доведена въ ней до совершенства, такъ что когда прочтешь эту повѣсть, то всѣ писанныя въ одномъ съ ней родѣ покажутся холодными и искаженными копіями. Странно, почему Полевой не помѣстилъ въ своихъ «Мечты и Жизнь» своей прекрасной исторической повѣсти «Симеонъ Кирдяпа» и своихъ занимательныхъ «Святочныхъ Вечеровъ»?

Записка о походахъ 1812 и 1813 годовъ, отъ Тарутинскаго сраженія до Нумльснаго боя. Спб. 1834. Дѣтъ части. (Отрывокъ).

Къ числу самыхъ необыкновенныхъ и самыхъ интересныхъ явленій въ истинномъ мірѣ нашего времени принадлежатъ «Записки» или «Mémoires». Это суть истинныя лѣтописи нашихъ временъ, лѣтописи живыя, любопытныя, писанныя не добродушными монахами, но людьми, по большей части образованными и просвѣщенными, бывшими свидѣтелями, а иногда и участниками этихъ событій, которыя описываются ими со всей откровенностью, какаѣ только возможна въ наше время, со всѣми подробностями, которыхъ ищетъ и романистъ, и драматургъ, и историкъ, и правописатель, и филозофъ. И въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть любопытнѣе этихъ «Записокъ»? это исторія, это романъ, это драма, это все, что вамъ угодно. Что можетъ быть важнѣе ихъ? десять, двадцать человекъ пишутъ объ однихъ и тѣхъ же событіяхъ, и каждый изъ нихъ имѣетъ своего конька, свою ахиллесовскую пятку, свой взглядъ на вещи, свою манеру въ изложеніи, — словомъ, свои дурныя и хорошія стороны: слычайте, сравнивайте, повѣряйте, сводите на одну ставку — сколько матеріаловъ для результатовъ, результатовъ вѣрныхъ и драгоценныхъ, если только вы сумѣете хорошо сдѣлать ваше дѣло. «Записки» или «Mémoires» есть собственность французовъ, чадо ихъ народности. Ихъ успѣху и распространенію чрезвычайно много способствовали послѣдніе перевороты; въ самомъ дѣлѣ, монархія, республика, имперія, реставрація, — «сто дней», опять реставрація — тутъ можно объясняться откровенно и безъ обиняковъ, и есть о чемъ поговорить!

.....

Очиненія въ прозѣ и стихахъ Константина Батюшкова. Спб. 1834. Дѣй части.

Наша литература, чрезвычайно богатая громкими авторитетами и звонкими именами, бѣдна до крайности истинными талантами. Вся ея исторія шла такимъ образомъ: вмѣстѣ съ какимъ-нибудь свѣтиломъ, истиннымъ или ложнымъ, появлялось человѣкъ до десяти бездарныхъ людей, которые, обманывая сами въ своемъ художническомъ призваніи, обманывали неумышленно и добродушную, довѣрчивую публику, блистали по нѣсколько мгновеній, какъ воздушные метеоры, и тотчасъ погасали. Сколько пало самыхъ громкихъ авторитетовъ съ 1825 года по 1835! Теперь даже и боги этого десятилѣтія, одинъ за другимъ, лишаются своихъ алтарей и погибаютъ въ летѣ съ постепеннымъ распространеніемъ истинныхъ понятій объ изящномъ и знакомства съ иностранными литературами. Тредьяковскій, Поповскій, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ, Бобровъ, Капнистъ, Воейковъ, Катенинъ, Лобановъ, Висковатовъ, Крюковский, С. Н. Глинка, Бунина, братья Измайловы, В. Пушкинъ, Майковъ, кн. Шаликовъ — всѣ эти люди не только читались и приводили въ восхищеніе, но даже почитались поэтами; этого мало, нѣкоторые изъ нихъ слыли гениями первой величины, какъ-то: Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ и Богдановичъ; другіе были удостоены тогда почетнаго, но теперь потерявшаго смыслъ, титула образцовыхъ писателей. Теперь, увѣ! имена однихъ извѣстны только по преданіямъ о ихъ существованіи, другихъ потому только, что они еще живы, какъ люди, если не какъ поэты... Имя самого Карамзина уважается теперь какъ имя незабвеннаго дѣйствителя на поприщѣ образованія и двигателя общества, какъ писателя съ умомъ и рвеніемъ къ добру, но уже не какъ поэта-художника... Но хотя авторская слава такъ часто бываетъ непрочна, хотя удивленіе и хвала толпы бываютъ такъ часто ложны, однако слѣпая, она иногда, какъ будто невзначай, преклоняетъ свои колѣна и передъ истиннымъ достоинствомъ. Но она, повторяю, часто дѣлаетъ это по слѣпотѣ, невзначай, ибо возноситъ художника за то, за что порицаетъ его потомство, и, наоборотъ, порицаетъ его за то, за что возноситъ его потомство. Батюшковъ служить самымъ убѣдительнымъ доказательствомъ этой истины. Что этотъ человѣкъ былъ истинный поэтъ, что у него было большое дарованіе, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но за что возносили его похвалами современники, чему удивлялись они въ немъ, почему провозгласили его образцовымъ (въ то время то же, что нынѣ гениальнымъ) писателемъ?.. Отвѣчаю утвердительно: правильный и чистый языкъ, звучный и легкій стихъ, пластицизмъ формъ, какое-то жеманство и кокетство въ отдѣлкѣ, словомъ, какая-то классическая щеголеватость — вотъ что плѣняло современниковъ въ произведеніяхъ Батюшкова. Въ то время о чувствѣ не хлопотали, ибо почитали его въ искусствѣ лишинымъ и пустымъ дѣломъ, требовали искусства, а это слово имѣло тогда особенное значеніе и зна-

чило почти одно и то же съ вычурностью и неестественностью. Впрочемъ была и другая важная причина, почему современники особенно полюбили и отличили Батюшкова. Надобно замѣтить, что у насъ классицизмъ имѣлъ одно рѣзкое отличіе отъ французскаго классицизма; какъ французскіе классики старались щеголять звонкими и гладкими, хотя и надутыми, стихами и вычурно-обточенными фразами, такъ наши классики старались отличаться варварскимъ языкомъ, истинной амальгамою славянщины и искаженнаго русскаго языка, обрубали слова для мѣры, выламывали дубовыя фразы и называли это пѣтической вольностью, которой во всѣхъ эстетикахъ посвящалась особая глава. Батюшковъ первый изъ русскихъ поэтовъ былъ чуждъ этой пѣтической вольности — и современники его разсѣхались. Миѣ скажутъ, что Жуковскій еще прежде Батюшкова выступилъ на поприще литературы: такъ, но Жуковского тогда плохо разумѣли, ибо онъ былъ слишкомъ не по плечу тогдашнему обществу, слишкомъ идеаленъ, мечтателенъ и поэтому былъ заслоненъ Батюшковымъ. Итакъ, Батюшкова провозгласили образцовымъ поэтомъ и прозаикомъ и совѣтовали молодымъ людямъ, упражняющимся (въ часы досуговъ, отъ нечего дѣлать) словесностью, подражать ему. Мы съ своей стороны никому не посоветуемъ подражать Батюшкову, хотя и признаемъ въ немъ большое поэтическое дарованіе, а многіе изъ его стихотвореній, несмотря на ихъ щеголеватость, почитаемъ драгоценными перлами нашей литературы. Батюшковъ былъ вполне сынъ своего времени. Онъ предощущалъ какую-то новую потребность въ своемъ художественномъ направленіи, но, увлеченный классическимъ воспитаніемъ, которое основывалось на странномъ и безотчетномъ удивленіи къ греческой и латинской литературѣ, скованный слѣпымъ обожаніемъ французской словесности и французскихъ теорій, онъ не умѣлъ уяснить себѣ того, что предощущалъ какимъ-то темнымъ чувствомъ. Вотъ почему вмѣстѣ съ элегіей «Умирающій Тассъ» — этимъ произведеніемъ, которое отличается глубокимъ чувствомъ, не поглощеннымъ формой, энергическимъ талантомъ, и которому въ параллель можно поставить только «Андрея Шенье» Пушкина, онъ написалъ потомъ вялое прозаическое посланіе къ Тассу; вотъ почему онъ, творецъ: «Элегій на развалинахъ замка въ Швеціи», «Тѣнь друга», «Послѣдняя весна», «Омиръ и Гезіодъ», «Къ другу», «Къ Карамзину», «Н. М. М. А.», «Къ Н.», «Переходъ черезъ Рейнъ», — подражалъ пошлomu Парни, оставилъ намъ скучную сказку «Странствователь и Домосѣдъ», отрывочный переводъ изъ Тасса, ужасающій Херасковскими ямбами, и множество стихотвореній рѣшительно плохихъ, и наконецъ множество балласта, состоящаго изъ эпиграммъ, мадригаловъ и тому подобнаго; вотъ почему, признаваясь, что «древніе герои подъ перомъ Фонтенеля нерѣдко преобразуются въ придворныхъ Людовикова времени и напоминаютъ намъ учтивыхъ пастуховъ того же автора, которымъ недо-

стасть парика, манжетъ и красныхъ каблукѣвъ, чтобы шаркать въ королевской передней»,—онъ не видѣлъ того же самаго въ сочиненіяхъ Расина и Вольтера и восхищался Рюриками, Оскольдами, Олегами Муравьева, въ которомъ благороднаго сановника, добродѣтельнаго мужа, умнаго и образованнаго чловѣка смѣшивалъ съ поэтомъ и художникомъ *). Кромѣ поименованныхъ мною стихотвореній, нѣкоторыя замѣчательны по прелести стиха и формы, какъ напримѣръ «Воспоминаніе», «Выздоравливаніе», «Мои Пенаты», «Таврида», «Источникъ», «Плѣнный», «Отрывокъ изъ Элегій», «Мечта», «Къ П—ну», «Разлука», «Вакханка» и даже самыя подражанія Парни. Все остальное посредственно. Вообще отличительный характеръ стихотвореній Батюшкова составляетъ какая-то безпечность, легкость, свобода, стремленіе не къ благороднымъ, но къ благоуханнымъ наслажденіямъ жизни; въ этомъ случаѣ они гармонируютъ съ первыми произведеніями Пушкина, исключая, разумѣется, тѣ, которыя у этого послѣдняго проникнуты глубокимъ чувствомъ. Проза его любопытна, какъ выраженіе мнѣній и понятій одного изъ умѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей своего времени. Во всемъ прочемъ, кромѣ развѣ хорошаго языка и слога, она не заслуживаетъ никакого вниманія. Впрочемъ лучшія прозаическія статьи суть: «Нѣчто о морали, основанной на философіи и религіи», «О поэзіи и поэтѣ», «Прогулка въ Академію», а самыя худшія: «О легкой поэзіи», «О сочиненіяхъ Муравьева» и въ особенности повѣсть «Предслава и Добрыня».

Теперь объ изданіи. Наружность его не только опрятна и красива, но даже роскошна и великолѣпна. Нельзя не поблагодарить отъ души Смирдина за этотъ прекрасный подарокъ, сдѣланный имъ публикѣ, тѣмъ болѣе, что онъ уже не первый, и, надѣмся, не послѣдній. Цѣна, по красотѣ изданія, самая умѣренная: въ Петербургѣ 15, а съ пересылкой въ другіе города 17 рублей. Вотъ чѣмъ должны заслуживать общее уваженіе гг. книгопродавцы. Безкорыстныхъ подвиговъ мы можемъ желать отъ нихъ, но не требовать; цѣль дѣятельности купца есть барыши; въ этомъ нѣтъ ничего предосудительнаго, если только онъ приобѣтаетъ эти барыши честно и добросовѣстно, если онъ только не способствуетъ своими денежными средствами и своей изыщенной падкостью къ выгодамъ распространенію дурныхъ книгъ и развращенію общественнаго вкуса.

Жаль только, что это изданіе, вполне удовлетворяя требованіямъ вкуса въ наружныхъ достоинствахъ, не удовлетворяетъ ихъ во внутреннихъ. Еще при выходѣ сочиненій Державина Смирдину было замѣчено въ одномъ московскомъ журналѣ, что стихотворенія должны располагаться въ хронологическомъ порядкѣ, сообразно со временемъ ихъ

появленія въ свѣтъ. Такого рода изданія представляютъ любопытную картину постепеннаго развитія таланта художника и даютъ важные факты для эстетика и для историка литературы. Напрасно Смирдинъ не обратилъ на это вниманія.

Отрывокъ изъ рецензіи на «Досуги Инвалида». Часть 2-я. М. 1835.

Что время имѣетъ большое вліяніе на людей, это истина несомнѣнная; но не менѣе того несомнѣнно и то, что его вліяніе часто бываетъ совершенно противоположно, смотря по свойствамъ людей. «Какъ уменъ этотъ чловѣкъ,—говорятъ иногда люди,—да и не мудрено: онъ такъ долго жилъ на свѣтѣ, такъ много видѣлъ, слышалъ и чувствовалъ!»—«Какъ страненъ и идиотенъ этотъ чловѣкъ»,—тоже случалось мнѣ слышать, «и не мудрено: становится старъ!»...

Учебная книга всеобщей исторіи (для юношества). Сочиненіе профессора И. Кайданова. Древняя исторія. Отъ сотворенія міра и происхожденія первыхъ государствъ до переселенія народовъ и паденія Западной Римской Имперіи. Спб. 1834.

Въ предисловіи къ этой книгѣ сочинитель говоритъ: «Просвѣщенные читатели этой книги замѣтятъ, что, составляя древнюю исторію, я разсматривалъ многіе (почему же не всѣ?) предметы, входящіе въ составъ ея, совсѣмъ съ другой точки зрѣнія, нежели съ каковою я смотрѣлъ на нихъ лѣтъ за пятнадцать передъ этимъ, и вообще изложилъ древнюю исторію въ другомъ, противъ прежняго, видѣ». То же самое объявила и «Сѣверная Пчела» при извѣстіи о выходѣ этой книги, увѣдомляя своихъ читателей, что Кайдановъ представляетъ въ своемъ новомъ трудѣ результаты усилій, сдѣланныхъ наукой въ продолженіе послѣднихъ пятнадцати лѣтъ. Признаюсь, какъ выписанныя мной строки изъ предисловія почтеннаго автора, такъ и объявленіе «Сѣверной Пчелы» поразили умы многихъ читателей глубокимъ удивленіемъ. «Что за чудо такое совершилось въ наше время?» думали мы. Мы имѣли полное право не довѣрять «Пчелѣ», въ глазахъ которой всѣ предметы книжнаго петербургскаго міра представляются въ увеличительномъ видѣ; но удивленіе самого автора, котораго скромность всѣмъ извѣстна, сдѣлала насъ поневолѣ суетными. Но, прочтя опредѣленіе исторіи, какъ науки, и первую страницу введенія, мы тотчасъ увидѣли, что это чудо очень естественно и обыкновенно. Правда, въ этой книгѣ много перемѣтъ и улучшеній, словомъ, много новаго; но это новое ново только для одного автора, и не носитъ на себѣ никакихъ признаковъ успѣховъ науки. Изъ этого читатели не должны однако заключать, что Кайдановъ хотѣлъ умышленно придать своей книгѣ больше цѣны для лучшаго ея сбыта, какъ то дѣлаютъ многіе, которыхъ мы не называемъ. Нѣтъ, онъ также скромнъ и добросовѣстенъ, какъ былъ всегда; онъ можетъ быть многихъ читателей ввелъ въ заблужденіе, но

*) Муравьевъ, какъ писатель, замѣчательнъ по своему нравственному направленію, въ которомъ просвѣчивалась его прекрасная душа, и по хорошему языку и слогу, который, какъ то можно замѣтить даже изъ отрывковъ, приведенныхъ Батюшковымъ, едва ли уступаетъ Карамзинскому.

это потому, что самъ находится въ заблужденіи. Разбирать его книгу настоящимъ образомъ невозможно, ибо подробный разборъ вышелъ бы больше самой книги. Итакъ, ограничусь легкими замѣтками.

«Исторія есть описаніе великой долговременной жизни рода человѣческаго. Поэтому предметомъ ея суть дѣянія и судьбы людей». — Такъ опредѣляетъ въ 1835 году исторію Кайдановъ опредѣлявши ее въ 1817, 24 и 32 годахъ «повѣствованіемъ о достопамятныхъ явленіяхъ въ мірѣ». Повидимому это есть значительный шагъ впередъ для автора, но въ самомъ дѣлѣ это не иное что, какъ круговое движеніе мельничнаго колеса, которое безпрестанно вертится, а впередъ ни на шагъ. Что такое «описанія великой, долговременной жизни рода человѣческаго»? Наборъ словъ — съ грамматическимъ смысломъ. «Предметъ исторіи суть дѣянія и судьбы людей». Это есть предметъ біографіи; предметъ исторіи — не люди, а человѣчество. Пора бы удостоиврится Кайдакову, что исторія есть картина успѣховъ человѣчества на поприщѣ самосовершенствованія или, другими словами: «наука, показывающая, какимъ образомъ и вслѣдствіе какихъ причинъ жизнь человѣчества, развивавшаяся подъ формой политическихъ обществъ, явилась въ томъ видѣ, въ какомъ теперь находится». Это опредѣленіе не ново, да благо ужъ готово. Въ наше время можно имѣть на исторію взглядъ еще высшій; но имѣть на нее взглядъ низшій — значитъ совершенно не понимать ея.

Во введеніи въ «Исторію» у Кайданова цѣлый параграфъ, состоящій изъ шести страницъ, означенъ рубрикой: «польза знанія исторіи». Чего можно ожидать отъ человѣка, который добродушно разсуждаетъ о пользѣ знанія исторіи? И какъ разсуждаетъ! «Люди,—говоритъ онъ,—прежде насъ жили и передали намъ сокровища своего разума и опытности, которыя они приобрѣли долговременными трудами, иногда же бѣдствіями, страданіями и слезами,—а мы, пользуясь этими сокровищами, неужели не захотимъ и знать о тѣхъ, которые оставили ихъ намъ въ наслѣдство?» Не правда ли, что эти слова суть не иное что, какъ перефразировка словъ Карамзина, утверждавшаго, что мы потому должны знать о нашихъ предкахъ, что они терпѣли и страдали за насъ и своими бѣдствіями приуготовили наше блаженство? Есть люди, которые утверждаютъ, что и Карамзинъ не имѣлъ права судить такъ поверхностно, ибо въ его время жили Гердеръ и другіе знаменитые писатели, начавшіе своими сочиненіями новую эру исторіи; что же должно сказать о Кайдановѣ, который съ 1817 года по 1835 годъ повторяетъ такіа старая, истертыя вещи? «Исторія переноситъ насъ, какъ бы волшебной силой, въ протекшіе вѣки, повелѣваетъ падшимъ царствамъ возстать изъ праха своего, разверзаетъ гробы, вдыхаетъ жизнь въ прахъ умершихъ... Исторія, показывая прежнія событія, указываетъ и слѣдствія ихъ, ибо люди дѣлаются умнѣе, осторожнѣе тогда только, когда почувствуютъ слѣдствія собственныхъ ошибокъ своихъ» и пр. и пр. Первая изъ этихъ

мыслей есть наборъ фразъ, въ которыхъ много шуму и треску, но которыя ровно ни къ чему не ведутъ; вторая такъ стара, что совѣстно и опровергать ее. Нѣтъ, Кайдановъ, человѣчество дѣлается лучше не отъ знанія исторіи, не отъ опытности, почерпаемой изъ ея уроковъ, но отъ полного гармоническаго сознанія своего назначенія, цѣли своего существованія; а это сознаніе можетъ произойти отъ повсемѣстнаго, общаго просвѣщенія. Мы всякую науку, всякое знаніе можемъ приложить къ жизни; но истинная, настоящая и непосредственная цѣль знанія есть знаніе. Погодите, можетъ быть и изъ астрономіи нѣкогда сдѣлаютъ родъ бухгалтеріи и употребятъ ее на спекуляціи и торговлю; но это не будетъ главной пользой отъ астрономіи. Итакъ, ищите въ исторіи не уроковъ опытности, завѣщанной отъ предковъ потомкамъ, не удовольствія простаго любопытства; ищите въ ней дыханія жизни Божіей, проявляющейся или хотящей проявить себя въ человѣчествѣ!.. А всѣ эти вещи мы давно уже прочли и давно уже забыли ихъ, для чего же повторять намъ ихъ?..

Итакъ, въ чемъ же состоитъ усовершенствованіе «Исторіи» Кайданова? О! во многомъ, если хотите! Онъ уже начинаетъ не съ Ассиріи, а съ Индіи и Китая, говорить о кастахъ и объясняетъ ученіе браминовъ, хотя и не правильно, ибо въ индійскомъ пантеизмѣ видятъ одну вѣру въ переселеніе душъ — не больше; причисляетъ Семирамиду къ мифамъ! Вообще справедливость требуетъ замѣтить, что теперь у него меньше лишнихъ и пустыхъ подробностей о сомнительныхъ или не важныхъ событіяхъ и больше дѣла. Доказательствомъ этого можетъ служить одно уже то, что ассиріане, вавилоняне и египтяне занимаютъ у него теперь несравненно меньшее число страницъ, чѣмъ въ прежнихъ изданіяхъ. Потому онъ измѣнилъ совершенно планъ своей исторіи, ибо вмѣсто прежняго Гееренова этнографическаго изложенія принялъ изложеніе синхронистическое. По моему мнѣнію, послѣднее лучше, ибо въ древней исторіи есть свои точки отдохновенія или, лучше сказать, точки соединенія, въ которыхъ древніе народы сливались, хотя и насильственно, въ одно общее цѣлое. Таковыя точки суть Киръ, Александръ и пуническія войны. Этотъ способъ изложенія очень удобенъ для преподаванія, хотя можетъ быть изолированная жизнь древнихъ народовъ и противорѣчитъ ему. Синхронистическая картина жизни народовъ въ каждомъ принятомъ періодѣ скорѣ всего можетъ впечатлѣться въ памяти ученика.

Кайдановъ раздѣлилъ древнюю исторію на IV періода: первый, какъ само собою разумѣется, отъ сотворенія міра до Кира; второй отъ — Кира до Александра; третій отъ — Александра до превращенія Римской республики въ имперію; четвертый — отъ Августа до паденія Рима. Мнѣ кажется, что эпохой четвертаго періода надо полагать пуническія войны, а не имперію, ибо въ древней исторіи было три, такъ сказать, мгновенія, въ которыхъ человѣчество соединялось во едино посредствомъ меча. Оно явилось

огромной анархией при Кирѣ, потомъ при Александрѣ; пуническія войны положили основаніе третьей монархіи, ибо римляне со второй пунической войны оставили свою оборонительную систему войны и начали быстро обращать міръ въ Римъ, и съ тѣхъ поръ всѣ народы начали, какъ рѣки въ морѣ, исчезать въ римскомъ народѣ; съ тѣхъ поръ исторія Рима есть исторія міра.

Я уже показалъ, что взглядъ Кайданова на дѣла и событія нисколько не переѣмнился. Приведу еще нѣсколько доказательствъ. Хотя онъ уже не осуждаетъ Сарданапала за самоубійство — этотъ ужасный проступокъ, воспрещаемый всѣми Божескими и человѣческими законами, — но все еще начинаетъ исторію не съ появленія на свѣтѣ первыхъ политическихъ обществъ, все еще упускаетъ изъ виду, что человѣкъ внѣ общественной жизни отнюдь не составляетъ предмета исторіи, и что не для чего вводить въ исторію вещей, не принадлежащихъ исторіи. Онъ говоритъ, что народы, первоначально поселившіеся въ Грецію, были до того дики и нечеловѣчны, что «и тотъ имѣетъ право на благодарность ихъ, кто научилъ ихъ строить хижины, питаться жолудями (а прежде они, бѣдняжки, совсѣмъ не умѣли ѣсть? если же умѣли, то развѣ жолуди слишкомъ лакомое блюдо, что за нихъ Кайдановъ объявляетъ грековъ благодарностью первому гастроному, научившему ихъ питаться ими?), одѣваться въ звѣриныя кожи и употреблять въ свою пользу огонь». Но вслѣдъ за этимъ говоритъ, что въ «гражданскомъ отношеніи Греція раздѣлялась на множество мелкихъ частей, изъ которыхъ каждая состояла подъ властью особеннаго начальника». Какъ! Общество волковъ раздѣлялось на области и имѣло начальниковъ? Впрочемъ почему же и не такъ: вѣдь пчелы же имѣютъ начальниковъ въ своей маткѣ? Но и то сказать: пчелы все дивилизованнѣе волковъ. — «Эти начальники грековъ часто (однакожь не всегда) были предводителями бродягъ и разбойниковъ и сами подавали примѣръ грабежей». Разбойникомъ можно назвать только того, кто разбойничаетъ, зная, что это ремесло предосудительное; волковъ мужики убиваютъ за разбой въ стадахъ овечьихъ, но не представляютъ ихъ въ земскій судъ для допроса и суда. — «Объяденіе и опійство считали (начальники грековъ) геройствомъ и величіемъ». Да чѣмъ же они однако объѣдались? Неужели желудями? А опійство! Такъ стало быть они и вино попивали? «Жены и дочери ихъ умѣли только пасти стада, мыть бѣлье и готовить грубую пищу». Какъ! Такъ они щеголяли не въ однихъ звѣринныхъ кожахъ? Они носили бѣлье? Воля ваша, г. авторъ, а вы противорѣчите самому себѣ. «И готовить грубую пищу». — Изъ чего же? неужели все изъ желудей? Какъ бы то ни было, а поваренное искусство всегда признакъ цивилизаціи! — «Кекропсъ... изъ аттическихъ дикарей сдѣлалъ гражданъ». Творецъ небесный! Да возможно ли это дѣло? Кекропсъ — одинъ-одинехонекъ — сумѣлъ изъ нѣсколькихъ десятковъ, а можетъ быть и сотенъ тысячъ дикихъ звѣрей сдѣлать гражданъ!.. Экіе мо-

лоды были въ древности, не то что нынче! Исползать ихъ досужеству! Такимъ же чудеснымъ образомъ Нума Помпилій, у Кайданова, изъ римлянъ, бывшихъ настоящими *mauvais sujets*, сдѣлалъ людей *comme il faut*. — «Тщеславіе, свойственное языческимъ народамъ» — вести свое происхожденіе отъ боговъ» и пр. А я все думалъ, что причина этой охоты скрывается не въ тщеславіи, а въ склонности къ мифамъ, свойственной не языческимъ, а всѣмъ младенчествуящимъ народамъ... Но довольно, я никогда не кончилъ бы, если бы вздумалъ продолжать... На каждую страницу Кайданова можно написать другую. Заключаю однако: какъ ни плоха новая книга Кайданова, но если кому уже суждено учиться исторіи по книгамъ Кайданова, то я совѣтую ему учиться по этой, изданной въ 1834 году...

Замѣчу еще о слогѣ. Онъ дуренъ до крайности, и дуренъ не отъ неумѣнья писать, а отъ какого-то страннаго понятія о слогѣ. Кайдановъ любитъ мѣшать съ русскими словами славяно-церковный, любить сей, оный, поелику, которыхъ по справедливости не любитъ почтенный баронъ Брамбеусъ. Я конечно не такъ ожесточенъ противъ этихъ словъ, какъ вышеперечисленный мужъ, и даже почитаю необходимымъ ихъ употребленіе въ иныхъ случаяхъ. Для большой ясности въ слогѣ, особенно когда дѣло идетъ о предметахъ догматическихъ, ученыхъ; но я противъ ихъ употребленія безъ всякой нужды. Конечно въ наше время никто не скажетъ, подобно знаменитому Жоффруа: «Мессіада», поэма Клопштока! *Fi donc!* Клопштокъ! такое варварское имя! можетъ ли имѣть хоть каплю ума господинъ, который называется Клопштокомъ?» Но многіе могутъ сказать: «Можетъ ли написать хорошую книгу человѣкъ, который пишетъ: «сіе мое сочиненіе... сей книги... совсѣмъ съ другой точки зрѣнія, нежели съ каковой... источникомъ такихъ жалобъ есть незнаніе исторіи... посему предметомъ ея суть дѣянія и судьбы людей?»

Книга Кайданова особенно изобилуетъ полонизмами, образцы которыхъ читатели могутъ видѣть въ послѣднихъ двухъ фразакъ.

Отрывокъ изъ небольшой рецензіи на „Сочиненія М. Меркла“. Москва, 1835 г.

Читающая публика въ одномъ отношеніи похожа на beau monde. Этотъ beau monde, или большой свѣтъ, свято чтитъ уставы моды и приличія и никому не позволяетъ отступитъ отъ нихъ; но иногда онъ дѣлаетъ исключеніе въ пользу людей замѣчательныхъ въ какомъ бы то ни было отношеніи; онъ иногда прощаетъ ихъ неловкость, ихъ оригинальность, любитъся ими и называетъ ихъ гениальной странностью. Такъ точно и читающая публика: когда бываетъ мода на оды, она ласково принимаетъ всѣхъ одистовъ, отъ Державина до Капниста и Петрова; когда бываетъ мода на поэмы, она съ благосклонностью улыбается всѣмъ поэтистамъ, отъ Пушкина до автора «Киргизскаго Плѣнника» и иныхъ прочихъ, и т. д. Но горе тому, кто придетъ къ ней съ

поэмой въ рукахъ, когда бываетъ мода на романы, повѣсти и драмы! Только одинъ истинный талантъ или даже геній можетъ спасти сочинителя отъ свиста и шиканья. И такъ, публика, какъ и большой свѣтъ, прощаетъ анахронизмы только генію, таланту и вообще истинной заслугѣ.

Наталія. *Сочиненіе гостюжи ***. Изданіе Саломанди. Перевелъ съ французскаго А. Шубиковъ. Москва. 1835.*

Было время, когда думали, что конечная цѣль человѣческой жизни есть счастье. Твердили о суетности, непорочности и непостоянствѣ всего подлуннаго и взапуски спѣшили жить, пока жилось, и наслаждаться жизнью во что бы то ни стало. Разумѣлся, всякій по своему понималъ и толковалъ счастье жизни, но всѣ были согласны въ томъ, что оно состоитъ въ наслажденіи. Законы, совѣсть, нравственная свобода человѣческая, всѣ отношенія общественныя почитались не инымъ чѣмъ, какъ вещами, необходимыми для связи политическаго тѣла, но въ самихъ себѣ пустыми и ничтожными. Молились во храмахъ и кощунствовали въ бесѣдахъ; заключали брачные контракты, совершали брачные обряды и претавались всѣмъ неистовствамъ сладострастія; знали вслѣдствіемъ вѣковыхъ опытовъ, что люди — не звѣри, что ихъ должны соединять религія и законы, знали это хорошо — и приноровили религіозныя и гражданскія понятія къ своимъ понятіямъ о жизни и счастьи: высочайшимъ и лучшимъ идеаломъ общественнаго зданія почиталось то политическое общество, котораго условія и основанія клонились къ тому, чтобы люди не мѣшали людямъ веселиться. Это была религія XVIII вѣка. Одинъ изъ лучшихъ людей этого вѣка сказалъ:

Жизнь есть небесъ мгновенный даръ:
Устрой ее себѣ къ покою,
И съ чистою твоею душою
Благословляй судьбѣ ударъ.

Пей, тѣшь и веселись, сосѣдъ!
На свѣтѣ жить намъ время срочно.
Веселье то лишь непорочно,
Раскаивая за копѣйку пѣтъ!

Это было еще самая высочайшая нравственность; самые лучшіе люди того времени не могли возвыситься до ея высшаго идеала. Но вдругъ все измѣнилось: философовъ, пустившихъ въ оборотъ эти понятія, начали называть, говоря любимымъ словомъ барона Брамбеуса, надувателями человѣческаго рода. Явились новыя надуватели — нѣмецкіе философы, къ которымъ по справедливости вышереченный мужъ питаетъ ужасную антипатію, которыхъ нѣкогда такъ прекрасно отшлифовалъ Масальскій въ превосходной своей повѣсти: «Донъ Кихотъ XIX вѣка», — атомъ истинномъ *chef d'oeuvre* русской литературы — и которыхъ, наконецъ, недавно убилъ наповалъ «Библиотека для Чтенія». Эти новыя надуватели съ удивительной наглостью и шарлатанствомъ начали проповѣдывать самыя безнравствен-

ныя правила, вслѣдствіе которыхъ цѣль бытія человѣческаго состоитъ будто бы не въ счастьи, не въ наслажденіяхъ земными благами, а въ полномъ сознаніи своего человѣческаго достоинства, въ гармоническомъ проявленіи сокровищъ своего духа. Но этимъ не кончилась дерзость опасныхъ вольнодумцевъ: они стали еще утверждать, что будто только жизнь, исполненная безкорыстныхъ порывовъ къ добру, исполненная лишеній и страданій, можетъ называться жизнью человѣческой, а всякая другая будто бы есть большее или меньшее приближеніе къ жизни животной. Нѣкоторые поэты стали дѣйствовать какъ будто по согласію съ этими злонамѣренными философами и распространять разныя вредныя идеи, какъ-то: что человѣкъ непремѣнно долженъ выразить хоть какую-нибудь человѣческую сторону своего бытія, если не всѣ, т.-е. или дѣйствовать практически на пользу общества, если онъ стоитъ на важной ступени его, безъ всякаго побужденія къ личному вознагражденію; или отдать всего себя знанію для самаго знанія, а не для денегъ и чиновъ; или посвятить себя наслажденію искусствомъ въ качествѣ любителя не для свѣтскаго образованія, какъ прежде, а для того, что искусство (будто бы) есть одно изъ звеньевъ, соединяющихъ землю съ небомъ; или посвятить себя ему въ качествѣ дѣйствователя, если чувствуетъ на это призваніе свыше, а не призваніе кармана; или полюбить другую душу, чтобы каждая изъ земныхъ душъ имѣла право сказать:

Я все земное совершила!
Я на земѣ любила и жила!

или, наконецъ, просто имѣть какой-нибудь высшій человѣческій интересъ въ жизни, только не наслажденіе, не объяденіе земными благами. Потому на помощь этимъ философамъ пришли историки, которые стали и теоріями, и фактами доказывать, что будто не только каждый человѣкъ въ частности, но и весь родъ человѣческій стремится къ какому-то высшему проявленію и развитію человѣческаго совершенства; но зато ужъ и катаетъ же ихъ, озорниковъ, почтенный баронъ Брамбеусъ! Я съ своей стороны, право, не знаю, кто правъ: прежніе ли французскіе философы, или нынѣшніе нѣмецкіе; который лучше: XVIII или XIX вѣкъ? но знаю, что между тѣми и другими, между тѣмъ и другимъ большая разница во многихъ отношеніяхъ. Не говоря о другихъ, укажу на искусство. Прежніе романы всегда оканчивались бракомъ, богатствомъ и, слѣдовательно, возможнымъ человѣческимъ блаженствомъ; нынѣшніе почти всѣ такъ гадко оканчиваются, что на ночь страшно и дочитывать ихъ. Прежде только въ трагедіяхъ допускалась плачевная развязка, и то ехъ *officio*, изъ подражанія грекамъ; но зато былъ выдуманъ новый родъ — драма, герои которой хотя и претерпѣвали много гоненій за свою добродѣтель, но зато къ концу пьесы женились и дѣлались богаты; про нынѣшнія драмы я не говорю: срамъ да и только! Прежде въ комедіяхъ осмѣивались маленькіе людскіе недостатки, какъ-то: привычка нюхать

много табаку, употреблять часто въ разговорѣ любимыя поговорки, какъ напр.: милый мой! и тому подобныя; нынче въ комедіяхъ хлещутъ (да вѣдь какъ?... со всего плеча!) чиновниковъ, которые вмѣсто того, чтобы служить государю вѣрой и правдой, думаютъ только о чинахъ и взяткахъ, какъ Фамусовъ, — людей, которые, вмѣсто того чтобы любить, распутничаютъ, словомъ, вмѣсто того, чтобы быть людьми, бываютъ скотами, и проч.

Во Франціи пишутъ многія женщины; нѣкоторыя изъ нихъ пишутъ (дивное дѣло!) хорошо. Неизвѣстная сочинительница «Натали» не принадлежитъ къ числу хорошо пишущихъ, по новымъ понятіямъ. Геронния ея романа въ восторгъ отъ «Матильды» Коттенъ, и авторъ хлопочетъ о томъ, чтобы показать способъ застраховать жизнь женщины отъ несчастія на землѣ. Средствомъ къ этому, по ея мнѣнію, должна быть слѣпая покорность судьбѣ и пзбѣжаніе страстей и глубокихъ чувствъ. Ей нѣтъ до того дѣла, что можно быть несчастной, живя съ немилымъ мужемъ, что жизнь безъ страстей и чувствъ есть не жизнь, а оцѣпенѣлый сонъ альпійскаго сурка во время зимы; она не говоритъ женщинамъ, что бракъ безъ любви есть или торговая сдѣлка, противная совѣсти и религіи, или дѣтскій легкомысленный поступокъ, за который не мудрено впоследствии дорого поплатиться, что для пзбѣжанія разлуки съ мужемъ или измѣны ему не надо шутить замужествомъ прежде замужества: нѣтъ, она лѣзетъ вонъ изъ кожи, чтобы показать гибельныя слѣдствія пылкихъ страстей, на манеръ Жанлисъ, Коттенъ и прочей литературной сволочи добраго стараго времени. Несмотря на то, что въ этомъ романѣ есть мысль, есть нѣкоторая занимательность, происходящая не отъ таланта автора, а отъ его литературной цивилизованности, если можно такъ сказать, нельзя не удивиться неудачному выбору переводчика, и еще болѣе неудачному исполненію его труда. Видно, что онъ хорошо знаетъ французскій языкъ, но въ размовкѣ съ русскимъ синтаксисомъ.

Куда ужъ намъ, бѣднымъ, думать о томъ, чтобы наши собственныя произведенія какой-нибудь мыслью выкупали недостатокъ таланта, когда мы еще плохо знаемъ или совѣтъ не знаемъ русскою грамматикой, и не умѣемъ написать правильно ни одной русской фразы!..

Художникъ. Т. м. ф. а. Спб. 1834. Три части. (Отрывокъ.).

Въ этомъ сочиненіи есть мысль, и мысль прекрасная, поэтическая. Но исполненіе этой мысли весьма неудачно: авторъ хотѣлъ изобразить; жизнь художника въ борьбѣ съ людьми, обстоятельствами, судьбой и самимъ собой, и написалъ довольно большую книгу, которая наполнена общими мѣстами и до крайности утомляетъ читателей, не доставляя ему никакого удовольствія. Причина очевидна: онъ не составилъ себѣ ясной, отчетливой, глубокой и вѣрной идеи о художникѣ, — идеи, почерпнутой изъ фактовъ и по-

вѣренной собственнымъ чувствомъ; онъ смотритъ на художника съ той жалкой и устарѣлой точки зрѣнія, съ которой у насъ вообще смотрятъ на этотъ предметъ, больше по привычкѣ, больше по стародавнимъ преданіямъ, чѣмъ вслѣдствіе глубокаго наблюденія и несомнѣнныхъ фактовъ, извлеченныхъ изъ жизни извѣстныхъ художниковъ. Какъ, по общему повѣрью русскаго народа, всякій умница, дѣлецъ или мастеръ непременно долженъ быть горькимъ пьяницей, малымъ, какъ говорится, сорви-голова; такъ по общепринятому мнѣнію многихъ нашихъ авторовъ и литераторовъ, художникъ непременно долженъ быть чудакомъ, оригиналомъ, который со всѣми бранится, ни съ кѣмъ не можетъ ужиться, который безпрестанно вдохновенъ, восторженъ, никогда не знаетъ прозаическихъ минутъ, который въ глаза называетъ всѣхъ подлецами, негодяями, а самъ святъ, какъ праведникъ, и незлобивъ, какъ голубь; его кланяютъ, гоняютъ, терзаютъ, а онъ всѣхъ любитъ, какъ братьевъ, всѣхъ благословляетъ, и ненавидитъ одно злато и стяжаніе; потому дѣлается человѣкомъ ненавистникомъ, мизантропомъ и ищетъ уединенія. Нѣтъ, не таковъ художникъ! Все это черты индивидуальности человѣка, а отнюдь не общая характеристика художника! Художники, особенно въ наше время, и пьютъ, и ѣдятъ, и любятъ денежки, какъ и всѣ смертныя. Да и много ли изъ нихъ такихъ, которые особенно прославились своими страданіями? многіе ли изъ нихъ испытали участь Тасса? Начнемъ съ древнихъ: изъ греческихъ Гомеръ — мнѣ; прочіе жили счастливо, были любимы и уважаемы своими согражданами; хотя Демосенъ сюда собственно не относится, какъ не художникъ, но и тотъ погибъ не за свой удивительный даръ, а за политическія мнѣнія; изъ римлянъ Виргилій и Гораций жили очень хорошо, и послѣдній цѣлый вѣкъ, потягивая тибурское, восклицалъ:

Хвала, умѣренность златая!

Изъ новыхъ особенно не посчастливилось испанскимъ и португальскимъ поэтамъ, и то за то, что они захотѣли быть умнѣ глупыхъ своихъ соотечей; но вѣдь и то сказать: гдѣ же это и любить? Шекспиръ жилъ въ ладу съ людьми и умеръ владѣльцемъ порядочнаго помѣстья, а развѣ это не большое счастье? Французскіе поэты, съ Расина до Вольтера *) включительно, были очень счастливы, Жильбертъ и Андрей Шенье составляютъ исключеніе, да объ нихъ мало и знаютъ: притомъ же они хотѣли быть честными людьми и плохо знали философію XVIII вѣка! О вышнѣшнихъ французскихъ поэтахъ нечего и говорить: всѣ они богаты, слѣдственно, счастливы, хвалимы, слѣдственно, довольны, нѣкоторые изъ нихъ, какъ напримѣръ, знаменитый Викторъ Гюго, хорошіе граждане, хорошіе супруги, отцы и люди, несмотря на кровавый и безчынный

*) Кромѣ Руссо, который былъ слишкомъ благоденъ и высокъ, чтобы быть счастливымъ во времена Вольтеровъ, Мармонтелей, Лагарковъ, и др.

характеръ своей музы. Изъ англичанъ Байронъ... да, онъ былъ большой чудакъ, жертва самого себя, своей мысли, и это-то, кажется мнѣ, всего болѣе можетъ быть истиннымъ несчастьемъ художника. Вальтеръ Скоттъ былъ богатъ, знатенъ, славенъ, добръ, честенъ, любилъ людей и жилъ съ ними въ ладу. Изъ нѣмцевъ почти не было несчастныхъ поэтовъ; Гёте, одному изъ представителей нѣмецкой литературы, вездѣ было хорошо, можетъ быть потому, что онъ былъ выше всего; Шиллеру, другому представителю нѣмецкой литературы, тоже вездѣ было хорошо, потому что его счастье было не отъ міра сего.

Перечтите біографіи всѣхъ великихъ художниковъ, и вы увидите, что художникъ совсѣмъ не синонимъ слову сумасшедшій и мученикъ; многіе изъ нихъ рѣшительно гнусны, какъ люди, и только въ повстическія мгновенія бываютъ велики; и это очень понятно, ибо поприще поэта есть больше чувствованіе, чѣмъ дѣйствованіе.

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ забавахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ.
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ!

Вообще надо замѣтить, что художникъ у насъ еще загадка, неуловимая, какъ женщина, и его невозможно подвести подъ общія черты. Въ одномъ мѣстѣ онъ—царь и пророкъ, какъ Давидъ, въ другомъ—мученикъ, какъ Тассъ, въ третьемъ—богачъ, какъ Байронъ, въ четвертомъ—нищій, какъ Сервантесъ, тамъ министръ, какъ Державинъ, тутъ беззаботный весельчакъ-политикъ, какъ Беранже; здѣсь его гонять, ненавидятъ; тамъ ласкаютъ и любятъ, и пр., и пр.

Художникъ г на Т. м. ф. а. принадлежитъ къ числу тѣхъ нескладныхъ и нелѣпыхъ созданій, которые были бы въ тягость и себѣ, и людямъ, если бы были возможны. Къ счастью, это только мечта, самая неудачная и неестественная. Т. м. ф. а. не извелъ этотъ идеалъ изъ міра души своей, а слѣпилъ его по расчетамъ возможностей. Поэтомъ его герой не возбуждаетъ никакого участія, не имѣетъ никакого опредѣленнаго образа, и его тотчасъ забываешь, какъ скоро закроешь книгу

Жертва. Литературный эскизъ. Сочиненіе Мон-борнъ. Переводъ съ французскаго З... Москва. 1835.

Въ послѣднее время въ Европѣ или, лучше сказать, во Франціи (а это почти одно и то же) глухо началъ раздаваться какой-то ропотъ противъ священнѣйшаго гражданско-религіознаго установленія—брака; начали обнаруживаться какія-то сомнѣнія насчетъ его законности и даже необходимости; теперь этотъ ропотъ превратился въ какой-то неистовый вопль, а сомнѣнія начали предлагаться во всеуслышаніе, въ видѣ какой-то аксіомы. Теоретическихъ доказательствъ нѣтъ, да, благодаря нелѣпости этой

мысли, и не можетъ быть; итакъ, прибѣгли къ другому способу, къ практическому, и избрали орудіемъ искусство, которое во Франціи никогда не существовало само для себя, но всегда служило какимъ-нибудь внѣшнимъ, практическимъ цѣлямъ. И вотъ, начиная съ первыхъ корнессевъ французской литературы до нищенской литературной братіи, всѣ тайно или явно вооружились противъ брака, у всѣхъ, въ основаніи каждаго произведенія, начала пробиваться эта *aggiène pensée*. Но женщины-писательницы, главою которыхъ явилась знаменитая Жоржъ Зандъ, и которыхъ во Франціи такъ же много, какъ на Руси бездарныхъ стихотворцевъ и романистовъ, женщины-писательницы, говорю я... но постойте... позвольте мнѣ на минуту уклониться отъ матеріи... я страхъ какъ люблю отступленія: это мой конекъ...

Что такое женщина-писательница? Женщина имѣетъ ли право быть писательницей?

Вопросъ очень не новый: его предлагала и рѣшила еще покойница бабушка мадаля Жанлисъ, которая, какъ всѣмъ извѣстно, была изъ самыхъ зазорныхъ писательницъ. Брюзгливая старушка (я не умѣю представить ее иначе, какъ полъ формой старой брюзги) сказала и доказала (не помню, гдѣ именно), что авторство ни въ какомъ случаѣ не есть дѣло женщины. По истинѣ, безпримѣрное самоотверженіе!.. Впрочемъ можетъ быть въ этомъ случаѣ ей хотѣлось упрочить за собой литературную монополію, и потому мы въ правѣ ей не повѣрять и разсмотрѣть этотъ вопросъ по своему.

Въ мірѣ все имѣетъ свое назначеніе, все прекрасно въ предѣлахъ своего назначенія и дурно внѣ его; это вѣчный неизмѣняемый законъ Провидѣнія. Женщина-амазонка, какая-нибудь храбрая Браманта, въ поэмѣ можетъ быть не больше какъ смѣшна, но въ дѣйствительности она существо въ высочайшей степени отвратительное и чудовищное, мужчина съ женоподобнымъ характеромъ есть самый ядовитый пасквиль на человѣка.

Tout est bon, tout est bien, tout est grand à sa place!

Жизнь человѣческая есть не сонъ, не мечта, не греза; цѣль ея не наслажденіе, не счастье, не блаженство: нѣтъ, она есть великій даръ Провидѣнія. Безумный хватается за этотъ даръ какъ за игрушку и легкомысленно играетъ имъ какъ игрушкой; мудрый принимаетъ его съ покорностью, но и съ трепетомъ, ибо знаетъ, что это есть драгоценный залогъ, который онъ долженъ будетъ нѣкогда возвратить въ чистотѣ и цѣлости, что это есть тяжкій, страдальческій крестъ, наградой котораго будетъ терновый вѣнецъ и чувство исполненнаго долга. Выразить достоинство человѣческое, проявить въ себѣ идею Божества—вотъ назначеніе смертнаго, и вотъ почему, вслѣдствіе справедливаго закона вѣчной премудрости, сила заключается въ слабости, величіе—въ ничтожествѣ, безконечность—въ ограниченности, и вотъ почему скудельный, волнуемый своекорыстными страстями, сосудъ человѣка можетъ быть жилищемъ Духа Святого. Безъ борьбы нѣтъ

заслуги, безъ усилій нѣтъ побѣды. Два пути ведутъ человѣка къ его цѣли: путь разумнѣйшій и путь чувства, и благо ему, когда они оба сливаются въ пути дѣятельности! Безгранично поприще дѣятельности для мужчины: едва сознаетъ онъ свое бытіе, едва почувствуетъ свои силы, и ему, юному жителю міра, весь міръ отверзаетъ свои сокровища и, покорный могуществу его мысли, предлагаетъ всѣ орудія, какія нужны ему для совершенія его подвига. Если онъ чувствуетъ въ груди своей тревогу генія, если во внутреннемъ слухѣ души раздается какой-то таинственный зовъ, манящій его, подобно колокольчику Бадиша, въ туманную, неизвѣданную даль, — онъ перомъ, кистью, рѣзцомъ, звуками вызываетъ изъ души своей новыя міры, полныя жизни и очарованія, или углубляется въ природу, допытывается ея тайнъ и сообщаетъ ихъ людямъ въ живомъ знаніи, или властвуетъ ими, для ихъ же блага, мечемъ, волей, дѣломъ и словомъ. Если же природа и не дала ему генія, то и тогда обширно его поприще, велико его назначеніе: ему остается честнымъ, безкорыстнымъ трудомъ, благороднымъ презрѣніемъ личныхъ выгодъ, готовностью самопожертвованія въ дѣлѣ правды водворять добро въ томъ маломъ и тѣсномъ кругу, который назначило Провидѣніе для его дѣятельности, по мѣрѣ его душевныхъ силъ. Кто не можетъ быть маркизомъ Позой, тотъ можетъ быть Феликсомъ Феномъ: ибо сила въ безсиліи, величіе въ ничтожности, безконечность въ ограниченности, ибо овому талантъ, овому два, а дѣло въ томъ, чтобы не закопать въ землю своего таланта, но возратить его Вертоградарю съ ростомъ. Тотъ подлѣ, кто беретъ на себя трудъ выше силъ своихъ или, обольщаясь ложнымъ блескомъ, идетъ наперекоръ врожденнымъ склонностямъ и дарованію; величайшая мудрость состоитъ въ смиренной покорности своему назначенію. Кто противится ему, тотъ бунтовщикъ противъ вѣчныхъ и справедливыхъ законовъ Провидѣнія. Если тебѣ едва подъ силу должность секретаря въ какомъ-нибудь судѣ уѣзднаго города, не лѣзь въ губернаторы, хотя бы ты и имѣлъ возможность добиться этого мѣста, но предоставь его достойнѣйшему себя; если природа осудила тебя на смиренную прозу дѣловыхъ бумагъ и приходорасходныхъ книгъ, то занимайся же честно и добросовѣстно этой бѣдной прозой, а не надѣвай на себя, подобно самозванцу, вѣнка поэта, хотя бы ты и могъ сдѣлаться предметомъ удивленія не только для своего муравейника, но и всего современнаго человечества, и коварно выманить у него незаслуженныя лавры: тогда ты будешь великъ, истинно великъ, будучи малымъ и неизвѣстнымъ. Найдешь и безъ того средства быть полезнымъ и совершить свой подвигъ, было бы стремленіе, а міръ и жизнь безконечны!

Итакъ, цѣлый міръ есть открытое поприще дѣятельности мужчины; цѣлый міръ есть его владѣніе; какое же поприще, какой же міръ отданъ во владѣніе женщинѣ?

Какъ бы ни тѣснѣе, какъ бы ни ограниченъ былъ кругъ дѣятельности, избранной женщиной, но вся-

кая сознательная дѣятельность есть путь къ совершенію подвига жизни, а подвигъ жизни равно для всѣхъ тяжелъ и ужасенъ. Но правосудное и любящее Провидѣніе Божіе, возложивъ на человѣка бремя его жизни и подвига, разочло и взвѣсило силы его человѣческой природы и въ этомъ намѣреніи дало ему новый, внѣ его самого находящійся, источникъ силы, въ той таинственной симпатіи, въ той высокой душевной гармоніи, въ томъ чистомъ, эфирномъ пламени любви, которое соединяетъ его съ женщиной. Женщина — ангелъ-хранитель мужчины на всѣхъ ступеняхъ его жизни: ея бдящій, попечительный взоръ встрѣчаетъ онъ при самомъ своемъ явленіи на свѣтъ и, прильнувъ къ источнику любви и жизни, къ ней обращаетъ онъ съ безсознательной любовью свою первую улыбку; ея имя произноситъ онъ въ своемъ первомъ, младенческомъ лепетѣ; ея любовь напутствуетъ его до самаго того мгновенія, когда жизнь исторгаетъ его изъ ея нѣжныхъ материнскихъ объятій; потому ея взоръ возбуждаетъ въ немъ, необузданномъ юношѣ, пламень благородныхъ страстей, порывы къ высокому въ дѣлахъ и помыслахъ, крѣпитъ его душу, кипящую избыткомъ силъ, и укрощаетъ дикіе порывы его буйной воли, и его, юнаго, мощнаго льва, безсознательно стремитъ, съ удвоенной энергіей, къ его цѣли, маня сладостной наградой своей взаимности — этимъ послѣднимъ, возможнымъ на землѣ, блаженствомъ, послѣ котораго человѣку ничего не остается желать для себя. И какая нужда, если смерть или обстоятельства жизни не дадутъ ему выпить до дна фіалъ блаженства, или если, вмѣсто чаръ взаимности, онъ вкуситъ муки отверженной любви!.. Но если мужчинѣ суждено и блаженство взаимности, и блаженство соединенія, то она же, все она, въ лѣтахъ его мужества, путеводная лучезарная звѣзда его жизни, опора, источникъ силы, который не даетъ душѣ его остынуть, очерствѣть и ослабнуть. Въ старости она — блѣдный лучъ солнца, напоминающій ему, что для него было нѣкогда другое, яркое и пламенное солнце, роскошно освѣщавшее дорогу его жизни и давшее вкусить ему всѣ человѣческія радости!

Итакъ, поприще женщины — возбуждать въ мужчинѣ энергію души, пылъ благородныхъ страстей, поддерживать чувство долга и стремленіе къ высокому и великому — вотъ ея назначеніе, и оно велико и священо! Для нея — представительницы на землѣ красоты и граціи, жрицы любви и самоотверженія — въ тысячу разъ похвальнѣе внушать «Освобожденный Іерусалимъ», нежели самой написать его, такъ же какъ въ тысячу разъ похвальнѣе вручить своему избранному пить съ завітомъ «съ нимъ или на немъ!», нежели самой броситься въ пылъ битвы съ оружіемъ въ рукахъ. Утѣшительница въ бѣдствіяхъ и горестяхъ жизни, радость и гордость мужчины, она — гибкая лоза, зеленый плющъ, обвивающій гордый дубъ, благоуханная роза, растущая подъ кровомъ его могучихъ вѣтвей и украшающая его уединенную и суровую жизнь, обреченную на дѣятельность и борьбу. Предметъ благоговѣйной

страсти, нѣжная мать, преданная супруга—вотъ святой и великій подвигъ ея жизни, вотъ святое и великое ея назначеніе! Природа дала мужчине мощную силу и дерзкую отвагу, мятежныя страсти и гордый, пылливый умъ, дикую волю и стремленіе къ созданію и разрушенію; женщину дала она красоту вмѣсто силы, избыткомъ нѣжнаго и тонкаго чувства замѣнила избытокъ ума, и опредѣлила ей быть весталкой огня кроткихъ и возвышенныхъ страстей: и какая дивная гармонія въ этой противоположности, какой звучный, громкій и полный аккордъ составляютъ эти два совершенно различные инструмента! Воспитаніе женщины должно гармонизовать съ ея назначеніемъ, и только прекрасныя стороны бытія должны быть открыты ея вѣдѣнію, а обо всемъ прочемъ она должна оставаться въ миломъ, простодушномъ незнаніи: въ этомъ смыслѣ ея односторонность—въ ней достоинство; мужчине открыть весь міръ, всѣ стороны бытія.

Что же такое женщина-писательница? Женщина имѣетъ ли право и можетъ ли быть писательницей?

Прекрасныя изображенія Сафо и Коринны, прекрасны, какъ поэтическія грезы, какъ созданія фантазіи; но что такое онѣ въ самомъ дѣлѣ? Амазонки, Браманты, «академики въ чепцахъ», «семинаристы въ желтыхъ шаляхъ»? Уму женщины извѣстны только немногія стороны бытія или, лучше сказать, ея чувству доступенъ только міръ преданной любви и покорнаго страданія; всезнаніе въ ней ужасно, отвратительно, а для поэта долженъ быть открытъ весь безпредѣльный міръ мысли и чувства, страстей и дѣлъ. Знаемъ много женщинъ-поэтовъ, но ни одной женщины-генія; ихъ созданія недолговѣчны, ибо женщина только тогда поэтъ, когда любить, а не тогда, когда творить. Природа удѣляетъ имъ иногда искру таланта, но никогда не даетъ генія: Коринна побѣждала Пиндара на играхъ олимпійскихъ, но Пиндаръ побѣдилъ Коринну въ потомствѣ, ибо потомство рукоплещетъ созданію, а не творцу, и его не подкупилъ роскошью стана, прелестью лица! И вотъ почему, когда читаешь произведеніе женщины, дышащее живымъ, неподдѣльнымъ чувствомъ, блестящее искорками таланта, то невольно жалѣешь, думая, чѣмъ бы могла быть такая женщина, и на что бы могла обратить прекрасный даръ природы—пламень своего чувства.

Женщина должна любить искусства, но любить ихъ для наслажденія, а не для того, чтобы самой быть художникомъ. Нѣтъ, никогда женщина-авторъ не можетъ ни любить, ни быть женой и матерью, ибо самолюбіе не въ ладу съ любовью, а только одинъ геній или высокій талантъ можетъ быть чуждъ мелочнаго самолюбія, и только въ одномъ художникъ-мужчине эгоизмъ самолюбія можетъ имѣть даже свою поэзію, тогда какъ въ женщинѣ онъ отвратителенъ... Словомъ, женщина-писательница съ талантомъ жалка, женщина-писательница бездарная—смѣшна и отвратительна.

И должно ли, и можетъ ли это оскорблять женщину? Все прекрасно и высоко въ предѣлахъ своего назначенія, и все должно гордиться и радоваться

своимъ назначеніемъ, ибо оно есть воля Провидѣнія. Кто въ юности не почиталъ себя поэтомъ, кто избытка чувствъ не принималъ за пламень вдохновенія, кто не писалъ стиховъ? Эта слабость протительна мужчине; но и онъ смѣшонъ и презрителенъ, если на зло разсудку и вопреки природѣ грѣхъ своей юности сдѣлаетъ грѣхомъ своей жизни, ибо въ такомъ случаѣ онъ есть самозванецъ, бунтовщикъ противъ вѣчныхъ уставовъ Провидѣнія. Что жъ должно сказать о женщинѣ?..

Но мое отступленіе уже чересчуръ длинно и вѣроятно также и скучно, а все оттого, что я не люблю женщинъ-писательницъ! Богъ съ ними! Обрацаюсь къ прерванной нити моего разсужденія. Я остановился, помнится, на томъ, что во Франціи женщины-писательницы съ особеннымъ ожесточеніемъ возстали на бракъ. Нужно ли говорить, чего хочется этимъ женщинамъ, чего добиваются онѣ? Если бы еще онѣ увлекались ложными, но поэтическими идеями о добренькомъ старичкѣ платонизмѣ, или не менѣе ложными и не менѣе поэтическими идеями объ отреченіи отъ всѣхъ человѣческихъ чувствъ и принесеніи ихъ въ жертву какой-нибудь задушевной мысли—такъ и быть! Но нѣтъ, оченъ понятенъ этотъ сенсимонизмъ, эта жажда эмансипаціи: ихъ источникъ скрывается въ желаніи имѣть возможность удовлетворять порочнымъ страстямъ. Une femme émancipée—это слово можно бы очень вѣрно перевести однимъ русскимъ словомъ, да жалъ, что его употребленіе позволено въ однихъ словаряхъ, да и то не во всѣхъ, а только въ самыхъ обширныхъ. Прибавлю только то, что женщина-писательница въ нѣкоторомъ смыслѣ есть la femme émancipée.

Но какая причина тому, что писатели стали такъ возставать противъ брака? Причина очевидна: они не умѣютъ отличить идеи брака отъ злоупотребленій брака. Люди всеопрощенны, они торгуютъ своими чувствами, совѣстью, они изъ брака, одного изъ священныхъ установленій, сдѣлали родъ торговой дѣлки, и, надо сказать правду, ничто такъ не пострадало отъ злоупотребленій развращенной человѣческой воли, какъ бракъ. Но довольно: нѣтъ ничего смѣшнѣе и глупѣе, какъ съ важностью доказывать, что дважды два—четыре. Но, скажутъ многіе, какъ же должны быть всѣ эти люди, которые отвергаютъ святость и необходимость брака? не истинныя ли они чудовища?—О нѣтъ, милостивые государи, я совсѣмъ не такъ думаю о нихъ. По моему мнѣнію, многіе изъ нихъ можетъ быть очень добрые и почтенные люди, даже способны сдѣлаться хорошими супругами и отцами: отличайте преувеличеніе отъ злонравности. Яростная волна подмываетъ песчаный берегъ и съ безсильемъ разбивается о гранитную скалу: для сомнѣнія также есть свои песчаные берега, свои гранитныя скалы. Не бойтесь за бракъ, не страшитесь эмансипаціи женщинъ: все это вздоры довольно милые и забавные, но ни мало не опасныя.—Но какая же польза отъ этихъ новыхъ мнѣній, этихъ безнравственныхъ филиппикъ противъ вѣковой, очевидной истины? О,

очень большая! Знаете ли что? У людей преслабая память; они находят истину и слѣдуютъ ей; потому эта истина, по ихъ похвальному обычаю, мало-по-малу искажается и наконецъ дѣлается совершенной ложью; люди привыкаютъ къ ея искаженному, обезображенному виду, отъ души вѣря, что она всегда была такова; когда какой-нибудь безпкойный чудакъ посмѣется надъ ихъ истинной, они разсердятся, начнутъ ее защищать, подвергнуть ее строгому анализу и дойдутъ до ея начала и вспомнить ее въ ея первобытной чистотѣ. Споры кончатся, и истина возстановится во всемъ своемъ блескѣ. Итакъ, заключаю: «Провидѣніе ведетъ человѣчество къ его цѣли путями длинными и таинственными; часто то самое, что повидимому должно бы отдалить его отъ этой цѣли, приближаетъ его къ ней: это понятныя движенія впередъ».

Да, можетъ быть уже не далеко то время, когда люди не только перестанутъ вооружаться противъ брака, но перестанутъ и торговать имъ; когда женщины не только перестанутъ авторствовать, но даже перестанутъ и вѣрить тому, чтобы когда-нибудь существовали женщины-писательницы!..

А что же мой романъ, что моя «Жертва»? Гдѣ она, я уже забылъ о ней, увлекшись мыслями, которыя она во мнѣ возбудила. Или, лучше сказать, что скажу я вамъ о ней? Какъ выскажу я вамъ въ сотый разъ давнишнюю, старую новость? Но дѣлать нечего, не радъ, а готовъ — охота пуще неволи. Итакъ, извольте видѣть: «Жертва, литературный эскизъ» есть одна изъ тысячи и одной филиппикъ противъ брака. Дѣло въ томъ, что злодѣй-опекунъ выюбляется въ свою племянницу и волочится за ней, а сиротка была дѣвушка *comme il faut*, да къ тому ужъ и любила другого. Дядюшка остался съ носомъ и взбѣсился. Чтобы отомстить ей, онъ выдаетъ ее насильно за негодяя, который ничему не вѣритъ, проматываетъ ся имѣніе и дѣлаетъ ее несчастной. Да зачѣмъ же она выходила за него? спросите вы. Развѣ во Франціи нѣтъ законовъ противъ насилія? О, есть, и очень справедливые, даже очень снисходительные въ отношеніи къ свободѣ выбирать и перемѣнять мужей и женъ. Такъ въ чемъ же дѣло? А вотъ въ чемъ: дѣвушка была слабого характера, не посмѣла противиться ненавистному дядѣ, хотя и знала, что имѣетъ право не слушаться его, да автору надо было какъ-нибудь прицѣпиться къ браку, хоть онъ тутъ не виноватъ ни душой, ни тѣломъ. Въ самомъ дѣлѣ, прекрасная логика! Дѣвушка погибаетъ отъ слабости характера, а бракъ виноватъ! Но довольно, романъ такъ плохъ, такъ дуренъ, что не стоитъ ни критики, ни внимательнаго разсмотрѣнія. Мадамъ Монборнъ не имѣетъ ни искры дарованія, и вѣроятно во Франціи пользуется такимъ же авторитетомъ, какъ у насъ, на Руси, гдѣ А, В, С, D и другіе прочіе. Не знаю, съ чего вздумалось какому-то г-ну или какой-то г-жѣ Z... перевести этотъ романъ на русскій языкъ, какъ будто бы на Руси и безъ него мало дурныхъ романовъ; еще менѣе понимаю, съ чего этому таинственному г-ну или этой таинственной г-жѣ Z... вздумалось пере-

вести его самымъ безграмотнымъ образомъ, однимъ словомъ, самымъ московскимъ переводомъ. Вѣрно это заказецъ какого-нибудь московскаго Лавока?.. Г-нъ или г-жа Z!.. если уже вамъ нельзя не переводить, то, Бога ради, переводите романы только въ родѣ этой «Жертвы» и не дѣлайте хорошихъ сочиненій жертвами вашей безграмотности!

Сынъ жены моей. Романъ. Соч. Поль-де-Кока. Спб. 1835. Двѣ части.

«Это сочиненіе хорошо, но только безнравственно, а это и хорошо, и отличается чистѣйшей нравственностью и прекраснымъ слогомъ». Такъ думалъ и говаривалъ, бывало, покойникъ XVIII вѣка, который, какъ всѣмъ извѣстно и вѣдомо, самъ отличался чистѣйшей нравственностью и въ дѣлахъ, и въ помыслахъ. «Какъ безнравственна юная французская литература! нельзя ничего дать прочесть молодому человѣку, не говоря уже о дѣвушкѣ и даже всякой женщинѣ!» Такъ вопіютъ нынѣ почтенныя развалины почтеннаго XVIII вѣка, обломки добраго стараго времени. «Нравственность въ литературѣ!» Да, это вопросъ, и вопросъ глубокий, многосложный, на который французъ можетъ написать два томика въ двѣнадцатую долю, а нѣмецъ — двѣнадцать томовъ *in quarto*. Не почитая себя способнымъ ни къ тому, ни къ другому труду, я постараюсь въ легкой журнальной статейкѣ бросить взглядъ на «нравственность въ литературѣ».

На языкъ человѣческомъ есть слова, которыя люди повторяютъ, не вникая въ ихъ значеніе, не условливаясь въ ихъ смыслъ, повторяютъ и сердятся, когда кто-нибудь осмѣлится сказать: «да что же это такое, милостивые государи?» Къ числу такихъ странныхъ словъ принадлежатъ «нравственность вообще» и «нравственность въ литературѣ». Древніе передали намъ въ изящныхъ формахъ кровавую исторію Эдипа и фамиліи Атридовъ, — исторію, полную мрачныхъ злодѣйствъ, возмутительныхъ преступленій, какъ-то: отцеубійства, братоубійства, мужеубійства, кровосмѣшанія, и блюстители нравственности находили тутъ бездну нравственности; потомъ писатели, появившіеся въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка, начали изображать жизнь во всей ея ужасающей наготѣ и истинѣ, и хотя они въ ужасномъ далеко не превзошли древнихъ, но блюстители нравственности оглушающимъ хоромъ заревѣли противъ безнравственности новѣйшихъ писателей. Воля ваша, а тутъ есть недоразумѣніе. Кажется, все дѣло въ томъ, что дурно условились въ значеніи слова «безнравственность».

Что такое нравственность? Въ чемъ должна состоять нравственность? — Въ твердомъ, глубокомъ убѣжденіи, въ пламенной, непоколебимой вѣрѣ въ достоинство человѣка, въ его высокое назначеніе. Это убѣжденіе, эта вѣра есть источникъ всѣхъ человѣческихъ добродѣтелей, всѣхъ дѣяствій. Если я твердо убѣжденъ въ томъ, что міръ — обширная торговая площадь, гдѣ люди обманомъ, и мытьемъ, и катаньемъ, выторговываютъ другъ у друга теп-

ленькое мѣстечко, гдѣ бы можно было и поѣсть сладко, и соснуть мягко, и погулять весело,—площадь, на которой всякій думаетъ только о своихъ барышахъ и почитаетъ позволительными всѣ средства къ достиженію своей цѣли, и между тѣмъ повторять общія мѣста морали, не вѣря имъ,—то скажите, Бога ради, зачѣмъ же я долженъ быть добрымъ, честнымъ, великодушнымъ, зачѣмъ осужу я себя на лишенія, на страданія, когда могу наслаждаться благами жизни! Я былъ бы въ такомъ случаѣ очень глупъ, не правда ли?—Развѣ изъ страха угрызений совѣсти? Но зачѣмъ же мнѣ и злодѣйствовать, зачѣмъ губить ближняго? я буду только обманывать его, заставляя его служить мнѣ, предоставляя и ему какія-нибудь выгоды, но только помня твердо, что своя рубашка къ тѣлу ближе, и видя зло, угнетенія, неправосудіе, не вѣшиваясь не въ свои дѣла, если меня не трогаютъ. Такъ и думалъ XVIII вѣкъ. Всѣ писали и говорили о нравственности, и ни въ комъ не было нравственности, ибо никто не вѣрилъ достоинству человѣка, великости его назначенія.

Но если я вѣрю, что я долженъ дать отчетъ въ моей жизни, долженъ употребить ее на святой подвигъ, какъ завѣщалъ это намъ Распятый за насъ,—я могу и въ такомъ случаѣ заниматься мелочами жизни, быть пустымъ, даже злымъ человѣкомъ, но уже прости, счастье жизни, оно невозможно для меня, прости, счастливое самоудовольство, я уже не могу обмануть себя. Такъ думаетъ XIX вѣкъ, ибо онъ если еще не вполне увѣрился, то уже начинаетъ вѣрить въ достоинство человѣка, въ великость его назначенія.

Весьма не трудно приложить это понятіе о нравственности вообще къ «нравственности въ литературѣ». Какое мнѣ дѣло, что въ романѣ или драмѣ добродѣтельный погибаетъ, а порочный торжествуетъ? Если добродѣтельный боится пасть за правду, если онъ ропщетъ на Провидѣніе за то, что оно попускаетъ торжествовать надъ нимъ пороку, онъ уже не добродѣтеленъ: онъ поденщикъ, просящій платы за труды, онъ любитъ добро не для добра, а изъ желанія награды. Нѣтъ, если онъ добродѣтеленъ истинно, то благодари Провидѣніе за бѣдствіе, лобызай карающую руку. Если во мнѣ есть чувство добра, меня не испугаетъ зрѣлище ужасовъ и страданій, вопль проклятій и богохуленій, представляемыхъ мнѣ Евгениемъ Сю, Балъзакомъ, Лакруа и другими, ибо царство добраго не отъ міра сего.

Вотъ другое дѣло литература XVIII вѣка, она не такъ глубока и ужасна; она, напротивъ, очень весела и снисходительна къ слабостямъ человѣческимъ, но зато и убійственна для чувства нравственности, соблазнительна и развратна. Эти сцены сладострастія, набросанныя игривой кистью съ чувствомъ самоудовольствія, эти невинные экивоки, отъ которыхъ закипаетъ молодая кровь юноши и волнуется грудь дѣвушки, — вотъ она, вотъ ядовитая отравка нравовъ! Это хорошо извѣстно многимъ, которые, еще бывши дѣтьми, читали философическія повѣсти Вольтера, «Contes en vers» Лафонтена,

«Кавалера Фобласа» и другія chefs-d'oeuvres XVIII вѣка.

Передо мной лежитъ романъ Поль-де-Кока «Сынъ моей жены», перелистывая его съ разстановкой и трепещу при мысли, что это подлое и гадкое произведеніе можетъ быть прочтено мальчикомъ, дѣвочкой и дѣвушкой; трепещу при мысли, что Поль-де-Кокъ почти весь переведенъ на русскій языкъ и читается съ услажденіемъ всей Россіей!... Боже великій! и есть люди, которые печатно хвалятъ его и находятъ самымъ нравственнымъ изъ современныхъ французскихъ писателей, его, грязнаго осадка отъ мутной воды XVIII вѣка, его, угодника площадной черни!.. А мы слушаемъ и вѣримъ!.. Слава намъ!.

Что такое Поль-де-Кокъ? кто онъ и откуда? О, это писатель удивительный! Хотите ли имѣть понятіе о созданіи и характерѣ его безчисленныхъ твореній? У него по большей части герой романа—дитя природы, который ничему не учился, не знаетъ даже грамоты, и потому свѣжъ, крѣпокъ и смѣлъ, ѣстъ за троихъ и пьетъ за десятерыхъ. Надобно еще замѣтить, что онъ всегда незаконнорожденный: Поль-де-Кокъ—сенсимонистъ! Юность молодца проходитъ въ буянствѣ, волокитствѣ за деревенскими дѣвками, потомъ онъ вступаетъ въ военную службу или пускается въ путешествіе, дѣлая вездѣ извѣстнаго рода проказы и тысячи пошлыхъ глупостей; потомъ влюбляется, по незнанію, въ родную сестру... дѣлается кровосмѣсителемъ... Это самая ужасная катастрофа, которой разрѣшаются всѣ гордіевскіе узлы романовъ Поль-де-Кока, ибо всѣ его герои очень пламенны и нетерпеливы, а онъ самъ имѣетъ свои собственныя понятія о блаженствѣ любви... Наконецъ, дѣло какъ-нибудь улаживается, выходитъ, что обезчещенная не сестра молодцу, и что онъ почиталъ ее сестрой по ошибкѣ; и романъ оканчивается счастьемъ, т.-е. свадьбой и богатствомъ, и слѣдовательно «нравственно». Для полноты картины выведенъ какой-нибудь гусаръ, пьяница, бунякъ и волокита на старости лѣтъ; на сценѣ безпрестанно мужья, обманываемые женами, трактиры, кабаки и т. д. Вотъ вамъ Поль-де-Кокъ!

Въ разсматриваемомъ мной романѣ Поль-де-Кокъ превзошелъ самого себя въ пошлости и безнравственности; это самое худшее изъ его произведеній. Переводъ я сначала почелъ московскимъ, и очень удивился, когда, выписывая его заглавіе со всѣми библиографическими подробностями, увидѣлъ: «С.-Петербургъ»; переводъ есть истинная какографія логики, грамматики и здраваго смысла. Не выписываю фразъ, ибо не могу рѣшиться выборомъ.

Записки г-жи Дюкре о императрицѣ Іозефинѣ и ея современникахъ, и о дворахъ Наварскомъ и Мальмезонскомъ. Переводъ съ французскаго. Спб. 1835 г. Четыре части.

Несмотря на то, что «Записки г-жи Дюкре о Іозефинѣ» получили во Франціи справедливый успѣхъ и заслужили о себѣ отзывы многихъ французскихъ

литераторовъ, какъ говорить переводчикъ, и чрезвычайно понравились Бурьенну, знаменитому мемуаристу—эта книга мнѣ очень не понравилась, и я думаю, что она не стоила перевода. Дюкре не имѣетъ ни дара наблюдательности, ни умѣнья схватывать рѣзкія черты характеровъ и дѣлъ, ни таланта рассказывать. Ея повѣствованіе вертится на пустякахъ и мелочахъ; содержаніе его составляютъ пустые анекдоты и дворскія сцены. Ея взглядъ на вещи самый картофельный, самый пансіонскій: она удивляется всѣмъ и всему, начиная съ Жанлисъ до брилліантовъ императрицы Жозефины; у ней всё хороши, и она всѣхъ оправдываетъ. Ея понятія—понятія XVIII вѣка; она добродушно признается, что, «подобно всѣмъ молодымъ дѣвушкамъ, имѣла преувеличенныя и ложныя понятія о необходимости быть влюбленною въ своего мужа», и пренаивно раскаивается, что не вышла замужъ за богатаго и умнаго, но нетерпимаго ея человѣка, который за нее сватался. Но это, скажутъ, дѣла домашнія, которыя не имѣютъ никакого отношенія къ авторству. — Напротивъ, очень большое, ибо отъ образа взгляда много зависитъ достоинство сочиненія. Одинъ хохолъ-мужикъ сказалъ, что если бы его сдѣлали царемъ, то онъ укралъ бы сто рублей, да и убѣжалъ; мужикъ сказалъ глупо потому, что имѣлъ глупыя понятія о вещахъ. Спросите калмыка, кто истинно великій человѣкъ?—Кто имѣетъ счастье быть калмыкомъ и знаетъ великую тайну Арчилана-Хубильгана (переселеніе душъ), отвѣтитъ онъ вамъ. Вслѣдствіе этого отвѣта Наполеонъ и Шекспиръ будутъ исключены изъ числа великихъ людей, и глупъ ли, уменъ ли этотъ отвѣтъ, но онъ есть результатъ того взгляда на вещи, который имѣетъ калмыкъ.

Можетъ быть многія подробности, находящіяся въ книгѣ Дюкре, имѣютъ свою относительную важность въ глазахъ французовъ; но русскимъ читателямъ отъ этого не легче: книга для нихъ такъ же скучна и утомительна. Они увидятъ изъ нея, что Жозефина, или по переводу Юзефина, оказывала многія благодѣянія, любила Наполеона, своихъ дѣтей, позволяла управлять собой лѣстцамъ и наушникамъ, и въ этомъ отношеніи обнаруживала удивительную слабость воли и характера; словомъ, увидятъ въ Жозефинѣ женщину, какихъ много; но не увидятъ той необыкновенной Жозефины, странная судьба которой такъ тѣсно была соединена съ судьбой дива нашего времени: эта послѣдняя Жозефина ускользнула отъ близорукой наблюдательности Дюкре.

Рейнскіе Пилигримы. Соч. Бульвера. Переводъ съ французскаго. 1835. Четыре части.

Европейскіе журналы, преимущественно англійскіе, сколько мы могли замѣтить изъ «Revue Britannique», часто удивляются самыми странными, если не нелѣпыми, сужденіями о литературныхъ предметахъ,—сужденіями, которыя даже и у насъ смѣльны; часто они хлопочутъ о такихъ вопросахъ, которые даже и у насъ не вопросы. Не ходя далеко, укажемъ

на статью о новой драмѣ Виктора Гюго, помѣщенную въ одномъ изъ ММ «Артиста», французскаго журнала, и переведенную въ «Наблюдателѣ». Но англійскіе журналы особенно свидѣтельствуютъ о незавидномъ состояніи критики въ Англіи. Недавно мы прочли въ «Revue Britannique» статью объ Эдуардѣ Литтонѣ Бульверѣ,—новой англійской и слѣдовательно европейской знаменитости, о которой такъ много говорятъ и у насъ. Эта статья переведена въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», повторена въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», и поэтому должна быть извѣстна русской публикѣ. Изъ нея видно то, что духъ англичанъ принимаетъ новое направленіе, представителемъ котораго есть Бульверъ. Въ чемъ же состоитъ это новое направленіе духа англійской націи? Въ стремленіи къ жизни мечтательной, идеальной, совершенно противоположной ихъ положительной, разсчитливой, рациональной жизни. Правда ли это? Возможное ли это дѣло? Не знаю; но крайней мѣрѣ такъ говоритъ авторъ статьи объ Эдуардѣ Литтонѣ Бульверѣ; прибавляю еще, что онъ видитъ въ этомъ новомъ направленіи много худого и предсказываетъ близкую и ужасную реформу въ Англіи, обвиняя Бульвера въ томъ, что онъ своими романами способствуетъ этому вредному направленію и своимъ огромнымъ авторитетомъ ускоряетъ его развязку. Какъ бы то ни было, это вопросъ чисто англійскій, обстоятельство семейное и для насъ совершенно постороннее; а вотъ въ чемъ дѣло: судя по великому вліянію, которое авторъ статьи о Бульверѣ приписываетъ этому писателю, судя по огромному авторитету, которымъ пользуется въ Англіи этотъ ея любимецъ и баловень, не имѣете ли вы права заключить, что Бульверъ есть писатель геніальный, что цвѣты его поэзіи роскошны, благоуханны, какъ плодородная природа Индіи, что его картины чудесны и разнообразны, какъ безпредѣльный міръ Божій, что онъ представляетъ природу и жизнь преобразованными, въ новомъ, волшебномъ, фантастическомъ свѣтѣ—не правда ли? — Но—увы!—ничего этого нѣтъ: Бульверъ—поэтъ, какихъ много; поэтъ второклассный, если не третеклассный: его романы какъ романы—середка на половинѣ; хотя въ нихъ и блестятъ искры истиннаго, неподдѣльнаго таланта. И въ самомъ дѣлѣ, не странно ли думать, чтобы британецъ, гордый, разсчитливый, пресыщенный жизнью, усталый отъ ея впечатлѣній, соскучившійся ея прозой, сталъ искать отдохновенія и освѣженія для своей души не въ Шекспирѣ, не въ Байронѣ, не въ Вальтерѣ Скоттѣ, не въ Куперѣ или Томасѣ Мурѣ, а въ Бульверѣ? Развѣ поэзія этихъ поэтовъ положительна, суха, утомительна, неспособна потрясти самую холодную душу, распалить самое вялое воображеніе? Развѣ геній этихъ поэтовъ не великъ, развѣ онъ ниже генія Бульвера? Странно! Что жъ такое этотъ Бульверъ, что онъ за чародѣй такой, что мановеніемъ своего волшебнаго жезла заставляетъ англичанъ забывать свои конторы и биржу, свои проспекты всемірной торговли и бросаться въ фантастическій міръ нѣмцевъ? Въ чемъ находятъ онъ свои могущественныя средства, гдѣ

береть свои орудія? Ужъ не въ родствѣ ли онъ съ феями и гномами, ужъ не подарилъ ли ему Оберонъ своего лилейнаго скиперта? Мы это сейчасъ увидимъ, бросивши взглядъ на «Рейнскихъ Пилигримовъ».

«Рейнскіе Пилигримы» — единственный романъ Бульвера, прочитанный мной; но, судя по его характеру и по упомянутой статьѣ въ «Revue Britannique», они могутъ дать полное понятіе о Бульверѣ. Вотъ въ чемъ состоятъ ихъ содержаніе: Тревелианъ, молодой человекъ, съ душой сильной и характеромъ возвышеннымъ, любитъ Гертруду Ванъ, — дѣвушку, которая имѣетъ все, что дѣлаетъ женщину на землѣ представительницей неба — красоту и способность къ нѣжной пламенной любви, безграничному самоутверженію, преданности и высокой покорности судьбѣ; отецъ этой дѣвушки, лицо, тоже имѣющее свою фizioномію, есть третій персонажъ романа Бульвера. Прелестная, очаровательная Гертруда страдаетъ неизлѣчимой болѣзью — чахоткой и по совѣту докторовъ пускается въ путешествіе по берегамъ Рейна въ сопровожденіи своего отца и любовника. Тревелианъ, имѣя пылкое воображеніе, зная наизусть почти всѣ преданія, всѣ древне-нѣмецкія хроники, и притомъ обладая способностью пріятнаго рассказчика, рассказываетъ Гертрудѣ отрывки изъ этихъ преданій и хроникъ, чтобы отклонить ея вниманіе отъ собственнаго ея положенія. Все это очень естественно, все вѣрно, прекрасно и занимательно. Эта Гертруда, прекрасный, благоуханный цвѣтокъ, рожденный для того, чтобы заставить другое существо полюбить жизнь, — эта Гертруда, стоящая на краю могилы и живѣе ощущающая прелесть жизни, и сильнѣе желающая жить, и до послѣдней минуты обманывающая себя лестной надеждой насчетъ жестокой истины своего положенія; потому что тотъ Тревелианъ, сосредоточившій въ самомъ себѣ всѣ силы души своей и кажущійся спокойнымъ и холоднымъ, тогда какъ въ его сердцѣ горитъ пламя любви и чувства, — тотъ гордый, крѣпкій дубъ, опершійся на розу и долженствующій пасть, когда она увянетъ; наконецъ, этотъ старикъ Ванъ, извѣдавшій жизнь, утомившійся ея обманами, опершійся на самого себя и въ своемъ безстрастіи еще глубоко любящій дочь свою, — всѣ эти лица, повторяю, имѣютъ собственную фizioномію и живо занимаютъ вниманіе читателя своей судьбой, своимъ положеніемъ, своей личностью. Но не здѣсь Бульверъ, онъ въ эпизодахъ, онъ въ разсказахъ Тревелиана; въ нихъ силится онъ оживить старину съ ея волшебными воспоминаніями, съ ея романтической жизнью, такъ противоположной расчетливой жизни.

Эти эпизоды прекрасны, когда дѣло идетъ объ изображеніи чувствъ и положеній человѣческихъ, общихъ всѣмъ вѣкамъ, всѣмъ народамъ и понятнымъ во всѣхъ вѣкахъ и для всѣхъ народовъ. Таковъ эпизодъ: «Молодая дѣвушка изъ города Мелина», въ которомъ прекрасно изображена женщина, существо любящее и преданное; таковъ эпизодъ: «Братія», въ которомъ воскресаетъ поэтическая жизнь среднихъ вѣковъ, съ ея рыцарствомъ, ея любовью, ея вѣрностью, страданіемъ и религіозностью; но и не

здѣсь еще Бульверъ; онъ въ разсказахъ фантастическихъ, которые тоже прекрасны; ихъ два: «Душа въ Чистилищѣ» и «Падшая Звѣзда». Но особенно Бульверъ, такой Бульверъ, какимъ представляетъ его авторъ статьи въ «Revue Britannique». Бульверъ мечтатель, Бульверъ, недовольный современной жизнью, виденъ въ повѣствованіи о феяхъ и генияхъ, которые, Богъ знаетъ по какимъ правамъ и ради какихъ причинъ, вмѣшиваются у него въ людскія дѣла, и здѣсь-то Бульверъ смѣшонъ, жалокъ и нелѣпъ до крайности. Эти феи, эти гении, ихъ разсказы о любви кошекъ и собакъ — суть не что иное, какъ натяжки, самыя скучныя и утомительныя, рѣзныя украшенія русскихъ крестьянскихъ избъ на домѣ итальянской архитектуры, ломанье паца въ антрактахъ хорошей драмы. Если въ этомъ состоитъ мечтательность и идеальность Бульвера, то едва ли ему удастся испровергнуть существующій порядокъ дѣла въ Англіи, и изъ англичанъ, народа дѣятельнаго, торговаго, положительнаго, сдѣлать мечтательныхъ, созерцающихъ, сумасбродныхъ нѣмцевъ по идеалу Тика. Бульверъ часто или, лучше сказать, безпрестанно жалуется на прозу нашей жизни, и очень замѣтно, что ему хочется быть мечтательнымъ, хочется создать какую-то идеальную жизнь; это видно изъ самыхъ его эпиграфовъ; онъ старается заставить своихъ читателей вѣрить въ бытіе существъ особеннаго рода, наполняющихъ глубину лѣсовъ, ущелья горъ, дно морей и рѣкъ, воздушныя пространства; словомъ, онъ силится возратить міръ къ его первобытному состоянію, когда юное человечество населяло природу небывалыми существами и отъ души вѣрило ихъ дѣйствительности. Намѣреніе нелѣпое! Развѣ нѣтъ поэзіи въ нашей жизни, развѣ сама истина и дѣйствительность не есть высочайшая поэзія? Развѣ естественное и вѣрное изображеніе любви Тревелиана и Гертруды не лучше въ тысячу разъ глупыхъ разсказовъ о небывалыхъ феяхъ и генияхъ, разсказовъ карикатурныхъ, блѣдныхъ и холодныхъ? Развѣ пошлая аллегорія о добродѣтеляхъ есть поэзія?

Словомъ, Бульверъ, писатель не гениальный, но съ талантомъ, хорошъ только тамъ, гдѣ естественъ, гдѣ пишетъ въ духѣ времени, гдѣ противорѣчитъ своимъ нелѣпымъ мыслямъ о жизни, и несносенъ, гдѣ силится, вопреки своему таланту, быть идеальнымъ. Ему надо чувствовать, а не мыслить, надо безсознательно слѣдовать внушенію своего таланта, а не корчить изъ себя трубадура съ вѣнкомъ на остриженной головѣ и букетомъ розъ на модномъ фракѣ: тогда онъ будетъ лучше. Равнымъ образомъ ему не надо судить ни объ англійской, ни о нѣмецкой литературѣ, ни о вкусѣ, ибо его сужденія объ этихъ предметахъ похожи на его разсказы о феяхъ и о добродѣтеляхъ.

Оестра Анна. *Сочиненіе Поль-де-Кока. Перевелъ съ французскаго А. Пр... съ. Спб. 1834. Четыре части.*

Этакое мнѣ счастье на романы Поль-де-Кока! Недавно раздѣлался съ однимъ, и ужъ долженъ возиться съ другимъ, но это въ послѣдній разъ.

«Сестра Анна», как и всѣ произведенія Поль-де-Кока, этого корифея кабаковъ и лакейскихъ, должна доставить полное удовольствіе любителямъ неблагопристойныхъ сочиненій, въ родѣ «Кавалера Фобласа», романовъ Пито-ле-Брена, Крамера, «Contes» Лафонтена, «Нувелей» Боккачіо и множество извѣстнаго рода книжекъ въ двѣнадцатую, шестнадцатую и восемнадцатую долю съ гравюрами, которыя въ большомъ изобиліи издавались въ XVIII вѣкѣ и которыя охотники всегда читаютъ тайкомъ и держатъ подъ рукой. Молодой мальчикъ, у котораго не развилось еще чувство, но уже развилась чувственность, и который имѣетъ особый вкусъ къ анакреонтической поэзии, — найдетъ тутъ для себя прекрасные уроки и богатый запасъ опытности на извѣстные случаи; человѣкъ возмужалый, съ эмпирическимъ взглядомъ на вещи, предпочитающій положительное и существенное идеальному и мечтательному — найдетъ тутъ для себя тѣмъ воспоминаніи, а можетъ быть и почувствуетъ охоту снова приняться за опытные знанія; старецъ, привилегированный гражданъ Цитеры и Павоса, поклонникъ Киприды, ученикъ Парни и Богдановича въ наукѣ жизни, съ желаніемъ, еще не угасшимъ, но и съ сознаніемъ своего безсилія, — подогрѣетъ этимъ чтеніемъ свою охладѣвшую кровь и обрѣтетъ хотя мгновенныя силы на новые подвиги. Словомъ, Поль-де-Кока есть истинный оракулъ для людей обоихъ половъ, всѣхъ возрастовъ и всѣхъ состояній. Это собранный кодексъ нравственности XVIII вѣка.

И однакожъ ни одному писателю такъ не посчастливилось на Руси, какъ Поль-де-Коку: знакъ добрый!.. И чему жъ дивиться, если нѣкоторые критики, не шутя, увѣраютъ, что Поль-де-Кока есть *par excellence* нравственный писатель... Гоголь былъ ими пожалованъ въ Поль-де-Коки!.. — ими, которые сами истинные Поль-де-Коки!.. И всѣ романы Поль-де-Кока, какъ на зло, переведены по большей части очень хорошо! Правда, что не родись уметь, не родись пригожъ, родись счастливъ.

Начертаніе русской исторіи для училищъ. Сочиненіе профессора Погодина. Москва. 1835.

Наша литература особенно бѣдна учебными книгами: истина не новая, даже очень старая, но мы все — таки повторимъ ее, хотя нѣкоторые и почитаютъ это напиханнымъ и несправедливымъ въ настоящее время, когда, по ихъ мнѣнію, множество вновь появившихся книгъ въ этомъ родѣ доказываютъ противное. Не хотимъ спорить объ этомъ: у всякаго свой взглядъ на вещи, а на наши глаза множество ничего не доказываетъ. Итакъ, наша литература очень бѣдна учебными книгами, и преимущественно по части исторіи. Причина этого заключается сколько въ трудности составленія хорошей учебной книги, столько и въ ложномъ понятіи, какое вообще имѣютъ у насъ касательно этого предмета. Здѣсь невольно подвергнутся мѣхъ подъ перо слова Шевырева: «Ахъ, эти бѣдныя дѣти! Что не годится для взрослыхъ, что боятся критики — то

все ссылается на подачу дѣтямъ. Ихъ невинность какъ будто бы должна оправдывать всѣ недостатки сочиненія». Замѣтите, что Шевыревъ говоритъ это по поводу книги, изданной Жавеномъ, не примѣняя къ нашей литературѣ. Что же у насъ?.. О, сердце обливаема кровью при мысли о безтолковомъ учебникѣ и варварѣ-педагогѣ, общими силами убивающихъ юные таланты и изъ дѣтей съ человѣческимъ организмомъ дѣлающихъ идиотовъ... Да и чего хорошаго можно ожидать отъ нашихъ учебныхъ книгъ, когда истинные ученые презираютъ заниматься ихъ составленіемъ, и когда ихъ дѣлаютъ шарлатаны и невѣжды?.. Много ли у насъ учебныхъ книгъ, скрѣпленныхъ именемъ профессора или извѣстнаго ученаго? а за эти книги не должны брать даже и ученые по ремеслу: самый разительный примѣръ этого есть «Учебная Книга Русской Словесности» Греча, — этотъ сборникъ устарѣлыхъ правилъ и дурныхъ примѣровъ, скорѣе способныхъ убить чувство вкуса и склонность къ изящному, чѣмъ развить ихъ. Такихъ примѣровъ много...

Погодинъ предпринялъ вознаграждать недостатокъ учебныхъ книгъ по части отечественной исторіи. Нельзя выразить того восхищенія, съ какимъ мы узнали объ этомъ намѣреніи, того нетерпѣнія, съ какимъ мы ожидали появленія этой книги, за прекрасное исполненіе которой ручалось имя Погодина. Но при всемъ нашемъ уваженіи къ Погодину, какъ къ человѣку и писателю, мы поставяемъ себѣ непремѣннымъ долгомъ сказать во всеуслышаніе, что никогда не испытывали мы такого жестокаго разочарованія, никогда не обманывались такъ ужасно въ своихъ надеждахъ и ожиданіяхъ... Мы едва вѣрили глазамъ своимъ. Эта книга рѣшительно недостойна своего автора, отъ котораго публика всегда была въ правѣ ожидать чего-нибудь дѣльнаго и даже прекраснаго. Одно ея раздѣленіе на періоды, неосновательность котораго уже доказана Скроненкомъ, ясно показываетъ, что она составлена слишкомъ на скорую руку. Представьте себѣ: событія до Петра Великаго занимаютъ 249 страницъ — сколько же, вы думаете, занимаютъ событія отъ вступленія на престолъ Петра Великаго до смерти Александра Благословеннаго? — Страницъ по крайней мѣрѣ пятьсотъ, если не тысячу? — Нѣтъ, всего-на-все 64 страницы!.. Мы слишкомъ далеки отъ того, чтобы думать, что Погодинъ не былъ въ состояніи написать не только порядочной, но и хорошей учебной книги; мы скорѣе готовы подумать, что онъ не хотѣлъ этого сдѣлать, и что причина совершенной неудовлетворительности его сочиненія заключается въ крайней невинности и поспѣшности, съ какою оно составлялось. Это доказываетъ все: и отсутствіе хронологіи, безъ которой учебная книжка есть фантомъ или образъ безъ лица, и параграфы въ нѣсколько страницъ безъ перерыва, и самый языкъ, неправильный и необработанный, общія мѣста и неопредѣленность въ выраженіяхъ *), это доказываетъ на-

*) Напримѣръ, что значать эти фразы: «Кромѣ Волкова прославился вскорѣ Дмитревскій?» Какъ и чѣмъ прославился? Не такъ ли точно, какъ просла-

примѣръ и слѣдующее мѣсто: «Датскій принцъ Іоаннъ, братъ Христіана, былъ вызванъ въ Россію въ женихи Ксеніи, послѣ раздора съ Густавомъ, воевать съ турками и изгнать ихъ изъ Европы, не оставляя Бориса».

Много, очень много можно бы было сказать о недостаткахъ Исторіи Погодина; но для этого слишкомъ тѣсны предѣлы простой библіографической статейки.

Библіотека романовъ и историческихъ записокъ, издаваемая книгопродавцемъ Ф. Ротманомъ, на 1835 годъ. Спб.

У насъ часто слышатся жалобы на равнодушіе публики ко всему отечественному, и преимущественно на ея холодность къ русской литературѣ. Кто правъ, кто виноватъ: публика или тѣ, которые на нее жалуются? Можетъ быть ни то, ни другое. Но вотъ вопросъ: кто виноватъ — публика или литература? Это вопросъ важный, обширный; его изслѣдованіе привело бы къ самымъ любопытнымъ и поучительнымъ результатамъ. У меня давно вертится въ головѣ дѣлая статья на этотъ предметъ, и я очень жалѣю, что недостатокъ свободнаго времени не дастъ мнѣ возможности приняться за это дѣло. А статейка вышла бы прекуръзная! Но дѣлать нечего, и вмѣсто того, чтобы угощать общими словами, скажу здѣсь мимоходомъ словца два объ этомъ вопросѣ, на который меня особенно наводитъ «Библіотека Романовъ» Ротмана. Съ одной стороны возьмемъ въ соображеніе, много ли у насъ пишется и много ли годится для чтенія изъ того, что пишется; съ другой стороны подумаемъ о томъ: если наша публика равнодушна къ отечественной литературѣ, то кто же дастъ нашимъ литераторамъ возможность превращать свои журнальныя статьи въ медвѣжьи шубы, казанскія сани и воронья лошади, а свои романы — въ дома и деревни? Кто же дастъ нашимъ книгопродавцамъ возможность издавать журналы, Энциклопедическіе Словари, Живописныя Обзорія и Библіотеки Романовъ? Не эта ли русская публика, столь равнодушная и невнимательная къ отечественной литературѣ?.. Нѣтъ, воля ваша, а русская публика не только не равнодушна, но даже слишкомъ пристрастна къ своей литературѣ, и если бы ея простодушная довѣрчивость не была иногда слишкомъ нагло обманываема, то думаю, что она была бы еще пристрастнѣе къ литературѣ. Но что же дѣлать, если литература такъ жестоко издѣвается надъ ней? Точно также нельзя обвинять

герои Подновинскаго? Ибо что тогда были за цѣнители театра? «Дмитріевъ, Озеровъ, Ватюшковъ, Мерзляковъ прославились своими сочиненіями». Но вѣдь своими же сочиненіями прославились и Сумароковъ, и Херасковъ, и даже Тредьяковскій, и ими же прославились Шекспиръ, Байронъ, Шиллеръ. Признаемся откровенно, такіа фраза хороша только у Кайданова. Къ чему эти безпрестанныя мѣстоименія «мы»? Развѣ официальный слогъ, какимъ пишутся реляціи, приличенъ учебной исторической книгѣ? Mais ces rouquins ne finiront jamais...

няють публику и въ холодности къ русскому театру. Но, Боже мой, кто же, какъ не эта публика, наполняла театръ, когда на немъ играла чета Каратыгиныхъ? Сколько давки при покупкѣ билетовъ, какая тѣснота въ театрѣ!.. Но что прикажете ей дѣлать въ театрѣ на обыкновенныхъ спектакляхъ? Слушать охриплый ревъ Мельпомены или плоскія шутки Талии и зѣвать?.. Нѣтъ, воля ваша, а я хочу заступиться за публику, хочу оправдать ее...

Теперь у насъ почти вся литературная дѣятельность производится по подпискѣ, и публика усердно помогаетъ господамъ авторамъ. Дай Богъ! Но вотъ что худо: большая часть нашихъ затѣйщиковъ худо помнитъ это безцѣнное правило великаго нашего баснописца:

Услуга намъ при нуждѣ дорога,
Да за нее не всякъ умѣетъ взяться!

Въ наше время, когда романъ и повѣсть сдѣлались въ умственной пищѣ такой же необходимой и всеобщей потребностью, какую необходимую и всеобщую потребность составляетъ чай въ физической пищѣ, когда исторія, тоже сдѣлавшаяся страстью вѣка, не только подала руку роману, но даже и сама превратилась въ романъ и начала появляться въ видѣ историческихъ записокъ или мемуаровъ, — въ наше время, говорю я, какимъ бы драгоценнымъ подаркомъ для публики была многотомная книга, состоящая изъ мемуаровъ, романовъ и повѣстей! И Ротманъ даритъ публику такой книгой. Необходимымъ достоинствомъ такой книги долженъ быть строгій выборъ сочиненій, входящихъ въ ея составъ, тѣмъ болѣе строгій, что есть изъ чего выбирать. И что же выбралъ Ротманъ, какимъ произведеніемъ дебютировала его «Библіотека»? «Взеной», романомъ миссъ Эджвортъ!.. Что такое миссъ Эджвортъ? Горничная Жанлисъ и Коттенъ, которая, наслушавшись ихъ мудрости, приглядѣвшись къ ихъ манерѣ, вздумала проповѣдывать въ XIX вѣкѣ ту мораль и рассказывать тѣ поучительные и скучные взоры, надъ которыми смѣялись и въ XVIII вѣкѣ. Что такое «Елена»? Длинное и скучное, убійственно скучное поученіе о томъ, что дѣвушка должна вести себя въ свѣтѣ съ крайней осторожностью и благоразуміемъ, а лучше всего никогда не лгать и всегда говорить правду, и что за эти добродѣтели эта дѣвица должна непременно получить награду, т.е. выйти замужъ за богатаго человѣка. По долгу рецензента, я было старался въ нѣсколько приѣмовъ прочесть убійственный романъ; но мое терпѣніе лопнуло на половинѣ третьей части. Пять частей, т.е. 1301 страница или 54 печатныхъ листа!.. Мнѣ пуще всего жалъ бумага, хотя эта бумага и походитъ на оберточную!.. А добровольные мученики? Ну, да Богъ съ ними: коль купили, такъ пусть читаютъ; вѣдь имъ надо же что-нибудь читать! За скучной и длинной «Взеной» слѣдуетъ тощій и забавный «Дебюро», родъ біографіи одного знаменитаго паяца, набросанной игривымъ перомъ балагура Жанена. Но и этой повѣсти не слѣдовало бы помѣщать въ «Библіотекѣ»

Романовъ»; она не имѣетъ у насъ большого значенія, ибо это есть насмѣшка надъ современнымъ французскимъ театромъ, да и къ тому же кромѣ нея есть много такого, что слѣдовало бы перевести. За «Дебюро» слѣдуютъ «Альбигойцы», романъ Матюрена. Матюрень — странный писатель! Это — смѣсь Вальтера Скотта съ Левисомъ и отчасти съ Радклиффъ. Его фантастическое воображеніе самую дѣйствительную жизнь превращаетъ въ родъ какой-то мистеріи, разыгрываемой совокупно людьми и чертами и дирижируемой судьбой. Несмотря на множество натяжекъ, подставокъ, множество ребяческихъ странностей, его романы имѣютъ непреодолимую прелесть. Начавши читать романъ Матюрена, вы не заснете спокойно, не дочитавъ его. И не знаю, съ чѣмъ можно сравнить впечатлѣніе отъ его романовъ? Это какой-то сонъ, тяжкій, мучительный, но вмѣстѣ съ тѣмъ сладкій, невыразимо сладкій! Кому неизвѣстенъ его «Мельмотъ-Скиталецъ», это мрачное фантастическое и могущественное произведеніе, въ которомъ такъ прекрасно выражена мысль объ эгоизмѣ, этомъ чудовищѣ, жадно пожирающемъ наслажденія и въ свою очередь пожираемомъ наслажденіями? Въ «Альбигойцахъ» есть много хорошаго: рыцари, монахи, принцессы, еретики, колдовство, словомъ, средніе вѣка со всѣми своими принадлежностями изображены очаровательно, несмотря на множество недостатковъ, которыми отличается это произведеніе.

Я думаю еще, что одно изъ необходимѣйшихъ условій такого рода книги, какъ «Библиотека Романовъ» Ротгана, должно состоять въ томъ, чтобы всѣ переводы были сдѣланы съ подлинниковъ. Но у Ротгана все переведено съ французскаго. Неужели онъ не могъ найти въ Петербургѣ переводчиковъ съ англійскаго? Странно!.. Потомъ я думаю, что также одно изъ необходимѣйшихъ условій такого рода книги должно состоять въ томъ, чтобы переводы были превосходны; но у Ротгана переводы очень посредственны, а переводъ «Влены» очень плохъ. Наконецъ, мы думаемъ, что одно изъ необходимѣйшихъ условій такого рода книгъ должно состоять также и въ красивости и даже роскоши изданія; но изданіе Ротгана слишкомъ скромно. Перемѣшанная цифровка страницъ, неправильная разстановка знаковъ препинанія, и вообще множество типографскихъ ошибокъ доказываютъ, что эта книга какъ будто дѣлается на фабрикѣ и хочетъ взять поспѣшностью, а не достоинствомъ. Не знаю, будетъ ли имѣть успѣхъ это литературное предпріятіе Ротгана; знаю только то, что если оно не будетъ имѣть успѣха, то не публика будетъ въ этомъ виновата...

О жизни и произведеніяхъ сира Вальтера Скотта. Сочиненіе Аллана Кантэма. Переводъ отъ... СПб. 1835.

Переводъ и изданіе этой книги принадлежатъ къ числу рѣдкихъ и утѣшительныхъ явленій въ нашей литературѣ, которая бываетъ результатомъ мысли, исполняются сонъ много и съ толкомъ. Кому

не извѣстно великое имя Вальтеръ Скотта, оглашавшее своимъ громомъ болѣе четверти вѣка, а теперь сіющее для потомства кроткимъ и благотворнымъ свѣтомъ? Кто не знаетъ созданій этого громаднаго и скромнаго генія, который былъ литературнымъ Колумбомъ и открылъ для жаждущаго вкуса новый, неисчерпаемый источникъ изящныхъ наслажденій, который далъ искусству новыя средства, облекъ его въ новое могущество, разгадалъ потребность вѣка и соединилъ дѣйствительность съ вымысломъ, примирилъ жизнь съ мечтой, сочеталъ исторію съ поэзіей. Кто не читалъ и не перечитывалъ этихъ разнообразныхъ созданій, въ которыхъ средніе вѣка встаютъ, и движутся, и проходятъ передъ нами, дышащіе всей полнотой своей жизни, играющіе всѣми радужными и мрачными лучами своей волшебной фантазмагоріи? Кто наконецъ не жилъ въ этомъ роскошномъ и разнообразномъ мірѣ чудесныхъ событій, дивныхъ фizioномій, начиная отъ фанатическихъ войнъ пуританскихъ до войнъ за вѣру въ Азіи, отъ колоссальной фигуры фанатика Бурлея до фантастическихъ образовъ Ричарда, Людовика XI, Карла смѣлаго? Боже великій! Что за дивный міръ, сколько портретовъ, сколько фizioномій!

Какая смѣсь одеждъ и лицъ,
Племень, нарѣчій, состояній!

О, это цѣлая и огромная панорама вселенной, въ которой движутся и толпятся всевозможныя явленія человѣческой жизни, заключенныя въ волшебныя рамы вымысла! И есть люди, которые сомнѣваются и отвергаютъ поэтическій талантъ Вальтера Скотта, называя неестественнымъ и нелѣпымъ соединеніе исторіи съ вымысломъ... Стоять ли эти люди опроверженія?.. Какъ! стало быть, и большая часть драмъ Шекспира, Шиллера, Гёте суть незаконныя чада воображенія, а ихъ творцы не художники, не поэты? Иначе, за что же такое предпочтеніе драмъ предъ романомъ? За что эта монополія на исторію въ пользу драмы? Стало быть, жизнь историческая не можетъ быть предметомъ поэтическаго представленія такъ же, какъ и жизнь частная? Развѣ законы той и другой не тождественны? Развѣ народная жизнь образуется не изъ дѣйствія частныхъ интересовъ и побужденій, характеризующихъ человѣка? И потомъ, развѣ мы можемъ видѣть въ исторіи всѣ тайныя пружины и причины великихъ событій, часто теряющихся въ самыхъ частныхъ дѣйствіяхъ и побужденіяхъ? Въ исторіи мы видимъ сцену и декорации; почему же роману не обнажать намъ тайны закулисныхъ, имѣющихъ такое тѣсное отношеніе съ сценой? Вы не любите, чтобы нарушали историческую истину? Странное дѣло! Кто будетъ такъ нелѣпъ, чтобы не отличить истины отъ вымысла, или учиться исторіи по романамъ? Къ тому же самъ историкъ болѣе или менѣе есть творецъ характеровъ историческихъ, ибо при всемъ своемъ стараніи быть вѣрнымъ фактамъ, каждый историкъ болѣе или менѣе придаетъ особенный оттѣнокъ каждому историческому лицу, сколько потому, что часто сами факты бываютъ не-

достаточным, темным, противоречивым, столько и потому, что всякій индивидуум пишет свой собственный образ вещей на предметы. Почему же поэту не позволили внять по своему то или другое историческое лицо и воспроизвести его въ художественномъ созданіи смѣшавъ съ своимъ о немъ понятіемъ и обставити его обстоятельствами, частью истинными, но больше вымышленными, которыя бы характеризовали его историческую и человеческую личность?

Какъ въ нѣзлыхъ сомнѣніяхъ насчетъ законности художественнаго сочетанія исторіи съ вымысломъ, какъ ни безразличными упреки, дѣлаемые Вальтеръ Скотту въ безразличности его созданій, но все это ничто предъ сомнѣніемъ въ поэтическомъ талантѣ автора «Пуританъ» и «Иванго». Здѣсь было бы неумѣстно и бесполезно распространяться объ этомъ вопросѣ, давно уже рѣшенномъ европейскою или, лучше сказать, всемірною славой Вальтеръ Скотта. Авторитетъ не доказательство, скажете вы. Нѣтъ, я съ этимъ не согласенъ. Знаете ли что? У народа есть какое-то чутье, столь вѣрное, что онъ никогда не обманывается ни въ своихъ любимцахъ, ни въ предметахъ своего равнодушія. Я не знаю изъ нашихъ русскихъ поэтовъ никого, чья бы слава и народности была такъ прочна, такъ безсмертна, какъ слава Пушкина и Грибоѣдова. Державина, Озерова, Жуковского, Батюшкова и нѣкоторыхъ другихъ будутъ помнить записные литераторы, люди книжные; Пушкина и Грибоѣдова будутъ помнить и знать народъ. Сюда должно причислить еще Крылова. Правда, нашъ вѣкъ слишкомъ уменъ, важенъ, хитръ и лukanъ, слишкомъ занятъ вышними, человѣческими интересами и не можетъ пѣвнаться ни простодушнѣмъ, ни затѣйливостью басни, не можетъ почерпнуть въ ней уроковъ мудрости; онъ смотритъ на нее, какъ на поэтическую игрушку, какъ смотрѣлъ прошлый вѣкъ на триолеты и рондо; но для басни остается еще обширный кругъ почитателей: это народъ, масса народа. Съ постепеннымъ образованіемъ въ Россіи низшихъ и среднихъ классовъ народа число читателей басенъ Крылова будетъ безпрестанно умножаться, и придетъ время, когда онѣ сдѣлаются ходячей философіей народа, въ полномъ смыслѣ этого слова, когда онѣ будутъ издаваться десятками тысячъ экземпляровъ; онѣ, а вмѣстѣ съ ними и слава Крылова, погаснутъ только съ жизнью народа. Вы скажете: но вѣдь авторитеты Тредьяковскаго, Сумарокова, Хераскова и другихъ были не меньше авторитетовъ Крылова, Пушкина и Грибоѣдова? Такъ — но педанты, толпа и чернь еще не народъ. Точно то же было и въ другихъ литературахъ: нѣмецъ призналъ Гёте и Шиллера своей національной славой; Франція апплодируетъ на улицѣ, когда видитъ Беранже; Джонъ Буль любилъ и любилъ своего стараго Вилля. Но вотъ же Джонъ Буль, скажете вы, заплатилъ семь съ половиною фунтовъ стерлинговъ за «Потерянный Рай». Такъ, но знаете ли что? у меня пристрастный и преспѣлый вкусъ: я самъ не дорого бы далъ этому забытому народомъ и прославленному восемнадца-

тымъ вѣкомъ поэту, котораго истинная и на- пражненная фантазія изобрѣла пороки и нужки еще прежде Адама и Евы и заставила дьявола стрѣлять изъ этихъ нужекъ въ ангеловъ. Многие находятъ въ этомъ удивительное величіе и исцѣлительную силу воображенія. Но я (и очень многие, если не все) нахожу тутъ одну уродливость, которой истинный художникъ никогда не могъ бы выдумать. Нѣтъ, воля ваша, а гласъ народа — гласъ Божій, и народъ, и вѣка — самые непогрѣшительные критики. На Вальтеръ Скотта и народъ, и народы, и человечество давно уже возложили вѣнецъ поэтической славы: остается вѣкамъ и потомству скрѣпить опредѣленіе современниковъ — и это будетъ! Такъ какому ли нибудь самозванному барону удастся снѣтъ этотъ вѣнокъ съ лучезарной головы гениальнаго баронета?..

Переводчица сочиненія Аллана Баннингама о жизни и сочиненіяхъ Вальтеръ Скотта, въ довольно обширномъ предисловіи, отставивъ съ жаромъ поэтическую славу гениальнаго шотландца отъ нападеній барона Брамбеуса. Въ ея разсужденіи виденъ свѣтлый, образованный умъ и теплое чувство; мы прочли его съ живымъ удовольствіемъ, и оно показало намъ лучше самой книги. Жаль только, что она сражалась съ почтеннымъ барономъ не равнымъ оружіемъ, отчего и бой былъ очень не равенъ. Причина та, что она ошибочно поняла нападки барона на Вальтеръ Скотта и приняла его шутки и мистификаціи за дѣло. Баронъ Брамбеусъ — человѣкъ очень умный, и надо уметь понимать его, чтобы быть въ состояніи съ нимъ сражаться. Да, я починаю за шутки, очень милыя и остроумныя, его нападки на автора «Пуританъ», на «Юную Словесность», такъ же какъ почитаю за шутки критики г. О. О. на «Черную Женщину» Греча, «Мазепу» Булгарина, и въ то же время высоко цѣню критики того же лица на «Роксолану» Букольника, рецензію на «Притчи Крумахера» и нѣкоторыя другія книги. Въ самомъ дѣлѣ, надо знать, когда человѣкъ говоритъ дѣло, когда шутитъ, и на дѣло надо отвѣчать серьезно, а на шутки — шутками. Посмотрите, какъ мило и тонко поступаетъ въ этомъ случаѣ Булгаринъ, заставляя бѣлорусскаго мужика защищать противъ барона Брамбеуса свои любезныя «сін» и «оныя». И въ то же время посмотрите, какъ неловко и неуклюже начала воевать съ «Библиотекой для Чтенія» «С. Пчела», еще недавно ея постоянная и усердная партизанка. Но какъ бы то ни было, а предисловіе дѣвицы Д... написано умно и можетъ быть полезно для многихъ читателей. Жаль только, что она, возражая барону со всѣмъ достоинствомъ и всей твердостью человѣка, чувствующаго правоту своего дѣла, слишкомъ смиренно обезоруживаетъ, на всякій случай, его гнѣвъ, давая ему замѣтить, что въ ея книгѣ нѣтъ опальныхъ «сихъ» и «оныхъ». Теперь о самой книгѣ: она довольно интересна, какъ всѣ книги, даже посредственныя, въ которыхъ содержится какія-нибудь подробности о жизни великаго человѣка. Но книга все-таки посредственна, потому что Алланъ

Каннингамъ — человекъ очень недалекий въ литературѣ и, какъ кажется, принадлежить къ числу литературныхъ рыцарей печальнаго образа. Его критическіе взгляды на сочиненія Скотта довольно мелки и поверхностны, понятія о творчествѣ тоже очень не далеки. Впрочемъ онъ очень добрый человекъ и очень любитъ Вальтера Скотта; да какъ и не любить: онъ имѣлъ благосклонность похвалить его сочиненіе, весьма разруганное. Переводчица книги Каннингама общается еще перевести нѣсколько сочиненій о жизни горячо любимаго ею автора; мы отъ всей души желаемъ, чтобы она выполнила свое обещаніе.

Отрывокъ изъ короткой рецензіи на «Три сердца». Александра Долинскаго. Москва. 1835.

Несносенъ мальчикъ, который, заложивъ руки въ карманы, принявъ на себя серьезный видъ, ходитъ большими шагами по комнатѣ и представляетъ изъ себя большого; несносенъ мѣщанинъ въ дворянствѣ, человекъ, рожденный въ пятнадцатомъ классѣ и добившись какъ-нибудь четырнадцатаго, и который подходитъ къ ручкѣ къ дамамъ, говоритъ съ барышнями о погодѣ, прибавляетъ ко всякому слову съ, требуетъ къ себѣ большой аттенціи и изъ всего этого заключаетъ, что онъ — благородная особа; несносенъ лакей, который павлинится передъ своей братьей, надѣвъ украдкой фракъ своего барина; но несноснѣ всего этого безталанный бумагомаратель, который пародируетъ знаменитыхъ писателей и суется туда же «подмѣчать первый яркій румянецъ на лицѣ дѣвушки и подслушивать первое бѣненіе сердца ея, первый вздохъ ея».

Отрывокъ изъ небольшой рецензіи на два водевиля Э. Нони: «Иванъ Савельевичъ» и «Починный мунъ и вдова его».

Не все то легко, что кажется легкимъ съ перваго взгляда. Ничего нѣтъ легче, какъ сочинить водевилъ, и ничего нѣтъ труднѣе, какъ сдѣлать водевилъ. Очевидно, что тайна этого противорѣчія заключается въ талантѣ: есть онъ — и легко; нѣтъ его — и трудно, а кажись, въ обоихъ случаяхъ нѣтъ ничего легче. Наши водевили могутъ служить лучшимъ доказательствомъ этой истины. Во-первыхъ, они по большей части суть передѣлки французскихъ водевилей, слѣдовательно куплеты, остроты, смѣшныя положенія, завязка и развязка — все готово, умѣйте только воспользоваться. И что же выходитъ? Эта легкость, естественность, живость, которые невольно увлекали и тѣшили ваше воображеніе во французскомъ водевилѣ, эта острота, эти милыя глупости, это кокетство таланта, эта игра ума, эти гримасы фантазій, словомъ, — все это исчезаетъ въ русской копіи, а остается одна тяжеловѣстность, неловкость, неестественность, натянутость, два-три каламбура, два-три экивока — и больше ничего. Не будемъ строги къ нашимъ водевилистамъ, не будемъ требовать отъ нихъ особенной

живости, большого остроумія; но можемъ ли мы не требовать отъ нихъ естественности и здраваго смысла? Здравый смыслъ особенно вещь очень нужная: безъ него и водевилю такъ же нельзя обойтись, какъ драмѣ или комедіи. И при этой-то нищетѣ даже въ здоровомъ смыслѣ, при этой-то безталанности сколько претензій, сколько важничанья! Вообразите себѣ къ водевилю, вмѣсто предисловія, сцену изъ «Фауста»! Гдѣ же тутъ здравый смыслъ?.. Бумажная корона очень забавна на головѣ буфона, но золотая... Воля ваша, гг. водевилисты, а есть вещи, которыми не должно шутить!..

О характерѣ народныхъ пѣсенъ у славянъ задунайскихъ. Набросано Юріемъ Венелинымъ. I. Османъ Шевичъ. Жизньба Павла Плетикосы. Москва. 1835.

Изданная въ 1833 году Вукомъ Стефановичемъ, четвертая часть «Народныхъ Сербскихъ Пѣсенъ» подала поводъ Венелину написать прекрасную статью, которая была помѣщена въ «Телескопѣ». Венелинъ издалъ эту статью отдѣльной брошюрой, подъ № 1, какъ первый приступъ къ цѣлому ряду статей въ этомъ родѣ, имѣющихъ цѣлью знакомить русскую публику съ народной поэзіей задунайскихъ славянъ. Намѣреніе прекрасное и благородное! Мы такъ мало знакомы въ этомъ отношеніи съ нашими современниками, что должны радоваться всякому добросовѣстному труду, который можетъ обогатить насъ хотя нѣсколькими фактами. Книжка Венелина содержитъ въ себѣ много богатыхъ и, что всего важнѣе, освѣщенныхъ идей фактовъ.

Первобытная поэзія народовъ заслуживаетъ особенное вниманіе, потому что она юна и свѣжа какъ жизнь юности, непритворна и простодушна какъ лепетъ младенца, могущественна и сильна какъ первое, дѣвственное сознаніе жизни, чиста и стыдлива какъ улыбка красавицы. Это творчество истинное, безсознательное, безцѣльное, хотя въ то же время и одностороннее, одноцвѣтное. Оно воплощаетъ, истинно и живо проявляетъ духъ, характеръ и всю жизнь народа, которые высказываются въ немъ непринужденно и безыскусственно. Отъ этого произведенія младенчествующихъ народовъ вѣчно юны и неумирающи. Мы не знаемъ этихъ безыменныхъ пѣвцовъ, добродушно и безразсчетно изливавшихъ свое чувство въ минуты радости или тоски; они творили не для безсмертія, не для цѣли нравственной или политической, не для всѣхъ этихъ расчетовъ, коростныхъ и безкорыстныхъ, которые нерѣдко западаютъ въ кабинетныя произведенія, какъ черви вредоносные, и подхѣдаютъ корни жизни художественнаго произведенія.

Пѣсни задунайскихъ славянъ, сколько мы можемъ судить по образцамъ, предложеннымъ авторомъ рассматриваемой нами статьи, представляютъ самыя лучшія данныя для подтвержденія этого мнѣнія о первобытной поэзіи, — этого мнѣнія, которое мы не смѣемъ назвать своимъ, потому что оно принадлежитъ не намъ, а роду

задунайскихъ славянъ выражаютъ всю жизнь народа, которыми онѣ созданы, такъ же какъ «Иліада» выражаетъ всю жизнь грековъ въ ея героическій періодъ. Прочтя ихъ, вы не будете имѣть нужды ни въ описаніяхъ путешественниковъ, ни въ пособіи исторіи, чтобы познакомиться вполнѣ съ народомъ. Въ нихъ вся его жизнь внѣшняя и домашняя, всё его обычай и повѣрья, всё задушевные вѣрованія, надежды и страсти. Но мы не будемъ слишкомъ распространяться о пѣсняхъ задунайскихъ славянъ, потому что въ такомъ случаѣ мы невольно повторили бы все, что о нихъ такъ умно, такъ основательно, такъ вѣрно и такъ увлекательно высказано Венелинымъ; вмѣсто того бросимъ бѣглый библиографическій взглядъ на его сужденіе.

Статья начинается выпиской двухъ пѣсенъ на сербскомъ языкѣ съ переводомъ на русскій. Переводъ сдѣланъ самимъ авторомъ статьи, и слѣдуетъ прекрасно. Онъ близокъ, вѣренъ, поэтиченъ, если можно такъ сказать, и русскій языкъ нигдѣ не усилованъ, нигдѣ не страждетъ на счетъ этой близости. Мы были бы очень благодарны автору, если бы онъ дарилъ насъ чаще и больше подобными переводами пѣсенъ славянскихъ народовъ, которые ему такъ хорошо знакомы. Послѣ пѣсенъ авторъ начинаетъ разсуждать о характерѣ и обычаяхъ болгаръ и сербовъ, и особенно о ихъ дѣвохщеніи. Факты, сообщаемые имъ, чрезвычайно любопытны. Потомъ онъ выводитъ изъ нихъ заключеніе о характерѣ пѣсенъ этихъ народовъ. Потомъ разсуждаетъ объ историческихъ причинахъ, дающихъ иногда тому или другому народу другой характеръ, нежели какой онъ имѣлъ. Мысли его объ этомъ предметѣ прекрасны, глубоки и подкрѣплены фактами. Изъ этого разсужденія онъ объясняетъ кровавый и мрачный характеръ задунайцевъ, отразившійся въ ихъ пѣсняхъ. Характеръ поэзіи задунайцевъ, по его мнѣнію, чисто гомерическій, и мы съ этимъ вполнѣ согласны: героизмъ и юначество—одно и то же. Въ заключеніе авторъ говоритъ вообще объ эпопее, разумѣя подъ этимъ словомъ такого рода художественныя произведенія, которые создаются не какимъ-либо лицомъ, а цѣлымъ народомъ. Вслѣдствіе этого онъ очень основательно отвергаетъ художественное и эпическое достоинство всѣхъ кабинетныхъ произведеній, какъ-то: «Энеиды», «Освобожденнаго Іерусалима», «Генріады», «Россіады» и пр., какъ сочиненій заказныхъ, какъ «нарочныхъ трудовъ по части героизма». Эта же идея привела его къ разсужденію объ «Иліадѣ», какъ твореніи самобытнымъ и живомъ, созданномъ народомъ, а не какимъ-то Гомеромъ. Мысль не новая, но хорошо развитая авторомъ. Онъ доказываетъ, что «омирость» есть слово нарицательное и означаетъ слѣпца. Прекрасно также развита авторомъ мысль о томъ, что каждый народъ имѣетъ своего представителя, и его-то выводитъ въ своихъ созданіяхъ: эпопеей и пѣсняхъ; греки—Ахилла, испанцы—Донъ-Жуана, вѣмцы—Фауста и т. д. Герой болгаръ есть Марко Королевичъ.

Однимъ словомъ, статья или брошюрка Венелина принадлежитъ къ тѣмъ пріятнымъ явленіямъ, ко-

торыя у насъ очень рѣдки. Но, отдавая должную справедливость достоинствамъ его сочиненія, мы съ тѣмъ же безпристрастіемъ замѣтимъ и его недостатки. Мы пропускаемъ, что языкъ Венелина нерѣдко бываетъ неправиленъ и страненъ, что онъ любитъ употреблять слова и выраженія, никѣмъ не употребляемыя, какъ-то «кухонность человеческого рода» и тому подобныя, которыхъ не мало; все это не важно. Но насъ удивили нѣкоторыя его мысли, изложенныя частью въ выносахъ, частью въ прибавленіяхъ къ статьѣ; онѣ кажутся намъ въ совершенной дисгармоніи съ тѣмъ, о которыхъ мы говорили выше. Съ трудомъ вѣрится, чтобы тѣ и другія принадлежали одному и тому же лицу. Что значить напримѣръ эта насмѣшка надъ Гёте за то, что онъ выдалъ Клену «Иліады» за вѣмца Фауста? Неужели почтенному автору неизвѣстно, что есть художественныя сочиненія, которыя, будучи неестественны, несбыточны и нецѣлы въ фактическомъ отношеніи, тѣмъ не менѣе истинны поэтически? Неужели ему неизвѣстно, что въ творчествѣ сказка или разсказъ бываетъ иногда только символомъ идеи? Что за насмѣшка надъ красавицей Кленой, которую авторъ грозитъ наказать самымъ славянскимъ, т.-е. самымъ варварскимъ, наказаніемъ? За что такая немилость? Неужели почтенный авторъ думаетъ, что дѣйствующія лица въ поэмѣ должны быть всегда резонабельны, нравственны, словомъ, должны отличаться хорошимъ поведеніемъ? Неужели ему неизвѣстно, что самыя понятія о нравственности не у всѣхъ народовъ и не во всѣ вѣка сходны? Елена нисколько не оскорбляла своимъ поведеніемъ жизни древнихъ; она совершенно въ духѣ народа и въ духѣ времени. Не такъ же смѣшно упрекать въ безправственности, какъ смѣшно упрекать задунайскихъ славянъ въ томъ, что они головорѣзы.

Потомъ, что это за нападки на Гердера и Гизо? И за что же? За то, что они находили духъ рыцарства и героизма только въ вѣмецкихъ племенахъ, а не въ славянскихъ? Странно!—Конечно героизмъ, т.-е. непосѣдность, предприимчивость и страсть къ кровопролитію свойственны болѣе или менѣе всякому младенчествуующему народу, но и самый этотъ героизмъ имѣетъ болѣе или менѣе кругъ дѣйствія. Норманны переплывали моря и завоевывали отдаленныя страны, а славяне дрались съ своими сосѣдями или другъ съ другомъ. Что же касается до рыцарства, то оно, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежитъ исключительно одной Европѣ среднихъ вѣковъ, и именно вѣмцамъ. Рыцарство и героизмъ очень похожи другъ на друга, но между ними есть и большая разница: героизмъ бываетъ почти всегда безсмысленъ, а рыцарство водится идеей. Гдѣ же надо искать этой идеи? Неужели въ безсмысленной рѣзнѣ задунайскихъ славянъ съ турками или кавказскихъ племенъ между собой? За что же Венелинъ такъ сердится на Гизо и особенно на великаго Гердера, что они были неуважительны къ славянамъ? Я презираю это дѣтское обожаніе авторитетовъ, вслѣдствіе котораго нельзя сказать о Миль-

товѣ, что онъ не поэтъ или по крайней мѣрѣ не великій поэтъ, и тому подобное,—но съ тѣмъ вмѣстѣ противъ неуважительнаго тона къ людямъ, оказавшимъ человечеству большія услуги, каковъ Гердеръ, и слова: «Гердеръ дѣтствуетъ, Гердеръ ребячествуетъ», мнѣ кажутся неумѣстными. Гердеръ могъ ошибаться, могъ не знать чего-либо, но никогда онъ не могъ ни дѣтствовать, ни ребячиться. Намъ желательно, чтобы Венелинъ въ слѣдующихъ своихъ брошюркахъ объяснился точнѣе насчетъ всѣхъ нашихъ вопросовъ, тѣмъ болѣе, что эти вопросы не одними нами повторяются.

Но, несмотря на все это, мы признаемъ сочиненіе Венелина пріятнымъ явленіемъ въ нашей литературѣ, достойнымъ прочтенія людей мыслящихъ, и увѣрены, что Венелинъ приметъ наше откровенное мнѣніе, какъ о достоинствахъ, такъ и недостаткахъ его статьи, за доказательство нашего къ нему уваженія.

Всеобщее путешествіе вокругъ свѣта, составленное Дюмонъ-Дюрвилемъ. Часть первая. Москва. 1835.

Есть два рода просвѣщенія: просвѣщеніе ученое и просвѣщеніе эмпирическое. Первое есть достояніе касты, удѣлъ немногихъ избранныхъ, обрѣкшихъ себя на храненіе священнаго огня въ храмѣ, недоступномъ для профановъ; второе есть достояніе общее, потребность массы, умственное богатство цѣлаго народа. Парижъ есть первый городъ Европы въ умственномъ отношеніи; всѣ ученые, которыми гордилась и гордится Франція, были и суть граждане великаго города; и однакожъ на статистической картѣ народнаго просвѣщенія, составленной Дюпемъ, департаментъ Севы означенъ краской чуть-чуть не черной. И наоборотъ, въ Норвегіи всякій мужикъ есть человѣкъ грамотный, а мы не знаемъ именъ норвежскихъ ученыхъ, намъ неизвѣстны академіи и другія общества Норвегіи. Государство, которое гордится мѣровыми именами гениевъ науки, въ которомъ высшіе классы общества стоятъ на самой высокой степени просвѣщенія, а масса народа коснѣетъ въ дикомъ невѣжествѣ, такое государство еще не проявило вполне всей своей жизни, не дошло до цѣли своего существованія; словомъ, оно еще молодо, юно, незрѣло. Государство, масса котораго стоитъ на извѣстной и одинаковой степени возможнаго для массы просвѣщенія, но которое не возростило науки и не имѣло представителей знанія, это государство показываетъ, что или Провидѣніе сулило ему играть незначительную роль въ великомъ семействѣ человѣческаго рода, или — что оно еще менѣе, чѣмъ младенецъ. Итакъ, то и другое просвѣщеніе должно быть въ полной гармоніи, чтобы вполне развилась жизнь народа, вполне было выполнено имъ его значеніе.

Въ наше время эта истина глубоко постигнута, и у просвѣщенныхъ народовъ Европы сближеніе науки съ жизнью составляетъ одинъ изъ главнѣйшихъ предметовъ ихъ усилій и дѣятельности. Ученѣйшіе люди проповѣдуютъ знаніе, приноравливаясь

къ языку и понятіямъ своихъ слушателей, снисходя до нихъ и нарумянивая, такъ сказать, науку, чтобы сдѣлать ее привлекательнѣе для толпы. Народу нужны познанія чисто фактическія, идеи не для него; но народъ есть общество, а общество представляетъ въ своей совокупности множество ступеней; поэтому и самый образъ изложенія свѣтской науки долженъ быть различенъ. У насъ народу, т.-е. самой грубой массѣ народа, нужна еще только азбука, а когда выучится ей, ему нужно ознакомиться съ основаніями религіи и другими первоначальными человѣческими идеями; другого знанія для него пока не нужно. Но въ другихъ сословіяхъ одни считаютъ себя въ правѣ ничего не знать и ничему не учиться, а другіе и должны бы по всѣмъ законамъ, божественнымъ и гражданскимъ, да не хотять. Вотъ для этихъ-то людей должно трудиться нашимъ литераторамъ и ученымъ; эти-то люди должны представлять для нихъ обширное поле дѣятельности не блистательной, но благородной, но славной, но почетной. Я не говорю уже о людяхъ, которые жаждутъ знанія и не имѣютъ никакихъ средствъ удовлетворить этой жадѣ. Въ самомъ дѣлѣ, что у насъ сдѣлано до сихъ поръ для употребленія общаго, народнаго? У насъ есть ученые, именами которыхъ мы по справедливости гордимся, у насъ есть нѣсколько ученыхъ сочиненій, которыхъ достоинство не подлежитъ никакому сомнѣнію; но у насъ все-таки нѣтъ ни ученыхъ книгъ, ни книгъ для общаго чтенія съ цѣлью самообразованія. Думаемъ, что это происходитъ оттого, что у насъ всѣ ищутъ и добиваются больше эфемерной славы, нежели хотять служить добру.

«Путешествіе Дюмонъ-Дюрвиля» есть книга народная, для всѣхъ доступная, способная удовлетворить и самаго привязчиваго, глубоко ученаго человѣка, и простолюдина, ничего не знающаго. Дюмонъ-Дюрвиль объѣхалъ кругомъ свѣта и рѣшилъ почти въ формѣ романа изложить полное землеописаніе, соединивъ въ немъ факты, находящіеся въ сочиненіяхъ извѣстныхъ путешественниковъ и приобрѣтенные имъ самимъ. Заманчивость и прелесть его описаній не даютъ оторваться отъ книги, когда возьмешь ее въ руки...

Стихотворенія Александра Пушкина. Часть четвертая. Спб. 1835.

Четвертая часть стихотвореній Пушкина заключается въ себѣ двадцать шесть пьесъ и въ числѣ ихъ извѣстный всѣмъ наизусть «Разговоръ Книгопродавца съ Поэтомъ», напечатанный вмѣсто предисловія при первой главѣ «Евгенія Онегина» перваго изданія; потомъ три большія сказки и, наконецъ, шестнадцать пьесъ западныхъ славянъ, переведенныхъ или передѣланныхъ съ французскаго (исторія этого перевода извѣстна).

Вообще очень мало утѣшительнаго можно сказать объ этой четвертой части стихотвореній Пушкина. Конечно въ ней виденъ закатъ таланта, но таланта Пушкина; въ этомъ закатѣ есть еще какой-

задунайскихъ славянъ выражаютъ всю жизнь народа, которымъ онѣ созданы, такъ же какъ «Иліада» выражаетъ всю жизнь грековъ въ ея героическій періодъ. Прочтя ихъ, вы не будете имѣть нужды ни въ описаніяхъ путешественниковъ, ни въ пособіи исторіи, чтобы познакомиться вполнѣ съ народомъ. Въ нихъ вся его жизнь внѣшняя и домашняя, всѣ его обычаи и повѣрья, всѣ задушевныя вѣрованія, надежды и страсти. Но мы не будемъ слишкомъ распространяться о пѣсняхъ задунайскихъ славянъ, потому что въ такомъ случаѣ мы невольно повторили бы все, что о нихъ такъ умно, такъ основательно, такъ вѣрно и такъ увлекательно высказано Венелинымъ; вмѣсто того бросимъ бѣглый библиографическій взглядъ на его сужденіе.

Статья начинается выпиской двухъ пѣсень на сербскомъ языкѣ съ переводомъ на русскій. Переводъ сдѣланъ самимъ авторомъ статьи, и сдѣланъ прекрасно. Онъ близокъ, вѣренъ, поэтиченъ, если можно такъ сказать, и русскій языкъ нигдѣ не насилованъ, нигдѣ не страдаетъ на счетъ этой близости. Мы были бы очень благодарны автору, если бы онъ дарилъ насъ чаще и больше подобными переводами пѣсень славянскихъ народовъ, которыя ему такъ хорошо знакомы. Послѣ пѣсень авторъ начинаетъ разсуждать о характерѣ и обычаяхъ болгаръ и сербовъ, и особенно о ихъ дѣвохищеніи. Факты, сообщаемые имъ, чрезвычайно любопытны. Потомъ онъ выводитъ изъ нихъ заключеніе о характерѣ пѣсень этихъ народовъ. Потомъ разсуждаетъ объ историческихъ причинахъ, дающихъ иногда тому или другому народу другой характеръ, нежели какой онъ имѣлъ. Мысли его объ этомъ предметѣ прекрасны, глубоки и подкрѣплены фактами. Изъ этого разсужденія онъ объясняетъ кровавый и мрачный характеръ задунайцевъ, отразившійся въ ихъ пѣсняхъ. Характеръ поэзіи задунайцевъ, по его мнѣнію, чисто гомерическій, и мы съ этимъ вполнѣ согласны: героизмъ и юначество—одно и то же. Въ заключеніе авторъ говоритъ вообще объ эпосѣ, разумѣя подъ этимъ словомъ такого рода художественныя произведенія, которыя создаются не какимъ-либо лицомъ, а цѣлымъ народомъ. Вслѣдствіе этого онъ очень основательно отвергаетъ художественное и эпическое достоинство всѣхъ кабинетныхъ произведеній, какъ-то: «Энеиды», «Освобожденнаго Иерусалима», «Генріады», «Россиады» и пр., какъ сочиненій заказныхъ, какъ «нарочныхъ трудовъ по части героизма». Эта же идея привела его къ разсужденію объ «Иліадѣ», какъ твореніи самобытнымъ и живомъ, созданномъ народомъ, а не какимъ-то Гомеромъ. Мысль не новая, но хорошо развитая авторомъ. Онъ доказываетъ, что «омирость» есть слово нарицательное и означаетъ слѣпца. Прекрасно также развита авторомъ мысль о томъ, что каждый народъ имѣетъ своего представителя, и его-то выводить въ своихъ созданіяхъ: эпосѣ и пѣсняхъ; греки—Ахилла, испанцы—Донъ-Жуана, нѣмцы—Фауста и т. д. Герой болгаръ есть Марко Королевичъ.

Однимъ словомъ, статья или брошюрка Венелина принадлежитъ къ тѣмъ пріятнымъ явленіямъ, ко-

торыя у насъ очень рѣдки. Но, отдавая должную справедливость достоинствамъ его сочиненія, мы съ тѣмъ же безпристрастіемъ замѣтимъ и его недостатки. Мы пропускаемъ, что языкъ Венелина нерѣдко бываетъ неправиленъ и страненъ, что онъ любитъ употреблять слова и выраженія, нигдѣ не употребляемые, какъ-то «кухонность человеческого рода» и тому подобныя, которыхъ не мало; все это не важно. Но насъ удивили нѣкоторыя его мысли, изложенныя частью въ выносахъ, частью въ прибавленіяхъ къ статьѣ; онѣ кажутся намъ въ совершенной дисгармоніи съ тѣми, о которыхъ мы говорили выше. Съ трудомъ вѣрится, чтобы тѣ и другія принадлежали одному и тому же лицу. Что значитъ напримѣръ эта насмѣшка надъ Гёте за то, что онъ выдалъ Елену «Иліады» за нѣмца Фауста? Неужели почтенному автору неизвѣстно, что есть художественныя сочиненія, которыя, будучи неестественны, несбыточны и нелѣпы въ фактическомъ отношеніи, тѣмъ не менѣе истинны поэтически? Неужели ему неизвѣстно, что въ творчествѣ сказка или разсказъ бываетъ иногда только символомъ идеи? Что за насмѣшка надъ красавицей Еленой, которую авторъ грозитъ наказать самымъ славянскимъ, т. е. самымъ варварскимъ, наказаніемъ? За что такая немилость? Неужели почтенный авторъ думаетъ, что дѣйствующія лица въ поэмѣ должны быть всегда резонабельны, нравственны, словомъ, должны отличаться хорошимъ поведеніемъ? Неужели ему неизвѣстно, что самыя понятія о нравственности не у всѣхъ народовъ и не во всѣхъ вѣка сходятся? Елена нисколько не оскорбляла своимъ поведеніемъ жизни древнихъ; она совершенно въ духѣ народа и въ духѣ времени. Ее такъ же смѣшно упрекать въ безнравственности, какъ смѣшно упрекать задунайскихъ славянъ въ томъ, что они головорѣзы.

Потомъ, что это за нападки на Гердера и Гизо? И за что же? За то, что они находили духъ рыцарства и героизма только въ нѣмецкихъ племенахъ, а не въ славянскихъ? Странно!—Конечно героизмъ, т. е. непосѣдность, предпріимчивость и страсть къ кровопролитію свойственны болѣе или менѣе всякому младенчеству и юности народа, но и самый этотъ героизмъ имѣетъ болѣе или менѣе кругъ дѣйствія. Норманны переплывали моря и завоевывали отдаленныя страны, а славяне дрались съ своими сосѣдями или другъ съ другомъ. Что же касается до рыцарства, то оно, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежитъ исключительно одной Европѣ среднихъ вѣковъ, и именно нѣмцамъ. Рыцарство и героизмъ очень похожи другъ на друга, но между ними есть и большая разница: героизмъ бываетъ почти всегда безсмысленъ, а рыцарство водится идеей. Гдѣ же надо искать этой идеи? Неужели въ безсмысленной рѣзнѣ задунайскихъ славянъ съ турками или кавказскихъ племенъ между собой? За что же Венелинъ такъ сердится на Гизо и особенно на великаго Гердера, что они были неуважительны къ славянамъ? Я презираю это дѣтское обоженіе авторитетовъ, вслѣдствіе котораго нельзя сказать о Миль-

тонѣ, что онъ не поэтъ или по крайней мѣрѣ не великій поэтъ, и тому подобное, — но съ тѣмъ вмѣстѣ противъ неуважительнаго тона къ людямъ, оказавшимъ человѣчеству большія услуги, каковъ Гердеръ, и слова: «Гердеръ дѣтствуетъ, Гердеръ ребячествуетъ», мнѣ кажутся неумѣстными. Гердеръ могъ ошибаться, могъ не знать чего-либо, но никогда онъ не могъ ни дѣтствовать, ни ребячиться. Намъ желательно, чтобы Венелинъ въ слѣдующихъ своихъ брошюркахъ объяснился точнѣ насчетъ всѣхъ нашихъ вопросовъ, тѣмъ болѣе, что эти вопросы не одними нами повторяются.

Но, несмотря на все это, мы признаемъ сочиненіе Венелина пріятнымъ явленіемъ въ нашей литературѣ, достойнымъ прочтенія людей мыслящихъ, и увѣрены, что Венелинъ приметъ наше откровенное мнѣніе, какъ о достоинствахъ, такъ и недостаткахъ его статьи, за доказательство нашего къ нему уваженія.

Всеобщее путешествіе вокругъ свѣта, составленное Дюмонь-Дюрвилямъ. Часть первая. Москва. 1835.

Есть два рода просвѣщенія: просвѣщеніе ученое и просвѣщеніе эмпирическое. Первое есть достояніе касты, удѣлъ немногихъ избранныхъ, обрѣкшихъ себя на храненіе священнаго огня въ храмѣ, недоступномъ для профановъ; второе есть достояніе общее, потребность массы, умственное богатство цѣлаго народа. Парижъ есть первый городъ Европы въ умственномъ отношеніи; всѣ ученые, которыми гордилась и гордится Франція, были и суть граждане великаго города; и однакожъ изъ статистической картѣ народнаго просвѣщенія, составленной Дюпенемъ, департаментъ Сены означенъ краской чуть-чуть не черной. И наоборотъ, въ Норвегіи всякій мужикъ есть человѣкъ грамотный, а мы не знаемъ именъ норвежскихъ ученыхъ, намъ неизвѣстны академіи и другія общества Норвегіи. Государство, которое гордится мировыми именами гениевъ науки, въ которомъ высшіе классы общества стоятъ на самой высокой степени просвѣщенія, а масса народа косятъ въ дикомъ невѣжествѣ, такое государство еще не проявило вполнѣ всей своей жизни, не дошло до цѣли своего существованія; словомъ, оно еще молодо, юно, незрѣло. Государство, масса котораго стоитъ на извѣстной и одинаковой степени возможнаго для массы просвѣщенія, но которое не возрало науки и не имѣло представителей знанія, это государство показываетъ, что или Провидѣніе сулило ему играть незначительную роль въ великомъ семействѣ человѣческаго рода, или — что оно еще менѣе, чѣмъ младенецъ. Итакъ, то и другое просвѣщеніе должно быть въ полной гармоніи, чтобы вполнѣ развилась жизнь народа, вполнѣ было выполнено имъ его значеніе.

Въ наше время эта истина глубоко постигнута, и у просвѣщенныхъ народовъ Европы сближеніе науки съ жизнью составляетъ одинъ изъ главнѣйшихъ предметовъ ихъ усилій и дѣятельности. Ученѣйшіе люди проповѣдуютъ знаніе, приносившаяся

къ языку и понятіямъ своихъ слушателей, снисходя до нихъ и нарушаянивая, такъ сказать, науку, чтобы сдѣлать ее привлекательнѣе для толпы. Народу нужны познанія чисто фактическія, идеи не для него; но народъ есть общество, а общество представляетъ въ своей совокупности множество ступеней; поэтому и самый образъ изложенія свѣтской науки долженъ быть различенъ. У насъ народу, т.-е. самой грубой массѣ народа, нужна еще только азбука, а когда выучится ей, ему нужно ознакомиться съ основаніями религіи и другими первоначальными человѣческими идеями; другого знанія для него пока не нужно. Но въ другихъ сословіяхъ одни почитаютъ себя въ правѣ ничего не знать и ничему не учиться, а другіе и должны бы по всѣмъ законамъ, божественнымъ и гражданскимъ, да не хотятъ. Вотъ для этихъ-то людей должно трудиться нашимъ литераторамъ и ученымъ; эти-то люди должны представлять для нихъ обширное поле дѣятельности не блистательной, но благородной, но славленной, но почитенной. Я не говорю уже о людяхъ, которые жаждутъ знанія и не имѣютъ никакихъ средствъ удовлетворить этой жадѣ. Въ самомъ дѣлѣ, что у насъ сдѣлано до сихъ поръ для употребленія общаго, народнаго? У насъ есть ученые, именами которыхъ мы по справедливости гордимся, у насъ есть нѣсколько ученыхъ сочиненій, которыхъ достоинство не подлежитъ никакому сомнѣнію; но у насъ все-таки нѣтъ ни ученыхъ книгъ, ни книгъ для общаго чтенія съ цѣлью самообразованія. Думаемъ, что это происходитъ оттого, что у насъ всѣ ищутъ и добиваются больше эфемерной славы, нежели хотятъ служить добру.

«Путешествіе Дюмонъ-Дюрвиля» есть книга народная, для всѣхъ доступная, способная удовлетворить и самаго привязчиваго, глубоко ученаго человѣка, и простолюдина, ничего не знающаго. Дюмонъ-Дюрвиль объѣхалъ кругомъ свѣта и рѣшился почти въ формѣ романа изложить полное землеописаніе, соединивъ въ немъ факты, находящіеся въ сочиненіяхъ извѣстныхъ путешественниковъ и прибрѣтенные имъ самимъ. Заманчивость и прелесть его описаній не даютъ оторваться отъ книги, когда возьмешь ее въ руки...

Стихотворенія Александра Пушкина. Часть четвертая. Спб. 1835.

Четвертая часть стихотвореній Пушкина заключаетъ въ себѣ двадцать шесть пьесъ и въ числѣ ихъ извѣстный всѣмъ наизусть «Разговоръ Книгопродавца съ Поэтомъ», напечатанный вмѣстѣ предисловія при первой главѣ «Евгенія Онѣгина» — перваго изданія; потомъ три большія сказки и, наконецъ, шестнадцать пѣсенъ западныхъ славянъ, переведенныхъ или передѣланныхъ съ французскаго (исторія этого перевода извѣстна).

Вообще очень мало утѣшительнаго можно сказать объ этой четвертой части стихотвореній Пушкина. Конечно въ ней виденъ закатъ таланта, но таланта Пушкина; въ этомъ закатѣ есть еще какой-

то блескъ, хотя слабый и блѣдный... Такъ напри-
мѣръ, всѣмъ извѣстно, что Пушкинъ перевелъ шес-
надцать сербскихъ пѣсенъ съ французскаго, а са-
мыя эти пѣсни подложныя, выдуманныя двумя
французскими шарлатанами,—и что жъ? Пушкинъ
умѣлъ придать этимъ пѣснямъ колоритъ славянской,
такъ что, если бъ его ошибка не открылась, никто
и не подумалъ бы, что это пѣсни подложныя. Кто
что ни говори — а это могъ сдѣлать только одинъ
Пушкинъ! Самыя его сказки—онѣ конечно рѣши-
тельно дурны, конечно поэзія и не касалась ихъ *),
но все-таки онѣ цѣлой головой выше всѣхъ попытокъ
въ этомъ родѣ другихъ нашихъ поэтовъ. Мы не мо-
жемъ понять, что за странная мысль овладѣла имъ
и заставила тратить свой талантъ на эти поддѣль-
ные цвѣты. Русская сказка имѣетъ свой смыслъ,
но только въ такомъ видѣ, какъ создала ее народ-
ная фантазія; передѣланная же и прикрашенная,
она не имѣетъ рѣшительно никакого смысла. «Гу-
сарь», «Будрысъ и его сыновья», «Воевода»—всѣ
эти пьесы не безъ достоинства, а послѣдняя рѣши-
тельно хороша: въ ней есть чувство; но прочее по
большей части показываетъ одно умѣнье владѣть
языкомъ и римой,—умѣнье, иногда уже измѣняю-
щее, потому что не рѣдко попадаются стихи, встав-
ленные для римы, особенно въ сказкахъ, стихи,—
въ которыхъ отсутствуетъ даже вкусъ, видно одно
savoir faire, и то не рѣдко съ промахами!..

«Разговоръ Книгопродавца съ Поэтомъ» привелъ
насъ въ грустное расположеніе духа: онъ напо-
мялъ намъ золотое время поэзіи Пушкина, — то
время, когда — какъ говорятъ онъ самъ о себѣ въ
этой пьесѣ—

Все волновало нѣжный умъ:
Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье, и т. д.

Да, прекрасное было то время! Но что намъ до вре-
мени? оно прошло, а прекрасные плоды его остались,
и они все такъ же свѣжи, такъ благоуханны!..

Въ томъ же «Разговорѣ Книгопродавца съ Поэ-
томъ» поразило насъ грустнымъ чувствомъ еще
одно обстоятельство: помните ли вы мѣсто, гдѣ поэтъ,
разочарованный въ женщинахъ, отказывается, въ
своемъ благородномъ негодованіи, воспѣвать ихъ?
Въ первомъ изданіи «Евгенія Онѣгина», при кото-
ромъ былъ приложенъ и этотъ поэтическій «Разго-
воръ», поэтъ говоритъ:

Пускай ихъ Шалковъ поетъ,
Любезный баловень природы!

Теперь эти стихи напечатаны такъ:

Пускай ихъ юноша поетъ,
Любезный баловень природы!

Увы!.. Sic transit gloria mundi!..

*) Впрочемъ сказка «о Рыбакѣ и Рыбкѣ» заслу-
живаетъ вниманіе по крайней простотѣ и естествен-
ности разсказа, и болѣе всего по своему размѣру
чисто русскому. Кажется, нашъ поэтъ хотѣлъ имен-
но сдѣлать попытку въ этомъ размѣрѣ, и для того
нарочно написать эту сказку.

Но въ четвертой части стихотвореній Пушкина
есть одно драгоценное перло, напомнившее намъ его
былую поэзію, напомнившее намъ былого поэта: это
элегія «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье».

Да! такая элегія можетъ выкупить не только нѣ-
сколько сказокъ, даже цѣлую часть стихотвореній!..

Провинціальныя бредни и записки Дормедона
Васильевича Прутикова. Москва. 1836. Двѣ части.

Авторъ этой книги говоритъ въ своемъ предисловіи:

«Я не романтикъ, не классикъ; нѣтъ у меня ни
эффектовъ, ни потрясеній, ни смертоубійствъ, даже
ничего нѣтъ фантастическаго. Что же это такое?
Безымянный выродокъ. Вотъ, скажутъ, авторъ не
знаетъ эстетики: нѣтъ ничего трансцендентальнаго,
индивидуальнаго, объективнаго, штиль не новый,
слогъ простой и рубить съ плеча».

Вотъ какія рѣчи отпустилъ намъ Дормедонъ Ва-
сильевичъ! Мы съ своей стороны скажемъ только
то, что въ его «Запискахъ» въ самомъ дѣлѣ нѣтъ
ни идеализма, ни трансцендентализма: въ нихъ, на-
противъ, абсолютный нигилизмъ съ достаточной
примѣсью безвкусыя, тривіальности и безграмотно-
сти. Стиль или, какъ говоритъ авторъ, штиль его
не новый: это правда; его слогъ допотопный, иско-
паемый, его языкъ есть языкъ Тредьяковскаго, Си-
меона Полоцкаго, Сумарокова. Его слогъ, говоритъ
онъ, простой и рубить съ плеча: правда, онъ точ-
но ужъ черезчуръ простоватъ, а какъ онъ рубить
съ плеча, объ этомъ судите сами по отрывку слѣ-
дующей курьезной пьесы.

Была, изволите видѣть, майоръ Трубинъ, кото-
раго дернуло жениться въ сорокъ пять лѣтъ на мо-
лодой дѣвушкѣ; у майора былъ любимый денщикъ
Козмичъ, обладавшій столь великимъ умомъ, сколь-
ко прилично имѣть денщику. Черезъ пять лѣтъ
послѣ своего брака майору надо было куда-то отлу-
читься съ своимъ денщикомъ. Послѣ этого всту-
пленія намъ будетъ понятенъ слѣдующій отрывокъ:

«Мнѣ минуло пятьдесятъ лѣтъ, рюмилъ про себя
майоръ. Такъ и быть. У меня жена безцѣнная, но
мнѣ пятьдесятъ лѣтъ—и я долженъ остерегаться.—
Ну, если... Тутъ опять майоръ задумался... Отѣхавъ
версты три, вдругъ остановилъ онъ своего коня и
вѣрному своему шталмейстеру Данилѣ Козмичу далъ
слѣдующій приказъ: «Воротись, братъ Козмичъ, до-
мой... и скажи женѣ, чтобъ она сегодня сидѣла дома
и отнюдь никого не принимала. Признаться тебѣ,
мнѣ что-то не хочется, чтобъ она безъ меня одна
оставалась. И такъ, воротись домой, а потомъ до-
гоняй меня скорѣй». Козмичъ, услышавъ барининовъ
приказъ, остолбенѣлъ... «Помилуйте, сударь, что вы
надъ собой дѣлаете! Развѣ не жили вы на свѣтѣ
довольно, чтобъ узнать?» — «Что это! — вскричалъ
майоръ, немного разсердясь,—ты меня ужъ въ этомъ
учить хочешь?»—Данило умолялъ и, не говоря ни сло-
ва въ отвѣтъ, поворотилъ иноходца и тихимъ ша-
гомъ пустился вслѣдъ...»

Ѣхавши дорогой, Козмичъ разсуждалъ такъ: «Изотъ
господа, вотъ мужья! дѣлай по ихъ волѣ. Кому охо-
та на каторгу? А мой баринъ самъ на бѣду наку-
пается. Что теперь дѣлать! Какъ не сказать бары-
нѣ,—отъ барина мнѣ бѣда, и сказать ей,—отъ ба-
рыни барину бѣда, какъ съѣсть на голову. Воже уна-
си!... Е-ге! постой!» Вдругъ махнулъ Козмичъ пѣгаго

иноходца и какъ изъ лука стрѣла къ воротамъ прилетѣлъ. Маюрша... увидя Данилу, стремглавъ бросилась къ нему. «Что ты, Козмичъ? не случилось ли чего?» — «Нѣтъ, сударыня, все слава Богу по добру по здорову! Баринъ приказалъ кланяться, приказалъ сказать, приказалъ доложить, не извольте, дескать, безъ него на барбосѣ верхомъ садиться; онъ, дескать, хоть и смиренная собака, однако, дескать, шутокъ не любитъ и вѣрно-де васъ укуситъ». Отдавъ свой рапортъ, Козмичъ пустился по дорогѣ вслѣдъ за маюршей. Маюрша возвратилась въ свою комнату и крѣпко задумалась... «Что значить этотъ повелительный приказъ?» говорила она про себя. «А! я это ясно вижу: эти мужья насъ пробуютъ—и хотѣть узнать, далеко ли наше послушаніе простираться можетъ; но нѣтъ, полно, за тѣмъ ли я посвятила ему молодость и провожаю дни мои съ старикомъ, чтобъ повиноваться смѣшнымъ его хотѣніямъ?»

Вамъ, милостивыя государыни, безъ сомнѣнія, извѣстно, что у любезнаго пола рѣшеніе съ исполненіемъ почти въ одинаковомъ времени, вовсе въ противность приказнаго порядка, гдѣ иногда нарочитое время проходитъ; слѣдовательно, маюрша вышесказанное свое рѣшеніе немедленно въ исполненіе произвела: на барбосѣ ну верхомъ ѣздила. Барбосъ, чтобъ огрызаться, не тутъ-то было! на барбоса пуще навалилась, доколотъ барбосѣ, какъ сущій грубіянъ и сущая собака, милую пошу съ себя не сбросилъ и больно барыни ручку не укусилъ... На другой день по возвращеніи маюра, не забылъ онъ при первой встрѣчѣ и будто ненарочно о гостяхъ спросить, на что желаемый отвѣтъ получилъ. Куда съ радости дѣваться? Обниманіе, цѣлованіе такое, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать. А между тѣмъ маюрша ручку спрятать не забыла. Маюръ, чтобъ ручки цѣловать, одной руки нѣтъ, какъ нѣтъ! — «Что за пропасть:—вскричалъ маюръ,—что съ твоей ручкой сдѣлалось?» — «Ничего... право, ничего... я виновата, мой другъ, я... Ты вчера приказывалъ о барбосѣ, а я не послушалась, ѣздила на немъ; и онъ мнѣ руку укусилъ»... — «Что я приказывалъ вчера?» — «Вскричалъ маюръ,—когда? съ кѣмъ?» — «Да вчера, съ Данилой», отвѣчала маюрша съ увѣрительнымъ тономъ. Дѣло уже шло не на шутку, и Данило на ту бѣду явился въ комнату. «Что я съ тобой вчера съ женой приказывалъ!» спросилъ его маюръ. — «Такъ милостивый государь, — отвѣтствовалъ Козмичъ,—я барыни сказала»... — «Что ты ей сказалъ?» — «Да сударь, про барбоса»... — «Что ты навралъ?» — «Нѣтъ, милостивый государь, не навралъ, — сказалъ Козмичъ утвердительно.—Прошу васъ только вспомнить теперь, про что вы мнѣ вчера приказали. Ну, что жъ, взгляните на барынину ручку, если бъ я ей не то сказалъ?».

Говорятъ, что эта пошлая сказка принадлежитъ Боккачіо; если это правда, то удивительно, какъ она перешла въ фантазію русской черни; любой кучеръ или лакей перескажетъ вамъ ее по своему. Кучера и лакеи любятъ соблазнительныя исторіи насчетъ господъ, въ этомъ нѣтъ никакого дива; но странно, какъ вздумалъ ее пересказывать Прутиковъ, этотъ старецъ, который безпрестанно твердитъ о нравственности, который недоволенъ всѣмъ современнымъ—и англійскимъ клубомъ, и новѣйшими романами, и новѣйшей литературой, и новѣйшими покроємъ платья, и новѣйшимъ поколѣніемъ, потому что во всемъ этомъ видитъ совершенную безнравственность. Если повѣрить его мудрости, то въ настоящее время все безнравственно—даже тротуары, по которымъ ходятъ люди, и крыши домовъ, по которымъ ходятъ галки и трубочисты; что прав-

да, совѣсть, честь существовали только въ старину въ то время, когда люди хвастались безбожіемъ, щеголяли кощунствомъ, гордились числомъ обольщенныхъ женщинъ и убитыхъ противниковъ; когда судьи передъ зеркаломъ торговались съ просителями, словомъ, это время, такъ прекрасно характеризованное безсмертнымъ Грибоѣдовымъ. И вотъ какими средствами, вотъ какимъ путемъ хочетъ почтенный старецъ обратить на истинный путь нашъ безнравственный вѣкъ! Но это явная ошибка въ расчетѣ, со стороны автора: онъ, кажется, не понималъ нашего вѣка; едва ли и нашъ вѣкъ пойметъ его. И это очень естественно: времена, а вмѣстѣ съ ними и понятія о нравственности переходчивы. Поэтому, да не осуждаетъ насъ почтенный старецъ, если мы объявимъ ему за тайну (для него), что его понятія о нравственности намъ кажутся совершенно безнравственными. Мы, люди новѣйшаго поколѣнія, мы презираемъ бракомъ по расчету, презираемъ этой торговой сдѣлкой, уничтожающей достоинство человека и общества, но уважаемъ идею брака, какъ священнаго союза двухъ душъ, понимающихъ одна другую, союза любви, освящаемаго чувствомъ и религіей. Поэтому въ нашихъ глазахъ старикъ, женившійся на молодой дѣвушкѣ, есть или глупецъ, стоящій на степени безмысленнаго животнаго, или отвратительный сластолюбецъ, что едва ли еще не хуже; и потому намъ смѣшна и вѣрность маюрши, и любовь маюра, и еще смѣшнѣе показалась бы измѣна его сожительницы. Потомъ, мы, люди новѣйшаго поколѣнія, слишкомъ уважаемъ идею женщины, слишкомъ горячо вѣримъ въ достоинство человеческое и возможность его въ обоихъ полахъ, слишкомъ убѣждены въ добродѣтели женщины, которая способна возвыситься до святого чувства любви, чтобы не вѣрить въ чистоту и твердость женщины; мы даже не почитаемъ за добродѣтель этой чистоты и твердости, а видимъ въ нихъ простое и обыкновенное исполненіе долга, даже и не исполненіе долга, а просто естественное состояніе женщины, потому что добродѣтель есть усиліе, побѣда надъ какимъ-нибудь порочнымъ или эгоистическимъ порывомъ, а любящая женщина не можетъ имѣть подобныхъ порывовъ въ отношеніи своей вѣрности къ мужу, слѣдовательно у ней не можетъ быть не только борьбы съ преступнымъ чувствомъ, но даже и мысли о такой борьбѣ. Видите ли, почтенный старецъ, мы обогнали васъ въ нравственности и слѣдовательно не только не нуждаемся въ вашихъ урокахъ, но еще почитаемъ себя въ правѣ задать вамъ порядочный. Ваша повѣсть не имѣетъ для насъ ни значенія, ни смысла; порядочная женщина не дочтетъ ея до конца и не позволитъ читать ее своей дочери. Ваша повѣсть можетъ доставить удовольствіе и пользу развѣ необразованному классу нашихъ бородатыхъ жрецовъ Бахусова храма, отмирывающихъ православнымъ жестяными сосудами спиртуозную влагу. Ваша повѣсть могла бъ имѣть значеніе и смыслъ назадъ тому лѣтъ двадцать, когда еще бродили гибельныя правила восемнадцатаго вѣка, когда честь женщины почиталась позоромъ,

плебейской манерой, неумѣніемъ жить въ свѣтѣ, когда бракъ почитался родомъ вуала, накидываемаго на развратъ, родомъ привилегіи на распутство. Но и тогда вамъ не мѣшало бы имѣть побольше вкуса и запастись большей грамотностью, большимъ умѣніемъ выражаться на языкѣ понятномъ, живомъ, образованномъ, общеупотребительномъ, а не на какомъ-то старинномъ подъяческомъ жаргонѣ. Теперь же, въ наше время, ваша повѣсть и всѣ ваши нравственно-сатирическія статьи даже не смѣшны, потому что ужъ черезчуръ скучны и плоски. Вы сражаетесь съ тѣнью, съ призракомъ, вы мѣтите не туда, куда надо, вы прикладываете свои пластыри къ здоровымъ членамъ общества и не видите его истинныхъ ранъ, которыхъ конечно много и которыя, безъ сомнѣнія, очень глубоки. Вы, напримеръ, нападаете на моды: старая, очень старая пѣсня, такая старая, что въ сравненіи съ ней «Выду я на рѣченьку» кажется пѣсней, сейчасъ сложенной. Моды нисколько не вредятъ обществу. Кто при большомъ состояніи разоряется отъ моды, тотъ мотъ, расточитель, который разорился бы, если бы и не было моды; кто, не имѣя состоянія, гоняется за модами, тотъ сумасшедшій, который остался бы сумасшедшимъ, если бы и не было моды. Притомъ если отъ модъ разоряется одно сословіе, то богатѣетъ другое, слѣдовательно, для государства нѣтъ вреда. Сверхъ того нынче уже признано, что и подъ моднымъ фраккомъ изъ дорогого англійскаго сукна и подъ золотистымъ жилетомъ можетъ быть благородное и пламенное сердце; что модная шелковая шляпа можетъ покрывать голову великаго и глупаго ума. Нынче всѣ согласны въ томъ, что странность и неприличіе въ одеждѣ обличаетъ скорѣе суетное желаніе отличиться, выказать себя странностью, обратиться на себя общее вниманіе, чѣмъ истинную мудрость. И въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, который сшилъ бы себѣ долгополый сюртукъ съ высокимъ лифомъ на тѣ деньги, на которыя онъ могъ бы сшить модный сюртукъ, этотъ человѣкъ оказалъ бы себя или чудакомъ, что, разумѣется, не предосудительно, или глупцомъ, что очень предосудительно. Такъ что же значатъ ваши нападки на моды, почтенный старецъ? Знаете ли вы, что Россія, какъ и всякое государство, обязана своимъ образованіемъ, въ числѣ многихъ другихъ причинъ, наиболѣе модѣ? Петръ Великій обрилъ наши бороды и перемѣнилъ нашъ костюмъ, что было необходимо для нашего сближенія съ Европой и въ умственномъ отношеніи; онъ заставилъ насъ учиться языкамъ и наукамъ. На кого прежде всего пало бремя тягостной, но необходимой реформы? Разумѣется, на дворъ. Двору стало подражать богатое дворянство, этому—мелкое дворянство, этому—и разночинцы, а теперь купцы и мѣщане. Если теперь образовываются по убѣжденію въ пользу и необходимости образованія, то тогда учились просто изъ моды, чтобъ не отстать отъ высшихъ себя. Общество можетъ идти впередъ только разумнымъ и тихимъ отстраненіемъ стараго и замѣненіемъ его новымъ. Да, мода есть благодѣтель обществъ. Я не понимаю, почему старинный, проч-

ный, но неуклюжій и тяжелый берлинъ лучше прочной же, но легкой и красивой кареты? А кто изъ уродливаго берлина сдѣлалъ шегольскую карету? Мода, непостоянная, беспокойная мода, всегда скучающая, всегда недовольная настоящимъ. Модѣ обязаны мы всѣми удобствами нашей жизни. Что же, почтенный старецъ, значатъ ваши нападки на моду? Развѣ безъ васъ никто не зналъ, что человѣкъ, посвятившій себя исключительно на служеніе модѣ, есть человѣкъ пустой, ничтожный? О, нѣтъ! вы хотѣли блеснуть умомъ, похвастать остроуміемъ—и ошиблись въ своемъ разсчетѣ, потому что кто нынче нападаетъ на моды, того не читаютъ...

Вы нападаете на Англійскій клубъ, какъ на подрывъ домашней семейной жизни—и опять не впопадъ! Можно имѣть свой домъ, любить до безумія жену, словомъ, быть хорошимъ мужемъ и отцомъ, и ѣздить въ клубъ. И почему же не долженъ ѣздить въ клубъ или собраніе человѣкъ, которому ограниченное состояніе не позволяетъ заводить у себя дома собранія и давать балы? Въ клубѣ не всѣ же играютъ въ карты, тамъ и ѣдятъ, и пьютъ, и говорятъ, и читаютъ все, что представляетъ отечественная и иностранная журналистика. Кто же охотникъ до картъ, тотъ и дома, и въ гостяхъ можетъ удовлетворить своей охотѣ.

Вы нападаете на современную литературу, находите ее и безнравственной, и безчинной; вамъ не нравятся многіе нынѣшніе романы, вы говорите, что ихъ нельзя дать въ руки дѣвушкамъ; я не хочу защищать передъ вами современной литературы и нынѣшнихъ романовъ, потому что это былъ бы напрасный трудъ; мы не поняли бы другъ друга. Скажу вамъ только, что многіе изъ романовъ, на которые вы намекаете, никогда не оскорбляютъ въ такой степени нравственнаго чувства женщины, какъ повѣсти въ родѣ вашей «Варбось, или на своемъ поставлю».

Вы доказываете, что не должно пьянствовать, клеветать на ближняго, оплошно управлять имѣніемъ, и проч. Это истины неоспоримыя; и мы отъ души бы поблагодарили васъ, если бы не выучили ихъ наизусть въ нашихъ азбукахъ и прописяхъ, по которымъ учились въ дѣтствѣ читать и писать. Жаль, что между этими полезными истинами вы пропустили одну, и очень важную, а именно ту, что не должно цвѣтать и издавать книгъ, не выучившись грамотѣ и не умѣя порядочно выражаться на отечественномъ языкѣ.

Да, почтеннѣйшій старецъ, Дормедовъ Васильевичъ, вы сражаетесь съ тѣнью, съ призракомъ, вы цѣлитесь не туда, куда надо, вы не понимаете истинныхъ недуговъ человѣка и человѣческаго общества, вы не знаете этого великаго правила, что «la morale est dans la nature des choses», а не въ скучныхъ поученіяхъ и тугоумныхъ островахъ.

Я написалъ о вашей книгѣ не для публики: публика не прочтетъ ея, можете быть въ этомъ увѣрены; я написалъ это для васъ, чтобы защитить передъ вами публику, показавъ причину ея невниманія къ вашей книгѣ: будьте жъ мнѣ благодарны!...

Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Сочиненіе Николая Полевого. Часть третья. Москва. 1835.

Третья часть «Русской Исторіи» Полевого произошла всѣ наши ожиданія. Это уже не просто чтеніе для дѣтей, это уже книга для всѣхъ. Авторъ оставилъ или, лучше сказать, сбился съ тона дѣтскаго рассказчика на тонъ повѣствователя, историка. Но, оставивши тонъ дѣтскаго рассказчика, который, правду сказать, и въ первыхъ двухъ томахъ состоялъ только въ однихъ обращеніяхъ къ «любезнымъ читателямъ», онъ продолжаетъ свое прекрасное сочиненіе въ какомъ-то общедоступномъ и всѣхъ удовлетворяющемъ тонѣ. Его рассказъ отличается изящностью и стройностью, представляетъ собой правильную, симметрически расположенную галерею мастерскихъ картинъ, проникнуть одушевленіемъ, полонъ мыслей и вмѣстѣ съ этимъ отличается такой простотой изложенія, что, удовлетворяя самаго взыскательнаго ученаго, доступенъ и для дѣтей, и для простолюдиновъ. Тѣсныя предѣлы, назначенные себѣ авторомъ, не только не повредили достоинству его сочиненія, но еще были одной изъ главныхъ причинъ, способствовавшихъ возвышенію этого достоинства. Мы имѣемъ насчетъ этого свои понятія: мы убѣждены, что одинъ изъ главнѣйшихъ недостатковъ «Исторіи Россійскаго Государства» Карамзина заключается въ томъ, что она, объемля собой событія, не простиравшіяся даже до избранія Михаила, состоитъ изъ двѣнадцати, а не изъ трехъ или много-много четырехъ томовъ. Мы не исключаемъ изъ этого недостатка рѣшительно всѣ опыты, и предшествовавшіе труду Карамзина, и послѣдовавшіе за нимъ. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему служить слишкомъ подробное изложеніе событій, эта свалка, этотъ свозъ и важныхъ и пустыхъ фактовъ? Не вредитъ ли это и общности событій, которыя должны вѣзъываться въ памяти мастерскимъ изложеніемъ и уловляться однимъ взглядомъ? Не вредитъ ли это и смыслу событій, который у историка выражается въ идеяхъ? Покажите намъ характеръ историческаго лица такъ, чтобы оно рисовалось въ нашемъ воображеніи, проходило передъ нашими глазами со всѣми оттѣнками своей индивидуальности; уловите идею событія и выразите ее не разсужденіями и разглагольствованіями, а изложеніемъ событія такъ, чтобы идея сама неволью бросилась, такъ сказать, въ глаза читателя; представьте намъ всѣ фазы жизни народа, всѣ ея переходы и измѣненія, оттѣните и очертите ихъ: вотъ долгъ историка. Для всего этого не нужно много томныхъ изложеній фактовъ; все это видишь и яснѣе въ сжатомъ, сосредоточенномъ рассказѣ. Разбираемое нами сочиненіе служить самымъ лучшимъ подтвержденіемъ справедливости нашего мнѣнія. Оно полно и обширно во всемъ смыслѣ этого слова; его первая часть даже могла бы быть гораздо короче не къ ущербу, а къ усугубленію своего достоинства. Оно совершенно удовлетворяетъ тѣ требованія, которыя мы полагаемъ въ основу достоинства историческаго сочиненія. Характеры дѣйстви-

вателей въ ней изображены удивительно. По недостатку положительных и фактическихъ свѣдѣній мы не можемъ ни повѣрить ихъ сказаніями летописей, ни ручаться за ихъ историческую вѣрность; но можемъ смѣло увѣрить нашихъ читателей, что эти характеры не образы безъ лицъ, не мертвыя тѣни, а живыя созданія, которыя вы видите передъ собой, которыя имѣютъ для васъ не только смыслъ и душу, но и тѣло, но и образъ, определенный и типическій. Въ этомъ отношеніи мы поспорили бы съ почтеннымъ авторомъ только насчетъ Іоанна IV. Намъ кажется, что онъ не разгадалъ или можетъ быть не хотѣлъ разгадать тайну этого необыкновеннаго человѣка. У насъ господствуетъ нѣсколько различныхъ мнѣній на счетъ Іоанна Грознаго: Карамзинъ представилъ его какимъ-то двойникомъ, въ одной половинѣ котораго мы видимъ какаго-то ангела, святого и безгрѣшнаго, а въ другой—чудовище, изрыгнутое природою, въ минуту раздора съ самой собою, для пагубы и мученія бѣднаго человѣчества, и эти двѣ половины спиты у него, какъ говорится, бѣлыми нитками. Грозный былъ для Карамзина загадкой; другіе представляютъ его не только злымъ, но и ограниченнымъ человѣкомъ; нѣкоторые видятъ въ немъ генія. Полевой держится какой-то середины: у него Іоаннъ не геній, а просто замѣчательный человѣкъ. Съ этимъ мы никакъ не можемъ согласиться, тѣмъ болѣе, что онъ самъ себѣ противорѣчитъ, изобразивъ такъ прекрасно, такъ вѣрно, въ такихъ широкихъ очеркахъ этотъ колоссальный характеръ. Въ самомъ рассказѣ Полевого Іоаннъ очень понятенъ. Объяснимся. Есть два рода людей съ добрыми наклонностями: люди обыкновенные и люди великіе. Первые, сбившись съ прямого пути, дѣлаются мелкими негодьями, слабодушниками; вторые—злodeями. И чѣмъ душа человѣка огромнѣе, чѣмъ она способнѣе къ впечатлѣніямъ добра, тѣмъ глубже падаетъ онъ въ бездну преступленія, тѣмъ больше закаляется во злѣ. Таковъ Іоаннъ: это была душа энергическая, глубокая, гигантская. Стоить только пробѣжать въ умѣ жизнь его, чтобы удостовериться въ этомъ. Вотъ, четырехлѣтнее дитя, остается онъ безъ отца, и кому же ввѣряется его воспитаніе? Преступной матери и самовольству бояръ, этихъ буйныхъ бояръ, крамольныхъ, корыстныхъ, которые не почитали за безчестіе и стыдъ лѣности, нерадѣнія, явнаго неповиновенія царской волѣ, проигрыша сраженія вслѣдствіе споровъ о мѣстахъ, а почитали себя обезчещенными, уничтоженными, когда ихъ сажали не по чинамъ на царскихъ пирахъ. И что же дѣлаютъ съ царственнымъ отрокомъ эти своекорыстные и бездушные бояре?... Онъ рветъ животное, наслаждается его смертными издыханіями, а они говорятъ: «пусть державный тѣшится». Кто жъ виноватъ, если потомъ онъ тѣшился надъ ними, своими развратителями и наставниками въ тиранствѣ?... Онъ любитъ Телепнева—и они вырываютъ любимца изъ его объятій и ведутъ его на мѣсто казни. Душа младенца была потрясена до основанія, а такіа души не забываютъ подобныхъ

плебейской манерой, неумѣніемъ жить въ свѣтѣ, когда бракъ почитался родомъ вузала, накидываемаго на развратъ, родомъ привилегія на распутство. Но и тогда вамъ не мѣшало бы имѣть побольше вкуса и зацѣпиться большей грамотностью, большимъ умѣніемъ выражаться на языкѣ понятномъ, живомъ, образованномъ, общеупотребительномъ, а не на какомъ-то старинномъ подъяческомъ жаргонѣ. Теперь же, въ наше время, ваша повѣсть и всѣ ваши нравственно-сатирическія статейки даже не смѣшны, потому что ужъ чересчуръ скучны и плоски. Вы сражаетесь съ тѣнью, съ призракомъ, вы мѣтите не туда, куда надо, вы прикладываете свои пластыри къ здоровымъ членамъ общества и не видите его истинныхъ ранъ, которыхъ конечно много и которыя, безъ сомнѣнія, очень глубоки. Вы, напримеръ, нападаете на моды: старая, очень старая пѣсня, такая старая, что въ сравненіи съ ней «Выду я на рѣченьку» кажется пѣсней, сейчасъ сложенной. Моды нисколько не вредятъ обществу. Кто при большомъ состояніи разоряется отъ моды, тотъ мотъ, расточитель, который разорился бы, если бы и не было моды; кто, не имѣя состоянія, гоняется за модами, тотъ сумасшедшій, который остался бы сумасшедшимъ, если бы и не было моды. Притомъ если отъ моды разоряется одно сословіе, то богатѣетъ другое, слѣдовательно, для государства нѣтъ вреда. Сверхъ того нынче уже признано, что и подъ моднымъ фраккомъ изъ дорогого англійскаго сукна и подъ золотистымъ жилетомъ можетъ быть благородное и пламенное сердце; что модная шелковая шляпа можетъ покрывать голову великаго и глупаго ума. Нынче всѣ согласны въ томъ, что странность и неприличіе въ одеждѣ облачаютъ скорѣе суетное желаніе отличиться, выказать себя странностью, обратить на себя общее вниманіе, чѣмъ истинную мудрость. И въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, который сшилъ бы себѣ долгополый сюртукъ съ высокимъ лифомъ на тѣ деньги, на которыя онъ могъ бы шить модный сюртукъ, этотъ человѣкъ оказалъ бы себя или чудакомъ, что, разумѣется, не предосудительно, или глупцомъ, что очень предосудительно. Такъ что же значать ваши нападки на моды, почтенный старецъ? Знаете ли вы, что Россія, какъ и всякое государство, обязана своимъ образованіемъ, въ числѣ многихъ другихъ причинъ, наиболѣе модѣ? Петръ Великій обрилъ наши бороды и перемѣнилъ нашъ костюмъ, что было необходимо для нашего сближенія съ Европой и въ умственномъ отношеніи; онъ заставилъ насъ учиться языкамъ и наукамъ. На кого прежде всего пало бремя тягостной, но необходимой реформы? Разумѣется, на дворъ. Двору стало подражать богатое дворянство, этому—мелкое дворянство, этому—и разночинцы, а теперь купцы и мѣщане. Если теперь образовываются по убѣжденію въ пользу и необходимости образованія, то тогда учились просто изъ моды, чтобъ не отстать отъ высшихъ себя. Общество можетъ идти впередъ только благо-разумнымъ и тихимъ отстраненіемъ стараго и замѣненіемъ его новымъ. Да, мода есть благодѣтель общества. Я не понимаю, почему старинный, проч-

ный, но неуклюжій и тяжелый берлинъ лучше прочной же, но легкой и красивой кареты? А кто изъ уродливаго берлина сдѣлалъ щегольскую карету? Мода, непостоянная, беспокойная мода, всегда скучающая, всегда недовольная настоящимъ. Модѣ обязаны мы всѣми удобствами нашей жизни. Что же, почтенный старецъ, значать ваши нападки на моду? Развѣ безъ васъ никто не зналъ, что человѣкъ, посвятившій себя исключительно на служеніе модѣ, есть человѣкъ пустой, ничтожный? О, нѣтъ! вы хотѣли блеснуть умомъ, похвастать остроуміемъ—и ошиблись въ своемъ разсчетѣ, потому что кто нынче нападаетъ на моды, того не читаютъ...

Вы нападаете на Англійскій клубъ, какъ на подрывъ домашней семейной жизни—и опять не впопадъ! Можно имѣть свой домъ, любить до безумія жену, словомъ, быть хорошимъ мужемъ и отцомъ, и ѣздить въ клубъ. И почему же не долженъ ѣздить въ клубъ или собраніе человѣкъ, которому ограниченное состояніе не позволяетъ заводить у себя дома собранія и давать балы? Въ клубѣ не всѣ же играютъ въ карты, тамъ и ѣдятъ, и пьютъ, и говорятъ, и читаютъ все, что представляетъ отечественная и иностранная журналистика. Кто же охотникъ до картъ, тотъ и дома, и въ гостяхъ можетъ удовлетворить своей охотѣ.

Вы нападаете на современную литературу, находите ее и безнравственной, и безчинной; вамъ не нравятся многіе нынѣшніе романы, вы говорите, что ихъ нельзя дать въ руки дѣвушкамъ; я не хочу защищать передъ вами современной литературы и нынѣшнихъ романовъ, потому что это былъ бы напрасный трудъ; мы не поняли бы другъ друга. Скажу вамъ только, что многіе изъ романовъ, на которые вы намекаете, никогда не оскорбляютъ въ такой степени нравственнаго чувства женщины, какъ повѣсти въ родѣ вашей «Барбосъ, или на своемъ поставлю».

Вы доказываете, что не должно пьянствовать, клеветать на ближняго, оплошно управлять имѣніемъ, и проч. Это истины неоспоримыя; и мы отъ души бы поблагодарили васъ, если бы не выучили ихъ наизусть въ нашихъ азбукахъ и прописяхъ, по которымъ учились въ дѣтствѣ читать и писать. Жаль, что между этими полезными истинами вы пропустили одну, и очень важную, а именно ту, что не должно писать и издавать книгъ, не выучившись грамотѣ и не умѣя порядочно выражаться на отечественномъ языкѣ.

Да, почтеннѣйшій старецъ, Дормедовъ Васильевичъ, вы сражаетесь съ тѣнью, съ призракомъ, вы пѣлитесь не туда, куда надо, вы не понимаете истинныхъ недуговъ человѣка и человѣческаго общества, вы не знаете этого великаго правила, что «la morale est dans la nature des choses», а не въ скучныхъ поученіяхъ и тупоумныхъ островахъ.

Я написалъ о вашей книгѣ не для публики: публика не прочтетъ ея, можете быть въ этомъ увѣрены; я написалъ это для васъ, чтобы защитить передъ вами публику, показавъ причину ея невниманія къ вашей книгѣ: будьте же мнѣ благодарны!...

Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Сочиненіе Николая Полевого. Часть третья. Москва. 1835.

Третья часть «Русской Исторіи» Полевого превзошла все наши ожиданія. Это уже не просто чтеніе для дѣтей, это уже книга для всѣхъ. Авторъ оставилъ или, лучше сказать, сбился съ тона дѣтскаго рассказчика на тонъ повѣствователя, историка. Но, оставивши тонъ дѣтскаго рассказчика, который, правду сказать, и въ первыхъ двухъ томахъ состоялъ только въ однихъ обращеніяхъ къ «любезнымъ читателямъ», онъ продолжаетъ свое прекрасное сочиненіе въ какомъ-то общедоступномъ и всѣхъ удовлетворяющемъ тонѣ. Его рассказъ отличается изящностью и стройностью, представляетъ собой правильную, симметрически расположенную галерею мастерскихъ картинъ, проникнуть одушевленіемъ, полонъ мыслей и вмѣстѣ съ этимъ отличается такой простотой изложенія, что, удовлетворяя самаго взыскательнаго ученаго, доступенъ и для дѣтей, и для простолюдиновъ. Тѣсныя предѣлы, назначенные себѣ авторомъ, не только не повредили достоинству его сочиненія, но еще были одной изъ главныхъ причинъ, способствовавшихъ возвышенію этого достоинства. Мы имѣемъ насчетъ этого свои понятія: мы убѣждены, что одинъ изъ главнѣйшихъ недостатковъ «Исторіи Россійскаго Государства» Карамзина заключается въ томъ, что она, объемля собой событія, не простиравшіяся даже до избранія Михаила, состоитъ изъ двѣнадцати, а не изъ трехъ или много-много четырехъ томовъ. Мы не исключаемъ изъ этого недостатка рѣшительно все опыты, и предшествовавшіе труду Карамзина, и послѣдовавшіе за нимъ. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему служить слишкомъ подробное изложеніе событій, эта свалка, этотъ свозъ и важныхъ и пустыхъ фактовъ? Не вредитъ ли это и общности событій, которые должны вѣзываться въ памяти мастерскимъ изложеніемъ и уловляться однимъ взглядомъ? Не вредитъ ли это и смыслу событій, который у историка выражается въ идеяхъ? Покажите намъ характеръ историческаго лица такъ, чтобы оно рисовалось въ нашемъ воображеніи, проходило передъ нашими глазами со всеми оттѣнками своей индивидуальности; уловите идею событія и выразите ее не разсужденіями и разглагольствованіями, а изложеніемъ событія такъ, чтобы идея сама невольно бросилась, такъ сказать, въ глаза читателя; представьте намъ все фазы жизни народа, все ея перемены и измѣненія, оттѣните и очертите ихъ: вотъ долгъ историка. Для всего этого не нужно много томныхъ изложеній фактовъ; все это виднѣе и яснѣе въ сжатомъ, сосредоточенномъ рассказѣ. Разбираемое нами сочиненіе служить самымъ лучшимъ подтвержденіемъ справедливости нашего мнѣнія. Оно полно и обширно во всемъ смыслѣ этого слова; его первая часть даже могла бы быть гораздо короче не къ ущербу, а къ усугубленію своего достоинства. Оно совершенно удовлетворяетъ тѣ требованія, которыя мы полагаемъ въ основу достоинства историческаго сочиненія. Характеры дѣйстви-

телей въ ней изображены удивительно. По недостатку положительных и фактическихъ свѣдѣній мы не можемъ ни повѣрять ихъ сказаніями летописей, ни ручаться за ихъ историческую вѣрность; но можемъ смѣло увѣрить нашихъ читателей, что эти характеры не образы безъ лицъ, не мертвыя тѣни, а живыя созданія, которыя вы видите передъ собой, которыя имѣютъ для васъ не только смыслъ и душу, но и тѣло, но и образъ, определенный и типическій. Въ этомъ отношеніи мы поспорили бы съ почтеннымъ авторомъ только насчетъ Іоанна IV. Намъ кажется, что онъ не разгадалъ или можетъ быть не хотѣлъ разгадать тайну этого необыкновеннаго человѣка. У насъ господствуетъ нѣсколько различныхъ мнѣній на счетъ Іоанна Грознаго: Карамзинъ представилъ его какимъ-то двойникомъ, въ одной половинѣ котораго мы видимъ какого-то ангела, святого и безгрѣшнаго, а въ другой—чудовище, изрыгнутое природою, въ минуту раздора съ самой собою, для пагубы и мученія бѣднаго человѣчества, и эти двѣ половины спиты у него, какъ говорится, бѣлыми нитками. Грозный былъ для Карамзина загадкой; другіе представляютъ его не только злымъ, но и ограниченнымъ человѣкомъ; нѣкоторые видятъ въ немъ гения. Полевой держится какой-то середины: у него Іоаннъ не гений, а просто замѣчательный человѣкъ. Съ этимъ мы никакъ не можемъ согласиться, тѣмъ болѣе, что онъ самъ себѣ противорѣчитъ, изобразивъ такъ прекрасно, такъ вѣрно, въ такихъ широкихъ очеркахъ этотъ колоссальный характеръ. Въ самомъ рассказѣ Полевого Іоаннъ очень понятенъ. Объяснимся. Есть два рода людей съ добрыми наклонностями: люди обыкновенные и люди великіе. Первые, сбившись съ прямого пути, дѣлаются мелкими негодьями, слабодушниками; вторые—злѣбѣми. И чѣмъ душа человѣка огромнѣе, чѣмъ она способнѣе къ впечатлѣніямъ добра, тѣмъ глубже падаетъ онъ въ бездну преступленія, тѣмъ больше закаляется во злѣ. Таковъ Іоаннъ: это была душа энергическая, глубокая, гигантская. Стоитъ только пробѣжать въ умѣ жизнь его, чтобы удостовериться въ этомъ. Вотъ, четырехлѣтнее дитя, остается онъ безъ отца, и кому же ввѣряется его воспитаніе? Преступной матери и самовольству бояръ, этихъ буйныхъ бояръ, крамольныхъ, корыстныхъ, которые не почитали за безчестіе и стыдъ лѣности, нерадѣнія, явнаго неповиновенія царской волѣ, проигрыша сраженія вслѣдствіе споровъ о мѣстахъ, а почитали себя обезчещенными, уничтоженными, когда ихъ сажали не по чинамъ на царскихъ пирахъ. И что же дѣлаютъ съ царственнымъ отрокомъ эти своекорыстные и бездушные бояре?... Онъ рветъ животное, наслаждается его смертными издыханіями, а они говорятъ: «пусть державный тѣшится». Кто жъ виноватъ, если потомъ онъ тѣшился надъ ними, своими развратителями и наставниками въ тиранствѣ?... Онъ любитъ Телепнева—и они вырываютъ любимца изъ его объятій и ведутъ его на мѣсто казни. Душа младенца была потрясена до основанія, а такіе души не забываютъ подобныхъ

потрясеній. Онъ дѣлается юношей и распутничасть: бояре видятъ въ этомъ свою пользу и подучиваютъ его на распутство. Но зрѣлище народнаго бѣдствія потрясаетъ душу юного царя и вдругъ перемѣняетъ его, онъ женится — и на комъ же? на кроткой, прекрасной Анастасіи; онъ уже не тиранъ, а добрый государь, онъ уже не легкомысленный и вѣтреный мальчишка, а благоразумный мужъ: какіе люди способны къ такимъ внезапнымъ и быстрымъ перемѣнамъ?... Уже конечно не просто добрые и неглупые!... Онъ подаетъ руку иноку Сильвестру и безродному Адашеву; онъ вѣряется имъ, но какъ будто понимаетъ ихъ, но поняли ль они его?... Люди народа, они дѣйствуютъ благородно и безкорыстно, умно и удачно, но они оковываютъ волю царя; эта воля была львиная и жаждала раздолья и дѣятельности самобытной, честолюбивая и пламенная... Своимъ вліяніемъ на умъ царя, они спеленали исполина, не думая, что ему стонуть только пожать плечами, чтобы разорвать пеленки. Они, наконецъ, назначили ему и часть молитвы, и часть суда и совѣта, и часть царской потѣхи, покорили эту душу тяжкому, холодному, чинному и бездушному этикету, а эта душа была пылка, нестерпима, стояла выше предразсудковъ своего времени и втайнѣ презирала безсмысленными обрядами... И царь надѣлся на него, слушался своихъ любимцевъ, какъ дитя, казалось, былъ всемъ доволенъ; но его сердце точилъ червь униженія.. У царя есть сынъ и есть дядя — послѣдній обломокъ разваливающагося зданія удѣловъ. Царь боленъ при смерти; въ это время Русь уже приучилась страшиться крамоль; наслѣдство престола было уже определено и утверждено общимъ, народнымъ мнѣніемъ: сынъ царя былъ уже выше своего дяди — и что же? При смертномъ одрѣ умирающаго вѣнчаница возстала крамола: бояре отрекаются отъ законнаго наслѣдника, къ ней пристають Сильвестръ и Адашевы... Царь все видитъ, все слышитъ; его санъ, его достоинство поруганы: у его смертнаго одра брань и чуть не драка; справедливость нарушена: его сынъ лишенъ престола, который отдается удѣльному князю, который въ глазахъ и царя, и народа казался крамольникомъ, хотя и былъ невиненъ; которому право жизни было дано какъ будто изъ милости... Этотъ ударъ былъ слишкомъ силенъ, нанесенная имъ рана была слишкомъ глубока: царь возсталъ для мщенія... Трепещите, буйные и крамольные бояре! вашъ часъ пробилъ, вы сами навлекли кару на свою голову, вы оскорбили льва, а левъ не забываетъ оскорбленій и страшно мститъ за нихъ... Царь выздоровѣлъ, оглянулся назадъ: позади было его сирое дѣтство, казнь Овчины-Телепнева, тяжкая неволя и ненавистная боярщина, нарушавшая надъ его смертнымъ часомъ, оскорблявшая и законъ, и справедливость, и совѣтъ; взглянулъ впередъ: впереди опять тяжкая неволя и ненавистная боярщина... Мысль объ измѣнѣ и крамолѣ сдѣлалась его жизнью, и съ тѣхъ поръ онъ вездѣ и во всемъ могъ видѣть одну измѣну и крамолу, какъ человѣкъ, помѣшавшійся отъ привидѣ-

нія, вездѣ и во всемъ видѣть испугавшій его призракъ... Къ этому присоединилась еще смерть страстно любимой имъ Анастасіи... И теперь какъ понятно его постепенное измѣненіе, его переходъ къ злодѣйству... Ему надлежало бы свергнуть съ себя тягостную опеку, не слушать совѣты, а дѣлать по своему, не питать вѣры, но быть осторожнымъ съ боярщиной и править государствомъ къ его славы и счастью: но онъ жаждетъ мести, мести за себя, а человѣкъ имѣетъ право мстить только за дѣло истины, за дѣло Божіе, а не за себя... Мщеніе можетъ быть сладкій, но ядовитый напитокъ; это скорпіонъ, самъ себя уязвляющій... Кровь тоже напитокъ опасный и ужасный: она, что морская вода, чѣмъ больше пьешь, тѣмъ жажда сильнѣе, она тушитъ мсть, какъ тушить масло огнемъ... Дня Іоанна мало было виновныхъ, мало было бояръ — онъ сталъ казнить цѣлые города, онъ былъ боленъ, онъ опьянѣлъ отъ ужаснаго напитка крови... Все это вѣрно и прекрасно изображено у Полевого, и въ его изображеніи намъ понятно это безуміе, эта звѣрская кровожадность, эти неслыханныя злодѣйства, эта гордыня и вмѣстѣ съ ними эти жгучія слезы, это мучительное раскаяніе и это униженіе, въ которыхъ появлялась вся жизнь Грознаго; намъ понятно также и то, что только ангелы могутъ изъ духовъ свѣта превращаться въ духъ тьмы... Іоаннъ поучителенъ въ своемъ безуміи; это не тиранъ классической трагедіи, это не тиранъ Римской имперіи, гдѣ тираны были выраженіемъ своего народа и духа времени, это былъ падшій ангелъ, который и въ паденіи своемъ обнаруживаетъ по временамъ и силу характера желѣзнаго, и силу ума высокаго. По мнѣнію Полевого, онъ былъ выше отца своего и ниже дѣда, въ которомъ онъ видѣть какого-то Петра Великаго. И такъ, очевидно, что излишнее пристрастіе въ пользу Іоанна III заставило историка быть пристрастнымъ въ невыгоду Іоанна IV. Славный дѣдъ Грознаго не идетъ ни въ какое сравненіе съ Петромъ; онъ былъ государь умный, хитрый, осторожный, благоразумный, твердый, но только во дворцѣ, а не на полѣ брани; онъ обезпечилъ, благодаря своему осторожному уму и судьбѣ, самостоятельность Руси, въ которой впрочемъ долго еще самъ сомнѣвался; онъ возвысилъ въ глазахъ народа царскій санъ, учредилъ восточный этикетъ: и вотъ его заслуга! Но Петра мы знаемъ великимъ и во дворцѣ и на полѣ брани, всегда простымъ и дѣятельнымъ; мы не столько удивляемся ему въ его борьбѣ съ вѣшними врагами, сколько въ борьбѣ съ невѣжествомъ и фанатизмомъ народа...

Не имѣя ни времени, ни мѣста, а притомъ и ожидая послѣдней части «Русской Исторіи» Полевого, мы не можемъ входить въ ея подробное разсмотрѣніе и должны ограничиться общими замѣчаніями. Изъ историческихъ характеровъ съ особеннымъ искусствомъ изображены: Василій Шуйскій, Скопинъ-Шуйскій, Ляпуновъ, Мининъ, Авраамій Палицынъ, потомъ слабый Михаилъ, искусный Филаретъ, Алексѣй и, наконецъ, патріархъ Никонъ — это доселѣ совершенно новое лицо нашей исторіи, въ томъ

смыслъ, что мы еще не видѣли его ни въ какой прагматической исторіи. Всѣ эпохи и почти всѣ важныя событія показаны болѣе или менѣе, а нынѣ и совершенно въ новомъ свѣтѣ; такъ напримѣръ, въ особенности царствованіе Алексѣя Михайловича. Въ эпоху междоусобій въ яркомъ свѣтѣ являются у историка мясникъ Мининъ и инокъ Палицынъ эти два величайшіе героя нашей средней исторіи, которыми однимъ Русь одолжена своимъ спасеніемъ, потому что Пожарскій былъ только годнымъ орудіемъ въ ихъ рукахъ. Ничто такъ непоразительно, какъ дивная и горестная судьба этихъ трехъ великихъ мужей: Минина, Палицына и Накона, которыхъ колоссальные облики изображены историкомъ съ особенной любовью и особеннымъ успѣхомъ! Одинъ изъ нихъ, мясникъ, которому каждый бояринъ, каждый дворянинъ могъ безнаказанно наплевать въ лицо и растереть ногой, умѣлъ не только возбудить патриотическій восторгъ согражданъ, но и поддержать его, согласить партіи, примирить вождей, понять Палицына, дѣйствовать съ нимъ заодно, управлять вмѣстѣ съ нимъ Пожарскимъ и достигнуть своей цѣли, и что жъ стало съ нимъ потомъ? Ему дали дворянство и боярство, но не пустили въ думу, гдѣ этотъ мясникъ могъ оскорбить своимъ присутствіемъ достоинство знаменитыхъ бояръ, которые всѣ были такъ доблестны, что и самъ Мстиславскій казался между ними гениемъ первой величины... Другой, святой и великій инокъ, раздѣлившій съ нижегородскимъ мясникомъ вѣнецъ спасенія отечества, примирившій въ лютую минуту страсти вождей, утишившій ропотъ буйной сволочи продажей священныхъ сосудовъ, золотой утвари Лавры, является изгнанникомъ въ дальній монастырь, по волѣ полудержавнаго инока, и скрывается отъ глазъ изумленнаго его доблестью потомства въ неизвѣстной могилѣ... Третій, другъ и соперникъ царя, мужъ совѣта и разума, возстановитель вѣры, гонитель невѣжества и предразсудковъ, гибнетъ жертвой промисловъ опять той же боярщины... Какіе люди! какая судьба!.. Честь и слава таланту, умѣвшему представить въ истинномъ свѣтѣ такихъ людей и такую судьбу!..

Намъ кажется, что Полевой ошибся въ объемъ своего сочиненія: первая часть его слишкомъ велика, слишкомъ несоотвѣстна съ стройностью цѣлаго; вторая и третья отличаются совершенной соотвѣстностью другъ другу и удивительной перспективностью событій; но какова же должна быть въ этомъ отношеніи послѣдняя, т.-е. четвертая часть, которая должна вмѣстить въ себя событія отъ царствованія Теодора Алексѣевича до нашихъ дней?... Если она числомъ листовъ будетъ равна третьей *), то будетъ казаться, въ сравненіи съ предыдущими, какимъ-то перечнемъ событій, приложеннымъ въ видѣ дополненія. Мы увѣрены, что почтенный авторъ самъ сознаетъ свою ошибку и при второмъ изданіи, которое, безъ сомнѣнія скоро будетъ потребовано публикой, исправить его и,

вмѣсто четырехъ томовъ, подарить насъ по крайней мѣрѣ шестью. Тогда мы будемъ имѣть исторію настоящую и удовлетворительную... Лучшая явится тогда, когда наши историческіе матеріалы будутъ совершенно объяснены и разработаны критикой, а это будетъ не скоро.

Дѣтская книжка на 1835 годъ, которую составилъ для умныхъ, милыхъ и прилежныхъ маленькихъ читателей и читательницъ Владиміръ Бурнашевъ. Спб. 1835.

Мы взяли эту книжку съ полной увѣренностью, что найдемъ въ ней пошлый вздоръ,—и пріятно обманулись въ своемъ ожиданіи. Бурнашевъ обѣщаетъ собой хорошаго писателя для дѣтей—дай-то Богъ! Его книжка—истинный кладъ для дѣтей. Первая повѣсть «Русая Коса» безподобна. Именно такіа повѣсти должно писать для дѣтей. Питайте и развивайте въ нихъ чувство; возбуждайте чистую, а не корыстную любовь къ добру, заставляйте ихъ любить добро для самого добра, а не изъ награды, не изъ выгоды быть добрыми; возвышайте ихъ души примѣрами самоотверженія и высокости въ дѣлахъ, и не скучайте имъ пошлой моралью. Не говорите имъ: «это хорошо, а это дурно, по тому и по этому», а покажите имъ хорошее, не называя его даже хорошимъ, но такъ, чтобы дѣти сами, своимъ чувствомъ, поняли, что это хорошо; представляйте имъ дурное, тоже не называя его дурнымъ, но такъ, чтобы они по чувству ненавидѣли это дурное. Помните, что основаніе Евангелія есть любовь, а любовь проявляется самоотверженіемъ своего эгоизма, готовностью жертвовать собой и своимъ счастьемъ для добра и правды. Развивайте также въ нихъ и эстетическое чувство, которое есть источникъ всего прекраснаго, великаго, потому что человѣкъ, лишенный эстетическаго чувства, стоитъ на ступени животнаго. Но какъ должно развивать въ дѣтяхъ эстетическое чувство? вотъ вопросъ, на который должны обращать особенное вниманіе писатели для дѣтей. Мы думаемъ, что для этого одно средство: давать дѣтямъ произведенія, сколько возможно доступныя для нихъ, но изящныя, но согрѣтыя теплотой чувства и означенныя большей или меньшей степенью истиннаго таланта. Изъ этого видно, какъ рѣдки должны быть люди, обладающіе талантомъ, необходимымъ для дѣтскаго писателя, и какъ глупы люди, презирающіе этимъ родомъ литературной славы!

Предки Нахимероса. Александръ Филипповичъ Манедонскій. Москва, 1836. Двѣ части (Отрывокъ).

Кому не извѣстенъ талантъ Вельтмана? Кто не странствовалъ съ его «Странникомъ» по всѣмъ странамъ міра, древняго и новаго, словомъ, вездѣ, куда только влекла его прихотливая и причудливая фантазія автора? Кто не жилъ съ нимъ въ баснословныхъ временахъ нашей Руси, столь полной сказочными чудесами, столь богатой сильными, мо-

*) Которая состоитъ изъ двадцати одного листа.

гучими богатырями, красными дѣвцами, сѣдыми кудесниками, всей нечистой силой, начиная отъ дѣдушки Коцея Безсмертнаго до лохматого Домового и оболстительной Русалки стараго Дѣвпра? Кто не помнитъ Ивы Озельковича съ его «нѣтути» и кривыми ногами, кто не помнитъ Милицы и Младеня? А Святославъ, Вразій питомецъ, его пѣстунъ—и кто перечетъ всѣ эти фантастическіе полуобразы, эти пестрыя картины русскаго сказочнаго міра?.. Да, все это носить на себѣ печать истиннаго, неподдѣльнаго таланта, котораго, правда, никогда не становится на что-нибудь цѣлое, полное и стройное, но который тѣмъ не менѣе превосходитъ въ своемъ неоконченномъ, отрывчатомъ, прыгучемъ, такъ сказать, характерѣ. Сверхъ того талантъ Вельтмана самобытенъ и оригиналенъ въ высочайшей степени; онъ никому не подражаетъ, и ему никто не можетъ подражать. Онъ создаетъ себѣ какой-то особенный, ни для кого недоступный міръ; его изглядъ и его слогъ тоже принадлежать одному ему. Болѣе всего намъ нравится его изглядъ на древнюю Русь: этотъ изглядъ чисто сказочный и самый вѣрный. Кто бы сталъ поэтизировать древнюю Русь въ формѣ Вальтеръ Скоттоваго романа, а не въ формѣ полу-фантастической, полу-шутливой сказки—у того вышелъ бы не романъ, а какая-то пародія на романъ, что-то блѣдное, безжизненное, насильственное и натянутое. За примѣрами ходить не далеко. Въ свое время мы поговоримъ объ этомъ подробнѣе. Да, мы твердо убѣждены, что древняя Русь (т.-е. до временъ усиленія Москвы) годится только на сказки, оперы, фантазіи и фантазмагоріи. Вельтманъ хорошо это понималъ, и потому его романы читаются съ удовольствіемъ. Они народны въ томъ смыслѣ, что дружны съ духомъ народныхъ сказокъ, покрыты колоритомъ славянской древности, которая дышетъ въ дошедшихъ до насъ памятникахъ. Онъ понималъ древнюю Русь своимъ поэтическимъ духомъ и, не давая намъ видѣть ее такъ, какъ она была, даетъ намъ чутъ ее въ какомъ-то призракѣ, неуловимомъ, но характеристическомъ, неясномъ, но понятномъ. Одно это можетъ служить неопровержимымъ доказательствомъ неподдѣльности таланта Вельтмана. Въ романѣ или въ повѣсти, гдѣ представляется жизнь дѣйствительная, талантъ иногда можно замѣнить знаніемъ жизни и людей, вѣрнымъ спискомъ въ существующихъ характеровъ, хорошимъ слогомъ, умными замѣтками о жизни, воспоминаніями собственной жизни. Конечно и такой романъ все-таки не будетъ художественнымъ созданіемъ, но онъ можетъ занять на нѣкоторое время общее вниманіе, можетъ прожить хотя короткое время. Но въ созданіяхъ фантастическихъ, сказочныхъ—безъ таланта плохо. Какъ ни натягивайтесь, а все будетъ или смѣшно, или скучно. Чѣмъ вымыселъ неглѣпѣе, тѣмъ онъ неудачнѣе, если сдѣланъ, а не созданъ. Гримаса должна быть къ лицу, если она мила; у фантазіи есть свои гримасы.

Вельтманъ началъ свое поприще плохими поэмами съ стихахъ, но извѣстность приобрѣлъ своимъ

«Странникомъ», этой милой болтовней въ стихахъ и прозѣ о томъ и о семъ, а чаще ни о чемъ. Въ «Странникѣ» выразился весь характеръ его таланта, причудливый, своеобразный, который то взгрустнетъ, то разсмѣется, у котораго грусть похожа на смѣхъ, смѣхъ—на грусть, который отличается удивительною способностью соединять между собой самыя несоединимыя идеи, сближать самыя разнородные образы, отъ кофе переходить къ индійской пагодѣ, отъ жида-фактора, —къ Наполеону, отъ перочиннаго ножичка—къ Байрону, изъ настоящаго перелетать въ прошлое, и изъ всего этого лѣпить какую-то мозаическую картину, въ которой все соединяется очень естественно, ничто другъ съ другомъ не ссорится, словомъ, все принимается на себя какой-то общій характеръ. «Странникъ»—это калейдоскопическая игра ума, шалость таланта. Это не художественное произведеніе, а дѣло и шутка пополамъ; вы и посмѣетесь, и вздохнете, а иногда и освѣжитесь болѣе или менѣе сильнымъ впечатлѣніемъ творчества. Какъ бы то ни было, по крайней мѣрѣ вы не утомитесь, не соскучитесь отъ этой книги, прочтете ее отъ начала до конца, безъ всякаго усилія: а это, согласитесь, большое достоинство. Много ли книгъ, которыя можно читать безъ скуки, добровольно?..

«Коцей Безсмертный» есть лучшее произведеніе Вельтмана. Такъ какъ онъ слѣдовалъ непосредственно за «Странникомъ», то и подавалъ блестящія надежды на талантъ Вельтмана. Въ самомъ дѣлѣ, ничего нѣтъ основательнѣе, какъ ожидать послѣ хорошаго произведенія того или другаго автора еще лучшее, послѣ этого еще лучшее. Постепенная зрѣлость въ послѣдующихъ произведеніяхъ есть самый вѣрный пробный камень силы таланта. Талантъ долженъ идти въ гору, если онъ хочетъ творить не для современниковъ, а для потомства; въ противномъ случаѣ, онъ есть явленіе, можетъ быть прекрасное, но мимолетное, мгновенное, падучая звѣзда, воздушный метеоръ. Всѣ послѣдовавшіе за «Коцеемъ» романы Вельтмана были ознаменованы талантомъ и достоинствомъ, но всѣ они были ниже лучшаго его произведенія—«Коцея Безсмертнаго». Въ его «Мартынѣ Задекѣ» замѣтенъ какой-то намекъ на мысль глубокую и прекрасную, но эта мысль выражена такъ загадочно, все созданіе по обыкновенію изложено такъ отрывочно, что, право, все это начинало походить на злоупотребленіе таланта, на какой-то фокусъ-покусъ фантазіи. Вельтманъ играетъ на свой талантъ, и публика не безъ основанія боится, чтобы онъ не проигрался...

«Александръ Филипповичъ Македонскій» есть продолженіе «Странника»

Сначала романъ Вельтмана удивилъ насъ не много; мы думали: какъ можно тратить свое время на такія конечно очень милыя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и безплодныя вещицы? Это тѣмъ страннѣе, что талантъ Вельтмана годился бы на что-нибудь подѣльнѣе и посущественнѣе... Что это такое? сказка не сказка, романъ не романъ, а если и романъ, то со-

вѣтъ не историческій, а развѣ этимологическій, потому что всѣ дѣйствующія лица помѣшаны на этимологическомъ пронаводствѣ словъ; неужели Вельтманъ захотѣлъ быть изобрѣтателемъ особеннаго рода романовъ—этимологическихъ!..

Но послѣ мы поняли все: это не романъ, а тонкая, злая сатира на историческихъ мистиковъ и отчаянныхъ этимологистовъ. Вотъ доказательство: Вельтманъ доказываетъ, разумѣется, шутя, что Омиръ происходитъ отъ слова «по міру», потому что творецъ «Иліады» былъ слѣпой старикъ и ходилъ по міру!.. У грековъ Вельтманъ нашелъ и вареницы, и кадки, и боченки, и все, что вы можете найти въ московскомъ Охотномъ ряду... Очевидно, что это шутка!..

Но эта шутка написана мило, остро, увлекательно, очаровательно; читая ее, и не видишь, какъ перевертываются листы, и только съ досадою замѣчаешь, что близокъ конецъ. Итакъ, читатель, который хочетъ только позабавиться и имѣть для этого свободное время, можетъ смѣло взяться за новый романъ Вельтмана.

Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. *Сочиненіе Ксенофонта Полевою. Москва. 1836. Дѣя части.*

Геній есть самое торжественное проявленіе силы человѣческаго духа. Ниспосылаемый на землю, какъ рѣшитель препятствій, затрудняющихъ ходъ чело-вѣчества и народовъ, онъ есть какъ бы фокусъ сознанія современнаго ему чело-вѣчества или своего народа. Неистощимый въ силахъ и средствахъ, непобѣдимый въ борьбѣ, загадка для самого себя, то идолъ, то жертва людей, мученикъ своего призванія,—какое высокое и мучительное зрѣлище представляетъ онъ своей жизнью! И люди жадно смотрятъ на это зрѣлище, когда поймутъ и признаютъ его величіе, громко и съ восторгомъ рукоплещутъ умершему актеру, котораго освящивали при его жизни, поклоняются, какъ идолу, закланной ими жертвѣ. И это очень естественно, очень понятно: съ одной стороны только въ борьбѣ и битвахъ съ жизнью творится великое, и въ такомъ случаѣ люди безсознательно служатъ пружинной дѣятельности генія; съ другой стороны только издавѣка грѣютъ и освѣщаютъ лучи солнца, а вблизи они можетъ быть жгли бы и ослѣпляли; не весной и не лѣтомъ, а осенью, не въ пышномъ и благоухающемъ цвѣтѣ, а въ печальной и увядающей зелени, приносятъ дерево свой плодъ. И какъ обвинять людей, что они рѣдко оцѣниваютъ генія при его жизни? Имъ мѣшаютъ хладнокровно и безпристрастно всматриваться въ его жизнь и отношенія личныя, и страсти, страстишки, и самолюбіе эпохи, а сверхъ того они вообще великановъ почитаютъ уродами и ищутъ предметовъ обожанія себѣ по плечу. Но какъ бы то ни было, а истина, наконецъ, возстановляется, хотя и поздно, справедливость воздается, хотя и за гробомъ: зажившіеся геніи сіяютъ людямъ равнымъ и тихимъ свѣтомъ, не ослѣпляя ихъ глазъ и не скрывающая отъ нихъ пятны, и люди съ благоговѣніемъ

поклоняются тѣни великаго, изучаютъ его жизнь и дѣла, чтобы добраться по нимъ, что такое были они сами въ то время, когда онъ представлялъ ихъ собой, т.-е. мыслить, чувствовать, страдать и дѣлать за нихъ. Рѣдко являются на землю эти посланники неба, не каждый вѣкъ и не каждый народъ гордится ими. Несмотря на свое родственное сходство, несмотря на тождество идеи, выражаемой ихъ явленіемъ, они стоятъ не всегда на одной ступени величія, отличаются не всегда равной силой. Но это часто зависитъ отъ обстоятельствъ, среди которыхъ они являются въ міръ. Александры, Цезари, Карлы, Лютеры, Наполеоны дѣйствуютъ прямо на все чело-вѣчество, даютъ направленіе дѣламъ всего міра; Генрихи, Кольберы, Петры дѣйствуютъ на чело-вѣчество и его будущую судьбу не прямо, а чрезъ свой народъ, подготавливая въ немъ новаго дѣйствителя на сценѣ міра.

Нашъ Ломоносовъ принадлежитъ къ числу этихъ скромныхъ, но тѣмъ не менѣ великихъ геніевъ послѣдняго рода. Европа едва ли знала о его существованіи, отечество знало, и то въ лицѣ немногихъ, только имя Ломоносова, но не понимало идеи, значенія этого имени. И теперь, когда уже наступило время безпристрастнаго сужденія объ этомъ чело-вѣкѣ, многіе ли понимаютъ всю огромность его генія, многіе ли даже уважаютъ его по сознанію, по убѣжденію, а не по привычкѣ, не по урокамъ школы, врѣзавшимся въ память, не по нелѣпымъ возгласамъ педантовъ, прожужжавшимъ уши всему читающему міру?.. Да и за что въ самомъ дѣлѣ уважать Ломоносова? Что онъ сдѣлалъ?—Ровно ничего, если угодно. Гдѣ дѣла его? Нигдѣ, если хотите!—Но, спросимъ мы въ свою очередь, что сдѣлалъ Петръ Великій, гдѣ дѣла его?—И на повѣрку выйдетъ опять-таки ничто и нигдѣ!.. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ нынѣшній Петербургъ—его Петербургъ, нынѣшняя Россія—его Россія?... Такъ, не его, не та, совсѣмъ другая; но безъ него она не была бы такой, какой мы ее видимъ!..

Между Ломоносовымъ и Петромъ большое сходство: тотъ и другой положили начало великому дѣлу, которое потомъ пошло другимъ путемъ, другимъ образомъ, но которое не пошло бы безъ нихъ. Дать ходъ идѣ, пробудить жизнь въ автоматѣ—великое дѣло, на которое мало здраваго смысла, мало ума, мало таланта, на которое нуженъ геній, а геній есть олицетвореніе, проявленіе идеи цѣлаго чело-вѣчества, цѣлаго народа въ лицѣ одного чело-вѣка. Геній не есть, какъ сказалъ Бюффонъ, терпѣніе въ высочайшей степени, потому что терпѣніе есть добродѣтель посредственности, бездарности; но онъ есть сильная воля, которая все побуждаетъ, все преодолеваетъ, которая не можетъ погнуться, не можетъ отступить, хотя и можетъ переломиться, пасть, но въ такомъ случаѣ она уже не переживетъ себя. Да, сила воли есть одинъ изъ главнѣйшихъ признаковъ генія, есть его мѣрка.

И какъ изумительно, какъ чудесно проявилась эта дивная сила въ Ломоносовѣ! Чтобы понять это вполне, надо забыть наше время, наши отношенія,

надо перенестись мыслью въ ту эпоху жизни Россіи, когда грамотныхъ людей можно было перечестъ по пальцамъ, когда ученіе было чѣмъ-то тождественнымъ съ колдовствомъ; когда книга была рѣдкостью и неоцѣненнымъ сокровищемъ. И въ это-то время на берегу Ледовитаго океана, на рубежѣ природы, въ царствѣ смерти, родился у рыбака сынъ, который съ чего-то забралъ себѣ въ голову, что ему надо, непременно надо учиться, что безъ ученія жизнь не въ жизнь. Ему этого никто не толковалъ, какъ толкуютъ это нынче, его даже били за охоту къ ученію, какъ нынче бьютъ за отвращеніе къ наукѣ. Чуденъ былъ этотъ мальчикъ, не походилъ онъ на добрыхъ людей, и добрые люди, глядя на него, пожимали плечами. Всѣ, и старіе его, и молодые, и ровесники, всѣ смотрѣли на вещи глазами «здраваго смысла» и, по привычкѣ видѣть ихъ каждый день, не видѣли въ нихъ ничего необыкновеннаго: солнце имъ казалось большимъ фонаремъ, свѣтившимъ имъ полгода, а чудное сіяніе въ полугодовую ночь—отблескомъ большого зажженного костра дровъ; необозримое море они почитали за большой рыбный садокъ; словомъ, этимъ благоразумнымъ людямъ все казалось обыкновеннымъ, кромѣ денегъ и хлѣба. Но мальчикъ смотрѣлъ на все это другими глазами: въ полугодовой ночи онъ видѣлъ что-то чудное, скрывавшее въ себѣ таинственный смыслъ; океанъ манилъ его въ свою неисходную даль, какъ бы обѣщая ему объяснить все непонятное, все, что сообщало его душѣ странные порывы, волновало его грудь неизяснимой и сладкой тоской, возбуждало въ его умѣ вопросы за вопросами... Да, мальчикъ былъ любимое дитя природы, родной сынъ между миллионами пасынковъ, а между любимымъ сыномъ и любящей матерью всегда существуетъ симпатическое чувство, которымъ они молча понимаютъ другъ друга... Но мальчику мало было понимать чувствомъ, онъ хотѣлъ понять разумомъ; ему мало было любоваться на прекрасную природу, онъ хотѣлъ заставить ее говорить съ собой, открыть себѣ ея завѣтныя тайны, словомъ ему хотѣлось чего-то такого, чего онъ не умѣлъ называть и чего боялся... И вотъ онъ, покорный внутреннему голосу, оставляетъ любимаго отца и ненавистную мачиху, бѣжитъ въ Москву... За чѣмъ?—учиться. Страшный мальчикъ! чего онъ надѣялся, чего добивался? Тогда еще не давали за знанія чиновъ, тогда наука еще не была дойной коровой, и не золото, не почести, а бѣдность, горестъ и униженіе сулили они безумному... Говорятъ, что есть свои наслажденія въ наукѣ, потому только, что она наука, свое блаженство въ истинѣ, потому только, что она истина; говорятъ, что и вишняя жизнь не удовлетворяетъ даже тѣхъ людей, которые исключительно для нея созданы, потому что среди избытка земныхъ благъ эти люди желаютъ еще большихъ, которыхъ земля уже не въ состояніи имъ дать, и что будто бы эта ненасытность себя доказательство невозможности удовлетворенія себя однимъ земнымъ; говорятъ, что, напротивъ, внутренняя жизнь вполне удовлетворяетъ человѣка, внимательнаго къ ея таинственно-

му зову, что духовная пища насыщаетъ, не обременяя, услаждаетъ, не производя отвращенія; говорятъ еще, что будто бы есть свое счастье въ несчастіи, свое блаженство въ страданіи, свое сладострастіе въ лишеніяхъ и жертвахъ для истиннаго, благого и прекраснаго... Да, это говорятъ и пишутъ не только нынѣ, и говорятъ это не одни мудрые вѣка, но и люди обыкновенные, говорятъ не какъ истины вѣроятныя, но какъ аксіомы непреложныя; но тогда, но въ то время въ самой Европѣ эти истины постигались только избранными, только солью земли, и постигались темнымъ чувствомъ, а не сознательнымъ разумѣніемъ; въ Россіи же никто не подозрѣвалъ ихъ, никто и не догадывался о нихъ. Кто жъ сказалъ о нихъ нашему бѣдному, необразованному юношѣ, нашему холмогорскому мужику, человѣку низкаго происхожденія?—Никто, кромѣ этого внутреннего голоса, который слышится душѣ избранной, никто, кромѣ этой глубокой вѣры, которая двигаетъ горы съ мѣста на мѣсто!.. Кто далъ ему средство идти съ такимъ упорствомъ къ своей цѣли?—Никто, кромѣ этой могучей воли, которая есть орудіе генія... Иди же въ свой путь, стремись на великое дѣло, юный геній! Борись съ людьми, страдай отъ нихъ, для ихъ же счастья, жми руку богачу, склоняй чело предъ вельможей, но не для нихъ и не для себя, а ради приращенія науки въ любезномъ отечествѣ, и не забывай, что это не долгъ, а жертва съ твоей стороны, что ты не долженъ, ради суеты земной или раболѣпнаго удивленія къ блестящей ничтожности, къ позлащеннымъ кумирамъ, унижать передъ сынами земли, любимцами сѣбного счастья, своего достоинства, своего великаго сана, своего высокаго рода, ты, избранныкъ Божій, гражданинъ неба, вельможа вселенной!..

И Ломоносовъ не измѣнилъ своему назначенію: вся жизнь его была прекраснымъ подвигомъ, безпрерывной борьбой, безпрерывной побѣдой. Голова ходитъ кругомъ отъ мысли, что было сдѣлано въ Россіи до Ломоносова, и что онъ долженъ былъ сдѣлать, и что сдѣлалъ. Петръ Великій, прежде нежели завелъ въ Россію первую типографію, долженъ былъ самъ нарисовать формы новыхъ буквъ; прежде нежели увидѣлъ первый печатный листъ, долженъ былъ своими державными руками править корректуру; прежде нежели увидѣлъ обученное войско, долженъ былъ собой показать идеалъ солдата, идеалъ повиновенія; прежде нежели увидѣлъ успѣхъ военныхъ укрѣпленій и флота, долженъ былъ самъ быть и кузнецомъ, и плотникомъ, и слесаремъ, и столяромъ, словомъ—всѣмъ. Такъ и Ломоносовъ: онъ все долженъ былъ самъ сдѣлать, всему положить начало; строя домъ, долженъ былъ дѣлать и подмошки, обжигать кирпичи и растворять известь. До него существовала только русская азбука, но не было русскаго языка, и только послѣ него сталъ возможенъ въ Россіи раздѣлъ ученыхъ и литературныхъ трудовъ. И вотъ онъ пишетъ грамматику, которая уже не годится для нашего времени, но лучше которой еще не являлось у насъ; даетъ законы языку и утверждаетъ ихъ образцами. Какой же можно тре-

бовать художественности отъ его стихотвореній и его похвальныхъ словъ, когда они писаны были не столько по призыву вдохновенія, не столько изъ безсознательной потребности творить, сколько по призыву нужды, сколько по сознательному желанію дать образцы литературы и повѣрить на практикѣ теорію языка и стихосложенія. И какъ онъ успѣлъ въ послѣднемъ! Введенное имъ стихосложеніе осталось навсегда въ русскомъ стихотворствѣ, и стихи его, по гармоніи, гладкости, правильности языка, гораздо выше его прозы, въ которой онъ старался поддѣлаться подъ складъ и конструкцію латинской прозы. Мы даже думаемъ, что Ломоносовъ былъ человѣкъ съ рѣшительнымъ талантомъ къ поэзіи: кромѣ яркихъ, хотя и немногихъ проблесковъ истинной поэзіи, въ его одахъ есть строфы, какъ будто написанныя десять лѣтъ назадъ тому. Конечно въ наше время звучный и гладкій стихъ уже не есть несомнѣнный признакъ таланта, но тогда, во времена Кантемировъ, Тредьяковскихъ, Сумароковыхъ, тогда одно внѣшнее достоинство Ломоносовскихъ стиховъ могло ручаться за неподдѣльное внутреннее достоинство. Въ самомъ дѣлѣ, когда у насъ стали даже и бездарные люди писать гладкими и звучными стихами?—Послѣ Пушкина; и я заключаю изъ этого, что даже внѣшняя сторона искусства доступна только одному таланту, и уже не прежде, какъ послѣ его подвига, она дѣлается достояніемъ рутинеровъ. Риторика Ломоносова тоже была великой заслугой для своего времени; если она теперь забыта, то не потому, чтобы мы имѣли риторики выше ея по достоинству, а потому, что теперь риторика въ томъ значеніи, какое даютъ ей, какъ науку, научающей красно писать, сдѣлалась неслыханнымъ достояніемъ педантовъ, гаупцовъ, и считается за такую же науку, какъ алхимія и астрологія. Ломоносовъ былъ не только поэтомъ, ораторомъ и литераторомъ, но и великимъ ученымъ. Обширная область естествознанія сильно манила его пылливый умъ, и не вотще, по прекрасному выраженію Полевого, «въ видѣ Ломоносова, Россія стучалась въ двери Вольфа, съ жаждой науки и знанія». Онъ всѣмъ занимался съ жаромъ, любовью и успѣхомъ. И сколько трудовъ долженъ былъ во всемъ преодолѣть! Онъ пристрастился, напирѣвъ, къ мозаикѣ, и что жъ?—принужденъ былъ самъ отливать разноцвѣтные стекла! Кромѣ того самъ дѣлалъ, какъ позволяли ему средства, физическіе инструменты. Тогда не то, что нынѣ, тогда Академія Наукъ была бѣднѣе всякой нынѣшней гимназіи. Да объ Академіи тогда и не очень заботились, она была, какъ и самое просвѣщеніе, родъ какого-то парада для торжественныхъ дней,—форма, вывезенная изъ Европы, безъ идеи. Планъ основанія Академіи принадлежитъ Петру Великому, и если бы Провидѣніе допустило его осуществить этотъ планъ, тогда Академія видѣла бы заботы и попеченія о себѣ и по крайней мѣрѣ не нуждалась бы въ пособіяхъ; но послѣ Петра до Екатерины II смотрѣли на Академію какъ на мѣсто, въ которомъ говорятъ торжественныя рѣчи въ торжественные дни—не

больше. Даже просвѣщенное покровительство благороднаго Шувалова немного давало Ломоносову средствъ къ возвышенію этого единственнаго ученаго общества въ Россіи. Шуваловъ также не всегда могъ защищать Ломоносова отъ подлецовъ-рутинеровъ, Тредьяковскихъ, и проч. Академическая канцелярія была сильнѣе цѣлой Академіи, подъячье было сильнѣе академиковъ.

Не прекрасна ли такая жизнь? Не интересенъ ли такой человѣкъ? Или, лучше сказать, не должны ли такіе люди составлять предметъ живѣйшаго любопытства, глубокаго благоговѣнія для всѣхъ народовъ вообще и для своего въ особенности? Не есть ли Ломоносовъ одна изъ самыхъ яркихъ народныхъ славъ? Ученый, поэтъ и литераторъ не по случаю, а по призванію, онъ преодолѣлъ тысячи препятствій и во всю жизнь остался человѣкомъ, ученымъ труженикомъ, а не сдѣлался, когда улынулось ему мірское счастье, вельможей, знатнымъ баринномъ... Какъ рѣзка разница между гениемъ и простымъ дарованіемъ! Карамзинъ былъ съ большимъ дарованіемъ, много сдѣлалъ для русской литературы, но какъ Ломоносовъ-то былъ выше его! Одинъ безъ средствъ, безъ способствъ, находить все самъ, борется на каждомъ шагу; другой, воспитанникъ Новикова, подготовленный къ нѣмецкому образованію, сбивается съ своего пути и, знакомый съ нѣмецкой и англійской литературами, увлекается пустымъ блескомъ «свѣтской» французской учености и остается ей вѣренъ при общемъ переворотѣ ученыхъ и литературныхъ идей, при рѣшительномъ отступничествѣ Франціи самой отъ себя и рѣшительномъ перевѣсѣ германской мыслительности. Поэтому, одинъ съ пустыми вспоможеніями, съ малымъ достаткомъ проводить всю жизнь въ укромной тишинѣ кабинета и выходить изъ него только къ Шувалову, и то въ надеждѣ «какого-нибудь обрадованія по своимъ справедливымъ для пользы отечества прошеніямъ», трудится надъ полемъ глухимъ, заросшимъ, къ которому отъ вѣка не прикасалась нога человѣческая, и творить изъ ничего; другой со всѣми средствами принимается за поле, еще не обработанное, не засѣянное, но уже подвергшееся хотя первоначальной разработкѣ, продолжаетъ свое прекрасное дѣло съ успѣхомъ, который замѣчаютъ, ободраютъ, и онъ, взысканный признательностью и милостями, оканчиваетъ свое дѣло уже какъ бы ex-officio, дѣлается свѣтскимъ человѣкомъ, вельможей...

Доселѣ у насъ не было біографіи Ломоносова, всѣ извѣстія о его жизни являлись въ разбросанныхъ отрывкахъ тамъ и сямъ. К. Полевой рѣшился пополнить этотъ недостатокъ въ нашей литературѣ и выполнилъ свое намѣреніе съ блестящимъ успѣхомъ. Его книга не романъ и не біографія въ точномъ смыслѣ этого слова. Настоящей біографіи Ломоносова не можетъ и быть, потому что этотъ необыкновенный человѣкъ не оставилъ по себѣ никакихъ записокъ, современники его тоже не позаботились объ этомъ. Да и какъ требовать отъ нихъ этого: они смотрѣли на Ломоносова не какъ на гениальнаго человѣка, а какъ на безпокойную и опасную для

общественнаго благосостоянія голову; посредственность ничѣмъ такъ жестоко не оскорбляется, какъ истиннымъ превосходствомъ, и во всякаго рода превосходствѣ видитъ буйство и зажитательство... И такъ, можетъ быть только хронологическій перечень сочиненій Ломоносова, съ обозначеніемъ главныхъ событій его жизни, но полная картина жизни гениальнаго человѣка исчезла навсегда. Чтобы представить ее, нужно дополнить, расцвѣтить воображеніемъ извѣстные факты, оттушевать фантазіей сухой очеркъ. Такъ и сдѣлалъ Полевой. Онъ не позволялъ себѣ ни одного вымышленнаго факта; у него есть вымыселъ, но онъ состоитъ въ расцвѣтленіи живыми подробностями какого-нибудь извѣстнаго факта. Объяснимъ это примѣромъ: извѣстно, по одному дошедшему до насъ письму Ломоносова къ Шувалову, что этотъ вельможа хотѣлъ помирить его съ Сумароковымъ; прочтите описаніе этого происшествія у Полевого, и вы поймете, въ чемъ состоитъ его изобрѣтеніе, которое намъ кажется совершенно позволительнымъ и законнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, какое умѣнье поэтизировать свой предметъ; какая вѣрность живописи! Ломоносовъ — весь въ этомъ отрывкѣ, таковъ, какъ виденъ въ своемъ письмѣ къ Шувалову, — этомъ образцѣ благородства и приподушій. А Сумароковъ! о, и онъ весь, со всѣмъ своимъ самохвальствомъ, пустотой и ничтожностью! Но это не лучшее мѣсто въ книгѣ: юность Ломоносова, постепенное развитіе его гения и сознаніе своего признанія, жизнь въ Германіи, любовь, женитьба, бѣгство въ Россію, первые успѣхи, борьба съ невѣжествомъ, — словомъ, весь Ломоносовъ, вся жизнь его изображены такъ просто, благородно, увлекательно, съ такимъ одушевленіемъ. Вы читаете не компиляцію, не сборъ фактовъ, а видите живую и полную картину, чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе приговывающую къ себѣ ваши глаза. И не могло быть иначе: все созданіе проникнуто идеей, и вы вездѣ, какъ въ общности, такъ и въ малѣйшихъ подробностяхъ, видите эту идею, а эта идея, — внутренняя жизнь человѣка и гения. Взглядъ на Ломоносова самый вѣрный, по крайней мѣрѣ для насъ: все сужденія о каждомъ отдѣльномъ трудѣ Ломоносова обнаруживаютъ здравыя литературныя понятія; нѣтъ ни малѣйшихъ отступленій отъ истины. Мы разумѣемъ здѣсь истину высшую, истину идеи, которая сообщаетъ истину и изложенію, и подробностямъ. Языкъ вездѣ изящный и благородный, по мѣстамъ искусно и удачно поддѣлывающійся подъ старину. Все созданіе проникнуто истинной художественностью, достойной своего высокаго предмета. Мы уже сказали, что это и не романъ, и не біографія въ точномъ смыслѣ этихъ словъ; но это дѣло и ума, и фантазій, это поэтическая біографія, принадлежащая и къ наукѣ, и къ искусству, — родъ совершенно новый, оригинальный.

Да, мы чистосердно и добросовѣстно можемъ сказать, что книга Ксенофонта Полевого есть пріятное явленіе въ нашей литературѣ, прекрасный подарокъ публикѣ. Мы особенно рекомендуемъ ее молодому поколѣнію, изъ среды котораго готовятся бу-

дущіе дѣятели на нивѣ человѣческой мысли: оно найдетъ для себя высокіе уроки въ этой книгѣ, оно увидитъ въ жизни Ломоносова свой долгъ и свое назначеніе, оно узнаетъ изъ нея, что только въ честной и безкорыстной дѣятельности заключается условіе человѣческаго достоинства, что только въ силѣ воли заключается условіе нашихъ успѣховъ на избранномъ поприщѣ. Не всякому природа даетъ гений, не всякому назначено быть Ломоносовымъ, но и безъ гения у человѣка можетъ быть стремленіе къ благу, и добрая, если не сильная воля, а съ стремленіемъ къ благу и доброй волей всякій можетъ выполнить свое назначеніе на поприщѣ дѣятельности, отмежеванномъ природой и указаномъ сознаніемъ своей способности! Зрѣлище жизни великаго человѣка есть всегда прекрасное зрѣлище: оно возвышаетъ душу, миритъ съ жизнью, возбуждаетъ дѣятельность!..

Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Второе изданіе. Спб. 1836.

...Мы было дали себѣ слово ничего больше не говорить о стихотвореніяхъ Бенедиктова, предоставляя времени рѣшить вопросъ о ихъ достоинствѣ, этотъ вопросъ, который для нѣкоторыхъ кажется важнымъ и спорнымъ; но второе изданіе этихъ стихотвореній заставляетъ насъ, противъ воли, нарушить слово. Чтобы не повторять уже сказаннаго нами такъ опредѣлительно и ясно и чтобы въ самомъ дѣлѣ не сдѣлать важнаго вопроса изъ такого простаго и очевиднаго дѣла, мы скажемъ только, что вторичное прочтеніе «Стихотвореній» Бенедиктова не только не заставило насъ переимѣнить уже высказаннаго мнѣнія, но еще болѣе утвердило въ немъ. Да почему бы мы и переимѣнили его? у Бенедиктова попрежнему «сверкаютъ веселья; любовь гнѣздится въ ущельяхъ сердецъ; дѣва вносится на горящей ладони въ вихрь круженія; любовь блеститъ цвѣтными огнями сердечнаго неба; чудная дѣва влечетъ магнитными прелестями желѣзные сердца; солнце вонзаетъ въ дождевыя капли пламя своего луча; искра души прихотливо подлетаетъ къ парѣ черненькихъ глазъ и умильно поглядываетъ въ окна своей храмины; Матильда сидитъ на жеребцѣ плотнымъ усѣтомъ; могучей рукой вонзается сталь правды въ шипучее сердце порока; морозный паръ безстрастнаго дыханія падаетъ на пламя красоты», и пр., и пр. Да, все эти выраженія у Бенедиктова стоятъ попрежнему, а мы попрежнему думаемъ, что тотъ совсѣмъ не поэтъ, кто прибѣгаетъ въ своихъ стихахъ къ подобнымъ украшеніямъ. Правда, мы замѣтили двѣ значительныя переимѣны или поправки; можетъ быть есть еще и другія переимѣны, кромѣ этихъ. Безъ сомнѣнія, новые стихи лучше прежнихъ; но что все это доказываетъ? — Ничего болѣе, какъ то, что мы правы въ нашемъ мнѣніи о достоинствѣ «Стихотвореній» Бенедиктова. Такъ какъ переправлены и передѣланы стихи, замѣченные нами въ то время, какъ особенно дурные, то мы въ правѣ думать, что эти, хотя немногія, поправки

сдѣланы авторомъ вслѣдствіе нашихъ замѣчаній. Намъ пріятно видѣть, что Бенедиктовъ обратилъ вниманіе на наши совѣты и воспользовался ими, хотя и поздно; но это дѣлаетъ честь его характеру, какъ человѣка, а не какъ поэта: по нашему мнѣнію, поэтъ долженъ быть упрямъ и стоекъ, будучи увѣренъ, что каждый его стихъ есть плодъ вдохновенія, которое никогда не обманывается, которое всегда творить вѣрно; долженъ походить на Пушкина, который въ отвѣтъ одному критику, осуждавшему его стихъ изъ «Цыганъ»:

И съ камня на траву свалился,

сказалъ: «я долженъ былъ такъ выразиться, я не могъ иначе выразиться».

Ночь. Сочиненіе С. Темнаго. Спб. 1836. (Отрывокъ).

...Замѣтно, что эта «Ночь» есть произведеніе молодого человѣка съ душой, съ пыломъ, но еще не созрѣвшаго для мысли, еще не умѣющаго отдавать самому себѣ отчетъ въ своихъ мысляхъ, а уже сгорающаго желаніемъ написать и издать въ свѣтъ что-нибудь, непременно написать и издать. Опасное желаніе, которое губитъ истинный талантъ, вымучивая изъ него насильственными и недозрѣлыми созданіями, которое плодитъ толпы дурныхъ писателей, служа имъ порукой за то, что они имѣютъ таланты! О, если бы каждый молодой человѣкъ, не лишенный чувства и сгорающій желаніемъ печататься, издавалъ всѣ плоды своей фантазіи, сколько бы дурныхъ книгъ бросилъ онъ въ свѣтъ и сколько бы раскаяніи приготовилъ себѣ въ будущемъ!.. Мы говоримъ это отъ чистаго сердца, говоримъ даже по собственному опыту, потому что имѣемъ причины благодарить обстоятельства, которыя помѣшали намъ приобрѣсть жалкую эфемерную извѣстность мнимыми произведеніями искусства и занять мѣсто въ забавномъ ряду литературныхъ рыцарей печальнаго образа. Пишущіе люди раздѣляются на литераторовъ и литературщиковъ: первые пишутъ по призванію, по сознанію своей способности писать; вторые — самозванцы. Нынѣ уже настало время, что понимаютъ различіе между этими двумя словами; нынѣ литераторъ есть лицо почтенное, а литературщикъ — смѣшное и жалкое. Нынѣ молодой человѣкъ, пишущій не по невозможности не писать, не по желанію высказать что-нибудь такое, что онъ хорошо созналъ, въ чемъ вполне убѣдился, или что ясно себѣ представилъ, пишущій прежде времени, безъ приготовленія, больше, нежели когда-либо, похожъ на мальчика, который надѣваетъ огромный галстукъ до ушей, закладываетъ руки въ карманы, принимаетъ на себя серьезный видъ и корчитъ взрослага человѣка. Всему есть свое время; прежде составляли себѣ литературную извѣстность какимъ-нибудь четверостишіемъ къ «Лилѣ» или «Нинѣ», прежде молодые люди думали, что напечатать свое имя значить прославиться и сдѣлаться изъ ничего чѣмъ-то; нынѣ совсѣмъ напротивъ: нынѣ молодой человѣкъ съ истиннымъ достоинствомъ, подающій

о себѣ истинныя надежды, заботится прежде всего обогатить себя познаніями —

И не торопится вписаться въ поля шутковъ.

Нынѣ молодой человѣкъ съ умомъ и чувствомъ убѣжденъ, что спасеніе не въ одной литературѣ, слава не въ одномъ марафѣ бумаги, а въ выполненіи своихъ человѣческихъ обязанностей, въ стремленіи къ тому, къ чему назначила его природа, къ чему онъ сознаетъ себя способнымъ. Оно такъ и должно быть: «вчера» всегда хуже «нынче», «завтра» всегда лучше «нынче»; поколѣнія совершенствуются, и при замѣтномъ ходѣ просвѣщенія и образованности въ Россіи уже не рѣдкость встрѣчать шестнадцатилѣтнихъ юношей, которые съ насмѣшливой улыбкой смотрятъ на двадцатилѣтнихъ, не говоря уже о тридцатилѣтнемъ поколѣніи, къ которому, за слишкомъ немногими исключеніями, все еще идетъ этотъ стихъ Гребѣдова:

А ты, мой батюшка, неизлѣчимъ, хоть брось!

Святоточные вечера, или разсказы моей тетушки. Москва. 1835. Дѣт. книжка.

Чудно устроенъ бѣлый свѣтъ, какъ подумаешь! Не напрасно говорить русская пословица: «по платью встрѣчаютъ, по уму провожаютъ!» Вотъ катится по звонкой мостовой великолѣпная карета, которую мчитъ, какъ вѣтеръ, шестерня лихихъ лошадей; фюреръ кричитъ громко «пади»; сановитый кучеръ съ окладистой бородой ловко правитъ рыными бѣгунами; двѣ длинныя статуи въ либреяхъ горделиво стоятъ назади; трескъ, громъ, пыль; мелкіе экипажи сворачиваютъ, прохожіе бѣгутъ. И что жъ?—Вы думаете тамъ, за полированными стеклами, на сафьяновыхъ подушкахъ сидитъ какое-нибудь божество, доблесть, слава, гений?.. Нѣтъ! тамъ часто зѣваетъ пресыщенное честолюбіе, самолюбивая глупость, дряхлое ничтожество, которое не стоитъ сбруи, дешевле позолоты!—А вотъ мчится легкая, воздушная коляска на парѣ вороныхъ; мостовая съ дробнымъ ролотомъ вырывается изъ-подъ ней; Аполлонъ, свѣтоточный богъ искусствъ, съ охотой промѣнялъ бы ее на свою дрянную колесницу въ древнемъ вкусѣ; въ ней сидятъ мужчина и женщина; вы думаете, это чета влюбленныхъ, упивающаяся всей роскошью, всѣмъ избыткомъ и душевныхъ, и вещественныхъ благъ, — чета, дышащая атмосферой изъ радостей, восторговъ и наслажденій жизни?.. Нѣтъ, это не то, это лохматая борода, черные зубы, слои бѣлилъ и румянъ, это барышъ и торговля, обманъ и безсовѣстіе, словомъ, это тѣ же лыки, та же мочала, только въ позолотѣ другого рода; это та же ветошь, тотъ же отсѣдъ жизни, только подъ лакомъ другого цвѣта!—Куда же обратиться? Гдѣ искать и находить безъ ошибки, безъ разочарованія? Э, постойте! вотъ идетъ или, лучше сказать, вотъ ползетъ на смиренной клѣтѣ какаго-то умиленная фигура съ сверткомъ бумагъ въ рукѣ, въ одеждѣ служителя Фемиды. Пойдемъ къ нему, поговоримъ съ нимъ.

Можетъ быть это одинъ изъ тѣхъ людей, которые могли бы ѣздить въ каретѣ, но ѣздить на калиберѣ, потому что мысль и чувство всегда предпочитали общественному мнѣнію, а долгъ человѣка и христіанина мишурнымъ выгодамъ жизни, которые въ сознаніи своего человѣческаго достоинства находятъ для себя достаточное вознагражденіе за всѣ лишенія и страданія, добровольно нми на себя наложенныя?.. О нѣтъ! это просто подъячій, человѣкъ, который никогда и не думалъ ни о чувствѣ, ни о мысли, ни о долгѣ, ни о человѣческомъ достоинствѣ; чувство всегда полагалъ онъ въ сытномъ обѣдѣ и рюмкѣ водки, мысль для него заключалась въ удобствахъ жизни, долгъ — въ повтореніи нѣсколькихъ пошлыхъ правилъ, затверженныхъ имъ съ юности, а человѣческое достоинство — въ чинѣ коллежскаго асессора и выгодномъ мѣстѣ; ѣдетъ онъ на калиберѣ изъ трактира, гдѣ его угощали по силѣ возможности, чѣмъ Богъ послалъ, усердный проситель... Но я вижу, мы несчастливы во всѣхъ нашихъ наблюденіяхъ надъ развѣжающими на лошадахъ; попытаемъ счастья надъ пѣшеходами. Вотъ стоитъ нищій: подойдемъ къ нему, скажемъ ласковое слово, подадимъ копѣйку — онъ нашъ братъ по Христу; узнаемъ, почему онъ нищій, зачѣмъ онъ нищій. Можетъ быть это одна изъ тѣхъ горделивыхъ и непреклонныхъ душъ, которая хочетъ или всего, или ничего, оданъ изъ тѣхъ крѣпкихъ и гордыхъ кедровъ человѣчества, которые, стоя на величайшей вершинѣ мысли и чувства, могутъ скорѣе переломиться, нежели погнуться отъ бури несчастья; одинъ изъ тѣхъ людей, который любилъ людей, хотѣлъ имъ добра, требовалъ отъ нихъ сочувствія и, не получивъ его, хотѣлъ жить на ихъ счетъ, ничего не дѣлая имъ, презирая и ихъ хвалой, и ихъ осужденіемъ; или можетъ быть это человѣкъ выстрадавшійся, падшій подъ бременемъ несчастья, для котораго нѣтъ ни добра, ни зла, ни чести, ни безчестія, ни гордости, ни униженія, живой автоматъ, въ которомъ не погасъ одинъ инстинктъ жизни и развѣ сознаніе своей нравственной смерти; или можетъ быть это одно изъ тѣхъ дивныхъ существъ, которыхъ называютъ дервишами, юродивыми, для которыхъ нѣтъ на землѣ ни отечества, ни родныхъ, ни благъ, ни горестей, ни радостей, которые не умѣютъ трехъ перечестъ, а знаютъ, что насъ ждетъ за гробомъ, — словомъ, одинъ изъ этихъ великихъ поэтовъ, которые не пишутъ въ жизнь свою ни одной строки и которые тѣмъ не менѣе великіе поэты! — Нѣтъ, все не то: это просто разирать, прикрытый лохмотьями, живая спекуляція на состраданіе и милосердіе ближнихъ, лѣность, прикрывающаяся гримасой убожества и несчастья! — Гдѣ жъ люди-то? Въ чемъ они ѣздить, какъ они ходятъ, во что одѣваются? Гдѣ жъ люди? — Вездѣ и нигдѣ, если хотите; иногда и въ каретахъ, иногда и въ рубищѣ на перекресткѣ. Вездѣ; только помните, что это явленія необыкновенныя, рѣдкія, исключительныя. «Бочка дегтю, ложка меду»: вотъ вамъ великій міровой законъ въ пошлой формѣ!

То же самое представляетъ и книжный міръ: «бочка дегтю, ложка меду!» — Было время, когда книгопечатаніе почиталось чѣмъ-то святымъ и таинственнымъ, когда имъ занимались со страхомъ и трепетомъ, какъ дѣломъ не житейскимъ. И тогда печатались дурныя книги, но отъ неумѣнья, отъ невѣжества, отъ бездарности, а не отъ недобросовѣстности, не отъ умышленнаго и сознательнаго желанія сдѣлать изъ житейскихъ выгодъ дурное дѣло. Теперь же, когда люди поддались коммерческому напавленію, когда они спекулируютъ и религіей, и совѣстью, и правосудіемъ, — теперь книгопечатаніе ни больше, ни меньше, какъ фабрикація сбыточнаго товара; такъ извольте жъ послѣ этого судить о книгахъ по ихъ внѣшней типографской красотѣ и достоинству! Здѣсь такъ же можно ошибиться, какъ и въ людяхъ. Что это такое, такъ изячно, просто и красиво изданное? — Это стихотвореніе Пушкина, того поэта, который первый объяснилъ для насъ тайну поэзіи. По заслугѣ честь! — А это что такое, такъ же хорошо, такъ же тщательно изданное? — Это романъ Булгарина, это «Александроида» Свѣчина!.. Видите, ни одинъ господа ходитъ въ модныхъ фракахъ; въ нихъ щеголяютъ и «Иваны»... А это что за книга, напечатанная такъ скромно, какъ всѣ книги, печатанныя въ типографіи Греча, на такой сѣрватой бумагѣ, съ такимъ множествомъ опечатокъ? — Это «Арабески» Гоголя, въ нихъ помѣщены «Невскій Проспектъ» и «Записки Сумасшедшаго»! Теперь видите: не одни «Иваны» ходятъ въ байковыхъ сюртукахъ съ мѣдными пуговицами; въ нихъ иногда рядятся и господа, иногда отъ нужды, иногда по прихоти или безпечности. Что жъ тутъ остается дѣлать?.. «По платью встрѣчать, по уму провожать», какъ гласитъ мудрая русская пословица.

Передъ нами лежитъ теперь книжка или, лучше сказать, книжонка, напечатанная на бумагѣ, въ которой отпускаются товары «авошныхъ» лавочекъ, кривыми, косыми, слѣпыми буквами, съ ужаснѣйшими опечатками, грамматическими ошибками, словомъ, изданная въ типографіи Пономарева. И что же? — Чтеніе этой книжонки порадовало насъ и доставило больше удовольствія, нежели чтеніе многихъ «свѣтскихъ» романовъ и «свѣтскихъ» журналовъ. Мы можемъ быть и не увидѣли бы этой книжонки, потому что она можетъ быть и не дошла бы до насъ. Но намъ объ ней было говорено какъ о рѣдкости, и мы ее достали. Надобно сказать, что мы читаемъ всѣ доходящія до насъ книги хотя до половины, хотя по нѣскольку страницъ, смотря по тому, какъ сможетъ: это наше святое правило, это наше добровольное мученичество, за которое мы надѣмся получить отпущеніе хотя въ половинѣ нашихъ грѣховъ, разумѣется, литературныхъ. Итакъ, мы развернули эту книжку съ конца и прочли «Чудную встрѣчу».

Здѣсь виденъ если не талантъ, то зародышъ таланта. Авторъ очевидно небольшой грамотей, еще новичекъ въ своемъ дѣлѣ; и оттого его языкъ часто въ разладѣ съ правилами, часто въ его разсказахъ встрѣчаются обмолвки противъ характера простоду-

шій, который онъ на себя принялъ; онъ прикидывается простымъ человѣкомъ, хочетъ говорить съ простыми людьми, и между тѣмъ употребляетъ слова «фантазія, тѣни умершихъ» и тому подобное. Но, несмотря на все это, какое соединеніе простодушія и лукавства въ его разсказѣ; какая прекрасная мысль скрывается подъ этой русско-простонародно-фантастической формой! Это не сказка казака Луганскаго, въ которой часто нѣтъ ни мысли, ни цѣли, ни начала, ни конца. Совѣтуемъ неизвѣстному автору обратить вниманіе на свой талантъ и видѣть въ немъ не одно средство къ приобрѣтенію тѣхъ жалкихъ и ничтожныхъ выгодъ, которыя могутъ доставить ему Муррай и Лавочка толкучаго рынка. Мы съ своей стороны почтемъ для себя за долгъ слѣдить за развитіемъ его таланта и быть посредниками между имъ и публикой. Талантъ дѣло великое! Мы готовы идти отыскивать его не только на толкучемъ рынкѣ, но даже въ грязи Михонскаго болота, куда профессоръ Сенковскій посылалъ А. С. Пушкина за «Библіотекю для Чтенія».

Литературная хроника.

Описывая, не мудрствуя лукаво.
Пушкѣнъ.

Начиная четвертый годъ своего существованія, «Московский Наблюдатель» хочетъ наконецъ поправить передъ публикой свою вину, нетивную или мнимую, отвратить отъ себя ея упрекъ, заслуженный или незаслуженный: полная по возможности библіографія отнынѣ будетъ его постоянной статьей. Не знаемъ, интересно ли будетъ публикѣ — этому грозному властелину-невидимкѣ, присутствіе котораго всякій видитъ во всемъ и вездѣ, а никто не можетъ указать, въ чемъ и гдѣ оно именно, этому образу безъ лица, которому, всякій по своей волѣ и прихотямъ, даетъ и приписываетъ и волю, и прихоти, — не знаемъ, интересно ли будетъ публикѣ въ каждой новой книжкѣ журнала находить себѣ новое доказательство, что для нея книгъ пишется много, а читать ей попрежнему — нечего. Но... намъ что до этого? «Публика этого хочетъ», говорятъ намъ — и мы хотимъ исполнить ея желаніе. Намъ часто случалось еще слышать и читать, что публика требуетъ отъ журнала не одной критики и библіографіи, но и полемическихъ браней и схватокъ; но мы никогда этому не вѣрили, сколько по уваженію къ публикѣ, которую мы всегда отдѣляли отъ толпы, столько и потому, что мы никогда не любили разсчитывать своихъ успѣховъ насчетъ своихъ убѣжденій, а низкую угодливость смѣшивать съ добросовѣстнымъ усердіемъ. Поэтому благомыслящіе читатели попрежнему могутъ брать нашъ журналъ въ руки, не боясь замарать ихъ... Обзорѣвая область литературной дѣятельности, мы смѣло будемъ называть хорошее хорошимъ, а дурное — дурнымъ, съ удовольствіемъ останавливаясь на первомъ и стараясь проходить краснорѣчивымъ молчаніемъ второе, особенно если оно принадлежитъ къ тѣмъ ми-

молетнымъ и призрачнымъ явленіямъ, которыя не производятъ никакого вліянія и не оставляютъ по себѣ никакихъ слѣдовъ. Равнымъ образомъ мы попрежнему предоставляемъ другимъ отыскивать промахи и ошибки своихъ собратій по журнальному ремеслу, и попрежнему не отказываемся отъ благороднаго спора, чуждаго личности и желанія мелкаго торжества. Сдѣлать замѣчаніе или даже и возраженіе на мысль, которая намъ кажется ложной, и подавлять, какъ добычу для дневного пропитанія, чужія обмолвки или промахи — двѣ вещи, совершенно различныя.

Мы должны бы начать наше обзорѣніе съ литературныхъ явленій настоящаго года; но на первый разъ мы позволимъ себѣ небольшое уклоненіе отъ предполагаемаго плана въ пользу нѣсколькихъ болѣе или менѣе примѣчательныхъ произведеній прошлаго года, о которыхъ намъ пріятно поговорить. Начинаемъ съ «Современника»: не говоря о томъ, что это періодическое изданіе болѣе похоже на альманахъ въ четырехъ частяхъ, нежели на журналъ, — оно влечетъ къ себѣ наше вниманіе предметомъ, близкимъ къ русскому сердцу: мы разумѣемъ стихотворныя произведенія и отрывки Пушкина, напечатанные въ «Современникѣ» послѣ смерти ихъ великаго творца. Предметъ отраднѣй и грустнѣй въ то же время! Съ одной стороны — мысль, что эти посмертныя произведенія свидѣтельствуютъ о новомъ, просвѣтленномъ періодѣ художественной дѣятельности великаго поэта Россіи, объ эпохѣ высшаго и мужественнѣйшаго развитія его гениальнаго дарованія; а съ другой стороны — мысль о томъ жалкомъ возрѣніи, съ какимъ смотрѣло на этотъ предметъ дѣтское прекрасодушіе, которое, выглядывая изъ узкаго окошечка своей ограниченной субъективности, мѣривъ дѣйствительность своимъ фальшивымъ архивомъ, и осудивши поэта на жизнь подъ соломенной кровлей, на берегу свѣтлаго ручейка, не хотѣло признавать его поэтомъ на всякомъ другомъ мѣстѣ: какое противорѣчіе, и сколько отраднато и горькаго въ этомъ противорѣчії!..

Мнимый періодъ паденія таланта Пушкина начался для близорукаго прекрасодушія съ того времени, какъ онъ началъ писать свои сказки. Въ самомъ дѣлѣ, эти сказки были неудачными опытами поддѣлаться подъ русскую народность; но, несмотря на то, и въ нихъ былъ виденъ Пушкинъ, а въ «Сказкѣ о Рыбакѣ и Рыбкѣ» онъ даже возвысился до совершенной объективности и съумѣлъ взглянуть на народную фантазію орлинымъ взоромъ Гёте. Но если бы сказки и всѣ были дурны, одной элегіи «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье», напечатанной въ «Библіотекѣ для Чтенія» за 1834 годъ, достаточно было, чтобы показать, какъ смѣшны и жалки были безпокойства добрыхъ людей о паденіи поэта; но... да и кто не былъ въ свою очередь добрымъ человѣкомъ?.. Стихотворенія, явившіяся въ «Современникѣ» за 1836 годъ, не были оцѣнены по достоинству: на нихъ лежала тѣнь мнимаго паденія. Такъ напримѣръ, сцены изъ комедіи «Скупой Рыцарь» едва были замѣчены, а между тѣмъ, если

правда, что, какъ говорятъ, это оригинальное произведение Пушкина, онѣ принадлежатъ къ лучшимъ его созданіямъ. А его «Капитанская Дочка»? О, такихъ повѣстей еще никто не писалъ у насъ, и только одинъ Гоголь умѣетъ писать повѣсти, еще болѣе дѣйствительныя, болѣе конкретныя, болѣе творческія—похвала, выше которой у насъ нѣтъ похвалы!

Первое, что съ особенной раздирающей душу грустью поражаетъ вниманіе читателя въ V томѣ прошлагодняго «Современника», это письмо В. А. Жуковскаго къ отцу поэта о смерти его сына... О, какой сладкой грустью трогаютъ душу эти подробности о послѣдней мучительной борьбѣ съ жизнью, о послѣдней, торжественной битвѣ съ несчастьемъ души глубокой и мощной, эти подробности, переданныя со всей отчетливостью, какую только могло внушить удивленіе къ высокому зрѣлицу кончины великаго и близкаго къ сердцу человѣка, удивленіе, котораго не побѣждаетъ въ благодатной душѣ и самая тяжкая скорбь!.. А это трогательное участіе въ судьбѣ великаго поэта, которымъ отозвалась на его несчастье русская душа, въ лицѣ всѣхъ сословій народа, отъ вельможи до вищаго!.. А это умиляющее и возвышающее душу вниманіе монарха къ умирающему страдальцу, это отеческое вниманіе, которымъ вѣнценосный отецъ народа поспѣшилъ усладить послѣднія минуты своего поэта и пролить въ его болящую душу отрадный слей благодарности, мира и спокойствія о судьбѣ осиротѣлыхъ любимцевъ его сердца!.. О, кто посмѣ этого дерзнетъ осуждать неисповѣдимыя пути Провидѣнія!.. Кто дерзнетъ отрицать, что жизнь человѣческая не есть высокая драма во всѣхъ ея многообразныхъ проявленіяхъ, и что самое страданіе и бѣдствіе не есть въ ней благо!..

Вотъ перечень посмертныхъ сочиненій Пушкина, помѣщенныхъ въ четырехъ томахъ «Современника»: три поэмы—«Мѣдный Всадникъ», «Русалка» и «Галубъ», изъ которыхъ только первая вполне окончена; двѣ пьесы прозой и стихами вмѣстѣ—«Сцены изъ рыцарскихъ временъ» и «Египетскія ночи»; два прозаическихъ отрывка: «Арапъ Петра Великаго» и «Лѣтописъ села Горохина»; потомъ примѣчательная критическая статья «О Мильтонѣ» и Шатобріановомъ переводѣ «Потеряннаго Рая»; кромѣ того нѣсколько мелкихъ стихотвореній, частью недооконченныхъ, и отдѣльныхъ мыслей и замѣчаній. Мы не будемъ критически разсматривать этихъ произведеній, потому что если ужъ говорить о нихъ, то надо все говорить, для чего мы не имѣемъ ни времени, ни мѣста. Мы скажемъ или, лучше, повторимъ о нихъ уже сказанное нами, что, по ихъ количеству и величій, они составляютъ собой цѣлый томъ, а этотъ томъ будетъ представителемъ совершенно новаго періода высшей, просвѣтленной художнической дѣятельности Пушкина. По этому самому они не для всѣхъ доступны, и въ этомъ самомъ и заключается причина поспѣшнаго приговора толпы о паденіи поэта. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы постигнуть всю глубину этихъ гениальныхъ картинъ, разгадать вполне ихъ таинственный смыслъ и вой-

ти во всю полноту и свѣтлозарность ихъ могучей жизни, должно пройти чрезъ мучительный опытъ внутренней жизни, и выйти изъ борьбы прекраснѣйшей въ гармонію просвѣтленнаго и примиреннаго съ дѣйствительностью духа. Повторяемъ: примиреніе путемъ объективнаго созерцанія жизни—вотъ характеръ этихъ послѣднихъ произведеній Пушкина. Не почитаемъ за нужное прибавлять, что народность, въ высшемъ значеніи этого слова, какъ выраженіе субстанціи народа, а не тривиальной простонародности, составляетъ также характеръ этихъ послѣднихъ звуковъ этого замогильнаго голоса; Пушкинъ всегда былъ самобытенъ, всегда былъ русскимъ поэтомъ, даже и тогда, когда находился подъ чуждымъ вліяніемъ.

Формы его произведеній все такъ же художественны, но это уже не тотъ бойкій стихъ, который, какъ разсыпавшійся лучъ солнца, сверкалъ и игралъ по жизни: нѣтъ, послѣдніе стихи Пушкина—это волны бытія, проходяція передъ упоеннымъ взоромъ зрителя въ спокойномъ величіи.

Если вы не читали «Мѣднаго Всадника», то, чтобы заставить васъ прочесть его, просимъ васъ взглянуть въ неисчерпаемую глубину сокровенной красоты его, хоть въ мѣстѣ, начинающемся стихами:

... Боже, Боже! тамъ—
Увы! близехонько къ волнамъ,
Почти у самаго залива—
Заборъ некрашеный, да ива и т. д.

А этотъ хоръ русалокъ—

Веселой толпой
Съ глубокаго дна
Мы ночью всплываемъ;
Насъ грѣетъ луна, и т. д.

Не правда ли, что этотъ дивный хоръ—совершенно новое явленіе все той же неистощимой жизни, совершенно новый аккордъ все той же неисчерпаемой любви?... Но мы еще передернемъ декорацию жизни и покажемъ ея новыя стороны:—вотъ рыцарская баллада:

Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный,
Молчаливый и простой,
Съ виду сумрачный и блѣдный,
Духомъ смѣлый и прямой, и т. д.

Съ такой глубиной, съ такой вѣрностью и въ такой небольшой пьескѣ схватить одну изъ главнѣйшихъ сторонъ среднихъ вѣковъ, этого религіознаго періода человѣчества, когда и слава, и мужество, и любовь, и все, все было религіей—кто могъ это сдѣлать?—Пушкинъ!

Читали ли вы его «Галуба»? Вотъ отецъ, чеченецъ, хоронитъ своего могучаго сына, удалого наѣздника, опору своей старости; кладетъ съ нимъ въ гробъ все его оружіе:

Чтобы крѣпка была могила,
Гдѣ храбрый ляжетъ почивать,
Чтобъ могъ на зовъ онъ Азранда
Исправнымъ воиномъ востать.

Схоронивши одного сына, Галубъ встрѣчаетъ другого; его привелъ къ нему старецъ, воспитывавшій

его. Но Галубъ вскорѣ недоволенъ своимъ другимъ сыномъ. Однажды узнаетъ онъ, что сынъ его встрѣтилъ въ своихъ разъѣздахъ армянина и не привелъ его на арканъ съ добычей. Въ другой разъ узнаетъ онъ, что сынъ его встрѣтилъ бѣжавшаго раба и оставилъ его невредимымъ. Въ третій разъ Галубъ узнаетъ, что Тазитъ встрѣтилъ убійцу своего брата и пощадилъ и его, потому что онъ былъ израненъ, безоруженъ. Отецъ проклялъ своего сына и прогналъ его отъ себя. Въ черкесскомъ селѣ праздникъ; молодежь забавляется воинскими потѣхами; жены и дѣвы поютъ,

Но между дѣвами одна
Молчитъ, уныла и блѣдна, и т. д.

«Египетскія ночи» принадлежатъ также къ самымъ дивнымъ произведеніямъ Пушкина, и въ лицѣ его Чарскаго догадливые читатели найдутъ для себя много данныхъ для разгадки поэта...

Всѣ мелкія стихотворенія отличаются тѣмъ же общимъ чувствомъ просвѣтлѣнія примиреннаго съ самимъ собой духа, вышедшаго съ честью изъ опасной борьбы. И кто бы усомнился въ этомъ, прочтя «Отцы пустынники и жены непорочны»,—эту трогательную исповѣдь души, страждущей и блаженной въ своемъ страданіи?

Но особеннаго вниманія заслуживаетъ стихотвореніе «Герой», напечатанное въ «Телескопѣ» 1831 года и написанное въ ту годину тяжкаго испытанія для Россіи, когда свирѣпствовала въ ней холера, и когда нашъ царь, не дожидаясь отъ медиковъ рѣшенія вопроса о заразительности этого морового повѣтрія, пріѣхалъ ободрить унылую Москву, древнюю и вѣрную столицу своихъ отцовъ... Это стихотвореніе, кромѣ своего высокаго поэтическаго достоинства, драгоцѣнно еще и какъ доказательство благородныхъ, нетинно русскихъ чувствованій Пушкина, и только по смерти его стало извѣстно, что оно принадлежитъ ему...

«Арапъ Петра Великаго» есть отрывокъ изъ предполагавшагося Пушкинымъ романа, и какъ отрывокъ, онъ уже не новость, потому что былъ давно напечатанъ въ какомъ-то альманахѣ, а въ «Современникѣ» онъ помѣщенъ въ большемъ видѣ, почему и составляетъ собой новость. Какъ жаль, что Пушкинъ не кончилъ этого романа! Какая простота и вмѣстѣ глубокость, какая кисть, какія краски! Да, если бы Пушкинъ кончилъ этотъ романъ, то русская литература могла бы поздравить себя съ истинно-художественнымъ романомъ. «Лѣтописи села Горохина» въ своемъ родѣ чудо совершенства, и если бы въ нашей литературѣ не было повѣстей Гоголя, то мы ничего лучшаго не знали бы.

Статья Пушкина «О Мильтонѣ» и Шатобриановомъ переводѣ «Потеряннаго Рая» чрезвычайно интересна: она знакомитъ насъ съ Пушкинымъ не столько какъ съ критикомъ, сколько какъ съ человекомъ, у котораго былъ вѣрный взглядъ на искусство, вслѣдствіе его вѣрнаго и безконечнаго эстетическаго чувства. Въ этой статьѣ мѣтко и рѣзко показываетъ онъ отсутствіе именно этого чувства у

господъ французовъ и въ доказательство представляетъ факты, какъ безбожно терзали бѣднаго Мильтона корифеи французской литературы—дикій Гюго, въ своей «чудовищной и нелѣпой драмѣ «Кромвель», и чопорный аббатикъ XIX вѣка, графъ де-Виньи, въ своемъ «облизанномъ» романѣ «Saint-Mars». Бѣда смѣется Пушкинъ надъ послѣднимъ, когда тотъ заставляетъ бѣднаго Мильтона читать отрывки изъ своей поэмы на вечерѣ у Маріи де-Лормъ.

Повторяемъ: во всемъ этомъ виденъ не критикъ, опирающійся въ сужденіяхъ на извѣстныя начала, но гениальный человекъ, которому его вѣрное и глубокое чувство или, лучше сказать, богатая субстанція открываетъ истину вездѣ, на что онъ ни взглянетъ. А какъ поэтъ, Пушкинъ принадлежитъ безъ всякаго сомнѣнія къ мировымъ, хотя и не первостепеннымъ, гениямъ. Да и много ли этихъ первостепенныхъ гениевъ искусства?—Омиръ (мионическое имя), Шекспиръ, Гёте, Бетховенъ и не знаемъ правъ, кто въ живописи. И, несмотря на то, читая, а особенно слушая сужденія многихъ о Пушкинѣ, какъ о человекѣ и какъ о поэтѣ, невольно вспоминаешь его же стихи, которыми оканчивается его превосходное стихотвореніе «Полководецъ»:

О люди! жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человекъ,
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньи
Поэта приведетъ въ восторгъ и удивленіе!

Изъ не-Пушкинскихъ стихотвореній очень мало хорошихъ въ «Современникѣ»: изъ оригинальныхъ заслуживаетъ особенное вниманіе «Цвѣтокъ» Жуковского. Послѣ этого благоухающаго ароматомъ поэзіи «Цвѣтка» нельзя не замѣтить стихотворенія Ѳ. Н. Глинки «Ангелъ». Изъ переводныхъ стихотворныхъ пьесъ замѣчательны—«Органъ» изъ Гердера А. П. Глинки, и мы пользуемся здѣсь случаемъ повторить изъ «Современника» пріятное извѣстіе, что переводчица Шиллеровой «Пѣсни о колоколѣ» приготовляетъ къ изданію 19 легендъ Гердера. Переводы Губера изъ «Фауста» также примѣчательны; Губеръ печатаетъ вполнѣ переведеннаго имъ «Фауста».

Изъ прозаическихъ не-Пушкинскихъ статей особенно замѣчательна: «Солдатскій Портретъ» Грицька Основьяненка, прекрасно переведенный съ малороссійскаго Луганскимъ. Такъ-то лучше: а то мы, москаль, немного горды, а еще болѣе того лѣнны, чтобы принуждать себя къ пониманію красоты малороссійскаго нарѣчія, если дѣло идетъ не о народно-поэзіи. Вѣдь Гоголь умѣетъ же рисовать намъ малороссянъ русскимъ языкомъ? Увѣряемъ почтеннаго Грицька Основьяненка, что если бы онъ написалъ свои прекрасныя повѣсти по-русски, то, несмотря на мудреную для выговора фамилію своего автора, онъ доставили бы ему гораздо большую извѣстность, нежели какой онъ пользуется на Руси, ниша по-малороссійски. Кромѣ «Солдатскаго Портрета» мы прочли съ удовольствіемъ «Сильфиду» кн. Одоевскаго; «Петербургскія записки» неизвѣст-

наго, — шутка, въ которой мило и игриво высказано много правды насчетъ обѣихъ нашихъ столицъ, и наконецъ, «Письма совоспитанницъ» — сочиненіе дамы.

Библиотека дѣтскихъ повѣстей и разсказовъ. Соч. В. Бурылова. Спб. 1837—1838. Четыре части.

Советы для дѣтей. Соч. Бузы. Переводъ съ французскаго В. Бурылова. Спб. 1838.

Зимніе вечера или бесѣда отца съ дѣтми. Соч. Деппина. Переведено съ четвертаго французскаго изданія съ нѣкоторыми измѣненіями и дополненіями, В. Бурыловымъ. Спб. 1838. Дѣтъ части.

Прогулка съ дѣтми по С.-Петербургу и его окрестностямъ. Сочиненіе В. Бурылова. Спб. 1838. Три части.

Наша литература особенно бѣдна книгами для воспитанія въ обширномъ значеніи этого слова, т.-е. какъ учебными, такъ и литературными дѣтскими книгами. Но эта бѣдность нашей литературы покуда еще не можетъ быть для нея важнымъ упрекомъ. Посмотрите на богатія литературы французовъ, англичанъ и нѣмцевъ: у всѣхъ у нихъ книгъ много, но читать дѣтямъ почти нечего или по крайней мѣрѣ очень мало. Множество и количество ничего не доказываютъ. У французовъ напримѣръ писали для дѣтей Беркенъ, Бульи, г-жа Жанлис и прочіе, написали, бездну, но — повторяемъ — дѣти отъ этого нисколько не богаче книгами для своего чтенія. И это очень естественно: должно родиться, а не сдѣлаться дѣтскимъ писателемъ. Тутъ требуется не только талантъ, но и своего рода гений. Да, много, много нужно условій для образованія дѣтскаго писателя: тутъ нужна душа благодатная, любящая, кроткая, спокойная, младенчески-простодушная, умъ возвышенный, образованный, взглядъ на предметы просвѣтленный, и не только живое воображеніе, но и живая поэтическая фантазія, способная представлять все въ одушевленныхъ, радужныхъ образахъ. Не говоримъ уже о любви къ дѣтямъ и о глубокомъ знаніи потребностей, особенностей и отгѣнковъ дѣтскаго возраста. Дѣтскія книги пишутся для воспитанія, а воспитаніе — великое дѣло: имъ рѣшается участь человѣка. Конечно есть такіа богатая и мощная субстанція, которая спасаетъ людей отъ гибели вслѣдствіе дурного воспитанія, но не менѣе того несомнѣнно и то, что люди съ этими же самыми субстанціями, при хорошемъ воспитаніи, получили бы еще лучшее опредѣленіе и прямѣе бы дошли до своей цѣли съ силами свѣжими, не истощенными въ борьбѣ съ случайностями. Не говоримъ уже о томъ, что хорошее воспитаніе дурного дѣлаетъ менѣе дурнымъ, а порядочнаго дѣлаетъ положительно хорошимъ, способствуя ему приобрѣсти опредѣленіе, равное его субстанціи — что и составляетъ значеніе дѣйствительности человѣка, противопоставляя это слово призрачности. Молодые поколѣнія суть гости настоящаго времени и хозяева будущаго, которое есть ихъ настоящее, получаемое ими какъ наслѣдство отъ старѣйшихъ поколѣній.

Каждое новое поколѣніе есть зародышъ будущаго, которое должно сдѣлаться настоящимъ, есть новая идея, готовая смѣнить старую идею. На этомъ и основанъ ходъ и прогрессъ человѣчества. «Не вливаютъ вина молодого въ мѣхи старые», сказалъ нашъ Божественный Спаситель, и Онъ же изрекъ о дѣтяхъ, приведенныхъ къ Нему для благословенія: «Таковыхъ есть царствіе небесное». Но новое, чтобы быть дѣйствительнымъ, должно выйти изъ стараго — и въ этомъ законѣ заключается важность воспитанія и имъ же условливается важность призванія тѣхъ людей, которые берутъ на себя священную обязанность быть воспитателями дѣтей.

Обыкновенно думаютъ, что душа младенца есть бѣлая доска, на которой можно писать, что угодно. Конечно нельзя отвергать, что воспитаніе, внѣшнія обстоятельства, опытъ жизни имѣютъ на человѣка великое и важное вліяніе; но все-таки возможность опредѣленія человѣка, и истиннаго, и ложнаго, заключается въ его субстанціи, а субстанція — въ его организмѣ. Каждый человѣкъ есть индивидъ, и какъ хорошимъ, такъ и худымъ можетъ сдѣлаться только по своему, индивидуально. Воспитаніе не дѣлаетъ человѣка, но помогаетъ ему дѣлаться (хорошимъ или худымъ), и поэтому, если душа младенца и въ самомъ дѣлѣ есть бѣлая доска, то качество и смыслъ буквъ, которые пишетъ на ней жизнь, зависятъ не только отъ пишущаго и орудія писанія, но и отъ свойства самой этой доски. А тутъ еще есть, такъ называемыя нѣкоторыми, врожденныя идеи, которыя суть непосредственное созерцаніе истины, заключающееся въ таинствѣ человѣческаго организма. Ребенка нельзя увѣрить, что дважды два — пять, а не четыре. Но это аксіома конечнаго разсудка, а есть еще аксіома разума, развитіе которыхъ и должно составлять цѣль и заботу воспитанія. Нѣтъ! не бѣлая доска есть душа младенца, а дерево въ зернѣ, человѣкъ въ возможности. Какъ ни старо сравненіе воспитателя съ садовникомъ, но оно глубоко вѣрно, и мы не затрудняемся воспользоваться имъ. Да, младенецъ есть молодой, блѣдно-зеленый ростокъ, едва выглянувшій изъ своего зерна: а воспитатель есть садовникъ, который ходитъ за этимъ росткомъ. Посредствомъ прививки и дикую лѣсную яблоню можно заставить, вмѣсто кислыхъ и маленькихъ яблокъ, давать яблоки садовые, вкусныя, большія: но тщетны были бы всѣ усилія искусства заставить дубъ приносить яблоки, а яблоню — жолуди. А въ этомъ-то именно и заключается по большей части ошибка воспитанія; забываютъ о природѣ, дающей ребенку наклонности и способности и опредѣляющей его значеніе въ жизни, и думаютъ, что было бы только дерево, а то можно заставить его приносить, что угодно, хоть арбузы вмѣсто орѣховъ.

Для садовника есть правила, которыми онъ необходимо руководствуется при хожденіи за деревьями. Онъ соображается не только съ индивидуальной природой каждаго растенія, но и со временами года, съ погодой, съ качествомъ почвы. Каждое растеніе имѣетъ для него свои эпохи возрастанія, со-

образно съ которыми онъ и располагаетъ свои съ нимъ дѣйствія; онъ не сдѣлаетъ привычки ни къ стебелю, еще не сформировавшемуся въ стволъ, ни къ старому дереву, уже готовому засохнуть. Человѣкъ имѣетъ свои эпохи возрастанія, не сообразуясь съ которыми, въ немъ можно задушить всякое развитіе. Жизнь человѣка проявляется въ движеніи его сознанія. Предметъ сознанія есть истина, всегда одинаковая, всегда ровная, всегда единая, но развивающаяся для человѣка во времени, понимаемая имъ постепенно, въ необходимыхъ и однихъ изъ другого слѣдующихъ моментахъ, и потому представляющаяся ему неуловимой, противорѣчивой, разнообразной. Знать можно только существующее, только то, что есть, и человѣкъ, какъ разумно-сознательная сущность и органъ всего сущаго, самъ для себя есть самый интересный предметъ знанія, и весь остальной, внѣ его находящійся, міръ сущаго можетъ сознать только черезъ себя, перешедши изъ непосредственного единства съ нимъ въ распаденіе, а изъ распаденія—въ разумное единство.

Въ человѣкѣ двѣ силы познания: разумъ и разсудокъ. У каждой изъ нихъ своя сфера; конечность есть сфера разсудка, безконечное понятно только для разума. Разумъ въ человѣкѣ необходимо предполагаетъ и разсудокъ, но разсудокъ не обуславливаетъ собой разума. Разсудокъ, когда онъ дѣйствуетъ въ своей сферѣ, есть такъ же искра Божія, какъ и разумъ, и возвышаетъ человѣка надъ всей остальной природой, какъ ступень сознанія; но когда разсудокъ вступаетъ въ права разума, тогда для человѣка гибнетъ все святое въ жизни, и жизнь перестаетъ быть таинствомъ, но дѣлается борьбой эгоистическихъ личностей, азартной игрой, въ которой торжествуетъ хитрый и безжалостный, и гибнетъ невольникъ или совѣтливый. Разсудокъ, или то, что французы называютъ *le bon sens*, что они такъ уважаютъ, и представителями чего они съ такой гордостью провозглашаютъ себя, разсудокъ уничтожаетъ все, что, выходя изъ сферы конечности, понятно для человѣка только силой благодати Божіей, силой откровения; въ своемъ мишурномъ величіи онъ гордо попираетъ ногами все это, потому, что онъ безсиленъ проникнуть въ таинство безконечнаго. XVIII вѣкъ былъ именно вѣкомъ торжества разсудка, вѣкомъ, когда все было переведено на ясныя, очевидныя и для всякаго доступныя понятія. Разумъ также переводитъ въ опредѣленные понятія, но уже не конечное, а безконечное; также выговариваетъ опредѣленнымъ словомъ, но уже то, что не подлежитъ чувственному созерцанію и его опредѣленія и выговариванія не оковываютъ значенія сущаго мертвой неподвижностью разсудка, но схватывая моментъ вѣчной жизни общаго и абсолютнаго, заключаютъ въ себѣ безконечную возможность опредѣленій дальнѣйшихъ моментовъ. Въ опредѣленіяхъ разсудка—смерть и неподвижность; въ опредѣленіяхъ разума—жизнь и движеніе. Сознать можно только существующее, такъ неужели конечныя истины очевидности и соображенія опыта существеннѣе, нежели тѣ дивныя и таинственныя

потребности, порыванія и движенія нашего духа, которыя мы называемъ чувствомъ, благодатью, откровеніемъ, просвѣтлѣніемъ! Вотъ въ этомъ-то и заключается причина нападокъ на искусство и философію, которыя нѣкоторымъ людямъ кажутся призраками разстроснаго воображенія. И они правы, эти люди; сознать можно только существующее, а для нихъ не существуетъ содержанія искусства и философіи,—это содержаніе, которое, какъ милость Божія, дается человѣку при его рожденіи. А для этихъ людей все призракъ, чего не можно привести въ такую же ясную формулу, какъ то, что дважды два—четыре.

Говоря о воспитаніи, мы нисколько не отступили отъ своего предмета, начавши говорить о различіи разсудка отъ разума. Пониманіе этого различія должно быть краеугольнымъ камнемъ въ планѣ воспитанія, и первая забота воспитателя должна состоять въ томъ, чтобы не развивать въ дѣтяхъ разсудка насчетъ разума, и даже обратить все свое вниманіе только на развитіе послѣдняго, тѣмъ болѣе, что первый и безъ особенныхъ усилій возьметъ свое. Ежели песносень, пошлъ и гадокъ взрослый человѣкъ, который все великое въ жизни мѣряетъ маленькимъ аршиномъ своего разсудка, и о религіи, искусствѣ и знаніи разсуждаетъ, какъ о посѣвѣ хлѣба или выгодной партіи, то еще отвратительнѣе ребенокъ-резонеръ, который разсуждаетъ, потому что еще не въ силахъ мыслить. Да, не только развивать—надо душиить, въ самомъ ея зародышѣ, эту несчастную способность резонерства въ дѣтяхъ; она иссушаетъ въ нихъ источники жизни, любви, благодати; она дѣлаетъ ихъ молоденькими старичками, становится на ходули. Не говорите дѣтямъ о томъ, что такое Богъ; они не поймутъ вашихъ конечныхъ и отвлеченныхъ опредѣленій безконечнаго существа; но заставьте дѣтей любить Его, этого Бога, Который является имъ и въ ясной лазури неба, и въ ослѣпительномъ блескѣ солнца, и въ торжественномъ великолѣпнѣи возстающаго дня, и въ грустномъ величіи наступающей ночи, и въ ревѣ бури, и въ раскатахъ грома, и въ цвѣтахъ радуги, и въ зелени лѣсовъ, и во всемъ, что есть въ природѣ живого, такъ безмолвно и вмѣстѣ такъ краснорѣчиво говорящаго душѣ юной и свѣжей, и наконецъ во всякомъ благородномъ порывѣ, во всякомъ чистомъ движеніи ихъ младенческаго сердца. Не разсуждайте съ дѣтьми о томъ, какое наказаніе полагаетъ Богъ за такой-то грѣхъ, не показывайте имъ Бога, какъ грознаго, карающаго судью, но учите ихъ смотрѣть на Него безъ трепета и страха, какъ на отца, безконечно любящаго своихъ дѣтей, которыхъ Онъ создалъ для блаженства и которыхъ блаженство Онъ искупилъ мученіемъ на крестѣ. Внушайте дѣтямъ страхъ Божій какъ начало премудрости, но дѣлайте такъ, чтобы этотъ страхъ вытекалъ изъ любви же, и чтобы не боязнь наказанія, но боязнь оскорбить Отца, благого, любящаго, а не грознаго и мстящаго, производила этотъ страхъ. Обращайте ваше вниманіе не на истребленіе недостатковъ и пороковъ въ дѣтяхъ, но на наполненіе ихъ живо-

творящей любовью: будетъ любовь, не будетъ пороковъ. Истребленіе дурного безъ наполненія хорошимъ—бесплодно; оно производитъ пустоту, а пустота безпрестанно наполняется пустотой же; выгоните одну, явится другая. Любви, безконечной любви—все остальное призрачно и ничтожно. «Богъ есть любовь и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ». — Теперь предстоить вопросъ; это цѣль воспитанія, а гдѣ же путь къ этой цѣли? Вопросъ этотъ такъ глубокъ и обширенъ, что для рѣшенія его мало книги, не только журнальной статьи. Но мы хотимъ слегка взглянуть на него съ одной его стороны—въ приложеніи къ дѣтскимъ книгамъ, съ чего мы и начали.

Мы выше сказали, что для человѣка истина существуетъ прежде всего, какъ непосредственное созерцаніе, во глубинѣ его духа заключающееся. Этимъ-то непосредственнымъ созерцаніемъ человѣкъ видитъ истину, какъ бы по какому-то инстинкту и, не будучи въ состояніи доказать ея или вывести изъ логической необходимости ея очевидности, не сомнѣвается въ ней. Это есть то, что въ людяхъ съ искрой Божьей называется убѣжденіемъ, вѣрой, откровеніемъ или религіознымъ постиженіемъ истины. Но — повторяемъ — дитя можетъ только разсуждать — что составляетъ пустоцвѣтъ жизни, и не можетъ еще мыслить—что составляетъ истинный, плодотворный цвѣтъ жизни. Теперь очень естественно рождается вопросъ: въ чемъ должно состоять воспитаніе дѣтей, что должно оно развивать въ нихъ, если не мысль, которая еще не существуетъ для нихъ?

Основу, сущность, элементъ высшей жизни въ человѣкѣ составляетъ его внутреннее ощущеніе безконечнаго, которое, какъ чувство, лежитъ въ его организаціи. Чувство безконечнаго есть искра Божья, зерно любви и благодати, живой электрическій проводникъ между человѣкомъ и Богомъ. Степени этого чувства различны въ людяхъ, по глаголу Христа: «И далъ одному пять талантовъ, другому два, третьему одинъ, каждому по его силѣ: но мѣрой глубины этого чувства измѣряется достоинство человѣка и близость его къ источнику жизни—къ Богу. Все человѣческое знаніе должно быть выговариваніемъ, переведеніемъ на понятія, опредѣленіемъ, — словомъ, сознаніемъ таинственныхъ проявленій этого чувства, безъ котораго поэтому всѣ наши понятія и опредѣленія суть слова безъ смысла, форма безъ содержанія, сухая, бесплодная и мертвая отвлеченность. Безъ чувства безконечнаго въ человѣкѣ не можетъ быть и внутренняго, духовнаго созерцанія истины, потому что непосредственное созерцаніе истины основывается, какъ на фундаментѣ, на чувствѣ безконечнаго. Это чувство есть даръ природы, результатъ счастливой организаціи, и потому свойственно и дѣтямъ, въ которыхъ лежитъ какъ зародышъ,—и развитіе, возвращеніе, этого зародыша и должно составлять главную заботу воспитанія. Но какимъ путемъ, какимъ средствомъ, должно совершиться это развитіе и возвращеніе?

Мы сказали, что живая, поэтическая фантазія есть необходимое условіе, въ числѣ другихъ необходимыхъ условій, для образованія писателя для дѣтей; черезъ нее и посредствомъ ея долженъ онъ дѣйствовать на дѣтей. Въ дѣтствѣ фантазія есть преобладающая способность и сила души, первый посредникъ между духомъ ребенка и внѣ его находящимся міромъ дѣйствительности. Дитя не требуетъ выводовъ, доказательствъ и логической послѣдовательности: ему нужны образы, краски и звуки. Дитя не любитъ идей; ему нужны исторіи, повѣсти, сказки, рассказы. И посмотрите, какъ сильно у дѣтей стремленіе ко всему фантастическому, какъ жадно слушаютъ они рассказы о мертвецахъ, привидѣніяхъ, волшебствахъ. Что это показываетъ?—потребность безконечнаго, начало чувства поэзіи, который находятъ для себя удовлетвореніе пока еще только въ одномъ чрезвычайномъ, отличающемся неопредѣленностью идеи и яркостью красокъ. Чтобы говорить образами, надо если не быть поэтомъ, то по крайней мѣрѣ быть рассказчикомъ и имѣть фантазію живую, рѣзвую, радужную. Чтобы говорить образами съ дѣтьми, надо знать дѣтей, надо самому быть взрослымъ ребенкомъ, не въ полномъ значеніи этого слова, но родиться съ характеромъ младенчески — простодушнымъ. Есть люди, которые любятъ дѣтское общество и умѣютъ занять его и рассказомъ, и разговоромъ, и даже игрой, принявъ въ ней участіе; дѣти съ своей стороны встрѣчаютъ этихъ людей съ шумной радостью, слушаютъ ихъ со вниманіемъ и смотрятъ на нихъ съ откровенной довѣрчивостью, какъ на своихъ друзей. Про такого человѣка у насъ, на Руси, говорятъ: это дѣтскій праздникъ. Вотъ такихъ-то «дѣтскихъ праздниковъ» нужно и для дѣтской литературы. Да, много, очень много условій! Такіе писатели, подобно поэтамъ, рождаются, а не дѣлаются.

Чѣмъ обыкновенно отличаются повѣсти для дѣтей?—дурно склееннымъ рассказомъ, пересыпаннымъ нравственными сентенціями. Цѣль такихъ повѣстей — обманывать дѣтей, искажая дѣйствительность. Тутъ обыкновенно хлопчутъ изъ всѣхъ силъ убить въ дѣтяхъ всякую живость, рѣзвость и шаловливость, которые составляютъ необходимое условіе юнаго возраста, вмѣсто того, чтобы стараться дать имъ хорошее направленіе и сообщить характеръ доброты, откровенности и граціозности. Потомъ стараются приучить дѣтей обдумывать и взвѣшивать всякій ихъ поступокъ, словомъ, сдѣлать ихъ благоразумными резонерами, которые годятся только для классической комедіи; а не думаютъ о томъ, что все дѣло во внутреннемъ источникѣ духа, что если онъ полонъ любовью и благодатью, то и внѣшность будетъ хороша, и что наконецъ нѣтъ ничего отвратительнѣе, какъ мальчишка-резонеръ, свысока разсуждающій о нравственности, заложивъ руки въ карманы. А потомъ что еще? — потомъ стараются увѣрять дѣтей, что Богъ наказываетъ за всякій проступокъ и награждаетъ за всякое хорошее дѣйствіе. Истина святая — не споримъ; но объяснять дѣтямъ наказаніе и

награждение въ буквальной, вѣншемъ и слѣдовательно случайномъ смыслѣ — значить обманывать ихъ. А по смыслу и разумѣнію (разумѣется, крайнему) всѣхъ дѣтскихъ книжекъ награда за добро состоитъ въ долготѣйшей жизни, богатствѣ, выгодной женитбѣ — прочтите хоть напр. повѣсти Коцебу, написанныя имъ для собственныхъ дѣтей. Но дѣти только неопытны и легкомысленны, но отнюдь не слупы — и отъ всей души смѣются надъ своими мудрыми наставниками. И это еще спасеніе для дѣтей, если они не позволяютъ такъ грубо обманывать себя; но горе имъ, если они повѣрятъ: ихъ разуверитъ горькій опытъ и наброситъ въ ихъ глаза темный покровъ на прекрасный Божій міръ. Каждый изъ нихъ собственнымъ опытомъ узнаетъ, что безстыдный лѣнтяй часто получаетъ похвалу насчетъ прилежнаго; что наглый затѣйникъ шалости непризнательностью отдѣляется отъ наказанія, а сдѣлавшій шалость и чистосердечно признавшійся въ ней нещадно наказывается; что честность часто не только не даетъ богатства, но дѣлаетъ еще бѣднѣе, и пр. Да, все это, къ несчастью, узнаетъ каждый изъ нихъ. Но не каждый изъ нихъ узнаетъ, что наказаніе за худое дѣло производится самымъ этимъ дѣломъ и состоитъ въ отсутствіи изъ души благотворной любви, мира и гармоніи, единственныхъ источниковъ истиннаго счастья; что награда за доброе дѣло опять-таки происходитъ отъ самаго этого дѣла, которое даетъ человѣку сознание своего достоинства, сообщаетъ его душѣ спокойствіе, гармонію, чистую радость и чрезъ то дѣлаетъ ее храмомъ Божиимъ, потому что Богъ тамъ, гдѣ безмятежная, просвѣтленная радость, гдѣ любовь. А обо всемъ этомъ должны бы дѣтямъ говорить дѣтскія книжки. Онѣ бы должны были внушать имъ, что счастье не во вѣншихъ и призрачныхъ случайностяхъ, а въ глубинѣ души; что не блестящій, не богатый, не знатный человѣкъ любимъ Богомъ, но «сокровенный сердца человѣкъ въ негнѣномъ украшеніи кроткаго и спокойнаго духа, что драгоценно предъ Богомъ», какъ говоритъ св. апостолъ Петръ. Онѣ бы должны были показывать имъ, что міръ и жизнь прекрасны, такъ какъ они есть, но что независимость отъ ихъ случайностей состоитъ не въ коврѣ-самолетѣ, не въ волшебномъ прутикѣ, мановеніе котораго воздвигаетъ дворцы, вызываетъ легіоны хранительныхъ духовъ съ пламенными мечами, готовыхъ наказывать злыхъ преслѣдователей и обидчиковъ, но въ свободѣ духа, который силой божественной, христіанской любви торжествуетъ надъ невзгодами жизни и бодро переноситъ ихъ, почерпая свою силу въ этой любви. И если бы все это онѣ передавали имъ не въ истертихъ сентенціяхъ, не въ холодныхъ правоученіяхъ, не въ сухихъ разсказахъ, а въ повѣствованіяхъ и картинахъ, полныхъ жизни, движенія, проникнутыхъ одушевленіемъ, согрѣтыхъ теплотой чувства, написанныхъ языкомъ легкимъ, свободнымъ, игривымъ, цвѣтущимъ въ самой своей простотѣ — то могли бы служить однимъ изъ самыхъ прочныхъ основаній и самыхъ дѣйствительныхъ средствъ для

воспитанія дѣтей. И какое обширное, богатое поле представляется такимъ писателямъ: не говоря уже объ источникѣ ихъ собственной фантазіи, религіи, исторіи, географіи, естествознанію — умѣйте только пожинать! Да, для дѣтей предметы тѣ же, что и для взрослыхъ людей, только изложенные сообразно съ ихъ понятіемъ, а въ этомъ-то и заключается одна изъ важнѣйшихъ сторонъ этого дѣла. Какіе богатые матеріалы представляетъ одна исторія! Показать душѣ юной, чистой и свѣжей примѣры высокихъ дѣйствій представителей челоѣчества, дѣйствительность добра и призрачность зла — не значитъ ли это возвысить ее? Провести дѣтей по тремъ царствамъ природы, пройти съ ними по всему земному шару, съ его многочисленными населеніями и пустынями, съ его сушею и океанами — не значитъ ли это показать имъ Творца въ Его твореніи, заставить ихъ возлюбить Его и возблаженствовать этой любовью?.. Пишите, пишите для дѣтей, но только такъ, чтобы вашу книгу съ удовольствіемъ прочелъ и взрослый и, прочтя, перенесся бы мечтой въ свѣтлые годы своего младенчества... Главное дѣло, какъ можно меньше сентенцій, правоученій и резонерства; ихъ не любятъ и взрослые, а дѣти просто ненавидятъ. Они хотятъ въ васъ видѣть друга, а не наставника, требуютъ отъ васъ наслажденія, а не скуки, разсказовъ, а не поученій. Дитя веселое, доброе, живое, рѣзвое, жадное до впечатлѣній, страстное къ разсказамъ, не чувствительное, а чувствующее — такое дитя есть дитя Божье: въ немъ играетъ юная, благотворная жизнь, и надъ нимъ почитъ благословеніе Божіе. Пусть дитя шалитъ и проказитъ, лишь бы его шалости и проказы не были вредны и не носили на себѣ отпечатка физическаго и нравственнаго цинизма; пусть оно будетъ безразсудно, опрометчиво, лишь бы оно не было глухо и тупо; мертвенность же и безжизненность хуже всего. Но ребенокъ разсуждающій, ребенокъ благоразумный, ребенокъ-резонеръ, ребенокъ, который всегда остороженъ, никогда не сдѣлаетъ шалости, ко всѣмъ ласковъ, вѣжливы, предусмотрителенъ, и все это по расчету, то горе вамъ, если вы сдѣлали его такимъ! Вы убили въ немъ чувство и развили конечный разсудокъ; вы заглушили въ немъ благотворное сѣмя безсознательной любви и возрастили въ немъ — резонерство... Бѣдные дѣти, сохранили васъ Богъ отъ осы, кори и сочиненій Беркена, Жанлисъ и Булли!..

Много, много еще можно бы было сказать объ этомъ предметѣ, но мы и такъ уже заговорились больше, нежели сколько позволяютъ предѣлы библиографической статьи, и совсѣмъ потеряли изъ виду книжки Бурьянова, подавшія намъ поводъ къ этимъ разсужденіямъ. Что же онѣ, эти книжки Бурьянова? А вотъ постойте — сейчасъ скажемъ. Бурьяновъ пишетъ для дѣтей такъ много, что одинъ журналъ назвалъ его за плодovitость дѣтскимъ Вальтеръ Скоттомъ. Въ самомъ дѣлѣ, Бурьяновъ много пишетъ, и потому между нимъ и Вальтеръ Скоттомъ удивительное сходство! Противъ этого нечего и спорить. А между тѣмъ Бурьяновъ все-таки

самый усердный и дѣятельный писатель для дѣтей, и если бы въ литературной дѣятельности этого рода все ограничивалось только усердіемъ и дѣятельностью, т.-е. если бы тутъ не требовалось еще призванія, таланта, высшихъ понятій о своемъ дѣлѣ и наконецъ, знанія языка, то мы бы первые были готовы оставить за нимъ имя какого угодно гевія, начиная отъ Гомера до Гёте вступительно. Но... что и какъ переводить и писать Бурьяновъ?—а вотъ посмотримъ.

Первая изъ четырехъ поименованныхъ нами книгъ Бурьянова «Библиотека дѣтскихъ повѣстей и разсказовъ» есть его сочиненіе и можетъ служить образчикомъ его сочиненій въ этомъ родѣ, а вторая «Совѣты для дѣтей» Бульи есть его переводъ и можетъ служить образчикомъ выбора и достоинства его переводовъ. Перваго сочиненія мы прочли одну только часть. Нравственное начало есть жизнь этого сочиненія: вотъ его лучшая и полная характеристика. Порокъ или исправляется, или наказывается; добродѣтель торжествуетъ—это ужъ само собой разумѣется; но не всякій догадается, что русскія повѣсти Бурьянова суть переложенія французскихъ на русскіе нравы или, лучше сказать, на русскія имена и фамиліи,—то же, что русскіе ведевили. Но есть и оригинальныя: мы прочли какого-то «Новаго кавказскаго плѣнника» — и задумались надъ словомъ «новый»: какой же «старый»? неужели Пушкина? но—въ такомъ случаѣ—что за отношеніе между ними? ужъ не такое ли, какъ между Бурьяновымъ и В. Скоттомъ—можетъ быть! Мы уже не говоримъ, что въ этой повѣсти нѣтъ ни характеровъ, ни лицъ, ни природы кавказской, ни теплоты душевной, ни умѣнья разсказывать, а слѣдовательно и занимательности, ни слога—ничего этого мы и не искали въ ней, но намъ показалось досаднымъ искаженіе мѣстностей Пятигорска: у Бурьянова Эльбрусъ выглядываетъ изъ-за Бештау, тогда какъ Бештау стоитъ вправо отъ Пятигорска и въ сторонѣ отъ Эльбруса; черкезъ, набросивъ на голову лошади бурку (?), низвергается съ берега въ Подкумокъ, тогда какъ берега Подкумка чуть не ровень съ водой, а самъ онъ глубиной—воробью по колѣно; низверженные грозой огромныя сосны лежатъ черезъ бурные потоки, служа Бурьянову мостами, тогда какъ въ окрестностяхъ Пятигорска, ни на Машукѣ, ни на Бештау, ни на другихъ близкихъ къ намъ горахъ, нѣтъ ни потоковъ, ни сосенъ, даже маленькихъ, не только большихъ, а растеть жалкій дубовый кустарникъ, едва въ ростъ человѣка. Мы не читали сочиненія Бурьянова «Прогулка съ дѣтьми по Россіи»; но, послѣ такого вѣрнаго описанія Пятигорска, смѣемъ думать, что немного правды о Россіи выходятъ дѣти изъ этой безконечной прогулки.

«Совѣты для дѣтей»—превосходны: чистѣйшая нравственность такъ и блеститъ въ нихъ, вмѣстѣ съ лубочными картинками, на которыхъ она представлена въ лицахъ. Не угодно ли полюбоваться?—Малютки—братъ и сестра, дѣти бѣднаго солдата, попили съ кувшиномъ за водой, и мальчикъ разбилъ кувшинъ. Сдѣлавши бѣду, онъ началъ пла-

кать, боясь, что отецъ его жестоко накажетъ; сестра предлагаетъ ему снять вину на себя; мальчикъ наотрѣзъ отказывается отъ такого ужаснаго самопожертвованія. Этотъ споръ великодушія подслушивается за деревьями одна достаточная вдова; даритъ мальчику новый кувшинъ, приговаривая: «Вотъ что значить никогда не лгать: рано или поздно Богъ награждаетъ насъ за это». Потомъ богатая вдова выводитъ изъ бѣдности стараго солдата, отца малютки, осыпавъ его своими благодареніями, и изъ всего этого снова выводится святое правило, что «быть добрымъ и никогда не лгать очень выгодно, потому что за это платится наличной звонкой монетой». А переводъ этой книжки—какіе длинные періоды, что за роскошь въ причастіяхъ, дѣйствительныхъ и страдательныхъ!.. Бѣдныя дѣти, мало того, что Бульи изсушаетъ въ вашихъ юныхъ сердцахъ благоухающій цвѣтъ чувства и выращаетъ въ нихъ пырей и белену резонёрства:—Бурьяновъ еще убиваетъ въ васъ и всякую возможность говорить и писать по-человѣчески на своемъ родномъ языкѣ!..

«Зимніе вечера», сочиненіе какого-то Деппинга, имѣли во всей Европѣ чрезвычайный успѣхъ, какъ увѣряетъ Бурьяновъ въ предисловіи къ этой книгѣ, переведенной имъ съ четвертаго изданія. Можетъ быть эта книга и въ самомъ дѣлѣ хороша, но такъ какъ мы не читали ея въ подлинникѣ, а Бурьяновъ столько же передѣлалъ эту книгу, сколько и перевелъ ее, то, зная направленіе переводчика, мы и не почитаемъ себя въ правѣ судить о ней. По крайней мѣрѣ въ переводѣ-то она показалась намъ довольно сухимъ и утомительнымъ изложеніемъ фактовъ! А вѣдь было гдѣ развернуться! Показать дѣтямъ міръ Божій въ картинѣ человѣческихъ племенъ и обществъ—богатый предметъ! Особенно намъ не понравилось обиліе сентенцій тамъ, гдѣ само дѣло говорить за себя. Но что хуже всего, такъ это то, что авторъ или (что вѣроятнѣе) переводчикъ безпрестанно выхваляетъ добродѣтель дикихъ народовъ—безусловное уваженіе къ старости и безусловное повиновеніе ей, не скрывая въ то же время обычая многихъ дикарей—убивать своихъ отцовъ. Хорошо уваженіе! И что за добродѣтель такая—безусловное уваженіе и покорность старости? Представьте себѣ, что какое-нибудь благовоспитанное дитя, повѣривъ Бурьянову, вздумаетъ не только безусловно уважать, но и безусловно повиноваться сѣдому камердвнеру, сѣдому старостѣ, лакею своего отца, первому встрѣтившемуся сѣдому нищему: куда бы повела его эта безусловность повиновенія сѣдинѣ? Да и вообще надо осторожно восхищаться добродѣтелями дикихъ; и въ самой Европѣ, въ образованнѣйшихъ государствахъ, чернь дика и звѣробразна съ своей нравственной стороны: чего же хотите вы отъ дикарей—этихъ существъ, стоящихъ на степени животнаго? Первая точка отпавленія духовнаго развитія людей есть соединеніе ихъ въ гражданскія общества, а дикари цѣлыя тысячелѣтія живутъ, чуждаясь гражданственности. Въ Америкѣ, напримѣръ, они совсѣмъ истребляются, тѣснимыя Штатами: такъ истребляется звѣрь изъ того мѣ-

ста, гдѣ водворится человѣкъ. И у этихъ-то полулюдей велать нашимъ дѣтямъ учиться нравственности!..

«Прогулка съ дѣтьми по С.-Петербургу» есть самое скучное и голословное исчисленіе зданій и достопримѣчательностей Петербурга. А и тутъ было бы гдѣ развернуться, потому что въ Петербургѣ нѣтъ ни одного зданія, котораго видъ не пробуждалъ бы въ памяти какого-нибудь случая, какой-нибудь подробности о его великомъ основателѣ—Петрѣ, нашей народной гордости и славы, и его великихъ наслѣдникахъ. И Бурьяновъ кое-гдѣ и берется за это, но его описанія вялы, холодны, мелочно-подробны и касаются больше до ширины и вышины стѣнъ; а его воспоминанія очень походятъ на общія мѣста. Онъ даже выписываетъ мѣстами приличные стихи изъ Пушкина и Жуковского, но вмѣстѣ съ ними прилагаетъ и вирши Рубана. Нѣтъ, эта книжка не для дѣтей; скучно, утомительно и бесплодно будетъ имъ читать ее: они ничего не упомянуть изъ нея, потому что дѣти понимаютъ и помнятъ не разсудкомъ и памятью, а воображеніемъ и фантазіей, а что за пища воображенію и фантазіи эти статистическія описанія, эти сухія, голословныя исчисленія безчисленныхъ фактовъ? Намъ скажутъ: «это займетъ дѣтей и удержитъ ихъ отъ рѣзвости и шалостей». Положимъ, что и такъ, но что за польза въ этомъ! Нѣтъ, пусть лучше дѣти шалятъ и рѣзвятся—это необходимо въ ихъ возрастѣ, пусть лучше бѣгаютъ по саду или полю и привыкаютъ созерцать живую природу въ ея красотѣ—это развиваетъ въ нихъ чувство безконечнаго: а такое препровожденіе времени въ тысячу разъ полезнѣе, нежели чтеніе подобныхъ книгъ...

Изъ библиографической замѣтки о 1-мъ № «Современника» за 1838 г.

Намъ кажется, что авторъ статьи «Праздникъ въ честь Крылова» нисколько не опредѣлилъ того, что хотѣлъ опредѣлить,—ни значенія басни, какъ рода поэзіи, ни значенія Крылова, какъ русскаго баснописца и поэта. По нашему мнѣнію, басня есть поэзія конечнаго разсудка, поэзія ходячей, житейской, практической философіи народа. Не чувство безконечнаго порождаетъ эту поэзію, и не таинство жизни составляетъ ея содержаніе: ея одушевленіе есть веселость, ея содержаніе есть житейская, обиходная мудрость, уроки повседневной опытности въ сферѣ семейнаго и общественнаго быта. Какъ всякая поэзія, и басня говоритъ образами: она рисуетъ и ослы, и лисицу, и льва, и соловья; первый у нея добродушно глупъ, вторая увертливо хитра, третій грозно могущъ, а четвертый... но портретъ четвертаго вотъ какъ изобразилъ дивный живописецъ—

Защелкалъ, засвисталъ,
На тысячу ладовъ тянулъ, переливался,
То нѣжно онъ ослабѣвалъ
И томной вдалекѣ свирѣлью отдавался,
То мелкой дробью вдругъ по рошѣ разсыпался.

Но если она такъ вѣрно, такъ характеристически рисуетъ животныхъ, то еще лучше, вѣрнѣе рису-

етъ она людей—толстаго откупщика, который не знаетъ, куда ему дѣваться отъ скуки съ деньгами, —и бѣднаго, но довольнаго своей участью сапожника; повара-резонѣра и недоученаго философа, оставшагося безъ огурцовъ отъ излишней учености; мужиковъ-политиковъ, и пр. Въ этомъ-то и заключается поэтическая сторона басни; она есть маленькая драма, въ которой находятся свои типическіе характеры, свои оригинальныя индивидуальности. Но у ней есть еще другая сторона, столь же важная и еще болѣе характеристическая—сторона разсудка, который разсыпается лучами остроумія, сверкаетъ фейерверчнымъ огнемъ шутки и насмѣшки. Но и въ этомъ есть своя поэзія, какъ во всякомъ непосредственномъ, образномъ передаваніи истины. Самыя поговорки и пословицы народныя въ этомъ смыслѣ суть поэзія или, лучше сказать, суть начало, первая точка отправленія поэзіи. Басня въ отношеніи къ поговоркамъ и пословицамъ есть высшій родъ, высшая пословица.

Всякій человѣкъ, выражающій въ искусствѣ жизнь народа или какую-нибудь изъ ея сторонъ, всякій такой человѣкъ есть явленіе великое, потому что онъ своей жизнью выражаетъ жизнь миллионѣвъ. Крыловъ принадлежитъ къ числу такихъ людей. Онъ—баснописецъ, но это еще не важно; онъ—поэтъ, но и это еще не даетъ патента на великость; онъ—баснописецъ и поэтъ народный—вотъ въ чемъ его великость, вотъ за что изданія его басенъ, еще при его жизни, зашли за 30.000 экземпляровъ, и вотъ за что со временемъ каждое изъ многочисленныхъ изданій его басенъ будетъ состоять изъ десятковъ тысячъ экземпляровъ. Въ этомъ же самомъ заключается и причина того, что всѣ другіе баснописцы, пользовавшіеся не меньше Крылова извѣстностью, теперь забыты, а нѣкоторые даже пережили свою славу. Слава же Крылова все будетъ расти и пынѣй расцвѣтать, до тѣхъ поръ, пока не умолкнетъ звучный и богатый языкъ въ устахъ великаго и могучаго народа русскаго. Кто хочетъ изучить языкъ русскій вполнѣ, тотъ долженъ познакомиться съ Крыловымъ. Самъ Пушкинъ не полонъ безъ Крылова въ этомъ отношеніи. Эти идиомы, эти руссизмы, составляющіе народную физиономію языка, его оригинальныя средства и самобытное, самородное богатство, уловлены Крыловымъ съ невыразимой вѣрностью.

Вотъ какъ понимаемъ мы Крылова. Можетъ быть наше понятіе о немъ невѣрно, ложно, но по крайней мѣрѣ всякій можетъ видѣть, въ чемъ оно состоитъ; а этого-то именно мы и не находимъ въ статьѣ «Праздникъ въ честь Крылова». Авторъ ея говоритъ и то, и другое, говоритъ много, и можетъ быть хорошо: только мы не можемъ сказать, что именно говоритъ онъ, потому что основная идея его статьи затемнена словами, которыя бы должны были ее выразить.

Елена, поэма Бернета. Спб. 1838 г.

Бернетъ уже успѣлъ приобрести себѣ нѣкоторую извѣстность писателя съ дарованіемъ, и не пона-

прасну: онъ точно владѣть поэтическимъ талантомъ. Читали ли вы его стихотвореніе «Призракъ»*)? Начало этого стихотворенія—поэзія, благоухающая ароматнымъ дѣвствомъ прекрасной внутренней жизни, поэтическое выраженіе одного изъ ея явленій, —выраженіе, гдѣ каждый стихъ есть живой поэтический образъ, и гдѣ каждый стихъ и каждое слово стоитъ на своемъ мѣстѣ, по закону творческой необходимости, и не могутъ быть ни переставлены, ни перемѣнены!.. А вотъ что такое это:

Пацинты уменьшать куренье,
Розы въ чашкахъ ароматъ сожмутъ,
Прекратятъ ручьи свое теченье,
Рѣки стануть, вѣтерки умрутъ,—
И тогда, какъ міръ весь почитаетъ
Дѣвы сонъ, почувствуешь ты влady:
Кто-то плачетъ, жжетъ и лобызаетъ;
Не гони, оставь его, оставь!

Что такое это?—восточная гипербола, которой ярко-пестрыя краски рѣдко отдѣляются отъ таинственно-сумрачнаго колорита первыхъ двадцатичетырехъ стиховъ, фраза, растянутая на восемь стиховъ, глиняная рука, придрѣпанная къ мраморной статуѣ!.. Отчего же это вышло такъ странно?—оттого, что у поэта немного не достало вдохновенія, за недостаткомъ котораго онъ и прибѣгъ къ хитросплетеніямъ разсудка, вслѣдствіе чего благоухающее, безконечное чувство, оживлявшее его стихотвореніе, разрѣшилось очень опредѣленнымъ и конечнымъ чувствованіемъ. И это очень естественно: отчего великіе художники иногда оставляли недоконченными свои созданія, иногда прерывали свою работу и съ томительнымъ страданіемъ искали въ себѣ силы докончить ее и, не находя этой силы, иногда уничтожали съ отчаянія свое прекрасно начатое твореніе?—оттого, что вдохновеніе, какъ всякая благодать, не въ волѣ человѣка, и еще оттого, что великіе художники никогда не додѣлываютъ своихъ произведеній, если не могутъ ихъ досоздать. Но какъ бы то ни было, а Бернетъ владѣть истиннымъ поэтическимъ дарованіемъ, и по этому самому намъ непріятно говорить о его «Еленѣ», и мы въ самомъ дѣлѣ не будемъ говорить о ней, а только скажемъ кое-что, сколько во избѣжаніе упрека въ безотчетныхъ приговорахъ, столько и по уваженію къ Бернету, котораго мы отнюдь не смѣшиваемъ съ толпой маленькихъ гениевъ-самозванцевъ, великолѣпно издающихъ свои творенія, никѣмъ не читаемыя, никому не интересныя, и которыхъ пріатели-журналисты, какъ бы насмѣхаясь надъ публикой и

здравымъ смысломъ, объявляютъ наслѣдниками Пушкина. Мы увѣрены, что Бернетъ, какъ поэтъ съ истиннымъ дарованіемъ, если и не согласится съ нашимъ мнѣніемъ, то и не почтетъ его не стоящимъ своего вниманія: онъ не можетъ не замѣтить искренности нашего сужденія.

Поэма Бернета ниже всякой критики, хотя въ ней мѣстами и блещутъ искорки дарованія. Главный ея недостатокъ состоитъ въ растянутости, многословности и невыдержанности: она могла бы быть вторе меньше; каждая мысль въ ней, раздробляясь на множество стиховъ, ослабѣваетъ и переходитъ въ повтореніе одного и того же; часто за тремя хорошими стихами слѣдуетъ дурной стихъ, и еще чаще одинъ хорошій стихъ подавляется и тухнетъ между тремя дурными. Но особенно вредитъ этой поэмѣ претензія автора на оригинальность и нововведенія въ словахъ и римахъ.

Содержаніе поэмы было бы очень просто, если бы мѣстами не искажалось изысканными подробностями. Оно относится ко временамъ феодализма. Дѣвушка, обреченная матерью на монастырскую жизнь, любить рыцаря и украдкой отъ настоятельницы видится съ нимъ. Игуменья, чтобы заставить ее признаться въ преступленіи монастырскаго устава, показываетъ ей черепъ ея матери, и черепъ говоритъ Еленѣ, отъ лица ея матери, что она возмutilа ея покой во гробѣ и своимъ преступленіемъ губитъ и ея, и свое блаженство въ будущей жизни. Несмотря на изысканность этой выходки, Елена повѣрила черепу и рѣшилась принести свою любовь въ жертву долгу: она уже не являлась на тайныя свиданія. Вдругъ до ея слуха доходитъ вѣсть о буйномъ развратѣ и неистовомъ ожесточеніи ея любезнаго рыцаря. Онъ приходитъ видѣть ее въ послѣдній разъ. Въ словахъ его Елена сколько любви, сколько огня, страсти, чувства, какое драматическое движеніе, и какая виѣсть съ тѣмъ смѣсь чистаго золота съ грубой рудой! Можно подумать, что Бернетъ писалъ эту поэму вдвоемъ, въ товариществѣ съ какимъ-нибудь бездарнымъ стихотворцемъ: на свою долю взялъ созданіе всѣхъ хорошихъ и превосходныхъ стиховъ, а на его предоставилъ римованную прозу и изысканныя до дикости выраженія, какъ будто почитая необходимой такую чудную смѣсь шипучаго вина съ прѣсной водой. Ясно, что Бернетъ только еще вступаетъ на поэтическое поприще, что онъ еще не можетъ владѣть ни своимъ талантомъ, ни своей субъективностью, что стихъ часто не слушается его и выражаетъ совсѣмъ не то, что хотѣлъ онъ имъ выразить; словомъ, ясно, что Бернетъ еще дитя въ искусствѣ, но дитя, которое общается нѣкогда крѣпкаго взрослого человѣка. Но обратимся къ поэмѣ.

Отказъ затворницы бѣжать съ нимъ вызываетъ бурный потокъ упрековъ, который у Бернета ревѣтъ оглушающимъ ревомъ, и только въ немногихъ стихахъ и выраженіяхъ нищитъ. Приведенная въ ужасъ и живо затронутая и оскорбленная сомнѣніемъ ея возлюбленнаго въ ея глубокомъ, святомъ чувствѣ, и въ то же время окованная сознаниемъ

*) Помѣщенное въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» къ «Инвалиду», нерѣдко, замѣтимъ кстати, очень счастливыхъ на хорошія стихотворенія; такъ въ № 18 этой газеты мы прочли прекрасное стихотвореніе «Пѣсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Не знаемъ имени автора этой пѣсни, которую можно назвать поэмою, въ родѣ поэмъ Кириши Данилова, но если это первый опытъ молодого поэта, то не боимся понасть въ лживые предсказатели, сказавши что наша литература пріобрѣтетъ сильное и самобытное дарованіе.

страшнаго долга, Елена отвѣчала въ порывѣ ужаснаго отчаянія:

«Возьми жъ меня!»

Раздался крикъ—
И что-то съ башни въ этотъ мигъ,
Одеждой свиснувъ, какъ крылами,
Мелькнуло предъ его глазами—
И, какъ подстрѣленный орелъ,
Упало на гранитный полъ...
Тяжелый стукъ!.. Но послѣ стука
Ни вѣздохъ, ни мольбы, ни звука!..

Превосходно!.. но слѣдующіе стихи должно пропустить, чтобы не ослабить и не разрушить глубокаго впечатлѣнія, которое производятъ эти...

Проклятія автора, которыя градомъ сыплются на голову бѣднаго рыцаря, намъ крайне не нравятся. Въ царствѣ искусства, какъ въ созерцаніи абсолютной жизни, нравственная точка зрѣнія есть самая фальшивая, потому что въ этомъ благодатномъ и безконечномъ царствѣ есть явленія общей жизни, на нѣтъ ни героевъ добродѣтели, ни злодѣевъ. То и другое существуетъ въ объективности авторовъ. Объективность есть условіе поэзіи, безъ котораго она не существуетъ и безъ котораго всѣ ея произведенія, какъ бы ни были они прекрасны, носятъ въ себѣ зародышъ смерти. И что сдѣлалъ злодѣйскаго бѣдный рыцарь? Онъ требовалъ своего, требовалъ любви, которая бы соотвѣтствовала его любви, словомъ, онъ былъ самимъ собой, и въ этомъ вся вина его. Елена съ своей стороны такъ же права, какъ и онъ: она была самой собой въ моментальномъ состояніи своего духа. Да, они оба правы—и миръ обонимъ имъ!.. Другое дѣло, если бы всѣ эти проклятія авторъ вложилъ въ уста несчастнаго героя своей поэмы: тогда это имѣло бы значеніе, какъ новый характеръ, который приняло его отчаяніе, новый ужасный моментъ его духа, непосредственно вытекшій изъ предшествовавшихъ моментовъ и хода обстоятельствъ. И тогда какъ бы хорошо поступилъ авторъ, если бы, выбросивъ 42 прозаическихъ стиха, заставилъ рыцаря проговорить эти восемь—поэтические:

Ты, мрачный духъ, звѣзду затмилъ
Высокую между звѣздами,
Сожгь цвѣтъ лучший межъ цвѣтами,
Ты херувима умертвилъ!..
О, никогда еще душа
Такъ безкорыстно не любила!
За что жъ, безуміемъ дыша,
Земная страсть ее убила?

Заключаемъ: Бернетъ подаетъ надежды, и надежды прекрасны; но это еще не талантъ, а только обѣщаніе таланта, не поэзія, а только предчувствіе поэзіи. Цѣлая поэма, повторяемъ, ниже всякой критики, и выписанные нами мѣста—самыя лучшія въ ней. Начало ея не возбуждаетъ охоты къ дочтенію до конца, хотя сквозь мракъ фразъ, вычурностей и прозаизма чудится какой-то таинственный свѣтъ красоты эстетической.

Высказывая со всей искренностью наше мнѣніе Бернету о его талантѣ, мы не боялись рѣзкости нашихъ выраженій, потому что самая эта рѣзкость

есть лучшее доказательство нашего уваженія къ дарованію Бернета. Къ тому же мы боимся за судьбу его поэтического поприща: его захватить, а этотъ способъ убивать дарованіе есть самый вѣрный. Въ Петербургѣ такъ много журналовъ и альманаховъ, которые и для балласту, и для блеска очень нуждаются въ дѣятельности поэтовъ, рвутъ и треплютъ ее по клочкамъ, и щедро платятъ за нее похвалами и восклицаніями.

Стихотворенія *Владимира Бенедиктова*. Вторая книга. Спб. 1838 г.

Все безконечное отличается отъ конечнаго своей неуловимостью и непередаваемостью съ математическою точностью и ясностью. Причина этого заключается въ томъ, что все безконечное запечатлѣно печатью таинственности, которая составляетъ одну изъ основныхъ потребностей духа, и безъ которой погибло бы всякое наслажденіе созерцаніемъ жизни. Это всего болѣе примѣняется къ искусству. Поидите въ Останкино, въ вельможный, въ полное и вышешмъ значенія этого слова, домъ графа Шереметева, и пересмотрите тамъ мраморныя копія съ великихъ произведеній греческаго ваянія. Отчего же живетъ онъ, этотъ бездушный, холодный мраморъ, такой одушевленной, такой свѣтло-пламенной жизнью, какъ будто бы хочетъ намъ сказать привѣтствіе любви и счастья, какъ будто хочетъ намъ открыть какую-нибудь завѣтную тайну вѣчно прекраснаго бытія? Отчего же этотъ холодный и бездушный кусокъ камня представляется намъ Венерой, богиней красоты, которая, въ своей лучезарной, гармонической наготѣ, такъ граціозно стоитъ на пьедесталѣ, такъ стыдливо прикрываетъ руками свои дивныя прелести, предъ которыми благоговѣлъ міродержавный Олимпъ, и при созерцаніи которыхъ просвѣтлялось божественной улыбкой грозное чело отца боговъ и человѣковъ, Юпитера-громовержца? Отчего же эти мраморныя выпуклости, эти нѣжныя формы сверкаютъ и дышатъ такой упительной—могучей красотой, а вы, смотря на нихъ, не пожираете ихъ влюбленными очами, не трещаете страстнымъ восторгомъ, но тихо и спокойно, въ благоговѣнномъ безмолвіи, созерцаете этотъ олицетворившійся передъ вами типъ, эту окаменѣвшую идею вѣчной красоты, и душа ваша плаваетъ, расширяется въ ароматическомъ эфирѣ безмятежно-гармоническаго наслажденія,—и легкой, свѣтлой, прозрачной, грустно-радостной мечтой переносится въ ту страну, подъ то вѣчно-лазорево небо, гдѣ жизнь была непрерывнымъ служеніемъ, неумолкаемымъ хоромъ красоты?.. Но пойдемте далѣе; вотъ бюстъ фавна: посмотрите, о посмотрите, какая невыразимо-радостная улыбка играетъ на прелестныхъ устахъ юнаго божества лѣсовъ, какъ осіяла эта чудная улыбка каждую выпуклость его прекраснаго лица, какое дико-гармоническое, страстно-безмятежное играніе жизни выражаетъ это самодовольное, упительное ослабленіе!.. Но вотъ бюстъ Александра Македонскаго: какая дикая, дивная гармонія въ размѣрахъ этой греческой

прасну: онъ точно владѣть поэтическимъ талантомъ. Читали ли вы его стихотвореніе «Призракъ»*)? Начало этого стихотворенія—поэзія, благоухающая ароматнымъ цвѣтомъ прекрасной внутренней жизни, поэтическое выраженіе одного изъ ея явленій, —выраженіе, гдѣ каждый стихъ есть живой поэтический образъ, и гдѣ каждый стихъ и каждое слово стоитъ на своемъ мѣстѣ, по закону творческой необходимости, и не могутъ быть ни переставлены, ни перемѣнены!.. А вотъ что такое это:

Пацинты уменьшать куренье,
Розы въ чашкахъ аромать сожмутъ,
Прекратятъ ручьи свое теченье,
Рѣки стануть, вѣтерки умрутъ,—
И тогда, какъ міръ весь почитаетъ
Дѣвы сонъ, почувствуешь ты вѣяв:
Кто-то плачетъ, жжетъ и лобызаетъ;
Не гони, оставь его, оставь!

Что такое это?—восточная гипербола, которой ярко-пестрыя краски рѣдко отдѣляются отъ таинственно-сумрачнаго колорита первыхъ двадцатичетырехъ стиховъ, фраза, растянутая на восемь стиховъ, глиняная рука, придѣланная къ мраморной статуѣ!.. Отчего же это вышло такъ странно?—оттого, что у поэта немного не достало вдохновенія, за недостаткомъ котораго онъ и прибѣгъ къ хитроисплетеніямъ разсудка, вслѣдствіе чего благоухающее, безконечное чувство, оживлявшее его стихотвореніе, разрѣшилось очень опредѣленнымъ и конечнымъ чувствованіемъ. И это очень естественно: отчего великіе художники иногда оставляли недооконченными свои созданія, иногда прерывали свою работу и съ томительнымъ страданіемъ искали въ себѣ силы докончить ее и, не находя этой силы, иногда уничтожали съ отчаянія свое прекрасно начатое твореніе?—оттого, что вдохновеніе, какъ всякая благодать, не въ волѣ человѣка, и еще оттого, что великіе художники никогда не додѣлываютъ своихъ произведеній, если не могутъ ихъ досоздать. Но какъ бы то ни было, а Бернетъ владѣетъ истиннымъ поэтическимъ дарованіемъ, и по этому самому намъ непріятно говорить о его «Еленѣ», и мы въ самомъ дѣлѣ не будемъ говорить о ней, а только скажемъ кое-что, сколько во избѣжаніе упрека въ безотчетныхъ приговорахъ, столько и по уваженію къ Бернету, котораго мы отнюдь не смѣшиваемъ съ толпой маленькихъ гениевъ-самозванцевъ, великолѣпно издающихъ свои творенія, никѣмъ не читаемые, никому не интересныя, и которыхъ пріятеля-журналисты, какъ бы насмѣхаясь надъ публикой и

здравымъ смысломъ, объявляютъ наслѣдниками Пушкина. Мы увѣрены, что Бернетъ, какъ поэтъ съ истиннымъ дарованіемъ, если и не согласится съ нашимъ мнѣніемъ, то и не почтетъ его не стоящимъ своего вниманія: онъ не можетъ не замѣтить искренности нашего сужденія.

Поэма Бернета ниже всякой критики, хотя въ ней мѣстами и блещутъ искорки дарованія. Главный ея недостатокъ состоитъ въ растянутости, многословности и невыдержанности: она могла бы быть вторе меньше; каждая мысль въ ней, раздробляясь на множество стиховъ, ослабѣваетъ и переходитъ въ повтореніе одного и того же; часто за тремя хорошими стихами слѣдуетъ дурной стихъ, и еще чаще одинъ хорошій стихъ подавляется и тухнетъ между тремя дурными. Но особенно вредить этой поэмѣ претензія автора на оригинальность и нововведенія въ словахъ и римахъ.

Содержаніе поэмы было бы очень просто, если бы мѣстами не искажалось изысканными подробностями. Оно относится ко временамъ феодализма. Дѣвушка, обреченная матерью на монастырскую жизнь, любить рыцаря и украдкою отъ настоятельницы видится съ нимъ. Игуменья, чтобы заставить ее признаться въ преступленіи монастырскаго устава, показываетъ ей черепъ ея матери, и черепъ говоритъ Еленѣ, отъ лица ея матери, что она возмутила ея покой во гробѣ и своимъ преступленіемъ губитъ и ея, и свое блаженство въ будущей жизни. Несмотря на изысканность этой выходки, Елена повѣрила черепу и рѣшилась принести свою любовь въ жертву долгу: она уже не являлась на тайныя свиданія. Вдругъ до ея слуха доходитъ вѣсть о буйномъ развратѣ и неистовомъ ожесточеніи ея любезнаго рыцаря. Онъ приходитъ видѣть ее въ послѣдній разъ. Въ словахъ его Елена сколько любви, сколько огня, страсти, чувства, какое драматическое движеніе, и какая вмѣстѣ съ тѣмъ смѣсь чистаго золота съ грубой рудой! Можно подумать, что Бернетъ писалъ эту поэму вдвоемъ, въ товариществѣ съ какимъ-нибудь бездарнымъ стихотворцемъ: на свою долю взялъ созданіе всѣхъ хорошихъ и превосходныхъ стиховъ, а на его предоставилъ римованную прозу и изысканныя до дикости выраженія, какъ будто почитая необходимой такую чудную смѣсь шипучаго вина съ прѣсной водой. Ясно, что Бернетъ только еще вступаетъ на поэтическое поприще, что онъ еще не можетъ владѣть ни своимъ талантомъ, ни своей субъективностью, что стихъ часто не слушается его и выражаетъ совсѣмъ не то, что хотѣлъ онъ имъ выразить; словомъ, ясно, что Бернетъ еще дитя въ искусствѣ, но дитя, которое общается нѣкогда крѣпкаго взрослого человѣка. Но обратимся къ поэмѣ.

Отказъ затворницы бѣжать съ нимъ вызываетъ бурный потокъ упрековъ, который у Бернета реветъ оглушающимъ ревомъ, и только въ немногихъ стихахъ и выраженіяхъ ницить. Приведенная въ ужасъ и живо затронутая и оскорбленная сомнѣніемъ ея возлюбленнаго въ ея гаубокомъ, святомъ чувствѣ, и въ то же время окованная сознаниемъ

*) Помѣщенное въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» къ «Инвалиду», нерѣдко, замѣтимъ кстати, очень счастливыхъ на хорошія стихотворенія; такъ въ № 18 этой газеты мы прочли прекрасное стихотвореніе «Пѣсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Не знаемъ имени автора этой пѣсни, которую можно назвать поэмою, въ родѣ поэмы Кирши Данилова, но если это первый опытъ молодого поэта, то не боимся попасть въ лживые предсказатели, сказавши что наша литература пріобрѣтетъ сильное и самоблѣнное дарованіе.

страшнаго долга, Елена отвѣчала въ порывѣ ужаснаго отчаянія:

«Возьми жь меня!»

Раздался крикъ—
И что-то съ башни въ этотъ мигъ,
Одеждой свиснувъ, какъ крылами,
Мелькнуло предъ его глазами—
И, какъ подстрѣленный орелъ,
Упало на гранитный полъ...
Тяжелый стукъ!.. Но послѣ стука
Ни вѣздохъ, ни мольбы, ни звука!..

Превосходно!.. но слѣдующіе стихи должно пропустить, чтобы не ослабить и не разрушить глубокаго впечатлѣнія, которое производятъ эти...

Проклятія автора, которыя градомъ сыплются на голову бѣднаго рыцаря, намъ крайне не нравятся. Въ царствѣ искусства, какъ въ созерцаніи абсолютной жизни, нравственная точка зрѣнія есть самая фальшивая, потому что въ этомъ благодатномъ и безконечномъ царствѣ есть явленія общей жизни, на нѣтъ ни героевъ добродѣтели, ни злодѣевъ. То и другое существуетъ въ объективности авторовъ. Объективность есть условіе поэзіи, безъ котораго она не существуетъ и безъ котораго всё ея произведенія, какъ бы ни были они прекрасны, носятъ въ себѣ зародышъ смерти. И что сдѣлалъ злодѣйскаго бѣдный рыцарь? Онъ требовалъ своего, требовалъ любви, которая бы соотвѣтствовала его любви, словомъ, онъ былъ самимъ собой, и въ этомъ вся вина его. Елена съ своей стороны такъ же права, какъ и онъ: она была самой собой въ моментальномъ состояніи своего духа. Да, они оба правы—и миръ обонимъ имъ!.. Другое дѣло, если бы всё эти проклятія авторъ вложилъ въ уста несчастнаго героя своей поэмы: тогда это имѣло бы значеніе, какъ новый характеръ, который приняло его отчаяніе, новый ужасный моментъ его духа, непосредственно вытекшій изъ предшествовавшихъ моментовъ и хода обстоятельствъ. И тогда какъ бы хорошо поступилъ авторъ, если бы, выбросивъ 42 прозаическихъ стиха, заставилъ рыцаря проговорить эти восемь—поэтические:

Ты, мрачный духъ, звѣзду затмилъ
Высокую между звѣздами,
Сожегъ цвѣтъ лучшій межъ цвѣтами,
Ты херувима умертвилъ!..
О, никогда еще душа
Такъ безкорыстно не любила!
За что жь, безуміемъ дыша,
Земная страсть ее убила?

Заключаемъ: Бернетъ подаетъ надежды, и надежды прекрасны; но это еще не талантъ, а только обѣщаніе таланта, не поэзія, а только предчувствіе поэзіи. Цѣлая поэма, повторяемъ, ниже всякой критики, и выписанные нами мѣста—самыя лучшія въ ней. Начало ея не возбуждаетъ охоты къ дочтенію до конца, хотя сквозь мракъ фразъ, вычурностей и прозаизма чудится какой-то таинственный свѣтъ красоты эстетической.

Высказывая со всей искренностью наше мнѣніе Бернету о его талантѣ, мы не боялись рѣзкости нашихъ выраженій, потому что самая эта рѣзкость

есть лучшее доказательство нашего уваженія къ дарованію Бернета. Къ тому же мы боимся за судьбу его поэтического поприща: его захватить, а этотъ способъ убивать дарованіе есть самый вѣрный. Въ Петербургѣ такъ много журналовъ и альманаховъ, которые и для балласту, и для блеска очень нуждаются въ дѣятельности поэтовъ, рвутъ и треплютъ ее по клочкамъ, и щедро платятъ за нее похвалами и восклицаніями.

Стихотворенія *Владимира Бенедиктова*. Вторая книга. Спб. 1838 г.

Все безконечное отличается отъ конечнаго своей неуловимостью и непередаваемостью съ математическою точностью и ясностью. Причина этого заключается въ томъ, что все безконечное запечатлѣно печатью таинственности, которая составляетъ одну изъ основныхъ потребностей духа, и безъ которой погибло бы всякое наслажденіе созерцаніемъ жизни. Это всего болѣе примѣняется къ искусству. Поидите въ Останкино, въ вельможный, въ полное и вышнемъ значеніи этого слова, домъ графа Шереметева, и пересмотрите тамъ мраморныя копія съ великихъ произведеній греческаго ваянія. Отчего же живетъ онъ, этотъ бездушный, холодный мраморъ, такой одушевленной, такой свѣтло-пламенной жизнью, какъ будто бы хочетъ намъ сказать привѣтствіе любви и счастья, какъ будто хочетъ намъ открыть какую-нибудь завѣтную тайну вѣчно прекраснаго бытія? Отчего же этотъ холодный и бездушный кусокъ камня представляется намъ Венерой, богиней красоты, которая, въ своей лучезарной, гармонической наготѣ, такъ граціозно стоитъ на пьедесталѣ, такъ стыдливо прикрываетъ руками свои дивныя прелести, предъ которыми благоговѣлъ міродержавный Олимпъ, и при созерцаніи которыхъ просвѣтлялось божественной улыбкой грозное чело отца боговъ и человѣковъ, Юпитера-громовержца? Отчего же эти мраморныя выпуклости, эти нѣжныя формы сверкаютъ и дышатъ такой упительной—могучей красотой, а вы, смотря на нихъ, не пожираете ихъ влюбленными очами, не трещаете страстнымъ восторгомъ, но тихо и спокойно, въ благоговѣйномъ безмолвіи, созерцаете этотъ олицетворившійся передъ вами типъ, эту окаменѣвшую идею вѣчной красоты, и душа ваша плаваетъ, расширяется въ ароматическомъ эфирѣ безмятежно-гармоническаго наслажденія,—и легкой, свѣтлой, прозрачной, грустно-радостной мечтой переносится въ ту страну, подъ то вѣчно-лазорево небо, гдѣ жизнь была безпрерывнымъ служеніемъ, неумолкаемымъ хоромъ красоты?.. Но пойдемте далѣе; вотъ бюстъ фавна: посмотрите, о посмотрите, какая невыразимо—радостная улыбка играетъ на прелестныхъ устахъ юнаго божества лѣсовъ, какъ осіяла эта чудная улыбка каждую выпуклость его прекраснаго лица, какое дико-гармоническое, страстно-безмятежное играніе жизни выражаетъ это самодовольное, упительное ослабленіе!.. Но вотъ бюстъ Александра Македонскаго: какая дикая, дивная гармонія въ размѣрахъ этой греческой

головы! Какое благородство, величіе, какая гордость и вмѣстѣ съ тѣмъ красота, кротость и спокойствіе въ этомъ лицѣ героя-полубога!.. А вѣдь это только копія: что же оригиналы?.. Неужели это мраморъ, холодный, бездушный камень? Какимъ же образомъ, какимъ волшебствомъ уловилъ онъ въ себя и заключилъ въ свою темную массу эту юную жизнь, которая трепещетъ и играетъ въ немъ своими свѣтлыми переливами?.. Вы скажете, что Венера Медичейская правится потому, что въ ней выражена идея женственной красоты, типъ которой носили въ душѣ своей свѣтлыя чада Эллады; что въ фавнѣ выражена идея красоты, которая отражается въ полнотѣ самонаслажденія жизнью; что въ Александрѣ Македонскомъ воспроизведена идея этого героя, котораго исторія и преданіе представляютъ апотеозомъ героической красоты грековъ... Можетъ быть все это и такъ, но я не о томъ спрашиваю. Въ чемъ состоитъ тайна этого живого слитія идеи съ формой, этого органическаго сочетанія жизни съ мраморомъ, которыя я вижу во всемъ этомъ: вотъ о чемъ я спрашиваю. Кромѣ красоты, гармоніи, дѣвственной стыдливости, я вижу и въ лицѣ Венеры, и въ ея положеніи, и во всей ея цѣлости еще какое-то нѣчто, котораго не умѣю назвать, не умѣю выговорить... Эта прекрасная Венера есть и красота, какъ идея, и красота, какъ индивидъ—и какъ женщина вообще, и какъ одна какая-нибудь женщина... То же самое и этотъ фавнъ, и этотъ полубогъ, сынъ Олимпіи и громовержца Зевеса:—они и боги и люди, боги безъ имени, люди—съ именами... И добро бы еще все это было выражено какой-нибудь яростью, затѣйливостью, чѣмъ-нибудь мудренымъ: а то все такъ просто, такъ обыкновенно, что не къ чему придираться, не на что указать, опереться... «Вотъ эта черта около губъ; это возвышеніе на щекѣ»... Не говорите мнѣ этого: значить, вы не понимаете искусства, если думаете разлагать на черты и выпуклости его внутреннюю жизнь... Эти лица, эти образы поражаютъ меня своей цѣлостью, своимъ общимъ выраженіемъ, а не частными чертами и выпуклостями. Жизнь не въ глазу, не въ губахъ, не въ подбородкѣ, не въ рукѣ, не въ ногѣ, а въ лицѣ и цѣломъ станѣ человека, въ гармоніи всѣхъ чертъ, выпуклостей, округлостей и членовъ его тѣла. А что же такое эта жизнь?.. Нѣчто, чего, право, нельзя назвать... О, я понимаю теперь мнѣ Пигмалиона, влюбившагося въ статую имъ созданную, и оживившаго ее своей любовью!.. Не въ статую, а въ свѣтлый образъ, созданный его фантазіей и прилетавшій къ нему въ его лучшія минуты, влюбился онъ; не статую, а безобразную глыбу мрамора оживить мечтой своей фантазіи томился онъ желаніемъ, и—новый Прометей—онъ похитилъ у небожителей ихъ божественный огонь и оживилъ имъ бездушный мраморъ и наслаждался своимъ прекраснымъ созданіемъ... Да, счастливый художникъ, онъ вдохнулъ въ мраморъ эту жизнь, это «нѣчто», котораго я не умѣю и назвать.

Онъ во гробѣ лежалъ съ непокрытымъ лицомъ, съ непокрытымъ, съ открытымъ лицомъ.

Такъ поетъ безумная Офелія о своемъ погибшемъ отцѣ, и какая глубокая творческая жизнь заключается въ этихъ двухъ простыхъ стихахъ, какой глубокой поэзіей дышатъ эти безыскусственные слова! И что же составляетъ ихъ внутреннюю жизнь, ихъ таинственную прелесть?—Повтореніе одного и того же слова съ простымъ этимологическимъ измѣненіемъ: «не-покрытымъ съ открытымъ». Но такъ-то могуче дѣйствуетъ все, что ни выходитъ изъ полноты жизни...

Возьмите любое изъ мелкихъ стихотвореній Пушкина: какая удивительная простота и содержанія, и формы, и вмѣстѣ съ тѣмъ какая глубокая жизнь!.. Иногда случается встрѣтить въ толпѣ незнакомое лицо: въ немъ нѣтъ ничего особеннаго, а между тѣмъ оно врѣзывается въ память, и долго-долго мелькаетъ оно передъ усталыми очами, готовыми сомкнуться на ночной покой, мгновеніе соннаго забытья сливается съ мыслью объ этомъ странномъ, неотвязчивомъ лицѣ... Вотъ какое впечатлѣніе производятъ мелкія стихотворенія Пушкина, когда ихъ прочтешь въ первый разъ, безъ особеннаго вниманія. Забудешь иногда и громкое имя поэта, и всѣмъ извѣстное названіе стихотворенія, а стихотвореніе помнишь, и когда помнишь смутно, то оно безпокоитъ душу, мучитъ ее. Отчего это?—оттого, что во всякомъ такомъ стихотвореніи есть нѣчто, которое составляетъ тайну его эстетической жизни.

Вотъ этого-то «нѣчто» и не находимъ мы въ стихотвореніяхъ Бенедиктова. Его стихъ звученъ, громокъ, полнъ гармоніи; его образы ярки, смѣлы, живописны; онъ часто какъ будто возвышается до истиннаго одушевленія, до истинной поэзіи; во перечтите еще разъ, вглядитесь попристальнѣ въ то, что вамъ показалось поэзіей—и «нѣчто» и не бывало: форма остается отдѣленной отъ духа, а духа нѣтъ, потому что нѣтъ таинственнаго слитія между ними. Одновременность идеи и формы есть основной законъ акта творчества; но у Бенедиктова—такъ по крайней мѣрѣ кажется намъ—идея всегда предшествуетъ формѣ, которая у него придѣлывается къ идее. Сверхъ того, что за ослѣпительная яркость красокъ! какъ неприятно раздражаетъ она зрительный нервъ!

Мы говоримъ объ изысканности выраженій. Развернемъ книгу. Вотъ стихотвореніе «Море».

Свинцовая дума въ тебѣ потонула;
Мечта лобызаетъ поверхность твою.
Отрадна, мила мнѣ твоя безконечность;
Въ тебѣ мнѣ открыта красавица-вѣчность.

Что это такое и для чего это?—право, не понимаемъ. На русскомъ языкѣ есть три стихотворенія къ морю: Пушкина, Жуковскаго, Полежаева; сравните ихъ съ стихотвореніемъ Бенедиктова...

Земли могучія возстанья,
Побѣги праха въ небесахъ!

Это значить—горы!

«Масса сорвалась съ грустной (?) цѣпи тяготѣнья, съ кипящей думой отторженія; столбы въ развалинахъ—изгнанники высотъ; кудри дѣвы—шелковый каскадъ; поэтъ есть пѣвучій пловецъ, безъякорный (!)

въ жизненномъ морѣ; коснуться къ ней пламеннымъ взоромъ (т. е. «взглянуть на нее»); въ походѣ мы радилась; всѣ прихоти—въ пламень (вѣрно, въ каминъ?); кинуть въ воздухъ замерзшія облака, кольцомъ облатій обогнуть; въ небѣ есть аэмазы освѣщенія и сѣмена крушительной грозы; во не страшись и молній отверженья; откованный въ горнилахъ сердца стихъ; сердечной музыки мучительная гамма; Наполеонъ во мракѣ безвластія на островѣ вѣномъ; мысль заряжена огнемъ, гремучихъ вдохновеній; живыя иглы штыковъ; природа вихремъ свиснула по полю; дребезги разбитой власти».

Неужели это поэзія?

Намъ можетъ быть скажутъ, что это недостатки, которые могутъ быть и при истинной поэзіи. Могутъ—отвѣчаемъ мы; но въ стихотвореніяхъ Бенедиктова мы, при этихъ недостаткахъ, обличающихъ отсутствіе эстетическаго чувства, не видимъ жизни, этого «нѣчто, о которомъ мы говорили. Читаешь ихъ съ напряженіемъ, а прочтя, чувствуешь удовольствіе, какое всегда слѣдуетъ за окончаніемъ тяжелой работы. Нѣкоторыхъ стихотвореній, какъ напр. «Море», «Я не люблю тебя», «Ватерлоо», мы совсѣмъ не понимаемъ, не только въ поэтическомъ, но и во всякомъ смыслѣ.

Можетъ быть мы ошибаемся? мы никому не называемъ своего мнѣнія: справедливо оно—намъ честь; ложно—тѣмъ хуже намъ, а не поэту: истина рано или поздно должна оправдаться, а ложь постыдиться.

Уголино. *Драматическое представленіе. Соч. Н. Полевого. Спб. 1838.*

«Всеприсутствіе духа еще другимъ образомъ является намъ. Во всякомъ естественномъ произведеніи организація простирается въ безконечность. Она не снаружи его только: она проникаетъ всю его внутренность. Возьмите кристаллъ и разбейте его въ маленькіе кусочки—въ такіе, чтобъ рассмотреть ихъ можно было только въ самые сильные микроскопы, и вы снова въ этихъ мельчайшихъ кусочкахъ найдете образъ кристалла. Или посмотрите на древесный листокъ въ постепенно болѣе и болѣе увеличивающія стекла, и вы увидите, какъ организація простирается въ немъ въ безконечность. И чѣмъ внимательнѣе станете вы наблюдать произведенія природы, тѣмъ болѣе, очевиднѣе откроется вамъ, до какихъ неувидимыхъ тонкихъ нитей простирается его организація. Этимъ-то различаются произведенія природы отъ произведеній ремесла. Самая тончайшая ткань является грубыми, перепутанными веревками, какъ скоро посмотрите на нее въ микроскопъ».

Такъ говоритъ одинъ изъ новѣйшихъ мыслителей Германіи, разсуждая о всеприсутствіи духа въ природѣ. Какъ нарочно случилось такъ, что мы недавно собственными глазами удостовѣрились въ поразительной истинности чуднаго факта, которымъ онъ подтверждаетъ свою мысль. На Кузнецкомъ мосту показывается микроскопъ, увеличивающій предметы въ миллионъ разъ, и мы тамъ видѣли крыло мухи и бабочки, величиной болѣе двухъ аршинъ; видѣли

перерѣзанный сахарный тростникъ, который кажется перепиленнымъ огромнымъ дубомъ, и удивлялись безконечной организаціи этихъ предметовъ. Какая во всемъ стройность, гармонія, симметрія, красота, изящество, правильность! Какая безпредѣльность, безконечность! Каждая малѣйшая частица, атомъ, исчезающій отъ невооруженнаго глаза, заключаетъ въ себѣ безчисленное множество другихъ частицъ, изъ которыхъ части каждой расположены съ неистижимой соотвѣтственностью, правильною и красотой. Потомъ тамъ же видѣли мы лоскуточекъ самой тонкой, лучшей кисей, и намъ представилась плетенка изъ мочальныхъ веревокъ, переплетенная квадратно, но безъ всякой правильности; а веревки грубыя, какъ бы намоченныя, истертые...

То же самое зрѣлище представитъ вамъ и искусство, если только природа одарила васъ хорошимъ микроскопомъ—вѣрнымъ и глубокимъ чувствомъ изящнаго. При помощи его вы безъ труда отличаете произведенія творчества отъ произведеній ремесла. Въ первыхъ вы тотчасъ замѣтите полноту организаціи и органическую жизнь, посредствомъ которой всѣ части его связаны необходимымъ внутреннимъ единствомъ, а во вторыхъ какъ разъ замѣтите, что всѣ ихъ части соединены механически, помощью клея, нитокъ, гвоздей и другихъ посредствующихъ предметовъ. Сначала такое произведеніе можетъ показаться вамъ очаровательной красавицей, полной жизни и прелести; но вѣмотритесь въ нее пристальнѣе—и вы увидите отвратительный скелетъ, у котораго вмѣсто голубыхъ глазъ впадины, вмѣсто розовыхъ устъ—голыя челюсти съ осклизшими губами. Конкретность*) есть главное условіе истинно-поэтическаго произведенія; а безъ нея оно есть произведеніе мастерства, поддѣльный розанъ и съ цвѣтомъ, и съ запахомъ розана, но безъ жизни розана, безъ чего-то такого, чего нельзя назвать, но въ чемъ заключается жизнь. Конечно ремесло или мастерство очень удачно поддѣлывается подъ природу, но только издали, до тѣхъ поръ, пока не взглянуть поближе на его поддѣлки. Обратите вниманіе на то, какъ отвратительны восковыя статуи, какое непріязненное, враждебное чувство антипатіи про-

*) Конкретность производится отъ конкретный, а конкретный происходитъ отъ латинскаго глагола *concreto* — *срастается*. Это слово принадлежит новѣйшей философіи и имѣетъ обширное значеніе. Здѣсь мы употребляемъ его, какъ выраженіе органическаго единства идеи съ формой. Конкретно то, въ чемъ идея проникла форму, а форма выразила идею, такъ что съ уничтоженіемъ идеи уничтожается и форма, а съ уничтоженіемъ формы уничтожается идея. Другими словами, конкретность есть то таинственное, неразрывное и необходимое сліянiе идеи съ формой, которое образуетъ собой жизнь всего, и безъ котораго ничего не можетъ жить. Это особенно поразительно въ произведеніяхъ искусства: въ музыкальномъ произведеніи есть идея и жизнь, въ которыхъ заключается тайна его дѣйствія на душу человѣка, и есть звуки—форма; уничтожьте звуки—и не будетъ музыкальнаго произведенія. Конкретности противопоставляется *опалеченность*, которая въ искусствѣ существуетъ какъ *аллегорія*.

буждаютъ онѣ; точь въ точь какъ трупъ. А между тѣмъ въ нихъ подражаніе и близость къ природѣ доведены до послѣдней, почти невозможной, степени совершенства. Напротивъ того, произведенія скульптуры, эти мраморныя произведенія, гдѣ глаза и волосы одного цвѣта со всѣмъ тѣломъ,—живутъ и дышатъ юной, роскошной жизнью и весело улыбаются, и стыдливо смотрятъ, и какъ будто хотятъ что-то вымолвить... Причина очевидна: въ первыхъ форма существуетъ отдѣльно, сама по себѣ, а идея сама по себѣ, или, лучше сказать, форма пріискава для идеи и приклеена къ ней; во вторыхъ же выражается конкретное сліяніе идеи съ формой, и идея существуетъ только черезъ форму. Законъ конкретности выходитъ изъ закона свободы, основанной на непреложной необходимости. Всякое произведеніе искусства только потому художественно, что создано по закону необходимости, что въ немъ нѣтъ ничего произвольнаго, что въ немъ ни одно слово, ни одинъ звукъ, ни одна черта не можетъ замѣниться другимъ словомъ, другимъ звукомъ, другой чертой. Да не подумаютъ, что мы уничтожаемъ этимъ свободу творчества: нѣтъ, этимъ-то именно мы и утверждаемъ ее. Художникъ можетъ перемѣнить не только слово, звукъ, черту, но всякую форму, даже цѣлую часть своего произведенія, но съ этой перемѣной измѣняются и форма, и идея; и это будетъ уже не та же идея, не та же форма, только улучшенная, но новая идея, новая форма. Итакъ, въ истинно-художественныхъ произведеніяхъ, какъ вышедшихъ изъ законовъ необходимости, нѣтъ ничего случайнаго, ничего лишняго, ничего недостаточнаго, но все необходимо. Въ драмѣ Шекспира нѣтъ вымысла, въ обыкновенномъ и пошломъ значеніи этого слова; каждая драма его есть самое вѣрное, самое точное описаніе событія, случившагося въ дѣйствительномъ мірѣ, но извѣстнаго только одному Шекспиру, какъ будто онъ самъ присутствовалъ при его развитіи и ходѣ. Ни одно лицо его драмы не скажетъ ни одного слова, котораго бы оно не должно было сказать, т.-е. которое не выходило бы изъ его характера, изъ всей полноты его природы. Поэтому можно написать книгу о каждомъ изъ дѣйствующихъ лицъ любой его драмы, рассказать его исторію до начала драмы и по ея окончанію.

Не таковы мнимо-художественныя произведенія, эти батардыискусства, эти красавицы по милости бѣлилъ, румянъ, сурьмы и накладныхъ формъ; эти недосозданные Икары съ восковыми крыльями, эти жалкіе недоноски воображенія: въ нихъ все произвольно, и потому все несвободно; все условно, и потому все бессмысленно. Образы безъ лицъ, пародіи на дѣйствительность, безжизненные трупы еще до рожденія—они иногда обольщаютъ призракомъ какой-то неестественной жизни, очаровываютъ призракомъ какой-то неестественной красоты, но горю тому, кто влюбится въ нихъ: его постигнетъ участь студента Натанаэля, влюбившагося въ автоматъ, въ повѣсти Гофмана «Песочный Человѣкъ». Для него никогда уже не будетъ доступна истинная, живая красота, а онъ, новый Танталъ, вѣчно будетъ жа-

ждать упоенія красотой... Но къ счастью люди, способные обмануться такой красотой, неспособны къ танталовой жадѣ и находятъ для себя полное удовлетвореніе въ призракахъ. Всякому свое—во здравіе! Но мы твердо держимся мысли, что обманываться могутъ индивиды, а не общество, и что если для него и существуетъ возможность обмануться, то очень не надолго, и въ такомъ случаѣ, чѣмъ живѣе было его увлеченіе, тѣмъ безпопачнѣе будетъ его мщеніе за него, чѣмъ громче были его минутныя рукоплесканія, тѣмъ пронзительнѣе будетъ его свистъ...

Конкретность всякаго лица въ драмѣ, всякаго образа вообще въ искусствѣ выходитъ изъ законовъ творческой необходимости. Законы эти сознаны; но самый процессъ творчества есть тайна. Можно сказать, почему въ той или другой поэтической формѣ отразилась животрепещущая жизнь, но нельзя сказать, какимъ образомъ. Мы уже намекали объ этомъ, говоря о стихотвореніяхъ Бенедиктова. Кому непонятна покажется наша мысль, тому нельзя растолковать ее. Мы можемъ только сказать, что художественный образъ только тогда художественъ, когда онъ есть конкретное выраженіе идеи въ формѣ и черезъ форму, что конкретность вытекаетъ изъ творческой необходимости, а творческая необходимость чувствуется и сознается художникомъ въ минуту творческаго одушевленія, которое въ свою очередь есть принадлежность творческаго дара, получаемого отъ природы ея избранными любимцами. Содержаніе этихъ строкъ или этого періода можетъ быть содержаніемъ цѣлаго сочиненія въ нѣсколькихъ томахъ. Не чувствуя въ себѣ достаточной силы для такого сочиненія, мы ограничиваемся развитіемъ этой мысли при разборѣ произведеній, мнимыхъ и истинныхъ, и приложеніемъ ея къ нимъ.

Все, что мы высказали теперь, все это было пробуждено въ насъ драматическимъ произведеніемъ Полевого. Не знаемъ почему, но только ни одно сочиненіе не производило на насъ такого грустнаго впечатлѣнія. Драматическое произведеніе на сценѣ и въ печати подвергается суду страшному, неумолимому, а судитъ съ тѣмъ, чтобы осудить, не всегда пріятно. Другое дѣло, когда авторъ въ родственномъ или пріятельскомъ кругу читаетъ свое произведеніе: тамъ нѣтъ суда, тамъ все подкуплено и благосклонной довѣренностью автора, и очарованіемъ его чтенія, которое дополняетъ сочиненіе и даже даетъ ему то, чего въ немъ нѣтъ, но что только желалъ авторъ въ немъ выразить... Нѣтъ, никогда не напечатано и не поставлено на сцену моей драмы, если вздумаю написать ее!.. А отчего?—Вѣдь если бы всѣ такъ были робки, то не было бы на свѣтѣ и Шекспировскихъ драмъ! Нѣтъ, не отъ робости (я вообще не робокъ), не отъ робости я такъ думаю; а по причинѣ болѣе основательной, которую и спѣшу высказать.

Есть два способа выражать внутренній міръ своихъ представленій: посредствомъ чистой мысли—логически, и непосредственно—въ образахъ. Каждый изъ этихъ способовъ имѣетъ свои подраздѣленія, и

мы, оставляя въ сторонѣ первый, какъ не относящійся къ нашему предмету, будемъ говорить о второмъ. Этотъ второй или непосредственный способъ выраженія идеи вообще называется поэтическимъ или художественнымъ. По нашему мнѣнію, это невѣрно: поэтическое можетъ быть не-художественнымъ, но художественное не можетъ быть не-поэтическимъ. Не входя въ подробныя объясненія, которыя могли бы завести насъ далеко, постараемся примѣромъ объяснить нашу мысль. Въ прошлой книжкѣ нашего журнала помѣщенъ переводъ «Идеаловъ» Шиллера, — переводъ, по крайней мѣрѣ какъ кажется намъ, прекрасный, хотя можетъ быть еще и далеко не совершенный; но не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что это произведеніе Шиллера поэтическое, но нисколько не художественное. Оно обнаруживаетъ въ Шиллерѣ душу пламенную, глубокую, великую, человека гениальнаго, но не художника: оно полно глубокихъ идей, отличается силой, энергіей и красотой выраженія, но не художественностью. Въ творчествѣ сила не въ идеѣ, а въ формѣ, которая, само собою разумѣется, необходимо предполагаетъ и условливаетъ идею, и эта форма должна быть проникнута кроткимъ, благолѣпнымъ сіяніемъ эстетической красоты. Величіе содержанія (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозриваетъ ее.

Если бы васъ спросили, какую идею выражаютъ собой «Идеалы» Шиллера, вы, безъ сомнѣнія, не запинаясь, отвѣтили бы: идею человека съ душой поэтической, колоссальной, — человека, который отзывался на всѣ явленія жизни, порывался выразить и въ звукѣ, и въ слѣвѣ, и въ краскѣ внутрення міръ своихъ глубокихъ и могучихъ ощущеній, и который, наконецъ, увидѣлъ съ грустью, что для него міръ уже не то, чѣмъ онъ ему казался въ златые дни его юности, что взаимнѣ всѣхъ блестящихъ благъ своихъ жизнь дала ему только дружбу и трудъ... Не правда ли? — Теперь, что бы вы отвѣтили, если бы васъ спросили, какую идею выражаетъ собою «Нереида» Пушкина? — Трудный вопросъ — не правда ли? Можетъ быть вы и отвѣтили бы на него, только подумавши, и не такъ скоро. И таково всегда истинно-художественное произведеніе, что въ немъ идея, такъ сказать, поглощается формой, и вы больше видите ее, нежели понимаете. Въ этомъ-то и состоитъ непосредственность искусства. Въ «Нереидѣ» Пушкина есть идея; но она такъ конкретно слита съ формой, что вамъ, чтобы выговорить ее, надо оторвать ее отъ формы, а форма такъ прекрасна, что у васъ не подымается рука на такую операцію. Спросите всѣхъ, что лучше — «Идеалы» или «Нереида»? — большинство станетъ за «Идеалы», но чьи глаза одарены ясновидѣніемъ вѣчной красоты, тѣ даже не станутъ и сравнивать этихъ двухъ произведеній...

Все, что вышло изъ души, изъ чувства, словомъ, изъ полноты жизни, и выражено съ жаромъ, увлеченіемъ — во всемъ томъ есть поэзія, потому что есть непосредственность или образность.

Въ этомъ смыслѣ поэзія можетъ быть и въ рѣчи,

и въ статьѣ журнальной. За примѣрами ходить не далеко: вспомните, что говоритъ Гегель *) о той части физическихъ наукъ, «которая подсматриваетъ тихую, таинственную производительность природы, проявляющуюся въ камнѣ и въ вѣдрахъ земли, скромно, безъ претензій слагающую этотъ языкъ молчанія, эти красивыя формы, радующія взоръ, раздражающія дѣятельность ума, понуждающія его нечувствительно возвышаться до понятія и представляющія ему образъ тихой, правильной, замкнутой въ себѣ красоты!» Неужели это не поэзія? — Но, вѣрно, никто не вздумаетъ назвать это художественностью.

Мы думаемъ, что это даже и не поэзія, хотя тутъ и есть поэзія, какъ есть она во всемъ, въ чемъ есть душа, и чувство, и жизнь; но что это краснорѣчіе или второй, низшій способъ непосредственнаго выраженія истины. Первый же и высшій способъ непосредственнаго выраженія истины есть художественная поэзія, или поэзія формы, а поэзія содержанія, т.-е. такая поэзія, которой сила и могущество заключается въ глубокости и великости идеи, занимаетъ середину между этими двумя способами непосредственнаго способа выраженія истины. Она колеблется между краснорѣчіемъ и художественностью, безпрестанно переходя то въ краснорѣчіе, что вредитъ ей, то въ художественность, что возвышаетъ ее. Въ этомъ смыслѣ она есть какой-то недоносокъ, и ея произведенія не могутъ надѣяться на долговѣчность. Шиллеръ, въ которомъ философскій элементъ безпрестанно боролся съ художественнымъ элементомъ и часто побѣждалъ его, Шиллеръ едва ли не въ большей части своихъ произведеній принадлежитъ къ числу этихъ полу-поэтовъ. Гете и нашъ Пушкинъ — вотъ чисто поэтическія натуры: одному довольно сорванного цвѣтка, а другому — завиднаго цвѣтка, нечаянно найденнаго имъ въ книгѣ, чтобы ринуть душу читателя въ міръ безконечнаго.

Но я началъ объяснять, почему бы никогда не отдалъ моей драмы ни на сцену, ни въ печать, а дошелъ до Гете и Шиллера: это не отступленіе, а приступъ.

Положимъ, что у меня есть свой внутренній міръ идей, которыя меня тревожатъ и рвутся осуществиться, — какой изъ исчисленныхъ мной способовъ выраженія долженъ я избрать? Положимъ, что я не метафизикъ, не философъ, что логика мнѣ не дается; слѣдовательно остается: непосредственный способъ. Тутъ опять вопросъ: есть ли у меня даръ творчества или только способность краснорѣчія? Если я поэтъ, то никогда не выскажусь, никогда не дамъ себя понять въ рѣчи, въ статьѣ, въ фантазіи какой-нибудь, и именно потому, что я поэтъ; но вполнѣ выскажусь въ художественномъ произведеніи. Если же я не художникъ, то какъ бы ни глубока и ни вѣрна была идея, которую я хочу высказать, — она затемнится; какъ бы ни пламенно было чувство,

*) Гимназическія рѣчи Гегеля: «Наблюдатель», стр. 200.

одушевляющее меня, — оно охладѣетъ, если я, наперекоръ моей натурѣ, буду силиться и натягиваться выразить то и другое въ лирическомъ стихотвореніи, въ поэмѣ, романѣ, драмѣ. Человѣкъ выдаетъ поэтическое произведеніе: ему говорятъ, что въ немъ нѣтъ мысли, потому что нѣтъ чувства, и нѣтъ чувства, потому что нѣтъ мысли. «Помилуйте, возражаетъ онъ, я писалъ по вдохновенію, глубоко чувствовалъ то, что писалъ...» — Вѣримъ, вѣримъ, милостивый государь, но все-таки ваша поэма есть проза, и проза плохая, а не поэзія. Вдохновеніе не есть исключительная принадлежность художника: безъ него недалеко уйдетъ и ученый, безъ него немного сдѣлаетъ даже и ремесленникъ, потому что оно вездѣ, во всякомъ дѣлѣ, во всякомъ трудѣ. У васъ есть душа, есть чувство, но они и остались въ васъ, а не перешли въ ваше произведеніе, потому что вы не были самимъ собой, или наперекоръ своей природѣ, своему призванію, хотѣли передать благодатное пламя души вашей въ томъ, чего вамъ не дано. Самозванство и въ поэзіи ведетъ къ паденію. Если бы только одни поэты были людьми съ душой и чувствомъ, то ихъ бы некому было читать и понимать; а если бы всѣ люди съ душой и чувствомъ сдѣлались поэтами, то опять имъ пришлось бы читать самихъ себя.

Вотъ я и кончилъ. «Какъ кончили, а «Уголино»? Вѣдь вы объ немъ хотѣли говорить?» — Да я ужъ все сказалъ о немъ. Впрочемъ, если угодно, я прибавлю еще кое-что, чтобы, какъ говорится, заострить статью.

«Уголино» есть лучшее доказательство той непреложной истины, что нельзя писать драмъ, не будучи поэтомъ. Умѣть писать стихи также не значитъ еще быть поэтомъ: всѣ книжныя лавки завалены доказательствами этой истины. Что такое «Уголино»? Что за лица въ немъ, что за характеры, что за завязка? Вотъ вопросы, на которые трудно отвѣчать. Интересъ двоятся на двухъ лицахъ, и никакъ нельзя рѣшить, которое изъ нихъ есть герой драмы. Вѣроятно Нино, потому что его роль въ Москвѣ играетъ Мочаловъ, а въ Петербургѣ — Каратыгинъ. Что же такое этотъ Нино? Сперва это молодой повѣса, буйный гуляка, потомъ аркадскій пастишокъ, далѣе свирѣпый мститель, а наконецъ скучный резонеръ. Въ этомъ Нино собраны всѣ недостатки Карла Моора и Фердинанда, и ни одного изъ ихъ достоинствъ. Это что-то дѣтское, прекраснодушное. — Вероника по идеѣ — прекрасное созданіе, напоминающее Юлію Шекспира, но по выполнению — образъ безъ лица. Сцены любви между Нино и Вероникой явное подражаніе или, лучше сказать, явная пародія на сцены любви между Ромео и Юліей. И въ самой лучшей изъ нихъ, начинающейся стихами:

Вероника! я смѣлъ ли думать... о, позвольте мнѣ
Стать на колѣни передъ вами, ангеломъ небеснымъ! —

ни одного поэтического стиха, ни одного поэтического слова! Фраза на фразѣ! Это ли сцена любви,

гдѣ все должно быть проникнуто чувствомъ, душой, жаромъ? И какой конфетный взглядъ на любовь! Во всемъ этомъ нѣтъ ни тѣни даже того, что мы назвали краснорѣчіемъ въ поэзіи и что такъ часто и съ такой силой кипитъ въ самыхъ дѣтскихъ произведеніяхъ Шиллера, даже въ «Фіеско», самой плохой изъ его драмъ. Сцена любви! Да знаете ли вы, что такое должна быть сцена любви?

Все, что ни говорятъ Нино Вероникѣ, и она ему, все это произвольно, потому что все это можетъ быть измѣнено и перемѣнено, какъ вамъ угодно и сколько вамъ угодно. И потому-то они, сами чувствуя затруднительность своего положенія, прибѣгаютъ къ благодѣтельному въ такихъ случаяхъ междометію «ахъ» и къ восклицательному повторенію своихъ именъ «Нино!» «Вероника!». Прочтите сцену свиданія (тоже въ саду) Ромео съ Юліей: есть ли тамъ хоть одно лишнее или незначащее слово? не обрисовываетъ ли тамъ каждая фраза, каждое слово и характеръ, и положенія, и чувства того, изъ чьихъ устъ выходитъ?

Вы скажете — что за сравненіе: то Шекспиръ, а то Полевой! Очень хорошо: перчитайте все, что говорить черкешенка Пушкина плѣннику, Зарема — Маріи, Алеко — Земфирѣ, Маріи — Мазепѣ, что пишетъ Татьяна Онегину, и что писалъ Онегинъ Татьянѣ, и что говорила она ему: вотъ языкъ любви, безконечно глубокий, безконечно разнообразный, какъ разнообразны люди, которые говорятъ имъ. Вы опять скажете, что за сравненіе: то Пушкинъ, а то Полевой! Но съ кѣмъ же сравнить? Неужели же съ Сумароковымъ?

И какъ жалко было видѣть Мочалова въ этой роли! Онъ сдѣлалъ все, больше нежели можно было сдѣлать — и все-таки пьеса усыпила публику. Когда Нино находитъ Веронику убитой, онъ вышелъ изъ хижины съ лицомъ мертвеца, блѣдный и синій, онъ былъ ужасенъ; но тутъ онъ дѣйствовалъ одинъ, безъ участія автора; онъ сталъ говорить — и авторъ безпрестанно мѣшалъ ему, безпрестанно вязалъ его, заставляя говорить фразы. Но въ этой сценѣ есть два удачные стиха, которые не испортили бы никакой и ничьей сцены — это, когда Нино встрѣчаетъ Уголино:

Добро пожаловать — я гостю радъ —
Хозяйки нѣтъ — что дѣлать? — я не виноватъ!

И теперь еще раздаются въ слухъ нашѣмъ эти два стиха, которые прорыдалъ блѣдный, посинѣлый человѣкъ...

Въ сценѣ, гдѣ Нино засыпаетъ и видитъ во снѣ Веронику, которая на облакѣ поетъ ему прозаическими стихами о загробной жизни, жалко было смотрѣть и на Мочалова, и на драму... Но когда особенно жалко было смотрѣть на Мочалова, такъ это въ VIII сценѣ послѣдняго акта: тутъ онъ является ораторомъ, правоучителемъ и съ необыкновеннымъ успѣхомъ наводитъ на зрителей сладостную дремоту...

И что жъ, спросятъ насъ, неужели во всей драмѣ — одно неудачное и ничего хорошаго? И да, и

нѣтъ—если угодно. Есть счастливыя выраженія, счастливыя положенія, какъ напримѣръ Нино, застающій свою жену зарѣзанной; Нино, узнающій потомъ объ истинномъ убійцѣ; Нино, рѣшающійся на смерть, и въ сценѣ съ своимъ наставникомъ; есть очень удачныя монологи, и особенно тотъ, который Нино говоритъ своему наставнику; но какъ все это не выходитъ органически изъ цѣлаго, по закону необходимости, то въ нашихъ глазахъ и не имѣетъ другого значенія, кромѣ помпы и блеску. Если хотите, у Гюго и Дюма много найдется драмъ хуже «Уголино» и мало столь хорошихъ; но это не похвала, а приговоръ... Сцена въ Башнѣ Голода возмутительна, чтобы не сказать отвратительна; сцена, гдѣ откармливаютъ дѣтей Уголино, смѣшна.

Изъ характеровъ всѣхъ лучше сдѣланъ и отдѣланъ Руджіеро, и Щепкинъ, игравшій эту роль, изумлялъ своимъ искусствомъ: онъ создалъ эту роль на сценѣ, отъ себя, независимо отъ автора.

Мы не будемъ разбирать драмы съ исторической стороны—это нисколько не относится къ дѣлу: поэтическіе характеры могутъ быть не вѣрны исторіи, лишь были бы вѣрны поэзіи. Вѣрность законамъ творчества—это главное, а остальное все второстепенное. Поэтому у насъ, при разборѣ сочиненія, первый вопросъ: что это такое—поэзія или претензія на поэзію? Имена для насъ ничего не значатъ, и чѣмъ громче имя, тѣмъ строже нашъ судъ, потому что ложныя произведенія часто ходятъ за истинныя, благодаря очарованію имени, подъ которымъ они выпускаются. Отъ этого большой вредъ для эстетическаго образованія общества. Многие, увлекаемая фразами, привыкаютъ почитать ихъ за поэзію и дѣлаются неспособными понимать истинную поэзію. Слѣдовательно тутъ вредъ истиннѣ, а когда дѣло идетъ объ истинѣ въ отношеніи къ искусству—для насъ нѣтъ никакихъ именъ: *Amicus Plato, sed magis amica veritas!*

Краткая исторія Франціи до Французской революціи. Соч. Мишле, профессора историческихъ наукъ. Перев. съ французскаго К. Пулюичъ. Спб. 1838. (Отрывокъ).

«Не родись уменъ, не родись пригожъ—родись счастливъ» говорятъ русская пословица; мы вспомнили ее, читая уродливую компиляцію Мишле и видя, что она переведена хорошо. Предосадно читать дурныя книги, хорошо переведенныя: это все равно, что читать хорошую книгу, дурно переведенную.

Во Франціи есть свои явленія умственного міра, достойныя всякаго уваженія, представители націи, дѣлающіе ей честь. Условіе достоинства французскихъ ученыхъ такого рода заключается непременно въ ихъ народности, въ томъ, чтобы они были французами по преимуществу и вполнѣ выражали собой духъ своего общества. Къ такимъ людямъ принадлежатъ: Кювье, Деппюитреть, Жоффруа де Сентъ-Илеръ, Гизо и нѣкоторые другіе; это по большей части умы точныя, практическіе, глубокие и основательные въ своей сферѣ, вѣрные своей точки зрѣнія.

Кромѣ того, какъ всѣ люди съ истиннымъ достоинствомъ, они добросовѣстны, не любятъ фанфаронадъ и громкихъ фразъ. У французовъ есть способность рассказывать факты, представлять историческія событія въ связи и картинно, и въ этомъ отношеніи особенно можно указать на Тьерри, извѣстнаго своимъ превосходнымъ твореніемъ «*La conquête de l'Angleterre par les Normands*». Да, истина непреложная, что у всякаго народа есть своя жизнь, свое значеніе, своя дѣйствительность и своя призрачность, свое великое и свое пошлое. Мы сказали о великомъ французскаго народа въ учено-литературномъ отношеніи: перейдемъ къ его пошлему.

Во Франціи послѣ революціи и владычества Наполеона,—событій, познакомившихъ ее съ другими народами, вдругъ произошла сильная реакція всему старому. Реакція эта съ особенной силой выразилась въ литературѣ. Франція разрушила капища кумировъ своихъ, сбросила ихъ статуи съ пьедесталовъ и разбила ихъ. Корнель, Расинъ, Буало, Мольеръ, Кребильйонъ, потомъ Вольтеръ со всѣмъ энциклопедическимъ причетомъ—все это было ниспровергнуто, отринуто. Вдругъ образовались двѣ школы: идеальная и неистовая. Представители первой были Шатобрианъ и Ламартинъ. Безспорно, это люди честные, добрые; но въ поэзіи требуется нѣчто другое, кромѣ хорошаго поведенія,—требуется даръ творчества, который одинъ можетъ сдѣлать человѣка художникомъ, а его-то у нихъ и не доставало, по крайней мѣрѣ въ соразмѣрности съ ихъ претензіями на художническую гениальность. Но что жъ долго думать?—Если не художественность—такъ фразы, не гений—такъ претензіи на гениальность. Они такъ и сдѣлали. Это самая опасная и вредная школа, потому что ничто такъ не портитъ молодыхъ людей, какъ приторная чувствительность, надутая возвышенность и вообще фразерское направленіе. Такая поэзія дѣлаетъ людей призраками, закрывая отъ ихъ глазъ туманомъ фразеологіи живую дѣйствительность. Шатобрианъ имѣетъ еще значеніе, какъ государственный человѣкъ, много жившій, много видѣвшій, и какъ писатель собственно, а не поэтъ; но Ламартинъ съ своими неистощимыми слезами о бѣдствіяхъ человѣческихъ и чуть ли не полумилліономъ годового дохода, съ своимъ поэтическимъ ореоломъ изъ золоченой бумаги и претензіями на политическую значительность, съ своими заоблачными мечтаніями и свѣтской мелочностью есть не что иное, какъ длинная водяная элегія, начиненная искусственными вздохами и поддѣльными слезами, пышная фраза на ходуляхъ, риторическая восклицательная фигура. Но что нужды?—Франція провозгласила его великимъ поэтомъ, а огромная нація добрыхъ людей, разсѣянная по всему бѣлому свѣту, повѣрила ей на слово. Вотъ какова идеальная школа романтическихъ поэтовъ Франціи. Неистовая не такова. Она происходитъ по прямой линіи отъ Байрона. Дѣло вотъ въ чемъ. Байронъ, какъ новый Атлантъ, поднялъ на свои мощныя рамена страдающія цѣлаго человѣчества, но не палъ подъ этой ужасной тяжестью. Душа его была бездонная пропасть;

его притязанія на жизнь были огромны, и жизнь отказала ему въ его требованіяхъ. Онъ оперся на самого себя, и новый Прометей, терзаемый коршуномъ — ненасытимой жадью своего безпокойнаго духа, вопли гордой души своей передалъ въ чудныхъ, художественныхъ образахъ. Это былъ поэтъ гордаго самимъ собой отчужденія. Сынъ XVIII вѣка, онъ съ презрѣніемъ оттолкнулъ отъ себя его бѣдныя радости, его нищенскія наслажденія, — и не узналъ истинныхъ радостей, истинныхъ наслажденій того богатства духа, котораго ни ржа не точитъ, ни тать не похищаетъ. Въ арабійской пустынь желѣзнаго стоицизма нашелъ онъ свое убѣжище отъ карающей его и презираемой имъ судьбы, и не достигъ до обѣтованной земли благодати, гдѣ открывается вѣчная истина, разрѣшаются въ гармонію диссонансы бытія и мерцаютъ таинственнымъ блескомъ зари безконечнаго блаженства. Да, благородному лорду дорогой цѣной обошлись его дивныя пѣсни: онъ былъ имъ выстраданъ. Но наши господа неистовые объ этомъ не подумали: имъ показалось очень эффектно бранить и проклинать жизнь. И вотъ —

Запѣли молодцы: кто въ лѣсъ, кто по дрова.

Выпустили на свѣтъ бѣлыхъ медвѣдей, Гановъ, Лукрецій Борджіа, и пр. Все, что есть отвратительнаго въ человѣческой природѣ, всё ея уклоненія, все, что есть ужаснаго въ гражданскомъ обществѣ, всё его противорѣчія — все это они отвлекли отъ природы челоѣка и отъ гражданского общества, и рядъ чудовищно-нелѣпныхъ романовъ, повѣстей и драмъ наводнилъ весь бѣлый свѣтъ. Евгений Сю просто-на-просто объявилъ, что на этомъ свѣтѣ быть честнымъ и добрымъ — значитъ мѣтить прямо на висѣлицу или на колесо, а быть мерзавцемъ и извергомъ есть вѣрное средство наслаждаться всѣми благами міра сего. Гюго объявилъ себя защитникомъ всѣхъ гонимыхъ, т.-е. физическихъ и моральныхъ чудвищъ: по его теоріи всѣ сосланные на галеры съ клеймомъ лизіи — люди добродѣтельные, невинно гонимые обществомъ. Бальзакъ проповѣдуетъ, что быть бѣднымъ — все равно, что заживо попасть въ адъ, и что быть счастливымъ и блаженнымъ значитъ — имѣть кучу денегъ и право ставить передъ своей фамиліей частицу *де*. Дюма возвѣстилъ міру, что любить женщину — значитъ быть готовымъ каждую минуту задушить, зарѣзать ее; что сильно и глубоко чувствовать — значитъ быть тигромъ, гіеной. Жоржъ Зандъ приглашаетъ людей къ естественному состоянію, почитая гражданскія установленія и особенно бракъ главной причиной человѣческихъ бѣдствій. Развратъ, кровосмѣшеніе, разбой, отцеубійство, дѣтоубійство, братоубійство, предательство, казни, пытки, кровь, гной, рѣзня, тюрьмы и дома разврата сдѣлались любимыми пружинами для возбужденія эффекта. И что же? — вы думаете, что это люди съ сильными страстями, съ могучей волей, мученики жизни? — Ничего не бывало! это просто добрые ребята, краснощекіе, полные, здоровые, богатые, по модѣ одѣтые, роскошно живущіе. За вкуснымъ обѣдомъ и бутылкой шампанскаго они

охотно забываютъ свое ожесточеніе противъ жизни, а за порядочную сумму денегъ готовы написать дивирамбъ въ честь ея. Они такъ писали только потому, что это было въ модѣ и товаръ хорошо съ рукъ шелъ. Дайте имъ денегъ — они обратятся къ религіи — и къ какой вамъ угодно: къ христіанской (даже къ католицизму), къ магометанской, къ жидовской; надбавьте цѣну — они поклонятся идоламъ. Это народъ сговорчивый, и если вы увидите у котораго-нибудь изъ нихъ на лбу морщины, а на устахъ злую усмѣшку, то смѣло можете сказать —

Какой сердитый видъ!
Не бойтесь — онъ на дождь сердитъ!

Четыре главные момента были въ исторіи французскаго искусства и литературы вообще: вѣкъ стиховъ Ронсара и сентиментально-аллегорическихъ романовъ дѣвицы Скюдери; потомъ блестящій вѣкъ Людовика XIV; далѣе XVIII вѣкъ; за нимъ — вѣкъ идеальности и неистовости. И что же? — Несмотря на внѣшнее различіе этихъ четырехъ періодовъ литературы, они тѣсно соединены внутреннимъ единствомъ, отличаются общностью основной идеи, которую можно опредѣлять такъ: надутость и приторность въ идеальности и искренности въ невѣріи, какъ выраженіе конечнаго разсудка, который составляетъ сущность французовъ, и которымъ они торжественно превозносятся, величавъ его здравымъ смысломъ (*bon sens*). Поэтому самая цвѣтущая эпоха французской литературы была въ XVIII вѣкѣ. Сатанинское владычество Вольтера было дѣйствительно потому, что выразило собой моментъ не только цѣлаго народа, но и цѣлаго челоѣчества. Это былъ челоѣкъ могучій, котораго мысль и слово имѣли несчастное, но въ то же время дѣйствительное значеніе. Въ неистовой школѣ видны тѣ же сѣмена невѣрія и разрушенія, но сѣмена не въ духѣ времени, случайныя, призрачныя, подгнившія и потому не пускающія ростковъ. Вольтеръ былъ подобенъ сатанѣ, освобожденному высшей волей отъ адмантовыхъ цѣпей, которыми онъ прикованъ къ огненному жилищу вѣчнаго мрака, и воспользовавшемуся краткимъ срокомъ свободы на пагубу челоѣчества; господа неистовые похожи на мелкихъ бѣсѣнъ, которымъ много-много если удастся соблазнить православнаго полакомиться въ постный день ложкой молока или заставить набожную старуху проспать заутреню. Вольтеръ въ своемъ сатанинскомъ могуществѣ, подъ знаменемъ конечнаго разсудка, бунтовалъ противъ вѣчнаго разума, ярясь на свое безсиліе постичь разсудкомъ постижимое только разумомъ, который есть въ то же время и любовь, и благодать, и откровеніе; неистовые отверглись Вольтера, презираютъ безвѣріе и нечестіе XVIII вѣка, признаютъ и любовь, и благодать, и откровеніе, и въ то же время устремляютъ всѣ усилія своихъ ограниченныхъ дарованій и конечныхъ умовъ, чтобы противорѣчіями жизни (которыхъ они не въ силахъ примирить по недостатку любви, благодати и откровенія) доказать, что міръ Божій есть мрачная пустыня, гдѣ слышны только стовы и скре-

жеть зубовъ. Не одно ли то же оба эти явленія?— Да, одно и то же; но между ними есть и большая разница: первое было выраженіемъ историческаго момента, второе—совершенно случайно, произвольно, и потому ничтожно. Вольтеръ и его сподвижники были люди примѣчательные, даровитые, сильные въ самомъ своемъ несчастномъ ослѣпленіи; а господа неистовые—просто люди, взявшіеся за дѣло не по плечу себѣ, гении-самозванцы. Первые были Титаны, возставшіе противъ державнаго Олимпа и пораженные его громами; вторые—шаловливые школьники, затѣявшіе обобрать чужое вишневое дерево и думающіе, что они ниспровергаютъ цѣлый міръ. Чтобы образумить первыхъ, нужны были грома, для вторыхъ достаточно хорошихъ розогъ. Первые выражали свою внутреннюю разорванность, свое распаденіе и муки отъ него; вторые прикинулись разочарованными и схватились за богохульство, какъ за средство для эффектовъ.

Если неистовая школа есть повтореніе школы XVIII вѣка, то идеальная есть повтореніе двухъ первыхъ—школы Ронсара вкупѣ съ дѣвицей Сюдери и школы Людовика XIV: перемѣнились слова, перемѣнилась мода, сущность осталась та же. Это тѣ же фразы, то надутыя, то сентиментальныя, вывѣской которыхъ можетъ служить знаменитый монологъ, начинающійся стихомъ—

A peine nous sortions des portes de Trézène.

Да не подумаютъ, что мы унижаемъ французскую литературу и умышленно не хотимъ въ ней видѣть ничего хорошаго. Нѣтъ, мы видимъ въ ней и ея хорошую сторону. Эти же люди, если бы они захотѣли быть самими собой, а не лѣзли бы въ міровые гевин, были бы порядочными писателями, которыхъ сказочки и водевилычьи очень всеело было бы читать за завтракомъ и послѣ обѣда, за чашкою кофе. Сверхъ того у французовъ есть и блестящіе дарованія. Одинъ Беранже, впрочемъ не принадлежащій ни къ идеальной, ни къ неистой школѣ, есть такой поэтъ, которымъ Франція по справедливости можетъ гордиться. Его сфера очень ограничена, но въ самой ея ограниченности есть своя безконечность, потому что и у французовъ, лишенныхъ мірового созерцанія, есть своя сфера безконечнаго. Беранже — гуляка праздный; поцѣлуй Лизеты, бокалъ шампанскаго, побѣда республиканскихъ войскъ или арміи Наполеона—этимъ онъ доволенъ, больше онъ ничего не хочетъ знать. Деистъ XVIII вѣка по своимъ религіознымъ вѣрованіямъ, республиканецъ и вмѣстѣ наполеонистъ по своимъ политическимъ понятіямъ, язычникъ по своему взгляду на жизнь, безпечный, легкомысленный, остроумный, веселый, часто безстыдный до отвратительнаго цинизма, иногда даже возвышенный и глубоко чувствующій — онъ французъ въ душѣ и истинный поэтъ. Поэтому у него нѣтъ натынутостей, нѣтъ фразъ. Я, говоритъ онъ, пою бездѣлки—

Mais Dieu brille à travers ma gaité,
Il a béni ma pauvreté.

Къ довершенію всего, Беранже есть явленіе дѣй-

ствительное, въ полномъ смыслѣ этого слова, потому что онъ есть полное выраженіе народнаго духа Франціи и истинный поэтъ.

Въ то самое время, когда возникали идеальная и неистовая школы литературы, во Франціи возникла германско-французская ученая школа. Дѣло было вотъ какимъ образомъ: Кузенъ, не зная по-нѣмецки, два часа поговорилъ авес monsieur Hegel (Гегель Эжелъ), и узналъ, что Гегель великій философъ, постигъ всю его философію и началъ проповѣдывать во Франціи эклектизмъ. Лерминье—тоже гений первой величины, дичъ въ два ниспровергъ авторитетъ Кузена во Франціи и объявилъ, что французы, какъ и всякій другой народъ, должны имѣть свою философію, потому что разумъ—познавательная сила—не одинъ и тотъ же у всѣхъ людей, и бытіе—предметъ занятія — не одно и то же. По его теоріи, сколько головъ, столько и умовъ, и всѣ эти умы суть разноцвѣтные очки, въ которыя и міръ, и истина кажутся разноцвѣтными; абсолютной истины нѣтъ, а все истины относительныя, хотя онъ и ни къ чему не относятся. Христіанская религія абсолютная, и ея божественный Основатель на царство Духа указалъ намъ, какъ на цѣль нашихъ вѣрованій, и чрезъ Духъ же обѣщалъ намъ достиженіе этого благодатнаго и безконечнаго царства; но Лерминье не христіанинъ, а сенсимонистъ. Впрочемъ и у насъ нашлись добрые люди, лѣтъ двадцать уже сидящіе неподвижно на синтезѣ и анализѣ и отъ души повѣрившіе французскому болту-ну, что истина не одна, и что каждый народъ долженъ имѣть свою философію. Къ этой германско-французской школѣ принадлежатъ Мишле, Кине и нѣсколько другихъ фразеровъ. Конечно это люди не безъ дарованій, не безъ ума и не безъ свѣдѣній, но видите ли что: надъ ними сбывались эти насмѣшливые стихи нашего великаго баснописца—

— И сдѣлалась моя Матрѣна
Ни пава, ни ворона.

Мы уже сказали, что условіе достоинства всякаго дѣйствователя на литературномъ поприщѣ есть его народность; а эти люди, сдѣлавшись германцами, въ то же время не перестали быть французами. Оба эти элемента въ нихъ не проникли конкретно одинъ другого, а остались не слившимися отвлеченностями. И потому въ нихъ безпрестанно враждуетъ конечный разсудокъ съ претензіями на міровое созерцаніе. Результатомъ этой борьбы необходимо должны были быть произвольность во мнѣніяхъ и надутая фразистость въ выраженіяхъ.

Книга, подавшая намъ поводъ къ этому длинному разсужденію о французахъ, есть сочиненіе, какъ значится въ ея заглавіи, знаменитаго Мишле, ученаго германско-французской школы. По выходѣ ея перевода почти всѣ наши журналы пали передъ нею ницъ: имя великаго Мишле для нихъ было ручательствомъ достоинства книги. Въ самомъ дѣлѣ, — французъ и еще новой школы—

Какъ тутъ смѣть
Свое сужденіе имѣть?

Что же такое этотъ великій господинъ Мишле? Это просто одинъ изъ людей очень обыкновенныхъ вездѣ, даже и у насъ, и немногимъ выше тѣхъ литературныхъ судей, которые у насъ становятся предъ нимъ на колѣни. Впрочемъ его праздникъ у насъ уже проходитъ: тѣ самые люди, которые прежде съ торжествомъ и колѣнопреклоненіемъ превозносили его имя вмѣстѣ съ другими именами того же сорта, теперь уже начинаютъ разочаровываться въ его гениальности. Богъ что значить подростки! А то бывало—не смѣй и слова сказать о новыхъ французсахъ; по крайней мѣрѣ мы и теперь еще помнимъ, какъ лѣтъ семь или восемь назадъ въ одномъ журналѣ напали на Кронеберга за то, что онъ осмѣлился сказать, будто у французовъ нѣтъ философіи, и что Кузенъ—плохой философъ...

«Краткая исторія Франціи» Мишле есть очень плохая компиляція, какихъ у насъ много и своихъ. Не понимаемъ, зачѣмъ было переводить ее. Съ одними русскими книгами безъ всякихъ иностранныхъ пособій можно на подрядъ составить исторію Франціи и толковитѣе, и яснѣе, и существеннѣе. Въ книгѣ Мишле ни умозрѣнія, ни философскихъ взглядовъ, ни фактовъ—однѣ фразы и нескладное повѣствованіе безъ всякаго содержанія.

Турлуру (,) романъ Поль-де-Кока. Спб. 1838. Четыре части.

Стѣдина въ борода, а бѣсъ въ ребро, или каковъ женихъ? Романъ сочиненія Поль-де-Кока. Москва. 1838.

Кто не бранить Поль-де-Кока, кто не гнушается и его романами, и его именемъ, какъ чѣмъ-то пошлымъ, простонароднымъ, площаднымъ? — Бѣдный Поль-де-Кокъ! Перевернемъ вопросъ: кто не читаетъ романовъ Поль-де-Кока и, мало того—кто не читаетъ ихъ съ удовольствіемъ, даже часто на зло самому себѣ? Чьи романы съ такой скоростью переводятся и съ такой скоростью расходятся, какъ не романы Поль-де-Кока? — Счастливый Поль-де-Кокъ! Иногда писателя всѣ хвалятъ—и никто не читаетъ; Поль-де-Кока всѣ бранятъ—и всѣ читаютъ. Странное противорѣчіе! оно стоитъ того, чтобы подумать о немъ! Всякій успѣхъ, а тѣмъ больше такой продолжительный и такъ постоянно поддерживающійся, заслуживаетъ вниманія и изслѣдованія. Нѣтъ явленія безъ причины, и чѣмъ важнѣе явленіе, тѣмъ интереснѣе его причина. Приговоры толпы не такъ пусты и ничтожны, какъ это кажется съ перваго взгляда, и наоборотъ, сужденія знатоковъ не всегда такъ важны и значительны, какъ кажутся съ перваго взгляда. Развѣ голосъ знатоковъ не утвердилъ имени гевія за Херасковымъ, а толпа не отвергла этого «Россійскаго Гомера» и его дюжинныхъ поэмъ, отказавшись ихъ читать? Кто же былъ правъ: толпа или знатоки? Потомъ, развѣ знатоки не отвергли «Руслана и Людмилу», встрѣтивъ дикими воплями этотъ первый опытъ великана-поэта; и развѣ не толпа приняла его съ радостными кликами? Конечно знатоки знатокамъ рознь, но и толпа имѣетъ свое

и еще очень важное значеніе: не слушайте ея сужденій—они часто дикі и нелѣпы, но внимательно наблюдайте за ея вкусами и склонностями—они важны и достойны глубокаго изученія.

У насъ переведены почти всѣ, если не всѣ рѣшительно, романы Вальтеръ Скотта: знакъ, что они нашли у насъ себѣ читателей, а наши переводчики и книгопродавцы нашли выгоду переводить и печатать ихъ. Это важное обстоятельство, которое много говоритъ въ пользу романиста и публики. Французскіе романисты неистовой школы пользуются у насъ громадной славой, но много ли переведено на русскій языкъ ихъ романовъ? — Почти ничего. «Сень-Марсъ», «Стекло» — но ихъ авторъ не изъ неистовыхъ, а только изъ чопорныхъ. Сколько еще не переведено романовъ одного Сю, да и переведенные-то не имѣли особеннаго успѣха! Повѣсти переводились неумоимо, но для журналовъ, которые ихъ и превозносили. Теперь спросите, сколько переведено романовъ Поль-де-Кока? — Всѣ. И какой они имѣли успѣхъ?—самый лучшій, такъ что Поль-де-Коку у насъ посчастливилось наравнѣ съ Вальтеръ Скоттомъ. Смѣшно было бы сравнивать гениальнаго шотландскаго художника съ забавнымъ парижскимъ сказочникомъ; но фактъ остается фактомъ, и на него надо взглянуть поближе, оставляя въ сторонѣ всѣ заранѣе составленныя теоріи, которыя такъ часто походятъ на заранѣе принятыя предубѣжденія.

Поль-де-Кокъ и во Франціи, и вездѣ имѣетъ большой успѣхъ, которымъ безъ сомнѣнія обязанъ какому-нибудь дѣйствительному достоинству, какой-нибудь дѣйствительной силѣ. Наши журналы о немъ ничего не говорятъ, а если говорятъ, то съ презрѣніемъ и отвращеніемъ; французскіе журналы тоже или совсѣмъ не говорятъ о немъ, или говорятъ шути и издѣваясь. Можетъ быть тѣ и другіе правы; но знаете ли что?—для меня (собственно для меня) Поль-де-Кокъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ корифеевъ современной французской литературы. Право! Я не равняю его съ Беранже, потому что Беранже поэтъ, и поэтъ великій, а Поль-де-Кокъ не больше, какъ веселый разсказчикъ небылицъ, которыя очень походятъ на были. Далѣе: онъ для меня выше всѣхъ представителей и идеальной, и неистовой школы. Право! Видите ли, въ чемъ дѣло. Идеальные и неистовые похожи на знаменитаго ламазскаго витязя: онъ вѣчно билъ невпопадъ, принимая мельницы за великановъ, а бараньи стада—за арміи; а они, думая изображать жизнь и людей, словомъ, дѣйствительность, изображаютъ какой-то чудовищный призракъ, созданный ихъ болѣзненнымъ и разстроенымъ воображеніемъ; думая осуждать и чернить прекрасный Божій міръ, чернятъ самихъ себя и, молотя по жизни, получаютъ шишки на свой собственный лобъ. Не таковъ добрый и скромный Поль-де-Кокъ: онъ не заносится слишкомъ далеко. Его сфера очень опредѣлена и ограничена; зато онъ полный хозяинъ въ ней и радъ отъ всей души угощать васъ, чѣмъ Богъ послалъ. Его міръ—это міръ гризетокъ, солдатъ, поселянъ, средняго городского класса; его

сцена—это бульваръ, публичный садъ, трактиръ, кофейная средней руки, иногда кабакъ, комната швей, бѣдная квартира честнаго ремесленника. Онъ рѣдко заглядываетъ въ салоны, а если иногда и заглядываетъ, то ни для чего другого, какъ для показанія къ нимъ полного своего презрѣнiя. Онъ входитъ въ нихъ, не спросясь и не снявъ шляпы, какъ его честный, добрый и грубый Гаспаръ, и ужъ если онъ войдетъ въ салонъ, то непременно наладетъ на паркетъ пыльных слѣдовъ и запятаетъ блестящую мебель. Но это бы еще ничего, а хуже всего то, что въ этихъ салонахъ, въ которые онъ очень рѣдко заглядываетъ, онъ непременно найдеть то же самое, что и въ бѣдныхъ квартирахъ шестого и седьмого этажа, только подъ другой формой, разумеется, блестящей, и—вѣдь такой болтунъ!—тотчасъ же все это и расскажетъ во всеуслышанiе.

Поль-де-Кокъ—это французскiй Теньеръ литературы. Онъ не поэтъ, не художникъ, но талантливыи разсказчикъ, даровитый сказочникъ. Не обладая даромъ творчества, онъ обладаетъ способностью вымысла и изобрѣтенiя, умѣетъ завязать и развязать исторiю, и хотя написалъ ихъ бездну, но ни въ одной не повторилъ себя. Его лица—не типическiе образы, но они оригинальны и самобытны. Каждое изъ нихъ пишетъ свою физиономiю и говоритъ своимъ языкомъ. Большею частью это все народъ простой, безъ претензiй, и у котораго что на языкъ, то и на умъ. Но между этими гризетками, торговками, солдатами, мужиками и веѣмъ мелкимъ парижскимъ народомъ у него мелькаютъ удачно схваченные съ природы портреты петиметровъ, банкировъ, богатыхъ купцовъ и особенно шуллеровъ, этихъ *chevaliers d'industrie*, которые нынче въ скверномъ трактирѣ покупаютъ за нѣсколько су своей обѣды, а завтра обѣдаютъ въ лучшей ресторани столицы на счетъ какого-нибудь молодого купчика или барича, вырвавагося на волю и мотающаго батюшкино имѣнiе; нынче не знаютъ, гдѣ ночевать, а завтра блестятъ своей любезностью, остроумiемъ и знанiемъ всего понемножку въ какомъ-нибудь порядочномъ обществѣ. Жизнь всякаго народа слагается изъ многихъ слоевъ и кажется себя со многихъ сторонъ. Поль-де-Кокъ то же для средняго класса, что Бальзакъ для высшаго, съ той только разницей, что картины перваго естественнѣе, вѣрнѣе подлиннику. Онъ не гоняется за сильными страстями, не выдумываетъ героевъ, а списываетъ съ того, что видитъ вездѣ. Его романы проникнуты какимъ-то чувствомъ добродушiя, за которое нельзя не любить автора. Онъ на сторонѣ добра и добрыхъ, и потому развязка каждаго его романа есть раздача каждому по дѣламъ его. Мѣстами онъ обнаруживаетъ пестинное, неподдѣльное чувство; но веселость и добродушiе составляютъ главный характеръ его романовъ. Кто всегда веселъ, тотъ счастливъ, а кто счастливъ—тотъ добрый человекъ. Конечно доброта не ручается за глубину души, но Поль-де-Кокъ не выдаетъ себя ни за что особенное; и коли вы хотите его полюбить, то полюбите его такимъ, ка-

ковъ онъ есть. Чтобы кончить его характеристику, надо сказать, что онъ—ученикъ, хотя и совершенно самостоятельный, Пюто-Лебрена; но у него нѣтъ этой ненависти противъ религiи, нѣтъ этой страсти къ кощунству, которыя были болѣзнью людей XVIII вѣка. Зато у него есть другой недостатокъ, занятый имъ у своего образца и доведенный имъ до послѣдней крайности: Поль-де-Кокъ большой циникъ, и откровенность его въ нѣкоторыхъ предметахъ доходитъ до отвратительной грубости. Богъ не далъ ему ни желанiя, ни таланта накидывать на нѣкоторыя стороны природы легкаго покрывала стыдливости и приличiя. Онъ съ особеннымъ удовольствiемъ останавливается на грязныхъ картинахъ и съ особенной отчетливостью рисуетъ и отдѣлываетъ ихъ. Конечно все, что ни рисуетъ онъ, все это съ природы, но кописту надо крѣпко держаться приличiя, потому что у него нѣтъ, какъ у поэта, этой творческой силы, которая преобразуетъ дѣйствительность, не измѣняя и не искажая ея. А Поль-де-Кокъ въ этомъ случаѣ плебей, и часто ничѣмъ не лучше героевъ своихъ романовъ. Есть искусство соблюсти вѣрность изображаемой дѣйствительности и въ то же время не оскорбить эстетическаго чувства; можно обо многомъ давать знать, ничего не показывая: Поль-де-Кокъ неизвѣстно это искусство, и онъ не показываетъ большой охоты приобрести его. Что дѣлать?—У всякаго народа есть свои хорошiя и свои дурныя стороны: Поль-де-Кокъ—французъ, а французы никогда не славилась опрятностью, въ противоположность своимъ сосѣдямъ—англичанамъ, голландцамъ и нѣмцамъ. Притомъ же французская и преимущественно парижская жизнь представляетъ особенное богатство грязи и грязности, физической и нравственной, такъ что для вѣрности картины поневолѣ надо рисовать и эту грязь. Мы уже сказали, что и тутъ есть свои манера, и что эта манера неизвѣстна Поль-де-Кокъ. Поэтому горе безпечному отцу, который не вырветъ изъ рукъ своего сына-мальчика романа Поль-де-Кока; горе неосторожной матери, которая дастъ его въ руки дочери! Писатели неистовой школы всѣ отвратительныя картины свои набрасываютъ полутѣнью, такъ что онѣ непонятны для неиспорченной юности; Поль-де-Кокъ рисуетъ свои съ такой отчетливостью и угощаетъ ими съ такимъ добродушiемъ, что черезъ это романы его дѣлаются ядомъ для неопытной юности. Это зло еще можетъ быть исправимо, если переводчики, уважая нравственное чувство, или выбрасываютъ, или предѣлываютъ подробныя картины. Разумеется, и тогда романы Поль-де-Кока не могли бы составить прiятнаго чтенiя для дѣвушки и даже для молодого человека, но тѣ, кому все можно читать, тѣ могли бы ихъ читать, не боясь ни замарать своихъ рукъ, ни оскорбить своего эстетическаго чувства. Но многiе ли думаютъ о томъ, что они дѣлаютъ? Большая часть переводчиковъ именно этими-то красками и думаетъ выиграть...

Мы не станемъ разбирать романовъ Поль-де-Кока, заглавiя которыхъ выставлены нами въ на-

чалъ этой статьи, потому что всѣ сочиненія Польде-Кока можно только читать, а не разбирать. Для насъ довольно сказать, что въ нихъ всѣ тѣ же достоинства и тѣ же недостатки, какими отличаются и всѣ его романы. «Турлуру» есть образецъ бессмысленныхъ переводовъ: видно, что переводчикъ не знаетъ ни по-французски, ни по-русски, и не вѣрить, чтобы знаніе грамматики для чего-нибудь было нужно. Московскій переводъ тоже не изъ бойкихъ переводовъ; но въ сравненіи съ петербургскимъ онъ просто превосходенъ.

Отрывокъ изъ библиогр. замѣтки о 10-мъ № «Современника» за 1838 г.

Между англичаниномъ и французомъ большая разница. Если бы дѣло шло о разности силы генія или какъ о частномъ явленіи, то нечего бы и говорить; но здѣсь разница происходитъ отъ различія субстанцій двухъ народовъ. Англичанъ обыкновенно упрекаютъ въ холодности чувства, эгоизмъ; французовъ понимаютъ, какъ энтузіастовъ, готовыхъ тотчасъ принять участіе въ правомъ дѣлѣ и пожертвовать за него собой. Полно, такъ ли это? Англичанинъ не любитъ фразъ, но любитъ дѣло и принимается за него только тогда, когда видитъ возможность успѣха; французъ хватается за все, на шумитъ, испортитъ дѣло—и въ сторону. Его самоотверженіе выходитъ изъ самолюбія, изъ страсти блистать, удивлять, рисоваться. Въ одномъ московскомъ листкѣ когда-то было замѣчено, что покоренные французами народы ненавидятъ своихъ побѣдителей, потому что послѣдніе, стемнясь распространять у нихъ цивилизацію и просвѣщеніе, не уважаютъ ихъ предразсудковъ; но что англичане тѣмъ самымъ ладятъ съ индійцами, что хладнокровно смотрятъ, какъ жены сожигаются на кострахъ своихъ мужей. Такъ думать—значитъ не знать дѣла. Мы не говоримъ уже о томъ, что ни одинъ народъ въ мірѣ не прославился такой филантропией, какъ англичане и родные имъ Американскіе Штаты; не говоримъ о ихъ обществахъ трезвости, о дѣятельности ихъ миссіонеровъ, распространяющихъ по лицу земли благовѣстіе спасенія: въ этомъ отношеніи защитникамъ французовъ ничего не остается, кромѣ скромнаго молчанія. Но мы прямо скажемъ, что обвинять англичанъ въ холодности въ дѣлѣ истребленія религіозныхъ предразсудковъ туземцевъ Индіи—значитъ грубо ошибаться. Нѣтъ, англичане дѣятельно подкапываются подъ гигантское зданіе этихъ вѣковыхъ предразсудковъ, но они знаютъ, что трудно бороться съ тѣмъ, что освящено вѣками и религіей, что за это надо приниматься исподволь, осторожно,—и они идутъ къ своей благородной цѣли медленными, но вѣрными шагами. Не таковы французы: гдѣ ни бывали ихъ войска, вездѣ возбуждали ненависть страны своимъ неуваженіемъ къ обычаямъ и духу народному, наглѣмъ насиліемъ тому и другому. Нашъ простой народъ это очень хорошо помнитъ съ 1812 года, когда святыни храмовъ московскихъ была такъ

святотатственно и такъ безумно оскорблена. Англичане приносятъ въ покоренныя ими страны идеи общественнаго порядка, законности, промышленности, просвѣщенія, а французы навязываютъ имъ свои мечты о небывалой свободѣ, которая состоитъ въ отрицаніи основаній и подпоръ общественнаго блага, въ легкомысленномъ ниспроверженіи стараго порядка, вышедшаго изъ вѣкового развитія, и замѣненіи его на скорую руку состряпанными и эфемерными нововведеніями. Чтобы дать народу или племени новый порядокъ, надо сперва спросить его, нуженъ ли ему этотъ порядокъ; чтобы избавить его отъ бѣдствій существующаго у него порядка, надо сперва узнать, чувствуетъ ли онъ эти бѣдствія. Французы объ этомъ не заботятся, и потому ненавидимы вездѣ, куда не являлись побѣдителями, и никогда не удерживали своихъ завоеваній.

Юная Германія—великій и поучительный урокъ для юншества всѣхъ націй! Она лучше всего показываетъ, какъ бесплодны и ничтожны покушенія индивидуальностей на участіе въ ходѣ міродержавныхъ судебъ. Конечно общество живетъ, развивается, слѣдовательно, измѣняется, но черезъ кого?—черезъ геніевъ, избранниковъ судьбы, которые производятъ благодѣтельные перевороты, часто сами того не зная, единственно удовлетворяя безсознательному стремленію своего духа. Кто выходитъ на сцену и говоритъ: «Я—геній, я хочу измѣнить къ лучшему общественныя начала»,—тотъ самозванецъ, который тотчасъ же и дѣлается жертвой своего самозванства. Кто же, не понимая жестокихъ уроковъ опыта и сознавши свое безсиліе перестроить дѣйствительность, живущую изъ самой себя по непреложнымъ и вѣчнымъ законамъ разумной необходимости, будетъ тѣшить себя ребяческими выходами противъ нея, тотъ не перейдетъ въ потомство, но только заставитъ сказать о себѣ современниковъ—

Ай, москья!—Знать она сильна,
Коль ласть на слона!

Въ Гейне надо различать двухъ человекъ. Одинъ—прозаическій писатель съ политическимъ направленіемъ. Зараженный тлетворнымъ духомъ новѣйшей литературной школы Франціи, онъ занялъ у нея легкомысліе, поверхность въ сужденіи, безстыдство, которое для остраго словца искажаетъ святую истину. Живя въ Парижѣ, онъ изливаетъ свою желчь на то, что зимой бываетъ холодно, а лѣтомъ жарко, что Китай въ Азіи, тогда какъ ему надобно быть въ Европѣ, и на подобныя несообразности этого несовершеннаго міра, который не хочетъ повернуться вверхъ дномъ, повѣривши мудрости Гейне. Потомъ въ Гейне надо видѣть поэта съ огромнымъ дарованіемъ, уже не болтуна-француза, но истиннаго пѣмца-художника, котораго лирическія стихотворенія отличаются непередаваемою простотой содержанія и прелестью художественной формы.

Сказки русскія, разсказываемыя Иваномъ Ваненко. Москва. 1838.

Русскія народныя сказки, собранныя Богданомъ Бронницкимъ. Спб. 1838.

Поэзія народа есть зеркало, въ которомъ отражается его жизнь со всеми ея характеристическими оттѣнками и родовыми примѣтами. Такъ какъ поэзія есть не что иное, какъ мышленіе въ образахъ, то поэзія народа есть еще и его сознаніе. На какой бы степени образованія ни стоялъ человѣкъ, онъ уже чувствуетъ или безсознательно мыслитъ; на какой бы степени цивилизаціи ни стоялъ народъ, онъ уже имѣетъ свою поэзію. Пѣсни составляютъ его лирическую поэзію, сказка—эпическую. Драматическая поэзія можетъ находиться въ томъ или другомъ, какъ элементъ, но обыкновенно бываетъ плодомъ дальнѣйшаго развитія искусства у народа. У каждаго народа поэзія носитъ отпечатокъ его духа. Пѣсни француза часто неблагопріостойна и всегда весела; пѣсни нѣмца патриархальна или мрачна; пѣсни русскаго заунывна, тосклива и могуча. Содержаніе пѣсни есть субъективное, личное чувство, оупущеніе, навѣянное минутой или обстоятельствомъ; но въ сказкѣ преимущественно выражается общее народа, его пониманіе жизни. Поэтому сказки всѣхъ младенчествующихъ народовъ отличаются однимъ общимъ характеромъ—чуждымъ въ содержаніи. Рыцарство, богатство и олицетвореніе невидимыхъ, таинственныхъ, большей частью враждебныхъ силъ составляетъ неисчерпаемый предметъ сказокъ. Физическая мощь есть первый моментъ сознанія жизни и ея очарованія, и вотъ является безконечный рядъ сильныхъ, могучихъ богатырей и витязей, которые выпиваютъ по ведру вина, закусываютъ цѣлымъ бараномъ, а иногда и быкомъ. Чего человѣкъ не знаетъ, не сознаетъ, все то представляется ему страшнымъ таинствомъ, вотъ и являются колдуны, волшебники, злые духи, змѣи-горыничы, зиланты, русалки и вѣдьмы.

Смотря съ этой точки зрѣнія на народныя сказки, видишь въ нихъ двойной интересъ—интересъ фенемологіи духа человѣческаго и народнаго. Не говоримъ уже объ интересѣ развивающагося языка. Поэтому, какой благодарности заслуживаютъ тѣ скромные, безкорыстные труженики, которые съ неослабнымъ постоянствомъ, съ величайшими трудами и пожертвованіями собираютъ драгоценности народной поэзіи и спасаютъ ихъ отъ гибели забвенія. Но нѣкоторые думаютъ оказать ту же услугу, пиша сами въ народномъ духѣ. Нѣтъ спору, что всякій истинный талантъ народный, не стараясь и даже не желая быть народнымъ, но только будучи самимъ собой, потому что народъ не есть условное понятіе, но конкретная дѣйствительность, и ни одинъ индивидъ не можетъ, если бы и хотѣлъ, оторваться отъ общей родной субстанціи. Но нѣкоторые поэты хотятъ быть народными особеннымъ образомъ, творя въ духѣ народной поэзіи. Прошедшаго не воротитъ: это законъ общій и непреложный. Нельзя сдѣлаться Баяномъ времени Владиміра Крас-

наго-Солнышка. Можно воспроизвести древность, но уже это будетъ древность, воспроизведенная поэтомъ XIX вѣка, а совсѣмъ не какимъ-нибудь безвѣстнымъ пѣвцомъ «Слова о полку Игоревомъ». Но эта древняя поэзія болѣе или менѣе сохранилась въ простомъ народѣ, какъ менѣе подвергшемуся измѣненію—по крайней мѣрѣ такъ кажется. Въ самомъ дѣлѣ, за простонародной поэзіей исключительно осталось имя народной, потому что она не приняла въ себя чужихъ элементовъ, но осталась въ своей дѣйственной самобытности. Поэтому какому-нибудь Кольцову, поэту-прасолу, не мудрено заставить крестьянина такъ выражать свою неудачу въ сватовствѣ за свою суженую, которой ему отецъ не хочетъ отдать мимо старшихъ дочерей—

Болитъ моя головушка,
Щемитъ мое ретивое,
Печаль моя всесвѣтлая,
Пришла бѣда незваная —
Какъ съ плечъ свалить—не знаю самъ:
И сила есть—да воли нѣтъ,
Наружи кладъ—да взять нельзя:
Заключь его обычай нашъ.
Ходи, гляди, да мучайся,
Толкуй съ башкой порожею.

Ему очень естественно заставить другого крестьянина, послѣ его измѣны его суженой,

Вновь, подъ бурей, коня сѣдлатъ,
Безъ дороги въ путь отправиться,
Горе мыкать, жизнью тѣшиться,
Со злостью долей перевѣдаться.

Онъ жилъ въ мірѣ этихъ формъ жизни, сроднился съ ними прежде, нежели узналъ, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется поэзіей. Теперь ему знакомы и другіе міры формъ жизни, но прежняя уже всегда существуетъ для него объективно. Напротивъ, всѣ поэты, не въ одной сферѣ жизни рожденные и воспитанные, только надѣваются на себя накладную бороду и кафтанъ, но не дѣлаются народными поэтами: изъ-за смурого зипуна виднѣются фалды фрака. У Пушкина есть такъ называемыя народныя стихотворенія, какъ напримѣръ «Буря мглою небо кроетъ»; и это точно народныя стихотворенія, потому что принадлежать русскому поэту, и поэту великому, но они не простонародныя, а только написанныя на голосъ простонародныхъ и пропѣтыя бариномъ, а не крестьяниномъ. Но это-то и составляетъ ихъ особенную прелесть. Пушкинъ обладалъ гениальной объективностью въ высшей степени, и потому ему легко было цѣть на всѣ голоса. Но и его гений изнемогъ, когда захотѣлъ, на зло законамъ возможности, субъективно создавать русскія народныя сказки, беря для этого готовые рисунки и только вышивая ихъ своими шелками. Лучшая его сказка—это «Сказка о Рыбакѣ и Рыбкѣ», но ея достоинство состоитъ въ объективности: фантазія народа, которая творитъ субъективно, не такъ бы разсказала эту сказку.

Творчество должно быть свободно: произвольныя усилія поддѣлываться подо что бы то ни было вредятъ ему.

Или собирайте русскія сказки и передавайте намъ ихъ такими, какими вы подслушали ихъ изъ устъ народа, или пишите свои сказки, гдѣ бы и вымыселъ, и краски принадлежали вамъ самимъ, но гдѣ бы все было въ духѣ нашей народности или простонародности. Примѣромъ этого можетъ служить талантливый балагуръ, казакъ Луганскій. Но еще лучшій примѣръ представляетъ Гоголь. Вспомните его «Утопленнику», его «Ночь предъ Рождествомъ» и его «Заколдованное Мѣсто», въ которыхъ народное фантастическое такъ чудно сливается въ художественномъ воспроизведеніи съ народнымъ дѣйствительнымъ, что оба эти элемента образуютъ собой конкретную поэтическую дѣйствительность, въ которой никакъ не узнаешь, что въ ней было и что сказка, но все поневолѣ принимаешь за быль.

Сказки Ваненко и Бронницына принадлежатъ къ неудачнымъ попыткамъ поддѣлаться подъ народную фантазію. Основы ихъ сказокъ по большей части взяты изъ подлинныхъ русскихъ сказокъ, но такъ смѣшаны съ ихъ собственными вымыслами и украшениями, что изъ нихъ дѣлается что-то странное.

Желаемъ отъ всей души, чтобы Ваненко и Бронницынъ перестали пересказывать народные сказки, уже безъ нихъ и давно сочиненныя, а стали бы разсказывать свои: мы съ удовольствіемъ послушаемъ бы ихъ.

Сочиненія Николая Греча. Спб. 1838. *Пять частей.*

«Нѣтъ правды на свѣтѣ!» восклицаютъ утвердительно угрюмые скептики, иные разочарованные опытомъ, иные ожесточенные неудачами, иные просто по сознанію собственной несправедливости. Съ такими людьми нечего и спорить: они слѣпы отъ рожденія, и зрячіе никогда не увѣрятъ ихъ, что на небѣ каждый день ходитъ красное солнышко и разгоняетъ темноту ночи, и что сами ночи часто освѣщаются краснымъ мѣсяцемъ. Но есть другіе скептики, не столько важные, но не менѣе упрямые: эти отъ всей души убѣждены въ дерзкой мысли, что будто бы «нѣтъ правды въ журналахъ». Господи Боже мой, что за свѣтъ такой нынче сталъ: ничему не вѣрять, во всемъ сомнѣваются, даже—(могу ли выговорить безъ ужаса!) даже—въ журналахъ! Но шутки въ сторону; поговоримъ серьезно. Лжи, умысленной и неумысленной въ журналахъ такъ же много, какъ и во всѣхъ дѣлахъ человеческихъ, но въ нихъ же много и святой истины, хотя и гораздо меньше, чѣмъ лжи. Но живетъ одна истина, и дѣйствительна только одна истина: ложь есть призракъ,—и если бываетъ дѣйствительна, то не иначе, какъ отрицательная истина, какъ служительница истинѣ. Миръ такъ чудно устроенъ, что во всѣхъ процессахъ его жизни видишь болѣею частью одну ложь и рѣдко-рѣдко святую истину; но результатомъ этихъ процессовъ всегда бываетъ только истина, и никогда ложь. То же и въ

журналахъ. Было время, когда нападки на Пушкина сдѣлались какимъ-то критическимъ удализмомъ и щегольствомъ. Дѣло зашло такъ далеко, что одинъ журналистъ (не помнимъ его имени) въ седьмой главѣ «Онѣгина» увидѣлъ—что бы вы думали?—совершенное паденіе, *chûte complète*, и второпяхъ, на радости, неосторожно поспѣшилъ провозгласить его на двухъ языкахъ: русскомъ и французскомъ. Другой журналистъ того же разбора встрѣтилъ появленіе «Бориса Годунова», это громадное созданіе великаго гениа, драгоценнѣйшее достояніе отечественной литературы, встрѣтилъ его плоскимъ насквилемъ въ дурныхъ вирсахъ:

И Пушкинъ сталъ намъ скученъ,
И Пушкинъ надоѣлъ:
И стихъ его не звученъ,
И гений охладѣлъ.
«Бориса Годунова»
Онъ выпустилъ въ народъ.
Убогая обнова,
Увы! на новый годъ!

Но что же?—все это послужило не къ униженію, а къ возвышенію поэта: споры, толки и крики заставили глубже взглянуть въ его творенія и тѣмъ вѣрнѣе оцѣнить ихъ; а ожесточенное гоненіе показало только то, что чѣмъ огромнѣе слонъ, тѣмъ сильнѣе претензіи мосекъ на храбрость. Это было, а теперь мы скажемъ сказку для доказательства той же истины. Этого нѣтъ, но предположимъ, что это есть; предположимъ, что нѣсколько журналовъ, какъ будто бы стакнувшись, изъ всѣхъ силъ хлопотали объ униженіи на примѣръ хоть Гоголя, увѣряя, что все его достоинство состоитъ въ комизмѣ, и то тривиальномъ. Что же?—Вы думаете: публика повѣритъ журналистамъ? Нѣтъ, въ ихъ крикахъ она услышитъ оханья отъ царяпинъ, нанесенныхъ маленькому самолюбію какой-нибудь журнальной статьи въ родѣ литературнаго обзора или отчета; въ ихъ вопляхъ она услышитъ стоны отъ глубокихъ ранъ, нанесенныхъ самолюбивой посредственности гордымъ дарованіемъ; услышитъ скрежетъ зубовъ блѣдной зависти, раздраженной презирающимъ ее достоинствомъ; слѣдовательно, въ самой лжи публика откроетъ истину. Слава Богу, что все это только предположеніе, а не фактъ, но если бы это былъ фактъ, то журналисты, которыхъ мы предположили, ошиблись бы въ своемъ намѣреніи и на зло самимъ себѣ способствовали бы утверженію истины. Все, что ни живетъ, ни дѣйствуетъ, все служитъ духу истины; только одни служатъ ему съ цѣлью служить именно ему, слѣдовательно сознательно, а другіе служатъ ему, думая служить своимъ конечнымъ мелочнымъ цѣлямъ.

Отдѣлъ критики и библіографіи въ журналѣ многіе считаютъ не только бесполезнымъ, но и вреднымъ, потому что, говорятъ они, этотъ-то отдѣлъ журнала и есть фокусъ его пристрастія, недобросовѣстности, лжей, клеветъ, тутъ раздаются похвалы и вѣнки безмертія писателямъ своего прихода и тутъ же унижаются и уничтожаются всѣ чужіе, не наши. Эта картина преувеличена, но въ ней есть и правда. Повторяемъ: гдѣ люди, тамъ и несправедли-

ности, ошибки, пристрастие, ложь, но там же и истина. Умѣйте только открыть ее въ самой лжи, и васъ не обмануть. Вы дались въ обманъ, — сами виноваты. Что жъ дѣлать, если иной читатель, прочтя насмѣшливую похвалу какой-нибудь книжонкѣ, которой журналистъ не разбираетъ, но надъ которой онъ тѣшится, приметъ брань за похвалу и купитъ книгу? Въ одномъ журналѣ книгу хвалятъ, въ другомъ ее бранятъ: кто же правъ? — Рѣшайте сами. Если вы не въ состояніи отличить холодныхъ похвалъ, вынужденныхъ расчетомъ или обстоятельствами и состоящихъ въ общихъ мѣстахъ и форменныхъ комплиментахъ, отъ похвалы задушевной, искренней, теплой, вышедшей изъ одушевленія предметомъ похвалы, — то опять вы же виноваты. Если вы не умѣете отличить хитросплетеній пристрастія отъ прямодушнаго отзыва, — то опять-таки вините не журналы, а самихъ себя. Кромѣ того разногласіе журналовъ въ отзывахъ о книгахъ происходитъ гораздо болѣе отъ разности ихъ взгляда на вещи, нежели отъ умышленнаго пристрастія. Зачѣмъ вездѣ видѣть одну недобросовѣстность? Я берусь вамъ доказать неопровержимыми фактами, что изъ тысячи сочиненій, разобранныхъ въ продолженіе года нашими журналами, не оцѣненныхъ или похуленныхъ вслѣдствіе недоброжелательства къ авторамъ, пристрастія и расчета, — наберется едва ли 100, а если изъ остальныхъ 900 не всѣ оцѣнены по достоинству, то не умышленно, а по свойственной людямъ слабости — ошибаться въ истинѣ. Слѣдовательно $\frac{1}{10}$ умышленной лжи на $\frac{9}{10}$ добросовѣстности, хотя и не чуждой промаховъ и ошибокъ; согласитесь, что зло еще далеко не такъ сильно надъ добромъ, какъ думаютъ! А какъ часто случается читать въ нашихъ журналахъ единодушные отзывы объ иной книгѣ. Нѣтъ! все благо, все добро! Читатели, покупающіе книги по рекомендаціи журналовъ, не полагаясь на собственное сужденіе, по недостатку данныхъ, не напрасно такъ поступаютъ: самые несмѣтливые изъ нихъ избавляютъ себя этимъ отъ многихъ обмановъ книжной производительности, а смѣтливые и совѣсьмъ избѣгаютъ ихъ. И потому-то теперь библиографическій отдѣлъ сдѣлался непремѣннымъ условіемъ всякаго журнала и первый, прежде другихъ статей журнала, разбѣзывается и прочитывается нетерпѣливой публикой. Кто что ни говори, а необходимость и потребность всегда возьмутъ свое.

Нѣкоторые изъ читателей, опытныхъ въ дѣлѣ журналистики, часто заранее знаютъ, какой приговоръ послѣдуетъ въ томъ или другомъ журналѣ, той или другой книгѣ. Такъ, напримѣръ, мы увѣрены, что многие изъ читателей, приступивъ къ чтенію нашей статьи или еще только увидѣвъ въ ея началѣ титулъ сочиненій Греча, скажутъ — иные съ улыбкой удовольствія: «посмотримъ, какъ его тутъ отдѣлали!», а иные съ улыбкой недовѣрчивости и презрѣнія: «посмотримъ, какъ тутъ грызутся». Но мы очень рады обмануть ожиданіе тѣхъ и другихъ и доказать фактомъ, что не всѣ предсказанія сбываются, и что въ нашемъ журналѣ высказываются мнѣнія не о лицахъ, а о сочиненіяхъ.

Во всякомъ отчетѣ о литературныхъ трудахъ первымъ и главнымъ дѣломъ должно быть опредѣленіе взгляда, точки зрѣнія на разсматриваемыя сочиненія. Въ упущеніи изъ виду этого правила и состоитъ ошибочность сужденій критиковъ и рецензентовъ. Обыкновенно прочтутъ романъ и, не найдя въ немъ художественнаго произведенія, осуждаютъ его на ауто-дафе, не подумавъ о томъ, что авторъ и не думалъ претендовать на титулъ поэта, а хотѣлъ просто написать быль или сказку, для удовольствія и пользы читателей, и совершенно достигъ своей цѣли, потому что нашелъ себѣ многочисленныхъ читателей и почитателей. Что нужно, если въ романѣ нѣтъ творчества, но есть вымыселъ, занимательность; нѣтъ фантазіи — есть воображеніе; нѣтъ глубокихъ идей — есть вѣрныя практическія замѣчанія о жизни, плодъ опытности и знакомства съ жизнью не по одѣймъ книгамъ; нѣтъ огня поэзіи — есть теплота чувства; нѣтъ вдохновенія — есть одушевленіе; нѣтъ образовъ — есть портреты; нѣтъ художественности въ обработкѣ — есть слогъ, языкъ? Что нужно, что это произведеніе не вѣковое, не безсмертное? авторъ и не имѣлъ на это претензіи: онъ хотѣлъ доставить своимъ современникамъ средство къ благородному или полезному развлеченію, — и достигъ своей цѣли. Отъ автора должно требовать ни больше, ни меньше того, что онъ обѣщалъ. Забывая это правило, бранить книгу, которая имѣла заслуженный успѣхъ, и тѣмъ онодозриваютъ у публики и себя, и критику. Другое дѣло, когда бездарный бумагомаратель или даже и писатель не безъ достоинствъ, но не поэтъ и не ученый, является съ претензіями на художническую или ученую гениальность и, какъ говорится, садится не въ свои сани: тогда долгъ критики указать ему его настоящее мѣсто.

И такъ, прежде всего скажемъ, какъ смотримъ мы на литературные труды Греча, какое мѣсто даемъ ему въ русской литературѣ. Въ этомъ будетъ состоять и нашъ отчетъ о сочиненіяхъ Греча.

Гречъ написалъ два романа и одну повѣсть; но мы тѣмъ не менѣе почитаемъ его совершенно чуждымъ сферы поэзіи, понимая подъ этимъ словомъ искусство, творчество, художество; но это не мѣшаетъ намъ смотрѣть на его романы, какъ на пріятный подарокъ публикѣ, какъ на сочиненія, имѣющія большое литературное достоинство. Вообще, по нашему мнѣнію, Гречъ — не поэтъ, не ученый, но литераторъ, по достоинству занимающій въ нашей литературѣ одно изъ видныхъ мѣстъ и оказавшій ей большія услуги. Что такое литераторъ? — Публицистъ, литературный факторъ при публикѣ, чело-вѣкъ, которой, не произведя ничего прочнаго, безусловнаго, имѣющаго всегдашнюю цѣну, пишетъ много такого, что имѣетъ цѣну современности; не научая, даетъ средства научиться; не восторгая, доставляетъ удовольствіе. Онъ пишетъ статью и о современномъ событіи, отдастъ отчетъ о книгѣ, издастъ журналъ или участвуетъ въ немъ; онъ — историкъ, ораторъ, переводчикъ, путешественникъ, комментаторъ, издатель чужихъ сочиненій съ своими предисловіями, участникъ въ литературныхъ предпрі-

тіяхъ, корректоръ; пишетъ книги, которыя не принадлежатъ къ области учености, но на которыя всѣ ссылаются и которыми всѣ пользуются какъ вспомогательными способами для собственныхъ сочиненій, даже ученыхъ. Словомъ, литераторъ—все, что вамъ угодно, и собственно ничего, потому что, ставши чѣмъ-нибудь, онъ дѣлается или поэтомъ, или ученымъ въ какой-нибудь сферѣ знанія. Но это нисколько не унижаетъ званія литератора: литераторъ есть лицо необходимое, челоѣкъ дѣйствительный, и если онъ пріобрѣтъ вліяніе на публику, то играетъ въ современности роль историческую, въ большей или меньшей степени. Его имя принадлежитъ исторіи литературы народа, а слѣдовательно и его просвѣщенія, поскольку литература есть выраженіе, сознаніе умственной жизни народа.

Гречъ написалъ нѣсколько грамматикъ, изъ которыхъ хотя ни одна не уничтожаетъ живѣйшей потребности лучшихъ учебныхъ книгъ, но которыя всѣ принадлежатъ къ лучшимъ сочиненіямъ въ этомъ родѣ. Скажемъ болѣе: его грамматики суть важныя явленія въ исторіи нашего языка, и съ нихъ начинается основательнѣйшее его изученіе. Прежде, при изложеніи правилъ русскаго языка, болѣе обращали вниманія на языкъ; Гречъ обратилъ вниманіе на русскій языкъ, на его видовыя особенности, и потому его грамматики—драгоцѣнная сокровищница, неисчерпаемый рудникъ матеріаловъ для изученія русскаго языка и составленія грамматикъ. Это самая блестящая его заслуга, самое важнѣйшее его участіе въ дѣлѣ отечественнаго просвѣщенія. Гречъ издалъ «Учебную книгу русскаго словесности», въ которой въ первый разъ была оставлена школьная риторическая теорія и сдѣлана попытка—дать понятіе о всѣхъ родахъ сочиненій такъ, чтобы юношество могло судить о литературѣ не по школьному образу мыслей, а по тому, который господствуетъ въ обществѣ; и дать правила, руководствуясь которыми юношество могло бы выучиться написать и письмо, и дѣловую бумагу, и записку,—словомъ все, что требуется въ жизни, а не хрипъ, порядковъ и автоніановскія, которыя пишутся въ классахъ на заданныя темы, а въ жизни и литературѣ ни къ чему не служатъ, а только дѣлаютъ изъ людей тяжелыхъ педантовъ. Конечно понятія, изложенныя въ этой учебной книгѣ, не всѣ новы, не всѣ сообразны съ современнымъ взглядомъ на искусство и литературу, не отличаются наукообразнымъ изложеніемъ и строгостью системы; но книга заслуживаетъ вниманіе уже по одному тому, что не похожа на всѣ бывшіе и до нея, и послѣ нея опыты въ этомъ родѣ. Авторъ его сдѣлалъ свое дѣло и въ правѣ сказать своимъ порицателямъ: «сдѣлайте лучше». Приложенная при книгѣ хрестоматія, составляющая самую значительную ея часть, если не отличается строгостью въ выборѣ пьесъ, зато знакомитъ почти со всѣми писателями, игравшими сколько-нибудь значительную роль въ нашей литературѣ. Авторъ присовокупилъ даже къ своей исторіи литературы отрывки изъ древнихъ и старинныхъ сочиненій, отрывки изъ переложеній псалмовъ Симеономъ По-

лоцкимъ, изъ сатиръ Кантемира, «Телемахиды» и «Дедаміи» Тредьяковскаго. Самая исторія литературы есть драгоцѣнный сборникъ матеріаловъ для исторіи русскаго языка, ручная настольная книга для литератора и всякаго любителя отечественной литературы, справочный адресъ-календарь дѣйствователей на поприщѣ русскаго слова. Трудъ не блестящій, но безцѣнный, стоившій своему автору большихъ трудовъ. Какъ жаль, что во всѣхъ послѣдующихъ изданіяхъ, послѣ 1822 года, эта исторія сокращена имъ. Какой бы драгоцѣнный подарокъ сдѣлалъ Гречъ русскаго языка, если бы значительно пополнить этотъ трудъ и издалъ его особенной книжкой!

Возьмите пятую часть полного собранія сочиненій Греча: она вся состоитъ изъ отдѣльныхъ статей, изъ которыхъ каждая имѣетъ свое достоинство и по содержанію, и по изложенію. Между ними вы особенно замѣтите слѣдующія: «Взглядъ на Исторію Русскаго Театра», драгоцѣнный матеріалъ для исторіи русскаго театра, собраніе фактовъ, которые могли бы совершенно затеряться, трудъ, для котораго надо имѣть много терпѣнія и много средствъ, а главное—много охоты, которую рѣдкіе имѣютъ; «Некрологи», которые представляютъ краткій фактическій обзоръ литературной и ученой дѣятельности Карамзина, Шуберта, Одерова; «Литературные очерки и воспоминанія», въ которыхъ найдете обзоръ русскаго языка за нѣсколько лѣтъ и факты и подробности о Гнѣдичѣ, Мартыновѣ, Сомовѣ, Сухтеленѣ, нѣмецкой писательницѣ Элизѣ фонъ-деръ Рекке, Крюковскомъ, Никольскомъ. Тутъ вы найдете статью «Московскія письма», гдѣ замѣтите пріятный рассказъ, многія удачно схваченныя черты нашихъ обиходныхъ столицъ, нѣсколько рѣзкихъ и вѣрныхъ замѣтокъ и мыслей о томъ и о семъ. Все это изложено прекраснымъ языкомъ, умно, живо. Вотъ что такое литература и вотъ что такое—Гречъ.

Гречъ написалъ два романа, принадлежащіе къ позднѣйшей литературной его дѣятельности. Онъ заплатилъ ими дань времени. Теперь всѣ пишутъ романы или повѣсти. Оно и легко, и выгодно. Но и въ романахъ Гречъ остался самимъ собой—литераторомъ. «Черная женщина» есть второй его романъ; но такъ какъ это полное собраніе его сочиненій начинается ею, то мы прежде скажемъ слова два о ней. Романъ, какъ говорится, сказка добрая. Онъ читается скоро и съ удовольствіемъ. Главнѣйшій его недостатокъ состоитъ въ романтической запутанности на манеръ романовъ XVIII вѣка. Это вліяніе старины, очень понятное въ пожиломъ челоѣкѣ. Будь романъ проще и короче, онъ былъ бы гораздо лучше. Герой романа добрый, но слабый до пошлости челоѣкъ, который вѣчно страдаетъ отъ своей безхарактерности, котораго не бьетъ только лѣнивый и который поэтому не возбуждаетъ въ себѣ никакого участія. Но вокругъ него толпятся интересные портреты, вѣрно списанные съ общества того времени. Въ лицѣ Алимари авторъ заплатилъ дань идеальности, которая совсѣмъ не въ характерѣ его таланта. Оттого изъ этого лица и вышелъ какой-то фантомъ, соста-

вленный из риторства, резонерства и мистицизма. Основная мысль цѣлаго романа есть оправданіе возможности духовидѣній; этой-то мысли романъ Греча и обязанъ преимущественно своимъ успѣхомъ. Не входя въ отчетливыя объясненія по этому предмету, которыя бы могли завести насъ далеко, мы скажемъ только, что для насъ собственно самый изступленный и слѣдовательно самый болѣзненный мечтатель лучше, нежели разсудительный человѣкъ, для котораго все въ жизни ясно и опредѣленно, какъ дважды два—четыре. Вѣра въ чудесное есть добрый элементъ въ человѣкѣ, признакъ благоговѣйнаго и трепетнаго предощущенія таинства жизни; только надо, чтобы эта вѣра была просвѣтлена мыслью, иначе она можетъ перейти въ суевѣріе и изувѣрство. Во всякомъ случаѣ успѣхъ романа Греча «Черная женщина», по нашему мнѣнію, говорить много въ пользу нашего общества, какъ доказательство, что въ немъ есть живая потребность внутренней жизни. Если бы романъ былъ проще и короче, мы прочли бы его еще съ большимъ удовольствіемъ; а то ничтожность главнаго лица, запутанность и натяжки въ запутываніи и распутываніи происшествій часто ужасно утомляютъ читателя... Но, несмотря на все это, прекрасный разсказъ, многія удачно и вѣрно схваченныя черты съ общества и времени, множество дѣльных мыслей, замѣчаній, мѣстами искусство, мѣстами даже теплота разсказа—все это дѣлаетъ то, что «романъ читается».

«Поѣздка въ Германію, романъ въ письмахъ», была дебютомъ Греча на романическомъ поприщѣ, и дебютомъ столь удачнымъ и успѣшнымъ, что какъ-то невольно жалѣешь, зачѣмъ Гречъ не остался при одномъ дебютѣ. «Поѣздка въ Германію» несравненно выше «Черной женщины». Простота происшествія, простота и вмѣстѣ съ ней одушевление, игривость разсказа, вѣрность, естественность въ картинахъ, въ изображеніи характеровъ, прекрасный, образцовый языкъ—все это дѣлаетъ «Поѣздку въ Германію» однимъ изъ примѣчательныхъ явленій русской литературы. Представьте себѣ, что къ вамъ пришелъ на вечеръ умный, образованный, любезный, пожилой и опытный человѣкъ,—словомъ, одинъ изъ бывалыхъ людей, и притомъ обладающій даромъ разсказа; представьте себѣ, что онъ хочетъ занять васъ однимъ изъ многочисленныхъ своихъ воспоминаній, и безъ всякихъ авторскихъ претензій разсказываетъ вамъ простую быль, простое, но тѣмъ болѣе интересное событіе дѣйствительной жизни, вызываетъ давно знакомые образы, даетъ имъ жизнь, заставляетъ ихъ снова дѣйствовать, волноваться, стремиться, желать, любить... Вы не видите, какъ прошелъ вечеръ; вы не замѣчаете, что ужъ давно полночь... разсказъ конченъ, а вы все еще слушаете... и со вздохомъ и улыбкой грустнаго удовольствія подаете доброму разсказчику руку и отъ души жмете его руку... Вотъ впечатлѣніе отъ прочтенія «Поѣздки въ Германію» и вотъ лучшая ея характеристика; по крайней мѣрѣ мы не умѣемъ слѣжать лучшей. Герой этого разсказа—лицо нисколько не идеальное, но тѣмъ болѣе интересное

(идеальность надоѣла намъ). Это простой, неглупый, образованный и благородный человѣкъ, у котораго есть и душа, и характеръ. Героиня тоже простая дѣвушка, безъ всякой идеальности, но въ которую тѣмъ больше можно влюбиться безъ памяти. Картины петербургскаго чиновничества, семейнаго быта петербургскихъ нѣмцевъ, очерки нѣкоторыхъ оригиналовъ, достолюбезныхъ чудаковъ, а главное—простота въ происшествіи, въ разсказѣ, въ чувствахъ, въ языкѣ, и простота, которая соединена съ одушевленіемъ, сердечной теплотой—все это такъ мило, такъ занимательно, что и не видишь, какъ переворачивается листъ за листомъ, а прочтя послѣдній, съ досадой встрѣчаешь «конецъ». О языкѣ нечего и говорить: молодые люди, которые, не посвящая себя литературѣ, хотятъ знать отечественный языкъ, а тѣмъ болѣе молодые литераторы, которые хотятъ хорошо писать на немъ, найдутъ чему поучиться у Греча. «Сія» и «ибо» («оныхъ» Гречъ не употребляетъ, хотя и горячо отстаиваетъ ихъ отъ Сенковского) не составляютъ дѣйствительнаго и важнаго недостатка въ слогѣ Греча, особенно для меня: читая хорошую книгу, даже вслухъ, я вмѣсто «сихъ», «ибо» и «оныхъ» произношу «эти», «потому что», «они», и такъ привыкъ къ этому, что часто хвалю книгу за отсутствіе въ ней нелюбимыхъ мной словъ. Совѣтую всѣмъ враждующимъ противъ «сихъ», «ибо» и «оныхъ» воспользоваться моимъ изобрѣтеніемъ.

«Поѣздка во Францію, Германію и Швейцарію въ 1817 г., письма къ А. Е. Измайлову» и «Дѣйствительная поѣздка въ Германію въ 1835 году» составляютъ содержаніе четвертаго тома, а наблюдательность и занимательность составляютъ главныя достоинства этихъ двухъ «поѣздокъ». Нынѣ трудно сказать что-нибудь новаго о своемъ путешествіи, и точно въ «поѣздкахъ» Греча встрѣчаешь все старое, давно извѣстное, но принимаешь все это за новое, потому что во всемъ этомъ, кромѣ прекраснаго изложенія, виденъ оригинальный, самобытный взглядъ человѣка умнаго и наблюдательнаго. Теперь остается намъ сказать нѣсколько словъ о статьѣ, въ видѣ предисловія, приложенной къ V тому, подъ титуломъ «Къ портрету Николая Ивановича Греча». Она писана пріятельской рукой, которая, заступаясь за друга передъ врагами, истинными и мнимыми, не забыла и себя. Во всемъ этомъ мы не видимъ худа, но видите ли, дѣло часто не въ самомъ дѣлѣ, а въ манерѣ, съ какой выполняется. По манерѣ узнаютъ сословіе, къ которому принадлежитъ человѣкъ, по манерѣ узнаютъ и школу, къ которой принадлежитъ писатель. Манерой Александръ Аноимовичъ отличается отъ всѣхъ писателей, и многіе изъ нихъ только манерой и выше его, тогда какъ разница повидимому въ талантѣ. Да, манера—великое дѣло. Конечно въ этой статьѣ все можетъ быть и правда, особенно, когда дѣло идетъ не о «мы», а объ «онъ»; конечно все это очень откровенно; но во-первыхъ, если сознание своего личнаго достоинства очень позволительно, то судъ о себѣ вслухъ и въ свою пользу, знаетъ... не ловко какъ-то... во-

вторыхъ—манера, манера, манера!.. Другой сказалъ бы то же, да не такъ... Впрочемъ и то сказать: всякій долженъ быть самимъ собой, чтобъ тѣмъ легче было узнать его.

Налянь, стихотворенія Александра Полежаева. Москва, 1838.

Арфа, стихотворенія Александра Полежаева. Москва, 1838.

Объ эти книжки содержатъ въ себѣ послѣдніе, уже замирающіе, глухіе звуки и ползвукъ нѣкогда звонкой и гармонической лиры. Полежаевъ прославился своимъ талантомъ, который рѣзко отдѣлился своей силой и самобытностью отъ толпы многихъ знаменитостей, повидимому затемнявшихъ его собой; но, волнуемый пылкими, необузданными страстями, онъ присовокупилъ къ своей поэтической славѣ другую славу, которая была проклятіемъ всей его жизни и причиной утраты таланта и ранней смерти... Миръ праху его... никто не смѣетъ изречь приговоръ ближнему... Миръ праху твоему, поэтъ!..

Невольно взяли мы за «Стихотворенія Полежаева», изданныя въ 1832 году, и прочли ихъ. Въ созданіяхъ поэта—его духъ, его жизнь. Полежаевъ былъ рожденъ великимъ поэтомъ, но не былъ поэтомъ: его творенія—вопли души, терзающей самое себя, стонъ нестерпимой муки субъективнаго духа, а не пѣсни, не гимны, то веселыя и радостныя, то важныя и торжественныя, прекрасному бытію, объективно созерцаемому. Истинный поэтъ не есть ни горлица, тоскливо воркующая грустную пѣснь любви, ни кукушка, надрывающая душу однообразнымъ стономъ скорби, ни звучный, гармоническій разнообразный соловей, поющій пѣснь природѣ... Созданія истиннаго поэта суть гимны Богу, прославленіе его великаго творенія... Въ царствѣ божіемъ нѣтъ плача и скрежета зубовъ—въ немъ одна просвѣтленная радость, свѣтлое ликованіе, и самая печаль въ немъ есть только грустная радость... Поэтъ есть гражданинъ этого безконечнаго и святаго царства: ему Богъ далъ плодотворную силу любви проникать въ тайнства «полнаго славы творенія», и потому онъ долженъ быть его органомъ... Вопли растерзаннаго духа, сосредоточеніе въ скорбяхъ и противорѣчіяхъ земной жизни доказываютъ пребываніе на землѣ и только тщетное порываніе къ свѣтлому, голубому небу—подвѣжю престола Вездѣущаго... Вотъ почему мы не оставляемъ имени поэта за Полежаевымъ и думаемъ, что его пѣсни, нашедшія отзывъ въ современникахъ, не перейдутъ въ потомство. Плачевныхъ и скорбящихъ поэтовъ великій поэтъ Гёте характеризовалъ эпитетомъ лазаретныхъ, и этимъ именемъ опредѣлилъ ихъ отрицательное значеніе въ области искусства...

И однакожь природа одарила Полежаева могучимъ талантомъ: только этому таланту не суждено было развернуться и расцвѣсть пышнымъ цвѣтомъ. Жизнь сдѣлала его субъективнымъ, а субъектив-

ность—смерть поэзіи, и ея произведенія—поэтическое пустовѣтье, который тѣшитъ взоръ минутнымъ блескомъ и запахомъ, а плода не приноситъ. Почему было такъ, а не иначе, почему поэту не суждено было прозрѣть, и въ безконечномъ чувствѣ безконечной любви найти разрѣшеніе и примиреніе противорѣчій бытія?.. На это одинъ отвѣтъ—да будетъ благословенна воля Провидѣнія!..

Съ содроганіемъ сердца читаешь эту страшную исповѣдь жизни въ стихахъ: «О, для чего судьба меня сгубила»; но это ужасное признаніе могло быть навѣяно минутой отчаянія,—тихо и скорбно высказываетъ онъ сознаніе своего паденія въ стихотвореніи «Вечерняя Заря». Это грустное убѣжденіе въ необходимости и неизбежности своего паденія, безъ надежды на возстаніе, съ меньшей силой выразилось и въ прекрасныхъ стихахъ—«Ахъ, кто мечтъ высокою вѣриль».

Характеръ мрачнаго отчаянія и тяжелой скорби лежитъ на большей части сочиненій Полежаева, но съ его лиры срывались и торжественные звуки примиренія, и гармоническіе аккорды явленій жизни. Кому неизвѣстно его стихотвореніе «Провидѣніе», въ которомъ, послѣ ужасовъ паденія, онъ такъ торжественно воспѣлъ свое мгновенное возстаніе? Подобный же моментъ возстанія съ меньшей поэзіей выраженъ въ стихахъ—

О нѣтъ! свершилось!.. жаръ мятежный
Остылъ на пасмурномъ челѣ; и т. д.

Кому неизвѣстно его стихотвореніе «Пѣснь плѣннаго Прокесца»—это поэтическое созданіе, достойное великаго поэта? Кому неизвѣстно его «Море», которое «измѣрилъ онъ жадными очами» и «предъ лицомъ котораго повѣрилъ онъ силы своего духа»? Кому неизвѣстенъ его «Вальтасаръ», переведенный изъ Байрона? Нѣкоторыя пѣсни его также принадлежатъ къ перламъ его поэзіи. Но самое лучшее, можно сказать, гигантское созданіе его гения, вышедшее изъ души его въ свѣтлую минуту откровенія и мірового созерцанія, есть стихотвореніе «Грѣшница».

Съ перваго раза можетъ показаться страннымъ, что Полежаевъ, котораго главная мука и отравы жизни состояла въ сомнѣніи, съ жадностью переводилъ водино-краснорѣчивыя поэмы Ламартина; но это очень понятно, если взглянуть на предметъ попристальнѣе. Крайности соприкасаются, и ничего нѣтъ естественнѣе, какъ переходъ изъ одной крайности въ другую... Кромѣ того Полежаевъ явился въ такое время, когда стихотворное ораторство и риторическая шумиха часто смѣшивались съ поэзіей и творчествомъ. Этимъ объясняются его лирическія произведенія, написанныя на случаи, его «Коріоланъ» и другія пьесы въ этомъ родѣ. Недостатокъ въ развитіи заставилъ его писать въ сатирическомъ родѣ, къ которому онъ нисколько не былъ способенъ. Его остроуміе тяжело и грубо. Недостатокъ же развитія помѣшалъ ему обратитъ вниманіе на форму, выработать себѣ послушный и гибкій стихъ. И потому, отличаясь часто энер-

гической сжатостью выражения, онъ иногда впадаетъ въ прозаическую растянutosть, и между прекрасными стихами вставляя стихи, отличающіеся странностью, изысканностью и неточностью выражения.

Кто не идетъ впередъ, тотъ идетъ назадъ: стоячаго положенія нѣтъ. Второе собраніе стихотвореній Полежаева, изданное въ 1833 году подъ титуломъ «Калыанъ», было несравненно ниже перваго. Даже лучшія пьесы—пополамъ съ риторической водой. Только одна «Цыганка» блещетъ яркимъ дѣломъ художественной формы. Сколько игры, переливовъ поэтическаго блеска и въ стихотвореніи «Ахалукъ», не совсѣмъ впрочемъ выдержанномъ! Только этими двумя стихотвореніями «Калыанъ» напоминаетъ о прежнемъ Полежаевѣ: остальное все или прѣсная вода, или вино пополамъ съ прѣсной водой. Теперь «Калыанъ» изданъ во второй разъ, въ 16-ю долю листа, на сѣрой бумагѣ, неуклюжими и слишкомъ крупными для формата буквами, съ ужаснѣйшими опечатками и грамматическими ошибками и наконецъ съ дурно вылитогравированнымъ портретомъ автора.

Въ «Арфѣ» заключаются послѣдніе стихи Полежаева, еще болѣе свидѣтельствующіе о постепенномъ замираніи его таланта. Только въ стихотвореніи «Грусть», извѣстномъ читателямъ нашего журнала, виденъ прежній Полежаевъ, съ его бойкимъ, разгульнымъ стихомъ и неизмѣнной грустью... Въ пьесѣ «Черные глаза», которой половина тоже напечатана въ «Наблюдателѣ», искры поэзіи сверкаютъ сквозь массу грубой руды; вторая половина ея—голая риторика. Въ «Кориоланѣ», поэмѣ, заключающей въ себѣ болѣе трехъ сотъ стиховъ, не наберется и десяти поэтическихъ стиховъ. Изъ уваженія въ памяти поэта, издателямъ не слѣдовало бы помѣщать такихъ пьесъ, какъ «Авторъ и Читатель»,—пьеса, исполненная грубаго и тупого остроумія. Замѣчательно въ «Арфѣ» стихотвореніе «Баяшки-баю», невыдержанное, мѣстами дико-грубое, но мѣстами же и превосходное.

Изданіе «Арфы» ничѣмъ не лучше «Калыана»—только бумага поплотнѣе. Для каждой пьесы заглавіе на особенномъ листѣ, пробѣлы ужасные, словомъ,—все, что нужно для плохого изданія. Тѣ же опечатки, грамматическія ошибки и тотъ же портретъ, что и при «Калыанѣ», и съ тѣмъ же пошлымъ выраженіемъ въ лицѣ. И это красавецъ Полежаевъ!..

Отрывки изъ библиографической замѣтки о № 11 и 12 «Современника» за 1838 г.

Что такое типъ въ творчествѣ?—человѣкъ-люди, лицо-лица, то-есть такое изображеніе человѣка, которое замыкаетъ въ себѣ множество, цѣлый отдѣлъ людей, выражающихъ ту же самую идею. Объяснимъ примѣромъ нашу мысль. Что такое Отелло?—Человѣкъ, великій духомъ, но съ страстями, необузданнымъ образованіемъ, не одухотворенными мыслью до степени чувства, и потому ревнивецъ, задушающій жену свою по одному по-

дозрѣнію въ невѣрности съ ея стороны. Отелло есть типъ, есть представитель цѣлаго рода, цѣлаго отдѣла, разряда такихъ ревнивцевъ. Отеллы были всегда и могутъ быть теперь, хотя и въ другихъ формахъ; нынѣшніе не станутъ душить жены или любовницы, а скорѣе задуются сами. Возьмемъ примѣръ изъ другого міра. Вы знакомы съ майоромъ Ковалевымъ?—Отчего онъ такъ заинтересовалъ васъ, отчего такъ смѣшнѣе онъ васъ несбыточнымъ происшествіемъ съ своимъ злополучнымъ носомъ?—Оттого, что онъ есть не майоръ Ковалевъ, а майоры Ковалевы, такъ-что, послѣ знакомства съ нимъ, хотя бы вы заразъ встрѣтили цѣлую сотню Ковалевыхъ,—тотчасъ узнаете ихъ, отличите среди тысячъ. Типизмъ есть одинъ изъ основныхъ законовъ творчества, и безъ него нѣтъ творчества. Слѣдовательно типическія лица—и художественныя?.. Такъ, но не совсѣмъ. Въ творчествѣ есть еще законъ: надобно, чтобы лицо, будучи выраженіемъ цѣлаго особаго міра лицъ, было въ то же время и одно лицо, цѣлое, индивидуальное. Только при этомъ условіи, только чрезъ примиреніе этихъ противоположностей и можетъ оно быть типическимъ лицомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ назвали мы типическими лицами Отелло и майора Ковалева.

Художественность состоитъ въ томъ, что одной чертой, однимъ словомъ живо и полно представляетъ то, чего безъ нея никогда не выразишь и въ десяти томахъ. Отъ этой причины и происходитъ чрезвычайная плодovitость и многословіе всѣхъ произведеній, не запечатлѣнныхъ печатью художественности. Художникъ же, напротивъ, не нуждается въ многословіи: ему достаточно черты, слова, чтобы выразить мысль, на одно изъясненіе которой иногда нужно цѣлый томъ. Помните ли вы, какъ майоръ Ковалевъ ѣхалъ на извозчикѣ въ газетную экспедицію и, не переставая тузить его кулакомъ въ спину, приговаривалъ: «Скорѣй, подлецъ! скорѣй, мошенникъ!» И помните ли вы короткій отвѣтъ и возраженіе извозчика на эти понуканія: «Эхъ, баринъ!»—слова, которыя приговаривалъ онъ, потряхивая головой и стегая вожжей свою лошадь?.. Этими понуканіями и этими двумя словами: «Эхъ, баринъ!» вполне выражены отношенія извозчиковъ къ майорамъ Ковалевымъ. Потомъ, помните ли вы еще сцены въ газетной экспедиціи?—Лакей съ гадунами и наружностью, показывавшей пребываніе его въ аристократическомъ домѣ, стоялъ возлѣ стола съ запиской въ рукахъ и почелъ за нужное показать свою общительность: «Повѣрите ли, сударь, что собаченка не стоитъ восьми гривенъ, то-есть я не далъ бы за нее и восьми грошей; а графиня любить, ей Богу, любить,—и вотъ тому, кто ее отыщетъ, сто рублей! Если сказать по приличію, то вотъ такъ, какъ мы теперь съ вами, вкусы людей совсѣмъ несовмѣстны: ужъ когда охотникъ, то держи лягавую собаку или пуделя; не пожалѣй пятисотъ, тысячу дай, но зато ужъ чтобъ была собака хорошая».

Въ этихъ немногихъ словахъ характеризуемо

цѣлое сословіе, весь лакейскій людъ, съ его образомъ мыслей и его образомъ выраженія; и кромѣ этого въ этихъ немногихъ словахъ выражено одно лицо, которое, будучи похоже на множество лицъ этого разряда, въ то же время похоже только на самого себя, и больше ни на кого. Много могли бы мы привести здѣсь въ примѣръ такихъ типическихъ чертъ и очерковъ, но это слишкомъ далеко завлекло бы насъ и отдалило бы отъ предмета.

«Отрывки изъ Жанъ-Поля», прекрасно переведенные Бецкимъ, составляютъ живую и интересную статью. Они даютъ полное понятіе объ этомъ уродливомъ, дикомъ гениіи Германіи, который въ своихъ поэтическихъ соверпаніяхъ то возвышался до высшихъ звѣздъ поэзіи, что впадалъ въ изысканность и совершенное безсмысліе, если не въ безмысліе

Теперь о стихотвореніяхъ.

Въ XI томѣ помѣщена цѣлая поэма «Казначейша». Стихъ бойкій, гладкій, рассказъ веселый, остроумный—поэма читается съ удовольствіемъ.—«Новыя строфы изъ «Евгенія Онѣгина» интересны, какъ все, вышедшее изъ-подъ пера Пушкина. «Опричникъ», отрывокъ должно быть изъ большого сочиненія, служить новымъ доказательствомъ, какъ много чудныхъ надеждъ унесъ Пушкинъ въ свою безвременную могилу...

И для насъ

Погибъ животворящій гласъ!

«Великое Слово», дума Кольцова, заключаетъ собой XI томъ «Современника». Эта дума, по глубокой мысли, по возвышенности выраженія, принадлежитъ къ роскошнѣйшимъ перламъ русской поэзіи.

Сердце человѣческое есть или храмъ Божій, или жилище сатаны. *Представлено для удобнѣйшаго понятія въ десяти фигурахъ, для поощренія и способствованія къ христіанскому житію. Спб. 1838.*

Основаніе христіанскаго ученія есть любовь или то живое, трепетное проникновеніе въ вѣчныя истины бытія, какъ явленія духа Божія, которое наполняетъ душу человѣка неизреченнымъ, безконечнымъ блаженствомъ. Но до такого духовнаго погруженія въ таинственную сущность источника и виновника бытія—Бога, до такого живого и трепетнаго проникновенія въ вѣчныя истины бытія невозможно дойти чрезъ посредство слабаго, ограниченнаго и конечнаго разсудка человѣческаго, который, куда ни оглянется,—вездѣ видитъ одни противорѣчія и, безсильный примирить ихъ,—или отчаявается познать истину, или принимаетъ за истину свои призрачныя, ложныя заключенія. Нѣтъ, не разсудкомъ, холоднымъ и ограниченнымъ, дается познаніе евангельской истины, выше которой нѣтъ истины въ мірѣ, но благодатью, которой вдохновляется Духъ Божій свое слабое созданіе, чтобы приобщить его къ своей вѣчной жизни и сдѣлать его органомъ и тѣпаномъ своей славы... Да, только тотъ постигалъ и

чувствовалъ въ себѣ откровеніе вѣчныхъ тайнъ бытія, только тотъ вкусилъ отъ безсмертнаго хлѣба божественной истины, кто отрекался отъ самого себя, отъ своихъ личныхъ интересовъ, кто погружался въ сущность Божества до уничтоженія своей личности, и свою личность, какъ жертву, добровольно приносилъ Богу... Только тотъ воскреснетъ въ Богѣ, кто умеръ въ Немъ... Вѣчная жизнь достигается путемъ смерти, путемъ уничтоженія... А благодать дается только тому, кто, смиривъ порывы буйнаго разсудка и съ корнемъ вырвавъ изъ сердца своего сѣмена гордости и самообольщенія, билъ себя въ грудь и повторялъ съ мытаремъ: «Грѣшнѣй, Господи, отпусти мнѣ грѣхи мои!» Да, только тотъ прозрѣетъ и просвѣтитъ и возблаженствуетъ въ трепетномъ сознаніи истины всѣхъ истинъ, кто, распростертый передъ Крестомъ, въ таинственный часъ полуночи, молясь, плача и рыдая, зывалъ къ невидимому Свидѣтелю нашихъ тайныхъ помышлений: «Вѣрую, Господи, помози моему невѣрію!»... И тогда кончится брань духа съ плотію, кончится борьба истины со страстями, просвѣтитъ страдальческое лицо избранника кроткимъ свѣтомъ тихой и безмятежной радости,—той свѣтлой радости, которая питаетъ не пресыщая, крѣпитъ не обременяя,—той безконечной радости, отъ которой кротко движется духъ, не волнуясь мятежно, видитъ даль безъ границъ, глубину безъ дна—и не возмущается страхомъ; въ сердцѣ своемъ опутитъ онъ ту безмятежную тишину, въ которой слышатся отдаленные хоры ангеловъ, тотъ священный сумракъ, сквозь который сіяетъ заря безсмертія и тусклымъ таинственнымъ мерцаніемъ своимъ сулитъ вѣчное успокоеніе, потому что его сердце сдѣлается уже храмомъ Божиимъ, гдѣ величіе размѣровъ и благолѣпіе украшеній возвышаетъ и окрыляетъ духъ, а не подавляетъ его, гдѣ тишина не пугаетъ духа своимъ мертвымъ безмолвіемъ, а настраиваетъ его къ торжественности и благоговѣнію, какъ провозвѣстница таинственнаго присутствія Вездѣсущаго... И укрѣпить Богъ слабое твореніе свое и не будетъ въ немъ больше страха: любовь побѣдитъ и изгонитъ страхъ... И кончатся его ежедневныя заботы и опасенія за свой грядущій день, за свое настоящее и будущее счастье, за свои личные и конечные интересы: пусть будетъ мрачно небо надъ его головой, пусть бушуютъ вѣтры и раздаются громы—они не заглушаютъ для него голоса Бога, не прервутъ его собесѣдованія съ нимъ въ молитвѣ—онъ никогда не забудетъ, что онъ сынъ Бога живого, что у него есть Отецъ, который хранитъ его своей любовью и безъ воли котораго не спадаетъ и волосъ съ головы его,—а такъ какъ эта воля свята и справедлива, то съ любовью и безъ страха онъ подвергнется вѣмъ ея опредѣленіямъ... Не устраситъ его и мысль о смерти: не отвратительный скелетъ уничтоженія, а свѣтлаго ангела успокоенія увидитъ онъ въ ней... Не возмутится душа его и потерей кровныхъ и ближнихъ: разлука съ ними будетъ для него залогомъ свиданія въ новомъ, лучшемъ бытіи, на новой землѣ и подъ новымъ небомъ... Въ колыбеляхъ и могилахъ

будутъ видѣться ему волны великаго океана бытія: волна гонитъ волну, волна смѣняетъ волну—волны проходятъ и исчезаютъ, а океанъ все такъ же великъ и глубокъ, и такъ же живетъ и движется на своемъ бездонномъ, необъятномъ ложѣ,—а въ его кристаллѣ все такъ же торжественно отражается лучезарное солнце, и все такъ же колеблется и трепещетъ ночное небо, усыпанное мириадами звѣздъ,—а тѣ звѣзды своимъ таинственнымъ блескомъ какъ будто говорятъ о новыхъ мірахъ, гдѣ такъ же приходятъ и проходятъ волны бытія, можетъ быть уже прошедшія звѣзды...

Да, истинный христіанинъ есть тотъ, для кого на землѣ нѣтъ уже страданія, нѣтъ грѣха, нѣтъ страха, нѣтъ смерти; онъ еще здѣсь, на землѣ, живетъ уже въ небѣ, потому что въ его духѣ живетъ любовь и блаженство—ибо душа его есть храмина Бога. Длится жизнь его, обремененная годами,—онъ благодаритъ за нее Бога; смерть застигаетъ его на полудорогѣ жизни—онъ съ любовью бросается въ объятія тихаго ангела успокоенія, потому что онъ понимаетъ значеніе словъ: «Въ дому Отца моего обители многи суть». Онъ знаетъ, потому что любить: ибо любовь есть высшее знаніе... Онъ знаетъ: бѣлый, яко голубь, онъ мудръ, яко змій, ибо за страданія, за жертву, за борьбу съ сомнѣніями разсудка, за вѣру, которая не оставляла его и среди сомнѣній—ему дана высшая мудрость, высшее знаніе. Истинно-вѣрующій есть въ то же время и знающій... Но—повторяемъ—это знаніе не принадлежитъ человѣку, не есть плодъ его человѣческой мудрости, но дается, ниспосылается ему свыше, какъ откровеніе, какъ благодать, какъ любовь. Отъ него зависятъ только неослабное стремленіе къ этому знанію, а это стремленіе выражается въ жертвахъ, въ борьбѣ, въ трудѣ, въ молитвѣ, въ отреченіи отъ себя для Бога, отъ благъ земныхъ для небесныхъ... Только тогда внутри его, въ таинственномъ святилищѣ его духа, восходитъ свѣтлое солнце истины и лучами своими просвѣтляетъ свой темный, плотской горизонтъ и даетъ человѣку сокровище, котораго ни червь не точитъ, ни ржа не ѣстъ, ни тать не похищаетъ...

Распространеніе евангельскихъ истинъ есть святая обязанность всякаго христіанина, возлагаемая на него убѣжденіемъ въ нихъ и любовью къ истинѣ; но не всякій долженъ принимать ее на себя, потому что для этого требуется духовное посвященіе, которое состоитъ въ глубокомъ проникновеніи въ евангельскія истины путемъ любви, откровенія и благодати, и еще въ способности передавать свои мысли съ жаромъ, убѣжденіемъ и силой. Кто возьмется за эту высокую миссію безъ этого внутренняго посвященія, тотъ высокія религіозныя истины обратитъ въ сухое правоученіе—плодъ человѣческой мудрости, конечнаго человѣческаго разсудка. Самый высочайшій, самый истинный, единственный образецъ и примѣръ для этого есть Евангеліе; божественный Искупитель нашъ говорилъ фарисеямъ: «Горе вамъ, книжницы и фарисеи», грозилъ заблудшимъ и ожесточеннымъ вѣчнымъ огнемъ и вѣчной смертью;

но это было только одной стороной его ученія, необходимымъ средствомъ для потрясенія окаменѣлыхъ и ожесточенныхъ сердецъ, потому что, грозилъ адомъ, онъ указывалъ и на небо, говоря о наказаніи, говорилъ и о прощеніи и искупленіи, о вѣчномъ блаженствѣ, и говорилъ это словами, въ которыхъ вѣялъ духъ вѣчной, божественной любви, безконечнаго небснаго блаженства. Поэтому-то всѣ проповѣди, всѣ объясненія христіанскихъ истинъ, не проникнутыя духомъ трепетной, животворной любви, никогда и никакого не производятъ дѣйствія. Сверхъ того Евангеліе отличается еще и тѣмъ, что оно равно убѣдительно, равно ясно и повѣстно говорить всѣмъ сердцамъ, всѣмъ душамъ, всѣмъ умамъ, искренно жаждущимъ напиться его истинами; его равно понимаетъ и царь и нищій, и мудрецъ и невѣжда. Да, каждый изъ нихъ пойметъ равно, потому что одинъ пойметъ больше, глубже, нежели другой, но всѣ они поймутъ одну и ту же истину,—и еще такъ, что мудрый, но гордый своей мудростью, пойметъ ее меньше, нежели простолюдинъ, въ простотѣ и смиреніи своего сердца, жаждущаго истины и по тому самому отзывающагося на нее...

Такія мысли возбудила въ насъ маленькая книжка, подъ названіемъ: «Сердце человѣческое есть или храмъ Божій, или жилище сатаны». Книжка эта первоначально написана на французскомъ языкѣ, съ котораго переведена была на нѣмецкій, а съ него уже на русскій. Въ ней предлагается сухое изложеніе христіанскихъ истинъ, разсудочно, а не сердцемъ понятыхъ; для лучшаго же уразумѣнія приложено нѣсколько рисунковъ, а на тѣхъ рисункахъ сердца человѣческаго, наполненныя діаволами и грѣхами, въ видѣ козловъ, змій и другихъ животныхъ. Не понимаемъ, къ чему все это. Евангеліе просто, доступно для всякаго, возлагаетъ свои святые и высокія истины; къ чему же эти мистическіе и аллегорическіе рисунки?.. Только любовь рождаетъ любовь, и только любовь говоритъ сердцу языкомъ живымъ и понятнымъ. Хитросплетенія затемняютъ истину, сбивая съ толку бѣдный разсудокъ и охлаждая сердце. Нѣтъ, не такимъ образомъ проповѣдывала всегда и проповѣдуетъ теперь истины Евангеліа наша православная церковь. Эта же книжка явно написана на французскомъ языкѣ...

Искусство брать взятки. Восточная сказка. Соч. В. Серебряникова. Москва, 1838.

Три бездѣлки. Соч. В. Серебряникова. Москва, 1838. (Отрывокъ).

Добро и зло по необходимости такъ тѣсно перемѣшаны другъ съ другомъ, что одно необходимо предполагаетъ и условливаетъ другое, и оба вмѣстѣ образуютъ третье, единое и цѣлое, а взятые каждое само по себѣ представляютъ собой двѣ отвѣченные противоположности. Такъ точно воздухъ состоитъ изъ кислорода и азота, изъ которыхъ первый убиваетъ человѣка своей доброкачественностью, а второй—своей злокачественностью; но соединенные

вмѣстѣ чудотворной и живительной силой природы, они взаимно модифицируютъ другъ друга и, теряясь другъ въ другъ, образуютъ воздухъ, безъ котораго не можетъ существовать ничто живое въ природѣ. Поэтому, гдѣ добро—тамъ и зло, и наоборотъ; поэтому же всякій предметъ имѣетъ свою хорошую и свою дурную сторону. Сердцу человѣческому средно желать одного добра и оскорбляться созерцаніемъ зла; долгъ человѣка есть—стремиться къ добру и бороться со зломъ: это желаніе, это стремленіе и эта борьба составляютъ механическій рычагъ, могущественный двигатель, часовую пружину жизни; но не должно забывать, что безъ зла не было бы движенія, а слѣдовательно и жизни, и что надежда видѣть міръ совершенно освобожденнымъ отъ зла—есть мечта воображенія, мечта прекрасная по ея источнику, но пустая и безплодная по ея сущности. Итакъ, вездѣ есть зло, вездѣ есть свои дурныя стороны. Петербургскіе журналы (особенно одинъ изъ нихъ) нападаютъ на Москву за дурную сторону ея литературы—за плохія изданія, за множество вадорныхъ сочиненій, ежегодно появляющихся въ ней. Дѣйствительно, въ Москвѣ образовался особенный родъ литературы, особенный литературный міръ. Эта литература ходитъ во фризовой шинели, рѣдко брѣшетъ бороду, умывается и причесывается развѣ по торжественнымъ праздникамъ; печатается она въ типографіяхъ Кузнецова, Смирнова и Кириллова; ея поприще и кругъ дѣйствія—толкучій рынокъ: тамъ процвѣтаютъ книжные магазины ея Лавока и Мур-раевъ; ея посредники—ходебичики; ея публика—сидѣльцы «авоцныхъ» лавокъ и вообще люди, для которыхъ все печатное должно быть хорошо. Такъ, это правда; но развѣ этого нѣтъ въ Петербургѣ, конечно въ петербургской формѣ? Вся разница въ бумагѣ и печати, и развѣ—и то не всегда—въ болѣе-шей грамотности. По крайней мѣрѣ мы беремся цифрами доказать, что разница не въ числѣ, а только въ лучшей бумагѣ и лучшихъ буквахъ. Но во всякомъ случаѣ зло совсѣмъ не такъ велико, какъ думаютъ: стоитъ только взглянуть на предметъ съ другой стороны, чтобы въ злѣ увидѣть добро. Не всѣ же могутъ читать Вальтеръ Скотта и Купера: есть люди, которымъ нужны и «Милордъ Англіійскій», и «Гуакъ или непоколебимая вѣрность», и «Филатка» съ «Мирошками». Вѣдь имъ надо же что-нибудь читать, а кто читаетъ что-нибудь, уже гораздо выше того, кто ничего не читаетъ. Чтеніе должно быть по плечу чтенію, и въ чтеніи должна быть своя постепенность, свой ходъ, свое развитіе: иной отъ «Англіійскаго Милорда» доходитъ до «Ивана Выжигина» и на немъ останавливается; а иной, начавъ «Гуакомъ или непоколебимой вѣрностью» и перешедши чрезъ все многочисленное поколѣніе «Выжигинныхъ», доходитъ до Вальтеръ Скотта и Купера. Но и тотъ, кто, начавши съ «Милордовъ» и «Гуаковъ», на нихъ и остановился—и тотъ, говорю я, уже далеко опередилъ того, кто ничего не читаетъ. Итакъ, пусть читаетъ во здравіе нашъ православный народъ, пусть съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе распространяется въ немъ жажда къ

чтенію!.. Что бы ни пробуждало и ни питало эту жажду—все хорошо! Долгъ рецензента—показать, для какого класса читателей писана та или другая книга, а не бранить эти добренькія сѣренькія книжки, которыя распространяются по своему читающему міру не въ кипахъ и не черезъ почту, а въ мѣшкахъ и черезъ ходобичиковъ. Я, какъ рецензентъ, даже люблю эти сѣренькія книжки: читать ихъ не нужно, а писать о нихъ можно сколько угодно, и для этого нужно только заглянуть туда-сюда, чтобы для потѣхи выписать какую-нибудь курьезность или, придравшись къ какой-нибудь диковинкѣ, посмѣяться надъ добренькой сѣренькой книжкой.. Вотъ другое дѣло—эти бездарные и много-томные романы, опрятно изданные, со смысломъ написанные, съ претензіями на таланты! Тутъ уже рецензенту плохо: читай себѣ отъ доски до доски, чтобы вычитать какую-нибудь нелѣпость; а между тѣмъ все обстоитъ благополучно—нѣтъ ни отмыно-но глупаго, нѣтъ и ничего умнаго—вездѣ середка на половинѣ... Охъ, эта золотая середина!..

Сто русскихъ литераторовъ. Изд. книгопродавца А. Смирдина. Томъ первый. Александровъ. Марлинскій. Давыдовъ. Зотовъ. Кукольникъ. Полевой. Пушкинъ. Свиньинъ. Сеньковский. Шаховской. Спб. 1839. (Отрывокъ).

Альманахъ въ пятьдесятъ два печатныхъ листа, въ огромное in-folio или въ небольшой in-quarto; альманахъ, роскошно напечатанный, вмѣщающій въ себѣ четырнадцать статей знаменитѣйшихъ русскихъ писателей—отъ Пушкина до Зотова, съ ихъ портретами, съ десятью картинками, превосходно нарисованными въ Россіи и превосходно выгравированными на стали въ Лондонѣ—альманахъ-чудо!.. Какъ онъ родился, гдѣ онъ родился?

Какъ?—не знаемъ; гдѣ?—въ Парижѣ. Тамъ выдана была книга «Ста-одного»—у насъ память хороша, мы не забыли и, по старой привычкѣ пользоваться чужимъ примѣромъ, рѣшились издать книгу ровно «Сто русскихъ литераторовъ».

Зачѣмъ только сто?—Зачѣмъ не тысяча, не сто тысячъ?—Статей негдѣ взять?—Вздоръ!—такихъ статей, какъ «Пріѣздъ вице-губернатора» или «Александръ Даниловичъ Меншиковъ», не оберешься—стоитъ только кликнуть кличъ. Авторы нѣтъ такого числа?—Пустое!—Рафаилъ Михайловичъ Зотовъ открылъ собой безконечную вереницу самородныхъ гениевъ... Помилуйте, кому не лестно видѣть свой портретъ, превосходно выгравированный на стали; видѣть свою статью въ книгѣ рядомъ съ статьями Пушкина?... Да для одного этого иной поневоли сдѣлается писателемъ... Вотъ другое дѣло—пріятно ли Пушкину быть въ подобномъ обществѣ?... Да что на него смотрѣть—вѣдь жаловаться не будетъ!.. Десять томовъ этого альманаха намѣренъ издать А. Ф. Смирдинъ: въ каждомъ томѣ будутъ статьи десяти авторовъ, десять портретовъ и десять картинокъ. Первый томъ заключаетъ въ себѣ статьи писателей, поименованныхъ въ его заглавіи. Пер-

вый... но мы устроим свой порядок, по которому первым безспорно должен быть Пушкин, а не Сенковский съ Зотовымъ.

«Каменный Гость», посмертное сочинение Пушкина, драматическая поэма... Герой этой небольшой драмы—«Донъ Хуанъ», тотъ самый, который является героемъ въ либретто знаменитой оперы Моцарта; но у Пушкина общаго съ этимъ либретто только имена дѣйствующихъ лицъ—донъ Хуана, донны Анны, Лепорелло, а идея цѣлаго созданія, его расположеніе, ходъ, завязка и развязка, положенія персонажей—все это у Пушкина свое, оригинальное. Поэма помѣщена не болѣе какъ на тридцати пяти страницахъ, и несмотря на то, она есть цѣлое, оконченное произведеніе творческаго гения; художественная форма, вполне обаяющая безконечную идею, положенную въ ея основаніе; гигантское созданіе великаго мастера, творческая рука котораго, на этихъ бѣдныхъ тридцати пяти страничкахъ, умѣла исчерпать великую идею, всю до малѣйшаго отбѣнка... Просимъ не принимать нашихъ словъ за сужденія: нѣтъ, они не сужденіе, они—звуки восклицанія, междометія... Сужденіе требуетъ спокойствія—не того пошлаго, разсудочнаго спокойствія, источникъ котораго есть мелкость и холодность души, недоступной для сильныхъ и глубокихъ впечатлѣній,—нѣтъ, того спокойствія, которое дается полнымъ удовлетвореніемъ изящнымъ произведеніемъ, полнымъ воспріятіемъ его въ себя, полнымъ погруженіемъ въ таинство его организаціи... Чтобы оцѣнить вполне великое созданіе искусства, разоблачить передъ читателемъ тайны его красоты, сдѣлать прозрачной для глазъ его форму, чтобы сквозь нее могъ подсмотрѣть въ немъ великое таинство присутствія вѣчнаго духа жизни, ощутить его благоуханное вѣяніе,—для этого требуется много, слишкомъ много, по крайней мѣрѣ гораздо больше, нежели сколько мы можемъ сдѣлать... Торжественно отказываемся отъ подобнаго подвига и признаемъ свое безсиліе для его совершенія... Но для насъ оставалось бы еще неизреченное блаженство передать читателю наше личное, субъективное впечатлѣніе, пересказать ему, какъ потрясались, одна за другой, всѣ струны души нашей; какъ духъ нашъ то замиралъ и изнемогалъ подъ тяжестью невыносимаго восторга, то мощно возставалъ и овлаживалъ своимъ восторгомъ, когда передъ нимъ разверзалось на минуту царство безконечнаго... Но мы не можемъ сдѣлать этого... Мы увидѣли даль безъ границъ, глубь безъ дна,—и съ трепетомъ отступили назадъ... Да, мы еще только изумлены, пріятно испуганы, и потому не въ силахъ даже себя отдать отчетъ въ собственныхъ ощущеніяхъ... Что такъ поразило насъ?—Мы не знаемъ этого, но только предчувствуемъ это,—и отъ этого предчувствія дыханіе занимается въ груди нашей и на глазахъ дрожатъ слезы трепетнаго восторга... Пушкинъ, Пушкинъ!.. И тебя видѣли мы... Неужели тебя?.. Великій, неужели безвременная смерть твоя непремѣнно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто былъ ты?..

«Одна глава изъ неоконченнаго романа» сильно разманиваетъ любопытство читателя только однимъ намекомъ на характеръ героини... Впрочемъ цѣлаго она не представляетъ, а какъ отрывокъ—слишкомъ мала, и потому только при имени Пушкина можетъ имѣть особенную цѣну.

Записки Александра (Дуровой). Дополненіе къ «Дѣвицы-Кавалеристу». Москва, 1839. (Отрывокъ).

Въ 1839 году появился въ «Современникѣ» отрывокъ изъ записокъ Дѣвицы-Кавалериста. Не говоря уже о странности такого явленія, литературное достоинство этихъ записокъ было такъ высоко, что нѣкоторые приняли ихъ за мистификацію со стороны Пушкина. Съ тѣхъ поръ литературное имя Дѣвицы-Кавалериста было упрочено. Она издала «Дѣвицу-Кавалериста», потомъ «Годъ жизни въ Петербургѣ», а теперь вновь является на литературную арену съ дополненіями къ «Дѣвицы-Кавалеристу». Прежде нежели мы увидѣли эту книгу, мы прочли въ одномъ изъ №№ «Литературныхъ Прибавленій» прошлаго года отрывокъ изъ нея, въ которомъ Дѣвица-Кавалеристъ описываетъ свое дѣтство: Боже мой, что за чудный, что за дивный феноменъ нравственнаго міра героиня этихъ записокъ, съ ея юношеской проказливостью, рыцарскимъ духомъ, отвращеніемъ къ женскому платью и женскимъ занятіямъ, съ ея глубокимъ поэтическимъ чувствомъ, съ ея грустнымъ, тоскливымъ порываніемъ на раздолье военной жизни изъ-подъ тяжелой опеки доброй, но не понимавшей ея матери! И что за языкъ, что за слогъ у Дѣвицы-Кавалериста! Кажется, самъ Пушкинъ отдалъ ей свое прозаическое перо, и ему-то она обязана этой мужественной твердостью и силой, этой яркой выразительностью своего слога, этой живописной увлекательностью своего разсказа, всегда полнаго, проникнутаго какой-то скрытой мыслью. Глубоко поразила насъ этотъ отрывокъ, и по выходѣ книги мы вновь перечли краснорѣчивыя и живыя страницы дикостраннаго и поэтическаго дѣтства Дѣвицы-Кавалериста. Мы приняли глубокое участіе въ ея потерѣ Мавильки и Тетери, равно какъ и всего, что любила она въ дѣтствѣ и что вырывала у ней злая судьба, какъ бы закаляя ея сердце для того поприща, на которое готовила ее; вмѣстѣ съ ней мы полюбовались ея Алкидомъ, глядя на него по крутой шеѣ, чувствовали у щеки своей горячее дыханіе его пламенныхъ ноздрей... Жизнь и странное поприще героини «Записокъ» поясняются нѣсколько ея молодостью; но ея дѣтство—это богатый предметъ для поэзіи и мудреная задача для психологіи. Не всѣ мѣста въ «Запискахъ» такъ интересны, какъ «нѣкоторыя черты изъ дѣтскихъ лѣтъ», но нѣтъ ни одного незамыслительнаго, неинтереснаго.

Въ срединѣ «Записокъ» выпущенъ огромный разсказъ, помѣщенный въ «Отечественныхъ Запискахъ» подъ названіемъ «Павильонъ». Для «Отече-

ственныхъ Записокъ» это очень выгодно, но для «Записокъ Александра» это очень невыгодно. Поговоримъ объ этой прекрасной повѣсти. Прежде всего скажемъ, что она очень растянута, безъ чего ей не было бы цѣны, не какъ художественному произведенію, но какъ въ высшей степени мастерскому разсказу истиннаго событія. Глубокое и рѣзкое впечатлѣніе производитъ этотъ разсказъ, за исключеніемъ излишняго обилія подробностей и нѣкоторой растянутости, такъ энергически и съ такимъ искусствомъ изложенный!.. Этотъ безразсудный отецъ, самовольно опредѣлившій своему сыну противное его духу поприще и зато проклинающій его трупъ за страшное злодѣйство; этотъ молодой ексцендъ, съ его глубокой душой и вулканическими страстями, усиленными воспитаніемъ и уединенной жизнью, — страстями, которыя безъ этого могутъ быть прониклись бы свѣтомъ мысли и возгорѣлись бы кроткимъ огнемъ чувства, а могучая воля устремилась бы на благое и въ благой дѣятельности дала бы плодъ сторицей: какіе два страшные урока!.. Не доказываетъ ли первый, что нравственная свобода человѣка священна: отецъ Валеріанъ еще въ дѣтствѣ обрекъ его служенію алтаря, но Богъ не принялъ обѣтовъ, произнесенныхъ безсознательнымъ и недоброжелательнымъ повиновеніемъ чуждой волѣ, а не собственнымъ стремленіемъ выполнить потребность своего духа и въ этомъ выполненіи обрѣсти свое блаженство!.. Не доказываетъ ли второй, что только чувство истинно и достойно человѣка; но что всякая страсть есть ложь, заблужденіе, грѣхъ?.. Чувство не допускаетъ убійства, крови, насилия, злодѣйства, но все это есть необходимый результатъ страсти. Что такое была любовь Валеріана? — страсть могучей души и, какъ всякая страсть — ошибка, обманъ, заблужденіе. Любовь есть гармонія двухъ душъ, и любящій, теряясь въ любимомъ предметѣ, находитъ себя въ немъ, и если, обманутый внѣшностью, почитаетъ себя не любимымъ, то отходитъ прочь съ тихой грустью, съ какимъ-то болѣзненнымъ блаженствомъ въ душѣ, но не съ отчаяніемъ, не съ мыслью о мщеніи и крови, обо всемъ этомъ, что унижаетъ божественную природу человѣка. Въ страсти выражается воля человѣка, стремящаяся, вопреки опредѣленіямъ вѣчнаго разума и божественной необходимости, осуществить претензіи своего самолюбія, мечты своей фантазіи или порывы кипящей своей крови...

А эта милая, прекрасная Лютгарда! — Страшенъ конецъ ея, но мысль о немъ не леденитъ души: не вотще жила Лютгарда — она могла бы дать о себѣ эту поэтическую вѣсть съ того свѣта:

...Я все земное совершила,
Я на землѣ любила и жила.

Да, повторимъ еще разъ: повѣсть «Павильонъ» представляетъ собой прекрасное содержаніе, увлекательно и сильно, хотя мѣстами и растянута изложенное; обличаетъ руку твердую, мужскую.

Браво или венеціанскій бандитъ, историческій романъ. Соч. Я. Ф. Купера. Спб. 1839. Четыре части.

Куперъ явился послѣ Вальтеръ Скотта и многими почитается какъ бы его подражателемъ и ученикомъ; но это рѣшительная несправедливость: Куперъ — писатель совершенно самостоятельный, оригинальный и столько же великій, столько же гениальный, какъ и шотландскій романистъ. Принадлежа къ немногочисленному числу перворазрядныхъ, великихъ художниковъ, онъ создалъ такія лица и такіе характеры, которые навѣки останутся художественными типами: вспомните его Соколиного Глаза, который потомъ является Тенетчикомъ, вспомните его пчелинаго охотника Павла, его Твердосердаго, его Харвея Бирша, его Джона Поля *) и множество другихъ лицъ, вѣроятно столько же, какъ и мыѣ, знакомыхъ и перенесенныхъ вамъ. Сверхъ того, будучи гражданиномъ молодого государства, возникшаго на молодой землѣ, непохожей на нашу старую Европу, — онъ черезъ это обстоятельство какъ будто бы создалъ особый родъ романовъ — американско-степныхъ и морскихъ. Въ самомъ дѣлѣ, эти дивныя изображенія безпредѣльныхъ степей Америки, покрытыхъ травой выше человѣческаго роста, населенныхъ стадами бизоновъ, пересѣкаемыхъ огромными лѣсами, таящими въ себѣ краснокожихъ дѣтей Америки, ведущихъ и между собой, и съ бѣлыми непримиримую брань, — гдѣ, у кого кромѣ Купера можете вы найти все это? А море, а корабль? — тутъ онъ опять какъ у себя дома: ему извѣстно названіе каждой веревочки на кораблѣ, онъ понимаетъ, какъ самый опытный лоцманъ, каждое движеніе корабля, какъ искусный капитанъ — онъ умѣетъ управлять имъ, и нападая на непріятельское судно, и убѣгая отъ него. На тѣсномъ пространствѣ палубы онъ умѣетъ завязать самую многосложную и въ то же время самую простую драму, и эта драма изумляетъ васъ своей силой, глубиной, энергіей, величіемъ, а между тѣмъ въ ней все такъ, повидимому, спокойно, неподвижно, медленно, обыкновенно. Дивный, могучій, великій художникъ! Вотъ это и заставило всѣхъ сдѣлать ложное заключеніе, что Куперъ можетъ быть у себя дома только въ степи, въ лѣсу, да на морѣ; но что если перенести мѣсто дѣйствія своего романа на твердую землю, то непремѣнно потерпѣть кораблекрушеніе и сядетъ на мель. Но великій художникъ не побоялся карканья критическихъ вороньевъ или воронъ, но, расправивъ свои могучія орлиныя крылья, и на чужомъ материкѣ, подъ чуждымъ небомъ полетѣлъ тѣмъ же, ему одному свойственнымъ полетомъ, какимъ парилъ онъ подъ небомъ своей родины. «Браво», романъ, мѣстомъ дѣйствія котораго Куперъ избралъ Венецію, служить этому доказатель-

*) А этого не угодно ли для курьеза сравнить съ Джономъ-Полей Александромъ Дюма, чтобы увидѣть разницу между самообытнымъ гениемъ творчества и литературнымъ обезьянничествомъ жалкой посредственности.

ствомъ. Недавно этотъ романъ явился на русскомъ языкѣ въ самомъ безграмотномъ переводѣ, какой только можетъ себѣ вообразить самое пылкое и смѣлое безграмотное воображеніе, — и почти во всѣхъ нашихъ журналахъ было повторено, что Куперъ — хорошій романистъ у себя въ Америкѣ да на морѣ, а въ Европѣ срѣзлся, и что его «Браво» — скучный и пошлый романъ. Вотъ такъ-то, — что много думать!..

Признаемся, не безъ страха приняли мы за чтеніе «Браво»: намъ было грустно удостовѣриться, что такой великій художникъ, какъ Куперъ, могъ писать плохіе романы, какъ какой-нибудь Бальзакъ. Вотъ уже мы, черезъ великую силу, прочли главу, другую... переводъ уже одолевалъ наше терпѣніе, нашу любовь къ искусству, готовую на великія жертвы — даже на чтеніе такихъ переводовъ... но вотъ мракъ началъ разсѣиваться, легкіе очерки стали превращаться въ живописныя фигуры, слабыя тѣни — въ живые образы и лица, и, несмотря на ужасный переводъ, мы уже не читали, а съ ненасытной жадностью пожирали остальные главы и части... И теперь, когда уже романъ давно прочтенъ, и теперь носятся передъ нашими глазами эти дивные образы, которые могла создать только фантазія великаго художника... Вотъ старый рыбакъ Антонио, съ его энергичной простотой нравовъ, съ его благородной грубостью; вотъ глубокой, могучій, меланхолическій Браво; вотъ кроткая, чистая, милая Джельсомина; вотъ вѣтреная и лукавая Аннина — какія лица, какіе характеры! какъ сроднилась съ ними душа моя, съ какой сладкой тоской мечтаю я о нихъ!.. Коварная, мрачная кинжальная политика венеціанской аристократіи, нравы Венеціи, регата или состязаніе гондольеровъ, убійство Антонио — все это выше всякаго описанія, выше всякой похвалы. И все это такъ просто, такъ обыкновенно, такъ мелочно повидимому: люди хлопочутъ, суетятся: кто хочетъ погулять, кто достать денегенокъ, кто повололочиться, кто попоголять; лица всѣхъ веселы, публичные гулянья пестрѣютъ масками, по каналамъ разѣзжаются гондолы — но изъ всего этого выставляется какой-то колоссальный призракъ, наводящій на васъ оцѣпняющій ужасъ. И все дѣйствіе продолжается какихъ-нибудь три дня; вѣншихъ рычаговъ нѣтъ — вся драма завязывается изъ столкновенія разныхъ индивидуальностей и противоположности ихъ интересовъ, всѣ событія самыя ежедневныя, — но только не разъ, во время чтенія, опустится у васъ рука съ книгой, и долго, долго будете вы смотрѣть вдаль, не видя передъ собой никакого опредѣленнаго предмета...

Прежде, нежели произносить такой рѣшительный и такой презрительный приговоръ произведенію такого великаго мастера, какъ Куперъ, — не худо было бы прочесть его въ подлинникѣ, если доступенъ языкъ его, или хотя въ французскомъ переводѣ, потому что всѣ французскіе переводчики, вопреки большей части русскихъ, имѣютъ похвальную привычку заботиться о смыслѣ и правильности языка.

Русскіе журналы. (Стрелки).

Увы! на жизненныхъ браздахъ
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ Провидѣнья,
Восходятъ, зрѣютъ и падутъ;
Другія имъ вослѣдъ идутъ...
Такъ наше вѣтреное племя
Растетъ, волнуется, кипитъ
И къ гробу пращѣдовъ тѣснитъ.
Придетъ, придетъ и наше время,
И наши внуки, въ добрый часъ,
Изъ міра вытѣснятъ и насъ.
Пушкинъ.

Что старина, то и дѣянье!

Кирша Даниловъ.

Благословите, братцы, правду сказать.
«Сынъ Отечества».

Не ставемъ писать исторіи «Сына Отечества», этого маститаго журнала, догоняющаго или перегоняющаго своими годами «Вѣстникъ Европы» блаженной памяти; скажемъ только, что, послѣ многочисленныхъ и неудачныхъ попытокъ къ возрожденію и обновленію, онъ перешелъ, наконецъ, въ руки человѣка, перваго именемъ своимъ въ русской журналистикѣ. Не говоря уже о перемѣнѣ въ планѣ журнала, изъ недѣльника превратившагося, по примѣру «Б. для Ч.», въ мѣсячникъ, — сколько надеждъ было возложено публикой на этотъ журналъ, подпавшій подъ редакцію знаменитаго, талантливаго и многосторонняго редактора. Поговаривали было уже, что «Б. для Ч.» приходитъ конецъ, что вотъ, наконецъ-то, явится журналъ, который дастъ намъ критику безпристрастную, благородную, независимую, основанную на твердыхъ началахъ науки изящнаго, въ ея современномъ состояніи: — журналъ, который, какъ на ладони, будетъ показывать намъ современную Европу со стороны ея умственной дѣятельности и духовнаго развитія. Ждали, кричали — кричали и ждали, и дождались...

«Сынъ Отеч.» сдѣлался собственностью Смирдина, слѣдовательно, имѣлъ всѣ матеріальныя средства къ наружному достоинству, своевременному выходу книжекъ и улучшенію даже внутренняго содержанія черезъ приглашеніе къ участию русскихъ писателей, пользующихся заслуженнымъ авторитетомъ. Имя редактора ручалось за превосходный выборъ статей, за превосходную критику и за многое превосходное. Но не всѣ надежды сбываются. Во первыхъ, «С. О.» сталъ отставать, такъ что послѣдняя книжка его за прошлый годъ вышла въ нынѣшнемъ; «С. О.» явился съ самой скромной наружностью — на сѣренькой бумажкѣ, слѣпо и некрасиво напечатанный...

Но еще поразительнѣе внутренняя сторона «С. О.». Подъ критикой онъ сталъ разумѣть библиографическіе отзывы о книжкахъ или рецензіи и потомъ французскія статьи о предметахъ искусства. Въ рецензіяхъ была выговорена правда нѣсколькимъ плохимъ книжонкамъ, но главныя усилія были направлены — во-первыхъ, противъ людей, которые, по слѣпотѣ своей, видѣли въ «С. О.» не журнальное свѣтило, а какое-то тусклое пятно, знаменующее затменіе на горизонтѣ нашей журналистики; во-вто

рыхъ, противъ людей, которые, по закону давности, совершенно забыли «Московский Телеграфъ» и смѣялись надъ повтореніемъ устарѣлыхъ понятій; въ третьихъ, противу людей, которые осмѣливались видѣть въ Лажечниковѣ даровитаго писателя, а не безграмотнаго писаку, а прекрасные романы его ставить выше романовъ Полевого. Что касается до критикъ, переводимыхъ въ «С. О.» съ французскаго, то очень трудно опредѣлить ихъ сущность и цѣль. Или уже такова организація нашего духа, или въ самомъ дѣлѣ французы въ этомъ виноваты, но только для насъ рѣшительно недоступна ясность французскихъ статей. Прочтя французскую статью со всевозможнымъ напряженнымъ вниманіемъ, мы всегда спрашиваемъ себя: да о чемъ же хлопочетъ этотъ господинъ, или—другими словами:

Да изъ чего жъ бѣснуетесь вы столько?

По нашему мнѣнію, только та статья хороша, въ которой развита какая-нибудь мысль и въ которой каждая мысль, являясь въ живомъ словѣ, теряетъ свою скелетную отвлеченность и переходитъ въ объективное представленіе. Прочтя такую статью, можно иногда не согласиться съ ея основаніями, но всегда можно сказать, какая развита въ ней мысль, какъ она развита (т.-е. весь ея діалектический ходъ), и потому ее можно всегда помнить. Кажется, что противъ этой мысли, столь же простой, сколько и истинной, никто спорить не станетъ. Теперь приглашаемъ, не угодно ли кому-нибудь для пробы пересказать содержаніе хоть статьи Филарета Шала «Нынѣшняя англійская словесность», помѣщенной въ 3 книжкѣ «С. О.» за нынѣшній годъ? Въ этой статьѣ говорится и о Шекспирѣ, и о Байронѣ, и о Вальтерѣ Скоттѣ, о Соути и Вордсвортѣ, но объ искусствѣ не говорится ни слова, а между тѣмъ очень много наговорено о машинахъ, цилиндрахъ, новѣйшей цивилизаціи, пароходахъ и о прочемъ, что до искусства не касается. Прочтя статью, вы не обогащаетесь даже ни однимъ новымъ фактомъ о современной англійской литературѣ,—о мысли я уже и не говорю. А между тѣмъ это еще самая лучшая французская статья въ «С. О.», потому что между такъ называемыми критиками французскими Филаретъ Шаль еще отличается противъ другихъ большимъ количествомъ здраваго смысла. Въ прошломъ году «С. О.» дебютировалъ двумя французскими статьями, очень дурно переведенными: о Викторѣ Гюго, кажется Сентъ-Бѣва, и о Ламартинѣ, кажется Низара. Боже мой, что это за произвольность въ понятіяхъ! Ничего не поймешь, ничего не разберешь!

Запѣли молодцы—кто въ лѣсъ, кто по дрова!
Дерутъ, а толку нѣтъ.

О томъ, что называется основаніями науки—нѣтъ и намека. Какъ же постѣ этого смѣть презирать нѣмцевъ! Говорятъ, нѣмцы темно пишутъ. Не правда: чтѣ выше насъ, то намъ темно; но станьте вашимъ развитіемъ въ уровень съ нѣмцемъ—и вы увидите, что онъ пишетъ ясно и понятно. А что и у нѣмцевъ есть темные писаки, потому что у нихъ въ головѣ темно,—это можно доказать изъ «Сына же

Отечества»: прочтите въ № 1 статью Амедея Вендта «О нынѣшнемъ состояніи живописи, ваянія, водчества и музыки». У нѣмцевъ критика основана на законахъ разума, всегда одинаго и неизмѣняющагося, на началахъ науки, сообразно ея современному состоянію. Лессингъ, Шиллеръ, Шлегель и теперешняя дружина молодыхъ гегелистовъ—Ганцъ, Рётшертъ, Бауманъ, Гото и другіе—что такое всѣ эти имена?—Это названіе періодовъ развитія науки изящнаго, это названіе главъ въ ея исторіи, потому что, повторяемъ, въ Германіи критика развивалась исторически, и въ ея представителяхъ вы увидите вліяніе и Канта, и Шеллинга, и Гегеля. По этой причинѣ, если Лессингъ, Шиллеръ и Шлегель теперь не могутъ быть законодателями вкуса, то ихъ заслуга все-таки не забыта, и ихъ достоинство не унижено: нѣмцы изучаютъ ихъ какъ историческія лица въ наукѣ изящнаго, чтобы чрезъ это изученіе видѣть ходъ и развитіе мысли о творчествѣ. Напротивъ того, какое значеніе могутъ имѣть Лагаршъ и Жоффруа, кромѣ развѣ какъ факты коллобродства человѣческаго разсудка? За чтѣ подорожить потомство статейками Жюль Жанена и статьями Густава Планша, Сентъ-Бѣва, Низара, Филарета Шала? Скажите, какое соотношеніе между этими людьми, имѣли ли кто изъ нихъ вліяніе на другого, чье имя должно стоять впереди, чье послѣ?.. Нѣтъ, они являлись всѣ случайно, мысли ихъ родились случайно, какъ личныя мнѣнія, ни на чемъ не основанныя, ни къ чему не привязанныя. Ихъ назначеніе—не быть проводниками новыхъ идей объ искусствѣ, исторически развивающихся; ихъ ремесло—высказывать эфемерный вкусъ толпы, мнѣніе дня. Я въ восторгѣ отъ «Руслана и Людмилы», а мой лакей безъ ума отъ «Еруслана Лазаревича»: мы оба правы, и если бы мой лакей умѣлъ написать статью, въ которой бы высказалъ свое личное мнѣніе о высокомъ достоинствѣ «Еруслана Лазаревича» и о пошлости поэмы Пушкина, это была бы превосходная критическая статья во французскомъ духѣ. Я такъ думаю, мнѣ такъ кажется—вотъ основаніе французской критики. Эта произвольность во мнѣніяхъ часто доходитъ до такихъ нелѣпостей, которыя могутъ являться только во французской литературѣ. Недавно одинъ французикъ, Арнуль Фреми, вздумалъ написать шуточное письмо къ тѣни Дидро о томъ, что драма есть ложный родъ и не принадлежитъ къ искусству, но что Корнель, Расинъ, Мольеръ, Вольтеръ, Шекспиръ (какое дикое сближеніе именъ!..)—великіе люди!!!. И что же? Редакторъ «С. О.» не только почелъ нужнымъ перевести эту статью для своего журнала, но и еще, въ выноскѣ къ ней, глубокомысленно замѣтилъ, что «дѣло стоитъ того, чтобы надъ нимъ подумать». И потомъ онъ же перевелъ превосходную статью Варнгагена о Пушкинѣ, для показанія пошлости современной нѣмецкой критики, чтобы лучше достичь своей цѣли, перевелъ ее ужаснымъ образомъ... Чтѣ обо всемъ этомъ сказать?

Теперь вы имѣете понятіе, какова критика «С. О.», т.-е. къ какому вѣку, къ какому времени она

относится, и до какой степени принадлежит она нашему времени?..

Важнейший отдел всякого журнала — критика и библиография; онъ, можно сказать, душа, жизнь его, потому что въ нихъ рѣче всего высказывается его направленье, сила и достоинство. Каковы эти отделы въ «С. О.», — вы видѣли. Къ довершенію нашего очерка, прибавляемъ еще двѣ-три черты. Редакторъ «С. О.» видитъ въ Менцелѣ великаго критика, и съ великимъ ликованіемъ объявляетъ, что Менцель разругалъ новый романъ Лажечникова и расхвалилъ Булгарина. Эка важность! Менцель ругалъ самого Гёте, и вообще онъ такой критикъ, ругательствомъ котораго можно гордиться. Потомъ, редакторъ «С. О.» откровенно признался, что онъ не понимаетъ «Каменнаго Гостя» Пушкина, но что восхищается гладкостью стиха... Удивителенъ ли послѣ этого приговоръ статьи Варнгагена?... Увы! *O bon vieux temps!*..

Желая быть безпристрастными не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ, мы не скрывали отъ нашихъ читателей, что въ «С. О.» есть много прекрасныхъ статей. Но что въ этомъ? — Журналъ, будучи сборникомъ хорошихъ статей, долженъ быть еще и журналомъ, т. е. имѣть свое направленье, свой характеръ, словомъ, — быть выразителемъ своей мысли. Въ этомъ отношеніи «Библиотека для Чтенія» — лучший примѣръ: всѣ ея статьи не только въ одномъ духѣ, но даже и пишутся однимъ языкомъ, однимъ слогомъ, потому что сглаживаются одной рукой. Это обстоятельство можетъ быть непрямо для тѣхъ писателей, которые принуждены были, силою обстоятельствъ, покориться такому усовершенствованію, но для журнала это большая выгода, давая единство его духа. Нельзя сказать, чтобы «С. О.» не стремился, съ своей стороны, къ этому единству; но, какъ бы сбившись съ пути, онъ безпрестанно противорѣчитъ самъ себѣ: начинаетъ статьи — и не оканчиваетъ; даетъ обѣщаніе поговорить о томъ и о семъ — и не выполняетъ; то хочетъ унижить Гоголя (по причинамъ очень важнымъ и очень извинительнымъ), то приторно его похваливаетъ; то какъ будто дѣлаетъ настоящую оцѣнку Марлинскому, то, вспомнивъ его обязательную статейку о «Клятвѣ при гробѣ Господнемъ», снова приходитъ отъ него въ обязательный восторгъ. Мы думаемъ, что драмы и водевили много мѣшаютъ самоцѣльности «С. О.», отнимая у него время заняться самимъ собой. Впрочемъ «С. О.» выражаетъ свою идею: онъ отстаиваетъ старое противъ новаго, начиная отъ гениальности Расина до русской орфографіи...

Остановимся на этомъ предметѣ, грустномъ и выѣстѣ поучительномъ.

Въ самомъ дѣлѣ, не странное ли зрѣлище представляетъ собою человекъ, который съ силой, энергіей, одушевленіемъ, вооруженный смѣлостью и дарованіемъ, явился на литературномъ поприщѣ рьянымъ поборникомъ новаго и могучимъ противникомъ стараго; а сходить съ поприща, на которомъ

подвизался съ такимъ блескомъ, съ такой славой и такимъ успѣхомъ, сходить съ него — противникомъ всего новаго и защитникомъ всего стараго?... Не Полевой ли первый убилъ на Руси авторитетъ Корнелей и Расиновъ, — и не онъ ли теперь благоговѣетъ предъ ихъ мишурнымъ величіемъ?... Чего добраго, можетъ быть мы еще дождемся умильтельныхъ статей, гдѣ будетъ доказываться величіе Тредьяковскаго, Сумарокова, Хераскова?... Не Полевой ли первый привѣтствовалъ Пушкина первымъ и великимъ русскимъ поэтомъ, — и не онъ ли теперь, одинъ изъ всѣхъ журналистовъ, не понимаетъ одного изъ самыхъ колоссальныхъ его произведеній — «Каменнаго Гостя»?... Не Полевой ли первый былъ у насъ гонителемъ литературнаго безвкусія, вычурности, наитупости, — и не онъ ли теперь въ восторгѣ не только отъ Марлинскаго, но даже и отъ Каменскаго?... Мы не ставимъ Полевому въ вину того, что онъ не понималъ Гоголя и восходъ новаго великаго свѣтила привѣтствовалъ неприличной бранью: Полевой и не могъ понять Гоголя, потому что, когда явился Гоголь, Полевой былъ уже въ своей апогеѣ, и у него на все были уже составлены свои опредѣленія...

Всякое явленіе имѣетъ свою причину, и все, что мы сказали о Полевомъ, совершилось очень естественно. Главнѣйшая его услуга, и услуга великая, состояла въ уничтоженіи ложныхъ авторитетовъ. Онъ явился на журнальное поприще еще въ то время, когда «мадригалъ Лилетъ» давалъ право на поэтическое бессмертіе; когда литературное чинопочитаніе было во всей своей силѣ; когда столько дикихъ предразсудковъ царствовало въ понятіяхъ о поэзіи. И вотъ онъ сталъ дѣйствовать съ энергіей, пыломъ и смѣлостью, открыто пошелъ противъ всего, что казалось ему устарѣвшимъ, отсталымъ, и уничтожалъ его во имя новаго. Что такое это новое, онъ не сказалъ этого публикѣ, потому что и для самого него оно осталось навсегда тайной... Между тѣмъ гоненіе на старое часто доходило до ослѣпленія; не хорошо не потому, что не хорошо, а потому, что старое... Но все это было нужно, и все принесло великую пользу. Уничтоживши совершенно достоинство и заслуги Карамзина, мы — молодое поколѣніе — снова признали ихъ, но уже признали свободно, а не по преданію, не съ чужого голоса или не по привычкѣ съ дѣтства думать одно и то же. Успѣхъ Полевого былъ неимоверный, потому что его усилія требовались духомъ времени. Этому успѣху всего болѣе былъ обязанъ онъ смѣлости. «Revue Encyclopédique» служила для него и сокровищницей новыхъ идей, и нерѣдко снабжала его статьями, которыя ему стоило только передѣлывать и придѣлывать — къ чему было ему нужно. Не прильпившись ни къ какой сферѣ знанія или дѣятельности, онъ брался за все и во всемъ хотѣлъ быть нововводителемъ. Познакомившись съ нѣмцами чрезъ французъ, онъ невѣрно понималъ ихъ. Познакомившись съ Шеллингомъ черезъ французскія статьи, онъ говорилъ о тождествѣ и о томъ, что $a = a$... Все это нужно было для того времени, и всего этого теперь уже не нужно...

Мы извиняемъ теперешнюю ревность Полевого къ прошедшему. У всякаго съ своимъ прошедшимъ связано такъ много прекрасныхъ воспоминаній, и потому каждому кажется великимъ и истиннымъ только то, что явилось въ его время, когда въ немъ интересы были живы, когда онъ исполненъ былъ надежды и силы. Напротивъ того, настоящее для пожилыхъ людей часто бываетъ такъ грустно: дико смотрять они на все новое, которое чуждо имъ, уже застывшихъ въ извѣстныхъ формахъ, и которому чужды они, уже неспособные ни къ какому движению. Когда вышелъ Полевой на поприще, тогда гремѣли и сіяли имена Гюго, Ламартина, де-Виньи, Бальзака — удивительно ли, что и теперь онъ почитаетъ ихъ великими гениями?—Читая и перечитывая французскіе журналы, онъ безпрестанно встрѣчалъ въ нихъ имя Шеллинга, какъ величайшаго философа современнаго человѣчества, — удивительно ли, что Шеллингъ и теперь остается для него первымъ философомъ, а его философія — геркулесовскими столпами абсолютнаго мышленія? Эта исторія всегда повторялась: кантисты не хотѣли видѣть ничего великаго въ Фихте, фихтенсты съ иронической улыбкой смотрѣли на Шеллинга, а шеллингисты въ Гегеля видѣли пустой призракъ. Вотъ отчего въ глазахъ Полевого Лессингъ и Шлегель мѣшаютъ Варнгагену быть глубокимъ критикомъ, а Шеллингъ Гегелю — великимъ и первымъ философомъ современнаго человѣчества. Вотъ почему современная нѣмецкая литература, столько богатая и великая, такъ роскошно оплодотворенная духомъ великаго Гегеля, — кажется ему пустоцвѣтной и ничтожной. Это кругъ, начавшійся нападками на «Вѣстникъ Европы» и кончившійся редакторствомъ «Сына Отечества».

Теперь, что вы хотите отъ «С. О.»? Всѣ недостатки его происходятъ отъ глубокой причины: онъ не понимаетъ современности и потому не можетъ угождать и нравиться ей. А такъ какъ сверхъ того онъ развлеченъ составленіемъ драмъ, оперъ, комедій и водевилей, то и не имѣетъ достаточнаго времени для улучшенія самого себя...

Отъ «С. О.» обратимся къ предмету болѣе интересному и пріятному — къ «Отечественнымъ Запискамъ».

Говоря о критикѣ «О. З.», должно упомянуть съ уваженіемъ о разборѣ «Фауста», переведеннаго Губеромъ. Въ этой статьѣ высказано много интересныхъ подробностей объ историческомъ народномъ Фаустѣ, преданіе о которомъ послужило формой столькимъ произведеніямъ и, наконецъ, самому «Фаусту» Гёте. Въ сужденіи объ этомъ великомъ произведеніи также высказано много дѣльнаго. Но намъ не нравится пристрастный отзывъ критика о переводѣ, — отзывъ, столь несообразный съ уваженіемъ критика къ гениальному произведенію Гёте, потому мы не согласны въ нѣкоторыхъ мысляхъ. Критикъ говоритъ, что Гретхенъ Гёте выше Джюльетты Шекспира: странная и произвольная мысль! До сихъ поръ еще не придумано инструмента для измѣренія относительнаго достоинства созданій вели-

кихъ поэтовъ, и потому условились почитать ихъ совершенно равными одно другому, какъ формы, совершенно равныя своимъ содержаніемъ. Впрочемъ изъ этого слѣдуетъ, что содержаніе, поскольку обнимаетъ оно сферу бытія, можетъ служить этой мѣркой. Но измѣрилъ ли критикъ содержаніе Джюльетты? Не есть ли она полная женщина, выраженіе женственной природы и женственного духа по преимуществу? Что же касается до воплощенія этой идеи въ живую роскошную, въ высшей степени художественную форму, — объ этомъ страшно и говорить, когда дѣло идетъ о такомъ художникѣ, какъ Шекспиръ... Потомъ критикъ говоритъ, что сумасшедшая Маргарита несравненно естественнѣе сумасшедшей Офеліи. По нашему мнѣнію, думать такъ — значитъ не понимать ни Маргариты, ни Офеліи. Сумасшествіе есть отвлеченная идея, которая конкретируется только въ явленіи. Сумасшедшимъ можетъ быть всякій человѣкъ: вотъ отвлеченное понятіе; но каждый можетъ быть сумасшедшимъ только по своему, и ни одинъ сумасшедшій на другого походить не можетъ: вотъ понятіе конкретное. Не говоря о разницѣ характеровъ, одна разниа обстоятельствъ, бывшихъ причиною сумасшествія, дѣлаетъ изъ Маргариты и Офеліи два совершенно различныя лица, которыя не могутъ ни повѣряться, ни мѣяться одно другимъ. Точно такъ же, какъ всякій человѣкъ представляетъ собой отдѣльный и особый міръ, на всѣ другіе не похожій, никакимъ другимъ не замѣнимый, — такъ и всякое художественное лицо. Въ этомъ-то и состоитъ конкретность явленій дѣйствительности и искусства. Если бы не Гамлетъ, а другое лицо было причиною сумасшествія Офеліи, то и сумасшествіе ея необходимо носило бы на себѣ другой характеръ: точно такъ же, какъ если бы Гамлетъ обставленъ былъ другими лицами, то его и болѣзненная нерѣшительность, колебанія его воли, жалобы на самого себя — все это, будучи тѣмъ же самымъ, было бы въ то же время и совершенно другимъ. Конкретность даетъ себя видѣть не въ идеѣ, а въ формѣ, и въ этой же формѣ даетъ себя видѣть и индивидуальность, и личность субъекта, которая уже по одному тому, что она личность, не можетъ ни быть замѣнена никакой другой личностью, ни быть мѣркой другой личности. Какъ въ природѣ нѣтъ двухъ лицъ, совершенно сходныхъ другъ съ другомъ, такъ и въ сферѣ искусства не можетъ быть двухъ лицъ, изъ которыхъ одно дѣлало бы ненужнымъ другое тѣмъ, что было бы лучше этого другого. Впрочемъ можетъ быть критикъ подъ словомъ «несравненно естественнѣе» разумѣлъ художественное выполненіе — въ такомъ случаѣ мы, по обинуясь, скажемъ ему, что съ этой стороны ему не доступны ни Офелія, ни Маргарита...

Не можемъ мы также согласиться и въ мысли о самомъ Фаустѣ, какъ о человѣкѣ «съ душой сильной, съ дерзновенными замыслами и необузданными порывами, но съ уничтоженной вѣрой во все прекрасное». Такъ — Фаустъ утратилъ вѣру, но не въ прекрасное (это выраженіе становится уже притор-

нымъ), а въ дѣйствительность бытія, какъ тождество истины съ явленіемъ; такъ—Фаусту все представлялось мечтой и призракомъ,—но отчего и почему—вотъ вопросъ и вотъ въ чемъ сущность дѣла. Сколько мы понимаемъ, это произошло съ нимъ оттого, что, какъ человѣкъ глубокой и всеобъемлющей, онъ необходимо долженъ былъ выйти изъ естественной гармоніи духа и посориться съ дѣйствительностью; но для того, чтобы, принявши въ себя всѣ элементы жизни, перейти чрезъ всѣ ея противорѣчія и отрицанія, черезъ долгое и кровавое испытаніе, путемъ разумнаго опыта и разумнаго знанія, примирить ихъ въ своемъ разумномъ созерцаніи и—черезъ то—снова приобрести утраченную гармонію души, но уже не естественную, а сознательную, и снова обрѣсти себя въ живомъ и конкретномъ единствѣ съ дѣйствительностью, хотя бы то было только для того, чтобы сказать: «въ предчувствіи такого блаженства я наслаждаюсь теперь прекрасной минутой!»—и умереть... Да не подумаютъ, что мы претендуемъ объяснить основную мысль такого великаго созданія, какъ «Фаустъ» Гёте: нѣтъ, мы только претендуемъ на то, что наше предположеніе (а не утвержденіе) ближе къ истинѣ, нежели мысль критика «О. З.»... Какъ много есть людей, которые лишены вѣры въ истину, по своей ничтожности и пустотѣ, а между тѣмъ кто почтетъ такого человѣка достойнымъ героемъ подобной поэмы? Распаденіе Фауста должно имѣть глубокой смыслъ какъ необходимость, а не какъ случайность...

Въ статьѣ объ «Иліадѣ» разсуждается больше о томъ—Гомеръ или народъ создалъ это вѣковое произведеніе искусства. Вопросъ этотъ начинается становиться смѣшнымъ, а между тѣмъ ему придаютъ такую важность. Народъ можетъ создать преогромную книгу пѣсенъ, представляющихъ собою цѣлое и единое по духу и характеру; но никогда народъ ни создастъ изъ доскутковъ и отрывковъ поэмы, представляющей собою цѣлое и стройное по содержанию и формѣ. Это просто на просто—нелѣпость нелѣпостей. Нѣкоторые искусники поговаривали о возможности изъ народныхъ малороссійскихъ думъ о «Богданѣ Хмельницкомъ» составить поэму, столько же цѣлую и стройную, какъ и «Иліада»: попробуйте, господа, а пока не подтвердите на дѣлѣ вашей мысли, мы вамъ не повѣримъ. Народъ живетъ въ своихъ представителяхъ, которые относятся къ нему, какъ голова къ туловищу. Такую-то голову имѣли аллины въ Гомерѣ. Говорятъ, что трудно повѣрить, чтобы одинъ человѣкъ могъ сдѣлать такое великое дѣло. Напротивъ, трудно повѣрить, чтобы много людей могли сдѣлать одно такое великое дѣло. Всякая разумная сила является отнюдь не въ субстанціи, а въ личномъ, индивидуальномъ, субъективномъ опредѣленіи. И потому слово «народъ» часто бываетъ самымъ бессмысленнымъ словомъ, какъ безличная отвлеченность. Развѣ не великое дѣло—преобразовать Россію?—А что жъ, развѣ самъ народъ это сдѣлалъ, а не одинъ человѣкъ, олицетворившій въ себѣ всѣ силы, все субстанціальное мо-

гущество этого народа?—Въ дѣлѣ творчества единичность творящей силы еще необходимѣе.

Не можемъ мы также согласиться и въ томъ, чтобы гекзаметры Жуковского, въ переводѣ имъ отрывковъ «Иліады» съ латинскаго, были лучше переводовъ Гнѣдича. Даже приведенные въ статьѣ «О. З.» примѣры рѣшительно увѣряютъ совершенно въ противномъ. И почему бы этому и не быть такъ! Жуковский имѣетъ слишкомъ много другихъ правъ на превосходство передъ тѣмъ и другими; но постигнуть духъ, божественную простоту и пластическую красоту древнихъ грековъ было суждено на Руси пока только одному Гнѣдичу.

Теперь обращаемся къ самому лучшему, богатѣйшему и блистательнѣйшему отдѣлу «О. З.»—къ отдѣлу «словесности», въ которомъ, по словамъ «О. З.» и по отношенію ихъ къ нашимъ литературнымъ знаменитостямъ, съ ними ни одинъ изъ русскихъ журналовъ не можетъ соперничать. Пробѣжимъ сперва по блистательному списку оригинальныхъ повѣстей въ 5 № «О. З.».

«Княжна Зина» кн. Одоевскаго читается съ наслажденіемъ, хотя и не принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ его пера.—Отрывокъ изъ романа «Вадимовъ» Марлинскаго—фразы, надутыя до безсмыслицы. «Исторія двухъ калошъ», повѣсть графа Салогуба,—лучшая повѣсть въ «О. З.» и рѣдкое явленіе въ современной русской литературѣ. Прекрасная мысль свѣтится въ одушевленномъ и мастерскомъ разсказѣ, котораго душа заключается въ глубокомъ чувствѣ человѣчности. Мы не говоримъ о простотѣ, безыскусственности, отсутствіи всякихъ претензій: все это необходимое условіе всякаго прекраснаго произведенія, а повѣсть гр. Салогуба—прекрасный, благоухающій ароматомъ мысли и чувства, литературный цвѣтокъ. Во 2 № помѣщенъ «Павильонъ» Дуровой, о которомъ мы уже высказали наше мнѣніе. Въ 3 № помѣщена «Бѣла», разсказъ Лермонтова, молодого поэта съ необыкновеннымъ талантомъ. Здѣсь въ первый еще разъ является Лермонтовъ съ прозаическимъ опытомъ—и этотъ опытъ достоинъ его высокаго поэтическаго дарованія. Простота и безыскусственность этого разсказа невыразимы, и каждое слово въ немъ такъ на своемъ мѣстѣ, такъ богато значеніемъ. Вотъ такіе разсказы о Кавказѣ, о дикихъ горахъ и отношеніяхъ къ нимъ нашихъ войскъ мы готовы читать, потому что такіе разсказы знакомятъ съ предметомъ, а не клеветаютъ на него. Чтеніе прекрасной повѣсти Лермонтова многимъ можетъ быть полезно еще и какъ противоядіе повѣстей Марлинскаго.

Въ 4 № «Дочь чиновнаго человѣка», повѣсть Панаева (И. И.). Это одна изъ русскихъ повѣстей нашего талантливаго повѣствователя. Какъ и всѣ его повѣсти, она согрѣта живымъ, пламеннымъ чувствомъ и сверхъ того представляетъ собой мастерскую картину петербургскаго чиновничества, не только съ его внѣшней, но и внутренней, домашней стороны. Содержаніе повѣсти просто, и тѣмъ

пріятнѣе, что при этомъ оно богато потрясающими драматическими положеніями. Однимъ словомъ, повѣсть Панаева принадлежитъ къ самымъ примѣчательнымъ явленіямъ литературы нынѣшняго года. Не чужда она и недостатковъ, но они не важны, хотя повѣсть и много бы выиграла, если бы авторъ далъ себѣ трудъ изгладить ихъ. Но главный недостатокъ состоитъ въ отдѣлкѣ характера героя повѣсти: авторъ какъ будто хотѣлъ представить идеалъ великаго художника въ молодомъ человѣкѣ, который вѣчно вздыхаетъ по какимъ-то недостижимымъ для него идеаламъ творчества, и ничего не можетъ создать, — что и составляетъ мученіе и отраву всей его жизни. Это идеалъ художника Полевого, который не разъ пытался его изобразить въ своихъ повѣстяхъ. Но это уже устарѣлый взглядъ на искусство: нынче думаютъ, что художникъ потому и художникъ, что безъ мученій и натуры свободно можетъ воплощать въ живые образцы порожденія своей творческой фантазіи; но что томящіеся по недосыгаемымъ для нихъ идеаламъ художники — или просто пустые люди съ претензіями, или обыкновенные талантики, претендующіе на гениальность. Гениальность не есть проклятіе жизни художника, но сила познавать ея блаженство и осуществлять въ живыхъ образахъ это познаніе. Впрочемъ изъ нѣкоторыхъ мѣстъ повѣсти кажется, что авторъ и хотѣлъ изобразить въ своемъ героѣ такого жалкаго недоноска; это тѣмъ яснѣе, что онъ подавляется простымъ и возвышеннымъ въ своей простотѣ характеромъ героини; но въ такомъ случаѣ автору надлежало бы быть яснѣе и опредѣленнѣе.

Въ 5 № — «Бѣдовикъ», повѣсть Дала. Это, по нашему мнѣнію, лучшее произведеніе талантливаго казака Луганскаго. Въ немъ такъ много человѣчности, доброты, юмора, знанія человѣческаго и преимущественно русскаго сердца, такая самобытность, оригинальность, игривость, увлекательность, такой сильный интересъ, что мы не читали, а пожирали эту чудесную повѣсть. Характеръ героя ея — чудо, но не вездѣ, какъ кажется намъ, выдержанъ; но солдатъ Власовъ и его отношенія къ герою — повѣсти это просто роскошь.

Такъ-то дебатировали на сценѣ журналистики возобновленные «Отечественныя Записки». Если — чего и должно ожидать — продолженіе будетъ еще лучше начала, то, при своихъ матеріальныхъ средствахъ, при своихъ выгодныхъ отношеніяхъ почти ко всѣмъ пишущимъ знаменитостямъ, «О. З.», безъ всякаго сомнѣнія, не замедлятъ занять первое мѣсто въ современной русской журналистикѣ.

Новѣйшій дѣтскій Робинзонъ, или любопытнѣйшія приключенія Робинзона Крузо. Разсказъ отца своимъ дѣтямъ. Съ восемью картинками литографированными. Москва. 1839.

Подъ этимъ рыночнымъ заглавіемъ площадная литературная промышленность издала коротенькую выборку, сдѣланную, разумѣется, очень аляповато, изъ известнаго дѣтскаго романа. Двѣ вещи особен-

но хороши въ этой выборкѣ: чистѣйшая нравственность и картинки съ подписями. Подъ чистѣйшей нравственностью авторъ выборки разумѣетъ наказаніе Робинзона за его величайшее преступленіе, состоявшее въ безпокойномъ духѣ, который стремилъ его за моря. Не странно ли такое обвиненіе? Не самъ ли Богъ одарилъ каждого человѣка особеннымъ стремленіемъ и на разности этихъ стремленій основалъ зданіе человѣческаго общества?.. Одинъ — воинъ, другой — судья, третій — ученый, художникъ, ремесленникъ и т. д. И слава Богу, если каждый дѣлается тѣмъ или другимъ не по случаю, а по внутреннему расположенію, влеченію. Нужно ли толковать, какую пользу принесли человечеству Куки, Лаперузы, Беринги и другіе, и именно потому, что родились со страстью къ мореплаванію? Что если бы вѣжные родители того или другого запретили путешествовать своему сыну? Чего бы тогда лишились наука и человечество!.. Любовь и уваженіе къ родителямъ, безъ всякаго сомнѣнія, есть чувство святое; но все должно быть въ своихъ границахъ и ничто ничему не должно мѣшать. Всякій человѣкъ обязанъ своимъ родителямъ; но въ то же время онъ есть и самъ себѣ цѣль, такъ что ограничить поприще его жизни только успокоеніемъ «нѣжныхъ родителей» значило бы уничтожить его значеніе, какъ существа разумнаго, самостоятельнаго и свободнаго, имѣющаго обязанности не только къ родителямъ, но и къ обществу, и къ самому себѣ, — обязанности, не менѣе первыхъ священныя. Изволите видѣть, Робинзонъ былъ наказанъ судьбой за то, что послѣдовалъ своему внутреннему влеченію, самой природой въ него вложенному!

Послѣ «чистѣйшей нравственности» особенно плѣнительны въ книжнѣ картинки, но еще восхитительнѣе подписи подъ картинками; вотъ одна изъ таковыхъ: «Робинзонъ ви Кинуть на островъ послѣ Корабле Крушенія».

Стихотворенія Владислава Горчанова. Москва. 1839.

Признакъ разумности всякаго явленія есть его необходимость, тогда какъ, наоборотъ, признакъ бессмысленности всякаго явленія есть его случайность. Законъ этотъ всего разительнѣе выказывается въ произведеніяхъ ума и творчества человѣческаго. Вы читаете романъ Вальтеръ Скотта, знаете, что это вымыселъ, что ничего этого не было; но между тѣмъ, принимаете въ разсказанномъ событіи такое живое участіе, какъ будто бы оно связано съ собственной вашей жизнью; вы любите его героевъ или ненавидите ихъ, какъ будто они вамъ знакомы, будто бы вы ихъ видѣли, знаете ихъ въ лицо; прочтя романъ, вы продолжаете его въ своей фантазіи, думая, что случилось съ тѣмъ и другимъ лицомъ, какъ начало послѣ того жить то и другое лицо. Отчего это? — оттого, что тутъ все необходимо, т. е. что всѣ событія вытекаютъ изъ индивидуальностей дѣйствующихъ лицъ, ихъ личностей и

характеровъ, всей ихъ непосредственности, и изъ взаимныхъ ихъ положеній и отношеній другъ къ другу; оттого, что авторъ не положилъ тутъ ни одной случайной черты, ни одного произвольнаго штриха, которые можно было бы выскоблить безъ ущерба и искаженія цѣлаго; но всѣ его черты до малѣйшаго штриха необходимы, слѣдовательно, разумны, а потому неизмѣнны и неизмѣнны. Но не таковы нѣкоторые петербургскіе и московскіе романы: и въ нихъ повидимому все естественно, все оправдывается извѣстными и достаточными причинами; но вы на зло собственному разсудку и самимъ себѣ какъ-то не призываете очевидности этихъ причинъ, во васъ оскорбляетъ самая простота и естественность этихъ событій, которыя по прочтеніи смутно, хаотически бродятъ въ вашей памяти, какъ несвязные отрывки какого-то тяжелаго и нескладнаго сна, котораго вы не можете себѣ ясно припомнить, какъ ни силитесь. Отчего это?—оттого, что всѣ эти событія произошли и явились сами по себѣ, безъ всякаго соотношенія къ дѣйствующимъ лицамъ, безъ всякой зависимости отъ нихъ, и это опять не случайно, а по причинѣ, потому что эти дѣйствующія лица не суть субъективные опредѣленія, возникшія изъ зерна самой въ себѣ замкнутой (чтобы не сказать нѣмецкимъ словомъ—конкретной) мысли, носящія въ самихъ себѣ, а не внѣ себя свою необходимость или разумность, но безличныя призраки, слѣпленные черезъ внѣшнее слѣпленіе отвлеченныхъ признаковъ, и потому чисто случайныя и произвольныя. Точно также, посмотрите: вотъ стихи; они просты, какъ обыкновенная разговорная рѣчь, чужды нестроты и яркости цвѣтовъ и красокъ; но вы невольно останавливаетесь надъ ними; но вы навсегда знаете ихъ, если разъ узнали, и иногда, прочтя нечаянно и безъ вниманія, вспоминаете и помните ихъ уже послѣ прочтенія, къ собственному своему удивленію: значитъ, что въ нихъ все необходимо, что въ нихъ одинъ стихъ ведетъ за собой другой, и что не рима, а внутренняя, невидимая связь съ первыми стихами условливаетъ послѣдніе; не зная второй строфы, вы узнаете ее, когда прочтете, какъ будто бы прежде знали ее, и вы безошибочно сами угадываете, что вотъ этимъ стихомъ оканчивается вся пѣса. Напротивъ, у иного поэта стихъ и глаголъ, и звученъ, и громокъ, образы поразительны своей новостью и смѣлостью, мысль основная ярка и цвѣтиста, а между тѣмъ вамъ не хочется прочесть этихъ стиховъ, которыми вы при первомъ чтеніи можете быть восхищались; даже и не переставая удивляться имъ, вы никакъ не можете удержать ихъ въ памяти, а если и достигаете этого, то усиленъ, и притомъ такъ, что безпрестанно забываете: вамъ все кажется, что чего-то недостаетъ въ нихъ; несмотря на ихъ высокое, по вашему мнѣнію, достоинство, въ нихъ есть что-то странное: это что-то есть произвольность, случайность; не сами собой сошлись эти стихи, вызванные волшебнымъ скипетромъ чародѣя-поэта, нѣтъ, ихъ свелъ насильно, заворотъ или напряженный, неестественный вос-

торгъ, какъ бы отъ приѣма опиума или дурмана, или конечная воля и самолюбіе при усиленномъ трудѣ; они могутъ быть исправлены, переправлены, измѣнены, перемѣнены, потому что не динамической самодѣтельной силой изъ ничего являющегося духа созданы они, но сдѣланы механическимъ расчеомъ, обдуманнмъ соображеніемъ. Истинный поэтъ, когда пишетъ, видитъ передъ собой все свое стихотвореніе въ его цѣлости; ложный, написавши два первые стиха съ раза и не думая, обыкновенно задумывается надъ двумя послѣдними, и эти два послѣдніе бывають обязаны своимъ явленіемъ не самимъ себѣ, а римомъ. Что же въ этомъ случаѣ значить рима?—Чистѣйшую случайность, сестру произвольности, плодородную мать призраковъ... Какъ явленіе, эта случайность имѣетъ свой интересъ для наблюдающаго духа, точно такъ же, какъ имѣють для него свой интересъ уродливыя болѣзни, уродливыя младенцы о двухъ головахъ, съ однимъ глазомъ... Особенно интересна эта призрачность, когда принимаетъ на себя призракъ дѣйствительности такъ, что только опытный глазъ и сильное, острое внутреннее зрѣніе могутъ разсмотрѣть ее. Это зависитъ отъ большей или меньшей образованности, силы разсудка и воображенія (а не разума и фантазій), опытности, смѣливости, ловкости и смѣлости того, чье самолюбіе или заблужденіе порождаетъ ее. И такую случайность беспощадно должно преслѣдовать, какъ врага сильнаго и опаснаго, который не лучше лукаваго задернуть отъ неопытнаго взора дѣйствительность и замѣнить ее обманчивыми призраками. Но когда она является въ лохмотьяхъ, во всей отвратительности своего нищенства—всякое ожесточеніе противъ нея будетъ донкихотствомъ.

Стихотворенія Горчакова занимають мѣсто въ золотой серединѣ между двумя этими странностями: ихъ стихъ довольно гладокъ и вообще благопристойнъ, такъ что ихъ нельзя причислить къ числу явленій рыночной литературы; но въ то же время ихъ стихъ и далеко не такъ звонокъ, блестящъ, гладокъ, мысль ярка и затѣлива, чтобы ихъ можно причислить къ той случайности, которую не всякій можетъ отличить отъ дѣйствительности.

Такъ ты, моя арфа,
Огонь своихъ звуковъ
Надъ сердцемъ разсыпъ
И радугой небо
Души моей сврой
Утѣшь хоть на мигъ!

Поэтъ проситъ свою арфу, чтобы она «разсыпала надъ сердцемъ его огонь своихъ звуковъ, и небо сврой души его утѣшила хоть на мигъ радугой»—и не грамматически, и не складно! Словомъ, это больше, чѣмъ соединеніе нѣсколькихъ случайностей: это просто—соединеніе нѣсколькихъ неглупостей... Но, скажутъ, это только шесть стиховъ изъ цѣлой пѣсы, а въ одной пѣсѣ могутъ найтись шесть дурныхъ стиховъ. Чтобы не подозрѣвали насъ въ пристрастіи, укажемъ, пожалуй, на цѣлое стихотвореніе «Цвѣтокъ».

Скажите, Бога ради, понялъ ли хоть что-нибудь въ этомъ стихотвореніи вашъ разсудокъ—я уже не говорю ваше чувство? «Подъ зеленой сосной цвѣтеть душистый цвѣтокъ, не роза, не ландышъ и не темная фіалка, а краса полей — незабудка; цвѣтокъ этотъ посаженъ и взлелѣянъ красавицей-дѣвицей, онъ увянетъ, а сосна все зеленая (для стиха тутъ пропущенъ глаголѣ, безъ котораго въ періодѣ не достаеъ смысла); на будущую весну опять взойдетъ, а сосну ужъ сломалъ вѣтеръ, и солнечный жаръ спалитъ цвѣтокъ во «цвѣтѣ дней»; увяла ты, моя любовь, дѣвица въ могилѣ, какъ незабудочку ее сгубилъ венастный рокъ». Что это такое? Повторяемъ: даже и не случайность, а просто — безтолочь...

Рѣчи, произнесенныя въ торжественномъ собраніи императорскаго Московскаго университета 10-го юня 1839. Москва.

Въ брошюрѣ, заглавіе которой здѣсь выписано, кромѣ рѣчей Морошкина и Сокольскаго, есть еще и «Краткій отчетъ о состояніи Императорскаго Университета за 1838—1839 академическій годъ».

Вотъ уже третій годъ, какъ мы читаемъ въ московскихъ университетскихъ «актахъ» превосходныя рѣчи. Въ 1836 году мы прочли прекрасную рѣчь Щуровскаго; въ 1838 году мы прочли прекрасную рѣчь Крылова о римскомъ правѣ; въ нынѣшнемъ году мы прочли превосходную рѣчь Морошкина «объ Уложеніи и послѣдующемъ его развитіи»...

Если бы мы хотѣли шагъ за шагомъ слѣдить за развитіемъ этой рѣчи, то наша рецензія превратилась бы въ огромную критику; а если бы мы хотѣли выписать всѣ мѣста, отличающіяся могучимъ и увлекательнымъ краснорѣчіемъ, то намъ пришлось бы перепечатать почти всю рѣчь, отъ слова до слова. Предоставляемъ самимъ читателямъ прочесть ее всю, а сами слегка коснемся кое-какихъ мѣстъ.

На 22 страницъ мы встрѣтили мысль, поражающую читателя своей странностью. Ораторъ находитъ въ русскомъ народѣ «творческій, безконечно изобразительный смыслъ, который непрерывно выступаетъ изъ круга положительности, непрерывно стремится впередъ, совершая новые обороты, проявляя новыя стороны человѣческаго духа». Мы совершенно согласны съ этой фразой, особенно если въ ней слово «смыслъ» замѣнить словомъ «разумъ», но мы никакъ не можемъ согласиться, чтобы эта, какъ называетъ ее ораторъ, «непостижимая тонкость смысла» была и добродѣтелью, и недостаткомъ народа, какъ и умственная добродѣтель, почти всегда отличающая недостатокъ развитія высшихъ душевныхъ силъ—ума, воображенія и эстетическаго чувства. Что въ русскомъ народѣ есть огромный элементъ разумности,—это несомнѣнно; и эта многосторонность духа, о которой говоритъ самъ ораторъ, что же она, какъ не проявленіе разума? Что у нашего народа есть не только обыкновенная способность—воображеніе, эта память чувственныхъ предметовъ и образовъ, но и высшая, творческая спо-

собность — фантазія и глубокое эстетическое чувство—это доказываютъ русскія народныя пѣсни, то заунывныя и тоскливыя, то трогательныя и нѣжныя, то разгульныя и буйныя, но всегда безконечно могучія, всегда выражающія широкій размахъ богатырской души... Что разумъ и эстетическое чувство суть по преимуществу достояніе и принадлежность великаго народа русскаго, его характеристическія примѣты,—это доказываютъ и наши гигантскіе успѣхи въ цивилизаціи въ столь короткое время, и наше молодое просвѣщеніе, и наша молодая литература. Сто лѣтъ назадъ мы имѣли только сатиры Кантемира, а теперь уже гордимся именами Ломоносова, Фонвизина, Державина, Карамзина, Крылова, Батюшкова, Жуковскаго, Грибоѣдова... А такія гигантскія проявленія русскаго духа, такіе могучіе проблески его, какъ Пушкинъ и Гоголь?.. Неужели русскій народъ богатъ только разсудкомъ и бѣденъ разумомъ и эстетическимъ чувствомъ? «Тонкость разсудка можетъ развиваться и въ дрихлѣющемъ, и въ младенческомъ обществѣ отъ умственного и нравственнаго застою»—говоритъ ораторъ. Дѣйствительно такъ, т.-е. отъ такихъ причинъ развилась тонкость разсудка у персіянъ и китайцевъ; неужели подъ эту же категорію подходитъ и молодая Россія, молодая, несмотря на то, что имѣетъ уже девятилѣтнюю исторію и совершила нѣсколько цикловъ своего развитія?... Нѣтъ, послѣ указанныхъ нами фактовъ, такая мысль—парадоксъ, не имѣющій даже и достоинства странности. «Напротивъ того, продолжаетъ ораторъ,—глухота разсудка, при остротѣ ума и воображенія, бываетъ иногда плодомъ высокой цивилизаціи, добродѣтелью свободно рожденнаго народа». Еще парадоксъ!... Мы желали бы, чтобы ораторъ указалъ намъ на народъ, отличающійся или отличающійся умомъ, эстетическимъ чувствомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и глухотой разсудка, какъ результатомъ высокой цивилизаціи. Мы думаемъ, что необыкновенная сила разсудка какъ въ человѣкѣ, такъ и въ народѣ, отнюдь не условливаетъ силы разума и обладаніе эстетическимъ чувствомъ; но что разумъ и эстетическое чувство необходимо условливаютъ и необыкновенную силу разсудка. Въ отношеніи къ разсудку и практическому уму ни одинъ народъ въ мірѣ не можетъ равняться съ французами,—но зато какой же народъ въ Европѣ бѣднѣе ихъ разумностью, фантазіей и эстетическимъ чувствомъ? Напротивъ, англичане, гордящіеся Шекспиромъ, Байрономъ и Вальтеръ Скоттомъ, суть въ то же время и народъ, отличающійся силой разсудка, способностью анализа и практическимъ умомъ. Если въ ихъ искусствѣ и ихъ исторіи видно преобладаніе разума и фантазій, то въ ихъ мышленіи видно явное преобладаніе разсудка. Голландцы, соотечественники Рубенса, гордые двумя школами живописи — нидерландской и фламандской,—въ то же время суть и народъ разсудка, и практическаго ума. Какаѣ чудовищно-огромная сила разсудка видна въ нѣмцахъ Кантъ и Гегель, которые, особливо послѣдній, въ то же время отличаются и чудовищно-огромной силой разума и эстетическаго

чувства, не говоря уже о томъ, что вообще умозрительные, трансцендентальные и фантастическіе вѣмпы въ дѣйствительной и практически-положительной жизни аккуратны и разсудительны какъ нельзя болѣе. Такъ точно и русскій народъ, богатый элементами разума и эстетическаго чувства, въ то же время отличался и необыкновенной смѣтливостью, смысленностью, практической дѣятельностью ума, остроуміемъ, аналитической силой разсудка. «Но если природа и исторія создали насъ юристами, а не философами и не поэтами, и мы привычѣе къ землѣ, чѣмъ къ облакамъ, то будемъ же довольны нашей судьбой, будемъ юристами въ совершенствѣ, будемъ римлянами въ юриспруденціи». Прекрасно, но мы никакъ не можемъ удовлетвориться такой бѣдной участію. Нѣтъ, мы думаемъ или, лучше сказать, мы вѣримъ и знаемъ, что міродержавныя судьбы вѣчнаго Промысла, природа и исторія, не осудили Россію на такое одностороннее и узкое существованіе, въ тѣснотѣ котораго неестественно сложились бы огромные члены ея богатырскаго тѣла, прервалось бы дыханіе ея широкой груди и сжался бы глубокой и могучій духъ. Нѣтъ, мы вѣримъ и знаемъ, что назначеніе Россіи есть всесторонность и универсальность: она должна принять въ себя всѣ элементы жизни духовной, внутренней, гражданской, политической, общественной, и, принявши, должна самобытно развить ихъ изъ себя... Мы еще не философы—это правда, но мы уже обнаруживаемъ живое стремленіе къ разумному знанію, и если не въ философіи, то въ частныхъ знаніяхъ даже оказали уже нѣкоторые успѣхи, и русское просвѣщеніе гордится уже именами нѣсколькихъ знаменитыхъ математиковъ, астрономовъ, мореплавателей. Сколько знаній было соединено въ лицѣ одного отца русской науки и русской литературы—Ломоносова! Что касается до поэзіи—мы уже давно поэты: вѣдь Пушкинъ не могъ же быть явленіемъ случайнымъ, а Пушкина мы, даже по сознанію самихъ иностранцевъ, смѣло можемъ противопоставить любому поэту всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ. Такъ зачѣмъ же намъ быть только юристами, новыми римлянами въ юриспруденціи?—Мы будемъ и юристами, и римлянами въ юриспруденціи, но мы будемъ и поэтами, и философами, народомъ артистическимъ, народомъ ученымъ и народомъ воинственнымъ, народомъ промышленнымъ, торговымъ, общественнымъ. Въ Россіи видно начало всѣхъ этихъ элементовъ, и если эти элементы все еще остаются элементами, а не дѣйствительными явленіями, это значитъ, что всѣ извѣстныя опредѣленія не въ пору ему, что гнило для него всякое человѣческое оружіе, ненадежны никакіе человѣческіе доспѣхи, и потому-то онъ, какъ божественный Ахиллъ, безоружный, бездѣйственный, но могучій и страшный, ждетъ отъ небожителя Гефеста неземнаго вооруженія; а для враговъ и недруговъ ему достаточно выйти на валъ и трижды крикнуть... Не можемъ довольно надивиться, какъ такая странная мысль попала въ такую прекрасную рѣчь... но это единственное пятно ея.

Чрезвычайно любопытно въ «рѣчи» изложеніе или, лучше сказать, разложеніе юридическихъ началъ «Уложенія»,—разложеніе, въ которомъ разсматриваетъ ораторъ основные законы «Уложенія», государственныя учрежденія, областныя учрежденія, просвѣщеніе, государственную службу, гражданскіе законы. Превосходенъ взглядъ оратора при рѣшеніи заданнаго имъ себѣ вопроса: «На какихъ началахъ основана гражданская часть «Уложенія»? Начала эти семейственныя, патріархальныя, по его рѣшенію, которое кажется намъ глубоко-вѣрнымъ и истиннымъ.

Если бы такимъ образомъ юристы наши обрабатывали исторію права на Руси и разоблачили его внутреннее значеніе и сокровенную, таинственную сущность—мысль,—какъ далеко подвинулась бы русская исторія! Право есть краеугольный камень общественнаго зданія, цементъ, связывающій его части, и потому пока темна эта сторона исторіи какаго-либо народа, то и сама исторія его, по необходимости, есть темный, непроходимый лѣсъ. Монета, подати, источники промысловъ, основанія военной службы, права сословій, ихъ взаимныя отношенія, судъ и расправа, ихъ формы—безъ знанія всего этого нѣтъ знанія исторіи. Исторія войнъ и договоровъ есть только одна сторона исторіи народа, есть исторія частная. Итакъ, пусть сперва обработаютъ эти частныя исторіи; пусть занимающійся дипломатіей разработаетъ исторію договоровъ; войнъ—изобразить намъ характеръ и развитіе военнаго искусства въ Россіи; литераторъ, лингвистъ—исторію и развитіе литературы и языка; другой—исторію іерархій, монастырей и такъ далѣе. Это поважнее вопроса, важности котораго никто не взялъ на себя труда истолковать,—вопроса, безплоднаго рѣшенія котораго успѣли уже сдѣлать сухимъ и педантскимъ занятіе русской исторіей. Вотъ когда обработаются всѣ эти частныя исторіи, или эти отдѣльныя стороны исторіи русской—тогда только возможна будетъ истинная русская исторія, безъ «высшихъ взглядовъ» и построенная не на пескѣ, а на твердомъ основаніи. Судя по рѣчи Морощкина, мы можемъ смѣло надѣяться отъ него великихъ услугъ русской исторіи со стороны идеи и развитія русскаго права, русскаго законодательства и русскаго судопроизводства. Морощкинъ принадлежитъ къ новому поколѣнію ученыхъ,—не къ тому, которое краснорѣчіе отличаетъ отъ поэзіи характеромъ живописи, а поэзію отъ краснорѣчія—характеромъ музыки, которое дѣленіе поэзіи на эпическую, лирическую и драматическую основываетъ на прошедшемъ, будущемъ и настоящемъ времени, которое, наконецъ, громкими фразами силится прикрыть ничету своихъ знаній; нѣтъ, Морощкинъ не имѣетъ ничего общаго съ этими учеными: всѣмъ извѣстна его пламенная любовь къ наукѣ, его огромная начитанность, добросовѣстная ученость, а рѣчь его показываетъ еще, что Богъ далъ ему душу живую, открылъ его разумѣнію таинственную глубину мысли и одарилъ его огненнымъ словомъ. Вся рѣчь Морощкина есть образецъ глубокомыслія, учености,

живого пламеннаго краснорѣчія, мѣстами возвышающагося до поэзіи. Мы не можемъ удержаться, чтобы не выписать изъ его рѣчи хотя два мѣста, особенно подтверждающія наше мнѣніе о цѣлой рѣчи Морешкина.

«Чего жъ не доставало русскому народу? Преобразования! Его не доставало для семнадцатаго вѣка! Явился царь съ горящей мыслью въ очахъ, съ отважной душой на челѣ и съ громоноснымъ словомъ власти! Онъ страшный кинулъ взоръ на царствующій градъ, сурово посмотрѣлъ на даль прошедшаго и двинулъ царство на него. Что жъ не понравилось ему въ наслѣдіи предковъ? Что возмутило Петра въ твореніи его отцовъ? Но это—тайна души великой, глубокая тайна гения! Мы видѣли только внѣшнее этого духа, который, какъ грозное облако, прошелъ надъ русской землей. Мы видѣли, какъ онъ сочувствовалъ Іоанну Грозному, какъ благоговѣлъ передъ кардиналомъ Ришелье, и какъ не терпѣлъ византийскаго двора, его роскошества и лѣни, его ханжей и лицемеровъ. Какое грозное соединеніе стихій въ душѣ смертнаго, рожденнаго повелѣвать и царствовать! И жъ этому огненному началу нравственной его жизни присоединилось глубочайшее сознание собственныхъ силъ. Посланныкъ неба, самодержавный смертный, рѣшительно рожденный для преобразованій! Въ какомъ бы онъ вѣкѣ ни родился, въ какомъ бы народѣ ни воспитался, онъ всегда и вездѣ былъ бы преобразователемъ. Это его природа! Если бы онъ былъ современнымъ древнему Язону, его постигла бы участь божественнаго Иракла. Онъ былъ бы слишкомъ тяжелъ для легкой греческой армады. Но Провидѣніе знало, гдѣ произвести на свѣтъ необычайнаго смертнаго. Только русскій корабль могъ сдерживать такого страшнаго пассажира! Только русское море могло носить на хребтѣ своемъ столь отважнаго мореходца! Только Россія могла не треснуть отъ этого духа, который напрягалъ ее, чтобы урвать ея силы съ своей исполненной мощью!..»

Какъ жаль, что этотъ пламенный дионисіада, достойный истиннаго поэта, а ужъ не оратора, какъ чернильнымъ пятномъ бѣлая бумага, подпорченъ одной риторической фразой! Ораторъ спрашиваетъ себя: «Что жъ не нравилось ему въ наслѣдіи предковъ?—Что возмутило духъ Петра въ твореніи его отцовъ?» и отвѣчаетъ: «но это—тайна души великой, глубокая тайна гения». Риторическая фраза! Гдѣ тутъ тайна?—Дѣло ясно! Петра возмутила отжившая идея, мертвая форма, невѣжество, предразсудки, лѣнь, азіатизмъ и китаизмъ народа, котораго силы онъ зналъ и назначеніе пророчески предугадывалъ. Но къ чему наши слова, когда самъ ораторъ, чрезъ нѣсколько строкъ, обнаруживаетъ пустоту этой фразы слѣдующими чудными строками:

«Преобразователь въ теченіе всей своей жизни хранилъ въ себѣ тайное сознание, что не одно рожденіе возвелъ его на престолъ, но сила высшая призвала его царствовать надъ народами! Онъ чувствовалъ, что не кровь, а духъ его долженъ предсуществовать. Онъ отвергъ сына и возжелалъ оставить по себѣ достойнѣйшаго. Но великій человекъ не приобщился нашимъ слабостямъ! онъ не зналъ, что мы—и плоть, и кровь! Онъ былъ великъ и силенъ, а мы родились и малы, и худы, намъ нужны были общіе уставы человечества! Петру Великому не нравилось наше древнее государственное устройство. Государева боярская дума должна была уступить мѣсто сенату; областные приказы—ландратамъ и ландрихтерамъ. Ему не понравились наши цѣловальники, наши дяки и подьячіе. Онъ желалъ бы по-

сидить на ихъ мѣсто пѣлиныхъ шведовъ, секретарей и шрейберовъ цесарской службы. Ему не нравилось прошедшее Россіи. Но всѣ эти перемены ничто въ сравненіи съ преобразованиемъ государственной службы. Самъ начать съ солдата гвардіи, онъ прошелъ медленно по лѣстницѣ подчиненія и завѣдалъ ее своимъ подданнымъ. А что кормленіе прежде, что царскій хлѣбъ-соль? Въ потѣ лица ѣли ихъ слуги Петра Великаго. Нигдѣ онъ не былъ такъ грозенъ своимъ правосудіемъ, какъ противъ дармоедовъ, мірскихъ ѣдухъ и казнокрадовъ. Не уважая частной собственности, когда думалъ объ отечествѣ, за каждую копѣйку, излишне взятую сборщикомъ податей или переданную комиссіонеромъ торгашу, онъ былъ неумолимъ для виновнаго».

Каждый годовою отчетъ о дѣйствіяхъ и состояніи Московскаго университета долженъ возбуждать живѣйшее участіе. Московскій университетъ—единственное высшее учебное заведеніе въ Россіи; онъ не знаетъ себѣ соперниковъ; у него есть исторія, потому что для него всегда существовало органическое развитіе. Въ Московскомъ университетѣ есть духъ жизни, а его движеніе, его ходъ къ усовершенствованію такъ быстръ, что каждый годъ онъ уходитъ впередъ на видимое разстояніе.

Повѣсть о приключеніи англійскаго милорда Георга, о Бранденбургской маркиграфинѣ Фридерикѣ-Луизѣ, съ присовокупленіемъ къ оной (къ бранденбургской маркиграфинѣ Фридерикѣ-Луизѣ?) исторіи бывшаго визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезіи. Съ гравированными картинками и портретомъ. Изданіе десятое. Москва, 1839 г. Три тома.

«О, милордъ англійскій, о великій Георгъ! опущаешь ли ты, съ какимъ грустнымъ, тоскливымъ и вмѣстѣ отраднымъ чувствомъ беру я въ руки тебя, книга почтенная, хотя и безсмысленная! Въ то время, когда я уже бойко читалъ по толкамъ, хотя еще и не умѣлъ писать, въ то время, когда еще только начиналось мое литературное образованіе, когда я прочелъ и «Бову», и «Еруслава» гражданской печатью, и «Повѣсти и романы господина Вольтера», и «Зеркало добродѣтели» съ раскрашенными картинками,—скажи, не тебя ли жадно искалъ я, не къ тебѣ ли тоскливо порывалась душа моя, пламенная ко всему благому и прекрасному?.. Помню тотъ день незабвенный, когда, доставъ тебя, уединился я далеко, кажется, въ отгородъ между грядами бобовъ и гороха, подъ открытымъ небомъ, въ лѣсу пышныхъ подсолнечниковъ—этого роскошнаго украшенія огородной природы, и тамъ, въ этомъ невозмущаемомъ уединеніи, быстро преворачивалъ твои толстыя и жесткія страницы, всей душой удивляясь дивнымъ приключеніямъ, такой широкой кистью, такъ могуче и красно наложеннымъ... Задумался я, погружившись сердцемъ въ какое-то сладостное мечтаніе... Передо мной носился образъ твоей прекрасной, о Георгъ, маркиграфини, которая наполнила меня такимъ вѣрнымъ трепетнымъ чувствомъ удивленія къ своей дивной красотѣ и женственному достоинству, что, мнѣ кажется, не посмѣлъ бы дотронуться и до рукава ея богатаго платья!.. А ты, неистовый Георгъ, ты не только рѣшилъ

ся остаться ночевать съ ней въ одной комнатѣ, но даже и напечатлѣлъ на ея устахъ преступный поцѣлуй, за что она, пришедъ въ великую свирѣпость, не то надавала тебѣ пощечинъ, не то велѣла отодрать тебя плетью на конюшнѣ—не помню, право, а справляться некогда. И какъ любили тебя женщины, какъ навязывались онѣ сами на тебя, о, стократно-счастливый милордъ англійскій! И Елизавета, твоя обрученная, и маркиграфиня, твоя возлюбленная, и королева арабская, и королева гишпанская—сколько ихъ, и все королевны!.. А ты, несчастный визирь турецкій, злополучный Марцимирь, помнишь ли ты, какъ сострадалъ я тебѣ, когда лукавый чортъ отбивалъ у тебя твою прекрасную жену, королеву сардинскую, Терезю? О, если бы попался тогда мнѣ въ руки этотъ дьяволенокъ, я бы показалъ ему, что адъ-то не въ аду, а у меня въ рукахъ!.. О, какъ я радъ былъ, когда, наконецъ, наградилась ваша примѣрная вѣрность, образцовые любовники, какихъ нѣтъ болѣе въ нашъ вѣтранный и, какъ увѣряетъ какой-то журналистъ, въ нашъ положительный, индустриальный, анти-поэтический вѣкъ, въ который поэтому уже невозможно ни «Милорды англійскіе», ни «Аббадонны»... О, милордъ! что ты со мной сдѣлалъ? Ты такъ живо напомнилъ мнѣ золотые годы моего дѣтства, что я вижу ихъ передъ собой; желѣзная современность исчезаетъ изъ моего сознанія; я снова становлюсь ребенкомъ, и вотъ уже съ бьющимся сердцемъ бѣгу по пыльнымъ улицамъ моего родного городка, вотъ вхожу на дворъ родимаго дома съ тесовой кровлей, окруженный бревенчатымъ заборомъ... Вотъ отъ воротъ до крыльца трехугольный палисадникъ съ акаціями, черемуховымъ деревомъ и купою розановъ... Вотъ и огородъ, которому со двора служить оградой погребъ и другія службы, съ небольшими промежутками частокола, а съ остальныхъ трехъ сторонъ—плетень... Вотъ и маленькая баня при входѣ въ огородъ, даже и среди бѣлаго дня пугавшая мое дѣтское воображеніе своей таинственной пустотой... а вотъ возлѣ нея и стогъ сѣна, на которомъ я часто воображалъ себя то Александромъ Македонскимъ, то Ерусланомъ Лазаревичемъ... вотъ онъ и весь огородъ съ своими грядами, своими подсолнечниками, которые черезъ его плетень дружелюбно наклонили свои густыя вѣтви... А въ домѣ—тамъ нѣтъ ни комнаты, ни мѣста на чердакѣ, гдѣ бы я не читалъ или не мечталъ или, позднѣе, не сочинялъ... Постойте, я поведу васъ... Но, милордъ, что ты со мной сдѣлалъ?.. Какая кому нужда до моего дѣтства?.. Я мечтаю, а надо мной смѣются—и всему этому виновать ты...» и пр., и пр.

Вотъ и извольте всегда быть безпристрастнымъ! Нѣтъ, нельзя быть безпристрастнымъ: безпристрастіе—добродѣтель сухая, мертвая, чиновническая! Вамъ смѣшонъ, нелѣпы, грубы «Милордъ Англійскій», а нашему доброму пріятелю, изъ записокъ или рукописныхъ «мемуаровъ» котораго мы выписали вышеприведенное мѣсто (и рѣшились на выписку потому, что эти мемуары вѣроятно никогда не будутъ изданы), этому пріятелю нашему онъ

милъ, любезенъ, дорогъ—онъ напоминаетъ ему такое время, о которомъ этотъ не можетъ вспомнить безъ слезъ умиленія и сердечной тоски... Да и сколько наслажденія доставлялъ милордъ вѣроятно многимъ и многимъ во время оно! И одно ли наслажденіе?—Нѣтъ, и пользу: черезъ него многіе впервые узнали, какая прежде была вѣра у англійскихъ милордовъ... Мы не скроемъ отъ васъ этого и охотно подѣлимся съ вами знаніями, которыя мы приобрѣли изъ этой книжцы: у англійскихъ милордовъ вѣра была сперва языческая или баснословная, что можно узнать, во-первыхъ, по слѣдующему вступленію въ повѣсть: «Въ прошедшія времена, когда еще европейскіе народы не всѣ приняли христіанскій законъ, но нѣкоторые находились въ баснословномъ языческомъ идолослуженіи, случилось въ Англіи съ однимъ милордомъ слѣдующее странное приключеніе». Потомъ это видно изъ приложеннаго при концѣ повѣсти реестра древнихъ языческихъ боговъ и богинь, изъ которыхъ, напримѣръ, Сатурнъ описывается такъ: «Старшій изъ всѣхъ боговъ у язычниковъ почитался Время, названное Сатурномъ, котораго изображаютъ съ крыльями на плечахъ, держащаго въ рукѣ косу, на головѣ песочные часы, и будто онъ поѣдалъ всѣхъ своихъ дѣтей, кромѣ оставшихся Юпитера, Нептуна и Плутона». Реестръ боговъ и богинь заключенъ слѣдующимъ глубоко премудрымъ замѣчаніемъ: «Вотъ какими нелѣпостями наполнена была древность, и всего еще удивительнѣе, что въ тогдашнія времена, какъ у грековъ, такъ у римлянъ, были великіе разумники, но всему оному суевѣрію слѣпо и безразсудно вѣрили».

На страницѣ второй послѣ заглавнаго листка красуется такой эпиграфъ:

Счастіе подобно какъ прекрасный цвѣтъ,
Который между терніями растетъ;
Если станешь срывать неосторожно,
То скоро онымъ уколется можно.

Знаешь ли, кто авторъ этихъ неподобныхъ стиховъ?—Все онъ же, все «Матвѣй же Комаровъ, житель города Москвы». А кто таковъ этотъ Матвѣй Комаровъ?—спрашиваете вы. Лицо столь же великое и столь же таинственное въ нашей литературѣ, какъ и Гомеръ въ греческой: имя его и мѣсто жительства извѣстны, но гдѣ онъ родился и обстоятельства его жизни совсѣмъ неизвѣстны. Знаютъ нѣкоторые по именамъ и его сочиненія, но никто не знаетъ цѣны его сочиненіямъ, и немногіе читали ихъ, а между тѣмъ они разошлись едва ли не въ числѣ десятковъ тысячъ экземпляровъ и нашли для себя публику многочисленную, нежели «Выжигины» Булгарина и Орлова. Сочиненія эти слѣдующія: «Повѣсть о приключеніяхъ англійскаго милорда Георга», «Исторія французскаго мошенника Картуша» и «Обстоятельное и вѣрное описаніе жизни славнаго російскаго мошенника «Ваньки-Каина». Когда жилъ Матвѣй Комаровъ, житель города Москвы?—Вотъ интересный вопросъ, котораго къ сожалѣнію не рѣшаетъ собственноручное къ «Англійскому Милорду» предувѣдомленіе са-

мого автора, обращенное къ «благоразумнымъ читателямъ и любезнымъ согражданамъ», потому что подъ этимъ предисловіемъ не выставлено года и мѣсяца. Когда-нибудь мы, позапасшись фактами, познакомимъ публику съ Матвѣемъ Комаровымъ и его сочиненіями поподробнѣе, а теперь о немъ самомъ скажемъ только, что это предостолобезнѣйшій въ мірѣ человѣкъ. Не угодно ли вамъ узнать, для чего сочинилъ онъ «Англинскаго Милорда»? Онъ вотъ что говоритъ объ этомъ въ своемъ предисловіи:

«Я труды моего пера не съ тѣмъ выпускаю въ публику, чтобъ черезъ то заслужить себѣ авторское имя; ибо я не хочу уподобиться безразсудному афинскому Геростату, который для того только сжегъ славный въ числѣ семи древнихъ чудесъ почитающійся Діаннинъ храмъ (въ самую ту ночь, какъ родился Александръ Великій), чтобъ тѣмъ сдѣлать имени своему безсмертную память; но мое намѣреніе единственно состоитъ въ томъ, чтобы показать обществу хотя малѣйшую какую ни есть услугу, и не проводить бы время моей жизни въ праздности, послѣдуя въ томъ словамъ одного знатнаго нашего стихотворца, который говоритъ:

«Безъ пользы въ свѣтѣ жить,
Напрасно землю лишь тягчить».

А вотъ вамъ доказательство примѣрной скромности почтеннаго «жителя города Москвы».

«Что же принадлежитъ до критики, то хотя я и знаю, что иногда и самые искусные писатели не рѣдко оной подвержены бывають (,) а мнѣ уже, какъ человѣку ничему не ученому, избѣжать отъ того очень будетъ трудно; и потому воображается мнѣ, что можетъ быть нѣкоторые скажутъ: «не за свое де онъ принялся дѣло!» Однакожъ я все сіе предаю на разсужденіе благоразумныхъ читателей, потому что всякую вещь кто какъ понимаетъ, тотъ такъ объ оной и заключеніе дѣлаетъ, а многіе иногда и для того чужія дѣла критикуютъ, что авторы мысли имъ непонятны. Но я какъ къ тѣмъ, такъ и къ другимъ пребуду навсегда съ должнѣйшимъ, да и ко всякому читателю, съ моимъ почтеніемъ, всепокорнѣйшимъ слугою,

Матвѣй Комаровъ,
житель города Москвы».

Судьба книгъ такъ же странна и таинственна, какъ судьба людей. Не только много было умнѣе «Англинскаго Милорда», но были на Руси еще и глупѣе его книги: за что же онѣ забыты, а онъ до сихъ поръ печатается и читается? Кто рѣшитъ этотъ вопросъ? Вѣдь есть же люди, которымъ везетъ Богъ знать за что: потому что ни очень умны, ни очень глупы. Счастье слѣпо! Сколько поколѣній въ Россіи начало свое чтеніе, свое занятіе литературой съ «Англинскаго Милорда». Одни изъ этихъ людей пошли дальше и —неблагодарные—смѣются надъ нимъ, а другіе и теперь еще читаютъ его себѣ, да почитываютъ! Вотъ уже, кажется, это третье изданіе, третье съ 1837 года, на которомъ, на оборотѣ заглавнаго листка, подъ цензурнымъ одобреніемъ стоитъ увѣдомленіе: «печатано съ изданія 1834 года безъ исправленія». И изданіе 1839 года—«девятое»! Когда же было первое изданіе?—Въ каталогѣ Логина «Исторія Картуша» означена 1794 годомъ, слѣдовательно, сорокъ четыре года назадъ; къ тому же времени долженъ отно-

ситься и «Англинскій Милордъ». Живъ ли его авторъ? онъ ли безпрестанно издаетъ вновь свое великое твореніе, или имъ пользуются книжные промышленники? Все это вопросы важные, сказать бы человѣкъ съ «высшими взглядами».

Книжица украшена портретомъ англійскаго милорда Георга: какая-то рожа въ парикъ и костюмъ времени Петра Великаго. Сверхъ того къ ней приложены четыре картинки: это ужъ даже и не рожи, а Богъ знаетъ что такое. Вотъ, напримѣръ, на первой изображенъ подъ тѣмъ-то похожимъ на дерево какой-то болванъ съ поднятыми вверхъ руками и растопыренными пальцами; подлѣ него нарисована деревянная лошадка, а у ногъ двѣ фигуры, столько же похожія на собакъ, сколько и на лягушекъ, а подъ картиной надписано: «Милордъ отъ страшной грозы кроется подъ дерево и простеръ руки, проситъ о утоленіи бурн». Сличите эти картинки всѣхъ изданій—вы ни въ одной черточкѣ не увидите разницы: онѣ оттискиваются на тѣхъ же доскахъ, которыя были вырѣзаны еще для перваго изданія. Вотъ что называется безсмертіемъ!..

Гадательная книжна. Москва. 1839.

Чудесный гадатель узнаетъ задуманныя помысленія. Изданіе четвертое (!!!). Москва. 1839.

Всякое убѣжденіе, всякая настроенность души, какъ бы ни были они повидимому нелѣпы, имѣютъ корень въ ея существѣ и могутъ быть объяснены изъ развитія ея жизни. Случайность можетъ быть въ частныхъ, отдѣльныхъ проявленіяхъ, но случайности нѣтъ въ общемъ, въ родѣ, въ существѣ. Итакъ, для того, чтобы понять какое-либо дѣйствіе, какое-либо явленіе въ нравственномъ мірѣ, должно найти его источникъ и понять тотъ фазисъ въ развитіи внутренняго міра, который обнаруживается въ этомъ дѣйствіи или въ этомъ явленіи. Тогда отдѣльное явленіе получить общее значеніе: оно будетъ понятно; и если оно въ свою бытность было нелѣпно или пошло, или даже отвратительно и гнусно, то, будучи понятно, оно уже и не нелѣпно, и не пошло, и не отвратительно: оно облагораживается, оно становится явленіемъ необходимаго состоянія души или духа вообще. Но съ другой стороны страшно было бы думать, что все, имѣющее внутреннюю и необходимую причину, истинно и нормально. Несмотря на такую причину, иное явленіе потому ложно и ненормально, что самый источникъ его не есть нормальное состояніе духа и принадлежитъ къ той отрасли его развитія, на которой онъ еще скованъ и потемненъ для того, чтобы послѣ чрезъ посредство развитія стать свободнымъ и свѣтлымъ. То состояніе духа ложно и ненормально, въ которомъ онъ подчиняется какому-нибудь отдѣльному моменту своего существа и, весь отдавшись одностороннему направленію, доходитъ наконецъ до крайности, до искаженія своего существа. Для человѣка, кромѣ его индивидуальности, существуетъ еще міръ внѣшній, міръ объектов.

Въ развитіи индивидуальнаго я есть такой моментъ, въ которомъ оно отрицаетъ отъ себя всякую истину и полагаетъ ее всю въ объектѣ. Продолжая развиваться далѣе этотъ моментъ, онъ доходитъ, наконецъ, до рѣшительной крайности, принимая за истину все, что только противорѣчитъ его опредѣленіямъ. Эта моментная крайность называется суетвѣріемъ. Сущность суетвѣрія именно заключается въ томъ, что оно видитъ всю истину во внѣшнемъ, положительномъ, и не потому, чтобы оно было убѣждено въ разумности внѣшняго и положительнаго, а потому, что оно, напротивъ, темно и недоступно для я (что бы ни было это я—чувство ли, предчувствіе ли, мысль ли) и діаметрально противорѣчитъ ему. Чѣмъ страннѣе, чѣмъ нелѣпѣе, чѣмъ бессмысленнѣе явленіе, тѣмъ больше уваженія оказываетъ ему суетвѣріе; и для того, чтобы придать важность простому и обыкновенному случаю, для того, чтобы вывести его изъ ряда прочихъ случаевъ, суетвѣріе старается только затемнить его, какъ можно больше запутать, какъ можно нелѣпѣе представить. Суетвѣріе видитъ во всемъ присутствіе чего-то таинственнаго, но не той родственной съ нашимъ духомъ, сладостной, благоуханной тайны, не души всего живого, перестающей быть тайной, когда духъ выйдетъ изъ сумрака чувства на ясный свѣтъ разумной мысли,—не того, что составляетъ существо благороднѣйшаго фазиса въ духовномъ развитіи, мистики,—нѣтъ, таинственное, въ которомъ живетъ суетвѣріе, холодно и мертво: оно подавляетъ и душитъ, потому что въ немъ отрицается всякая разумность, всякій смыслъ; здѣсь духъ падаетъ въ уничтоженіи, трепещущій и безсильный, заключенный рабствомъ въ оковы, и лежитъ у ногъ мрачнаго деспотическаго, непроницаемаго произвола. Суетвѣріе относится къ мистикѣ, какъ слѣпота къ магнетическому ясновидѣнію, которое хотя не есть здоровое состояніе, однако знаменуетъ наступленіе здоровья. Суетвѣріе не выходитъ изъ тѣсныхъ границъ ежедневнаго міра; оно только старается сгустить въ немъ непроницаемый мракъ; мистика сквозь сумракъ дальняго міра видитъ далекое мерцаніе духовнаго свѣта... Суетвѣріе сближаетъ насильственно самые разнообразные предметы, уничтожаетъ всѣ законы, придаетъ всему сверхъестественную силу; всѣ дѣйствія и явленія, выходящія изъ него, сухи, мертвы, лишены всякой духовности. Вотъ источникъ всѣхъ нелѣпыхъ предразсудковъ, гаданій, примѣтъ. Человѣкъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, связываетъ свою жизнь, свое предпріятіе съ обстоятельствами, неимѣющими никакой съ ними связи, и связываетъ именно потому, что нѣтъ никакой связи: онъ не выѣзжаетъ никуда въ понедельникъ; онъ опасается, выходя изъ дома, ступить первый шагъ лѣвой ногой; онъ задрожитъ, если печально просыплетъ соль за столомъ; онъ въ ужасѣ вскопичитъ изъ-за стола, если увидитъ, что за нимъ сидятъ тринадцать человѣкъ, и т. д.; онъ же ищетъ, напримѣръ, изъ случайнаго смѣшенія картъ предугадывать свою будущую судьбу, или предугадывать судьбу какого-нибудь предпріятія изъ

того, что случайно откроется и прочтется въ нелѣпой гадательной книжкѣ...

Записавшись, мы чуть было не забыли, о чемъ должна теперь идти у насъ рѣчь; но слово «гадательная книжка» заставило насъ невольно взглянуть на книжицы, лежащія передъ нами, а эти книжицы заставили насъ также невольно отвести въ другую сторону наши оскорбленные взоры. И кто бы не оскорбился, кто бы не отвернулся, взглянувъ хоть на начальные листы этихъ приторныхъ въ своей пошлости тетрадей? Намъ стало стыдно, что мы разговаривали по случаю ихъ такъ серьезно... Все, даже и гадательныя книжки, несмотря на уродливость своего назначенія, допускаетъ нѣкоторую степень изящества: гадательная книжка могла бы быть занимательнымъ сборникомъ острыхъ словъ, мѣткихъ изреченій, забавныхъ каламбуровъ; въ ней могло бы быть обширное поприще для веселой болтовни, для способности острить, которую, замѣтитъ мимоходомъ, у насъ очень неловко смѣшиваются съ остроуміемъ, другой, гораздо высшей способностью... А эти книжонки... Но замолчимъ лучше о нихъ...

Бородинская годовщина. В. Жуковскаго. Москва. 1839.

Письмо изъ Бородина отъ безрукаго нъ безногую инвалиду. Москва. 1839.

Ничто такъ не расширяетъ духа человѣческаго, ничто не окрыляетъ его такимъ могучимъ орлинымъ полетомъ въ безбрежныя равнины царства безконечнаго, какъ созерцаніе міровыхъ явленій жизни. Поэтому исторія человѣчества, какъ объективное изображеніе, какъ картина и зеркало общихъ, міровыхъ явленій жизни, доставляетъ человѣку наслажденіе безграничное, полное роскошнаго, трепетно-сладкаго восторга созерцанія эти движущіяся, олицетворившіяся судьбы человѣчества, въ лицѣ народовъ и ихъ благородныхъ представителей; ставъ лицомъ къ лицу съ этими полными трагическаго величія событиями, духъ человѣка то падаетъ предъ ними во прахъ, проникнутый матежнымъ и непокорнымъ его самообладанію чувствомъ ихъ царственной грандіозности и подавленный обременительной полнотой собственнаго упоенія,—то, покоряя свой восторгъ разумнымъ проникновеніемъ въ ихъ сокровенную сущность, самъ возстаетъ въ мощномъ величіи, гордо сознавая свое родство съ ними. Вотъ гдѣ скрывается абсолютное значеніе исторіи, и вотъ почему занятіе ею есть такое блаженство, какого не можетъ замѣнить человѣку ни одна изъ абсолютныхъ сферъ, въ которыхъ открывается его духу сущность сущаго и родственно сливается съ нимъ до блаженнаго уничтоженія его индивидуальной единичности. Да, кто способенъ выходить изъ внутренняго міра своихъ задушевныхъ, субъективныхъ интересовъ, чей духъ столько могучъ, что въ силахъ переступить за черту заколдованнаго круга прекрасныхъ, обаятельныхъ радостей и страданій своей человѣческой личности, вырваться изъ ихъ

милыхъ, лелѣющихъ объятій, чтобы созерцать великія явленія объективнаго міра и ихъ объективную особенность усвоить въ субъективную собственность чрезъ сознаніе своей съ ними родственности,—того ожидаетъ высокая награда, безконечное блаженство: засверкаютъ слезами восторга очи его, и весь онъ будетъ — настроенная арфа, бряцающая торжественную пѣснь своего освобожденія отъ оковъ конечности, своего сознанія духомъ въ духъ. Но когда міровое историческое событіе есть въ то же время и фактъ отечественной исторіи, и его субстанціальная родственность съ духомъ созерцающаго просвѣтитъ до прозрачности его таинственную сущность,—о, тогда его блаженство будетъ еще шире, безконечнѣе, потому что на родной призывъ отзовутся новыя струны, сокрытыя въ самыхъ недоступныхъ глубинахъ его сердца!.. Къ такимъ-то великимъ міровымъ явленіямъ принадлежитъ битва бородинская—истинная битва гигантовъ, гдѣ съ одной стороны исполнитель міровыхъ судебъ, влекомый безсознательнымъ стремленіемъ наполнить страшную, бездонную пропасть своего необъятнаго духа, мнилъ послѣднимъ подвигомъ остановить свою блуждающую звѣзду и стать у темной цѣли своего таинственного пути, а съ другой—великій народъ, подъ знаменемъ креста и державной власти, сталъ за свое существованіе и за честь своихъ царей,—

И равенъ былъ неравный споръ...

Дивное зрѣлище! Умъ изнемогаетъ, силъся объять его во всей безконечности его значенія!.. И тому прошло уже двадцать семь лѣтъ, и новыя поколѣнія смѣнили старыя, и уже многихъ нѣтъ изъ знаменитыхъ сподвижниковъ, и лавроубранныя главы оставшихся покрыты священною сѣдиной, и уже давно исцѣлились раны молодого царства, и уже давно цвѣтетъ оно и новой жизнью, и новыми силами, и новой славой,—а между тѣмъ все это какъ будто вчера было... Да оно и въ самомъ дѣлѣ было не двадцать семь лѣтъ назадъ, а недавно, очень недавно, если не вчера, потому что только теперь, только ставши прошедшимъ, явилось оно намъ во всемъ своемъ свѣтѣ, уже не ослѣпляя своимъ блескомъ нашихъ бранныхъ очей, но радуя ихъ отдаленнымъ сіяніемъ своего безсмертнаго величія, какъ радуется очи торжественная, объявшая полнеба, но тихо мерцающая заря вечера или утра...

Великое прошедшее родило великое настоящее... Царственно-высокій духъ русскаго Царя, созерцающій минувшія судьбы вѣреннаго ему Богомъ народа, остановился на полѣ славы своего державнаго брата, на полѣ славы своего народа, и его монаршей волѣ было достойно воздать дань благодарности и славы великому подвигу сподвижниковъ Благословеннаго... И вотъ частное владѣніе становится даромъ Царя своему будущему преемнику, и въ Бородинѣ, «отъ храма Господня до хижины земледѣльца, все преобразовано, перелажено и представляетъ собой обширную дачу съ устроенными для сообщенія мостами, дорогами и улицами, и въ верстѣ отъ Бородина, на

бывшей батарее Раевского, величественно и гордо возвышается безсмертный памятникъ, заключающій въ себѣ восьмиугольную пирамиду». И вотъ по творческому, властительному слову, на священныхъ поляхъ Бородина, прильнувшихъ въ нѣдра свои кости и кровь героевъ великой драмы, стало подъ ружьемъ сто сорокъ тысячъ новыхъ героевъ... И вотъ въ вѣчно-памятный день 26-го августа, съ разсвѣтомъ дня, въ рядахъ прочтенъ-былъ царскій приказъ:

«Ребята! Передъ вами памятникъ, свидѣтельствующій о славномъ подвигѣ нашихъ товарищей! Здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, за 27 лѣтъ передъ симъ, надменный врагъ возмечталъ побѣдить русское войско, стоявшее за вѣру, царя и отечество!—Богъ наказалъ безрасуднаго: отъ Москвы до Нѣмана разметаны кости дерзкихъ пришельцевъ—и мы вошли въ Парижъ. Теперь настало время воздать славу великому дѣлу. Итакъ, да будетъ память вѣчная безсмертному для насъ императору Александру I. Его твердою волею спасена Россія. Вѣчная слава падшимъ геройскою смертію товарищамъ нашимъ, и да послужитъ подвигъ ихъ примѣромъ намъ и позднѣйшему потомству!—Вы же всегда будете надеждою и оплотомъ вашему государю и общей матери нашей, Россіи!»

И ряды грянули русское «ура!», и оно не умолкало отъ пятаго до восьмого часа дня...

Извѣстно, что съ этого же самаго времени загремѣлъ военный кличъ въ началѣ смертоносной битвы: посему грозное утро въ памяти стариковъ воскресло, полуумершія сердца затрепетали и полустаившая кровь снова закипѣла. «Теперь хоть бы снова на басурмана», шепнули инвалиды. «Далеко кулику до Петрова дня», молвили другіе; «пройдутъ вѣка, высохнутъ моря и рѣки, а врагъ сюда и носа не покажетъ!»

Это слова безрукаго инвалида, который оставшемуся рукой перомъ владѣть какъ штыкомъ. Нужно ли его имя?.. Послушаемъ же далѣе этого краснорѣчиваго въ своей воинской простотѣ историка великаго событія:

«Войска вокругъ памятника составили огромное, величественное каре. Всѣ остальные генералы, штабъ и оберъ-офицеры, участвовавшіе въ бородинскомъ дѣлѣ, помѣщались у памятника за рѣшеткой. День былъ свѣтлый, солнце однакожъ не показывалось; но лишь святые хоругви, въ сопровожденіи московскаго митрополита, съ многочисленною духовною процессією, государемъ императоромъ встрѣченныя, приблизились къ памятнику, оно явилось и скрылось. По совершеніи панихиды, начался молебенъ; а когда царь и воины стали на колѣни, солнце снова появилось, общая радость заблестала, а между старыми героями провѣся говоръ: «Такъ надъ головою Кутузова неожиданно воспарилъ орелъ при осмотрѣ бородинскихъ укрѣпленій 25 августа 1812 года». — «Съ нами Богъ! разумѣйте языцы и покоряйтесь, яко съ нами Богъ!»—Вслѣдъ за сѣмъ огласилась пѣснь: «Тебѣ Бога хвалимъ!» Громъ пушекъ и «ура» все еще гремѣли, и роковой 1812 годъ откланялся!»

«Въ заключеніе этого знаменитаго, дивнаго и торжественнаго явленія, государь императоръ, провожая прежнимъ порядкомъ святые хоругви, повелѣлъ всѣмъ войскамъ мимо памятника проходить церемониальнымъ маршемъ, сомкнутыми полковыми колоннами; въ головѣ всѣхъ колоннъ ѣхали генералы, непринадлежащіе къ составу собравшихъ войскъ».

«Покойно и благоговѣнно отсалютовалъ русскій царь сооруженному имъ и освященному днесъ па-

мятнику; симъ рѣдкимъ примѣромъ, въ лицѣ всей Россіи, принеся должную дань величію Бога, онъ воздалъ честь заслугамъ человѣка. Высокій примѣръ!

Да, это было великое зрѣлище, достойное того, которое должно было собой напомнить! Это былъ отгулъ, звучно-отгрянувшій отъ умершаго великаго прошедшаго и воскресившій его, но отгулъ безъ крови, безъ страданій, а только со славой, блескомъ и величіемъ перваго гула... Этимъ торжественнымъ дѣйствіемъ прошедшее связано неразрывно съ настоящимъ и будущимъ, царскія дружины пріяли въ себя новый элементъ жизни, который будетъ передаваться изъ рода въ родъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію—да знаетъ благородное сословіе защитниковъ отечества свою славу черезъ славу своихъ предшественниковъ, и да не умираетъ въ немъ ихъ высокій духъ, но обновленный и вѣчно-юный да пребудетъ твердымъ оплотомъ и незыблемымъ основаниемъ народнаго могущества и славы!.. Подвигъ, достойный великой души нашего Царя, который въ славѣ народа своего полагаетъ свою собственную славу, и котораго неутомимый духъ находитъ только отдыхъ и наслажденіе въ подвигахъ, долженствующихъ имѣть великое вліяніе на грядущія времена... Истинно царственная драма, во всемъ величій и во всемъ очарованіи всемірно-историческаго зрѣлища, достойная услаждать духъ царей и народовъ!

Да, великое событіе совершилось передъ нами, событіе народное, но народное не въ томъ смыслѣ, какъ понимаютъ это слово непривычные опекуны человѣческаго рода, заграничныя крикуны. Для насъ, русскихъ, нѣтъ событій народныхъ, которые бы не выходили изъ живого источника высшей власти. Велико было событіе 1612 года, но предки наши имъ не гордились и не радовались, а скорбѣли и печалились, доколѣ домъ Романовыхъ не далъ имъ царя,—и только отъ этой великой минуты имъ возвращена была ихъ слава, потому что уже явилось царское имя, освятившее ее и безыменному подвигу давшее и имя, и цѣль, и значеніе... Пусть будетъ велико наше народное торжество, пусть, какъ волны океана, сольется въ него все народонаселеніе необъятной Россіи; но если бы эта неизсечетная громада народа не видала впереди себя своего царя, который въ спокойномъ, царственномъ величій привѣтствуетъ ея восторженные клики, и на лицѣ котораго она читаетъ и грозу, и милость, и царскую доблесть, и великій мощный духъ, на который спокойно и самоувѣренно опирается ея счастье въ настоящемъ и надежды въ будущемъ,—тогда для нея торжество было бы не торжествомъ, а бессмысленной сходящей празднаго народа, и въ священномъ не было бы священнаго!.. Оттого-то молодѣетъ нашъ старый, нашъ державный Кремль, и кипитъ народомъ, и оглашается своимъ вѣковымъ «ура», когда надъ дворцомъ гордо развѣвается широкій флагъ—залогъ присутствія того, кто есть и жизнь, и душа своего народа... Да, въ словѣ «царь» чудно слито сознание русскаго народа, и для него это слово полно поэзіи и таинственнаго значенія... И это не случайность, а самая строгая, самая разумная необходимость,

открывающая себя въ исторіи народа русскаго. Ходъ нашей исторіи обратный въ отношеніи къ европейской! Въ Европѣ точкой отправленія жизни всегда была борьба и побѣда низшихъ ступеней государственной жизни надъ высшими: феодализмъ боролся съ королевскою властью и, побѣжденный ею, ограничилъ ее, явившись аристократіей; среднее сословіе боролось и съ феодализмомъ, и съ аристократіей, демократія—съ среднимъ сословіемъ; у насъ совсѣмъ наоборотъ: у насъ правительство всегда шло впереди народа, всегда было звѣздой путеводной къ его высокому назначенію; царская власть всегда была живымъ источникомъ, въ которомъ не изсякали воды обновленія,—солнцемъ, лучи котораго, исходя отъ центра, разбѣгались по суставамъ исполнительной корпораціи государственнаго тѣла и проникли ихъ жизненной теплотой и свѣтомъ *). Въ царѣ наша свобода, потому что отъ него вся наша цивилизація, наше просвѣщеніе, такъ же, какъ отъ него наша жизнь. Одинъ великій царь освободилъ Россію отъ татаръ и соединилъ ея разединенныя члены; другой—еще болѣе—ввелъ ее въ сферу новой обширнѣйшей жизни; а наследники того и другого довершили дѣло своихъ предшественниковъ. И потому-то всякій шагъ впередъ русскаго народа, каждый моментъ развитія его жизни всегда былъ актомъ царской власти; но эта власть никогда не была абстрактной и произвольно-случайной, потому что всегда таинственно сливалась съ волей Провидѣнія—съ разумной дѣйствительностью, мудро угадывая потребности государства, сокрытыя въ немъ, безъ вѣдома его самого, и приводя ихъ въ сознаніе. Отсюда происходитъ эта дивная симпатія, сдѣлавшая единое и цѣлое изъ двухъ началъ, это всегдашнее и безусловное повиновеніе царской волѣ, какъ волѣ самого Провидѣнія. Итакъ, не будемъ толковать и разсуждать о необходимости безусловнаго повиновенія царской власти: это ясно и само по себѣ; нѣтъ, есть нѣчто важнѣе и ближе къ сущности дѣла: это—привести въ общее сознаніе, что безусловное повиновеніе царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшая поэзія нашей жизни, наша народность, если подъ словомъ «народность» должно разумѣть актъ слитія частныхъ индивидуальностей въ общемъ сознаніи своей государственной личности и самости. И наше русское народное сознаніе вполне выражается и вполне исчерпывается словомъ «царь», въ отношеніи къ которому «отечество» есть понятіе подчиненное, слѣдствіе причины. И такъ, пора уже привести въ ясное, гордое и свободное сознаніе то, что въ продолженіе многихъ вѣковъ было непосредственнымъ чувствомъ и непосредственнымъ историческимъ явленіемъ; пора сознать, что мы имѣемъ разумное право быть горды нашей любовью къ царю, нашей

*) Отношеніе же высшихъ сословій къ низшимъ прежде состояло въ патріархальной власти первыхъ и патріархальной подчиненности вторыхъ, а теперь—въ спокойномъ пребываніи каждаго въ своихъ законныхъ предѣлахъ, и еще въ томъ, что высшія сословія мирно передаютъ образованность низшимъ, а низшія мирно ее принимаютъ.

безграничной преданностью его священной волѣ, какъ горды англичане своими государственными постановленіями, своими гражданскими правами, какъ горды Сѣверо-Американскіе штаты своей свободой. Жизнь всякаго народа есть разумно необходимая форма обще-міровой идеи, и въ этой идеѣ заключается и значеніе, и сила, и мощь, и поэзія народной жизни; а живое, разумное сознаніе этой идеи есть и цѣль жизни народа, и вмѣстѣ ея внутренній двигатель. Петръ Великій, приобщивъ Россію европейской жизни, далъ черезъ это русской жизни новую, обширнѣйшую форму, но отнюдь не измѣнилъ ея субстанціального основанія, точно такъ же, какъ представители новаго европейскаго міра, усвоивъ себѣ роскошные плоды, завѣщанные ему древнимъ міромъ, отнюдь не сдѣлались ни греками, ни римлянами, но развились въ собственныхъ, самобытныхъ формахъ, развившихся изъ субстанціального зерна ихъ жизни. Вотъ взглядъ истинный и единый, который долженъ взять за основаніе историкъ русскаго народа, чтобы не заблудиться въ дремучемъ лѣсу абстрактныхъ умствованій ложно понятатаго «русскаго европеизма». И потому-то, отдавая должную справедливость и должную дань хвалы и удивленія всему истинному у нашихъ западныхъ сосѣдей, будемъ далеки отъ ослѣпленія—признавъ за предметъ подражанія то, что относится собственно къ формѣ ихъ народной, а не обще-человѣческой жизни, а еще тѣмъ болѣе будемъ далеки отъ ослѣпленія—признавать за великое дурныя стороны ихъ жизни, которыя, какъ случайности или какъ крайности, необходимо существуютъ въ жизни каждаго народа. Равнымъ образомъ и не будемъ забывать собственнаго достоинства, будемъ умѣть быть гордыми собственной національностью, основными стихіями своей народной индивидуальности; но будемъ умѣть быть гордыми безъ тщеславія, которое закрываетъ глаза на собственные недостатки и есть врагъ всякаго движенія впередъ, всякаго преемственія въ добрѣ и славѣ... Необъятно пространство Россіи, велики ея юныя силы, безпредѣльна ея мощь—и духъ замираетъ въ трепетномъ восторгѣ отъ предощущенія ея великаго назначенія, ея—законной наслѣдницы жизни трехъ періодовъ человѣчества! Есть чему радоваться, есть чѣмъ быть блаженными и гордыми въ нашемъ народномъ сознаніи; но не забудемъ же, что достиженіе цѣли возможно только черезъ разумное развитіе не какого-нибудь чуждаго и вѣшняго, а субстанціального, родного начала народной жизни, и что таинственное зерно, корень, сущность и жизненный пульсъ нашей народной жизни выражается словомъ «царь». Будемъ прислушиваться и къ порицанію недруговъ и завистниковъ, извлекая изъ нихъ полезныя уроки; а на кривые толки, безсмысленныя возгласы и громкія, но пустыя фразы безмозглыхъ преобразователей человѣческаго рода, непризванныхъ посредниковъ въ чужихъ семейныхъ дѣлахъ, будемъ отвѣчать презрительнымъ молчаніемъ, а если ужъ слишкомъ раскричатся, то отвѣтимъ имъ словами нашего великаго поэта—

Вы грозны на словахъ: попробуйте на дѣлѣ!..

Мы увѣрены, что эти строчки не почтутъ наши читатели отступленіемъ отъ предмета, подавшаго къ нимъ поводъ; бординское торжество невольно повело насъ на эти мысли: оно было мыслью царя, перешедшей въ торжество народа...

Брошюры, заглавіе которыхъ выписано въ началѣ нашей статьи, обязаны своимъ появленіемъ бординскому торжеству, которое нашло себѣ органы въ знаменитомъ поэтѣ, лавровѣнчанномъ ветеранѣ нашей поэзіи, и въ знаменитомъ воинѣ-инвалидѣ, къ военной славѣ своей присовокупившемъ славу безыскусственного, но сильнаго сердечнымъ краснорѣчіемъ литератора. О его брошюрѣ мы не будемъ говорить: выписанныя нами изъ нея мѣста достаточно свидѣтельствуютъ о ея достоинствѣ. — «Бординская Годовщина» есть новая пѣснь пѣвца русской славы, который въ годину великаго испытанія, родившаго настоящее торжество, былъ органомъ славы падшимъ и подвизавшимся героямъ великой драмы, и въ которомъ лѣта не охладили поэтическаго жара. Конечно, какъ стихотвореніе, обязанное своимъ появленіемъ не прихотливому порыву фантазіи, а навѣянное современнымъ событіемъ и ограниченное во времени своего появленія, оно не должно подвергаться въ цѣломъ строгой критикѣ, — но въ немъ много сильныхъ и прекрасныхъ строфъ и стиховъ, которые нельзя читать безъ умиленія, а недостаточность другихъ вознаграждается поэзіей содержанія. Не говоря уже о талантѣ поэта, само торжество, сама мѣстность, вся дышащая воспоминаніемъ, — не могли не родить поэзіи однимъ простымъ своимъ представленіемъ.

Читателямъ нашего журнала уже извѣстно новое произведеніе Жуковскаго: заключаемъ нашу статью послѣдними словами поэта, сливая съ ними и свою собственную мысль:

Память вѣчна вамъ, братья!
Рать младая къ вамъ объята
Простираетъ въ глубь земли:
Нашу Русь вы намъ спасли;
Въ свой чередъ мы грудью станемъ;
Въ свой чередъ мы васъ помянемъ,
Если Царь велитъ отдать
Жизнь за общую намъ мать!

Собраніе рецептовъ паринскихъ городскихъ больницъ. Соч. Ф. С. Ратте, доктора медицины. Переводъ съ французскаго. Москва. 1839.

Медицинскія сочиненія принадлежатъ къ разряду тѣхъ книгъ, которыми особенно и преимущественно должны пользоваться мы отъ французской литературы. Сто лучшихъ романовъ и тысяча лучшихъ повѣстей юной французской литературы не стоятъ одной такой книги! Мы уже не говоримъ о всевозможныхъ французскихъ теоріяхъ, особенно философскихъ, эстетическихъ и сен-симонистскихъ: сколько ни родилъ ихъ философскій XVIII вѣкъ и современное резонерство и декламаторство Франція, всѣ онѣ безъ исключенія не стоятъ одной странички французской книги по части наукъ естественныхъ или медицинскихъ. Мы хотимъ сказать, что у вся-

каго народа должно брать, занимать и перенимать только то, что составляет сущность его жизни, плоды его духа, словомъ, его дѣйствительность — въ высшемъ философскомъ значеніи этого слова. И потому философіи будемъ учиться не у французовъ и англичанъ, такъ же какъ музыкѣ не у китайцевъ и турокъ, а у нѣмцевъ; высшаго художественнаго (т. е. вышедшаго изъ національной непосредственности) искусства будемъ искать не у французовъ, а у англичанъ и нѣмцевъ; у французовъ же будемъ слѣдить развитіе математики, медицины, особенно послѣдней, и особенно въ практическомъ ея развитіи. Устроеніе больницъ, способы и приемы лѣченія, уходъ за больными, словомъ — все, что ускользаетъ отъ теоріи и умозрѣнія, что принадлежитъ къ области эмпириі, опытнаго соображенія, опытной проницательности, — все это у французовъ развито до возможной высокой степени. Французы — по преимуществу народъ дѣла. Нѣмецъ скажетъ мысль: французъ — позналъ ли онъ ее или нѣтъ, для него все равно, — спѣшитъ пустить ее въ ходъ, примѣнить ее къ жизни — впадетъ или не впадетъ, во вредъ или въ пользу себѣ и другимъ — для него все равно. Но изъ всего, что примѣняли французы къ жизни, кажется, ничто не удавалось имъ съ такой пользой для себя и для другихъ, какъ математика (прикладная), медицина и хирургія. Цвѣтущее состояніе ихъ знаменитой Политехнической школы, изобиліе въ образованныхъ офицерахъ для арміи, искусныхъ артиллеристахъ и инженерахъ, наконецъ цвѣтущее состояніе практической медицины доказываютъ это.

Вотъ почему мы думаемъ, что переводчикъ книги Ратье «Собраніе Рецептовъ» могъ бы выбрать для труда своего изъ французскихъ медицинскихъ книгъ что-нибудь поважнѣе и подарить этимъ русскимъ врачамъ. Докторъ Ратье, какъ видно, очень высоко цѣнитъ рецепты, какіе выписываютъ въ парижскихъ больницахъ; положимъ, что это происходитъ отъ любви къ отечественной медицинѣ, но зачѣмъ бы, казалось, этотъ огромный сборникъ всякой всячины передавать на русскомъ языкѣ? Если сочиненіе Ратье переведено для того, чтобы познакомить русскихъ врачей съ состояніемъ медицины во Франціи, то едва ли переводчикъ достигъ предположенной цѣли. Спрашивается, что пріобрѣтаетъ врачъ изъ словословнаго исчисленія рецептовъ? Вѣдь одно умѣнье писать рецепты по затверженнымъ формуламъ — дѣло ничтожное. Много надобно свѣдѣній, чтобы умѣть правильно и дѣльно писать рецепты...

Le moine, histoire Kiovlenne. Traduction en vers du poème de J. Koslow: Чернецъ, par le prince Nicolas Galizin. Moscou. 1839.

Въ области литературы бываютъ произведенія, по своему внутреннему достоинству принадлежащія къ искусству, но тѣмъ не менѣе составляющія эпоху въ литературномъ и даже общественномъ образованіи народа. Къ такимъ произведеніямъ принадлежатъ «Бѣдная Лиза» Карамзина; къ такимъ же

произведеніямъ принадлежитъ и «Чернецъ» Козлова. «Бѣдная Лиза» своимъ появленіемъ произвела фуроръ въ нашемъ обществѣ: сколько слезъ было пролито прекрасными читательницами и блѣдными, чувствительными читателями! Ходили къ Лизину-пруду, вырѣзывали на корѣ окружающихъ его развѣсистыхъ березъ и сердца, провезенныя стрѣлами, и чувствительныя фразы, которыя и теперь еще можно видѣть. Мы говоримъ это совсѣмъ не для того, чтобы смѣяться, а чтобы засвидѣтельствовать этотъ фактъ прошедшаго времени. Долгъ нашего вѣка ни надъ чѣмъ не смѣяться, но все сознать объективно, всему указать свое мѣсто въ ряду явленій, всему отдать должную справедливость. Карамзинъ своимъ сентиментальнымъ произведеніемъ выразилъ духъ времени, бессознательно угадавъ его, какъ человѣкъ необыкновенный и сильный духомъ, и потому-то онъ такъ сильно увлекъ «Бѣдной Лизой» современное ему общество. «Бѣдную Лизу» теперь никто не станетъ читать для наслажденія; но она всегда сохранится въ исторіи русской литературы и общественнаго образованія, какъ важный памятникъ, какъ дѣло ума человѣка необыкновеннаго, потому что она («Бѣдная Лиза») была первымъ произведеніемъ на русскомъ языкѣ, которое убѣдило тогдашнее полу-французское общество, что и у русскаго человѣка можетъ быть и душа, и сердце, и умъ, и талантъ, и что русскій языкъ не совсѣмъ варварскій, но имѣетъ свою способность къ выраженію нѣжныхъ чувствованій, свою прелесть, легкость и гибкость. Точно такой же фуроръ произвелъ въ нашемъ обществѣ другого времени «Чернецъ» Козлова. Эта поэмка была сколкомъ съ «Гяура» Байрона; въ ней также монахъ, въ предсмертной исповѣди, рассказываетъ свою исторію, содержаніе которой есть любовь, а роковое событіе, побудившее героя къ отчужденію отъ людей и міра, — убійство. Но герой Козлова относится къ герою Байрона, какъ мальчикъ, задавившій бабочку, къ человѣку, взорвавшему на воздухъ цѣлый городъ съ миллиономъ жителей. Но какъ Козловъ истинный поэтъ въ душѣ, который, не будучи въ силахъ совладать съ большими размѣрами, поэтически высказывалъ въ мелкихъ стихотвореніяхъ поэтическія ощущенія своей поэтической души, — то его «Чернецъ», блѣдное и слабое произведеніе въ цѣломъ, отличается множествомъ поэтическихъ частности, носящихъ на себѣ отпечатокъ сильнаго таланта. Нѣсколько сентиментальный характеръ поэмы, горестная участь ея героя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и горестная участь самого пѣвца, — все это доставило «Чернецу» едва ли не больше читателей, чѣмъ поэмамъ Пушкина, которыхъ высоко-художественная дѣйствительность была тогда, да еще и теперь, слишкомъ немногимъ по плечу. «Чернецъ», еще прежде изданія, ходилъ въ рукописи по рукамъ многочисленныхъ читателей, и особенно отъ прекрасныхъ читательницъ принялъ обильную дань слезъ умиленія и грустно-сладостныхъ восторговъ.

И онъ навсегда останется прекраснымъ поэтическимъ цвѣткомъ, для простой и скромной прелести

и легкаго, но сладостнаго аромата котораго всегда найдется множество прелестныхъ бабочекъ и легкихъ мотыльковъ.

«Чернецъ» уже не разъ былъ переводимъ на французскій языкъ, и вотъ явился его новый переводъ, сдѣланный русскимъ, который владѣетъ французскимъ языкомъ, какъ своимъ роднымъ. Это обстоятельство особенно заставляетъ требовать многого отъ перевода. Посмотримъ же на него.

J'aimais les bois, la chasse à l'animal sauvage;
Du Dnèpre avec orgueil franchissant à la nage
Le courant, j'atteignais tout heureux l'autre bord.
J'aimais tous les périls, l'exercice du corps:
Je n'avais rien à perdre, étant tout seul au monde,
Eh! qui m'eût envié ma misère profonde?

Что это такое?—неужели эти чудные стихи, полные гармоніи, силы и поэтической прелести:

Любилъ я за звѣрьми гоняться,
День цѣлый по лѣсамъ скитаться,
Широкій Днѣпръ переплывать,
Любилъ опасностью играть,
Надъ жизнью дерзостно смѣяться:
Мнѣ было некого терять,
Мнѣ было не съ кѣмъ разставаться!

Какая поэзія, сжатость, простота и безыскусственность въ подлинникѣ, и какая изысканность, полная риторической шумихи и общихъ мѣстъ въ переводѣ!.. И это не одно мѣсто—весь переводъ цѣлой поэмы—декламація, риторика...



III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Метеорологическія наблюденія надъ современной русскою литературой (*Отрывки*).

Было бы слишкомъ трудно и почти невозможно передать нашимъ читателямъ всѣ наблюденія, сдѣланныя нами въ послѣднее время надъ русскою литературой; но, не желая лишить ихъ удовольствія быть свидѣтелями такого интереснаго зрѣлища, мы хотимъ довести до ихъ свѣдѣнія хоть одинъ или два феномена, которые безъ всякаго спора любопытнѣе и поучительнѣе всѣхъ атмосферическихъ явленій, самыхъ необыкновенныхъ.

Итакъ, благословясь, приступаемъ къ дѣлу.

ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

Къ числу самыхъ свѣжихъ новостей нашей журналистики принадлежитъ торжественное открытіе имени настоящаго редактора «Библиотеки для Чтенія»: это профессоръ Сенковский, извѣстный своими прекрасными переводами арабскихъ сказокъ, помѣщавшихся въ разныхъ альманахахъ.

Онъ самъ объявилъ, что «всѣ, которые носили званіе редакторовъ «Б. для Ч.», слишкомъ невинны въ ея недостаткахъ, чтобы отвѣчать за нихъ передъ публикой, и слишкомъ благородны, чтобы требовать для себя похвалы за достоинства, въ которыхъ они не имѣли никакого участія», что «весь кругъ ихъ редакторскаго дѣйствія ограничивался чтеніемъ третьей, послѣдней корректуры уже готовыхъ, отпечатавшихся листовъ, набранныхъ въ типографіи по рукописямъ, которыя никогда не сообщались имъ предварительно». Это объявленіе для насъ очень важно: по крайней мѣрѣ мы теперь знаемъ, вслѣдствіе какихъ «тягостныхъ трудовъ, неразлучныхъ съ званіемъ редактора «Б. для Ч.», отказался И. А. Крыловъ отъ редакторства этого журнала. Въ этой же (юльской на 1836 годъ) книжкѣ «Библиотеки для Чтенія» находится очень интересное извѣстіе о ея отношеніяхъ къ одному петербургскому журналисту, который... Но позвольте, мы расскажемъ этотъ любопытный фактъ словами самой «Библиотеки для Чтенія».

«У насъ есть одинъ такой журналецъ свой, преданный намъ тѣломъ и душой, съ которымъ мы заключили формальный трактатъ на весьма выгодныхъ для него условіяхъ, чтобы онъ подъ видомъ литературныхъ замѣтокъ или какъ-нибудь другимъ образомъ бранилъ «Библиотеку для Чтенія» въ каждомъ своемъ листочкѣ: однажды этотъ журналецъ — ужъ не скажемъ который! какая нужда вамъ знать его

имя?—въ исполненіе договора, изливъ всю свою желчь на наше изданіе, забранился отъ усердія до того, что напечаталъ, будто бы мы въ нынѣшнемъ году потеряли полторы тысячи подписчиковъ, и—что жъ вы думаете?—на другой день лишнихъ полторы тысячи человекъ подписались на «Библиотеку для Чтенія»! Похвали же онъ хоть разъ, хоть въ шутку, мы бы навѣрное потеряли тысячи три читателей. Скажутъ, что это съ нашей стороны не хорошо, что мы поддѣваемъ публику. Что жъ дѣлать! Aide toi, le ciel t'aidera, говоритъ пословица; надо пользоваться всѣмъ и брать у этакихъ журнальцевъ, что у нихъ есть. Въ ихъ лавочкѣ нѣтъ другого товара, кромѣ брани: мы беремъ у нихъ брань, для себя, для своей пользы и своего удовольствія. Это позволительная сдѣлка».

Непосвященные въ тайнства петербургской журналистики, мы не знаемъ, позволительная ли эта сдѣлка; впрочемъ, говоря выраженіемъ городничаго Сквозника-Дмухановскаго, «можетъ оно тамъ такъ и нужно».

Мы не ручаемся также и за достовѣрность этого факта, чтобы у какого бы то ни было журнала могло явиться полторы тысячи подписчиковъ въ одинъ день—и вслѣдствіе чего же?—брани журнальца, у котораго нѣтъ и полутора подписчиковъ и который самимъ литераторамъ извѣстенъ только по имени.

Вѣстникъ Парижскихъ Модъ.

На будущій 1836 годъ въ Москвѣ издается новый журналъ, который ни мало не относится къ литературѣ и учености, но тѣмъ не менѣе найдетъ себѣ почитателей и цѣнителей. Мы говоримъ о «Вѣстникѣ Парижскихъ модъ». Въ доброе старое время наши почтенные сатирики, комики, нравописатели между прочими ужасными пороками, губящими бѣдное человѣчество, съ особеннымъ ожесточеніемъ нападали на деспотическое владычество моды. О! тогда не то, что нынѣ, тогда отъ нашихъ писателей не было ни покоя, ни простора порокамъ, и если бы писанія этихъ почтенныхъ мужей не были забыты неблагодарнымъ человѣчествомъ, неблагодарными соотечественниками, то человѣчество и наше отечество теперь жили бы жизнью возрожденной и преобразенной, пороки исчезли бы съ лица земли, въ мірѣ водарился бы снова золотой вѣкъ Астреи, и наша счастливая планета превратилась бы въ цвѣтущую Аркадію. Правда, люди попрежнему подличали бы изъ выгодъ, унижались передъ «глыбами позлащенной грязи», торговали бы своими священнѣйшими чувствами, своими священнѣйшими обязанностями, попрежнему были бы холодны къ дѣлу

религии, общественного блага, искусства и попрежнему были бы ревностны и пламенны въ дѣлѣ подлости, взяточничества: они не читали бы Шекспира, Вальтеръ Скотта, Шиллера, Гёте, Байрона, не знали бы «Юной Словесности», не читали бы «Иліаду» въ переводѣ Гнѣдича и «Энеиду» въ переводѣ Петрова, и «Освобожденный Іерусалимъ» въ переводѣ Мералякова, трагедіи Расина въ переводѣ Лобанова и идилліи Дезюльера въ переводѣ Мералякова; не читали бы Пушкина, Грибоѣдова и не взяли бы въ руки Гоголя, но читали бы стихи Сумарокова, Хераскова и Петрова, романы дѣвицы Марьи Извъковой и повѣсти Владиміра Измайлова, Карамзина и князя Шаликова, но они ложились бы спать въ десять часовъ, вставали бы въ пять, восхищались бы восхожденіемъ солнца, пили бы ключевую воду, дышали бы однимъ запахомъ розъ и лилій, плели бы изъ нихъ вѣночки для своихъ пастушекъ, не нюхали и не курили бы табаку и наслаждались бы цвѣтущимъ здравіемъ, румяные и томные, вѣжные и чувствительные: а во всемъ этомъ, согласитесь, большая выгода для человѣчества. Но, увы! почти всѣ наши писатели, особенно писатели добраго стараго времени, о которыхъ я говорю, отличаются слабостью здоровья и недолговѣчностью. И вотъ отчего люди и по эту пору еще не исправились, вотъ почему на свѣтѣ и по эту пору царствуютъ пороки и владычествуетъ ненавистная мода. Теперь совсѣмъ не то, теперь другое время, теперь люди спокойно смотрятъ на измѣнчивый ходъ нравовъ, обычаевъ, вкусовъ и, вооружившись мудрымъ правиломъ:

Къ чему напрасно спорить съ вѣкомъ?
Обычай—деспотъ межъ людей!

спокойно подчиняютъ себя тираніи моды. Да! теперь совсѣмъ другое время! Теперь презрять человѣка, который убилъ бы на паркетѣ свое человѣческое чувство и данный ему Богомъ талантъ, который очерствѣлъ бы для всего высокаго, гоняясь за мелочами и суетностью свѣтскихъ требованій; но теперь уже не презрять человѣка потому только, что онъ одѣтъ по модѣ, со вкусомъ и даже изысканно, что его манеры благородны, формы изящны, обращеніе деликатно, такъ же, какъ не презрять человѣка съ душой и сердцемъ за то только, что онъ одѣтъ безвкусно, не по модѣ, или бѣдно, что его манеры грубы, обращеніе неловко; нынче о такомъ человѣкѣ скажутъ только: жаль, что обстоятельства лишили его свѣтской образованности! Теперь не уважать пустого человѣка, безъ души и сердца, какого-нибудь глупаго фата, за одну эlegantность его внѣшней жизни, за однѣ ничтожныя формы безъ внутренняго сознанія своего достоинства; но теперь не ставить въ достоинство грубости, цинизма или вулгарности формъ и въ самомъ отличномъ человѣкѣ. Вслѣдствіе этого убѣжденія мы нападки на моды причисляемъ къ числу этихъ жалкихъ и ничтожныхъ выходокъ, какъ и нападки на роскошь, на блескъ, изящество цивилизованной жизни, условія которой такъ тѣсно соединены съ условіями высшей человѣческой жизни. Поэтому мы желаемъ полнаго

успѣха «Вѣстнику Парижскихъ Модъ», видя въ немъ необходимое явленіе нашей общественной жизни.

Журнальная замѣтка.

Время полемики миновалось въ нашей литературѣ. Это сдѣлалось естественнымъ образомъ: публикѣ наскучили шумъ и крикъ, въ которомъ она ничего не понимала, а литература утомилась. Мы не желаемъ возвращенія этого шумливаго времени; мы всегда высказываемъ открыто и прямо свое сужденіе о томъ или другомъ литературномъ произведеніи и не отвѣчаемъ на упреки, дѣлаемые намъ будто бы за пристрастіе и несправедливость нашихъ сужденій. Въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли бы было возражать на эти обвиненія? Всякій судить по своему разумѣнію, всякій, если онъ честный человѣкъ, долженъ быть убѣжденъ въ справедливости своего сужденія, слѣдовательно, по одному чувству уваженія къ самому себѣ, никто не долженъ оправдываться въ своихъ литературныхъ дѣйствіяхъ, да своему дѣлу никто и не судя. Но когда, по поводу какого-нибудь литературнаго дѣла, васъ упрекаютъ въ дѣлахъ совсѣмъ не литературныхъ, когда оскорбляютъ вашу личность человѣка и гражданина, то неужели вы должны молчать? А если будете отвѣчать, то неужели этимъ введете полемику? И притомъ неужели одинъ журналъ будетъ пользоваться правомъ ругать своихъ противниковъ невѣждами, ренегатами, измѣнниками отечеству, а другіе не будутъ имѣть права замѣтить этому журналу неприличность и неблагопристойность его выходокъ, не будутъ имѣть права сказать ему:

Послушай, ври, да знай же мѣру!...

Знаемъ, что есть журналы, которымъ совѣстно отвѣчать, какъ есть люди, съ которыми войти въ какія-нибудь объясненія значить унижить себя въ собственныхъ глазахъ и въ общемъ мнѣніи. Презрительное молчаніе—лучшій отвѣтъ такимъ журналамъ и такимъ людямъ. Но что же прикажете дѣлать, если у насъ, въ литературѣ, нападающій непременно правъ, если у насъ, въ литературѣ, молчаніе, хотя бы оно было слѣдствіемъ презрѣнія, почитается за безмолвное сознаніе или своего безсилія, или неправоты своего дѣла! И притомъ, повторяю, я неуклонно слѣдую правилу, что въ своемъ дѣлѣ никто не судя, и потому положилъ себѣ за обязанность не отвѣчать ни на какія возраженія, если подобный отвѣтъ не поведетъ къ рѣшенію какихъ-нибудь истинъ и не будетъ достоинъ прочтенія людьми мыслящихъ; но я не могу молчать, когда на меня клеветаютъ, взводятъ небылицы, и наконецъ, ругаютъ нагло, называя ренегатомъ и тому подобными не-литературными названіями.....

«С. Пчела» къ концу нынѣшняго года стала особенно нападать на «Телескопъ» и «Молву»; намъ было это всегда очень пріятно, потому что подавало пищу для смѣха. Нѣтъ ничего забавнѣе и утѣшительнѣе, какъ видѣть безсильнаго врага, который, стараясь вредить вамъ, противъ своей воли служитъ вамъ. Разумѣется, мы смѣялись про себя, а въ жур-

наль сохранили презрительное молчаніе и оставляли доброй «Пчелѣ» трудиться для нашей пользы и нашего удовольствія. Недавно баронъ Розень поднесъ публикѣ, въ своемъ «Петрѣ Васмановѣ», новый огромный (не помню, который уже по счету) кубокъ воды прозаической; «Пчела» воспользовалась этимъ случаемъ отдѣлать «Телескопъ», въ особенности «Молву», а болѣе всего рецензента, пишущаго въ томъ и другомъ журналѣ и пользующагося лестнымъ счастьемъ не нравиться журнальному наскомоу. Я буду по порядку выписывать обвинительные пункты и отвѣчать на каждый особенно.

Первое обвиненіе состоитъ въ томъ, что будто бы въ «Телескопѣ» и «Молвѣ» нѣкоторые знаменитые критикъ отъ времени до времени набъзаютъ изъ-за угла на нашу словесность съ опущенными забралами....

Я никакъ не могу понять, что за ненависть питаютъ нѣкоторые литераторы къ безыменнымъ рецензіямъ. Какая нужда имъ до имени? Пройдетъ два-три года, и всѣ рецензіи, которыми наполняются всѣ безъ исключенія наши журналы, канутъ въ Лету вмѣстѣ съ безсмертными твореніями, на которыя онѣ пишутся. Если же то или другое твореніе истинно велико и безсмертно, то все-таки ему, а не рецензіи, не критикѣ на него, жить въ вѣкахъ. Конечно есть люди, которые, написавши журнальную статейку, отъ души убѣждены, что они сдѣлали великое дѣло, такъ, какъ Иванъ Ивановичъ, съѣвши дыню, бывалъ отъ души убѣжденъ, что онъ тоже свершилъ немаловажный подвигъ. Я не принадлежу къ числу такихъ людей, и смотрю по философски какъ на свои, такъ и на чужіе журнальные труды, и потому не обращаю на имена никакого вниманія. Конечно рецензенты «С. Пчелы» почитаютъ свои рецензіи безсмертными произведеніями ума человеческого и потому придаютъ именамъ большую важность. У всякаго свой взглядъ на вещи!..

Второе обвиненіе на неизвѣстныхъ рыцарей или, лучше сказать, на меня, состоитъ въ томъ, что я осмѣлился усомниться въ существованіи русской словесности *). «Напрасно, говорить «Пчела», возразилъ имъ ученый, остроумный критикъ въ «Библіотекѣ для Чтенія», что 12,000 русскихъ книгъ, означенныхъ въ каталогѣ нашей книжной торговли, никакъ нельзя счесть за 12,000 голландскихъ следокъ, и что поэтому можно нѣсколько подозрѣвать существованіе русской литературы. Нѣтъ ея! кричатъ рыцари, и между тѣмъ сами безпрестанно повторяютъ: наша словесность, нашей словесности, нашу словесность. Да о чемъ же вы кричите, господа? Неужто вы, по примѣру знаменитаго рыцаря печальнаго образа, нападаете на какого-нибудь великана-невидимку?»—Что на это отвѣчать? 12,000 книгъ! Въ самомъ дѣлѣ убѣдительно доказательство! И въ числѣ этихъ книгъ изъ классиковъ — Симеона Полоцкаго, Кантемира, Тредьяковскаго, Сумарокова, Майкова, Хераскова, Петрова,

Николаева, Грузинцева, Майкова, и пр., и пр.; а изъ романтиковъ — Орлова, Кузмичева, Сягова, А. П. Протопопова, Глхрва, Гурьянова, и пр., и пр. И въ числѣ этихъ же книгъ книги поваренныя, объ истребленіи клоповъ и таракановъ; и въ числѣ этихъ же книгъ безчисленное множество переводовъ... И потомъ, если изъ всего этого останется ММ 500 хорошихъ книгъ, то сколько между ними будетъ условно хорошихъ и сколько останется безусловно хорошихъ?.. Но довольно объ этомъ: мы не поймемъ другъ друга. Я не умѣю опредѣлять достоинства литературы въсомъ и счетомъ. Притомъ же я отвергаю существованіе русской литературы только подъ тѣмъ значеніемъ литературы, которое я ей даю, а подъ всѣми другими значеніями вполне убѣжденъ въ ея существованіи. Но въ этомъ пунктѣ мы еще менѣе поняли бы другъ друга, и потому оставляю этотъ вопросъ и обращаюсь къ другимъ...

Я пропускаю нападки моего остроумнаго противника на высокія философскія сужденія объ изящномъ, о XIX вѣкѣ, объ идеяхъ, о требованіяхъ вѣка: я знаю, что всѣ эти предметы не по плечу извѣстнымъ рыцарямъ «С. Пчелы». Въ чемъ не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это общее правило посредственности. Бывали примѣры, что и посредственность толковала, какъ умѣла, объ этихъ же самыхъ предметахъ, но это было время, когда ее признавали за гениальность; это золотое время прошло, и посредственности ничего не остается дѣлать, какъ нападать на новыя идеи, называя ихъ вольнодумными и мятежными. Посредственность видѣть мятежника во всякомъ, кто выше ея или кто не признаетъ ея величія.

Мой остроумный противникъ мимоходомъ даетъ знать, что для того, чтобы понравиться критикамъ, подобнымъ мнѣ, художники должны доказывать въ своихъ сочиненіяхъ, что «измѣна дѣло не худое и даже похвальное». Вотъ какъ мило бранятся въ Петербургѣ, не по московскому! Нѣтъ, м. г., я глубоко убѣжденъ, что всякая измѣна есть дѣло гнусное, подлое, нечеловѣческое; я глубоко бы презрѣлъ человека, который бы на примѣръ изъ злобы къ русскимъ сперва леталъ бы подъ французскимъ орломъ, а потомъ бы перешелъ опять къ русскимъ...

«Мы искренно любимъ всѣхъ достойныхъ русскихъ литераторовъ и отъ души радуемся каждому новому произведенію, обогащающему нашу родную словесность, которой яко бы вовсе нѣтъ, да и быть не можетъ, какъ увѣрняютъ нѣкоторые завистливые иностранцы, не знающіе вовсе Россіи, да еще (Богъ имъ судья!) ренегаты, безбородые юноши, доморощенные Гегели, Шеллинги».

Какъ! кто говорить, что у насъ нѣтъ литературы, тотъ ренегатъ?... Кто находитъ въ своемъ отечествѣ не одно хорошее, тотъ тоже ренегатъ?.. Стало быть, китайцы, персіяне и другіе восточные варвары, которые презираютъ всѣхъ иностранцевъ и не видятъ никого выше и образованнѣе себя, только одни они не ренегаты?.. Стало быть, Петръ Великій былъ не правъ, давши пощечину одному переводчику, который, переведши книгу о Россіи, выпустилъ изъ

*) Въ моихъ «Литературныхъ Мечтаніяхъ».

неявее, что говорилось въ ней дурного о русскихъ?... И притомъ, м. г., какое вы имѣете право называть кого-нибудь ренегатомъ? Я могъ бы переслать эту посылку къ вамъ назадъ; но я не хочу этого сдѣлать, потому что человѣкъ, пользующійся гражданскими правами, не можетъ быть ренегатомъ, хотя бы онъ и не правился мнѣ... Нѣтъ, м. г., на святой Руси не было, нѣтъ и не будетъ ренегатовъ, т. е. этакихъ выходцевъ, бродягъ, пройдохъ, этакихъ разстригъ и патріотическихкихъ предателей, которые бы, вгрянувъ двойной присягой, попадали въ двойную цѣль и, избавляя отъ негодыя свое отечество, пятнали бы своимъ братствомъ какое-нибудь государство.

Нѣсколько словъ о «Современникѣ».

Давно уже было всемъ извѣстно, что знаменитый поэтъ нашъ Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ вознамѣрился издавать журналъ; наконецъ первая книжка этого журнала уже и вышла, многіе даже прочли ее, но, несмотря на то, у насъ, въ Москвѣ, этотъ журналъ есть истинная новость, новость дня, новость животрепещущая, и въ этомъ смыслъ то, что хотимъ мы сказать о немъ, будетъ настоящимъ извѣстіемъ. Дѣло въ томъ, что у насъ, въ Москвѣ, очень трудно достать «Современникъ» за какія бы то ни было деньги; несмотря на многія требованія и вѣтеранскія публики, въ Москву прислано его очень небольшое число экземпляровъ. Странное дѣло! съ нѣкотораго времени это почти всегдѣшняя исторія со всѣми петербургскими книгами, не издаваемыми, хотя и продаваемыми Смирдинымъ, и не сочиняемыми или не покровительствуемыми Гречемъ и Булгаринымъ. Эта же исторія случилась и съ новымъ произведеніемъ Гоголя «Ревизоръ»: судя по петербургской публики читать его, казалось бы, что въ Москвѣ въ одинъ день могла бы разойтись его цѣлая тысяча экземпляровъ... Наконецъ и мы прочли «Современникъ» и спѣшимъ отдать въ немъ отчетъ публикѣ.

«Современникъ» есть явленіе важное и любопытное, сколько по знаменитости имени его издателя, столько и отъ надеждъ, возлагаемыхъ на него одной частью публики, и страха, ощущаемаго отъ него другой частью публики. Сенковский, редакторъ «Библиотеки для Чтенія», аристархъ и законодатель этой послѣдней части публики, до того испугался предпріятія Пушкина, что, забывъ обычное свое благоуміе, имѣлъ неосторожность сказать, что онъ «отдалъ бы все на свѣтъ, лишь бы только Пушкинъ не сдержалъ своей программы». Подлинно, что у страха глаза велики, и справедливо, что устрѣшенный человѣкъ, вмѣсто того, чтобы бить по призраку, напугавшему его, колотить иногда самого себя...

Мы не будемъ входить въ изслѣдованіе вопроса: имѣетъ ли право Пушкинъ издавать журналъ? мы даже не почитаемъ себя въ правѣ предложить такой вопросъ и, какъ люди не испуганные, и слѣдовательно сохранившіе присутствіе духа и владычество разсудка, предоставляемъ другимъ подобныя разбирательства: ученому и книги въ руки, гово-

рить пословица. Мы же съ своей стороны прямо и искренно выскажемъ наше мнѣніе о «Современникѣ», сколько позволяеть это сдѣлать первая выпущенная книга.

Признаемся, мы не думаемъ, чтобы «Современникъ» могъ имѣть большой успѣхъ: подъ словомъ «успѣхъ» мы разумѣемъ не число подписчиковъ, а нравственное вліяніе на публику. По нашему мнѣнію, да и по мнѣнію самого «Современника», журналъ долженъ быть чѣмъ-то живымъ и дѣйтельнымъ: а можетъ ли быть особенная живость въ журналѣ, состоящемъ изъ четырехъ книжекъ, а не книжищъ, и появляющимся черезъ три мѣсяца? Такой журналъ, при всемъ своемъ внутреннемъ достоинствѣ, будетъ походить на альманахъ, въ которомъ между прочимъ есть и критика. Что альманахъ не журналъ, и что онъ не можетъ имѣть живого и сильнаго вліянія на нашу публику—объ этомъ нечего и говорить. «Библиотека для Чтенія» особенно одолжена своимъ успѣхомъ тому, что продолжительность періодовъ выхода своихъ книжекъ замѣнила необыкновенной толстотой ихъ. Какая тутъ живость, какая современность, когда вы будете говорить о книгѣ черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ ея выхода? А развѣ вы не знаете, какъ не живущи, какъ недолговѣчны наши книги? Имъ не помогутъ и ваши звѣздочки, потому что онѣ родятся по большой части подъ несчастной звѣздой. Вотъ что мы находимъ главнымъ недостаткомъ въ «Современникѣ».

Главное же достоинство его, если только это можетъ почесться какимъ-нибудь достоинствомъ, состоитъ въ томъ, что въ немъ всѣ статьи оригинальныя, кромѣ, разумѣется, стихотвореній. Каковы же эти статьи? А вотъ объ этомъ-то мы и хотимъ поговорить.

«Современникъ» состоитъ изъ пяти стихотвореній и одиннадцати прозаическихкихъ статей. Стихотворенія вообще всѣ не безъ достоинства, кромѣ «Розы и Кипариса». «Пиръ Петра Великаго» отличается бойкостью стиха и оригинальностью выраженія. «Скупого Рыцаря», отрывокъ изъ Ченстоновой трагикомедіи, переведенъ хорошо, хотя, какъ отрывокъ, и ничего не представляетъ для сужденія о себѣ. Но «Ночной Смотри» Жуковского есть одно изъ тѣхъ стихотвореній, которыхъ у насъ теперь въ цѣлый годъ является не больше одного или двухъ... Это истинное перло поэзии, какъ по глубокой поэтической мысли, такъ и по простотѣ, благородству и высокости выраженія. Мы очень жалѣемъ, что право собственности и величина пьесы не позволяютъ намъ выписать его. Изъ прозаическихкихъ статей прежде всего должно говорить о двухъ статьяхъ Гоголя. Первый: «Коляска», есть не что иное, какъ шутка, хотя и мастерская въ высочайшей степени. Въ ней выразилось все умѣніе Гоголя схватывать эти рѣзкія черты общества и уловлять эти оттѣнки, которые всякій видитъ каждую минуту около себя и которые доступны только для одного Гоголя. Но пьеса все-таки не больше, какъ шутка, и, по нашему мнѣнію, не можетъ замѣнить собой отсутствія повѣсти, которая почитается у насъ необходимымъ украшеніемъ всякой книжки журнала, особливо пер-

вой. Вторая статья Гоголя, «Утро дѣлового чело-
вѣка», говорятъ, есть отрывокъ изъ его комедіи. Во
всякомъ случаѣ она представляетъ собой нѣчто цѣ-
лое, отличающееся необыкновенной оригинальностью
и удивительной вѣрностью. Если вся комедія такова,
то одна она могла бы составить эпоху въ исторіи на-
шего театра и нашей литературы, а Гоголь одну
уже напечаталъ и еще, говорятъ, готовить двѣ...
Эта пьеска есть отрывокъ изъ которой-то изъ
нихъ, какъ мы слышали. «Путешествіе въ Арзе-
румъ» самого издателя есть одна изъ тѣхъ статей,
которыя хороши не по своему содержанію, а по име-
ни, которое подъ ними подписано. Въ самомъ дѣлѣ,
если есть на свѣтѣ такіе люди, которые, за что бы
ни принялись, все портятъ, которые ничего не умѣ-
ютъ порядочно сдѣлать, то есть и такіе, которые ни-
чего не умѣютъ сдѣлать дурно. Статья Пушкина не
заклываетъ въ себѣ ничего такого, что бы вы, прочтя
ее, могли пересказать, что бы васъ особенно пора-
зило, но ее нельзя читать безъ увлеченія, нельзя
не дочитать до конца, если начнешь читать. «Раз-
боръ сочиненій Георгія Конисскаго» хорошъ въ томъ
смыслѣ, что даетъ ясное понятіе о разбираемой книгѣ
и возбуждаетъ желаніе прочесть самую книгу. Су-
жденіе о Георгіи Конисскомъ, какъ объ историкѣ и
историческомъ лицѣ, намъ кажется справедливымъ,
но, чтобы онъ былъ хорошимъ проповѣдникомъ,—
съ этимъ мы несогласны; его краснорѣчіе—схола-
стическое и тяжелое. Самые дурныя статьи это—
«О Риемѣ» барона Розена и «Парижъ», родъ записки,
писанной къ пріятелю на разныхъ лоскуткахъ, безъ
всякой связи и занимательности, дурнымъ языкомъ.
«Долина Ажитугай» примѣчательна, какъ произве-
деніе черкеса (султана Казы-Гирея), который вла-
дѣетъ русскимъ языкомъ лучше многихъ почетныхъ
нашихъ литераторовъ.

Но самыя интересныя статьи—это «О движеніи
журнальной литературы въ 1834 и 1835 гг.» и
«Новыя книги»: въ нихъ видны духъ и направле-
ніе новаго журнала. «Журнальная литература, эта
живая, свѣжая, говорливая, чуткая литература,
такъ же необходима въ области наукъ и художествъ,
какъ пути сообщенія для государства, какъ ярмарки
и биржи для купечества и торговли». Такъ начи-
нается первая статья, и мы выписали ее начало
для того, чтобы показать, что «Современникъ»
имѣетъ настоящій взглядъ на журналъ. Въ самомъ
дѣлѣ, смѣшно было бы думать въ наше время, чтобы
журналъ былъ энциклопедіей наукъ, изъ которой
можно бы было черпать полной горстью знанія, по-
средствомъ которой можно бѣ было сдѣлаться уче-
нымъ. Только одни невѣжды и верхоглядые могутъ
такъ думать въ наше время. Журналъ есть не на-
ука и не ученость, но, такъ сказать, факторъ науки
и учености, посредникъ между наукой и учеными.
Какъ бы ни велика была журнальная статья, но она
никогда не изложитъ полной системы какого-нибудь
знанія: она можетъ представить только результаты
этой системы, чтобы обратить на нее вниманіе уче-
ныхъ, какъ скорое извѣстіе, и публики, какъ ра-
портъ о случившемся. Вотъ почему такое важное

мѣсто, такое необходимое условіе достоинства и су-
ществованія журнала составляютъ критика и би-
бліографія, ученая и литературная.

Главное содержаніе разбираемой нами статьи со-
стоитъ въ сужденіи о литературныхъ періодиче-
скихъ изданіяхъ въ Россіи за 1834 и 1835 гг. Мы
почитаемъ за долгъ сказать, что всѣ эти сужденія
не только изложены рѣзко, остро и ловко, но даже
безпристрастно и благородно; авторъ статьи не
исключаетъ изъ своей опалы ни одного журнала,
и хотя его сужденіе и о нашемъ изданіи совсѣмъ не
лестно для насъ, но мы не видимъ въ немъ ни зло-
намѣренности, ни зависти, ни даже несправедли-
вости. О «Библиотекѣ для Чтенія» высказаны исти-
ны рѣзкія и горькія для нея, но уже извѣстныя
и многими еще прежде сказанныя. Одно только по-
казалось намъ и новымъ, и крайне удивительнымъ;
мы не знали до сихъ поръ, что паясническія по-
вѣсти и гаерскія фанфаронады въ критикахъ и ре-
цензіяхъ «Библиотеки» принадлежатъ почтенному
профессору О. И. Сенковскому, что баронъ Брамбе-
усъ и татарскій критикъ Тю-тюнджи-Оглу,—тоже
никто другой, какъ тотъ же Сенковскій. О «Наблю-
дателѣ» сказано сущая истина, почти то же самое,
что было сказано и въ нашемъ журналѣ, только не-
много поспешнѣе. Вообще «Современникъ»
при всей своей благородной и твердой откровенности
обнаруживаетъ какую-то симпатію къ «Наблю-
дателю». Напримѣръ, сказавши, что это журналъ без-
жизненный, чуждый рѣзкаго и постоянного мнѣнія,
онъ черезъ нѣсколько страницъ приходитъ въ во-
сторгъ отъ критикъ Шевырева; потомъ намекаетъ
о какихъ-то перлахъ русской поэзіи, будто бы на-
ходящихся въ «Наблюдателѣ», а ототъ намекъ до-
вольно ясно намекаетъ о знаменитыхъ друзьяхъ,
такъ по крайней мѣрѣ намъ показалось... Въ су-
жденіи о «Наблюдателѣ», къ слову о его редакторѣ,
высказана очень дѣльная мысль въ томъ смыслѣ,
что обнаруживаетъ вѣрный взглядъ на то, чѣмъ
долженъ быть журналъ: «Редакторъ всегда долженъ
быть виднымъ лицомъ. На немъ, на оригинальности
его слога, на общепонятности и занимательности
языка его, на постоянной свѣжей дѣятельности его
основывается весь кредитъ журнала». Вслѣдъ за-
тѣмъ очень вѣрно и очень остроумно замѣчено, что
«Наблюдатель» похожъ на тѣ ученые общества, гдѣ
члены ничего не дѣлаютъ и даже не бывають въ
присутствіи, между тѣмъ какъ президентъ является
каждый день, садится въ свои кресла и велитъ за-
писывать протоколъ своего уединеннаго застѣнанія.

Превосходно также характеризована «С. Пчела»:
она просто названа афишкой, въ которой помѣща-
ются объявленія о книгахъ вмѣстѣ съ критиками
на помадныя и табачныя лавочки, пишущіяся ка-
кими-то «ловкими и хорошо воспитанными людьми,
безъ сомнѣнія имѣвшими причины быть довольными
фабрикантами». Очень остроумно также замѣчено
о редакторствѣ Греча въ «Библиотекѣ для Чтенія»:
«имя Греча выставлено было только для формы, по
крайней мѣрѣ никакого содѣйствія не было замѣ-
чено съ его стороны. Гречъ давно уже сдѣлался по-

четнымъ и необходимымъ редакторомъ всякаго предприняемаго періодическаго изданія: такъ обыкновенно пожилого человѣка приглашаютъ въ посаженные отцы на всѣ свадьбы».

Насъ очень изумило въ этой статьѣ упоминаніе о литературныхъ сплетняхъ и клеветахъ, издаваемыхъ подъ именемъ «Литературныхъ Прибавленій къ «Инвалиду»: неужели почтенный издатель читалъ эти листки и нашелъ свободное время говорить о нихъ?... Впрочемъ, одумавшись, мы перестали удивляться: въ Москвѣ очень недавно одинъ журналъ съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ объявилъ, что онъ живетъ въ мирѣ съ «Литературными Прибавленіями къ «Инвалиду»—да продлитъ Богъ эту дружбу на безконечное время, для доказательства, что и въ наше время могутъ быть Оресты и Пилалы!...

Окончаніе статьи состоитъ въ упрекахъ нашимъ журналамъ, но большей частью очень основательныхъ, и справедливыхъ, въ томъ, что они не замѣчали истинно важныхъ явленій умственнаго міра, а занимались одними мелочами. Къ числу важныхъ явленій умственнаго міра отнесена смерть Вальтеръ-Скотта, одного изъ величайшихъ, міровыхъ гениевъ искусства, требовавшая оцѣнки его произведеній, о которыхъ однакъ же наши журналы не могли за нужное сказать что-нибудь. Потомъ новое направленіе европейскихъ литературъ, о которомъ, вопреки «Современнику», скажемъ, было очень много говорено нашими журналами. Къ замѣчательнымъ явленіямъ нашей литературы, незамѣченнымъ нашими журналами, отнесено особенно появленіе изданій русскихъ старинныхъ писателей, но, спрашиваемъ мы почтеннаго издателя «Современника», что бы онъ самъ сказалъ объ этихъ писателяхъ?—Мы подождемъ его мнѣнія о нихъ, а послѣ и сами выскажемъ свое, чтобы загладить передъ нимъ нашу вину въ преступномъ молчаніи на ихъ счетъ... Страннымъ показалось намъ мнѣніе, что Жуковский, Крыловъ и кн. Вяземскій будто бы потому не высказывали своихъ мнѣній, что считали для себя унизительнымъ спуститься въ журнальную сферу... Это что такое?... Кто жъ виноватъ въ томъ, что эти писатели такъ горды? Притомъ же, что они за критики?—Крыловъ, превосходный и даже гениальный баснописецъ, никогда не былъ и не будетъ никакимъ критикомъ; Жуковский написалъ, кажется, двѣ критическія статьи: «О сатирахъ Кантемира» и «О Баснѣ и Басняхъ Крылова», и при всемъ нашемъ уваженіи къ знаменитому поэту мы скажемъ, что именно эти-то двѣ его статьи и показываютъ, что онъ не рожденъ быть критикомъ. Что же касается до кн. Вяземскаго, то избавь насъ Боже отъ его критикъ такъ же, какъ и отъ его стиховъ...

Мы не согласны еще съ тѣмъ, что будто бы жалкое состояніе нашей журнальной литературы доказывается особенно тяжбымъ дѣломъ о мѣстоименіяхъ «сей» и «оный». Во-первыхъ, этой тяжбы никогда не было; редакторъ «Библиотеки» шутилъ при всякомъ случаѣ надъ этими подъяческими словами, но статей о нихъ не писалъ, а если и написалъ одну, то въ видѣ шутки, и помѣстил ее пе-

редъ отдѣленіемъ «Смѣси». Мы, напротивъ, осмѣливаемся думать, что жалкое состояніе нашей литературы и вообще нашей умственной дѣятельности гораздо болѣе доказывается защищеніемъ и употребленіемъ «сихъ» и «оныхъ», нежели нападками на «сіи» и «онныя»... Спрашиваемъ почтеннаго издателя «Современника», почему онъ, употребляя «сіи» и «онныя», не употребляетъ «сирѣчь, понеже, посліку, аще, сирѣ»?... Онъ, вѣрно, сказалъ бы, потому что эти слова вышли изъ употребленія, что они не употребляются въ разговорѣ!.. Но чѣмъ же счастливѣе ихъ «сіи» и «онныя», которыя тоже вышли изъ употребленія и не употребляются въ разговорѣ?.. Воля ваша, а право, въ нашей умственной дѣятельности, какъ и въ нашей общественной жизни, очень мало видно владычества здраваго смысла, даже въ мелочахъ; у насъ всякій самъ хочетъ давать законы, забывая, что если что-нибудь найдено или замѣчено справедливо другимъ, о томъ уже нечего говорить. Посмотрите на одно наше правописаніе или на наши правописанія, потому что у насъ ихъ почти столько же, сколько книгъ и журналовъ: мы еще изъясняемъ наше дѣтское уваженіе большими буквами и поэту, и поэзін, и литератору, и литературѣ, и журналу, и журналисту—все это у насъ, на Руси, состоитъ въ классѣ и потому требуетъ поклона.

Вообще эта статья содержитъ въ себѣ много справедливыхъ замѣчаній, высказанныхъ умно, остро, благородно и прямо, и потому подающихъ надежду, что «Современникъ» будетъ журналомъ съ мнѣніемъ, съ характеромъ и дѣятельностью. Мы не почитаемъ рѣзкости порокомъ, мы, напротивъ, почитаемъ ее за достоинство, только думаемъ, что кто рѣзко высказываетъ свои мнѣнія о чужихъ дѣйствіяхъ, тотъ обязывается этимъ и самого себя дѣйствовать лучше другихъ. Что же касается до статьи «Новыя книги», то она состоитъ больше въ общаніяхъ, нежели въ исполненіи и не представляетъ ничего рѣшительнаго и замѣчательнаго. Но подождемъ втораго нумера; онъ намъ дастъ средство высказать наше мнѣніе о «Современникѣ» яснѣе и опредѣленнѣе, а между тѣмъ останемся при желаніи, чтобы новый журналъ совершенно выполнялъ тѣ надежды и ожиданія, которыя подаетъ имя его издателя и рѣзкая опредѣленность его мнѣній о дѣятельности своихъ собратіи по ремеслу.

Отъ Бѣлинскаго.

«Подъячей сталъ судьбою Парнаса и утвердителемъ вкуса московской публики!—Конечно скорое представленіе свѣта будетъ. Но неужели Москва болѣе повѣритъ подъячему, нежели Вольтеру и мнѣ: и неужели вкусъ жителей московскихъ сходнѣе со вкусомъ сево подъячего?».

СУМАРОКОВЪ.

Недавно вступивъ на литературное поприще, еще не успѣвъ осмотрѣться на немъ, я съ удивленіемъ вижу, что рѣдкимъ изъ нашихъ литераторовъ уда-

валось съ такимъ успѣхомъ, какъ мнѣ, обращать на себя вниманіе, если не публики, то по крайней мѣрѣ своихъ собратіи по ремеслу. Въ самомъ дѣлѣ, въ такое короткое время нажить себѣ столько враговъ, и враговъ такихъ доброжелательныхъ, такихъ непамятозлобныхъ, которые въ простотѣ сердечной хлопочуть изъ всѣхъ силъ о вашей извѣстности— не есть ли это рѣдкое счастье?.. Я до такой степени удостоенъ судьбой этого счастья, что имѣлъ бы право почесть себя очень замѣчательнымъ человѣкомъ, если бѣ враги-пріатели мои были хоть сколько-нибудь замѣчательны: одно только это непріятное обстоятельство охлаждаетъ порывы моего самолюбія... А то, право, какая внимательность ко мнѣ, какое уваженіе! Въ «свѣтскихъ» журналахъ стрѣляютъ въ меня намеками, разборъ моихъ фразъ, выносками. Одинъ петербургскій журнальчикъ, находящійся въ короткихъ связяхъ съ «свѣтскими» журналами и въ то же время преданный душой и тѣломъ «Библіотекѣ для Чтенія», какъ увѣряетъ она сама, величаетъ меня по отчеству и по фамилии, впрочемъ искажая ихъ съ умыслу, чтобы показать свое остроуміе; угощаетъ винегретомъ не только изъ ругательствъ и клеветъ, за которыя я ему очень благодаренъ, но даже и похвалъ, которыя меня начинаютъ очень беспокоить; перепечатываетъ мои статьи, предварительно расхваливъ ихъ и разбранивши меня. Наконецъ, съ нѣкотораго времени мои великодушные непріатели начали приписывать мнѣ всѣ замѣчательныя статьи въ «Телескопѣ» за нынѣшній годъ, подъ которыми не значится моего имени. Такъ, въ упомянутомъ петербургскомъ журнальчикѣ, находящемся на содержаніи у «Библіотеки для Чтенія» и на послугахъ у «свѣтскихъ» журналовъ, приписана мнѣ повѣсть «Она будетъ счастлива»,—повѣсть, обнаруживающая въ неизвестномъ авторѣ неподдѣльный талантъ, живое чувство и умѣніе владѣть языкомъ; такъ, въ № 169 «С. Пчелы» мнѣ же приписана статья объ игрѣ гг. актеровъ здѣшняго театра въ «Ревизорѣ» Гоголя. Мнѣ было бы очень пріятно подписать свое имя подъ обими этими статьями, но долгъ справедливости повелѣваетъ мнѣ отклонить отъ себя незаслуженную честь. Впрочемъ это все бы еще ничего. По поводу послѣдней статьи, нѣкій титулярный совѣтникъ Иванъ Евдокимовъ сынъ Покровскій принесъ на меня издателямъ «Пчелы» длинную челобитную, начинающуюся и оканчивающуюся клятвеннымъ увѣреніемъ, что онъ не литераторъ, въ чемъ всякій ему охотно повѣритъ и безъ увѣреній. Я не хочу опровергать его нападокъ на самую статью, представляя это сдѣлать ей автору, хотя и согласенъ съ большей частью мнѣній, выраженныхъ въ этой статьѣ съ талантомъ, умѣніемъ и знаніемъ своего дѣла, скажу только нѣсколько словъ о принципахъ г. титулярнаго совѣтника, относящихся ко мнѣ лично.

Этотъ титулярный совѣтникъ Иванъ Евдокимовъ сынъ Покровскій, въ вышепереченной своей челобитной, обноситъ меня «престрогимъ» человѣкомъ, «которому яко бы нѣтъ никакой возможности уго-

дить». Противъ этого я не спорю; я въ самомъ дѣлѣ не люблю потачекъ, когда дѣло идетъ объ истинѣ, о благѣ искусства. Но вышепереченный титулярный совѣтникъ этимъ не довольствуется. Вслѣдъ за тѣмъ онъ доноситъ на меня, что я закричалъ когда-то о Каратыгинѣ: «не надо намъ актера аристократа!» и присовокупляетъ потомъ слѣдующія извѣстныя рѣчи, по которымъ легко можно видѣть, что г. титулярный совѣтникъ больше чѣмъ не литераторъ, что онъ не имѣетъ понятія не объ однихъ литературныхъ приличіяхъ: «а изъ всѣхъ де твореній Бѣлинскаго замѣтно, что, по его мнѣнію, тотъ, кто носитъ чистое бѣлье, моетъ лицо и отъ кого не пахнетъ ни чеснокомъ, ни водкой, аристократъ». Та! та! та! г. титулярный совѣтникъ! Такія рѣчи не дѣлаютъ чести вашему благородному обонянью, или по крайней мѣрѣ показываютъ рѣшительное невниманіе къ обонянью издателей и читателей «Сѣверной Пчелы». Знаете ли, что нынѣ ужъ и въ порядочныхъ рестораціяхъ не говорятъ вслухъ о «чеснокѣ» и «водкѣ»? Но претензія моя не въ томъ: эти рѣчи вовсе не резонны, и никакъ до меня не касаются. Что въ моихъ глазахъ опрятность, литературная и житейская, есть не порокъ, а достоинство, тому можетъ служить торжественнымъ доказательствомъ мое отвращеніе къ повѣстямъ и романамъ Ушакова и Загоскина, отъ героевъ и героинь которыхъ точно нерѣдко пахнетъ «чеснокомъ» и «водочкой» (да простятъ мнѣ читатели это уменьшительное повтореніе выраженій г. титулярнаго совѣтника). И нигдѣ такъ сильно не выражалось мое отвращеніе отъ этого литературнаго цинизма, столь несвойственнаго аристократіи, какъ въ моемъ отзывѣ о комедіи Загоскина «Недовольные», герои которой хотя и причислены своимъ авторомъ къ аристократамъ, т.-е. людямъ высшаго круга общества, но выражаются языкомъ тѣхъ особъ, которыя рѣдко «моютъ лицо», еще рѣже «мѣняють бѣлье», и отъ которыхъ... (охъ! опять было проговорился выраженіями г. титулярнаго совѣтника!). Итакъ, зачѣмъ же такая на меня ябеда?—Нѣтъ, я имѣю столь высокое понятіе объ аристократіи, что по одному употребленію этихъ словъ, которыми такъ щеголяетъ г. титулярный совѣтникъ, не сочту его аристократомъ, хотя бѣ даже онъ былъ и другой какой совѣтникъ, повыше!...

Впрочемъ, кто знаетъ настоящій рангъ почтеннаго нелитератора, скрывшагося подъ скромнымъ именемъ титулярнаго совѣтника?

Изъ словъ его видно, что онъ имѣетъ большой кругъ дѣятельности, силу немаловажную, по крайней мѣрѣ для гг. актеровъ... «Ну, разсудите сами,—продолжаетъ доносить на меня этотъ мнимый или истинный Иванъ Евдокимовъ сынъ Покровскій,—какъ же послѣ этого какой-нибудь порядочный артистъ, который дорожитъ своимъ мѣстомъ, можетъ угодить Бѣлинскому?»—Въ своемъ дѣлѣ никто не судья—вотъ мое правило; и потому я не почитаю себя въ правѣ доказывать, чтобы кто-нибудь могъ и долженъ былъ дорожить моимъ мнѣніемъ; но нельзя не остановиться здѣсь на выраженіи «артистъ, который

дорожить своимъ мѣстомъ». Аллахъ керимъ! что это значить? Почтенный титулярный совѣтникъ не дастъ ли этимъ знать, что актеръ, который подорожилъ бы моимъ мнѣніемъ или послѣдовалъ бы моему совѣту вслѣдствіе своей доброй воли и своего убѣжденія, долженъ «лишиться мѣста»?.. Странно!.. Этотъ г. титулярный совѣтникъ что-то очень грозенъ...

Изъ послѣдующихъ пунктовъ вышесказанной челобитной видно, что она писана не столько въ обличеніе статьи г. А. Б. В., помѣщенной въ «Молвъ», сколько съ намѣреніемъ сдѣлать извѣтъ на меня, и, вдобавокъ еще, не какъ на литератора, а какъ на человѣка. — «Онъ (т. е. я) что-то особенно гнѣзается на здѣшній театръ—вѣщаетъ г. титулярный совѣтникъ—можетъ быть за то, что въ немъ мѣста кажутся слишкомъ дороги». — Я не хочу здѣсь спрашивать г. титулярнаго совѣтника, какимъ образомъ могъ онъ заглянуть въ мои карманы, когда я для него ихъ не выворачивалъ; замѣчу только, что мѣста въ нашемъ театрѣ, сравнительно съ удовольствіемъ, которое онъ доставляетъ зрителямъ, точно немного дороговизны, и вѣрно не для одного меня; въ противномъ случаѣ отчего же онъ такъ рѣдко бываетъ полонъ и такъ часто пустъ?

Больше говорить нахожу не нужнымъ, сколько потому, что не о чемъ, столько и потому, что, говоря словами вышесказаннаго титулярнаго совѣтника, «я—человѣкъ смиренный и чистоплотный».

Одно только считаю долгомъ повторить здѣсь во всеуслышаніе, какъ для публики, такъ и для мнимаго или истиннаго титулярнаго совѣтника Ивана Евдокимова сына Покровскаго, что я, по отпуску этой статьи, остаюсь при томъ же мнѣніи, какъ былъ и до отпуска ея, то-есть что «Ревизоръ» Голяго превосходенъ, а «Недовольные» Загоскина... что дѣлать?... очень плохи...

Вторая книжка «Современника».

Радужно и искренно привѣтствовали мы первую книжку «Современника»; но это было сдѣлано нами не столько по убѣжденію, сколько по увлеченію. Вопреки закланіямъ одностороннихъ фактистовъ, мы всегда почитали сужденіе а priori не только возможнымъ, но даже болѣе вѣрнымъ и безошибочнымъ, чѣмъ сужденіе а posteriori, и наши заключенія, выведенныя изъ чистаго разума, всегда оправдывались и подтверждались опытомъ, по крайней мѣрѣ въ приложеніи ихъ къ явленіямъ нашей литературы. Скажите намъ имя автора книги или издателя журнала, скажите, какого рода должна быть эта книга или этотъ журналъ, и мы скажемъ вамъ, какова будетъ эта книга, каковъ будетъ этотъ журналъ, скажемъ безошибочно, до ихъ появленія на свѣтъ. Вслѣдствіе такого умозрительнаго взгляда на явленія литературнаго міра, для насъ было достаточно имени Пушкина, какъ издателя, чтобы предсказать, что «Современникъ» не будетъ имѣть никакого достоинства и не получитъ ни малѣйшаго успѣха. Мы этимъ ни мало не думаемъ оскорблять

нашего великаго поэта: кому не извѣстно, что можно писать превосходные стихи и въ то же время быть неудачнымъ журналистомъ? Всеобъемлемость таланта и его направленія есть исключеніе: гѣте въ этомъ случаѣ можетъ быть примѣръ единственный. Пусть намъ скажутъ, хоть въ шутку, что Пушкинъ написалъ превосходную поэму, трагедію, превосходный романъ, мы повѣримъ этому, по крайней мѣрѣ не почтемъ подобнаго извѣстія за невозможное и несбыточное; но Пушкинъ журналистъ—это другое дѣло. Повторяемъ: мы въ этомъ случаѣ никогда не ошибаемся; мы знаемъ цѣну всѣхъ романовъ, которые напишутъ Булгаринъ, Гречъ, Степановъ, Масальскій, Калашниковъ, — всѣхъ теорій словесности, которыя издадутся Пласинимъ и Глаголевымъ, всѣхъ... но всего не перечесть. Обращаемся къ «Современнику». Его планъ, выходъ книжекъ, выборъ статей—все это подало намъ мало надеждъ; но, повторяемъ, мы привѣтствовали его радужно и искренно, не столько по убѣжденію, сколько по увлеченію, причиной котораго была статья «О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 гг.». Рѣзкій и благородный тонъ этой статьи, смѣлые и безпристрастные отзывы о нашихъ журналахъ, вѣрный взглядъ на журнальное дѣло—все это подало было намъ надежду, что «Современникъ» будетъ ревностнымъ поборникомъ истины, искажаемой и попираемой ногами книжныхъ спекулянтовъ, что его голосъ неутомимо, громко и твердо будетъ раздаваться на журнальной аренѣ, превращенной въ рыночную площадь продажныхъ похвалъ и браней, что онъ сшибетъ не съ одной пустой головы незаслуженные лавры, что онъ ошпылетъ не съ одной литературной вороны накладными павлиньими перьями, что онъ сорветъ маску мнимой учености и мнимаго таланта не съ одного заѣзжаго фигляра, съ баронскимъ гербомъ и татарскимъ прозвищемъ, пускающаго въ глаза простодушной публикѣ пылъ поддѣльнаго патріотизма и лакейскаго остроумія. Тѣмъ пріятнѣе было намъ надѣяться всего этого отъ «Современника», что теперь, именно теперь, наша литература особенно нуждается въ такомъ журналѣ; и мы думали, что если бы самъ Пушкинъ и не принималъ въ своемъ журналѣ слишкомъ дѣятельнаго участія, предоставилъ его избраннымъ и надежнымъ сотрудникамъ, то одного его имени, столь знаменитаго, столь народнаго, такъ сладко отзывающагося въ душѣ русскихъ, одного имени Пушкина достаточно будетъ для пріобрѣтенія новому журналу огромнаго кредита со стороны публики; а кредитъ публики дѣло великое: съ нимъ много хорошаго можетъ сдѣлать талантъ, соединенный съ любовью къ истинѣ и ревностью къ благу общему.

И такъ, мы рѣшились ждать второй книжки «Современника», чтобы высказать положительнѣе наше о немъ мнѣніе. И вотъ мы наконецъ дождались этой второй книжки—и что жъ?—Да ничего!.. Ровно, ровнехонько ничего!.. Статья «О движеніи журнальной литературы» была хороша,

А моря не загляла!..

Этого мало: убить всё наши журналы, она убила и свой собственный. Въ «Современникѣ» участія Пушкина нѣтъ рѣшительно никакого. Теперь къ нему самому идти шутка, сказанная имъ же или его сотрудникомъ насчетъ Андреева: «Современникъ» самъ похожъ на тѣ ученые общества, гдѣ члены ничего не дѣлаютъ и даже не бываютъ въ присутствіи, между тѣмъ какъ президентъ является каждый день, садится въ свои кресла и велитъ записывать протоколъ своего уединеннаго засѣданія. Впрочемъ это все бы ничего: остается еще духъ и направленіе журнала. Но, увы! вторая книжка вполне обнаружила этотъ духъ, это направленіе: она показала явно, что «Современникъ» есть журналъ «свѣтскій», что это петербургскій «Наблюдатель». Въ одномъ петербургскомъ журналѣ было недавно сказано, что «Современникъ» есть вторая или третья попытка (такъ же неудачно, какъ и прежнія, прибавимъ мы отъ себя) какой-то аристократической партіи, которая силится основать для себя складочное мѣсто своихъ мнѣній. Мы не знаемъ и не хотимъ знать ни объ аристократическихъ, ни о какихъ другихъ партіяхъ; но намъ извѣстно, что въ нашей литературѣ есть точно какой-то свѣтскій кругъ литераторовъ, который не находить нигдѣ пріюта для событія своихъ мнѣній, которыхъ никому не нужно и даромъ, заводитъ журналы, чтобы толковать о себѣ и о «свѣтскости» въ литературѣ; и, по нашему счету, «Современникъ» есть уже пятая попытка въ этомъ родѣ. Мы уже нѣсколько разъ имѣли случай говорить, что въ литературѣ необходимы талантъ, гений, творчество, изысканіе, ученость, а не «свѣтскость», которая только дѣлаетъ литературу мелкой, ничтожной, безсильной и наконецъ совершенно ее губитъ; что литература есть средство для выраженія мысли и чувства, данныхъ намъ Богомъ, а не «свѣтскость», которая очень хороша въ гостиныхъ и дѣлахъ внѣшней жизни, но не въ литературѣ. Да, мы это повторяли, очень часто и очень смѣло, потому что въ этомъ случаѣ за насъ стоитъ здравый смыслъ и общее мнѣніе. Посмотрите, что такое жизнь всѣхъ нашихъ «свѣтскихъ» журналовъ? Бореніе жизни съ смертностью въ груди чахоточнаго. Что сказали намъ новаго объ искусствѣ, о наукѣ «свѣтскіе» журналы? Ровно ничего. Публика остается холодной и равнодушной къ этимъ жалкимъ анахронизмамъ, силащимся воскресить восемнадцатый вѣкъ; она презрительно улыбается, когда въ этихъ журналахъ съ какимъ-то вдохновеннымъ восторгомъ увѣряютъ, что «человѣкъ, въ сферѣ гостинной рожденный, въ гостиной у себя дома: садится ли онъ въ кресла—онъ садится, какъ въ свои кресла; заговорить ли—онъ не боится проговориться», что, напротивъ, «провинциаль-выскачка (?) не смѣетъ присѣсть иначе, какъ на кончикъ стула». Милостивые государи, умѣйте садиться въ кресла, будьте въ гостиной, какъ у себя дома, — все это прекрасно, все это дѣлаетъ вамъ большую честь; видя, съ какимъ искусствомъ садитесь вы въ кресла, съ какой свободой любезничаєте въ гостиной,

мы готовы рукоплескать вамъ: но какое отношеніе имѣетъ все это въ литературѣ? Ужели умѣете садиться въ кресла и свободно говорить въ гостиной есть патентъ на талантъ литературный или поэтический? Ужели человѣкъ, умѣющий непри-нужденно сѣсть въ кресла и свободно пересылать изъ пустого въ порожнее, больше, нежели человѣкъ, робко сядишійся на кончикъ стула, знаетъ объ искусствѣ, о наукѣ, глубже симпатизируетъ съ человѣчествомъ, тревожится мучится вѣковыми вопросами о жизни, о вѣчности, о мірѣ, о тайнѣ бытія, сильнее страдаетъ, усерднѣе молится, тверже вѣруетъ, несомнѣннѣе надѣется, пламеннѣе любить, благороднѣе и безкорыстнѣе дѣйствуетъ?.. Милостивые государи, къ чему эти безпрестанныя похвалы самимъ себѣ за знаніе «свѣтскости», къ чему эти безпрестанныя увѣренія, что вы люди «свѣтскіе»? Мы и такъ вѣримъ вамъ, склоняемся передъ вашей «свѣтской» мудростью; вамъ и книги въ руки; не думайте, чтобы между нами и вами было что-нибудь въ родѣ зависти, въ родѣ *jealousie de metier*... Но публикѣ нужны не гувернеры, которые кричали бы ей: «*tenez-vous droit*», а поэты, а ученые, а литераторы, а критики, которые бы знали ея съ высшими человѣческими потребностями и наслажденіями, руководствовали бы ее на пути просвѣщенія и эстетическаго, а не «свѣтскаго» образованія. Оглянитесь вокругъ себя повнимательнѣе: вы увидите, что и между вами, людьми «свѣтскими», людьми «высшаго общества», есть люди, которымъ душно базильная атмосфера, ненавистенъ мишурный блескъ гостиныхъ, которые бѣгутъ отъ нихъ, чтобы въ тиши уединенія предаться мирному занятію предметами человѣческой мысли и чувства; есть люди, которые скучны въ обществѣ, не любезны съ дамами, для которыхъ уже невозвратно кончился восемнадцатый вѣкъ, вмѣстѣ.

Со славой красныхъ каблучковъ
И величавыхъ париковъ!..

Не представляеть ли чего замѣчательнаго содержаніе второй книжки «Современника»?—Изъ трехъ стихотворныхъ пьесъ замѣчательны только двѣ: «Урожай» Кольцова, довольно растянутая въ цѣломъ, но мѣстами блестящая искорками поэзіи, да «Іоаннъ и Аристотель» барона Розена, отрывокъ изъ драмы, складомъ, ладомъ и прелестью стиховъ напоминающій «Дейдамію» Тредьяковского. Не угодно ли полюбоваться хоть нѣсколькими стихами?

У насъ цвѣтутъ науки и искусства;
Художниками славится нашъ край:
Италія—картинная палата,
Огромный пѣвчій хоръ, изысканный строй
Разнообразныхъ величійныхъ зданій,
И область стихотворства и любви.
Свою картину пишетъ живописецъ,
Пѣвецъ свой голосъ гнетъ и сыплетъ въ дробь,
Обожествляетъ женщинъ стихотворецъ, и т. д.

Такими-то ужасными виршами объясняется Аристотель съ Іоанномъ III, который отчасти ему еще ужаснѣйшими!—Теперь о прозѣ. Здѣсь замѣчательна статья: «Записки Н. А. Дуровой, изда-

ваемыя А. Пушкинымъ». Если это мистификація, то, признаемся, очень мастерская; если подлинныя записки, то занимательныя и увлекательныя до невѣроятности. Странно только, что въ 1812 году могли писать такимъ хорошимъ языкомъ, и кто же еще? женщина; впрочемъ можетъ быть онѣ поправлены авторомъ въ настоящее время. Какъ бы то ни было, мы очень желаемъ, чтобы эти интересныя записки продолжали печататься. Критическихъ и полемическихъ статей пять. Между ними очень дѣльный, хотя и очень сухой, разборъ книги «Статистическое описаніе Нахичеванской провинціи» Золотницкаго. Но разборы «Ревизора» Гоголя и «Наполеона», поэмы Эдгара Киве, подписанныя литерой В., должны совершенно уронить «Современникъ». Это разборы самыя «свѣтскіе», потому что, прочтя ихъ, вы готовы сказать рецензенту, хотя заочно: «Милостивый государь! все, что вы говорили, очень прекрасно; но позвольте васъ спросить, о чемъ вы говорили и что хотѣли сказать»? Таковъ характеръ всѣхъ «свѣтскихъ» сужденій объ изящномъ; въ нихъ вообще замѣтно отсутствіе логики. Впрочемъ одинъ «свѣтскій» журналъ недавно очень откровенно признался, что въ сужденіи логика только вредить, и что поэтому онъ не хочетъ и знать ее; такъ чего жъ вы хотите? Вообще въ этихъ статьяхъ обнаруживается самая глубокая симпатія къ московскому «свѣтскому» журналу и безпредѣльное уваженіе къ его критикѣ, что впрочемъ и не удивительно: свой своему поневоля брать. Странно только, что при этомъ случаѣ на «Телескопъ» изведена небылица; сказано, будто бы какіе-то издатели «Телескопа» восклицали: «Избави насъ, Боже, отъ критикъ «Наблюдателя»! На это, во-первыхъ, замѣтимъ, что есть издатели, напримѣръ «Сына Отечества» и «С. Пчелы», имена которыхъ и выставляются на оберткѣ этихъ журналовъ; но у «Телескопа» былъ и есть только одинъ издатель, имя котораго должно быть извѣстно В. Во-вторыхъ, скажемъ, что не въ «Телескопѣ», а въ «Молвѣ», были точно сказаны эти слова, но не о критикахъ «Наблюдателя», а о критикахъ князя Вяземскаго. Правду сказать, это почти одно и то же; но «Телескопъ» отмахивался отъ нихъ за публику, а совѣмъ не за себя, потому что мы, участвующіе мыслію и сердцемъ въ «Телескопѣ», съ своей стороны, напротивъ, «любимъ иногда почитать что-нибудь забавное».

Забавнѣе всего, что «свѣтскій» критикъ «Современника», соблазнившись мыслію Скриба, что въ литературѣ всегда отражается прошедшее, а не настоящее состояніе общества, такъ восхитился ею, что уцѣпился за нее обѣими руками, теревить ее такъ и сякъ и предлагаетъ кстати и некстати въ русской литературѣ. Если повѣрить ему, то у насъ потому только преслѣдуютъ сатирой взяточничество, отъ Сумарокова до Гоголя, что это взяточничество было когда-то давно, только не теперь; что Ломоносовъ и Державинъ, и вслѣдъ за ними тысячи другихъ лавриковъ потому только безпрестанно воспеивали побѣды, что ихъ время было мирное, чуждое войнъ и побѣд... Словомъ, смѣхъ и горе... Вибліо-

графія покуда отдѣляется одними звѣздочками, между тѣмъ какъ осталось только двѣ книжки «Современника».

И это «Современникъ»? Что жъ тутъ современнаго? Неужели стихи барона Розена и похвалы «свѣтскимъ» людямъ за то, что они умѣютъ хорошо садиться въ кресла и говорить въ обществѣ свободно?.. И на такомъ-то журналѣ красуется имя Пушкина!..

Иванъ Яковлевичъ Кронебергъ.

(Некрологъ).

Последнее время было очень неблагопріятно для нашей литературы: смерть лишила ее, одного за другимъ, самыхъ примѣчательныхъ ея дѣятелей, и все это въ продолженіе двухъ послѣднихъ лѣтъ. Пушкинъ, Дмитріевъ, Марлинскій, Полежаевъ—сколько потерь, и какія потери!.. Недавно выбылъ изъ пустыющихъ рядовъ нашей литературы и еще одинъ изъ умственныхъ дѣятелей. Мы говоримъ объ Иванѣ Яковлевичѣ Кронебергѣ. Любя знаніе, какъ цѣль, а не средство, онъ не слѣдилъ за вѣтренными прихотями толпы, не толкался на рынкѣ литературныхъ предпріятій; но въ свободное отъ своихъ гражданскихъ обязанностей время удивлялся въ тиши своего кабинета, читалъ, перечитывалъ и изучалъ своего любимѣйшаго поэта—Шекспира, писалъ разборы и замѣчанія на его драмы; изслѣдовалъ разные эстетическіе вопросы, преслѣдовалъ судьбы искусства у древнихъ и новыхъ народовъ. Наука древностей въ особенности была предметомъ его занятій и много матеріаловъ изготовилъ онъ для огромнаго сочиненія по этой части. Эта мирная и чуждая претензій дѣятельность не могла доставить ему той блестящей и часто мишурной извѣстности, за которой такъ гоняется толпа; сверхъ того нѣсколько тяжеловатый, мало литературный слогъ, обличающій иностранца, былъ также причиной, почему труды покойнаго Кронеберга пользовались не такой извѣстностью, какой они заслуживали. Но люди, которые понимаютъ достоинство мысли и ищутъ не фразъ, а истинъ,—знали, знаютъ и всегда будутъ знать Кронеберга. Глубокая мысль, оригинальность и мужественная самобытность взгляда—плодъ глубокой души, богатой опытами жизни, и огромной классической учености: вотъ чѣмъ ознаменованы всѣ труды Кронеберга. Юношество, стремящееся къ мысли и знанію, въ брошюркахъ и разныхъ статьяхъ Кронеберга всегда найдетъ для себя о чемъ подумать, чему поучиться.

Иванъ Яковлевичъ Кронебергъ родился въ Москвѣ 19 февраля 1788 года. Въ 1800 году онъ былъ отправленъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ въ Германію, въ педагогическое заведеніе въ Галле, гдѣ и пробылъ до 1805 года, занимаясь подъ руководствомъ профессора Нимейера. Перешедши изъ Галле въ Іенскій университетъ, онъ началъ было изучать юриспруденцію, но, «утомившись сухостью этого предмета, взялся за философію и литературу. «Вѣдая жизнь уединенную, я чувствовалъ какое-то

неизъяснимое блаженство. Приятный климатъ и живописныя окрестности, независимость и свобода, любимыя занятія и познаніе нужды, юность и поэзія—вотъ элементы этого блаженства*). Изъ Іены онъ сдѣлалъ два путешествія: одно въ Берлинъ, другое въ Брауншвейгъ. Въ 1806 году французская кампанія прервала нить его занятій. Въ это время онъ служилъ сисегопе маршалу Дюроку. Въ 1807 году получилъ онъ степень доктора философіи и вслѣдъ затѣмъ былъ сдѣланъ членомъ Іенскаго великогерцогскаго латинскаго общества. Черезъ недѣлю послѣ этого онъ отправился въ Россію. Въ 1814 году получалъ онъ дипломъ на члена Іенскаго великогерцогскаго литературнаго общества и въ томъ же году былъ назначенъ директоромъ Коммерческаго училища въ Москвѣ; здѣсь пробылъ до 1818 года. Въ 1819 поступилъ адъюнктомъ въ Харьковскій университетъ и въ томъ же году былъ сдѣланъ экстраординарнымъ профессоромъ. Въ 1821 году—членомъ строительнаго комитета; въ 1822—визитаторомъ для осмотра училищъ въ Курской, Орловской и Воронежской губерніяхъ. Въ 1826 году былъ сдѣланъ ректоромъ Харьковскаго университета и три раза былъ избираемъ въ эту должность. Въ званіи профессора Харьковскаго университета пробылъ онъ около 20 лѣтъ, и его лекціи, полныя мысли и жизни, сильно дѣйствовали на умы его молодыхъ слушателей и много способствовали къ улучшенію состоянія Харьковскаго университета. Кронебергъ скончался скоропостижно 19 октября прошедшаго 1838 года, въ 8 часовъ вечера, на 53 году своей жизни.

Много ученыхъ трудовъ совершилъ Кронебергъ, много услугъ оказалъ онъ нашей ученой литературѣ; время покажетъ, чего мы лишились въ этомъ человѣкѣ. Но какая потеря для тѣхъ, которые были къ нему близки, которые знали его какъ человѣка!.. Душа юноши цвѣла въ этомъ пятидесятилѣтнемъ мужѣ; интересы духовной жизни не оставляли его ни на минуту. Любознательный, живой, всему доступный, съ удовольствіемъ, съ участіемъ и радушіемъ обращалъ онъ свое вниманіе на все, въ чемъ замѣчалъ жизнь, стремленіе. Какъ всѣ юныя, благодатныя души, онъ и въ преклонныхъ лѣтахъ любилъ юность, охотно бесѣдовалъ съ ней, входилъ въ ея интересы и забывалъ неравенство лѣтъ... Миръ праху твоему, мужъ незабвенный!..

Вотъ перечень всѣхъ ученыхъ и литературныхъ трудовъ Кронеберга, изданныхъ при его жизни:

I. Латинско-Россійскій Лексиконъ, съ полнымъ объясненіемъ всѣхъ свойствъ и значеній каждаго латинскаго слова, и съ показаніемъ собственныхъ именъ, до древней географіи и мифологіи относящихся. 2 части. Три изданія.

II. Латинская грамматика, издана Императорскимъ Харьковскимъ университетомъ. 1825.

III. M. Tullii Ciceronis oratio pro lege Manilia in usum scholarum commentario perpetuo illustravit,

*) Эти слова выписаны изъ дневника покойнаго, сыновья его, А. И. Кронеберга, отъ котораго мы и получили всѣ эти подробности о жизни его отца

adjectis prooemio historico, narratione de Magni Pompei rebus in Asia gestis, et indice verborum J. C.—C. Chark. 1834.

IV. Censura ingenii et morum A. Persii Flacci.

V. Antiquitates Romanae in usum praelectionum suarum adumbravit J. C. Chark. 1823.

VI. Horatii Flacci epistola ad Augustum. Commentario perpetuo illustravit. J. C. 1823. Cum vita Horatii.

VII. Caji Crispi Sallustii de Catilinae conjuratione liber. Commentario perpetuo illustravit J. C. C. Chark. 1830. Cum. additamentis: De Senatu Romano. De coloniis. De Capitolio. De Comitibus populi Romani. De Sestertio. De Massilia. De tribunicia potestate. Bellum Maritimum. Bellum Mithridaticum. De ordinibus populi Romani. De patria potestate. De patrocínio. De libris Sibyllinis. De referendi ratione in senatu. De Pontificatu. Bella Macedonica. De Tuscis et Tyrrhenis. De Consulibus. De Praetoribus. Fasti Romanorum.

VIII. Амалтея, или собраніе сочиненій и переводовъ, относящихся къ изящнымъ искусствамъ и древней классической словесности. Харьковъ. 1825—6. 2 части.

Часть I: Завоеванія римлянъ. Обзоръ земель, принадлежавшихъ римской державѣ. Афоризмы. Обзоръ изящныхъ произведеній римлянъ. Илиада. Clavicula Latina.

Часть II: Взглядъ на древнюю Грецію. Древняя Греція. Илиада. Clavicula Latina.

IX. Брошюрки, издаваемыя И. Кронебергомъ. Харьковъ. 1830—1833. № 1. Историческій взглядъ на эстетику.—№ 2. Орывки.—№ 3. Записки Неаполитанскій. Сирія.—№ 4. Макбетъ.—№ 5. О переселеніи твореній искусства изъ завоеванныхъ земель въ Римъ.—№ 6. Матеріалы для исторіи эстетики.—№ 7. Орывки и афоризмы.—№ 8. Маргиналіи и выписки: Voyage de Houghton en Afrique. Горнемана путевыя записки отъ Канра до Мурзуха. Мильмена энциклопедическій магазинъ. Кузена введеніе въ исторію философіи. Фикеръ. Беттигеръ. Гееренъ.—№ 9. Поэзія. Шесть одъ Горация. Вертеръ. Апокалипсисъ cum figuris.—№ 10. Философія Нолянская о причинѣ, о началѣ и одномъ.

X. Минерва. Четыре части. Харьковъ. 1835. Часть I. Обзоръ изящныхъ произведеній пластическаго искусства у грековъ и о причинахъ онаго. О переселеніи твореній искусства изъ завоеванныхъ земель въ Римъ. Историческій взглядъ на эстетику. Афоризмы.

Часть II. Рыцарская поэзія германцевъ. Гёте. «Фаустъ», «Тассо», «Эрмонъ», «Вертеръ», Бюргеръ. Дюреръ. Шекспиръ. Исторія пьесы «Сонъ въ лѣтнюю ночь». Шесть одъ Горация.—Часть III. «Илиада». Маргиналіи и выписки: Фикера изученіе древнихъ классиковъ; Беттигера археологія; Геерена идеи о политикѣ, бытѣ и торговлѣ древнихъ. Земли древней Азіи. Взглядъ на древнюю Грецію. Записки Неаполитанскій.—Часть IV. О латинскомъ языкѣ относительно литературы латинской. Краткое обзоръ исторіи древнихъ рукописей съ IV по XV столѣтіе. Историческій взглядъ на литературу въ среднихъ вѣкахъ. 400—1500.

XI. Статьи, напечатанныя въ разныхъ журналахъ: 1. Древняя географія. 2. Обзоръ изученія словесности. 3. Древній Карфагенъ. 4. О сообщеніи путей у древнихъ римлянъ.—Въ «Ученыхъ запискахъ Московскаго университета» помѣщено нѣсколько главъ изъ послѣдняго труда его «Основанія науки древностей». —Въ «Московскомъ Наблюдателѣ» за 1838 годъ помѣщены: 1. Письма (№№ 5 и 9). 2. Характеристика древнихъ грековъ и римлянъ (№ 10). 3. Маргиналіи и выписки: Астъ, Гейротъ; Риттеръ (№ 11).

Въ 13 № «Наблюдателя» за 1838 годъ будетъ помѣщена его антикритика на разборъ Бѣлинскаго «Гамлета», переведенная Полевымъ.

Кромѣ того послѣ покойнаго осталась бездна бумага, изъ которыхъ большая часть относится къ послѣднему и главному труду „Основанія науки древностей“.

Журнальная замѣтка.

Коробкинъ (продолжая читать). „Какой-то судья Лякинъ-Тяпкинъ, ужасный моветонъ“... (останавливается). Должно быть французское слово.

А мось Федоровичъ. А чортъ его знаетъ, что оно значить. Еще хорошо, если только мошенникъ, а можетъ быть и того еще хуже.

Ревизоръ, комедия Гоголя.

Въ нашей литературѣ, именно журнальной и особенно петербургской, такъ много удивительнаго для насъ, москвичей, что мы уже потеряли способность удивляться. Напримѣръ, тамъ есть престранный обычай: разбирать московскій журналъ или московскаго литератора, да и заключать желаніемъ, чтобы московская журналистика и московскіе литераторы оставили дурную привычку браниться... Это очень мило—не правда ли?

Въ 140 № «С. Пчелы» напечатана шумливая выходка противъ «Наблюдателя». Она подписана буквами О. В., этими буквами, которыя такъ неожиданно слѣзли съ «Сына Отечества» вмѣстѣ съ «Сѣвернымъ Архивомъ». Поэтому имя Фаддея Венедиктовича, знаменитаго автора «Выжигивныхъ», насъ очень удивило, снова появившись въ «С. Пчелѣ». Но ничему не должно удивляться—

Чудесь на сей землѣ разсѣяно безъ счету,
Да не вездѣ ихъ всякій примѣчалъ...

Главная нападка устремлена на «Наблюдателя» за употребленіе новыхъ и непонятныхъ для Булгарина словъ, каковы: конечность, призрачность, дѣйствительность, просвѣтлѣніе, субъективность, объективность. Булгаринъ сперва замѣтилъ мимоходомъ, и очень остроумно, что при «Наблюдателѣ» апрѣльскія моды приложены къ мартовской книжкѣ, а мартовская книжка вышла въ маѣ; но такъ какъ обвиненіе и острооты по этому поводу стали ужъ слишкомъ однообразны и стары, то мы и не возражаемъ на нихъ, отдавая впрочемъ полную справедливость остроумію автора такого множества юмористическихъ статей и сатирическихъ романовъ. Итакъ, Булгаринъ не понимаетъ словъ: прекраснодушіе, субъективность, объективность, конечность, призрачность, просвѣтлѣніе, дѣйствительность, и пр. Что онъ ихъ не понимаетъ—въ этомъ мы ему охотно вѣримъ: но чѣмъ же мы виноваты, что онъ не понимаетъ? Есть люди, которые находятъ для себя непонятными даже «Московскія Вѣдомости», самый доступный журналъ, а тѣ, которые никогда не учились читать, не понимаютъ ничего писанаго и печатнаго, но они вѣроятно винятъ въ этомъ не писаное и печатное, а самихъ себя; если же они поступаютъ наоборотъ, то кладутъ на себя желтый шаръ въ лузу, говоря билиарднымъ выраженіемъ одного извѣстнаго литератора. Булгаринъ не понимаетъ, что такое внутреннее распадѣніе и внутрен-

няя разорванность, и мы нисколько не удивляемся, что онъ не понимаетъ этого. Слово есть выраженіе, выговариваніе чего-нибудь существующаго, какъ явленіе, и чтобы выговорить или назвать явленіе, надо имѣть это явленіе въ созерцаніи, чувственномъ или внутреннемъ, духовномъ. У кого есть во збу два здоровые глаза, тотъ легко можетъ созерцать явленія, подлежащія чувственному созерцанію; чтобы созерцать явленія духа, для этого надо имѣть духъ, богатый явленіями. Мы не разъ уже повторяли, что сознавать можно только существующее, и что существующее для одного есть часто призракъ для другого. Отчего поэтовъ любить и не поэты, отчего одного поэта любить цѣлый народъ, а иногда и цѣлое человѣчество? Оттого, что въ духѣ такого поэта происходятъ всѣ явленія, которыя порознь происходятъ въ каждомъ изъ членовъ народа и человѣчества. Жизнь духа есть безконечная лѣстница, и каждый человѣкъ стоитъ на извѣстной ступенькѣ этой великой лѣстницы. Распадѣніе и разорванность есть моментъ духа человѣческаго, но отнюдь не каждого человѣка. Такъ точно и просвѣтлѣніе: оно есть удѣлъ очень немногихъ и даже въ самыхъ этихъ немногихъ является въ безконечно различныхъ степеняхъ. Царство духа подлежитъ тѣмъ же законамъ, какъ царство природы: и въ немъ есть и растенія, и полины, и инфузоріи, и наконецъ минералы. Чтобы понять значеніе словъ: распадѣніе, разорванность, просвѣтлѣніе, надо или пройти чрезъ эти моменты духа, или имѣть въ созерцаніи ихъ возможность. Кто же не проходитъ чрезъ нихъ и не имѣетъ въ созерцаніи ихъ возможности, тому нѣтъ никакой возможности растолковать ихъ.

Что такое конечный разсудокъ? спрашиваетъ Булгаринъ, сказавши сперва, что онъ понимаетъ нѣмецкую философію и глубоко уважаетъ ее. Что такое конечный разсудокъ? спрашиваетъ онъ—и рѣшаетъ этотъ вопросъ новымъ вопросомъ: «Не тотъ ли, что комаръ вынесъ на кончикъ своего носа, какъ говорится въ солдатскихъ поговоркахъ?» Вы угадали, Фаддей Венедиктовичъ,—именно тотъ самый. Всѣмъ извѣстно, что наши храбрые солдаты тоже понимаютъ нѣмецкую философію и глубоко уважаютъ ее.

Булгаринъ очень вѣжливо, совершенно европейски называетъ насъ шарлатанами, которые коверкаютъ чужія мысли, чтобы прослыть учеными *). На это мы ничего не возражаемъ: это не нашъ языкъ. Если бы Булгаринъ настоятельно потребовалъ отъ насъ объясненія на этотъ счетъ, то мы выставили бы за себя на диспутъ съ нимъ такихъ людей, которые не принадлежатъ къ литературному міру точно такъ же, какъ слова Булгарина не принадлежатъ къ литературному языку.

«Домашніе наши новомыслители, которыхъ дѣятельность начинается съ покойной «Мнемозины» и

*) Въ другомъ мѣстѣ своей статьи Булгаринъ, выписавъ изъ «Наблюдателя» фразу, говорить: «Ей богу, это субъективная и объективная галиматія; отрицательный абсолютъ = 0». Не правда ли, что это образецъ журнальной и литературной вѣжливости?

продолжается сквозь ряд покойных журналовъ въ нынѣшнемъ «Московскомъ Наблюдателѣ», безпрестанно придумываютъ новыя слова и выраженія, чтобъ выразить то, чего они сами не понимаютъ. Сперва они выѣзжали на чужеземныхъ выраженіяхъ: абсолютъ, субъективъ (?) и объективъ, и пр. Теперь они прибавили къ чужеземнымъ множество русскихъ словъ, давъ простому ихъ значенію таинственный смыслъ. Любимыя ихъ слова теперь: конечность, призрачность, просвѣтлѣніе, дѣйствительность; но настоящій фаворитъ — призрачность». Такъ говоритъ Булгаринъ. Что все это остроумно и вѣжливо — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія: Булгаринъ давно уже приобрѣлъ себѣ громкую извѣстность остроуміемъ и вѣжливостью своихъ журнальных статей; это было замѣчено еще Косичкинымъ по поводу одного петербургскаго литератора, у котораго мизинецъ заключалъ въ себѣ больше ума, нежели головы всѣхъ московскихъ литераторовъ. Что же касается до того, что Булгаринъ называетъ нашъ журналъ продолженіемъ «Мнемозины», то мы принимаемъ это обвиненіе за комплиментъ и чувствительно благодаримъ за него, если только Булгаринъ смотритъ на «Мнемозину» какъ на такой журналъ, предметомъ котораго было искусство и знаніе. Что касается до субъективна и объективна, то на этотъ разъ Булгаринъ самъ увлекся страстью нововведенія и выдумалъ два такихъ слова, которыхъ въ русской литературѣ никогда не было. Чтобы не повторять одного и того же, скажемъ однажды навсегда, что употребленіе новыхъ словъ безъ расчетливой осторожности точно можетъ повредить ихъ успѣху, и мы рѣшились употреблять ихъ не иначе, какъ съ объясненіемъ, и — пока они не утвердились — какъ можно меньше. Но бѣда не велика, если вначалѣ было поступлено не такъ: всѣ ложныя, т. е. ненужныя, слова уничтожатся сами собой, а удачно составленныя и придуманныя удержатся, несмотря на все остроуміе ожесточенныхъ гонителей всего новаго, оригинальнаго, всего выходящаго изъ рутины посредственности, всего носящаго на себѣ характеръ самобытности и силы.

Когда М. Г. Павловъ, начавшій свое литературное поприще въ «Мнемозинѣ» и первый заговорившій въ ней о мысли и логикѣ, — предметахъ, о которыхъ до «Мнемозины» русскіе журналы не говорили ни слова, — когда М. Г. Павловъ началъ употреблять слово «проявленіе», то это слово сдѣлалось предметомъ общихъ насмѣшекъ, такъ что антагонисты почтеннаго профессора называли его въ насмѣшку «господиномъ, который употребляетъ слово проявленіе», а теперь всѣмъ кажется, что будто это слово всегда существовало въ русскомъ языкѣ.

Булгаринъ сердится на насъ за то, что мы Пушкина называемъ великимъ поэтомъ: что дѣлать? — это наше мнѣніе, которое мы имѣемъ полное право выговаривать, и еще тѣмъ смѣлѣе, что оно утверждено цѣлымъ народомъ. Еще разъ просимъ извиненія у Булгарина въ нашей слабости любить и дорожить дарованіями, дѣлающими честь нашему отечеству. Пушкинъ — великій поэтъ, и поэтъ рус-

скій, русскій и по душѣ, и по крови. Мы впрочемъ понимаемъ, какъ трудно сойтись намъ съ Булгаринымъ во мнѣніи о Пушкинѣ, который безъ сомнѣнія, и по очень понятной причинѣ, имѣетъ для насъ несравненно высшее значеніе, нежели Мицкевичъ.

Булгаринъ сердится на насъ еще за то, что мы первымъ русскимъ прозаикомъ почитаемъ Гоголя; этого мало: мы почитаемъ его еще и великимъ поэтомъ. Конечно это не можетъ быть пріятно Булгарину; но это не одному ему непріятно: за это на насъ многіе негодуютъ. Посредственность — вездѣ посредственность!

Въ нашемъ журналѣ про Пушкина было сказано, что въ «Сказкѣ о Рыбакѣ и Рыбкѣ» онъ возвысился до совершенной объективности, а Булгаринъ говоритъ, будто мы сказали, что онъ возвысился тутъ до совершенной субъективности. Мы слишкомъ далеки отъ мысли, чтобы Булгаринъ съ умысломъ замѣнилъ слово объективность словомъ субъективность. Нѣтъ! тысячу разъ нѣтъ! Онъ сдѣлалъ это совершенно добросовѣстно: въ отношеніи къ этимъ словамъ онъ поступаетъ точно такъ же, какъ нашъ добрый простой народъ въ отношеніи къ европейцамъ: будь итальянецъ, будь англичанинъ, будь испанецъ, а у него все нѣмецъ! Увѣряемъ Булгарина, что мы нисколько не сердимся на него за это: добродушное незнаніе достолюбезно, но ничуть не обидно. Но вотъ противъ чего мы не можемъ не возразить: Булгарину показалось, будто мы подъ субъективностью разумѣемъ грубость, нехудожественную естественность или попросту мужиковатость, и что будто бы, по нашему мнѣнію, этими достоинствами отличается «Сказка о Рыбакѣ и Рыбкѣ» Пушкина. И это Булгаринъ вывелъ изъ того, что мы игру Ленскаго въ роли Хлестакова находимъ субъективной, и потому отличающейся не художественной естественностью и грубостью. Чтобы вывести Булгарина изъ заблужденія, поспѣшимъ растолковать ему, что значить субъективность. Субъектъ есть мыслящее существо (человѣкъ); объектъ — мыслимый предметъ. Чтобы мышленіе было вѣрно, надобно, чтобы понятіе субъекта объ объектѣ было тождественно съ объектомъ. Истинному познанию предметовъ намъ часто мѣшаетъ наша субъективность, вслѣдствіе которой мы, вмѣсто того чтобы опредѣлить то значеніе, которое именно выражаетъ предметъ нашего сужденія, придаемъ ему наше значеніе и тѣмъ изъ предмета дѣлаемъ призракъ, т. е. совсѣмъ не то, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, а то, чѣмъ онъ намъ кажется. Сквозь зеленныя очки всѣ предметы кажутся зелеными. У души человѣка есть свои очки, которыя снимаютъ съ нея знаніе и разумный опытъ жизни. Объяснимъ это примѣромъ. Христіанскіе народы отличаются терпимостью всѣхъ религій. Магометане ненавидятъ и преслѣдуютъ все, что не магометанство. Въ первомъ случаѣ видно умѣніе перенестись въ чуждую сферу и понять чуждое себѣ явленіе — это объективность; во второмъ случаѣ видна чистая субъективность. Но вотъ примѣръ еще ближе къ дѣлу. Шиллеръ

Кромѣ того послѣ покойнаго осталась бездна бумага, изъ которыхъ большая часть относится къ послѣднему и главному труду „Основанія науки древностей“.

Журнальная замѣтка.

Коровкинъ (продолжая читать). „Какой-то судья Лякинъ-Тякинъ, ужасный моветовъ“... (останавливается). Должно быть французское слово.

А мось Федоровичъ. А чортъ его знаетъ, что оно значить. Еще хорошо, если только мошенникъ, а можетъ быть и того еще хуже.

Ревизоръ, комедія Гоголя.

Въ нашей литературѣ, именно журнальной и особенно петербургской, такъ много удивительнаго для насъ, москвичей, что мы уже потеряли способность удивляться. Напримѣръ, тамъ есть престранный обычай: разбранить московскій журналъ или московскаго литератора, да и заключать желаніемъ, чтобы московская журналистика и московскіе литераторы оставили дурную привычку браниться... Это очень мило—не правда ли?

Въ 140 № «С. Пчелы» напечатана шумливая выходка противъ «Наблюдателя». Она подписана буквами О. Б., этими буквами, которыя такъ неожиданно слѣзли съ «Сына Отечества» вмѣстѣ съ «Сѣвернымъ Архивомъ». Поэтому имя Фаддея Венедиктовича, знаменитаго автора «Выжигиныхъ», насъ очень удивило, снова появившись въ «С. Пчелѣ». Но ничему не должно удивляться—

Чудесь на сей землѣ разсѣяно безъ счету,
Да не вездѣ ихъ всякій примѣчалъ...

Главная нападка устремлена на «Наблюдателя» за употребленіе новыхъ и непонятныхъ для Булгарина словъ, каковы: конечность, призрачность, дѣйствительность, просвѣтлѣніе, субъективность, объективность. Булгаринъ сперва замѣтилъ мимоходомъ, и очень остроумно, что при «Наблюдателѣ» апрѣльскія моды приложены къ мартовской книжкѣ, а мартовская книжка вышла въ маѣ; но такъ какъ обвиненіе и остроты по этому поводу стали ужъ слишкомъ однообразны и стары, то мы и не возражаемъ на нихъ, отдавая впрочемъ полную справедливость остроумію автора такого множества юмористическихъ статей и сатирическихъ романовъ. Итакъ, Булгаринъ не понимаетъ словъ: прекраснодушіе, субъективность, объективность, конечность, призрачность, просвѣтлѣніе, дѣйствительность, и пр. Что онъ ихъ не понимаетъ—въ этомъ мы ему охотно вѣримъ: но чѣмъ же мы виноваты, что онъ не понимаетъ? Есть люди, которые находятъ для себя непонятными даже «Московскія Вѣдомости», самый доступный журналъ, а тѣ, которые никогда не учились читать, не понимаютъ ничего писанаго и печатнаго, но они вѣроятно винятъ въ этомъ не писаное и печатное, а самихъ себя; если же они поступаютъ наоборотъ, то кладутъ на себя желтый шаръ въ лузу, говоря биліарднымъ выраженіемъ одного извѣстнаго литератора. Булгаринъ не понимаетъ, что такое внутреннее распадѣніе и внутрен-

няя разорванность, и мы нисколько не удивимся, что онъ не понимаетъ этого. Слово есть выраженіе, выговариваніе чего-нибудь существующаго, какъ явленіе, и чтобы выговорить или назвать явленіе, надо имѣть это явленіе въ созерцаніи, чувственномъ или внутреннемъ, духовномъ. У кого есть во абзу два здоровые глаза, тотъ легко можетъ созерцать явленія, подлежащія чувственному созерцанію; чтобы созерцать явленія духа, для этого надо имѣть духъ, богатый явленіями. Мы не разъ уже повторяли, что сознавать можно только существующее, и что существующее для одного есть часто призракъ для другого. Отчего поэтовъ любить и не поэты, отчего одного поэта любить цѣлый народъ, а иногда и цѣлое человѣчество? Оттого, что въ духѣ такого поэта происходятъ всѣ явленія, которыя порознь происходятъ въ каждомъ изъ членовъ народа и человѣчества. Жизнь духа есть безконечная лѣстница, и каждый человѣкъ стоитъ на извѣстной ступенькѣ этой великой лѣстницы. Распадѣніе и разорванность есть моментъ духа человѣческаго, но отнюдь не каждого человѣка. Такъ точно и просвѣтлѣніе: оно есть удѣлъ очень немногихъ и даже въ самыхъ этихъ немногихъ является въ безконечно различныхъ степеняхъ. Царство духа подлежитъ тѣмъ же законамъ, какъ царство природы: и въ немъ есть и растенія, и полипы, и инфузоріи, и наконецъ минералы. Чтобы понять значеніе словъ: распадѣніе, разорванность, просвѣтлѣніе, надо или пройти чрезъ эти моменты духа, или имѣть въ созерцаніи ихъ возможность. Кто же не проходилъ чрезъ нихъ и не имѣетъ въ созерцаніи ихъ возможности, тому нѣтъ никакой возможности растолковать ихъ.

Что такое конечный разсудокъ? спрашиваетъ Булгаринъ, сказавши сперва, что онъ понимаетъ нѣмецкую философію и глубоко уважаетъ ее. Что такое конечный разсудокъ? спрашиваетъ онъ—и рѣшаетъ этотъ вопросъ новымъ вопросомъ: «Не тотъ ли, что комаръ вынесъ на кончикѣ своего носа, какъ говорится въ солдатскихъ поговоркахъ?» Вы угадали, Фаддей Венедиктовичъ,—именно тотъ самый. Всѣмъ извѣстно, что наши храбрые солдаты тоже понимаютъ нѣмецкую философію и глубоко уважаютъ ее.

Булгаринъ очень вѣжливо, совершенно европейски называетъ насъ шарлатанами, которые коверкаютъ чужія мысли, чтобы прослыть учеными *). На это мы ничего не возражаемъ: это не нашъ языкъ. Если бы Булгаринъ настоятельно потребовалъ отъ насъ объясненія на этотъ счетъ, то мы выставили бы за себя на диспутъ съ нимъ такихъ людей, которые не принадлежатъ къ литературному міру точно такъ же, какъ слова Булгарина не принадлежатъ къ литературному языку.

«Домашніе наши новомыслители, которыхъ дѣятельность начинается съ покойной «Мнемозины» и

*) Въ другомъ мѣстѣ своей статьи Булгаринъ, выписавъ изъ «Наблюдателя» фразу, говоритъ: «Ей богу, это субъективна и объективна галиматья; отрицательный абсолютъ = 0». Не правда ли, что это образецъ журнальной и литературной вѣжливости?

продолжается сквозь ряд покойных журналов в нынѣшнемъ «Московскомъ Наблюдателѣ», безпрестанно придумываютъ новыя слова и выраженія, чтобъ выразить то, чего они сами не понимаютъ. Сперва они выѣзжали на чужеземныхъ выраженіяхъ: абсолютъ, субъективъ (?) и объективъ, и пр. Теперь они прибавили къ чужеземнымъ множество русскихъ словъ, давъ простому ихъ значенію таинственный смыслъ. Любимыя ихъ слова теперь: конечность, призрачность, просвѣтлѣніе, дѣйствительность; но настоящій фаворитъ — призрачность». Такъ говоритъ Булгаринъ. Что все это остроумно и вѣжливо — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія: Булгаринъ давно уже приобрѣлъ себѣ громкую извѣстность остроуміемъ и вѣжливостію своихъ журнальных статей; это было замѣчено еще Косичкинымъ по поводу одного петербургскаго литератора, у котораго мизинецъ заключалъ въ себѣ больше ума, нежели головы всѣхъ московскихъ литераторовъ. Что же касается до того, что Булгаринъ называетъ нашъ журналъ продолженіемъ «Мнемозины», то мы принимаемъ это обвиненіе за комплиментъ и чувствительно благодаримъ за него, если только Булгаринъ смотритъ на «Мнемозину» какъ на такой журналъ, предметомъ котораго было искусство и знаніе. Что касается до субъектива и объектива, то на этотъ разъ Булгаринъ самъ увлекся страстію нововведенія и выдумалъ два такихъ слова, которыхъ въ русской литературѣ никогда не было. Чтобы не повторять одного и того же, скажемъ однажды навсегда, что употребленіе новыхъ словъ безъ расчетливой осторожности точно можетъ повредить ихъ успѣху, и мы рѣшились употребить ихъ не иначе, какъ съ объясненіемъ, и — пока они не утвердились — какъ можно меньше. Но бѣда не велика, если вначалѣ было поступлено не такъ: всѣ ложныя, т. е. ненужныя, слова уничтожатся сами собой, а удачно составленныя и придуманныя удержатся, несмотря на все остроуміе ожесточенныхъ гонителей всего новаго, оригинальнаго, всего выходящаго изъ рутинны посредственности, всего носящаго на себѣ характеръ самобытности и силы.

Когда М. Г. Павловъ, начавшій свое литературное поприще въ «Мнемозинѣ» и первый заговорившій въ ней о мысли и логикѣ, — предметахъ, о которыхъ до «Мнемозины» русскіе журналы не говорили ни слова, — когда М. Г. Павловъ началъ употреблять слово «проявленіе», то это слово сдѣлалось предметомъ общихъ насмѣшекъ, такъ что антагонисты почтеннаго профессора называли его въ насмѣшку «господиномъ, который употребляетъ слово проявленіе», а теперь всѣмъ кажется, что будто это слово всегда существовало въ русскомъ языкѣ.

Булгаринъ сердится на насъ за то, что мы Пушкина называемъ великимъ поэтомъ: что дѣлать? — это наше мнѣніе, которое мы имѣемъ полное право выговаривать, и еще тѣмъ смѣлѣе, что оно утверждено цѣлымъ народомъ. Еще разъ просимъ извиненія у Булгарина въ нашей слабости любить и дорожить дарованіями, дѣлающими честь нашему отечеству. Пушкинъ — великій поэтъ, и поэтъ рус-

скій, русскій и по душѣ, и по крови. Мы впрочемъ понимаемъ, какъ трудно сойтись намъ съ Булгаринымъ во мнѣніи о Пушкинѣ, который безъ сомнѣнія, и по очень понятной причинѣ, имѣетъ для насъ несравненно высшее значеніе, нежели Мицкевичъ.

Булгаринъ сердится на насъ еще за то, что мы первымъ русскимъ прозаикомъ почитаемъ Гоголя; этого мало: мы почитаемъ его еще и великимъ поэтомъ. Конечно это не можетъ быть пріятно Булгарину; но это не одному ему непріятно: за это на насъ многіе негодуютъ. Посредственность — вездѣ посредственность!

Въ нашемъ журналѣ про Пушкина было сказано, что въ «Сказкѣ о Рыбакѣ и Рыбкѣ» онъ возвысился до совершенной объективности, а Булгаринъ говоритъ, будто мы сказали, что онъ возвысился тутъ до совершенной субъективности. Мы слишкомъ далеки отъ мысли, чтобы Булгаринъ съ умысломъ замѣнилъ слово объективность словомъ субъективность. Нѣтъ! тысячу разъ нѣтъ! Онъ сдѣлалъ это совершенно добросовѣстно: въ отношеніи къ этимъ словамъ онъ поступаетъ точно такъ же, какъ нашъ добрый простой народъ въ отношеніи къ европейцамъ: будь итальянецъ, будь англичанинъ, будь испанецъ, а у него все нѣмецъ! Увѣряемъ Булгарина, что мы нисколько не сердимся на него за это: добродушное незнаніе достолюбезно, но ничуть не обидно. Но вотъ противъ чего мы не можемъ не возразить: Булгарину показалось, будто мы подъ субъективностью разумѣемъ грубость, нехудожественную естественность или попросту мужиковатость, и что будто бы, по нашему мнѣнію, этими достоинствами отличается «Сказка о Рыбакѣ и Рыбкѣ» Пушкина. И это Булгаринъ вывелъ изъ того, что мы игру Ленскаго въ роли Хлестакова находимъ субъективной, и потому отличающейся не художественной естественностью и грубостью. Чтобы вывести Булгарина изъ заблужденія, поспѣшимъ растолковать ему, что значить субъективность. Субъектъ есть мыслящее существо (человѣкъ); объектъ — мыслимый предметъ. Чтобы мышленіе было вѣрно, надобно, чтобы понятіе субъекта объ объектѣ было тождественно съ объектомъ. Истинному познанию предметовъ намъ часто мѣшаетъ наша субъективность, влѣдствіе которой мы, вмѣсто того чтобы опредѣлить то значеніе, которое именно выражаетъ предметъ нашего сужденія, придаемъ ему наше значеніе и тѣмъ изъ предмета дѣлаемъ призракъ, т. е. совѣмъ не то, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, а то, чѣмъ онъ намъ кажется. Сквозь зеленныя очки всѣ предметы кажутся зелеными. У души человѣка есть свои очки, которые снимаютъ съ нея знаніе и разумный опытъ жизни. Объяснимъ это примѣромъ. Христіанскіе народы отличаются терпимостію всѣхъ религій. Магометане ненавидятъ и преслѣдуютъ все, что не магометанство. Въ первомъ случаѣ видно умѣніе перенестись въ чуждую сферу и понять чуждое себѣ явленіе — это объективность; во второмъ случаѣ видна чистая субъективность. Но вотъ примѣръ еще ближе къ дѣлу. Шиллеръ

былъ субъективенъ въ своихъ первыхъ произведеніяхъ; онъ изображалъ въ нихъ людей не такими, каковы они суть и какими слѣдовательно должны быть; но такими, какими они ему представлялись, или какими онъ хотѣлъ, чтобы они были. Но субъективность отнюдь не есть мужиковатость, хотя и можетъ быть мужиковатостью по свойству субъекта: это мы сейчасъ докажемъ. Шиллеръ великъ въ самой своей субъективности, потому что его субъективность есть субъективность гения. Онъ создалъ себѣ идеалъ человѣка и осуществилъ его въ маркизѣ Позѣ. Теперь, въ противоположность Шиллеру, возьмемъ васъ, почтеннѣйшій Фаддей Венедиктовичъ: въ неподобномъ романѣ своемъ «Иванъ Выжигинъ» вы изобразили Вороватиныхъ и Ножа-тинныхъ, истинныхъ негодяевъ и изверговъ, но вы ихъ и называете негодями и извергами—это объективное изображеніе. Но вы же въ своемъ «Иванъ Выжигинъ» были творцомъ чисто субъективнымъ, потому что силились выразить въ немъ вашъ идеалъ человѣка. Конечно вашъ Выжигинъ—человѣкъ очень добрый и почтенный, но далеко не идеалъ человѣка.

Потомъ Булгаринъ грозно обвиняетъ насъ въ несправедливомъ отзывѣ о петербургскихъ артистахъ—Каратыгинѣ и Сосницкомъ. Не хотимъ повторять безъ нужды уже сказаннаго нами объ этихъ артистахъ, а скажемъ только, что на этотъ разъ Булгаринъ выполнѣ насъ понялъ и выполнѣ развилъ мысль, слегка нами высказанную. Намъ остается только благодарить его за это.

Что Скрибъ выше Гюго и Ламартина—это наша мысль, и мы снова повторяемъ ее; но Ламартина вмѣстѣ съ Шатобрианомъ мы относимъ къ школѣ идеальныхъ, а не неистовыхъ поэтовъ юной Франціи: къ неистовымъ принадлежать Гюго, Дюма, Бальзакъ, и пр.

Булгаринъ обвиняетъ насъ за помѣщеніе повѣсти «Одинъ сутки изъ жизни стараго холостяка». Повѣсть ему не нравится, а намъ очень нравится, безъ чего мы, разумѣется, и не помѣстили бы ея. О вкусахъ спорить трудно, особенно тамъ, гдѣ вкусы діаметрально противоположны. Намъ самимъ не нравится многое, что восхищаетъ Булгарина, и мы очень понимаемъ возможность ошибки съ нашей стороны. Не всѣ обладаютъ критическимъ талантомъ

Косичкина, который умѣлъ помирить двухъ враговъ и соперниковъ, отдавши каждому должное—у одного похваливши элементъ философскій, а у другого—поэтическій.

«Какъ милости, просимъ у «Московского Наблюдателя» порицать и объявлять дурнымъ, негоднымъ все, что мы ни напишемъ, и за это объявляемъ примѣрную благодарность. Если бъ насъ похвалили въ «Московскомъ Наблюдателѣ», тогда мы сокрушили бы перо свое, и произнося съ сокрушеннымъ сердцемъ: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa (латинское выраженіе—по-французски оно значить pardon, по польски *radam do nog*, а по-русски—впередъ не буду), навѣки бы замолчали».

У страха глаза велики, говоритъ русская пословица. Нѣтъ, г. Булгаринъ, не бойтесь и пишите на здоровье: даемъ вамъ слово не бранить ничего, что вы напишете. И зачѣмъ это и къ чему это? Всякій писатель оканчиваетъ свое поприще тѣмъ, что его перестаютъ наконецъ бранить, потому что всѣ убѣждаются, что или онъ точно великъ, или лучше не будетъ и писать не перестанетъ. Что же до того, чтобы хвалить васъ... если только вы сдержите ваше обѣщаніе... намъ такъ хотѣлось бы оказать русской литературѣ такую великую услугу... обольщеніе велико—но—пишите, пишите, г. Булгаринъ, а у насъ нѣтъ силъ на такой подвигъ!..

«Послѣ этого милости просимъ вѣрить журнальнымъ сужденіямъ, объявленіямъ и декламациямъ! Послѣ этого просимъ гнѣваться на публику за то, что она не поддерживала и не поддерживаетъ журналовъ, издававшихся и издающихся въ духѣ «Московского Наблюдателя». На это мы замѣтимъ только то, что «Сынъ Отечества» издавался совсѣмъ не въ духѣ «Московского Наблюдателя», а между тѣмъ публика такъ слабо поддерживала его, что нуженъ былъ московскій литераторъ, чтобы спасти этотъ журналъ отъ смерти, и еще нужно было изъ двухъ журналовъ сдѣлать одинъ и исключить имя одного изъ двухъ редакторовъ».

«Въ заключеніе просимъ всѣхъ любителей русской словесности читать «Московский Наблюдатель», потому что это лучшее средство для оцѣнки литераторовъ, принадлежащихъ къ двумъ литературнымъ мнѣніямъ». Странное заключеніе! какъ противорѣчить оно духу и содержанію всей статьи!

IV. ТЕАТРЪ.

Объ игрѣ Каратыгина.

Въ нашей вилои и прозаической жизни всякая новость возбуждаетъ всеобщее вниманіе и сильно занимаетъ собой умы всѣхъ и каждаго. Къ числу такихъ новостей принадлежитъ вторичный прїѣздъ въ Москву знаменитыхъ петербургскихъ артистовъ Каратыгиныхъ. Кто не помнитъ, какъ засуетилась наша Бѣлокаменная во время ихъ перваго прїѣзда, какая была давка у театра, какъ трудно было доставать билеты, какъ толковали и спорили объ игрѣ любимцевъ петербургской публики и въ аристократическихкихъ гостиныхъ и гостиницахъ, и въ плебейскихъ горницахъ и трактирахъ, и на улицахъ и перекресткахъ? Кто не помнитъ знаменитаго турнира, на которомъ было переломлено столько копій и роуг, и *contre*, во имя Каратыгиныхъ, П. Ш. и Шевыревыхъ, и ареной котораго была «Молва». Кто не помнитъ, какъ Шевыревъ, послѣ нѣсколькихъ упорныхъ и утомительныхъ схватокъ, оставилъ поле битвы и не кончилъ сраженія, обидѣвшись нежизнью своего хладнокровнаго и несговорчиваго противника, не хотѣвшаго поднять забрала своего шлема и провозгласить своего рода и имени?.. Оно, кажется, тутъ бы не на что претендовать: и въ журнальные турниры совѣмъ не то, что рыцарскіе турниры. Благородные рыцари почитали предосудительнымъ для себя сражаться съ безымянными противниками, ибо вѣяли въ безчестіе подвергать свое благородное тѣло невѣжливымъ ударамъ какого-нибудь плебея, и не видѣли никакой для себя славы въ побѣдѣ надъ противникомъ незначнаго рода и племени; но въ литературѣ геральдика—вещь совершенно посторонняя; въ ней важны дѣла, а не имена. Но всѣмъ уже извѣстно, что Шевыревъ скрѣпу критическихъ статей именами ихъ авторовъ почитаетъ самымъ вѣрнымъ средствомъ для избѣжанія отъ навѣтовъ, коварства и недобросовѣстности критики, и крѣпко убѣжденъ, что критикъ, скрывающій свое имя, непременно долженъ имѣть какіе-нибудь недобрые умыслы въ отношеніи къ своему противнику... Какъ бы то ни было, дѣло не о томъ... и потому я обращаюсь къ предмету моей статьи, подъ которой однако не подписываю полнаго моего имени, ибо хочу высказать мое мнѣніе, а не блеснуть моимъ именемъ, которое очень не важно и до котораго поэтому никому нѣтъ дѣла.

Итакъ, всѣмъ памятенъ шумъ и движенія, произведенные прежнимъ прїѣздомъ въ Москву г-на и

г-жи Каратыгиныхъ... Такое же ли точно дѣйствіе произвелъ теперешній ихъ прїѣздъ? Кажется, что нѣтъ. Правда, и теперь по утрамъ ужасная давка при раздачѣ билетовъ, и теперь ходенемъ ходитъ огромный Петровский театръ отъ грома рукоплесканій нашей доброй и не слишкомъ взыскательной публики, и теперь въ той же самой «Молвѣ» вышелъ на арену таинственный П. Ш.; но рукоплесканія уже не такъ единодушны и дружны, уже часто они прерываются и заглушаются ропотомъ неудовольствія; но таинственный П. Ш. что-то рѣшительнѣе и рѣзче, хладнокровнѣе и насмѣшливѣе въ своемъ тогѣ, и пока еще не встрѣтилъ ни одного противника... Что бы это значило?.. Неужели Каратыгинъ, этотъ артистъ, такъ горячо любящій свое искусство, такъ глубоко и усердно изучающій его, вмѣсто того чтобы идти впередъ, пошелъ назадъ и сдѣлался хуже?..

Нѣтъ, онъ тотъ же, но уже не тѣ обстоятельства: въ нему присмотрѣлись, его разглядѣли, а прелесть новости потеряла свою магическую силу. Вотъ и разгадка этой загадки. Въ искусствѣ есть два рода красоты и изящества, такъ жеточно, какъ есть два рода красоты въ лицѣ человеческомъ. Одна поражаетъ вдругъ, печаянно, насильно, если можно такъ сказать; другая постепенно и непремѣнно вкрадывается въ душу и овладѣваетъ ею. Обаяніе первой быстро, но не прочно; второй—медленно, но долговѣчно; первая опирается на новость, печаянность, эффекты и перѣдко странность; вторая беретъ естественностью и простотой. Марлинскій и Гоголь—вотъ вамъ представители того и другого рода красоты въ искусствѣ. Я не отрицаю таланта въ Марлинскомъ и пока еще не вижу генія въ Гоголѣ; но хочу только показать разность между талантомъ случайнымъ, т.-е. развившимся въ дѣствіе или обстоятельства жизни, или направленія, полученнаго съ дѣтства, и талантомъ самобытнымъ, независимымъ отъ обстоятельствъ жизни. Первый всему обязанъ образованіемъ, а безъ него ничего не значить; второму образованіе даетъ обширнѣйшій кругъ дѣствія и возвышаетъ его взглядъ на природу, но не усиливаетъ его ни на волосъ. Шекспиръ и Вольтеръ—вотъ два драматурга оба съ талантомъ, но одинъ невѣжда, а другой всезнайка—нужно ли тутъ слишкомъ распространяться?—Но изъ всѣхъ признаковъ, которыми отличается талантъ природный отъ таланта случайнаго, для меня разительнѣе слѣдующій: талантъ самобытный всегда усиливаетъ,

когда не выходить из своей сферы, когда остается вѣрять своему направлению, и всегда падаетъ, когда хватается не за свое дѣло, вслѣдствіе разсчета или системы; талантъ случайный берется за все и нигдѣ не падаетъ совершенно; Марлинскій во всѣхъ своихъ повѣстяхъ, какъ ни разнообразны онѣ, одинаковъ и ровенъ, т.-е. вполнину хорошъ, вполнину дуренъ. Гоголь вздумалъ написать фантастическую повѣсть à la Hoffmann («Портретъ»), и эта повѣсть рѣшительно никуда не годится.

Повидимому я отдалился отъ предмета моего разсужденія; но въ самомъ дѣлѣ я гораздо ближе къ нему, нежели какъ можно ожидать. У насъ два трагическихъ актера: Мочаловъ и Каратыгинъ; хочу провести между ними параллель. «Какое невѣжество! Каратыгинъ и Мочаловъ—fi-donc! Можно ли помнить о Мочаловѣ, говоря о Каратыгинѣ?..» Не знаю, будутъ ли мнѣ сказаны подобныя слова; но я уже какъ будто слышу ихъ. У насъ это такъ натурально; мы такъ неуемны ни въ нашемъ удивленіи, ни въ нашемъ презрѣніи къ авторитетамъ. Теперь какъ-то странно и даже страшно произнести имя Мочалова, не имѣя намѣренія посмѣяться надъ нимъ, какъ смѣются надъ Александромъ Орловымъ, говоря о Вальтерѣ Скоттѣ. Но я думаю иначе, и если каждый, въ дѣлѣ литературы и искусства, можетъ имѣть свое мнѣніе, то почему же и мнѣ не имѣть своего, хотя мое скромное имя и не значится въ литературныхъ адресъ-календаряхъ!..

Всѣмъ извѣстно, что съ Мочаловымъ очень рѣдко случается, чтобы онъ выдержалъ свою роль отъ начала до конца, однакожъ все-таки случается, хотя и рѣдко, какъ напр. въ роли Яромира въ «Прародительницѣ», въ роли Тасса и нѣкоторыхъ другихъ. Потомъ, всѣмъ извѣстно, что онъ можетъ быть хорошъ только въ извѣстныхъ роляхъ, какъ будто нарочно для него созданныхъ, а въ прочихъ по большей части бываетъ рѣшительно дуренъ. Наконецъ, всѣмъ также извѣстно, что, часто дурно понимая и дурно исполняя цѣлую роль, онъ бываетъ превосходенъ, неподражаемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ея, когда на него находятъ свыше геній вдохновенія. Теперь всѣмъ извѣстно, что Каратыгинъ равно успѣваетъ во всѣхъ роляхъ, т.-е. что ему равно рукоплещутъ во всевозможныхъ роляхъ, въ роли Карла Моора и Димитрія Донского, Фердинанда и Ермака, Эссекса и Ляпунова. По моему мнѣнію, въ декламаторскихъ роляхъ онъ бываетъ еще лучше, и думаю, что онъ былъ бы превосходенъ въ роли Димитрія Самозванца трагедіи Сумарокова, и во всѣхъ главныхъ персонажахъ трагедій Хераскова и барона Розена... Какое же должно вывести изъ этого слѣдствіе?.. Что Мочаловъ—талантъ низшій, односторонній, а Каратыгинъ—актеръ съ талантомъ всеобъемлющимъ, Гёте сценическаго искусства? Такъ думаетъ большая часть нашей публики, большая часть, но не всѣ, и я принадлежу къ малому числу атихъ не всѣхъ. По моему вотъ что: Мочаловъ—талантъ невыработанный, односторонній, но вмѣстѣ съ тѣмъ сильный и самобытный; а Каратыгинъ—талантъ случайный, не призванный, успѣхъ кото-

раго зависитъ отъ огромныхъ природныхъ средствъ, т. е. роста, осанки, фигуры, крѣпкой груди, и потомъ отъ образованности, ума, чаще смѣлвости, а болѣе всего смѣлости. Послушайте: если Мочаловъ могъ въ цѣлую жизнь свою ровно и искусно выдерживать двѣ-три роли въ ихъ цѣлости, то согласитесь, что у него кромѣ чувства, которое можетъ быть живо и пламенно и не у художника, есть рѣшительный сценическій талантъ, хотя и односторонній; если онъ бываетъ гигантски великъ въ нѣкоторыхъ монологахъ и положеніяхъ, дурно выдерживая цѣлостъ и ровность роли, то согласитесь, что онъ обладаетъ чувствомъ неизмѣримо-глубокимъ. Почему же онъ не можетъ выдерживать цѣлости не только всѣхъ, но даже и большей части ролей, за которыя берется? Отъ трехъ причинъ: отъ недостатка образованности, соединеннаго съ упрямой невнимательностью къ искреннимъ совѣтамъ истинныхъ любителей искусства, потомъ отъ односторонности своего таланта, и, наконецъ, отъ того, что онъ для эффектовъ не профанируетъ своимъ чувствомъ... Не правда ли, что послѣдняя причина кажется вамъ слишкомъ странной?—Погодите—я объяснюсь прямо, для чего пока оставляю въ покоѣ Мочалова и обращусь къ Каратыгину.

Каратыгинъ, какъ я уже сказалъ, берется рѣшительно за всѣ роли и во всѣхъ бываетъ одинаковъ или, лучше сказать, ни въ одной не бываетъ несносенъ, какъ то нерѣдко случается съ Мочаловымъ. Но это происходитъ скорѣе не отъ всесторонности таланта, но отъ недостатка истиннаго таланта. Каратыгину нѣтъ нужды до роли: Ермакъ, Карлъ Мооръ, Димитрій Донской, Фердинандъ, Эдипъ—ему все равно, была бы роль, а въ этой роли были бы слова, монологи, а пуще всего возгласы и риторика: съ чувствомъ, безъ чувства, съ смысломъ, безъ смысла, повторяю,—ему все равно! Я очень хорошо понимаю, что одинъ и тотъ же актеръ можетъ быть превосходенъ въ роляхъ: Отелло, Шейлока, Гамлета, Ричарда III, Макбета, Карла и Франца Моора, Фердинанда, маркиза Позы, Карлоса, Филиппа II, Теллы, Макса, Валленштейна и проч., какъ ни различны эти роли по своему духу, характеру и колориту; но я никакъ не могу понять, какъ одинъ и тотъ же талантъ можетъ равно блистать и въ бѣшеной, кипучей роли Карла Моора, и въ декламаторской надутой роли Димитрія Донского, и въ естественной, живой роли Фердинанда, и въ натянутой роли Ляпунова. Такой актеръ не то ли же самое, что поэтъ, готовый во всякій часъ, во всякую минуту импровизировать вамъ прекрасными стихами и буриме, и мадригалъ, и эпиграмму, и акростихъ, и оду, и поэму, и драму, и все, что ни зададутъ ему? Здѣсь я вижу не талантъ, не чувство, а чрезвычайное умѣніе побѣждать трудности—это умѣніе, которое такъ высоко цѣнилось французскими критиками XVIII в. и которое такъ хорошо напоминаетъ дивное искусство фокусника, метавшаго горохъ сквозь игольное ушко.

Я сценическое искусство почитаю творчествомъ, а актера—самобытнымъ творцомъ, а не работъ ав-

тора. Найдите двухъ великихъ сценическихъ художниковъ, гений которыхъ былъ бы совершенно равенъ, дайте имъ сыграть одну и ту же роль, и вы увидите то же, да не то. И это очень естественно: ибо невозможно найти двухъ читателей съ равной образованностью и съ равной способностью принимать впечатлѣнія изящнаго, которые бы совершенно одинаковымъ образомъ представляли себѣ героя драмы. Они оба поймутъ одинаковымъ образомъ идею и идеаль персонажа, но различнымъ образомъ будутъ представлять себѣ тонкія черты и оттѣнки его индивидуальности. Тѣмъ болѣе актеръ: ибо онъ, такъ сказать, дополняетъ своей игрою идею автора, и въ этомъ-то дополненіи состоитъ его творчество. Но этимъ оно и ограничивается. Изъ пылкаго характера, созданнаго поэтомъ, актеръ не можетъ и не имѣетъ права сдѣлать хладнокровнаго, и наоборотъ. Теперь, спрашивая я, какимъ же образомъ дастъ онъ жизнь персонажу, если авторъ не далъ ему жизни, какимъ образомъ заставить онъ его говорить страстно, пламенно, испуганно, когда авторъ заставилъ его говорить натянуто, надуто, риторически? Отъ высокаго до смѣшнаго—только шагъ, и потому при неудачномъ исполненіи чѣмъ выше идея, тѣмъ карикатурнѣе ея впечатлѣніе. Другое дѣло комедія. Тамъ актеръ является болѣе творцомъ, ибо иногда можетъ придать персонажу такія черты, о которыхъ авторъ и не думалъ. И вотъ почему нашъ несравненный Щепкинъ часто бываетъ такъ превосходенъ въ самыхъ плохихъ роляхъ. Онъ пересоздаетъ ихъ, а для этого ему нужно, чтобы онъ были только что не бессмысленны. И это очень естественно, ибо здѣсь если авторъ не вдохновляетъ актера, то актеръ можетъ вдохнуть душу живую въ его мертвыя созданія, потому что здѣсь нужно одно искусство, а не чувство, не душа *). Но въ драмѣ актеръ и поэтъ должны быть дружны, иначе изъ нея выйдетъ презабавный водевиль. Въ ней роль должна одушевлять и вдохновлять актера, ибо и обыкновенный читатель, совсѣмъ не бывши актеромъ, можетъ потрясти душу слушателя декламировкой какого-нибудь сильнаго мѣста въ драмѣ. Искусство и здѣсь орудіе важное, но второстепенное, вспомогательное.

Я видѣлъ Каратыгина въ четырехъ роляхъ (не упоминаю пустой роли, игранный имъ въ драмѣ: «Мужъ, Жена и Сынъ»): въ Ермакѣ, Ляпуновѣ, Эссексѣ (въ прошлый прѣздъ его въ Москву) и Карлѣ Моорѣ (во второй разъ). Чтобы подкрѣпить мои мысли фактами, буду говорить о послѣдней. Ни въ одной роли онъ не казался мнѣ такъ рѣшительно дуренъ, такъ холоденъ, такъ натянутъ, такъ эффектенъ. Ни одного слова, ни одного монолога, отъ ко-

торого бы забилось сердце, поднялись дыбомъ волосы, вырвался тяжкій вздохъ, наввернулась бы на глазахъ восторженная слеза, отъ котораго бы затрепеталъ судорожно зритель, бросило бы его въ ознобъ и жаръ! Пробуждалось по временамъ какое-то странное чувство, похожее на чувство, происходящее отъ страха или отъ давленія домоваго; но это чувство было мимолетно, мгновенно, ибо лишь только зритель начиналъ подчиняться его обаянію, какъ тотчасъ все оказывалось ложной тревогой, а актеръ спѣшилъ разрушить подобное впечатлѣніе или какимъ-нибудь изысканнымъ эффектомъ, или совершеннымъ отсутствіемъ чувства при крайнемъ усиліи возвыситься до чувства, въ чемъ разумѣется, онъ уже нисколько не виноватъ. Какъ, напримѣръ, сыграть Каратыгина эту славную, потрясающую сцену, въ которой Карлъ Мооръ выводитъ отца своего изъ башни и выслушиваетъ ужасную повѣсть его заключенія? Онъ стремительно обратился къ спящимъ разбойникамъ: это движеніе и выстрѣлъ изъ пистолета были сдѣланы грозно и благородно, а вопль: «вставайте!» былъ превосходенъ; но что же онъ сдѣлалъ потомъ, какъ произнесъ лучшій монологъ въ драмѣ? Онъ (слушайте! слушайте!), онъ отвелъ за руки, на край сцены, тронхъ изъ главныхъ разбойниковъ и, обратившись къ одному и, помнится, сжавши его руку, сказалъ: «Посмотрите, посмотрите: законы свѣта нарушены!»; къ другому: «Узы природы прерваны!»; къ третьему: «Сынъ убилъ отца!» Оно и дѣльно—всѣмъ сестрамъ по серьгамъ, чтобы ни одной не было завидно. Нѣтъ, не такъ произносить иногда этотъ монологъ Мочаловъ: въ его устахъ это лава всеувлекательная, всепожирающая, это черная туча, внезапно разражающаяся громомъ и молніей, а не придуманныя заранее театральныя штучки. Въ одномъ только мѣстѣ этой драмы Каратыгинъ былъ не дуренъ, когда говорилъ: «Какъ величественно заходитъ солнце!.. Въ юности моя любимая мысль была—жить и умереть подобно ему... Дѣтскія были мечты мои!» и то не потому, чтобы онъ придавалъ этимъ словамъ особенное чувство, но потому, что произнесъ ихъ просто, безъ натяжки, безъ фарсовъ.

Зачѣмъ мы ходимъ въ театръ, зачѣмъ мы такъ любимъ театръ? Зачѣмъ, что онъ освѣжаетъ нашу душу, завядшую, заплесневѣвшую отъ сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлѣніями,—зачѣмъ, что онъ волнуетъ нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями и открываетъ намъ новый, преображенный и дивный міръ страстей и жизни! Въ душѣ человѣческой есть то особенное свойство, что она какъ будто падаетъ подъ бременемъ сладостныхъ ощущеній изящнаго, если не раздѣляетъ ихъ съ другой душой. А гдѣ же этотъ раздѣлъ является такъ торжественнымъ, такъ умиленнымъ, какъ не въ театръ, гдѣ тысячи глазъ устремлены на одинъ предметъ, тысячи сердецъ бьются однимъ чувствомъ, тысячи грудей задыхаются отъ одного упоенія, гдѣ тысячи я сливаются въ одно общее цѣлое я въ гармоническомъ собраніи безпредѣльнаго блаженства?..

*) Я здѣсь разумѣю одиѣ смѣшныя или уже слишкомъ посредственныя роли и не говорю о роляхъ высшей художественной комедіи, въ которой актеръ непримѣнно долженъ поинуть автора, чтобы успѣть. Доказательствомъ этого можетъ служить игра Щепкина въ «Венеціанскомъ Купцѣ» и «Матрѣ», гдѣ нѣтъ чисто высокаго и гдѣ много комическаго, но гдѣ, при всемъ томъ, совсѣмъ не до смѣха. То же доказываетъ его же игра въ чисто комической роли Фамусова, въ которой актеръ глубоко понялъ поэта и, несмотря на свою отъ него зависимость, самъ является творцомъ.

Когда этотъ поэтический Мооръ, этотъ падшій ангелъ, указываетъ на распростертаго безъ чувствъ старца-мученика и нечеловѣческимъ голосомъ восклицаетъ: «о, посмотрите, посмотрите—это мой отецъ!», когда онъ, въ награду за великодушный поступокъ своего товарища, возлагаетъ на него обязанность мстить за своего отца и, поднявъ руки къ небу, проклинаетъ изверга брата: о! въ васъ вѣтъ души человѣческой, вѣтъ чувства человѣческаго, если при этомъ вы не обомрете, не обомлѣете отъ ужаснаго и вѣбствъ сладостнаго восторга!.. Но полное сценическое очарованіе возможно только подъ условіемъ естественности представленія, происходящей сколько отъ искусства, столько и отъ ансамбля игры. Но у насъ невозможенъ этотъ ансамбль, невозможна эта цѣлостъ и совокупность игры, ибо у насъ съ бѣшенными воплями Мочалова мѣшается ревъ и кричаніе Орлова, Волкова, Рыкаловой и многихъ, многихъ иныхъ прочихъ. Что жъ тутъ дѣлать? Остается смотрѣть внимательно на главный персонажъ драмы и закрыть глаза для всего остального. Но ежели и актеръ, занимающій главное амплуа, не выдерживаетъ цѣлости роли, будучи превосходенъ только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ея,—тутъ что остается дѣлать?—Ловить эти немногія мѣста и благодарить художника за нѣсколько глубокихъ потрясеній, за нѣсколько сладкихъ минутъ восторга, которыя вы уносите изъ театра, и память о которыхъ долго, долго носится въ душѣ вашей. Такъ смотрю я на игру Мочалова, этого требую я отъ игры его, это нѣрѣдко получаю, и за это благодарю его. Напримѣръ, нынѣшнимъ годомъ на масляницѣ я видѣлъ его въ роли Отелло: роль, какъ обыкновенно, была дурно выдержана; но зато было нѣсколько мѣстъ, отъ которыхъ я потерялъ свое мѣсто и не помнилъ и не зналъ, гдѣ я и что я, отъ которыхъ всѣ предметы, всѣ идеи, весь міръ и я самъ слились во что-то неопредѣленное и составили одно цѣлое и нераздѣльное, ибо я услышалъ какія-то ужасныя, вызванныя со дна души, вопли и прочелъ въ нихъ страшную повѣсть любви, ревности, отчаянія, —и эти вопли еще и теперь раздаются въ душѣ моей. Я даже понималъ, отчего такъ дурно была выдержана цѣлость роли: давали «Отелло», какъ и всегда, пошлою фабрики варвара-Дюссиса; а Мочаловъ въ своей игрѣ живетъ жизнью автора и тотчасъ умираетъ, какъ скоро умираетъ авторъ. Чуть несообразность, чуть натяжка—и онъ падаетъ. Въ моихъ глазахъ этотъ недостатокъ искусства есть высочайшее достоинство, ибо служить вѣрнымъ ручательствомъ добросовѣстности артиста и неподдѣльности его чувства. Мнѣ хотѣлось бы посмотрѣть на Мочалова въ Шекспировскомъ «Отелло»...

Не таковъ Каратыгинъ; роли надутыя, неестественныя, декламаторскія суть торжество его; онъ заставляетъ забывать о ихъ несообразности и нецѣлостности; тамъ, гдѣ Мочаловъ насмѣшалъ бы всѣхъ, тамъ онъ особенно хорошъ. Возьму для примѣра «Ермака» Хомякова. Закрывши рукой имена персонажей, я могу съ наслажденіемъ читать эту пьесу, ибо это собраніе влестій и поэтическихъ думъ о жизни испол-

нено теплоты чувства и поэзіи. Еще съ большимъ наслажденіемъ я выслушалъ бы ихъ и отъ Каратыгина, только не въ театрѣ, а въ комнатѣ. Но, какъ пьеса драматическая, «Ермакъ» просто нецѣлостъ. Чтобы заставить насъ восхищаться имъ на сценѣ, надо сперва воротить насъ ко временамъ классицизма, къ этимъ блаженнымъ временамъ наперсниковъ, злодѣевъ, героевъ, фижмъ, руминъ, бѣзилъ и декламаций. Но Каратыгинъ не побоялся взять на себя этой миссіи, и онъ не совсѣмъ ошибся въ своемъ разчетѣ. Его всегдѣшнее орудіе—эффектность, граціозность и благородство позъ, живописность и красота движеній, искусство декламаций. Напрасно обвиняютъ его въ излишествѣ эффектовъ; его игра не можетъ существовать внѣ ихъ. Я думаю, онъ былъ бы очаровательно прекрасенъ въ роли «Димитрія Самозванца», и на вопросъ Шуйскаго:

Какая предстоитъ Димитрію бѣда?

мастерски бы отвѣтилъ:

Зла фурія во мнѣ смятенно сердце гложетъ;
Злодѣйская душа спокойна быть не можетъ!

Да, я увѣренъ, что театръ потрясся бы до основанія отъ грома рукоплесканій. И это очень вѣроятно, ибо позы, движенія и декламация Каратыгина мнѣ зависятъ отъ содержанія и достоинства пьесы, чѣмъ отъ его удивительнаго искусства. Когда онъ бываетъ особенно хорошъ, когда онъ наиболѣе получаетъ рукоплесканій? Когда падаетъ въ ноги отцу, обнимаетъ его колѣни, бросается въ объятія къ женѣ, цѣлуетъ сына и, держа его на рукахъ, бѣгаетъ съ нимъ по сценѣ, бросается въ Иртышъ, когда уноситъ на плечахъ отравленнаго Скопина-Шуйскаго, допрашиваетъ Фидлера и выбрасываетъ его въ окошко. Надобно замѣтить, что наша публика вообще очень смѣшлива: она смѣется, когда ужасный Шейлокъ точитъ ножъ о свой сапогъ, когда метательный жидъ въ грозныхъ словахъ изливаетъ ядъ ненависти своей къ христіанамъ, палачамъ его племени, она хохочетъ надъ страданіями бѣднаго, благороднаго Матроса. Сцена между Ляпуновымъ и Фидлеромъ должна бы разсмѣшить ее; но Каратыгинъ такъ благородно и граціозно выбросилъ за окно Усачева, что никто даже и не улыбнулся, кромѣ развѣ райка. Напротивъ, чудное дѣло! эта же самая публика рукоплещетъ отъ восторга карикатурнымъ возгласамъ Ляпунова къ своему мечу, или когда онъ такъ уморительно комически говоритъ Скопину: «Здорово, князь!» Каратыгинъ вполнѣ разгадалъ нашу публику и глубоко понялъ ея требованія; вотъ вамъ и причина, почему на нынѣшній разъ такъ много фарсовъ прибавилось противъ прежняго. Если же онъ иногда уже чрезчуръ пересаливаетъ въ нихъ, такъ это оттого, что онъ испытываетъ, понаравятъ ли публикѣ его новыя выдумки.

Итакъ, какой же вообще характеръ игры его? Преодолѣвать трудности, дѣлать все изъ ничего. А для этого, разумѣется, нужны одни эффекты, одно искусство, обдуманность, предварительное изученіе роли, созданной не авторомъ, но актеромъ. Смотра на его игру, вы безпрестанно удивлены, но никогда

не тронуты, не взволнованы. Искусство без чувства — это классицизм, холодный как зима, выглаженный как мрамор, но паляющий искусно отшлифованными формами. Впрочем может быть я и не прав, ибо насчет этого у меня свой образ мыслей, въ которомъ меня цѣлый свѣтъ не переувѣритъ: я не понимаю, какъ могъ восхищаться своей игрой Тальма, ибо не понимаю какъ можно восхищаться трагедіями Корнезя, Расина, Вольтера, въ которыхъ отличался этотъ любимецъ Наполеона... Гдѣ нѣтъ истины, природы, естественности, тамъ нѣтъ для меня очарованія. Я видѣлъ Каратыгина нѣсколько разъ и не вынесъ изъ театра ни одного сильнаго движенія; въ его игрѣ все такъ удивительно, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ поддѣльно, придуманно, изысканно. Каратыгинъ — Маринскій сценическаго искусства; у него есть талантъ, но талантъ, образованный силой воли, прилежнымъ изученіемъ, но не самобытный, не природный, какъ у Мочалова; талантъ ходить, говорить, рассчитывать эффекты, понимать, гдѣ и что надо дѣлать, но не увлечать души зрителей собственнымъ увлеченіемъ, не поражать ихъ чувства собственнымъ чувствомъ... Пластика, граціозность движеній и живописность позъ составляютъ сущность балетовъ, а въ драмѣ суть средства вспомогательныя, второстепенныя. Чувствомъ можно замѣнить недостатокъ ихъ, но никогда ими невозможно замѣнить недостатокъ чувства. А чѣмъ восхищались еще три года тому жаркіе поклонники таланта Каратыгина? О, нѣтъ! давайте мнѣ актера-плебея, но плебея Марія, не выглаженного лоскомъ паркетности, а энергическаго и глубокаго въ своемъ чувствѣ. Пусть подергиваетъ онъ плечами и хлопаетъ себя по бедрамъ; это дерганье и хлопанье пошло и отвратительно, когда дѣлается отъ незнанія, что надо дѣлать; но когда оно бываетъ предвѣстникомъ бури, готовою разразиться, то что мнѣ вашъ актеръ-аристократъ!..

Я сказалъ все, что хотѣлъ сказать. Считаю нужнымъ замѣтить, что никогда не бывалъ за кулисами, никогда не находилъ ни въ какихъ отношеніяхъ съ артистами, о которыхъ сужу, и не знакомъ ни съ однимъ изъ прочихъ, и потому судилъ безъ всякихъ личныхъ предубѣжденій, безъ всякаго личнаго пристрастія, по моей совѣсти и разумѣнію. Легко можетъ статься, что мое мнѣніе будетъ очень не важно, какъ въ глазахъ артиста, такъ и въ глазахъ публики, но оно должно быть важно для меня, ибо тотъ недобросовѣстнѣе, кто не дорожитъ своими мнѣніями, какъ человекъ, если не какъ литераторъ... Стыжусь и краснѣю, дѣлая эту пошлую оговорку; но что же дѣлать, когда не только толпа, но и нѣкоторые изъ людей, руководствующихъ мнѣніями этой толпы, во всякомъ сужденіи, откровенно и рѣзко высказанномъ не въ пользу судимаго лица, видятъ навѣты, недобросовѣстность и недоброжелательство!

„Бенефисъ Живокини“.

Отрывокъ изъ короткой записки.

Не случилось ли вамъ когда-нибудь приглядываться къ шуткамъ паяцовъ и прислушиваться къ

ихъ остроумнымъ шуткамъ? Мнѣ случалось, потому что я люблю иногда посмотрѣть на нашъ добрый народъ въ его веселыя минуты, чтобы получить какія-нибудь данныя насчетъ его эстетическаго направленія. Теперь я могу удовлетворять моей наблюдательности и всегда, и ближе, не дожидаясь Масляной и Пасхи и не ходя на Москву-рѣку и въ Подновинское... Но пока еще не о томъ дѣло. Посмотрите: вотъ паяцъ на своей сценѣ, т.-е. на подмосткахъ балагана; внизу передъ балаганомъ тѣмъ эстетическаго народа, ищущаго своего изящнаго, своего искусства; остроты буфона сыплются какъ искры отъ огня; все смѣется добродушнымъ смѣхомъ; въ толпѣ виденъ татаринъ. «Эй, кричитъ ему паяцъ, эй, князь, поди, я припеку тебѣ пукли!» Земля и небо потряслись отъ хохота. Какъ вамъ это покажется? Жюль-Жавенъ говоритъ, что современный французскій театръ представляется въ лицѣ паяца Дебюро: гдѣ жъ бы онъ сталъ искать нашего? Въ доброе старое время, въ это время холоднаго классицизма, пѣвучей декламация, въ это время царей, наперсниковъ, проевъ добродѣтели, алодѣевъ, опекуновъ, горничныхъ, любовниковъ, — въ это доброе старое время, говорю я, театръ понимали лучше. Идея объ искусствѣ не было; цѣль была забава, но забава благопристойная, умная, благородная, приличная забава людей образованныхъ. А теперь?.. Теперь идея искусства только на журнальныхъ оберткахъ и афишахъ, но въ художественныхъ произведеніяхъ и на театрѣ ея и духу нѣтъ. Но мы все-таки въ выигрышѣ противъ нашихъ дѣдовъ: мы въ театрѣ, какъ дома, нѣтъ! что я сказалъ! мы въ театрѣ, какъ... какъ... право, не знаю гдѣ!.. Къ чорту приличіе, долой благопристойность! Это классицизмъ, а мы романтики. Зачѣмъ намъ Модѣра? — онъ классикъ! Давайте намъ Поль-де-Кока — онъ романтикъ! Да, мы не хотимъ лицефривить, давай намъ жизнь, какъ она есть, безъ прикрасъ; природу нельзя украшать! давай намъ жизнь такъ, какъ она есть на площадяхъ, на рынкахъ, въ харчевняхъ, въ романахъ Поль-де-Кока и въ «Фантастическихъ Путешествіяхъ» барона Брамбеуса!.. «А что дѣлается на французскомъ театрѣ? Развѣ тамъ не даютъ водевилей, содержаніе которыхъ вертится на...» говорите вы. Такъ, но тамъ въ самой благопристойности есть благопристойность, есть грація, которая хоть сколько-нибудь выкупаетъ отсутствіе приличій. Помните ли вы басню Крылова: «Оселъ и Собака»?.. Перенимать надо умѣючи. Итакъ, слава намъ! нашъ театръ уже не пародія на жизнь, а представленіе самой жизни такъ, какъ она есть, жизни нараспашку, безъ... слава намъ! Сколько чудесъ было на бенефисѣ Живокини! Нѣтъ, никогда не забуду я бенефиса Живокини! Вотъ оно, то высокое и божественное искусство, которое возвышаетъ душу, вознуетъ сердце благородными, человеческими ощущеніями, которое преобразуетъ человеческую жизнь и возноситъ нашу мысль къ идеѣ всеобщей жизни!.. Милостивые государи, у насъ нѣтъ высокой комедіи, у насъ одна только комедія «Горе отъ ума»; ну, на нѣтъ и суда нѣтъ; но если

наши комики, водевилисты не могут постигать высокаго комическаго, какъ постигалъ его Грибодовъ, если они не могутъ клеймить ничтожество и эгоизмъ печатью позора, почему же бы имъ не издѣваться добродушно надъ нашей домашней жизнью, нашими повседневными отношеніями, но смѣяться остро, умно и благопристойно?.. Если у насъ только одна комедія, то давайте намъ хоть «Богатыхъ», «Добрыхъ Малыхъ» или «Ссору двухъ сосѣдовъ»; кто все лучше...

Недовольные.

Оригинальная комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, соч. М. Н. Загоскина. Дивертисманъ, вновь сочиненный (?) и поставленный 1-жею Гюльенъ, Спектакль 2 декабря.

Театръ былъ полонъ: ни одного пустого кресла, ни одной пустой ложки; не говоримъ уже о прочихъ мѣстахъ. Самая внѣшность театра отзывалась какой-то бенефисной торжественностью; необыкновенное освѣщеніе, суетливость и давка въ дверяхъ, множество акипажей всѣхъ родовъ возвѣщали, что во внутренности должно произойти что-то необыкновенное и важное...

Не знаю, недавняя ли и еще живая у всѣхъ въ памяти слава Загоскина, какъ романиста, обратила общее вниманіе на его новый драматическій трудъ, или рѣдкость новыхъ оригинальныхъ пьесъ, даваемыхъ въ нашемъ театрѣ, произвела сильное движеніе въ публикѣ и возбудила ея участіе. Какъ бы то ни было, но съѣздъ былъ необыкновенный. Это насъ чрезвычайно радуетъ, какъ доказательство, что русская публика никогда и не думала быть холодной къ отечественной литературѣ и особенно къ театру, какъ изволятъ увѣрять въ этомъ люди, или совсѣмъ незнающіе нашей публики, или имѣющіе особенныя причины сердиться на ея холодность.

Подобно другимъ и мы спѣшили увидѣть новую комедію Загоскина, спѣшили увѣриться, выигралъ ли нашъ бѣдный театръ хоть что-нибудь въ этой комедіи. Съ нетерпѣніемъ ожидали мы, когда поднимется занавѣсъ, и онъ поднялся, и мы увидѣли новую комедію Загоскина. Несмотря на то, что мы изъ третьяго акта узнали о завязкѣ и развязкѣ комедіи, просидѣли и четвертый актъ...

Цѣль комедіи Загоскина была—осмѣять этакъ невѣжды, старыхъ и молодыхъ, знатныхъ и незнатныхъ, которые, не будучи ни на что способны и видя себя забытыми и неуважаемыми, обвиняютъ общественный порядокъ, находятъ все русское дурнымъ, все иностранное хорошимъ, не зная хорошо ни того, ни другого; которые не замѣчаютъ успѣховъ цивилизаціи, просвѣщенія и добра въ своемъ отечествѣ; видя въ немъ хорошее, закрываютъ глаза, закладываютъ уши и молчатъ или перетолковываютъ дѣло наизнанку; видя дурное, кричатъ, что есть мочи. Вотъ «Недовольные» Загоскина; они очень возможны, они есть вездѣ, гдѣ только есть люди, потому что гдѣ люди, тамъ и эгоизмъ, а когда эгоизмъ оскорбленъ, онъ всѣмъ недоволенъ... Истинное достоинство молчать, хотя бы оно было и не оцѣнено

и оскорблено; мелочное самолюбіе и ничтожество громко вопіютъ о сдѣланной имъ несправедливости, громко трубятъ о своихъ заслугахъ и своей важности. Если смотрѣть на предметъ съ этой точки зрѣнія, то нельзя не согласиться, что автору предстояло поле обширное, общавшее богатую жатву. Посмотримъ, какъ онъ имъ воспользовался.

Итакъ, основная идея и цѣль комедіи Загоскина намъ очень нравится. Честь и слава художнику, который дѣлаетъ такое благородное употребленіе изъ своихъ дарованій; честь и слава художнику, который употребляетъ свой высокій, данный ему Богомъ, талантъ на осмѣяніе невѣжества и эгоизма, на исправленіе общества! Но еще болѣе ему чести и славы, если эта благородная цѣль гармонируется съ направленіемъ его таланта, если она дружна съ его вдохновеніемъ, если онъ есть слѣдствіе его привычныхъ думъ, если она составляетъ религію его души и его творческаго генія, если она сливается съ его безцѣльной потребностью творить, словомъ, если она у него не обдуманый расчетъ, а безсознательный порывъ... Только подъ этимъ условіемъ его цѣль будетъ цѣлью художника, а не ремесленника, не поставщика на заказъ литературныхъ произведеній; только подъ этимъ условіемъ его портреты будутъ живыя созданія, а не мертвыя копіи; только подъ этимъ условіемъ невѣжество устыдится своего изображенія; въ противномъ же случаѣ оно не узнаетъ себя въ немъ и будетъ надъ нимъ же издѣваться!...

Хорошая цѣль во всемъ похвальна; въ искусствахъ тѣмъ болѣе.

Но въ послѣднемъ случаѣ выполненіе этой цѣли—вотъ одно, что составляетъ торжество поэта. Мы отдали полную справедливость благородной цѣли Загоскина; теперь посмотримъ, каково онъ ее выполнилъ.

То же самое чувство безпристрастія, которое заставило насъ отдать справедливую похвалу прекрасной цѣли автора, заставляетъ насъ къ крайнему нашему неудовольствію признаться, что выполненіе этой цѣли показалось намъ неудовлетворительнымъ. Прежде, нежели представимъ наши доказательства, мы почитаемъ нужнымъ замѣтить, что нашимъ сужденіемъ будетъ руководствоваться одна любовь къ истинѣ, что оно будетъ чуждо всякаго пристрастія, всякой личности. Мы ни въ какомъ случаѣ не смѣшаемъ Загоскина съ представителями литературной черни и будемъ умѣть говорить о его произведеніи съ должнымъ уваженіемъ къ нему, къ публикѣ и къ самимъ себѣ. Мы увѣрены, что какъ публика, такъ и многоруважаемый нами писатель не сочтутъ нашей твердости, нашего убѣжденія за невѣжливость или неуваженіе къ личности автора, хотя наше сужденіе будетъ и не въ его пользу. Мы всегда умѣли отдавать должную справедливость его литературнымъ заслугамъ. Мы уважаемъ его «Юрія Милославскаго», уважаемъ этотъ романъ за благородное чувство любви къ отечеству, которымъ онъ согрѣтъ, за степень таланта, съ которой онъ выполненъ, хотя и видимъ въ немъ произведеніе слабое въ художественномъ отношеніи; мы уважаемъ

его «Рославлева» за картины простонародной жизни, довольно удачно схваченная, хотя и видимъ въ немъ еще меньше художественности.

Мы уважаемъ даже его «Аскольдову Могила» за хорошей языкъ, которымъ она написана, хотя и видимъ въ ней неудачную попытку. Итакъ, да не осуждаютъ насъ въ пристрастїи къ Загоскину!

Представьте себѣ, каково было наше удивленіе, когда мы въ первомъ актѣ «Недовольныхъ» узнали что-то знакомое намъ, хотя и давно забытое нами! Помните ли вы отрывокъ изъ комедїи Загоскина «Столичные Жители въ Провинціи», помѣщенный въ первой части «Московского Вѣстника» за 1829 годъ? Сначала мы подумали, что Загоскинъ, строго держась предписаній классицизма, писалъ свою комедію «Недовольные» цѣлыя шесть лѣтъ; но когда снова прочли напечатанный отрывокъ, то увидѣли, что въ «Недовольныхъ» онъ перефразировалъ и переименовалъ. «Столичные Жители въ Провинціи» превратились въ «Недовольныхъ» и изъ провинціи переѣхали опять въ столицу. Тутъ вѣтъ ничего особенно худого: автору не трудно перенести своихъ героев не только изъ какой-нибудь губерніи въ Москву, но даже изъ Іедо въ Лиссабонъ—переѣздъ обойдется дешево, какъ ни великъ онъ. Но вотъ что приводитъ насъ въ соблазнъ: мы доселѣ никакъ не думали, чтобы однажды созданное поэтомъ могъ перефразировать по своей прихоти, какъ хозяинъ можетъ перестроить по новому плану домъ, котораго прежнимъ планомъ онъ остался недоволенъ. Неужели творчество есть ремесло, фантазмъ—настругъ, которымъ можно помыкать, какъ угодно?.. Странно, и однакожъ въ отношеніи ко многимъ нашимъ авторамъ это выходитъ такъ!..

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о содержаніи и характерахъ комедїи. О ея планѣ, завязкѣ и развязкѣ мы предоставляемъ себѣ поговорить подробнѣе въ другое время. Вотъ дѣйствующія лица комедїи: князь Радугинъ, аристократъ, богатъ, промотавшій пять тысячъ душъ оттого, что на Рождество ѣлъ свѣжую малину, а на Крещеніе—свѣжіе огурцы (маленькая гипербола!); онъ—человѣкъ пустой и глупый до послѣдней крайности; онъ не способенъ ни къ какому дѣлу, ни къ какой службѣ, живетъ въ отставкѣ и сердится, что правительство не замѣчаетъ его великихъ талантовъ, его гениальности и не даетъ ему мѣста, приличнаго его богатству, уму и знатности. У князя есть знакомый, Глинскій, второй томъ Сурскаго, близкая родня Холмину: этотъ человѣкъ—олицетворенная ходячая мораль; онъ говорить не иначе, какъ сентенціями; вы не станете съ нимъ спорить, вы согласитесь съ нимъ во всемъ до послѣдняго слова, но смертельно соскучитесь, если поговорите съ нимъ хоть десять минутъ. Несмотря на его правильное сужденіе, на здравый образъ его мыслей, онъ немножко смѣшновъ, немножко вонюшнее, какъ всѣ люди, которые бросаютъ бисеръ передъ свиньями, которые съ важностью разсуждаютъ съ слѣпыми о цвѣтахъ, съ глухими—о музыкѣ. Вотъ главные лица комедїи: на нихъ вертится все ея зданіе. Князь Любскій, министръ, пригла-

шаетъ Глинскаго вступить въ службу и предлагаетъ ему мѣсто своего товарища. Князь Радугинъ, давно уже просившій князя Любскаго о мѣстѣ, ожидаетъ въ это время отвѣта отъ него; разумѣется, министръ прислать ему отказъ. Случись же такъ, что судьба или, лучше сказать, автору угодно было сыграть престранную шутку.

Письмо министра къ Глинскому попало въ руки князя Радугина, который показавъ его (третье дѣйствіе все происходитъ на водахъ) своимъ знакомымъ и началъ павлиниться, играя роль товарища министра. Только что уходитъ князь, какъ является Глинскій и говоритъ, что ему попало, но ошибъ въ адресахъ, письмо, принадлежащее князю, а его находится въ рукахъ князя. Вотъ вамъ завязка комедїи «Недовольные»: не правда ли, что она очень проста и естественна? Въ четвертомъ дѣйствїи къ князю являются съ поклономъ люди, всегда надъ нимъ смѣявшіеся и сверхъ того покланявшіеся не подличать передъ нимъ. Забавнѣе всего ихъ предлоги, будто бы заставившіе ихъ захватить нечаянно къ князю: эти предлоги такъ же естественны, такъ же приличны людямъ хорошаго тона, какъ прилична ошибка въ адресахъ министерской канцеляріи. Повторяю, что простота и естественность составляютъ главное достоинство комедїи Загоскина. Что жъ далѣе? Разумѣется, князь ломается, корчитъ изъ себя товарища министра, принимаетъ своихъ поклонниковъ въ халатъ, общается имъ милости; поклонники расходятся съ самыми канцелярскими поклонами; человѣкъ докладываетъ о прїѣздѣ Глинскаго; князь говоритъ съ удовольствіемъ, что и этотъ моралистъ прїѣхалъ къ нему съ поклономъ, и велитъ его принять; Глинскій является и выводитъ дурака изъ его сладкаго заблужденія. Въ это же время повѣренный по дѣламъ князя докладываетъ ему, что его имѣніе описано за долги. Князь бѣсится и бранитъ Россію. Вы думаете, что онъ бранитъ ее за то, что въ ней вѣтъ снисхожденія къ такимъ знатымъ особамъ, какъ онъ, что въ ней передъ закономъ всѣ равны?—Ничего не бывало! онъ бранитъ ее точно такъ, какъ дитя бьетъ вещь, о которую оно ушиблось, т. е. безъ всякаго резона, безъ всякой причины. Вы думаете, что Глинскій воспользуется этимъ, чтобы спросить его, неужели во Франціи законы протектвуютъ должниковъ, а не кредиторовъ, и фактомъ докажетъ ему превосходство Россіи передъ Франціей, въ случаѣ утвердительнаго отвѣта князя?—Ничуть не бывало! онъ говоритъ князю грубости, которыхъ никогда не позволятъ себѣ человѣкъ хорошаго тона. Князь говоритъ, что въ Россіи невозможно жить человѣку съ умомъ и душой, и этимъ оканчивается комедія. На первый случай довольно о самой комедїи, скажемъ слова два о прочихъ дѣйствующихъ лицахъ. У князя Радугина есть теща, Анисья Дмитріевна Камская, что прежде была Матреной Савишной Лынской; это лицо хоть кого таки поставитъ втупикъ; по своему происхожденію, своему богатству и положенію въ обществѣ она кажется аристократкой; но по своему образу мыслей и выраженія она очень похожа на этихъ торго-

вокъ толкучаго рынка, которыя продають ситцевыя рубашки, бумажныя платки и бѣловые носки.

Въ этомъ отношеніи даже знаменитая сваха Савишна въ «Черной Немочи», въ сравненіи съ ней, кажется аристократкой. Камская говоритъ, что ей придется «положить зубы на полку; пожалуй, не замай, съ души претъ»; види, какъ посѣтителы водъ пошли принимать ихъ, она говоритъ:

Ну, батюшки, пошли на водопой.

Она подсылаетъ своихъ лакеевъ вывѣдывать тайны чужихъ домовъ, чтобы имѣть пищу для своихъ сплетней; шпионъ ея, Аюнька, хотѣлъ посмотрѣть, что дѣлается въ домѣ у Волгиныхъ; тамъ былъ балъ, и хозяинъ дома, оставивъ гостей, вышелъ на улицу,

Какъ вдругъ съ паспоку
Брякъ въ шокъ!
«Послушайте, за что?»
— А вотъ за что!—да хлысть въ другую...
Ужъ онъ его катать, катать!
Натѣшился, усталъ,—
Людишки приняли...

Камская бѣсится—

Ужъ я жъ его, мерзавца, доканая!

говоритъ она. Скажите, Бога ради, что все это значитъ? Неужели это картина нашего высшаго общества? Неужели эта картина снята съ него послѣ «Горя отъ ума», въ 1835 году?... Гдѣ видѣлъ Загоскинъ такія лица? И говорятъ еще, что комедія Фонвизина теперь уже анахронизмъ! Мы то же думали, пока не увидѣли «Недовольныхъ». Но повѣримъ Загоскину въ существованіи такого рода «Недовольныхъ».—теперь другой вопросъ: зачѣмъ выводить ихъ въ комедіи? Развѣ для утѣшенія райка? И въ самомъ дѣлѣ, раскѣ такъ горячо хлопалъ разсказу Аюньки, какъ никогда не хлопалъ прошлый вѣкъ разсказу Терамена. Въ «Горѣ отъ Ума» почти всѣ лица гнусны, какъ люди, но всѣ они естественны, всѣ они люди, а не куклы, пляшущія по ниткамъ, дергаемымъ руками дирижера комедіи...

Потомъ у князя есть сынъ и дочь. О дочери мы не будемъ много говорить: это просто бездушная и притомъ устарѣвшая кокетка; это еще не бѣда: жаль только, что она подходитъ немпого на горничную. Но сынъ князя—лицо важное въ комедіи. Это мальчикъ, который заучилъ нѣсколько модныхъ выраженій, подобныхъ слѣдующему, которое удалось намъ упомянуть:

...Когда никто изъ насъ не постигалъ
Ни любомудрія высокой цѣли,
Ни просвѣщенія свѣтлый идеаль.

Молодой князекъ былъ въ Парижѣ, прекрасно говорить и писать на многихъ языкахъ, и только одинъ русскій знаетъ плохо; онъ обожаетъ все европейское, ненавидитъ все русское, разумѣется, не зная хорошо ни того, ни другого; онъ служить, но очень нерадиво; три недѣли не является къ долж-

ности, получаетъ выговоръ отъ начальника, который между прочимъ совѣтуетъ ему поучиться русской грамматикѣ; князекъ отвѣчаетъ своему начальнику грубостями, выгоняется изъ службы съ худымъ аттестатомъ и въ восторгѣ оттого, что толпа не поняла его. Сверхъ того князекъ мотъ, картежный игрокъ, фатъ, волокита; онъ смѣется надъ роднымъ отцомъ и почти въ глаза называетъ его дуракомъ; словомъ, это человѣкъ безъ познаній, безъ правилъ, безъ души, безъ ума, безъ чести и совѣсти. Здѣсь явное преувеличеніе. Вѣрно Загоскинъ слѣдовалъ тѣмъ эстетикамъ, въ которыхъ говорится, что идеаль есть совокупленіе всѣхъ чертъ, разбѣянныхъ въ природѣ, въ одно лицо для выраженія той или другой идеи. Врутъ эти эстетикъ, и слѣдовать имъ опасно. Вообще у Загоскина любимая замашка—утрировать. Такъ наприимѣръ, въ своей повѣсти «Три Жениха» онъ представилъ либерала, который безпрестанно толкуетъ о правахъ человѣчества, вопіетъ противъ феодальнаго тиранизма, и который въ то же время держитъ своего мальчишку въ желѣзномъ ошейникѣ, бьетъ его не щадя, изъ своихъ рукъ, плетью, и который, наконецъ, такъ неостороженъ, такъ простъ, что не умѣетъ скрыть своихъ варварскихъ поступковъ и позволяетъ застать себя на дѣлѣ... Увѣряемъ Загоскина, что молодые люди, подобные князю Владиміру Радугину, не существуютъ въ природѣ, что только подобные имъ были у насъ когда-то, но что теперь и ихъ ужъ нѣтъ. Неужели у насъ нѣтъ ничего смѣшного, ничего порочнаго, что авторы принуждены прибѣгать къ выдумкамъ и небылицамъ? Нѣтъ, для Грибоѣдова общество представляло богатые матеріалы; теперь онъ не написалъ бы «Горя отъ Ума», но написалъ бы новую и вѣрную картину настоящаго общества и такъ же бы насмѣшилъ ею! Но вѣдь у Грибоѣдова былъ огромный талантъ, если не гений!..

Скучно, утомительно и бесполезно говорить о другихъ персонажахъ: это все одно и то же, только въ разныхъ костюмахъ и съ разными именами. Въ Запяткинѣ, задумавшемъ другъ Владиміра Радугина, авторъ хотѣлъ представить что-то въ родѣ Молчалина: это тотъ же подлець, только понаглѣе, а главная разница между ними та, что одинъ живой портретъ, а другой восковая фигура, безъ признака жизни и дурно слѣпленная. Княгиня Глафира Савишна Дутикова такъ глупа и нелѣпа, что совѣстно и говорить о ней. Федосья Львовна Подкалова, какъ двѣ капли воды, похожа на Простакову Фонвизина. Графъ Мишурскій, баронъ Турухановъ—глупцы, тоже безъ малѣйшей тѣни естественности. Только Котомкинъ и камердинеръ князя Радугина, котораго имени мы не можемъ сказать, по причинѣ его дурного этимологическаго значенія,—показались намъ естественными и вѣрными портретами, подобныхъ которымъ можно найти по крайней мѣрѣ въ провинціи. Анята, что прежде была Наташей, изъ мѣгазейной швейки превращена авторомъ въ компаньонку, и очень неудачно.

Представленіе было лучше комедіи, и однакожъ не произвело на публику никакого впечатлѣнія.

«Гамлетъ», драма Шекспира, и Мочаловъ
въ роли Гамлета.

Несмотря на множество фактовъ, доказывающихъ, что эстетическое образованіе нашего общества есть не болѣе, какъ мода, привычка или обычай, и то не свой, а заимствованный духомъ подражательности изъ чуждаго источника; несмотря на то, у насъ иногда промелькиваютъ явленія, заставляющія придержать рѣшительнымъ приговоромъ на этотъ предметъ и самымъ положительнымъ образомъ убѣждающія въ этой истинѣ, что темная атмосфера нашей эстетической жизни освѣщалась, хотя и изрѣдка, самыми яркими проблесками дарованій, и что въ нашемъ обществѣ есть всѣ элементы, а слѣдовательно и живая потребность изящнаго. Стоитъ только заглянуть въ исторію нашей письменности: посмотрите, какъ слабо привился къ свѣжему и мощному русскому духу гнилой и безсильный французскій классицизмъ: едва Пушкинъ, предшествующій Жуковскому, растолковалъ намъ тайну поэзіи, едва наши журналы открыли намъ литературную Германію и Англію и — гдѣ нашъ классицизмъ, гдѣ наши дюжинныя поэмы, гдѣ протяжный вой, мишурная мантия и деревянный кивчалъ Мельпомены! Посмотрите, напротивъ, въ какое короткое время и какъ тѣсно сроднились съ русскимъ духомъ живыя вдохновенія Германіи и Англіи; посмотрите, какую всеобщность, какую народность приобрѣли роскошныя и полныя юной и дѣвственной жизни созданія Пушкина еще при самомъ появленіи его на поэтическое поприще, еще во время полнаго владычества бездушнаго французскаго классицизма и нелѣпой французской теоріи искусства! Этого мало: ежели на свѣжую русскую жизнь не имѣлъ почти никакого вліянія гнилой французскій классицизмъ, то еще менѣе имѣлъ на нее вліянія лихорадочный, пьяный французскій романтизмъ. Посмотрите только, увлекся ли кто-нибудь изъ нашихъ талантовъ, уважаемыхъ публикой писателей этими неестественными, но произведенными хмѣлемъ и безумствомъ конвульсіями такъ называемой, Богъ знаетъ почему, юной, но въ самомъ-то дѣлѣ той же дряхлой, но только на новый ладъ, французской литературы? Кто ей подражалъ? Литературные подражники, чернь литературная — больше никто! Не показываетъ ли все это вѣрнаго эстетическаго чувства въ нашемъ юномъ обществѣ? Можетъ быть намъ укажутъ, въ опроверженіе, на незаслуженное равнодушіе со стороны нашего общества къ созданіямъ Державина, Озерова, Батюшкова: несмотря на все наше желаніе защититься противъ этого довода, мы не будемъ входить ни въ какія подробности, потому что онѣ могли бы слишкомъ далеко завести насъ, а скажемъ только то, что если гений или талантъ и точно были достоинствомъ этихъ поэтовъ, то общество все-таки имѣло свое право на равнодушіе къ нимъ, потому что, въ союзъ со временемъ, оно есть самый непогрѣшительный критикъ, и если

оно часто принимаетъ мишуру за чистое золото, то не больше какъ на минуту.

Все, что мы сказали, клонится къ оправданію нашей публики въ несправедливомъ обвиненіи въ ея будто бы холодности къ изящному вообще и къ отечественной литературѣ въ особенности. Со дня на день новыя факты заставляютъ отнести эти обвиненія къ числу тѣхъ запоздалыхъ предубѣждений, которыя повторяются по привычкѣ, какъ общія мѣста, и, подобно всѣмъ общимъ мѣстамъ, не имѣютъ никакого смысла. Къ числу этихъ утѣшительныхъ фактовъ, которыми особенно богато настоящее время, принадлежитъ представленіе на московской сценѣ Шекспирова «Гамлета».

Уже болѣе года, какъ играется эта пьеса на московской сценѣ, и какъ самый переводъ ея напечатанъ, слѣдовательно всѣ впечатлѣнія теперь — уже только воспоминаніе, всѣ сужденія и толки — уже одно общее мнѣніе, разумеется, рѣшенное большинствомъ голосовъ, и потому теперь намъ должно быть не органомъ одной минуты восторга, но спокойнымъ историкомъ литературнаго событія, важнаго по самому себѣ и по своимъ слѣдствіямъ, и поэтому сосредоточеннаго на одной идеѣ и представляющаго какъ бы нѣчто цѣлое и характеристическое. Мы поговоримъ и о самой пьесѣ, и объ игрѣ Мочалова, и о переводѣ; но публика будетъ главнѣйшимъ вопросомъ нашего разсужденія.

«Гамлетъ»!.. понимаете ли вы значеніе этого слова — оно велико и глубоко: это жизнь человѣческая, это человѣкъ, это вы, это я, это каждый изъ насъ, болѣе или менѣе въ высокомъ или смѣшномъ, но всегда въ жалкомъ и грустномъ смыслѣ... Потомъ, Гамлетъ — этотъ блистательнѣйшій алмазъ въ лучезарной коронѣ царя драматическихъ поэтовъ, увѣнчанный цѣлымъ человечествомъ и ни прежде, ни послѣ себя не имѣющаго себѣ соперника — «Гамлетъ» Шекспира на московской сценѣ!.. Что это такое? Гамлетъ — Мочаловъ. Мочаловъ, этотъ актеръ, съ его конечно прекраснымъ лицомъ, благородной и живой физиономіей, гибкимъ и гармоническимъ голосомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и небольшимъ ростомъ, неграціозными манерами и часто пѣвучей дикціей; актеръ конечно съ большимъ талантомъ, съ минутами высокаго вдохновенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ никогда и ни одной роли не исполнившій вполнѣ и не выдержавшій въ цѣломъ ни одного характера; сверхъ того актеръ съ талантомъ одноостроумнымъ, назначеннымъ исключительно для ролей только пламенныхъ и изступленныхъ, но не глубокихъ и многозначительныхъ — и этотъ Мочаловъ хочетъ выйти на сцену въ роли Гамлета, въ роли глубокой, сосредоточенной, меланхолически-желчной и безконечной въ своемъ значеніи... Что это такое? добродушная и невинная бенефициантская продѣлка?.. Такъ или почти такъ думала публика и чуть ли не такъ думали и мы, пишущіе теперь эти строки подъ вліяніемъ тѣхъ могущественныхъ впечатлѣній, которыя, поразивши

однажды душу человѣка, никогда не изглаживаются въ ней и которыя привести на память значить снова возобновить ихъ въ душѣ со всей роскошью и со всей свѣжестію ихъ сладостныхъ потрясеній... Мы надѣялись насладиться двумя-тремя проблесками истиннаго чувства, двумя-тремя проблесками высокаго вдохновенія, но въ цѣлой роли думали увидѣть пародію на Гамлета и — обманулись въ своемъ предположеніи: въ игрѣ Мочалова мы увидѣли если не полнаго и совершеннаго Гамлета, то потому только, что въ превосходной вообще игрѣ у него осталось нѣсколько невыдержанныхъ мѣстъ; но онъ бросилъ въ глазахъ нашихъ новый свѣтъ на это созданіе Шекспира и далъ намъ надежду увидѣть настоящаго Гамлета, выдержаннаго отъ перваго до послѣдняго слова роли.

Нельзя говорить объ игрѣ актера, не сказавши ничего о пьесѣ, въ которой онъ игралъ, тѣмъ болѣе, если эта пьеса есть великое произведеніе творческаго гения, а между тѣмъ инымъ извѣстна только по наслышкѣ, а инымъ и вовсе не извѣстна. Итакъ, мы сперва поговоримъ о самомъ «Гамлетѣ» и изложимъ его содержаніе, потомъ отдадимъ отчетъ въ игрѣ Мочалова, а въ заключеніе скажемъ наше мнѣніе о переводѣ Полевцова.

Кому не извѣстно, хотя по наслышкѣ, имя Шекспира, одно изъ тѣхъ міровыхъ именъ, которыя принадлежатъ цѣлому человѣчеству. Слишкомъ было бы смѣло и странно отдать Шекспиру рѣшительное преимущество предъ всѣми поэтами человѣчества, какъ собственно поэту, но, какъ драматургу, онъ и теперь остается безъ соперника, имя котораго можно бы было поставить подлѣ его имени. Обладая даромъ творчества въ высшей степени и одаренный мірообъемлющимъ умомъ, онъ въ то же время обладаетъ и этой объективностью гения, которая сдѣлала его драматургомъ по преимуществу и которая состоитъ въ этой способности понимать предметы такъ, какъ они есть, отдѣльно отъ своей личности, переселяться въ нихъ и жить ихъ жизнью. Для Шекспира нѣтъ ни добра, ни зла; для него существуетъ только жизнь, которую онъ спокойно созерцаетъ и сознаетъ въ своихъ созданіяхъ, ничѣмъ не увлекаясь, ничему не отдавая преимущества. И если у него злодѣй представляется палачемъ самого себя, то это не для назидательности и не по ненависти къ злу, а потому, что это такъ бываетъ въ дѣйствительности, по вѣчному закону разума, вслѣдствіе котораго кто добровольно отвергся отъ любви и свѣта, тотъ живетъ въ удушливой, мучительной атмосферѣ тьмы и ненависти. И если у него добрый въ самомъ страданіи находитъ какую-то точку опоры, что-то такое, что выше и счастія, и бѣдствія, то опять не для назидательности и не по пристрастію къ добру, а потому, что это такъ бываетъ въ дѣйствительности, по вѣчному закону разума, вслѣдствіе котораго любовь и свѣтъ есть естественная атмосфера человѣка, въ которой ему легко и свободно дышать даже и подъ тяжкимъ гнетомъ судьбы. Впрочемъ эта объективность со-всѣмъ не есть безстрастіе: безстрастіе разрушаетъ

поэзію, а Шекспиръ — великій поэтъ. Онъ только не жертвуетъ дѣйствительностью своимъ любимымъ идеямъ, но его грустный, иногда болѣзненный взглядъ на жизнь доказываетъ, что онъ дорогой цѣной купилъ истину своихъ изображеній.

Есть два рода людей: одни прозябаютъ, другіе живутъ. Для первыхъ жизнь есть сонъ, и если этотъ сонъ видится имъ на мягкой и теплой постели, они удовлетворены исполнѣ. Для другихъ же, людей собственно, жизнь есть подвигъ, выполненіе котораго, безъ противорѣчія съ благопріятностью вѣшнихъ обстоятельствъ, есть блаженство, а при условіи добровольныхъ лишеній и страданій, должно быть блаженствомъ и точно есть блаженство, не только тогда, когда человѣкъ, уничтоживъ свое я во внутреннемъ созерцаніи или сознаніи абсолютной жизни, снова обрѣтаетъ его въ ней. Но для этого внутренняго просвѣтленія нужно много борьбы, много страданій, и для него много званыхъ, но мало избранныхъ. Для всякаго человѣка есть эпоха младенчества или этой бессознательной гармоніи его духа съ природой, вслѣдствіе которой для него жизнь есть блаженство, хотя онъ и не сознаетъ этого блаженства. За младенчествомъ слѣдуетъ юношество, какъ переходъ въ возмужалость; этотъ переходъ всегда бываетъ эпохой распадѣнія, дисгармоніи, слѣдовательно, грѣха. Человѣкъ уже не удовлетворяется естественнымъ сознаніемъ и простымъ чувствомъ: онъ хочетъ знать; а такъ какъ до удовлетворительнаго знанія ему должно перейти черезъ тысячи заблужденій, нужно бороться съ самимъ собой, то онъ и падаетъ. Это непреложный законъ какъ для человѣка, такъ и для человѣчества. Для человѣка эта эпоха настаѣтъ двоякимъ образомъ: для одного она начинается сама собой, вслѣдствіе избытка и глубины внутренней жизни, требующей знанія во что бы то ни стало — вотъ Фаустъ; для другого она ускоряется какими-нибудь вѣшними обстоятельствами, хотя ея причина и заключается не во вѣшнихъ обстоятельствахъ, а въ духѣ самого этого человѣка — вотъ Гамлетъ. Для жизни законы одни, но проявленія ихъ бесконечно различны: распадѣніе Гамлета выразилось слабостью воли при сознаніи долга. Итакъ, «слабость воли при сознаніи долга» — вотъ идея этого гигантскаго созданія Шекспира, — идея, впервые высказанная Гёте въ его «Вильгельмѣ Мейстерѣ» и теперь сдѣлавшаяся какимъ-то общимъ мѣстомъ, которое всякій повторяетъ по своему. Но Гамлетъ выходитъ изъ своей борьбы, т.-е. побѣждаетъ слабость своей воли, слѣдовательно, эта слабость воли есть не основная идея, но только проявленіе другой болѣе общей и болѣе глубокой идеи, — идея распадѣнія, вслѣдствіе сомнѣнія, которое въ свою очередь есть слѣдствіе выхода изъ естественнаго сознанія. Все это мы объяснимъ подробнѣе, для чего и спѣшимъ перейти къ изложенію содержанія и хода всей пьесы.

Въ Даніи жилъ когда-то доблестный король Гамлетъ съ женой своей Гертрудой, которую онъ любилъ страстно и которой самъ былъ любимъ страстно. Кромѣ жены у него былъ сынъ, принцъ Гамлетъ, и

братъ Клавдій. Вдругъ этотъ король умираетъ скоропостижно, а братъ его, Клавдій, дѣлается королемъ и, еще не давши пройти и двумъ мѣсяцамъ послѣ братниной смерти, женится на его вдовѣ, своей невѣсткѣ. Сынъ покойнаго короля, юный принцъ Гамлетъ, долго учился въ Виртембергѣ, «въ этихъ германскихъ университетахъ, гдѣ уже метафизика доискивалась до начала вещей, гдѣ уже жили въ мѣрѣ идеальномъ, гдѣ уже мечтательность доводила человѣка до внутренней жизни. Настроенный такимъ образомъ, онъ возвращается ко двору, грубому и развратному въ своихъ удовольствіяхъ, и дѣлается свидѣтелемъ смерти своего отца и скорого забвенія, которое бываетъ удѣломъ умершихъ» *). Онъ обожалъ покойнаго короля, какъ отца, какъ человѣка, какъ героя, — и глубоко былъ оскорбленъ соблазнительнымъ поведеніемъ своей матери. Вѣра въ человѣческое достоинство въ немъ поколеблена, лучшія мечты его о благѣ разрушены. Если мы къ этому прибавимъ еще то, что онъ любитъ Офелію, дочь министра Полонія, то читатель нашъ будетъ совершенно на той точкѣ, отъ которой отправляется дѣйствіе драмы. Друзья Гамлета, Бернардо, Франциско, Марцелло и Гораціо, стоя на стражѣ у галлерей королевскаго замка, видятъ тѣнь покойнаго короля и, условившись рассказать объ этомъ Гамлету, расходятся. Вотъ въ чемъ состоитъ первая сцена перваго акта. Во второй сценѣ являются король, королева, Гамлетъ, Полоній, Лаертъ и другіе придворные. Король въ хитросплетенной рѣчи благодаритъ придворныхъ за то, что они одобрили его бракъ; потомъ посылаетъ двухъ придворныхъ посланни къ норвежскому королю для переговоровъ. Наконецъ, соглашается на просьбу Лаерта, сына Полонія, возвратиться во Францію, откуда онъ пріѣхалъ на коронацію. Рѣшивши все это, король, вмѣстѣ съ королевой, проситъ Гамлета перестать печалиться о потерѣ отца и не ѣхать въ Виртембергъ, а остаться въ Даніи. Гамлетъ отвѣчаетъ имъ коротко и отрывочно съ грустной ироніей; общается исполнить ихъ просьбу. Всѣ уходятъ, онъ остается одинъ.

Изъ монолога: «Для чего ты не растаешь, ты не распадешься прахомъ», и разговора съ вошедшими затѣмъ Гораціо и Марцелло вы уже видите состояніе души Гамлета: она глубоко уязвлена ядовитой стрѣлой; слова его отзываются желчью, негодованіе высказывается въ сарказмахъ. Что жъ почувствовалъ Гамлетъ, когда Гораціо объявилъ ему о чудномъ явленіи тѣни отца его? Онъ рѣшается провести съ ними ночь на стражѣ и, прося ихъ о молчаніи, отпускаетъ.

Третье явленіе перваго дѣйствія происходитъ въ домѣ Полонія. Лаертъ, отправляясь во Францію, прощается съ Офеліей и совѣтуетъ остерегаться Гамлета и смотрѣть на его любовь, какъ на пустое увлеченіе. Входитъ Полоній и даетъ Лаерту свои послѣдніе совѣты, въ которыхъ виденъ вѣдоможа и пошлый человѣкъ, который ни о чемъ не имѣетъ понятія, а между тѣмъ думаетъ о себѣ, что онъ

очень уменъ и глубоко проникъ въ жизнь, потому только, что много прожилъ на блѣдомъ свѣтѣ, то есть больше другихъ успѣлъ надѣлать глупостей.

Выслушавши съ должнымъ уваженіемъ родительскія наставленія, Лаертъ уходитъ, сказавши сестрѣ:

Прощай, Офелія, и помни мой совѣтъ.

Я заперла его на сердца — ключъ
Возьми съ собою, Лаертъ —

отвѣчаетъ ему Офелія. Полоній привязывается къ ея словамъ и требуетъ у нея отчета въ ея отношеніяхъ къ Гамлету. Даетъ ей благоразумные совѣты, увѣряетъ ее, что Гамлетъ дурачится, «что ему, какъ принцу, извинительно», но къ ней вовсе не идетъ. Наконецъ, запрещаетъ ей принимать отъ него письма и подарки и велитъ доносить себѣ о всякомъ его поступкѣ съ нею; любящая дѣвушка дѣлается покорной дочерью и общается въ точности исполнять приказанія своего батюшки.

Четвертая сцена перваго дѣйствія происходитъ на террасѣ передъ замкомъ. Гамлетъ является съ Гораціо и Марцелломъ. Раздается отдаленный звукъ трубъ. — Что это такое? — спрашиваетъ Гораціо. Гамлетъ отвѣчаетъ:

Что? веселый пиръ
Великаго влѣстителя, и каждый разъ,
Какъ онъ стаканъ вина подноситъ ко рту,
Звукъ трубный возвѣщаетъ свѣту подвигъ
Героя-короля.

Наконецъ является тѣнь. Гамлетъ обращается къ ней съ монологомъ, слишкомъ длиннымъ для его положенія и немного риторическимъ; но это не вина ни Шекспира, ни Гамлета: это болѣзнь XVI вѣка, характеръ котораго, какъ говоритъ Гизо, составляла гордость отъ множества познаній, недавно прибрѣтенныхъ, расточительность въ разсужденіяхъ и неумѣренность въ умствованіяхъ. Онъ же справедливо замѣчаетъ, что Лаертъ самую искреннюю горестъ о потерѣ отца и сестры выражаетъ самой надутой риторикой, а мужикъ, копающій могилу, играетъ роль философа своей деревеньки.

Тѣнь манитъ за собой Гамлета, который, въ своемъ изступленіи, слѣдуетъ за ней, отвѣтивъ угрозами на представленія друзей, пытавшихся удержать его. Гораціо и Марцеллій, подумавъ нѣсколько, рѣшаются слѣдовать за нимъ. Тѣнь и Гамлетъ снова являются на сценѣ; тѣнь рассказываетъ Гамлету о своей смерти, и ея разсказъ проникнутъ лирической цвѣтистостью языка и истинной шекспировской поэзіей. Гамлетъ узнаетъ, что его отецъ отравленъ своимъ братомъ, а его дядею, теперешнимъ королемъ, мужемъ его матери, который въ то время, какъ король спалъ въ саду, влилъ ему въ ухо ядъ, отъ котораго онъ и умеръ въ страшныхъ мукахъ; а такъ какъ эта внезапная смерть застала его въ грѣхахъ, не приготовившагося покаяніемъ, то онъ и осужденъ днемъ горѣть въ адскомъ огнѣ, а ночью блуждать по землѣ, доколѣ его убійца не будетъ наказанъ. Тѣнь исчезаетъ; Гамлетъ остается одинъ. За сценой раздаются голоса Гораціо и Марцеллія, которые въ беспокойствѣ ищутъ Гамлета.

*) Гизо въ предисловіи къ «Гамлету».

Теперь поймите положеніе Гамлета. Эта душа, рожденная для добра и еще въ первый разъ увидѣвшая зло во всей его гнусности, и какое зло? и надъ кѣмъ совершившееся?—Надъ героемъ, великимъ человѣкомъ, представителемъ добра, отцомъ его, этого Гамлета!.. И отъ кого узналъ онъ объ этомъ?—Отъ самой тѣни своего отца, столь глубоко нмѣ любимого, столь ужасно погибшаго. Не обращайтесь вниманія на сверхъестественное посредство умершаго человѣка: не въ томъ дѣло, дѣло въ томъ, что Гамлетъ узналъ о смерти своего отца, а какимъ образомъ—вамъ нѣтъ нужды. Но вмѣсто этого, разверните драму и подивитесь, какъ поэтъ умѣлъ воспользоваться даже этимъ «чудеснымъ», чтобы развернуть во всемъ блескѣ своей драматической гений: его тѣнь жива; въ ея словахъ отзывается боль страждущаго тѣла и страждущаго духа... О, какая высокая драма: какая истина въ положеніи! Въ разговорѣ съ тѣнью каждое слово Гамлета проникнуто любовью къ отцу, бесконечно-глубокой, бесконечно-страждущей. Въ разговорѣ съ Горацио и Марцелліемъ, по уходѣ тѣни, каждое слово Гамлета есть острая стрѣла, облитая ядомъ, въ каждомъ выраженіи его отзывается и мучительное бѣшенство противъ злодѣйства, и мучительная горестъ отъ того, что оно совершилось. Жребій брошенъ: само Провидѣніе избираетъ его мстителемъ—и онъ клянется мстить, страшно мстить, но это только порывъ... погоди, Гамлетъ, ты любишь добро, ненавидишь зло, ты—сынъ, но ты и человѣкъ...

Въ головѣ его мгновенно промелькнулъ планъ. Онъ закликаетъ своихъ друзей хранить молчаніе, что бы онъ ни дѣлалъ, глубокое молчаніе даже и тогда, если бѣ ему вздумалось прикинуться сумасшедшимъ. Три раза заставлятъ онъ ихъ клясться въ молчаніи на своемъ мечѣ, и три раза раздаются изъ-подъ земли гробовой голоса тѣни «клянитесь!». Наконецъ клятва взята, и Гамлетъ уходитъ съ своими друзьями; послѣднія слова его:

Преступленіе

Проклятое! Зачѣмъ рожденъ я наказать тебя!

въ переводѣ Вронченко, кажется, ближе выражаютъ смыслъ подлинника:

Нашъ вѣкъ разстроены; о несчастный жребій!
Зачѣмъ же я рожденъ его исправить!

Слышите ли: «Зачѣмъ же я рожденъ его исправить?» Видите ли: онъ понялъ, что мщеніе его святой долгъ, котораго онъ, безъ призрѣнія къ себѣ, не могъ бы не выполнить; онъ даже рѣшился на мщеніе, и повидимому рѣшился твердо, даже съ какой-то дикой радостью; но въ то же время онъ падаетъ подъ тяжестью собственнаго рѣшенія. Въ этихъ словахъ: «Зачѣмъ же я рожденъ его исправить?»—заключена основная мысль цѣлой драмы. Всеобъемлющій умъ Гёте первый замѣтилъ это: гений понималъ гения.

Первое явленіе второго дѣйствія открывается Полоніемъ, который отпускаетъ во Францію служителя для надзора за Лаертомъ и даетъ ему подробную

инструкцію, по которой онъ долженъ дѣйствовать, чтобы развѣдать о поведеніи его сына. Въ этой инструкціи высказывается весь характеръ Полонія, составленный изъ хитрости и благоразумія; обнаруживается его взглядъ на нравственность, какъ на понятіе чисто условное.

Вдругъ входитъ Офелія, вся встревоженная, и на вопросъ Полонія о причинѣ ея волненія рассказываетъ о странномъ появленіи Гамлета въ ея комнату.

«Довольно!» говорить Полоній:

Скорѣ къ королю. Безумство это,—
Любовное безумство, понимаю!
Любовь всего скорѣй съ ума часть сводитъ.
Жаль, очень жаль мнѣ принца! Вѣрно,
Ты грубо отвѣчала на его любовь?

Офелія.

Нѣтъ, только слѣдуя приказу,
Я писемъ отъ него не принимала больше.
И запретила видѣться со мною.

Полоній.

Вотъ онъ и одурѣлъ отъ этого. Какъ жаль,
Что поступилъ я слишкомъ скоро, строго;
Да вѣдь я думалъ, что онъ шутитъ! Могъ ли
Предвидѣть слѣдствія?—поторопиться—глупо!
Все недоумѣчивость проклятая причиной—
Мы старики упрямые.

Погоди, Полоній: это еще не послѣдній твой промахъ; придетъ время, и еще не такъ промахнешься со всемъ твоимъ благоразуміемъ, со всемъ твоимъ знаніемъ жизни, которыми ты такъ тщеславишься. Ты много жилъ на свѣтѣ, и твоя опытность такъ же велика, какъ длинна твоя сѣдая борода; но ты еще много не знаешь, старый ребенокъ! Ты ловко умѣешь править своей утлой ладьей на грязномъ болотѣ мелочныхъ интересовъ вѣтшей жизни; ты знаешь, какъ провести за носъ и недруга, и друга, когда это тебѣ нужно; ты умѣешь кланяться низко и говорить сладко передъ сильнѣйшими тебя; держать себя достойно и прилично передъ равными себѣ, и снисходительно и ласково уничтожать своими мишурнымъ величіемъ низшихъ себя; но скоро горестнымъ опытомъ увѣришься ты, что ты ничего не зналъ, ничего не понималъ, и твоя опытная мудрость, твое извѣданное благоразуміе и осторожность не только не спасутъ тебя отъ роковой минуты, но еще помогутъ тебѣ сдѣлать неизбежное *salto mortale*.

Да, бѣдный Полоній, твоя собственная дочь и Гамлетъ скоро растолкуютъ тебѣ все это, хотя и бесполезно и поздно для тебя, старый ребенокъ, глупый умникъ...

Во второмъ явленіи второго акта король и королева просятъ двухъ придворныхъ, бывшихъ товарищей по ученію и друзей Гамлета, Розенкранца и Гильденштерна, разсѣять грусть молодого принца. Гильденштернъ и Розенкранцъ общають употребить всѣ свои силы вывѣдать причину его грусти и разсѣять ее. Входитъ Полоній и объявляетъ ко-

ролю двѣ новости: первую, что Вольтимандъ и Корнелій, отправленные послами къ норвежскому королю, дядѣ молодого Фортинбраса, возвратились съ успѣхомъ, и вторую, что онъ, Полоній, отъ прозорливости котораго ничто въ мірѣ не можетъ укрыться, открылъ причину Гамлетова разстройства, которую и объявить ему, когда онъ отпуститъ пословъ. По отпускѣ пословъ начинается сцена, въ которой особенно выражается весь характеръ Полонія. Онъ предлагаетъ королю устроить встрѣчу Гамлета съ своей дочерью и подслушать его разговоръ съ ней. Король и королева соглашаются и уходятъ. Полоній идетъ навстрѣчу Гамлету и заводитъ съ нимъ разговоръ, изъ котораго, увы, ничего не узнаетъ положительнаго, и только еще болѣе увѣряется въ пріятной для его самолюбія мысли, что Гамлетъ по уши влюбленъ въ его дочь. Это одна изъ превосходнѣйшихъ сценъ. Гамлетъ притворяется сумасшедшимъ и ловко сбиваетъ съ толку Полонія своими неожиданными отвѣтами, проникнутыми желчной ироніей, грустью и презрѣніемъ къ Полонію, котораго онъ глубоко понимаетъ. «Принцъ, позвольте взять смѣлость проститься съ вами», говоритъ наконецъ Полоній. «Изъ всего, что вы можете взять у меня, ничего не уступаю я вамъ такъ охотно, какъ жизнь мою, жизнь мою, жизнь мою», отвѣчаетъ Гамлетъ: о, видно, эта жизнь сдѣлалась для него ужъ слишкомъ тяжелой ношей!..

За этимъ начинается другая превосходнѣйшая сцена: разговоръ Гамлета съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ. Гамлетъ продолжаетъ представлять изъ себя помѣшаннаго и злобно дурачить этихъ двухъ пошляковъ своими неожиданными, лукавыми и желчными отвѣтами и вопросами; наконецъ заставляетъ признаться, что они подсланы къ нему королемъ и королевой. Изобличенные и одураченные, они сворачиваютъ рѣчь на комедіантовъ, только что прибывшихъ ко двору.

Входятъ комедіанты: главный изъ нихъ, по вызову Гамлета, читаетъ монологъ изъ плохой трагедіи, въ которомъ надутыми стихами описывается неистовство Пирра и бѣдствіе Гекубы. Гамлетъ спрашиваетъ главнаго комедіанта, можетъ ли онъ представить «Смерть Гонзага», и можно ли ему, Гамлету, вставить въ эту пьесу стиховъ десятокъ своихъ? Получивши удовлетворительный отвѣтъ, отпускаетъ комедіантовъ и всѣхъ, находящихся на сценѣ, и остается одинъ.

Въ монологѣ «Богъ съ вами! Я одинъ теперь», вырвавшимся изъ глубины души, какъ вырывается потокъ лавы изъ глубины земли, высказался весь Гамлетъ. Онъ сравниваетъ себя съ комедіантомъ, и сравниваетъ такъ невыгодно для своей личности; онъ отвергаетъ предположеніе о своей трусости, говоря, что за личную обиду онъ готовъ метить кровью; наконецъ онъ хочетъ узнать истину посредствомъ актеровъ: видите ли, онъ не вѣритъ духу. Но здѣсь представляется вопросъ: потому ли онъ медлитъ мнѣніемъ, что не вѣритъ духу, или потому не вѣритъ духу, что медлитъ мнѣніемъ? Мы сейчасъ увидимъ, что онъ уже несомнѣнно вѣритъ

духу, но еще долго не увидимъ, что онъ не медлитъ болѣе мнѣніемъ... Бѣдный Гамлетъ!..

Первое явленіе третьяго акта открывается разговоромъ короля и королевы съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ, которые доносятъ имъ о неуспѣхѣ своей рекогносцировки при Гамлетѣ. Встрѣча Гамлета съ Офеліей уже улажена Полоніемъ. Король высылаетъ королеву и придворныхъ, а самъ скрывается за дверь, чтобы подслушать разговоръ Гамлета съ Офеліей. Офелія прохаживается по сценѣ съ книгой въ рукахъ, какъ будто углубившись въ чтеніе. Является Гамлетъ.

За монологомъ «Быть или не быть» начинается его разговоръ съ Офеліей, въ которомъ онъ оскорбительными и саркастическими насмѣшками надъ ней высказываетъ болѣзненное состояніе своего духа, и заставляетъ ее выносить на себѣ его презрѣніе къ женщинамъ, возбужденное въ немъ матерью. Король выходитъ изъ-за своей засады и говоритъ, что не любовь, а что-нибудь другое причиной разстройства Гамлетова: совѣсть короля догадливѣе дипломатической тонкости Полонія. «Такъ рѣшено, говоритъ король, Гамлетъ поѣдетъ въ Англію». Полоній не противорѣчитъ этой мѣрѣ, но предлагаетъ еще и свою: послѣ представленія, на которое Гамлетъ пригласилъ короля и королеву, позвать его къ королевѣ, которая бы его поразспросила, а ему, Полонію, подслушать ихъ разговоръ, и если онъ изъ него ничего не узнаетъ, тогда уже отправить его въ Англію.

Второе явленіе третьяго акта заключаетъ въ себѣ разрѣшеніе Гамлетова сомнѣнія, — разрѣшеніе, которое для Гамлета горше и тяжелѣе прежняго сомнѣнія. Эта сцена гнететъ ужасомъ душу зрителя, какъ какое-то неясное могильное видѣніе: въ ней выражено все ужасное цѣлой драмы, сосредоточенное въ одномъ моментѣ. Но объ этомъ мы поговоримъ послѣ, потому что глубокая и сосредоточенная сила этой сцены понята и перечувствована нами не столько въ чтеніи, сколько въ представленіи: великій актеръ объяснилъ намъ Шекспира въ этой сценѣ, которой безъ посредства этого актера невозможно постигнуть во всей безконечности ея скрытой и подавляющей души силы.

Гамлетъ даетъ совѣты актеру, какъ ему должно играть. Потомъ, объявляя нѣсколько о своемъ планѣ Горацию, умоляетъ его наблюдать за королемъ.

Входятъ король и королева въ сопровожденіи двора. Гамлетъ прикидывается сумасшедшимъ всерьезомъ, и въ этой ужасной веселости осыпаетъ сарказмами короля и Полонія. Всѣ садятся; Гамлетъ противъ короля и королевы, у ногъ Офеліи, на которую изливаетъ свою саркастическую желчь.

Начинается представленіе. На сценѣ дряхлый король, сидя въ креслахъ, разговариваетъ съ своей женой. Его томитъ предчувствіе о близкой смерти, и онъ съ грустью воспоминаетъ о тридцати годахъ блаженства, проведенныхъ имъ въ супружествѣ съ нею. Королева отвѣчаетъ ему желаніемъ, чтобы ихъ взаимное блаженство продолжалось еще на столько же лѣтъ. Король возражаетъ предчувствіемъ скорой

смерти и желаніемъ, чтобы вторичная любовь осчастливила спутницу его жизни. Надутыми, гиперболическими клятвами отрицает королева возможность вторичной любви для себя. Они расстаются; король засыпаетъ въ креслахъ. На сцену входитъ злодѣй съ чашкой, наполненной ядомъ, который онъ и вливаетъ въ ухо спящему королю. Король встаетъ съ гнѣвомъ. Общее смятеніе. Всѣ выходятъ. Гамлетъ въ истерическомъ восторгѣ отъ того, что убійца его отца открытъ. Входитъ Гильденштернъ и объявляетъ Гамлету, что королева, мать его, желаетъ съ нимъ говорить.

Послѣ представленія король рѣшилъ, что ему надо сбыть съ рукъ Гамлета, во что бы то ни стало. Мученія совѣсти страшно раздражаютъ его душу, и онъ высказываетъ ихъ въ одномъ изъ тѣхъ монологовъ, въ которыхъ поэзія и лиризмъ выражений и образовъ удивительно сливаются съ самымъ высшимъ драматизмомъ, и которые умѣлъ писать только одинъ Шекспиръ—одинъ онъ, и больше никто. Опасаясь сдѣлать статью нашу слишкомъ большой, мы не выписываемъ этого превосходнаго монолога. Въ немъ, послѣ продолжительной борьбы, король не рѣшается отказаться отъ выгодъ своего злодѣйства, т.-е. отъ короны и королевы, но рѣшается—молиться и становится на колѣни. Въ это время входитъ Гамлетъ; минута благопріятна: одинъ ударъ шпагой—и совершенъ подвигъ и вѣтъ камня на душѣ... Онъ такъ и хочетъ сдѣлать, но вдругъ ему приходитъ въ голову превосходная мысль.

Остановите ваше вниманіе на монологѣ: «И съ молитвой погибнетъ онъ!»: онъ покажетъ вамъ, что если прекрасная душа не можетъ и не умѣетъ обманывать другихъ, то можетъ и умѣетъ обманывать себя, и свою нерѣшительность и слабость объяснять себѣ жаждой мести, которая должна быть ужаснѣе и удовлетворительнѣе, когда ей предстанетъ удобнѣйшій случай. А между тѣмъ его слова не пустая фраза: напротивъ, они исполнены силы и поэзіи, потому что онъ вѣритъ своей мысли, по крайней мѣрѣ въ эту минуту. Не забудьте къ этому, что послѣ представленія, недовѣрчивость къ духу уже кончилась...

И такъ, Гамлетъ, сказавши эти слова, уходитъ, вполне убѣжденный, что для того только отсрочилъ месть, чтобы сдѣлать ее ужаснѣе, а совсѣмъ не по недостатку силы воли... Король, окончивъ свою молитву, встаетъ съ убѣжденіемъ, что

Слова на небо—мысли на землѣ!
Безъ мысли слово недоступно къ Богу!

Вотъ уже и третье явленіе третьяго дѣйствія; драма идетъ все крещендо; сейчасъ только убѣдился Гамлетъ въ ужасной истинѣ насчетъ смерти своего отца, сейчасъ только колебался онъ между своей нерѣшительностью и порывомъ мщенія, и вотъ ему предстоитъ рѣшительный разговоръ съ матерью. Полоній, давши королевѣ совѣтъ быть съ Гамлетомъ строже, украдкой отъ нея прячется за занавѣской; старый дуралей не предчувствуетъ, что лѣзетъ въ западню, которую самъ себѣ устроилъ, на зло сво-

ему благоразумію и своей опытности. Входитъ Гамлетъ. Онъ убиваетъ Полонія, думая, что то былъ король, подслушивающій разговоръ его съ матерью.

Въ разговорѣ, затѣмъ происшедшемъ, королева подавлена страшной силой истины и убѣжденія: она уже не оправдывается—она проситъ у сына снисхожденія, пощады; она уже не преступница, но слабая женщина, не королева, но мать. Вдругъ является тѣнь Гамлетова отца: она пришла возбудить силы своего сына на мщеніе и повелѣваетъ ему сильнѣй дѣйствовать на душу матери. Въ Гамлетѣ борются два противоположныя чувства: ужасъ къ сверхъестественному явленію и любовь къ отцу. Явленіе тѣни, вмѣсто того чтобы дать ему новую силу, лишаетъ его и прежней. Бѣдный Гамлетъ!.. Королева хочетъ увѣрить его, что это мечта его разстроеннаго воображенія: Гамлетъ отвѣчаетъ ей, что его нуль бьется такъ же, какъ и у ней, что онъ видитъ и слышитъ такъ же, какъ и она, что онъ можетъ пересказать въ порядкѣ всѣ слова тѣни, упрекаетъ ее, что она хочетъ приписать его безумію то, что должна приписать своимъ грѣхамъ и преступленіямъ; умоляетъ ее покаяться, закликаетъ ее не осквернять себя прикосновеніемъ его дяди; говоритъ ей, что привычка—чудовище, но что она же можетъ быть и спасеніемъ человѣку, когда онъ твердо рѣшится привыкать къ добру; и наконецъ такъ заключаетъ эту выходку, полную страсти, огня, любви:

И разъ еще—о мать моя! Прости мнѣ—
Я былъ къ тебѣ жестокъ, безчеловѣченъ,
Но я хотѣлъ, я долженъ быть таковъ,
Чтобъ матери отдать вновь чувства человѣка...
Да, слова два...

КОРОЛЕВА.

Скажи, что дѣлать мнѣ?

Этотъ вопросъ показалъ Гамлету, что понапрасну выходилъ онъ изъ себя, что его прекрасныя и полныя жизни сѣмена пали на каменную почву, что слезы и признанія его матери были не расканіемъ души сильной и энергической, которая если глубоко падаетъ, то и мощно возстаетъ, а слезами слабой женщины, на которую прикрикнули, плачемъ дитяти, которому погрозили лозою за шалость. Тогда презрѣніе и бѣшенство, глубокое, сосредоточенное, болѣзненное бѣшенство замѣнило въ душѣ Гамлета воскресшую на мгновеніе любовь къ матери:—Что!.. спрашиваетъ онъ ее дикимъ, а потомъ продолжаетъ глухимъ, тихимъ и задушаемымъ голосомъ:

Ничего не дѣлай, и не вѣрь
Тому, что говорилъ я... и т. д.

Да, онъ сказалъ ей это глухимъ, тихимъ и задушаемымъ голосомъ, потому что мы не одинъ разъ слышали этотъ ужасный голосъ, и каждый разъ, при воспоминаніи о немъ, у насъ стынетъ кровь въ жилахъ... Наконецъ видя, что съ нею нечего толковать о томъ, чего она не можетъ понять, онъ говоритъ ей о своемъ отъѣздѣ въ Англію, куда должны провожать его двое друзей, которымъ онъ вѣритъ, какъ ящерицамъ.

Первое явленіе четвертаго акта открывается разговоромъ короля съ королевой о смерти Полонія. Король говоритъ, что и онъ бы могъ такъ погибнуть, и что поэтому Гамлета должно удалить: потому спрашиваетъ о немъ королеву, гдѣ онъ? Королева отвѣчаетъ:

Онъ потащилъ убитаго Полонія.
Среди безумія, какъ искры злата
Средь грубой смѣси рудъ—сверкающъ въ немъ
И умъ, и сердце.—Онъ рыдаетъ—поздно!..

Бѣдный Гамлетъ! у него было такъ много ума и души, что отъ него не могло скрыться ни достоинство, ни пошлость, и онъ умѣлъ понимать и презирать пошляковъ: но должность палача была ему не по натурѣ, а между тѣмъ судьба сдѣлала его палачемъ... Передъ отправленіемъ Гамлета въ Англію чрезъ Данію проходило норвежское войско, подъ предводительствомъ Фортинбраса, для завоеванія клочка земли у Польши. Гамлетъ съ нимъ встрѣчается.

Какъ все противъ меня возстало
За медленное мщеніе... Что ты человѣкъ,
Когда ты только означаешь дни
Сномъ и обѣдомъ? Звѣрь, не больше, ты.
Да, Онъ, создавшій насъ съ такимъ умомъ, что мы
Прошедшее и будущее видимъ,—Онъ не для того
Насъ одарилъ божественнымъ умомъ,
Чтобъ погубилъ мы его безплодно.
И если робкое сомнѣніе медлитъ дѣломъ,
И гибнетъ въ нерѣшительной тревогѣ—
Три четверти здѣсь трусости постыдной
И только четверть мудрости святой.
Къ чему мнѣ жить? Твердить: я долженъ сдѣлать,
И медлить, если силы есть, и воля, и причины,
И средства исполненія! Вотъ примѣръ:
Здѣсь юный вождь ведетъ съ собою войско,
Могучее и сильное; вождь смѣлый,
Онъ все приноситъ въ жертву чести, славы,
Все отдаетъ погибели и смерти,
И для чего? За что? Яичной скорлупы
Завоеваніе не стоитъ. Честь не велика,
Не велика и слава жертвовать собой
Ничтожному дѣянію. Но на что причина?
Ее дѣянія наши оправдаютъ...
А я—отецъ убитъ, безславіе матери удѣлъ—
Какъ крови не кипѣть, уму не волноваться!
А я бездѣйствую, когда, на мой позоръ,
На смерть идетъ здѣсь двадцать тысячъ войска,
И многіе не знаютъ, для чего идутъ,
И тысячи бѣгутъ за тѣнью славы,
И той земли, за что они погибли—
На ихъ могилы мало!.. Нѣтъ! отъ сей поры
Кровь будетъ мысль единая—мнѣ вовсе
Во мнѣ не будетъ мысли ни единой.

Мы не могли удержаться, чтобъ не выписать этого монолога, сколько потому, что въ немъ видна практическая философія Шекспира, и видно, какіе вопросы и думы занимали этотъ гениальный умъ; столько и потому, что въ этомъ же монологѣ Гамлетъ является уже сознающимъ свое безсиліе, уже не оправдывающимъ его разными благовидными предлогами, но горько оплакивающимъ его...

Во второмъ явленіи четвертаго акта Гамлетъ скрывается отъ нашего вниманія, которое переводитъ на себя Офелія, но какая и въ какомъ положеніи?.. Увы, буря сломила и низила этотъ прекрасный, благоухающій цвѣтокъ: онъ еще отмы-

вается прежнимъ ароматомъ, но жизни въ немъ уже нѣтъ... Она лишилась разсудка.

Является Лаертъ. Не успѣлъ онъ еще вдоволь наѣшиться въ своемъ любовномъ Парижѣ, какъ причинообразованному и знатному молодому человѣку,—и вотъ извѣстіе о смерти отца призвало его въ Данію. Подозрѣвая короля виновникомъ въ ужасномъ для него событіи, онъ собираетъ своихъ друзей и, съ шпагой въ рукѣ, требуетъ у него своего отца, говоря, что «безславіе и безчестіе будетъ его удѣломъ, если онъ останется спокоенъ». Король хитросплетенными рѣчами слагаетъ вину на Гамлета и общается Лаерту удовлетвореніе. Вдругъ входитъ Офелія, странно убранная соломой и цвѣтами,—и Лаертомъ овладѣваетъ истинная горестъ, уже не вслѣдствіе понятій о чести и приличіи.

Король пользуется этой раздирающей душу сценой, чтобы еще болѣе поджечь Лаерта на мщеніе Гамлету. Вдругъ Горацио получаетъ два письма—одно къ себѣ, другое къ королю; и въ первомъ узнаетъ о его возвращеніи. Король составляетъ планъ погубить Гамлета другимъ средствомъ. Онъ объясняетъ Лаерту, что любовь королевы и народа къ Гамлету дѣлаетъ невозможнымъ мщеніе законами и что надо хитростью достичь той же цѣли. Поджигши еще болѣе ненависть Лаерта къ Гамлету, предлагаетъ ему вызвать Гамлета на поединокъ, но дружески, какъ соперника въ искусствѣ биться на шпагахъ, и между тѣмъ общается шпагу Лаерта обмочить смертельнымъ ядомъ. Разумѣется, послѣдній отказывается отъ этого, какъ отъ тайнаго убійства, несовмѣстнаго съ понятіемъ о чести; но вдругъ приходитъ королева и объявляетъ имъ о смерти Офеліи:

Тамъ, гдѣ, на воды ручья склоняясь, пва
Стоить и отражается въ водахъ,
Офелія плела вѣнки и пѣла.
Вѣнки свои ей вздумалось развѣсить
На ивѣ—глубокій обломился сукъ,
И въ воду, бѣдная, упала, и въ водѣ,
Не чувствуя опасности и смерти,
Все пѣла и вѣнки свои плела,
Пока ея одежда не промокла,
И бѣдную не повлекло на дно...

Какой поэтический и граціозный рассказъ! Какой поэтический и умиляющій душу образъ смерти! Офелія и умерла, какъ жила,—прекрасно, и смерть ея миритъ насъ съ жизнью, а не бунтуетъ противъ нея, какъ у этихъ мнимыхъ поборниковъ и послѣдователей Шекспира, этихъ близорукихъ и микроскопическихъ гениевъ такъ называемой юной литературы Франціи...

Первое явленіе пятаго акта происходитъ на кладбищѣ—сцена ужасная! Двое мужиковъ копаютъ могилу для Офеліи—и по своему, съ этимъ равнодушіемъ, которое дается привычкой и невѣжествомъ, разсуждаютъ о ея смерти. Входятъ Гамлетъ и Горацио. Первый унылъ, грустенъ, какъ человѣкъ, безъ интереса предпринявшій важную борьбу и предвидящій роковое и неизбежное для себя окончаніе. Мысль о смерти, о концѣ и переходности всего въ мірѣ овладѣваетъ имъ. Зрѣлище кладбища

усиливает ее. Онъ вступаетъ въ разговоръ съ могильщикомъ, и грубые, но иногда ловкіе отвѣты послѣдняго дѣлаютъ этотъ разговоръ похожимъ на стукъ молотка, которымъ заколачиваютъ гробъ. «Не копай глупостей изъ могилы, пріятель», говоритъ Гамлетъ могильщику. «О, я не копаю, а закапываю ихъ», отвѣчаетъ ему могильщикъ въ полной увѣренности, что онъ очень забавно шутить, и не мало не подозревая, что отъ такой шутки меранетъ кровь въ жилахъ... Могильщикъ выкапываетъ черепъ изъ могилы, бросаетъ его на полъ и говоритъ Гамлету, что это черепъ Иорика... «Бѣдный Иорикъ!» восклицаетъ Гамлетъ и говоритъ Горацію о томъ, что этотъ Иорикъ нашивалъ его на рукахъ, что онъ былъ острякъ и забавникъ, а теперь у него не осталось ни одной остроты, чтобы посмѣяться надъ собственнымъ безобразіемъ. Потомъ переходитъ къ мысли, что прахъ Александра Македонскаго и Цезаря теперь — глина, употребленная на замазку стѣны въ хижинѣ селянина.

Вдругъ появляется похоронная процессія: несутъ гробъ Офеліи, который провожаютъ король, королева и нѣсколько придворныхъ. Гамлетъ въ изумленіи; наконецъ, онъ узнаетъ ужасную тайну.

Второе явленіе пятого дѣйствія происходитъ во дворцѣ между Гамлетомъ и Гораціо. Изъ разговора ихъ видно, что слова Гамлета, сказанныя имъ его матери: «Пойдемъ, поглядимъ, кто похитрѣй кого взорветъ на воздухъ», не были ни пустымъ хвастовствомъ, ни уловкой слабого человѣка, старавшагося обмануть самого себя; нѣтъ, этотъ теоретическій Гамлетъ перехитрилъ, провелъ за носъ, одурачилъ всѣхъ этихъ практическихъ людей, какъ замѣчаетъ Гизо. Нѣтъ, Гамлетъ не слабое, безсильное дитя, когда надо дѣйствовать свободно, по внутреннему побужденію, даже когда надо губить людей, если только бѣшенство противъ нихъ даетъ достаточно силы на ихъ погубленіе. Онъ только упрекаетъ себя въ томъ, что у него нѣтъ столько бѣшенства противъ убійцы его отца, обольстителя его матери, хищника короны, сколько нужно бѣшенства для того, чтобы убійство показалось не долгомъ, не обязанностью, а удовлетвореніемъ душевной потребности, которое во всякомъ случаѣ должно быть по крайней мѣрѣ легко. Однакожъ съ той минуты, когда онъ узналъ о злодѣйскомъ умыслѣ короля на собственную жизнь, его рѣшеніе кажется тверже, хотя онъ и попрежнему еще много говоритъ о немъ, что не совсѣмъ сообразно съ твердымъ рѣшеніемъ.

Входитъ одинъ изъ придворныхъ, Осрикъ, и самымъ искуснымъ, самымъ придворнымъ образомъ предлагаетъ Гамлету, отъ имени короля, вызовъ Лаерта и увѣдомляетъ его, что король держитъ за него, противъ Лаерта шесть превосходныхъ коней. Лаертъ же за себя—шесть драгоценныхъ шпагъ и шесть кинжаловъ, а споръ состоитъ въ томъ со стороны короля, что изъ двѣнадцати разъ Лаертъ не дастъ Гамлету и трехъ ударовъ, а со стороны Лаерта, что онъ изъ девяти разъ дастъ Гамлету три удара. Вся эта сцена превосходна въ высшей степени: въ ней нѣтъ ничего придуман-

наго, натянутого или изысканнаго для насильственной развязки, за немѣнимъ естественной, какъ то часто бываетъ у обыкновенныхъ талантовъ. У Шекспира, напротивъ, развязка выходитъ necessarily изъ сущности дѣйствія и индивидуальности характеровъ, и все это просто, обыкновенно, естественно. Умѣнье и легкость, съ какими Осрикъ ведетъ довольно трудное дѣло, показываютъ, что Шекспиръ равно хорошо зналъ и царей, и придворныхъ, и могильщиковъ. Гамлетъ грустно издѣвается надъ придворной лъстивостью Осрика; но онъ задумывается прежде, нежели дать свое согласіе на вызовъ, и, по уходѣ ловкаго посла, говоритъ Гораціо о предчувствіи, которое его невольно смущаетъ: какая глубина и истина во всемъ этомъ!

Гораціо. Если душа ваша что-нибудь вамъ подсказываетъ, не презирайте этимъ увѣдомленіемъ души. Я пойду извѣстить, что вы теперь не расположены.

Гамлетъ. Нѣтъ! это глупость. Презрѣмъ всякія предчувствія. Безъ воли Провидѣнія и воровей не погибнетъ. Чему быть сегодня, того не будетъ потомъ. Чему быть потомъ, того не будетъ сегодня—не теперь тому быть, такъ послѣ. Быть всегда готову—вотъ все! Если никто не знаетъ того, что съ нимъ будетъ,—оставимъ всему быть такъ, какъ ему быть назначено.

Изъ этихъ словъ видно, что Гамлетъ не только прекрасная, но и великая душа! тотъ великъ, кто такъ умѣетъ понимать міродержавный промыслъ и такъ умѣетъ ему покоряться, потому что только сила, а не слабость умѣютъ такъ понимать Провидѣніе и такъ покоряться ему. Замѣтите изъ этого, что Гамлетъ уже не слабъ, что борьба его оканчивается: онъ уже не силится рѣшиться, но рѣшается въ самомъ дѣлѣ, и отъ этого у него нѣтъ уже бѣшенства, нѣтъ внутреннего раздора съ самимъ собой, осталась одна грусть, но въ этой грусти видно спокойствіе, какъ предвѣстникъ новаго и лучшаго спокойствія.

Гамлетъ дерется съ Лаертомъ и наноситъ ему ударъ; король пьетъ за здоровье Гамлета и предлагаетъ ему кубокъ, но онъ отказывается до окончанія боя и еще даетъ ударъ Лаерту. Королева пьетъ за здоровье Гамлета, и король, не успѣвшій остановить ее, говоритъ про себя: «Она погибла—въ кубкѣ ядъ». Этотъ кубокъ былъ приготовленъ для Гамлета: король очень хитеръ и остороженъ — въ случаѣ неудачи одной смерти, онъ приготовилъ Гамлету другую; но судьба издѣвается надъ жалкими слѣпцомъ и дѣлаетъ свое. Королева предлагаетъ Гамлету раздѣлить съ нею кубокъ; но судьба дѣлаетъ свое, и Гамлетъ снова отказывается до окончанія боя. Лаертъ даетъ ударъ Гамлету, который въ то же мгновеніе выбиваетъ его рапиру и бросаетъ свою. Лаертъ въ бѣшенствѣ хватываетъ Гамлетову рапиру, а Гамлетъ подымаетъ его: судьба дѣлаетъ свое, а люди думаютъ, что они дѣлаютъ свое. Королева лишается чувствъ: ядъ начинается въ ней дѣйствовать—она умираетъ. Раненый Лаертъ открываетъ все Гамлету, и онъ закалываетъ короля. Затѣмъ умираютъ и Лаертъ, и Гамлетъ.

Входить Фортинбрасъ; Горацио передаетъ ему завѣщаніе Гамлета и обѣщаетъ объяснить тайну кроваваго зрѣлища. Фортинбрасъ велитъ вынести тѣло Гамлета; слышна унылая музыка.

Излагая содержаніе драмы, мы не имѣли гордаго намѣренія ввести читателя въ сферу Шекспира и показать этого великана поэзіи во всемъ блескѣ его поэтическаго величія. Подобное предпріятіе было бы неисполнимо. Посмотрите на чудный міръ Божій; въ немъ все прекрасно и премудро: и червь, ползущій по травѣ,—и левъ, оглашающій ревомъ африканскую степь и приводящій въ ужасъ все живое и дышащее,—и вѣяніе зефира въ тихій майскій вечеръ,—и ураганъ, воздымающій песчаную аравійскую пустыню,—и свѣтлая рѣчка, отражающая въ своихъ струяхъ голубое небо,—и безбрежный океанъ, поражающій душу человѣка чувствомъ безконечности,—и капля росы, которая зыблется на цвѣткѣ,—и лучезарная звѣзда, которая трепещетъ въ дальнемъ небѣ!.. Вездѣ красота, вездѣ величіе, вездѣ гармонія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и вездѣ ничто, а не все. Взгляните на ночное небо: какимъ безчисленнымъ множествомъ свѣтилъ усыяно оно! но что же? — это только частица, только уголокъ безпредѣльной вселенной, и за этимъ безчисленнымъ множествомъ звѣздъ, которое мы видимъ, находится ихъ безчисленное множество такихъ же безчисленныхъ множествъ, которыхъ мы не видимъ. Чтобы постигнуть безпредѣльность, красоту и гармонію созданія въ его цѣломъ, должно, отрѣшившись отъ всего частнаго и конечнаго, слиться съ вѣчнымъ духомъ, которымъ живетъ это тѣло безъ границъ пространства и времени, и ощутить, созвать себя въ немъ: только тогда исчезнетъ многообразие, уничтожится всякая частность, всякая конечность и явится для просвѣтленнаго и свободнаго духа одно великое цѣлое... Всякое проявленіе духа, какъ извѣстная степень его сознанія, есть прекрасно и велико; но видимая вселенная, будучи безконечною, живетъ динамически и механически, сама не зная этого, и только въ человѣкѣ—этомъ отблескѣ Божества—духъ проявляется свободно и сознательно, и только въ немъ обрѣтаетъ онъ свою субъективную личность. Прошедши чрезъ всю цѣпь органическаго обособленія и доехавши до человѣка, духъ начинаетъ развиваться въ человѣчествѣ, и каждый моментъ исторіи есть извѣстная степень его развитія, и каждый такой моментъ имѣетъ своего представителя. Шекспиръ былъ однимъ изъ этихъ представителей. Вселенная есть прототипъ его созданій, а его созданія суть повтореніе вселенной, но уже созвательнымъ и потому свободнымъ образомъ. Каждая драма Шекспира представляетъ собой цѣлый, отдѣльный міръ, имѣющій свой центръ, свое солнце, около котораго обращаются планеты съ ихъ спутниками. Но Шекспиръ не заключается въ одной какой-нибудь изъ своихъ драмъ, такъ же, какъ вселенная не заключается въ одной какой-нибудь изъ своихъ міровыхъ системъ; но цѣлый рядъ драмъ заключается въ себѣ Шекспира—слово символическое, значеніе и содержаніе котораго велико и безконеч-

но, какъ вселенная. Чтобы разгадать вполне значеніе этого слова, надо пройти черезъ всю галлерею его созданій, эту оптическую галлерею, въ которой отразился его великій духъ, и отразился въ необходимыхъ образахъ, какъ конкретное тождество идеи съ формой, отразился, говоримъ мы, потому что міръ, созданный Шекспиромъ, не есть ни случайный, ни особенный, но тотъ же, который мы видимъ и въ природѣ, и въ исторіи, и въ самихъ себѣ, но только какъ бы вновь воспроизведенный свободной самодѣятельностью создающаго себя духа. Но и здѣсь еще не конецъ удовлетворительному изученію Шекспира; для этого мало, какъ сказали мы, пройти всю галлерею его созданій; для этого надо сперва отыскать въ этомъ безконечномъ разнообразіи картинъ, образовъ, лицъ, характеровъ и положеній, въ этой борьбѣ, столкновеніи и гармоніи конечностей и частностей—надо найти во всемъ этомъ одно общее и цѣлое, гдѣ, какъ въ фокусѣ зажигательнаго стекла лучи солнца, сливаются всѣ частности, не теряя въ то же время своей индивидуальной дѣятельности; словомъ, надо уловить въ этой игрѣ жизней дыханіе одной общей жизни—жизни духа; а этого невозможно сдѣлать иначе, какъ опять-таки, совлекшись всего призрачнаго и случайнаго, возвыситься до созерцанія мірового и въ своемъ духѣ ощутить трепетаніе міровой жизни. Но и это будетъ только полное и совершенное самоощущеніе себя въ мірѣ Шекспировой поэзіи, но не полное и отчетливое сознаніе себя въ ней. Мы почитаемъ себя слишкомъ далекими даже отъ перваго акта сознанія; второй же предоставленъ той мірообъемлющей и послѣдней философій нашего вѣка, которая, развернувшись, какъ величественное дерево, изъ одного зерна, покрыла собой и заключила въ себѣ, по свободной необходимости, всѣ моменты развитія духа и, не принимая въ себя ничего чуждаго, но живя собственной жизнью, изъ своихъ же пѣдръ развитой, во всякомъ, даже конечномъ, развитіи видитъ развитіе абсолютнаго духа, конкретно слитаго съ явленіемъ, и къ которой Шекспиръ, вмѣстѣ съ Гёте, другимъ исполнителямъ искусства, относится какъ та же самая истина, но только другимъ путемъ и параллельно съ ней проявляющаяся. Повторяемъ: непосвященные въ ея таинства и приподнявшие только край завѣсы, скрывающей отъ глазъ конечности міръ безконечнаго, мы почтемъ себя счастливыми, если дадимъ чьей-нибудь дремлющей душѣ почувствовать, какъ прекрасенъ и чудесенъ этотъ дивный міръ, и возбудимъ въ ней стремленіе узнать его ближе и въ этомъ знаніи найти свое высшее блаженство. И потому, при всемъ нашемъ нежеланіи и опасеніи впасть въ кое-нибудь субъективное мнѣніе, вмѣсто логическаго развитія объективной истины, мы все-таки боимся не высказать удовлетворительно даже и того, что мы хорошо чувствуемъ, и почтемъ себя счастливыми, ежели въ желаніи подѣлиться съ другими немногими, но прекрасными ощущеніями найдемъ свое оправданіе...

Итакъ, мы изложили содержаніе «Гамлета» не для того, чтобы показать этимъ достоинство этого

глубокаго созданія, но для того, чтобы имѣть, такъ сказать, данныя для сужденія о немъ, чего нельзя иначе сдѣлать, какъ отдавъ отчетъ въ нашемъ понятіи о каждомъ или по крайней мѣрѣ о главныхъ характерахъ драмы. Разумѣется, наше о нихъ понятіе только въ такомъ случаѣ будетъ истинно, когда оно будетъ понятіемъ необходимымъ и въ сущности этихъ характеровъ заключающимся, потому что субъективное мнѣніе критика не есть истина и не имѣетъ ничего общаго съ критикой, вопреки тѣмъ господамъ, которые любятъ высказывать свои мнѣнія и отрицаютъ абсолютность изыскаго.

Говоря о характерахъ дѣйствующихъ лицъ въ драмѣ, намъ должно выставить на видъ эту дѣйствительность шекспировскихъ лицъ, эту конкретность выражающаго въ нихъ духа жизни съ проявленіемъ жизни. Каждое лицо Шекспира есть живой образъ, не имѣющій въ себѣ ничего отвлеченнаго, но какъ бы взятый цѣликомъ и безъ всякихъ поправокъ и передѣлокъ изъ повседневной дѣйствительности. Французы нѣкогда думали (да и теперь еще думаютъ то же, хотя и увѣряютъ въ противномъ), что идеалъ есть собраніе во едино разсыянныхъ по всей природѣ чертъ одной идеи: по этому прекрасному положенію злодѣй долженствовалъ быть соединеніемъ всѣхъ злодѣйствъ, а добродѣтельный—всѣхъ добродѣтелей и слѣдовательно не имѣть никакой личности. Таковъ, напримѣръ, Эней благочестивый, Вергилія, это порожденіе вѣка гнилаго и развратнаго, для котораго добродѣтель была мертвымъ абстрактомъ, а не живой дѣйствительностью. Шекспиръ есть совершенная противоположность этой жалкой теоріи, и потому-то французы даже и теперь еще не могутъ съ нимъ сродниться, хотя и воображаютъ себя его энтузіастами.

Гамлетъ представляетъ собой цѣлый отдѣльный міръ дѣйствительной жизни, и посмотрите, какъ просто, обыкновенно и естественно этотъ міръ при всей своей необыкновенности и высоте. Но и самая исторія человечества, не потому ли и высока, и необыкновенна она, что проста, обыкновенна и естественна? Вотъ молодой человѣкъ, сынъ великаго царя, наследникъ его престола, увлекаемый жаждой знанія, проживаетъ въ чуждой и скучной странѣ, которая ему не чужда и не скучна, потому что только въ ней находитъ онъ то, чего ищетъ,—жизнь знанія, жизнь внутреннюю. Онъ отъ природы задумчивъ и склоненъ къ меланхоліи, какъ всѣ люди, которыхъ жизнь заключается въ нихъ самихъ. Онъ пылокъ, какъ всѣ благородныя души: все возбуждаетъ въ немъ энергическое негодованіе, все доброе дѣлаетъ его счастливымъ. Его любовь къ отцу доходитъ до обожанія, потому что онъ любитъ въ своемъ отцѣ не пустую форму безъ содержанія, но то прекрасное и великое, къ которому страстна его душа. У него есть друзья, его содѣлники къ прекрасной цѣли, но не собутыльники, не участники въ буйныхъ оргіяхъ. Наконецъ, онъ любитъ дѣвушку, и это чувство даетъ ему и вѣру въ жизнь, и блаженство жизнью. Не знаемъ, былъ ли бы онъ

великимъ государемъ, которому назначено составить эпоху въ жизни своего народа, но мы знаемъ, что счастливѣе все, зависящее отъ него, и давать ходъ всему добру—значило бы для него царствовать. Но Гамлетъ, такой, какимъ мы его представляемъ, есть только соединеніе прекрасныхъ элементовъ, изъ которыхъ должно нѣкогда образоваться нѣчто определенное и дѣйствительное: есть только прекрасная душа, но еще не дѣйствительный, не конкретный человѣкъ. Онъ пока доволенъ и счастливъ жизнью, потому что дѣйствительность еще не расходилась съ его мечтами; онъ еще не знаетъ того, что прекрасно только то, что есть, а не то, что бы должно быть, по его личному, субъективному взгляду на вещи. Такое состояніе есть состояніе нравственнаго младенчества, за которымъ непременно должно послѣдовать распаденіе; это общая и неизбежная участь всѣхъ порядочныхъ людей; но выходъ изъ этого дисгармоничнаго распаденія въ гармонию духа, путемъ внутренней борьбы и сознанія, есть участь только лучшихъ людей. И вотъ наша прекрасная душа, нашъ задумчивый мечтатель вдругъ получаетъ извѣстіе о смерти обожаемаго отца. Грусть по немъ онъ почитаетъ священнымъ долгомъ для всѣхъ близкихъ къ царственному покойнику, и что же?—онъ видитъ, что его мать, эта женщина, которую его отецъ любилъ такъ пламенно, такъ нѣжно, что «запрещалъ небеснымъ вѣтрамъ дуть ей въ лицо», эта женщина не только не почла своей обязанностью душевнаго траура по мужу, но даже не почла за нужное надѣть на себя личины, уважать приличіе, и, забывъ стыдъ женщины, супруги, матери, отъ гроба мужа поспѣшила къ брачному алтарю, и съ кѣмъ?—съ роднымъ братомъ умершаго, съ своимъ деверемъ, и принесла ему въ приданое—престолъ государства! Тутъ Гамлетъ увидѣлъ, что мечты о жизни и самая жизнь совсѣмъ не одно и то же, что изъ двухъ одно должно быть ложно: и въ его глазахъ ложь осталась за жизнью, а не за его мечтами о жизни. Что жъ стало съ нашей прекрасной душой, когда она отъ самой тѣни своего отца услышала и страшную повѣсть о братоубійствѣ, и намекъ о страшныхъ заговорныхъ тайнахъ, и страшный завѣтъ о мщеніи? О, она прокляла все доброе и злое—прокляла жизнь! Его мать—женщина слабая, ничтожная, преступная,—и женщина погибла въ его понятіи. Онъ втопталъ въ грязь свое прекрасное чувство; онъ обременяетъ предметъ своей любви всей тяжестью позора и презрѣнія, которое заслуживаетъ въ его глазахъ женщина; онъ говоритъ Офеліи такія слова, какихъ женщина не должна ни отъ кого слышать, а тѣмъ меньше отъ того, кого любить; онъ дѣлаетъ ей такія оскорбленія, за которыя отъ женщины нѣтъ прощенія мужчинѣ, какъ бы ни любила она его. Вѣра была жизнью Гамлета, и эта вѣра убита или, по крайней мѣрѣ, сильно поколеблена въ немъ—и отчего же?—Оттого, что онъ увидѣлъ міръ и человѣка не такими, какими бы онъ хотѣлъ ихъ видѣть, но увидѣлъ ихъ такими, каковы они суть въ самомъ дѣлѣ. Любовь была его второй жизнью, и онъ отрѣ-

кается отъ нея, потому что презираетъ женщину — почему же? — Потому, что его мать заслуживаетъ презрѣнія, какъ будто недостойнство его матери уничтожаетъ достоинство женщины вообще. Присовокупите къ этому, что Гамлетъ нисколько не отдѣляетъ своего царственного достоинства отъ своего человѣческаго достоинства; что не поклонничества, но любви и сочувствія требуетъ онъ отъ людей, а между тѣмъ видитъ въ нихъ только раболовныхъ придворныхъ, которые спекулируютъ своимъ подданничествомъ, — и вамъ будетъ еще понятнѣе это разочарованіе. Но потерять вѣру въ людей вслѣдствіе какого-нибудь горькаго опыта еще не значитъ потерять все и потерять безвозвратно: такая потеря кажется потерей только вслѣдствіе мгновеннаго ожесточенія, которое можетъ продолжаться болѣе или менѣе, но не можетъ быть всегдашнимъ состояніемъ великой души; но — потерять вѣру въ самого себя, увидѣть свои убѣжденія въ совершенномъ разладѣ съ своей жизнью — это потеря, и потеря ужасная. Таково было состояніе Гамлета. Онъ узналъ о гибели отца изъ устъ тѣни этого самаго отца, онъ выслушалъ отъ него завѣтъ мести, онъ убѣжденъ, что эта месть — его священный долгъ; въ первомъ порывѣ взволнованнаго чувства онъ клянется и небомъ, и землей летѣть на мщеніе какъ на свиданіе любви — и вслѣдъ за этимъ сознаетъ свое безсиліе выполнить и долгъ, и клятву... Отчего въ немъ это безсиліе? — оттого ли, что онъ рожденъ любить людей и дѣлать ихъ счастливыми, а не карать и губить ихъ, или въ самомъ дѣлѣ отъ недостатка этой силы духа, которая умѣетъ соединить въ себѣ любовь съ ненавистью, изъ однихъ и тѣхъ же устъ изрекать людямъ и слова милости и счастья, и слова гнѣва и кары; — повторяемъ: какъ бы то ни было, но мы видимъ слабость. Однако эта слабость должна же имѣть какой-нибудь смыслъ, если она избрана такимъ великимъ гениемъ, каковъ Шекспиръ, основной идеей одного изъ лучшихъ его созданій, и если она такъ сильно, такъ мощно останавливается на себѣ мысль челоѣка? — Объективность не можетъ быть единственнымъ достоинствомъ художественнаго произведенія; тутъ нужна еще и глубокая мысль. Слабость челоѣка не есть понятіе отвлеченное, но въ то же время и не въ ней заключается жизнь духа, проявляющаяся въ челоѣкѣ, и, слѣдовательно, не она должна быть предметомъ творческой дѣятельности мірового, абсолютнаго гения. Не забудьте, что Гамлетъ есть главное лицо драмы, въ которомъ выражена ея основная мысль, и на которомъ по этому сосредоточенъ ея интересъ. И что за особенное наслажденіе смотрѣть на зрѣлище челоѣческой слабости и ничтожества? И гдѣ же въ такомъ случаѣ былъ бы абсолютный взглядъ Шекспира на жизнь? И почему бы эта пьеса возбуждала въ душѣ читателя или зрителя такое спокойное, примирительное и глубокое чувство? Напротивъ, въ такомъ случаѣ она должна бѣ была возбуждать въ немъ чувство отчаянія, отвращенія къ жизни, какъ эти чудовищныя произведенія духовно-малолѣтнихъ гениевъ юной французской литературы. Нѣтъ, это

не то! Гамлетъ выражаетъ собой слабость духа — правда; но надо знать, что значить эта слабость. Она есть распадѣніе, переходъ изъ младенческой, безсознательной гармоніи и самонаслажденія духа въ дисгармонію и борьбу, которая суть необходимое условіе для перехода въ мужественную и сознательную гармонію и самонаслажденіе духа. Въ жизни духа нѣтъ ничего противорѣчащаго, и потому дисгармонія и борьба суть вмѣстѣ и ручательство за выходъ изъ нихъ: иначе челоѣкъ былъ бы слишкомъ жалкимъ существомъ. И чѣмъ челоѣкъ выше духомъ, тѣмъ ужаснѣе бываетъ его распадѣніе, и тѣмъ торжественнѣе бываетъ его побѣда надъ своей конечностью, и тѣмъ глубже и святѣе его блаженство. Вотъ значеніе Гамлетовой слабости. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите: что привело его въ такую ужасную дисгармонію, ввергло въ такую мучительную борьбу съ самимъ собою? — Несообразность дѣйствительности съ его идеаломъ жизни, — вотъ что. Изъ этого вышла и его слабость, и нерѣшительность, какъ необходимое слѣдствіе дисгармоніи. Потомъ, посмотрите: что возвратило ему гармонію духа? — Очень простое убѣжденіе, что «быть всегда готову — вотъ все». Вслѣдствіе этого убѣжденія онъ нашелъ въ себѣ и силу, и рѣшимость: смерть дяди была рѣшена имъ, и онъ убилъ бы его, если бы новыя злодѣйства послѣдняго снова не возмутили и не взволновали на минуту его души. Онъ прощаетъ Лаерту свою смерть и говоритъ: «Смерть! такъ вотъ она, Горацио»; потомъ, завѣщавши своему другу открытіемъ истины спасти его имя отъ поношенія, умираетъ, и мысль о его смерти сливается для зрителя съ звуками унылой музыки; душа просвѣтлена созерцаніемъ абсолютной жизни, и невольно передается грусти, но эта грусть спокойна и торжественна, потому что душа зрителя уже не видитъ въ жизни ничего случайнаго, ничего произвольнаго, но одно необходимое, и примиряется съ дѣйствительностью.

И такъ, вотъ идея Гамлета: слабость воли, но только вслѣдствіе распадѣнія, а не по его природѣ. Отъ природы Гамлетъ — челоѣкъ сильный: его желчная иронія, его мгновенныя вспышки, его страстные выходы въ разговорѣ съ матерью, гордое презрѣніе и нескрываема я ненависть къ дядѣ — все это свидѣтельствуетъ объ энергіи и великости души. Онъ великъ и силенъ въ своей слабости, потому что сильный духомъ челоѣкъ и въ самомъ паденіи выше слабаго челоѣка въ самомъ его возстаніи. Эта идея столько же проста, сколько и глубока: а это и старались мы показывать. Въ изложеніи содержанія драмы наши читатели уже видѣли выполненіе этой идеи, видѣли всѣ отгѣнки, переходы, волненіе и колебанія души Гамлета, подслушали и подсмотрѣли его сокровенныя движенія и мысли, и поняли ихъ лучше, нежели онъ самъ понималъ ихъ: поэтому намъ уже не нужно болѣе говорить о простотѣ, естественности и этой дѣйствительности, которой отличается вся роль Гамлета и которой проникнуты каждое его слово, каждое его положеніе. Впрочемъ мы скоро перейдемъ къ игрѣ Мочалова, который

растолковалъ намъ Гамлета своей неподражаемой игрой: подробный отчетъ о его игрѣ новыми чертами дополнить наше изображеніе Гамлета. Теперь же перейдемъ къ другимъ лицамъ, составляющимъ цѣлое драмы. Офелія занимаетъ въ драмѣ второе лицо послѣ Гамлета. Это одно изъ тѣхъ созданий Шекспира, въ которыхъ простота, естественность и дѣйствительность сливаются въ одинъ прекрасный, живой и типическій образъ. Сверхъ того это лицо женское, а кто хочетъ знать женщину, какъ конкретную идею, какъ существо, опредѣляемое самой ея жизнью,—тотъ долженъ видѣть ее въ изображеніяхъ Шекспира. Офелія есть одно изъ лучшихъ его изображеній. Представьте себѣ существо кроткое, гармоническое, любящее, въ прекрасномъ образѣ женщины;—существо, которое совершенно чуждо всякой сильной, потрясающей страсти, но которое создано для чувства тихаго, спокойнаго, но глубокаго;—существо, которое неспособно вынести бурю бѣдствія, которое умереть отъ любви отверженной или, что еще скорѣе, отъ любви сперва раздѣленной, а послѣ презрѣнной, но которое умереть не съ отчаяніемъ въ душѣ, а угаснуть тихо, съ улыбкой и благословеніемъ на устахъ, съ молитвой за того, кто погубилъ ее; угаснуть, какъ угасаетъ заря на небѣ въ благоухающій майскій вечеръ; вотъ вамъ Офелія. Это не Дездемона, которая, будучи существомъ столь же женственнымъ и слабымъ, сильна въ своей женственной слабости; это не юная, прекрасная и обольстительная Дездемона, которая умѣла отдаться своей любви вполнѣ, навсегда, безъ раздѣла, и въ старомъ и безобразномъ маврѣ умѣла полюбить великаго Отелло;—не Дездемона, для которой любовь сдѣлалась чувствомъ высшимъ, поглотившимъ въ себѣ все другія чувства, все другія склонности и привязанности;—не Дездемона, которая на слова своего престарѣлаго и нѣжно ею любимаго отца—«выбери между мной и нимъ»—при цѣломъ сенатѣ Венеціи сказала твердо, что она любитъ отца, но что мужъ для нея дороже, и что она хочетъ подражать своей матери, повинувшись мужу болѣе, нежели отцу; которая наконецъ, умирая, невинно задущенная когитами африканскаго тигра, сама себя обвиняетъ предъ Эмилией въ своей смерти и проситъ ее оправдать передъ супругомъ. Нѣтъ, не такова Офелія: она любитъ Гамлета, но въ то же время любитъ и отца, и брата, и все, что къ ней близко, и для ея счастья недостаточно жизни въ одномъ Гамлетѣ, ей нужна еще жизнь и въ отцѣ, и въ братѣ. Она любитъ Гамлета, любитъ истинно и глубоко, запираетъ въ сердцѣ благоразумные совѣты брата, и ключъ отдаетъ ему; передаетъ отцу письма и подарки Гамлета и, однимъ словомъ, ведетъ себя какъ нельзя аккуратно. А какъ она любитъ своего отца? такъ, просто—какъ отца: чтобы любить его, ей не нужно знать его хорошихъ, человѣческихъ сторонъ—ей нужно только не знать его пошлыхъ сторонъ, да если бы она ихъ и замѣтила, то стала бы плакать объ немъ, но не перестала бы любить его. Такъ же она любитъ и своего брата. Простодушная и чистая, она не подозрѣваетъ въ мірѣ зла и видитъ добро

во всемъ и вездѣ, даже тамъ, гдѣ его и нѣтъ. Къ нѣтъ нужды до Полонія и Лаерта, какъ до людей; она ихъ знаетъ и любитъ; одного—какъ отца, другого—какъ брата. Въ сарказмахъ Гамлета, обращенныхъ къ ней, она не подозрѣваетъ ни измѣны, ни охлажденія, а видитъ сумасшествіе, болѣзнь, и горюетъ молча. Но когда она увидѣла окровавленный трупъ своего отца и узнала, что его смерть есть дѣло человѣка, такъ нѣжно ею любимаго,—она не могла снести тяжести этого двойного несчастья, и ея страданіе разрѣшилось сумасшествіемъ... И вотъ въ головѣ ея смутно мелькаютъ двѣ мысли: то о какомъ-то старикѣ, который былъ

Съ бѣлой, какъ снѣгъ, бородой,
Съ волосами, какъ чесаный лентъ,

и который

Во гробѣ лежалъ съ непокрытымъ лицомъ,
Съ непокрытымъ, съ открытымъ лицомъ;

то о какой-то дѣвушкѣ, обманутой своимъ любезнымъ...

Вотъ она является въ своемъ горестномъ и все-таки граціозномъ безуміи и поетъ пѣсню о милломъ другѣ, который насмѣялся надъ ея любовью; потомъ она выходитъ убранныя цвѣтами и соломой, какъ будто для встрѣчи своего милаго,—и поетъ пѣсню, въ которой поэзія смѣшана съ непристойностями, не подозрѣвая ея оскорбительнаго смысла... Нѣтъ, Гамлетъ послѣ страшной тайны, задавившей его душу, могъ бы сказать этой чистой гармонической душѣ:

Взгляни, мой другъ: по небу голубому,
Какъ легкій дымъ, несутся облака;
Такъ грусть пройдетъ по сердцу молодому,
Его, какъ тѣнь, касаясь слегка.
О, милый другъ, твои молодые годы
Прокрасный цвѣтъ души твоей спасутъ:
Оставь же мнѣ и громъ, и непогоды—
Они твое блаженство унесутъ.
Прости, забудь, не требуй объясненій:
Тебѣ судьбы моей не раздѣлять.
Ты рождена для тихихъ упоеній,
Для слезъ любви, для счастья любить! *).

Мы предположили Гамлета говорящимъ Офелію эти стихи для того, чтобы этимъ окончательно очертить характеръ Офеліи такъ, какъ мы его понимаемъ; а мы понимаемъ его столько же дѣйствительнымъ (слово «возможный» не выразило бы нашей мысли), сколько и прекраснымъ. Это существо столько же не выдуманное поэтомъ, сколько и не списанное съ натуры, но созданное такъ конкретно, какъ можетъ творить только одна природа. И если въ дѣйствительной жизни мы не встрѣтимъ Офелію, то потому, что одно и то же явленіе не повторяется дважды, а совсѣмъ не потому, чтобы это созданіе принадлежало къ міру идеальному. Прекрасное одно, но оно многообразно до безконечности въ своихъ проявленіяхъ. Сверхъ того, какъ все необыкновенное и великое, оно рѣдко, и для того, чтобы видѣть его, надо имѣть глаза, одаренные ясновидѣніемъ прекраснаго...

*) Стихотвореніе Красова.

Отъ Гамлета и Офеліи, какъ самыхъ важныхъ лицъ въ драмѣ и представителей высшаго міра, перейдемъ къ Лаерту, какъ представителю міра средняго, а отъ него къ Полонію, королю и королеві, какъ представителямъ міра низшаго. Впрочемъ изъ этого не слѣдуетъ, чтобы у Шекспира были подобныя дѣленія міровъ—для него существовалъ одинъ міръ—прекрасный Божій міръ, въ которомъ добро и зло существуютъ только для индивидовъ, находящихся еще въ состояніи конечности, но въ которомъ собственно нѣтъ ни добра, ни зла, какъ понятій относительныхъ и одно другое условливающихъ, а есть жизнь духа, вѣчнаго и истиннаго. Въ его драмѣ драма заключается не въ главномъ дѣйствующемъ лицѣ, а въ игрѣ взаимныхъ отношеній и интересовъ всѣхъ лицъ драмы, отношеній и интересовъ, вытекающихъ изъ ихъ личности. Главное лицо въ его драмѣ только сосредоточиваетъ на себѣ ея интересъ, но не заключаетъ въ себѣ ея. Такъ это есть и въ исторіи: исторія эпохи, отмѣченной именемъ Наполеона, не есть исторія одного человѣка, но цѣлаго народа въ извѣстную эпоху.

Лаертъ—это, какъ говорится, малый добрый, но пустой. Онъ не глупъ, но и не уменъ; не золъ, но и не добръ: это какое-то отрицательное понятіе. Какъ всѣ молодые люди, онъ пылокъ, но эта пылкость устремлена на мелочи. Изъ Парижа пріѣхавъ онъ въ Данію на коронацію, и по окончаніи ея опять просится въ Парижъ. А зачѣмъ? Да такъ—кутить, т. е. за тѣмъ, за чѣмъ и теперь ѣздить туда веселые люди, которые Парижемъ ограничиваютъ свои путешествія и только потому заглядываютъ въ скучную для нихъ Германію, что черезъ нее нельзя же перепрыгнуть въ шумную столицу наслажденій. Лаертъ любилъ отца—но какъ?—не больше какъ добраго, снисходительнаго отца, который, не отказываясь отъ своей отеческой власти, не мѣшалъ ему веселиться вволю, вслѣдствіе общности своихъ понятій о весельи съ сыновними. Онъ любилъ Офелію, но уже не по одной привычкѣ, но и не потому, чтобы могъ оцѣнить ее. Онъ чувствовалъ, что могъ гордиться своей сестрой, но не понималъ, что въ ней именно хорошаго. Смерть отца поразила его особенно тѣмъ образомъ, какимъ она случилась, и еще тѣмъ, что его отецъ похороненъ просто, какъ человѣкъ частный, а не съ аристократической пышностью. Смерть сестры подѣйствовала на него иначе, потому что у него точно было доброе сердце. По слабости характера позволилъ онъ королю сдѣлать изъ себя орудіе убійства; по добротѣ души и притомъ видя себя наказаннымъ за свою продѣлку, онъ просилъ у Гамлета прощенія и открылъ ему все прежде, нежели умеръ. Однимъ словомъ, это былъ добрый малый, но больше ничего.

Теперь обратимся къ Полонію. Это уже не отрицательное, но положительное, хотя и гадкое понятіе. И не мудрено: Полоній такъ много жилъ на свѣтѣ, что имѣлъ время опредѣлиться вполне, тогда какъ Лаертъ былъ еще слишкомъ молодъ для этого. Что же такое этотъ Полоній? да просто—добрый малый, *bon vivant*, какъ говорятъ французы. Съ молодю

онъ былъ шалунъ, вѣтренникъ, повѣса; потомъ, какъ водится, перебѣсился, остепенился и сталъ

Старикъ, по старому шутившій —
Отъѣнно ловко и умно,
Что нынче нѣсколько смѣшно.

Полоній—человѣкъ способный къ администраціи или, что гораздо вѣрнѣе, умѣющій казаться способнымъ къ ней. Сверхъ того онъ умѣетъ развеселить своего государя острымъ словечкомъ, даже говоря съ нимъ о государственныхъ дѣлахъ. Также онъ любитъ кстати и трихнуть стариной, какъ говоритъ русская поговорка, т. е. представить изъ себя грѣшнаго старичка. Не говоря уже о его собственныхъ намекахъ на этотъ предметъ, вспомните, что сказалъ объ немъ Гамлетъ актеру: «Продолжай, другъ мой! онъ засыпаетъ, если не слышитъ шутокъ или непристойностей». Но этимъ еще не ограничиваются дарованія Полонія: онъ еще одинъ изъ тѣхъ придворныхъ, которыхъ Гамлетъ называетъ губкой. Словомъ, Полоній—добрый малый, умный и опытный человѣкъ. Вспомните только, какіе прекрасные совѣты даетъ онъ своему сыну, отпуская его во Францію: онъ даже совѣтуетъ ему, «подружившись, быть вѣрнымъ въ дружбѣ»; онъ знаетъ, что знатному человѣку, сыну вельможи, полезно быть вѣрнымъ въ дружбѣ такъ же, какъ и быть вѣрнымъ въ своемъ словѣ, потому что сынъ придворнаго—не то, что простой человѣкъ, который не знаетъ приличій и хорошаго тона. О, Полоній столько же нѣжный отецъ, сколько и умный, опытный человѣкъ, глубоко изучившій трудную науку жизни! Онъ очень хорошо знаетъ, что въ жизни есть богатство, почести, знатность, вкусный столъ, мягкая постель, спокойный сонъ, волокитство, обольщеніе; но не знаетъ, что въ этой же самой жизни есть нѣчто выше всего этого—есть жизнь въ истинѣ и духѣ, дающая человѣку такое сокровище, котораго ни ржа источить, ни воръ похитить не можетъ; есть любовь двухъ душъ, которая, уничтожая отдѣльное существованіе человѣка въ другомъ, создаетъ ему новое и преображенное бытіе; наконецъ есть мнѣніе за поруганное добро, за убитаго предательски отца... Да, бѣдный Полоній не знаетъ всего этого; впрочемъ онъ былъ добрый малый.

Король и королева такъ же благоразумны, какъ и Полоній; какъ и онъ, они видятъ въ жизни только богатство, почести и власть, а больше ничего. Ни одного изъ нихъ нельзя назвать злодѣемъ. Королева—просто слабая женщина. Она любила искренно своего покойнаго мужа и была истинно счастлива его любовью. Только ея любовь имѣла свой характеръ, потому что любовь одна, но она характеризуется степенью нравственнаго развитія и силой души человѣка. Поэтому и ея проявленія различны; поэтому есть люди, которые могутъ любить только одинъ разъ въ жизни и, лишивъ предмета любви своей, умираютъ для всякаго другого подобнаго чувства; и потому же самому есть люди, которые могутъ любить два, три и болѣе разъ въ жизни, и ихъ любовь такъ же истинна по своей сущности, какъ и любовь тѣхъ сильныхъ и глубокихъ душъ,

которые могутъ любить только однажды въ жизни; разница въ характерѣ и степени любви: у однихъ она принимаетъ характеръ всеобщій, міровой, у другихъ—характеръ частности и большей или меньшей, смотря по силѣ духа и степени развитія субъекта, ограниченности. И такъ, королева, еще при жизни своего мужа, полюбила его брата за то, что онъ моложе и румянее лицомъ: это слабость, но не злодѣйство. Увлеченная своимъ обольстителемъ, она не знала и даже не подозрѣвала ужасной тайны братоубійства. Она искренно, матерински любитъ своего сына, любить его потому только, что она родила его, что онъ—ея сынъ, а совсѣмъ не потому, чтобы она видѣла въ немъ проблески человѣческаго достоинства. Какъ бы то ни было, только она любить своего сына и любить его искренно. Его печаль, которой она не подозрѣваетъ причины, тяжело легла на ея сердце. Въ первомъ явленіи второго дѣйствія, когда Полоній хлопочетъ устроить встрѣчу Гамлета съ своей дочерью, королева, увидѣвъ вдали Гамлета, идущаго съ книгой въ рукахъ, говорить:

Посмотрите: вотъ онъ идетъ, читаетъ что-то—
какъ унылъ!

Въ послѣднемъ явленіи послѣдняго акта, во время дуэли Гамлета съ Лаертомъ, она всѣми силами старается показать ему свое участіе: говорить ему ласковыя слова и пьетъ за его здоровье. И самъ Гамлетъ искренно любитъ свою мать, хотя и понимаетъ ея ничтожество, и это-то, замѣтимъ мимоходомъ, было еще одной изъ причинъ его слабости. «Мать моя, ты испугалась за меня!» говоритъ онъ ей послѣ роковой дуэли, и въ его словахъ отзывается такъ много любви и нѣжности, несмотря на то, что это слова челоѣка умирающаго, вѣроломно отравленнаго и идущаго на страшный и послѣдній расчетъ съ своимъ жесточайшимъ врагомъ... И такъ, королева не злодѣйка, и даже не столько преступная, сколько слабая женщина. Она любитъ сына, отъ всей души желаетъ ему счастья, и соединеніе его съ Офеліей есть ея любимѣйшая мечта, а для себя она проситъ только пощады, снисхожденія, только того, чтобы смотрѣли сквозь пальцы на ея проступокъ, изъ котораго былъ только одинъ выходъ—разорвать преступную связь, чего она не въ силахъ была сдѣлать.

Король тоже не злодѣй, но только слабый челоѣкъ, а если и злодѣй, то по слабости характера, а не по ожесточенію сильной души. Онъ даже очень добрый челоѣкъ: онъ отъ души желаетъ счастья всѣмъ и каждому; онъ дастъ вамъ денегъ, если вы бѣдны; онъ хлопочетъ о вашей свадьбѣ, если вы влюблены; онъ любитъ даже Гамлета и былъ бы имъ счастливъ, какъ добрый отецъ милымъ сыномъ, своей сладкой надеждой. Впрочемъ у него не можетъ быть ни сильныхъ привязанностей, ни сильныхъ ненавистей, почему отличительная черта его характера, какъ всѣхъ пошлыхъ людей, есть безразличная доброта. Посмотрите на Яго: вотъ злодѣй въ истинномъ смыслѣ этого слова, злодѣй-художникъ,

который веселится всякимъ своимъ ужаснымъ дѣломъ, какъ художникъ веселится своимъ произведеніемъ. Онъ понимаетъ всѣ изгибы душъ благородныхъ и обязанъ этимъ не близорукому опыту, но своему внутреннему созерцанію, вслѣдствіе котораго онъ умѣетъ себя ставить во всякое челоѣческое положеніе. Въ немъ были всѣ элементы добраго, но не было силы развитію ихъ; для него была эпоха распада, борьбы, и въ этой борьбѣ онъ палъ, побѣжденный своимъ эгоизмомъ. Онъ понимаетъ, глубоко понимаетъ блаженство добра и, видя, что оно не для него, онъ мститъ за всякое превосходство надъ собой, какъ за личную обиду. Это челоѣкъ конечный, но съ сильной душой. И потому, когда всѣ его злодѣйства выходятъ наружу, и когда Отелло и другіе спрашиваютъ его о причинахъ такихъ злодѣйствъ,—онъ отвѣчалъ имъ спокойно, въ своемъ сатанинскомъ величіи: «Я сдѣлалъ свое; вы знаете, что знаете: больше я ничего не скажу». Нѣтъ, не такъовъ Клавдій: онъ сдѣлалъ злодѣйство не по убѣжденію, сдѣлалъ его рукой трепещущей, съ лицомъ блѣднымъ и отвращеннымъ отъ своей жертвы, отъ которой убѣжалъ, не удовлетворившись въ ея погибели, чтобы скрыться и отъ людей, и отъ самого себя. Онъ не отбилъ корону брата, какъ разбойникъ, но укралъ ее, какъ воръ. И чѣмъ она, эта корона, такъ прельстила его? Не мыслью объ этой царственной дѣятельности, въ которой привольно жить душѣ сильной; не потребностью осуществлѣть на дѣлѣ внутренней міръ своихъ помысловъ; нѣтъ: она прельстила его блескомъ своего золота, своихъ каменьевъ, своей фигурой, прельстила его, какъ игрушка прельщаетъ дитя. Онъ любитъ поѣсть и попить, но не просто, а такъ, чтобы каждый глотокъ его сопровождался звуками трубъ; онъ любитъ пиры, но такъ, чтобы быть героемъ ихъ; онъ любитъ не рабство, но лѣстивыя рѣчи, низкіе поклоны, анаки глубокаго и благоговѣйнаго уваженія, какъ любить ихъ всѣ выскочки. Присовокупите къ этому еще и его любовь къ женѣ своего брата: каково бы ни было это чувство, но если оно не просвѣтлено, оно мучительно и для удовлетворенія себя заставляетъ челоѣка быть неразборчивымъ на средства. Душа истинно благородная умѣетъ желать сильно и мучительно, но умѣетъ и оставаться при одномъ желаніи, если удовлетвореніе его сопряжено съ преступленіемъ, потому что истинно благородная душа въ самой себѣ находитъ и отпоръ или противодѣйствіе своему желанію, и вознагражденіе за неудовлетвореніе своего желанія. Не такъовъ Клавдій: у него въ душѣ было пусто—и онъ сдался на голосъ своего желанія, а сдавшись, сдѣлался мученикомъ. Онъ хочетъ быть добрымъ, справедливымъ, и точно добръ и справедливъ, но только до тѣхъ поръ, пока пиры, почести и королева остаются за нимъ безспорно; но какъ скоро Гамлетъ намекнулъ ему о незаконности его владѣнія и тѣмъ, и другимъ, онъ тотчасъ увидѣлъ, что ему невозможно ограничиться однимъ злодѣйствомъ, и что, кто разъ пошелъ по этой дорогѣ, тотъ или погибай, или не останавливайся. Но онъ не повялъ,

что как ни велика наша мудрость, во она не может измѣнить по своей волѣ порядка событій и обратить ихъ въ нашу пользу, и что въ этомъ отношеніи есть вѣчто такое, что смѣется надъ нашей мудростью и обращаетъ ее въ глупость, на нашу же погибель.

Кромѣ этихъ лицъ, особенно примѣчательно лицо Гораціо: это добрый малый, который любитъ доброе по инстинкту, не разсуждая о немъ; человѣкъ честный и откровенный. Онъ любитъ Гамлета, какъ добраго, благороднаго человѣка, но и не подозреваетъ въ немъ великой души, осужденной на адскую борьбу съ самой собой. Поэтому Гамлетъ дѣлится съ нимъ своей внутренней жизнью не больше, какъ столько, сколько она доступна для добраго Гораціо, и открываетъ ему свои тайны больше по необходимости, нежели по чувству дружбы. Такіе люди, какъ Гамлетъ, безсознательно умѣютъ понимать каждаго на своемъ мѣстѣ и вслѣдствіе этого съ каждымъ опредѣлять свои отношенія.

Я за то тебя люблю,
Что ты терпѣть умѣешь. Въ счастья,
Въ несчастія равнень ты, Гораціо.

Такъ говоритъ ему Гамлетъ, и въ этихъ словахъ заключается полная характеристика Гораціо и объясненіе взаимныхъ отношеній другъ къ другу этихъ двухъ лицъ.

О прочихъ лицахъ драмы мы не будемъ говорить, не потому, чтобы каждое изъ нихъ не было ни конкретнымъ, ни дѣйствительнымъ, ни необходимымъ для цѣлости драмы, но потому, что наша статья и безъ того сдѣлалась слишкомъ длинна; сверхъ того, говоря о характерахъ лицъ, мы имѣли въ виду показать простоту, естественность и дѣйствительность содержанія и хода драмы, образуемой собой цѣлый, отдѣльный міръ дѣйствительной жизни. Не знаемъ, успѣли ли мы въ этомъ, но считаемъ необходимымъ прибавить ко всему сказанному нами на этотъ предметъ, что во всѣхъ драмахъ Шекспира есть одинъ герой, имени котораго онъ не выставляетъ въ числѣ дѣйствующихъ лицъ, но котораго присутствіе и первенство зритель узнаетъ уже по опущеніи занавѣса. Этотъ герой есть жизнь или, лучше сказать, вѣчный духъ, проявляющійся въ жизни людей и открывающійся въ ней самому себѣ. Этому-то незримо присутствующему герою и главному лицу всѣхъ своихъ драмъ обязанъ Шекспиръ своей вѣчно неумиравшей славой, потому что въ немъ заключается его абсолютность. Вглядитесь попристальнѣе въ лица, образующія собой драму «Гамлетъ»: что вы увидите въ каждомъ изъ нихъ? Субъективность, конечность, сосредоточеніе на личныхъ интересахъ. Посмотрите на самого Гамлета: всѣ прочія лица драмы или враги ему, или друзья. Онъ называетъ свою мать «чудовищемъ порока», тогда какъ она не больше, какъ слабая женщина; короля онъ тоже ставитъ на какія-то ходули, почитая его ужаснымъ, чудовищнымъ злодѣемъ, тогда какъ онъ жалокъ и ничтоженъ; наконецъ, Гамлетъ даже въ Полоніи видитъ какого-то для себя врага, тогда какъ тотъ изъ всѣхъ силъ хлопочетъ о его женитьбѣ на

своей дочери. Уже къ концу пьесы выходитъ онъ, въ торжественную минуту просвѣтлѣнія, изъ своей личности и возвышается до абсолютнаго созерцанія истины, но тогда оканчивается и драма. Что дѣлаетъ король?—Старается обезпечить себѣ похищенную корону, обладаніе королевой и удовольствіе пить вино при звукахъ трубъ. А королева?—Примиреніемъ съ любимымъ, но непонятымъ ею сыномъ доставить себѣ возможность весело жить съ новымъ мужемъ. А эта кроткая, прекрасная и гармоническая Офелія?—Она занята своими думами любви и горестью о несбывшихся надеждахъ. А Полоній?—Онъ хлопочетъ породниться съ царской кровью. А Лаэртъ?—Сперва онъ весь въ мысли о своемъ любезномъ Парижѣ и его веселостяхъ, а потомъ въ бѣшенствѣ на Гамлета за смерть отца и помѣшательство сестры. А прочіе придворные?—Они заняты своимъ страннымъ положеніемъ между Гамлетомъ, какъ будущимъ королемъ, и между Клавдіемъ, какъ настоящимъ королемъ, и своими дѣйствіями выражаютъ жидовскую поговорку: помоги, Боже, и нашимъ, и чужимъ.

Итакъ, всѣ эти лица находятся въ заколдованномъ кругу своей личности, ни мало не догадываясь, что они, живя для себя, живутъ въ общемъ, и дѣйствуя для себя, служатъ цѣлому драмы. И вотъ опускается занавѣсъ: Гамлетъ погибъ, Офелія погибла, король также; нѣтъ ни добраго, ни злого—все погибло. Какое мучительное чувство должно бы возбудить въ душѣ зрителя это кровавое зрѣлище! А между тѣмъ зритель выходитъ изъ театра съ чувствомъ гармоніи и спокойствія въ душѣ, съ просвѣтлѣннымъ взглядомъ на жизнь и примиренный съ ней, и это потому, что въ борьбѣ конечностей и личныхъ интересовъ онъ увидѣлъ жизнь общую, мировую, абсолютную, въ которой нѣтъ относительнаго добра и зла, во въ которой все—безусловное благо!

Признаемся: не безъ какой-то робости приступаемъ мы къ отчету объ игрѣ Мочалова: намъ кажется, и не безъ основанія, что мы беремся за дѣло трудное и превосходящее наши силы.

Сценическое искусство есть искусство неблагодарное, потому что оно живетъ только въ минуту творчества и, могущественно дѣйствуя на душу въ настоящемъ, оно неуловимо въ прошедшемъ. Какъ воспоминаніе, игра актера жива для того, кто былъ ею потрясенъ, но не для того, кому бы хотѣлъ онъ передать свое о ней понятіе. А мы хотимъ именно это сдѣлать: хотимъ передать тѣ ощущенія, ту жизнь безъ имени, то состояніе духа безъ всякой посредствующей возможности выраженія, которыми дарилъ насъ могучій художникъ, и при воспоминаніи о которыхъ наша взволнованная и наслаждающаяся душа тѣшится ищетъ словъ и образовъ, чтобы сдѣлать для другихъ яснымъ и осязательнымъ созерцаніе прошедшихъ моментовъ своего высокаго наслажденія... И что же мы сдѣлаемъ для этого?—Исчислимъ ли всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ художникъ былъ особенно силенъ?—но намъ могутъ и не повѣрить. Обозначимъ ли общими чертами характеръ его игры?—но и здѣсь мы достигнемъ много-много

если вѣроятности, а мы хотѣли бы, чтобы въ нашемъ отчетѣ была очевидность. Нѣтъ, не подробный и обстоятельный отчетъ должны мы написать, не мнѣніе наше должны мы представить на судъ читателей, которые могутъ и принять, и не принять его: мы должны заставить ихъ повѣрить намъ безусловно, а для этого намъ должно возбудить въ душахъ ихъ всѣ тѣ потрясенія, вмѣстѣ и мучительныя, и сладостныя, неуловимыя и дѣйствительныя, которыми восторгались и мучили насъ по своей волѣ великій артистъ; должно ринуть ихъ въ то состояніе души человека, когда она, увлеченная чародейственной силой и слабая, чтобы защититься отъ ея могучихъ обаяній, предается ей до самозабвенія и, любя чужой любовью, страдая чужимъ страданіемъ, сознаетъ себя только въ одномъ чувствѣ безконечнаго наслажденія, но уже не чужого, а своего собственнаго; словомъ, намъ должно сдѣлать съ нашими читателями то же самое, что дѣлалъ съ нами Мочаловъ... Но это значило бы идти въ соперничество, въ состязаніе съ тѣмъ великимъ художникомъ, чей геній раздѣлилъ съ Шекспиромъ славу созданія Гамлета, чья глубокая душа изъ сокровенныхъ тайниковъ своихъ высылала и разрушительныя бури страстей, и торжественное спокойствіе души... Состязаться съ нимъ!.. но для этого надобно, чтобы каждое наше выраженіе было живымъ поэтическимъ образомъ; надобно, чтобы каждое наше слово трепетало жизнью, чтобы въ каждомъ нашемъ словѣ отзывался то яростный хохотъ безумнаго отчаянія, то язвительная и горькая насмѣшка души, оскорбленной и судьбой, и людьми, и самой собой, то грустно-ропщущая жалоба утомленнаго самимъ собой безсилія, то гармонической лепетъ любви, то торжественно-грустный голосъ примиреннаго съ самимъ собой духа... Да, надобно, чтобы каждое наше слово было проникнуто кровью, желчью, слезами, стономъ, и чтобы изъ-за нашихъ живыхъ и поэтическихъ образовъ мелькало передъ глазами читателей какое-то прекрасное меланхолическое лицо, и раздавался голосъ, полный тоски, бѣшенства, любви, страданія, и во всемъ этомъ всегда гармоническій, всегда гибкій, всегда проникающій въ душу и потрясающій ея самыя сокровенныя струны... Вотъ тогда бы мы вполне достигли своей цѣли, и сдѣлали бы для нашихъ читателей то же самое, что сдѣлалъ для насъ Мочаловъ. Но еще разъ, для этого надобно имѣть душу вулканическую и страстную, и не только способную въ высшей степени страдать и любить, но и заставлять другихъ страдать и любить, передавая имъ свою любовь и свои страданія... Рецензенту надо сдѣлаться поэтомъ, и поэтомъ великимъ... Все это мы говоримъ отнюдь не для того, чтобы поднять Мочалова: его талантъ, этотъ, по выраженію одного извѣстнаго литератора, самородокъ чистаго золота, и немолкающія рукоплесканія цѣлой Москвы, какъ свидѣтельство необыкновеннаго успѣха, дѣлають для Мочалова излишними всѣ косвенныя средства для его возвышенія. И все, что мы сказали, не примѣняется къ одному ему исключительно, но ко всякому великому актеру. Сценическое искусство есть

искусство неблагодарное—вотъ что хотѣли мы сказать, говоря о невозможности отдать удовлетворительнаго отчета объ игрѣ Мочалова. Вы прочли произведеніе великаго генія и хотите разобрать его: передъ вами книга, и если бы у васъ не достало силы показать его въ надлежащемъ свѣтѣ, вы расскажете его содержаніе, выпишите изъ него мѣста, и тогда оно заговоритъ само за себя. Вы хотите просто дать о немъ понятіе вашему другу, знакомому, который не читалъ его: скажите основную мысль, содержаніе, нѣсколько стиховъ, вѣзавшихся въ вашей памяти, и вы опять достигните своей цѣли. Вы прослушали музыкальное произведеніе и хотите или снова оживить его для себя, или дать о немъ кому-нибудь понятіе—вы садитесь за фортепьяно или поете мотивъ, и если это будетъ далеко не то, что вы слушали, то все-таки нѣчто похожее на то... Эстампъ даетъ вамъ понятіе о великомъ произведеніи живописи. Но актеръ... попросите его самого напомнить вамъ какое-нибудь мѣсто, особенно поразившее васъ въ его игрѣ, и вы увидите, что онъ самъ не въ состояніи его повторить*), а если и повторить, то не такъ, можетъ быть, лучше—только не такъ... Слышите ли: онъ самъ не въ состояніи; какъ же можетъ передать его игру простой любитель его искусства, и притомъ на бумагѣ, мертвой буквой?.. Мы любимъ Мочалова, какъ великаго художника, мы благодарны ему за тѣ минуты невыразимаго наслажденія, которыми онъ столько разъ восторгалъ нашу душу, но мы пишемъ эти строки не для него, а для искусства, которое мы любимъ, и для удовлетворенія понятной потребности говорить о томъ, что было причиной нашего величайшаго наслажденія. И вотъ здѣсь-то наша боязнь: что любяшь, то желаешь и другихъ заставить любить, а для этого недостаточно одной любви—нужно еще и умѣніе передать ее. Но мы взяли за это добровольно, увлекаемые безотчетнымъ желаніемъ подѣлиться съ другими своими прекрасными ощущеніями и указать имъ на узанный нами и можетъ быть еще неизвѣстный для нихъ источникъ эстетическаго наслажденія, на новый міръ прекрасной жизни: пусть же наше безкорыстное побужденіе будетъ служить намъ оправданіемъ въ случаѣ неуспѣха, если для неуспѣха въ добровольно принятомъ на себя дѣлѣ можетъ быть какое-нибудь извиненіе. А мы почтемъ себя совершенно достигшими своей цѣли, вознагражденными и счастливыми, ежели, передавая глубокія и прекрасныя ощущенія, которыми волновала насъ вдохновенная игра великаго актера, и указывая на тѣ минуты его высшаго одушевленія, которыя отдѣлялись отъ цѣлаго выполненія роли и съ особеннымъ могуществомъ потрясали души зрителей, заставимъ бывшихъ на этихъ представленіяхъ сказать: «да, это правда: все было прекрасно, но эти мгновенья были велики», а тѣхъ, которые

*) Впрочемъ есть и такіе актеры, которые служатъ исключеніемъ изъ этого правила и которымъ, въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ ихъ роли, можно кричать форо. И такіе актеры иногда считаются великими.

не видѣли «Гамлета» на сценѣ, заставимъ пожалѣть объ этой потерѣ и пожелать вознаграждать ее...

Что такое сценическое искусство?—Какъ всякое искусство, оно есть творчество. Теперь: въ чемъ же заключается творчество актера, котораго талантъ и сила состоятъ въ умѣннѣ вѣрно осуществить уже созданный поэтѣмъ характеръ?—Въ словѣ осуществить заключается творчество актера. Вы читаете Гамлета, понимаете его, но не видите его передъ собой, какъ лицо, имѣющее извѣстную фizioномію, извѣстный цвѣтъ волосъ, извѣстный органъ голоса, извѣстныя манеры, словомъ, конкретную живую личность. Это какая-то статуя, съ выраженіемъ страсти въ лицѣ, но которой и волоса, и лицо, и глаза одного цвѣта—цвѣта мрамора. Конечно всю эту видимую личность вы создаете сами или, лучше сказать, вы ее представляете себѣ, но независимо отъ Шекспира и своеобразно съ вашей субъектностью. Если съ одной стороны вы не имѣете права человѣку холодному и медленному придать фizioномію живой, пламенной, то съ другой стороны совершенно отъ васъ зависить, не измѣняя характера лица, придать ему черты по своему идеалу, потому что каждое драматическое лицо Шекспира конкретно и живо, какъ лицо, дѣйствующее свободно и реально, но черезъ своего творца; вы вездѣ видите его присутствіе, но не видите его самого: вы читаете его слова, но не слышите его голоса, и этотъ недостатокъ пополняете собственной своей фантазіей, которая, будучи совершенно зависима отъ автора, въ то же время и свободна отъ него. Драматическая поэзія не полна безъ сценическаго искусства: чтобы понять вполне лицо, мало знать, какъ оно дѣйствуетъ, говорить, чувствуетъ—надо видѣть и слышать, какъ оно дѣйствуетъ, говорить, дѣйствуетъ. Два актера, равно великіе, равно гениальные, играютъ роль Гамлета: въ игрѣ каждого изъ нихъ будетъ виденъ Гамлетъ, шекспировскій Гамлетъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ это будутъ два различные Гамлета, т.-е. каждый изъ нихъ, будучи вѣрнымъ выраженіемъ одной и той же идеи, будетъ имѣть свою собственную фizioномію, созданіе которой принадлежитъ уже сценическому искусству. Сущность каждого искусства состоитъ въ его свободѣ; безъ свободы же искусство есть ремесло, для котораго не нужно родиться, но которому можно выучиться. Свобода сценическаго искусства, какъ искусства самостоятельнаго, хотя и связаннаго съ драматическимъ, безгранична, потому что возможность давать различныя фizioноміи одному и тому же лицу заключается не въ субъектности актера, но въ степени его таланта и въ степени развитія его таланта; одинъ и тотъ же актеръ можетъ сыграть двухъ шекспировскихъ и въ то же время двухъ различныхъ Гамлетовъ, и никогда не можетъ сыграть роли Гамлета двухъ разъ совершенно одинаково. Сила и сущность сценическаго гения совершенно тождественна съ гениемъ прочихъ искусствъ, потому что, подобно имъ, она состоятъ въ этой всегдашней способности, понявши идею, найти вѣрный образъ для ея выраженія. Но между поэтѣмъ и актеромъ, вслѣдствіе индивидуальности ихъ искусствъ, есть и большая

разница. Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ спокойнѣе творить онъ: образы и явленія проходятъ предъ нимъ, вызываемые волшебными заклинаніями его творческой силы, но они живутъ въ немъ, а не онъ живетъ въ нихъ; онъ понимаетъ ихъ объективно, но живетъ въ той жизни, которую образуютъ они своей гармонической цѣлостью, а не въ какомъ-нибудь изъ нихъ особенно, а такъ какъ выражаемая ихъ общностью жизнь есть жизнь абсолютная, то его наслажденіе этой жизнью естественно спокойное. Актеръ, напротивъ, живетъ жизнью того лица, которое представляетъ. Для него существуетъ не идея цѣлой драмы, но идея одного лица, и онъ, понявши идею этого лица объективно, выполняетъ ее субъективно. Взявши на себя роль, онъ уже—не онъ, онъ уже живетъ не своей жизнью, но жизнью представляемаго имъ лица; онъ страдаетъ его горестями, радуется его радостями, любитъ его любовью; всѣ прочіе актеры, играющіе вмѣстѣ съ нимъ, становятся на это мгновеніе его друзьями или его врагами, по свойству роли cadaго. И, Боже мой, сколько средствъ требуетъ сценическое дарованіе! Мы не говоримъ уже о средствахъ матеріальныхъ, но необходимыхъ, каковы: крѣпкое сложеніе, стройный, высокий станъ, звучный и гибкій голосъ; для этого нужна еще организація огненная, раздражительная, мгновенно воспламеняющаяся: лицо подвижное, истинное зеркало всѣхъ чувствъ, проходящихъ по душѣ; способность любить и страдать глубокая и безконечная. Вы читаете драму съ участіемъ, она васъ волнуетъ, но вы ни на минуту не забываете, что вы не Гамлетъ, не Отелло, и вамъ отъ этого чтенія остается одно только наслажденіе, послѣ котораго вы здоровы и душой, и тѣломъ; а актеръ?—О, онъ не русскій, не москвичъ, не Мочаловъ въ эту минуту, а Гамлетъ или Отелло, чувствующій въ своей душѣ всѣ раны ихъ души. Если вы прочли драму вслухъ, то чѣмъ съ большимъ одушевленіемъ прочли вы ее, тѣмъ большее стѣсненіе чувствуете вы у себя въ груди и изнеможеніе въ цѣломъ организмѣ: что же долженъ чувствовать послѣ своей игры актеръ, пережившій въ нѣсколько часовъ цѣлую жизнь, составленную изъ борьбы и мукъ страстей великой души?—И не потому ли такъ мало гениальныхъ актеровъ? Въ самомъ дѣлѣ, сколько именъ перешло въ потомство?—очень немного: Гаррикъ, Кембль, Кинъ—и только. Намъ можетъ быть казаться, что мы забыли Тальму, г-жъ Жоржъ и Марсъ: нѣтъ, мы не забыли ихъ, но они были французы... а мы очень не смѣлы въ нашихъ сужденіяхъ, когда слово французъ сходитъ съ словомъ искусство, и когда мы не имѣемъ подъ рукой вѣрныхъ данныхъ для сужденія объ этомъ французѣ въ отношеніи къ искусству... Вотъ, напримѣръ, Корнель, Расинъ, Мольеръ, Вольтеръ, Гюго, Дюма—это другое дѣло: объ нихъ мы, не задумываясь, скажемъ, что они могутъ быть отличные, превосходные литераторы, стихотворцы, искусники, риторы, декламаторы, фразеры; но вмѣстѣ съ тѣмъ мы, не задумываясь же, скажемъ, что они и не художники, не поэты, но что ихъ невинно оклеветали художниками и поэтами

люди, которые лишены отъ природы чувства изящнаго... Но Тальма, Жоржъ, Марсъ... мы ихъ не видѣли и охотно готовы вѣрить, что они были чудеснѣйшими эффектерами, декламаторами, фигурантами... но чтобы они были великими актерами... да не о томъ дѣло...

Кстати: мы сказали, что актеръ есть художникъ, слѣдовательно, творить свободно, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы сказали, что онъ и зависитъ отъ драматическаго поэта. Эта свобода и зависимость, связанная между собою неразрывно, не только естественны, но и необходимы: только черезъ это соединеніе двухъ крайностей актеръ можетъ быть великъ. Какъ всякій художникъ, актеръ творитъ по вдохновенію, а вдохновеніе есть внезапное проникновеніе въ истину. Драматическій поэтъ, какъ всякій художникъ, выражаетъ своимъ произведеніемъ извѣстную истину, и каждый образъ его есть конкретное выраженіе извѣстной истины, слѣдовательно, актеръ можетъ вдохновляться только истиной, и, слѣдовательно, тѣмъ выше поэтъ, тѣмъ вдохновеннѣе долженъ быть актеръ, играющій созданную имъ роль, такъ какъ тѣмъ глубже истина, тѣмъ глубже должно быть и проникновеніе въ нее, а, слѣдовательно, и вдохновеніе. Поэтому мы не вѣримъ таланту тѣхъ актеровъ, которые всякую роль, какимъ бы поэтомъ она ни была создана—великимъ или малымъ, превосходнымъ или дурнымъ,—играютъ равно хорошо или могутъ играть хорошо плохую роль. Хорошо декламировать—другое дѣло, но декламировать роль и играть ее—это двѣ вещи совершенно разныя, и если превосходный актеръ можетъ быть и превосходнымъ декламаторомъ, изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы превосходный декламаторъ непременно долженъ былъ быть и превосходнымъ актеромъ. Все, что ни выражаетъ своей игрой актеръ, все то заключается въ авторѣ; чтобы понимать автора—нуженъ умъ и эстетическое чувство; чтобы уразумѣніе автора перевести въ дѣйствіе—нуженъ талантъ, гений. Поэтому, если характеръ, созданный поэтомъ, невѣренъ, не конкретенъ, то какъ бы ни была превосходна игра актера, она есть искусничаніе, а не искусство, шутовство, а не творчество, иступленіе, а не вдохновеніе. Если актеръ скажетъ съ увлекательнымъ чувствомъ какую-нибудь надутую фразу изъ плохой пьесы, то это опять-таки будетъ фиглярство, фокусничество, а не чувство, не одушевленіе, потому что чувство всегда связано съ мыслью, всегда разумно, одушевляться же можно только истинной, больше ничѣмъ. Впрочемъ извѣстно, что великіе актеры иногда превосходно играютъ нелѣпыя роли: мы сами это видѣли, и еще недавно: Мочаловъ прекрасно сыгралъ пошлую роль Кина въ пошлой пьесѣ Дюма «Геній и безпутство». Но это несколько не опровергаетъ нашей мысли; во-первыхъ, онъ сыгралъ ее такъ хорошо, какъ хорошо можно сыграть нелѣпую роль, то-есть относительно хорошо, и въ цѣлой роли на него было скучно смотрѣть, хотя онъ показалъ крайнюю степень искусства; во-вторыхъ, если у него было въ этой роли два-три момента истинно вдохновенныхъ, то эти моменты

были чисто-лирическіе, субъективные, въ которыхъ онъ, пользуясь положеніемъ представляемаго имъ лица, высказалъ не дюмасовскаго Кина, а самого себя, и которые несколько не были связаны съ ходомъ и характеромъ цѣлой драмы, и къ которымъ, наконецъ, онъ привязалъ свое понятіе, свое, ему извѣстное, значеніе и смыслъ. Такъ же хорошо онъ игрывалъ Карла Моора и Отелло (дюмасовскаго), т. е., несмотря на всѣ его усилія, цѣлой роли никакой не было, но всегда было пять-шесть превосходнѣйшихъ мѣстъ, и именно въ этомъ-то неуцѣннѣи, въ этомъ-то безсиліи выдерживать невыдержанные или неконкретные характеры мы видимъ несомнѣнное доказательство таланта Мочалова, хотя прежде, т. е. до представленія «Гамлета», вмѣстѣ съ большинствомъ голосовъ, мы смотрѣли на это, какъ на недостатокъ или на неполноту его дарованія.

Назадъ тому почти годъ, января 22, пришли мы въ Петровскій театръ на бенифисъ Мочалова, для котораго былъ назначенъ «Гамлетъ» Шекспира, переведенный Н. А. Полевымъ. Мнѣніемъ большинства публики, которое отчасти раздѣляли и мы, начали мы эту статью. Любя страстно театръ для высокой драмы, мы болѣли о его упадкѣ, и въ плоскихъ водевильныхъ куплетахъ и неблагопристойныхъ каламбурахъ намъ слышалась надгробная пѣснь, которую онъ пѣлъ самому себѣ. Мы всегда умѣли цѣнить высокое дарованіе Мочалова, о которомъ судили по немногимъ, но глубокимъ и вдохновеннымъ вспышкамъ, которыя западали въ нашу душу съ тѣмъ, чтобы никогда уже не изглаживаться въ ней; но мы смотрѣли на дарованіе Мочалова, какъ на сильное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и несколько не развитое, а вслѣдствіе этого искаженное, обезсиленное и погибшее для всякой будущности. Это убѣжденіе было для насъ горько, и возможность разубѣдиться въ немъ представлялась намъ мечтой сладостной, но несбыточной. Такъ понимали Мочалова мы,—мы, готовые сидѣть въ театрѣ три томительнѣйшихъ часа, подвергнуть наше эстетическое чувство, нашу горячую любовь къ прекрасному всѣмъ оскорбленіямъ, всѣмъ попыткамъ со стороны бездарности аксессуарныхъ лицъ и тщетныхъ усилій главнаго—и все это за два, за три момента его творческаго одушевленія, за двѣ, за три вспышки его могучаго таланта: какъ же понимала его, этого Мочалова, публика, которая ходитъ въ театръ не жить, а засыпать отъ жизни, не наслаждаться, а забавляться, и которая думаетъ, что принесла великую жертву актеру, ежели, обаянная магическою силой его вдохновенной игры, просидѣла смирно три часа, какъ бы прикованная къ своему мѣсту желѣзной цѣпью? Что ей за нужда жертвовать нѣсколькими часами тяжелой скуки для нѣсколькихъ минутъ высокаго наслажденія?.. Да, Мочаловъ все падалъ и падалъ во мнѣніи публики, и, наконецъ, сдѣлался для нея какимъ-то пріятнымъ воспоминаніемъ, и то сомнительнымъ... Публика забыла своего идола, тѣмъ болѣе, что ей представился другой идолъ—изваянный, живописный, граціозный, всегда себѣ равный, всегда находчивый, всегда готовый

изумлять ее новыми, неожиданными и смѣлыми картинками и рисующимися положеніями... Публика увидѣла въ своемъ новомъ идолѣ не горделиваго властелина, который даетъ ей законы и увлекаетъ ее зыбкую волю своей могучей волей, но лстиваго услужника, который за мгновенный успѣхъ ее легкомысленныхъ рукоплесканій и кликовъ старался угадывать ея вѣтренныя прихоти... Вотъ тогда-то раздались со всѣхъ сторонъ ея холодные возгласы: Мочаловъ—мѣщанскій актеръ—что за средства—что за ростъ—что за манеры—что за фигура—и тому подобное. Публика снова увидѣла своего идола, снова встрѣчала и привѣтствовала его рукоплесканіями, снова приходила въ восторгъ при каждой его позѣ, при каждомъ его словѣ; но она уже чувствовала раздѣленіе въ самой себѣ, чувствовала, что восторгъ ея натянутъ, что, словомъ, все то же, да какъ-то не то... Но Мочалову отъ этого было не легче: публика становилась къ нему холоднѣе и холоднѣе, и только немногія души, страстные къ сценическому искусству и способныя понимать всю безцѣнность сокровища, которое, непризнанное и непонятное, таялось въ огненной душѣ Мочалова, скорбѣли о постепенномъ упадкѣ его таланта и славы, а виѣсь съ ними и о постепенномъ упадкѣ самаго театра, наводненного потокомъ плоскихъ водевилей...

Все, что мы теперь высказали, все это проходило у насъ въ головѣ, когда мы пришли въ театръ на бенефисъ Мочалова. Намъ занимать интересъ сильный, великій, вопросъ въ родѣ—«быть или не быть». Торжество Мочалова было бы нашимъ торжествомъ, его послѣднее паденіе было бы нашимъ паденіемъ. Мы о немъ думали и то, и другое, и худое, и хорошее, но мы все-таки очень хорошо понимали, что его такъ называемыя прекрасныя мѣста въ посредственной вообще игрѣ были не простой удачей, не проискриваніемъ тепленькаго чувства и порядочнаго дарованія, но проблескомъ души глубокой, страстной, вулканической, таланта могучаго, громаднаго, но ни мало не развитаго, не воспитаннаго художническимъ образованіемъ, наконецъ, таланта, не постигающаго собственного величія, не радѣющаго о себѣ, бездѣйственнаго. Мелькала у насъ въ головѣ еще и другая мысль: мысль, что этотъ талантъ, сверхъ всего сказаннаго нами, не имѣлъ еще и достойной себя сферы, еще не пробовалъ своихъ силъ ни въ одной истинно-художественной роли, не говоря уже о томъ, что онъ былъ вѣскольکو сбитъ съ истиннаго пути надутыми классическими ролями, подобными роли Полиника, которыя были его дебютомъ и его первымъ торжествомъ при появленіи на сцену. Впрочемъ мы не вполне сознавали эту истину, которая для насъ очевидна, потому что, благодаря Мочалову, мы только теперь поняли, что въ мірѣ одинъ драматическій поэтъ—Шекспиръ, и что только его пьесы представляютъ великому актеру достойное его поприще, и что только въ созданныхъ имъ роляхъ великій актеръ можетъ быть великимъ актеромъ. Да, теперь это для насъ ясно, но тогда... Зато тогда мы чувствовали, хотя и безсознательно, что Гамлетъ долженъ рѣшить окончательно,

что такое Мочаловъ, и можно ли еще публикѣ поспѣшать Петровскій театръ, когда на немъ дается драма... Минута приближалась и была для насъ продолжительна и мучительна. Наконецъ, увертюра кончилась, занавѣсъ взвился, — и мы увидѣли на сценѣ нѣскольکو фигуръ, которыя довольно твердо читали свои роли и не упустили при этомъ дѣлать приличные жесты: увидѣли, какъ старался Усачевъ испугаться какого-то пугала, которое означало собой тѣнь Гамлетова отца, и какъ другой воинъ, желая показать, что это тѣнь, а не живой человѣкъ, осторожно кольнулъ своей аллебардой воздуха мимо тѣни, дѣлая видъ, что онъ безвредно прокололъ ее. Все это было довольно забавно и смѣшно, но намъ, право, было совсѣмъ не до смѣху: въ томительной тоскѣ дожидались мы, что будетъ дальше. Вотъ наши герои уходятъ со сцены, раздается свистокъ; декорация переиѣняется, появляется нѣскольکو пажей и выходитъ Козловскій, ведя за руку Синецкую, а за ними бенефициантъ; театръ потрясся отъ рукоплесканій. Вотъ онъ отдѣляется отъ толпы, становится въ отдаленіи на краю сцены въ черномъ, траурномъ платьѣ, съ лицомъ унылымъ, грустнымъ. Что-то будетъ?... Вотъ король и королева обращаются къ нашему Гамлету—онъ отвѣчаетъ имъ; изъ этихъ короткихъ отвѣтовъ еще не видно ничего положительнаго о достоинствѣ игры. Вотъ Гамлетъ остается одинъ. Начинается монологъ — «Для чего ты не растаешь» и пр., и мы въ этомъ первомъ представленіи крѣпко запомнили слѣдующіе стихи:

Едва лишь шесть недѣль прошло, какъ нѣтъ его,
Его, властителя, героя, полубога
Предъ этимъ повелителемъ ничтожнымъ,
Предъ этимъ мужемъ матери моей...

Первые два стиха были сказаны Мочаловымъ съ грустью, съ любовью—въ послѣднихъ выразилось энергическое негодованіе и презрѣніе; невозможно забыть его движенія, которое сопровождало эти два стиха. Стихъ «О, женщины! — ничтожество вамъ имя!» пропалъ, какъ и во всѣ слѣдующія представленія; но стихъ «Башмаковъ она еще не истоптала» и почти всѣ слѣдующіе почти во всѣ представленія были превосходно сказаны. Но изъ всего этого съ особенной силой выдался отвѣтъ Гамлета Горацію на слова послѣдняго объ умершемъ королѣ—

Человѣкъ онъ былъ... изъ всѣхъ людей,
Мнѣ не видать уже такого человѣка!

Половину перваго стиха «Человѣкъ онъ былъ» Мочаловъ произнесъ протяжно, ударяя Горацію по плечу и какъ бы прерывая его слова; все остальное онъ сказалъ скороговоркой, какъ бы спѣша высказать свою задушевную мысль прежде, нежели волненіе духа не прервало его голоса. Театръ потрясенъ отъ единодушныхъ и восторженныхъ рукоплесканій... Такое же дѣйствіе произвелъ у него послѣдній монологъ во второмъ дѣйствіи, и тѣ, которые были на этомъ представленіи, не могутъ забыть и этого выраженія грусти и раздумья, вслѣдствіе мысли о любимомъ отцѣ, и горестнаго предчувствія ужасной тайны, съ которыми онъ проговорилъ стихи—

Тѣнь моего отца—въ оружіи.—Бѣдами
Грозитъ она—открытіемъ злодѣйства...
О, если бѣ поскорѣе ночь настала!
До тѣхъ поръ—спи, моя душа!

и этой торжественности и энергіи, съ которыми онъ произнесъ стихъ «Злодѣйство встанетъ на бѣду себѣ», и этого граціознаго жеста, съ которымъ онъ сказалъ послѣдніе два стиха—

И если ты его землей закроешь цѣлой...
Оно страхнетъ ее и явится на свѣтъ!

сдѣлавши обѣими руками такое движеніе, какъ будто бы, безъ всякаго напряженія, единой силой воли, сталкивалъ съ себя тяжесть, равную цѣлому земному шару...

Третья сцена была ведена Мочаловымъ вообще недурно; но монологъ послѣ ухода тѣни былъ произнесенъ съ увлекательною силой. Сказавши: «О, мать моя! чудовище порока!» онъ сталъ на колѣно и, задыхающимся отъ какого-то сумасшедшаго бѣшенства голосомъ, произнесъ: «Гдѣ мои замѣтки?» и пр. Равнымъ образомъ невозможно дать понятія объ этой нроніи и этомъ помѣшательствѣ ума, съ какими онъ, на голосъ Марцелліа и Гораціо, звавшихъ его за сценой, откликнулся: «Здѣсь, малютки! Сюда, сюда, я здѣсь!». Сказавши эти слова съ выраженіемъ умственнаго разстройства въ лицѣ и голосѣ, онъ повелъ рукой по лбу, какъ человѣкъ, который чувствуетъ, что онъ теряетъ разумъ и который боится въ этомъ удостовѣриться.

Здѣсь встаетъ скажемъ слова два о помѣшательствѣ Гамлета. У англичанъ было много споровъ и разсужденій о томъ: сумасшедшій ли Гамлетъ, или нѣтъ? Этотъ вопросъ намъ кажется очень простъ и ясенъ съ тѣхъ поръ, какъ его разрѣшилъ намъ Мочаловъ своею игрой. У Гамлета была своя жизнь, въ сферѣ которой онъ сознавалъ себя какъ нѣчто дѣйствительное. Вдругъ ужасное событіе насильственно выводитъ его изъ того опредѣленія, въ которомъ онъ понималъ и жизнь, и самого себя: естественно, что Гамлетъ теряетъ всякую точку опоры, всякую сосредоточенность, изъ явленія дѣлается элементомъ и изъ созерцанія безконечнаго впадаетъ въ конечность. Вотъ въ чемъ состоитъ помѣшательство Гамлета: на одно мгновеніе онъ сдѣлался призракомъ съ возможностью дѣйствительности, но безъ всякой дѣйствительности, какъ человѣкъ, оглушенный ударомъ по головѣ, остается на нѣсколько минутъ только съ возможностью душевныхъ способностей, которыя у него замираютъ, хотя и не умираютъ. И Гамлетъ точно сумасшедшій, но не потому, чтобы потерялъ свой разумъ, но потому, что потерялся самъ на время; впрочемъ его разсудокъ при немъ, и онъ во всякомъ случаѣ не приметъ свѣчки за солнце. Дѣло только въ томъ, что сначала онъ до такой степени растерялся, что пока не могъ найти лучшаго способа дѣйствованія, какъ прикинуться сумасшедшимъ, о чемъ онъ и намекнулъ довольно ясно Марцелліа и Гораціо. И Мочаловъ глубоко постигъ это своимъ художническимъ чувствомъ: онъ — сумасшедшій, когда, стоя на одномъ колѣнѣ, записываетъ въ записной книжкѣ

слова тѣни; онъ — сумасшедшій, когда отыскивается на зовъ своихъ друзей и во всей сценѣ съ ними послѣ явленія тѣни, но онъ сумасшедшій въ томъ смыслѣ, какой мы, благодаря же его игрѣ, даемъ сумасшествію Гамлета, и Мочаловъ представляется для зрителей сумасшедшимъ только въ этомъ третьемъ явленіи, а больше нигдѣ, какъ то будетъ нами показано ниже. Спорить же о томъ, былъ ли Гамлетъ сумасшедшимъ въ буквальный смыслъ этого слова, странно: сумасшедшій человѣкъ не можетъ быть предметомъ искусства и героемъ Шекспировской драмы. Мысль представить въ поэтическомъ произведеніи человѣка умалишеннаго, такая мысль могла бѣ быть истинной находкой только для какого-нибудь героя французской литературы, этой литературы, которая копаются въ гробахъ, посѣщаетъ тюрьмы, дома разврата, логовища бѣлыхъ медвѣдей, отыскиваетъ чудовищъ въ лютномъ Квизнмодо и Лукреціи Борджіа, людей съ отрѣзаннымъ языкомъ, съ отгннвшей головой, и все это для того, чтобы сильнѣе поразить эффектами душу читателя. Но гений Шекспира былъ слишкомъ великъ, чтобы прибѣгать къ такимъ мелкимъ средствамъ для успѣха: слишкомъ хорошо постигалъ красоту дивнаго Божьяго міра и достоинство человѣческой жизни, чтобы унижать то и другое пошлыми клеветами. Намъ укажутъ можетъ быть на Офелію, какъ на живое опроверженіе нашей мысли; но мы отвѣтимъ, что сумасшествіе Офеліи представлено у Шекспира, какъ результатъ главнаго событія ея жизни, какъ мимолетное явленіе, но не какъ предметъ драмы, на которомъ были бы основаны цѣль и успѣхъ ея. Сдѣлавшись сумасшедшей, Офелія сходитъ со сцены, какъ лицо уже лишнее въ драмѣ. Не говоримъ уже о томъ, что появленіе сумасшедшей Офеліи производитъ въ душѣ зрителей грустное состраданіе, но не ужасъ, не отчаяніе и не отвращеніе отъ жизни. Иные думаютъ, что Гамлетъ — сумасшедшій только въ нѣкоторыя минуты; очень хорошо; но въ такомъ случаѣ эти минуты не имѣли бы ни какой связи съ остальной его жизнью; но всѣ слова Гамлета послѣдовательны и заключаютъ въ себѣ глубокий смыслъ. И это было прекрасно выполнено Мочаловымъ. «Что новаго?» спрашиваетъ Гораціо. «О, чудеса!» отвѣчаетъ Гамлетъ съ блуждающимъ взоромъ и съ выраженіемъ дикой и насмѣшливой веселости. «Скажите, принцъ, скажите», продолжаетъ Гораціо. «Нѣтъ, ты всеѣмъ расскажешь», возражаетъ Гамлетъ, какъ бы забавляясь недоумѣніемъ своего друга. «Нѣтъ, клянемся!» — «Что говоришь ты: я повѣрю людямъ? ты все откроешь!» — «Нѣтъ, клянемся небомъ!» Тогда Мочаловъ принялъ на себя выраженіе какой-то таинственности и, нагибаясь поочередно къ уху Гораціо и Марцелліа, какъ бы готовясь открыть имъ важную и ужасную тайну, проговорилъ тихимъ и торжественнымъ голосомъ:

Такъ знайте жѣ: въ Даніи бездѣльникъ
каждый
Есть въ то же время плутъ негодный.

а потомъ, возвысивъ голосъ, прибавилъ съ тономъ

серьезнаго убѣжденія «да!». Но эта иронія и это бышеное сумасшествіе были такъ насильственны, что онъ не въ состояніи постоянно выдерживать ихъ, и стихи—

Идите вы, куда влекутъ желанья и дѣла—
У всякаго есть дѣло, есть желанье—

онъ произнесъ съ чувствомъ безконечной грусти, какъ человѣкъ, для котораго одного не осталось уже ни желаній, ни дѣлъ, исполненіе которыхъ было бы для него отрадой и счастьемъ. Тѣмъ же тономъ сказалъ онъ: «А я пойду, куда велитъ мой жалкій жребій»; но заключеніе «пойду—молиться» было произнесено имъ какъ-то неожиданно и съ выраженіемъ всей тяжести гнетущаго его бѣдствія и порыва найти какой-нибудь выходъ изъ этого ужаснаго состоянія.

Да, все это было проникнуто ужасной силой и истиной; но слѣдующее затѣмъ мѣсто, это превосходное мѣсто, гдѣ онъ заставляетъ своихъ друзей клясться въ сохраненіи тайны на своемъ мечѣ, было выполнено слабо, и въ немъ Мочаловъ ни въ одно представленіе не достигалъ полнаго совершенства; но и тутъ прорывались сильныя мѣста, особенно въ большемъ монолѣ, который начинается стихомъ: «И постарайтесь, чтобъ оно невѣдомо осталось». И тутъ у него не одинъ разъ выдавались два мѣста—

Горацио, есть многое и на землѣ, и въ небѣ,
О чемъ мечтать не смѣетъ наша мудрость,

и —

Клянитесь мнѣ—и сохрани васъ Боже
Нарушить клятву мнѣ!

Но стихи—

Преступленіе

Проклятое! зачѣмъ рожденъ я наказать тебя!

намъ всегда казались у него потерянными, что было для насъ тѣмъ грустнѣе, что мы всегда ожидали ихъ съ нетерпѣніемъ, потому что въ нихъ высказывается вся тайна души Гамлета. Очевидно, что Мочаловъ не обратилъ на нихъ всего вниманія, какого они заслуживали: иначе онъ умѣлъ бы сказать ихъ такъ, чтобы это отдалось въ душахъ зрителей и глубоко запало въ нихъ.

Такъ кончился первый актъ. Тутъ было много потеряннаго, невыдержаннаго, но зато тутъ было много же и превосходно сыграннаго, и общее впечатлѣніе громко говорило за бенефицианта. Мы отдохнули и съ замираніемъ сердца предчувствовали полное торжество и свершеніе самыхъ лестныхъ и самыхъ смѣлыхъ нашихъ надеждъ; словомъ, мы надѣялись уже на все, но то, что мы увидѣли, превзошло всѣ наши надежды.

Во второмъ актѣ Мочаловъ начинаетъ свою роль разговоромъ съ Полоніемъ и продолжаетъ съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ. Это сцены ужасныя, въ которыхъ Гамлетъ ѣдкими, ядовитыми сарказмами высказываетъ болѣзненное, страждущее состояніе своего духа, всю глубину своего распада, своей дисгармоніи, всю великость своего позора передъ самимъ собой, всю муку своего сомнѣнія, нерѣшимости и безсилія. Въ этихъ двухъ сце-

нахъ Мочаловъ развернулъ передъ зрителями все могущество своего сценическаго дарованія и показалъ имъ состояніе души Гамлета такимъ, какъ мы его описали теперь. Надо было видѣть, съ какимъ лицомъ онъ встрѣтился съ Полоніемъ: на этомъ лицѣ былъ виденъ и отпечатокъ безумія, и выраженіе какой-то хитрости, и презрѣніе къ Полонію, и глубокая тоска, и муки растерзаннаго и одинокаго въ своихъ страданіяхъ сердца. А этотъ голосъ, какимъ на вопросъ Полонія: «Какъ поживаете, любезный принцъ?» отвѣчалъ онъ: «Славу Богу, хорошо!» и какимъ онъ на другой его вопросъ: «Да знаете ли вы меня, принцъ?» отвѣчалъ: «Очень знаю: ты — рыбакъ». — О, такой голосъ не передается на бумагѣ и не повторяется дважды по произволу даже того, кому принадлежитъ онъ. «Что вы читаете, принцъ?» спрашиваетъ Полоній Гамлета. «Слова, слова, слова!» отвѣчаетъ ему Гамлетъ, и какъ отвѣчаетъ! Нѣтъ, не передать мы хотимъ выраженіе этого отвѣта, а пожалѣть, что взяли за дѣло невыполнимое, по крайней мѣрѣ для насъ... Скажемъ только, что публика поняла великаго артиста и апплодировала съ жаромъ...

Сцена съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ еще значительнѣе первой по своей скрытой, сосредоточенной силѣ, и Мочаловъ такъ и сыгралъ ее. Въ первый еще разъ удостовѣрились мы, какъ можетъ актеръ совершенно отрѣшиться отъ своей личности, забыть самого себя и жить чужой жизнью, не отдѣляя ея отъ своей собственной, или, лучше сказать, свою собственную жизнь сдѣлать чужой жизнью и обмануть на нѣсколько часовъ и себя самого, и двѣ тысячи человѣкъ... Дивное искусство!.. Но вотъ здѣсь-то мы въ совершенномъ отчаяніи: мы еще можемъ характеризовать манеру произношенія и жесты, которыми оно было сопровождаемо; но лицо, но голосъ—это невозможно, а въ нихъ-то все и заключалось... Съ перваго слова до послѣдняго этотъ голосъ измѣнялся непрерывно, но ни на минуту не терялъ своего полоумнаго, хитраго и болѣзненнаго выраженія. Встрѣтивъ Гильденштерна и Розенкранца съ выраженіемъ насмѣшливой или, лучше сказать, ругательной радости, онъ началъ съ ними свой разговоръ, какъ человѣкъ, который не хочетъ скрывать отъ нихъ своего презрѣнія и своей венависти, но который и не хочетъ нарушить приличія. «Да, кстати: чѣмъ вы досадили фортунѣ, что она отправила васъ въ тюрьму?» спрашиваетъ онъ ихъ съ выраженіемъ лукаваго простодушія. «Въ тюрьму, принцъ?» возражаетъ Гильденштернъ. «Да, вѣдь Давіа тюрьма», отвѣчаетъ имъ Гамлетъ немного протяжно и съ выраженіемъ ѣдкаго и мучительнаго чувства, сопровождая эти слова качаніемъ головы. «Стало быть и цѣлый свѣтъ тюрьма?» спрашиваетъ Розенкранцъ. «Разумѣется. Свѣтъ просто тюрьма, съ разными перегородками и отдѣленіями», отвѣчаетъ Гамлетъ съ притворнымъ хладнокровіемъ и тономъ какого-то комическаго убѣжденія, и вдругъ перемѣняя голосъ, съ выраженіемъ ненависти и отвращенія прибавляетъ, махнувши рукой: «Давіа—самое гадкое отдѣленіе». Но когда Розенкранцъ

дѣлаетъ ему замѣчаніе, что свѣтъ потому только кажется ему тюрьмой, что тѣснѣе для его великой души, тогда Гамлетъ, какъ бы забывая на минуту роль сумасшедшаго, оставляетъ свою иронию и съ чувствомъ глубокой грусти, въ которой слышится сознаніе его слабости, восклицаетъ: «О, Боже мой! моя великая душа помѣстилась бы въ орѣховой скорлупѣ, и я считалъ бы себя владыкой безпредѣльнаго пространства!» словомъ, вся эта сцена ведена была съ неподражаемымъ искусствомъ, съ полнымъ успѣхомъ, хотя и не съ крайней степенью совершенства, потому что тотъ же Мочаловъ впоследствии доказалъ, что ее можно играть и еще лучше. Но особенно онъ былъ превосходенъ, когда допрашивалъ придворныхъ, сами ли они къ нему пришли, или были подсланы королемъ: весь этотъ допросъ былъ сдѣланъ тономъ презрительной насмѣшливости, и когда, приведенные въ замѣшательство, придворные посмотрѣли другъ на друга, то Мочаловъ бросилъ на нихъ искоса взглядъ злобно-лукавый, и съ выраженіемъ глубокой къ нимъ ненависти и чувства своего надъ ними превосходства сказалъ: «Я насковозъ вижу васъ!» и потомъ вдругъ снова принявъ на себя видъ прежняго помѣшательства.

Всѣ эти переходы были быстры и неожиданны, какъ блескъ молніи. Потомъ онъ превосходно проговорилъ имъ свое признаніе, и его голосъ, лицо, осанка, манеры мѣнялись съ каждымъ словомъ: онъ вырастаетъ и поднимался, когда говорилъ о красотѣ природы и достоинствѣ человѣка; онъ былъ грозенъ и страшенъ, когда говорилъ, что земля ему кажется кускомъ грязи, величественное небо — грудой разительныхъ паровъ, а человѣкъ... «Я не люблю человѣка!» заключилъ онъ, возвысивъ голосъ, грустно и порывисто покачавши головой и граціозно махнувши отъ себя обѣими руками, какъ бы отталкивая отъ своей груди это чуждое, которое прежде онъ такъ крѣпко прижималъ къ ней...

Намъ кажется, что въ сценѣ съ Полоніемъ, пришедшимъ возвѣстить о пріѣздѣ комедіантовъ, Мочаловъ не только въ это первое, но и почти во всѣ послѣдующія представленія, нѣсколько утрировалъ, произнося съ невѣроятной растяжкой слова —

О, чудное чудо!
О, дивное диво!

Эта пѣвучая дикція, равно какъ и жестъ, сопровождающій ее и состоявшій въ хлопаньи руки объ руку, всегда производили на насъ непріятное впечатлѣніе. Но переходъ изъ этой шутовскости, входящей иногда до тривіальности, въ большую часть представленій былъ превосходенъ, мы говоримъ о томъ мѣстѣ, когда Гамлетъ на слова Полонія: «Если вы меня изволите называть дивомъ, у меня точно есть дочь, которую я очень люблю» — отвѣчаетъ: «Одно изъ другого не слѣдуетъ», невозможно дать понятіе объ этомъ внезапномъ переходѣ изъ фальшивой веселости на счетъ ничтожества бѣднаго Полонія въ состояніе какой-то торжественной, мрачной, угрожающей и что-то недоброе пророчащей

важности, какъ выражается вдругъ и въ лицѣ, и въ голосѣ, и въ приемахъ Мочалова. Тутъ виденъ Гамлетъ, который презираетъ и не любитъ людей, тѣмъ болѣе людей ничтожныхъ, который желалъ бы убѣжать не только отъ нихъ, но и отъ самого себя: и ему-то, этому-то Гамлету, надобѣдаютъ эти люди своими пошлостями — что ему остается дѣлать? Ругаться надъ ихъ ничтожностью и дурачить ихъ въ собственныхъ ихъ глазахъ! Онъ то и дѣлаетъ, но эта роль не можетъ долго развлекать его и тотчасъ ему наскучаетъ: тогда онъ вдругъ какъ бы пробуждается изъ минутнаго усыпленія, вспоминаетъ о своемъ положеніи, и всѣ слова его отдаются въ сердцѣ, какъ злое пророчество... Всѣ уходятъ. Гамлетъ одинъ. Слѣдуетъ длинный монологъ на двухъ цѣлыхъ страницахъ, — монологъ сильный, ужасный! Здѣсь мы уже совершенно теряемся и тщетно ищемъ словъ или, лучше сказать, много находимъ ихъ, но они не повинуются намъ и остаются словами, а не образами, не картинами, не гимномъ, не дифирамбомъ... Превосходно, выше всякаго ожиданія, шелъ весь второй актъ, но этотъ монологъ... И это очень понятно, потому что въ этомъ монологѣ Гамлетъ высказываетъ всю свою душу, со всѣми ея глубокими, вѣющими ранами, и что весь этотъ монологъ есть не что иное, какъ вопль, стонъ души, обвиненіе, жестокий доносъ, жалоба на самого себя передъ лицомъ судящаго неба... Въ самомъ дѣлѣ, Гамлетъ остался одинъ послѣ того, какъ его мучило своими преслѣдованіями, своей пошлостью и ничтожностью столько людей, передъ которыми онъ долженъ былъ скрываться, надѣвать маску, играть заранее предположенную роль: эти люди, наконецъ, оставили его — и вотъ смертное чувство вылилось все наружу и, не находя себѣ границъ, поглотило собой даже самый свой источникъ...

Гдѣ взять словъ для выраженія этой глубокой, сокрушительной, болѣзненной тоски, этого негодованія, бѣшенства и презрѣнія противъ самого себя, укорины и себѣ, и природѣ за самого же себя, съ какими великій нашъ артистъ началъ говорить эти стихи —

Какое я ничтожное созданье!

Комедіантъ, наемщикъ жалкій, и въ дурныхъ стихахъ,

Мнѣ, выражая страсти, плачетъ и блѣднѣетъ,

Дрожитъ, трепещетъ... Отчего?

И что причина? выдумка пустая,

Какая-то Гекуба! Что жъ ему Гекуба?

Зачѣмъ онъ дѣлитъ слезы, чувства съ нею?

Что, если бѣ страсти онъ имѣлъ причину,

Какую я имѣю? Залилъ бы слезами

Онъ весь театръ, и воплемъ растерзалъ бы слухъ,

И преступленье ужаснуло, и въ жилахъ

У зрителей онъ заморозилъ кровь.

Все это онъ проговорилъ нѣсколько протяжно, и голосомъ тихимъ, какъ рыданіе, и во всемъ этомъ выражалось преимущественно чувство безконечной тоски, безконечнаго огорченія самимъ собой, и только въ послѣднихъ стихахъ голосъ его, не теряя этого выраженія, окрѣпъ и возвысился, какъ бы преодолевъ задушавшее его чувство. Проговоривши эти стихи, Мочаловъ сдѣлалъ довольно продолжи-

тельную паузу и, как бы бросивъ взглядъ на самого себя, вдругъ и неожиданно со всей сосредоточенностью скрытой внутренней силы сказалъ—«а я?..» Сказавши это, онъ остановился среди сцены въ вопрошающемъ положеніи и, какъ будто ожидая отъ кого-нибудь отвѣта, и послѣ, тоже довольно замѣтной, паузы махнулъ руками съ выраженіемъ отчаянія, умѣряемаго однакоже чувствомъ грусти, и пошелъ по сценѣ, говоря голосомъ, выходящимъ со дна страждущей души—

Ничтожный я, презрѣнный человѣкъ,
Вечувствительный—молчу, молчу, когда я знаю,
Что преступленіе погубило жизнь и царство
Великаго властителя, отца!...

Въ послѣднемъ стихѣ голосъ Мочалова измѣнился: въ немъ отозвалась тоскующая любовь, и это у него было всегда, когда онъ говорилъ объ отцѣ.

Или я трусъ?
Кто смѣетъ словомъ оскорбить меня,
Или нанести мнѣ оскорбленіе безъ того,
Чтобъ за обиду не вступился я,
Не растерзалъ обидчика, не кинулъ
На растерзанье врагамъ трупъ его!

Въ этихъ словахъ чувство горести слилось съ выраженіемъ какой-то силы и энергіи. Но въ слѣдующихъ Мочаловъ принялъ прежній тонъ, отдающійся въ душѣ воплемъ нестерпимаго страданія—

И что же?
Чудовище разврата и убійцу вижу я!
И самый адъ зоветъ меня ко мщению,
А я—

Здѣсь онъ снова остановился на одномъ мѣстѣ и, послѣ короткой паузы, съ этой убійственной ироніей, когда она обращается на себя, произнесъ—

Безплодно изливаю гнѣвъ въ словахъ,
И онъ безвреденъ—онъ, когда я живъ,
Я—сынъ убитого отца, свидѣтель
Позора матери!.. О, Гамлетъ, Гамлетъ!
Позоръ и стыдъ тебѣ!

Все, что мы ни говорили о превосходствѣ игры Мочалова до этого самаго мѣста, все это ничто въ сравненіи съ тѣмъ, какъ сказалъ онъ—

О, Гамлетъ, Гамлетъ!
Позоръ и стыдъ тебѣ!...

Это быстрое качаніе головой, это быстрое маханіе руками, эта ускоренная походка, выразившая самый жестокий припадокъ сокрушительной, раздражающей душу скорби; этотъ голосъ, безъ всякаго усиленія, безъ малѣйшаго крика, потрясшій слухъ всѣхъ и каждаго, достигнувшій сокровенѣйшихъ изгибовъ сердца зрителей—о, это было дивное мгновеніе!.. И примѣчательно то, что изъ всѣхъ представленій, на которыхъ мы были, только въ одно пропало это мѣсто, но во всѣ прочія талантъ Мочалова торжествовалъ въ немъ вполне.

Такъ кончился второй актъ; такъ сошелъ со сцены нашъ Гамлетъ, сопровождаемый восторженными рукоплесканіями и криками... Публика была въ упоеніи. Все отзывалось полнымъ успѣхомъ, полнымъ торжествомъ; но это было еще только начало цѣлаго ряда блистательныхъ триумфовъ для Мочалова.

Въ третьемъ актѣ Гамлетъ является на сцену съ знаменитымъ монологомъ «Быть или не быть». Этотъ монологъ не даромъ пользуется своей знаменитостію, какъ будто бы онъ не составлялъ части драмы, но былъ особеннымъ и цѣльнымъ произведеніемъ Шекспира: въ немъ выражена вся внутренняя сторона Гамлета, какъ человѣка, тревожимаго вопросами жизни и кромѣ того мучимаго борьбой съ самимъ собой. И такъ, мы ожидали этого монолога отъ Мочалова съ особеннымъ волненіемъ духа, но обманулись въ своемъ ожиданіи. Не только въ это первое представленіе, но и во всѣ прочіе безъ исключенія этотъ монологъ пропадалъ, и иногда развѣ только къ концу былъ слышенъ. Очень понятно, отчего это всегда было такъ: Петровский театръ, по своей огромности, требуетъ отъ актера голоса громкаго, а Мочаловъ хотѣлъ вѣрнѣе представить человѣка, погруженнаго въ свои мысли. Для этого онъ начинаетъ свой монологъ въ глубинѣ сцены, при самомъ выходѣ изъ-за кулисъ, медленно приближаясь, тихимъ голосомъ продолжаетъ его, такъ что когда доходитъ до конца сцены, то говорить уже послѣдніе стихи, которые поэтому одни и слышны зрителямъ. Это большая ошибка съ его стороны. Естественность сценическаго искусства совсѣмъ не то же, что естественность дѣйствительности, и смотрѣть на нее такъ—значитъ впасть въ ошибку французскихъ классиковъ, которые необходимымъ условіемъ естественности почитали единство времени и мѣста; искусство имѣетъ свою естественность, потому что оно есть не списываніе, не подражаніе, но воспроизведеніе дѣйствительности. И потому мы думаемъ, что Мочалову надо было представить Гамлета, погруженнаго въ размышленіе, не столько размышляющимъ положеніемъ, то-есть опущенной внизъ головой, тихимъ голосомъ и походкой, сколько самымъ углубленіемъ въ размышленіе. Онъ можетъ возвысить свой голосъ, нисколько не выходя изъ положенія человѣка, сосредоточеннаго на занимающихъ его мысляхъ; онъ можетъ, и даже долженъ, для большей художественной естественности, выходить молча и, если угодно, скользить взорами по предметамъ, безъ всякаго къ нимъ вниманія, и нѣсколько мгновеній ходить по сценѣ, не говоря ни слова, и, уже подойдя къ краю сцены, начать свой монологъ. Мы увѣрены, что въ такомъ случаѣ этотъ монологъ никогда не потерялся бы.

Мы сказали, что послѣдніе стихи этого монолога у Мочалова бывають слышны, и иногда онъ произноситъ ихъ превосходно: не помнимъ, такъ ли это было въ первое представленіе, но помнимъ, что когда онъ замѣтилъ Офелію, то его переходъ изъ состоянія размышленія въ состояніе притворнаго сумасшествія былъ столько же быстръ, неожиданъ, какъ и превосходенъ. Глухимъ, сосредоточеннымъ, саркастическимъ голосомъ и какой-то дикой скороговоркой говорилъ онъ съ Офеліей, и вся эта сцена была проникнута высочайшимъ единствомъ охушленія, единствомъ характера. Мы не можемъ забыть ея всей, отъ перваго слова до послѣдняго, но монологъ: «Удались отъ людей, Офелія!»—этотъ монологъ

выдается въ нашей памяти изъ всей сцены. Начало его онъ говоритъ торопливо, быстро, но слова: «но готовъ обвинить себя въ такихъ грѣхахъ, что лучше не родиться», онъ произнесъ съ выраженіемъ какого-то вопля, какъ бы противъ его воли вырвавшегося изъ его души. Слѣдующія за этимъ слова онъ произносилъ также нѣсколько протяжно и съ чувствомъ сокрушительной тоски, въ нихъ слышался Гамлетъ, который не столько страдаетъ отъ сознанія своихъ недостатковъ, сколько досадуетъ на себя, что у него нѣтъ воли даже и на меззосты. Невозможно выразить того презрительнаго и болѣзненнаго негодованія, съ какими онъ сказалъ: «Что изъ этого человѣка, который ползетъ между небомъ и землей!»

Въ томъ монологѣ, гдѣ Гамлетъ даетъ совѣты актеру, Мочаловъ, по нашему мнѣнію, былъ хорошъ только въ послѣднемъ представленіи (ноября 20); во всѣ же прочія онъ производилъ имъ на насъ непріятное впечатлѣніе, именно словами: «представь добродѣтель въ ея истинныхъ чертахъ, а порокъ въ его безобразіи». Эти слова слѣдовало бы произнести какъ можно проще и спокойнѣе и безъ всякихъ выразительныхъ жестовъ: Мочаловъ, напротивъ, произносилъ ихъ усиленнымъ голосомъ, походящимъ на крикъ, и съ усиленными жестами, въ которыхъ была видна не выразительность, а манерность. Но въ слѣдующей сценѣ, гдѣ онъ упрощаетъ Горацію наблюдать за королемъ во время его комедіи, онъ, какъ въ это представленіе, такъ и во всѣ слѣдующія, былъ превосходенъ, великъ. Наклонившись къ груди Горацію и положивъ ему руки на плечи, какъ бы обнимая его, онъ произнесъ:

Мой другъ!

Прошу тебя—когда явленіе это будетъ,
Внимательно ты наблюдай за дѣдѣй,
За королемъ—внимательно, прошу.

Это «внимательно» и теперь еще раздается въ слухъ нашъ, какъ будто мы только вчера его слышали или, лучше сказать, никогда не переставали его слышать. Но это «внимательно», несмотря на всю безконечность своего поэтического выраженія, было только прологомъ къ той высокой драмѣ, которая немедленно послѣдовала за нимъ. Никакое перо, никакая кисть не изобразитъ и слабого подобія того, что мы тутъ видѣли и слышали. Всѣ эти сарказмы, обращенные то на бѣдную Офелію, то на королеву, то, наконецъ, на самого короля, всѣ эти краткія, отрывистыя фразы, которые говоритъ Гамлетъ, сидя на скамеечкѣ подлѣ кресла Офеліи, во время представленія комедіи, — все это дышало такой скрытой, невидимой, но чувствуемой, какъ давленіе кошмара, силой, что кровь леденѣла въ жилахъ у зрителей, и всѣ эти люди разныхъ званій, характеровъ, склонностей, образованія, вкусовъ, лѣтъ и половъ слились въ одну огромную массу, одушевленную одной мыслью, однимъ чувствомъ, и съ вытянутыми лицами, заколдованнымъ взоромъ, притая дыханіе, смотрѣвшую на этого небольшого черноволосаго человѣка съ блѣднымъ, какъ смерть, лицомъ, небрежно полуразваливавшегося на

скамейкѣ. Жаркія рукоплесканія начинались и прерывались, недоконченныя; руки поднимались для плесковъ и опускались обезсиленные; чужая рука удерживала чужую руку; незнакомецъ запрещалъ изъясненія восторга незнакомцу—и никому это не казалось страннымъ. И вотъ, король встаетъ въ смущеніи; Полоній кричитъ: «огня! огня!»; толпа поспѣшно уходитъ со сцены; Гамлетъ смотритъ ей вслѣдъ съ непонятнымъ выраженіемъ; наконецъ, остается одинъ Горацію и сидящій на скамеечкѣ Гамлетъ, въ положеніи человѣка, котораго спертое и удерживаемое всей силой исполнческой воли чувство готово разразиться ужасной бурей. Вдругъ Мочаловъ однимъ львинымъ прыжкомъ, подобно молніи, съ скамеечки перелетаетъ на середину сцены и, затоптавши ногами и замахавши руками, оглашаетъ театръ взрывомъ адскаго хохота... Нѣтъ! если бы по данному мановенію вылетѣлъ дружный хохотъ изъ тысячи грудей, слившихся въ одну грудь,—и тотъ показался бы смѣхомъ слабого дѣтяти, въ сравненіи съ этимъ неистовымъ, громовымъ, оцѣпеняющимъ хохотомъ, потому что для такого хохота нужна не крѣпкая грудь съ желѣзными нервами, а громадная душа, потрясенная безконечной страстью... А это топтанье ногами, это маханіе руками вмѣстѣ съ этимъ хохотомъ?—О, это была макабрская пляска отчаянія, веселящагося своими муками, унывающагося своими жгучими терзаніями... О, какая картина, какое могущество духа, какое обаяніе страсти!.. Дѣвъ тысячи голосовъ слились въ одинъ торжественный кликъ одобренія, четыре тысячи рукъ соединились въ одинъ плескъ восторга—и отъ этого оглушающаго вопля отдѣлялся неистовый хохотъ и дикіе стоны одного человѣка, бѣгавшаго по сценѣ, подобно вырвавшемуся изъ клѣтки льву... Въ это мгновеніе исчезъ его обыкновенный ростъ: мы видѣли передъ собой какое-то страшное явленіе, которое, при фантастическомъ блескѣ театрального освѣщенія, отдѣлялось отъ земли, росло и вытягивалось во все пространство между поломъ и потолкомъ сцены, и колебалось на немъ, какъ зловѣщее привидѣніе...

Олень ранили стрѣлой—
Тотъ охаетъ, другой смѣется,
Одинъ хохочетъ, плачетъ другой,
И такъ на свѣтѣ все ведется!

Прерывающимся, измученнымъ голосомъ проговорилъ онъ эти стихи; но страсть неистощима въ своей силѣ, и слова: «плачетъ другой», произнесенныя съ протяжкой и усиленнымъ удареніемъ и сопровождаемыя угрожающимъ и нѣсколько разъ повтореннымъ жестомъ руки, показали, что буря не утихла, но только приняла другой характеръ. Стихи—

Былъ у насъ въ чести немало
Левъ, да часть его пришелъ—
Счастье львиное пропало,
И теперь въ чести... пѣтухъ!

Мочаловъ произнесъ нараспѣвъ, задышающимъ отъ усталости голосомъ, отирая съ лица потъ и какъ бы желая разорвать на груди одежду, чтобы прохладить эту огненную грудь... И всѣ эти движенія были

такъ благородны, такъ граціозны... На словѣ «пѣ-
туть» онъ сдѣлалъ сильное удареніе, которое было
выраженіемъ бѣшеннаго и желчнаго негодованія.
«Послѣднія рѣша не годятся, принцъ», говорить
ему Горацио. «О, добрый Горацио!» восклицаетъ Гам-
летъ, положивши обѣ руки на плеча своего друга,
и это восклицаніе было воплемъ взволнованной,
страждущей и на минуту окрѣпшей души. «Теперь
слова привидѣнія я готовъ покупать на весь зо-
лота! Замѣтилъ ли ты?» послѣднія слова онъ про-
изнесъ съ невѣроятной растяжкой, дѣлая на каж-
домъ слогѣ усиленное удареніе и выѣстъ съ этимъ
произносъ каждый слогъ какъ бы отдѣльно и отры-
висто, потому что внутреннее волненіе захватывало
у него духъ, и кто видѣлъ его на сценѣ, тотъ со-
гласится съ нами, что не искусство, не умѣнье, не
разсчетъ вѣрнаго эффекта, а только одно вдохнове-
ніе страсти можетъ такъ выражаться. Знаемъ, что
тѣмъ, которые не видѣли Мочалова въ роли Гам-
лета, эти подробности должны показаться скучными
и ничего для нихъ не поясняющими; но тѣ, кото-
рые все это видѣли и слышали сами, тѣ поймутъ
насъ. «Очень замѣтилъ, принцъ», отвѣчаетъ Гора-
ціо. «Только что дошло до отравленія», продол-
жаетъ Гамлетъ протяжно. «Это было слишкомъ
явно», прерываетъ его Горацио. — «Ха! ха! ха!» Онъ
опять захохоталъ и, хлопая руками, въ неистовомъ
одушевленіи метался по широкой сценѣ... Театръ
снова потрясенъ отъ кликовъ и рукоплесканій, и
снова изъ этого вопля тысячъ голосовъ и плеска
тысячъ рукъ отдѣлился одинъ крикъ, одинъ хо-
хотъ... Лицо, искаженное судорогами страсти и все-
таки не утратившее своего меланхолическаго выра-
женія; глаза, сверкающіе молніями и готовые вы-
скочить изъ орбитъ; черныя кудри, какъ змѣи,
бьющіяся по блѣдному челу—о, какой могучій, ка-
кой страшный художникъ!.. Наконецъ притихающія
рукоплесканія публики позволяютъ ему докончить
монологъ—

Эй, музыкантовъ сюда, флейщиковъ!
Когда король комедіи не полюбитъ,
Такъ онъ— да, просто, онъ комедіи не любитъ!
Эй, музыкантовъ сюда!

Новый оглушающій взрывъ рукоплесканій... Сцена
съ Гильденштерномъ, пришедшимъ звать Гамлета
къ королевѣ и изъяснить ему ея неудовольствіе,
была превосходна въ высшей степени. Блѣдный,
какъ мраморъ, обливаясь потомъ, съ лицомъ, иска-
женнымъ страстью, и выѣстъ съ тѣмъ торжествую-
щій, могучій, страшный, измученный, но все еще
сильнымъ голосомъ, съ глазами, отвращенными отъ
посла и устремленными безъ всякаго вниманія на
одинъ предметъ, и перебирая рукой кисть своего
плаща, давалъ онъ Гильденштерну отвѣты, безпре-
станно переходя отъ сосредоточенной злобы къ при-
творному и беззастѣнчивому полоумію, а отъ полоумія
—къ желчной ироніи. Невозможно передать этого
неподражаемаго совершенства, съ которымъ онъ
уговаривалъ Гильденштерна сыграть что-нибудь на
флейтѣ: онъ дѣлалъ это спокойно, хладнокровно,
тихимъ голосомъ, но во всемъ этомъ просвѣчивался

какой-то замыселъ, что заставляло публику ожи-
дать чего-то прекраснаго—и она дождалась: сбро-
сивъ съ себя видъ притворнаго и ироническаго про-
стодушія и хладнокровія, онъ вдругъ переходитъ къ
выраженію оскорбленнаго своего человѣческаго до-
стоинства и твердымъ, сосредоточеннымъ тономъ го-
ворить: «Теперь суди самъ: за кого ты меня прини-
маешь? Ты хочешь играть на душѣ моей, а вотъ не
умѣешь сыграть даже чего-нибудь на этой дудкѣ.
Развѣ я хуже, простѣе, нежели эта флейта? Считай
меня, чѣмъ тебѣ угодно—ты можешь меня мучить,
но не играть мною!» Какое-то величіе было во всей
его осанкѣ и во всѣхъ его манерахъ, когда говорилъ
онъ эти слова, и при послѣднемъ изъ нихъ, флейта
полетѣла на полъ, и громъ рукоплесканій слился
съ шумомъ ея паденія... Такова же была сцена его
съ Полоніемъ: такъ же проговорилъ онъ свой моно-
логъ предъ стоявшимъ на колѣняхъ королемъ; его
одушевленіе не ослабѣвало ни на минуту, и въ сце-
нѣ съ матерью оно дошло до своего высшаго про-
явленія. Эта сцена, превосходно сыгранная послѣ
цѣлаго ряда сценъ, превосходно сыгранныхъ и тре-
бовавшихъ безконечнаго одушевленія, безконечной
страсти, показала, что тѣло можетъ уставать, но
что для духа нѣтъ усталости, и что наконецъ и са-
мый изнеможенный организмъ обновляется и нахо-
дитъ въ себѣ новыя силы, новую жизнь, когда ожи-
вляется духъ... Въ самомъ дѣлѣ, послѣ этого ужас-
наго истощенія, какое естественно должно бы было
слѣдовать за такими душевными бурями, нельзя
было надѣяться на сцену съ матерью, и мы охотно
извинили бы Мочалова, если бы онъ испортилъ ее;
но онъ явился въ ней съ новыми силами, какъ
будто онъ только началъ свою роль... Просто, бла-
городно, тихимъ голосомъ, сказалъ онъ: «Что вамъ
угодно, мать моя?—Скажите». Такъ же точно воз-
разилъ онъ на ея упрекъ въ оскорбленіи—«Мать
моя! отецъ мой вами оскорбленъ жестоко». Но нѣтъ!
мы не хотимъ больше входить въ подробности, по-
тому что усилія передать вѣрно все оттѣнки игры
этого великаго актера оскорбляютъ даже собственное
наше чувство, какъ дерзкая и неудачная попытка.
Скажемъ вообще о цѣлой сценѣ, что ничего подоб-
наго невозможно даже пожелать, потому что поже-
лать нельзя иначе, какъ имѣя желаемое въ созерца-
ніи, а это выше всякаго воображенія, какъ бы ни
было оно смѣло, сильно, требовательно... Всѣ эти
переходы отъ грозныхъ энергическихъ упрековъ къ
мольбамъ сыновней любви и возвращеніе отъ нихъ
къ ѣдкой, сосредоточенной ироніи—все это можно
было понимать, чувствовать, но нѣтъ никакой воз-
можности передать. Конечно и тутъ ускользнули
нѣкоторые оттѣнки, нѣкоторыя черты, которыя въ
другихъ представленіяхъ были схвачены и вполне
выдержаны, но зато многое тутъ было сказано луч-
ше, нежели въ послѣдовавшіе разы. Къ такимъ мѣ-
стамъ должно причислить монологъ

Такое дѣло,
Которымъ скромность погубила ты!
Изъ добродѣтели—ты сдѣлала коварство; цвѣтъ
любви

Ты облила смертельнымъ ядомъ; клятву,
Предъ алтаремъ тобою данную супругу,
Ты въ клятву игрока преобратила...

Эти стихи Мочаловъ произнесъ тономъ важнымъ, торжественнымъ и нѣсколько глухимъ, какъ человѣкъ, упрекая въ преступленіи подобнаго себѣ человѣка, и тѣмъ болѣе мать свою, ужасается этого преступленія; но слѣдующіе за ними—

Ты погубила вѣру въ душу человѣка —
Ты посмѣялась святости закона,
И небо отъ твоихъ злодѣйствъ горитъ!

вырвались изъ его груди, какъ вошь негодованія, со всей силой тяжкаго и болѣзненнаго укора: сказавши послѣдній стихъ, онъ остановился и, бросивъ устранный, испуганный взглядъ кругомъ себя и наверхъ, тономъ какаго-то мелодическаго рыданія произнесъ—

Да, видишь ли, какъ все печально и уныло,
Какъ будто наступаетъ страшный судъ!

Слѣдующій затѣмъ монологъ, гдѣ онъ указываетъ матери на портреты ея бывшаго и настоящаго мужа, которые представляются ему въ его наступленіи, Мочаловъ произноситъ съ такимъ превосходствомъ, о которомъ также невозможно дать никакого понятія. Сказавши съ страстнымъ и вѣстѣ грустнымъ упоеніемъ стихъ «совершенство Божьяго созданія»—онъ на мгновеніе умоляетъ и, бросивши на мать выразительный взоръ укора, тихимъ голосомъ говоритъ ей: «онъ былъ твой мужъ!» Потомъ внезапный переходъ къ бѣшенству при стихахъ—

Но посмотри еще—
Ты видишь ли траву гнилую, зелье,
Сгубившее великаго—

потомъ снова переходъ къ такому грозному допросу, отъ котораго не только живой организмъ, но и истлѣвшія кости грѣшника потряслись бы въ своей могилѣ—

Взгляни, гляди—
Или слѣпая ты была, когда
Въ болото срадное разврата пала?
Говори, слѣпая ты была?

но вотъ его грозный и страшный голосъ нѣсколько смягчается выраженіемъ увѣщанія, какъ будто желаніемъ смягчить ожесточенную душу матери грѣшницы—

Не поминай мнѣ о любви: въ твои лѣта
Любовь уму послушною бываетъ!
Гдѣ жъ былъ твой умъ? Гдѣ былъ разумокъ?
Какой же адскій демонъ овладѣлъ
Тогда умомъ твоимъ и чувствомъ—зрѣньемъ
просто?

Стыдъ женщины, супруги, матери забыть...
Когда и старость падаетъ такъ страшно,
Что жъ юности осталось?

и наконецъ это болѣзненное напряженіе души, это столкновение, эта борьба ненависти и любви, негодованія и состраданія, угрозы и увѣщанія, все это разрѣшилось въ сомнѣніе души благородной, великой, въ сомнѣніе въ человѣческомъ достоинствѣ—

Страшно,
За человѣка страшно мнѣ!..

Какая минута! и какъ мало въ жизни такихъ минутъ! и какъ счастливы тѣ, которые жили въ подобной минутѣ! Честь и слава великому художнику, могучая и глубокая душа котораго есть неисчерпаемая сокровищница такихъ минутъ, благодарность ему!..

Мы не въ состояніи передать сцены въ четвертомъ актѣ, гдѣ Розенкранцъ спрашиваетъ Гамлета о тѣлѣ убитаго имъ Полонія; скажемъ только, что эта сцена, равно какъ и слѣдующая, съ королемъ, была продолженіемъ того же торжества гения, которое въ первомъ актѣ выказывалось проблесками, а со второго, за исключеніемъ нѣсколькихъ невыдержанныхъ мгновеній, непрерывно шло впередъ и впередъ... Большой монологъ—

Какъ все противъ меня возстало
За медленное мщенье!.. и пр.

былъ блестящимъ заключеніемъ этого блестящаго торжества гения.

Въ самомъ дѣлѣ, этотъ монологъ былъ заключеніемъ; въ пятомъ актѣ, въ сценѣ съ могильщиками, вдохновеніе оставило Мочалова, и эта превосходная сцена, гдѣ онъ могъ бы показать все могущество своего колоссальнаго дарованія, была имъ пропѣта, а не проговорена. Впрочемъ это понятно: цѣлую и большую половину четвертаго акта и начало пятаго онъ оставался въ бездѣйствіи, къ которому, разумѣется, должно присовокупить и антрактъ; а бездѣйствіе для актера, и тѣмъ болѣе для такого вулканическаго актера, какъ Мочаловъ, и еще въ такой роли, какова роль Гамлета, не можетъ не произвести охлажденія, и точно онъ явился какъ охлаждающаяся лава, которая однакожъ, и охлаждаясь, все еще кипитъ и взрывается. Итакъ, мы нисколько не винимъ Мочалова за холодное выполненіе этой сцены, но мы жалѣемъ только, что онъ не былъ въ ней какъ можно проще и затѣнѣлъ какими-то пѣніемъ недостатковъ одушевленія. Но объ этомъ послѣ. Зато слѣдующая за этимъ сцена на могилѣ Офеліи была новымъ торжествомъ его таланта. Мы никогда не забудемъ этого могучаго, торжественнаго порыва, съ какимъ онъ воскликнулъ:

Но я любилъ ее, какъ сорокъ тысячъ
братъевъ

Любить не могутъ!

Бѣдный Гамлетъ, душа прекрасная и великая! ты весь высказался въ этомъ вдохновенномъ воплѣ, который вырвался изъ тебя безъ твоей воли и прежде, нежели ты объ этомъ подумалъ... Забудьте, что любовь Гамлета къ Офеліи играетъ въ цѣлой пьесѣ роль постороннюю, какъ будто случайную, и вы узнаете объ ней изъ словъ Офеліи и Полонія, но самъ онъ ничего не говоритъ о ней, если исключить одно его выраженіе, сказанное имъ Офеліи: «Я любилъ тебя прежде!», за которымъ онъ почти тотчасъ же прибавилъ «Я не любилъ тебя!». И вотъ на могилѣ ея, этой прекрасной, гармонической дѣвушки, высказываетъ онъ тайную исповѣдь души своей, открываетъ однимъ нечаяннымъ восклицаніемъ всю безконечность своей любви къ ней, все,

что онъ прежде сознательно душилъ и скрывалъ въ себѣ, и то, чего онъ можетъ быть и не подозрѣвалъ въ себѣ... Да, онъ любилъ, этотъ несчастный, меланхолическій Гамлетъ, и любилъ, какъ могутъ любить только глубокія и могучія души... Въ этомъ торжественномъ воплѣ выразилось все могущество, вся безпредѣльность лучшаго, блаженнѣйшаго изъ чувствъ человѣческихъ, этого благоуханнаго цвѣтка, этой роскошной весны нашей жизни, чувства, которое, безъ боли и страданій, снимая съ нашихъ очей тлѣнную оболочку конечности, показываетъ намъ міръ просвѣтленнымъ и преображеннымъ и приближаетъ насъ къ источнику, откуда льется гармоническими волнами свѣта безконечная жизнь. О! Офелія много значила для этого грустнаго Гамлета, который въ своемъ жалкомъ неистовствѣ осыпалъ ее незаслуженными оскорбленіями, а теперь, на ее могилѣ, позднимъ признаніемъ приноситъ торжественное показаніе ея блаженствующей тѣни...

Превосходно былъ сказанъ нашимъ Гамлетомъ—Мочаловымъ и слѣдующій монологъ—

Чего ты хочешь! Плакать, драться, умирать!
Быть съ ней въ одной могилѣ? Что за чудеса!
Да я на все готовъ, на все, на все—
Получше брата я ее любилъ...

Послѣдній стихъ былъ произнесенъ съ энергической выразительностью, и мы во всѣ представленія, на которыхъ были, слышали его съ новымъ наслажденіемъ, тогда какъ стихи—

Но я любилъ ее, какъ сорокъ тысячъ
братьевъ
Любить не могутъ!

мы слышали въ первый и—къ сожалѣнію—въ послѣдній разъ: они уже не повторялись такимъ образомъ...

Въ сценѣ съ Осерикомъ Мочаловъ былъ попрежнему превосходенъ и выдержалъ ее ровно и вполнѣ отъ перваго слова до послѣдняго. Мы особенно помнимъ его грустный и тихій, но изъ самой глубины души вырвавшійся смѣхъ, съ которымъ онъ пригласилъ придворнаго надѣть шапку на голову. Въ послѣдней сценѣ съ Горацио мы видѣли въ игрѣ Мочалова истинное просвѣтлѣніе и возстаніе павшаго духа, который предчувствуетъ скорое окончаніе роковой борьбы, груститъ отъ своего предвидѣнія, но уже не отчаивается отъ него, не боится его, но готовъ встрѣтить его бодро и смѣло, съ полной довѣренностью къ Промыслу.

Окончаніе пьесы было какъ-то неловко сдѣлано, и вообще оно было удовлетворительно только въ послѣднемъ представленіи (30 ноября). По опущеніи занавѣса Мочаловъ три раза былъ вызванъ.

Невозможно характеризовать вѣрно всѣхъ подробностей игры актера, да и сверхъ того это было бы утомительно и неясно для тѣхъ, которые не видали ея, а мы и такъ боимся себѣ упрека въ излишней отчетливости. Но какъ умѣли и какъ могли, мы сдѣлали свое: безпристрастно назвали мы слабое слабымъ, великое—великимъ и старались выставить на видъ тѣ и другія мѣста, но какъ такъ пер-

выхъ было мало, а вторыхъ слишкомъ много, то статистическая точность остается только за первыми. Теперь мы скажемъ слова два объ общемъ характерѣ игры Мочалова въ это первое представленіе, и тотчасъ перейдемъ къ послѣдующимъ. Мы видѣли Гамлета, художественно созданнаго великимъ актеромъ, слѣдовательно Гамлета живого, дѣйствительнаго, конкретнаго, но не столько шекспировскаго, сколько мочаловскаго, потому что въ этомъ случаѣ актеръ самовольно отъ поэта придалъ Гамлету гораздо болѣе силы и энергіи, нежели сколько можетъ быть у человѣка, находящагося въ борьбѣ съ самимъ собой и подавленнаго тяжестью невыносимаго для него бѣдствія, и далъ ему грусти и меланхоліи гораздо менѣе, нежели сколько долженъ ее имѣть шекспировскій Гамлетъ. Торжество сценическаго гения, какъ мы уже и замѣтили это выше, состоитъ въ совершенной гармоніи актера съ поэтомъ, слѣдовательно на этотъ разъ Мочаловъ показалъ болѣе огня и дикой мощи своего таланта, нежели умѣнья понимать играемую имъ роль и выполнять ее вслѣдствіе вѣрнаго о ней понятія. Словомъ, онъ былъ великимъ творцомъ, но творцомъ субъективнымъ, а это уже важный недостатокъ. Но Мочаловъ игралъ еще въ первый разъ въ своей жизни великую роль и былъ ослѣпленъ ея поэтической лучезарностью до такой степени, что не могъ увидѣть ее въ ея истинномъ свѣтѣ. Впрочемъ, дѣлая противъ него такое обвиненіе, мы разумѣемъ не дѣлое выполненіе роли, но только нѣкоторыя мѣста изъ нея, какъ-то: сцену по уходѣ тѣни, пляску подъ хохотъ отчаянія въ третьемъ актѣ; потомъ послѣдовавшую затѣю сцену съ Гильденштерномъ и еще нѣсколько подобныхъ мгновеній. И все это было сыграно превосходно, но только во всемъ этомъ видна была болѣе вулканическая сила могущественнаго таланта, нежели вѣрная игра. Но сцены: съ Полоніемъ, потомъ съ Гильденштерномъ и Розенкранцемъ во второмъ актѣ, сцена съ Офеліей въ третьемъ, сцена съ Розенкранцемъ и королемъ въ четвертомъ, сцена на могилѣ Офеліи, потомъ съ Осерикомъ въ пятомъ актѣ—были выполнены съ высочайшимъ художественнымъ совершенствомъ. Мы хотимъ только сказать, что игра не имѣла полной общности.

Января 27, т. е. черезъ четыре дня, «Гамлетъ» былъ снова объявленъ. Стеченіе публики было невѣроятное; успѣвшіе получить билетъ почитали себя счастливыми. Давно уже не было въ Москвѣ такого общаго и сильнаго движенія, возбужденнаго любовью къ изящному. Публика ожидала многого и была съ излишкомъ вознаграждена за свое ожиданіе: она увидѣла новаго, лучшаго, совершеннѣйшаго, хотя еще и не совершеннаго, Гамлета. Мы не будемъ уже входить въ подробности и только укажемъ на тѣ мѣста, которыя въ этомъ второмъ представленіи выдались совершеннѣе, нежели въ первомъ. Весь первый актъ былъ превосходенъ, и здѣсь мы особенно должны указать на двѣ сцены—первую, когда Горацио извѣщаетъ Гамлета о явленіи тѣни его отца, и вторую—разговоръ Гамлета съ

тѣню. Невозможно выразить всей полноты и гармоніи этого аккорда, состоявшаго изъ безконечной грусти и безконечнаго страданія вслѣдствіе безконечной любви къ отцу, который издавалъ собой голосъ Мочалова, этотъ дивный инструментъ, на которомъ онъ по волѣ беретъ всѣ ноты человѣческихъ чувствованій и ощущеній, самыхъ разнообразныхъ, самыхъ противоположныхъ; невозможно, говоримъ мы, дать и приблизительнаго понятія объ этой музыкѣ сыновней любви къ отцу, которая волшебнымъ образомъ потрясала слухъ, души зрителей, когда онъ, въ грустной сосредоточенной задумчивости, говорилъ Горацио: «Другъ! Мнѣ кажется, еще отца я вижу», и наконецъ, когда онъ спрашивалъ его, видѣлъ ли онъ лицо тѣни его отца, и на утвердительный отвѣтъ Горацио, дѣлаетъ вопросы: «Онъ былъ угрюмъ?»—«И блѣденъ?». Потомъ мы слышали эту же гармонію любви, страдающей за свой предметъ, въ сценѣ съ тѣнью, въ этихъ словахъ: «Увы, отецъ мой!»—«О, небо!» И наконецъ въ стихахъ—

Дядя мой!

О ты, души моей предчувствіе—сбылось!

эти гармоническіе звуки страдающей любви дошли до высшихъ нотъ, до своего крайняго и возможнаго совершенства. Въ этихъ двухъ сценахъ, которыя, прибавимъ, были выдержаны до послѣдняго слова, до послѣдняго жеста, въ этихъ двухъ сценахъ мы увидѣли полное торжество и постигли полное достоинство сценическаго искусства, какъ искусства творческаго, самобытнаго, свободнаго. Скажите, Бога ради: читая драму, увидѣли ль вы особенное и глубокое значеніе въ подобныхъ выраженіяхъ: «Онъ былъ угрюмъ?»—И блѣденъ?—Увы, отецъ мой!—О небо!» Потрясли ли бѣ вашу душу до основанія эти выраженія? Еще болѣе: не пропустили ль вы безъ всякаго вниманія подобное выраженіе, какъ «о небо!»—это выраженіе, столь обыкновенное, столь часто встрѣчающееся въ самыхъ пошлыхъ романахъ? Но Мочаловъ показалъ намъ, что у Шекспира нѣтъ словъ безъ значенія, но что въ каждомъ его словѣ заключается гармоническій, потрясающій звукъ страсти или чувства человѣческаго... О, зачѣмъ мы слышали эти звуки только одинъ разъ? Или въ душѣ великаго художника разстроилась струна, съ которой они слетѣли? Нѣтъ, мы увѣрены, что эта струна зазвенитъ снова, и снова перенесетъ на небо нашу изнемогающую отъ блаженства душу... Но мы говоримъ только о голосѣ, а лицо?—О, оно блѣднѣло, краснѣло, слезы блистали на немъ... Вообще первый актъ, за исключеніемъ одного мѣста—клятвы на мечѣ, которое опять вышло не совсѣмъ удачно, былъ полнымъ торжествомъ не Мочалова, но сценическаго искусства въ лицѣ Мочалова. Надобно прибавить къ этому, что, по единственному согласію и враговъ, и друзей таланта Мочалова, у него есть ужасный для актера недостатокъ: утрированные и иногда тривіальные жесты. Но въ Гамлетѣ они у него исчезли, и если въ первомъ представленіи они промелькнули изрѣдка, особенно въ несчастной сценѣ съ могиль-

щиками, то во второмъ даже ядовитый и прогнипательный взглядъ зависти не подглядѣлъ бы ничего сколько-нибудь похожаго на непріятный жестъ. Напротивъ, всѣ его движенія были благородны и граціозны въ высшей степени, потому что они были выраженіемъ движеній души его, слѣдовательно необходимы, а не произвольны.

Второй актъ былъ выдержанъ Мочаловымъ вполне отъ перваго слова до послѣдняго и только тѣмъ отличался отъ перваго представленія, что былъ еще глубже, еще сосредоточеннѣе и гораздо болѣе проникнутъ чувствомъ грусти.

То же должны мы сказать и о третьемъ актѣ. Сцена во время представленія комедіи отличалась большей силой въ первомъ представленіи, но во второмъ она отличалась большей истиной, потому что ея сила умѣрялась чувствомъ грусти, вслѣдствіе сознанія своей слабости, что должно составлять главный отбѣнокъ характера Гамлета. Макабрской пляски торжествующаго отчаянія уже не было; но хотѣть былъ не менѣе ужасенъ. Сцена съ матерью была повтореніемъ перваго представленія, но только по совершенству, а не по манерѣ исполненія. Даже она была выполнена еще лучше, потому что въ ней былъ лучше выдержанъ переходъ отъ грозныхъ увѣщаній судьи къ мольбамъ сыновей нѣжности, и стихи—

И если хочешь

Благословенія небесъ, скажи мнѣ—

Приду къ тебѣ просить благословенія!

были въ устахъ Мочалова рыдающей музыкой любви... Такъ же выдались и отдѣлились стихи—

Убійца,

Злодѣй, рабъ, шутъ въ коронѣ, воръ,
Укравшій жизнь и братнюю корону
Тихонько утащившій подъ полой,
Бродяга...

Всѣ эти ругательства ожесточеннаго негодованія были имъ произнесены со взоромъ, отвращеннымъ отъ матери, и голосомъ, походившимъ на бѣшеное рыданіе. Стоная, слушали мы ихъ: такъ велика была гнетущая душу сила выраженія ихъ... И такъ-то шло цѣлое представленіе. Впрочемъ изъ него должно выключить монологъ: «Быть или не быть» и несчастную сцену съ могильщиками. Мы уже говорили, что стихи—

Но я любилъ ее, какъ сорокъ тысячъ братьевъ
Любить не могутъ!

уже не повторялись такъ, какъ были они произнесены въ первое представленіе. Исключая это, все остальное было выше всякаго возможнаго представленія совершенства; но послѣ мы узнали, что для генія Мочалова нѣтъ границъ...

Февраля 4 было третье представленіе «Гамлета». Та же трудность доставать билеты и то же многослюдство въ театрѣ, какъ и въ первыя два представленія, показали, что московская публика, зная, что въ двухъ шагахъ отъ нея есть можетъ быть единственный въ Европѣ талантъ для роли Гамлета, есть драгоцѣнное сокровище творческаго генія, не лѣнится ходить видѣть это сокровище, какъ скоро

оно страшно съ себя пылъ, которая скрывала его лучезарный блескъ отъ ея глазъ. Съ упоеніемъ восторга смотрѣли мы на эту многолюдную толпу и съ замираніемъ сердца ожидали повторенія тѣхъ чудесъ, которыя казались намъ какимъ-то волшебнымъ сномъ; но на этотъ разъ наше ожиданіе было обмануто. Въ игрѣ Мочалова были мѣста превосходныя, великія, но цѣлой роли не было. Мы почитали себя въ правѣ надѣяться еще большей полноты и ровности, которыхъ однихъ не доставало для полнаго успѣха первыхъ двухъ представленій, потому что даже и во второмъ, какъ мы уже замѣтили, пропалъ монологъ «Быть или не быть» и не хорошо была сыграна сцена съ могильщиками, но именно этого-то и не увидѣли. Скажемъ болѣе: старыя замашки, состоявшія въ хлопаньи по бокамъ, въ пожиманіи плечами, въ хватаніи за шпату при словахъ о мщеніи и убійствѣ, и тому подобномъ снова воскресли. Но при всемъ томъ справедливость требуетъ замѣтить, что если бы мы не видѣли двухъ первыхъ представленій, то были бы очарованы и восхищены этимъ третьимъ, какъ то и было со многими, особенно не видѣвшими второго. Но мы уже сдѣлались слишкомъ требовательными, и это не наша, а Мочалова вина.

Февраля 10 было четвертое представленіе «Гамлета», о которомъ мы можемъ сказать только то, что оно показалось намъ еще неудовлетворительнѣе третьяго, хотя попрежнему въ немъ были моменты высокаго, только одному Мочалову свойственнаго, вдохновенія; хотя оно видѣвшихъ «Гамлета» въ первый разъ и приводило въ восторгъ; хотя публика была такъ же многочисленна, какъ и въ первыхъ представленіяхъ, и хотя, наконецъ, Мочаловъ и былъ два или три раза вызванъ по окончаніи спектакля.

На представленіи 14 февраля мы не были. Шестое представленіе было 23 февраля. Боже мой! шесть представленій въ продолженіе какого-нибудь мѣсяца съ тремя днями... да тутъ хоть какое вдохновеніе такъ ослабѣетъ!..

Мы начали бояться за судьбу «Гамлета» на московской сценѣ; мы начали думать, что Мочалову вздумалось уже опочить на своихъ заврахахъ... И онъ точно заснулъ на нихъ, но, наконецъ, проснулся, и какъ проснулся... Безъ надежды пошли мы въ театръ, но вышли изъ него съ новыми надеждами, которыя были еще смѣлѣе прежнихъ... Дѣло было на масляной, спектакль давался по утру; публики было немного въ сравненіи съ прежними представленіями, хотя и все еще много. Извѣстно, что денной спектакль всегда производитъ на душу непріятное впечатлѣніе—точь-въ-точь какъ прекрасная дѣвушка поутру послѣ бала, кончившагося въ 6 часовъ. Два акта шли болѣе хорошо, нежели дурно, т. е. сильныхъ мѣстъ было больше, нежели слабыхъ, и даже промелькивала какая-то общность въ его игрѣ, которая напоминала первое представленіе. Наконецъ начался третій актъ—и Мочаловъ возсталъ, и въ этомъ возстаніи былъ выше, нежели въ первыхъ два представленія. Этотъ третій актъ былъ выполненъ имъ ровно отъ перваго слова до

послѣдняго и, будучи проникнутъ ужасающей силой, отличался въ то же время и величайшей истинной: мы увидѣли шекспировскаго Гамлета, возсозданнаго великимъ актеромъ. Не будемъ входить въ подробности, но укажемъ только на два мѣста. Послѣ представленія комедіи, когда смущенный король уходитъ съ придворными со сцены, Мочаловъ уже не вскакивалъ со скамеечки, на которой сидѣлъ, подавъ креселъ Офеліи. Изъ пятого ряда креселъ увидѣли мы такъ ясно, какъ будто на шагъ разстоянія отъ себя, что лицо его посинѣло, какъ море предъ бурей: опустивъ голову внизъ, онъ долго качалъ ею съ выраженіемъ нестерпимой муки духа, и изъ его груди вылетѣло нѣсколько глухихъ стоновъ, походившихъ на рыканіе льва, который, попавшись въ тенета и видя безполезность своихъ усилій къ освобожденію, глухимъ и тихимъ ревомъ отчаянія изъясняетъ невольную покорность своей бѣдственной судьбѣ... Опѣневѣло собраніе, и нѣсколько мгновеній въ огромномъ амфитеатрѣ ничего не было слышно, кромѣ испуганнаго молчанія, которое вдругъ прервалось кликами и рукоплесканіями... Въ самомъ дѣлѣ, это было дивное явленіе: тутъ мы увидѣли Гамлета уже не торжествующаго отъ своего ужаснаго открытія, какъ въ первое представленіе, но подавленнаго, убитаго очевидностью того, что недавно его мучило, какъ подозрѣніе, и въ чемъ онъ, цѣной своей жизни и крови, желалъ бы разубѣдиться... Потомъ въ сценѣ съ матерью, которая вся была выдержана превосходнѣйшимъ образомъ, онъ въ это представленіе бросилъ внезапный свѣтъ, озарившій одно мѣсто въ Шекспирѣ, которое было непонятно, по крайней мѣрѣ для насъ. Когда онъ убилъ Полонія, и когда его мать говоритъ ему: «Ахъ, что ты сдѣлалъ сынъ мой!» онъ отвѣчалъ ей: «Что? не знаю. Король?»

Слова: «Что? не знаю»—Мочаловъ проговорилъ тономъ человѣка, въ головѣ котораго вдругъ блеснула пріятная для него мысль, но который еще не смѣетъ ей повѣрить, боясь обмануться. Но слово «король?» онъ выговорилъ съ какой-то дикой радостью, сверкнувъ глазами и порывисто бросившись къ мѣсту убійства... Бѣдный Гамлетъ! мы поняли твою радость: тебѣ показалось, что твой подвигъ уже свершенъ, свершенъ нечаянно: сама судьба, сжалившись надъ тобой, помогла тебѣ стряхнуть съ шеи эту ужасную тягость... И послѣ этого какъ понятны были для насъ ругательства Гамлета надъ тѣломъ Полонія:—«А ты, глупецъ, дуракъ, болванъ! Прости меня», и проч... О, Мочаловъ умѣетъ объяснить, и кто хочетъ понять шекспировскаго Гамлета, тотъ изучай его не въ книгахъ и не въ аудиторіяхъ, а на сценѣ Петровскаго театра!..

По окончаніи третьяго акта Мочаловъ былъ вызванъ публикой и предсталъ предъ ней торжествующій, побѣдоносный, съ сияющимъ лицомъ. Мы видѣли, что эта минута была для него высока и священна, и мы поняли великаго артиста: публика нарушила для него обыкновеніе вызывать актера только послѣ послѣдняго акта пьесы, валь, что это было не снисканіе.

заслугъ; онъ видѣлъ, что эта толпа понимаетъ его и сочувствуетъ ему—высшая награда, какая только можетъ быть для истиннаго художника!.. Остальные два акта были играны прекрасно; даже въ несчастной сценѣ съ могильщиками Мочаловъ былъ несравненно лучше прежняго.

Весной, апрѣля 27, мы увидѣли Гамлета въ шестой разъ. Но это представленіе было очень неудачно: мы узнали Мочалова только въ двухъ сценахъ, въ которыхъ онъ, можно сказать, просыпался, и которыя поэтому рѣзко отдѣлялись отъ цѣлаго выполненія роли. Игравши два акта ни хорошо, ни дурно, что хуже, нежели положительно дурно, онъ такъ превосходно сыгралъ сцену съ Офеліей, что мы не знаемъ, которому изъ всѣхъ представлений «Гамлета» должно отдать преимущество въ этомъ отношеніи. Другая сцена, превосходно имъ сыгранная, была сцена во время комедіи, и мы никогда не забудемъ этого шутиливаго тона, отъ котораго у насъ морозъ прошелъ по тѣлу и волосы встали дыбомъ, и съ которымъ онъ сперва проговорилъ: «Стало быть можно надѣяться на полгода людской памяти, а тамъ—все равно, что человекъ, что овечка», а потомъ пропѣлъ: «Схоронили, позабыли!» — Равнымъ образомъ мы никогда не забудемъ и мѣста предъ уходомъ короля со сцены. Обращаясь къ нему съ словами, Мочаловъ два или три раза силился поднять руку, которая противъ его воли упала снова; наконецъ, эта рука засверкала въ воздухѣ, и задыхающимся голосомъ, съ судорожнымъ усиленіемъ проговорилъ онъ монологъ: «Онъ отравляетъ его, пока тотъ спалъ въ саду», и проч. Послѣ этого какъ понятенъ былъ его неистовый хохотъ!..

Осенью, 26 сентября, мы въ седьмой разъ увидѣли Гамлета; но едва могли высидѣть три акта, и только по уходѣ короля со сцены были вознаграждены Мочаловымъ за наше самоотверженіе, съ какимъ мы такъ долго ждали отъ него хоть одной минуты полнаго вдохновенія. Грѣхъ сказать, чтобы и въ другихъ мѣстахъ роли у Мочалова не проблемскивало чего-то похожаго на вдохновеніе, но онъ всякій такой разъ какъ будто спѣшилъ разрушить произведенное имъ прекрасное впечатлѣніе какимъ-нибудь утрированнымъ и натянутымъ жестомъ, такъ много похожимъ на фарсъ. Въ числѣ такихъ неприятныхъ жестовъ насъ особенно оскорбляли два: хлопанье по лбу и головѣ при всякомъ словѣ объ умѣ, сумасшествіи и подобномъ тому, и потомъ хватанье за шпагу при каждомъ словѣ о мщеніи, убійствѣ и тому подобномъ.

Ноября 2 было восьмое представленіе «Гамлета»; но мы его не видѣли, и послѣ очень жалѣли объ этомъ. Потому что, какъ мы слышали, Мочаловъ игралъ прекрасно. Наконецъ, мы увидѣли его въ роли Гамлета въ девятый разъ, и если бы захотѣли дать полный и подробный отчетъ объ этомъ девятомъ представленіи, то наша статья вмѣсто того, чтобы приближаться къ концу, только началась бы еще настоящимъ образомъ. Но мы ограничимся общей характеристикой и указаніемъ на немногія мѣста.

Никогда Мочаловъ не игралъ Гамлета такъ истинно, какъ въ этотъ разъ. Невозможно вѣрнѣе ни постигнуть идеи Гамлета, ни выполнить ее. Если бы на этотъ разъ онъ сыгралъ сцену съ Горацио и Марцелліемъ, пришедшими увѣдомить его о явленіи тѣни, такъ же превосходно, какъ во второе представленіе, и если бы въ его отвѣтахъ тѣни слышалась та же небесная музыка страждущей любви, какую слышали мы во второе же представленіе; если бы онъ лучше выдержалъ свою роль при клятвѣ на мечѣ и монологѣ «Быть или не быть»; если бы въ сценѣ съ могильщиками онъ былъ такъ же чудесенъ, какъ во всемъ остальномъ, и если бы въ сценѣ на могилѣ Офеліи стихи—«Но я любилъ ее, какъ сорокъ тысячъ братьевъ любить не могутъ» были произнесены имъ такъ же вдохновенно, какъ въ первое представленіе,—то онъ показалъ бы намъ крайніе предѣлы сценическаго искусства, послѣднее и возможное проявленіе сценическаго генія. Почти съ самаго начала замѣтили мы, что характеръ его игры значительно разнится отъ первыхъ представлений: чувство грусти вслѣдствіе сознанія своей слабости не заглушало въ немъ ни желчнаго негодованія, ни болѣзненнаго ожесточенія, но преобладали надъ всѣмъ этимъ. Повторяемъ, Мочаловъ вполне постигъ тайну характера Гамлета и вполне передалъ ее своимъ зрителямъ; вотъ общая характеристика его игры въ это девятое представленіе.

Теперь о нѣкоторыхъ подробностяхъ, особенно поразившихъ насъ въ это послѣднее представленіе. Когда тѣнь говорила свой послѣдній и большой монологъ, Мочаловъ весь превратился въ слухъ и вниманіе и какъ бы окаменѣлъ въ одномъ ужасающемъ положеніи, въ которомъ оставался нѣсколько мгновеній и по уходѣ тѣни, продолжая смотрѣть на то мѣсто, гдѣ она стояла. Слѣдующій за этимъ монологъ онъ почти всегда произносилъ вдохновенно, но только съ силой, которая была не въ характерѣ Гамлета; на этотъ разъ стихи—

О небо! и земля! и что еще?
Или и самый адъ призвать я долженъ?

онъ произнесъ тихо, тономъ человека, который потерялся, и съ недоумѣніемъ смотри кругомъ себя. Во всемъ остальномъ, несмотря на всѣ измѣненія голоса и тона, онъ сохранилъ характеръ человека, который спалъ и былъ разбуженъ громовымъ ударомъ.

Весь второй актъ былъ чудомъ совершенства, торжествомъ сценическаго искусства. Третій актъ былъ въ этомъ отношеніи продолженіемъ второго, но такъ какъ онъ по быстротѣ своего дѣйствія, по безпрестанно возрастающему интересу, по сильнѣйшему развитію страсти производить двойное, тройное, въ сравненіи съ прочими актами, впечатлѣніе, то, естественно, игра Мочалова показала намъ еще превосходнѣе. По уходѣ короля со сцены онъ, какъ и въ шестомъ представленіи, не вставалъ со скамеечки, но только повелъ кругомъ глазами, изъ которыхъ вылетѣла молнія... Дивное мгновеніе!.. Здѣсь опять былъ виденъ Гамлетъ, не торжествующій отъ

своего открытія, но подавленный его тяжестью *)... Къ числу такихъ же видныхъ мѣстъ этого представленія принадлежить монологъ, который говоритъ Гамлетъ Гильденштерну, когда тотъ отказался играть на флейтѣ по неумѣнію: «Теперь суди самъ: за кого же ты меня принимаешь? Ты хочешь играть на душѣ моей, а вотъ не умѣешь сыграть даже чего-нибудь на этой дудкѣ. Развѣ я хуже, простѣе, нежели эта флейта? Считай меня, чѣмъ тебѣ угодно—ты можешь мучить меня, но не играть мной». Прежде Мочаловъ произносилъ этотъ монологъ съ энергіей, съ чувствомъ глубокаго, могучаго негодованія; но въ этотъ разъ онъ произнесъ его тихимъ голосомъ укора... онъ задыхался... онъ готовъ былъ зарыдать... Въ его словахъ отзывалось уже не оскорбленное достоинство, а страданіе отъ того, что подобный ему человѣкъ, его собрать по человѣчеству, такъ пошло понимаетъ его, такъ гнусно выказываетъ себя передъ человѣкомъ...

Тщетно было бы всякое усиліе выразить ту грустную сосредоточенность, съ какой онъ издѣвался надъ Полоніемъ, заставляя его говорить, что облако похоже и на верблюда, и на хоряка, и на кита, и дать понятіе о томъ глубоко-значительномъ взглядѣ, съ которымъ онъ молча посмотрѣлъ на стараго придворнаго. Слѣдующій затѣмъ монологъ: «Теперь настала волшебный ночи часъ» и т. д. никогда не былъ произнесенъ имъ съ такимъ невѣроятнымъ превосходствомъ, какъ въ это представленіе. Говоря его, онъ озирался кругомъ себя съ ужасомъ, какъ бы ожидая, что страшилища могилъ и ада сейчасъ бросятся къ нему и растерзаютъ его, и этотъ ужасъ, говоря выраженіемъ Шекспира, готовъ былъ вырвать у него оба глаза, какъ двѣ звѣзды, и, распрямивъ его густыя кудри, поставилъ отдѣльно каждый волосъ, какъ щетину гнѣвнаго дикобраза... Таковъ же былъ и его переходъ отъ этого выраженія ужаса къ воспоминанію о матери, съ которой онъ долженъ былъ имѣть рѣшительное объясненіе.—Мы стонали, слушая все это, потому что наше наслажденіе было мучительно... И такъ-то шелъ весь этотъ третій актъ. По окончаніи его Мочаловъ былъ вызванъ.

Боже мой! думали мы: вотъ ходить по сценѣ человѣкъ, между которыми и нами нѣтъ никакого посредствующаго орудія, нѣтъ электрическаго кондуктора, а между тѣмъ мы испытываемъ на себѣ его вліяніе; какъ какой-нибудь чародѣй, онъ томить, мучить, восторгаетъ, по своей волѣ, нашу душу—и наша душа безсилна противустать его магнетическому обаянію... Отчего это?—На этотъ вопросъ одинъ отвѣтъ: для духа не нужно другихъ

посредствующихъ проводниковъ, кромѣ интересовъ этого же самаго духа, на которые онъ не можетъ не отзываться...

Сцена въ четвертомъ актѣ съ Розенкранцемъ была выполнена Мочаловымъ лучше, нежели когда-нибудь, хотя она и не одинъ разъ была выполняема съ невыразимымъ совершенствомъ, и заключеніе ея: «Впередъ лисицы, а собака за ними» было произнесено такимъ тономъ и съ такимъ движеніемъ, о которыхъ невозможно дать ни малѣйшаго понятія. Такова же была и слѣдующая сцена съ королемъ; такъ же совершенно былъ проговоренъ и большой монологъ: «Какъ все противъ меня возстало», и пр. Пятый актъ шелъ гораздо лучше, нежели во всѣхъ предшествовавшихъ представленіяхъ. Хотя въ сценѣ съ могильщиками отъ Мочалова и можно въ было желать большаго совершенства, но она была по крайней мѣрѣ не испорчена имъ. Все остальное, за исключеніемъ однако монолога на могилѣ Офеліи, о которомъ мы уже говорили, было выполнено имъ съ неподражаемымъ совершенствомъ до послѣдняго слова. И должно еще замѣтить, что на этотъ разъ никто изъ зрителей, рѣшительно никто, не всталъ съ мѣста до опущенія занавѣса (за которымъ послѣдовалъ двукратный вызовъ), тогда какъ во всѣхъ прежнихъ представленіяхъ начало дуэли всегда было для публики какимъ-то знакомъ къ разѣзду изъ театра.

Чтобы дополнить нашу исторію шекспирова «Гамлета» на московской сценѣ, скажемъ нѣсколько словъ о ходѣ цѣлой пьесы. Извѣстно всѣмъ, что у насъ идти въ театръ смотрѣть драму значить—идти смотрѣть Мочалова; такъ же какъ идти въ театръ для комедіи значить—идти въ него для Щепкина. Впрочемъ для комедіи у насъ еще есть, хотя и второстепенные, но все-таки весьма примѣчательные таланты, какъ-то Рѣпина, Живокини, Орловъ; но для драмы у насъ только одинъ талантъ, слѣдовательно, какъ скоро въ томъ или другомъ явленіи пьесы Мочалова нѣтъ, то публика очень законно можетъ заняться на эти минуты частными разговорами или найти себѣ другой способъ развлеченія. Но «Гамлету» въ этомъ отношеніи посчастливилось нѣсколько передъ другими пьесами. Во-первыхъ, роль Полонія выполняется Щепкинымъ, котораго одно имя есть уже вѣрное ручательство за превосходное исполненіе. И въ самомъ дѣлѣ, цѣлая половина второго явленія въ первомъ дѣйствіи и потомъ значительная часть второго акта были для публики полнымъ наслажденіемъ, хотя въ нихъ и не было Мочалова; не говоримъ уже о той сценѣ во второмъ актѣ, гдѣ оба эти артиста играютъ вмѣстѣ. Нѣкоторые недовольны Щепкинымъ за то, что онъ представлялъ Полонія нѣсколько придворнымъ забавникомъ, если не шутомъ. Намъ это обвиненіе кажется рѣшительно несправедливымъ. Можетъ быть въ этомъ случаѣ погрѣшилъ переводчикъ, давши характеру Полонія такой оттѣнокъ, но Щепкинъ показалъ намъ Полонія такимъ, каковъ онъ есть въ переводѣ Полевого. Но мы и обвиненіе на переводчика считаемъ несправедли-

*) Въ представленіи 10 февраля Мочаловъ изумилъ насъ новымъ чудомъ въ этомъ мѣстѣ своей роли: когда король всталъ въ смущеніи, онъ только поглядѣлъ ему вслѣдъ съ безумно-дикой улыбкой и, безъ хохота, тотчасъ началъ читать стихи: «Олеся ранила стрѣлой». Говоря съ Горацио о смущеніи короля, онъ опять не хохоталъ, но только съ дикими неистовыми выраженіемъ закричалъ: «Эй, музыкантовъ сюда, фрейшниковъ!» Какая неистовость въ средствахъ! Какое разнообразіе въ манерѣ игры! Вотъ что значитъ вдохновеніе!

вымъ: Полоній точно забавникъ, если не шутъ, старичокъ, по старому шутившій, сколько для своихъ дѣлѣй, столько и по склонности, и для насъ образъ Полонія слился съ лицомъ Щепкина такъ же, какъ образъ Гамлета слился съ лицомъ Мочалова. Если наша публика не оцѣнила исполнѣ игры Щепкина въ роли Полонія, то этому двѣ причины: первая—ея вниманіе было все поглощено ролью Гамлета; вторая—она видѣла въ игрѣ Щепкина только смѣшное и комическое, а не развитіе характера, выполненіе котораго было торжествомъ сценическаго искусства. Здѣсь кстати замѣтимъ, что большинство нашей публики еще не довольно подготовлено своимъ образованіемъ для комедій: оно непремѣнно хочетъ хохотать, завидя на сценѣ Щепкина, хотя бы это было въ роли Шейлока, которая вся проникнута глубокой, міровой мыслью и нерѣдко становится дыбомъ волосы зрителя отъ ужаса, или въ роли матроса, которая пробуждаетъ не смѣхъ, а рыданіе.

Кромѣ Щепкина, должно еще упомянуть и объ Орловой, играющей роль Офеліи. Въ первыхъ двухъ актахъ она играетъ болѣе, нежели неудовлетворительно: она не можетъ ни войти въ сферу Офеліи, ни понять безконечной простоты своей роли, и потому безпрестанно переходитъ изъ манерности въ надутость. Но это совсѣмъ не оттого, чтобы у нея не было ни таланта, ни чувства, а отъ дурной манеры игры, вслѣдствіе ложнаго понятія о драмѣ, какъ о чемъ-то такомъ, въ чемъ ходили и неестественность составляютъ главное. Мы потому и рѣшились сказать Орловой правду, что видимъ въ ней талантъ и чувство. Четвертый актъ обязанъ одной ей своимъ успѣхомъ. Она говоритъ тутъ просто, естественно и поетъ болѣе нежели превосходно, потому что въ этомъ пѣніи отзывается не искусство, а душа... Въ самомъ дѣлѣ, ея рыданіе, съ которымъ она, закрывъ глаза руками, произноситъ стихъ: «Я шутилъ, вѣдь я шутилъ» такъ чудно сливается съ музыкой, что нельзя ни слышать, ни видѣть этого безъ живѣйшаго восторга. Съ прекрасной наружностью Орловой и ея чувствомъ, которое такъ ярко проблескиваетъ въ четвертомъ актѣ, ей можно образовать изъ себя хорошую драматическую актрису—нужно только изученіе.

Безподобно выполняетъ Орловъ роль могильщика; естественность его игры такъ увлекательна, что забываешь актера и видишь могильщика. Такъ же хорошъ въ роли другого могильщика Степановъ, и намъ очень досадно, что мы не видѣли его въ ней въ послѣдній разъ. Очень недуренъ также Волковъ, играющій роль комедіанта.

Самаринъ могъ бы хорошо выполнить роль Лаерта, если бы слабая грудь и слабый голосъ позволяли ему это, почему онъ, будучи очень хорошъ въ роли Кассіо, не требующей громкаго голоса, въ роли Лаерта едва сноситъ.

Итакъ, вотъ мы уже и у берега; мы все сказали о представленіяхъ «Гамлета» на московской сценѣ, но еще не все сказали о Мочаловѣ, а онъ состав-

ляетъ главнѣйшій предметъ нашей статьи. И потому кстати или не кстати,—но мы еще скажемъ нѣсколько словъ о представленіи «Отелло», которое мы видѣли декабря 9, т. е. черезъ недѣлю послѣ послѣдняго представленія «Гамлета». Надобно замѣтить, что это было послѣднее изъ трехъ представленій «Отелло», и что въ этой пьесѣ Мочаловъ совершенно одинъ, потому что, исключая только Самарина, очень недурно игравшаго роль Кассіо, всѣ прочія лица какъ бы наперерывъ старались играть хуже. Самая пьеса, какъ извѣстно, переведена съ подлинника прозой; но во всякомъ случаѣ благодарность переводчику: онъ согналъ со сцены глупаго дюсисовскаго «Отелло» и далъ работу Мочалову.

И Мочаловъ работалъ чудесно. Съ перваго представленія на сцену мы не могли узнать его: это былъ уже не Гамлетъ, принцъ датскій,—это былъ Отелло, мавръ африканскій. Его черное лицо спокойно, но это спокойствіе обманчиво: при малѣйшей тѣни человѣка, промелькнувшей мимо его, оно готово вспыхнуть подозрѣніемъ и гнѣвомъ. Если бы провинціалъ, видѣвшій Мочалова только въ роли Гамлета, увидѣлъ его въ Отелло, то ему было бы трудно увѣриться, что это тотъ же самый Мочаловъ, а не другой совсѣмъ актеръ: такъ умѣетъ перемѣнять и свой видъ, и лицо, и голосъ, и манеры, по свойству играемой имъ роли, этотъ артистъ, на котораго главная нападка состояла именно въ субъективности и одноманерности, съ которыми онъ играетъ всѣ роли! И это обвиненіе было справедливо, но только до тѣхъ поръ, пока Мочаловъ не игралъ ролей, созданныхъ Шекспиромъ.

Мы не будемъ распространяться о представленіи «Отелло», но постараемся только выразить впечатлѣніе, произведенное имъ на насъ. Первый и второй акты шли довольно сухо; знаменитый монологъ, въ которомъ Отелло, рассказывая о началѣ любви къ нему Дездемоне, высказываетъ всего себя, былъ совершенно потерянъ. Въ третьемъ актѣ начались проблески и вспыхиванія вдохновенія, и въ сценѣ съ платкомъ нашъ Отелло былъ ужасенъ. Монологъ, въ которомъ онъ прощается съ войной и со всѣми, что составляло позію и блаженство его жизни, былъ потерянъ совершенно. И это очень естественно: этотъ монологъ непремѣнно долженъ быть переведенъ стихами: въ прозѣ же онъ отзывается громкой фразой. «О, крови, Яго, крови!» было произнесено также неудачно; но въ четвертой сценѣ третьяго акта Мочаловъ былъ превосходенъ, и мы не можемъ безъ содроганія ужаса вспомнить этого выраженія въ лицѣ, этого тихаго голоса, отзывавшагося гробовымъ спокойствіемъ, съ какими онъ, взявши руку Дездемоны и какъ бы шутя и играя ею, говорилъ: «Эта ручка очень вѣжна, синьора... Это признакъ здоровья и страстнаго сердца, тѣлосложенія горячаго и сильнаго! Эта рука говоритъ мнѣ, что для тебя необходимо лишеніе свободы; да... потому что тутъ есть юный и пылкій демонъ, который непрестанно волнуется. Вотъ откровенная ручка, добренькая ручка!» и пр. Послѣдніе два акта были полнымъ торжествомъ искусства: мы видѣли передъ собой

Отелло, великаго Отелло, душу могучую и глубокую, душу, которой и блаженство, и страданіе проявляются въ размѣрахъ громаднѣхъ, безпредѣльныхъ, и это черное лицо, вытянувшееся, искаженное отъ мукъ, выносимыхъ только для Отелло, этотъ голосъ глухой и ужасно спокойный, эта царственная поступь и величественныя манеры великаго человѣка глубоко врѣзались въ нашу память и составили одно изъ лучшихъ сокровищъ, хранящихся въ ней. Ужасно было мгновеніе, когда, «томимый не здѣшной мукой» и превозмогаемый адской страстью, нашъ великій Отелло засверкалъ молніями и заговорилъ бурями. «Съ ней?.. на ея ложѣ?.. съ ней?.. возлѣ нея?.. на ея ложѣ?.. Если это клевета!.. О, позоръ!.. Платокъ!.. его признанія! Платокъ!.. вымучить у него признаніе и повѣсить его за преступленіе... Нѣтъ, прежде задушить, а потомъ... О, заставить его признаться... Я весь дрожу... Нѣтъ, страсть не могла бы такъ завладѣть природой, такъ сжать ее, если бы внутренній голосъ не говорилъ мнѣ о ея преступленіи. Нѣтъ! это не слова измѣняютъ меня... Къ глаза, къ уста?.. Возможно ли?..» И потомъ, наклонившись къ землѣ, какъ бы видя передъ собой преступную Дездемону, задыхающимся голосомъ проговорилъ онъ: «признайся!.. Платокъ!.. о, демонъ!..» и грянулся на полъ въ судорогахъ.

Слѣдующая сцена, въ которой Отелло подслушиваетъ разговоръ Кассіо съ Яго и Біанкой, шла неудачно отъ ея постановки, потому что Отелло стоялъ какъ-то въ тѣни и вдалекѣ отъ зрителей, и его голосъ не могъ быть слышенъ. Слова, которые говоритъ Отелло Яго по удаленіи Кассіо и въ которыхъ видно ужасное спокойствіе могучей души, рѣшившейся на мщеніе: «Какую смерть я изобрѣту для него, Яго?»—эти слова въ устахъ Мочалова не произвели никакого впечатлѣнія, и онъ самъ сознается, что они никогда не удавались ему, хотя онъ и понималъ ихъ глубокое значеніе. Исключая это мѣсто, все остальное, до послѣдняго слова, было болѣе нежели превосходно—было совершенно. Если бы игра Мочалова не проникалась этой эстетической, творческой жизнью, которая смягчаетъ и преобразуетъ дѣйствительность, отнимая ея конечность, то, признаемся, немного нашлось бы охотниковъ смотрѣть ее, и посмотря, немногіе могли бы надѣяться на спокойный сонъ. Не говоримъ уже объ игрѣ и голосѣ—одного лица достаточно, чтобы заставить вздрагивать во снѣ и младенца, и старца. Это мы говоримъ о зрителяхъ—что же онъ, этотъ актеръ, который своей игрой леденитъ и мучитъ столько душъ, слившихся въ одну потрясенную и взволнованную душу?—о, онъ долженъ бы умереть на другой же день послѣ представленія! Но онъ живъ и здоровъ, а зрители всегда готовы снова видѣть его въ этой роли. Отчего же это? Оттого, что искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности, а не списокъ съ нея; оттого, что искусство въ нѣсколькихъ минутахъ сосредоточиваетъ цѣлую жизнь, а жизнь можетъ казаться ужасной только въ отрывкахъ, въ которыхъ не видно ни конца, ни начала, ни цѣли, ни значенія, а въ цѣломъ она прекрасна

и велика... Искусство освобождаетъ насъ отъ конечной субъективности и нашу собственную жизнь, отъ которой мы такъ часто плачемъ по своей близорукости и частности, дѣлаетъ объектомъ нашего знанія, а, слѣдовательно, и блаженства. И вотъ почему видѣть страшную погибель невинной Дездемоны и страшное заблужденіе великаго Отелло совсемъ не то, что видѣть въ дѣйствительности казнь, пытку или тому подобное. Поэтому же для актера сладки его мученія, и мы понимаемъ, какое блаженство проникаетъ въ душу этого человѣка, когда, почувствовавъ вдохновеніе, онъ по восторженнымъ плескамъ толпы узнаетъ, что искра, загорѣвшаяся въ его духѣ, разлетѣлась по этой толпѣ тысячами искръ и вспыхнула пожаромъ... А между тѣмъ онъ страдаетъ, но эти страданія для него сладостнѣе всякаго блаженства... Но обратимся къ представленію.

Сцена Отелло съ Дездемоной и Людовикомъ была ужасна: принявши отъ послѣдняго бумагу венеціанскаго сената, онъ читалъ ее или силился показать, что читаетъ, но его глаза читали другія строки, его лицо говорило о другомъ, ужасномъ чтеніи... Невозможно передать того ужаснаго голоса и движенія, съ которыми, на слова Дездемоны: «милый, Отелло», Мочаловъ вскричалъ «демонъ!» и ударилъ ее по лицу бумагой, которую до этой минуты судорожно мѣлъ въ своихъ рукахъ. И потомъ, когда Людовико проситъ его, чтобы онъ воротилъ свою жену, которую прогналъ отъ себя съ проклятіями,—мучительная, страдающая любовь противъ его воли отозвалась въ его болѣзненномъ воплѣ, съ которымъ онъ произнесъ: «Синьора!».

Одно воспоминаніе о второй сценѣ четвертаго акта леденитъ душу ужасомъ; но, несмотря на ровность игры, которой характеръ составляло высшее и возможное совершенство, въ ней отдѣлились три мѣста, которые до дна потрясли души зрителей,—это вопросъ: «Что ты сдѣлала?», вопросъ, сказанный тихимъ голосомъ, но раздавшійся въ слухъ зрителей ударомъ грома; потомъ: «Сладострастный вѣтеръ, лобзающій все, что ему ни встрѣчается—останавливается и углубляется въ нѣдра земныя, только чтобъ ничего не знать»... и наконецъ: «Ну, если такъ, то я прошу у тебя прощенія. Вѣдь я, право, принималъ тебя за ту развратную венеціанку, которая вышла замужъ за Отелло!»—Несмотря на то, что значительную и послѣднюю часть четвертаго акта Отелло скрывается отъ вниманія зрителей, по опущеніи занавѣса публика вызвала Мочалова: такъ глубоко потрясъ ее этотъ четвертый актъ...

Пятый былъ вѣнцомъ игры Мочалова: тутъ уже не пропала ни одна черта, ни одинъ оттѣнокъ, но все было выполнено съ ужасающей отчетливостью. Отпѣнѣвъ отъ ужаса, едва дыша, смотрѣли мы, какъ африканскій тигръ душилъ подушкой Дездемону; съ замираніемъ сердца, готоваго разорваться отъ муки, видѣли мы, какъ бродилъ онъ вокругъ постели своей жертвы, съ дикимъ, безумнымъ взоромъ, опираясь рукой на стѣну, чтобъ не согнулся

его дрожащія колѣна. Его магнетическій взоръ безпрестанно обращался на трупъ, и когда онъ услышалъ стукъ у двери и голосъ Эмилиі, то въ его глазахъ, нерѣшительно переходившихъ отъ кровати къ двери, мелькала какая-то глубоко затаенная мысль: намъ показалось, что этому великому ребенку жаль было своей милой Дездемоны, что онъ ждалъ чуда воскресенія... И когда вошла Эмилиа и воскликнула: «О, кто сдѣлалъ это убійство?», и когда умирающая Дездемона, стоная, проговорила: «Никто—я сама. Прощай. Оправдай меня передъ моимъ милымъ супругомъ»—тогда Отелло подошелъ къ Эмилиі и, какъ бы обнявши ее черезъ плечо одной рукой и наклонившись къ ея лицу, съ полоумнымъ взоромъ и тихимъ голосомъ, сказалъ ей: «Ты слышала, вѣдь она сказала, что она сама... а не я убилъ ее». — «Да, это правда; она сказала», отвѣчаетъ Эмилиа. «Она обманщица; она добыча адскаго пламени», продолжаетъ Отелло и, дико и тихо захохотавши, оканчиваетъ: «Я убилъ ее!»—О, это было однимъ изъ такихъ мгновеній, которыя сосредоточиваютъ въ себѣ вѣка жизни, и изъ которыхъ и одного достаточно, чтобы удостовѣриться, что жизнь человѣческая глубока, какъ океанъ неисходный, и что много чудесъ хранится въ ея неиспытанной глубинѣ...

Тщетны были бы всѣ усилія передать его споръ съ Эмилией о невинности Дездемоны: великому живописцу эта сцена послужила бы неисчерпаемымъ источникомъ вдохновенія. Когда для Отелло началъ проблескивать лучъ ужасной истины, онъ молчалъ; но судорожныя движенія его лица, но потухающій и вспыхивающій огонь его мрачныхъ взоровъ говорили много, и это была самая дивная драма безъ словъ... Последний монологъ, гдѣ выходитъ наружу все величіе души Отелло, этого великаго младенца, гдѣ открывается единственный возможный для него выходъ изъ распадѣнія—умереть безъ отчаянія, спокойно, какъ лечь спать послѣ утомительныхъ трудовъ безпокойнаго дня, этотъ монологъ въ устахъ Мочалова былъ послѣдней гранью искусства и бросилъ внезапный свѣтъ на всю пѣсню. Особенно поразительны и неожиданны были послѣднія слова: «Вотъ какимъ изобразите меня. Къ этому прибавьте еще, что однажды въ Алеппо деракій чалмоносецъ-турокъ ударилъ одного венеціанина и оскорблялъ республику. Я схватилъ за горло собаку-магометанина и вотъ точно такъ поразилъ его!» Визжалъ задрожалъ въ обнаженной и черной груди его, не поддерживаемый рукою, и такъ какъ Мочаловъ довольно долго не выходилъ на вызовъ публики, то многіе боялись, чтобы сцена самоубійства не была сыграна съ излишней естественностью.

И вотъ мы приближаемся къ концу, можетъ быть давно желанному для нашихъ читателей, и вмѣстѣ съ ними мы радостно восклицаемъ: «берегъ берегъ!» Въ самомъ дѣлѣ, этотъ берегъ для насъ самихъ былъ какой-то *terra incognita*, которую мы только надѣялись найти, но которой мы еще не видѣли... И это происходило не оттого, чтобы мы пустились въ наше плаваніе безъ цѣли и безъ компаса, но оттого, что мы хотѣли, во что бы то ни стало, об-

стоятельно обозрѣть море, въ которое ринулись, обольщенные его поэтическимъ величіемъ и красотой, съ точностью опредѣлить долготу и широту его положенія, вѣрно измѣрить его глубину и обозначить даже мели и подводные камни... Предоставляемъ читателямъ рѣшить успѣхъ нашей экспедиціи, а сами замѣтимъ имъ только то, что, не нарушая скромности и приличія, мы можемъ увѣрить ихъ, что продолжительность нашего плаванія происходила не отъ чего другого, какъ отъ любви къ этому прекрасному морю... Эта любовь дала намъ не только силу и терпѣніе, необходимыя для такого большаго плаванія, но и сдѣлала его для насъ наслажденіемъ, блаженствомъ... Не будемъ спорить и защищать себя, если впечатлѣніе, произведенное нашей статьей на читателей, не заставитъ ихъ повѣрить намъ: обвинять другихъ за свой собственный неуспѣхъ намъ всегда казалось смѣшной раздражительностью мелочного самолюбія. Но еще смѣшнѣе кажется намъ многорѣчіе, происходящее не отъ одушевленія его предметомъ, большой трудъ, отъ котораго на долю автора достается только тягость, а не живѣйшее наслажденіе. Итакъ, да не обвиняютъ насъ ни въ плодовитости, ни въ подробностяхъ: мы не примемъ такого обвиненія; неудача—это другое дѣло... Мы не могли и не должны были избѣгать обширности и подробности изложенія, потому что мы хотѣли сказать все, что мы думали, а мы думали много... Предметъ нашего разсужденія возбуждалъ въ насъ живѣйшій интересъ, и мы считаемъ его дѣломъ важнымъ; тѣ, которые въ этомъ отношеніи несогласны съ нами, тѣ могутъ думать, что имъ угодно... Оставляя въ сторонѣ нашъ энтузіазмъ и наши доказательства—одного необыкновеннаго и такъ долго поддерживающагося участія публики къ «Гамлету» на московской сценѣ уже достаточно для того, чтобы не дорожить холоднымъ равнодушіемъ людей, которые не хотѣли бы видѣть никакой важности въ этомъ событіи. Но можетъ быть многіе, не отвергая этой важности, увидятъ въ нашемъ отчетѣ излишнее увлеченіе въ пользу Мочалова; для такихъ у насъ одинъ отвѣтъ: «вѣрите или не вѣрите—это въ вашей волѣ; удачно или неудачно мы выполнили свое дѣло—это вамъ судить; но мы смѣемъ увѣрить васъ въ томъ, что въ насъ говорило убѣжденіе, а давало силу говорить такъ много одушевленіе, безъ которыхъ мы не можемъ и не умѣемъ писать, потому что почитаемъ это оскорбленіемъ истины и неуваженіемъ къ самимъ себѣ». Прибавимъ еще къ этому, что въ разсужденіи Мочалова мы можемъ ошибаться передъ истиной, и въ этомъ смыслѣ никому не запрещаемъ имѣть свое мнѣніе, но передъ самими собой мы совершенно правы и готовы отвѣчать за каждое наше слово объ игрѣ этого артиста, котораго дарованіе мы, по глубокому убѣжденію, почитаемъ великимъ и гениальнымъ.

Наратыгинъ на московской сценѣ въ роли Гамлета.

Во вторникъ, 12 апрѣля, Наратыгинъ явился на московской сценѣ въ роли Гамлета. Не будемъ го-

ворить, что послѣ игры Мочалова, Каратыгину предстоялъ подвигъ трудный—въ этомъ никто не сомнѣвается; не будемъ и сравнивать игры перваго съ игрою послѣдняго: это дѣло не касается Мочалова такъ же, какъ и Мочаловъ не касается этого дѣла... Скажемъ только, что во-первыхъ Каратыгинъ совершенно переѣхалъ характеръ своей игры и перемѣнилъ къ лучшему; а во-вторыхъ, что онъ показывалъ чудо искусства, если подъ словомъ «искусство» должно разумѣть не творчество, а умѣніе, приобретенное навыкомъ и ученіемъ... Фарсовъ, за которые прежде такъ справедливо упрекали Каратыгина его противники, мы на этотъ разъ замѣтили гораздо меньше; но когда человѣкъ, не чувствуя въ душѣ движенія страсти, говорить такія слова и такимъ голосомъ, источникомъ которыхъ можетъ быть только одна страсть, то по необходимости будетъ дѣлать фарсы, какъ бы ни былъ далекъ отъ всякаго желанія дѣлать ихъ и какъ бы ни старался быть простымъ и естественнымъ. Что дѣлать! Чувство, вдохновеніе, талантъ, геній—они даются природой даромъ, и часто, какъ говоритъ Сальери Пушкина—

Не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій...
А озаряютъ голову безумца,
Гуляки празднаго...

Что дѣлать! повторяемъ мы: Моцартъ и Сальери не единственный примѣръ, доказывающій эту истину...

Мы увѣрены, что съ нами согласится всякій, кто былъ 12 апрѣля въ театрѣ и кто помнитъ, что во второмъ актѣ, гдѣ Гамлетъ читаетъ стихи изъ плохой трагедіи, публика съ жаромъ аплодировала Каратыгину, а вслѣдъ за этимъ съ такимъ же жаромъ аплодировала Волкову, игравшему роль комеданта и читавшему стихи изъ этой же смѣшной трагедіи: что это значитъ?.. Не знаемъ; но крайней мѣрѣ надъ этимъ можно думать и надуматься...

Отчета объ игрѣ Каратыгина мы отдавать не будемъ; мы не хотимъ огорчать благодарнаго артиста, который такъ пламенно любитъ свое искусство и съ такимъ самоотверженіемъ изучаетъ его: для насъ гораздо легче высказать горькую правду такому актеру, которому природа подарила геній, а собственное нерадѣніе вредитъ въ безусловномъ успѣхѣ.

Мы увѣрены, что въ «Уголино» Каратыгинъ былъ превосходенъ, выше всякаго сравненія съ Мочаловымъ, потому что роль Нино совершенно по немъ и даетъ ему полную возможность развернуть все свое искусство. У всякаго поэта долженъ быть свой актеръ: Каратыгинъ можетъ дѣлать съ Полевымъ славу созданія «Уголино».

Осницкій на московской сценѣ въ роли
городничаго.

И здѣсь мы говоримъ такъ, просто, чтобы только сказать, а совсѣмъ не для какихъ-нибудь сравненій: это дѣло не касается Щепкина, и Щепкинъ не касается этого дѣла... Другое дѣло—Живокини; но и здѣсь сравненіе невыгодно для петербургскаго арти-

ста: фарсы—это сходство; веселость, достолюбезность какая-то въ самыхъ фарсахъ и рѣшительный талантъ во всемъ прочемъ—это разница. Гёте сказалъ, что онъ никогда не почиталъ себя обязаннымъ читать плохихъ авторовъ, но что онъ виѣлялъ себѣ въ обязанность смотрѣть на посредственныхъ и дурныхъ актеровъ, чтобы тѣмъ лучше цѣнить хорошихъ. Не для какихъ-нибудь сравненій, а какъ фактъ, говоримъ мы, что только 13 апрѣля постигли мы талантъ Щепкина во всей его безконечной силѣ. Не правда ли, что мысль Гёте превосходна? Кстати: Самаринъ дебютировалъ въ роли Хлестакова. Онъ подаетъ большія надежды для этой роли, только ему нужно привыкнуть къ ней. Но пока мы еще не видѣли настоящаго Хлестакова: лицо, манеры и тонъ Самарина слишкомъ умны и благородны для роли Хлестакова, и по этой причинѣ онъ, не будучи въ состояніи выполнять ее субъективно, еще не возвысился до ея объективнаго пониманія и исполненія. Но повторяемъ: онъ подаетъ надежды, за что и былъ вызванъ публикой. Изученіе—дѣло великое: вотъ чего особенно не должно забывать Самарину. Впрочемъ начало его было удачно, хотя еще и далеко не совершенно. Но во всякомъ случаѣ и пьеса, и театръ, и публика въ положительномъ выигрышѣ отъ того, что Самаринъ смѣнилъ Ленскаго, котораго игра слишкомъ субъективна и производитъ непріятное впечатлѣніе какой-то грубой, нисколько не художественной, естественностью.

Не говоримъ о Степановѣ, игравшемъ роль судьи: его игра чудесна; но скажемъ, что Орловъ въ роли Осипа превзошелъ самого себя. Да, у этого артиста рѣшительный комическій талантъ, и мы очень жалѣемъ, что онъ такъ грубо обманывается въ своемъ призваніи и искажаетъ трагическими ролями свое прекрасное дарованіе. Сыграть хорошо комическую роль такъ же трудно и такъ же славно, какъ и сыграть хорошо трагическую роль, и еще выше и славнѣе, нежели сыграть дурно хотя бы самого Гамлета. По этой же причинѣ, несмотря на то, что нынѣ однимъ журналѣ очень жестоко и очень остроумно нападаютъ на тѣхъ, которые удивляются или подражаютъ Гоголю, созданіе такой роли, какъ роль Осипа, въ тысячу, въ миллионъ разъ выше всякихъ пародій на Шекспира и ужъ конечно ничѣмъ не ниже созданій такой роли, какъ, на примѣръ, роль Уголино или Нино, какъ ни превосходны объ эти роли... Вообще «Ревизоръ» у насъ идетъ хоть куда: есть общность въ ходѣ цѣлой пьесы, а это не шутка. Въ послѣдній разъ, о которомъ мы говоримъ, кромѣ городничаго, всѣ играли болѣе или менѣе хорошо, начиная отъ почтеннаго судьи Тяпкина-Ляпкина до Мишки.

Московскій театръ.

Кто не любитъ театра, кто не видитъ въ немъ одного изъ живѣйшихъ наслажденій жизни, чье сердце не волнуется сладостнымъ, трепетнымъ предчувствіемъ престоющаго удовольствія при объявленіи о бенфисѣ знаменитаго артиста или о постановкѣ на сцену произведенія великаго поэта? На

этотъ вопросъ можно смѣло отвѣчать: всякій и у всякаго, кромѣ невѣжды и тѣхъ грубыхъ, черствыхъ душъ, недоступныхъ для впечатлѣній искусства, для которыхъ жизнь есть непрерывный рядъ счетовъ, расчетовъ и обѣдовъ. Посмотрите, какое движеніе на этой прекрасной площади, у этого величественно-граціознаго дома, похожаго на греческій храмъ: къ нему тянется рядъ каретъ и дрожекъ всѣхъ родовъ, включая сюда и кулачки смиренныхъ ванаекъ; къ нему приливаютъ толпы пѣшихъ. Тутъ всѣ полы, всѣ возрасты, всѣ сословія. Одинъ спѣшитъ занять свои кресла въ первомъ ряду, а другой поскорѣе захватить получше мѣстечко на скромныхъ скамеечкахъ; тутъ идетъ великолѣпное семейство, состоящее изъ трехъ или четырехъ человѣкъ, занять свою ложу въ бель-этажѣ, а рядомъ съ нимъ идетъ цѣлая толпа плащей и манто, шляпъ и шляпокъ «всѣхъ возрастовъ, считая отъ тридцати до двухъ годовъ», занять свою ложу въ третьемъ ряду. Это обыкновенно чиновническое или купеческое семейство, а иногда и два, если не три: они сложились и взяли ложу. А вотъ дюжій работникъ, мастеровой, гризетка жмутся въ толпѣ и толкаютъ другъ друга, чтобы прежде другихъ получить билетъ въ раскъ за свой трудовой, кровный гривенникъ. Всѣ они будутъ въ разныхъ мѣстахъ, но всѣхъ ихъ привлекъ сюда одинъ интересъ, и всѣ они будутъ видѣть и слышать одно, и всякій по своему насладится этимъ однимъ.

Давно ли—этому прошло съ небольшимъ развѣ 50 лѣтъ,—какъ Сумароковъ горько жаловался въ предисловіи къ своему «Димитрію Самозванцу» на невѣжественность публики его времени. «Вы путешествовали—восклицаетъ онъ,—бывшіе въ Парижѣ и въ Лондонѣ, скажите: грызутъ ли тамъ во время представленія драмы орѣхи; и когда представленіе въ пущемъ жарѣ своемъ, сбьютъ ли поссорившихся между собой пьяныхъ кучеровъ ко тревогѣ всего партера, ложъ и театра?»—Прочтя эту наивную жалобу человѣка, котораго нѣкоторые помнятъ еще въ лицо, какъ не скажешь съ Грибоѣдовымъ: «Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!». Мало того, что черезъ полвѣка послѣ этого блаженнаго времени не только столичная, но даже публика послѣдняго уѣзднаго городка чужда всякаго подобнаго упрека—она уже понимаетъ и любитъ Шекспира, и драмы его ставитъ выше всѣхъ произведеній драматическаго искусства. Теперешняя публика знаетъ о Сумароковѣ по одной наслышкѣ или по воспоминанію и глубоко заснула бы отъ прекрасныхъ «трагедій» Озерова, такъ глубоко, что только одно магическое имя Шекспира заставило бы ее проснуться. Какой прогрессъ!

Въ Россіи любятъ театръ, любятъ страстно. Забывая труппа актеровъ, одинъ пріѣзжій столичный актеръ можетъ пробудить сильное движеніе и въ умахъ, и въ сердцахъ, и въ карманахъ губернскаго или уѣзднаго города. Театръ имѣетъ для нашего общества какую-то непобѣдимую, фантастическую прелесть. И между тѣмъ слышны безпрестанныя жалобы на холодность и равнодушіе нашей публики

къ театру. Отчего же это противорѣчіе? Кто правъ, кто виноватъ?

У насъ есть таланты и таланты блестящіе—объ этомъ никто не споритъ; но число этихъ талантовъ слишкомъ не такъ велико, чтобы ихъ доставало на каждую пьесу. Обыкновенно бываетъ такъ, что изъ десяти дѣйствующихъ лицъ—три, много четыре таланта, и шесть рѣшительныхъ бездарностей. Отъ этого нѣтъ никакой общности въ игрѣ, а безъ общности—что за очарованіе?—Безъ нея представленіе—кукольная комедія. Вотъ причина холодности нашей публики, и причина глубоко основательная. Но точно ли дѣло въ такомъ видѣ, какъ оно представляется намъ? Посмотримъ.

Таланты вездѣ рѣдки; природа скупа на нихъ. Невозможно требовать, чтобы такая огромная труппа, какъ труппа московскаго театра, была сформирована изъ однихъ талантовъ. Ни одинъ театръ въ Европѣ не можетъ похвалиться этимъ, потому что это не въ природѣ вещей. А между тѣмъ общность и цѣлость игры есть неотъемлемая принадлежность всякаго порядочнаго иностраннаго театра. Недостатокъ дарованій долженъ замѣняться умомъ, образованностью, изученіемъ. Есть такіе актеры, которые ни одной роли не сыграютъ художественно и въ то же время не испортятъ ни одной роли, за какую ни возьмутся. Такіе актеры—дѣло важное, истинное сокровище для всякаго театра. Они сами не блестятъ, но даютъ возможность блестятъ другимъ. Безъ нихъ невозможно очарованіе истинности представленія.

Много ли у насъ истинныхъ дарованій и есть ли у насъ актеры, хорошо играющіе, не имѣя таланта?—Мы не будемъ рѣшать этого вопроса, а представимъ здѣсь одинъ фактъ, изъ котораго можно вывести много прекрасныхъ заключеній.

Мая 5, въ бенефисъ Козловскаго, Щепкина и Солодова, давалась драма Шиллера «Коварство и любовь». Драма эта есть одно изъ самыхъ прекрасныхъ произведеній Шиллера; въ ней дѣтскости гораздо больше, нежели въ «Разбойникахъ». Художественности и творчества—нисколько, огня отрицать нельзя; но такъ какъ этотъ огонь вытекъ не изъ творчества одушевленнаго объективнымъ созерцаніемъ жизни, а изъ ратованія противъ дѣйствительности, подъ знаменемъ нравственной точки зрѣнія, то онъ и похожъ на фейерверочный огонь: много шуму и треску, и мало толку. На идею пьесы Шиллера навелъ «Отелло» Шекспира; но что у послѣдняго основано на непреложныхъ законахъ необходимости, то у перваго совершенно произвольно. Почему идеальная Луиза рѣшается пожертвовать своимъ честнымъ именемъ и признать себя любовницей стараго развратника и шута, почему она такъ упорно избѣгаетъ объясненія съ человѣкомъ, котораго любить, съ которымъ у ней одна душа, одно сердце—все это извольте понимать, какъ вамъ угодно. Завязка вертится на пустомъ недоразумѣніи. А характеры?—Луиза—идеальная кухарка, сентиментальная фразерка: Фердинандъ—маленькій Отелло съ эпизодами и шпайгой. Человѣкъ нова-

го времени, глубокий и высокий германец — такой человек не отравит ядом подобного себя человека, тем более девушку, которую он любит. Если она недостойна его чувства, если она гнусно наругалась над ним — он отворотится от нея с разбитым сердцем, с погибшей надеждой на счастье жизни, но не станет мстить и не сдѣлается палачем. Отелло был африканец и жил давно, в то время, когда люди не идеализировали. Но Шиллеру это нужно было для эффекта, без которого его драма сбилась бы на такъ называемую мѣщанскую комедию: поссорились, наговорили громкихъ фразъ, да — веселымъ пиркомъ и за свадебку. Кромѣ того это ему было нужно и для вѣщаго наказанія президента за его злодѣяніе, потому что этотъ президентъ — злодѣй въ роѣ Франца Моора: дьяволъ со всѣмъ адскимъ причетомъ не годится ему въ ученики. Страхъ такой, что мочи нѣтъ! Леди Мильфордъ конечно сносила идеальной Луизы, но тоже не скажетъ слова просто — все съ ужимкой. Только отецъ и мать Луизы и Вурмъ похожи на людей и носятъ на себѣ признаки дѣйствительности.

Но обратимся къ московскому театру.

Стеченіе публики было большое: на афишкѣ стояло имя Каратыгина; сверхъ того Рѣпина дебютировала въ роли Луизы. Публика встрѣтила Рѣпину съ изъясненіемъ живѣйшаго восторга: нѣсколько минутъ продолжались ея единодушныя рукоплесканія. Каратыгинъ былъ тоже встрѣченъ рукоплесканіями, хотя и далеко не единодушными. Онъ игралъ просто, съ достоинствомъ, а потому и — прекрасно. Умъ и ловкость могутъ много дѣлать, даже замѣнять въ глазахъ толпы талантъ. То же самое можно сказать и о Рѣпиной, но только въ отношеніи къ одному этому представленію, потому что роль Луизы не можетъ одушевить артистки съ истиннымъ и глубокимъ дарованіемъ, какой мы почитаемъ Рѣпину. Мы желали бы видѣть ее въ роли Юліи Шекспира: въ этой роли есть чѣмъ одушевиться и есть гдѣ показать свое дарованіе. Объ этомъ же представленіи мы можемъ сказать только то, что Рѣпина безпрестанно оспаривала у Каратыгина благосклонность публики.

Но это все еще не то, что мы хотѣли сказать: фактъ вотъ въ чемъ: Усачевъ, тотъ самый актеръ, который въ драмѣ на московской сценѣ занимаетъ мѣсто какого-то статиста и который въ трагическихъ роляхъ точно возбуждаетъ состраданіе, только не къ лицу, которое представляетъ, а къ самому себѣ, — этотъ самый Усачевъ превосходно сыгралъ роль Вурма, сыгралъ ее, какъ истинный художникъ. Львова-Синицкая, въ роли леди Мильфордъ, какъ-то забывшись, что она играетъ въ трагедіи, сошла съ трагическаго котурна, заговорила живымъ, естественнымъ человѣческимъ языкомъ — и публика съ жаромъ аплодировала ей наравнѣ съ Рѣпиной и Каратыгинымъ. Волковъ, извѣстный своей дрожаше-пѣвучей лирикой, играя роль Миллера*), въ третьемъ

актѣ забылъ, что онъ играетъ «дѣя Эдипа», и заговорилъ живымъ человѣческимъ языкомъ — и публика аплодировала ему съ жаромъ, наравнѣ съ Рѣпиной и Каратыгинымъ. Всѣхъ лучше игралъ Усачевъ, но ему не аплодировали; всѣхъ хуже игралъ Сосницкій*), но ему аплодировали. Нонесправедливость публики видна была только въ отношеніи къ Усачеву: рукоплесканія съ громкимъ смѣхомъ, изъяснявшимъ полное удовольствіе, неслись маршалу сверху...

И такъ, эти люди, которые выставлены образцами бездарности, нашли же въ себѣ и силы, и таланты, чтобы не только быть сносными въ продолженіе четырехъ часовъ и не портить своихъ ролей, но даже и восхищать публику въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своихъ ролей. Это фактъ! Уваженія къ своему искусству, своему званію, вниманія къ себѣ, изученія, постоянного стогого изученія — вотъ чего недостаетъ большей части нашихъ артистовъ. Но вотъ и еще фактъ. Кажется, 17 мая въ театрѣ Петровскаго парка давали «Ревизора».

Какое очаровательное гулянье этотъ Петровский паркъ! Нѣтъ лучшаго гулянья ни въ Москвѣ, ни въ ея окрестностяхъ! Эти дороги, по которымъ можно ѣздить, окаймленные дорожками, по которымъ можно только ходить, эти поляны, луга — зеленые острова съ кучами деревьевъ, пруды, красивые, живописные домики, строеніе вокзала, этотъ театръ игрушка, этотъ фантастическій Петровский замокъ, полузакрытый деревьями, эти толпы народа, то волнующіяся по дорожкамъ, то разбросанныя по лугу, отдѣльными обществами, подъ деревьями, за столиками пьющія чай, — какая очаровательная, одушевленная, полная жизни картина! И когда вечеръ тихо спустится съ суроваго, хотя и чистаго неба, и все начнетъ становиться тише, торжественнѣе, неопредѣленнѣе, березы сильнѣе задышатъ своимъ ароматомъ, разноцвѣтныя шляпки, шали, манто, съ прелестнѣйшими головками, чудеснѣйшими личиками, сольются во что-то неопредѣленное и цѣлое — какая фантастическая, волшебная картина! Да, Петровский паркъ лучшее гулянье Москвы; нельзя было сдѣлать московской публики лучшаго подарка, какъ превративъ это обыкновенное мѣсто въ какой-то адеманъ!.. Тутъ соединено все — и природа и искусство, и деревня и городъ: вы можете дышать свѣжимъ воздухомъ, вдыхать въ себя обаятельный запахъ весенней зелени, словомъ, наслаждаться природой и деревней и вмѣстѣ съ тѣмъ пользоваться всѣмъ, что только можетъ доставить вамъ столичный городъ. Это гулянье европейское, оно отличается характеромъ общности. Тутъ всѣ сословія, всѣ общества, кромѣ того, для котораго существуетъ Марьино роща. И оно лучше: наслаждаться можно только, не мѣшая другъ другу...

Какъ хорошо, погулявши въ паркѣ, пойти въ этотъ миниатюрный театръ, посмотрѣть на эту маленькую сцену, которая вся видна и съ которой все

*) Которую Потанчикова выполняетъ не только умно, но иногда съ истиннымъ художественнымъ достоинствомъ.

*) Сосницкій, въ роли маршала, напомнилъ собой Баранова: онъ игралъ не вельможу, не придворнаго, а какого-то шута самаго пошлаго тона.

слышно, взглянуть на эту небольшую, сжатую и пеструю публику! Первый рядъ креселъ иногда занимается дамами, и это придаетъ особенно очаровательный и пріятный отбѣнокъ маленькому театру. Какъ пріятно въ антрактахъ выходить на крыльцо театра, наблюдая за вечернѣющимъ днемъ и за этой живой картиной, которая черезъ каждые полчаса принимаетъ новый характеръ! Какъ пріятно изъ освѣщеннаго амфитеатра, по окончаніи спектакля, выйти на свѣжій воздухъ, когда уже темно, все разбѣзжается, разбродится, и, какъ тѣни на поляхъ Елисейскихъ, мелькають толпы въ сумракъ..

Итакъ, 17 мая мы пошли смотрѣть «Ревизора». Городничаго игралъ Щенкинъ въ первый разъ по пріѣздѣ изъ Петербурга, въ которомъ онъ оставилъ по себѣ живую память. Роль городничаго въ Москвѣ была очень опошлена во время его отсутствія, и тѣмъ неперѣбавнѣе желала мы увидѣть ее снова, выполненную великимъ художникомъ. И какъ онъ выполнилъ ее! Нѣтъ, никогда еще не выполнялъ онъ ее такъ! Этотъ первый актъ, который всегда какъ-то не удавался ему, былъ у него на этотъ разъ чудомъ совершенства. Какое одушевленіе, какая простота, естественность, изящество! Все такъ вѣрно, глубоко-истинно—и ничего грубаго, отвратительнаго; напротивъ, все такъ достолюбезно, мило! Актеръ понималъ поэта: оба они не хотѣли дѣлать ни карикатуры, ни сатиры, ни даже эниграммы; но хотѣли показать явленіе дѣйствительной жизни, явленіе характеристическое, типическое.

Но что Щенкинъ былъ превосходенъ—это въ порядкѣ вещей; удивительно то, что вся пьеса идетъ прекрасно. Объ Орловѣ и Степановѣ мы уже не говоримъ, не желая повторять одного и того же: чудо совершенства да и только! Шумскій, играющій Добчинскаго,—превосходенъ. Кислое лицо, видъ какого-то добродушнаго идиотства, провинциальность природы, какіе онъ умѣетъ принимать на себя, все это выше всякихъ похвалъ. Никифоровъ играетъ Бобчинскаго немного съ фарсами, но по крайней мѣрѣ не портитъ роли. Соколовъ, играющій купца Абдулина,—чудесенъ. Слесарша—живая природа до *pes plus ultra*. Мишка, трактирный слуга, гости городничаго—все это прелесть. Даже Анна Андреевна наконецъ вошла въ свою роль, какъ должно; также и Марья Антоновна; словомъ, кромѣ Ленскаго, играющаго Хлестакова несносно дурно, всѣ хороши, и въ ходѣ пьесы удивительная общность, цѣлость, единство и жизнь.

Мы уже имѣли случай замѣтить, что причина успѣшнаго хода этой пьесы заключается въ самой этой пьесѣ. Послѣ ей всего лучше идетъ «Горе отъ Ума». Оно такъ и должно быть: драматическіе поэты творятъ актеровъ. Намъ нужно имѣть свою комедію, и тогда у насъ будетъ свой театръ. Подражательность ввела къ намъ идею и потребность театра, а самобытная поэзія должна создать театръ. Какія богатая надежды сосредоточены на Гоголѣ! Его творческаго пера достаточно для созданія національнаго театра. Это доказывается необычайнымъ успѣхомъ «Ревизора»! Какое глубокое, гениальное

созданіе! И что можетъ создать человѣкъ, который написалъ такое произведеніе только для пробы пера!..

Объ артистѣ.

Знаете ли вы, что такое и кто именно тотъ артистъ, о которомъ я хочу вамъ говорить?—О, если бы вы знали, какъ интересенъ этотъ таинственный артистъ, вы не отстали бы отъ меня до тѣхъ поръ, пока бы я не сказалъ вамъ его имени! И я радъ сказать вамъ его... но видите ли—«дѣло очень тонкаго свойства», какъ говоритъ Петръ Ивановичъ Добчинскій, въ комедіи Гоголя. Если я вамъ скажу, что въ театрѣ Петровскаго парка 17 іюля былъ данъ водевилъ «Артистъ» и что именно объ немъ-то и хочу я вамъ говорить,—то, какъ ни ясно и ни обстоятельно такое объясненіе, а артистъ все-таки останется для насъ тайной. Не понятіе ли для васъ будетъ, если я скажу, что въ этомъ водевилѣномъ «Артистѣ» скрывается другой, высшаго драматическаго рода артистъ, котораго зовутъ не Раймондомъ и котораго играетъ не Богдановъ 2-й, но котораго зовутъ Эдуардомъ и котораго играетъ П. Степановъ. Вотъ вамъ и разгадка: артистъ теперь для васъ уже не тайна, не пикантито—вы теперь знаете его имя, чинъ и фамилію. «Но что жъ тутъ мудренаго? спросите вы: эту тайну можно было разрѣшить еще проще: прочесть афишку». О, нѣтъ! отвѣчаю я вамъ: афишка ничего не объяснила бы вамъ. Видѣть этотъ водевилъ на сценѣ—это другое дѣло, очень понятное и для москвича, и для жителя Петербурга. Я давно уже слышалъ объ этомъ водевилѣ и чудесахъ, которыя творить въ немъ П. Степановъ, но увидѣлъ его въ первый разъ только 17 іюля—такъ ужъ, видно, судьбѣ угодно было.

Прежде всего надо сказать, что водевилъ «Артистъ»—очень обыкновенный водевилъ, кое-какъ переведенный съ французскаго, и безъ игры П. Степанова онъ—просто ничего; но при игрѣ этого актера—чудо, прелесть, онъ смѣшитъ до слезъ, и чтобы, видя его на московской сценѣ, не хотѣть, надо быть лишеннымъ отъ природы способности смѣяться. Но я лучше расскажу, какъ было дѣло, исторически и прагматически, потому что отъ историка нашего вѣка, кромѣ изложенія фактовъ, требуется еще и взглядовъ на событія... Содержаніе водевиля очень просто и очень пусто. Дѣло въ томъ, что артистъ Раймондъ, какъ всѣ артисты, бѣденъ и всегда въ долгу, и, какъ всѣ артисты, очень радъ своей бѣдности и очень гордъ тѣмъ, что никому не платить долговъ. Квартиру онъ нанимаетъ у богача, молодого человѣка, по имени Эдуарда, который влюбленъ въ его дочь, любимъ ею и желалъ бы на ней жениться, да чудакъ артистъ хочетъ, во что бы то ни стало, сдѣлать изъ своей дочери артистку и выдать ее замужъ непременно за артиста. Тогда Эдуардъ рѣшается мистифицировать Раймонда. Онъ является къ нему подъ видомъ Вемолини и потомъ Вербуа, его заимодавцевъ: отъ лица обоихъ увѣряетъ его, что его картины распродались за дорогую цѣну, и что не онъ имъ, а они ему должны. Вемолини—итальянецъ, и Эдуардъ прикидывается ком-

позиторовъ, рассказываетъ содержаніе будто бы когда-то сочиненной имъ оперы, поетъ изъ нея мотивы — и публика хохочетъ до слезъ, потому что ничего смѣшнѣе нельзя вообразить. Объясняется онъ ломанымъ русскимъ языкомъ и между прочимъ увѣдомляетъ Раймонда, что онъ даетъ его хозяину уроки музыки. «Но есть ли въ немъ талантъ-то?» грустно восклицаетъ Раймондъ по уходѣ мнимаго Бемолини. Вдругъ является лавочникъ Вербуа съ тѣми же сказками о событіи картинъ. Рассказываетъ артисту о своей прежней жизни, какъ онъ былъ танцовщикомъ на театрѣ, какъ любилъ свою жену, которая была танцовщицей на томъ же театрѣ, и какъ однажды, прыгая съ ней въ балетѣ, онъ ревновалъ ее къ другому и, встрѣчаясь съ ней на сценѣ въ танцахъ, объяснялся съ ней. Это тоже преуморительная сцена. Сказавши Раймонду, что онъ учитъ танцевать его хозяина, мнимый Вербуа уходитъ. Раймондъ ждетъ Руселя, профессора декламации, который долженъ давать его дочери уроки декламации. Является опять Эдуардъ подъ видомъ профессора Руселя. Вдругъ входитъ настоящій, точно такимъ же образомъ одѣтый, какъ и подложный. Кто очень мило играетъ Никифоровъ. Между профессорами начинается споръ—кто изъ нихъ лучше знаетъ свое дѣло, — сцена, о которой безъ хохота нельзя даже и вспомнить. «Я покажу вамъ образецъ моего искусства», говоритъ П. Степановъ, играющій роль мнимаго Руселя, и начинаетъ декламировать сцену изъ третьяго акта «Гамлетъ». Эмилія, дочь Раймонда, должна представлять королеву, мать Гамлета, который и обращается къ ней съ монологомъ:—«Такое дѣло, которымъ погубила скромность ты!» Сказавши стихъ: «И небо отъ твоихъ злодѣйствъ горитъ!», онъ обнимаетъ одной рукой Эмилію черезъ шею, другой указываетъ на небо, и плаксивымъ и вмѣстѣ ревущимъ голосомъ, какъ бы исходящимъ изъ пустой бочки, восклицаетъ:

Да, видишь ли, какъ все печально и уныло,
Какъ будто наступаетъ страшный судъ!

Страшный взрывъ хохота и жаркія рукоплесканія изъявили восторгъ публики... Но этимъ потѣха не кончилась. Вотъ Гамлетъ ужасается явленія тѣни и вопить зычно: «Брылами вашими меня закройте», и пр. Хохотъ и рукоплесканія еще громче.

Смѣшной нарядъ Степанова довершилъ иллюзію, которая и безъ того была въ высшей степени совершенна. Не думайте, чтобы онъ усиливался или утрировалъ *)—нѣтъ, это была живая природа.

Совѣтуемъ Степанову воспользоваться портретами и монологомъ: «А вотъ они: вотъ два портрета—посмотрите». Не худо бы также взять ему на поддержку и то мѣсто изъ сцены комедіи, гдѣ, по уходѣ короля и придворныхъ, Гамлетъ встаетъ съ полу, на которомъ лежалъ у ногъ Офеліи, играя ей шейнымъ платкомъ, встаетъ съ тѣмъ, чтобы унасть снова и поползть по сценѣ на четверенькахъ: это тоже была бы живая природа, а не утрировка.

*) Каратыгина.

Потомъ Степановъ перемѣнилъ и видъ, и голосъ, и осанку, даже вдругъ сдѣлался какъ-то ниже ростомъ и, подергивая плечами и какъ бы силясь выскочить изъ самого себя, проговорилъ нѣсколько ямбовъ изъ какой-то старинной классической трагедіи: публика опять узнала что-то знакомое *), громкій хохотъ и громкіе плески изъявили ея удовольствіе.

Но—вотъ важный фактъ: за мѣсяцъ передъ этимъ тоже давали «Артиста», и Степановъ, такъ же перемѣнивъ и голосъ, и ростъ, и приемы, проговорилъ монологъ изъ третьяго акта «Гамлета» и мы слышали отъ многихъ, что никто изъ публики даже и не улыбнулся... это очень понятно: на «Ніаду» не было ни одной пародіи, а на «Энеиду» была бездна пародій, и пресмѣшныхъ—вспомните «Энеиду» Осипова и Котляревскаго... Пародировать можно только поддѣльное, надутое и натянутае...

Ахъ, чуть было не забылъ: если бы Степановъ попробовалъ свои силы въ сценахъ сумасшествія «Лира» или въ сценахъ изъ «Отелло»!.. Видъ онъ свободенъ въ выборѣ отрывковъ. Увѣряемъ его, что если онъ возьметъ «Артиста» себѣ въ бенефисъ и объявитъ въ афишкѣ тирады изъ эгхъ драмъ, то на его бенефисъ будетъ такая же многочисленная публика, какая была на «Королѣ Лирѣ» и «Отелло»...

Но—пора къ концу. Водевиль оканчивается тѣмъ, что Эдуардъ признается Раймонду въ своей продѣлкѣ: артистъ признаетъ въ немъ талантъ и отдаетъ ему свою дочь.

Водевиль вообще шелъ очень хорошо: Богдановъ, котораго мы къ сожалѣнію очень рѣдко видимъ на сценѣ, игралъ очень мило. О Никифоровѣ я уже упоминалъ: онъ былъ смѣшонъ безъ фарсовъ. Прочія лица не портили представленія.

Пьеса тѣмъ болѣе восхитила насъ, что передъ ней мы очень тяжело назывались, слушая на сценѣ сентенціи и поученія въ «Какаду, или слѣдствіе урока кокеткамъ», классической и очень скучной комедіи, писанной шестипудовыми ямбами. Зато мы тутъ имѣли удовольствіе видѣть Ленскаго, безподобно игравшаго роль графа Ольгина: Ленскій удивительно усвоилъ себѣ манеры и тонъ людей высшаго круга. Онъ съ головы до ногъ походилъ на графа. Чудный талантъ!..

Петровский театръ.

Нашъ театръ нынѣшній годъ необыкновенно счастливъ петербургскими гостями. Весной поднимались на его сценѣ Каратыгинъ и Сосницкій; осенью на немъ деботируютъ Воротниковъ и Мартыновъ. Что жъ, милости просимъ! Москва гостеприимна, и часто, будучи несправедлива къ своимъ домашнимъ дарованіямъ, не жалѣетъ рукоплесканій для гостей. Мы не видѣли Воротникова въ роли Осипа, но слышали, что онъ былъ принятъ въ ней очень холодно. Это не мудрено: послѣ Орлова надо было выполнить эту роль съ неслыханнымъ искус-

*) Мочалова.

ством или не братья за нее. Когда у публики есть мѣрка для сужденія, есть средство для сравненія, то дебютанту предстоит большая опасность. Нынѣшней весной сцена Петровскаго театра представила самыя неоспоримыя доказательства этой истины. Сентября 2 мы увидѣли Воротникова въ пьесѣ князя Шаховскаго «Федоръ Григорьевичъ Волковъ, или день рожденія русскаго театра»; эта пьеса давалась въ его пользу, и онъ игралъ въ ней роль Федѣя Михѣича Михѣева. Но прежде, чѣмъ мы скажемъ о немъ, поговоримъ о другомъ актѣ, который жилъ давно, когда еще насъ не было.

Слишкомъ за сто лѣтъ до нашего времени, въ 1729 году, 2 февраля, родился въ Россіи человекъ, которому она обязана началомъ своего театра. Это былъ Федоръ Григорьевичъ Волковъ, сынъ костромскаго купца. Мать Федора Григорьевича, по смерти своего мужа, а его отца, вышла замужъ за ярославскаго кожевеннаго заводчика Полушкина, который любилъ ея дѣтей, какъ своихъ собственныхъ, и особенно Федора Григорьевича. Замѣтивъ въ немъ необыкновенныя дарованія и умъ, онъ отправилъ его въ Москву, въ Законоспасскую академію, учиться Закону Божію, нѣмецкому языку и математикѣ. Ф. Г. отличился въ наукахъ, выучился порядочно играть на гусяхъ и на скрипкѣ, пѣть по нотамъ, рисовать водяными красками, особенно пейзажи. Этимъ уже достаточно выразилась его склонность къ изящнымъ искусствамъ; но участіе въ представленіяхъ духовныхъ драмъ и нѣкоторыхъ Мольеровыхъ комедій, переведенныхъ тогдашнимъ языкомъ, было для него важнѣе: вѣроятно это обстоятельство и открыло ему его настоящее призваніе. Въ 1746 году Полушкинъ отправилъ своего семнадцатилѣтняго пасынка въ Петербургъ, въ которомъ онъ имѣлъ дѣла по торговлѣ. Поручивъ ему смотрѣніе за своими дѣлами, онъ оставилъ его въ нѣмецкой конторѣ для приученія къ бухгалтеріи и торговлѣ. Хозяинъ, полюбивъ Волкова всей душой, однажды взялъ его съ собой въ придворный театръ на итальянскую оперу. Блескъ представленія очаровалъ Волкова, и этотъ случай навсегда рѣшилъ его призваніе. На ловца звѣрь бѣжитъ, говоритъ русская пословица, и новое обстоятельство не замедлило еще болѣе подстрекнуть страсть молодого художника. Въ кадетскомъ корпусѣ, основанномъ Минихомъ, представлялись трагедіи Расина и Вольтера на французскомъ языкѣ; Сумароковъ добился позволенія играть тамъ же и его драматическія сочиненія. Волковъ нашелъ случай получить себѣ мѣстечко за кулисами и, какъ самъ рассказывалъ П. А. Дмитревскому, «увидя и услыша Бекетова (кадета) въ роли Синава, пришелъ въ такое восхищеніе, что не аналъ, гдѣ онъ былъ—на землѣ или на небесахъ». Восторгъ понятный! Представьте себѣ человека, въ душѣ котораго, какъ таинственный колокольчикъ Вадима, раздавался непонятный зовъ, манившій его къ какой-то цѣли, прекрасной, но непостижимой для него самого,—и вдругъ онъ видитъ передъ глазами то, чего такъ страстно алкала

его пламенная душа, видитъ сцену, вѣроятно устроенную блестящимъ образомъ, слышитъ на ней русскую рѣчь, родныя имена, видитъ представленіе русскаго сочиненія, восхитившаго своихъ современниковъ! Было отъ чего придти въ восторгъ! Тутъ у него блеснула мысль устроить въ Ярославлѣ театръ. Онъ свелъ тѣсное знакомство съ итальянскими артистами, выучился по-итальянски, присмотрѣлся къ театральному распорядку и устройству, все срисовывалъ, списывалъ и записывалъ; принялся за основательнѣйшее изученіе музыки и живописи, перевелъ нѣсколько нѣмецкихъ и итальянскихъ пьесъ. Это былъ въ полномъ смыслѣ русскій человекъ—бойкій, твердый, смѣтливый, переимчивый. Идя неуклонно къ своей прекрасной цѣли, которая тогда могла казаться несбыточной мечтой, онъ, вопреки мнѣнію тѣхъ добрыхъ людей, которые думаютъ, что наука и искусство живутъ всегда въ разладѣ съ дѣйствительностью, ловко и успѣшно велъ торговые дѣла своего отца, хотя и чувствовалъ къ нимъ рѣшительное отвращеніе. Возвратясь въ Ярославль, Волковъ принялся учить драматическому искусству меньшихъ своихъ братьевъ, Григорія и Гавріила, также и сосѣднихъ дѣтей, Василю и Михаила Поповыхъ, Чулкова, Ванюшу Нарыкова, родственника его Соколова и другихъ. Въ день именинъ своего добраго отчима онъ сдѣлалъ ему сюрпризъ: большой кожевенный сарай вдругъ превратился въ театръ, съ кулисами, машинами и пр., и на немъ была представлена драма «Эсфирь» и пастораль «Евмондъ и Бероа». Первая была вѣроятно та самая, о которой сказано въ разрядныхъ книгахъ 1676 года: «Представлена была комедія, какъ Артаксерксъ приказалъ отрубить голову Аману»; вторая—самыя Волковымъ была переведена съ нѣмецкаго. Штука удалась; мать Волкова расплакалась, что Богъ даровалъ ей такого разумнаго сына; Полушкинъ былъ въ восхищеніи. Получа отъ природы инстинктъ истины, добрый старикъ въ невинномъ и благородномъ увеселеніи не видѣлъ бѣсовской потѣхи. Болѣе всего поразили его облака, которыя сами собой подымались и опускались.

Вельможество и боярство тогдашняго времени отличалось не одной роскошью, пышностью и расточительностью, но и просвѣщеннымъ меценатствомъ. Волковъ нашелъ себѣ покровителя въ особѣ воеводы Мусина-Пушкина. Онъ вмѣстѣ съ помѣщикомъ Майковымъ, отцомъ стихотворца Майкова, уговорилъ ярославское дворянство и купечество завести театръ для чести и славы города. Старанія ихъ были успѣшны, и скоро на берегу Волги выстроился небольшой деревянный театръ—дѣдушка нынѣшнихъ колоссальныхъ и великолѣпныхъ театровъ, какъ утлый ботикъ Бранта былъ дѣдушкой нынѣшняго громаднѣшаго флота Россіи. Волковъ былъ основателемъ, архитекторомъ, декораторомъ, машинистомъ, капельмейстеромъ, актеромъ, авторомъ, переводчикомъ и директоромъ этого театра; онъ былъ всѣмъ, и его доставало на все. Театръ былъ открытъ оперой «Титово милосердіе», которую Волковъ перевелъ съ итальянскаго. Оркестръ былъ на-

бранъ изъ домашнихъ помѣщичьихъ музыкантовъ, а хоръ пѣлъ архіерейскими пѣвчими.

Всѣ эти факты заимствованы нами изъ статьи въ IX томѣ «Энциклопедическаго Лексикона»; Н. И. Гречъ въ своей статьѣ «Взглядъ на исторію русскаго театра до начала XIX столѣтія» говоритъ, что домъ подъ театръ былъ уступленъ Майковымъ, сынѣмъ, и что, давая по воскреснымъ днямъ спектакли, Волковъ началъ брать за входъ плату: въ кресла по 25, въ партеръ по 10, въ галлерею по 5, а въ раекъ по 3 копѣйки. Нарыковъ и Поповъ были семинаристы и играли женскія роли. Театръ всегда былъ полонъ: такъ понравилось публикѣ это увеселеніе, а мы и теперь еще не отстали отъ старинной привычки—упрекать ее въ холодности и равнодушіи въ дѣлѣ искусства.

Слухъ о ярославскихъ представленіяхъ Волкова дошелъ до императрицы Елисаветы Петровны, и она пожелала видѣть въ Петербургѣ ярославскихъ артистовъ. Въ 1725 (?) году, говоритъ Н. И. Гречъ *), былъ отправленъ въ Ярославль сенатскій экзекуторъ Дашковъ съ повелѣніемъ—привести всѣхъ тамошнихъ актеровъ ко двору. Труппа состояла изъ трехъ братьевъ Волковыхъ, Нарыкова, регистраторовъ Попова и Иконникова, купческаго сына Скачкова, цирюльника Шумскаго, двухъ братьевъ Егоровыхъ и Михайлова. Они были привезены прямо въ Царское Село и на другой день представили трагедію Сумарокова «Синавъ и Труворъ»,—ту самую, представленіе которой въ кадетскомъ корпусѣ зажгло страсть къ сценическому искусству въ пламенной душѣ Волкова. Федоръ Волковъ игралъ Кія, Поповъ—Хорева, Григорій Волковъ—Астраду, а Нарыковъ—Оснелду. Последняя сама государыня императрица изволила убирать къ этой роли. При этомъ случаѣ она спросила объ имени трагической акрисы и, услышавши въ отвѣтъ, что ея имя Нарыковъ, сказала ей: «Ты похожа на польскаго графа Дмитревскаго, и я хочу, чтобы ты приняла его фамилію». И такимъ-то образомъ изъ семинариста Нарыкова явился потомъ знаменитый Дмитревскій, задушевный другъ и соперникъ Лекана и Гаррика, знаменитый актеръ и одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей своего времени. Представленіе понравилось всѣмъ; Сумароковъ былъ въ упоеніи: самолюбивыя мечты его вполне осуществились. Потомъ наши артисты дали еще четыре представленія, въ которыхъ играли во второй разъ: «Семиру», «Синава», «Артистону» и «Гамлета». Послѣ этого отличнѣйшіе изъ труппы: Ф. Волковъ, Дмитревскій, Поповъ и Шумскій, были отданы въ кадетскій корпусъ для обученія наукамъ и иностраннымъ языкамъ, а прочіе были съ награжденіемъ отосланы обратно въ Ярославль. Къ избраннымъ четверемъ актерамъ было присовокуплено восьмеро спадшихъ съ голосовъ пѣвчихъ. Каждый изъ нихъ получалъ въ годъ 60 рублей жалованья и по парѣ суконнаго платья.

*) Тутъ явная ошибка въ годѣ: самъ же Н. И. сказалъ выше, что Волковъ началъ стремиться къ своей цѣли около 1750 года.

Они находились подъ начальствомъ оберъ-штабмейстера Петра Спиридоновича Сумарокова и пользовались столомъ наравнѣ съ кадетами. Корпусные офицеры: Мелиссино, Остервальдъ и Сивистунъ, преподавали имъ правила декламаціи. И такъ, кадетскій корпусъ принималъ двойное участіе въ основаніи русскаго театра: въ немъ воспитывались Сумароковъ, котораго по справедливости называютъ «отцомъ русскаго театра», Херасковъ, Озеровъ, Брюковскій; Бняжнинъ былъ въ немъ учителемъ; бывшія въ немъ представленія были толчкомъ для Волкова, и въ немъ же нашелъ онъ свое образованіе вмѣстѣ съ своими товарищами и сподвижниками. Н. И. Гречъ, изъ статьи котораго мы выписали эти подробности, сообщаетъ интересный анекдотъ о знаменитомъ въ то время актерѣ Офренѣ, подъ руководствомъ котораго, въ царствованіе императрицы Екатерины II, кадеты занимались представленіемъ французскихъ трагедій. Государыня сама нерѣдко посѣщала эти представленія и всегда приказывала наставнику, почтенному старцу, страстно любившему свое искусство, садиться въ первомъ ряду креселъ подлѣ себя. Офренъ въ восторгѣ нерѣдко забывалъ, гдѣ сидитъ, и забавлялъ государыню своими восклицаніями. Сказываютъ, что однажды, слушая монологъ въ «Магометѣ» (котораго игралъ Желѣзниковъ), онъ говорилъ отрывисто, но довольно громко: «*Bien! très bien! comme un dieu! comme un ange! presque comme moi!*»

Въ 1754 году, для празднованія рожденія великаго князя Павла Петровича, дано было русскою труппой нѣсколько представленій при дворѣ. Въ то же время приняты на театръ и женщины; изъ танцовщицъ Зорина, двѣ сестры, офицерскія дочери—Марья и Ольга Ананьины, Пушкина и знаменитая въ то время Авдотья. Артисты тогда назывались не по фамиліямъ, а по именамъ, и большей частью уменьшительнымъ: такъ наир., танцовщикъ Бубликовъ славился подъ именемъ Тимошки; лучшій пѣвица того времени Сандунова слыла Лизанькой, а танцовщица Берилова—Пастенькой. Такъ ихъ называли тогда даже въ журналахъ при отчетахъ о театральныхъ представленіяхъ.

Августа 30-го 1756 года состоялся именной указъ объ учрежденіи русскаго театра. Директоромъ назначенъ былъ Александръ Петровичъ Сумароковъ, а первымъ актеромъ—Волковъ. Прочіе актеры были Дмитревскій, Поповъ, Шумскій, Сичкаревъ (изъ придворныхъ пѣвчихъ), дѣвица Пушкина (вышедшая потомъ замужъ за Дмитревскаго) и сестры Ананьины, вышедшія за Григорія Волкова и Шумскаго.—Два раза въ недѣлю даваемы были русскія представленія на деревенномъ театрѣ, близъ Лѣтнаго сада. Отъ казны отпускалось на содержаніе театра по 5000 рублей въ годъ. Въ 1749 году театръ переведенъ въ лѣтній дворецъ (у нынѣшняго Полицейскаго моста, гдѣ теперь домъ Косиковскаго). Императрица приходила почти на каждое представленіе, черезъ коридоры, прямо изъ своихъ апартаментовъ. Репертуаръ тогдашняго театра состоялъ изъ трагедій и комедій Сумарокова и изъ

переводовъ нѣкоторыхъ пьесъ Мольера, какъ-то: «Скупой», «Лѣкарь поневолѣ», «Скапиновы обманы», «Мѣщанинъ въ дворянствѣ», «Тартюфъ», «Ученныя женщины», и т. д. Изъ переводныхъ трагедій представляемы были «Поліевктъ» и «Андромаха». Первая представленная въ Россіи опера (1755) была «Цефалъ и Проклисъ», соч. Сумарокова. Музыку сочинилъ тогдашній капельмейстеръ Арія; онъ получилъ въ награду за трудъ свой богатую соболью шубу и сто полуимперіаловъ. Первые роли играли дочь лютниста Елизавета Бѣлоградская и пѣвчье графа Разумовскаго: Гаврила Марценковичъ (отличный пѣвецъ, славившійся подъ именемъ Гаврилушки), Николай Клутаревъ, Степанъ Рожевскій и Степанъ Евстафьевъ. Въ 1756 году Волковъ, по высочайшей волѣ, отправился въ Москву, чтобы и тамъ открыть театральныя зрѣлища, и, по статьѣ «Энциклопедическаго Лексикона», въ 1758, а по статьѣ Н. И. Греча—въ 1759 году московское театральное зрѣлище существовало уже во всей своей красѣ. Тамъ играли Троепольскій съ женой, Пушкинъ и нѣкоторые студенты московскаго университета. Черезъ два года этотъ театръ былъ упраздненъ, и двѣ первыя актрисы, Троепольская и Михайлова, были переведены въ Петербургъ. Волковъ, возвратясь въ Петербургъ, гдѣ у него за 9 лѣтъ блеснула первая, почти дѣтская мысль объ основаніи театра, нашелъ уже между актерами нѣсколько отличныхъ дарованій. Выписываемъ остальные подробности о жизни Волкова изъ статьи «Энциклопедическаго Лексикона»:

«Чтобы возвысить и распространить въ народѣ новое для него искусство, Волковъ съ соизволенія императрицы возобновилъ одну изъ священныхъ и правственныхъ трагедій св. Димитрія Ростовскаго, которая нѣкогда представлялась въ Законоохранительномъ монастырѣ и въ теремахъ царевны Софьи Алексѣевны. «Кающійся грѣшникъ» былъ данъ на придворномъ театрѣ съ великолѣпиемъ и устройствомъ, которое напоминало афинскую сцену. Волковъ до самой кончины императрицы Елисаветы Петровны удостоивался ея милостиваго вниманія, пользовался уваженіемъ двора и всѣхъ просвѣщенныхъ людей. Волковъ собралъ всѣ священные драматическія творенія св. Димитрія, списалъ съ большими тщаніемъ и поднесъ императрицѣ Екатерицѣ II. Она благоволила отдать ихъ любителю русской старины князю Б. Г. Орлову; но гдѣ эти рѣдкія рукописи теперь находятся,—неизвѣстно.

«Разсказываютъ съ достовѣрностью, что государыня, по восшествіи на престолъ, благоволила жаловать Волкова дворянскимъ достоинствомъ и отчиной; но онъ, со слезами благодарности, просилъ императрицу удостоить этой наградой женатаго брата его Гавриила, а ему позволить остаться въ томъ званіи и состояніи, которому онъ обязанъ своей извѣстностью и самыми монаршими милостями. И государыня, которая понимала высокое предназначеніе и чувства людей, посвятившихъ себя изящнымъ искусствамъ, уважила просьбу перваго русскаго актера и основателя отечественнаго театра.

По прибытіи въ Москву для коронаціи она поручила ему устройство народныхъ праздниковъ.

«Въ это время заботливой дѣятельности Ѳ. Г. Волковъ простудился, открылась воспалительная горячка, и смерть похитила у Россіи необыкновеннаго человѣка, упрочившаго ей новый источникъ народнаго образованія, если согласиться, что во всѣхъ странахъ театръ былъ вѣрнымъ мѣриломъ и указателемъ общественнаго просвѣщенія и духа времени. Ѳ. Г. Волковъ не былъ женатъ и, какъ увѣряютъ, никогда не влюблялся, можетъ быть оттого, что его сердце было приспосабливаемо страстью къ своему искусству и творчеству. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ перевелъ многія драматическія произведенія и писалъ стихотворенія; можетъ-статься, что они современемъ и отыщутся, но теперь мы знаемъ только по изустнымъ преданіямъ одну изъ его эпиграммъ:

Всадника хвалить—хорошъ молодецъ;
Хвалить другіе—хорошъ жеребецъ;
А я такъ примолвлю: и конь, и дѣтина,
Оба пригожи и оба скотина.

«Но по этой жестокой, хотя и замысловатой эпиграммѣ, безъ сомнѣнія, нельзя ничего заключить о литературномъ дарованіи Волкова. И. А. Дмитревскій утверждалъ, что современники весьма уважали литературные труды его; только самъ авторъ былъ недоволенъ собой и охотно замѣнялъ свои переводы чужими: рѣдкое самоотверженіе, особенно въ драматическомъ писателѣ, который въ то же время управлялъ сценой».

Желательно бы было имѣть вѣрные факты для сужденія о сценическомъ талантѣ Волкова. Впрочемъ, если нельзя говорить утвердительно, то можно предполагать, что онъ могъ и не имѣть не только блестящаго, но и замѣчательнаго сценическаго дарованія: кто бываетъ всѣмъ, тотъ рѣдко бываетъ чѣмъ-нибудь. Волковъ—лицо историческое, чело-вѣкъ великій, но не какъ артистъ, а какъ двигатель общественной жизни, въ одной ея сторонѣ. Такіе люди обыкновенно знаютъ и умѣютъ все, что нужно имѣть, чтобы достигнуть своей цѣли, и не знаютъ, не умѣютъ ничего, въ чемъ бы могли быть образцами и чего бы могли быть представителями.

Пришедши въ театръ 2 числа нынѣшняго мѣсяца, мы въ ожиданіи поднятія занавѣса дали полную волю своей мечтательности. Скоро ли, думали мы, въ русскихъ утвердится полное уваженіе къ самимъ себѣ, къ своему родному, безъ ненависти и враждебнаго пристрастія ко всему достойному уваженія у иностранцевъ? Какъ часто случается у насъ слышать, что въ нашемъ обществѣ нѣтъ страстей, волнованіе которыхъ составляетъ романтическую прелесть жизни; что у насъ нѣтъ этого внутренняго безпокойствія, которое даже въ людяхъ низшаго класса пробуждаетъ стремленіе возвыситься надъ своей сферой и собственными силами создать себѣ средства и проложить дорогу къ славѣ. Какое нелѣпое, пошлое мнѣніе! Какъ! А этотъ гениальный рыбакъ, это дивное явленіе, которому мало равныхъ въ исторіи чело-вѣчества? Этотъ купецъ, который,

попавшись за долги въ тюрьму и будучи освобожденъ изъ нея милостивымъ манифестомъ по случаю открытій памятника, воздвигнутаго Великою Великому, поклялся на коблякахъ заплатить своему благодѣтелю, и посвятилъ всю жизнь свою на выполнение священной клятвы, и оставилъ намъ огромное сочиненіе, — доказательство, какъ много можетъ сдѣлать необыкновенный человѣкъ, безъ всякихъ средствъ, почти безграмотный? А этотъ Новиковъ, который почти ничего не написалъ, такъ же много сдѣлалъ для русской литературы и русской образованности, какъ много сдѣлалъ для того и другого Ломоносовы, Карамзины и другіе? А этотъ сынъ купца, пасыпокъ кожевеннаго заводчика, отецъ русскаго театра? Помилюйте — надо не уступать французамъ въ умѣнн говорить и писать по-французски и не зная русской орфографіи, надо читать исторію Карамзина во французскомъ переводѣ, чтобы не видѣть въ этихъ явленіяхъ живѣйшаго доказательства самороднаго богатства русскаго духа и русской жизни! И теперь, развѣ не видимъ мы и теперь этихъ самобытныхъ проблесковъ народнаго духа и въ наукѣ, и въ искусствѣ, и въ ремеслахъ? Въ Курскѣ борода не мѣшаетъ считать звѣзды, а въ Воронежѣ прасоловство не мѣшаетъ творить чудные образы и дивные звуки... А откуда, съ какими средствами, съ какимъ подготовленіемъ явился на поприщѣ нашей журналистики тотъ литераторъ, котораго многосторонняя и разнообразная дѣятельность принесла и приноситъ столько пользы нашей литературѣ? Но одна ли литература представляетъ это зрѣлище? А Данилычъ Петра Великаго, который часто удерживалъ на всемъ маху свою дубинку, вспоминая день полтавской викторіи? А Потемкинъ, сперва бѣдный студентъ московскаго университета, а потомъ —

... Славы, счастья сынъ,
Великолѣпный князь Тавриды?

А все это блестящее созвѣздіе, весь этотъ планетный міръ, вращавшійся около лучезарнаго солнца — Екатерины Великой? Этотъ измаильскій герой, выигравшій столько же побѣдъ, сколько давшій сраженій, умѣвшій покорить своей Матушкѣ царства — и пѣть пѣтухомъ, ѣсть сухари и выѣзжать на битву безъ мундира, съ лентой поверхъ рубашки? А этотъ дипломатъ Безбородко, прогулявшій по-русски время работы и прочевшій Матушкѣ дипломатическую бумагу своего сочиненія — на бѣломъ листѣ?.. Неужели во всемъ этомъ нѣтъ самобытности, оригинальности, жизни, движенія, поэтической прелести? И неужели еще наши писатели или люди, почитающіе себя писателями, будутъ жаловаться, что русская жизнь не даетъ содержанія для романа, повѣсти, драмы? Но, слава Богу, это жалкое предубѣжденіе разсеивается все болѣе и болѣе съ того времени, какъ раздался священный голосъ съ престола, повелѣвающій русскимъ быть русскими и возвышающій, что кромѣ самодержавія и православія, всегда бывшихъ и всегда будущихъ сокровеннымъ родникомъ русской жизни, ея твердой опорой и залогомъ ея исполинскаго могущества на страхъ

врагамъ и благо міра да будетъ еще народность и да проникнетъ собою и наше знаніе, и наше искусство, и наши произведенія, и да сообщитъ имъ ту оригинальность и самобытность, безъ которыхъ нѣтъ прочности и дѣйствительности... Появленіе множества романовъ, драмъ и повѣстей съ содержаніемъ изъ русской жизни, опера «Жизнь за Царя», выразившая стремленіе воспользоваться въ ученой музыкѣ элементами народной музыки — все это добро, все это благо и все это есть ручательство и залогъ прекрасной будущности, начало новой, прекрасной жизни. До Петра Великаго русскіе были самобытны, но эта самобытность была непосредственная, односторонняя, отвлеченная и субъективная: она не вытѣсняла все чуждое ей, враждебно отставала себя отъ благодѣтельнаго вліянія чуждыхъ элементовъ, и потому она должна была разрушиться и, впадши въ противоположную крайность, сдѣлаться несправедливой къ самой себѣ. Но это было состояніе переходное, временное, другаго рода односторонность и отвлеченность, — и должно было возбудить реакцію. Міродержавнымъ судьбамъ вѣчнаго Промысла было угодно, чтобы благодѣтельное воздѣйствіе направленію, данному Россіи ея великимъ преобразователемъ, было совершенно его достойнымъ внукомъ, благоговѣнно удивляющимся великому подвигу своего великаго пращура, изъ-за предѣловъ гроба, изъ царства вѣчной жизни и славы съ умиленіемъ взирающаго на его великій подвигъ и благословляющаго его...

Но мы все еще какъ то не привыкли къ мысли, что все великое и истинное только издалека является во всемъ своемъ ослѣпительномъ блескѣ, а вблизи кажется просто и обыкновенно, но что его простота и обыкновенность не должна отрицать его дѣйствительности. Вотъ, на примѣръ, этотъ Волковъ, — будь онъ иностранецъ, его соотечественники давно бы истребили его жизнь на трагедіи, комедіи, драмы, оперы, водеили, романы, повѣсти, сказки; а у насъ нѣтъ даже полной его біографіи, потому что негдѣ взять фактовъ о подробностяхъ его жизни, а многіе не знаютъ его и имени, хорошо зная, какого цвѣта сюртукъ носить де-Бальзакъ, какъ толста его необыкновенная трость и что въ ней заключается. Наконецъ, явился человѣкъ, страстный къ театру и оказавшій ему важныя услуги и своими сочиненіями, и своимъ непосредственнымъ на него вліяніемъ — извѣстный и неутомимый нашъ драматургъ, князь Шаховской, и сдѣлалъ водеиль изъ главнаго момента жизни Волкова. И что же? публика толпами ходитъ смотрѣть эту пьесу, важную, если не по исполненію, то по содержанію? — Ничего не бывало. Я самъ, такъ горько жалующійся на другихъ, увидѣлъ ее въ первый и — послѣдній разъ.

Во-первыхъ: водеиль слѣпленъ и склеенъ косякомъ. Сквозь его водеильныя формы такъ и проглядываетъ старинная классическая комедія. Простоты — никакой. Волковъ говоритъ ужасныя фразы, а его мать, отчимъ и ярославскій голова Корнило Борисевичъ подкакиваютъ ему, вмѣсто того чтобы попросить его объясняться языкомъ болѣе понят-

нымъ для кожевниковъ и градскихъ головъ, особенно того времени. Конечно Иванъ Трофимовичъ Подушкинъ былъ человѣкъ добрый и по своему очень умный; но вѣдь его болѣе всего восхитили облака, которыя сами собою поднимаются и опускаются, и въ представленіи своего пасынка онъ видѣлъ не больше, какъ забавную потѣху: такъ гдѣ же ему было понимать громкія фразы Волкова о значеніи театра и славѣ въ потомствѣ? Надо вещи понимать просто. Когда въ последнемъ актѣ Волковъ читалъ свою длинную и фразистую рѣчь о важности своего подвига, то мы ожидали, что отчимъ и голова остановятся и спросятъ, что за дичь такую несетъ онъ имъ. Ничего не бывало! Они и его превзошли въ риторикѣ. Мать удивлялась дѣлу Волкова, потому что, во-первыхъ, она ничего въ немъ не понимала, а во-вторыхъ, потому что оно было дѣломъ ея разумнаго дѣтища. Впрочемъ противъ этой истины авторъ и не погрѣшилъ; только портретъ этой доброй бабы онъ набросалъ очень блѣдными чертами. Потомъ, къ чему это искаженіе анекдотической истины? Зачѣмъ этотъ Нарыковъ называется Дмитревскимъ, когда еще онъ не былъ имъ? Зачѣмъ эта Груша, которая, вопреки всѣмъ обычаямъ, пускается ломать комедію вмѣстѣ съ мужчинами, тогда какъ и на придворномъ театрѣ долгое время женскія роли выполнялись мужчинами? Но главное, зачѣмъ весь водевиль сметанъ на живую нитку, и въ его Волковъ всего менѣе виденъ Волковъ?

Во-вторыхъ — обстановка. Самаринъ, игравшій Дмитревскаго, былъ одѣтъ какимъ-то баричемъ и игралъ не семинариста, а какого-то барича. Зачѣмъ, вмѣсто моднаго сюртука и воротничковъ à l'enfant, на немъ не было затрапезнаго халата, а на затылкѣ пучка? Богдановъ, игравшій Попова, тоже семинариста, былъ на сценѣ въ томъ, въ чемъ ходитъ всегда, за исключеніемъ чулокъ и башмаковъ, которыхъ семинаристы никогда не носили. Словомъ, въ обстановкѣ пьесы были употреблены всѣ усилія, чтобъ лишить пьесу даже и той правдоподобности, которую могло бы ей придать сценическое представленіе.

Мы не узнали Мочалова въ роли Ѳ. Г. Волкова. Жестикація его была напряженная, сильная до излишества; но одушевленія не было. Многие играли недурно, и къ этому числу надо отнести Соколова и Сабурову: первый игралъ Подушкина, а вторая — его жену, мать Волкова. Вообще же тяжело и скучно было смотрѣть на это длинное и вялое представленіе несообразностей всякаго рода, и только одушевленная, граціозная и естественная игра Рѣпиной оживляла его нѣсколько. Рѣпина умѣла придать значеніе и жизнь самой несообразной роли, и это потому, что она никакой роли не умѣетъ сыграть дурно, какъ бы роль ни была дурна.

А бенефициантъ? Онъ игралъ Ѳаддея Михѣича Михѣева, подъячаго съ прописью, и игралъ — какъ бы вамъ сказать? — ну такъ, какъ бы сыгралъ эту роль всякій актеръ со смысломъ и привычкой къ сценѣ. Въ интермедіи-водевилѣ «Именины благодѣ-

тельнаго помѣщика» онъ отличался въ роли нѣмца, Карла Мартыновича Янсона; но мы не остались на этихъ именинахъ.

Послѣ «Ѳедора Григорьевича Волкова» дакъ былъ водевиль покойнаго Писарева «Хлопотунъ, или дѣло мастера боится». Въ немъ очаровалъ публику М. С. Щепкинъ, въ роли Репейкина, своей живой, одушевленной, пламенной, характеристической игрой, за что и былъ вызванъ публикой, которую онъ такъ хорошо вознаграждалъ за скуку предшествовавшего представленія. Кстати о водевилѣ: теперь нѣтъ уже такихъ водевилей, и, сравнивая его съ нынѣшней водевильной страпней, поневолѣ согласишься, что въ лицѣ Писарева литература наша и театръ понесли чувствительную потерю... Все такъ умно, мило, живо, въ куплетахъ такая острота, такая радужная, блестящая игра ума. Музыка куплетовъ принадлежитъ Верстовскому, — и не надо быть знатокомъ музыки, чтобы съ первыхъ же звуковъ замѣтить, что это не обыкновенная музыкальная болтовня безъ смысла, а что-то одушевленное жизнью сильнаго таланта.

Теперь мы должны отдать отчетъ о представленіи 6 сентября и игрѣ другого петербургскаго артиста, Мартынова, котораго мы увидѣли тутъ въ первый разъ. Этотъ отчетъ для насъ тѣмъ пріятнѣе, что мы будемъ говорить объ истинномъ и большомъ талантѣ, но тѣмъ и строже будетъ наше сужденіе о немъ.

Давался водевиль «Любовное зелье, или цирюльникъ-стихотворецъ», водевиль, разумеется, переведенный съ французскаго. Въ подлинникъ это, должно быть, — милая, легкая, живая, игровая шалость водевильной французской фантазіи; въ переводѣ на русскій языкъ, черезъ Балтійскій портъ, она значительно отсырѣла и потому отяжелѣла. Все дѣло въ томъ, что въ молодую достаточную вдову влюбленъ цирюльникъ, деревенскій франтъ, щеголь, любезникъ, который говоритъ вѣчно въ рѣмъ и потому считаетъ себя стихотворцемъ; потомъ въ эту же вдову влюбленъ молодой пастухъ, который съ деревенской простоватостью и грубостью соединяетъ любящую душу. Какъ цирюльникъ смѣлъ и любезенъ по своему съ прелестной вдовой, такъ пастухъ съ нею робокъ и не развязенъ: твердо рѣшась объясниться съ ней, онъ при видѣ ея робѣетъ и — то не можетъ вымолвить слова, а то говоритъ пошлости. Трактирщица предлагаетъ ему зелье, которое должно сдѣлать его смѣливымъ. Это зелье — шампанское. Онъ пивается его и успѣваетъ въ любви, потому что вдова безъ того его любила. Эту роль игралъ Мартыновъ. Смущеніе при видѣ вдовы, робость въ разговорѣ съ ней, робость до того, что у него захватываетъ духъ, прерывается голосъ, и безъ того дрожащій, — все это было выполнено Мартыновымъ съ истиннымъ артистическимъ талантомъ. Но когда вдова уходитъ со сцены, и онъ начинаетъ проклинать себя за глупую робость передъ ней и утрату счастья цѣлой жизни вслѣдствіе этой глупой робости — мы увидѣли въ Мартыновѣ истиннаго художника. Сквозь эту деревенскую грубость и личную

простоватость Жано Бижу проглядывало столько истинного, глубокого чувства, что онъ намъ казался нисколько не смѣшонъ. хотя и былъ въ высшей степени смѣшонъ. Но въ цѣломъ роль была выполнена Мартыновымъ очень не ровно, не удовлетворительно, чему причиной были несносные фарсы на манеръ Живокини. Если Мартыновъ такими средствами будетъ добиваться рукоплесканій и вызововъ, то не далеко уйдетъ и исказитъ свой прекрасный талантъ, свое сильное и самобытное дарованіе. Бѣда молодому художнику, если онъ, успѣвши обратить на себя вниманіе публики, подумаетъ, что съ его стороны уже все сдѣлано и остается только пожинать лавры рукоплесканій и вызововъ! Талантъ образуется ученіемъ и жизнью и не скоро получаетъ право почитать себя талантомъ: сперва надо поучиться, потрудиться, смотрѣть на себя поскромнѣе... И вотъ самое лучшее доказательство, что расчеты на успѣхъ черезъ фарсы не всегда надежны: Мартыновъ былъ вызванъ послѣ Орловой, игравшей Катерину конечно очень мило, но все-таки игравшей второстепенную роль.

Никифоровъ былъ прекрасенъ въ роли цирюльника. Вотъ дарованіе не большое, не блестящее, но необходимое для нашего театра! Къ тому же Никифоровъ всегда хорошеетъ на своемъ мѣстѣ.

За «Любовнымъ Зельемъ» слѣдовалъ водевилъ Ленскаго «Хороша и дурна, и глупа и умна». Этотъ водевилъ нравится публикѣ, и мы съ нею въ этомъ согласны. Въ самомъ дѣлѣ, Ленскій довольно удачно переложилъ его на русскіе провинціальныя нравы и вывелъ въ немъ помѣщичій бытъ средней руки. Разуѣется, что его трудъ не былъ бы даже замѣченъ безъ дарованій Рѣпиной и Живокини; но при ихъ пособіи онъ пользуется заслуженнымъ и постояннымъ вниманіемъ публики. Въ этомъ водевилѣ только одно лицо никуда не годится: это Александръ Ивановичъ Алинскій, что-то въ родѣ Пирогова Гоголя, только Пирогова сантиментальнаго. То же должно сказать и о выполненіи этой роли: какъ и созданіе ея — оно субъективно. Впрочемъ, когда Алинскій узнаетъ, что Наденька не будетъ его женой вслѣдствіе эгоистической честности его отца, который для щегольства именемъ честнаго человѣка жертвуетъ счастіемъ дочери и уводитъ ее за руку, отказывая Алинскому отъ дому, до самаго времени ея замужества, то Ленскій неожиданно обнаружилъ истинный талантъ — и какой еще! — трагическій! Да, онъ такъ патетически произносилъ роковое и послѣднее прощаніе, такъ порывисто бросился за Наденькой въ двери комнаты, въ которую ее уже увелъ отецъ, что мы невольно подумали: что бы Ленскому попробовать свои силы въ роли Гамлета или Отелло!

Право, въ успѣхѣ нельзя бы сомнѣваться! Именно Ленскій оттого и играетъ на нашей сценѣ такую скромную роль, что выходитъ не въ своихъ роляхъ.

Вообще этотъ водевилчикъ идетъ всегда очень хорошо. Не говоримъ о Рѣпиной, которая создала роль Наденьки гораздо больше, нежели сколько создалъ ее Ленскій. Невозможно играть лучше и совершеннѣе. Это просто значить — сдѣлать все изъ

ничего. Такъ же точно Живокини создалъ роль Падчерщина. Это актеръ съ большимъ дарованіемъ, и если бы онъ сдѣлалъ самъ для себя столько, сколько сдѣлала для него природа, то пошелъ бы далеко и оставилъ бы свое имя въ лѣтописяхъ сценическаго искусства. Потанчиковъ играетъ роль Язуова такъ умно и отчетливо, что хорошеетъ въ ней даже и послѣ Щепкина. Сабурова очень хорошо выполняетъ роль Стапаниды Карповны Язуовой.

Емельяна обыкновенно играетъ Никифоровъ, на этотъ разъ его игралъ Мартыновъ. Общности въ его игрѣ не было, таинственнаго лица мы не видѣли, и вообще эту роль Никифоровъ выполняетъ и забавнѣе, и съ большей характеристичностью; но у Мартынова вырываются нѣкоторыя слова и жесты такъ, что характеризовали всѣхъ возможныхъ Емельяновъ лучше, нежели цѣлое выполненіе этой роли Никифоровымъ. Повторяемъ, у Мартынова есть талантъ — и большой; только онъ еще ученикъ въ искусствѣ, и если не поторопится объявить себя мастеромъ, то далеко пойдетъ...

Было уже поздно, когда кончился этотъ водевилъ, и потому мы не дождались «Ложки перваго яруса», которой заключался спектакль.

Въ воскресенье, 11 сентября, давался «Ревизоръ». Нельзя не поблагодарить дирекцію за тщательную и умную обстановку этой пьесы: нельзя требовать большаго вниманія къ этому великому произведенію драматическаго гения. Мы всегда были довольны обстановкой «Ревизора», но на этотъ разъ замѣтили и еще улучшенія; напр. купцы стали больше походить на купцовъ уѣзднаго городка — и характеристическими бородами, и кафтанамъ; а прежде они были похожи на московскихъ и дорожствомъ, и нарядомъ. Костюмы всѣхъ прочихъ лицъ въ комедіи тоже отличаются характеристикой провинціализма въ высшей степени. Ходъ пьесы отличается удивительной цѣлостію; всѣ актеры, даже играющіе нѣмныя роли, превосходно выполняютъ свое дѣло. Жаль только, что нѣтъ у насъ актера для роли Хлестакова. Ее играютъ въ Москвѣ два артиста — Самаринъ и Ленскій; первый нѣбѣтъ превосходство надъ послѣднимъ въ дарованіи, но наружность второго больше идетъ къ роли.

Наружность Самарина идетъ къ ролямъ Чацкаго, Кассіо, Лаерта; но для Хлестакова ему надо значительно измѣниться, по крайней мѣрѣ въ своихъ приемахъ. Мы увѣрены, что Самаринъ выработался бы для этой роли, и мы скоро увидѣли бы на нашей сценѣ роль Хлестакова, выполняемую съ талантомъ. Ленскій на этотъ разъ дѣлалъ такіе фарсы, что портилъ ходъ всей пьесы.

Щепкинъ — художникъ, и потому для него изучить роль не значить одинъ разъ приготовиться для нея, а потомъ повторять себя въ ней: для него каждое новое представленіе есть новое изученіе. Онъ всегда игралъ городничаго превосходно, по теперъ становится хозяиномъ въ этой роли и играетъ ее все съ большей и большей свободой. Его игра — творческая, гениальная. Онъ не помощникъ автора, но соперникъ его въ созданіи роли. Послѣ него всѣхъ

блестяще выполняетъ свою роль Орловъ; за нимъ долженъ слѣдовать Шумскій, превосходно играющій Добчинскаго. Наравнѣ съ ними должно поставить П. Степанова, превосходно играющаго судью Тяпкина-Ляпкина; Баженовская, играющая слесаршу Пошлепкину, и Соколовъ, играющій купца Абдулина, — тоже превосходны. Отчетливая, умная и даже характеристическая игра Потанчикова въ роли почтмейстера и Румянова въ роли Земляники не мало способствуютъ совершенству хода цѣлаго представленія пьесы. Львова-Синецкая выполняетъ свою роль прекрасно; игра Пановой довольно удовлетворительна. Шубертъ играетъ роль Мишки лучше, совершеннѣе, нежели какъ можно требовать. Прекрасно Максимъ игралъ роль трактирнаго слуги, и намъ очень жаль, что на этотъ разъ она была отдана другому. Мартыновъ игралъ Бобчинскаго очень посредственно; Никифоровъ несравненно выше его въ этой роли. Мы этого не ожидали.

Да, великое созданіе Гоголя на московской сценѣ не только не ровняетъ своего достоинства, — а и это ужъ большая похвала, — но и положительно поддерживаетъ его. Публика московская умѣетъ цѣнить и пьесу, и ея сценическое выполненіе.

Громкія рукоплесканія сопровождали почти каждое слово Щепкина, и единодушный, громкій вызовъ еще прежде, чѣмъ опустился занавѣсъ, показъ, что Щепкина у насъ умѣютъ понимать и цѣнить. Наконецъ и Орловъ дождался давно заслуженной имъ награды: ему громко аплодировали и его громко вызвали тотчасъ послѣ Щепкина. Къ удивленію публики, онъ вышелъ съ Ленскимъ, но громкіе крики «Орлова! Орлова!», встрѣтившіе его, ясно показали ему, кого нужно было публикѣ...

«Царства женщинъ», которымъ заключается спектакль; мы не дождались.

АЛЕКСАНДРИНСКІЙ ТЕАТРЪ.

(Отрывки изъ писемъ москвича.)

I.

Велизарій. Драма въ стихахъ и въ пяти отдѣленіяхъ, перев. съ нѣмецкаго (Ободовскимъ). Спектакль 31-го октября.

..Да, господа, жить безвыѣздно въ Москвѣ и потомъ пріѣхать въ Петербургъ — это значить изъ одного міра перелетѣть въ другой, совершенно на первый не похожій. Я теперь особенно понялъ, какъ смѣшны и нелѣпы споры о превосходствѣ одной столицы передъ другой. Эти споры такъ же дѣтски и неосновательны, какъ споры о превосходствѣ одного гениальнаго произведенія искусства предъ другимъ, тоже гениальнымъ, вслѣдствіе которыхъ если «Гамлетъ» превосходенъ, то «Макбетъ» никуда не годится, и наоборотъ. Нѣтъ, Москва имѣетъ свое значеніе, котораго не имѣетъ Петербургъ, но она такъ же не можетъ замѣнить Петербурга, какъ и Петербургъ ея: каждый изъ этихъ городовъ хорошъ по своему, каждая изъ столицъ лучше другой, каждая одна другой хуже! Я еще не осматрѣлся въ Петербургъ, чему причиной и то, что общность

его такъ сильно и мощно охватила мою душу, что она не въ состояніи сосредоточиться ни на одной частности и разсмотрѣть ее. Хотя Петербургъ въ осеннее и зимнее время не имѣетъ и половины своего значенія, являясь во всемъ своемъ поэтическомъ блескѣ только весной и лѣтомъ. Но я уже заколдовалъ имъ. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только всколыхъ увидѣть Неву, чтобы почестъ себя перенесеннымъ въ какое-то волшебное царство съ крутыхъ береговъ безводной Москвы рѣки... Но мѣръ моего ознакомленія съ частностями Петербурга, я буду постоянно и въ порядкѣ отдавать вамъ отчетъ въ моихъ впечатлѣніяхъ, и теперь же начну это — съ театра.

Не буду распространяться о впечатлѣніи, которое произвела на меня рѣзкая разность Александринскаго театра отъ московскаго Петровскаго, и доказывать, что послѣдній несравненно лучше, великолѣпнѣе и, такъ сказать, столичнѣе; Александринскій и меньше, и тусклѣе; но что мнѣ показалось неоспоримымъ преимуществомъ его передъ Петровскимъ и истинной красотой — такъ это то, что онъ былъ полнехонекъ, что въ немъ не было мѣста пустого; съ Петровскимъ это случается только въ самые блистательные бенефисы любимцевъ московской публики — Мочалова и Щепкина, а чаще всего при представленіи новаго балета съ блестящими декорациями, какъ напримѣръ «Дѣва Дуная», которая только теперь начинаетъ надобѣдать московской публикѣ, обыкновенно предпочитающей декорации и танцы драмъ и ея художественному выполненію... но я заговорился: эта разница не театровъ, а публики обѣихъ столицъ. И эта разница очень рѣзка. Съ перваго взгляда видно, что для петербургской публики театръ совсѣмъ не то, что для московской: для первой онъ необходимость, для второй — развлеченіе. Спрашиваю васъ: много ли въ Петровскій театръ сошло бы народу на новую пьесу неизвѣстнаго автора и переведенную чело-вѣкомъ конечно не безъ дарованія, но совершенно неизвѣстнымъ въ литературѣ, и притомъ когда эта пьеса дается не въ бенефисъ Мочалова или Щепкина, а въ обыкновенный спектакль, и еще — что въ Москвѣ очень важно — не въ воскресный день, а въ будни?.. Обыкновенно московская публика внимательна только мѣстами, когда ее самовластно увлекаетъ могущество вдохновенія артиста и обаятельная сила драматическаго положенія или гениальность сцены; но зато какъ скоро сцена ей не нравится или артисты дурно выполняютъ ее, если бы вы хотѣли внимательно слѣдить за связью и ходомъ пьесы, вамъ не дадутъ этого сдѣлать разговоры, смѣхъ, кашлянье, сморканье и проч. Когда даютъ драму, московская публика смотритъ Мочалова, не думая о драмѣ и какъ будто не замѣчая другихъ артистовъ, участвующихъ въ ней. Для нея драма Шекспира или Полевого, все равно — есть не произведеніе искусства, существующее по себѣ и для себя, а средство для Мочалова показать себя. Въ Петербургѣ, напротивъ: здѣсь пьеса не отдѣляется отъ сценическаго выполненія и столько же заинтересовываетъ публику, какъ и выполненіе.

Какъ бы ни была свѣжа сцена и какъ бы трудно на выполнялся она, ее слушать и смотреть значительно, какъ бы более удивить изъ виду развѣтвля, связь, долгъ и сдѣлать пьесы. Милѣйшій отдѣльный разговоръ или по погѣ возбуждаетъ общее негодование и прерывается шиканьемъ. Какъ бы ни неудаченъ былъ эффектъ, который старается произвести актеръ, но если въ его эффектѣ есть мысль или даже только смыслъ, если по крайней мѣрѣ видно нахѣбленіе со смысломъ—внимательная публика тотчасъ замѣчаетъ это и, сличкомъ снисходительная и благодарная, награждаетъ артиста громкимъ и единодушнымъ аплодисментомъ. Петербургскіе артисты не могутъ пожаловаться на свою публику, и если который изъ нихъ не замѣченъ ею или не пользуется ея благосклонностью—значитъ, что онъ ужъ плохъ. Въ Москвѣ ходить въ театръ большей частью отъ нечего дѣлать, чтобы ничѣмъ кончить день, начатый и продолженный ничѣмъ. Петербургскій театръ выполняется большею частью дѣловымъ народомъ, который, поработавъ въ департаментахъ часовъ семь, заходитъ къ нему не оттого, что проходить мимо, но идти въ него отдохнуть, освѣжиться, и не развлекается, не забавляется, а наслаждается театромъ. Видите ли: дѣловая жизнь не убиваетъ любви къ глянцу, но еще больше развиваетъ и усиливаетъ ее. Не выдаю вамъ всего этого за непреложный фактъ: можетъ быть, больше приглядѣвшись, я принужденъ буду или совѣтъ отступиться отъ такого заключенія о любви петербургской публики къ театру, или много сбавить изъ него; по крайней мѣрѣ то, о чемъ я пишу къ вамъ, я видѣлъ собственными глазами, а не сквозь чужія очки.

Теперь мнѣ надо познакомить васъ съ драмой. Она раздѣлена на пять отдѣленій съ аффектными названіями; въ Петербургѣ это любить, для Москвы же это пустая и фразерская уловка: не знаю, правъ ли Петербургъ, но, какъ истинный москвичъ, я согласенъ съ Москвой... Итакъ, на пять отдѣленій: первое называется «Триумфаторъ». Антонина, жена Велизарія, и Елена, дочь его, говорятъ о скоромъ прибытіи мужа и отца. Дочь замѣчаетъ, что мать не оживлена радостью при мысли о скоромъ свиданіи съ мужемъ, но что, напротивъ, она грустна и таитъ какую то тяжкую мысль. Насказавъ множество общихъ риторическихъ мѣстъ, Елена, сопровождаемая подругой своей, Олимпіей, бѣжитъ по сѣбѣ отцу. Антонина одна на сценѣ, и мы узнаемъ отъ нея, что ея сердце полно ненависти и жажды мщенія противъ Велизарія. У нея былъ сынъ, дитя, котораго Велизарій укралъ у ней, у сонной, и велѣлъ убить; а самъ сказалъ женѣ, что ея дитя внезапно умерло, и что, не ждая усиливаться его горести, онъ велѣлъ его похоронить во время ея сна. Но вотъ недавно, умирая, рабъ открылъ ей, что ея сынъ не умеръ, а былъ похищенъ, и что онъ, по приказанію своего господина, оставилъ его на морскомъ берегу, идъ онъ бѣготливо растерзанъ вѣтрами; что господинъ его сдѣлалъ этотъ варварскій поступокъ въ видѣ одного пророческаго сна, который,

по словамъ астролога, казалъ жать, что сынъ Велизарія дождется и отца своего, и съ ея отчествомъ, Антонина, какъ глупо озабоченная мать, является мужу страшной мести. Входитъ Руфина и Евтропій, братъ Велизарія, и она улаживаетъ съ нимъ о мщеніи. Перемена декораций. Императоръ Активіанъ разспрашиваетъ одного изъ придворныхъ о возведеніи Велизарія въ его триумфальномъ шествіи по столицѣ. Раздаются торжественныя звуки марша, знаменосцы несутъ побѣдныя орлы, цетровой отрядъ конныхъ ведетъ шлемныхъ вандальцевъ, и на торжественной колесницѣ, возомый народомъ, является Велизарій. Сошедши съ колесницы, онъ снимаетъ съ головы лавровый вѣнокъ и полагаетъ его къ ногамъ владыки. Императоръ собственной рукой снова возлагаетъ ему вѣнокъ на голову. Велизарій представляетъ императору шлемниковъ и проситъ ихъ пощады и милости; императоръ даритъ ихъ ему, съ правомъ расплачивать ихъ участью, и уходитъ. Велизарій даритъ шлемниковъ свободой и обещаетъ обезпеченіе ихъ участи: они бросаются къ его ногамъ съ кликами восторженной благодарности. Только одинъ Аламиръ, молодой вандаль, молчитъ. Этотъ Аламиръ дитя, найденное турецкими купцами на берегу моря и проданное ими вандальскому царю, который и воспиталъ его какъ сынъ. На вопросъ Велизарія, отчего онъ не радуется свободѣ, онъ отвѣчаетъ, что онъ хочетъ жить и умереть при немъ. Пѣжная сцена. Декорации переменяются. Велизарій дома; мрачная тоска и смущеніе жены приводитъ его въ смущеніе: она говоритъ ему значительно, что умеръ его любимый рабъ—онъ радуется въ душѣ, что съ этой смертью умерла роковая тайна сыноубійства. Второе отдѣленіе—«Местъ матери». Открывается занавѣсъ и является Аламиръ. Его воспитываетъ Византія, ему хочется быть римляниномъ. Вбѣгаетъ Елена и съ ужасомъ объявляетъ, что ея отца императоръ вошелъ въ сенатъ черезъ нарочнаго. Входитъ Велизарій, и дочь съ ужасомъ нахѣщаетъ его о требованіи императора. Велизарій говоритъ, что ему нечего бояться, что совѣтъ его чиста. Декорации переменяются—мы видимъ сенатъ. Императоръ нахѣщаетъ сенаторовъ о доносѣ на Велизарія въ государственной измѣнѣ, требуетъ суда безпристрастнаго, но и строгого. Является Велизарій и входитъ на сцену Руфина и Евтропій, какъ обвинители. Главное обвиненіе—письмо Велизарія къ женѣ, «Твоя ли это рука?» спрашиваетъ Руфина. «Моя», отвѣчаетъ Велизарій—начинаетъ читать и съ изумленіемъ и ужасомъ видитъ, что выраженія пѣжности дружи и отца перемѣшаны съ фразами о авторѣ для низверженія императора съ трона. «Рука точно моя, но я не писалъ этого!» восклицаетъ Велизарій: «пусть оправдаетъ меня жена!» Входитъ Антонина и подтверждаетъ справедливость доноса Руфина и Евтропія; приведенный въ удивленіе и ужасъ, Велизарій проситъ ее быть справедливой именемъ Бога и святости ихъ брачнаго союза. Тогда Антонина вполголоса говоритъ ему, что это—местъ матери, что умирившій рабъ ей все открылъ. Но уходя

Антонины Велизарій признается въ преступленіи сыноубійства, въ которомъ его никто не обвинялъ и за которое поэтому не могутъ и судить, какъ еще кромѣ того за преступленіе частное, семейное и учиненное для блага отечества и государя. Но ничто не помогаетъ—и Велизарій, не дожидаясь рѣшенія императора и сената, велитъ подать себѣ цѣпи и идетъ въ темницу. Не помню хорошенъко, въ этомъ или въ слѣдующемъ отдѣленіи приходятъ къ императору представители войска, чтобы просить у него помилованія Велизарію отъ смертной казни. Императоръ соглашается перемѣнить смерть на изгнаніе и значительнымъ голосомъ предписываетъ Руфиму и Евтропію позаботиться, чтобы Велизарій никогда не могъ увидѣть его лица. Руфинъ истолковываетъ повелѣніе императора буквально,—и при перемѣнѣ декорацій является Велизарій слѣпой и въ рубищѣ. Какой-то мальчикъ вызывается быть ему вожатымъ, онъ проситъ его сбѣгать въ домъ, чтобы сказать о немъ слово дочери его Еленѣ, и узнаетъ, что этотъ мальчикъ-вожатый—его дочь. Сцена въ чувствительно-патетическомъ родѣ нѣмецкихъ мелодрамъ. Между тѣмъ Антонина, насытивъ свою месть, приходитъ въ раскаяніе, свирѣпствуетъ и впадаетъ въ помѣпательство. Императоръ начинаетъ подозрѣвать Руфина и Евтропія, тѣмъ болѣе, что Аланы сдѣлали вторженіе въ имперію и съ малымъ числомъ войска разбили на голову огромное войско, порученное Руфину. Между тѣмъ Велизарій приходитъ въ одну деревню; Елена оставляетъ его одного, чтобы поискать ему питья,—и онъ слышитъ о себѣ разговоръ крестьянъ, изъ которыхъ одинъ поетъ романсъ Мерзлякова. Другой крестьянинъ, нѣкогда служившій подъ его знаменами, узнаетъ его — трогательно-патетическая сцена. Далѣе Велизарій встрѣчается съ крестьянами, которые въ ужасѣ бѣгутъ отъ перваго отряда Алановъ. Наконецъ онъ встрѣчается съ Октаромъ, начальникомъ Алановъ, и съ Аламиромъ, который, горя мщеніемъ за Велизарія, воздвигнулъ Алановъ противъ имперіи. Посредствомъ разныхъ мелодраматическихъ шутекъ и штучекъ, какъ-то: цепенюкъ, родинюкъ, бородавокъ и т. п., Велизарій узнаетъ, что Аламиръ—сынъ его. Октаръ предлагаетъ Велизарію принять начальство надъ его Аланами, чтобы вмѣстѣ съ нимъ и съ Аламиромъ идти въ Византію. Велизарій, разумѣется, отказывается; тогда Октаръ объявляетъ Аламира своимъ плѣнникомъ. Велизарій говоритъ, что онъ скорѣе поразитъ сына собственной рукой, нежели допустить его сдѣлаться врагомъ отечеству,—и въ самомъ дѣлѣ заноситъ кинжалъ надъ грудью сына; но, тронутый такимъ великодушіемъ, Октаръ отпускаетъ ихъ обоихъ, и только старается взять съ Велизарія слово не брать начальства надъ императорскими войсками, въ чемъ тотъ, разумѣется, начисто ему отказывается. Между тѣмъ императоръ призываетъ къ себѣ Антонину, желая разсѣять свои подозрѣнія о невинности Велизарія и тревогу своей совѣсти, что онъ осудилъ невиннаго; Антонина во всемъ признается и въ присутствіи императора уличаетъ Руфина въ под-

дѣлкѣ подъ руку Велизарія. Императоръ допрашиваетъ Евтропія и заставляетъ его открыть истину; обоихъ ихъ онъ отсылаетъ на казнь. Велизарій подлѣ Византіи. Народъ бѣжитъ въ смятеніи отъ передовыхъ отрядовъ варварскаго войска и встрѣчаетъ Велизарія; нѣкоторые узнаютъ его. Протогенъ и Леонъ, начальники императорской гвардіи, идутъ съ отрядомъ войска, неся въ рукахъ военачальническія регалии; они разспрашиваютъ у народа, не выдалъ ли кто слѣпота Велизарія, и, увидѣвши его въ толпѣ, объявляютъ его, именемъ императора, главнымъ вождемъ войска, увѣдомляютъ о раскаяніи императора и казни клеветниковъ. При крикахъ восторженной толпы Велизарій надѣваетъ на себя шлемъ, беретъ въ руки жезлъ военачальника и уходитъ. Вы думаете, что тутъ и конецъ трагедіи: нѣтъ, до конца еще далеко. Приходитъ императоръ и разглагольствуетъ съ Еленой. Зачѣмъ и какъ-то приходитъ сошедшая съ ума Антонина и очень нелѣпо начинаетъ свирѣпствовать. Потомъ приходитъ вѣстникъ или наперстникъ и возвѣщаетъ, что Велизарій одержалъ побѣду надъ варварами. Далѣе кто-то доноситъ, что Аламиръ убитъ и самъ Велизарій опасно раненъ. Наконецъ несутъ умирающаго Велизарія, и Антонина опять начинаетъ свирѣпствовать въ самомъ смѣшномъ смыслѣ этого слова; но, къ удовольствію зрителей, она скоро умираетъ. Оставшіеся въ живыхъ ждутъ, пока умретъ Велизарій, разглагольствуя риторическими фразами; Велизарій умираетъ—и они перестаютъ мучить публику нескончаемой болтовней.

Уфъ! насилу досказалъ!.. Очень ясно, что это не трагедія, не драма, а мелодрама въ чувствительно-нѣмецкомъ родѣ. На сценѣ она хороша, но читать ее нѣтъ возможности; да и на сценѣ она хороша только по милости Каратыгина 1-го, и еще была бы лучше, если бы не была растянута и начинена для связи бездушными сценами. Какъ во всѣхъ дюжинныхъ посредственностяхъ такого рода, въ этой драмѣ каждое лицо не дѣйствуетъ, а говоритъ за себя, то-есть описываетъ свои качества и обстоятельства. Злодѣи смѣшны, пошлы до послѣдней крайности. Характеровъ нѣтъ. Всѣхъ хуже лицо Юстиніана. Это какой-то добрякъ, котораго всѣ обманываютъ. Переводъ хорошъ—Ободовскій владѣетъ стихомъ; только мы совѣтовали бы ему избѣгать шестипаго ямба, который такъ, для слуха и для уха, напоминаетъ классическія трагедіи Сумарокова и Хераскова съ братіей.

Вообще эта пьеса для сцены такъ хороша, какъ вѣроятно не надѣялся ни самъ авторъ, ни переводчикъ,—и это дѣло Каратыгина, выполняющаго роль Велизарія. Каратыгинъ принадлежитъ къ числу тѣхъ художниковъ, которые въ высшей степени постигли внѣшнюю сторону своего искусства. Я никому не навязываю моихъ убѣжденій, но не отказываю себѣ въ правѣ имѣть свои убѣжденія и открыто выговаривать ихъ: я не пойду смотрѣть Каратыгина въ роли Гамлета, которую онъ играетъ искусно, но въ которой я требую отъ актера, кромѣ искусства, еще кой-чего такого, чего мнѣ не можетъ

дать Каратыгинъ; я не пойду смотрѣть въ роли Лира ни Мочалова, ни Каратыгина, потому что въ первомъ можетъ быть увижу Лира, но только Лира, а не короля Лира, а во второмъ—только короля, но не Лира короля; я не пойду смотрѣть на Каратыгина въ роли Отелло, потому что ровно ничего не увижу, но всегда пойду смотрѣть Мочалова въ этой роли, потому что если иногда тоже ничего не увижу, зато иногда много увижу, точно такъ же, какъ всегда пойду смотрѣть Мочалова въ роли Гамлета, потому что всегда увижу что-нибудь великое, а часто и много великаго; но я никогда не пойду смотрѣть Мочалова въ роли Лейчестера, Людовика XI, Велизарія, и всегда пойду смотрѣть въ этихъ роляхъ Каратыгина. Игра Мочалова, по моему убѣжденію, иногда есть откровеніе тайнства, сущности сценическаго искусства, но часто бываетъ и его оскорбленіемъ. Игра Каратыгина, по моему убѣжденію, есть норма внѣшней стороны искусства, и она всегда вѣрна себѣ, никогда не обманываетъ зрителя, вполне давая ему то, что онъ ожидаетъ, и еще больше. Мочаловъ всегда падаетъ, когда его оставляетъ его вулканическое вдохновеніе, потому что ему, кромѣ своего вдохновенія, не на что опереться, такъ какъ онъ пренебрегаетъ технической стороной искусства; поэтому онъ всегда падаетъ и тамъ, когда берется за роли, требующія отчетливаго выполненія, искусства—въ техническомъ смыслѣ этого слова. Каратыгинъ за всякую роль берется смѣло и увѣренно, потому что его успѣхъ зависитъ не отъ удачи вдохновенія, а отъ строгаго изученія роли: поэтому онъ падаетъ только въ роляхъ и сценахъ, требующихъ по своей сущности огненной страсти, трепетнаго одушевленія, какъ въ Отелло; но его паденіе видно не толпѣ, а немногимъ знатокамъ искусства. Оба эти артиста представляютъ собой двѣ противоположныя стороны, двѣ крайности искусства, и оба они—представители нашихъ столѣтій, со стороны вкуса и направленія публики. Оба они достойны того уваженія и той любви, которыми пользуется каждый на своей родной сценѣ. Безъ вдохновенія нѣтъ искусства; но одно вдохновеніе, одно непосредственное чувство есть счастливый даръ природы, богатое наслѣдство безъ труда и заслуги; только изученіе, наука, трудъ дѣлаютъ человѣка достойнымъ и законнымъ владѣльцемъ этого чисто случайнаго наслѣдства;—и они же утверждаютъ его дѣйствительность, а безъ нихъ оно и теряется, и проматывается. Изъ этого ясно, что только изъ соединенія этихъ противоположностей образуется истинный художникъ, котораго, напримѣръ, русскій театръ имѣетъ въ лицѣ Щепкина. Односторонности сами по себѣ не удовлетворительны. Что мнѣ за радость видѣть умное, отчетливое, но холодное выполненіе роли Отелло, въ которой можно простить неровности, промахи, неудачи, но въ которомъ нельзя простить недостатка бушующей, опустошительной страсти африканскаго тигра и великаго человѣка виѣсть?.. Съ другой стороны, что мнѣ за радость, увидѣвши въ патетической сценѣ Лира съ дочерью истинно оскорбленнаго

отца-короля, видѣть потомъ какого-то мѣщанина, который силится увѣрить, что будто онъ король!.. Впрочемъ въ историческомъ развитіи искусства односторонности имѣютъ свое значеніе, и потому будемъ желать, чтобы московскій Мочаловъ не переставалъ, какъ Весталка, хранить священный огонь сущности своего искусства, безъ которой нѣтъ искусства, а есть только умѣнье; и пусть петербургскій Каратыгинъ не перестаетъ показывать, что такое художественность формы, безъ которой и истинное искусство недостаточно и неполно...

Каратыгинъ создалъ роль Велизарія. Онъ является на сцену Велизаріемъ и сходитъ съ нея Велизаріемъ, а Велизарій, котораго онъ игралъ, есть великій человѣкъ, герой, который до своего ослѣпленія является грозой готовъ и вандаловъ, хранителемъ христіанскаго міра противу враговъ, а послѣ ослѣпленія

... Видитъ въ памяти своей
Народы, вѣки и державы.

Я—врагъ эффектовъ, мнѣ трудно подпасть подъ обаяніе эффекта; какъ бы ни былъ онъ изященъ, благороденъ и уменъ, онъ всегда встрѣтитъ въ душѣ моей сильный отпоръ, но когда я увидѣлъ Каратыгина-Велизарія, въ триумфѣ везомаго народомъ по сценѣ въ торжественной колесницѣ, когда я увидѣлъ этого лавровѣнчаннаго старца-героя, съ его сѣдой бородой, въ царственно скромномъ величіи, — священный восторгъ мощно охватилъ все существо мое и трепетно потрясъ его... Театръ задрожалъ отъ взрыва рукоплесканій... А между тѣмъ артистъ не сказалъ ни одного слова, не сдѣлалъ ни одного движенія—онъ только сидѣлъ и молчалъ... Снимаетъ ли Каратыгинъ вѣнокъ съ головы своей и полагаетъ его къ ногамъ императора, или подставляетъ свою голову, чтобы тотъ снова наложилъ на нее вѣнокъ—въ каждомъ движеніи, въ каждомъ жестѣ виденъ герой Велизарій. Словомъ, въ продолженіе цѣлой роли благородная простота, геройское величіе видны были въ каждомъ шагѣ, слышны были въ каждомъ словѣ, въ каждомъ звукѣ Каратыгина; переходъ вами безпрестанно являлось несчастье въ величіи, ослѣпленный герой, который.

... Видитъ въ памяти своей
Народы, вѣки и державы...

Мы не будемъ въ подробности разбирать игры и замѣчать лучшія мѣста. Скажемъ только, что сцена, гдѣ поется романсъ Меразюкова, была исполнена такого неотразимаго поэтическаго обаянія, о которомъ нельзя дать словами никакого понятія,—и это опять было дѣло Каратыгина: сѣдой герой, лишенный зрѣнія, сидѣлъ на пнѣ дерева и лицомъ, движеніями головы и рукъ выражалъ тѣ грустно-возвышенныя ощущенія, которыя производилъ въ немъ каждый стихъ романса, цѣлага о немъ крестьяниномъ, не подозрѣвавшимъ, что его слушаетъ самъ тотъ, о комъ онъ пѣлъ... Превосходная сцена!.. Самъ романсъ хотя по недостатку художественности и сдѣлался нѣсколько тѣмъ, что свѣтскіе люди называютъ

mauvais genre, но въ немъ такъ много чувства, души, нѣкоторые стихи такъ удачны, а музыка такъ прекрасна, что его нельзя слушать безъ восторга и умиленія.

2.

...Былъ въ Академіи художествъ и видѣлъ остатки выставки. Говорю «остатки», потому что большая часть картинъ, и притомъ лучшихъ, уже была вынесена; осталось нѣсколько посредственныхъ произведеній, да еще портретовъ, которые, право, никакъ не могу понять, съ какой стороны относятся къ искусству... Искусство есть творчество, а списать вѣрно портретъ, т. е. скопировать съ натуры лицо человѣка, — совсѣмъ не значить что-нибудь создать. Конечно по портретамъ можно судить, до какой степени совершенства достигъ тотъ или другой господинъ (не могу сказать «художникъ»: портретистъ совсѣмъ не художникъ, а развѣ мастеръ) въ технической части искусства, которая, взятая сама по себѣ, отнюдь не есть искусство, а развѣ мастерство. — Вообще, соображаясь съ слухами и съ статьей «Сѣверной Пчелы», выставка была посредственная, въ которой очень немного было примѣчательнаго, и кажется, ровно ничего превосходнаго. Видѣлъ «Послѣдній день Помпей», и пока ничего не могу сказать объ этомъ произведеніи ни рго, ни сонга, потому что оно не произвело на меня никакого опредѣленнаго впечатлѣнія. Надо еще будетъ посмотреть да поизучить. Я всегда питалъ необходимое отвращеніе къ этимъ пустымъ и легкимъ судьямъ всего великаго, этимъ аматерамъ-Хлестаковымъ, которые легко судятъ о тяжелыхъ вещахъ, которые, постоявъ минуты двѣ съ своимъ лорнетомъ передъ картиной, объявляютъ рѣшительно дурнымъ можетъ быть великое созданіе, плодъ жаркихъ молитвъ, святаго вдохновенія, многихъ дней и ночей безъ сна и пищи, — объявляютъ его дурнымъ потому только, что оно имъ не понравилось и не произвело на нихъ сильнаго впечатлѣнія съ перваго раза; которые не понимаютъ, что иногда самое великое произведеніе потому именно и не доступно для скорого постиженія, что слишкомъ велико, что носить на себѣ отпечатокъ божественной простоты, а не блистать поразительными эффектами; что оно наконецъ требуетъ долговременнаго и добросовѣстнаго изученія!.. Но этимъ господамъ все тринь-трава: съ судейской важностью и свѣтской легкостью готовы судить хоть о тяжелыхъ трудахъ, напримѣръ, какого-нибудь Гегеля, и его философію — плодъ глубокой, всеобъемлющей учености, дѣятельной и многотрудной жизни, безкорыстно посвященной исключительному служенію истинѣ — пожалуй, въ одну минуту объявятъ недостаточной, хотя и не лишенной достоинствъ, эфемернымъ, хотя и замѣчательнымъ явленіемъ, — они, которые не имѣютъ на это никакихъ правъ, приобретаемыхъ трудомъ и изученіемъ, — они, которые не знаютъ даже, въ какомъ форматѣ изданы творенія великаго мыслителя, и что распространеніе его ученія составляетъ теперь жизнь цѣлой Германіи и есть

фактъ современной исторіи человѣчества... Богъ съ ними, съ этими господами!.. Постараемся не увлекаться безотчетнымъ уваженіемъ къ авторитетамъ и чужимъ мнѣніямъ, но также и не будемъ безотчетно увлекаться слѣпой довѣренностью къ собственнымъ впечатлѣніямъ, которыя часто бываютъ обманчивы, и къ собственнымъ мнѣніямъ, которыя вслѣдствіе этого еще чаще бываютъ ошибочны. И потому прошу не принимать моихъ словъ о картинѣ Брюлова за сужденіе, которое я позволю себѣ произнести только тогда, когда много часовъ будетъ проведено мною въ безмолвномъ созерцаніи этого произведенія, пользующагося такой громкой славой. Выбѣтъ съ вами смотрѣлъ я въ Москвѣ на «Прометей» Доминикина и вышелъ изъ залы съ какимъ-то неопредѣленнымъ и тяжелымъ чувствомъ, съ затаенной досадой и на себя, и на картину; а теперь эта картина не отстаетъ отъ меня, какъ будто я сто разъ видѣлъ ее, какъ будто и теперь еще стою передъ ней и теперь еще вижу передъ собой эту перепрокинутую фигуру, изъ судорожно-раствореннаго рта которой, слышится, исходятъ глухіе стоны, извергающіеся изъ груди, а не изъ горла, — а на челѣ, сморщенномъ и напряженномъ отъ невыразимаго страданія, какъ свѣтлый лучъ въ глубокомъ мракѣ, проблескиваетъ торжество побѣды... Кстати: въ залѣ академіи я видѣлъ «Причащеніе св. Іеронима» Доминикина же: вотъ предметъ-то для наслажденія и изученія!.. Много, много придется мнѣ писать къ вамъ!.. Картина Бруни «Моленіе о чашѣ» не произвела на меня особеннаго впечатлѣнія. Мнѣ кажется, что въ лицѣ Спасителя только страданіе и невольная страдальческая покорность, а не божественность; положеніе всей фигуры нѣсколько изысканно, а чаша въ воздухѣ гораздо больше говоритъ о содержаніи картины, нежели лицо и положеніе Искушителя. Въ лицѣ Богочеловѣка должны быть схвачены два момента — человѣческій, какъ выраженіе страданія: «Прискорбна есть душа моя до смерти, Отче мой, аще возможно есть, да мимо иду отъ мене чаша сія»; и божественный, какъ выраженіе побѣды и торжества духа надъ плотію: «Обаче не яко азъ хочу, но яко же ты». Великій предметъ, предъ которымъ смирится и устрашится фантазія самаго великаго, самаго гениальнаго художника!.. Въ Эрмитажѣ еще не былъ, впереди еще много наслажденій, много писемъ къ вамъ во исполненіе обѣщанія отдавать вамъ самый подробный отчетъ во всемъ, чѣмъ поразитъ и усладитъ меня сокровища искусства, хранящіеся въ Петербургѣ. Теперь же снова обращаюсь къ предмету не столь высокому и поэтическому, не столь поразительному и усладительному — къ Александринскому театру... Въ первомъ письмѣ моемъ къ вамъ я показывалъ вамъ Александринскій театръ со стороны драмы, теперь покажу вамъ его со стороны комедіи и водевиля. Эта пѣсня будетъ еще заунывной, благодаря моему московскому варварству... Неприятно, господа, быть въ положеніи скива, вдругъ очутившагося въ Афинахъ; но не хочу и притворяться, а останусь скивомъ, варваромъ, однимъ словомъ —

москвичи... Раньше театры обилие выхаживать сто- лить еще из канцелярии: из тѣх и других отъ таланты и иные великіе, въ тѣх еще сцениче- ского искусства, которые состоятъ из сценическихъ представлений, из тѣх, что называются сценика, и безъ чего нѣтъ сценическаго искусства, а можетъ быть только развѣ стремленіе къ нему. Бому это показаться странно или даже нелепо, тому событію побывать въ петербургскомъ Михайловскомъ те- атрѣ... Но объ этомъ я скоро буду писать къ вамъ, а пока покажу, тѣмъ болѣе, что это будетъ цѣлая исторія, только совершенно въ другомъ родѣ—печа- лия событія на другой тонъ и ладъ... Но въ какомъ бы ни были состояніи наши театры обилие столицы, однако между ними есть разница. Не берусь вамъ показывать ее, но попробую наметнуть, какъ я уже и сдѣлалъ это въ первомъ моемъ письмѣ къ вамъ. Какъ истинные москвичи, вы знаете, въ чемъ раз- ница между Мочаловымъ и Баратынинымъ; подоб- ная же разница есть и между Щепкинымъ и Со- сницкимъ, не въ томъ смыслѣ, чтобы Щепкинъ своими недостатками походилъ на Мочалова и ни давалъ надъ собой верхъ Сосницкому, а въ томъ, что, оставляя въ сторонѣ неумѣстный споръ о сте- пени таланта того и другого артиста, нельзя не со- знаваться, что и у Сосницкаго есть своя сторона превосходства надъ Щепкинымъ, общая всему пе- тербургскому. Если дочтете до конца это письмо, то увидите, о чемъ я говорю, и можете быть согласи- тесь со мной, хотя съ перваго раза вамъ и пока- жется дикимъ такое мнѣніе со стороны чистаго москвича. Итакъ, въ драмѣ ни Москвѣ передъ Пе- тербургомъ, ни Петербургу передъ Москвою вели- чаться нечѣмъ: у насъ (т. е. у москвичей) Моча- ловъ—здѣсь Каратыгинъ; у насъ Львова-Синец- кая—здѣсь Каратыгина; у насъ Орлова—здѣсь Асенкова; у насъ Козловскій—здѣсь Толчеповъ; у насъ Самаринъ—здѣсь Леонидовъ; у насъ въ тра- гедіи является иногда Щепкинъ—здѣсь Брянскій, а иногда и Сосницкій. Что касается до Живокина—здѣсь Мартыновъ, и какъ онъ еще молодъ, и можно надѣяться, что будетъ совершенствоваться, то едва ли не Москва должна завидовать Петербургу. Вотъ вамъ данныя для сужденія—выводите сами резуль- таты. Вообще въ петербургскомъ театрѣ есть слѣ- дующая странная особенность отъ московскаго: здѣсь какая-то общность, такъ что иногда не раз- берешь, чѣмъ разнятся между собою Каратыгинъ и Асенкова, и даже другіе, когда хорошо звучать роль и приготовятся, тѣмъ болѣе, что публика Александринскаго театра равно въ восторгѣ отъ тѣхъ и другой и третьихъ; въ Москвѣ же, напро- тивъ, какая-то неровность—то гора или холмъ, то совершенная плоскость: Мочаловъ и Щепкинъ не- измѣримо высятся и резко отличаются отъ вто- ростепенныхъ актеровъ; второстепенные прекрас- ны, третьестепенные удовлетворительны, а кто за ними—смотреть нельзя, хоть зажмурь гла- за или бѣги вонъ изъ театра; тогда какъ здѣсь объ этомъ и не догадываешься, что онъ изъ плохень- кихъ, потому что и говорить со смысломъ и съ

уверенностью, и ходитъ на сцену по-самоему себѣ...

Въ дѣлѣ обилия столицъ тоже большая раз- ница. Не говорю о дѣлѣ Михайловскаго театра это сообщитъ другой шри, а шри прекрасный, кото- му это сюда собирается только лиза, которая при- ходитъ наслаждаться сценическимъ искусствомъ, люди, которые не любятъ лизать и кричать, скупа- тель въ Михайловскомъ театрѣ нѣтъ райка—важныя обстоятельства! Но о публикѣ Михайловскаго теат- ра послѣ Московскаго публику можно раздѣлить на три разряда: во-первыхъ, на москвичку, для ко- торой дается по воскресеньямъ «Семьдесятъ шестъ», «Жизнь игрока», «Сонинъ-Шуфрей» и даже драмы Шекспира, и которая нѣмѣя вымысла, нѣмѣя гротеско хлопаетъ, всегда вымысляетъ Орлову, и рын- но вымысляетъ Мочалова и Санина; потомъ публику бенефисную, для которой бенефисы—президиумъ, и которая ужъ непремѣнно вымысляетъ бенефисанта, если только онъ не Козловскій; наконецъ публику, преимущественно собирающуюся на второстепен- ныхъ пьесахъ, если бенефисъ нѣтъ, а если нѣтъ успѣха, и вообще поощающую пьесу только по вы- бору. Въ Александринскомъ театрѣ публика всегда одна и та же, большей частью состоитъ изъ ахолого и рабочаго народа, которому послѣ официальныхъ бумажекъ всякій слогу хорошъ. Оттуда протекаетъ ее безпримѣрная снисходительность: за нее хорошее она благодаритъ съ такимъ же энтузіазмомъ, какъ и за преносходное, а ко пѣту слабому, посредствен- ному и дурному она до того терпима, что ошкан- ная ею пьеса или ошканный актеръ уже рѣшитель- но нигуда не годны. Она говоритъ съ восторгомъ объ Аланпѣ, похищается Каратыгинымъ и Сосницкимъ, и театръ дрожитъ отъ ея рукоплесканій и ея «брав- во», когда Асенкова покажется передъ нею въ муж- скомъ платьѣ, а иногда и въ женскомъ. Она очень любитъ драму, но отъ Шекспира вообще скупается, потому, разумеется, что онъ дурно переносится и еще хуже играетъ; но она очень одобряетъ проми- веденія отечественныхъ талантовъ, наковы напр. Поленой и Коронкинъ, усердные и неустанными дра- матурги, особенно ею любимые. Но она и въ ничъ будетъ неумолимо строга, если бы они являли долж- ное уваженіе къ просвѣщенному и образован- ному вкусу и рѣшились являть съ фараисейскъ ро- дѣ «Филатокъ и Миронскъ» или «Шиняномскъ» и «Послѣднихъ дней Помпеи». Москвенныя публики умѣреннѣе въ своихъ восторгѣхъ, да и смущѣн- ныя: если она и вымысляетъ актера по пѣснолю разъ, то это не иначе, какъ по воскресеньямъ, и то не больше четырехъ разъ въ одинъ спектакль. Кро- мѣ того въ Москвѣ, если напр. Мочаловъ играетъ дѣйствительно превосходно, то рукоплесканія пу- блики громче и единодушнѣе, но рѣже, и ея восторги иногда выражаются какими-то торжественными без- молвіемъ, въ которомъ слышится изумленіе, чуждость, и которое для иного артиста дѣлится кинжальскъ по- лемъ и хлопаями. Что нѣтъ удивительнаго, въ москвен- скомъ Петровскомъ театрѣ такіа явленія близки даже и по воскресеньямъ динуть.

3.

Заколдованный домъ. Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, съ танцами, соч. Ауфенберга, переведенная съ нѣмецкаго П. Г. Ободовскимъ. — Чего на свѣтъ не бываетъ, или что у кого болить, тотъ о томъ и говоритъ. Водевиль въ одномъ дѣйствіи, сюжетъ заимствованъ изъ старинной комедіи, и проч. — Спектакль 14 декабря)

(Изъ письма москвича.)

...Давно уже слышалъ я, что Каратыгинъ превосходитъ въ «Заколдованномъ домѣ» въ роли Людовика XI. Кажется, эта пьеса давалась и на московской сценѣ, но мнѣ не случилось ее видѣть. Поэтому мнѣ очень хотѣлось узнать, какъ изображенъ въ ней характеръ Людовика XI, такъ дивно созданный гениальнымъ Вальтеръ Скоттомъ, а прекрасное выполненіе роли Велизарія Каратыгинымъ еще болѣе усиливало мое желаніе.

Много наслышавшись отъ всѣхъ объ игрѣ Каратыгина въ роли Людовика XI, я многого и ожидалъ; но увидѣлъ еще болѣе, и спѣшу подѣлиться съ вами моимъ восторгомъ.

«Заколдованный домъ» передѣланъ изъ извѣстной повѣсти Балъзака «Maitre Cornélius», и передѣланъ такъ хорошо, что вышла прекрасная драматическая пьеса, а не пошлая нѣмецкая штука съ чувствительными эффектами. Не буду вамъ рассказывать ее содержаніе, которое извѣстно всѣмъ видѣвшимъ ее на сценѣ или читавшимъ повѣсть Балъзака. Скажу только, что Людовика XI очень удачно въ ней очеркнутъ, если не созданъ, и что онъ, особенно благодаря превосходной игрѣ Каратыгина, живо напоминаетъ историческаго Людовика XI, кровожаднаго, жестокаго, мстительнаго, забавлявшагося мученіями своихъ жертвъ, какъ кошка мышью, скупого, формально-набожнаго, внутренне безрелигіознаго и безнравственнаго и, какъ всѣ люди безъ истинной религіозности, въ высшей степени суевѣрнаго; но вмѣстѣ съ этимъ характера могучаго, воли исполнискон, словомъ — страшнаго орудія для осуществленія блага путемъ зла. Каратыгинъ какъ бы переродился въ этой роли — его нельзя было узнать, хотя мѣстахъ въ двухъ, жертвуя истинному эффекту, онъ и измѣнялъ своей роли, и изъ Людовика XI становился Каратыгинымъ. Но такъ какъ это были какія-нибудь два мгновенія на три часа превосходной игры, то лавръ подвига и остается за нимъ безспорно. Игру его невозможно характеризовать словами, и надо видѣть, чтобы понять и оцѣнить верхъ драматическаго искусства и торжество его таланта, являющагося въ этой роли въ своемъ апогеозѣ. Дряхлый старикъ, страдающій всѣми недугами — плодомъ буйно-проведеннаго молодости, непрерывно напряженнаго и неестественнаго состоянія духа; король-плебей, который одѣтъ съ мѣщанской простотой, безпрестанно шутить, какъ какой-нибудь добрый гражданинъ своего «добраго» города Парижа, но сквозь внѣшній плебейзмъ котораго ни на минуту не перестаетъ проблескивать лучъ царственнаго достоинства, даваемого

правомъ рожденія и привычкой повелѣвать съ младенчества. Онъ окруженъ людьми низкаго званія, которые, по своей ограниченности, приписываютъ благосклонность къ нимъ короля личнымъ своимъ достоинствамъ и мнимой родственности съ духомъ короля, не понимая его глубокаго плана униженія дворянства для возвышенія и сплавленія воедино разединенной Франціи. Таковъ Каратыгинъ въ этой роли! Въ каждомъ словѣ, каждомъ жестѣ вы видите характеръ историческаго Людовика XI. Посмотрите, какъ онъ согнулся, какъ часто кашляетъ, задыхается, какъ медленна и слаба его походка, какое каварство въ его будто бы простодушномъ смѣхѣ, какъ онъ все видитъ, притворяясь, что ничего не видитъ, какъ онъ умѣетъ прикинуться обманутымъ, чтобы вдругъ и врасплохъ схватить свою жертву и заставить ее во всемъ сознаться; замѣтьте, какъ ужъ черезчуръ обыкновененъ его языкъ, простонародны манеры, грубы шутки, и какъ сквозь все это виденъ король, знающій, что онъ — король, увѣренный въ своемъ могуществѣ, въ силѣ своего ума и непреклонности воли! — Вотъ вамъ игра Каратыгина, если это дастъ вамъ о ней хоть какое-нибудь понятіе! — Но вотъ, вѣрный духу своего вѣка, онъ отказывается отъ любимаго кушанья, отъ рюмки вина, потому что его врачъ запрещаетъ ему это, грозя, въ случаѣ непослушанія, скорой смертью... И онъ повинуется ему, какъ дитя, не догадывается, при всей хитрости и тонкости, что врачъ этимъ мститъ ему за презрѣніе, которымъ онъ безпрестанно клеймитъ его, равно какъ и всѣхъ своихъ тварей; онъ хорошо знаетъ имъ цѣну, и издѣвается надъ ними — его любимая забава! При словѣ «Богъ», «покаяніе», «смерть» — онъ набожно снимаетъ свою шапку съ оловянными изображеніями святыхъ, — и въ то же время съ шуточками и островами посылаетъ на ужасную пытку юношу, любимаго его дочерью, которую онъ любитъ со всей отеческой нѣжностью. Онъ знаетъ свои грѣхи, боится страшнаго суда, но проситъ у Бога еще двадцати лѣтъ жизни для блага Франціи, которая стонетъ отъ его жестокостей. Все это я говорю не отъ себя, не отъ исторіи, не отъ пьесы даже, а изъ того, что я увидѣлъ отъ Каратыгина, или, лучше сказать, что показалъ мнѣ Каратыгинъ...

Дивное искусство!..

Всѣ говорятъ, что у Каратыгина всегда превосходно выходитъ то мѣсто, гдѣ графъ Аймаръ Севалье отказывается подписать свою разводную съ побочной дочерью короля, говоря, что развести его съ женой можетъ только папа, на что Людовикъ XI отвѣчаетъ ему:

Здѣсь императоръ твой и папа!

Въ самомъ дѣлѣ, согбенный станъ престарѣлаго и больнаго вѣщевосца выпрямился, принявъ гордое положеніе, голосъ загремѣлъ... Я это видѣлъ и слышалъ, но со всѣмъ тѣмъ на этотъ разъ это мѣсто не такъ удалось: въ голосѣ чувствовалось напряжение, усиліе, а не мгновенная вспышка вдругъ пробудившагося и грозно возставшаго царскаго ве-

личія. Но послѣдовавшее затѣмъ кашель, усталость, и весь кошель слезы, проговоренный съ видомъ утомленія гѣла, но не души, были превосходны въ высшей степени. Въ послѣднемъ дѣйствіи, когда Жоржъ д'Эстувиль, коварно и оскорбительно обманутый коралемъ, въ порывѣ негодованія вычисляетъ ему его жестокости и преступленія, Баратыгинъ превосходно, съ неподражаемымъ благородствомъ, достоинствомъ и простотой произнесъ стихи:

Уюлкинъ! дерзкими наскучилъ мнѣ словами.
Долготерпѣніе оставить я готовъ:
Что небо не разитъ надменнаго громами,
Ты думаешь—у неба нѣтъ громовъ.

И никто не хлопнулъ ему; по послѣдующій затѣмъ монологъ, гдѣ Людовикъ XI, хвалясь своимъ безстрастіемъ, говорить, какъ онъ вышелъ цѣль изъ битвы, изъ-подъ мечей окружавшихъ его враговъ,

а мальчикъ хочетъ его утратить *).—былъ признанъ какъ-то утрированно и сопровождался какими-то насильственнымъ жестомъ. и мѣ пришлось въ неописанный восторгъ... Вотъ только два мѣста во всей пьесѣ, въ которыхъ Баратыгинъ показался мнѣ не Людовикомъ XI, а Баратыгинымъ. Нечислать превосходныхъ мѣстъ не стану: это значило бы отдать подробный отчетъ въ каждомъ словѣ и каждомъ жестѣ, что было бы не совсѣмъ удовлетворительно для васъ, невдававшихъ Баратыгина въ этой роли, и утомительно для меня и для читателей.

*) Это могло происходить и оттого, что самый монологъ написанъ, а главное оттого, что пьеса переведена не прозой, а стихами, и еще шестистопными и, какъ мнѣ никогда слѣнилось, чуть ли не съ римами. Когда наши переводчики уфѣдятся, что шестистопіе либы, съ перекрывающимися или, лучше сказать, перекрывающимися полустопицами нескосны въ драмѣ?.. Вотъ ужъ подлинно неумѣстная трата таланта!..

У. ПРИЛОЖЕНІЯ.

РУССКАЯ БЫЛЬ.

На конѣ сѣжу,
На коня гляжу,
Съ конемъ рѣчь веду:
—Ты, мой добрый конь,
Ты, мой конь ретивой,
Понесись что стрѣла,
Стрѣла быстрая,
Меня молодца неси
Ты за дальнія поля
И за синіе лѣса.
А ужъ тамъ ли за полями
И за синими лѣсами
Есть богатое село,
А во томъ ли во селѣ
Высоки стоятъ хоромы,
А во тѣхъ ли въ хоромѣхъ
Есть дѣвичій теремокъ,
А во томъ ли теремку
Живетъ дѣвица-краса,
Ненаглядная моя.
Ужъ любилъ я красну дѣвицу,
Ужъ любилъ я ненаглядную.
Ужъ любила красна дѣвица,
Ужъ любила ненаглядная
Меня, молодца удалаго.
Ужъ люблю я красну дѣвицу,
Ужъ люблю я ненаглядную;
Но не любить красна дѣвица,
Но не любить ненаглядная
Меня, молодца удалаго.
Полубила красна дѣвица
Боярина богатаго;
Промѣняла меня дѣвица
На добро его несмѣтное.
Ужъ я, добрый конь,
Мой ретивый конь,
Что сизъ-младъ орелъ
На тебѣ полечу,
Буйный вѣтеръ обгоню.
Какъ завижу село,
Моя кровь закипитъ,
Свѣтъ погаснетъ въ глазахъ,

И какъ разъ одержу
Я тебя у воротъ
У тесовыхъ;
Богатырскимъ голосомъ,
Молодецкимъ посвистомъ
Въ уши гаркну его:
«Гей! ты, недругъ мой,
Мой разлучникъ злой,
Ты ко мнѣ выходи
Слово молвить одно!»
И онъ выйдетъ ко мнѣ.
Какъ соколъ на птицъ
На него напушу,
Буйну голову сорву,
Бѣлу грудь распорю,
Ретивое выну вонъ,
Положу его на блюдочко
На серебряное,
Къ моей милой понесу,
Таковы слова скажу:
«Ты, любезная моя,
Ненаглядная моя!
Ты узнала ль меня?
Вотъ и я къ тебѣ пришелъ:
Скажи, рада ль ты мнѣ?
Вотъ гостинецъ тебѣ.
Ты спасибо скажи:
Мой гостинецъ хорошъ,
Мой гостинецъ пригожъ.
Ахъ, какъ кровь горяча!
Ахъ, какъ кровь-то сладка!
Ты отвѣдай ее,
Ею руки обмой,
Ей лицо окропи.
Какъ умильно глядитъ
Голова на тебя;
Посмотри на нее,
Поцѣлуй во уста
Во холодныя!
Что жъ ты, дѣвица, дрожишь?
Что жъ, измѣнница дрожишь?
Аль не рада ты мнѣ?
Аль меня не ждала?
Аль мой даръ не хорошъ?
Аль мой даръ не пригожъ?»

ПЯТИДЕСЯТИЛѢТНІЙ ДЯДУШКА

ЛИ

СТРАННАЯ ВОЛѢНЬ.

ДРАМА ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

Мгновенно сердце мое
Горитъ и гаснетъ. Въ немъ любовь
Проходитъ и приходитъ вновь.
Въ немъ чувство каждый день живетъ:
Не столь послушно, не слегка
Не столь мгновенными страстями
Пышетъ сердце старика.
Окаменѣе годами:
Упорно, медленно оно
Въ огнь страстей раскалено;
Но поздній жаръ ужъ не остываетъ
И съ жизнью лишь его покинетъ.

Пушкинъ.

И. М. Горскій, уѣздный помышленъ, пятидесяти лѣтъ.
Лизанька и Катенька, сестры-сироты, воспитанницы
Горскаго, старшая двадцати, младшая восемна-
дцати лѣтъ.

В. А. Мальскій, племянникъ и воспитанникъ Горскаго.
М. К. Хватова, уѣздная сплетница и сваха.

Платонъ Васильевичъ и Анна Васильевна, дѣти Хва-
товой, оба лѣтъ тридцати.

А. С. Норкинъ, племянникъ Хватовой, уѣздный по-
мышленъ, лѣтъ тридцати.

Ф. И. Бражнинъ, оставной судья, старикъ лѣтъ пя-
тидесяти-пяти.

Иванъ, старый слуга Горскаго.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Иванъ (моя комната).

Баринъ скоро встанетъ, а я не успѣлъ еще и
подмести порядкомъ. Вотъ того и гляди, что зазвонитъ.
Да кто же виноватъ? Поди туда—скажи то,
все я, да я—съ ногъ сбился, а всталъ ни свѣтъ, ни
заря.—О баринъ что и говорить: такого барина не
найдешь въ цѣломъ свѣтѣ. Только вотъ что: онъ
что-то все, то-есть, не такъ, какъ прежде. Иной
разъ и не узнаешь его—словно чужой. То молчитъ,
то-есть, задумывается—ужъ зачитался, что ли?
Ино мѣсто ни къ чему придерется—хоть бы вчера:
слышь—не туда книжку положилъ, такъ и бѣда,
разбранилъ да и только? А ужъ вотъ сколько слу-
жу—до сей, то-есть, минуты дурака не слыхалъ
отъ него, а нынче и оселъ, и скотина нипочемъ.
Иной разъ вѣдь нѣшто боязно слово сказать ему, и
ничѣмъ-то не угодишь—и то не такъ, и это за-
чѣмъ. Вытаращишь на него глаза, да только тво-
ришь молитву, а онъ и пуце; а послѣ вѣдь и са-
мому станетъ совѣстно. Ужъ словно наущенное,
али съ глазу, или ужъ не боленъ ли чѣмъ—въ
доброй часъ молвить, въ худой помолчать. Вотъ и
теперь—день рожденія, а боюсь. Прибрать хоро-
шенько, чтобъ не придрался къ чему. Барышни
ужъ давно встали... Экая барышни-то—сущіе ан-

гелы, прости Господи! Эхъ, кабы да Лизанька-то
Петровна женилась бытъ на такомъ-то дядюшкѣ! А то
что?—факты вѣтъ сироты круглымъ. (Где-то слышу
умиръ. Опа, вотъ онъ и идетъ барина, то-есть, да-
же-таки, вотъ онъ и любитъ вѣтъ, какъ радилъ
матерей, да что?—все чужой—не свой. (Опа, каки
идеть на правду, онъ любитъ покойника Петра
Андреевича—батишку-то вѣтъ, ну-ка отъ-то развѣ-
и съ тѣмъ и кидъ вѣтъ на руки, чтобъ бытъ нѣтъ
отцомъ—да все вѣдь чужая кровь—что ни го-
вори... (сморщивъ се око). Да вѣтъ и онъ самъ,
и Владимиръ Дмитръ съ ними. Ну, эго помысли-
но—искорѣй прикинуться за другое.

ЯВЛЕНІЕ 2.

Входятъ Лизанька, Катенька и Мальскій.

Бат. Ну, что, Иванъ,—дяденька проснулся,
всталъ?—Посмотри, какіе мы сдѣлали ему букеты!
Но мой лучше всѣхъ, хоть Владимиръ Дмитриевичъ
и спорить, что его лучше. Но правда ли, Иванъ,
вѣдь мой лучше?

Лиз. Эхъ, Катенька? Ты изъ-за букета забыла и
дяденьку. Что, Иванъ голубчикъ, всталъ дяденька?

Иванъ. Нѣтъ еще—заспались знатно—вчера
долго книжку читали.

Бат. Ахъ, какъ дяденька обрадуется, когда,
проснувшись, вдругъ увидитъ наши подарки!.. Я
увѣрена, что ему больше всего понравится мой
портфель съ охотникомъ и собакой. Я вышннала
его цѣлые полгода и такъ ловко, что онъ ни разу
не засталъ меня за работой. (Слышится колоколен-
чикъ).

Иванъ. Звонить—бѣгу! (Уходитъ).

Бат. Ахъ, дяденька проснулся, всталъ! Постой
же, я знаю, что надо сдѣлать! это будетъ забавно!
Я пригложусь, какъ мнѣ поднести ему мой бу-
кетъ. Вотъ отворится дверь—онъ показывается—
я подхожу къ нему съ важнымъ, торжественнымъ
видомъ—важно присѣдаю—онъ подумаетъ, что я
хочу произнести ему поздравительную рѣчь (мало-
боясь Мальскому), а у насъ катитъ ось и госпо-
динъ ученый, которому ничего не стоитъ написать
прекрасную рѣчь—и пожалуй стихи,—а вдругъ я
оставляю свой важный видъ—бросаюсь ему на шею
—обнимаю его—цѣлую—онъ называетъ меня шалуньей, вѣтреницей, глупой дѣвочкой, а самъ цѣ-
луетъ—у него на глазахъ слезы—онъ бережно бо-
ретъ мой букетъ—и я...

Лиз. Ахъ ты, глупенькая дѣвочка!

Бат. Да, госпожа скромница, что ни говоритъ, а
глупенькая дѣвочка живетъ веселѣе насъ: мы все
задумываемся—мечтаемъ, словно влюбленная, а я
пою, прыгаю, шалю; меня бранятъ и цѣлуютъ, цѣ-
луютъ и бранятъ.

Лиз. (цѣлуя ее). Да какъ тебя и не цѣловать
и не бранить. Ты мила, какъ ребенокъ, и рѣдкая,
какъ ребенокъ.

Бат. Милая сестрица, вѣдь—странное дѣло!—
и я люблю тебя за то, за что всегда браню, за то,

что ты всегда тиха, важна, задумчива, — точь въ точь, какъ героиня какого-нибудь романа, съ блѣднымъ челомъ, голубыми глазами...

Лиз (*прерывая ее поцѣлуемъ*). Полно, полно, болтушка.

Кат. (*продолжая свою рѣчь*). Да чего лучше! точь въ точь, какъ Татьяна Пушкина, а я—я настоящая Ольга, пустыньская, веселенькая дѣвочка?—Для сходства съ ней мнѣ недостаетъ только Ленского, да и это не велика бѣда: я надѣюсь, что Владиміръ Дмитріевичъ не откажется быть Ленскимъ новой Ольги; онъ же и Владиміръ и студентъ, хотя и не геттингенскаго, а московскаго университета, онъ же и поэтъ.

Мал. И полноте, Катерина Петровна; Владиміръ и студентъ—къ вашимъ услугамъ; но поэтъ—извините...

Кат. Полноте — не хочу и слышать. Еще въ прошлое лѣто, какъ вы только что кончили свой курсъ и пріѣхали къ намъ кандидатомъ, вы читали мнѣ свои стихи, и очень милые, а теперь вдругъ стали важничать, играть роль философа, смѣяться надъ своимъ стихотворствомъ, какъ надъ глупостью дѣтства, изъ котораго вы уже вышли. Полноте, полноте, — вы дали мнѣ слово быть моимъ кавалеромъ на все время, которое проживете съ нами, и потому прошу мнѣ ни въ чемъ не противорѣчить: всѣ стихи, какіе ни прочту я въ «Библіотекѣ для Чтенія» и другихъ журналахъ, — лучшіе изъ нихъ ваши, только подъ чужимъ именемъ, изъ скромности или изъ гордости. Итакъ, я — Ольга Ларина, вы — Владиміръ Ленскій — до дуэли я васъ не допущу ни съ кѣмъ, но замѣнить вамъ для улана.. не ручаюсь за вѣрность до гроба.

Лиз. (*съ легкимъ упрекомъ*). Ахъ, Катенька, ты вѣчно разболтаешься!

Кат. Ну, полно, моя идеальная Татьяна; не все важничать — не худо иногда и подурачиться. Какъ хочешь, а я непремѣнно и сейчасъ же, въ кругу нашихъ знакомыхъ, отыщу тебѣ Онѣгина. Постой... Степанъ Алексѣевичъ Коркинъ — хорошій человекъ, только не Онѣгинъ; Иванъ Семеновичъ Сахаркинъ — но это Пѣтушковъ; Никаноръ Николаевичъ Курочкинъ, — но это Богъ знаетъ, что такое. Экая досада! въ нашемъ уѣздѣ нѣтъ Онѣгина! Какъ же мнѣ съ тобой быть, моя милая Татьяна? это жалко! Я, простая, не идеальная дѣвушка, которой поприще окончится прозаическимъ бракомъ безъ любви — я имѣю обожателя въ лицѣ Владиміра Дмитріевича Мальскаго; а ты, такая прекрасная, такая достойная любви...

Лиз. Но... Катенька, твои шутки становятся наконецъ нестерпимы, и если ты не замолчишь, я въ самомъ дѣлѣ разсержусь на тебя. Прошу тебя, не портъ мнѣ нынѣшняго прекраснаго дня.

Кат. (*бросаясь ей на шею*). Сестрица! милая! душенька! не сердись! Въ самомъ дѣлѣ, я такая глупая — вѣчно разоврюсь и наговорю глупостей, которыя тебя выведутъ изъ терпѣнія, хотя у тебя и ангельскій характеръ.

Лиз. Ну, не сержусь, не сержусь — успокойся.

Кат. (*съ веселымъ видомъ*). Не сердись! — Докажи же мнѣ это самымъ дѣломъ!

Лиз. Чѣмъ хочешь — даю тебѣ слово.

Кат. Вы слышали, Владиміръ Дмитріевичъ? она дала слово. (*Цѣлуя Лизаньку*) Милая сестрица, дяденька скоро выйдетъ — спрячемся за обѣ половинки двери. Владиміръ Дмитріевичъ скажетъ ему, что мы еще не выходили, онъ станетъ насъ бранить, а мы вдругъ выскочимъ и бросимся ему на шею.

Лиз. (*смѣясь*). Такъ въ этомъ-то состоитъ твоя просьба! Чтобы утѣшить тебя, я должна сдѣлать глупость.

Кат. Сестрица! Лизанька! милая! сама знаю, что это глупо, но мнѣ хочется сдѣлать сюрпризъ, я помѣшана на сюрпризахъ.

Лиз. Скажи — на глупостяхъ.

Кат. Какъ угодно — только мнѣ хочется позабыться надъ изумленіемъ дяденьки.

ЯВЛЕНІЕ 3.

Тѣ же и Горскій.

Горск. Но не удастся, шалуныя.

Кат. и Лиз. (*объ вдругъ*). Дяденька! милый, любезный дяденька! (*Бросаются ему на шею*). Съ днемъ вашего рожденія.

Горск. Здравствуйте, здравствуйте, мои милыя! Благодарю васъ.

Кат. Дяденька, возьмите поскорѣй мой букетъ и скажите — не лучше ли онъ другихъ, а особенно букета Владиміра Дмитріевича.

Горск. Постой, вострушка, дай мнѣ опомниться — вѣдь я съ вами увидѣлся, точно какъ десять лѣтъ не видѣлся съ вами, а вѣдь вчера, по обыкновенію, благословилъ васъ на сонъ грядущій. Володя, и ты тутъ! Что же ты стоишь въ сторонѣ, какъ чужой? Подойди — ко, поцѣлуемся. Эй, Иванъ! (*сходитъ Иванъ*) тамъ у меня стоятъ фарфоровые кувшинчики — возьми три штуки, налей въ нихъ воды и подай сюда. Эти цвѣты надо сберечь... и засохнуть, — я все буду беречь. Много хранится у меня завялыхъ цвѣтовъ — все ваши, мои милыя, — они завяли, а вы все расцвѣтаете.

Лиз. И мы вѣкогда завянемъ, милый дяденька.

Горск. Эй! вотъ и мечтать, моя милая! Мечтать я и самъ люблю, только я больше люблю веселыя мечты.

Кат. Вашъ вкусъ сходенъ съ моимъ, дяденька: я тоже люблю мечтать, да только о танцахъ, о балахъ, гуляньяхъ, веселостяхъ.

Горск. Оно и подстать тебѣ, моя милая; но если ты и меня заставишь вмѣстѣ съ собой мечтать о танцахъ, балахъ, гуляньяхъ и веселостяхъ, такъ это будетъ немножко смѣшно.

Иванъ (*несетъ фарфоровыя вазы для цвѣтовъ*). Вотъ извольте-съ, батюшка-баринъ. (*Уходитъ*).

Кат. Да о чемъ же, дяденька, больше и мечтать, какъ не о веселостяхъ?

Горск. (*опуская въ воду букеты*). А вотъ по-

живешь—узнаешь. (*Смотритъ съ восхищеніемъ на Лизаньку*). Ахъ, Лизанька, какъ ты мила, моя милая! Какъ идетъ къ тебѣ этотъ важный, задумчивый видъ!... Не люблю унылости—люблю, чтобы все на ходу пѣло, плясало, смѣялось... никому не прощу важности, а на тебя не могу налюбоваться. Мнѣ кажется, я разлюбилъ бы тебя, если бы ты вдругъ сдѣлалась рѣзва, весела, игрива, вотъ какъ эта шалуныя. (*Цѣлуетъ Катеньку въ лобъ*).

Кат. Стало-быть, злой дяденька, и мнѣ надо задушиваться и мечтать, чтобы вы меня не разлюбили?

Горск. Полно, Богъ съ тобой! Вотъ бы одолжила! Нѣтъ, вы оба должны быть такими, какъ вы есть—безъ переменъ!

Кат. Ну, то-то же, дяденька! А то я испугалась. Ахъ, дяденька, что же вы мнѣ не скажете, что мой букетъ лучше всѣхъ?

Горск. Лучше, лучше, шалуныя?

Кат. А какъ вамъ показался мой портфель дяденька?

Горск. Безподобенъ, милая: собака какъ живая, а охотникъ только что не говорить. А твой ландшафтъ, Лизанька,—я цѣлое утро, часа два, не сводилъ съ него глазъ, и цѣлый годъ буду смотреть на него—до новаго подарка. Тебя тотчасъ узнаешь по выбору. Могла—на ней полуразвалившійся крестъ и зеленая елка, а подлѣ дѣтя ловить бабочку: собачка, поднявши голову, какъ будто лаетъ на пролетѣвшую птицу... Подойди ко мнѣ, моя милая,—дай поцѣловать тебя. Не хватай моей руки—дай мнѣ свою: эта ручка стоитъ того, чтобы расцѣловать ее. Ну, присядемте. Сядь возлѣ меня, Лизанька. (*Сажаетъ подлѣ себя и держитъ ея руку въ своей*).

Кат. (*ставши передъ нимъ*). Ахъ, дяденька! ха! ха! ха!

Горск. Что ты, вѣтреница, такъ хочешь на меня? Или смѣшишь меня ничего не нашла?

Кат. (*цѣлуетъ его руку*). Ахъ, дяденька, не сердитесь—но это, право, смѣшно.

Горск. Что жъ именно?

Кат. Да вы просто щеголь, сами не замѣчая того,—и чѣмъ старѣе становитесь, тѣмъ дѣлаетесь щеголеватѣе. Посмотрите: волосы у васъ причесаны волосокъ къ волоску, коричневый сюртукъ вашъ такъ и отливаетъ, а сидятъ на васъ, будто вы въ немъ и родились.

Горск. (*съ досадой*). Эта болтушка вѣчно выдумаетъ какую-нибудь глупость.

Кат. (*не замѣчая его досады и сядя подлѣ него по другую сторону, съ заботливостію сдуваетъ пушинку съ воротника его сюртука*). Какъ пухъ пристаётъ къ бархату! Ахъ, дяденька, какъ идетъ къ вамъ этотъ золотистый жилетъ—вы въ немъ такъ авантажны—какъ будто помолодели.

Горск. Ты что ничего не говоришь, Лизанька? Эта трещотка отобьетъ себѣ языкъ.

Лиз. Милый дяденька, вы знаете, что я неразговорчива. Впрочемъ начните—я постараюсь поддержать вашъ разговоръ.

Горск. Вотъ прекрасно! Я долженъ искать предмета для разговора, какъ темы для ученическаго сочиненія, а ей нужно стараться поддержать мой разговоръ!

Лиз. Но, милый дяденька, вы напрасно сердитесь и даете такой толкъ моимъ словамъ.

Горск. (*вскакивая*). Вотъ прекрасно, моя идеальная красавица! Да когда же я сердился? Вы просто нападаете на меня съ нѣкотораго времени, сударыня!

Лиз. Боже мой! идеальная красавица, сударыня! (*Плачетъ*).

Горск. Ну, вотъ и слезы! славно начали день рожденія! (*Въ сторону*). А все моя хандра, моя досада, которая такъ и ищетъ, къ чему бы придраться! (*Вслухъ*), Лизанька! милая! не сердись!

Кат. Ахъ, дяденька, лучше бы вы прибили меня,—это бы мнѣ было легче, чѣмъ видѣть ея слезы. И что она вамъ сдѣлала?

Горск. Лизанька! ангелъ мой! (*Про себя*). О, грубый, дикій характеръ, несчастный характеръ! (*Вслухъ*). Лизанька, на колыньхъ прошу у тебя прощенія! (*Становится на колѣни*).

Лиз. (*вскочивъ съ мѣста*). Дяденька, милый дяденька! что вы это? Встаньте, или я еще больше заплачу. (*Оттираетъ глаза и улыбается*). Видите ли, я не плачу. Боже мой! сколько важности пустому обстоятельству! На что это похоже? А все моя глупая чувствительность!

Горск. Нѣтъ, чортъ возьми! это все моя грубость, моя раздражительность!

Лиз. Да развѣ мнѣ не пора ужъ замѣтить, что вы съ нѣкотораго времени на себя не походите, и что этому не можетъ быть другой причины, кромѣ того, въ чемъ страшно увѣриться.

Горск. (*прерывая ее*). А что, что такое думаешь ты? Какая причина? Я самъ не понимаю ея—скажи.

Лиз. Ваше здоровье, милый дядюшка, оно, должно быть, разстроено—мнѣ тяжело объ этомъ подумать, не только вамъ сказать. Вамъ надо обратить на это все свое вниманіе; надо лѣчиться—у васъ какая-нибудь важная болѣзнь—не надо запускать ее.

Горск. (*въ раздумьи*). Да, конечно, мой характеръ измѣняется; но я ничего не чувствую—никакихъ припадковъ.

Кат. Милый дяденька, ваши лѣта—тутъ люди обыкновенно начинаютъ чувствовать трудность жизни.

Горск. (*съ безпокойствомъ и досадой*). Лѣта? Конечно... но что же я за старикъ такой? Я крѣпкаго сложенія—боленъ почти никогда не бываю. Правда, я не молодой человекъ,—но мнѣ странно, если я ужъ кажусь старикомъ.

Кат. (*съ лукавой усмѣшкой*). А вамъ, милый дяденька, не хочется казаться старикомъ?

Горск. (*сухо*). Что же дѣлать! Если кажусь, то не могу запретить видѣть.

Кат. Послушайте, милый дяденька, по виду вы конечно не молодой, а пожилой человекъ, и притомъ такой любезный, такой милый, что въ васъ еще

можно влюбиться — по крайней мѣрѣ я съ охотой вышла бы за васъ замужъ, если бы вы въ меня влюбили. Но характеромъ—воля ваша—вы начинаете старѣться,—и это огорчаетъ насъ. Мы съ дѣтства привыкли видѣть васъ веселымъ, оригинальнымъ, милымъ, съ вѣчнымъ хохотомъ, съ всегдашней улыбкой, и особенно съ частымъ припѣвомъ: «чортъ возьми!», который мы такъ любимъ...

Горск. Нашла, что любить! Вѣдь ты, Катенька, ужъ не ребенокъ, и у женщинъ твоихъ лѣтъ всегда бываетъ «чувство приличія», что ли, какъ вы его называете, а по нашему «скромность», и у нихъ ушки вянутъ отъ такихъ грубыхъ словъ и поговорокъ.

Лиз. Но, милый дяденька, у васъ это слово такъ мило—оно выражаетъ вашъ простой, откровенный и прямой характеръ.

Горск. Спасибо за любовь! Я вамъ вѣрю; но вы уже въ такихъ лѣтахъ, что мнѣ надо быть съ вами деликатнѣе, осторожнѣе. Къ тому же вѣдь всѣ думаютъ, что я вамъ не дядя, а самый дальній родственникъ; нѣкоторые же и знаютъ, что я вамъ совсѣмъ не родня.

Лиз. Что намъ до этого? Для насъ вы всегда — дяденька, нашъ милый дяденька. Иначе мы васъ не хотимъ называть. Такъ къ чему же всѣ ваши холодныя разсужденія о приличіи и осторожности,—не приличіе, а любовь дѣлаетъ людей счастливыми. Любите же насъ и обращайтесь съ нами какъ всегда, какъ съ дѣтьми,—какъ съ своими добренькими дѣвочками, какъ вы насъ всегда называли — и еще недавно называли, а теперь уже не называете больше—къ нашему огорченію.

Горск. Какъ?.. Да!.. Но это странно — вы уже не дѣвочки — это, право, начинаетъ становиться грубо, неприлично.

Лиз. Э, милый дяденька! Вы никогда не были свѣтскимъ человѣкомъ, ваше обращеніе всегда было просто, но мило. Теперь вамъ ужъ поздно переучиваться.

Горск. Поздно! Да, конечно.

Лиз. А мы совсѣмъ не невѣсты—мы ваши добрыя дочери, и все наше счастье—никогда съ вами не разлучаться.

Кат. Прошу за другихъ не ручаться—по крайней мѣрѣ, за меня. Я ужъ нашла себѣ обожателя въ особѣ Владиміра Дмитріевича и для него готова измѣнить дяденькѣ. Не краснѣйте, monsieur Мальскій, стыдливый кавалеръ!

Лиз. Ахъ, Катенька, ты всегда такъ далеко простираешь свои шутки!

Кат. Почему же и не шутить, когда весело шутить?

Лиз. И когда шутки всѣмъ пріятны—прибавь.

Горск. (въ раздумьи). Да, Катенька, тебѣ замужъ...

Кат. Почему же именно мнѣ? Вѣдь Лизанька старше меня!

Горск. Да... конечно,—но вѣдь она не говоритъ о замужествѣ—стало-быть, не хочетъ; а ты...

Кат. Э, дяденька, молчанье ничего не значить,

и кто молчить,—тутъ-то... Не напрасно говорятъ: «Въ тихомъ омутѣ...», а кто говоритъ о замужествѣ, тотъ-то и не думаетъ о немъ.

Лиз. Катенька, ты опять съ своими глупыми шутками!

Кат. Не сердись, милая Лизанька, вѣдь ты знаешь, что я болтушка—меня всѣ такъ называютъ. Потому, я вру по праву, чтобъ оправдать свое названіе и не даромъ пользоваться привилегіей. Нѣтъ, дяденька, что смотрѣть на ея серьезность и важность—надо ее замужъ. Я всегда прыгаю и смѣюсь, а она все задумывается и мечтаетъ, а это не даромъ. Нѣтъ, замужъ ее, замужъ! А чтобъ доказать, какъ искренно я этого желаю, я на первый разъ отказываюсь отъ своего обожателя, Владиміра Дмитріевича, и уступаю его ей.

Лиз. (вся стыжущаяся). Это ужъ не глупо, а пошло. Я... ты... всегда... это досадно... обидно. (Плачетъ).

Горск. Катенька! — глупая дѣвочка, чортъ возьми! Да ты лучше бы зарѣзала меня тупымъ ножомъ!.. Плачетъ! Да—опять плачетъ! (Рветъ на себѣ волосы). Болтушка безтолковая — только и знаетъ, что вретъ глупости. О, чортъ возьми!

Лиз. (бросаясь на шею Катенькѣ). Дяденька, дяденька, не браните Катеньку!

Горск. Какъ не бранить, чортъ возьми! Да за это убить мало! И припела тутъ, чортъ знаетъ къ чему, Владиміра Дмитріевича — чортъ бы его побралъ!

Лиз. Дяденька, опомнитесь, не совѣстно ли вамъ! Чѣмъ тутъ виноватъ Владиміръ Дмитріевичъ? Одна дуручка сказала глупость, а другая расплакалась отъ этого, какъ ребенокъ. Вы видите, я не плачу.

Горск. Да, но ты плакала. Я видѣлъ твои слезы, а твои слезы такъ дороги мнѣ,—такъ жгутъ мою душу, что за нихъ отъ меня не отплачутся и кровавыми слезами! Да, плакала отъ нея, чтобъ ей самой вѣкъ плакать! (Посмотрѣвши кругомъ и остолевъ отъ изумленія). Ба! да и она плачетъ. Ну, плаксивый же нынче день. А все я, чтобъ чортъ меня побралъ, дикаго волка, цѣпную собаку. Я съ ума сойду (плачетъ). Вотъ же вамъ!

Лиз. и Кат. (въ одинъ голосъ). Дяденька! милый дяденька! что съ вами?

Горск. Ничего. Плачу—отъ досады, отъ бѣшенства. Вѣдь родятся же люди съ такимъ грубымъ, бѣшеннымъ характеромъ, какъ я. Вотъ бы душиять такихъ при рожденіи!

Мал. Дядюшка, вы себя не помните — придите въ себя.

Горск. Конечно—что и говорить... Придите въ себя!—легко сказать! Надѣлать глупостей, наговорить грубостей, пошлостей, заставить плакать. Да, пріятель, тебѣ легко прійти въ себя—вѣдь ты и не выходилъ изъ себя! Тебѣ что, что она плачетъ! По тебѣ, она хоть умри. Твое дѣло—сторона. Ты знаешь только виѣсть гулять, рвать цвѣты — для дядюшки, читать съ ними Пушкина, фантазировать, мечтать, заноситься за облака, красно разсуждать о любви — по профессорскимъ лекціямъ. Ты — чело-

вѣкъ ученый, говорить ужьешь—тебя заслушаешься. Ты настеръ и любезничать, и подслуживаться, а тамъ, какъ дойдетъ до бѣды,—тебѣ хоть трава не расти. Чортъ бы тебя взялъ, мечтатель проклятый, философъ недопеченый, негодъ доморощенный!

Мал. Зная васъ хорошо, дяденька, я не сержусь, и больше вамъ ничего не скажу.

Горск. Да тебѣ что?—Тебя чортъ не урезонитъ!

Мал. Полноте, дядюшка, — вѣдь вамъ самимъ послѣ будетъ совѣстно.

Горск. (*клямясь*). Благодарю за наставленіе. Впрочемъ я ужъ ушелъ отъ наставленій. Вонъ говорить, что я ужъ кажусь старъ. Да! старъ и глупъ!

Мал. Дяденька, къ чему все это? Вѣдь я не заплачу—я крѣпокъ на слезы.

Горск. Что и говорить!—У тебя слезы дороги.

Мал. Зато вонъ у нихъ дешевы: посмотрите—онѣ обѣ опять плачутъ.

Горск. Да, плачутъ. Ну, такъ давайте же всѣ плакать. О, вы хотите умирить меня медленной смертью! Дѣти, дѣти, простите меня. Видно, я и въ самомъ дѣлѣ боленъ! Да, боленъ—тяжко боленъ,—а не знаю чѣмъ и отчего. Можетъ быть это нпохондрія—близость къ сумасшествію. Я часто задумываюсь такъ, что не слышу, когда меня зовутъ. Прежде никогда не бывало со мной этого. Иногда безъ всякой причины такъ бываетъ тяжело, грустно, что умеръ бы. А иногда безъ причины радостно, да и радость-то какая-то тяжелая — хуже печали, — а послѣ нея не смотришь бы на свѣтъ Божій. Иногда на весь свѣтъ такъ досадно, что радъ на комъ бы нибудь зло сорвать. А таковъ ли я былъ прежде? Бывало, лица печальнаго не могу видѣть. Хотя кого такъ назову бабой. Да, дѣти, — боленъ, пожалѣйте.

Лиз. и Бат. (*обнимая его*). Дяденька, милый дяденька! безпѣнный дяденька! Мы будемъ молиться за васъ! Богъ помилуетъ васъ! (*Цѣлуютъ его самого и руки его*).

Горск. (*цѣлуя ихъ и рыдая*). Мои милыя! что бы я былъ безъ васъ, а я такъ часто оскорбляю васъ моимъ дикимъ нравомъ. Володя, что ты стоишь — подойди ко мнѣ—дай руку—прости—я виноватъ; обними меня—поцѣлуемся. (*Мальскій бросается ему на шею*).

Горск. Ухъ!—легче стало! Наказалъ Богъ!

Лиз. Полноте, дайте слово не говорить обѣ этомъ.

Горск. Ахъ, Володя! обидѣлъ я тебя!

Мал. Вотъ еще! Я и не думалъ обижаться. Если въ моихъ словахъ была замѣтна досада, то не за себя, а за нихъ,

Горск. Ты ихъ любишь?—А?

Мал. А развѣ вы въ этомъ сомнѣваетесь?

Горск. Да, Володя, люби ихъ—какъ сестеръ—безъ фантазій. Я этимъ ничего особеннаго не хочу сказать,—но такъ—знаешь—осторожность не мѣшаетъ. Ты молодъ — воображеніе у тебя пылкое; Катенька вѣтрена, легка—она не увлечется сильными чувствами. Лизанька...

Лиз. (*прерывая его*). Дяденька!

Горск. Я, милая, ничего — я хочу только ска-

зать, что у тебя воображеніе пылкое, романтическое—ты склонна къ мечтательности, сердце у тебя чувствительное,—конечно все это нисколько не предсудительно, но нѣтъ случаясь слышать и даже видѣть, что съ такимъ характеромъ часто бываютъ несчастны.

Лиз. Но къ чему все это? Я, право, не понимаю. Не не пойти ли намъ въ садъ—походитъ до обѣдин. (*Про себя*). Это мученіе!

Бат. А будетъ ли у насъ нынче кто-нибудь?

Горск. Ты знаешь, милая, что день рожденія у меня—семейный праздникъ. Это всѣмъ извѣстно, и никто ко мнѣ не ѣдитъ въ этотъ день, развѣ по крайней необходимости.

Бат. Это жалко!

Горск. Почему же? Развѣ тебѣ скучно съ нами? Или кто-нибудь тебя особенно интересуется?

Бат. Вы, дяденька, столько надѣлали мнѣ вопросовъ, что я не знаю, на который сперва отвѣчать вамъ. Съ вами мнѣ весело; но я люблю многолюдство, и люди для меня никогда не бываютъ лишними. Меня никто не интересуется особенно — да и кому?—всѣ такіе свѣшные—эти судьи, становые, помѣщики наши... А ихъ жены и дочки. Все это такъ свѣшно и такъ забавляетъ меня.

Горск. Шалуныя, вѣтреница!

ЯВЛЕНІЕ 4.

Тѣ же и Иванъ.

Иванъ. Батюшка баринъ, Николай Матвѣичъ, —ей-Богу-съ.

Горск. Что, братъ Иванъ, ты никакъ ужъ?

Иванъ. Нѣтъ-съ, батюшка баринъ Николай Матвѣичъ, —ей-Богу-съ, и маковой росинки во рту не было.

Горск. А капелька ужъ попала въ горло?

Иванъ. Ей-Богу-съ—ужъ такъ водится.—Нынче, то-есть, день вашего рожденія, а мы службу господскую знаемъ.

Горск. Да, я знаю, что ты безъ причины не хватишь.

Иванъ. И вѣстимо-съ, батюшка баринъ Николай Матвѣичъ, вѣстимо,—то-есть всегда или для праздника, или для барской то-есть радости-съ — для именинъ, для рожденія... И что бы я былъ за слуга вашей милости—вашъ то-есть день рожденія, батюшка баринъ Николай Матвѣичъ, а я бы то-есть не выпилъ бы-съ. Вѣдь я еще служилъ вашему батюшкѣ, покойнику-то барину—царство ему небесное—Матвѣю Ильичу.—Право слово-съ.

Горск. Вѣрю, вѣрю, Иванъ: вѣдь мы съ тобой не вчера познакомились.

Иванъ. А какъ же-съ! Право-съ! Сымаленьку былъ на посылкахъ при батюшкѣ баринѣ Матвѣѣ Ильичѣ. Бывало—царство небесное—безъ Ванюшки ни на часъ: все будь тутъ; а Ванюшкѣ то было всего пять годочковъ—такъ въ барскихъ хоромахъ и росъ.—И покойница барыня—царство небесное—то-есть матушка-то ваша Авдотья Семеновна, —тоже изволила жаловать. Бывало изъ своихъ рукъ

изволила и розгами Ванюшку, — а чашка чаю ужъ всегда была — и тарелка со стола. Вѣдь и батюшка — то мой покойникъ — царство небесное, — Филатъ Кузьмичъ, былъ въ милости: онъ и камердинеръ то-есть, и управляющій — право слово-сь.

Горск. Ну, хорошо, Иванъ! Пока ноги держатъ, ты тамъ не зѣвай. Послѣ обѣдни придутъ крестьяне — такъ чтобы за угощеніемъ не было беспорядка, суматохи. Всего было бы вдоволь. Самъ не сможешь — скажи Алексѣю и Петру; а пока можешь — хлопочи до упаду.

Иванъ. То-есть накажи Богъ — коли споткнусь, пока не свалюсь совсѣмъ. Буду бѣгать, что легавая собака. (*Спотыкается въ дверяхъ*).

ЯВЛЕНІЕ 5.

Тѣ же, кромѣ Ивана.

Горск. Это въ задатокъ, что не споткнется, пока совсѣмъ не упадетъ! — Ну, дѣти, нынѣшній день нашъ! Сходимъ въ обѣднѣ, помолимся Богу — поблагодаримъ его за нашу мирную, счастливую жизнь; потомъ покажемся крестьянамъ, а остальное время — все наше! Теперь пойдемъ въ садъ — погуляемъ. Время прекрасное — солнышко ужъ высоко. Пойдемте — надо пользоваться жизнью, дорожить каждою минутой. Маршъ! (*Подаетъ руку Лизанькѣ, а Мальскій — Катенькѣ*).

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Лизанька (*одна*).

Вотъ уже прошелъ мѣсяцъ со дня его рожденія, а дѣла идутъ все хуже и хуже. Да, видно придется проститься съ нашимъ счастьемъ! (*Молчаніе*). Боже мой! а какъ мы были счастливы! Одинъ день походилъ на другой, и всѣ дни были такъ прекрасны. Его любовь замѣняла намъ все и давала все. Для насъ онъ отказался отъ женитьбы, отъ службы, — въ насъ нашелъ онъ свое счастье, нами жилъ, дышалъ, мы были дѣти его сердца, предметы его попеченій, заботъ, думъ, самыхъ сновъ. А теперь какъ онъ перемѣнился! И отчего такая перемѣна? За что онъ такъ возненавидѣлъ меня? Что я ему сдѣлала? Отчего такая ненависть послѣ такой любви? Да — онъ ненавидитъ меня. Самыя ласки его ужасны: въ нихъ есть что-то странное, — когда онъ жметъ мою руку или цѣлуетъ меня — мнѣ становится и стыдно, и страшно. Отчего это? — оттого, что его ласки принужденны, насильственны: онъ хочетъ ими загладить свое дурное обращеніе со мной — старается побѣдить свое ко мнѣ отвращеніе. Зачѣмъ онъ не скажетъ мнѣ прямо, что я ему ненавистна, что намъ надо разстаться. Я намекну ему объ этомъ — надо же положить этому конецъ! — (*Смотритъ въ окно*). Вонъ они идутъ рука съ рукой — оба веселы, довольны, счастливы. Что жъ, надо же кому-нибудь быть счастливымъ!

ЯВЛЕНІЕ 2.

Входятъ Катенька и Мальскій.

Кат. (*вбѣгая*). Ахъ, Лизанька, ты все одна! Что ты тутъ дѣлаешь?

Лиз. Ничего.

Кат. И тебѣ не скучно? Погода такая прекрасная, въ саду такъ хорошо! А мы все бѣгали съ Владиміромъ Дмитріевичемъ. Представь себѣ — какая досада! — я стала спорить, что онъ меня не догонитъ.

Лиз. Странная фантазія! Ты впередъ могла знать, что проспоришь.

Кат. Да я понадѣялась на его любезность, а онъ былъ такъ невѣжливъ, что далеко перегналъ меня, да еще, поровнявшись со мной, насмѣшливо поклонился.

Лиз. Вамъ весело. Напрасно вы не продолжили своего удовольствія.

Кат. (*Мальскому*). Ужъ этого я вамъ никогда не прощу, невѣжливый кавалеръ. Это вы такъ изволите поступать, еще только объявивши себя моимъ обожателемъ: что же будетъ, когда мы женимся? О, непременно отомщу вамъ за это. Лизанька, милая! что ты такъ грустно смотришь, — ты какъ будто встревожена?

Лиз. Ничего, Катенька; такъ просто — грустно. Мнѣ бы хотѣлось поговорить съ тобой.

Кат. Очень рада! Я для тебя готова цѣлый день просидѣть взаперти, не сходя съ одного стула что мнѣ всего труднѣе. Monsieur Мальскій, не угодно ли вамъ уйти? Это же вѣсти, потому-что вы до смерти надоѣли мнѣ. Ступайте, ступайте, — и если я не позову васъ — не смѣйте являться мнѣ на глаза.

Лиз. Ахъ, Катенька, ты безъ глупостей ни на минуту.

Кат. А тебѣ ужъ тотчасъ его и жаль стало. Нѣтъ, нхъ не надо баловать! Если назвался обожателемъ, долженъ сносить прихоти, капризы, словомъ — быть рыцаремъ въ полномъ значеніи этого слова. А какъ пріятно повелѣвать этими господами, которые — наши покорные слуги, пока остаются еще въ качествѣ обожателей, а сдѣлавшись мужьями, становятся самовластными повелителями. О, я не откажусь отъ правъ моего пола, и хоть одному — да ужъ за всѣхъ отомщу. Подите, подите!

Мал. (*Кисло улыбаясь*). Повинуюсь со всей готовностью. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 3.

Лизанька и Катенька.

Лиз. Ты, Катенька, кажется, всю жизнь намѣрена дурачиться.

Кат. Милая Лизанька, что жъ дѣлать, если это такъ пріятно!

Лиз. Но пора, наконецъ, подумать о чемъ-нибудь серьезно.

Кат. А о чемъ же напригнѣть?

Лиз. Разумѣется, о томъ, что ближе къ тебѣ, —

напримѣръ, хотѣ о твоихъ отношеніяхъ къ Влади-
миру Дмитриевичу.

Бат. Да о чемъ же тутъ думать?

Лиз. Ты—любишь его?

Бат. Да кого жъ я не люблю?—я всѣхъ люблю.

Лиз. Ну, ты влюблена въ него?

Бат. Право, не знаю, потому-что не знаю, что
такое влюбляться.

Лиз. Вышла ли бы ты за него замужъ?

Бат. Почему же и нѣтъ, если бы онъ захотѣлъ
на мнѣ жениться?

Лиз. А если бы не захотѣлъ?

Бат. Тогда бы я вышла за другого.

Лиз. За кого же?

Бат. Это бы посватался. Разумѣется, если че-
ловѣкъ уминый и благородный—за дурака и пошла-
ка я не выйду. Уменъ, благороденъ, любезенъ, да
если еще къ тому смѣшонъ немножко, такъ что
надъ нимъ можно будетъ иногда позабавиться, не
оскорбляя ни его, ни себя—право, я не знаю, по-
чему бы не идти за такого?

Лиз. А я такъ, право, не знаю, Катенька, жа-
лѣть о тебѣ, или завидовать тебѣ должно.

Бат. (*пожимая ей руку*). Ни того, ни другого,
милая Лизанька. Каждый чувствуетъ, думаетъ и
поступаетъ по своему, какъ создалъ его, какъ во-
лѣлъ ему Богъ; а Богъ ко всѣмъ справедливъ: вся-
кому далъ Онъ свою долю горя и свою долю радости.

Лиз. (*грустно улыбаясь*). Какъ, шалуныя, такъ
и тебѣ далъ онъ свою долю горя?

Бат. А какъ же? Иногда грустнется, иногда
какъ-то не хорошо—на душѣ тяжело, внутри вол-
неніе, на все досадно—и себѣ не рада. Впрочемъ я
счастлива тѣмъ, что рѣдко бываю въ такомъ со-
стояніи и скоро выхожу изъ него.

Лиз. Я такъ напротивъ: поэтому наши доли не
равны.

Бат. О, нѣтъ, милая Лизанька, равны, совер-
шенно равны. Я не умѣю тебѣ это растолковать,—
но я чувствую это, и мнѣ кажется, что наши доли,
какъ и доли всѣхъ людей, совершенно равны. Ты
больше меня грустишь, тяжелѣе страдаешь—зато
и твои радости сильнѣе. И потому перестанемъ
разсуждать и сравнивать, а будемъ лучше старать-
ся—терпѣливѣе сносить горе и беззаботнѣе пре-
даваться радости, которую посылаетъ намъ доб-
рый Богъ.

Лиз. Ахъ, Катенька, никогда не думала я слы-
шать этого—ты меня радуешь.

Бат. А какъ же бы вы думали обо мнѣ, суда-
рыня?—Вы все смотрите на меня, какъ на болтуш-
ку, и не подозреваете, что и я умѣю не только
мечтать, но и философствовать. Впрочемъ на меня
рѣдко находить охота философствовать. Смѣяться,
бѣгать, прыгать, пѣть—какъ-то занимательнѣе.
Полно же, глупенькая умица, горевать—развесели-
сь. А мнѣ пора къ моему кавалеру, котораго я
такъ невѣжливо прогнала отъ себя.

Лиз. Итакъ, ты не можешь рѣшительно отвѣ-
чать мнѣ—любишь его, или нѣтъ?

Бат. Любить, какъ ты понимаешь это слово, то-

есть какъ страсть, какъ счастье или несчастье цѣ-
лой жизни? Нѣтъ, я не люблю его.

Лиз. А будешь ли такъ любить кого-нибудь и
когда-нибудь?

Бат. Повторяю тебѣ—его не люблю; что же до
твоего другого вопроса... то я дамъ тебѣ на него
отвѣтъ когда-нибудь, въ то время, какъ полюблю
кого-нибудь. (*Убѣгаетъ, нѣмая*).

ЯВЛЕНІЕ 4.

Лизанька (*одна*).

Она, право, лучше меня! Она счастлива, а счастье
есть награда доброй и чистой души, чуждой эгоиз-
ма. (*Молчаніе*). Я хотѣла говорить съ ней о дя-
дюшкѣ—и не сказала ни слова. Однакожъ мнѣ
стало какъ-то легче. Она его не любитъ; но можно
ли ей повѣрить въ этомъ? Да если бъ и такъ—
мнѣ-то что въ этомъ? Вѣдь онъ все-таки только
объ ней и думаетъ, только ею и занятъ. Однакожъ
этотъ разговоръ много, много облегчилъ меня. А
отчего?.. (*Качая головою*). А! понимаю тебя, хит-
рое и бѣдное сердце! Ты торгуешься съ судьбой,
и если не успѣло ничего выторговать, такъ ра-
дуешься, что и другіе не счастливые тебя. (*Мол-
чаніе*). Да, во мнѣ есть демонъ грѣха! Я ужъ знаю
ревность, зависть. Все, все противъ меня—и про-
тивъ всѣхъ насъ, да только одна я должна все нести
на себѣ. Кто-то идетъ—голоса—дяденька.

Горск. (*за дверью*). Смѣлѣй, смѣлѣй, Федоръ
Кузьмичъ. Она одна—въ гостиной.

ЯВЛЕНІЕ 5.

Входятъ Горскій и Бражкинъ.

Горск. Лизанька, я веду къ тебѣ гостя, Федора
Кузьмича.

Бражк. (*подходя къ рукѣ Лизаньки*). Здрав-
ствуйте, Лизавета Петровна; навинтите-сь.

Горск. Что тутъ за извиненія—люди знакомые,
не въ первый разъ видите другъ съ другомъ. (*На
ухо Бражкину*). Ну, смѣлѣй!

Бражк. (*На ухо Горскому*). Пойдите-сь, Ни-
колай Матвѣевичъ,—не надо торопиться, чтобъ не
испортить дѣла. Сперва не худо навести справки.
(*Вслухъ*). Какъ ваше здоровье, Лизавета Петров-
на?—то-есть—все ли вы въ добромъ здоровьѣ? Дру-
гими словами, какъ васъ Богъ милуетъ?

Лиз. Благодарю васъ. Я, слава Богу, здорова. Вы
какъ?

Горск. (*про себя*). Здорова! а сама блѣдна, глаза
красные—видно, что плакала. Ужъ эти нѣтъ слезы,
чтобъ вѣкъ мнѣ ими плакать! (*Вслухъ*). Лизанька,
мы пришли къ тебѣ за дѣломъ. Присядьте-ко; са-
дитесь-ко, Федоръ Кузьмичъ, да начинайте, а то
вѣдь и конца не будетъ. Пуще всего не забывайте,
что мое дѣло—сторона.

Бражк. Да-съ, то-есть, оно извѣстное дѣло—
кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ. (*Про себя*). А! да
у меня языкъ прилипъ къ нёбу—и губернатора

такъ никогда не трусилъ. (*Вслухъ.*) Лизавета Петровна—(*Молчаніе.*)

Лиз. Что вамъ угодно, Федоръ Кузьмичъ?

Бражк. Мнѣ? то-есть—что мнѣ угодно? Да-съ, есть дѣльце—то-есть, покорнѣйшая просьбица до васъ.

Лиз. Просьба? До меня?

Бражк. Именно такъ-съ, просьбица къ вамъ, и резолюцію вы же извольте наложить. Вамъ не безызвѣстно, что я три трехлѣтія сряду былъ, по волѣ дворянства, судьей-съ, имѣю пряжку запятнадцатилѣтнюю безпорочную службу. Имѣннице тоже порядочное-съ—триста душъ по послѣдней ревизіи: чистыхъ, незаложенныхъ,—нынче это рѣдкость; чинъ небольшой—титулярный, да вѣдь нынче чины-то даютъ не за выслугу-съ, а за ученье, не какъ прежде—то-есть, сколько ни служи, а имѣнница не скопишь порядочнаго, чтобъ подъ старость кусокъ хлѣба имѣть-съ... (*Покашливаетъ, сморкается и нюхаетъ табакъ.*)

Гор. (*про себя.*) Ну, занесъ! и смолodu уменъ не былъ, а подъ старость и совсѣмъ дуракъ сталъ! (*Вслухъ.*) Да это, Федоръ Кузьмичъ, слишкомъ подробно—прямѣе къ дѣлу!

Бражк. Нѣтъ, ужъ позвольте, Николай Матвѣичъ, я всегда поступалъ, какъ прилично солидному и благоразумному человѣку,—когда служилъ, такъ ни одной бумаги не подпишу бывало, пока секретарь десять разъ не растолкуетъ. Бывало, такъ перо въ руки и суетъ. Э, нѣтъ, Семенъ Авдѣичъ, говорю ему, я люблю аккуратность, чтобъ послѣ оглядокъ не было,—вѣдь не равенъ часъ. И такъ-съ, съ позволенія вашего, Лизавета Петровна, то-есть, всего титулярный,—зато пряжка за пятнадцатилѣтнюю безпорочную службу. Отъ батюшки-покойника досталось мнѣ сто душъ, да за покойной женой взялъ я пятьдесятъ, а теперь у меня до трехъ-сотъ имѣется, то-есть—не расточилъ, а приумножилъ-съ. Три года живу въ деревнѣ безъ жены и безъ должности, занимаюсь устройствомъ хозяйства; дѣтей только двое-съ—Федюшѣ четырнадцать, а Маша по двѣнадцатому годочку,—воспитаны въ страхъ Божіемъ.

Лиз. Я все это давно ужъ знаю, Федоръ Кузьмичъ,—вѣдь вы старинный пріятель дяденькѣ, и я еще съ ребячества знаю васъ и дѣтей вашихъ, и помню вашу Авдотью Сидоровну. Такъ къ чему же всѣ эти подробности?

Бражк. Такъ нужно-съ—для аккуратности больше, чтобъ послѣ оглядокъ не было. Позвольте все сказать. Послужной списокъ безъ замѣчаній—три года служилъ судьей. Изъ сего слѣдуетъ: наскучивъ вдовствомъ, которое несообразно съ моимъ характеромъ и привычками,—иногда, знаете, скучно, коли и побраниться не съ кѣмъ,—я давно имѣлъ желаніе снова вступить въ законное супружество. Зная васъ, какъ дѣвицу, исполненную достоинствъ и воспитанія, благоразумную—то-есть солидную, я давно уже намекалъ Николаю Матвѣичу о моемъ намѣреніи предложить вамъ руку и сердце—какъ нынче говорятъ, да Николай Матвѣичъ все какъ-то

нерѣшительно объяснялись по этому предмету, отговариваясь вашей молодостью и несообразностью нашихъ лѣтъ; но нынѣшній день я пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы требовать рѣшительнаго отвѣта, ибо дальнѣйшее отлагательство онаго, особливо въ случаѣ отказа, можетъ быть причиной, что я упущу другую какую-нибудь выгодную партію.

Лиз. Я—конечно...

Бражк. (*перебивая ее.*) Позвольте, позвольте, Лизавета Петровна, мнѣ всегда трудно приступить къ дѣлу и начать рѣчь, а коли ужъ началъ—люблю аккуратность. Дайте же мнѣ все сказать. И такъ-съ, нынѣшній день я пріѣхалъ за рѣшительнымъ отвѣтомъ. Николай Матвѣичъ сказали мнѣ, что они-де не хотятъ ни приневоливать, ниже совѣтывать—то-есть, по нынѣшнему; да это съ одной стороны и хорошо—то-есть, показать видъ, что не хочу неволивать,—то-есть—даю волю. Пойдемте, говорить, Федоръ Кузьмичъ, вмѣстѣ—она-де теперь въ гостиной, и вы при мнѣ и сдѣлаете предложеніе. Не захочетъ—жалъ, а дѣлать нечего; согласится—очень радъ войти въ родство съ стариннымъ пріятелемъ и почтеннымъ человѣкомъ. Вотъ-съ мы къ вамъ и пришли. Конечно-съ я человѣкъ не молодой—мнѣ ужъ за пятьдесятъ; да зато нравъ у меня смиренный—мухи не трону. Послѣ обѣда люблю всхрапнуть, а вечеркомъ главное занятіе въ мушку; очень пріятная игра-съ—я васъ выучу. Вообще я надѣюсь, что вы, какъ благоразумная дѣвица, будете смотреть больше на существенность. Надо, чтобъ мужъ былъ человѣкъ опытный, могъ руководить женою,—не пылилъ бы, а любилъ. (*Встаетъ и кланяется.*) Вотъ теперь я сказалъ все аккуратно, и жду вашего рѣшенія. Не прикажете ли, какъ велитъ законъ, выйти просителю изъ присутствія?

Лиз. Да-съ, конечно—мнѣ надо подумать—я скажу дяденькѣ.

Бражк. Хорошо-съ. Лизавета Петровна, я оставлю васъ съ нимъ однихъ-съ. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНІЕ 6.

Лизанька и Горскій.

Лиз. Дяденька, что все это значитъ?

Горск. Какъ что? Развѣ ты не видѣла и не слышала?

Лиз. Вы нынѣшній день необыкновенно веселы, дяденька! Если васъ такіа комедіи забавляютъ, то я, при всемъ моемъ отвращеніи къ нимъ, готова забавлять васъ.

Горск. Что это значитъ?

Лиз. Какъ что? Развѣ вы не видѣли и не слышали?

Горск. Да не понялъ.

Лиз. Я также, дяденька.

Горск. Кто же намъ растолкуетъ?

Лиз. Начнемте съ васъ. Скажите мнѣ, что значитъ сватовство Бражкина?

Горск. Какъ что? Оно значитъ ни больше, ни меньше, какъ сватовство.

Лиз. Но, милый дяденька, вы мучите меня ва-

шимъ тономъ. Бога ради, скажите,—вы шутите или нѣтъ?

Горск. Но, моя милая, развѣ я говорилъ что-нибудь,—говорилъ Бражкинъ, а я только слушалъ. Коли онъ тебѣ не нравится—я не принуждаю тебя.

Лиз. Но развѣ вы могли подумать, что онъ можетъ мнѣ понравиться?

Горск. Это не мое дѣло, милая. Мой долгъ былъ довести до твоего свѣдѣнія, а во всемъ прочемъ—мое дѣло сторона.

Лиз. Развѣ вамъ неизвѣстно, что я и прежде знала о затѣяхъ Бражкина? Вы также о нихъ знали. Неужели же вы не могли отказать ему наотрѣзъ, не приводя его ко мнѣ и не заставляя меня слушать пошлости стараго глупца?

Горск. А почему же онъ глупецъ?—Не нравится—дѣло другое, и въ этомъ тебѣ никто не указъ. Но человекъ онъ добрый, почтенный.

Лиз. Да, въ самомъ дѣлѣ, и достаточный. Я теперь даже не вижу причины, почему бы должна была отказать ему.

Горск. Да, ты вольна и отказать, и дать слово—это совершенно въ твоей волѣ. Но я... мой долгъ. Тебѣ не вѣчно же жить у меня. Я становлюсь старъ—ты въ такихъ лѣтахъ, что надо подумать, чтобъ тебѣ пристроиться. Замужество одна дорога для женщины.

Лиз. Вы, дяденька, такъ основательно разсуждаете и такъ убѣдительно говорите, что я невольно соглашаюсь съ вами. Въ самомъ дѣдѣ—я сирота; у меня нѣтъ отца, матери. Мое положеніе со дня на день становится страннѣе, тяжелѣе. *(Звонитъ.)* Маша! Маша!

Горск. Что ты хочешь дѣлать?

Лиз. То, за что вы меня похвалите. *(Входитъ Маша.)* Позови сюда Федора Кузьмича.

Маш. Слушаю-сь. *(Уходитъ.)*

Горск. Зачѣмъ же его сюда?—Я лучше самъ скажу ему, что ты несогласна.

Лиз. Да я совсѣмъ не то хочу сдѣлать, дяденька. Я въ такихъ лѣтахъ, что надо подумать, какъ бы пристроиться; вы становитесь стары—замужество одна дорога для женщины. *(Молчаніе.)*

Горск. Да, такъ, конечно. Но что же ты хочешь сдѣлать?

Лиз. Выйти за Бражкина, а сперва сказать ему объ этомъ.

Горск. Сумасшедшая, злая дѣвочка! Да кто же тебя принуждаетъ къ этому? Выйти за стараго дурака, подъячаго!

Лиз. Нѣтъ, дяденька, за добраго, почтеннаго человека.

Горск. А!

Лиз. Что же тутъ страннаго? Не сами ли вы хотѣли этого?

Горск. Хотѣлъ?

Лиз. Да, дяденька, хотѣли, и по чему бы вы ни хотѣли—я исполню ваше желаніе. Да! ваше желаніе, дяденька,—вы не будете больше видѣть въ своемъ домѣ той, которую вы прежде такъ вѣжно, такъ отечески любили, а теперь...

Горск. Силы небесныя! Что говорить она! *(Падаютъ въ кресла.)* Но нѣтъ,—это или во снѣ, или я съ ума сошелъ.

ЯВЛЕНІЕ 7.

Тѣ же и Бражкинъ.

Бражк. Что-жъ хорошенькаго скажете, Лизавета Петровна? Какое рѣшеніе воспослѣдовало? Надо все сдѣлать по формѣ, а главное—аккуратно. Что же вы мнѣ скажете?

Лиз. Я—рѣшилась. *(Горскій пристально и дико смотритъ на нее.)*

Бражк. Рѣшились? Скоренько—надо бы попросить отсрочки дня на три—подумать, то-есть—какъ водится, такая ужъ форма.

Лиз. Я рѣшилась сама сказать вамъ.

Бражк. Да, что вы, то-есть, согласны, не хотите замедлять рѣшенія судебными формами. Да, дѣло дѣвичье, молодое—формъ не знаютъ. Да оно и лучше—что тянуть!

Лиз. Да, я рѣшилась сама сказать вамъ, не утруждая дяденьки, что хотя я и чувствую цѣну чести, которую вы мнѣ дѣлаете... Вы человекъ почтенный, достойный любви,—но извините—я не могу... *(Упадаетъ въ изнеможеніи на стулъ, закрывая глаза руками.)*

Бражк. Какъ же? что такое? То-есть...

Горск. *(вскочивъ съ кресла.)* Ты не понялъ, такъ я тебѣ растолкую. Видишь ли, въ чемъ дѣло, Федоръ Кузьмичъ, ты человекъ добрый, хорошій—мы съ тобою старинные пріятели—я тебѣ желаю всякаго счастья—но ищи себѣ другой невѣсты, а на насъ не сердись. Понятно?

Бражк. То-есть—затылокъ-съ, Николай Матвѣвичъ?

Горск. Да какъ хочешь—только въ рекруты на этотъ разъ ты не попадѣ. Но пойдемъ отсюда: Лизанька, видишь, неадорова.

Бражк. Да какъ же-съ? Помилуйте, Николай Матвѣвичъ. Я вѣдь было совсѣмъ обнадѣвался. И вдругъ, въ мои лѣта—получить такой афронтъ отъ дѣвочки...

Горск. А, чортъ возьми! еще сталъ толковать!—Недоволенъ, такъ подавай просьбу по формѣ!

Бражк. Да постойте-съ, Николай Матвѣвичъ, вѣдь вы могли бы давно сказать мнѣ это, а то вы сами позвали меня къ Лизаветѣ Петровнѣ—что же-съ, развѣ на смѣхъ?

Горск. А, чортъ возьми! Ну, да!—я сдѣлать глупость—виновать, Федоръ Кузьмичъ, но объ этомъ больше ни слова! Коли хочешь—отобѣдай у меня нынче, и будемъ по старому пріятелями, не хочешь, какъ хочешь; только чтобы объ этомъ и помину не было. А теперь пойдемъ.

Бражк. Вотъ что-съ, Николай Матвѣвичъ,—отойдете въ сторону—я вамъ сообщу по секрету. *(Отводитъ его въ сторону и говоритъ вполголоса.)* Обѣдать я останусь, а ссориться намъ не нужно-съ; можетъ быть дѣло обойдется и такъ-съ. Лизавета Петровна, можетъ стать, еще одумаются.

Горск. Да, пусть будетъ хоть и такъ; только уговоръ лучше денегъ—*(жметъ ему руку)*, коли одумается—я скажу вамъ; но вы все-таки ни слова объ этомъ ни мнѣ, ни ей, пока я самъ не заговорю съ вами.

Бражк. Хорошо-съ, Николай Матвѣичъ. Только ужъ вы, пожалуйста, то-есть, не оставьте своими благими совѣтами—постарайтесь уговорить. Вѣдь молодо-зелено—умъ хорошо—два лучше того.

Горск. Хорошо, хорошо. Я все сдѣлаю—будьте спокойны, но смотрите же—пока я самъ не заговорю, вы ни слова. Пойдемъ.—Это кто?

ЯВЛЕНІЕ 8.

Входятъ: Катенька, Хватова съ Анной Васильевной и Платономъ Васильевичемъ и Коркинъ.

Кат. А я, дяденька, веду къ вамъ гостей—встрѣчайте.

Горск. Милости просимъ. *(Глядя на Хватову.)* А это кто? Ба, Платоша! Здорово, другъ! обнимаю. Да тебя и узнать нельзя! Молодецъ молодецъ! Мундиръ, эполеты, усы, лицо загорѣло—возмужалъ!

Хват. Можно переимѣниться, Николай Матвѣичъ, —вѣдь десять лѣтъ ламку-то ткнулъ! Зато ужъ и подпоручикъ!

Горск. Такъ, да мнѣ все странно. Я все помню мальчика-повѣсу, который, бывало, коли не голубей гонялъ, такъ ужъ вѣрно собакъ стравливалъ. А теперь—вотъ тебѣ и Платоша! Нѣтъ, ужъ цѣлый Платонъ Васильевичъ! Я было, признаюсь, и проку въ немъ не чаялъ—онъ вонъ какой молодецъ вышелъ! То-то служба-то царская—хоть кого такъ вышколить.—Давно ли къ намъ?

Плат. В. Третьяго дня прибыли-съ, а нынче матушка непременно захотѣла, чтобы къ вамъ-съ. Да и самому-съ страхъ какъ хотѣлось увидѣться.

Хват. Какъ же, какъ же! Вѣдь вы его благодѣтель, а благодѣтелей забывать грѣхъ. Имъ первый почетъ.

Горск. Ну, что тутъ за благодѣтели! я не люблю этого.

Хват. Какъ же, какъ же, Николай Матвѣичъ! вѣдь онъ у меня по седьмому годочку остался сиротой. Гдѣ бы мнѣ, горемычной вдовѣ, возиться съ нимъ. Мальчику было ужъ восемнадцать лѣтъ, а онъ только что читать да писать кой-какъ зналъ. А мальчикъ былъ озорной—бывало, и не усмотришь. Такъ бы все и шалберничалъ. Въ судъ записаться не хотѣлъ и слышать; наладилъ себѣ: въ полкъ, да въ полкъ. Ужъ вы, Николай Матвѣичъ, пристаю ко мнѣ: «что парню шалберничать—въ полкъ, такъ въ полкъ, благо охота есть»; почти насильно снарядили въ путь, дали письмо къ полковнику, нашли попутчика надежнаго человѣка, да и на дорогу снабдили.

Горск. Э, Матрена Карповна, вѣдь ты какъ ужъ зачнешь такъ и бѣги вонъ. А помнила бы пословицу—кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ!

Хват. Нѣтъ, Николай Матвѣичъ, что ни говорите, а я не перестану за васъ Богу молиться! Я не какая-нибудь неблагодарная тварь. Что бы я за свинья была, чтобъ забыла благодѣянія...

Бражк. *(подходитъ къ рукамъ Хватовой)*, Здравствуйте, Матрена Карповна, вы заговорились и не видите меня, а я ужъ вамъ кланялся, кланялся.

Хват. Извините, батюшка Ѳеодоръ Кузьмичъ, не вышлите, отецъ родной.

Бражк. Ничего, ничего-съ. Я здѣсь на цѣлый день. Какъ всхрапну послѣ обѣда, такъ пожалуста, Матрена Карповна, въ мушку со мною. Такая привычка. Какъ женился,—дня не проходило, чтобъ вечеромъ не занялся—препрятная игра.

Хват. Съ большимъ удовольствіемъ-съ. А вотъ мой Платошенька—не оставьте лаской своей.

Бражк. *(почтительно вѣсившись съ Хватовымъ.)* Прошу любить и жаловать. Три трехлѣтія служилъ по волѣ дворянства судьей. Имѣю пряжку за пятнадцатилѣтнюю безперочную службу. Имѣнія триста душъ, не заложенныхъ, благоустроенныхъ,—я люблю аккуратность.

Горск. Объ этомъ послѣ, Ѳеодоръ Кузьмичъ,—вѣдь не въ послѣдній разъ видите.

Бражк. Нѣтъ, Николай Матвѣичъ,—нужна аккуратность. Чтобъ послѣ, знаете, оглядокъ не было.

Хват. Здоровы ли ваши дѣтки, Ѳеодоръ Кузьмичъ—Марья Ѳеодоровна и Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ?

Бражк. Слава Богу-съ, Ѳеодора-то Ѳеодоровича я нынче немножко посѣкъ,—все балуетъ—бумагу крадетъ у меня на зѣби. Бумаги-то всего была у меня десточка—давно ужъ не писалъ, вѣдь я рѣдко пишу; гляжу: до половины растаскалъ. Ну, ужъ, говорю, какъ хочешь, а надо банку задать. Что дѣтей баловать—въ страхъ Божию надо ихъ воспитывать.

Горск. *(отворачивается и видитъ Коркина.)* А, Алексѣй Степановичъ, и вы къ намъ пожаловали!

Борк. *(смѣясь.)* Какъ же, съ тетушкой прѣхалъ. Какъ прѣхалъ кузинъ, такъ и должностью не отговорюсь.

Хват. Что тутъ, батюшка, за отговорки! Вѣдь не чужіе—свои. Спѣсившись грѣхъ передъ бѣдной родней. Тебѣ была другая дорога—сестрино счастье не моему чета—она вышла за богатаго; зато ты, батюшка, служилъ въ кавалерахъ, дослужился ротмистра, и не успѣлъ двухъ лѣтъ пробыть въ отставкѣ, какъ и попалъ въ исправники. А моему Платошенькѣ хотя бы въ становые Богъ далъ. Что ему больше въ полку-то дѣлать? Вѣдь сколько ни служи, а не много наживешь. А здѣсь-то оно хоть и не парадно, да теплѣй и покойнѣ. Не правда ли, Николай Матвѣичъ?

Горск. Что жъ, коли есть охота промѣнять военный мундиръ на штатскій—съ Богомъ, а мы хлопочемъ.

Хват. Дай вамъ Богъ здоровья, Николай Матвѣичъ, а у меня вся надежда на васъ да на Алексѣя Степановича.

Горск. Ну, что, братъ, Платонъ Васильевичъ, какъ послужилъ, гдѣ побывалъ?

Плат. В. Были кое-гдѣ—и въ Турчинѣ походили.

Бражк. Вотъ страсти-то! Чай частенько приходилось такъ, что и небо въ овчинку казалось; не то, что у насъ—сиди въ присутствіи на стулѣ, не упадешь, развѣ задремлешь.

Горск. Коли назвался груздемъ—полѣзай въ кузовъ. Молодому человѣку стыдно трусить.

Бражк. Ну, что, Платонъ Васильевичъ, побывали и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ?

Плат. В. Въ Петербургѣ не были, а въ Москвѣ были-сь. Большой городъ, церковей очень много.

Хват. Какъ же, батюшка Ѳеодоръ Кузьмичъ, вчера цѣлый вечеръ рассказывалъ все объ Иванѣ Великомъ, да о Сухаревой башнѣ.

Плат. В. Большой съ монументъ! А царь-пушка-то—чай, изъ нея и стрѣлять-то нельзя-сь. А хорошо, кабы тарарахнули хоть разокъ—чай, стекла бы powyбило.

Горск. Ну, что, Платонъ Васильевичъ, охотники у васъ въ полку повеселиться? Мы такіе были плясуны, что носомъ чуяли, гдѣ балъ и много барышень.

Плат. В. Какъ же-сь, Николай Матвѣичъ, господа офицеры у насъ преобразованные-сь. Во всемъ полку нѣтъ ни одного, чтобы не умѣлъ мазурки и французскаго кадreja, окромѣ вальсовъ, экосецовъ, польскихъ и матрадуровъ. Вотъ ужъ на что я—и то разомъ выучился. Не хотѣлось тоже отъ другихъ отстать. Вообще общество у насъ прекрасное. Играютъ и въ банчикъ, капельки мимо рта нашъ братъ офицеръ не проронить, а ужъ за то, коли гдѣ у помѣщика балъ или вечеринка,—мы изъ первыхъ тамъ. Почитать тоже любимъ. У насъ, въ полку, и «Библиотека» получается. Очень хорошій журналъ—самъ Смирдинъ печатаетъ-сь, а Брамбеусъ иногда такіа пули отливаетъ, что такъ вотъ и катаемся со смѣху—животы надорвемъ. Особенно хороши повѣсти—тамъ все экивоки-сь, да такіе, что какъ иной вспомнить свои проказы, такъ только усы покручиваетъ, да ухмыляется, злодѣй.

Анна В. Ахъ, братецъ, а какіе стихи вамъ въ «Библиотеку» больше нравятся?

Плат. В. Да всѣ хороши, сестрица, вѣдь Брамбеусъ самъ поправляетъ.

Анна В. Ахъ, я больше всего люблю господина Тимоеева: вотъ, Катерина Петровна, не помните ли вы—какъ бишь они начинаются? «Скучно, дядя»,—такъ кажется. А мистеринъ его какія страшныя—все о представленіи свѣта.

Плат. В. Да, господинъ Тимоеевъ—поэтъ важный; пишетъ съ большимъ чувствомъ—лучше Пушкина.

Горск. Ну, Платонъ Васильевичъ, потише, потише, а то какъ разъ бѣду наживешь. Катенька у меня горой за Пушкина, а коли Лизанька присоединится къ ней—такъ не радъ будешь, что я сказалъ.

Плат. В. Ахъ, извините-сь—я, право, не зналъ-сь. А впрочемъ, вѣдь все равно-сь—все аллегорически, то-есть не правда, а выдуманно-сь.

ЯВЛЕНІЕ 9.

Входить Иванъ.

Иванъ. Батюшка баринъ, Николай Матвѣичъ, на столъ готово-сь, и кушанье подано-сь. (*Уходитъ.*)

Горск. Ну, гости мои дорогіе, хлѣба-соли покушать прошу покорно. Пойдемъ-ко, Матрена Карповна,—ты у меня похозяйничаешь.

Бражк. Да, я чувствую большой аппетитъ,—а послѣ обѣда всхрапну немножко, а какъ встану, такъ не забудьте же, Матрена Карповна,—въ мушкету. (*Всѣ уходятъ.*)

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Горскій и Хватова.

Хват. Да, да, Николай Матвѣичъ, что и говорить—надо дѣтокъ пристроить. Это пуще всего. Мнѣ, бѣдной, горемычной вдовѣ, немного надо: благодаря Бога и добрыхъ людей, я сыта по горло, а теплый уголокъ еще отъ мужа-покойника достался. Я же всѣмъ умѣю услужить и угодить: тамъ похозяйничаю, тутъ пошью, здѣсь свадебку слажу—а мнѣ все спасибо, да спасибо. Куда ни приду, вездѣ какъ къ себѣ домой, какъ къ роднымъ, право—всѣмъ до меня нужда. Теперь только одна забота—дѣтокъ пристроить.

Горск. Ну, да вѣдь въ отставку выйти—не большая мудрость, а въ становые попасть—не Богъ знаетъ что. По мнѣ, что могу—все сдѣлаю.

Хват. Зачѣмъ пріѣхалъ къ вамъ Ѳеодоръ Кузьмичъ?

Горск. Какъ зачѣмъ? Развѣ ты въ первый разъ видишь его у меня въ домѣ?

Хват. Я знаю, что вы старые знакомые, да я кое-что слышала.

Горск. Правду сказать, Матрена Карповна,—по дѣломъ тебя бранять, что ты любишь все слышать, да потомъ болтать.

Хват. И, батюшка, вотъ ужъ ты тотчасъ и въ гору пошелъ! Что жъ такое? Слухомъ земля полнится, да онъ же и самъ ужъ давно проговаривалъ мнѣ объ этомъ.

Горск. А хоть бы и такъ—что жъ тутъ особеннаго? Дѣло обыкновенное.

Хват. То-то, то-то, Николай Матвѣичъ! Суженаго конемъ не объѣдешь. Конечно человѣкъ—отъ онъ хорошій и съ состояніемъ, да ужъ старъ, вдовецъ, да къ тому же и дѣти есть. Я давеча, глядя на Лизавету Петровну, чуть не заплакала. Сидитъ, моя голубушка, и слова не молвить, а ужъ такая печальная.

Горск. Да что ты, чортъ возьми! Съ чего ты взяла, что Лизанька пойдетъ, а я отдамъ ее за этого урода?

Хват. А! такъ вы не согласны! Я сама тоже

думала и всѣмъ говорила: «Что вы! захочетъ ли Николай Матвѣичъ погубить дѣвушку?—Конечно родня дальняя, да вѣдь онъ ихъ любить пуще дочерей. У нихъ же есть и достаточекъ—такъ можно прискаты женишковъ и получше. Все ужъ хоть не богатый, да по крайней мѣрѣ былъ бы молодой человекъ».

Горск. Какъ же, вотъ тотчасъ и отдамъ за то, что молодъ! Ужъ не хочешь ли посватать? ты вѣдь изстари свахой слывешь.

Хват. А что жъ?—попытка не пытка, спросъ не бѣда. Голенькій охъ, а за голенькимъ Богъ. А хотѣла бы я поклониться тебѣ, Николай Матвѣичъ. Что же въ дѣвкахъ-то засиживаться—вѣдь ужъ ей двадцать лѣтъ.

Горск. Считала бы ты лучше годы своей дочери—чай, ужъ давно подъ-тридцать.

Хват. (плачетъ). И, батюшка! дѣло сиротское, бѣдное—можетъ и вѣкъ въ дѣвкахъ просидитъ.

Горск. Ну, ну, добро, полно плакать-то. Мнѣ некогда; скажи—что надо.

Хват. Батюшка Николай Матвѣичъ, осчастливь бѣдную вдову и сиротъ, будь имъ отцомъ роднымъ. Платошеньку надо женить—онъ сирота и она сиротка, такъ за ихъ сиротство, можетъ, Богъ и дастъ имъ счастье.

Горск. Э, Матрена Карповна,—не туда поѣхала!

Хват. Конечно, батюшка, куда же намъ—мы люди бѣдные, а у нихъ есть достаточекъ.

Горск. Не то, все не то: то-есть, не съ той стороны заѣхала. Знаешь—я вѣдь неволить не буду, и согласись она—я радъ.

Хват. Да, да! что и говорить, батюшка Николай Матвѣичъ.

Горск. Да вѣдь они еще другъ друга не знаютъ?

Хват. Свыкнутся, Николай Матвѣичъ, свыкнутся, а тамъ Богъ дастъ и ладъ, и совѣтъ.

Горск. Ну, тамъ какъ знаешь—хлопочи сама; тебѣ не привыкать стать къ этому, а мое дѣло—сторона.

Хват. Ну, такъ вотъ я только объ этомъ-то и хотѣла вамъ сказать.

Горск. Ну, хорошо, хорошо тамъ посмотримъ. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 2.

Хватова (одна).

Вишь, старый чортъ, и подступу нѣтъ къ его приемышамъ. Будто и нивѣсть что! Что у нихъ рожицы-то смазливы, по-французски болтаютъ, да состояннице есть—такъ и думать не смѣй объ нихъ! Да добро, ужъ поставлю же и я на своемъ—не мытьемъ, такъ катаньемъ возьму, а не удастся—дамъ волю языку. Старикъ-отъ что-то на себя не похожъ, да и Иванъ мнѣ что-то проговорилъ. Надо съ нимъ потолковать, а тутъ что-то не ладно—нѣтъ ли штукъ какихъ? А вотъ какъ быть съ Алексѣемъ Степановичемъ-то—слово скажешь—бѣда. Онъ теперь ждетъ, что я ему скажу: небось—утѣшу! Да вонъ никакъ и онъ.

ЯВЛЕНІЕ 3.

Хватова и Коркинъ.

Корк. Ну, что, тетушка? Развѣдали ли вы что-нибудь? За Мальскаго хочешь отдать?—это вѣрно?

Хват. Ничего, ровно ничего не узнала. Только видно, что старику-то крѣпко не по сердцу всѣ эти предложенія. Кажется, онъ и думать не хочетъ, чтобъ разстаться съ ними.

Корк. Ну, такъ вы слишкомъ-то и не приставайте къ нему, чтобъ не испортить дѣла. Лучше подождать.

Хват. Что и говорить, батюшка, поспѣшишь—людей насмѣшишь. А гдѣ Платошенька?

Корк. Да тамъ—въ саду.

Хват. Пойти и мнѣ туда. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 4.

Коркинъ (одинъ).

Мерзкая баба лукавить. Я ужъ вижу, что она по матерински хлопочетъ о своемъ Платошенькѣ. Да пусть хлопочетъ! Мнѣ всего лучше прямо приступить къ дѣлу. Откажутъ наотрѣвъ—по крайней мѣрѣ не будетъ пустыхъ надеждъ и ожиданій, согласятся... (потирая руками) охъ, плоха надежда. Этотъ Владиміръ Дмитриевичъ... Во всякомъ случаѣ надо самому дѣйствовать, а то одно посредничество этой бабы можетъ все испортить.

ЯВЛЕНІЕ 5.

Коркинъ и Горскій.

Горск. А! Алексѣй Степановичъ, вы что-то тутъ философствуете.

Корк. Нѣтъ, просто разсуждаю объ одномъ дѣлѣ, очень важномъ для меня; я объ немъ давно ужъ думаю.

Горск. А что такое?

Корк. (съ замѣшательствомъ, смѣясь). Дѣло не мудреное, да сказать-то мудрено.

Горск. Ну, такъ и есть! Нынѣшній день я ужъ наслушался этихъ дѣлъ! Скажите скорѣе и прямѣе; вѣрно предложеніе насчетъ которой-нибудь изъ моихъ племянницъ?

Корк. Вы угадали.

Горск. Да, съ нѣкотораго времени я сталъ очень догадливъ. (Про себя.) Вижу, куда ты мѣтишь. голубчикъ! Лизанька молода, прекрасна, а ты и безъ очковъ хорошо видишь.

Корк. Кажется, вамъ это непріятно?

Горск. Не то, что непріятно, а хлопотно. Я отдѣлывайся, а онъ въ сторонѣ. Скажешь имъ—такъ послѣ и самъ не радъ. Впрочемъ я ей поговорю, и скажу вамъ ея отвѣтъ. Повѣрьте, что если дѣло пойдетъ на ладъ—я буду радъ всей душой. Только вы, Бога ради, сами ничего не говорите ей—все дѣло испортите.

Корк. Куда говорить—и подумать страшно; такъ въ жаръ и ознобъ и бросаетъ. Страшнѣй, чѣмъ, бывало, на приступъ идти.

Горск. А кажется, вы видѣли свѣтъ и женщинъ?
 Корк. И даже былъ съ ними не изъ робкихъ.
 Да! скажите мнѣ: что Владиміръ Дмитріевичъ. Вѣдь онъ кончилъ курсъ въ университетѣ?

Горск. Какъ же—ужь другой годъ.

Корк. Что жъ?—онъ намѣренъ служить?

Горск. Куда! собирается путешествовать. Дѣла у него нѣтъ, а состояніе есть; самъ онъ сирота круглый, я—вся родня у него, такъ онъ все и живетъ у меня.

Корк. Это я знаю; да я не то хотѣлъ сказать—онъ...

Горск. Не беспокойтесь—онъ тутъ ровно ничего не значить. Надѣйтесь на меня.

Корк. Я вамъ вѣрю, и пока вы мнѣ не скажете чего—я ни полслова. Пойду къ нимъ и посмотрю, какъ тамъ любезничаютъ мой кузинъ—я думаю, онъ тамъ всѣхъ такъ очаровалъ, что на нашего брата-рыбчика тамъ и смотрѣть не будутъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 6.

Горскій (*одинъ*).

Славный человѣкъ этотъ Коркинъ. Вотъ такому человѣку нельзя не пожелать счастья! Однакожъ—сказать ли мнѣ ей о его предложеніи? Что жъ мнѣ дѣлать, если къ ней нѣтъ и приступа, если она не хочетъ и слышать о замужествѣ. Какъ она давеча поутру поступила со мной за этого стараго дурака Бражкина! Смотри пожалуй—она хотѣла дать ему слово... а... а для чего!—чтобы доказать мнѣ, какъ больно видѣть ей, что я хочу съ ней разстаться. Она и подумать не хочетъ, что это вѣдь для ея же счастья. Но неужели же ей вѣкъ жить въ моемъ домѣ? Положимъ, что для меня-то это счастье, потому что я не перенесъ бы разлуки съ ней. Да еще хорошо бы, если только разлуки,—а то вотъ бѣда, если выйдетъ за какого-нибудь пошляка или мерзавца, который не будетъ умѣть оцѣнить ее, будетъ съ нею обращаться грубо, жестоко, тирански. Тирански! Да одинъ косой взглядъ, одно грубое слово—такъ я задушилъ бы его вотъ этими руками. Нѣтъ, я соглашусь отдать ее только за такого человѣка, который любилъ бы ее такъ, какъ я люблю ее; кто бы видѣлъ ее во снѣ, думалъ о ней наяву; кому бы было мило, чтобы при немъ ласкала она собаку, гладила кошку, любовалась цвѣткомъ, и кто бы подводилъ къ ней и собаку, и кошку, чтобы только посмотрѣть, какъ она ихъ ласкаетъ; бѣгалъ бы самъ за цвѣтами и приносилъ ихъ ей, чтобы только посмотрѣть, какъ она ими радуется, и потомъ почестъ себя счастливымъ, если за это она улыбнется ему, кивнетъ головой, скажетъ слово. А гдѣ найти такого, кто бы такъ-то любилъ ее? А если бы такой и нашлся,—за что она будетъ любить его? Развѣ онъ лелѣялъ ея дѣтство, замѣнилъ ей отца, жилъ только ею и для нея, думалъ только о ней, страдалъ ея горемъ, радовался ея радостью, и за ея любовь, ласку, привѣтъ забывалъ свои лѣта, терялъ умъ, плакалъ, хохоталъ и прыгалъ? Да! за что она будетъ любить его? Гдѣ жъ

справедливость? Конечно, зачѣмъ же мнѣ отнимать у нихъ счастье. Ну, вотъ Катенька—мнѣ и съ ней тяжело разстаться, но коли она любитъ Володю—съ Богомъ. Володя—малый съ головой, съ сердцемъ, человѣкъ честный, твердый, хоть и молодой; состояніе его независимое—самъ себѣ господинъ. Только что-то мнѣ становится тяжело его видѣть. Можетъ быть оттого, что онъ съ Катенькой все какъ-то не такъ—все шутить, а о дѣлѣ ни слова. Ужъ не раздумалъ ли онъ жениться на ней? Да, съ Катенькой все шутить, а на Лизаньку иной разъ такъ уставится, что вотъ такъ бы и разорвалъ его на части. Постой—я объяснюсь съ нимъ. Коли хочетъ жениться—пусть женится; не хочетъ—долженъ оставить насъ. Такъ или сякъ—это будетъ хорошо; но вотъ что мучаетъ меня: ужъ, кажется, какъ люблю я Лизаньку—нельзя больше любить, а самъ чувствую, что никого такъ часто и такъ больно не оскорбляю, какъ ее,—иной разъ я ее хуже чѣмъ ненавижу. (*Молчаніе*.) Да это еще обойдется какъ-нибудь—вѣдь это, должно быть, слѣдствіе какой-нибудь скрытой болѣзни—я, видно, и въ самомъ дѣлѣ разстроенъ. Но вотъ—что мнѣ дѣлать съ Коркинымъ—сказать ли ей о его предложеніи? Почему же и не сказать—вѣдь она не пойдетъ за него, я въ томъ увѣренъ: она всегда хвалила его такъ холодно, такъ прямо. (*Молчаніе*.) Ну, а если пойдетъ? Конечно онъ—человѣкъ хорошій, умный, образованный; да вѣдь женихи всѣ хороши, только не всѣ бываютъ хорошими мужьями. Кто знаетъ, что еще изъ него выйдетъ? Нѣтъ, совѣстно будетъ не сказать—къ тому же еще какъ бы онъ самъ не вздумалъ. Я скажу ей только такъ, что она тотчасъ пойметъ, что это сватовство мнѣ не по сердцу.

ЯВЛЕНІЕ 7.

Входитъ Мальскій.

Мал. А! вы тутъ, дяденька?

Горск. Должно быть, что тутъ. А ты—здѣсь?

Мал. Вы все шутите, дяденька.

Горск. А ты что-то вѣсь повѣсилъ.

Мал. Да здѣсь, дяденька, всѣ ходятъ повѣся носы, кромѣ Катерины Петровны; даже и гости всѣ озабочены. Бодрѣе всѣхъ Матрена Карповна, да и та не можетъ скрыть, что чѣмъ-то озабочена.

Горск. Эхъ, кабы они да развѣхались! Когда не до нихъ, такъ тутъ-то и найдутъ.

Мал. Лизавета Петровна даже не въ состояніи скрывать своего волненія и грусти.

Горск. Я-то чѣмъ же тутъ виноватъ?

Мал. Да я и не виню васъ, дяденька.

Горск. Ты всегда правъ,—что и говорить! Да, скажи-ка мнѣ кстати: ты любишь что ли Катеньку? Вѣдь самъ посуди,—ей ужъ восемнадцать лѣтъ, а вы другъ съ другомъ все, какъ дѣти. Вспомни, что вѣдь онъ тебѣ совсѣмъ не родня, а кому какое дѣло до того, что вы росли вмѣстѣ и, будучи дѣтьми, привыкли называть другъ друга женихомъ и невестой? Всякій смотритъ только на наружность

и по ней дѣлаетъ заключеніе. А я не хочу на ихъ счетъ никакихъ пустыхъ заключеній.

Мал. Дяденька, вы говорите конечно правду, но такимъ тономъ, какъ будто бы я сдѣлалъ что-нибудь худое.

Горск. Да рѣчь не о тонѣ, а о дѣлѣ. Ты отвѣчай мнѣ на вопросъ: коли хочешь на ней жениться, и она согласна идти за тебя замужъ—съ Богомъ; я не противлюсь, и тогда на васъ будутъ смотрѣть, какъ на жениха съ невѣстой; не хочешь—пора положить конецъ дѣтскому обращенію.

Мал. Конечно, дяденька, вы правы; но время ли теперь говорить объ этомъ?—у насъ столько гостей, народу—того и гляди, что кто войдетъ.

Горск. Послушай, Володя, тутъ много разсуждать нечего—да или нѣтъ, коротко и ясно, а для этого довольно и минуты. Ты ужъ не ребенокъ и вѣрно имѣлъ время обдумать такое важное дѣло; а о чемъ думано нѣсколько лѣтъ, о томъ можно сказать въ минуту.

Мал. Но—я такъ еще не увѣренъ—боюсь впечатлѣнія и воспоминанія дѣтства принять за чувство. (*Беретъ ея за руку.*) Любезный дяденька, нѣсколько дней, нѣсколько дней, и я вамъ дамъ рѣшительный отвѣтъ.

Горск. По мнѣ—пожалуй! Нѣсколько дней—не велика важность; странно только, что ты въ нѣсколько дней хочешь рѣшить то, чего не могъ рѣшить въ нѣсколько лѣтъ. Такими вещами, братъ, не шутятъ. Вѣдь тутъ дѣло идетъ о счастіи цѣлой жизни двухъ человѣкъ. Да что ты ушелъ изъ саду-то?

Мал. Такъ, мнѣ стало душно тамъ. Ѳедоръ Кузьмичъ все еще продираетъ глаза—онъ всхрапнулъ. Матрена Карповна—трепотка. Сынокъ ея отпускаетъ армейскія любезности, отъ которыхъ Катерина Петровна хохочетъ до слезъ. Алексѣй Степановичъ что-то не въ духѣ, противъ своего обыкновенія. Лизавета Петровна такъ печальна, что, глядя на нее, хочется плакать. Хочу отдохнуть наединѣ.

Горск. Да ты что-то сталъ ужъ черезчуръ чувствителенъ. Пойду—что тамъ? (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНІЕ 8.

Мальскій (*одинъ.*)

Да, онъ правъ: чего не рѣшилъ въ нѣсколько лѣтъ, того не рѣшить въ нѣсколько дней, и шутить такими вещами не годится. Но что жъ мнѣ дѣлать? Привычка, воспоминанія дѣтства, семейныя преданія вступили во мнѣ въ борьбу съ влеченіемъ сердца. Нѣтъ! нѣтъ! пора уже мнѣ быть проще съ самимъ собой, перестать идеальничать. Нѣтъ, я ея не люблю, это вѣрно. Прекрасная дѣвушка, милое, граціозное созданіе, но ея легкость, всегдашняя веселость,—все это мнѣ не нравится, просто—оскорбляетъ меня. Но если она меня любитъ? Да, это было бы очень утѣшительно. Но, кажется, что нѣтъ. Это надо узнать навѣрное. Да какъ узнаешь? Станешь говорить съ ней—она будетъ шутить; потребуешь рѣшительнаго отвѣта—она запоетъ или убѣжитъ, припрыгивая. Постой, я поговорю съ Лизаветой Петровной. Страшно мнѣ что-то говорить

съ ней. Что это значить—давича, какъ я долго смотрѣлъ на нее, когда наши глаза встрѣтились, она покраснѣла и какъ будто вздрогнула? Но нѣтъ, нѣтъ! этого быть не можетъ. Она такъ дика со мной—мое присутствіе какъ будто оскорбляетъ ее. Нѣтъ, это все не то; это значить просто на просто—высоко и далеко. Нѣтъ, мнѣ не надо и думать объ этомъ. А все думается невольно. И то придетъ на память, и это вспомнишь, чтобы растолковать въ свою пользу,—тамъ взглянула, тутъ покраснѣла, тогда смутилась. А на повѣрку выйдетъ: взглянула потому, что надо же на что-нибудь глядѣть; покраснѣла или смутилась отъ того, что голова болѣла, или отъ негодованія на нескромный взглядъ, глупое слово. Охъ, эта фантазія—мерзкая способность! По крайней мѣрѣ мнѣ надо поговорить съ ней. Но вотъ, кажется, и она—Боже мой!..

ЯВЛЕНІЕ 9.

Мальскій и Лизанька.

Лиз. Ахъ!—Вы здѣсь, Владиміръ Дмитріевичъ? Зачѣмъ вы ушли оттуда? Вѣдь Катенька тамъ.

Мал. Знаю-съ, и ей, кажется, очень весело отъ любезностей Платошеньки.

Лиз. А! ревность! (*Грозитъ ему пальцемъ.*) Не хорошо такъ ревновать, monsieur Мальскій.

Мал. Я очень радъ.

Лиз. Чему?

Мал. Счастливому случаю.

Лиз. Какому?

Мал. Что сошелся съ вами наединѣ.

Лиз. Но этимъ счастливымъ случаемъ вы пользовались каждый день, и только, кажется, въ первый разъ придали ему такую цѣну.

Мал. Напрасно вы такъ думаете. Я хотѣлъ...

Лиз. Безъ комплиментовъ, Владиміръ Дмитріевичъ; мы съ вами люди знакомые и ужъ, кажется, не со вчерашняго дня.

Мал. Мнѣ надо... я хотѣлъ поговорить съ вами.

Лиз. Очень рада, что могу исполнить ваше желаніе. Говорите.

Мал. Вамъ извѣстны мои отношенія къ вашей сестрѣ?

Лиз. Конечно—я знаю ихъ.

Мал. Но мнѣ не совѣтъясныя отношенія ко мнѣ.

Лиз. Бѣдненькій! какъ встревожила васъ ревность, но не бойтесь.

Мал. Она конечно милая дѣвушка, которой нельзя не любить. Но она такъ легко смотреть на самыя важныя вещи.

Лиз. (*про себя.*) Онъ сомнѣвается въ ея взаимности! Что мнѣ сказать ему? (*Вслухъ.*) У ней такой характеръ; но сердце у ней любящее, и она способна къ глубокому чувству.

Мал. О, да... конечно... но... но...

Лиз. (*про себя.*) Какъ онъ ее любитъ! (*Вслухъ.*) Я васъ не понимаю, скажите яснѣе. (*Смотря въ окно.*) Ахъ, кто-то идетъ сюда! Никакъ дяденька! Уйдите, уйдите—онъ осердится, что мы оставили гостей.

ЯВЛЕНИЕ 10.

Тѣ же и Горскій.

Горск. (*остановившись въ дверяхъ, говоритъ про себя*). Такъ! я чувствовалъ—виѣсть. Этотъ молодчикъ съ своей смазливенькой рожницей хочетъ терзать меня—мучить. (*Вслухъ*). Володя, чай небольшого труда стоило бы тебѣ позаняться съ гостями-то. Конечно, это люди простые, неученные, но гдѣ жѣ намъ для тебя взять ученыхъ-то. Съ волками вой по-волчьи.

Мал. Вы не говорили мнѣ этого назадъ тому четверть часа, какъ я сошелся съ вами въ этой же самой комнатѣ.

Горск. Сошелся! Да! ты какъ-то необыкновенно счастливъ на встрѣчи. Вотъ, мнѣ такъ нѣтъ такого счастья. Я нарочно пошелъ въ садъ, чтобы поговорить съ Лизанькой, а ты и не искалъ ея, а нашелъ. Поздравляю.

Мал. Не съ чѣмъ, дяденька, а впрочемъ благодарю покорно! Я и самъ хотѣлъ поговорить съ Лизаветой Петровной—и былъ такъ счастливъ.

Горск. Счастливъ! Да! ты въ самомъ дѣлѣ очень счастливъ—ужъ и видно, что въ сорочкѣ родился.

Мал. Я, дяденька, съ нѣкотораго времени что-то плохо понимаю васъ. Вашъ тонъ и манеры сдѣлались такъ странны.

Горск. Странны? Что жѣ дальше?

Мал. А дальше то, что мнѣ надо быть дальше отъ васъ, чтобы отстранить недоразумѣнія, къ которымъ я не подаю никакого повода и которыхъ я совсѣмъ не понимаю.

Лиз. Владиміръ Дмитріевичъ! что вы говорите? Бога ради!

Горск. Ха! ха! ха! Не беспокойся, моя милая, не упави въ обморокъ напрасно—вѣдь я не выгоняю его; а если тебѣ такъ трудно разстаться съ нимъ, то (*становясь на колѣни*) я на колѣняхъ буду просить его, чтобы онъ не лишалъ тебя счастья.

Лиз. О, Боже мой! (*Упадаетъ на стулъ и закрываетъ руками лицо*.)

Мал. Дяденька, къ чему комедіи—дѣло можетъ сдѣлаться и прощѣ. Вашу руку и прощайте. Если вы почитаете себя въ правѣ оскорблять меня безъ причины, то я нисколько не способенъ выносить вашихъ оскорбленій, особенно, когда они отзываются на другихъ. Посмотрите—Лизавета Петровна даже ужъ и не плачетъ: вы заставили ее истратить всѣ слезы.

Горск. Дьяволъ! и ты смѣешь еще указывать на нее и упрекать меня въ тиранствѣ. Да что я въ самомъ дѣлѣ—злѣдѣй ей что ли? Нѣтъ, я знаю, за кого она терпитъ: ты, ты противенъ мнѣ, отвратителенъ. Я ненавижу тебя! Да! будь ты правъ, благороденъ, чистъ, но—прошу тебя—оставь меня, оставь насъ.

Мал. Но подумайте—что вы дѣлаете? Что вы изъ себя теперь представляете?

Горск. Все, что тебѣ угодно: пусть я подлѣ, низокъ, тиранъ,—все, все, что тебѣ угодно—только окажи благодѣяніе, милость—избавь меня отъ себя.

Лиз. Боже мой! Боже мой! Вотъ до чего дошло! А! пора наконецъ! Владиміръ Дмитріевичъ, прошу васъ оставить меня съ дяденькой наединѣ. (*Мальскій уходитъ*).

ЯВЛЕНИЕ 11.

Тѣ же, кромѣ Мальскаго.

(*Молчаніе. Лизанька снова упадетъ на стулъ, ломая себѣ руки*).

Горск. (*падая передъ ней на колѣни*). Лизанька! другъ мой! ангель! скажи, что мнѣ съ собой дѣлать? Я не помню себя, не понимаю, что говорю, дѣлаю (*рыдая, цѣлуетъ ей руки*). Прости меня! прости! Не думай, чтобы я не любилъ тебя, ненавиждѣлъ. Боже мой! да я такъ люблю тебя, что, если бы ты захотѣла,—я съ охотой позволялъ бы зарыть себя живого въ землю!

Лиз. (*вставая*). Да, дяденька,—точно, вы меня любите.

Горск. (*радастно*). Ты вѣришь этому? Не сомнѣваешься въ моей любви?

Лиз. Къ несчастью, слишкомъ вѣрю и нисколько не сомнѣваюсь.

Горск. Какъ? Что ты хочешь этимъ сказать?

Лиз. Вы все еще не понимаете?

Горск. Но что же понимать?

Лиз. Дяденька, вы влюблены въ меня! (*Убѣждаетъ съ воплемъ*).

ЯВЛЕНИЕ 12.

Горскій (*одинъ*).

А, вотъ оно что.—Влюбленъ! Да, влюбленъ, влюбленъ! Ха! ха! ха! влюбленъ! Ахъ, кабы еще къ этому и съ ума сойти, то-то бы кстати было!—Да зачѣмъ?—развѣ влюбиться—влюбиться на старости лѣтъ въ дѣвочку, которую называлъ своей дочерью—развѣ это можно сдѣлать въ полномъ умѣ?—А такъ вотъ она—и болѣзнь, и ипохондрія, вотъ она и ненависть къ ней, къ нему. Къ нему? За что ненависть? Стало-быть, мой племянникъ—этотъ мальчикъ—соперникъ мнѣ? А если соперникъ—стало-быть, я долженъ ревновать его? Да, ужъ разумѣется: что за любовь безъ ревности? Коли отличаться, такъ отличаться, чтобы быть вполне дуракомъ. Не вызвать ли мнѣ его на дуэль?—Оно таки ко мнѣ пристало.—Нѣтъ, ужъ лучше подслушать ихъ разговоръ, объясненіе, заставить его на колѣняхъ передъ ней—да кинжаломъ его.—Это лучше—параднѣе. (*Указывая на зеркало*). Это что тамъ такое—дай посмотри.—Ба! да это я—что за молодецъ, чортъ возьми! (*Бьетъ себя по головному*). Это что—лысина. (*Бьетъ себя по животу*). А это?—толстое, пятидесятилѣтнее брюхо! Ну, чѣмъ не любовникъ, чѣмъ не женихъ! Всѣмъ взялъ! (*Хватая себя за голову*). А, глупая, старая голова—растеряла ты свои волосы, а съ ними и умъ свой! (*Молчаніе*). Ну, вѣжнѣй пастушокъ, ступай же къ своей пастушкѣ, нарви цвѣточковъ, слети вѣночекъ, да смотри, чтобы больше было ландышей и

незабудокъ, потомъ поднеси его, ставши на колѣни—со вздохомъ—словомъ, какъ водится,—Ха! ха! ха!—Боже, великій Боже!—спаси и помилуй! (*Упадаетъ въ кресла, закрывая руками лицо*).

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Иванъ и Хватова.

Иванъ. Да что и говорить, матушка Матрена Карповна,—тошно, на свѣтъ бы не глядѣлъ.

Хват. Да что сказалъ Семенъ Андреичъ?

Иванъ. Да Богъ его знаетъ—гдѣ намъ знать—дѣло холопское—иной разъ и слышишь, да ничего не разберешь. Проговаривала что-то Катерина Петровна Владиміру Дмитріевичу, да я плохо понималъ.

Хват. А что жъ она говорила ему? Что?

Иванъ. Да вишь ты, болѣзни у барина нѣтъ никакой, а забота заѣла.

Хват. Забота? Какая же забота?

Иванъ. Да Богъ вѣсть. Я такъ мекаю, что все не то; гдѣ этимъ лѣкарямъ знать—они только деньги берутъ.

Хват. И будто ни слова не скажетъ?

Иванъ. Слышалъ я разъ—третьеводни-то, ужъ ночью,—говорить: «на старости Богъ наказалъ», да еще: «если бъ за кого замужъ вышла?»

Хват. Да про кого же—замужъ-то?

Иванъ. А Господь его знаетъ!—должно быть, про барышень.

Хват. Да, Иванъ, голубчикъ, надо подумать—вѣдь дѣвушки на возрастъ, давно невѣсты.

Иванъ. Да ужъ я, матушка Матрена Карповна, денно и ночью Бога молю. Что и говорить—давно пора. А барышни-то какія—сущіе ангелы!

Хват. Да что жъ, Иванъ, надо постараться, похлопотать. Захоти только, а то и ты много можешь сдѣлать, помоги только мнѣ.

Иванъ. То-есть, какъ же это, матушка Матрена Карповна?

Хват. А ужъ я знаю какъ. Послушай. Вотъ мой Платошенька ужъ подпоручикъ, служить ему въ полку больше нечего—лучше пойти по штатской.

Иванъ. А хорошо бы—баринъ знатный, столовой дворянинъ, да еще и военный, собой молодецъ, умица—всѣмъ взялъ. Вотъ бы парочка-то съ Лизаветой Петровной!

Хват. Я ужъ то же думала. Вѣдь она и старшая, а Катерина-то Петровна, кажется, мѣтитъ за Владиміра Дмитріича?

Иванъ. Кажись, что такъ—вѣдь вмѣстѣ росли и сызмаленьку называли другъ дружку женихомъ и невѣстой. А другое слово—Богъ ихъ знаетъ.

Хват. А что? Почему?

Иванъ. Да Господь ихъ вѣдаетъ. Шутить шутить, а о свадьбѣ и не заикаются. Да вотъ что-то Машутка проговаривала—не то они поссорились, не то что-то, то-есть, такъ не ладно.

Хват. Какъ же, Иванъ?

Иванъ. Да въ томъ-то и бѣда, что въ толкъ не взялъ.

Хват. Ну, такъ вотъ то-то же, Иванъ; а ты теперь не зѣвай, коли желаешь имъ добра. Знаешь, какъ Богъ дастъ, сладимъ дѣльце, да веселымъ пиркомъ за свадьбу, такъ и Николай-то Матвѣичъ, небось, такъ развеселится, что и плясать на радости пойдетъ.

Иванъ (*крестясь*). Дай-то Господи! Вѣдь на рукахъ бывало нашивалъ и сызмаленьку любилъ и сказать нельзя какъ!

Хват. Коли есть усердіе, такъ не зѣвай только: все, что услышишь,—тотчасъ мнѣ, а я ужъ знаю, что дѣлать. Да смотри—никому ни-гу-гу, а то бѣда. (*Иванъ торопливо уходитъ съ значительной миной и выразительнымъ жестомъ*).

ЯВЛЕНІЕ 2.

Хватова (*одна*).

Дѣло! онъ простоватъ, а больно любить ихъ, только подожги его для господъ. Теперь надо подумать, какъ бы половчѣе, чтобы дѣло-то порѣшить прежде Алексѣя Степаныча, а коли не удастся—такъ хоть переѣхать ему дорогу. Онъ вѣдь богатъ, могъ бы жениться на комъ-нибудь и побогаче; такъ вотъ нѣтъ—хочетъ перебивать дорогу у бѣдныхъ людей; заплати ему Господи!.. Надо наострить Платошуту, а то онъ, Богъ съ нимъ, простоватъ: все наткени да научи, а самъ ни въ чемъ не догадается.

ЯВЛЕНІЕ 3.

Хватова и Катенька.

Кат. Матрена Карповна, не видали вы Владиміра Дмитріевича?

Хват. Да онъ ушелъ съ Платошенькой никакъ стрѣлять.

Кат. А!—я не знала.

Хват. (*смотря въ окно*). Да вонъ и они—много ли-то настрѣляли?

ЯВЛЕНІЕ 4.

Тѣ же и Мальскій съ Платономъ Васильевичемъ.

Хват. Ну, что?—много набили?

Плат. В. Ничего не убили, маменька. Я далъ пуделя по уткѣ, а Владиміръ Дмитрічъ и совсѣмъ не стрѣляли.

Мал. Да, охота была не очень счастлива. Да мнѣ и не хотѣлось—я пошелъ больше для Платона Васильевича.

Хват. Платошенька, мнѣ надо съ тобой поговорить. Пойдемъ-ко. (*Уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ 5.

Катенька и Мальскій.

Мал. Что дяденька?

Кат. Все то же—смотреть исподлобья и молчить.

Мал. А Лизаветъ Петровнѣ лучше?

Кат. Она хотѣла нынче выйти къ столу... Вотъ и будь тутъ весела, да безпечна! Видно, и мнѣ пришлось, смотря на всѣхъ, ходить съ траурнымъ лицомъ. Ахъ, какъ скучно и грустно, Владиміръ Дмитріевичъ!

Мал. Мнѣ самому не легче. Къ тому же я—растаюсь съ вами. Я только жду, чтобъ дядюшка оправился, пришелъ въ себя и могъ бы проститься со мной безъ сердца—по родственному. А тамъ и за границу.

Кат. Хороши же вы, Владиміръ Дмитріевичъ! Богъ наслалъ на насъ горе, а вы тутъ-то и хотите насъ оставить.

Мал. Что жъ дѣлать, если мое присутствіе не помогаетъ горю, а только увеличиваетъ его! А вамъ жаль будетъ меня, когда я ѣду?

Кат. Злой человѣкъ! вы еще можете спрашивать! *(Утираетъ слезы)*.

Мал. *(про себя)*. Она любитъ меня!—это утѣшительно! Ну, разомъ все кончить, что бы ни было! *(Всмыхъ)*. Катерина Петровна, я давно собирался поговорить съ вами о нашихъ отношеніяхъ.

Кат. Вотъ нашли время говорить объ отношеніяхъ! Право, вы съ ума сошли, если еще можете о нихъ думать! Теперь это ни мало не забавно и не смѣшно. *(Вздыхая)*. Да!—теперь ужъ не до шутокъ! Ахъ, вонъ и Лизанька—и, кажется, веселѣе.

ЯВЛЕНІЕ 6.

Тѣ же и Лизанька.

Кат. Тебѣ, Лизанька, кажется, лучше?

Лиз. Да, я теперь хорошо себя чувствую.

Кат. *(цѣлуя ее)*. Милая моя! какъ ты похудѣла, бѣдненькая! Не хочешь ли идти въ садъ—тебѣ бы это полезно.

Лиз. Я туда и шла было, да увидѣла тамъ Матрену Карповну съ ея Платошенькой и воротилась назадъ.

Кат. Вѣдь этакая безсовѣстная—видить, что тутъ совсѣмъ не до нея, и какъ нарочно расположилась гостить у насъ съ своимъ дуракомъ.

Лиз. Ну, Богъ съ ними. Коли отъ зла нельзя отдѣлаться—надо терпѣть его. Ты видѣла нынче дяденьку?

Кат. Видѣла. Онъ спокойнѣе, чѣмъ вчера и третьяго дня, но зато еще мрачнѣе. Теперь и тебѣ бы, Лизанька, надо сходить къ нему повидаться.

Лиз. Я хочу это сдѣлать.

Кат. А посмотри-ка, Лизанька, какъ хорошъ Владиміръ Дмитріевичъ: пока у насъ все шло еще сносно—онъ нашъ другъ и родственникъ и мой обожатель, а какъ пошло все хуже и хуже, такъ онъ и оставилъ насъ хотеть, говорить—ѣду. Не правда ли—хорошъ? О, безсовѣстный!

Лиз. Владиміръ Дмитріевичъ, и у васъ достаетъ духу такъ огорчать Катеньку... и всѣхъ насъ?..

Мал. Но, вы знаете, третьяго дня—вы сами видѣли, слышали.

Лиз. Да, что дяденька тогда немного погорячилъ—

ся, вышелъ изъ себя и обошелся съ вами немного грубо; но, любезный Владиміръ Дмитріевичъ, вы сами знаете, что съ нѣкотораго времени съ нимъ это не въ первый разъ случалось, просто вспышка. Я увѣрена, что онъ уже расканивается и что больше этого не будетъ.

Мал. Вы такъ думаете?

Лиз. Да, я имѣю причины такъ думать.

Кат. Да, разумѣется, дяденька такъ добръ, и его страшные поступки—просто припадки болѣзни. Впрочемъ можетъ быть вы и рады имъ, какъ предлогу, чтобъ оставить насъ.

Мал. Можете ли вы такъ думать, Катерина Петровна?

Кат. Могу, очень могу, злой человѣкъ! Вы насъ нисколько не любите, вамъ скучно съ нами. Развѣ я не вижу, что со дня на день вы становитесь печальнѣе. Кого любишь, съ тѣми весело. *(Кланяясь ему)*. Да уважайте—съ Богомъ—умаливать васъ не будутъ и плакать о васъ тоже не будутъ. *(Утираетъ слезы)*.

Лиз. И вы еще будете говорить объ отъѣздѣ. *(Тихо Мальскому)*. И ваше сердце молчить—не отзывается на такую любовь?

Мал. Но я конечно посмотрю, что скажетъ дяденька. *(Про себя)*. Боже мой! я погибъ—она меня любитъ!

Кат. Что же вы такъ блѣдны, смущены? Ну, полноте—я не сержусь больше—успокойтесь, вѣрный рыцарь! Я, Лизанька, пойду къ дяденькѣ, скажу ему, что тебѣ лучше, что ты вышла изъ комнаты: можетъ быть онъ самъ захочетъ, чтобъ ты пришла къ нему; тогда я скажу тебѣ. А ты урезонь хорошенько нашего упряма, да не будь къ нему слишкомъ снисходительна—строже съ нимъ—ихъ надо держать въ рукахъ. *(Уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ 7.

Лизанька и Мальскій.

Лиз. Катенька! Убѣжала, не слушаетъ, всегда одна и та же!

Мал. Да, и кажется, нельзя замѣтить и малѣйшаго желанія переимѣниться хоть немного.

Лиз. Зачѣмъ же? Развѣ она отъ этого меньше мила? Развѣ вы больше бы полюбили ее, если бы она переимѣнилась? Кого любить, въ томъ все любить—даже и худое, а въ ней нѣтъ ничего худого.

Мал. О, конечно! но я не то совсѣмъ думалъ.

Лиз. Я знаю, что васъ мучить, Владиміръ Дмитріевичъ: вамъ все кажется, что она мало васъ любитъ.

Мал. Да, но... *(Про себя)*. Боже мой! какая пытка!

Лиз. Успокойтѣсь. Она можетъ любить тихо, но глубоко. Если вы ее разлюбите, она не придетъ въ отчаяніе, но тихо угаснетъ и, умирая, все будетъ шутить.

Мал. Вы такъ вѣрно судите о любви, что можно подумать, что вы сами когда-нибудь любили или любите.

Лиз. (*холодно и гордо*). Ложное заключение, Владиміръ Дмитріевичъ,—я никого не любила и не люблю.

Мал. (*задыхаясь*). Да, это правда — я вамъ вѣрю, и мой вопросъ не имѣлъ никакого особеннаго значенія. Извините, если я имъ оскорбилъ васъ.

Лиз. Боже мой! да кто жъ оскорбляется? Зачѣмъ такъ принимать. Впрочемъ я опять-таки скажу вамъ, что можно, и не любя самой, имѣть понятіе о любви. (*Съ принужденной улыбкой*). Видя васъ, можно получить понятіе даже и о ревности.

Мал. (*внѣ себя отъ волненія*). Да, это правда. Я самъ только теперь начинаю понимать всю силу моей любви. Прощайте до обѣда.—Пойду мечтать о любви. (*Быстро уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 8.

Лизанька (*одна*).

Да, онъ любить, и только несчастное чувство, которымъ наказалъ меня Богъ къ довершенію другихъ моихъ горестей, могло въ этомъ сомнѣваться. Теперь прочь всѣ сомнѣнія! прочь унижительная борьба. Дай Богъ имъ счастья—они оба достойны его. А я... да что думать о себѣ! Это эгоизмъ. Мнѣ другой путь. Онъ любить мою сестру, и его любовь должна осчастливить ее. Меня же некому осчастливить. Такъ что же?—Я могу осчастливить человѣка, а осчастливить человѣка—развѣ это не высочайшее счастье, какое только можетъ быть въ жизни! Оно тяжело, мучительно; но чѣмъ больше жертва, тѣмъ выше поступокъ; чувство долга поддержитъ меня, дастъ мнѣ силу. Да и почему жъ не такъ? Что жъ тутъ особеннаго? Вѣдь выходятъ же замужъ не по любви и бывають счастливы. А развѣ нѣтъ примѣровъ, что женятся по любви, а послѣ не терпятъ другъ друга? Онъ—мой благодѣтель, отецъ; онъ такъ горячо любитъ меня; онъ будетъ такъ счастливъ, такъ будетъ любить меня. А какъ онъ теперь страдает! И за что? Развѣ онъ виноватъ въ своемъ чувствѣ? (*Молчаніе*). Неравенство лѣтъ! Вздоръ! Онъ молодъ душой—въ такія лѣта и такая страсть! (*Молчаніе*). Теперь ему тяжело увидѣться со мною, и я сама, если бы не рѣшилась на жертву, то скорѣе бы рѣшилась умереть, чѣмъ увидѣться съ нимъ послѣ сцены третьяго дня. Онъ ревнуетъ меня къ нему. Какъ слѣпа страсть!..

Хват. (*за дверью, вполголоса*). Смѣлѣй, Платошенька; какъ я говорила, такъ и сдѣлай.

Плат. В. (*также за дверью, вполголоса*). Да ужъ не ударимъ въ грязь лицомъ—вѣдь и мы тоже видали виды.

Лиз. Что это значить?

ЯВЛЕНІЕ 9.

Лизанька и Платонъ Васильевичъ.

Плат. В. (*подходя къ Лизанькѣ*). Я—то-есть матушка... (*Про себя*). Ай, струсилъ, чортъ возьми! А кажись—чего бы?

Лиз. Что вамъ угодно, Платонъ Васильевичъ?

Плат. В. Кому-съ? я—ничего—матушка...

Лиз. Что же угодно вашей маменькѣ?

Плат. В. Она ничего-съ, слава Богу, здорова. Я то-есть хотѣлъ съ вами объясниться, да забылъ-съ, смѣшался—дѣло непривычное-съ. У насъ въ полку отпартовать, и дѣло съ концомъ; на все форма—такъ ужъ не собьешься.

Лиз. Но я васъ не понимаю; скажите прямѣе.

Плат. В. (*становится на колѣни, держа руки по швамъ; Хватова выглядываетъ изъ-за двери и тотчасъ прячется*). Не откажите ради сиротства.

Лиз. Въ чемъ?

Плат. В. Я, сударыня. (*Про себя*). А, вспомнилъ! (*Вслухъ*). Я, сударыня, поразила вашей красотой и прошу у васъ руки и сердца.

Лиз. Встаньте, Бога ради, Платонъ Васильевичъ. Что вы это!

Плат. В. Пока не осчастливите—умру, а не встану, матушка не ведала, то-есть я самъ. (*Про себя*). Опять проговорился!

ЯВЛЕНІЕ 10.

Тѣ же и Горскій съ Катенькой изъ одной двери, Хватова изъ другой.

Кат. Ха! ха! ха!

Горск. Что это такое?

Плат. В. (*вставая*). Срѣзсался! Вѣдь съ нимъ толковать-то хуже, чѣмъ съ нашимъ полковникомъ.

Хват. Что жъ смѣшного, Катерина Петровна? Бѣдный малый влюбленъ безъ ума и проситъ руки, Николай Матвѣевичъ.

Горск. (*робко смотритъ на Лизаньку*). Здравствуй, Лизанька. Лучше ли тебѣ?

Лиз. (*потупивъ глаза*). Слава Богу, дяденька Николай Матвѣичъ, вы лучше ли себя чувствуете? Мнѣ надо поговорить съ вами послѣ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 11.

Тѣ же, кромѣ Лизаньки.

Кат. Ахъ, дяденька, какая же Лизанька счастливая! Я, право, завидую ей.

Горск. (*тихо, съ упрекомъ*). Ахъ, Катенька, до шутокъ ли теперь? (*Катенька, закусивъ губы, уходитъ*). Матрена Карповна, что это за сцены заводишь ты въ моемъ домѣ?

Хват. А что же, батюшка, вѣдь ты же сказалъ, чтобъ мы сами похлопотали. Вѣдь онъ у тебя ученый, книжницы—все хотять по любви, какъ въ романахъ, такъ Платошенька и объяснился. Онъ, бѣдный, по уши влюбленъ въ Лизавету Петровну, и во снѣ ее нынче видѣлъ.

Горск. Охо-о-хо! влюбленъ, влюбленъ!

Хват. Не оставь, отецъ родной, сиротку; ты всегда былъ нашимъ благодѣтелемъ!

Горск. Эхъ, Матрена Карповна! Платонъ Васильевичъ, оставь-ко меня поговорить съ матерью-то. (*Хватовъ выходитъ*). И нашла ты время, Матрена Карповна!

Хват. Платошенька погорячился, Николай Матвѣвичъ; ужъ я и говорила ему—погоди, такъ нѣтъ, не терпится, вѣдь съ ума сходить бѣдный малый отъ любви къ Лизаветѣ Петровнѣ.

Горск. Небось—не сойdetъ. А пока я тебѣ вотъ что скажу: ты за дѣло взялась совсѣмъ не такъ, да и вялась понапрасну: Лизанька за твоего сына не выйдетъ. Я ужъ говорилъ ей—и слышать не хочетъ.

Хват. Батюшка, отецъ родной, похлопочи, посоветуй—дѣло дѣвичье, молодое—пожалуй и отъ своего счастья откажется. Немножко и попринудить не грѣхъ. Не погуби насъ, сиротъ бѣдныхъ. (*Плачетъ*).

Горск. Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь, только ужъ ты-то больше ничего не затѣвай, во всемъ положишься на меня. А теперь поди-ко, посмотри насчетъ стола.

Хват. Ужъ не бойтесь, Николай Матвѣвичъ, я на васъ, какъ на каменную гору. По шеѣ изъ дому вытолкай, коли занянусь только. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 12.

Горскій (*махнувъ рукой вслѣдъ Хватовой*).

Эхъ! вѣдь вотъ тутъ-то, какъ нарочно, все и столкнулось такъ некстати—и гости наѣхали, и дурака этого нелегкая изъ арміи принесла! Да на этотъ разъ я и радъ, что такъ случилось. Я шелъ къ ней нарочно съ Катенькой, чтобъ не быть съ глазу на глазъ, да и то и колѣни трясутся, и въ глазахъ темно, и голова кругомъ, а самъ задохнулся. Ужъ радъ, радъ, что она была не одна—и еще въ такомъ положеніи. Теперь все легче будетъ увидѣться. (*Садится въ кресла у стола*). Что теперь дѣлать? Какъ быть? Жить намъ вмѣстѣ нельзя. Жить вмѣстѣ?—Чтобъ каждый день видѣть ее, мучиться, ревновать. Не смѣть подойти, взять за руку, поцѣловать. Поцѣловать?—да какой же это будетъ поцѣлуй? О, Боже мой, Боже мой! И зачѣмъ она открыла мнѣ глаза? Лучше бы я ничего не зналъ и думалъ, что я, просто, боленъ! (*Молчаніе*). Нѣтъ, намъ нельзя больше жить въ одномъ домѣ. Да что же дѣлать? Я бы и ушелъ, куда глаза глядятъ, да на кого же я оставляю ихъ? Замужество одно средство. Да за кого же отдать ее? Развѣ за Беркина?—человѣкъ хорошій. Отдать за него—нѣтъ, мнѣ бы не хотѣлось этого. Всего лучше, пусть Володя женится на Катенькѣ—тогда и у ней будетъ покровитель. Ну, а я? Да что я!—Моя участь рѣшена. Богъ посѣтилъ меня на старости лѣтъ. Видно, я грѣшнѣе всѣхъ. На старости лѣтъ я мучусь страстью, которой никогда не зналъ и въ молодости, ревную, не сплю ночей, долженъ стыдиться дѣвочки, которая любила меня, какъ отца; долженъ стыдиться всѣхъ, убѣгать людей, самого себя—о Боже мой, Боже мой! Если бъ ужъ умереть. (*Опирается на столъ обѣими руками, закрывая ими лицо. Молчаніе. Входитъ Лизанька*).

ЯВЛЕНІЕ 13.

Горскій и Лизанька.

Лиз. Дяденька!

Горск. (*вскликая съ мѣста*). Лизанька! (*Молчаніе*).

Лиз. Я парочно пришла—объясниться съ вами.

Горск. Объясниться? То-есть, объяснить мнѣ, кто я, что я, на кого я похожъ? О, пощади, избавь,—я самъ все знаю, все понимаю.

Лиз. Вы не такъ поняли мои слова. Васъ упрекать, обвинять, человѣкъ благороднѣйшій и несчастнѣйшій!

Горск. Несчастнѣйшій—такъ; но благороднѣйшій—о нѣтъ! избавь меня отъ отвѣта!

Лиз. Вамъ не въ чемъ себя упрекать—несчастіе не есть преступленіе.

Горск. О Боже мой, Боже мой! Мнѣ страшно смотрѣть на свѣтъ, я желалъ бы ослѣпнуть.

Лиз. Перестаньте, Бога ради, перестаньте; я не о томъ хотѣла говорить съ вами, дяденька, Николай Матвѣвичъ...

Горск. Николай Матвѣвичъ! Этого ли еще не доставало! ха! ха! ха!

Лиз. Выслушайте меня—наши отношенія—наше положеніе другъ къ другу...

Горск. (*прерывая ее*). Особенно мое къ тебѣ—очень хорошо. (*Бьетъ себя въ голову*). Старая голова, плѣшивая голова, глупая голова!

Лиз. Вы не дадите кончить. Намъ нельзя жить вмѣстѣ.

Горск. (*мрачно*). Я это знаю...

Лиз. Но намъ нельзя и разстаться.

Горск. Что?

Лиз. (*бросается къ нему на шею*). Поймите меня! Попадите меня отъ объясненій! Я не могу думать, не хочу думать, чтобы вы были несчастны черезъ меня. (*Плача, приклоняется головой къ его плечу*).

Горск. Но ты не виновата въ моемъ несчастіи.

Лиз. Вы тоже въ своемъ. А я не могу быть счастлива, когда вы несчастны—и еще черезъ меня.

Горск. Что жъ дѣлать? Надо покориться судьбѣ.

Лиз. Нѣтъ, не покориться, а понять ее опредѣленіе, которое неизбежно. Дяденька—нѣтъ—не дяденька,—Николай Матвѣвичъ! Еще ли вамъ мало!

Горск. Какъ? Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.

Лиз. (*быстро*). Что я хочу сказать? Судьба хочетъ, чтобы вы были черезъ меня несчастны, а я хочу, чтобы вы были черезъ меня счастливы. (*Бросается къ нему въ объятія*).

Горск. (*отскочивъ отъ нея*). Но, Боже мой! Лизанька, подумала ли ты?

Лиз. О, я много, много думала!

Горск. Боже мой! Я не знаю, не могу. Да! (*Поводитъ рукой по лбу*). Да—ты—съ твоей стороны это благородно; но я... за кого же ты меня принимаешь.

Лиз. За человѣка, который меня любить, и любовь котораго я должна наградить.

Горск. И который, прибавь, никогда не будетъ такъ подлѣ, чтобы воспользоваться непринадлежащей ему наградой.

Лиз. (*обнявъ его, задыхаясь, говоритъ ему на ухо скороговоркой*). Послушайте, къ чему все это? я рѣшилась. Не всѣ выходить замужъ по любви, а замужъ выходить всѣ. И не всѣ любить и влюбляются, а надо жъ будетъ за кого-нибудь выйти замужъ. Такъ не лучше ли выйти за человѣка, который любить меня, благороднѣйшій въ мірѣ человѣкъ, достойный не любви, а обожанія.

Горск. (*вырывается изъ ея объятий и закрываетъ уши*). Не говори, Бога ради, не говори, демонъ-обольститель! Вѣдь это говоришь не ты — дьяволъ говоритъ твоимъ языкомъ, чтобы погубить меня. Молчи! молчи!

Лиз. Нѣтъ, я буду говорить, я должна говорить, Богъ говоритъ моимъ языкомъ, чтобы спасти насъ обоихъ.

Горск. Но опомнись, опомнись; ты — молодая, прекрасная дѣвушка, я — старикъ. Позоръ на мои сѣдые волосы, проклятіе на мою голову, если я тебѣ повярю, соглашусь...

Лиз. Ваши лѣта! Послушайте, ваши лѣта для мужчины—что они такое? Женятся и старѣе васъ.

Горск. Чужія глупости—не оправданіе мнѣ.

Лиз. Однимъ словомъ, я на это рѣшилась, и это должно быть.

Горск. Но погубить безвозвратно твое счастье!

Лиз. Погубить? Нѣтъ,—дать мнѣ его. Не почитайте женской робости за отвращеніе, святого долга—за принужденіе. Да, я могу найти себѣ мужа моложе васъ; но не найду, чтобы такъ могъ любить меня. Надо имѣть звѣрское сердце, чтобы не опѣнить такой любви и не заплатить за нее равной любовью.

Горск. (*закрывая ей ротъ*). Молчи, Бога ради, молчи! По крайней мѣрѣ дай мнѣ подумать. Но пока, чтобы никто не подозрѣвалъ и не догадывался. Поди, поди, оставь меня одного. (*Вытаскиваетъ ее*).

ЯВЛЕНІЕ 14.

Горскій (*долго смотритъ ей вслѣдъ; потомъ всплеснувши руками*).

Боже мой! что со мной! Стѣны кружатся, полъ колеблется подо мной. (*Шатаясь, подходитъ къ кресламъ у стола и упадаетъ въ нихъ*). Будто это возможно? Вѣрить ли ей?—Нѣтъ! прочь, демонъ-соблазнитель!—отойди отъ меня! не искушай меня! Она—моя жена! Тсъ! Объ этомъ и подумать страшно—стѣны услышатъ и захохочутъ. (*Молчаніе; вдругъ вскакиваетъ съ кресла и ходитъ по комнатамъ большими шагами*). Однакожъ надо подумать спокойнѣе, безпристрастнѣе. (*Хватаясь за голову*). Да я не могу ни о чемъ думать—голова горитъ; мнѣ душно—я задохнусь. (*Ходитъ въ молчаніи*). А въ самомъ-то дѣлѣ—что жъ? Мои

лѣта... но я крѣпокъ еще, свѣжъ, здоровъ; при томъ же пятьдесятъ лѣтъ будто ужъ и Богъ знаетъ сколько—не шестьдесятъ же. Да и въ шестьдесятъ женятся. Ей надо же за кого-нибудь выйти, такъ лучше же, чѣмъ за кого-нибудь, кто не будетъ ее ни любить, ни цѣнить,—за человѣка, который любить ее больше жизни, больше свѣту очей. Она сама такъ думаетъ. Тутъ нѣтъ принужденія—ея добрая воля. (*Потирая руками*). Не надо подумывать, надо крѣпко подумать сперва—въ мои лѣта нельзя скоро рѣшаться на такіе поступки. (*Остановившись передъ зеркаломъ*). Боже мой! я нынче и не брлся, сюртукъ на мнѣ ни на что непохожъ.

ЯВЛЕНІЕ 15.

Входитъ Мальскій.

Мал. Дяденька.

Горск. (*бросаясь къ нему на шею*). Володя, другъ мой! прости меня—я виноватъ передъ тобой, много виноватъ; готовъ на колѣняхъ просить у тебя прощенія. Забудь, что было—впередъ ужъ этого не будетъ.

Мал. Ахъ, дяденька, какъ же вы меня удивили.

Горск. Чѣмъ же, милый мой?

Мал. Да вы такъ веселы, такъ бодры, здоровы! Давно ужъ не видѣлъ я васъ такимъ, да признаюсь—и видѣть не надѣялся.

Горск. А тебѣ, видно, жаль, что однимъ дуракомъ меньше стало—такъ ты и носъ повѣсилъ.

Мал. Есть отъ чего повѣснть, дяденька.

Горск. Вадоръ! совсѣмъ не отъ чего! Я хочу, чтобы теперь опять все пѣло, плясало. Красные дни наши опять воротились!

Мал. Только не для меня, дяденька,—мои красные дни навсегда распрощались со мной.

Горск. (*шутливо*). Ужъ будто навсегда? раненько!.. Ну, скажи, въ чемъ твое горе?

Мал. Третьяго дня вы требовали отъ меня рѣшительнаго отвѣта насчетъ моихъ отношеній къ Катеринѣ Петровнѣ.

Горск. Да! третьяго дня; но зачѣмъ же торопиться—еще будетъ время.

Мал. Нѣтъ, пора положить всему конецъ. Будь, что будетъ, а я больше не въ силахъ выносить. (*Молчаніе*). Дяденька, строго допросивши и изслѣдовавши себя, я удостовѣрился совершенно, что моя любовь къ Катеринѣ Петровнѣ—просто воспоминаніе дѣтства, привычка.

Горск. Худо! А дѣлать нечего! Впрочемъ надо ее поразспросить—если и она то же скажетъ, такъ бѣда не велика.

Мал. А если она не то скажетъ—тогда что?

Горск. Худо! Странное дѣло: только вотъ подумаешь, что все пошло хорошо, тутъ-то, откуда ни возьмется, новое горе! Но если она тебя любить—почему тебѣ не жениться на ней?

Мал. Потому, что жениться на женщицѣ, не любя ея,—значить не уважать ея.

Горск. Но вѣдь я говорю—въ такомъ случаѣ, если она любить тебя?

Мал. Тѣмъ больше: въ такомъ случаѣ надо при-
творяться, за нѣжность платить нѣжностью, всегда
быть въ принужденіи. О, нѣтъ, ни за что на свѣтѣ!

Горск. Ты такъ думаешь?

Мал. Такъ, дяденька.

Гор. (*быстро смотря ему въ глаза*). Да не
значить ли это чего, Володя?

Мал. Что же такое?

Горск. Такъ. Ты не влюбленъ ли въ другую?

Мал. Въ кого же?

Горск. А мнѣ какъ знать! Я потому-то и спра-
шиваю, что не знаю.

Мал. Нѣтъ, дяденька, ни въ кого, будьте увѣ-
рены.

Горск. То-то же! Какъ же быть теперь?

Мал. Остается одно средство: я уйду; тогда вы
разспросите ее и увѣдомите меня.

Горск. Экое дѣло! Да, видно больше нечего дѣ-
лать. Покуда быть такъ. Куда же ты?

Мал. Куда глаза глядятъ, хотѣлось бы отъ са-
мого себя убѣжать. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 16.

Горскій (*одинъ*).

Худо! А впрочемъ еще отчаяваться нечего. Надо
сперва поразспросить хорошенько эту вѣтреницу.
Можетъ быть оно и все къ лучшему. Все къ луч-
шему? О, если бъ это была правда! Странно, радость
моя прошла, мнѣ опять грустно, какое-то безпо-
койство. Вотъ за минуту—все казалось мнѣ такъ,
какъ быть должно, все такъ хорошо—старое сердце
билося такой сильной радостью. А теперь? Да къ
чему все это, и какъ все это? Опять все кажется
такъ несбыточно, неестественно. Странно. Но подо-
ждемъ... тсъ! Кто тамъ?

ЯВЛЕНІЕ 17.

Входитъ Лизанька.

Горск. А, это ты, Лизанька! Не знаю, почему,
но только твое присутствіе пугаетъ меня. Что ты
еще скажешь?

Лиз. Все то же, что ужъ и сказала. Мнѣ нетер-
пѣливо хочется услышать ваше рѣшеніе.

Горск. (*смотря на нее съ смущеніемъ и во-
сторомомъ*). Ангелъ! О, Боже мой, Боже мой! Не во-
снѣ ли все это? Нѣтъ, Лизанька, уйди, уйди! не
кажись мнѣ, пока я не скажу тебѣ своего рѣшенія.
Твой видъ смущаетъ меня. Видишь, какъ я весь
дрожу? Посуди сама—къ лицу ли мнѣ это? О, по-
щади, пощади меня! Богда все обдумаю, рѣшусь,
тогда, только тогда ужъ не оставляй меня ни на
минуту. Не дай закраться въ душу ни одному со-
мнѣнію. (*Схватывая ея руку и быстро смотря
ей въ глаза*). Знаешь ли ты, что тогда твое слово,
твой взглядъ, одно твое движеніе будетъ и убивать,
и воскрешать меня? Понимаешь ли ты, что такое
любовь старика къ молодой дѣвушкѣ? Да это для
нея казнь Божія! Выходи за молодого—то немного
внимательности, немного любви—и онъ счастливъ,

спокоенъ. Онъ безъ ревности будетъ смотрѣть, какъ
ты говоришь съ тѣмъ, съ другимъ, внимательна къ
тому, къ другому. А старикъ—у него не чиста со-
вѣсть, онъ никогда не забудетъ разницы лѣтъ.

Лиз. Полноте, полноте. Не мучьте себя такими
пустыми предположеніями. Нѣтъ, вы не можете
быть ревнивцемъ—мучителемъ своей жены.

Горск. Мучителемъ? Скажи—палачемъ! Да, па-
лачемъ твоимъ я буду! Я не скажу тебѣ ни слова—
я скрою, глубоко скрою въ себѣ мои безпокойства,
мои мученія; да развѣ не будутъ тебя мучить—мое
молчаніе, мрачный взглядъ, блѣдность, кровавые
глаза, безумный шопотъ днемъ, безумный брелъ
ночью? Знаешь ли ты, какъ я тебя люблю? (*На
ухо вполголоса*). Я такъ тебя люблю, что часто не
могу разобрать—люблю или ненавижу я тебя. И
это не пугаетъ тебя?

Лиз. А знаете ли вы, какъ я могу любить? Прощу
васъ только объ одномъ: дайте пройти только пер-
вому времени смущенія, дайте мнѣ только привык-
нуть къ моему новому положенію. А тамъ... да
неужели вы думаете, что я такъ бѣдна, что не
буду въ состояніи заплатить вамъ равной любовью?
Не ждите отъ меня страсти, ревности, впаляхъ
глазъ, блѣднаго лица—нѣтъ, я неспособна ко всему
этому. Но я сдѣлаю больше: въ моемъ веселомъ
взорѣ вы будете видѣть себя, и вашъ взоръ будетъ
спокоенъ и свѣтелъ; въ моемъ лицѣ вы будете
видѣть не опустошенія страсти, а кроткій блескъ
любви, и этотъ блескъ отразится на вашемъ лицѣ.
Да, не страсть, не ревность, а любовь и счастье
дамъ я вамъ.

Горск. (*задыхаясь отъ радости и смущенія*).
Замолчи, замолчи—твои слова обошительны, а
я—я подкупленъ—я измѣнилъ самому себѣ, я не
смѣю вѣрить себѣ. Дай мнѣ успокоиться, собраться
съ мыслями, опомниться. Но нѣтъ, не ты, я оставляю
тебя, уйду отъ тебя—ты страшна мнѣ.

Лиз. Дяденька! (*Бросается къ нему въ объ-
ятія, онъ вырывается, бѣжитъ и, оглянувшись
на нее разъ, уходитъ въ свой кабинетъ, а она,
черезъ противоположную дверь,—въ свою ком-
нату*).

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Иванъ и Хватова.

Хват. Ну, что, голубчикъ Иванъ, — не раз-
узналъ ли чего—на счетъ—знаешь?

Иванъ. Да кажется, дѣло-то ладно, матушка
Матрена Карповна.

Хват. А что, что?

Иванъ. Машутка говоритъ, что вишь вошла
незначай въ ея спальню, а она, матушка моя, не
запримѣтила ее, да и говорить, то-есть, про себя:
«выйду, такъ выйду—онъ-де не старъ».

Хват. Да о комъ же это?

Иванъ. А Богъ ее знаетъ; должно быть,—о
Платонѣ Васильчѣ.

Хват. Да какъ же это? О Платошенькѣ нечего и говорить—ему всего двадцать восемь лѣтъ.

Иванъ. Да, человекъ молодой и всѣмъ взялъ—поведенія молодецкая, военная. А другое слово—ужъ не о Федорѣ ли Кузьмичѣ! Да, онъ уже старе-некъ, и вдовецъ, и дѣти есть.

Хват. Ну, дай Богъ, дай Богъ! Мнѣ конечно хотѣлось, да если Божьей воли нѣтъ, такъ дай Богъ другимъ счастья. Я вѣдь не о себѣ хлопотала, я больше все для ихъ же счастья.

Иванъ. Вѣстимо, матушка Матрена Карповна,—что и говорить.

Хват. Стало быть, Катерина-то Петровна ужъ навѣрное выйдетъ за Владиміра Дмитрича?

Иванъ. Ну, Богъ вѣсть. У нихъ что-то не ладно, онъ и уѣхать собирается.

Хват. По какой же причинѣ?

Иванъ. Да хорошенько не знаю, а надо думать, что съ ней-то, то-есть, съ барышней-то, у него не ладно. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 2.

Хватова (одна).

Отъ этого дурака толку большого не добьешься. Промаяхнулась я. Трудно повѣрить, чтобъ она вышла за Бражкина; да и то сказать—триста душъ, да тысячь двадцать чистоганомъ денегъ; дура была бы, коли бъ не пошла. Теперь одна надежда на ту. Охъ, дѣти, дѣти! Дороги вы материнскому сердцу!.. Да гдѣ ихъ чортъ таскаетъ! А! вонъ дура-то идетъ.

ЯВЛЕНІЕ 3.

Входитъ Анна Васильевна (*съ цвѣтами на голову и на груди*).

Хват. Гдѣ ты шаталась?

Анна В. (*грубо*). Гдѣ! Гуляла въ саду, въ рошѣ по рѣкѣ.

Хват. А узнала ли что?

Анна В. Куда узнать! Я была вчера такъ и сякъ съ Катериной Петровной, а она то побѣжить, то запоетъ, то заговоритъ совсѣмъ о другомъ.

Хват. У! дура набитая! Вотъ Богъ далъ дѣтокъ! О себѣ не могутъ постараться! Ты бейся для нихъ изъ послѣднихъ силъ, а они только зѣваютъ, да мухъ считаютъ.

Анна В. Да что жъ дѣлать, когда нельзя! Вы только ругаться, да драться, въ самомъ дѣлѣ!

Хват. Ты готова матери-то глаза выцарапать; хорошо, что я еще и сама когтиста и зубаста: небось, какъ разъ уйму. Нельзя! нельзя! А мнѣ такъ видно можно? Вчера съ четверть часа стояла за дверьми на цыпочкахъ, скорчившись; страхъ такой,—того гляди, кто застанетъ. А вы такъ ничего не можете. Вчера тотъ болванъ такъ и хлопнулся на колѣни, а сказать умненько, какъ я учила, ничего не могъ. А еще военный! А ты только наколешь себѣ цѣтвъ на голову, да на грудь, какъ принцесса какая, а дѣла сдѣлать не умѣешь. А пора бы подумать, вѣдь тебѣ двадцать девять лѣтъ.

Анна В. Да Владиміръ Дмитричъ...

Хват. О братѣ-то старайся, дура набитая! Куда тебѣ думать о Владимірѣ Дмитричѣ: этотъ гордецъ и не смотритъ на тебя. Кабы умна была, такъ около Бражкина-то хлопотала бы.

Анна В. Ну ужъ, старый чортъ!

Хват. А ты молода? Вишь, непечечко какое, чортъ бы тебя побралъ. Тула же суется...

Анна В. Да что же вы больно сердитесь—жолчь испортите!

Хват. Да съ вами, съ дураками, испортишь по-неволѣ. И такъ промаха дала. Знаешь ли ты, на комъ женится старый-то чортъ? На Лизаветѣ! Да!

Анна В. И она идетъ за него?

Хват. А то нѣтъ! Вишь, у ней губа-то—не дура, какъ у тебя! Что, что старъ—скорѣй издохнетъ; тогда своя воля. Да не о томъ рѣчь. Мы съ Платошей на ней промахнулись, такъ теперь надо попробовать, нельзя ли около другой-то похлопотать.

Анна В. Да какъ же? Вѣдь она выйдетъ за Владиміра Дмитрича?

Хват. То-то и есть, что еще Богъ знаетъ за кого—старуха на двое сказала. Я кое-что развѣдала, да еще не навѣрное. Смотрите же вы, олухи, уши востро; ты отъ Катеньки-то и не отходи: чуть сойдется или заговоритъ съ Мальскимъ, какъ хочешь, хоть прилягъ къ двери, только не пророни слова. На Платошу плоха надежда—онъ только умѣетъ усы закручивать, посвистывать, да военные экивоки отпускать. Охъ, оплошала я, окаянная, дура набитая! Катерина-то дѣвка добрая, а та даромъ, что ласкова съ нами, а по ней хоть бы и не видать насъ—гордячка такая.

Анна В. Да, все молчать, да смотреть исподлобья.

Хват. Ну, смотри же ты у меня—не зѣвай. Постой, кто-то идетъ. Уйдемъ. Смотри, не отходи отъ нихъ. (*Уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ 4.

Входитъ Горскій.

Горск. Поскорѣй, поскорѣй все покончить, а то силъ нѣтъ. Я ужъ не въ состояніи скрываться—того и гляжу, что всѣ догадаются. То-то хорошо будетъ!

ЯВЛЕНІЕ 5.

Входитъ Лизанька.

Лиз. Ахъ, дядюшка!

Горск. Дядюшка! И испугалась!

Лиз. Мнѣ показалось, что вы сейчасъ прошли по саду, такъ я и удивилась, увидѣвши васъ здѣсь.

Горск. Полно, Лизанька, полно, моя милая. Перестанемъ играть въ куклы, будемъ говорить, какъ взрослые люди. Ахъ, мнѣ-то ужъ давно бы пора хватиться за умъ!

Лиз. Вы меня удивляете: я думала услышать отъ васъ совсѣмъ другое.

Горск. (*горько улыбаясь*). И будто вправду!

Лиз. Вы оскорбляетесь?

Горск. Да, Лизанька, оскорбленъ и жестоко, только не тобой, а самимъ собой.

Лиз. Но меня удивляетъ такая внезапная пере-
мѣна въ вашемъ рѣшеніи.

Горск. Есть причина. Я выѣхавъ ночью ви-
дѣлъ дурной сонъ. Мнѣ снилось, будто я женатъ
на тебѣ, а волосы у меня ужъ совершенно сѣдые; я
шелъ съ тобой по улицѣ, а на меня всѣ указывали
пальцами. Это мнѣ такъ не понравилось, что я ужъ
раздумалъ жениться.

Лиз. Но...

Горск. Полно, Лизанька. Я понимаю цѣну тво-
его рѣшенія—оно благородно, достойно тебя, твоей
прекрасной души. Не унижай же меня передъ са-
мимъ собой. Я могъ увлечься слабостью сердца, да
это была минута. Полно, ни слова объ этомъ. И
если ты въ самомъ дѣлѣ любишь меня, принимаешь
во мнѣ участіе, то дай мнѣ слово, что несчастная
тайна останется между нами, и никто, и никогда
не узнаетъ объ ней.

Лиз. Но—вы меня не понимаете. Я рѣшилась
не вдругъ, но рѣшилась твердо.

Горск. (съ горькой улыбкой). Рѣшилась! Въ
любви нѣтъ рѣшеній—въ ней добровольно отдаются
другому, потому что отдаются счастью. Рѣшаются
только на несчастіе, на пожертвованія, а въ любви
нѣтъ жертвъ.

Лиз. (съ жаромъ). Какая неправда, какая ужас-
ная ложь! Напротивъ, безъ жертвъ нѣтъ любви.
Кто неспособенъ жертвовать собой для счастья дру-
гихъ, тотъ эгоистъ.

Горск. (грустно качая головой). Мечты юно-
сти, мечты пылкой головы, пылающаго сердца, которые
еще не знаютъ жизни, или знаютъ ее изъ книгъ—
по романамъ и стихамъ! Въ это время я много по-
умнѣлъ, моя милая! много узналъ такого, чего пре-
жде и не подозрѣвалъ. Вѣкъ живи—вѣкъ учишься,
говорить пословица; жизнь не книга—ея нельзя
выучить наизусть, какъ урокъ; ее надо выстрадать.
Вникни-ка въ себя поглубже, такъ и увидишь, что
минутную всышку, конечно очень благородную и
на эту минуту очень истинную, ты принимаешь за
твердое рѣшеніе. Скажу тебѣ больше: твое рѣшеніе
пугаетъ тебя, только ты боишься сознаться въ
этомъ самой себѣ. Тебѣ уже представляется темно,
что ты могла бы встрѣтить молодого человѣка, ко-
торого любовь осчастливила бы тебя. Вѣдь молодое
сердце ищетъ любви молодого сердца. Хорошо бы
тогда было! Что—что ты осталась бы мнѣ вѣрна!
Не вѣрности, а любви хочу я.

Лиз. Боже мой! Дяденька, какъ же вы мало меня
знаете.

Горск. Конечно обо всемъ этомъ ты не думала,
да все это думалось въ тебѣ само собой, безъ твоего
вѣдома. Въ сердцѣ человѣческомъ много закоулковъ.
И я нисколько не виню тебя за это.

Лиз. О, какая холодная, эгоистическая фило-
софія!

Горск. Зато—истинная. Но довольно объ этомъ.
Будь—что будетъ, а мнѣ надо быть мужчиной, и
еще пятидесятилѣтнимъ мужчиной. Я палъ, низко

палъ, ужасно палъ, но все же не до такой степени,
чтобы, забывъ честь и Бога, воспользоваться героиз-
момъ молодой дѣвочки, романтической мечтатель-
ницы,—загубить въ цвѣту ея жизнь. Остань меня.
Поди, поди—и ни слова больше. (Выталкиваетъ
ее.)

ЯВЛЕНІЕ 6.

Горскій (одинъ).

Да! больше думать нечего—одна дорога! Уѣду
куда-нибудь, пока душа не успокоится, пока не
увѣрюсь, что могу видѣть ее безъ волненія, безъ
тоски, любоваться ею, какъ отецъ дочерью. Видѣть
ее безъ тоски, безъ волненія!—будто это возможно!
будто это будетъ когда-нибудь! Нѣтъ, вижу конецъ
моему счастью. Закатъ мой печаленъ. Что жъ, всему
свое время: за красными днями весны и лѣта на-
ступаетъ холодная, дождливая осень—все тихо,
мертво, и только шумитъ вѣтеръ, да срываетъ жел-
тые листья! Такъ и человѣкъ: въ молодости кудри
вьются, а наступить его осень—блѣднѣютъ его волосы
и падаютъ, какъ осенніе листья. Всему свой конецъ.
И душа цвѣтетъ радостью и вянетъ отъ печали. И
я теперь, какъ дерево осенью,—сирѣ, одинокъ,
боленъ душой, и не съ кѣмъ раздѣлить мнѣ своей
тоски, некому повѣрить моей печали. И кому бы
повѣрилъ я ее, когда самъ стыжусь ея? И кто бы
одобрилъ мое страданіе, кому бы не показалось оно
смѣшно? А я могу снести все на свѣтѣ, кромѣ на-
смѣшливой улыбки падъ тѣмъ, что составляетъ не-
счастье моей жизни. Насмѣшливая улыбка, какъ
раскаленное желѣзо, прожгла бы мою душу, и не
было бы отъ меня прощенья тому человѣку! Да! мнѣ
надо затвориться въ себѣ. Да! прощайте, люди,—
не забывайте лихомъ!

ЯВЛЕНІЕ 7.

Входитъ Мальскій.

Горск. Ну, что ты, Володя?

Мал. Ъду, дяденька, дни черезъ три.

Горск. Счастливый путь, Володя! Не удивляйся,
что я говорю тебѣ это: кто ѣдетъ, тому надо гово-
рить: «счастливый путь!» (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 8.

Мальскій (одинъ).

Не понимаю, что дѣлается съ дяденькой. Его
тонъ такъ странный, слова загадочны. (Молчаніе).
Грустно, тяжело разстаться съ мѣстомъ, гдѣ росъ,
былъ счастливъ; но есть и какое-то наслажденіе въ
мысли объ уtratѣ счастья, о предстоящихъ буряхъ.
Итакъ, смѣлю впередъ—хуже вѣдь не будетъ!

ЯВЛЕНІЕ 9.

Входитъ Лизанька.

Лиз. Владиміръ Дмитріевичъ!

Мал. Лизавета Петровна!

Лиз. Вы что-то озабочены?

Мал. Благодарю васъ за вниманіе. Я такъ не привыкъ къ нему съ вашей стороны.

Лиз. Грѣшно и стыдно говорить вамъ такъ, Владиміръ Дмитріевичъ. Но я вижу, что вы что-то особенно не въ духѣ нынче, и не хочу тяготить васъ своимъ присутствіемъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 10.

Мальскій (*одинъ*).

Почему не смѣю сказать ей, какъ я ее люблю? Отчего эта робость, смущеніе? Да потому, что изъ этого ничего бы не вышло. Надо скорѣе уѣхать—это всего лучше и вѣрнѣе. Кто это тутъ за дверью? (*Отворяетъ дверь и заглядываетъ въ залу.*) Нѣтъ никого, а кто-то пробѣжалъ какъ будто отъ этой двери черезъ корридоръ. Боже мой! что если это она—уйти поскорѣе. Какъ мнѣ будетъ съ ней встрѣтиться! (*Уходитъ*.)

ЯВЛЕНІЕ 11.

Входитъ Хватова.

Хват. Э, голубчикъ,—вотъ онъ по комъ вздыхаетъ! Вотъ отчего размоловка-то съ невѣстой! О той нечего и думать. За кого же сватается Алексѣй-то Степанычъ? Должно быть, что мѣтитъ на эту. Эхъ, дала я маха! Катенька-то и доступнѣе, да она же и ласковѣе со всѣми нами, особенно съ Платошенькой. Надо все сказать Николаю Матвѣичу. Пусть племянничекъ-то мой обожжется. Онъ вѣдь все останется родней. Пусть лучше достанется этому гордецу Мальскому—это будетъ у меня новая богатая роденька. А въ Бражкинѣ проку мало, онъ скряга. Надо поторопиться, пока племянничекъ еще ничего не знаетъ.

ЯВЛЕНІЕ 12.

Входитъ Горскій.

Горск. (*не замѣчая Хватовой*). Отчего же онъ приближалъ, какъ только я сказалъ ей, что онъ ѣдетъ? Жаль сестры? Это что-то подозрительно. Конечно она привыкла любить его, какъ брата. А! Матрена Карповна! Что ты стоишь тутъ, какъ мертвая, и не слышишь тебя?

Хват. Ахъ, я задумалась!

Горск. Объ чемъ это?

Хват. Да все о своей горькой участи, батюшка Николай Матвѣичъ. Дѣло вдовье, сиротское,—одна была надежда на васъ, да вы что-то не расположены къ этому.

Горск. Къ чему?

Хват. Да о чемъ я васъ просила.

Горск. Какая ты недогадливая, Матрена Карповна! Я, кажется, толкомъ сказалъ тебѣ, что Лизанька не пойдетъ за твоего Платошеньку.

Хват. Да я ужъ васъ не о томъ прошу. Я хотѣла попросить васъ, коли милость ваша будетъ, насчетъ Катерины Петровны.

Горск. А развѣ ты не знаешь, что на нее имѣетъ виды Володя?

Хват. Я сама прежде думала это.

Горск. А теперь почему ты думаешь другое?

Хват. Теперь я думаю, что Владиміру Дмитріевичу хочется жениться на Лизаветѣ Петровнѣ.

Горск. Что?

Хват. Да, на Лизаветѣ Петровнѣ. Да что съ вами? Не подать ли вамъ воды? Пойдите, я возьму въ буфетѣ.

Горск. Не нужно, стой—скажи мнѣ, почему ты такъ думаешь? какъ это ты узнала? Скажи мнѣ все, что знаешь, какъ было, безъ утайки. Ты вѣрно подслушала? Вѣдь это твое ремесло!

Хват. Не сердитесь, Николай Матвѣевичъ. Я, право, ничѣмъ не виновата. Вольно же Владиміру Дмитріевичу такъ громко рассуждать. Я была въ столовой, считала салфетки.

Горск. Что же онъ говорилъ?

Хват. Все скажу. Только не сердитесь, Николай Матвѣичъ. Дѣло было вотъ какъ: я была въ корридорѣ и видѣла, какъ Владиміръ Дмитріичъ ходили по гостиной, а потомъ вошли Лизавета Петровна, сказали съ нимъ слова два, да и пошли въ свою комнату. А Владиміръ Дмитріичъ посмотрѣли ей вслѣдъ и сказали: «Какъ бы мнѣ сказать ей, что я ее люблю». Нѣтъ-бишь—вотъ какъ: «что я не смѣю ей сказать, что я ее люблю», да и ушли, а тутъ и вы вошли.

Горск. И ты не лжешь? Это было точно такъ, какъ ты говоришь?

Хват. Образъ готова снять со стѣны, Николай Матвѣичъ.

Горск. Хорошо—вѣрю. Поди, пошли ко мнѣ Лизаньку; вызови ее тихонько, чтобъ не обратили вниманіе, до поскорѣе.

Хват. Николай Матвѣичъ, вы меня не введите въ бѣду, а я побѣгу.

Горск. Не бось, не бось. Тебѣ же будетъ лучше отъ этого; скорѣе ступай.

Хват. Сію минуту! (*Про себя.*) Пошло дѣло на ладъ. (*Уходитъ*.)

ЯВЛЕНІЕ 13.

Горскій (*одинъ*).

А! вотъ оно что! Кто могъ это предвидѣть? Нѣтъ, лучше—кто могъ не видѣть этого? Она его любила давно, да скрывала. Онъ тоже любилъ ее давно ужъ—прежде, чѣмъ узналъ объ этомъ. Сердца не обманешь, у него тысячи глазъ, тысячи ушей, оно все видитъ, все слышитъ. Я не даромъ ревновалъ его къ ней, ненавидѣлъ его, какъ будто онъ былъ мой жесточайшій врагъ. (*Молчаніе.*) За что жъ теперь ненавижу я его, и еще больше, чѣмъ прежде? Вѣдь я ужъ рѣшился, я ужъ думаю только объ одномъ, чтобъ пристроить ее? Вѣдь они оба будутъ счастливы? Счастливы? Да за что же я-то буду несчастливъ? Зачѣмъ же—ему счастье, а мнѣ нѣтъ его? Если бъ она вышла за Коркина—да что за Коркина? лучше бы, легче бы мнѣ было, если бъ даже за Бражкина! Боже мой! неужели пламень въ аду жесточе, жгучѣе того, который пожираетъ теперь

мою душу! А! вотъ хорошо, хорошо, хорошо! Отъ сильнаго холода чувствуютъ жаръ, въ сильномъ пару какъ будто морозъ пробѣгаетъ по тѣлу. Такъ и мнѣ теперь даже весело. Да, весело!—какъ бывало на сраженіи, на приступѣ! Ну, веселись же душа, сколько хочешь, это послѣдній твой пиръ,—другого не дождешься. Вѣрно она! О!

ЯВЛЕНІЕ 14.

Входитъ Коркинъ.

Корк. А я все васъ искалъ, Николай Матвѣичъ.

Горск. Меня!

Корк. Но что съ вами? Вѣрно вы дурно себя чувствуете?

Горск. Напротивъ, чудесно. Я веселъ, такъ веселъ, что готовъ пѣть, плясать—и все, что вамъ угодно.

Корк. Но...

Горск. Право! Вы не вѣрите? Честное мое слово! Но вы, вѣрно, хотѣли мнѣ что-нибудь сказать?

Корк. Такъ, но можетъ быть теперь не время.

Горск. Напротивъ. Теперь то самое лучшее время. Можетъ быть вы мнѣ скажите что-нибудь такое, что я найду въ васъ товарища въ моей веселости? Знаете—радость вдвоемъ лучше.

Корк. (смотря на него съ недоумѣніемъ). Я, право, не знаю, какъ васъ понимать.

Горск. А вы, вѣрно, хотѣли поговорить со мной о своемъ положеніи?

Корк. Да, Николай Матвѣичъ, я такъ измучился ожиданіемъ, неизвѣстностью, что рѣшился окончательно объяснитьсь съ вами.

Горск. Вѣдь это насчетъ Лизаньки?

Корк. Нѣтъ, Николай Матвѣичъ. Мнѣ странно, что вамъ такъ показалось. Я ищу руки Катерины Петровны.

Горск. А! да! Я вѣдь такъ и думалъ. Я хотѣлъ только пошутить. Я же теперь въ такомъ веселомъ расположеніи. Но вотъ что: я скажу о вашемъ предложеніи Катенькѣ, а теперь вы ступайте, мнѣ нужно остаться одному.

Корк. Очень хорошо. Только я прошу васъ объ одномъ: Бога ради, поскорѣ. (Про себя.) Что съ нимъ? Онъ какъ сумашедшій! (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 15.

Горскій (одинъ).

Нѣтъ, видно мнѣ нѣтъ товарищей! Я одинъ, да можетъ быть мнѣ больше всѣхъ и надо! Правду сказать, судьба любить меня—смотри какъ хлопочетъ за всѣхъ на мой счетъ и не спрося меня? Итакъ, двѣ свадьбы вдругъ! Въ добрый часъ! Тѣмъ больше веселья! ха! ха! ха! (Молчаніе). А что! не отправиться ли мнѣ на Кавказъ? Вѣдь я еще крѣпокъ, службѣ мнѣ не учиться, а стоять только вспомнить. Дѣла тамъ много—жизнь дѣятельная, разнообразная. Можетъ быть кинжалъ или пуля горца сжалится надо мной. Вотъ, говорятъ, что какъ бѣда нагрянетъ, такъ встанешь втупикъ. Вздоръ! Вездѣ можно найти средство извернуться. Лежишь въ

постели больной и видишь смерть на носу. Что же? развѣ и тутъ нѣтъ средства спастись отъ нея? Умирать—вотъ и избавишься отъ нея. По крайней мѣрѣ не она на тебя, а ты на нее наскочишь. А это не малое утѣшеніе въ бѣдѣ!

ЯВЛЕНІЕ 16.

Входитъ Лизанька.

Лиз. Ахъ, дяденька! Матрена Карповна очень удивила меня, сказавши, что вы хотите сообщить мнѣ что-то важное.

Горск. Очень, очень важное, мой другъ.

Лиз. Ужъ не сказать ли мнѣ, что вы согласились съ моимъ рѣшеніемъ?

Горск. Да, именно—сказать тебѣ, что я наконецъ рѣшился. Но не блѣднѣй—мое рѣшеніе будетъ для тебя не такъ страшно, какъ ты думаешь.

Лиз. Но оно мнѣ ни сколько не страшно, напротивъ...

Горск. Вѣрю, вѣрю. Къ чему увѣренія тамъ, гдѣ и безъ нихъ все ясно! Алексѣй Степановичъ Коркинъ сейчасъ просилъ у меня руки Катеньки.

Лиз. Ахъ, какъ это жалко! Алексѣй Степановичъ такой прекрасный человѣкъ, а она любитъ не его—она любитъ Владиміра Дмитріевича.

Горск. Еще жалѣть слишкомъ объ этомъ нечего. Бѣда не такъ велика. Владиміръ Дмитріевичъ ея не любитъ.

Лиз. Какъ такъ? Вы почему знаете?

Горск. О, я много знаю, много! Онъ самъ сказалъ мнѣ это. Говорить—воспоминанія дѣтства, больше ничего.

Лиз. Боже мой! Неужели это правда?

Горск. Какъ дважды два—четыре. Но отчего же ты такъ поблѣднѣла, испугалась?

Лиз. Мнѣ жалъ бѣдной Катеньки.

Горск. А! да! ты сострадательна, любишь сестру. Я это знаю. Это хорошо, похвально. Ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ видѣть безкорыстную любовь къ другимъ.

Лиз. Но что же это значить? это такъ странно...

Горск. На свѣтѣ, Лизанька, такъ много страннаго, что ничему не надо дивиться, даже самому великодушному состраданію къ несчастью ближняго, даже пожертвованію. Все это только кажется страннымъ, а поразмотри поближе—такъ и увидишь, что дѣло самое обыкновенное.

Лиз. Но, ради Бога, что за причина? Почему Владиміръ Дмитріевичъ...

Горск. Владиміръ-то Дмитріевичъ? Да, прекрасный молодой человѣкъ, умный, образованный, чувствительный, словомъ, настоящій герой романа... Что съ тобой?

Лиз. Ничего. Впрочемъ знаете ли что? Вѣдь Катенька, кажется...

Горск. Что?

Лиз. Она мнѣ говорила, что она не любитъ Владиміра Дмитріевича, да я тогда ей не повѣрила. Зная ея легкій характеръ, я подумала, что она не понимаетъ самой себя.

Горск. Ну, а теперь ты ей вѣришь? Хорошее извѣстіе! За него и я тебя попотчую тоже хорошими извѣстіями. Да! вѣдь ты знаешь, что Володя уважаетъ отъ насъ навсегда?

Лиз. Навсегда? Я не думала этого.

Горск. А знаешь ли, по какой причинѣ?

Лиз. Нѣтъ, не знаю.

Горск. Ну, такъ я скажу тебѣ: онъ сердить на тебя.

Лиз. На меня? За что?

Горск. За то, что ты не любишь. Вѣдь ты не любишь его?

Лиз. Какъ! (*Про себя.*) Какая ужасная пытка!

Горск. Ну, я вижу, что ты не любишь его, а онъ—онъ влюбленъ въ тебя.

Лиз. Вы шутите! Попадите меня, попадите!

Горск. Боже мой! Опомнись, ободрись! (*Про себя.*) О, я варваръ безчеловѣчный! (*Вслухъ.*) Лизанька, другъ мой! Успокойся, ну, что жъ тутъ такое! Я знаю, что ты его давно любишь безнадежно. Сейчасъ узналъ, что и онъ также любить тебя давно и безнадежно.

Лиз. Любить!—меня!—Онъ меня любить—Боже мой! какое счастье! (*Молчаніе.*) Послушайте, простите минутной слабости сердца, увлеченію эгоизма. Мое рѣшеніе все-таки твердо. Вѣдь онъ не знаетъ, что я его люблю!

Горск. Нѣтъ, знаетъ,—я ему сказалъ.

Лиз. Знаетъ! Знаетъ! Что вы сдѣлали! Какъ мнѣ теперь показаться ему? Зачѣмъ онъ ужъ не уѣхалъ? Но все это ничего: я покажу ему видъ, что ничего не знаю. Мое рѣшеніе все такъ же твердо.

Горск. (*съ горькой улыбкой.*) Все такъ же твердо? И мое такъ же, Лизанька. Прощай! о, прощай навсегда, помни меня. (*Плачетъ.*)

Лиз. Какъ! вы хотите насъ оставить?

Горск. Да, видно, такъ нужно. Я теперь опять спокойнѣе. Чему быть—тому не миновать. Если мнѣ нѣтъ счастья, то сохранию хоть уваженіе къ себѣ. А тамъ, что Богъ дастъ. Можетъ быть его гнѣвъ скоро кончится, я возвращусь къ вамъ, мои милыя дѣти, буду любоваться вашимъ счастьемъ, повѣрь мнѣ—все къ лучшему.

Лиз. Не говорите мнѣ о моемъ счастьи—оно мнѣ ненавистно: я вижу въ немъ ваше несчастье. Нѣтъ, вы останетесь, вы не уѣдете. (*Обнимаетъ его.*)

Горск. (*освобождаясь изъ ся объятій.*) Охъ, легче стало! Грустно, горько, а легко. Это голосъ Божій, я опять слышу его. Поди, Лизанька, поди. И прошу тебя объ одномъ—не уговаривай меня остаться, не говори мнѣ ничего. Я знаю, что дѣлаю. Вѣдь ты не можешь чувствовать, что происходитъ въ моей душѣ, поди.

Лиз. Одно слово...

Горск. Ни полслова! А что до того, понимаешь, то не безпокойся и не спрашивай меня. Это ужъ мое дѣло.

Лиз. Но дяденька, Бога ради...

Горск. Поди, поди! (*Выводитъ ее.*) Нѣтъ, стой, дай обнять тебя, поцѣловать въ послѣдній

разъ. (*Рыдая.*) О, я сильно любилъ тебя! Прости увлеченію слабости—оно послѣднее (*Грустно смотритъ на нее.*) Но, поди, поди! (*Лизанька уходитъ, плача.*)

ЯВЛЕНІЕ 17.

Горскій (*Одинъ.*)

Бѣжать, бѣжать, пока есть еще силы! отсрочки только измучаютъ меня. Нынче же отправляюсь въ городъ—укрѣплю за ней мое имѣніе. Пусть они живутъ здѣсь. Пусть будутъ счастливы. А я—я буду страдать и молиться за ихъ счастье. Можетъ быть я и успокоюсь. (*Молчаніе.*) Да, другого нѣтъ пути,—будь воля Божія. Эй, Иванъ, Иванъ!

ЯВЛЕНІЕ 18.

Входитъ Иванъ.

Иванъ. Что вамъ угодно, батюшка баринъ, Николай Матвѣичъ?

Горск. Я нынче ѣду въ городъ, чтобъ все было готово часа черезъ два.

Иванъ. Слушаю-сь, батюшка. А я съ вами поѣду?

Горск. Какъ же. Вотъ не знаю, кого мнѣ будетъ взять—я надолго и далеко уѣзжаю.

Иванъ (*повалясь ему въ ноги и плача.*) Какъ кого, батюшка? я съ вами жилъ—съ вами и умру,—коли сами не возьмете—побѣгу за вами, какъ приставшая собака, и хоть бейте—не отстану.

Горск. Полно, не дурачься; къ чему это? встань (*Поднимаетъ его.*) Вѣдь я ѣду далеко и надолго.

Иванъ. Хоть на тотъ свѣтъ, про то знаете вы, а мое дѣло—служить вамъ.

Горск. Но ты, Иванъ, старъ, тебѣ ужъ трудно разстаться съ родиной, съ семействомъ.

Иванъ. Да если бъ отецъ родной всталъ изъ могилы, и то бы я васъ не покинулъ; не погубите на старости лѣтъ! Что я безъ васъ—сирота круглый!

Горск. Ну, хорошо, хорошо! Готовься же, да никому ни слова. Слышишь? Ступай! (*Иванъ уходитъ.*)

ЯВЛЕНІЕ 19.

Входитъ Катенька.

Кат. Что съ вами дяденька?

Горск. А, это ты, Катенька! Кстати, слова два. Скажи мнѣ—влюблена ты въ кого-нибудь?

Кат. Что за вопросъ, дяденька?

Горск. Что жъ—труденъ?

Кат. Нѣтъ, я не влюблена ни въ кого.

Горск. Какъ—и въ Володю?

Кат. Да, я не влюблена въ него.

Горск. Да какъ же ты хотѣла за него выйти?

Кат. Во-первыхъ, дяденька, я не хотѣла,—шутить ещѣ не значить хотѣть; во-вторыхъ, если бы и вы, и онъ захотѣли этого, то почему же?

Горск. Какъ! только потому, что другіе желаютъ?

Кат. Да я и сама, хоть и не желаю, а вышла бы за него без отвращения и без принуждения. Онъ прекрасный молодой человекъ, хоть и любить ваничать.

Горск. Ну, а если я скажу тебѣ, что Володя уже не хочетъ жениться на тебѣ — онъ только любить тебя, а не влюбленъ?

Кат. Что жъ — я рада!

Горск. Я не понимаю тебя, ты себѣ противорчишь: то вышла бы охотно, то рада, что не выйдешь.

Кат. Но, мой милый дяденька, то и другое хорошо, вѣдь участь человека рѣшается Богомъ, я этому и вѣрю и готова на все. Я тоже иногда, какъ и всѣ, думаю о своей будущей судьбѣ, да отъ этого такъ становится грустно и тяжело, что я начинаю дурачиться, чтобъ только не думать, А когда надѣешься на Бога и о себѣ не думаешь, то такъ хорошо, весело на душѣ.

Горск. Правда твоя, правда! Ну, а не чувствуешь ли ты къ кому-нибудь другому склонности?

Кат. Да что это вы пристали ко мнѣ, дяденька? ужъ не думаете ли вы, что я въ васъ влюблена?

Горск. Теперь не время шутить, Катенька, говори дѣло? Какъ тебѣ кажется Алексѣй Степановичъ Коркинъ?

Кат. Умный, благородный — словомъ, прекрасный человекъ; даже немножко смѣловъ при этомъ.

Горск. А! твой идеалъ!

Кат. Злой дяденька! съ чего вы это вздумали?

Горск. Не замѣчала ли ты въ немъ склонности къ себѣ?

Кат. Ахъ, онъ такой флегматикъ, что въ немъ ничего не замѣтишь, кромѣ постоянного благоразумія — досадный человекъ!

Горск. Ну, такъ вотъ же что: онъ сватается за тебя?

Кат. Какъ? Что вы?

Горск. Не краснѣй, не краснѣй, моя милая вѣтреница. Я не далъ ему слова, но обнадежилъ его. Что ты на это скажешь?

Кат. Что? Ну, дяденька, не думала же я, что бы вы когда-нибудь такъ поймали меня!

Горск. Такъ я поймалъ тебя?

Кат. Прощайте пока — мнѣ некогда съ вами...

Горск. (удерживая ее). Постой, поди — позови сюда всѣхъ. Да что это — у тебя слезы на глазахъ?

Кат. Ахъ дяденька, какъ вы привязчивы! Вамъ все скажи, а догадаться не любите.

ЯВЛЕНИЕ 20

Входитъ Мальскій.

Мал. Вы ѣдете, дядюшка! Возьмите меня съ собой.

Горск. Нѣтъ, ты останешься.

Кат. (грозя пальцемъ Мальскому). А, господинъ измѣнникъ! Такъ-то вы! Постойте же, я вамъ отплачу!

Мал. Какъ! Что это значить?

Горск. Ты измѣнилъ Катенькѣ, а она за это измѣняетъ тебѣ и выходитъ за Алексѣя Степановича, вотъ и все!

Мал. Боже мой! Правда ли это, Катерина Петровна? Одно ваше слово!

Кат. Васъ бы надо помучить хорошенько и за измѣну, а больше за неоткровенность и скрытность; но ужъ такъ и быть, помиримся и будемъ попрежнему друзьями!

Мал. О, какую ужасную тяжесть сняли вы съ души моей!

Горск. погоди, погоди, — тебя ожидаетъ другая, только та легче.

Мал. Что вы хотите сказать?

Горск. Ничего худого, а все хорошее — для тебя.

ЯВЛЕНИЕ 21.

Тѣ же и Коркинъ.

Кат. Ахъ! (Хочетъ убѣжать).

Горск. (беретъ ея руку и подаетъ Коркину). Алексѣй Степановичъ, не пускай эту вѣтреницу.

Корк. (въ радости и смущеніи). Катерина Петровна! Вѣрить ли мнѣ?

ЯВЛЕНИЕ 22.

Входятъ: Лизанька, Бражкинъ и Хватова съ дѣтьми.

Бражк. Ну, Николай Матвѣевичъ, какъ хотите, а я больше ждать не могу: дайте мнѣ рѣшительный отвѣтъ. А то сами знаете, я могу упустить другую выгодную партію.

Горск. Сейчасъ, Федоръ Кузьмичъ. Одну минутку. А пока поздравьте Катеньку и Алексѣя Степановича.

Хват. (про себя). Вотъ тебѣ разъ!

Горск. Ну, это конечно. Теперь другое дѣло — ужъ последнее. (Беретъ за руку Лизаньку и Мальскаго). Милые мои, будьте счастливы. Я знаю, что вы давно любите другъ друга — случай обнаружилъ мнѣ вашу тайну.

Лиз. (упадая въ слезахъ на грудь Горскаго). Дяденька!

Мал. (въ изумленіи) Что это значить, дяденька? Вы смѣетесь...

Горск. Подните — будьте счастливы. Не нужно словъ. О! (Отходитъ въ сторону и плачетъ).

Хват. А, такъ вотъ для кого я трудилась и хлопотала!

Бражк. (подходя къ Хватовой). Какъ же это, Матрена Карповна? Вѣдь я сватался?

Хват. Да остался съ носомъ. Я сама въ дуракахъ.

Бражк. А! Ну, дѣлать нечего. Поищемъ въ другомъ мѣстѣ — время еще не ушло. Приѣзжайте, Матрена Карповна, погостить ко мнѣ, въ мушку поиграемъ (Уходитъ; за нимъ и Хватовы.).

ЯВЛЕНІЕ 23.

Горскій, Мальскій, Коркинъ, Катенька и Лизаька.

Горск. (*беретъ Мальскаго за руку и отводитъ его въ сторону*). Поди сюда, Володя. Будь счастливъ, другъ мой. Люби ее. Сдѣлай ее счастливой. Только на этомъ условіи и отдаю я тебѣ ее. Она, Володя, дорого стоитъ, велика ей цѣна; вся жизнь твоя, душа, сердце, мысли, любовь, весь ты, твое будущее спасеніе—вотъ цѣна. Я ѣду на Кавказъ пользоваться водами. Надѣюсь скоро увидѣться съ вами, но въ смерти и животи Богъ воленъ. И если ты не лгалъ самымъ безстыднымъ образомъ, когда называлъ меня дядей и вторымъ отцомъ своимъ, если ты хочешь, чтобы мои кости спокойно лежали въ могилѣ, смотри же—чтобъ не одной слезы, ни одного вздоха не

знала она отъ тебя. Иначе я изъ могилы прокляну тебя.

Мал. Дядюшка! Отецъ!

Горск. (*обнимая ея*). Прощай, прощай! Не нужно больше словъ. Оставь меня на минуту.

Лиз. (*бросаясь на шею Горскому*). Дяденька! Но нѣтъ, вы не оставите меня. Неужели это необходимо? Неужели нѣтъ на землѣ полнаго счастья?

Горск. Полно, полно. Еще увидимся. Теперь же прощай, будь счастлива, такъ счастлива, чтобъ люди повѣрили, наконецъ, что есть на землѣ счастье. А мнѣ слезу, когда умру, и улыбку когда увидимся. Поди къ нимъ. (*Толкаетъ ее къ Мальскому, Катенькѣ и Коркину*). Я твердъ, какъ никогда не былъ. Они обнимаются, плачутъ отъ счастья, отъ блаженства... Пусть же имъ счастье! А я! Замогни змѣя души мой! Мнѣ нѣтъ—значить и не надо. По крайней мѣрѣ, я сдѣлалъ свое дѣло, а тамъ—будетъ воля Божья.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.



891.78
B431p
ed. 3
v. 1

OCT - 2 1967

SEP 19 1966

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book,
please return it as soon as possible, but
not later than the date due.



